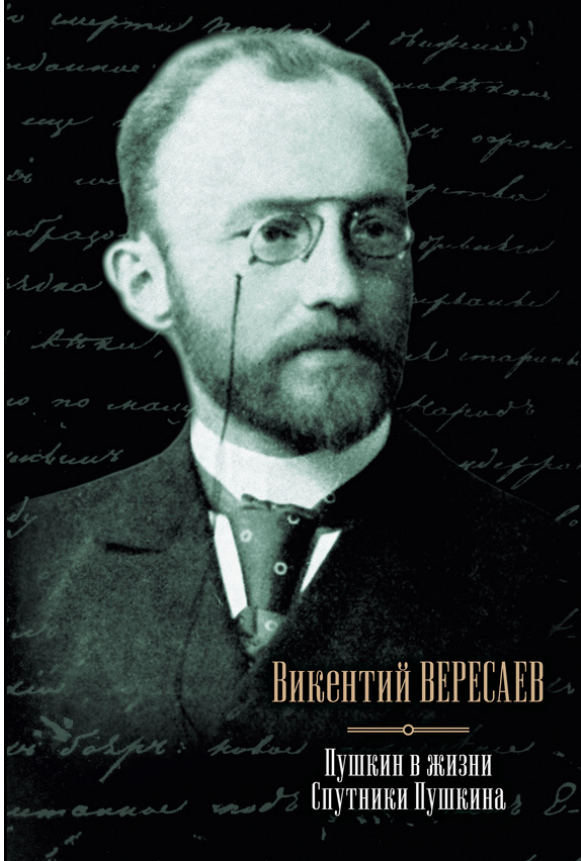




ВИКЕНТИЙ ВЕРЕСАЕВ

Пушкин в жизни
Спутники Пушкина

Викентий Вересаев. Пушкин в жизни. Спутники Пушкина (сборник) //АСТ,
Астрель, Харвест, Москва, 2011
ISBN: 978-5-17-074602-6, 978-5-271-36319-1
FB2: Denis, 03 March 2013, version 1.0
UUID: 1f2dd648-7f2d-11e2-978e-002590591dd6
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Викентий Викентьевич Вересаев

Пушкин в жизни. Спутники Пушкина (сборник)

Викентий Викентьевич Вересаев – русский прозаик, публицист, поэт-переводчик. В настоящем издании представлены получившие широкую известность его документальные работы, посвященные жизни А.С.Пушкина.

Содержание

Пушкин в жизни Систематический свод подлинных свидетельств современников . .	0006
Предисловие к первому изданию	0006
Предисловие ко второму изданию	0022
Предисловие к третьему изданию	0023
Предки Пушкина	0031
Детство	0071
В лицее	0099
Петербург	0174
В Екатеринославе. На Кавказе. В Крыму . .	0262
В Кишиневе	0287
В Одессе	0393
В Михайловском	0480
В Москве	0609
От переезда в Петербург до путешествия в Арзрум	0708
Путешествие в Арзрум	0881
Перед женитьбой	0926
Первые годы женатой жизни	1053
Поездка на Восток	1186
В придворном плену	1243
Анонимный пасквиль. Первый вызов.	
Женитьба Дантеса	1500
Дуэль, смерть и похороны	1626
Эпилог	1793

Спутники Пушкина	1845
От автора	1845
Родственники и домочадцы	1847
В лицее. Начальство и преподаватели	1933
Лицейские товарищи	1975
В Петербурге до ссылки. «Арзамас»	2079
В Петербурге до ссылки. «Зеленая лампа»	2186
В Петербурге до ссылки	2242
Семья Раевских	2354
В Кишиневе	2405
В Каменке	2516
В Одессе	2546
Деревенские знакомые	2637
В Москве	2749
В Петербурге	2912
Начальство и его агенты	3071
Друзья	3115
Писатели	3250
Журналисты	3429
Артисты и художники	3505
Путешествие в Арзрум	3540
Поездка на Восток	3578
Жена и ее родственники	3598
Дуэль и смерть	3664

Викентий Вересаев
Пушкин в жизни. Спутники
Пушкина (сборник)

Пушкин в жизни Систематический свод подлинных свидетельств современников

Предисловие к первому изданию

Книга эта возникла случайно. Меня давно интересовала своеобразная личность Пушкина. «Ясный», «гармонический» Пушкин, гениальный «гуляка праздный», такой как будто понятный в своей нехитрой гармоничности и благодушной беспечности, — в действительности представляет из себя одно из самых загадочных явлений русской литературы. Он куда труднее понимаем, куда сложнее, чем даже Толстой, Достоевский или Гоголь. Меня особенно интересовал он, как живой человек, во всех подробностях и мелочах его живых проявлений. В течение ряда лет я делал для себя из первоисточников выписки, касавшиеся характера Пушкина, его настроений, привычек, наружности и пр. По мере накопления выписок я приводил их в

систематический порядок.

И вот однажды, пересматривая накопившиеся выписки, я неожиданно увидел, что передо мной – оригинальнейшая и увлекательнейшая книга, в которой Пушкин встает совершенно как живой. Поистине живой Пушкин, во всех сменах его настроений, во всех противоречиях сложного его характера, – во всех мелочах его быта, его наружность, одежда, окружавшая его обстановка. Весь он, – такой, каким бывал, «когда не требовал поэта к священной жертве Аполлон»; не ретушированный, благонравный и вдохновенный Пушкин его биографов, – а «дитя ничтожное мира», грешный, увлекающийся, часто действительно ничтожный, иногда прямо пошлый, – и все-таки в общем итоге невыразимо привлекательный и чарующий человек. Живой человек, а не иконописный лик «поэта».

Незаменимое достоинство лежащего передо мной материала – что я тут совершенно не завишу от исследователя, не вынужден смотреть на Пушкина его глазами, руководствоваться цитатами, которые ему заблагорассудится привести. Передо мною – возможно

полное собрание отзывов о Пушкине, и на их основании я имею возможность делать свои самостоятельные выводы. Отзывы эти были разбросаны по разнообразнейшим журналам, газетам, книгам, часто очень труднодоступным; всякий, желавший составить себе самостоятельное представление о Пушкине, должен был проделывать долгую и кропотливую работу по собиранию материалов. Здесь эти материалы лежат перед читателем собранные, распределенные в систематическом порядке.

* * *

Прежде всего передо мною встал вопрос: какие сведения вводить в эту книгу, – все ли, до нас дошедшие, или только критически проверенные? Ведь вот и у самого Хлестакова мы находим воспоминания о Пушкине. Вы помните? «С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: – Ну что, брат Пушкин? – Да так, брат, – отвечает, бывало, – так как-то все... Большой оригинал!» Таких воспоминателей о Пушкине, – попросту сказать, вралей, в действительности, может быть, никогда даже и не видевших Пушкина, – в пуш-

кинской литературе немало.

Дальше идет целая категория воспоминателей, стоявших в несомненной близости к Пушкину или к близким ему лицам, – и тем не менее очень мало достоверных. Большое сомнение внушают, напр., немногочисленные сведения, сообщенные о поэте его отцом Сергеем Львовичем, вроде, напр., утверждения, что Пушкин, поступая в лицей, говорил по-английски или что он в зрелом возрасте выучился испанскому языку. Некоторые подозрения вызывают и воспоминания о Пушкине его брата Льва, относящиеся как раз к тому времени, когда братья жили врозь. Чудовищно недобросовестны воспоминания Л. Н. Павлицева, сына сестры поэта, Ольги Сергеевны. Он заставляет Пушкина произносить суконным языком длинейшие и глупейшие, явно им выдуманные речи. Мало того: даже приводимые им якобы подлинные письма матери его и письма к ней сплошь им фальсифицированы. Это обнаружилось, когда Павлицев, после издания своей книги, неосторожно продал подлинники писем Академии Наук, и они были напечатаны в издании ака-

демии «Пушкин и его современники». Не внушают решительно никакого доверия и пресловутые «Записки А. О. Смирновой», изданные «Северным Вестником». Они настолько «обработаны» ее дочерью Ольгою Николаевною Смирновой, что нет никакой возможности отделить краткие сообщения матери от пространных измышлений дочери, – фальсификаторши, нужно сознаться, весьма умной и талантливой, не в пример Л. Павлицеву. Большую, напротив, ценность представляют подлинные записи А. О. Смирновой, опубликованные в «Русском Архиве» и некоторых других изданиях.

Далее идут показания случайных знакомцев Пушкина, воспоминания о мимолетных встречах с ним, – сообщения весьма различного достоинства и различной степени достоверности. Здесь мы, однако, встречаем такие ценные заметки, как воспоминания И. С. Тургенева или И. А. Гончарова. Рассказы «старожилов», записанные любителями через несколько десятков лет после воспоминаемых происшествий, – материал, в большинстве случаев, весьма сомнительного качества.

Более или менее достоверный материал прежде всего, конечно, представляют показания самого Пушкина в его письмах и автобиографических заметках. Однако, с полным доверием принимать нельзя и их. В письмах, напр., к ревливой своей жене Пушкин явно старается изображать свое поведение и свой образ жизни в слишком уж образцовом виде. Большого доверия заслуживают, в общем, воспоминания близких к Пушкину И. П. Липранди, И. И. Пущина, А. П. Керн, П. А. и П. П. Вяземских, П. В. Нащокина, П. А. Плетнева. Полезным противовесом к односторонне хвалебным воспоминаниям друзей являются такие враждебные к Пушкину воспоминания, как воспоминания барона (впоследствии графа) М. А. Корфа, С. Д. Комовского, Кс. А. Полевого, А. В. Никитенка, А. Н. Вульфа, А. П. Араповой и др. Особое место занимают сведения, сообщаемые П. В. Анненковым («Материалы для биографии Пушкина» и «Пушкин в Александровскую эпоху») и П. И. Бартеневым («Пушкин в Южной России» и многочисленные заметки в издававшемся им «Русском Архиве»). Ни Анненков, ни Бартенев лично Пуш-

кина не знали. Но они были знакомы со многими из ближайших друзей Пушкина и с большою тщательностью собирали у них по горячим следам все, что те могли сообщить о Пушкине. Сведения, сообщаемые Анненковым и Бартеневым, вполне носят поэтому характер первоисточников.

Какие же сведения о Пушкине допустимо приводить в предлагаемой мною читателю книге? Ограничиваться только строго проверенными сведениями, откидывая всё, сколько-нибудь возбуждающее сомнение? Но то была бы совсем другая книга, и она носила бы слишком субъективный характер. М. К. Лемке, напр. (Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. СПб., 1909, изд. 2-е, с. 491), считает «безусловно соответствующим истине» рассказ чиновника Третьего Отделения А. А. Ивановского о разговоре его с Пушкиным в 1828 г. Мне же кажется совершенно невероятным, чтобы Пушкин мог так разговаривать с Ивановским. В этой книге мне хотелось собрать более или менее все, что сообщалось о личности Пушкина, устраняя лишь явно невероятные, явно выдуманные сообщения,

как, напр., рассказ Ципринуса (О. А. Пржецлавского) об отношениях между Пушкиным и Мицкевичем (Рус. Арх. 1872, с. 1906–1907) или сообщение Льва Пушкина, будто в Кишиневе на обедах генерала Орлова прислуга обносила Пушкина блюдами, – сообщение, энергично опровергаемое Липранди[1]. Исходя из этих соображений, я позволил себе, – правда, с большою осторожностью, – пользоваться даже такими книгами, как «Воспоминания» Л. Павлищева или «Записки» А. О. Смирновой. В распоряжении авторов были несомненно подлинные материалы, касавшиеся Пушкина, и можно, – с некоторым, по крайней мере, вероятием, – предположить, что Павлищев не выдумал того или другого эпизода из детства Пушкина, сообщаемого им со слов своей матери, и что у Пушкина, действительно, могла быть привычка, отмечаемая Смирновою – выходить из комнаты, заканчивая речь громким смехом, – привычка, отмеченная и И. С. Тургеневым. Я счел далее возможным включить часто цитируемые выдержки из дневника поэта Теплякова, приводимые А. Греном. Выдержки, конечно, не подлинные: таким

бездарным языком Тепляков не мог писать; Пушкин в 1821 году не мог показывать Теплякову писем поэта Языкова. Но не исключена возможность, что приводимые сведения были сообщены Тепляковым Грену в устной форме, или что Грен их только прочел в дневнике Теплякова и цитировал на память: для выдумки сообщаемые сведения слишком уж мелки. То же и относительно воспоминаний г-жи Францовой. Приводимые этою наивною дамою якобы подлинны стихи Пушкина, — конечно, грубая подделка. Но на этом основании мы не можем утверждать с полной уверенностью, что и сообщаемые ею семейные предания о Пушкине тоже сплошь выдуманы.

Многие сведения, приводимые в этой книге, конечно, недостоверны и носят все признаки слухов, сплетен, легенды. Но ведь живой человек характерен не только подлинными событиями своей жизни, — он не менее характерен и теми легендами, которые вокруг него создаются, теми слухами и сплетнями, к которым он подает повод. Нет дыма без огня, и у каждого огня бывает свой дым. О Диккенсе будут рассказывать не то, что о Бодлере, и

пушкинская легенда будет сильно разниться от толстовской.

В этой книге перед нами живой Пушкин, но, конечно, окутанный дымом легенд и слухов. До какой степени, однако, интересно сопоставление разного рода сообщений даже сомнительного качества, показывает хотя бы, напр., история путешествия Пушкина из Одессы в Михайловское в августе 1824 года. Сообщения явно не совпадают друг с другом, явно друг другу противоречат, и, однако, всякий, я думаю, согласится, что в сумме они дают нечто весьма интересное и весьма для Пушкина характерное.

Повторяю: критическое отсеивание материала противоречило бы самой задаче этой книги. Я, напротив, старался быть возможно *менее* строгим и стремился дать в предлагаемой сводке возможно все, дошедшее до нас о Пушкине, кроме лишь явно выдуманного.

Само собой разумеется, книга эта даже в отдаленной мере не сможет заменить настоящей биографии Пушкина. Но я был бы рад, если бы она сделала излишними те многочисленные писания, которые до сих пор сходят

за биографические статьи о Пушкине: надергает человек интересных цитат из Липранди, Пущина, Керн, Анненкова, Бартенева, разведет их водою собственного пустословия, и биографическая статья готова.

Еще одно: вполне сознательно я не привожу ни одного *поэтического* показания Пушкина, хотя бы носящего явно автобиографический характер; у всякого поэта, а у Пушкина в особенности, *Dichtung* сильно разнится от *Wahrheit*[2], и поэтическое произведение никогда не бывает голым дневником поэта.

* * *

Большие трудности представляло распределение собранного материала в хронологическом порядке там, где точных дат в источниках не давалось. В ряде случаев помещение такой-то выдержки именно в таком месте обуславливалось целым рядом соображений, сопоставлений и справок, приводить которые я считаю излишним. Нередко, однако, помещение выдержки именно в данном месте являлось несколько произвольным. Но я старался при этом не вводить читателя в заблуждение. В начале подобной выдержки в скобках

приведены те годы, на протяжении которых могло произойти описываемое событие. Иногда из самого текста читатель может усмотреть, в какой мере точно можно отнести цитату к тому времени, к которому отношу ее я. Кн. Вяземский, напр., рассказывает, как однажды Пушкин, *во время пребывания его на юге России*, поехал на любовное свидание и, увлекшись карточной игрой, забыл о свидании. Я отнес это к одесскому периоду жизни Пушкина, но, конечно, с тою же вероятностью это могло произойти и в кишиневский период. Рассказы старожилов тех мест, где Пушкин бывал по нескольку раз в своей жизни, я, опять-таки с некоторою долей произвольности, относил к тому времени, когда Пушкин всего дольше прожил в этой местности (если, конечно, не было прямого противосвидетельства в самом источнике). Так, напр., большинство сообщений о проживании Пушкина в Михайловском и Тригорском отнесено к 1824–1826 гг. Общие замечания о характере Пушкина, его привычках, наружности и т.п., если не было в источниках указания на точную дату, когда было высказано суждение, и

если не было других каких-либо противопоказаний, я относил либо к тому времени, когда данное лицо всего чаще и интимнее встречалось с Пушкиным (напр., у Алексея Вульфа), либо к тому времени, когда оно видело Пушкина в последний раз. Супруги Нащокины, напр., в последний раз виделись с Пушкиным в мае 1836 года, – к этому времени и отнесена общая характеристика, даваемая ими Пушкину.

* * *

Источники, на которые приходится ссылаться часто, привожу в сокращенном написании. Вот их полные заглавия:

Аммосов А. – Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина. Изд. Исакова. СПб. 1863.

Анненков П. В. – Материалы для биографии Пушкина. Изд. 2-е. СПб., 1873.

Анненков П. В. – Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874.

Барсуков Н. П. – Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888–1910. Части 1–22.

Бартенев П. И. – Пушкин в Южной России. Изд. 2-е. М., 1914.

Батюшков К. Н. – Сочинения. Изд. П. Н. Ба-

Тюшкова. СПб., 1886.

Вигель Ф. Ф. – Записки. Изд. «Русского Архива». М., 1891.

Кн. П. А. Вяземский. – Полн. собр. сочинений. Изд. графа С. Д. Шереметева. СПб., 1878–1887.

Кн. П. П. Вяземский. – Собрание сочинений. СПб., 1893.

Гастфрейнд Н. А. – Документы госуд. и с.-петербургского главн. архивов мин. иностр. дел, относящиеся к службе Пушкина. СПб., 1900.

Грот Я. К. – Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Изд. 2-е. СПб. 1901.

Дела III Отдел. – Дела III Отделения об А. С. Пушкине. Изд. И. Балашова. СПб., 1906.

Дуэль. – Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном. Подлинное военно-судное дело 1837 г. СПб., 1900.

Липранди И. П. – «Русский Архив», 1866.

Майков Л. Н. – Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899.

Модзалевский Б. Л. – Пушкин. Изд. «Прибой». Л., 1929 г.

Модзалевский Б. Л. – Пушкин под тайным надзором. Изд. «Парфенон». СПб., 1922.

Никитенко А. В. – Записки и дневник. СПб., 1905. Изд. 2-е.

Ост. Арх. – Остафьевский Архив князей Вяземских. Изд. графа С. Д. Шереметева. СПб., 1899.

Павлищев Л. И. – Воспоминания об А. С. Пушкине. М., 1890.

Переписка Пушкина. – Изд. Академии Наук. СПб., 1906.

Полевой Кс. А. – Записки. СПб., 1888.

Пушкин и его совр-ки. – Пушкин и его современники. Изд. Академии Наук с 1903 г.

Рассказы о Пушкине. – Издание М. и С. Сабашниковых. М., 1925.

Рус. Арх. – журнал «Русский Архив» под ред. П. И. Бартенева.

Рус. Стар. – журнал «Русская Старина» под ред. М. И. Семева.

Смирнова А. О. – Автобиография. Изд. «Мир». М. 1931.

Сологуб В. А. – Воспоминания гр. В. А. Сологуба. Изд. А. С. Суворина. СПб., 1887.

Шляпкин И. А. – Из неизданных бумаг Пуш-

кина. СПб., 1903.

Щеголев П. Е. – Дуэль и смерть Пушкина. Изд. 2-е. СПб., 1917.

Яковлев В. А. – Отзывы о Пушкине с юга России. Одесса, 1887.

* * *

Подстрочные примечания, не подписанные, принадлежат составителю. Ему же принадлежат в тексте заключенные в скобки слова и фразы, набранные курсивом, – объясняющие или исправляющие текст. Цитаты из источников, писанных на французском языке, приводятся в русском переводе. В скобках отмечается, что подлинник писан на французском или французско-русском языке (*фр.*, *фр.-рус.*). Цитаты из писем помечаются просто именами автора письма и адресата, напр.: «А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 12 марта 1819 г.». Это значит: Тургенев *в письме к Вяземскому*. – Цитаты из писем и заметок самого Пушкина приводятся без ссылок на определенное издание сочинений Пушкина: по дате письма или заметки всякий легко найдет их в любом имеющемся у него под руками издании Пушкина.

За указание на промахи и ошибки глубоко буду благодарен. Кто понимает, какая передо мною была трудная и новая работа, не станет слишком винить меня за них.

Горячая моя благодарность Мстиславу Александровичу Цявловскому за многообразную помощь, которую он мне оказывал в этой работе.

В. Вересаев

Москва, 7 февраля 1926 г.

Предисловие ко второму изданию

Многие читатели заявляли мне, что были бы очень желательны хотя бы краткие указания на степень достоверности тех или иных из сообщаемых данных о жизни Пушкина. В этом издании сообщения сомнительные отмечены впереди текста звездочкою. Разумеется, это еще не значит, что остальные сообщения вполне достоверны. Полная критическая проверка всех сообщаемых фактов была бы огромной работой, далеко выходящей за пределы задачи, преследуемой этою книгой.

Москва, 15 октября 1926 г.

Предисловие к третьему изданию

Книга эта вызвала в печати целый ряд отзывов, – как отрицательных, так и одобрительных. Отвечать на большинство возражений не стоит. Некоторые можно отметить лишь как курьез. Мне, напр., ставилось в упрек, что в книге Пушкин не отражается **как поэт**, что представление о нем получается неполное. Ну, конечно! По существу книга моя есть лишь сборник материалов, больше ничего. Материалом для суждения о Пушкине как поэте должны, естественно, служить его произведения, – не перепечатывать же мне было их в моей книге! Упрекали меня также, что не дана «социально-бытовая обстановка», не дана «эпоха» и т.п. Во сколько же томов должна бы была в таком случае разрастись моя книга! Конечно, и как поэт, и как продукт своей эпохи Пушкин должен найти отображение в своей **биографии**. Но книга моя – не биография Пушкина, считаю нужным повторить это еще раз. Она – только возможно полное и возможно объективное собрание мате-

риалов, касающихся непосредственно «Пушкина в жизни». Ничего, выходящего за намеченные пределы, от нее нельзя требовать.

Многих моих оппонентов коробит то якобы умаление личности Пушкина, которое должно получиться у читателей вследствие чтения моей книги. И все они дружно цитируют известное письмо Пушкина к Вяземскому по поводу уничтожения Т. Муром интимных записок Байрона:

«Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением. Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции. Охота теперь видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки, потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могучего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. **Он мал, как мы, мерзок, как мы!** Врете, подлецы: он и мал, и мерзок – не так, как вы, – иначе!»

Вот на этом необходимо остановиться подробно. Пушкин не один раз высказывал приведенную здесь мысль. Еще ярче и определен-

нее высказал он ее в стихотворении «Герой»:

*Да будет проклят правды свет,
Когда посредственности холодной,
Завистливой, к соблазну жадной
Он угрождает праздно! Нет,
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...*

Высказываясь так, Пушкин был последователен. Но понимают ли мои оппоненты, к чему они сводят роль исследователя жизни великого человека, серьезно рекомендуя к руководству приведенную мысль Пушкина? Идеалом биографа делается Плутарх; печь великих людей становится легче, чем калачи или булки. Неверно, что Наполеон в Яффском госпитале пожимал руки чумным больным? Ну, что ж! «Утешься... **29 сент. 1830 г. Москва**»[3]. В этот день Николай посетил пораженную холерою Москву. И вот готов «герой» – русский император Николай II. «Да будет проклят правды свет!»

«Врете, подлецы: он и мал, и мерзок – не так, как вы, – иначе!» Так ли это действительно? Можно ли класть резкую, принципиальную качественно-разграничительную черту

между «великим» человеком и обыкновенным? Нет спора, возможно, что одаренность в одной области накладывает своеобразный, необычайный отпечаток и на некоторые другие области душевной жизни человека. Но совершенно неверно, будто весь строй души великого человека, во всех его проявлениях, носит какой-то величественный, несвойственный другим людям отпечаток.

Если Гораций действительно бежал с поля битвы при Филиппах, «нечестно брося щит», — то бежал он, как самый обыкновенный трус, а не как особенный какой-то талантливый трус. Бэкон Веруламский торговал должностями и брал взятки, как самый ординарный взяточник, а не как взяточник, обогативший философию индуктивным методом. Во время революции 1848 года Шопенгауэр предоставил свою квартиру правительственному отряду для более удобного обстрела баррикад; Шопенгауэр был гениальный философ, но в данном случае он поступал просто как богатый человек, как своекорыстный член своего класса, которому революция грозила нанести ущерб. И когда Пушкин делал «отеческие вну-

шения» своим крепостным слугам, то действовал он тут не как-то по-особенному, а как «дитя ничтожное мира», как типичный барин той эпохи, воспитанный в глубочайшем неуважении к личности крепостного раба.

Биограф или воспоминатель обычно подходит к великому человеку именно с стремлением объяснить по-особенному, во что бы то ни стало оправдать или вовсе смазать темные его черты. Не понимают, что и вся-то красота живого человека – в его жизненной полноте и правдивости, что самый великий человек – все-таки человек с плотью и кровью, со всеми его человеческими слабостями и пороками. Посмотрите, напр., как зевотно-скучен, мертвен и благочестиво-плосок Лев Толстой в большинстве биографий и воспоминаний, – благообразный учитель жизни, светящийся любовью к миру и к людям, непрерывно источающий возвышеннейшие моральные истины, – и как прекрасен он в жизни, – ошибающийся, падающий, путающий, непоследовательный, колючий, мальчишески-задорный, самоуверенный, – неисчерпаемый родник энергии, искания и жадной влюбленности в

жизнь.

Или Пушкин.

Казалось бы, например: для мужчины дело элементарной порядочности, если он вступил в тайную связь с женщиной, – молчать об этом, не разглашать тайны. Пушкин же, после долгих домогательств добившись, наконец, благосклонности Анны Петровны Керн, спешит в циничнейшей форме похвалиться победой перед своим другом Соболевским. О, как знакомы эти враждебно-загорающиеся глаза почитателей-кумиропоклонников, это стремление так или так оправдать темные черты идола! Спешат возразить: «Ничего такого в действительности не было, Пушкин просто шутливо поддразнивал Соболевского!» Но ведь это же еще хуже, – пачкать имя женщины ложной похвальбою перед приятелем. Или вообще столь часто отмечаемый современниками цинизм Пушкина. Опять возражают: «Он в этом отношении был только продуктом своей эпохи». Нет, именно и современников своих он поражал исключительным цинизмом. Однажды, весной 1829 г., за завтраком у Погодина Пушкин держался так,

что Мицкевич два раза принужден был сказать: «Господа! Порядочные люди и наедине, и сами с собою не говорят о таких вещах!» По-годин по поводу этого завтрака замечает: «Много было сального, которое не понравилось». С. Т. Аксаков пишет: «Пушкин держал себя ужасно гадко, отвратительно». Очень часто и другие современники Пушкина отмечают этот его бросающийся в глаза цинизм, — кн. П. Вяземский, А. П. Керн, А. Н. Вульф, Ал. Н. Вульф и другие.

И тем не менее — Пушкин прекрасен. Прекрасен не потому, что всего указанного не было. Оно было. Было и много другого. Пушкин прекрасен потому, что, **несмотря на все это**, душа его отличалась глубоким благородством и изяществом. Был цинизм, была нередко мелкая мстительность, была угодливость, была детская неспособность отстаивать свое достоинство и полное неумение нести естественные последствия своих действий. И все-таки исключительно-благородная красота его души пламенными языками то и дело прорывалась в жизни сквозь наносную грязь, ярким огнем пылала в его творчестве и ослепитель-

ным светом вспыхнула в его смерти. Умирал он не как великий поэт, а как великий человек. Да, великая была душа. И только в смерти Пушкина чувствуешь, сколько возможностей таилось в этой душе.

И совсем нет надобности скрадывать темные и отталкивающие стороны в характере и поступках Пушкина из боязни, что «толпа» с удовольствием начнет говорить: «Он мал, он мерзок, как мы!» Художник, рисуя прекраснейшее лицо, не боится самых глубоких теней, – от них только выпуклее и жизненнее станет портрет; и прекраснее станет лицо, если, конечно, – прекрасен оригинал. В этом же всё. Подлинно-великий человек с честью выдержит самые «интимные» сообщения о себе.

Коктебель. Июнь 1928 г.

Предки Пушкина

Мы ведем свой род от прусского выходца **Радши или Рачи** (мужа честна, говорит летописец, т.е. знатного, благородного), въехавшего в Россию во время княжества св. Александра Ярославича Невского. От него произошли Мусины, Бобрищевы, Мятлевы, Поводовы, Каменские, Бутурлины, Кологривовы, Шеферединовы и Товарковы.

Пушкин. Родословная Пушкиных и Ганнибалов, 1830.

«При державе великого государя и великого князя Александра Ярославича Невского прииде из немец муж честен именем Радша», – так начинаются родословные росписи, поданные в 1686 году представителями нескольких ветвей рода Пушкиных в Разрядный Приказ. Ссылаясь на предка, выезжего «из немец», Пушкины следовали общей тенденции русских дворянских родов, показывавших легендарных предков своих выходцами из иностранных государств: легенды эти, не поддаваясь исторической проверке, при-

нимались на веру, давая право представителям родов гордиться своим древним происхождением и пользоваться им при разного рода служебных отношениях.

Пушкины были потомками Радши уже в седьмом колене. Всправке, выданной В. Л. Пушкину из Московского Архива Коллегии Иностранных Дел в 1799 году, ближайшее потомство Радши записано так: «...**Колено седьмое:** у Александра дети: Федор Неведомица, Александр Пято, Давыд Казарин, Володимер Холопиво, Григорий Пушка». От Григория Пушки, жившего в конце XIV или в начале XV века, и пошли, собственно, Пушкины.

Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 19, 21.

Имя предков моих встречается поминутно в нашей истории. В малом числе знатных родов, уцелевших от кровавых опал Ивана Грозного, историограф (**Карамзин**) именует и Пушкиных. Григорий Гаврилович Пушкин принадлежит к числу самых замечательных лиц в эпоху самозванцев. Другой Пушкин, во время междоусобицы, начальствуя отдельным войском, один с Измайловым, по словам

Карамзина, «сделал честно свое дело». Четверо Пушкиных подписались под грамотою о избрании на царство Романовых, а один из них, окольный Матвей Степанович, под соборным деянием об уничтожении местничества. При Петре I сын его, стольник Федор Матвеевич, уличен был в заговоре противу государя и казнен вместе с Цыклером и Соковниным[4].

Пушкин. Родословная Пушкиных и Ганнибалов.

Прадед мой Александр Петрович был женат на меньшей дочери графа Головина, первого андреевского кавалера. Он умер весьма молод, в припадке сумасшествия зарезав свою жену, находившуюся в родах.

Пушкин. Там же.

Прадед Пушкина Александр Петрович родился, вероятно, в 90-х годах XVII века; в 1718–1719 году он был солдатом л.-гв. Преображенского полка, где в 1722 году был каптенармусом. Около этого времени он женился на Евдокии Ивановне Головиной, дочери од-

ного из любимых «деньщиков» Петра Великого, впоследствии генерал-кригскомиссара и адмирала Ив. Мих. Головина. После убийства жены Александр Петрович прожил недолго и «умер в заточении», как показали его дети в прошении, поданном имп. Петру II. После его смерти остались двое малолетних детей, – Лев и Марья. Заботы о сиротах перешли, по видимому, к их деду И. М. Головину. А. П. Пушкин был и сам по себе довольно состоятельным человеком, владея поместьями в Московском, Дмитровском, Коломенском, Рязанском, Зарайском и др. уездах. (Всего за ним было 1330 «четвертей», т. е. ок. 665 десятин.) Кроме того, в 1718 году он, по завещанию своего двоюродного деда Ив. Ив. Пушкина, получил все его имения, в том числе и историческое с. Болдино (Арзамасского уезда). В 1741 г. оно перешло, по разделу с сестрой, к Льву Александровичу Пушкину, позднее, – в 1780 г., – прикупившему к Болдину еще деревню и пустошь.

Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 27–28.

Лев Александрович, дед поэта, родился 17

февр. 1723 г. Будучи в детстве записан в л.-гв. Семеновский полк, он в 1739 г. определен был капралом в артиллерию, в которой и прослужил до выхода своего в отставку, в сентябре 1763 года, подполковником. Первым браком Лев Александрович был женат (около 1744 г.) на М. М. Воейковой, а по смерти ее он женился вторично на Ольге Васильевне Чичериной. От этого брака родились два сына и две дочери: Василий (**известный в свое время поэт**), Сергей (**отец Ал. Серг-ча**), Анна и Елизавета.

Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 29, 31.

Дед мой Лев Александрович во время мятежа 1762 года остался верен Петру III и не хотел присягать Екатерине, и был посажен в крепость вместе с Измайловым (странный судья и союз сих имен!). Через два года выпущен по приказанию Екатерины и всегда пользовался ее уважением, хотя он уже никогда не вступал в службу и жил в Москве и в своих деревнях.

Пушкин. «В одной газете, почти официальной...», 1830.

Он был человек пылкий и жестокий. Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе. Вторая жена его, урожденная Чичерина, довольно от него натерпелась. Однажды он велел ей одеться и ехать с ним куда-то в гости. Бабушка была на сносях и чувствовала себя нездоровой, но не смела отказаться. Дорогой она почувствовала муки. Дед мой велел кучеру остановиться, и она в карете разрешилась чуть ли не моим отцом. Родильницу привезли домой полумертвою и положили на постелю всю разряженную и в бриллиантах. Все это знаю я довольно темно. Отец мой никогда не говорил о странностях деда, а старые слуги давно перемерли.

Пушкин. Родословная Пушкиных и Ганнибалов.

Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 35–36.

Александр Петрович Пушкин был прадедом поэта по отцу. Родной его брат Федор Петрович был прапрадедом поэта по матери. Та-

Петр Петрович Пушкин у. 1692 г.

Ж е н а — Ф. Ю. Есипова.

Александр Петров,
у. 1726–1727 г.
Ж е н а — Евд. Ив. Головина,
у. 1725 г.

Лев Александрович,
р. 1723 г., у. 1790.
Ж е н а — О. В. Чичерина,
р. 1737, у. 1802.

Федор Петрович,
у. 1727–1728 г.
Ж е н а — Кс. И. Коренева.

Алексей Федорович,
р. 1717, у. 1777.
Ж е н а — С. Ю. Ржевская.

Марья Алексеевна,
р. 1745, у. 1818.
М у ж — Осип Абрамович Ганни-
бал, р. 1744, у. 1806.

Сергей Львович,
р. 1770, у. 1848.
Ж е н а — Над. Ос. Ганнибал,
р. 1775, у. 1836

Надежда Осиповна Ганнибал,
род. 1775, у. 1836
М у ж — Сергей Львович Пушкин,
р. 1770, у. 1848 г.

Александр Сергеевич Пушкин, р. 1799, у. 1837 г.

ким образом, в лице родителей его слилось потомство одного лица – Петра Петровича Пушкина, в течение долгих лет, по-видимому, не имевшее между собою общения и связей. Для большей наглядности приводим родословную таблицу, из которой ясно будет это

слияние двух отраслей Пушкинского рода.

Родословная матери моей еще любопытнее. Дед ее был негр, сын владетельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из сераля, где содержался он аманатом (заложником), и отослал его Петру Первому вместе с двумя другими арапча́тами.

Пушкин. Примеч. к первому изданию главы первой «Евгения Онегина».

До глубокой старости Ганнибал помнил еще Африку, роскошную жизнь отца, девятнадцать братьев, из коих он был меньшей; помнил, как их водили к отцу, с руками, связанными за спину, между тем, как он один был свободен и плавал под фонтанами отеческого дома; помнил также любимую сестру Лагань, плывшую издали за кораблем, на котором он удалялся.

Пушкин. Примеч. к первому изданию главы первой «Евгения Онегина».

Родом я низайший из Африки, тамошнего знатного дворянства, родился во владении от-

ца моего в городе Логоне, который и кроме того имел под собою еще два города. В 706 году выехал я в Россию из Царяграда при графе Савве Владиславиче волею своею в малых летах.

А. П. Ганнибал. Прошение имп. Елизавете Петровне об утверждении в дворянстве и даровании герба. – Д. Н. Анучин (профессор антропологии и этнографии). А. С. Пушкин: Антропологический эскиз. – Рус. Вед., 1899, отд. ОТТ.

Сопоставляя все дошедшие до нас данные, мы можем прийти к таким заключениям относительно пушкинской Африки и родины пушкинского прадеда. Отец Ибрагима Ганнибала был владетельным князем в северной Абиссинии и имел резиденцию на абиссинском плоскогорье, на берегах Мареба, на границе между Хамасеном и Сарае, в Логоне. У этого князя была большая семья, много жен и детей, целый сераль. Прадед Пушкина был одним из младших сыновей этого князя, находившегося уже в преклонных летах; он пользовался, по-видимому, особенною любовью

своего отца, что могло вызвать зависть в старших братьях (от других жен), которые и нашли случай от него избавиться. Случай этот был вызван необходимостью уплаты туркам дани или представления заложников, братья воспользовались, вероятно, этим обстоятельством и обманным способом доставили Ибрагима (по-абиссински – Араама) в турецкий пост Аркико, продали его там (или отдали взамен части дани в заложники) туркам, которые посадили его в лодку и повезли в Массову, а затем на корабле в Константинополь и, как мальчика княжеского происхождения, представили во дворец к султану. Любимая, сопровождавшая Ибрагима сестра пыталась избавить брата от этой участи, но безуспешно; тогда в отчаянии она бросилась в море и утонула.

Сам Пушкин, как и почти все его современники, видел в «арапе Петра Великого» негра... По господствующему теперь в антропологии мнению, абиссинцы, как и другие ближайшие к ним племена северо-восточной Африки, должны быть обособлены по своему типу и от азиатских семитов, и от африканских

негров. Тип абиссинцев воспринял в себя, несомненно, семитскую примесь, как с другой стороны и примесь крови негров, но в массе населения он является своеобразным, занимающим как бы среднее положение между семитским, – даже типом брюнетов белой расы вообще, – и негритянским. Эта своеобразность типа оправдывает выделение абиссинцев совместно с соседними народностями в особую антропологическую расу, которой обыкновенно теперь придают название хамитской. Настоящие негритянские черты встречаются только у рабов шангалла и у помесей, от них происходящих. Эти негрообразные особи отличаются обыкновенно и более темным цветом кожи, который, впрочем, вообще сильно варьирует у абиссинцев, начиная от светлого буровато-желтого и кончая самым темным черно-бурым. Примесь негритянской крови более заметна на юге Абиссинии, чем на севере. Население северной Абиссинии может быть рассматриваемо, как более чистое, заключающее в себе более типичных представителей хамитской или эфиопской расы.

Основываясь на серии портретов северных абиссинцев, мы можем воссоздать до известной степени и тип Ибрагима Ганнибала. Это был, по всей вероятности, довольно рослый, темнокожий, шоколадного цвета субъект с черными курчавыми волосами, удлинённым черепом, овальным сухим лицом, высоким лбом без заметных выступов над бровями, слабою растительностью на лице, черными глазами, полными, толстоватыми губами и, может быть, несколько широким, но все-таки не негритянским носом. К сожалению, мы не можем подтвердить нашего заключения ссылкой на описания современников или на подлинные портреты Ибрагима Ганнибала, так как таковых не имеется.

Д. Н. Анучин. Антропол. эскиз. – Рус. Вед., 1899, отд. отт.

Государь крестил маленького Ибрагима в Вильне, в 1707 году, с польскою королевою, и дал ему фамилию Ганнибал. В крещении наименован он был Петром; но как он плакал и не хотел носить нового имени, то до самой смерти назывался Абрамом.

Пушкин. Родословная Пушкиных и Ганнибалов.

Когда и почему принял он фамилию Ганнибала, – положительных указаний не имеется: в течение многих лет он и сам подписывался, и в официальных бумагах, и в частных письмах именовался просто «Абрам Петров», прозвище же Ганнибал закрепилось за ним лишь впоследствии (не раньше 1733 и не позже 1737 г.).

Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 48.

Старший брат его приезжал в Петербург, предлагая за него выкуп. Но Петр оставил при себе своего крестника. До 1716 г. Ганнибал находился неотлучно при особе государя, спал в его токарне, сопровождал во всех походах, потом послан был в Париж, где несколько времени обучался в военном училище, вступил во французскую службу, во время испанской войны был в голову ранен «в одном подземном сражении» (сказано в рукописной его биографии) и возвратился в Париж, где долго жил в рассеянии большого света[5]. Петр I

неоднократно призывал его к себе, но Ганнибал не торопился, отговариваясь под разными предлогами. Наконец государь написал ему, что он неволить его не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или остаться во Франции; но что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца. Тронутый Ганнибал немедленно отправился в Петербург. Государь выехал к нему навстречу и благословил образом Петра и Павла. Государь пожаловал Ганнибала в бомбардирскую роту Преображенского полка капитан-лейтенантом. Известно, что сам Петр был ее капитаном.

Пушкин. Родословная Пушкиных и Ганнибалов.

Пробыв во Франции до конца 1722 года, Ганнибал в начале следующего возвратился в Петербург и сразу же назначен был на инженерные работы в Кронштадте, войдя в то же время в кружок лиц, группировавшихся около княгини А. П. Волконской и бывших противниками временщика Меншикова. В феврале 1724 г. Ганнибал был определен в бом-

бардирскую роту Преображенского полка, причем ему поручено было, между прочим, учить молодых солдат из дворян математическим наукам; эти же науки он преподавал, уже по смерти императора, наследнику престола Петру Алексеевичу. Екатерина I и наследник благоволили к Ганнибалу, но все- сильный Меншиков, на другой же день по вступлении на престол Петра II, опасаясь влияния Ганнибала на юного царя, поспешил удалить Абрама Петрова из Петербурга. Он получил предписание ехать немедленно в Казань для осмотра тамошней крепости, оттуда ему было приказано ехать в Тобольск, из Тобольска – на китайскую границу к чрезвычайному посланнику графу Владиславичу-Рагузинскому, для постройки Селенгинской крепости. В январе 1728 г. он был в Иркутске, а затем в Тобольске, отпущенный с границы Владиславичем, не зная еще о происшедшем падении и ссылке Меншикова. Друзья без успеха хлопотали о Ганнибале. 17 июля состоялось определение Верховного Тайного Совета об удержании Ганнибала на китайской границе, а 22 декабря 1729 г. – об аресте его

там, отобрании всей переписки и об отправке его «с пристойным конвоем» в Томск. Распоряжения эти стояли в тесной связи с делом княгини Волконской и ее друзей, преследовавшихся уже новыми временщиками – Долгорукими. В 1730 г., при новой императрице Анне Иоанновне, Ганнибал получил возможность совсем покинуть Сибирь, будучи определен, по ходатайству своего благожелателя Миниха, инженер-капитаном, с назначением в Пернов «к инженерным и фортификационным делам по его рангу». В 1733 году вышел в отставку и жил в Ревельском уезде, на купленной им мызе Каррикулля. В 1747 г., с воцарением Елизаветы, Ганнибал снова определился на службу, будучи назначен, с чином артиллерии подполковника, в Ревельский гарнизон; вскоре императрица Елизавета Петровна произвела его из подполковников прямо в генерал-майоры, с определением обер-комендантом в Ревель, где и прослужил он десять лет. В 1751 г. Ганнибал был назначен управлять строительной частью инженерного ведомства. В истории этого ведомства Ганнибал является одним из видных дея-

телей своего времени. В 1756 г. он был произведен в инженер-генералы, а затем – в генерал-аншефы, с определением главным директором Ладожского канала и кронштадтских и рогервикских укреплений. В 1762 г. он уволился в отставку. Остаток дней своих, еще довольно продолжительный, А. П. Ганнибал провел в пожалованном ему имении Суйде; здесь он скончался 14 мая 1781 г.

Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 49–55.

В семейственной жизни прадед мой Ганнибал так же был несчастлив, как и прадед Пушкин. Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь. Он с нею развелся и принудил ее постричься в Тихвинском монастыре, а дочь ее Поликсену оставил при себе, дал ей тщательное воспитание, богатое приданое, но никогда не пускал ее себе на глаза. Вторая жена его, Христина-Регина фон-Шеберх, вышла за него в бытность его в Ревеле обер-комендантом и родила ему множество черных детей обоего пола.

Пушкин. Родословная Пушкиных и Ганнибалов.

Вернувшись в Петербург из Селенгинска, Ганнибал в начале 1731 г. женился на гречанке Евдокии Андреевне Диопер, дочери капитана галерного флота. Евдокия любила флотского поручика Кайсарова и собиралась выйти за него замуж. За Ганнибала она отказывалась идти, – «понеже арап, и не нашей породы». Однако ее принудили. Она покорилась, но до свадьбы отдалась Кайсарову. Спустя месяц после свадьбы Ганнибал был командирован Минихом в Пернов – учить кондукторов математике и черчению. Евдокия вскоре стала изменять нелюбимому мужу, увлекшись одним из кондукторов, Яковом Шишковым. С этого времени между супругами началась тяжелая семейная драма, окончательно завершившаяся формальным разводом лишь через одиннадцать лет. Ганнибал подал жалобу в перновскую канцелярию, что Шишков и жена хотели его отравить. К жене он приставил надежный караул и неоднократно брал ее к себе, в свои покои. Там в стены, повыше роста человеческого, ввернуты были кольца. Туда вкладывались руки Евдокии, и ее тело пови-

сало на воздухе. В комнате заранее приготовлены были розги, батоги, плети, и муж «бил и мучил ее смертельными побоями необычно», принуждая, чтобы она на суде при допросах показала, будто «с кондуктором Шишковым хотела его, Ганнибала, отравить, и с ним, Шишковым, блуд чинила». При этом, в случае, если она покажет не по его желанию, «грозил ее, Евдокию, убить». После таких внушений в канцелярии Евдокия все показала по желанию мужа, чтобы только вырваться из его рук. Тем не менее, в течение месяца она жила у мужа и только тогда взята была в канцелярию. Ее посадили на госпитальный двор, куда обыкновенно заключались осужденные. Там, под крепким караулом, провела она **пять лет**. На содержание арестованных никто не обращал внимания, и арестанты госпитального двора питались или на средства родных, или на dobroхотные подаяния христолюбцев. На содержание Евдокии Андреевны муж ничего не давал и сам нарочно затягивал дело, чтобы подольше продержать ее под караулом. Вот, на основании документов, история разрыва между Ганнибалом и первую его же-

ною. Здесь нет ни одного слова о рождении белой девочки, о чем рассказывает Пушкин. И во всем деле об ней не упоминается. Очевидно, ее и не существовало. Сам Ганнибал, между тем, сошелся с дочерью капитана местного полка Христиною-Региною фон-Шеберх и жил с нею сперва в Ревельском уезде, на купленной им мызе Каррикулля, а затем, в 1736 году, и обвенчался с нею в Ревельской соборной церкви, не дождавшись решения своего дела с первою женою. Только в 1752 году, после долгих перипетий, было решено, наконец, дело Абрама Петровича с его первой женой: она была признана виновною и сослана в Староладожский женский монастырь, а брак Ганнибала с Христиною Шеберх признан законным, хотя на него и наложены были эпитимия и штраф.

Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 52. Значительно дополнено по статье С. И. Оpatовича «Е. А. Ганнибал», в которой использовано бракоразводное дело Ганнибала, хранившееся в архиве петербургской консистории. — Рус. Стар., 1877, янв.

При императрице Анне Ивановне Ганнибал жил весьма скромно, владея только небольшой мызой Куррикулля. Но императрица Елизавета Петровна пожаловала ему несколько имений и многие сотни душ крестьян, так что после его смерти детям его досталось около 1400 душ и имущества: близ Ревеля – Рагола, в Петербургской губ. – Суйда, Кобринно и Таицы, в Псковской – Зуево, Бор, Петровское, Михайловское и др.

От эпохи пребывания Ганнибала в Ревеле, с 1741 по 1752 г., известны некоторые его донесения, а также жалобы на него других начальствующих лиц. Из них можно заключить, что «арап» не ладил ни с подчиненными, ни с высшими (ревельским губернатором), отличался вообще пылким, сварливым нравом, писал жалобы по начальству и, в свою очередь, обвинялся в превышении власти, в «свирепости» к подчиненным и в невнимании к старшим по службе. По преданиям, Абрам Петрович отличался суровым нравом. Бабка Пушкина, Марья Алексеевна, представляясь вместе со своим мужем его отцу, упала в обморок от одного его гневного

взгляда. Из других преданий известно, что он был крайне скуп.

Д. Н. Анучин. Антропол. эскиз, с. 11–12.

Старший сын его, Иван Абрамович, столь же достоин замечания, как и его отец. Он пошел в военную службу вопреки воле родителей, отличился и, ползая на коленях, выпросил отцовское прощение. Под Чесмою он распоряжался брандерами и был один из тех, которые спаслись с корабля, взлетевшего на воздух. В 1770 г. взял Наварин; в 1779 выстроил Херсон. Его постановления доныне уважаются в полуденном краю России. Он поссорился с Потемкиным. Государыня оправдала Ганнибала и надела на него Александровскую ленту; но он оставил службу и с тех пор жил по большей части в Суйде, уважаемый всеми замечательными людьми славного века, между прочими Суворовым, который при нем оставлял свои проказы и которого принимал он, не завешивая зеркал и не наблюдая никаких тому подобных церемоний.

Дед мой, Осип Абрамович, – настоящее имя его было Януарий, но прабабушка моя (родом

шведка) не согласилась звать его этим именем, трудным для ее немецкого произношения. «Шорн шорт, – говорила она, – делает мне шорна репят и дает им шертовск имя». Дед мой служил во флоте и женился на Марье Алексеевне Пушкиной, дочери тамбовского воеводы, родного брата деду отца моего. И сей брак был несчастлив. Ревность жены и непостоянство мужа были причиною неудовольствий и ссор, которые кончились разводом. Африканский характер моего деда, пылкие страсти, соединенные с ужасным легкомыслием, вовлекли его в удивительные заблуждения.

Пушкин. Родословная Пушкиных и Ганнибалов.

Осип (Януарий) Абрамович Ганнибал (род. 20 янв. 1744 г.) – родной дед поэта, владелец, по разделу с братьями, села Михайловского, – служил в артиллерии. Будучи в Липецке, на чугунных заводах, женился на М. А. Пушкиной, жившей с отцом в селе Покровском, а вскоре затем вышел в отставку с чином флота артиллерии капитана второго ранга.

Плодом супружества их был один сын, умерший грудным младенцем, и дочь Надежда (род. 1775 г.) – мать поэта. Затем он служил заседателем Псковского Совестного Суда, советником Псковского Наместнического, а с 6 апр. 1780 г. – С.-Петербургского Губернского Правления. Супруги Ганнибалы были весьма несчастливы: прожив совместно с женой около четырех лет, – частью в Суйде у Абрама Петровича, частью в Петербурге, – Осип Абрамович скрылся от родных. Покинув жену, Осип Абрамович, служа в Пскове, сошелся с новоржевскою помещицею Устиньей Ермолаевной Толстою (рожд. Шишкиной), вдовою капитана Ивана Толстого, и 9 января 1779 г. обвенчался с нею, дав священнику фальшивое свидетельство о том, что он вдов. Поступив так легкомысленно, Осип Абрамович с неменьшею опрометчивостью дал Устинье Ермолаевне «рядную запись», в которой расписался в том, что получил от нее приданого разными вещами на 27 000 с лишним рублей. Сожительство их продолжалось, однако, недолго; 6 мая супруги были, распоряжением псковского архиерея, разлучены, и с этих пор

на Осипа Абрамовича посыпались обвинения и жалобы со стороны обеих жен: Марья Алексеевна возбудила дело о двоеженстве мужа, а Устинья Ермолаевна, видя, что обстоятельства складываются не в ее пользу и что Осип Абрамович не поддается ее увещаниям жить с нею по-прежнему, вскоре подала просьбу в суд о взыскании с него 27 000 рублей, будто бы полученных от нее и им растраченных. Осип Абрамович доказывал, что женился на второй жене, будучи уверен в смерти первой. Однако брак его с Толстою был признан незаконным (2 марта 1784 г.), причем он, по приказанию имп. Екатерины, был отправлен «на кораблях на целую кампанию в Северное море, дабы он службою погрешения свои наградить мог», а четвертая часть имения его, — именно село Кобрино, было взято в опеку на содержание дочери Надежды. С другой стороны, Ганнибал старался доказать суду в разных инстанциях, что не только не получал от Толстой никакого приданого, дав ей рядную запись безденежную, т.е. дутую, но что сам издержал на ее прихоти до тридцати тысяч рублей; построил ей во Пскове дом с фрукто-

вым садом, купил в четырех верстах от города дачу, накупил серебряных и золотых сервизов, бриллиантов, экипажей, мебели, прожил двенадцать тысяч, за которые заложил свои имения, и т.д. Дело с настойчивой и умудренной опытом Устиньей Ермолаевной тянулось много лет, в течение которых тяжущиеся делали попытки к сближению, сходились и снова разъезжались, возобновляя тяжбу. Конца ее Осип Абрамович так и не дождался: он скончался 12 октября 1806 г. в с. Михайловском, — «от следствий невоздержанной жизни», по свидетельству Пушкина.

Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 58.

Сергей Львович, отец поэта, родился 23 мая 1770 г. Получив светское, французское воспитание и записанный сперва в армию, он в 1775 году был перечислен в гвардию, а с 1777 по 1791 г. числился сержантом Измайловского полка, потом произведен был в прапорщики и до 1797 г. служил в л.-гв. Егерском полку, откуда вышел в отставку майором в 1798 г. После этого он состоял в Комиссариатском штате, сперва в Москве (в это время родился

поэт), а затем в Варшаве (начальником Комиссариатской комиссии резервной армии); здесь, в Варшаве, Сергей Львович, в июле 1814 г., вступил в Орден свободных каменщиков (*масонов*), в ложу «Северного Щита», к которой, пройдя четыре предварительных степени, был «присоединен» 10 октября 1817 г.; незадолго перед этим, – 12 января, – он был уволен вовсе от службы с чином пятого класса. С этих пор С. Л. Пушкин уже никогда не служил, а вел странническую и совершенно праздную жизнь, переезжая из Москвы в Петербург, в свое имение Михайловское и обратно, не занимаясь ни семьей, ни имениями, которые своею беспечностью довел почти до разорения. Будучи скупым от природы, он в то же время был совершенно нерасчетлив. Свое полное равнодушие к детям, и особенно к сыну-поэту, он старался скрывать под маской нежных слов и лицемерных уверений в любви и привязанности, а безразличие к вопросам религиозным – под личиной отталкивающего ханжества. У жены своей он был «под пантуфлей», хотя и любил разыгрывать роль главы семьи, когда это представляло для

него интерес. Женился он сравнительно молодым, – еще будучи офицером л.-гв. Егерского полка, – в Петербурге, в ноябре 1796 г., на Надежде Осиповне Ганнибал, своей внучатой племяннице, жившей тогда с матерью в Петербурге. Умер он в 1848 году.

Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 32.

Записанный с малолетства в Измайловский полк, Сергей Львович был переведен потом, при Павле I, в гвардейский Егерский. Сергей Львович не мог отстать в службе от некоторых привычек, к числу которых принадлежала привычка сидеть у камелька с приятелями и мешать в нем огонь, причем раз Сергей Львович употребил на это собственную свою офицерскую трость и с ней же явился потом к должности. Начальник, заметив обгорелую трость, подошел к нему и сказал: «Уж вам бы, г. поручик, лучше явиться с кочергою на ученье!» Огорченный Сергей Львович жаловался потом супруге своей на тяжесть военной службы. Между прочим он питал отвращение к перчаткам и почти всегда терял их или забывал дома; будучи одна-

жды приглашен с другими товарищами своими на бал к высочайшему двору, он, по обыкновению, не позаботился об этой части своего туалета и оробел порядком, когда государь Павел Петрович, подойдя к нему, спросил по-французски: «Отчего вы не танцуете?» – «Я потерял перчатки, ваше величество!» – отвечал в смущении молодой офицер. Государь поспешно снял перчатки с собственных рук и, подавая их, сказал с улыбкою: «Вот вам мои!» – потом взял его под руку с одобрительным видом и, подводя к даме, прибавил: «А вот вам и дама!»

П. В. Анненков со слов Н. И. Павлищева (зятя Пушкина). Материалы, с. 6.

Через год после брака с Надеждой Осиповной Сергей Львович, по заведенному тогда порядку, стал помышлять об отставке и переезде в Москву. Тотчас после рождения дочери Ольги (1798 г.) он привел в исполнение свой план: покинул полк и уехал в Москву на покой. Здесь первым делом семейства было обзавестись подмосковной, как необходимым условием порядочной столичной жизни. Ба-

бушка поэта, Марья Алексеевна, променяла свое Кобрино, близ Петербурга, на село Захарове, близ Москвы, которое тоже, в свою очередь, было продано, когда Пушкины задумали переселиться в Петербург. Вплоть до нашего французов они жили попеременно то в Москве, то в Захарове.

П. В. Анненков. Пушкин в Алекс. эпоху, с. 21

После Отечественной кампании Сергей Львович снова определился на службу и в 1814 г. начальствовал комиссариатскою комиссией резервной армии в Варшаве. Г-н Б., назначенный на его место, рассказывал, что, принимая от него сложную должность, он застал Сергея Львовича в присутственном месте за французским романом вместо счетов и бумаг.

С другой стороны, Сергей Львович, как и брат его, поэт Василий Львович, были душою общества, неистощимы в каламбурах, островах и тонких шутках. Он любил многолюдные собрания. Связи его были довольно обширны. Через Пушкиных он был в родстве со всею

этою фамилией, а через Ганнибаловых с Ржевскими и их свойственниками, Бутурлиными, Черкасскими и проч. Он даже жил дом-об-дом с гр. Д. П. Бутурлиным, и гости последнего были его гостями. В числе посетителей его были: Карамзин, Батюшков, Дмитриев, и молодой Пушкин, который всегда внимательно прислушивался к их суждениям и разговорам, знал корифеев нашей словесности не по одним произведениям их, но и по живому слову. Дом С. Л-ча, как все избранные дома того времени, был открыт для французских эмигрантов: новое средство развлечения, которого все искали. Между этими эмигрантами отличалось лицо графа Ксавье де Мэстра. Он уже напечатал тогда свое «Voyage autour de ma chambre»[6] и, в промежутках между литературными занятиями, любил посвящать свои досуги портретной живописи и откровенной беседе с друзьями. Между прочим, он написал и портрет жены Сергея Львовича, Надежды Осиповны. Сам Сергей Львович был известен, как остряк и человек необыкновенно находчивый в разговорах. Владея в совершенстве французским языком,

он писал на нем стихи так легко, как француз, и дорожил этою способностью. Есть слухи, что в это время он написал даже целую книжку, в которой рассуждал по-французски – стихами и прозой – о современной ему русской литературе. Чрезвычайно любезный в обществе, он торжествовал особенно в играх (jeux de societe[7]), требующих беглости ума и остроты, и был необходимым человеком при устройстве праздников, собраний и особенно домашних театров, на которых как он, так и брат Василий Львович отличались искусством игры и декламации.

П. В. Анненков. Материалы, с. 6–8

Сергей Львович терпеть не мог деревни, если она не была видоизменением или продолжением городской жизни, и ни разу не посетил иных наследственных своих имений, как, напр., Болдина (Нижегородской губ.). Когда, гораздо позднее, для спасения Болдина послан был туда дельный управляющий, то он просто бежал из имения при виде страшного разорения крестьян.

Вообще следует заметить, что у обоих бра-

тьев не было и времени для своих собственных дел: они занимались только чужими. Люди, страстно искавшие всю свою жизнь гостиных и эффектных бесед, переносившие удачное бонмо, перед ними сказанное, из дома в дом и, с своей стороны, сами занятые, для потехи других, тем, что французы называют деланием ума, *faire de l'esprit*, – такие люди уже, конечно, не имели ни времени, ни возможности устроить свое существование на прочных основаниях. Вот почему вся их жизнь, проведенная в беготне за высшим светом и модными формами существования, в толкотне между людьми и в пересудах слышанного и виденного, оставила их под конец материально и умственно разбитыми и несостоятельными.

П. В. Анненков. Пушкин в Алекс. эпоху, с. 16.

Мастерским чтением его комедий Мольера восхищались все, а остроты его ходили по рукам. В жизни практической он всегда был наивен: поручив управление своим болдинским имением в Нижегородской губернии своему крепостному человеку М. К-ву (М. И.

Калашникову), С. Л. в это поместье не заглядывал, чем К-в и воспользовался, кончив тем, что сам разбогател. Так же небрежно следил С. Л. за делами и Михайловского имения. Не имея ни малейшего понятия о сельском хозяйстве, он довольствовался присылаемыми из Михайловского двумя-тремя возами домашней замороженной птицы и масла, с прибавкой сотен двух-трех рублей ассигнациями, и не терпел занятий по хозяйству до такой степени, что, когда к нему прибыла из деревни депутация крестьян с весьма основательными жалобами на мошенника управляющего, прогнал ее, не расспросив, в чем дело.

Л. Н. Павлицев (племянник Пушкина). Воспоминания, с. 6.

Сергей Львович был нежный отец, но нежность его черствела ввиду выдачи денег. Вообще был он очень скуп и на себя, и на всех домашних. Сын его Лев, за обедом у него, разбил рюмку. Отец вспылил и целый обед ворчал. «Можно ли, – сказал Лев, – так долго сетовать о рюмке, которая стоит двадцать копеек?» – «Извините, сударь, – с чувством возра-

зил отец, – не двадцать, а тридцать пять копеек!»

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 149.

Сергей Львович никогда не оказывал ни малейшей помощи своему сыну Александру, и тот справедливо говорил своим деревенским соседям, знавшим его семейные дела, что он едва ли получил от отца во всю свою жизнь до пятисот рублей ассигнациями. При всем том тщеславие Сергея Львовича тешили успехи его сына, и он по-своему ценил их и гордился ими.

М. И. Семевский. К биографии Пушкина. – Рус. Вестн., 1869, № 11, с. 85.

Дельвиг не любил обедать у стариков Пушкиных, которые не были гастрономы.

Вот, по случаю обеда у них, что раз Дельвиг писал Пушкину:

*Друг Пушкин, хочешь ли отведать
Дурного масла, яиц гнилых, —
Так приходи со мной обедать,
Сегодня у своих родных.*

А. П. Керн (Маркова-Виноградская). Дель-
виг и Пушкин. – Пушкин и его совр-ки, вып. V,
с. 157.

Все семейство Пушкиных было какое-то
взбалмошное. Отец его был довольно прият-
ным собеседником, на манер старинной
французской школы, с анекдотами и калам-
бурами, но в существе человеком самым пу-
стым, бестолковым и бесполезным и особен-
но безмолвным рабом своей жены. Последняя
была женщина не глупая, но эксцентриче-
ская, вспыльчивая, до крайности рассеянная
и особенно чрезвычайно дурная хозяйка. Дом
их представлял всегда какой-то хаос: в одной
комнате богатые старинные мебели, в другой
пустые стены, даже без стульев, многочислен-
ная, но оборванная и пьяная дворня, ветхие
рыдваны с тощими клячами, пышные дам-
ские наряды и вечный недостаток во всем,
начиная от денег и до последнего стакана. Ко-
гда у них обедало человека два-три, то все-
гда присылали к нам за приборами.

Гр. М. А. Корф. Записка. – Я. К. Грот, с. 249.

(В 1835 г. старшая дочь Сергея Львовича, замужняя О. С. Павлищева, жила в Петербурге у родителей. В ее письмах в Варшаву к мужу ярко обрисован весь уклад домашней жизни стариков Пушкиных). – Вообрази, что в прошлом году имение Болдино описывали пять раз!.. Можешь себе представить, в каком состоянии находится отец со своими черными мыслями, да к тому же денег нет. Он хуже женщины: вместо того, чтобы прийти в движение, действовать, он довольствуется тем, что плачет. Не знаю, право, что делать, – я отдала все, что могла, но это все равно, что ничего, из-за общих порядков дома, из-за мошенничества людей, перед которыми наш Петрушка буквально ангел. Они получили тысячу рублей из деревни, и через неделю у них ничего уже не было, а заплатили всего только четыреста рублей за квартиру... Я одолжила отцу 225 р.; он мне их не возвратил и, вероятно, не возвратит, потому что с тех пор он получил 1300 и не сказал ни слова. Мать этого не знает; она возвратила бы мне эти деньги. Никогда у меня не хватит смелости попросить их обратно у отца, но зато у меня будет смелость больше

ему их не давать... Мой отец только и делает, что плачет, вздыхает и жалуется встречному и поперечному. Когда у него просят денег на дрова и сахар, он ударяет себя по лбу и восклицает: «Что вы ко мне приступаете? Я несчастный человек!» Он испустил это восклицание передо мною, и сознаюсь, меня это немного развлекло, когда я подумала о его 1200 мужиках в Нижнем... Боже упаси обращаться к кому-нибудь из прислуги в доме: это воплощенные дьяволы, мошенники, воры, нахалы, и потом они ничего не делают даром. Лакеем к экипажу мне пользоваться невозможно, отец сердится, когда он всю челядь не видит налицо: «Да где тот? Да где этот? Да кто его послал?» и т.д. ...Право, иногда он мне очень жалок. Старик всегда нуждается в деньгах, а их любит; его обкрадывают и обчищают со всех сторон; его челядь саранча сушая. Вообрази: пятнадцать человек!

О. С. Павлицева (сестра поэта) – *Н. И. Павлицеву*, в сент.–нояб. 1835 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XVII–XVIII, с. 166, 183, 186, 187, 189, 191.

Надежда Осиповна, жена Сергея Львовича, мать поэта, была балованное дитя, окруженное с малолетства угодливостью, потворством и лестью окружающих, что сообщило нраву молодой красивой креолки, как ее потом называли в свете, тот оттенок вспыльчивости, упорства и капризного властолюбия, который замечали в ней позднее и принимали за твердость характера.

П. В. Анненков. Пушкин в Алекс. эпоху, с. 15.

Надежда Осиповна была необыкновенно хороша собою, и в свете прозвали ее «прекрасною креолкою». По своему знанию французской литературы и светскости она совершенно сошлась со своим мужем. Надежда Осиповна очаровывала общество красотой, остроумием и веселостью. Укажу на следующую ее странность: она терпеть не могла заживаться на одном и том же месте и любила менять квартиры; если переезжать было нельзя, то она превращала, не спрашивая Сергея Львовича, кабинет его в гостиную, спальню в столовую и обратно, меняя обои,

переставляя мебель и проч. По характеру своему она резко отличалась от Сергея Львовича: никогда не выходя из себя, не возвышая голоса, она умела дуться по дням, месяцам и даже годам.

Л. Н. Павлищев со слов своей матери О. С. Павлищевой. Воспоминания, с. 8.

Сергей Львович, из желания развязать себе руки вполне, передал все управление домом супруге своей Надежде Осиповне, которая не менее его обожала свет и веселое общество, а в управление домом внесла только свою вспыльчивость да резкие, частые переходы от гнева и кропотливой взыскательности к полному равнодушию и апатии относительно всего, происходящего вокруг. Это уже лежало в самой ее природе.

П. В. Анненков. Пушкин в Алекс. эпоху, с. 19

Детство

(Родился в Москве 26 мая по старому стилю, 6 июня по новому, 1799 года.)

Во дворе коллежского регистратора Ивана Васильевича Скворцова, у жильца его майора Сергея Львовича Пушкина родился сын Александр. Крещен июня 8-го дня. Восприемник граф Артемий Иванович Воронцов, кума мать означенного Сергея Пушкина вдова Ольга Васильевна Пушкина.

Выпись из метрической книги в московской церкви Богоявления в Елохове. – Изв. Моск. Гор. Думы, 1880, вып. XXII, с. 41.

Из найденного нами плана на владение Скворцова в 1799 году видно, что в сентябре 1799 г. владение Скворцова было застроено каменными и деревянными зданиями, из которых последние выходили на Немецкую улицу, а два каменные здания находились во дворе; одно из них было очень большое, а другое, в котором, вероятно, и жили Пушкины, имело в длину девять сажен. К нему при-

делана деревянная постройка, вероятно, сени, и, наконец, перед ним находится садик (с). За домом этим находился небольшой сад (ссс). В настоящее время (1880 г.) владение это принадлежит мещанину Ананьину. Все бывшие во времена Скворцова строения сгорели в 1812 г., но стены большого каменного дома уцелели донныне; после пожара дом этот обращен в сарай (см. рис. 1).

А. Колосовский. – Моск. Вед., 1880, № 262.

Во «дворе» Скворцова, в момент рождения Пушкина, как видно на плане, было два деревянных жилых строения по обе стороны ворот. Помня, что родители Пушкина были средней руки помещики, имевшие и знакомство хорошее в Москве, можно с уверенностью предполагать, что Пушкины занимали большой флигель, по правую сторону ворот. Предположение, что Пушкины жили в каменном флигеле, едва ли имеет основание по той причине, что это, как видно из плана, были каменные службы и амбары. Что флигели для жилья были деревянные, а службы и амбары каменные, объясняется тем, что прежде здесь

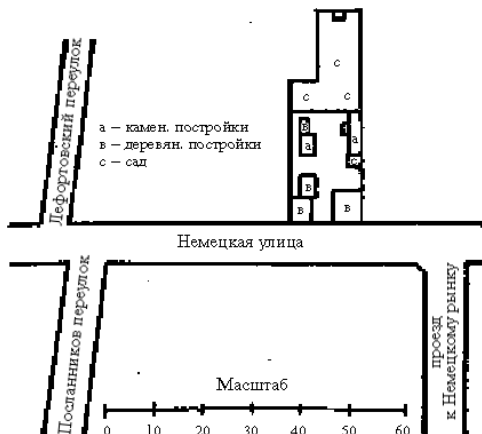
помещалась заграничная торговая контора Фириб Томус и Рованд. Очевидно, что для предохранения от пожаров, при неразвитости в то время страхового дела, строения эти были каменные.

Дом Скворцова находится на Немецкой улице, в 14 саженьях от проезда на Немецкий рынок к часовне. Деревянных флигелей, бывших по обе стороны ворот, в настоящее время уже не существует. Правая сторона, где находился тот флигель, где родился Пушкин, находится впусе под двором, с левой же стороны выстроен каменный двухэтажный дом, весьма приличной и опрятной наружности. Задняя часть этого владения, как и при Пушкине, находится под сараем.

Н. П. Бочаров. Частные постройки в Москве. – Изв. Моск. Гор. Думы, 1880, вып. XXII, с. 44, 51.

Рис. 1.

Мерою под тем двором Скворцова было: идучи в него длиннику по правую и левую сторону по 42 саж., поперечнику в переднем конце (на Немецкую улицу) 14 саж., с заднем



7 саж.

Н. П. Бочаров. Истории, сведения о доме, где родился Пушкин. — Там же, 1881, вып. X, с. 63.

Современному москвичу Елохово и Немецкая улица кажутся местностью, весьма отдаленною от центра. Ему может теперь показаться, что родители Пушкина были настолько бедны, что должны были, в видах экономии, остановиться в столь отдаленной части города. Между тем в то время эта местность, по чистоте и опрятности, составляла «шик»

Москвы... В XVIII в. Немецкая слобода была долгое время для Москвы тем, чем с самого начала текущего столетия был для нее Кузнецкий Мост, когда немецкое влияние начало сменяться французским. Богатые вельможи и профессора университета любили также селиться в этой местности.

Н. П. Бочаров. Частные постройки в Москве. – Изв. Моск. Гор. Думы, 1880, вып. XXII, с. 52.

Родившись 26 мая, Пушкин, по общему обычаю, считался именинником в ближайший ко дню его рождения день того святого, именем которого он назван; 2 июня память Александра, архиепископа Константинопольского.

П. И. Бартенов. – Рус. Арх., 1889, т. III, с. 114.

*[8] Юсупов сад (в Москве) связывается с анекдотом из жизни Пушкина, когда он был еще годовым ребенком. Няня его встретила на прогулке с государем Павлом Петровичем и не успела снять шапочку или картуз с дитяти. Государь подошел к няне, разбранил за

нерасторопность и сам снял картуз с ребенка, что и заставило говорить Пушкина впоследствии, что сношения его со двором начались еще при императоре Павле[9].

П. В. Анненков. Пушкин в Алекс. эпоху, с. 28.

По свидетельству сестры поэта, Пушкин был толстый, молчаливый и неповоротливый мальчик, которого нарочно заставляли гулять и бегать и который лучше любил оставаться дома с бабушкой. Вот анекдот из первоначального его детства. Раз Надежда Осиповна (мать его) взяла его с собою гулять. Он не поспевал за нею, отстал и уселся отдыхать среди улицы; но, заметив, что из окошка на него смотрят и смеются, поднялся и сказал: «Ну, нечего скалить зубы!» – На седьмом году Пушкин сделался развязнее, и прежняя неповоротливость перешла даже в резвость и шаловливость.

П. И. Бартенев. Материалы для биограф. Пушкина. – Моск. Вед., 1854, № 71.

В самом младенчестве он показал большое

уважение к писателям. Не имея шести лет, он уже понимал, что Николай Михайлович Ка-рамзин – не то, что другие. Одним вечером Ник. Мих. был у меня, сидел долго, во все время Александр, сидя против него, вслушивался в его разговоры и не спускал с него глаз. Ему был шестой год.

С. Л. Пушкин (отец поэта). Биограф. заметка . – Огонек, 1927, № 7.

До семилетнего возраста Пушкин не предвещал ничего особенного; напротив, своей неповоротливостью, своею тучностью, робостью и отвращением к движению он приводил мать в отчаяние... Она не могла скрыть предпочтительной любви сперва к дочери, а потом к меньшому сыну... Надежда Осиповна заставляла его бегать и играть со сверстниками, с трудом побеждая и леность его и молчаливость... Когда настойчивые требования быть поживее превосходили меру терпения ребенка, он убегал к бабушке, Марии Алексеевне Ганнибал, залезал в ее корзину и долго смотрел на ее работу. В этом убежище уже никто не тревожил его. Мария Алексеевна была

женщина замечательная, столько же по приключениям своей жизни, сколько по здравому смыслу и опытности. Она была первой наставницей Пушкина в русском языке. Барон Дельвиг еще в лицее приходил в восторг от ее письменного слога, от ее сильной, простой русской речи.

П. В. Анненков. Материалы, с. 10–11.

Раз Ольга Сергеевна (*сестра Пушкина*) нашла что-то, прогневала мамашу, та по щеке ее и треснула. А она обиделась, да как? Мамаша приказывает ей прощение просить, а она и не думает, не хочет. Ее в затрапезное платье одели, за стол не сажают, на хлеб, на воду и запретили братцу к ней даже подходить и говорить. А она, – повешусь, говорит, а прощения просить не стану! А Александр-то Сергеевич что же придумал: разыскал где-то гвоздик, да и вбивает в стенку. «Что это, спрашиваю, вы делаете, сударь?» «Да сестрица, говорит, повеситься собирается, так я ей гвоздик приготовить хочу». Да и засмеялся, – известно, понял, что она капризничает да стращает нас только. Уж какой удалой да острый

был.

Д[10]... Воспоминания из детства А. С. Пушкина (со слов бывшей помощницы няни у Пушкиных, записано в 60-х гг.). – Всеобщая Газета, 1869, № 60. Ср.: там же, № 62. Письмо в ред. Ф. Б. Миллера.

Отец Пушкина, Сергей Львович, был человек от природы добрый, но вспыльчивый. При малейшей жалобе гувернеров или гувернанток он сердился, выходил из себя, но гнев его проистекал из врожденного отвращения ко всему, что нарушало его спокойствие, и скоро проходил. Вообще С. Л. не любил заниматься серьезными делами по дому, воспитанию и хозяйству, предоставив все это супруге своей Надежде Осиповне.

П. В. Анненков. Материалы, с. 6–8.

Никогда не выходя из себя, не возвышая голоса, Надежда Осиповна умела дуться по дням, месяцам и даже годам. Так, рассердясь за что-то на Александра Сергеевича, которому в детстве доставалось от нее гораздо больше, чем другим детям, она играла с ним в мол-

чанку круглый год, проживая под одною кровлею; оттого дети, предпочитая взбалмошные выходки и острastки Сергея Львовича игре в молчанку Над. Осиповны, боялись ее несравненно более, чем отца.

Не могу не упомянуть кстати, со слов моей матери, о наказаниях, придуманных Над. Осиповной для Александра Сергеевича, чтоб отучить его в детстве от двух привычек: тереть свои ладони одна о другую и терять носовые платки; для искоренения первой из этих привычек она завязала ему руки назад на целый день, проморив голодом; для искоренения же второй – прибегала к следующему: «Жалую тебя моим бессменным адъютантом», – сказала она Пушкину, подавая ему курточку. На курточке красовался пришитый, в виде аксельбанта, носовой платок. Аксельбанты менялись в неделю два раза; при аксельбантах она заставляла его и к гостям выходить. В итоге получился требуемый результат – А. Сер-ч перестал и ладони тереть и платки терять.

Л. Н. Павлицев со слов О. С. Павлицевой.
Воспоминания, с. 8–9.

Мария Алексеевна Ганнибал (бабушка Пушкина), продавши свою деревню Кобрино, переехала в Москву, где Сер. Львович и Надежда Осиповна жили у Харитония в Огородниках, в доме графа Санти, а потом в том же приходе в доме кн. Фед. Серг. Одоевского, и нанимала дом подле них, но жила всё вместе с ними, а в квартире ее жили одни ее люди. Мар. Алексеевна в 1806 г. купила с-цо Захарово.

А. Я. Пушкин. – Москвитянин, 1852, № 23. Исторические материалы, с. 24.

У Пушкина был еще, кроме Льва, брат (Николай), который умер в малолетстве (1807 г.). Пушкин вспоминал, что он перед смертью показал ему язык. Они прежде ссорились, играли; и, когда малютка заболел, Пушкину стало его жаль, он подошел к кровати с участием; больной, братец, чтобы подразнить его, показал ему язык и вскоре затем умер.

П. В. Нащокин по записи П. И. Бартенева. – П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 36.

Смерть Николая. Ранняя любовь.

Пушкин. Программа автобиограф. записок.

Пушкины постоянно жили в Москве, но на лето уезжали в деревню Захарьино (*Захарово*), верстах в сорока от Москвы (*принадлежавшую бабушке Пушкина, Мар. Ал. Ганнибал*). Здесь Пушкин проводил первое свое детство, до 1811 года. Старый дом, где они жили, срыт; уцелел флигель. Местоположение хорошее... Особенно заметить следует, что деревня богатая: в ней раздавались русские песни, устраивались праздники, хороводы, и, стало быть, Пушкин имел возможность принять народные впечатления.

С. П. Шевырев. Воспоминания о Пушкине. – Л. Н. Майков, с. 324.

На 38 версте от Москвы, по Смоленской дороге, есть поворот из села Вязем, направо, в село Захарово. Здесь провел первые годы своего детства Пушкин... По бокам дома были в то время флигеля, и в одном из них помещались дети с гувернанткой, братья А. С-ча и он. Впоследствии флигеля, по ветхости, сломаны,

а дом остался почти в таком же виде, в каком был при Ганнибаловых... Мы осмотрели небольшую березовую рощицу, находящуюся неподалеку от дома, почти у самых ворот. Посредине ее стоял прежде стол, со скамьями кругом. Здесь, в хорошие летние дни, Ганнибаловы обедавали и пили чай. Маленький Пушкин любил эту рощицу и даже, говорят, желал быть в ней похоронен. Он говорил об этом повару своей бабушки, к которому был особенно привязан, вероятно потому, что этот повар был человек словоохотливый и бойкий... Из рощицы мы пошли на берег пруда, где сохранилась еще огромная липа, около которой прежде была полукруглая скамейка. Говорят, что Пушкин часто сиживал на этой скамье и любил тут играть. От липы очень хороший вид на пруд, которого другой берег покрыт темным еловым лесом. Прежде вокруг липы стояло несколько берез, которые, как говорят, были все исписаны стихами Пушкина. От этих берез остались только гнилые пни.

Н. Б. (Н. В. Берг). Сельцо Захарово. – Москвитянин, 1851, № 9–10. Совр. Изв., с. 29–30.

Смирный был ребенок, тихий такой, что господи! Все с книжками бывало... Нешто с братцами когда поиграют, а то нет, с крестьянскими не баловал... Тихие были, уважение были дети.

Марья Федоровна (крестьянка с-ца Захарова, дочь Арины Родионовны, няни Пушкина). – Там же, с. 31.

Вспоминая о своей деревенской жизни в Захарове, Пушкин рассказывал П. В. Нащокину следующий анекдот. В Захарове жила у них в доме одна дальняя родственница, молодая помешанная девушка, помещавшаяся в особой комнате. Говорили и думали, что ее можно вылечить испугом. Раз ребенок Пушкин ушел в рощу, где любил гулять: расхаживал, воображал себя богатырем и палкою сбивал верхушки и головки растений. Возвращаясь домой, видит он на дворе свою сумасшедшую родственницу в белом платье, растрепанную, встревоженную. «Братец, меня принимают за пожар!» – кричит она ему. Для испуга в ее комнату провели кишку пожарной трубы. Тотчас догадавшись, Пушкин начал

уверять ее, что она напрасно так думает, что ее сочли не за пожар, а за цветок, что цветы также из трубы поливают.

П. И. Бартенев. – Моск. Вед., 1854, № 71. Ср.: Рассказы о Пушкине, с. 35.

В этом семействе побывал легион иностранных гувернеров и гувернанток. Из них выбираю несносного, капризного самодура Русло да достойного его преемника Шеделея, в руках которых находилось обучение детей всем почти наукам. Из них Русло нанес оскорбление юному своему питомцу Александру Сергеевичу, расхохотавшись ему в глаза, когда ребенок написал стихотворную шутку «La Tolyade»[11] в подражание «Генриаде». Изображая битву между карлами и карлицами, Пушкин прочел гувернеру начальное четырехстишие. Русло довел Пушкина до слез, осмеяв безжалостно всякое слово этого четырехстишия, и, имея сам претензию писать стихи не хуже Корнеля и Расина, рассудил, мало того, пожаловаться еще неумолимой Надежде Осиповне, обвиняя ребенка в лености и праздности. Разумеется, в глазах Надежды

Осиповны дитя оказалось виноватым, а самодур правым, и она наказала сына, а самодуру за педагогический талант прибавила жалования. Оскорбленный ребенок разорвал и бросил в печку стихи свои, а Русло возненавидел со всем пылом африканской своей крови. Преемник Русло, Шедель, свободные от занятий с детьми досуги проводил в передней, играя с дворней в дурачки, за что, в конце концов, и получил отставку. Не могу ставить на одну доску с этими чудаками воспитателя детей, французского эмигранта, графа Монфора, человека образованного, гуманного. – Гувернантки были сноснее гувернеров. Но из них большая часть по образованию и уму стояла ниже всякой критики. Они были женщины добрые, искренно любившие своих питомцев.

Л. Н. Павлищев. Воспоминания, с. 14–16.

Первые неприятности – гувернантки.

Пушкин. Программа автобиограф. записок.

Нащокин сказал, что первые стихи Пушкин написал на французском языке еще будучи 8 лет. (*Приписка С. А. Соболевского: поэ-*

му La Toliade).

П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 32.

Страсть к поэзии проявилась в нем с первыми понятиями: на восьмом году возраста, умея уже читать и писать, он сочинял на французском языке маленькие комедии и эпиграммы на своих учителей. Вообще воспитание его мало заключало в себе русского. Он слышал один французский язык; гувернер его был француз, впрочем, человек неглупый и образованный; библиотека его отца состояла из одних французских сочинений. Ребенок проводил бессонные ночи и тайком в кабинете отца пожирал книги одну за другою. Пушкин был одарен памятью невероятною и на одиннадцатом году уже знал наизусть всю французскую литературу.

Л. С. Пушкин (брат поэта). Биограф. изв. об А. С. Пушкине. – Л. Н. Майков, с. 4.

Пушкин, забираясь в библиотеку отца, перечитывал французские комедии Мольера и под впечатлением такого чтения сам стал упражняться в писании подобных же коме-

дий, по-французски же. Брат и сестра (Ольга) для представления этих комедий соорудили в детской сцену, причем он был и автором пьес, и актером, а публику изображала она. В числе этих комедий была носившая название «Escamoteur (похититель)», сильно не понравившаяся Ольге Сергеевне; она, в качестве публики, освистала этого «Похитителя», что и послужило дяде поводом к следующему четверостишию:

*Dis-moi, pourquoi l'Escamoteur
Est-il sifflé par le parterre?
Hélas! c'est que le pauvre auteur
L'escamota de Molière.*

(Скажи мне, почему «Похититель» освистан партером? Увы! потому, что бедный автор похитил его у Мольера.)

Л. Н. Павлищев. Воспоминания, с. 17.

Известно, что первые пробы пера Пушкина были на французском языке, который, по общему в то время обычаю, господствовал в доме родителей его. Впоследствии Пушкин считал такого рода упражнения в чужом языке вредными для русской поэтической техни-

ки и советовал лицеисту одного из позднейших курсов (кн. А. В. Мещерскому), имевшему к ним слабость, не писать французских стихов.

Я. К. Грот, с. 9.

В 1809 или 1810 г. Пушкины жили где-то за Разгуляем, у Елохова моста, нанимали там просторный и поместительный дом, чей именно, не могу сказать наверно, а думается мне, что Бутурлиных. Я туда ездила со своими старшими девочками на танцевальные уроки, которые они брали с Пушкиной девочкой; бывали тут и другие, кто, не помню хорошенько. Пушкины жили весело и открыто, и всем домом заведывала больше старуха Ганнибал (*Мария Алексеевна, мать Надежды Осиповны, матери Пушкина*), очень умная, дельная и рассудительная женщина; она умела дом вести, как следует, и она также больше занималась и детьми: принимала к ним мамзелей и учителей и сама учила. Старший внук ее Саша был большой увалень и дикарь, кудрявый мальчик лет девяти или десяти, со смуглым личиком, не скажу, чтобы пригляд-

ным, но с очень живыми глазами, из которых искры так и сыпались. Иногда мы приедем, а он сидит в зале в углу, огорожен кругом стульями: что-нибудь накуролесил и за то оштрафован, а иногда и он с другими пустится в плясы, да так как очень он был неловок, то над ним кто-нибудь посмеется, вот он весь покраснеет, губу надует, уйдет в свой угол и во весь вечер его со стула никто тогда не стащит: значит, его за живое задели, и он обиделся; сидит одинешенек. Не раз про него говаривала Марья Алексеевна: «Не знаю, матушка, что выйдет из моего старшего внука: мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо, редко когда урок свой сдаст порядком; то его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и расходится, что его ничем и не уймешь; из одной крайности в другую бросается, нет у него середины. Бог знает, чем все это кончится, ежели он не переменится». Бабушка, как видно, больше других его любила, но журила порядком: «ведь экой шалун ты какой, помани ты мое слово, не сносить тебе своей головы». Не знаю, каков он был потом, но тогда глядел

рохлей и замарашкой, и за это ему тоже доставалось... На нем всегда было что-то и неопрятно, и сидело нескладно.

Е. П. Янькова. Рассказы бабушки, записанные Л. Благово. СПб., 1885, с. 459–460.

Дядька Пушкина, Никита Козлов, был, помнится, при нем в Москве, где шаловливый и острый ребенок уже набирался ранних впечатлений, резвясь и бегая на колокольню Ивана Великого и знакомясь со всеми закоулками и окрестностями златоглавой столицы.

Н. В. Сушков. Раут. Литер. сборник в пользу Александрийского детского приюта. М., 1851, с. 8.

Учился Пушкин небрежно и лениво; но зато рано пристрастился к чтению, любил читать Плутарховы биографии, Илиаду и Одиссею, в переводе Битобе, и забирался в библиотеку отца, которая состояла преимущественно из французских классиков, так что впоследствии он был настоящим знатоком французской словесности и истории и усвоил себе тот прекрасный французский слог, которому

в письмах его не могли надивиться природные французы.

О. С. Павлищева (сестра поэта) в передаче *П. И. Бартенева*. Род и детство Пушкина. – *Отеч. Зап.*, 1853, т. II, с. 18.

Очень рано Пушкин изучил языки французский и итальянский, которые отец его и дядя (*Вас. Львович*) знали прекрасно, так что писали стихи на этих языках.

Г. Кениг со слов *Н. А. Мельгунова*. Очерки рус. литературы. Пер. с нем. СПб., 1862, с. 101. Ср.: *А. Кирпичников*. Очерки по ист. рус. лит. М., 1903, изд. 2-е, т. II, с. 171.

Когда наняли англичанку (мисс Бели) для Ольги Сергеевны, Пушкин учился по-английски, но плохо, а по-немецки и вовсе не учился. Была у них гувернантка немка, да и та почти никогда не говорила на своем родном языке. Вообще учение подвигалось медленно. Возлагая все свои надежды на память, молодой Пушкин повторял уроки за сестрой, когда ее спрашивали; ничего не знал, когда начинали экзамен с него; заливался слезами над че-

тырьмя правилами арифметики, которую вообще плохо понимал. Особенно деление, говорят, стоило ему многих слез и трудов. Но с девятого года начала развиваться у него страсть к чтению, которая и не покидала его во всю жизнь.

П. В. Анненков. Материалы, с. 12.

*(1810–1811.) Подле самого Яузского моста, т.е. не переезжая его к Головинскому дворцу, почти на самой Яузе, в каком-то полукирпичном и полудеревянном доме жил С. Л. Пушкин, отец поэта... Молодой Пушкин, как в эти дни мне казалось, был скромный ребенок; он очень понимал себя; он никогда не вмешивался в дела больших и почти вечно сиживал как-то в уголочке, а иногда стаивал, прижавшись к тому стулу, на котором утораздивался какой-нибудь добрый оратор или басенный эпиграмматист. И если у него вырывалось что-нибудь превыспренне-поэтическое, забавное для отрока, он не воздерживался от улыбки. Однажды, когда один поэт-моряк провозглашал торжественно свои стихи, и где как-то пришлось:

*И этот чертик!
И этот кортик!*

А. С. так громко захохотал, что Над. Ос. (*мать его*) сделала ему знак, – и он нас оставил.

В теплый майский вечер мы сидели в саду графа Д. П. Бутурлина; молодой Пушкин тут же резвился, как дитя, с детьми. Известный граф П. упомянул о даре стихотворства в А. С. че. Графиня Бутурлина, чтоб как-нибудь не огорчить молодого поэта, может быть, нескромным словом о его пиитическом даре, обращалась с похвалою только к его полезным занятиям, но никак не хотела, чтоб он показывал нам свои стихи; зато множество живших у графини молодых девушек почти тут же окружили Пушкина со своими альбомами и просили, чтоб он написал для них что-нибудь. Певец-дитя смешался. Некто NN, желая поправить его замешательство, прочел детский катрен поэта, и прочел по-своему, как заметили тогда, по образцу высокой речи на «о». А. С. успел только сказать: «Ah, mon Dieu!»[12] – и выбежал. Я нашел его в огромной библиотеке графа; он разглядывал затыл-

ки сафьянных фолиантов и был очень недоволен собою. Я подошел к нему и что-то сказал о книгах. Он отвечал мне: «Поверите ли, этот г. NN так меня озадачил, что я не понимаю даже и книжных затылков».

Вошел граф с детьми, Пушкин присоединился к ним, но очень скоро ушел домой...

В детских летах Пушкин был не из рослых детей и все с теми же африканскими чертами физиономии, с какими был и взрослым; но волосы его в малолетстве были так кудрявы и так изящно завиты африканскою природою, что однажды мне И. И. Дмитриев сказал: «посмотрите, ведь это настоящий арабчик». Дитя рассмеялось и, оборотясь к нам, проговорило очень скоро и смело: «По крайней мере, отличусь тем и не буду рябчик»[13].

М. Н. Макаров. А. С. Пушкин в детстве. – Современник, 1843, т. XXIX, с. 377–383.

Знавшие дела семьи единогласно свидетельствуют, что когда, в 1811 году, пришло время молодому Пушкину ехать в Петербург для поступления в лицей, он покинул отеческий кров без малейшего сожаления, если ис-

ключим дружескую горесть по сестре, которую он всегда любил.

П. В. Анненков. Пушкин в Алекс. эпоху, с.27.

Летом 1811 г. дядя Василий Львович повез его в Петербург. Еще и теперь некоторые помнят, как он, вместе с 12-летним племянником, посещал московского приятеля своего, тогдашнего министра юстиции И. И. Дмитриева; раз, собираясь читать стихи свои, – вероятно, в роде «Опасного Соседа», – он велел племяннику выйти из комнаты; резвый, белокурый мальчик, уходя, говорил со смехом: «За чем вы меня прогоняете, я все знаю, я все уже слышал» (сообщено одним очевидцем).

П. И. Бартенев. Материалы для биограф. Пушкина. – Моск. Вед., 1854, отд. отт. из №№ 71–118, с. 9.

(В августе 1811 года, в Петербурге, на приемных экзаменах в Царскосельский лицей.) Вошел чиновник с бумагой в руке и начал выкликать по фамилиям. – Я слышу: Александр Пушкин! – выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый, несколько сконфуженный... Не припомню, кто, только чуть ли не В.

Л. Пушкин, привезший Александра, подозревал меня и познакомил с племянником. Я узнал от него, что он живет у дяди на Мойке, недалеко от нас. Мы положили часто видеться.. При всякой возможности я отыскивал Пушкина, иногда с ним гулял в Летнем саду; эти свидания вошли в обычай, так что если несколько дней меня не видать, Василий Львович, бывало, мне пеняет. Часто, в его отсутствие, мы оставались с Анной Николаевной[14]. Она подчас нас, птенцов, приголубливала; случалось, что и прибранит, когда мы надоедим ей нашими ранновременными шутками. Именно замечательно, что она строго наблюдала, чтоб наши ласки не переходили границ, хотя и любила с нами побалагурить и пошалить, а про нас и говорить нечего: мы просто наслаждались непринужденностью и некоторою свободою в обращении с милою девушкой. С Пушкиным часто доходило до ссоры, иногда она требовала тут вмешательства и дяди. Из других товарищей видались мы иногда с Ломоносовым и Гурьевым. Все мы видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слыхали,

все, что читал, помнил, но достоинство его состояло в том, что он отнюдь не думал выказываться и важничать, как это очень часто бывает в те годы (каждому из нас было 12 лет) с скороспелками... Все научное он считал ни во что и как будто желал доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и пр. Бывали столкновения очень неловкие... Случалось удивляться переходам в нем; видишь, бывало, его поглощенным не по летам в думы и чтения, и тут же он внезапно оставляет занятия, входит в какой-нибудь припадок бешенства за то, что другой, ни на что лучшее неспособный, перебежал его или одним ударом уронил все кегли. Я был свидетелем такой сцены на Крестовском острове, куда возил нас иногда на ялике гулять Василий Львович. Незаметным образом прошло время до октября. Нам велено было съезжаться в Царское Село.

И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 44–46.

В лицее

Настало, наконец, 19 октября, день, назначенный для открытия лицея. Торжество началось молитвой. В придворной церкви служили обедню и молебен был с водосвятием. Мы на хорах присутствовали при служении. После молебна духовенство со святою водою пошло в лицей, где окропило нас и все заведение. В лицейской зале, между колоннами, поставлен был большой стол, покрытый красным сукном с золотой бахромой. На этом столе лежала высочайшая грамота, дарованная лицеем. По правую сторону стола стояли мы в три ряда, при нас – директор, инспектор и гувернеры; по левую – профессора и другие чиновники лицейского управления. Остальное пространство залы, на некотором расстоянии от стола, было все уставлено рядами кресел для публики. Приглашены были все высшие сановники и педагоги из Петербурга. Когда все общество собралось, министр пригласил государя. Император Александр явился в сопровождении обеих императриц, вел. кн. Константина Павловича и вел. княжны Анны

Павловны. Приветствовав все собрание, царская фамилия заняла кресла в первом ряду. Министр сел возле царя.

Среди общего молчания началось чтение. Первый вышел И. И. Мартынов, директор департамента министерства нар. просвещения. Дребезжащим, тонким голосом прочел манифест об учреждении лицея и высочайше дарованную ему грамоту. (Единственное учебное заведение того времени, которого устав гласил: «телесные наказания запрещаются».) Вслед за Мартыновым робко выдвинулся на сцену наш директор В. Ф. Малиновский, с свертком в руке. Бледный, как смерть, начал что-то читать; читал довольно долго, но вряд ли многие могли его слышать, так голос его был слаб и прерывист. Заметно было, что сидевшие в задних рядах начали перешептываться и прислоняться к спинкам кресел. Кончивши речь свою, оратор поклонился и еле живой возвратился на свое место. Мы, школьники, больше всех были рады: гости сидели, а мы должны были стоя слушать его и ничего не слышать.

Смело, бодро выступил профессор полити-

ческих наук А. П. Куницын и начал не читать, а говорить об обязанностях гражданина и воина. Публика, при появлении нового оратора, под влиянием предшествовавшего впечатления, видимо, пугалась и вооружалась терпением; но по мере того, как раздавался его чистый, звучный и внятный голос, все оживлялись, и к концу его замечательной речи слушатели были уже не опрокинуты к спинкам кресел, а в наклоненном положении к говорившему: верный знак общего внимания и одобрения. В продолжение всей речи ни разу не было упомянуто о государе: это небывалое дело так поразило и понравилось императору Александру, что он тотчас прислал Куницыну Владимирский крест, — награда, лестная для молодого человека, только что возвратившегося из-за границы, куда он был послан по окончании курса в Педагогическом институте. Куницын вполне оправдал внимание царя: он был один между нашими профессорами урод в этой семье.

*Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш
пламень,*

*Поставлен им краеугольный ка-
мень,
Им чистая лампада возжжена...
(Пушкин. «19 октября 1825 г.»)*

После речей стали нас вызывать по списку; каждый, выходя перед стол, кланялся императору, который очень благосклонно вглядывался в нас и отвечал терпеливо на неловкие наши поклоны.

Когда кончилось представление виновников торжества, царь, как хозяин, отблагодарил всех, начиная с министра, и пригласил императриц осмотреть новое его заведение. За царскою фамилиею двинулась и публика. Нас между тем повели в столовую к обеду, чего, признаюсь, мы давно ожидали. Осмотрев заведение, гости лица возвратились к нам в столовую и застали нас усердно трудящимися над супом с пирожками. Царь беседовал с министром. Императрица Мария Федоровна (*мать царя*) потребовала кушанье. Подошла к Корнилову, оперлась сзади на его плечи, чтобы он не приподнимался, и спросила его: «Карош суп?» Он медвежонком отвечал: «Oui, monsieur!»[15] Сконфузился ли он и не знал,

кто его спрашивал, или дурной русский выговор, которым сделан был ему вопрос, – только все это вместе почему-то побудило его откликнуться на французском языке и в мужском роде. Императрица улыбнулась и пошла дальше, не делая уже больше любезных вопросов, а наш Корнилов тотчас же попал на зубок; долго преследовала его кличка «monsieur». Императрица Елизавета Алексеевна (*жена царя*) тогда же нас, юных, пленила непринужденною своею приветливостью ко всем. Константин Павлович щекотал и щипал сестру свою Анну Павловну; потом подвел ее к Гурьеву, своему крестнику, и, стиснув ему двумя пальцами обе щеки, а третьим вздернув нос, сказал ей: «Рекомендую тебе эту маску. Смотри, Костя, учись хорошенько!» Пока мы обедали, и цари удалились, и публика разошлась. У графа Разумовского был обед для сановников; а педагогию петербургскую и нашу лицейскую угощал директор в одной из классных зал. Все кончилось уже при лампах. Водворилась тишина. – Вечером нас угощали десертом à discrétion[16] вместо казенного ужина. Кругом лицея по-

ставлены были плошки, а на балконе горел щит с вензелем императора. Сбросив парадную одежду, мы играли перед лицеем в снежки и тем заключили свой праздник. Тот год зима стала рано.

И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 47–50.

При торжественном открытии лицея находился А. И. Тургенев. Вычитывая воспитанников, между прочим, назвал он одного двенадцатилетнего мальчика, племянника Василия Львовича, маленького Пушкина, который, по словам его, всех удивлял остроумием и живостью.

Ф. Ф. Вигель. Записки, т. III, с. 181.

Для лицея был отведен огромный четырехэтажный флигель царскосельского дворца. В нижнем этаже помещалось хозяйственное управление и квартиры инспектора, гувернеров и некоторых других чиновников; во втором столовая, больница с аптекой и конференц-зал с канцелярией; в третьем – рекреационная зала, классы (два с кафедрами, один

для занятия воспитанников после лекций), физический кабинет, комната для газет и журналов и библиотека, в арке, соединяющей лицей со дворцом через хоры придворной церкви; в верхнем – дортуары. Для них, на протяжении вдоль всего строения, во внутренних поперечных стенах прорублены были арки. Таким образом образовался коридор с лестницами на двух концах, в котором с обеих сторон перегородками отделены были комнаты; всего пятьдесят номеров. В каждой комнате – железная кровать, комод, конторка, зеркало, стул, стол для умывания, вместе и ночной. На конторке чернильница и подсвечник со щипцами. Во всех этажах и на лестницах было освещение ламповое; в двух средних этажах паркетные полы. В зале зеркала во всю стену, мебель штофная.

Прогулка три раза в день, во всякую погоду. Вечером в зале – мячик и беготня. Вставали мы по звонку в шесть часов. Одевались, шли на молитву в залу. Утреннюю и вечернюю молитву читали мы вслух по очереди. От 7 до 9 часов – класс; в 9 – чай; прогулка – до 10; от 10 до 12 – класс; от 12 до часу – прогулка;

в час – обед: от 2 до 3 – или чистописание, или рисование; от 3 до 5 – класс; в 5 часов – чай; до 6 – прогулка; потом – повторение уроков или вспомогательный класс. По средам и субботам – танцеванье или фехтованье. Каждую субботу баня. В половине 9 часа – звонок к ужину. После ужина до 10 часов – рекреация. В 10 – вечерняя молитва, сон. В коридоре на ночь ставились ночники во всех арках. Дежурный дядька мерными шагами ходил по коридору.

Белье переменялось на теле два раза, а столовое и на постели – раз в неделю. Обед состоял из трех блюд (по праздникам из четырех). За ужином подавалось два. Кушанье было хорошо, но это не мешало нам иногда бросать пирожки Золотареву в бакенбарды. При утреннем чае – крупчатая белая булка, за вечерним – полбулки. В столовой по понедельникам выставлялась программа кушаний на всю неделю. Тут совершалась мена порциями по вкусу. Сначала давали по полустакану портеру за обедом. Потом эта английская система была уничтожена. Мы ограничивались отечественным квасом и чистой водою. При нас

было несколько дядек: они заведывали чистой платня, сапог и прибирали в комнатах. У дядьки Леонтия Кемерского, польского шляхтича, явился уголок, где можно было найти конфеты, выпить чашку кофе или шоколаду (даже рюмку ликеру, – разумеется, контрабандой). Он иногда, по заказу именинника, за общим столом вместо казенного чая ставил сюрпризом кофе или шоколад вечером, со столбушками сухарей.

И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 51–53.

Второй этаж служил классами для младшего курса, а третий для старшего.

И. Я. Селезнев. Историч. очерк имп. царско-сельск. лицея. СПб., 1861, с. 172.

Где именно жил Пушкин в лицее, где была его комната № 14 в лицейском общежитии, – установить в настоящее время невозможно; хотя известно, что комната эта была в четвертом этаже, с окном в лицейский сад, однако после перевода лицея в Петербург (в 1843 году) здание его было настолько перестроено,

что найти эту комнату не представляется возможным. В настоящее время в бывшем здании лица находятся квартиры чинов придворного ведомства; в четвертом этаже, где была комната Пушкина, теперь живет прислуга этих чинов.

И. Р.[17] Дом Пушкина в Царском Селе. – Рус. Вед., 1910, № 232.

Вначале нам сделали прекрасные синие мундиры из тонкого сукна, и при них белые панталоны в обтяжку с ботфортами и треугольными шляпами, и сверх того для будней синие форменные сюртуки с красными воротниками. Но с 1812 г. все это стало постепенно отпадать. Сперва, вместо белых панталон с ботфортами, явились серые брюки; потом, вместо треугольных шляп, – фуражки; наконец, вместо форменных синих сюртуков, – серые статского покроя, чем особенно мы очень обижались, потому что такая же форма была тогда и для малолетних придворных певчих вне службы. Впоследствии хотя и восстановили синие форменные сюртуки, но все прочее осталось, а сверх того, казенное платье было

так плохо и шилось на такие долгие сроки, что все, кому сколько-нибудь дозволяли средства, имели свое, прочие же и в дворцовую церковь являлись в заплатках.

Гр. М. А. Корф. Записка. – Я. К. Грот, с. 223.

Форма воспитанников состояла из сюртука двухбортного синего с красным воротником и по краям и обшлагам красною выпушкою; пуговицы на нем гладкие, позолоченные; синего суконного жилета и прямых длинных, также синего сукна, брюк, сюртук сменяется летом курткой; для парадных случаев служил мундир однобортный с красными обшлагами и таким же воротником, на котором находились золотые (для старшего возраста) или серебряные (для младшего) петлицы; жилет при этом был белый, пикейный; шинель серого сукна с красною петлицею на воротнике; фуражка синяя с красною на обеих сторонах опушкой и лакированным козырьком.

В одежде воспитанников, при первом обзаведении, между прочим, показаны: на каждого воспитанника две пуховых шляпы: тре-

угольная и круглая; на летнее время две куртки с панталонами из бланжевой фуфайки; ночные чепчики, бумажные колпаки, оленьи с варешками перчатки, полусапожки, башмаки, калоши.

И. Я. Селезнев. Историч. очерк лица, с. 138–139, 175.

Так и вижу NN над дверьми и на левой стороне воротника шинели на квадратной тряпочке чернилами.

И. В. Малиновский – С. Д. Комовскому, 19 нояб. 1872 г. – К. Я. Грот. Пушкинский лицей. СПб., 1911, с. 89.

Через несколько дней после открытия, за вечерним чаем, входит директор и объявляет нам, что получил предписание министра, которым возбраняется выезжать из лица, а что родным позволено посещать нас по праздникам. Это объявление категорическое, которое, вероятно, было уже предварительно постановлено, но только не оглашалось, сильно отуманило нас всех своею неожиданностью. Мы призадумались, молча посмотрели друг

на друга, потом начались между нами толки и даже рассуждения о незаконности такой меры стеснения, не бывшей у нас в виду при поступлении в лицей. Разумеется, временное это волнение прошло, как проходит постепенно все, особенно в те годы.

И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 51.

Во все шесть лет нас не пускали из Царского Села даже в близкий Петербург, и изъятие было сделано для двух или трех только по случаю и во время тяжелой болезни их родителей, да еще, уже для всех, за несколько дней до выпуска, чтобы снять каждому мерки для будущего своего платья. И в самом Царском Селе, в первые три или четыре года, нас не выпускали порознь даже из стен лицея, так что, когда приезжали родители или родственники, то их заставляли сидеть с нами в общей зале или, при прогулках, бегать по саду за нашими рядами.

Гр. М. А. Корф. Записка. – Я. К. Грот, с. 246.

От покойного Матюшкина я слышал, что при поступлении в лицей Пушкин довольно

плохо писал по-русски.

Я. К. Грот, с. 46.

А. С. Пушкин, при поступлении в лицей, особенно отличался необыкновенною памятью и превосходным знанием французской словесности. Ему стоило прочесть раза два страницу какого-нибудь стихотворения, и он мог уже повторить оное наизусть без всякой ошибки.

С. Д. Комовский (лицейский товарищ Пушкина) со слов гувернера *С. Г. Чирикова*. Записка о Пушкине. – *Я. К. Крот, с. 218.*

Вступив в лицей, А. Пушкин уже знал английский язык, как знают все дети, с которыми дома говорят на этом языке.

С. Л. Пушкин. Замечания на т. наз. биограф. А. С. Пушкина, помещенную в «Портретной и биографической галерее». – *Отеч. Зап., 1841, т. XV, особ. прил., с. 2.*

Пушкин начал влюбляться с одиннадцатилетнего возраста.

С. М. Салтыкова – А. Н. Семеновой-Карели-

ной, 28 февр. 1825 г. (со слов гр. Е. М. Ивелич). – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 151.

Будучи 12 лет от роду, Пушкин не только знал на память все лучшие творения французских поэтов, но даже сам писал довольно хорошие стихи на этом языке. Упражнения в словесности французской и российской были всегда любимейшие его занятия, в которых он наиболее успевал. Кроме того, он охотно занимался и науками историческими, но не любил политических и в особенности математику.

С. Д. Комовский. Записка о Пушкине. – Я. К. Грот, с. 219.

При самом начале он – наш поэт; как теперь вижу тот послеобеденный класс Кошанского, когда, кончивши лекцию несколько раньше урочного часа, профессор сказал: «Теперь, господа, будем пробовать перья: опишите мне, пожалуйста, розу стихами». Наши стихи вообще не клеились, а Пушкин мигом прочел два четырехстишья, которые всех нас восхитили. Кошанский взял рукопись к себе. Это

было чуть ли не в 1811 году, и никак не позже первых месяцев 1812 г.

И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 56.

В моих стихотворческих занятиях я успел чрезвычайно, имея товарищем одного молодого человека (*Пушкина*), который, живши между лучшими стихотворцами, приобрел много в поэзии знаний и вкуса, и, читая мои прежние стихи, вижу в них непростительные ошибки. Хотя у нас запрещено сочинять, но мы с ним пишем украдкою (25 марта 1812 г.).

Скажу тебе новость: нам позволили теперь сочинять (26 апр. 1812 г.). *А. Д. Илличевский* (лицеист) – *П. Н. Фуссу. – Я. К. Грот, с. 56—57.*

(Из стихотворения Пушкина «19 окт. 1836 г.»):

*Вы помните, текла за ратью
рать,
Со старшими мы братьями про-
щались
И в сень наук с досадой возвраща-
лись,
Завидуя тому, кто умирать*

Шел мимо нас...

Да, именно так. И после провода одной из ратей воспитанники до того одушевились патриотизмом, что, готовясь к французской лекции, побросали грамматику под лавки, под столы.

И. В. Малиновский (лицейский товарищ Пушкина). – Пушкин и его совр-ки, вып. XXXVIII–XXXIX, с. 214.

Пушкин, привезя с собой из Москвы огромный запас любимой им тогда французской литературы, начал ребяческую охоту свою – писать одни французские стихи и переводить на чисто-русскую, очищенную им самим почву. Затем, едва познакомившись с юною своею музою, он стал поощрять и других товарищей своих писать: русские басни (Яковлева), русские эпиграммы (Илличевского), терпеливо выслушивал тяжеловесные гекзаметры барона Дельвига и снисходительно улыбался клопштокским стихам неуклюжего нашего Кюхельбекера. Сам же поэт наш, удаляясь нередко в уединенные залы лицея или тенистые аллеи сада, грозно насупя брови и надув

губы, с искусанным от досады пером во рту, как бы усиленно боролся иногда с прихотливою кокеткою музою, а между тем мы все видели и слышали потом, как всегда легкий стих его вылетал подобно «пуху из уст Эола».

С. Д. Комовский – Ф. П. Корнилову. – Я. К. Грот, с. 221.

К 1812 году относится стихотворение «Измены»... Оно относится к приезжавшей в лицей графине Н. В. Кочубей, бывшей впоследствии, но уже гораздо позже, за гр. д. Г. Строгановым.

В. П. Гаевский. Пушкин в лицее. – Современник, 1863, № 7, с. 159.

Едва ли не Нат. Викт. Кочубей (а не Бакунина) была *первым* предметом любви Пушкина.

Бар. М. А. Корф – В. П. Гаевскому, 30 мая 1863 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. VIII, с. 25.

Пушкин (Александр), 13 лет. Имеет более блистательные, нежели основательные дарования, более пылкой и тонкой, нежели глубо-

кой ум. Прилежание его к чтению посредственно, ибо трудолюбие не сделалось еще его добродетелью... Знания его вообще поверхностны, хотя начинает несколько привыкать к основательному размышлению. Самолюбие вместе с честолюбием, делающее его иногда застенчивым, чувствительность с сердцем, жаркие порывы вспыльчивости, легкомысленность и особенная словоохотливость с остроумием ему свойственны. Между тем заметно в нем и добродушие, познавая свои слабости, он охотно принимает советы с некоторым успехом. Его словоохотливость и остроумие восприняли новый и лучший вид с счастливою переменою образа его мыслей, но в характере его вообще мало постоянства и твердости.

М. С. Пилецкий (надзиратель по учебной и нравственной части). Официальный отзыв. – К. Я. Грот. Пушкинский лицей, с. 361.

(19 ноября 1812 г.) Пушкин – весьма понятен, замысловат и остроумен, но крайне не прилежен. Он способен только к таким предметам, которые требуют малого напряжения,

а потому успехи его очень невелики, особенно по части логики.

А. П. Куницын. Из «Ведомости об успехах воспитанников Лицея по части логики и нравственной философии». – В. П. Гаевский. Дельвиг. – Современник, 1853, № 2, с. 67.

Очень ленив, в классе не внимателен и не скромн, способностей не плохих, имеет остроу, но, к сожалению, только для пустословия, успевает весьма посредственно.

Я. И. Карцев (преподаватель математики и физики, в нояб. 1812 г.). Лицейский журн., IV. 1910–1911, с. 22.

(6–30 ноября 1812 г.) Пушкин 6-го числа в суждении своем об уроках сказал: признаюсь, что я логики, право, не понимаю, да и многие даже лучшие меня оной не знают, потому что логические селогизмы весьма для него невнятны. – 16 числа весьма оскорбительно шутил с Мясоедовым на щот 4 Департамента, зная, что его отец там служит, произнося какие-то стихи, коих мне повторить не хотел, при увещевании же сделал слабое признание,

а раскаяния не видно было. – 18-го толкал Пушкина и Мясоедова, повторял им слова: что если они будут жаловаться, то сами останутся виноватыми, ибо я, говорит, вывертеться умею. – 20. В классе рисовальном называл г. Горчакова вольной польской дамой. – 21. За обедом вдруг начал громко говорить, что Волховский г. инспектора боится, и, видно, оттого, что боится потерять доброе свое имя, а мы, говорит, шалуны, его увещеваниям смеемся. После начал исчислять с присовокупившимся к сему г. Корсаковым сделанные г. инспектором родителям некоторых товарищей обиды, а после обеда и других к составлению клеветы на г. инспектора подстрекнул. Вообще г. Пушкин вел себя все следующие дни весьма смело и ветрено. – 23-го, когда я у г. Дельвига в классе г. профессора Гауэншильда отнимал бранное на г. инспектора сочинение, в то время г. Пушкин с непристойною вспыльчивостью говорит мне громко: «Как вы смее брать наши бумаги, – стало быть, и письма наши из ящика будете брать». Присутствие г. профессора, вероятно, удержало его от худшего еще поступка, ибо приметен был гнев его. –

30 числа к вечеру г. Кошанскому – изъяснял какие-то дела с.-петербургских модных французских лавок, кои называются Маршанд дю Мод, я не слышал сам сего разговора, только пришел в то время, когда г. Кошанский сказал ему: я повыше вас, а, право, не вздумаю такого вздора, да и вряд ли кому оной придет в голову. Спрашивал я других воспитанников, но никто не мог мне его разговор повторить по скромности, как видно.

И. С. Пилецкий. – И. А. Шляпкин, с. 328–329.

А. Пушкин. Легкомыслен, ветрен, неопрятен, нерадив, впрочем, добродушен, усерден, учтив, имеет особенную страсть к поэзии.

С. Г. Чириков. Аттестация 30 сент. 1818 г. – И. А. Шляпкин, с. 334.

1813–1815

*А наш француз
Свой хвалит вкус
И материцу порет.*

*(Француз – лицейское прозвище Пушкина.)
Из лицейских «национальных песен». – К. Я.*

По рассказам товарищей Пушкина, он, в первые два года лицейской жизни, написал роман в прозе: *Цыган* и вместе с М. Л. Яковлевым комедию: *Так водится на свете*, предназначавшуюся для домашнего театра. После этих опытов он начал комедию в стихах: *Философ*, о которой упоминает в своих записках; но, сочинив только два действия, охладел к своему труду и уничтожил написанное. В то же время он сочинил, в подражание Баркову, поэму *Монах*, которую также уничтожил по совету одного из своих товарищей. Увлеченный успехом произведения дяди, В. Л. Пушкина, *Опасный Сосед*, племянник пустился в тот же род и кроме упомянутой поэмы написал *Тень Баркова*, балладу, известную по нескольким спискам. Последнюю он выдавал сначала за сочинение кн. П. А. Вяземского, но увидев, что она пользуется большим успехом, признался, что написал ее сам... Все эти пять произведений, по отзывам товарищей поэта, сочинены в 1812, 1813 и не позже 1814 года, прежде упоминаемой в его записках восточ-

ной сказки: *Фатама или разум человеческий*.

В. П. Гаевский. Пушкин в лицее. – Современник, 1863, № 7, с. 155.

Пользуясь своим влиянием на Пушкина, кн. Горчаков побудил его уничтожить одно произведение, «которое могло бы оставить пятно на его памяти». Пушкин написал было поэму «Монах». Кн. Горчаков взял ее на прочтение и сжег, объявив автору, что это недостойно его имени.

Кн. А. И. Урусов со слов кн. А. М. Горчакова. – Рус. Арх., 1883, т. II, с. 206.

(1 янв. 1814 г.) При малом прилежании оказывает очень хорошие успехи, и сие должно приписать одним только прекрасным его дарованиям. В поведении резв; но менее противу прежнего.

И. К. Кайданов. Из «Ведомости о дарованиях, прилежании и успехах воспитанников по части географии, всеобщей и российской истории». – В. П. Гаевский. Дельвиг. – Современник, 1853, № 2, с. 67.

У одного из царскосельских жителей, графа В. В. Толстого, был домашний театр, на котором играла труппа, составленная из крепостных людей. Лицейсты посещали его спектакли, на которых, вместе с другими посетителями, засматривались на первую любовницу доморощенной труппы, Наталью, которая, однако ж, была плохой актрисой. К ней Пушкин написал в 1814 г. послания *К Наталье* и *К молодой актрисе*.

В. П. Гаевский. Пушкин в лицее. – Современник, 1863, № 7, с. 139.

*Ma taille à celle des plus longs,
Las! n'est point égalée;
J'ai le teint frais, les cheveux blonds
Et la tete bouclée.*

(Мой стан со станом высоких, увы, не может равняться: у меня свежий цвет лица, белокурые волосы и курчавая голова.)

Пушкин. Mon portrait, 1814.

В молодости Пушкина волосы его были почти светло-русы.

П. А. Корсаков (брат лицейского товарища

Пушкина). В примечании к стих. «Mon portrait». – Маяк, 1840, ч. III, с. 24. Цит. по: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. СПб.: Изд. Брокгауза—Ефрона, т. I, с. 169.

Брат Пушкина, Лев Сергеевич, по словам его племянника Л. Н. Павлицева, утверждал, что тут заключается неверность и что его старший брат всегда был темноволосым; что будто бы однажды младший Пушкин указал брату на эту несообразность, и поэт отвечал, что употребил выражение «cheveux blonds» только ради рифмы с «plus longs». Л. Н. Павлицев в последнее время, по крайней мере, судя по его письму ко мне от 8 февр. 1899 г., утверждает, что «волосы А. С. Пушкина в детстве были белокурые».

Д. Н. Анучин. Антропол. эскиз, с. 33.

Вопреки составившемуся как-то преданию, Пушкин в детстве никогда не был белокурым, а еще при поступлении в лицей имел темно-русые волосы.

Гр. М. А. Корф. Записка. – Я. К. Грот, с. 246.

Нельзя не вспомнить сцены, когда Пушкин читал нам своих «Пирующих студентов». Он был в лазарете и пригласил нас прослушать эту пьесу. После вечернего чая мы пошли к нему гурьбой с гувернером Чириковым. Началось чтение:

*Друзья! Досужный час настал,
Все тихо, все в покое...*

и проч.

Внимание общее, тишина глубокая по временам только прерывается восклицаниями. Кюхельбекер просил не мешать, он был весь тут, в полном упоении. Доходит дело до последней строфы. Мы слышим:

*Писатель! За свои грехи
Ты с виду всех трезвее:
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее!*

При этом возгласе публика забывает поэта, стихи его, бросается на бедного метромана, который, растаявшись под влиянием поэзии Пушкина, приходит в совершенное одурение от неожиданной эпиграммы и нашего дикого

натиска. Добрая душа был этот Кюхельбекер! Опомнившись, просит он Пушкина еще раз прочесть, потому что и тогда уже плохо слышал одним ухом, испорченным золотухой.

И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 62.

Пушкин был свидетелем патриотического восторга при возвращении победителей, выразившегося в торжественных встречах, стихах и праздниках. На одном из таких торжеств, происходивших в Павловске 27 июля 1814 года, в числе зрителей были и лицеисты. .. Пушкина особенно занимали устроенные между дворцом и «розовым павильоном» триумфальные ворота, на которых, как будто в насмешку над их малым размером, были написаны два стиха Буниной:

*Тебя, текуща ныне с бою,
Врата победы не вместят!*

Пушкин по этому поводу набросал пером рисунок, изображавший замешательство, происходившее будто бы у «победных врат»: лица, составлявшие шествие, видят, приближаясь к воротам, что они действительно «не

вместят» государя, который при этом еще пополнил в Париже, и некоторые из свиты бросятся рубить их. Остроумный рисунок, представлявший несколько портретов, скоро распространился и был подарен Пушкиным К. А. Карамзиной. Автора невинной шутки долго искали, но, разумеется, не нашли.

В. П. Гаевский. Пушкин в лицее. – Современник, 1863, № 8, с. 366–367.

Я, Малиновский и Пушкин затеяли выпить гогель-могелю. Я достал бутылку рому, добыли яиц, натолкли сахару, и началась работа у кипящего самовара. Разумеется, кроме нас, были и другие участники в этой вечерней пирушке, но они остались за кулисами по делу, а в сущности один из них, именно Тырков, в котором чересчур подействовал ром, был причиной, по которой дежурный гувернер заметил какое-то необыкновенное оживление, шумливость, беготню. Сказал инспектору. Тот, после ужина, всмотрелся в молодую свою команду и увидел что-то взвинченное. Тут же начались спросы, розыски. Мы трое явились и объявили, что это наше дело и что мы одни

ВИНОВАТЫ.

И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 57.

5 сентября (1814 г.) воспитанники Малиновский, Пущин и Пушкин уговорили одного из служителей принести им в их камеры горячей воды, мелкого сахара, сырых яиц и рома; и когда было все оное принесено, то отлучились без позволения дежурных гувернеров из залы в свои камеры, где из резвости и детского любопытства составляли напиток под названием: гогель-могель, который уже начинали пробовать. Как в самое то же время узнали, что я возвратился и пришел в зал, где они уже находились; но я, немедленно узнав об их поступке, исследовал подробно и, найдя их виновными, наказал в течение двух дней во время молитв стоянием на коленях.

С. С. Фролов (надзиратель лицея). Рапорт конференции лицея. – И. А. Шляпкин, с. 336.

(Об этом проступке Малиновского, Пущина и Пушкина.) Исправлявший тогда должность директора проф. Гауеншильд донес министру. Граф Разумовский приехал из Петер-

бурга, вызвал нас из класса и сделал нам формальный строгий выговор. Этим дело не кончилось, – дело поступило на решение конференции. Конференция постановила следующее: 1) две недели стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы; 2) сместить нас на последние места за столом, где мы сидели по поведению, и 3) занести фамилии наши, с прописанием виновности и приговора, в черную книгу, которая должна была иметь влияние при выпуске. Первый пункт приговора был выполнен буквально. Вторым смягчился по усмотрению начальства: нас, по истечении некоторого времени, постепенно подвигали опять вверх. При этом Пушкин сказал:

*Блажен муж, иже
Сидит к каше ближе.*

На этом конце раздавалось кушанье дежурным гувернером. Третий пункт, самый важный, остался без всяких последствий. Когда, при рассуждениях конференции о выпуске, представлена была директору Энгельгардту черная эта книга, где мы трое только и бы-

ли записаны, он ужаснулся и стал доказывать своим сочленам, что мудрено допустить, чтоб давнишняя шалость, за которую тогда же было взыскано, могла бы еще иметь влияние и на всю будущность молодых людей после выпуска. Все тотчас согласились с его мнением, и дело было сдано в архив.

И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 57.

Благодаря бога, у нас, по крайней мере, царствует с одной стороны свобода. Нет скучного заведения сидеть à ses places[18]; в классах бываем недолго: семь часов в день; больших уроков не имеем; летом досуг проводим на прогулке, зимою в чтении книг, иногда представляем театр, с начальниками обходимся без страха, шутим с ними, смеемся.

А. Д. Илличевский – П. Н. Фуссу, 2 нояб. 1814 г. – Я. К. Грот, с. 59.

Пушкин, с самого начала, был раздражительнее многих и поэтому не возбуждал общей симпатии: это был удел эксцентрического существа среди людей. Не то, чтоб он разыгрывал какую-нибудь роль между нами

или поражал какими-нибудь особенными странностями; но иногда неуместными шутками, неловкими колкостями сам ставил себя в затруднительное положение, не умея потом из него выйти. Это вело его к новым промахам, которые никогда не ускользают в школьных сношениях. Я, как сосед (с другой стороны его нумера была глухая стена), часто, когда все уже засыпало, толковал с ним вполголоса через перегородку о каком-нибудь вздорном случае того дня; тут я видел ясно, что он по щекотливости всякому вздору приписывал какую-то важность, и это его волновало. Вместе мы, как умели, сглаживали некоторые шероховатости, хотя не всегда это удавалось. В нем была смесь излишней смелости с застенчивостью, и то, и другое не попадало, что тем самым ему вредило. Бывало, вместе промахнемся, сам вывернешься, а он никак не сумеет этого уладить. Главное, ему недоставало того, что называется *тактом*, это – капитал, необходимый в товарищеском быту, где мудро, почти невозможно, при совершенно бесцеремонном обращении, уберечься от некоторых неприятных столкновений все-

дневной жизни. Все это вместе было причиной, что вообще не вдруг отозвались ему на его привязанность к лицейскому кружку, которая с первой поры зародилась в нем, не проявляясь, впрочем, свойственной ей иногда пошлостью. Чтобы полюбить его настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге-товарище.

И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 54.

Нравственные страдания, как и пылкие страсти, посетили Пушкина очень рано. Он проводил ночи в разговорах, через стенку, с другом своим, оставившим нам эти сведения. Содержание этих поздних бесед, преимущественно, состояло из жалоб Пушкина на себя и других, скорбных признаний, раскаянья и, наконец, из обсуждения планов, как поправить свое положение между товарищами или избежать последствий ложного шага или недобдуманного поступка. Этот поверенный сообщал нам также и о горьких слезах, часто оро-

шавших, в тишине бессонной ночи, подушку молодого человека из № 14. Дело в том, что Пушкин, по словам его, наделен был от природы весьма восприимчивым и впечатлительным сердцем, назло и наперекор которому шел весь образ его действий, — заносчивый, резкий, напрашивающийся на вражду и оскорбления. А между тем способность к быстрому ответу, немедленному отражению удара или принятию наиболее выгодного положения в борьбе часто ему изменяла. Известно, какой огромной долей злого остроумия, желчного и ядовитого юмора обладал Пушкин, когда, сосредоточась в себе, вступал в обдуманную битву с своими литературными и другими врагами, но быстрая находчивость и дар мгновенного, удачного выражения никогда не составляли отличительного его качества. Пушкин не всегда оставался победителем в столкновениях с товарищами, им же и порожденных, и тогда, с растерзанным сердцем, с оскорбленным самолюбием, сознанием собственной вины и с негодованием на ближних, возвращался он в свою комнату и, перебирая все жгучие впечатления

дня, выстрадывал вторично все его страдания до капли.

П. В. Анненков. Пушкин в Алекс. эпоху, с. 53

Не только в часы отдыха от учения в рекреационной зале, на прогулках, но нередко в классах и даже в церкви ему приходили в голову разные поэтические вымыслы, и тогда лицо его то хмурилось необыкновенно, то прояснялось от улыбки, смотря по роду дум, его занимавших[19]. Набрасывая же мысли свои на бумагу, он удалялся всегда в самый уединенный угол комнаты[20], от нетерпения грыз обыкновенно перо и, насупив брови, надувши губы, с огненным взором читал про себя написанное. Кроме любимых разговоров своих о литературе и авторах с теми товарищами, кои тоже писали стихи, как то с бароном Дельвигом, Илличевским, Яковлевым и Кюхельбекером (над неудачною страстью ко-его к поэзии он любил часто подшучивать), Пушкин был вообще не очень общителен с прочими своими товарищами и на вопросы их отвечал обыкновенно лаконически.

Из профессоров и гувернеров лица не любил и не отличал от других воспитанников; но все боялись его сатир, эпиграмм и острых слов[21], с удовольствием слушая их насчет других. Так, напр., профессор математики Карцев от души смеялся его политическим шуткам над лицейским доктором Пешелем, который в свою очередь охотно слушал его насмешки над Карцевым. Один только профессор российской и латинской словесности Кошанский, предвидя необыкновенный успех поэтического таланта Пушкина, старался все достоинство одного приписывать отчасти себе и для того употреблял все средства, чтобы как можно более познакомить его с теорией отечественного языка и с классическою словесностью древних[22], но к последней не успел возбудить в нем такой страсти, как в Дельвиге. Сам Пушкин, увлекаясь свободным полетом своего гения, не любил подчиняться классному порядку и никогда ничего не искал в своих начальниках.

С. Д. Комовский. Записка о Пушкине. – Я. К. Грот, с. 219.

Галич был моим профессором и одобрял меня на поприще, мною избранном. Он заставил меня написать для экзамена 1814-го года мои «Воспоминания о Царском Селе».

Пушкин. Дневник, 17 марта 1834 г.

«Воспоминания о Царском Селе» прочитаны на публичном экзамене 8 января 1815 г., но предварительно рассматривались начальством, были представлены графу Разумовскому (*министру нар. просв.*) и были прочтены при нем на репетиции, происходившей за несколько дней до экзамена, который начался 4 января.

В. П. Гаевский. Пушкин в лицее. – Современник, 1863, № 8, с. 368.

Это было в 1815 году, на публичном экзамене в Лицее. Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались... Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил; лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвисли. Он дремал до тех пор,

пока не начался экзамен русской словесности. Тут он оживился: глаза заблистали, он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостью необыкновенной. Наконец, вызвали меня. Я прочел мои «Воспоминания о Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояние души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом... Не помню, как я кончил свое чтение; не помню, куда убежал. Державин был в восхищении: он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли.

Пушкин. О Державине.

Державин, выслушав это произведение, в котором чувствовалось ему что-то родственное, растроганный сказал: «я не умер» и хотел обнять своего преемника.

В. П. Гаевский. Пушкин в лицее. – Современник, 1863, № 8, с. 370.

Державин, прочтя первые стихи Пушкина, понял будущего поэта и сказал С. Т. А-ву (Аксакову): «Вот кто заменит Державина».

Ф. Н. Глинка. Воспоминания о пиитической жизни Пушкина. М., 1837, с. 13.

Читал Пушкин с необыкновенным оживлением. Слушая знакомые стихи, мороз по коже пробежал у меня. Когда же патриарх наших певцов в восторге, со слезами на глазах, бросился целовать поэта и осенил кудрявую его голову, мы все, под каким-то неведомым влиянием, благоговейно молчали. Хотели сами обнять нашего певца, его уже не было: он убежал.

И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 61.

За обедом, на который я был приглашен графом А. К. Разумовским, бывшим тогда министром народного просвещения, граф, отдавая справедливость молодому таланту, сказал мне: «Я бы желал однако же образовать сына вашего в прозе». – *«Оставьте его поэтом»*, – отвечал ему за меня Державин с жаром, вдохновенный духом пророчества.

С. Л. Пушкин. – Отеч. Зап., 1841, т. XV, особ. прил. 3.

О ласке Державина к Пушкину не было особенно говорено тогда.

П. В. Нащокин по записи *П. И. Бартенева*. – П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 26.

Пушкин даже во сне видел стихи и сам рассказывал, что ему приснилось раз двоестишие:

*Пускай Глицерия, красавица мла-
дая,
Равно всем общая, как чаша кру-
говая, —*

к которому он приделал потом целое стихотворение – *Лицинию*.

П. В. Анненков. Материалы, с. 35. То же самое со слов П. А. Плетнева сообщает П. И. Бартенев. – Моск. Вед., 1854, отд. отт. из №№ 71–118, с. 34.

Все профессора смотрели с благоговением на растущий талант Пушкина. В математическом классе раз вызвал его Карцев к доске и

задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы. Карцев спросил его наконец: «Что ж вышло? Чему равняется икс?» Пушкин, улыбаясь, ответил: «Нулю!» – «Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи». Пушкин охотнее всех других классов занимался в классе Куницына, и то совершенно по-своему: уроков никогда не повторял, мало что записывал, а чтоб переписывать тетради профессоров (печатных руководств тогда еще не существовало), – у него и в обычае не было: все делалось *à livre ouvert*[23].

И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков. с. 60.

По словам Комовского, товарищи-лицейсты не любили кн. Горчакова за его крайне неприятный характер, мелочный, злопамятный, чванливый и заносчивый до последних пределов. В душе он всегда завидовал Пушкину за его гений и то и дело хвастался перед ним своей красотой (кн. Горчаков был, действительно, классически красив) и знатностью рода. Пушкин, с своей стороны, относил-

ся к Горчакову с тем же свойственным ему добродушием, как и ко всем прочим своим товарищам. Он даже посвятил ему стихи, которые сначала князю не понравились, так как были слишком игривы. Однако потом, когда Пушкин вошел в славу, князь стал хвалиться своею близостью с ним и охотно цитировал это самое шутливое послание, посвященное ему Пушкиным.

С. У. (С. И. Уманец). Мозаика. – Историч. Вестн., 1915, авг., с. 482.

Сидели мы с Пушкиным однажды вечером в библиотеке у открытого окна. Народ выходил из церкви от всенощной; в толпе я заметил старушку, которая о чем-то горячо с жестами рассуждала с молодой девушкою, очень хорошенькою. Среди болтовни я говорю Пушкину, что любопытно бы знать, о чем так горячатся они, о чем так спорят, идя от молитвы? Он почти не обратил внимания на мои слова, всмотрелся однако в указанную мною чету и на другой день встретил меня стихами:

От всенощной вечор идя домой,

Антипьевна с Марфушкою брани-
лись;
Антипьевна отменно горячилась.
«Постой, – кричит, – управлюсь я
с тобой!
Ты думаешь, что я забыла
Ту ночь, когда, забравшись в уго-
лок,
Ты с крестником Ванюшею шали-
ла?
Постой, о всем узнает муженек!»
—
«Тебе ль грозить! – Марфушка от-
вечает: —
Ванюша – что? Ведь он еще дитя;
А сват Трофим, который у тебя
И день, и ночь? Весь город это зна-
ет.
Молчи ж, кума: и ты, как я, греш-
на;
Словами ж всякого, пожалуй, раз-
обидишь,
В чужой ... соломенку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна».

«Вот что ты заставил меня написать, лю-
безный друг», – сказал он, видя, что я несколько
призадумался, выслушав его стихи, в кото-

рых поразило меня окончание. В эту минуту подошел к нам Кайданов (*преподаватель истории*), – мы собирались в его класс. Пушкин и ему прочел свой рассказ. Кайданов взял его за ухо и тихонько сказал: «Не советую вам, Пушкин, заниматься такой поэзией, особенно кому-нибудь сообщать ее. И вы, Пущин, не давайте воли язычку», – прибавил он, обратясь ко мне. Хорошо, что на этот раз подвернулся нам добрый Иван Кузьмич, а не другой кто-нибудь.

И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 60.

Наше Царское Село в летние дни есть Петербург в миниатюре. У нас есть вечерние гуляния, в саду музыка и песни, иногда театры. Всем этим обязаны мы графу Толстому, богатому и любящему удовольствия человеку. По знакомству с хозяином и мы имеем вход в его спектакли; ты можешь понять, что это наше первое и почти единственное удовольствие. Но осень на нас не на шутку косо поглядывает... Все запрется в дому, разъедется в столицу или куда хочет; а мы, постоянные жители Села, живи с нею. Чем убить такое скучное вре-

мя? Вот тут-то поневоле призовешь к себе науки.

А. Д. Илличевский. – *П. Н. Фуссу*, 2 сент. 1815 г. – *Я. К. Грот*, с. 63.

Пушкин был до того женолюбив, что, будучи еще 15 или 16 лет, от одного прикосновения к руке танцующей, во время лицейских балов, взор его пылал, и он пыхтел, сопел, как ретивый конь среди молодого табуна.

С. Д. Комовский. Записка о Пушкине. – *Я. К. Грот*, с. 220.

Вашему Превосходительству угодно было, чтобы я написал пиэсу на приезд Государя Императора; исполняю ваше повеленье. Ежели чувства любви и благодарности к великому Монарху нашему, начертанные мною, будут не совсем недостойны высокого предмета моего, сколь щастлив буду я, ежели его Сиятельство Граф Алексей Кириллович Разумовский благоволит поднести Его Величеству слабое произведение неопытного стихотворца.

Пушкин – *И. И. Мартынову* (директору де-

партамента Мин. Нар. Просв.), 28 нояб. 1815 г.

29 ноября 1815 г. Я щастлив был!.. нет, я вчера не был щастлив, поутру я мучился ожиданьем, с неописанным волнением стоя под окошком смотрел на снежную дорогу, ее не видно было! Наконец я потерял надежду, вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице, сладкая минута!

*Он пел любовь, но был печален
глас,
Увы, он знал любви одну лишь му-
ку!*

Как она мила была! Как черное платье пристало к милой Бакуниной! Но я не видел ее 18 часов, ах! Какое положение, какая мука! Но я был щастлив 5 минут!

Пушкин. Отрывки из лицейских записок.

Первую платоническую, истинно поэтическую любовь возбудила в Пушкине сестра одного из лицейских товарищей его, фрейлина Катерина Павловна Бакунина. Она часто навещала брата своего и всегда приезжала на лицейские балы. Прелестное лицо ее, дивный

стан и очаровательное обращение произвели всеобщий восторг во всей лицейской молодежи. Пушкин с чувством пламенного юноши описал ее прелести в стихотворении своем *К живописцу*, которое очень удачно положено было на ноты лицейским же товарищем его Яковлевым и постоянно пето до самого выхода из заведения.

С. Д. Комовский. Записка о Пушкине. – Я. К. Грот, с. 220.

Пушкин пишет теперь комедию в 5 действиях, в стихах, под названием: *Философ*. План довольно удачен и начало, т.е. 1-е действие, до сих пор только написанное, обещает нечто хорошее; стихи – и говорить нечего острых слов сколько хочешь! Дай только бог ему терпения и постоянства, что редко бывает в молодых писателях... Дай бог ему кончить – это первый большой *ouvrage*[24], начатый им, *ouvrage*, которым он хочет открыть свое поприще по выходе из лицея. Дай бог ему успеха – лучи славы его будут отсвечиваться и в его товарищах.

А. Д. Илличевский – П. Н. Фуссу, 16 янв. 1816

В самом начале своего директорства (март 1816 г.) Энгельгардт, сознавая нелепость совершенного разъединения учащейся молодежи с действительною жизнью, разрешил отпуска из лицея в пределах Царского Села, и, по примеру директора, несколько семейных домов открылись для лицеистов, именно: дома Вельо, Севериной и барона Теппера де Фергюсона, находившихся в родственных между собою отношениях и постоянно живших в Царском Селе. Теппер был большой оригинал, но человек образованный, и лицеисты часто заходили в его домик. У Теппера каждый вечер собирались по несколько человек, пили чай, болтали, занимались музыкой и пенъем. У него же, по воскресеньям, происходили литературные беседы, задавались темы, на которые приготавлилось к следующему воскресенью несколько сочинений, и таким образом совершались литературные состязания, на которых Пушкин первенствовал.

В. П. Гаевский. Пушкин в лицее. – Совре-

С назначением Энгельгардта в директоры школьный наш быт принял иной характер. При нем по вечерам устроились чтения в зале (Энгельгардт отлично читал). В доме его мы знакомились с обычаями света, находили приятное женское общество. Летом в вакантный месяц директор делал с нами дальние, иногда двухдневные прогулки по окрестностям; зимой для развлечения ездили на нескольких тройках за город завтракать или пить чай в праздничные дни, в саду, на пруде катались с гор и на коньках. Во всех этих увеселениях участвовало его семейство и близкие ему дамы и девицы, иногда и приезжавшие родные наши.

И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 64.

Мы надеемся, что Карамзин посетит наш лицей; и надежда наша основана не на пустом: он знает Пушкина и им весьма много интересуется.

А. Д. Илличевский – П. Н. Фуссу, 20 марта 1816 г. – Я. К. Грот, с. 69.

В семействе Энгельгардта, состоявшем из жены и пятерых детей, жила овдовевшая незадолго перед тем Мария Смит, урожденная Шарон-Лароз. Весьма миловидная, любезная и остроумная, она умела оживлять и соединять собиравшееся у Энгельгардта общество. Пушкин, который немедленно начал ухаживать за нею, написал к ней довольно нескромное послание *К молодой вдове*. Но вдова, не успевшая забыть мужа и готовившаяся быть матерью, обиделась, показала стихотворение своего вздыхателя Энгельгардту, и это обстоятельство было главною причиною неприязненных отношений между ними, продолжавшихся до конца курса. К г-же Смит написаны еще Пушкиным *Слово милой* («Я Лилу слушал у клавира») и «Лила, Лила, я страдаю».

В. П. Гаевский. Пушкин в лицее. – Современник, 1863, № 8, с. 378.

В неделю раз в доме директора лицея Е. А. Энгельгардта бывали вечерние собрания, на которые, кроме своих родных и знакомых, он

приглашал и воспитанников... Помимо доставления лицеистам нравственного развлечения, Энгельгардт, приглашая их на свои вечера, имел в виду приучение молодых людей к хорошему обществу и обхождению в кругу благовоспитанных дам и девиц. Дельвиг и Кюхельбекер были частыми посетителями вечеров; Пушкин очень редким; наконец, года за два до выпуска, он и вовсе прекратил свои посещения. Это огорчало Егора Антоновича. Как-то во время рекреаций, когда Пушкин сидел у своего пульта, Энгельгардт подошел к нему и ласково спросил: за что он сердится? Юноша смутился и отвечал, что сердиться на директора не смеет, не имеет к тому причин и т.д. – «Так вы не любите меня?» – продолжал Энгельгардт, усаживаясь подле Пушкина, и тут же, глубоко прочувствованным голосом, без всяких упреков, высказал ему всю странность его отчуждения от общества. Пушкин слушал со вниманием, хмуря брови, меняясь в лице; наконец заплакал и кинулся на шею Энгельгардту. «Я виноват в том, – сказал он, – что до сих пор не понимал и не умел ценить вас!» Добрый Энгельгардт

сам расплакался и, как юноша, радовался раскаянию Пушкина, его отречению от напускной мизантропии. Они расстались, довольные друг другом. Минут через десять Егор Антонович вернулся к Пушкину, желая что-то сказать; но лишь только вошел, Пушкин поспешно спрятал какую-то бумагу под доску и заметно смешался. «Вероятно, стишки? – шутиливо спросил Энгельгардт. – Покажите, если не секрет». Пушкин переминался, прикрывая доску рукою. «От друга таиться не следует», – продолжал Энгельгардт, тихонько подымая доску пульта и доставая из него лист бумаги: на этом листе был нарисован его портрет в карикатуре, и было набросано несколько строк очень злой эпиграммы, почти пасквиля. Спокойно отдавая Пушкину эту злую шалость его музы, Егор Антонович сказал: «Теперь понимаю, почему вы не желаете бывать у меня в доме. Не знаю только, чем мог я заслужить ваше нерасположение».

Со слов *К. А. Шторха* (лицеиста одного из первых выпусков). – Рус. Стар., 1879, т. 27, с. 378–379.

Для меня осталось неразрешенною загадкой, почему все внимания директора Энгельгардта и его жены отвергались Пушкиным; он никак не хотел видеть его в настоящем свете, избегая всякого сближения с ним. Эта несправедливость Пушкина к Энгельгардту, которого я душой полюбил, сильно меня волновала. Тут крылось что-нибудь, чего он никак не хотел мне сказать.

И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 64.

(22 марта 1816 г.) Высшая и конечная цель Пушкина – блеснуть, и именно поэзией; но едва ли найдет она у него прочное основание, потому что он боится всякого серьезного учения, и его ум, не имея ни проницательности, ни глубины, совершенно поверхностный, французский ум. Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкине. Его сердце холодно и пусто: в нем нет ни любви, ни религии; может быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало юношеское сердце. Нежные и юношеские чувствования унижены в нем воображением, оскверненным всеми эротическими произведениями французской литературы,

которые он при поступлении в лицей знал почти наизусть, как достойное приобретение первоначального воспитания.

Е. А. Энгельгардт (директор лицея), официальный отзыв. – В. П. Гаевский. Пушкин в лицее. – Современник, 1863, № 8, с. 376.

Я помню, как с покойным отцом моим (*директор лицея до Энгельгардта*) пришли в лицей во время классов Карамзин, Жуковский, Батюшков, Тургенев, – и Карамзин, вызвав Пушкина, сказал: «Пари, как орел, но не оставляйся в полете». – И он с раздутыми ноздрями, – выражение его лица при сильном волнении, – сел на место при общем приличном приветствовании товарищей[25].

И. В. Малиновский. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXXVIII–XXXIX, с. 214.

Что сказать вам о нашем уединении? Никогда Лицей не казался мне так несносным, как в нынешнее время. Уверяю вас, что уединение в самом деле вещь очень глупая, назло всем философам и поэтам, которые притворяются, будто жилали в деревнях и влюблены в

безмолвие и тишину. Правда, время нашего выпуска приближается. Остался год еще. Но целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного!.. Целый год еще дремать перед кафедрой... Это ужасно. Право, с радостью согласился бы я двенадцать раз перечитать все 12 песен пресловутой Россияды, с тем только, чтобы гр. Разумовский сократил время моего заточения. Безбожно молодого человека держать взаперти.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, 27 марта 1816 г.

В честь бракосочетания принца Оранского (впоследствии короля нидерландского Вильгельма II) и вел. княжны Анны Павловны (9 фев. 1816 г.) происходили торжества в столице, и один из праздников дан был в Павловске, в розовом павильоне (6 июня). По этому случаю императрица Мария Федоровна поручила Нелединскому-Мелецкому написать стихи; но устаревший поэт, не надеясь на свои силы, поехал в лицей, передал это поручение Пушкину, которому дал и главную мысль, а через час или два уехал из лицея

уже со стихами... Из донесения Энгельгардта министру на другой день праздника видно, что стихи, написанные Пушкиным, по поручению Нелединского-Мелецкого и Карамзина, пелись во время ужина, и за них Пушкин получил от государыни золотые часы с цепочкою.

В. П. Гаевский. Пушкин в лицее. – Современник, 1863, № 8, с. 372.

Лицей был заведение совершенно на западный лад; здесь получались иностранные журналы для воспитанников, которые в играх своих устраивали между собою палаты, спорили, говорили речи, издавали между собою журналы и проч.; вообще свободы было очень много.

Лицейский анекдот: однажды император Александр, ходя по классам, спросил: «Кто здесь первый?» – «Здесь нет, ваше императорское величество, первых; все вторые», – отвечал Пушкин.

С. П. Шевырев. Воспоминания о Пушкине. – Л. Н. Майков, с. 326.

Стеснений никаких не было. Хотя из лицея никого никогда не пускали домой, однако обращение было до того свободно, что в саду лицеисты без опасения курили в присутствии надзирателя.

П. В. Нащокин по записи П. И. Бартенева. – П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 25.

В лицее и пансионе воспитанники устраивали театр и играли, но Пушкин и Дельвиг никогда не играли.

П. В. Нащокин по записи П. И. Бартенева. – Там же, с. 28.

Наклонность к литературе составляла характеристическую черту лицейского воспитания. Между прочим, воспитанники выдумали довольно замысловатую игру. Составив один общий кружок, они обязывали каждого или рассказать повесть или, по крайней мере, начать ее. В последнем случае следующий за рассказчиком принимал ее на том месте, где она останавливалась, другой развивал ее далее, третий вводил новые подробности и так до окончания, которое иногда не скоро явля-

лось. Дельвиг первенствовал на этой, так сказать, гимнастике воображения; его никогда нельзя было застать врасплох: интриги, завязки и развязки были у него всегда готовы. Пушкин уступал ему в способности придумывать наскоро происшествия и часто прибегал к хитрости. Помнят, что он раз изложил изумленным и восхищенным слушателям своим историю двенадцати спящих дев, умолчав об источнике, откуда почерпнул ее. Между тем, при таком же случае, он еще в грубых чертах, разумеется, передал и две повести, им самим придуманные: «Метель» и «Выстрел», которые позднее явились в повестях Белкина.

П. В. Анненков. Материалы, с. 18.

(В последние два-три года пребывания в лицее) ...все переменялось, и в свободное время мы ходили не только к Тепперу и в другие почтенные дома, но и в кондитерскую Амбиеля, а также по гусарам, сперва в одни праздники и по билетам, а потом и в будни, без всякого уже спроса, даже без ведома наших приставников, возвращаясь иногда в глубокую ночь. Думаю, что иные пропадали даже и на целую

ночь, хотя со мною лично этого не случилось. Маленький *тринкгельд* швейцару мирил все дело, потому что гувернеры и дядьки все давно уже спали... Кружок, в котором Пушкин проводил свои досуги, состоял из офицеров лейб-гусарского полка. Вечером, после классных часов, когда прочие бывали или у директора, или в других семейных домах, Пушкин, ненавидевший всякое стеснение, пировал с этими господами нараспашку. Любимым его собеседником был гусар Каверин, один из самых лихих повес в полку.

Гр. М. А. Корф. Записка. – Я. К. Грот, с. 240–247.

И в гусарском полку Пушкин не только «пировал нараспашку», но сблизился и с Чадаевым, который вовсе не был гулякою; не знаю, что бывало прежде, но со времени переезда семейства Карамзина в Царское Село, он бывал у них ежедневно по вечерам; а дружба его с Ив. Пущиным?

Кн. П. А. Вяземский. Примечания к Записке М. А. Корфа. – Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 490.

Вне лица Пушкин был знаком с некоторыми отчаянными гусарами, жившими в то время в Царском Селе (Каверин, Молоствов, Саломирский, Сабуров и др.). Вместе с ними, тайком от своего начальства, он любил приносить жертвы Бахусу и Венере, волочась за хорошенькими актрисами графа Толстого и за субретками приезжавших туда на лето семейств; причем проявлялись в нем вся пылкость и сладострастие африканской породы.

С. Д. Комовский. Записка о Пушкине. – Я. К. Грот, с. 220.

Во время пребывания Чаадаева с лейб-гусарским полком в Царском Селе между офицерами-полка и воспитанниками царскосельского лица образовались непрестанные, ежедневные и очень веселые отношения. То было, как известно, золотое время лица.. Воспитанники поминутно пропадали в садах державного жилища, промежду его живыми зеркальными водами, в тенистых вековых аллеях, иногда даже в переходах и различных помещениях самого царского дворца... Шум-

ные скитания щеголеватой, утонченной, богатой самыми драгоценными надеждами молодежи очень скоро возбудили внимательное, бодрствующее чутье Чаадаева и еще скорее сделались целью его верного, меткого, исполненного симпатического благоволения охарактеризования. Юных, разгульных любителей он сейчас же прозвал «философами-перипатетиками». Прозвание было принято воспитанниками с большим удовольствием, но ни один из них не сблизился столько с его творцом, сколько Пушкин.

М. И. Жихарев. П. Я. Чаадаев. Из воспоминаний современников. – Вестн. Европы, 1871, № 7, с. 192.

В свободное время Пушкин любил навещать Н. М. Карамзина, проводившего ежегодно летнее время в Царском Селе. Карамзин читал ему рукописный труд свой и делился с ним досугом и суждениями. От Карамзина Пушкин забегал в кружок лейб-гусарских офицеров и возвращался к лицейским друзьям с запасом новых впечатлений.

Л. С. Пушкин. Биограф. изв. об А. С. Пушки-

не. – Л. Н. Майков, с. 5.

Если верить дошедшему до нас, позднейших лицеистов, преданию, Пушкин не был любим большинством своих товарищей: причиною тому был несколько задорный характер его и остроумие, которое иногда разыгрывалось насчет других.

Я. К. Грот, с. 13.

В лицее Пушкин решительно ничему не учился, но как и тогда уже блистал своим дивным талантом и, сверх того, начальников пугали его злой язык и едкие эпиграммы, то на его эпикурейскую жизнь смотрели сквозь пальцы. Между товарищами, кроме тех, которые, писав сами стихи, искали его одобрения и протекции, – он не пользовался особенно приязнью. Вспыльчивый до бешенства, вечно рассеянный, вечно погруженный в поэтические свои мечтания, с необузданными африканскими страстями, избалованный с детства похвалою и льстецами, Пушкин ни на школьной скамье, ни после, в свете, не имел ничего любезного и привлекательного в своем обра-

щении. Беседы, ровной, систематической, сколько-нибудь связной, – у него совсем не было, как не было и дара слова, были только вспышки: резкая острота, злая насмешка, какая-нибудь внезапная поэтическая мысль, но все это лишь урывками, иногда, в добрую минуту; большею же частью или тривиальные общие места или рассеянное молчание. В лице он превосходил всех в чувственности.

Гр. М. А. Корф. Записка. – Я. К. Грот, с. 249.

Был он *вспыльчив*, легко раздражен – это правда: но со всем тем, он, напротив, в общем *обращении* своем, когда самолюбие его не было задето, был особенно *любезен и привлекателен*, что и доказывается многочисленными приятелями его. Беседы *систематической*, может быть, и не было, но все прочее, сказанное о разговоре его, – несправедливо или преувеличено. Во всяком случае не было *тривиальных общих мест*; ум его вообще был здравый и светлый.

Кн. П. А. Вяземский. Примечания к Записке М. А. Корфа. – Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 491.

У дворцовой гауптвахты, перед вечерней зарей, обыкновенно играла полковая музыка. Это привлекало гулявших в саду, разумеется, и нас *L'inévitable Lycée*[26], как называли иные нашу шумную, движущуюся толпу. Иногда мы проходили к музыке дворцовым коридором, в который, между другими помещениями, был выход и из комнат, занимаемых фрейлинами императрицы Елизаветы Алексеевны. Этих фрейлин было тогда три: Плюскова, Валуева и княжна Волконская. У фрейлины Валуевой была премиленькая горничная Наташа. Случалось, встречаясь с нею в темных переходах коридора, и полюбезничать: она многих из нас знала, да и кто же не знал лица, который мозолил глаза всем в саду? Однажды идем мы, растянувшись по этому коридору маленькими группами. Пушкин на беду был один, слышит в темноте шорох платья, воображает, что непременно Наташа, бросается поцеловать ее самым невинным образом. Как нарочно, в эту минуту отворяется дверь из комнаты и освещает сцену, перед ним сама княжна Волконская – Пушкин тот-

час рассказал мне про это, присоединясь к нам, стоявшим у оркестра. Он хотел написать княжне извинительное письмо. Между тем она успела пожаловаться брату своему П. М. Волконскому, а тот – государю. Государь на другой день приходит к Энгельгардту. «Что ж это будет? – говорит царь. – Твои воспитанники не только снимают через забор мои наливные яблоки, бьют сторожей садовника, но теперь уже не дают проходу фрейлинам жены моей». (Энгельгардту удалось уладить дело.)

И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 63.

Один раз под вечер, когда все кошки делаются серыми, Пушкин, бегая по какому-то коридору, наткнулся на какую-то женщину, к которой пристал с неосмотрительными речами и даже, сообщают злоязычники, с необдуманными прикосновениями. Женщина подняла крик и ускользнула, однако же успела рассмотреть и узнать виноватого. Она была немолода, некрасива и настолько знатна, что слух об этом маленьком происшествии дошел до ушей самого государя. Государь приказал немедленно Пушкина высечь. Энгельгардт

этого приказания не исполнил. Известно, что при Александре I можно было иногда повелений такого рода не выполнять, а потом за послушание получать благодарность. Слух же про скандальчик разнесся по Царскому Селу, раздражительный поэт почтил пожилую девушку следующим французским четверостишием:

*On peut tiés bien, mademoiselle,
Vous prendre pour une maquerelle,
Ou pour une vieille guenon
Mais pour une grace, – oh, mon Dieu,
non!*

*(Сударыня, могу сказать,
За сводню можно вас принять,
И на мартышку вы похожи.
На Грацию ж... помилуй боже!)*
(Пер. В. Брюсова)

М. И. Жихарев. П. Я. Чаадаев. Из воспоминаний современников. – Вестн. Европы, 1871, № 7, с. 192.

Одною из главных причин ускоренного выпуска лицеистов первого курса был известный эпизод встречи Пушкина, в дворцовом

коридоре, с княжною Волконскою, которую он принял за горничную... Узнав об этой шалости, государь прогневался и заметил Энгельгардту, что лицеисты чересчур много себе позволяют и что надо скорей их выпустить.

Ф. Ф. Матюшкин (лицейский товарищ Пушкина) по записи Я. К. Грота. – Я. К. Грот, с. 283.

Нас посещают питомцы лицея: поэт Пушкин, Ломоносов и смешат своим добрым простосердечием. Пушкин остроумен.

Н. М. Карамзин – кн. П. А. Вяземскому, 2 июня 1816 г. из Царского Села. – А. С. Пушкин, сборник П. И. Бартенева, т. II, с. 8.

С июня 1816 г. для желающих поступить в военную службу введены были военные науки. Пушкин также мечтал о военной службе и намеревался поступить в лейб-гусарский полк, в котором было много его приятелей.

В. П. Гаевский. Пушкин в лицее. – Современник, 1863, № 8, с. 388.

Да что он вам дался, – шалун был, и больше ничего!

Ф. Л. Калинин (учитель чистописания). Отзыв о Пушкине. – Лицейский журнал. IV. 1910–1911, с. 22.

Учился Пушкин легко, но небрежно; особенно он не любил математики и немецкого языка; на сем последнем он до конца жизни читал мало и не говорил вовсе.

Л. С. Пушкин. Биограф. изв. об А. С. Пушкине. – Л. Н. Майков, с. 4.

По внушению Дельвига, и Пушкин стал заниматься немецким языком, и, сделав под руководством Дельвига некоторые успехи, ходил вместе с ним к Энгельгардту для чтения у него германских авторов.

В. П. Гаевский. Дельвиг. – Современник, 1853, № 2, с. 72.

Пушкин легко сходилась с мужиками, дворниками и вообще с прислугою. У него были приятели между лицейскою и дворцовою царскосельскою прислугою.

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1899, т. III, с. 615.

Егоза Пушкин.

Подпись Пушкина под коллективным письмом лицеистов к инспектору лицея С. С. Фролову, 4 апр. 1817 г. – Петербург: Атеней, 1923. Литер. Портфели, т. I, с. 20.

Новые знакомства и беспрестанные развлеченья не могли не иметь дурного влияния на ученье, которое вообще шло довольно плохо. За 1816 г., т.е. за 4 месяца до выпускных экзаменов, Пушкин получил несколько нулей и даже в «русской поэзии» единицу. В некоторой связи с этой отметкой находится послание Пушкина *Моему Аристарху* (Кошанскому). Кошанский, сначала поощрявший Пушкина, охладевал к нему по мере того, как развивался его талант, а в последние два года преследовал его, отчасти из зависти, потому что сам кропал стихи, а может быть, и потому, что Пушкин, всегда пренебрегавший его лекциями, совершенно перестал заниматься ими.

В. П. Гаевский. Пушкин в лицее. – Совре-

менник, 1863, № 8, с. 393–394.

На стенах лицейского карцера долго оставались некоторые стихи Руслана и Людмилы. Ф. И. Калиныч, учитель каллиграфии (он же и надзиратель), рассказывал, что однажды, вышедши из карцера, Пушкин говорил, что ему было там весело, что он писал стихи (сообщено г-ном Унковским).

П. И. Бартенев. – Моск. Ведом., 1854, №№ 71–118, отд. отт., с. 54.

Карцера особого у нас не было, а заключали, и то редко, в № комнате, ставили дядьку на часы.

И. В. Малиновский. Заметка на экземпляре оттиска предыдущей статьи П. И. Бартенева. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXXVIII–XXXIX, с. 215.

Я первый, еще в лицее, познакомил с Вашим «Ахиллесом» Пушкина, который, прочитав два раза, уже знал его наизусть.

В. К. Кюхельбекер (лицейский товарищ Пушкина, декабрист) – *В. А. Жуковскому*, 10

нояб. 1840 г. – Рус. Арх., 1871, т. II, стб. 0178.

Товарищам всегда казалось, что Пушкин по развитию как будто старше всех их.

Я. К. Грот со слов *Ф. Ф. Матюшкина*. – Я. К. Грот, с. 40.

Ек. Аф. Протасова (мать Воейковой) рассказывала, – как говорил мне Н. А. Елагин, – что Пушкину вдруг вздумалось приволокнуться за женой Карамзина. Он даже написал ей любовную записку. Екатерина Андреевна, разумеется, показала ее мужу. Оба расхохотались и, призвавши Пушкина, стали делать ему серьезные наставления. Все это было так смешно и дало Пушкину такой удобный случай ближе узнать Карамзиных, что с тех пор он их полюбил, и они сблизились.

П. И. Бартенов. Рассказы о Пушкине, с. 53.

Пушкин влюбился в жену Карамзина так, что написал ей письмо прозой о том. – Отец его был с детства знаком с моим дядей П. Ф. Малиновским, прислал это письмо, переданное от Карамзина моему дяде с тем, чтобы ему дать. – Я помню это перед выпуском этот

день.

И. В. Малиновский. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXXVIII–XXXIX. с. 214.

(*Ек. Андр.*) Карамзина (*жена историка*) – предмет первой и благородной привязанности Пушкина.

Гр. Р. С. Эллинг – В. Г. Теплякову, 17 марта 1837 г. – Рус. Стар., 1896, т. 87, с. 417.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспитанник Импер. Царскосельского Лицея Александр Пушкин в течение шестилетнего курса обучался в сем заведении и оказал успехи: в Законе Божием, в Логике и Нравственной Философии, в Праве Естественном, Частном и Публичном, в Российском или Гражданском и Уголовном праве хорошие; в Латинской Словесности, в Государственной Экономии и Финансов весьма хорошие; в Российской и Французской Словесности также в Фехтовании превосходные; сверх того занимался Историею, Географиею, Статистикою, Математикою и Немецким языком. Во уверение чего и дано ему от Конференции Импер.

Царскосельского Лицея сие свидетельство с приложением печати. Царское Село. Июня 9 дня 1817 года. Директор Лицея Егор Энгельгардт. Конференц-секретарь профессор Александр Куницын.

Н. А. Гастфрейнд, с. 2

9 июня 1817 г. был акт. Характер его был совершенно иной: как открытие лицея было пышно и торжественно, так выпуск наш тих и скромн.

В ту же залу пришел император Александр в сопровождении одного министра нар. просвещения кн. Голицына. В зале были мы все с директором, профессорами, инспектором и гувернером. Энгельгардт прочел коротенький отчет за весь шестилетний курс; после него конференц-секретарь Куницын возгласил высочайше утвержденное постановление конференции о выпуске. Вслед за этим всех нас, по старшинству выпуска, представляли императору, с объявлением чинов и наград. Государь заключил акт кратким отеческим наставлением воспитанникам и изъявлением благодарности директору и всему штату ли-

цея. Тут пропета была нашим хором лицейская прощальная песнь, – слова Дельвига, музыка Теппера, который сам дирижировал хором. Государь был тронут и поэзией, и музыкой, понял слезу на глазах воспитанников и наставников, простился с нами с обычной приветливостью и пошел во внутренние комнаты, взяв кн. Голицына под руку. Энгельгардт предупредил его, что везде беспорядок по случаю сборов к отъезду. «Это ничего, – возразил он, – я сегодня не в гостях у тебя. Как хозяин, хочу посмотреть на сборы наших молодых людей». И точно, в дортуарах все было вверх дном, везде валялись вещи, чемоданы, ящики, – пахло отъездом. При выходе из лицея государь признательно пожал руку Энгельгардту. В тот же день, после обеда, начали разъезжаться: прощаньям не было конца.

Я, больной, дольше всех оставался в лицее. С Пушкиным мы тут же обнялись на разлуку: он тотчас должен был ехать в деревню к родным; я уж не застал его, когда приехал в Петербург.

И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 68.

Петербург

По выпуске из лицея всем выпускным воспитанникам было назначено жалование: титулярным советникам по 800 р. асс., коллежским секретарям по 700 р. впредь до поступления на штатные места с высшими окладами. Пушкин (*выпущенный коллежским секретарем*) получил его, как все.

Гр. М. А. Корф. Записка. – Я. К. Грот, с. 542.

Пушкин был определен в Государственную Коллегию Иностр. Дел с чином коллежского секретаря. Напрасно прежде этого добивался он у отца позволения вступить в военную службу в гусарский полк, где уже было у него много друзей и почитателей. Начать службу кавалерийским офицером была его ученическая мечта. Сергей Львович отговаривался недостатком состояния и соглашался только на поступление сына в один из пехотных гвардейских полков.

П. В. Анненков. Материалы, с. 38.

Вечером я был у Тургеневых, где был моло-

дой Пушкин, исполненный ума и обещающий еще больше в будущем.

Н. И. Кривцов. Дневник, 28 июня 1817 г. – Вестн. Европы, 1887, № 12, с. 456 (фр.).

Вышед из лица, я тотчас почти уехал в псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч. Но все это нравилось мне недолго. Я любил и до ныне люблю шум и толпу.

Пушкин. Отрывочная запись, 19 нояб. 1824 г.

Павел Исаакович Ганнибал (*родственник Пушкиных и сосед их по имению*) был человек веселый. Во главе импровизированного хора бесчисленных деревенских своих родственников, вооруженный бутылкой шампанского, он постучал утром в дверь комнаты, предоставленной приехавшему к нему на именины Ал. Сергеевичу, и пропел ему следующий экспромпт:

*Кто-то в двери постучал:
Подполковник Ганнибал.*

*Право-слово Ганнибал,
Пожалуйста, Ганнибал,
Свет-Исакыч Ганнибал,
Сделай милость, Ганнибал,
Тьфу ты, пропасть Ганнибал!*

Пушкин, только что выпущенный тогда из
лица, очень его полюбил, что однако не по-
мешало ему вызвать Ганнибала на дуэль за
то, что Павел Исаакович в одной из фигур ко-
тильона отбил у него девицу Лошакову, в ко-
торую, несмотря на ее дурноту и вставные зу-
бы, Пушкин по уши влюбился. Ссора племян-
ника с дядей кончилась минут через десять
мировой и новыми увеселениями да пляской,
причем Павел Исаакович за ужином провоз-
гласил под влиянием Вакха:

*Хоть ты, Саша, среди бала
Вызвал Павла Ганнибала,
Но, ей-богу, Ганнибал
Ссорой не подгадит бал!*

Ал. Серг-ч тут же, при публике, бросился
ему в объятия.

Л. Н. Павлищев со слов О. С. Павлищевой.
Воспоминания, с. 22.

(Пушкин посещает генерала Петра Абрамовича Ганнибала, брата его деда Осипа Абрамовича, – он жил в сельце Петровском, близ с. Михайловского) ...попросил водки. Подали водку. Налив рюмку себе, велел он ее и мне поднести; я не поморщился и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого арапа. Через четверть часа он опять попросил водки, и повторял это раз пять или шесть до обеда...

Пушкин. Встреча с Ганнибалом.

Забавно, что водка, которою старый арап подчивал тогда Пушкина, была собственного изделия хозяина: оттуда и удовольствие его при виде, как молодой родственник умел оценить ее и как развязно с нею справлялся. Генерал занимался на покое перегоном водок и настоек, и занимался без усталости, со страстию.

П. В. Анненков. Пушкин в Алекс. эпоху, с. 11.

Пушкин, вышедший из Лицея, жил в Коломне над Корфами, близ Калинкина моста, на Фонтанке, в доме, бывшем тогда Клокачевым.

П. А. Плетнев – Я. К. Гроту. – Переписка Грота с Плетневым, т. II, с. 693.

Родители Пушкина постоянно нуждались, что и отзывалось на детях, не всегда получавших от родителей деньги даже на мелкие расходы. Парадные комнаты освещались канделябрами, а в комнате моей матери, продававшей за частую свои броши и серьги, чтобы справиться себе новое платье, горела сальная свеча, купленная Ольгой Сергеевной на сбереженные его деньги.

Л. Н. Павлицев со слов О. С. Павлицевой. Воспоминания, с. 7.

С. А. Соболевский рассказывал, что Ал. Серг-чу приходилось упрашивать отца, чтобы ему купили бывшие тогда в моде бальные башмаки с пряжками, и как Сергей Львович предлагал ему свои старые, времен Павловских.

П. И. Бартенев. Пушкин в Южной России, с. 7.

Это напоминает мне Петербург: когда

больной, в осеннюю пору или в трескучие морозы, я брал извозчика от Аничкина моста, он (*отец*) вечно бранился за 80 коп. (которых, верно бы, ни ты, ни я не пожалели для слуги).

Пушкин – Л. С. Пушкину, 25 авг. 1823 г.

Пушкин, вышедши из Лицея, очутился в таком положении, в каком часто находятся молодые люди, возвращающиеся под родительский кров из богатых и роскошных учебных заведений; тут еще примешивалась мелочная скупость отца, которая только раздражала Пушкина. Иногда он довольно зло и оригинально издевался над нею. Однажды ему случилось кататься на лодке, в обществе, в котором находился и Сергей Львович. Погода стояла тихая, а вода была так прозрачна, что виднелось самое дно. Пушкин вынул несколько золотых монет, и одну за другою стал бросать в воду, любуясь падением и отражением их в чистой влаге.

П. И. Бартенев со слов В. П. Горчакова. Пушкин в Южной России, с. 9.

Пушкина-Сверчка я ежедневно браню за

его лень и нерадение о собственном образовании. К этому присоединились и вкус к площадному волокитству, и вольнодумство, также площадное, восемнадцатого столетия. Где же пища для поэта? Между тем он разоряется на мелкой монете! Пожери его.

А. И. Тургенев – В. А. Жуковскому, 12 нояб. 1817 г. – Пушкин. Письма под ред. Б. Л. Модзалевского. Гос. Изд., 1926, т. I, с. 191.

Служба в министерстве иностранных дел, а всего более родственные и общественные связи отца открыли молодому Пушкину вход в лучшие кружки большого света. Сюда относятся родственные отношения и знакомства его с графами Бутурлиными и Воронцовыми, с князьями Трубецкими, графами Лаваль, Сушковым и проч. Так, известно по преданию, что в эту пору своей жизни Пушкин появляется на блестящих вечерах и балах у графа Лавалья. Супруга сего последнего, любительница словесности и всего изящного, с удовольствием видала у себя молодого поэта, который однако и в то время уже тщательно скрывал в большом обществе свою литера-

турную известность и не хотел ничем отличаться от обыкновенных светских людей, страстно любя танцы и балы. Так знаем еще, что во второй половине 1817 г. он нередко посещал одну знатную даму, которая привлекала его внимание странным образом жизни и занятий своих, стремительностью характера и мечтательностью. (*Княгиня Евдокия-Авдотья Ивановна Голицына, род. в 1780 г.*)

П. И. Бартнев. – Моск. Ведом., 1855, №№ 142, 144—145, отд. отт., с. 16–17.

Добрый А. И. Тургенев бывает у нас часто, раза три-четыре в неделю. Вторым наш собеседник есть Кривцов, добрый *esprit fort*[27], а третий – поэт Пушкин. Он у нас в доме смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь уже проводит у нее вечера: лжет от любви, сердится от любви, только еще не пишет от любви. Признаюсь, что я не влюбился бы в Пифию: от ее трезубца пышет не огнем, а холодом.

Н. М. Карамзин – кн. П. А. Вяземскому, 24 дек. 1817 г. – Старина и Новизна, кн. I, с. 43.

Княгиня Голицына была очень красива, и в красоте ее выражалась своя особенность. Она долго пользовалась этим преимуществом. Не знаю, какова была она в своей первой молодости; но и вторая, и третья молодость ее пленяли какою-то свежестью и целомудрием девственности. Черные, выразительные глаза, густые темные волосы, падающие на плечи извилистыми локонами, южный матовый колорит лица, улыбка добродушная и грациозная; придайте к тому голос, произношение необыкновенно мягкие и благозвучные – и вы составите себе приблизительное понятие о внешности ее. Вообще, красота ее отзывалась чем-то пластическим, напоминавшим древнее греческое изваяние. В ней было что-то ясное, спокойное, скорее ленивое, бесстрастное. По собственному состоянию своему, по обоюднo-согласованному разрыву брачных отношений, она была совершенно независима. Но эта независимость держалась в строгих границах чистейшей нравственности и существенного благоприличия. Дом ее, на Большой Миллионной, был артистически украшен кистью и резцом луч-

ших из современных русских художников. Хозяйка сама хорошо гармонировала с такою обстановкою дома. Тут не было ничего из роскошных принадлежностей и прихотей скороизменчивой моды. Во всем отражалось что-то изящное и строгое. По вечерам немногочисленное, но избранное общество собиралось в этом салоне – хотелось бы сказать: в этой храмине, тем более что и хозяйку можно было признать жрицею какого-то чистого и высокого служения. Вся постановка ее, вообще туалет ее, более живописный, нежели подчиненный современному образцу, все это придавало ей и кружку, у нее собиравшемуся, что-то – не скажу таинственное, но и не обыденное, не завсегдашнее. Можно было бы думать, что тут собирались не просто гости, а и посвященные. Выше сказали мы: собирались по вечерам. Можно было бы сказать – собирались в полночь. Княгиню прозвали в Петербурге la Princesse Nocturne (княгиня ночная). Впрочем, собирались к ней не поздно, но долго засиживались. Княгиня не любила рано спать ложиться, и беседы длились обыкновенно до трех и четырех часов утра. – Была ли

княгиня очень умна или нет? Зная ее довольно коротко, мы не без некоторого смущения задаем себе сей щекотливый вопрос. Но положительный ответ на него дать не беремся.

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 378–383.

У Голицыной полуночной есть душа, и иногда разговор ее, как Россиниева музыка, действует на душу. Но все это отдельные фразы.

Кн. П. А. Вяземский. Там же, т. IX, с. 124.

Известность Пушкина и литературная, и личная, с каждым днем возрастала. Молодежь твердила наизусть его стихи, повторяла остроты его и рассказывала о нем анекдоты. Все это, как водится, было частью справедливо, частью вымышленно. Одно обстоятельство оставило Пушкину сильное впечатление. В это время находилась в Петербурге старая немка, по имени Кирхгоф. В число различных ее занятий входило и гадание. Однажды утром Пушкин зашел к ней с несколькими товарищами. Г-жа Кирхгоф обратилась

прямо к нему, говоря, что он – человек замечательный; рассказала вкратце его прошедшую и настоящую жизнь, потом начала предсказания сперва ежедневных обстоятельств, а потом важных эпох его будущего. Она сказала ему между прочим: «Вы сегодня будете иметь разговор о службе и получите письмо с деньгами». О службе Пушкин никогда не говорил и не думал; письмо с деньгами получить ему было неоткуда; деньги он мог иметь только от отца, но, живя у него в доме, он получил бы их, конечно, без письма. Пушкин не обратил большого внимания на предсказания гадалщицы. Вечером того дня, выходя из театра до окончания представления, он встретился с генералом Орловым. Они разговорились. Орлов коснулся до службы и советовал Пушкину оставить свое министерство и надеть эполеты. Возвратясь домой, он нашел у себя письмо с деньгами: оно было от одного лицейского товарища, который на другой день отправлялся за границу; он заезжал проститься с Пушкиным и заплатить ему какой-то карточный долг еще школьной их шалости. Г-жа Кирхгоф предсказала Пушкину

его изгнание на юг и на север, рассказала разные обстоятельства, с ним впоследствии сбывшиеся, предсказала его женитьбу и наконец преждевременную смерть, предупредивши, что должен ожидать ее от руки высокого, белокурого человека. Пушкин, и без того несколько суеверный, был поражен постоянным исполнением этих предсказаний и часто об этом рассказывал.

Л. С. Пушкин. Биограф. изв. об А. С. Пушкине. – Л. Н. Майков, с. 5.

В Петербург раз приехала гадательница Кирхгоф. Никита и Александр Всеволодские и Мансуров Павел, актер Сосницкий и Пушкин отправились к ней (она жила около Морской). Сперва она раскладывала карты для Всеволодского и Сосницкого. После них Пушкин попросил ее загадать и про него. Разложив карты, она с некоторым изумлением сказала: «О, это голова важная! Вы человек не простой!» Т.е. сказала в этом смысле, потому что, вероятно, не знала по-русски. Слова ее поразили Всеволодского и Сосницкого, ибо, действительно, были справедливы. Она, между про-

чим, предвещала ему, что он умрет или от белой лошади, или от белой головы (Weisskopf).

П. В. Нащокин по записи *П. И. Бартенева*. – *П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине*, с. 40.

В многолетнюю мою приязнь с Пушкиным я часто слышал от него самого об этом происшествии, он любил рассказывать его в ответ на шутки, возбуждаемые его верою в разные приметы. Сверх того, он в моем присутствии не раз рассказывал об этом именно при тех лицах, которые были у гадальщицы при самом гадании, причем ссылался на них. Для проверки и пополнения напечатанных уже рассказов считаю нужным присоединить все то, о чем *помню положительно*. Предсказание было о том, *во-первых*, что он скоро получит деньги; *во-вторых*, что ему будет сделано неожиданное предложение; *в-третьих*, что он прославится и будет кумиром соотечественников; *в-четвертых*, что он дважды подвергнется ссылке; наконец, что он проживет долго, если на 37-м году возраста не случится с ним какой беды от белой лошади, или белой головы, или белого человека (weisser Ross,

weisser Kopf, weisser Mensch), которых и должен он опасаться. – Первое предсказание о письме с деньгами сбылось в тот же вечер; Пушкин, возвратясь домой, нашел совершенно неожиданно письмо от лицейского товарища, который извещал его о высылке карточного долга, забытого Пушкиным. Товарищ этот был Корсаков, вскоре потом умерший в Италии. Такое быстрое исполнение первого предсказания сильно поразило Александра Сергеевича; не менее странно было для него и то, что несколько дней спустя, в театре, его подозвал к себе А. Ф. Орлов и стал отговаривать его от поступления в гусары, а предлагал служить в конной гвардии... Вскоре после этого Пушкин был отправлен на юг, а оттуда, через четыре года, в псковскую деревню, что и было *вторичною ссылкой*. Как же ему, человеку крайне впечатлительному, было не ожидать и не бояться конца предсказания, которое дотоле исполнялось с такою буквальною точностью??? Прибавлю следующее: я как-то изъяснил свое удивление Пушкину о том, что он отстранился от масонства, в которое был принят, и что он не принадлежал ни к како-

му другому тайному обществу. «Это все-таки следствие предсказания о белой голове, – отвечал мне Пушкин. – Разве ты не знаешь, что все филантропические и гуманитарные общества, даже и самое масонство, получили от Адама Вейсгаупта направление подозрительное и враждебное существующим государственным порядкам? Как же мне было приставать к ним? Weisskopf, Weisshaupt – одно и то же».

С. А. Соболевский. Таинственные приметы в жизни Пушкина. – Рус. Арх., 1870, т. VII, стб. 1328–1386.

На выпуск из лица молодого Пушкина смотрели члены «Арзамаса», как на счастливое для них происшествие, как на торжество. Особенно же Жуковский казался счастливым, как будто бы сам бог послал ему милое чадо. Чадо показалось мне довольно шаловливо и необузданно, и мне даже больно было смотреть, как все старшие братья наперерыв баловали маленького брата.

Ф. Ф. Вигель. Записки. т. V, с. 51.

По выходе из лица Пушкин вполне воспользовался своею молодостью и независимостью. Его по очереди влекли к себе то большой свет, то шумные пиры, то закулисные тайны: он жадно, бешено предавался всем наслаждениям. Круг его знакомства и связей был чрезвычайно обширен и разнообразен. Тут началась его дружба с Жуковским, не изменившая ему до последней минуты. Поэзией Пушкин занимался мимоходом, в минуты вдохновения.

Л. С. Пушкин. Биограф. изв. об А. С. Пушкине. – Л. Н. Майков, с. 5.

Готовясь к дебюту под руководством кн. Шаховского, я иногда встречала Пушкина у него в доме. Князь с похвалою отзывался о даровании этого юноши, не особенно красивого собою, резвого, вертлявого, почти мальчика. Знакомцы кн. Шаховского: А. С. Грибоедов, П. А. Катенин, А. А. Жандр ласкали талантливого юношу, но покуда относились к нему, как старшие к младшему; он дорожил их мнением и как бы гордился их приязнью. Понятно, что в их кругу Пушкин не занимал первого

места и почти не имел голоса. Изредка, к слову о театре и литературе, будущий гений смешил их остроумною шуткой, экспромтом или справедливым замечанием, обличавшим его тонкий эстетический вкус и далеко не юношескую наблюдательность.

Встречаясь у кн. Шаховского, мы взаимно не обращали друг на друга особенного внимания; а между тем семейство Пушкиных, жившее тогда в доме рядом с графиней Екат. Марк. Ивелич (на Фонтанке, близ Калинкина моста), было точно так же близко знакомо с нею, как и мы с матушкою. Пушкины и графиня Ивелич на страстной неделе говели вместе с нами в церкви театрального училища (на Офицерской ул., близ Большого Театра). Помню, как графиня Екатерина Марковна рассказывала мне, что Саша Пушкин, видя меня глубоко растроганною за всенощною великой пятницы, при выносе плащаницы, просил сестру свою, Ольгу Сергеевну, напомнить мне, что ему очень больно видеть мою горесть, тем более что Спаситель воскрес; о чем же мне плакать? Этой шуткой он, видимо, хотел обратить на себя мое внимание; сам же,

конечно, не мог быть равнодушен к шестнадцатилетней девочке.

– Вам было шестнадцать лет, когда я вас видел, – говорил он мне впоследствии. – Почему вы мне этого не сказали?

– Что же из этого? – смеялась я ему.

– То, что я обожаю этот прелестный возраст.

А. М. Каратыгина-Колосова (изв. трагическая актриса). Воспоминания. – Рус. Стар., 1880, т. 28, с. 566.

Три года, проведенные им в Петербурге по выходе из лицея, отданы были развлечениям большого света и увлекательным его забавам. От великолепнейшего салона вельмож до самой нецеремонной пирушки офицеров, везде принимали Пушкина с восхищением, питая и собственную, и его суетность этою славою, которая так неотступно следовала за каждым его шагом. Он сделался идолом преимущественно молодых людей, которые в столице претендовали на отличный ум и отличное воспитание. Такая жизнь заставила Пушкина много утратить времени в бездействии. Но

всего вреднее была мысль, которая навсегда укоренилась в нем, что никакими успехами таланта и ума нельзя человеку в обществе замкнуть круга своего счастья без успехов в большом свете.

Большую часть дня утром писал он свою поэму («*Руслан и Людмила*»), а большую часть ночи проводил в обществе, довольствуясь кратковременным сном в промежутке сих занятий.

П. А. Плетнев. Соч., т. I, с. 365–366.

Я столько раз вздыхал: ах, если бы бездельник этот захотел учиться, он был бы человеком выдающимся в нашей литературе.

Е. А. Энгельгардт – кн. А. М. Горчакову, 6 янв. 1818 г. – Рус. Стар., 1899, т. 99, с. 520 (фр.).

Пушкин обладал необычайною памятью: целые строфы, переданные ему Жуковским, он удерживал надолго в голове и повторял их без остановки. Жуковский имел привычку исправлять стих, забытый Пушкиным; каждый такой стих считался дурным по одному этому признаку.

Ник. И. Тургенев, быв у Н. М. Карамзина и говоря о свободе, сказал: «Мы на первой станции к ней». – «Да, – подхватил молодой Пушкин, – в Черной Грязи».

В. Д. Корнильев по сообщению М. П. Погодина. – Н. П. Барсуков, ч. 1, с. 68.

Болезнь остановила на время образ жизни, избранный мною. Я занемог гнилою горячкою. Лейтон за меня не отвечал. Семья моя была в отчаянии; но через шесть недель я выздоровел. Сия болезнь оставила во мне впечатление приятное. Друзья навещали меня довольно часто: их разговоры сокращали скучные вечера. Чувство выздоровления – одно из самых сладостных. Помню нетерпение, с которым ожидал я весны, хотя это время года обыкновенно наводит на меня тоску и даже вредит моему здоровью. Но душный воздух и закрытые окна так мне надоели во время болезни моей, что весна являлась моему воображению со всею поэтической своею прелестью. Это было в феврале 1818 года.

Пушкин. Остатки автобиографии.

Крепкое сложение, молодость возвратили Пушкина к жизни. Однако необходимо было употребить меры чрезвычайные для его излечения. Придворный медик Лейтон сажал больного в ванну со льдом.

Л. И. Бартнев. Материалы для биограф. Пушкина. – Моск. Вед., 1855, №№ 142, 144–145, отд. отт., с. 22.

Поклон Пушкину-старосте (*Вас. Львовичу*). Племяннику его легче.

К. Н. Батюшков – В. А. Жуковскому, в первой пол. янв. 1818 г. – *К. Н. Батюшков. Сочинения*, т. III, с. 488.

Наконец, он познакомился с нами и стал довольно часто посещать нас. Мы с матушкой от души его полюбили. Угрюмый и молчаливый в многочисленном обществе, «Саша Пушкин», бывая у нас, смешил своею резвостью и ребяческою шаловливостью. Бывало, ни минуты не посидит спокойно на месте; вертится, прыгает, пересаживается, перероет рабо-

чий ящик матушки, спутает клубки гарусу в моем вышиваньи; разбросает карты в гранпасьянсе, раскладываемом матушкой... «Да уймешься ли ты, стрекоза! – крикнет, бывало, моя Евгения Ивановна, – перестань, наконец!» Саша минуты на две приутихнет, а там опять начинает проказничать. Как-то матушка пригрозила наказать неугомонного Сашу: «остричь ему когти», так называла она его огромные, отпущенные на руках ногти. «Держи его за руку, – сказала она мне, взяв ножницы, – а я остригу!» Я взяла Пушкина за руку, но он поднял крик на весь дом, начал притворно всхлипывать, стонать, жаловаться, что его обижают, и до слез рассмешил нас.. . Одним словом, это был сущий ребенок, но истинно благовоспитанный.

В 1818 г., после жестокой горячки, ему обрили голову, и он носил парик. Это придавало какую-то оригинальность его типичной физиономии и не особенно его красило. Как-то, в Большом театре, он вошел к нам в ложу. Мы усадили его, в полной уверенности, что здесь наш проказник будет сидеть смирно... Ничуть не бывало! В самой патетической сце-

не Пушкин, жалуясь на жару, снял с себя парик и начал им обмахиваться, как веером... Это рассмешило сидевших в соседних ложах, обратило на нас внимание и находившихся в креслах. Мы стали унимать шалуна, он же со стула соскользнул на пол и сел у нас в ногах, прячась за барьер; наконец, кое-как надвинул парик на голову, как шапку: нельзя было без смеха глядеть на него! Так и просидел на полу во все продолжение спектакля, отпуская шуточки насчет пьесы и игры актеров.

А. М. Каратыгина-Колосова. Воспоминания. – Рус. Стар., 1880, т. 28, с. 568.

Еще долго спустя после болезни Пушкин ходил обритый и в ермолке. Видавшие его в то время помнят, что он носил широкий черный фрак с нескошенными фалдами а l'americaine[28] и шляпу с прямыми полями а la Bolivar, о которой после упомянул он, описывая наряд Онегина. Тогда же начал он носить длинные ногти, – привычка, которой он не поменял до конца, любя щеголять своими изящными пальцами.

П. И. Бартенев. Материалы для биограф. Пуш-

кина. – Моск. Вед., 1855, №№ 142, 144—145, отд. отт., с. 25.

Пушкин, увидя меня после первой нашей разлуки, заметил во мне некоторую перемену и начал подозревать, что я от него что-то скрываю. Особенно во время его болезни и продолжительного выздоровления, выдавая чаще обыкновенного, он затруднял меня опросами и расспросами (*насчет тайного общества*), от которых я, как умел, отделялся, успокаивая его тем, что он лично, без всякого воображаемого общества, действует как нельзя лучше для благой цели: тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура! в Россию скачет...» и другие мелочи в том же духе. Не было живого человека, который не знал бы его стихов. Нечего и говорить уже о разных его выходках, которые везде повторялись. Например, однажды в Царском Селе Захаржевского медвежонок сорвался с цепи от столба, на котором устроена была его будка, и побежал в сад, где мог встретиться глаз на глаз, в темной аллее, с императором, если бы

на этот раз не вострепнулся его маленький шарле и не предостерег бы от этой опасной встречи. Медвежонок, разумеется, тотчас был истреблен, а Пушкин при этом случае сказал: «Нашелся один человек, да и тот медведь!» Таким же образом он во всеуслышание в театре кричал: «Теперь самое безопасное время, – по Неве лед идет». В переводе: нечего опасаться крепости.

Между тем тот же Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других: они с покровительственной улыбкою выслушивали его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом; ни в одном из них ты не найдешь сочувствия и пр.». Он терпеливо выслушает, начнет щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется. Потом, смотришь, – Пушкин опять с тогдашними

львами! Странное смешение в этом велико-
лепном создании!

*И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с.
70–71.*

Мы были раз вместе в театре. Пушкин сидел в первом ряду и во время антрактов все вертелся около Волконского и Киселева, как собачонка какая-нибудь, и это для того, чтобы сказать с ними несколько слов, а они не обращали на него никакого внимания; мне на него мерзко было смотреть. Когда он подошел ко мне, я ему говорю: «Что ты делаешь, Пушкин? можно ли себя так срамить, – ведь над тобой все смеются!» – Он совершенно растерялся, а в следующий антракт опять то же.

И. И. Пущин по записи Е. И. Якушкина. – Е. И. Якушкин. Декабристы на поселении (из архива Якушкиных). М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1926, с. 34.

Размер стихов странный, дикий, вялый: ссылаюсь на маленького Пушкина, которому Аполлон дал чуткое ухо.

К. Н. Батюшков – А. И. Тургеневу, в конце

июня 1818 г. – К. Н. Батюшков. Соч., т. III, с. 510.

Пушкин рассказывал о себе, что он раз как-то, в начале своего поэтического поприща, представил Батюшкову стихи одного молодого человека, который, по его тогдашнему мнению, оказывал удивительное дарование. Батюшков прочитал пьесу и, равнодушно возвращая ее юному Пушкину, сказал, что он не находит в ней ничего особенного. Это изумило Пушкина: он старался защищать своего молодого приятеля и стал превозносить необычайную гладкость стиха его. *Да кто теперь не пишет гладких стихов!* – возразил Батюшков. Этот ответ навсегда остался памятным Пушкину.

Н. А. Полевой. О духовной поэзии. – Библиотека для Чтения, 1838, т. XXVI, с. 93.

(По поводу стих. Пушкина «Жуковскому»: «Когда к мечтательному миру...») Чудесный талант! Какие стихи! Он мучит меня своим даром, как привидение!

В. А. Жуковский – кн. П. А. Вяземскому, 17

апр. 1818 г. – Рус. Арх., 1896, т. III, с. 208.

Стихи чертенка-племянника чудесно-хороши. *В дыму столетий!* Это выражение – город. Я все отдал бы за него, движимое и недвижимое. Какая бестия! Надобно нам посадить его в желтый дом: не то этот бешеный сорванец нас всех заест, нас и отцов наших. Знаешь ли, что Державин испугался бы *дыма столетий?* о прочих и говорить нечего![29]

Кн. П. А. Вяземский – А. И. Тургеневу из Варшавы, 25 апр. 1818 г. – Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 480.

Однажды, зашедши к Тургеневу, я застал у него молодого Пушкина, в ком Карамзин и Жуковский предугадывали и лелеяли развивающийся высокий дар. Принесли к Тургеневу новый портрет Жуковского, и тут же Пушкин, любуясь им, написал следующие к нему стихи: «Его стихов пленительная сладость...»

А. С. Струдза. Беседа Люб. Рус. Слова и Арзамас. – Москвитянин, 1851, № 21, с. 15.

Мы наслаждались Петергофским праздни-

ком и Ораниенбаумским, хотя иллюминация и фейерверк не весьма удался. Время было прекрасное; людей множество. Несмотря на ветер довольно сильный, мы с женою, с детьми, с Тургеневым, Жуковским, Пушкиным (которые все у нас жили в Петергофе) сели на катер и носились по волнам Финского залива часа два или более; одна из них облила меня с головы до ног – но мы были веселы и думали о том, как бы съездить морем подальше!

Н. М. Карамзин – И. И. Дмитриеву, 11 июля 1818 г. – Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, с. 243.

Пушкин здесь – весь исшалился... Кривцов не перестает развращать Пушкина и из Лондона и прислал ему безбожные стихи из благочестивой Англии.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 28 авг. 1818 г., из Петербурга. – Ост. Арх., т. I, с. 117.

Праздная леность, как грозный истребитель всего прекрасного и всякого таланта, парит над Пушкиным... Пушкин по утрам рас-

сказывает Жуковскому, где он всю ночь не спал; целый день делает визиты б...м, мне и кн. Голицыной, а ввечеру иногда играет в банк... Третьего дня ездил я к Карамзиным в Царское Село. Там долго и сильно доносил я на Пушкина. Долго спорили меня, и он возвращался, хотя тронутый, но вряд ли исправленный.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 4 сент. 1818 г. – Ост. Арх., т. I, с. 119.

Не худо бы Сверчка (*Пушкина*) запереть в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикою. Из него ничего не будет путного, если он сам не захочет; потомство не отличит его от двух его однофамильцев, если он забудет, что для поэта и человека должно быть потомство. Кн. А. Н. Голицын московский промотал 20 тыс. душ в шесть месяцев. Как ни велик талант Сверчка, он его промотает, если... Но да спасут его музы и молитвы наши!

К. Н. Батюшков – А. И. Тургеневу, 10 сент. 1818 г. – К. Н. Батюшков. Соч., т. III, с. 533.

Думаем к 7 октября переехать в город, читать корректуры, делать визиты, большею частью пустые, пить чай с Тургеневым, Жуковским, Пушкиным.

Н. М. Карамзин – кн. П. А. Вяземскому, 30 сент. 1818 г., из Царского Села. – Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 475.

Мы все (*офицеры Преображенского полка*) жили тогда в верхнем этаже казарм, на углу Большой Миллионной и Зимней канавки. Молодой товарищ мой Д. П. Зыков по какому-то случаю у себя угощал завтраком; пришел ко мне слуга доложить, что меня ожидает гость: Пушкин. Я по галерее пошел к себе. Гость встретил меня в дверях, подавая в руки толстым концом свою палку и говоря:

– Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи.

– Ученого учить – портить, – отвечал я, взял его за руку и повел в комнаты. Через четверть часа все церемонии кончились, разговор оживился, время неприметно прошло, я пригласил остаться отобедать; пришли еще кой-кто, так что новый знакомец ушел уже

поздним вечером. Желая быть учтивым и расплатиться визитом, я спросил: где он живет? но ни в первый день, ни после, никогда не мог от него узнать; он упорно избегал посещения. Сам, напротив, полюбив меня с первого раза, очень часто запросто посещал, и едва ли эта первая эпоха нашего знакомства была не самая лучшая и для обоих приятная.

В это время работал он над первым из своих крупных произведений, и отрывком за отрывком прочитал мне две или три песни «Руслана и Людмилы». Без сомнения, сия поэма была гораздо выше ученических опытов; но и в ней еще много незрелого, и тут случилось мне в первый раз заметить в Пушкине нечто, может быть, укоренившееся в нем едва ли в пользу его славы на будущее время: он сознавался в ошибках, но не исправлял их...

По связям своей юности, слыша от всех близких одно и то же, Пушкин на веру повторял; но когда вступил в свет и начал ходить без помочей, на собственных ногах, встречая много людей, мыслящих каждый по-своему, он, как умный человек, тотчас сбросил или хоть скрыл односторонность чужих внуше-

ний и приметно старался, угождая каждому, со всеми уладить. Несмотря однако на врожденную ловкость, необходимо случилось ему впадать в противоречия с самим собою.

П. А. Катенин. Воспоминания о Пушкине. — Литер. наследство, т. 16—18, с. 635–636.

Катенин имел огромное влияние на Пушкина; последний принял у него все приемы, всю быстроту своих движений; смотря на Катенина, можно было беспрестанно вспоминать Пушкина. Катенин был человек очень умный, знал в совершенстве много языков и владел особенным умением читать стихи, так что его собственные дурные стихи из уст его казались хорошими.

С. П. Шевырев. Воспоминания о Пушкине. — Л. Н. Майков, с. 331.

Слушал Катенина. Прототип, по наружности, Пушкина.

М. П. Погодин. Дневник, 27 марта 1834 г. — Пушкин и его совр-ки, вып. XXIII–XXIV, с. 119.

Из переводов некоторые хороши, особенно

Лавиня: прелесть. Помнишь ли, это было твое привычное слово, говоря со мной?

П. А. Катенин – Пушкину, 14 марта 1826 г. – Переписка Пушкина, т. I, с. 337.

Пушкин имел всегда на очереди какой-нибудь стих, который любил он твердить. В года молодости его и сердечных припадков, было время, когда он часто повторял стих из гнедичева перевода вольтеровой трагедии «Танкред»:

Быть может, некогда восплачешь обо мне!

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 116.

Рассказывают, что Батюшков судорожно сжал в руках листок бумаги, на котором читал «Послание к Ю-ву» (Юрьеву) (*Поклонник ветреных Ламе... 1818 г.*), и проговорил: «О, как стал писать этот злодей!»

П. В. Анненков. Материалы, с. 50.

(1818.) Чаадаев жил в гостинице Демута. Пушкин часто посещал его и продолжал с ним живые, откровенные царскосельские бе-

седы. Но все изменялось вдруг, когда приходили к Чаадаеву с докучными визитами те его светские знакомые, которые на кредит пользовались репутацией умников и любезников. Пушкин сейчас смолкал, садился в угол на диване, поджав ноги, и упорно чуждался всяких сношений с подобными посетителями, покушавшимися иногда обращаться к нему с видом снисходительного покровительства. Об одном из этих докучных ему говорунов вспомнил он в Бессарабии, упомянув о нем в последних двух стихах послания своего к Чаадаеву.

М. Н. Лонгинов. Воспоминания о П. Я. Чаадаеве. – Рус. Вестн., 1862, т. 42, с. 126.

С Байроном Пушкин начал знакомство еще в Петербурге, где учился по-английски и брал для того у Чаадаева книжку Газлита: «*Рассказы за столом*» (Hazlite, Table talk).

П. И. Бартенев со слов П. Я. Чаадаева. Пушкин в Южной России, с. 70.

Чаадаев, воспитанный превосходно, не по одному французскому манеру, но и по-ан-

глийски, был уже двадцати шести лет, богат и знал четыре языка. Влияние на Пушкина было изумительно. Он заставлял его мыслить. Французское воспитание нашло противодействие в Чаадаеве, который уже знал Лока и легкомыслие заменял исследованием. Чаадаев был тогда умен; он думал о том, о чем никогда не думал Пушкин. Пушкин, восхищавшийся Державиным, встретил у Чаадаева опровержение, а именно за неточность изображений. Пример был «Путник» Державина: «Луна светит, сквозь мрак ужасный едет в челноке». Чаадаев был критик тогда. Взгляд его на жизнь был серьезен. Он поворотил его на мысль. Пушкин считал себя обязанным и покидал свои дурачества в доме Чаадаева, который жил тогда в Демутовом трактире. Он беседовал с ним серьезно.

Я. И. Сабуров по записи П. В. Анненкова. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 337.

Эпиграмма на Карамзина написана мною в такое время, когда Карамзин меня отстранил от себя, глубоко оскорбив и мое честолюбие, и сердечную к нему приверженность. До

сих пор не могу об этом хладнокровно вспоминать.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, 10 июня 1826 г.

Дружба Жуковского и Пушкина особенно утвердилась с той поры, как они снова свиделись осенью 1818 г. (после возвращения Жуковского из Москвы). С «Русланом и Людмилой» Пушкин постепенно знакомил друзей своих и любителей словесности на вечерах у Жуковского. Жуковский жил тогда в семействе А. А. Плещеева, в Коломне у Кашина моста, за каналом, в угловом доме. Несмотря на отдаленное положение этой части города, каждую субботу собирался к нему избранный кружок писателей и любителей просвещения. Молодой Пушкин оживлял эти собрания столько же стихами своими, как и неистощимую веселостью и остроумием, в котором никогда не было у него недостатка. – Жуковский, когда приходилось ему исправлять стихи свои, уже перебеленные, чтобы не марать рукописи, наклеивал на исправленном месте полосу бумаги с новыми стихами. Сам он ред-

ко читал вслух свои произведения и обыкновенно поручал это другим. Раз кто-то из читателей, которому прежние стихи нравились лучше новых, сорвал бумажку и прочел по-старому. В эту самую минуту Пушкин, среди общей тишины, с ловкостью подлезает под стол, достает бумажку и, кладя ее в карман, преважно говорит: «Что Жуковский бросает, то нам еще пригодится». (За сообщение этого сведения обязаны мы очевидцу П. А. Плетневу.)

П. И. Бартенов. – Моск. Вед., 1855, №№ 142, 144—145, отд. отд., с. 31–33.

Княгиня Авдотья Ивановна (*Голицына*) благородная и, когда не на треножнике, а просто на стуле, – умная женщина. Я люблю ее за милую душу и за то, что она умнее за других, нежели за себя. Жаль, что Пушкин уже не влюблен в нее, а то бы он передал ее потомству в поэтическом свете.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 3 дек. 1818 г., из Петербурга. – Ост. Арх., т. I, с. 159.

Сверчок (*Пушкин*) прыгает по бульвару и

по... Стихи свои едва писать успеваает. Но при всем беспутном образе жизни его он кончает четвертую песнь поэмы (*«Руслан и Людмила»*). Если бы еще два или три... так и дело в шляпе. Первая... болезнь была и первою кормилицею его поэмы.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 18 дек. 1818 г. – Там же, с. 174.

20 числа сего месяца служащий в Иностранной Коллегии переводчиком Пушкин был в каменном театре в большом бенуаре, во время антракту пришел из одного в креслы и, проходя между рядов кресел, остановился против сидевшего коллежского советника Перовощикова с женою, почему г. Перовощиков просил его проходить далее, но Пушкин, приняв сие за обиду, наделал ему грубости и выбранил его неприличными словами.

И. С. Горголи (петербургский полицмейстер) в отношении своем от 23 дек. 1818 г. П. Я. Убри (начальнику Пушкина по службе). – Былое, 1906, т. XI, с. 28.

Я не оставил сделать строгое замечание

служащему в государственной коллегии иностранных дел коллежскому секретарю Пушкину насчет неприличного поступка его с коллежским советником Перевощиковым, с тем чтобы он воздержался впредь от подобных поступков; в чем и дал он мне обещание.

П. Я. Убри в отношении своем от 9 янв. 1818 г. *И. С. Горголи*. – Там же, с. 29.

(Около 1818 г.) Лицейского своего товарища Кюхельбекера Пушкин очень любил, но часто над ним подшучивал. Кюхельбекер хаживал к Жуковскому и отчасти надоедал ему своими стихами. Однажды Жуковский куда-то был зван на вечер и не явился. Когда его после спросили, отчего он не был, Жуковский отвечал: «Я еще накануне расстроил себе желудок; к тому же пришел Кюхельбекер, и я остался дома». Пушкин написал на это стихи:

*За ужином объелся я,
Да Яков запер дверь оплошно.
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно, и тошно!*

Кюхельбекер взбесился и требовал дуэли. Никак нельзя было уговорить его. Дело было

зимою. Кюхельбекер стрелял первый и дал промах. Пушкин кинул пистолет и хотел обнять своего товарища; но тот неистово закричал: «стреляй, стреляй!» Пушкин насилу его убедил, что невозможно стрелять, потому что снег набился в ствол. Поединок был отложен, и потом они помирились. Яков – слуга Жуковского.

П. И. Бартенев по запискам *В. И. Даля*. Пушкин в Южной России, с. 101.

М. А. Максимович рассказывал, как Кюхельбекер стрелялся с Пушкиным и как в промахнувшегося последний не захотел стрелять, но с словом: «полно дурачиться, милый; пойдем чай пить», – подал ему руку, и ушли домой.

О. М. Бодянский. Дневник. – Рус. Стар., 1888, т. 60, с. 414.

Матюшкин рассказывал, что Пушкин дрался с Кюхельбекером за какое-то вздорное слово, но выстрелил на воздух. Они тотчас же помирились и продолжали дружбу.

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1910, т. II, с. 48.

Кюхельбекер вызвал Пушкина на дуэль. Пушкин принял вызов. Оба выстрелили, но пистолеты заряжены были клюквою, и дело кончилось ничем.

Н. И. Греч. Записки о моей жизни. СПб., 1886, с. 383.

(1817–1820.) Театральная школа находилась через дом от нас на Екатерининском канале. Пушкин был влюблен в одну из воспитанниц-танцорок и прохаживался одну весну мимо окон школы и всегда проходил по маленькому переулку, куда выходила часть нашей квартиры, и тоже поглядывал на наши окна, где всегда сидели тетки за шитьем. Они были молоденькие, недурны собой. Я подметила, что тетки всегда волновались, завидя Пушкина, и краснели, когда он смотрел на них. Я старалась заранее встать к окну, чтобы посмотреть на Пушкина. Тогда была мода носить испанские плащи, и Пушкин ходил в таком плаще, закинув одну полу на плечо. – Не могу определенительно сказать, сколько времени прошло после того, как прогуливался Пуш-

кин мимо наших окон; но однажды в театре я сидела в ложе с одною из теток. Почти к последнему акту в соседнюю ложу, где сидели две дамы и старичок, вошел курчавый, бледный и худощавый мужчина. Я сейчас же заметила, что у него на одном пальце надето что-то в роде золотого наперстка. Это меня заинтересовало... Курчавый господин зевал, потягивался и не смотрел на сцену, глядел больше на ложи, отвечал нехотя, когда с ним заговаривали дамы по-французски... Вдруг я припомнила, где его видела... Пушкин скоро ушел из ложи. Более мне не удалось его видеть. Уже взрослою я узнала значение золотого наперстка на его пальце. Он отрастил себе большой ноготь и, чтобы последний не сломался, надевал золотой футляр.

А. Я. Головачева-Панаева. Воспоминания.
СПб., 1890, с. 23.

(1819.) Поводом к сочинению оды «Вольность» послужил разговор поэта с Каверинным: проезжая с ним ночью на извозчике мимо Инженерного замка, – может быть, на Фонтанку, к Тургеневым, – Пушкин вызвался на-

писать стихи на это мрачное здание.

Ю. Н. Щербачев со слов *Е. П. Соколовой*, дочери П. П. Каверина. – Ю. Н. Щербачев. *Приятели Пушкина Щербинин и Каверин*. М., 1913, с. 61.

Из людей, которые были старше Пушкина, всего чаще посещал он братьев Тургеневых; они жили на Фонтанке, прямо против Михайловского замка, что ныне Инженерный, и к ним, т.е. к меньшому Николаю, собирались нередко высокоумные молодые вольнодумцы. Кто-то из них, смотря в открытое окно на пустой тогда, забвенью брошенный дворец, шутя предложил Пушкину написать на него стихи. Он по матери происходил от Арапа и гибкостью членов, быстротой телодвижений несколько походил на негров и на человекоподобных жителей Африки. С этим проворством вдруг вскочил он на большой и длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать. Окончив, показал стихи и, не знаю почему, назвал их «Одой на свободу».

Ф. Ф. Вигель. Записки, т. VI, с. 10.

Самое сильное нападение Пушкина на меня по поводу (*тайного*) общества было, когда он встретился со мною у Н. И. Тургенева, где тогда собрались все желавшие участвовать в предполагаемом издании политического журнала. Тут, между прочим, были Куницын и наш лицейский товарищ Маслов. Мы сидели кругом большого стола. Маслов читал статью свою о статистике. В это время я слышу, что кто-то сзади берет меня за плечо. Оглядываюсь – Пушкин! «Ты что здесь делаешь? Наконец поймал тебя на самом деле», – шепнул он мне на ухо и прошел дальше. Кончилось чтение. Мы встали. Подхожу к Пушкину, здороваюсь с ним; подали чай, мы закурили сигарки и сели в уголок. «Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем? Верно, это ваше общество в сборе? Я совершенно нечаянно зашел сюда, гуляя в Летнем саду. Пожалуйста, не секретничай; право, любезный друг, это ни на что не похоже!» Мне и на этот раз легко было без большого обмана доказать ему, что это совсем не собрание общества, им отыскиваемого, что он

может спросить Маслова и что я сам тут совершенно неожиданно. Не знаю настоящим образом, до какой степени это объяснение удовлетворило Пушкина; только вслед за этим у нас переменялся разговор и мы вошли в общий круг.

И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 72.

Дружбы между Пушкиным и Рылеевым не было. П. А. Плетнев передавал нам, что Пушкин смеивался над неумеренностью суждений Рылеева, над его отзывами о европейской политике, которую будто изучал он по тогдашним русским газетам в книжной лавке Оленина. Пушкина с Рылеевым связывали только общие занятия словесностью.

П. И. Бартенев. – Деятнадцатый век. Историч. сборн., М., 1872, т. I, с. 76.

За что Пушкин мог рассердиться на меня, чтобы, после наших добрых отношений, бросить в меня пасквилем? Как я узнала впоследствии, причиною озлобления Пушкина была нелепая сплетня. Говоря о Пушкине у князя Шаховского, Грибоедов назвал его «мартыш-

кой». Пушкину перевели, будто бы это прозвище было дано ему мною!.. Раздраженный, раздосадованный, не взяв труда доискаться правды, поэт осмеял меня[30]. Катенин и Грибоедов пеняли ему, настаивали на том, чтобы он извинился передо мною. Пушкин сознался в своей опрометчивости, ругал себя и намеревался ехать ко мне с повинной. Но тут последовала его высылка из Петербурга.

А. М. Каратыгина-Колосова. Воспоминания. – Рус. Стар., 1880, т. 28, с. 569.

Большую частью эпиграммы, каламбур и остроты срывались с языка Пушкина против тех людей, которые имели неосторожность оскорбить чем-либо раздражительного поэта: в этих случаях он не щадил никого и тотчас обливал своего противника едкою желчью. На одном вечере Пушкин, еще в молодых летах, был пьян и вел разговор с одною дамою. Надобно прибавить, что эта дама была рябая. Чем-то недовольная поэтом, она сказала:

– У вас, Александр Сергеевич, в глазах двоит?

– Нет, сударыня, – отвечал он, – *рябит!*

(М. М. Попов (чиновник III Отдел.). – Рус. Стар., 1884, № 8, с. 686.

Пушкин слег: старое пристало к новому, и пришлось ему опять за поэму приниматься.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 12 февр. 1819 г. – Ост. Арх., т. I, с. 191.

Венера пригвоздила Пушкина к постели и к поэме.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 22 февр. 1819 г. – Там же, с. 200.

Пушкин уже на ногах и идет в военную службу.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 5 марта 1819 г. – Ост. Арх., т. I., с. 202

Пушкин не на шутку собирается в Тульчин, а оттуда в Грузию и бредит уже войною. Он уже и слышать не хочет о мирной службе.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 12 марта, 1819 г. – Там же, с. 252.

Щербинин, Олсуфьев – Пушкин – у меня в

П-бурге ужинали – шампанское в лед было поставлено за сутки вперед – случайно тогдашняя красавица моя (для удовлетворения плотских желаний) мимо шла – ее зазвали – жар был несносный – Пушкина просили память этого вечера в нас продолжить стихами – вот они – оригинал у меня.

27 мая 1819.

*Веселый вечер в жизни нашей
Запомним, юные друзья;
Шампанского в стеклянной чаше
Шипела хладная струя.
Мы пили – и Венера с нами
Сидела прелесть за столом,
Когда ж вновь сядем вчетвером
С б....ми, вином и чубуками.*

П. П. Каверин. Тетрадь 1824–1830 гг. – Ю. Н. Щербачев. Приятели Пушкина Щербинин и Каверин, с. 16.

Пушкин очень болен. Он простудился, дожидаясь у дверей одной... которая не пускала его в дождь к себе, для того чтобы не заразить его своею болезнью. Какая борьба благородства, любви и распутства!

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому. 18 июня 1819 г. – Ост. Арх., т. I, с. 253.

Пушкину лучше, но был опасно болен.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 25 июня 1819 г. – Там же, с. 256.

Пушкин выздоравливает.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 1 июля 1819 г. – Там же, с. 260.

Дельвиг обещал на днях зайти за мною и отвести к Пушкину, который в это время по болезни не мог выходить из комнаты... Пушкин жил тогда на Фонтанке, близ Калинкина моста... Мы вошли на лестницу, слуга отворил двери, и мы вступили в комнату. У дверей стояла кровать, на которой лежал молодой человек в полосатом бухарском халате, с ермолкою на голове. Возле постели, на столе, лежали бумаги и книги. В комнате соединялись признаки жилища молодого светского человека с поэтическим беспорядком ученого. При входе нашем Пушкин продолжал писать несколько минут; потом, обратясь к нам, как будто уже знал, кто пришел, подал обе ру-

ки моим товарищам (*Дельвигу и Баратынскому*) со словами: «Здравствуйте, братцы!» Вслед за сим он сказал мне с ласковою улыбкою: «Я давно желал знакомиться с вами, ибо мне сказывали, что вы большой знаток в вине и всегда знаете, где достать лучшие устрицы». Я не знал, радоваться ли мне этому приветствию или сердиться на него... Мы говорили о древней и новой литературе. Суждения Пушкина были вообще кратки, но метки, и даже когда они казались несправедливыми, способ изложения их был так остроумен и блистателен, что трудно было доказать их неправильность. В разговоре его была большая склонность к насмешке, которая часто становилась язвительною. Она отражалась во всех чертах лица его, и думаю, что он способен возвыситься до той истинно-поэтической иронии, которая подымлется над ограниче-ною жизнью смертных и которой мы столько удивляемся в Шекспире. Хозяин наш оканчивал тогда романтическую свою поэму. Я знал уже из нее некоторые отрывки, которые исполнили меня намерением узнать целое. Я высказал это желание; товарищи мои присо-

единились ко мне, и Пушкин принужден был уступить нашим усиленным просьбам и прочесть свое сочинение.

(В. Эртель)[31]. Выписка из бумаги дяди Александра. – Рус. Альманах за 1832–1833 гг., изданный В. Эртелем и А. Глебовым. СПб., 1832, с. 285–300.

Однажды мы в длинном фургоне возвращались с репетиции. Тогда против Большого театра жил камер-юнкер Никита Всеволодович Всеволожский, которого Дембровский (*воспитанник театрального училища, спутник автора*) учил танцевать. Это было весною, кажется, в 1818 году. Когда поравнялся наш фургон с окном, на котором тогда сидел Всеволожский и еще кто-то с плоским, приплюснутым носом, большими губами и с смуглым лицом мулата, Дембровский высунулся из окна нашего фургона и начал им усердно кланяться. Мулат снял с себя парик, стал им махать над своей головой и кричал что-то Дембровскому. Эта фарса нас всех рассмешила. Я спросил Дембровского: «Кто этот господин?», и он отвечал мне, что это сочини-

тель Пушкин, который тогда только что начинал входить в известность. Тут же Дембровский прибавил, что после жестокой горячки Пушкину выбрили голову и что-де на днях он написал на этот случай стихотворение:

*Я ускользнул от Эскулапа
Худой, обритый, но живой.
Его мучительная лапа
Не тяготеет надо мной.
Здоровье, легкий друг Приапа,
И сон, и сладостный покой,
Как прежде посетили снова
Мой угол тесный и простой*

и т. д.[32]

П. А. Каратыгин (изв. комик-актер и водевилист). Записки. СПб., 1880, с. 43.

Вообрази себе двенадцатилетнего юношу, который шесть лет живет в виду дворца и в соседстве с гусарами, и после обвиняй Пушкина за его «Оду на свободу» и за две болезни не русского имени!

А. И. Тургенев – кн. *П. А. Вяземскому*, 5 авг. 1819 г. – Ост. Арх., т. I, с. 280.

Пушкина здесь нет; он в деревне на все лето и отдыхает от парнасских своих подвигов. Поэма у него почти вся в голове. Есть, вероятно, и на бумаге, но вряд ли для чтения.

4. И. Тургенев – И. И. Дмитриеву, 7 авг. 1819 г., из Петербурга. – Рус. Арх., 1867, с. 651.

(В Царском Селе у Карамзина и Жуковского.) Явился обритый Пушкин из деревни и с шестою песнью («Руслан и Людмила»). Здесь я его еще не видал, а там он, как бес, мелькнул, хотел возвратиться со мною и исчез в темноте ночи, как привидение.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 19 авг. 1819 г., из Петербурга. – Ост. Арх., т. I, с. 293.

Из Царского Села свез я ночью в Павловское Пушкина. Мы разбудили Жуковского. Пушкин начал представлять обезьяну и собачью комедию и тешил нас до двух часов утра.. Дорогой из Царского Села в Павловск писал он послание о Жуковском к павловским фрейлинам, но еще не кончил.

Что из этой головы лезет! Жаль, если он ее не сносит! Он читал нам пятую песню своей

поэмы, в деревне сочиненную. Здесь возобновил он прежний род жизни. Волос уже нет, и он ходит бледный, но не унылый.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 26 авг. 1819 г. – Там же, с. 296.

Склонись, о Пушкин, Феба ради,
На просьбу слабого певца
И вспомни, как к моей отраде,
Ты мне посланье обещал;
Припомни также вечер ясный,
Когда до дому провожал
Тебя, пиит мой сладкогласный,
И ты мне руку с словом дал;
Когда стихами и шампанским
Свои рассудки начиня
И дымом окурясь султанским,
Едва дошли мы до коня;
Уселись кое-как на дрожках,
Качаясь, ехали в тени,
И гасли медленно в окошках
Чуть-чуть заметные огни;
Зыбясь, в Фонтанке отражалась
Столбом серебряным луна,
И от строений расстилалась
Густая тень, как пелена,
И слышен был, подобно грому,

Повозок шум издалека;
По своду темно-голубому
Прозрачны плыли облака.
И Вesper теплился порою,
Двояся трепетно в струях:
В то время мчались мы с тобою
В пустых коломенских краях...
Ты вспомни, как, тебя терзая,
Согласье выпросил тогда,
Как сонным голосом, зевая,
На просьбу мне ты молвил: да.
Но вот проходит уж вторая
Неделя с вечера того,
Я слышу, пишешь ты ко многим,
Ко мне ж покамест ничего...

Я. Н. Толстой – Пушкину. – В. Каллаш. Русские поэты о Пушкине. М., 1899, с. 8. (В 1819 г. Пушкин написал послание к Я. Толстому «Стансы»: Философ ранний, ты бежишь...).

Исторически буду говорить тебе о наших, – все идет по-прежнему: шампанское, славу богу, здорово, актрисы также, – то пьется, а те (.....) – аминь, аминь, так и должно. У Юрьева х.....[33] славу богу здоров, – у меня открывается маленький, и то хорошо – Всеволжский иг-

рает: мел столбом! Деньги сыплются! Поговори мне о себе – о военных поселениях – это все мне нужно – потому что я люблю тебя – и ненавижу деспотизм.

Пушкин – П. В. Мансурову, 27 окт. 1819 г.

Беснующегося Пушкина мельком вижу только в театре, куда он заглядывает в свободное от зверей время. В прочем же жизнь его проходит у приема билетов, по которым пускают смотреть привезенных сюда зверей, между коими тигр есть самый смирный. Он влюбился в приемщицу билетов и сделался ее cavalier servant[34]; наблюдает между тем природу зверей и замечает оттенки от скотов, которых смотрит gratis[35].

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому. 12 ноября 1819 г. – Ост. Арх., т. I, с. 350.

Императрица Елизавета спрашивала Жуковского, который в то время Александре Федоровне (*жене вел. кн. Николая Павловича*) порусски уроки давал, от чего Пушкин, сочиняя хорошо, – ничего не напишет для нее. Пушкин послал «На лире скромной, благородной»

и пр. (Следует текст «Ответа на вызов написать стихи в честь гос. имп-цы Ел. Ал-ны»).

П. П. Каверин. Тетрадь 1824–1830 гг. – Ю. Н. Щербачев. Приятели Пушкина Щербинин и Каверин, с. 78.

В этот мой приезд в Петербург я встретила Пушкина в доме тетки моей Олениной... Я видела Карамзина с его гордой, даже надменной супругой. Некто сказал, когда вошел Карамзин и жена его в залу: «Oui, c'est là m-me Карамзин, on le voit à sa morgue! (Да, это г-жа Карамзина, ее узнаешь по ее гордой осанке)». Она была первою любовью Пушкина.

А. П. Керн. Воспоминания. – Рус. Стар., 1870, т. 1, с. 264.

(1819.) На одном из вечеров у Олениных я встретила Пушкина и не заметила его; мое внимание было поглощено шарадами, которые тогда разыгрывались и в которых участвовали Крылов, Плещеев и другие... Но он вскоре дал себя заметить. Во время дальнейшей игры на мою долю выпала роль Клеопатры, и когда я держала корзинку с цветами,

Пушкин, вместе с братом Александром Полторацким, подошел ко мне, посмотрел на корзинку и, указывая на брата, сказал: «А этот господин будет, наверно, играть роль аспида?» Я нашла это дерзким, ничего не ответила и ушла. После этого мы сели ужинать.

У Олениных ужинали на маленьких столиках. За ужином Пушкин уселся с братом моим позади меня и старался обратить на себя мое внимание льстивыми возгласами, как например: «Позволительно ли быть такою хорошенькою!» Потом завязался между ними шуточный разговор о том, кто грешник и кто нет, кто будет в аду и кто попадет в рай. Пушкин сказал брату: «Во всяком случае, в аду будет много хороших, там можно будет играть в шарады. Спроси у m-me Керн: хотела ли бы она попасть в ад?» Я отвечала очень серьезно и несколько сухо, что в ад не желаю. «Ну, как же ты теперь, Пушкин?» – спросил брат. – «Я раздумал, – ответил поэт, – я в ад не хочу, хотя там и будут хорошенькие женщины».

А. П. Керн. Воспоминания. – Л. Н. Майков, с. 236.

П. А. Катенин заметил в эту зиму (1819 г.) характеристическую черту Пушкина, сохранившуюся и впоследствии: осторожность в обхождении с людьми, мнение которых уважал, ловкий обход спорных вопросов, если они поставлялись слишком решительно.

П. В. Анненков. Материалы, с. 51.

В Петербурге, в Толмачевом переулке, от Гостиного Двора к нынешнему Александрьевскому театру, бывшем, кажется, глухим, был кабак вроде харчевни. Пушкин с Дельвигом и еще с кем-то в компании, человек по пяти, иногда ходили, переодевшись в дрянные платья, в этот кабак кутить, наблюдать нравы таких харчевен и кабаков и испытывать самим тамошние удовольствия.

А. П. Нордштейн. Выписки из тетрадей. – Рус. Арх., 1905, т. III, с. 255.

Разве в наше время, когда мы били немцев на Красном Ка-бачке и нам не доставалось, а немцы получали тычки, сложа руки?

Пушкин – жене Н. Н. Пушкиной, 18 мая 1836 г.

Физическая организация молодого Пушкина, крепкая, мускулистая и гибкая, была чрезвычайно развита гимнастическими упражнениями. Он славился, как неутомимый ходок пешком, страстный охотник до купанья, до езды верхом и отлично дрался на эспадронах, считаясь чуть ли не первым учеником известного фехтовального учителя Вальвиля.

П. В. Анненков. Материалы, с. 38.

Многие тогда сами на себя наклепывали. Эта тогдашняя черта водилась и за Пушкиным: придет, бывало, в собрание, в общество, и расшатывается: «Что вы, Александр Сергеевич?» – «Да вот выпил 12 стаканов пуншу!» А все вздор, и одного не допил.

Ф. Н. Глинка. – Рус. Стар., 1871, т. 3, с. 245.

Пьет он (*Лев Пушкин*), как я заметил, более из тщеславия, нежели из любви к вину. Он толку в вине не знает, пьет, чтобы перепить других, и я никак не могу убедить его, что это смешно. Ты так же молод был, как ныне молод он, сколько из молодечества выпил лиш-

него?

Бар. А. А. Дельвиг – Пушкину, 21 марта 1827 г. – Переписка Пушкина, т. II, с. 14.

Приведу анекдот, слышанный мною в детстве, более чем вероятно, дошедший до моих домашних от Щербинина или Каверина, – вернее от последнего. На одном кутеже Пушкин побился, будто бы, об заклад, что выпьет бутылку рома и не потеряет сознания. Исполнив, однако, первую часть обязательства, он лишился чувств и движения и только, как заметили присутствующие, все стибал и разгребал мизинец левой руки. Придя в себя, Пушкин стал доказывать, что все время помнил о закладе и что двигал мизинцем во свидетельство того, что не потерял сознания. По общему приговору, пари было им выиграно.

Ю. Н. Щербачев. Приятели Пушкина Щербинин и Каверин, с. 207.

После смерти отца молодой Нащокин, избалованный богатою матерью, предался свободной и совершенно независимой жизни, так что, живя на всем готовом в доме роди-

тельницы, он нанимал бельэтаж какого-то большого дома на Фонтанке для себя, а вернее для друзей. Сюда он приезжал ночевать с ночных игр и кутежей, сюда же каждый из знакомых его мог явиться на ночлег не только один или сам-друг, но мог приводить и приятелей (не знакомых Нащокину), и одиноких, и попарно. Многочисленная прислуга под управлением карлика Карлы-головастика обязана была для всех раскладывать на полу матрацы, со всеми принадлежностями приличных постелей: парных – в маленьких кабинетах, а холостякам в больших комнатах, вповалку. Сам хозяин, являсь позднее всех, спросит только, много ли ночлежников, потом тихо пробирается в свой отдельный кабинет. Но зато утром все обязаны явиться к кофе и чаю: тут происходят новые знакомства и интересные эпизоды... Случалось, что в торжественные дни рождения Нащокина гвардейская молодежь с красотками, после великолепного завтрака и множества опорожненных бутылок, сажали в четырехместную карету, запряженную четверкою лошадей, нащокинского Карлу-карлика с кучей разряжен-

ных девиц, а сами, сняв мундиры, в одних рейтузах и рубашках, засев на места кучера и форейтора и став на запятках вместо лакеев, летели во всю конскую прыть по Невскому проспекту, по Морской и по всем лучшим улицам. А раз, по инициативе Пушкина, тоже в день рождения Нащокина, приглашают друзей его самого в собственный его приют, где при входе приготовили ему сюрприз, до того циничный, что невозможно описать.

Н. И. Куликов со слов П. В. Нащокина. Пушкин и Нащокин. – Рус. Стар., 1880, т. 29, с. 991.

Между нами было и не без шалостей. Случалось, зайдет он ко мне. Вместо: «Здравствуй», я его спрашиваю: «От нее ко мне или от меня к ней?» В моем соседстве, на Мойке, жила Анжелика – прелесть-полька! «На прочее завеса!» Возвратясь однажды с ученья, я нахожу на письменном столе развернутый большой лист бумаги. На этом листе нарисована пером знакомая мне комната, трюмо, две кушетки. На одной из кушеток сидит развалившись претолстая женщина, почти портрет безобразной тетки нашей Анжелики. У

ног ее – стрикс, маленькая несносная собачонка. Подписано: «От нее ко мне или от меня к ней?» Не нужно было спрашивать, кто приходил. Кроме того, я понял, что Пушкин этот раз и ее не застал дома.

И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 71.

Пушкин почти кончил свою поэму. Пора в печать. Я надеюсь от печати и другой пользы, личной для него: увидев себя в числе напечатанных и, следовательно, уважаемых авторов, он и сам станет уважать себя и несколько остепенится. Теперь его знают только по мелким стихам и по крупным шалостям.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому. 25 февр. 1820 г. – Ост. Арх., т. II, с. 23.

В свете Пушкин предался распутствам всех родов, проводя дни и ночи в непрерывной цепи вакханалий и оргий. Должно дивиться, как здоровье и талант его выдержали такой образ жизни, с которым естественно сопрягались и частые гнусные болезни, низводившие его не раз на край могилы. Пушкин не был со-

здан ни для света, ни для общественных обязанностей, ни даже, думаю, для высшей любви или истинной дружбы. У него господствовали только две стихии: удовлетворение плотским страстям и поэзия, и в обоих он ушел далеко. В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших нравственных чувств, и он полагал даже какое-то хвастовство в отъявленном цинизме по этой части: злые насмешки, – часто в самых отвратительных картинах, – над всеми религиозными верованиями и обрядами, над уважением к родителям, над родственными привязанностями, над всеми отношениями, – общественными и семейными, – это было ему ни по чем, и я не сомневаюсь, что для едкого слова он иногда говорил даже более и хуже, нежели в самом деле думал и чувствовал.. Вечно без копейки, вечно в долгах, иногда почти без порядочного фрака, с беспрестанными историями, с частыми дуэлями, в близком знакомстве со всеми трактирщиками, непотребными домами и прелестницами петербургскими, Пушкин представлял тип самого грязного разврата.

Сколько мне известно, он вовсе не был *предан распутствам всех родов*. Не был монахом, а был грешен, как и все в молодые годы. В любви его преобладала вовсе не *чувственность*, а скорее поэтическое увлечение, что, впрочем, отразилось и в поэзии его.

Никакого особенного знакомства с трактирами не было, и ничего трактирного в нем не было, а еще менее *грязного разврата*. Все эти обвинения не только несправедливая строгость, но и клевета.

Кн. П. А. Вяземский. Примеч. к Записке М. А. Корфа. – П. П. Вяземский. Соч., с. 493.

(1817–1820.) Пушкин и бар. М. А. Корф (*лицейский товарищ Пушкина*) жили в одном и том же доме; камердинер Пушкина, под влиянием Бахуса, ворвался в переднюю Корфа с целью завести ссору с камердинером последнего. На шум вышел Корф и, будучи вспыльчив, прописал виновнику беспокойства *argumentum baculinum*[36] (побил палкой). Побитый пожаловался Пушкину. А. С. вспы-

лил в свою очередь и, заступаясь за слугу, немедленно вызвал Корфа на дуэль. На письменный вызов Корф ответил также письмен-но: «Не принимаю вашего вызова из-за такой безделицы не потому, что вы Пушкин, а потому, что я не Кюхельбекер».

Л. Н. Павлищев. Воспоминания, с. 33.

(1819–1820.) Я занимал в нижнем этаже две комнаты, но первую от входа уступил приехавшему майору Денисевичу... В одно прекрасное утро, – было ровно три четверти восьмого, – я вошел в соседнюю комнату, где обитал мой майор. Только что я ступил в комнату, из передней вошли в нее три незнакомые лица. Один был очень молодой человек, худенький, небольшого роста, курчавый, с арабским профилем, во фраке. За ним выступили два кавалерийских гвардейских офицера. Статский подошел ко мне и сказал мне тихим, вкрадчивым голосом: «Позвольте вас спросить, здесь живет Денисевич?» – «Здесь, – отвечал я, – но он вышел куда-то, и я велю сейчас позвать его». Я только что хотел это исполнить, как вошел сам Денисевич. При

взгляде на воинственных ассистентов статского посетителя он, видимо, смутился, но вскоре оправился и принял также марциальную осанку. «Что вам угодно?» – сказал он статскому довольно сухо. – «Вы это должны хорошо знать, – отвечал статский, – вы назначили мне быть у вас в восемь часов (тут он вынул часы); до восьми остается еще четверть часа. Мы имеем время выбрать оружие и назначить место»... Все это было сказано тихим, спокойным голосом, как будто дело шло о назначении приятельской пирушки. Денисевич мой покраснел, как рак, и, запутываясь в словах, отвечал: «Я не затем звал вас к себе... Я хотел вам сказать, что молодому человеку, как вы, нехорошо кричать в театре, мешать своим соседям слушать пьесу, что это неприлично». – «Вы эти наставления читали мне вчера при многих слушателях, – сказал более энергическим голосом статский, – я уж не школьник и пришел переговорить с вами иначе. Для этого не нужно много слов: вот мои два секунданта; этот господин – военный (тут указал он на меня), он не откажется, конечно, быть вашим свидетелем. Если вам

удотно...» Денисевич не дал ему договорить: «Я не могу с вами драться; вы молодой человек, неизвестный, а я штаб-офицер...» При этом оба офицера засмеялись; я побледнел и затрясся от негодования, видя глупое и униженное положение, в которое поставил себя мой товарищ. Статский продолжал твердым голосом: «Я – русский дворянин, Пушкин; это засвидетельствуют мои спутники, и потому вам не стыдно будет иметь со мною дело». (Узнав, что перед ним – автор «Руслана и Людмилы», рассказчик решил приложить все старания, чтобы предотвратить дуэль. Один из секундантов сообщает ему причину ссоры): Пушкин накануне был в театре, где судьба посадила его рядом с Денисевичем. Играли пустую пьесу, Пушкин зевал, шикал, говорил громко: «Несносно!» Соседу его пьеса, по-видимому, очень нравилась. Выведенный из терпенья, он сказал Пушкину, что тот мешает ему слушать пьесу. Пушкин искоса взглянул на него и принялся шуметь по-прежнему. Тут Денисевич объявил, что попросит полицию вывести его из театра. «Посмотрим», – отвечал хладнокровно Пушкин и продолжал по-

весничать. После спектакля Денисевич остановил Пушкина в коридоре. «Молодой человек, – сказал он и вместе с этим поднял свой указательный палец: – вы мешали мне слушать пьесу... Это неприлично, невежливо». – «Да, я не старик, – отвечал Пушкин, – но, господин штаб-офицер, еще невежливее здесь и с таким жестом говорить мне это. Где вы живете?» Денисевич сказал свой адрес и назначил приехать к нему в 8 часов утра. Не был ли это настоящий вызов? «Буду», – отвечал Пушкин. *(Рассказчик увел Денисевича в соседнюю комнату. Ему удалось убедить майора в его неправоте и напугать его возможными последствиями.)* Денисевич убедился, что он виноват, и согласился просить извинения. Тут, не дав опомниться майору, я ввел его в комнату и сказал Пушкину: «Господин Денисевич считает себя виноватым перед вами, А. С., и в опрометчивом движении, и в необдуманных словах при выходе из театра; он не имел намерения ими оскорбить вас». – «Надеюсь, это подтвердит сам господин Денисевич», – сказал Пушкин. Денисевич извинился. .. и протянул руку, но тот не подал ему своей,

сказав тихо: «Извиняю», и удалился с своими спутниками, которые очень любезно простились со мною.

И. И. Лажечников. Знакомство мое с Пушкиным. Соч. М. О. Вольфа, 1884. СПб.: Изд. т. IV, с. 233–238. Ср.: письмо Лажечникова Пушкину от 13 дек. 1831 г. – Переписка Пушкина, т. II, с. 352.

Пушкин всякий день имеет дуэли; благодаря бога, они не смертоносны, бойцы всегда остаются невредимы.

Е. А. Карамзина (жена историка) – кн. П. А. Вяземскому, 23 марта 1820 г. – Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 476.

Пушкин числился в иностранной коллегии, не занимаясь службой. Сие кипучее существо, в самые кипучие годы жизни, можно сказать, окунулось в ее наслаждения... Он был уже славный муж по зрелости своего таланта и вместе милый, остроумный мальчик, не столько по летам, как по образу жизни и поступкам своим. Он умел быть совершенно молод в молодости, т.е. постоянно весел и бес-

печен.

Ф. Ф. Вигель. Записки, т. VI, с. 9.

В семействе Пушкина сохранился такой анекдот о нем. Однажды на упреки семейства в излишней распущенности, которая могла иметь для него роковые последствия, Пушкин отвечал: «Без шума никто не выходил из толпы».

П. В. Анненков. Пушкин в Алекс. эпоху, с. 85.

Друзья Пушкина единогласно свидетельствуют, что, за исключением двух первых годов его жизни в свете, никто так не трудился над дальнейшим своим образованием, как Пушкин. Он сам, несколько позднее, с упреком говорил о современных ему литераторах: «Мало у нас писателей, которые бы учились; большая часть только разучиваются».

П. В. Анненков. Материалы, с. 43.

Писать стихи Пушкин любил на отличной бумаге, в большом альбоме, который у него был с замком; ключ от него он носил при ча-

сах, на цепочке. (*На полях заметка С. А. Соболевского: это вздор: книга была такая у Пушкина только до отсылки в изгнание*[37].)

П. В. Нащокин по записи *П. И. Бартенева*. – *П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине*, с. 271.

* Из воспоминаний о Пушкине можно занести здесь случай, бывший с ним в доме Никиты Всеволожского. У последнего был старый дядька-камердинер, очень преданный, но чрезвычайно упрямый. Он слышал, как Ал. С-ч жаловался при нем на одного издателя, требующего окончания одной поэмы, за которую Пушкин уже получил деньги вперед. Однажды А. С-ч зашел утром к Никите Всеволодовичу, но последний был где-то на охоте. Старик-дядька воспользовался случаем и стал приставать к Пушкину, что он должен поэму кончить, так как он за нее деньги получил. Пушкин его обругал и объявил, что никогда эту поэму не кончит. Упрямый старик, несколько не смущаясь, запер Пушкина на ключ в кабинете Никиты Всеволодовича. Что ни делал раздосадованный Пушкин, но старик-дядька, стоя за дверьми, повторял все од-

но и то же: «Пишите, Александр Сергеевич, ваши стишки, а я не пущу, как хотите, должны писать и пишите». Пушкин, видя, что до возвращения Никиты Всеволодовича, т.е. до вечера, дядька его не выпустит, сел за письменный стол и до того увлекся, что писал до следующего дня, отгоняя уже дядьку и самого Никиту Всеволодовича. Таким образом, Пушкин окончил одну из своих поэм.

А. Н. Всеволожский (сын Никиты). Род Всеволожских. Симферополь, 1886, с. 15.

Мне было 20 лет в 1820 г. Необдуманнные отзывы, сатирические стихи... Разнесся слух, будто я был отвезен в тайную канцелярию и высечен. До меня до последнего дошел этот слух, который стал общим. Я увидел себя опозоренным перед светом. На меня нашло отчаяние, я метался в стороны, мне было 20 лет. Я раздумывал, не следует ли мне прибегнуть к самоубийству или умертвить (ваше величество). В первом случае я только бы подтвердил разнесшуюся молву, которая меня бесчестила; во втором я бы не мстил за себя, потому что прямой обиды не было, а совершил бы

только преступление и пожертвовал бы общественному мнению, которое презирал, человеком, внушавшим мне уважение против моей воли. Таковы были мои размышления. Я сообщил их другу, который был совершенно моего мнения. Он мне советовал попытаться оправдать себя перед властью, я чувствовал бесполезность этого. Я решил высказывать столько негодования и наглости в своих речах и своих сочинениях, чтобы, наконец, власть вынуждена была обращаться со мною, как с преступником. Я жаждал Сибири или крепости, как восстановления чести.

Пушкин – имп. Александру I (черновое письмо, неотосланное). Май – июнь 1825 г. (*фр.*)

К этой же, самой тяжелой в жизни Пушкина, эпохе может относиться рассказ И. В. Киреевского, слышанный им от Ф. Ф. Матюшкина, как поэт с пистолетом в руках разговаривал с отцом своим.

П. И. Бартенев. Пушкин: сборник. М., 1885, вып. II, с. 103.

Поэт Родзянко уверял меня, что он видел сам, как Пушкин, сидя в театре в кресле, показывал находившимся подле него лицам портрет убийцы герцога Беррийского, Лувеля, с его надписью: «урок царям».

А. И. Михайловский-Данилевский. Записки.
– Рус. Стар., 1890, т. 58, с. 505.

Д. Н. Свербеев передал нам, что Пушкин в театре, ходя по рядам кресел, показывал знакомым портрет Лувеля и позволял себе при этом возмутительные отзывы.

П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1884, т. III, с. 194.

Петербург душен для поэта: я жажду краев чужих; авось полуденный воздух оживит мне душу. Поэму свою («*Русл. и Людм.*») я кончил, и только последний, т.е. окончательный стих ее принес мне удовольствие. Она так мне надоела, что не могу решиться переписывать ее клочками для тебя. Письмо мое скучно, потому что с тех пор, как я сделался историческим лицом для сплетниц С-т-Петербурга, я глупею и старею не неделями, а часами.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, в перв. пол.

марта 1820 г.

Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокаторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила», 1820, марта 26, Великая пятница.

В. А. Жуковский. Надпись на его портрете, подаренном им Пушкину. – Соч. Пушкина, изд. Брокгз.–Ефр., т. II, с. 537.

Раз утром выхожу я из своей квартиры и вижу Пушкина, идущего мне навстречу. Он был, как и всегда, бодр и свеж; но обычная (по крайней мере, при встречах со мною) улыбка не играла на его лице, и легкий оттенок бледности замечался на щеках. Пушкин заговорил первый. «Я шел к вам посоветоваться. Вот видите: слух о моих и не моих пиесах, разбежавшихся по рукам, дошел до правительства. Вчера, когда я возвратился поздно домой, мой старый дядька объявил, что приходил в квартиру какой-то неизвестный человек и давал ему пятьдесят рублей, прося дать ему почитать моих сочинений и уверяя, что скоро принесет их назад. Но мой верный старик не со-

гласился, а я взял да и сжег все мои бумаги... Теперь, – продолжал Пушкин, немного озабоченный, – меня требуют к Милорадовичу! Я не знаю, как и что будет, и с чего с ним взяться?.. Вот я и шел посоветоваться с вами»... Мы остановились и обсуждали дело со всех сторон. В заключение я сказал ему: «Идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения. Положитесь безусловно на благородство его души: он не употребит во зло вашей доверенности». Тут, еще поговорив немного, мы расстались: Пушкин пошел к Милорадовичу.

Часа через три явился и я к Милорадовичу, при котором состоял я по особым поручениям. Милорадович, лежавший на своем зеленом диване, окутанный дорогими шальями, закричал мне навстречу: «Знаешь, душа моя! У меня сейчас был Пушкин! Мне ведь велено взять его и забрать все его бумаги; но я счел более деликатным пригласить его к себе и уж от него самого вытребовать бумаги. Вот он и явился очень спокоен, с светлым лицом, и когда я спросил о бумагах, он отвечал: «Граф! Все мои стихи сожжены! – у меня ничего не

найдете в квартире, но, если вам угодно, все найдется здесь (указал пальцем на свой лоб). Прикажите подать бумаги; я напишу все, что когда-либо написано мною (разумеется, кроме печатного) с отметкою, что мое и что разошлось под моим именем». Подали бумаги. Пушкин сел и писал, писал... и написал целую тетрадь... Вот она (указывая на стол у окна), полюбуйте! Завтра я отвезу ее государю. А знаешь ли? Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манерою обхождения».

На другой день я пришел к Милорадовичу поранее. Он возвратился от государя, и первым словом его было: «Ну, вот дело Пушкина и решено!» И продолжал: «Я подал государю тетрадь и сказал: «Здесь все, что разбрелось в публике, но вам, государь, лучше этого не читать». Государь улыбнулся на мою заботливость. Потом я рассказал подробно, как у нас было дело. Государь слушал внимательно и наконец спросил: «А что же ты сделал с автором?» – «Я? Я объявил ему от имени вашего величества прощение!» Тут мне показалось, что государь слегка нахмурился. Помолчав немного, он с живостью сказал: «Не рано ли?»

Потом, еще подумав, прибавил: «Ну, коли уж так, то мы распорядимся иначе: снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и, с соответствующим чином и с соблюдением возможной благовидности, отправить его на службу на юг!» Вот как было дело. Между тем, в промежутке двух суток, разнеслось по городу, что Пушкина берут и ссылают. Гнедич с заплаканными глазами (я сам застал его в слезах) бросился к Оленину. Карамзин, как говорили, обратился к государыне (*Марии Федоровне*), а Чаадаев хлопотал у Васильчикова, и всякий старался замолвить слово за Пушкина. Но слова шли своею дорогою, а дело исполнялось буквально по решению.

Ф. Н. Глинка. Удаление Пушкина из Петербурга. – Рус. Арх., 1866, с. 918.

В одно прекрасное утро полицеймейстер пригласил Пушкина к графу Милорадовичу, тогдашнему петербургскому военному генерал-губернатору. Когда привезли Пушкина, Милорадович приказывает полицеймейстеру ехать в его квартиру и опечатать все бумаги. Пушкин, слыша его приказание, говорит ему:

«Граф, вы напрасно это делаете. Там не найдете того, что ищете. Лучше велите мне дать перо и бумаги, я здесь же все вам напишу». Милорадович, тронутый этой свободной откровенностью, торжественно воскликнул: «Ah, c'est chevaleresque!»[38] – и пожал ему руку. Пушкин сел и написал все контрабандные свои стихи»[39].

И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 73.

Дело о ссылке Пушкина началось особенно по настоянию Аракчеева и было рассматриваемо в государственном совете, как говорят. Милорадович призывал Пушкина и велел ему объявить, которые стихи ему принадлежат, а которые нет. Он отказался от многих своих стихов тогда и между прочим от эпиграммы на Аракчеева, зная, откуда идет удар.

Я. И. Сабуров по записи П. В. Анненкова. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 337.

Нечаянно узнав о строгом наказании, грозившем поэту, Чаадаев, поздним вечером, прискакал к Н. М. Карамзину, немного удивил его своим приездом и в такой необычно-

венный час, принудил историографа оставить свою работу и убедил, не теряя времени, заступиться за Пушкина у императора Александра.

Д. Н. Свербеев. Воспоминания о Чаадаеве. – Рус. Арх., 1868, с. 977.

Узнав о грозящей опасности, Пушкин пришел к Карамзину, рассказал свои обстоятельства, просил совета и помощи, со слезами на глазах выслушивал дружеские упреки и наставления. «Можете ли вы, – сказал Карамзин, – по крайней мере обещать мне, что в продолжение года ничего не напишете противного правительству? Иначе я выйду лжецом, прося за вас и говоря о вашем раскаянии». Пушкин дал ему слово и сдержал его: не раньше 1821 г. прислал из Бессарабии, без подписи, стихи свои «Кинжал».

П. И. Бартенев со слов гр. Д. Н. Блудова. Пушкин в Южной России, с. 13.

Граф Д. Н. Блудов передавал нам, что Карамзин показывал ему место в своем кабинете, облитое слезами Пушкина.

Над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное: служа под знаменами либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и проч., и проч. Это узнала полиция etc.[40] Опасаются следствий. Хотя я уже давно, истощив все способы образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде; однако же, из жалости к таланту, замолвил слово, взяв с него обещание уняться. Не знаю, что будет. Мне уже поздно учиться сердцу человеческому: иначе я мог бы похвалиться новым удостоверением, что либерализм наших молодых людей совсем не есть геройство и великодушие.

Н. М. Карамзин – И. И. Дмитриеву, 19 апр. 1820 г. – Письма Карамзина к Дмитриеву. СПб., 1889, с. 287.

Участь Пушкина решена. Он завтра отправляется курьером к Инзову и останется при нем. Он стал тише и даже скромнее, et pour ne pas se compromettre[41], даже и меня в

публике избегает.

А. И. Тургенев – кн. *П. А. Вяземскому*, 5 мая 1820 г. – *Ост. Арх.*, т. II, с. 37.

Пушкина простили, позволили ему ехать в Крым. Я просил об нем из жалости к таланту и молодости: авось будет рассудительнее: по крайней мере дал мне слово на два года.

Н. М. Карамзин – *И. И. Дмитриеву*, 7 июня 1820 г. – *Письма Карамзина к Дмитриеву*, с. 290.

На дружеский выговор Чаадаева, зачем, уезжая из Петербурга, он не простился с ним, Пушкин в ответ ему написал: «Мой милый, я заходил к тебе, но ты спал: стоило ли будить тебя из-за такой безделицы».

П. И. Бартенев со слов *П. Я. Чаадаева* (самого письма не сохранилось). Пушкин в Южной России, с. 15.

Я обещал *Н. М. (Карамзину)* два года ничего не писать противу правительства.

Пушкин – *В. А. Жуковскому*, в мае – июне 1825 г.

Пушкин, быв несколько дней совсем не в пиитическом страхе от своих стихов на свободу и некоторых эпиграмм, дал мне слово уняться и благополучно поехал в Крым месяцев на пять; ему дали рублей тысячу на дорогу. Он был, кажется, тронут великодушием государя, действительно трогательным... Если Пушкин и теперь не исправится, то будет чертом еще до отбытия своего в ад. Увидим, какой эпилог напишет к своей поэмке!

Н. М. Карамзин – кн. П. А. Вяземскому, 17 мая 1820 г. – Старица и Новизна, кн. I, с. 101.

Коллежскому секретарю Пушкину, отправляемому к главному попечителю колонистов южного края России, ген.-лейтенанту Инзову, выдать на проезд тысячу рублей ассигнациями из наличных в коллегии на курьерские отправления денег.

Приказ гр. *К. В. Нессельроде* (мин. ин. дел.) от 4 мая 1820 г. – Рус. Стар., 1887, т. 53, с. 238.

Исполненный горестей в продолжение всего своего детства, молодой Пушкин оста-

вил родительский дом, не испытывая сожаления. Лишенный сыновней привязанности, он мог иметь лишь одно чувство – страстное желание независимости. Этот ученик уже ранее проявил гениальность необыкновенную. Его ум вызывал удивление, но характер его, кажется, ускользнул от взора наставников. Он вступил в свет, сильный пламенным воображением, но слабый полным отсутствием тех внутренних чувств, которые служат заменой принципов, пока опыт не успеет дать нам истинного воспитания. Нет той крайности, в которую бы не впадал этот несчастный молодой человек, – как нет и того совершенства, которого не мог бы он достигнуть высоким превосходством своих дарований... Несколько поэтических пьес, в особенности же ода на вольность, обратили на Пушкина внимание правительства... Г. г. Карамзин и Жуковский, осведомившись об опасностях, которым подвергся молодой поэт, поспешили предложить ему свои советы, привели его к признанию своих заблуждений и к тому, что он дал торжественное обещание отречься от них навсегда. Г. Пушкин кажется исправившимся, если

верить его слезам и обещаниям. Однако эти его покровители полагают, что раскаяние его искренне... Отвечая на их мольбы, император уполномочивает меня дать молодому Пушкину отпуск и рекомендовать его вам... Судьба его будет зависеть от успеха ваших добрых советов.

Письмо гр. К. В. Нессельроде ген.-лейтенанту И. Н. Инзову от 4 мая 1820 г., одобренное императором и данное Пушкину для вручения Инзову. – Рус. Стар., 1887, т. 53, с. 241.

В Екатеринославе. На Кавказе. В Крыму

(В половине мая 1820 г. – приезд в Екатеринославе. В конце мая – отъезд с семьей Раевских на Кавказ. В середине августа, с семьей Раевских, переезд в Крым через Тамань. Три недели в Гурзуфе. В половине сентября отъезд в Кишинев, куда тем временем была переведена из Екатеринослава канцелярия ген. Инзова.)

(В мае 1820 г.) Белорусский тракт ужасно скучен. Не встречая никого на станциях, я

обыкновенно заглядывал в книгу для записывания подорожных и там искал проезжих. Вижу раз, что накануне проехал Пушкин в Екатеринослав. Спрашиваю смотрителя, какой это Пушкин. Смотритель говорит, что это поэт Александр Сергеевич, едет, кажется, на службу, на перекидных, в красной русской рубашке, в опояске, в поярковой шляпе. (Время было ужасно жаркое.)

И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 74.

Генерал Инзов был председателем «Попечительного комитета по устройству колонистов Южной России», куда и был командирован Пушкин, помимо его желания. Канцелярию комитета Пушкин, по приезде в Екатеринослав, посетил раза три, из которых раз по приезде представился генералу Инзову, все же время пребывания в Екатеринославе посвящал катанию на лодке по Днепру и гулянью по лесам, так как все место, ныне Севастопольская площадь и Соборная, было покрыто вековыми деревьями, внизу же над Днепром находилась тюрьма, из которой на глазах Пушкина бежали два «брата-разбойни-

ка».

Бывш. предводитель дворянства (со слов отца своего, служившего при ген. Инзове). Письмо из Бахмута. – Новое Время, 1899, № 8285.

Мой покойный отчим, кн. А. Н. Гирей, указывал мне то место, где жил Пушкин. Жил он в доме Краконины, находящемся на Мандрыковке, против усадьбы моего отчима, кн. Гирея. Усадьба, где жил Пушкин, прилегает к Днепру. В Мандрыковке, близ Днепра, находилась тюрьма, из которой во время пребывания поэта бежали два брата-арестанта, побочные дети помещика Засорина... Ныне усадьба принадлежит г. Кулабухову.

Г. Мекленбурцов. Письмо в ред. – Приднепровский Край. 1899, № 392.

Могу подтвердить верные указания г. Мекленбурцова о доме, где жил Пушкин. Он, действительно, жил на Мандрыковке... Быв. городской голова Кулабухов говорил лет 10–20 тому назад моему дяде, фотографу, Н. А. Иванову, что дом, в котором жил Пушкин, был

разобран 40 лет тому назад его отцом, ввиду его ветхости... В то время здесь находилась масса вековых деревьев, а недалеко протекал Днепр. Место это живописное. Мандрыковка вообще очень живописна, особенно в мае, когда все цветет.

В. Татаренко. Письмо в ред. – Приднепровский Край. 1899, № 413.

* Оказалось, и в Екатеринославе уже знали Пушкина, как знаменитого поэта, и пребывание его в городе стало событием для людей, восторженно к нему относившихся. Одним из тех людей был тогдашний профессор екатеринославской семинарии А. С. Понятовский. И вот он, в сопровождении богатого помещика С. С. Клевцова, надобно думать, такого же энтузиаста, отправляется его отыскивать. Находят. Входят в лачужку, занимаемую поэтом. Пушкин встретил гостей, держа в зубах булку с икрой, а в руках стакан красного вина.

– Что вам угодно? – спросил он вошедших.

И когда они сказали, что желали иметь честь видеть славного писателя, то славный писатель отчеканил им следующую фразу:

– Ну, теперь видели? До свидания!

М. Ф. Де-Пуле со слов одного из учеников
Понятовского. – Рус. Арх., 1879, т. III, с. 136.

* В Екатеринославе Пушкин, конечно, познакомился с губернатором Шемиотом[42], который однажды пригласил его на обед. Приглашены были и другие лица, дамы, в числе их моя жена (я сам находился в разъездах). Это было летом, в самую жаркую пору. Собрались гости, явился и Пушкин, и с первых же минут своего появления привел все общество в большое замешательство необыкновенною эксцентричностью своего костюма: он был в кисейных панталонах, прозрачных, без всякого исподнего белья. Жена губернатора, г-жа Шемиот, чрезвычайно близорукая, одна не замечала этой странности. Жена моя потихоньку посоветовала ей удалить из гостиной ее дочерей-барышень, объяснив необходимость этого удаления. Г-жа Шемиот, не допуская возможности такого неприличия, уверяла, что у Пушкина просто летние панталоны бланжевого, телесного цвета; наконец, вооружившись лорнетом, она удостоверилась

в горькой истине и немедленно выпроводила дочерей из комнаты. Хотя все были очень возмущены и сконфужены, но старались сделать вид, будто ничего не замечают; хозяева промолчали, и Пушкину его проделка сошла благополучно.

А. М. Фадеев. Воспоминания. – Рус. Арх., 1891, т. I, с. 400.

Приехав в Екатеринослав, я соскучился, поехал кататься по Днепру, выкупался и схватил горячку, по моему обыкновению. Генерал Раевский, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня в жидовской хате, в бреду, без лекаря, за кружкою оледенелого лимонада.

Пушкин – Л. С. Пушкину, 24 сент. 1820 г.

Пушкин прожил в Екатеринославе в 1820 г. дней 18, до приезда в Екатеринослав ген. Раевского, который со своим семейством проездом остановился в Екатеринославе по просьбе своего сына, который хотел повидаться со своим приятелем Пушкиным, которого, по указанию генерала Инзова, нашли в доме

или, скорее, в домике, на Мандрыковке. Когда генерал Раевский с сыном вошли в комнату, то их глазам представилось следующее: А. Серг-ч лежал на досчатой скамейке, или досчатым диване. Он был болен. На Раевских он произвел удручающее впечатление при этой обстановке. При виде Раевских у него от радости показались слезы. Раевский выхлопотал ему отпуск, и 4-го или 5-го июня вместе с ними уехал он на Кавказ. Мой отец состоял в то время при генерале Инзове, – он и рассказывал мне обо всем вышеизложенном.

Бывш. предводитель дворянства. – Новое Время, 1899, № 8285.

Я, в качестве доктора, отправился с генералом Раевским на Кавказ... Едва я, по приезде в Екатеринослав, расположился, после дурной дороги, на отдых, ко мне, запыхавшись, вбегает младший сын генерала: «Доктор! Я нашел здесь моего друга; он болен, ему нужна скорая помощь, – поспешите со мною!» Нечего делать – пошли. Приходим в гадкую избенку, и там, на досчатом диване, сидит молодой человек, – небритый, бледный и худой. «Вы

нездоровы?» – спросил я незнакомца. – «Да, доктор, немножко пошалил, купался; кажется, простудился». Осмотревши тщательно больного, я нашел, что у него была лихорадка. На столе перед ним лежала бумага. «Чем вы тут занимаетесь?» – «Пишу стихи». Нашел, думаю я, и время, и место. Посоветовавши ему на ночь напиться чего-нибудь теплого, я оставил его до другого дня. Мы остановились в доме губернатора К. (*Карагеоргия*). По утру гляжу – больной уже у нас: говорит, что он едет на Кавказ вместе с нами. За обедом наш гость весел и без умолку говорит с младшим Раевским по-французски. После обеда у него озноб, жар и все признаки пароксизма. Пишу рецепт. «Доктор, дайте что-нибудь получше, дряни в рот не возьму». Что будешь делать? Прописал слабую микстуру... На другой день закатил ему хины. Пушкин морщился. Мы поехали далее.

Д-р *Е. П. Рудыковский*. Встреча с Пушкиным. Из записок медика. – Рус. Вестн., 1841, № 1. Целиком перепеч: П.В. Анненков. Материалы, с. 65.

Я лег в коляску больной: через неделю вылечился.

Пушкин – Л. С. Пушкину, 24 сент. 1820 г.

Доставленные от вас тысячу рублей для г. Пушкина я получил, которые к нему отправил на Кавказские Воды. Расстроенное его здоровье в столь молодые лета и неприятное положение, в коем он по молодости находится, требовали с одной стороны помочи, а с другой безвредной рассеянности, потому отпустил я его с генералом Раевским, который в проезд свой через Екатеринослав охотно взял его с собою. При okazji, прошу сказать об оном графу И. А. Каподистрии. Я надеюсь, что за сие меня не побранит и не назовет баловством. Он малый, право, добрый, жаль только, что скоро кончил курс наук; одна ученая скорлупа останется навсегда скорлупою.

Ген. *И. Н. Инзов – К. Я. Булгакову*, в июне 1820 г., из Екатеринослава. – Рус. Арх., 1863, с. 900.

С Раевским ехали на Кавказ, кроме сына Николая и военного доктора Рудыковского,

две младшие дочери его, Мария (14 лет) и девочка Софья, при них англичанка мисс Мятен и компаньонка Анна Ивановна (крестница генерала, родом татарка, удержавшая в выговоре и лице свое восточное происхождение). Все это общество помещалось в двух каретах и коляске. Пушкин сначала ехал с младшим Раевским в коляске, а потом генерал пересадил его к себе в карету, потому что его сильно трясла лихорадка.

П. И. Бартенев со слов кн. *М. Н. Волконской* (урожд. *Раевской*). Пушкин в Южной России, с. 220.

Как поэт, Пушкин считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми он встречался. Мне вспоминается, как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Завидев море, мы приказали остановиться, вышли из кареты и всей гурьбой бросились любоваться морем. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала забав-

латься тем, что бегала за волной, а когда она настигала меня, я убегала от нее; кончилось тем, что я промочила ноги. Понятно, я никому ничего об этом не сказала и вернулась в карету. Пушкин нашел, что эта картина была очень грациозна, и, поэтизируя детскую шалость, написал прелестные стихи; мне было тогда лишь 15 лет.

*Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередой
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!*

Позже, в поэме «Бахчисарайский фонтан», он сказал:

*...ее очи
Яснее дня,
Чернее ночи.*

В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал все, что видел.

Кн. М. Н. Волконская. Записки. М.: Прометей, 1914, изд. 2-е, с. 62.

На Дону мы обедали у атамана Денисова.

Пушкин меня не послушался: покушал бланманже и снова заболел. «Доктор, помогите!» – «Пушкин, слушайте!» – «Буду, буду!» Опять микстура, опять пароксизмы и гримасы. «Не ходите, не ездите без шинели». – «Жарко, молчи нет». – «Лучше жарко, чем лихорадка». – «Нет, лучше уж лихорадка». Опять сильные пароксизмы. «Доктор, я болен». – «Потому что упрямы. Слушайте!» – «Буду, буду!» И Пушкин выздоровел.

В Горячеводск мы приехали все здоровы и веселы. По прибытии генерала в город, тамошний комендант к нему явился и вскоре прислал книгу, в которую вписывались имена посетителей вод. Все читали, любопытствовали. После нужно было книгу возвратить и вместе с тем послать список свиты генерала. За исполнение этого взялся Пушкин. Я видел, как он, сидя на куче бревен на дворе, с хохотом что-то писал, но я ничего и не подозревал. Книгу и список отослали к коменданту. На другой день, во всей форме, отправляюсь к доктору Ц., который был при минеральных водах. «Вы лейб-медик? приехали с генералом Раевским?» – «Последнее справедливо,

но я не лейб-медик». – «Как не лейб-медик? Вы так записаны в книге коменданта; бегите к нему, из этого могут выйти дурные последствия». Бегу к коменданту, спрашиваю книгу, смотрю: там в свите генерала вписаны – две дочери, два сына, лейб-медик Рудыковский и недоросль Пушкин. Насилу убедил я коменданта все это исправить, доказывая, что я не лейб-медик и что Пушкин не недоросль, а титулярный советник, выпущенный с этим чином из Царскосельского лицея. Генерал порядочно пожурил Пушкина за эту шутку. Пушкин немного на меня подулся, а вскоре мы расстались.

Д-р *Е. П. Рудыковский*. Встреча с Пушкиным. – П. В. Анненков. Материалы, с. 66–67.

В Пятигорске их ожидал старший сын Раевского, отст. полковник Александр Николаевич, прибывший туда заранее. Они всем обществом уезжали на гору Бештау – пить железные, тогда еще мало известные воды и жили там в калмыцких кибитках за недостатком другого помещения.

П. И. Бартенева. Пушкин в Южной России, с.

Ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частью в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки... Кавказские воды представляют ныне (1829 г.) более удобностей; но мне было жаль прежнего дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался. С грустью оставил я воды... Скоро настала ночь; я ехал берегом Подкумка. Здесь, бывало, сиживал со мною Александр Раевский, прислушиваясь к мелодии вод.

Пушкин. Путешествие в Арзрум, гл. I.

(2 авг. 1820 г., в Пятигорске.) Тут увидел Пушкина молодого, который готов с похвальной стороны обратить на себя внимание общее, точно он может, при дарованиях своих; он слушал и колкую правду, но смирялся;

и эта перемена делает ему честь.

Г. В. Гераков. Путевые записки по многим российским губерниям. Пг., 1828, с. 99.

Два месяца жил я на Кавказе; воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. Впрочем, купался и в теплых кисло-серных, в железных и в кислых холодных.

Пушкин – Л. С. Пушкину, 25 сент. 1820 г.

Из Азии переехали мы в Европу (из Тамани в Керчь) на корабле. Я тотчас отправился на так наз. Митридатову гробницу (развалины какой-то башни), там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления. Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали на мое воображение.

Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал. Луны не было, звезды блистали; передо мною, в тумане, тянулись полуденные горы... «Вот Чатыр-даг», – сказал мне капитан. Я не различал его, да и не любопытствовал. Перед светом я заснул.

Пушкин – бар. А. А. Дельвигу, в дек. 1824 г.

Ночью на корабле написал я элегию («По-
гасло дневное светило»).

Пушкин – Л. С. Пушкину, 24 сент. 1820 г.

До Гурзуфа плыли на военном бриге, от-
данном в распоряжение генерала Раевского. В
ночь перед Гурзуфом Пушкин расхаживал по
палубе в задумчивости, что-то бормоча про
себя.

П. И. Бартенев со слов кн. М. Н. Волконской
. Пушкин в Южной России, 33.

Мне жаль, что в этой элегии («Погасло
дневное светило») дело о любви одной. Зачем
не упомянуть о других неудачах сердца? Тут
было где поразгуляться.

Кн. П. А. Вяземский – А. И. Тургеневу, 27 но-
ября 1820 г. – Ост. Арх., II, с. 170.

(Дом герцога Ришелье в Гурзуфе, где жила
семья Раевских с Пушкиным. Автор посетил
дом через месяц после отъезда Раевских.) Мы
увидели перед собою огромный замок в ка-
ком-то необыкновенном вкусе: это дом Дюка

Ришелье... Замок этот доказывает, что хозяину не должно строить заочно, а может быть, и то, что самый отменно хороший человек может иметь отменно дурной вкус в архитектуре. Огромное здание состоит из крылец, переходов с навесом вокруг дома, а внутри из одной галереи, занимающей все строение, исключая четырех небольших комнат, по две на каждом конце, в которых столько окон и дверей, что нет места, где кровать поставить. В этом состоит все помещение, кроме большого кабинета над галереей под чердаком, в который надобно с трудом пролезть по узкой лестнице.

(И. М. Муравьев-Апостол.) Путешествие по Тавриде в 1820 году. СПб., 1823, с. 153.

(Подробное исследование о Пушкинских местах в Гурзуфе с рядом изображений дома Ришелье в разные эпохи – см. *Пушкин и его совр-ки*, вып. XVII–XVIII, с. 77–155. А. Л. Бертье-Делагард. *Память о Пушкине в Гурзуфе*.)

Это был довольно большой двухэтажный дом, с двумя балконами, один на море, другой в горы, и с обширным садом. Тут семья Раев-

ского вся была в сборе, кроме сына Александра, который остался на Кавказе. Путешественников ожидали в Гурзуфе супруга Раевского и две отлично образованные и любезные дочери, Екатерина Николаевна, старшая всем, и Елена Николаевна, высокая, стройная, с прекрасными голубыми глазами. Брат Николай скоро познакомил с ними своего молодого приятеля. В доме нашлась старинная библиотека, в которой Пушкин тотчас отыскал сочинения Вольтера и начал их перечитывать. Кроме того, Байрон был почти ежедневным его чтением; Пушкин продолжал учиться по-английски, с помощью Раевского-сына... Пушкин часто разговаривал и спорил с старшею Раевской о литературе. Стыдливая, серьезная и скромная Елена Николаевна, хорошо зная английский язык, переводила Байрона и Вальтер-Скотта по-французски, но втихомолку уничтожала свои переводы. Брат сказал о том Пушкину, который стал подбирать клочки изорванных бумаг и обнаружил тайну. Он восхищался этими переводами, уверяя, что они чрезвычайно верны.

П. И. Бартенев. Пушкин в Южной России, с.

Николай Раевский (сын) страстно любил литературу, музыку, живопись и сам писал стихи. На обратном пути с Кавказа он как-то повредил себе ногу, и это было поводом остановки путешественников в Юрзуфе. Катерина Николаевна решительно отвергает недавно напечатанное сведение, будто Пушкин учился в Юрзуфе под ее руководством английскому языку. Ей было в то время 23 года, а Пушкину 21, и один этот возраст, по тогдашним строгим понятиям о приличии, мог служить достаточным препятствием такому сближению. По ее замечанию, все дело могло состоять разве только в том, что Пушкин с помощью Н. Н. Раевского в Юрзуфе читал Байрона, и что, когда они не понимали какого-нибудь слова, то, не имея лексикона, посылали наверх к Катерине Николаевне за справкой. Здесь же Николай Николаевич первый познакомил Пушкина с поэзией Шенье.

Я. К. Грот со слов *Е. Н. Орловой* (урожд. *Раевской*). – Я. К. Грот, с. 52.

В Юрзуфе прожил я три недели. Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я среди семейства почтенного Раевского. Я в нем любил человека с ясным умом, с простой прекрасною душою; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина... Старший сын его будет более нежели известен. Все его дочери – прелесть, старшая – женщина необыкновенная. Суди, были я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, – счастливое полуденное небо; прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение; горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда, – опять увидеть полуденный берег и семейство Раевского.

Пушкин – Л. С. Пушкину, 24 сент. 1820 г.

Я слышал, что Пушкин был влюблен в одну из дочерей генерала Раевского и провел несколько времени с его семейством в Крыму, в Гурзуфе... Мне говорили, что впоследствии, создавая «Евгения Онегина», Пушкин вдохновился этою любовью, которой он пла-

менел в виду моря, лобзающего прелестные берега Тавриды, и что к предмету именно этой любви относится художественная строфа, начинающая стихами: «Я помню море пред грозою»...

Гр. П. И. Капнист со слов своего дяди гр. А. И. Капниста, бывшего адъютантом при ген. Раевском. – Рус. Стар., 1899, т. 98, с. 242.

Покойный маринист И. К. Айвазовский упорно отстаивал влюбленность Пушкина в Марию Раевскую, как я не раз от него слышал, пересказывая это, как утверждение Н. Н. Раевского-младшего.

А. Л. Бертье-Делагард. Память Пушкина в Гурзуфе. – Пушкин и его совр-ки, вып. XVII–XVIII, с. 99.

Старшая из дочерей Раевских, Екатерина, вскоре после прибытия в Киев, вышла замуж за Михаила Орлова. Это была замечательная красавица. Вторую из сестер, Елену, можно было сравнить с цветком кактуса, так как она, подобно последнему, после пышного расцвета быстро увяла и, пораженная неизлечи-

мою болезнью, влачила тяжелую, исполненную страданий жизнь. Третья, Мария, представлялась в начале моего знакомства мало интересным, смуглым подростком, четвертая же, Соня, многообещающим, красивым ребенком. Мать и дочери привлекали к себе всех образованием, любезностью и изяществом. Я понемногу почувствовал живой интерес к юной смуглянке с серьезным выражением лица. Мало-помалу Мария Раевская из ребенка с неразвитыми формами стала превращаться в стройную красавицу, смуглый цвет лица которой находил оправдание в черных кудрях густых волос и пронизывающих, полных огня очах. Нужно ли удивляться, что подобная девушка, обладавшая притом живым умом и вокальным талантом, стала украшением вечеров?

Гр. Г. Олизар. Мемуары. – Рус. Вестн., 1893, № 9, с. 102.

М. Н. Волконская (урожд. Раевская), молодая, стройная, высокого роста брюнетка, с горящими глазами, с полусмуглым лицом, с немного вздернутым носиком и с гордою,

плавную походкою, получила у нас прозвище «la fille du Gange», – девы Ганга (осень 1827 г.).

Бар. А. Е. Розен (декабрист). В ссылку. М.: Изд. наследников, 1899, с. 84.

Дед ее по матери, Константинов, был грек. У М. Н. Волконской в чертах лица было что-то нерусское.

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1902, т. III, с. 17.

Вся фамилия Раевских примечательна по редкой любезности и по оригинальности ума. Елена сильно нездорова; она страдает грудью и хотя несколько поправилась теперь, но все еще похожа на умирающую. Она никогда не танцует, но любит присутствовать на балах, которые некогда собою украшала; Мария, идеал Пушкинской Черкешенки (собственное выражение поэта), дурна собой, но очень привлекательна острою разговоров и нежностью обращения.

В. И. Туманский – *С. Г. Туманской*, 5 дек. 1824 г., из Одессы. – *В. И. Туманский.* Стихотворения и письма. СПб., 1912, с. 272.

(1817 г.) Жена генерала Раевского познако-

мила меня с дочерьми своими. Старшая, полная грации и привлекательности, сама меня приласкала. Это красавица Нина (*Катерина*), о которой потом вспоминал Пушкин. Меньшая была Мария, кроткая брюнетка, вышедшая потом за Волконского.

А. П. Керн. Воспоминания. – Рус. Стар., 1870, с. 262.

В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и обедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью неаполитанского лаццарони. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря – и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество.

Я объехал полуденный берег; но страшный переход по скалам Кикинеиса не оставил ни малейшего следа в моей памяти.. Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была береза, северная береза! Сердце мое сжалось, я начал уже тосковать о милом полудне, хотя все еще находился в Тавриде.

Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же видел я баснословные развалины храма Дианы. Видно, мифологические предания щастливее для меня воспоминаний исторических; по крайней мере, тут посетили меня рифмы. Я думал стихами. Вот они. «К чему холодные» и проч.

В Бахчисарай приехал я больной... Я обошел дворец с большой досадой на небрежение, в котором он истлевают. NN (Н. Раевский) почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема.

*Но не тем
В то время сердце полно было, —*

лихорадка меня мучила.

Пушкин – бар. А. А. Дельвигу, в дек. 1824 г.

Баранов, симферопольский губернатор, уведомляет нас, что Пушкин-поэт был у него с Раевским и что он отправил его в лихорадке в Бессарабию.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 3 ноября 1820 г. – Ост. Арх., II, с. 99.

В Кишиневе

(В конце ноября 1820 г. П. уехал из Кишинева в Каменку, имение Раевских и Давыдовых, откуда ездил с Раевским в Киев. В Каменке прожил до начала марта, когда воротился в Кишинев. В конце апреля 1821 г. ездил на месяц в Одессу. В ноябре 1822 г. вторично ездил в Каменку. В конце мая 1823 г. уехал из Кишинева в Одессу, в начале июля приехал на несколько дней в Кишинев и окончательно уехал на жительство в Одессу.)

По приезде в Кишинев Пушкин остановился в заезжем доме у Ивана Николаевича Наумова. Он был мещанин и одет, как говорится, в немецкое платье. Дом и флигель его были очень опрятные и не глиняные; тут останавливались все высшие проезжавшие лица.

И. П. Липранди, стб. 1263.

Домик, из которого Пушкин через несколько месяцев переселился в дом наместника Инзова, существует и поныне. Он находится в третьем полицейском участке, в том месте,

где Антоновская и Прункуловская улицы, идущие вниз от Андреевской, скрещиваются под острым углом, во дворе под № 19 (с Антоновской ул.). Это – небольшой домик из трех комнат с кухней и сенями. Теперь фасад этого домика, значительно против прежнего измененный, со стороны Антоновской ул. закрыт отчасти досчатым забором и новым флигелем. Раньше домик был совершенно открыт; осененный тенью нескольких роскошных акаций, под которыми был разбит хорошенький цветник, огороженный с улицы штахетами, в летнее время он представлял довольно поэтический уголок... Теперь этот домик врос в землю до окон; двор зарос бурьяном; почерневшая крыша заросла крапивой и дикими цветами.

В. И. Оат (кишиневский старожил) в письме к *А. И. Яцимирскому*. – Соч. Пушкина, Изд. Брокг.-Ефр., т. II, с. 160.

Приехав в Кишинев, Пушкин остановился в одной из тамошних глиняных мазанок, у русского переселенца Ивана Николаева, состоявшего при квартирной комиссии и весь-

ма известного в городе смышленного мужика. Но Инзов вскоре позаботился о лучшем для него помещении. Он дал ему квартиру в одном с собою доме. Дом находился в конце старого Кишинева, на небольшом возвышении. В то время он стоял одиноко, почти на пустыре. Сзади примыкал к нему большой сад, расположенный на скате с виноградником... Дом был довольно большое двухэтажное здание; вверху жил сам Инзов, внизу двое-трое его чиновников. При доме в саду находился птичий двор со множеством канареек и других птиц, до которых наместник был большой охотник... Пушкину отведены были две небольшие комнаты внизу, сзади, направо от входа, в три окна с железными решетками, выходившие в сад. Вид из них прекрасный, по словам путешественников, самый лучший в Кишиневе. Прямо под скатом, в лощине, течет река Бык, образуя небольшое озеро. Левее – каменоломни молдаван, и еще левее новый город. Вдали горы с белеющими домиками какого-то села. Стол у окна, диван, несколько стульев, разбросанные бумаги и книги, голубые стены, облепленные восковы-

ми пулями, следы упражнений в стрельбе из пистолета, – вот комната, которую занимал Пушкин. Другая, или прихожая, служила помещением верному и преданному слуге его Никите... В этом доме Пушкин прожил почти все время; он оставался там и после землетрясения 1821 г., от которого треснул верхний этаж, что заставило Инзова на время переместиться в другую квартиру... Большую часть дня Пушкин проводил где-нибудь в обществе, возвращаясь к себе ночевать, и то не всегда, и проводя дома только утреннее время за книгами и письмом. Стола, разумеется, он не держал, а обедал у Инзова, у Орлова, у гостеприимных кишиневских знакомых своих и в трактирах. Так, в первое время он нередко заходил в так наз. *Зеленый трактир* в верхнем городе.

П. И. Бартенев. Пушкин в Южной России. с. 54.

«Инзова гора» в то время была одною из живописнейших местностей города. Прекрасный сад, засаженный преимущественно фруктовыми деревьями, привлекал туда мно-

го гуляющей публики. Там были даже весьма редкостные растения, как-то: апельсиновые и померанцевые деревья, не говоря уже о прекрасных виноградниках. На самой вершине горы красовался небольшой двухэтажный дом Инзова. Стены были выкрашены масляными красками и разрисованы видами разных растений: до того генерал Инзов любил растительность.

Со слов кишиневских старожилов. – Рус. Арх., 1899, т. II, с. 341.

Первый взрыв горячности Пушкина не был недоступным до его рассудка. Вот чему я был близким свидетелем. В конце октября 1820 года брат генерала М. Ф. Орлова, уланский полковник Федор Федорович, потерявший ногу, кажется, под Бауценом, приехал на несколько дней в Кишинев. Удадьство его было известно. Однажды, после обеда, он подошел ко мне и к полковнику А. П. Алексееву и находил, что будет гораздо приятнее куда-нибудь отправиться, чем слушать разговор «братца с Охотниковым о политической экономике». Мы охотно приняли его предложе-

ние, и он заметил, что надо бы подобрать еще кого-нибудь; ушел в гостиную и вышел оттуда под руку с Пушкиным. Мы решили идти в бильярдную Гольды. Здесь не было ни души. Спрошен был портер. Орлов и Алексеев продолжали играть на бильярде на интерес и в придачу на третью партию вазу жженки. Ваза скоро была подана. Оба гусара порешили пить круговой; я воспротивился, более для Пушкина, ибо я был привычен и находил даже это лучше, нежели не очередно. Алексеев предложил на голоса; я успел сказать Пушкину, чтобы он не соглашался, но он пристал к первым двум, и потому приступили к круговой. Первая ваза кое-как сошла с рук, но вторая сильно подействовала, особенно на Пушкина; я оказался крепче других. Пушкин развеселился, начал подходить к бортам бильярда и мешать игре. Орлов назвал его школьником, а Алексеев присовокупил, что школьников проучивают. Пушкин рванулся от меня и, перепутав шары, не остался в долгу и на слова, кончилось тем, что он вызвал обоих, а меня пригласил в секунданты. В десять утра должны были собраться у меня. Было близко

к полуночи. Я пригласил Пушкина ночевать к себе. Дорогой он уж опомнился и начал бранить себя за свою арабскую кровь, и когда я ему представил, что главное в этом деле то, что причина не совсем хорошая, и что надо как-нибудь замять. «Ни за что! – произнес он остановившись. – Я докажу им, что я не школьник». Подходя уже к дому, он произнес: «Скверно, гадко; да как же кончить?» – «Очень легко, отвечал я: вы первый начали смешивать их игру; они вам что-то сказали, а вы им вдвое; и наконец, не они вас, а вы их вызвали. Если они придут не с тем, чтобы становиться на барьер, а с предложением помириться, то ведь честь ваша не пострадает». Он долго молчал, наконец, сказал по-французски: «Это басни: они никогда не согласятся; Алексеев – может быть, он семейный, но Теодор никогда: он обрек себя на натуральную смерть, но все-таки лучше умереть от пули Пушкина или убить его, нежели играть жизнью с кем-нибудь другим». Я не отчаивался в успехе. Закусив, я уложил Пушкина, а сам, не спавши, дождался утра и в восьмом часу поехал к Орлову. Не застав его, отправился к

Алексееву. Едва я показался в двери, как оба они в один голос объявили, что сейчас собирались ко мне посоветоваться, как бы окончить глупую вчерашнюю историю. «Приезжайте к 10 часам, как условились, ко мне, – отвечал я им. – Пушкин будет, и вы прямо скажете, чтобы он, так, как и вы, позабыл вчерашнюю жженку». Они охотно согласились. Возвратясь к себе, я нашел Пушкина уже вставшим и с свежей головой, обдумавшим вчерашнее столкновение. На сообщенный ему результат моего свидания, он взял меня за руку и просил, чтобы я ему сказал откровенно, не пострадает ли его честь, если он согласится оставить дело. Я повторил ему сказанное накануне, что не они, а он их вызвал, и они просят мира. Он согласился, но мне все казалось, что он не доверял, в особенности Орлову, чтобы этот отложил такой прекрасный случай подраться; но когда я ему передал, что Федор Федорович не хотел бы делом этим сделать неприятное брату, – Пушкин, казалось, успокоился. Видимо, он страдал только потому, что столкновение случилось за бильярдом, при жженке: «А не то, славно бы по-

дрался; ей-богу, славно!» Через полчаса приехали Орлов и Алексеев. Все было сделано, как сказано; все трое были очень довольны. За обедом в этот день у Алексеева Пушкин был очень весел и, возвращаясь, благодарил меня, объявив, что если когда представится такой же случай, то чтобы я не отказал ему в советах и пр.

И. П. Липранди, стб. 1412–1416.

В Кишиневе, в бильярде кофейной Фукса, Пушкин смеялся над Ф. Орловым, тот выкинул его из окошка; Пушкин вбежал опять в бильярд, схватил шар и пустил в Орлова, которому попал в плечо. Орлов бросился на него с кием, но Пушкин выставил два пистолета и сказал «Убью». Орлов струсил.

К. К. Данзас по записи П. В. Анненкова. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 339.

(В начале ноября 1820 г., в кишиневском театре.) Мое внимание обратил вошедший молодой человек небольшого роста, но довольно плечистый и сильный, с быстрым и наблюдательным взором, необыкновенно жи-

вой в своих приемах, часто смеющийся в избытке непринужденной веселости и вдруг неожиданно переходящий к думе, возбуждающей участие. Очерки лица его были неправильны и некрасивы, но выражение думы до того было увлекательно, что невольно хотелось бы спросить: что с тобой? какая грусть мрачит твою душу? – Одежду незнакомца составляли черный фрак, застегнутый на все пуговицы, и такого же цвета шаровары. Я узнал от Н. С. Алексеева, что это Пушкин. – После первого акта драмы Пушкин подошел к нам: в разговоре с Алексеевым он доверчиво обращался ко мне, как бы желая познакомиться, но это сближение было прервано поднятием занавеса. Во втором антракте Пушкин снова подошел к нам. При вопросе Алексеева, как я нахожу игру актеров, я отвечал решительно, что тут разбирать нечего, что каждый играет дурно, а все вместе очень дурно. Это незначущее мое замечание почему-то обратило внимание Пушкина. Пушкин начал смеяться и повторял слова мои; вслед за этим, без дальних околичностей, мы как-то сблизились разговором, вспомнили петербургских арти-

стов, вспомнили Семенову, Колосову. Воспоминания Пушкина согреты были неподдельным чувством воспоминания первоначальных дней его петербургской жизни, и при этом снова яркую улыбку сменила грустная дума. В этом расположении Пушкин отошел от нас, и, пробираясь между стульев, со всею ловкостью и изысканною вежливостью светского человека, остановился перед какой-то дамою; я невольно следил за ним и не мог не заметить, что мрачность его исчезла, ее сменил звонкий смех, соединенный с непрерывной речью. Пушкин беспрерывно краснел и смеялся: прекрасные его зубы выказывались во всем своем блеске, улыбка не угасала.

На другой день мы встретились с Пушкиным у брата моего генерала (М. Ф. Орлова), гвардии полковника Федора Федоровича Орлова, которого благосклонный прием и воинственная наружность совершенно меня очаровали. Я смотрел на Орлова, как на что-то сказочное; то он напоминал мне бояр времен Петра, то древних русских витязей; а его георгиевский крест, взятый с боя с потерей ноги по колено, невольно вселял уважение. Но

притом я не мог не заметить в Орлове странного сочетания умилительной скромности с самой разгульной удаley боевой его жизни. Тут же я познакомился с двумя Давыдовыми, родными братьями по матери генерала 12-го года Н. Н. Раевского. Судя по наружным приемам, эти два брата Давыдовы ничего не имели между собою общего: Александр Львович отличался изысканностью маркиза. Василий щеголял каким-то особым приемом простолюдина; но каждый по-своему обошелся со мною приветливо. Давыдовы, как и Орлов, ожидая возвращения Михаила Федоровича, жили в его доме, принимали гостей, хозяйничали. Все они дружески обращались с Пушкиным; но выражение приязни Александра Львовича сбивалось на покровительство, что, как мне казалось, весьма не нравилось Пушкину. В это утро много говорено было о «Черной шали», на днях только Пушкиным написанной. Не зная самой песни, я не мог участвовать в разговоре. Пушкин это заметил и обещал мне прочесть ее; но, повторив в разрыв некоторые строфы, вдруг схватил рапиру и начал играть ею; припрыгивая, становился

в позу, как бы вызывая противника. В эту минуту вошел Друганов. Пушкин, едва дав ему поздороваться с нами, стал предлагать ему биться, Друганов отказывался. Пушкин настоятельно требовал и, как резвый ребенок, стал шутя затрагивать его рапирой. Друганов отвел рапиру рукою, Пушкин не унимался; Друганов начинал сердиться. Чтоб предупредить их раздор, я снова попросил Пушкина прочесть мне молдавскую песню. Пушкин охотно согласился, бросил рапиру и начал читать с большим одушевлением: каждая строфа занимала его, и, казалось, он вполне был доволен своим новорожденным творением. «Как же, – заметил я, – вы говорите: *в глазах потемнело, я весь изнемог*, а потом: *вхожу в отдаленный покой!*» – «Так что ж, – прервал Пушкин с быстротою молнии, вспыхнув сам, как зарница, – это не значит, что я ослеп». Сознание мое, что это замечание придиричиво, погасило мгновенный взрыв Пушкина, и мы пожали друг другу руки. При этом Пушкин, смеясь, начал мне рассказывать, как один из кишиневских армян сердится на него за эту песню. «Он думает, что это я написал на его

счет».

Пушкин охотно принимал приглашения на все праздники и вечера, и все его звали. На этих балах он участвовал в неразлучных с ними занятиях: любил карты и танцы. С каждого вечера Пушкин собирал новые восторги и делался новым поклонником новых богинь своего сердца. Нередко мне случалось слышать: «Что за прелесть! Жить без нее не могу!», а на завтра подобную прелесть сменяли другие.

Пушкин носил молдаванскую шапочку. Выдержав не одну горячку, он принужден был не один раз брить себе голову; не желая носить парик (да к тому же в Кишиневе и сделать его было некому), он заменил парик фескою и так являлся в коротком обществе.

В. П. Горчаков. Выдержки из дневника. — Москвитянин, 1850, № 2, с. 151–153, 156, 178.

Колл. сов. Арт. Мак. Худобашев, армянин, был человек лет за 50, чрезвычайно маленького роста, как-то переломленный на бок, с необыкновенно огромным носом, гнусивший и беспощадно ломавший любимый им фран-

цузский язык. Пушкин с ним встречался во всех обществах и не иначе говорил с ним, как по-французски. Худобашев был его коньком; Александр Сергеевич при каждой встрече обнимался с ним и говорил, что когда бывает грустен, то ищет встретиться с Худобашевым, который всегда «отводит его душу». Худобашев в «Черной шали» Пушкина принял на свой счет «армянина». Шутники подтвердили это, и он давал понимать, что он, действительно, кого-то отбил у Пушкина. Этот, узнав, не давал ему покоя и, как только увидит Худобашева, начинал читать «Черную шаль». Ссора и неудовольствие между ними обыкновенно оканчивались смехом и примирением, которое завершалось тем, что Пушкин бросал Худобашева на диван и садился на него верхом (один из любимых тогда приемов Пушкина с некоторыми и другими), приговаривая: «Не отбивай у меня гречанок!» Это нравилось Худобашеву, воображавшему, что он может быть соперником.

И. П. Липранди, стб. 1229.

Утром 8 ноября мне дали знать, что на-

чальник дивизии (М. Ф. Орлов) возвратился в Кишинев. Я поспешил явиться к генералу. Генерал благосклонно принял меня... Вошел Пушкин, генерал его обнял и начал декламировать: «Когда легковверен и молод я был» и пр. Пушкин засмеялся и покраснел. «Как, вы уже знаете?» – спросил он. – «Как видишь», – отвечал генерал. – «То есть, как слышишь», – заметил Пушкин, смеясь. Генерал на это замечание улыбнулся приветливо. «Но шутки в сторону, – продолжал он, – а твоя баллада **превосходна**, в каждом двух стихах полнота неподражаемая».

В. П. Горчаков. Выдержки из дневника. – Москвитянин, 1850, № 2, с. 154.

Пушкин не изменился на юге: был по-прежнему умен, ветрен, насмешлив и беспрестанно впадал в проступки, как ребенок. Старик Инзов любил его, но жаловался, что ему с этим шалуном столько же хлопот, сколько забот по службе. Обритый, после болезни, Пушкин носил ермолку. Славный стихами, страшный дерзостью и эпиграммами, своевольный, непослушный, и еще в ермолке, – он произво-

дил фурор. Пушкин был предметом любопытства и рассказов на юге и по всей России.

(М. М. Попов). Рус. Стар., 1874, № 8, с. 687.

Нет сомнения, что все истории, возбуждаемые раздражительным характером Пушкина, его вспыльчивостью и гордостью, не выходили бы из ряда весьма обыкновенных, если бы не было вокруг него столько людей, горячо заботившихся об его участи. Сведения о каждом его шаге сообщались во все концы России. Пушкин так умел обстанавливать свои выходы, что на первых порах самые лучшие его друзья приходили в ужас и распускали вести под этим первым впечатлением. Нет сомнения, что Пушкин производил и смолоду впечатление на всю Россию не одним своим поэтическим талантом. Его выходы много содействовали его популярности, и самая загадочность его характера обращала внимание на человека, от которого всегда можно было ожидать неожиданное.

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 504.

В Чигиринском уезде Киевской губ. раски-

нулось по берегам р. Тясмина значительное местечко Каменка с обширной барской усадьбой Давыдовых. Берега Тясмина здесь довольно возвышенны; в одном месте они несколько сближаются и образуют нависшие над рекой скалистые утесы, от которых и самое местечко получило свое название, особенно красивы утесы с реки. Большою проезжею дорогою усадьба Давыдовых разделяется на две части. Первая (если смотреть со стороны реки) теперь полузаброшенная. Лучше всего в ней сохранилась Свято-Николаевская деревянная церковь, построенная в 1817 г. Неподалеку от церкви, правее и ближе к реке, стоял большой дом, позднее совсем снесенный; на месте его теперь (1899 г.) разрастается молодой фруктовый сад. Еще правее и ближе к Тясмину находится искусственный грот, по рассказам, служивший некогда летнею столовою, в настоящее время это чисто побеленный погреб. С грота открывается один из лучших видов Каменки; по склонам возвышения, на котором расположена усадьба, спускается сад; подальше, за лугом, длинною лентою тянется Тясмин, за ним в беспорядке рас-

кинулась заречная часть местечка. Некогда сад был гораздо больше и доходил почти до самой речки. Левая, в настоящее время главная часть усадьбы полна новой жизни, которая смела здесь всякие остатки старины. Все постройки здесь новые. На возвышении находился флигель, в нем жили молодые члены семьи, останавливались гости; левее и ниже — маленький серенький домик с колонками, т. наз. бильярдная, которая была окружена садом, но он был тогда значительно меньше и доходил лишь до обрыва. В бильярдной, посредине комнаты, стоял бильярд, а у стен помещались книги, так что здесь, по-видимому, была и библиотека. Рассказывают, будто в бильярдной собирались декабристы. В каком доме жил Пушкин, неизвестно; но два места в Каменке особенно связаны с именем его: грот и бильярдная. Старожилы Каменки уверяют, будто до побелки в гроте можно было видеть немало разных надписей и стихотворений, в том числе пушкинских. Бильярдных было две: одна в большом доме, подле гостиной, а другая — в особом домике, описанном выше. Так как в бильярдной Пушкин, по преданию,

работал, то, по всей вероятности, это было не в большом доме, где заниматься было трудно; к тому же сомнительно, чтобы Пушкин жил в большом доме, а из любого помещения в левой части усадьбы ближе и удобнее идти заниматься в находящуюся здесь же бильярдную с библиотекой, чем в большой дом.

А. М. Лобода. Пушкин в Каменке. – Киевск. Унив. Изв., 1899, май, отд. II, с. 81–89.

Сегодня А. Ив. Давыдова (вдова декабриста *В. Л. Давыдова*) подробно рассказывала мне про жизнь Пушкина в Каменке. Судя по ее рассказам, Каменка в то время была большим, великолепным барским имением, с усадьбою на большую ногу; жили широко, по тогдашнему обычаю, с оркестром, певчими и т.д.

П. И. Чайковский – *Н. Ф. фон-Мекк*, 19 апр. 1884 г., из Каменки. – *М. И. Чайковский. Жизнь П. И. Чайковского*, т. II, с. 639.

Теперь нахожусь в Киевской губ., в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского. Время мое проте-

кает между аристократическими обедами и демократическими спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно – разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов. Вы поверите легко, что, преданный мгновению, мало заботился я о толках петербургских.

Пушкин – Н. И. Гнедичу, 4 дек 1820 г., из Каменки.

Мы всякий день обедали внизу у старушки матери. После обеда собирались в огромной гостиной, где всякий мог с кем и о чем хотел беседовать. Жена А. Л. Давыдова урожденная графиня Грамон, была со всеми очень любезна. У нее была премиленькая дочь, лет 12. Пушкин вообразил себе, что он в нее влюблен, беспрестанно на нее заглядывался и, подходя к ней, шутил с нею очень неловко. Однажды за обедом он сидел возле меня и, покрасневшись, смотрел так ужасно на хорошенькую девочку, что она, бедная, не знала,

что делать, и готова была заплакать; мне стало ее жалко, – и я сказал Пушкину вполголоса: «Посмотрите, что вы делаете; вашими нескромными взглядами вы совершенно смутили бедное дитя». – «Я хочу наказать кокетку, – отвечал он, – прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочет взглянуть на меня». С большим трудом удалось мне обратить все это в шутку и заставить его улыбнуться. В общении Пушкин был до чрезвычайности неловок и при своей раздражительности легко обижался каким-нибудь словом, в котором решительно не было для него ничего обидного. Иногда он корчил лихача, вероятно, вспоминая Каверина и других своих приятелей-гусаров в Царском Селе; при этом он рассказывал про себя самые отчаянные анекдоты, и все вместе выходило как-то очень пошло. Зато заходил ли разговор о чем-нибудь дельном, Пушкин тотчас просветлялся. О произведениях словесности он судил верно и с особенным каким-то достоинством. Не говоря почти никогда о собственных своих сочинениях, он любил разбирать произведения современных поэтов и не

только отдавал каждому из них справедливость, но и в каждом из них умел отыскивать красоты, каких другие не заметили. Я ему прочел его Noel[43] «ура! В Россию скачет», и он очень удивился, – как я его знаю, а между тем все не напечатанные произведения: *Деревня*, *Кинжал*, *Четырехстишие к Аракчееву*, *Послание к Чаадаеву* и много других были не только всем известны, но в то время не было сколь-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть. Вообще Пушкин был отголосок своего поколения, со всеми его недостатками и со всеми добродетелями.

Все вечера мы проводили на половине у Василия Львовича (*Давыдова*), и вечерние беседы наши для всех нас были очень занимательны. Раевский не принадлежал сам к Тайному Обществу, но, подозревая его существование, смотрел с напряженным любопытством на все, происходящее вокруг него. Он не верил, чтобы я случайно заехал в Каменку, и ему очень хотелось знать причину моего прибытия. В последний вечер (М. Ф.) Орлов, В. Л. Давыдов, Охотников и я сговорились так

действовать, чтобы сбить с толку Раевского насчет того, принадлежим ли мы к Тайному Обществу или нет. Для большего порядка в наших прениях был выбран президентом Раевский. С полушутливым и с полуважным видом он управлял общим разговором. В последний этот вечер пребывания нашего в Каменке, после многих рассуждений о разных предметах, Орлов предложил вопрос: насколько было бы полезно учреждение Тайного Общества в России? Сам он высказывал все, что можно было сказать за и против Тайного Общества. В. Л. Давыдов и Охотников были согласны с мнением Орлова; Пушкин с жаром доказывал всю пользу, какую бы могло принести Тайное Общество России. Тут, испросив слово у президента, я старался доказать, что в России совершенно невозможно существование Тайного Общества, которое могло бы быть хоть на сколько-нибудь полезно. Раевский стал мне доказывать противное и исчислил все случаи, в которых Тайное Общество могло бы действовать с успехом и пользой. В ответ на его выходку я ему сказал: «Мне не трудно доказать вам, что вы шутите; я пред-

ложу вам вопрос: если бы теперь уж существовало Тайное Общество, вы наверное к нему не присоединились бы?» – «Напротив, наверное присоединился бы», – отвечал он. – «В таком случае давайте руку», – сказал я ему. И он протянул мне руку, после чего я расхохотался, сказав Раевскому: «Разумеется, все это только одна шутка». Другие только смеялись, кроме Ал. Львовича (*Давыдова*), рогоносца величавого, и Пушкина, который был очень взволнован; он перед этим уверился, что Тайное Общество или существует, или тут же получит свое начало, и он будет его членом; но когда он увидел, что из этого вышла только шутка, он встал, покрасневшись, и сказал со слезой на глазах: «Я никогда не был так несчастен, как теперь, я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собою, и все это была только злая шутка». В эту минуту он был точно прекрасен.

И. Д. Якушкин. Записи. М., 1908, с. 45–48.

Хоть Пушкин и не принадлежал к заговору, который приятели тайли от него, но он жил и раскалялся в этой жгучей и вулкани-

че-ской атмосфере. Все мы более или менее дышали и волновались этим воздухом.

Кн. П. А. *Вяземский*. Старина и Новизна, кн. VIII, с. 42.

Нам случалось беседовать с княгиней М. Н. Волконской и Ек. Н. Орловой (урожденными *Раевскими*). Обе они отзывались о Пушкине с улыбкою некоторого пренебрежения и говорили, что в Каменке восхищались его стихами, но ему самому не придавали никакого значения. Пушкина это огорчало и приводило в досаду.

П. И. Бартенев. Рус. Арх., 1910, т. II, с. 299.

Однажды у Раевских разыгрывалась лотерея, – Пушкин положил свое кольцо, моя бабушка (*Мар. Ник. Раевская-Волконская*) его выиграла. Это кольцо я подарил Пушкинскому Дому при Академии Наук.

Кн. С. М. *Волконский*. О декабристах (по семейным воспоминаниям). – Русская Мысль, Прага, 1922, май, с. 70.

Подробность, которая, кажется, в литерату-

ру не проникла, но сохранилась в нашем семействе, как предание. Деду моему Сергею Григорьевичу (*Волконскому*) было поручено завербовать Пушкина в члены Тайного Общества; но он, угадав великий талант и не желая подвергать его случайностям политической кары, воздержался от исполнения возложенного на него поручения.

Кн. С. М. Волконский. Там же, с. 71.

По позволению вашего превосходительства А. С. Пушкин доселе гостит у нас, а с генералом Орловым намерен был возвратиться в Кишинев; но, простудившись очень сильно, он до сих пор не в состоянии предпринять обратный путь. О чем долгом поставляю уведомить ваше пр-во и при том уверить, что коль скоро Александр Сергеевич получит облегчение в своей болезни, не замедлит отправиться в Кишинев.

А. Л. Давыдов – ген. И. Н. Инзову, 15 дек. 1820 г., из Каменки.

До сего времени я был в опасении о г. Пушкине, боясь, чтобы он, невзирая на жесто-

кость бывших морозов с ветром и метелью, не отправился в путь и где-нибудь при неудобствах степных дорог не получил несчастья. Но, получив почтеннейшее письмо ваше от 15 сего месяца, я спокоен и надеюсь, что ваше превосходительство не позволит ему предпринять путь, поколе не получит укрепления в силах.

И. Н. Инзов – А. Л. Давыдову, 29 дек. 1820 г., из Кишинева. – И. А. Смирнов. Дело о Пушкине (1820). Одесса, 1899, с. 9.

Кто-то из знакомых, неожиданно встретясь с Пушкиным в Киеве, спросил, как он попал туда. «Язык до Киева доведет», – отвечал Пушкин, намекая на причину своего удаления из Петербурга.

П. И. Бартнев, Пушкин в Южной России, с. 66.

Об одном из приездов Пушкина в Каменку сохранился рассказ, который мне передавали со слов старшей дочери и жены Вас. Л. Давыдова: Пушкин приехал в какой-то странной повозке; весь запыленный, с порывистыми

движениями, живою речью, он показался встретившей его девочке совершенно необычным, и та бросилась от него, крича, что привезли сумасшедшего.

В Каменке, как известно, Пушкин окончил «Кавказского Пленника» и писал его, по рассказам гг. Давыдовых, в бильярдной, растянувшись на бильярде. Работал он, не отрываясь от бумаги, и однажды был такой случай: Пушкина позвали обедать; он велел лакею принести рубашку, чтобы переодеться к обеду, а сам продолжал писать; лакей принес рубашку, Пушкин пишет; лакей в выжидательной позе стоит с рубашкой, Пушкин не обращает на него внимания и пишет, пишет.

Пушкин в Каменке, по-видимому, не отличался большою аккуратностью; по крайней мере, сохранилось предание, что Вас. Львович Давыдов по уходе Пушкина запирали двери, чтобы никто из прислуги не разбросал листков с набросками и стихами его.

А. М. Лобода. Пушкин в Каменке. – Киевск. Унив. Изв., май, отд. II, с. 90.

Михайло Орлов женится на дочери генера-

ла Раевского (*Екат. Ник.*), по которой вздыхал Пушкин.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому. 23 февр. 1821 г. – Ост. Арх., т. II, с. 168.

(В первых числах марта 1821 г., в Кишиневе.) ...у генерала (М. Ф.) Орлова я снова свиделся с Пушкиным. Наружность его весьма изменилась. Фес заменили густые темно-русые кудри, а выражение взора получило более определенности и силы. В этот день Пушкин обедал у генерала. За обедом Пушкин говорил довольно много, и не скажу, чтобы дурно, вопреки постоянной придиристости некоторых, а в особенности самого М. Ф-ча, который утверждал, что Пушкин так же дурно говорит, как хорошо пишет; но мне постоянно казалось это сравнение преувеличенным. Правда, что в рассказах Пушкина не было последовательности, все как будто в разрыве и очерках, но разговор его весьма был одушевлен и полон начатков мысли. Что же касается до чистоты разговорного языка, то это иное дело: Пушкин, как и другие, воспитанный от пеленок французами, употреблял иногда галли-

цизмы. Но из этого не следует, чтоб он не знал, как заменить их родною речью.

В. П. Горчаков. Выдержки из дневника. — Москвитянин. 1850, № 7, с. 195.

М. Ф. Орлов более, чем когда, бредил въявь конституциями. Он нанял три или четыре дома рядом и начал жить не как русский генерал, а как русский боярин. Чтоб являться в его доме, надобно было более или менее разделять его мнения. Два демагога, два изувера, адъютант Охотников и майор В. Раевский, с жаром витийствовали. Тут был и Липранди. На беду попался тут и Пушкин, которого сама судьба всегда совала в среду недовольных. Семь или восемь молодых офицеров генерального штаба, которые находились тут для снятия планов, с чадолюбием были восприняты. К их пылкому патриотизму, как полынь к розе, стал прививаться тут западный либерализм.

Ф. Ф. Вигель. Записки, т. VI, с. 115.

Что до меня, моя радость, скажу тебе, что кончил я новую поэму, *Кавказский Пленник*,

которую надеюсь скоро вам прислать, – ты ею не совсем будешь доволен, и будешь прав. Еще скажу тебе, что у меня в голове бродят еще поэмы, но что теперь ничего не пишу, – я перевариваю воспоминания и надеюсь набрать вскоре новые.

Пушкин – бар. А. А. Дельвигу, 23 марта 1821 г., из Кишинева.

* Кишинев. 1 апреля 1821 г. Вчера я был у Ал. Сер-ча! Он сидел на полу и разбирал в огромном чемодане какие-то бумажки. «Здравствуй, Мельмот, – сказал он, дружески пожимая мне руку, – помоги, дружище, разобрать мой старый хлам; да чур не воровать». Тут были старые, перемаранные лицейские записки Пушкина, разные неоконченные прозаические статейки его, стихи его и письма Дельвига, Баратынского, Языкова и др. Более часа разбирали мы все эти бумаги, но разбору этому конца не предвиделось: Пушкин утомился, вскочил на ноги и, схватив все разобранные и неразобранные нами бумаги в кучу, сказал: «ну их к черту!», скомкал кое-как и втискал в чемодан.

В. Г. Тепляков. Из дневника. – А. Грей. Биограф. заметки. Общезанимательный Вестн., 1857, № 6, с. 222.

* Кишинев. 3 апреля 1821 г. Вечер был прекрасный, я отправился за город. Через огороды и плетни я вышел на простор, и передо мной открылась степь, пересекаемая тощим, болотистым Бычком. На другой стороне речки я увидел Пушкина – он спешил ко мне. «Послушай, Тепляков, где ты бродишь, я тебя ищу три часа, – закричал мне Пушкин сердито. – Но постой, я перейду к тебе, – и в одно мгновение Пушкин разбежался, перескочил через узкий Бычок и загряз по колено в болото. – Что за проклятая Бессарабия! – вскричал с сердцем Пушкин, выходя с трудом, с помощью моей, из болота. – Куда как хорошо, – продолжал он, оглядывая себя, – в грязи, запачканный, с душою гадкою, мерзкою!.. Знаешь, Тепляков, ведь я сегодня снова поколотил этого гадкого молдаванишку *Бузню*... Но признаться, я сам виноват, обидел ни за что человека; погорячился, сунул ему дулю в нос, – и пошла потеха. Надо поправить свои

грехи: пойдём, Мельмот, к Бузне, – я извинюсь перед ним: он человек бедный, куча детей, и я же перед ним виноват. О, молодость, о, арабская кровь!» Мы пошли к Бузне, но не застали дома, Бузня отправился к Ивану Никитичу (*Инзову*) жаловаться на Пушкина.

4 апреля. Утром я был у Пушкина: он сидел под арестом в своей квартире; у дверей стоял часовой. «Здравствуй, Тепляков! Спасибо, что посетил арестанта. Поделом мне. Что за добрая, благородная душа у Ивана Никитича! Каждый день я что-нибудь напрокажу; Иван Никитич отечески пожурит меня, отечески накажет и через день все забудет. Скотина я, а не человек! Вчера вечером я арестован, а сегодня рано утром И. Н. прислал узнать о моем здоровье; доставил мне полученные из Петербурга на мое имя письма и последние книжки «Благонамеренного».

В. Г. Тепляков. Из дневника. – А. Грей. Биограф. заметки. Петербургский Вестн., 1861, № 14, с. 310.

Пушкин непременно хочет иметь не один талант Байрона, но и бурные качества его, и

огорчает отца язвительным от него отступничеством.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 26 апр. 1821 г. – Ост. Арх., т. II, с. 187.

Один чиновник Областного правления (И. Н. Ланов) был приглашен на обед, где находился и Пушкин; за обедом чиновник заглашал своим говором всех, и все его слушали, хотя почти слушать было нечего, и наконец договорился до того, что начал доказывать необходимость употребления вина, как лучшего средства от многих болезней. «Особенно от горячки», – заметил Пушкин. – «Да, таки и от горячки, – возразил чиновник с важностью, – вот-с извольте-ка слушать: у меня был приятель, некто Иван Карпович, отличный, можно сказать, человек, лет десять секретарем служил; так вот, он-с просто нашим винцом от чумы себя вылечил: как хватил две осьмухи, так как рукой сняло». При этом чиновник зорко взглянул на Пушкина, как бы спрашивая: ну, что вы на это скажете? У Пушкина глаза сверкнули; удерживая смех и краснея, он отвечал: «Быть может, но только

позвольте усомниться». – «Да чего тут позволить, – грубо возразил чиновник, – что я говорю, так – так; а вот вам, почтеннейший, не след бы спорить со мною, оно как-то не приходится». – «Да почему же?» – спросил Пушкин. – «Да потому же, что между нами есть разница». – «Что ж это доказывает?» – «Да то, сударь, что вы еще **молокосос**». – «А, понимаю, – смеясь, заметил Пушкин, – точно есть разница: я **молокосос**, как вы говорите, а вы **виносос**, как я говорю». При этом все расхохотались, противник ошалел.

В. П. Горчаков. Выдержки из дневника. – Москвитянин, 1850, № 7. Перепеч.: Книга воспоминаний о Пушкине, 1931, с. 94.

Три-четыре вечера проводил я дома. Постоянными посетителями были у меня: Охотников, В. Ф. Раевский, А. Ф. Вельтман, В. П. Горчаков и нек. др. Пушкин редко оставался до конца вечера, особенно во вторую половину его пребывания. Здесь не было карт и танцев, а шла иногда очень шумная беседа, спор, и всегда о чем-нибудь дельном, в особенности у Пушкина с Раевским (В. Ф.), и этот последний,

по моему мнению, очень много способствовал к подстреканию Пушкина заняться положительно историей и в особенности географией. Я тем более убеждаюсь в этом, что Пушкин неоднократно после таких споров, на другой или на третий день, брал у меня книги, касавшиеся до предмета, о котором шла речь. Пушкин, как вспыльчив ни был, но часто выслушивал от Раевского, под веселую руку обоих, довольно резкие выражения и далеко не обижался, а, напротив, казалось, искал выслушивать бойкую речь Раевского.

И. П. Липранди, стб. 1255.

Нередко по вечерам мы сходились у подполковника Липранди, который своею особенностью не мог не привлекать Пушкина. В приемах, действиях, рассказах и образе жизни подполковника много было чего-то поэтического, не говоря уже о его способностях, остроте ума и сведениях. Липранди поражал нас то изысканною роскошью, то вдруг каким-то презрением к самым необходимым потребностям жизни, словом, он как-то умел соединять прихотливую роскошь с недостат-

ками. Последнее было слишком знакомо Пушкину. Не имея навыка к расчетливой и умеренной жизни и стесняемый ограниченностью средств, Пушкин также по временам должен был во многом себе отказывать. Молодость и почти кочевая жизнь его, видимо, облегчали затруднения; к тому же с каждым днем Пушкин ожидал перемены своего назначения; ему казалось, что удаление его в южный край России не могло долго продолжаться. Нередко при воспоминании о царско-сельской жизни своей Пушкин как бы в действительности переселялся в то общество, где расцветала первоначальная поэтическая жизнь его. В эти минуты Пушкин иногда скорбел; и среди этой скорби воля рассудка уступала впечатлению юного сердца, но Пушкин недолго вполне оставался юношею, опыт уже холодел над ним; это влияние опыта, смиряя порывы, с каждым днем уменьшало его беспечность.

В. П. Горчаков. Выдержки из дневника. — Москвитянин, 1850, № 7, с. 197.

Попугая, в стоявшей клетке, на балконе

Инзова, Пушкин выучил одному бранному молдаванскому слову. В день Пасхи 1821 года преосвященный Дмитрий Сулима был у генерала; в зале был накрыт стол; благословив закуску, Дмитрий вошел на балкон, за ним последовал Инзов и некоторые другие. Полюбовавшись видом, Дмитрий подошел к клетке и что-то произнес попугаю, а тот встретил его помянутым словом, повторяя его и хохоча. Когда Инзов проводил преосвященного, то с свойственной ему улыбкой и обыкновенным тихим голосом своим сказал Пушкину: «Какой ты шалун! Преосвященный догадался, что это твой урок». Тем все и кончилось. У Инзова на балконе было еще две сороки, каждая в особой клетке, но рассказываемое было с серым попугаем.

И. П. Липранди, стб. 1264.

Несколько времени тому назад отправлен был к вашему превосходительству молодой Пушкин. Желательно, особливо в нынешних обстоятельствах, узнать искреннее суждение ваше, милостивый государь мой, о сем юноше, повинуется ли он теперь внушению от

природы доброго сердца или порывам необузданного и вредного воображения.

Гр. И. А. Каподистрия – ген. И. Н. Инзову (на проекте письма рукою Имп. Александра написано: «Быть по сему»), 13 апр. 1821 г., из Лайбаха. – Рус. Стар., 1887, т. 53, с. 242.

Пушкин, живя в одном со мною доме, ведет себя хорошо и при настоящих смутных обстоятельствах не оказывает никакого участия в сих делах. Я занял его переводом на российский язык составленных по-французски молдавских законов, и тем, равно другими упражнениями по службе, отнимаю способы к праздности. Он, побуждаясь тем же духом, коим исполнены все парнасские жители к ревностному подражанию некоторым писателям, в разговорах своих со мною обнаруживает иногда пиитические мысли. Но я уверен, что лета и время образумят его в сем случае... В бытность его в столице, он пользовался 700 рублями на год; но теперь, не получая сего содержания и не имея пособий от родителя, при всем возможном от меня вспомоществовании терпит, однако ж, иногда некоторый недоста-

ток в приличном одеянии. По сему уважению я долгом считаю покорнейше просить распоряжения вашего к назначению ему отпуска здесь того жалованья, какое он получал в С.-Петербурге.

Ген. И. Н. Инзов в секретном письме к гр. И. А. Каподистрии от 28 апреля 1821 г. – Там же, с. 243.

(Вел. этого письма Инзова жалование Пушкину было выслано и высылалось впоследствии по третям, из расчета 700 в год, до самого исключения Пушкина из службы и высылки его из Одессы.)

Пушкин находился под непосредственной опекой и руководством И. Н. Инзова. Масти-тому старцу надлежало умерять порывы, занимать деятельность и вместе успокаивать пылкое воображение поэта. Иван Никитич в этом успел, привязал к себе Пушкина, снискал доверенность его и ни разу не раздражил его самолюбия. Впоследствии Пушкин, переселясь в Одессу, при каждом случае говаривал об Иване Никитиче с чувством сыновнего

умиления. Этому я свидетель. В сем долговременном и необычайном отношении старца Инзова к неукротимому юноше, сознавшему в себе сугубый дар творчества и глубокомыслия, заключается поучительная истина, что любовь христианская все побеждает.

А. С. Стурдза. Воспоминания об И. Н. Инзове. – Москвитянин, 1847, № 1, с. 224.

Нередко Инзов, разговаривая со мною, вздыхал о Пушкине, любезном чаде своем. Судьба свела сих людей, между коими великая разница в летах была малейшим препятствием к искренней взаимной любви. Сношения их однако сделались сколько странными, столько и трогательными и забавными. С первой минуты прибывшего совсем без денег молодого человека Инзов поместил у себя житьельством, поил, кормил его, оказывал ласки, и так осталось до самой минуты последней их разлуки. Никто так глубоко не умел чувствовать оказываемые ему одолжения, как Пушкин, хотя между прочими пороками, коим не был он причастен, накидывал он на себя и неблагодарность. Его веселый, острый ум

оживил, осветил пустынное уединение старца. С попечителем своим, более чем с начальником, сделался он смел и шутлив, никогда не дерзок; а тот готов был все ему простить... Иногда же, когда дитя его распроказничается, то более для предупреждения неприятных последствий, чем для наказания, сажал он его под арест, т.е. несколько дней не выпускал из комнаты. Надобно было послушать, с каким нежным участием и Пушкин отзывался о нем

Ф. Ф. Вигель. Записки, т. VI, с. 151.

Комнатки, отведенные для Пушкина, не отличались особенною обстановкой. Постель его всегда была измята, а потолок разукрашен какими-то особенными пятнами. Это объясняется тем, что Пушкин имел обыкновение лежать на кровати и стрелять из пистолета хлебным мякишем в потолок, стараясь выделывать на нем всевозможные узоры. По словам Бади-Тодоре, жившего при доме Сизова, Пушкин вставал на рассвете и, вооружившись карандашом и книжечкой, долго, без усталости, гулял по саду и заходил далеко в поля.

Походит, походит он час-другой, присядет на какой-нибудь пенё или камень, напишет немного и опять ходит. Это наблюдалось летом; зимою Пушкин по утрам приказывал вытопить хорошенько печь и принимался ходить по комнате, шлепая турецкими туфлями. Походит, походит, так же как и в саду, затем присядет, попишет немного и опять начинает ходить. По временам Пушкин до того увлекался работой, что его никак нельзя было оторвать от нее к завтраку или обеду. Когда ему мешали, он страшно сердился, в особенности раз, когда за Пушкиным послали одного молодого парня; не успел еще тот переступить порог и передать поручение, как Пушкин, с криком и сжатыми кулаками, набросился на него и наверно побил бы, если бы тот своевременно не убежал. После этого Пушкин жаловался Инзову и просил раз навсегда не беспокоить его во время занятий, хотя бы он должен был остаться без обеда. Поэтому, когда впоследствии кого-нибудь из прислуги посылали за Пушкиным, то они предварительно подкрадывались к окну и высматривали, что Пушкин делает: если он

работал, то никто из прислуги не решался переступить порог. В другой раз, когда ему помешали, он до того рассердился, что, схватив со стола бумагу, на которой писал, разорвал ее, скомкал и швырнул в лицо помешавшему ему. Это случилось с экономкой Инзова, женщиной в летах, из городского сословия. Когда после этого экономка, «жипуняса Катерина», обидевшись, дулась на Пушкина, он просил извинить ему, так как это «находит» на него.

Со слов *Бади-Тодоре* (молдаванина, жившего в услужении у Инзова). – Рус. Арх., 1899, т. II, с. 341.

* Пушкин нередко проводил у Кириенко-Волошинова целые дни, а то и целые ночи. Днем, впрочем, Пушкин появлялся в его квартире только после больших где-либо с иными знакомыми кутежей и тогда долго, как убитый, спал у него на кровати. Иногда вслед за таким, недостойным его, препровождением времени, на него после сна находили бурные припадки раскаяния, самобичевания и недолгой, но искренней грусти. Тогда он всю ночь напролет проводил в излияниях всякого рода

и задушевных беседах с товарищем, сопровождаемых одним только чаем, без всякого иного к нему прибавления. Разговаривая и споря с приятелем, Пушкин всегда держал в руках перо или карандаш, которым набрасывал на бумагу карикатуры всякого рода с соответственными надписями внизу; или хорошенькие головки женщин и детей, большею частью друг на друга похожие. Но довольно часто вдруг в середине беседы он смолкал, оборвав на полуслове свою горячую речь, и, странно повернув к плечу голову, как бы внимательно прислушиваясь к чему-то внутри себя, долго сидел в таком состоянии неподвижно. Затем, с таким же выражением напряженного к чему-то внимания, он снова принимал прежнюю позу у письменного стола и начинал быстро и непрерывно водить по бумаге пером, уже, очевидно, не слыша и не видя ничего ни внутри себя, ни вокруг. В таких случаях хозяин квартиры со спокойною совестью уходил в соседнюю комнату спать, ибо наверно знал, что гость уже ни единого слова не скажет до света и будет без перерыва писать до тех пор, пока перо само не выва-

лится из рук его, а голова не упадет в глубоком сне тут же на столе. Иногда на другой день, проснувшись в обыкновенное время, отец мой находил приятеля спавшим, иногда же последний исчезал, унося с собою все за ночь написанное. Нередко, впрочем, случилось иначе: уходил ли гость или нет, а работы свои оставлял на столе у хозяина, никогда о них не упоминая впоследствии... Некоторые, впрочем, стихотворения самого неприлично-го свойства Пушкин, прежде чем уходить, нарочно громко прочитывал хозяину, крепко держа его за руку, чтобы тот не мог убежать. Зато, едва он оканчивал чтение, как приятель с досадой вырывал бумагу из рук его и в мелкие куски ее разрывал. Однако автор несколько этим не огорчился и неудержимо хохотал над гневом товарища, жестоко упрекавшего его в затрате своих высоких способностей на такие низкие произведения карандаша и пера. Непостижимо странным является то несомненное обстоятельство, что подобные произведения порнографического характера иногда выливались у Пушкина в ту самую ночь, начало которой он употреблял на

самое искреннее раскаяние в напрасно и гнусно потраченном времени и всяких упреках себе самому.

Е. Д. Францева. Пушкин в Бессарабии (из семейных преданий). – Рус. обозрение, 1897, № 1, с. 23–24.

В Кишиневе Инзов всегда приглашал меня останавливаться у него в доме. Дом был не особенно велик, и во время моих приездов меня помещали в одной комнате с Пушкиным... Он целые ночи не спал, писал, возился, декламировал и громко мне читал свои стихи. Летом он разоблачался совершенно и производил все свои ночные эволюции в комнате во всей наготе своего натурального образа.

А. М. Фадеев. Воспоминания. – Рус. Арх., 1891, т. I, с. 399.

(1821 г.) Получил письмо от Чедаева (*П. Я. Чаадаева*). Друг мой, упреки твои жестоки и несправедливы; никогда я тебя не забуду. Твоя дружба мне заменила счастье, – одного тебя может любить холодная душа моя.

4 мая был я принят в масоны.

Пушкин. Кишиневский дневник.

** (Красавица цыганка Шекора, – Людмила, – в первом браке за богатым румыном Бодиско; овдовев и впад в бедность, вышла, не любя, за кишиневского богача Инглези.)* Через два месяца после их свадьбы в Кишинев приехал Пушкин, вскоре сделавшийся душою всего общества. Его с радостью принимали во всех бонтонных домах Кишинева, в том числе и у Инглези. Пушкин с первого же разу влюбился в Людмилу и с чрезвычайною ревностью скрывал от всех свои чувства. *(Однажды рассказчик, бывший в большой дружбе с Пушкиным, в жаркий день заснул в небольшой подгородной роще.)* Голоса на опушке рощи привлекли мое внимание. Через рощицу проходили, обнявшись и страстно целуясь, Пушкин и Людмила. Они меня не заметили и, выйдя на просеку, сели в дожидавшиеся их дрожки и уехали. – После моего открытия прошло несколько дней. Был воскресный день. Я лег после обеда заснуть, вдруг в дверь раздался сильный стук. Я отворил дверь. Передо мною стоял Пушкин. «Голубчик мой, – бросился он

ко мне, – уступи для меня свою квартиру до вечера. Не расспрашивай ничего, расскажу после, а теперь некогда, здесь ждет одна дама, да вот я введу ее сейчас сюда». Он отворил дверь, и в комнату вошла стройная женщина, густо окутанная черною вуалью, в которой однако я с первого взгляда узнал Людмилу. Положение мое было более, нежели щекотливое: я был в домашнем дезабилье. Схватив сапоги и лежавшее на стуле верхнее платье, я стремглав бросился из комнаты, оставив их вдвоем. Впоследствии все объяснилось. Пушкин и Людмила гуляли вдвоем в одном из расположенных в окрестностях Кишинева садов. В это время мальчик, бывший постоянно при этих tête-à-tête[44] настороже, дал им знать, что идет Инглези, который уже давно подозревал связь Людмилы с Пушкиным и старался поймать их вместе. Пушкин ускакал с ней с другой стороны и, чтоб запутать преследователей, привез ее ко мне. Однако это не помогло. На другой день Инглези запер Людмилу на замок и вызвал Пушкина на дуэль, которую Пушкин принял... Дуэль назначена была на следующий день утром, но о

ней кто-то донес генералу Инзову. Пушкина Инзов арестовал на десять дней на гауптвахте, а Инглези вручил билет, в котором значилось, что ему разрешается выезд за границу вместе с женою на один год. Инглези понял намеки и на другой день выехал с Людмилою из Кишинева. Таким образом дуэль не состоялась. Пушкин долго тосковал по Людмиле.

А. Трегубов со слов кишиневского старожилы Градова. – В. А. Яковлев. Отзывы, с. 87–91.

* В своих любовных похождениях Пушкин не стеснялся и одновременно ухаживал за несколькими барышнями и дамами. Однажды он назначает в одном загородном саду свидание молодой даме из тамошней аристократической семьи. Они сошлись на месте свидания. Вдруг соседние кусты раздвигаются, и оттуда выскакивает смуглая цыганка с растрепанными волосами, набрасывается на даму, сваливает ее наземь и давай колотить. Пушкин бросился разнимать их, но усилия оказались тщетными. Он выхватывает из виноградника жердь и начинает колотить цыганку. Она оставила свою жертву и бросилась

было на Пушкина, но, опомнившись, отшатнулась и важною поступью ушла прочь. Благодаря посторонним людям, подоспевшим к этой истории, весть о ней быстро разнеслась по городу. Пушкин целые две недели после этого не показывался в городе и заперся дома. Дама сильно заболела, и ее увезли за границу.

Любимым занятием Пушкина была верховая езда; бывали дни, когда он почти не слезал с лошади... Проезжая однажды по одной из многолюднейших улиц (Харлампиевской), Пушкин увидел у одного окна хорошенькую головку, дал лошади шпоры и въехал на самое крыльцо. Девушка, испугавшись, упала в обморок, а родители ее пожаловались Инзову. Последний за это оставил Пушкина на два дня без сапог. Затем Пушкин в эту же часть города очень часто появлялся в самых разнообразных и оригинальных костюмах. То, бывало, появляется он в костюме турка, в широчайших шароварах, в сандалиях и с феской на голове, важно покуривая трубку, то появится греком, евреем, цыганом и т.п. Разгуливая по городу в праздничные дни, он натыкался на молдавские хороводы и присоеди-

нялся к ним, не стесняясь присутствующими, которые, бывало, нарочно приходили «смотреть Пушкина». По окончании плясок он из общества молдаван сразу переходил в общество «смотревших» его лиц из образованного класса, которым и принимался с восторгом рассказывать, как весело и приятно отплясывать «джок» под звук молдавской «кобзы».

Со слов *кишиневских старожилов*. – Рус. Арх., 1899, т. II, с. 344.

Раз, помню, на Болгарии, – так называлась местность, где теперь Вознесенская церковь – были на Пасху игры. Танцевали под волынку местный танец «джок». Приезжали смотреть на народ в каретах. Приехал Пушкин, помню, в феске, обритый. Начал смотреть, и я слышала, как говорили: «Вот как Пушкин ломается». Помню, рассказывали про него еще и вот такой случай: на Золотой улице был в то время магазин мод какой-то дамы, фамилию забыла. У нее была дочь, красавица. Вот как-то раз Пушкин едет верхом на улице с другими, а дочь эта стояла в это время на крыльце. Пушкин как завидел ее, то верхом так прямо на

крыльцо и въехал. Уже другие его вывели оттуда, совсем перепугал девушку. За это Инзов продержал его день без сапог.

В. Е. Белюгова по записи Л. С. Мацеевича. — В. А. Яковлев. Отзывы, с. 97.

Какая-то молдавская барыня любила снимать свои башмаки, садясь на широкий молдавский диван. Пушкин подметил эту склонность барыни и стащил однажды ее башмаки, вытащив их тростью. Когда нужно было встать, то барыня, не найдя башмаков и не желая поставить себя в неловкое положение, прошла в чулках до дверей, где Пушкин возвратил ботинки по принадлежности, извиняясь в нечаянно совершенном им поступке. Тогдашний башмак снимался легко. Это была скорее туфля, а не нынешний башмак, обхватывающий ногу плотно.

Е. Ф. Теплова по записи В. Я. Теплова. — Там же, с. 80.

Фамилию Пушкина молдаванам очень трудно было произносить, а потому они его и прозвали «куконаш Пушка» (паныч Пуш-

кин)... Постоянные его ухаживания за молдаванками вынуждали родителей и женихов жаловаться Инзову на его ветреного чиновника. Инзов же имел обыкновение разбирать жалобы всенародно, т.е. приглашал жалобщиков и заставлял их в присутствии Пушкина излагать свои жалобы. Инзов должен был наказывать Пушкина хотя бы для виду, чтобы жалобщики не роптали. Наказание заключалось в том, что Инзов оставлял Пушкина без сапог. Такого рода наказание давало повод некоторым смельчакам из молдаван грозить: «Смотри, куконаш Пушка, будешь сидеть без сапог!»

Со слов *кишиневских старожил*ов. – Рус. Арх., 1899, т. II, с. 343.

На главной улице Кишинева часто видели Пушкина с длинными волосами, в фуражке, или с коротко стриженными, в красной феске (Пушкин иногда подвержен был горячке; а потому принужден был брить голову, и тогда, в коротком кругу, носил феску. Вообще же он отращивал волосы. Оттого-то и разноречия в показаниях о головном уборе Пушки-

на), с железной палицей в руке, иногда даже, так как он с Кишиневом не церемонился, в пестром архалуке. Это последнее свидетельствуют многие... Инзов ласкал Пушкина, и когда запрещал ему идти в какое-нибудь общество или собрание, поэт сердился, не шел к обеду, сказывался больным... Пушкин жил у Инзова, обедал, по большей части, у него же и проводил время по произволу. У себя читал, писал и часто стрелял восковыми пулями в цель из пистолета.

К. П. Зеленецкий. Сведения о пребывании Пушкина в Кишиневе и Одессе (по показаниям очевидцев). – Москвитянин, 1854, № 9, Смесь, с. 3.

Если верить Бади-Тодоре, то изо всей у Инзова прислуги он был самым приближенным к поэту человеком. Он обучал Пушкина молдавскому языку, который очень трудно давался ему. Мало-помалу Пушкин делал успехи и через некоторое время успел составить себе маленький молдавский словарь, из которого с грехом пополам складывал предложения, большею частью не имевшие, впрочем, ника-

кого смысла. Бывало, придет к нему в свободное время Бади-Тодоре, Пушкин его еще на пороге встречает приветствиями на молдавском языке. Подав затем гостю стул, Пушкин принимался забрасывать его разного рода вопросами на молдавском языке. Фразы или слова, которые ему особенно трудно удавались, он обыкновенно записывал себе и затем выучивал. Некоторые фразы, которые чаще всего надобно было употреблять и которые ему особенно не давались, он записывал прямо на стенах, чтобы они были всегда на виду.

Со слов *Бади-Тодоре*. Рус. Арх., 1899, т. II, с. 341.

Жена чиновника горного ведомства ст. сов. (Ив. Ив.) Эльфректа (*Эйхфельдта*) (*Мария Егоровна*) слыла красавицей. Пушкин хаживал к ним и некоторое время был очень любезен с молоденькою женою нумизмата, в которую влюбился и его приятель Н. С. Алексеев... Кроме того, временными предметами внимания, а иногда и минутной любви Пушкина в Кишиневе была молодая молдаванка Россети, которой ножки, как все уверены там, будто

воспеты в первой главе Онегина, потом *Пульхерия Егоровна Варфоломей*, девица Прункул и др.

П. И. Бартенев. Пушкин в Южной России, с. 95.

Пульхерия (*Варфоломей*) была полная, круглая, свежая девушка; она любила говорить более улыбкой, но это не была улыбка кокетства, это просто была улыбка здорового, беззаботного сердца. Никто не припомнит, чтоб она на кого-нибудь взглянула особенно. На балах со всеми кавалерами она с одинаковым удовольствием танцевала, всех одинаково любила слушать, и Пушкину так же, как всякому, кто умел ее рассмешить или польстить ее самолюбию, она отвечала: «Ah quel vous êtes, monsieur Pouschkine!»[45] Пушкин особенно ценил ее простодушную красоту и безответное сердце, не ведавшее никогда ни желаний, ни зависти... Смотря на Пульхерию, которой по наружности было около 18 лет, я несколько раз покушался думать, что она есть совершеннейшее произведение не природы, а искусства. Все ее движения могли

быть механическими движениями автомата; прекрасный, спокойный взор двигался вместе с головою; ее лицо и руки так были изящны, что мне казались они натянутою лайкою.

А. Ф. Вельтман. Воспоминания о Бессарабии. – Л. Н. Майков, с. 122.

Пушкин любил всех хорошеньких, всех свободных болтуний. Из числа первых ему нравилась *Марья Петровна Шрейбер*, 17-летняя дочь председателя врач. управы, но она отличалась особенной скромностью или, лучше сказать, застенчивостью; ее он видал только в клубах. Она скоро вышла замуж и уехала. К числу вторых принадлежала *Виктория Ивановна Вакар*, жена подполковника. Вакарша была маленького роста, чрезвычайно жива, вообще недурна и привлекательна, образованная в Одесском пансионе и неразлучная приятельница с Марьей Егоровной Эйхфельдт. Пушкин находил удовольствие с ней танцевать и вести нестесняющий разговор. Едва ли он не сошелся с ней и ближе, но, конечно, не надолго. В этом же роде была очень миленькая девица *Аника-Сандулаки*. Пушкин

любил ее за резвость и, как говорил, за смуглость лица, которому он придавал какое-то особенное значение. Одна из более его интересовавших была *Елена Федоровна Соловкина*, жена командира Охотского полка. Она иногда приезжала в Кишинев к своей сестре. Но все усилия Пушкина, чтоб познакомиться в доме, были тщетны... Как я полагаю, ни одна из всех бывших тогда в Кишиневе не могла породить в Пушкине ничего кроме временно-го каприза; и если он бредил иногда Соловкиной, то и это, полагаю, не по чему другому, как потому только, что не успел войти в ее дом, когда она по временам приезжала в Кишинев.

И. П. Липранди, стб. 1234–1235, 1246.

Я живу в стране, в которой долго бродил Назон. Ему бы не должно было так скучать в ней, как говорит предание. Все хорошенькие женщины имеют здесь мужей; кроме мужей – чичисбеев, а кроме их – еще кого-нибудь, чтобы не скучать.

Пушкин – П. В. Нащокину, в 1821 (?) г., из Бессарабии. – Северное Обозрение, 1849, т. I, с.

867. Цит. по: Кр. Нива, 1929, № 24, с. 14.

(1821.) Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство.

Из донесений секретных агентов. Рус. Стар., 1883, т. 40, с. 657.

(В ноябре 1819 г. в Петербурге Пушкин занял у барона С. Р. Шиллинга 2000 р. асе, сроком на шесть месяцев и выдал ему заемное письмо. Права этого заемного письма бар. Шиллинг передал дворовому человеку Ф. М. Росину. Росин подал письмо ко взысканию. Пушкин в это время был уже на Юге России.) Кишиневская полиция донесла бессарабскому областному правительству, от 18 июня 1821 г., за № 4071, что на требование от Пушкина должных им Росину денег 2000 руб. Пушкин дал следующий отзыв: «Проиграв заемное письмо бар. Шиллингу, будучи еще в несовершеннолетних летах и не имея никакого состояния движимого или недвижимого, находится не в состоянии заплатить того заемного письма».

Л. С. Мацеевич. Рус Стар., 1878, т. 22, с.

Пушкин больше не корчит из себя жестокого, он очень часто приходит к нам курить свою трубку и рассуждает или болтает очень приятно.

Е. Н. Орлова – своему брату *А. Н. Раевскому*, 12 ноября 1821 г., из Кишинева. – М. О. Гершензон. История молодой России. М., 1908, с. 27.

Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конек – *вечный мир аббата Сен-Пьера*. Он убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир, и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия. Я хотела бы видеть, как бы ты сцепился с этими спорщиками.

Е. Н. Орлова – *А. Н. Раевскому*, 23 ноября

1821 г. – Там же, с. 27.

После обеда иногда езжу верхом. Третьего дня поехал со мною Пушкин и грохнулся оземь. Он умеет ездить только на Пегасе да на донской кляче.

М. Ф. Орлов – жене Е. Н. Орловой, в 1821–1822 г. – Там же, с. 28.

(Декабрь 1821 г. Поездка Пушкина с подполковником И. П. Липранди по Бессарабии. В Аккермане, на обеде у коменданта аккерманского замка подполк. Кюрто, петербургского знакомого Пушкина.) Все обедавшие не прочь были, как говорится, погулять, и хозяин подавал пример гостям своим. Пушкин то любезничал с пятью здоровенными и не первой уже молодости дочерьми хозяина, которых увидал в первый раз; то подходил к столикам, на которых играли в вист, и, как охотник, держал пари, то брал свободную колоду и, стоя у стола, предлагал кому-нибудь срезать (в штосе); звонкий смех его слышен был во всех углах.

Когда я приехал с Пушкиным в Аккерман

прямо к полковнику А. Г. Непенину и назвал своего спутника, то после самого радушного приема Пушкину, Непенин спросил меня вполголоса, но так, что Ал. Серг. мог услышать: «Что это, тот Пушкин, который написал *Буянова*?» После обеда, за который тотчас сели, Пушкин подошел ко мне, как бы оскорбленный вопросом Непенина, и наградил его многими эпитетами. Тут нельзя было много объясняться с ним; но когда мы пришли после ужина в назначенную нам комнату, Пушкин возобновил опять о том же речь, называя Непенина необтесанным, невеждою и т.п., присовокупив, что Непенин не сообразил даже и лет его с появлением помянутого рассказа и пр. На вопрос мой, что разве пьеса эта так плоха, что он может за нее краснеть? «Со всем не плоха, отвечал он, она оригинальна и лучшее из всего того, что дядя написал». — «Так что же; пускай Непенин и думает, что она ваша». Пушкин как будто успокоился; он сказал только: «Как же полковник и еще георгиевский кавалер не мог сообразить моих лет с появлением рассказа!» Мы легли. После некоторого молчания он возобновил опять

разговор о Непенине и присовокупил, что ему говорили и в Петербурге, что лет через 50 никто не поверит, чтобы Василий Львович мог быть автором «Опасного соседа», и стихотворение это припишется ему. Я заметил, что поэтому нечего сердиться и на Непенина, который прежде пятидесяти лет усвоил уже это мнение. Пушкин проговорил несколько мест из стихотворения, и мы заснули. Поутру он встал очень веселым и сердился на Непенина только за то, что он не сообразил его лет... Пушкин охотно, как замечено было выше, входил в спор по всем предметам, но не всегда терпел какие-либо замечания о своих стихах.

В Татар-Бунар мы приехали с рассветом и остановились отдохнуть и пообедать. Пока нам варили курицу, Пушкин что-то писал, по обычаю, на маленьких лоскутках бумаги и как ни попало складывал их по карманам, вынимал, опять просматривал и т. д.

(В Измаиле.) Я возвратился в полночь, застал Пушкина на диване с поджатыми ногами, окруженного множеством лоскутков бумаги. Он подобрал все кое-как и положил под

подушку... Опорожнив графин Систовского вина, мы уснули. Пушкин проснулся ранее меня. Открыв глаза, я увидел, что он сидел на вчерашнем месте, в том же положении, совершенно еще не одетый, и лоскутки бумаги около него. В этот момент он держал в руке перо, которым как бы бил такт, читая что-то; то понижал, то подымал голову. Увидев меня проснувшимся же, он собрал свои лоскутки и стал одеваться.

(В гор. Леове, у казачьего полковника.) Довольно уставши, мы выпили по порядочной рюмке водки и напали на соления; Пушкин был большой охотник до балыка. Обед состоял только из двух блюд: супа и жаркого, но зато вдоволь прекрасного донского вина... *(Выехали за город.)* Прошло, конечно, полчаса времени, как мы оставили Леово, как вдруг Ал. Серг. разразился ужасным хохотом, так что вначале я подумал, не болезненный ли какой с ним припадок. «Что такое так веселит вас?» – спросил я его. Приостановившись немного, он отвечал мне, что заметил ли я, каким обедом нас угостили, и опять тот же хохот. Я решительно ничего не понимал. На-

конец он объяснил мне, что суп был из куропаток, а жаркое из курицы. «Я люблю казаков за то, что они не придерживаются во вкусах общепринятым правилам. У нас, да и у всех, сварили бы суп из курицы, а куропатку бы зажарили, а у них наоборот!» – и опять залился хохотом.

И. П. Липранди, стб. 1271, 1273, 1280, 1283, 1452–1453.

К числу некоторых противоречий во повседневной жизни Пушкина я присовокупляю еще одну замечательную черту: это неограниченное самолюбие, самоуверенность, но с тою резкою особенностью, что оно не составляло основы его характера, ибо там, где была речь о поэзии, он входил в жаркий спор, не отступая от своего мнения. Другой предмет, в котором Пушкин никому не уступал, это готовность на все опасности. Тут он был неподражаем. В других же случаях этот яро-самопризнающий свой поэтический дар и всегдашнюю готовность стать лицом со смертию, смирялся, когда шел разговор о каких-либо науках, в особенности географии и

истории, и легким, ловким спором как бы вызывал противника на обогащение себя сведениями; в таких беседах Пушкин хладнокровно переносил иногда довольно резкие выходки со стороны противника и, занятый только мыслью обогатить себя сведениями, продолжал обсуждение предмета... Относительно самолюбия Пушкина к своему поэтическому дару, то оно проявлялось во всех случаях пребывания его в Кишиневе и Одессе; не говоря уже о том, что он сам любил сравнивать себя с Овидием, но он любил, когда кто хвалил его сочинения и прочитывал ему из них стих или два.

Однажды с кем-то из греков в разговоре упомянуто было о каком-то сочинении. Пушкин просил достать ему. Тот с удивлением спросил его: «Как! Вы поэт, и не знаете об этой книге?» Пушкину показалось это обидно, и он хотел вызвать возразившего на дуэль. Решено было так: когда книга была ему доставлена, то он, при записке, возвратил оную, сказав, что эту он знает и пр. После сего мы условились: если что нужно будет, а у меня того не окажется, то доставать буду на свое

имя.

Я заметил, что Пушкин всегда после спора о каком-либо предмете, мало ему известном, искал книг, говорящих об оном.

Не знаю как после, но тогда Пушкин обходился очень небрежно с лоскутками бумаги, на которых имел обыкновение писать.

Там же, стб. 1245, 1261, 1408, 1446–1447.

Значительную долю времени Пушкин отдавал картам. Тогда игра была в большом ходу, и особенно в полках. Пушкин не хотел отставать от других: всякая быстрая перемена, всякая отвага была ему по душе; он пристрастился к азартным играм и во всю жизнь потом не мог отстать от этой страсти. Она разжигалась в нем надеждою и вероятностью внезапного большого выигрыша, а денежные дела его были, особенно тогда, очень плохи. За стихи он еще ничего не выручал, и приходилось жить жалованием и скудными присылками из родительского дому. Играть Пушкин начал, кажется, еще в лицее; но скучная, порою, жизнь в Кишиневе сама подводила его к зеленому столу.

(Замечание на приведенное сообщение Бартенева.) Сколько я понимал Пушкина, – то я думал видеть в нем всегда готового покутить за стаканами, точно так же, как принимать участие и в карточной игре, не будучи особенно пристрастным ни к тому, ни к другому. Одинаково и во всех других общественных случаях, во всем он увлекался своею пылкостью; там, где танцевали, он от всей души предавался пляске; где был легкий разговор, он был неистощим в острогах; с жаром вступал в разговор, и в жарких спорах его проглядывал скорее вызов для приобретений сведений, в необходимости которых он более и более убеждался. Самолюбие его было без пределов: он ни в чем не хотел отставать от других, как очень справедливо и замечено. Словом, и во всем обнаруживалась африканская кровь его.

И. П. Липранди, стб. 1412.

Играли обыкновенно в штосе, в экарте, но

всего чаще в банк. Однажды Пушкину случилось играть с одним из братьев Зубовых – офицером генерального штаба. Он заметил, что Зубов играет «наверное», и, проиграв ему, по окончании игры, очень равнодушно и со смехом стал говорить другим участникам игры, что ведь нельзя же платить такого рода проигрыши. Слова эти разнеслись, вышло объяснение, и Зубов вызвал Пушкина драться. Противники отправились на т. наз. *малину*, виноградник за Кишиневом. Пушкина не легко было испугать; он был храбр от природы и старался воспитывать в себе это чувство. По свидетельству многих, и в том числе В. П. Горчакова, бывшего тогда в Кишиневе, на поединок с Зубовым Пушкин явился с черешнями и завтракал ими, пока тот стрелял. Зубов стрелял первый и не попал. «Довольны вы?» – спросил его Пушкин, которому пришел черед стрелять. Вместо того, чтобы требовать выстрела, Зубов бросился с объятиями. «Это лишнее», – заметил ему Пушкин и, не стреляя, удалился. (В исходе 1821 г.)

П. И. Бартенев. Пушкин в Южной России, с. 101–103.

(Замечание на предыдущее.) Сказано, что поединок происходил «в исходе 1821 года»: но в это время в Кишиневе черешен не бывает, – это первый весенний плод... Меня в то время в Кишиневе не было, но присутствие духа Пушкина на этом поединке меня не удивляет: я знал Ал. Серг-ча вспыльчивым, иногда до исступления; но в минуту опасности, словом, когда он становился лицом к лицу со смертью, когда человек обнаруживает себя вполне, Пушкин обладал в высшей степени невозмутимостью при полном сознании своей запальчивости, виновности, но не выражал ее. Когда дело дошло до барьера, к нему он являлся холодным, как лед. Подобной натуры, как у Пушкина, в таких случаях я встречал очень немного. Эти две крайности в той степени, как они соединились у Ал. С-ча, должны быть чрезвычайно редки.

И. П. Липранди, стб. 1412.

Ал. Сер-ч всегда восхищался подвигом, в котором жизнь ставилась, как он выражался, на карту. Он с особенным вниманием слушал

рассказы о военных эпизодах; лицо его краснело и изображало радость узнать какой-либо особенный случай самоотвержения; глаза его блистали, и вдруг часто он задумывался. Могу утвердительно сказать, что он создан был для поприща военного, и на нем, конечно, он был бы лицом замечательным; но, с другой стороны, едва ли к нему не подходят слова императрицы Екатерины II, что она «в самом младшем чине пала бы в первом же сражении на поле славы»... Дуэли особенно занимали Пушкина.

Там же, стб. 1453–1455.

На Святках (1821–1822 г.) Кишинев особенно оживлялся, и Пушкин не пропустил случая потанцевать и повеселиться. Но вскоре ему опять пришлось драться. На этот раз противником его был человек достойный и всеми уважаемый, – командир егерского полка, О. Н. Старов, известный в армии своею храбростью в отечественную войну и в заграничных битвах. Дело было так. На вечере в кишиневском казино, которое служило местом общественных собраний, один молодой егерский офи-

цер приказал музыкантам играть русскую кадрили; но Пушкин еще раньше условился с А. П. Полторацким начинать мазурку, захлопал в ладоши и закричал, чтобы играли ее. Офицер-новичок повторил было свое приказание, но музыканты послушались Пушкина, которого они давно знали, даром, что он был не военный, и мазурка началась. Полковник Старов все это заметил и, подозвав офицера, советовал ему требовать, чтоб Пушкин, по крайней мере, извинился перед ним. Застенчивый молодой человек начал мяться и отговаривался тем, что он вовсе незнаком с Пушкиным. «Ну, так я за вас поговорю», – возразил полковник и после танцев подошел к Пушкину с вопросами, вследствие которых на другой день положено было быть поединку.

Они стрелялись верстах в двух за Кишиневом, утром в девять часов. Секундантом Пушкина был Н. С. Алексеев. Но погода помешала делу; противники два раза принимались стрелять, и, стало быть, вышло четыре промаха; метель с сильным ветром не давала возможности прицелиться, как должно. Положили отсрочить поединок, и тут-то Пушкин, по

дороге заехав к А. П. Полторацкому и не застав его дома, написал экспромт, сделавшийся известным по всей России и повторяемый с разными изменениями:

*Я жив.
Старов
Здоров,
Дуэль не кончен.*

К счастью, поединок не возобновился. Полторацкому и Атексеевым удалось свести противников в ресторации Николетти. «Я всегда уважал вас, полковник, и потому принял ваш вызов», – сказал Пушкин. – «И хорошо сделали, Ал. Серг-ч, – сказал в свою очередь Старов, – я должен сказать по правде, что вы также хорошо стоите под пулями, как хорошо пишите». Такой отзыв храброго человека, участника 1812 г., не только обезоружил Пушкина, но привел его в восторг. Он кинулся обнимать Старова и с этих пор считал долгом отзываться о нем с великим уважением.

П. И. Бартенев. Пушкин в Южной России, с. 106–108.

(Подробности дуэли со Старовым.) Погода

была ужасная: метель до того была сильна, что в нескольких шагах нельзя было видеть предмета, и к этому довольно морозно... Первый барьер был на шестнадцать шагов: Пушкин стрелял первый и дал промах, Старов тоже и просил зарядить и сдвинуть барьер; Пушкин сказал: «И гораздо лучше, а то холодно». Предложение секундантов прекратить было обоими отвергнуто. Мороз с ветром, как мне говорил Алексеев, затруднял движение пальцев при заряджении. Барьер был определен – на двенадцать шагов, и опять два промаха. Оба противника хотели продолжать, сблизив барьер, но секунданты решительно воспротивились, и так как нельзя было примирить их, то поединок отложен до прекращения метели.

Вечером Пушкин был у меня, как ни в чем не бывало, так же весел, такой же спорщик со всеми, как и прежде. В следующий день, рано, я должен был уехать в Тирасполь и на другой день вечером, возвратясь, узнал миролюбивое окончание дела, и мне казалось тогда видеть будто бы какое-то тайное сожаление Пушкина, что ему не удалось подраться с пол-

ковником, известным своею храбростью. Однажды как-то Алексеев сказал ему, что ведь дрался с ним, то чего же он хочет больше, и хотел было продолжать, но Пушкин, с обычной ему резвостью, сел ему на колени и сказал: «Ну, не сердись, не сердись, душа моя!» – и, вскочив, посмотрел на часы, схватил шапку и ушел.

И. П. Липранди, стб. 1419–1421.

Публика по поводу этой дуэли распустила слухи: одни утверждали, что Старов просил извинения; другие то же самое взваливали на Пушкина, а были и такие храбрецы на словах, которые втихомолку твердили, что так дуэли не должны кончаться. – Дня через два после примирения Пушкин как-то зашел к Nicoletti и, по обыкновению, с кем-то принялся играть на бильярде. В той комнате находилось несколько человек туземной молодежи, которые, собравшись в кружок, о чем-то толковали, – вполголоса, но так, что слова их не могли не доходить до Пушкина. Речь шла об его дуэли со Старовым. Они превозносили Пушкина и порицали Старова. Пушкин

вспыхнул, бросил кий и прямо и быстро подошел к молодежи. «Господа, – сказал он, – как мы кончили со Старовым, это наше дело, но я вам объявляю, что если вы позволите себе осуждать Старова, которого я не могу не уважать, то я приму это за личную обиду, и каждый из вас будет отвечать мне, как следует!» Молодежь начала извиняться, обещая вполне исполнить его желание. Пушкин вышел от Николетти победителем.

В. П. Горчаков. Воспоминание о Пушкине. – Книга воспоминаний о Пушкине. М.: Мир, 1931, с. 198.

Верстах в двух от Кишинева, на запад, есть урочище посреди холмов, называемое Малиной, – только не от русского слова «малина»: здесь городские виноградные и фруктовые сады. Это место как будто посвящено обычаем «полю». Подъехав к саду, лежащему в вершине лощины, противники восходят на гору по извивающейся между виноградными кустами тропинке. На лугу под сенью яблонь и шелковиц, близ дубовой рощицы, стряпчие вымеряют поле, а между тем подсудимые

сбрасывают с себя платье и становятся на место. Здесь два раза «полевал» и Пушкин, но, к счастью, дело не доходило даже до первой крови, и после первых выстрелов его противники предлагали мир, а он принимал его. Я не был стряпчим, но был свидетелем издали одного «поля», и признаюсь, что Пушкин не боялся пули точно так же, как и жала критики. В то время как в него целили, казалось, что он, улыбаясь сатирически и смотря на дуло, замышлял злую эпиграмму на стрельца и на промах.

А. Ф. Вельтман. Воспоминания о Бессарабии. – Л. Н. Майков, с. 126.

Между кишиневскими помещиками-молдаванами, с которыми вел знакомство Пушкин, был некто Балш. Жена его, еще довольно молодая женщина, везде вывозила с собою, несмотря на ранний возраст, девочку-дочь, лет 13. Пушкин за нею ухаживал. Досадно ли это было матери или, может быть, она сама желала слышать любезности Пушкина, только она за что-то рассердилась и стала к нему придирааться. Тогда в обществе много говори-

ли о какой-то ссоре двух молдаван: им следовало драться, но они не дрались. «Чего от них требовать, – заметил как-то Липранди, – у них в обычае нанять несколько человек да их руками отдубасить противника». Пушкина очень забавлял такой легкий способ отмщения. Вскоре, у кого-то на вечере, в разговоре с женою Балша, он сказал: «Экая тоска! Хоть бы кто нанял подраться за себя». Молдаванка вспыхнула. «Да вы деритесь лучше за себя», – возразила она. – «Да с кем же?» – «Вот, хоть с Старовым: вы с ним, кажется, не очень хорошо кончили». На это Пушкин отвечал, что если бы на ее месте был ее муж, то он сумел бы поговорить с ним; потому ничего не остается больше делать, как узнать, так ли и он думает. Прямо от нее Пушкин идет к карточному столу, за которым сидел Балш, вызывает его и объясняет, в чем дело. Балш пошел расспросить жену, но та ему отвечала, что Пушкин наговорил ей дерзостей. «Как же вы требуете от меня удовлетворения, а сами позволяете себе оскорблять мою жену», – сказал возвратившийся Балш. Слова эти были произнесены с таким высокомерием, что Пушкин не вы-

терпел, тут же схватил подсвечник и замахнулся им на Балша. Подоспевший Н. С. Алексеев удержал его... На другой день, по настоянию Крупянского и П. С. Пущина (который командовал тогда дивизией за отъездом Орлова), Балш согласился извиниться перед Пушкиным, который нарочно для того пришел к Крупянскому. Но каково же было Пушкину, когда к нему явился, в длинных одеждах своих, тяжелый молдаванин и вместо извинений начал: «Меня упросили извиниться перед вами. Какого извинения вам нужно?» Не говоря ни слова, Пушкин дал ему пощечину и вслед за тем вынул пистолет. Прямо от Крупянского Пушкин пошел на квартиру к Пущину, где его видел В. П. Горчаков, бледного, как полотно, и улыбающегося. Инзов посадил его под арест на две недели; чем дело кончилось, не знаем. Дуэли не было, но еще долго после этого Пушкин говорил, что не решается ходить без оружия на улицах, вынимал пистолет и с хохотом показывал его встречным знакомым.

П. И. Бартенев со слов В. П. Горчакова. Пушкин в Южной России, с. 109–111.

Происшествие с Тодораки Балшем и женой его Марьей случилось скоро после 4 февраля 1822 г. Столкновение произошло у того же Крупянского, у которого потом и последовала развязка. Марья Балш была женщина лет под тридцать, довольно пригожа, чрезвычайно остра и словоохотлива, владела хорошо французским языком и с претензиями. Пушкин был также не прочь поболтать, и должно сказать, что некоторое время это и можно было только с ней одной. Он мог иногда доходить до речей весьма свободных, что ей очень нравилось, и она в этом случае не оставалась в долгу. Действительно ли Пушкин имел на нее такие виды или нет, сказать трудно: в таких случаях он был переметчив и часто, без всяких целей, любил болтовню и материализм; но как бы то ни было, Марья принимала это за чистую монету. В это время появилась в салонах некто Албрехтша, она была годами двумя старше Балш, но красивей, с свободными европейскими манерами; много читала романов, многие проверяла опытом и любезностью своею поставила Балш на второй план;

она умела поддерживать салонный разговор с Пушкиным и временно увлекала его. У Балш породилась ревность: она начала делать Пушкину намеки и, получив однажды от него отзыв, что женщина эта (Албрехтша) – историческая (?) и пылкой страсти, надулась и искала колоть Пушкина. Он стал с нею сдержаннее и вздумал любезничать с ее дочерью Аникой, столь же острой на словах, как и мать ее, но любезничал так, как можно было только любезничать с 12-летним ребенком. Оскорбленное самолюбие матери и ревность к Албрехтше (она приняла любезничанье с ее дочерью-ребенком в смысле, что будто бы Пушкин желал этим показать, что она имеет уже взрослую дочь) вспыхнули: она озлобилась до безграничности. В это-то самое время и последовала описанная сцена... Когда я возвратился в Кишинев, то Пушкин не носил уже пистолета, а вооружался железной палкой восемнадцать фунтов весу.

И. П. Липранди, стб. 1422–1424.

1822 г., 5 февраля, в 9 час. пополудни, кто-то постучался у моих дверей. Арнаут, кото-

рый стоял в безмолвии предо мною, вышел встретить или узнать, кто пришел. Я курил трубку, лежа на диване. «Здравствуй, душа моя», – сказал Пушкин весьма торопливо и изменившимся голосом. – «Здравствуй, что нового?» – «Новости есть, но дурные; вот почему я прибежал к тебе». – «Доброго я ничего ожидать не могу после бесчеловечных пыток Сабанеева[46]; но что такое?» – «Вот что, – продолжал Пушкин. – Сабанеев сейчас уехал от генерала (*Инзова*); дело шло о тебе. Я не охотник подслушивать, но слыша твое имя, часто повторяемое, признаюсь, согрешил, – приложил ухо. Сабанеев утверждал, что тебя надо непременно арестовать; наш Инзушко, – ты знаешь, как он тебя любит, – отстаивал тебя горячо. Долго еще продолжался разговор: я много не дослышал; но из последних слов Сабанеева ясно уразумел, что ему приказано: ничего нельзя открыть, пока ты не арестован».

В. Ф. Раевский по записи *Л. (Л. Ф. Пантелеева)*. – Вестн. Европы, 1874, № 6, с. 857.

Кишиневский Пушкин ударил в рожу од-

ного боярина и дрался на пистолетах с одним полковником, но без кровопролития. В последнем случае вел он себя, рассказывают, хорошо. Написал кучу прелестей: денег у него ни гроша... Он, рассказывают, пропадает от тоски, скуки и нищеты.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 30 мая 1822 г. – Ост. Арх., т. II, с. 257.

(12 июня 1822 г., понедельник.) ...Когда жар поспал немного, пошли в сад, где нынче было довольно: семейство Ралли, Пушкин, Катаржи и я. Из саду отправились все к Стамати, где составился небольшой бал; под фортепиано танцевали мазурку, экосез, кадрили и вальсы, и было очень весело; потом дрался я с Пушкиным на рапирах и получил от него удар очень сильный в грудь. Часу в одиннадцать распростились.

(15 июня, четверг). – Вечером был в саду, довольно поздно, застал Катаржи и Пушкина, с обоими познакомились покороче, – и опять дрались на эспадронах с Пушкиным, он дерется лучше меня и следственно бьет. Из саду были у Симфераки, и тут мы уже хорошо по-

знакомились с Пушкиным. Он выпущен из лицея, имеет большой талант писать. Известные сочинения его «Ода на вольность», «Людмила и Руслан», также «Черная шаль»; он много писал против правительства и тем сделал о себе много шуму, его хотели послать в Сибирь или Соловецкий монастырь, но государь простил его и, как он прежде просился еще в южную Россию, то и послал его в Кишинев с тем, чтобы никуда не выезжал. В первый раз приехал он сюда с обритой головой и успел уже ударить в рожу одного молдавана. Носились слухи, что его высекли в Тайной канцелярии, но это вздор. В Петербурге имел он за это дуэль. Также в Москву этой зимой хочет он ехать, чтобы иметь дуэль с одним графом Толстым, Американцем, который главный распускает эти слухи. Как у него нет никого приятелей в Москве, то я предложил быть его секундантом, если этой зимой буду в Москве, чему он очень обрадовался. Пробыли мы часу до двенадцатого у Симфераки.

Ф. Н. Лугинин (прапорщик). Дневник. – Литер. наследство, 1934, т. 16–18, с. 673.

Пушкин по приезде в Кишинев жил в доме наместника (*Инзова*). От землетрясения стены дома треснули, раздались в нескольких местах; генерал принужден был выехать из дома, но Пушкин остался в нижнем этаже. Тогда в Пушкине было еще несколько странно-стей, быть может, неизбежных спутников гениальной молодости. Он носил ногти длиннее ногтей китайских ученых. Пробуждаясь от сна, он сидел голый в постели и стрелял из пистолета в стену. Но уединение посреди развалин наскучило ему, и он переехал жить к Алексееву. Утро посвящал он вдохновенной прогулке за город с карандашом и листом бумаги; по возвращении лист был весь исписан стихами.

А. Ф. Вельтман. Воспоминания о Бессарабии. – Л. Н. Майков, с. 124.

Возвратясь в июле 1822 г. в Кишинев, после четырехмесячной отлучки, я нашел уже Пушкина переместившимся от Инзова (по случаю пострадавшей от землетрясения квартиры) к Н. С. Алексееву, жившему тогда рядом с гостиницей Ивана Николаевича Наумова...

Пушкина мы застали без рубашки, сидящего на постели с поджатыми ногами и по обыкновению окруженного исписанными листочками бумаги... Пушкин и Алексеев занимали средней величины комнату направо от сеней, налево была комната хозяйкина.

И. П. Липранди, стб. 1481.

Милый мой, ты возвратил меня Бессарабии. – Я опять в своих развалинах, в моей темной комнате перед решетчатым окном или у тебя, мой милый, в светлой, чистой избушке, смазанной из молдавского г..на. Опять рейнвейн, опять шампанское, и Пуцин, и Варфоломей и все...

Пушкин – Н. С. Алексееву, 1 дек. 1826 г., из Пскова.

Пушкин был еще совсем молод. Был он не то что черный, а так, смуглый, загоревший. Был добрый, хороших правил, а только шалун. Я, бывало, говорю ему: «Вы настоящее дитя!» А он меня называл розою в шиповнике. Бывало говорю ему: «Вы будете ревнивы». А он: «Нет, нет! никогда!» Говорит нам, бывало,

стихи экспромтом. Бывало, Пушкин часто гулял в городском саду. Но всякий раз он переодевался в разные костюмы. Вот уж смотришь, – Пушкин серб или молдаван, а одежду ему давали знакомые дамы. Молдаваны тогда рясы носили. В другой раз смотришь – уже Пушкин турок, уже Пушкин жид, так и разговаривает, как жид. А когда же гуляет в обыкновенном виде, в шинели, то уж непременно одна пола на плече, а другая тянется по земле. Это он называл: по-генеральски. В Митрополию также часто приезжал с Инзовым на богослужение. Инзов станет впереди, возле клироса, а Пушкин сзади, чтобы Инзов не видел его. А он станет, бывало, на колена, бьет поклоны, – а между тем делает гримасы знакомым дамам, улыбается или машет пальцем возле носа, как будто за что-нибудь журит или предостерегает.

Дядя Ириней часто ездил к Инзову в дом. Инзов просил дядю, чтоб он почаще беседовал с Пушкиным и наставлял его. Раз, в Страстную пятницу, входит дядя в комнату Пушкина, а он сидит и что-то читает. «Чем это вы занимаетесь?» – спросил его дядя, по-

здоровавшись. – «Да вот, читаю историю одной особы», – или нет, помню, еще не так он сказал, – не особы, а «читаю, говорит, историю одной статуи». (Да, именно так передавала этот факт П. В. Дыдицкая. Впродолжение трех лет, через длинные промежутки, я все просил ее повторить этот рассказ, и она все говорила одно: «Историю одной статуи». Что хотел выразить этим Пушкин?!) Дядя посмотрел на книгу, а это было евангелие! Дядя очень вспылil и рассердился. «Как вы смеее это говорить? Вы безбожник. Я на вас сейчас бумагу подам!..» На другой день Пушкин приезжает в семинарию и ко мне: «Так и так, – говорит, – боюсь, чтобы ваш дядя не донес на меня... Попросите вашего дядю». – «Зачем же вы, – говорю, – так нехорошо сделали?» – «Да так, – говорит, – само как-то с языка слетело». Тогда я начала его успокаивать. «Не бойтесь, – говорю, – я попрошу дядю. Дядя мой только горячий человек, а он очень добрый». И Пушкин успокоился. А то он очень, было, испугался: он, действительно, боялся, чтобы дядя не донес. Он все хотел, чтобы ему скорее срок вышел, и все рвался выехать из Кишинева.

Тут ему было скучно. «Не нравится мне тут», – говорил он.

П. В. Дыдицкая (племянница ректора кишиневской семинарии архимандрита Ириней) по записи *Л. С. Мацеевича*. – В. А. Яковлев. Отзывы, с. 72, 74.

Более или менее я был влюблен во всех хорошеньких женщин, которых я знал; все изрядно кичились передо мною; все, за исключением одной, со мной кокетничали.

Пушкин. Из записной книжки т. наз. Тарасенкова-Отрешкова. 1822 г. (*фр.*)

Невзирая на обычную веселость, Пушкин предавался любви со всею ее задумчивостью, со всем ее унынием. Предметы страсти менялись в пылкой душе его, но сама страсть ее не оставляла. В Кишиневе долго занимала его одна из трех красивых пар ножек наших соотечественниц.

Л. С. Пушкин. Биограф. изв. об А. С. Пушкине. – Л. Н. Майков, с. 8.

К 1822 году относится временное сближе-

ние Пушкина с одним греческим семейством. Это была известная в Кишиневе Калипсо, приехавшая из Константинополя вместе с матерью своею Полихронией. Про Калипсо ходили слухи, будто она когда-то встретилась с лордом Байроном и впервые познала любовь в его объятиях.

П. И. Бартенев. Пушкин в Южной России, с. 136.

Калипсо была чрезвычайно маленького роста, с едва заметной грудью; длинное сухое лицо, всегда, по обычаю некоторых мест Турции, нарумяненное; огромный нос как бы сверху донизу разделял ее лицо; густые длинные волосы, с огромными огненными глазами, которым она еще более придавала сладострастия употреблением «сурьме». Она нанимала две маленьких комнаты около Мило. В обществах она мало показывалась, но дома радушно принимала. Пела она на восточный тон, в нос; это очень забавляло Пушкина, в особенности турецкие сладострастные, заунывные песни, с аккомпанементом глаз, а иногда жестов. Пушкин не был влюблен в Ка-

липсу; были экземпляры несравненно лучше.

И. П. Липранди, стб. 246.

Калипсо была невысока ростом, худощава, и черты у нее были правильные; но природа с бедняжкой захотела сыграть дурную шутку, посреди приятного лица ее прилепив ей огромный ястребиный нос. Несмотря на то, она многим нравилась. У нее был голос нежный, увлекательный, не только, когда она говорила, но даже когда с гитарой пела ужасные, мрачные турецкие песни. Исключая турецкого и природного греческого, хорошо знала она еще языки арабский, молдавский, итальянский и французский. Ни в обращении ее, ни в поведении не видно было ни малейшей строгости. Пушкин горел к ней любовным жаром. Воображение пуще разгоряченно было в нем мыслию, что лет пятнадцати будто бы впервые познала она страсть в объятиях Байрона, путешествовавшего тогда по Греции.

Ф. Ф. Вигель. Записки, т. VI, с. 153.

Генеральша Гартунг (*Гартинг*) в Кишиневе

ве, дочь Стурдзы, господаря, и первая жена Гики, сын которого недавно был господарем, жила в разводе с мужем и не отличалась строгим поведением. У ней-то жила гречанка, о которой Пушкин писал в стихах. Гартун приняла раз самого Данзаса в ванне. О еврейке, о которой часто упоминает Пушкин, он говорил, что это должна быть дочь одной из двух хозяек-жидовок, содержавших два трактира в Кишиневе. Она была недурна, но коса. Липранди часто бывал с Пушкиным, – он был тогда подполковником генерального штаба, потерял жену-француженку и выстроил ей богатую часовню, в которой часто уединялся. Он жил богато.

К. К. Данзас по записи П. В. Анненкова. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 338.

Однажды Пушкин исчез и пропадал несколько дней. Дни эти он прокочевал с цыганским табором.

Л. С. Пушкин. Биограф. изв. об А. С. Пушкине. – Л. Н. Майков, с. 8.

* Однажды, – рассказывала мне тетушка

Екатерина Захарьевна, – твой отец (*Конст. Зах. Ралли*) собрался посетить одно из отцовских имений – Долну. Между этим имением и другим, Юрченами, в лесу находится цыганская деревня. Цыгане этой деревни принадлежали твоему отцу. Однажды Пушкин поехал вместе с ним в Долну, а оттуда они потом проехали лесом в Юрчены и, конечно, посетили лесных цыган. Табор этот имел старика *були-башу* (старосту), известного своим авторитетом среди цыган; у старика були-баши была красавица дочь. Ее звали Земфирой; она была высокого роста, с большими черными глазами и вьющимися длинными косами. Одевалась Земфира по-мужски, носила цветные шаровары, баранью шапку, вышитую молдавскую рубаху и курила трубку. Богатое ожерелье из старых серебряных и золотых монет, окружавшее шею этой дикой красавицы, конечно, было даром не одного из ее поклонников. Пушкин до того был поражен красотой цыганки, что упросил твоего отца остаться на несколько дней в Юрченах. Они пробыли там более двух недель, ушли в цыганский табор, который откочевал к Варзарештам... Недели

через две наши молодые люди вернулись. Брат рассказал нам, что Ал. Сер-ч бросил его и настоящим-таки образом поселился в шатре були-баши. По целым дням он и Земфира бродили в стороне от табора, и брат видел их держащимися за руки и молча сидящими средь поля. Цыганка Земфира не знала по-русски. Пушкин не знал, конечно, ни слова по-цыгански, так что они оба, вероятно, объяснялись пантомимами. Если бы не ревность Пушкина, который заподозрил Земфиру в некоторой склонности к одному молодому цыгану, – говорил брат нам, – то эта идиллия затянулась бы еще на долгое время, но ревность положила всему самый неожиданный конец. В одно раннее утро Пушкин проснулся в шатре були-баши один-одинешенек, Земфира исчезла из табора. Оказалось, что она бежала в Варзарешты, куда помчался за нею и Пушкин; однако ее там не оказалось, – благодаря, конечно, цыганам, которые предупредили ее... Отец твой писал Пушкину в Одессу про дальнейшую судьбу его героини: Земфиру зарезал ее возлюбленный цыган.

К. Ралли-Арборе со слов Е. З. Стамо. Из се-

мейных воспоминаний о Пушкине. – Минувшие Годы, 1908, №7, с. 2–3.

К 1822 году следует отнести ту рукописную поэму, в сочинении которой Пушкин потом так горько раскаивался (*Гаврилиаду*). Пушкин всячески истреблял ее списки, выпрашивал, отнимал их и сердился, когда ему напоминали о ней. Уверяют, что он позволил себе сочинить ее просто из молодого литературного щегольства. Ему захотелось показать своим приятелям, что он может в этом роде написать что-нибудь лучше стихов Вольтера и Парни.

П. И. Бартенев со слов *П. В. Нащокина*, *В. П. Горчакова*, *С. Д. Полторацкого* и др. Пушкин в Южной России, с. 125.

Пушкина заставил Александр Раевский дать такой характер Пленнику. Он переводить ничего не может. Прекрасно дразнит обезьяну¹. Пишет стихи записест, однако марает много.

Д. В. Давыдов по записи *М. П. Погодина* в его дневнике от 16 окт. 1822 г. – Пушкин и его

совр-ки, вып. XIX–XX, с. 68.

У Пушкина накопилось несколько золотых монет; он суеверно берег их и ни за что не хотел тратить, как бы ни велика была нужда.

П. И. Бартенев со слов *В. П. Горчакова*. Пушкин в Южной России, с. 169.

Во второй половине 1822 года с Пушкиным случилась опять история. Подробности нам неизвестны; но есть положительно свидетельство, что в это время Пушкин, опять за картами, повздоривши с кем-то из кишиневской молодежи, снял сапог и подошвой ударил его в лицо.

П. И. Бартенев. Пушкин в Южной России, с. 126.

Для Марии (*Раевской*) русский чародей Пушкин написал свою прелестную поэму «Бахчисарайский Фонтан».

Гр. *Г. Олизар*. *Pamientinki* 1789–1865. – *Gustaw Olizar Lwow*, 1892, с. 174 (*польск.*).

Ты, конечно, извинил бы мои легкомыс-

ленные строки, если б знал, как часто бываю подвержен так называемой хандре. В эти минуты я зол на целый свет.

Пушкин – П. А. Плетневу, в октябре – ноябре 1822 г., из Кишинева.

Ты говоришь, что стихи мои никуда не годятся[47]. Знаю, но мое намерение было не заводить остроумную литературную войну, но резкой обидой отплатить за тайные обиды человека, с которым расстался я приятелем и которого с жаром защищал всякий раз, как представлялся к тому случай. Ему показалось забавным сделать из меня неприятеля и смешить на мой щет письмами чердак кн. Шаховского, я узнал обо всем, будучи уже сослан, и почитая мщение одной из первых христианских добродетелей – в бессилии своего бешенства закидал издали Толстого журнальной грязью... Ты упрекаешь меня в том, что из Кишинева, под эгидой ссылки, печатаю ругательства на человека, живущего в Москве, но тогда я не сомневался в своем возвращении. Намерение мое было ехать в Москву, где только и могу совершенно очиститься. Столь

явное нападение на гр. Толстого не есть малодушие. Сказывают, что он написал на меня что-то ужасное[48]. Журналисты должны были принять отзыв человека, обруганного в их журнале. Можно подумать, что я с ними заодно, и это меня бесит.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, 1 сент. 1822 г., из Кишинева.

Пушкин забавлялся сходством своего лица с восточною физиономией г-жи Крупянской, жены вице-губернатора. «Бывало, – рассказывает В. П. Горчаков, – нарисует Крупянскую, – похожа; расчертит ей вокруг лица волосы, – выйдет сам он; на ту же голову накинёт карандашом чепчик – опять Крупянская».

П. И. Бартенев. Пушкин в Южной России, с. 94.

Пушкин имел особый дар юмористически изображать физиономии и вообще всю фигуру. В. П. Горчаков должен помнить, как Ал. Серг. на ломберном столе мелом, а иногда и особо карандашом изображал сестру Катакази, Тарсису – *Мадонной* и на руках у ней мла-

денцем генерала Шульмана, с оригинальной большой головой, в больших очках, с поднятыми руками и пр. Пушкин делал это вдруг, с поразительно-уморительным сходством.

И. П. Липранди, стб. 1458.

* Пушкин был у нас постоянный дирижер всех попури и мазурок; в то время попури были в моде, полек ваших еще не знали... Всегда новый, вечно оригинальный, Пушкин не мог не нравиться. Танцевали мы тогда часто, но танцы нам не надоедали; всегдашний дирижер наш один оживлял их. Редко, редко повторяет, бывало, старую фигуру, всегда выдумывает что-нибудь новое. Незадолго до выезда его из Кишинева, собрались мы в одном семействе. Симпровизировали мазурку, и Пушкин начал. Прошел один тур кругом залы, остановился и задумался. Потом быстро вынул из кармана листок почтовой бумажки, весь исписанный стихами, подбежал к лампе, зажег и передал своей даме: «Passez plus loin! Voyons! mesdames[49], у кого потухнет, с тем танцую, – берегитесь!» Общество осталось совершенно довольно как фигурую, так и ее

изобретателем... Никогда не любил говорить о литературе. Врет, бывало, чепуху, рассказывает анекдоты, и чуть только есть какая-нибудь возможность, анекдоты у него всегда выйдут неприличные... Пушкин пил вино, как воду, и вино не действовало на него; бывало, только повеселеет немножко, и уж потешит тогда честную компанию! Еще при мне Пушкин любил две вещи: свою Калипсу, перед которою делался тих и скромненький, как ребенок, и бильярд, к которому пристрастился донельзя, а играл хуже не знаю кого.

К. И. Пр...л. (К. И. Прункул) в передаче К. С. (К. К. Случевского). Биограф. заметки. – Общезанимательный Вестн., 1857, № 11, с. 418–420.

(Возражение на предыдущее.) Пушкин принимал участие в светских развлечениях, но настолько, насколько принимают участие все танцующие молодые люди светского общества; постоянным дирижером танцев он никогда не был и даже чуждался пальмы первенства этого рода, да и вообще как-то не любил передовой роли в общественном быту. Пушкин любил дамское общество, но вместе с

тем в том же обществе он был застенчив... Говоря о бильярдной игре, мы не можем согласиться, что Пушкин пристрастился к ней донельзя, играл, как вы говорите, хуже не знаю кого. При этом находим кстати спросить вас: не памятна ли вам одна билия, сделанная Пушкиным с руки? О ней тогда много говорили.

В. П. Горчаков. Воспоминания о Пушкине. – Моск. Вед., 1858, № 19. Перепеч.: Книга воспоминаний о Пушкине, с. 176, 206.

На днях получил я письмо от Беса-Арабского Пушкина. Он скучает своим безнадежным положением, но, по словам приезжего, пишет новую поэму «Гарем». А что еще лучше, скажут, что он остепенился и становится рассудителен.

Кн. П. А. Вяземский – А. И. Тургеневу, 30 апр. 1823 г. – Архив бр. Тургеневых, Пг., 1921, вып. VI, с. 16.

Нам от Верховной Думы было запрещено знакомиться с поэтом А. С. Пушкиным, когда он жил на юге. Прямо было сказано, что он,

по своему характеру и малодушию, по своей развратной жизни, сделает донос тотчас правительству о существовании Тайного Общества... Мне рассказывали Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин про Пушкина такие на юге проделки, что уши и теперь краснеют.

И. И. Горбачевский – М. А. Бестужеву, 12 июня 1861 г. – Записки декабриста И. И. Горбачевского. М.: Задруги, 1916, с. 300.

В Одессе встретил я Пушкина; он служил тогда в Бессарабии при ген. Инзове. Я еще прежде этого имел случай видеть его в Тульчине у Киселева. Знаком я с ним не был, но в обществе раза три встречал. Как человек, он мне не понравился. Какое-то бретерство, *suffisance* (самодовольство) и желание осмеять, уколоть других. Тогда же многие из знавших его говорили, что рано или поздно, а умереть ему на дуэли.

Н. В. Басаргин (декабрист). Записки. СПб.: Огни, 1917, с. 24.

Граф Воронцов сделан новороссийским и бессарабским генерал-губернатором. Не знаю

еще, отойдет ли к нему и бес арабский (Пушкин). Кажется, он прикомандирован был к лицу Инзова.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 9 мая 1823 г., из Петербурга. – Ост. Арх., т. II, с. 322.

Говорили ли вы Воронцову о Пушкине? Непременно надобно бы ему взять его к себе. Похлопочите, добрые люди! Тем более, что Пушкин точно хочет остепениться, а скука и досада – плохие советники.

Кн. П. А. Вяземский – А. И. Тургеневу, 31 мая 1823 г., из Москвы. – Там же, с. 327.

Я говорил с Нессельроде и с графом Воронцовым о Пушкине. Он берет его к себе от Инзова и будет употреблять, чтобы спасти его нравственность, а таланту даст досуг и силу развиваться.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 1 июня 1823 г. – Ост. Арх., т. II, с. 328.

О Пушкине вот как было. Зная политику и опасения сильных сего мира, следовательно и Воронцова, я не хотел говорить ему, а сказал Нессельроде в виде сомнения, у кого он

должен быть: у Воронцова или Инзова. Граф Нессельроде утвердил первого, а я присоветовал ему сказать о сем Воронцову. Сказано – сделано. Я после и сам два раза говорил Воронцову, истолковал ему Пушкина и что нужно для его спасения. Кажется, это пойдет на лад. Меценат, климат, море, исторические воспоминания – все есть; за талантом дело не станет, лишь бы не захлебнулся. Впрочем, я одного боюсь: тебя послали в Варшаву, откуда тебя выслали; Батюшкова – в Италию – с ума сошел; что-то будет с Пушкиным?

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 15 июня 1823 г., из Петербурга. – Там же, с. 333.

В Одессе

(Август 1823 г.) Я остановился в Одессе в известнейшем отеле Рено, близ театра... Я поместился в двух небольших комнатах над конюшнями... Рядом со мной, об стену, жил Пушкин, изгнанник-поэт. В Одессе, где он только что поселился, не успел еще он обрести веселых собеседников... С каждым днем наши беседы и прогулки становились продолжительнее. Разговор Пушкина, как бы электрическим прутиком касаясь моей черными думами отягченной главы, внезапно порождал в ней тысячу мыслей, живых, веселых, молодых, и сближал расстояние наших возрастов. Беспечность, с которою смотрел он на свое горе, часто заставляла меня забывать и собственное... Бывало, посреди пустого, забавного разговора, из глубины души его или сердца вылетит светлая, новая мысль, которая покажет и всю обширность его рассудка. Часто со смехом, пополам с презрением, говорил он мне о шалунах-товарищах его в петербургской жизни, с нежным уважением о педагогах, которые были к нему строги в лицее.

Мало-помалу открыл весь закрытый клад его правильных и благородных помыслов, на кои накинута была замаранная мантия цинизма.

Ф. Ф. Вигель. Записки, т. VI, с. 89, 98.

Здоровье мое давно требовало морских ванн, я насилу уломал Инзова, чтоб он отпустил меня в Одессу, – я оставил мою Молдавию и явился в Европу. Ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и, ей-богу, обновили мою душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня чрезвычайно ласково, объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе. Кажется и хорошо, – да новая печаль мне сжала грудь. «Мне стало жаль моих покинутых цепей». Приехал в Кишинев на несколько дней, провел их неизъяснимо элегически и, выехав оттуда навсегда, – «О Кишиневе я вздохнул». Теперь я опять в Одессе и все еще не могу привыкнуть к европейскому образу жизни: впрочем, я нигде не бываю, кроме в театре...

Пушкин – Л. С. Пушкину, 25 авг. 1823 г.

В Одессе Пушкин жил сначала в Hôtel du Nord[50], на Итальянской улице, ныне дом Сикара. Тут, по свидетельству П. С. Пущина, писал он своего Онегина, на лоскутах бумаги, полураздетый, лежа в постеле. Однажды, когда он описывал театр, ему заметили: не вставит ли он в это описание своего обычая наступать на ноги, пробираясь в креслах. Пушкин вставил стих: «Идет меж кресел по ногам». Потом Пушкин жил на Ришельевской ул., на углу ее с Дерибасовскою, в верхнем этаже дома, принадлежавшего сперва барону Рено, а потом его дочери княгине Канта-кузенной. Окна дома выходят на обе улицы, и угольный балкон принадлежал поэту, который налево с него мог видеть и море. Почти в глазах у него был театр. Далее к театру, на другом углу того же квартала, помещалось казино, о котором упоминает он в Онегине, при описании Одессы, и в котором сиживал он иногда в своем кишиневском архалуке и феске. Наряд этот Пушкин оставил в Одессе. Здесь на улице показывался он в черном сюртуке и в фуражке или черной шляпе, но с тою же железной палицей. Сюртук его постоянно был застегнут, и

из-за галстуха не было видно воротничков рубашки. Волосы у него и здесь были подстрижены под гребешок или даже обриты. (Никто, впрочем, из тех, которые знали Пушкина в Кишиневе и в Одессе и с которыми мы имели случай говорить, не помнят его больным.) Говорят еще, что на руке носил он большое золотое кольцо с гербовой печатью. В Одессе, так же, как в Кишиневе, Пушкин по утрам читал, писал, стрелял в цель, гулял по улицам. Обедывал он то у Дмитраки, в греческой ресторации, то на Итальянской ул., в Hôtel du Nord, вместе с польскими помещиками, которые, как сказывали нам, умели приласкать его к себе, хотя, по словам людей, в то время близких к нему, он не любил польского языка. С товарищами своими Пушкин обедал, по большей части, у Отона, которого ресторация помещалась в маленьком доме, на Дерибасовской ул. Довольно часто обедал Пушкин и у графа (Воронцова).

К. П. Зеленецкий. Сведения о пребывании Пушкина в Кишиневе и Одессе. – Москвитянин, 1854, № 9, Смесь, с. 7–10.

В доме Сикара Пушкин поселился потом, а сначала жил у Рено и занимал угольный фас с балконом.

Н. О. Лернер. Пушкин в Одессе. – Соч. Пушкина, изд. Брокг.-Ефр., т. II, с. 272.

Как раз против лица, на Дерибасовской улице, стоял небольшой одноэтажный дом, на котором красовалась вывеска с надписью большими золотыми буквами: Cesar Automne restaurateur[51]. Здесь был известный в то время ресторан, в котором Пушкин любил коротать свои невольные досуги.

Н. Г. Тройницкий. – Рус. Стар., 1887, т. 54, с. 159.

Самым дорогим рестораном в Одессе была Ришельевская гостиница, содержащая Оттоном. – Пушкин часто обедал у вас здесь? – спрашиваешь почтенного, грузного с правильными чертами старофранцузского лица, неторопливо-предупредительного, важно-любезного хозяина. Très souvent, oui, monsieur. Il préférait le Saint-Peray à toutes les autres marques de champagne, et j'en ai toujours eu

d'excellent dans ma cave[52]. Прелестнейший образчик француза старого закала был monsieur Automne.

Б. М. Маркевич. Полн. собр. соч. М.: Изд. В. М. Саблина, 1912, т. XI, с. 391.

Пушкин опять предался светской жизни, но более одушевленной, более поэтической, чем та, которую вел в Петербурге. Любовь овладела сильнее его душою. Она предстала ему со всею заманчивостью интриг, соперничества и кокетства. Она давала ему минуты и восторга, и отчаяния. Однажды, в бешенстве ревности, он пробежал пять верст с обнаженной головой, под палящим солнцем по 35 градусам жара. – Пушкин был собою дурен, но лицо его было выразительно и одушевленно: ростом он был мал (в нем было с небольшим 5 вершков); но тонок и сложен необыкновенно крепко и соразмерно. Женщинам Пушкин нравился; он был с ними необыкновенно увлекателен и внушил не одну страсть на веку своем. Когда он кокетничал с женщиною или когда был действительно ею занят, разговор его становился необыкновенно заманчив.

Должно заметить, что редко можно встретить человека, который объяснялся так вяло и так несносно, как Пушкин, когда предмет разговора не занимал его. Но он становился блестяще красноречив, когда дело шло о чем-нибудь близком его душе. Тогда-то он являлся поэтом, и гораздо более вдохновенным, чем во всех своих сочинениях. О поэзии и литературе Пушкин говорить вообще не любил, а с женщинами никогда и не касался до сего предмета. Многие из них, особенно в то еще время, и не подозревали в нем поэта... В знакомом кругу Пушкин любил неизвестность, но молвою вообще дорожил и радовался, когда встречал свое имя в иностранных сочинениях и журналах... В Одессе Пушкин писал много; читал еще более. Там он написал три первые главы «Онегина». Он горячо взялся за него и каждый день им занимался. Пушкин просыпался рано и писал обыкновенно несколько часов, не вставая с постели. Приятели часто заставляли его то задумчивого, то помирающего со смеху над строфою своего романа. Одесская осень благотворно действовала на его занятия.

Л. С. Пушкин. Биограф. изв. об А. С. Пушкине. – Л. Н. Майков, с. 9–10.

Никто так не боялся, особенно в обществе, своего звания поэта, как Пушкин. Он искал в нем успехов совсем другого рода. По меткому выражению одного из самых близких к нему людей, «предметы его увлечения могли меняться, но страсть оставалась при нем одна и та же». И он вносил страсть во все свои привязанности и почти во все сношения с людьми. Самый разговор его, в спокойном состоянии духа, ничем не отличался от разговора всякого образованного человека, но делался блестящим и неудержимым потоком, как только прикасался к какой-нибудь струне его сердца или к мысли, глубоко его занимавшей... Особенно перед слушательницами любил он расточать всю гибкость своего ума, все богатства своей природы. Он называл это, на обыкновенном насмешливом языке своем, «кокетничаньем с женщинами». Вот почему, несмотря на известную небрежность его костюма, на неправильные, хотя энергические черты лица, Пушкин вселял так много привя-

занности в сердцах, оставлял так много неизгладимых воспоминаний в душе.

П. В. Анненков. Материалы, с. 79.

Я прочел Туманскому отрывки из «Бахчисарайского Фонтана» (новой моей поэмы), сказав, что я не желал бы ее напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру.

Изъясни отцу моему, что я без его денег жить не могу. Жить пером мне невозможно при нынешней цензуре; ремеслу же столярному я не обучался; в учителя не могу идти. Всё и все меня обманывают, – на кого же, кажется, надеяться, если не на ближних и родных? На хлебах у Воронцова я не стану жить – не хочу и полно – крайность может довести до крайности. Мне больно видеть равнодушные отца моего к моему состоянию, – хоть письма его очень любезны... У меня хандра, и это письмо не развеселило меня.

Пушкин – Л. С. Пушкину, 25 авг. 1823 г., из Одессы.

(23 сент. 1823 г.) Говорил о Пушкине с Аграф. Ив. Трубецкой... Государь, прочтя «Кавказского Пленника», сказал: «Надо помириться с ним».

М. П. Погодин. Дневник. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIX–XX, с. 70.

О каких переменах говорил тебе Раич? Я никогда не мог поправить раз мною написанное... У нас скучно и холодно.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, 14 окт. 1823 г.

Что для меня по преимуществу было занимательно в Ал. Ник. Раевском, – это то, что мне передал мой дядя и что после того не один раз слышал я от людей вполне компетентных, – тот положительный факт, что Пушкин имел в виду нравственную личность и направление ума Ал. Ник-ча в известном стихотворении своем «Демон».

Гр. П. И. Капнист со слов гр. А. В. Капниста. – Рус. Стар., 1899, т. 98, с. 242.

В Одессе, в одно время с Пушкиным, жил Александр Раевский. Он был тогда настоящим «демоном» Пушкина, который изобразил его в известном стихотворении очень верно. Этот Раевский, действительно, имел в себе что-то такое, что придавливало душу других. Сила его обаяния заключалась в резком и язвительном отрицании. Я испытывал это обаяние на самом себе. Пушкин в Одессе хаживал к нему обыкновенно по вечерам, имея позволение тушить свечи, чтоб разговаривать с ним свободнее впотьмах. Однажды Пушкин зашел к нему утром и прочел свое новое антологическое стихотворение, начинавшееся так:

*Подруга милая, я знаю, отчего
Ты с нынешней весной от наших
игр отстала.*

Раевский оставил его у себя обедать. К обеду явилось еще несколько лиц. За обедом Раевский сообщил о новом произведении поэта, и все, разумеется, стали просить прочесть его; но Раевский не дал читать Пушкину, сказав, что сам прочтет, так как эти прекрасные сти-

хи сразу врезались ему в память, и начал так:

*Подруга милая, я знаю, отчего
Ты с нынешней весной от наших
игр удрала.*

Эта вздорная шутка невольно всех рассмешила, и ее было достаточно, чтоб Пушкин всю жизнь не решился напечатать вполне этого стихотворения, и оно оставалось в печати урезанным и вполне появилось только в посмертном издании (Дионея: «Хромид в тебя влюблен...»). Пушкин сам вспоминал со смехом некоторые случаи подчиненности своему демону, до того уже комические, что мне даже казалось, что он пересаливает свои рассказы. Но потом я проверил их у самого Раевского, который повторил мне буквально то же.

М. В. Юзефович. Воспоминания о Пушкине. – Рус. Арх., 1880, т. III, с. 439.

А. Н. Раевский, первообраз «Демона», имел на Пушкина влияние, доходившее до смешного. Напр., Пушкин мне сам рассказывал, что с Александром Николаевичем он не мог спо-

рить иначе, как впотьмах, потушив свечи, и что он подходил, как смеясь выражался, из подлости, к ручке к его девке. Точь-в-точь то же самое рассказывал мне потом Раевский, смеясь над фасинацией (очарованием), какую напустил он на Пушкина. Эту, впрочем, фасинацию испытывал и я, хотя не в такой степени и не обнаруживая ее, так что «Демон» мне вполне понятен.

М. В. Юзефович – П. И. Бартеневу. – Звезда, 1930, № 7, с. 232.

Одна наружность Александра Раевского была такова, что невольно, с первого взгляда, легко могла привлечь внимание каждого, кто даже не был с ним лично знаком: высокий, худой, даже костлявый, с небольшой круглой и коротко стриженной головой, с лицом темно-желтого цвета, с множеством морщин и складок, – он всегда (я думаю, даже когда спал) сохранял саркастическое выражение, чему, быть может, немало способствовал его очень широкий с тонкими губами рот. Он, по обычаю двадцатых годов, всегда был гладко выбрит, и хотя носил очки, но они ничего не

отнимали у его глаз, которые были очень характеристичны. Маленькие, изжелта-карие, они всегда блестели наблюдательно живым и смелым взглядом, с оттенком насмешливости, и напоминали глаза Вольтера. Раевский унаследовал у отца своего резкую морщину между бровей, которая никогда не исчезала. Вообще он был скорее безобразен, но это было безобразие типичное, породистое, много лучше казенной и приторной красоты иных бесцветных эндимионов. Раевский одевался обыкновенно несколько небрежно и даже в молодости своей не был щеголем, что однако не мешало ему иметь всегда заметное положение в высшем обществе. Он был человек замечательно тонкого, острого ума и той образованности, которая так отличала в свое время среду декабристов.

Гр. П. И. Капнист со слов гр. А. В. Капниста . – Рус. Стар., 1899, т. 98, с. 241–242.

Александр Раевский был чрезвычайно умен, и уже в 1820 г. успел внушить Пушкину такое высокое о себе понятие, что наш поэт предрекал ему блестящую известность. Позд-

нее, когда они видались в Каменке и Одессе, Ал. Раевский, заметив свое влияние на Пушкина, вздумал подтрунить над ним и стал представлять из себя ничем не довольного, разочарованного, над всем смеющегося человека. Поэт поддался искусной мистификации и написал своего «Демона». Раевский долго оставлял его в заблуждении, но, наконец, признался в своей шутке, и после они часто и много смеялись, перечитывая вместе это стихотворение, об источниках и значении которого впоследствии так много было писано и истощено догадок.

Е. Н. Орлова в передаче *Я. К. Грота*. – Я. К. Грот, с. 52.

Что до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в стихах, – дьявольская разница. Вроде Дон-Жуана. О печати и думать нечего; пишу спустя рукава (в черновике: Пишу его с упоением, что уж давно со мной не бывало).

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, 4 нояб. 1823 г., из Одессы.

У нас холодно и грязно, – обедаем славно, –

я пью, как Лот содомский, и жалею, что не имею с собою ни одной дочки. Недавно выдался нам молодой денек, – я был президентом попойки, все перепились и потом поехали по борделям.

Пушкин – Ф. Ф. Вигелю, в нояб. 1823 г.

Вам скучно, нам скучно; сказать ли вам сказку про белого бычка?.. Скучно, моя радость! Вот припев моей жизни.

Пушкин – бар. А. А. Дельвигу, 16 нояб. 1823 г.

Хоть Пушкину и веселее в Одессе, но жить труднее, ибо все дорого, а квартиры и стола нет, как у Инзова.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 29 нояб. 1823 г. – Ост. Арх., т. II, с. 369.

Когда мы свидимся, вы не узнаете меня, я стал скучен, как Грибко, и гораздо разумен, как Чеботарев.

Пушкин – А. И. Тургеневу, 1 дек. 1825 г.

Я посылаю вам, генерал, 360 рублей, которые я вам должен уже так давно... Чувствуя

себя сконфуженным и униженным, что не мог до сих пор заплатить этого долга; причины – что я подыхал от нищеты.

Пушкин – ген. И. Н. Инзову, после 8 дек. 1823 г., из Одессы (фр.).

Ты знаешь, что я дважды просил Ивана Ивановича (*царя*) о своем отпуске через его министров и два раза воспоследовал всемилоостивейший отказ. Осталось одно, – писать прямо на его имя – такому-то в Зимнем дворце, что против Петропавловской Крепости, не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится невтерпеж. *Ubi bene, ibi patria* [53]. А мне *bene* там, где растет трын-трава, братцы! Были бы деньги, а где мне их взять? Что до славы, то ею в России мудроно довольствоваться.

Пушкин – Л. С. Пушкину, в нач. янв. 1824 г., из Одессы.

(В 20-х числах января 1824 г. Пушкин с Липранди поехали в Тирасполь и Бендеры. В Бендерах жил 135-летний старик Искра, помнив-

ший шведского короля Карла XII.) Пушкин добивался от Искры своими расспросами узнать что-либо о Мазепе, а тот не только что не мог указать ему его могилу или место, но и объявил, что такого и имени не слышал. Пушкин не отставал, толкуя ему, что Мазепа был казачий генерал, а не басурман, как шведы, все напрасно... С недовольным духом Пушкин возвратился с нами к полицмейстеру. За обедом все повеселели, и кофе, по предложению Пушкина, пошли пить к нашей хозяйке. Около четырех часов Пушкин сел на перекладную вместе с квартальным и отправился в Каушаны: ему не терпелось скорее увидеть развалины дворцов и фонтанов. Пушкин приехал разочарованный так же, как и в надежде открыть могилу Мазепы. Вскоре после полуночи он с братом моим уехал в Тирасполь... Пушкин хотел продолжать путь ночью, и только внезапный холодный дождь заставил его отдохнуть, с тем чтоб на завтра выехать со светом; но трехсуточная усталость и умственное напряжение погрузили его в крепкий сон. Когда он проснулся, брат мой был уже у Сабанеева (*командира корпуса*) и, возвратясь, на-

шел Пушкина готовым к отъезду. Но предложение видеться с В. Ф. Раевским[54], на что Сабанеев, знавший их близкое знакомство, сам выразил согласие, Пушкин решительно отвергнул, объявивши, что в этот день к известному часу ему неотменно надо быть в Одессе. По приезде моем в сию последнюю, через полчаса, я был уже с Пушкиным, потому что я всегда останавливался в клубном доме Отона, где поселился и Ал. Серг-ч. На вопрос мой, почему он не повидался с Раевским, когда ему было предложено самим корпусным командиром, – Пушкин, как мне показалось, будто бы несколько был озадачен моим вопросом и стал оправдываться тем, что он спешил, и кончил полным признанием, что в его положении ему нельзя было воспользоваться этим предложением, хотя он был убежден, что оно сделано было Сабанеевым с искренним желанием доставить ему и Раевскому удовольствие, но что немец Вахтен (*начальник штаба 6 корпуса*) не упустил бы сообщить этого свидания в Тульчин, «а там много усерднейших, которые поспешат сделать то же в Петербург» и пр. Я переменял разговор,

находя, что Пушкин поступил благоразумно; ибо Раевский не воздержался бы от сильных выражений, что при коменданте или при дежурном было бы очень неловко, и, как заключил я во время разговора, Ал. С-ч принимал это в соображение. «Жаль нашего Спартанца!» – не раз, вздыхая, говорил он.

(В первой половине февраля 1824 г.) В этот день мне случилось в первый раз обедать с Пушкиным у графа (Воронцова). Он сидел довольно далеко от меня и через стол часто переговаривался с Ольгой Станиславовной Нарышкиной (урожд. граф. Потоцкой, сестрою С. С. Киселевой); но разговор почему-то вовсе не одушевлялся. Графиня Воронцова и Башмакова (Варвара Аркадьевна, урожд. княжна Суворова) иногда вмешивались в разговор двумя, тремя словами. Пушкин был чрезвычайно сдержан и в мрачном настроении духа. Вставши из-за стола, мы с ним столкнулись, когда он отыскивал, между многими, свою шляпу, и на вопрос мой, куда? – «Отдохнуть!» – отвечал он мне, присовокупив: «Это не обеды Бологовского, Орлова и даже...» – не окончил и вышел... В восемь часов вечера возвратился я до-

мой и, проходя мимо номера Пушкина, зашел к нему. Я застал его в самом веселом расположении духа, без сюртука, сидящим на коленях у мавра Али. Этот мавр, родом из Туниса, был капитаном, т.е. шкипером коммерческого или своего судна, человек очень веселого характера, лет тридцати пяти, среднего роста, плотный, с лицом загорелым и несколько рябоватым, но очень приятной физиономии. Али очень полюбил Пушкина, который не иначе называл его, как корсаром. Али говорил несколько по-французски и очень хорошо по-итальянски. Мой приход не переменял их положения; Пушкин мне рекомендовал его, присовокупив, что – «у меня лежит к нему душа: кто знает, может быть, мой дед с его предком были близкой родней». И вслед за сим начал его щекотать, чего мавр не выносил, а это забавляло Пушкина. Я пригласил их к себе пить чай... Господствующий разговор был о Кишиневе. Ал. Серг-ч находил, что положение его во всех отношениях было гораздо выносимее там, нежели в Одессе, и несколько раз принимался щекотать Али, говоря, что он составляет здесь для него – един-

ственное наслаждение.

И. П. Липранди, стб. 1464–1472.

Морали был человек высокого роста, прекрасно сложенный. Голова была широкая, круглая, глаза большие, черные. Все черты лица были правильные, а цвет кожи красно-бронзовый. Одежда его состояла из красной рубахи, поверх которой набрасывалась красная суконная куртка, роскошно вышитая золотом; короткие шаровары были подвязаны богатою турецкою шалью, служившею поясом; из ее многочисленных складок выглядывали пистолеты. Обувь состояла из турецких башмаков и чулок, доходивших до колен. Белая шаль окутывала его голову. Вскоре Морали подружился с молодыми людьми, был принят во многих одесских гостиных и участвовал во всех пирушках и вечеринках. Он хорошо говорил по-итальянски и никогда не обижался, когда ему напоминали о его прежних корсарских подвигах. Тогда говорили, что этот египтянин был когда-то корсаром, и думали, что он обладает несметными богатствами. Но после оказалось, что он был простым

искателем приключений, да к тому еще и отчаянным картежником. Вскоре распространился по Одессе слух, что красивого африканца обыграли одесские картежники. Он вдруг бесследно исчез из нашего города.

М. Ф. де-Рибас. Рассказы одесского старожила. – Из прошлого Одессы. Сборник статей, составленный Л. М. де-Рибасом. Одесса, 1894, с. 359.

Дней через десять, в десять часов утра, я приехал опять в Одессу с Н. С. Алексеевым и тотчас послал дать знать Пушкину. Человек возвратился с известием, что он еще спит, что пришел домой в пять часов утра из маскарада. Маскарад был у гр. Воронцова. В час мы нашли Пушкина еще в кровати, с поджатыми, по обыкновению, ногами, и что-то пишущим. Он был очень не в духе от бывшего маскарада... В эту мою поездку в Одессу, где пробыл я неделю, я начал замечать, но безотчетно, что Пушкин был недоволен своим пребыванием относительно общества, в котором он вращался. Я замечал какой-то abandon[55] в Пушкине, но не искал проникать в его заду-

шевное и оставлял, так сказать, без особенного внимания. В дороге, в обратный путь в Кишинев, мы разговорились с Алексеевым и начали находить в Пушкине большую перемену, даже в суждениях. По некоторым вырвавшимся у него словам Алексеев, бывший к нему ближе и интимнее, нежели я, думал видеть в нем как будто бы какое-то ожесточение.

В Одессе было общество, которое могло занимать Пушкина во всех отношениях. Не говоря о высших кругах, как, напр., в домах гр. Воронцова, Л. А. Нарышкина, Башмакова, П. С. Пущина и некоторых др. Но я понимал, что такой круг не мог удовлетворять Пушкина; ему, по природе его, нужно было разнообразие с разительными противоположностями, как встречал он их в Кишиневе. Он отвык и, как говорил, никогда и не любил аристократических, семейных, этикетных обществ, существовавших в вышеназванных домах... Приезды Ал. Н. Раевского развлекали Пушкина, как будто оживляли его, точно так же, как когда встречался он с кем-либо из кишиневских. Тогда – вопросам не было конца; обед,

ужин, завтрак со старыми знакомцами оживляли его... В Одессе, независимо от встреч с знакомыми бессарабцами, театр иногда служил развлечением.

И. П. Липранди, стб. 1472–1475.

Пушкина Фонтан слез – превосходен; он пишет еще поэтический роман: Онегин, – который, говорят, лучше его самого.

А. А. Бестужев – Я. Н. Толстому, 3 марта 1824 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. II, с. 69.

Пушкин, во время пребывания своего в Южной России, куда-то ездил за несколько сот верст на бал, где надеялся увидеть предмет своей тогдашней любви. Приехав в город, он до бала сел понтировать и проиграл всю ночь до позднего утра, так что прогулял и все деньги, и бал, и любовь свою.

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 95.

Один одесский старожил, бывший во времена Пушкина студентом Ришельевского лицея, сознается, что больше знал суковатую

палку, длинные волосы и, в противоположность моде, загнутые вниз воротнички рубашки Пушкина, нежели его сочинения.

А. А. Скальковский. Воспоминания. – В. А. Яковлев. Отзывы, с. 153.

Пушкин заходил в старшие классы Ришельевского лицея. Проходя как-то по лицейским коридорам и классам, он сказал: «Как это напоминает мне мой лицей!» В другой раз, застав одного воспитанника за чтением «Онегина», он шутя заметил ему: «Охота вам читать такой вздор!» – Наша классная комната выходила окнами на Ланжероновскую улицу. Нижняя часть окошек была заделана камнем, чтобы мальчики, сидя за уроком, не развлекались улицею. Помню, однажды кто-то крикнул: «Пушкин идет, Пушкин!» Кинулись к окошкам... Я заметил человека, с палкою на плече, как он поворачивал за угол Лицея; он шел проворно, какой-то развалистой походкой. Это был Пушкин.

Н. Г. Тройницкий. Пушкин в Ришельевском лицее. – Там же, с. 8.

Пушкин раза два или три был в Одессе еще до перехода своего в этот город на службу. Во время этих приездов он познакомился и сблизился с негоциантом Ризничем, который был родом из адриатических славян, – далмат или кроат. Ризнич в то время еще не был женат. В 1822 г. он уехал в Вену и весной 1823 г. воротился оттуда с молодою женою. Пушкин переехал на постоянное жительство в Одессу в ту же пору и был, конечно, одним из первых знакомых новоприезжей дамы. Все убеждены были, что г-жа Ризнич была родом из Генуи. Оказывается, однако, что она была дочь одного венского банкира, по фамилии Рипп, полунемка и полуитальянка, с примесью, быть может, и еврейского в крови. Муж привез жену свою вместе с ее матерью, которая, однако же, недолго оставалась с молодыми супругами, – не более шести месяцев, и уехала обратно за границу. Г-жа Ризнич была молода, высока ростом, стройна и необыкновенно красива. Особенно привлекательны были ее пламенные очи, шея удивительной формы и белизны и черная коса, более двух аршин длиною. Только ступни были у нее слишком ве-

лики. Потому, чтобы скрыть недостаток ног, она всегда носила длинное платье, которое тянулось по земле. Она ходила в мужской шляпе и одевалась в наряд полуамазонки. Все это придавало ей оригинальность и увлекало молодые и немолодые сердца. Но этот наряд и, как кажется, другие обстоятельства были причиною, что в высшем кругу тогдашнего одесского общества, который в то время сосредоточивался в одном известном доме (гр. *Воронцова*), г-жа Ризнич принята не была. Зато все молодые люди, принадлежавшие к этому кругу, собирались в доме Ризнич (на Херсонской ул., в доме бывш. Ризнича, потом Нарольского, на углу, напротив нового здания Ришельевского лицея). Муж занимал здесь, как по всему видно, вторую роль; а молодая хозяйка вела самую живую, одушевленную беседу и играла в вист, до которого была страстная охотница. В числе посещавших дом Ризнича были А. С. Пушкин, В. Туманский и Исидор Собаньский, немолодой, но богатый помещик из западных губерний. Пушкин и Собаньский всех более волочились за г-жою Ризнич, всех более были близки к ней и всех

более пользовались ее вниманием и доверием. На стороне Пушкина была молодость и пыл страсти, на стороне его соперника – золото... Весною 1824 г. г-жа Ризнич уехала за границу, без мужа, со своим ребенком. Она не могла, в продолжение кратковременного своего пребывания в Одессе, научиться говорить и понимать по-русски; в доме у нее, кроме разве прислуги, говорили по-итальянски или по-французски... В одно время с г-жою Ризнич уехал за границу и соперник Пушкина. Он настиг ее на пути, недалеко за русскою границею, провожал до Вены и вскоре потом оставил ее навсегда. Через несколько месяцев, по всей вероятности, в начале 1825 г., г-жа Ризнич умерла, – кажется, в бедности и, кажется, в Генуе, призренная матерью мужа.

Пушкину, кроме г-жи Ризнич, нравилась в Одессе только одна дама, с которою был он, однако, более в светско-враждебных отношениях, и m-lle Бларамберг, дочь известного одесского археолога, очень умная и образованная девица, с которою любил он беседовать по вечерам у графа.

К. П. Зеленецкий. Г-жа Ризнич и Пушкин. –

Ризнич получил отличное воспитание, учился в падуанском и берлинском университетах. В Одессе он занимался преимущественно хлебными операциями. Проф. Сречкович, со слов г-на Ризнича, утверждает, что г-жа Ризнич была итальянка, родом из Флоренции, женщина замечательной красоты. В Одессе, равно как и прежде в Вене, она вела жизнь на широкую ногу, танцевала и играла в карты. Из массы ее поклонников выделялись Пушкин и польский князь Яблоновский. Зеленецкий говорит, что соперником Пушкина был некто Собаньский. Сречкович положительно называет другое лицо – кн. Яблоновского... Г. Ризнич внимательно следил за поведением своей жены, заботливо оберегая ее от падения. К ней был приставлен верный его слуга Филипп, который знал каждый шаг жены своего господина и обо всем доносил ему. Пушкин страстно привязался к г-же Ризнич. По образному выражению г-на Ризнича, он увивался около нее, как котенок, но взаимно-

стью от нее не пользовался: г-жа Ризнич была к нему равнодушна. Ненормальный образ жизни в Одессе вредно отразился на здоровье г-жи Ризнич. У нее обнаружили признаки чахотки, и она должна была уехать на родину в Италию. За нею последовал во Флоренцию и кн. Яблоновский и там успел добиться ее доверия, о чем не замедлил довести до сведения своего господина верный его слуга Филипп, отправленный Ризничем вместе с женою на ее родину. Г-жа Ризнич скоро умерла; умер скоро и ребенок ее от брака с г. Ризничем. Ризнич не отказывал ей в средствах во время ее жизни в Италии, и показание г. Зеленецкого, будто она умерла в нищете, неверно. О доверии, оказанном г-жею Ризнич кн. Яблоновскому, Пушкин не мог знать, и потому образ г-жи Ризнич в его памяти остался свободным от пятен.

М. Е. Халанский со слов проф. *П. С. Стречковича*. – Сборник Харьк. Истор. Филол. Общ-ва, Харьков, 1892, т. 4, с. 247–249.

Наш отец (*Кирияков*), во время пребывания Пушкина в Одессе, был предводителем дво-

рянства и жил открыто. Каждый понедельник были назначены у нас танцевальные вечера. Пушкин был у нас непременным посетителем. Он любил потанцевать... Пылкий, живой, впечатлительный, Пушкин не мог быть кунктатором в делах сердечных. Особенно равнодушие его выражалось по отношению к двум девицам нашего круга – Зинаиде и Елене Блаرامберг.

К. М. Соколова (урожд. *Кириякова*) по записи *А. Берга*. – В. А. Яковлев. Отзывы, с. 133.

Пушкин не пропускал никогда в Одессе заутрени на Светлое воскресенье и звал всегда товарищей «услышать голос русского народа» (в ответе на христосование священника: во истину воскресе). Слышал от Ал. Н. Раевского.

М. П. Погодин. – Москвитянин, 1855, № 4, с. 146.

Очевидцы сказывали нам, что иногда, в послеобеденное время, а иногда и в лунные ночи, Пушкин ездил за город, в двух верстах от него, на дачу, бывшую Рено, где открывается весь полукруг морского горизонта. Тогда

это было дико поэтическое место уединения.

К. П. Зеленецкий. – Москвитянин, 1854, № 9, Смесь, с. 10.

«Был тут в графской канцелярии Пушкин. Чиновник, что ли. Бывало, больно задолжает, да всегда отдаст с процентами. Возил я его раз на хутор Рено. Следовало пять рублей; говорит: в другой раз отдам. Прошло с неделю. Выходит: вези на хутор Рено!.. Повез опять... Следовало уж десять рублей, а он и в этот раз не отдал. Возил я его и в третий, и опять в долг: нечего было делать; и рад бы не ехать, да нельзя: свиреп был, да и ходил с железной дубинкой. Прошла неделя, другая. Прихожу я к нему на квартиру. Жил он в клубном доме, во втором этаже. Вхожу в комнату: он брился. Я к нему. Ваше благородие, денег пожалуйста, и начал просить. Как ругнет он меня, да как бросится на меня с бритвой! Я бежать, давай, бог, ноги, чуть не зарезал. С той поры я так и бросил. Думаю себе: пропали деньги, и искать нечего, а уж больше не повезу. Только раз утром гляжу, – тут же и наша биржа, – Пушкин растворил окно, зовет всех, кому дол-

жен... Прихожу и я: «На вот тебе по шести рублей за каждый раз, да смотри, вперед, не совайся!» – Да зачем же ездил он на хутор Рено? – «А бог его знает! Посидит, походит по берегу час, полтора, потом назад».

К. П. Зеленецкий со слов одесского извозчика Березы. Из записной книжки. – П. И. Барте-нев. Пушкин: сборник, вып. II, с. 95.

Предания той эпохи упоминают о женщине, превосходившей всех других во власти, с которой управляла мыслью и существованием поэта (*графине Е. К. Воронцовой*). Пушкин нигде о ней не упоминает, как бы желая сохранить про одного себя тайну этой любви. Она обнаруживается у него только многочисленными профилями прекрасной женской головы, спокойного, благородного, величавого типа, которые идут почти по всем его бумагам из одесского периода жизни.

П. В. Анненков. Пушкин в Алекс. эпоху, с. 245.

Княгиня (*В. Ф. Вяземская*) рассказала мне некоторые подробности о пребывании А.

Пушкина в Одессе и его сношениях с женой нынешнего князя Воронцова, что я только подозревал.

П. А. Плетнев – Я. К. Гроту. – Переписка Грота с Плетневым, т. II, с. 680.

Сегодня Герберт (сын *леди Пемброк-Воронцовой*) пел «Талисман». Он и не знал, что поет про *волшебницу тетку (граф. Е. К. Воронцову)*.

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. IX, с. 186.

Золотой, принадлежавший Ал. С. Пушкину, перстень с резным восьмиугольным сердоликом. Еврейская надпись на нем гласит: «Симха, сын почтенного рабби Иосифа (пресвятого Иосифа старого), да будет благословенною его память». Написано сокращенно: «Симха бен Р. Иосиф старый п. б.». История этого перстня видна из приложенной к нему записки И. С. Тургенева: «Перстень этот был подарен Пушкину в Одессе княгиней Воронцовой. Он носил почти постоянно этот перстень (по поводу которого написал свое стихотворение: «Талисман») и подарил его на

смертном одре поэту Жуковскому»... и т. д.

Описание Пушкинского музея Имп. Алекс. Лицея. СПб., 1899, с. 11.

Надписи, в которых и должна заключаться чародейственная сила талисманов, делают-ся так, что их можно прочесть прямо. Надпись же на сердоликовом камне в перстне Пушкина сделана обратно, т.е. для оттиска. Это указывает, что камень в перстне Пушкина не талисман, а просто печать... Воображаемый талисман оказывается просто еврейскою именно печатью, на которой вырезано полукурсивными (раввинскими) буквами: «Симха, сын почтенного рабби Иосифа старца, да будет его память благословенна». Княгиня Воронцова, очевидно, была в заблуждении относительно качества перстня, и если бы знала о действительном его значении, конечно, не подарила бы его Пушкину.

В. Л. Гаевский. Перстень Пушкина. – Вестн. Европы, 1888, № 2, с. 536–537.

Пушкин, по известной склонности своей к суеверию, соединял даже талант свой с участью перстня, испещренного какими-то каба-

листическими знаками и бережно хранимого им. Перстень этот находится теперь во владении В. И. Даля.

П. В. Анненков. Материалы, с. 171.

Пушкин носил сердоликовый перстень (*приписка Соболевского: у Даля: Известный талисман*). Нащокин отвергает показание Анненкова, что с этим перстнем Пушкин соединял свое поэтическое дарование: с утратою его должна была утратиться в нем и сила поэзии (*приписка Соболевского: никогда не слышал*).

П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 41.

Она очень приятна, у ней меткий, хотя не очень широкий ум, а ее характер – самый очаровательный, который я знаю.

А. Н. Раевский – Е. Н. Орловой о графине Воронцовой. – М. О. Гершензон. История молодой России, с. 44.

Ей было уже за тридцать лет, а она имела все права казаться еще самою молоденькою. Со врожденным польским легкомыслием и

коккетством желала она нравиться, и никто лучше ее в том не успевал. Молода была она душою, молода и наружностью. В ней не было того, что называют красотою; но быстрый нежный взгляд ее миленьких небольших глаз пронзал насквозь; улыбка ее уст, которой подобной я не видал, так и призывает поцелуи.

Ф. Ф. Вигель. Записки, т. VI, с. 84.

Не нахожу слов, которыми я мог бы описать прелесть графини Воронцовой, ум, очаровательную приятность в обхождении. Соединяя красоту с непринужденною вежливостью, уделом образованности, высокого воспитания, знатного, большого общества, графиня пленительна для всех и умеет занять всякого разговором приятным. В ее обществе не чувствуешь новости своего положения; она умно, приятно и весело разговаривает со всеми.

Н. С. Всеволожский. Путешествие через Южную Россию, Крым и Одессу в Константинополь, Малую Азию и пр. М., 1839, т. I, с. 93.

Жена М. С. Воронцова не отличалась се-

мейными добродетелями и, так же, как и ее муж, имела связи на стороне.

К. К. Эшлиман. Воспоминания. – Рус. Арх., 1913, т. I, с. 355.

По кончине Воронцова (1856) его вдова принялась разбирать его переписку, долго этим занималась и производила уничтожения. Тут же она разбирала и собственные свои бумаги. Попалась небольшая связка с письмами Пушкина, и княгиня их истребила; но домоправитель ее Г. И. Тумачевский помнит в одном пушкинском письме выражение: «Que, fait votre lourdaud de mari (что делает ваш олух-муж)?» В глубокой старости княгиня Елизавета Ксавериевна восхищалась сочинениями Пушкина: ей прочитывали их почти каждый день, и такое чтение продолжалось целые годы.

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1912, т. II, с. 159.

Большая зала Воронцовых, почти всегда пустая, разделяла две большие комнаты и два общества. Одно, полуплебейское, хотя редко покидал его сам граф, постоянно оставалось в

бильярдной. Другое, избранное, отборное, находилось в гостиной у графини. Исключая (*Ал. Н. Раевского*) всегда можно было найти тут Марини, Брунова, Пушкина и др. Из дам вседневной посетительницей была одна только граф. О. Стан. Потоцкая, месяца за два перед тем вышедшая за Л. А. Нарышкина, двоюродного брата графа Воронцова. В столовой к обеду сходились все вместе, а вечером у Казначеева все опять смешивались.

Ф. Ф. Вигель. Записки, т. VI, с. 124.

Гр. М. С. Воронцов привлек в Одессу множество знатных особ, желавших служить при графе. Он еженедельно принимал гостей в роскошных залах своего новопостроенного дворца и жил так, как не жилал ни один из мелких германских владетельных князьков. Чиновники, служившие при генерал-губернаторе, были люди отборные, все хорошо воспитанные. Помещики приезжали в наш город со всех концов края, зная понаслышке, что в Одессе круглый год праздник.

М. Ф. де-Рибас. Из прошлого Одессы, с. 360.

С Пушкиным я говорю не более четырех слов в две недели, он боится меня, так как знает прекрасно, что при первых дурных слухах о нем я отправлю его отсюда и что тогда уже никто не пожелает взять его на свою обузу; я вполне уверен, что он ведет себя много лучше и в разговорах своих гораздо сдержаннее, чем раньше, когда находился при добром генерале Инзове, который забавлялся спорами с ним, пытаюсь исправить его путем логических рассуждений, а затем дозволял ему жить одному в Одессе, между тем как сам оставался жить в Кишиневе. По всему, что я узнаю на его счет и через Гурьева (*одесского градоначальника*), и через Казначеева (*правителя канцелярии гр. Воронцова*), и через полицию, он теперь очень разумен и сдержан; если бы было иначе, я отослал бы его и лично был бы в восторге от этого, так как я не люблю его манер и не такой уже поклонник его таланта, — нельзя быть истинным поэтом, не работая постоянно для расширения своих познаний, а их у него недостаточно.

Гр. М. С. Воронцов – П. Д. Киселеву, 6 марта 1824 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXXVII, с.

Дядя мой мне сказал, что Александр Никол. Раевский был невольной причиной высылки Пушкина из Одессы графом Воронцовым. В 1823 и 1824 гг. все слои одесского общества, среди непрерывных увеселений, равно соединялись в доме своего генерал-губернатора и его любезной супруги, которая не оставалась вполне равнодушной к блестящей молодежи, несшей с увлечением к ее ногам дань восторгов и преданности. А. Н. Раевский был отличен графинею в окружающей ее среде, и она относилась к нему симпатичнее, чем к другим, но, как это нередко бывало в манерах большого света, прикрытием Раевскому служил друг его, молодой, но уже гремевший славою на всю Россию поэт Пушкин. На него-то и направился с подозрением взгляд графа. И отсюда возникли своего рода преследования и усилия удалить каким-нибудь способом Пушкина из Одессы. Поэт, с своей стороны, не оставался в долгу и на прижимки отвечал эпиграммами. Граф Воронцов, преследуя свою цель, добился, наконец, высылки поэта. За-

бавнее же всего то, что А. Н. Раевский продолжал пребывать в Одессе, постоянно посещая дом графа Воронцова.

Гр. А. В. Каннист в передаче гр. П. И. Канниста. – Рус. Стар., 1899, т. 98, с. 242–244.

Я не буду входить в тайну связей А. Н. Раевского с гр. Воронцовой; но могу поручиться, что он действовал более на ее ум, чем на сердце или чувства... Как легкомысленная женщина, гр. Воронцова долго не подозревала, что в глазах света фамильярное ее обхождение с человеком, ей почти чуждым, его же стараниями перетолковывается в худую сторону... Козни его, уввы, были пагубны для другой жертвы. Влюбчивого Пушкина нетрудно было привлечь миловидной Воронцовой, которой Раевский представил, как славно иметь у ног своих знаменитого поэта... Вздохи, сладкие мучения, восторженность Пушкина, коих один он был свидетелем, служили ему беспрестанной забавой. Вкравшись в его дружбу, он заставил его видеть в себе поверенного и усерднейшего помощника, одним словом, самым искусным образом дурачил его!..

Еще зимой чутьем слышал я опасность для Пушкина и раз шутя сказал ему, что по африканскому происхождению его все мне хочется сравнить его с Отелло, а Раевского с неверным другом Яго. Он только что засмеялся.

Ф. Ф. Вигель. Записки, т. VI, с. 171.

В графе М. С. Воронцове, воспитанном в Англии чуть не до двадцатилетнего возраста, была «вся английская складка, и так же он сквозь зубы говорил», так же был сдержан и безукоризнен во внешних приемах своих, так же горд, холоден и властителен, как любой из сыновей аристократической Британии. Наружность Воронцова поражала своим истинно-барским изяществом. Высокий, сухой, замечательно благородные черты, словно отточенные резцом, взгляд необыкновенно спокойный, тонкие, длинные губы с вечно играющею на них ласково-коварною улыбкою. Чем ненавистнее был ему человек, тем приветливее обходился он с ним; чем глубже вырывалась им яма, в которую собирался он пихнуть своего недоброхота, тем дружелюбнее жал он его руку в своей. Тонко рассчитанный и изда-

лека заготовляемый удар падал всегда на голову жертвы в ту минуту, когда она менее всего ожидала такового.

Б. М. Маркевич. Полн. собр. соч., т. XI, с. 396–398.

Вашему сиятельству известны причины, по которым, несколько времени тому назад, молодой Пушкин был послан с письмом от графа Капподистрия к генералу Инзову. Во время моего приезда сюда генерал Инзов предоставил его в мое распоряжение, и с тех пор он живет в Одессе, где находился еще до моего приезда, когда генерал Инзов был в Кишиневе. Я не могу пожаловаться на Пушкина за что-либо, напротив, казалось, он стал гораздо сдержаннее и умереннее прежнего, но собственный интерес молодого человека, не лишенного дарований, у которого недостатки происходят скорее от ума, нежели от сердца, заставляет меня желать его удаления из Одессы. Главный недостаток Пушкина – честолюбие. Он прожил здесь сезон морских купаний и имеет уже множество льстецов, хвалящих его произведения; это поддерживает в нем

вредное заблуждение и кружит его голову тем, что он замечательный писатель, в то время, как он только слабый подражатель писателя, в пользу которого можно сказать очень мало, — лорда Байрона. Это обстоятельство отдаляет его от основательного изучения великих классических поэтов, которые имели бы хорошее влияние на его талант, — в чем ему нельзя отказать, и сделали бы из него со временем замечательного писателя.

Удаление его отсюда будет лучшая услуга для него. Я не думаю, что служба при генерале Инзове поведет к чему-нибудь, потому что, хотя он и не будет в Одессе, но Кишинев так близок отсюда, что ничего не помешает его почитателям поехать туда; да и, наконец, в самом Кишиневе он найдет в молодых боярах и молодых греках скверное общество.

По всем этим причинам я прошу ваше сиятельство довести об этом деле до сведения государя и испросить его решения по оному. Ежели Пушкин будет жить в другой губернии, он найдет более поощрителей к занятиям и избежит здешнего опасного общества. Повторяю, граф, что я прошу этого только ра-

ди него самого; надеюсь, моя просьба не будет истолкована ему во вред, и вполне убежден, что только согласившись со мною, ему можно будет дать более средств обработать его рождающийся талант, удалив его в то же время от того, что ему так вредно, от лести и столкновения с заблуждениями и опасными идеями.

Гр. М. С. Воронцов – гр. К. В. Нессельроде, 28 марта 1824 г., из Одессы. – Рус. Стар., 1879, т. 26, с. 292 (*фр.*).

...Кстати: повторяю мою просьбу, – избавьте меня от Пушкина, это, может быть, превосходный малый и хороший поэт, но мне бы не хотелось иметь его дольше ни в Одессе, ни в Кишиневе.

Гр. М. С. Воронцов – гр. К. В. Нессельроде, 2 мая 1824 г., из Кишинева. – Пушкин и его совр-ки, вып. XVI, с. 68 (*фр.*).

Граф Воронцов на средства неразборчив, что уже доказал прежде (т.е. Пушкина история).

Ген. Н. Н. Раевский в черновике письма к

Александрю I. – М. О. Гершензон. Мудрость Пушкина, с. 203.

Через несколько дней по приезде моем в Одессу встревоженный Пушкин вбежал ко мне сказать, что ему готовится величайшее неудовольствие. В это время несколько самых низших чиновников из канцелярии генерал-губернаторской, равно как и из присутственных мест, отряжено было для возможного еще истребления ползающей по степи саранчи; в число их попал и Пушкин. Ничего не могло быть для него унижительнее... Для отращения сего добрейший Казначеев (*начальник канцелярии*) медлил исполнением, а между тем тщетно ходатайствовал об отменении приговора. Я тоже заикнулся было на этот счет; куда тебе! Воронцов побледнел, губы задрожали, и он сказал мне: «Любезный Ф. Ф., если вы хотите, чтобы мы остались в прежних приятных отношениях, не упоминайте мне никогда об этом мерзавце!» А через полминуты прибавил: «также и о достойном друге его Раевском». Последнее меня удивило и породило во мне много догадок.

До отъезда Пушкина я был еще раза три в Одессе, и каждый раз находил его более и более недовольным; та веселость, которая одушевляла его в Кишиневе, проявлялась только тогда, когда он был с мавром Али. Мрачное настроение духа Ал. Сергеевича породило множество эпиграмм, из которых едва ли не большая часть была им только сказана, но попала на бумагу и сделалась известной. Эпиграммы эти касались многих и из канцелярии графа. Стихи его на некоторых дам, бывших на бале у графа, своим содержанием раздражали всех. Начались сплетни, интриги, которые еще более тревожили Пушкина. Говорили, что будто бы граф через кого-то изъяснил Пушкину свое неудовольствие и что это было поводом злых стихов о графе. Услужливость некоторых тотчас распространила их. Граф не показал вида какого-либо негодования; по-прежнему приглашал Пушкина к обеду, по-прежнему обменивался с ним несколькими словами... Через несколько времени получены были из разных мест известия о появ-

лении саранчи, выходявшей уже из зимних квартир своих, на иных местах еще ползающей, на других перешедшей в период скачки. Граф послал несколько военных и гражданских чиновников (от полковника до губернского секретаря); в числе их был назначен и Пушкин, положительно с целию, чтобы по окончании командировки иметь повод сделать о нем представление к какой-нибудь награде. Но Пушкин, с настроением своего духа, принял это за оскорбление, за месть и т.д. Нашлись люди, которые, вместо успокоения его раздражительности, старались еще более усилить оную или молчанием, когда он кричал во всеуслышание, или даже поддакиванием, и последствием этого было известное письмо его к графу, в сильных и, — можно сказать, — неуместных выражениях. Я вполне убежден, что если бы в это время был Н. С. Алексеев, и даже я, то Пушкин не поступил бы так, как он это сделал; он не был чужд гласу благоразумия.

И. П. Липранди, стб. 1477–1478.

Состоящему в штате моем, коллегии ино-

странных дел, коллежскому секретарю Пушкину. Поручаю вам отправиться в уезды херсонский, елизаветградский и александрийский и, по прибытии в города Херсон, Елизаветград и Александрию, явиться в тамошние общие уездные присутствия и потребовать от них сведения: в каких местах саранча возродилась, в каком количестве, какие учинены распоряжения к истреблению оной и какие средства к тому употребляются. После сего имеете осмотреть важнейшие места, где саранча наиболее возродилась, и обозреть, с каким успехом действуют употребленные к истреблению оной средства, и достаточны ли распоряжения, учиненные для этого уездными присутствиями. О всем, что по сему вами найдено будет, рекомендую донести мне.

Гр. М. С. Воронцов в предписании Пушкину от 22 мая 1824 г. – Библиограф. зап., 1858, т. I, с. 138.

Глубоко оскорблен был Пушкин предложением принять участие в экспедиции против саранчи. В этом предложении новороссийского генерал-губернатора он увидал злейшую

иронию над поэтом-сатириком, принижение честолюбивого дворянина и, вероятно, паче всего одурачение ловеласа, подготовившего свое торжество. Расстройство любовных планов Пушкина долго отзывалось черчением на черновых бумагах женского изящного римского профиля в элегантном классическом головном уборе, с представительной рюшью на шее.

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 499.

Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, не знаю, вправе ли отозваться на предписание его сиятельства. Приемлю смелость объясниться откровенно на щет моего положения. Семь лет я службою не занимался, не писал ни одной бумаги, не был в сношении ни с одним начальником. Эти семь лет, как вам известно, вовсе для меня потеряны. Жалобы с моей стороны были бы не у места. Стихотворство – мое ремесло, доставляющее мне пропитание и домашнюю независимость. Думаю, что граф Воронцов не захочет лишить меня ни того, ни другого. Мне скажут, что я, получая семьсот рублей, обязан служить... Я

принимаю эти семьсот рублей не так, как жалование чиновника, но как паек ссылочного невольника. Я готов от них отказаться, если не могу быть властен в моем времени и занятиях. Если бы я хотел служить, то никогда бы не выбрал себе другого начальника, кроме его сиятельства, но чувствуя свою совершенную неспособность, я уже отказался от всех выгод службы. Знаю, что довольно этого письма, чтобы меня, как говорится, уничтожить. Если граф прикажет подать в отставку, я готов; но чувствую, что, переменяв мою зависимость, я много потеряю, а ничего выиграть не надеюсь.

Еще одно слово: вы, может быть, не знаете, что у меня аневризм. Вот уже восемь лет, как я ношу с собою смерть. Могу представить свидетельство которого угодно доктору. Ужели нельзя оставить меня в покое на остаток жизни, которая верно не продлится.

Пушкин – А. И. Казначееву (правителю канцелярии гр. Воронцова), 25 мая 1824 г. Черновик.

По совету Ал. Раевского Пушкин отправил-

ся в командировку и, возвратясь дней через десять, подал донесение об исполнении порученного. Но в то же время, под диктовку того же друга, написал к Воронцову французское письмо, в котором говорил, что ничего не сделал столь предосудительного, за что бы мог быть осужден на каторжные работы, но что, впрочем, после сделанного из него употребления он, кажется, может вступить в права обыкновенных чиновников и, пользуясь ими, просить об увольнении со службы. Ему велено отвечать, что как он состоит в ведомстве иностранных дел, то просьба его передана будет прямо его начальнику графу Нессельроде, в частном же письме к сему последнему поступки Пушкина представлены в ужасном виде.

Ф. Ф. Вигель. Записки, т. VI, с. 172.

В деле 1824 «об истреблении саранчи» находится предписание Воронцова о командировании колл. секретаря Пушкина, вместе с другими чиновниками, для истребления саранчи в Херсонской губернии. Отчетные рапорты по этому поручению от военных на-

чальств и командированных чиновников в деле этом находятся в большом числе. Донесения же Пушкина ни в прозе, ни в стихах нигде не найдено.

А. А. Скальковский. Воспоминания. – Пушкин и его совр-ки, вып. III, с. 102.

Рапорт, будто бы поданный Пушкиным Воронцову по возвращении из командировки для истребления саранчи:

*Саранча летела, летела,
И села,
Сидела, сидела – все съела
И вновь улетела.*

Весьма сожалею, что увольнение мое причиняет вам столько забот, и искренно тронут вашим участием... Я жажду одного – независимости; мужеством и настойчивостью я, в конце концов, добьюсь ее. Я уже победил свое отвращение писать и продавать свои стихи ради хлеба насущного; самый большой шаг уже сделан; пишу я еще только под капризным влиянием вдохновения; но на стихи, раз написанные, я уже смотрю, как на товар, по стольку-то за штуку. Не понимаю ужаса моих

друзей (мне вообще не совсем ясно, что такое мои друзья). Я устал зависеть от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника, мне надоело, что со мною в моем отечестве обращаются с меньшим уважением, чем с первым английским шалопаем, который слоняется среди нас со своею пошлостью и своим бормотанием. Не сомневаюсь, что гр. Воронцов, как человек умный, сумеет выставить меня виноватым во мнении публики; но я предоставляю ему в свое удовольствие наслаждаться этим лестным триумфом, потому что я так же мало забочусь о мнении публики, как и о восторгах журналов.

Пушкин – А. И. Казначееву, в начале июня 1824 г. Черновик (фр.).

Расскажу анекдот, рассказанный мне Гоголем и известный еще прежде, кажется, от самого действовавшего лица. Около Одессы расположена была батарейная рота и расставлены были на поле пушки. Пушкин, гуляя за городом, подошел к ним и начал рассматривать внимательно одну за другою. Офицеру показали его наблюдения подозрительными, и

он остановил его вопросом об его имени. «Пушкин», – отвечал тот. – «Пушкин! – воскликнул офицер. – Ребята, пали!» – и скомандовал торжественный залп. Весь лагерь встревожился. Сбежались офицеры и спрашивали причину такой необыкновенной пальбы. «В честь знаменитого гостя, – отвечал офицер. – Вот, господа, Пушкин!» Пушкина молодежь подхватила под руки и повела с триумфом в свои шатры праздновать нечаянное посещение. Офицер этот был Григоров, который после пошел в монахи... Кажется, сам он рассказывал мне описанный случай, если не кто другой, – но я его знал уже, когда Гоголь повторил мне этот рассказ по поводу внезапной смерти Григорова.

М. П. Погодин. – Москвитянин, 1855, № 4, кн. 2, с. 146. В несколько ином виде, также со слов Гоголя, передает этот анекдот Л. Арнольди: Воспоминание о Гоголе. – Рус. Вестн., 1862, № 1, с. 89.

В 1824 и 1825 годах (sic!) мне довелось часто встречаться с Пушкиным в Одессе. Неукротимый дух его, в ту эпоху еще не до-

зревший, видимо, чуждался меня, как человека, гордившегося оковами собственной мысли. Однако, несмотря на такое предубеждение, я с удовольствием припоминаю, что однажды, за обедом у моей сестры, сидя дружно подле друга, я успел (впрочем, без всякого намерения) овладеть полным вниманием и сочувствием Пушкина. Мы беседовали о прошлом и современном; говоря о Турции, о восточных христианах, единоверных нам, я излагал перед ним причины сохранения их народного духа и веры под властью мусульман. Пушкин не знал, что на Востоке церковные пастыри исполняют должность судей и начальников гражданских, что вера и дух народный без всякого принуждения утвердили за ними эту вековую и спасительную власть, взамен порабощения иноплеменникам и как бы в залог будущего. Перейдя потом от сего поучительного явления к зиждительной силе и влиянию христианской веры вообще, я сказал между прочим Пушкину: теперь то и дело говорят о мечтательной политической свободе; а знаете ли, что в Евангелии, в котором заключены все высшие истины, мы обретаем

определение истинной свободы. Господь сказал: *Познайте истину, и истина сделает вас свободными*. Заключите же из сего божественного изречения, что где нет *внутренней свободы*, там нет и *внешней*. Собеседник мой при этих словах изъяснил простодушное удивление и сердечное участие. Кто знает, не начал ли он с тех пор заглядывать почаще в св. Евангелие?

А. С. Стурдза. Беседа Люб. Рус. Слова и Арзамас. – Москвитянин, 1851, № 21, с. 17–18.

Проживал тогда в Одессе Пушкин, дальний наш по женскому колену родственник; по доброму русскому обычаю, мы с первого дня знакомства стали звать друг друга «mon cousin»[56]. Нередко, встречаясь с ним в обществе и театре, я желал сблизиться с ним; но так как я не вышел еще окончательно из-под контроля моего воспитателя, то и не мог удовлетворить вполне этому желанию. Ал. Сергич слыл вольнодумцем и чуть ли почти не атеистом, и мне дано было заранее предостережение о нем, как об опасном человеке. Он, видно, это знал или угадал, и раз, подходя с ули-

цы к моему отпертому окну, сказал: «Не правда ли, cousin, что твои родители запретили тебе подружиться со мною?» Я ему признался в этом, и с тех пор он перестал навещать меня. В другой раз он при встрече со мною сказал: «Мой Онегин (он только что начал его тогда писать) – это ты, cousin». Впоследствии, подружившись в 1832 г. с Л. С. Пушкиным, я узнал от него, что заинтересовал его брата моими несдержанными, югом отзывающимися приемами, манерами в обществе и пылкостью наивной моей натуры. – Говорили, что графиня Е. К. Воронцова очень любезно обращалась с Ал. Серг-чем, но что ее супруг отворачивался от него. Сам этого я не видал. Неразлучным компаньоном великого поэта был колоссальный полумавр и полунегр по имени Али, но его звали Морали. Этот человек был, по-видимому, не без средств существования, хотя не имел никаких занятий, и, сколько помнится мне, подозревали, что он нажил состояние ремеслом пирата. Ходил он в африканском своем костюме с толстой палкой в руке вроде лома, и помнится мне, что он изрядно говорил по-итальянски. Ал. Серге-

евич и особенно короткие его знакомые собирались почти каждый вечер ужинать в греческом второстепенном ресторане Дмитраки, где и засиживались за полночь... Все эти господа обедали обыкновенно во французском (очень хорошем) ресторане Отона, в доме клуба на Херсонской улице.

Гр. М. А. Бутурлин. Записки. – Рус. Арх., 1897, т. II, с. 15–16.

В Одессе интересно знакомство его с графом Ланжероном. Этот французский эмигрант, один из знаменитых генералов великой брани против Наполеона, имел слабость считать себя поэтом, писал на французском языке стихи и даже драмы. Однажды, сработав трагедию, Ланжерон дал ее Пушкину, чтобы тот прочитал и сказал ему свое мнение. Пушкин продержал тетрадь несколько недель и, как не любитель галиматьи, не читал ее. Через несколько времени, при встрече с поэтом, граф спросил: «Какова моя трагедия?» – Пушкин был в большом затруднении и старался отделаться общими выражениями; но Ланжерон входил в подробности, тре-

бывал особенно сказать мнение о двух главных героях драмы. Поэт, разными изворотами, заставил добродушного генерала назвать по имени героев и, наугад, отвечал, что такой-то ему больше нравится. «Так! – воскликнул восхищенный генерал, – я узнаю в тебе республиканца; я предчувствовал, что этот герой тебе больше понравится!»

(М. М. Попов.) А. С. Пушкин. – Рус. Стар., 1874, т. 10, с. 687.

Теперь я ничего не пишу; хлопоты другого рода. Неприятности всякого рода: скучно и пыльно. Сюда приехала кн. Вера Вяземская, добрая и милая баба, но мужу был бы я больше рад.

Пушкин – Л. С. Пушкину. 13 июня 1824 г., из Одессы.

Княгиня Вяземская (В. Ф., жена поэта) в 1824 г. жила в Одессе с сыном Николаем, лет семи. Пушкин очень его любил и учил всяким пакостям. «Будь он постарше, я бы вас до него не допустила».

Иногда он пропадал. «Где вы были?» – «На

кораблях. Целые трое суток пили и кутили».

Л. И. Бартенев со слов кн. *В. Ф. Вяземской*. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 306.

Радуюсь, что мог услужить тебе своей денежкой, сделай милость, не торопись... Прощай, милый; пишу тебе в полпьяна и в постели.

Пушкин – кн. *П. А. Вяземскому*, в перв. полов. июня 1824 г.

(13 июня 1824 г. Одесса.) Я ничего тебе не могу сказать хорошего о племяннике Василия Львовича. Это мозг совершенно беспорядочный, над которым никто не сможет господствовать; недавно он снова напроказил, вследствие чего подал прошение об отставке; во всем виноват он сам... Я сделаю все, что могу, чтоб успокоить его голову; я браню его и от твоего имени, уверяя, что, конечно, ты первый обвинил бы его, так как его последние прегрешения истекают из легкомыслия. Он постарался выставить в смешном виде лицо, от которого зависит, и сделал это; это стало известно, и, вполне понятно, на него уж не

могут больше смотреть благосклонно. Он мне в самом деле причиняет беспокойство, но никогда я не встречала столько ветрености и склонности к злословию, как в нем; вместе с этим я думаю, что у него доброе сердце и много мизантропии; не то чтобы он избегал общества, но он боится людей; может быть, это следствие несчастия и несправедливостей его родителей, которые сделали его таким (103).

(16 июня.) Каждый день у меня бывает Пушкин. Я его усердно отчитываю (105).

(20 июня.) Я начинаю думать, что Пушкин менее дурен, чем кажется (106).

(23 июня.) Какая голова и какой хаос в этой бедной голове! Часто он меня ставит в затруднение, но еще чаще вызывает смех (109).

(27 июня.) Пушкин абсолютно не желает писать на смерть Байрона; по-моему, он слишком занят и, особенно, слишком влюблен, чтобы заниматься чем-нибудь другим, кроме своего «Онегина», который, по моему мнению, – второй Чайльд-Гарольд: молодой человек дурной жизни, портрет и история которого отчасти должны сходствовать с автором... Он начал еще «Цыганку», которую не

хочет кончать (112).

(4 июля.) Пушкин не сердится за деньги (должные ему) и зажимает мне рот, как только я о них заговорю. Я стараюсь держаться с ним, как с сыном, но он непослушен, как паж; если бы он был менее дурен собою, я назвала бы его Керубином: действительно он совершает только ребячества, но именно это свернет ему шею, – не сегодня, так завтра. Поговори о нем с Трубецким, и пусть он тебе расскажет об его последних мистификациях (115).

(7 июля.) С Пушкиным мы в очень хороших отношениях; он ужасно смешной. Я его браню, как будто бы он был моим сыном. Ты знаешь, что он подал в отставку? (119).

Кн. В. Ф. Вяземская – своему мужу П. А. Вяземскому, из Одессы. – Ост. Арх., т. V, вып. II (фр.).

Высочайше повелено находящегося в ведомстве государственной коллегии иностранных дел колл. секр. Пушкина уволить вовсе от службы.

Уведомление гр. К. В. Нессельроде от 8 июня 1824 г. – Рус. Стар., 1887, т. 53, с. 246.

(11 июля.) Я даю твои письма Пушкину, который всегда смеется, как сумасшедший. Я начинаю дружески любить его. Думаю, что он добр, но ум его ожесточен несчастьями; он мне выказывает дружбу, которая меня чрезвычайно трогает... Он доверчиво говорит со мною о своих неприятностях, равно как и о своих увлечениях... Я становлюсь на огромные камни, вдающиеся в море, смотрю, как волны разбиваются у моих ног; иногда у меня не хватает храбрости дождаться девятой волны, когда она приближается с слишком большою скоростью, тогда я убегаю от нее, чтобы через минуту воротиться. Однажды мы с графиней Воронцовой и Пушкиным дождались ее, и она окатила нас настолько сильно, что пришлось переодеваться... Пушкин сидит без гроша, и я тоже, я должна повсюду.

Кн. В. Ф. Вяземская – кн. П. А. Вяземскому, из Одессы. – Ост. Арх., т. V, вып. II, с. 121–123

Княгиню Е. К. Воронцову Пушкин звал la princesse bel-vetrille[57]. Это оттого, что однажды в Одессе она, глядя на море, твердила известные стихи:

*Не белеют ли ветрила,
Не плывут ли корабли?*

О подробностях своего одесского житья Пушкин не любил вспоминать, но говорил иногда с сочувствием об Одессе, называя ее «летом песочница, зимой чернильница», и повторяя какие-то стихи.

Арк. О. Россет по записи П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 246.

Воронцов желал, чтобы сношения с (княгиней В. Ф.) Вяземскою прекратились у графини (Е. К. Воронцовой); он очень сердит на них обеих, особенно на княгиню, за Пушкина, шалун-поэта, да и поделом. Вяземская хотела способствовать его бегству из Одессы, искала для него денег, старалась устроить ему посадку на корабль.

А. Я. Булгаков – К. Я. Булгакову. – Рус. Арх., 1901, т. II, с. 187 (фр.-рус.).

Что касается княгини Вяземской, то скажу вам (но это между нами), что наш край еще недостаточно цивилизован, чтобы оценить ее блестящий и острый ум, которым мы до сих

пор еще ошеломлены. И затем мы считаем по меньшей мере неприличными ее затеи поддерживать попытки бегства, задуманные этим сумасшедшим и шалопаем Пушкиным, когда получился приказ отправить его в Псков.

Гр. М. С. Воронцов – А. Я. Булгакову, 24 дек. 1824 г., из Одессы. – Моск. Пушкинист, М., 1930, т. II, с. 55.

Я подавал на рассмотрение императора письма, которые ваше сиятельство прислали мне, по поводу коллежского секретаря Пушкина. Его величество вполне согласился с вашим предложением об удалении его из Одессы, после рассмотрения тех основательных доводов, на которых вы основываете ваши предположения, и подкрепленных, в это время, другими сведениями, полученными его величеством об этом молодом человеке. Все доказывает, к несчастью, что он слишком проникся вредными началами, так пагубно выразившимися при первом выступлении его на общественное поприще. Вы убедитесь в этом из приложенного при сем письма. Его

величество поручил мне переслать его вам; об нем узнала московская полиция, потому что оно ходило из рук в руки и получило всеобщую известность[58]. Вследствие этого, его величество, в видах законного наказания, приказал мне исключить его из списков чиновников министерства иностранных дел за дурное поведение; впрочем, его величество не соглашается оставить его совершенно без надзора, на том основании, что, пользуясь своим независимым положением, он будет, без сомнения, все более и более распространять те вредные идеи, которых он держится, и вынудит начальство употребить против него самые строгие меры. Чтобы отдалить, по возможности, такие последствия, император думает, что в этом случае нельзя ограничиться только его отставкою, но находит необходимым удалить его в имение родителей, в Псковскую губернию, под надзор местного начальства. Ваше сиятельство не замедлит сообщить Пушкину это решение, которое он должен выполнить в точности, и отправить его без отлагательства в Псков, снабдив прогонными деньгами.

Гр. К. В. Нессельроде – гр. М. С. Воронцову,
11 июля 1824 г., из Петербурга. – Рус. Стар.,
1879, т. 26, с. 293.

Вы уже узнали, думаю, о просьбе моей в отставку; с нетерпением ожидаю решения своей участи. Не странно ли, что я поладил с Инзовым, а не мог ужиться с Воронцовым; дело в том, что он начал вдруг обходиться со мною с непристойным неуважением, я мог дожждаться больших неприятностей и своей просьбой предупредил его желания. Воронцов – вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое. Старичок Инзов сажал меня под арест всякий раз, как мне случалось побить молдавского боярина. Правда, – но за то добрый мистик в то же время приходил меня навещать и беседовать со мною о гишпанской революции. Не знаю, Воронцов посадил ли бы меня под арест, но уж верно не пришел бы ко мне толковать о конституции кортесов. Удаляюсь от зла и сотворю благо: брошу службу, займусь рифмой.

Пушкин – А. И. Тургеневу, 14 июля 1824 года, из Одессы.

(15 июля.) Пушкин, как я знаю, находится в очень стесненных обстоятельствах... Пушкин скучает гораздо более, чем я: три женщины, в которых он был влюблен, недавно уехали. К счастью, одна возвращается на днях.

Кн. В. Ф. Вяземская – кн. П. А. Вяземскому. – Ост. Арх., т. V, вып. II, с. 124—125 (фр.).

Вчера пронесся здесь слух, что Пушкин застрелился.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 15 июля 1824 г., из Петербурга. – Ост. Арх., т. III, с. 58.

(18 июля.) Единственный человек, которого я вижу, это Пушкин, а он влюблен в другую, это меня очень ободрило, и мы с ним очень добрые друзья; большую роль в этом играет его положение; он, действительно, несчастен (126).

(19 июля.) Пушкин так настойчиво просит меня доставить ему удовольствие читать

твои письма, что, несмотря на твои сальности, я их даю ему с условием, что он будет читать их тихо, но когда он смеется, я до слез смеюсь вместе с ним. Ты сочтешь меня бесстыдной (130)... Как могло дело Пушкина принять такой дурной поворот? Он виновен только в ребячестве и в некоторой вполне справедливой досаде за посылку его на поиски саранчи, чему он, однако, подчинился. Он там был и подал в отставку по возвращении, потому что его самолюбие было оскорблено. Вот и все (131).

(27 июля.) Я заплатила 1260 рублей Пушкину... Я его очень люблю, и он мне позволяет бранить себя, как матери; толку от этого мало, но пусть он все-таки приучается слышать правду (136–137).

Кн. В. Ф. Вяземская – П. А. Вяземскому, из Одессы. – Ост. Арх., т. V, вып. 2 (фр.).

Бор. Алдр. Садовский передавал нам, что ему П. И. Бартенев говорил (вероятно, со слов Нащокина), что кн. В. Ф. Вяземская летом 1824 г. в Одессе увлеклась Пушкиным. Кратковременное увлечение это впоследствии смени-

лось чувством искренней дружбы.

М. А. Цявловский. Рассказы о Пушкине, с. 79.

В 1824 году, в июле месяце, во время каникул, я, воспользовавшись данной нам, оставшимся в заведении воспитанникам, свободой, отправился утром, после завтрака, в свой класс, чтобы секретно прочитав принесенную мне из города поэму Пушкина «Руслан и Людмила», а из предосторожности взял речи Цицерона на случай внезапного посещения начальства. У меня была привычка читать вслух, и я, взобравшись на кафедру, стал громко декламировать стихи. Вдруг слышу чьи-то шаги в коридоре и, полагая, что это инспектор или надзиратель, я поспешно спрятал поэму в кафедру и, развернувши Цицерона, стал с жаром декламировать первую попавшуюся мне речь. В это время входит в класс незнакомая особа в странном костюме: в светло-сером фраке, в черных панталонах, с красной феской на голове и с ружейным стволом в руке вместо трости. Я привстал, он мне поклонился и, не говоря ни слова, сел на край

ученической парты, стоящей у кафедры. Я смотрел на это с недоумением, но он первый прервал молчание: «Я когда-то сидел тоже на такой скамье, и это было самое счастливое время в моей жизни. – Потом, обратившись прямо ко мне, спросил: – Что вы читаете?» – «Речи Цицерона», – ответил я. – «Как ваша фамилия?» – «Сумароков». – «Славная фамилия! Вы, верно, пишете стихи?» – «Нет». – «Читали вы Пушкина?» – «Нам запрещено читать его сочинения». – «Видели вы его?» – «Нет, я редко выхожу из заведения». – «Желали бы его видеть?» – Я простодушно отвечал, что, конечно, желал бы, о нем много говорят в городе, как мне передали мои товарищи. Он усмехнулся и, посмотревши на меня, сказал: «Я Пушкин, прощайте». – Сказав это, он направился к дверям. Я проводил его до самого выхода. Когда мы шли по длинному коридору, он сказал мне: «Однако, у вас в лицее, как я вижу, свободный вход и выход?» – «Это по случаю каникул». – Сэтим мы расстались.

А. Сумароков. – В. А. Яковлев. Отзывы, с. 154.

Пушкин носил тяжелую железную палку. Дядя спросил у него однажды: «Для чего это носишь ты такую тяжелую дубину?» Пушкин отвечал: «Для того, чтобы рука была тверже: если придется стреляться, чтоб не дрогнула».

М. Н. Лонгинов со слов своего дяди *Н. М. Лонгинова*. Библиограф. зап., 1859, № 18, с. 553.

К эпохе 1823–1824 гг. относится возникшее стремление Пушкина собирать книги, которое заставило его сказать так живописно, что он походит на стекольщика, разоряющегося на покупку необходимых ему алмазов. Большая часть его денег уходила этим путем... Пушкин успел выучиться на юге по-английски и по-итальянски и много читал на обоих языках.

К концу пребывания Пушкина в Одессе знакомые его заметили некоторую осторожность в его суждениях, осмотрительность в принятии мнений. Первый пыл молодости пропал: Пушкину было уже 25 лет.

П. В. Анненков. Материалы, с. 89–90.

Когда решена была его высылка из Одессы,

Пушкин впопыхах прибежал к княгине Вяземской с дачи Воронцовых, весь растерянный, без шляпы и перчаток, так что за ними посылали человека от княгини Вяземской.

П. И. Бартенев со слов кн. *В. Ф. Вяземской*. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 806.

Наказание поразило всех своею строгостью и для самого Пушкина было неожиданностью. Пушкин сделался сам не свой. Тем не менее, хоть и реже прежнего, он появлялся на даче Рено, у Воронцовой. После известной его эпиграммы на ее мужа (в которой потом сам он раскаивался), конечно, обращались с ним очень сухо. Перед каждым обедом, к которому собиралось несколько человек, хозяйка обходила гостей и говорила каждому что-нибудь любезное. Однажды она прошла мимо Пушкина, не говоря ни слова, и тут же обратилась к кому-то с вопросом: «Что нынче дают в театре?» Не успел спрошенный раскрыть рот для ответа, как подскочил Пушкин и, положив руку на сердце (что он делывал, особенно когда отпускал остроты), с улыбкою сказал: «*La sposa fedele, contessa* (верная супруга, графиня).

ня)!» Та отвернулась и воскликнула: «Quelle impertinence (какая наглость)!»

П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1884, т. III, с. 88.

За несколько дней перед моим отъездом из Одессы, Савелов и я играли у Лучича; Лучич проиграл мне 900 рублей, из коих 300 заплатил мне на другой же день, а остальные 600 перевел на Савелова, который и согласился. При моем внезапном отъезде я занял эти 600 руб. у княгини Вяземской, с согласия же Савелова.

Пушкин – В. И. Туманскому, 13 авг. 1825 г.

* Когда Пушкина выслали из Одессы, финансы его были очень расстроены, а выехать без денег трудно. Некоторые приятели одолжили ему займы, кто сколько мог. В числе их и дядя мой дал ему 50 или 100 руб. асе. Пушкин уехал к общему огорчению одесской молодежи и особенно дам... Вскоре дядя получил от Пушкина письмо, в котором он благодарил его за одолжение; деньги были приложены к письму. Одесские дамы тотчас выпросили у дяди письмо Пушкина и разделили

между собою по клочкам: всякой хотелось иметь хоть строку, написанную рукой поэта.

М. Н. Лонгинов со слов *Н. М. Лонгинова*.
Библиограф. зап., 1859, № 18, с. 555.

Пушкин завтрашний день отправляется отсюда в город Псков по данному от меня маршруту через Николаев, Елизаветград, Кременчуг, Чернигов и Витебск. На прогоны к месту назначения, по числу верст 1.621, на три лошади, выдано ему денег 389 руб. 4 коп.

Одесский градоначальник в донесении новороссийскому ген.-губернатору от 29 июля 1824 г. – Рус. Стар., 1887, т. 53, с. 246.

О Пушкине, несмотря на прекрасные его стихотворения, никто не пожалеет. Кажется, Воронцов и добр, и снисходителен, а и с ним не ужился этот повеса. Будет, живучи в деревне, вспоминать Одессу, да нельзя уж будет пособить. Вас. Львович (*Пушкин*) уверяет, что это убьет его отца.

А. Я. Булгаков – *К. Я. Булгакову*, 21 июля 1824 г., из Москвы. – Рус. Арх., 1901, т. II, с. 74.

А. Г. Родзянко имел счастье принимать Пушкина у себя в деревне, Полтавской губернии, Хорольского уезда. Пушкин, возвращаясь с Кавказа (*из Одессы*), прискакал к нему с ближайшей станции верхом, без седла, на почтовой лошади, в хомуте.

А. П. Керн. Воспоминания. – Л. Н. Майков, с. 238.

* Пушкин, проезжая из Одессы в Михайловское через Малороссию мимо деревни А. Г. Родзянки, заехал к нему. Когда к дому быстро подкатила почтовая тележка, с нее спрыгнул незнакомец, странно костюмированный; узнав от слуги, что Родзянко дома, поспешно прошел залу в кабинет хозяина. На незнакомце был красный молдаванский плащ, такого же цвета широчайшие шаровары, на ногах желтые туфли, а на голове турецкая фесе с длинною кистью; длинные волосы касались плеч, в руке же держал длинную палку с крючком на конце, подобную тем, какие носят степные пастухи... Спустя не более полчаса, хозяин провел своего гостя под руку через залу до самой телеги, ожидавшей у подъ-

езда.

Н. Б. Потокский. Встречи с А. С. Пушкиным. – Рус. Стар., 1880, т. 28, с. 575.

* Однажды, в конце лета, в местечке Ични, отстоящем от Вернигоровщины (*хутор рассказчика*) в нескольких верстах, был проездом Ал. Серг-ч и, остановившись там на постоялом дворе, встретил местных помещиков, с которыми познакомился и вступил в оживленную беседу, вскоре перешедшую в шумный спор, причем Пушкин резко порицал установившиеся порядки. Случайно мимо этого дома, в котором окна были отворены, проходит местный полицейский чин, обративший невольное внимание на зазорные речи незнакомца, который от поры до времени появлялся в окнах, благодаря тому что ходил по комнате. Наведя немедленные справки, кто и откуда этот проезжий, полицейский пришел в восторг, узнав, что это тот самый Пушкин, о котором имелось у него секретное предписание губернатора. И вот, по прошествии какого-нибудь часа, за экипажем Пушкина, направлявшимся к Вернигоровщине,

следом двигался и другой экипаж, в котором сидел полицейский чин, переодетый в неопределенный костюм. Когда Пушкин приехал в Вернигоровщину, меня там не было. Приехав домой часа через четыре, я уже его не застал у себя, но узнал от своих людей, что без меня приезжал сюда какой-то неизвестный барин, который хотел передать мне какое-то письмо и который в кабинете сначала немного полежал на диване, облокотясь на правую руку, а потом что-то писал, придвинув к себе маленький столик, что следом за ним приезжал сюда всем известный полицейский, но переодетый как-то странно, и что он шепнул, – не препятствовать этому барину делать, что он захочет, а что он, полицейский, будет за ним следить. Я отправился в кабинет и застал там действительно придвинутый столик к дивану и письменные принадлежности на столике, но писем не оказалось. Бросив взгляд на спинку дивана, я заметил над нею портрет, нарисованный пером на моей бумаге, и когда я его показал моим людям, то все признали в нем сходство с тем баринном, который был. Для меня сделалось ясным,

кто был мой дорогой гость.

Н. И. Величко в передаче внука *Н. В. Подвысоцкого*. Н. В. Подвысоцкий. Из моих воспоминаний. – Пушкинский сборник (в память столетия дня рождения поэта). СПб., 1889, с. 587–589.

(По поводу предыдущего сообщения.) Если Пушкин действительно когда-либо заезжал к Н. И. Величко, то это могло быть лишь летом 1824 г., когда он из Одессы проезжал в Михайловское, причем, следуя большим почтовым трактом, обязательно должен был проехать через Прилуки и Нежин. Хотя дорога между этими городами и не лежит через местечко Ичню, близ которой находится хутор Вернигоровщина, но расстояние их от почтового тракта так невелико (верст 20–25), что Пушкину нетрудно было бы свернуть в сторону и заехать на несколько часов к приятелю.

А. И. Маркевич. Пушкинские заметки. – Пушкин и его совр-ки, вып. III, с. 97.

В 1824 г., по выпуске из петербургского университетского пансиона, я ехал, в конце

июля (в начале августа), с Н. Г. К. к родным моим в Киев. В Чернигове мы ночевали в какой-то гостинице. Утром, войдя в залу, я увидел в соседней буфетной комнате шагавшего вдоль стойки молодого человека, которого по месту прогулки и по костюму принял за полового. Наряд был очень непредставительный: желтые, нанковые, небрежно надетые шаровары и русская цветная измятая рубаша, подвязанная вытертым, черным шейным платком, курчавые, довольно длинные и густые волосы развевались в беспорядке. Вдруг эта личность быстро подходит ко мне с вопросом: «Вы из царскосельского лицея?» На мне еще был казенный сюртук, по форме одинаковый с лицейским. Сочтя любопытство полового неуместным и не желая завязывать разговор, я отвечал довольно сухо. «А, так вы были вместе с моим братом», – возразил собеседник. Это меня озадачило, и я уже вежливо просил его назвать мне свою фамилию. «Я Пушкин; брат мой Лев был в вашем пансионе». Я был сконфужен моею опрометчивостью. Тем не менее мой спутник и я скоро с ним разговорились. Он рассказал нам, что едет из Одессы в

деревню, но что усмирение его не совсем еще кончено, и, смеясь, показал свою подорожную, где по порядку были прописаны все города, на какие именно он должен был ехать. Затем он попросил меня передать в Киеве записку генералу Раевскому, тут же им написанную.

А. И. Подолинский. Воспоминания. – Рус. Арх., 1872, т. III, с. 862.

А. А. Куцинский в 1824 г. молодым корнетом находился в Могилеве на Днепре в учебном эскадроне... Утром 5 августа Куцинский вышел погулять и видит: по улице расхаживает кто-то в виде кучеренка, в русской рубашке, высоких сапогах и ермолке, а по сверх всего военная шинель. Появление незнакомца возбудило любопытство. Стали говорить, что это, должно быть, сумасшедший. Куцинский отправился на почтовую станцию и в книге с подорожными прочел: колл. секретарь Александр Пушкин. С ним ехал слуга, одетый татарчонком. В восторге Куцинский бежит к Пушкину, рекомендуется и просит сделать ему честь откусать у него чашку чая,

прямо объявляя, что он и его товарищи зачитываются «Бахчисарайским Фонтаном»... Затем молодые люди повели Пушкина в гостиницу, где полилось шампанское. Пушкин предлагал было карты, но игра почему-то не состоялась. – «Вы не думайте, чтоб я не мог играть, – говорил он, – у меня вот сколько денег». И он показывал большой пук ассигнаций.

П. И. Бартенев со слов ген. от кавал. А. А. *Куцинского*. – Рус. Арх., 1900, т. I, с. 449.

6 августа 1824 г., в Могилеве, когда перед манежем полковая музыка играла зорю, а публика гуляла по Шкловской улице, проезжала на почтовых, шагом, коляска; впереди шел кто-то в офицерской фуражке, шинель в накидку, в красной шелковой русского покроя рубашке, опоясанный агагиником. Коляска поворотила по Ветряной улице на почту. Я немедленно поспешил вслед... Смотритель сказал мне, что едет из Одессы коллежский ассессор Пушкин; я тотчас бросился в пассажирскую комнату и, взявши Пушкина за руку: – «Вы, Ал. С-ч, верно не узнаете меня?

Я племянник бывшего директора лицея Е. А. Энгельгардта; по праздникам меня брали из корпуса в Царское Село, где вы с Дельвигом заставляли меня декламировать стихи». Пушкин, обнимая меня, сказал: – «Помню, помню, Саша, ты проворный был кадет». Я от радости такой неожиданной встречи опрометью побежал к гулявшим со мною товарищам-офицерам известить их, что проезжает Пушкин... Все поспешили на почту. Восторг был неописанный. Пушкин приказал раскупорить несколько бутылок шампанского. Пили за всё, что приходило на мысль... Но для нас не было достаточно; мы взяли его на руки и отнесли, по близости, на мою квартиру (я жил вместе с корнетом Куцинским). Пушкин был восхищен нашим энтузиазмом: мы поднимали на руки дорогого гостя, пили за его здоровье. Пушкин был в самом веселом и приятном расположении духа, он вскочил на стол и продекламировал:

*Я люблю вечерний пир,
Где веселье председатель,
А свобода, мой кумир,
За столом законодатель.*

*Где до утра слово «ней»
Заглушает крики песен,
Где просторен круг гостей,
А кружок бутылок тесен.*

Снявши Александра Сергеевича со стола, мы начали его на руках качать, а князь Оболенский закричал: «Господа, это торжество выходит из пределов общей радости, оно должно быть ознаменовано чем-нибудь особенным. Господа! Сделаем нашему кумиру ванну из шампанского!» – Все согласились, но Пушкин, улыбнувшись, сказал: – «Друзья мои, душевно благодарю; действительно, было бы отлично, я не прочь пополоскаться в шампанском, но спешу – ехать надо». Это было в 4 часа утра. Мы все гурьбой проводили его на почту, где опять вспрыснули шампанским и простились.

А. Распопов. Встреча с А. С. Пушкиным. – Рус. Стар., 1876, т. 15, с. 464.

В Михайловском

Пушкин прибыл 9 августа прямо к отцу своему, статскому советнику Сергею Львовичу, проживавшему в Опочечком уезде, в сельце Михайловском. По соглашению губернатора Адеркаса с губернским предводителем дворянства, полковником Львовым, для наблюдения за поступками и поведением Пушкина был назначен новоржевский помещик, коллежский советник Иван Рокотов; но опасался ли тот пылкой натуры поэта, и оттого не хотел становиться в щекотливое положение в отношении к нему, или, как писал Львов, Пушкин на первом же шагу не послушал Рокотова, только сосед-помещик, во избежание неприятностей, отказался от возложенной на него должности, отзываясь расстроенным здоровьем. Опасения о Пушкине, усиливаемые еще и тем, что, вопреки распоряжению губернатора, он, не явясь в Псков, проехал прямо в имение своего отца, побудили Адеркаса сделать распоряжение о высылке Пушкина в Псков. В августе 1824 г., в присутствии псковского губернатора, коллежский секре-

тарь Александр Пушкин дал подписку в том, что он обязуется жить безотлучно в поместье родителя своего, вести себя благонаправно, не заниматься никакими неприличными сочинениями и суждениями, предосудительными и вредными общественной жизни, и не распространять оных никуда.

Псковские Губ. Вед., 1868, № 10.

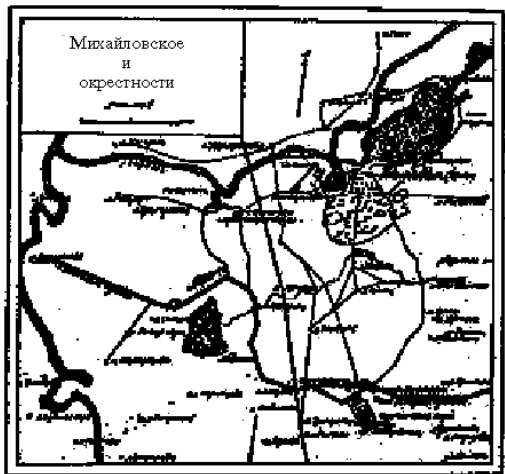
Село Михайловское находится верстах в пяти от Святогорского монастыря. У здешних обитателей оно называется Зуевым, а чаще всего – Пушкиным. Названия «Михайловское» почти никто не знает. Выехавши из монастыря в поле, надо следовать через деревню и оттуда версты три все лесом до самой усадьбы Михайловского. Сосновый лес пересекается только одною проезжею дорогою. Лес чистый, у корня его виднеется зеленый бархатистый мох... Лес оканчивается у самого села Михайловского. При слове «село» не думайте о церкви и многих домах, которые ютятся около церкви в русских селах. В Псковской губернии селом называется просто усадьба или селение... Внизу домовой террасы

по лугу извивалась река Сороть, – а с правой стороны кругозора, бок о бок с рекою, лежало огромное озеро, за которым высился большой лес; с левой стороны террасы находилось еще озеро, уходившее в другой лес; прямо перед рекою и за рекою распространились луга. Вид очаровательный. Г-жа Пушкина (*жена Григ. Ал. Пушкина, сына поэта*) говорила мне, что, когда солнце утром, вышедши из-за леса, осыплет лучами своими озеро, с правой стороны Сороти лежащее, или вечером озарит озеро, с левой стороны реки находящееся, то вид бывает еще очаровательнее, еще бесподобнее... От времени поэта осталось во дворе перед балконом два густых куста сирени, да на террасе, с другой стороны дома, столько же кустов этого растения.

А. Ф.[59] Поэтический уголок Псковской губернии. – Новое Время, 1880, № 1598.

Рис. 2

К селу Михайловскому со стороны Св. Гор примыкает лес. Перед самым селом дорога идет старой аллеей, состоящей из елей; направо от этой аллеи видна не менее старая



липовая аллея, которая, как передают старожилы, служила во времена Пушкина главной подъездной дорогой в имение.

Л. И. Софийский. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем. Псков, 1913, с. 194.

Михайловская усадьба расположена на краю обрыва, внизу которого простирается озеро Лучаново на пространстве 150 десятин, а неподалеку (к западу от усадьбы) другое озе-

ро Маленец, десятин в 8.

Л. Я. Поливанов. – Рус. Стар., 1887, т. 53, с. 237.

От террасы идет склон к речке Сороти. Сороть не широка, сажень шесть, не больше. В нескольких саженьях от нее справа и слева два озера: Маленец и Кучане, оба с плоскими берегами. За озером Кучане видны поля, мыза у опушки леса: вид очень хорош.

К. Я. Тимофеев. – Журн. Мин. Нар. Просв., 1859, т. 103, отд. II, с. 149.

Михайловские владения начинаются огромным сосновым парком; проехав с версту по опушке его, мы повернули налево, в широкую, прямую аллею, ведущую к дому на пространстве по крайней мере версты; в стороне от дороги стоит уединенно забытая и опустошенная беседка без окон... Еще издали представился взорам нашим домик Пушкина, стоящий одиноко почти в двух верстах от деревни Михайловской. Наружность деревянного, уже обветшавшего, одноэтажного дома Пушкина очень проста. От дому тянутся по обе сто-

роны службы. Перед домом, со стороны парка, есть небольшой сквер... Мы вошли с главного, среднего крыльца, в довольно большую комнату. Бильярд, обветшалый, со сгнившим, оборванным сукном, стоял в углу. Отсель налево две комнаты; здесь были спальня и кабинет Пушкина... Я поспешил во двор, прошел мимо служб, мимо конюшен: тянувшийся вдоль решетчатый, деревянный забор утратил следы краски... Вот перед вами калитка; вы через нее проходите в садик, и взор ваш и чувства отдыхают, любуясь очаровательною картиною реки, озера, цепи холмов и прибрежного леса.

Д. И. Мацкевич. Путевые заметки. – Северная Пчела, 1848, № 249.

По межевым книгам 1786 г. в с-це Михайловском числилось 1974 десятины, по последней ревизии – 80 душ муж. пола; в 1835 г. оно дало доходу 2000 руб., а в 1836 г. – 3000.

Записка С. А. Соболевского о с-це Михайловском. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIII, с. 100.

В Зуеве, что ныне Михайловское, с прочи-

ми деревнями, по межеванию 1786 года, земли количество следующее:

пашенной	848	дес.	878	саж.
сенного покоса	216	«	936	«
лесу дровяного	320	«	2070	«
под озерами	471	«	352	«
под мызою, деревнями, огородами, ручьями и дорогами	108	«	2302	«
Итого	1965	дес.	1738	саж.

В том числе показано неудобной только 48 дес. На этом пространстве по последней ревизии – 80 душ... Прибавьте 100 душ женска пола и господской запашки в трех полях 71 десятина.

Н. И. Павлицев – Пушкину, 11 июля и 1 авг. 1836 г. – Переписка Пушкина, т. III, с. 346, 357.

Деревянный дом Михайловского с одним этажом стоит на небольшом косогоре, внизу которого с одной стороны течет река Сороть, впадающая в Великую. Фасад дома обращен задом к реке и лицом к небольшому скверу, сзади которого тянется почти на версту густой парк, с цветниками и дорожками.

П. В. Анненков. Материалы, с. 111.

Дом – деревянный, на каменном фундаменте, обшитый тесом, длиною до 8 сажен, шириною 6 сажен, 2 подъезда с крыльцами, 1 балкон, 20 дверей, 14 окон, 6 печей; флигель деревянный, крытый и обшитый тесом, в нем одна комната, 3 окна, 3 двери, русская печь, а под одною с ним связью – баня с голландскою печью с котлом; 3 других флигеля, амбары и т.д.

Опись, учиненная 18 мая 1838 г. Опочецким земским исправником Васюковым. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIII, с. 100[60].

Вот что рассказывали о с-це Михайловском М. И. Осипова и другие лица. Вся мебель, какая была в домике при Пушкине, была Ганнибаловская (*деда Пушкина, Ос. Абр. Ганнибала, умершего в 1806 г.*). Пушкин себе нового ничего не заводил. Самый дом был довольно стар. Мебели было немного и вся-то старенькая... Вся обстановка комнаток Михайловского домика была очень скромна: в правой, в три окна, комнате, где был рабочий кабинет А. С-ча, стояла самая простая, деревянная, сломанная кровать. Вместо одной ножки под нее

подставлено было полено: некрашенный стол, два стула и полки с книгами довершали убранство этой комнаты. Сквер перед домом во время Пушкина тщательно поддерживался, точно так же не совершенно запущен был тенистый, большой сад; в нем были цветники

М. И. Семевский. Прогулка в Тригорское. – СПб. Вед., 1866, № 157.

Я девочкой не раз бывала у Пушкина в имении и видела комнату, где он писал. Художник Ге написал на своей картине «Пушкин в селе Михайловском» совсем неверно. Это – кабинет не Александра Сергеевича, а сына его Григория Александровича. Комнатка Александра Сергеевича была маленькая, жалкая. Стояли в ней всего-на-все простая кровать деревянная с двумя подушками, одна кожаная, и валялся на ней халат, а стол был ломберный, ободранный; на нем он и писал, и не из чернильницы, а из помадной банки. И книг у него своих в Михайловском почти не было; больше всего читал он у нас в Тригорском... Читать своих стихов он не любил.

Е. И. Фок. (урожд. Осипова) в передаче В. П. Острогорского. – Мир Божий, 1898, № 9, с. 227.

Татьяна (*гр. Е. К. Воронцова*) приняла живое участие в вашей беде; она мне поручает сказать вам это, и пишу я это вам с ее позволения. Ее нежная и добрая душа тотчас же увидела только несправедливость, жертвою которой вы стали; она мне это выразила с отзывчивостью и грацией характера Татьяны. Прелестная девочка тоже помнит вас, она мне часто говорит о сумасшедшем г-не Пушкине и о палке с собачьей головой, которую вы ей подарили.

А. Н. Раевский – Пушкину, 21 авг. 1824 г., из Александровки ок. Белой Церкви. – Переписка Пушкина, т. I, с. 127 (фр.).

Сестра поэта, О. С. Павлицева, говорила нам, что когда приходило из Одессы письмо с печатью, изукрашенною точно такими кабалистическими знаками, какие находились на перстне ее брата, – последний запирался в своей комнате, никуда не выходил и никого не принимал к себе.

Здравствуй, Вульф, приятель
мой!
Приезжай сюда зимой.
Да Языкова поэта
Затащи ко мне с собой
Погулять верхом порой.
Пострелять из пистолета,
Лайон[61], мой курчавый брат
(Не Михайловский приказчик),
Привезет, нам, право, клад...
Что? – бутылка полный ящик.
Запируем уж, молчи!
Чудо – жизнь анахорета!
В Троегорском до ночи,
А в Михайловском до света,
Дни любви посвящены,
Ночью царствуют стаканы,
Мы же – то смертельно пьяны,
То мертвецки влюблены.

В самом деле, милый, жду тебя с отверзтыми объятиями и с откупоренными бутылками. Уговори Языкова.

Пушкин – А. Н. Вульфу, 20 сент. 1824 г., из

Михайловского.

(Приписка Анны Ник-ны Вульф) ...Сегодня я писать тебе не могу много. Пушкины оба (*братья Александр и Лев*) у нас, и теперь я пользуюсь временем, как они ушли в баню.

Переписка Пушкина, т. I, с. 131–132.

Великий Пушкин, маленькое дитя! Иди, как шел, т.е. делай, что хочешь; но не сердись на меры людей и без тебя довольно напуганных! Общее мнение для тебя существует и хорошо мстит. Я не видал ни одного порядочного человека, который бы не бранил за тебя Воронцова, на которого все шишки упали. Ежели бы ты приехал в Петербург, бьюсь об заклад, у тебя бы целую неделю была толкотня от знакомых и незнакомых почитателей. Никто из писателей русских не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты. Чего тебе недостает? Маленького снисхождения к слабым. Не дразни их год или два, бога ради! Употреби получше время твоего изгнания... Нет ничего скучнее теперешнего Петербурга. Вообрази, даже простых шалунов нет! Квар-

талльных некому бить. Мертво и холодно.

Бар. А. А. Дельви́г – Пушкину, 28 сент. 1824 г., из Петербурга. – Переписка Пушкина, т. I, с. 133.

Имеv честь получить предписание Вашего Сиятельства от 15 июля о высланном на жительство в вверенную мне губернию коллежском секретаре Пушкине и о учреждении над ним присмотра, я относился к г. губернскому предводителю дворянства, дабы избрал одного из благонадежных дворян для наблюдения за поступками и поведением его, Пушкина, и получил от него, г. губернского предводителя дворянства, уведомление, что попечителем над Пушкиным назначил он коллежского советника Рокотова, который, узнав о сем назначении, отозвался болезнию, а равно и от поручения, на него возложенного. Г. губернский предводитель дворянства, уведомив меня о сем, присовокупил, что помимо Рокотова, которому бы можно поручить смотрение за Пушкиным, он других дворян не имеет. – Итак, по прибытии означенного коллежского секретаря Александра Пушкина и по отобра-

нии у него подписки и по сношении о сем с родителем его г. статским советником Сергеем Пушкиным, известным в губернии как по его добронравию, так и честности, и который с крайним огорчением об учиненном преступлении сыном его отозвался неизвестностию, поручен в полное его смотрение с тем заверением, что он будет иметь бдительное смотрение и попечение за сыном своим.

Б. А. фон-Адеркас (псковский губернатор) в рапорте маркизу *Ф. О. Паулуччи* (ген.-губернатору Псковской и прибалтийских губ.) от 4 октября 1824 г. – Рус. Стар., 1908, т. 136, с. 112.

Бешенство скуки пожирает мое глупое существование... Что я предвидел, то и случилось. Мое пребывание среди моей семьи только удвоило огорчения достаточно реальные. Меня упрекают за мою ссылку, считают себя вовлеченными в мое несчастье, утверждают, что я проповедую атеизм сестре и брату. Отец имел слабость взять на себя обязанности, которые ставят его в самое ложное положение по отношению ко мне. Вследствие этого я провожу верхом и в поле все время, когда я не в

постели. Все, что напоминает мне о море, вызывает у меня грусть, шум фонтана буквально доставляет мне страдание; я думаю, что ясное небо заставило бы меня заплакать от бешенства, но слава богу: небо у нас сивое, а луна – точная репа. Что до моих соседей, то мне пришлось только постараться оттолкнуть их от себя с самого начала; они мне не докучают; я пользуюсь у них репутацией Онегина, и вот – я пророк в своем отечестве. Я выдаю часто только добрую старую соседку (*П. А. Осипова*), слушаю ее патриархальные разговоры; ее дочери, довольно непривлекательные во всех отношениях, играют мне Россини, которого я выписал. Лучшего положения для окончания моего поэтического романа нельзя и желать, но скука – холодная муза, и поэма не подвигается.

Пушкин – кн. В. Ф. Вяземской, в пер. пол. окт. 1824 г. (фр.-рус.).

(Письмо Татьяны в третьей главе Онегина.) Автор сказывал, что он долго не мог решиться, как заставить писать Татьяну, без нарушения женского единства и правдоподобия

в слог: от страха сбиться на академическую оду, думал он написать письмо прозою, думал даже написать его по-французски; но, наконец, счастливое вдохновение пришло кстати, и сердце женское запросто и свободно заговорило русским языком, не задерживая и не остужая выражений чувства справками с словарем Татищева и грамматикою Меморского.

(Н. А. Полевой?). – Моск. Телеграф, 1827, № 13, с. 87.

Приехав сюда, был я всеми встречен как нельзя лучше, но скоро все переменилось: отец, испуганный моею ссылкой, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь; Пещуров, назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче, быть моим шпионом; вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мне с ним объясниться; я решился молчать. Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я все молчал. Получают бумагу, до меня касающуюся. Наконец, желая вывести себя из тягостного поло-

жения, прихожу к отцу, прошу его позволения объясниться откровенно... Отец осердился (в черновике: заплакал, закричал). Я поклонился, сел верхом и уехал. Отец призывает брата и повелевает ему не знаться avec ce monstre, ce fils dénaturé...[62] Голова моя закипела. Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю все, что имел на сердце целых три месяца... Кончаю тем, что говорю ему в последний раз. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я его «бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить».

Пушкин – В. А. Жуковскому, 31 окт. 1824 г., из Тригорского.

Отец говорил после: «Экой дурак, в чем оправдывается! Да он бы еще осмелился меня бить! Да я бы связать его велел!» Зачем же обвинять было сына в злодействе несбыточном? «Да как он осмелился, говоря с отцом, непристойно размахивать руками?» Это дело десятое. «Да он убил отца словами!» – каламбур, и только.

Пушкин – В. А. Жуковскому, 29 нояб. 1824 г.

Государь Император высочайше соизволил меня послать в поместье моих родителей, думая тем облегчить их горесть и участь сына. Но важные обвинения правительства сильно подействовали на сердце моего отца и раздражили мнительность, простительную старости и нежной любви его к протчим детям. Решаюсь для его спокойствия и своего собственного просить Его Императ. Величество да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей. Ожидаю сей последней милости от ходатайства вашего превосходительства.

Прошение Пушкина Б. А. фон.-Адеркасу, в конце окт. 1824 г. (Благодаря вмешательству П. А. Осиповой и В. А. Жуковского, прошение осталось неотправленным.)

О моем житье-бытье ничего тебе не скажу. Скучно, вот и все... Сегодня кончил я поэму «Цыгане». Не знаю, что об ней сказать, – она покамест мне опротивела, только что кончил и не успел обмыть заповревшие (...).

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, 10 окт. 1824

Г.

На днях я мерялся поясом с Евпраксией (Вульф), и талии наши нашлись одинаковы. Следственно, из двух одно: или я имею талию 15-летней девушки, или она – талию 25-летнего мужчины. Евпраксия дуется и очень мила, с Анеткою бранюсь; надоела!.. Знаешь ли мои занятия? До обеда пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!

Пушкин – Л. С. Пушкину, в конце окт. 1824 г.

Дела мои все в том же порядке: я в Михайловском редко. Anette (Вульф) очень смешна; сестра расскажет тебе мои новые фарсы... Я ревную и браню тебя, – скука смертная везде.

Пушкин – Л. С. Пушкину, в начале нояб. 1824 г.

(Во второй половине ноября С. Л. Пушкин отказался от взятого им на себя политического надзора за сыном и со всею семьею уехал

в Петербург, оставив в Михайловском Пушкина одного.)

Образ жизни моей все тот же: стихов не пишу, продолжаю свои записки да читаю Клариссу[63]; мочи нет, какая скучная дура!

Пушкин – Л. С. Пушкину, во втор. пол. нояб. 1824 г.

Вот уже четыре месяца, как нахожусь я в глухой деревне, – скучно, да нечего делать... Уединение мое совершенно, праздность торжественна. Соседей около меня мало, я знаком только с одним семейством, и то вижу его довольно редко; целый день верхом, вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны; она – единственная моя подруга, и с нею только мне не скучно.

Пушкин – Д. М. Княжевичу (?), в нач. дек. 1824 г.

Этот потоп мне с ума нейдет (*петербургское наводнение*)... Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из Онегинских денег. Но прошу, без всякого шу-

ма, ни словесного, ни письменного. Ничуть не забавно стоять в *Инвалиде* наряду с идиллическим коллежским асессором Панаевым.

Пушкин – Л. С. Пушкину, 4 дек. 1824 г.

Знавшие Александра Пушкина знают, чего ему стоило *огласить* свое доброе дело; удивляюсь, как и в этом случае он решился поверить постороннему (а этот посторонний – брат его) порыв всегда доброго и сострадательного своего сердца.

С. А. Соболевский – М. Н. Лонгинову, 1885 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXXI–XXXII, с. 36.

Твои троегорские приятельницы – несносные дуры, кроме матери. Я у них редко. Сижу дома да жду зимы.

Пушкин – О. С. Павлищевой, 4 дек. 1824 г.

Христом и Богом прошу скорее вытащить Онегина из-под цензуры, – деньги нужны. Долго не торгуйся за стихи, – режь, рви, кромсай хоть все 52 строфы, но денег, ради бога, денег!

У меня с Тригорским завязалось дело пре-

забавное, – некогда тебе рассказывать, а умирительно смешно.

Мне дьявольски не нравятся петербургские толки о моем побеге. Зачем мне бежать? Здесь так хорошо! Когда будешь у меня, то станем трактовать *о банкире, о переписке, о месте пребывания Чаадаева*. Вот пункты, о которых можешь уже осведомиться.

Пушкин – Л. С. Пушкину, во втор. пол. дек. 1824 г., из Михайловского.

Заветной мечтой поэта, с самого приезда его в Михайловское, сделалось одно: бежать от заточения деревенского, а если нужно, то и из России. Помыслы о бегстве за границу начались у Пушкина еще в Одессе. Теперь замысел не был покинут. Пункты, подлежащие разъяснению брата, были (*см. вышеприведенное письмо Пушкина*) ясны: устройство правильной пересылки денег и корреспонденции за границу, вместе с означением места, куда они должны были отправляться, – т.е. в тогдашнюю резиденцию Чаадаева (Чаадаев путешествовал по Европе).

П. В. Анненков. Пушкин в Алекс. эпоху, с.

С той минуты, как я узнал, что Пушкин в изгнании, во мне зародилась мысль непременно навестить его. Собираясь на Рождество в Петербург для свидания с родными, я предположил съездить и в Псков к сестре. Перед отъездом, на вечере у московского военного генерал-губернатора кн. Д. В. Голицына, встретился я с А. И. Тургеневым, который незадолго до того приехал в Москву. Я подсел к нему и спрашиваю: не имеет ли он каких-нибудь поручений к Пушкину, потому что я в январе буду у него. «Как! Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором – и политическим, и духовным?» – «Все это я знаю; но знаю также, что нельзя не навестить друга после пятилетней разлуки в теперешнем его положении, особенно когда буду от него с небольшим в ста верстах. Если не пустят к нему, уеду назад». – «Не советовал бы, впрочем, делайте, как знаете», – прибавил Тургенев. Почти те же предостережения выслушал я от В. Л. Пушкина, к которому заезжал проститься и сказать, что

увиджу его племянника. Со слезами на глазах дядя просил расцеловать его.

Проведя праздник у отца в Петербурге, после Крещения я поехал в Псков. Погостил у сестры несколько дней и от нее вечером пустился из Пскова; в Острове, проездом ночью, взял три бутылки Клико и к утру следующего дня уже приближался к желаемой цели. Свернули мы наконец с дороги в сторону; мчались среди леса по гористому проселку. Спускаясь с горы, недалеко уже от усадьбы, которой за частыми соснами нельзя было видеть, сани наши в ухабе так наклонились набок, что ямщик слетел. Я с Алексеем, неизменным моим спутником, кой-как удержался в санях. Схватили вожжи. Кони несутся средь сугробов. Скачем опять в гору извилистой тропой, вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились с маху в притворенные ворота, при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора.

Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Выскакиваю из саней, беру его

в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим. Он забыл, что надобно прикрыть наготу, я не думал об заиндевевшей шубе и шапке. Было около восьми часов утра. Прибывшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один – почти голый, другой – весь забросанный снегом. Наконец, пробила слеза, мы очнулись. Совестно стало перед этой женщиной, впрочем, она все поняла. Не знаю, за кого приняла меня, только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это его няня, и чуть не задушил ее в объятиях.

Все это происходило на маленьком пространстве. Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, через которое он увидел меня, услышав колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, диван, шкаф с книгами и пр. Во всем поэтической беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожжен-

ные кусочки перьев (он всегда, с самого лица, писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах). Вход к нему прямо из коридора; против его двери – дверь в комнату няни, где стояло множество пальцев.

Я приглядывался, где бы умыться и хоть сколько-нибудь оправиться. Дверь во внутренние комнаты была заперта, дом не топлён. Кое-как все это тут же уладили, копошась среди отрывистых вопросов: что? как? где? и пр. Вопросы большею частью не ожидали ответов. Наконец помаленьку прибрались; подали нам кофе; мы уселись с трубками. Беседа пошла правильнее.

Вообще Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя однако ж ту же веселость; может быть, самое положение его произвело на меня это впечатление. Он, как дитя, был рад нашему свиданию, несколько раз повторял, что ему еще не верится, что мы вместе. Прежняя его живость во всем проявлялась, в каждом слове, в каждом воспоминании. Наружно он мало переменился, оброс только бакенбардами; я нашел, что он тогда был очень похож на тот портрет, который по-

том видел в *Северных Цветах* и теперь при издании его сочинений П. В. Анненковым (*портрет Кипренского, гравированный Уткиным*).

Пушкин сам не знал настоящим образом причины своего удаления в деревню; он приписывал удаление из Одессы козням графа Воронцова из *ревности*; думал даже, что тут могли действовать некоторые смелые его бумаги по службе, эпиграммы на управление и неосторожные частные его разговоры о религии. Мне показалось, что он вообще неохотно об этом говорил; я это заключил по лаконическим отрывистым его ответам на некоторые мои вопросы... Заметно было, что ему как будто несколько наскучила прежняя шумная жизнь, в которой он частенько терялся... Он сказал, что несколько примирился в эти четыре месяца с новым своим бытом, вначале очень для него тягостным: что тут, хотя невольно, но все-таки отдыхает от прежнего шума и волнения; с музой живет в ладу и трудится охотно и усердно. Скорбел только, что с ним нет сестры его, но что, с другой стороны, никак не согласится, чтоб она по привязанно-

сти к нему проскучала целую зиму в деревне. Хвалил своих соседей в Тригорском, хотел даже возить меня к ним, но я отговорился тем, что приехал на короткое время. Среди всего этого много было шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной.

Незаметно коснулись подозрений насчет общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул: «Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать». Потом, успокоившись, он продолжал: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою, — по многим моим глупостям». Молча, я крепко расцеловал его; мы обнялись и пошли ходить; обоим нужно было вздохнуть. Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличающуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений. Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порожденным ис-

ключительным его положением: оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно было: я, в свою очередь, моргнул ему, и все было понятно без всяких слов. Среди молодой своей команды няня преважно разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались работами, побалагурили и возвратились восвояси. Настало время обеда. Алексей хлопнул пробкой, начались тосты за Русь, за лицей, за отсутствующих друзей и за нее. Незаметно полетела в потолок и другая пробка; попотчивали искрометным няню, а всех других – хозяйскою наливкой. Все домашнее население несколько развеселилось; кругом нас стало пошумнее, праздновали наше свидание.

Я привез Пушкину в подарок «Горе от ума», он был очень доволен этою тогда рукописною комедией, до того ему вовсе почти незнакомою. После обеда, за чашкою кофею, он начал читать ее вслух.

Среди этого чтения кто-то подъехал к

крыльцу. Пушкин выглянул в окно, как будто смутился и торопливо раскрыл лежавшую на столе Четью-Минею. Заметив его смущение и не подразумевая причины, я спросил его: что это значит? Не успел он отвечать, как вошел в комнату низенький, рыжеватый монах и рекомендовался мне настоятелем соседнего монастыря. Я подошел под благословение, Пушкин – тоже, прося его сесть. Монах начал извинением в том, что, может быть, помешал нам, потом сказал, что, узнавши мою фамилию, ожидал найти знакомого ему П. С. Пуци-на, уроженца великолукского. Ясно было, что настоятелю донесли о моем приезде и что монах хитрит... Разговор завязался о том, о сем. Между тем подали чай. Пушкин спросил роману, до которого, видно, монах был охотник. Он выпил два стакана чаю, не забывая о роме, и после этого начал прощаться, извиняясь снова, что прервал нашу товарищескую беседу.

Я рад был, что мы остались одни, но мне неловко было за Пушкина: он, как школьник, присмирел при появлении настоятеля. Я ему высказал мою досаду, что накликал это посе-

щение. «Перестань, любезный друг! Ведь он и без того бывает у меня, я поручен его наблюдению. Что говорить об этом вздоре!»

Тут Пушкин, как ни в чем не бывало, продолжал читать комедию; я с необыкновенным удовольствием слушал его выразительное и исполненное жизни чтение. Потом он мне прочел кое-что свое, большею частью в отрывках. Время не стояло. К несчастью, вдруг запахло угаром. Голова моя не выносит угара. Тотчас же я отправился узнать, откуда эта беда. Вышло, что няня, воображая, что я останусь погостить, велела в других комнатах затопить печи, которые с самого начала зимы не топились. Когда закрыли трубы, – хоть беги из дому! Я тотчас распорядился за беззаботного сына в отцовском доме: велел открыть трубы, запер на замок дверь в натопленные комнаты, притворил и нашу дверь, а форточку открыл. Все это неприятно на меня подействовало, не только в физическом, но и в нравственном отношении. «Как, – подумал я, – хоть в этом не успокоить его, как не устроить так, чтоб ему, бедному поэту, было где подвигаться в зимнее ненастье!» В зале был би-

льярд; это могло бы служить для него развлечением. В порыве досады я даже упрекнул няню, зачем она не велит отапливать всего дома. Видно, однако, мое ворчание имело некоторое действие, потому что после моего посещения перестали экономничать дровами.

Между тем время шло за полночь. Нам подали закусить; на прощанье хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись. Ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякал у крыльца, на часах ударило три. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилось, как будто чувствовалось, что в последний раз вместе пьем. Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пушкин еще что-то говорил мне вслед; ничего не слыша, я глядел на него; он остановился на крыльце, со свечью в руке. Кони рванули под гору. Послышалось: «Прощай, друг!» Ворота скрипнули за мною...

И. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 78–83.

Я один-одинешенек; живу недорослем, валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки да песни. Стихи не лезут. Я, кажется, писал те-

бе, что мои «Цыгане» никуда не годятся: не верь – я соврал – ты будешь ими очень доволен.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, 25 янв. 1825 года, из Михайловского.

Пишу тебе в гостях с разбитой рукой – упал на льду, не с лошади, а с лошадьёю; большая разница для моего наезднического самолюбия.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, 28 янв. 1825 года, из Тригорского.

Мне довольно скучно... Стихов новых нет – пишу записки – но и презренная проза мне надоела.

Пушкин – Л. С. Пушкину, в перв. пол. февр. 1825 г.

Слепой поп перевел Сираха (смотри Инвалид № какой-то), издает по подписке – подпишись на несколько экземпляров.

Пушкин – Л. С. Пушкину, в конце февр. – нач. марта 1825 г.

Приближается весна; это время года располагает брата к большой меланхолии; признаюсь, я во многих отношениях опасаясь ее последствий.

Л. С. Пушкин – П. А. Осиповой, 19 фев. 1825 г. – Рус. Стар., 1907, т. 129, с. 85.

У меня произошла перемена в министерстве: Розу Григорьевну я принужден был выгнать за непристойное поведение и слова, которых не должен был я вынести. А то бы она утомила няню, которая начала от нее худеть. Я велел Розе подать мне щеты... Я нарядил комитет, составленный из Василья, Архипа и старосты, велел перемерить хлеб и открыл некоторые злоупотребления, т.е. несколько утаенных четвертей. Впрочем, она мерзавка и воровка. Покамест я принял бразды правления.

Пушкин – Л. С. Пушкину, в конце февр. – нач. марта 1825 г., из Михайловского.

(Владелица села Тригорского – Прасковья Александровна Осипова, по первому браку – Вульф. Ее дети от первого брака: Анна

Николаевна (род. 1799), Алексей (род. 1805) и Евпраксия (Euphrosyne, Зина, Зизи, – род. ок. 1809); от второго брака – Мария Ивановна (род. ок. 1820) и Екатерина Ив. Осиповы. Падчерица Праск. Александровны, дочь ее второго мужа от первого его брака, – Александра Ивановна Осипова (Алина). В окружных дворянских гнездах Псковской и Тверской губ. жило немало родственников Осиповой и Вульфов, и молодые представительницы этих гнезд в разное время не однажды завоевывали сердце влюбчивого Пушкина.)

Из Михайловского в Тригорское дорога идет сначала лесом, спускаясь к берегу озера, а затем поднимается на горку, на опушку леса.

В. Г. Вейденбаум. Несколько слов о пушкинских местах. – Историч. Вестн. 1911, № 8, с. 588.

Идя из Михайловского в Тригорское, мы обогнули озеро: здесь дорога идет по опушке леса и затем, поворачивая к западу, ведет уже полем. Приблизительно минут 15 от усадьбы

на возвышенности – граница Михайловского. Тут дорога опускается к погосту Воронич. Влево огорожена семья сосен (*на месте знаменитых трех сосен*). Минут через 15 мы прошли мимо высокого погоста Воронич и подошли к большому дому Тригорского.

Я. М. Устимович. По пушкинским местам. – Историч. Вестн., 1908, № 3, с. 1047.

Ширь и даль без конца; красавица зеркальная Сороть с чистым песчаным дном; густой сад с вековыми деревьями; длинный одноэтажный господский дом, с чудным видом с балкона вдаль на расстилающиеся поля и деревушки, с мостом через Сороть (223)... Очень красива часть сада, спускающаяся к реке Сороти. На берегу, на скате, старая баня. В этой бане жил Пушкин в веселое лето 1826 г. с Вульфом и поэтом Языковым и отсюда прямо спускался к реке купаться. От садовой старины, связанной с обитателями Тригорского, сохранилось немного: лужайка, вся окруженная липами, т. наз. *липовая зала*, где, по рассказам Марии Ив. Осиповой, часто танцевали под странствующий, заходивший сюда по

временам оркестр. Очень хороша громаднейшая ель, под которой сиживал Пушкин, да большой старый дуб, окруженный террасой со сходом, едва уже заметными ступеньками, к воротам из яблонь, от которых шла аллея (225–226).

В. П. Острогорский. Пушкинский уголок земли. – Мир Божий, 1898, № 9.

Вот здесь стояла баня, куда отсылали ночевать Пушкина: Евпраксия Николаевна, покойница, говаривала: «Мать боялась, чтобы в доме ночевал чужой мужчина. Ну, и посылали его в баню, иногда с братом Алексеем Николаевичем (*Вульфom*). Так и знали все».

Федор Михайлович (тригорский старожил). – Л. П. Гроссман. Вокруг Пушкина. М., Огонек, 1928, с. 14.

В парке Тригорского до настоящего времени указывают плато, где, среди деревьев на лугу, под открытым небом, происходили танцы под звуки шарманки; там же заметно сохраняются солнечные часы. Это – не что иное, как большой круг, по периферии которого по-

сажено 12 дубов и столько же других деревьев. В парке – два пруда и несколько аллей. Там особенно обращает на себя внимание вековая ель, стоящая одиноко среди парка. В Тригорском от времени Пушкина сохранился как самый дом, так и множество предметов в доме. Передают, что Пушкину, когда он приезжал в Тригорское, отводилась комната в два окна, приходящаяся теперь над входом в подвальное помещение; в комнату ему ставили обычно рабочий столик небольшого размера, но очень тяжелый.

Л. И. Софийский. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем, с. 205.

Над зелеными, низменными лугами, орошаемыми Соротью, поднимаются три обрывистые горы, пересеченные глубокими оврагами. Крутые скаты возвышенностей покрыты кустами и зеленью; там и здесь бегут вверх извилистые тропинки. На самом верху двух гор возвышаются две церкви; от них влево тянется ряд строений: этот, ныне довольно большой погост Воронич – некогда знаменитый пригород псковской державы. По преда-

нию, пригород был так велик и так густо населен, что в нем было до 70 церквей. Дома жителей покрывали не только среднюю, но и левую гору, а также и низменные луга, расстилающиеся у подошв гор... Наверху третьей горы стоит Тригорское. Глубокий овраг, по дну которого идет дорога в село, отделяет его от Воронича. Постройка села деревянная, скупенная в одну улицу, на конце которой стоит длинный, деревянный же, одноэтажный дом. Архитектура его больно незамысловата: это не то сарай, не то манеж, оба конца которого украшены незатейливыми фронтонами. Постройка эта никогда и не предназначалась под обиталище владельцев Тригорского; здесь в начале настоящего столетия помещалась парусинная фабрика, но в 1820-х еще годах владелица задумала перестроить обветшавший дом свой, бывший недалеко от этой постройки, и временно перебралась в этот «манеж»... да так в нем и осталась. Перестройка же дома откладывалась с году на год, пока, года четыре назад, он не сгорел... В этой зале стоял этот же большой стол, эти же простые стулья кругом, – те же часы хрипели в углу.

На стене висит потемневшая картина: на нее (по словам М. И. Осиповой) частенько заглядывался Пушкин. Картина, как видно, писана давно и сильно потемнела от времени; она изображает искушение св. Антония, – копия чуть ли не с картины Мурильо: перед св. Антонием представлен бес в различных видах и с различными соблазнами... Вспоминая эту картину, Пушкин, как сам признавался хозяевам, навел чертей в известный сон Татьяны... Подле зала большая гостиная; в ней стоит фортепиано[64], на котором более 30 лет назад играла Ал. Ив. Осипова. Ее очаровательная, высоко-артистическая музыка восхищала Пушкина... Из зала идет целый ряд комнат. В одной из них, в небольших, старинных шкафчиках, помещается библиотека Тригорского... Близ Тригорского дома, вдоль его фаса, находится очень чистый и длинный пруд. По другой стороне пруда стоял именно тот старинный дом, который более тридцати лет ждал перестройки и, не дождавшись, сгорел; близ него, как рассказывает Алексей Ник. Вульф, он, вместе с поэтом, бывало, многие часы тем и занимаются, что хлопают из пистолетов Ле-

пажа в звезду, нарисованную на воротах... За прудом на громадном пространстве раскинут великолепный сад. Тут указали мне зал, так называемую площадку, тесно обсаженную громадными липами; в этом зале, лет 30 назад, молодежь танцевала. Полубовался я горкой среди сада, верх которой венчается ветвистым дубом; по четырем углам этой насыпанной горки стояли ели, под которыми леживали Пушкин и Языков; ели те еще при жизни их были срублены по распоряжению Праск. Ал-ны, так как они будто бы мешали расти роскошному дубу. Пушкин жалел об этих деревьях... Недалеко виднеются жалкие остатки некогда красивого домика, с большими стеклами в окнах. Это баня; здесь жил Языков в проезд свой в Тригорское, здесь ночевывал и Пушкин. Вот и береза, раздвинувшая свои два ствола так, что среди их образовалось кресло; здесь сживал тоже Пушкин, в дупло этого дерева поэт опустил пяточок на память, недалеко кустарник барбарисовый, в середину которого Пушкин однажды впрыгнул да насилу вылез оттуда. Сзади же остался небольшой прудок. На берегу его стояла береза, – Праско-

вья Ал-на вздумала ее срубить, но Пушкин выпросил березе жизнь. «Любопытно, – заметила М. И. Осипова, – что в год смерти Пушкина в березу ту ударила молния...» А вот и спуск к реке Сороти; на высоком, зеленом, в высшей степени живописном берегу этой реки, в саду, та именно «горка», о которой так часто вспоминает Языков в своих стихах... Над самой рекой была ива, купавшая ветви свои в волнах Сороти и весьма нравившаяся Пушкину. Теперь ее нет... Но что осталось, так это дивный вид «с горки» на окрестности. Здесь, на этой площадке, все обитательницы Тригорского и их дорогие гости пили обыкновенно в летнее время чай и отсюда восхищались прелестными окрестностями. Внизу – голубая лента Сороти, за ней вдали – село «Дериглазово»; там – пашни, поля, вдали темный лес, вправо дорога в Михайловское, а на ней столь знаменитые, воспетые Пушкиным, три сосны, еще правей городище Воронич, за рекой часовня, на том месте, где, по преданию, стоял некогда монастырь.

М. И. Семевский. Прогулка в Тригорское. – СПб. Вед., 1866, № 136.

С живописной площадки одного из горных выступов, на котором расположено было Тригорское, много глаз устремлялось на дорогу в Михайловское, видную с этого пункта, – и много сердец билось трепетно, когда на ней, огибая извивы Сороти, показывался Пушкин или пешком в шляпе с большими полями и с толстой палкой в руке, или верхом на аргамаке, а то и просто на крестьянской лошаденке. Две старшие дочери г-жи Осиповой, Анна и Евпраксия Николаевны Вульф, составляли два противоположные типа. По отношению к Пушкину Анна Николаевна представляла полное самоотвержение и привязанность, которые ни от чего устать и ослабеть не могли, между тем как сестра ее, воздушная Евпраксия, как отзывался о ней сам поэт, представляла совсем другой тип. Она пользовалась жизнью очень просто, по-видимому, ничего не искала в ней, кроме минутных удовольствий, и постоянно отворачивалась от романтических ухаживаний за собой и комплиментов, словно ждала чего-либо более серьезного и дельного от судьбы. Вышло то, что обыкно-

венно выходит в таких случаях: на долю энтузиазма и самоотвержения пришлось суровые уроки, часто злое, отталкивающее слово, которые только изредка выкупались счастливыми минутами доверия и признательности, между тем как равнодушию оставалась лучшая доля постоянного внимания, неизменной ласки и льстивого ухаживания. Евпраксия Николаевна была душою веселого общества, собиравшегося по временам в Тригорском: она играла перед ним арии Россини, мастерски варила жженку и являлась первая во всех предприятиях по части удовольствий. Сестра ее, Анна Николаевна, умершая девушкой в начале 60-х годов, отличалась быстротою и находчивостью своих ответов, что было нелегкое дело в виду Михайловского изгнанника, отличавшегося еще в разговорах прямою и смелостью выражения. Одно время полагали, что Пушкин равнодушен к Евпраксии Николаевне.

П. В. Анненков. Пушкин в Алекс., эпоху, с. 278–280.

Анна Николаевна (Вульф) тебе кланяется и

очень жалеет, что тебя здесь нет; потому что я влюбился и миртильничаю. Знаешь ее кузину Анну Ивановну Вульф[65]? Ессе femina![66]

Пушкин – Л. С. Пушкину, 14 марта 1825 г., из Тригорского.

Простите, дети! Я пьян.

Пушкин – Л. С. Пушкину и П. А. Плетневу, 15 марта 1825 г., из Михайловского.

По висту должен мне Пушкин	1 р. 50 к.;	я ему	— 20 к.
еще —	1 р. 70 к.;	—	— 10 к.
еще —	1 р. 80 к.;	—	—
еще —	— —	—	— 70 к.

П. А. Осипова. Запись в календаре, в марте 1825 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. I, с. 140.

Нынче день смерти Байрона – я заказал с вечера обедню за упокой его души. Мой поп удивился моей набожности и вручил мне просвиру, вынутую за упокой раба божия боярина Георгия. Отсылаю ее к тебе... Прощай, милый, у меня хандра и нет ни единой мысли в голове моей.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, 7 апр. 1825 года.

Я заказал обедню за упокой души Байрона (сегодня день его смерти), А. Н. (Вульф) также, и в обеих церквах, – Тригорском и Воронине, – происходили молебствия. Это немножко напоминает обедню Фридриха II за упокой души г-на Вольтера. Вяземскому посылаю вынужденную просвиру отцом Шкодой за упокой поэта.

Пушкин – Л. С. Пушкину, 7 апр. 1825 г., из Тригорского.

Вино, вино, ром (12 бут.), горчицы, fleur d'orange, чемодан дорожный; сыру лимбургского; книгу о верховой езде – хочу жеребцов выезжать: вольное подражание Alfieri и Байрону.

Как я рад баронову приезду (барона А. А. Дельвига). Он очень мил! Наши барышни все в него влюбились, а он равнодушен, как колода, любит лежать на постели, восхищаясь «Чигиринским Старостою» (Рылеева).

Пушкин – Л. С. Пушкину, 23 апр. 1825 г., из Михайловского.

Пушкин готовился издать собрание своих стихотворений, которое и явилось в 1826 году.

В этих приготовлениях, не прерывавших и других многочисленных занятий поэта, застал его Дельвиг. По свидетельству знавших того и другого, Пушкин советовался в настоящем случае с Дельвигом, дорожа его мнением и вполне доверяя его вкусу. В этих литературных беседах, чтениях и спорах проходило почти все утро. После нескольких партий на бильярде и позднего обеда друзья отправлялись в соседнее село Тригорское, принадлежавшее П. А. Осиповой, и проводили вечер в ее умном и любезном семействе.

В. П. Гаевский. Дельвиг. – Современник, 1854, № 9, Критика, с. 2.

Тебе скучно в Петербурге, а мне скучно в деревне. Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа. Как быть.

Пушкин – К. Ф. Рылееву, в конце мая 1825 г.

(Для альманаха «Звездочка» на 1826 г. Пушкин послал редакторам альманаха А. А. Бестужеву и К. Ф. Рылееву отрывок из «Онегина» – ночной разговор Татьяны с няней.) – Пушкин, присылая свой отрывок, уведомил

моего брата (А. А. Бестужева), что условия относительно вознаграждения за напечатание этого стихотворения он может сделать через Льва Сергеевича Пушкина. Это условие с Левушкой состоялось в моем присутствии. Не знаю, отдал ли Пушкин этот эпизод из «Онегина» своему брату-гуляке, чтобы деньги были доставлены ему, как уверял Левушка, или это была обычная заплата, которыми Пушкин безуспешно зашивал долговые дыры брата, но только Левушка потребовал с издателей по пяти рублей ассигнациями за строчку. И брат мой Александр, не думая ни минуты, согласился. «Ты промахнулся, Левушка, – смеясь, добавил он, – промахнулся, не потребовав за строку по червонцу. Я бы тебе и эту цену дал, но только с условием: припечатать нашу сделку в «Полярной звезде» для того, чтобы знали все, с какою готовностью мы платим золотом за золотые стихи».

М. А. Бестужев по записи М. И. Семевского. – М. И. Семевский. К биографии Пушкина. – Рус. Вестн., 1869, № 11, с. 72.

Когда псковский архиепископ Евгений по-

сетил Святогорский монастырь, к нему внезапно явился с ярмарки Пушкин в одежде русского мужика, чем очень удивил преосвященного.

П. В. Киреевский по записи *П. И. Бартенева*. – П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 53.

Из Михайловского Пушкин любил ходить в Святые Горы, причем, как передают, всегда входил в монастырь восточными воротами, обращенными в сторону села Михайловского. По преданию, ему в монастыре отводилась келья, стены которой он испещрял своими стихами. Придя в Св. Горы, в «Девятник», т.е. в девятую пятницу по Пасхе, когда бывает там ярмарка, Пушкин часто останавливался у святых ворот монастыря, выходящих на запад по направлению к слободе Тоболенец, и здесь он прислушивался к пению нищих, распевających и доселе духовные стихи о Лазаре, об архангеле Михаиле, о Страшном суде и тому подобные канты, а иногда подпевал им и сам.

Л. И. Софийский. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем, с. 202.

1825 год... 29 мая в Св. Горах о девятой пятницы... и здесь имел щастие видеть Александра Сергеевича Г-на Пушкина, которой некоторым образом удивил странною своею одеждою, а на прим. у него была надета на голове соломенная шляпа – в ситцевой красной рубашке, опоясавши голубою ленточкою с железною в руке тростию с предлинными чор. бакинбардами, которые более походят на бороду так же с предлинными ногтями с которыми он очищал шкорлупу в апельсинах и ел их с большим аппетитом я думаю около 1/2 дюж.

Торговец *И. И. Лапин*. Из дневника. – Там же, с. 203.

Когда в монастыре была ярмарка в девятую пятницу, Пушкин, как рассказывают очевидцы-старожилы, одетый в крестьянскую белую рубаху с красными ластовками, опоясанный красною лентою, с таковою же – и через плечо, не узнанный местным уездным исправником, был отправлен под арест за то, что вместе с нищими, при монастырских воротах, участвовал в пении стихов о Лазаре,

Алексее, человеке божием, и других, тростию же с бубенчиками давал им такт, чем привлек к себе большую массу народа и заслонил проход в монастырь, – на ярмарку. От такого ареста был освобожден благодаря лишь заступничеству здешнего станового пристава.

Игумен Иоанн. Описание Святогорского Успенского Монастыря Псковской епархии. Псков, 1899, с. 111.

Ярмарка тут в монастыре бывает в девятую пятницу перед Петровками; народу много собирается; и он туда хаживал, как есть, бывало, как дома: рубаха красная, не брит, не стрижен, чудно так, палка железная в руках; придет в народ, тут гулянье, а он сядет на-земь, соберет к себе нищих, слепцов, они ему песни поют, стихи сказывают. Так вот было раз, еще спервоначалу приехал туда капитан-исправник на ярмарку: ходит, смотрит, что за человек чудной в красной рубахе с нищими сидит? Посылает старосту спросить, кто, мол, такой? А Александр-то Сергеич тоже на него смотрит, зло так, да и говорит эдак скоро (грубо так он всегда говорил): «скажи

капитану-исправнику, что он меня не боится и я его не боюсь, а если надо ему меня знать, так я – Пушкин». Капитан ничто взяло, с тем и уехал, а Ал. Сер. бросил слепцам беленькую, да тоже домой пошел.

Дворовый Петр (служивший у Пушкина в кучерах). – К. Я. Тимофеев. Могила Пушкина и село Михайловское. – Журн. Мин. Нар. Просв., 1859, т. 103, отд. II, с. 148.

Одевался Пушкин, хотя, по-видимому, и небрежно, подражая и в этом, как и во многом другом, прототипу своему Байрону, но эта небрежность была кажущаяся: Пушкин относительно туалета был очень щепетилен. Рассказывают, будто живя в деревне, он ходил все в русском платье. Совершеннейший вздор. Пушкин не изменял обыкновенному светскому костюму. Всего только раз, заметьте себе, раз, во все пребывание в деревне, а именно в девятую пятницу после Пасхи, Пушкин вышел на святогорскую ярмарку в русской красной рубаше, подпоясанный ремнем, с палкою, в корневой шляпе, привезенною им еще из Одессы. Весь новоржевский бомонд,

съезжавшийся на эту ярмарку закупать сахар, вино, увидя Пушкина в таком костюме, весьма был этим скандализирован.

Ал. Н. Вульф в передаче *М. И. Семевского*. – СПб. Вед., 1866, № 139.

Монастырь Святые Горы построен на горах; восходить к нему надо по ступеням, сложенным из целых, довольно больших камней; кругом монастыря обрывы, обнесенные стеною; горы, занятые монастырем, покрыты деревьями.

А. Ф.[67] Поэтический уголок Псковской губернии. – Новое время, 1880, № 1598.

Святогорский монастырь называется Успенским, и в нем хранится очень чтимая местным населением икона Одигитрии Божьей матери. На главных входных воротах монастыря с одной стороны имеется надпись: «Богородице, дверь небесная, отверзи нам двери милости твоея». А на другой: «Возведи очи мои в горе от ню дуже придет помощь моя». Возле этих ворот, по преданию, Пушкин пел когда-то с нищими Лазаря.

П. М. Устимович. По пушкинским местам. – Историч. Вестн., 1908, № 3, с. 1037.

Прошу тебя отвечать как можно скорее на это письмо, но отвечай человечески, а не сумасбродно. Я слышал от твоего брата и твоей матери, что ты болен. Правда ли это? Правда ли, что у тебя в ноге есть что-то похожее на аневризм и что ты уже около десяти лет угощаешь у себя этого постояльца, не говоря никому ни слова? Теперь это уже не тайна, и ты должен позволить друзьям твоим вступить в домашние дела твоего здоровья. У вас в Опочке некому хлопотать о твоём аневризме. Сюда перетащить тебя теперь невозможно. Но можно, надеюсь, сделать, чтобы ты переехал на житье и лечение в Ригу... Напиши ко мне немедленно о своём аневризме.

В. А. Жуковский – Пушкину, во втор. пол. мая 1825 г., из Петербурга. – Переписка Пушкина, т. I, с. 216.

Вот тебе человеческий ответ: мой аневризм носил я десять лет и с божией помощью могу проносить еще года три. Следствен-

но дело не к спеху, но Михайловское душно для меня. Если бы царь меня до излечения отпустил за границу, то это было бы благодеяние, за которое я бы вечно был ему и друзьям моим благодарен. Вяземский пишет мне, что друзья мои в отношении властей изверились во мне: напрасно. Я обещал Н. М. (*Карамзину*) два года ничего не писать противу правительства и не писал. «Кинжал» не против правительства писан, и хоть стихи и не совсем чисты в отношении слога, но намерение в них безгрешно. Теперь же все это мне надоело, и если меня оставят в покое, то верно я буду думать об одних пятистопных без рифм. Смело полагаясь на решение твое, посылаю тебе черновое к самому Белому (*царю*): кажется, подлости с моей стороны ни в поступке, ни в выражении нет.

Пушкин – В. А. Жуковскому, в конце мая – нач. июня 1825 г., из Михайловского.

Я бы почел долгом переносить немилость ко мне в почтительном молчании, если бы необходимость не заставила меня нарушить его. Здоровье мое сильно пострадало в первой

моей молодости, до настоящего времени я не имел возможности лечиться. Аневризм, который у меня уже десять лет, тоже требовал бы быстрой операции. Легко убедиться в правдивости того, что я сообщаю... Я умоляю Ваше величество разрешить мне уехать куда-нибудь в Европу, где я не был бы лишен всякой помощи.

Пушкин – в прошении Александру I, в конце мая – нач. июня 1825 г.

(По-видимому, Пушкин действительно страдал варикозным расширением вен нижних конечностей. Но, конечно, все его жалобы на эту болезнь имели одну цель, – чтобы его отпустили для лечения за границу. Родственники же его и приятели, не посвященные в тайные замыслы Пушкина, из сил выбивались, чтоб доставить ему возможность лечить свой «аневризм».)

Видел ли ты Н. М. (Карамзина)? Идет ли вперед История? Где он остановится? Не на избрании ли Романовых?

Неблагодарные! Шесть Пушкиных подпи-

сали избирательную грамоту! да двое руку приложили за неумением писать! А я, грамотный потомок их, что я? где я...

Пушкин – бар. А. А. Дельвигу, в перв. пол. июня 1825 г., из Михайловского.

Плетнев поручил мне сказать тебе, что он думает, что Пушкин хочет иметь пятнадцать тысяч, чтобы иметь способы бежать с ними в Америку или Грецию. Следственно, не надо их доставать ему.

А. А. Воейкова – *В. А. Жуковскому*, в конце июня – нач. июля 1825 г., из Петербурга. – Пушкин и его совр-ки, вып. VIII, с. 86.

Пушкин перепоручил ходатайство по своей просьбе своей матери в Петербурге. Надежда Осиповна заменила его деловую просьбу каким-то патетическим письмом на имя императора Александра. Результатом ее домогательства было дозволение Пушкину жить и лечиться в Пскове с тем, чтоб губернатор имел наблюдение за поведением и разговорами больного.

П. В. Анненков. Пушкин в Алекс. эпоху, с.

Неожиданная милость его величества тронула меня несказанно, тем более, что здешний губернатор предлагал уже мне иметь жительство в Пскове; но я строго придерживался повеления высшего начальства. Я справлялся о псковских операторах: мне указали там на некоторого Всеволожского, очень искусного по ветеринарной части и известного в ученом свете по своей книге об лечении лошадей. Несмотря на все это, я решился остаться в Михайловском; тем не менее чувствую отеческую снисходительность его величества. Боюсь, чтобы медленность мою пользоваться монаршей милостью не почли за небрежение или возмутительное упрямство. Но можно ли в человеческом сердце предполагать такую адскую неблагодарность? Я все жду от человеческого сердца императора, авось-либо позволит он мне со временем искать стороны мне по сердцу и лекаря по доверчивости собственного рассудка, а не по приказанию высшего начальства.

Пушкин – В. А. Жуковскому, в июне – июле

1825 г., из Михайловского.

* (Июль 1825 г.) Не доезжая села Михайловского, встретили мы в лесу Пушкина: он был в красной рубаше, без фуражки, с тяжелой железной палкой в руке. Когда подходили мы к дому, на крыльце стояла пожилая женщина, вязавшая чулок; она, приглашая нас войти в комнату, спросила: «Откудова к нам пожаловали?» Александр Сергеевич ответил: – «Это те гусары, которые хотели выкупать меня в шампанском». – «Ах ты, боже мой! Как же это было?» – сказала няня Александра Сергеевича, Арина Родионовна. В Михайловском мы провели четыре дня. Няня около нас хлопотала, сама приготавливала кофе, поднося, приговаривала: «Крендели вчерашние, ничего, кушайте на доброе здоровье, а вот мой Александр Сергеевич изволит с маслом кушать ржаной...» Пушкин выходил к нам около 12 часов; на нем виден был отпечаток грусти; обедали мы в час, а иногда и позднее.

На другой день нашего приезда Александр Сергеевич пригласил нас прогуляться к соседке его, П. А. Осиповой, в Тригорское, где до

позднего вечера мы провели очень приятно время, а в день нашего отъезда были на раннем обеде; милая хозяйка нас обворожила приветливым приемом, а прекрасный букет дам и девиц одушевлял общество. Александр Сергеевич особенно был внимателен к племяннице Осиповой, А. П. Керн.

Няня, Арина Родионовна, на дорогу одарила нас своей работы пастилой и напутствовала добрым пожеланием.

А. Распов. – Рус. Стар., 1876, т. 15, с. 466.

Желание мое увидеть Пушкина исполнилось во время пребывания моего в доме моей тетки (*П. А. Осиповой*) в Тригорском, в 1825 году в июне месяце. Вот как это было. Мы сидели за обедом. Вдруг вошел Пушкин с большою, толстою палкой в руках. Он после часто к нам являлся во время обеда, но не садился за стол; он обедал у себя гораздо раньше и ел очень мало. Приходил он всегда с большими дворовыми собаками, *chien-loup*[68]. Тетушка, подле которой я сидела, мне его представила; он очень низко поклонился, но не сказал ни слова: робость видна была в его движениях. Я

тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться; он был очень неровен в обращении: то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту. Раз он был так нелюбезен, что сам в этом сознался сестре, говоря: «*Ai-jé été assez vulgaire aujourd'hui?*»[69] Вообще же надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был неописанно хорош, когда что-нибудь приятно волновало его. Так, один раз мы восхищались его тихою радостью, когда он получил от какого-то помещика при любезном письме охотничий рог на бронзовой цепочке, который ему нравился. Читая это письмо и любуясь рогом, он сиял удовольствием и повторял: «*Charmant, snarmant!*»[70] Однажды явился он в Тригорское со своею большою черною книгою, на полях которой были начерчены ножки и головки, и сказал, что он принес ее для меня. Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочитал нам своих «Цыган». Я была в упое-

нии как от текучих стихов поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаевала от наслаждения; он имел голос певучий, мелодический, как он говорит про Овидия в своих «Цыганах»: «И голос, шуму вод подобный». Через несколько дней после этого чтения тетушка предложила нам всем после ужина прогулку в Михайловское. Пушкин очень обрадовался этому, и мы поехали. Погода была чудесная, лунная июльская ночь дышала прохладой и ароматом полей. Мы ехали в двух экипажах; тетушка с сыном в одном, сестра (*Анна Ник. Вульф*), Пушкин и я – в другом. Ни прежде, ни после я не видала его так добродушно веселым и любезным. Он шутил без острот и сарказмов, хвалил луну, не называл ее глупою, а говорил: «Я люблю луну, когда она освещает прекрасное лицо». Хвалил природу и говорил, что торжествует, воображая в ту минуту, что Александр Полторацкий остался на крыльце у Олениных, а он уехал со мною; это был намек на то, как он завидовал при нашей первой встрече (в 1819 г., в Петербурге) Александру Полторацкому, когда тот уехал со мною. Приехавши в

Михайловское, мы не вошли в дом, а пошли прямо в старый, запущенный сад, «приют задумчивых дриад», с длинными аллеями старых деревьев, корни которых, сплетаясь, вились по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, а моего спутника вздрагивать. Тетушка, приехавшая туда вслед за нами, сказала: «Мой дорогой Пушкин, окажите честь вашему саду, покажите его г-же Керн». Он быстро подал мне руку и побежал скоро, скоро, как ученик, неожиданно получивший позволение прогуляться. Он вспоминал нашу первую встречу у Олениных, выражался о ней увлекательно, восторженно и в конце разговора сказал: «У вас был такой девственный вид; и неправда ли, – как будто вы несли на себе крест?»

На другой день я должна была уехать в Ригу вместе с сестрою А. Н. Вульф. Он пришел утром и на прощанье принес мне экземпляр II главы «Онегина», в неразрезанных листках, между которых я нашла вчетверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами: «Я помню чудное мгновенье»... Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он

долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять; что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю.

Во время пребывания моего в Тригорском я пела Пушкину стихи Козлова «Ночь весенняя дышала». Мы пели этот романс на голос «Benedetta sia la madre», баркаролы венецианской. Пушкин с большим удовольствием слушал эту музыку.

А. П. Керн. Воспоминания. – Л. Н. Майков, с. 240–243.

Все Тригорское поет: «Не мила ей прелесть ночи» (*песню Козлова «Ночь весенняя дышала», – см. выше*), и это сжимает мне сердце; вчера мы с Алексеем Николаевичем (*Вульфом*) говорили четыре часа подряд. Никогда у нас с ним не было такого долгого разговора. Угадайте, что нас вдруг соединило? Скука? Сходство чувства? Не знаю. Я все ночи хожу по саду, я говорю: «Она была здесь», – камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе, рядом с ним – завядший гелиотроп; я пишу много стихов, – все это, если угодно,

очень похоже на любовь; но клянусь вам, что ее нет. Если бы я был влюблен, мною в воскресение[71] овладели бы судороги бешенства и ревности, а я был только задет, – однако мысль, что я для нее – ничто, что, разбудив, заняв ее воображение, я только тешил ее любопытство, что воспоминание обо мне ни на минуту не сделает ее ни более рассеянной среди ее триумфов, ни более пасмурной во дни ее печали, что ее прекрасные глаза будут останавливаться на каком-нибудь рижском фате с тем же разрывающим душу сладостным выражением, – нет, эта мысль для меня невыносима!..

Пушкин – Ал. Н. Вульф, 21 июня 1825 г. (фр.).

Студент Ал. Н. Вульф, сделавшийся поверенным Пушкина в его замыслах об эмиграции, сам собирался за границу; он предлагал Пушкину увезти его с собой под видом слуги. Но сама поездка Вульфа была еще мечтой. Тогда оба заговорщика наши остановились на мысли заинтересовать в деле освобождения Пушкина известного дерптского профессора

хирургии И. Ф. Мойера. Он имел влияние на самого начальника края, маркиза Паулуччи. Дело состояло в том, чтобы согласить Мойера взять на себя ходатайство перед правительством о присылке к нему Пушкина в Дерпт, как интересного и опасного больного, а впоследствии, может быть, предпринять и защиту его, если Пушкину удастся пробраться из Дерпта за границу под тем же предлогом безнадёжного состояния своего здоровья. – Город Дерпт стоял тогда если не на единственном, то на кратчайшем тракте за границу, излюбленном всеми нашими туристами.

П. В. Анненков. Пушкин в Алекс. эпоху, с. 287–288.

Будь щастлив, хоть это чертовски мудрено.
Пушкин – бар. А. А. Дельвигу, 23 июля 1825 г.

Я в совершенном одиночестве: единственная соседка, которую я посещал, уехала в Ригу, и у меня буквально нет другого общества, кроме моей старой няни и моей трагедии («*Борис Годунов*»): последняя подвигается впе-

ред, и я доволен ею... Я пишу и думаю. Большая часть сцен требует только рассуждения; когда же я подхожу к сцене, требующей вдохновения, я или выжидаю, или перескакиваю через нее. Этот прием работы для меня совершенно нов. Я чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития и что я могу творить.

Пушкин – Н. Н. Раевскому, в конце июля 1825 г., из Михайловского (*фр.*).

Сейчас получено мною известие, что В. А. Жуковский писал вам о моем аневризме и просил вас приехать во Псков для совершения операции. Умоляю вас, ради бога, не приезжайте и не беспокойтесь обо мне. Операция, требуемая аневризмом, слишком мало важна, чтоб отвлечь человека знаменитого от его занятий и местопребывания. Благодеяние ваше было бы мучительно для моей совести. Я не должен и не могу согласиться принять его.

Пушкин – проф. И. Ф. Мойеру, знаменитому дерптскому хирургу, 29 июля 1825 г., из Михайловского.

У нас очень дождик шумит, ветер шумит, лес шумит, шумно, а скучно.

Пушкин – П. А. Плетневу, в нач. авг. 1825 г.

До сих пор ты тратил жизнь с недостойною тебя и с оскорбительною для нас расточительностью, тратил и физически, и нравственно. Пора уняться. Она была очень забавною эпиграммою, но должна быть возвышенною поэмою.

В. А. Жуковский – Пушкину, 9 авг. 1825 г., из Петербурга. – Переписка Пушкина, т. I, с. 258.

Я совершенно один; царь позволил мне ехать во Псков для операции моего аневризма, и Мойер хотел ко мне приехать – но я просил его не беспокоиться и думаю, не тронусь из моей деревни. Друзья мои за меня хлопотали против воли моей, и кажется, только испортили мою участь.

Пушкин – В. И. Туманскому, 13 авг. 1825 г., из Михайловского.

Здесь мне Кюхельбекерно; согласен, что

жизнь моя сбивалась иногда на эпиграмму, но вообще она была элегией вроде Коншина.

Пушкин – В. А. Жуковскому, 17 авг. 1825 г.

Пушкин и Вульф положили учредить между собою символическую переписку, основанием которой должна была служить тема о судьбе коляски, будто бы взятой Вульфom для переезда. Положено было так: в случае согласия Мойера замолвить слово перед маркизом Паулуччи о Пушкине, Вульф должен был уведомить Пушкина по почте о своем намерении выслать коляску обратно в Псков. Наоборот, если бы Вульф заявил решимость удержать ее в Дерпте, это означало бы, что успех сомнителен. На Вульфа возложена была также обязанность передавать Пушкину относящиеся до него новости, приняв за условную тему корреспонденции проект издания полных сочинений Пушкина в Дерпте.

П. В. Анненков. Пушкин в Алекс. эпоху, с. 288.

Я не успел благодарить вас за дружеское старание о проклятых моих сочинениях, черт

с ними, и с цензором, и с наборщиком, и с tutti quanti[72] – дело теперь не о том. Друзья мои и родители вечно со мною проказят. Теперь послали мою коляску к Мойеру с тем, чтобы он в ней ко мне приехал и опять уехал и опять прислал назад эту бедную коляску. Вразумите его. Дайте ему от меня честное слово, что я не хочу этой операции. А об коляске, сделайте милость, напишите мне два слова, что она? где она? etc.

Пушкин – Ал. Н. Вульффу, в конце авг. 1825 г., из Михайловского.

Вообще Пушкин был очень прост во всем, что касалось собственно до внешней обстановки. Одевался он довольно небрежно, заботясь преимущественно только о красоте длинных своих ногтей. Иметь простую комнату для литературных занятий было у него даже потребностью таланта и условием производительности. Он не любил картин в своем кабинете, и голая серенькая комната давала ему более вдохновения, чем роскошный кабинет с эстампами, статуями и богатой мебелью, которые обыкновенно развлекали его..

. Утро Пушкин посвящал литературным занятиям: созданию и приуготовительным его трудам, чтению; выпискам, планам. Осенью, — эту всегдашнюю эпоху его сильной производительности, — он принимал чрезвычайные меры против рассеянности и вообще красных дней: он не покидал постели или не одевался вовсе до обеда. По замечанию одного из его друзей, он и в столицах оставлял до осенней деревенской жизни исполнение всех творческих своих замыслов и, в несколько месяцев сырой погоды, приводил их к окончанию. Пушкин был, между прочим, неутомимый ходо́к пешком и много ездил верхом, но во всех его прогулках поэзия неразлучно сопутствовала ему. Раз, возвращаясь из соседней деревни верхом, обдумал он всю сцену свидания Дмитрия с Мариной в «Годунове». Какое-то обстоятельство помешало ему положить ее на бумагу тотчас же по приезде, а когда он принялся за нее через две недели, многие черты прежней сцены изгладились из памяти его. Он говорил потом друзьям своим, восхищавшимся этою сценою, что первоначальная сцена, совершенно оконченная в уме его,

была несравненно выше, несравненно превосходнее той, какую он писал.

П. В. Анненков. Материалы, с. 111–112.

Пушкин рассказывал Нащокину, что сцену у фонтана он сочинил, едучи куда-то на лошади верхом. Приехав домой, он не нашел пера, чернила высохли, это его раздосадовало, и сцена была записана не раньше, как недели через три; но в первый раз сочиненная им, она, по собственным его словам, была несравненно прекраснее.

П. И. Бартенов. Рассказы о Пушкине, с. 44.

С соседями Пушкин не знакомился... В досужное время он в течение дня много ходил и ездил верхом, а вечером любил слушать русские сказки и тем, говорил он, вознаграждал недостатки своего французского воспитания. Вообще образ его жизни довольно походил на деревенскую жизнь Онегина. Зимой он, проснувшись, также садился в ванну со льдом, летом отправлялся к бегущей под горой реке, также играл в два шара на бильярде, также обедал поздно и довольно прихот-

ливо. Вообще он любил придавать своим героям собственные вкусы и привычки. Нигде он так не выразился, как в описании Чарского (см. «Египетские Ночи»).

Л. С. Пушкин. Биограф. изв. об А. С. Пушкине. – Л. Н. Майков, с. 111.

Что, может быть, неизвестно будет потомству, это то, что Пушкин с самой юности до самого гроба находился вечно в неприятном или стесненном положении, которое убило бы все мысли в человеке с менее твердым характером. Сосланный в псковскую деревню, он имел там развлечением старую няню, коня и бильярд, на котором играл одним тупым кием. Его дни тянулись однообразно и бесцветно. Встав поутру, погружался он в холодную ванну и брал книгу или перо; потом садился на коня и скакал несколько верст, слезая, уставший ложился в постель и брал снова книги и перо; в минуты грусти перекачивал шары на бильярде или призывал старую няню рассказывать ему про старину, про Ганнибалов, потомков Арапа Петра Великого. Так прошло несколько лет юности Пушкина, и в

эти дни скуки и душевной тоски он написал столько светлых восторженных песен, в которых ни одно слово не высказало изменчиво его уныния.

Н. М. Смирнов. Из памятных заметок. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 230.

Вставая рано, Пушкин тотчас принимался за дело. Не кончив утренних занятий своих, он боялся одеться, чтобы преждевременно не оставить кабинета для прогулки. Перед обедом, который откладывал до самого вечера, прогуливался во всякую погоду.

П. А. Плетнев. Соч., т. I, с. 375.

Вы, вероятно, знаете, Байрон так метко стрелял, что на расстоянии 25 шагов утыкивал всю розу пулями. Пушкин, по крайней мере в те года, когда жил здесь, в деревне, решительно был помешан на Байроне; он его изучал самым старательным образом и даже старался усвоить себе многие привычки Байрона. Пушкин, например, говаривал, что он ужасно сожалеет, что не одарен физической силой, чтобы делать, например, такие подви-

ти, как английский поэт, который, как известно, переплыл Геллеспонт... А чтобы сравняться с Байроном в меткости стрельбы, Пушкин вместе со мною сажал пули в звезду над нашими воротами. Между прочим, надо и то сказать, что Пушкин готовился одно время стреляться с известным так наз. «американцем» Толстым... Где-то в Москве Пушкин встретился с Толстым за карточным столом. Была игра. Толстой передернул. Пушкин заметил ему это. «Да я сам это знаю, – отвечал ему Толстой, – но не люблю, чтобы мне это замечали». Вследствие этого Пушкин намеревался стреляться с Толстым и вот, готовясь к этой дуэли, упражнялся со мною в стрельбе.

Ал. Н. Вульф в передаче *М. И. Семевского*. – СПб. Вед., 1866, № 139.

В усадьбе, оказалось, жив еще один старик, Петр, служивший кучером у Александра Сергеевича. Старик он лет за 60, еще бодрый, говорит хорошо, толково.

– Наш Ал. С-ч никогда этим не занимался, чтоб слушать доклады приказчика. Всем староста заведывал; а ему, бывало, все равно,

хоть мужик спи, хоть пей; он в эти дела не входил. Ходил этак чудно: красная рубашка на нем, кушаком подвязана, штаны широкие, белая шляпа на голове: волос не стриг, ногтей не стриг, бороды не брил, – подстрижет эдак макушечку, да и ходит. Палка у него завсегда железная в руках, девять фунтов весу; уйдет в поля, палку вверх бросает, ловит ее на лету. А не то дома вот с утра из пистолетов жарит, в погреб, вот тут за баней, да раз сто эдак и выпалит в утро-то. – «А на охоту ходил он?» – «Нет, охотиться не охотился: так все в цель жарил...» – «Хорошо плавал Александр Сергеевич?» – «Плавать плавал, да не любил долго в воде оставаться. Бросится, уйдет во глубь и – назад. Он и зимою тоже купался в бане: завсегда ему была вода в ванне приготовлена. Утром встанет, пойдет в баню, прошибет кулаком лед в ванне, сядет, окатится, да и назад; потом сейчас на лошадь и гоняет тут по лугу; лошадь взмылит и пойдет к себе. Он все с Ариной Родионовной, коли дома. Чуть встанет утром, уже бежит ее глядеть: «здорова ли мама?» Он ее все *мама* называл. А она ему, бывало, эдак нараспев (она ведь из Гатчины у

них взята, с Суйды, там эдак все певком говорят): «Батюшка, ты, за что ты меня все мамой зовешь, какая я тебе мать?» – «Разумеется, ты мне мать: не то мать, что родила, а то, что своим молоком вскормила[73]». И уж чуть старуха занеможет там что ли, он уж все за ней».

К. Я. Тимофеев. Могила Пушкина и село Михайловское. – Журн. Мин. Нар. Просв., 1859, т. 103, отд. II, с. 144–150.

Пушкин за время этих двух лет дома вел жизнь однообразную; все, бывало, пишет что-нибудь или читает разные книги. К нему изредка приезжали его знакомые, а иногда приходили монахи из монастыря, а если он когда выходил гулять, то всегда один и обязательно всегда пешком. Он любил гулять около крестьянских селений и слушал крестьянские рассказы, шутки и песни. В свое домашнее хозяйство он не входил никогда, как будто это не его дело и не он хозяин. Во время бывших в Святогорском монастыре ярмарок Пушкин любил ходить, где более было собравшихся старцев (нищих). Он, бывало, вмешается в их

толпу и поет с ними разные припевки, шутит с ними и записывает, что они поют, а иногда даже переодевался в одежду старца и ходил с нищими по ярмаркам... На ярмарке его всегда можно было видеть там, где ходили или стояли толпою старцы, а иногда ходил задумавшись, как-будто кого или чего ищет.

А. Д. Скоропост (заштатный псаломщик) по записи послушника Святогорского монастыря *Владиминова*. – Рус. Арх., 1892, т. I, с. 96.

Когда Пушкин приехал в Михайловское, он никакого внимания не обращал на свое сельское и домашнее хозяйство; ему было все равно, где находились его крепостные и дворовые крестьяне, на его ли работе (барщине) или у себя в деревне. Это было как будто не его хозяйство. Его можно было видеть гулявшим по дороге около деревень или в лесу. Бывало, идет А. С. Пушкин, возьмет свою палку и кинет вперед, дойдет до нее, подымет и опять бросит вперед, и продолжает другой раз кидать ее до тех пор, пока приходил домой в село... Он всегда любил ходить пешком, и очень редко его можно было видеть ехавшим в эки-

паже. Больше же его можно было видеть одного гулявшим, но в крестьянские избы никогда не заходил, а любил иногда разговаривать с крестьянами на улице.

Афанасий (крестьянин дер. Гайки) по записи *Владимирова*. – Там же, с. 97.

Жил он один, с господами не вязался, на охоту с ними не ходил, с соседями не бражничал, крестьян любил. И со всеми, бывало, ласково, по-хорошему обходился. Ребятишки в летнюю пору насобирают ягод, понесут ему продавать, а он деньги заплатит и ягоды им же отдаст: кушайте, мол, ребятки, сами; деньги, все равно, уплачены.

Иван Павлов (крестьянин дер. Богомолы) по записи *Е. И. Шведера*. – *Е. И. Шведер. Пушкинские ветераны. Историч. Вестн.*, 1908, № 10, с. 137.

Я с ним не раз и купался вместе в речке Сороти. В жаркие дни он покупаться любил... Был я с лакеем Александра Сергеича приятель, с Яким Архиповым, а он и на Кавказе с Александром Сергеичем был... С мужиками

он больше любил знаться, но и господа к нему по вечерам наезжали и с барынями, – тогда фейерверки да ракеты пущали, да огни, – с пушки палили для потехи. Пушка такая для потехи стояла завсегда около ворот, еще с давнишних пор. Как же, дескать: у Пушкиных, да без пушки? Как увидит, девки навоз возят, – всем велит вокруг сойти да песни петь, а сам слушает, да чего-то пишет, а после денег даст. Много по полям да по рощам гулял и к мужикам захаживал для разговора. Он мужицкие разговоры любил. – Был он в те поры к нам прислан: под началом приходился; а он никого не боялся. С жандармом дерзко разговаривал.

Иван Павлов по записи А. Н. Мошина. – А. Н. Мошин. Новое об 11 великих писателях, СПб., 1908, с. 27–29.

Пушкин очень часто бывал у покойницы нашей барыни (*П. Л. Осиповой*), почти что каждодневно... Добрый был да ласковый, но только немного тронувшись был: идет, бывало, из усадьбы с нашими барышнями по Тригорскому с железной такой палочкой. Надо

полагать, от собак он брал ее с собой. Бросит он ее вверх, схватит свою шляпу с головы и начнет бросать на землю али опять вверх, а сам подпрыгивает да прискакивает. А то еще чудней; раз это иду я по дороге в Зуево (*Михайловское*), а он мне навстречу; остановился вдруг ни с того, ни с сего, словно столбняк на него нашел, ажно я испугался, да в рожь и спрятался, и смотрю: он вдруг почал так громко разговаривать промеж себя на разные голоса, да руками все так разводит, – совсем как тронувшийся... Частенько мы его видали по деревням на праздниках. Бывало, придет в красной рубашке и смазных сапогах, станет с девками в хоровод и все слушает да слушает, какие это они песни поют, и сам с ними пляшет и хоровод водит.

Старик крестьянин села Тригорского по записи И. А. Веского. – Витебские Вед., 1899, № 27.

Плохие кони у Пушкина были, вовсе плохие! Один был вороной, а другой гнедко... гнедой – Козьяком звали... по мужику, у которого его жеребеночком взяли. (Козьяк или, вернее,

Козляк, – также название болотного гриба.) Этот самый Козьяк совсем дрянной конь был, а только долго жил. А вороной, тот скоро подох.

Михайловский старик крестьянин по записи И. Л. Щеглова. – И. Л. Щеглов. Новое о Пушкине. СПб., 1902, с. 202.

Пушкин любил ходить на кладбище, когда там «голосили» над могилками бабы, и прислушиваться к бабьему «причитанию», сидя на какой-нибудь могилке. – На ярмарке в Святых Горах Пушкин любил разгуливать среди народа и останавливаться у групп, где нищие тянули «Лазаря» или где парни спорили. Пушкин простаивал с народом подолгу, заложив руки за спину, в одной руке у него была дощечка с наложенной бумагой, а в другой – карандаш. Заложив руки назад, Пушкин записывал, незаметно для других, передвигая пальцами левой руки бумагу на дощечке, а правой водил карандашом. – Пушкин летом устроил себе кабинет в «бане» и там работал. Когда Пушкин в этой «бане» запирался, слуга не впускал туда никого, ни по какому поводу:

никто не смел беспокоить поэта. В эту баню Александр Сергеевич удалялся часто совершенно неожиданно для лиц, с которыми он только что беседовал. В барском доме было однажды вечером много гостей: Пушкин с кем-то крупно поговорил, был очень раздражен и вдруг исчез из общества. Кто-то, зная привычки поэта, любопытствовал, что он делает, и подкрался к освещенному окну бани. И вот что он увидел: поэт находился в крайнем волнении, он быстро шагал из угла в угол, хватался руками за голову; подходил к зеркалу, висевшему на стене, и жестикулировал перед зеркалом, сжимая кулаки. Потом вдруг садился к письменному столу, писал несколько минут. Вдруг вскакивал, опять шагал из угла в угол и опять размахивал руками и хватался за голову.

Д. С. Сергеев-Ремизов по записи А. Н. Мошина. – А. Н. Мошин. Новое об 11 великих писателях, с. 17–20.

Пушкин, живя в деревне, мало сталкивался с народом. Бывало, едем мы все с прогулки, и Пушкин, разумеется, с нами: все встречные

мужики и бабы кланяются нам, на Пушкина же и внимания не обращают, так что он, бывало, не без досады заметит, – что это, на меня-де никто и не взглянет? А его и действительно крестьяне не знали. Он только ночевал у себя в Михайловском, да утром, лежа в постели, писал свои произведения; затем появлялся в Тригорском и в нашем кругу проводил все свое время.

Бар. *Е. Н. Вревская* (урожд. *Вульф*) в передаче *М. И. Семевского*. – СПб. Вед., 1866, № 139.

Папенька мой тут (в *Вороничах*) священником был, по имени Ларивон, по фамилии Равский, только его все больше по прозвищу звали – Шкода. Его очень любил Ал. С-ч. Виделись они почти каждый день. Как папенька день или два к нему не поедет, глядишь, и сам А. С. к нам жалует... «Что же это, – говорит, – поп, ко мне не заглядываешь?..» В парк Михайловский тоже, бывало, никого не допускали, а мне можно было ходить. Пойдем мы утром, чуть свет, с девушкой грибы собирать, – грибов там белых страсть сколько было, – смотришь, а А. С. уж вставши, идет на-

встречу и окликает: «Кто это здесь?» Увидит меня, улыбнется. «А, это ты, – скажет, – поповна? Ну, давай-ка я помогу вам собирать грибы». Вот и начнет ходить по парку, палкой указывает, где больше грибов, зовет: «Сюда, поповна, сюда, смотри, сколько их!» Насбираешь корзину и станешь просить: «Батюшка А. С., вы бы хоть себе грибков на фриштык отобрали!» А А. С. улыбнется и спрашивает: «Вас сколько собралыщиц?» – «Да две всего!» – говорю. – «Ну, а у меня их двадцать!» Так и уйдет. И к нам, как приезжал, никогда не выпьет и не откушает, а все папеньку к себе зовет. Благодетелем он нашим был. Однажды возьми и подари папеньке семь десятинок... И сейчас же сам тут написал бумагу, что дарю, мол, священнику Раевскому семь десятин в вечное владение. А как был у нас пожар, так и сгорела эта бумага. Не стало нашего благодетеля, и отняли у меня землю.

А. Л. Скоропостижная по записи Е. И. Шведера. —Е. И. Шведер. Пушкинские ветераны. – Историч. Вестн., 1908, № 10, с. 140.

Покойный Ал. С-вич очень любил моего тя-

теньку («попа Шкоду»). И к себе в Михайловское приглашали, и сами у нас бывали совсем запросто. Подъедет верхом к дому и в окошко плетью цок: «Поп у себя?» – спрашивает (старуха произнесла это энергично, с достоинством закинув голову, видимо, подражая манере Пушкина). А если тятенька не случится дома, всегда прибавит: «Скажи, красавица, чтоб непременно ко мне наведалься, мне кой о чем потолковать с ним надо!» И очень они любили с моим тятенькой толковать; хотя он был совсем простой человек, но ум имел сметливый и крестьянскую жизнь, и всякие крестьянские пословицы, и приговоры весьма примечательно знал. Только вот насчет божественного они с тятенькой не всегда сходились, и много споров у них через это выходило. Другой раз тятенька вернется из Михайловского туча тучей, шапку швырнет: «Разругался я, – говорит, – сегодня с михайловским барином вот до чего, – ушел, даже не попрощавшись... Книгу он мне какую-то богопротивную все совал, – так и не взял, осердился!» А глядишь, двух суток не прошло, Пушкин сам катит на Воронович, в окошко плеткой

стучит. «Дома поп? – спрашивает. – Скажи, – говорит, – я мириться приехал». Простодушный был барин, отходчивый... Как был одет? Обыкновенно как, – по-настоящему, по-барскому: брюки в одну полосу, завсегда во фраке, и ногти большущие-пребольшущие!.. А и потешник же был покойник. Иной раз вдруг возьмет по-крестьянскому переоденется и в село на ярмарку отправится. Мужик мужиком, в армяке с круглым воротом, красный шелковый кушак у пояса... И как где много серого народу собравшись – он тут как тут... А они знай по-своему козыряют, всякие шутки промежду себя пропускают. Вот чудил покойник, вот чудил! Раз увязался со мной в рощу по грибы... Пойдем, говорит, грибы собирать, красавица, – у меня, говорит, острый глаз на всякий гриб!.. Наберешь грибов, болтая с таким краснобаем! Какие уж там грибы – все больше шутки шутил... Кузов-то вовсе пустой принести пришлось... Никогда он не был красивый. Так, здоровый был на вид, полный, а только такой обрюзгший. А как в последний раз в Михайловское приезжал, что-то уж больно вдруг постарел, видно, не сладко ему

жились в Петербурге.

А. Л. Скоропостижная по записи *И. Л. Щеглова*. – *И. Л. Щеглов. Новое о Пушкине*, с. 58–62.

Помню его: приезжал на красивой высокой лошади и был он во фраке с хвостом и под шеей широкий белый галстух-платок. Когда папеньку заставлял, сиживал у него, но ничего не ел и не пил у нас. Папеньку тащил к себе закусывать и чай пить. – Чаще всего я видела его даже и в лесу – все во фраке с хвостом да в широком белом галстухе. А как на ярмарку отправлялся, то просто в рубахе, а то видела, – в шинели серонемецкого сукна, с бархатным воротником, и подпоясан был широким красным поясом, а концы длинные сзади заткнуты.

А. Л. Скоропостижная, по записи *А. Н. Мошина*. – *А. Н. Мошин. Новое об 11 великих писателях*, с. 22–24.

В 1825 году (в перв. полов, сен.) князь А. Мих. (Горчаков, лицейский товарищ Пушкина, будущий канцлер) возвратился в Россию из

Спа, где лечился. Он посетил своего дядю, Пещурова, который жил в своей вотчине, Псковской губ., в селе Лямонове. Пещуров принимал большое участие в судьбе Пушкина, жившего в изгнании в деревне. По приезде его из Одессы к поэту был приставлен полицейский чиновник с специальною обязанностью наблюдать, чтобы Пушкин ничего не писал предосудительного. Понятно, как раздражал Пушкина этот надзор. Пещуров, из любви к нему, ходатайствовал у маркиза Паулуччи (тогдашнего рижского генерал-губернатора) о том, чтобы этот надзор был снят, а Пушкин отдан ему на поруки, обещая, что поэт ничего дурного не напишет. Ходатайство имело успех, и Пушкин вздохнул свободнее.

Узнав о приезде кн. Горчакова, Пушкин тотчас приехал из Михайловского в Лямоново. Целый день провел он у Пещурова и, сидя на постели вновь захворавшего кн. Горчакова, читал ему отрывки из «Бориса Годунова» и, между прочим, наброски сцены между Пименом и Григорием. «Пушкин вообще любил читать мне свои вещи, – заметил князь с улыбкой, – как Мольер читал комедии своей

кухарке». В этой сцене кн. Горчаков помнит, что было несколько стихов, в которых проглядывала какая-то изысканная грубость и говорилось что-то о «слюнях». Он заметил Пушкину, что такая искусственная тривиальность довольно неприятно отделяется от общего тона и слога, которым писана сцена... «Вычеркни, братец, эти слюни. Ну, к чему они тут?» – «А посмотри у Шекспира и не такие еще выражения попадают», – возразил Пушкин. – «Да, но Шекспир жил не в XIX веке и говорил языком своего времени», – заметил князь. Пушкин подумал и переделал свою сцену.

Кн. А. И. Урусов со слов кн. А. М. Горчакова . – Рус. Арх., 1883, т. II, с. 205–206.

Горчаков доставит тебе мое письмо. Мы встретились и расстались довольно холодно, – по крайней мере, с моей стороны. Он ужасно высох, – впрочем, так и должно: зрелости нет у нас на севере, мы или сохнем, или гнием; первое все-таки лучше. От нечего делать я прочел ему несколько сцен из моей комедии, попроси его не говорить об них, не то об ней заговорят, а она мне опротивит, как

мои Цыганы, которых я не мог докончить по сей причине.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, в перв. пол. сент. 1825 г.

Н. С. Мосолов чрезвычайно любил Пушкина и рассказывал, что, встретив дядю поэта, Василия Львовича, поздравил его с знаменитым племянником. Вас. Львович отвернулся и проговорил: «Есть с чем! Он негодяй»[74].

Ольга Н (С. В. Новосильцева-Энгельгардт). Из воспоминаний. – Рус. Вестн., 1887, №11, с. 161.

Тетушка Прасковья Александровна (*Осипова*) сказала однажды Пушкину: «Что тут такого остроумного в ваших стихах: «Ах, тетушка, ах, Анна Львовна!» Пушкин ответил ей фразой, такой оригинальной, такой для него характерной: «Я надеюсь, сударыня, что мне и барону Дельвигу разрешается не всегда быть умным».

А. П. Керн. Воспоминания. – Л. Н. Майков, с. 256 (*фр.*).

По-гишпански не знаю.

Пушкин – П. А. Катенину, в перв. пол. сент. 1825 г.

Мне нужен английский язык, – и вот одна из невыгод моей ссылки: не имею способов учиться, пока пора. Грех гонителям моим! И я, как А. Шенье, могу ударить себя в голову и сказать: *il y avait quelque chose là...*[75] Извини эту поэтическую похвальбу и прозаическую хандру. Мочи нет, сердит: не выспался и невы...ся.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, в перв. пол. сент. 1825 г.

В Пскове Пушкин ходил по базарам, терся между людьми, и весьма почтенные люди города видели его переодетым в мещанский костюм, в котором он даже раз явился в один из почетных домов Пскова.

П. В. Анненков. Материалы, с. 151.

Трагедия моя («*Борис Годунов*») кончена, я перечел ее вслух, один, бил в ладоши и кри-

чал: ай-да Пушкин, ай-да сукин сын!

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, в нач. окт. 1825 г.

Когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с Якубовичем разбойничал на Кавказе, простреливал Грибоедова, хоронил Шереметева etc.

Пушкин – А. А. Бестужеву, 30 нояб. 1825 г.

В Пушкине был грешок похвастать в разговорах с дамами. Пред ними он зачастую любил порисоваться.

Ал. Н. Вульф в передаче М. И. Семевского. – СПб. Вед., 1866, № 163.

Если я друзей моих не слишком отучил от ходатайства, вероятно они вспомнят обо мне... Если братъ, так братъ. Ради бога, не просить у царя позволения мне жить в Опочке или в Риге – черт ли в них, – а просить или о въезде в столицу, или о чужих краях. В столице хочется мне для вас, друзья мои, – хочется с вами еще перед смертью поврать; но, конечно, благоразумнее бы отправиться за море.

Что мне в России делать?

Пушкин – П. А. Плетневу, в перв. пол. дек. 1825 г., из Михайловского.

В конце 1825 года находился я в деревне и, перечитывая «Лукрецию», довольно слабую поэму Шекспира, подумал: что если бы Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? Быть может, это охладило бы его предприимчивость и он со стыдом принужден был отступить. Лукреция бы не зарезалась, Публикола не взбесился бы – и мир и история мира были бы не те. – Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась, и я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра (12 и 13 декабря) написал эту повесть («Графа Нулина»).

Пушкин.

Однажды Ал. Серг-вич получает от Пушкина из Москвы письмо, в котором сей последний извещает его, что едет в Петербург и очень бы желал увидеться там с Ал. С-чем. Недолго думая, пылкий поэт мигом собрался и поскакал в столицу. Недалеко от Михайлов-

ского, при самом почти выезде, попался ему на дороге поп, и Пушкин, будучи суеверен, сказал при сем: «Не будет добра!» и вернулся в свой мирный уединенный уголок. Это было в 1825 году, и провидению угодно было осенить своим покровом нашего поэта. Он был спасен!

Н. И. Лорер (декабрист) со слов *Л. С. Пушкина*. – Н. И. Лорер. Записки моего времени. Воспоминание о прошлом. – Рукопись, находящаяся в библиотеке Коммунистической Академии. Ч. I, с. 425[76].

Осень и зиму 1825 года, – так рассказывает одна из дочерей П. А. Осиповой, – мы мирно жили у себя в Тригорском. Пушкин, по обыкновению, бывал у нас почти каждый день, и если, бывало, заработается и засидится у себя дома, так и мы к нему с матушкой ездим... Вот однажды, под вечер, зимой, сидели мы все в зале, чуть ли не за чаем. Пушкин стоял у печки. Вдруг матушке докладывают, что приехал Арсений. У нас был человек Арсений, повар. Обыкновенно каждую зиму посылали мы его с яблоками в Петербург: там эти яблоки и

разную деревенскую провизию Арсений продавал и на вырученные деньги покупал сахар, вино и т.п. нужные для деревни запасы. На этот раз он явился назад совершенно неожиданно: яблоки продал и деньги привез, ничего на них не купив. Оказалось, что он в переполохе приехал даже на почтовых... Арсений рассказал, что в Петербурге бунт, всюду разъезды и караулы, насилу выбрался за заставу, нанял почтовых и поспешил в деревню. Пушкин, услыша рассказ Арсения, страшно побледнел. В этот вечер он был очень скупен и говорил кое-что о существовании тайного общества, но что именно, не помню. На другой день слышим, Пушкин быстро собрался в дорогу и поехал; но, доехав до погоста Врева, вернулся назад. Гораздо позднее мы узнали, что он отправился было в Петербург, но на пути заяц три раза перебежал ему дорогу, а при самом отъезде из Михайловского Пушкину попало навстречу духовное лицо. И кучер, и сам барин сочли это дурным предзнаменованием. Пушкин отложил свою поездку, а между тем подошло известие о начавшихся в столице арестах, что окончательно

отбило в нем желание ехать туда.

М. И. Семевский. Прогулка в Тригорское. – СПб. Вед., 1866, № 157.

Вот рассказ Пушкина, не раз слышанный мною при посторонних лицах. Известие о кончине императора Александра I и происшедших вследствие одного колебания о престолонаследии дошло до Михайловского около 10 дек. Пушкину давно хотелось увидаться с его петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при таких важных обстоятельствах не обратят строго внимания на его непослушание, он решился отправиться в Петербург... Он положил заехать сперва на квартиру к Рылееву и от него записать сведениями. Итак, Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге собираться с ним в Питер; сам же едет проститься с тригорскими соседками. Но вот, на пути в Тригорское, заяц перебегает через дорогу; на возвратном пути, из Тригорского в Михайловское, – еще раз заяц! Пушкин в досаде приезжает домой; ему докладывают, что слуга, назначенный с ним ехать, заболел вдруг белой горячкой. Распоряжение поруча-

ется другому. Наконец повозка заложена, трогаются от подъезда. Глядь, в воротах встречается священник, который шел проститься с отъезжающим барином. Всех этих встреч не под силу суеверному Пушкину; он возвращается от ворот домой и остается у себя в деревне.

«А вот каковы были бы последствия моей поездки, – прибавлял Пушкин. – Я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером, чтобы не огласился слишком скоро мой приезд, и следовательно попал бы к Рылееву прямо на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом; вероятно, я попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые!»

М. П. Погодин. Простая речь о мудреных вещах. М., 1875, изд. 3-е, отд. II, с. 24.

О предполагаемой поездке Пушкина инкогнито в Петербург в дек. 1825 г. верно рассказано Погодиным в книге его «Простая речь». Так я слышал от Пушкина, но, сколько помнится, двух зайцев не было, а только один. А главное, что он бухнулся бы в самый

кипяток мятежа у Рылеева в ночь с 13-го на 14 декабря: совершенно верно.

Кн. П. А. Вяземский – Я. К. Гроту, в 1874 г. – К. Я. Грот. Пушкинский лицей, с. 107.

В 1821 году начал я мою биографию и несколько лет сряду занимался ею. В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь свои тетради, которые могли замешать имена многих, а может быть, и умножить число жертв. Не могу не сожалеть об их потере, они были бы любопытны: я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, со всею откровенностью дружбы или короткого знакомства.

Пушкин. Родословная Пушкиных и Ганнибалов.

Вероятно правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 дек. связей политических не имел, – но оно в журналах объявило опалу и тем, которые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто же

кроме правительства и полиции не знал о нем? О заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности. Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных. А между ими друзей моих довольно. Теперь положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов уговливаться (буде условия необходимы), но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства etc... Кажется, можно сказать царю: ваше величество, если Пушкин не замешан, то нельзя ли наконец позволить ему вернуться?

Пушкин – В. А. Жуковскому, во втор. пол. янв. 1826 г., из Михайловского.

Не может ли Жуковский узнать, могу ли я надеяться на высочайшее снисхождение, я шесть лет нахожусь в опале, а что ни говори, мне всего 26. Покойный император в 1824 г. сослал меня в деревню за две строчки нерелигиозные, – других художеств за собою не

знаю. Ужели молодой наш царь не позволит удалиться куда-нибудь потеплее если уж никак нельзя мне показаться в Петербурге – а? Прости, душа, скучно – мочи нет.

Пушкин – П. А. Плетневу, во втор. пол. янв. 1826 г.

Конечно, я ни в чем не замешан, и, если правительству досуг подумать обо мне, то оно в том легко удостоверится. Но просить мне как-то совестно, особенно ныне; образ мыслей моих известен. Гонимый шесть лет сряду, замаранный по службе выключкою, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному царю, хотя и отдавал полную справедливость истинным его достоинствам. Но никогда я не проповедывал ни возмущений, ни революции, – напротив. Как бы то ни было, я желал бы *вполне и искренно* помириться с правительством, и, конечно, это ни от кого, кроме его, не зависит. В этом желании более благоразумия, нежели гордости с моей стороны.

Пушкин – бар. А. А. Дельвигу, в перв. пол.

февр. 1826 г., из Михайловского.

Вступление на престол государя Николая Павловича подает мне радостную надежду. Может быть, его величеству угодно будет переменить мою судьбу. Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости.

Пушкин – В. А. Жуковскому, 7 марта 1826 г.

Ты ни в чем не замешан, это правда. Но в бумагах каждого из действовавших (*т.е. декабристов*) находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством... Не просись в Петербург. Еще не время. Пиши Годунова и подобное: они отворят дверь свободы.

В. А. Жуковский – Пушкину, 12 апр. 1826 г. – Переписка Пушкина, т. I, с. 340.

(В апреле 1826 г.) Лев Сергеевич (Пушкин) сказал мне, что брат его связался в деревне с кем-то и обращается с предметом, – и уже не

стихами, а практической прозой.

И. П. Липранди, стб. 1489.

Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твое человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве и дай ей денег, сколько ей понадобится, – а потом отправь ее в Болдино. Ты видишь, что тут есть о чем написать целое послание во вкусе Жуковского о *попе*; но потомству не нужно знать о наших человеколюбивых подвигах. При сем с отеческою нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик. Отсылать его в воспитательный дом мне не хочется, – а нельзя ли его покамест отдать в какую-нибудь деревню. Милый мой, мне совестно, ей-богу, но тут уж не до совести.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, в нач. мая 1826 г., из Михайловского.

Видел ли ты мою Эду? Вручила ли она тебе мое письмо? Не правда ли, что она очень мила?

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, в сер. мая 1826 г.

Сейчас получил я твое письмо, но живой чреватой грамоты твоей не видел, а доставлено мне оно твоим человеком. Твоя грамота едет завтра с отцом своим и семейством в Болдино, куда назначен он твоим отцом управляющим. Какой же способ остановить дочь здесь и для какой пользы? Без ведома отца ее сделать этого нельзя, а с ведома его лучше же ей быть при семействе своем. Мой совет: написать тебе полу-любовное, полу-раскаятельное, полу-помещичье письмо блудному твоему тестю, во всем ему признаться, поручить ему судьбу дочери и грядущего творения, но поручить на его ответственность, напомнив, что некогда волею божьего ты будешь его барином, и тогда сочтешься с ним в хорошем или худом исполнении твоего поручения.

Кн. П. А. Вяземский – Пушкину, 10 мая 1826 г. – Переписка Пушкина, т. I, с. 346.

Всемилоостивейший государь! В 1824 году,

имев несчастье заслужить гнев покойного императора легкомысленным суждением касательно афеизма, изложенным в одном письме, я был выключен из службы и сослан в деревню, где и нахожусь под надзором губернского начальства. Ныне с надеждой на великодушие Вашего императорского величества, с истинным раскаянием и твердым намерением не противоречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпиской и честным словом) решился я прибегнуть к Вашему имп. вел-ву со всеподданнейшею моею просьбою: здоровье мое, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чем и представляя свидетельство медиков, осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие края.

Всемиловитивейший государь, Вашего императорского величества верноподданный
Александр Пушкин.

(Приложено обязательство):

Я, нижеподписавшийся, обязуюсь впредь

ни к каким тайным обществам, под каким бы они именем ни существовали, не принадлежать; свидетельствую при сем, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них.

10-го класса Александр Пушкин. 11 мая 1826 г. – Собр. соч. Пушкина под ред. П. А. Ефремова, 1905, т. VII, с. 250.

Ты прав, любимец муз, – воспользуюсь правами блудного зятя и грядущего барина и письмом улажу все дело...

Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и бордели, то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-й песне Онегина я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно. Услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж

и никогда в проклятую Русь не воротится – ай да умница! Прощай!

Я теперь во Пскове, и молодой доктор спьяна сказал мне, что без операции я не дотяну до 30 лет. Не забавно умереть в Опоческом уезде.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, 27 мая 1826 г., из Пскова.

У самых Сергиевских ворот (в Пскове, на Сергиевской улице) находится небольшой деревянный одноэтажный дом, на котором прибита доска с надписью, что здесь в 1826 году останавливался А. С. Пушкин... Есть полное основание считать этот дом принадлежавшим в нач. XIX ст. псковскому дворянину Гавр. Петр. Назимову, владельцу села Преображенского. Пушкин находился с Назимовым в приятельских отношениях, бывал у него в Преображенском и игрывал там в карты... Сын Назимова, Влад. Гаврилович, был крестником Пушкина. Поэтому нет ничего невероятного, что Пушкин, во время своих приездов в Псков, мог останавливаться именно в доме Г. П. Назимова.

Н. Ф. Окулич-Казарин. Спутник по древнему Пскову. Псков, 1913, изд. 2-е, с. 191.

Я писал царю тотчас по окончании следствия. Жду ответа, но плохо надеюсь. Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова. Если бы я был потребован комиссией, то я бы, конечно, оправдался, но меня оставили в покое, и кажется это не к добру. Впрочем, черт знает.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому. 10 июля 1826 г., из Михайловского.

Теперь оказывается, что почти одновременно с прошением Пушкина новые хлопоты о помиловании сына предприняла и мать поэта, Н. О. Пушкина: проводя лето 1826 года, как и предыдущее, в Ревеле, на морских купаниях, с мужем и дочерью, она обратилась к императору Николаю с прошением, в котором объясняла, что «ветренные поступки, из

молодости, вовлекли сына ее в несчастье за-
служить гнев покойного государя, и он тре-
тий год живет в деревне, страдая аневриз-
мом, без всякой помощи, – но что ныне, созна-
вая ошибки свои, он желает загладить оные, а
она, как мать, просит обратить внимание на
сына ее, даровав ему прощение».

Б. Л. Модзалевский. Эпизод из жизни Пуш-
кина. – Кр. Газета, 1927, № 34.

Пушкин сказывал, что в бытность свою в
деревне ему приснилось накануне экзекуции
над пятью известными преступниками (каз-
ни пяти декабристов, 13 июля 1826 г.), будто у
него выпало пять зубов.

В. Ф. Щербаков. Из заметок о пребывании
Пушкина в Москве. – Собр. соч. Пушкина под
ред. П. А. Ефремова, т. VIII, с. 110.

По предложению г. псковского губернато-
ра свидетельствован был в псковской лечеб-
ной управе г. коллежский секретарь Алек-
сандр Сергеев сын Пушкин, причем оказа-
лось, что он действительно имеет на нижних
конечностях, а в особенности на правой голе-

ни повсеместное расширение кровевозвратных жил (*varicositas totius cruris dextri*), от чего г. коллежский секретарь Пушкин затруднен в движении вообще. В удостоверение сего и дано сие свидетельство. Июля 19 дня 1826 года.

В. И. Всеволодов (инспектор врачебной управы). – Пушкин. Письма под ред. Б. Л. Модзалевского, т. II, с. 157.

(19–24 июля 1826 г.) В Новоржеве от хозяина гостиницы Катосова узнал я, что на ярмарке Святогорского Успенского монастыря Пушкин был в рубашке, подпоясан розовою лентою, в соломенной широкополой шляпе и с железною тростью в руке; что он скромен и осторожен, о правительстве не говорит, и вообще никаких слухов о нем по народу не ходит... От уездного заседателя Чихачева я услышал, что он, Чихачев, с Пушкиным сам лично знаком, что Пушкин ведет себя весьма скромно и говаривал не раз: «Я пишу всякие пустяки, что в голову придет, а в дело ни в какое не мешаюсь. Пусть кто виноват, тот и пропадает; я же сам никогда на галерах не бу-

ду...» Пробыв целый день в селе Жадрицах у отс. генерал-майора П. С. Пущина, в общих разговорах узнал я, что иногда видали Пушкина в русской рубашке и в широкополой соломенной шляпе; что Пушкин дружески обходился с крестьянами и брал за руку знакомых, здороваясь с ними; что иногда ездил верхом и, достигнув цели путешествия, — приказывает человеку своему отпустить лошадь одну, говоря, что всякое животное имеет право на свободу; Пушкин ни с кем не знаком и ни к кому не ездит, кроме одной г-жи Есиповой (*Осиновой*); чаще же всего бывает в Святогорском монастыре. Впрочем, полагали, что Пушкин ведет себя несравненно осторожнее противу прежнего; что он говорун, часто возводящий на себя небылицу, что нельзя предполагать, чтобы он имел действительные противу правительства намерения; что он столь болтлив, что никакая злонамеренная шайка не решится его себе присвоить; наконец, что он человек, желающий отличить себя странностями, но вовсе не способный к основанному на расчете ходу действий... По прибытии моем в монастырскую слободу, при

Святогорском монастыре состоящую, я остановился у богатейшего в оной крестьянина Столарева. На расспросы мои о Пушкине Столарев сказал мне, что Пушкин живет в 31/2 в. от монастыря, в селе Зуеве (*Михайловском*), где, кроме церкви и господского строения, нет ни церковно-служительских, ни крестьянских домов; что Пушкин обыкновенно приходит в монастырь по воскресеньям; что ему всегда случалось видеть его в сюртуке и иногда, в жары, без косынки; что Пушкин – отлично-добрый господин, который награждает деньгами за услуги даже собственных своих людей; ведет себя весьма просто и никого не обижает; ни с кем не знается и ведет жизнь весьма уединенную. Слышно о нем только от людей его, которые не могут нахвалиться своим барином... От игумена Ионы о Пушкине узнал я следующее: Пушкин иногда приходит в гости к игумену Ионе, пьет с ним наливку и занимается разговорами; кроме Святогорского монастыря и г-жи Осиповой он нигде не бывает, но иногда ездит в Псков; обыкновенно ходит он в сюртуке, но на ярмонках монастырских иногда показывался в русской ру-

башке и в соломенной шляпе. На вопрос мой: «Не возмущает ли Пушкин крестьян?» – игумен Иона отвечал: «Он ни во что не мешается и живет, как красная девка».

А. К. Бошняк (секретный агент) в рапорте ген. гр. Витту. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайн. надзором, с. 13–16.

*Я помню вас! Вы неизменно
Блестите в памяти моей, —
Звезда тех милых, светлых дней,
Когда, гуляка вдохновенный,
Я в мир прохлады деревенской —
Весь свой разгул души студент-
ской —
В ваш дом и сад переносил;
Когда прекрасно, достохвально
Вы угощали там двоих
Певцов, – и был один из них
Сам Пушкин (в оны дни опальный
Певец свободы), а другой...
Другой был я, его послушник,
Его избранник и подручник,
И собутыльник молодой.
Как хорошо тогда мы жили!
Какой огонь нам в душу лили
Стаканы жженки ромовой!
Ее вы сами сочиняли:*

Сладка была она, хмельна;
Ее вы сами разливали,
И горячо пилась она!..
Примите ж ныне мой поклон
За восхитительную сладость
Той жженки пламенной, за звон,
Каким звучали те стаканы
Вам похвалу; за чистый хмель,
Каким в ту пору были пьяны
У вас мы ровно шесть недель...
Я верно, живо помню вас,
И взгляд радушный и огнистый
Победоносных ваших глаз.
И ваши кудри золотисты
На пышных склонах белых плеч,
И вашу сладостную речь,
И ваше сладостное пенье,
Там, у окна, в виду пруда...

Н. М. Языков (поэт) – бар. Е. Н. Вревской. –
Пушкин и его совр-ки, вып. I, с. 120.

(Среди достопримечательностей села Голубова, имения Вревских): серебряный ковшичек на длинной ручке, в котором бар. Евпр. Н. Вревская, будучи еще не замужем, варила жженку для Пушкина, Языкова и Вульфа.

Б. Л. Модзалевский. Поездка в Тригорское в

1902 г. – Там же, с. 6.

Сестра Euphrosine, бывало, заваривает всем нам, после обеда, жженку; сестра прекрасно ее варила, да и Пушкин, ее всегдашний и пламенный обожатель, любил, чтоб она заваривала жженку. И вот мы из больших бокалов – сидим, беседуем да распиваем пунш. И что за речи несмолкаемые, что за звонкий смех, что за дивные стихи то Пушкина, то Языкова сопровождали нашу дружескую пирушку! Языков был страшно застенчив, но и тот, бывало, разгорячится, – куда пропадает застенчивость, – и что за стихи, именно языковские стихи, говорил он то за «чашей пунша», то у ног той же Евпраксии Николаевны.

Ал. Н. Вульф по записи М. И. Семевского. – СПб. Вед., 1866, № 139.

И часто вижу я во сне:

*И три горы, и дом красивый,
И светлой Сороти извивы
Златого месяца в огне,
И там, у берега, тень ивы,*

И те отлогости, те нивы,
Из-за которых, вдалеке,
На вороном аргамаке,
Заморской шляпою покрытый,
Спеша в Тригорское, один —
Вольтер и Гете, и Расин —
Являлся Пушкин знаменитый;
И ту площадку, где в тиши
Нас нежила, нас веселила
Вина чарующая сила, —
Осенок сердца и души;
И все божественное лето...
Н. М. Языков – П. А. Осиповой
(«Благодарю вас за цветы...»).

Свет Родионовна, забуду ли тебя?

.....
Всегда, приветами сердечной доброты,
Встречала ты меня, мне здоровствовала ты;
Когда чрез длинный ряд полей, под
зным лета,
Ходил я навещать изгнанника поэта,
И мне сопровождал приятель
давний твой.
Ареевых наук питомец молодой

(Ал. Вульф),
Как сладостно твое святое хле-
босольство
Нам баловало вкус и жажды свое-
вольство!
С каким радушием, – красною древ-
них лет, —
Ты набирала нам затейливый
обед!
Сама и водку нам, и брашна пода-
вала,
И соты, и плоды, и вина уставля-
ла
На милой тесноте старинного
стола!
Ты занимала нас, добра и весела,
Про стародавних бар пленитель-
ным рассказом.
Мы удивлялися почтенным их
проказам,
Мы верили тебе, и смех не преры-
вал
Твоих бесхитростных суждений и
похвал;
Свободно говорил язык словоохот-
ный,
И легкие часы летели беззабот-
но!

Н. М. ЯЗЫКОВ. К няне А. С. Пушкина.

Там, где на дол с горы отлогой
Разнообразно сходит бор
В виду реки и двух озер
И нив с извилистой дорогой,
Где, древним садом окружен,
Господский дом уединенный
Дряхлеет, памятник почтенный
Елисаветинских времен, —
Нас, полных юности и вольных,
Там было трое... (Пушкин, Языков и Вульф)
Вон там, – обоями худыми
Где-где прикрытая стена,
Пол нечиненный, два окна
И дверь стеклянная меж ними;
Диван под образом в углу,
Да пара стульев: стол украшен
Богатством вин и сельских брашен,
И ты, пришедшая к столу, —
Мы пировали. Не дичилась
Ты нашей доли – и порой
К своей весне переносилась
Разгоряченною мечтой;
Любила слушать наши хоры,

*Живые звуки чуждых стран,
Речей напоры и отпоры,
И звон стакана об стакан.
Уж гасит ночь свои светила,
Зарей алеет небосклон;
Я помню, что-то нам про сон
Давным-давно ты говорила.
Напрасно! Взял свое Токай,
Шумней удалая пирушка:
Садись-ка, добрая старушка,
И с нами бражничай давай!
Н. М. Языков. На смерть няни А.
С. Пушкина.*

Лето 1826 года было знойно в Псковской губернии. Недели проходили без облачка на небе, без освежительного дождя и ветра. Пушкин почти бросил все занятия, ища прохлады в садах Тригорского и Михайловского.

П. В. Анненков. Материалы, с. 162.

Изобилие плодов земных, благорастворение воздуха, благорасположение ко мне хозяйки, госпожи Осиповой, женщины умной и доброй, миловидность и нравственная любезность и прекрасная образованность дочерей ее, жизнь или, лучше скажу, обхождение со-

вершенно вольное и беззаботное, потом деревенская прелесть природы, наконец, сладости и сласти искусственные, как-то: варенья, вина и проч., – и все это вместе составляет нечто очень хорошее, почтенное, прекрасное, восхитительное, одним словом – житье!

Н. М. Языков – матери, 26 июля 1826 г. – Языковский архив, вып. I, с. 256.

Каждый день, в часу третьем пополудни, Пушкин являлся к нам из своего Михайловского. Приезжал он обыкновенно верхом на прекрасном аргамаке, а то, бывало, приволочится и на крестьянской лошаденке. Бывало, все сестры мои, да и я, тогда еще подросточек, выйдем к нему навстречу... Раз тащится он на лошаденке крестьянской, ноги у него чуть не по земле волочатся, – я и ну над ним смеяться и трунить. Он потом за мной погнался, все своими ногтями грозил; ногти же у него такие длинные, он их очень берег... Приходил, бывало, и пешком, доберется к дому тогда совсем незаметно; если летом, окна бывали раскрыты, он влезет в окно... Что? Ну, уж, батюшка, в какое окно влезал, не могу указать: мало

ли окон-то? Он, кажется, во все перелазил... Все у нас, бывало, сидят за делом, кто читает, кто работает, кто за фортепиано. Сестра Alexandrine дивно играла на фортепиано. Я, бывало, за уроками сижу. Ну, пришел Пушкин, – все пошло вверх дном; смех, шутки, говор так и раздаются по комнатам... Немецкий язык он плохо знал, да и не любил его; бывало, к сестрам принесет книгу, если что ему нужно перевести с немецкого. А какой он был живой! Никогда не посидит на месте, то ходит, то бегают... Пушкин, бывало, нередко говорит нам экспромты, но так, чтобы прочесть что-нибудь длинное, – это делал редко, впрочем, читал превосходно, по крайней мере, нам очень нравилось его чтение. Нередко мы угощали его мочеными яблоками; жила у нас в то время ключницей Акулина Памфиловна, ворчунья ужасная. Бывало, беседуем мы все до поздней ночи – Пушкину и захочется яблок; вот и пойдем мы просить Акулину Памфиловну: «принеси да принеси моченых яблок», а та и разворчит. Вот Пушкин раз и говорит ей шутя: «Акулина Памфиловна, полно-те, не сердитесь! Завтра же вас произведу в

попадьи». И точно, под именем ее, – чуть ли не в «Капитанской дочке», – и вывел попадьёю ... Я, бывало, все дразню и подшучиваю над Пушкиным; в двадцатых годах была мода вырезать и наклеивать разные фигурки из бумаги; я вырежу обезьяну и дразню Пушкина, он страшно рассердится, а потом вспомнит, что имеет дело с ребенком, и скажет только: «Вы юны, как апрель». И что за добрая душа был этот Пушкин, всегда в беде поможет. Маменьке вздумалось, было, чтоб я принялась зубрить грамматику, да ведь какую, – ни больше, ни меньше, как Ломоносовскую! Я принялась, было, но разумеется, это дело показалось мне адским мучением. «Пушкин, заступитесь!» Стал он говорить маменьке, и так убедительно, что она совсем смягчилась; когда же Пушкин сказал: «Я вот отродясь не учил грамматики и никогда ее не знал, а слава богу, пишу помаленьку и не совсем безграмотен», – тогда маменька окончательно отставила Ломоносова.

М. И. Осипова в передаче *М. И. Семевского*
. – СПб. Вед., 1866, № 139.

От Ек. Ив. Фок (урожд. Осиповой, дочери П. А. Осиповой) я неоднократно слышал воспоминания о Пушкине. Она в то время была ребенком, неоднократно играла с Пушкиным в прятки, причем он залезал под диван, и вытащить его оттуда было очень трудно; она рассказывала, что А. С. был необыкновенно веселый, игривый, находчивый и милый, любил детей, умел говорить с ними и охотно играл.

Н. Ф. Быковский. – Рус. Стар., 1906, т. 136, с. 491.

Секретно. Г. псковскому гражданскому губернатору. По высочайшему государя императора повелению, последовавшему по всеподданнейшей просьбе, прошу покорнейше ваше превосходительство, находящемуся во вверенной вам губернии чиновнику 10 класса, Александру Пушкину позволить отправиться сюда при посылаемом вместе с ним нарочным фельдъегерем. Г. Пушкин может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу главного штаба его им-

ператорского величества.

Бар. *И. И. Дибич* (начальник главного штаба) – *Б. А. фон-Адеркасу*, 31 авг. 1826 г., из Москвы. – *П. В. Анненков*. Пушкин в Алекс. эпоху, с. 321.

Сей час получил я прямо из Москвы с нарочным фельдъегерем высочайшее разрешение по всеподданнейшему прошению вашему. Я не отправлю к вам фельдъегеря, который остается здесь до прибытия вашего, прошу вас поспешить приехать сюда и прибыть ко мне.

Б. А. фон-Адеркас – *Пушкину*, 3 сент. 1826 г., из Пскова. – *Переписка Пушкина*, т. I, с. 368.

Послан был нарочный к псковскому губернатору с приказом отпустить Пушкина из Михайловского в Москву. С письмом губернатора этот нарочный прискакал к Пушкину. Он в это время сидел перед печкою, подбиравал дрова, грелся. Ему рассказывают о приезде фельдъегеря. Встревоженный и никак не ожидавший чего-либо благоприятного, он тотчас схватил свои бумаги и бросил в печь:

тут погибли его записки и некоторые стихотворные пьесы, между прочим стихотворение *Пророк*, где предсказывались совершившиеся уже события 14 декабря. («Пророк» приехал в Москву в бумажнике Пушкина. Прим. С. А. Соболевского.)

П. В. Нащокин по записи *П. И. Бартенева*. – *П. И. Бартенев*. Рассказы о Пушкине, с. 34.

Приехал вдруг ночью жандармский офицер из города, велел сейчас в дорогу собираться, а зачем – неизвестно. Арина Родионовна растужилась, навзрыд плачет. Александр-то Сергеич ее утешать: «Не плачь, мама, – говорит, – сыты будем; царь хоть куды ни пошлет, а все хлеба даст». Жандарм торопил в дорогу, да мы все позамешкались: надо было в Тригорское посылать за пистолетами, они там были оставши: ну, Архипа-садовника и послали. Как привез он пистолеты-то, маленькие такие были в ящичке, жандарм увидел и говорит: «Господин Пушкин, мне очень ваши пистолеты опасны». – «А мне какое дело? Мне без них никуда нельзя ехать; это моя утеха».

Дворовый Петр, служивший у Пушкина ку-

чером. – К. Я. Тимофеев. Могила Пушкина. – Журн. Мин. Нар. Просв., 1859, т. 103, отд. II, с. 148.

Зная за собою несколько либеральных выходов, Пушкин убежден был, что увезут его прямо в Сибирь. В длиннополом сертуке своем собрался он наскоро.

Н. И. Лорер со слов Л. С. Пушкина. Записки моего времени, ч. I, с. 425.

Вот как об этом рассказывает одна из моих тригорских собеседниц. 1 или 2 сент. 1826 г. Пушкин был у нас; погода стояла прекрасная, мы долго гуляли; Пушкин был особенно весел. Часу в одиннадцатом вечера сестры и я проводили Пушкина по дороге в Михайловское... Вдруг рано, на рассвете, является к нам Арина Родионовна, няня Пушкина. Это была старушка чрезвычайно почтенная, лицом полная, вся седая, страстно любившая своего питомца, но с одним грешком – любила выпить. Она прибежала, вся запыхавшись; седые волосы ее беспорядочными космами спадали на лицо и плечи; она плакала навзрыд.

Из расспроса ее оказалось, что вчера вечером, незадолго до прихода А. С-ча, в Михайловское прискакал какой-то не то офицер, не то солдат (впоследствии оказалось – фельдъегерь). Он объявил Пушкину повеление немедленно ехать с ним в Москву. Пушкин успел только взять деньги, накинуть шинель, и через полчаса его уже не было. «Что же, взял этот офицер какие-нибудь бумаги с собой?» – «Нет, родные, никаких бумаг не взял и ничего в доме не ворошил; после только я сама кой-что поуничтожила». – «Что такое?» – «Да сыр этот проклятый, что А. С кушать любил, а я так терпеть его не могу, и дух-то от него, от сыра-то этого немецкого, – такой скверный...»

М. И. Семевский. Прогулка в Тригорское. – СПб. Вед., 1866, № 163.

Фельдъегерь настолько успокоил Пушкина, что поэт дорогою был очень весел и шутлив, – шутлив до шаловливости. Во Пскове, во время перекладки лошадей, он попросил закусить в тамошней харчевне. Подали щей с неизбежною приправкою нашей народной кухни – малою толикою тараканов. Преодо-

лев брезгливость, Пушкин хлебнул несколько ложек и уезжая, оставил – углем или мелом, на дверях (говорят, нацарапал перстнем на оконном стекле) следующее четверостишие:

*Господин фон-Адеркас,
Худо кормите вы нас:
Вы такой же ресторатор,
Как великий губернатор!*

М. И. Семевский со слов псковского уроженца *П. Рослова*. – Рус. Стар., 1880, т. 27, с. 131.

Один из старожилов рассказывает, что Пушкин ехал в Псков с Пещуровым. Переезд до Пскова был сопряжен в то время с большими неудобствами: почтовых лошадей по тракту от Острова было немного; от последней станции Черехи в Пскове начинались сыпучие пески до самого города. На станции путешественники ничего не могли найти съестного; лошади были в разгоне, нужно было ожидать, и путники находились в самом невеселом настроении духа; но Пушкин развлекал декламацией стихов и, подойдя к окну, перстнем начертил два стиха, которые

оканчивались: «Адеркас накормит нас». Неизвестно, однако же, накормил ли их Адеркас, п.ч. они дотащились едва-едва к ночи в Псков и, вероятно, не нашли удобным беспокоить губернатора напоминанием, что они не ели.

Псковские Губ. Вед., 1868, № 10.

Я предполагаю, что мой неожиданный отъезд с фельдъегерем поразил вас так же, как и меня. Вот факт: у нас ничего не делается без фельдъегеря. Мне дают его для вящей безопасности. После любезнейшего письма барона Дибича зависит только от меня очень этим возгордиться. Я еду прямо в Москву, где рассчитываю быть 8 числа текущего месяца: как только буду свободен, со всею поспешностью возвращусь в Тригорское, к которому отныне сердце мое привязано навсегда.

Пушкин – П. А. Осиповой, 4 сент. 1826 г., из Пскова (*фр.*).

Вечером 4 сентября Пушкин уже выехал из Пскова, согласно предписанию. Быстрота исполнения, поистине, изумляющая. Потребовалось только четыре дня на проезд 700 верст

фельдъегерю из Москвы до Пскова по нешосейной дороге, на посылку оттуда за Пушкиным в Михайловское, на провоз его в губернский город, по скверному проселку, без лошадей и, наконец, на отправление его по назначению.

П. В. Анненков. Пушкин в Алекс. эпоху, с. 321.

В Москве

Путь до Москвы совершен был Пушкиным уже сравнительно не с такой молниеобразной скоростью, с какой делал его фельдъегерь в одиночку. Они употребили из него всего четыре дня, и если принять в соображение, что официальный спутник поэта уже второй раз летел без сна несколько ночей по кочкам и рытвинам, то физический закал людей его рода должен показаться действительно богатырским. Фельдъегеря звали Вальшем.

8 сентября они прибыли в Москву прямо в канцелярию дежурного генерала, которым был тогда генерал Потапов, и последний, оставив Пушкина при дежурстве, тотчас же известил о его прибытии начальника главно-

го штаба барона Дибича. Распоряжение последнего, сделанное на самой записке дежурного генерала и показанное Пушкину, гласило следующее: «Нужное, 8 сентября. Высочайше повелело, чтобы вы привезли его в Чудов дворец, в мои комнаты, к 4 часам пополудни». Чудов или Николаевский дворец занимало тогда августейшее семейство и сам государь-император, которому Пушкин и был тотчас же представлен, в дорожном костюме, как был, не совсем обогревшийся, усталый и, кажется, даже не совсем здоровый.

П. В. Анненков. Пушкин в Алекс. эпоху, с. 323.

Небритый, в пуху, измятый, был он представлен к дежурному генералу Потапову и с ним вместе поехал тотчас же во дворец и введен в кабинет государя. К удивлению Ал. С-ча, царь встретил поэта словами: «Брат мой, покойный император, сослал вас на жительство в деревню, я же освобождаю вас от этого наказания, с условием ничего не писать против правительства». «Ваше величество, – ответил Пушкин, – я давно ничего не пишу противно-

го правительству, а после «Кинжала» и вообще ничего не писал». – «Вы были дружны со многими из тех, которые в Сибири?» – продолжал государь. – «Правда, государь, я многих из них любил и уважал и продолжаю питать к ним те же чувства!» – «Можно ли любить такого негодяя, как Кюхельбекер», – продолжал государь. – «Мы, знавшие его, считали всегда за сумасшедшего, и теперь нас может удивлять одно только, что и его с другими, сознательно действовавшими и умными людьми, сослали в Сибирь!» – «Я позволяю вам жить, где хотите, пиши и пиши, я буду твоим цензором», – кончил государь и, взяв его за руку, вывел в смежную комнату, наполненную царедворцами. «Господа, вот вам новый Пушкин, о старом забудем».

Н. И. Лорер со слов *Л. С. Пушкина*. – Н. И. Лорера. Записки декабриста. М., Гос. соц.-экон. изд., 1931, с. 200.

Всего покрытого грязью, меня ввели в кабинет императора, который сказал мне: «Здравствуй, Пушкин, доволен ли ты своим возвращением?» Я отвечал, как следовало. Го-

сударь долго говорил со мною, потом спросил: «Пушкин, принял ли бы ты участие в 14 декабря, если б был в Петербурге?» – «Непременно, государь, все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие спасло меня, за что я благодарю бога!» – «Довольно ты подурачился, – возразил император, – надеюсь, теперь будешь рассудителен, и мы более ссориться не будем. Ты будешь присылать ко мне все, что сочинишь; отныне я сам буду твоим цензором».

Пушкин в передаче А. Г. Хомутовой. – Рус. Арх., 1867, т. VII с. 1066 (*фр.*).

Однажды, за небольшим обедом у государя, при котором я и находился, было говорено о Пушкине. «Я, – говорил государь, – впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву совсем больного... Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге? – спросил я его между прочим. – Стал бы в ряды мятежников, – отвечал он. На вопрос мой, переменялся ли его образ мыслей и дает ли он

мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку, с обещанием – сделаться другим».

Гр. М. А. Корф. Записка. – Рус. Стар., 1900, т. 101, с. 574.

По рассказу Арк. Ос. Россета, император Николай, на аудиенции, данной Пушкину в Москве, спросил его между прочим: «Что же ты теперь пишешь?» – «Почти ничего, ваше величество: цензура очень строга». – «Зачем же ты пишешь такое, чего не пропускает цензура?» – «Цензура не пропускает и самых невинных вещей: она действует крайне нерассудительно». – «Ну, так я сам буду твоим цензором, – сказал государь. – Присылай мне все, что напишешь».

Я. К. Грот, с. 288.

Лишь только учредилась жандармская часть, некто донес ей в Москве, что у офицера Молчанова находятся возмутительные стихи,

будто Пушкина, в честь мятежников 14 декабря. Молчанова схватили, засадили, допросили, от кого он их получил. Он указал на Алексеева. Как за ним, так и за Пушкиным, который все еще находился ссыльным во псковской деревне, отправили гонцов. Это послужило к пользе последнего. Государь пожелал сам видеть у себя в кабинете поэта, мнимого бунтовщика, показал ему стихи и спросил, кем они написаны. Тот, не обинуясь, сознался, что он. Но они были писаны за пять лет до преступления, которое будто бы они восхваляют, и даже напечатаны под названием *Андрей Шенье*. В них Пушкин нападает на революцию, на террористов, кровожадных безумцев, которые погубили гениального человека. Небольшую только часть его стихотворения цензура не пропустила, и этот непропущенный лоскуток, который хорошенько не поняли малограмотные офицерики, послужил обвинительным актом против них. Среди бесчисленных забот государь, вероятно, не захотел взять труд прочитать стихи; без того при малейшем внимании увидел бы он, что в них не было ничего общего с предметом, на кото-

рый будто они были писаны. Пушкин умел ему это объяснить, и его умная, откровенная, почтительно-смелая речь полюбилась государю. Ему дозволено жить, где он хочет, и печатать, что хочет. Государь взялся быть его цензором с условием, чтобы он не употреблял во зло дарованную ему совершенную свободу.

Ф. Ф. Вигель. Записки, т. VII, с. 111.

Государь принял Пушкина с великодушной благосклонностью, легко напомнил о прежних поступках и давал ему наставления, как любящий отец. Поэт и здесь вышел по-этом; ободренный снисходительностью государя, он делался более и более свободен в разговоре; наконец дошло до того, что он, незаметно для себя самого, приперся к столу, который был позади его, и почти сел на этот стол. Государь быстро отвернулся от Пушкина и потом говорил: «С поэтом нельзя быть милостивым!»

(М. М. Попов). – Рус. Стар., 1874, № 8, с. 691.

Когда Пушкина перевезли из псковской деревни в Москву, прямо в кабинет государя,

было очень холодно. В кабинете топился камин. Пушкин обратился спиною к камину и говорил с государем, обогревая себе ноги; но вышел оттуда со слезами на глазах и был до конца признателен государю.

П. В. Нащокин по записи *П. И. Бартенева*. – *П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине*, с. 32.

По приезде в Москву Пушкин введен прямо в кабинет государя; дверь замкнулась, и, когда снова отворилась, Пушкин вышел со слезами на глазах, бодрым, веселым, счастливым. Государь его принял, как отец сына, все ему простил, все забыл, обещал покровительство свое.

Н. М. Смирнов. Памятные заметки. – *Рус. Арх.*, 1832, т. I, с. 231.

Так обольстил, по рассказу Мицкевича, Николай I Пушкина. Помните ли этот рассказ, когда Николай призвал к себе Пушкина и сказал ему: «Ты меня ненавидишь за то, что я раздавил ту партию, к которой ты принадлежал, но верь мне, я также люблю Россию, я не враг русскому народу, я ему желаю свободы,

но ему нужно сперва укрепиться».

Колокол, 1 марта 1860 г., лист 64, с. 534.

Александр был представлен, говорил более часу и осыпан милостивым вниманием: вот что мне пишут видевшие его в Москве.

Бар. А. А. Дельви́г – П. А. Осиповой, 15 сент. 1826 г. – Рус. Арх., 1864, т. III, с. 141.

Говорят, что его величество дал Пушкину отдельную аудиенцию, длившуюся более двух часов.

Локателли (секретный агент) в донесении М. Я. фон-Фоку. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайн. надзором, с. 30 (*фр.*).

Выезжая из Пскова, Пушкин написал своему близкому другу и школьному товарищу Дельви́гу письмо, извещая его об этой новости и прося его прислать ему денег, с тем, чтобы употребить их на кутежи и на шампанское. – Этот господин известен за *мудрствователя* (*philosophiste*), в полном смысле этого слова, который проповедует последовательный эгоизм с презрением к людям, ненависть

к чувствам как и к добродетелям, наконец, деятельное стремление к тому, чтобы доставлять себе житейские наслаждения ценою всего самого священного. Этот честолюбец, пожираемый жаждою вожделений, как примечают, имеет столь скверную голову, что его необходимо будет проучить, при первом удобном случае. Говорят, что государь сделал ему благосклонный прием и что он не оправдывает тех милостей, которые его величество оказал ему.

М. Я. фон-Фок в донесении гр. А. Х. Бенкендорфу, 17 сент. 1826 г. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайн. надзором, с. 30.

Рассказ о каких-то очень подозрительных стихах, потерянных Пушкиным на лестнице кремлевского дворца, сохранился в кругу его знакомых, уверявших, будто бы они слышали о том от самого Ал. С-ча. Государь выразил (будто бы) желание узнать, нет ли при Пушкине какого-нибудь стихотворения. Пушкин вынул из кармана бумаги, захваченные им второпях при отъезде из Михайловского, не нашел между ними никакого стихотворения.

Выходя из дворца и спускаясь по лестнице, Пушкин заметил на ступеньке лоскут бумажки, поднял и узнал в нем свои стихи к друзьям, сосланным в Сибирь... Эту бумажку он выронил, вынимая из кармана платок. Возвратясь в гостиницу, он тотчас же сжег это стихотворение. Близкий приятель Пушкина, С. А. Соболевский, повторил впоследствии этот рассказ, но с некоторыми только вариантами. По его словам, потеря листка с стихами сделана; листок отыскался не во дворце, а в собственной квартире Соболевского, куда Пушкин приехал из дворца; самый листок заключал «Пророка», с первоначальным, впоследствии измененным, текстом последней строфы:

*Восстань, восстань, пророк Рос-
сии!
Позорной ризой облекись,
Иди – и с вервием на выш... и пр.*

(П. А. Ефремов). А. С. Пушкин. – Рус. Стар., 1880, т. 27, с. 133.

А. В. Веневитинов (брат Д. В. Веневитинова) рассказывал мне, что Пушкин, выезжая из

деревни с фельдъегерем, положил себе в карман стихотворение «Пророк», которое, в первоначальном виде, оканчивалось следующей строфою:

*Восстань, восстань, пророк Рос-
сии,
Позорной ризой облекись
И с вервьем вокруг смиренной выи
К царю.....явись!*

Являясь в кремлевский дворец, Пушкин имел твердую решимость, в случае неблагоприятного исхода его объяснений с государем, вручить Николаю Павловичу, на прощание, это стихотворение. Счастливая судьба берегла для России певца «Онегина», и благосклонный прием государя заставил Пушкина забыть о своем прежнем намерении. Выходя из кабинета вместе с Пушкиным, государь сказал, ласково указывая на него своим приближенным: «Теперь он мой!»

А. П. Пятковский. Пушкин в Кремлевском дворце. – Рус. Стар., т. 27, с. 74.

Окончание «Пророка»:

*Восстань, восстань, пророк Рос-
сии,
В позорны ризы облекись,
Иди, и с вервием вокруг шеи (выи? –
рукой, кажется, Соболевского),*

К У. Г. явись.

(От Погодина, то же сообщил и Хомяков.)

П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 31.
По догадке А. М. Цявловского буквы «У. Г.» не
значат ли «убийце гнусному», как назвал
Пушкин Николая I за казнь пяти декабри-
стов? – Там же, с. 94.

«Пророк» – бесспорно, великолепно-
ше произведение русской поэзии – получил свое
значение, как вы знаете, по милости цензуры
(смешно, а правда)[77].

А. С. Хомяков – И. С. Аксакову. – Соч. А. С. Хо-
мякова. М., 1904, т. VIII, с. 366.

Во время коронации государь послал за
Пушкиным нарочного курьера (обо всем этом
сам Пушкин рассказывал) везти его немед-

ленно в Москву. Пушкин перед тем писал какое-то сочинение в возмутительном духе и теперь, воображая, что его везут не на добро, дорогой обдумывал это сочинение; а между тем, известно, какой прием ему сделал император; тотчас после этого Пушкин уничтожил свое возмутительное сочинение и более не поминал о нем.

С. П. Шевырев. Воспоминания о Пушкине. – Л. Н. Майков, с. 329.

Пушкин приехал в Москву в коляске с фельдъегерем и прямо во дворец. В этот же день на балу у маршала Мармона, герцога Рагузского, королевско-французского посла, государь подозвал к себе Блудова и сказал ему: «Знаешь, что я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России?» На вопросительное недоумение Блудова Николай Павлович назвал Пушкина.

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1865, т. II, с. 96, 389.

Из дворца Пушкин прямо приехал к своему дяде Василию Львовичу Пушкину, кото-

рый жил в своем доме на Басманной.

П. И. Бартенев. – Там же, с. 390–391.

В самое то время, когда царская фамилия и весь двор, пребывавшие тогда в Москве по случаю коронации, съезжались на бал к французскому чрезвычайному послу, маршалу Мармону, в великолепный дом кн. Куракина на Старой Басманной, наш поэт направился в дом жившего по соседству (близ Новой Басманной) дяди своего Василия Львовича, оставивши пока свой багаж в гостинице дома Часовникова (ныне Дубицкого), на Тверской. Один из самых близких друзей Пушкина (*С. А. Соболевский*), узнавши на бале у французского посла, от тетки его Е. Л. Солнцевой, о неожиданном его приезде, отправился к нему для скорейшего свидания в полной бальной форме, в мундире и башмаках.

М. Н. Лонгинов. Соч. М., 1915, с. 165.

Один из давних друзей поэта тотчас же из дому кн. Куракина на Старой Басманной, где был бал у маршала Мармона, отправился в дом Василия Львовича и застал Пушкина за

ужином. Тут же, еще в дорожном платье, Пушкин поручил ему на завтрашнее утро съездить к известному «американцу» графу Толстому с вызовом на поединок. К счастью, дело уладилось: графа Толстого не случилось в Москве, а впоследствии противники помирились.

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1865, т. II, с. 390.

Возвращенный Пушкин тотчас явился к княгине В. Ф. Вяземской. Из его рассказа о свидании с царем княгиня помнит заключительные слова: «Ну, теперь ты не прежний Пушкин, а мой Пушкин». К последним праздникам коронации возвратился в Москву князь Вяземский. Узнав о том, Пушкин бросился к нему, но не застал дома, и, когда ему сказали, что князь уехал в баню, Пушкин явился туда, так что первое их свидание после многолетнего житья в разных местах было в номерной бане.

П. И. Бартенев со слов кн. В. Ф. Вяземской. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 307.

Приезд Пушкина в Москву в 1826 г. произ-

вел сильное впечатление, не изгладившееся из моей памяти до сих пор. «Пушкин, Пушкин приехал!» – раздалось по нашим детским, и все – дети, учителя, гувернантки, – все бросилось в верхний этаж, в приемные комнаты, взглянуть на героя дня... И детская комната, и девичья с 1824 года (*когда княгиня Вяземская жила в Одессе и дружила там с Пушкиным*) были неувядающим рассадником легенд о похождениях поэта на берегах Черного моря. Мы жили тогда в Грузинах, цыганском предместье Москвы, – на сельскохозяйственном подворье П. А. Кологривова, вотчина моей матушки.

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 508.

По приезде Пушкина в Москву он жил в трактире «Европа», дом бывший тогда Часовникова, на Тверской. Тогда читал он у меня, жившего на Собачьей площадке, в доме Ринкевича (что ныне Левенталья), «Бориса» *в первый раз* при М. Ю. Виельгорском, П. Я. Чаадаеве, Дм. Веневитинове и Шевыреве. Наверное не помню, не было ли еще тут Ивана В. Киреевского. (Потом читан «Борис» у Вяземского и

Волконской или Веневитиновых? На этих чтениях я не был, ибо в день первого так заболел, что недели три пролежал в постели.) Впрочем, это единственные случаи, когда Пушкин читал свои произведения; он терпеть не мог читать их иначе, как с глазу на глаз или почти с глазу на глаз.

С. А. Соболевский – М. Н. Лонгинову, 1855 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXXI–XXXII, с. 40 (рус.-фр.).

Впечатление, произведенное на публику появлением Пушкина в московском театре, после возвращения из ссылки, может сравниться только с волнением толпы в зале Дворянского собрания, когда вошел в нее А. П. Ермолов, только что оставивший кавказскую армию. Мгновенно разнеслась по зале весть, что Пушкин в театре; имя его повторялось в каком-то общем гуле; все лица, все бинокли обращены были на одного человека, стоявшего между рядами и окруженного густою толпою.

Е. Н. Киселева (урожд. Ушакова) в передаче ее сына Н. С. Киселева. – Л. Н. Майков, с. 361.

Когда Пушкин, только что возвратившийся из изгнания, вошел в партер Большого театра, мгновенно пронесся по всему театру говор, повторявший его имя: все взоры, все внимание обратилось на него. У разъезда толпились около него и издали указывали его по бывшей на нем светлой пуховой шляпе. Он стоял тогда на высшей степени своей популярности.

Н. В. Путята. Из записной книжки. – Рус. Арх., 1899, т. II, с. 350.

Надобно было видеть участие и внимание всех при появлении Пушкина в обществе!.. Когда в первый раз Пушкин был в театре, публика глядела не на сцену, а на своего любимца-поэта.

(К. А. Полевой). Некролог Пушкина. – Живопис. Обзор., 1873, т. III, л. 10, с. 79. Цит. по: Рус. Арх., 1901, т. II, с. 250.

Вспомним первое появление Пушкина, и мы можем гордиться таким воспоминанием. Мы еще теперь видим, как во всех обществах,

на всех балах первое внимание устремлялось на нашего гостя, как в мазурке и котильоне наши дамы выбирали поэта непрерывно... Прием от Москвы Пушкину одна из замечательнейших страниц его биографии.

С. П. Шевырев. Воспоминания о Пушкине. – Москвитянин. 1841, ч. I, с. 522.

Пушкин-автор в Москве и всюду говорит о вашем величестве с благодарностью и глубочайшей преданностью, за ним все-таки следят внимательно.

Гр. А. Х. Бенкендорф – Имп. Николаю I, 1826 г. – Старина и Новизна, кн. VI, с. 5 (фр.).

Веневитинов рассказал мне о вчерашнем дне (10-го сентября 1826 г. Пушкин в первый раз читал у Веневитиновых своего «Бориса Годунова»). Борис Годунов чудо. У него еще Самозванец, Моцарт и Сальери, Наталья Павловна («Граф Нулин»), продолжение Фауста, 8 песен Онегина и отрывки из 9-й и проч. «Альманах не надо издавать, – сказал он (Пушкин), – пусть Погодин издаст в последний раз, а после станем издавать журнал. Кого бы редакто-

ром? А то меня с Вяземским считают шельмами». – «Погодина», – сказал Веневитинов. «Познакомьте меня с ним и со всеми, с кем бы можно говорить с удовольствием. Поедем к нему теперь». – «Нет его, нет дома», – сказал Веневитинов... Веневитинов к чему-то сказал ему, что княжна Ал. Ив. Трубецкая известила его о приезде Пушкина, и вот каким образом: они стояли против государя на бале у Мармона. «Я теперь смотрю *de meilleur oeil*[78] на государя, потому что он возвратил Пушкина». – «Ах, душенька, – сказал Пушкин, – везите меня скорее к ней». С сими словами я поехал к Трубецким и рассказал их княжне Александре Ивановне, которая покраснела, как маков цвет. В 4 часа отправился к Веневитиновым. Говорили о предчувствиях, видениях и проч. Веневитинов рассказывал о суеверии Пушкина. Ему предсказали судьбу какая-то немка Киркгоф и грек (рара, *oncle, cousin*[79]) в Одессе. – «До сих пор все сбывается, напр., два изгнания. Теперь должно начаться счастье. Смерть от белого человека или от лошади, и я с боязнию кладу ногу в стремя, – сказал он, – и подаю руку белому человеку». Между про-

чим, приезжает сам Пушкин. Я не опомнился. – «Мы с вами давно знакомы, – сказал он мне, – и мне очень приятно утвердить и укрепить наше знакомство нынче». Пробыл минут пять, – превертлявый и ничего не обещающий снаружи человек.

М. П. Погодин. Дневник, 11 сент. 1826 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIX–XX, с. 73.

А. Пушкин, в бытность свою в Москве, рассказывал в кругу друзей, что какая-то в С.-Петербурге угадчица на кофе, немка Кирш... предсказала ему, что он будет *дважды* в *изгнании*, и какой-то грек-предсказатель в Одессе подтвердил ему слова немки. Он возил Пушкина в лунную ночь в поле, спросил час и год его рождения и, сделав заклинания, сказал ему, что он умрет от лошади или от бело-волосого человека. Пушкин жалел, что позабыл спросить его: человека белокурого или седого должно опасаться ему. Он говорил, что всегда с каким-то отвращением ставит свою ногу в стремя.

«Некстати Каченовского называют собакой, – сказал Пушкин. – Ежели же и можно

так назвать его, то собакой беззубой, которая не кусает, а мажет слюнями».

«Я надеюсь на Николая Языкова, как на скалу», – сказал Пушкин.

«Как после Байрона нельзя описывать человека, которому надоели люди, так после Гете нельзя описывать человека, которому надоели книги».

В. Ф. Щербаков. Из заметок о пребывании Пушкина в Москве в 1826–1827 гг. – Собр. соч. Пушкина под ред. П. А. Ефремова, т. VIII, с. 109–111.

Смотрел «Аристофана» (комедия кн. А. А. Шаховского). Соболевский подвел меня к Пушкину. «Ах, здравствуйте! Вы не видали этой пьесы?» (слова Пушкина Погодину). – «Ее только во второй раз играют. Он написал еще Езопа при дворе». – «А это верно подражание (неразб.)?» – «Довольны ли вы нашим театром?» – «Зала прекрасная, жаль, что освещение изнутри».

М. П. Погодин. Дневник, 12 сент. 1826 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIX–XX, с. 75.

Вот уж неделя как я в Москве и не нашел еще времени написать вам; это доказывает, как я занят. Император принял меня самым любезным образом. В Москве шум и празднества, так что я уже устал от них и начинаю вздыхать о Михайловском, т.е. о Тригорском; я рассчитываю уехать отсюда не позже, как через две недели.

Пушкин – П. А. Осиповой, 15 сент. 1826 г.

(Праздничное гулянье на Девичьем Поле по случаю коронации.) Завтрак народу нагайками – приехал царь – бросились. Славное движение. Пошел в народ с Соболевским и Мельгуновым. Сцены на горах. Скифы бросились обдирать холст, ломать галереи. Каковы! Куда попрыгали и комедианты – веревки из-под них понадобились. Как били чернь. – Не доставайся никому. Народ ломит дуром. – Обед у Трубецких. – Там Пушкин, который относился несколько ко мне. «Жаль, что на этом празднике мало драки, мало движения». Я ответил, что этому причина белое и красное вино, если бы было русское, то...

М. П. Погодин. Дневник, 16 сент. 1826 г. –

Пушкин и его совр-ки, вып. XIX–XX, с. 77.

Был у А. Пушкина, который привез мне, как цензору, свою пьесу «Онегин»... Талант его виден и в глазах его: умен и остр, благороден в изъяснении и скромнее прежнего. Опыт не шутка.

И. М. Снегирев. Дневник, 18 сент. 1826 г. – Там же, т. XVI, с. 47.

К Веневитиновым. Рассказ о Пушкине: «У меня кружится голова после чтения Шекспира, я как будто смотрю в бездну».

М. П. Погодин. Дневник, 24 сент. 1826 г. – Там же, т. XIX–XX, с. 77.

Я должен вам сказать о том, что очень в настоящее время занимает Москву, особенно московских дам. Пушкин, молодой и знаменитый поэт, здесь. Все альбомы и лорнеты в движении; раньше он был за свои стихи сослан в свою деревню. Теперь император позволил ему возвратиться в Москву. Говорят, у них был долгий разговор, император обещал лично быть цензором его стихотворений и,

при полном зале, назвал его первым поэтом России. Публика не может найти достаточно похвал для этой императорской милости.

Ф. Малевский – своим сестрам, 27 сент. 1826 года, из Москвы. – Ladislas Mickiewicz. Adam Mickiewicz, sa vie et son oeuvre. Paris. Albert Savine ed., 1888, p. 81.

Помнится и слышится еще, как княгиня Зинаида Волконская в присутствии Пушкина и в первый день знакомства с ним пропела элегию его «Погасло дневное светило». Пушкин был живо тронут этим обольщением тонкого и художественного кокетства. По обыкновению, краска вспыхивала на лице его. В нем этот детский и женский признак сильной впечатлительности был несомненное выражение внутреннего смущения, радости, досады, всякого потрясающего ощущения.

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VII, с. 329.

Я познакомился с поэтом Пушкиным. Рожа ничего не обещающая. Он читал у Вяземского свою трагедию «Борис Годунов».

А. Я. Булгаков (московский почт-директор) – К. Я. Булгакову, 5 окт. 1826 г. – Рус. Арх., 1901, т. II, с. 405.

Пушкин у Веневитиновых – читал песни, коими привел нас в восхищение. – Вот предмет для романа: поэт в обществе.

М. П. Погодин. Дневник, 12 окт. 1826 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIX–XX, с. 79.

(Чтение Пушкиным «Годунова» в Москве, у Веневитиновых, 12 октября 1826 г., днем. В 12 час. приехал Пушкин.) Какое действие произвело на всех нас это чтение – передать невозможно. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которых все мы знали наизусть. Учителем нашим был Мерзляков. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то время. Это был распев, завещанный французскою декламацией. Наконец, надо себе представить самую фигуру Пушкина. Ожиданный нами величавый жрец высокого искусства – это был среднего роста, почти низенький человек, вертлявый, с длин-

ными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми, быстрыми глазами, с тихим, приятным голосом, в черном сюртуке, в черном жилете, застегнутом наглухо, небрежно повязанном галстухе. Вместо высокопарного языка богов мы слышали простую, ясную, обыкновенную и, между тем, – поэтическую, увлекательную речь!

Первые явления выслушали тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорьем всех ошеломила... А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков «...да ниспошлет господь покой его душе, страдающей и бурной», мы просто все как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. Кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет. То молчанье, то взрыв восклицаний, напр., при стихах самозванца: «Тень Грозного меня усыновила». Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и

потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. Эван, эвое, дайте чаши!.. Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь. Ему было приятно наше волнение. Он начал нам, поддавая жару, читать песни о Стеньке Разине, как он выплывал ночью на Волге на востроносой своей лодке, предисловие к «Руслану и Людмиле»: «У лукоморья дуб зеленый...» Потом Пушкин начал рассказывать о плане Дмитрия Самозванца, о палаче, который шутит с чернью, стоя у плахи на Красной площади в ожидании Шуйского, о Марине Мнишек с самозванцем, сцену, которую написал он, гуляя верхом, и потом позабыл вполовину, о чем глубоко сожалел. О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь. Не помню, как мы разошлись, как dokonчили день, как улеглись спать. Да едва кто и спал из нас в эту ночь. Так был потрясен весь наш организм.

М. П. Погодин. – Рус. Арх., 1865, с. 97.

Вообще читал он чрезвычайно хорошо...

Это был удивительный чтец: вдохновение так пленяло его, что за чтением «Бориса Годунова» он показался Шевыреву красавцем.

П. В. Анненков со слов *С. П. Шевырева*. – Л. Н. Майков, с. 329, 331.

Читал Пушкин превосходно, и чтение его, в противность тогдашнему обыкновению читать стихи нараспев и с некоторою вычурностью, отличалось, напротив, полною простотою.

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1876, т. I, с. 489.

Ив. Серг. Тургенев читал стихи нараспев и с торжественной интонацией, согласно пушкинской традиции. Он говорил нам, что не слышал, как читал сам Пушкин, но что манеру его чтения ему воспроизводил один из его друзей, слышавший самого Пушкина.

Е. М. Гаршин. Воспоминания о Тургеневе. – Историч. Вестн., 1883, № 14, с. 392.

Лев Сергеевич Пушкин превосходно читал стихи и представлял мне, как читал их покойный брат его Александр Сергеевич. Из этого я

заклучил, что Пушкин стихи свои читал как бы нараспев, как бы желая передать своему слушателю всю музыкальность их.

Я. П. Полонский. Кое-что о Пушкине. – Cosmopolis, 1898, март, с. 202.

Нет, добрый друг, не думай, что Александр Сергеевич почувствует когда-нибудь свою неправоту передо мною. Если он мог в минуту своего благополучия, и когда он не мог не знать, что я делал шаги к тому, чтобы получить для него милость, отречься от меня и клеветать на меня, то как возможно предполагать, что он когда-нибудь снова вернется ко мне? Не забудь, что в течение двух лет он питает свою ненависть, которую ни мое молчание, ни то, что я предпринимал для смягчения его участи изгнания, не могли уменьшить. Он совершенно убежден в том, что просить прощения должен я у него, но он прибавляет, что если бы я решил это сделать, то он скорее выпрыгнул бы в окно, чем дал бы мне это прощение... Я еще ни минуты не переставал воссылать молебны о его счастии и, как повелевает Евангелие, я люблю в нем моего вра-

га и прощаю его, если не как отец, – так как он от меня отрекается, – то как христианин, но я не хочу, чтоб он знал об этом: он припишет это моей слабости или лицемерию, ибо те принципы забвения обид, которыми мы обязаны религии, ему совершенно чужды.

С. Л. Пушкин – своему брату *В. Л. Пушкину*, 17 окт. 1826 г., из Петербурга. – *Б. Л. Модзалевский*. Пушкин под тайн. надзором, с. 31 (*фр.*).

Более всего в поведении Александра Сергеевича вызывает удивление то, что как он меня ни оскорбляет и ни разрывает наши сердечные отношения, он предполагает вернуться в нашу деревню и, естественно, пользоваться всем тем, чем он пользовался раньше, когда он не имел возможности оттуда выезжать. Как примирить это с его манерой говорить обо мне – ибо не может ведь он не знать, что это мне известно. Александр Тургенев и Жуковский, чтобы утешить меня, говорили, что я должен стать выше того, что он про меня говорил, что это он делал из подражания лорду Байрону, на которого он хочет походить. Байрон ненавидел свою жену и всюду

скверно говорил об ней, а Александр Сергеевич выбрал меня своей жертвой. Но эти все рассуждения не утешительны для отца – если я еще могу называть себя так. В конце концов пусть он будет счастлив, но пусть оставит меня в покое.

С. Л. Пушкин – своему зятю *М. М. Сонцову*, 17 окт. 1826 г. – Там же, с. 32 (*фр.*).

Общий обед – очень приятно было взглянуть на всех вместе. Неловко представился Баратынскому. Обед чудно, но жаль, что общего разговора не было. С удовольствием пили за здоровье Мицкевича, потом Пушкина. Подпили. Представление Оболенского Пушкину и проч.

М. П. Погодин. Дневник, 29 окт. 1826 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIX–XX, с. 80.

Рождение журнала («*Московский Вестник*», под редакцией *Погодина*) положено отпраздновать общим обедом всех сотрудников. Мы собрались в доме бывшем Хомякова (где ныне кондитерская Люке): Пушкин, Мицкевич, Баратынский, два брата Веневитиновых,

два брата Хомяковых, два брата Киреевских, Шевырев, Титов, Мальцев, Рожалин, Ранч, Рихтер, Оболенский, Соболевский. Нечего описывать, как весел был этот обед. Сколько тут было шуму, смеху, сколько рассказано анекдотов, планов, предположений! Оболенский, адъютант греческой словесности, добрейшее существо, какое только может быть, подпив за столом, подскочил после обеда к Пушкину и, взъерошивая свой хохлик, любимая его привычка, воскликнул: «Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, я единица, а посмотрю на вас и покажусь себе миллионом. Вот вы кто!» Все захохотали и закричали: «Миллион, миллион!»

Вино играло роль на наших вечерах, но не до излишков, а только в меру, пока оно веселит сердце человеческое. Пушкин не отказывался под веселый час выпить. Один из товарищей был знаменитый знаток, и перед началом «Московского Вестника» было у нас в моде алеатико, прославленное Державиным.

М. П. Погодин. Из воспоминаний о Пушкине. – Рус. Арх., 1865, с. 100, 103.

26 окт. 1826 г. Поутру получаю записку от (Мар. Ив.) Корсаковой: «Приезжайте непременно, нынче вечером у меня будет Пушкин». К 8 часам я в гостиной у Корсаковой; там собралось уже множество гостей. Дамы разделись и рассчитывали привлечь внимание Пушкина, так что, когда он вошел, все дамы устремились к нему и окружили его. Каждой хотелось, чтоб он сказал хоть слово... Я издали наблюдала это африканское лицо, на котором отпечатлелось его происхождение, это лицо, по которому так и сверкает ум. Я слушала его без предупредительности и молча. Так прошел вечер. За ужином кто-то назвал меня, и Пушкин вдруг восторженно, точно в него ударила электрическая искра. Он встал и, поспешно подойдя ко мне, сказал: «Вы сестра Михаила Григорьевича? Я уважаю, люблю его и прошу вашей благосклонности». Он стал говорить о лейб-гусарском полке, который, по словам его, был его колыбелью, а брат мой был для него нередко ментором.

А. Г. Хомутова. – Рус. Арх., 1867, с. 1067 (фр.).

Вероятно, встречусь с Пушкиным, с которым и желал бы познакомиться; но, с другой стороны, слышал так много дурного насчет его нравственности, что больно встретить подобные свойства в таком великом гении. Он, говорят, несет большую дичь и – публично.

Неизвестный – гр. М. Ю. Виельгорскому, 6 нояб. 1826 г., из Москвы. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайн. надзором, с. 33.

Пушкин, приехавший в Москву осенью 1826 г., вскоре понял Мицкевича и оказывал ему величайшее уважение. Любопытно было видеть их вместе. Проницательный русский поэт, обыкновенно господствовавший в кругу литераторов, был чрезвычайно скромнен в присутствии Мицкевича, больше заставлял его говорить, нежели говорил сам, и обращался с своими мнениями к нему, как бы желая его одобрения. В самом деле, по образованности, по многосторонней учености Мицкевича Пушкин не мог сравнивать себя с ним, и сознание в том делает величайшую честь уму нашего поэта.

К. А. Полевой. Записки, с. 171.

В прибавлениях к посмертному собранию сочинений Мицкевича, писанных на французском языке, рассказывается следующее: Пушкин, встретясь где-то на улице с Мицкевичем, посторонился и сказал: «С дороги двойка, туз идет!» На что Мицкевич тут же отвечал: «Козырная двойка и туза бьет!»

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VII, с. 309.

Пушкин и Мицкевич часто видались. Будревич, учитель математики в Тверской гимназии, помнил как раз Пушкин зазвал сбитенщика и как вся компания пила сбитень, а Пушкин шутя говорил: «На что нам чай? Вот наш национальный напиток». В одном собрании Мицкевич в присутствии Пушкина импровизировал французскою прозою.

М. А. Максимович по записи П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1889, т. II, с. 480.

Мицкевич несколько раз выступал с импровизациями здесь в Москве, хотя были они в прозе, и то на французском языке, но возбу-

дили удивление и восторг слушателей. Ах, ты помнишь его импровизации в Вильне! Помнишь то подлинное *преображение* лица, тот блеск глаз, тот проникающий голос, от которого тебя даже страх охватывает – как будто через него говорит дух. Стих, рифма, форма – ничего тут не имеет значения. Говорящим под наитием духа дан был дар всех языков или лучше сказать – тот таинственный язык, который понятен всякому. На одной из таких импровизаций в Москве Пушкин, в честь которого давался тот вечер, сорвался с места и, ероша волосы, почти бегая по зале, воскликнул: «*Quel génie! Quel feu sacré! Que suis je auprès lui?*»[80] – и, бросившись на шею Адама, сжал его и стал целовать, как брата. Я знаю это от очевидца. Тот вечер был началом взаимной дружбы между ними. Уже много позже, когда друзья Пушкина упрекали его в равнодушии и недостатке любознательности за то, что он не хочет проехаться по заграничным странам, Пушкин ответил: «Красоты природы я в состоянии вообразить себе даже еще прекраснее, чем они в действительности; поехал бы я разве для того, чтобы познако-

миться с великими людьми; но я знаю Мицкевича и знаю, что более великого теперь не найду». Слова эти мне передал человек, слышавший их из уст самого Пушкина. (*Позднейшее примечание автора.*)

А. Э. Одынец – Ю. Корсаку, 9–21 мая 1829 г., из Петербурга. – А. Е. Odyniez. Listyz podrozy. Warszcawa, 1884, Tom I, p. 57 (*пол.*).

(Осенью 1826 г. Пушкин с Соболевским в гостях у Н. А. Полевого.) Перед конторкою, на которой обыкновенно писал Н. А-вич, стоял человек, немного превышавший эту конторку, худощавый, с резкими морщинами на лице, с широкими бакенбардами, покрывающими всю нижнюю часть его щек и подбородка, с тучею кудрявых волос. Ничего юношеского не было в этом лице, выражавшем угрюмость, когда оно не улыбалось. Он был невесел этот вечер, молчал, когда речь касалась современных событий, почти презрительно отзывался о новом направлении литературы, о новых теориях и, между прочим, сказал: «Немцы видят в Шекспире чорт знает что, тогда как он просто, без всяких умствований, го-

ворил, что было у него на душе, не стесняясь никакой теорией». Тут он выразительно напомнил о неблагопристойностях, встречаемых у Шекспира, и прибавил, что это был гениальный мужичок! Пушкин несколько раз веселился бутылкой шампанского (тогда необходимая принадлежность литературных бесед!) и даже диктовал Соболевскому комические стихи в подражание Виргилию. Тут я видел, как богат был Пушкин средствами к составлению стихов: он за несколько строк уже готовил мысль или созвучие и находил прямое выражение, не заменимое другим. И это шутя, между разговором!

Прошло еще несколько дней, когда, однажды утром, я заехал к нему. Он, временно, жил в гостинице, бывшей на Тверской, в доме кн. Гагарина, отличавшемся вычурными уступами и крыльцами снаружи. Там занимал он довольно грязный номер в две комнаты, и я застал его, как обыкновенно заставлял потом утром в Москве и в Петербурге, в татарском серебристом халате, с голою грудью, не окруженного ни малейшим комфортом: так жил он потом в гостинице Демута в Петер-

бурге. На этот раз он был, как мне показалось сначала, в каком-то раздражении и тотчас начал речь о «Московском Телеграфе» (*журнал Н. А. Полевого*), в котором находил множество недостатков, выражаясь об иных подробно-стях саркастически. Я возражал ему, как умел, и разговор шел довольно запальчиво, когда в комнату вошел Шевырев... Пушкин начал горячо расхваливать стихи Шевырева, вообще оказывая Шевыреву самое приятное расположение, хотя и с высоты своего величия, тогда как со мною он разговаривал почти неприязненно, как неприятель. Вскоре ввалился в комнату М. П. Погодин. Пушкин и к нему обратился дружески. Я увидел, что буду лишний в таком обществе, и взялся за шляпу. Провожая меня до дверей и пожимая мне руку, Пушкин сказал: «*Sans rancune, je vous en prie!*»[81] – и захохотал тем простодушным смехом, который памятен всем, знавшим его.

Пушкин соображал свое обхождение не с личностью человека, а с положением его в свете, и потому-то признавал своим собратом самого ничтожного барича и оскорблялся, ко-

гда в обществе встречали его, как писателя, а не как аристократа... Аристократ по системе, если не в действительности, Пушкин увидал себя еще более чуждым Полевому, когда блестящее светское общество встретило с распростертыми объятиями знаменитого поэта, бывшего диковинкою в Москве. Он как будто не видал, что в нем чествовали не потомка бояр Пушкиных, а писателя и современного льва, в первое время, по крайней мере. Увлечшись в вихрь светской жизни, которую всегда любил он, Пушкин почти стыдился звания писателя.

К. А. Полевой. Записки, с. 198–204.

Я слежу за сочинителем Пушкиным, насколько это возможно. Дома, которые он наиболее часто посещает, суть дома княгини Зинаиды Волконской, князя Вяземского, поэта, бывшего министра Дмитриева и прокурора Жихарева. Разговоры там вращаются, по большей части, на литературе... Дамы кадят ему и балуют молодого человека; напр., по поводу выраженного им в одном обществе желания вступить в службу несколько дам

вскричали сразу: «Зачем служить! Обогащайте нашу литературу вашими высокими произведениями, и разве, к тому же, вы уже не служите девяти сестрам? Существовала ли когда-нибудь более прекрасная служба?» Другая сказала: «Вы уже служите в инженерах, а также в свите» (*Игра слов: Vous servez déjà le jénie et ainsi de suite*[82]). – 8 ноября 1826 г. Сочинитель Пушкин только что покинул Москву, чтобы отправиться в свое псковское имение.

И. П. Бибиков (жандармский полковник) в донесении гр. А. Х. Бенкендорфу. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайн. надзором, с. 23 (фр.).

Я еду похоронить себя в деревне до первого января, – уезжаю со смертью в душе.

Пушкин – В. П. Зубкову, 1–2 нояб. 1825 г.

С. П. (Софья Федоровна Пушкина, однофамилица поэта, которою он увлекался в Москве) – мой добрый ангел; но другая – мой демон; это совершенно некстати смущает меня в моих поэтических и любовных размыш-

лениях. Прощайте, княгиня, – еду похоронить себя среди моих соседок. Молитесь за упокой моей души.

Пушкин – кн. В. Ф. Вяземской, 3 нояб. 1826 г., из Торжка.

Мой милый Соболевский, я снова в моей избе. Восемь дней был в дороге, сломал два колеса и приехал на перекладных. Дорогою бранил тебя немилосердно, но в доказательство дружбы посылаю тебе мой itinéraire[83] от Москвы до Новгорода. Это будет для тебя инструкция.

*У Гальяни иль Кольони
Закажи себе в Твери
С пармезаном макарони,
Да яишницу свари.
На досуге отобедай,
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай (именно котлет)
И отправься налегке.*

*Как до Яжельбиц дотащит
Колымагу мужичок,
То-то друг мой растарашит*

Сладострастный свой глазок!

*Поднесут тебе форели!
Тотчас их варить вели.
Как увидишь: посинели,
Влей в уху стакан Шабли.*

*Чтоб уха была по сердцу,
Можно будет в кипяток
Положить немного перцу,
Луку маленький кусок —*

Яжельбицы – первая станция после Валдая. В Валдае спроси, есть ли свежие сельди? если же нет,

*У податливых крестьянок
(Чем и славится Валдай)
К чаю накупи баранок
И скорее поезжай.*

Пушкин – С. А. Соболевскому, 9 нояб. 1826 г.,
из Михайловского.

Гальяни в пушкинское время содержал в Твери лучшую гостиницу, с залом для танцев и других увеселений, так что гостиница Гальяни заменяла клуб. Дом, где находилась го-

стиница, был на углу, двухэтажный, низ каменный, верх деревянный; в 1879 г. этот дом сгорел, а на его месте построен большой дом, принадлежащий теперь А. А. Пржецлавской.

И. А. Иванов. О пребывании Пушкина в Тверской губ. – Изд. Тверского Общ. Любит. Археол. Тверь, 1899, с. 15.

Итальянец Гальяни имел в то время в Твери ресторан или гостиницу, которая считалась тогда лучшею. В ней останавливались обыкновенно более состоятельные проезжающие. По этому ресторану в Твери и доселе называется Гальянова улица[84], на левом углу которой, рядом с Мироносицкой улицей, и стоял этот ресторан. Здесь-то неоднократно и бывал Пушкин. Одна современница Пушкина передавала нам, что однажды ее муж, тогда еще молодой человек 16-ти лет, встретил здесь Пушкина и рассказывал об этом так: «Я сейчас видел Пушкина. Он сидит у Гальяни на окне, поджав ноги, и глотает персики. Как он напомнил мне обезьяну!»

В. И. Колосов. Пушкин в Тверской губ. – Рус. Стар., 1888, т. 60, с. 85.

Вот я в деревне. Доехал благополучно без всяких замечательных пассажей; самый неприятный анекдот было то, что сломались у меня колеса, растресенные в Москве другом и благоприятелем моим Соболевским. Деревня мне пришла как-то по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму. Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встреча моей дворни... и моей няни, – ей-богу, приятнее щекотит сердце, чем слава, наслаждения самолюбия, рассеянности и пр. Няня моя уморительна. Вообрази, что 70-ти лет она выучила наизусть новую молитву *об умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости*, молитвы, вероятно, сочиненной при ц. Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом... Буду у вас к 1-му... она велела! Милый мой, Москва оставила во мне неприятное впечатление, но все-таки лучше с вами видеться, чем переписываться.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, 9 нояб. 1826 г., из Михайловского.

Еду к вам и не доеду. Какой! Меня доезжают!.. Изъясню после. – В деревне я писал презренную прозу, а вдохновение не лезет. Во Пскове, вместо того, чтобы писать 7-ую главу Онегина, я проигрываю в штосе четвертую. не забавно.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, 1 дек. 1826 г., из Пскова.

Выехал я тому пять-шесть дней из моей проклятой деревни на перекладной, в виду отвратительных дорог. Псковские ямщики не нашли ничего лучшего, как опрокинуть меня. У меня помят бок, болит грудь, и я не могу дышать. Взбешенный, я играю и проигрываю. Как только мне немного станет лучше, буду продолжать мой путь почтой... Так как я, вместо того, чтобы быть у ног Софи (С. Ф. *Пушкиной*), нахожусь на постоялом дворе во Пскове, то поболтаем, т.е. станем рассуждать. Мне 27 лет, дорогой друг. Пора жить, т.е. познать счастье. Ты мне говоришь, что оно не может быть вечным: прекрасная новость! Не мое личное счастье меня тревожит, – могу ли я не быть самым счастливым человеком с нею, – я

трепещу, лишь думаю о судьбе, быть может, ее ожидающей, – я трепещу перед невозможностью сделать ее столь счастливою, как это мне желательно. Моя жизнь, – такая доселе кочующая, такая бурная, мой нрав – неровный, ревнивый, обидчивый, раздражительный и, вместе с тем, слабый, – вот что внушает мне тягостное раздумие. Следует ли мне связать судьбу столь нежного, столь прекрасного существа с судьбою до такой степени печальною, с характером до такой степени несчастным? – Боже мой, до чего она хороша! И как смешно было мое поведение по отношению к ней. Дорогой друг, постарайся изгладить дурное впечатление, которое оно могло на нее произвести. Скажи ей, что я разумнее, чем кажусь с виду... Мерзкий этот Панин! Два года влюблен, а свататься собирается на Фоминой неделе, – а я вижу ее раз в ложе, – в другой раз на бале, а в третий сватаюсь!.. Объясни же ей, что, увидев ее, нельзя колебаться, что, не претендуя увлечь ее собою, я прекрасно сделал, прямо придя к развязке, что, полюбив ее, нет возможности полюбить ее сильнее...

Ангел мой, уговори ее, упроси ее, настра-
щай ее Паниным скверным и – жени меня!

*Пушкин – В. П. Зубкову, 1 дек. 1826 г., из
Пскова (фр.-рус.).*

Софья Федоровна Пушкина была стройна и
высока ростом, с прекрасным греческим про-
филем и черными, как смоль, глазами и была
очень умная и милая девушка[85].

*Е. П. Янькова по записи Д. Благово. Рассказы
бабушки. СПб., 1885, с. 460.*

Ответ Ф. Т. («Нет, не черкешенка она»).

Здесь говорится о г-же Паниной, урожденной
Пушкиной, в которую Пушкин был влюблен. (*Да. Приписка Соболевского.*) Стихотворение
написано в Москве.

*П. В. Нащокин по записи П. И. Бартенева. –
П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 29.*

Я имел щастие представить государю им-
ператору комедию вашу о царе Борисе и о
Гришке Отрепьеве. Его величество изволил
прочесть оную с большим удовольствием и
на поднесенной мною по сему предмету за-

писке собственноручно написал следующее: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если бы с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман, на подобие Вальтера Скота».

Гр. А. Х. Бенкендорф – Пушкину, 14 дек. 1826 г., из Петербурга.

По возвращении из деревни (19 декабря), куда он ездил на короткое время, Пушкин приехал прямо ко мне и жил в том же доме Ренкевича, который, как сказано, на Собачьей площадке стоит лицом, а задом выходит на Молчановку.

С. А. Соболевский – М. Н. Лонгинову, 1855 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXXI–XXXII, с. 40.

(Приехав в Москву 19 дек., Пушкин остановился у Соболевского на Собачьей Площадке в доме Ренкевича, впол. Левенталь.) Мы ехали с Лонгиновым через Собачью площадку; сравнившись с углом ее, я показал товарищу дом Ренкевича, в котором жил я, а у меня Пушкин. Сравнились с прорубленной мною дверью в переулок – видим на ней вывеску: «про-

дажа вина» и пр. Вылезли из возка и пошли туда. Дом совершенно не изменился в расположении: вот моя спальня, мой кабинет, та общая гостиная, в которую мы сходились из своих половин и где заседал Александр Сергеевич в самоедском ергаке. Вот где стояла кровать его; вот где так нежно возился и нянчился он с маленькими датскими щенятами. Вот где он выронил, – к счастью, что не в кабинете императора! – свое стихотворение на 14 декабря, что с час времени так его беспокоило, что оно не нашлось. Вот где собирались Веневитинов, Киреевский, Шевырев, Рожалин, Мицкевич, Баратынский, вы, я.. и другие мужи, вот где болталось, смеялось, вралось и говорилось умно!

С. С. (С. А. Соболевский). – Русский, газета полит. и литер., 1867, л. 7–8, с. 111.

Помню, помню живо этот знаменитый уголок, где жил Пушкин в 1826 и 1827 году, помню его письменный стол между двумя окнами, над которым висел портрет Жуковского с надписью: «Ученику-победителю от побежденного учителя». Помню диван в другой ком-

нате, где за вкусным завтраком – хозяин был мастер этого дела – начал он читать мою повесть «Русая коса» и, дойдя до места, где один молодой человек выдумал новость другому, любителю словесности, чтобы вырвать его из задумчивости: «Жуковский перевел Байронова Мазепу», вскрикнул с восторгом: «Как! Жуковский перевел Мазепу!» Там переписал я ему его Мазепу, поэму, которая после получила имя Полтавы. Однажды мы пришли к Пушкину рано с Шевыревым за стихотворением для «Московского Вестника», чтоб застать его дома, а он еще не возвращался с прогульной ночи и приехал при нас. Помню, как нам было неловко, в каком странном положении мы очутились из области поэзии в области прозы.

М. П. (М. П. Погодин). – Там же, с. 112.

Дом Ренкевича, затем Левенталья сохранился в Москве до настоящего времени. Это угловой одноэтажный деревянный оштукатуренный дом; стоит он на самом углу Борисоглебского переулка и Собачьей Площадки (на противоположной стороне от него Кречетников-

ский пер.); теперешний его № 12. Во внешнем виде он утратил прежний облик жилого дома-флигеля: окна переделаны в широкие квадратные витрины, проделано много дверей на улицу для отдельных торговых помещений. Изменился и внутренний вид: переделаны и сняты прежние перегородки комнат, частично уничтожены полы и наматы (напр., в керосиновой лавке).

А. А. Лапин. – Книга воспоминаний о Пушкине, с. 285.

По первопутке прибыл в Москву и остановился у Соболевского. Его кофей с пастилой, майор Носов, знавший бездну прибауток, по ночам просиживал у Марьи Ивановны Корсаковой, когда она спала... Часто у Зинаиды Волконской бывает.

П. В. Анненков. Записи. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 339.

Я устал и болен, потому Вам и не пишу более.

Пушкин – Н. М. Языкову, 21 дек. 1826 г., из Москвы.

27 дек. 1826 г. – Вчера провел я вечер, незабвенный для меня. Явидел несчастную княгиню Марию Волконскую, коей муж сослан в Сибирь и которая сама отправляется в путь, вслед за ним, вместе с Муравьевой. Она нехороша собой, но глаза ее чрезвычайно много выражают. Третьего дня ей минуло двадцать лет. Эта интересная и вместе могучая женщина – больше своего несчастья. Она его преодолела, выплакала; источник слез уже изсох в ней.

Она чрезвычайно любит музыку. В продолжении всего вечера она все слушала, как пели, когда один отрывок был отпет, она просила другого. До двенадцати часов ночи она не входила в гостиную, потому что у кн. З. (*Зинаиды Александровны Волконской: она и Мария Николаевна были жены двух братьев Волконских*) много было, но сидела в другой комнате за дверью, куда к ней беспрестанно ходила хозяйка, думая о ней только и стараясь всячески ей угодить. Отрывок из «Agnes» del Maestro Paer[86] был пресечен в самом том месте, где несчастная дочь умоляет еще

несчастнейшего родителя о прощении своем. Невольное сближение злосчастья Агнессы или отца ее с настоящим положением невидимо присутствующей родственницы своей отняло голос и силу у кн. Зинаиды, а бедная сестра ее по сердцу принуждена была выйти, ибо залилась слезами и не хотела, чтобы это заметили в другой комнате. Остаток вечера был печален. Когда все разъехались и осталось только очень мало самых близких и входящих к кн. Зинаиде, она вошла сперва в гостиную, села в угол, все слушала музыку, которая для нее не переставала, потом приблизилась к клавикордам, села на диван, говорила тихим голосом очень мало, изредка улыбалась. Для нее велела кн. Зинаида изготовить ужин, ибо становилось уже очень поздно и заметно было, что она устала. Во время ужина старалась нас всех развлечь от себя, говоря вообще очень мало, но говоря о предметах посторонних. Когда встали из-за стола, она тотчас пошла в свою комнату. И мы уехали уж после двух часов.

А. В. Веневитинов. – Рус. Стар., 1875, т. 12, с. 822. Ср.: Рус. Стар., 1878, т. 21, с. 140.

В Москве я остановилась у Зинаиды Волконской, моей невестки, которая приняла меня с такой нежностью и добротой, которых я никогда не забуду: она окружила меня заботами, вниманием, любовью и состраданием. Зная мою страсть к музыке, она пригласила всех итальянских певцов, которые были тогда в Москве, и несколько талантливых певиц. Прекрасное итальянское пение привело меня в восхищение, а мысль, что я слышу его в последний раз, делала его для меня еще прекраснее. Дорогой я простудилась и совершенно потеряла голос, а они пели как раз те вещи, которые я изучила лучше всего, и я мучилась от невозможности принять участие в пении. Я говорила им: «Еще, еще! Подумайте только, ведь я никогда больше не услышу музыки!» Пушкин, наш великий поэт, тоже был здесь... Во время добровольного изгнания нас, жен сосланных в Сибирь, он был полон самого искреннего восхищения: он хотел передать мне свое «Послание к узникам» (*«Во глубине сибирских руд»*) для вручения им, но я уехала в ту же ночь, и он передал его Александрине

Муравьевой. Пушкин говорил мне: «Я хочу написать сочинение о Пугачеве. Я отправлюсь на места, перееду через Урал, проеду дальше и приду просить у вас убежища в Нерчинских рудниках».

Кн. М. Н. Волконская. Записки, с. 61–64.

О ты, пришедшая отдохнуть в моем жилище! Образ твой овладел моей душой. Твой высокий стан встает передо мною, как великая мысль, и мне кажется, что твои грациозные движения создают мелодию, какую древние приписывали небесным звездам. У тебя глаза, волосы и цвет лица, как у дочери Ганга, и жизнь твоя, как ее, запечатлена долгом и жертвою. «Когда-то, говорила ты, мой голос был звучен, но страдания заглушили его...» Как ты вслушивалась в наши голоса, когда мы пели около тебя хором! – «Еще, еще!» – повторяла ты. – «Ни завтра, никогда уже не услышу музыки!»

Кн. З. А. Волконская. *Oeuvres choisies de la pr-sse Volkonsky*. Paris et Carlsruhe, 1865, p. 253 (*фр.*).

28 дек. 1826 г. у Пушкина (*т.е. в описанной выше квартире Соболевского*). Досадно, что свинья Соболевский свинствует при всех. Досадно, что Пушкин в развращенном виде пришел при Волкове.

М. П. Погодин. Дневник. – Н. П. Барсуков, ч. II, с. 64.

Как поэт, как человек минуты, Пушкин не отличался полною определенностью убеждений. Стихи («*Во глубине сибирских руд...*») были принесены в Москве, в начале 1827 г., самим Пушкиным А. Г. Муравьевой, перед отъездом ее в Сибирь к ее супругу. Прощаясь с нею, Пушкин так крепко сжал ее руку, что она не могла продолжать письма, которое писала, когда он к ней вошел.

П. И. Бартенов. – Рус. Арх., 1874, т. II, с. 703.

В 1827 г., когда Пушкин пришел проститься с А. Г. Муравьевой, ехавшей в Сибирь к своему мужу, Пушкин сказал ей: «Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество: я не стоил этой чести».

И. Д. Якушкин. Записки, М., 1908, с. 48.

(1826–1827.) Мы увидали Пушкина с хором Благородного Собрания. Внизу было многочисленное общество, среди которого вдруг сделалось особого рода движение. В залу вошли два молодые человека. Один был блондин, высокого роста; другой – брюнет, роста среднего, с черными кудрявыми волосами и выразительным лицом. «Смотрите, – сказали нам, – блондин – Баратынский, брюнет – Пушкин». Они шли рядом, им уступали дорогу. В конце залы Баратынский с кем-то заговорил. Пушкин стал подле белой мраморной колонны, на которой был бюст государя, и облокотился на него.

Т. П. Пассек. Из дальних лет. Воспоминания. СПб., 1878, т. 1, с. 221.

(1826–1827.) Особенно памятна мне одна зима или две, когда не было бала в Москве, на который бы не приглашали Григ. Ал. Корсакова и меня. После пристал к нам и Пушкин. Знакомые и незнакомые зазывали нас и в Немецкую слободу, и в Замоскворечье. Наш триумвират в отношении к балам отслужи-

вал службу свою, на подобие бригадиров и кавалеров св. Анны, неперемненных почетных гостей, без коих обойтись не могла ни одна купеческая свадьба, ни один именинный обед.

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VII, с. 171.

Помню, что в те времена я не раз носилась в вихре вальса с Ал. Серг. Пушкиным. Веселое и беззаботное было время.

Е. А. Сабанеева. Воспоминания о былом. СПб., 1914, с. 92.

(Зимой 1826–1827 г.) Приветливо встретил меня Пушкин и показал живое участие к молодому писателю, без всякой литературной спеси или каких-либо следов протекций, потому что, хотя он и чувствовал всю высоту своего гения, но был чрезвычайно скромен в его заявлении. – Общим центром для литераторов и вообще для любителей всякого рода искусств, музыки, пения, живописи служил тогда блестящий дом княгини Зинаиды Волконской, урожденной княжны Белозерской.

Эта замечательная женщина, с остатками красоты и на склоне лет, хотела играть роль Коринны и действительно была нашей русскою Коринною. Она писала и прозою, и стихами. Все дышало грацией и поэзией в необыкновенной женщине, которая вполне посвятила себя искусству. По ее аристократическим связям собиралось в ее доме самое блестящее общество первопрестольной столицы; литераторы и художники обращались к ней, как бы к некоторому меценату. Страстная любительница музыки, она устроила у себя не только концерты, но и итальянскую оперу и являлась сама на сцене в роли Танкреда, поражая всех ловкою игрою и чудным голосом: трудно было найти равный ей контральто. В великолепных залах Белосельского дома оперы живые картины и маскарады часто повторялись во всю эту зиму, и каждое представление обставлено было с особенным вкусом, ибо княгиню постоянно окружали итальянцы. Тут же, в этих салонах, можно было встретить и все, что только было именитого на русском Парнасе. Часто бывал я на ее вечерах и маскарадах, и тут однажды, по

моей неловкости, случилось мне сломать руку колоссальной гипсовой статуи Аполлона, которая украшала театральную залу. Это навлекло мне злую эпиграмму Пушкина, который, не разобрав стихов, сейчас же написанных мною, в свое оправдание, на пьедестале статуи[87], думал прочесть в них, что я называю себя соперником Аполлона[88].

А. Н. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871, с. 11

Княгиня Зин. Ал. Волконская занимала Белосельский огромный дом на Тверской, против церкви св. Дмитрия Солунского... Ее салон был сборным местом художников и литературных знаменитостей... А. Н. Муравьев, тогда армейский драгунский молодой офицер... раз отломив нечаянно (упираю на это слово) руку у гипсового Аполлона на парадной лестнице Белосельского дома, тут же начертил какой-то акростих. Могу сказать, почти утвердительно, что А. С. Пушкина при том не было.

Гр. М. Д. Бутурлин. Записки. – Рус. Арх., 1887, т. II, с. 178.

Встречался я с Пушкиным довольно часто в салонах княгини Зинаиды Волконской. На этих вечерах любимую забавою молодежи была игра в шарады. Однажды Пушкин придумал слово; для второй части его нужно было представить переход евреев через Аравийскую пустыню. Пушкин взял себе красную шаль княгини и сказал нам, что он будет изображать «скалу в пустыне». Мы все были в недоумении от такого выбора: живой, остроумный Пушкин захотел вдруг изображать неподвижный, неодушевленный предмет. Пушкин взобрался на стол и покрылся шалью. Все зрители уселись, действие началось. Я играл Моисея. Когда я, по уговору, прикоснулся жезлом (роль жезла играл веер княгини) к скале, Пушкин вдруг высунул из-под шали горлышко бутылки, и струя воды с шумом полилась на пол. Раздался дружный хохот и зрителей, и действующих лиц. Пушкин соскочил быстро со стола, очутился в минуту возле княгини, а она, улыбаясь, взяла Пушкина за ухо и сказала: «Mauvais sujet que vous etes, Alexandre, d'avoir represante de la sorte le rocher!» («Этакий вы плутишка, Александр,

как вы изобразили скалу!»)

Л. Н. Обер. Мое знакомство с Пушкиным. – Рус. Курьер, 1880, № 158.

В Москве дом кн. Зинаиды Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества. Тут соединялись представители большого света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли. Бывали в нем чтения, концерты, дилетантами и любительницами представления итальянских опер. Посреди артистов и во главе их стояла сама хозяйка дома. Слышавшим ее нельзя было забыть впечатления, которое производила она своим полным и звучным контральто и одушевленную игрою в роли Танкреда в опере Россини.

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VII, с. 320.

Нужно отобрать суду показание от прикос-

новенного к делу А. Пушкина: им ли сочинены известные стихи, когда, с какой целью они сочинены, почему известно ему сделалось намерение злоумышленников, в стихах изъясненное, и кому от него сии стихи переданы. В случае же отрицательства, не известно ли ему, кем оные сочинены.

Комиссия военного суда, учрежденная лейб-гвардии при конноегерском полку (по делу Леопольдова, Молчанова и Алексеева), – в отношении своем к моск. обер-полицмейстеру, 13 янв. 1827 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XI, с. 27.

Призывал я к себе сочинителя А. Пушкина и требовал от него показание, но г-н Пушкин дал мне отзыв, что он не знает, о каких известных стихах идет дело, и просит их увидеть, и что не помнит стихов, могущих дать повод к заключению, почему известно ему сделалось намерение злоумышленников, в стихах изъясненных, по получении же оных он даст надлежащее показание.

А. С. Шульгин (моск. обер-полицмейстер) – Комиссии военного суда, 19 янв. 1827 г. – Там

же, с. 28.

Комиссия постановила послать к г. московскому обер-полицмейстеру список с имеющихся при деле стихов, в особо запечатанном от комиссии конверте на имя самого А. Пушкина и в собственные руки его; но с тем однако ж, дабы г. полицмейстер по получении им означенного конверта, не медля нисколько времени, отдал оный лично Пушкину и, по прочтении им тех стихов, приказал ему тотчас же оные запечатать в своем присутствии его, Пушкина, собственною печатью и таковою же другою своею; а потом сей конверт, а следующее от него, А. Пушкина, надлежащее показание по взятии у него не оставил бы, в самой наивозможной поспешности, доставить в сию комиссию при отношении.

Комиссия военного суда – А. С. Шульгину, 22 янв. 1827 г. – Там же, с. 29.

Я пригласил Пушкина к себе, отдал ему пакет лично, который им при мне и распечатан. По отобрании же от него, г. Пушкина, надлежащего показания, оное вместе с теми стиха-

ми запечатаны в присутствии моем его собственною печатью и таковою же моею в особый конверт, который при сем честь имею препроводить.

А. С. Шульгин – Комиссии военного суда, 27 янв. 1827 г. – Там же, с. 30.

(Стихи оказались не пропущенным цензурою отрывком из пушкинской элегии «Андрей Шенье», над которым кто-то надписал: «На 14 декабря».)

Сии стихи действительно сочинены мною. Они были написаны гораздо прежде последних мятежей и помещены в элегии *Андрей Шенье*, напечатанной с пропусками в собрании моих стихотворений. Они явно относятся к французской революции, коей А. Шенье погиб жертвою. *(Следует подробное объяснение отдельных стихов отрывка.)* Все сии стихи никак, без явной бессмыслицы, не могут относиться к 14 декабря. Не знаю, кто над ними поставил сие ошибочное заглавие. Не помню, кому мог я передать мою элегию А. Шенье. Для большей ясности повторяю, что стихи, известные под заглавием «14 декабря», суть от-

рывок из элегии, названной мною *Андрей Шенье*.

Александр Пушкин, 27 янв. 1827 г. Москва. – Там же, с. 31.

Просьба Н. О. Пушкиной (*матери поэта*), поданная летом 1826 года, лишь 4 января 1827 года была заслушана в заседании комиссии прошений, и постановлено было довести прошение Пушкиной до высочайшего сведения. Это было сделано 30 января 1827 г., при чем прошение Пушкиной при представлении его царю было изложено несколько иначе: «Надежда Пушкина, – читаем здесь, – изъясняя, что сын ее имел несчастье навлечь на себя гнев покойного государя императора, почему последовало высочайшее повеление жить ему в деревне, где находится уже третий год, одержим болезнью и без всякой помощи, но ныне, усматривая, что сознание ошибок и желание загладить поведением следы молодости успели остепенить ум и страсти, – просит о возвращении его к семейству по даровании прощения». – Прочтя подлинный доклад комиссии, Николай I поставил условный каран-

дашный знак его рассмотрения, а рукою докладчика статс-секретаря Н. М. Лонгинова сделана на докладе помета: «Высочайшего соизволения не последовало 30 января 1827 г.»

Б. Л. Модзалевский. Эпизод из жизни Пушкина. – Кр. Газета, 1927, № 34.

Зимой 1826–1827, по переезде в наш дом в Чернышевском переулке, я решился, по тогдашней моде, поднести Пушкину, вслед за прочими членами семейства, и мой альбом, недавно подаренный мне. То была небольшая книжка в 32-ю долю листа, в красном сафьяновом переплете; я просил Пушкина написать мне стихи. Дня три спустя Пушкин возвратил мне альбом, вписав в него:

*Душа моя, Павел!
Держись моих правил;
Люби то-то, то-то,
Не делай того-то.
Кажись, это ясно.
Прощай, мой прекрасный!*

Со времени написания стихов в мой альбом кличка моя в семействе стала: «душа моя Павел».

Здесь тоска по-прежнему. Наша съезжая в исправности – частный пристав Соболевский бранится и дерется по-прежнему, шпионы, драгуны, бл...и и пьяницы толкуются у нас с утра до вечера.

Пушкин – П. П. Каверину, 18 февр. 1827 г., из Москвы.

Это было в Москве. Пушкин, как известно, любил играть в карты, преимущественно в штосс. Играя однажды с А. М. Загряжским, Пушкин проиграл все бывшие у него деньги. Он предложил, в виде ставки, только что оконченную им пятую главу «Онегина». Ставка была принята, так как рукопись эта представляла собою тоже деньги, и очень большие (Пушкин получал по 25 руб. асс. за строку), – и Пушкин проиграл. Следующей ставкой была пара пистолетов, но здесь счастье перешло на сторону поэта: он отыграл и пистолеты, и рукопись, и еще выиграл тысячи полторы.

Н. П. Кичеев со слов А. М. Загряжского. –

Никакая игра не доставляет столь живых и разнообразных впечатлений, как карточная, потому что во время самых больших неудач надеешься на тем больший успех, или просто в величайшем проигрыше остается надежда, вероятность выигрыша. Это я слышал от страстных игроков, напр., от Пушкина (поэта)... Пушкин справедливо говорил мне однажды, что страсть к игре есть самая сильная из страстей.

Ал. Н. Вульф. Дневник. – Л. Н. Майков, с. 190, 211.

Всю зиму и почти всю весну Пушкин пробыл в Москве... Московская его жизнь была рядом забав и вместе рядом торжеств... Он вставал поздно после балов и, вообще, долгих вечеров, проводимых накануне. Приемная его уже была полна знакомых и посетителей, между которыми находился один пожилой человек, не принадлежавший к обществу Пушкина, но любимый им за прибаутки, при сказки, народные шутки. Он имел право вхо-

да к Пушкину во всякое время и платил ему своим добром за гостеприимство. В городской жизни, в ее шуме и волнении Пушкин был в настоящей своей сфере.

П. В. Анненков. Материалы, с. 167.

Москва приняла его с восторгом; везде его носили на руках. Он жил вместе с приятелем своим Соболевским на Собачьей Площадке... Здесь в 1827 г. читал он своего «Бориса Годунова»: вообще читал он чрезвычайно хорошо... В Москве объявил он свое живое сочувствие тогдашним молодым литераторам, в которых особенно привлекала его новая художественная теория Шеллинга, и под влиянием последней, проповедывавшей освобождение искусства, были написаны стихи «Чернь»... Пушкин очень любил играть в карты; между прочим, он употребил в плату карточного долга тысячу рублей, которую заплатил ему «Московский Вестник» за год его участия в нем.

С. П. Шевырев. Воспоминания о Пушкине. – Л. Н. Майков, с. 329.

В начале 1827 г. Пушкин жил в Москве. Тогда в Москве читал лекции о французской поэзии некто Декамп (обожатель В. Гюго и новейшей школы и отвергавший авторитеты Буало, Расина и проч.). Эти лекции читались в зале М. М. Солнцева, дяди Пушкина по Елизавете Львовне. А. П. Елагина по знакомству с Декампом взяла билет и ездила слушать. В самую первую лекцию она встретила там Пушкина, который подсел к ней и во все время чтения смеялся над бедным французом и при этом почти вслух. Это совсем уронило лекции. Декамп принужден был не закончить курса, и после долго в этом упрекали Пушкина.

П. И. Бартенев со слов А. П. Елагиной. – П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 54.

(17 февр. 1827 г.) В креслах (итальянской оперы) встретил я Пушкина... Я узнал от него о месте его жительства и на другой же день поехал его отыскивать... Он весь еще исполнен был молодой живости и вновь попался на разгульную жизнь; общество его не могло быть моим. Особенно не понравился мне хозяин его квартиры, некто Соболевский... На-

ходка был для него Пушкин, который так охотно давал тогда фамильярничать с собой: он поместил его у себя, потчевал славными завтраками, смешил своими холодными шутками и забавлял его всячески.

Ф. Ф. Вигель. Записки, т. VII, с. 134.

Разбор ваш «Памятника Муз» сокращен по настоящему требованию Пушкина. Вот его слова, повторяемые с дипломатической точностью: «Здесь есть много умного, справедливого, но автор не знает приличий; можно ли о Державине и Карамзине сказать, что «имена их возбуждают приятные воспоминания», что «с прискорбием видим ученические ошибки в Державине»: Державин все – Державин. Имя его нам уже дорого. Касательно живых писателей также не могу я, объявленный участником в журнале, согласиться на такие выражения. Я имею связи. Меня могут почесть согласным с мнением рецензента. И вообще – не должно говорить о Державине таким тоном, каким говорят об N. N., об S. S. Сим должен отличаться «Московский Вестник». Оставьте одно общее суждение». Мы спорили

во многом, но должны были уступить.

М. П. Погодин – кн. *В. Ф. Одоевскому*, 2 марта 1827 г., из Москвы. – Рус. Стар., 1904, № 3, с. 705.

Милый мой, на днях, рассердясь на тебя и на твое молчание, написал я Веневитинову суровое письмо. Извини: у нас была весна, оттепель, – и я ни слова от тебя не получал около двух месяцев – поневоле взбесишься. Теперь у нас опять мороз, весну дуру мы опять спровадили, от тебя письмо получено – все слава богу благополучно... Ты пеняешь мне за Моск. Вестник и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее; да что делать! собрались ребята теплые, упрямые: поп свое, а чорт свое. Я говорю: господа, охота вам из пустого в порожнее переливать, все это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями, но мы... Моск. Вестн. сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая? А время вещь такая, которую с никаким Вестником не стану я терять. Им же хуже, если они меня не слушают.

Пушкин – бар. *А. А. Дельвигу*, 2 марта 1827 г.

К Пушкину. Декламировал против философии, а я не мог возражать дельно и больше молчал, хотя очень уверен в нелепости им говоренного.

М. П. Погодин. Дневник, 4 марта 1827 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIX–XX, с. 84.

О поэте Пушкине сколько краткость времени позволила мне сделать разведание, – он принят во всех домах хорошо и, как кажется, не столько теперь занимается стихами, как карточной игрой, и променял Музу на Муху, которая теперь из всех игр в большой моде.

А. А. Волков (жандармский ген.) в донесении гр. А. Х. Бенкендорфу, 5 марта 1827 г. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайн. надзором, с. 35.

Зима наша хоть куда, т.е. – новая. Мороз, и снегу более теперь, нежели когда-либо, а были дни такие весенние, что я поэта Пушкина видал на бульваре в одном фраке.

А. Я. Булгаков – К. Я. Булгакову, 11 марта 1827 г., из Москвы. – Рус. Арх., 1901, т. II, с. 24.

Март. В субботу на Тверском я в первый раз увидел Пушкина; он туда пришел с Корсаковым, сел с несколькими знакомыми на скамейку и, когда мимо проходили советники гражданской палаты Зубков и Данзас, он подбежал к первому и сказал: «Что ты на меня не глядишь? Жить без тебя не могу». Зубков поцеловал его.

В. Ф. Щербаков. Из заметок о пребывании Пушкина в Москве. – Собр. соч. Пушкина под ред. П. А. Ефремова, т. VIII, с. 111.

Я часто выдаю Александра Пушкина: он бесподобен, когда не напускает на себя дури.

А. А. Муханов – Н. А. Муханову, 16 марта 1827 г., из Москвы. – Щукинский Сборник, т. IV, с. 127.

Судя по всему, что я слышал и видел, Пушкин здесь на розах. Его знает весь город, все им интересуются, отличнейшая молодежь собирается к нему, как древле к великому Арунту собирались все имевшие немного здравого смыслу в голове. Со всем тем, Пушкин ску-

чает! Так он мне сам сказал... Пушкин очень переменился и наружностью: страшные черные бакенбарды придали лицу его какое-то чертовское выражение; впрочем, он все тот же, – так же жив, скор и по-прежнему в одну минуту переходит от веселости и смеха к задумчивости и размышлению.

П. Л. Яковлев – А. Е. Измайлову, 21 марта 1827 г., из. Москвы. – Сборник памяти Л. Н. Майкова. СПб., 1902, с. 249.

В 1827 г., когда мы издавали «Московский Вестник», Пушкин дал мне напечатать эпиграмму: «Лук звенит» (на А. Н. Муравьева). Встретясь со мною через два дня по выходе книжки[89], он сказал мне: «А как бы нам не поплатиться за эпиграмму». – Почему? – «Я имею предсказание, что должен умереть от белого человека или от белой лошади. Муравьев может вызвать меня на дуэль, а он не только белый человек, но и лошадь».

М. П. Погодин. – Рус. Арх., 1870, с. 1947.

В 1827 году Пушкин учил меня боксировать по-английски, и я так пристрастился к

этому упражнению, что на детских балах вызывал желающих и нежелающих боксировать, последних вызывал даже действием во время самых танцев. Всеобщее негодование не могло поколебать во мне сознания поэтического геройства, из рук в руки переданного мне поэтом-героем Пушкиным. Последствия геройства были, однако, для меня тягостны: меня перестали возить на семейные праздники.

Пушкин научил меня еще и другой игре.

Мать моя запрещала мне даже касаться карт, опасаясь развития в будущем наследственной страсти к игре. Пушкин во время моей болезни научил меня играть в дурачки, употребив для того визитные карточки, накопившиеся в новый 1827 год. Тузы, короли, дамы и валеты козырные определялись Пушкиным, значение остальных не было определено, и эта-то неопределенность и составляла всю потеху: завязывались споры, чья визитная карточка бьет ходы противника. Мои настойчивые споры и цитаты в пользу первенства попавшихся в мои руки козырей потешали Пушкина, как ребенка.

Эти непедагогические забавы поэта объясняются его всегдашним взглядом на приличие. Пушкин неизменно в течение всей своей жизни утверждал, что все, что возбуждает смех, – позволительно и здорово, все, что разжигает страсти, – преступно и пагубно... Он так же искренно сочувствовал юношескому пылу страстей и юношескому брожению впечатлений, как и чистосердечно, ребячески забавлялся с ребенком.

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 511–513.

Княгиня Вяземская говорит, что Пушкин был у них в доме, как сын. Иногда, не заставая их дома, он уляжется на большой скамейке перед камином и дожидается их возвращения или возится с молодым князем Павлом. Раз княгиня застала, как они барахтались и плевали друг в друга.

П. И. Бартенев со слов кн. В. Ф. Вяземской. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 310.

Любила В. Ф. Вяземская вспоминать о Пушкине, с которым была в тесной дружбе, чуждой всяких церемоний. Бывало, зайдет к ней

поболтать, посидит и жалобным голосом попросит: «княгиня, позвольте уйти на суденышко!» и, получив разрешение, уходил к ней в спальню за ширмы.

С. Ш. (гр. С. Д. Шереметьев). Из семейной старины. – Старина и Новизна, кн. VI, с. 331,

Князь Вяземский, во время приезда Петра Андреевича Габбе в Москву, доставил ему случай познакомиться с Пушкиным. При входе Габбе к князю Вяземскому в гостиную, Пушкин, – как рассказывал мне Габбе, – увивался около супруги князя и других тут бывших дам. Князь, обменявшись со своим гостем приветами, обратился к Пушкину с приглашением на пару слов. Знакомство началось без представления одного другому, и это, кажется, показывало, что один, как либеральный поэт, а другой, как либеральная высокого ума личность, не должны были входить в расчет представлений, чем обыкновенно представляемый всегда становился ниже того, кому его представляют. Пушкин сел на лежанку камина, свеся одну ногу на угол лежанки, и, несколько согнувшись, принял участие в раз-

говоре стоявших подле него князя и Габбе. Речь пошла о недавно вышедшей какой-то поэме Языкова; князь находил в тех местах красоты, которыми Пушкин не сильно восхищался. Разговор продолжался с час, и Габбе убедился, что знаменитый наш народный поэт более гениальный, нежели ученый поэт,

Н. В. Веригин. Записки. – Рус. Стар., 1893, т. 78, с. 115.

Я знаком с Пушкиным, и мы часто встречаемся. Он в беседе очень остроумен и увлекателен; читал много и хорошо, хорошо знает новую литературу; о поэзии чистое и возвышенное понятие.

А. Мицкевич – Э. А. Одыньцу, в марте 1827 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. VII, с. 88.

В конце двадцатых годов в Москве славился радушием и гостеприимством дом кн. Александра Мих. и кн. Екат. Пав. Урусовых. Три дочери кн. Урусова, красавицы, справедливо считались украшением московского общества. Старшая из них, Мария, была замужем за гр. А. И. Мусиным-Пушкиным; вторая, Софья, вышла впоследствии за кн. Льва Рад-

живила, а третья была потом в замужестве за гр. Кутайсовым. Почти каждый день собирався у Урусовых тесный кружок друзей и знакомых, преимущественно молодых людей. Здесь бывал П. А. Муханов, блестящий адъютант знаменитого графа П. А. Толстого; сюда же постоянно являлся родственник кн. Урусовой, артиллерийский офицер В. Д. Соломирский, человек образованный, хорошо знавший английский язык, угрюмый поклонник поэзии Байрона и скромный продолжатель ему в стихах. Соломирский был весьма неравнодушен к одной из красавиц княжен Урусовых. В том же доме особенно часто появлялся весной 1827 г. Пушкин. Он, проводя почти каждый вечер у кн. Урусова, бывал весьма весел, остер и словоохотлив. В рассказах, импровизациях и шутках бывал в это время неистощимым. Между прочим, он увлекал присутствовавших прелестною передачею русских сказок. Бывало, все общество соберется вечерком кругом большого круглого стола, и Пушкин поразительно увлекательно переносит слушателей своих в фантастический мир, населенный ведьмами, домовыми, ле-

шими и пр. Материал, добытый им в долгое временное пребывание в деревне, разукрашаем был вымыслами его неистощимой фантазии, при чем Пушкин ловко подделывался под колорит народных сказаний. – Во время этих посещений Пушкин, еще по петербургской своей жизни бывший коротким приятелем Муханова, сблизился и с Соломирским. Пушкин подарил ему сочинения Байрона, сделав на книге надпись в весьма дружественных выражениях. Тем не менее ревнивый и крайне самолюбивый Соломирский, чем чаще сходил с Пушкиным у кн. Урусова, тем становился угрюмее и холоднее к своему приятелю. Особенное внимание, которое встречал Пушкин в этом семействе, и в особенности внимание молодой княжны, возбуждало в нем сильнейшую ревность. Однажды Пушкин, шутя и балагурия, рассказал что-то смешное о графине А. В. Бобринской. Соломирский, мрачно поглядывавший на Пушкина, по окончании рассказа счел нужным обидеться: – «Как вы смели отозваться неуважительно об этой особе? – задорно обратился он к Пушкину. – Я хорошо знаю графиню, это во

всех отношениях почтенная особа, и я не могу допустить оскорбительных об ней отзывов...» – «Зачем же вы не остановили меня, когда я только начинал рассказ? – отвечал Пушкин. – Почему вы мне не сказали раньше, что знакомы с граф. Бобринской? А то вы спокойно выслушали весь рассказ и потом каким-то донкихотом становитесь в защитники этой дамы и берете ее под свою протекцию». Вся эта сцена произошла в довольно тесном кружке обычных гостей кн. Урусова; тут же был и П. А. Муханов, передавший нам подробности происшествия. Затем разговор в тот же вечер не имел никаких последствий, и все разъехались по домам, не обратив на него никакого внимания. Но на другой же день рано утром на квартиру к Муханову является Пушкин. С обычною своею живостью он передал, что в это утро получил от Соломирского письменный вызов на дуэль и, ни минуты не мешкав, отвечал ему, письменно же, согласием, что у него был уже секундант Соломирского, А. В. Шереметев, и что он послал его для переговоров об условиях дуэли к нему, Муханову, которого и просит быть секундантом. – Толь-

ко что уехал Пушкин, к Муханову явился Шереметев. Муханов повел переговоры о мире. Но Шереметев, войдя серьезно в роль секунданта, требовал, чтобы Пушкин, если не будет драться, извинился перед Соломирским. (*Муханову долго пришлось убеждать Шереметева.*) Шереметев понял наконец, что эта история падет всем позором на головы секундантов в случае, если будет убит или ранен Пушкин, и что надо предотвратить эту роковую случайность и не подставлять лоб гениального поэта под пистолет взбалмошного офицера. Шереметев поспешил уговориться с Мухановым о средствах к примирению противников. В то же утро Шереметев привел Соломирского к С. А. Соболевскому, на Собачью Площадку, у которого жил в это время Пушкин. Сюда же пришел Муханов, и при дружных усилиях обоих секундантов и при посредничестве Соболевского, имевшего, по свидетельству Муханова, большое влияние на Пушкина, примирение состоялось. Подан был роскошный завтрак, и, с бокалами шампанского, противники, без всяких извинений и объяснений, протянули друг другу руки.

М. И. Семеvский со слов П. А. Муханова. К биографии Пушкина. – Рус. Вестн., 1869, № 11, с. 81–85. Ср.: Н. О. Лернер. – Рус. Стар., 1907, т. 131, с. 104 и Пушкин. Письма под ред. Б. Л. Модзалевского, т. II, с. 239.

«Княжне С. А. Урусовой» (впоследствии княгине Радзивил) (*«Не веровал я Троице доньне...»*). Не полагаю, чтобы эти стихи принадлежали Пушкину... Во всяком случае, не написаны они княжне Урусовой. Пушкин был влюблен в сестру ее, графиню Пушкину.

Кн. П. А. Вяземский. – Старина и Новизна, кн. VIII, с. 38.

Соболевский был недоволен приглаженными и припомаженными портретами Пушкина, какие тогда появлялись. Ему хотелось сохранить изображение поэта, как он есть, как он бывал чаще, и он просил известного художника Тропинина нарисовать ему Пушкина в домашнем его халате, растрепанного, с заветным мистическим перстнем на большом пальце. Кажись, дело шло также и об изображении какого-то ногтя на руке Пушки-

на, особенно отрощенного. Тропинин согласился. Пушкин стал ходить к нему.

Н. В. Берг со слов *В. А. Тропинина*. – Рус. Арх., 1871, с. 191.

Пушкин заказал Тропинину свой портрет, который и подарил Соболевскому. Этот портрет украли; он теперь у кн. Мих. Андр. Оболенского. Для себя Тропинин сделал настоящий эскиз, который после него достался Алексееву. После Алексеева был куплен Н. М. Смирновым, а после Смирнова (ок. 3 марта 1870 г.) подарила его Соболевскому. Апрель 1870 г.

С. А. Соболевский. Надпись на бумажном ярлыке на обороте этюда Тропинина к портрету Пушкина. – А. В. Лебедев. Пушкин в Третьяковской галерее. М., 1924, с. 12.

Одно время отличительным признаком всякого масона был длинный ноготь на мизинце. Такой ноготь носил и Пушкин; по этому ногтю узнал, что он масон, художник Тропинин, придя рисовать с него портрет. Тропинин передавал кн. М. А. Оболенскому, у кото-

рого этот портрет хранился, что когда он пришел писать и увидел на руке Пушкина ноготь, то сделал ему знак, на который Пушкин ему не ответил, а погрозил ему пальцем.

М. И. Пыляев. Старая Москва. СПб., 1891, с. 86.

Сходство (*тропининского*) портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта. Впрочем, физиогномия Пушкина, – столь определенная, выразительная, что всякий хороший живописец может схватить ее, – вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о нем истинное понятие.

Н. А. Полевой. – Моск. Телеграф, 1827, ч. XV, отд. 2, с. 33.

В доме Ушаковых Пушкин стал бывать с зимы 1826–1827 годов. Вскоре он сделался там своим человеком. «Пушкин, – записывает Н. С. Киселев, – ездил к Ушаковым часто, иногда во время дня заезжал раза три. Бывало, рас-

суждая о Пушкине, старый выездной лакей Ушаковых, Иван Евсеев, говаривал, что сочинители всё делают не по-людски: «Ну, что, прости господи, вчера он к мертвецам-то ездил? Ведь до рассвета прогулял на Ваганькове!» Это значило, что Ал. С-ч, уезжая вечером от Ушаковых, велел кучеру повернуть из ворот направо и что на рассвете видели карету его возвращающуюся обратно по Пресне. Часто приезжал он верхом, и если случалось ему быть на белой лошади, то всегда вспоминал слова какой-то известной петербургской предсказательницы (которую посетил он вместе с актером Сосницким и другими молодыми людьми), что он умрет или от белой лошади, или от белокурого человека – из-за жены. Кстати, об этом предсказании Пушкин рассказывал, что, когда он был возвращен из ссылки и в первый раз увидел императора Николая, он подумал: «не это ли – тот белокурый человек, от которого зависит его судьба?» Охотно беседовал Пушкин со старухой Ушаковой и часто просил ее диктовать ему известные ей русские народные песни и повторять их напевы. Еще более находил он удоволь-

ствия в обществе ее дочерей. Обе они были красавицы, отличались живым умом и чувством изящного.

Л. Н. Майков по записям Н. С. Киселева. – Л. Н. Майков, с. 361.

Екатерина Ушакова была в полном смысле красавица: блондинка с пепельными волосами, темно-голубыми глазами, роста среднего, густые косы нависли до колен, выражение лица очень умное. Она любила заниматься литературою. Много было у нее женихов; но по молодости лет она не спешила замуж. Старшая, Елизавета, вышла за С. Д. Киселева. – Является в Москву Пушкин, видит Екат. Ник. Ушакову в благородном собрании, влюбляется и знакомится. Завязывается полная сердечная дружба.

П. И. Бартенев. Записная книжка. – Рус. Арх., 1912, т. III, с. 300.

Вчера мы обедали у (Ушаковых), а сегодня ожидаем их к себе. Меньшая очень, очень хорошенькая, а старшая чрезвычайно интересуется мною, потому что, по-видимому, наш по-

эт, наш знаменитый Пушкин, намерен вручить ей судьбу жизни своей, ибо уж положил оружие свое у ног ее, т.е. сказать просто влюблен в нее. Это общая молва. Еще не выдавши их, я слышала, что Пушкин во все пребывания свое в Москве только и занимался что (*Ушаковою*): на балах, на гуляниях он говорил только с нею, а когда случалось, что в собрании (*Ушаковой*) нет, то Пушкин сидит целый вечер в углу задумавшись, и ничто уже не в силах развлечь его!.. Знакомство же с ними удостоверило меня в справедливости сих слухов. В их доме все напоминает о Пушкине: на столе найдете его сочинения, между нотами – «Черную шаль» и «Цыганскую песню», на фортепианах – его «Талисман» и «Копеечку» (?), в альбоме – несколько листочков картин, стихов и карикатур, а на языке беспрестанно вертится имя Пушкина.

Е. С. Теленева. Из дневника, 22 июня 1827 г. – Пушкин и его совр-ки, с. 121.

Семейные обстоятельства требуют моего присутствия в Петербурге: приемлю смелость просить на сие разрешения у вашего превосход-

ходительства.

Пушкин – гр. А. Х. Бенкендорфу, 24 апр. 1827 г., из Москвы.

Его величество, соизволяя на прибытие ваше в С.-Петербург, высочайше отозваться изволил, что не сомневается в том, что данное русским дворянином государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно будет в полном смысле сдержано.

Гр. А. Х. Бенкендорф – Пушкину, 3 мая 1827 г., из Петербурга. – Дела III Отдел., СПб., 1906, с. 49.

Москва неблагородно поступила с Пушкиным: после неумеренных похвал и лестных приемов охладели к нему, начали даже клеветать на него, взводить на него обвинения в ласкательстве, наушничестве и шпионстве перед государем. Это и было причиной, что он оставил Москву. – Шекспира (а равно Гете и Шиллера) он не читал в подлиннике, а во французском старом переводе, поправленном Гизо, но понимал его гениально. По-английски выучился он гораздо позже, в Петербурге,

и читал Вордсворта.

С. П. Шевырев. Воспоминания о Пушкине. –
Л. Н. Майков, с. 330.

(15 мая 1827 г.) Туманное небо – мелкий дождик. Обедню слушал в Страстном монастыре... Зашел к Погодину на завтрак, где я нашел Пушкина, К. Вяземского... За столом Пушкин с Баратынским написали на Шаликова след. по случаю рассказанного анекдота:

Князь Шаликов, газетчик наш печальный,

Элегию семье своей читал,

А козачок огарок свечки сальной

В руках со трепетом держал.

*Вдруг мальчик наш заплакал, за-
нищал.*

*«Вот, вот с кого пример берите,
дуры!»*

Он дочерям в восторге закричал,

—
*«Откройся мне, о милый сын на-
туры.*

*Ах! что слезой твой осребрило
взор?»*

*А тот ему: «Мне хочется на
двор!»*

И. М. Снегирев. Из дневника. – Пушкин и его совр-ки, вып. XVI, с. 50.

Погодин, делая прощанье Пушкину перед отъездом сего последнего из Москвы, пригласил многих литераторов и поэтов... Они все вместе составляли эпиграммы на кн. Шаликова. Между прочим был рассказан анекдот о последнем (эпиграмма: «Кн. Шаликов, газетчик наш печальный...»).

В. Ф. Щербаков. Из заметок о пребывании Пушкина в Москве. – Собр. соч. Пушкина под ред. П. А. Ефремова, т. VIII, с. 111.

16 мая 1827 г. Когда лег было спать, приехал Пушкин с Соболевским и увезли меня к Полевому на вечеринку.

И. М. Снегирев. Из дневника. – Пушкин и его совр-ки, вып. XVI, с. 52.

Пушкин и его сотрудники (по «Московскому Вестнику») бывали у Н. А. Полевого и при встрече казались добрыми приятелями. Весною 1827 года у брата был литературный вечер, где собрались все пишущие друзья и

недруги; ужинали, пировали всю ночь и разъехались уже утром. Пушкин казался председателем этого сборища и, попивая шампанское с сельтерской водой, рассказывал смешные анекдоты, читал свои непозволенные стихи, хохотал от резких сарказмов И. М. Снегирева, вспоминал шутливые стихи Дельвига, Баратынского и заставил последнего припомнить написанные им с Дельвигом когда-то рассказы о житье-бытье в Петербурге. Его особенно смешило то место, где в пошлых гексаметрах изображалось столько же вольное, сколько невольное убожество обоих поэтов, которые «в лавочку были должны, руки держали в карманах (перчаток они не имели!)»...

К. А. Полевой. Записки, с. 209.

Весною 1827 г. Пушкин спешил отправиться в Петербург, и мы были приглашены проводить его. Местом общего сборища для проведения была назначена дача С. А. Соболевского, близ Петровского дворца. В то время, вокруг исторического Петровского дворца, где несколько дней укрывался Наполеон от мос-

ковского пожара, было несколько старинных, очень незатейливых дач, стоявших отдельно одна от другой, а все остальное пространство, почти вплоть до заставы, было изрыто, заброшено или покрыто огородами и даже полями с хлебом. В эту-то пустыню, на дачу Соболевского, около вечера стали собираться знакомые и близкие Пушкина. Мы увидели там Мицкевича... Постепенно собралось много знакомых Пушкина, а он не являлся. Наконец приехал А. М. Муханов (А. А.) и объявил, что он был вместе с Пушкиным на гулянье в Марьиной роще (в этот день пришелся семик) и что поэт скоро приедет. Ужо поданы были свечи, когда он явился, рассеянный, невеселый, говорил не улыбаясь (что всегда показывало у него дурное расположение) и тотчас после ужина заторопился ехать. Коляска его была подана, и он, почти не сказавши никому ласкового слова, укатил в темноте ночи. Помню, что это произвело на всех неприятное впечатление. Некоторые объяснили дурное расположение Пушкина, рассказывая о неприятностях его по случаю дуэли, окончившейся не к славе поэта. В толстом панегирике

своём Пушкину г. Анненков умалчивает о подобных подробностях жизни его, заботясь только выставить поэта мудрым, непогрешительным, чуть не праведником.

К.А. Полевой. Записки, с. 210.

Александр Пушкин, отправляющийся ныне в ночь, доставит тебе это письмо. Постарайся с ним сблизиться; нельзя довольно оценить наслаждение быть с ним часто вместе, размышляя о впечатлениях, которые возбуждаются в нас его необычайными дарованиями. Он стократ занимательнее в мужском обществе, нежели в женском...

А. А. Муханов – И. А. Муханову, 19 мая 1827 г. из Москвы. – Щукинский Сборник, т. X, с. 353.

От переезда в Петербург до путешествия в Арзрум

Я познакомилась с Александром (Пушкиным), – он приехал вчера, и мы провели с ним день у его родителей. Сегодня вечером мы ожидаем его к себе, – он будет читать свою трагедию «Борис Годунов»... Я не знаю, любезен ли он в обществе, – вчера он был довольно скучен и ничего особенного не сказал: только читал прелестный отрывок из 5-й главы «Онегина»... Надобно было видеть радость матери Пушкина: она плакала, как ребенок, и всех нас растрогала. Мой муж также был на седьмом небе, – я думала, что их объятиям не будет конца.

Бар. С. М. Дельвиг (жена поэта) – А. Н. Семеновой, 25 мая 1827 г. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 207 (фр.-рус.).

Вот я провела с Пушкиным вечер, о чем я тебе говорила раньше. Он мне очень понравился, очень мил, мы с ним уже довольно коротко познакомились, Антон (ее муж) об этом очень старался, так как он любит Александра,

как брата.

Бар. С. М. Дельви́г – А. Н. Семеново́й, 29 мая 1827 г. – Б. Л. Модзале́вский. Там же.

Смирдин сказал о Пушкине: «Сочинил *Цыгане* – и продает ее, как *Цыган* – за 2 листа 8 рублей. Странно напечатано – несколько белых страниц между печатными».

Б. М. Фе́доров. Из дневника (май 1827 г.). – Рус. Библиофил, 1911, № 5, с. 32.

С Пушкиным я опять увиделась в Петербурге, в доме его родителей, куда он приехал из своей ссылки в 1827 г., прожив в Москве несколько месяцев. Он был тогда весел, но чего-то ему не доставало. Он как будто не был так доволен собою и другими, как в Тригорском и Михайловском... Он приехал в Петербург с богатым запасом выработанных мыслей. Тотчас по приезде он усердно начал писать, и мы его редко видели. Он жил в трактире Демута, его родители – на Фонтанке, у Семеновского моста... Мать его Надежда Осиповна, горячо любившая детей своих, гордилась им и была очень рада и счастлива, когда

он посещал их и оставался обедать. Она заманивала его к обеду печеным картофелем, до которого Пушкин был большой охотник. В год возвращения его из Михайловского именины свои (2 июня) праздновал он в доме родителей, в семейном кружку, и был очень мил. Я в этот день обедала у них и имела удовольствие слушать его любезности. После обеда Абр. Серг. Норов, подойдя ко мне с Пушкиным, сказал: «Неужели вы ему сегодня ничего не подарили, а он так много вам писал прекрасных стихов?» – «И в самом деле, – отвечала я, – мне бы надо подарить вам что-нибудь: вот вам кольцо моей матери, носите его на память обо мне». Он взял кольцо, надел на свою маленькую прекрасную ручку и сказал мне, что даст мне другое. – На другой день Пушкин привез мне обещанное кольцо с тремя бриллиантами и хотел было провести у меня несколько часов: но мне нужно было ехать с графинею Ивелич, и я предложила ему прокатиться к ней на лодке. Он согласился, и я опять увидела его почти таким же любезным, каким он бывал в Тригорском. Он шутил с лодочником, уговаривал его быть

осторожным и не утопить нас. Потом мы заговорили о Веневитинове, и он сказал: «Почему вы дали ему умереть? Он тоже был влюблен в вас, не правда ли?» На это я отвечала ему, что Веневитинов оказывал мне только нежное участие и дружбу и что сердце его давно уже принадлежало другой. Тут кстати я рассказала ему о наших беседах с Веневитиновым... Пушкин слушал внимательно, выражая только по временам досаду, что так рано умер чудный поэт. Вскоре мы пристали к берегу, и наша беседа кончилась.

А. П. Керн. Воспоминания. – Л. Н. Майков, с. 247–249.

(Летом 1827 г.) Когда я возвратился летом в Москву, я спросил Соболевского: «Какая могла быть причина, что Пушкин, оказавший мне столь много приязни, написал на меня такую злую эпиграмму» (*«Лук звенит, стрела трепещет»*). Соболевский отвечал: «Вам покажется странным мое объяснение, но это сущая правда: у Пушкина всегда была страсть испытывать будущее, и он обращался ко всякого рода гадальщицам. Одна из них предска-

зала ему, что он должен остерегаться высоко-го белокурого молодого человека, от которого придет ему смерть. Пушкин довольно суеверен, и потому, как только случай сведет его с человеком, имеющим все сии наружные свойства, ему сейчас приходит на мысль испытать: не это ли роковой человек? Он даже старается раздражать его, чтобы скорее иску-сить свою судьбу. Так случилось и с вами, хотя Пушкин к вам очень расположен».

А. Н. Муравьев. Знакомство с русскими поэ-тами. Киев, 1871, с. 14.

1827 года, в один из дней начала лета, я по-сетил бывшую тогда выставку художествен-ных произведений на Невском проспекте против Малой Морской в доме Таля. В это вре-мя была выставлена картина, присланная Карлом Брюлловым из Италии, известная под названием «Итальянское утро». Уже не в пер-вый раз я с безотчетно приятным наслажде-нием смотрел на эту картину. Странное чув-ство остановилось во мне. Казалось, я дышал каким-то мне дотоле неведомым воздухом. Что-то неизъяснимо приятное окружало ме-

ня. С таким чувством я вышел на улицу. Первые особы, мне встретившиеся, был барон Дельви́г и с ним под руку идущий, небольшого роста, смуглый и с курчавыми волосами. Я с Дельви́гом поздоровался, как с хорошо знакомым, и он меня спросил, разве я не знаю его (указывая на своего товарища). Получив от меня отрицательный ответ, он сказал: «Это – Пушкин». Тогда я, от души обрадовавшись, отнесся к Александру Сергеевичу, как уж несколько знакомому, ибо часто до приезда его виделся с его матерью Надеждой Осиповной и сестрою Ольгою Сергеевною. Одежда на нем была вовсе не петербургского покроя, в особенности же картуз престранного вида. Желая быть долее с Пушкиным, я вместе с ними пошел опять на выставку. Дельви́г подвел Пушкина прямо к «Итальянскому утру». Остановившись против этой картины, он долго оставался безмолвным и, не сводя с нее глаз, сказал:

– Странное дело, в нынешнее время живописцы приобрели манеру выводить из полотна предметы и в особенности фигуры; в Италии это искусство до такой степени утверди-

лось, что не признают того художником, кто не умеет этого делать.

И, вновь замолчав, смотрел на картину, отступил и сказал:

– Хм! Кисть, как перо: для одной – глаз, для другого – ухо. Виталии дошли до того, что копии с картин до того делают похожими, что, ставя одну оборот другой, не могут и лучшие знатоки отличить оригинала от копии. Да, это, как стихи, под известный каданс можно их наделать тысячи, и все они будут хороши. Я ударил об наковальню русского языка, и вышел стих, – и все начали писать хорошо.

В это время он взглянул на Дельвига, и тот с обычною своею скромностью и добродушием, потупя глаза, ответил: «Да».

А. С. Андреев. Встреча с Пушкиным. – Звенья. М.-Л.: Academia, 1933, т. II, с. 237.



Рис. 3

(8 июня 1827 г.) Я просидел у г-жи Керн до десяти часов вечера. Когда я уже прощался с нею, пришел поэт Пушкин. Это человек небольшого роста, на первый взгляд не представляющий из себя ничего особенного. Если смотреть на его лицо, начиная с подбородка, то тщетно будешь искать в нем, до самых глаз, выражения поэтического дара. Но глаза непременно остановят вас: в них вы увидите лучи того огня, которым согреты его стихи. Об обращении его и разговоре ничего не могу сказать, потому что я скоро ушел.

А. В. Никитенко. Моя повесть о самом себе. СПб., 1905, т. I, с. 168.

Александр (Пушкин) меня утешил и помирил с собой. Он явился таким добрым сыном, как я и не ожидал. Его приезд обрадовал меня и Сониньку (жена Дельвига). Она до слез была обрадована, я – до головной боли.

Бар. А. А. Дельвиг – П. А. Осиповой, 14 июня 1827 г. – Пушкин. Письма под ред. Б. Л. Модзалевского, т. II, с. 245.

Был у Карамзиных – виделся там с Пушки-

ным. Коля (сын Федорова) сидел на коленях его и читал ему его стихи.

Б. М. Федоров. Из дневника, июнь 1827 г. – Рус. Библиофил, 1911, № 5, с. 33.

Небольшая поэма Пушкина под названием *Цыгане*, только что напечатанная в Москве, в типографии Августа Семена, заслуживает особого внимания своей виньеткой, которая находится на обложке. Потрудитесь внимательно посмотреть на нее, дорогой генерал, и вы легко убедитесь, что было бы очень важно узнать наверное, кому принадлежит ее выбор, – автору или типографу, потому что трудно предположить, чтоб она была взята случайно. Я очень прошу вас сообщить мне ваши наблюдения, а также и результат ваших исследований по этому предмету (см. рис. 3).

Гр. А. Х. Бенкендорф – А. А. Волкову, 30 июня 1827 г. – Дела III Отдел., с. 260 (*фр.*).

Выбор виньетки достоверно принадлежит автору, который ее отметил в книге образцов типографских шрифтов, представленной ему г. Семеном; г. Пушкин нашел ее вполне подхо-

дящей к своей поэме. Впрочем, эта виньетка делалась не в Москве. Г. Семен получил ее из Парижа. Она имеется в Петербурге во многих типографиях, и вероятно, из того же источника. Г. Семен говорит, что употреблял уже эту виньетку два или три раза в заголовках трагедий.

А. А. Волков – гр. А. Х. Бенкендорфу, 6 июля 1827 г., из Москвы. – Там же, с. 261 (фр.).

Пушкин, после свидания со мной, говорил в Английском клубе с восторгом о Вашем Величестве и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье Вашего Величества. Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно.

Гр. А. Х. Бенкендорф в донесении имп. Николаю I, 12 июля 1827 г. – Старина и Новизна, т. VI, с. 6 (фр.).

Тайная полиция не упускала из виду поведение и связи графа Александра Завадовского, которого она имеет некоторое основание остерегаться. В политическом отношении по-

ка не замечено ничего, если не считать того, что несколько молодых ротозеев приходят к нему рассуждать и фрондировать, но – без каких-либо последствий. Главное занятие Завадовского в настоящее время – игра. Он нанял сельский домик на Выборгской Стороне. У Пфлуга, где почти каждый вечер собираются следующие господа: ...Пушкин, сочинитель, был там несколько раз. Он кажется очень изменившимся и занимается только финансами, стараясь продавать свои литературные произведения на выгодных условиях. Он живет в гостинице Демута, где его обыкновенно посещают: полковник Безобразов, поэт Баратынский, литератор Федоров и игроки Шихмаков и Остолопов. Во время дружеских излиятий он совершенно откровенно признается, что он никогда не натворил бы столько безумия и глупостей, если бы не находился под влиянием Александра Раевского, который по всем данным, собранным с разных сторон, должен быть человеком весьма опасным.

М. Я. фон-Фок в донесении гр. А. Х. Бенкендорфу, 13 июля 1827 г. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайн. надзором, с. 37 (фр.).

Пушкин любил веселую компанию молодых людей. У него было много приятелей между подростками и юнкерами. Около 1827 года в Петербурге водил он знакомство с гвардейскою молодежью и принимал деятельное участие в кутежах и попойках. Однажды пригласил он несколько человек в тогдашний ресторан Доминика и угощал их на славу. Входит граф Завадовский и, обращаясь к Пушкину, говорит: «Однако, Александр Сергеевич, видно, туго набит у вас бумажник!» – «Да ведь я богаче вас, – отвечает Пушкин, – вам приходится иной раз проживаться и ждать денег из деревень, а у меня доход постоянный с тридцати шести букв русской азбуки».

Кн. А. Ф. Голицын-Прозоровский по записи П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1888, т. III, с. 468.

Пушкина я вовсе не вижу, встречаю его иногда в клубе, он здесь в кругу шумном и веселом молодежи, в котором я не бываю; впрочем, мы сошлись с ним хорошо, не часто видимся, но видимся дружески, без церемоний... С Пушкина списал Кипренский портрет

необычайно похожий.

Н. А. Муханов – *А. А. Муханову*, 15 июля 1827 г., из Петербурга. – *Щукинский Сборник*, т. X, с. 354.

О. Кипренский жил в доме гр. Шереметевых на Фонтанке до своего последнего отъезда в Италию; предание добавляет, что в этом доме позировал ему для портрета *А. С. Пушкин*.

В. К. Станюкович. Фонтанный дом Шереметевых. – *Путеводитель*. Пг., Изд. Брокг.–Ефр. 1923, с. 8.

(Портрет кисти Кипренского.) Положение поэта не довольно хорошо придумано: оборот тела и глаз не свойствен Пушкину; драпировка умышленна; пушкинской простоты не видно; писан со всем достоинством живописи Кипренского.

(Н. В. Кукольник.) – *Художественная газета*, 1837, № 9–10, с. 160.

Лучший портрет сына моего есть тот, который написан Кипренским и гравирован Утки-

НЫМ.

С. Л. Пушкин. Замечания на т. наз. биограф. А. С. Пушкина. – Отеч. Зап., 1841, т. XV, особ. прилож., с. 4.

(На выставке картин в Академии Художеств.) Вот поэт Пушкин. Не смотрите на подпись: видел его хоть раз живого, вы тотчас признаете его пронизательные глаза и рот, которому недостает только беспрестанного вздрагивания: этот портрет писан Кипренским.

А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. I, с. 174.

Большую известность получил портрет Кипренского в сделанной с него гравюре Н. И. Уткина (известного профессора-гравера), изданный в 1827–29 гг. отчасти отдельно, отчасти в приложении к альманаху «Северные цветы» на 1828 г. и др. изд. Уткинская гравюра хотя и сделана по Кипренскому, но с многими отступлениями от оригинала: так, на гравюре не показано рук, есть отличия в изображении костюма (заметен край выреза

жилета, иначе представлен левый воротничок манишки), но главным образом отличается изображение лица. Шевелюра и баки выделаны тщательнее, с более натуральной передачей спиральных завитков; лицо представлено более удлинненным и немного более повернутым кпереди; скулы выступают более натурально; в глазах более выразительности, и смотрят они более кверху; нос имеет несколько иную форму, он вообще прямее, но спинка его на конце шире и загнутее, ноздри обозначены резче; выступление челюсти и губ показано явственнее. Отличия эти заслуживают внимания, так как Уткин работал при жизни поэта и видал его лично.

Д. Н. Анучин. Антропол. эскиз, с. 36.

Без сомнения, величайшая услуга, какую бы мог я оказать вам, это – держать Пушкина на узде, да не имею к тому способов. Дома он бывает только в девять часов утра, а я в это время иду на службу царскую; в гостях бывает только в клубе, куда входить не имею права, к тому же, с ним надо нянчиться, до чего я не охотник и не мастер... Дельвиг имеет влия-

ние на Пушкина.

В. П. Титов – М. П. Погодину, 18 июля 1827 г., из Петербурга. – *Н. П. Барсуков*, ч. 2, с. 71.

(Середина 1827 г.) Братья Критские с товарищами неоднократно совещались о ходе и развитии своего тайного общества и предполагали вербовать членов среди студенчества, а председателем, по предложению Михаила Критского, избрать А. С. Пушкина. На последнее возражал Лушников, говоря, что «Пушкин ныне предался большому свету и думает более о модах и остреньких стишках, нежели о благе отечества».

М. К. Лемке. Тайное общество братьев Критских (по данным архива III Отдел.). – *Былое*, 1906, июнь, с. 46.

Я в деревне и надеюсь много писать. В конце осени буду у вас. Вдохновения еще нет, покамест принялся я за прозу.

Пушкин – бар. А. А. Дельвигу, 31 июля 1827 г., из Михайловского.

(1827–1831 гг.) Никто не имел столько дру-

зей, сколько Пушкин, и, быв с ним очень близок, я знаю, что он вполне оценил сие счастье. Осенью он обыкновенно удалялся на два и три месяца в деревню, чтобы писать и не быть развлекаемым. В деревне он вел всегда одинаковую жизнь, весь день проводил в постеле с карандашом в руках, занимался иногда 12 часов в день, поутру освежался холодной ванною; перед обедом, несмотря даже на непогоду, скакал несколько верст верхом, и когда уставшая под вечер голова требовала отдыха, он играл один на бильярде или призывал с рассказами свою старую няню. Как скоро приезжал он в деревню и брался за перо, лихорадка переливалась в его жилы, и он писал, не зная ни дня, ни ночи. Так писал он, не покидая почти пера, каждую главу Онегина; так написал он почти без остановки Графа Нулина и Медного Всадника. Он писал всегда быстро, одним вдохновением, но иногда, недовольный некоторыми стихами, потом с гневом их марал, переправлял, ибо в его глазах редко какой-нибудь стих выражал вполне его мысль.

Н. М. Смирнов. Из памятных заметок. – Рус.

(16 сент. 1827 г.) Вчера обедал я у Пушкина в селе его матери, недавно бывшем еще местом его ссылки, куда он недавно приехал из Петербурга с намерением отдохнуть от рассеянной жизни столиц и чтобы писать на свободе (другие уверяют, что он приехал оттого, что проигрался). По шаткому крыльцу взошел я в ветхую хижину первенствующего поэта русского. В молдаванской красной шапочке и халате увидел я его за рабочим столом, на котором были разбросаны все принадлежности уборного столика поклонника моды; дружно также на нем лежали «Montesquien o Bibliotheque de campagne» с «Журналом Петра I»; виден был также Альфиери, ежемесячник Карамзина и изъяснение основ, скрывшееся в полдюжине русских альманахов; наконец две тетради в черном сафьяне остановили мое внимание на себе: мрачная их наружность заставила меня ожидать что-нибудь таинственного, особливо когда на большей из них я заметил полустертый масонский треугольник. Пушкин, заметив внимание мое к этой книге,

сказал мне, что она была счетною книгою ма-
сонского общества, а теперь пишет он в ней
стихи; в другой же книге показал он мне
только что написанные первые две главы ро-
мана в прозе, где главное лицо представляет
его прадед Ганнибал, сын абиссинского эми-
ра, похищенный турками, а из Константино-
поля русским посланником присланный в по-
дарок Петру I, который его сам воспитывал и
очень любил. Главная завязка этого романа
будет – как Пушкин говорит – неверность же-
ны сего арапа, которая родила ему белого ре-
бенка и за то была посажена в монастырь.
Вот историческая основа этого сочинения.
Мы пошли обедать, запивая рейнвейном
швейцарский сыр; рассказывал мне Пушкин,
как государь цензирует его книги; он хотел
мне показать «Годунова» с собственноручны-
ми его величества поправками. Высокому
цензору не понравились шутки старого мона-
ха с харчевницею. В «Стеньке Разине» не по-
шли стихи, где он говорит воеводе астрахан-
скому, хотевшему у него взять соболью шубу:
«Возьми с плеч шубу, да чтобы не было шу-
му». Смешно рассказывал Пушкин, как в

Москве цензировали его «Графа Нулина»: нашли, что неблагопристойно его сиятельство видеть в халате! На вопрос сочинителя, как же одеть, предложили сюртук. Кофта барыни показалась тоже соблазнительною, просили, чтобы он дал ей хотя салоп. Говоря о недостатках нашего частного и общественного воспитания, Пушкин сказал: «Я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро. Однако, я между прочим сказал, что должно подавить частное воспитание. Несмотря на то, мне вымыли голову».

Играя на бильярде, сказал Пушкин: «Удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей «Истории», говоря об Игоре, Святославе. Это героический период нашей истории. Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову – пером Курбского. Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уже можно писать и царствование Николая, и об 14-м декабря».

15 окт. 1827 г. – Вчерашний день был для меня замечателен: приехав в Боровичи в 12 час. утра, застал я проезжего в постели. Он метал банк гусарскому офицеру. Перед тем я обедал. При расплате недоставало мне 5 рублей, я поставил их на карту. Карта за картой, проиграл 1600. Я расплатился довольно сердито, взял займы двести рублей и уехал очень недоволен сам собой. На следующей станции нашел я Шиллерова «Духовидца»; но едва успел я прочитать первые страницы, как вдруг подъехали четыре тройки с фельдъегерем. Я вышел взглянуть на них. Один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черною бородою, во фризовой шинели... Увидев меня, он с живостью на меня взглянул; я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга – и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и

ругательством. Я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали.

Пушкин. Встреча с Кюхельбекером.

Отправлен я был сего месяца 12 числа в г. Динабург с государственными преступниками, и на пути приехав на станцию Залазы, вдруг бросился к преступнику Кюхельбекеру ехавший из Новоржева в С-Петербург некто г. Пушкин, начал после поцелуев с ним разговаривать. Я, видя сие, наипоспешнейше отправил как первого, так и тех двух за полверсты от станции, дабы не дать им разговаривать; а сам остался для написания подорожной и заплаты прогонов. Но г. Пушкин просил меня дать Кюхельбекеру денег; я в сем ему отказал. Тогда он, г. Пушкин, кричал и, угрожая мне, говорил, что по прибытии в Петербург в ту же минуту доложит его императорскому величеству как за недопущение распроститься с другом, так и дать ему на дорогу денег; сверх того не премину также сказать и генерал-адъютанту Бенкендорфу. Сам же г. Пушкин, между прочими угрозами, объявил мне, что он

посажен был в крепость и потом выпущен, почему я еще более препятствовал иметь ему сношение с арестантом; а преступник Кюхельбекер мне сказал: это тот Пушкин, который сочиняет.

Фельдъегерь *Подгорный* в рапорте дежурному ген. главного штаба *Потанову* 28 окт. 1827 г. – Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений. Берлин, Изд. Р. Вагнера, 1861, с. 192.

(Осень 1827 г.) Я познакомился с Пушкиным. Другой человек, как мне его описывали, и каковым он был прежде в самом деле. Скромн в суждениях, любезен в обществе и дитя по душе. Гусары испортили его в лице. Москва подбаловала, а несчастья и тихая здешняя жизнь его образумили.

Ф. В. Булгарин – В. А. Ушакову, 6 янв. 1828 г. – Щукинский Сборник, т. IX, с. 161.

На днях вышла третья глава «Онегина». Разговор Филиппьевны седой с Татьяной удивительно природен. Груша утверждает, что он списан с натуры.

Н. А. Муханов – А. А. Муханову, 31 окт. 1827 г.
– Там же, т. X, с. 356.

(Октябрь 1827 г.) Поэт Пушкин здесь (в Петербурге). Он редко бывает дома. Известный Соболевский возит его по трактирам, кормит и поит на свой счет. Соболевского прозвали *брюхом Пушкина*. Впрочем, сей последний ведет себя весьма благоразумно в отношении политическом.

М. Я. фон-Фок в донесении гр. А. Х. Бенкендорфу. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайн. надзором, с. 40.

Пушкина, после его возвращения из ссылки, я увидела в 1827 году, когда я уже была замужем за Каратыгиным. Это было на Малом театре (он находился на том самом месте, где теперь Александрийский). В тот вечер играли комедию Мариво «Обман в пользу любви», в переводе П. А. Катенина[90]. Он привел ко мне в уборную «кающегося грешника», как называл себя Пушкин. (См. *эпиграмму Пушкина на Колосову, 1819 г.*) «Размалеванные брови»... напомнила я ему, смеясь. – «Полно-

те, бога ради, – перебил он меня, конфузясь и целуя мою руку, – кто старое помянет, тому глаз вон! Позвольте мне взять с вас честное слово, что вы никогда не будете вспоминать о моей глупости, о моем мальчишестве?!» Слово было дано; мы вполне примирились.

А. М. Каратыгина-Колосова. Воспоминания. – Рус. Стар., 1880, т. 28, с. 571.

Мой разбор «Цыган» Пушкина (*напечатанный в № 10 «Моск. Телеграфа» за 1827 г.*) навлек или мог бы навлечь облачко на светлые мои с ним сношения. О том я долго не догадывался и узнал случайно, гораздо позднее. А. А. Муханов, тогда общий приятель наш, сказал мне однажды, что из слов, слышанных им от Пушкина, убедился он, что поэт не совсем доволен отзывом моим о поэме его... Между тем Пушкин сам ничего не говорил мне о своем неудовольствии: напротив, помнится мне, даже благодарил меня за статью. Взаимные отношения наши остались самыми дружественными. Он молчал, молчал и я, опасаясь дать словам Муханова вид сплетни. Мог я думать, что Пушкин забыл или изменил свое перво-

начальное впечатление, но Пушкин не был забывчив. В то самое время, когда между нами все обстояло благополучно, Пушкин однажды спрашивает меня в упор: может ли он напечатать следующую эпиграмму: «О чем, прозаик, ты хлопчешь?» Полагая, что вопрос его относится до цензуры, отвечаю, что не предвижу никакого с ее стороны препятствия. Между тем замечаю, что при этих словах моих лицо его вдруг вспыхнуло и озарилось краскою, обыкновенною в нем приметою какого-нибудь смущения или внутреннего сознания в неловкости положения своего. Тем кончилось. Уже после смерти Пушкина как-то припомнилась мне вся эта сцена; загадка нечаянно сама разгадалась передо мною, я понял, что этот *прозаик* – я, что Пушкин, легко оскорблявшийся, оскорбился некоторыми замечками в моей статье и, наконец, хотел узнать от меня, не оскорблюсь ли я сам напечатанием эпиграммы, которая сорвалась с пера его против меня. Досада его, что я, в невинности своей, не понял нападения, бросила в жар лицо его... Пушкин был вообще простодушен, уживчив и снисходителен, даже иногда

с излишеством... Я держался того мнения, что в литературе добрая, т.е. явная, ссора лучше худого, т.е. недобросовестного мира. Он, пока самого его не заденут, более был склонен мирволить и часто мирволил. Натура Пушкина более была открыта к сочувствиям, нежели к отвращениям. В нем было более любви, нежели негодования, более благоразумной терпимости и здоровой оценки действительности, нежели своевольного враждебного увлечения. На политическом поприще, если оно открылось бы перед ним, он, без сомнения, был бы либеральным консерватором, а не разрушающим либералом. Так наз. либеральная, молодая пора поэзии его не может служить опровержением слов моих... Многие из тогдашних стихов его были более отголоском того времени, нежели исповедью внутренних чувств и убеждений его. Он часто был Эолова арфа либерализма на пиршествах молодежи и отзывался теми веяниями, теми голосами, которые налетали на него. Не менее того он был искренен; но не был сектатором в убеждениях или предубеждениях своих, а тем более не был сектатором чужих предубежде-

ний. Он любил чистую свободу, как любить ее должно, но из того не следует, чтобы каждый свободолюбивый человек был непременно и готовым революционером. Политические сектаторы двадцатых годов очень это чувствовали. Многие из них были приятелями его, но они не находили в нем готового соумышленника и, к счастью его самого и России, оставили его в покое. Этому соображению и расчету их можно скорее приписать спасение Пушкина от крушений 25 года, нежели желанию, как многие думают, сберечь дарование его и будущую славу России. При всем добросердечии своем Пушкин был довольно злопамятен, и не столько по врожденному свойству и увлечению, сколько по расчету; он, так сказать, вменял себе в обязанность, поставил себе за правило помнить зло и не отпускать должникам своим. Кто был в долгу у него, или кого почитал он, что в долгу, тот, рано или поздно, расплачивался с ним, волею или неволею. Для подмоги памяти своей он держался в этом отношении бухгалтерского порядка: он вел письменный счет своим должникам настоящим или предполагаемым; он

выжидал только случая, когда удобнее взыскать недоимку. Он не спешил взысканием, но отметка *должен* не стиралась с имени. Это буквально было так. На лоскутках бумаги были записаны у него некоторые имена, ожидавшие очереди своей; иногда были уже заранее заготовлены про них отметки, как и когда взыскать долг, значившийся за тем или другим. Вероятно, так и мое имя было записано на подобном роковом лоскутке, и взыскание с меня было совершено известною эпиграммою. Таковы, по крайней мере, мои догадки, основанные на вышеприведенных обстоятельствах[91]. Но если Пушкин и был злопамятен, то разве мимоходом и беглым почерком пера напишет он эпиграмму, внесет кого-нибудь в свой «Евгений Онегин» или в послание, и дело кончено... В действиях, в поступках его не было и тени злопамятства, он никому не желал повредить.

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. I, с. 321–324.

Поэт Пушкин ведет себя отлично хорошо в политическом отношении. Он непритворно

любит государя и даже говорит, что ему обязан жизнью, ибо жизнь так ему наскучила в изгнании и вечных привязках, что он хотел умереть. Недавно был литературный обед, где шампанское и венгерское вино пробудили во всех искренность. Шутили много и смеялись и, к удивлению, в это время, когда прежде подшучивали над правительством, ныне хвалили государя откровенно и чистосердечно. Пушкин сказал: «меня должно прозвать или Николаем, или Николаевичем, ибо без него я бы не жил. Он дал мне жизнь и, что гораздо более, – свободу: виват!»

М. Я. фон-Фок в донесении гр. А. Х. Бенкендорфу в окт. 1827 г. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайн. надзором, с. 40.

(26 ноября 1827 г.) Я пошел во втором часу к барону Дельвигу. У него застал Ф. В. Булгарина и Ал. С. Пушкина. В беседе с ними я просидел до трех часов. Последнего я желал давно видеть и увидел маленькую белоглазую штучку, более мальчика и ветреного шалуна, чем мужа. Но его шутки, рассказы, критика – совершенно пиитические; мне не понрави-

лось только, что он считает «дрянью» Гнедичеву идиллию «Рыбаки».

И. А. Второв. Из дневника. М. Ф. де Пуль. Отец и сын. – Рус. Вестн., 1875, авг., с. 579.

Приехав в конце 27 года в Тверь, напитанный мнениями Пушкина и его образом обращения с женщинами, предпринял я сделать завоевание Кат. (*Кат. Ив. Гладковой-Вульф, двоюродной его сестры*). Слух о моих подвигах любовных давно уже дошел и в глушь берновскую. Кат. рассказывала мне, что она сначала боялась приезда моего, как бы и Пушкина. Столь же неопытный в практике, сколько знающий теоретик, я первые дни был застенчив с нею и волочился как 16-летний юноша.

Ал. Н. Вульф. Дневник. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXI–XXII, с. 87.

Пушкин был живой вулкан, внутренняя жизнь била из него огненным столбом. Теперь приостыл и, как обыкновенно водится около вулканов, окружен изобилием, цветом и плодами.

Ф. Н. Глинка – А. А. Ивановскому, 27 нояб. 1827 г., из Петрозаводска. – Рус. Стар., 1880, т. 63, апр., с. 123.

Государь цензуровал «Графа Нулина». У Пушкина сказано «урыйльник». Государь вычеркнул и написал «будильник»[92]. Это восхитило Пушкина. «Это замечание джентльмена. А где нам до будильника (урыйника?), я в Болдине завел горшок из-под каши и сам его полоскал с мылом, не посылать же в Нижний за этрусской вазой».

А. О. Смирнова (урожд. Россет). Автобиография, с. 182.

В день св. Николая (6 дек.) журналист Николай Греч давал обед для празднования своих именин и благополучного окончания грамматики. Гости было 62 человека: все литераторы, поэты, ученые и отличные любители словесности. Никогда не видывано прежде подобных явлений, чтоб столько умных людей, собравшись вместе и согрев головы вином, не говорили, по крайней мере, двухсмысленно о правительстве и не критиковали мер

оного. Теперь напротив только и слышны были анекдоты о правосудии государя, похвала новых указов и изъявление пламенного желания, чтобы государь выбрал себе достойных помощников в трудах... Под конец стола один из собеседников, взяв бокал в руки, пропел следующие забавные куплеты, относящиеся к положению Греча и его грамматики. (Четыре куплета, между прочим):

*В отчаяньи уж Греч наш был,
Грамматику чуть-чуть не съели:
Но царь эгидой осенил,
И все педанты присмирели.
И так, молитву сотворя,
Во-первых, здравие царя!*

Трудно вообразить, какое веселие произвели сии куплеты. Но приятнее всего было то, что куплеты государю повторены были всеми гостями с восторгом и несколько раз. Куплеты начали тотчас после стола списывать на многие руки. Пушкин был в восторге и беспрестанно напевал прохаживаясь:

*И так, молитву сотворя,
Во-первых, здравие царя!*

Он списал эти куплеты и повез к Карамзиной.

М. Я. фон-Фок в донесении гр. А. Х. Бенкендорфу, дек. 1837 г. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайн. надзором, с. 41.

Пушкин ежедневно у нас: и так не повесничает.

Е. А. Карамзина – И. И. Дмитриеву, 13 дек. 1827 г.[93] – Письма Карамзина к Дмитриеву, с. 230.

Зиму и весну 1827–1828 г. Пушкин очень часто видался с Дельвигом. По свидетельству жившего в то время у Дельвига родного его брата, Александра Антоновича, Пушкин бывал у них почти всякий вечер... Беседы происходили обыкновенно в кабинете Дельвига. Пушкин сидел на диване, по-турецки с ногами, Дельвиг подле него на кресле, а перед ним на столе лежала бумага и карандаш. Разговоры их нередко перемешивались экспромтами Пушкина, которые Дельвиг немедленно записывал, показывал Пушкину, а иногда, не показывая, отдавал в печать, так что Пушкин,

не придававший важности этим шуткам и немедленно забывавший их, уверял, что Дельвиг подписывает его фамилию под чужими стихами. Мы сомневаемся, однако ж, в справедливости последнего мнения, несмотря на свидетельство очевидца: Пушкин, всегда тщательно отделявший все свои произведения, вообще не любил экспромтов.

Литературные чтения в обществе, весьма обыкновенные в то время, особенно часто бывали у Дельвига. Стихотворения и прозаические статьи, присылавшиеся Дельвигу для помещения в его альманахе (*«Северные Цветы»*), прочитывались и обсуждались в этой приятельской беседе; здесь же обыкновенно читались новые произведения Пушкина, Баратынского и Жуковского. В один из таких вечеров Пушкин читал свою «Комедию о Царе Борисе и Гришке Отрепьеве». При чтении присутствовал и Мицкевич. По совету Дельвига и Мицкевича, Пушкин исключил из своей трагедии сцену между Григорием и злым чернецом, предшествовавшую сцене между Пименом и Григорием в Чудовом монастыре. Исключенная сцена, по мнению обоих поэтов,

ослабляла впечатление, производимое рассказом Пимена.

В. П. Гаевский. Дельвиг. – Современник, 1854, № 9, с. 12.

Пушкин в дружеском обществе был очень приятен... Дельвиг со всеми товарищами по лицу был одинаков в обращении, но Пушкин обращался с ними разное. С Дельвигом он был вполне дружен и слушался, когда Дельвиг его удерживал от излишней картежной игры и от слишком частого посещения знати, к чему Пушкин был очень склонен. С некоторыми же из своих товарищей лицеистов, в которых Пушкин не видел ничего замечательного, и в том числе с М. Л. Яковлевым, обходился несколько надменно, за что ему часто доставалось от Дельвига. Тогда Пушкин, видимо, на несколько времени изменял свой тон и с этими товарищами.

Бар. А. И. Дельвиг (племянник поэта Дельвига[94]). Мои воспоминания, т. I, с. 72.

Сознаюсь вам, что мое существование в Петербурге – достаточно глупое, и что я горю

желанием изменить его тем или другим образом. Не знаю, приеду ли я еще в Михайловское. Однако это было моим желанием. Петербургская суетня и шум стали мне совершенно невыносимыми, – я переносу их с нетерпением. Я предпочитаю ваш прекрасный сад и прекрасные берега Сороти. Вы видите, что мои вкусы еще недостаточно поэтичны, несмотря на скверную прозу моего нынешнего существования.

Пушкин – П. А. Осиповой, 24 янв. 1828 г., из Петербурга (фр.).

(У польского художника Ваньковича, в Петербурге.) Среди картин, развешенных по стенам, в глаза бросились два больших портрета, стоящих на мольбертах друг около друга. Одним из них был портрет Мицкевича в бурке, опирающегося на скалу, – портрет, который впоследствии сделается столь же популярным, как и сам Мицкевич. Рядом стоял второй портрет совершенно одинакового размера. Он изображал мужчину, закутанного в широкий плащ-альмавиву с клетчатой подкладкой и стоящего в созерцании и раздумье

под тенистым деревом. Лицо очень неприветливое, цвет его какой-то странный, но все же инстинктивно можно было угадать, что он естественный; черты лица мало интересные, тем более что портрет сделан был en face, лезущим в глаза; блики с тенями от дерева отчасти скользили по лицу, все это вместе составляло смотреть на полотно с некоторым отвращением. – «Кто это такой?» – спросил я. – «Да разве ты не знаешь? Это – Пушкин, и притом похожий, как две капли воды...» Тогда Ванькович обладал отрицательным даром портретиста, – схватывать сходство в ущерб лицу[95].

Д-р С. Моравский. Воспоминания. – Моск. Пушкинист, т. II, с. 255.

Формальное предложение отца моего (Н. И. Павлицева) встретило со стороны родителей Ольги Сергеевны (сестры Пушкина) решительный отказ, несмотря на красноречие Александра Сергеевича, Василия Львовича (Пушкиных) и Жуковского; Сергей Львович замахал руками, затопал ногами – и бог весть почему – даже расплакался, а Надежда Оси-

повна распорядилась весьма решительно: она приказала не пускать отца моего на порог. Этого мало: когда, две недели спустя, Надежда Осиповна увидела на бале отца, то запретила дочери с ним танцевать. Во время одной из фигур котильона отец сделал с нею тура два. Об этом доложили Над. Осиповне, забавлявшейся картами в соседней комнате. Та в негодовании выбежала и в присутствии общества, далеко не малочисленного, не задумалась толкнуть свою тридцатилетнюю дочь. Мать моя упала в обморок. Чаша переполнилась; Ольга Сергеевна не стерпела такой глубоко оскорбительной выходки и написала на другой же день моему отцу, что она согласна венчаться, никого не спрашивая. Это случилось во вторник, 24 января 1828 года, а на следующий день, 25 числа, в среду, в час пополудни, Ольга Сергеевна тихонько вышла из дома; у ворот ее ждал мой отец; они сели в сани, помчались в церковь св. Троицы Измайловского полка и обвенчались в присутствии четырех свидетелей – друзей жениха. После венца отец отвез супругу к родителям, а сам отправился на свою холостую квартиру. Рано

утром Ольга Сергеевна послала за братом Александром Сергеевичем, жившим особо, в Демутовой гостинице. Он тотчас приехал и, после трехчасовых переговоров с Надеждой Осиповной и Сергеем Львовичем, послал за моим отцом. Новобрачные упали к ногам родителей и получили прощение. Однако Надежда Осиповна до самой кончины своей относилась недружелюбно к зятю. — По этому случаю Александр Сергеевич сказал сестре: «Ты мне испортила моего Онегина: он должен был увезти Татьяну, а теперь... этого не сделает».

Л. Н. Павлищев. Воспоминания, с. 47–49.

Пушкина, Ольга Сергеевна, одним утром приходит к брату Александру и говорит ему: «Милый брат, поди скажи нашим общим родителям, что я вчера вышла замуж за... (не помню кого)». Брат удивился, немного рассердился, но, как умный человек, тотчас увидел, что худой мир лучше доброй ссоры, и понес известие к родителям. Сергею Львовичу сделалось дурно: привели цырульника пустить кровь, и Пушкин замечает, что отец его в бес-

памятстве горя поднял спор с цырюльником и начал учить его, как пускать кровь, но тем и кончил, а теперь все помирились.

В. А. Жуковский – А. А. Воейковой, 4 февр. 1828 г. – Н. В. Соловьев. История одной жизни. Пг., 1916, т. II, с. 65.

(26 янв. 1828 г.) В квартире Дельвига (сам он был тогда в отлучке) мы, вместе с Александром Сергеевичем, имели поручение от его матери, Надежды Осиповны, принять и благословить образом и хлебом новобрачных Павлищева и сестру Пушкина Ольгу. Мы отправились вместе с Александром Сергеевичем в старой фамильной карете его родителей на квартиру Дельвига, которая была приготовлена для новобрачных. Был январь месяц, мороз трещал страшный; Пушкин, всегда задумчивый и грустный в торжественных случаях, не прерывал молчания. Но вдруг, стараясь показаться веселым, вздумал заметить, что еще никогда не видел меня одну: «вот, однако, первый раз, как мы одни». Мне показалось, что эта фраза была внушена желанием скрыть свои размышления по случаю важно-

го события в жизни нежно любимой им сестры, а потому без лишних объяснений я сказала только, что этот необыкновенный случай отмечен сильным морозом. «Это правда, 27 градусов», – повторил Пушкин, плотнее закутавшись в шубу, и прижался в угол кареты. Так кончилась эта попытка завязать разговор и быть любезным. Она уже не возобновлялась во всю дорогу. На квартире новобрачных мы долго прождали молодых, молча прогуливаясь по освещенным комнатам, тоже весьма холодным, отчего я, несмотря на важность лица, мною представляемого (посаженой матери), оставалась, как ехала, в кацавейке. Несмотря на озабоченность, Пушкин и на этот раз был очень нежен, ласков со мною... Я заметила в этом и еще в нескольких других случаях, что в нем было до чрезвычайности развито чувство *благодарности*; самая малейшая услуга ему или кому-нибудь из его близких трогала его несказанно. Так, я помню, однажды потом батюшка мой, разговаривая с ним на этой же квартире Дельвига, коснулся этого события, т.е. свадьбы его сестры, мною нежно любимой, и сказал ему, указывая на

меня: «и эта дура, несмотря на морозную ночь, в одной почти рубашке побежала через Фонтанку». В это время Пушкин сидел рядом с отцом моим на диване, против меня, поджавши по своему обыкновению ноги, и, ничего не отвечая, быстро схватил мою руку и крепко поцеловал: красноречивый протест против шуточного обвинения сердечного порыва.

А. П. Керн. Воспоминания. – Л. Н. Майков, с. 293; Пушкин и его совр-ки, с. 143–144 (сводный текст).

Вы... утешили скуку моего заточения. Все возможные заботы, огорчения, неприятности и т.д. удерживали меня больше, чем когда-либо, вдалеке от света... Я сам был болен... Я скучаю, не имея даже развлечения хотя бы в физической боли.

Пушкин – Е. М. Хитрово, 6(?) февр. 1828 г. – Письма Пушкина к Е. М. Хитрово. Труды Пушкинского Дома, 1927, с. 2 (фр.).

Такой скучный больной, как я, не заслуживает вовсе такой любезной сиделки, как вы...

Я еще немного хромаю и боюсь лестниц, – до сих пор я не позволяю себе подниматься выше первого этажа.

Пушкин – Е. М. Хитрово, 10(?) февр. 1828 г. – Там же, с. 3 (фр.).

Это можно распространять, но нельзя печатать.

Николай I. Надпись на переданном ему гр. А. Х. Бенкендорфом стих. Пушкина «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю...»). – Дела III Отдел., с. 66 (фр.).

Пушкин! известный уже сочинитель! который, не взирая на благосклонность Государя! Много уже выпустил своих сочинений! как стихами, так и прозой!! колких для правительствующих даже, и к Государю! Имеет знакомство с Жулковским! у которого бывает почти ежедневно!!! К примеру вышесказанного, есть оно сочинение под названием Таня! которая будто уже и напечатана в Северной Пчеле!! Средство же имеет к выпуску чрез благосклонность Жуковского!!

Секретный агент III Отдел. – М. Я. фон-Фо-

ку, в февр. 1828 г. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайн. надзором, с. 42.

(При посылке «Северных Цветов» за 1828 год с портретом Пушкина раб. Кипренского, грав. Уткиным.) – Вот тебе наш милый, добрый Пушкин. Его портрет поразительно похож, как будто ты видишь его самого. Как бы ты его полюбила, ежели бы видела его, как я, всякий день. Это человек, который выигрывает, когда его узнаешь.

Бар. С. М. Дельвиг – А. Н. Семеновой, 9 февр. 1828 г. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 216 (*фр.-рус.*).

В первое время по приезде в Петербург (приехал в марте 1828 г.) я жил в гостинице «Демут», где обыкновенно квартировал А. С. Пушкин. Я каждое утро заходил к нему, потому что он встречал меня очень любезно и привлекал к себе своими разговорами и рассказами. Как-то в разговоре с ним я спросил у него, – знакомиться ли мне с издателями «Северной Пчелы» (Булгариным и Гречем)? – А почему же нет? – отвечал, не задумываясь,

Пушкин. «Чем они хуже других? Я нахожу в них людей умных. Для вас они будут особенно любопытны!» Тут он вошел в некоторые подробности, которые показали мне, что он говорит искренно.

О Пушкине любопытны все подробности, и потому я посвящу ему здесь несколько страниц. Жил он в гостинице Демута, где занимал бедный номер, состоявший из двух комнат, и вел жизнь странную. Оставаясь дома все утро, начинавшееся у него поздно, он, когда был один, читал, лежа в постели, а когда к нему приходил гость, он вставал с своей постели, усаживался за столик с туалетными принадлежностями и, разговаривая, обыкновенно чистил, обтачивал и приглаживал свои ногти, такие длинные, что их можно назвать когтями. Иногда заставлял я его за другим столиком – карточным, обыкновенно с каким-нибудь неведомым мне господином, и тогда разговаривать было нельзя; после нескольких слов я уходил, оставляя его продолжать игру. Известно, что он вел довольно сильную игру и чаще всего продувался в пух! Жалко бывало смотреть на этого необыкновенного челове-

ка, распаленного грубою и глупою страстью! Зато он был удивительно умен и приятен в разговоре, касавшемся всего, что может занимать образованный ум. Многие его замечания и суждения невольно врезывались в памяти. Говоря о своем авторском самолюбии, он сказал мне: – «Когда читаю похвалы моим сочинениям, я остаюсь равнодушен: я не дорожу ими; но злая критика, даже бестолковая, раздражает меня». Я заметил ему, что этим доказывается неравнодушие его к похвалам. – «Нет, а может быть, авторское самолюбие?» – отвечал он, смеясь. В нем пробудилась досада, когда он вспомнил о критике одного из своих сочинений, напечатанной в «Атенее». Он сказал мне, что даже написал возражение на эту критику, но не решился напечатать свое возражение и бросил его. Однако он отыскал клочки синей бумаги, на которой оно было написано, и прочел мне кое-что. Это было, собственно, не возражение, а насмешливое и очень остроумное согласие с глупыми замечаниями его рецензента, которого обличал он в противоречии и невежестве, по-видимому, соглашаясь с ним. Я угова-

ривал Пушкина напечатать остроумную его отповедь «Атенею», но он не согласился, говоря: «Никогда и ни на одну критику моих сочинений я не напечатаю возражения; но не отказываюсь писать в этом роде на утеху себе».

Вообще, как критик, он был умнее на словах, нежели на бумаге. Иногда вырывались у него чрезвычайно меткие, остроумные замечания, которые были бы некстати в печатной критике, но в разговоре поражали своею истиною. Рассуждая о стихотворных переводах Вронченки, производивших тогда впечатление своими неотъемлемыми достоинствами, он сказал: «Да, они хороши, потому что дают понятие о подлиннике своем; но та беда, что к каждому стиху Вронченки привешана гирька!»

Увидевши меня по приезде моем из Москвы, когда были изданы две новые главы «Онегина», Пушкин желал знать, как встретили их в Москве. Я отвечал: «Говорят, что вы повторяете себя: нашли, что у вас два раза упомянуто о битье мух». — Он расхохотался, однако спросил: — «Нет? в самом деле говорят это?» — «Я передаю вам не свое замечание; скажу

больше: я слышал это из уст дамы». – «А ведь это очень живое замечание, в Москве редко услышишь подобное», – прибавил он.

Самолюбие его проглядывало во всем. Он хотел быть прежде всего светским человеком, принадлежащим к аристократическому кругу; высокое дарование увлекало его в другой мир, и тогда он выражал свое презрение к черни, которая гнездится, конечно, не в одних рядах мужиков. Эта борьба двух противоположных стремлений заставляла его по временам покидать столичную жизнь и в деревне свободно предаваться той деятельности, для которой он был рожден. Но дурное воспитание и привычка опять выманивали его в омут бурной жизни, только отчасти светской. Он ошибался, полагая, будто в светском обществе принимали его, как законного сочлена; напротив, там глядели на него, как на приятного гостя из другой сферы жизни, как на артиста, своего рода Листа или Серве. Светская молодежь любила с ним покутить и поиграть в азартные игры, а это было для него источником бесчисленных неприятностей, так что он вечно был в раздражении, не находя или

не умея занять настоящего места. Очень заметно было, что он хотел и в качестве поэта играть роль Байрона, которому подражал не в одних своих стихотворениях... Пушкин, кроме претензии на аристократство и несомненных успехов в разгульной жизни, считал себя отличным танцором и наездником.

В 1828 году Пушкин был уже далеко не юноша, тем более, что, после бурных годов первой молодости и тяжких болезней, он казался по наружности истощенным и увядшим; резкие морщины виднелись на его лице; но он все еще хотел казаться юношею. Раз как-то, не помню, по какому обороту разговора, я произнес стих его, говоря о нем самом:

Ужель мне точно тридцать лет?

Он тотчас возразил: «Нет, нет! У меня сказано: Ужель мне *скоро* тридцать лет? Я жду этого рокового термина, а теперь еще не прощаюсь с юностью». Надобно заметить, что до *рокового термина* оставалось несколько месяцев! Кажется, в этот же раз я сказал, что в сочинениях его встречается иногда такая искренняя веселость, какой нет ни в одном из

наших поэтов. Он отвечал, что в основании характер его – грустный, меланхолический, и если иногда он бывает в веселом расположении, то редко и недолго. Мне кажется и теперь, что он ошибался, так определяя свой характер. Ни один глубокочувствующий человек не может быть всегда веселым и гораздо чаще бывает грустен. Однако человек, не умерший душою, приходит и в светлое, веселое расположение. Пушкин, как пламенный лирический поэт, был способен увлекаться всеми сильными ощущениями, и, когда предавался веселости, то предавался ей, как неспособны к тому другие. В доказательство можно указать на многие стихотворения Пушкина из всех эпох его жизни. Человек грустного, меланхолического характера не был бы способен к тому.

Однажды я был у него вместе с Пав. Петр. Свиньиным. Пушкин, как увидел я из разговора, сердился на Свиньина за то, что очень неловко и некстати тот вздумал где-то на балу рекомендовать его славной тогда своей красотой и любезностью девице Л. Нельзя было оскорбить Пушкина более, как рекомендуя

его знаменитым поэтом; а Свиньин сделал эту глупость. За то поэт и отплатил ему, как я был свидетелем, очень зло. Кроме того, что он горячо выговаривал ему и просил вперед не принимать труда знакомить его с кем бы то ни было, Пушкин, поуспокоившись, навел разговор на приключения Свиньи́на в Бессарабии, где тот был с важным поручением от правительства, но поступал так, что его удалили от всяких занятий по службе, Пушкин стал расспрашивать его об этом очень ловко и смело, так что несчастный Свиньин вертелся, как береста на огне. «С чего же взяли, – спрашивал он у него, – что будто вы въезжали в Яссы с торжественною процессиею, верхом, с многочисленною свитой, и внушили такое почтение молдавским и валахским боярам, что они поднесли вам сто тысяч серебряных рублей?» – «Сказки, милый Александр Сергеевич, сказки! Ну, стоит ли повторять такой вздор!» – «Ну, а ведь вам подарили шубы?» – спрашивал опять Пушкин и такими вопросами преследовал Свиньи́на довольно долго, представляя себя любопытствующим, тогда как знал, что речь о бессарабских при-

ключениях была для Свиньина – нож острый!

Уважение Пушкина к поэтическому гению Мицкевича можно видеть из слов его, сказанных мне в 1828 году, когда и Мицкевич, и Пушкин жили оба уже в Петербурге... Невольно увлекшись в похвалы Мицкевичу, Пушкин сказал, между прочим: «Недавно Жуковский говорит мне: знаешь ли, брат, ведь он заткнет тебя за пояс. Ты не так говоришь, – отвечал я, – он уже *заткнул меня*». – У Пушкина был рукописный подстрочный перевод «Конрада Валенрода», потому что наш поэт, восхищенный красотами подлинника, хотел, в изъявление своей дружбы к Мицкевичу, перевести всего «Валенрода». Он сделал попытку, перевел начало, но увидел, как говорил он сам, что не *умеет* переводить, т.е. не умеет подчинить себя тяжелой работе переводчика.

К. А. Полевой. Записки, с. 171–174, 268, 273–277.

Однажды мой старый друг Мицкевич, переехавший из Москвы в Петербург на постоянное жительство, пригласил меня на обед в Екатерингофском вокзале. Я поехал. Войдя

В зал, я застал уже там и амфитриона, и несколько человек гостей, из которых один, стоявший так, что на него падал свет, сразу же обратил на себя мое внимание сходством с портретом, который я незадолго до того видел у Ваньковича. Это был Пушкин. Мицкевич тотчас познакомил нас. Этот обед он давал своим московским друзьям, а заодно позвал и петербургских литераторов. Тут были: князь Вяземский, Дельвиг, Муханов, Полевой, приехавший на несколько дней из Москвы, и много других. Из поляков были только Францишек Малевский и я. Я не спускал глаз с Пушкина, сидевшего против меня. Небрежность его одежды, растрепанные (он немного был плешив) волосы и бакенбарды, искривленные в противоположные стороны подошвы и в особенности каблук свидетельствовали не только о недостатке внимания к себе, но и о неряшестве. Мицкевич также не любил щегольства, но в небрежности его заметно было достоинство, благородство, что-то высокое. Цветом лица Пушкин отличался от остальных. Объяснялось это тем, что в его жилах текла арапская кровь Ганнибала, которая да-

же через несколько поколений примешала свою сажу к нашему славянскому молоку.

Беседа была веселая, непринужденная. Очень мало говорили о науке, кое-что о литературе и поэзии, впрочем, без присущего литераторам злословия, немножко городских сплетен, больше о театре. С тем и разошлись после тонкого, со вкусом составленного обеда. С тех пор я часто встречал Пушкина. За исключением одного раза, на балу, никогда я его не видел в нестоптанных сапогах. Манер у него не было никаких. Вообще держал он себя так, что я никогда бы не догадался, что это Пушкин, что это дворянин древнего рода. В обращении он был очень приветлив. Роста был небольшого; идя, неловко волочил ноги, и походка у него была неуклюжая. Все портреты его, в общем, похожи, но несколько приукрашены. Его речь отличалась плавностью, в ней часто мелькали грубые выражения. Когда мне случалось немножко побыть с ним, я неизменно чувствовал, что мне трудно было бы привязаться к нему, как к человеку. В то время вся столичная публика относилась к нему с необыкновенным энтузиазмом, восхи-

щением, восторгом.

Д-р *Станислав Моравский*. Воспоминания. – Кр. Газета, 1928, № 318 (пол.).

Демутов трактир до наших дней не сохранился, и петербуржец, проходя по набережной Мойки, мимо дома № 24, где красуется вывеска ресторана Донона, и не подозревает, что этот ресторан существует на месте Демутова трактира... Купец Демут приобрел сквозной участок с Мойки на Конюшенную улицу и в 1796 году построил на Конюшенной улице новый каменный, на сводах, дом. Гостиница Демут или, как ее тогда звали, трактир Демутов, была, особенно по тому времени, значительная, число номеров превышало несколько десятков... В трактире была и большая зала, в которой устраивали аукционы и концерты. В 1823 г. дом Демута перешел к метрдотелю Рекету, а с конца 20-х или начала 30-х годов стал принадлежать купцам Калугиным, сохраняя долгое время старое прозвище Демутов Трактир.

П. Зет (П. Н. Столпянский). В старом Петербурге. – Новое Время, 1912, № 12889.

Ты ничего не пишешь мне о 2100 р., мною тебе должных, а пишешь о М-de Керн, которую с помощью божьей (...).

Пушкин – С. А. Соболевскому, в конце марта 1828 г., из Петербурга.

(Псковский помещик И. Е. Великопольский, мало даровитый поэт и страстный картежный игрок, выпустил в свет стихотворную «Сатиру на игроков», в которой живописал страшные последствия картежной игры. Пушкин напечатал в болгаринской «Северной Пчеле» «Послание к В., сочинителю Сатиры на игроков», где высмеивал проповедников, учащих свет тому, в чем сами грешны:

*Некто мой сосед,
На игроков, как ты, однажды
Сатиру злую написал
И другу с жаром прочитал.
Ему в ответ его приятель
Взял карты, молча стасовал,
Дал снять, и нравственный писа-
тель
Всю ночь, увы! понтировал.
Тебе знаком ли сей проказник?*

и т. д.

Великопольский написал стихотворный ответ Пушкину и отправил его Булгарину для помещения в «Северной Пчеле». Булгарин передал стихи Пушкину с запросом, согласен ли он на их напечатание.)

Булгарин показал мне очень милые ваши стансы ко мне в ответ на мою шутку. Он сказал мне, что цензура не пропускает их, как личность, без моего согласия. К сожалению, я не могу согласиться:

*Глава Онегина вторая
Съезжала скромно на тузе —*

и ваше примечание – конечно, личность и неприличность. И вся станса недостойна вашего пера. Мне кажется, что вы немножко мною недовольны. Правда ли? По крайней мере, отзывается чем-то горьким ваше последнее стихотворение. Неужели вы хотите со мною поссориться не на шутку и заставить меня, вашего миролюбивого друга, включить неприязненные строфы в восьмую главу Онегина? N.B. Я не проигрывал второй главы, а ее

экземплярами заплатил свой долг, так точно, как вы заплатили мне свой – родительскими алмазами и 35-ю томами энциклопедии. Что, если напечатать мне сие благонамеренное возражение? Но я надеюсь, что я не потерял вашего дружества и что мы при первом свидании мирно примемся за карты и за стихи.

Пушкин – И. Е. Великопольскому, в конце марта – нач. апр. 1828 г., из Петербурга[96].

Сегодня праздник Преполовления, праздник в крепости. В хороший день Нева усеяна яликами, ботиками и катерами, которые перевозят народ. Сегодня и праздник ранее, и день холодный, и лед шел по Неве из Ладожского озера, т.е. не льдины, а льдинки, но однако же народу было довольно. Мы сядились с Пушкиным в лодочку, две дамы сходят, и одна по-французски просит у нас позволения ехать с нами, от страха ехать одним. Мы, разумеется, позволяем. Что же выходит? Это была сводня с девкою. Сводня узнала Пушкина по портрету его, выставленному в Академии. И вот как русский бог подшутил над нашим набожным и поэтическим странствием. У

пристани крепости расстались мы avec notre vile prose (с нашей низкой прозой), у которой однако же Пушкин просил позволения быть в гостях, и пошли бродить по крепости и бродили часа два. Крестный ход обходит все стены крепости, и народ валит за ним... Много странного и мрачно и грозно-поэтического в этой прогулке по крепостным валам и по головам сидящих внизу в казематах. Мы с Пушкиным, встреча с девкою в розовом капоте, недавно приехавшей из Франкфурта, и прочее, и прочее, все это послужить может для любопытной главы в записках наших.

Вчера немного восплясовали мы у Олениных. Ничего, потому что никого замечательного не было. Девушка Оленина довольно бойкая штучка. Пушкин называет ее «драгунчиком» и за этим драгунчиком ухаживает.

Кн. П. А. Вяземский – В. Ф. Вяземской, 18 апр. 1828 г. – Лит.-худ. сб. Кр. Панорамы, 1929, нояб., с. 48.

Здесь Пушкин ведет жизнь самую рассеянную, и Петербург мог бы погубить его. Ратная жизнь переварит его и напаяет воображе-

ние существенностью. До сей поры главная поэзия его заключалась в нем самом. Онегин хорош Пушкиным, но, как создание, оно слабо.

Кн. П. А. Вяземский – А. И. Тургеневу, 18 апр. 1828 г., из Петербурга. – Арх. бр. Тургеневых, Пг., 1921, вып. VI, с. 65.

Вы говорите, что писатель Пушкин и князь Вяземский просят о дозволении следовать за главной императорской квартирой. Поверьте мне, любезный генерал, что, ввиду прежнего их поведения, как бы они ни старались выказать теперь свою преданность службе его величества, они не принадлежат к числу тех, на кого можно бы было в чем-нибудь положиться; точно также нельзя полагаться на людей, которые придерживались одинаких с ними принципов и число которых перестало увеличиваться лишь благодаря бдительности правительства.

Вел. кн. Константин Павлович – гр. А. Х. Бенкендорфу, 14 апреля 1828 г., из Варшавы. – Рус. Арх., 1884, т. II, с. 319 (*фр.*).

Началась турецкая война. Пушкин пришел к Бенкендорфу проситься волонтером в армию. Бенкендорф отвечал ему, что государь строго запретил, чтобы в действующей армии находился кто-либо, не принадлежащий к ее составу, но при этом благосклонно предложил средство участвовать в походе: хотите, сказал он, я определяю вас в мою канцелярию и возьму с собою? Пушкину предлагали служить в канцелярии 3-го Отделения!

Н. В. Путьята. Из записной книжки. – Рус. Арх., 1899, т. I, с. 351.

В половине апреля 1828 года Пушкин обратился к А. Х. Бенкендорфу с просьбою об исхodataйствовании у государя милости к определению его в турецкую армию. Когда ген. Бенкендорф объявил Пушкину, что его величество не изъявил на это соизволения, Пушкин впал в болезненное отчаяние, сон и аппетит оставили его, желчь сильно разлилась в нем, и он опасно занемог. *(21 апреля, накануне заболевания, он написал Бенкендорфу письмо, в котором просился в Париж. Бенкендорф поручил автору, знакомому с Пушкиным, заехать*

к нему и его успокоить.) Тронутый вестью о болезни поэта, я поспешил к нему. В этот час обыкновенно заезжал ко мне приятель мой, А. П. Бочков. – «Едем вместе к Пушкину». – «Очень рад», – отвечал мой приятель, и мы отправились.

Пушкин квартировал в трактире Демута, по канаве направо, в той части нумеров, которые обращены были окнами на двор, к северо-западу (теперь эти номера уже не существуют). Человек поэта встретил нас в передней словами, что Александр Сергеевич очень болен и никого не принимает.

– Кроме сожаления об его положении, мне необходимо сказать ему несколько слов. Доложи Александру Сергеевичу, что *Ивановский* хочет видеть его.

Лишь только выговорил я эти слова, Пушкин произнес из своей комнаты:

– Андрей Андреевич, милости прошу!

Мы нашли его в постели худого, с лицом и глазами, совершенно пожелтевшими.

– Правда ли, что вы заболели от отказа в определении вас в турецкую армию?

– Да, этот отказ имеет для меня обширный

и тяжкий смысл, – отвечал Пушкин. – В отказе я вижу то, что видеть должно, – немилость ко мне государя.

(Автор убеждает Пушкина, что подозрения его несправедливы, что царь отказал ему, потому что его пришлось бы определять в войска юнкером, что царь не хочет подвергать опасности его, «царя скудного царства родной поэзии».)

При этих словах Пушкин живо поднялся на постели, глаза и улыбка его заблестали жизнью и удовольствием; но он молчал, погруженный в глубину отрадной мысли. Я продолжал:

– Если б вы просили о присоединении вас к одной из походных канцелярий: Александра Христофоровича (Бенкендорфа), или графа К. В. Нессельроде, или И. И. Дибича – это иное дело, весьма сбыточное, вовсе чуждое неодолимых препятствий.

– Ничего лучшего я не желал бы!.. И вы думаете, что это можно еще сделать? – воскликнул он с обычным своим одушевлением.

– Конечно, можно.

– Вы не только вылечили и оживили меня,

вы примирили с самим собою, со всем и раскрыли предо мною очаровательное будущее! Я уже вижу, сколько прекрасных вещей написали бы мы с вами под влиянием бусурманского неба для второй книжки вашего альбома «Альбома Северных Муз»!

(Автор подает Пушкину мысль отправиться в кавказскую армию Паскевича.)

– Превосходная мысль! Об этом надо подумать! – воскликнул Пушкин, очевидно оживший.

– Итак, теперь можно быть уверенным, что вы решительно отказались от намерения своего – ехать в Париж?

Здесь печально-угрюмое облако пробежало по его челу.

– Да, после неудачи моей я не знал, что делать мне с своею особою, и решился на просьбу о поездке в Париж.

...Мы обнялись.

– Мне отрадно повторить вам, что вы воскресили и тело, и душу мою!

Товарищ мой, в первый раз увидевший Пушкина и зорко в эти минуты наблюдавший его, был поражен удивлением при очевидно-

сти столь раздражительной чувствительности поэта, так тяжело заболевшего от отказа в удовлетворении его желания и так мгновенно воскресшего от верных, гармонизировавших с его восприимчивою душою представлений.

А. А. Ивановский (чиновник III Отдел.) *А. С. Пушкин*, 21 и 23 апр. 1828 г. – *Рус. Стар.*, 1874, т. 9, с. 394–399.

Неужели вы думаете, что Пушкин и князь Вяземский действительно руководствовались желанием служить его величеству, как верные подданные, когда они просили позволения следовать за главной императорской квартирой? Нет, не было ничего подобного; они уже так заявили себя и так нравственно испорчены, что не могли питать столь благородного чувства. Поверьте мне, что в своей просьбе они не имели другой цели, как найти новое поприще для распространения своих безнравственных принципов, которые доставили бы им в скором времени множество последователей среди молодых офицеров.

Вел. кн. *Константин Павлович* – гр. *А. Х. Бенкендорфу*, 27 апр. 1828 г., из Варшавы. –

Рус. Арх., 1884, т. II, с. 319 (*фр.*).

С 1826 года я довольно часто встречался с Пушкиным в Москве и Петербурге, куда он скоро потом переселился. Он легко знакомился, сближался, особенно с молодыми людьми, вел, по-видимому, самую рассеянную жизнь, танцевал на балах, волочился за женщинами, играл в карты, участвовал в пирах тогдашней молодежи, посещал разные слои общества. Среди всех светских развлечений он порой бывал мрачен; в нем было заметно какое-то грустное беспокойство, какое-то неравенство духа; казалось, он чем-то томился, куда-то порывался. По многим признакам я мог убедиться, что покровительство и опека императора Николая Павловича тяготили его и душили.

Н. В. Путьята. Из записной книжки. – Рус. Арх., 1899, т. II, с. 350.

Пушкин читал своего Годунова, еще немногим известного, у Алексея Перовского. В числе слушателей был и Крылов. По окончании чтения, – я стоял тогда возле Крылова, –

Пушкин подходит к нему и, добродушно смеясь, говорит: – «Признайтесь, Иван Андреевич, что моя трагедия вам не нравится и на глаза ваши нехороша». – «Почему же нехороша? – отвечает он. – А вот что я вам расскажу: проповедник в проповеди своей восхвалял божий мир и говорил, что все так создано, что лучше созданным быть не может. После проповеди подходит к нему горбатый: не грешно ли вам, пеняет он ему, насмеяться над мною и в присутствии моем уверять, что в божьем создании все хорошо и все прекрасно? Посмотрите на меня». – «Так что же, – возражает проповедник, – для горбатого и ты очень хорош». Пушкин расхохотался и обнял Крылова[97].

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. I, с. 184.

Апреля 24. 1828. Вторник. Виделся с Пушкиным Алекс. Серг., и был разговор весьма замечательный... Пушкин пересматривал со мною весь мой разбор[98] – и со множеством мест согласился. «Чувствий – у Баратынского, Языкова и Дельвига не найдете. Баратынский

и Языков мои ученики – я уж у них учиться не буду». (Вот голос самолюбия.) Лакея сам Пушкин не защищает, это выражение *пышет бурно* – правда, что дурно.

Б. М. Федоров. Из дневника. – Рус. Библиофил, 1911, № 5, с. 34.

Третьего дня провели мы вечер и ночь у Пушкина с Жуковским, Крыловым, Хомяковым, Мицкевичем, Плетневым и Николаем Мухановым. Мицкевич импровизировал на французской прозе и поразил нас, разумеется, не складом фраз своих, но силою, богатством и поэзией своих мыслей. Между прочим, он сравнивал мысли и чувства свои, которые нужно выражать ему на чужом языке, с младенцем, умершим во чреве матери, с пылающей лавой, кипящей под землей, не имея вулкана для своего извержения. Удивительное действие производит эта импровизация. Сам он был весь растревожен, и все мы слушали с трепетом и слезами.

Кн. П. А. Вяземский – В. Ф. Вяземской, 2 мая 1828 г., из Петербурга. – Пушкин. 1834 год. Л., Изд. Пушкинского общ., 1934, с. 89.

Был я у Олениной, праздновали день рождения старушки. У них очень добрый дом. Мы с Пушкиным играли в кошку и мышку, то есть волочились за Зубовой-Щербатовой, сестрою покойницы Юсуповой, которая похожа на кошку, и малюткой Олениной, которая мала и резва, как мышь.

Кн. П. А. Вяземский – В. Ф. Вяземской, 3 мая 1828 г. – Лит.-худ. сб. Кр. Панорамы, 1929, нояб., с. 49.

День 5 мая я окончил балом у наших Мещерских (дочь Карамзина, Ек. Ник-на, только что вышла замуж за кн. Мещерского). С девицей Олениной танцевал я по-пурри и хвалил ее кокетство... Пушкин думает и хочет дать думать ей и другим, что он в нее влюблен, и вследствие моего по-пурри играет ревнивого. Зато вчера на балу у Авдулиных совершенно отбил он меня у Закревской, но я не ревновал.

Кн. П. А. Вяземский – В. Ф. Вяземской, 7 мая 1828 г. – Там же, с. 49.

Мая 6. 1828. Воскресенье. Ходил в Летнем

Саду. Видел Пушкина, Плетнева и Вяземского. Пушкин взял под руку – *походите с нами*, и я ходил в саду. Вы здесь гуляете в качестве чиновника, а не в качестве наблюдателя и поэта (на мне орден). «У меня нет детей, а все (...). Не присылайте ко мне вашего журнала» (Федоров в то время издавал журнал: «Новая детская Библиотека»).

Б. М. Федоров. Из дневника. – Рус. Библиофил, 1911, № 5, с. 34.

(1828 г.) Пушкин Озерова не любил... Из всего Озерова затвердил он одно полустыше: «я Бренского не вижу». Во время одной из своих молодых страстей, это было весною, он почти ежедневно встречался в Летнем Саду с тогдашним кумиром своим. Если же в саду ее не было, он кидался ко мне или к Плетневу и жалобным голосом восклицал:

Где Бренский? Я Бренского не вижу!

Разумеется, с того времени и красавица пошла у нас под прозвищем Бренской.

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. I, с.

(По поводу стихотворений «Город пышный» и «Ты и вы», написанных к А. А. Олениной.) Несмотря на чувство, которое проглядывает в этих прелестных стихах, Пушкин никогда не говорил об Олениной с нежностью и однажды, рассуждав о маленьких ножках, сказал: «вот, напр., у ней вот какие маленькие ножки, да черт ли в них?» В другой раз, разговаривая со мною, он сказал: «Сегодня Крылов просил, чтобы я написал что-нибудь в ее альбом». – «А вы что сказали?» – спросила я. – «А я сказал: ого!» В таком роде он часто выражался о предмете своих вздыханий.

А. П. Керн. Воспоминания. – Л. Н. Майков, с. 252.

(По поводу стихотворения «Ты и вы».) Анна Алексеевна Оленина ошиблась, говоря Пушкину вы, и на другое воскресенье он привез эти стихи.

А. А. Оленина. Заметка на собственноручной копии этого стихотворения. – Рус. Стар., 1890, т. 67, с. 398.

С тех пор, как я себя помню, я помню себя в доме Олениных...

У него я в первый раз видел Пушкина, влюбленного в дочь Оленина.

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания. – Рус. Арх., 1865, с. 738.

21-го ездил я с Мицкевичем вечером к Олениным в деревню в Приютино, верст за семнадцать. Там нашли мы и Пушкина с его любовными гримасами. Деревня довольно мила, особенно же для Петербурга: есть довольно движения в видах, возвышенная, вода, лес. Но зато комары делают из этого места сущий ад. Я никогда не видал подобного множества. Нельзя ни на минуту не махать руками; поневоле пляшешь камаринскую. Я никак не мог бы прожить тут и день один. На другой я верно сошел бы с ума и проломил себе голову об стену. Мицкевич говорил, что это кровавый день. Пушкин был весь в прыщах и, осаждаемый комарами, нежно восклицал: сладко.

Кн. П. А. Вяземский – В. Ф. Вяземской, 21 мая 1828 г. – Лит.-худ. сб. Кр. Панорамы, 1929,

А. Н. Оленин был чрезвычайно общительный и гостеприимный человек. О количестве гостей, посещающих семейство Оленина, можно судить по тому, что на даче Алексея Николаевича, Приютино, за Пороховыми заводами, находилось 17 коров, а сливок никогда не доставало. Гостить у Олениных, особенно на даче, было очень привольно: для каждого отводилась особая комната, давалось все необходимое и затем объявляли: в 9 час. утра пьют чай, в 12 – завтрак, в 4 часа обед, в 6 часов полудничают, в 9 – вечерний чай; для этого все гости созывались ударом в колокол; в остальное время дня и ночи каждый мог заниматься чем угодно: гулять, ездить верхом, стрелять в лесу из ружей, пистолетов и из лука, причем Алексей Николаевич показывал, как нужно натягивать тетиву. Как на даче, так и в Петербурге игра в карты у Олениных никогда почти не устраивалась, разве в каком-нибудь исключительном случае: зато всегда, особенно при Алексее Николаевиче, велись очень оживленные разговоры. А. Н.

Оленин никогда не просил гостей-художников рисовать, а литераторов читать свои произведения.

Ф. Г. Солнцев. Моя жизнь и худ.-археол. труды. – Рус. Стар., 1876, т. 15, с. 610.

Кружок Олениных состоял, с одной стороны, из представителей высшей аристократии, – и писателей, художников и музыкантов – с другой, никакого раздвоения в этом кружке не было; все жили дружно, весело, душа в душу; особенно весело проводил время оленинский кружок в Приютино, – так называлась дача Елизаветы Марковны (Олениной) около Петербурга, за Охтой; дача эта отличалась прекрасным местоположением: барский дом стоял здесь над самою рекою и прудом, окаймленным дремучими лесами. Из забав была здесь особенно в ходу игра в шарады, которая в даровитой семье оленинского кружка являлась особенно интересною; особенно уморителен был в этой игре Крылов, когда он изображал героев своих басен. Между играми тут же часто читали молодые писатели свои произведения, а М. И. Глинка разыгрывал

свои произведения.

Семнадцати лет Анна Алексеевна была назначена фрейлиною к императрицам: Марии Федоровне и Елизавете Алексеевне; при дворе она считалась одною из выдающихся красавиц, выделяясь, кроме того, блестящим и игривым умом и особенною любовью ко всему изящному.

П. М. Устимович. А. А. Андро. – Рус. Стар., 1890, т. 67, с. 389.

Подобно тому, как в черновых тетрадах южных Пушкин беспрестанно рисовал женские ножки в стремянах и без стремян, так в той тетради, которою он пользовался в 1828 году, он беспрестанно чертил анаграмму имени и фамилии Олениной: Anineio, Etenna, Aninelo рассыпаны в тетради. На одной странице нам попалась даже тщательно зачеркнутая, но все же поддающаяся разбору запись Annete Pouschkine.

П. Е. Щеголев. Пушкин. Очерки. СПб., 1912, с. 177.

О Пушкине m-me Андро (рожденная Олени-

на, Анна Алексеевна) говорит, что он был замечательно остроумен и весел только в маленьком интимном кружке добрых знакомых; в большом же обществе он, по словам Анны Алексеевны, казался напыщенным – желая привлечь внимание всех своими остротами и шутками. Он хотел «briller»[99], – пояснила мне Анна Алексеевна.

П. М. Устимович. А. А. Андро. – Рус. Стар., 1887, т. 55, с. 129.

Когда я был еще в младшем курсе лицея, весною 28 или 29 года (вернее 28), Пушкин однажды навестил нас. Мы следовали за ним тесной толпой, ловя каждое слово его. Пушкин был в черном сюртуке и белых летних панталонах. На лестнице оборвалась у него штрипка; он остановился, отстегнул ее и бросил на пол; я с намерением отстал и завладел этою драгоценностью, которая после долго хранилась у меня.

Я. К. Грот. Автобиографические заметки. Несколько данных к биографии Я. К. Грота. СПб., 1895, с. 20,

Шурин Александр заглядывает к нам, но или сидит букою, или на жизнь жалуется; Петербург проклиная, хочет то за границу, то к брату на Кавказ.

Н. И. Павлищев – своей матери *Л. М. Павлищевой*, 1 июня 1828 г. – *Л. Н. Павлищев*. Воспоминания, с. 97,

(В июне 1828 г. три дворовых человека отставного штабс-капитана Митькова подали петербургскому митрополиту Серафиму жалобу, что господин их развращает их в понятиях православной веры, прочитывая им некоторое развратное сочинение под заглавием «Гаврилиада». 4 июля Митьков был арестован.)

Комиссия в заседании 25 июля... между прочим, положила... предоставить с.-петербургскому генералу-губернатору, призвав Пушкина к себе, спросить: им ли была писана поэма Гаврилиада? В каком году? Имеет ли он у себя оную, и если имеет, то потребовать, чтоб он вручил ему свой экземпляр. Обязать Пушкина подпискою впредь подобных богохуль-

ных сочинений не писать под опасением строгого наказания.

Выписка из журнала заседания комиссии 25 июля 1828 г. – Дела III Отдел., с. 326.

Слышу от Карамзиных жалобы на тебя, что ты пропал для них без вести, а несется один гул, что ты играешь не на живот, а на смерть. Правда ли?

Кн. П. А. Вяземский – Пушкину, 26 июля 1828 г. – Переписка Пушкина, т. II, с. 69.

С. Д. Полторацкий несколько раз просил у Пушкина писем к нему Рылеева, чтобы списать их. Пушкин все отказывался, обещаясь подарить ему самые письма. Раз за игрою Полторацкий ставил 1000 р. асс. и предлагал Пушкину против этой суммы поставить письма Рылеева. В первую минуту Пушкин было согласился, но тотчас же опомнился, воскликнув: «Какая гадость! Проиграть письма Рылеева в банк! Я подарю вам их!» Но Пушкин все откладывал исполнение своего обещания, так что Полторацкий решился как-то перехватить их у него и списал. После этого Пушкин

все еще не отступался от намерения подарить их ему, но, как говорит Полторацкий, вероятно, все забывал.

А. И. Герцен. – Полярная Звезда. Лондон, 1861, с. 33. Цит. по: Пушкин. Письма под ред. Б. Л. Модзалевского, т. II, с. 248.

Рассказывают, что в Петербурге Мицкевич застал Пушкина у одного общего знакомого за банком и что Пушкин очень замешался от неожиданной встречи с ним.

М. А. Максимович по записи *П. И. Бартенева.* – Рус. Арх., 1898, т. II, с. 480.

Я бывал у Пушкина и видел, как он играет. Пушкин меня гладил по головке и говорил: «Ты паинька, в карты не играешь и любовниц не водишь». На этих вечерах был Мицкевич, большой приятель Пушкина. Он и Соболевский тоже не играли.

Н. Д. Киселев по записи *А. О. Смирновой.* – А. О. Смирнова. Автобиография, с. 175.

Иван Головин (впоследствии известный публицист-эмигрант) писал мне, что его брат

Николай рассказал ему, что он случайно был свидетелем первой (?) встречи Адама Мицкевича и Пушкина. Их знакомство произошло за карточной игрой. Пушкин любил волнения, вызываемые выигрышем и проигрышем, тогда как Адам Мицкевич не имел никакой склонности к азартным играм. По словам Николая Головина, «у Пушкина была в полном разгаре игра в фараон, когда вошел Мицкевич и занял место за столом. Дело было летом. Пушкин, с засученными рукавами рубашки, погружал свои длинные ногти в ящик, полный золота, и редко ошибался в количестве, какое нужно было каждый раз захватить. В то же время он следил за игрою своими большими глазами, полными страсти. Мицкевич взял карту, поставил на нее пять рублей асигнациями, несколько раз возобновил ставку и простился с обществом без какого-либо серьезного разговора».

В. Мицкевич. – Wladislaw Mickiewicz. Adam Mickiewicz, sa vie et son oeuvre. Paris, 1888, p. 81–82.

Ты прыгал бы и катался от смеха.

Кн. П. А. Вяземский – Пушкину, 26 июля 1828 г. – Переписка Пушкина, т. II, с. 69.

Г. С.-Петербургский военный генерал-губернатор представляет, что г. Пушкин в допросе о поэме, известной под заглавием «Гаврилиада», решительно отвечал: что сия поэма писана не им, что он в первый раз видел ее в Лицее в 1815 или 1816 году и переписал ее, но не помнит, куда девал сей список, и что с того времени он не видал ее.

Ген. П. В. Голенищев-Кутузов, в авг. 1828 г. – Дела III Отдел., с. 328.

Пушкин учится английскому языку, а остальное время проводит на дачах.

П. А. Муханов – М. П. Погодину, 11 авг. 1828 г. – Н. П. Барсуков, ч. 2, с. 185. Ср.: М. Цявловский. Пушкин и его совр-ки, т. XVII–XVIII, с. 70.

По докладной вашего сиятельства записке о допросах, сделанных чиновнику 10-го класса Пушкину, касательно поэмы, известной под заглавием «Гаврилиада», последовало высочайшее соизволение, чтобы вы, милости-

вый государь, поручили г. военному генерал-губернатору, дабы он, призвав снова Пушкина, спросил у него, от кого получил он в 15-м или 16-м году, как тот объявил, находясь в Лицее, упомянутую поэму, изъяснив, что открытие автора уничтожит всякое мнение по поводу обращающихся экземпляров сего сочинения под именем Пушкина; о последующем же донести его величеству.

Секретное отношение статс-секретаря Н. А. Муравьева главнокомандующему в столице гр. П. А. Толстому, 12 авг. 1828 г. – Дела III Отдел., с. 329.

По уголовному делу, о кандидате 10-го класса Леопольдове, производившемся и в Государственный Совет по порядку поступившему, замешан был известный стихотворец Александр Пушкин (дело об отрывке из элегии «Андрей Шенье», озаглавленной кем-то «На 14 декабря»). Правительствующий сенат, освобождая его от суда и следствия силою всемилостивейшего манифеста 22 августа 1826 года, определил обязать подпискою, дабы впредь никаких своих творений без рассмот-

рения и пропуска цензуры не осмеливался выпускать в публику, под опасением строгого по законам взыскания. Таковое Положение Правительствующего Сената удостоено высочайшего утверждения. Но вместе с сим Государственный Совет признал нужным к означенному решению Сената присовокупить: чтобы по неприличному выражению Пушкина в ответах насчет происшествия 14 декабря 1825 года и по духу самого сочинения его, в октябре месяце того года напечатанного, поручено было иметь за ним в месте его жительства секретный надзор.

Гр. В. П. Кочубей (председатель Госуд. Совета) – гр. П. А. Толстому, 13 августа 1828 года. – Дела III Отдел., с. 75. Ср.: Пушкин и его совр-ки, т. XI, с. 49.

Рукопись («Гаврилиады») ходила между офицерами гусарского полка, но от кого из них именно я достал оную, я никак не упомяну. Мой же список сжег я, вероятно, в 20-м году. Осмеливаюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже из тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет следов духа безверия

или кощунства над религиею. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение жалкое и постыдное.

10-го класса Александр Пушкин. Показание петербургскому воен. ген.-губернатору П. В. Голенищеву-Кутузову 19 августа 1828 года. – Дела III Отдел., с. 332.

Во исполнение высочайше утвержденного положения Государственного Совета (*по делу об отрывке из «Андрея Шенье»*), известный стихотворец Пушкин обязан подпискою в том, чтоб он впредь никаких сочинений без рассмотрения и пропуска оных цензурою не выпускал в публику. Между тем учрежден за ним секретный со стороны полиции надзор.

Ген. П. В. Голенищев-Кутузов – гр. П. А. Толстому, 28 авг. 1828 г. – Дела III Отдел., с. 80.

Твое письмо застало меня посреди хлопот и неприятностей всякого рода... Пока Киселев и Полторацкий были здесь, я продолжал образ жизни, воспетый мною таким образом:

*А в ненастные дни собирались они
часто,*

*Гнули, ... их..., от 50 на 100.
И выигрывали, и отписывали ме-
лом.
Так в ненастные дни занимались
они делом.*

Но теперь мы все разбрелись... Я пустился в свет, потому что бесприютен. Если б не твоя медная Венера (Агр. Фед. Закревская), то я бы с тоски умер, но она утешительно смешна и мила. Я ей пишу стихи, а она произвела меня в свои сводники (к чему влекли меня всегда и всегдашняя склонность, и нынешнее состояние моего Благонамеренного, о коем можно сказать то же, что было сказано о его печатном тезке: ей-ей, намеренье благое, да исполнение плохое).

Ты зовешь меня в Пензу, а того и гляди что я поеду далее, «прямо, прямо на восток». Мне навязалась на шею преглупая шутка. До правительства дошла, наконец, Гаврилиада; приписывают ее мне; донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если кн. Дм. Горчаков не явится с того света отстаивать права на свою собственность. Это да будет между нами. Все это не весело.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, 1 сент. 1828 г., из Петербурга.

Закревская была очень хороша собой, что доказывает ее портрет, написанный Дау. Тетка моя изображена на нем в голубом бархатном платье александровского времени с короткой талией и в необыкновенных жемчугах. И, глядя на нее теперь, всякий скажет, что Закревская была смолоду красавица. Кроме того, она была бесспорно умная, острая женщина (немного легкая на слово), но это не мешало тому, чтоб Пушкин любил болтать с ней, читал ей свои произведения и считал ее другом.

М. Ф. Каменская. Воспоминания. – Историч. Вестн., 1894, окт., с. 94.

Графиня Закревская была женщина умная, бойкая и имевшая немало приключений, которым была обязана, как говорили, своей красоте. Графиня вполне властвовала над своим мужем.

Кн. А. В. Мещерский. Воспоминания. М., 1901, с. 135–136.

Я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки, – это и гораздо короче, и гораздо удобнее. Я не прихожу к вам оттого, что очень занят и могу выходить из дому лишь весьма поздно. Мне нужно бы было видеть тысячу людей, а между тем я их не вижу. – Хотите, чтоб я говорил с вами откровенно? Быть может, я изящен и порядочен в моих писаниях, но сердце мое совсем вульгарно, и все наклонности у меня вполне мещанские. Я пресытился интригами, чувствами, перепиской и т.п. Я имею несчастье быть в связи с особой умной, болезненной и страстной, которая доводит меня до бешенства, хотя я ее и люблю всем сердцем. Этого более, чем достаточно для моих забот и моего темперамента. Вас ведь не рассердит моя откровенность, правда?

Пушкин – Е. М. Хитрово (в 1828 году?). – Письма Пушкина к Хитрово. Л.: Изд. Акл. Наук, 1927, с. 33 (фр.).

Стихи «Как в ненастные дни» Пушкин на-

писал у князя Голицына, во время карточной игры мелом на рукаве. Пушкин очень любил карты и говорил, что это единственная его привязанность. Он был, как все игроки, суеверен, и раз, когда я попросила у него денег для одного бедного семейства, он, отдавая последние пятьдесят рублей, сказал: «счастье ваше, что я вчера проиграл».

А. П. Керн. Воспоминания. – Л. Н. Майков, с. 252.

Пушкин, говорят, поехал в деревню; теперь самое время случки его с музою: глубокая осень. Целое лето кружился он в вихре петербургской жизни, воспевал Закревскую; вот четыре стиха, которые дошли до меня:

*И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил.*

Кн. П. А. Вяземский – А. И. Тургеневу, 15 окт. 1828 г. – Ост. Арх., т. III, с. 179.

Пушкин был необыкновенно впечатлителен и при этом имел потребность высказать-

ся первому встретившемуся ему человеку, в котором предполагал сочувствия или который мог понять его. Так, я полагаю, рассказал он мне ходатайство свое у графа Бенкендорфа и разговор с государем (осенью 1829 г., по возвращении с Кавказа. – см. ниже). Такую же необходимость имел он сообщать только что написанные им стихи. Однажды утром я заехал к нему в гостиницу Демута, и он тотчас начал читать мне свои великолепные стихи из «Египетских Ночей»: «Чертог сиял» и пр. На вечере, в одном доме на островах, он подвел меня к окну и в виду Невы, озаряемой лунным светом, прочел наизусть своего «Утопленника» чрезвычайно выразительно. У меня на квартире читал он свои стихи: «Таи, таи свои мечты» (*Наперсник*: «*Твоих признаний, жалоб нежных*»...) и, по просьбе моей, тут же написал мне их на память.

Н. В. Путьята. Из записной книжки. – Рус. Арх., 1899, т. II, с. 352.

Однажды Пушкин прислал мне французскую записку со своим кучером и дрожками. Содержание записки меня смутило, вот она:

Когда я вчера подошел к одной даме, которая разговаривала с г. де-Лагрене (*секретарь французского посольства*), он сказал ей достаточно громко, чтобы мне услышать: «прогоните его!» Будучи вынужден потребовать удовлетворения за эти слова, я прошу Вас, Милостивый Государь, не отказаться отправиться к г. де-Лагрене и переговорить с ним.

Пушкин.

Я тотчас сел на дрожки Пушкина и поехал к нему. Он с жаром и негодованием рассказал мне случай, утверждал, что точно слышал обидные для него слова, объяснил, что записка написана им в такой форме и так церемонно именно для того, чтобы я мог показать ее Лагрене, и настаивал на том, чтоб я требовал у него удовлетворения. Нечего было делать: я отправился к Лагрене, с которым был хорошо знаком, и показал ему записку. Лагрене, с видом удивления, отозвался, что он никогда не произносил приписываемых ему слов, что, вероятно, Пушкину дурно слышалось, что он не позволил бы себе ничего подобного,

особенно в отношении к Пушкину, которого глубоко уважает, как знаменитого поэта России, и рассыпался в изъявлениях этого рода. Пользуясь таким настроением, я спросил у него, готов ли он повторить то же самое Пушкину. Он согласился, и мы тотчас отправились с ним к Ал. Сер-чу. Объяснение произошло в моем присутствии, противники подали руку друг другу, и дело тем кончилось[100].

Н. В. Путята. Из записной книжки. – Рус. Арх., 1899, т. II, с. 353.

11–12 сент. 1828 г. Я видел Пушкина, который хочет ехать с матерью в Малинники, что мне весьма неприятно, ибо от того пострадает доброе имя и сестры, и матери, а сестре и других ради причин это вредно.

Ал. Н. Вульф. Дневник. – Пушкин и его совр-ки, т. XXI–XXII, с. 9.

В Костроме узнал я, что ты проигрываешь деньги Каратыгину. Дело нехорошее. По скверной погоде я надеялся, что ты уже бросил карты и принялся за стихи.

Кн. П. А. Вяземский – Пушкину, 18 сент.,

1828 г. – Переписка Пушкина, т. II, с. 76.

Стихи Пушкина «К друзьям» – просто дрянь. Эткими стихами никого не выхва-
лишь, никому не польстишь, и доказатель-
ством тонкого вкуса в ныне царствующем го-
сударе есть то, что он не позволил их напеча-
тать.

Н. М. Языков – А. М. Языкову, 20 сент. 1828
г. – Историч. Вестн., 1883, № 12, с. 527.

Когда Пушкин решался быть любезным, то
ничего не могло сравниться с блеском, остро-
той и увлекательностью его речи. В одном из
таких настроений он, собравши нас в кружок,
рассказал сказку про черта, который ездил на
извозчике на Васильевский остров. Эту сказ-
ку с его же слов записал некто Титов. Пушкин
был невыразимо мил, когда задавал себе тему
угощать и занимать общество.

А. П. Керн. Воспоминания. – Л. Н. Майков, с.
241.

*(Рассказ «Уединенный домик на Васильев-
ском Острове».)* В строгом смысле это не про-

дукт Тита Космократова, а А. С. Пушкина, мастерски рассказавшего всю эту чертовщину уединенного домика на Васильевском Острове, поздно вечером, у Карамзиных, к тайному трепету всех дам, и в том числе обожаемой тогда самим Пушкиным и всеми нами Екат. Никол., позже бывшей женою кн. П. И. Мещерского. Апокалипсическое число 666, игроки-черти, метавшие на карту сотнями душ, с рогами, зачесанные под *высокие* парики, — честь всех этих вымыслов и главной нити рассказа принадлежит Пушкину. Сидевший в той же комнате Космократов подслушал; воротясь домой, не мог заснуть почти всю ночь и несколько времени спустя положил с памяти на бумагу. Не желая, однако, быть ослушником заповеди «не укради», пошел с тетрадью к Пушкину в гостиницу Демут, убедил его послушать от начала до конца, воспользовался многими, поныне очень памятными его поправками и потом, по настоятельному желанию Дельвига, отдал в «Северные Цветы».

В. П. Титов (Тит Космократов) – А. В. Голловину, 29 авг. 1879 г. – Бар. А. И. Дельвиг.

Живо воспринимая добро, Пушкин, однако, как мне кажется, не увлекался им в женщинах; его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота. Кокетливое желание ему понравиться не раз привлекало внимание поэта гораздо более, чем истинное и глубокое чувство, им внушенное. Сам он почти никогда не выражал чувств; он как бы стыдился их и в этом был сыном своего века. Острое, красное словцо, *la repartie vive* (удачный ответ), – вот что несказанно тешило его. Впрочем, Пушкин увлекался, не одними остротами: ему, напр., очень понравилось однажды, когда я на его резкую выходку отвечала выговором: «*Pourquoi vous attaquer à moi, qui suis si inoffensive?*» И он повторял: «*Comme c'est réellement celà; si inoffensive!*» [101] Продолжая далее, он заметил: «Да, с вами невесело и ссориться: *voilà votre cousine (Анна Николаевна Вульф)*, avec elle on trouve à qui s'en prendre» [102]. Причина того, что Пушкин скорее очаровывался блеском, нежели достоинством и простотой в характере жен-

щин, заключалась, конечно, в его невысоком о них мнении, бывшем совершенно в духе того времени. При этом мне пришла на память еще одна забавная сцена, разыгранная Пушкиным в квартире Дельвига, занимаемой мною с семейством по случаю отсутствия хозяев. Сестра его и я сидели у окна, читая книгу. Пушкин подсел ко мне и между прочими нежностями сказал: «Дайте ручку, c'est si satin!» Я отвечала: «Satan!»[103] Тогда сестра поэта заметила, что не понимает, как можно отказывать просьбам Пушкина, и это так понравилось поэту, что он бросился перед нею на колени; в эту минуту входит Алексей Ник. Вульф и хлопает в ладоши... Сюда же можно отнести и отзыв поэта о постоянстве в любви, которою он, казалось, всегда шутил, как и поцелуем руки; но это, по всей вероятности, было притворною данью веку... Однажды, говоря о женщине, которая его страстно любила, он сказал: «Et puis, vous savez qu'il n'y a rien de si insipide que la patience et la résignation»[104].

А. П. Керн. Воспоминания. – Л. Н. Майков, с. 263–264.

Из всех времен года Пушкин любил более всего осень, и чем хуже она была, тем для него было лучше. Он говорил, что только осенью овладевал им бес стихотворства, и рассказывал по этому поводу, как была им написана «Полтава». Это было в Петербурге. Погода стояла отвратительная. Он уселся дома, писал целый день. Стихи ему грезились даже во сне, так что он ночью вскакивал с постели и записывал их впотьмах. Когда голод его прохватывал, он бежал в ближайший трактир, стихи преследовали его и туда, он ел на скорую руку, что попало, и убегал домой, чтоб записать то, что набралось у него на бегу и за обедом. Таким образом слагались у него сотни стихов в сутки. Иногда мысли, не укладываясь в стихи, записывались им прозой. Но затем следовала отделка, при которой из набросков не оставалось и четвертой части. Я видел у него черновые листы, до того измарианные, что на них нельзя было ничего разобрать: над зачеркнутыми строками было по несколько рядов зачеркнутых же строк, так что на бумаге не оставалось уже ни одного чистого места. Несмотря, однако ж, на такую

работу, он кончил «Полтаву», помнится, в три недели.

Он был склонен к движению и рассеянности. Когда было хорошо под небом, ему не сиделось под кровлей, и потому его любовь к осени, с ее вдохновительным на него влиянием, можно объяснить тем, что осень, с своими отвратительными спутницами, дождем, слякотью, туманами и нависшим до крыш свинцовым небом, держала его как бы под арестом, дома, где он сосредоточивался и давал свободу своему творческому бесу.

М. В. Юзефович. Воспоминания о Пушкине. – Рус. Арх., 1880, т. III, с. 441.

Недавно, заходя к Пушкину, застал я его пишущим новую поэму, взятую из истории Малороссии: донос Кочубея на Мазепу и похищение последним его дочери.

Ал. Н. Вульф. Дневник, 4–5 окт. 1828 г. – Пушкин и его совр-ки, т. XXI–XXII, с. 13.

Полтаву написал я в несколько дней; далее не мог бы ею заниматься и бросил бы все.

Пушкин – П. А. Плетневу, 6 окт. 1829 г.

Был у Пушкина, который мне читал почти уже конченную свою поэму. Она будет под названием *Полтава*, потому что ни *Кочубеем*, ни *Мазепой* ее назвать нельзя по частным причинам.

Ал. Н. Вульф. Дневник, 13 октября 1828 г. – Пушкин и его совр-ки, т. XXI–XXII, с. 15.

Зимой (осенью) 1828 года Пушкин писал «Полтаву», и, полный ее поэтических образов и гармонических стихов, часто входил ко мне в комнату, повторяя последний, написанный им стих; так он раз вошел, громко произнося:

Ударил бой, Полтавский бой!

Он это делал всегда, когда его занимал какой-нибудь стих, удавшийся ему или почему-нибудь запавший ему в душу. Он, напр., в Тригорском беспрестанно повторял:

Обманет, не придет она!

По отъезде отца и сестры из Петербурга я перешла на маленькую квартирку в том же доме, где жил Дельвиг, и была свидетельни-

цей свидания его с Пушкиным. Последний, узнавши о приезде Дельвига (7 окт. 1828 г.), тотчас приехал, быстро пробежал через двор и бросился в его объятия; они целовали друг у друга руки и, казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались: была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях.

Посещая меня, Пушкин рассказывал иногда о своих беседах с друзьями и однажды, встретив у меня Дельвига с женою, передал свой разговор с Крыловым, во время которого, между прочим, был спор о том, можно ли сказать: «бывывало». Кто-то заметил, что можно даже сказать «бывывывало». – «Очень можно, – проговорил Крылов, – да только этого и трезвому не выговорить». Рассказав это, Пушкин много шутил. Во время этих шуток ему попался под руку мой альбом, совершенный слепок с того уездной барышни альбома, который описал Пушкин в «Онегине», и он стал переводить в нем французские стихи на русский язык и русские на французский. Так несколько часов было проведено среди самых живых шуток, и я никогда не забуду его игри-

вой веселости, его детского смеха, которым оглашались в тот день мои комнаты.

А. П. Керн. Воспоминания. – Л. Н. Майков, с. 249–253.

Пушкин и Дельвиг всегда гордились тем преимуществом, что родились в Москве, утверждая, что тот из русских, кто не родился в Москве, не может быть судьей ни по части хорошего выговора на русском языке, ни по части выбора истинно-русских выражений. Вот почему Пушкин бесился, слыша, если кто про женщину скажет «она тяжела» или даже «беременна», а не *брюхата*, – слово самое точное и на чистом русском языке обыкновенно употребляемое. Пушкин тоже терпеть не мог, когда про доктора говорили «он у нас пользуется». Надобно просто «лечит».

П. А. Плетнев – Я. К. Гроту. – Переписка Грота с Плетневым, т. III, с. 400.

По записке комиссии от 28 августа, при коей препровождены были на высочайшее усмотрение ответы стихотворца Пушкина на вопросы, сделанные ему касательно извест-

ной поэмы Гаврилиады, его императорскому величеству угодно было собственноручно повелеть: «Г. Толстому призвать Пушкина к себе и сказать ему моим именем, что, зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтоб он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем».

Главнокомандующий в С.-Петербурге и Кронштадте, исполнив вышеупомянутую собственноручную его величества отметку, требовал от Пушкина: чтоб он, видя такое к себе благоснисхождение его величества, не отговаривался от объяснения истины и что Пушкин, по довольном молчании и размышлении, спрашивал: позволено ли будет ему написать прямо государю-императору, и, получив на сие удовлетворительный ответ, тут же написал к его величеству письмо и, запечатав оное, вручил графу Толстому. Комиссия положила, не раскрывая письма сего, представить оное его величеству, донося и о том, что графом Толстым комиссии сообщено.

Протокол заседания комиссии 7 окт. 1828 г.
Секретно. – Дела III Отдел., с. 343.

Пушкин сказал, что не может отвечать на допрос, но так как государь позволил ему писать к себе, то он просит, чтобы ему дали объясниться с самим царем. Пушкину дали бумаги, и он у самого губернатора написал письмо к царю. Вследствие этого письма государь прислал приказ прекратить преследование, ибо он сам знает, кто виновник этих стихов.

П. В. Нащокин по записи П. И. Бартенева. – П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 42.

Ссора между отцом и сыном (*Сергеем Львовичем и Александром Сергеевичем*) длилась вплоть до 1828 г., когда они примирились, благодаря усилиям Дельвига и особенно тому обстоятельству, что Пушкин был уже освобожден от правительственного надзора и ласково принят, незадолго перед тем, молодым государем. Во второй раз (первый случай относится к 1815 г.) Сергей Львович искал сойтись с сыном, озадаченный его успехами и приобретенным положением между людьми.

П. В. Анненков. Пушкин в Алекс. эпоху, с. 274.

18 окт. 1828 г. (Алексей Вульф на квартире А. П. Керн с баронессой Соф. Мих. Дельви́г, женою поэта.) Мы были наедине, исключая несносной девки, пришедшей качать ребенка. Я не знал, что говорить, она, кажется, не менее моего была в замешательстве, видимо, мы не знали оба, с чего начать, – вдруг явился тут Пушкин. Я почти был рад такому помешательству. Он пошутил, поправил несколько стихов, которые он отдает в Северные Цветы, и уехал. Мы начали говорить об нем; она уверяла, что его только издали любит, а не вблизи; я удивлялся и защищал его; наконец, она, приняв одно общее мнение его о женщинах за упрек ей, заплакала, говоря, что это ей тем больнее, что она его заслуживает. Странно было для меня положение быть наедине с женщиной, в которую я должен быть влюблен, плачущею о прежних своих грехах.

Ал. Н. Вульф. Дневник. – Пушкин и его совр-ки, т. XXI–XXII, с. 17.

19 октября 1828 г. СПб. Собрались на пепелище скотобратца курнофеиуса Тыркова (по

прозвищу Кирпичного бруса) 8 человек скотобратцев, а именно: Дельвиг – Тося, Илличевский – Олосенька, Яковлев – Паяс, Корф – Дьячок-мордан, Стевен – Швед, Тырков (смотри выше), Комовский – Лиса, Пушкин – Француз (смесь обезьяны с тигром[105]):

а) пели известный лицейский пэан: Лето, знойна. Н. В. Пушкин-Француз открыл, и согласил с ним соч. Олосенька, что должно вместо общеупотребительного «Лето знойно» петь, как выше означено, б) вели беседу, с) выпили вдоволь их здоровий, d) пели репутацию г. Беранжера, е) пели песню о царе Соломоне, f) пели скотобратские куплеты прошедших шести годов, g) Олосенька в виде французского тамбура мажора утешал собравшихся, h) Тырковиус безмолвствовал, i) толковали о гимне ежегодном и негодовали на вдохновения скотобратцев, j) Паяс представлял восковую персону, к) и увидели на дворе час первый и стражу вторую, скотобратцы разошлись, пожелав доброго пути воспитаннику императорского лицея[106] Пушкину-Французу иже написасию грамоту. (Следуют собственноручные подписи перечисленных вось-

ми друзей с их прозвищами в скобках, а в заключение, опять рукою Пушкина, – его четверостишие):

*Усердно помолившись богу,
Лицею прокричав ура,
Прощайте, братцы: мне в дорогу,
А вам в постель уже пора.*

Протокол празднования лицейской годовщины. – Пушкин и его совр-ки, т. XIII, с. 47.

Здесь мне очень весело. Соседи ездят смотреть на меня, как на собаку Мунито. На днях было сборище у одного соседа; я должен был туда приехать. Дети его родственницы, балованные ребяташки, хотели непременно туда же ехать; мать принесла им изюму и черносливу и думала тихонько от них убраться; но Петр Маркович (отец А. П. Керн) их взбудоражил; он к ним прибежал: «Дети, дети, мать вас обманывает! Не ешьте черносливу, поезжайте с нею; там будет Пушкин: он весь сахарный, а зад у него яблочный; его разрежут, и всем вам будет по кусочку». Дети разревелись: «Не хотим черносливу, хотим Пушкина!» Нечего делать: их повезли, и они сбежа-

лись ко мне облизываясь, но увидев, что я не сахарный, а кожаный, совсем опешили. – Здесь очень много хорошеньких девчонок (или девиц, как приказывает звать Борис Михайлович); я с ними вожусь платонически, и от того толстею и поправляюсь в моем здорье.

Пушкин – бар. А. А. Дельвигу, в сер. нояб. 1828 г., из Малинников.

Дети, хотевшие не черносливу, а Пушкина, не кто иные, как дети Павла Ивановича Панафидина, женатого на Анне Ивановне, рожд. Вульф, владельца Михайловского (в Старицком уезде), именуемого ныне Курово-Покровским. Об этом читаем в воспоминаниях Анны Николаевны Панафидиной, внучки Павла Ивановича (рукопись): «Эпизод о малолетних избалованных детях одной помещицы касался моего отца (Ник. Павловича) и дядей (Ивана и Михаила)».

С. А. Фессалоницкий. Пушкин в кругу старицких дворян. – Материалы Общ. изуч. Тверск. Края, вып. 6, апр., 1928, с. 12.

Здесь мне очень весело, ибо я деревенскую жизнь очень люблю. Здесь думают, что я приехал набирать строфы в Онегина, и страшат мною ребят, как букою, а я езжу на пароме, играю в вист по восьми гривен роббер, и таким образом прилепляюсь к прелестям добродетели и гнушаюсь сетей порока.

Пушкин – бар. А. А. Дельвигу, 26 ноября 1828 г., из Малинников.

Город Петербург полагает отсутствие твое не бесцельным. Первый голос сомневается, точно ли ты без нужды уехал, не проигрыш ли какой был причиною, второй уверяет, что ты для материалов 7-й песни отправился; третий утверждает, что ты остепенился и в Торжке думаешь жениться; четвертый же догадывается, что ты составляешь авангард Олениных, которые собираются в Москву.

Бар. А. А. Дельвиг – Пушкину, 3 дек. 1828 г. – Переписка Пушкина, т. II, с. 82.

Здесь (в Москве) Александр Пушкин, я его совсем не ожидал. Он привез славную новую поэму Мазепу. Приехал он недели на три, как

сказывает; еще ни в кого не влюбился, а старые любви его немного отшатнулись. Вчера должен он был быть у Корсаковой; не знаю еще, как была встреча. Я его все подзываю с собою в Пензу; он не прочь, но не надеюсь, тем более что к тому времени, вероятно, он влюбится. Он вовсе не переменился, хотя, кажется, не так весел.

Кн. П. А. Вяземский – А. И. Тургеневу, 12 дек. 1828 г., из Москвы. – П. П. Вяземский. Соч., с. 518.

В первый раз Пушкин читал нам «Полтаву» в Москве у Сергея Киселева при Американце Толстом, сыне Башилова, который за обедом нарезался и которого во время чтения вырвало чуть ли не на Толстого.

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. X, с. 3.

К Пушкину. – Написал «Чернь». – Отдал Мазепу переписать для государя. – Слушал его восклицания за буйными рассказами Голохвостова.

М. П. Погодин. Дневник, 16 дек. 1828 г. –

Пушкин и его совр-ки, т. XIX–XX, с. 92.

Удивительно было свойство Александра Пушкина (в такой степени *à mille lieux*[107] мне ни в ком из людей, чем бы то ни было знаменитых – неизвестное): *совершенное отсутствие* зависти *du métier*[108] и милое, любезное, истинное и даже смешное желание видеть дарование во всяком начале, поощрять его словом и делом и радоваться ему.

С. А. Соболевский – М. Н. Лонгинову, 1855 г. – Пушкин и его совр-ки, т. XXXI–XXXII, с. 40.

В обращении Пушкин был добродушен, неизменен в своих чувствах к людям: часто в светских отношениях не смел отказаться от приглашения к какому-нибудь балу.

Восприимчивость его была такова, что стоило ему что-либо прочесть, чтобы потом навсегда помнить. Особенная страсть Пушкина была поощрять и хвалить труды своих близких друзей. Про Баратынского стихи при нем нельзя было и говорить ничего дурного... Будучи откровенен с друзьями своими, не скрывая своих литературных трудов и планов, ра-

душно сообщая о своих занятиях людям, интересующимся поэзией, Пушкин терпеть не мог, когда с ним говорили о стихах его и просили что-нибудь прочесть в большом свете. У княгини Зинаиды Волконской бывали литературные собрания понедельничные; на одном из них пристали к Пушкину, чтобы прочесть. В досаде он прочел «Чернь» и, кончив, с сердцем сказал: «В другой раз не станут просить».

С. П. Шевырев по записи П. В. Анненкова. – Л. Н. Майков, с. 331.

Вообще Пушкин чрезвычайно редко читал свои произведения в большом обществе, отличаясь в этом отношении скромностью и даже застенчивостью. Он читал только людям более или менее близким, мнением которых дорожил и от которых надеялся услышать дельное замечание, а не безусловную похвалу, и при том читал как-нибудь невзначай.

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1865, с. 391.

Баратынский не был с Пушкиным искренен, завидовал ему, радовался клевете на

него, думал ставить себя выше его глубоко-мыслием, чего Пушкин в простоте и высоте своей не замечал.

П. В. Нащокин по записи *П. И. Бартенева*. – *П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине*, с. 28.

«Я всякий раз чувствую жестокое угрызение совести, – сказал мне однажды Пушкин в откровенном со мною разговоре, – когда вспоминаю, что я, может быть, первый из русских начал торговать поэзией. Я, конечно, выгодно продал свой *Бахчисарайский Фонтан* и *Евгения Онегина*, но к чему это поведет нашу поэзию, а может быть, и всю нашу литературу? Уж, конечно, не к добру. Признаюсь, я завидую Державину, Дмитриеву, Карамзину: они бескорыстно и безукоризненно для совести подвизались на благородном своем поприще, на поприще словесности, а я?» – Тут он тяжело вздохнул и замолчал.

(*С. Е. Раич*[109]). – *Галатея*, 1839, ч. IV, № 29, с. 197.

Шевырев как был слаб перед всяким сильным влиянием нравственно, так был физиче-

ски слаб перед вином, и как немного охмелеет, то сейчас растает и начнет говорить о любви, о согласии, братстве и о всякого рода сладостях: сначала, в молодости, и это у него выходило иногда хорошо, так что однажды Пушкин, слушая пьяного оратора, проповедующего довольно складно о любви, закричал: «Ах, Шевырев! Зачем ты не всегда пьян!»

С. М. Соловьев. Записки. Пг.: Прометей Н. Н. Михайлова, 1915, с. 48.

В 1828 году я часто встречался с Пушкиным и однажды предложил ему вписать что-нибудь из своих стихов в мой альбом. Он при мне же вписал известные стихи: *Муза*. На вопрос мой: от чего эти пришли ему на память прежде всяких других? – «Я их люблю, – отвечал Пушкин, – они отзываются стихами Батюшкова».

Н. Д. Иванчин-Писарев. Альбомные записи. – Москвитянин, 1842, № 3, с. 147.

К Пушкину. Бог всем дал орехи, а ему ядра. Слушал его суждения о Батюшкове.

М. П. Погодин. Дневник, 22 дек. 1828 г. –

Пушкин поражен был красотой Н. Н. Гончаровой с зимы 1828–1829 года. Он, как сам говорил, начал помышлять о женитьбе, желая покончить жизнь молодого человека и выйти из того положения, при котором какой-нибудь юноша мог трепать его по плечу на бале и звать в неприличное общество... Холостая жизнь и несоответствующее летам положение в свете надоели Пушкину с зимы 1828–1829 г. Устраняя напускной цинизм самого Пушкина и судя по-человечески, следует полагать, что Пушкин влюбился не на шутку около начала 1829 г.

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 520.

Нат. Ник. Гончаровой только минуло шестнадцать лет, когда они впервые встретились с Пушкиным на балу в Москве. В белом воздушном платье, с золотым обручем на голове, она в этот знаменательный вечер поражала всех своей классической, царственной красотой. Ал. Сер. не мог оторвать от нее глаз. Слава его уж тогда прогремела на всю Россию. Он

всюду являлся желанным гостем; толпы ценителей и восторженных поклонниц окружали его, ловя всякое слово, драгоценно сохраняя его в памяти. Наталья Николаевна была скромна до болезненности; при первом знакомстве их его знаменитость, властность, присущие гению, не то что сконфузили, а как-то придавили ее. Она стыдливо отвечала на восторженные фразы, но эта врожденная скромность только возвысила ее в глазах поэта.

А. П. Арапова (урожд. Ланская, дочь Н. Н. Пушкиной-Ланской от второго брака). Воспоминания. – Новое Время, 1907, № 11409,

Пушкин познакомился с семейством Н. Н. Гончаровой в 1828 году, когда будущей супруге его едва наступила шестнадцатая весна. Он был представлен ей на бале и тогда же сказал, что участь его будет навеки связана с молодой особой, обращавшей на себя общее внимание.

П. В. Анненков. Материалы, с. 270.

Когда Пушкин принес стихи (*Е. Н. У-вой*

«Вы избалованы природой») матушке, они были без подписи; на вопрос матушки: зачем он не подписал своего имени, он ответил: «Так вы находите, что под стихами Пушкина нужна подпись? Проститесь с этим листком: он недостойн чести быть в вашем альбоме». И Пушкин уже был готов уничтожить его; тут началась борьба, кончившаяся тем, что драгоценный листок остался в руках матушки, совершенно измятый и с оторванным углом. Пушкин был побежден и должен был подписать свое имя под трофеем, который матушка еще держала обеими руками.

Н. С. Киселев по записи Л. Н. Майкова. – Л. Н. Майков, с. 371.

Он что-то во все время был не совсем по себе. Не умею объяснить, ни угадать, что с ним было, *mais il n'était pas en verve (но он не был в ударе)*. Постояннейшие его посещения были у Корсаковых и у цыганок; и в том и в другом месте видел я его редко, но видал с теми и другими и все не узнавал прежнего Пушкина.

Кн. П. А. Вяземский – А. И. Тургеневу, 9 янв. 1829 г. – П. П. Вяземский. Соч., с. 518.

Мария Ивановна Римская-Корсакова должна иметь почетное место в преданиях хлебосольной и гостеприимной Москвы. Она жила открытым домом, давала часто обеды, вечера, балы, маскарады, разные увеселения, зимою санные катания за городом, импровизированные завтраки. Красавицы дочери ее, и особенно одна из них, намеками воспетая Пушкиным в *Онегине*[110], были душою и прелестью этих собраний. Сама Мария Ивановна была тип московской барыни в хорошем и лучшем значении этого слова. Старый век и новый век сливались в ней в разнообразной стройности и придавали личности ее особенное и привлекательное значение.

Кн. П. А. *Вяземский*. Заметка из воспоминаний. Полн. собр. соч., т. VII, с. 171.

Здесь (в *Старице, Тверской губ.*) я нашел две молодых красавицы: Катиньку Вельяшеву, мою двоюродную сестру, в один год, который я ее не видал, из 14-летнего ребенка расцветшую прекрасною девушкою, лицом, хотя не красавицею, но стройною, увлекательною

в каждом движении, прелестною, как непорочность, милою и добродушною, как ее лета [111]. Другая, Машенька Борисова, теперь тоже заслуживала мое внимание. Не будучи красавицею, она имела хорошенькие глазки и для меня весьма приятно картавила. Пушкин, бывший здесь осенью, очень ввел ее в славу[112]. Первые два дня я провел очень приятно, слегка волочившись за двумя красавицами... В Крещение (6 янв. 1829 г.) приехал к нам в Старицу Пушкин. Он принес в наше общество немного разнообразия. Его светский блестящий ум очень приятен в обществе, особенно женском. С ним я заключил оборонительный и наступательный союз против красавиц, отчего его и прозвали сестры Мефистофелем, а меня Фаустом. Но Гретхен (Катин В. – *Катенька Вельяшева*), несмотря ни на советы Мефистофеля, ни на волокитство Фауста, осталась холодною: все старания были напрасны. – Мы имели одно только удовольствие бесить Ивана Петровича (*Вульфа, двоюродного брата Алексея Вульфа, тридцатилетнего местного помещика, влюбленного в Катеньку Вельяшеву*); образ мыслей наших

оттого он назвал американским. – Мне жаль, что из-за таких пустяков он, вероятно, теперь меня не очень жалует; он очень добрый и благородный малый. Если еще сведет нас бог, то я уже не стану волокитством его бесить.

В Старице Машенька Борисова и Наталья Кознакова прошли у меня между пальцев. Дай бог мне быть впредь умнее, а то «дурно, дурно, брат Александр Андреевич», – как говорил Пушкин.

После праздников поехали все по деревням; я с Пушкиным, взяв по бутылке шампанского, которое морозили, держа на коленях, поехали к Павлу Ивановичу (*Вульф*, одному из дядей Алексея). – За обедом мы напоили люнелем, привезенным Пушкиным из Москвы, Фрициньку (гамбургскую красавицу, которую дядя привез из похода и после женился на ней), немку из Риги, полугувернантку, полуслужанку, обрученную невесту его управлятеля, и молодую, довольно смешную девочку, дочь прежнего берновского попа, тоже жившую под покровительством Фридерики. Я упоминаю об ней потому, что имел после довольно смешную с ней историю. Мы танцева-

ли и дурачились с ними много, и молодая селянка вовсе не двухсмысленно показывала свою благосклонность ко мне. Это обратило мое внимание на нее, потому что прежде, в кругу первостатейных красавиц, я ее совсем и не заметил. Я вообразил себе, что очень легко можно будет с ней утешиться за неудачи с другими, почему через несколько дней, приехав опять в Павловское, я сделал посещение ей в роде графа Нулина, с тою только разницею, что не получил пощечины. – В таких занятиях, в охоте и в поездках то в Берново, то к Петру Ивановичу (*другой дядя Алексея Вульфа*) или в Павловское, где вечера мы играли в вист, – провел я еще с неделю до отъезда с Пушкиным в Петербург.

Ал. Н. Вульф. Дневник. – Пушкин и его совр-ки, т. XXI–XXII.

В Старице, на семейном бале у тогдашнего старицкого исправника В. И. Вельяшева, я встретила в первый раз Пушкина. Я до этого времени ничего про Пушкина не слыхала, но он прямо бросился мне в глаза. Показался он мне иностранцем, танцует, ходит как-то по-

особому, как-то особенно легко, как будто летает: весь какой-то воздушный, с большими ногтями на руках. – «Это не русский?» – спросила я у матери Вельяшева, Катерины Петровны. – «Ах, матушка! Это Пушкин, сочинитель, прекрасные стихи пишет», – отвечала она. Здесь мне не пришлось познакомиться с Александром Сергеевичем. Заметила я только, что Пушкин с другим молодым человеком постоянно вертелись около Кат. Вас. Вельяшевой. Она была очень миленькая девушка; особенно чудные у нее были глаза. Как говорили после, они старались не оставлять ее наедине с Алексеем Николаевичем Вульфом, который любил влюблять в себя молодых барышень и мучить их.

Через два дня поехали мы в Павловское. Следом за нами к вечеру приехал и Ал. Серг-ч вместе с Ал. Н. Вульфом и пробыли в Павловском две недели. Тут мы с Александром Сергеевичем сошлись поближе. На другой день сели за обед. Подали картофельный клюквенный кисель. Я и вскрикнула на весь стол: – «Ах, боже мой! Клюквенный кисель!» – «Павел Иванович! Позвольте мне ее поцело-

вать!» – проговорил Пушкин, вскочив со стула. – «Ну, брат, это уж ее дело», – отвечал тот. – «Позвольте поцеловать вас», – обратился он ко мне. – «Я не намерена целовать вас», – отвечала я, как вполне благовоспитанная барышня. – «Ну, позвольте хоть в голову», – и, взяв голову руками, пригнул и поцеловал. П. А. Осипова, вместе с своей семьей бывшая в одно время с Пушкиным в Малинниках или Бернове, высказала неудовольствие на то, что тут, наравне с ее дочерьми, вращается в обществе какая-то поповна. «Павел Иванович, – говорила она, – всем открывает в своем доме дорогу, вот какую-то поповну поставил на одной ноге с нашими дочерьми». Все это говорилось по-французски, я ничего и не знала, и только после уже Фредерика Ивановна (*жена хозяина, Пав. Ив. Вульфа*) рассказала мне все это. – «Прасковья Александровна осталась очень недовольна, – говорила она, – но спасибо Александру Сергеевичу, он поддержал нас». Когда вслед за этим пошли мы к обеду, Ал. Серг-ч предложил одну руку мне, а другую дочери Прасковьи Александровны, Евпраксии Николаевне, бывшей в одних летах со

мною. За столом он сел между нами и угощал с одинаковою ласковостью как меня, так и ее. Когда вечером начались танцы, то он стал танцевать с нами по очереди, – протанцует с ней, потом со мною и т.д. Осипова рассердилась и уехала. Евпраксия Николаевна почему-то в этот день ходила с заплаканными глазами. Может быть, и потому, что Ал. С-ч после обеда вынес портрет какой-то женщины и восхвалял ее за красоту; все рассматривали его и хвалили. Может быть, и это тронуло ее, – она на него все глаза проглядела. Вообще Ал. Серг. был со всеми всегда ласков, приветлив и в высшей степени прост в обращении. Часто вертелись мы с ним и в неурочное время. – «Ну, Катерина Евграфовна, нельзя ли нам с вами для аппетита протанцевать вальс-казак». – «Ну, вальс-казак-то мы с вами, Катерина Евграфовна, уж протанцуем!» – говорил он до обеда или во время обеда или ужина.

Вставал он по утрам часов в девять-десять и прямо в спальне пил кофе, потом выходил в общие комнаты иногда с книгой в руках, хотя ни разу не читал стихов. После он обыкновен-

но или отправлялся к соседним помещикам, или, если оставался дома, играл с Павлом Ивановичем в шахматы. Павла Ивановича он за это время сам и выучил играть в шахматы, раньше он не умел, но только очень скоро тот стал его обыгрывать. Ал. С-ч сильно горячился при этом. Однажды он даже вскочил на стул и закричал: «Ну, разве можно так обыгрывать учителя?» А Павел Иванович начнет играть снова, да опять с первых же ходов и обыгрывает его. – «Никогда не буду играть с вами... Это ни на что не похоже», – загорячится обыкновенно при этом Пушкин.

Много играл Пушкин также и в вист. По вечерам часто угощали Ал. С-ча клюквой, которую он особенно любил. Клюкву с сахаром обыкновенно ставили ему на блюдечке.

Пушкин был очень красив: рот у него был очень прелестный, с тонко и красиво очерченными губами и чудные голубые глаза. Волосы у него были блестящие, густые и кудрявые, как у мерлушки, немного только подлиннее. Ходил он в черном сюртуке. На туалет обращал он большое внимание. В комнате, которая служила ему кабинетом, у него было

множество туалетных принадлежностей, ногтечисток, разных щеточек и т.п.

Павел Иванович был в это время много старше его, но отношения их были добродушные и искренние. – «На Павла Ивановича упади стена, он не подвинется, право, не подвинется», – неоднократно, шутя, говаривал Пушкин. Павел Иванович, действительно, был очень добрый, но флегматичный человек, и Александр Сергеевич обыкновенно старался расшевелить его и бывал в большом восторге, когда это удавалось ему.

Был со мной в это время и такой случай. Один из родственников Павла Ивановича (*Алексей Вульф*) пробрался ночью ко мне в спальню, где я спала с одной старушкой прислугой. Только просыпаюсь я, у моей кровати стоит этот молодой человек на коленях и голову прижал к моей голове. – «Ай! Что вы?» – закричала я в ужасе. – «Молчите, молчите, я сейчас уйду», – проговорил он и ушел. Пушкин, узнав это, остался особенно доволен этим и после еще с большим сочувствием относился ко мне. – «Молодец вы, Катерина Еврафовна, он думал, что ему везде двери отво-

рены, что нечего и предупреждать, а вышло не то», – несколько раз повторял Александр Сергеевич. Задал этому молодцу нагоняй и Павел Иванович. – «Ты нанес оскорбление мне, убирайся из моего дома!» – говорил он ему. Узналось это так. Загадала Фредерика Ивановна мне на картах... «Ты оскорблена, говорит, трефовым королем», я и заплакала, и рассказала все.

Все относились к Александру Сергеевичу с благоговением. Все барышни были от него без ума.

Е. Е. Синицына (урожд. *Смирнова*; дочь бывш. берновского священника) по записи *В. И. Колосова*. – В. И. Колосов. Пушкин в Тверской губ. – Рус. Стар., 1888, т. 60, с. 50–51, 90–93, 96[113].

Пребывание Пушкина в Берновской волости было великим событием. Все съезжались, чтобы увидеть его, побыть с ним, рассмотреть его, как необыкновенного человека; но талантом его, как мне казалось из рассказов, все эти пожилые люди мало восхищались, мало ценили, не понимали всю силу его творче-

ства.

Совсем другое впечатление оставило на моих, тогда еще совсем юных тетушках, пребывание Пушкина и знакомство с ним. Все они были влюблены в его произведения, а может быть, и в него самого, переписывали его стихотворения и его поэмы в свои альбомы, перечитывали их и до старости лет любили их декламировать на память и чуть не со слезами на глазах. Многие очень робкие и наивные девушки, несмотря на страстное желание и благоговение к Пушкину, боялись встречи с ним, зная, что он обладал насмешливостью и острым языком.

Как особенность его, рассказывали, что он очень любил общество женской прислуги – экономок, приживалок и горничных. Одна почтенная старушка, некая Наталья Филипповна, прислуга дяди, Алексея Николаевича Вульфа, рассказывала мне, как Пушкин любил вставать рано и зимой, когда девушки топили печи и в доме еще была тишина, приходил к ним, шутил с ними и пугал. В обращении с ними он был так прост, что они отвечали ему шутками, называли его «фармазоном»

и, глядя на его длинные, выхоленные ногти, называли его «дьяволом с когтями».

А. Н. Панафидина. Воспоминания. – Материалы Общ. Изуч. Тверск. Края, 1828, вып. 6, апр., с. 22.

В Старицком уезде (*Тверской губ.*), по берегам быстрой, мелководной Тьмы, на пространстве десяти верст находились три помещичьи усадьбы; Берново (*Ив. Ив. Вульфа*) и Малинники (*Пр. А. Осиновой*) по краям, Павловское (*Пав. Ив. Вульфа*) в середине. Берново отстоит от Старицы в 25 в., Малинники – в 35.

Теперь Малинники очень скучное место, и думается, что оно всегда таким и было. Там нет ни парка, ни сада. Старый помещичий одноэтажный дом времен Пушкина отлично сохранился; он выстроен из корабельного леса. Посредине широкое, открытое крыльцо поддерживается колоннами из толстых сосновых бревен, комнаты низкие, глубокие и мрачные; кое-где остались еще потолки с матицами; окна небольшие, и их мало (не очень давно подъемные рамы заменены обыкновенными створчатыми); мебель старинная, красно-

го дерева, кресла жесткие, неудобные, с закругленными цельными деревянными спинками; на стенах висят два-три зеркала в старинных красивых рамах красного дерева.

Берново. Барскую усадьбу отделяет от села обширный сад, раскинувшийся на 12 десятин. Сад делится на две части, – собственно сад из правильно разбитых липовых аллей и парк, похожий на лес. Прочно выстроенный каменный дом потерпел мало изменений; в нем теперь до тридцати комнат, но в пушкинские времена верхний этаж и мезонин были почему-то неотделаны; средняя комната нижнего этажа с дверью в сад была гостиной... В Берновском парке есть курган, названный, вероятно, в честь Пушкина, Парнасом; вблизи его высятся вековые деревья, – есть ели и березы в два обхвата.

В Павловском барского дома теперь не существует. Имение купили крестьяне и распорядились с усадьбою по-своему.

И. А. Иванов. О пребывании А. С. Пушкина в Тверской губ., с. 1–11.

В Бернове до сих пор существует прежний

помещичий дом, выстроенный в стиле русского ампира. В прошлом году он находился в ведении совхоза «Берново». Дранка, которой покрыт дом, износилась и уже не может служить защитой от дождя; провалившаяся местами крыша и упавшие в некоторых комнатах потолки свидетельствовали о происходящем разрушении здания. Дом производит впечатление заброшенности и запустения: из тридцати его комнат лишь незначительная часть занята рабочими и служащими совхоза; везде грязь, обломки мебели, в некоторых комнатах содержатся кролики. При доме до сих пор находится парк с отлично сохранившимися липовыми аллеями времен Пушкина. В парке имеется небольшой курган, который называется Парнасом.

В Бернове, кроме того, обращают на себя внимание остатки сгоревшей в июне 1922 г. мельницы. Уцелело ее основание, сложенное из крупного известняка. Про эту часть мельницы в Бернове говорят, что она существовала уже в те времена, когда Пушкин посещал Берново, и с ней связывают легенду о том, что будто бы один из приезжавших к Вульфам

князей полюбил дочь мельника; она ответила ему взаимностью; князь обманул девушку, и она утопилась в омуте, который находится неподалеку от мельницы, вниз по течению. Существует предание, что под влиянием этой легенды Пушкиным написана «Русалка». Не менее легендарным является и распространённый в Бернове рассказ о трех соснах на левом берегу Тьмы, посаженных, по преданию, самим Пушкиным. Сохранившиеся две сосны (третья сгорела летом 1916 г.), по-видимому, моложе ста лет.

В Павловском от времени Пушкина ничего не сохранилось. Еще в конце прошлого столетия последний владелец имения продал его крестьянам. К 1923 году от поместья уцелели лишь остатки скотных дворов да колонны от бывшего барского дома, находившиеся на фасаде одного из сельских домов.

В Малинниках наибольший интерес представлял еще совсем недавно деревянный дом с оберегавшейся в нем Пушкинской комнатой, которая отводилась поэту при его приездах в Малинники. Дом этот, незадолго до приезда экспедиции, рухнул; обрушились крыша,

потолок и некоторые стены; часть стен держится еще до сих пор. Бывший владелец дома, желая сохранить его на возможно долгое время, обложил снаружи стены дома кирпичом; вследствие прекращения доступа воздуха стены начали преть. Это значительно ускорило разрушение старинного Малинниковского дома. Все имущество и мебель из рухнувшего здания перенесены в соседнее здание.

С. А. Фессалоницкий. Уголок Пушкина в Старицком уезде в 1923 г. (По материалам экспедиции студентов Тверск. пед. института.) – Материалы Общ. Изуч. Тверск. Края, 1925, вып. 3, апр., с. 22–23.

И Пушкина я так живо вспоминаю, и refrain его:

*Хоть малиной не корми,
Да в Малинники возьми!*

А. Н. Вульф – бар. Е. Н. Вревской, 12 окт. 1847 г. – Пушкин и его совр-ки, т. XXI–XXII, с. 351.

Ник. Ив. Вульф (владелец с. Бернова, сын И. И. Вульфа) неоднократно видал Пушкина в с. Бернове, где он не один раз гостил по одному, по два дня, но ему было в то время только 12 лет и поэтому только немного сохранилось в его памяти. По его словам, Пушкин писал свои стихотворения обыкновенно утром, лежа в постели, положив бумагу на подогнутые колена. В постели же он пил и кофе. Не один раз писал так А. С-ч тут свои произведения, но никогда не любил их читать вслух, для других. Однажды мать Ник. Ив-ча долго и сильно упрашивала Пушкина прочесть вслух что-нибудь из своих стихов. После долгих отказов Пушкин, по-видимому, согласился и пошел за книгой; придя с книгой, он уселся и начал, к ее удивлению и разочарованию, читать по стихам псалтырь. Не один раз видал Ник. Ив-ч, как Пушкин большими шагами ходил по гостиной, обыкновенно вполголоса разговаривая с своим собеседником, чаще, впрочем, с собеседницей.

В. И. Колосов. Пушкин в Тверской губернии. – Рус. Стар., 1888, т. 60, с. 99.

Путешествие мое в Петербург с Пушкиным было довольно приятно, довольно скоро и благополучно, исключая некоторых прижимок от ямщиков. Мы понадеялись на честность их, не брали подорожной, а этим они хотели пользоваться, чтобы взять с нас более. На станциях, во время перепрягания лошадей, играли мы в шахматы, а дорогою говорили про современные отечественные события, про литературу, про женщин, любовь и пр. Пушкин говорит очень хорошо; пылкий, проныцательный ум обнимает быстро предметы; но эти же самые качества причиною, что его суждения об вещах иногда поверхностны и односторонни. Нравы людей, с которыми встречается, узнает он чрезвычайно быстро; женщин он знает, как никто. От того, не пользуясь никакими наружными преимуществами, всегда имеющими большое влияние на прекрасный пол, одним блестящим своим умом он приобретает благосклонность оного. Пользовавшись всем достопримечательным по дороге от Торжка до Петербурга, приехали мы на третий день вечером в Петербург прямо к Андриё (где обедают все люди лучшего

тону). Вкусный обед, нам еще более показавшийся таким после трехдневного путешествия, в продолжение которого, несмотря на все, мы порядочно не ели, запили мы каким-то, не помню, новым родом шампанского (Bourgogne mousseux, которое одно только месяц назад там пили, уже потеряло славу у его гастрономов). Я остановился у Пушкина в Демутовой гостинице, где он всегда живет, несмотря на то, что его постоянное пребывание – Петербург.

Ал. Н. Вульф. Дневник, 16 янв. 1829 г. – Пушкин и его совр-ки, т. XXI–XXII, с. 51.

Я в Петербурге с неделю, не больше. Нашел здесь все общество в волнении удивительном. Веселятся до упаду и в стойку, т.е. раутах, которые входят здесь в большую моду. Давно бы нам догадаться: мы сотворены для раутов, ибо в них не нужно ни ума, ни веселости, ни общего разговора, ни политики, ни литературы. Ходишь по йогам, как по коврику, извиняешься, – вот уж и замена разговору. С моей стороны, я от раутов в восхищении и отдыхаю от проклятых обедов Зинаиды (кн. 3. А.

Волконской).

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, в 20-х числах янв. 1829 г., из Петербурга.

Тотчас по приезде в Петербург Гоголь, движимый потребностью видеть поэта, который занимал все его воображение еще на школьной скамье, прямо из дома отправился к нему. Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и, наконец, у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликера... Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: «Дома ли хозяин?», услышал ответ слуги: «Почивают!» Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: «Верно, всю ночь работал?» – «Как же, работал, – отвечал слуга. – В картишки играл». Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализации его. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окруженного постоянно облаком вдохновения.

П. В. Анненков со слов Гоголя. Материалы,

В Филармонической зале давали всякую субботу концерты: Requiem Моцарта, Cr  ation Гайдна, симфонии Бетховена, одним словом, серьезную немецкую музыку. Пушкин всегда их посещал.

А. О. Смирнова. Записки. – Рус. Арх., 1895, т. II, с. 191.

У А. Н. Оленина нередко бывал А. С. Пушкин, которому, видимо, отчасти нравилось общество А. Н-ча. Он даже сватался за Анну Алексеевну. Однако же брак этот не состоялся, так как против него была Елизавета Марковна (*жена А. Н-ча*). По этому случаю Пушкин говорил, что недаром же ему светила луна с левой стороны, когда он приезжал в Приютино (*имение Олениных*)[114].

Ф. Г. Солнцев. Моя жизнь и худож.-археол. труды. – Рус. Стар., 1876, т. 15, с. 633.

Рассказ профессора Солнцева (*о сватовстве Пушкина*), лица весьма близкого семейству Олениных, вполне верен, хотя Анна

Алексеевна никогда при жизни не говорила о таком сватовстве Пушкина.

П. М. Устимович. А. А. Андро. – Рус. Стар., 1890, т. 67, с. 390.

(В связи с делом о Гаврилиаде.) А. А. Оленина, на которой Пушкин думал жениться, отказала ему по приказанию своих родителей.

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1908, т. I, с. 543.

Пушкин посватался к Олениной и не был отвергнут. Старик Оленин созвал к себе на обед своих родных и приятелей, чтобы за шампанским объявить им о помолвке своей дочери за Пушкина. Гости явились на зов; но жених не явился. Оленин долго ждал Пушкина и, наконец, предложил гостям сесть за стол без него. Александр Сергеевич приехал после обеда, довольно поздно. Оленин взял его под руку и отправился с ним в кабинет для объяснений, окончившихся тем, что Анна Алексеевна осталась без жениха.

Н. Д. Быков по записи художника Железнова в воспоминаниях о К. П. Брюллове. – Сборник Пушкинского Дома на 1923 год. Пг., 1922,

(На балу у Ел. Мих. Хитрово.) Элиза (Хитрово) гнусила, была в белом платье, очень декольте; ее пухленькие плечи вылезали из платья. Пушкин был на этом вечере и стоял в уголке за другими кавалерами. Мы все были в черных платьях. Я сказала Стефани (*фрейлина княжна Радзивил, подруга Россет по институту*): «Мне ужасно хочется танцевать с Пушкиным». – «Хорошо, я его выберу в мазурке», и точно, подошла к нему. Он бросил шляпу и пошел за ней. Танцевать он не умел. Потом я его выбрала и спросила: «Quelle fleur?» – «Celle de votre couleur», – был ответ, от которого все были в восторге («Какой цветок?» – «Вашего цвета»). Элиза пошла в гостиную, грациозно легла на кушетку и позвала Пушкина [115].

А. О. Смирнова. Записки. – Рус. Арх., 1895, т. II, с. 190.

«Ни я не ценила Пушкина, ни он меня. Я смотрела на него слегка, он много говорил пуштяков, мы жили в обществе ветреном. Я была

глупа и не обращала на него особенного внимания». – Впервые раз[116] Смирнова встретила Пушкина на бале у Е. М. Хитровой и уговорилась с своей приятельницей княжной Радзивил как-нибудь с ним познакомиться. Они выбрали его в мазурке, и хотя Пушкин обыкновенно не танцевал, но тут прошелся с каждой из них. Потом он сам пожелал, чтобы ее пригласили Карамзины слушать «Полтаву». Он читал плохо. Смирнова нарочно молчала, и он не получил о ней хорошего понятия. Как-то во дворце (у А. В. Сенявина) были живые картины, а с них она проехала к Карамзиным, где были танцы. Она застала его уже уходящим и, проходя мимо, сказала: «Пойдемте со мною танцевать, но так как я не особенно люблю танцы, то в промежутках мы поболтаем». Пушкину понравилось, что посреди высшего круга Смирнова хорошо и выразительно говорила по-русски. Тут началось их сближение.

А. О. Смирнова по записи П. И. Бартенева. – Ветвь. Сборник клуба моск. писателей. М., 1917, с. 303.

С живых картин у Сеньявиных мы в костюмах отправились к Карамзиным на вечер. Я знала, что они будут танцевать с тапером. Все кавалеры были заняты. Один Пушкин стоял у двери и предложил мне танцевать мазурку. Мы разговорились, и он мне сказал: «Как вы хорошо говорите по-русски». – «Еще бы, в институте всегда говорили по-русски. Нас наказывали, когда мы в дежурный день говорили по-французски, а на немецкий махнули рукой... Плетнев нам читал вашего «Евгения Онегина», мы были в восторге, но когда он сказал: «Панталоны, фрак, жилет», – мы сказали: «Какой, однако, Пушкин индеса' (indecent – непристойный)». Он разразился громким, веселым смехом.

А. О. Смирнова. Автобиография, с. 120.

Ее красота, столько раз воспетая поэтами, – не величаявая и блестящая красота форм (она была очень невысокого роста), а южная красота тонких, правильных линий смуглого лица и черных, бодрых, пронизательных глаз, вся оживленная блеском острой мысли, ее пытливый, свободный ум и искреннее влече-

ние к интересам высшего строя, – искусства, поэзии, знания, – скоро создали ей при дворе и в свете исключительное положение. Дружба с Плетневым и Жуковским свела ее с Пушкиным, и скромная фрейлинская келия на четвертом этаже Зимнего дворца сделалась местом постоянного сборища всех знаменитостей тогдашнего литературного мира. Она и пред лицом императора Николая, который очень ценил и любил ее беседу, являлась представительницею, а иногда и смелой защитницей лучших в ту пору стремлений русского общества и своих непридворных друзей.

И. С. Аксаков. Некролог А. О. Смирновой. – Русь, 1882, № 37, с. 10.

В то время расцветала в Петербурге одна девица, и все мы, более или менее, были военнопленными красавицы. Кто-то из нас прозвал смуглую, южную, черноокою девицу Donna Sol, главною действующею личностью драмы В. Гюго «Эрнани». Жуковский прозвал ее *небесным дьяволенком*. Кто хвалил ее черные глаза, иногда улыбающиеся, иногда огне-

стрельные; кто стройное и маленькое ушко, кто любовался ее красивою и своеобразною миловидностью. Несмотря на светскость свою, она любила русскую поэзию и обладала тонким и верным поэтическим чутьем. Она угадывала (более того, она верно понимала) и все высокое, и все смешное. Обыкновенно женщины худо понимают плоскости и пошлости; она понимала их и радовалась им, разумеется, когда они были не плоско-плоски и не пошло-пошлы. Вообще увлекала она всех живостью своею, чуткостью впечатлений, остроумием, нередко поэтическим настроением. Прибавьте к этому, в противоположность не лишенную прелести, какую-то южную ленивость, усталость. Вдруг она расшевелится или теплым сочувствием всему прекрасному, доброму, возвышенному, или оцепенится скептическим и язвительным отзывом на жизнь и людей. Она была смесь противоречий, но эти противоречия были, как музыкальное разнозвучие, которые, под рукою художника, сливаются в странное, но увлекательное созвучие. – Сведения ее были разнообразные, чтения поучительные и серьезные,

впрочем, не в ущерб романам и газетам. Даже богословские вопросы, богословские прения были для нее заманчивы... Прямо от беседы с Григорием Назианзином или Иоанном Златоустом влетала она в свой салон и говорила о делах парижских с старым дипломатом, о петербургских сплетнях, не без некоторого оттенка дозволенного и всегда остроумного злословия, с приятельницею, или обменивалась с одним из своих поклонников загадочными полусловами, т.е. по-английски flirtation.

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 233.

А. О. Смирнова была небольшого роста, брюнетка, с непотухающей искрой остроумия в ее черных и добрых глазах. Высокое ее положение в свете и изящество манер не помешали многим находить, что наружностью она походила на красивую молодую цыганку.

Кн. А. В. Мещерский. Воспоминания. М., 1901, с. 154.

Недоступная атмосфера целомудрия, скромности, это благоухание, окружающее

прекрасную женщину, никогда ее не окружало, даже в цветущей молодости.

С. Т. Аксаков – И. С. Аксакову, 3 дек. 1845 г. – И. С. Аксаков в его письмах. М., 1888, ч. I, с. 299.

Я не верю никаким клеветам на ее счет, но от нее иногда веет атмосферою разврата, посреди которого она жила. Она показывала мне свой портфель, где лежат письма, начиная от государя до всех почти известностей включительно. Есть такие письма, писанные к ней чуть ли не тогда, когда она была еще фрейлиной, которые она даже посовестилась читать вслух... Столько мерзостей и непристойностей. Много рассказывала про всех своих знакомых, про Петербург, об их образе жизни, и толковала про их гнусный разврат и подлую жизнь таким равнодушным тоном привычки, не возмущаясь этим.

И. С. Аксаков – С. Т. Аксакову, 14 янв. 1847 г. из Калуги. – Там же, с. 410.

(В середине пятидесятих годов.) Я застал Смирнову далеко уже не первой молодости...

Сухое, бледное лицо ее, черные строгие глаза и правильный тонкий профиль, может быть, и сохраняли еще слабые следы прежней молодой красоты, – но все же, глядя на них, мне не верилось, чтобы она была так хороша, что обвораживала всех, кто случайно попадал в ту атмосферу, где цвела ее молодость. Мне казалась она больной, нервной, беспрестанно собирающейся умереть и чем-то глубоко разочарованной, удрученной женщиной... Иногда при гостях она вдруг как бы оживала. Самым добродушным тоном говорила колкости, – она же умела говорить, – но так, что сердиться на нее никто не мог, даже и те немногие, которые очень хорошо понимали, в чей огород она бросает камешки, – словом, бывали минуты, когда она была неузнаваема. Я не раз удивлялся ей, в особенности ее колоссальной памяти, – выучиться по-гречески ей ничего не стоило... Я уважал ее за ум, но, по правде сказать, не очень любил ее...

Из-под маски простоты и демократизма просвечивался аристократизм самого утонченного и вонючего свойства, под видом кротости скрывался нравственный деспотизм, не

терпящий свободомыслия, разумеется, только в тех случаях, когда эта свобода не облечена в ту блистательную, поэтическую дерзость, которая приятно озадачивает светских женщин и о которой они сами любят всем рассказывать, как о чем-то оригинальном и приятном, великодушно прощать врагам своим. Несмотря на эти недостатки, я все готов был простить Смирновой за ее ум, правда, парадоксальный, но все-таки ум, и за ее колоссальную память. Чего она не знала? На каких языках не говорила? Теперь, когда я пишу эти строки, я не прощаю ей даже этого ума, от этого ума никому ни тепло, ни холодно. Он хорош для гостиной, для разговоров с литераторами, с учеными; но для жизни он лишняя, бесполезная роскошь.

Я. П. Полонский (поэт; в 1855–1857 гг. был учителем сына Смирновой). – *Голос Минувшего*, 1917, № 11–12, с. 143, 199.

Вот пример, который мне стыдно рассказывать теперь, когда я понимаю неприличие того, что я тогда выпалила. Говорили (у Карамзиных) о горах в Швейцарии, и я сказала:

«Никто не всходил на Мон-Роз». Я не знаю, как мне пришло в голову сказать, что я вулкан под ледяным покровом, и, торопясь, клянусь, не понимая, что говорю, я сказала: «Я, как Мон-Роз, на которую никто не всходил». Тут раздался безумный смех, я глупо спросила, отчего все рассмеялись? Карамзина погрозила Пушкину пальцем. Три Тизенгаузен были там и, как я, не понимали, конечно, в чем дело.

А. О. Смирнова. Автобиография, с. 191.

Пушкин живет у Демута. Он помышляет о напечатании «Мазепы», но игра занимает его более, и один приезд твой может обратить его на путь истины.

С. Д. Киселев – Н. М. Языкову, 29 февраля 1929 г. – Историч. Вестн., 1883, т. XIV, с. 158.

В 1829 году, находясь в Петербурге, я, посредством Шевырева, отъезжавшего за границу, познакомился с Пушкиным, жившим тогда в гостинице Демута, № 33... Очень хорошо помню первое впечатление, сделанное Пушкиным. Тотчас можно было заметить в нем

беспокойную, порывистую природу гения, – сына наших времен, который не находит в себе центра тяжести между противоположностями нашего внутреннего дуализма. Почти каждое движение его было страстное, от избытка жизненной силы его существа; ею он еще более пленял и увлекал, нежели своими сочинениями; личность его довершала очаровательность его музыки, в особенности, когда, бывало, беседуешь с ним наедине в его кабинете. В обществе же, при обыкновенном разговоре, он казался уже слишком порывистым и странным, даже бесхарактерным: он там будто страдал душою.

Пушкин всегда советовал не пренебрегать, при серьезном, продолжительном занятии драмою, и минутами лирического вдохновения. «Помните, – сказал он мне однажды, – что только до 35 лет можно быть истинно-лирическим поэтом, а драмы можно писать до 70 лет и далее!»

Однажды передаю Дельвигу критическое замечание, сделанное мне Пушкиным, когда я читал ему в рукописи одно из моих стихотворений. Дельвиг удивился. – «Неужели

Пушкин сделал вам критическое замечание?» – «Что же тут мудреного? Кому же, как не ему, учить новобранца?» – «Поздравляю вас: это значит, что вы будете не в числе его обычных знакомств! Пушкин в этом отношении чрезвычайно осторожен и скрытен, всегда отделяется светскою вежливостью. Я вместе с ним воспитан – и только недавно начал он делать мне критические замечания: это вернейший, признак приятельского расположения к автору».

Бар. Е. Ф. Розен. Ссылка на мертвых. – Сын Отеч., 1847, кн. 6, отд. 3, с. 12—13, 16.

В эту зиму Пушкин часто бывал по вечерам у Дельвига, где собирались два раза в неделю лицейские товарищи его: Лангер, князь Эрнстов, Яковлев, Комовский и Илличевский. Кроме этих приходили на вечера Подолинский, Щастный, молодые поэты, которых выслушивал и благословлял Дельвиг, как патриарх. Иногда также являлся Мих. Ив. Глинка, гений музыки, добрый и любезный человек, как и свойственно гениальному существу. Тут кстати заметить, что Пушкин го-

ворил часто: «злы только дураки и дети». Несмотря, однако ж, на это убеждение, и он бывал часто зол на словах, но всегда раскаивался. В поступках он всегда был добр и великодушен. На вечера к Дельвигу являлся и Мицкевич.

Пушкин в эту зиму бывал часто мрачным, рассеянным и апатичным. В минуты рассеянности он напевал какой-нибудь стих и раз был очень забавен, когда повторял беспрестанно стих барона Розена:

*Неумолимая, ты не хотела
жить,
передразнивая его и голос, и выговор.*

А. П. Керн. Воспоминания. – Л. Н. Майков, с. 253–255.

Однажды у Дельвига, проходя в гостиную, я был остановлен словами Пушкина, подле которого сидел Шевырев: «Помогите нам сострять эпиграмму». Но я спешил в соседнюю комнату. Возвратясь к Пушкину, я застал дело уже оконченным. Это была эпиграмма: «В Элизии Василий Тредьяковский».

Насколько помог Шевырев, я, конечно, не знаю. — На этих же вечерах Дельвига мне неоднократно случалось слышать продолжительные и упорные прения Пушкина с Мицкевичем то на русском, то на французском языке. Первый говорил с жаром, часто остроумно, но с запинками, второй тихо, плавно и всегда очень логично.

А. И. Подолинский. Воспоминания. — Рус. Арх., 1872, т. I, с. 859–860.

Весь кружок даровитых писателей и друзей, группировавшихся около Пушкина, носил на себе характер беспечности любящего пображничать русского барина, быть может, еще в большей степени, нежели современное ему общество. В этом молодом кружке преобладала любезность и раздольная, игривая веселость, блескело неистощимое остроумие, высшим образцом которого был Пушкин. Но душою всей этой счастливой семьи поэтов был Дельвиг, у которого в доме чаще всего они собирались... Дельвиг шутил всегда остроумно, не оскорбляя никого. В этом отношении Пушкин резко от него отличался: у Пуш-

кина часто проглядывало беспокойное расположение духа. Великий поэт не был чужд странных выходов, нередко напоминавших фразу Фигаро: «ах, как глупы эти умные люди!», и его шутка часто превращалась в сарказм, который, вероятно, имел основание в глубоко возмущенном действительностью духе поэта. – Это маленькое сравнение может объяснить, почему Пушкин не был хозяином кружка, увлекавшегося его гением... Пушкин был так опрометчив и самонадеян, что, несмотря на всю его гениальность, он не всегда был благоразумен, а иногда даже не умен. Дельвиг же, могу утвердительно сказать, был всегда умен!

А. П. Керн. Воспоминания. Л.: Academia, 1929, с. 227, 280.

Через два месяца по приезде в Петербург утомление и какая-то нравственная усталость нападают на Пушкина. Он начинает томиться жаждой физической деятельности, которая всегда являлась у него, как верный признак отсутствия деятельности духовной.

П. В. Анненков. Материалы, с. 208.

В бумагах Пушкина сохранился вид, данный ему от СПб. Почтдиректора 4 марта 1829 г., на получение лошадей, по подорожной, без задержания, до Тифлиса и обратно.

П. В. Анненков. Там же, с. 209.

(Пушкин выехал из Петербурга в Москву 9 марта 1829 года.)

По словам Н. С. Киселева, Пушкин питал к Екат. Ник. Ушаковой нежное чувство; но, уехав в Петербург в исходе 1827 года, он увлекся там другой красавицей – Анной Алексеевной Олениной. Есть известие, что он даже сватался за нее, но получил отказ. Затем, когда Пушкин возвратился в Москву (вероятно, уже в марте 1829 года), то «при первом посещении Пресненского дома он узнал плоды своего непостоянства: Екатерина Николаевна помолвлена за князя Д-го. – «С чем же я остался?» – вскрикивает Пушкин. – «С оленьими рогами», – отвечает ему невеста. Впрочем, этим не кончились отношения Пушкина к бывшему своему предмету. Собрав сведения о Д-ом, он упрашивает Н. В. Ушакова расстро-

ить эту свадьбу. Доказательства о поведении жениха, вероятно, были слишком явны, потому что упрямство старика было побеждено, а Пушкин остался прежним другом дома.

Л. Н. Майков, с. 364.

В альбоме Ек. Ник. Ушаковой есть рисунки, но не руки Пушкина, а другой, еще менее искусной, по крайней мере, менее твердой, и сопровождаются они надписями, которые сделаны почти все женским почерком, едва ли не Екат. Ник. Ушаковой. На одном из этих рисунков изображен пруд, на берегу которого стоит нарядная молодая особа и удит; на поверхности воды видно несколько мужских голов; вдали, на берегу стоит молодой человек в круглой шляпе, с тростью в руке. Против мужской фигуры написано: «Madame, il est temps de finir»[117], а против женской:

*Как поймаю рыбочку
Я себе на удочку,
То-то буду рада,
То-то позабавлюсь,
То-то разгуляюсь!*

По объяснению Н. С. Киселева, представ-

ленная здесь молодая особа есть Анна Алексеевна Оленина. В мужчине, стоящем на берегу, следует угадывать Пушкина, хотя изображение и не отличается сходством. Барышню с тем же профилем, какой мы видим на сейчас описанной картине, можно узнать и на другом рисунке: тут она протягивает руку молодому человеку, который ее почтительно целует. Здесь мужская фигура, с лицом, обрамленным бакенбардами, уже гораздо более напоминает портреты Пушкина. К этой картинке относится следующая подпись:

*Прочь, прочь, отойди!
Какой беспокойный!
Прочь, прочь! Отвяжись,
Руки недостойный!*
Л. Н. Майков, с. 337–374.

Между Ек. Ник. Ушаковой и Пушкиным завязывается тесная сердечная дружба, и, наконец, после продолжительной переписки, Екатерина Ушакова соглашается выйти за него замуж. В это время в Москве жила известная гадалщица, у которой некогда был или бывал даже государь Александр Павлович. Пушкин не раз высказывал желание побывать у

этой гадальщицы; но Е. Н. Ушакова постоянно отговаривала его. Однажды Пушкин пришел к Ушаковым и в разговоре сообщил, что он был у гадальщицы, которая предсказала ему, что он «умрет от своей жены». Хотя это сказано было как бы в шутку, как нелепое вранье гадальщицы, однако Е. Н. Ушакова взглянула на это предсказание заботливо и объявила Пушкину, что, так как он не послушался ее и был у гадальщицы, то она сомневается в силе его любви к ней; а с другой стороны, предвещание, хотя и несбыточное, все-таки заставило бы ее постоянно думать и опасаться за себя и за жизнь человека, которого она безгранично полюбит, если сделается его женою; поэтому она и решается отказать ему для него же самого. Дело разошлось... Когда Екатерина Николаевна умирала, то приказала дочери подать шкатулку с письмами Пушкина и сожгла их. Несмотря на просьбы дочери, она никак не желала оставить их, говоря: «мы любили друг друга горячо, это была наша сердечная тайна: пусть она и умрет с нами».

П. И. Бартенев. Из записной книжки. – Рус. Арх., 1912, т. III, с. 300.

Давно к нам просится поэт Пушкин в дом; я болезнью отговаривался, теперь он напал на Вигеля, чтобы непременно его к нам ввести. Я видал его всегда очень *maussade* (*угрюмый, скучный*) у Вяземского, где он, как дома, а вчера был очень любезен, ужинал и пробыл до 2 час. Восхищался детьми и пением Кати (*дочь Булгакова*), которая пела ему два его стихотворения, положенные на музыку Геништою и Титовым. Он едет в армию Паскевича узнать ужасы войны, послужить волонтером, может быть, и воспеть это все. – Ах, не ездите! – сказала ему Катя. – Там убили Грибоедова. – «Будьте покойны, сударыня: неужели в одном году убьют двух Александров Сергеевичев? Будет и одного!» Но Лелька (*другая дочь Булгакова*) ему сделала комплимент хоть куда. «Байрон поехал в Грецию и там умер; не ездите в Персию, довольно вам и одного сходства с Байроном». Какова Курноска! Пушкина поразило это рассуждение. Ему очень понравилось, что дети, да и мы вообще все, говорили более по-русски, т.е. как всегда. Наташа (*жена Булгакова*) все твердила ему,

чтобы избрал большой, исторический отечественный сюжет и написал бы что-нибудь достойное его пера; но Пушкин уверял, что никогда не напишет эпической поэмы.

А. Я. Булгаков – К. Я. Булгакову, 21 марта 1829 г., из Москвы. – Рус. Арх., 1901, т. III, с. 298.

В какой-то элегии находятся следующие два стиха, с которыми поэт обращается к своей возлюбленной:

*Все неприятности по службе
С тобой, мой друг, я забывал.*

Пушкин, отыскавши эту элегию, говорил, что изо всей русской поэзии эти два стиха самые чисто русские и самые глубоко и верно прочувствованные.

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 82.

Не уступавший никому, Пушкин за малейшую против него неосторожность готов был отплатить эпиграммой или вызовом на дуэль. В самой наружности его было много особенного: он то отпускал кудри до плеч, то держал в беспорядке свою курчавую голову; но-

сил бакенбарды большие и всклокоченные; одевался небрежно; ходил скоро, повертывал тросточкой или хлыстиком, насвистывая или напевая песню. В свое время многие подражали ему, и эти люди назывались а la Пушкин... Он был первым поэтом своего времени и первым шалуном.

Молодость Пушкина продолжалась во всю его жизнь, и в тридцать лет он казался хоть менее мальчиком, чем был прежде, но все-таки мальчиком, лицейским воспитанником. Между прочим, в нем оставалась студенческая привычка, – не выставлять ни знаний, ни трудов своих. От этого многие в нем обманывались и считали его талантом природы, не купленным ни размышлением, ни ученостью, и не ожидали от него ничего великого. Но в тишине кабинета своего он работал более, нежели думали другие... В обществах на него смотрели, как на человека, который ни о чем не думал и ничего не замечал; в самом деле, он постоянно терялся в мелочах товарищеской беседы и равно был готов вести бездельный разговор с умным и глупцом, с людьми почтенными и самыми пошлыми; но

он все видел, глубоко понимал вещи, замечал каждую черту характеров и видел насквозь людей. Чего другие достигали долгим учением и упорным трудом, то он светлым своим умом схватывал на лету. Не показываясь важным и глубокомысленным, слывя ленивым и праздным, он собирал опыты жизни и в уме своем скопил неистощимые запасы человеческого сердца.

Ветренность была главным, основным свойством характера Пушкина. Он имел от природы душу благородную, любящую и добрую. Ветренность препятствовала ему сделаться человеком нравственным, и от той же ветренности пороки неглубоко пускали корни в его сердце.

(М. М. Попов.) А. С. Пушкин. – Рус. Стар., 1874, № 8, с. 684–685.

Господин поэт столь же опасен для государства, как неочиненное перо. Ни он не затеет ничего в своей ветреной голове, ни его не возьмет никто в свои затеи. Это верно! Представьте ему слоняться по свету, искать девиц, поэтических вдохновений и игры. Можно

сильно утверждать, что это путешествие (на Кавказ) устроено игроками, у коих он в тисках. Ему верно обещают золотые горы на Кавказе, а когда увидят деньги или поэму, то выиграют – и конец. Пушкин пробудет, как уверяют его здешние друзья, несколько времени в Москве, и как он из тех людей, у которых семь пятниц на неделе, то, может быть, или вовсе останется в Москве, или прикатит сюда (в Петербург) назад.

А. Н. Мордвинов (?) – гр. А. Х. Бенкендорфу, 21 марта 1829 г. – Соч. Пушкина под ред. П. А. Ефремова, 1903, т. VII, с. 317 (рус.-фр.).

Поездка Пушкина на Кавказ и в Малую Азию могла быть устроена, действительно, игроками. Они, по связям в штабе Паскевича, могли выхлопотать ему разрешение отправиться в действующую армию, угощать его живыми стерлядями и замороженным шампанским, проиграв ему безрасчетно деньги на его путевые издержки. Устройство поездки могло быть придумано игроками в простом расчете, что они на Кавказе и Закавказье встретят скучающих богатых людей, которые

с игроками не сели бы играть и которые охотно будут целыми днями играть с Пушкиным, а с ним вместе и со встречными и поперечными его спутниками. Рассказ без подробностей, без комментариев, есть тяжелое согрешение против памяти Пушкина. В голом намеке слышится как будто заподозривание сообщничества Пушкина в игрецком плане. Пушкин до кончины своей был ребенком в игре и в последние дни жизни проигрывал даже таким людям, которых, кроме него, обыгрывали все.

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 515.

В полицейском списке московских картежных игроков за 1829 год в числе 93 номеров значится: «1. Граф Федор Толстой – тонкий игрок и планист. – 22. Нащокин – отставной гвардии офицер. Игрок и буян. Всеизвестный по делам, об нем производившимся. – 36. Пушкин – известный в Москве банкомет».

Соч. Пушкина под ред. П. А. Ефремова, т. VII, с. 677.

В числе коротко знакомых, не коренных

москвичей, а заезжих, бывали у нас Сергей Львович Пушкин и сын его Александр Сергеевич. Внешность первого не допускала и мысли о присутствии в жилах его даже капли африканской, «ганнибаловской» крови, которой так гордился знаменитый сын его; это был человек небольшого роста, с проворными движениями, с носиком вроде клюва попугая. Он постоянно петушился, считал себя, неизвестно почему, аристократом, хвастал своим сыном (всегда в отсутствии последнего), которого *не любил*. Когда, бывало, батюшка столкнется у нас с сынком, у них непременно начнутся пререкания, споры, даже ссоры, если Сергей Львович вздумает сделать сыну какое-нибудь замечание о необходимости поддержания родственных связей и связей света. Ссоры эти заходили иногда так далеко, что отец мой находил нужным останавливать ссорившихся и, пользуясь почтенными своими годами, давал крепкую нотацию отцу и сыну, говоря первому, что он некстати чопорен, а второму, что «порядочному человеку, хотя бы даже гению стихотворства, следует всегда уважать своего отца».

Я должен сознаться, что великий наш поэт оставил во мне, как ребенку, самое неприятное впечатление; бывало, придет к нам и тотчас отправится в столовую, где я с братом занимался рисованием глаз и носов или складыванием вырезных географических карт. Пушкин, первым делом, находил нужным испортить нам наши рисунки, нарисовав очки на глазах, нами нарисованных, а под носами черные пятна, говоря, что теперь у всех насморк, а потому без этих «капель» (черных пятен) носы не будут натуральны. Если мы занимались складными картами, Александр Сергеевич непременно переломает, бывало, кусочки и в заключение ущипнет меня или брата довольно больно, что заставляло нас кричать. За нас обыкновенно заступалась «девица из дворян» Ольга Алексеевна Борисова, заведывавшая в доме чайным хозяйством и необыкновенно хорошо приготавливавшая ягодные наливки. Она говорила Пушкину, что так поступать с детьми нельзя и что пожалуется на него «господам».

Тут Пушкин принимался льстить Ольге Алексеевне, целовал у нее ручки, превозно-

сил искусство ее готовить наливки чуть не до небес, и дело кончалось тем, что старуха смягчалась, прощала «шалопуту», как она его называла, и, обратив гнев на милость, угощала Пушкина смородиновкой, которую он очень любил.

Ни один приезд к нам Александра Сергеевича не проходил без какой-нибудь с его стороны злой шалости[118].

И. А. Арсеньев. Слово живое о неживых (Из моих воспоминаний). – Историч. Вестн., 1887, янв., с. 78.

В прошедшем году я встретился в театре с одним из первоклассных наших поэтов и узнал из его разговоров, что он намерен отправиться в Грузию. – «О боже мой, – сказал я горестно, – не говорите мне о поездке в Грузию. Этот край может назваться врагом нашей литературы. Он лишил нас Грибоедова!» – «Так что же? – ответил поэт. – Ведь Грибоедов сделал свое. Он уже написал «Горе от ума».

В. У. (В. А. Ушаков). – Моск. Телеграф, 1830, №12, с. 515.

Бенкендорф и его помощник фон-Фок ошибочно стали смотреть на Пушкина не как на ветреного мальчика, а как на опасного вольнодумца, постоянно следили за ним и приходили в тревожное положение от каждого его действия, выходившего из общей колеи. Не восхищавшиеся ничем в литературе и не считавшие поэзию делом важным, они передавали царскую волю Пушкину всегда пополам со строгостью, хотя в самых вежливых выражениях. Они как бы беспрестанно ожидали, что вольнодумец или предпримет какой-либо вредный замысел, или сделается коноводом возмутителей. Между тем Пушкин беспрестанно впадал в проступки, выслушивал замечания, приносил извинения и опять проступался. Он был в полном смысле дитя и, как дитя, никого не боялся. Зато люди, которые должны бы быть прозорливыми, его боялись. Отсюда начался ряд, с одной стороны, напоминаний, выговоров, а с другой – извинений, обещаний и вечных проступков.

(М. М. Попов). – Рус. Стар., 1874, т. 10, с. 694.

С неделю тому назад завтракал я с Пушкиным, Мицкевичем и другими у Мих. Петровича (*Погодина*). Первый держал себя ужасно гадко, отвратительно, второй – прекрасно. Посудите, каковы были разговоры, что *второй* два раза принужден был сказать: «Гг., порядочные люди и наедине, и сами с собою не говорят о таких вещах!»

С. Т. Аксаков – С. П. Шевыреву, 26 марта 1829 г., из Москвы. – Рус. Арх., 1878, т. II, с. 50.

27 марта 1829 г. Завтрак у меня, представители русской общественности и просвещения: Пушкин, Мицкевич, Хомяков, Щепкин, Венелин, Аксаков, Верстовский, Веневитинов. – Разговор от (*неразборчиво*) до евангелия, без всякой последовательности, как и обыкновенно. – Ничего не удержал, потому что не было ничего для меня нового, а надо бы помнить все пушкинское. Верстовскому и Аксакову не понравилось. – Нечего было сказать о разговоре Пушкина и Мицкевича, кроме: предрассудок холоден, а вера горяча.

М. П. Погодин. Дневник. – Пушкин и его совр-ки, т. XIX–XX, с. 94.

Пушкин написал и напечатал две преругательные эпиграммы на Каченовского. Пушкин бесится на него за то, что помещает статьи Надеждина, где колют его нравственность... Пушкин собирается писать историю Малороссии; но я не думаю, чтобы он был способен к труду медленному и часто мелочному по необходимости. – Он теперь увивается в Москве около Ушак.

У меня обедали: Пушкин, Мицкевич, Аксаков, Верстовский etc. Разговор был занимателен от... до евангелия. Но много было сального, которое не понравилось.

М. П. Погодин – С. П. Шевыреву, 28 апр. 1829 г., из Москвы. – Рус. Арх., 1882, т. III, с. 81.

(*А. О. Смирнова*): – «Пушкин – любитель непристойного». (*Н. Д. Киселев*): – «К несчастью, я это знаю и никогда не мог себе объяснить эту антитезу перехода от непристойного к возвышенному».

А. О. Смирнова. Автобиография, с. 224.

Пушкин увлекал, изумлял слушателей жи-

востью, тонкостью и ясностью ума своего, был одарен необыкновенною памятью, суждением верным, вкусом утонченным и превосходным. Когда говорил он о политике внешней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах и пропитанного ежедневным чтением парламентарных прений. Я довольно близко и довольно долго знал русского поэта; находил я в нем характер слишком впечатлительный, а иногда легкомысленный, но всегда искренний, благородный и способный к сердечным излияниям. Погрешности его казались плодами обстоятельств, среди которых он жил: все, что было в нем хорошего, вытекало из сердца. В этой эпохе он прошел только часть того поприща, на которое был призван, ему было тридцать лет. Те, которые знали его в это время, замечали в нем значительную перемену. Вместо того, чтобы с жадностью пожирать романы и заграничные журналы, которые некогда занимали его исключительно, он ныне более любил вслушиваться в рассказы народных былин и песней и углубляться в изучение

отечественной истории. Казалось, он окончательно покидал чуждые области и пускал корни в родную почву. Одновременно разговор его, в котором часто прорывались задатки будущих творений его, становился обдуманнее и степеннее. Он любил обращать рассуждения на высокие вопросы религиозные и общественные, о существовании коих соотечественники его, казалось, и понятия не имели. Очевидно, поддавался он внутреннему преобразованию.

А. Мицкевич. Биограф. и литер. изв. о Пушкине. – *Le Globe*, 25 мая 1837 г. Перевод кн. П. А. Вяземского. – Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VII, с. 315.

Когда П. В. Нащокин был еще холост, Пушкин, проездом через Москву, остановившись у него, слушал, как какой-то господин, живший в мезонине против квартиры Нащокина, целый день пиликал на скрипке одно и то же. Это надоело поэту, и он послал лакея сказать незнакомому музыканту: «Нельзя ли сыграть второе колено?» Конечно, тот вломился в амбицию[119].

В. А. Нащокина. Воспоминания. – Новое
Время, 1898, № 8122, ил. прил.

Пушкин, после бурных годов своей молодости, был страстно влюблен в московскую красавицу Гончарову, которая действительно могла служить идеалом греческой правильной красоты.

А. Н. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871, с. 10.

Пушкин, влюбившись в Гончарову, просил Американца графа Толстого, старинного знакомого Гончаровых, чтобы он съездил к ним и испросил позволения привезти Пушкина. На первых порах Пушкин был очень застенчив, тем более, что вся семья обращала на него большое внимание. Пушкину позволили ездить. Он беспрестанно бывал. А. П. Малиновская (супруга известного археолога) по его просьбе уговаривала в его пользу, но с Натальей Ивановной (матерью) у них бывали частые размолвки, потому что Пушкину случалось проговариваться о проявлениях благочестия и об императоре Александре Павловиче.

че, а у Натальи Ивановны была особая модельня со множеством образов, и про покойного государя она выражалась не иначе как с благоговением. Пушкину напрямик не отказали, но отозвались, что надо подождать и посмотреть, что дочь еще слишком молода и пр.

С. Н. Гончаров (брат будущей жены Пушкина) по записи *П. И. Бартенева*. – Рус. Арх., 1881, т. II, с. 497.

Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее только что начинали замечать в обществе. Я ее полюбил, голова у меня закружилась, я просил ее руки. Ответ ваш, при всей его неопределенности, едва не свел меня с ума; в ту же ночь я уехал в армию. Спросите, – зачем? Клянусь, сам не умею сказать; но тоска произвольная гнала меня из Москвы: я бы не мог в ней вынести присутствия вашего и ее.

Пушкин – Н. И. Гончаровой (матери его будущей жены), в перв. пол. апр. 1830 г. (*фр.*).

На коленях, проливая слезы благодарности, – вот как должен бы я писать вам теперь,

когда граф Толстой привез мне ваш ответ: этот ответ – не отказ, вы мне позволяете надеяться. Тем не менее, если я еще ропщу, если грусть и горечь примешиваются к чувству счастья, – не обвиняйте меня в неблагодарности. Простите нетерпение сердца больного и пьяного от счастья. Я еду сейчас, я увожу в глубине души образ небесного существа, обаянного вам своим существованием.

Пушкин – Н. И. Гончаровой, 1 мая 1829 г. (фр.).

Путешествие в Арзрум

Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким образом двести верст лишних, зато увидел Ермолова.

Пушкин. Путешествие в Арзрум, гл. I.

(Начало мая 1829 г.) Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе чувство, кроме невольного уважения.

Ген. А. П. Ермолов – Д. В. Давыдову. – Стари-
на и Новизна, кн. XXII, с. 38.

Мне предстоял путь через Курск и Харьков, но я своротил на прямую Тифлисскую дорогу. Несколько раз коляска моя вязла в грязи, достойной грязи Одесской. Мне случалось в целые сутки проехать не более пятидесяти верст. Наконец, увидел я Воронежские степи, свободно покатился по зеленой равнине и благополучно прибыл в Новочеркасск, где нашел гр. Вл. Пушкина, тоже едущего в Тифлис. Я сердечно ему обрадовался, и мы согласились путешествовать вместе. Он едет в огромной бричке. Это род укрепленного местечка; мы ее прозвали Отрадною. В северной ее части хранятся вина и съестные припасы; в южной – книги, мундиры, шляпы etc, etc. С западной и восточной стороны она защищена ружьями, пистолетами, мушкетонами, саблями и проч. На каждой станции выгружается часть северных запасов, и таким образом мы проводим время как нельзя лучше.

Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее: леса исчезают, холмы

сглаживаются, трава густеет... Калмыки располагаются около стационарных хат. У кибиток их пасутся уродливые, косматые козы. На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком). Все семейство собиралось завтракать; котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное в верху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. Как тебя зовут? —

. — Сколько тебе лет? — Десять и восемь. — Что ты шьешь? — Портка. — Кому? — Себя. (*В черновике:* — Поцелуй меня. — Неможна, стыдно. — Голос ее был чрезвычайно приятен.) Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины; я был и тому рад. (*В черновике:* — После сего подвига я думал, что имею право на некоторое вознаграждение, но моя гордая красавица ударила меня балалай-

кой по голове.) Калмыцкое кокетство испугало меня: я поскорее выбрался из кибитки и поехал от степной цирцеи.

С Екатеринограда начинается военная Грузинская дорога; почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачий и пехотный и одна пушка. Почта отправляется два раза в неделю, и проезжие к ней присоединяются: это называется оказией.

Пушкин. Путешествие в Арзрум, гл. I.

Известный стихотворец, отставной чиновник X класса Александр Пушкин отправился в марте месяце из С.-Петербурга в Тифлис, а как по высочайшему его имп. величества повелению состоит он под секретным надзором, то по приказанию его сиятельства (*графа И. Ф. Паскевича*) имея честь донести о том вашему превосходительству, покорнейше прошу не оставить распоряжением вашим о надлежащем надзоре за ним по прибытии его в Грузию.

Ген.-майор бар. Д. Е. Остен-Сакен в донесении воен. губернатору Грузии ген.-адъютанту

Стрекалову от 12 мая 1829 г. за № 28. – Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией, Тифлис, 1878, т. VII, с. 954.

* В Екатериноградской станице встретил я Пушкина... Все начало принимать воинственный вид, в ожидании скорого отправления. Пушкин из первых оделся в черкесский костюм, вооружился шашкой, кинжалом, пистолетом; подражая ему, многие из мирных людей накупили у казаков кавказских нарядов и оружия. Наконец, наступило раннее утро, и под звуки барабана все зашевелилось, и колонна выступила длинною вереницей; чтобы пехоту не утомлять, двигались очень медленно; но все-таки без привалов дело не обходилось. Палящее солнце днем, тихая езда, – все это очень нам надоедало. Пушкин затевал скачки, другие, тоже подражая ему, далеко удалялись за цепь, но всегда были возвращаемы обратно командовавшим транспортом офицером, предупреждавшим об опасности быть захваченным или подстреленным хищниками. Тогда Пушкин, подъезжая к офицеру, брал под козырек и произносил: «слушаем,

отец командир!» Переходы в длинные летние дни верст 20 и более тоже надоедали; в каждом укреплении располагались на ночлег. На ночлегах начиналось чаепитие, ужины, веселые разговоры, песни, иногда продолжавшиеся до рассвета. Пушкин очень любил расписывать двери и стены мелом и углем в отводившихся для ночлега казенных домиках. Его рисунки и стихи очень забавляли публику, но вместе с тем возбуждали неудовольствие и ворчание старых инвалидов-сторожей, которые немедленно стирали все тряпкой; когда же их останавливали, говоря: «братцы, не троньте, ведь это писал Пушкин», то раз один из старых ветеранов ответил: «Пушкин или Кукушкин – все равно, но зачем же казенные стены пачкать, комендант за это с нашего брата строго взыскивает». А. С-ч, подойдя к старику инвалиду, просил не сердиться, потрепал его по плечу и дал на водку серебряную монету.

Н. Б. Потокский. Воспоминания. – Рус. Стар., 1880, т. 28, с. 577.

(Между Владикавказом и Тифлисом.) Скоро

притупляются впечатления. Едва прошли сутки, и уже рев Терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания. Нетерпенье доехать до Тифлиса исключительно овладело мною. Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Чатырдага. Правда то, что дождливая и туманная погода мешала мне видеть его снеговую груду, по выражению поэта, подпирающую небосклон.

Пушкин. Путешествие в Арзрум, гл. I.

* Около заката солнца прибыли в Коби. В ожидании чая и ужина наше общество разбрелось по окрестностям поста, любоваться окружавшими его скалами. В двух верстах находится довольно большой аул. Пушкину пришла мысль осмотреть его; нас человек 20 отправились в путь. Ал. С-ч набросил на плечи плащ и на голову надел красную турецкую фесе, захватив по дороге толстую, суковатую палку, и, так выступая впереди публики, открыл шествие. У самого аула толпа мальчишек встретила нас и робко начала отступать, но тут появилось множество горцев, взрос-

лых мужчин и женщин с малютками на руках. Началось осматриванием внутренностей саклей, которые охотно отворялись, но, конечно, ничего не было в них привлекательно-го; разумеется, при этом дарились мелкие серебряные деньги, принимаемые с видимым удовольствием; наконец, мы обошли весь аул и, собравшись вместе, располагали вернуться на пост к чаю. Густая толпа все-таки нас не оставляла. Осетины, обыватели аула, расспрашивали нашего переводчика о красном человеке; тот отвечал им, что это «большой господин». Ал. С-ч вышел вперед и приказал переводчику сказать им, что «красный – не человек, а шайтан (черт); что его поймали еще маленьким в горах русские; между ними он привык, вырос и теперь живет подобно им». И когда тот передал им все это, толпа начала понемногу отступать, видимо, испуганная; в это время Ал. С-ч поднял руки вверх, соорудил сатирическую гримасу и бросился в толпу. Поднялся страшный шум, визг, писк детей, – горцы бросились врассыпную, но, отбежав, начали бросать в нас камнями, а потом и приближаться все ближе, так что камни за-

свистели над нашими головами. Эта шутка Ал. С-ча могла кончиться для нас очень печально, если бы постовой начальник не поспешил к нам с казаками; к счастью, он увидел густую толпу горцев, окружившую нас с шумом и гамом, и подумал о чем-то недобром. Известно, насколько суеверный, дикий горец верит в существование злых духов в Кавказских горах. Итак, мы отретировались благополучно.

Н. Б. Потокский. Воспоминания. – Рус. Стар., 1880, т. 28, с. 579.

(В Грузии.) В Пайсанауре остановился я для перемены лошадей... Я пошел пешком, не дождавись лошадей... Я дошел до Ананура, не чувствуя усталости. Лошади мои не приходили. Мне сказали, что до города Душета осталось не более как десять верст, и я опять отправился пешком. Но я не знал, что дорога шла в гору. Наступил вечер; я шел вперед, подымаясь все выше и выше. Местами глинистая грязь, образуемая источниками, доходила мне до колена. Я совершенно утомился. Темнота увеличивалась... Наконец увидел я

огни и около полуночи очутился у домов, осененных деревьями. Первый встречный вызвался провести меня к городничему и требовал за то с меня абаз. Появление мое у городничего, старого офицера из грузин, произвело большое действие. Я требовал, во-первых, комнаты, где бы мог раздеться, во-вторых, стакан вина, в-третьих, абазы для моего провожатого. Городничий не знал, как меня принять, и поглядывал на меня с недоумением. Видя, что он не торопится исполнить мои просьбы, я стал перед ним раздеваться, прося извинения de la liberté grande. К счастью, нашел я в кармане подорожную, доказывающую, что я мирный путешественник, а не Ринальдо-Ринальдини. Благословенная хартия возымела тотчас свое действие: комната была мне отведена, стакан вина принесен и абазы выдан моему проводнику, с отеческим выговором за его корыстолюбие, оскорбительное для грузинского гостеприимства. Я бросился на диван, надеясь после моего подвига заснуть богатырским сном, — не тут-то было! Блохи напали на меня и во всю ночь не дали мне покою. По утру явился ко мне человек и

объявил, что граф Пушкин[120] благополучно переправился на волах через снеговые горы и прибыл в Душет. Нужно было мне торопиться! Граф Пушкин и Шернваль посетили меня и предложили опять отправиться вместе в дорогу. Я оставил Душет с приятною мыслью, что ночью в Тифлисе.

Пушкин. Путешествие в Арзрум, гл. I.

(Пушкин приехал в Тифлис 27 мая, пробыл в нем около двух недель, до 10 июня.) Ежедневно производил он странности и шалости, ни на кого и ни на что не обращая внимания. Всего больше любил он армянский базар, — торговую улицу, узенькую, грязную и шумную... Отсюда шли о Пушкине самые поражающие вещи: там видели его, как он шел обнявшись с татаринном, в другом месте он переносил в открытую целую стопку чурехов.

На Эриванскую площадь выходил в шинели, накинутой прямо на ночное белье, покупая груши, и тут же, в открытую и не стесняясь никем, поедал их... Перебегает с места на место, минуты не посидит на одном, смешит и смеется, якшается на базарах с грязным ра-

бочим муштайдом и только что не прыгает в чехарду с уличными мальчишками. Пушкин в то время пробыл в Тифлисе, в общей сложности дней, всего лишь одну неделю, а заставил говорить о себе и покачивать многодумно головами не один год потом[121].

Кн. Е. О. Палавандов по записи С. В. Максимова. – С. В. Максимов. Год на Севере. М., 1890, 4-е изд., с. 408–409.

Однажды, это было в Тифлисе, за обедом у издателя Тифлисской газеты Санковского, когда разговор коснулся до оды Пушкина «Наполеон», я, по младости и живости моего характера, необдуманно позволил себе заметить А. С. Пушкину, что он весьма слабо изобразил великого полководца, назвавши его баловнем побед, тогда как Наполеон по своим гениальным воинским способностям побеждал не случайно, а по расчету. Пушкин, взглянувши на меня не совсем благосклонно, принял мою выходку строптиво: быстро перервал разговор и замолчал. Впоследствии времени, когда уже мы сошлись ближе, он один раз, бывши в самом веселом расположении духа, напом-

нил мне об этом с извинением передо мною, что он круто принял мое замечание, а я, в свою очередь, со всем чистосердечием сознался ему, что и я не имел права так резко произнести мой приговор в присутствии его, не бывши знаком с ним коротко. Так это и кончилось общим смехом.

В бытность Пушкина в Тифлисе общество молодых людей, бывших на службе, было весьма образованное и обратило особенное внимание Пушкина, который встретил в среде их некоторых из своих лицейских товарищей. Всякий, кто только имел возможность, давал ему частный праздник или обед, или вечер, или завтрак, и, конечно, всякий жаждал беседы с ним. Наконец, все общество, соединившись в одну мысль, положило сделать в честь его общий праздник, устройство которого было возложено на меня. Из живописных окрестностей Тифлиса не трудно было выбрать клочок земли для приветствия русского поэта. Выбор мой пал на один из прекрасных загородных виноградных садов за рекою Кур. В нем я устроил праздник нашему дорогому гостю в европейско-восточном вку-

се. Тут собрано было: разная музыка, песельники, танцовщики, баядерки, трубадуры всех азиатских народов, бывших тогда в Грузии. Весь сад был освещен разноцветными фонарями и восковыми свечами на листьях деревьев, а в середине сада возвышалось вензелевое имя виновника праздника. Более 30 единоподушных хозяев праздника заранее столпились у входа сада восторженно встретить своего дорогого гостя.

Едва показался Пушкин, как все бросились приветствовать его громким ура с выражением привета, как кто умел. Весь вечер пролетел незаметно в разговорах о разных предметах, рассказах, смешных анекдотах и пр. Одушевление всех было общее. Тут была и зурна, и тамаша, и лезгинка, и заунылая персидская песня, и Ахало, и Алаверды (грузинские песни), и Якшиол, и Байрон был на сцене, и все европейское, западное смешалось с восточно-азиатским разнообразием в устах образованной молодежи, и скромный Пушкин наш приводил в восторг всех, забавлял, восхищал своими милыми рассказами и каламбурами. — Действительно, Пушкин в этот вечер был в

апотезе душевного веселия, как никогда и никто его не видел в таком счастливом расположении духа; он был не только говорлив, но даже красноречив, между тем как обыкновенно он бывал более молчалив и мрачен. Как оригинально Пушкин предавался этой смеси азиатских увеселений! Как часто он вскакивал с места, после перехода томной персидской песни в плясовую лезгинку, как это пестрое разнообразие европейского с восточным ему нравилось и как он от души предался ребячьей веселости! Несколько раз повторялось, что общий серьезный разговор останавливался при какой-нибудь азиатской фарсе, и Пушкин, прерывая речь, бросался слушать или видеть какую-нибудь тамашу грузинскую или имеретинского импровизатора с вольнкой. Вечер начинал уже сменяться утром. Небо начало уже румяниться, и все засуетилось приготовлением русского радушного хлеба-соли нашему незабвенному гостю. Мигом покрасовался ужинный стол, установленный серебряными вазами с цветами и фруктами и чашами, и все собрались в теснейший кружок еще поближе к Пушкину, чтобы на-

слушаться побольше его речей и наглядеться на него. Все опять заговорило, завеселилось, запело. Когда торжественно провозглашен был тост Пушкина, снова застонало новое ура при искрах шампанского. Крики ура, все оркестры, музыка и пение, чокание бокалов и дружеские поцелуи смешались в воздухе. Когда европейский оркестр во время заздравного тоста Пушкина заиграл марш из *La dame blanche*, на русского Торквато надели венок из цветов и начали его поднимать на плечах своих при непрерывном ура, заглушавшем гром музыки. Потом посадили его на возвышение, украшенное цветами и растениями, и всякий из нас подходил к нему с заздравным бокалом и выражали ему, как кто умел, свои чувства, свою радость видеть его среди себя. На все эти приветы Пушкин молчал до времени, и одни теплые слезы высказывали то глубокое приятное чувство, которым он тогда был проникнут. Наконец, когда умолкли несколько голоса восторженных, Пушкин в своей стройной благоуханной речи излил перед нами душу свою, благодаря всех нас за торжество, которым мы его почтили, заклю-

чивши словами: «Я не помню дня, в который бы я был веселее нынешнего; я вижу, как меня любят, понимают и ценят, – и как это делает меня счастливым!» Когда он перестал говорить, – от избытка чувств бросился ко всем с самыми горячими объятиями и задушевно благодарил за эти незабвенные для него приветы. До самого утра пировали мы с Пушкиным.

К. И. Савостьянов. Письмо к В. П. Горчакову. – Пушкин и его совр-ки, т. XXXVII, с. 146–148.

Генерал Стрекалов, известный гастроном, позвал однажды меня обедать; по несчастью, у него разносили кушанья по чинам, а за столом сидели английские офицеры в генеральских эполетах. Слуги так усердно меня обносили, что я встал из-за стола голодный. Черт побери тифлисского гастронома!

Пушкин. Путешествие в Арзрум, гл. II.

Я с нетерпением ожидал разрешения моей участи (*разрешения приехать на фронт*). Наконец, получил я записку от Раевского (*Ник.*

Ник-ча младшего, старинного приятеля Пушкина, в то время командовавшего Нижегородским драгунским полком). Он писал мне, чтобы я спешил к Карсу, потому что через несколько дней войско должно было идти дальше. Я выехал на другой же день (10 июня). (Действующие войска уже выступили из Карса и стояли за 25 верст от него.) Я взъехал на отлогое возвышение и вдруг увидел наш лагерь, расположенный на берегу Каречая; через несколько минут я был уже в палатке Раевского. Я приехал вовремя. В тот же день (13 июня) войско получило повеление идти вперед.

Пушкин. Путешествие в Арзрум, гл. II–III.

Я жил (в одной палатке) с братом Пушкина Львом, бок о бок с нашим двадцатисемилетним генералом (Н. Н. Раевским), при котором мы оба были адъютантами, но не в адъютантских, а дружеских отношениях. Я лежал в пароксизме лихорадки, бывшей меня по-азиатски; вдруг я слышу, что кто-то подошел к палатке и спрашивает: дома ли? На этот вопрос Василий, слуга Льва Пушкина, отвечает, от-

крывая палатку: «Пожалуйте, Александр Сергеевич!» При этом имени я понял, что Пушкин, которого мы ждали, приехал. Когда он вошел, я приподнялся на кровати и стал, со стуком зубов, выражать сожаление, что лихорадка мешает мне принять его, как бы я желал, в отсутствие его брата. Пушкин пустился, с своей стороны, в извинения и, по выходе, стал выговаривать Василию, что он впустил его, ничего не сказавши о больном. После пароксизма я отправился к Раевскому, где и познакомился с поэтом.

Как теперь вижу его, живого, простого в обращении, хохотуна, очень подвижного, даже вертлявого, с великолепными, большими, чистыми и ясными глазами, в которых, казалось, отражалось все прекрасное в природе, с белыми, блестящими зубами, о которых он очень заботился, как Байрон. Он вовсе не был смугл, ни черноволос, как уверяют некоторые, а был вполне белокож и с вьющимися волосами каштанового цвета. В детстве он был совсем белокур, каким и остался брат его Лев. В его облике было что-то родное африканскому типу; но не было того, что оправ-

дывало бы его стих о самом себе: «Потомок негров *безобразный*». Напротив того, черты лица у него были приятные, и общее выражение очень симпатичное. Его портрет, работы Кипренского, похож безукоризненно. В одежде и во всей его наружности была заметна светская заботливость о себе.

М. В. Юзефович. Воспоминания о Пушкине. – Рус. Арх., 1880, т. III, с. 434.

Лев Сергеевич Пушкин похож лицом на своего брата: тот же африканский тип, те же толстые губы (*большой нос*), умные глаза; но он блондин, хотя волосы его так же вьются, как черные кудри Александра Сергеевича [122].

Н. И. Лорер. Записки моего времени. – Рус. Арх., 1874, т. I, с. 384.

В пятом часу войско выступило. Я ехал с Нижегородским драгунским полком, разговаривая с Раевским, с которым уже несколько лет не видался. Настала ночь. Мы остановились в долине, где все войско имело привал. Здесь имел я честь быть представлен графу

Паскевичу. Я нашел графа дома, перед бивачным огнем, окруженного своим штабом. Он был весел и принял меня ласково. Здесь увидел я нашего Вальховского (*обер-квартирмейстер армии Паскевича, лицейский товарищ Пушкина*), запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мною, как старый товарищ. Здесь увидел я и Михаила Пущина, раненного в прошлом году (*разжалованный декабрист, брат Ивана Пущина, лицейского товарища Пушкина*). Многие из старых моих приятелей окружили меня. Я воротился к Раевскому и ночевал в его палатке. На заре войско двинулось. Мы благополучно прошли опасное ущелье и стали на высотах Саганлу, в десяти верстах от неприятельского лагеря. Только успели мы отдохнуть и отобедать, как слышали ружейные выстрелы. Раевский послал осведомиться. Ему донесли, что турки завязали перестрелку на передовых наших пикетах. Я поехал с Семичевым посмотреть новую для меня картину.

Пушкин. Путешествие в Арзрум, гл. III.

Однажды, возвращаясь из разъезда, я сошел с лошади прямо в палатку Николая Раевского, чтобы первого его порадовать скорою неминуемою встречей с неприятелем, которой все в отряде с нетерпением ожидали. Не могу описать моего удивления и радости, когда тут А. С. Пушкин бросился меня целовать, и первый его вопрос был: ну, скажи, Пущин: где турки, и увижу ли я их; я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках. Дай, пожалуйста, мне видеть то, за чем сюда с такими препятствиями приехал! — «Могу тебя порадовать: турки не замедлят представиться тебе на смотр, полагаю даже, что они сегодня вызовут нас из нашего бездействия». Живые разговоры с Пушкиным, Раевским и Сакеном (начальником штаба, вошедшим в палатку, когда узнал, что я возвратился) за стаканом чая приготовили нас встретить турок грудью. Пушкин радовался, как ребенок, тому ощущению, которое его ожидает. Я просил его не отделяться от меня при встрече с неприятелем, обещал ему быть там, где более опасности, между тем как не желал бы его видеть ни раненым, ни убитым.

Раевский не хотел его отпускать от себя, а сам на этот раз, по своему высокому положению, хотел держать себя как можно дальше от выстрела турецкого, особенно же от их сабли или курдинской пики. Пушкину же мое предложение более улыбалось. В это время вошел Семичев (*майор Нижегородского драгунского полка, сосланный на Кавказ из Ахтырского гусарского полка*) и предложил Пушкину находиться при нем, когда он выедет вперед с фланкерами полка.

Еще мы не кончили обеда у Раевского с Пушкиным, его братом Львом и Семичевым, как пришли сказать, что неприятель показался у аванпостов. Все мы бросились к лошадям, с утра оседланным... Не успел я выехать, как уже попал в схватку казаков с наездниками турецкими, и тут же встречаю Семичева, который спрашивает меня, не видал ли я Пушкина? Вместе с ним мы поскакали его искать и нашли отделившегося от фланкирующих драгун, скачущего с саблею наголо, против турок, на него летящих. Приближение наше, а за нами улан с Юзефовичем, скакавшим нас выручать, заставило турок в этом пункте уда-

литься, – и Пушкину не удалось попробовать своей сабли над турецкою башкою, и он, хотя с неудовольствием, но нас более не покидал, тем более, что нападение турок со всех сторон было отражено, и кавалерия наша, преследовав их до самого укрепленного их лагеря, возвратилась на прежнюю позицию до наступления ночи.

М. И. Пущин. Встреча с Пушкиным за Кавказом. – Л. Н. Майков, с. 387–389.

Перестрелка 14 июня 1829 г. замечательна потому, что в ней участвовал славный поэт наш А. С. Пушкин... Когда войска, совершив трудный переход, отдыхали в долине Инжа-Су, неприятель внезапно атаковал передовую цепь нашу. Поэт, в первый раз услышав около себя столь близкие звуки войны, не мог не уступить чувству энтузиазма. В поэтическом порыве он тотчас выскочил из ставки, сел на лошадь и мгновенно очутился на аванпостах. Опытный майор Семичев, посланный генералом Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел насильно из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин, оду-

шевленный отвагою, столь свойственную новобранцу-воину, схватив пику после одного из убитых казаков, устремился против неприятельских всадников. Можно поверить, что Донцы наши были чрезвычайно изумлены, увидев перед собою незнакомого героя в круглой шляпе и в бурке. Это был первый и последний военный дебют любимца Муз на Кавказе.

Н. И. Ушаков. История военных действия в Азиатской Турции в 1828 и 1829 гг. Варшава, 1843, ч. II, с. 303.

С Раевским Пушкин занимал палатку в лагере его полка, от него не отставал и при битвах с неприятелем. Так было между прочим в большом Саганлугском деле. Мы, пионеры, оставались в прикрытии штаба и занимали высоту, с которой, не сходя с коня, Паскевич наблюдал за ходом сражения. Когда главная масса турок была опрокинута и Раевский с кавалерией стал их преследовать, мы завидели скачущего к нам во весь опор всадника: это был Пушкин, в кургузом пиджаке и маленьком цилиндре на голове. Осадив лошадь

в двух-трех шагах от Паскевича, он снял свою шляпу, передал ему несколько слов Раевского и, получив ответ, опять понесся к нему же, Раевскому. Во время пребывания в отряде Пушкин держал себя серьезно, избегал новых встреч и сходил только с прежними своими знакомыми, при посторонних же всегда был молчалив и казался задумчивым.

А. С. Гангеблов. Воспоминания декабриста. М., 1888, с. 188.

М. В. Юзефович рассказывал о Пушкине, с которым познакомился на Кавказе и был с ним под Эрзерумом. Он говорил, что Пушкину очень хотелось побывать под ядрами неприятельских пушек и, особенно, слышать их свист. Желание его исполнилось, ядра, однако, не испугали его, несмотря на то, что одно из них упало очень близко.

А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. II, с. 403.

Александр очень весел, судя по письму... По-видимому, он в восторге от своего путешествия. В письме к Плетневу он дает подроб-

ную картину своего образа жизни в походе. Он ездит на казацкой лошади, с нагайкой в руке.

С. Л. Пушкин – О. С. Павлицевой, 22 авг. 1829 г. – Пушкин. Письма под ред. Б. Л. Модзалевского, т. II, с. 344 (фр.).

Лагерная жизнь очень мне нравилась. Пушка подымала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах Таврийских.

Пушкин. Путешествие в Арзрум, гл. III.

Пушкин писал письма Нащокину и с Кавказа во второе свое путешествие. В одном из таких писем, сколько помнил Нащокин, Пушкин говорит, что путешествовал с особым денщиком, и солдаты, видя его, может быть, одного из русских в тех местах разъезжающим в статском платье, почитали его немецким попом.

П. И. Бартенев. – Деятнадцатый век. Кн. I, с. 402.

Пушкин носил и у нас щегольской черный сюртук, с блестящим цилиндром на голове, а потому солдаты, не зная, кто он такой, и видя его постоянно при Нижегородском драгунском полку, которым командовал Раевский, принимали его за полкового священника и звали драгунским батюшкой. Он был чрезвычайно добр и сердечен. Надо было видеть нежное участие, какое он оказывал Донцу Сухорукову, умному, образованному и чрезвычайно скромному литературному собрату, который имел несчастье возбудить против себя гонение тогдашнего военного министра Чернышева, по подозрению в какой-то интриге по делу о преобразовании войска донского. У него, между прочими преследованиями, отняты были все выписки, относившиеся к истории Дона, собранные им в то время, когда он рылся в архивах по поручению Карамзина. Пушкин, узнав об этом, чуть не плакал и все думал, как бы по возвращении в Петербург выхлопотать Сухорукову эти документы. – Во всех речах и поступках Пушкина не было уже и следа прежнего разнузданного повесы. Он

даже оказывался, к нашему сожалению, слишком воздержным застольным собутыльником. Он отстал уже окончательно от всех излишеств... Я помню, как однажды один болтун, думая, конечно, ему угодить, напомнил ему об одной его библейской поэме и стал было читать из нее отрывок; Пушкин вспыхнул, на лице его выразилась такая боль, что тот понял и замолчал. После Пушкин, коснувшись этой глупой выходки, говорил, как он дорого бы дал, чтоб взять назад некоторые стихотворения, написанные им в первой легкомысленной молодости. И ежели в нем еще иногда прорывались наружу неумеренные страсти, то мировоззрение его изменилось уже вполне и бесповоротно. Он был уже глубоко верующим человеком и одумавшимся гражданином, понявшим требования русской жизни и отрешившимся от утопических иллюзий.

В своем тесном кругу бывали у нас с Пушкиным откровенные споры. Я был ярый спорщик, он тоже. Раевский любил нас подзадоривать и стравливать. Однажды Пушкин коснулся аристократического начала, как необ-

ходимого в развитии всех народов; я же щеголял тогда демократизмом. Пушкин, наконец, с жаром воскликнул: «Я не понимаю, как можно не гордиться своими историческими предками! Я горжусь тем, что под выборного грамотой Михаила Федоровича есть пять подписей Пушкиных».

Тут Раевский очень смешным сарказмом обдал его, как ушатом воды, и спор наш кончился. Уже после я узнал, по нескольким подобным случаям, об одной замечательной черте в характере Пушкина: об его почти невероятной чувствительности ко всякой насмешке, хотя бы самой невинной и даже пошлой. Против насмешки он оказывался всегда почти безоружным и безответным. Ее впечатление поражало его иногда так глубоко, что оно не сглаживалось в нем во всю жизнь.

«Бориса Годунова» и отрывки последней части «Онегина» Пушкин читал нам сам. Он, по-моему, не был чтецом-мастером: его декламация впадала в искусственность. Лев Сергеевич читал его стихи лучше, чем он. При чтении «Бориса Годунова» случился забавный эпизод. Между присутствующими был гене-

рал М. (*Муравьев?*), известный прежде всего своим колоссальным педантизмом. Во время сцены, когда самозванец, в увлечении, признается Марине, что он не настоящий Дмитрий, М. не выдержал и остановил Пушкина. «Позвольте, Александр Сергеевич, как же такая неосторожность со стороны самозванца? Ну, а если она его выдаст?» Пушкин с заметною досадой: «Подождите, увидите, что не выдаст». После этой выходки Пушкин объявил решительно, что при М. он больше ничего читать не станет; и когда, потом, он собрался читать нам «Онегина», то поставлены были маховые, чтоб дать знать, если будет к нам идти М. Он и шел, но, по данному сигналу, все мы разбежались из палатки Раевского. М. пришел, нашел палатку пустою и возвратился во свояси. Тогда мы собрались опять, и чтение состоялось.

В бывших у нас литературных беседах я раз сделал Пушкину вопрос, всегда меня занимавший, как он не поддался тогдашнему обаянию Жуковского и Батюшкова и, даже в самых первых своих опытах, не сделался подражателем ни того, ни другого? Пушкин мне

ответил, что этим он обязан Денису Давыдову, который дал ему почувствовать еще в лице возможность быть оригинальным. Пушкин имел хорошее общее образование. Кроме основательного знакомства с иностранной литературой, он знал хорошо нашу историю и вообще для своего серьезного образования воспользовался ссылкой. Так, между прочим, он выучился по-английски. Сним было несколько книг, и в том числе Шекспир. Однажды он, в нашей палатке, переводил брату и мне некоторые из него сцены. Я когда-то учился английскому языку, но, не доучившись как следует, забыл его впоследствии. Однако ж все-таки мне остались знакомы его звуки. В чтении же Пушкина английское произношение было до того уродливо, что я заподозрил его знание языка и решил подвергнуть его экспертизе. Для этого, на другой день, я зазвал к себе его родственника Захара Чернышева, знавшего английский язык, как свой родной, и, предупредив его, в чем было дело, позвал к себе и Пушкина с Шекспиром. Он охотно принялся переводить нам его. Чернышев при первых же словах, прочитанных

Пушкиным по-английски, расхохотался: «Ты скажи прежде, на каком языке читаешь?» Расхохотался в свою очередь и Пушкин, объяснив, что он выучился по-английски самоучкой, а потому читает английскую грамоту, как латинскую. Но дело в том, что Чернышев нашел перевод его правильным и понимание языка безукоризненным.

М. В. Юзефович. Воспоминания о Пушкине. – Рус. Арх., 1880, т. III, с. 435–445.

Мы стали подвигаться вперед, но с большою осторожностью. Через несколько дней, в ночном своем разъезде, я наткнулся на все войско сераскира, выступившее из Гассан-Кале нам навстречу. По сообщении известия об этом Пушкину в нем разыгралась африканская кровь, и он стал прыгать и бить в ладоши, говоря, что на этот раз он непременно схватится с турком; но схватиться опять ему не удалось, потому что он не мог из вежливости оставить Паскевича, который не хотел его отпускать от себя не только во время сражения, но на привалах, в лагере, и вообще всегда, на всех перекрестках и в свободное от занятий

время за ним посылал и порядочно – по словам Пушкина – ему надоел. Правду сказать, со всем желанием Пушкина убить или побить турка, ему уже на то не было возможности, потому что неприятель уже более нас не атаковал, а везде до самой сдачи без оглядки бежал, и все сражения, громкие в реляциях, были только преследования неприятеля, который бросал на дороге орудия, обозы, лагеря и отсталых своих людей. Всегда, когда мы сходились с Пушкиным у меня или Раевского, он бесился на турок, которые не хотят принимать столь желанного им сражения.

М. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 389.

(26 июня 1829 г., под Эрзерумом.) Вокруг всего города были выстроены батареи, которые открыли по нас почти безвредный огонь. Тут я припоминаю немного смешной случай. Когда батарейная рота стала на позицию и снялась с передков, я со своею ротою следовал, чтобы занять подле нее место. Главнокомандующий (*Паскевич*) со штабом, верхом на сером тухменском коне, стоял тут же; несколько офицеров были пешие, Пушкин

стоял перед главнокомандующим на чистом месте один. Вдруг первый выстрел из батареи 21-й бригады. Пушкин вскрикивает: «славно!» Главнокомандующий спрашивает: «Куда попало?» Пушкин, обернувшись к нему: «Прямо в город!» – «Гадко, а не славно», – сказал Ив. Фед-вич (*Паскевич*).

Э. В. Бриммер. Служба артиллерийского офицера. – Кавказский сборник, 1895, т. XVI, с. 83.

Мы получили от Пушкина письмо из Арзерума, в котором, пишет он, ему очень весело. Дела делает он там довольно: ест, пьет и ездит с нагайкой на казацкой лошади.

Бар. А. А. Дельвиц – кн. П. А. Вяземскому, 30 авг. 1829 г. – Старина и Новизна, 1902, кн. V, с. 38.

* От В. Д. Вольховского я узнал некоторые подробности о ссоре Паскевича с Пушкиным. Мне передавали, что когда Александр Сергеевич прибыл в армию, Паскевич принял его очень радушно и даже велел поставить ему палатку возле своей ставки. Разумеется, Пуш-

кина более влекла к себе задушевная беседа с Вальховским и Раевским. У них-то он проводил все свободное время и редко посещал свою палатку. До того он рыскал по лагерю, что иногда посланные от главнокомандующего звать Пушкина к обеду не находили его. При всякой же перестрелке с неприятелем, во время движения войск вперед, Пушкина видели всегда впереди скачущих казаков или драгун прямо под выстрелы. Паскевич неоднократно предупреждал Пушкина, что ему опасно зарываться так далеко, и советовал находиться во время дела неотлучно при себе, точь-в-точь как будто адъютанту. Это всегда возмущало пылкость характера и нетерпение Пушкина – стоять сложа руки и бездействовать. Он, как будто нарочно, дразнил главнокомандующего и, не слушая его советов, при первой возможности, скрывался от него и являлся где-нибудь впереди в самой свалке сражения. После всего этого вышла открытая ссора между Паскевичем и Пушкиным. Наконец, главнокомандующий, видя, что Пушкин явно удаляется от него, призвал к себе в палатку (во время доклада бумаг

Вальховского) и резко объявил:

– Господин Пушкин! Мне вас жаль, жизнь ваша дорога для России; вам здесь делать нечего, а потому я советую немедленно уехать из армии обратно, и я уже велел приготовить для вас благонадежный конвой.

Вальховский передал мне, что Пушкин порывисто поклонился Паскевичу и выбежал из палатки, немедленно собрался в путь, попрощавшись с знакомыми и друзьями, и в тот же день уехал. Вальховский передавал мне под секретом еще то, что одною из главных причин неудовольствия главнокомандующего было нередкое свидание Пушкина с некоторыми из декабристов, находившимися в армии рядовыми. Говорили потом, что некоторые личности шпионили за поведением Пушкина и передавали свои наблюдения Паскевичу, разумеется, с прибавлениями, желая тем выслужиться.

Н. Б. Потокский. Воспоминания. – Рус. Стар., 1880, т. 28, с. 583.

Возвращаясь во дворец, узнал я, что в Арзруме открылась чума. Мне тотчас представи-

лись ужасы карантина, и я в тот же день решился оставить армию. Мысль о присутствии чумы очень неприятна с непривычки. Желая изгладить это впечатление, я пошел гулять по базару. Остановясь перед лавкою оружейного мастера, я стал рассматривать какой-то кинжал, как вдруг ударили меня по плечу. Я оглянулся: за мной стоял ужасный нищий. Он был бледен, как смерть; из красных загноенных глаз его текли слезы. Мысль о чуме опять мелькнула в моем воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого и воротился домой очень недовольный своею прогулкою.

Любопытство, однако же, превозмогло: на другой день я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумленные. Я не сошел с лошади и взял предосторожность встать по ветру. Из палатки вывели нам больного; он был чрезвычайно бледен и шатался, как пьяный. Другой больной лежал без памяти. Осмотрев чумного и обещав несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его под руки, раздевали, щупали, как будто чума была не что иное,

как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия и поскорее возвратился в город.

19 июля пришел я проститься с графом Паскевичем. Он предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий; но я спешил в Россию... Граф подарил мне на память турецкую саблю. В тот же день я оставил Арзрум.

Пушкин. Путешествие в Арзрум, гл. V.

(М. И. Пущин из Тифлиса в Пятигорск поехал с Дороховым, поставив ему условием ни с кем не драться по дороге. В Душете Дорохов избил по щекам своего и пущинского денщиков, после чего Пущин уехал один.) Во Владикавказе неожиданно прибегает ко мне Пушкин, объявляя, что он меня догонял, чтобы вместе ехать на воды. Он приехал вместе с Дороховым (который боялся ко мне идти), просил меня простить его и ручался за него, что он не будет более нарушать условие, а между тем в нем так много цинической грации, что сообщество его очень будет для нас приятно. Я согласился на просьбу Пушкина, он привел ко мне Дорохова с повинною, вытянутою фи-

гурую, до того комическою, что мы с Пушкиным расхохотались, и я сделал с обоими новый договор – во все время нашего следования в товариществе до вод в карты между собой не играть. Оба на это согласились. Пушкин приказал притащить ко мне свои и Дорохова вещи и, между прочим, ящик отличного рейнвейна, который ему Раевский дал на дорогу. Мы тут же распили несколько бутылок. – Ехали мы втроем в коляске; иногда Пушкин садился на казачью лошадь и усакивал от отряда, отыскивая приключений или встречи с горцами, встретив которых намеревался, усакивая от них, навести их на наш конвой и орудие; но ни приключений, ни горцев он во всю дорогу не нашел. Тяжело было обоим во время привалов и ночлегов; один не смел бить своего денщика, а другой не смел заикнуться о картах, пытаюсь, однако, у меня несколько раз о сложении тягостного для него уговора. Один рейнвейн услаждал общую нашу скуку.

Приехали в Пятигорск. Я пошел осматривать источники. По возвращении домой я застал Пушкина с Дороховым и еще Павловско-

го полка офицером Астафьевым, играющих в банк. На замечание мое, что они не исполняют условия, Пушкин отвечал, что условие ими свято выполнено, потому что оно дано было на время переезда к водам. Он был прав, и мне оставалось только присоединиться к их игре. Астафьев порядочно всех нас на первый же раз облупил. Пушкин в этот вечер выиграл несколько червонцев; Дорохов проиграл, кажется, более, чем желал проиграть; Астафьев и Пушкин кончили игру в веселом расположении духа, а Дорохов отошел угрюмый от стола. Когда Астафьев ушел, я спросил Пушкина, как случилось, что, не будучи никогда знаком с Астафьевым, я нашел его у себя с ним играющего. «Очень просто, – отвечал Пушкин, – мы, как ты ушел, послали за картами и начали играть с Дороховым; Астафьев, проходя мимо, зашел познакомиться; мы ему предложили поставить карточку, и оказалось, что он добрый малый и любит в карты играть». – «Как бы я желал, Пушкин, чтобы ты скорее приехал в Кисловодск и дал мне обещание с Астафьевым в карты не играть». – «Нет, брат, дудки! Обещания не даю, Астафье-

ва не боюсь и в Кисловодск приеду скорей, чем ты думаешь». Но на поверку вышло не так: более недели Пушкин и Дорохов не являлись в Кисловодск, наконец, приехали вместе, оба продувшиеся до копейки. Пушкин проиграл тысячу червонцев, взятых им на дорогу у Раевского. Приехал ко мне с твердым намерением вести жизнь правильную и много заниматься; приказал моему денщику приводить ему по утрам одну из лошадей моих и ездил кататься верхом. Мне странна показалась эта новая прихоть; но скоро узнал я, что в Солдатской слободке около Кисловодска поселился Астафьев и Пушкин каждое утро к нему заезжал. Однажды, возвратившись с прогулки, он высыпал при мне несколько червонцев на стол. «Откуда, Пушкин, такое богатство?» – «Должен тебе признаться, что я всякое утро заезжаю к Астафьеву и довольствуюсь каждый раз выигрышем у него нескольких червонцев. Я его мелким огнем бью и вот сколько уже вытащил у него моих денег». Всего было им наиграно червонцев двадцать. Я ему предсказывал, что весь свой выигрыш он разом оставит в один прекрас-

ный день. Узнал я это тогда, когда он попросил у меня 50 червонцев, ехавши на игру... Несмотря на намерение свое много заниматься, Пушкин, живя со мною, мало чем занимался. Вообще мы вели жизнь разгульную, часто обедали у Шереметева, Петра Васильевича, жившего с нами в доме Реброва. Шереметев кормил нас отлично и к обеду своему собирал всегда довольно большое общество. Разумеется, после обеда «в ненастные дни занимались они делом: и приписывали и отписывали мелом». Тут явилась замечательная личность, которая очень была привлекательна для Пушкина, сарапульский городничий Дуров (брат «девицы-кавалериста» Дуровой). Цинизм Дурова восхищал и удивлял Пушкина, забота его была постоянная – заставлять Дурова что-нибудь рассказывать из своих приключений, которые заставляли Пушкина хохотать от души; с утра он отыскивал Дурова и поздно вечером расставался с ним.

М. И. Пущин. Встреча с Пушкиным на Кавказе. – Л. Н. Майков, с. 391–393 – Он же. Записки. Рус. Арх., 1908, т. III, с. 546–548. (Тексты «Встречи» и «Записок» значительно разнятся

друг от друга, нами выбрано из обоих наиболее характерное.)

Лицейский твой товарищ Пушкин, который с пикой в руках следил турок перед Арзерумом, по взятии оного возвратился оттуда и приехал ко мне на воды, – мы вместе пьем по несколько стаканов кислой воды и по две ванны принимаем в день.

М. И. Пущин – И. И. Пущину, 25 авг. 1829 г., из Кисловодска. – Щукинский Сборник, т. III, с. 324.

Здание старой казенной гостиницы в Кисловодске выстроено в самом парке в 20-х годах из корабельных сосен, срубленных под Эльбрусом. Пушкин приехал в Кисловодск вместе с Дороховым и М. Пущиным, жил в этой, тогда только что отстроенной гостинице, а потом в доме доктора Реброва, в компании с П. В. Шереметевым... Дом, описанный Лермонтовым в рассказе «Княжна Мэри», цел до сих пор; это тот самый дом, бывший д-ра Реброва, в котором жил Пушкин, о чем, конечно, хорошо знал Лермонтов, а потому, мо-

жет быть, и увековечил описание этого дома. Дом – деревянный, старой постройки и архитектуры, с мезонином и деревянными же толстыми колоннами. Из этого-то мезонина, в рассказе Лермонтова, и спускался по привязанной наверху шали Печорин.

И. Н. Захарьин. Кавказские минеральные воды. – Историч. Вестн., 1903, № 9, с. 1019.

Приближалось время отъезда; Пушкин условился ехать с Дуровым до Москвы; но ни у того, ни у другого не было денег на дорогу. Я снабдил ими Пушкина на путевые издержки; Дуров приютился к нему. Из Новочеркасска Пушкин мне писал, что Дуров оказался *chevalier d'industrie*[123], выиграл у него пять тысяч рублей, которые Пушкин достал у наказного атамана Иловайского, и, заплативши Дурову, в Новочеркасске с ним разъехался и поскакал один в Москву.

М. И. Пущин. Записки. – Л. Н. Майков, с. 394.

Я познакомился с Дуровым на Кавказе в 1829 г., возвращаясь из Арзрума. Он лечился от какой-то удивительной болезни, вроде ка-

талепсии, и играл с утра до ночи в карты. Наконец, он проигрался, и я довез его до Москвы в моей коляске.

Пушкин. Заметка о Дурове («Дуров – брат той Дуровой...»).

Перед женитьбой

Секретно.

Чсть имею сим донести, что известный поэт, отставной чиновник 10 класса Александр Пушкин прибыл в Москву и остановился Тверской части, 1-го квартала, в доме Обера, гостинице «Англия», за коим секретный надзор учрежден.

Полицмейстер *Миллер* в рапорте моск. обер-полицмейстеру, 20 сент. 1829 г. – Кр. Арх., т. 37, с. 239.

По записи П. В. Анненкова со слов Н. Н. Ланской (*Гончаровой-Пушкиной*), Пушкин, приехав в Москву по возвращении с Кавказа, «только проехал по Никитской, где был дом Гончаровых, и тотчас же отправился в Малинники к Вульфовым».

Пушкин. Письма под. ред. Б. Л. Модзалев-

С. Н. Гончаров помнит хорошо приезд Пушкина с Кавказа. Было утро; мать еще спала, а дети сидели в столовой за чаем. Вдруг стук на крыльце, и вслед за тем в самую столовую влетает из прихожей калоша. Это Пушкин, торопливо раздевавшийся. Войдя, он тотчас спрашивает про Наталью Николаевну. За нею пошли, но она не смела выйти, не спросившись матери, которую разбудили. Будущая теща приняла Пушкина в постели.

С. Н. Гончаров по записи П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1881, т. II, с. 498.

Однажды мы сидели в кабинете Василия Львовича (*Пушкина*): он, М. А. Салтыков, Шаликов и я; отворилась дверь, и вошел А. С. Пушкин. Поэт обнял дядю, подал руку Салтыкову и Шаликову; Вас. Л-вич назвал ему меня, мы раскланялись... А. С. рассказывал о своей поездке в Арзрум. Между тем, кн. Шаликов присел к столу и писал. «Недавно был день вашего рождения, Ал. С-ч., – сказал он поэту. – Я подумал, что никто не воспел такого знаме-

нитого дня, и написал вот что».

Он подал бумагу Пушкину, тот прочитал, пожал руку и положил записку в карман, не делая нас участниками в высказанных ему похвалах[124].

А. А. Кононов. Из записок. – Библиографич. Зап., 1859, № 10, с. 307.

К А. С. ПУШКИНУ
В день рождения.

*Когда родился ты, – хор в Олим-
пийском мире
Средь небожителей пророчески
воспел:
Младенца славный ждет удел –
Пленять сердца игрой на лире.
(Цензурная помета – 30 сент.
1829 г.)*

О «Полтаве» Пушкина я первый (1829) писал, как о поэме народной и исторической. Незабвенно мне, как благодарил меня потом за мою статью Пушкин, возвратясь из своего закавказского странствия, где набирался он впечатлений войны под руководством своего

друга Н. Раевского. Тогда же, узнав от Пушкина, что он написал «Полтаву» не читавши еще Конисского, я познакомил его с нашим малороссийским историком и подарил ему случившийся у меня список «Истории Руссов», об которой он написал потом прекрасные страницы.

М. А. Максимович. Собр. соч., Киев, 1880, т. III, с. 491.

Сохранился альбом младшей из девиц Ушаковых, Елизаветы Николаевны. Первоначально это был чистенький альбом, который разные неизвестные в литературе лица украшали своими русскими и французскими стихами; но потом тетрадка была предоставлена в распоряжение Пушкина, и он испестрил ее своими рисунками. Видно, что все это набрасывалось в течение долгих бесцеремонных бесед в домашнем кругу. Рисунки Пушкина изображают то мужские лица, то женские головки, то мужские и женские фигуры большею частью в восточных костюмах, — без сомнения, воспоминания из его кавказской поездки 1829 года. На одной картинке изобра-

жен человек верхом на лошади, в бурке и круглой шляпе, с пикой наперевес в руке – это Пушкин во время одной из схваток с турками (14 июня 1829 года).

К числу кавказских воспоминаний относится и вид восточного города, с плоскими крышами домов и минаретами; набросав этот вид, Пушкин подписал над ним: «Арзрум, взятый помощью божией и молитвами Екатерины Николаевны 27 июня 1829 г. от Р. Х.», а другая, по-видимому, женская рука вставила в эту подпись, после слов «взятый», еще следующее: *мною А. П.*

Альбом Елизаветы Николаевны хранит многие следы шалостей Пушкина. К числу их относятся те рисунки, в которых можно видеть намеки на расположение обладательницы альбома к С. Д. Киселеву. Своими набросками Пушкин как бы предсказывает их супружество. Он несколько раз рисует профиль Елизаветы Николаевны, и притом всегда изображает барышню уже в чепчике, в costume молодой дамы. Один из рисунков представляет ее с кошкой на руках, и под ним стоит подпись:

«Al. Pouch, pinxit[125]. 5 октября 1829». Дважды рисует он и самого С. Д. Киселева, в очках и придавая ему вид пожилого толстяка. Еще одна картинка изображает Елизавету Николаевну, опять в чепчике, окруженную котятами и устремляющую свои вооруженные очками глаза на жирного кота, тоже в очках, который сидит перед нею с поднятою лапкою. Под этой картинкой подпись: «Елизавета Миколавна в день ангела Д. Жуана». Понятно, кто в данном случае разумелся под этим именем. Дело в том, что обладательница прекрасных черных глаз Елизавета Николаевна была очень близорука и, когда пела, должна была надевать очки, чтобы видеть ноты, положенные на высоком пюпитре. В таком виде и нарисовал ее Пушкин, а перед нею – поместившегося на том же пюпитре кота, который дирижирует лапкой. Она поет одну из трех арий, исполнением которых особенно восхищался С. Д. Киселев. Рисунок, сейчас описанный, Пушкин называл: «Будущее семейное счастье Лизаветы Миколавны». Случалось, что, желая сконфузить ее намеком на того, кто ей нравился, Пушкин неожидан-

но принимался мяукать или звать кошку: «кис, кис, кис», как бы произнося начальные звуки фамилии Сергея Дмитриевича. Иногда Пушкин называл Елизавету Николаевну «кисанькой» и, согласно с таким названием, нарисовал на одном листке альбома кошку, которой придан профиль его обладательницы, у ее ног лежат трупы двух крыс, а вдали победоносно шествует очень маленького роста Дон Жуан, на которого «кисанька» ласково поглядывает. По преданию, сохранившемся в семье Киселевых, кошки были вообще любимым произведением пушкинского карандаша; он рисовал их всегда и везде, – в альбоме знакомой барышни, на случайно подвернувшемся клочке бумаги, на зеленом сукне ломберного стола, рисовал их всегда одним и тем же приемом, в одном и том же виде, то есть свернутыми калачиком, – и этими рисунками, в которых заключался известный намек, немало досаждал Елизавете Николаевне. Зато «пушкинская кошка» и получила в ее семействе особенное, заветное значение.

Но если Пушкин не стеснялся там в шутках и шалостях, то, в свою очередь, молодые

хозяйки нередко обращали на него свое остроумие. В особенности корили его за непостоянство его сердца, и Пушкин откровенно винился в обилии своих сердечных увлечений; в альбоме Елизаветы Николаевны он собственноручно написал имена женщин, которыми в течение своей жизни, с ранней юности, он увлекался. Одной молодой особе женского пола посвящены в том же альбоме три наброска. На одном она изображена en face с протянутою рукой, на другом – спиной, с обращенною влево головой и тоже с протянутою правою рукой; к этой женской руке тянутся с края листка две мужские (самой мужской фигуры не нарисовано за недостатком места); в левой руке письмо, а правая украшена очень длинными ногтями. Известно, что у Пушкина была привычка носить длинные ногти. На обеих картинках у барышни нарисованы большие ноги, и на втором рисунке написаны произносимые ею слова: «Как вы жестоки! Мне в эдаких башмаках нельзя ходить: они мне слишком узки, жмут ноги; мозоли будут». Кроме этих надписей, на обоих рисунках есть еще по приписке, сделанной

неизвестным почерком: на первом – «Kars, Kars», и на втором – «Карс, Карс, брат! Брат, Карс!» Та же особа представлена еще на одной картинке, о чем можно заключить по надписи на ней, сделанной женским почерком: «О горе мне! Карс! Карс! Прощай, бел свет! Умру!» Здесь изображена обращенная спиною женская фигура в пестром платье, с шляпой на голове и с веером в руке, на котором написано: «Stabat Mater dolorosa»[126]. Дополнением к этим трем рисункам является еще четвертый, изображающий очень отчетливо нарисованное, быть может, Пушкиным лицо пожилой женщины сурового вида, в чепце, с подписью (неизвестного почерка): «Маменька Карса!»

Предание, сохраненное Н. С. Киселевым, дает ключ к объяснению этих рисунков: Пушкин называл Карсом Наталью Николаевну Гончарову, которая уже нравилась ему в то время, но казалась столь же неприступною, как знаменитая турецкая крепость. «Маменька Карса», как известно, долго держала влюбленного поэта на искусе, и, по свидетельству Н. С. Киселева, Пушкин намекал на это испы-

тание, когда в альбоме Ушаковой рисовал себя облаченным в монашескую рясу и клобук.

По словам Н. С. Киселева, Пушкин носил на левой руке, между плечом и локтем, золотой браслет с зеленой яшмой с турецкою надписью. Браслет этот был подарен им Е. Н. Ушаковой.

Л. Н. Майков, с. 365–377.

Всякое даяние благо, всяк дар совершен свыше есть. Катерине Николаевне Ушаковой. От А. П. 21 сентября 1829 г. Москва. *Nee femina* *pes ruet* (*ни женщина, ни мальчик*).

Пушкин. Надпись на обложке «Стихотворений Ал. Пушкина». СПб., 1829, ч. I. – Материалы Общ. Изуч. Тверск. Края, 1925 г., вып. 3, апр., с. 17.

Сколько мучений ждало меня при моем возвращении! Ваше молчание, ваш холодный вид, прием *mademoiselle N.* (*Нат. Ник-ны*), такой равнодушный, такой невнимательный... У меня не хватило смелости объясниться, я уехал в Петербург со смертью в душе. Я чувствовал, что я играл роль довольно смешную,

я был робок в первый раз в моей жизни, а в людях моих лет может нравиться молодой особе в возрасте вашей дочери не робость.

Пушкин – Н. И. Гончаровой, в перв. пол. апр. 1830 г. (*фр.*).

Государь император, узнав, по публичным известиям, что вы, милостивый государь, странствовали за Кавказом и посещали Арзерум, высочайше повелеть мне изволил спросить вас, по чьему позволению предприняли вы сие путешествие. Я же с своей стороны почтнейше прошу вас уведомить меня, по каким причинам не изволили вы сдержать данного мне слова и отправились в закавказские страны, не предуведомив меня о намерении вашем сделать сие путешествие.

Гр. А. Х. Бенкендорф – Пушкину, 14 окт. 1829 г., из Петербурга. – Переписка Пушкина, т. II, с. 96.

Секретно. Квартировавший Тверской части в гостинице «Англии» чиновник 10 класса Александр Сергеев Пушкин, за коим был учрежден секретный полицейский надзор,

12-го числа сего октября выехал в С.-Петербург, о чем имею честь вашему превосходительству сим донести и присовокупить, что в поведении его ничего предосудительного не замечено.

Полицмейстер *Миллер* в рапорте моск. обер-полицмейстеру, 15 окт. 1829 г. – Кр. Арх., т. 37, с. 239.

Проезжая из Арзрума в Петербург, я своротил вправо и прибыл в Старицкий уезд для сбора некоторых недоимок. Как жаль, любезный Ловлас Николаевич, что мы здесь не встретились! То-то побесили бы баронов и простых дворян... В Бернове я не застал уже толсто...ую Минерву. Зато Netty, нежная, томная, истерическая, *потолстевшая* Netty, здесь. Вот уже третий день, как я в нее влюблен. Поповна (ваша Клариса) в Твери... Ив. Ив. на строгой диете (...своих одалисок раз в неделю). Недавно узнали мы, что Netty, отходя ко сну, имеет привычку крестить все предметы, окружающие ее постелю... Постараюсь достать (как памятник непорочной моей любви) сосуд, ею освященный. Сим позвольте за-

ключить трогательное мое послание.

Пушкин – *Ал. Н. Вульф*, 16 окт. 1829 г., из
Малинников.

В одном из сестриных писем... приписка от Пушкина, в то время бывшего у них в Старице проездом из Москвы в Петербург. Как прошлого года в это же время писал он ко мне в Петерб. о тамошних красавицах, так и теперь, величая меня именем Ловласа, сообщает он известия очень смешные об них, доказывающие, что он не переменяется с годами и возвратился из Арзрума точно таким, каким туда поехал, – весьма циническим волокидою... Во втором письме сестра пишет только о Пушкине, его волокидствах за Netty.

Ал. Н. Вульф. Дневник. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXI–XXII, с. 115–116.

Александр Сергеевич сообщает мне известия о тверских красавицах. Кажется, самое время не имеет власти над ним, он не переменяется: везде и всегда один и тот же. Возвращение наших барышень, вероятно, отвлекло его от Netty, которой он говорит нежности,

или относя их к другой, или от нечего делать. В следующих твоих письмах я верно узнаю, как продолжится и чем окончится любопытный его заезд из Арзерума в Павловское. По происхождению его, азиатские вкусы не должны быть чужды; не привез ли он какого-нибудь молодого Чубукчи-Пашу (податель трубки)? – Это было бы нужно для оправдания его слов. По письму Анны Петровны (Керн) он уже в Петербурге; она одного мнения с тобой в том, что цинизм его увеличивается.

Ал. Н. Вульф – *А. Н. Вульф*. – Там же, вып. I, с. 86.

Я чувствую, насколько положение мое было ложно и поведение – легкомысленно. Мысль, что это можно приписать другим мотивам, была бы для меня невыносима. Я предпочитаю подвергнуться самой строгой немилости, чем показаться неблагодарным в глазах того, кому я обязан всем, для кого я готов пожертвовать своим существованием, и это не фраза.

Пушкин – Гр. А. Х. Бенкендорфу, 10 нояб.

1829 г., из Петербурга (*фр.*).

По возвращении Пушкина в Петербург, государь спросил его, как он смел приехать в армию. Пушкин отвечал, что главнокомандующий позволил ему. Государь возразил: «Надобно было проситься у меня. Разве не знаете, что *армия моя?*» Слышал я все это тогда же от самого Пушкина.

Н. В. Путята. Из записной книжки. – Рус. Арх., 1899, т. II, с. 351.

На днях приехал я в Петербург... Адрес мой: у Демута. Что ты? Что наши? В Петербурге тоска, тоска... Кланяйся неотъемлемым нашим Ушаковым. Скоро ли, боже мой, приеду из Петербурга в Hôtel d'Angleterre мимо Карса? По крайней мере мочи нет – хочется[127].

Пушкин – С. Д. Киселеву, 15 нояб. 1829 г.

Тяжело мне быть перед тобою виноватым, тяжело и извиняться... Ты едешь на днях, а я все еще в долгу. Должники мои мне не платят, и дай бог, чтоб они вовсе не были банкроты, а я (между нами) проиграл уже около 20

тыс. Во всяком случае ты первый получишь свои деньги.

Пушкин – И. А. Яковлеву (моск. богачу), во втор. пол. нояб. 1829 г., из Петербурга.

(На «четверге» у Греча.) Вдруг неожиданно и неприметно вошел в комнату небольшого роста господин, с длинными, курчавыми, растрепанными темно-русыми волосами, с бледно-темноватым лицом, окаймленным огромными бакенбардами, падавшими вниз. Господин этот был в коричневом сюртуке и держал мягкую, измятую шляпу в левой руке. В лице его было что-то необыкновенное, будто напоминавшее наружность мулата: нос несколько приплюснутый, губы очень красные и широкие, а обнаруженные веселой улыбкою зубы – белизны необыкновенной. То был А. С. Пушкин, которого ожидал Греч (с. 23).

Пушкин, по роду своего воспитания, часто и охотно употреблял французский язык в разговоре даже с соотечественниками (25).

В. Б. (В. П. Бурнашев). Из воспоминаний петербургского старожила. – Заря, 1871, № 4.

В числе посетителей греческих четвергов появлялся изредка и Пушкин. Он вел себя очень сдержанно, редко принимал участие в разговорах, больше молчал и рано уходил, не простившись.

П. И. Юркевич. Воспоминания старожила. – Историч. Вестн., 1882, № 10, с. 159.

Вскоре после моего выпуска из царскосельского лицея (в 1829 году) я встретил Пушкина на Невском проспекте, который, увидав на мне лицейский мундир, подошел и спросил: «Вы, верно, только что выпущены из лицея?» – «Только что выпущен с прикомандированием к гвардейскому полку, – ответил я. – А позвольте спросить вас, где вы теперь служите?» – «Я числюсь по России», – был ответ Пушкина.

Старый лицеист. – Новое Время, 1880, № 1521.

В последние годы Пушкин выучился английскому языку – кто поверит тому? – в четыре месяца! Он хотел читать Байрона и Шекспира в подлиннике и через четыре меся-

ца читал их по-английски, как на своем родном языке.

(Н. А. Полевой?). – Моск. Телеграф, 1829, № 11, ч. 28, с. 390.

Авр. С. Норов рассказал мне следующий анекдот о Пушкине. Норов встретился с ним за год или за полтора до его женитьбы. Пушкин очень любезно с ним поздоровался и обнял его. При этом был приятель Пушкина (В. И.) Туманский. Он сказал поэту: «Знаешь ли, Александр Сергеевич, кого ты обнимаешь? Ведь это твой противник. В бытность свою в Одессе, он при мне сжег твою рукописную поэму». Дело в том, что Туманский дал Норову прочесть в рукописи известную непристойную поэму Пушкина. В комнате тогда топился камин, и Норов, по прочтении пьесы, тут же бросил ее в огонь. «Нет, – сказал Пушкин, – я этого не знал, а узнав теперь, вижу, что Авраам Сергеевич не противник мне, а друг, а вот ты, восхищавшийся такою гадостью, настоящий мой враг».

А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. II, с. 240.

Я помню, как Пушкин глубоко горевал и сердился при всяком, даже нечаянном напоминании об этой прелестной пакости («Гаврилади»).

С. А. Соболевский – М. Н. Лонгинову, в 1885 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXXI–XXXII, с. 39.

Я встретил прошлым вечером у барона Ре-ханзена (*Розена?*) русского Байрона – Пушкина, знаменитого и вместе с тем единственного поэта в этой стране... Я не заметил ничего особенного в его личности и в его манерах, внешность его неряшлива, этот недостаток является иногда у талантливых людей, и он откровенно сознается в своем пристрастии к игре; единственное примечательное выражение, которое вырвалось у него во время вечера, было такое: «Я бы предпочел умереть, чем не играть».

Т. Рэйкс, 24 дек. 1829 г. T. Rakes. A Visit to St. Petersburg in the winter of 1829–1830. London, 1838[128]. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXXI–XXXII, с. 105–106 (*англ.*).

Пушкин был неутомимый ходок и иногда делал прогулки пешком из Петербурга в Царское Село. Он выходил из города рано поутру, выпивал стакан вина на Средней Рогатке и к обеду являлся в Царское Село. После прогулки в его садах он тем же путем возвращался назад. Может быть, в одно из таких путешествий задуманы были *Воспоминания в Царском Селе*, помеченные в тетради его: «Декабря 1829 года, СПб».

П. В. Анненков. Материалы, с. 225.

Так как я еще не женат и не связан службой, я желал бы сделать путешествие либо во Францию, либо в Италию. Однако, если мне это не будет дозволено, я просил бы разрешения посетить Китай с отправляющейся туда миссией.

Пушкин – гр. А. Х. Бенкендорфу, 7 янв. 1830 г. (фр.).

К первым числам февраля мы будем в Петербурге. Муж спешит туда: он кроме «Северных Цветов» начал с 1 января издавать «Литературную Газету», которая выходит каждые

пять дней; без себя он препоручил хлопоты А. Пушкину, но все-таки лучше скорее самому ехать смотреть за своим делом.

Бар. С. М. Дельви́г – А. Н. Карелиной, 13 янв. 1830 г., из Москвы. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 240.

Пушкин был у нас вчера... Жуковский читал ему детский журнал, и Пушкин смеялся на каждом слове. Он удивлялся, ахал и прыгал.

И. В. Киреевский – А. П. Елагиной, 15 янв. 1830 г. – Рус. Арх., 1906, т. III, с. 586.

Пушкин дал мне в альманахах «Царское Село» антологическое стихотворение свое «Загадка. При посылке бронзового сфинкса».

*Кто на снегах возрастил Феокри-
товы нежные розы?*

*В веке железном, скажи, кто зо-
лотой угадал?*

*Кто, славянин молодой, грек ду-
хом, а родом германец?*

*Вот загадка моя: хитрый Эдип,
разреши!*

Оказалось – просодическая неправильность; у Пушкина было так:

*Кто, славянин молодой, духом
грек, родом германец?*

Я заметил это Дельвигу, указал, как легко исправить погрешности перестановкою двух слов и прибавлением союза *а*, и попросил Дельвига сделать эту поправку или принять ее на себя. Он не согласился. «Или покажите самому Пушкину, или напечатайте так, как есть! Что за беда? Пушкину простительно ошибаться в древних размерах: он ими не пишет». С этим последним доводом я уже не согласился, однако не посмел и указать Пушкину: я боялся, что он отнимет у меня стихотворение под предлогом, что он сам придумает поправку. До последней корректуры я несколько раз заводил с ним речь об этой пьесе: не сказал ли ему Дельвиг о погрешности? Нет! В последней корректуре я не утерпел, понадеялся, что Пушкин и не заметит такой безделицы, – и сделал гекзаметр правильным. Тиснул, послал ему свой альманах и, несколько дней спустя, сам прихожу. А он,

впрочем довольно веселый, встречает меня замечанием, что я изменил один из его стихов. Я прикинулся незнающим. Он, действительно, указал на поправку. Я возражал, улыбаясь, что дивная память его в этом случае ему не изменила: *так* не было у вас и быть не могло! «Почему?» – «Потому что гекзаметр был бы и неполный, и неправильный: у третьей стопы недоставало бы половины, а слово «грек» ни в каком случае не может быть коротким слогом!» Он призадумался: «Потому-то вы и поправили стих. Благодарю вас!» Тут мне уже нельзя было не признаться в переделке, но я горько жаловался на Дельвига, который не хотел взять на себя такой неважной для него ответственности перед своим лицейским товарищем. Пушкин не только не рассердился, но и налюбоваться не мог, что перестановка двух его слов составила, в третьей стопе, *чистый спондей*, который так редок в гекзаметрах на новейших языках. Эта поправка осталась у него в памяти. Долго после того, во время холеры, когда он, уже женатый, жил в Царском Селе, я с ним нечаянно сошелся у П. А. Плетнева, который готовил к

печати новый том его стихотворений. Пушкин перебирал их в рукописи, читал иные вслух, в том числе и «Загадку», и, указывая на меня, сказал при всех: «Этот стих барон мне поправил!»

Бар. Е. Ф. Розен. Ссылка на мертвых. – Сын Отеч., 1847, кн. 6, Рус. словесность, с. 16–18.

В ответ на ваше письмо 7 января, спешу известить вас, что Е. В. Государь Император не удостоил снизойти на вашу просьбу посетить заграничные страны, полагая, что это слишком расстроит ваши денежные дела и в то же время отвлечет вас от ваших занятий. Ваше желание сопровождать нашу миссию в Китай также не может быть удовлетворено, так как все служащие уже назначены.

Гр. А. Х. Бенкендорф – Пушкину, 17 янв. 1830 г. – Переписка Пушкина, т. II, с. 100 (фр.).

Здесь у нас, мочи нет, скучно; игры нет, а я все-таки проигрываюсь... Покамest умираю со скуки.

Пушкин – М. О. Судиенке, 22 янв. 1830 г., из Петербурга.

Кстати об этом бале (у французского по-
сланника). Вы могли бы сказать Пушкину, что
неприлично ему одному быть во фраке, когда
мы все были в мундирах, и что он мог бы за-
вести себе по крайней мере дворянский мун-
дир; впоследствии в подобном случае пусть
так и сделает.

Имп. *Николай I* в пометке на письме к
нему А. Х. Бенкендорфа. – Старина и Новизна,
кн. VI, с. 7. Ср.: Письмо Гр. А. Х. Бенкендорфа
Пушкину от 28 янв. 1830 г. – Переписка Пуш-
кина, т. II, с. 113.

Правда ли, что моя Гончарова выходит за
архивного Мещерского? Что делает Ушакова,
моя же? Я собираюсь в Москву.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, в конце
янв. – нач. февр. 1830 г.

Я вижу мало людей, но те, кого я вижу,
очень мне приятны. Сомов и Пушкин – наши
завсегдатаи, они приходят ежедневно, так
как это – главные сотрудники моего му-
жа.

Бар. С. М. Дельвиг – А. Н. Карелиной, в февр. 1830 г. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 242 (*фр.*).

В 1830 году прибытие части высочайшего двора в Москву оживило столицу и сделало ее средоточием веселий и празднеств. Наталья Николаевна Гончарова принадлежала к тому созвездию красоты, которое в это время обращало внимание и удивление общества. Она участвовала во всех удовольствиях, которыми встретила древняя столица августейших своих посетителей, и между прочим в великолепных живых картинах, данных московским генерал-губернатором кн. Дм. Вл. Голицыным[129]. Молва об ее красоте и успехах достигла Петербурга, где в то время жил Пушкин. По обыкновению своему, он стремительно уехал в Москву, не объяснив никому своих намерений, и возобновил прежние свои искания.

П. В. Анненков. Материалы, с. 270.

Зная, что Пушкин давно влюблен в Гончарову, и увидав ее на балу у кн. Д. В. Голицына,

Вяземский поручил И. Д. Лужину, который должен был танцевать с Гончаровой, заговорить с нею и ее матерью мимоходом о Пушкине с тем, чтобы по их отзыву доведаться, как они о нем думают. Мать и дочь отозвались благосклонно и велели кланяться Пушкину. Лужин поехал в Петербург, часто бывал у Карамзиных и передал Пушкину этот поклон.

Кн. П. А. Вяземский по записи П. И. Барте-
нева. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 307.

Секретно. Чиновник 10 класса Александр Сергеев Пушкин 13-го числа сего месяца прибыл из С.-Петербурга и остановился в доме г. Черткова в гостинице Коппа, за коим учрежден секретный полицейский надзор.

Полицмейстер *Миллер* в рапорте моск. обер-полицмейстеру, 15 марта 1830 г. – Кр. Арх., т. 37, с. 240.

13 марта 1830 года г. Пушкин возвратился из Петербурга в Москву и остановился Тверской части в доме Черткова, в гостинице Коппа (нынешнем доме Обидина, в Глинищен-

ском пер., между Тверской и Б. Дмитровкою. – *Примеч. П. И. Бартенева*).

А. С. Шульгин в донесении моск. воен. ген.-губернатору. – Рус. Арх., 1876, т. II, с. 236.

Третьего дня приехал я в Москву и прямо из кибитки попал в концерт, где находилась вся Москва. Первые лица, попавшиеся мне навстречу, были Н. Гончарова и княгиня Вера (*жена Вяземского*)... Киселев женится на Л. (Елизавете) Ушаковой, и Катерина (*Ушакова*) говорит, что они щастливы до гадости.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, 14 марта 1830 г., из Москвы.

К крайнему моему удивлению услышал я, что внезапно рассудили уехать в Москву, не предвзяв меня, согласно с сделанным между нами условием, о сей вашей поездке. Поступок сей принуждает меня вас просить о уведомлении меня, какие причины могли вас заставить изменить данному мне слову? Мне весьма приятно будет, если причины, вас побудившие к сему поступку, будут довольно уважительными, чтобы извинить оный; но я

вменяю себе в обязанность вас предупредить, что все неприятности, коим вы можете подвергнуться, должны вами быть приписаны собственному вашему поведению.

Гр. А. Х. Бенкендорф – Пушкину, 17 марта 1830 г., из Петербурга. – Переписка. Пушкина, т. II, с. 121.

Великий князь Михаил Павлович приехал провести вечер с нами, и при виде вашего портрета он сказал мне: «Знаете ли, что я никогда не видал Пушкина близко; у меня были против него большие предубеждения; но по всему, что до меня доходит, я весьма желаю его узнать, и особенно желаю иметь с ним продолжительный разговор». Он кончил тем, что попросил у меня «Полтаву».

Е. М. Хитрово – Пушкину, 18 марта 1830 г. – Переписка Пушкина, т. II, с. 123 (*фр.*).

Письмо мое доставит тебе Гончаров, брат Красавицы; теперь ты угадаешь, что тревожит меня в Москве... Распутица, лень и Гончарова не выпускают меня из Москвы... наше житье-бытье сносно.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, во втор. пол. марта 1830 г., из Москвы.

Из университета к Пушкину. «Я думал, что вы сердитесь на меня», обещал исходатайствовать все, что хочу. – Вот разве при путешествии. – Рассказывал о скверности Булгарина. Полевого хочет в грязь втоптать и пр. Давал статью о Видоке и догадался, что мне не хочется помещать ее (о доносах, о фискальстве Булгарина), и взял. – Советовал писать роман.

М. П. Погодин. Дневник, 18 марта 1830 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXIII–XXIV, с. 103.

К Пушкину. «Московский Вестник и Литературная Газета одно и то же». Толковали о нашей литературе. Пушкин сердится ужасно, что на него напали все.

М. П. Погодин. Дневник, 21 марта 1830 г. – Там же.

В 1826 году получил я от государя-императора позволение жить в Москве, а на следующий год от вашего высокопревосходитель-

ства дозволение приехать в Петербург. С тех пор я каждую зиму проводил в Москве, осень в деревне, никогда не испрашивая предварительного дозволения и не получая никакого замечания. Это отчасти было причиною невольного моего проступка: поездки в Арзрум, за которую имел я несчастье заслужить неудовольствие начальства. В Москву я намеревался приехать еще в начале зимы и, встретив вас однажды на гулянии, на вопрос вашего высокопревосходительства, что намерен делать, имел я щастие о том вас уведомить. Вы даже изволили мне заметить: «Вы всегда на больших дорогах». Надеюсь, что поведение мое не подало правительству повода быть мною недовольным.

Пушкин – гр. А. Х. Бенкендорфу, 21 марта 1830 г., из Москвы.

Пьеска Пушкина, так как вообще все, что пишет он о зиме, превосходна; это истинно русская часть года Пушкину с плеча; не то, что весна, которой он не любит... Я ужасаюсь, как он мало пишет. Если бы что-нибудь у него было большого, поновее после Мазепы и 7

главы (*Онегина*) (а он мне то и другое читал тому 16 месяцев назад), то верно бы сообщил образчик, ибо Пушкин любит похвастаться.

С. А. Соболевский – С. П. Шевыреву, 22 марта 1830 г., из Парижа. – Рус. Арх., 1909, т. II, с. 481.

Поздно уж было, час двенадцатый, и все мы собрались спать ложиться, как вдруг к нам в ворота постучались, – жили мы тогда на Садовой, в доме Чухина. Бежит ко мне Лукерья, кричит: «Ступай, Таня, гости приехали, слушать хотят». Я только косу расплела и повязала голову белым платком. Такой и выскочила. А в зале у нас четверо приехало, – трое знакомых (потому, наш хор очень любили, и много к нам езжало). Голохвастов, Протасьев-господин и Павел Войнович Нащокин, – очень был он влюблен в Ольгу, которая в нашем же хоре пела. А с ним еще один, небольшой ростом, губы толстые и кудлатый такой... И только он меня увидал, так и помер со смеху, зубы-то белые, большие, так и сверкают. Показывает на меня господам: «Поваренок, поваренок!» А на мне, точно, платье красное ситцевое было и платок белый на голове, кол-

паком, как у поваров. Засмеялась и я, только он мне очень некрасив показался. И сказала я своим подругам по-нашему, по-цыгански: «Дыка, дыка, на не лачо, таки вашескерна! Гляди, гляди, как нехорош, точно обезьяна!» Они так и залились. А он приставать: «Что ты сказала? Что ты сказала?» – «Ничего, – говорю. – Сказала, что вы надо мною смеетесь, поваренком зовете». А Павел Войнович Нащокин говорит ему: «А вот, Пушкин, послушай, как этот поваренок поет!» А наши все в это время собрались; весь-то наш хор был небольшой, всего семь человек, только голоса отличные были... Главный романс был у меня: «Друг милый, друг милый, сдалека поспеши». Как я его пропела, Пушкин с лежанки скок, – он, как приехал, так и взобрался на лежанку, потому, на дворе холодно было, – и ко мне. Кричит: «Радость ты моя, радость моя, извини, что я тебя поваренком назвал, ты бесценная прелесть: не поваренок!»

И стал он с тех пор часто к нам ездить, один даже частенько ездил и как ему вздумается, вечером, а то утром приедет. И все мною одной занимается, петь заставит, а то просто

так болтать начнет и помирает он, хохочет, по-цыгански учится. А мы все читали, как он в стихах цыган кочевых описал. И я много помнила наизусть и раз прочла ему оттуда и говорю: «Как это вы хорошо про нашу сестру цыганку написали!» А он опять в смех: «Я, говорит, на тебя новую поэму сочиню!» А это утром было, на Маслянице, и мороз опять лютый, и он опять на лежанку взобрался. «Хорошо, говорит, тут, – тепло, только есть хочется». А я ему говорю: «Тут поблизости харчевня одна есть, отличные блины там пекут, – хотите, пошлю за блинами?» Он с первого раза побрезгал, поморщился. «Харчевня, говорит, грязь». – «Чисто, будьте благонадежны, говорю, сама не стала бы есть». – «Ну, хорошо, посылай, – вынул две красненькие, – да великстати бутылку шампанского купить». Дядя побежал, все в минуту спроворил, принес блинов, бутылку. Сбежались подружки, и стал нас Пушкин потчевать: на лежанке сидит, на коленях тарелка с блинами – смешной такой, ест да похваливает: «Нигде, говорит, таких вкусных блинов не едал!» – шампанское разливают нам по стаканам... Только в это время

в приходе к вечерне зазвонили. Он как схватится с лежанки: «Ахти мне, кричит, радость моя, из-за тебя забыл, что меня жид-кредитор ждет!» Схватил шляпу и выбежал, как сумасшедший.

Цыганка *Таня* (Т. Д. Демьянова) в передаче Б. М. Маркевича. – Б. М. Маркевич. Соч. СПб., 1885, т. XI, с. 132–134.

Чрезвычайно любопытны рассказы Нащокина об образе жизни Пушкина в приезды его в Москву, в последние годы его холостой жизни и все годы женатой. Из них видим, как изменились привычки Пушкина, как страсть к светским развлечениям, к разноречивому говору многолюдства смягчилась в нем потребностями своего угла и семейной жизни. Пушкин казался домоседом. Целые дни проводил он в кругу домашних своего друга на диване, с трубкою во рту и прислушиваясь к простому разговору, в котором дела хозяйственного быта стояли часто на первом плане. Надобны были даже усилия со стороны Нащокина, чтоб заставить Пушкина не прерывать своих знакомств и выезжать. Пушкин следовал со-

ветам Нащокина нехотя.

П. В. Анненков. Материалы, с. 209.

Пушкин здесь. Как бы ты думал, – его ругают наповал во всех почти журналах. «Северная Пчела» говорит даже, что он картежник, чванится вольнодумством пред чернью, а у знатных ползает, чтобы получить шитый кафтан и проч. Мои отношения к нему прежние, т.е. очень хорошие. Он зовет тебя в Москву: «Что не летит этот к нам ворон, здесь для него столько трупов». Мне очень жаль, что эти площадные брани его слишком трогают, как бывало тебя. O irritabile genus![130]

Говорят, что он женится на Ушаковой-старшей и заметно степенничает.

М. П. Погодин – С. П. Шевыреву, 23 марта 1830 г., из Москвы. – Рус. Арх., 1882, т. III, с. 161.

Хомякова научал завести речь с Надоумкой (*Н. И. Надеждиным*) о романтизме и т.п., чтоб заманить в разговор Пушкина с Надоумкой и внушить ему лучшее мнение; и наоборот, чтоб заставить Надоумку уважать более

Пушкина. Вечер был у меня. Говорили более об естественно-словных предметах. Смеялись много: «Полевой не сам пишет романы, а Ушаков», – сказал Максимович. План романа Полевой отдал Свиньину. «А историю-то не от него ли получил?» – сказал Языков. Свиньин вывел в люди Полевого. «Да это не беда», – возразил Максимович. «Как не беда?» – закричали все. Я показывал зверей друг другу весь вечер. Пушкин кокетничал, как юноша, вышедший только что из пансиона.

М. П. Погодин. Дневник, 23 марта 1830 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXIII–XXIV, с. 105.

Я встретился с Надеждиным у Погодина. Он показался мне весьма простонародным, vulgar[131], скучен, заносчив и без всякого приличия. Например, он поднял платок, мною уроненный.

Пушкин. Анекдоты и Table Talk[132], т. XXVIII.

Письмо, которым вы удостоили меня, доставило мне истинное горе; я умоляю вас дать мне минуту снисхождения. Несмотря на

четыре года ровного поведения, я не смог получить доверия власти! Я с огорчением вижу, что малейший из моих поступков возбуждает подозрение и недоброжелательство. Во имя неба, удостойте на минуту войти в мое положение и посмотрите, как оно затруднительно. Оно так непрочное, что я каждую минуту вижу себя накануне несчастья, которого я не могу ни предвидеть, ни избежать. Если до сей поры я не подвергся какой-нибудь немилости, то я этим обязан не сознанию своих прав, своей обязанности, а единственно вашему личному благоволению. Но если завтра вы больше не будете министром, то послезавтра я буду в тюрьме.

Я рассчитывал из Москвы поехать в псковскую деревню; однако, если Николай Раевский приедет в Полтаву, я умоляю ваше превосходительство разрешить мне поехать туда, чтобы повидаться с ним.

Пушкин – гр. А. Х. Бенкендорфу, 24 марта 1830 г., из Москвы (*фр.*).

Ушакова меньшая (*Ел. Ник.*) идет за Киселева... О старшей (*Ек. Ник.*) не слышно ниче-

го, хотя Пушкин бывает у них всякий день почти.

В. А. Муханов – брату *Н. А. Муханову*, 27 марта 1830 г., из Москвы. – Рус. Арх., 1899, т. II, с. 356.

Все думали, что Пушкин влюблен в Ушакову; но он ездил, как после сам говорил, всякий день к сей последней, чтоб два раза в день проезжать мимо окон Гончаровой.

Н. М. Смирнов. Памятные заметки. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 232.

Пушкин говаривал, что как скоро ему понравится женщина, то, уходя или уезжая от нее, он долго продолжает быть мысленно с нею и в воображении увозит ее с собою, сажает ее в экипаж, предупреждает, что в таком-то месте будет толчок, одевает ей плечи, целует у нее руки и пр.

Кн. *В. Ф. Вяземская* по записи *П. И. Бартенева*. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 312.

(Весна 1830 г.). Пушкин у Весселя (поэта *Языкова*) часто бывает, он – большой забав-

ник и доставляет нам много удовольствия.

А. М. Языков в письме к своей сестре. – Историч. Вестн., 1883, т. XIV, с. 529.

Я не совсем понимаю, почему вам угодно находить ваше положение непрочным; я его таким не нахожу, и мне кажется, только от вашего собственного поведения будет зависеть сделать его еще более устойчивым... Что касается вашего вопроса, ко мне обращенного, можете ли вы поехать в Полтаву, чтобы повидаться с Николаем Раевским, то я должен вас уведомить, что я представил этот вопрос на рассмотрение Императора, и Его Величество изволили мне ответить, что Он решительно запрещает вам это путешествие, потому что у Него есть основание быть недовольным последним поведением г-на Раевского. Из этого самого обстоятельства вы, между прочим, можете убедиться, что мои добрые советы предотвратят вас от ложных шагов, которые вы делали так часто, не прибегая к моему руководству.

Гр. А. Х. Бенкендорф – Пушкину, 3 апр. 1830 г. – Переписка Пушкина, т. II, с. 129 (фр.).

(В Грузинах, в Тишинском переулке, где жил, под надзором д-ра Дитриха, сумасшедший поэт К. Н. Батюшков.) Всенощная, отслуженная в доме Батюшкова (3 апр. 1830 г.), по желанию его тетки Е. Ф. Муравьевой, произвела на него сильное впечатление; но когда, после службы, присутствовавший при ней А. С. Пушкин вошел в комнату больного, последний не узнал его, как, впрочем, не узнавал обыкновенно и других лиц, хорошо ему знакомых в прежнее время.

Л. Н. Майков на основании дневниковых записей д-ра Дитриха. – Л. Н. Майков. Батюшков, его жизнь и сочинения. Изд. 2-е. СПб., 1896, с. 230. Ср.: Л. Н. Майков, с. 289.

Один из моих друзей привозит мне из Москвы благосклонное слово, которое возвращает мне жизнь, и теперь, когда несколько ласковых слов, которыми вы удостоили меня, должны бы меня наполнить радостью, – я более несчастлив, чем когда-либо. Постараюсь объяснить. Только привычка и продолжительная близость могут доставить мне привя-

занность вашей дочери; я могу надеяться со временем привязать ее к себе, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться; если она согласится отдать мне свою руку, то я буду видеть в этом только свидетельство спокойного равнодушия ее сердца. Но сохранит ли она это спокойствие среди окружающего ее удивления, поклонения, искушений? Ей станут говорить, что только несчастная случайность помешала ей вступить в другой союз, более равный, более блестящий, более достойный ее, – может быть, эти речи будут искренни, и во всяком случае она сочтет их такими. Не явится ли у нее сожаление? не будет ли она смотреть на меня, как на препятствие, как на человека, обманом ее захватившего? Не почувствует ли она отвращения ко мне? Бог свидетель, – я готов умереть ради нее, но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, свободной хоть завтра же выбрать себе нового мужа, – эта мысль – адское мучение! – Поговорим о средствах; я этому не придаю особенного значения. Моего состояния мне было достаточно. Хватит ли мне его, когда я женюсь? Я ни за что не потерплю, чтобы

моя жена чувствовала какие-либо лишения, чтобы она не бывала там, куда она призвана блистать и развлекаться. Она имеет право этого требовать. В угоду ей я готов пожертвовать всеми своими привычками и страстями, всем своим вольным существованием. Но, все-таки, – не станет ли она роптать, если ее положение в свете окажется не столь блестящим, как она заслуживает и как я желал бы этого?.. Таковы, отчасти, мои сомнения – я трепещу, как бы вы не нашли их слишком основательными. Есть еще одно – я не могу решиться доверить его бумаге...[133]

Пушкин – Н. И. Гончаровой, в перв. пол. апр. 1830 г. (*фр.*).

В самый день Светлого Христова Воскресения, 6-го апреля 1830 г., Пушкин сделал предложение семейству Натальи Николаевны, которое и было принято.

П. В. Анненков. Материалы, с. 271. Ср.: *Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина*, изд. 2-е, с. 209.

Пушкин приехал в Москву с намерением сделать предложение Н. Н. Гончаровой. Соби-

раясь ехать к Гончаровым, поэт заметил, что у него нет фрака. – «Дай мне, пожалуйста, твой фрак, – обратился он к Нащокину. – Я свой не захватил, да, кажется, у меня и нет его». Друзья были одинакового роста и сложения, а потому фрак Нащокина как нельзя лучше пришелся на Пушкина. Сватовство на этот раз было удачное, что поэт в значительной мере приписывал «счастливому» фраку. Нащокин подарил этот фрак другу, и с тех пор Пушкин, по его собственному признанию, в важных случаях жизни надевал счастливый «нащокинский» фрак.

В. А. Нащокина. Воспоминания. – Новое Время, 1898, № 8115, ил. прил.

Я хочу жениться на молодой особе, которую люблю уже год.

Пушкин – родителям, в перв. пол. апр. 1830 г. (*фр.*).

Я должен жениться на m-lle Гончаровой, которую вы должны были видеть в Москве, у меня есть ее согласие и согласие ее матери. Два указания мне были сделаны: на мое иму-

щественное положение и на положение мое относительно правительства. Что касается имущественного положения, я мог ответить, что оно в удовлетворительном состоянии благодаря Его Величеству, дававшему мне возможность честно жить своим трудом. Что же касается моего положения в отношении к правительству, я не мог скрыть, что оно было ложно и сомнительно. Я был исключен из службы в 1824 г., и это пятно остается лежать на мне. Вышедши из лицея в 1817 г. с чином 10 класса, я не получил двух чинов, следовавших мне по праву, так как начальство мое по небрежности не представляло меня к чиnam, а я не заботился им об этом напоминать. Теперь мне трудно было бы поступить на службу, несмотря на все мое желание. Место совершенно подчиненное, соответствующее моему чину, не может мне подойти. Оно отвлекало бы меня от моих литературных занятий, дающих мне средства к жизни, и доставило бы бесцельные и бесполезные хлопоты. Мне об этом больше не приходится думать. Г-жа Гончарова боится отдать свою дочь за человека, имеющего несчастье пользоваться дурной

репутацией в глазах государя. – Мое счастье зависит от одного слова благоволения того, к которому моя преданность и благодарность уже и теперь чисты и безграничны.

Пушкин – гр. А. Х. Бенкендорфу, 16 апр. 1830 г., из Москвы (*фр.*).

Я сейчас с обеда Сергея Львовича, и твои письма, которые я там прочел, убедили меня, что жена меня не мистифирует и что ты точно жених. Гряди, жених, в мои объятия! А более всего убедила меня в истине женитьбы твоей вторая экстренная бутылка шампанского, которую отец твой разлил нам при получении твоего последнего письма. Я тут ясно увидел, что дело не на шутку. Я мог не верить письмам твоим, слезам его, но не мог не поверить его шампанскому. Поздравляю тебя от всей души... Я помню, что сравнивал я Алябьеву avec une beaute´ classique, а невесту твою avec une beaute´ romantique[134]. Тебе, первому нашему романтическому поэту, и следовало жениться на первой романтической красавице нынешнего поколения.

Кн. П. А. Вяземский – Пушкину, 26 апр. 1830

г., из Петербурга. – Переписка Пушкина, т. II, с. 138.

Я имел счастье представить Императору письмо, которое вам угодно было мне написать 16 числа сего месяца. Его Императорское Величество, с благосклонным удовлетворением приняв известие о вашей предстоящей женитьбе, удостоил заметить по сему случаю, что Он надеется, что вы, конечно, хорошо допросили себя раньше, чем сделать этот шаг, и нашли в себе качества сердца и характера, какие необходимы для того, чтобы составить счастье женщины, – и в особенности такой милой, интересной женщины, как m-lle Гончарова.

Что касается вашего личного положения по отношению к правительству, – я могу вам только повторить то, что уже говорил вам столько раз; я нахожу его совершенно соответствующим вашим интересам; в нем не может быть ничего ложного или сомнительного, если, разумеется, вы сами не пожелаете сделать его таковым. Его Величество Император, в совершенном отеческом попечении о

вас, милостивый государь, удостоил поручить мне, генералу Бенкендорфу, – не как шефу жандармов, а как человеку, к которому Ему угодно относиться с доверием, – наблюдать за вами и руководить своими советами; никогда никакая полиция не получала распоряжения следить за вами. Советы, которые я вам от времени до времени давал, как друг, могли вам быть только полезны, – я надеюсь, что вы всегда и впредь будете в этом убеждаться. – В чем же то недоверие, которое будто бы можно в этом отношении найти в вашем положении? Я уполномочиваю вас, милостивый государь, показать это письмо всем тем, кому, по вашему мнению, должно его показать.

Гр. А. Х. Бенкендорф – Пушкину, 28 апр. 1830 г., из Петербурга. – Переписка Пушкина, т. II, с. 140 (фр.).

Первая любовь всегда есть дело чувства. Вторая – дело сладострастия, видите ли! Моя женитьба на Натали (которая, в скобках, моя сто тринадцатая любовь) решена. Отец мне дает двести душ, которые я закладываю в

ломбарде.

Пушкин – кн. В. Ф. Вяземской, в конце апр. – нач. мая 1830 г. (*фр.*).

Пожалей о первой красавице здешней, Гончаровой... Она идет за Пушкина. Это верно.

В. А. Муханов – *Н. А. Муханову*, 1 мая 1830 г., из Москвы. – Рус. Арх., 1899, т. II, с. 356.

Сказывал ты Катерине Андреевне (*Карамзиной*) о моей помолвке? Я уверен в ее участии – но передай мне ее слова – они нужны моему сердцу, и теперь не совсем щастливо-му.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, 2 мая 1830 г.

(3 мая 1830 года.) Мы ездили смотреть Семенову. Эта пьеса Коцебу («Ненависть к людям и раскаяние») меня замучила своей длиннотой и нелепостями; в собрании было только 600 человек, и зала была довольно пуста. В числе интересных знакомых была Гончарова с Пушкиным. Судя по его физиономии, можно подумать, что он досадует на то, что ему не

отказали, как он предполагал. Уверяют, что они уже помолвлены, но никто не знает, от кого это известно; утверждают кроме того, что Гончарова-мать сильно противилась свадьбе своей дочери, но что молодая девушка ее склонила. Она кажется очень увлеченной своим женихом, а он с виду так же холоден, как и прежде, хотя разыгрывает из себя сентиментального.

Н. П. Озерова – С. Л. Энгельгардт, из Москвы. – Пушкин и его совр-ки. вып. XXXVII, с. 153 (фр.).

Николай Афанасьевич и Наталья Ивановна Гончаровы имеют честь объявить о помолвке дочери своей Наталии Николаевны с Александром Сергеевичем Пушкиным, сего мая 6 дня 1830 года.

Пригласительный билет на помолвку Пушкина. – Девятнадцатый век, кн. I, с. 383.

С лекции к Пушкину, долгий и очень занимательный разговор об русской истории. – «Как рву я на себе волосы часто, – говорит он, – что у меня нет классического образова-

ния, есть мысли, но на чем их поставить».

М. П. Погодин. Дневник, 10 мая 1830 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXIII–XXIV, с. 107.

Участь моя решена. Я женюсь... Та, которую любил я целых два года, которую везде первую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством, – боже мой, она почти моя.

Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей. Ожидание последней замешкавшейся карты, угрызение совести, сон перед поединком – все это в сравнении с ним ничего не значит. Дело в том, что я боялся не одного отказа. Один из моих приятелей говорил: не понимаю, каким образом можно свататься, если знаешь наверное, что не будет отказа.

Жениться! Легко сказать!.. Я женюсь, т.е. я жертвую независимостью, моей беспечной, прихотливой независимостью, моими роскошными привычками, странствованиями без цели, уединением, непостоянством. Итак, я удвоиваю жизнь и без того неполную, стану думать: мы. Я никогда не хлопотал о щастии:

я мог обойтись без него. Теперь мне нужно его на двоих, а где мне взять его?

Пока я не женат, что значат мои обязанности? Есть у меня больной дядя, которого почти никогда не вижу. Заеду к нему – он очень рад; нет – так он извинит меня: «Повеса мой молод, ему не до меня». Утром встаю, когда хочу, принимаю, кого хочу; вздумаю гулять – мне седлают мою умную, славную Женни; еду переулками, смотрю в окна низеньких домов... Приеду домой, разбираю книги, бумаги, привожу в порядок мой туалетный столик; одеваюсь небрежно, если еду в гости; со всевозможною старательностью, если обедаю в ресторации, где читаю или новый роман, или журналы. Если же Вальтер-Скотт и Купер ничего не написали, а в газетах нет какого-нибудь уголовного процесса – то требую бутылку шампанского во льду, смотрю, как рюмка стынет от холода, пью медленно, радуясь, что обед стоит мне семнадцать рублей и что могу позволить себе эту шалость. Еду в театр; – отыскиваю в какой-нибудь ложе замечательный убор, черные глаза; между нами начинается сношение – я занят до самого разъезда.

Вечер провожу или в мужском обществе, где теснится весь город, где я вижу всех и все и где меня никто не замечает, или в любезном избранном кругу, где я говорю про себя и где меня слушают. Возвращаюсь поздно – засыпаю, читая хорошую книгу. Вот моя холостая жизнь.

Но если мне откажут, думал я, поеду в чужие края – и уже воображал себя на пироскафе (*пароходе*). Морской, свежий воздух веет мне в лицо; я долго смотрю на убегающий берег. Подле меня молодую женщину начинает тошнить: это придает ее бледному лицу выражение томной нежности. Она просит у меня воды. Слава богу, до Кронштадта есть для меня занятие.

В эту минуту подали мне записочку, ответ на мое письмо. Отец невесты моей ласково звал меня к себе... Нет сомнения, предложение мое принято. Наденька – мой ангел – она моя!.. Все печальные сомнения исчезли перед этой райской мыслью. Бросаюсь в карету, скачу – вот их дом – вхожу в переднюю, – уже по торопливому приему слуг вижу, что я жених. Я смутился: эти люди знают мое сердце! Гово-

рят о моей любви на своем холопском языке!.. Отец и мать сидели в гостиной. Первый встретил меня с отверстыми объятиями. Он вынул из кармана платок. Он хотел быть тронутым, заплакать – но не мог и решился высморкаться. У матери глаза были красны. Позвали Наденьку – она вышла бледная, неловкая. Отец вышел и вынес образ Николая Чудотворца и Казанской Богоматери. Нас благословили. Наденька подала мне холодную, безответную руку. Мать заговорила о приданом, отец о саратовской деревне – и я жених.

Молодые люди начинают со мною чиниться, уважают во мне уже не приятеля; обхождение молодых девиц сделалось проще. Дамы в глаза хвалят мой выбор, а заочно жалеют о бедной моей невесте. – «Бедная! Она так молодая, так невинная, а он такой ветреный, безнравственный». Признаюсь, это начинает мне надоедать.

Пушкин. С французского, 12–13 мая 1830 г.
[135]

(14 мая 1830 г.) Прочитал два действия (трагедии Погодина «Марфа-Посадница»).

Пушкин заплакал: «Я не плакал с тех пор, как сам сочиняю, мои сцены народные ничто перед вашими. Как бы напечатать ее», – и целовал, и жал мне руку. Да не слишком ли он воображает сам здесь, как алхимик?

М. П. Погодин. Дневник. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXIII–XXIV, с. 107.

Присоединяю к моему посланию письмо нашего пресловутого Пушкина[136]. Эти строки великолепно его характеризуют во всем его легкомыслии, во всей его беззаботной ветрености. К несчастью, это человек, не думающий ни о чем, но готовый на все. Лишь минутное настроение руководит им в его действиях.

М. Я. фон-Фок – ген. гр. А. Х. Бенкендорфу, 13 мая 1830 г. – Б. Л. Модзалевский, Пушкин, с. 53.

Что касается моего брака, то ваши размышления о нем были бы вполне справедливы, если бы обо мне судили менее поэтически. На самом деле я просто добрый малый, который желает только растолстеть и быть

счастливым. Первое легче второго.

С вашей стороны очень любезно, что вы принимаете участие в моем положении по отношению к хозяину (*царю*). Но какое же место, по-вашему, я могу занять при нем? Я, по крайней мере, не вижу ни одного, которое могло бы мне подойти. У меня отвращение к делам и бумагам. Быть камер-юнкером в моем возрасте уже поздно. Да и что бы я стал делать при дворе? Ни мои средства, ни мои занятия не позволяют мне этого.

Родным моей будущей жены очень мало дела как до нее, так и до меня. Я от всего сердца плачу им тем же. Такие отношения очень приятны, и я их никогда не изменю.

Пушкин – Е. М. Хитрово, 19–24 мая 1830 г., из Москвы. – Письма Пушкина к Хитрово, с. 8 (фр.).

Разве Пушкин, женившись, приедет сюда (*в Петербург*) и думает здесь жить? Не желаю. Ему здесь нельзя будет за всеми тянуться, а я уверен, что в любви его к жене будет много тщеславия. Женившись, ехать бы ему в чужие края, разумеется, с женою, и я уверен,

что в таком случае разрешили бы ему границу.

Кн. П. А. Вяземский – жене, 30 мая 1830 г. – Литер. Наследство, т. 16–18, с. 806.

Пушкин недавно возвратился из деревни кн. Вяземского... Он очень жалеет, что женитьба отдаляет его от литературных занятий и мешает поприлежнее приняться за издаваемую Дельвигом и Сомовым газету.

М. П. Розберг – В. Г. Теплякову, 8 июня 1830 г., из Москвы. – Историч. Вестн., 1887, июль, с. 19.

В 1826–1830 годах Пушкин проигрывал в Москве значительные суммы, преимущественно профессиональным игрокам: Догановскому и Жемчужникову, надавал векселей.

Соч. Пушкина под ред. П. А. Ефремова, т. VII, с. 348.

В 1830 г. Пушкин, кажется, проигрался в Москве, и ему понадобились деньги. Он обратился ко мне, но у меня их не было, и я обе-

щался ему перехватить у кого-нибудь из знакомых, начиная с Надеждина, который собирался тогда издавать «Телескоп».

М. П. Погодин. – Утро (литер. и полит. сборник, изд. М. П. Погодиным). М., 1868, с. 435.

Собрал мозаические деньги Пушкину и набрал около 2000 руб. – С торжеством послал.

М. П. Погодин. Дневник, 8 июня 1830 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXIII–XXIV, с. 107.

Как ищу я денег Пушкину: как собака!

М. П. Погодин. Дневник, 13 июня 1830 г. – Там же, с. 108.

Пушкин говорил М. А. Максимовичу, что князю Юсупову хотелось от него стихов, и затем только он угощал его в своем Архангельском. – «Но ведь вы его изобразили пустым человеком!» – «Ничего! Не догадается!» Пушкин смеялся над Полевым, который в известном послании «К вельможе» видел низкопоклонство.

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1887, т. III, с. 454.

По записи С. Л. Пушкина, совершенной 27 июня 1830 г. в С.-Петербурге, дал он сыну своему, дворянину кол. секр. Ал. Сер. Пушкину, из собственного своего недвижимого имущества, состоящего Нижегородской губернии, Сергачского уезда, в сельце Кистеневе – всего 474 души муж. п., – из свободных (за залогом 200 душ) 274 душ в вечное и потомственное владение 200 душ муж. п. с женами и детьми.

Б. Л. Модзалевский. Архив Опекы над детьми и имущ. Пушкина. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIII, с. 99.

Сестра сообщает мне любопытную новость, – свадьбу Пушкина на Гончаровой, первостатейной московской красавице. Желаю ему быть щастливому, но не знаю, возможно ли надеяться этого с его нравами и с его образом мыслей. Если *круговая порука* есть в порядке вещей, то сколько ему бедному носить рогов... – Желаю, чтоб я во всем ошибся.

Ал. Н. Вульф. Дневник, 28 июня 1830 г. – Там же, вып. XXI–XXII, с. 124.

Мне рассказали анекдот о поэме Пушкина.

Кто-то, увидав его после долгого отсутствия, спрашивает его: «Что это, дорогой мой, мне говорят, что вы женитесь?» – «Конечно, – ответил тот. – И не думайте, что это будет последняя глупость, которую я совершу в своей жизни». Каков молодец! Приятно это должно быть для невесты. Охота идти за него!

А. Я. Булгаков – К. Я. Булгакову, 2 июля 1830 г., из Москвы. – Рус. Арх., 1901, т. III, с. 482 (фр.-рус.).

«Мадонна», по общему отзыву, относится к Наталье Николаевне, жене поэта.

П. В. Нащокин по записи П. И. Бартенева. – П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, 29.

Напускной цинизм Пушкина доходил до того, что он хвалился тем, что стихи, им посвященные Н. Н. Гончаровой («Мадонна»), были сочинены им для другой женщины.

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 521.

Гончаровы жили на углу Скарятинского переулка и Большой Никитской.

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 232.

Будучи женихом, из дома невесты своей на Б. Никитской Пушкин глядел на гробовую лавку (помещавшуюся в доме ныне кн. А. А. Щербатова) и написал свою повесть «Гробовщик».

П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1870, с. 1388.

* Знаменитый поэт Пушкин, вернувшийся осенью прошлого года с Кавказа, был в Москве в этом месяце и останавливался тоже (как сама *Каталани*) в «Англии». Мне очень хотелось с ним познакомиться, и я не знала, как это сделать, пока меня не выручил Кошкин. Поэт был очень мил и наговорил мне много комплиментов. Говорят, что он очень увлечен Гончаровой и женится на ней.

Каталани (знаменитая итальянская певица) – Э. Боме, 15 июля 1830 г., из Москвы. (Из одесской коллекции Ремондини). – Наша Страна, 1915, № 6, с. 542.

В сельце Захарове (где в детстве проводил лето Пушкин) до сих пор живет женщина Марья, дочь знаменитой няни Пушкина, выдан-

ная за здешнего крестьянина. Эта Марья рассказывает между прочим об одном замечательном обстоятельстве: перед женитьбой Пушкин приехал в деревню (которая была уже перепродана) на тройке, быстро обежал всю местность и, кончив, заметил Марье, что все теперь здесь идет не по-прежнему. Ему, может быть, хотелось возобновить перед решительным делом жизни впечатления детства... Деревня эта не имеет церкви, и жители ходят в село Вяземы, в двух верстах. Пушкин ездил сюда к обедне. Село Вяземы принадлежало Годунову; там доселе пруды, ему приписываемые; старая церковь тоже с воспоминаниями о Годунове; стало быть, Пушкин в детстве мог слышать о нем.

С. П. Шевырев. Воспоминания о Пушкине. – Л. Н. Майков, с. 324.

Приезжал он ко мне (в Захарово) сам, перед тем как вздумал жениться. Я, говорит, Марья, невесту сосватал, жениться хочу... И приехал это прямо не по большой дороге, а задами, другому бы оттуда не приехать: куда он поедет? – в воду на дно! А он знал... Уж оброс это

волосками тут (показывая на щеки); вот в этой избе у меня сидел... Хлеб уж убрали, так это под осень, надо быть, он приезжал-то... Я сижу, смотрю – тройка! Я эдак... А он уже ко мне в избу-то и бежит... Чем, мол, вас, батюшка, угощать я стану? Сем, мол, яишенку сделаю! «Ну, сделай, Марья!» Пока он пошел это по саду, я ему яишенку-то и сварила. Он пришел, покушал... Все наше решилось, говорит, Марья; все, говорит, поломали, все заросло! Побыл еще часика два, – прощай, говорит, Марья, приходи ко мне в Москву! А я, говорит, к тебе еще побываю. Сели и уехали.

Марья Федоровна (крестьянка с-ца Захарова). – Н. Б. (Н. В. Берг). Сельцо Захарово. – Москвитянин, 1851, № 9–10, с. 32.

Пушкин ускакал в Питер печатать «Годунова». Свадьба его будет в сентябре.

Н. М. Языков – *А. М. Языкову*, 23 июня 1830 г., из Москвы. – Историч. Вестн., 1883, дек., с. 530.

Секретно. Квартировавший в гостинице «Англия» чиновник 10 класса Александр Сер-

геев Пушкин, за коим был учрежден секретный полицейский надзор, сего июля 16 числа выехал в С.-Петербург. Во время же проживания его здесь ничего предосудительного замечено не было.

Полицмейстер *Миллер* в рапорте и. д. моск. обер-полицмейстера, 18 июля 1830 г. – Кр. Арх., т. 37, с. 241.

Александр Сергеевич приехал третьего дня. Говорят, он влюблен больше, чем когда-нибудь. Тем не менее он почти не говорит о ней. Вчера он цитировал фразу, кажется мне, г-жи де Виллуа, которая говорила своему сыну: «О себе говори только с царем, а о своей жене ни с кем, потому что всегда рискуешь говорить о ней с кем-нибудь, кто знает ее лучше, чем ты...» Свадьба будет в сентябре.

Бар. С. М. Дельвиц – А. П. Керн, 21 (?) июля 1830 г., из Петербурга. – Пушкин и его совр-ки, вып. V, с. 150 (фр.).

В этот приезд Пушкин казался совсем другим человеком: он был серьезен, важен, как следовало человеку с душою, принимавшему

на себя обязанность счастливить другое существо.

А. П. Керн. Письмо к П. В. Анненкову. – Пушкин и его совр-ки, вып. V, с. 150.

Петербург мне кажется уже довольно скучным, и я рассчитываю сократить мое пребывание здесь, насколько могу.

Пушкин – Н. Н. Гончаровой (невесте), 20 июля 1830 г.

Он в восторге от своей Натали, – он говорит о ней, как о божестве. Он рассчитывает приехать с нею в Петербург в октябре месяце. Представь себе, он сделал этим летом саниментальную поездку в Захарово, совсем один, – единственно для того, чтобы увидеть места, где он провел несколько лет своего детства.

Н. О. Пушкина (мать поэта) – *О. С. Павлицевой*, 22 июля 1830 г., из Петербурга. – Пушкин. Письма под ред. Б. Л. Модзалевского, т. II, с. 447.

Я мало езжу в свет. Вас там ожидают с

нетерпением. Прекрасные дамы спрашивают у меня ваш портрет и не прощают мне того, что у меня его нет. Я утешаю себя, проводя целые часы перед белокурой мадонной, похожей на вас как две капли воды; я купил бы ее, если бы она не стоила 40 000 рублей.

Пушкин – Н. Н. Гончаровой, 30 июля 1830 г., из Петербурга.

К стыду своему сознаюсь, что я веселюсь в Петербурге и не знаю, когда и как возвращусь.

Пушкин – кн. В. Ф. Вяземской, 4 авг. 1830 г.

Лето 1830 г. Дельвиги жили на берегу Невы, у самого Крестовского перевоза. У них было постоянно много посетителей. Французская июльская революция тогда всех занимала, а так как о ней ничего не печатали, то единственным средством узнать что-либо было посещение знати. Пушкин, большой охотник до этих посещений, но постоянно от них удерживаемый Дельвигом, которого он во многом слушался, получил по вышеозначенной причине дозволение посещать знать хотя

ежедневно и привозить вести о ходе дел в Париже. Нечего и говорить, что Пушкин пользовался этим дозволением и был постоянно весел, как говорят, в своей тарелке. Посетившие те дома, где могли знать о ходе означенных дел, он почти каждый день бывал у Дельвигов, у которых проводил по нескольку часов. Пушкин был в это время уже женихом. Общество Дельвига было оживлено в это лето приездом Льва Пушкина, – офицера Нижегородского драгунского полка, – проводившего почти все время у Дельвигов. Время проводили тогда очень весело. Слушали великолепную роговую музыку Дм. Льв. Нарышкина, игравшую на реке против самой дачи, занимаемой Дельвигами.

Чтение, музыка и рассказы Дельвига, а когда не бывало посторонних, – и Пушкина, занимали нас днем. Вечером, на заре, закидывали невод, а позже ходили гулять по Крестовскому острову. Прогулки эти были тихие и спокойные. Раз только вздумалось Пушкину, Дельвигу, Яковлеву и нескольким другим их сверстникам по летам показать младшему поколению, т.е. мне 17-летнему и брату мое-

му Александру 20-летнему, как они вели себя в наши годы, и до какой степени молодежь сделалась вялою сравнительно с прежней.

Была уже темная августовская ночь. Мы все зашли в трактир на Крестовском острове, с нами была и жена Дельвига. На террасе трактира сидел какой-то господин совершенно одиноким. Вдруг Дельвигу вздумалось, что это сидит шпион и что его надо прогнать. Когда на это требование не поддались ни брат, ни я, Дельвиг сам пошел заглядывать на тихо сидевшего господина то с правой, то с левой стороны, возвращался к нам с остротами насчет того же господина и снова отправлялся к нему. Брат и я всячески упрашивали Дельвига перестать этот маневр. Что, ежели этот господин даст пощечину? Но наши благоразумные уговоры ни к чему не повели. Дельвиг довел сидевшего на террасе господина своим пристаиваньем до того, что последний ушел. Если бы Дельвиг послушался нас, то, конечно, Пушкин или кто-либо другой из бывших с нами их сверстников по возрасту заменили бы его. Тем страннее покажется эта сцена, что она происходила в присутствии жены Дель-

вига, которую надо было беречь, тем более, что она кормила своею грудью трехмесячную дочь. Прогнав неизвестного господина с террасы трактира, мы пошли гурьбою по дорожкам Крестовского острова, и некоторые из гурьбы приставали разными способами к проходящим мужчинам, а когда брат Александр и я старались их остановить, Пушкин и Дельвиг нам рассказывали о прогулках, которые они по выпуске из лицея совершали по петербургским улицам, и об их разных при этом проказах, и глумились над нами, юношами, не только ни к кому не придирающимися, но даже останавливающими других, которые десятью и более годами нас старше. Я решительно удостоверяю, что они не были пьяны, а просто захотелось им встряхнуть старинкою и показать ее нам, молодому поколению, как бы в укор нашему более серьезному и обдуманному поведению. Я упомянул об этой прогулке собственно для того, чтобы дать понять о перемене, обнаружившейся в молодых людях в истекшие 10 лет.

Бар. А. И. Дельвиг. Мои воспоминания, т. I, с. 107–108.

Несмотря на то что Куницкий только что вышел в свет из-под отеческого крова, он очень степенен и рассудителен. Другие называют это недостатком, как напр. Пушкин, и хотят в молодости находить и буйность. Но... нониче уже время буйства молодежи прошло... Даже и гусары (название, прежде однозначащее с буйном) не пьянствуют и не бушуют. Не рассудив этого, многие, так прожившие молодость свою, удивляются, что нынешнее поколение не проводит своего времени в трактирах и борделях и называют его упавшим.

Ал. Н. Вульф. Дневник. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXI–XXII, с. 133.

Известно, что Пушкин очень любил карточную игру и особенно ощущения, ею доставляемые, так что по временам довольно сильно предавался этой страсти. Однажды, если не ошибаюсь, в 1833 г. летом, когда он жил на Черной речке (*П. В. Анненков. Материалы*, с. 359), на одной из соседних дач вечером собралось довольно большое общество, и в том

числе Пушкин. Все гости были охотники до карт, а потому они вскоре расположились вокруг зеленого стола, и один из них начал метать банк. Все игроки совершенно погрузились в свои ставки и расчеты, так что внимание их ничем нельзя было отвлечь от стола, на котором решалась участь многочисленных понтеров. В это время в калитку палисадника, в который выходили открытые окна и балконные двери дачи, вошел молодой человек очень высокого роста, закутанный в широкий плащ. Увидя играющую компанию, он незаметно для занятых своим делом игроков, не снимая ни шляпы, ни плаща, вошел в комнату и остановился за спиною одного из понтеров. Молодой человек этот был кн. С. Г. Голицын, хороший приятель Пушкина и прочих лиц, бывших в комнате. В то время он был в числе многочисленных почитателей девицы Россети, принадлежавшей к лучшим украшениям петербургского общества по замечательной красоте, пленительной любезности и светлому уму. Должно заметить, что дня за два до описываемого вечера Голицын находился в том же обществе, которое со-

шлось теперь на даче Черной речки, выиграл около тысячи рублей, именно у банкомета, державшего теперь банк, и что выигрыш этот остался за ним в долгу. Голицын, подошедший к столу, простоял несколько минут все-таки никем не замеченный, и, наконец, взявши со стола какую-то карту, бросил ее и закричал «ва-банк!». Все подняли глаза и увидели со смехом и изумлением неожиданного гостя в его странном костюме. Начались приветствия, но банкомет, озадаченный ставкою Голицына, встал и, отведя его немного в сторону, спросил: «Да ты на какие деньги играешь? На *эти* или на *те*?» Под «этими» он разумел ставку нынешнего вечера, а под «теми» свой долг. Голицын ответил ему: «Это все равно: и на *эти*, и на *те, те, те*». Игра продолжалась, но Пушкин слышал ответ Голицына; *те, те, те* его очень забавляло, и он шутя написал стихи:

*Полюбуйтесь же вы, дети,
Как в сердечной простоте
Длинный Фирс[137] играет в эти,
Те, те, те и те, те, те.
Черноокая Россети*

*В самовластной красоте
Все сердца пленила эти,
Те, те, те и те, те, те,
О, какие же здесь сети
Рок нам стелит в темноте:
Рифмы, деньги, дамы эти,
Те, те, те и те, те, те.*

Рассказанный здесь анекдот и стихи Пушкина сообщены нам самим Голицыным, кому они были адресованы[138].

М. И. Лонгинов. Анекдот о Пушкине. – Библиографич. зап., 1858, т. I, с. 494–496.

Я ехал с Вяземским из Петербурга в Москву. Дельвиг хотел проводить меня до Царского Села. 10 августа (1830) поутру мы вышли из города. Вяземский должен был нас нагнать на дороге. Дельвиг обыкновенно просыпался очень поздно. В этот день встал он в восьмом часу, и у него с непривычки кружилась и болела голова. Мы принуждены были зайти в низенький трактир. Дельвиг позавтракал. Мы пошли далее. Ему стало легче; головная боль прошла. Он стал весел и говорлив.

Пушкин. О Дельвиге, 1831 г.

10 авг. 1830 г. Выехали мы из Петербурга с Пушкиным в дилижансе. Обедали в Царском Селе у Жуковского. В Твери виделись с Глинкою, 14-го числа утром приехали в Москву.

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. IX, с. 137.

Пушкин вовсе не был лакомка. Он даже, думаю, не ценил и нехорошо постигал тайн поваренного искусства, но на иные вещи был он ужасный прожора. Помню, как в дороге съел он почти одним духом двадцать персиков, купленных в Торжке. Моченым яблокам также доставалось от него нередко.

Кн. П. А. Вяземский. Там же, т. VIII, с. 372.

Пушкин в городе живет у меня, и, если вы будете ему писать, то вот мой адрес: (Москва) в доме князя Вяземского, в Чернышевском переулке.

Кн. П. А. Вяземский – Е. М. Хитрово, 2 сент. 1830 г. – Рус. Арх., 1899, т. II, с. 86.

Князь Вл. Голицын.

*Никитушка! Скажи, где Пушкин
Царь-поэт?*

Никита.
*Давным-давно, сударь, его уж до-
ма нет, Не усидит никак прия-
тель ваш на месте, То к дяде на
поклон, то полетит к невесте.*

Князь Вл. Голицын.
*А скоро ль женится твой мудрый
господин?*

Никита.
*Осталось месяц лишь гулять ему
один.
Вот мой разговор с вашим камер-
динером.*

Кн. В. С. Голицын – Пушкину, летом 1830 г.,
из Москвы. – Переписка Пушкина, т. II, с. 205.

Бедный Василий Львович Пушкин скончался 20 августа (1830). Накануне был уже он совсем изнемогающий, но, увидя Александра, племянника, сказал ему: «Как скучен Катенин!» Перед этим читал он его в «Литературной Газете». Пушкин говорит, что он при этих

словах и вышел из комнаты, чтобы дать дяде умереть исторически. Пушкин был, однако же, очень тронут всем этим зрелищем и во все время вел себя как нельзя приличнее.

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. IX, с. 139.

Нам передавали современники, что, услышав эти слова от умиравшего Василия Львовича, Пушкин направился на цыпочках к двери и шепнул собравшимся родным и друзьям его: «Господа, выдемте; пусть это будут последние его слова».

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1870, с. 1369.

Бедный дядя Василий! Знаешь ли его последние слова? Приезжаю к нему, нахожу его в забытьи, очнувшись, он узнал меня, погоревал, потом, помолчав: «Как скучны статьи Катенина!» и более ни слова. Каково? Вот что значит умереть честным воином, на щите, с боевым кликом на устах!

Пушкин – П. А. Плетневу, 9 сент. 1830 г.

И. И. Дмитриев, подозревая причиною кон-

чины Вас. Львовича холеру, не входил в ту комнату, где отпевали покойника. Ал. Серг. Пушкин уверял, что холера не имеет прилипчивости, и, отнесясь ко мне, спросил: «Да не боитесь ли и вы холеры?» Я ответил, что боялся бы, но этой болезни еще не понимаю. «Не мудрено, вы служите подле медиков. Знаете ли, что даже и медики не скоро поймут холеру. Тут все лекарство один courage, courage [139] и больше ничего». Я указал ему на словесное мнение Ф. А. Гильтебранта, который почти то же говорил. «О, да! Гильтебрантов немного», – заметил Пушкин.

М. Н. Макаров. Пушкин в детстве. – Современник, 1843, т. XXIX, с. 384.

На похоронах у Вас. Львовича Пушкина с Языковым и потом в карете с Данзасом в Донской монастырь. С Пушкиным на могиле Сумарокова.

М. П. Погодин. Дневник, 23 авг. 1830 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXII–XXIV, с. 108.

В августе 1830 г. Пушкин приехал в Остафьево к князю Вяземскому и не успел еще

расплатиться, как домовый слуга стал гнать ямщика от большого подъезда. Пушкин крикнул: «Оставь его! Оставь его!»

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1911, т. II, с. 553.

Я отправляюсь в Нижний, без уверенности в своей судьбе. Если ваша мать решилась расторгнуть нашу свадьбу и вы согласны повиноваться ей, я подпишусь подо всеми мотивами, какие ей будет угодно привести своему решению, даже и в том случае, если они будут настолько основательны, как сцена, сделанная ею мне вчера, и оскорбления, которыми ей угодно было осыпать меня. Может быть, она права и я был неправ, думая одну минуту, что я был создан для счастья. Во всяком случае, вы совершенно свободны; что же до меня, то я даю вам честное слово принадлежать только вам, или никогда не жениться.

Пушкин – Н. Н. Гончаровой, в конце авг. 1830 г., из Москвы (*фр.*).

Я уезжаю, рассорившись с г-жей Гончаровой. На другой день после бала она сделала мне самую смешную сцену, какую только

можно себе представить. Она мне наговори-
ла вещей, которых я, по совести, не мог рав-
нодушно слушать. Я еще не знаю, расстрои-
лась ли моя свадьба, но повод к этому налицо,
и я оставляю двери широко открытыми... Эх,
проклятая штука – счастье!

Пушкин – кн. В. Ф. Вяземской, в конце авг.
1830 г., из Москвы (*фр.*).

Сейчас еду в Нижний, т.е. в Лукьянов, в се-
ло Болдино. Милый мой, расскажу тебе все,
что у меня на душе: грустно, тоска, тоска.
Жизнь жениха 30-летнего хуже 30-ти лет жиз-
ни игрока. Дела будущей тещи моей расстро-
ены. Свадьба моя отлагается день ото дня да-
лее. Между тем я хладею, думаю о заботах же-
натого человека, о прелести холостой жизни.
К тому же московские сплетни доходят до
ушей невесты и ее матери – отселе размолв-
ки, колкие обиняки, ненадежные примире-
ния, – словом, если я и не несчастлив, по край-
ней мере не щастлив. Осень подходит. Это
любимое мое время – здоровье мое обыкно-
венно крепнет – пора моих литературных
трудов настает, – а я должен хлопотать о при-

даном, да о свадьбе, которую сыграем бог
весть когда. Все это не очень утешно. Еду в де-
ревню. Бог весть, буду ли там иметь время за-
ниматься, и душевное спокойствие, без кото-
рого ничего, не произведешь, кроме эпи-
грамм на Каченовского. Так-то, душа моя. От
добра добра не ищут. Черт меня догадал бре-
дить о щастии, как будто я для него создан.
Должно было мне довольствоваться незави-
симостью.

*Пушкин – П. А. Плетневу, 31 авг. 1830 г., из
Москвы.*

Перед моим отъездом Вяземский показал
мне письмо, только что им полученное: ему
писали о холере, уже перелетевшей из Астра-
ханской в Саратовскую губернию. По всему
видно было, что она не минует и Нижегород-
ской (о Москве мы еще не беспокоились). Я
поехал с равнодушием, коим был обязан пре-
быванию моему между азиатцами. Приятели,
у коих дела были в порядке (или в привыч-
ном беспорядке, что совершенно одно), упре-
кали меня за то и важно говорили, что легко-
мысленное бесчувствие не есть еще истинное

мужество. На дороге встретил я Макарьевскую ярмарку, прогнанную холерой. Воротиться в Москву казалось мне малодушием; я поехал далее, как, может быть, случилось вам ехать на поединок, с досадой и большой неохотой.

Пушкин. Заметка о холере, 1831 г.

Если бы я не был в дурном расположении, едучи в деревню, я вернулся бы в Москву со второй станции, где я уже узнал, что холера опустошает Нижний. Но тогда я и не думал поворачивать назад, и главным образом я тогда готов был радоваться чуме.

Пушкин – Н. Н. Гончаровой, 26 нояб. 1830 г.

Село Большое, или Базарное Болдино, при речке Азане, или Сазанке, находится на северной полосе Лукояновского уезда, в юго-восточном углу Нижегородской губернии. Оно расположено на пригорке, с пологим скатом по направлению к соседнему селу Ларионову. Избы, как и в большинстве селений этой полосы, крыты соломой, и самое село, благодаря этому, имеет вид бедной глухой деревушки.

На горе, среди села, широкая площадь, на которой живописно выделяется помещичья усадьба, вся в зелени, обнесенная красивою оградой; рядом с усадьбой высится церковь. Против усадьбы – волостное правление, а за ним, замыкая площадь, тянутся крестьянские избы. Верхнюю часть села можно считать старейшим жилищным пунктом Болдина вместе с примыкающими к ней по склону базарною площадью и улицей. Вокруг Болдина местность степная, безлесная, встречаются лишь небольшие рощицы из дубняка и осинника. В прежнее время на месте нынешней усадебной ограды близ церкви лепились крестьянские избы, снесенные уже в конце тридцатых или сороковых годов. Старый барский дом, в котором жил Пушкин, по показанию старожилов, находился на том же месте, где и теперь стоит господская усадьба... Это был небольшой одноэтажный дом, с деревянною крышей, с черным двором и службами, обнесенный мелким дубовым частоколом. Крутом дома был пустырь: ни цветников, ни сада; невдалеке от дома находился только небольшой пруд, известный ныне под названием

«Пильники», да виднелись два-три деревца, из которых теперь сохранилось разве одно – огромный, могучий, многолетний вяз. За оградой усадьбы, недалеко (на месте нынешних пожарных сараев), стояла вотчинная контора; против нее на площади высилась церковь... Из окон дома открывался унылый вид на крестьянские соломенные избы... Все население села Болдина – русское, православного вероисповедования; занимались хлебопашеством. Почва здесь черноземная и отчасти суглинок. Кроме хлебопашества, жители Болдина занимались приготовлением черного поташа из золы сорных трав и соломы (до 20 домов). Главный промысел болдинских крестьян был санный. Зимой почти все село работало крестьянские сани.

Во владении С. Л. Пушкина в Нижегородской губернии к 1830 г. состояло: сельцо Кистенево, где было 476 душ, и половина села Болдина в 564 души; другая половина Болдина находилась во владении брата его, Василия Львовича.

Сельцо Кистенево (Темяшево тож), соседнее с Болдиным, в пограничном Сергачском

уезде, при р. Чеке, впадающей в Пьяну, расположено улицами, которые носили особые названия: Самодуровка, Кривулица, Стрелецкая и Бунтовка. Уже наружный вид жилых построек ясно говорил постороннему взору, что кистеневские крестьяне жили в большой нужде, черно и грязно, только 1/4 крестьянских домов были покрыты тесом на два ската и топились «по-белому», а остальные 3/4 представляли из себя подслеповатые курные избенки, крытые соломой... В 30-х гг. (по 8-й ревизии) здесь жило 532 мужчины и 538 женского пола крестьян. В «Списке населенных мест» Кистенево показано, как часть прихода с. Болдина. Вероятно, оно было выселено сюда «по господскому велению» за самодурство и бунты; недаром улицы Кистенева получили столь характерные наименования, как Самодуровка и Бунтовка... Все население Кистенева, как и в Болдине, было русское, православное; кроме хлебопашества, крестьяне были заняты выделкою рогож. Весною значительная часть уходила на Волгу в бурлаки, в Оренбургские степи гуртовщиками и в Самарскую – жать пшеницу.

А. И. Звездин. О Болдинском имении А. С. Пушкина. Н.-Новг., 1912, с. 4, 8–9, 11, 13.

По «Экономическим примечаниям» (*относящимся к 1789 г.*) «село Болдино – всего 243 двора: 1336 муж., 1385 женщ., 4538 десятин пашни, 544 – покосу, 1965 – лесу строевого и дровяного, 162 – под усадьбой, 72 – неудобной. Расположено Болдино при речке Азаике, по течению на правой стороне. Господский дом деревянный, сада нет. На речке Азанке (на ее правом берегу расположена и деревня) – сажень ширины и четверть сажени глубины в жаркое время – запружен пруд и при нем состоит ручная (*речная?*) мельница о двух поставах, действие имеет во весь год, которая мелет для крестьянского обихода, в речке рыба: щуки, окуни, язи, плотва. Земля грунт имеет серо-глинистый, лучше родится рожь, овес, греча, горох и полба, а прочие семена средственны. Сенные покосы против других мест средственны. Лес строевой и дровяной: березовый, липовый, осиновый, ольховый и ивовый; в нем звери: волки, лисицы, зайцы, горностаи; птицы: тетерева, рябчики, сквор-

цы, чижи, щеглы, соловьи».

П. Е. Щеголев. Пушкин и мужики. М.: Федерация, 1928, с. 63.

Едва успел я приехать, как узнаю, что около меня оцепляются деревни, учреждаются карантинны. Народ ропщет, мятежи вспыхивают то там, то здесь нелепые. Я занялся моими делами, перечитывая Кольриджа, сочиняя сказочки и не ездя по соседям.

Пушкин. Заметка о холере.

Моя дорогая, моя милая Наталья Николаевна, – я у ваших ног, чтобы благодарить и просить вас о прощении за беспокойство, которое я вам причинил. Ваше письмо прелестно и вполне меня успокоило. Мое пребывание здесь может продолжиться вследствие обстоятельства, совершенно непредвиденного. Я думал, что земля, которую мой отец дал мне, составляет особое имение; но она часть деревни из 500 душ, и нужно приступить к разделу. Я постараюсь устроить все это как можно скорее. Еще больше я боюсь карантинных, которые начинают устанавливаться здесь. В

окрестностях у нас cholera morbus[140] (очень миленькая персона). И она может удержать меня дней двадцать лишних.

Пушкин – Н. Н. Гончаровой, 9 сент. 1830 г., из Болдина.

Теперь мрачные мысли мои порассеялись; приехал я в деревню и отдыхаю. Около меня холера морбус. Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда! Жена свой брат. При ней пиши, сколько хошь. А невеста пуще Цензора Щеглова язык и руки связывает... Сегодня от своей получил я премиленькое письмо: обещает выдти за меня и без приданого. Приданое не уйдет. Зовет меня в Москву – я приеду не прежде месяца... Ах, мой милый! что за прелесть здешняя деревня! вообрази: степь да степь; соседей ни души; езди верхом, сколько душе угодно, пиши дома, сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины, и прозы и стихов.

Пушкин – П. А. Плетневу, 9 сент. 1830 г., из Болдина.

Г. Пушкин введен во владение (крестьянами с-ца Кистенева) через дворянского заседателя Григорьева 1830 г. сентября 16 дня, в получении коих крестьян во владение и дана самим помещиком тому заседателю Григорьеву расписка.

Помета сергачского земского суда на дарственной записи С. Л. Пушкина от 25 июня 1830 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIII, с. 99.

Вот в чем было дело: теща моя отлагала свадьбу за приданым, а уж, конечно, не я. Я бесился. Теща начинала меня дурно принимать и заводить со мною глупые ссоры; и это бесило меня. Хандра схватила меня, и черные мысли мной овладели. Неужто я хотел или думал отказаться? Но я видел уж отказ и утешался чем ни попало. Все, что ты говоришь о свете, справедливо; тем справедливее опасения мои, чтобы тетушки, да бабушки, да сестрицы не стали кружить голову молодой жене моей пустяками. Она меня любит, но посмотри, Алеко Плетнев, как гуляет вольная луна etc. Баратынский говорит, что в женихах

щастлив только дурак; а человек мыслящий беспокоен и волнуем будущим. Доселе он один я – а тут он будет мы. Шутка! От того-то я тещу и торопил; а она, как баба, у которой долг лишь волос, меня не понимала да хлопотала о приданом, черт ее побери. Оконча дела мои, еду в Москву сквозь целую цепь карантинных. – Месяц буду в дороге по крайней мере. Месяц здесь я прожил, не видя ни души, не читая журналов; я бы хотел переслать тебе проповедь мою здешним мужикам о холере; ты бы со смеху умер, да не стоишь ты этого подарка.

Пушкин – П. А. Плетневу, 29 сент. 1830 г., из Болдина.

Дядя П. П. Григорьев любил передавать мне разговор Пушкина с тогдашней (*нижегородской*) губернаторшей Бутурлиной[141]. Это было в холерный год. – «Что же вы делали в деревне, А. С-ч? – спрашивала Бутурлина. – Сучали?» – «Некогда было, Анна Петровна. Я даже говорил проповеди». – «Проповеди?» – «Да, в церкви, с амвона, по случаю холеры. Увещевал их. – И холера послана вам, братцы,

оттого, что вы оброка не платите, пьянствуете. А если вы будете продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь!»

П. Д. Боборыкин. За полвека. – Рус. Мысль, 1906 г., № 2, с. 24.

Вот я и совсем готов почти сесть в экипаж, хотя мои дела не кончены, и я совершенно пал духом. Мне объявили, что устроено пять карантинных отсюда до Москвы, и в каждом мне придется провести четырнадцать дней; сосчитайте хорошенько и притом представьте себе, в каком я должен быть сквернейшем настроении! К довершению благополучия, начался дождь, с тем, конечно, чтобы не перестать до самого санного пути... Будь проклят тот час, когда я решился оставить вас и пуститься в эту прелестную страну грязи, чумы и пожаров – мы только и видим это. Я бешусь. Наша свадьба, по-видимому, все убегает от меня, и эта чума, с ее карантинами, – разве это не самая дрянная шутка, какую судьба могла придумать?

Пушкин – Н. Н. Гончаровой, 30 сент. 1830 г., из Болдина.

Из расспросов болдинских старожилов об образе жизни Пушкина мы узнали немного. Один из них, столетний старик Михей Иванович Сивохин, хорошо помнит, что курчавый барин, Александр Сергеевич, каждый день ездил верхом в соседние Казаринские кусты и в Кистеневскую рощу и записывал «какие местам звания, какие леса, какие травы растут»; каждый день, по словам Сивохина, барину готовили кадушку теплой воды; это была импровизированная ванна.

А. И. Звездин. – Действия Ниж. Губ. Уч. Арх. Комиссии, т. IV, с. 62.

Курчавый, невысокого роста... Веселый барин, ласковый... Случалось мне ему один раз лошадь седлать. На карауле я был да и зашел на барский двор. Слышу, кто-то зовет... Я думал, что конторщик, а это сам барин из дому вышел. «Эй, человек, пойди ко мне». – «Чего изволите, ваше благородие?» – «Пойдем со мной в конюшню, пособи лошадь седлать». Вывел я ему лошадь, он сел и говорит: «Отвори, – говорит, – мне ворота, проводи со двора».

Проводил я его, он и поскакал трусцой в Казаринские кусты... Все туда ездил верхом; почесть каждый вечер, и все один.

М. И. Сивохи (100-летний старик, болдинский крестьянин) в передаче А. И. Звездина. – А. И. Звездин. О болдинском имении А. С. Пушкина, с. 4–5.

Когда Пушкин жил в деревне, Наталья Ивановна (*Гончарова, мать невесты*) не позволяла дочери самой писать к нему письма, а приказывала ей писать всякую глупость и между прочим делать ему наставления, чтобы он соблюдал посты, молился богу и пр. Наталья Николаевна плакала от этого.

Кн. *Е. А. Долгорукова* по записи *П. И. Бартенева*. – П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 63.

Имение, где Пушкин жил в Нижнем, находится в нескольких верстах от села Апраксина, принадлежавшего семейству Новосильцевых, которых поэт очень любил, в особенности хозяйку дома, милую и добрую старушку. Она его часто журила за его суеверие, которое

доходило, действительно, до невероятной степени. Г-жа Новосильцева праздновала свои именины, и Пушкин обещал приехать к обеду, но его долго ждали напрасно и решились, наконец, сесть за стол без него. Подавали уже шампанское, когда он явился, подошел к имениннице и стал перед ней на колени: «Наталья Алексеевна, – сказал он, – не сердитесь на меня: я выехал из дома и был уже недалеко отсюда, когда проклятый заяц пробежал поперек дороги. Ведь вы знаете, что я юродивый: вернулся домой, вышел из коляски, а потом сел в нее опять и приехал, чтобы вы меня выдрали за уши».

Т. Толочева (Е. В. Новосильцева). – Рус. Арх., 1877, т. II, с. 99.

Приехал в Апраксино Пушкин, сидел с барышнями, был скучен и чем-то недоволен. Разговор не клеился, он все отмалчивался, а мы болтали. Перед ним лежал мой альбом, говорили мы об «Евгении Онегине», Пушкин молча рисовал что-то на листочке. Я говорю ему: «Зачем вы убили Ленского? Варя весь день вчера плакала!» Варваре Петровне тогда

было лет шестнадцать, собой была недурна. – «Ну, а вы, Варвара Петровна, как бы кончили эту дуэль?» – «Я бы только ранила Ленского в руку или плечо, и тогда Ольга ходила бы за ним, перевязывала бы рану, и они друг друга еще больше бы полюбили». – «А знаете, где я его убил? Вот где», – протянул он к ней свой рисунок и показал место у опушки леса. «А вы как бы кончили дуэль?» – обратился Пушкин ко мне. «Я ранила бы Онегина; Татьяна бы за ним ходила, и он оценил бы ее и полюбил ее». – «Ну, нет, он Татьяны не стоил», – ответил Пушкин.

А. П. Новосильцева по записи Н. КР[142]. – Курские Губ. Вед., 1899, № 29. Цит. по: Разговоры Пушкина. М.: Федерация, 1929, с. 154.

Между тем начинаю думать о возвращении и беспокоиться о карантине. Вдруг получаю известие, что холера в Москве. Я попался в западню, как-то мне будет вырваться на волю. Страх меня пронял: в Москве!.. Я тотчас собрался в дорогу и поскакал. Проехав 20 верст, ямщик мой останавливается; застава! Несколько мужиков с дубинами охраняли пе-

реправу через какую-то речку. Я стал расспрашивать их (выведывать о карантине, о начальнике): ни они, ни я хорошенько не понимали, зачем они стояли тут с дубинами и с повелением никого не пускать. Я доказывал им, что, вероятно, где-нибудь да учрежден карантин, что не сегодня, так завтра на него наеду, и в доказательство предложил им серебряный рубль. Мужики со мной согласились, перевезли меня и пожелали многие лета.

Пушкин. Заметка о холере.

В 1830 году, во время холеры, С. Я. Ползиков был писцом у моего отца А. А. Крылова. Во время эпидемии мой отец был сделан окружным комиссаром, и в его округ входило село Болдино, в котором жил тогда А. С. Пушкин. Отец вместе с Ползиковым несколько раз бывал в Болдине у Пушкина и, кроме того, часто виделся с ним в с. Апраксине у Новосильцевых и в с. Черновском у Топорниной. Ползиков рассказывал эпизод бегства Пушкина из Болдина с большими подробностями, чем это описал сам Пушкин. По словам Ползикова, холера надвигалась к Болдину с во-

стока, от Волги, но еще не доходила до Болдина и его окрестностей. Карантины были расставлены по московской дороге и по р. Пьяне. От нижегородского губернатора было объявлено, что как только холера дойдет до р. Пьяны, то карантин усилить и никого не пропускать за Пьяну. Усердие же карантинных мужиков стало притеснять приезжающих еще до появления холеры. И вот в это-то время Пушкин, боясь попасть в карантин, поторопился уехать в Москву, и очень понятно, что мужики воспользовались тароватостью Пушкина, – взяли с него целковый за перевоз; но Ползиков об этом целковом не рассказывал.

Н. А. Крылов. Очерки из далекого прошлого. – Вестн. Европы, 1900, кн. 5, с. 174.

1 октября я получаю известие, что холера распространилась до Москвы и что жители все оставили город. Это последнее известие меня успокоило несколько. Узнав, между тем, что выдавали свидетельства на свободный проезд, или, по крайней мере, на сокращенный срок карантина, я написал по этому предмету в Нижний. Мне отвечают, что сви-

детельство будет мне выдано в Лукоянове (так как Болдино не заражено): в то же время меня извещают, что вход и выход из Москвы запрещены. Эта последняя новость и в особенности неизвестность вашего пребывания останавливают меня в Болдине. Приехав в Москву, я мог опасаться, или, лучше сказать, я надеялся не найти вас там. Между тем слух, что Москва опустела, подтверждался и успокаивал меня. Вдруг я получаю от вас маленькую записку, из которой узнаю, что вы вовсе и не думали выезжать. Я беру почтовых лошадей, приезжаю в Лукоянов; мне отказывают в выдаче паспорта под тем предлогом, что я выбран для надзора за карантинами моего округа. Я решился продолжать мой путь, послав жалобу в Нижний. Переехав во Владимирскую губернию, я вижу, что проезд по большой дороге запрещен, и никто об этом ничего не знал; такой здесь порядок!

Пушкин – Н. Н. Гончаровой, 26 нояб. 1830 г., из Болдина.

В минуту моего выезда, в начале октября, меня назначают окружным инспектором. Я

непременно принял бы эту должность, если бы в то же время не узнал, что холера появилась в Москве. Мне стоило большого труда отделаться от инспекторства. Потом приходит известие, что Москва оцеплена и въезд запрещен. Затем мои несчастные попытки убраться; потом известие, что вы не покидали Москвы.

Пушкин – Н. Н. Гончаровой, 2 дек. 1830 г., из Платова.

Явился г. Ульянинов (бывш. *лукояновский уездный предводитель дворянства*). Во время холеры, рассказывал он между прочим, мне поручен был надзор за всеми заставами со стороны Пензенской и Симбирской губ. А. С. Пушкин в это самое время, будучи женихом, находился в поместье отца своего в селе Болдине. Я отношусь к нему учтиво, предлагая принять самую легкую должность. Он отвечает мне, что, не будучи помещиком здешней губернии, он не обязан принимать должность. Я опять пишу к нему и прилагаю министерское распоряжение, по которому никто не мог отказаться от выполнения должностей. И

за тем он не согласился и просил меня выдать ему свидетельство на проезд в Москву. Я отвечал, что, за невыполнением первых моих отношений, свидетельства выдать не могу. Он отправился так, наудалую; но во Владимирской губ. был остановлен и возвратился назад в Болдино. Между тем в Лукоянов приехал министр (*гр. А. А. Закревский*). – «Нет ли у вас из дворян таких, кои уклонились бы от должностей?» – «Все действовали усердно за исключением нашего стихотворца А. С. Пушкина». – «Как он смел это сделать?» Пушкин получил строгое предписание министра и принял должность. Г. Ульянинов прибавил: «Позднее, в бытность мою в Петербурге, я познакомился с Пушкиным в Английском клубе, где он подошел ко мне, говоря: «Кажется, это вы меня так притеснили во время холеры?»»

П. М. Языков (брат поэта). Из записок. – Рус. Арх., 1874, т. I, с. 799.

Въезд в Москву запрещен, и вот я заперт в Болдине. Я совсем потерял мужество и не знаю в самом деле, что делать? Ясное дело,

что в этом году (будь он проклят) нашей свадьбе не бывать. Мы окружены карантинами, но эпидемия еще не проникла сюда. Болдино имеет вид острова, окруженного скалами. Ни соседа, ни книги. Погода ужасная. Я провожу мое время в том, что мараю бумагу и злюсь. Не знаю, что делается на белом свете. Я становлюсь совершенным идиотом; как говорится, до святости.

Пушкин – Н. Н. Гончаровой, 11 окт. 1830 г., из Болдина.

19 окт., сожж. (ена) X песнь (*Евгения Онегина*).

Пушкин. Пометка в черновой тетради. – Рус. Стар., 1884 г., т. 44, с. 339.

Я сунулся было в Москву, да, узнав, что туда никого не пускают, воротился в Болдино да жду погоды. – Ну уж погода! Знаю, что не так страшен черт, як его малюют; знаю, что холера не опаснее турецкой перестрелки, – да отдаленность – да неизвестность – вот что мучительно. Хотя я и не из иных прочих, так сказать – но до того доходит, что хоть в пет-

лю. – Мне и стихи в голову не лезут, хоть осень чудная, и дождь и снег и по колено грязь.

Пушкин – П. А. Плетневу, в конце окт. 1830 г., из Болдина.

Посылаю тебе, барон, вассальскую мою подать, именуемую цветочною, по той причине, что платится она в ноябре, в самую пору цветов. Доношу тебе, моему владельцу, что нынешняя осень была детородна и что коли твой смиренный вассал не околеет от сарацинского падежа, Холерой именуемого, то в замке твоём, Литературной Газете, песни трубадуров не умолкнут круглый год. Отец мне ничего про тебя не пишет, а это беспокоит меня, ибо я все-таки его сын, – т. е. мнителен и хандрлив (каково словечко?). Скажи Плетневу, что он расцеловал бы меня, видя мое осеннее прилежание.

Пушкин – бар. А. А. Дельвигу, 4 нояб. 1830 г., из Болдина.

В Болдине, все еще в Болдине! Узнав, что вы не оставили Москвы, я взял почтовых ло-

шадей и отправился. Выехав на большую дорогу, я увидел, что настоящих карантинных только три. Я храбро явился в первый (Сиваслейка, губ. Владимирская); инспектор спрашивает мою подорожную, сообщив, что мне предстоит всего шесть дней остановки. Потом он бросает взгляд на подорожную: «Вы не по казенной надобности изволите ехать?» – «Нет, по собственной самонужнейшей». – «Так извольте ехать назад, на другой тракт, здесь не пропускают». – «Давно ли?» – «Да уж около 3-х недель». – «И эти свиньи, губернаторы, не дают этого знать?» – «Мы не виноваты-с». – «Не виноваты! А мне разве от этого легче?» Нечего делать – еду назад в Лукоянов, требую свидетельства, что еду не из зачумленного места. Предводитель здешний не знает, может ли, после поездки моей, дать мне это свидетельство. Я пишу губернатору, а сам, в ожидании его ответа, свидетельства и новой подорожной, – сижу в Болдине да кисну. Вот каким образом я проделал 400 верст, не сделав шагу от моей берлоги.

Я совсем потерял мужество, и так как у нас теперь пост (скажите матушке, что этого по-

ста я долго не забуду), то я не хочу больше торопиться; предоставляю вещам идти по своей воле, а сам останусь ждать, сложив руки. Мой отец все мне пишет, что моя свадьба расстроилась. На днях он уведомит меня, может быть, что вы вышли замуж. Есть от чего потерять голову.

Пушкин – Н. Н. Гончаровой, 18 нояб. 1830 г., из Болдина.

Вот я и в карантине, с перспективою оставаться в плену четырнадцать дней – после чего надеюсь быть у ваших ног... Я в карантине и в эту минуту не желаю ничего больше. Вот до чего мы дожили – что рады, когда нас на две недели посадят под арест в грязной избе ткачу, на хлеб и на воду!

Пушкин – Н. Н. Гончаровой, 2 дек. 1830 г., из Платова.

Милый! Я в Москве с 5 декабря. Нашел тещу озлобленную на меня, и на силу с нею сладил, – но слава богу – сладил. На силу прорвался я и сквозь карантины два раза выезжал из Болдина и возвращался. Но слава богу,

сладил и тут. Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда: 2 последние главы Онегина, 8-ю, 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами (стихов 400), которую выдадим Анопуме[143]. Несколько драматических сцен, или маленьких трагедий, именно: Скупой Рыцарь, Моцарт и Сальери, Пир во время чумы и Д. Жуан. Сверх того, написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Еще не все (весьма секретное): написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржет и бьется – и которые напечатаем также Анопуме – под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает.

Пушкин – П. А. Плетневу, 9 дек. 1830 г., из Москвы.

Секретно. 9 числа сего декабря прибыл из города Лукоянова отставной чиновник 10 класса Александр Сергеев Пушкин и остановился Тверской части I квартала в гостинице «Англия», за коим надлежащий надзор учрежден.

Полицмейстер *Миллер* в рапорте и. д. моск.

обер-полицмейстера, 11 дек. 1830 г. – Кр. Арх., т. 37, с. 242.

К зиме опять Пушкин в Москву приехал, – только реже стал езжать к нам в хор. Однако нередко я его видала по-прежнему у Нащокина. Стал он будто скучноватый, а все же по-прежнему вдруг оскалит свои большие белые зубы да как примется вдруг хохотать! Иной раз даже испугает просто, право!

Цыганка *Таня (Т. Д. Демьянова)* в передаче *Б. М. Маркевича*. – Б. М. Маркевич. Соч. СПб., 1835, т. XI, с. 135.

Ты не узнал бы меня: оброс я бакенбардами, остригся под гребешок, остепенился, обрюзг.

Пушкин – *Н. С. Алексееву*, 26 дек. 1830 г., из Москвы.

Пушкин женится на Гончаровой, между нами сказать, на бездушной красавице, и мне сдается, что он бы с удовольствием заключил отступной трактат.

. *Д. Киселев* – *Н. С. Алексееву*, 26 дек. 1830 г. –

В декабре 1830 или январе 1831 года Пушкин навел на нас в Остафьеве. Я живо помню, как он во время семейного вечернего чая расхаживал по комнате, не то плавая, не то как бы катаясь на коньках, и, потирая руки, декламировал, сильно напирая на: «я мещанин, я мещанин», «я просто русский мещанин!».

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 528.

Уже при последних издыханиях холеры навел на меня в Остафьеве Пушкин. Разумеется, не отпустил я его от себя без прочтения всего написанного мною. Он слушал меня с живым сочувствием приятеля и судил о труде моем (*биография фон-Визина*) с авторитетом писателя опытного и критика меткого, строгого и светлого. Вообще более хвалил он, нежели критиковал. Между прочим, находил он, что я слишком живо нападаю на фон-Визина за мнение его о французах и слишком горячо отстаиваю французских писателей. При всей просвещенной независимости ума Пушкина, в нем иногда пробивалась патрио-

тическая щекотливость и ревность в отношении суда его над чужестранными писателями. Как бы то ни было, день, проведенный у меня Пушкиным, был для меня праздничным днем.

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. I, с. 51.

В семи верстах от уездного города Подольска Московской губернии, недалеко от старой калужской дороги, находится село Остафьево. Первым его владельцем был князь Андрей Иванович Вяземский. Когда он приехал для осмотра имения, ему бросилась в глаза липовая аллея и так ему понравилась, что он решил на покупку и тотчас же приступил к постройке нынешнего дома. Это прочный, поместительный, удобный каменный дом в два этажа, с фронтоном и колоннами, соединенный крытыми галереями-колоннадами с двумя каменными флигелями, также двухэтажными. Под домом обширные подвалы и кухня, простенки которой выложены красивыми кафлями. Дом этот так построен, что в нем могут поместиться несколько семейств, не

стесняя друг друга. – По широким ступеням главного входа поднимаемся на окружающую дом террасу. Входим в первую комнату, в ней пять дверей. Первая дверь направо – в библиотеку, там ряд комнат с простыми, выкрашенными шпалерами. Влево от входной комнаты – гостиная, увешанная картинами. Далее комната в два окна, кабинет. Тут висят семейные портреты. Наконец, спальня в два окна, с двумя колоннами; она угловая. Середину дома занимает круглый зал с целым полукругом выходящих в сад дверей. Средняя дверь ведет в липовую аллею, разделяющую сад пополам. Середина потолка в облаках. Сверху окно коридора верхнего этажа. Когда-то по широкому карнизу этой залы ловко проходил старик Губан, один из остафьевских старожилов. Другая половина дома обращена в сад. Влево от залы – старая столовая, с буфетными, старинными шкафами, с внутренним окном с разноцветными стеклами. Противоположная дверь залы ведет в библиотеку Павла Петровича (сына кн. Петра Андреевича); большая комната с установленными по стенам шкафами красного дерева с бронзой, когда-то быв-

шими в доме на Почтамтской. Далее ряд комнат с книгами, портретами, старою мебелью, что-то вроде кладовой, соединяющейся со старою библиотекой. – Верхний этаж весь состоит из жилых помещений. Низенькие комнаты с широкими подоконниками. В этом же этаже и карамзинская комната. В ней три окна к стороне Десны и одно большое – в сад. Здесь, у этого последнего окна, стоял некогда письменный стол Карамзина, а комната эта была тем его рабочим кабинетом, в котором написано им девять томов «Истории Государства Российского». Из окна вид на сад. Кругом деревья и часть горизонта. Впечатление успокоительное, тихое, располагающее к усидчивому труду. – Влево от сада поле с двумя березовыми рощами; вправо овраг с засохшим руслом Любучи и опять поля. Прямо за садом старая березовая роща. Отсюда вид на поля и на извилистую ленту реки Десны. На горизонте когда-то тянулись леса, ныне вырубленные. Тут же недалеко ряд курганов и сельское кладбище. С другой стороны дома пруд с плотиною, за ним церковь, белая, с зеленой крышей, вокруг них березы с обычными гнезда-

ми и стаей грачей; тут же сейчас крестьянские избы. Это – село Остафьево.

Гр. С. Д. Шереметьев. Село Остафьево. – Рус. Вестн., 1903, янв., с. 120–124.

Я знал Пушкина в 1832 году и лицо его запомнил хорошо, тем более, что лицо Пушкина было такое характерное, что оно невольно запечатлевалось в памяти каждого, кто его встречал... Когда же мне впервые показали акварель (П. Ф.) Соколова (рисована в 1830 г.), я сразу сказал: «Это единственный настоящий Пушкин».

С. Л. Левицкий (фотограф императорского двора) в передаче С. Д. Либровича. – Пушкин в портретах. СПб., 1890, с. 42.

Сейчас еду богу молиться и взял с собою последнюю сотню. Узнай, пожалуйста, где живет мой татарин, и, коли можешь, достань с своей стороны тысячи две.

Пушкин – П. В. Нащокину, в дек. 1830 г.

Нат. Ив. Гончарова возила дочь свою и жениха по соборам и к Иверской. Пушкин пи-

шет: мой татарин, потому что купил у него шаль для своей невесты.

П. И. Бартенев со слов *П. В. Нащокина*. – Деятнадцатый век, т. I, с. 383.

Религиозность Наталии Ивановны (*матери Н. Н. Гончаровой*) принимала с годами суровый, фанатический склад, а нрав словно ожесточился, и строгость относительно детей, а дочерей в особенности, принимала раздражительный, придирчивый оттенок. Все свободное время проводила она на своей половине, окруженная монахинями и странницами, которые свои душеспасительные рассказы и благочестивые размышления пересыпали сплетнями и наговорами на неповинных детей или не сумевших им угодить слуг и тем вызывали грозную расправу... В строгом монастыре молодых послушниц не держали в таком слепом повиновении, как сестер Гончаровых. Если, случалось, какую-либо из них призывали к Наталье Ивановне не в урочное время, то пусть даже и не чувствовала она никакой вины за собой, сердце замирало в тревожном опасении, и прежде чем пе-

реступлен заветный порог, – рука творила крестное знамение, и язык шептал псалом, поминавший царя Давида и всю кротость его.

А. П. Арапова. Воспоминания. – Новое Время, 1907, № 11409, ил. прил., с. 7.

По рассказу Ольги Сергеевны (*сестры Пушкина*), родители невесты дали всем своим детям прекрасное домашнее образование, а главное, воспитывали их в страхе божием, причем держали трех дочерей непомерно строго, руководствуясь относительно их правилом: «в ваши лета не сметь суждение иметь». Наталья Ивановна наблюдала тщательно, чтоб дочери никогда не подавали и не возвышали голоса, не пускались с посетителями ни в какие серьезные рассуждения, а когда заговoryт старшие, – молчали бы и слушали, считая высказываемые этими старшими мнения непреложными истинами. Девуцы Гончаровы должны были вставать едва ли не с восходом солнца, ложиться спать, даже если у родителей случались гости, не позже десяти часов вечера, являться всякое воскресенье непременно к обеду, а накануне

праздников слушать всенощную, если не в церкви, то в устроенной Натальей Ивановной у себя особой молельне, куда и приглашался отправлять богослужение священник местного прихода. Чтение книг с мало-мальски романтическим пошибом исключалось из воспитательной программы, а потому и удивляться нечего, что большая часть произведений Пушкина, сделавшихся в то время достоянием всей России, оставались для его суженой неизвестными.

Л. Н. Павлищев. Воспоминания, с. 209.

Наталья Ивановна была довольно умна и несколько начитана, но имела дурные, грубые манеры и какую-то пошлость в правилах. В Ярополче было около двух тысяч душ, но, несмотря на то, у нее никогда не было денег и дела в вечном беспорядке. В Москве она жила почти бедно, и, когда Пушкин приходил к ней в дом женихом, она всегда старалась выпроводить его до обеда или до завтрака. Дочерей своих бивала по щекам. На балы они иногда приезжали в изорванных башмаках и старых перчатках. Долгорукая помнит, как на одном

балу Наталью Николаевну уводили в другую комнату, и Долгорукая давала ей свои новые башмаки, потому что ей приходилось танцевать с Пушкиным.

Кн. Е. А. Долгорукова по записи П. И. Бартенева. – П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 63.

Пушкин настаивал, чтобы поскорее их обвенчали. Но Наталья Ивановна напрямик ему объявила, что у нее нет денег. Тогда Пушкин заложил имение, привез денег и просил шить приданое. Много денег пошло на разные пустяки и на собственные наряды Натальи Ивановны.

Кн. Е. А. Долгорукова по записи П. И. Бартенева. – Там же, с. 64.

12 тысяч рублей были заняты у Пушкина на расходы по свадьбе.

П. И. Бартенев со слов П. В. Нащокина. – Деятнадцатый век, т. I, с. 392.

Наталья Николаевна сообщала, что свадьба их беспрестанно была на волоске от ссор

жениха с тещей, у которой от сумасшествия мужа и неприятностей семейных характер испортился. Пушкин ей не уступал и, когда она говорила ему, что он должен помнить, что вступает в ее семейство, отвечал: «Это дело вашей дочери, я на ней хочу жениться, а не на вас». Наталья Ивановна диктовала даже дочери колкости жениху, но та всегда писала в виде P. S., после нежных писем, и Пушкин уже понимал, откуда идут строки.

П. В. Анненков со слов *Н. Н. Пушкиной-Ланской*. Записи. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 352.

Пушкин очень внимательно следил за ходом польского восстания. Еще в исходе 1830 г., наскучив тем, что свадьба его оттягивалась вследствие разных препятствий со стороны будущей тещи, он говорил Нащокину, что бросит все и уедет драться с поляками. – Там у них есть один Вейскопф (белая голова): он на-верное убьет меня, и пророчество гадалщицы сбудется.

П. И. Бартенев. – Деятнадцатый век, т. I, с. 386.

Нетерпеливость Пушкина, потребность быстрой смены обстоятельств, вообще пылкий характер его выражается между прочим и в том, что он хотел было совсем оставить женитьбу и уехать в Польшу единственно потому, что свадьба, по денежным обстоятельствам, не могла скоро состояться. Нащокин имел с ним горячий разговор по этому случаю в доме кн. Вяземского. Намереваясь отправиться в Польшу, Пушкин все напевал Нащокину: «Не женись ты, добрый молодец, а на те деньги коня купи».

П. В. Нащокин по записи П. И. Бартенева. – П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 41.

Новый год встретил я с цыганами и с Татьяной-пьяной. Она пела песню, в таборе сложенную, на голос: приехали сани.

*Давыдов с ноздрями,
Вяземский с очками,
Гагарин с усами,
Девоч испугали
И всех разогнали*

и пр.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, 2 янв. 1831 г., из Москвы.

К Пушкину, и занимательный разговор, кто русские и не русские. – Как воспаляет-ся Пушкин, – и видишь восторженного.

М. П. Погодин. Дневник, 7 янв. 1831 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXIII–XXIV, с. 111.

Пушкин был у меня два раза в деревне, все так же мил и все тот же жених. Он много написал у себя в деревне.

Кн. П. А. Вяземский – П. А. Плетневу, 12 янв. 1831 г., из Остафьева. – Изв. Отд. рус. яз. и слов. Имп. Ак. Наук, 1897, т. II, кн. I, с. 93.

Душа моя, вот тебе план жизни моей: я же-нюсь в сем месяце, полгода проживу в Москве, летом приеду к вам. Я не люблю московской жизни. Здесь живи не как хочешь – как тетки хотят. Теща моя – та же тетка. То ли дело в Петербурге! Заживу себе мещанином припеваючи, независимо и не думая о том, что скажет Марья Алексеевна.

Пушкин – П. А. Плетневу, 13 янв. 1831 г., из Москвы.

Вы совершенно правы, упрекая меня за мое пребывание в Москве. Не поглупеть в ней невозможно. Вы знаете эпиграмму на общество скучного человека: «On n'est pas seul, on n'est pas deux»[144]. Это эпиграф к моему существованию.

Пушкин – Е. М. Хитрово, 21 янв. 1831 г., из Москвы. – Письма Пушкина к Хитрово, с. 14 (фр.).

Ужасное известие (о смерти Дельвига) получил я в воскресенье. На другой день оно подтвердилось. Вчера ездил я к Салтыкову (отцу жены Дельвига) объявить ему все – и не имел духу. Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нем, как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изю всех связей детства он один оставался на виду – около него собралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? ты, я, Ба-

ратынский, вот и все. Вчера провел я день с Нащокиным, который сильно поражен его смертью – говорили о нем, называя его «покойник Дельвиг», и этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Нечего делать! согласимся. Покойник Дельвиг. Быть так. Баратынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здоров – и постараемся быть живы.

Пушкин – П. А. Плетневу, 21 янв. 1831 г., из Москвы.

Когда известие о смерти барона Дельвига пришло в Москву, тогда мы были вместе с Пушкиным, и он, обратясь ко мне, сказал: – «Ну, Войныч, держись: в наши ряды постреливать стали».

П. В. Нащокин – Н. М. Коншину, 21 авг. 1844 г. – Рус. Стар., 1908, дек., с. 763.

Вчера обедал в клубе. К нам подсел поэт Пушкин и все время обеда проболтал, однако же прозою, а не в стихах. Стол был очень хорош, покурили, посмотрели мастеров в биллиард и разъехались.

А. Я. Булгаков – К. Я. Булгакову, 22 янв. 1831г. – Рус. Арх., 1902, т. I, с. 48.

Вчера совершилась тризна по Дельвиге. Вяземский, Баратынский, Пушкин и я, многогрешный, обедали вместе у Яра, и дело обошлось без сильного пьянства.

Н. М. Языков – А. М. Языкову, 28 янв. 1830 г., из Москвы. – Историч. Вестн., 1883, № 12, с. 530.

Я – женат. Женат – или почти. Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. «Il n'est de bonheur que dans les voies communes (счастье – только на избитых дорогах)». Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся – я поступаю, как люди, и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в

розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входили в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью. У меня сегодня сплин – прерываю письмо мое, чтоб тебе не передать моей тоски: тебе и своей довольно. Пиши мне на Арбат, в дом Хитровой.

Пушкин – Н. И. Кривцову, 10 февр. 1831 г., из Москвы.

(По поводу письма к Кривцову.) Нам случилось видеть еще одно письмо Пушкина, написанное также почти накануне свадьбы и еще более поразительное по удивительному самосознанию или вещему предвидению судьбы своей. Там Пушкин прямо говорит, что ему, вероятно, придется погибнуть на поединке.

П. И. Бартнев. – Рус. Арх., 1864, с. 974.

Через несколько дней женюсь. Заложил я моих 200 душ, взял 38 000, и вот им распределение: 11 000 теще, которая непременно хотела, чтобы дочь ее была с приданым – пиши пропало; 10 000 Нащокину, для выручки его из плохих обстоятельств: деньги верные.

Остается 17 000 на обзаведение и житие годичное. В июне буду у вас и начну жить en bourgeois, а здесь с тетками справиться невозможно – требования глупые и смешные, а делать нечего. Теперь понимаешь ли, что значит приданое и отчего я сердился? Взять же ну без состояния – я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок я не в состоянии. Но я упрям и должен был настоять по крайней мере на свадьбе.

Пушкин – П. А. Плетневу, в перв. пол. февр. 1831 г., из Москвы.

В городе опять начали поговаривать, что Пушкина свадьба расходуется; это скоро должно открыться: середина последний день, в который можно венчать. Невеста, рассказывают, нездорова. Он был на бале у наших, отличался, танцевал, после ужина скрылся. «Где Пушкин?» – я спросил, а Гриша Корсаков серьезно отвечал: «Он ведь был здесь весь вечер, а теперь он отправился навестить свою невесту». Хорош визит в пять часов утра, и к больной! Нечего ждать хорошего, кажется; я думаю, что не для ее одной, но и для него лучше было

бы, кабы свадьба разошлась.

А. Я. Булгаков – К. Я. Булгакову, 16 февр. 1831 г. – Рус. Арх., 1902, т. I, с. 52.

Раз вечерком, – аккурат два дня до свадьбы его оставалось, – зашла я к Нащокину и Ольге (*цыганке, жившей с Нащокиным*). Не успели мы и поздороваться, как под крыльцо сани подкатили, и в сени вошел Пушкин. Увидел меня из саней и кричит: «Ах, радость моя, как я рад тебе, здорово, моя бесценная!» – поцеловал меня в щеку и уселся на софу. Сел и задумался, да так будто тяжко, голову на руку опер, глядит на меня: «Спой мне, – говорит, – Таня, – что-нибудь на счастье; слышала, может быть, я женюсь?» – «Как не слышать, – говорю, – дай вам бог, Александр Сергеевич!» – «Ну, спой мне, спой!» – «Давай, говорю, Оля, гитару, споем барину?» Она принесла гитару, стала я подбирать, да и думаю, что мне спеть... Только на сердце у меня у самой не весело было в ту пору; потому у меня был свой предмет, и жена увезла его от меня в деревню, и очень тосковала я от того. И думая об этом, запела я Пушкину песню, – она хоть и

подблюдною считается, а только не годиться было мне ее теперича петь, потому она будто, сказывают, не к добру:

*Ах, матушка, что так в поле
пыльно?
Государыня, что так пыльно?
Кони разыгралися. А чьи то кони,
чьи то кони?
Кони Александра Сергеевича...*

Пою я эту песню, а самой-то грустнехонько, чувствую и голосом тоже передаю... Как вдруг слышу, громко зарыдал Пушкин. Подняла я глаза, а он рукой за голову схватился, как ребенок, плачет... Кинулся к нему Павел Войнович (*Нащокин*): «Что с тобой, что с тобой, Пушкин?» – «Ах, – говорит, – эта ее песня всю мне внутрь перевернула, она мне не радость, а большую потерю предвещает!..» И недолго он после того оставался тут, уехал, ни с кем не простился.

Цыганка *Таня (Т. Д. Демьянова)* в передаче *Б. М. Маркевича*. – Б. М. Маркевич. Соч., т. XI, с. 135.

Накануне свадьбы Пушкин позвал своих

приятелей на *мальчишник*, приглашал особыми записочками. Собралось обедать человек десять, в том числе был Нащокин, Языков, Баратынский, Варламов, кажется, Елагин (А. А.) и пасынок его, Ив. Вас. Киреевский. По свидетельству последнего, Пушкин был необыкновенно грустен, так что гостям было даже неловко. Он читал свои стихи, прощание с молодостью, которых после Киреевский не видал в печати. Пушкин уехал перед вечером к невесте. Но на другой день, на свадьбе, все любовались веселостью и радостью поэта и его молодой супруги, которая была изумительно хороша.

П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 53.

Накануне свадьбы был очень грустен и говорил стихи, прощаясь с молодостью (был Варламов), напечатанное. Мальчишник. А закуска (?) из свежей (?) семги (?). Обедало у него человек 12, Нащокин, Вяземский, Баратынский, В., Языков. И вот Пушкин уехал к невесте; кажется, Елагин. На другой день он был (*два слова неразб.*) с откр. рук., он был очень весел, смеялся, был счастлив, любезен с

друзьями; брат (?) шу (тил).

П. И. Бартенев. Запись на обложке тихонравовской тетради. Рассказы о Пушкине, с. 129.

Необходимо разыскать стихи... прощание с молодостью и покаяние в грехах ее, которые Пушкин читал накануне своей свадьбы, на так наз. мальчишнике, и про которые живо вспоминал один из слушателей, И. В. Киреевский.

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1904, № 1, обложка.

У Пушкина верно нынче холостой обед, а он не позвал меня. Досадно. – Заезжал и пожелал добра. – Там Баратынский и Вяземский толкуют о нравственной пользе.

М. П. Погодин. Дневник, 17 февр. 1831 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXIII–XXIV, с. 112.

18 числа сего месяца (февраля) совершилось бракосочетание. Говорят, совершенство красоты. Когда увижу ее, опишу тебе ее с ног до головы. Накануне у Пушкина был девиш-

ник, так сказать, или лучше сказать, пьянство – прощальное с холостой жизнью.

Н. М. Языков – А. М. Языкову. – В. И. Шенрок. Н. М. Языков: биогр. очерк. – Вестн. Европы, 1897, № 12, с. 603.

Я пьяный на девишнике Пушкина говорил вам о том, но вы были так пьяны, что навряд ли это помните.

Д. В. Давыдов – Н. М. Языкову. – Рус. Стар., 1884, № 7, с. 134.

Сегодня свадьба Пушкина наконец. С его стороны посаженными Вяземский и графиня Потемкина[145], а со стороны невесты – Ив. Ал. Нарышкин и А. П. Малиновская. Хотели венчать их в домовой церкви кн. Серг. Мих. Голицына, но Филарет (*Московский митрополит*) не позволяет. Собирались его упрашивать; видно, в домовых нельзя, но я помню, что у Оболянинова обвенчали Сабурова.

А. Я. Булгаков – К. Я. Булгакову, 18 февр. 1831 г., из Москвы. – Рус. Арх., 1902, т. I, с. 53.

Первые годы женатой жизни

В день свадьбы Наталья Ивановна послала сказать Пушкину, что надо еще отложить, что у нее нет денег на карету или на что-то другое. Пушкин опять послал денег.

Кн. Е. А. Долгорукова по записи П. И. Бартенева. – П. И. Бартенов. Рассказы о Пушкине, с. 64.

Во время обряда Пушкин, задев нечаянно за аналой, уронил крест; говорят, при обмене колец, одно из них упало на пол... Поэт изменился в лице и тут же шепнул одному из присутствующих: «Tous les mauvais augures!»[146]

Рус. Стар., 1880, т. 27, с. 148.

Во время венчания нечаянно упали с аналая крест и евангелие, когда молодые шли кругом. Пушкин весь побледнел от этого. Потом у него потухла свечка. – «Tous les mauvais augures», – сказал Пушкин. В день свадьбы большой ужин у Пушкина в доме Хитровой, где распоряжался Левушка (брат Пушкина).

Кн. Е. А. Долгорукова по записи П. И. Бар-

тенева. – П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 64.

Мать мне рассказывала, как ее брат, во время обряда, неприятно был поражен, когда его обручальное кольцо упало неожиданно на ковер, и когда из свидетелей первый устал, как ему поспешили сообщить после церемонии, не шафер невесты, а его шафер, передавший венец следующему по очереди. Ал. С-вич считал это два обстоятельства недобрыми предвещаниями и произнес, выходя из церкви: «Tous les mauvais augures!» О случае с кольцом и шафером говорили мне и посаженный отец дяди, кн. П. А. Вяземский, и супруга его, Вера Федоровна, хотя и не присутствовавшая тогда на свадьбе, и, наконец, посаженная мать, тогда графиня Елиз. Петровна Потемкина (вышедшая вторично замуж за сенатора Ипп. Ив. Подчаского). Иконофором при обряде был малолетний сын кн. Вяземского Павел, а родители его и П. В. Нащокин, уехав прежде новобрачных, встретили Пушкиных с образом на новой квартире молодой четы.

Л. Н. Павлищев. Воспоминания, с. 241.

Пушкин женился 18 февраля 1831 года. Я принимал участие в свадьбе и по совершении брака в церкви отправился вместе с П. В. Нащокиным на квартиру поэта для встречи новобрачных с образом. В щегольской, уютной гостиной Пушкина, оклеенной диковинными для меня обоями под лиловый бархат с рельефными набивными цветочками, я нашел на одной из полочек, устроенных по обоим бокам дивана, собрание стихотворений Кирши Данилова.

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 529.

Филарет-таки поставил на своем: их обвенчали не у кн. Серг. Мих., а у Старого Вознесения. Никого не велено было пускать, и полиция была для того у дверей. Почему, кажется, нет? И так совершилась эта свадьба, которая так долго тянулась. Ну, да как будет хороший муж! То-то всех удивит, никто этого не ожидает, и все сожалеют о ней. Я сказал Грише Корсакову, быть ей милэди Байрон. Он пересказал Пушкину, который смеялся только. Он жене моей говорил на бале: «Пора мне остепе-

ниться; ежели не сделает этого жена моя, то нечего уже ожидать от меня».

А. Я. Булгаков – К. Я. Булгакову, 19 февр. 1831 г. – Рус. Арх., 1902, т. I, с. 54.

Пушкин был обвенчан с Гончаровой в церкви Святого Вознесения. День его рождения был тоже в самый праздник Вознесения господня. Обстоятельство это он не приписывал одной случайности. Важнейшие события в его жизни, по собственному его признанию, все совпадали с Днем Вознесения.

П. В. Анненков. Материалы, с. 306.

Пушкин жил в Москве после свадьбы на Арбате в доме Хитровой во втором этаже. Этот дом сохранился до настоящего времени, теперь его номер 53; это двухэтажный дом, второй от угла Денежного переуллка в сторону Арбатских ворот.

А. А. Лапин. – Книга воспоминаний о Пушкине, с. 13.

Н. Н. Пушкина сама сказала княгине Вяземской, что муж ее в первый же день брака,

как встал с постели, так и не видал ее. К нему пришли приятели, с которыми он до того заговорился, что забыл про жену и пришел к ней только к обеду. Она очутилась одна в чужом доме и заливалась слезами.

П. И. Бартенев со слов кн. *В. Ф. Вяземской*. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 307.

Вчера на бале у Щербиной встретил Пушкина. Он очень мне обрадовался. Свадьба его была 18-го, т.е. в прошлую среду. Он познакомил меня с своею женою, и я от нее без ума. Прелесть как хороша. Сегодня вечером еду к ним.

А. И. Кошелев – кн. *В. Ф. Одоевскому*, 21 февр. 1831 г., из Москвы. – Рус. Стар., 1904, т. 118, с. 203.

На Пушкина всклепали уже какие-то стишки на женитьбу; полагаю, что не мог он их написать неделю после венца; не помню их твердо, но вот à peu près[147] смысл:

*Хочешь быть учтив – поклонись,
Хочешь поднять – нагнись;
Хочешь быть в раю – молись,*

Хочешь быть в аду – женись!

Как-то эдак[148]. Он, кажется, очень ухаживает за молодою женою и напоминает при ней Вулкана с Венерою.

А. Я. Булгаков – К. Я. Булгакову, 23 февр. 1831 г. – Рус. Арх., 1902, т. I, с. 54.

Я женат – и счастлив. Одно желание мое, – чтоб ничего в жизни моей не изменилось: лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился.

Пушкин – П. А. Плетневу, 24 февр. 1831 г., из Москвы.

Пушкин славный задал вчера бал. И он, и она прекрасно угощали гостей своих. Она прелестна, и они, как два голубка. Дай бог, чтобы всегда так продолжалось. Много все танцевали, и так как общество было небольшое, то я также потанцевал по просьбе прекрасной хозяйки, которая сама меня ангажировала, и по приказанию старика Юсупова: «И я бы танцевал, если бы у меня были силы», – говорил он. Ужин был славный; всем казалось странным, что у Пушкина, который

жил все по трактирам, такое вдруг завелось хозяйство. Мы уехали почти в три часа. Была вьюга и холод.

А. Я. Булгаков – К. Я. Булгакову, 28 февр. 1831 г. – Рус. Арх., 1902, т. I, с. 56.

Веселья у нас очень много, балы и театр всякой день у всех, Пушкина, автора, свадьба была, и у них бал, и у Лазарева, и у общева жениха, у Пашкова, катанья молодых.

В. А. Баранова – своему зятю П. С. и дочери П. Н. Шишкиным, 28 февр. 1831 г., из Москвы. – Из архива Е. Н. Опочинина (неизд.).

Молодые Пушкины, до переезда весною в Царское Село, жили со дня свадьбы во втором ярусе большого дома (*Хитровой – Переп., II, 231*) на Арбате, между церквями Николы в Плотниках и Св. Троицы. Отец позволил Пушкину заложить в Опекунском Совете Нижегородскую деревню. Из полученных денег (до 40 тыс.) он заплатил долги свои и, живучи около трех месяцев в Москве, до того истратился, что пришлось ему заложить у еврея Веера жемчужины бриллианты, которые потом и не были

выкуплены.

П. И. Бартенев со слов П. В. Нащокина. – Рус. Арх., 1902, т. I, с. 55.

Теща Пушкина, заложив бриллианты и изумруды, предоставила их Пушкину с женой с тем, чтобы они их выкупили. А г. Бартенев в «Рус. Арх.» 1902 г. уверяет, будто их заложил сам Пушкин.

Соч. Пушкина под ред. *П. А. Ефремова.* 1903, т. VII, с. 443.

Была я у них в Москве, стояли тогда у Смоленской Божьей Матери, каменный двухэтажный дом... «Посмотри, говорит, Марья, вот моя жена!» Вынесли мне это показать ее работу, шелком, надо быть, мелко-мелко, четверугольчатое, вот как то окно.

Марья Федоровна (крестьянка с-ца Захарова). – Москвитянин, 1851, № 9–10, с. 32.

Марья с особенным чувством вспоминает о Пушкине, рассказывает о его доброте, о подарках ей, когда она прихаживала к нему в Москву.

С. П. Шевырев. Воспоминания о Пушкине. – Л. Н. Майков, с. 324.

Пушкин радовался, как ребенок, моему приезду, оставил меня обедать у себя и чрезвычайно мило познакомил меня со своею пригожею женою. Не воображайте однако же, чтоб это было что-нибудь необыкновенное. Пушкина – беленькая, чистенькая девочка с правильными чертами и лукавыми глазами, как у любой гризетки. Видно, что она неловка еще и неразвязна; а все-таки московщина отражается на ней довольно заметно. Что у ней нет вкуса, это было видно по безобразному ее наряду; что у нее нет ни опрятности, ни порядка, – о том свидетельствовали запачканные салфетки и скатерть и расстройство мебели и посуды.

В. И. Туманский – С. Г. Туманской, 16 марта 1831 г., из Орла. – Стихотворения и письма. СПб., 1912, с. 310.

Месяц, а может, и больше, после его свадьбы, пошла я как-то утром к Иверской, а оттуда в город, по площади пробираюсь. Гляжу,

богатеишая карета, новенькая, четвернею едет мне навстречу. Я было свернула в сторону, только слышу громко кто-то мне из кареты кричит: «Радость моя, Таня, здорово!» Обернулась я, а это Пушкин, окно спустил, высунулся в него сам и оттуда мне ручкой поцелуй посылает... А подле него красавица писаная – жена сидит, голубая на ней шуба бархатная, глядит на меня, улыбается.

Цыганка *Таня (Т. Д. Демьянова)* в передаче Б. М. Маркевича. – Б. М. Маркевич. Соч., т. XI, с. 136.

Наталья Ивановна была очень довольна. Она полюбила Пушкина, слушалась его. Он с нею обращался, как с ребенком. Может быть, она сознательнее и крепче любила его, чем сама жена. Но раз у них был крупный разговор, и Пушкин чуть не выгнал ее из дому. Она вздумала чересчур заботиться о спасении души своей дочери. У Пушкиных она никогда не жила.

Кн. Е. А. Долгорукова по записи П. И. Бартенева. – П. И. Бартенов. Рассказы о Пушкине, с. 64.

Хлопоты и затруднения этого месяца, который у нас не мог быть назван медовым, до сих пор мешали мне написать вам.

Пушкин – Е. М. Хитрово, 26 марта 1831 г., из Москвы. – Письма Пушкина к Хитрово, с. 18 (*фр.*).

В Москве остаться я никак не намерен; причины тому тебе известны, и каждый день новые прибывают. После Святой отправляюсь в Петербург. Знаешь ли что? мне мочи нет, хотелось бы к вам не доехать, а остановиться в Царск. Селе. Мысль благословенная! Лето и осень таким образом провел бы я в уединении вдохновительном, вблизи столицы, в кругу милых воспоминаний и тому подобных удобностей. А дома, вероятно, ныне там недороги; гусаров нет, двора нет – квартир пустых много. С тобою, душа моя, виделся бы всякую неделю, с Жук. также. Петербург под боком, жизнь дешевая, экипажа не нужно. Чего, кажется, лучше? Подумай об этом на досуге, да и перешли мне свое решение. Благодаря отца моего, который дал мне способ получить 38

000 р., я женился и обзавелся кой-как хозяйством, не входя в частные долги. На мою тещу и деда жены моей надеяться плохо, частью от того, что их дела расстроены, частью и от того, что на слова надеяться не должно. По крайней мере, с своей стороны я поступил честно и более нежели бескорыстно. Не хваюсь и не жалуясь, ибо женка моя – прелесть не по одной наружности, и не считаю пожертвованием того, что должен был я сделать.

Пушкин – П. А. Плетневу, 26 марта 1831 г., из Москвы.

Ради Бога найми мне фатерку в Царском Селе – нас будет: мы двое, 3 или 4 человека да 3 бабы. Фатерка чем дешевле, тем, разумеется, лучше, но ведь 200 рублей лишних нас не разорят. Садика нам не будет нужно, ибо под боком будет у нас садище, а нужна кухня, да сарай, вот и все.

Пушкин – П. А. Плетневу, в перв. пол. апр. 1831 г., из Москвы.

(Во время польского восстания) Погодину

явилась мысль написать о правах России на Литву и послать к Бенкендорфу. К апрелю 1831 года статья эта, под заглавием «Исторические размышления об отношениях Польши к России», была уже готова. Вместе с этим он написал разбор «Истории государства польского» Бандтке. В это время Пушкин еще находился в Москве. Когда он выслушал эти статьи, то пришел от них в восторг и сказал Погодину: «Никто так не тревожит души моей, кроме вас», и сам прочел Погодину свои повести.

Н. П. Барсуков, ч. 3, с. 271.

Пушкин что-то замолк, женюсь... Говорят, жена его красавица, и сумасброд так отзывается: «Я женился, чтобы иметь дома свою Мадонну!»

П. М. де-Роберти – Ф. Н. Глинке, 8 апр. 1831 года, из Москвы. – Пушкин и его совр-ки, вып. XVII–XVIII, с. 265.

С тех пор как он женился, это совсем другой человек, – положительный, рассудительный, обожающий свою жену. Она достойна

этой метаморфозы... Когда я встречаю его рядом с его прекрасною супругою, он мне невольно напоминает портрет того маленького животного, очень умного и смышленного, которое ты угадаешь без того, чтоб мне его назвать.

Е. Е. Кашкина – своей кухне *П. А. Осиповой*, 25 апр. 1831 г. – Там же, вып. I, с. 65 (*фр.*).

Пушкин не любил стоять рядом со своею женою и шутя говаривал, что ему подле нее быть унижительно: так мал был он в сравнении с нею ростом.

П. И. Бартенев со слов кн. *В. Ф. Вяземской*. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 311.

5 мая 1831 года. К Пушкину, прочел ему «Петра» (*новая трагедия Погодина*). Хвалит, но не так живо, как «Марфу».

М. П. Погодин. Дневник. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXIII–XXIV, с. 114.

Впоследствии Погодин вспоминал, что во время этого чтения Пушкин сделал ему следующую поправку. Расстрига-протопоп Иаков,

осуждая действия Петра, говорит о захваченных им церковных деньгах:

*И не избегнет кары он, в аду
Истлеет грешник. Всякая копей-
ка
Церковная падет горячим углем
На голову его в последний день.*

«Каплей, капель», – воскликнул Пушкин, вскочив и потирая руки. Это была любимая его привычка, – так выражал он свое удовольствие, когда находил выражение более точное.

Н. П. Барсуков, ч. 3, с. 253.

Пушкин очень доволен (октавами Шевырева), но, решительно не любя Тасса, умоляет тебя приняться за Данта. «Мне надо написать к нему умное и большое письмо, – говорит он, – но кочевой я так не привык еще к оседлой жизни, что не знаю, как и когда приниматься за дело».

М. П. Погодин – С. П. Шевыреву, 11 мая 1831 г., из Москвы. – Рус. Арх., 1882, т. III, с. 185.

Я был вынужден оставить Москву во избе-

жание всяких дразг, которые в конце концов могли бы нарушить более чем одно мое спокойствие; меня изображали моей жене как человека ненавистного, жадного, презренного ростовщика; ей говорили: с вашей стороны глупо позволять мужу и т.п. Сознайтесь, что это значит проповедывать развод. Жена не может, сохраняя приличие, выслушивать, что ее муж – презренный человек, и обязанность моей жены подчиняться тому, что я себе позволяю. Не женщине в 18 лет управлять мужчиною 32 лет. Я представил доказательства терпения и деликатности; но, по-видимому, я только напрасно трудился. Я люблю собственное спокойствие и сумею его обеспечить. При моем отъезде из Москвы вы не сочли нужным говорить со мною о делах; вы предпочли отшутиться насчет возможности развода или чего-нибудь в этом роде.

Пушкин – Н. И. Гончаровой, 26 июня 1831 г., из Царского Села (фр.).

Пушкин, получив из Опекунского Совета до 40 тыс., сыграл свадьбу и весной 1831 г., отъезжая в Петербург, уже нуждался в день-

гах, так что Нащокин помогал ему в переговорах с закладчиком Веером.

П. И. Бартенев со слов *П. В. Нащокина*. – Деятнадцатый век, т. I, с. 384.

Секретно. Живущий в Пречистенской части отставной чиновник 10 класса Александр Сергеев Пушкин вчерашнего числа получил из части свидетельство на выезд из Москвы в Санкт-Петербург вместе с женою своею, а как он состоит под секретным надзором, то я долго поставляю представить о сем вашему высокоблагородию.

Полицмейстер *Миллер* в рапорте и. д. моск. обер-полицмейстера, 15 мая 1831 г. – Кр. Арх., т. 37, с. 242.

Приехали мы благополучно в Демутов трактир и на днях отправляемся в Царское Село, где мой домик еще не меблирован.

Пушкин – *П. В. Нащокину*, в конце мая 1831 г., из Петербурга.

Я была очень счастлива свидеться с нашим общим другом. Я нахожу, что он много

выиграл в умственном отношении и относительно разговора. Жена очень хороша и кажется безобидной.

Е. М. Хитрово – кн. *П. А. Вяземскому*, 21 мая 1831 г. – *П. П. Вяземский*. Соч., с. 531.

Пушкин к нам приехал, к нашей большой радости. Я нахожу, что он в этот раз еще любезнее. Мне кажется, что я в уме его отмечаю серьезный отпечаток, который ему и подходит. Жена его – прекрасное создание, но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастья. Физиономия мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем: у Пушкина видны все порывы страстей; у жены вся меланхолия отречения от себя. Впрочем, я видела эту красивую женщину всего только один раз.

Гр. Д. Ф. Фикельмон – кн. *П. А. Вяземскому*, 25 мая 1831 г., из Петербурга – *П. П. Вяземский*. Соч., с. 532.

В Петербурге Пушкин остановился, по обыкновению, в Демутовом трактире. Доволь-

но долгое время употребил он на выбор и приискание себе дачи. Не желая тратить денег на временный наем квартиры в городе, он переехал с супругой своей в Царское Село из Демутова трактира.

П. В. Анненков. Материалы, с. 307.

Я живу в Царском Селе в доме Китаевой на большой дороге.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, 1 июня 1831 г.

Летом 1831 г. Пушкин жил (в Царском) в доме Китаева. Китаев в 20 гг. был придворным лакеем; он умер в том же году, в котором Пушкин жил на его даче. Наследники Китаева впоследствии слегка расширили дом пристройками. Удалось установить, что этот дом принадлежит в настоящее время вдове д. с. с. Ивановой. Он находится на углу Колпинской и Кузминской ул. (Колпинская, 2). На противоположном углу теперь находится Святотроицкая санатория, а в 1831 г. дом этот, как теперь удалось установить, принадлежал семье Олениных (известного А. Н. Оленина)... С. Н.

Вильгковскому недавно удалось найти в архиве царкосельского дворцового управления чертежи и рисунки дома Китаева до перестройки и после нее. Перестройка заключалась в том, что с обеих сторон фасад дома был увеличен на два окна, а четыре колонны в середине дома были заменены галереей; таким образом был испорчен типический «ампир» александровской эпохи. Но все эти перестройки не слишком нарушили общий наружный вид дома: сравнивая рисунок 30-х гг. с тем, что мы видим в настоящее время, сразу узнаешь «дом Китаева». Внутреннее расположение комнат осталось, разумеется, тоже прежним.

И. Р. Дом Пушкина в Царском Селе. – Рус. Вед., 1910, № 232.

Теперь, кажется, все уладил и стану жить потихоньку без тещи, без экипажа, следственно, без больших расходов и без сплетень.

Пушкин – П. В. Нащокину, 1 июня 1831 г., из Царского Села.

Мой брат и его жена проведут лето в Цар-

ском Селе... Они в восхищении друг от друга; моя невестка – очень очаровательная, хорошенькая, красивая и остроумная, к тому же и очень славная.

О. С. Павлицева – Н. И. Павлицеву, 4 июня 1831 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XV, с. 67 (фр.).

Мы здесь живем тихо и весело, будто в глуши деревенской; насили до нас и вести доходят.

Пушкин – П. В. Нащокину, 11 июня 1831 г., из Царского Села.

В 1831 г., когда Пушкин, женившись, проводил лето в Царском Селе, он посетил лицей. Никогда не забуду восторга, с которым мы его приняли. Как всегда водилось, когда приезжал кто-нибудь из наших «дедов», мы его окружали всем курсом и гурьбой провожали по всему лицейю. Обращение его с нами было совершенно простое, как со старыми знакомыми; на каждый вопрос он отвечал приветливо, с участием расспрашивал о нашем быте, показывал нам свою бывшую комнату и

передавал подробности о памятных ему местах. После мы не раз встречали его гуляющим в царскосельском саду, то с женою, то с Жуковским.

Я. К. Грот, с. 45.

Княгиня Вера Фед. Вяземская рассказывала, как в первые месяцы супружеской жизни напугал Пушкин молодую жену свою, ушедши гулять и возвратившись домой только на третьи сутки: оказалось, что он встретился с дворцовыми ламповщиками, которые отвозили из Царского Села на починку в Петербург подсвечники и лампы, разговорился с ними и добрался до Петербурга, где и заночевал.

П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1899, т. III, с. 616.

В 1831 г. один знакомый встретил Пушкина в Петербурге на улице задумчивого и озабоченного. «Что с вами?» – «Все читаю газеты». – «Так что же?» – «Да разве вы не понимаете, что теперешние обстоятельства чуть ли не так же важны, как в 1812 году?» – отвечал Пушкин.

П. И. Бартенева. – Деятнадцатый век, т. I, с.

Здесь холера, т.е. в П. Б., а Царское Село оцеплено. Жду дороговизны, и скупость наследственная и благоприобретенная во мне тревожится. О делах жены моей не имею никаких известий, и дедушка, и теща отмалчиваются, и рады, что бог послал их Ташеньке муженька такого смиренного.

Пушкин – П. В. Нащокину, во втор. пол. июня 1831 г., из Царского Села.

Холера прижала нас, и в Ц. Селе оказалась дороговизна. Я здесь без экипажа и без пирожного, а деньги все-таки уходят. Вообрази, что со дня нашего отъезда я выпил одну только бутылку шампанского, и ту не вдруг. Жена тебе очень кланяется. Шитье ее для тебя остановилось за неимением черного шелка. Все холера виновата.

Пушкин – П. В. Нащокину, 26 июня 1831 г., из Царского Села.

Отец мой горюет у меня в соседстве, в Павловском; вообще довольно скучно.

Пушкин – кн. П. А. Вяземскому, 3 июля 1831 г., из Царского Села.

Моя невестка очаровательна, она заслуживала бы иметь мужем более милого парня, чем Александр, который, при всем уважении моем к его шедеврам, стал раздражителен, как беременная женщина; он написал мне письмо такое нахальное и глупое, что пусть меня похоронят живою, если оно когда-нибудь дойдет до потомства, хотя, по-видимому, он питал эту надежду, судя по старанию, которое он приложил к тому, чтоб письмо до меня дошло.

О. С. Павлицева – Н. И. Павлицеву, 9 июля 1831 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XV, с. 76 (фр.).

В роде бояр Пушкиных с незапамятных времен хранилась металлическая ладанка с довольно грубо гравированным на ней всевидящим оком и наглухо заключенной в ней частицей ризы господней. Она – обязательное достояние старшего сына, и ему вменяется в обязанность 10 июля, в день Праздника Поло-

жения Ризы, служить перед этой святыней молебн. Пушкин всю свою жизнь это исполнял и завещал жене соблюдать то же самое, а когда наступит время, вручить ее старшему сыну, взяв с него обещание никогда не уклоняться от семейного обета.

А. П. Арапова. Воспоминания. – Новое Время, 1908, № 11425.

Двор приехал, и Царское Село закипело и превратилось в столицу.

Пушкин – П. А. Плетневу, во втор. пол. июля 1831 г., из Царского Села.

Я все к тебе собираюсь, да боюсь карантин. Ныне никак нельзя, пускаясь в дорогу, быть уверенным во времени проезда. Вместо трехдневной езды того и гляди что высидишь три недели в карантине; шутка! В Царском Селе все тихо; но около такая каша, что боже упаси. Нынче осенью займусь литературой, а зимой зарююсь в архивы, куда вход дозволен мне царем. Царь со мною очень милостив и любезен. Того и гляди попаду во временщики.

Пушкин – П. В. Нащокину, 21 июля 1831 г.,

из Царского Села.

(22 июля 1831 г.) Весь двор в восторге от Наташи, императрица хочет, чтобы она к ней явилась, и назначит день, когда надо будет прийти.

(25–26 июля.) Император и императрица встретили Наташу с Александром, они остановились поговорить с ними, и императрица сказала Наташе, что она очень рада с нею познакомиться, и тысячу других милых и любезных вещей. И вот она теперь принуждена, совсем того не желая, появиться при дворе.

Н. О. Пушкина – О. С. Павлицевой, из Павловска. – Литер. Наследство, т. 16–18, с. 778–779.

В. Д. Комовский 16 октября 1831 г. пишет, что государь велел Пушкину написать историю Петра Великого и рассказывает по этому поводу даже, как это случилось. Пушкин встретился с государем в царскосельском саду и на предложенный вопрос: «Почему он не служит?» отвечал: «Я готов, но кроме литературной службы не знаю никакой». Тогда госу-

дарь приказал ему сослужить службу – написать историю Петра Великого.

Д. Н. Садовников. Отзывы о Пушкине. – Историч. Вестн., 1883, № 12, с. 553.

Опять хандришь! Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер, погоди – умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши – старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята, мальчики станут повесничать, а девчонки – сентиментальничать, а нам и любо. Вздор, душа моя; не хандри – холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы. Кстати скажу тебе новость (но да останется это, по многим причинам, между нами): Царь взял меня на службу, но не в канцелярскую, или придворную, или военную – нет, он дал мне жалование, открыл мне архивы, с тем, чтобы я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его сторо-

ны, не правда ли? Он сказал: «Puisque il est marié et qu'il n'est pas riche, il faut faire aller sa marmite» (Так как он женат и не богат, то нужно позаботиться, чтоб у него была каша в горшке). Ей-богу, он очень со мною мил.

Пушкин – П. А. Плетневу, 22 июля 1831 г., из Царского Села.

В Царскосельском саду, около самого спуска без ступеней, было в том году излюбленное царскосельскою публикою местечко, что-то вроде каменной террасы, обставленной чугунными стульями, куда по вечерам тамошний beau monde[149] собирался посидеть и послушать музыку. В один прекрасный день на этой террасе собралось так много народу, что даже не достало стульев двум пожилым дамам. Я, как девочка вежливая, приученная всегда услуживать старшим, сейчас же сбегала в сад, захватила там еще такие два стула и подала их барыням. Папенька (гр. Ф. П. Толстой) с Пушкиным в это время стояли недалеко от террасы и о чем-то разговаривали. Вдруг А. Серг. схватил отца моего за руку и громко воскликнул: «Граф, видели вы, что девочка

сделала?» – «Что она сделала?» – «Да вот такие два чугунные стула подхватила, как два перышка, и отнесла на террасу». Папенька позвал меня и представил Пушкину; я ему сделала книксен и с удивлением стала смотреть на страшной длины ногти на его мизинцах. «Очень приятно познакомиться, барышня, – крепко пожимая мне руку, смеясь, сказал Ал. Серг-ч. – А который вам год?» – «Тринадцать», – ответила я. – «Удивительно!» И они оба с папенькой начали взвешивать на руке тяжелые чугунные стулья, потом заставили меня еще раз поднять их. – «Удивительно! – повторил Пушкин. – Такая сила мужчине в пору. Поздравляю вас, граф, это у вас растет Илья-Муромец».

М. Ф. Каменская. Воспоминания. – Историч. Вестн., 1894, июль, с. 40.

По-моему, неоценный бюст Пушкина вылеплен юным скульптором Теребеневым, тем самым, который впоследствии изукрасил Эрмитаж своими кариатидами и статуями великих художников. Теребенев как-то особенно поймал в этом бюсте тип и выражение лица

Пушкина; он точно такой, каким я его помню в Царском Селе во время нашего с ним первого знакомства.

М. Ф. Каменская. Воспоминания. – Историч. Вестн., 1894, т. X, с. 54.

Летом 1831 г. в Царском Селе многие ходили нарочно смотреть на Пушкина, как он гулял под руку с женою, обыкновенно около озера. Она бывала в белом платье, в круглой шляпе, и на плечах свитая по-тогдашнему красная шаль.

Арк. О. Россет. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 245.

Пушкин – мой сосед, и мы ведаемся с ним часто. Женка его – очень милое творение. И он с нею мне весьма нравится. Я более и более за него радуюсь тому, что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше.

В. А. Жуковский – кн. П. А. Вяземскому и А. И. Тургеневу, в конце июля – нач. авг., из Царского Села. – Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М., 1895, с. 256.

Когда мы жили в Царском Селе, Пушкин

каждое утро ходил купаться, после чая ложился у себя в комнате и начинал писать [150]. По утрам я заходила к нему. Жена его так уж и знала, что я не к ней иду. «Ведь ты не ко мне, а к мужу пришла, ну, и пойдя к нему». – Конечно, не к тебе, а к мужу. Пошли узнать, можно ли войти». – «Можно». С мокрыми, курчавыми волосами лежит, бывало, Пушкин в коричневом сюртуке на диване. На полу вокруг книги, у него в руках карандаш. «А я вам приготовил кой-что прочесть», – говорит. – «Ну, читайте». Пушкин начинал читать (в это время он сочинял все сказки). Я делала ему замечания, он отмечал и был очень доволен. Читал стихи он плохо. Жена его ревновала ко мне. Сколько раз я ей говорила: «Что ты ревнуешь ко мне? Право, мне все равно: и Жуковский, и Пушкин, и Плетнев, разве ты не видишь, что ни я не влюблена в него, ни он в меня». – «Я это хорошо вижу, – говорит, – да мне досадно, что ему с тобой весело, а со мной он зевает».

Когда сердце бьется от радости, то, по словам Пушкина, оно:

То так.

*То пятак,
То денежка!*

Этими словами он хотел выразить биение и тревогу сердца.

Раз я призналась Пушкину, что мало читаю. Он мне говорит: «Послушайте, скажу и я вам по секрету, что я читать терпеть не могу, много не читал, о чем говорю. Чужой ум меня стесняет».

А. О. Смирнова по записи Я. П. Полонского
. – Голос Минувшего, 1917, № 11, с. 155.

Пушкин жил в доме Китаева, придворного камер-фурьера. В столовой красный диван, обитый кретоном, два кресла, шесть стульев, овальный стол и ломберный, накрываемый для обеда. Хотя летом у нас бывал придворный обед, довольно хороший, я все же любила обедать у Пушкиных. У них подавали зеленый суп с крутыми яйцами, рубленые большие котлеты со шпинатом или щавелем и на десерт варенье из белого крыжовника.

А. О. Смирнова. Автобиография, с. 328.

Наталья Николаевна сидела обыкновенно

за книгою внизу. Пушкина кабинет был наверху, и он тотчас нас зазывал к себе. Кабинет поэта был в порядке. На большом круглом столе, перед диваном, находились бумаги и тетради, часто несшитые, простая чернильница и перья; на столике графин с водой, лед и банка с кружевниковым вареньем, его любимым. (Он привык в Кишиневе к дульчецам.) Волоса его обыкновенно еще были мокры после утренней ванны и вились на висках; книги лежали на полу и на всех полках. В этой простой комнате, без гардин, была невыносимая жара; но он это любил, сидел в сюртуке, без галстука. Тут он писал, ходил по комнате, пил воду, болтал с нами, выходил на балкон и прибирал всякую чепуху насчет своей соседки графини Ламберт. Иногда читал нам отрывки своих сказок и очень серьезно спрашивал нашего мнения. Он восхищался заглавием одной: «Поп – толоконный лоб и служитель его Балда». «Это так дома можно, – говорил он, – а ведь цензура не пропустит!» Он говорил часто: «Ваша критика, мои милые, лучше всех; вы просто говорите: этот стих нехорош, мне не нравится». Вечером, в 5

или 6 часов, он с женой ходил гулять вокруг озера или я заезжала на дрожках за его женою; иногда и он садился на перекладину верхом, и тогда был необыкновенно весел и забавен. У него была неистощимая *mobilité de l'esprit* (*подвижность ума*). В семь часов Жуковский с Пушкиным заходили ко мне; если случалось, что меня дома нет, я их заставляла в комфортабельной беседе с моими девушками. «Марья Савельевна у вас аристократка; а Саша друг мой, из Архангельска, – чистая демократка. Никого ни в грош не ставит». Они заливались смехом, когда она Пушкину говорила: «Да что мне, что вы стихи пишете, дело самое пустое! Вот Василий Андреевич (Жуковский) гораздо почтеннее вас». – «А вот за то, Саша, я тебе напишу стихи, что ты так умно рассуждаешь». И точно, он ей раз принес стихи, в которых говорилось, что

*Архангельская Саша
Живет у другой Саши.*

Стихи были довольно длинные и пропали у нее.

Когда разговорились о Шатобриане, пом-

ню, он говорил, из всего, что он написал, только одна вещь понравилась мне. Хотите, я вам ее напишу в ваш альбом? «Если бы я мог еще верить в счастье, я бы искал его в монотонности житейских привычек».

А. О. Смирнова. Воспоминания. – Рус. Арх., 1871, с. 1877–1878, 1882.

Пушкин мне сказал:

– Придворные лакеи прозвали ее «фрей-линка Россет». Я с нею и с женой катались в парных дрожках, которые называли ботиками. Я сидел на перекладных и пел им песню, божусь тебе, не моего сочинения:

*Царь наш немец русский...
Царствует он где же?
Всякий день в манеже.
Школы все – казармы.
Судьи все – жандармы.
А Закревский, баба,
Управляет в Або,
А другая баба
Начальником штаба.
(Стих. К. Рылеева)*

И эти стихи не мои:

*Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.*

Н. Д. Киселев по записи А. О. Смирновой. – А. О. Смирнова. Автобиография, с. 208.

Пушкин был ревнив и страстно любил жену свою, что нисколько, однако, не мешало ему иногда скучать в ее присутствии. Она его не понимала и, конечно, светские успехи его ставила выше литературных. Раз А. О. Смирнова посетила его на даче, – в то время, как он писал свои сказки. По ее словам, Пушкин любил писать карандашом, лежа на диване и каждый исписанный им лист опуская на пол. Раз у ней зашла речь с Пушкиным об его стихотворении: «Подъезжая под Ижоры». «Мне это стихотворение не нравится, – сказала ему Смирнова, – оно выступает как бы подбочившись». Пушкину это понравилось, и он много смеялся. Когда затем Смирнова сошла вниз к жене его, Наталья Николаевна сказала ей: «Вот какая ты счастливая, – я тебе завидую. Когда ты приходишь к моему мужу, он весел и смеется, а при мне зевает».

Я. П. Полонский. Кое-что о Пушкине. – Cosmopolis, 1898, март, с. 201.

Раз, когда Пушкин читал моей матери стихотворение, которое она должна была в тот же вечер передать государю, жена Пушкина воскликнула: «Господи, до чего ты мне надоел со своими стихами, Пушкин!» Он сделал вид, что не понял, и отвечал: «Извини, этих ты не знаешь: я не читал их при тебе». – «Эти ли, другие ли, все равно. Ты вообще надоел мне своими стихами». Несколько смущенный, поэт сказал моей матери, которая кусала себе губы от замешательства: «Натали еще совсем ребенок. У нее невозможная откровенность малых ребят». Он передал стихи моей матери, не дочитав их, и переменял разговор. В Царскосельском театре затевался спектакль, и мать моя сообщила Пушкиной, что она получит приглашение. Это привело ее в лучшее настроение, и она сказала моей матери: «Пожалуйста, продолжайте чтение. Я вижу, что ему этого очень хочется. А я пойду посмотрю мои платья. Вы зайдите ко мне потом, чтоб сказать, что мне лучше надеть для спектак-

ля?»

О. Н. Смирнова в примеч. к Запискам своей матери. – *А. О. Смирнова. Записки*, т. I, с. 181.

27-го июля, в 7-м часу вечера, я шел к знакомому, жившему во дворце. Я пошел парком. Не сделал я двадцати шагов, как вышел из-за деревьев на ту же дорогу человек среднего роста, с толстой палкой в руке. Он шел мне навстречу скоро, большими шагами. Хотя он был еще далеко от меня, но по походке и бакенбардам нетрудно было узнать в нем Александра Сергеевича. Я решился подойти к нему. За несколько шагов, сняв фуражку, я сказал ему взволнованным голосом: «Извините, что я вас останавливаю, Александр Сергеевич, но я внук вам по лицую, желаю вам представиться». – «Очень рад, – отвечал он, улыбнувшись и взяв меня за руку, – очень рад». Непритворное радушие видно было в его улыбке и глазах. Я сказал ему свою фамилию. «Ну, что у вас делается в лицее? Если вы не боитесь усталости, – прибавил он, – то пойдемте со мной». Мы пошли так же скоро и теми же большими шагами. Я не чувствовал ни

прежнего волнения, ни прежней боязни. При всей своей славе Александр Сергеевич был удивительно прост в обхождении. Гордости, важности, резкого тона не было в нем ни тени, оттого и нельзя было не полюбить его искренно с первой же минуты. Из парка мы перешли в большой сад. «Ну, а литература у вас процветает? – спросил он. – Что ваш сад и ваши палисадники? А памятник в саду вы поддерживаете? Видаетесь ли вы с вашими старшими? Выпускают ли теперь из лица в военную службу? Есть ли между вами желающие? Какие теперь у вас профессора? Прибавляется ли ваша библиотека? У кого она теперь на руках?» На эти вопросы Александра Сергеевича я едва успевал отвечать. В свою очередь мне ужасно хотелось расспросить его об нем самом, но он решительно не давал мне времени и, конечно, делал это не без намерения. Я понимал, что ему не о чем было более говорить с 17-летним юношею, как об его заведении, но в этом-то и было все мое горе. Многие расставленные по саду часовые ему вытягивались, и если он замечал их, то кивал им головою. Когда я спросил: «Отчего они ему вытя-

тиваются?», то он отвечал: «Право, не знаю; разве потому, что я с палкой». Обойдя кругом озера, он сказал: «Вы раскраснелись, кажется, устали?» – «Это не от усталости, а от эмоции и удовольствия идти с вами». Он улыбнулся и протянул мне руку.

П. И. Миллер. Встреча с Пушкиным. – Рус. Арх., 1902, т. III, с. 232–234.

Я часто здесь вижу Пушкина. Он премило живет с своей премиленькой женой, любит ее, ласкает и совсем не бесчинствует.

А. В. Веневитинов – М. П. Погодину, 28 июля 1831 г., из Царского Села. – Литер. Наследство, т. 16–18, с. 710.

Пушкин, живший в Царском Селе, близ Китайского домика, полюбил молодого гусара (*графа Васильева*) и частенько утром, когда он возвращался с ученья домой, зазывал к себе, шутил, смеялся, рассказывал или сам слушал рассказы о новостях дня. Однажды в жаркий летний день граф Васильев, зайдя к нему, застал его чуть не в прародительском костюме. «Ну, уж извините, – засмеялся поэт, пожимая

ему руку, – жара стоит африканская, а у нас там, в Африке, ходят в таких костюмах».

П. К. Мартьянов со слов гр. *А. В. Васильева*. Новые сведения о Лермонтове. – Историч. Вестн., 1892, № 11, с. 384.

Граф *А. В. Васильев* рассказывал, что, служа в 1831 г. в лейб-гусарах, однажды летом он возвращался часу в четвертом утра в Царское Село, и, когда проезжал мимо дома Китаева, Пушкин зазвал его в раскрытое окно к себе. Граф *Васильев* нашел поэта за письменным столом в халате, но без сорочки (так он привык, живучи на юге). Пушкин писал тогда свое послание «Клеветникам России» и сказал молодому графу, что пишет по желанию государя.

П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1902, т. II, с. 516.

Когда Пушкин написал эту оду («Клеветникам России»), он прежде всего прочел ее нам.

Имп. *Александр II*. – Е. Д.[151] Из воспоминаний об имп. *Ал. II*. – Ученик, 1911, № 45, с. 1087. Цит. по: Соч. Пушкина, изд. Брокг.–Ефр., т. VI, 410.

Карантины превратили эти 24 версты (от *Петербурга до Царского Села*) в дорогу от Петербурга до Камчатки. Знаете ли, что я узнал на днях только, что э... но вы не поверите мне, назовете меня суевером, – что всему этому виною не кто другой, как враг честного креста церковей господних и всего огражденного святым знаменiem. Это черт надел на себя зеленый мундир с гербовыми пуговицами, привесил к боку остроконечную шпагу и стал карантинным надзирателем. Но Пушкин, как ангел святой, не побоялся сего рогатого чиновника, как дух, пронесся его мимо и во мгновение ока очутился в Петербурге, на Вознесенском проспекте, и воззвал голосом трубным ко мне, лепившемуся по низменному тротуару, под высокими домами. Это была радостная минута; она уже прошла. Это случилось 8 августа.

Н. В. Гоголь – В. А. Жуковскому, 10 сент. 1831 г. – Письма Гоголя под ред. В. И. Шенрока, т. I, с. 188.

Пушкина видел я в 1831 г., вместе с его мо-

лодою красавицею-женою в саду Александровского дворца, в Царском Селе. Он тогда провел там все лето по случаю свирепствовавшей в Петербурге холеры. Однажды он вез оттуда жене своей в подарок дорогую турецкую шаль; ее в карантине окурили и всю искололи. Мне, после этой единственной встречи с Пушкиным, навсегда остались памятные: его пронизательный взгляд, его кудрявые волосы и его необыкновенно длинные руки.

Бар. Ф. А. Бюлер. – Рус. Арх., 1872, с. 202.

Моя невестка очаровательна; она вызывает удивление в Царском, и императрица хочет, чтоб она была при дворе. Она от этого в отчаянии, потому что неглупа; я не то хотела сказать: хотя она вовсе не глупа, она еще немножко робка, но это пройдет, и она, красивая, молодая и любезная женщина, поладит и со двором, и с императрицей. Но зато Александр, я думаю, на седьмом небе... Физически они – две полные противоположности: Вулкан и Венера, Кирик и Улита и т.д., и т.д.

О. С. Павлищева – Н. И. Павлищеву, в сер. авг. 1831 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XV, с.

Однажды Пушкин, гуляя по Царскому Селу, встретил коляску, вмещавшую в себе ни более ни менее как Николая Павловича. Царь приказал остановиться и, подозвав к себе Пушкина, потолковал с ним о том о сем очень ласково. Пушкин прямо с прогулки приходит к Смирновой. «Что с вами?» – спросила Смирнова, всматриваясь в его лицо. Пушкин рассказал ей про встречу и прибавил: «Чорт возьми, почувствовал подлость во всех жилах». Я это услышал от самой Смирновой.

И. С. Аксаков – Н. С. Соханской-Кохановской
. – Н. П. Барсуков, ч. 19, с. 409.

Дома у меня произошла перемена министерства. Бюджет Алекс. Григорьева оказался ошибочен; я потребовал счетов; заседание было столь же бурное, как и то, в коем уничтожен был Иван Григорьев; вследствие сего Алекс. Григорьев сдал министерство Василию (за коим блохи другого роду). Забыл я тебе сказать, что Алекс. Григорьев при отставке получил от меня в виде аттестата плюху, за

что он было вздумал произвести возмущение и явился ко мне с военной силою, т.е. кварталным; но это обратилось ему же во вред, ибо лавочники, проведав обо всем, засадили было его в яму, от коей по своему великодушию избавил я его. Теща моя не унимается; ее не переменяет ничто, ni le temps, ni l'absence, ni des lieux la longueur[152].

Пушкин – П. В. Нащокину, 3 сент. 1831 г., из Царского Села.

Мы большие друзья с Александром и особенно с его женою, но я не хочу жить у них, потому что их образ жизни противоречит моим привычкам... Она была представлена императрице, которая от нее в восхищении.

О. С. Павлищева – Н. И. Павлищеву, 4 сент. 1831 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XV, с. 89.

Александр приехал ко мне вчера, в среду, из Царского; весел, как медный грош, забавлял меня остротами, уморительно передразнивал Архарову, Ноденов, причем не забыл представить и «дражайшего» (отца).

О. С. Павлищева – Н. И. Павлищеву, 10 сент.

(15 сент. 1831 г.) ...в той атмосфере невидимые силы нашептывают мысли, суждения, вдохновения, чувства. Будь у нас гласность печати, никогда Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победу Паскевича. Во-первых, потому что этот род восторгов – анахронизм... Во-вторых, потому что курам насмех быть вне себя от изумления, видя, что льву удалось, наконец, наложить лапу на мышь.

(22 сент.) – Пушкин в стихах своих *Клеветникам России* кажет им шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на *вопросы*, на которые отвечать было бы очень легко, даже самому Пушкину. За что *возрождающейся Европе* любить нас?.. Мне также уже надоели эти географические фанфаронады наши «*От Перми до Тавриды*» и проч. Что же тут хорошего, чему радоваться и чем хвастаться, что у нас *от мысли до мысли* пять тысяч верст... «Вы грозны на словах, попробуйте на деле»... Зачем же говорить нелепости и еще против со-

вести и более всего без пользы?

Кн. П. А. Вяземский. Старая записная книжка. Полн. собр. соч., т. IX, с. 158.

Вы – нервны... Г-н Нащокин говорил мне, что вы изумительно ленивы.

П. Я. Чаадаев – Пушкину, 18 сент. 1831 г. – Соч. и письма П. Я. Чаадаева под ред. М. О. Гершензона. М., 1914, т. 1, с. 163, 166 (*фр.*).

На прошедшей неделе мы обедали в Английском клубе с Чаадаевым, а после мы и заспорили, и крепко, о достоинстве стихов Пушкина и других, кои здесь во всю неделю читались всеми, – «На взятие Варшавы» и «Послание клеветникам России». Мы немного напали на Чаадаева за его мнение о стихах... Александр Пушкин точно сделан биографом Петра I и с хорошим окладом.

А. И. Тургенев – Н. И. Тургеневу, 26 сент. 1831 г., из Москвы. – Журн. Мин. Нар. Просв., 1913, март, с. 21.

Барон Бухгольц пересылал твои письма ко мне в Царское Село Александру (*Пушкину*), а

этот передавал их мне, когда ему заблагорассудится, а иногда не передавал вовсе, и я подозреваю, – прости меня, господи, – что они ими п.....л себе з.....у, – конечно, по рассеянности.

О. С. Павлищева – Н. И. Павличеву, 6 окт. 1831 г., из Петербурга. – Пушкин и его совр-ки, вып. XV, с. 93 (фр.).

Мне совестно быть неаккуратным, но я совершенно расстроился: женись, я думал издерживать втрое против прежнего, вышло вдесятеро. В Москве говорят, что я получаю 10 000 жалования, но я покамест не вижу ни полушки; если буду получать и 4000, так и то слава богу.

Пушкин – П. В. Нащокину, 7 окт. 1831 г., из Царского Села.

Вскоре по выходе повестей Белкина (серед. октября 1831 г.) я на минуту зашел к Александру Сергеевичу; они лежали у него на столе. Я и не подозревал, что автор их – он сам. «Какие это повести? И кто этот Белкин?» – спросил я, заглядывая в книгу. – «Кто бы он

там ни был, а писать повести надо вот так: просто, коротко и ясно».

П. И. Миллер. Встреча с Пушкиным. – Рус. Арх., 1902, т. III, с. 234.

Праздновали на квартире Яковлева (в казенном доме, на Литейной). Собрались: Илличевский, Корнилов, Стевен, Комовский, Данзас, Корф; Пушкина не было потому только, что (*тщательно зачеркнуто*: не хотел до 19 октября увидаться с кем-либо из лицейских товарищей первого выпуска) не нашел квартиры.

Протокол празднования лицейской годовщины (19 октября). – Пушкин и его совр-ки, вып. XIII, с. 50.

Вечер у Жуковского. Гнедич, Пушкин и Одоевский – чит. сказки свои – смешные и грязные анекдоты – Пушкин что-то очень расстроен.

М. П. Погодин. Дневник, 20 окт., 1831 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXII–XXIV, с. 117.

Пушкин часто переменил квартиры. По приезде из Царского Села в Петербург он съез-

хал с квартиры почти тотчас же, как нанял (она была очень высока)[153], и поселился на Галерной в доме Брискорн.

П. В. Анненков. Материалы, с. 312.

При приезде они взяли квартиру, которая в конце концов им не понравилась и они нашли другую на Галерной за 2500 рублей. Моя невестка беременна, но этого еще не видно; она прекрасна и очень мила.

О. С. Павлицева – Н. И. Павлицеву, 23 окт. 1831 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XV, с. 101 (фр.).

Квартира Пушкина с октября 1831 г. по май 1832 г. была в Галерной улице, дом Брискорн; этот дом был сквозной на Английскую набережную, рядом с ним помещался в то время морской штаб, за которым была английская церковь. В настоящее время дом принадлежит г. Струкову, № 53 (см. рис. 4).

П. Зет (П. Н. Столпянский). Квартиры А. С. Пушкина. – Новое Время, 1912, № 12889.

К Пушкину. Сухое свидание. Что ваше де-

ло? В главном правлении цензуры, и только. Он только что переехал и разбирается.

М. П. Погодин. Дневник, 28 окт. 1831 г. — Пушкин и его совр-ки, вып. XXIII–XXIV, с. 118.



Рис. 4

Когда Пушкин приехал с женою в Петербург, то они познакомились со всею знатью (посредницею была Загряжская). Графиня Нессельроде, жена министра, раз без ведома Пушкина взяла жену его и повезла на небольшой придворный Аничковский вечер; Пушкина очень понравилась императрице. Но сам Пушкин ужасно был взбешен этим, наговорил грубостей графине и между прочим сказал: «Я не хочу, чтоб жена моя ездила туда, где я сам не бываю».

П. В. Нащокин по записи П. И. Бартенева. —

С первого года женитьбы Пушкин узнал нужду, и хотя никто из самых близких не слышал от него ни единой жалобы, беспокойство о существовании омрачало часто его лицо. Домашние нужды имели большое влияние на нрав его. Вспоминаю, как он, придя к нам, ходил печально по комнате, надув губы и опустив руки в карманы широких панталон, и уныло повторял: «Грустно! тоска!» Шутка, острое слово оживляли его электрическою искрою; он громко захохочет и обнаружит ряд белых, прекрасных зубов, которые с толстыми губами были в нем остатками полупарабского происхождения. И вдруг снова, став к камину, шевеля что-нибудь в своих широких карманах, запоем протяжно: «Грустно! тоска!» Я уверен, что беспокойствия о будущей судьбе семейства, долги и вечные заботы о существовании были главною причиною той раздражительности, которую он показал в происшествиях, бывших причиною его смерти.

Н. М. Смирнов. Памятные заметки. – Рус.

Отец рассказал мне, что как-то вечером, осенью, Пушкин, прислушиваясь к завыванию ветра, вздохнул и сказал: «Как хорошо бы теперь быть в Михайловском! Нигде мне так хорошо не пишется, как осенью в деревне. Что бы нам поехать туда!» У моего отца было имение в Псковской губернии, и он собирался туда для охоты. Он стал звать Пушкина ехать с ним вместе. Услыхав этот разговор, Пушкина воскликнула: «Восхитительное местопребывание! Слушать завывание ветра, бой часов и вытье волков. Ты с ума сошел!» И она залилась слезами к крайнему изумлению моих родителей. Пушкин успокоил ее, говоря, что он только пошутил, что он устоит и против искушения, и против искустителя (моего отца). Тем не менее Пушкина еще некоторое время дулась на моего отца, упрекая его, что он внушает сумасбродные мысли ее супругу.

О. Н. Смирнова в примеч. к Запискам. – А. О. Смирнова. Записки, т. I, с. 181.

Когда вдохновение сходило на Пушкина,

он запирался в свою комнату, и ни под каким предлогом жена не дерзала переступить порог, тщетно ожидая его в часы завтрака и обеда, чтобы как-нибудь не нарушить прилив творчества. После усидчивой работы он выходил усталый, проголодавшийся, но окрыленный духом, и дома ему не сиделось.

А. П. Арапова. Воспоминания. – Новое Время, 1907, № 11413.

Однажды, кажется, у А. Н. Оленина, Уваров, не любивший Пушкина, гордого и не низкопоклонного, сказал о нем: «Что он хвалится своим происхождением от негра Аннибала, которого продали в Кронштадте (Петру Великому) за бутылку рома!» Булгарин, услышав это, не преминул воспользоваться случаем и повторил в «Северной Пчеле» этот отзыв. Этим объясняются стихи Пушкина «Моя родословная».

На меня Пушкин дулся недолго. Он скоро убедился в моей неприкосновенности к шуткам Булгарина и, как казалось, старался сблизиться со мною. Мы раз как-то встретились в книжном магазине Белизара. Он поклонился

мне неловко и принужденно; я подошел к нему и сказал, улыбаясь: «Ну, на что это похоже, что мы дуемся друг на друга? Точно Борька Федоров с Орестом Сомовым». Он расхохотался и сказал: «Очень хорошо!» (любимая его поговорка, когда он был доволен чем-нибудь). Мы подали друг другу руки, и мир был восстановлен.

Н. И. Греч. Записки о моей жизни, с. 456–457.

У Пушкина было любимой поговоркой или скороговоркой «очень хорошо!», когда кто-нибудь выпустит при нем острое словечко.

Гр. М. Д. Бутурлин. – Рус. Арх., 1897, т. II, с. 373.

Я знаю, что ты будешь бранить меня. Но *войди в мое положение* (как любил в таких случаях говаривать Пушкин).

П. А. Плетнев – Я. К. Гроту. – Переписка Грота с Плетневым, вып. II, с. 464.

У Пушкина, который получил при мне

письмо о новом журнале Краевского и стихи Языкова. Просил у него гостинцу. Вскользь о Петре – о грамматике. Он ничего не знает о себе. Но участия живого уже нет.

М. П. Погодин. Дневник, 4 нояб. 1831 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXIII–XXIV, с. 118.

Государь император высочайше повелеть соизволил: отставного коллежского секретаря Александра Пушкина принять на службу тем же чином и определить его в государственную Коллегию Иностранных Дел.

Высочайший приказ от 14 нояб. 1831 г. – Н. А. Гастфрейнд, с. 23.

Жена Пушкина появилась в большом свете, где ее приняли очень хорошо; она понравилась всем и своими манерами, и своей фигурой, в которой находят что-то трогательное. Я встретил их вчера утром на прогулке на Английской набережной.

Бар. М. Н. Сердобин – бар. Б. А. Вревскому, 17 ноября 1831 г., из Петербурга. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXI–XXII, с. 371 (фр.).

Моя невестка (*Нат. Ник. Пушкина*) – женщина наиболее здесь модная. Она возвращается в самом высшем свете, и говорят вообще, что она первая красавица; ее прозвали «*Психеей*».

О. С. Павлищева – *Н. И. Павлищеву*, 17 ноября 1831 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XV, с. 106 (*фр.*).

Государь император всемилостивейше пожаловать соизволил состоящего в ведомстве Гос. Коллегии Иностр. Дел. колл. секр. Пушкина в титулярные советники.

Высочайший указ от 6 дек. 1831 г. – *Н. А. Гастфрейнд*, с. 25.

Вот тебе мой *itine'raire*. Собирался я выехать в зимнем дилижансе, но мне объявили, что, по причине оттепели, должен я отправиться в летнем; взяли с меня лишних 30 рублей и посадили в четвероместную карету вместе с двумя товарищами. А я еще и человека с собою не взял, в надежде путешествовать одному. Один из моих спутников был рижский купец, добрый немец, которого каждое утро душили мокроты и который на стан-

ции ровно час отхаркивался в углу. Другой – мемельский жид, путешествующий на счет первого. Вообрази, какая веселая компания. Немец три раза в день и два раза в ночь аккуратно был пьян. Жид забавлял его всю дорогу приятным разговором, например, по-немецки рассказывал ему Ivan Wijiguin (gans charmant) [154]. Я старался их не слушать и притворялся спящим. В Валдае принуждены мы были пересест в зимние экипажи и насилу дотащились до Москвы. Нащокина не нашел я на старой его квартире; насилу отыскал его у Пречистенских ворот, в доме Ильинской. Он все тот же: очень мил и умен; был в выигрыше, но теперь проигрался, в долгах и хлопотах.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 8 декабря 1831 г., из Москвы.

Секретно. Находящийся под секретным надзором чиновник 10 класса Александр Пушкин сего месяца 13 числа прибыл из С.-Петербурга и остановился Пречистенской части I квартала в доме гг. Ильинских. Предписанный за ним надзор учрежден.

Полицмейстер *Миллер* в рапорте и. д. моск.

обер-полицмейстера, 23 дек. 1831 г. – Кр. Арх., т. 37, с. 243.

Когда Пушкин приезжал к Нащокину, они тотчас отправлялись в бани (Лепехинские, что были у Смоленского рынка) и там вдоволь наговаривались, так что им после не нужно было много говорить: в обществе они уже вполне понимали друг друга. Вставал Пушкин довольно рано, никуда не выходил, покуда не встанет Нащокин, просыпавшийся довольно поздно, потому что засиживался в английском клубе, куда Пушкин не ездил. Питая особенную к нему нежность, он укутывал его, отправлял в клуб, крестил.

П. И. Бартенев со слов П. В. Нащокина. Рассказы о Пушкине, с. 27.

Рассказ Чаадаева... Наиболее Пушкин любил Нащокина, который давал ему всегда в заем денег. Пушкин вечно влюблялся.

О. М. Бодянский. Дневник, 25 окт. 1850 г. – Рус. Стар., 1889, т. 64, с. 128.

Поэт Пушкин здесь, как слышно, на

несколько дней. У него жена, как рассказывают, первая красавица в С.-Петербурге. Я не видел ее.

А. И. Тургенев – Н. И. Тургеневу, 8 дек. 1831 г., из Москвы. – Журн. Мин. Нар. Просв., 1913, март, с. 19.

Стихи его *Клеветникам России* доказывают, как он сей вопрос понимает. Я только в одном Вяземском заметил справедливый взгляд и на эту поэзию, и на весь этот нравственно-политический мир (или – безнравственно). Слышал споры их, но сам молчал, ибо Пушкин начал обвинять Вяземского, оправдывая себя; а я страдал за обоих, ибо люблю обоих.

А. И. Тургенев – Н. И. Тургеневу. – Там же, с. 18.

Однажды Пушкин между приятелями сильно русофильствовал и громил Запад. Это смущало Александра Тургенева, космополита по обстоятельствам, а частью и по склонности. Он горячо оспаривал мнения Пушкина; наконец не выдержал и сказал ему: «А зна-

ешь ли что, голубчик, съезди ты хоть в Любек». Пушкин расхохотался, и хохот обезоружил его. Нужно при этом напомнить, что Пушкин не бывал никогда за границею, что в то время русские путешественники отправлялись обыкновенно с любекскими пароходами и что Любек был первый иностранный город, ими посещаемый.

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 168.

Пушкин у вас в Москве; жена его хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность.

Гр. Д. Ф. Фикельмон – кн. П. А. Вяземскому, 12 дек. 1831 г. – П. П. Вяземский. Соч., с. 533.

И. И. Дмитриев в одно из своих посещений Английского клуба, на Тверской, заметил, что ничего не может быть страннее самого названия: *московский английский клуб*. Случившийся тут Пушкин, смеясь, сказал ему на это, что у нас есть названия еще более странные. «Какие же?» – спросил Дмитриев. – «А импера-

торское человеколюбивое общество».

Н. М. Языков. – Историч. Вестн., 1883, т. XIV, с. 536.

Москва еще пляшет, но я на балах еще не был. Вчера обедал в Англ. клубе. Меня тянет в Петербург. Не люблю я твоей Москвы. У тебя, т.е. в вашем Никитском доме, я еще не был. Не хочу, чтоб холопья ваши знали о моем приезде; да не хочу от них узнать и о приезде Нат. Ив., иначе должен буду к ней явиться и иметь с нею необходимую сцену; она все жаляется по Москве на мое корыстолюбие, да полно, я слушаться ее не намерен,

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 10 дек. 1831 г., из Москвы.

В первой половине декабря 1831 г. Пушкин в Москве читал отрывки из своих сказок Н. М. Языкову. «Это не его род, – пишет Языков брату А. М-чу от 16 декабря. – Пушкин говорит, что он сличил все доныне напечатанные русские песни и привел их в порядок и сообразность, ране ведь они издавались без всякого толку; но он кажется хвастает».

Д. Н. Садовников. Отзывы о Пушкине. – Историч. Вестн., 1883, т. XIV, с. 533.

Здесь мне скучно; Нащокин занят делами, а дом его – такая бестолочь и ералаш, что голова кругом идет. С утра до вечера у него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно заимодавцы. Всем вольный вход. Всем до него нужда; всякий кричит, курит трубку, обедает, поет, пляшет; угла нет свободного – что делать? Между тем денег у него нет, кредита нет, время идет, а дело мое не распутывается. Все это поневоле бесит меня. К тому же я опять застудил себе руку, и письмо мое, вероятно, будет пахнуть бобковой мазью. Жизнь моя однообразная, выезжаю редко. Вчера Нащокин задал нам цыганский вечер; я так от этого отвык, что от крику гостей и пенья цыганок до сих пор голова болит. Тоска, мой ангел, до свидания.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 16 дек. 1831 г., из Москвы.

В Москве Нащокин вел большую, но воз-

держную игру у себя, у приятелей, а впоследствии постоянно в английском клубе. Нащокин, проигрывая, не унывал, платил *долг чести* (т.е. карточный) аккуратно, жил в довольстве и открыто, в случае же большого выигрыша жил по широкой русско-барской натуре. Он интимно сблизился с хорошенькой цыганкой Ольгой Андреевной. Не помню, на Пречистенке или Остоженке, он занимал квартиру, весьма удобную, в одноэтажном деревянном доме. Держал карету и пару лошадей для себя, а пару вятков для Оленьки. У него чуть не ежедневно собиралось разнообразное общество: франты, цыгане, литераторы, актеры, купцы-подрядчики; иногда являлись приезжие петербургские друзья, в том числе и Пушкин, всегда останавливавшийся у него. Постоянным посетителем его дома был генерал кн. Гагарин (прозванный Адамовой головой), храбрец, выигравший в 1812 году у офицеров пари, что доставит Наполеону два фунта чаю! И доставил: и только по благосклонности Наполеона благополучно возвратился в русский лагерь. Играя с богачами, Нащокин не отказывался от любимого занятия и с та-

кими, у которых выиграть нечего, каким был, напр., Ник. Фил. Павлов (*известный в то время беллетрист*). Однажды, пообедав у Нащокина, Павлов предложил игру. Играли всю ночь. К утру Нащокин проиграл деньги, золотые часы, столовое серебро, наконец карету с лошадьми, даже Оленькины сани с парой вятков. Цыганка, узнав об исчезновении вятков, нисколько не огорчилась: вероятно, привыкла, или знала, что все скоро возвратится. И действительно, вскоре они зажили прежнею роскошною жизнью.

Н. И. Куликов. Воспоминания. – Рус. Стар., 1880, т. 29, с. 992.

Пушкин здесь, но что-то пасмурен и рассеян.

М. П. Погодин – С. П. Шевыреву, 21 дек. 1831 года, из Москвы. – Рус. Арх., 1882, т. III, с. 191.

(*По поводу стихов Пушкина на взятие Варшавы.*) Мне досадно, что ты хвалишь Пушкина за последние его вирши... Теперешний Пушкин есть человек, остановившийся на половине своего поприща, и который, вместо

того, чтобы смотреть прямо в лицо Аполлону, оглядывается по сторонам и ищет других божеств для принесения им в жертву своего дара.

Н. А. Мельгунов – С. П. Шевыреву, 21 дек. 1831 г. – Л. И. Кирпичников. Очерки по истории новой рус. литер. М., 1903, изд. 2-е, т. II, с. 167.

Гончаровой-Пушкиной не может женщина быть прелестней. Здесь многие находят ее несравненно лучше красавицы Завадовской.

Ген. А. П. Ермолов – Н. П. Воейкову, 21 дек. 1831 г., из Петербурга. – Рус. Арх., 1906, т. III, с. 40.

Между нами будет сказано, Пушкин приезжал сюда по делам не чисто литературным, или, вернее сказать, не за делом, а для картежных сделок, и находился в обществе самом мерзком: между щелкоперами, плутами и обдиралами. Это всегда с ним бывает в Москве. В Петербурге он живет опрятнее. Видно, брат, не права пословица: женится – переменится!

Н. М. Языков – А. М. Языкову, 22 дек. 1831 г. – Историч. Вестн., 1883, № 12, с. 534.

С тех пор, как вышел из лицея, я не раскрывал латинской книги и совершенно забыл латинский язык. Жизнь коротка, перечитывать некогда.

Пушкин. Об Евгении Онегине, 1831 г.

Александр ускакал в Москву еще перед Николиным днем и, по своему обыкновению, совершенно нечаянно, предупредив только Наташу, объявив, что ему необходимо видаться с Нащокиным и совсем не по делам поэтическим, а по делам гораздо более существенным – прозаическим. Какие именно у него дела денежные, по которым улепетнул отсюда, узнать от него не могла, а жену не спрашиваю. Жду брата, однако весьма скоро назад. Очень часто вижусь с его женой; то я захожу к ней, то она ко мне заходит, но наши свидания всегда случаются среди белого дня. Заставать ее по вечерам и думать нечего; ее забрасывают приглашениями то на бал, то на раут. Там от нее все в восторге и прозвали ее Психе-

ею, с легкой руки госпожи Фикельмон, которая не терпит, однако моего брата – один бог знает почему.

О. С. Павлищева – Н. И. Павлищеву, в конце дек. 1831 г. – Л. Н. Павлищев. Воспоминания, с. 270.

Наталья Николаевна вспоминала, бывало, как в первые годы ее замужества ей иногда казалось, что она отвыкнет от звука собственного голоса, – так одиноко и однообразно протекали ее дни! Она читала до одури, вышивала часами, но кроме няни Прасковьи ей не с кем было перекинуться словом. Беспричинная ревность уж в ту пору свила себе гнездо в сердце мужа и выразилась в строгом запрете принимать кого-либо из мужчин в его отсутствие или когда он удалялся в свой кабинет. Для самых степенных друзей не допускалось исключений; и жене, воспитанной в беспрекословном подчинении, и в ум не могло прийти нарушить заведенный порядок,

А. П. Арапова. Воспоминания. – Новое Время. 1907, № 11413.

Секретно. Чиновник 10 кл. Александр Пушкин 24 числа сего месяца выехал отсюда в С.-Петербург; во время жительства его в Пречистенской части ничего за ним законопротивного не замечено.

Полицмейстер *Миллер* в рапорте и. д. моск. обер-полицмейстера, 26 дек. 1831 г. – Кр. Арх., т. 37, с. 243.

Выронил я у тебя серебряную копеечку. Если найдешь ее, перешли. Ты их счастию не веруешь, а я верю. Жену мою нашел я здоровою, несмотря на девическую ее неосторожность. – На балах пляшет, с государем любезничает, с крыльца прыгает. – Надобно бабенку к рукам прибрать. Она тебе кланяется и готовит шитье.

Пушкин – *П. В. Нащокину*, 8–10 янв. 1832 г., из Петербурга.

Я женат около года, и вследствие сего образ жизни моей совершенно переменялся, к неопisanному огорчению Софьи Остафьевны и кавалергардских шаромыжников. От карт и костей отстал я более двух лет: на беду мою я

забастовал будучи в проигрыше, и расходы свадебного обзаведения, соединенные с уплатою карточных долгов, расстроили дела мои. Теперь обращаюсь к тебе: 25 000, данные мне тобою заимообразно на три или по крайней мере на 2 года могли бы упрочить мое благосостояние. В случае смерти есть у меня имение, обеспечивающее твои деньги. Вопрос: можешь ли ты мне сделать сие, могу сказать, благодеяние?

Пушкин – М. О. Судиенке, 15 янв. 1832 г., из Петербурга.

Женитьба произвела в характере поэта глубокую перемену. С того времени он стал смотреть серьезнее, а все-таки остался верен привычке своей скрывать чувство и стыдиться его. В ответ на поздравление с неожиданною способностью женатым вести себя, как прилично любящему мужу, он шутя отвечал: «*Je ne sins qu'un hypocrite (я только притворяюсь)*».

Быв холостым, он редко обедал у родителей, а после женитьбы почти никогда; когда же это случалось, то после обеда на него ино-

гда находила хандра. Однажды, в таком мрачном расположении духа он стоял в гостиной у камина, заложив назад руки... Подошел к нему Илличевский и сказал:

*У печки, погружен в молчанье,
Поднявши фрак, он спину грел
И никого во всей компанье
Благословить он не хотел.*

Это развеселило Пушкина, и он сделался очень любезен.

А. П. Керн. Воспоминания. – Л. Н. Майков, с. 264.

Ножкой топтать от нетерпения Наталья Николаевна перестала ли, несмотря что это должно быть очень к лицу?

П. В. Нащокин – Пушкину, во втор. пол. янв. 1832 г., из Москвы. – Переписка Пушкина, т. II, с. 364.

Наталья Николаевна была очень хороша, высока ростом, стройна, черты лица удивительно правильны, глаза одни небольшие, и одним она иногда немного косила: quelque chose de vague dans le regard (какая-то неопре-

деленность во взгляде).

Ф. Г. Толь со слов кн. Е. А. Долгоруковой. Декабристы на поселении. Из арх. Якушкиных. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1926, с. 144.

Жену свою Пушкин иногда звал: «моя ко-
сая Мадонна». У нее глаза были несколько
вкось. Пушкин восхищался природным здра-
вым ее смыслом. Она тоже любила его дей-
ствительно.

Кн. В. Ф. Вяземская по записи П. И. Барте-
нева. – Рус. Арх., 1900, т. I, с. 398.

Г-жа Пушкина была одной из самых краси-
вых женщин Петербурга. Лицо, свежесть, мо-
лодость, талия – все за нее говорило и стоило
поэта. Лицо было чрезвычайно красиво, но
меня в нем, как кулаком, ударял всегда ка-
кой-то недостаток рисунка. В конце концов я
понял, что, не в пример большинству челове-
ческих лиц, глаза ее, очень красивые и очень
большие, были размещены так близко друг от
друга, что противоречили рисовальному пра-
вилу «один глаз должен быть отделен от дру-
гого на меру целого глаза».

Д-р С. Моравский. – Моск. Пушкинист, т. II, с. 258.

Смирдин, переместив свою книжную лавку от Синего моста на Невский проспект, пригласил всех русских литераторов, находящихся в Петербурге, праздновать свое новоселье, – на обед. В просторной зале, которой стены уставлены книгами, – это зала чтения, – накрыт был стол на восемьдесят гостей. В начале шестого часа сели пировать. Обед был обильный и в отношении ко вкусу и опрятности довольно хороший. Это еще первый не только в Петербурге, но и в России по полному почти числу писателей пир и следовательно отменно любопытный; тут соединились в одной зале и обиженные, и обидчики, тут были даже ложные доносчики и лазутчики... Приехал В. А. Жуковский и присел подле Крылова. А. С. Пушкин сидел с другой стороны подле Крылова. Провозглашен тост: «Здравие государя-императора, сочинителя прекрасной книги *Устав цензуры*», сказанный Гречем, – и раздалось громкое и усердное ура! Через несколько времени: «Здравие И. А. Кры-

лова!» Единодушно и единоголосно громко приветствовали умного баснописца, по справедливости занимающего ныне первое место в нашей словесности. И. А. встал с рюмкою шампанского и хотел предложить здоровье Пушкина; я остановил его и шепнул ему довольно громко: «Здоровье В. А. Жуковского!» И за здоровье Жуковского усердно и добродушно было пито, потом уже здоровье Пушкина! Здоровье И. И. Дмитриева, Батюшкова, Гнедича и др. Я долгом почел удержать добродушного Ивана Андреевича от ошибки какого-то рассеяния и восстановить старшинство по литературным заслугам; ибо нет сомнений, что заслуги г. Жуковского, по сие время, выше заслуг г. Пушкина.

М. Е. Лобанов. Обед у Смирдина (19 февраля 1832 г.). – Пушкин и его совр-ки, вып. XXXI–XXXII, с. 113.

В феврале 1833 (1832) года книгопродавец А. Ф. Смирдин, перенеся свой книжный магазин от Синего моста в дом Петропавловской церкви, что на Невском, задумал пригласить к себе всех литераторов отпраздновать ново-

селье... Смирдинский праздник удался вполне: все были дружно-веселы. Пушкин был необыкновенно оживлен и щедро сыпал остротами, из которых одну в особенности я удержал в памяти. Семенов (цензор) за обедом сидел между Гречем и Булгариным, а Пушкин визави с ним; к концу обеда Пушкин, обратясь к Семенову, сказал довольно громко: «Ты, Семенов, сегодня точно Христос на Голгофе!»

Н. Н. Терпигорев. Заметка о Пушкине. – Рус. Стар., 1870, т. 1, с. 493.

Однажды в Петербурге, в день рождения А. О. Смирновой (6 марта), Пушкин, гуляя, зашел в магазин на Невском, купил альбом не особенно нарядный, но с большими листами, занес к себе домой и потом сам же принес его к Александре Осиповне с такими стихами:

*В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный
И правды пламень благородный
И, как дитя, была добра;*

*Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло,
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.*
И. С. Аксаков. – Русь, 1882, № 37, с.
11.

В 1832 году Александр Сергеевич приходил всякой день почти ко мне также и в день рождения моего принес мне альбом и сказал: «Вы так хорошо рассказываете, что должны писать свои Записки», и на первом листе написал стихи: «В тревоге пестрой и бесплодной» и пр. Почерк у него был великолепный, чрезвычайно четкий и твердый.

А. О. Смирнова. Воспоминания. – Рус. Арх., 1872, т. II, с. 1882.

Однажды на вопрос Баратынского, не мешает ли он ей, если прочтет в ее присутствии Пушкину новые стихотворения, Наталья Николаевна ответила: «Читайте, пожалуйста; я не слушаю».

Л. Н. Павлицев со слов своей матери. Воспоминания, с. 57.

Вот уж подлинно труженик-то был А. С.! Бывало, как бы поздно домой ни вернулся, и сейчас писать. Сядет у себя в кабинетике за столик, а мне: «Иди, Никеша, спать». И до утра все сидит. Смерть любил по ночам писать. Станешь ему говорить, что, мол, вредно, а он: «Не твое дело». Встанешь ночью, заглянешь в кабинет, а он сидит, пишет, и устами бормочет, а то так перо возьмет в руки и ходит, и опять бормочет. Утречком заснет, и тогда уж долго спит. Почти два года я у него выжил, поступил к нему в 31 году к холостому в Москве, при мне он и сватался к Гончаровой, при мне и женился... Лимонад очень любил. Бывало, как ночью писать, сейчас ему лимонад на ночь и ставишь. А вина много не любил. Пил так, т.е., средстве́нно.

Н. А. Лейкин со слов *Н. Федорова* (камердинера Пушкина). – Молва, 1880, № 159.

Это было на другой год, кажется, после женитьбы Пушкина. Прасковья Александровна (*Осипова*) была в Петербурге и у меня остановилась: они вместе приезжали к ней с визитом в открытой колясочке, без человека. Пуш-

кин казался очень весел, вошел быстро и подвел жену ко мне... Уходя, он побежал вперед и сел прежде ее в экипаж; она заметила шутя, что это он сделал от того, что он муж.

А. П. Керн. Воспоминания. – Пушкин и его совр-ки, вып. V, с. 150.

Александр Сергеевич Пушкин, рисован с натуры 1832 г., апреля 15. Ростом 2 арш. 5 в. с половиной[155].

Г. Г. Чернецов. Надпись на подготовительном эскизе к его картине «Парад на Марсовом Поле», изображающем Пушкина и Жуковского. Соч. Пушкина, изд. Брокг.–Ефр., т. VI, с. 568.

Весною 1832 г. Пушкин перебрался на Фурштатскую ул., д. Алымова, где оставался всего пять месяцев, до октября 1832 г. Дом Алымова может быть назван одним из старейших домов Петербурга и находился на правой стороне Фурштатской улицы (идя от Литейного), между Друскенинским (в то время Кирочным) переулком и Воскресенским проспектом, ныне дом Сергеева, № 20. Через дом от квартиры Пушкина помещался полицейский дом Ли-

тейной части (см. рис. 5).

П. Зет (П. Н. Столпянский). Квартирны А. С. Пушкина. – Новое Время, 1912, № 12889.

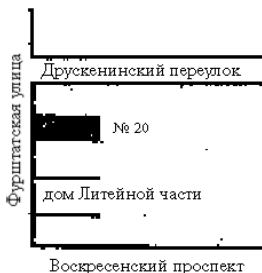


Рис. 5

Скоро у меня будут крестины на Фурштатской в доме Алымова, не забудьте этого адреса... Нет ничего более мудрого, как оставаться в своей деревне и поливать капусту. Старая истина, и я постоянно вспоминаю о ней среди существования очень светского и очень беспорядочного.

Пушкин – П. А. Осиповой, в сер. мая 1832 г., из Петербурга (фр.).

(19 мая 1832 г. у Пушкина родилась дочь,

названная Марией.) Плакал при первых родах и говорил, что убежит от вторых.

П. В. Нащокин по записи П. И. Бартенева. – П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 62.

(25 июня 1832 г.) Встал поздно. Пришел Пушкин, долго просидел у меня. Добрый малый, но часто весьма.

(29 июня 1832 г.) К Вяземскому поздравить с именинами. Нашел у него Александра Пушкина... Пушкин очень хвалит Дюмона, а Вяземский позорит, из чего вышел самый жаркий спор. Оба они выходили из себя, горячились и кричали... Спор усиливался. Наконец, пришел человек объявить, что приехал Д. Н. Блудов (*тогда министр внутр. дел*)... Блудов сказал Пушкину, что о нем говорил государю и просил ему жалованья, которое давно назначено, а никто давать не хочет. Государь приказал переговорить с Нессельродом. Станный ответ: я желал бы, чтобы жалованье выдавалось от Бенкендорфа. «Почему же не от вас? Не все ли равно, из одного ящика или из другого?» – «Для того, чтобы избежать дурного примера». – «Помилуйте, – возразил

Блудов, – ежели бы такой пример породил нам хоть нового Бахчисарайского Фонтана, то уж было бы счастливо...» Мы очень сему смеялись. Пушкин будет издавать газету под заглавием Вестник; будет давать самые скромные сведения из министерства внутренних дел. Пушкин, говоривший до сего разговора весьма свободно и непринужденно, после оного тотчас смешался и убежал.

Н. А. Муханов. Из дневника. – Рус. Арх., 1897, т. I, с. 654.

Г.-а. Бенкендорф объявил мне высочайшее повеление о назначении из государств. казначейства жалованья тит. сов. Пушкину. По мнению г.-а. Бенкендорфа, в жалованье Пушкину можно было бы положить 5000 руб. в год. Я осмеливаюсь испрашивать по сему высочайшего повеления в. и. в-ва.

Всеподданнейший рапорт гр. *К. В. Нессельроде*, 4 июля 1832 г.

НА ПОДЛИННОМ НАПИСАНО:

Высочайше повелено требовать из гос. казначейства с 14 ноября 1831 года по 5000 руб.

в год на известное его императорскому величеству употребление, по третям года, и выдавать сии деньги тит. сов. Пушкину.

Н. А. Гастфрейнд, с. 30.

(4 июля 1832 г.) Поехал к Пушкину. Видел у него Плетнева и статую Екатерины, весьма замечательную. Говорили о его газете. Мысли его самые здравые. Он либеральный, антиполевой, ненавидит дух журналов наших... Он очень созрел.

(5 июля.) Пришел Александр Пушкин. Говорили долго о газете его... О Погодине. Он его жалеет. О Вяземском он сказал, что он человек ожесточенный, *aigri*, который не любит Россию, потому что она ему не по вкусу; о презрении его к русским журналам, о Андросове и статье Погодина о нем. Толстой (А. П.) говорил, что Андросов презирает Россию, о несчастном унижении, с которым писатели наши говорят об отечестве, что в них оппозиция не правительству, а отечеству. Пушкин очень сие опробовал и говорил, что надо об этом сделать статью журнальную. Пушкин говорил долго. Квасной патриотизм. Цель его

журнала, как он ее понимает, доказать правительству, что оно может иметь дело с людьми хорошими, а не с литературными шельмами, как доселе было. Водворить хочет новую систему. Я много ожидаю добра от сего журнала.

Н. А. Муханов. Из дневника. – Рус. Арх., 1897, т. I, с. 657.

(П. А. Катенин приехал в Петербург в середине 1832 г.) Узнав о моем приезде, многие из знакомых поспешили меня навестить, и между первыми Пушкин. Свидание было самое дружеское... Коль скоро здоровье позволило, я посетил его; но в своем доме показался он мне как бы другим человеком; приметна была какая-то принужденность, неловкость, словно гостю не рад; после двух или трех визитов я отстал, и хотя он не один раз потом звал и слегка корил, я остался при своем; когда, напротив, он посещал меня, что часто случалось, в нем опять являлся прежний любезный Александр Сергеевич, не совсем так веселый, но уже лета были не те.

П. А. Катенин. Воспоминания о Пушкине. – Литер. Наследство, т. 16–18, с. 639.

Переходы от порыва веселья к припадкам подавляющей грусти происходили у Пушкина внезапно, как бы без промежутков, что обуславливалось, по словам его сестры, нервною раздражительностью в высшей степени. Он мог раздражаться и гомерическим смехом, и горькими слезами, когда ему вздумается, по ходу своего воображения. Стоило ему только углубиться в посещавшие его мысли. Не раз он то смеялся, то плакал, когда олицетворял их в стихах. Восприимчивость нервов проявлялась у него на каждом шагу, а когда его волновала желчь, он поддавался легко порывам гнева. В эти-то мрачные минуты и являлся к нему Соболевский на выручку, прогонять тоску и гнев... Нервы Пушкина ходили всегда, как на каких-то шарнирах, и если бы пуля Дантеса не прервала нити его жизни, то он немногим бы пережил сорокалетний возраст.

Л. Н. Павлицев со слов матери. Воспоминания, с. 156.

Сложения был он крепкого и живучего. По всем вероятностям, он мог бы прожить еще

столько же, если бы не более, сколько прожил. Дарование его было также сложения живучего и плодовитого. Он мог еще долго предаваться любимым занятиям. Движимый, часто волнуемый мелочами жизни, а еще более внутренними колебаниями не совсем еще установившегося равновесия внутренних сил, он мог увлекаться или уклоняться от цели. Но при нем, но в нем глубоко таилась охранительная и спасительная нравственная сила. Еще в разгаре самой заносчивой и тревоженной молодости, в вихре и разливе разнородных страстей, он нередко отрезвлялся и успокаивался на лоне этой спасительной силы. Эта сила была любовь к труду, потребность труда, неодолимая потребность творчески выразить, вытеснить из себя ощущения, образы, чувства. Труд был для него святыня, купель, в которой исцелялись язвы, обретали бодрость и свежесть немощь, уныния, восстанавливались расслабленные силы. Когда чуял он налет вдохновения, когда принимался за работу, он успокаивался, мужал, перерождался.

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. II, с.

Когда я имела несчастье лишиться матери и была в очень затруднительном положении, то Пушкин приехал ко мне и, отыскивая мою квартиру, бегал со свойственною ему живостью по всем соседним дворам, пока наконец нашел меня. В этот приезд он употребил все свое красноречие, чтобы утешить меня, и я увидела его таким же, каким он бывал прежде. Он предлагал мне свою карету, чтобы съездить к одной даме, которая принимала во мне участие (*Е. М. Хитрово*); ласкал мою маленькую дочку Ольгу, забавляясь, что она на вопрос: «Как тебя зовут?» отвечала: «Воля!» и вообще был так трогательно внимателен, что я забыла о своей печали и восхищалась им, как гением добра.

А. П. Керн. Воспоминания. – Л. Н. Майков, с. 255.

Когда Гнедич получил место библиотекаря при Публичной библиотеке, он переехал на казенную квартиру. К нему явился Гоголь поздравить с новосельем. «Ах, какая славная у

вас квартира, – воскликнул он со свойственной ему ужимкою». – «Да, – отвечал высокомерно Гнедич, – посмотри, на стенах крас-ка-то какая! Не простая краска! Чистый голубец». Подивившись чудной краске, Гоголь отправился к Пушкину и рассказал ему о великолепии голубца. Пушкин рассмеялся своим детским, звонким смехом и с того времени, когда хвалил какую-нибудь вещь, нередко приговаривал: «Да, это вещь не простая, чистый голубец».

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания, с. 6.

Приятель мой, которому я поручил передать Пушкину моего «Новика», писал ко мне по этому случаю 19 сент. 1832 г.: «Благодарю вас за случай, который вы мне доставили увидеть Пушкина. Он оставил самые приятные следы в моей памяти. С любопытством смотрел я на эту небольшую, худенькую фигуру и не верил, как он мог быть забиякой... На лице Пушкина написано, что у него тайного ничего нет. Разговаривая же с ним, замечаешь, что у него есть тайна, – его прелестный ум и знания. Ни блесок, ни жеманства в этом князе

русских поэтов. Поговоря с ним, только скажешь: он умный человек. Такая скромность ему прилична».

И. И. Лажечников. Знакомство мое с Пушкиным. Соч. т. VI, с. 240.

Я приехал в Москву вчера, в среду. Велосифер, по-русски – поспешный дилижанс, несмотря на плеоназм[156], поспешал, как черепаха, а иногда даже как рак. В сутки случилось мне сделать три станции. Лошади расковывали на дороге. 10 лет езжу я по большим дорогам, отроду не видывал ничего подобного. Насилу дотащился в Москву. Теперь послушай, с кем я путешествовал, с кем провел я 5 дней и 5 ночей. То-то будет мне гонка! С пятью немецкими актрисами, в желтых кацавейках и в черных вуалях. Каково? Ей-богу, душа моя, не я с ними кокетничал – они со мною амурились в надежде на лишний билет. Но я отговаривался незнанием немецкого языка и, как маленький Иосиф, вышел чист от искушения. Приехал в Москву, поскакал отыскивать Нащокина, нашел его по-прежне-

му озабоченным домашними обстоятельствами. Он ездил со мною в баню, обедал у меня. Завез меня к кн. Вяз.; княгиня завезла меня во фр. театр, где я чуть было не заснул от скуки и усталости. Приехали к Оберу, и заснул в 10 часов вечера. Вот тебе весь мой день. Видел Чаадаева в театре, он звал меня с собою повсюду, но я дремал. Не можешь вообразить, какая тоска без тебя. Я же все беспокоюсь, на кого покинул я тебя! На Петра, сонного пьяницу, который спит не проспится, ибо он и пьяница и дурак; на Ирину Кузьминичну, которая с тобою воюет; на Ненилу Ануфриевну, которая тебя грабит.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 22 сент. 1832 г., из Москвы.

Заклучай с поваром какие хочешь условия, только бы не был я принужден, отобедав дома, ужинать в клубе... У Нащокина проявились два новые лица в числе челядинцев: актер, игравший вторых любовников, ныне разбитый параличом и совершенно одуревший, и монах, перекрест из жидов, обвешанный веригами, представляющий нам в лицах жидов-

скую синагогу и рассказывающий нам соблазнительные анекдоты о московских монашенках. Нащокин говорит ему: ходи ко мне всякий день обедать и ужинать, волочись за моей девичьей, но только не сводничай Окулову. Каков отшельник? Он смешит меня до упаду, но не понимаю, как можно жить окруженным такою сволочью.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 25 сент. 1832 г., из Москвы.

О Пушкине тогда говорили много. Однажды кто-то сообщил, что он приезжает иногда в Грузины слушать цыган, и добавил: «Цыгане – его стихия». (Рассказчик, бывший тогда мальчиком, узнал, что Пушкин приехал в знаменитый тогда «Глазовский» трактир в Грузинах слушать цыганское пение; в 11 час. веч. он отправился к трактиру с двумя другими мальчиками посмотреть на Пушкина.) Изнутри вырывались звуки шумного цыганского пения. Прошел час, другой, и мы, перезабнув, хотели было идти уже домой, как вдруг раздался с лестницы громкий голос пологого: «Эй, ямщик, экипаж!» Пока полусон-

ный ямщик взнуздывал тройку, на лестнице показались два господина. Один брюнет невысокого роста, с небольшими баками, в шинели с капюшоном и шляпой на голове, другой высокий с усами, в какой-то длиннополой бекеше, с замотанным на шее шарфом и тоже в шляпе. Наверху, на площадке, стояли еще два господина, окруженные цыганами и прислугой, и громко хохотали... Вышедший прежде других господин в шинели, видя, что экипаж еще не подан, спустился с крыльца и пошел в глубь двора. У перил, окаймлявших берег пруда, на котором стояли бани, он остановился и начал смотреть на отражавшуюся в воде луну, деревья и строения. Другой же стоял на крыльце и перебрасывался словами с оставшимися на верхней площадке товарищами... Затем Пушкин сел в коляску, товарищи за ним. Цыгане, окружая экипаж, просили скорей приезжать опять к ним, прислуга кланялась. Пушкин в ответ кивал им головой. Лошади тронулись.

П. К. Мартянов. Из записной книжки. – Историч. Вестн., 1884, № 9, с. 558–591.

Здесь я живу смиренно и порядочно, хлопочу по делам, слушаю Нащокина и читаю *Me´moires de Diderot*[157]. Был вечер у Вяземской. Сегодня еду слушать Давыдова профессора; но я ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охотник – а в Московском университете я оглашенный. Мое появление произведет шум и соблазн, а это приятно щекотит мое самолюбие.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 27 сент. 1832 г., из Москвы.

Однажды утром (в *Московском университете*) читал лекцию проф. И. И. Давыдов... Вдруг входит г-н министр, ведя с собою молодого человека невысокого роста, с чрезвычайно оригинальной, выразительной физиономией, осененной густыми, курчавыми, каштанового цвета волосами, одушевленной живым, быстрым, орлиным взглядом. Указывая на вошедшего с ним молодого человека, г-н министр сказал: «Здесь преподается теория искусства, а я привел вам само искусство». Не надобно было объяснять нам, что это олицетворенное искусство был Пушкин.

Бывший студент. За 16 лет (воспоминания). – Вед. С-Петербургской гор. полиции, 1848, № 235.

Когда Пушкин вошел с министром Уваровым, для меня точно солнце озарило всю аудиторию: я в то время был в чадуге обаяния от его поэзии. Перед тем однажды я видел его в церкви, у обедни, – и не спускал с него глаз. Черты его лица врезались у меня в память. И вдруг этот гений, эта слава и гордость России – передо мной в пяти шагах! Читал лекцию Давыдов, профессор истории русской литературы. «Вот вам теория искусства, – сказал Уваров, обращаясь к нам, студентам, и указывая на Давыдова, – а вот и само искусство», – прибавил он, указывая на Пушкина. Он эффектно отчеканил эту фразу, очевидно заранее приготовленную. Мы все жадно впились глазами в Пушкина. Давыдов оканчивал лекцию. Речь шла о «Слове о полку Игореве». Тут же ожидал своей очереди читать лекцию после Давыдова и Каченовский. Нечаянно между ними завязался, по поводу «Слова о полку Игореве», разговор, который мало-по-

малу перешел в горячий спор. «Подойдите ближе, господа, – это для вас интересно», – пригласил нас Уваров, и мы тесной толпой, как стеной, окружили Пушкина, Уварова и обоих профессоров. Не умею выразить, как велико было наше наслаждение – видеть и слышать нашего кумира.

Я не припомню подробностей их состязания, – помню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Каченовский вонзал в него свой беспощадный аналитический нож. Его щеки ярко горели алым румянцем, и глаза бросали молнии сквозь очки. Может быть, к этому раздражению много огня прибавлял и известный литературный антагонизм между ним и Пушкиным. Пушкин говорил с увлечением, но, к сожалению, тихо, сдержанным тоном, так что за толпой трудно было расслышать. Впрочем, меня занимал не Игорь, а сам Пушкин.

С первого взгляда наружность его казалась невзрачною. Среднего роста, худощавый, с мелкими чертами смуглого лица. Только когда вглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство

В этих глазах, которых потом не забудешь. В позе, в жестах, сопровождавших его речь, была сдержанность светского, благовоспитанного человека.

Лучше всего, по-моему, напоминает его гравюра Уткина с портрета Кипренского. Во всех других копиях у него глаза сделаны слишком открытыми, почти выпуклыми, нос выдающимся – это неверно. У него было небольшое лицо и прекрасная, пропорциональная лицу голова, с не густыми, кудрявыми волосами.

И. А. Гончаров. В университете (воспоминания). – Вестн. Европы, 1887, № 4.

«Помню, – сказал мне очевидец, тогдашний студент, – помню, как сквозь седины Каченовского проступал яркий румянец и как горели глаза Пушкина»... Бой был неравен, судя по впечатлению приятеля: он и теперь еще, кажется, более на стороне профессора, – и не мудрено! Пушкин угадывал только чутьем то, что уже после него подтвердила новая школа филологии неопровержимыми данными; но этого оружия она еще не имела

в его время, а поэт не мог разорвать хитро-сплетенной паутины «злого паука».

А. Н. Майков. Предисловие к переводу «Слова о полку Игореве».

(Посещение Пушкиным университета и спор его с Каченовским о «Слове о полку Игореве».) Разговор был крупный, и тогдашний студент-очевидец М. Д. Перемышльский передавал мне, что Пушкин показался студентам очень похожим на обезьяну, и что один из них, по поводу спора, тут же экспромтировал:

*Мопса старая вступила
С обезьяной в страшный спор;
Утверждала, говорила,
Что песнь Игорева вздор.
Обезьяна строит рожу,
Просит факты указать;
Мопса рвется вон из кожи
И не может доказать.
Соч. Пушкина под ред. П. А. Ефре-
мова, т. VII, с. 475.*

Кто тебе говорит, что я у Баратынского не бываю? Я и сегодня провожу у него вечер, и вчера был у него. Мы всякий день видимся...

На днях был я приглашен Уваровым в Университет. Там встретился с Каченовским (с которым, надобно тебе сказать, бранивались мы, как торговки на Вшивом рынке). А тут разговорились с ним так дружески, так сладко, что у всех предстоящих потекли слезы умиления. Благодарю, душа моя, за то, что в шахматы учишься. Это непременно нужно во всяком благоустроенном семействе; докажу после. На днях был я на бале у кн. Вяз. Тут была графиня Салогуб, гр. Пушкин (Владимир), Аурогэ (*Аврора Карловна Шернваль*), ее сестра (*графиня Эмилия Карловна Мусина-Пушкина*) и Natalie Урусова. Я вел себя прекрасно; любезничал с гр. Салогуб (с теткой, entendons nous[158]) и уехал ужинать к Яру, как скоро бал разыгрался. Дела мои идут своим чередом. Мне пришел в голову роман (*Дубровский*), и я, вероятно, за него примусь; но покамест голова моя кругом идет при мысли о Газете. Как-то слажу с нею?

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, в конце сент. 1832 г., из Москвы.

Секретно. Чиновник 10 класса Александр

Сергеев Пушкин из С.-Петербурга прибыл ныне сюда в Москву и остановился Тверской части в доме Обера в гостинице «Англия», за коим и учрежден надзор.

Полицмейстер *Миллер* в рапорте и. д. моск. обер-полицмейстера, 10 окт. 1832 г. – Кр. Арх., т. 37, с. 244.

Пушкин был недели две в Москве и третьего дня уехал. Он учится по-еврейски, с намерением переводить Иова, и намерен как можно скорее издавать русские песни, которых у него собрано довольно много.

П. В. Киреевский – *Н. М. Языкову*, 12 окт. 1832 г. – Историч. Вестн., 1883, дек., с. 535.

Секретно. Состоящий под секретным надзором полиции отставной чиновник 10 кл. Александр Пушкин, квартировавший Тверской части в гостинице «Англия», 16 числа сего месяца выехал в С.-Петербург, за коим во время жительства его в Тверской части ничего предосудительного не замечено.

Полицмейстер *Миллер* в рапорте и. д. обер-полицмейстера, 18 окт. 1832 г. – Кр. Арх., т. 37, с. 244.

Александр возвратился в Петербург. Он приехал из Москвы с мучительным ревматизмом в правой ноге, но, несмотря на это, возится с переборкой на новую квартиру,

Н. О. Пушкина – О. С. Павлицевой и Л. С. Пушкину, 20 окт. 1832 г. – Л. Н. Павлицев. Воспоминания, с. 303.

19 октября была лицейская сходка годовичная, не людная: Корф, Комовский, Корнилов, Стевен, Пушкин, Яковлев, Илличевский, Данзас, итого восемь человек. Собрание было у Илличевского, в квартире женатого брата его. Пушкин говорил довольно милые стишки. Поминали старину, поминали отсутствующих, умерших.

Е. А. Энгельгардт – Ф. Ф. Матюшкину, 23 окт. 1832 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIII, с. 52.

Ревматизм разыгрался у него в ноге еще до выезда из Москвы, и, судя по письму, Александр страдает ужасно. Снаружи нога как нога: ни красноты, ни опухоли, но адская внут-

ренняя боль делает его мучеником, говорит, что боль отражается во всем теле, да и в правой руке, почему и почерк нетвердый и неразборчивый, который насилу изучил, читая более часа довольно длинное, несмотря на болезнь сына, послание. Не может он без ноющей боли ни лечь, ни сесть, ни встать, а ходить тем более; отлучаться же из дома Александр был принужден и ради перемены квартиры, и ради других дел, опираясь на палку, как восьмидесятилетний старец. Жалуются, что Наташа дала, во время его отсутствия, слишком большую волю прислуге, почему и вынужден был по приезде, несмотря на болезнь, поколотить хорошенько известного вам пьяницу Алешку за великие подвиги и отослать его назад в деревню. Алешка всегда пользовался отсутствием барина, чтобы повеселиться по-своему.

С. Л. Пушкин – О. С. Павлицевой и Л. С. Пушкину, в окт.–нояб. 1832 г. – Л. Н. Павлицев. Воспоминания, с. 304 (*фр.*).

Семьдесят два часа я страдала во время первых родов. Весь город был в волнении.

Пушкин, Вяземский, Жуковский встречались, чтобы спросить друг у друга: «Что, родила ли? Только бы не умерла, наше сокровище!»

А. О. Смирнова. Автобиография, с. 131.

(*Н. Д. Киселев*): «Читали ли вы когда-нибудь «Les historiettes galantes de Tallemant des Reaux[159]?» (*Смирнова*): «Конечно. Они мне доставили много удовольствия, особенно «Ответы г-на Комуса», и я знаю «Историю пехотного капитана». Ее дал мне прочесть Пушкин, так же, как сочинения Ривароля, Шамфора и «Сказки» Вольтера».

А. О. Смирнова. Там же, с. 208.

После своего завтрака Киселев (*Николай Дмитриевич, влюбленный в Смирнову*) пришел ко мне. Я продолжала чтение, лежа на диване. «Но, Киса, я должна приподняться, дайте мне руку! Нет, лучше пропустите руку... Так! Благодарю вас!» Он вспыхнул и строго посмотрел на меня. «Боже, как вы любите играть с огнем!» – «Глупости! Сколько раз Пушкин оказывал мне эту услугу, когда он приходил сидеть со мной с Шамфором, Риваролем

или Вольтером. У меня тогда была убийственная тоска после родов».

А. О. Смирнова. Там же, с. 250.

Пушкин женат и прижил дочку; не знаю, остепенился ли, но по наружности гораздо стал скромнее и скучнее.

Е. А. Энгельгардт – Ф. Ф. Матюшкину, 23 окт. 1832 г., из Петербурга. – *Н. А. Гастфрейнд. Товарищи Пушкина*, т. II, с. 89.

Пушкин столь же умен, сколь практичен, он практик, и большой практик; даже всегда писал то, что от него просило время и обстоятельства.

С. А. Соболевский – С. П. Шевыреву, 14 нояб. 1832 г., из Милана. – *Рус. Арх.*, 1909, т. II, с. 508.

Греч предлагал Пушкину по 1000 или по 1200 руб. в месяц, если он вступит в «Северную Пчелу» и «Сын Отечества» и, следовательно, введет за собою и всю знаменитую ватагу. Несмотря на то, Пушкин отказался, дабы не есть из одной чашки с Ф. Булгариным. Это в нем похвально.

В. Д. Комовский – А. М. Языкову, 16 нояб. 1832 г. – Историч. Вестн., 1883, т. XIV, с. 535.

1832 года, декабря 1 дня... нанял я, Пушкин, у Жадимировского в собственном его каменном доме, состоящем 1-й адмиралтейской части 2-го квар. под № 132 Отделением в 3-м этаже, на проспекте Гороховой улицы, состоящее из двенадцати комнат и принадлежащей кухни, и при оном службы: сарай для экипажей, конюшня на четыре стойла, небольшой сарай для дров, ледник и чердак для вешанья белья... За наем обязан я платить ему по три тысячи триста рублей банковыми ассигнациями в год... В трех комнатах стены оклеены французскими обоями, в пяти комнатах полы штучные, в прочих сосновые.

Контракт на наем квартиры. – Кр. Нива, 1929, № 24, с. 7.

Приехав сюда, нашел я большие беспорядки в доме, принужден был выгонять людей, переменять поваров, наконец нанимать новую квартиру, и следственно употреблять суммы, которые в другом случае оставались

бы неприкосновенными. Честь имею тебе объявить, что первый том Островского (Дубровского) кончен и на днях прислан будет в Москву на твое рассмотрение. Я написал его в две недели, но остановился по причине жестокого ревматизма, от которого прострадал другие две недели, так что не брался за перо и не мог связать две мысли в голове.

Пушкин – П. В. Нащокину, 2 дек. 1832 г., из Петербурга.



Рис. 6

С Фурштатской Пушкин переехал на Б. Морскую, в дом Жадимировского. В переписке Пушкина не указан номер дома Жадимировского, у которого в это время (1832–1833) на Морской улице было два дома, один, как

видно из приложенного плана (см. рис. 6), угловой на Гороховую улицу (ныне № 27, дом Росс. Общ. Страхования), другой наискосок, второй от угла Гороховой, ныне № 22 Тура. Жадимировские принадлежали к именитым купцам Петербурга, владели громадным числом земельных участков, были подрядчиками высочайшего двора и вообще играли заметную роль среди немногочисленного в то время купечества.

П. Зет (П. Н. Столпянский). Квартиры А. С. Пушкина. – Новое Время, 1912, № 12889.

На основании контракта, из двух указанных на плане домов по Морской надо остановиться на доме № 27, выходящем на проспект Гороховой улицы. Собственно, к этому заключению следовало бы прийти и до ознакомления с контрактом, так как в переписке Пушкина дом показывается различно: «в Морской» и в «Гороховой».

П. Е. Щеголев. Квартирная тяжба Пушкина. – Кр. Нива, 1929, № 24, с. 8.

Пушкин больше роется теперь по своему

главному труду, т.е. по истории, да, кажется, в его голове и роман колышется. Впрочем, редко видаясь с ним, особенно в последнее время, когда ревматизм поразил его в ногу... совсем потерял я из виду нить его занятий.

П. А. Плетнев – В. А. Жуковскому, 8 дек. 1832 г. – П. А. Плетнев. Соч. и переп., СПб., 1885, т. III, с. 521.

Вскоре после выпуска из лицея, изучая английский язык, сошелся я с Пушкиным в английском книжном магазине Диксона. Увидя Пушкина, я весь превратился во внимание: он требовал книг, относящихся к биографии Шекспира, и, говоря по-русски, расспрашивал о них книгопродавца.

Я. К. Грот, с. 275.

В лавке Лисенкова, на Садовой, были свои всегдашние, как в клубе... Заходил Пушкин. Он пробегал тут же книги. Читал предисловия. Сыпались остроты, как искры из кремня. К стихотворцам он прилагал особый прием, – читал одни кончики стихов, – одни рифмы. «А! Бедные!» – восклицал он, когда было уже

очень плохо. Лисенков стоял за прилавком и хохотал. Хохотали случайные посетители и спрашивали, что это за остроумный чудак. Было что-то заразительно-смешное в шутках этого веселого барина, открытого, простого.

А. А. Измайлов со слов И. Т. Лисенкова. – Огонек, 1904, № 38, с. 298.

*(1832–1833.) Пушкин сообщал этот рассказ за тайну Нащокину и даже не хотел на первый раз сказать имени действующего лица, обещал открыть его после. В Петербурге, при дворе, была одна дама, друг императрицы, стоявшая на высокой степени придворного и светского значения. Муж ее был гораздо старше ее, и, несмотря на то, ее молодые лета не были опозорены молвою; она была безукоризненна в общем мнении любящего сплетни и интриги света. Пушкин рассказал Нащокину свои отношения к ней по случаю их разговора о силе воли. Пушкин уверял, что при необходимости можно удержаться от обморока и изнеможения, отложить их до другого времени. Эта блистательная, безукоризненная дама, наконец, поддалась обаяниям поэта

и назначила ему свидание в своем доме. Вечером Пушкину удалось пробраться в ее великолепный дворец; по условию, он лег под диваном в гостиной и должен был дожидаться ее приезда домой. Долго лежал он, терял терпение, но оставить дело было уже невозможно, воротиться назад – опасно. Наконец, после долгих ожиданий, он слышит, подъехала карета. В доме засуетились. Двое лакеев внесли канделябры и осветили гостиную. Вошла хозяйка в сопровождении какой-то фрейлины: они возвращались из театра или из дворца. Через несколько минут разговора фрейлина уехала в той же карете. Хозяйка осталась одна. «Etes-vous là?»[160], и Пушкин был перед нею... Быстро проходило время в наслаждениях. Наконец, Пушкин как-то случайно подошел к окну, отдернул занавес и с ужасом видит, что уже совсем рассвело, уже белый день. Как быть? Он наскоро кое-как оделся, поспешая выбраться. Смущенная хозяйка ведет его к стеклянным дверям выхода, но люди уже встали. У самых дверей они встречают дворецкого, итальянца (печки уже топят). Эта встреча до того поразила хозяйку, что ей сде-

лалось дурно; она готова была лишиться чувств, но Пушкин, сжав ей крепко руку, умолял ее отложить обморок до другого времени, а теперь выпустить его как для него, так и для себя самой. Женщина преодолела себя. В своем критическом положении они решились прибегнуть к посредству третьего. Хозяйка позвала свою служанку, старую чопорную француженку, уже давно одетую и ловкую в подобных случаях. К ней-то обратилась с просьбою провести из дому. Француженка взялась. Она свела Пушкина вниз прямо в комнаты мужа. Тот еще спал. Шум шагов его разбудил. Его кровать была за ширмами. Из-за ширм он спросил: «Кто здесь?» – «Это я», – отвечала ловкая наперсница и провела Пушкина в сени, откуда он свободно вышел; если б кто его здесь и встретил, то здесь его появление уже не могло быть предосудительным. На другой же день Пушкин предложил итальянцу дворецкому золотом 1000 руб., чтобы он молчал, и хотя он отказывался от платы, но Пушкин принудил его взять. Таким образом все дело осталось тайною. Но блистательная дама в продолжение четырех месяцев не

могла без дурноты вспомнить об этом происшествии. (Внучка Кутузова, урожден. Тизенгаузен, замужем за австр. посланником Фикельмон. – *Примеч. на полях.*)[161]

П. В. Нащокин по записи П. И. Бартенева. – П. И. Бартенов. Рассказы о Пушкине, с. 36.

В черновых записях, собранных Анненковым материалов для биографии Пушкина (в Пушкинском Доме), Анненков, с чьих-то слов (П. А. Плетнева?), отметил для памяти «жаркую историю с женой австрийского посланника».

Пушкин. Письма под ред. *Б. Л. Модзалевского*, с. 420.

Однажды отец взял меня с собою в русский театр; мы поместились во втором ряду кресел; перед нами в первом ряду сидел человек с некрасивым, но необыкновенно выразительным лицом и курчавыми темными волосами; он обернулся, когда мы вошли (представление уже началось), дружелюбно кивнул отцу, потом стал слушать пьесу, с тем особенным вниманием, с каким слушают только

люди, сами пишущие. «Это Пушкин», – шепнул мне отец. Я весь обомлел... Трудно себе вообразить, что это был за энтузиазм, за обожание толпы к величайшему нашему писателю, это имя волшебное являлось чем-то лучезарным в воображении всех русских, в особенности же в воображении очень молодых людей. Пушкин, хотя и не чужд был той олимпийской недоступности, в какую окутывали, так сказать, себя литераторы того времени, общелся со мною очень ласково, когда отец, после того как занавес опустили, представил меня ему. Я был в восторге и, чтобы не ударить лицом в грязь, все придумывал, что бы сказать что-нибудь поумнее; надо сказать, что в тот самый день, гуляя часов около трех пополудни с отцом по Невскому проспекту, мы повстречали некоего Х., тогдашнего модного писателя. Он был человек чрезвычайно надутый и заносчивый, отец его довольно близко знал и представил меня ему; он отнесся ко мне довольно благосклонно и пригласил меня в тот же вечер к себе. «Сегодня среда, у меня каждую среду собираются, – произнес он с высоты своего величия, – все люди

талантливые, известные, приезжайте, молодой человек, время вы проведете, надеюсь, приятно». Я поблагодарил и, разумеется, тотчас после театра рассчитывал туда отправиться. В продолжение всего второго действия, которое Пушкин слушал с тем же вниманием, я, благоговейно глядя на его сгорбленную в кресле спину, сообразил, что спрошу его во время антракта, «что он, вероятно, тоже едет сегодня к Х.». Не может же он, Пушкин, не бывать в доме, где собираются такие известные люди – писатели, художники, музыканты и т.д. Действие кончилось, занавес опустился, Пушкин опять обернулся к нам. «Александр Сергеевич, сегодня среда, я еще, вероятно, буду иметь счастливый случай с вами повстречаться у Х.», – проговорил я почти-тельно, но вместе с тем стараясь придать своему голосу равнодушный вид, «что вот, дескать, к каким тузам мы ездим». Пушкин посмотрел на меня с той особенной, ему одному свойственной, улыбкой, в которой как-то странно сочеталась самая язвительная насмешка с безмерным добродушием. «Нет, – отрывисто сказал он мне, – с тех пор, как я же-

нат, я в такие дома не езжу!» Меня точно ушатом холодной воды обдало, я сконфузился, пробормотал что-то очень неловкое и стушевался за спину моего отца, который от души рассмеялся. Нечего и прибавлять, что в тот вечер я к Х. не поехал, хотя отец, смеясь, очень на этом настаивал.

На другой день отец повез меня к Пушкину – он жил в довольно скромной квартире; самого хозяина не было дома, нас приняла его красавица жена. Много видел я на своем веку красивых женщин, много встречал женщин еще обаятельнее Пушкиной, но никогда не видывал я женщины, которая соединила бы в себе законченность классически правильных черт и стана. Ростом высокая, с баснословно тонкой тальей, при роскошно развитых плечах и груди, ее маленькая головка, как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой шее; такого красивого и правильного профиля я не видел никогда более, а кожа, глаза, зубы, уши? Да, это была настоящая красавица, и недаром все остальные даже из самых прелестных женщин меркли как-то при ее появлении. На вид всегда она

была сдержанна до холодности и мало вообще говорила. В Петербурге, где она блистала, во-первых, своей красотой и в особенности тем видным положением, которое занимал ее муж, — она бывала постоянно и в большом свете, и при дворе, но ее женщины находили несколько странной. Я с первого же раза без памяти в нее влюбился; надо сказать, что тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной; ее лучезарная красота рядом с этим магическим именем всем кружила головы; я знал очень молодых людей, которые серьезно были уверены, что влюблены в Пушкину, не только вовсе с нею незнакомых, но чуть ли никогда собственно ее даже не видевших!

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания, с. 115–118.

С зимы 1832 г. Пушкин стал посвящать все свое время работе в архивах, куда доступ был ему открыт еще в прошлом году. Из квартиры своей отправлялся он каждый день в разные ведомства, предоставленные ему для исследований. Он предался новой работе своей с жаром, почти со страстью.

С 1831 года Пушкин избрал для себя великий труд, который требовал долговременного изучения предмета, множества предварительных занятий и гениального исполнения. Он приступил к сочинению истории Петра Великого... Преимущественно занимали его исторические разыскания. Он каждое утро отправлялся в какой-нибудь архив, выигрывая прогулку возвращением оттуда к позднему своему обеду. Даже летом, с дачи, он ходил пешком для продолжения своих занятий.

П. А. Плетнев. Соч. и переп., т. I, с. 384.

Пушкина нигде не встретишь, как только на балах. Так он протранжирует всю жизнь свою, если только какой-нибудь случай и более необходимость не затащут его в деревню.

Н. В. Гоголь – А. С. Данилевскому, 8 февр. 1833 г. – Письма Н. В. Гоголя, под ред. В. И. Шенрока. СПб.: Изд. А. Ф. Маркса, т. I, с. 241.

Вчерашний маскарад был великолепный, блестящий, разнообразный, жаркий, душный,

восхитительный. Много совершенных красавиц: Завадовская, Радзивилова-Урусова... Хороша очень была Пушкина-поэтша, но сама по себе, не в кадриях, по причине, что Пушкин задал ей стишок свой, который с помощью божией не пропадет также для потомства. (Намек на ее беременность?)

Кн. П. А. Вяземский – А. Я. Булгакову, 9 февр. 1833 г. – П. П. Вяземский. Соч., с. 538.

Жизнь моя в Петербурге ни то ни се. Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга вольной холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моде, – все это требует денег, деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения... Путешествие нужно мне нравственно и физически.

Пушкин – П. В. Нащокину, во втор. пол. февр. 1833 г.

Считать Пушкин не умел. Появление денег связывалось у него с представлением неиссякаемого Пактола[162], и быстро пропустив их сквозь пальцы, он с детской наивностью

недоумевал перед совершившимся исчезновением. Карты неудержимо влекли его. Он зачастую давал себе зарок больше не играть, подкрепляя это торжественным обещанием жене, но при первом подвернувшемся случае благие намерения разлетались в прах, и до самой зари он не мог оторваться от зеленого поля. Часто вспоминала Наталья Николаевна крайности, испытанные ею с первых шагов супружеской жизни. Бывали дни, после редкого выигрыша или крупной литературной полочки, когда мгновенно являлось в доме изобилие во всем, деньги тратились без удержу и расчета, точно всякий стремился наверстать скорее испытанное лишение. Муж старался не только исполнить, но предугадать ее желания. Минуты эти были скоротечны и быстро сменялись полным безденежьем, когда не только речи быть не могло о какой-нибудь прихоти, но требовалось все напряжение ума, чтобы извернуться и достать самое необходимое для ежедневного существования. Некоторые из друзей Пушкина, посвященные в его денежные затруднения, ставили в упрек Наталии Николаевне ее увлечение

светскою жизнью и изысканность нарядов. Первое она не отрицала. Но всегда упорно отвергала обвинение в личных тратах. Все ее выездные туалеты, все, что у нее было роскошного и ценного, оказывалось подарками Екатерины Ивановны (*Загряжской, фрейлины, тетки Нат. Ник-ны*). Она гордилась красотою племянницы; ее придворное положение способствовало той благосклонности, которой удостоивала Наталью Николаевну царская чета, а старушку тешило, при ее значительных средствах, что ее племянница могла поспорить изяществом с первыми щеголихами.

А. П. Арапова. Воспоминания. – Новое Время, 1907, № 11413, ил. прил., с. 5.

Вы теперь вправе презирать таких лентяев, как Пушкин, который ничего не делает, как только утром перебирает в гадком сундуке своем старые к себе письма, а вечером возит жену свою по балам, не столько для ее потехи, сколько для собственной.

П. А. Плетнев – В. А. Жуковскому, 17 февр. 1833 г. – П. А. Плетнев. Соч. и переп., т. III, с.

В Петербурге у всех был грипп. Наташа лежала больная первую неделю поста. Ей пускали кровь, но на масленице и всю эту зиму она много развлекалась, на балу в Уделах она явилась в костюме жрицы солнца и имела большой успех. Император и императрица подошли к ней и сделали ей комплимент по поводу ее костюма, а император объявил ее царицей бала.

Н. О. Пушкина – О. С. Павлицевой, 16 марта 1833 г. – Литер. Наследство, т. 16–18, с. 782.

На придворных балах Пушкину бывало просто скучно. Покойная Л. Д. Шевич передавала нам, как, стоя возле нее, полузевая и потягиваясь, он сказал два стиха из старинной песни:

*Неволя, неволя, боярской двор.
Стоя наешься, сидя наспишься.*

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1889, т. III, с. 124.

Иду я с Пушкиным по Невскому проспекту.

Встречается Одоевский. Он только что отпечатал тогда свои «Пестрые сказки» фантастического содержания и разослал экземпляры, в пестрой обертке, своим приятелям. Экземпляр поднесен был и Пушкину. При встрече на Невском Одоевскому очень хотелось узнать, прочитал ли Пушкин книгу и какого он об ней мнения. Но Пушкин отделался общими местами: «Читал... ничего... хорошо» и т.п. Видя, что от него ничего не добьешься, Одоевский прибавил только, что писать фантастические сказки чрезвычайно трудно. Затем он поклонился и прошел. Тут Пушкин рассмеялся своим звонким, можно сказать, зубастым смехом, так как он выказывал тогда два ряда белых арабских зубов, и сказал: «Да если оно так трудно, зачем же он их пишет? Кто его принуждает? Фантастические сказки только тогда и хороши, когда писать их не трудно».

Гр. В. А. Сологуб. Пережитые дни. – Рус. Мир, 1874, № 117.

Петербург мне не подходит ни в каком отношении; ни мои вкусы, ни мои средства не

могут к нему приспособиться. Но два или три года придется терпеть.

Пушкин – П. А. Осиповой, 13–14 мая 1833 г., из Петербурга (фр.).

Александр и Натали на Черной речке, они взяли дачу Миллера, которую в прошлом году занимали Маркеловы. Она очень красива, есть большой сад; дача очень велика: 15 комнат с верхом. Натали чувствует себя хорошо, она была очень довольна своим новым жилищем, тем более что это в двух шагах от ее тетки (*Ек. Ив. Загряжской*), которая живет с Натальей Кирилловной (*Загряжской*) на ферме.

Н. О. Пушкина – О. С. Павлицевой, 24 мая 1833 г. – Кр. Нива, 1929, № 24, с. 8.

Весною 1833 года Пушкин переехал на дачу, на Черную речку (дача Миллера), и отправлялся пешком оттуда каждый день в архивы, возвращаясь таким же образом назад. Как только истощались его силы от усиленного физического и умственного труда, он шел купаться, и этого средства уже достаточно было, чтоб снова возвратить ему бодрость и спо-

собности.

П. В. Анненков. Материалы, с. 350.

Жена Александра, чувствуя себя отлично, много гуляет по островам, несмотря на последний месяц беременности, посещает театр...

Н. О. Пушкина – О. С. Павлищевой, 17 июня 1833 г. – Л. Н. Павлищев. Воспоминания, с. 323.

* Это было в начале июля 1833 г., в одну из тех очаровательных ночей, какие только можно видеть на дальнем Севере. Освежительная прохлада наступила после нестерпимого дневного зноя, и на горизонте вечерняя заря соединилась с утреннею. В такую пору я с моим приятелем, гвардии офицером Ст., гулял по островам. Уже прошла полночь. Мы перешли через мост на Крестовский остров. В недалёком расстоянии от нас, то медленно, то ускоряя шаги, прогуливался среднего роста, стройный человек. Походка его была небрежна, иногда он поднимал правую руку высоко вверх, как пламенный декламатор. Казалось, что незнакомец разговаривал сам с собою. По-

рою слова его переходили в тихое пение какой-то из трогательных народных песен. «Кто бы это мог быть?» – спросил я моего друга. «Если не ошибаюсь, – отвечал он, – то это...» В это мгновение незнакомец остановился, обернулся к реке и со сложенными на груди руками прислонился к дереву; тогда мы могли разглядеть до того времени скрытые от нас черты лица человека 34 или 35 лет. Темные, несколько углубленные глаза на небольшом бледном лице, прекрасный рот, полный белых зубов. Только нос казался несколько широким. У него были черные курчавые волосы, прекрасные брови и полные бакенбарды. Одет он был по последней моде, но заметна была какая-то небрежность. Между тем и незнакомец нас заметил. Мой спутник подошел к нему и, протягивая руку, приветствовал его: «Здравствуйте, Пушкин!» Приятель мой, уже знакомый с Пушкиным, представил нас друг другу. Поэт и мой спутник начали между собой оживленный разговор по-французски. Тоска и разорванность со светом были заметны в речах Пушкина и не казались мне пустым представлением. «Я не могу бо-

лее работать», – отвечал он на вопрос: не увидим ли мы вскоре новое его произведение? «Здесь бы я хотел построить себе хижину и сделаться отшельником», – прибавил он с улыбкою. «Если бы в Неве были прекрасные русалки», – отвечал мой спутник, намекая на юношеское стихотворение Пушкина «Русалка» и приводя из него слова, которыми она манит отшельника: «Монах, монах! Ко мне, ко мне!» – как это глупо! – проворчал поэт. – Никого не любить кроме самого себя». «Вы имеете достойную любви прекрасную жену», – сказал ему мой товарищ. Насмешливое, протяжное «да!» было ответом. Я выразил мое восхищение прекрасною, теплою ночью. «Она очень приятна после сегодняшней страшной жары», – небрежно и прозаически отвечал мне поэт. Товарищ мой старался навести его на более серьезный разговор; но он постоянно от того отклонялся. «Там вечерняя заря, малое пространство ночи, а там уж заря утренняя, – сказал мой друг. – Смерть, мрак гроба и пробуждение к прекраснейшему дню!» Пушкин улыбнулся. «Оставьте это, мой милый! Когда мне было 22 года, знал и я та-

кие возвышенные мгновения; но в них ничего нет действительного. Утренняя заря! Пробуждение! Мечты, только одни мечты!» В это время плыла вниз по Неве лодка с большим обществом. Раздалось несколько аккордов гитары, и мягкий мужской голос запел «Черную шаль» Пушкина. Лишь только окончилась первая строфа, как Пушкин, лицо которого мне казалось гораздо бледнее обыкновенного, проговорил про себя: «С тех пор я не знаю спокойных ночей!» и, сказав нам короткое «Bon soir, messieurs!», исчез в зеленой темноте леса.

Фр. Тумц. Ein russischer Dichter. Petersburger Erinnerung aus dem Jahre 1833. – Familien-Journal, 1865, № 606. Перепеч. в переводе: П. И. Бартенев. Пушкин: сборник, кн. II, с. 143–145.

(Автор с П. В. Нащокиным, композитором Есауловым и певцом Лавровым приехали в Петербург и остановились в гостинице Демута.) На другой день, 29 июня, рано утром, пешком с Черной речки, первым явился А. С. Пушкин. Поздоровавшись с ним, Павел Воинович

представил ему и нас, артистов; а относясь ко мне, прибавил: «А сей юноша замечателен еще тем, что, читая все журналы, романы и следя за литературой, никак не мог дочитать Ивана Выжигина!» Александр Сергеевич, пожав мне еще раз руку, сказал: «Лучше сей рекомендации и не надо». Вскоре собрались приятели Павла Воиновича: полковник Манзе, князь Эристов, Данзас (впоследствии секунданта Пушкина) и другие. Общая радость, веселый говор, шутки, остроты, воспоминания о прошлом времени, анекдоты о настоящем, хохот, шум, крик!.. Пушкин, пригласив Нащокина завтра обедать и слушать его новые сочинения, ушел; оставшаяся компания продолжала веселиться...

Раз утром, встав очень рано, переписывал я два письма в стихах к Ленскому и к сестре моей. Нащокин, застав меня врасплох, заставил прочесть ему, расхвалил, да и кончил так: «Очень рад, очень рад! Вот мы с вами порадуем и Александра Сергеевича. Он сейчас придет». Я ни за что не соглашался, он настаивал; заспорили... Входит Пушкин.

– Рассуди нас, Александр Сергеевич, я к те-

бе с жалобой на сего юношу: во 1-х, он вчера в первый раз сбрил усы, во 2-х, влюбился в Елену Яковлевну Сосницкую, а в 3-х, сочинил хорошие стихи и не соглашается прочесть тебе.

– Усы его собственность; любовь к Елене – грех общий: я сам в молодости, когда она была именно прекрасной Еленой, попался было в сеть, но взялся за ум и отделался стихами, а юноше скажу: берегись; а что касается до стихов, то в сем грехопадении он обязан покаяться передо мной!

Говоря это весело, в pendant тону Нащокина, Александр Серге-евич взял меня под руку, ввел во вторую комнату, посадил на диван, сам сел с правой стороны, поджав по-турецки ноги, и сказал: «Кайся, юный грешник!» По прочтении письма к Ленскому Александр Сергеевич сказал свое всегдашнее словцо: «Ну, вот и прекрасно, и очень хорошо». Из второго письма к сестре, после описания сна, где я видел между прочим:

Друзей, начальников, врагов... –

указательный перст поэта быстро длинным ногтем чертил по запятой, как бы вы-

скабливая ее: «Запятаую прочь! маленькое тире, знак соединительный: начальники-враги слова однозначущие!»

В это же утро собрались почти все приятели, а разговоры были натянутые, невеселые, все вертелось на злобе дня, т.е. на безденежье... Является Боголюбов и подает Пушкину свертки золота. *(Он ездил искать для Пушкина денег.)* Поэт, развернув свертки и высыпав на стол кучку блестящих монет, превратился в совершенного ребенка: то пригоршней поднимает золото, то вновь рассыплет по столу, то хочет захватить одной рукой, да длинные ногти мешают, тогда, опрокинув кисть руки и подсовывая ногти под кружки, собирает их на ладонь и пересыпает из одной в другую, приговаривая: «люблю играть этой мелочью... но беречь ее не люблю... поиграю и пускаю в ход, ходячая монета!»

В полночь все, в память любимых поэтом прогулок в светлые петербургские ночи, согласились в эту ночь прогулять по площадям города и по набережной Невы. Все гурьбой вывалили на Невский. Но поэт, любитель светлых ночей, торопился на дачу, отвечая на

приставанье друзей: «Гуляйте, гуляйте, для вас всегда время, а мое разгульное времячко прошло»...

Из нашего приятного ночного шатания замечателен рассказ друзей о прежних прогулках с Пушкиным-холостяком, как они, бывало, заходили к наипочтеннейшей Софье Евстафьевне, провести остаток ночи с ее компаньонками, и где Александр Сергеевич, бывало, выберет интересный субъект и начинает расспрашивать о детстве и обо всей прежней жизни, потом усовещивает и уговаривает бросить блестящую компанию, заняться честным трудом – работой, идти в услужение, притом даст деньги на выход и таким образом не одну жертву спас от гибели; а всего лучше, что благонравная Софья Евстафьевна жаловалась на поэта полиции, как на безнравственного человека, развращающего ее овечек.

Н. И. Куликов. Пушкин и Нащокин. – Рус. Стар., 1881, т. 31, с. 604–613.

6 июля бог дал Александру сына; но не он и не жена его сообщают нам это, а графиня

Ивелич. По ее письму, моя невестка до сих пор еще очень страдает, хотя со времени родов прошло без малого месяц. У нее образовались нарывы, от которых до сих пор не может отделаться. Александру же непростительно быть к нам до такой степени равнодушным, что он даже и двумя строками не заблагорасудил мне отвечать. Очень беспокоимся. Напрасно ты нам писала на его имя. Переслать нам твое письмо Александр и не позаботился. Впрочем оно могло и пропасть по очень простой причине: переезжая на Черную речку, Александр перевел туда всю свою прислугу, поручив городскую квартиру надзору дворника, а этот дворник или пьян, или спит.

Л. Пушкин – О. С. Павлицевой, 1 авг. 1833 г. – Л. Н. Павлицев. Воспоминания, с. 324 (фр.).

Пушкин был во многих отношениях внимательный и почтительный сын. Он готов был даже на некоторые самопожертвования для родителей своих; но не в его натуре было быть хорошим семьянином: домашний очаг не привлекал и не удерживал его. Он во время разлуки редко писал к родителям; редко и

бывал у них, когда жилал с ними в одном городе.

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 148.

Вчера был вечер у Фикельмонт... Было довольно весело. Один Пушкин *palpitait de l'inté're't du moment*[163], краснел, взглядывая на Крюднершу, и несколько увивался вокруг нее.

Кн. П. А. Вяземский – жене, в июле – нач. авг. 1833 г. – Голос Минувшего, 1922, № 2, с. 116.

Однажды, возвратясь с бала, на котором Н. Н. Пушкина вообразила, что муж ее ухаживает за м-ме Крюднер (что было совершенно несправедливо), она дала ему пощечину, о чем он, смеясь, рассказывал Вяземскому, говоря, что «у его мадонны рука тяжеленька».

О. Н. Смирнова в примеч. к Запискам. – А. О. Смирнова. Записки, т. I, с. 340.

Пушкин был на балу с женою-красавицею и, в ее присутствии, вздумал за кем-то ухажи-

вать. Это заметили, заметила и жена. Она уехала с бала домой одна. Пушкин хватился жены и тотчас же поспешил домой. Застает ее в раздевании. Она стоит перед зеркалом и снимает с себя уборы. «Что с тобою? Отчего ты уехала?» Вместо ответа Наталия Николаевна дала мужу полновесную пощечину. Тот как стоял, так и покатился со смеху. Он забавлялся и радовался тому, что жена его ревнует, и сам со своим прекрасным хохотом передавал эту сцену приятелям.

Арк. О. Россет. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 247.

С Черной речки Пушкины уже не вернулись на квартиру Жадимировского. 1 сентября в отсутствие Пушкина жена Наталья Николаевна заключила договор на новую квартиру с капитаном гвардии А. К. Оливеем (русская переделка фамилии Оливье).

П. Е. Щеголев. Квартирная тяжба Пушкина. – Кр. Нива, 1929, № 24, с. 8.

С августа 1833 по август 1834 г. Пушкин жил на Пантелеймоновской ул. в доме Оливье. По имеющимся у нас данным мы не мог-

ли отыскать на Пантелеймоновской улице дома Оливье. У гг. Оливье было два дома, но в совершенно иных частях города, один на Гороховой улице, недалеко от дома Жадимировского.

П. Зет (П. Н. Столпянский). Квартиры А. С. Пушкина. – Новое Время, 1912, № 12889.

Жительство Пушкина Литейной части против церкви Пантелеймона в доме Оливье.

П. А. Жадимировский. Объявление в петербургскую Управу Благочиния. – Кр. Нива, 1929, № 24, с. 8.

Поездка на Восток

Вот тебе подробная моя Одиссея. Ты помнишь, что от тебя уехал я в самую бурю. Приключения мои начались у Троицкого моста. Нева так была высока, что мост стоял дыбом: веревка была протянута, и полиция не пускала экипажей. Чуть было не воротился я на Черную речку. Однако переправился через Неву выше и выехал из Петербурга. Погода была ужасная. Деревья по Царскосельскому проспекту так и валялись, я насчитал их с пятьдесят. В лужицах была буря. Болота волновались белыми волнами. По счастью, ветер и дождь гнали меня в спину, и я преспокойно высидел все это время. На другой день погода прояснилась. Мы с Соболевским шли пешком 15 верст, убивая по дороге змей, которые обрадовались сдуру солнцу и выползли на песок. Вчера прибыли мы благополучно в Торжок, где Соболевский свирепствовал за нечистоту белья. Сегодня проснулись в 8 часов, завтракали славно, и теперь отправляюсь в сторону, в Ярополец (имение Н. И. Гончаровой), а Соболевского оставляю наедине с швей-

царским сыром.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, во втор. пол. авг. 1833 г., из Торжка.

Пишу к тебе из Павловского, между Берцовым и Малинниками, о которых, вероятно, я тебе много рассказывал. Вчера, сворота на проселочную дорогу к Яропольцу, узнаю с удовольствием, что проеду мимо Вульфовых поместий, и решился их посетить. В 8 часов вечера приехал я к доброму моему Павлу Ивановичу, который обрадовался мне, как родному. Здесь я нашел большую перемену. Назад тому 5 лет Павловское, Малинники и Берново наполнены были уланами и барышнями, но уланы переведены, а барышни разъехались: из старых моих приятельниц нашел я одну белую кобылу, на которой и съездил в Малинники; но и та уж подо мною не пляшет, не бесится, а в Малинниках, вместо всех Аннет, Евпраксий, Саш, Маш etc. живет управитель Парасковии Александровны Рейхман, который поподчивал меня шнапсом. Вельяшева, мною некогда воспетая, живет здесь в соседстве; но я к ней не поеду, зная, что тебе было бы это не

по сердцу. Здесь объедаюсь я вареньем и проиграл три рубля в двадцать четыре роббера в вист.

Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, а душу твою люблю я еще более твоего лица. Прощай, мой ангел, целую тебя крепко.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 23 авг. 1833 г., из Павловского.

В Ярополец приехал я в среду поздно. Наталья Ивановна встретила меня как нельзя лучше. Я нашел ее здоровою, хотя подле нее лежала палка, без которой далеко ходить не может. Четверг я провел у нее. Она живет очень уединенно и тихо в своем разоренном дворце и разводит огороды над прахом твоего прадедушки Дорошенки, к которому ходил я на поклонение. Я нашел в доме старую библиотеку, и Нат. Ив. позволила мне выбрать нужные книги. Я отобрал их десятка три, которые к нам и придут с вареньем и наливками. Таким образом набег мой на Ярополец был во все не напрасен. Из Яропольца выехал я но-

чью и приехал в Москву вчера в полдень. Пишу тебе из антресолей вашего Никитского дома.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 26 авг. 1833 г., из Москвы.

Вчера были твои именины, сегодня твое рождение. Вчера пил я твое здоровье у Киреевского с Шевыревым и Соболевским; сегодня буду пить у Суденки. Еду послезавтра – прежде не будет готова моя коляска. Вчера, приехав поздно домой, нашел я у себя на столе карточку Булгакова, отца красавиц, и приглашение на вечер. Жена его была также именинница. Я не поехал, за неимением бального платья и за небритие усов, которые отращаю в дорогу. Ты видишь, что в Москву мудрено попасть и не поплясать. Однако скучна Москва, пуста Москва, бедна Москва. Даже извозчиков мало на ее скучных улицах. По своему обыкновению, бродил я по книжным лавкам и ничего путного не нашел. Книги, взятые мною в дорогу, перебились и перетерлись в сундуке. От этого я сердит сегодня.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 27 авг. 1833 г., из

Москвы.

Вот тебе отчет с самого Натальина дня. Утром поехал я к Булгакову (*московскому почтдиректору*) извиняться и благодарить, а между тем и выпросить лист для смотрителей, которые очень мало меня уважают, несмотря на то, что я пишу прекрасные стихи. У него застал я его дочерей и Всеволожского. Они звали меня на вечер к Пашковым на дачу, я не поехал, жалея своих псов, которые только лишь оцетинились. Обедал у Суденки, моего приятеля, товарища холостой жизни моей. Теперь и он женат, и он сделал двух ребят, и он перестал играть; но у него 125 000 дохода, а у нас, мой ангел, это – впереди. Жена его тихая, скромная, некрасавица. Мы отобедали втроем, и я, без церемонии, предложил здоровье моей именинницы, и выпили мы все, не морщась, по бокалу шампанского. Вечер у Нащокина, да какой вечер! шампанское, лафит, зажженный пунш с ана-насами – пью за твое здоровье, красота моя. На другой день в книжной лавке встретил я А. Раевского. «Sacre´ chïen, – сказал он мне с

нежностью. – Pourquoi n'êtes vous pas venu me voir?» – «Animal, – отвечал я ему с чувством, – qu'avez vous fait de mon manuscrit petit-russien?[164]» После сего поехали мы вместе, как ни в чем не бывало, он держа меня за ворот всенародно, чтоб я не выскочил из коляски. Отобедали вместе глаз на глаз (виноват: втроем с бутылкой мадеры). Потом, для разнообразия жизни, провел опять вечер у Нащокина; на другой день он задал мне прощальный обед со стерлядями и с жженкой, усадили меня в коляску, и я выехал на большую дорогу.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 2 сент. 1833 г., из Нижнего Новгорода.

Нащокин провожал меня шампанским, жженкой и молитвами. Каретник насилу выдал мне коляску; нет мне счастья с каретниками. Дорога хороша, но под Москвою нет лошадей, я повсюду ждал несколько часов и насилу дотащился до Нижнего сегодня, т.е. в 5-е сутки. Успел только съездить в баню. Кажется, я глупо сделал, что оставил тебя и начал опять кочевую жизнь. Живо воображаю пер-

вое число. Тебя теребят за долги, Параша, повар, извозчик, аптекарь, m-me Zichler etc, у тебя не хватает денег, Смирдин перед тобой извиняется, ты беспокоишься, – сердишься на меня – и поделом. Что у нас за погода! дни жаркие, с утра маленькие морозы – роскошь! так ли у вас?

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 2 сент. 1833 г., из Нижнего Новгорода.

Ух, женка, страшно! теперь следует важное признание. Сказать ли тебе словечко, потерпит ли твое сердечко? Ну, так уж и быть, узнай, что на второй станции, где не давали мне лошадей, встретил я некоторую городничиху, едущую с теткой из Москвы к мужу и обижаемую на всех станциях. Она приняла меня весьма дурно и нараспев начала меня усовещевать и уговаривать: как вам не стыдно? на что это похоже? две тройки стоят на конюшне, а вы мне ни одной со вчерашнего дня не даете. «Право?» – сказал я и пошел взять эти тройки для себя. Городничиха, видя, что я не смотритель, очень смутилась, начала извиняться и так меня тронула, что я уступил

ей одну тройку, на которую имела она всевозможные права, а сам нанял себе другую, т.е. третью, и уехал. Ты подумаешь: ну это еще не беда. Постой, женка, это еще не все. Городничиха и тетка так были восхищены моим рыцарским поступком, что решились от меня не отставать и путешествовать под моим покровительством, на что я великодушно и согласился. Таким образом и доехали мы почти до самого Нижнего – они отстали за 3 или 4 станции – и я теперь свободен и одинок. Ты спросишь, хороша ли городничиха? Вот то-то, что не хороша, ангел мой Таша, о том-то я и горюю. Уф, кончил. Отпусти и помилуй.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 8 сент. 1833 г., из Нижнего Новгорода.

Пушкин мне рассказывал, что под Нижним он встретил этапных. С ними шла девушка не в оковах, у нас женщин не заковывают. Она была чудной красоты и укрывалась от солнца широким листом капусты. «А ты, красавица, за что?» Она весело отвечала: «Убила незаконнорожденную дочь, пяти лет, и мать за то, что постоянно журила». Пушкин оцепе-

нел от ужаса.

А. О. Смирнова. Автобиография, с. 178.

Я в Казани с 5. Здесь я возился со стариками, современниками моего героя (*Пугачева*), объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту страну. Погода стоит прекрасная, чтобы не сглазить только. Надеюсь до дождей объехать все, что предполагал видеть, и в конце сент. быть в деревне.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 8 сент. 1833 г., из Казани.

7-го сентября, в 9 часов утра, муж мой ездил провожать Баратынского, видел там Пушкина, и в полчаса успел так хорошо с ним познакомиться, как бы они уже долго жили вместе. Пушкин ехал в Оренбург собирать сведения для истории Пугачева и по той же причине останавливался на одни сутки в Казани. Он знал, что в Казани мой муж, как старожил, постоянно занимавшийся исследованием здешнего края, всего более мог удовлетворить

его желанию, и потому, может быть, и желал очень с нами познакомиться. В этот же день, поутру, Пушкин ездил, тройкою на дрожках, один к Троицкой мельнице, по Сибирскому тракту, за десять верст от города; здесь был лагерь Пугачева, когда он подступал к Казани. Затем, объехав Арское поле, был в крепости, обошел ее кругом и потом возвратился домой, где оставался целое утро, до двух часов, и писал. Обедал у Е. П. Перцова, с которым был знаком еще в Петербурге; там обедал и муж мой.

В шесть часов вечера мне сказали о приезде к нам Пушкина. Явстретила его в зале. Он взял дружески мою руку с следующими ласковыми словами: «Нам не нужно с вами рекомендоваться; музы нас познакомили заочно, а Баратынский еще более». С Карлом Федоровичем (*мужем автора*) они встретились, как коротко знакомые. Мы все сели в гостиной. Я не могу похвалиться ни ловкостью, ни любезностью, особенно при первом знакомстве, и потому долго не могла прийти в свою тарелку; да и к тому же и разговор был о Пугачеве; мне казалось неловко в него вмешаться.

Напившись чаю, Пушкин и Карл Федорович поехали к казанскому первой гильдии купцу Крупеникову, бывшему в плену у Пугачева, и пробыли там часа полтора; возвратясь к нам в дом, у подъезда, Пушкин благодарил моего мужа: «Как вы добры, Карл Федорович, сказал он, как дружелюбно и приветливо принимаете нас, путешественников!.. Для чего вы это делаете? Вы теряете вашу приветливость понапрасну: вам из нас никто этим не заплатит; мы так не поступаем; мы в Петербурге живем только для себя». Окончив говорить, он так сильно сжал руку моего мужа, что несколько дней были знаки от ногтей. Пушкин имел такие большие ногти, что мне, право, они казались не менее полувершка. По возвращении от Крупеникова прислали за моим мужем от одного больного: он хотел было отказаться, но Пушкин принудил его ехать. Я осталась с моим знаменитым гостем одна; и признаюсь, не была этим довольна. Он тотчас заметил мое смущение и своею приветливою любезностью заставил меня с ним говорить, как с коротким знакомым. Мы сели в моем кабинете. Он просил показать

ему стихи, писанные ко мне Баратынским, Языковым и Ознобишиным, читал их все сам вслух и очень хвалил стихи Языкова. Потом просил меня непременно прочесть стихи моего сочинения. Я прочла сказку: *Жених*, и он слушал меня, как бы в самом деле хорошего поэта, вероятно, из любезности, несколько раз останавливал мое чтение похвалами, а иные стихи заставлял повторять и прочитывал сам.

После чтения он начал меня расспрашивать о нашем семействе, о том, где я училась, кто были мои учителя; рассказывал мне о Петербурге, о тамошней рассеянной жизни и несколько раз звал меня туда приехать: «Приезжайте, пожалуйста, приезжайте; я познакомлю с вами жену мою; поверьте, мы будем уметь отвечать вам за казанскую приветливость не петербургскою благодарностью». Потом разговоры наши были гораздо откровеннее; он много говорил о духе нынешнего времени, о его влиянии на литературу, о наших литераторах, о поэтах, о каждом из них сказал мне свое мнение и, наконец, прибавил: «Смотрите, сегодняшней вечер была моя ис-

поведь; чтобы наши разговоры остались между нами». Пушкин, без отговорок, несмотря на то, что располагал до света ехать, остался у нас ужинать и за столом сел подле меня. В продолжение ужина разговор был о магнетизме. Карл Федорович не верит ему, потому что очень учен, а я не верю, потому что ничего тут не понимаю. Пушкин старался всевозможными доказательствами нас уверить в истине магнетизма.

– Испытайте, – говорил он мне, – когда вы будете в большом обществе, выберите из них одного человека, вовсе вам незнакомого, который сидел бы к вам даже спиною, устремите на него все ваши мысли, пожелайте, чтобы незнакомец обратил на вас внимание, но пожелайте сильно, всею вашею душою, и вы увидите, что незнакомый, как бы невольно, оборотится и будет на вас смотреть... Я был очевидцем таких примеров, что женщина, любивши самую страстную любовью, при такой же взаимной любви, остается добродетельною; но были случаи, что эта же самая женщина, вовсе не любившая, как бы невольно, со страхом исполняет все желания мужчи-

ны, даже до самоотвержения. Вот это-то и есть сила магнетизма.

Я была очень рада, когда кончился разговор о магнетизме, хотя занял его другой, еще менее интересный, – о посещении духов, о предсказаниях и о многом, касающемся суеверия.

– Вам, может быть, покажется удивительным, – начал опять говорить Пушкин, – что я верю многому невероятному и непостижимому; быть так суеверным заставил меня один случай. Раз пошел я с Н. В. Всевожским ходить по Невскому проспекту, и из проказ зашли к кофейной гадальнице. Мы просили ее нам погадать и, не говоря о прошедшем, сказать будущее. «Вы, – сказала она мне, – на этих днях встретитесь с вашим давнишним знакомым, который вам будет предлагать хорошее по службе место; и потом, в скором времени, получите через письмо неожиданные деньги; а третье, я должна вам сказать, что вы кончите вашу жизнь неестественною смертью». Без сомнения, я забыл в тот же день и о гадании, и о гадальнице. Но, спустя недели две после этого предсказания, и опять

на Невском проспекте, я действительно встретился с моим давнишним приятелем, который служил в Варшаве при великом князе Константине Павловиче и перешел служить в Петербург; он мне предлагал и советовал занять его место в Варшаве, уверяя меня, что цесаревич этого желает. Вот первый раз после гаданья, когда я вспомнил о гадалщице. Через несколько дней после встречи с знакомым я в самом деле получил с почты письмо с деньгами; и мог ли я ожидать их? Эти деньги прислал мой лицейский товарищ, с которым мы, бывши еще учениками, играли в карты, и я его обыграл. Он, получа после умершего отца наследство, прислал мне долг, который я не только не ожидал, но и забыл о нем. Теперь надобно сбыться третьему предсказанию, и я в этом совершенно уверен...

Суеверие такого образованного человека меня очень тогда удивило. После ужина Пушкин опять пошел ко мне в кабинет. Пересматривая книги, он раскрыл сочинения одного казанского профессора; увидав в них прозу и стихи, он опять закрыл книгу и, как бы с досадою, сказал: «О, это проза и стихи! Как жалки

те поэты, которые начинают писать прозою; признаюсь, ежели бы я не был вынужден обстоятельствами, я бы для прозы не обмакнул пера в чернила...» Он просидел у нас до часу и простился с нами, как со старыми знакомыми; несколько раз обнимал моего мужа и, кажется, оставил нас не с притворным сожалением, сказавши при прощании: «Я никак не думал, чтобы минутное знакомство было причиною такого грустного прощания, но мы в Петербурге увидимся».

А. А. Фукс. А. С. Пушкин в Казани. – Казанск. Губ. Вед., 1844, № 2. Перепеч.: Рус. Стар., 1899, т. 98, с. 258–261.

В Казани я таскался по окрестностям, по полям, по кабакам и попал на вечер к одной blue stockings (синий чулок), сорокалетней несносной бабе, с воощеными зубами и с ногтями в грязи (А. А. Фукс). Она развернула тетрадь и прочла мне стихов с двести, как ни в чем не бывало. Баратынский написал ей стихи и с удивительным бесстыдством расхвалил ее красоту и гений. Я так и ждал, что принужден буду ей написать в альбом, но бог по-

миловал; однако она взяла мой адрес и стра-
щает меня приездом в Петербург, с чем тебя и
поздравляю. Муж ее, умный и ученый немец,
в нее влюблен и в изумлении от ее гения; од-
нако он одолжил меня очень, и я рад, что с
ним познакомился. Сегодня еду в Симбирск,
отобедаю у губернатора, а к вечеру отпра-
влюсь в Оренбург – последняя цель моего путе-
шества.

*Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 12 сент. 1833 г.,
из Языкова.*

Милостивая государыня Александра Ан-
дreeвна! С сердечной благодарностью посы-
лаю вам мой адрес и надеюсь, что обещание
ваше приехать в Петербург не есть одно лю-
безное приветствие. Примите, Милостивая
Государыня, изъявление моей глубокой при-
знательности за ласковый прием путеше-
ственнику, которому долго памятно будет ми-
нутное пребывание его в Казани.

*Пушкин – А. А. Фукс, 8 сент. 1833 г., из Каза-
ни.*

Однажды спросили Пушкина, как он нахо-

дит даму, с которою он долго говорил, – умна ли она? Поэт отвечал: «Не знаю, ведь я говорил с нею по-французски».

П. И. Мельников-Печерский со слов казанского проф. гр. С. Суворцева, встречавшегося с Пушкиным в его поездку 1833 г. – Историч. Вестн., 1884, № 9, с. 505.

В 1833 г. я жила с моим отцом в Симбирске, где тогда губернатором был Александр Михайлович Загряжский; у А. М. Загряжского была только одна дочь, с которою я в числе прочих городских барышень училась у них в доме танцевать. Однажды осенью (1833 г., между 8–14 сент.) во время урока танцев по зале пронесся слух, что приехал сочинитель А. С. Пушкин; мы все взволновались от ожидания увидеть его, и вдруг входит в залу господин небольшого роста, в черном фраке, курчавый, шатен, с бледным или скорее мулатским рябоватым лицом: мне тогда он показался очень некрасивым... Мы все уже сидели по стульям и при его общем нам поклоне сделали ему реверанс; через несколько минут мы все с ним познакомились и стали просить

его потанцевать с нами; он немедленно же согласился, подошел к окну, вынул из бокового кармана пистолет и, положив его на подоконник, протанцевал с каждой из нас по несколько туров вальса под звуки двух скрипок, сидевших в углу.

К. И. Короткова. А. С. Пушкин и симбирские старожилы. – Моск. Вед., 1901, № 242.

В Симбирске у губернатора я видел Пушкина Ал. Сер-ча. Он сказал мне, что был в Казани у Фукса и стоял вместе с Баратынским.

И. А. Второв – Н. И. Второву, 9 сент. 1833 г. – Рус. Вестн., 1875, авг., с. 610.

Пишу тебе из деревни поэта Языкова, к которому заехал и не нашел дома. Меня очень беспокоят твои обстоятельства, денег у тебя слишком мало. Того и гляди сделаешь новые долги, не расплатясь со старыми. Я путешествую, кажется, с пользою, но еще не на месте и ничего не написал. Я сплю и вижу приехать в Болдино и там запереться.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 12 сент. 1833 г., из Языкова.

(Дом языковской усадьбы.) Из прихожей посетители входят в довольно обширный зал, и направо из соседней комнаты дверь ведет в комнату, где останавливался Пушкин. Она средней величины, с одним большим окном в сад, обставлена мебелью красного дерева, черною, деревянною кроватью и в углу типичным украшением камина в форме усеченной колонны... По сохранившемуся в доме и семье Языковых рассказу, Пушкин, не застав в первый раз своего посещения Николая Михайловича дома, вырезал ему алмазным перстнем на память на одном из стекол окна свое имя.

В. Н. Поливанов. Село Языково. – Историч. Вестн., 1896, № 12, с. 988. Фотографии с языковского дома. – Историч. Вестн., 1889, № 8, в статье того же автора «Пушкин в Симбирске».

Опять я в Симбирске. Третьего дня, выехав ночью, отправился я к Оренбургу. Только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее. Черт его побери, дорого бы дал я, чтобы его затравить. На третьей станции стали закладывать мне лошадей – гляжу: нет ямщиков –

один слеп, другой пьян и спрятался. Пошумев
изо всей мочи, решился я возвратиться и
ехать другой дорогой; по этой на станциях
езде по 6 лошадей, а почта ходит четыре ра-
за в неделю. Повезли меня обратно – я заснул,
просыпаюсь утром – что же? не отъехал я и
пяти верст. Гора – лошади не везут – около ме-
ня человек 20 мужиков. Черт знает, как бог
помог – наконец въехали мы, и я воротился в
Симбирск. Дорого бы дал я, чтобы быть бор-
зой собакой; уж этого зайца я бы отыскал. Те-
перь еду опять другим трактом. Авось без
приключений.

*Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 14 сент. 1833 г.,
из Симбирска.*

Насилу доехал (до *Оренбурга*) – дорога пре-
скаучная, погода холодная, завтра еду к яиц-
ким казакам, пробуду у них дня три и отпра-
влюсь в деревню через Саратов и Пензу. Мне
тоска без тебя. Кабы не стыдно было, воротил-
ся бы прямо к тебе, ни строчки не написав. Да
нельзя, мой ангел, – взялся за гуж, не говори,
что не джуж; то есть уехал писать, так пиши
же роман за романом, поэму за поэмой. А уж

чувствую, что дурь на меня находит, я и в коляске сочиняю: что же будет в постеле? Одно меня сокрушает: человек мой. Вообрази себе тон московского канцеляриста, глуп, говорлив, через день пьян, ест мои холодные дорожные рябчики, пьет мою мадеру, портит мои книги и по станциям называет меня то графом, то генералом. Бесит меня, да и только. Свет-то мой Ипполит! Кстати о хамовом племени; как ты ладишь своим домом? боюсь, людей у тебя мало; не наймешь ли ты кого? На женщин надеюсь, но с мужчинами как тебе ладить. Все это меня беспокоит – я мнителен, как отец мой.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 19 сент. 1833 г., из Оренбурга.

В один из субботних вечеров, когда небольшая семья моего директора Артюхова (*директора неплюевского оренбургского кадетского корпуса*) усаживались за чайный стол, на дворе послышался скрип подрезов дорожного экипажа[165].

– Генерал Пушкин изволил приехать! – прокричал вошедший со двора мальчик, оде-

тый в черкеску из верблюжьего сукна.

Дверь отворилась, и на пороге показался довольно полный господин в дорожной шубе и укутанный шарфом. Тотчас подбежали его раздевать.

– Какой-то вихрь, а не мальчишка прокричал мне: «Дома барин».

– Дома, дома, – подхватил хозяин, – и просит дорогого гостя в кабинет. – Здравствуй, здравствуй!

– Здравствуй, трегубый (у хозяина с детства верхняя губа делилась надвое).

– Только дайте ему, – проговорил «генерал», указывая на своего человека, – прежде распеленать своего младенца. А то мои бакенбарды останутся на шарфе.

При входе в залу опять посыпались приветы. Гость спросил умыться, но хозяин тотчас же предложил Ал. Серг-чу в баню, а потом чай.

– Согласен, если только недалеко баня; мне надоела езда, – отвечал, потирая руки, гость.

– Так, значит, идем; двадцать шагов по коридору – и мы будем в теплушке. Распорядись-ка, – сказал мне К. Д. (Артюхов), – чтобы

там найти нам людей и свечи.

Захватив кучера и мальчика, которые внесли из саней вещи, я велел зажечь лампу, а сам поторопился сбросить с себя курточку и сапоги, чтобы не быть отосланным в комнату, так как я был уже в казенной бане.

За хозяином вошел гость. Кучер и мальчик проворно принялись за раздевание их.

– Дак как, брат К. Д., у тебя славно здесь! Даже андреем пахнет (ambre'e), – заметил Александр Сергеевич с улыбкою, почесываясь и поглядывая рассеянно по сторонам, – очень порядочно, здесь скорее гостиная, нежели баня.

Хозяин, как человек очень полный, кряхтел и, видимо, радовался первому впечатлению гостя.

– Очень рад, старый товарищ, что могу служить; да спасибо, что ты не сбился с дороги и не мимо меня проехал. А не раз, я думаю, плутал по этим дорогам. В наших местах теперь дорога ведь страшная, а?

– Да, я бросил возок и купил сани.

*А дорога ваша – сад для глаз,
Повсюду лес, канавы,*

*Работы было много, много славы,
Да жаль, проезду нет подчас.
От деревьев, на часах стоящих,
Проезжим мало барыша.
Дорога, скажут, хороша,
Но я скажу: для проходящих! [166]*

От этой правды, так верно и скоро выраженной им в стихах, все как бы остолбенели. Хозяин рассмеялся, подал мне карандаш и велел записать на стене. А. С. поправил мои знаки, и на другой день стихи были вделаны в раму под стекло.

Пока Ал. С-ч декламировал, он стоял перед трюмо, правою рукою расправляя кудрявые волосы, а левою прикрываясь, так как был совершенно раздет. На это Артюхов заметил, смеясь:

– А видел ли ты, Ал. С-ч, свое сейчас сходство с Венерой Медицейской?

Последний взглянул в зеркало, как бы для проверки сходства, и отвечал:

– Да, правда твоя. Только ты должен вообразить ее степенство, когда она была во второй половине своего интересного положения.

Н. П. Иванов. Хивинская экспедиция

В Оренбурге Пушкину захотелось сходить в баню. Я свел его в прекрасную баню к инженер-капитану Артюхову, добрейшему, умному, веселому и чрезвычайно забавному собеседнику. В предбаннике расписаны были картины охоты, любимой забавы хозяина. Пушкин тешился этими картинами, когда веселый хозяин, круглолицый, голубоглазый, в золотых кудрях, вошел, упрашивая Пушкина ради первого знакомства откусать пива или меду. Пушкин старался быть крайне любезным со своим хозяином и, глядя на расписной предбанник, завел речь об охоте. «Вы охотитесь, стреляете?» – «Как же-с, понемножку занимаемся и этим; не одному долгоносому довелось успокоиться в нашей сумке». – «Что же вы стреляете, уток?» – «Уто-ок-с?» – спросил тот, вытянувшись и бросив какой-то сострадательный взгляд. «Что же? разве вы уток не стреляете?» – «Помилуйте-с, кто будет стрелять эту пададь! Это какая-то гадкая старуха, валяется в грязи – ударишь ее по загривку, она свалится боком, как топор с полки, бьет-

ся, валяется в грязи, кувыркается... Тьфу!» – «Так что же вы стреляете?» – «Нет-с, не уток. Вот как выйдешь в чистую рощицу, как запустишь своего Фингала, а он нюх-нюх направо – нюх налево, – и стойку: вытянулся, как на пружине, – одеревенел, окаменел! Пиль, Фингал! Как свечка загорелся, столбом взвился»... – «Кто, кто?» – перебил Пушкин с величайшим вниманием и участием. «Кто-с? разумеется кто: sluка[167], вальдшнеп. Тут царап его по сарафану... А он (продолжал Артюхов, раскинув руки врозь, как на кресте), – а он только раскинет крылья, головку набок – замрет на воздухе, умирая, как Брут!»

Пушкин расхохотался и, прислав ему через год на память «Истор. Пугач, бунта», написал:

«Тому офицеру, который сравнивает вальдшнепа с Валленштейном»[168].

В. И. Даль. Из неизд. материалов для биограф. Пушкина. – Рус. Стар., 1907, т. 131, с. 165.

(В Оренбурге Пушкин остановился в доме оренбургского военного губернатора В. А. Перовского.) Перовский в то время квартировал в доме мурзы полковника Тимашева, на Гу-

бернской, что ныне Николаевская улица (главная в городе), как раз против Благовещенской (теперь Вознесенской) церкви.

М. Л. Юдин. – Рус. Арх., 1899, т. II, с. 138.

По показанию старожилов, В. А. Перовский квартировал в доме полк. Тимашева, находившемся на Николаевской ул. в 1 части, в 5 квартале, против алтаря церкви Вознесения Христова, между соседними домами Пенькова и Козина. Дом этот, сохранившийся и доселе (1900 г.), – двухэтажный с мезонином; нижний этаж его каменный, а верхний и мезонин – деревянные. В настоящее время дом принадлежит мещанину Ив. Вас. Ладыгину.

М. Л. Юдин. – Труды Оренб. Учен. Арх. Комиссии, 1900, вып. VI, с. 219.

Пушкин приехал в Оренбург. Вслед за тем из Нижнего Новгорода от тамошнего губернатора Бутурлина пришла к Перовскому бумага с извещением о путешествии Пушкина, который состоял под надзором полиции. С Перовским Пушкин был на «ты» и приехал прямо к нему; но в доме генерал-губернатора поэту

было не совсем ловко, и он перешел к Далю; обедать они ходили вместе к Перовскому.

В. И. Даль по записи П. И. Бартенева. – П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 21.

С.-Петербургский обер-полицмейстер от 20 сент. уведомил меня, что... был учрежден в столице секретный полицейский надзор за образом жизни и поведением известного поэта, титулярного советника Пушкина, который 14 сентября выбыл в имение его, состоящее в Нижегородской губернии. Известясь, что он, Пушкин, намерен был отправиться из здешней в Казанскую и Оренбургскую губернию, я долгом считаю о вышесказанном известить ваше прев-во, покорнейше прося, в случае прибытия его в Оренбургскую губернию, учинить надлежащее распоряжение в учреждении за ним во время его пребывания в оной секретного полицейского надзора за образом жизни и поведением его.

М. П. Бутурлин (нижегор. воен. губернатор) в секретном отношении оренб. воен. губернатору *В. А. Перовскому*, 9 окт. 1833 г.

На этой бумаге рукою Перовского сделана следующая пометка: Отвечать, что сие отношение получено через месяц по отбытии г. Пушкина отсюда, а потому, хотя во время кратковременного его в Оренбурге пребывания и не было за ним полицейского надзора, но как он останавливался в моем доме, то я тем лучше могу удостоверить, что поездка его в Оренбургский край не имела другого предмета, кроме нужных ему исторических изысканий.

Рус. Стар., 1833, т. 37, с. 78.

Пушкин прибыл нежданный и нечаянный и остановился в загородном доме у военного губернатора Василия Алексеевича Перовского, на другой день перевез я его оттуда, ездил с ним в историческую Берлинскую станицу, толковал, сколько слышал и знал местность, обстоятельства осады Оренбурга Пугачевым. Пушкин слушал все это с большим жаром и хохотал от души следующему анекдоту: Пугач, ворвавшись в Берды, где испуганный народ собрался в церкви и на паперти, вошел также в церковь. Народ расступался в страхе,

кланялся, падал ниц. Приняв важный вид, Пугач прошел прямо в алтарь, сел на церковный престол и сказал вслух: «Как я давно не сидел на престоле!» В мужицком невежестве своем он воображал, что престол церковный есть царское седалище. Пушкин назвал его за это свиньей и много хохотал.

Мы поехали в Берды, бывшую столицу Пугача, который сидел там – как мы сейчас видели – на престоле. По пути в Берды Пушкин рассказывал мне, чем он занят теперь, что еще намерен и надеется сделать. Он усердно убеждал меня написать роман и повторял: «Я на вашем месте сейчас бы написал роман, сейчас; вы не поверите, как мне хочется написать роман, но нет, не могу: у меня начато их три, – начну прекрасно, а там недостает терпения, не слажу». Слова эти вполне согласуются с пылким духом поэта и думным творческим долготерпением художника; эти два редкие качества соединялись в Пушкине, как две крайности, которые дополняют друг друга и составляют одно целое. Он носился во сне и наяву целые годы с каким-нибудь созданием, и когда оно созревало в нем, являлось перед

духом его уже созданным вполне, то изливалось пламенным потоком в слова и речь: металл мгновенно стынет в воздухе, и создание готово. Пушкин потом воспламенился в полном смысле слова, коснувшись Петра Великого, и говорил, что непременно, кроме дееписания об нем, создаст и художественное в память его произведение...

– Я еще не мог доселе постичь и обнять вдруг умом этого исполина: он слишком огромен для нас близоруких, и мы стоим еще к нему близко, – надо отодвинуться на два века, – но постигаю его чувством; чем более его изучаю, тем более изумление и подобострастие лишают меня средств мыслить и судить свободно. Не надобно торопиться; надобно освоиться с предметом и постоянно им заниматься; время это исправит. Но я сделаю из этого золота что-нибудь. О, вы увидите: я еще много сделаю! Ведь даром что товарищи мои все поседели да оплешивели, а я только что перебесился; вы не знали меня в молодости, каков я был; я не так жил, как жить бы должно; бурный небосклон позади меня, как оглянусь я.

В Бердах мы отыскиали старуху, которая знала, видела и помнила Пугача. Пушкин разговаривал с нею целое утро; ему указали, где стояла изба, обращенная в золотой дворец, где разбойник казнил несколько верных долгу своему сынов отечества; указали на гребни, где, по преданию, лежит огромный клад Пугача, зашитый в рубаху, засыпанный землей и покрытый трупом человеческим, чтобы отвести всякое подозрение и обмануть кладоискателей, которые, дорывшись до трупа, должны подумать, что это – простая могила. Старуха спела также несколько песен, относившихся к тому же предмету, и Пушкин дал ей на прощание червонец.

Мы уехали в город, но червонец наделал большую суматоху. Бабы и старики не могли понять, на что было чужому приезжему человеку расспрашивать с таким жаром о разбойнике и самозванце; но еще менее постигли они, за что было отдать червонец. Дело показалось им подозрительным: чтобы-де после не отвечать за такие разговоры, чтобы опять не дожить до греха да напасти! И казаки на другой же день снарядили подводу в Орен-

бург, привезли и старуху, и роковой червонец и донесли: «Вчера-де приезжал какой-то чужой господин, приметами: собой не велик, волос черный, кудрявый, лицом смуглый, и подбивал под «пугачевщину» и дарил золотом; должен быть антихрист, потому что вместо ногтей на пальцах когти». Пушкин много тому смеялся.

В. И. Даль. Воспоминания о Пушкине. – Л. Н. Майков, с. 416–419.

Осенью 1833 года приехал в Оренбург А. С. Пушкин для собирания сведений о пугачевском бунте и пожелал посетить Берды. По этому случаю Ив. Вас. Гребеньщиков (*сотник оренбургского казачьего войска, начальник станции Берды*) пригласил меня посмотреть на Пушкина. Я с радостью принял предложение, и мы отправились с вечера, чтобы к утру собрать стариков и старух, помнящих Пугачева. Утром приезжает Пушкин, сам-друг, кажется, если не ошибаюсь, с В. И. Далем... Он среднего роста, смуглый, лицо кругловатое с небольшими бакенбардами, волосы на голове черные, курчавые, недолгие, глаза живые, гу-

бы довольно толсты. Одет был в сюртук, плотно застегнутый на все пуговицы; сверху шинель суконная с бархатным воротником и обшлагами, на голове измятая поярковая шляпа. На руках: левой на большом, а правой на указательном пальцах по перстню. Ногти на пальцах длинные лопатками. В фигуре и манерах было что-то чрезвычайно оригинальное.

По входе в комнату Пушкин сел к столу, вынул записную книжку и карандаш и начал расспрашивать стариков и старух и их рассказы записывал в книжку. Одна старушка, современница Пугачева, много ему рассказывала и спела или проговорила песню, сложенную про Пугачева, которую Пушкин и просил повторить. Наконец расспросы кончились, он встал, поблагодарил Гребеньщикова и стариков, которым раздал несколько серебряных монет, и отправился в Оренбург.

Он суеверным старикам, а особенно старухам, не понравился и произвел на них неприятное впечатление тем, что, вошедши в комнату, не снял шляпы и не перекрестился на иконы и имел большие ногти; за то его про-

звали «антихристом»; даже некоторые не хотели принять от него деньги (которые были светленькие и новенькие), называя их антихристовыми и думая, что они фальшивые. Об этом обстоятельстве сообщил мне И. В. Гребеньщиков.

Н. А. Кандалов. Воспоминания. – Труды Оренб. Учен. Арх. Комиссии, 1900, вып. VI, с. 214–215.

(Старуха казачка про посещение Пушкина.)
«Приезжали господа, и один все меня заставлял рассказывать... Он наградил меня за рассказы; тут же с ним был и приятель наш, полковник Артюхов. Песни я ему пела про Пугачева. Показал он мне портрет: красавица такая написана... «Вот, – говорит, – она станет твои песни петь».

Е. З. Воронина – Е. Л. Энгельке, 26 нояб. 1833 г., из Оренбурга. – Рус. Арх., 1900, т. II, с. 660.

М-те Даль рассказывала, как всем дамам хотелось видеть Пушкина, когда он был здесь. Он приезжал не надолго и бывал только у нужных ему по его делу людей или у преж-

них знакомых. Две ее знакомые барышни узнали от нее, что Пушкин будет вечером у ее мужа и что они будут вдвоем сидеть в кабинете Даля. Окно этого кабинета было высоко, но у этого окна росло дерево; эти барышни забрались в сад, влезли на это дерево и из ветвей его смотрели на Пушкина, следили за всеми его движениями, как он от души хохотал; но разговора не было слышно, так как рамы были уже двойные.

Е. З. Воронина – Е. Л. Энгельке, 20 нояб. 1833 г, из Оренбурга. – Рус. Арх., 1902, т. II, с. 658.

И. В. Чернов в 1833 г. поступил в приходское училище и в сентябре того же года имел счастье видеть в стенах этого заведения А. С. Пушкина, приезжавшего в Оренбург. Поэт даже спрашивал Ив. Вас-ча что-то, но за давностью лет он упомянуть не мог.

С. Н. Севастьянов. Памяти ген.-майора И. В. Чернова. – Труды Оренб. Учен. Арх. Комиссии, 1907, вып. XVIII, с. 6.

Из Оренбурга поехал я в Уральск. Тамошний атаман и казаки приняли меня славно,

дали мне два обеда, подписали за мое здоровье, наперерыв давали мне все известия, в которых имел нужду, и накормили меня свежей икрой, при мне изготовленной. При выезде моем (23 сент.) вечером пошел дождь, первый по моему выезду. Надобно тебе знать, что нынешний год была всеобщая засуха и что бог угодил на одного меня, уготовя мне везде прекраснейшую дорогу. На возвратный же путь послал он мне этот дождь, и через полчаса сделал дорогу непроходимой. Того мало: выпал снег, и я обновил зимний путь, проехав верст 50 на санях. Проезжая мимо Языкова, я к нему заехал, застал всех трех братьев, отобедал с ними очень весело, ночевал и отправился сюда.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 2 окт. 1833 г., из Болдина.

(29 сент. 1833 г.) Семейное предание рассказывает, что Ал. Серг. застал братьев Языковых (в селе Языкове Симб. губ.) одетых по-домашнему, в халаты, и на первых же порах пристыдил и разбранил их за азиатские привычки.

Д. Н. Садовников. Отзывы о Пушкине. – Историч. Вестн., 1883, т. XIV, с. 537.

Вчера был у нас Пушкин, возвращавшийся из Оренбурга и с Яика в свою нижегородскую деревню, где пробудет месяца два, занимаясь священнодействием перед алтарем Камен. Из питерских новостей он прочитал мне свою сказку «Гусар» (ее купил, дескать, у него Смирдин за 1000 руб. сто стихов...). Мы от него первые узнали, что он и Катенин избраны членами российской академии и что последнее производит там большой шум, оживляя сим сонных толкачей, иереев и моряков. Во второй уже раз дошло до того, что ему прочли параграф устава, которым велено выводить из заседания членов, непристойно себя ведущих. Старики видят свою ошибку, но делать уже нечего, зло посреди них; вековое спокойствие нарушено навсегда или, по крайней мере, надолго.

А. М. Языков – В. Д. Комовскому, 1 окт. 1833 г. – Там же.

Отец мой и я ехали через Нижегородскую

губернию. На одной станции, по пути от Арзамаса до Лукоянова, в селе Шатках, отец мой, во время смены лошадей, вошел в станционную избу позавтракать, а я, не совсем еще освобожденный от слабости вследствие только что перенесенной желудочной болезни, остался в карете. Когда отец вошел в станционную избу, то тотчас обратил внимание на ходившего там из угла в угол господина. Это был Пушкин. Ходил он задумчиво, наконец позвал хозяйку и спросил у нее чего-нибудь пообедать, вероятно ожидая найти порядочные кушанья по примеру некоторых станционных домов на больших трактах. Хозяйка, простая крестьянская баба, с хладнокровием отвечала ему: «У нас ничего не готовили сегодня, барин». Пушкин все-таки, имея лучшее мнение о станционном дворе, спросил подать хоть щей да каши. «Батюшка, и этого нет, ныне постный день, я ничего не стряпала, кроме холодной похлебки». Пушкин, раздосадованный вторичным отказом бабы, остановился у окна и ворчал сам с собою: «Вот я всегда бываю так наказан, черт возьми! Сколько раз я давал себе слово запасаться в дорогу ка-

кой-нибудь провизией и вечно забывал и часто голодал, как собака». В это время отец мой приказал принести из кареты свой дорожный завтрак и вина и предложил Пушкину разделить с ним дорожный завтрак. Пушкин с радостью, по внушению сильным аппетитом, тотчас воспользовался предложением отца и скоро удовлетворил своему голоду, и когда, в заключение, запивал вином соленые кушанья, то просил моего отца хоть сказать ему, кого он обязан поблагодарить за такой вкусный завтрак, чтобы выпить за его здоровье дорожною флягою вина. Когда отец сказал ему свою фамилию, то он тотчас спросил, не родня ли я ему, назвавши меня по имени, и когда он узнал, что я сын его и что я сижу в карете, то с этим словом послано было за мною.

Отец мой прислал непременно звать меня войти в избу для какой-то особенной надобности. Едва я отворил дверь станционного приюта, весьма некрасивого, как Пушкин бросился мне на шею, и мы крепко обнялись после долгой разлуки. В это время мы провели вместе целые сутки. Пушкин заехал ко

мне в дом и с большим интересом рассказывал свежие впечатления о путешествии своем по Оренбургской губернии, только что возвратившись оттуда, где он собирал истор. памятники, устные рассказы многих свидетелей того времени стариков и старух о Пугачеве. Доверие, произведенное к себе этим историческим злодеем во многих невеждах, говорил Пушкин, до такой степени было сильно, что некоторые самовидцы говорили ему лично с полным убеждением, что Пугачев был не бродяга, а законный царь Петр III и что он только напрасно потерпел наказание от злобы и зависти людей. Пушкин в эти часы был чрезвычайно любезен, говорлив и весел. На покойного отца моего сделал он удивительное впечатление, так что он, вспоминая о Пушкине, часто говорил, что в жизнь свою он не встречал такого умного и очаровательного разговора, как у Пушкина.

К. И. Савостьянов – В. П. Горчакову. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXXVII, с. 149–151.

Въехав в границы болдинские, встретил я попов и так же озлился на них, как на сим-

бирского зайца. Недаром все эти встречи.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 2 окт. 1833 г., из Болдина.

Вот уже неделю, как я в Болдине, привожу в порядок мои Записки о Пугачеве, а стихи пока еще спят. Я что-то сегодня не очень здоров. Животик болит.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 8 окт. 1833 г., из Болдина.

Не мешай мне, не стражай меня, будь здорова, смотри за детьми, не кокетничай с царем... Я пишу, я в хлопотах, никого не вижу – и привезу тебе пропасть всякой всячины. Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних губерниях? Вот как описывают мои занятия: как Пушкин стихи пишет – перед ним стоит штоф славнейшей настойки – он хлоп стакан, другой, третий – и уж начнет писать! – Это слава!

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 11 окт. 1833 г., из Болдина.

Через Михайлу Иванова (болдинского старосту) крестьяне ваши совсем разорились;

в бытность же вашу прошлого года в вотчинах, крестьяне ваши хотели вам на его жаловаться и были уже на дороге, но он их встретил, не допустил до вас и наказал, и я обо всем оном действительно узнал не только от ваших крестьян, но и от посторонних, поблизости находящихся соседей.

К. Рейхман – Пушкину, 22 июня 1834 г. – Переписка Пушкина, т. III, с. 136.

Пушкин занимался по ночам; все на селе и в доме спят, а он пишет; он был живой, порывистый, вскочит и ходит, ходит из угла в угол задумчиво, заложив руку за спину; вдруг садится к столу и пишет, пишет; всегда перед ним на столе чай с ромом в бокале... Ходит, подойдет, – выпьет глоток, опять ходит, вдруг к столу и пишет, пишет...

Был у Пушкина в Болдине лакей, из болдинских крепостных, по фамилии Торгашев. Пушкин часто беседовал с ним, шутил, брал с собою на прогулки. Один раз Пушкин обратился к нему со словами: «Торгашев, остриги меня, сними усы и бороду», – потом засмеялся и пригласил его с собой ехать верхом в «Лу-

чинник» (рощу). Но едва они успели завернуть за гумно, – откуда-то взялся заяц и перебежал дорогу. Пушкин тотчас же вернулся домой. Дело было лунной ночью; Пушкин любил в такие ночи ездить в «Лучинник» (в двух верстах от Болдина).

Однажды Пушкин пригласил к себе причт отслужить молебен (было ли это в храмовой праздник 8 ноября или в какой-нибудь «фамильный» день, неизвестно), а после молебна предложил чай и закуску; когда члены причта уселись за столы, он вынул из кармана тетрадку и начал читать «насмешливые» (сатирические) стихи на духовенство.

К. С. Раевский (болдинский диакон); со слов его сына Ф. К. Раевского записал А. И. Звездин. – А. И. Звездин. О болдинском имении Пушкина, с. 23–24.

Вчера такое горе взяло, что и не запомню, чтоб на меня находила такая хандра... Я работаю лениво, через пень-колоду валю. Все эти дни голова болела, хандра грызла меня. Нынче легче. Начал многое, но ни к чему нет охоты; бог знает, что со мною делается. Старам

стала, и умом плохам! Приеду оживиться твоею молодостью. Но не жди меня прежде конца ноября; не хочу к тебе с пустыми руками явиться; взялся за гуж, не скажу, что не дюж.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 21 окт. 1833 г., из Болдина.

Я не ревнив, да и знаю, что ты во все тяжкое не пустишься; но ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московской барышнею, все, что не *comme il faut*, все, что *vulgar*... Если при моем возвращении я найду, что твой милый, простой, аристократический тон изменился, разведусь, вот-те Христос, и пойду в солдаты с горя. Ты спрашиваешь, как я живу и похорошел ли я? Во-первых, отпустил я себе бороду; *Ус да борода – молодцу похвала; выйду на улицу, дядюшкой зовут.* 2) Просыпаюсь в 7 часов, пью кофе, и лежу до 3-х часов. Недавно расписался и уже написал пропасть. В 3 часа сажусь верхом, в 5 – в ванну, и потом обедаю картофелем да грешневой кашей. До 9 часов читаю. Вот тебе мой день, и все на одно лицо.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 30 окт. 1833 г., из

Болдина.

Головная боль, хозяйственные хлопоты, лень – барская, помещичья лень так одолели меня, что не приведи боже.

Пушкин – кн. В. Ф. Одоевскому, 30 окт. 1833 г., из Болдина.

Я скоро выезжаю, но несколько времени останусь в Москве по делам. Женка, женка! я езжу по большим дорогам, живу по 3 месяца в степной глуши, останавливаюсь в пакостной Москве, которую ненавижу, для чего? Для тебя: чтоб ты была спокойна и блистала себе на здоровье, как прилично в твои лета и с твоею красотою. Побереги же и ты меня. К хлопотам, неразлучным с жизнью мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных, ревности и т.д.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 6 нояб. 1833 г., из Болдина.

Сим имею честь донести, что г. Пушкин пребывание имел Лукояновского уезда в селе Болдине, имеющем расстояние от вверенного

мне уезда не более трех верст, во все время пребывания его, как известно мне, занимался единственно только одним сочинением, ни к кому господам не ездил и к себе никого не принимал, в жизни его предосудительного ничего не замечено, а сего 9 числа он, Пушкин, отправился чрез Москву в С.-Петербург.

Сергачский земский исправник *Званцов* в донесении гр. *М. П. Бутурлину*, 11 нояб. 1833 г. – Известия, 1934 г., № 245.

(1833 г., середина ноября?) Когда Пушкин проезжал через Москву, его никто почти не видал. Он никуда не показывался, потому что ехал с бородой, в которой ему хотелось показаться жене.

П. В. Киреевский – *Н. М. Языкову*, от 17 янв. 1834 г. – Историч. Вестн., т. XIV, с. 538.

Познакомилась я с Пушкиным в Москве, в доме отца моего, А. Нарского. Это было в 1834 году[169], когда я была объявлена невестой П. В. Нащокина, впоследствии моего мужа. Привез его к нам в дом мой жених. Своею наружностью и простыми манерами, в которых, од-

нако, сказывался прирожденный барин, Пушкин сразу расположил меня в свою пользу. Несколько минут разговора с ним было достаточно, чтобы робость и волнение мои исчезли. Пушкин был невысок ростом, шатен, с сильно вьющимися волосами, с голубыми глазами необыкновенной привлекательности. Я видела много его портретов, но должна сознаться, что ни один из них не передал и сотой доли духовной красоты его облика — особенно его удивительных глаз. Это были особые поэтические задушевные глаза, в которых отражалась вся бездна дум и ощущений, переживаемых его душой. Других таких глаз я за всю мою долгую жизнь ни у кого не видала. Говорил он скоро, острил всегда удачно, был необыкновенно подвижен, весел, смеялся заразительно и громко, показывая два ряда ровных зубов, с которыми белизной могли равняться только перлы. На пальцах он отращивал предлинные ногти. В первое свое посещение Пушкин довольно долго просидел у нас и почти все время говорил со мной (одной). Когда он уходил, мой жених, с улыбкой кивая на меня, спросил его:

– Ну что, позволяешь на ней жениться?

– Не позволяю, а приказываю, – ответил Пушкин.

В объяснение я должна сказать следующее: в молодости, будучи холостыми, они жили в Москве на одной квартире и во всех важных вопросах жизни всегда советовались друг с другом. Так, когда Пушкин задумал жениться на Н. Н. Гончаровой, то спросил Нащокина, что он думает о его выборе? Тот посоветовал жениться. Когда несколько лет спустя Нащокину предстояло сделать то же, он привез своего друга в дом моего отца, чтобы поэт познакомился со мною и высказал свое мнение.

В. А. Нащокина. Воспоминания. – Новое Время, 1898, № 8115, ил. прил.

При выезде моем из Москвы, Гаврила мой так был пьян и так меня взбесил, что я велел ему слезть с козел и оставил его на большой дороге в слезах и истерике; но это все на меня не подействовало. Дома нашел я все в порядке. Жена была на бале, я за нею поехал – и увез к себе, как улан уездную барышню с име-

нин Городничихи. Денежные мои обстоятельства без меня запутались, но я их думаю распутать.

Пушкин – П. В. Нащокину, 24 нояб. 1833 г., из Петербурга.

Возвратившись в Петербург, Пушкин не застал жену дома. Она была на бале у Карамзиных. Ему хотелось видеть ее возможно скорее и своим неожиданным появлением сделать ей сюрприз. Он едет к квартире Карамзиных, отыскивает карету Натальи Николаевны, садится в нее и посылает лакея сказать жене, чтобы она ехала домой по очень важному делу, но наказал отнюдь не сообщать ей, что он в карете. Посланный возвратился и доложил, что Наталья Николаевна приказала сказать, что она танцует мазурку с кн. Вяземским. Пушкин посылает лакея во второй раз сказать, чтобы она ехала домой безотлагательно. Наталья Николаевна вошла в карету и прямо попала в объятия мужа. Поэт об этом факте писал нам и, помню, с восторгом упоминал, как жена его была авантажна в этот вечер в своем роскошном розовом платье.

В. А. Нащокина. Воспоминания. – Новое
Время, 1898, № 8122.

Однажды вечером, в ноябре 1833 г., я пришел к В. Ф. Одоевскому... Вдруг, – никогда этого не забуду, – входит дама, стройная, как пальма, в платье из черного атласа, доходящем до горла (в это время был придворный траур). Это была жена Пушкина, первая красавица того времени. Такого роста, такой осанки я никогда не видывал! Благородные, античные черты ее лица напоминали мне Евтерпу Луврского Музея. Князь Григорий (*Волконский*) подошел ко мне, шепнул на ухо: «Не годится слишком на нее засматриваться»... Я собрался с духом и сел около Пушкина. К моему удивлению, он заговорил со мною очень ласково: должно быть, был в хорошем расположении духа. Гофмана фантастические сказки в это самое время были переведены на французский язык и сделались известны в Петербурге. Пушкин только и говорил, что про Гофмана. Наш разговор был оживлен и продолжался долго. «Одоевский пишет тоже фантастические пьесы», – сказал Пушкин с

неподражаемым сарказмом в тоне. Я возразил совершенно невинно: – «К несчастью, мысль его не имеет пола», и Пушкин неожиданно показал мне весь ряд своих прекрасных зубов: такова была его манера улыбаться.

(В. В. Лениц). Приключения лифляндца в Петербурге. – Рус. Арх., 1878, т. I, с. 441–442.

На вечерах Одоевского бывал, и довольно часто, Пушкин, на которого молодые литераторы с благоговением выглядывали издалека, потому что он всегда сидел в кругу светских людей и дам, и князь Вяземский, появлявшийся обыкновенно часа в два ночи.

И. И. Панаев. Литер. воспоминания. – И. И. Панаев. Полн. собр. соч., т. VI, с. 93.

(3 дек. 1833 г.) Вчера Гоголь читал мне сказку «Как Ив. Ив. поссорился с Ив. Тимоф» (Никифоровичем), – очень оригинально и очень смешно.

Пушкин. Дневник.

Пушкин привез с собою из Болдина, по слухам, три новых поэмы. Смирдин, возвратив-

шись при мне от него в свою лавку, с при-
скорбием жаловался на него: за эти три пьес-
ки, в которых-де не более трех печатных ли-
стов будет, требует Александр Сергеевич 15
000 руб. У этого барона не дурна фантазия! Он
же написал какую-то повесть в прозе: или
«Медный Всадник» или «Холостой выстрел»,
не помню хорошенько. Одна из этих пьес про-
зой, другая – в стихах[170].

*В. Д. Комовский – А. М. Языкову, 10 дек. 1833
г. – Историч. Вестн., 1883, № 12, с. 538.*

Пушкин привез с собою несколько тысяч
новых стихов, в двух или трех маленьких по-
эмах, и поделился с нами своею странниче-
скою котомкою.

*Кн. П. А. Вяземский – И. И. Дмитриеву, 23
дек. 1833 г., из Петербурга. – Рус. Арх., 1868, с.
635.*

Упомяну, что я слышала в 40 году от книго-
продавца Смирдина.

– Я пришел к А. С-чу за рукописью и при-
нес деньги-с: он поставил мне условием, что-
бы я всегда платил золотом, п.ч. их супруга,

кроме золота, не желала брать других денег в руки. Вот А. С. мне и говорит, когда я вошел в кабинет: «Рукопись у меня взяла жена, идите к ней, она хочет сама вас видеть», и повел меня; постучались в дверь; она ответила «входите». А. С. отворил двери, а сам ушел... «Я вас для того призвала к себе, – сказала она, – чтобы вам объявить, что вы не получите от меня рукописи, пока не принесете мне сто золотых вместо пятидесяти. Мой муж дешево продал вам свои стихи. В шесть часов принесите деньги, тогда получите рукопись... Прощайте»... Я поклонился, пошел в кабинет к А. С-чу и застал его сидящим у письменного стола с карандашом в одной руке, которым он проводил черту по листу бумаги, а другой рукой подпирал голову, и они сказали мне: «Что? С женщиной труднее поладить, чем с самим автором? Нечего делать, надо вам ублажить мою жену; ей понадобилось заказать новое бальное платье, где хочешь, подай денег... Я с вами потом сочтусь».

– Что же, принесли деньги в шесть часов? – спросил Панаев.

– Как же было не принести такой даме?

А. Я. Головачева-Панаева. Воспоминания, с. 247.

Смирдин платил Пушкину по 11 р. за стих и 1000 заплатил за «Гусара». – Смирдин предлагал 2000 в год Пушкину, лишь бы писал, что хотел.

П. В. Анненков. Записи. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 340.

Будучи в Петербурге, я посетил одного литератора и застал у него Пушкина. Поэт читал ему свою балладу «Будрыс и его сыновья». Хозяин чрезвычайно хвалил этот прекрасный перевод. «Я принимаю похвалу вашу, – сказал Пушкин, – за простой комплимент. Я не доволен этими стихами. Тут есть многие недостатки». – «Например?» – «Например, Полячка *младая*». – «Так что ж?» – «Это небрежность, надобно было сказать *молодая*, но я поленился переделать три стиха для одного слова». Но хозяин утверждал, что это прекрасно. Пушкин никак с ним не соглашался и ушел, уверяя, что все подобные отступления от насто-

ящего русского языка «лежат у него на совети».

О. И. Сенковский. Собр. соч. СПб., 1859, т. 8, с. 233.

За эпоху 1833–1834 гг. встречается довольно много шуточных стихотворений в бумагах кн. Вяземского, между ними и стихотворения, которые Мятлев назвал «Poe'sies maternelles». Этому шуточному направлению кн. Вяземский и Пушкин с особенно выдающимся рвением предавались в 33–34 года, как будто с горем, что им не удалось устроить серьезный орган для пропагандирования своих мыслей.

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 542.

В числе поклонников моей бабушки М. Р. Кикиной были мечтательный кн. Одоевский, адмирал Дюгамель и А. С. Пушкин, к которому не особенно благоволила бабушка за его безосновательную ревность к очаровательной жене Н. Н., принужденной иногда среди фигуры *lancier* покидать бал по капризу мужа.

П. А. Кикин с увлечением рассказывал,

что, пригласив однажды на lancier очаровательную Н. Н. Пушкину, находил удовольствие изводить бросавшего на него негодующие взгляды стоявшего неподалеку ревнивого поэта. Наталья Николаевна, в изящном туалете, с классической прической, необыкновенно грациозная, была в этот вечер особенно привлекательна. Пушкин на этот раз был так благодушно настроен, что не увез жену с вечера.

М. М. Марина. В дворянском гнезде на Арбате. – Рус. Стар., 1909, т. 140, с. 581, 583.

В придворном плену

Служащего в министерстве ин. дел. тит. сов. Александра Пушкина всемилостивейше пожаловали мы в звание камер-юнкера двора нашего.

Высочайший указ придворной конторе от 31 дек. 1833 г. – Н. А. Гастфрейнд, с. 37.

1 января 1834 г. Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове... Ме-

ня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством? Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным – а по мне, хоть в камер-пажи, только б не заставили меня учиться французским vocabулам и арифметике.

Пушкин. Дневник.

Друзья, Виельгорский и Жуковский, должны были обливать холодной водою нового камер-юнкера: до того он был взволнован этим пожалованием! Если б не они, он, будучи вне себя, разгоревшись, с пылающим лицом, хотел идти во дворец и наговорить грубостей самому царю. (Пустяки: Пушкин был слишком благовоспитан. *Примеч. Соболевского на полях.*) Многие его обвиняли в том, будто он домогался камер-юнкерства. Говоря об этом, он сказал Нащокину, что мог ли он добиваться, когда три года до этого сам Бенкендорф предлагал ему камергера, желая его ближе иметь к себе, но он отказался, заметив: «Вы хотите, чтоб меня так же упрекали, как Вольтера».

П. И. Бартенев со слов П. В. Нащокина. Рас-

Император Николай I желал, чтобы Пушкина, блистающая молодостью и красотой, появлялась на придворных вечерах и балах. Однажды, заметив ее отсутствие, он спросил, какая тому причина? Ему сказали, что так как муж ее не имеет права посещать эти вечера, то понятно, он не пускает и жену свою. И вот, чтобы сделать возможным присутствие Пушкиной, вместе с мужем, государь решил дать ему звание камер-юнкера. Некоторые из противников Пушкина распускали слух и даже печатали, что Пушкин интригами и лестью добился этого звания. Но вот что рассказал мне брат его Лев Сергеевич, которого чуть не каждую неделю посещал я в Одессе. «Брат мой, – говорил он, – впервые услышал о своем камер-юнкерстве на балу у гр. А. Ф. Орлова. Это взбесило его до такой степени, что друзья его должны были отвести его в кабинет графа и там всячески успокаивать. Не нахожу удобным повторить здесь всего того, что говорил, с пеной у рта, разгневанный поэт по поводу его назначения...»

Я. П. Полонский. Кое-что о Пушкине. — Cosmopolis, 1898, март, с. 109–200.

Пушкина сделали камер-юнкером; это его взбесило, ибо сие звание точно было неприлично для человека 34 лет, и оно тем более его оскорбило, что иные говорили, будто оно было дано, чтоб иметь повод приглашать ко двору его жену. Притом на сей случай вышел мерзкий пасквиль, в котором говорили о перемене чувств Пушкина, будто он сделался искателем, малодушен, и он, дороживший своею славою, боялся, чтоб сие мнение не было принято публикою и не лишило его народности. Словом, он был огорчен и взбешен и решился не воспользоваться своим мундиром, чтоб ездить ко двору, не шить даже мундира. В этих чувствах он пришел к нам однажды. Жена моя, которую он очень любил и очень уважал, и я стали опровергать его решение, представляя ему, что пожалование в сие звание не может лишить его народности, ибо все знают, что он не искал его; что его нельзя было сделать камергером по причине чина его; что натурально двор желал иметь

возможность приглашать его и жену его к себе, и что государь пожалованием его в сие звание имел в виду только иметь право приглашать его на свои вечера, не изменяя старому церемониалу, установленному при дворе. Долго спорили, убеждали мы Пушкина; наконец полуубедили. Он отнекивался только неимением мундира, и что он слишком дорого стоит, чтоб заказать его. На другой день, узнав от портного о продаже нового мундира князя Витгенштейна, перешедшего в военную службу, и что он совершенно будет в пору Пушкину, я ему послал его, написав, что мундир мною куплен для него, но что представляется его воле взять его или ввергнуть меня в убыток, оставив его на моих руках. Пушкин взял мундир и поехал ко двору.

Н. М. Смирнов. Памятные заметки. — Рус.Арх., 1882, т. I, с. 239.

Сообщу вам новость: Александр назначен камер-юнкером. Натали в восторге, потому что это открывает ей доступ ко двору; в ожидании этого она танцует повсюду каждый день.

Н. О. Пушкина – бар. Е. Н. Вревской, 4 янв. 1834 г., из Петербурга. – Рус. Вестн., 1869, т. 84, с. 90 (фр.).

Государь сказал княгине Вяземской: «Я надеюсь, что Пушкин принял в хорошую сторону свое назначение – до сих пор он держал мне свое слово и я был им доволен» и т.д. и т.д. Великий князь намерен поздравил меня в театре: «Покорнейше благодарю, ваше высочество; до сих пор все надо мною смеялись, вы первый меня поздравили».

Пушкин. Дневник, 7 янв. 1834 г. (фр.-рус.).

Пушкин крепко боялся дурных шуток над его неожиданным камер-юнкерством, но теперь успокоился, ездит по балам и наслаждается торжественною красотою жены, которая, несмотря на блестящие успехи в свете, часто и преискренно страдает мучением ревности, потому что посредственная красота и посредственный ум других женщин не перестают кружить поэтическую голову ее мужа.

С. Н. Карамзина (дочь историка) – И. И. Дмитриеву, 20 янв. 1834 г. – Письма Карамзи-

на к Дмитриеву. СПб., 1866, с. 439 (датировка письма см.: Пушкин и его совр-ки, вып. ХХІХ–ХХХ, с. 33).

Нужно сознаться, Пушкин не любил камер-юнкерского мундира. Он не любил в нем не придворную службу, а мундир камер-юнкера. Несмотря на мою дружбу к нему, я не буду скрывать, что он был тщеславен и суетен. Ключ камергера был бы отличием, которое бы он оценил, но ему казалось неподходящим, что в его годы, в середине его карьеры, его сделали камер-юнкером наподобие юношей и людей, только что вступающих в общество. Вот вся истина об его предубеждениях против мундира. Это происходило не из оппозиции, не из либерализма, а из тщеславия и личной обидчивости.

Кн. П. А. Вяземский – вел. кн. Михаилу Павловичу, 14 февр. 1837 г. – Рус. Арх., 1879, т. I, с. 390.

(Январь 1834 г., в Петербурге.) Сидя в Демутовом доме, у Н. Н. Раевского, я изъявил сожаление, что не знал еще лично Пушкина. Он

жил неподалеку. Раевский послал его просить, и, к живому удовольствию моему, Пушкин пришел. Мы обедали и провели несколько часов втроем. К досаде моей, Пушкин часто сбивался на французский язык, а мне нужно было его чистое, поэтическое русское слово. Русской плавной, свободной речи от него я что-то не припомню; он как будто сам в себя вслушивался. Вообще пылкого, вдохновенного Пушкина уже не было. Какая-то грусть лежала на его лице.

Гр. П. Х. Граббе. Из памятных записок. — Рус. Арх., 1873, т. I, с. 785.

Несмотря на задетое честолюбие (*пожалованием в камер-юнкеры*), Пушкин был постоянно весел и принимал живое участие, по крайней мере, в интимном кружке. Что касается крайней раздражительности Пушкина в сношениях с приятелями, то я, в течение десяти лет, видя его иногда почти каждый день, был свидетелем одной только его неприличной выходки. В 1833 или 1834 году после обеда у моего отца много ораторствовал старый приятель Пушкина Раевский, сколько пом-

нится, Николай, человек вовсе отцу моему не близкий и редкий гость в Петербурге. Пушкин с заметным нетерпением возражал Раевскому; выведенный как будто из терпения, чтобы положить конец разговору, Пушкин сказал Раевскому:

– На что Вяземский снисходительный человек, а и он говорит, что ты невыносимо тяжел.

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 543.

Бал у графа Бобринского один из самых блистательных. Государь мне о моем камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его. Говоря о моем Пугачеве, он сказал мне: «Жаль, что я не знал, что ты о нем пишешь; я бы тебя познакомил с его сестрицей, которая тому три недели умерла в крепости» (с 1774-го года!). Правда, она жила на свободе в предместьи, но далеко от своей донской станции, на чужой, холодной стороне. Государыня спросила у меня, куда я ездил летом. Узнав, что в Оренбург, осведомила о Перовском с большим добродушием.

Пушкин. Дневник, 17 янв. 1834 г.

Представление Натали ко двору прошло с огромным успехом, – только о ней и говорят. На балу у Бобринских император танцевал с ней, а за ужином он сидел рядом с нею. Говорят, что на Аничковом балу она была восхитительна. Итак, наш Александр, не думав об этом никогда, оказался камер-юнкером. Он собирался уехать с женой на несколько месяцев в деревню, чтобы сократить расходы, а теперь вынужден будет на значительные траты.

Н. О. Пушкина – О. С. Павлицевой, 26 янв. 1834 г. – Литер. Наследство, т. 16–18, с. 784.

Император Николай был очень живого и веселого нрава, а в тесном кругу даже и шаловлив. При дворе весьма часто бывали, кроме парадных балов, небольшие танцевальные вечера, преимущественно в Аничкинском дворце, составлявшем личную его собственность еще в бытность великим князем. На эти вечера приглашалось особое привилегированное общество, которое называли в свете «аничковским обществом» и которого

состав, определявшийся не столько лестницею служебной иерархии, сколько приближенностью к царственной семье, очень редко изменялся. В этом кругу оканчивалась обыкновенно Масленица и на прощание с нею в *folle journe'e* [172], завтракали, плясали, обедали и потом опять плясали. В продолжение многих лет принимал участие в танцах и сам государь, которого любимыми дамами были: Бутурлина, урожденная Комбурлей, княгиня Долгорукая, урожд. графиня Апраксина, и позже жена поэта Пушкина, урожденная Гончарова.

Гр. М. А. Корф. Из записок. – Рус. Стар., 1899, т. 99, с. 8.

В прошедший вторник зван я был в Аничков. Приехал в мундире. Мне сказали, что гости во фраках – я уехал, оставя Наталью Николаевну, и, переодевшись, отправился на вечер к С. В. Салтыкову. Государь был недоволен и несколько раз принимался говорить обо мне: «Он мог бы потрудиться переодеться во фрак и воротиться, передайте ему мое неудовольствие».

Барон д'Антес и маркиз де Пина, два шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет.

В четверг бал у кн. Трубецкого. Государь приехал неожиданно. Был на полчаса. Сказал жене: «В прошлый раз муж ваш не приехал из-за ботинок или из-за пуговиц?» (Мундирные пуговицы.) Старуха графиня Бобринская извиняла меня тем, что у меня не были они нашиты.

Пушкин. Дневник, 26 янв. 1834 г. (рус.-фр.).

Дантес приехал в Петербург в 1833 г. и обратил на себя презрительное внимание Пушкина. Принятый в кавалергардский полк, он до появления приказа разъезжал на вечера в черном фраке и серых рейтузах с красной выпушкой, не желая на короткое время заменять изношенные штаны новыми.

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 558.

Дантес носил на руке перстень с именем Генриха IV (пятого; внука франц. короля Карла X, свергнутого июльской революцией) и любил показывать его. Он был сначала так бе-

ден, что сидел большею частью дома. Императрица Александра Федоровна, шеф кавалергардов, назначила ему денег из своей шкатулки.

П. И. Бартенев. – Русский Арх., 1906, т. III, с. 619.

Удостоился я лицезреть супругу А. Пушкина, о красоте коей молва далеко разнеслась. Как всегда это случается, я нашел, что молва увеличила многое. Самого же поэта я нашел малоизменившимся от супружества, но сильно негодующим на царя за то, что он одел его в мундир, его, написавшего теперь повествование о бунте Пугачева и несколько новых русских сказок. Он говорит, что он возвращается к оппозиции, но это едва ли не слишком поздно; к тому же ее у нас нет, разве только в молодежи.

Ал. Н. Вульф. Дневник, 19 февр. 1834 г. – Л. Н. Майков, с. 208.

Вообрази, что жена моя на днях чуть не умерла. Нынешняя зима была ужасно изобильна балами. На Маслянице танцевали

уж два раза в день. Наконец настало последнее воскресение перед великим постом. Думаю: слава богу! балы с плеч долой! Жена во дворце. Вдруг, смотрю – с нею делается дурно, – я увожу ее, и она, приехав домой, – выкидывает. Теперь она (чтоб не сглазить), слава богу, здорова и едет на днях в Калужскую деревню к сестрам, которые ужасно страдают от капризов моей тещи. Обстоятельства мои затруднились еще вот по какому случаю: на днях отец мой посылает за мною. Прихожу – нахожу его в слезах, мать в постели – весь дом в ужасном беспокойстве. «Что такое?» – «Имение описывают». – «Надо скорее заплатить долг». – «Уж долг заплачен. Вот и письмо управителя». – «О чем же горе?» – «Жить нечем до октября». – «Поезжайте в деревню». – «Не с чем». – Что делать? Надобно взять имение в руки и отцу назначить содержание. Новые долги, новые хлопоты! А надобно: я желал бы и успокоить старость отца, и устроить дела брата Льва. Вот тебе другие новости: я камер-юнкер с января месяца. Конечно, сделав меня камер-юнкером, государь думал о моем чине, а не о моих летах – и верно не ду-

мал уж меня кольнуть.

Пушкин – П. В. Нащокину, в нач. марта 1834 г., из Петербурга.

От Сидонского услышал я забавный анекдот о том, как Филарет жаловался Бенкендорфу на один стих Пушкина в «Онегине», там, где он, описывая Москву, говорит: «и стая галок на крестах». Здесь Филарет нашел оскорбление святыни. Цензор, которого призывали к ответу по этому поводу, сказал, что галки, сколько ему известно, действительно, садятся на крестах московских церквей, но что, по его мнению, виноват здесь всего более московский полицмейстер, допускающий это, а не поэт и цензор. Бенкендорф отвечал учтиво Филарету, что это дело не стоит того, чтобы в него вмешивалась такая почтенная духовная особа: «еже писах, писах».

Сегодня было большое собрание литераторов у Греча. Здесь находилось, я думаю, человек семьдесят. Предмет заседания – издание энциклопедии на русском языке. Это предприятие типографщика А. А. Плюшара. В нем приглашены участвовать все сколько-нибудь

известные ученые и литераторы. Греч открыл заседание маленькою речью о пользе этого труда и прочел программу энциклопедии. Затем каждый подписывал свое имя на приготовленном листе под наименованием той науки, по которой намерен представить свои труды. Пушкин и кн. В. Ф. Одоевский сделали маленькую неловкость, которая многим не понравилась, а иных и рассердила. Все присутствующие, в знак согласия, просто подписывали свое имя, а те, которые не согласны, просто не подписывали. Но князь Одоевский написал: «Согласен, если это предприятие и условия оно будут сообразны с моими предположениями». А Пушкин к этому прибавил: «С тем, чтобы моего имени не было выставлено». Многие приняли эту щепетильность за личное оскорбление.

А. В. Никитенко. Дневник, 16 марта 1834 г. – А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. I, с. 239.

Вчера было совещание литературное у Греча об издании русского энциклопедического словаря. Нас было человек со сто, большею

частью неизвестных мне русских великих людей. Греч сказал мне предварительно: «Плюшар в этом деле есть шарлатан, а я паяс: пью его лекарство и хвалю его». Так и вышло. Я подсмотрел много шарлатанства и очень мало толку. Предприятие в миллион, а выгоды... Не говорю уже о чести. Охота лезть в омут, где полощутся Булгарин, Полевой и Свиньин. Гаевский подписался, но с условием. Князь Одоевский и я последовали его примеру.

Пушкин. Дневник, 17 марта 1834 г.

Кн. Одоевский, д-р Гаевский, Зайцевский и я выключены из числа издателей Энциклопедического словаря. Прочие были обижены нашею оговоркою; но честный человек, говорит Одоевский, может быть однажды обманут; но в другой раз обманут только дурака. Этот лексикон будет не что иное, как Северная Пчела и Библиотека для Чтения, в новом порядке и объеме.

Пушкин. Там же, 2 апр. 1834 г.

Моя «Пиковая дама» в большой моде, – иг-

роки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Нат. Петр. Голицыной и, кажется, не сердятся.

Гоголь по моему совету начал историю русской критики.

Пушкин. Там же, 7 апр. 1834 г.

Представлялся. Ждали царицу часа три. Нас было человек двадцать... Я по списку был последний. Царица подошла ко мне смеясь: «Нет, это курьезно! Я ломала себе голову, что это за Пушкин будет мне представлен. Оказывается, это вы!.. Как поживает ваша жена? Ее тетя с большим нетерпением ждет, когда она поправится, – дочь ее сердца, ее приемная дочь»... и перевернулась.

Пушкин. Там же, 8 апр. 1834 г. (*фр.-рус.*).

(1 апр. 1834 г.) Случилось нечто, расстроившее меня с Пушкиным. Он просил меня рассмотреть его «Повести Белкина», которые он хочет печатать вторым изданием. Я ответил ему следующее: «С душевным удовольствием готов исполнить ваше желание теперь и все-

гда. Да благословит вас гений ваш новыми вдохновениями, а мы готовы (Что сказать? – Обрезать крылья ему? По крайней мере, рука моя не злоупотребит этим). Потрудитесь мне прислать все, что означено в записке вашей, и уведомьте, к какому времени вы желали бы окончание этой тяжбы политического механизма с искусством, говоря просто, «процензурованья» и т.д. Между тем, к нему дошел его «Анджело» с несколькими, урезанными министром стихами. Он взбесился: Смирдин платит ему за каждый стих по червонцу, следовательно, Пушкин теряет здесь несколько десятков рублей. Он потребовал, чтобы на место исключенных стихов были поставлены точки, с тем, однако ж, чтобы Смирдин все-таки заплатил ему деньги и за точки!

(14 апр.) Был у Плетнева. Он начал бранить, и довольно грубо, Сенковского за статьи его, помещенные в «Библиотеке для Чтения», говоря, что они написаны для денег и что Сенковский грабит Смирдина. «Что касается до грабежа, – возразил я, – то могу вас уверить, что ни один из знаменитых наших литераторов не уступит в том Сенковскому». Он

понял и замолчал.

А. В. Никитенко. Дневник. – А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. I, с. 241.

Пушкин в то время был уже женат, камер-юнкер и много ездил в большой свет и ко двору, сопровождая свою красавицу жену. Этот образ жизни часто был ему в тягость, и он жаловался друзьям, что это не только не согласуется с его наклонностями и призванием, но ему и не по карману. Часто забегал он к моим родителям, оставался, когда мог, обедать и, как школьник, радовался, что может провести несколько часов в любимом кружке искренних друзей. Тогда он превращался в прежнего Пушкина; лились шутки и остроты, раздавался его заразительный смех, и всякий раз он оставлял после себя долгий след самых приятных, незабвенных воспоминаний. Однажды после обеда, когда перешли в кабинет и Пушкин, закулив сигару, погрузился в кресло у камина, матушка начала ходить взад и вперед по комнате. Пушкин долго и молча следил за ее высокою и стройною фигурою и наконец воскликнул: «Ах, Софья Федоровна,

как посмотрю я на вас и на ваш рост, так мне все и кажется, что судьба меня, как лавочник, обмерила». А матушка была, действительно, необыкновенного для женщины роста (2 арш. 81/2 вершков).

Ф. И. Тимирязев. Страницы прошлого. – Рус. Арх., 1884, т. I, с. 313.

А. С-вич однажды пришел к своему приятелю И. С. Тимирязеву. Слуга сказал ему, что господа ушли гулять, но скоро возвратятся. В зале у Тимирязевых был большой камин, а на столе лежали орехи. Перед возвращением Тимирязевых домой Пушкин взял орехов, залез в камин и, скорчившись обезьяною, стал их щелкать. Он любил такие проказы.

П. И. Бартенев со слов *С. Ф. Тимирязевой*. – Рус. Арх., 1899, т. II, с. 355.

Третьего дня возвратился из Царского Села в 5 часов вечера, нашел на своем столе два билета на бал 29 апреля и приглашение явиться на другой день к Литте (*обер-камергер*); я догадался, что он собирается мыть мне голову за то, что я не был у обедни. В самом

деле, в тот же вечер узнаю от забежавшего ко мне Жуковского, что государь был недоволен отсутствием многих камергеров и камер-юнкеров и что он велел нам это объявить. Я извинился письменно. Говорят, что мы будем ходить попарно, как институтки. Вообрази, что мне с моей седой бородкой придется выступать с Безобразовым или Реймарсом – ни за какие благополучия... Поутру сидел я в моем кабинете, читая Гримма, как явился ко мне Соболевский с вопросом, где мы будем обедать? Тут вспомнил я, что я хотел говеть, а между тем уж оскоромился. Делать нечего, решились отобедать у Дюме, и покаместь стали приводить в порядок библиотеку, тетка приехала спросить о тебе и, узнав, что я в халате и оттого к ней не выхожу, сама вошла ко мне. Потом явился я к Дюме, где появление мое произвело общее веселие: холостой, холостой Пушкин! Стали подчивать меня шампанским и пуншем и спрашивать, не поеду ли я к Софье Астафьевне (*содержательнице великосветского дома терпимости*). Все это меня смутило, так что я к Дюме шлаться уже более не намерен и обедаю сегодня дома, за-

казав Степану ботвинью и beafsteaks. Вечер провел я дома, сегодня проснулся в 7 часов.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 17 апр. 1834 г., из Петербурга.

Однажды Пушкин шел по Невскому проспекту с Соболевским. Я шел с ними, восхищаясь обоими. Вдруг за Полицейским мостом заколыхался над коляской высокий султан. Ехал государь. Пушкин и я повернули к краю тротуара, тут остановились и, сняв шляпы, выждали проезда. Смотрим, Соболевский пропал. Он тогда только что вернулся из-за границы и носил бородку и усы цветом ярко-рыжие[173]. Заметив государя, он юркнул в какой-то магазин, точно в землю провалился. Это было у Полицейского моста. Мы стоим, озираемся, ищем. Наконец, видим, Соболевский, с шляпой набекрень, в полуфраке изумрудного цвета, с пальцем, задетым под мышкой за выемку жилета, догоняет нас, горд и величав, черту не брат. Пушкин рассмеялся своим звонким, детским смехом и покачал головою: «Что, брат, бородка-то французская, а душонка-то все та же русская?»

Гр. В. А. Сологуб. Пережитые дни. – Рус. Мир, 1874, № 117.

Я сижу дома, обедаю дома, никого не вижу, а принимаю только Соболевского; третьего дня сыграл я славную штуку со Львом Сергеевичем (*брат Пушкина*). Соболевский, будто ненарочно, зовет его ко мне обедать. Лев Серг. является. Я перед ним извинился, как перед гастрономом, что, не ожидая его, заказал себе только ботвинью да beafsteaks. Лев Серг. тому и рад. Садимся за стол, подают славную ботвинью; Лев Серг. хлебает две тарелки, убирает осетрину; наконец требует вина, ему отвечают: нет вина. «Как нет? Александр Сергеевич не приказал на стол подавать». И я объявляю, что с отъезда Натальи Николаевны я на диете – и пью воду. Надобно было видеть отчаяние и сардонический смех Льва Сергеевича, который уж ко мне, вероятно, обедать не явится. Во все время Соболевский подливал себе воду то в стакан, то в рюмку, то в длинный бокал и потчивал Льва Серг., который чинился и отказывался. Вот тебе пример моих невинных упражнений.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 19 апр. 1834 г., из Петербурга.

Соболевский прибавляет, что Лев Сергеевич рассердился. Этого Соболевского Наталья Николаевна не очень жаловала.

П. В. Анненков со слов вдовы поэта. Записи. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 365.

Я репортуюсь больным и боюсь царя встретить. Все эти праздники просижу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен; царствие его впереди, и мне, вероятно, его не видать. Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю: от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим теской; с моим теской я не ладил. Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями.

Воскресенье. Нынче великий князь прися-

гал; я не был на церемонии, потому что ре-
портуюсь больным, да и в самом деле не
очень здоров.

*Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 20–22 апр. 1834 г.,
из Петербурга.*

У меня голова кругом идет. Не рад жизни,
что взял имение; но что же делать? Не для ме-
ня, так для детей. Сюда ожидают прусского
принца и много других гостей. Надеюсь не
быть ни на одном празднике. Одна мне и есть
выгода от отсутствия твоего, что не обязан на
балах дремать да жрать мороженое.

*Пушкин – Н. Н. Пушкиной, в перв. пол. мая
1834 г., из Петербурга.*

Жизнь моя очень однообразна. Обедаю у
Дюме часа в 2, чтоб не встретиться с холостою
шайкою. Вечером бываю в клубе.

*Пушкин – Н. Н. Пушкиной, в перв. пол. мая
1834 г.*

Александр очень занят по утрам, потом он
идет в (Летний) сад, где прогуливается со сво-
ею Эрминией (*Ел. Мих. Хитрово, безнадежно*

влюбленной в Пушкина; ей в то время было уже за пятьдесят лет). Такое постоянство молодой особы выдержит всякие испытания, и твой брат очень смешон.

Н. О. Пушкина – О. С. Павлищевой, 9 мая 1834 г., из Петербурга. – Письма Пушкина к Хитрову, с. 181.

К. К. Данзас (*лицейский товарищ Пушкина, будущий его секундант*) познакомился с Дантесом в 1834 году, обедая с Пушкиным у Дюме, где за общим столом обедал и Дантес, сидя рядом с Пушкиным. По словам Данзаса, Дантес, при довольно большом росте и приятной наружности, был человек не глупый, и хотя весьма скудно образованный, но имевший какую-то врожденную способность нравиться всем с первого взгляда.

А. Н. Аммосов со слов *К. К. Данзаса*. Последние дни Пушкина. СПб., 1863, с. 5.

Кн. П. А. Вяземский, Жуковский, Ал. Ив. Тургенев, сенатор П. И. Полетика часто у нас обедали. Пугачевский бунт, в рукописи, был слушаем после такого обеда. За столом гово-

рили, спорили; кончалось всегда тем, что Пушкин говорил один и всегда имел последнее слово. Его живость, изворотливость, веселость восхищали Жуковского, который, впрочем, не всегда с ним соглашался. Когда все после кофий уселись слушать чтение, то сказали Тургеневу: «Смотри, если ты заснешь, то не храпеть». Александр Иванович, отнекиваясь, уверял, что никогда не спит: и предмет, и автор бунта, конечно, ручаются за его внимание. Не прошло и десяти минут, как наш Тургенев захрапел на всю комнату. Все рассмеялись, он очнулся и начал делать замечания как ни в чем не бывало. Пушкин ничуть не оскорбился, продолжал чтение, а Тургенев преспокойно проспал до конца.

А. О. Смирнова. Воспоминания. – Рус. Арх., 1872, т. II, с. 1882.

В один месяц из моих денег я уплатил уже 866 р. за батюшку, а за Льва Сер-ча (брата) 1300; более не могу.

Пушкин – Н. И. Павлицеву, 4 мая 1834 г.

Несколько дней тому получил я от Жуков-

ского записочку из Царского Села. Он уведомлял меня, что какое-то письмо мое ходит по городу и что государь об нем ему говорил. Я вообразил, что дело идет о скверных стихах, исполненных отвратительного похабства и которые публика благосклонно приписала мне. Но вышло не то. Московская почта распечатала письмо, писанное мною Наталье Николаевне, и нашед в нем отчет о присяге великого князя, писанный, видно, слогом не официальным, донесла обо всем полиции. Полиция, не разобрав смысла, представила письмо государю, который сгоряча также его не понял. К счастью, письмо показано было Жуковскому, который и объяснил его. Все успокоились. Государю не угодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностью, но я могу быть подданным, даже рабом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного. Однако, какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать к царю (человеку благовоспитанному и честно-му), и царь не стыдится в том признаться – и

давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина! что ни говори, мудрено быть самодеятельным.

Пушкин. Дневник, 10 мая 1834 г.

Письмо Пушкина (Н. Н. Пушкиной, от 20–22 апр. 1834 г., см. выше) было перехвачено в Москве почт-директором Булгаковым и отправлено в III отделение к графу Бенкендорфу. (Узнав об этом, Пушкин написал жене письмо.) Содержание этого письма, приблизительно, состояло в том, что Александр Сергеевич просит свою жену быть осторожною в своих письмах, так как в Москве состоит почт-директором негодяй Булгаков, который не считает грехом ни распечатывать чужие письма, ни торговать собственными дочерьми. Письмо это, как оказалось по справкам, действительно не дошло по назначению, но и в III отделение переслано не было.

Ф. М. Деларю со слов своего отца М. Д. Деларю. – Рус. Стар., 1880, т. 29, с. 218.

Я тебе не писал, потому что был зол – не на тебя, на других. Одно из моих писем попало

полиции, и так далее. Я никого не вижу, нигде не бываю; принялся за работу и пишу по утрам. Без тебя так мне скучно, но поминутно думаю к тебе поехать, хоть на неделю. Дай бог тебя мне увидеть здоровою, детей целых и живых! да плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да жить барин-ном! Неприятна зависимость; особенно когда лет 20 человек был независим. Это не упрек тебе, а ропот на самого себя.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 18 мая 1834 г., из Петербурга.

Дома сижу до 4-х часов и работаю. В свете не бываю; от фрака отвык; в клобе провожу вечера. Книги из Парижа приехали, и моя библиотека растет и теснится.хлопоты по имению меня бесят; с твоего позволения, надобно будет, кажется, выдти мне в отставку и со вздохом сложить камер-юнкерский мундир, который так приятно льстил моему честолюбию и в котором, к сожалению, не успел я пощеголять. Ты молода, но ты уже мать семейства, и я уверен, что тебе не труднее будет исполнить долг доброй матери, как

исполняешь ты долг честной и доброй жены. Зависимость и расстройство в хозяйстве ужасны в семействе; и никакие успехи тщеславия не могут вознаградить спокойствия и довольства. Тетка (*Натальи Николаевны, Ек. Ив. Загряжская*) меня все балует – для моего рождения прислала мне корзину с дынями, с земляникой, клубникой, так что боюсь поносом встретить 36-й год бурной моей жизни. У меня желчь, так извини сердитые письма.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 29 мая 1834 г., из Петербурга.

Я не писал тебе потому, что свинство почты так меня охолодило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство à la lettre[174]. В прошлое воскресенье представлялся я к вел. княгине (*Елене Павловне, жене вел. кн. Михаила Павловича*). Я поехал к ее высочеству на Кам. Остров в том приятном расположении духа, в котором ты меня привыкла видеть, когда надеваю свой великолепный мундир. Но она так была мила, что я забыл и свою несчастную роль и до-

саду... Я большею частию дома и в клобе. Веду себя порядочно, только то не хорошо, что расстроил себе желудок и что желчь меня так и волнует. Да от желчи здесь не убережешься.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 3 июня 1834 г., из Петербурга.

У меня решительно сплин. Скучно жить без тебя и не сметь даже писать тебе все, что придет на сердце. Ты говоришь о Болдине. Хорошо бы туда засесть, да мудрено. Об этом успеем еще поговорить. Не сердись, жена, и не толкуй моих жалоб в худую сторону. Никогда не думал я упрекнуть тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив; но я не должен был вступать на службу, и что хуже еще, опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня, как на холопа, с которым можно им поступать, как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу

быть шутом ниже у господ бога. Но ты во всем этом не виновата, а виноват я из добродушия, коим я преисполнен до глупости, несмотря на опыты жизни. Денег тебе еще не посылаю. Принужден был снарядить в дорогу своих стариков. Теребят меня без милосердия... Вероятно, послушаюсь тебя и скоро откажусь от управления имения. Пускай они его коверкают, как знают; на их век станет, а мы Сашке и Машке постараемся оставить кусок хлеба. Петербург пуст, все на дачах, а я сижу дома до 4 часов и пишу. Обедаю у Дюме. Вечером в клубе. Вот и весь мой день. Для развлечения вздумал было я в клубе играть, но принужден был остановиться. Игра волнует меня, а желчь не унимается.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 8 июня 1834 г., из Петербурга.

Сегодня едут мои (*родители*) в деревню, и я их еду проводить до кареты. Уж как меня теребили. А делать нечего. Если не взяться за имение, то оно пропадет же даром; Ольга Сергеевна и Лев Сергеевич останутся на подножном корму, а придется взять их мне же на ру-

ки, тогда-то наплачусь и наплачусь, а им и горя мало! Меня же будут цыганить. Ох, семья, семья!

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 11 июня 1834 г., из Петербурга.

Здесь меня теребят и бесят без милости. И мои долги, и чужие мне покоя не дают. Имение расстроено, и надобно его поправить, уменьшая расходы, а они обрадовались и на меня надели. То то, то другое.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, во втор. пол. июня 1834 г., из Петербурга.

У Александра Сергеевича был самый счастливый характер для семейной жизни: ни взысканий, ни капризов. Одним могли рассердить его не на шутку. Он требовал, чтоб никто не входил в его кабинет от часа до трех: это время он проводил за письменным столом или ходил по комнате, обдумывая свои творения, и встречал далеко не гостеприимно того, кто стучался в его дверь. Его кабинет был над моей комнатой, и в часы занятия или уединения Пушкина мне часто

слышался его мерный или тревожный шаг. Но раз, к моему удивлению, раздались наверху звуки нестройных и крикливых голосов. Стало быть, Пушкин был не один. Однако я не решился идти к нему и узнать, почему он допустил нарушение привычки, которой так строго держался. Когда все собрались к обеду, я спросил у него, что происходило сегодня в его кабинете. «Жаль, что ты не пришел, – отвечал Пушкин, – у меня был вантрилок (*чревоуещатель*)». Тут он распространился об его выходках. По окончании обеда он сел со мною к столу и, продолжая свой рассказ, открыл машинально Евангелие, лежавшее перед ним, и напал на слова: «Что ти есть имя? Он же рече: легеон: яко беси мнози внидоша в онь». Лицо его приняло незнакомое мне до тех пор выражение; он поднял голову, устремил взор вперед и, после непродолжительного молчания, сказал мне: «Принеси скорей клочок бумаги и карандаш». Он принялся писать, останавливаясь, от времени до времени задумываясь и часто вымарывая написанное. Так прошел с небольшим час; стихотворение было окончено. Ал. Серг. пробежал его глаза-

ми, потом сказал: «Слушай». Слова Евангелия он взял эпиграфом, а стихи относились к ван-трилоку. Я пришел в восторг, но попросить стихотворения, чтоб его списать, не посмел, п.ч. Пушкин этого никогда не позволял. Он выдвинул ящик стола, у которого сидел, и бросил в него исписанную бумагу. Вечером, когда семейство разошлось, я вернулся в гостиную с надеждой, что найду стихотворение в столе и перепишу его, но ящик был пуст.

С. Н. Гончаров в передаче Т. Толычевой. – Рус. Арх., 1877, т. II, с. 98.

Сейчас дослал я к графу Литта извинение в том, что не могу быть на Петергофском празднике по причине болезни. Я крепко думаю об отставке. Должно подумать о судьбе наших детей. Имение отца, как я в том удостоверился, расстроено до невозможности и только строгой экономией может еще поправиться. Я могу иметь большие суммы, но мы много и проживаем. Умри я сегодня, что с вами будет!.. Петербург ужасно скучен. Меня здесь удерживает одно: типография. Виноват, еще другое: залог имения. Но можно ли будет

его заложить? как ты права была в том, что не должно мне было принимать на себя эти хлопоты, за которые никто мне спасибо не скажет, а которые испортили мне столько уж крови, что все пиявки дома нашего ее мне не высосут. Кстати о доме нашем: надобно тебе сказать, что я с нашим хозяином побранился, и вот почему. На днях возвращаюсь ночью домой – двери заперты. Стучу, стучу; звоню, звоню. Насилу добудился дворника. А я ему уже несколько раз говорил, прежде моего приезда не запирать. Рассердясь на него, дал я ему отеческое наказание. На другой день узнаю, что Оливье на своем дворе декламировал противу меня и велел дворнику меня не слушаться и двери запирать с 10 часов, чтоб воры не украли лестницы. Я тотчас велел прибить к дверям объявление, писанное рукою Сергея Николаевича, о сдаче квартиры, а к Оливье написал письмо, на которое дурак до сих пор не отвечал. Война же с дворником не прекращается, и вчера еще я с ним повозился. Мне его жаль, но делать нечего: я упрям и хочу переспорить весь дом, включая тут и пиявок. Я перед тобой кругом виноват в отношении де-

нежном. Были деньги – и проиграл их. Но что делать? я так был желчен, что надобно было развлечься чем-нибудь. Все тот (*царь*) виноват; но бог с ним; отпустил бы лишь меня во-свояси.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, во втор. пол. июня 1834 г., из Петербурга.

Ввиду того что семейные обстоятельства требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции, я вынужден выйти в отставку и умоляю ваше превосходительство получить для меня разрешение на это. Как последней милости, я просил бы, чтобы я не был лишен всемилостивейше данного мне права посещать архивы.

Пушкин – гр. А. Х. Бенкендорфу, 25 июня 1834 г. (*фр.*).

Милостивый Государь Александр Сергеевич. Письмо ваше ко мне от 25-го сего июня было мною представлено государю императору в подлиннике, и его императорское величество, не желая никого удерживать против воли, повелел мне сообщить г. вице-канцлеру

об удовлетворении вашей просьбы, что и будет мною исполнено.

Затем на просьбу вашу о предоставлении вам и в отставке права посещать государственные архивы для извлечения справок государь император не изъявил своего соизволения, так как право сие может принадлежать единственно людям, пользующимся особенно доверенностью начальства.

Гр. А. Х. Бенкендорф – Пушкину, 30 июня 1834 г., из Петергофа. – Переписка Пушкина, т. III, с. 140.

Каждое 1-е июля весь Петербург устремлялся в Петергоф, большой сад которого очаровательно иллюминировали в честь императрицы, и весь двор длинной вереницей линеек совершал процессию среди этого моря огней. На одном из этих диванов на колесах я увидел Пушкина, смотревшего угрюмо. Он только что получил звание камер-юнкера. Кроме членов двора никто не имел права на место в линейках. Может быть, ему не нравилось это[175].

(В. В. Ленц.) Приключения лифляндца в Петербурге. – Рус. Арх., 1878, т. I, с. 451.

Пушкина я видел в мундире только однажды, на петергофском празднике. Он ехал в придворной линейке, в придворной свите. Известная его несколько потертая альмавива драпировалась по камер-юнкерскому мундиру с галунами. Из-под треугольной его шляпы лицо его казалось скорбным, суровым и бледным. Его видели десятки тысяч народа не в славе первого народного поэта, а в разряде начинающих царедворцев.

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания. М.-Л.: Академия, 1931, с. 594.

Государь говорил со мной о тебе. Если бы я знал наперед, что побудило тебя взять отставку, я бы ему объяснил все, но так как я и сам не понимаю, что могло тебя заставить сделать глупость, то мне и ему нечего было отвечать. Я только спросил: «Нельзя ли как это поправить?» – «Почему ж нельзя? – отвечал он. – Я никогда не удерживаю никого и дам ему отставку. Но в таком случае все между нами кончено. Он может, однако, еще возвратить письмо свое». Это меня истинно трогает. А ты

делай, как разумеешь. Я бы на твоём месте ни минуты не усумнился, как поступить. Спешу только уведомить о случившемся.

В. А. Жуковский – Пушкину, 2 июля 1834 г., из Царского Села. – Переписка Пушкина, т. III, с. 142.

Несколько дней назад я имел честь обратиться к вашему превосходительству с просьбою об отставке. Ввиду неприличия этого шага я умоляю вас, граф, не давать моей просьбе хода. Я предпочитаю казаться непоследовательным, чем неблагодарным. Однако отпуск на несколько месяцев был бы для меня необходимым.

Пушкин – гр. А. Х. Бенкендорфу, 3 июля 1834 г. (фр.).

Ты человек глупый, теперь я в этом совершенно уверен. Не только глупый, но и поведения непристойного: как мог ты, приступая к тому, что ты так искусно состряпал, не сказать мне о том ни слова, ни мне, ни Вяземскому – не понимаю! Глупость досадная, эгоистическая, неизглаголанная глупость! Вот что бы

я теперь на твоём месте сделал (ибо слова государя крепко бы расшевелили и повернули моё сердце): я написал бы к нему прямо, со всем прямотою, какое у меня только есть, письмо, в котором бы обвинил себя за сделанную глупость, потом так же бы прямо объяснил то, что могло заставить меня сделать эту глупость; и все это сказал бы с тем чувством благодарности, которое государь вполне заслуживает. Напиши немедленно письмо и отдай графу Бенкендорфу. Я никак не воображал, чтобы была ещё возможность поправить то, что ты так безрассудно соблаговолил напакостить. Если не воспользуешься этой возможностью, то будешь то щетинистое животное, которое питается желудями и своим хрюканьем оскорбляет слух всякого благовоспитанного человека; без галиматши, поступишь дурно и глупо, повредишь себе на целую жизнь и заслужишь своё и друзей своих неодобрение, по крайней мере, моё.

В. А. Жуковский – Пушкину, 3 июля 1834 г., из Царского Села. – Переписка Пушкина, т. III, с. 145.

Получив первое письмо твое, я тотчас написал графу Бенкендорфу, прося его остановить мою отставку. Но вслед за тем получил официальное извещение о том, что отставку я получу, но что вход в архивы будет мне запрещен. Это огорчило меня во всех отношениях. Подал я в отставку в минуту хандры и досады на всех и на все. Домашние обстоятельства мои затруднительны, положение мое невесело, перемена жизни почти необходима. Изъяснить это все гр. Бенкендорфу мне не доставало духа – от этого и письмо мое должно было показаться сухо, а оно просто глупо. Впрочем, я уж верно не имел намерения произвести, что вышло. Писать письмо прямо к государю, ей-богу, не смею, особенно теперь. Оправдания мои будут похожи на просьбы, а он уж и так много сделал для меня. Что ж мне делать? Буду еще писать к гр. Бенкендорфу.

Пушкин – В. А. Жуковскому, 4 июля 1834 г., из Петербурга.

Крайне огорчен я, что необдуманное прошение мое, вынужденное от меня неприят-

ными обстоятельствами и досадными мелочными хлопотами, могло показаться безумной неблагодарностью и супротивлением воле того, кто доныне был более моим благодетелем, нежели государем. Буду ждать решения участи моей, но во всяком случае ничто не изменит чувства глубокой преданности моей к царю и сыновней благодарности за прежние его милости.

Пушкин – гр. А. Х. Бенкендорфу, 4 июля 1834 г., из Петербурга.

Я, право, не понимаю, что с тобою сделалось: ты точно поглупел; надобно тебе или пожить в желтом доме, или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение. Бенкендорф прислал мне твои письма, первое и последнее. В первом есть кое-что живое, но его нельзя употребить в дело, ибо в нем не пишешь ничего о том, хочешь ли оставаться в службе или нет; последнее, в коем просишь, чтобы все осталось по-старому, так сухо, что оно может показаться государю новою неприличностью. Разве ты разучился писать? Разве считаешь ниже себя выразить ка-

кое-нибудь чувство к государю? Зачем ты мудришь? Действуй просто. Государь огорчен твоим поступком; он считает его с твоей стороны неблагодарностью. Он тебя до сих пор любил и искренно хотел тебе добра. По всему видно, что ему больно тебя оттолкнуть от себя. Что же тут думать? Напиши то, что скажет сердце. А тут право есть о чем ему поразговориться. Я стою на том, что ты должен написать прямо государю и послать свое письмо через гр. Бенкендорфа. Это одно может поправить испорченное. Оба последние письма твои теперь у меня; несу их через несколько минут к Бенкендорфу, но буду просить его погодить их показывать.

В. А. Жуковский – Пушкину, 6 июля 1834 г., из Царского Села. – Переписка Пушкина, т. III, с. 147.

Я, право, сам не понимаю, что со мною делается. Идти в отставку, когда того требуют обстоятельства, будущая судьба всего моего семейства, собственное мое спокойствие – какое тут преступление, какая неблагодарность? Но государь может видеть в этом что-

то похожее на то, чего понять все-таки не могу. В таком случае я не подаю в отставку и прошу оставить меня в службе. Теперь, отчего письма мои сухи? Да зачем же быть им сопливыми? В глубине сердца моего я чувствую себя правым перед государем; гнев его меня огорчает, но чем хуже положение мое, тем язык мой становится связаннее и холоднее. Что мне делать? просить прощения? Хорошо; да в чем? К Бенкендорфу я явлюсь и объясню ему, что у меня на сердце, но не знаю, почему письма мои неприличны. Попробую написать третье.

Пушкин – В. А. Жуковскому, 6 июля 1834 г., из Петербурга.

Граф, позвольте мне говорить с вами совершенно чистосердечно. Прося об отставке, я думал только о своих семейных делах, затруднительных и тяжких. Я имел в виду только неудобство, истекающее из связанности со службой в то время, когда я принужден много путешествовать. Клянусь богом и душою моею, это было моею единственною мыслью; с глубокою болью вижу я, как жестоко она пе-

ретолкована. Император осыпал меня милостями с первой минуты, как его царственная мысль направилась на меня. Есть среди них такие, о которых я не могу думать без глубокого волнения: столько он вложил в них прямоту и благородства. Он всегда был для меня провидением, и если в течение этих восьми лет мне случалось роптать, никогда, клянусь, чувство горести не примешивалось к чувствам, которые я к нему испытывал. И в настоящую минуту меня наполняет болью не мысль потерять всемогущего покровителя, а мысль, что я могу оставить в его душе впечатление, которого, к счастью, я не заслужил. Я повторяю, граф, мою нижайшую просьбу не давать хода прошению, которое я подал так легкомысленно.

Пушкин – гр. А. Х. Бенкендорфу, 6 июля 1834 года (фр.).

Был я у Фикельмон. Надо тебе знать, что с твоего отъезда я кроме как в клобе нигде не бываю. Вот вчерась, как я ввалил в освещенную залу с нарядными дамами, то и смутился, как немецкий профессор: насилу хозяйку на-

шел, насилу слово вымолвил. Потом, осмотревшись, увидел я, что народу не так-то много и что бал это запросто, а не раут. Вот, наелся я мороженого и приехал себе домой – в час... Тетка заезжала вчера ко мне и беседовала со мною в карете; я ей жаловался на свое житье-бытье; а она меня утешала. На днях я чуть беды не сделал: с тем (*царем*) чуть было не побранился – и трухнул-то я, да и грустно стало. С этим поспорюсь – другого не наживу. А долго на него сердиться не умею, хотя и он не прав.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 11 июля 1834 г., из Петербурга.

Письмо Пушкина ко мне и другое от него же к Жуковскому. Так как он сознается в том, что просто сделал глупость, то я предполагаю, что вашему величеству благоутодно будет смотреть на его первое письмо, как будто его вовсе не было. Перед нами мерило человека; лучше, чтобы он был на службе, нежели предоставлен самому себе.

Гр. А. Х. Бенкендорф – имп. Николаю I. – Старина и Новизна, 1903, кн. VI, с. 10.

Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться; то, что может быть простительно 20-летнему безумцу, не может применяться к человеку 35-ти лет, мужу и отцу семейства.

Имп. *Николай I* – гр. *А. Х. Бенкендорфу*. – Там же, кн. VII, с. 10.

Я сплю и вижу, чтоб к тебе приехать; да кабы мог остаться в одной из ваших деревень под Москвою, так бы богу свечку поставил; рад бы в рай, да грехи не пускают. Дай сделаю деньги, не для себя, для тебя. Я деньги мало люблю, но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости. Надобно тебе поговорить о моем горе. На днях хандра меня взяла, подал я в отставку, но получил от Жуковского такой нагоняй, а от Бенкендорфа такой сухой абшид[176], что я вструхнул, и Христом и Богом прошу, чтобы мне отставку не давали. А ты и рада, не так?.. Хорошо, коли проживу я лет еще 25; а коли свернусь прежде? Ну, делать нечего. Бог велик; главное

то, что я не хочу, чтобы могли меня подозревать в неблагодарности. Это хуже либерализма.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, в перв. пол. июля 1834 г., из Петербурга.

Если ты в самом деле вздумала сестер своих сюда привезти, то у Оливье оставаться нам невозможно: места нет. Но обеих ли ты сестер к себе берешь? Эй, женка! смотри... Мое мнение: семья должна быть *одна под одной* кровлей: муж, жена, дети покамест малы, родители, когда уже престарелы; а то хлопот не оберешься, и семейственного спокойствия не будет.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 14 июля 1834 г., из Петербурга.

Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился я со двором – но все перемолось. – Однако это мне не пройдет.

Пушкин. Дневник, 22 июля 1834 г.

Я беру этаж, занимаемый теперь Вяземскими. Княгиня едет в чужие края, дочь ее боль-

на не на шутку: боятся чахотки... Какие же вы помощницы или работницы? Вы работаете только ножками на балах и помогаете мужьям мотать. И за то спасибо. Пожалуйста, не сердись на меня за то, что медлю к тебе явиться. Право, душа просит, да мошна не велит. Я работаю до низложения риз. Держу корректуру двух томов вдруг, пишу примечания, закладываю деревни, – Льва Сергеевича выпроваживаю в Грузию... В свете я не бываю. Смирнова велела мне сказать, что она меня впишет в разряд иностранцев, которых велено не принимать.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, в конце июля 1834 г., из Петербурга.

Я очень занят. Работаю целое утро, до 4 часов, никого к себе не пускаю, потом обедаю у Дюме, потом играю на бильярде в клубе; возвращаюсь домой рано. С кн. Вяземским я уже условился. Беру его квартиру. К 10 августу припасу ему 2500 рублей – и велю перетаскивать пожитки; а сам поскачу к тебе.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, в конце июля 1834 г., из Петербурга.

Благодарю тебя за то, что ты богу молишься на коленях посреди комнаты. Я мало богу молюсь и надеюсь, что твоя чистая молитва лучше моих как для меня, так и для нас.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 3 авг. 1834 г., из Петербурга.

Предпоследняя квартира Пушкина была на нынешней Французской набережной, в то время она звалась Дворцовой, в доме Баташева, третий дом от угла Фонтанки, в настоящее время это дом № 32 (см. рис. 7).

П. Зет (П. Н. Столпянский). Квартиры А. С. Пушкина. – Новое Время, 1912, № 12889.

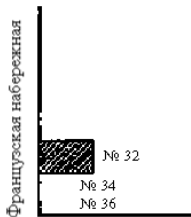


Рис. 7

Дом гг. Баташевых – третий по Гагаринской набережной, идя от Прачешного моста,

между домом княжны Гагариной и Ф. К. Опочинина. Сколько нам известно, Пушкин жил там в нижнем этаже.

Бар. Ф. Л. Бюлер. – Рус. Арх., 1872, с. 201.

Выехал из Петербурга за пять дней до открытия Александровской Колонны (*открыта 30 авг. 1834 г.*), чтоб не присутствовать при церемонии вместе с камер-юнкерами – моими товарищами – был в Москве несколько часов – видел А. Раевского, которого нашел поглупевшим от ревматизма в голове. – Может быть, это пройдет. – Отправился потом в Калугу на перекладных, без человека. В Тарутине пьяные ямщики чуть меня не убили. Но я поставил на своем. – Какие мы разбойники? – говорили мне они. – Нам дана вольность и поставлен столп нам в честь... В Заводе (*Полотняный Завод, имение Гончаровых*) прожил я две недели.

Пушкин. Дневник, 28 нояб. 1834 г.

(*Полотняный Завод, имение Гончаровых в Медынском уезде Калужской губ., где жил Пушкин после своей женитьбы.*) Тут когда-то

был полотняный завод, которого ныне нет и следов. Обширное торговое и промышленное село, торговую свою деятельность и базарами оно издавна служит значительным торговым центром на довольно большом районе. Здесь – писчебумажная фабрика Гончаровых. Местоположение Полотняного Завода – прелестное. Помещичья усадьба с великолепным старинным господским домом на самом берегу реки. Не так далеко от него стоит на берегу реки деревянный флигель, слывущий до сих пор в народе под названием дома Пушкина. В нем поэт постоянно жил после своего брака, приезжая гостить к Гончаровым. Внутренние стены этого строения, имеющего вид маленького помещичьего дома, были исписаны Пушкиным; теперь от этого не осталось никакого следа. Подле этого дома была прежде пристройка, нарочно сделанная для Пушкина; когда семейство его разрослось, в ней жили его дети.

В. П. Безобразов – Я. К. Гроту, 17 мая 1880 г. – Я. К. Грот, с. 175–180.

Площадь усадьбы Полотняного Завода те-

перь сократилась; громадный Красный сад вместе с парком, окаймлявший пруды перед фабрикой, частью совершенно уничтожен и уступил место торгу, где в настоящую минуту расположена ярмарка, частью в нижней своей части, у прудов, превратился в пустырь. А между тем с Красным домом, уцелевшим и поныне лишь в меньшей своей пристройке, – теперешнем театре, – и связаны главным образом воспоминания о Пушкине; по преданию, он там останавливался. Этот Красный дом представлял собою довольно большое деревянное здание, включавшее в себе 14 комнат; внизу они были большие и просторные, наверху более мелкие и низкие. – Со стороны теперешней площади, – раньше сада, – был подъезд со ступенями и двумя висячими фонарями. Просторными крытыми сенями дом соединялся с пристройкой, теперешним зрительным залом. Посреди обширного зала стоял круглый стол и висели великолепные золоченые люстры, с золотыми снопами колосьев наверху. Тут, по рассказам, любил вечерами сидеть с гостями Афанасий Николаевич (дед Н. Н. Пушкиной); Красный дом служил его

излюбленным местом пребывания. Около дома на теперешней площади торго были аллеи старых берез, а в углу у ограды была расположена остроконечная горка с дорожкой винтом, обсаженная акациями, так наз. «улита», тип, донныне сохранившийся в некоторых подмосковных имениях. Старожилы описывают этот сад, как какой-то земной рай, напоенный ароматами многочисленных цветов, с гладкими, усыпанными песком дорожками, развесистыми деревьями и кустами сирени. Красный дом расположен был на обрыве и фасадом обращен к прудам; от самых сеней вели вниз широкие каменные ступени. По обрыву росли ели, подстригавшиеся причудливыми фигурами. Пруды в виде буквы П были обсажены ивами, а посредине оставляли род полуострова; тут были разбиты радиально расходящиеся дорожки и посредине – куртины с плодовыми деревьями. Тут же была устроена большая беседка, и другие были по углам ограды вокруг прудов. Дом был окрашен в красный цвет, что и дало повод названию его, а пристройка снаружи была украшена белыми столбами наподобие колонн, пу-

стыми внутри и обитыми отштукатуренным парусом. – Обширный парк поддерживался в строгом порядке. В прежние дни здесь пребывало еще небольшое стадо оленей; и долго после липы еще тщательно подстригались, дорожки ежедневно усыпались красным песком, а вверху зеленой луговины, сбегавшей к реке, высилась беседка. По рассказам стариков, собранным Д. Д. Гончаровым, она была довольно обширная и представляла собою две осьмиугольные башни, диаметром около шести аршин; они соединялись крытым переходом со столбами, поддерживавшими кровлю и расположенными полукругом ступенями. Таким образом выходило подобие террасы и две комнаты с обеих сторон, уставленные по стенам низенькими турецкими диванами. Башенки были островерхие и заканчивались шпилем с шариками; они освещались длинными, сверху полукруглыми окнами. Эта «Пушкинская» беседка была окрашена в темно-красный цвет так же, как и Красный дом. По преданию, на стенах долго сохранялись стихотворения, написанные рукою Пушкина. – Большой дом в общих чертах сохранился

нетронутым; небольшие исправления в нем были сделаны Дм. Н. Гончаровым в 40-х гг. Во время Пушкина еще был двухсветный концертный зал, где в конце XVIII в. так много бывало концертов, балов и увеселений.

Первая поездка Пушкина на Полотняный Завод должна быть отнесена к концу мая 1830 г., останавливался он, вероятно, в Красном доме. О вторичном пребывании его на Полотняном Заводе (поздно осенью 1834 г.) известно также весьма мало. Есть предположение, что он тогда останавливался в Большом доме. На это указывает рассказ, что его видели однажды несущим ворох книг из Красного в Большой дом; в Красном тогда помещалась библиотека. Подтверждением тому, что он занимался в кабинете Большого дома, приводили и следующий рассказ (по записи Д. Д. Гончарова). Однажды Пушкин работал в кабинете: по-видимому, он был всецело поглощен своей работой, как вдруг резкий стук в соседней столовой заставил его вскочить. Насильственно отторгнутый от интересной работы, он выбежал в столовую, сильно рассерженный. Там он увидел виновника шума, ма-

ленького казачка, который рассыпал ножи, накрывая на стол. Вероятно, вид взбешенного Пушкина испугал мальчика, и он, спасаясь от него, юркнул под стол. Это так рассмешило Пушкина, что он громко расхохотался и тотчас спокойно вернулся к своей работе. Еще недавно один из оставшихся стариков, бывший крепостной, художник Макаров, говорил так: «Еще бы не знать Пушкина, бывало, сидят они на балконе, в Красном, а мы детьми около бегаем. Черный такой был, конопатый, страшный из себя». – В те дни сложилось предание, что Пушкин ведался с нечистою силою, оттого и писал он так хорошо, а писал он когтем.

А. В. Средин. Пушкин и Полотняный Завод. – Изв. Калужской Уч. Арх. Комиссии. Вып. XXI, Калуга, 1911.

Поздравляю вас со днем 26 августа (*день ангела Наталии*); и сердечно благодарю вас за 27-е (*день рождения жены Пушкина*). Жена моя прелесть, и чем доле я с ней живу, тем более люблю это милое, чистое, доброе создание, которого я ничем не заслужил перед бо-

ГОМ.

Пушкин – Н. И. Гончаровой, в конце авг. 1834 г., из Полотняного Завода.

После смерти Дельвига мать его с детьми осталась в очень бедном положении. Пушкин вызвался продолжать издание «Северных Цветов» в их пользу, о чем и было заявлено. «Северные Цветы» были изданы только один раз на 1832 г., и сколько очистилось от их издания, я никогда не мог узнать. Без сомнения, не было недостатка в желании помочь семье Дельвига, но причину неисполнения обещания поймет всякий, кто знал малую последовательность Пушкина во многом из того, что он предпринимал вне его гениального творчества. В 1834 г., когда Пушкин приехал на время в Москву, он встретил меня в партере Малого театра, где давался тогда французский спектакль, и дружески меня обнял, что произвело сильное впечатление на всю публику, бывшую в театре, с жадностью наблюдавшую за каждым движением Пушкина. Из театра мы вместе поехали ужинать в гостиницу Коппа, где теперь помещается гостиница «Дрез-

ден». Пушкин в разговорах со мною скорбел о том, что не исполнил обещания, данного матери Дельвига, уверял при том, что у него много уже собрано для альманаха на следующий новый год, что он его издаст в пользу матери Дельвига, о чем просил ей написать, но ничего из обещанного Пушкиным исполнено не было.

Бар. А. И. Дельвиг. Мои воспоминания, т. I, с. 56.

Я приехал третьего дня, в четверг, поутру, – вот как тихо ездят по губернским трактам – а я еще платил почти везде двойные прогоны. В деревне встретил меня первый снег, и теперь двор перед моим окошком белешенек; однако я еще писать не принимался. Я рад, что добрался до Болдина; кажется, менее будет мне хлопот, чем я ожидал. Написать что-нибудь мне бы очень хотелось; не знаю, придет ли вдохновение... Сейчас у меня были мужики с челобитьем; я с ними принужден был хитрить; но эти, наверное, меня перехитрят, хотя я сделался ужасным политиком... Мне здесь хорошо, да скучно, а когда

мне скучно, меня так и тянет к тебе, как ты жмешься ко мне, когда тебе страшно. Писать я еще не принимался.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 15 сент. 1834 г., из Болдина.

Государь Александр Сергеевич! Просим вас, государь, в том, что вы таперя наш господин, и мы вам с усердием нашим будем повиноваться и выполнять в точности ваши приказания, но только в том просим вас, государь, сделайте великую с нами милость, избавьте нас от нынешнего правления, прикажите выбрать нам своего начальника и прикажите ему, и мы будем все исполнять ваши приказания.

Челобитная болдинских крестьян Пушкину. – Литер. Газета, 1931, № 30.

Скучно. И стихи в голову нейдут, и роман не переписываю. Читаю Вальтер-Скотта и библию, а все об вас думаю. Много вещей, о которых беспокоюсь. Видно, нынешнюю осень мне долго в Болдине не прожить. Дела мои я кой-как уладил. Погожу еще немножко,

не распишусь ли; коли нет – так с богом и в путь. В Москве останусь дня три, у Нат. Ив. (в Яропольце) сутки – я приеду к тебе. Да и в самом деле: неужто близ тебя не распишусь? Пустое.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, в конце сент. 1834 г., из Болдина.

А. М. Языков заехал в Болдино 26 сентября, всего на несколько часов, и звал Пушкина в Языково, на свою свадьбу. Поэт, при всем желании, не мог, однако, исполнить его просьбы, ссылаясь на то, что у него жена и дети. «Он мне показывал, – пишет Языков, – историю Пугачева, несколько сказок в стихах, вроде Ершова, и историю рода Пушкиных».

Д. Н. Садовников. Отзывы о Пушкине. – Историч. Вестн., 1883, т. XIV, с. 593.

Пушкин выезжал из Болдина в тяжелой карете, на тройке лошадей. Его провожала дворня и духовенство, которым предлагалось угощение в доме. В последний отъезд из Болдина имел место такой случай. Когда лошади спустились с горы и вбежали на мост, переки-

нутый через речку, – ветхий мост не выдержал тяжести и опрокинулся, но Пушкин отделался благополучно. Сейчас же он вернулся пешим домой, где еще застал за веселой беседой и закуской провожавших его, и попросил причт отслужить благодарственный молебен.

К. С. Раевский; со слов его сына Ф. К. Раевского записал А. И. Звездин. – А. И. Звездин. О Болдинском имении Пушкина, с. 24.

Некоторые болдинские старожилы уверяют, что Пушкин приезжал в Болдино весной и ходил в рощу слушать, «о чем птицы поют».

А. И. Звездин. Там же.

18 октября – возвращение Пушкина в Петербург.

Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина, с. 320.

О профессорстве Гоголя были слышны спорные мнения, и как бы для того, чтобы их проверить, В. А. Жуковский и А. С. Пушкин решились неожиданно побывать на его лекции. Зная день и час, они оба вместе пришли прослушать лекцию Гоголя. Что их посещение

было совершенною неожиданностью для нашего профессора, ясно выразилось в том, что обоим знаменитым посетителям пришлось вместе с нами, студентами, прождать с полчаса времени: лекции в то время продолжались по уставу полтора часа; Гоголь находил это время слишком долгим, утомительным и только на своей первой лекции проговорил во все положенное время; потом он сокращал продолжительность своих лекций, и для того, чтобы не прерывать их слишком рано, он обыкновенно опаздывал приходить на полчаса, иногда и на три четверти часа. Таким образом Жуковский и Пушкин провели несколько времени в беседе со студентами, ожидавшими своего профессора, который тогда произнес одну из лучших своих лекций, художественно охарактеризовав норманских витязей, завоевателей Сицилии, заселителей Исландии, грозных на морях и Черном, и Каспийском, на берегах и Франции, и Англии.

С. И. Барановский – Я. К. Гроту. – Рус. Арх., 1906, т. II, с. 276.

Однажды, – это было в октябре, – ходим мы

(студенты) по сборной зале и ждем Гоголя. Вдруг входят Пушкин и Жуковский. От швейцара, конечно, они уж знали, что Гоголь еще не приехал, и потому, обратясь к нам, спросили только: «В которой аудитории будет читать Гоголь?» Мы указали на аудиторию. Пушкин и Жуковский заглянули в нее, но не вошли, а остались в сборной зале. Через четверть часа приехал Гоголь, и мы вслед за тремя поэтами вошли в аудиторию и сели по местам. Гоголь вошел на кафедру и вдруг, как говорится, ни с того ни с сего начал читать взгляд на историю аравитян. Лекция была блестящая. Она вся из слова в слово напечатана в «Арабесках» («Аль-Мамун»). Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать на его лекцию и потому приготавливался угостить их поэтически. После лекции Пушкин заговорил о чем-то с Гоголем, но я слышал одно только: «Увлекательно!»

Н. И. Иваницкий. Отеч. Зап., 1853, № 2, Смесь, с. 120.

Слухи, постоянно распространяемые насчет Александра, очень меня печалят. Знаешь

ли ты, что, когда Натали выкинула, говорили, будто это – от побоев, которые он ей нанес? В конце концов мало ли молодых женщин уезжает проводить своих родителей, провести два или три месяца в деревне! Никто в этом не видит ничего особенного. Но Александру все ставится в счет...

Александр нам совсем не пишет. Я не знаю, где он, что он делает. Это молчание непростительно ни в каком отношении. Я в некотором роде завишу от него, а он меня больше двух месяцев держит в полном неведении насчет моей судьбы.

С. Л. Пушкин – О. С. Павлицевой, 29 окт. 1834 г., из Михайловского. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIV, с. 17 (фр.).

Наконец, мы имеем новости от Александра. Натали опять беременна, ее сестры живут с нею и нанимают очень хороший дом пополам с ними. Он говорит, что это ему удобно в смысле расходов, но немножко стесняет его, потому что он не любит нарушать своих привычек хозяина дома.

Н. О. Пушкина – О. С. Павлицевой, 7 нояб.

1834 г., из Михайловского. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIX, с. 21 (*фр.*).

В последнее время Наталия Ив. Гончарова (*теща Пушкина*) поселилась у себя в Яропольце и стала очень несносна; просто-напросто пила. По лечебнику пила. «Зачем ты берешь этих барышен?» – спросил у Пушкина Соболевский. – «Она целый день пьет и со всеми лакеями (...)».

П. И. Бартнев. Рассказы о Пушкине, с. 64.

Подозрительность и суровость Наталии Ивановны все росли с годами... Всякий был вправе осуждать ее, что она хоронит лучшие годы дочерей в деревенской глуши Яропольца, и этих соображений было достаточно, чтобы вымещать на неповинных девушках накопившую горечь: якорем спасения всем являлась Наталия Николаевна... Пушкин согласился выручить своячениц из тяжелого положения, приняв их обеих под свой кров. Вероятно, этому решению много способствовало побуждение прекратить одиночество, выпавшее на долю жены и в первое время тоскливо

переносимое ею.

А. П. Арапова. Воспоминания. – Новое Время, 1907, № 11413, с. 5.

Около этого времени (1834 г.) Пушкин узнал, что какой-то молодой человек (Э. И. Губер) переводил «Фауста», но сжег свой перевод, как неудачный. Пушкин, как известно, встречал радостно всякое молодое дарование, всякую попытку, от которой литература могла ожидать пользы. Он отыскал квартиру Губера, не застал его дома, и можно себе представить, как был удивлен Губер, возвратившись домой и узнав о посещении Пушкина. Губер отправился сейчас к нему, встретил самый радушный прием и стал посещать часто Пушкина, который уговорил его опять приняться за «Фауста», читал его перевод и делал на него замечания. Пушкин так нетерпеливо желал окончания этого труда, что объявил Губеру, что не иначе будет принимать его, как если он каждый раз будет приносить с собой хоть несколько стихов «Фауста». Пушкин обнадежил его в преодолении трудностей, казавшихся невозможными для его сил.

М. Н. Лонгинов. Воспоминания об Э. И. Губере. – М. Н. Лонгинов. Соч., 1915, т. I, с. 316.

Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и наконец, один раз, после того, как я прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью не приняться за большое сочинение! Это, просто, грех!» Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который, хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но если бы не принял за «Донкишота», никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и, в заключение всего, отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то в роде поэмы и которо-

го, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ». (Мысль «Ревизора» принадлежит также ему.)

Н. В. Гоголь. Авторская исповедь.

«Мертвые души» – это прямо идея Пушкина, возникшая в его уме в то время, когда он жил в Новороссии. И если он не претендовал на то, что Гоголь ее похитил у него, то лишь потому, как говорил он сам мне потом, «что я, может быть, и не осуществил бы ее, потому что у меня много было другого дела».

В. И. Любич-Романович по записи С. И. Глебова. – Историч. Вестн., 1902, февр., с. 553.

Мысль о «Мертвых душах» принадлежала Пушкину. В Москве Пушкин был с одним приятелем на бегу. Там был также некто П. (старинный франт). Указывая на него Пушкину, приятель рассказал про него, как он скупил себе мертвых душ, заложил их и получил большой барыш. Пушкину это очень понравилось. «Из этого можно было бы сделать роман», – сказал он между прочим. Это было еще до 1828 г.

На вечера Н. К. Загряжской являлся по временам поэт Пушкин; но он не производил там эффекта, говорил немного, больше о вещах самых обыкновенных. Пушкин составлял какое-то загадочное, двуличное существо. Он кидался в знать – и хотел быть популярным, являлся в салоны – и держал себя грязно, искал расположения к себе людей влиятельных и высшего круга – и не имел ничего грациозного в манерах и вел себя надменно. Он был и консерватор, и революционер. С удовольствием принял звание камер-юнкера, а вертелся в кругу людей, не слишком симпатизировавших двору. Толкался по гостиным и занимался сочинениями. Избалованный похвалами своих современников и журналистов, он вносил в свое общество какую-то самоуверенность, которая отталкивала от него знакомых. Он не принадлежал к числу людей, которые могут увлечься откровенностью и задушевностью: всегда в нем видно было стремление быть авторитетом. В высшем кругу этого ему не удавалось: там обыкновенно при-

нимают поэтов совсем с другою целью и не столько им желают услуждать, сколько сами требуют от них угождения. К сожалению, многие подчиняются этому требованию, и едва ли не было заметно это в Пушкине.

В. И. Сафонович. – Рус. Арх., 1903, т. I, с. 492.

Отличительным характером Пушкина в большом обществе была задумчивость или какая-то такая грусть, которую даже трудно выразить. Он казался при этом стесненным, попавшим не на свое место. Зато в искреннем, небольшом кругу, с людьми по сердцу, не было человека разговорчивее, любезнее, остроумнее. Тут он любил и посмеяться, и похохотать, глядел на жизнь только с веселой стороны и с необыкновенною ловкостью мог открывать смешное. Одушевленный разговор его был красноречивой импровизацией, так что он обыкновенно увлекал всех, овладевал разговором, и это всегда кончалось тем, что другие смолкали невольно, а говорил он. Если бы записан был хоть один такой разговор Пушкина, похожий на рассуждение, перед ним показались бы бледны профессорские ре-

чи Вильмена и Гизо. Вообще Пушкин обладал необычайными умственными способностями. Уже во время славы своей он выучился, живя в деревне, латинскому языку, которого почти не знал, вышедши из лицея. Потом, в Петербурге, изучил он английский язык в несколько месяцев, так что мог читать поэтов. Французский знал он в совершенстве. «Только с немецким не могу я сладить! – сказал он однажды. – Выучусь ему, и опять все забуду: это случалось уже не раз». Он страстно любил искусства и имел в них оригинальный взгляд. Тем особенно был занимателен и разговор его, что он обо всем судил умно, блестяще и чрезвычайно оригинально.

(К. А. Полевой.) Некролог Пушкина. – Живопись. Обзор., 1837, т. III, с. 10, 80. Цит. по: Рус. Арх., 1901, т. II, с. 251.

Пушкин был застенчив и более многих нежен в дружбе. Общество, особенно где он бывал редко, почти всегда приводило его в замешательство, и от того оставался он молчалив и как бы недоволен чем-нибудь. Он не мог оставаться там долго. Прямодушие, также

отличительная черта характера его, подстрекало к свободному выражению мысли, а робость противодействовала. Притом же совершенную привычку он сделал только к высшему обществу или к самому тесному кругу приятелей. В обоих случаях он чувствовал себя на своем месте.

Собою не владел он только при таких обстоятельствах, от которых все должно было обрушиться на него лично. Он почти не умел распоряжаться ни временем своим, ни другою собственностью. Иногда можно было подумать, что он без характера: так он слабо уступал мгновенной силе обстоятельств. Между тем ни за что он столько не уважал другого, как за характер... Пылкость его души и слияние с ясностью ума образовала из него это необыкновенное, даже странное существо, в котором все качества приняли вид крайностей.

П. А. Плетнев. Соч. и переп., т. III, с. 242–243.

В обществе посторонних людей Пушкин был или совершенно молчалив, или слишком

блистателен. Лучшие движения сердца своего считал он домашним делом и потому не любил выказывать их. Он хранил их для тесного круга друзей, преимущественно для своих лицейских товарищей, которых любил неизменно.

П. А. Плетнев. Там же, с. 743.

Золотые слова Пушкина насчет существующих и принятых многими правил о дружеских сношениях. «Все, – говорил в негодовании Пушкин, – заботливо исполняют требования общежития в отношении к посторонним, т.е. к людям, которых мы не любим, а чаще и не уважаем, и это единственно потому, что они для нас – ничто. С друзьями же не церемонятся, оставляют без внимания обязанности свои к ним, как к порядочным людям, хотя они для нас – все. Нет, я так не хочу действовать. Я хочу доказывать моим друзьям, что не только их люблю и верую в них, но признаю за долг и им, и себе, и посторонним показывать, что они для меня первые из порядочных людей, перед которыми я не хочу и боюсь манкировать, чем бы то ни было, освя-

ценным обыкновениями и правилами общежития».

П. А. Плетнев – Я. К. Гроту, 1 апр. 1844 г. – Переписка Грота с Плетневым, т. II, с. 221.

Я не встречал людей, которые были бы вообще так любимы, как Пушкин; все приятели его делались скоро его друзьями. Он знакомился скоро, когда ему кто нравился, он дружился искренно. В большом кругу он был довольно молчалив, серьезен, и толстые губы давали ему вид человека надувшегося, сердитого; он стоял в углу, у окна, как будто не принимая участия в общем веселии. Но в кругу приятелей он был совершенно другой человек; лицо его прояснялось, он был удивительной живости разговорчив, рассказывал много, всегда ясно, сильно, с резкими выражениями, но как будто запинаясь и часто с нервическими движениями, как будто ему неловко было сидеть на стуле. Он любил также слушать, принимал участие в рассказах и громко, увлекательно смеялся, показывая свои прекрасные белые зубы. Когда он был грустен, что часто случалось в последние годы

его жизни, ему не сиделось на месте: он отрывисто ходил по комнате, опустив руки в карманы широких панталон, протяжно напевал: «Грустно! Тоска!» Но веселый анекдот, остроумное слово развеселяли его мгновенно: он вскрикивал с удовольствием «славно!» и громко хохотал. Он был самого снисходительного, доброго нрава; обыкновенно он выказывал мало колкости, в своих суждениях не был очень резок; своих друзей он защищал с необыкновенным жаром; зато несколькими словами уничтожал тех, которых презирал, и людей, его оскорбивших. Но самый гнев его был непродолжителен, и, когда сердце проходило, он делался только хладнокровным к своим врагам. Некоторая беспечность нрава позволяла часто им овладеть; так, например (*Е. М. Хитрово*), женщина умная, но странная (ибо на 50 году не переставала оголять свои плечи и любоваться их белизною и полнотою), возымела страсть к гению Пушкина и преследовала его несколько лет своей страстью (Пушкин звал ее Пентефрихой). Она надоедала ему несказанно, но он никогда не мог решиться огорчить ее, оттолкнуть от себя, хо-

тя, смеясь, бросал в огонь, не читая, ее ежедневные записки; но чтоб не обидеть ее самолюбия, он не переставал часто навещать ее в приемные часы ее перед обедом.

Н. М. Смирнов. Памятные заметки. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 238.

Завтра надобно будет явиться во дворец – у меня еще нет мундира. Ни за что не поеду представляться с моими товарищами камер-юнкерами – молокососами 18-летними. Царь рассердится – да что мне делать?

Пушкин. Дневник, 5 дек. 1834 г.

Я все-таки не был 6-го во дворце – и рапортовался больным. За мною царь хотел прислать фельдъегеря или Арендта (*лейб-медика*)

Пушкин. Там же, дек. 1834 г.

Третьего дня я наконец в Аничковом. Опишу все в подробности. Придворный лакей поутру явился ко мне с приглашением: быть в восемь с половиной в Аничковом, мне в мундирном фраке, Наталье Николаевне как обык-

новенно.

В 9 часов мы приехали. На лестнице встретил я старую гр. Бобринскую, которая всегда за меня лжет и выводит меня из хлопот. Она заметила, что у меня треугольная шляпа с плюмажем (не по форме: в Аничков ездят с круглыми шляпами). Гостей было уже довольно, бал начался контрдансами. Гр. Бобринский, заметя мою треугольную шляпу, велел принести мне круглую. Мне дали одну такую засаленную помадой, что перчатки у меня промокли и пожелтели. Вообще бал мне понравился.

Утром того же дня встретил я в Дворцовом саду великого князя (*Михаила Павловича*): «Что ты один здесь философствуешь?» – «Гуляю». – «Пойдем вместе». Разговорились о плешивых: «Вы не в родню, в вашем семействе мужчины молоды оплешивливают». – «Государь Александр и Константин Павлович оттого рано оплешивели, что при отце моем носили пудру и зачесывали волоса; на морозе сало леденело, и волоса лезли. Нет ли новых каламбуров?» – «Есть, да нехороши, не смею представить их вашему высочеству». – «У ме-

ня их также нет, я замерз». Доведши великого князя до места, я ему откланялся (вероятно против этикета).

Пушкин. Дневник, 18 дек. 1834 г.

(Суббота.) В среду был я у Хитровой, имел долгий разговор с великим князем (*Михаилом Павловичем*). Началось журналами.

Вообрази, какую глупость напечатали в «Северной Пчеле». Дело идет о пребывании государя в Москве. «Пчела» говорит: «Государь император, обошед соборы, возвратился во дворец и с высоты красного крыльца низко (низко!) поклонился народу». Этого не довольно. Журналист-дурак продолжает: «Как восхитительно было видеть великого государя, преклоняющего священную главу перед гражданами московскими!» Не забудь, что это читают лавочники.

Великий князь прав, а журналист, конечно, глуп. Потом разговорились о дворянстве... Я заметил: что значит наше старинное дворянство с именьями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристократии и со все-

ми притязаниями на власть и богатства? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне, сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много. Говоря о старом дворянстве, я сказал: «Мы, которые такие же родовитые дворяне, как император и вы...» и т.д. Великий князь был очень любезен и откровенен. «Вы настоящий представитель вашего семейства, – сказал я ему. – Все Романовы – революционеры и уравниатели». – «Спасибо: так ты меня жалуешь в якобинцы! Благодарю, вот репутация, которой мне не доставало». Разговор обратился к воспитанию, любимому предмету его высочества. Я успел высказать ему многое. Дай бог, чтобы слова мои произвели хоть каплю добра!

Пушкин. Там же, 22 дек. 1834 г. (фр.-рус.).

Натали много выезжает, танцует ежедневно. Вчера я провела день по-семейному; все мои дети обедали у нас. Только и слышишь разговору, что о праздниках, балах и спектаклях.

Н. О. Пушкина – бар. Е. Н. Вревской, 26 дек. 1834 г., из Петербурга. – Рус. Вестн., 1869, т. 84, с. 90 (фр.).

Здесь все по горло в праздниках, Натали (*жена Пушкина*) много выезжает со своими сестрами; она привезла ко мне однажды Машу (*старшая дочь поэта*), которая настолько привыкла видеть только изящно одетых, что, увидев меня, начала громко кричать; ее спросили, почему она не хотела поцеловать бабушку; она ответила, что у меня скверный чепчик и скверное платье.

Н. О. Пушкина – О. С. Павлицевой, 4 янв. 1835 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIV, с. 25 (фр.).

Вчера приехали мы сюда, остановились у Пушкиных (*родители поэта*)... Пушкин-поэт обещал мне на пятницу билет на «Роберта Дьявола»; но я не думаю, чтоб можно было на него рассчитывать. Поэт очень смешон. Как он растерялся, увидев меня! Можно было умереть со смеху.

Бар. Е. Н. Вревская – бар. Б. А. Вревскому, 21

янв. 1835 г., из Петербурга. – Там же, вып. XXI–XXII, с. 888 (*фр.-рус.*).

Поэт находит, что я нисколько не изменилась фигурой и что, несмотря на мою беременность, он меня любит всегда. Он меня спросил, примем ли мы его, если он приедет в Голубово; я ему ответила, что очень на него сердита: какого он об нас мнения, если задает мне подобный вопрос!.. Я сегодня подарила г-же Пушкиной (*матери поэта*) мантилью, которая доставила ей много удовольствия. Правда, она стоила немножко дорого, – 60 рублей, но что делать? Она все эти дни ходила в кацавейке, и потом, я хотела ей доставить чем-нибудь удовольствие. Здоровье ее очень плохо; доктор требует консультации, но у них нет денег, чтоб заплатить докторам, и консультация откладывается со дня на день.

Бар. Е. Н. Вревская – бар. Б. А. Вревскому, 25 янв. 1835 г., из Петербурга. – Там же, с. 388 (*фр.*).

Пушкин решительно поддался мистификации Мериме (*выдавшего сочиненные им «Пес-*

ни западных славян» за подлинные), от которого я должен был выписать письменное подтверждение, чтобы уверить Пушкина в истине пересказанного мной ему, чему он не верил и думал, что я ошибаюсь. После этой переписки Пушкин часто рассказывал об этом, говоря, что Мериме не одного его надул, но что этому поддался и Мицкевич. «Я дал себя мистифицировать в очень хорошей компании», – прибавлял он всякий раз.

С. А. Соболевский – М. Н. Лонгинову, в 1855 г. – Там же, вып. XXXI–XXXII, с. 42 (рус.-фр.).

С генваря я очень занят Петром. На балах был раза 3; уезжал с них рано. Придворными сплетнями мало занят.

Пушкин. Дневник, 18 февр. 1835 г.

Когда Пушкин писал историю Петра I, он просил представить его графине В. Н. Ягужинской, старухе-невестке одного из ближайших друзей Петра; она отказалась принять Пушкина и сказала, что у нее нет в обычае делить общество с рифмачами и писаришками. Ей возражали, что Пушкин принадлежит к од-

ной из древнейших фамилий русского дворянства; на это она ответила, что охотно приняла бы его, если бы он не был прикосновенен к писательству, и прибавила: «Он напечатает, что я могла бы ему рассказать или сообщить, и бог знает, что из этого может выйти. Моя бедная свекровь умерла в Сибири, с вырезанным языком, высеченная кнутом, а я хочу спокойно умереть в своей постели, в Сафюрине».

Кн. П. В. Долгоруков. *Mémoires* Genève, 1867, с. 190 (фр.).

В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже, – не покупают. Уваров (*министр народного просвещения*) большой подлец. Он кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении. Его клевет Дундуков (дурак и бардаш) преследует меня своим ценсурным комитетом. Он не соглашается, чтоб я печатал свои сочинения с одного согласия государя. Царь любит, да псарь не любит. Кстати об Уварове; это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей Канкрин был на посыл-

ках. Об нем сказали, что он начал тем, что был б..., потом нянькой, и попал в президенты Академии Наук, как княгиня Дашкова в президенты Российской Академии. – Он крал казенные дрова, и до сих пор на нем есть счеты (у него 11 000 душ), казенных слесарей употреблял в собственную работу и т.д. Дашков (*министр*), встретив Жуковского под руку с Уваровым, отвел его в сторону, говоря: «Как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком!»

Пушкин. Дневник, февр. 1835 г.

Пушкин остался должен Жадимировскому по контракту за наем в доме его квартиры 1063 р. 33 1/2 к., по неплатежу коих, решением С.-Пб. Надворного суда 4-го Департамента 15 апреля 1835 г. искомую с Пушкина сумму при-суждено с него взыскать, а в случае неплатежа описать его имение, о чем сообщено было в Управу Благочиния; по желанию же Пушкина об обращении такового взыскания с имения его Нижегородской губ. Лукояновского уезда в сельце Кистеневе, 4-й Департамент суда и сообщил в Лукояновский Земский Суд,

чтобы он из свободного в сельце Кистеневе имения, заключающегося в 7 душах крестьян, описал следующее количество душ на удовлетворение иска 1063 р. 33 1/2 к. и штрафных 106 р. 30 к.

Объявление купца П. А. Жадимировского от 3 марта 1837 г. в Опеку над детьми и имуществом Пушкина. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIII, с. 95.

Дела мои не в хорошем состоянии. Думаю оставить Петербург и ехать в деревню, если только этим не навлеку на себя неудовольствия.

Пушкин – П. И. Павлицеву, 2 мая 1835 г., из Петербурга.

Александр вчера уехал в Тригорское и должен возвратиться прежде десяти дней, чтобы поспеть к родам Наташи. Ты подумаешь, быть может, что он отправился по делу, – совсем нет, а единственно ради удовольствия путешествовать, да еще в дурную погоду! Мы очень были удивлены, когда Александр пришел с нами проститься накануне отъезда, и

его жена очень опечалена; надо сознаться, что твои братья – оригиналы, которые никогда не перестанут быть таковыми.

Н. О. Пушкина – О. С. Павлицевой, 7 мая 1835 г., из Петербурга. – Л. Н. Павлицев. Воспоминания, с. 385.

Д-р Кошеч встретил Александра на боровичской станции, когда он отправился в Тригорское; твой брат был, по словам Кошеца, очень озабочен, рассеян, и я почти уверена, что мой «старший» не расслышал ничего, о чем ему толковал доктор, потому что вчера, когда я ему сообщала о Кошеце, Александр удивился и стал раскаиваться в оказанном холодном приеме доктору. Думаю, что Александр не пустился с ним на станции в беседу, принимая его за одного из многих любопытных пассажиров, добивающихся его знакомства.

Н. О. Пушкина – О. С. Павлицевой, 17 мая 1835 г. – Там же, с. 387.

Кажется, в 1835 г., – да, так точно, – приехал он сюда (в Тригорское) дня на два всего, –

пробыл 8 и 9 мая, приехал такой скучный, утомленный: «Господи, – говорит, – как у вас тут хорошо! А там-то, там-то, в Петербурге, какая тоска зачастую душит меня!»

М. И. Осипова в передаче *М. И. Семевского*. – СПб. Вед., 1866, № 139.

Ты была удивлена приездом Пушкина и не можешь понять цели его путешествия. Но я думаю, это просто было для того, чтобы проехаться, повидать тебя и маменьку, Тригорское, Голубово и Михайловское, потому что никакой другой благовидной причины я не вижу. Возможно ли, чтоб он предпринял это путешествие в подобное время, чтобы поговорить с маменькой о двух тысячах рублей, которые он ей должен... Пушкин в восхищении от деревенской жизни и говорит, что это вызывает в нем желание там остаться. Но его жена не имеет к этому никакого желания, и потом – его не отпустят. Я думаю, он хочет купить имение, но без денег это трудно.

А. Н. Вульф – бар. *Е. Н. Вревской*, 24 мая 1835 г., из Петербурга. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXI–XXII, с. 325 (*фр.*).

Наташа родила накануне приезда Александра, и радость свидания с мужем ее так расстроила, что проболела весь день.

Н. О. Пушкина – О. С. Павлицевой, 17 мая 1835 г. – Л. Н. Павлицев. Воспоминания, с. 387.

Мать рассказала, что когда родился второй сын, она хотела назвать его Николаем, но Пушкин пожелал почтить память одного из своих предков, казненных в смутное время, и предоставил ей выбор между двумя именами: Гаврила и Григорий. Она предпочла последнее.

А. П. Арапова. Воспоминания. – Новое Время, 1908, № 11425.

Я вижу себя вынужденным положить конец тратам, которые ведут только к долгам и которые готовят мне будущее, полное беспокойства и затруднений, если не нищеты и отчаяния. Три или четыре года пребывания в деревне мне доставят снова возможность возвратиться в Петербург и взяться за занятия, которыми я обязан доброте его величества. Я

был осыпан благодеяниями государя, я был бы в отчаянии, если бы его величество увидел в моем желании уехать из Петербурга другой мотив кроме мотива абсолютной необходимости. Малейший признак неудовольствия или подозрения был бы достаточен, чтобы удержать меня в положении, в котором я нахожусь; в конце концов я предпочитаю испытывать затруднения в своих делах, чем потерять во мнении того, кто был моим благодетелем, не как государь, не из чувства долга и справедливости, но из свободного чувства благородного и великодушного благоволения.

Пушкин – гр. А. Х. Бенкендорфу, 1 июня 1835 г. (фр.).

Нет препятствий ему ехать, куда хочет, но не знаю, как разумеет он согласить сие со службою. Спросить, хочет ли отставки, ибо иначе нет возможности его уволить на столь продолжительный срок.

Имп. *Николай I*. Резолюция на письме Пушкина к Бенкендорфу от 1 июня. – Дела III Отдел. Всемирный Вестн., 1905, с. 302.

П. В. Киреевский один раз вместе с Жуковским был у Пушкина. Киреевский хорошо помнит большую комнату, со шкафами по бокам и с длинным столом посередине, заваленным бумагами. Пушкин говорил им, между прочим, о своем сильном желании совсем оставить Петербург и уехать совсем в деревню, читал Жуковскому свое письмо к Бенкендорфу, которого просил о позволении выехать из Петербурга, где ему очень было тяжело жить. Рассказами своими о Петре Пушкин удивлял Жуковского. Пушкин с великою радостью смотрел на труды Киреевского, перебирал с ним его собрание, много читал из собранных им песен и обнаруживал самое близкое знакомство с этим предметом. Еще прежде, через Соболевского, он доставил Киреевскому тетрадку псковских песен, записанных с голоса, частью собственною рукою Пушкина, частью другою рукою (около 40 пьес).

П. И. Бартенев со слов П. В. Киреевского.
Рассказы о Пушкине, с. 52.

Обещая Киреевскому собранные им (*народные*) песни, Пушкин прибавил: «Там есть одна моя, угадайте!»

Но Киреевский думает, что он сказал это в шутку, ибо ничего поддельного не нашел в песнях этих.

П. И. Бартенев. Там же, с. 53.

П. В. Киреевский заявлял, что Пушкин доставил ему замечательную тетрадь песен, собранных им в Псковской губернии, и прибавил: «Когда-нибудь, от нечего делать, разберите-ка, которые поет народ и которые смастерил я сам». Сколько Киреевский ни старался разгадать эту загадку, никак не мог сладить.

Ф. И. Буслаев. Мои воспоминания. М., 1897, с. 293.

Прасковье Александровне (*Осиновой*) вздумалось соорудить *partie fine*[177], и мы обедали вместе все у Дюме, а угощал нас Александр Сергеевич и ее сын Алексей Николаевич Вульф. Пушкин был любезен за этим обедом, острил довольно зло, и я не помню ничего

особенно замечательного в его разговоре. За десертом («les quatre mendiants»[178]) г-н Дюме, воображая, что этот обед и в самом деле une partie fine, вошел в нашу комнату un peu cavalière ment[179] и спросил: «Comment cela va ici?»[180] У Пушкина и Алексея Николаевича немножко вытянулось лицо от неожиданной любезности француза, и он сам, увидя чинность общества и дам в особенности, нашел, что его возглас и явление были не совсем приличны, и удалился. Вероятно, в прежние годы Пушкину случалось у него обедать и не совсем в таком обществе.

А. П. Керн. Воспоминания. – Пушкин и его совр-ки, вып. V, с. 155–156.

Третьего дня д-р Кошец, вместе с Александром, провожал обеих Аннет Вульф и Керн. Обе уехали... Наташа (жена Пушкина) слаба, недавно вышла из спальни и не может ни читать, ни писать, ни работать; между тем у нее большие планы повеселиться на петергофском празднике 1 июля – в день рождения императрицы, ездить верхом со своими сестрами на острова, нанять дачу на Черной речке,

и не хочет отправиться дальше, как желал бы Александр. В конце концов, «чего женщина хочет, того хочет бог».

Н. О. Пушкина – О. С. Павлицевой, 8 июня 1835 г. – Л. Н. Павлицев. Воспоминания, с. 388.

Пушкину дал бог второго сына, по имени Григорий... Давно с ним не видался и потому не знаю, что с ним делается, знаю только, что он давно ничего не пишет и нуждается в деньгах.

М. Л. Яковлев – В. Д. Вольховскому, 11 июня 1835 г. – Н. А. Гастфрейнд. Товарищи Пушкина по лицу, СПб., 1912, т. I, с. 154.

Государю угодно было отметить на письме моем к вашему сиятельству, что нельзя мне будет отправиться на несколько лет в деревню иначе, как взяв отставку. Предаю совершенно судьбу мою в царскую волю и желаю только, чтоб решение его величества не было для меня знаком немилости и чтобы вход в архивы, когда обстоятельства позволят мне оставаться в Петербурге, не был мне запрещен.

Пушкин – гр. А. Х. Бенкендорфу, 4 июля 1835 г., из Петербурга.

Мы с братом ходили каждый день купаться в большую купальню, устроенную на Неве против Летнего сада; один раз, барахтаясь в воде и кой-как еще тогда плавая, я не заметил, как ко мне подплыл какой-то кудрявый человек и звонким, приветливым голосом сказал: «Позвольте мне вам показать, как надо плавать, вы не так размахиваете руками, надо по-лягушечьему», и тут кудрявый человек стал нам показывать настоящую манеру; но вдруг от нас отплыв, сказал вошедшему в купальню господину: «А, здравствуй, Вяземский!» Мы с братом будто обомлели и в одно слово сказали: это должен быть Пушкин. После этой встречи я не видел Пушкина до Петергофского праздника. Государь с царской фамилией и придворными ехал в линейке и, увидав шедшего близ дороги Пушкина, закричал ему: «Bonjour, Pouchkine!» – «Bonjour, Sir!» [181] – почтительно, но непринужденно отвечал ему Пушкин.

С. (С. М. Сухотин). Из воспоминаний моло-

дости. – Рус. Арх., 1864, с. 981. Ср.: Рус. Арх., 1894, т. III, с. 71.

Петергофский праздник удался как нельзя лучше. Александр был на празднике с Наташей. Наташа была, говорят, очаровательна, чему я вполне верю: после ее последних родов красота ее в полном блеске.

Н. О. Пушкина – О. С. Павлицевой, 3 июля 1835 г. – Л. Н. Павлицев. Воспоминания, с. 391.

Т. Н. Грановский, познакомившийся с Пушкиным у Плетнева, раз шел с ним пешком с дачи в Петербург. Они говорили, и этот разговор Грановский причисляет к приятнейшим в своей жизни. Говоря о Булгарине, Пушкин сказал, что напрасно его слишком бранят, что где-нибудь в переулке он с охотою с ним встретится, но чтоб остановиться и вступить с ним в разговор на улице, на видном месте, на это он, Пушкин, никак не решится,

П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 31.

О знакомстве с Пушкиным А. С. Данилевский (близкий друг Гоголя) припоминал сле-

дующее. Однажды летом отправились они с Гоголем в Лесной на дачу к Плетневу, у которого довольно часто бывали запросто. Через несколько времени, почти следом за ними, явились Пушкин с Соболевским. Они пришли почему-то пешком с зонтиками на плечах. Вскоре к Плетневу приехала еще вдова Н. М. Карамзина, и Пушкин затеял с нею спор. Карамзина выразилась о ком-то: «Она в интересном положении». Пушкин стал горячо возражать против этого выражения, утверждая с жаром, что его напрасно употребляют вместо коренного, чисто русского выражения «она брюхата», что последнее выражение совершенно прилично, а напротив, неприлично говорить «она в интересном положении». – После обеда был любопытный разговор. Плетнев сказал, что Пушкина надо рассердить, и тогда только он будет настоящим Пушкиным, и стал ему противоречить. Впечатление, произведенное на Данилевского Пушкиным, было то, что он и в обыкновенном разговоре являлся замечательным человеком, каждое слово его было веско и носило печать гениальности; в нем не было ни малейшей натянутости

или жеманства; но особенно поражал его долго не выходивший из памяти совершенно детский, задумчивый смех. Он бывал с женой у Плетнева.

В. И. Шенрок. Материалы для биограф. Гоголя. М., 1892, т. I, с. 362.

У Пушкина был дальний родственник, некто Оболенский, человек без правил, но не без ума. Он постоянно вел игру. Раз Пушкин в Петербурге (жил тогда на Черной речке; дочери его Марье тогда было не более 2 лет) не имел вовсе денег; он пешком пришел к Оболенскому просить взаймы. Он застал его за игрою в банк. Оболенский предлагал ему играть. Не имея денег, Пушкин отказывается, но принимает вызов Оболенского играть пополам. По окончании игры Оболенский остался в выигрыше большим и по уходе проигравшего, отсчитывая Пушкину следующую ему часть, сказал: «Каково! Ты не заметил, ведь я играл наверное!» Как ни нужны были Пушкину деньги, но, услышав это, он, как сам выразился, до того пришел вне себя, что едва дошел до двери и поспешил домой.

П. В. Нащокин по записи П. И. Бартенева. – П. И. Бартенов. Рассказы о Пушкине, с. 46.

Император, удостоив взять меня на свою службу, сделал милость определить мне жалование в 5000 руб. Эта сумма огромна, но тем не менее не хватает мне для проживания в Петербурге, где я принужден тратить 25 000 р. и иметь возможность жить, чтоб заплатить свои долги, устроить свои семейные дела, и, наконец, получить свободу отдаться без забот моим работам и занятиям. За четыре года как я женат, я сделал долгов на 60 000 рублей.

Пушкин в черновиках писем своих к гр. А. Х. Бенкендорфу, в сер. июля 1835 г. (фр.)

Единственные способы, которыми я мог бы упорядочить мои дела, были – либо уехать в деревню, либо получить займы сразу большую сумму денег... Благодарность для меня не является чувством тягостным, и моя преданность персоне государя не затемнена никакими задними мыслями стыда или угрызений, но я не могу скрывать от себя, что я не имею решительно никакого права на благо-

деяния его величества и что мне невозможно чего-нибудь просить.

Пушкин – гр. А. Х. Бенкендорфу, 22 июля 1835 г. (фр.).

(По просьбе Пушкина, ему было выдано займы из казны тридцать тысяч рублей, на погашение которых должно было удерживаться получаемое им жалование.)

В августе, по возвращении гвардии из лагеря, на Черной речке, на водах, давались еженедельные балы, куда собирался le monde e' le'gant[182] и где в особенности преобладало общество кавалергардских офицеров. Расхаживая по зале, вдруг увидел я входящую даму, поразившую меня своей грацией и прелестью: возле нее шел высокий белокурый господин, ей что-то весело рассказывавший, а сзади Пушкин, очень быстро оглядывавший залу, с веселым лицом, и принимавший, по видимому, участие в разговоре предшествовавшей ему дамы. Это была его жена, а белокурый господин – С. А. Соболевский. Это трио подошло к танцующему кругу, из которого вышел Дантес и, как мне помнится, пригла-

сил Пушкину на какой-то танец. Дантес очень много суетился, танцевал ловко, болтал, смешил публику и воображал себя настоящим героем бала: это был белокурый, плотный и коренастый офицер среднего роста; на меня произвел он неприятное впечатление своим ломанием и самонадеянностью, так что я, кажется, уподобил его à un garçon d'e´curie[183].

С. (С. М. Сухотин). Из воспоминаний молодости. – Рус. Арх., 1864, с. 982[184].

(В двадцатых числах августа.) Мы поехали к Александру и встретили его на подъезде с кипой бумаг под мышкой. Он обрадовался, воротился со мной, представил своим женам: теперь у него целых три, как тебе известно. Его свояченицы красивы, но они – ничто в сравнении с Натали, которую я нашла очень похорошевшей: у ней теперь красивый цвет лица, и она немного пополнела, – единственное, что ей не доставало.

О. С. Павлищева – Н. И. Павлицеву, 12 сент. 1835 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XVII–XVIII, с. 168 (*фр.*).

Вчера Александр со своей женой посетил меня. Они уже больше не едут в нижегородскую деревню, как располагал Monsieur, потому что Madame не хочет об этом и слышать. Он удовольствуется тем, что поедет на несколько дней в Тригорское, а она не тронется из Петербурга.

О. С. Павлищева – Н. И. Павлищеву, 31 авг. 1835 г., из Павловска. – Там же, с. 162 (фр.).

Александр уехал в Тригорское и хочет там пробыть три месяца.

О. С. Павлищева – Н. И. Павлищеву, 12 сент. 1835 г. – Там же, с. 164.

Писать стихи любил он преимущественно осенью. Тогда он до такой степени чувствовал себя расположенным к этому занятию, что и из Петербурга в половине сентября нарочно уезжал в деревню, где оставался до половины декабря. Редко не успевал он тогда оканчивать всего, что у него заготовлено было в течение года. Теплую и сухую осень называл он негодною, потому что не имел твердости отказываться от лишней рассеянности. Тума-

нов, сереньких тучек, продолжительных дождей ждал он, как своего вдохновения. Странно, что приближение весны, сияние солнца всегда наводили на него тоску. Он это изъяснял расположением своим к чахотке.

Летнее купанье было в числе самых любимых его привычек, от чего не отставал он до глубокой осени, освежая тем физические силы, изнуряемые пристрастием к ходьбе. Он был самого крепкого сложения, и к этому много способствовала гимнастика, которою он забавлялся иногда с терпеливостью атлета. Как бы долго и скоро ни шел, он дышал всегда свободно и ровно. Он дорого ценил счастливую организацию тела и приходил в некоторое негодование, когда замечал в ком-нибудь явное невежество в анатомии.

П. А. Плетнев. Соч. и переп., т. I, с. 375, 384.
221

По свидетельству лиц, близко наблюдавших Пушкина, он иногда чувствовал такую горячность и приливы крови, что должен был освежать себе голову водою, для чего вдруг посреди оживленной беседы убегал в другую

комнату. Вертлявый и непосестный, Пушкин был весь жизнь и движение.

П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1889, т. III, с. 112.

Вот уже неделя, как я тебя оставил, а толку в том не вижу. Писать не начинал и не знаю, когда начну. Зато беспрестанно думаю о тебе и ничего путного не надумаю. Что у нас за погода! Вот уж три дня, как я только что гуляю, то пешком, то верхом. Эдак я и осень мою прогуляю, и коли бог не пошлет нам порядочных морозов, то возвращусь к тебе не сделав ничего. Сегодня видел я месяц с левой стороны и очень о тебе стал беспокоиться.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 14 сент. 1835 г, из Михайловского.

Какой он был живой! Да чего, уж впоследствии, когда он приезжал сюда из Петербурга, едва ли уж не женатый, сидит как-то в гостиной, шутит, смеется; на столе свечи горят; он прыг с дивана, да через стол, и свечи-то опрокинул... Мы ему говорим: «Пушкин, что вышалите так, пора остепениться», – а он смеется только.

М. И. Осипова в передаче *М. И. Семевского*
– СПб. Вед., 1866, № 139.

Мой ангел, как мне жаль, что я вас уже не застал, и как обрадовала меня Евпраксия Николаевна, сказав, что вы опять собираетесь приехать в наши края! Приезжайте, ради бога, хоть к 23-му. У меня для вас три короба признаний, объяснений и всякой всячины. Можно будет, на досуге, и влюбиться. Я пишу к вам, а наискось от меня сидите вы сами во образе Марии Ивановны (*младшей ее сестры*). Вы не поверите, как она напоминает прежнее время и путешествия в Опочку и прочая. Простите мне мою дружескую болтовню. Целую ваши ручки.

*Пушкин – А. И. Беклешово*й (урожд. *Осиповой*), в сер. сент. 1835 г., из Михайловского.

Поэт по приезде сюда был очень весел, хохотал и прыгал по-прежнему, но теперь, кажется, впал опять в хандру. Он ждал Сашеньку (*Ал. Ив. Беклешову*) с нетерпением, надеясь, кажется, что пылкость ее чувств и отсутствие ее мужа разогреет его состаревшие фи-

зические и моральные силы.

Бар. Е. Н. Вревская – брату Ал. Н. Вульфу, 4 окт. 1835 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIX–XX, с. 107.

Ты не можешь вообразить, как живо работает воображение, когда сидим одни между четырех стен, или ходим по лесам, когда никто не мешает нам думать, думать до того, что голова закружится. А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? Отец не оставит мне имения; он его уже споловину промотал; ваше имение на волоске от гибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Все держится на мне да на тетке (*Ек. Ив. Загряжской, тетке Нат. Ник-ны*). Но ни я, ни тетка не вечны. Что из этого будет, бог знает. Покамест, грустно. Был я у Вревских третьего дня и там ночевал. Вревская (*Евпраксия Николаевна, урожденная Вульф*) очень добрая и милая бабенка, но толста, как Мефодий, наш псковский архиерей. И незаметно, что она уж не брюхата: все та же,

как когда ты ее видела. Я взял у них Вальтер-Скотта и перечитываю его. Сегодня погода пасмурная. Осень начинается. Авось засяду. Я много хожу, много езжу верхом, на клячах, которые очень тому рады, ибо им за то дают овес, к которому они не привыкли. Ем я печеный картофель, как маймист (*петербургское название чухон*), и яйца всмятку, как Людовик XVIII. Вот мой обед. Ложусь в 9 часов, встаю в 7.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 21 сент. 1835 г., из Михайловского.

Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки, а все потому, что беспокоен. В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того что нет уж в нем няни моей, и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу. Но делать нечего; все кругом меня говорит, что я старею, иногда даже чистым русским языком. Например, вчера мне встретилась знакомая

баба, которой не мог я не сказать, что она переменилась. А она мне: да и ты, мой кормилец, состарился и подурнел. Хотя могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был. В Тригорском стало просторнее. Евпраксия Ник. и Ал. Ив. замужем, но Пр. Ал. все та же, и я очень люблю ее. Веду себя скромно и порядочно. Гуляю пешком и верхом, читаю романы В. Скотта, от которых в восхищении, да охаю о тебе.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 25 сент. 1835 г., из Тригорского.

Государь обещал мне **Газету**, а там запретил: заставляет меня жить в Петербурге, а не дает мне способов жить моими трудами. Я теряю время и силы душевные, бросаю за окошки деньги трудовые и не вижу ничего в будущем. Отец мотает имение без удовольствия, как без расчета; твои теряют все. Что из этого будет? Господь ведает. Ты мне прислала записку от m-me Kern; дура вздумала переводить Занда и просит, чтоб я сосводничал ее со Смирдиным. Черт побори обоих! Я поручил Ан. Ник. отвечать ей за меня, что если пере-

вод ее будет так же верен, как она сама верный список с m-me Sand, то успех ее несомнителен, а что со Смирдиным дела я никакого не имею. Я провожу время очень однообразно. Утром дела не делаю, а так, из пустова в порожнее переливаю. Вечером езжу в Тригорское, роюсь в старых книгах да орехи грызу. А ни стихов, ни прозы писать и не думаю.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, в конце сент. 1835 г., из Михайловского.

Со вчерашнего дня начал я писать (чтоб не сглазить только). Погода у нас портится, кажется, осень наступает не на шутку. Авось распишусь.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 2 окт. 1835 г., из Михайловского.

(Голубово[185], имение бар. Б. А. Вревского, женившегося в 1831 г. на Евпраксии Вульф.) В устройстве сада и постройках принимал Пушкин, по фамильному преданию самое горячее участие: сам копал грядки, рассадил множество деревьев, что, как известно, было его страстью; рассаживал он и цветы и прини-

мал даже участие в рытье пруда.

В. П. Островский. – Мир Божий, 1898, т. IX, с. 206.

В свой приезд осенью 1835 г. Пушкин много времени проводил в Голубове, принимая участие даже в хозяйственных хлопотах (по семейным преданиям, голубовский сад разбивался под его руководством).

М. Л. Гофман. Из Пушкинских мест. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIX–XX, с. 104.

Я сделал визит поэту, который вот уже три недели поселился в Михайловском и несколько уже раз был у нас в Голубове. Я застал его в час по полудни еще в халате, что-то пишу-щим, – может быть, свою историю Петра Великого, потому что вокруг него были кипы огромных рукописей. В Тригорском и Голубове мы играем в шахматы, а так как я играю очень плохо, он мне дает вперед офицера. Однажды он нам рассказал о счастливом времени, которое провел в Твери, и это единственный раз, когда я его видел таким разговорчивым.

Бар. Б. А. Вревский – Ал. Н. Вульф, 4 окт. 1835 г. – Там же, с. 106 (*фр.*).

Такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу, через пень колоду валяю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен.

Пушкин – П. А. Плетневу, в перв. пол. окт. 1835 г., из Михайловского.

Пушкин, когда узнал, что я опять брюхата, насмешливо улыбнулся и сказал: «Как это смешно!» – на что я ответила, что с его приездом то же будет и с его женою, и отгадала, потому что она уже брюхата.

Бар. Е. Н. Вревская – Ал. Н. Вульф. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIX–XX, с. 107 (*фр.-рус.*).

Александр вчера возвратился, потому что до смерти соскучился в Тригорском. Г-жа Осипова постоянно хворает, и Аннета (*Ан. Ник. Вульф*) оплакивает свою кузину Netty (*умершую от родов*), в Голубове. Г-жа Вревская (*Евпраксия Ник-на*) все время окружена детьми, которые без умолку кричат и горланят с утра

до вечера, и он говорит: «Поверить не можешь, что за скучный дом».

О. С. Павлицева – Н. И. Павлицеву, 24 окт. 1835 г., из Петербурга. – Там же, вып. XVII–XVIII, с. 184 (фр.-рус.).

Гоголь при разговоре, между прочим, заметил, что первую идею к «Ревизору» подал ему Пушкин, рассказав о Павле Петровиче Свиныне, как он, в Бессарабии, выдавал себя за какого-то петербургского важного чиновника и только зашедши уж далеко (стал было брать прошения от колодников), был остановлен. «После слышал я, – прибавил он, – еще несколько подобных проделок, напр., о каком-то Волкове».

О. М. Бодянский. Дневник. – Рус. Стар., 1889, окт., с. 134.

Пушкин рассказал Гоголю про случай, бывший в городе Устюжне Новгородской губ., о каком-то проезжем господине, выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей. Кроме того, Пушкин, сам будучи в Оренбурге, узнал, что о нем по-

лучена гр. В. А. Перовским секретная бумага, в которой Перовский предостерегался, чтоб был осторожен, так как история Пугачевского бунта была только предлогом, а поездка Пушкина имела целью обревизовать секретно действия оренбургских чиновников. На этих двух данных задуман был «Ревизор», коего Пушкин называл себя всегда крестным отцом [186].

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания. – Рус. Арх., 1865, с. 744.

Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль «Ревизора» и «Мертвых душ», но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое достояние. В кругу своих домашних Пушкин говорил, смеясь: «С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя».

П. В. Анненков. Гоголь в Риме. – Литер. воспоминания. СПб., 1909, с. 20.

Я застал мою бедную мать в крайне тяжелом положении; она приехала из Павловска искать квартиру, и неожиданно ею овладела

сильнейшая слабость у г-жи Княжниной, у которой она остановилась. Врачи не имеют никакой надежды. В этих печальных обстоятельствах я еще имею горе видеть мою бедную Наташу предметом ненависти света. Повсюду говорят, что это ужасно; она так изящно одевается, а ее свекру и свекрови нечего есть, и свекровь ее умирает у чужих людей. Вы знаете, как обстоит дело. Нельзя серьезно говорить о нищете человека, имеющего 1200 душ. Это у отца есть кое-что, это у меня ничего нет. И во всяком случае, Наташа тут ни при чем; за это должен ответить я. Если бы мать моя захотела поселиться у меня, Наташа, разумеется, приняла бы ее, но холодный дом, наполненный ребятишками и запруженный народом, мало подходит для больной... Что до меня, то у меня желчь, и голова моя идет кругом. – Поверьте мне, милая m-me Осипова, жизнь, какою бы она ни была «сладкою привычкою», содержит в себе горечь, которая в конце концов делает ее отвратительною, и свет – это скверное озеро грязи. Я предпочитаю Тригорское.

Пушкин – П. А. Осиповой, в конце окт. 1835

г., из Петербурга (*фр.-рус.*).

Жена Александра опять беременна. Вообрази, что на нее, бедняжку, напали, отчего и почему мать у ней не остановилась по приезде из Павловского?.. На месте моей невестки я поступила бы так же: их дом, правда, большой, но расположение комнат неудобное, и потом две ее сестры и трое детей, и потом, – как бы к этому отнесся Александр, которого не было в Петербурге, и потом моя мать не захотела бы этого. Г-жа Княжнина – ее друг детства; это лучше, чем невестка, и моя невестка не лицемерка, – мать моя ее стеснила бы, это тоже очень просто. По этому поводу стали кричать, – почему у нее ложа в театре и почему она так элегантно одевается, тогда как родители ее мужа так плохо одеты, – одним словом, нашли очень заманчивым ее ругать... Впрочем, Александр и его жена имеют довольно и приверженцев.

О. С. Павлицева – Н. И. Павлицеву, 9 нояб. 1835 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XVII–XVIII, с. 186 (*фр.-рус.*).

Болезнь матери моей заставила меня воротиться в город... Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. Холостяку в свете скучно: ему досадно видеть новые, молодые поколения; один отец семейства смотрит без зависти на молодость, его окружающую. Из этого следует, что мы хорошо сделали, что женились.

Пушкин – П. В. Нащокину, в конце окт. 1835 г., из Петербурга.

Потом я встретила Пушкина с женой у матери, которая начинала хворать: Наталья Николаевна сидела в креслах у постели больной и рассказывала о светских удовольствиях, а Пушкин, стоя за ее креслом, разводя руками, сказал шутя: «Это последние штуки Натальи Николаевны: посылаю ее в деревню». Она, однако, не поехала, кажется, потому, что в ту же зиму Надежде Осиповне сделалось хуже, и я его раз встретила у родителей одного. Это было как раз во время обеда, в четыре часа. Старики потчевали его то тем, то другим из кушаньев, но он от всего отказывался и, восхи-

щаясь аппетитом батюшки, улыбнулся, когда отец сказал ему и мне, предлагая гуся с кислой капустой: «с'est un plat e'cossais (это шотландское блюдо)», – заметив при этом, что никогда ничего не ест до обеда, а обедает в шесть часов.

А. П. Керн. Воспоминания. – Пушкин и его совр-ки, вып. V, с. 150.

Когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ», в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачнее, сумрачнее, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка!

Н. В. Гоголь. Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ». Выбр. места из переп. с друзьями, гл. XVIII.

Аннета Керн переводит Жорж Занда. Не для удовольствия, а для заработка. Она просила Александра замолвить за нее словечко Смирдину, но Александр не церемонится, когда дело идет об отказе. Он ей сказал, что совсем не знает Смирдина.

О. С. Павлицева – Н. И. Павлицеву, 9 нояб. 1835 г. – Пушкин. и его совр-ки, вып. XVII–XVIII, с. 188 (фр.).

Александр дает розги своему мальчику, которому только два года; он также тузит свою Машу (дочь); впрочем, он нежный отец. – Знаешь, что? Он очень порядочный и дела понимает, хотя неделовой... Александр не может быть без Соболевского.

О. С. Павлицева – Н. И. Павлицеву, 22 нояб. 1835 г. – Там же, с. 193–194 (фр.-рус.).

Пушкин был строгий отец, фаворитом его был сын, а с дочерью Машей, большой крикуньей, часто и прилежно употреблял розгу.

П. В. Анненков со слов Н. Н. Пушкиной (?). – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 336.

Пушкин воображал себя практиком.

П. И. Бартенев. Из записной книжки. – Рус. Арх., 1906, т. III, с. 619.

В Пушкине замечательно было соединение необычайной заботливости к своим выгодам с такою же точно непредусмотрительностью и растратой своего добра. В этом заключается и весь характер его.

П. В. Анненков. Материалы, с. 182.

Моя невестка и ее сестры выезжают каждый день; я их вижу редко.

О. С. Павлищева – Н. И. Павлищеву, 6 дек. 1835 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XVII–XVIII, с. 197.

Гостиная моих родителей получила в 1836 г., по возвращении их из-за границы, более великосветский характер. Мне весьма памятно тогдашнее впечатление, что подобная же перемена произошла и в обстановке Пушкина с приездом в дом Баташева в 1835 г.

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 665.

Я не могла найти минуты, чтобы поговорить с Александром о делах, я не хотела делать этого в присутствии родителей, а он приходил всякий раз, когда мы сидели за столом. Он присутствовал при нашем обеде и потом тотчас уходил. Соболевский находился в курсе всех наших семейных дел: Александр ничего не скрывает от него и, благодаря ему, читал письма, которые ты ему писал. Часто у него не хватало терпения, тогда Соболевский давал себе труд прочитать их ему до конца и заставлял его обратить на них внимание; это случилось два раза, как он мне сказал.

Александр чрезвычайно рассеян: он слишком думает о своем хозяйстве, о своих ребятах и о туалетах своей жены.

Жена Коссаковского не любит Александра; она вздумала говорить с ним о его стихах, он отвечал сухо; она насмешливо сказала ему: «Знаете ли, что ваш Годунов может показаться интересным в России?» – «Сударыня, так же, как вы можете сойти за хорошенькую женщину в доме вашей матушки». С тех пор она равнодушно на него смотреть не могла.

О. С. Павлицева – Н. И. Павлицеву, 20 дек.

1835 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XVII–XVIII, с. 199–203 (*фр.*).

Однажды, часа в три, я зашел в книжный магазин Смирдина, который помещался тогда на Невском проспекте, в бельэтаже дома Лютеранской церкви. В одно почти время со мною вошли в магазин два человека; один большого роста, с весьма важными и смелыми приемами, полный, с рыжеватой эспаньолкой, одетый франтовски. Другой среднего роста, одетый без всяких претензий, даже небрежно, с курчавыми белокурыми (*sic!*) волосами, с несколько арабским профилем, толстыми выдававшимися губами и с необыкновенно живыми и умными глазами. Когда я взглянул на последнего, сердце мое так и замерло. Я узнал в нем Пушкина, по известному портрету Кипренского. Я преодолел робость, подошел к прилавку, у которого Пушкин оставился, и начал внимательно и в подробности рассматривать поэта. Прежде всего меня поразили огромные ногти Пушкина, походившие более на когти. Выражение лица его показалось мне очень симпатическим, а улыбка

чрезвычайно приятной и даже добродушной. Он спросил у Смирдина не помню какую-то книгу и, перелистывая ее, обратился к своему спутнику с каким-то замечанием. Спутник, заложив руку за жилет, отвечал громко и не смотря на Пушкина, и потом, с улыбкой обратившись к Смирдину, начал с некоторою торжественностью:

К Смирдину как ни придешь... –

и остановился.

Смирдин заюлил и начал ухмыляться. Пушкин взглянул на своего спутника с полуулыбкой и покачал головою. Я думал, глядя на господина с рыжей эспаньолкой: «Как счастлив этот господин, обращающийся с великим человеком так небрежно и просто, тогда как у меня от одного взгляда на Пушкина замирает дыхание. Кто же такой этот счастливец, так близкий к Пушкину?» С этим вопросом обратился я к Смирдину, когда Пушкин вышел из лавки.

– Это С. А. Соболевский, – отвечал Смирдин, – прекраснейший человек и друг Александра Сергеевича. Он пишет на всех удиви-

тельнейшие эпиграммы в стихах-с.

После я уже узнал, что стих, произнесенный Соболевским у Смирдина, был первый стих известного экспромта Пушкина:

*К Смирдину как ни зайдешь...
Ничего не купишь,
Иль Сенковского найдешь,
Иль в Булгарина наступишь.*

Я и не смел думать о знакомстве с Пушкиным, да и какое право имел я на знакомство с ним? Я только завидовал моему приятелю Дирину, который познакомился с ним по случаю своего отдаленного родства с Вильгельмом Кюхельбекером. Родные Дирин получали через III Отделение письма от ссыльного Кюхельбекера, в которых всегда почти упоминалось о Пушкине, и Дирин носил обыкновенно эти письма показывать Пушкину. Дирин занимался тогда переводом сочинения Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека» и сообщил об этом Пушкину, который одобрил его мысль и обещал ему даже написать предисловие к его переводу.

Дирин был в восхищении от приемов Пушкина, от его приветливости и внимательно-

сти. Пушкин действительно, по словам всех литераторов, имевших с ним сношения, был очень прост, любезен и до утонченности вежлив в обхождении, никому не давая чувствовать своего авторитета. Якубович гордился тем, что Пушкин всегда выпрашивал у него стихов для своих изданий.

Через несколько лет после смерти Дирина я как-то завел речь о нем и об его отношениях к Пушкину с П. А. Плетневым.

– А знаете ли, почему Пушкин был так внимателен и вежлив к нему?

– Почему же? Ведь он был со всеми таков.

– Нет, – отвечал Плетнев, – с ним он был особенно внимателен – и вот почему. Я как-то раз утром зашел к Пушкину и застаю его в передней провожающим Дирина. Излишняя внимательность его и любезность к Дирину несколько удивили меня, и, когда Дирин вышел, я спросил Пушкина о причине ее.

– С такими людьми, братец, излишняя любезность не вредит, – отвечал, улыбаясь, Пушкин.

– С какими людьми? – спросил я с удивлением.

– Да ведь он носит ко мне письма от Кюхельбекера... Понимаешь? Он служит в III Отделении.

Я расхохотался и объяснил Пушкину его заблуждение. Дирин, разумеется, ничего не знал о подозрении Пушкина; он пришел бы от этого в отчаяние, но Пушкин после этого обнаружил к нему действительное участие, что доказывает и предисловие к его переводу Сильвио Пеллико.

И. И. Панаев. Литер. воспоминания. – И. И. Панаев. Полн. собр. соч., т. VI, с. 40–42.

Года протекали. Время ли отозвалось пресыщением порывов сильной страсти, или частые беременности вызвали некоторое охлаждение в чувствах Ал. Сер-ча, но чутким сердцем жена следила, как с каждым днем ее значение стушевывалось в его кипучей жизни. Его тянуло в водоворот сильных ощущений... Пушкин только с зарей возвращался домой, проводя ночи то за картами, то в веселых кутежах в обществе женщин известной категории. Сам ревнивый до безумия, он даже мысленно не останавливался на сердечной тоске,

испытываемой тщетно ожидавшей его женою, и часто, смеясь, посвящал ее в свои любовные похождения.

А. П. Арапова. Воспоминания. – Новое Время, 1907, № 11413.

Пушкины едут на несколько лет в деревню. Муж, сказывают, в пух проигрался.

Кн. П. А. Вяземский – А. И. Тургеневу, 29 дек. 1835 г. – Ост. Арх., т. III, с. 282.

По словам Арк. Ос. Россет, Пушкин, играя в банк, заложит, бывало, руки в карманы и припеваает солдатскую песню с заменою слова *солдат*.

*Пушкин бедный человек,
Ему негде взять,
Из-за этвава безделья
Не домой ему идтить.*

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1899, т. II, с. 356.

(1834–1836). В числе гулявшей по Невскому публики почасту можно было приметить и А. С. Пушкина, но он, останавливая и привлекая на себя взоры всех и каждого, не поражал сво-

им костюмом, напротив, шляпа его далеко не отличалась новизною, а длинная бекешь его тоже старенькая. Я не погрешу перед потомством, если скажу, что на его бекеши сзади на талии недоставало одной пуговики. Отсутствие этой пуговики меня каждый раз смущало, когда я встречал А. С-ча и видел это. Ясно, что около него не было ухода. Прогуливался он то с графом Нессельроде, бывшим министром иностр. дел, то с Воронцовым-Дашковым, которого, по улыбающейся фигуре, белому жилету и галстуху, называли вечным именинником. Тут же почасту гулял и отец Пушкина, Сергей Львович. Красноватое его лицо и, кажись, рябоватое было далеко не привлекательно, но то замечательно, что я никогда не встречал его вместе с сыном.

Н. М. Колмаков. Очерки и воспоминания. — Рус. Стар., 1891, т. 70, с. 665.

Пушкин был характера весьма серьезного и склонен, как Байрон, к мрачной душевной грусти, чтоб умерять, уравновешивать эту грусть, он чувствовал потребность смеха; ему не надобно было причины, нужна была толь-

ко придирка к смеху! В ярком смехе его почти всегда мне слышалось нечто насильственное, и будто бы ему самому при этом невесело на душе. Неожиданное, небывалое, фантастически-уродливое, не в натуре, а в рассказе, всего скорее возбуждало в нем этот смех; и когда кто-либо другой не удовлетворял его потребности в этом отношении, так он сам, при удивительной и, можно сказать, ненарушимой стройности своей умственной организации, принимался слагать в уме странные стихи, – умышленную, но гениальную бессмыслицу! Сколько мне известно, он подобных стихов никогда не доверял бумаге. Но чтоб самому их не сочинять, он всегда желал иметь около себя человека милого, умного, с решительною склонностью к фантастическому: «Скажешь ему: пожалуйста, соври что-нибудь! И он тотчас совет, чего никак не придумаешь, не вообразишь!»

Бар. *Е. Ф. Розен*. Ссылка на мертвых. – Сын Отеч., 1847, кн. 6, отд. III, с. 27.

Брюллов говорил про Пушкина: «Какой Пушкин счастливец! Так смеется, что словно

кишки видны!»

Арк. О. Россет. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 246.

Когда Пушкин хохотал, звук его голоса производил столь же чарующее действие, как и его стихи.

А. С. Хомяков по записи П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1899, т. II, с. 146.

Лев Серг. Пушкин... засмеялся вдруг своим быстрым, гортанным смехом, чрезвычайно сходным, – как говорил он сам, – со смехом его брата.

Б. М. Маркевич. Пушкинские заметки. – *Л. Н. Майков*, с. 28.

Пушкин был небольшого роста, сухощав, с курчавыми, весьма темно-русыми, почти черными волосами, с глазами темно-голубыми. В облике лица сохранились еще черты африканского происхождения, но в легком уже напоминании. Даже во множестве нельзя было не заметить Пушкина: по уму в глазах, по выражению лица, высказывающему какую-то решимость характера, по едва ли унимаемой

природной живости, какого-то внутреннего беспокойства, по проявлению с трудом сдерживаемых страстей. Таким, по крайней мере, казался мне Пушкин в последние годы своей жизни. К этому можно еще сказать, что также нельзя было не заметить невнимания Пушкина к своему платью и его покрою на больших балах. В обществе, сколько мне случалось его видеть, я всегда находил его весьма молчаливым, избегающим всякого высказывания.

Неоднократно я слышал, как Пушкин, со свойственной ему откровенностью, говорил, что не читал многих из называемых ему даже весьма известных сочинений по части древних и новых философий, политики и истории. Зато, при большой памяти, познания Пушкина собственно в произведениях словесности европейской и отечественной были обширны.

Я помню, как однажды Пушкин говорил мне, что он терпеть не может, когда просят у него не на водку, а на чай. Причем не мог скрыть своего легкого неудовольствия, когда я сказал, что распространяющийся в наших сословиях народа обычай пить чай благодете-

лен для нравственности и что этому нельзя не радоваться. «Но пить чай, – возразил Пушкин с живостью, – не русский обычай».

Н. И. Тарасенко-Отрешков. Воспоминания. – Рус. Стар., 1906, т. 133, с. 430–431, 433.

А. С. Пушкин среднего роста, худощавый, имел в младенчестве белокурые, курчавые волосы, сделавшиеся потом темно-русыми; глаза светло-голубые; улыбку насмешливую и вместе приятную; носил на умном лице отпечаток африканского своего происхождения, которому соответствовали живость и пылкость характера, раздражительного, но доброго, услужливого, чувствительного. Он, в особенности, отличался большими своими бакенбардами и длинными ногтями, которыми щеголял. Любезность, острый ум, необыкновенная память и заманчивый веселый рассказ делали его украшением, душою общества.

Д. Н. Бантыш-Каменский. Словарь достопамятных людей русской земли. СПб., 1847, ч. II, прибавл., с. 104.

Нрав у Пушкина был страстный, порывистый, вспыльчивый. Он любил игру и искал сильных ощущений, особенно в молодости, ибо годы начали смягчать в нем пыл страстей; он был рассеян, беседа его полна очарования для слушателей. Нелегко было заставить Пушкина говорить, но раз вступив в беседу, он выражался необычайно изящно и ясно, нередко прибегая к французской речи, когда хотел придать фразе более убедительности. Ум у него был злой и насмешливый, тем не менее все знавшие его считают его образцовым другом.

Заметка о Пушкине, приложенная к депешам вюртембергского посла кн. Х. Г. Гогенлоэ-Кирхберга о смерти Пушкина. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 371.

Пушкин был малого роста, в отца. Вообще в движениях, в приемах его было много отцовского. Но африканский отпечаток матери видимым образом отразился на нем. Другого сходства с нею он не имел.

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 238.

Пушкин был невысокого роста и наружности непривлекательной. Курчавые волосы, впрочем, более каштанового цвета, чем совершенно черного, широкий нос и живые мышинные глаза напоминали о его арапском происхождении. Движения его были быстры и страстны. Говорил также живо и отрывисто. Был остроумен, блестящ, без особенной глубины; склад ума его был более французский, чем немецкий... Из страстей Пушкина первая – его чувственная и ревнивая любовь. Самый брак не спас его от страсти к чувственным наслаждениям и от ревности, хотя в первой он не имел никакого извинения, а для последней – основания. Другою его страстью была игра, впрочем, это больше в ранние годы его жизни. Тысячи остроумств его, а еще больше глупых сплетней о нем ходит в народе; ибо все, что только касалось Пушкина, быстро разносилось от одного к другому.

Г. И. Кениг со слов Н. А. Мельгунова. Очерки русской литературы (1837). Пер. с немец. СПб., 1862, с. 113–114.

Отличительною чертою Пушкина была память сердца; он любил старых знакомых и был благодарен за оказанную ему дружбу – особенно тем, которые любили в нем его личность, а не его знаменитость; он ценил добрые советы, данные ему вовремя, не в перекор первым порывам горячности, проведенные рассудительно и основанные не на общих местах, а сообразно с светскими мнениями о том, что называется честью.

С. А. Соболевский. Из воспоминаний о Пушкине. – Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. СПб.: Атений, 1924, с. 123.

Портрет Мазера относится к последним годам жизни Пушкина... Интересна подробность на этом портрете, которая не встречается в других портретах Пушкина: на нем совершенно ясно видно, что Пушкин, независимо от бак, с которыми он представлен на других портретах, носил еще соединяющую баки ниже подбородка, выше адамова яблока, узкую полосу волос, в том роде, как носил бороду Мицкевич.

С. Д. Либрович. Пушкин в портретах, с. 60.

Пушкин тщательно берег свои рукописи не только неизданные, но и черновые, в которых были места нецензурные, либо искаженные цензурою, либо первоначальные наброски.

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1903, № 6, обложка.

Ошибка, будто А. Пушкин после учился польски. Он не учился этому языку, а мог понимать столько, сколько все русские понимают другие славянские наречия. Справедливее бы прибавить, что он выучился в зрелом возрасте по-испански.

С. Л. Пушкин. Замечания. – Отеч. Зап., 1841, т. XV, особ. прил., с. 2.

Однажды у Плетнева зашла речь о Кукольнике. Пушкин, по обыкновению, грызя ногти или яблоко – не помню, сказал: «А что, ведь у Кукольника есть хорошие стихи? Говорят, что у него есть и мысли». Это было сказано тоном двойного аристократа: аристократа природы и положения в свете. Пушкин иногда

впадает в этот тон и тогда становится крайне неприятным.

А. В. Никитенко. Дневник, 10 января 1836 г. – А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. I, с. 270.

(17 января 1836 г.) Пушкин написал род пасквиля на министра народного просвещения, на которого он очень сердит за то, что тот подвергнул его сочинения общей цензуре. Прежде его сочинения рассматривались в собственной канцелярии государя, который и сам иногда читал их. Пасквиль Пушкина называется «Выздоровление Лукулла»: он напечатан в «Московском наблюдателе». Он как-то хвалился, что непременно посадит на гауптвахту кого-нибудь из здешних цензоров. Этой цели он теперь, кажется, достигнет в Москве, ибо пьеса наделала много шума в городе. Все узнают в ней, как нельзя лучше, Уварова.

А. В. Никитенко. Там же, с. 270.

(20 января 1836 г.) Весь город занят «Выздоровлением Лукулла». Враги Уварова читают

пьесу с восхищением, но большинство образованной публики недовольно своим поэтом. В самом деле, Пушкин этим стихотворением не много выиграл в общественном мнении, которым, при всей своей гордости, однако, очень дорожит. Государь, через Бенкендорфа, приказал сделать ему строгий выговор. Но дня за три до этого Пушкину уже было разрешено издавать журнал, вроде «Эдинбургского трехмесячного обозрения», он будет называться «Современником». Цензором нового журнала попечитель назначил Крылова, самого трусливого, а следовательно, и самого строгого из нашей братии. Хотел меня назначить, но я убедительно просил уволить меня от этого: с Пушкиным слишком тяжело иметь дело.

А. В. Никитенко. Там же, с. 271.

А. Пушкин решился издавать свой журнал, в коем он и прочие литераторы, одинаково с ним судившие о литературе, могли бы печатать свои труды. Он вовсе не полагал больших надежд на успех этого издания, он был слишком беспечен, слишком поэт в душе и в

действиях своих для замышления подобной спекуляции.

С. Л. Пушкин. Замечания. – *Отеч. Зап.*, 1841, т. XV, особ. прил., с. 3.

Пушкин хотел сделать из «Современника» четвертное обозрение, вроде английских, в котором могли бы помещаться статьи более обдуманнные и полные, чем какие могут быть в еженедельниках и ежемесячниках, где сотрудники, обязанные торопиться, не имеют даже времени пересмотреть то, что написали сами. Впрочем, сильного желания издавать этот журнал в нем не было, и он сам не ожидал от него большой пользы. Получивши разрешение на издание его, он уже хотел было отказаться. Грех лежит на моей душе: я умолил его. Я обещался быть верным сотрудником. В статьях моих он находил много того, что может сообщить журнальную живость изданию, какой он в себе не признавал... Моя настойчивая речь и обещанье действовать его убедили.

Н. В. Гоголь – П. А. Плетневу. – *Письма Н. В. Гоголя*, т. III, с. 268.

Когда в разговоре о стихотворении «На выздоровление Лукулла» Бенкендорф хотел добиться от Пушкина, на кого оно написано, то он отвечал: «На вас», и, видя недоумение усмехнувшегося графа, прибавил: «Вы не верите? Отчего же другой уверен, что это на него?»

Я. К. Грот, с. 290. Подробнее этот разговор Пушкина с Бенкендорфом передает со слов П. В. Нащокина Н. И. Куликов. – Рус. Стар., 1881, авг., с. 616–618. Ср.: К. И. Фишер. Записки сенатора. – Историч. Вестн., 1908, № 1, с. 49.

Павел (бар. П. А. Вревский) мне пишет, что на балах дворянства жена Пушкина замечательнейшая из замечательных среди столичных красавиц.

Бар. *Е. Н. Вревская* – *Ал. Н. Вульф*у, 25 янв. 1836 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIX–XX, с. 107 (*фр.*).

Накануне моего отъезда (в Тверь) я был на вечере вместе с Натальей Николаевной Пушкиной, которая шутила над моею романиче-

ской страстью и ее предметом. Я ей хотел заметить, что она уже не девочка, и спросил, давно ли она замужем. Затем разговор коснулся Ленского, очень милого поляка, танцевавшего тогда превосходно мазурку на петербургских балах. Все это было до крайности невинно и без всякой задней мысли. Но присутствующие дамы соорудили из этого разговора целую сплетню: что я будто оттого говорил про Ленского, что он будто нравится Наталье Николаевне (чего никогда не было), и что она забывает о том, что она еще недавно замужем[187]. Наталья Николаевна, должно быть, сама рассказала Пушкину про такое странное истолкование моих слов, так как она вообще ничего от мужа не скрывала, хотя и знала его пламенную, необузданную натуру. Пушкин написал тотчас ко мне письмо, никогда ко мне не дошедшее, и, как мне было передано, начал говорить, что я уклоняюсь от дуэли... В Ржеве я получил от Андрея Карамзина письмо, в котором он меня спрашивал, зачем же я не отвечаю на вызов А. С. Пушкина: Карамзин поручился ему за меня, как за своего дерптского товарища, что я от поедин-

ка не откажусь. Для меня это было совершенной загадкой. Пушкина я знал очень мало, встречался с ним у Карамзиных, смотрел на него, как на полубога. И вдруг, ни с того ни с сего, он вызывает меня стреляться, тогда как перед отъездом я с ним не виделся вовсе... Я переехал в Тверь. С Карамзиным я списался и узнал, наконец, в чем дело. Получив объяснение, я написал Пушкину, что я совершенно готов к его услугам, когда ему будет угодно, хотя не чувствую за собой никакой вины по таким-то и таким-то причинам. Пушкин остался моим письмом доволен и сказал С. А. Соболевскому: «Немножко длинно, молодо, а впрочем, хорошо».

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания. – Рус. Арх., 1865, с. 749.

В ту пору через Тверь проехал Валуев и говорил мне, что около Пушкиной увивается сильно Дантес. Мы смеялись тому, что когда Пушкин будет стреляться со мной, жена будет кокетничать с своей стороны. От Пушкина привез мне ответ Хлюстин.

Гр. В. А. Сологуб. Записка, бывш. в распо-

ряж. П. В. Анненкова. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 375.

Пушкин написал мне по-французски письмо следующего содержания: «М. г., Вы приняли на себя напрасный труд, сообщив мне объяснения, которых я не спрашивал. Вы позволили себе невежливость относительно жены моей. Имя, вами носимое, и общество, вами посещаемое, вынуждает меня требовать от вас сатисфакции за непристойность вашего поведения. Извините меня, если я не мог приехать в Тверь прежде конца настоящего месяца» и пр. Делать было нечего, я стал готовиться к поединку, купил пистолеты, выбрал секунданта, привел бумаги в порядок и начал дожидаться и прождал так напрасно три месяца. Я твердо, впрочем, решился не стрелять в Пушкина, но выдерживать его огонь, сколько ему будет угодно. Пушкин все не приезжал, но расспрашивал про дорогу.

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания. – Рус. Арх., 1865, с. 750.

(28 янв. 1836 г.)[188] Пушкин за обедом си-

дел против меня. Он был нехорош собою: смугловат, неправильные черты лица, но нельзя было представить себе физиономии более выразительной, более оживленной, более говорящей, и слышать более приятного, более гармонического голоса, как будто нарочно созданного для его стихов... Много толковали о мнимом открытии обитаемости луны. Пушкин доказывал нелепость этой выдумки, считал ее за дерзкий пуф, каким она впоследствии и оказалась, и подшучивал над легковерием тех, которые падки принимать за наличную монету всякую отважную выдумку. Так как я не спускала глаз с Пушкина, то ни одно движение его не ускользнуло от моей наблюдательности. Я заметила, между прочим, что он мало ел за обедом, беспрестанно щипал и клал в рот виноград, который в вазе стоял перед ним... Пушкин сказал, что в Кукольнике жар не поэзии, а лихорадки.

(Е. А. Драшусова). Жизнь прожить – не поле перейти. Записки неизвестной. – Рус. Вестн., 1881, т. 155, с. 151–152.

Я очень недовольна, что ты писал Алексан-

дру; это привело только к тому, что разволновало его желчь; я никогда не видела его в таком отвратительном расположении духа: он кричал до хрипоты, что лучше отдаст все, что у него есть (в том числе, может быть, и свою жену?), чем опять иметь дело с Болдином, с управляющим, с ломбардом и т.д. и т.д. Он не прочел твоего письма, распечатав, он возвратил мне его, не бросив на него взгляда. Гнев его, в конце концов, показался мне довольно комичным, — до того, что мне хотелось смеяться: у него был вид, как будто он передразнивал отца... Как тебе угодно, я больше не буду говорить с Александром; если ты ему будешь писать по его адресу, он будет бросать твои письма в огонь не распечатывая, поверь мне. Ему же не до того теперь: он издает на днях журнал, который ему приносить будет, не меньше, он надеется, 60 000! Хорошо и завидно.

О. С. Павлицева – Н. И. Павлицеву, 31 янв. 1836 г. Пушкин и его совр-ки, вып. XXII–XXIII, с. 210–211 (фр.-рус.).

1 февраля 1836 г. взято Пушкиным у Шиш-

кина 1200 р. под залог шалей, жемчуга и серебра.

Б. Л. Модзалевский. Архив опеки над детьми и имущ. Пушкина. – Там же, вып. XIII, с. 98.

На балу у княгини Бутеро. На лестнице рядами стояли лакеи в богатых ливреях. Редчайшие цветы наполняли воздух нежным благоуханием. Роскошь необыкновенная! Поднявшись наверх, мы очутились в великолепном саду, – перед нами анфилада салонов, утопающих в цветах и зелени. В обширных апартаментах раздавались упоительные звуки музыки невидимого оркестра. Совершенно волшебный очарованный замок. Большая зала с ее беломраморными стенами, украшенными золотом, представлялась храмом огня, – она пылала.

Оставались мы в ней не долго; в этих многлюдных, блестящих собраниях задыхаешься... В толпе я заметил д'Антеса, но он меня не видел. Возможно, впрочем, что просто ему было не до того. Мне показалось, что глаза его выражали тревогу, – он искал кого-то взгля-

дом и, внезапно устремившись к одной из дверей, исчез в соседней зале. Через минуту он появился вновь, но уже под руку с г-жею Пушкиной. До моего слуха долетело:

– Уехать – думаете ли вы об этом – я этому не верю – вы этого не намеревались сделать...

Выражение, с которым произнесены эти слова, не оставляло сомнения насчет правильности наблюдений, сделанных мною ранее, – они безумно влюблены друг в друга! Пробыв на балу не более получаса, мы направились к выходу: барон танцевал мазурку с г-жею Пушкиной. Как счастливы они казались в эту минуту!

М. К. Мердер. Листки из дневника, 5 февр. 1836 г., среда. – Рус. Стар., 1900, т. 103, с. 383 (фр.).

Князь! с сожалением вижу себя вынужденным докучать вашему превосходительству; но, как дворянин и отец семейства, я обязан оберегать свою честь и имя, которое должен оставить моим детям. Я не имею чести лично быть с вами знакомым. Не только никогда я вас не оскорблял, но, по причинам мне из-

вестным, я питал к вам до сего времени истинное чувство уважения и благодарности. Тем не менее некий г-н Боголюбов публично повторял оскорбительные для меня слова, якобы исходящие от вас. Я прошу ваше превосходительство не отказать осведомить меня, что мне об этом думать[189]. Больше, чем кто-нибудь, я знаю расстояние, отделяющее меня от вас; но вы, который не только вельможа, но еще и представитель нашего древнего и истинного дворянства, к которому принадлежу и я, – вы, надеюсь, без труда поймете повелительную необходимость, которая вынуждает меня к этому шагу.

Пушкин – кн. Н. Г. Репнину, 5 февр. 1836 г. (фр.).

Милостивый государь Александр Сергеевич! Г-на Боголюбова я единственно вижу у С. С. Уварова и с ним никаких сношений не имею и никогда ничего на ваш счет в присутствии его не говорил, а тем паче прочтя послание Лукуллу, вам же искренно скажу, что гениальный талант ваш принесет пользу отечеству и вам славу, воспевая веру и верность

русскую, а не оскорблением частных людей. Простите мне сию правду русскую, она послужит вернейшим доказательством тех чувств отличного почтения, с коим имею честь быть вашим покорнейшим слугой.

Кн. *Н. Г. Репнин* – Пушкину, 10 февр. 1836 г. – Переписка Пушкина, т. III, с. 277.

Милостивый государь, князь Николай Григорьевич! Приношу вашему сиятельству искреннюю, глубочайшую мою благодарность за письмо, коим изволили меня удостоить. Не могу не сознаться, что мнение вашего сиятельства касательно сочинений, оскорбительных для чести частного лица, совершенно справедливо. Трудно их извинить, даже когда они написаны в минуту огорчения и слепой досады; как забава суетного или развращенного ума, они были бы непростительны.

Пушкин – кн. *Н. Г. Репнину*, 11 февр. 1836 г.

Наряды и выезды поглощали все время (*Натальи Николаевны и ее старшей сестры Екатерины Николаевны*). Хозяйством и

детьми должна была заниматься вторая сестра, Александра Николаевна. Пушкин подружился с нею...

П. И. Бартенев со слов кн. *В. Ф. Вяземской*. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 309.

Я слышала, что, далеко не красавица, Екатерина Николаевна представляла собою довольно оригинальный тип – скорее южанки с черными волосами.

А. П. Арапова. Воспоминания. – Нов. Время, 1907, № 11413, ил. прил., с. 6.

Екатерина Гончарова была высока ростом и стройна. Ее черные, слегка близорукие глаза оживляли лицо с изящным овалом, с матовым цветом кожи. Ее улыбка раскрывала восхитительные зубы. Стройная походка, показанные плечи, красивые руки делали ее очаровательной женщиной.

Л. Метман (внук Дантеса). *Ж. Ш. Дантес*. Биограф. очерк. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 336.

Александра Николаевна высоким ростом и безукоризненным сложением более подходи-

ла к Наталье Николаевне, но черты лица, хотя и напоминавшие правильность гончаровского склада, являлись как бы его карикатурою. Матовая бледность кожи Натальи Николаевны переходила у нее в некоторую желтизну, чуть приметная неправильность глаз, придающая особую прелесть вдумчивому взору младшей сестры, перерождалась у ней в несомненно косой взгляд, — одним словом, люди, видевшие обеих сестер рядом, находили, что именно это предательское сходство служило в явный ущерб Александре Николаевне... Александра Николаевна, прожившая под кровом сестры большую часть своей жизни, положительно мучила ее своим тяжелым, строптивым характером и внесла немало огорчений и разлада в семейный обиход... Александра Николаевна принадлежала к многочисленной плеяде восторженных поклонниц поэта: совместная жизнь, увядшая молодость, не пригретая любовью, незаметно для нее самой могли переродить родственное сближение в более пылкое чувство.

А. П. Арапова. Воспоминания. Новое Время, 1907, № 11413, ил. прил., с. 6.

Воротившись в Петербург, Пушкин уверял, что он очень скучал в деревне и поэтому воротился раньше. Ольга (сестра Пушкина) утверждает, что он очень сильно ухаживает за своею свояченицею Александрой и что его жена стала большою кокеткою.

А. Н. Вульф – бар. Е. Н. Вревской, 12 февр. 1836 г., из Петербурга. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXI–XXII, с. 331.

Александра Гончарова. Холодна, благоразумна (?). Кажется, что в последние годы Пушкин влюбился в нее.

Кн. *Е. А. Долгорукая* (?). – П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 60.

Натали выезжает в свет больше, чем когда-либо, а муж ее с каждым днем становится все эгоистичнее и все скучнее.

А. Н. Вульф – Е. Н. Вревской, 9 марта 1836 г., из Петербурга. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXI–XXII, с. 330.

В обхождении Пушкина была какая-то уди-

вительная простота, выпрямлявшая человека и с первого раза устанавливавшая самые благоприятные отношения между собеседниками. Поэт Кольцов, введенный в общество петербургских литераторов, был поражен дружелюбною откровенностью приема, сделанного ему Пушкиным. С робостью явился он к знаменитому поэту и не встретил ни тени величавого благоволения, ни тени покровительственного тона. Пушкин крепко сжал руку Кольцова в своей руке и заговорил с ним, как с давним знакомым, как с равным себе.

П. В. Анненков. Материалы, с. 157.

Матери очень плохо, может быть, жить ей всего несколько дней. Отчаяние отца мучит меня свыше всякой меры: он не может сдержаться, рыдает около нее, – это пугает ее и мучит. Я ему попробовала это сказать, он накричал на меня, он забыл, что ведь я, я теряла мать. Право, не знаю, что делать: Александр (*Пушкин*) является только изредка, так же, как и другие; я совсем одна с нею. Счастье, что Александр не уехал, как собирался; плохие дороги его напугали.

О. С Павлищева – Н. И. Павлищеву, 11 марта 1836 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXIII–XXIV, с. 220–221

13 марта 1836 г. взято Пушкиным у Шиш-кина 650 руб. под залог шалей, жемчуга и серебра.

Б. Л. Модзалевский. Архив опеки над детьми и имущ. Пушкина. – Там же, вып. XIII, с. 98.

«Современник» подготавливается и явится в свет в первых днях апреля. Теперь бедный Пушкин печально озабочен тяжкою и едва ли не смертельною болезнью матушки своей.

Кн. П. А. Вяземский – И. И. Дмитриеву, 15 марта 1836 г. – Рус. Арх., 1868, с. 646.

Потом я его еще раз встретила с женою у родителей, незадолго до смерти матери и когда она уже не вставала с постели, которая стояла посреди комнаты, головами к окнам: они сидели рядом на маленьком диване у стены, и Надежда Осиповна смотрела на них ласково, с любовью, а Александр Сергеевич дер-

жал в руке конец боа своей жены и тихонько гладил его, как будто тем выражая ласку к жене и ласку к матери. Он при этом ничего не говорил. Наталья Николаевна была в папилютках: это было перед балом.

А. П. Керн. Воспоминания. – Пушкин и его совр-ки, вып. V, с. 151.

Так как просьбы, с которыми мы к вам обращались много раз, всегда оставались без результата, мы принуждены повторить попытку, которая не может быть более докучною для вас, чем неприятною для нас. Из прилагаемого счета следует, что вы должны нам 1100 р. еще за поставки 1834 года. И приблизительно такую же сумму за поставки 1835 г. ...По настоящий день вы должны нам 2172 р. 90 к., каковую сумму просим вас, если возможно, уплатить.

Ф. Беллизар (владелец французского книжного магазина в Петербурге) – Пушкину, 24 марта 1836 г. – Там же, вып. III, с. 116 (фр.).

(А. Жобар, профессор Казанского университета, обиженный министром Уваровым, пе-

ревел на французский язык стихотворение Пушкина «На выздоровление Лукулла» и прислал свой перевод Пушкину.) – Я жалею, что напечатал пьесу, которую я написал в минуту дурного расположения духа. Ее опубликование вызвало неудовольствие лица (царя), мнение которого мне дорого и которому я не могу оказывать неуважение, если не хочу быть неблагодарным или сумасшедшим. Будьте добры, пожертвуйте удовольствием опубликовать ваш перевод – мысли обязать вашего сотоварища. Не оживляйте с помощью вашего таланта произведения, которое без этого падет в забвение, которого заслуживает.

Пушкин – А. Жобару, 24 марта 1836 г.

Живо помню восторг Пушкина в то время, как прочитал он стихотворение Языкова к Давыдову, напечатанное в журнале. В первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина. (Пушкин никогда не плакал; он сам о себе сказал в послании к Овидию: «Суровый славянин, я слез не проливал, не понимаю их».)

Н. В. Гоголь. В чем же наконец существо

русской поэзии и в чем ее особенность. Выбр. места из переп. с друзьями, гл. XXXI.

Пушкин, когда прочитал следующие стихи из оды Державина к Храповицкому:

*За слова меня пусть гложет,
За дела сатирик чтит, –*

сказал так: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела».

Н. В. Гоголь. О том, что такое слово. Выбр. места из переп. с друзьями, гл. IV.

(Яким, бывший камердинер и повар Гоголя.)
Бывало, снег, дождь и слякоть, а они (*Пушкин*) в своей шинельке бегут сюда в Мещанскую. По целым ночам у барина просиживали, слушая, как наш-то читал им свои сочинения, либо читая ему свои стихи.

По словам Якима, Пушкин, заходя к Гоголю и не заставая его, с досадою рылся в его бумагах, желая знать, что он написал нового. Он все твердил ему: «Пишите, пишите!», а от его повестей хохотал и уходил от Гоголя всегда веселый, в духе.

Г. П. Данилевский. Знакомство с Гоголем. – Г. П. Данилевский. Соч. Изд. 7-е, 1892, т. V, с. 302.

Пушкин признавал высокую образованность первым, существенным качеством всякого истинного писателя в России. Я сам слышал от Гоголя о том, как рассердился на него Пушкин за легкомысленный приговор Мольеру; «Пушкин, – говорил Гоголь, – дал мне порядочный выговор и крепко побранил за Мольера. Я сказал, что интрига у него почти одинакова и пружины схожи между собой. Тут он меня поймал и объяснил, что писатель, как Мольер, надобности не имеет в пружинах и интригах, что в великих писателях нечего смотреть на форму и что куда бы он ни положил добро свое, – бери его, а не ломайся».

П. В. Анненков. Материалы, с. 361.

По словам Нащокина, Гоголь никогда не был близким человеком к Пушкину. Пушкин, радостно и приветливо встречавший всякое молодое дарование, принимал к себе Гоголя, оказывал ему покровительство, заботился о

внимании к нему публики, хлопотал лично о постановке на сцену «Ревизора», одним словом, выводил Гоголя в люди. Нащокин, уважая талант Гоголя, не уважает его, как человека, противопоставляя его искание эффектов, самомнение простодушию и доброте, безыскусственности Пушкина.

П. И. Бартенева. Рассказы о Пушкине, с. 44.

* Пушкин, нарезавши из бумаги ярлыков, писал на каждом по заглавию, о чем когда-либо потом ему хотелось припомнить. На одном писал «Русская изба», на другом: «Державин», на третьем имя тоже какого-нибудь замечательного предмета и т.д. Все эти ярлыки накладывал он целою кучею в вазу, которая стояла на его рабочем столе, и потом, когда случалось ему свободное время, он вынимал наудачу первый билет; при имени, на нем написанном, он вспоминал вдруг все, что у него соединялось в памяти с этим именем, и записывал о нем тут же, на том же билете, все, что знал. Из этого составились те статьи, которые печатались потом в посмертном издании и которые так интересны именно тем, что вся-

кая мысль его там осталась живьем, как вышла из головы.

Н. В. Гоголь – С. Т. Аксакову, 21 дек. 1844 г. – Письма Н. В. Гоголя, т. II, с. 562.

Пушкин всегда ездил на пожары и любил смотреть, как кошки ходят по раскаленной крыше. Пушкин говорил, что ничего нет смешнее этого вида.

Пушкин был необыкновенно умен. Если он чего и не знал, то у него чутье было на все. И силы телесные были таковы, что их достало бы у него на девяносто лет жизни.

Я уверен, что Пушкин бы совсем стал другой. И как переменялся. Он хотел оставить Петербург и переехать в деревню; жена и родные уговорили остаться.

Н. В. Гоголь по записи неизвестной. Дневник. – Рус. Арх., 1902, т. I, с. 551, 554.

Кажется, за год до кончины своей Пушкин говорил одному из друзей своих: «Меня упрекают в изменчивости мнений. Может быть: ведь одни глупцы не переменяются».

П. В. Анненков. Материалы, с. 152.

Матушка моей жены (*Н. О. Пушкина*) скончалась в первый день Светлого воскресения, в самую заутреню... (*29 марта*).

Н. И. Павлищев – своей матери *Л. М. Павлицевой*, 9 апр. 1836 г. – Л. Н. Павлищев. Воспоминания, с. 416.

У Пушкина умерла мать его, он все это время был в печальных заботах, а сегодня отправился в псковскую деревню, где будет погребена его мать.

Кн. *П. А. Вяземский* – *А. И. Тургеневу*, 8 апр. 1836 г. – П. И. Бартенев. Пушкин: сборник, т. II, с. 63.

Пушкин чрезвычайно был привязан к своей матери, которая, однако, предпочитала ему второго своего сына (*Льва*), и притом до такой степени, что каждый успех старшего делал ее к нему равнодушнее и вызывал с ее стороны сожаление, что успех этот не достался ее любимцу. Но последний год ее жизни, когда она была больна несколько месяцев, Александр Сергеевич ухаживал за нею с та-

кою нежностью и уделял ей от малого своего состояния с такой охотой, что она узнала свою несправедливость и просила у него прощения, сознаваясь, что она не умела его ценить. Он сам привез ее тело в Святогорский монастырь, где она похоронена. После похорон он был чрезвычайно расстроен и жаловался на судьбу, что она и тут его не пощадила, дав ему такое короткое время пользоваться нежностью материнскою, которой до того времени он не знал. Между тем, как он сам мне рассказывал, нашлись люди в Петербурге, которые уверяли, что он при отпевании тела матери неприлично весел был.

Бар. *Е. Н. Вревская* в заметке, бывш. в распоряж. М. И. Семеvского. – Рус. Вестн., 1869, № 11, с. 89.

(1 апреля 1836 г.) Пушкина жестоко жмет цензура. Он жаловался на Крылова и просил себе другого цензора, в подмогу первому. Ему назначили Гаевского. Пушкин раскаивается, но поздно. Гаевский до того напуган гауптвахтой, на которой просидел восемь дней, что теперь сомневается, можно ли пропускать в пе-

чать известия, вроде того, что такой-то король скончался.

А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. I. с. 273.

Пишу к вам из той стороны, «где вольные живали вы», где ровно тому десять лет пировали мы втроем – вы, Вульф и я, где звучали наши стихи и бокалы с ёмкой[190], где теперь вспоминаем мы вас – и старину. Поклон вам от холмов Михайловского, от сеней Тригорского, от волн голубой Сороти, от Евпраксии Николаевны, некогда полувоздушной девы, ныне дебелий жены, в пятый раз уже брюхатой и у которой я в гостях. Алексей Вульф здесь же, отставной студент и гусар, усатый агроном, тверской ловелас – по-прежнему милый, но уже перешагнувший за тридцатый год. – Пребывание мое в Пскове не так шумно и весело ныне, как во время моего заточения, во дни, как царствовал Александр; но оно так живо мне напомнило вас, что я не мог не написать вам несколько слов.

Пушкин – Н. М. Языкову, 14 апр. 1836 г., из Голубова.

Милостивый государь Александр Сергеевич! Его сиятельство граф Александр Христофорович просит вас доставить к нему письмо, полученное вами от Кюхельбекера (*лицейский товарищ Пушкина, ссыльный декабрист*), и с тем вместе желает непременно знать, через кого вы его получили.

А. Н. Мордвинов – Пушкину, 27 апр. 1836 года. – Переписка Пушкина, т. III, с. 304.

Спешу препроводить к вашему превосходительству полученное мною письмо. Мне вручено оное тому с неделю, по моему возвращению с прогулки, оно было просто отдано моим людям без всякого словесного препоручения неизвестно кем. Я полагал, что письмо доставлено мне с вашего ведома.

Пушкин – А. Н. Мордвинову, 28 апр. 1836 г., из Петербурга.

Я не видела Александра Пушкина после его возвращения из Михайловского, потому что он сейчас же уехал в Москву. Как вы находите его журнал («Современник»)? Здесь он

не пользуется большим успехом. А жена его уж на будущие барыши наняла дачу на Каменном острове еще вдвое дороже прошлогоднего.

А. Н. Вульф – П. А. Осиповой, 6 мая 1836 г., из Петербурга. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXI–XXII, с. 336.

Пушкин одно время, очень непродолжительное, был журналистом. Но журнальное дело не было его делом. Срочная работа была не по нем. Он принялся за журнал вовсе не из литературных видов, а из экономических. Ему нужны были деньги, и он думал, что найдет их в журнале. Он обчелся и в литературном, и в денежном отношении. Пушкин тогда не был уже повелителем и кумиром двадцатых годов. По мере созревания и усиливающейся мужественности таланта своего, он соразмерно утрачивал чары, коими опаивал молодые поколения и критику. Пушкин не только не заботился о своем журнале с родительской нежностью, он почти пренебрегал им. Однажды прочел он мне свое новое поэтическое произведение. «Что же, – спросил

я, – ты напечатаешь его в следующей книжке?» – «Да как бы не так, – отвечал он, – я не такой дурак: подписчиков баловать нечего. Нет, я приберегу стихотворение для нового тома сочинений моих».

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. II, с. 370.

4 мая, Москва, у Нащокина – против Старого Пимена, дом г-жи Ивановой. Путешествие мое было благополучно. 1-го мая переночевал я в Твери, а 2-го ночью приехал сюда. Я остановился у Нащокина. Жена его очень мила. Он счастлив и потолстел. Мы, разумеется, друг другу очень обрадовались и целый вчерашний день проболтали бог знает о чем.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 4 мая 1836 г., из Москвы.

Мы с мужем квартировали тогда в Пименовском пер., в доме Ивановой. Пушкин во время своих приездов в Москву останавливался у нас. Для него была даже особая комната в верхнем этаже, рядом с кабинетом мужа. Она даже и называлась «Пушкинской». Муж

мой имел обыкновение каждый вечер проводить в английском клубе. На этот раз он сделал то же. Так как помещение клуба было недалеко от нашей квартиры, то Павел Войнович, уходя, спросил нас, что нам прислать из клуба. Мы попросили варенца и моченых яблок. Это были любимые кушанья поэта. Через несколько минут клубовский лакей принес просимое нами. Мы остались с Пушкиным вдвоем, и тотчас же между нами завязалась одушевленная беседа. Можно было подумать, что мы – старые друзья, когда на самом деле мы виделись во второй раз с жизни. Впрочем, говорил больше Пушкин, а я только слушала. Он рассказывал о дружбе с Павлом Войновичем, об их молодых проказах, припоминал смешные эпизоды. Более привлекательного человека и более милого и интересного собеседника я никогда не встречала. В беседе с ним я не заметила, как пролетело время до 5 часов утра, когда мой муж вернулся из клуба.

– Ты соскучился, небось, с моей женой? – спросил Павел Войнович, входя.

– Уезжай, пожалуйста, каждый вечер в

клуб! – ответил всегда любезный и находчивый поэт.

– Вижу, вижу. Ты уж ей насплетничал на меня?! – сказал Павел Войнович.

– Было немножко... – ответил Пушкин смеясь.

В. А. Нащокина. Воспоминания. – Новое Время, 1898, № 8115.

После женитьбы Нащокин вел жизнь уже не на цыганский лад, игру вел только в английском клубе, где от графа Мусина-Пушкина, проигравшего огромные суммы, на долю Нащокина достался порядочный куш. Тогда нанимается в приходе Старого Пимена прекрасный двухэтажный дом, мебель Гамбса, отличные обеды, вина и сигары первого сорта. Из прежних гостей остались только кн. Гагарин, артисты Московского театра, да приезжавшие из Петербурга или из-за границы иностранцы, которых он и угощал и дарил. Вьетану, например, он подарил скрипку, с которою знаменитый артист объехал всю Европу; В. А. Каратыгину устраивал оvation, обед в английском клубе... Деньги он бросал и на

добрые дела, и на глупости. Чего стоил ему один «Домик»! Предположив себе людей в размер среднего роста детских кукол, он, по этому масштабу, заказывал первым мастерам все принадлежности к этому дому: генеральские ботфорты на колодках делал лучший петербургский сапожник Пель; рояль в 71/2 октав – Вирт: Вера Александровна палочками играла на нем всевозможные пьесы; мебель, раздвижной обеденный стол работал Гамбс; скатерти, салфетки, фарфоровую и хрустальную посуду, все, что потребно на 24 куверта, – все делалось на лучших фабриках. Несколько измененное общество постоянно посещало радушного хозяина с утра до полудня, так как он на все вечера и на известные обеденные дни уезжал в английский клуб. Ему были приятелями все замечательные люди того времени: Д. В. Давыдов, Толстой (американец). Он знал множество анекдотов, и исторических, и частных, умел рассказывать их и общал Пушкину о курьезных новостях Москвы. Пушкина забавляли его сообщения. – Но чем мог Нащокин привлекать к себе таких людей, как Пушкин, Гоголь, кн. Вяземский и

др.? – Умом. Да, умом необыкновенным, переполненным врожденной, природной логикой и здравым смыслом; а рассудок, несмотря на его страсть к игре, во всех остальных перипетиях жизни, – рассудок царствовал в его умной голове и даже был полезен для других людей, обращавшихся к его совету или суду, при крайних столкновениях в жизни.

Н. И. Куликов. Воспоминания. – Рус. Стар., 1880, дек., с. 993.

Весной 1836 г. Пушкин приехал в Москву, Нащокина не было дома. Дорогого гостя приняла жена его. Рассказывая ей о недавней потере своей, Пушкин, между прочим, сказал, что, когда рыли могилу для его матери в Святогорском монастыре, он смотрел на работу могильщиков и, любуясь песчаным, сухим грунтом, вспомнил о Войныче (так он звал его иногда): «Если он умрет, непременно его надо похоронить тут; земля прекрасная, ни червей, ни сырости, ни глины, как покойно ему будет здесь лежать». Жена Нащокина очень опечалилась этим рассказом, так что сам Пушкин встревожился и всячески старал-

ся ее успокоить, подавая воды и пр.

Пушкин несколько раз приглашал Нащокина к себе в Михайловское и имел твердое намерение совсем его туда переманить и зажить с ним вместе и оседло.

Женку называл Бенкендорфом, потому, что она, подобно ему, имеет полицейское, умиряющее и приводящее все в порядок влияние на желудок.

П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 49.

Весной я поехал из Твери в деревню на два дня; вечером в Тверь приехал Пушкин. На всякий случай я оставил письмо, которое отвез ему мой секундант князь Козловский. Пушкин жалел, что не застал меня, извинялся и был очень любезен и разговорчив с Козловским. На другой день он уехал в Москву. На третий я вернулся в Тверь и с ужасом узнал, с кем я разъехался. Первой моей мыслью было, что он подумает, пожалуй, что я от него убежал. Тут мешкать было нечего. Я послал тотчас за почтовой тройкой и без оглядки поскакал прямо в Москву, куда приехал на рассвете, и велел вести себя прямо к П. В. На-

цокину, у которого останавливался Пушкин. В доме все еще спали. Я вошел в гостиную и приказал человеку разбудить Пушкина. Через несколько минут он вышел ко мне в халате, заспанный и начал чистить необыкновенно длинные ногти. Первые взаимные приветствия были очень холодны. Он спросил меня, кто мой секундант. Я отвечал, что секундант мой остался в Твери и что в Москву я только приехал и хочу просить быть моим секундантом известного генерала князя Ф. Гагарина [191]. Пушкин извинился, что заставил меня так долго дожидаться, и объявил, что его секундант П. В. Нащокин. Затем разговор несколько оживился, и мы начали говорить об начатом им издании «Современника». «Первый том был очень хорош, – сказал Пушкин. – Второй я постараюсь выпустить поскучнее: публику баловать не надо». Тут он рассмеялся, и беседа между нами пошла почти дружеская, до появления Нащокина. Павел Войнович явился в свою очередь заспанный, с взъерошенными волосами, и, глядя на мирный его лик, я невольно пришел к заключению, что никто из нас не ищет кровавой

развязки, а что дело в том, как бы всем выпутаться из глупой истории, не уронив своего достоинства. Павел Войнович тотчас приступил к роли примирителя. Пушкин непременно хотел, чтоб я перед ним извинился. Обиженным он, впрочем, себя не считал, но ссылаясь на мое светское значение и как будто боялся компрометировать себя в обществе, если оставить без удовлетворения дело, получившее уже в небольшом кругу некоторую огласку. Я с своей стороны объявил, что извиняться перед ним ни под каким видом не стану, так как я не виноват решительно ни в чем; что слова мои были перетолкованы превратно и сказаны в таком-то смысле. Спор продолжался довольно долго. Наконец, мне было предложено написать несколько слов Наталье Николаевне. На это я согласился, написал прекудрявое французское письмо, которое Пушкин взял и тотчас же протянул мне руку, после чего сделался чрезвычайно весел и дружелюбен. Это выказывает одну странную сторону его характера, а именно его страсти к светской молве, к светским отличиям, толкам и условиям. И тут, как и после,

жена его была только невинным предлогом, а не причиной его взрывочного возмущения против судьбы. И, несмотря на то, он дорожил своим великосветским положением. Письмо же мое Пушкин, кажется, изорвал, так как оно никогда не дошло по своему адресу.

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания. – Рус. Арх., 1865, с. 752–753.

Пушкин просил, чтобы я написал его жене. Я написал следующее (*по-французски*): «Милостивая государыня! Я, конечно, не ожидал, что буду иметь честь писать вам. Дело в несчастной фразе, которую я произнес в припадке дурного расположения духа. Вопрос, с которым я к вам обратился, обозначал, что шалости молодой девушки не соответствуют достоинству царицы общества. Я был в отчаянии, что этим словам было придано значение, недостойное порядочного человека». Пушкин говорил, что это слишком... (*пропуск в рукописи Анненкова*). Письмо он желал, как доказательство в случае, что ему упрекать будут, что оскорбили его жену, и просил, чтоб в конце я просил у жены извинения. На это я

долго не соглашался. Пушкин говорил: «Можно всегда просить извинения у женщины». Нащокин также уговаривал. Наконец, я приписал: «И прошу принять мои извинения», — чему теперь душевно радуюсь. Пушкин мне подал руку и был очень доволен.

Гр. В. А. Сологуб. Записка. — Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 376.

П. В. Нащокин уладил ссору Пушкина с Сологубом, предотвратив дуэль.

В. А. Нащокина. Воспоминания. — Новое Время, 1898, № 8115.

Вот уже три дня, как я в Москве, и все еще ничего не сделал. Архива не видал, с книгопродавцами не сторговался, всех визитов не отдал, к Солнцевым (семья тетки) на поклонение не бывал. Что прикажешь делать? Нащокин встает поздно, я с ним забалтываюсь — глядь, обедать пора, а там ужинать, а там спать — и день прошел. Вчера был у Дмитриева, у Орлова, Толстого, сегодня собираюсь к остальным. Про тебя, душа моя, идут кой-какие толки, которые не вполне доходят до ме-

ня, потому что мужья всегда последние в городе узнают про жен своих; однако ж видно, что ты кого-то (*царя*) довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц. Нехорошо, мой ангел: скромность есть лучшее украшение вашего пола. Жду письма от тебя с нетерпением. Что твое брюхо и что твои деньги? Я не раскаиваюсь в моем приезде в Москву, а тоска берет по Петербурге. На даче ли ты? Как ты с хозяином управилась? что дети? экое горе! Вижу, что непременно нужно иметь мне 80 000 доходу. И буду их иметь. Недаром же пустился в журнальную спекуляцию – а ведь это все равно, что золотарство: очищать русскую литературу есть чистить нужники и зависеть от полиции. Того и гляди, что... Черт их побери! У меня кровь в желчь превращается.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 5 мая 1836 г., из Москвы.

Жизнь пребеспутная. Дома не сижу – в архиве не роюсь. Сегодня еду во второй раз к Малиновскому. На днях обедал я у (М. Ф.) Ор-

лова, у которого собрались Московские Наблюдатели. Орлов умный человек и очень добрый малый, но до него я как-то не охотник по старым нашим отношениям; Раевский (Ал.), который с прошлого раза казался мне приглупевшим, кажется, опять оживился и поумнел. Вчера ужинал у кн. Фед. Гагарина и возвратился в 4 часа утра – в таком добром расположении, как бы с бала. Нащокин здесь одна моя отрада. Но он спит до полудня, а вечером едет в клуб, где играет до света.

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 11 мая 1836 г., из Москвы.

В архивах я был и принужден буду опять в них зарыться месяцев на шесть; что тогда с тобою будет? А тебя с собою, как тебе угодно, уж возьму. Жизнь моя в Москве степенная и порядочная. Сижу дома – вижу только мужской пол. Пешком не хожу, не прыгаю – и толстею. С литературой московской кокетничаю, как умею; но Наблюдатели меня не жалуют. Любит меня один Нащокин. Но тинтере (*карточная игра*) – мой соперник, и меня приносят ему в жертву. Все зовут меня обедать, а я

всем отказываю. Начинаю думать о выезде. Ты уж, вероятно, в своем загородном болоте. Что-то дети мои и книги мои? Каково-то перевезла и перетащила тех и других? и как перетащила ты свое брюхо?

Пушкин – Н. Н. Пушкиной, 14 мая 1836 г., из Москвы.

У Щепкина (М. С., знаменитого актера) хранится лист бумаги, на котором великий художник Пушкин своею рукою написал следующее:

(17 мая 1836 г., Москва.) Записки актера Щепкина. Я родился в Курской губернии, Обоянского уезда, в селе Красном, что на речке Пенке...

С. Т. Аксаков. Несколько слов о М. С. Щепкине. – Записки и письма М. С. Щепкина. М., 1864, с. 5. Ср.: И. Н. Божерянов. Ил. история рус. театра, т. I, вып. II, примеч., с. 15.

Пушкин, которого я видела в пятницу у Свербеевых, очаровал меня решительно... Мы вчера только возвратились из Нового Иерусалима... Нас было три дамы и вот сколько муж-

чин: Свербеев, Дюк (*Ал. Мих. Языков*), Павлов (*Н. Ф.*), Хомяков, Андросов, Венелин (*Ю. И.*), Боборыкин, Скарятин... Пушкин, видно, не очень любит московских литераторов и отказался от поездки.

Е. М. Языкова – брату *Н. М. Языкову*, 19 мая 1836 г., из Москвы. – Искусство, 1928, Изд. Гос. Ак. Худ. Наук, кн. 1–2, с. 158.

У меня душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. Будучи еще порядочным человеком, я получал уж полицейские выговоры и мне говорили: *vous avez trompé* [192], и тому подобное. Что же теперь со мной будет? Мордвинов будет на меня смотреть, как на Фадея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона: черт догадал меня родиться в России с душою и талантом! Весело, нечего сказать.

Пушкин – *Н. Н. Пушкиной*, 18 мая 1836 г., из Москвы.

В нашей семье он положительно был, как родной. Мы проводили счастливые часы втроем в бесконечных беседах, сидя вечером у меня в комнате на турецком диване, под-

жавши под себя ноги. Я помещалась обыкновенно посредине, а по обеим сторонам мой муж и Пушкин в своем красном архалуке с зелеными клеточками. Я помню частые возгласы поэта: «Как я рад, что я у вас! Я здесь в своей родной семье!» Насколько Пушкин любил общество близких ему людей, настолько же не любил бывать на званых обедах в честь его. Он часто жаловался мне, что на этих обедах чувствовал себя стесненным, точно на параде; особенно неприятно было ему то, что все присутствовавшие обыкновенно ждали, что Пушкин скажет, как посмотрит и т.п.

В. А. Нащокина. Воспоминания. – Новое Время, 1898, № 8115–8122.

Любя тихую домашнюю жизнь, Пушкин неохотно принимал приглашения, неохотно ездил на так называемые литературные вечера. Нащокин сам уговаривал его ездить на них, не желая, чтобы про него говорили, будто он его у себя удерживает... Нащокин и жена его с восторгом вспоминают о том удовольствии, какое они испытывали в сообществе и в беседах Пушкина. Он был душа, оживитель

всякого разговора. Они вспоминают, как любил домоседничать, проводил целые часы на диване между ними; как они учили его играть в вист и как просиживали за вистом по целым дням; четвертым партнером была одна родственница Нащокина, невзрачная собою, над ней Пушкин любил подшучивать.

П. И. Бартнев. Рассказы о Пушкине, с. 33.

К нам часто приезжала княжна Г., общая «кузина», как ее все называли, дурнушка, недалекая старая дева, воображавшая, что она неотразима. Пушкин жестоко пользовался ее слабостью и подсмеивался над нею. Когда «кузина» являлась к нам, он вздыхал, бросал на нее пламенные взоры, становился перед нею на колени, целовал ее руки и умолял окружающих оставить их вдвоем. «Кузина» млела от восторга и, сидя за картами (Пушкин неизменно садился рядом с ней), много раз в продолжение вечера роняла на пол платок, а Пушкин, подымая, каждый раз жал ей ногу.

В. А. Нащокина. Воспоминания. – Новое Время, 1898, № 8122.

В пример милой веселости Пушкина Нащокин рассказал следующий случай. Они жили у Старого Пимена, в доме Иванова. Напротив их квартиры жил какой-то чиновник, рыжий и кривой, жена у этого чиновника была тоже рыжая и кривая, сынишка – рыжий и кривой. Пушкин для шуток вздумал волокаться за супругой и любовался, добившись того, что та стала воображать, будто действительно ему нравится, и начала кокетничать. Начались пересылки: кривой мальчик прихаживал от матушки узнать от Александра Сергеевича, который час и пр. Сама матушка, с жеманством и принарядившись, прохаживалась мимо окон, давая знаки Пушкину, на которые тот отвечал преуморительными знаками. Случилось, что приехал с Кавказа Лев Сергеевич и привез с собой красивый порошок, которым можно было совсем перекрасить волосы. Раз почтенные супруги куда-то отправились, остался один рыжий мальчик. Пушкин вздумал зазвать его и перекрасить. Нащокин, как сосед, которому за это пришлось бы иметь неприятности, уговорил удо-

ВОЛЬСТВОВАТЬСЯ ОДНИМ СМЕХОМ.

П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 33.

Вера Александровна Нащокина рассказывала мне еще следующее о Пушкине. Когда Пушкин жил у них (в последний приезд его в Москву), она часто играла на гитаре, пела. К ним приходил тогда шут Еким Кириллович Загряцкий. Он пел песню, которая начиналась так:

*Двое сани с подрезами,
Одни писанные;
Дай балалайку, дай гудок.*

Пушкину очень понравилась эта песня; он переписал ее всю для себя своей рукою, и хотя вообще мало пел, но эту песню тянул с утра до вечера.

П. И. Бартенев. Там же, с. 46.

К нам часто заходил некто З., из бедных дворян. Жалкий был человек, и нужда сделала из него шута. Пушкин любил его кривляния и песни. Время было такое. Особенно много поэт смеялся, когда тот пел:

*Двое саней с подрезами.
Третьи писанные,
Подъезжали ко цареву кабаку*

и т.д.

«Как это выразительно! – замечал Пушкин. – Я так себе и представляю картину, как эти сани в морозный вечер, скрипя подрезами по крепкому снегу, подъезжают «ко цареву кабаку».

В. А. Нащокина. Воспоминания. – Новое Время, 1898, № 8122, ил. прил., с. 7.

Натура могучая, Пушкин и телесно был отлично сложен, строен, крепок, отличные ноги. В банях, куда ездил с Нащокиным тотчас по приезде в Москву, он, выпарившись на полке, бросался в ванну со льдом и потом уходил опять на полок. К концу жизни у него уже начала показываться лысина, и волосы его переставали виться.

П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 43.

У Пушкина существовало великое множество всяких примет. Часто, собравшись ехать

по какому-нибудь неотложному делу, он приказывал отпрягать тройку, уже поданную к подъезду, и откладывал необходимую поездку из-за того только, что кто-нибудь из домашних или прислуги вручал ему какую-нибудь забытую вещь вроде носового платка, часов и т.п. В этих случаях он ни шагу уже не делал из дома до тех пор, пока, по его мнению, не пройдет определенный срок, за пределами которого зловещая примета теряла силу.

В. А. Нащокина. Воспоминания. – Новое Время, 1898, № 8122.

Удостоверяю, что подаренный мною А. А. Карзинкину старинный зеленого сафьяна с шитьем из шелка бумажник принадлежал в свое время А. С. Пушкину и перешел к моему покойному мужу, П. В. Нащокину, при следующих, насколько припоминаю, обстоятельствах. В мае 1836 г. Пушкин гостил у нас в Москве у церкви Старого Пимена. Мой муж всякий день почти играл в карты в английском клубе и играл крайне несчастливо. Перед отъездом в Петербург Пушкин предложил

однажды Павлу Войновичу этот бумажник, говоря: «Попробуй сыграть с ним на мое счастье». И как раз Павел Войнович выиграл в этот вечер тысяч пять. Пушкин тогда сказал: «Пускай этот бумажник будет всегда счастьем для тебя».

В. А. Нащокина. Воспоминания. – Рус. Библиофил, 1916, № 8, с. 71.

Пушкин любил чай и пил его помногу, любил цыганское пение, особенно пение знаменитой в то время Тани, часто просил меня играть на фортепиано и слушал по целым часам. Любил также шутов, острые слова и карты. За зеленым столом он готов был просидеть хоть сутки. В картах ему не везло, и играл он дурно, отчего почти всегда был в проигрыше.

Они часто острили с моим мужем наперебой друг с другом. Я была у обедни в церкви Старого Пимена, как называют ее в Москве в отличие от Нового Пимена, что близ Селезневской улицы. «Где же Вера Александровна?» – спросил Пушкин у мужа. – «Она поехала к обедне». – «Куда?» – «К Пимену». – «А за-

чем ты к Пимену пускаешь жену одну?» – «Так я же пускаю к Старому Пимену, а не к молодому, – ответил мой муж».

Пушкина называли ревнивым мужем. Я этого не замечала. Знаю, что любовь его к жене была безгранична. Наталья Николаевна была его богом, которому он поклонялся, которому верил всем сердцем, и я убеждена, что он никогда даже мыслью, даже намеком на какое-либо подозрение не допускал оскорбить ее. Надо было видеть радость и счастье поэта, когда он получал письма от жены. Он весь сиял и осыпал их поцелуями. В одном ее письме каким-то образом оказалась булавка. Присутствие ее удивило Пушкина, и он воткнул эту булавку в отворот своего сюртука. В последние годы клевета и стесненность в средствах омрачали семейную жизнь поэта, однако мы в Москве видели его всегда неизменно веселым, как и в прежние годы, никогда не допускавшим никакой дурной мысли о своей жене. Он боготворил ее по-прежнему.

В. А. Нащокина. Воспоминания. – Новое Время, 1898, № 8122.

Какой Пушкин был весельчак, добряк и остролов! Он говорил тенором, очень быстро, каламбурил и по-русски, и по-французски... Жена его была добрая, но легкомысленная. Ветер, ветер! Право, она какая-то, казалось мне, бесчувственная. Пушкин ее любил безумно.

В. А. Нащокина по записи Н. Ежова. – Новое Время, 1899, № 8343. Перепеч.: Книга воспоминаний о Пушкине, с. 316.

Пушкин не любил Вяземского, хотя не выражал того явно; он видел в нем человека безнравственного, ему досадно было, что тот волочился за его женой, впрочем, волочился просто из привычки светского человека отдавать долг красавице. Напротив, Вяземскую Пушкин любил. (*Примеч. М. А. Цявловского:* сообщение Нащокина о том, что Вяземский волочился за Н. Н. Пушкиной, неожиданно подтверждается поступившими в годы революции в Пушкинский Дом письмами кн. П. А. Вяземского к вдове поэта. Письма эти, как мне передавал летом 1924 г. Б. Л. Модзалевский, говорят о сильном увлечении князя Н.

Н. Пушкиной.)

Пушкин был человек самого многостороннего знания и огромной начитанности. Известный египтолог Гулянов, встретясь с ним у Нащокина, не мог надивиться, как много он знал даже по такому предмету, каково языковедение. Он изумлял Гулянова своими светлыми мыслями, меткими, верными замечаниями. Раз, Нащокин помнит, у них был разговор о всеобщем языке. Пушкин заметил, между прочим, что на всех языках в словах, означающих *свет*, *блеск*, слышится буква л. С. С. Мальцеву, отлично знавшему по-латыни, Пушкин стал объяснять Марциала, и тот не мог надивиться верности и меткости его замечаний. Красоты Марциала были ему понятнее, чем Мальцеву, изучавшему поэта.

П. В. Нащокин по записи П. И. Бартенева. — П. И. Бартенов. Рассказы о Пушкине, с. 28, 39, 78.

Однажды Пушкин зашел к молодому классику Мальцеву и застал его над Петронием. Мальцев затруднялся понять какое-то место. Пушкин прочел и тотчас же объяснил ему его

недоразумение.

С. А. Соболевский по записи П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1908, т. III, с. 591.

Нащокин повторяет, что Пушкин был не только образованнейший, но и начитанный человек. Так, он очень хорошо помнит, как он почти постоянно держал при себе в карманах одну или две книги и в свободное время, затихнет ли разговор, разойдется ли общество, после обеда – принимался за чтение. Читая Шекспира, он пленился его драмой «Мера за меру», хотел сперва перевести ее, но оставил это намерение, не надеясь, чтобы наши актеры, которыми он не был вообще доволен, умели разыграть ее. Вместо перевода, подобно своему Фаусту, он переделал Шекспирово содание в своем Анджело. Он именно говорил Нащокину: «Наши критики не обратили внимание на эту пьесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучше я не написал».

П. И. Бартенов. Рассказы о Пушкине, с. 47.

Пушкин хвалил Нащокину «Ревизора»,

особенно «Тараса Бульбу». О сей последней пьесе Пушкин рассказывал Нащокину, что описание степей внушил он. Пушкину какой-то знакомый господин (да, это было при мне. Стравинский. *Примечание С. А. Соболевского*) очень живо описывал в разговоре степи. Пушкин дал случай Гоголю послушать и внушил ему вставить в «Бульбу» описание степи[193].

П. И. Бартенев со слов П. В. Нащокина. Рассказы о Пушкине, 45.

Люди, близко знавшие Пушкина (Нащокин, кн. Вяземской, В. А. Жуковский), утверждали, что их друг, за что бы ни принялся, во всем был велик и гениален.

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1899, т. II, с. 146.

Никого не знала я умнее Пушкина. Ни Жуковский, ни князь Вяземский спорить с ним не могли, – бывало, забьет их совершенно. Вяземский, которому очень не хотелось, чтоб Пушкин был его умнее, надуется и уже молчит, а Жуковский смеется: «Ты, брат Пушкин, черт тебя знает, какой ты, – ведь вот и чув-

ствую, что вздор говоришь, а переспорить тебя не умею, так ты нас обоих в дураках и записываешь».

Пушкин мне говорил: «У всякого есть ум, мне не скучно ни с кем, начиная с будочника и до царя». И действительно, он мог со всеми весело проводить время. Иногда с лакеями беседовал.

А. О. Смирнова по записи Я. П. Полонского
. – Голос Минувшего, 1917, № 11, с. 154.

Будучи членом Академии Русской Словесности (жетоны академии он приваживал к Нащокину), Пушкин сильно добивался быть членом Академии Наук, но Уваров не допускал его, и это было одною из причин их недовольствия.

Ни наших университетов, ни наших театров Пушкин не любил. Не ценил Каратыгина, ниже Мочалова. С Сосницким был хорош.

Пушкин был великодушен, щедр на деньги. Бедному он не подавал меньше 25 рублей. Но он как будто старался быть скупее и любил показывать, будто он скуп.

П. В. Нащокин по записи П. И. Бартенева. –

П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 43.

Пушкин у нас здесь. Он много занимается своим Петром Великим.

П. Я. Чаадаев – А. И. Тургеневу, 25 мая 1836 г., из Москвы. – Соч. и письма Чаадаева, т. I, с. 191 (*фр.*).

Последний раз Шевырев видел Пушкина весною 1836 г.; он останавливался у Нащокина, в Дегтярном переулке. В это посещение он сообщил Шевыреву, что занимается «Словом о полку Игореве», и сказал между прочим свое объяснение первых слов. Последнее свидание было в доме Шевырева; за ужином он превосходно читал русские песни.

С. П. Шевырев. Воспоминания о Пушкине. – Л. Н. Майков, с. 331.

Помню, в последнее пребывание у нас в Москве Пушкин читал черновую «Русалки», а в тот вечер, когда он собирался уехать в Петербург, – мы, конечно, и не подозревали, что уже больше никогда не увидим дорогого друга, – он за прощальным ужином пролил на

скатерть масло. Увидя это, Павел Войнович с досадой заметил:

– Эдакий неловкий! За что ни возьмешься, все роняешь!

– Ну, я на свою голову. Ничего... – ответил Пушкин, которого, видимо, взволновала эта дурная примета.

Благодаря этому маленькому приключению, Пушкин послал за тройкой (тогда ездили еще на перекладных) только после 12 часов ночи. По его мнению, несчастье, каким грозила примета, должно миновать по истечении дня... Последний ужин у нас, действительно, оказался прощальным...

В. А. Нащокина. Воспоминания. – Новое Время, 1898, № 8115.

Нащокин носил кольцо с бирюзой против насильственной смерти и в последний приезд Пушкина настоял, чтоб он принял от него такое же кольцо. Оно было заказано. Его долго не несли, и Пушкин не хотел уехать, не дождавшись его. Кольцо было принесено поздною ночью. По свидетельству Данзаса, кольца этого не было на Пушкине во время пред-

смертного поединка; но перед самою кончиною он велел подать ему шкатулку, вынул из нее бирюзовое кольцо и, подавая Данзасу, сказал: «От общего нашего друга».

П. И. Бартенев со слов *П. В. Нащокина*. – Де-вятнадцатый Век, т. I, с. 393.

Пушкин взял с собой в Петербург моего меньшого брата Л. А. Нарского... В это путешествие случилось маленькое приключение: Нащокин утром другого дня по их отъезде на лестнице нашей квартиры нашел камердинера Пушкина спящим. На вопрос моего мужа, как он здесь очутился, тот объяснил, что Александр Сергеевич, кажется, в селе Всех-святском, спихнул его с козел за то, что тот был пьян, и приказал ему отправиться к На-щокину, что тот и исполнил.

По возвращении из Петербурга брат рас-сказывал, что Пушкин в путешествии нико-гда не дожидался на станциях, пока заложат ему лошадей, а шел по дороге вперед и не пропускал ни одного встречного мужика или бабы, чтобы не потолковать с ними о хозяй-стве, о семье, о нуждах, особенно же любил

вмешиваться в разговоры рабочих артелей. Народный язык он знал в совершенстве и чрезвычайно скоро умел располагать к себе крестьянскую серую толпу настолько, что мужики совершенно свободно говорили с ним обо всем.

В. А. Нащокина. Воспоминания. – Новое Время, 1898, № 8122.

Пушкин много и подолгу любил ходить; во время своих переездов по России нередко целую станцию проходил он пешком, а пройти около 30 верст от Петербурга до Царского Села ему было нипочем.

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1903, № 6, обложка.

Я приехал к себе на дачу 23-го в полночь и на пороге узнал, что Наталья Николаевна благополучно родила дочь Наталью за несколько часов до моего приезда. Она спала. На другой день я ее поздравил и отдал вместо червонца свое ожерелье, от которого она в восхищении... Деньги, деньги! нужно их до зареза.

Вот тебе анекдот о моем Сашке. Ему запре-

цают (не знаю зачем) просить, чего ему хочется. На днях говорит он своей тетке: Азя! дай мне чаю: я просить не буду.

Пушкин – П. В. Нащокину, 27 мая 1836 г., из Петербурга.

Наталья Николаевна родила, и Александр Сергеевич приехал опять несколько часов позже.

Бар. Е. Н. Вревская – бар. Б. А. Вревскому. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIX–XX, с. 108.

Пошли от меня один экземпляр «Современника» Белинскому (тихонько от «Наблюдателей») и вели сказать ему, что очень жалею, что с ним не успел увидеться.

Пушкин – П. В. Нащокину, 27 мая 1836 г., из Петербурга.

Больше всего меня радуют доселе и будут радовать, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным и, к счастью, дошедших до меня из верных источников.

В. Г. Белинский – Н. В. Гоголю, 20 апр. 1842

Борис (муж *Вревской*) хлопочет. Пушкин ему не заплатил, а просил подождать, когда журнал ему выручит эти 2 тыс.: так это бои знает когда будет, а журнал его, говорят, не имеет большого успеха.

Бар. *Е. Н. Вревская* – Ал. Н. Вульффу, 21 мая 1836 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIX–XX, с. 107.

Уже впоследствии, когда я была замужем и стала матерью, я добилась от старой няни объяснения сохранившихся в памяти ее оговоров Александры Николаевны. Раз как-то Александра Николаевна заметила пропажу шейного креста, которым она очень дорожила. Всю прислугу поставили на ноги, чтобы его отыскать. Тщетно перешарив комнаты, уже отложили надежду, когда камердинер, постилая на ночь кровать Александра Сергеевича, – это совпало с родами его жены, – нечаянно вытряхнул искомый предмет. Этот случай должен был неминуемо породить много толков, и, хотя других данных обвинения ня-

ня не могла привести, она с убеждением повторила мне: «Как вы там ни объясняйте, а по-моему, – грешна была тетенька перед вашей маменькой».

А. П. Арапова. Воспоминания. – Новое Время, 1907, № 11413, ил. прил., с. 6.

Что Пушкин был в связи с Александрой Николаевной, об этом положительно говорила мне княгиня Вера Федоровна (*Вяземская*).

П. И. Бартенев – П. Е. Щеголеву. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 410.

Александра была очень некрасивая, но весьма умная девушка. Еще до брака Пушкина на Nathalie, Alexandrine знала наизусть все стихотворения своего будущего зятя и была влюблена в него заочно. Вскоре после брака Пушкин сошелся с Александриною и жил с нею. Факт этот не подлежит сомнению. Александрина сознавалась в этом г-же Полетике.

Кн. А. В. Трубецкой. Рассказ об отношении Пушкина к Дантесу. – П. Е. Щеголев. Там же, с. 404.

От сына одного очень почтенного московского старожилы я слышала, что Александра Николаевна одно время была известна в обществе под названием *бледного ангела*, что опровергает слова кн. Трубецкого об ее некрасивости.

А. И. Кирпичников. – Рус. Стар., 1901, т. 106, с. 80.

(«Девушка-кавалерист» Н. А. Дурова (Ал. Андр. Александров) приехала из Елабуги в Петербург устраивать издание своих «Записок», которыми очень интересовался Пушкин. 28 мая 1836 г.) «Что вы не остановились у меня, Александр Андреевич?» – спрашивал меня Пушкин, приехав ко мне на третий день, – вам здесь не так покойно; не угодно ли занять мою квартиру в городе?.. Я теперь живу на даче». – «Много обязан вам, Александр Сергеевич! И очень охотно принимаю ваше предложение. У вас, верно, есть кто-нибудь при доме?» – «Человек, один только; я теперь еду туда, прикажу, чтоб приготовили вам комнаты». Он уехал, оставя меня очарованною обязательностью его поступков и тою че-

стью, что буду жить у него.

(30 мая.) Сегодня принесли мне записку от Александра Сергеевича; он пишет, что прочитал мою рукопись, к этому присоединено множество похвал и заключил вопросом: переехала ли я на его квартиру, которая готова уже к принятию меня. Я послала узнать, можно ли уже переехать в дом, занимаемый А. С. Пушкиным? И получила очень забавный ответ: что квартира эта не только не в моей власти, но и не во власти самого Ал. Сергеевича; что, как он переехал на дачу и за наем расплатился совсем, то ее отдали уже другому.

(Начало июня.) Александр Сергеевич приехал звать меня обедать к себе: «Из уважения к вашим провинциальным обычаям, – сказал он, усмехаясь, – мы будем обедать в пять часов». – «В пять часов?.. В котором же часу обедаете вы, когда нет надобности уважать провинциальных привычек?» – «В седьмом, осьмом, иногда в девятом»... Пушкин уехал, сказав, что приедет за мною в три часа с половиною. С ужасом и содроганием отвратила я взор свой от места, где несчастные приняли достойно заслуженную ими казнь. Александр

Сергеевич указал мне его (*место казни декабристов*). Каменный остров, где Пушкин нанимает дачу, показался мне прелестен. С нами вместе обедал друг Александра Сергеевича, г. Плетнев, да три дамы, родственницы жены его, сама она больна после родов и потому не выходила. За столом я имела случай заметить странность в моем любезном хозяине; у него четверо детей, старшая из них, девочка лет пяти, как мне показалось, сидела с нами за столом; друг Пушкина спросил ее: не раздумала ли она идти за него замуж? «Нет, – отвечало дитя, – не раздумала». – А за кого ты охотнее пойдешь, за меня или за папеньку? – «За тебя и за папеньку». – «Кого же ты больше любишь, меня или папеньку?» – «Тебя больше люблю и папеньку больше люблю». – «Ну, а этого гостя, – спросил Александр Сергеевич, указывая на меня, – любишь? Хочешь за него замуж?» – Девочка отвечала поспешно: «Нет! нет!» При этом ответе я увидела, что Пушкин покраснел... Неужели он думал, что я обижусь словами ребенка?.. Я стала говорить, чтоб прервать молчание, которое очень некстати наступило, и спросила ее: «Как же это! Гостя

надобно бы больше любить!..» Дитя смотрело на меня недоверчиво и наконец стало кушать; тем кончилась эта маленькая интермедия. Но Александр Сергеевич!.. Отчего он покраснел?.. Или это уже верх его деликатности, что даже и в шутку, даже от ребенка, не хотел бы он, чтоб я слышала что-нибудь не так вежливое! Или он имел странное понятие о всех живущих в уездных городах?

А. А. Александров (Н. А. Дурова). Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения. СПб., 1838, с. 30–32, 40–44.

Только в последних годах жизни теряет Пушкин ложный стыд и является в свет уже как писатель. Важные труды, принятые им на себя, и знаменитость самого имени освобождают его от предубеждения, отличавшего его молодые годы.

П. В. Анненков. Материалы, с. 185.

Накануне отъезда Гоголя в 1836 г. (6 июня) за границу, Пушкин, по словам Якима (гоголевского камердинера), просидел у него в квартире, в доме каретника Иохима, на Ме-

щанской, всю ночь напролет.

Г. П. Данилевский. Знакомство с Гоголем. – Г. П. Данилевский. Соч., т. V, с. 302.

В июне 1836 г., когда Н. М. Смирнов уезжал за границу, Пушкин говаривал, что ему тоже очень бы хотелось, да денег нет. Смирнов его убеждал засесть в деревню, поработать побольше и приезжать к ним. Смирнов уверен был, что государь пустил бы его. Тогда уже, летом 1836 года, шли толки, что у Пушкина в семье что-то неладно: две сестры, сплетни, и уже замечали волокитство Дантеса.

Арк. О. Россет. Рус. Арх., 1882, т. I, с. 245.

(Русские песни во французском переводе Пушкина.) Эту работу Пушкин сделал для меня одного, за несколько месяцев до своей смерти, на Каменном острове, где я провел много хороших минут.

Ф.-А. Леве-Веймар – бар. Ф. Б. Фелье-де-Конш, 9 мая 1839 г. – Соч. Пушкина под ред. П. А. Ефремова, т. VIII, с. 243 (фр.).

Русские песни, переведенные Александром

Пушкиным для его друга Л. де Веймара на Невских Островах, дача Бровольского (Brovolsky) (Добровольского?)[194] в июне 1836 г.

Ф.-А. Леве-Веймар, надпись на рукописи пушкинского перевода. – Там же.

Пушкин никогда не бывал за границей... В разговоре с каким страданием во взгляде упоминал он о Лондоне и в особенности о Париже! С каким жаром отзывался он об удовольствии посещать знаменитых людей, великих ораторов, великих писателей!

Ф.-А. Леве-Веймар. Некролог Пушкина в *Journal des De' bats*. – Рус. Стар., 1900, т. 101, с. 78.

На даче в Строгановом саду, направо с мосту, на берегу, жил граф Григорий Александрович Строганов; супругу его звали Юлия Петровна. Сам он был слепец. У них на даче, со стороны сада, на балконе часто можно было видеть А. С. Пушкина, беседовавшего со стариком... Фигура графа Григория с седыми вьющимися волосами, в бархатном длинно-

полом черном сюртуке, с добродушною улыбкою, невольно останавливала внимание гулявших в саду. Особенно когда вместе с ним был поэт. Пушкин считал старика Строганова своим другом.

Н. М Колмаков. Очерки и воспоминания. – Рус. Стар., 1890, т. 70, с. 671.

Летом 1834 г. (?) графы Виельгорские наняли на островах Кочубееву дачу. Балкон дачи выходил на усаженное березами шоссе, которое вело от Каменноостровского моста вдоль реки к Елагину. Здесь я увидел картину, выступавшую из пределов действительности и возможную разве в «Обероне» Виланда... После обеда доложили, что две дамы, приехавшие верхами, желают поговорить с графами. «Знаю, – весело сказал Виельгорский, – они мне обещали заехать», и вышел со мной на балкон. На высоком коне, который не мог стоять на месте и нетерпеливо рыл копытом землю, грациозно покачивалась несравненная красавица, жена Пушкина; с нею были ее сестра и Дантес. Граф стал усердно приглашать их войти. «Некогда!» был ответ. Пре-

красная женщина хлыстнула по лошади, и маленькая кавалькада галопом скрылась за березами аллеи. Это было словно какое-то идеальное видение! Тою же аллеею, зимою 1837 г., Пушкину суждено было отправляться на дуэль с Дантесом[195].

(В. В. Ленц.) Приключения лифляндца в Петербурге. – Рус. Арх., 1878, т. I, с. 454.

Неизвестно по каким причинам голландский посланник Геккерен усыновил Дантеса и объявил его своим наследником (в мае – июне 1836 г.). Дантес возымел великий успех в обществе; дамы вырывали его одна у другой. В доме Пушкина он очутился своим человеком.

(В. В. Ленц.) Приключения лифляндца в Петербурге. – Рус. Арх., 1878, т. I, с. 454.

Пушкин часто бывал в обществе кавалергардов, и Т. В. Шлыкова, вспоминая про Пушкина, говаривала, что в театре встречала его постоянно с кавалергардами.

П. И. Бартенев. Из записной книжки. – Рус. Арх., 1912, т. II, с. 160.

Здание Минеральных Вод только что было выстроено, и лучшая публика посещала их. Являлась сюда и царица Александра Федоровна утром для прогулок и вечером во время балов. Тут же было для царской фамилии и особое отделение комнат. Помню: на одном из балов был и А. С. Пушкин со своею красавицей женой. Супруги невольно останавливали взоры всех. Бал кончился. Наталья Николаевна, в ожидании экипажа, стояла, прислонясь к колонне у входа, а военная молодежь, преимущественно из кавалергардов, окружала ее, рассыпаясь в любезностях. Несколько в сторону, около другой колонны, стоял в задумчивости Пушкин, не принимая ни малейшего участия в этом разговоре.

Н. М. Колмаков. Очерки и воспоминания. – Рус. Стар., 1891, т. 70, с. 671.

В течение нескольких лет Дантес ухаживал за Пушкиной. По-видимому, муж, имевший со своей стороны любовницу, ни о чем не догадывался.

А. А. Щербинин. Из неизд. записок. – Пуш-

Где и как произошло знакомство Дантеса с Натальей Николаевной, я не знаю, но с первой встречи она произвела на него впечатление, не изгладившееся во всю его жизнь. Наталья Николаевна первое время не обращала никакого внимания на явное ухаживание Дантеса, привыкшего к легким победам, и это равнодушие, казавшееся ему напускным, только подзадоривало его. Тогда он принялся за систематическую атаку. Никто из молодежи не допускался в дом Пушкиных на интимную ногу. Чтоб иметь только случай встретиться или хотя изредка взглянуть на Наталью Николаевну, Геккерен (*Дантес*) пускался на всякие ухищрения. Александра Николаевна рассказывала мне, что его осведомленность относительно их прогулок или выездов была прямо баснословна и служила темой постоянных шуток и догадок сестер. Раз даже дошло до пари. Как-то утром пришла внезапно мысль поехать в театр. Достав ложу, Александра Николаевна заметила: «Ну, на этот раз Геккерен не будет! Сам не догадается, и никто

подсказать не может». – «А тем не менее мы его увидим, – возразила Екатерина Николаевна, – всякий раз так бывает, давай пари держать!» И на самом деле, не успели они занять свои места, как блестящий офицер, звеня шпорами, входил в партер.

Этим неустанным преследованием он добился того, что Наталья Николаевна стала обращать на него внимание, а Екатерина Николаевна, хотя она и должна была понять, что ухаживания относятся к сестре, влюбилась в него, но пыталась скрыть это чувство до поры до времени.

А. П. Арапова. Воспоминания. – Новое Время, № 11416, с. 6.

Дантес был статен, красив; на вид ему было в то время лет 20, много 22 года. Как иностранец, он был пообразованнее нас, пажей, и, как француз, – остроумен, жив, весел. И за ним водились шалости, но совершенно невинные и свойственные молодежи, кроме одной, о которой мы узнали гораздо позднее. Не знаю, как сказать: он ли жил с Геккереном или Геккерен жил с ним... В то время в выс-

шем обществе было развито бугрство. Судя по тому, что Дантес постоянно ухаживал за дамами, надо полагать, что в сношениях с Геккереном он играл только пассивную роль. Он был очень красив, и постоянный успех в дамском обществе избаловал его: он относился к дамам вообще, как иностранец, смелее, развязнее, чем мы, русские, а как избалованный ими, требовательнее, если хотите, нахальнее, наглее, чем даже принято в нашем обществе.

В то время Новая Деревня была модным местом. Мы (*кавалергарды*) стояли в избах, эскадронные учения производились на той земле, где теперь дачки и садики 1 и 2 линии Новой Деревни. Все высшее общество располагалось на дачах поблизости, преимущественно на Черной речке. Дантес часто посещал Пушкина. Он ухаживал за Наташей, как и за всеми красавицами (а она была красавица), но вовсе не особенно «приударял», как мы тогда выражались, за нею. Частые записочки, приносимые Лизой (горничной Пушкиной), ничего не значили: в наше время это было в обычае. Пушкин хорошо знал, что Дантес не приударяет за его женой, он вовсе не ревновал,

но, как он сам выражался, ему Дантес был *противен* своею манерою, несколько нахальной, своим языком, менее воздержным, чем следовало с дамами, как полагал Пушкин. Надо признаться, при всем уважении к высокому таланту Пушкина, это был характер невыносимый. Он все как будто боялся, что его мало уважают, недостаточно почета оказывают; мы, конечно, боготворили его музу, а он считал, что мы мало перед ним преклоняемся. Манера Дантеса просто оскорбляла его, и он не раз высказывал желание отделаться от его посещений. Nathalie не противоречила ему в этом. Быть может, даже соглашалась с мужем, но, как набитая дура, не умела прекратить свои невинные свидания с Дантесом. Быть может, ей льстило, что блестящий кавалергард всегда у ее ног. Когда она начинала говорить Дантесу о неудовольствии мужа, Дантес, как повеса, хотел слышать в этом как бы поощрение к своему ухаживанию. Если б Nathalie не была так непроходимо глупа, если бы Дантес не был так избалован, все кончилось бы ничем, так как в то время, по крайней мере, ничего собственно и не было, — ру-

копожатие, обнимания, поцелуи, но не больше, а это в наше время были вещи обыденные.

Кн. А. В. Трубецкой. Рассказ об отношении Пушкина к Дантесу. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 400.

Ольга Сергеевна (*Павлищева, сестра Пушкина*) рассказала мне, что брат ее на замечание о Дантесе (встреченном ею у брата на каменноостровской даче летом 1836 г.) «как он хорош собой», ответил сестре: «Это правда, он хорош, но рот у него, хотя и красивый, но чрезвычайно неприятный, и его улыбка мне совсем не нравится».

Л. Н. Павлищев. Кончина А. С. Пушкина. СПб.: Изд. П. П. Сойкина, 1899, с. 11.

Дантес обладал безукоризненно правильными, красивыми чертами лица, но ничего не выразившими, что называется, стеклянными глазами. Ростом он был выше среднего, к которому очень шла полурыцарская, нарядная, кавалергардская форма. К счастливой внешности следует прибавить неистощимый

запас хвастовства, самодовольства, пустейшей болтовни... Дантесом увлекались женщины не особенно серьезные и разборчивые, готовые хохотать всякому излагаемому в модных салонах вздору.

Л. Н. Павлицев со слов *О. С. Павлицевой*. – *Л. Н. Павлицев. Воспоминания*, с. 421.

Дантес был молодой человек, не красивый и не безобразный, довольно высокого роста, несколько неуклюжий, блондин, с небольшими светлыми усиками. В вицмундире он был еще недурен, но, когда надевал парадный мундир и высокие ботфорты и в таком наряде появлялся в обществе русских офицеров, его наружности едва ли бы кто-нибудь позавидовал. Впрочем, это был *bonenfant*, как говорится рубаха-парень, веселый, любил карты.

Д-р С. Моравский. Воспоминания. – *Кр. газета*, 1928, № 318 (*пол.*).

Дантес по поступлении в полк оказался не только весьма слабым по фронту, но и весьма недисциплинированным офицером; таким он оставался в течение всей своей службы в

полку: то он «садился в экипаж» после развода, тогда как «вообще из начальников никто не уезжал»; то он на параде, «как только командовано было полку вольно, позволил себе курить сигару», то «на линейку бивака, вопреки приказанию офицерам не выходить иначе, как в колетах и сюртуках, выходит в шлафоре, имея шинель внакидку». На учении «слишком громко поправляет свой взвод», что, однако, не мешает ему самому «терять дистанцию» и до команды вольно сидеть «совершенно распустившись на седле»: эти упущения Дантес совершает не однажды, но они «неоднократно наперед сего замечаемы были». Мы не говорим уже об отлучках с дежурства, опаздывании на службу и т.п. ...Число всех взысканий, которым был подвергнут Дантес за три года службы в полку, достигает цифры 44.

С. А. Панчулидзе. Сборник биографий кавалергардов. СПб., 1908, с. 77.

Видный, очень красивый, прекрасно воспитанный, умный, высшего общества светский человек, чрезвычайно ценимый, как это

я видел за границей, русской аристократией. И вел. кн. Михаилу Павловичу нравилось его остроумие, и потому он любил с ним беседовать. В то время командир полка Гринвальд обыкновенно приглашал всех четырех дежурных по полку к себе обедать. Однажды, во время обеда, висевшая лампа упала и обрызгала стол маслом. Дантес, вышедший из дома генерала, шутя сказал: «Гринвальд nous fait manger de la vache enrage'e assaisonne'e d'huile de lampe»[196]. Генерал Гринвальд, узнав об этом, перестал приглашать дежурных к себе обедать.

А. И. Злотницкий. – С. А. Панчулидзе. Там же, с. 77.

Это был столь же ловкий (gewandter), как и умный человек, но обладал особенно злым языком, от которого и мне доставалось; его остроты вызывали у молодых офицеров смех.

Ген. Р. Е. Гринвальд. Записки. – С. А. Панчулидзе. Там же, с. 77 (нем.).

Н. Н. Пантелеев часто вспоминал Дантеса, с которым был одновременно в полку, назы-

вал его «заносчивым французом».

С. А. Панчулидзе. Там же, с. 97.

Дантес сам рассказывал, что, в бытность свою поручиком Кавалергардского полка, русского языка не знал. Он только заучил наизусть с посторонней помощью те готовые фразы, без которых нельзя было обойтись при несении службы в эскадроне, и ими пользовался в зависимости от обстоятельств. Впрочем, Дантесу не было большой нужды в знании чужого языка. В том кругу, куда он был вхож, мало говорили по-русски. Правда, по приезде в Петербург он принялся было за занятия русским языком, но вскоре оставил их. Ленистью он отличался еще в детстве. Этим в семье объясняли и пробелы его посредственного образования. Даже французский литературный язык давался Дантесу нелегко.

Вообще же ни в молодости, ни в зрелом возрасте он не проявлял почти никакого интереса к литературе. Домашние не припомнят Дантеса в течение всей его долгой жизни за чтением какого-нибудь художественного

произведения.

Л. Метман по записи *Я. Б. Полонского*. – Посл. Новости, 1930, № 3340.

Красивой наружности, ловкий, веселый и забавный, болтливый, как все французы, Дантес был везде принят дружески, понравился даже Пушкину, дал ему прозвание *Rascha à trois gueus* (*трехбунчужный паша*), когда однажды тот приехал на бал с женою и ее двумя сестрами. Скоро он страстно влюбился в г-жу Пушкину. Наталья Николаевна, быть может, немного тронутая сим новым обожанием, невзирая на то, что искренно любила своего мужа, до такой степени, что даже была очень ревнива, или из неосторожного кокетства, казалось, принимала волокитство Дантеса с удовольствием. Муж это заметил, было домашнее объяснение; но дамы легко забывают на балах данные обещания супругам, и Наталья Николаевна снова принимала приглашения Дантеса на долгие танцы, что заставляло ее мужа хмурить брови.

Н. М. Смирнов. Памятные заметки. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 233.

В 1835 и 1836 годах барон Геккерен и усыновленный им барон Дантес часто посещали дом Пушкина и дома Карамзиных и князя Вяземского, где Пушкины были как свои. Но после одного или двух балов на Минеральных Водах, где были г-жа Пушкина и барон Дантес, по Петербургу вдруг разнеслись слухи, что Дантес ухаживает за женой Пушкина. Слухи эти долетели и до самого Александра Сергеевича, который перестал принимать Дантеса... Когда Пушкин отказал Дантесу от дома, Дантес несколько раз писал его жене. Наталья Николаевна все эти письма показывала мужу.

К. К. Данзас по записи А. Н. Аммосова. – А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 8, 10.

Дантес вошел в салон вашей матери (*Н. Н. Пушкиной*), как многие другие офицеры гвардии, посещавшие ее. Он страстно влюбился в нее, и его ухаживание переходило границы, которые обычно ставятся в таких случаях. Он оказывал внимание исключительно вашей матери, пожирал ее глазами, даже когда он с

нею не говорил; это было ухаживание, более афишированное, чем это принято обыкновенно.

Бар. *Г. Фризенгоф* (муж А. Н. Гончаровой) со слов своей жены – *А. П. Араповой*, 14 марта 1887 г. – Кр. Нива, 1929, № 24, с. 10 (*фр.*).

При последнем свидании с братом, в 1836 году (в конце июня), Ольга Сергеевна была поражена его худобою, желтизною лица и расстройством его нервов. Александр Сергеевич с трудом уже выносил последовательную беседу, не мог сидеть долго на одном месте, вздрагивал от громких звонков, падения предметов на пол; письма же распечатывал с волнением; не выносил ни крика детей, ни музыки.

Л. Н. Павлищев. Кончина А. С. Пушкина, с. 87.

Я так перед тобою виноват, что и не оправдываюсь. Деньги ко мне приходили и уходили между пальцами – я платил чужие долги, выкупал чужие имения, а свои долги остались мне на шее. Крайне расстроенные дела

сделали меня несостоятельным... и я принужден у тебя просить еще отсрочки до осени... Я в трауре и не езжу никуда.

Пушкин – И. А. Яковлеву, 9 июля 1836 г., с Каменного острова.

Здесь у меня голова кругом идет, думаю приехать в Михайловское, как скоро немножко устрою свои дела.

Пушкин – Н. И. Павлищеву, 13 июля 1836 г., из Петербурга.

Александр Сергеевич, отправляя Льва (своего брата-офицера, снова поступившего на военную службу 13 июня 1836 г.) на Кавказ (он в то время взял на себя управление отцовского имения и уплачивал долги Льва), говорил шутя, чтобы Лев сделал его наследником, потому что все случаи смертности на его стороне; раз, он едет в край, где чума, потом – горцы, и наконец, как военный холостой человек, он может еще быть убитым на дуэли. Вышло же наоборот: он – женатый, отец семейства, знаменитый, погиб жертвою неприличного положения, в которое себя поставил ошибоч-

ным расчетом, а этот под пулями черкесов беспечно пил кахетинское и так же мало потерпел от одних, как от другого!

Ал. Н. Вульф. Дневник, 21 марта 1842 г. – Л. Н. Майков, с. 217.

(15 июля 1836 г.) Сегодня был у меня Александр Сергеевич; он привез с собою мою рукопись, переписанную так, чтобы ее можно было читать... Отдавая мне рукопись, Пушкин имел очень озабоченный вид; я спросила о причине: «Ах, у меня такая пропасть дел, что голова идет кругом! Позвольте мне оставить вас; я должен быть еще в двадцати местах до обеда». Он уехал.

Две недели Александр Сергеевич не был у меня; рукопись моя лежит! Пора бы пустить ее в дело!.. Я поехала сама на дачу к Пушкину; его нет дома. «Вы напрасно хотите обременить Пушкина изданием ваших записок, – сказал мне Плетнев. – Разумеется, он столько вежлив, что возьмется за эти хлопоты, и возьмется очень радушно; но поверьте, что это будет для него величайшим затруднением; он со своими собственными делами не успевает

управляться, такое их множество, где же ему набирать дел еще и от других! Если вам издание ваших записок к спеху, то займитесь ими сами или поручите кому другому».

Мне казалось, что Александр Сергеевич был очень доволен, когда я сказала, что боюсь слишком обременить его, поручая ему издание моих записок, и что прошу его позволить мне передать этот труд моему родственнику. Вежливый поэт сохранил, однако ж, обычную форму в таких случаях. Он отвечал, что брался за это дело очень охотно, вовсе не считая его обременением для себя; но если я хочу сделать эту честь кому другому, то он не смеет противиться моей воле.

А. А. Александров (Н. А. Дурова). Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения, с. 46–48.

8 августа 1836 г. взято Пушкиным у Шишкина 7060 руб. под залог шалей, жемчуга и серебра.

Б. Л. Модзалевский. Архив опеки над детьми и имущ. Пушкина. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIII, с. 98.

По кончине Надежды Осиповны (*матери Пушкина*) Александр Сергеевич хотел купить (*у сонаследников*) Михайловское за 40 тысяч, побывав сначала в деревне. Дело было бы кончено, если бы у Ал. Серг-ча случились на то время деньги. Между тем нам надо было ехать в Варшаву, а денег ни гроша, Ал. Серг-ч дает нам тысячу рублей и говорит: «Ступайте в деревню, там найдете денег, чтобы добраться в Варшаву». Вместе с тем просит меня заглянуть в хозяйство и пишет управителю слушаться моих приказаний. Найдя в Михайловском большие злоупотребления, а пуще всего ни зерна в амбаре, я прогнал управителя, посадил старосту и принялся сам хозяйничать, тем более, что наступило время жатвы и посева (*в августе 1836 г.*). Обо всем этом я тотчас оповестил Ал. Серг-ча.

Н. И. Павлищев. Записка о сельце Михайловском и моем управлении. – Там же, с. 129.

6-го уехал от нас Ник. Игн. (*Шениг*). Он заменил Пушкина в сердце Маши (*Марии Ивановны, младшей сестры Евпр. Н-вны*). Она це-

лые три дня плакала об его отъезде и отдает ему такое преимущество над поэтом, что и сравнивать их не хочет... Я рада этой перемене: Ник. Игн. никогда не воспользуется этим благорасположением, что об Пушкине никак нельзя сказать.

Бар. Е. Н. Вревская – Ал. Н. Вульф, 10 сент. 1836 г. – Там же, вып. XIX–XX, с. 108.

(1836 г., 1 сент.) (Квартира Пушкина в доме Волконской, у Певческого моста, 2-й Адмиралтейской ч. 1-го квартала под № 7.) Всего от одних ворот до других, нижнего этажа, из одиннадцати комнат состоящего, со службами: кухнею и при ней комнатою в подвальном этаже, взойдя на двор направо: конюшнею на 6 стойлов, сараем, сеновалом, местом в леднике и на чердаке и сухим для вин погребом, сверх того – с двумя комнатами и прачечною, взойдя на двор налево в подвальном этаже во втором проходе, с платою за 4300 р. асс. в год.

Контракт на наем квартиры. – Там же, вып. XIII, с. 95.

В 1836 г., осенью, я как-то ехал с Каменного

Острова в коляске с А. С. Пушкиным. На Троицком мосту мы встретились с одним мне незнакомым господином, с которым Пушкин дружески раскланялся. Я спросил имя господина.

– Барков, ex-diplomat, habitue' Воронцовых [197], – отвечал Пушкин и, заметив, что имя это мне вовсе неизвестно, с видимым удивлением сказал мне: – Вы не знаете стихов однофамильца Баркова и собираетесь вступить в университет? Это курьезно. Барков – это одно из знаменитейших лиц в русской литературе... Первые книги, которые выйдут в России без цензуры, будет полное собрание стихотворений Баркова...

Вообще в это время Пушкин как будто систематически действовал на мое воображение, чтобы обратить мое внимание на прекрасный пол и убедить меня в важном значении для мужчины способности приковывать внимание женщин. Пушкин поучал меня, что вся задача жизни заключается в этом: все на земле творится, чтобы обратить на себя внимание женщин. Не довольствуясь поэтической мыслью, он учил меня, что в этом деле

не следует останавливаться на первом шагу... Он постоянно давал мне наставления об обращении с женщинами.

В то же время Пушкин сильно отговаривал меня от поступления в университет и утверждал, что я в университете ничему научиться не могу. Однажды, соглашаясь с его враждебным взглядом на высшее у нас преподавание наук, я сказал Пушкину, что поступаю в университет исключительно для изучения людей. Пушкин расхохотался и сказал: «В университете людей не изучишь, да едва ли их можно изучить в течение всей жизни. Все, что вы можете приобрести в университете, – это то, что вы привыкнете жить с людьми, и это много. Если вы так смотрите на вещи, то поступайте в университет; но едва ли вы в том не раскаетесь!»

С другой стороны, Пушкин постоянно и настойчиво указывал мне на недостаточное мое знакомство с текстами Священного писания и убедительно настаивал на чтении книг Ветхого и Нового завета.

Для нашего поколения, воспитывавшегося в царствование Николая Павловича, выходки

Пушкина уже казались дикими. Пушкин и его друзья, воспитанные во время наполеоновских войн, под влиянием героического разгула представителей этой эпохи, щеголяли воинским удальством и каким-то презрением к требованиям гражданского строя. Пушкин как будто дорожил последними отголосками беззаветного удальства, видя в них последние проявления заживо схороняемой самобытной жизни.

Из сочинений Пушкина за это время неизгладимое впечатление произвела прочитанная им самим «Капитанская дочка» и ненапечатанный монолог обезумевшего чиновника перед Медным Всадником. Монолог этот, содержащий около тридцати стихов, произвел при чтении потрясающее впечатление, и не верится, чтобы он не сохранился в целости. В бумагах отца моего сохранились многие подлинные стихотворения Пушкина и копии, но монолога не сохранилось, весьма может быть потому, что в монологе слишком энергически звучала ненависть к европейской цивилизации. Мне все кажется, что великолепный монолог таится вследствие каких-либо тенден-

циозных соображений, ибо трудно допустить, чтобы изо всех людей, слышавших проклятие, никто не попросил Пушкина дать списать эти тридцать-сорок стихов. Я думал об этом и не смел просить, вполне сознавая, что мое юношество не внушает доверия. Я помню впечатление, произведенное на одного из слушателей, Аркадия Осиповича Россети, и мне как будто помнится, он уверял меня, что снимет копию для будущего времени.

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 545–548.

В сентябре Пушкин приехал в Академию Художеств с женою Натальей Николаевной на нашу сентябрьскую выставку картин. Узнав, что Пушкин на выставке и прошел в Античную галерею, мы, ученики, побежали туда и толпой окружили любимого поэта. Он под руку с женою стоял перед картиной художника Лебедева, даровитого пейзажиста, и долго рассматривал и восхищался ею. Инспектор Академии, Кругов, который его сопровождал, искал всюду Лебедева, чтобы представить Пушкину, но Лебедева не оказалось нигде. Тогда, увидев меня, он взял меня

за руку и представил Пушкину, как получившего тогда золотую медаль (я оканчивал в тот год Академию).

Пушкин ласково спросил меня, где мои картины. Я показал их. Как теперь помнится, то были «Облака с Ораниенбаумского берега» и другая – «Группа чухонцев». Узнав, что я – крымский уроженец, Пушкин спросил: «А из какого же города?» Затем он заинтересовался, давно ли я здесь и не болею ли на севере... Помню, в чем была красавица жена. На ней было изящное белое платье, бархатный черный корсаж с переплетенными черными тесемками, а на голове большая палевая соломенная шляпа. На руках у нее были большие белые перчатки. Мы, все ученики, проводили дорогих гостей до подъезда.

И. К. Айвазовский. – Одесские Новости, 1899, № 4637.

(На октябрьской выставке в Академии Художеств.) Поэт Пушкин, при первом взгляде на группу (?) Пименова («Мальчик, играющий в бабки») сказал:

– Слава богу! Наконец и скульптура в Рос-

сии явилась народная.

Президент А. Н. Оленин указал ему художника. Пушкин пожал руку Пименова, назвав его собратом. Долго всматриваясь и отходя на разные расстояния, поэт в заключение вынул записную книжку и тут же написал экспромт:

*Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено
Бодро оперся, другой поднял меткую кость.
Вот уж прицелился... Прочь! раздайся, народ любопытный,
Врозь расступись; не мешай русской удалой игре.*

Написанный листок вручен самим поэтом художнику, с новым пожатием и приглашением к себе. Об этой встрече с поэтом Пименов любил рассказывать с жаром, и при этом наворачивались у него слезы. «Как у Пушкина, когда пожимал он обеими руками мою правую руку», – говорил нам сам артист, заметив свое волнение.

П. Н. Петров. Н. С. Пименов, профессор скульптуры. СПб., 1883, с. 5.

Вскоре после моего возвращения в Петербург, вечером, ко мне пришел Пушкин и звал к себе ужинать. Я был не в духе, не хотел идти и долго отнекивался, но он меня переупрямил и утащил с собою. Дети его уже спали. Он их будил и выносил ко мне поодиночке на руках. Это не шло к нему, было грустно и рисовало передо мною картину натянутого семейного счастья. Я не утерпел и спросил его: «На кой черт ты женился?» Он мне отвечал: «Я хотел ехать за границу, а меня не пустили, я попал в такое положение, что не знал, что делать, и женился».

К. П. Брюллов в передаче М. И. Железнова. – М. И. Железнов. Заметка о К. П. Брюллове. – Живопись. Обзор., 1898, № 31, с. 625[198].

Как известно, денежное расстройство держало Пушкина в том раздражительном состоянии, которое отчасти было одною из причин его гибели. Осенью 1836 г. он думал покинуть Петербург и поселиться совсем в Михайловском; по словам Нащокина, Наталья Николаевна соглашалась на это, но ему не на что было перебраться туда с большою семьей, и

Пушкин умолял о присылке пяти тысяч рублей, которых у Нащокина на эту пору не случилось.

П. И. Бартенев. Пушкин: сборник, вып. I., с. 192.

Нащокин глубоко жалеет, что не дал ему пяти тысяч, которые у него тогда были. Но Пушкин, будучи очень деликатен, не просил их у него прямо.

П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 62.

*Пора, мой друг, пора! покоя сердце
просит –
Летят за днями дни, и каждый
час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой
вдвоем
Предполагаем жить, и глядь –
как раз – умрем.
На свете счастья нет, но есть по-
кой и воля.
Давно завидная мечтается мне
доля –
Давно, усталый раб, замыслил я
побег*

В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Юность не имеет нужды в **at home** (домашнем очаге), зрелый возраст ужасается **своего** уединения. Блажен, кто находит подругу, – тогда удались он **домой**.

О скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню – поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические – семья, любовь etc. – религия, смерть.

Неизданный Пушкин. Собрание А. Ф. Онегина. СПб.: Атеней, 1922, с. 137–138.

(Осенью 1836 г.) (В частной картинной галерее.) Я натолкнулась на фигуру, которая показалась мне очень знакома... При втором взгляде я узнала Пушкина. Я воображала его черным брюнетом, но его волосы не темнее моих, – длинные, непричесанные, маленький ростом, с заросшим лицом, некрасив, только глаза, как угли, блестят в непрерывном движении. Я, разумеется, забыла картину, чтобы смотреть на него. И он, кажется, это заметил, несколько раз, взглядывая на меня, улыбался, видно, на моем лице изображалось какое-то adoration (обожание).

Е. А. Ган – своей сестре *Е. А. Витте*, осенью 1836 г. – Рус. Стар., 1836, т. 51, с. 353.

Опекой над детьми и имуществом Пушкина всего уплачено долгов Пушкина по 50 счетам около 120 000 р. Прочитывая дело опеки об уплате долгов Пушкина, можно наглядно видеть, в каких тисках материальной необеспеченности был поэт в последние годы своей жизни, насколько тяжело было его финансовое положение, из которого, по-видимому, не было исхода... Векселя, выданные разным частным лицам, требования об уплате долгов со стороны многочисленных кредиторов, начиная от книгопродавца и кончая лавочником, поставлявшим поэту провизию; заклад ростовщику Шишкину шалей, жемчуга и даже чужого серебра; долг даже собственному камердинеру, – все это дорисовывает ту поистине трагическую обстановку, в которой должен был жить поэт.

Среди вещей, заложенных Пушкиным, было и серебро, принадлежащее его свояченице, фрейлине Александре Ник. Гончаровой, а также 30 фунтов серебра, принадлежащего С.

А. Соболевскому.

Б. Л. Модзалевский. Архив опеки над детьми и имущ. Пушкина. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIII, с. 97–98, 109.

В. И. М-ч рассказал мне, со слов Н. П. Семенова, члена Госуд. совета, о следующем случае: приехав молодым в Петербург, Н. П. Семенов с кем-то из своих родственников (*цензором В. Н. Семеновым*) шел по улице и вдруг услышал вдали шум. Показалась толпа народа; родственник Семенова предупредил его, что они сейчас встретят императора Николая Павловича; но оказалось, что толпа сопровождала Пушкина, которому при этом кричали: «Браво, Пушкин!», аплодировали и т.п.

А. И. Маркевич. Пушкинские заметки. – Там же, вып. III, с. 105.

Уже незадолго перед смертью Пушкин в Александровском театре сидел рядом с двумя молодыми людьми, которые беспрестанно, кстати и некстати, аплодировали Асенковой, в то время знаменитой актрисе. Не зная Пуш-

кина и видя, что он равнодушен к игре их любимицы, они начали шептаться и заключили довольно громко, что сосед их дурак. Пушкин, обратившись к ним, сказал:

– Вы, господа, называли меня дураком; я – Пушкин и дал бы теперь же каждому из вас по оплеухе, да не хочу: Асенкова подумает, что я ей аплодирую.

(М. М. Попов). – Рус. Стар., 1874, № 8, с. 686.

(Тот же анекдот о воздержании Пушкина от пощечины из боязни, чтоб ее не приняли за аплодисмент Асенковой, несколько в иной редакции рассказан И. М. Снегиревым в его дневнике под 23 сент. 1836 г. – Рус. Арх., 1902, т. III, с. 182.)

Дед мой, барон В. К. Клодт, передавал мне факт, относящийся к последним годам Пушкина, когда поэта травили его светские недруги. Как-то он обедал у Н. И. Греча. Приехал Пушкин. Только что сели за стол и подали суп, как вошел слуга и подал Пушкину какое-то письмо. Пушкин нервно сорвал конверт и с видимой тревогой стал пробегать письмо. На это хозяйка, жена Греча, очень

резко заметила Пушкину по-французски приблизительно в том смысле, что, «вероятно, письмо очень любопытное, если monsieur Пушкин даже забывает из-за него о приличии». Пушкин побледнел, встал и вышел.

И. Л. Щеголев. Новое о Пушкине. СПб., 1902, с. 31.

Когда появился «Полководец», Пушкин спрашивал молодого Россета (учившегося в Пажеском корпусе), как находят эти стихи в его кругу, между военной молодежью, и прибавил, что он не дорожит мнением знатного, светского общества.

А. О. Россет по записи П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 245.

Возвратившись в октябре в Петербург, жил у тетки Васильчиковой. Пушкин, увидев меня у Вяземских, отвел в сторону и сказал: «Не говорите моей жене о письме». Она спросила меня своим волшебным голосом извинения. Все было забыто. *(Речь об извинительном письме, которое Сологуб, по требованию Пушкина, написал его жене в мае 1886 г. – см. вы-*

ше).

Гр. В. А. Сологуб. Записка. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 376.

Почти каждый день ходили мы с Пушкиным гулять по толкучему рынку, покупали там сайки, потом, возвращаясь по Невскому проспекту, предлагали эти сайки светским разряженным щеголям, которые бегали от нас с ужасом. Вечером мы встречались у Карамзиных, у Вяземских, у князя Одоевского и на светских балах. Отношения его к Дантесу были уже весьма недружелюбные. Однажды, на вечере у князя Вяземского, он вдруг сказал, что Дантес носит перстень с изображением обезьяны. Дантес был тогда легитимистом и носил на руке портрет Генриха V.

– Посмотрите на эти черты, – воскликнул тотчас Дантес, – похожи ли они на г. Пушкина?

Размен невежливости остался без последствия. Пушкин говорил отрывисто и едко. Скажет, бывало, колкую эпиграмму и вдруг зальется звонким добродушным, детским смехом, выказывая два ряда белых арабских

зубов. В сущности Пушкин был до крайности несчастлив, и главное его несчастье заключалось в том, что он жил в Петербурге и жил светской жизнью, его убившей. Пушкин находился в среде, над которой не мог не чувствовать своего превосходства, а между тем, в то же время чувствовал себя почти постоянно униженным и по достатку, и по значению в этой аристократической сфере, к которой он имел, как я сказал выше, какое-то непостижимое пристрастие. Когда при разъездах кричали: «Карету Пушкина!» – «Какого Пушкина?» – «Сочинителя!» – Пушкин обижался, конечно, не за название, а за то пренебрежение, которое оказывалось к названию. За это и он оказывал наружное будто бы пренебрежение к некоторым светским условиям, не следовал моде и ездил на балы в черном галстуке, в двубортном жилете, с откидными, ненакрахмаленными воротничками, подражая, быть может, невольно байроновскому джентльменству; прочим же условиям он подчинялся. Жена его была красавица, украшение всех собраний и следовательно предмет зависти всех ее сверстниц. Для того, чтоб приглашать

ее на балы, Пушкин пожалован был камер-юнкером. Певец свободы, наряженный в придворный мундир, для сопутствования же не-красавице, играл роль жалкую, едва ли не смешную. Пушкин был не Пушкин, а царедворец и муж. Это он чувствовал глубоко. К тому же светская жизнь требовала значительных издержек, на которые у Пушкина часто не доставало средств. Эти средства он хотел пополнить игрою, но постоянно проигрывал, как все люди, нуждающиеся в выигрыше. Наконец, он имел много литературных врагов, которые не давали ему покоя и уязвляли его раздражительное самолюбие, провозглашая с свойственной этим господам самоуверенностью, что Пушкин ослабел, исписался, что было совершенно ложь, но ложь все-таки обидная. Пушкин возражал с свойственной ему сокрушительной едкостью, но не умел приобрести необходимого для писателя равнодушия к печатным оскорблениям. Журнал его, «Современник», шел плохо. Пушкин не был рожден журналистом. В свете его не любили, потому что боялись его эпиграмм, на которые он не скупился, и за них он нажил себе в целых се-

мействах, в целых партиях врагов непримиримых. В семействе он был счастлив, насколько может быть счастлив поэт, не рожденный для семейной жизни. Он обожал жену, гордился ее красотой и был в ней вполне уверен. Он ревновал к ней не потому, что в ней сомневался, а потому, что страшился светской молвы, страшился сделаться еще более смешным перед светским мнением. Эта боязнь была причиной его смерти, а не г. Дантес, которого бояться ему было нечего. Он вступался не за обиду, которой не было, а боялся огласки, боялся молвы и видел в Дантесе не серьезного соперника, не посягателя на его настоящую честь, а посягателя на его имя, и этого он не перенес.

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания, с. 175–178.

Пушкин сам виноват был: он открыто ухаживал сначала за Смирновой, потом за Сви-стуновой (ур. гр. Сологуб). Жена сначала страшно ревновала, потом стала равнодушна и привыкла к неверностям мужа. Сама оставалась ему верна, и все обходилось легко и ветрено.

Кн. Вяземская предупреждала Пушкину относительно последствий ее обращения с Геккереном. «Я люблю вас, как своих дочерей. Подумайте, чем это может кончиться!» – «Мне с ним весело. Он мне просто нравится. Будет то же, что было два года сряду».

Влюбленная в Геккерена, высокая, рослая старшая сестра Екатерина Николаевна нарочно устраивала свидания Натальи Николаевны с Геккереном, чтобы только повидать предмет своей тайной страсти.

Кн. В. Ф. Вяземская по записи П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 305–307.

В зиму 1836–1837 года мне как-то раз случилось пройтись несколько шагов по Невскому проспекту с Н. Н. Пушкиной, сестрой ее Е. Н. Гончаровой и молодым Геккереном (*Дантесом*); в эту самую минуту Пушкин промчался мимо нас, как вихрь, не оглядываясь, и мгновенно исчез в толпе гуляющих. Выражение лица его было страшно. Для меня это было первый признак разразившейся драмы.

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 555.

Я здесь меньше о Пушкине слышу, чем в Тригорском даже; об жене его гораздо больше говорят еще, чем об нем; от времени до времени я постоянно слышу, как кто-нибудь кричит об ее красоте.

А. Н. Вульф – бар. Е. Н. Вревской, 10 окт. 1836 г., из Петербурга. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXI–XXII, с. 341 (*фр.-рус.*).

Праздновали двадцатипятилетие лица Юдин, Мясоедов, Гревениц, Яковлев, Мартынов, Модест Корф, А. Пушкин, Алексей Илличевский, С. Комовский, Ф. Стевен, К. Данзас.

Собрались вышеупомянутые господа лицейские в доме у Яковлева и пировали следующим образом: 1) обедали вкусно и шумно, 2) выпили три здоровья (по заморскому toasts: а) за двадцатипятилетие лица, б) за благоденствие лица, с) за здоровье отсутствующих, 3) читали письма, писанные некогда отсутствующим братом Кюхельбекером к одному из товарищей, 4) читали старинные протоколы и песни и проч. бумаги, хранящиеся в архиве лицейском у старосты Яковлева, 5) поминали лицейскую старину, 6) пели национальные

песни, 7) Пушкин начинал читать стихи на 25-летие лицея, но всех стихов не припомнил и кроме того отозвался, что он их не закончил, но обещал закончить, списать и приобщить в оригинале к сегодняшнему протоколу.

Примечание. Собрались все в половине пятого часа, разошлись в половине десятого.

Протокол празднования 25-летней годовщины основания лицея, 19 октября 1836 г. – Там же, вып. XIII, с. 60.

Один из лицейских товарищей Пушкина передал нам. Известно, что воспитанники лицея собирались 19 октября к одному из товарищей, читали стихи, беседовали о прошлом и записывали слова и речи присутствующих, обозначая последних школьными именами и указывая, где находились те из них, кого не было налицо. По обыкновению, и к 1836 г. Пушкин приготовил лирическую песнь, но не успел ее закончить. В день праздника он извинился перед товарищами, что прочтет им пьесу, не вполне доделанную, развернул лист бумаги, помолчал немного и только что начал, при всеобщей тишине:

*Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался...*

—

как слезы покатались из глаз его. Он положил бумагу на стол и отошел в угол комнаты, на диван... Другой товарищ уже прочел за него последнюю лицейскую годовщину.

П. В. Анненков. Материалы, с. 417.

По свидетельству М. Л. Яковлева, поэт только что начал читать первую строфу, как слезы полились из его глаз, и он не мог продолжать чтения... Пушкин читал наизусть, и, следовательно, никто не мог дочитать его стихов.

В. П. Гаевский. Празднование лицейских годовщин. – Отеч. Зап., 1861, т. 139, с. 38.

19 число праздновалось, по обыкновению, между нами... Приметно стареем мы! Никто лишнего уже не пьет, никто с избытком сердца уже не веселится. Впрочем, время провели мы весьма приятно. – Все разошлись чинно в десятом часу. – Пушкин было начинал стихи на 25-летие, но не вспомнил. Обещал их до-

кончить и доставить. Проходит месяц, а обещание еще не выполнено. Боюсь – обманет.

М. Л. Яковлев – В. Д. Вольховскому, 24 нояб. 1836 г. – Н. А. Гастфрейнд. Товарищи Пушкина по царскосельскому лицей, т. I, с. 155.

Не знаю ничего про сестру, которая из деревни уехала больною. Муж ее, выводивший меня сначала из терпения совершенно бесполезными письмами, не подает более признаков жизни теперь, когда речь идет об устройстве его дел. Леон (*Лев Сергеевич, младший брат поэта*) вступил в службу и просит у меня денег; я сам в очень расстроенных обстоятельствах, обременен многочисленным семейством, содержа его трудами и не смея заглядывать в будущее. – Я рассчитывал съездить в Михайловское и не мог. Это расстраивает меня по крайней мере еще на год. В деревне я бы много работал, – здесь я ничего не делаю, как только раздражаюсь до желчи.

Пушкин – С. Л. Пушкину, 20 окт. 1836 г., из Петербурга. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXXVII, с. 2 (фр.).

(У Жуковского.) – *Помню я собра-*

нья
Под его гостеприимным кровом, –
Вечера субботние: рекою
Наплывали гости, и являлся
Он, – чернокудрявый, огнеокий,
Пламенный Онегина создатель,
И его веселый, громкий хохот
Часто был шагов его предтечей;
Меткий ум сверкал в его рассказе,
Быстродвижные черты лица
Изменялись непрерывно; губы,
И в молчаньи, жизненным движе-
нием
Обличали вечную кипучесть
Зоркой мысли. Часто едкой зло-
стью
Острые играющего слова
Оправлял он; но и этой злости
Было прямодушие основой,
Благородство творческой души,
Мучимой, тревожимой, язвимой
Низкими явлениями сей жизни.

В. Г. Бенедиктов. Воспоминание. – В. В. Калаш. Русские поэты о Пушкине, с. 118.

Старик Геккерен был человек хитрый, расчетливый еще более, чем развратный; моло-

дой же Геккерен был человек практический, дюжинный, добрый малый, балагур, вовсе не ловелас, ни дон-жуан, а приехавший в Россию сделать карьеру. Волокитство его не нарушало никаких великосветских петербургских приличий.

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 558.

Старик барон Геккерен был известен распутством. Он окружал себя молодыми людьми наглого разврата и охотниками до любовных сплетен и всяческих интриг по этой части; в числе их находились кн. Петр Долгоруков и граф Л. С.

Кн. В. Ф. Вяземская по записи П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 305.

Геккерен – низенький старик, всегда улыбающийся, отпускающий шуточки, во все мешающийся.

Арк. О. Россет. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 246.

Граф А-н как-то сказал барону Дантесу:

– D'antes, on vous dit un homme a bonnes fortunes (Дантес, про вас говорят, что вам

очень везет).

– Mariez vous, m-r le comte, et je vous le prouverai (*Женитесь, граф, и я вам это докажу*)!

М. К. Мердер. – Рус. Стар., 1902, т. 112, с. 602.

От 19 до 27 октября 1836 г. Дантес был болен.

В. В. Никольский (по данным архива Кавалергардского полка). Идеалы Пушкина. СПб., изд. 4-е, 1899, с. 129.

Пушкина чувствовала к Геккерену (*Дантесу*) род признательности за то, что он постоянно занимал ее и старался быть ей приятным.

П. И. Бартенев со слов кн. *В. Ф. Вяземской.* – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 311.

Прелестная жена, которая любила славу своего мужа более для успехов своих в свете, предпочитала блеск и бальную залу всей поэзии в мире и, по странному противоречию, пользуясь всеми плодами литературной известности Пушкина, исподтишка немножко

гнушалась тем, что она, светская женщина *par excellence*[199] – привязана к мужу *homme de lettres*[200], – эта жена, с семейственными и хозяйственными хлопотами, привела к Пушкину ревность и отогнала его музу.

Гр. М. А. Корф. Записка. – Я. К. Грот, с. 251.

Жена его любила мужа вовсе *не для успехов своих в свете* и немало не *гнушалась тем*, что была женою *d'un homme de lettres*. В ней вовсе не было чванства, да и по рождению своему не принадлежала она высшему аристократическому кругу.

Кн. П. А. Вяземский. Примеч. к Записке М. А. Корфа. – П. П. Вяземский. Соч., с. 493.

Наталью Николаевну звали «*ame de dentelles*» (*кружевная душа*).

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1908, т. III, с. 295.

Посылая довольно часто к г-же Пушкиной книги и театральные билеты при коротких записках, полагаю, что в числе оных находились некоторые, коих выражения могли возбудить его щекотливость, как мужа... Выше помянутые записки и билеты были мною по-

сылаемы г-же Пушкиной прежде, нежели я был женихом.

Бар. Ж. *Дантес-Геккерен*. Показание перед военным судом, 10 февр. 1837 г. – Дуэль Пушкина с Дантесом. Подлинное военносудное дело. СПб., 1900, с. 61.

Н. Н. Пушкина бывала очень часто у Вяземских, и всякий раз, как она приезжала, являлся и Геккерен, про которого уже знали, да и он сам не скрывал, что Пушкина очень ему нравится. Сберегая честь своего дома, княгиня напрямик объявила нахалу французу, что она просит его свои ухаживания за женою Пушкина производить где-нибудь в другом доме. Через несколько времени он опять приезжает вечером и не отходит от Натальи Николаевны. Тогда княгиня сказала ему, что ей остается одно – приказать швейцару, коль скоро у подъезда их будет несколько карет, не принимать г-на Геккерена. После этого он прекратил свои посещения, и свидания его с Пушкиной происходили уже у Карамзиных.

П. И. Бартенев со слов кн. В. Ф. Вяземской. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 308.

Кн. Вяземский сказал Дантесу, что не может принимать его вместе с Пушкиным. Он опять явился. Тогда княгиня Вяземская напрямик ему объявила, что он рискует увидеть карету у ее подъезда и услышать от швейцара, что их нет дома.

П. И. Бартнев. – Рус. Арх., 1906, т. III, с. 619.

Старик Геккерен всячески заманивал Наталью Николаевну на скользкий путь. Едва ей удастся избежать встречи с ним, как, всюду преследуя ее, он, как тень, вырастает опять перед ней, искусно находя случаи нашептать ей о безумной любви сына, способного, в порыве отчаяния, наложить на себя руки, описывая картины его мук и негодуя на ее холодность и бессердечие. Раз, на балу в Дворянском Собрании, полагая, что почва уже достаточно подготовлена, он настойчиво принялся излагать ей целый план бегства за границу, обдуманной до мельчайших подробностей, под его дипломатической эгидой... Вернувшись с бала, Наталья Николаевна, еще кипевшая негодованием, передала Александре

Николаевне это позорное предложение.

Есть повод думать, что барон продолжал роковым образом руководить событиями. Вероятно, до сведения Натальи Николаевны дошло и письмо его к одной даме, препровожденное в аудиториат во время следствия о дуэли Пушкина, где, пытаясь обелить сына, он набрасывает гнусную тень на ее поведение с прозрачными намеками на существовавшую между ними связь.

А. П. Арапова. Воспоминания. Новое Время, 1907, № 11416, ил. прил., с. 7.

Старый Геккерен написал Наталье Николаевне письмо, чтоб убедить ее оставить своего мужа и выйти за его приемного сына. Александрина вспоминает, что Н. Н-на отвечала на это решительным отказом, но она уже не помнит, было ли это сделано устно или письменно.

Бар. *Г. Фризенгоф* (со слов А. Н. Гончаровой) – *А. П. Араповой*. – Кр. Нива, 1929, № 24, с. 10 (*фр.*).

Я якобы подстрекал моего сына к ухажива-

ниям за г-жею Пушкиной! Обращаюсь к ней самой по этому поводу. Пусть она покажет под присягой, что ей известно, и обвинение падет само собой. Она сама сможет засвидетельствовать, сколько раз предостерегал я ее от пропасти, в которую она летела, она скажет, что в своих разговорах с нею я доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем и открыть ей глаза; по крайней мере, я на это надеялся.

Если г-жа Пушкина откажет мне в своем признании, то я обращусь к свидетельству двух особ, двух дам, высокопоставленных и бывших поверенными всех моих тревог, которым я день за днем давал отчет во всех моих усилиях порвать эту несчастную связь.

Мне возразят, что я должен бы был повлиять на сына? Г-жа Пушкина и на это могла бы дать удовлетворительный ответ, воспроизведя письмо, написать которое я потребовал от сына, — письмо, адресованное к ней, в котором он заявлял, что отказывается от каких бы то ни было видов на нее. Письмо отнес я сам и вручил его в собственные руки. Г-жа Пуш-

кина воспользовалась им, чтобы доказать мужу и родне, что она никогда не забывала вполне своих обязанностей.

Бар. Л. Геккерен-старший – гр. К. В. Нессельроде, 1 марта 1837 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 293.

Анонимный пасквиль. Первый вызов. Женитьба Дантеса

Утром 4-го ноября я получил три экземпляра анонимного письма, оскорбительного для моей чести и для чести моей жены. По виду бумаги, по слогу письма, по манере изложения я в ту же минуту удостоверился, что оно от иностранца, человека высшего общества, дипломата. Я приступил к розыскам. Я узнал, что в тот же день семь или восемь лиц получили по экземпляру того же письма, в двойных конвертах, запечатанных и адресованных на мое имя. Большинство из получивших эти письма, подозревая какую-нибудь подлость, не переслали их мне.

Пушкин – гр. А. Х. Бенкендорфу, 21 нояб. 1836 г. (фр.).

Великие кавалеры, командоры и рыцари светлейшего Ордена *Рогоносцев* в полном собрании своем, под председательством великого магистра Ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина[201], *единогласно выбрали Александра Пушкина коадьютором (заместителем) великого магистра Ордена Рогоносцев и историографом ордена.*

Непременный секретарь: граф I. Борх.

Анонимный «Диплом», полученный Пушкиным 4 нояб. 1836 г. – А. С. Поляков. О смерти Пушкина. СПб., 1922, с. 14 (фр.).

Я жил тогда в Большой Морской, у тетки моей Васильчиковой. В первых числах ноября (1836) она велела однажды утром меня позвать к себе и сказала:

– Представь себе, какая странность! Я получила сегодня пакет на мое имя, распечатала и нашла в нем другое запечатанное письмо, с надписью: Александру Сергеевичу Пушкину. Что мне с этим делать?

Говоря так, она вручила мне письмо, на котором было действительно написано кривым,

лакейским почерком: «Александрю Сергеевичу Пушкину». Мне тотчас же пришло в голову, что в этом письме что-нибудь написано о моей прежней личной истории с Пушкиным, что, следовательно, уничтожить я его не должен, а распечатать не вправе. Затем я отправился к Пушкину и, не подозревая нисколько содержания приносимого мною гнусного пасквиля, передал его Пушкину: Пушкин сидел в своем кабинете, распечатал конверт и тотчас сказал мне:

– Я уже знаю, что такое; я такое письмо получил сегодня же от Елиз. Мих. Хитровой; это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безыменным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя – ангел, никакое подозрение коснуться ее не может. Послушайте, что я по сему предмету пишу г-же Хитровой.

Тут он прочитал мне письмо, вполне соответствующее с его словами. В сочинении присланного ему всем известного диплома он подозревал одну даму, которую мне и назвал. Тут

он говорил спокойно, с большим достоинством, и, казалось, хотел оставить все дело без внимания. Только две недели спустя я узнал, что в этот же день он послал вызов кавалергардскому поручику Дантесу, усыновленному, как известно, голландским посланником, бароном Геккереном.

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания, с. 178.

Неумеренное и довольно открытое ухаживание молодого Геккерена за г-жею Пушкиной порождало сплетни в гостиных и мучительно озабочивало мужа. Несмотря на это, он, будучи уверен в привязанности к себе своей жены и в чистоте ее помыслов, не воспользовался своею супружескою властью, чтобы вовремя предупредить последствия этого ухаживания, которое и привело на самом деле к неслыханной катастрофе, разразившейся на наших глазах. 4-го ноября моя жена вошла ко мне в кабинет с запечатанной запискою, адресованной Пушкину, которую она только что получила в двойном конверте по городской почте. Она заподозрила в ту же минуту, что здесь крылось что-нибудь оскорбитель-

ное для Пушкина. Разделяя ее подозрения и воспользовавшись правом дружбы, которая связывала меня с ним, я решился распечатать конверт и нашел в нем диплом. Первым моим движением было бросить бумагу в огонь, и мы с женою дали друг другу слово сохранить все это в тайне. Вскоре мы узнали, что тайна эта далеко не была тайной для многих лиц, получивших подобные письма, и даже Пушкин не только сам получил такое же, но и два других подобных, переданных ему его друзьями, не знавшими их содержания и поставленными в такое же положение, как и мы. Эти письма привели к объяснениям супругов Пушкиных между собой и заставили невинную, в сущности, жену признаться в легкомыслии и ветрености, которые побуждали ее относиться снисходительно к навязчивым ухаживаниям молодого Геккерена; она раскрыла мужу все поведение молодого и старого Геккеренов по отношению к ней; последний старался склонить ее изменить своему долгу и толкнуть ее в пропасть. Пушкин был тронут ее доверием, раскаянием и встревожен опасностью, которая ей угрожала, но, об-

ладая горячим и страстным характером, не мог отнестись хладнокровно к положению, в которое он с женой был поставлен: мучимый ревностью, оскорбленный в самых нежных, сокровенных своих чувствах, в любви к своей жене, видя, что честь его задета чьей-то неизвестной рукою, он послал вызов молодому Геккерену, как единственному виновнику, в его глазах, в двойной обиде, нанесенной ему. Необходимо при этом заметить, что, как только были получены эти анонимные письма, он заподозрил в их сочинении старого Геккерена и умер с этой уверенностью. Мы так никогда и не узнали, на чем было основано это предположение, и до самой смерти Пушкина считали его недопустимым. Только неожиданный случай дал ему впоследствии некоторую долю вероятности. На этот счет не существует никаких юридических доказательств, ни даже положительных оснований.

Кн. П. А. Вяземский – вел. кн. Михаилу Павловичу. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 257 (фр.).

Геккерен был педераст, ревновал Дантеса и поэтому хотел поссорить его с семейством

Пушкина. Отсюда письма анонимные и его сводничество.

П. В. Анненков. Записи. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 341.

Когда появились анонимные письма, посылать их было очень удобно: в это время только что учреждена была городская почта. Князь Гагарин и Долгоруков посещали иногда братьев Россет, живших вместе со Скалоном на Михайловской площади в доме Занфтлебена. К. О. Россет получил анонимное письмо и по почерку стал догадываться, что это от них. Он, по совету Скалона, не передал Пушкину ни письма, ни своего подозрения.

Вяземские жили тут же подле Мещерских, т.е. близ дома Виельгорских, на углу Большой Итальянской и Михайловской площади (ныне Кочкурова).

А. О. Россет по записи П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 248.

Ревность Пушкина усилилась, и уверенность, что публика знает про стыд его, усиливала его негодование; но он не знал, на кого

излить оное, кто бесчестил его сими письмами. Подозрение его и многих приятелей его падало на барона Геккерена. Барон Геккерен за несколько месяцев перед тем усыновил Дантеса, передал ему фамилию свою и назначил его своим наследником. Какие причины побудили его к оному, осталось неизвестным; иные утверждали, что он его считал сыном своим, быв в связи с его матерью; другие, что он из ненависти к своему семейству давно желал кого-нибудь усыновить и что выбрал Дантеса потому, что полюбил его. Любовь Дантеса к Пушкиной ему не нравилась. Геккерен имел честолюбивые виды и хотел женить своего приемыша на богатой невесте. Он был человек злой, эгоист, которому все средства казались позволительными для достижения своей цели, известный всему Петербургу злым языком, перессоривший уже многих, презираемый теми, которые его проникли. Весьма правдоподобно, что он был виновником сих писем с целью поссорить Дантеса с Пушкиным и, отвлекши его от продолжения знакомства с Натальей Николаевной, исцелить его от любви и женить на другой. Сколь

ни гнусен был сей расчет, Геккерен был способен составить его. Подозрение пало также на двух молодых людей, кн. Петра Долгорукого и кн. Гагарина; особенно на последнего. Оба князя были дружны с Геккереном и следовали его примеру, распуская сплетни. Подозрение подтверждалось адресом на письме, полученном К. О. Россет; на нем подробно описан был не только дом его жительства, но куда повернуть, взойдя на двор, по какой идти лестнице и какая дверь его квартиры. Сии подробности, неизвестные Геккерену, могли только знать эти два молодые человека, часто посещавшие Россета, и подозрение, что кн. Гагарин был помощником в сем деле, подкрепилось еще тем, что он был очень мало знаком с Пушкиным и казался очень убитым тайною грустью после смерти Пушкина. Впрочем, участие, им принятое в пасквиле, не было доказано, и только одно не подлежит сомнению, это то, что Геккерен был их сочинитель. Последствия доказали, что государь в этом не сомневался, и говорят, что полиция имела на то неоспоримые доказательства.

Н. М. Смирнов. Памятные заметки. — Рус.

Зимою 1836–1837 г., на одном из петербургских больших вечеров, стоявший позади Пушкина молодой князь П. В. Долгорукий (впоследствии известный генеалог) кому-то указывал на Дантеса и при этом подымал вверх пальцы, растопыривая их рогами. В это время уже ходили в обществе безъименные письма, рассылаемые к приятелям Пушкина для передачи ему. Граф Адлерберг знал о том. Находясь в постоянных дружеских сношениях с Жуковским, восхищаясь дарованием Пушкина, он тревожился мыслию о сем последнем. Ему вспомнилось, что кавалергард Дантес как-то выразил желание проехаться на Кавказ и подраться с горцами. Граф Адлерберг поехал к вел. кн. Михаилу Павловичу (который тогда был главнокомандующим гвардейского корпуса) и, сообщив ему свои опасения, говорил, что следовало хотя на время удалить Дантеса из Петербурга. Но остроумный француз красавец пользовался большим успехом в обществе. Его считали украшением балов. Он подкупал и своим остро-

словием, до которого великий князь был большой охотник, и меру, предложенную Адлербергом, не успели привести в исполнение.

П. И. Бартенев со слов гр. *В. Ф. Адлерберга*. – Рус. Арх., 1892, т. II, с. 489.

Причины дуэли отца мать моя исключительно объясняла тем градом анонимных писем, пасквилей, которые в конце 1836 г. отец мой стал получать беспрестанно. Едва только друзья его *В. А. Жуковский*, кн. *П. А. Вяземский* успокоят отца моего, – он вновь получает письма и приходит в сильнейшее раздражение. Авторами писем мать моя всегда признавала кн. *Петра Владимировича Долгорукова*, которого называли *bancal*[202], – известного своею крайне дурной репутацией. Другое лицо, на которого указывала моя мать, как на автора безымянных писем, был кн. *Иван Сергеевич Гагарин*; по мнению матери, он и ушел в орден иезуитов, чтобы замолить свой грех перед моим отцом. Впрочем, если *Гагарин* потом отрицал свою вину, то ему еще можно было поверить.

Гр. Н. А. Меренберг (дочь *Пушкина*) по за-

писи М. И. Семевского. – Б. Л. Модзалевский, Ю. Г. Оксман, М. А. Цявловский. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Пг., 1924, с. 127, 129.

Впоследствии узнал я, что подкидные письма, причинившие поединок, писаны были кн. Ив. Серг. Гагариным, с намерением подразнить и помучить Пушкина. Несчастный исход дела поразил князя до того, что он расстроился в уме, уехал в чужие края, принял католическую веру и поступил в орден иезуитов. В пребывание мое в Париже (1845–47 г.), был он послушником монастыря в Монруже и исправлял самые унижительные работы; потом в иезуитском доме учил грамоте нищих мальчишек. Впоследствии, кажется, повышен был в чине.

Н. И. Греч. Записки о моей жизни, с. 456.

К братьям моим К. О. и А. О. Россетам часто ходил кн. Иван Гагарин, и в городе толковали о неурядице в доме Пушкина. Гагарин вышел от них в смущении и сказал: «Гаже анонимных писем ничего не может быть». Он уже по-

лучил свое, написанное незнакомым почерком. Вслед за ним братья, Скалон, Карамзины, Вяземский, Жуковский, Виельгорский, даже государь получили эти злополучные письма. Кого подозревать? Все единогласно обвиняли банкаля (*кривоногого*) Долгорукова, он один способен на подобную гадость.

А. О. Смирнова. Автобиография, с. 299.

Автором этих записок, по сходству почерка, Пушкин подозревал барона Геккерена-отца. После смерти Пушкина многие в этом подозревали князя Гагарина (вступившего потом в иезуиты); теперь же подозрение это осталось за жившим тогда вместе с ним князем Петром Влад. Долгоруковым. Поводом к подозрению кн. Гагарина послужило то, что письма были писаны на бумаге одинакового формата с бумагою кн. Гагарина.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 9.

Мне только что сказали, что Дантес-Геккерен хочет начать дело с (*кн. П. Вл.*) Долгоруковым и что он намеревается доказать, что

именно Долгоруков составил подлые анонимные письма, следствием которых была смерть Пушкина. Уже давно у меня была тысяча мелких поводов предполагать, что это жестокое дело исходило от Долгорукова. В свое время предполагали, что его совершил (кн. И. С.) Гагарин и что угрызения совести в этом поступке заставили последнего сделаться католиком и иезуитом; главнейший повод к такому предположению дала бумага, подобную которой, как утверждали, выдали у Гагарина. Со своей стороны я слишком люблю и уважаю Гагарина, чтобы иметь на него хотя бы малейшее подозрение; впрочем, в прошедшем году я самым решительным образом расспрашивал его об этом; отвечая мне, он даже и не думал оправдывать в этом себя, уверенный в своей невинности; но, оправдывая Долгорукова в этом деле, он рассказал мне о многих фактах, которые показались мне скорее доказывающими виновность этого последнего, чем что-либо другое. Во всяком случае оказывается, что Долгоруков жил тогда вместе с Гагариным, что он прекрасно мог воспользоваться бумагою последнего и что поэтому

главнейшее основание направленных против него подозрений могло пасть на него, Гагарина.

Княгиня (жена кн. П. Вл. Долгорукова) утверждала (и это говорила она всем), что ее муж ей сказал, что он – автор всей этой интриги.

С. А. Соболевский – светл. кн. С. М. Воронцову, 7 февр. 1862 г. – Б. Л. Модзалевский, Ю. Г. Оксман, М. А. Цявловский. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина, с. 25.

На основании детального анализа почерков на данных мне анонимных пасквильных письмах об А. С. Пушкине и сличении этих почерков с образцами подлинного почерка князя Петра Владимировича Долгорукова, я заключаю, что данные мне для экспертизы в подлинниках пасквильные письма об А. С. Пушкине в ноябре 1836 года написаны несомненно собственноручно князем Петром Владимировичем Долгоруковым.

А. А. Сальков (судебный эксперт и инспектор Научно-техн. бюро ленингр. губ. уг. розыска, в авг. 1927 г.). – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 525.

Государь Александр Николаевич у себя в Зимнем дворце за столом, в ограниченном кругу лиц, громко сказал: – «Ну, вот теперь известен автор анонимных писем, которые были причиною смерти Пушкина; это Нессельроде». – Слышал от особы, сидящей возле государя. Соболевский подозревал, но очень нерешительно, князя П. В. Долгорукова.

Кн. А. М. Голицын. Из неизд. записок. – Моск. Пушкинист, вып. I, 1927, с. 17 (*фр.-рус.*).

Кн. П. А. Вяземский в письме к А. Я. Булгакову от 8 апреля 1837 г. писал: «Под конец одна гр. Н. (*графиня М. Д. Нессельроде*) осталась при нем (*Геккерене-старшем*), но все-таки не могла вынести его, хотя и плечиста, и грудиста, и брюшиста». Женщина, упоминаемая в письме, одаренная характером независимым, непреклонная в своих побуждениях, верный и горячий друг своих друзей, руководимая личными убеждениями и порывами сердца, самовластно председательствовала в высшем слое петербургского общества и была последней, гордой, могущественной представитель-

ницей того интернационального ареопага, который свои заседания имел в Сенжерменском предместье Парижа, в салоне княгини Меттерних в Вене и в салоне графини Нессельроде в доме министерства иностранных дел в Петербурге. Ненависть Пушкина к этой последней представительнице космополитного олигархического ареопага едва ли не превышала ненависть его к Булгарину. Пушкин не пропускал случая клеймить эпиграммическими выходками и анекдотами свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски. Женщина эта паче всего не могла простить Пушкину его эпиграммы на отца ее, графа Гурьева, бывшего министром финансов в царствование императора Александра I.

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 562.

Графу С. С. Уварову приписывали распространение пасквиля рассылкою лицам высшего круга, даже незнакомым с Пушкиным, копий с этого пасквиля, сделанных во множестве по приказанию графа.

Соч. Пушкина под ред. П. А. Ефремова, т.

В ноябре 1836 г. Пушкин вместе с Матюшкиным был у М. Л. Яковлева в день его рождения[203]; еще тут был князь Эристов, воспитанник второго курса, и больше никого. Пушкин явился последним и был в большом волнении. После обеда они пили шампанское. Вдруг Пушкин вынимает из кармана полученное им анонимное письмо и говорит: «Посмотрите, какую мерзость я получил». Яковлев (директор типографии И-го Отделения собственной е. в. канцелярии) тотчас обратил внимание на бумагу этого письма и решил, что она иностранная и, по высокой пошлине, наложенной на такую бумагу, должна принадлежать какому-нибудь посольству, Пушкин понял всю важность этого указания, стал делать розыски и убедился, что эта бумажка голландского посольства.

Я. К. Грот со слов Ф. Ф. Матюшкина. – Я. К. Грот, с. 282.

В то время несколько шалунов из молодежи, – между прочим, Урусов, Опочинин, Стро-

ганов, мой кузен, – стали рассылать анонимные письма по мужьям-рогоносцам. В числе многих получил такое письмо и Пушкин.

Кн. А. В. Трубецкой. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 405.

Вообще говоря, это низкое и неосновательное оскорбление вызвало негодование; но, повторяя, что поведение моей жены было безупречно, все говорили, что поводом к этой клевете послужило настойчивое ухаживание за нею г. Дантеса. Я не мог допустить, чтобы имя моей жены в такой истории связывалось с именем кого бы то ни было. Я поручил сказать это г. Дантесу. Барон Геккерен приехал ко мне и принял вызов за г. Дантеса, попросив отсрочки на две недели.

Пушкин – гр. А. Х. Бенкендорфу, 21 нояб. 1836 г. (*фр.*)

Вызов Пушкина не попал по своему назначению. В дело вмешался старый Геккерен. Он его принял, но отложил окончательное решение на 24 часа, чтобы дать Пушкину возможность обсудить все более спокойно. Найдя

Пушкина, по истечении этого времени, непоколебимым, он рассказал ему о своем критическом положении и затруднениях, в которые его поставило это дело, каков бы ни был исход; он ему говорил о своих отеческих чувствах к молодому человеку, которому он посвятил всю свою жизнь, с целью обеспечить ему благосостояние. Он прибавил, что видит все здание своих надежд разрушенным до основания в ту самую минуту, когда считал свой труд доведенным до конца. Чтобы приготовиться ко всему, могущему случиться, он попросил новой отсрочки на неделю. Принимая вызов от лица молодого человека, т.е. своего сына, как он его называл, он, тем не менее, уверял, что тот совершенно не подозревает о вызове, о котором ему скажут только в последнюю минуту. Пушкин, тронутый волнением и слезами отца, сказал: «Если так, то не только неделю, – я вам даю две недели сроку и обязуюсь честным словом не давать никакого движения этому делу до назначенного дня и при встречах с вашим сыном вести себя так, как если бы между нами ничего не произошло». Итак, все должно было остаться без

перемены до решающего дня. Начиная с этого момента, Геккерен пустил в ход все военные приемы и дипломатические хитрости. Он бросился к Жуковскому и Михаилу Виельгорскому, чтобы уговорить их стать посредниками между ним и Пушкиным. Их миролюбивое посредничество не имело никакого успеха.

Кн. П. А. Вяземский – вел. кн. Михаилу Павловичу, 14 февр. 1837 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 258 (фр.).

Пушкин, преследуемый анонимными письмами, писал Геккерену, кажется, через брата жены своей, Гончарова, вызов на поединок. Названный отец Геккерена, старик Геккерен, не замедлил принять меры. Князь Вяземский встретился с ним на Невском, и он стал рассказывать ему свое горестное положение: говорил, что всю жизнь свою он только и думал, как бы устроить судьбу своего питомца, что теперь, когда ему удалось перевести его в Петербург, вдруг приходится расстаться с ним, потому что во всяком случае, кто из них ни убьет друг друга, разлука несо-

мненна. Он передавал князю Вяземскому, что он желает сроку на две недели для устройства дел, и просил князя помочь ему. Князь тогда же понял старика и не взялся за посредничество; но Жуковского старик разжалобил: при его посредстве Пушкин согласился ждать две недели.

П. И. Бартенев со слов кн. *П. А. Вяземского*. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 307.

(6 ноября.) Гончаров (брат Натальи Николаевны) у меня (в Царском Селе) – моя поездка в Петербург. К Пушкину. Явление Геккерена. Мое возвращение к Пушкину.

(7 ноября.) Я поутру у Загряжской (*Ек. Ивны, тетки Нат. Ник-ны Пушкиной*). От нее к Геккерену. (*Mes ante'ce'dents*[204]. Неизвестность, совершенная прежде бывшего.) Открытие Геккерена. О любви сына к Катерине (*Гончаровой, сестре Нат. Ник-ны*) (моя ошибка насчет имени), открытие о родстве; о предполагаемой свадьбе. – Мое слово. – Мысль все остановить.

В. А. Жуковский. Конспективные заметки. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 284.

Геккерен, между прочим, объявил Жуковскому, что если особенное внимание его сына к г-же Пушкиной и было принято некоторыми за ухаживание, то все-таки тут не может быть места никакому подозрению, никакого повода к скандалу, потому что барон Дантес делал это с благородною целью, имея намерение просить руки сестры г-жи Пушкиной, Кат. Ник. Гончаровой. Отправясь с этим известием к Пушкину, Жуковский советовал барону Геккерену, чтобы сын его сделал как можно скорее предложение свояченице Пушкина, если он хочет прекратить все враждебные отношения и неосновательные слухи.

К. К. Данзас по записи А. Н. Аммосова. – А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 10.

(7 ноября.) Возвращение к Пушкину. Les re've'lations[205]. Его бешенство. – Свидание с Геккереном. Извещение его Виельгорским. Молодой Геккерен у Виельгорского.

(8 ноября.) Геккерен у Загряжской. Я у Пушкина. Большое спокойствие. Его слезы. То, что я говорил о его отношениях.

(9 ноября.) Les revelations de Heckern (*Признания Геккерена*). – Мое предложение посредничества. Сцена втроем с отцом и сыном. Мое предложение свидания.

В. А. Жуковский. Конспективные заметки. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 284.

Первый твой вызов не попался в руки сыну, а пошел через отца, и сын узнал о нем только по истечении 24 часов, т.е. после вторичного свидания отца с тобою. В день моего приезда, в то время, когда я у тебя встретил Геккерена, сын был в карауле и возвратился домой на другой день в час. За какую-то ошибку он должен был дежурить три дня не в очередь. Вчера он в последний раз был в карауле и нынче в час пополудни будет свободен... Эти обстоятельства изъясняют, почему он лично не мог участвовать в том, что делал его бедный отец, силясь отбиться от несчастья, которого одно ожидание сводит его с ума.

В. А. Жуковский – Пушкину, 10 (?) нояб. 1836 г. – Переписка Пушкина, т. III, с. 401.

Мой сын принял вызов; принятие вызова было его первою обязанностью, но, по меньшей мере, надо объяснить ему, ему самому, по каким мотивам его вызвали. Свидание представляется мне необходимым, обязательным, – свидание между двумя противниками в присутствии лица, подобного вам, которое сумело бы вести свое посредничество со всем авторитетом полного беспристрастия и сумело бы оценить реальное основание подозрений, послуживших поводом к этому делу. Но после того, как обе стороны исполнили долг честных людей, я предпочитаю думать, что вашему посредничеству удалось бы открыть глаза г. Пушкину и сблизить двух лиц, которые доказали, что обязаны друг другу взаимным уважением.

Бар. *Л. Геккерен-старший* – В. А. Жуковскому, 9 нояб. 1836 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 82 (*фр.*).

Я не могу еще решиться почитать наше дело конченным. Еще я не дал никакого ответа старому Геккерену; я сказал ему в моей записке, что не застал тебя дома и что, не выдав-

шись с тобою, не могу ничего отвечать. Итак, есть еще возможность все остановить. Реши, что я должен отвечать. Твой ответ невозвратно все кончит. Но ради бога одумайся. Дай мне счастье избавить тебя от безумного злодеяния, а жену твою от совершенного поспрамливания. Жду ответа.

В. А. Жуковский – Пушкину, 9 (?) нояб. 1836 г. – Переписка Пушкина, т. III, с. 400[206].

Ты вчера, помнится мне, что-то упомянул о жандармах, как будто опасаясь, что хотят замешать в твое дело правительство. На счет этого будь совершенно спокоен. Никто из посторонних ни о чем не знает... Нынче поутру скажу старому Геккерену, что не могу взять на себя никакого посредства, ибо из разговоров с тобою вчера убедился, что посредство ни к чему не послужит... Считаю святейшею обязанностью засвидетельствовать перед тобою, что молодой Геккерен во всем том, что делал его отец, совершенно посторонний, что он так же готов драться с тобою, как и ты с ним, и что он так же боится, чтоб тайна не была как-нибудь нарушена. И отцу отдать ту

же справедливость. Он в отчаянии, но вот что он мне сказал: «Я приговорен к гильотине, я прибегаю к милости; если мне это не удастся, придется взойти на гильотину. И я взойду, так как люблю честь моего сына, так же, как и его жизнь». – Этим свидетельством роль, весьма жалко и неудачно сыгранная, оканчивается. Прости.

В. А. Жуковский – Пушкину, 19 (?) нояб. 1836 г. – Переписка Пушкина, т. III, с. 401–402.

(10 ноября.) Молодой Геккерен у меня. Я отказываюсь от свидания. Мое письмо к Геккерену. Его ответ. Мое свидание с Пушкиным.

В. А. Жуковский. Конспективные заметки. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 284.

Через несколько дней Геккерен-отец распустил слух о предстоящем браке молодого Геккерена с Екатериной Гончаровой. Он уверял Жуковского, что Пушкин ошибается, что сын его влюблен не в жену его, а в свояченицу, что уже давно он умоляет ее отца согласиться на их брак, но что тот, находя брак этот неподходящим, не соглашался, но те-

перь, видя, что дальнейшее упорство с его стороны привело к заблуждению, грозящему печальными последствиями, он, наконец, дал свое согласие. Отец требовал, чтобы об этом во всяком случае ни слова не говорили Пушкину, чтобы он не подумал, что эта свадьба была только предлогом для избежания дуэли. Зная характер Геккерена-отца, скорее всего можно предположить, что он говорил все это в надежде на чью-либо нескромность, чтобы обмануть доверчивого и чистосердечного Пушкина. Как бы то ни было, тайна была соблюдена, срок близился к окончанию, а Пушкин не делал никаких уступок, и брак был решен между отцом и теткой, г-жей Загряжской. Было бы слишком долго излагать все лукавые происки молодого Геккерена во время этих переговоров. Приведу только один пример. Геккерены, старый и молодой, возымели дерзкое и подлое намерение попросить г-жу Пушкину написать молодому человеку письмо, в котором она умоляла бы его не драться с ее мужем. Разумеется, она отвергла с негодованием это низкое предложение.

Кн. П. А. Вяземский – вел. кн. Михаилу Пав-

ловичу. – Там же, с. 258.

История разгласилась по городу. Отец с сыном прибегли к следующей уловке. Старик объявил, будто сын признался ему в своей страстной любви к свояченице Пушкина, будто эта любовь заставляла его так часто посещать Пушкиных и будто он скрывал свои чувства только потому, что боялся не получить отцовского согласия на такой ранний брак (ему было с небольшим двадцать лет). Теперь Геккерен позволял сыну жениться, и для самлюбия Пушкина дело улаживалось как нельзя лучше: стреляться ему было уже не из чего, а в городе все могли понять, что француз женится из трусости.

П. И. Бартенев со слов кн. *П. А. Вяземского*. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 307.

Мое посещение Геккерена. Его требование письма. Отказ Пушкина. Письмо, в котором упоминает о сватовстве[207]. Свидание Пушкина с Геккереном у Е. И. (Загряжской).

В. А. Жуковский. Конспективные заметки. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 284.

Я остаюсь в полном убеждении, что молодой Геккерен совершенно в стороне, и на это вчера еще имел доказательство, получив от отца Г. доказательство материальное, что дело, о коем идут толки[208], затеяно было еще гораздо прежде твоего вызова.

В. А. Жуковский – Пушкину, в нояб. 1836 г. – Переписка Пушкина, т. III, с. 403.

Вот что а peu près[209] ты сказал княгине (Вяземской) третьего дня, уже имея в руках мое письмо. Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите о мщении, единственном в своем роде: оно будет полное, совершенное; оно бросит человека в грязь; подвиги Раевского – детская игра в сравнении с тем, что я собираюсь сделать, и тому подобное.

В. А. Жуковский – Пушкину, в нояб. 1836 г. – Там же, с. 404.

Кн. Вяземский, с которым я гулял, просил меня узнать, что замышляет Пушкин. Я пошел к нему и встретил его на Мойке. «Жены

нет дома», – сказал он. Мы пошли гулять и зашли к Смирдину, где он отдал записку к Кукольнику. «Вам не приходится иметь дело с этим народом», – сказал он.

р. В. А. Сологуб. Записка. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 377.

Я продолжал затем гулять, по обыкновению, с Пушкиным и не замечал в нем особой перемены. Однажды спросил я его только, не дознался ли он, кто сочинил подметные письма. Точно такие же письма были получены всеми членами тесного Карамзинского кружка, но истреблены ими тотчас по прочтении. Пушкин отвечал мне, что не знает, но подозревает одного человека. «Если вам нужен посредник или секундант, – сказал я ему, – то располагайте мной». Эти слова сильно тронули Пушкина, и он мне сказал тут несколько таких лестных слов, что я не смею их повторить; но слова эти остались отраднейшим воспоминанием моей литературной жизни. Порадовав меня своим отзывом, Пушкин прибавил: «Дуэли никакой не будет; но я, может быть, попрошу вас быть свидетелем одного

объяснения, при котором присутствие светского человека мне желательно, для надлежащего заявления, в случае надобности».

Все было говорено по-французски.

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания, с. 179.

Барон Геккерен сообщил мне, что он уполномочен уведомить меня, что все те основания, по которым вы вызвали меня, перестали существовать, и что посему я могу смотреть на этот ваш поступок, как на не имевший места.

Когда вы вызвали меня без объяснения причин, я без колебаний принял этот вызов, так как честь обязывала меня это сделать. В настоящее время вы уверяете меня, что вы не имеете более оснований желать поединка. Прежде, чем вернуть вам ваше слово, я желаю знать, почему вы изменили свои намерения, не уполномочив никого представить вам объяснения, которые я располагал дать вам лично. Вы первый согласитесь с тем, что прежде, чем взять свое слово обратно, каждый из нас должен представить объяснения для того, чтобы впоследствии мы могли отно-

ситься с уважением друг к другу.

Ж. Дантес-Геккерен – Пушкину. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 278 (фр.).

Письмо Дантеса к Пушкину и его бешенство. Снова дуэль. Секундант. Письмо Пушкина.

В. А. Жуковский. Конспективные заметки. – Там же, с. 284.

Я был совершенно покоен насчет последствий писем, но через несколько дней должен был разувериться. У Карамзиных праздновался день рождения старшего сына[210]. Я сидел за обедом подле Пушкина. Во время общего веселого разговора он вдруг нагнулся ко мне и сказал скороговоркой:

– Ступайте завтра к д'Аршиаку. Условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь...

Потом он продолжал шутить и разговаривать, как бы ни в чем не бывало. Я остолбенел, но возражать не осмелился. В тоне Пушкина была решительность, не допускавшая

возражений.

Вечером я поехал на большой раут к австрийскому посланнику, графу Фикельмону. На рауте все дамы были в трауре по случаю смерти Карла X. Одна Катерина Николаевна Гончарова, сестра Наталии Николаевны Пушкиной (которой на рауте не было), отличалась от прочих белым платьем. С ней любезничал Дантес Геккерен. Пушкин приехал поздно, казался очень встревожен, запретил Катерине Николаевне говорить с Дантесом и, как узнал я потом, самому Дантесу высказал несколько более чем грубых слов. С д'Аршиаком, статным молодым секретарем французского посольства, мы выразительно переглянулись и разошлись, не будучи знакомы. Дантеса я взял в сторону и спросил его, что он за человек. «Я человек честный, – отвечал он, – и надеюсь это скоро доказать». Затем он стал объяснять, что не понимает, что от него Пушкин хочет; что он поневоле будет с ним стреляться, если будет к тому принужден; но никаких ссор и скандалов не желает.

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания, с. 180–181.

Я взял Дантеса в сторону. «Что вы за человек?» – спросил я. – «Что за вопрос», – отвечал он и начал врать. – «Что вы за человек?» – повторил я. – «Я человек честный, мой дорогой, и скоро я это докажу». Разговор наш продолжался долго. Он говорил, что чувствует, что убьет Пушкина, а что с ним могут делать, что хотят: на Кавказ, в крепость, – куда угодно. Я заговорил о жене его. «Мой дорогой, она же-манница». Впрочем, об дуэли он не хотел говорить. «Я все поручил д'Аршиаку. Я к вам пришлю д'Аршиака или моего отца». С д'Аршиаком я не был знаком. Мы поглядели друг на друга. После я узнал, что Пушкин подошел к нему на лестнице и сказал: «Вы, французы, – вы очень любезны. Вы все знаете латинский язык, но когда вы деретесь, вы становитесь за тридцать шагов и стреляете. Мы, русские, – чем дуэль... (*пропуск в рукописи Анненкова*), тем жесточе должна она быть».

Гр. В. А. Сологуб. Записка. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 378.

Записка Н. Н. (*Нат. Ник. Пушкиной*) ко мне и мой совет. Это было на рауте Фикельмона.

В. А. Жуковский. Конспективные заметки. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 284.

На другой день, – это было во вторник 17 ноября, – я поехал сперва к Дантесу. Он ссылался во всем на д'Аршиака. Наконец, сказал: «Вы не хотите понять, что я женюсь на Екатерине. Пушкин берет назад свой вызов, но я не хочу, чтобы получилось впечатление, будто я женюсь для избежания дуэли. Притом я не хочу, чтобы во всем этом произносилось имя женщины. Вот уже год, как старик (Геккерен) не хочет позволить мне жениться». Я поехал к Пушкину. Он был в ужасном порыве страсти. «Дантес подлец. Я ему вчера сказал, что плюю на него, – говорил он. – Вот что. Поезжайте к д'Аршиаку и устройте с ним материальную сторону дуэли. Как секунданту, должен я вам сказать причину дуэли. В обществе говорят, что Дантес ухаживает за моей женой. Иные говорят, что он ей нравится, другие, что нет. Все равно, я не хочу, чтобы их имена были вместе. Получив письмо анонимное, я его вызвал. Геккерен просил отсрочки на две недели. Срок кончен, д'Аршиак был у

меня. Ступайте к нему». – «Дантес, – сказал я, – не хочет, чтобы имена женщин в этом деле называли». – «Как! – закричал Пушкин. – А для чего же это все?» И пошел, и пошел. «Не хотите быть моим секундантом? Я возьму другого».

Гр. В. А. Сологуб. Записка. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 379.

На другой день (17-го ноября) погода была страшная: снег, метель. Я поехал сперва к отцу моему, жившему на Мойке, потом к Пушкину, который повторил мне, что я имею только условиться на счет материальной стороны самого беспощадного поединка, и, наконец, с замирающим сердцем, отправился к д'Аршиаку. Каково же было мое удивление, когда с первых слов д'Аршиак объявил мне, что он всю ночь не спал, что он хотя не русский, но очень понимает, какое значение имеет Пушкин для русских, и что наша обязанность сперва просмотреть все документы, относящиеся до порученного нам дела. Затем он мне показал: 1) Экземпляр ругательного диплома на имя Пушкина. 2) Вызов Пушкина

Дантесу после получения диплома. 3) Записку посланника барона Геккерена, в которой он просил, чтобы поединок был отложен на две недели. 4) Собственноручную записку Пушкина, в которой он объявлял, что берет свой вызов назад на основании слухов, что г. Дантес женится на его невестке, К. Н. Гончаровой.

Я стоял пораженный, как будто свалился с неба. Об этой свадьбе я ничего не слышал, ничего не ведал и только тут понял причину вчерашнего белого платья, причину двухнедельной отсрочки, причину ухаживания Дантеса. Все хотели остановить Пушкина. Один Пушкин того не хотел. Мера терпения преисполнилась. При получении глупого диплома от безыменного негодяя Пушкин обратился к Дантесу, потому что последний, танцуя часто с Натальей Николаевной, был поводом к мерзкой шутке. Самый день вызова неопровержимо доказывает, что другой причины не было. Кто знал Пушкина, тот понимает, что не только в случае кровной обиды, но даже при первом подозрении он не стал бы дожидаться подметных писем. Одному богу известно, что он в это время выстрадал, воображая

себя осмеянным и поруганным в большом свете, преследовавшем его мелкими, беспрерывными оскорблениями. Он в лице Дантеса искал или смерти, или расправы с целым светским обществом. Я твердо убежден, что, если бы С. А. Соболевский был тогда в Петербурге, он, по влиянию его на Пушкина, один мог бы удержать его. Прочие были не в силах.

– Вот положение дела, – сказал д’Аршиак. – Вчера кончился двухнедельный срок, и я был у г. Пушкина с извещением, что мой друг Дантес готов к его услугам. Вы понимаете, что Дантес желает жениться, но не может жениться иначе, как если г. Пушкин откажется просто от своего вызова без всякого объяснения, не упоминая о городских слухах. Г. Дантес не может допустить, чтоб о нем говорили, что он был принужден жениться и женился во избежание поединка. Уговорите г. Пушкина безусловно отказаться от вызова. Я вам ручаюсь, что Дантес женится, и мы предотвратим, может быть, большое несчастье[211].

Этот д’Аршиак был необыкновенно симпатичной личностью и сам скоро умер насильственной смертью на охоте. Мое положение

было самое неприятное: я только теперь узнал сущность дела; мне предлагали самый блистательный исход, то, что я и требовал, и ожидать бы никак не смел, а между тем я не имел поручения вести переговоры. Потолковав с д'Аршиаком, мы решили съехаться в три часа у самого Дантеса. Тут возобновились те же предложения, но в разговорах Дантес не участвовал, все предоставив секунданту. Никогда в жизни своей я не ломал так головы. Наконец, потребовав бумаги, я написал по-французски Пушкину записку.

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания, с. 181.

Я был, согласно вашему желанию, у г. д'Аршиака, чтобы условиться о времени и месте. Мы остановились на субботу, так как в пятницу я не могу быть свободен, в стороне Парголова, ранним утром, на 10 шагов расстояния. Г. д'Аршиак добавил мне конфиденциально, что барон Геккерен окончательно решил объявить о своем брачном намерении, но, удерживаемый опасением показаться желающим избежать дуэли, он может сделать это только тогда, когда между вами все будет кончено и

вы засвидетельствуете словесно перед мной или г. д'Аршиаком, что вы не приписываете его брака расчетам, недостойным благородного человека.

Не имея от вас полномочия согласиться на то, что я одобряю от всего сердца, я прошу вас, во имя вашей семьи, согласиться на это предложение, которое примирит все стороны. Нечего говорить о том, что д'Аршиак и я ручаемся за Геккерена. Будьте добры дать ответ тотчас.

Гр. В. А. Сологуб – Пушкину, 17 нояб. 1836 г. – Переписка Пушкина, т. III, с. 408 (*фр.*).

Д'Аршиак прочитал внимательно записку, но не показал ее Дантесу, несмотря на его требование, а передал мне и сказал:

– Я согласен. Пошлите.

Я позвал своего кучера, отдал ему в руки записку и приказал везти на Мойку, туда, где я был утром. Кучер ошибся и отвез записку к отцу моему, который жил тоже на Мойке и у которого я тоже был утром. Отец мой записки не распечатал, но, узнав мой почерк и очень встревоженный, выглядел условия о поедин-

ке. Однако он отправил кучера к Пушкину, тогда как мы около двух часов оставались в мучительном ожидании. Наконец ответ был привезен.

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания, с. 184.

Я не колеблюсь написать то, что я могу заявить словесно. Я вызвал г. Ж. Геккерена на дуэль, и он принял ее, не входя ни в какие объяснения. Я прошу господ свидетелей этого дела соблаговолить рассматривать этот вызов как не существовавший, осведомившись по слухам, что г. Ж. Геккерен решил объявить свое решение жениться на m-lle Гончаровой после дуэли. Я не имею никакого основания приписывать его решение соображениям, недостойным благородного человека. Я прошу вас, граф, воспользоваться этим письмом по вашему усмотрению.

Пушкин – гр. В. А. Сологубу, 17 нояб. 1836 г. – Переписка Пушкина, т. III, с. 409 (фр.).

– Этого достаточно, – сказал д'Аршиак, ответа Дантесу не показал и поздравил его жеманно. Тогда Дантес обратился ко мне со сло-

вами:

– Ступайте к г. Пушкину и поблагодарите его, что он согласен кончить нашу ссору. Я надеюсь, что мы будем видаться, как братья.

Поздравив со своей стороны Дантеса, я предложил д'Аршиаку лично повторить эти слова Пушкину и ехать со мной. Д'Аршиак и на это согласился. Мы застали Пушкина за обедом. Он вышел к нам несколько бледный и выслушал благодарность, переданную ему д'Аршиаком.

– С моей стороны, – продолжал он, – я позволил себе обещать, что вы будете обходиться со своим зятем, как со знакомым.

– Напрасно, – воскликнул запальчиво Пушкин. – Никогда этого не будет. Никогда между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может.

Мы грустно переглянулись с д'Аршиаком. Пушкин затем немного успокоился.

– Впрочем, – добавил он, – я признал и готов признать, что г. Дантес действовал, как честный человек.

– Больше мне и не нужно, – подхватил Д'Аршиак и поспешно вышел из комнаты.

По рассказу Матюшкина, Дантес был сын сестры Геккерена и голландского короля, усыновленный богатым дядей. Геккерен не мог простить Пушкину, что он так круто повернул женитьбу Дантеса на своей свояченице. Это было так: Пушкин, возвратясь откуда-то домой, находит Дантеса у ног своей жены. Дантес, увидя его, поспешно встал. На вопрос Пушкина, что это значит, Дантес отвечал, что он умолял Наталью Николаевну уговорить сестру свою идти за него. На это Пушкин сухо заметил, что тут не о чем умолять, что ничего нет легче: он звонит, приказывает вошедшему человеку позвать Катерину Николаевну и говорит ей: «Voilà M. Dantes qui demande ta main[212], согласна ли ты?» Затем Пушкин прибавляет, что он тотчас же испросит на этот брак разрешение императрицы (К. Н. была фрейлина), едет во дворец и привозит это разрешение.

Я. К. Грот, с. 282.

Осенью 1836 г. Пушкин пришел к Клемен-

тию Осип. Россету и, сказав, что вызвал на дуэль Дантеса, просил его быть секундантом. Тот отказывался, говоря, что дело секундантов, вначале, стараться о примирении противника, а он этого не может сделать, потому что не терпит Дантеса и будет рад, если Пушкин избавит от него петербургское общество; потом он недостаточно хорошо пишет по-французски, чтоб вести переписку, которая в этом случае должна быть ведена крайне осмотрительно; но быть секундантом на самом месте поединка, когда уже все будет условлено, Россет был готов. После этого разговора Пушкин повел его прямо к себе обедать. За столом подали Пушкину письмо. Прочитав его, он обратился к старшей своей свояченице, Екатерине Николаевне: «Поздравляю, вы невеста; Дантес просит вашей руки». Та бросила салфетку и побежала к себе. Наталья Николаевна за нею. «Каков!» – сказал Пушкин Россету про Дантеса.

П. И. Бартенев со слов Арк. О. Россета. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 247.

Что происходило по получении вызова в

вертепе у Геккерена и Дантеса, неизвестно; но в тот же день Пушкин, сидя за обедом, получает письмо, в котором Дантес просит руки старшей Гончаровой, сестры Наталии Николаевны. Удивление Пушкина было невыразимое; казалось, что все сомнения должны были упасть перед таким доказательством, что Дантес не думает о его жене. Но Пушкин не поверил сей неожиданной любви, а так как не было причины отказать в руке свояченицы, тридцатилетней девушки, которой Дантес нравился, то и было изъявлено согласие. Помолвка Дантеса удивила всех и всех обманула. Друзья Пушкина, видя, что ревность его продолжается, напали на него, упрекая в безрассудстве; он же оставался неуспокоенным и не верил, что свадьба состоится.

Н. М. Смирнов. Памятные заметки. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 235.

Геккерен (*Дантес*), взбешенный холодностью Наталии Николаевны, заметной для всех в свете, и неудачей, постигшей все попытки отца, отважился посетить ее на дому, но случай натолкнул его в сенях на возвраща-

ющего Пушкина.

Одного вида соперника было достаточно, чтобы забушевала в нем африканская кровь, и, взбешенный предположением, что так нахально нарушается его запрет, – он немедленно обратился к молодому человеку с вопросом, что побуждает его продолжать посещения, когда ему хорошо должно быть известно, до какой степени они ему неприятны?

Самообладание не изменило Геккерену. Зрел ли давно задуманный план в его уме, или, вызванная желанием предотвратить возможное столкновение, эта мысль мгновенно озарила его, – кто может это решить? Хладнокровно, с чуть заметной усмешкой, выдержал он натиск первого гнева и в свою очередь вежливо спросил, отчего Пушкин так волнуется его ухаживанием, которое не может компрометировать его жену, так как отнюдь к ней не относится.

– Я люблю свояченицу вашу, Екатерину Николаевну, и это чувство настолько искренно и серьезно, что я готов сейчас просить ее руки.

Это признание озадачило Александра Сер-

геевича.

Несмотря на неожиданность, он мгновенно взвесил цену доказательства. Молодому, блестящему красавцу иностранцу, который мог бы выбирать из самых лучших и выгодных партий, из любви к одной сестре связать себя навеки со старшей, отцветающей бесприданницею, — это было бы необъяснимым безумием, и разом просветленный, он уже добродушно объяснил ему, что участь Екатерины Николаевны не от него зависит, и что для дальнейших объяснений ему следует обратиться к тетушке, Екатерине Ивановне Загряжской, как старшей представительнице семьи.

Наталию Николаевну это неожиданное сватовство поразило еще сильнее мужа. Она слишком хорошо видела в этом поступке необузданность страсти, чтобы не ужаснуться горькой участи, ожидавшей ее сестру.

Екатерина Николаевна сознавала, что ей суждено любить безнадежно, и потому, как в волшебном чаду, выслушала официальное предложение, переданное ей тетушкою, боясь поверить выпадавшему ей на долю счастью.

Тщетно пыталась сестра открыть ей глаза, поверяя все хитро сплетенные интриги, которыми до последней минуты пытались ее опутать, и рисуя ей картину семейной жизни, где с первого шага Екатерина Николаевна должна будет бороться с целым сонмом ревнивых подозрений и невыразимой мукой сознания, что обидное равнодушие служит ответом ее страстной любви.

На все доводы она твердила одно:

– Сила моего чувства к нему так велика, что, рано или поздно, оно покорит его сердце, а перед этим блаженством страдание не страшит!

Наконец, чтобы покончить с напрасными увещаниями, одинаково тяжелыми для обеих, Екатерина Николаевна в свою очередь не задумалась упрекнуть сестру в скрытой ревности, наталкивающей ее на борьбу за любимого человека.

– Вся суть в том, что ты не хочешь, ты боишься его мне уступить, – запальчиво бросила она ей в лицо.

Краска негодования разлилась по лицу Натальи Николаевны:

– Ты сама не веришь своим словам, Catherine! Ухаживание Геккерена сначала забавляло меня, оно льстило моему самолюбию: первым побуждением служила мысль, что муж заметит новый, шумный успех, и это пробудит его остывшую любовь. Я ошиблась! Играя с огнем, можно обжечься. Геккерен мне понравился. Если бы я была свободна, – не знаю, во что бы могло превратиться мимолетное увлечение. Постыдного в нем ничего нет! Перед мужем я даже и помыслом не грешна, и в твоей будущей жизни помехой, конечно, не стану. Это ты хорошо знаешь. Видно, от своей судьбы никому не уйти!

И на этом покончилось все объяснение сестер.

А. П. Арапова. Воспоминания. – Новое Время, 1907, № 11421, ил. прил., с. 5.

Порицание поведения Геккерена справедливо и заслужено: он точно вел себя, как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствие Пушкина, уговаривал жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью, и все это тогда открылось, когда после

первого вызова на дуэль Дантеса Пушкиным Дантес вдруг посватался на сестре Пушкиной; тогда жена открыла мужу всю гнусность поведения обоих, быв во всем совершенно невинна.

Имп. *Николай I* – вел. кн. *Михаилу Павловичу*, 3 февр. 1837 г. – Рус. Стар., 1902, т. 110, с. 226.

Когда Пушкин узнал о свадьбе, уже решенной, он, конечно, должен был счесть ее достаточным для своей чести удовлетворением, так как всему свету было ясно, что этот брак по рассудку, а не по любви. Чувства, или так называемые «чувства» молодого Геккерена получили гласность такого рода, которая делала этот брак довольно двусмысленным. Вследствие этого Пушкин взял свой вызов обратно, но объявил самым положительным образом, что между его семьей и семейством свояченицы он не потерпит не только родственных отношений, но даже простого знакомства, и что ни их нога не будет у него в доме, ни его – у них. Тем, кто обращался к нему с поздравлениями по поводу этой свадьбы, он

отвечал во всеуслышание: «Tu l'as voulu, Georges Dandin»[213]. Говоря по правде, надо сказать, что мы все, так близко следившие за развитием этого дела, никогда не предполагали, чтобы молодой Геккерен решился на этот отчаянный поступок, лишь бы избавиться от поединка. Он сам был, вероятно, опутан темными интригами своего отца. Он приносил себя ему в жертву. Я его, по крайней мере, так понял. Но часть общества захотела усмотреть в этой свадьбе подвиг высокого самоотвержения ради спасения чести г-жи Пушкиной.

Кн. П. А. Вяземский – вел. кн. *Михаилу Павловичу*, 14 февр. 1837 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 259 (*фр.*).

Слава богу, – кажется, все кончено. Жених и почтенный его батюшка были у меня с предложением. К большому щастию, за четверть часа перед ними приехал старший Гончаров (*Д. Н.*) и он объявил им родительское согласие; итак, все концы в воду. Сегодня жених подает просьбу по форме о позволении женитьбы и завтра от невесты поступит к императрице. Теперь позвольте мне от всего мо-

его сердца принести вам мою благодарность и простите все мучения, которые вы претерпели во все сие бурное время, я бы сама пришла к вам, чтоб отблагодарить, но право сил нету.

Е. И. Загряжская – В. А. Жуковскому. – Там же, с. 288.

Согласие Екатерины Гончаровой и все ее поведение в этом деле непонятны, если только загадка эта не объясняется просто ее желанием во что бы то ни стало выйти из ряда зрелых дев. Пушкин все время думал, что какая-нибудь случайность помешает браку в самом же начале. Все же он совершился.

Кн. П. А. Вяземский – вел. кн. Михаилу Павловичу, 14 февр. 1837 г. – Там же, с. 260 (фр.).

Вечером на бале С. В. Салтыкова свадьба была объявлена, но Пушкин Дантесу не кланялся. Он сердился на меня, что, несмотря на его приказание, я вступил в переговоры. Свадьбе он не верил.

– У него, кажется, грудь болит, – говорил он, – того гляди, уедет за границу. Хотите

биться об заклад, что свадьбы не будет? Вот у вас тросточка. У меня бабья страсть к этим игрушкам. Проиграйте мне ее.

– А вы проиграете мне все ваши сочинения?

– Хорошо. (Он был в это время как-то желчно весел).

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания, с. 185.

19 ноября 1836 г. отдано было в полковом приказе: «Неоднократно поручик барон де-Геккерен подвергался выговорам за неисполнение своих обязанностей, за что уже и был несколько раз наряжаем без очереди дежурным при дивизионе; хотя объявлено вчерашнего числа, что я буду сегодня делать репетицию ординарцам, на коей он и должен был находиться, но не менее того... на оную опоздал, за что и делаю ему строжайший выговор и наряжаю дежурным на пять раз».

С. А. Панчулидзе. Сборник биограф., с. 77.

«Послушайте, – сказал мне Пушкин через несколько дней, – вы были более секундантом Дантеса, чем моим; однако я не хочу ни-

чего делать без вашего ведома. Пойдемте в мой кабинет».

Он запер дверь и сказал: «Я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерену. С сыном уже покончено... Вы мне теперь старичка подавайте».

Тут он прочитал мне всем известное письмо к голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что мог я возразить против такой сокрушительной страсти? Я промолчал невольно, и так как это было в субботу (приемный день князя Одоевского), то поехал к кн. Одоевскому. Там я нашел Жуковского и рассказал ему про то, что слышал. Жуковский испугался и обещал остановить посылку письма. Действительно, это ему удалось; через несколько дней он объявил мне у Карамзиных, что дело он уладил и письмо послано не будет. Пушкин точно не отсылал письма, но сберег его у себя на всякий случай.

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания, с. 186.

Нанести решительный удар... сочиненное вами, и три экземпляра безымянного письма... роздали... смастерили... беспокоимся более. Действительно, не прошло и трех дней в розысках, как я узнал, в чем дело. Если дипломатия не что иное, как искусство знать о том, что делается у других, и разрушать их замыслы, то вы отдадите мне справедливость и сознаетесь, что сами потерпели поражение на всех пунктах... Может быть, вы желаете знать, что мешало мне до сих пор опозорить вас в глазах нашего двора и вашего... Я добр, простодушен... Но сердце мое почувстит... Дуэли мне уже недостаточно... самый след этого гнусного дела, из которого мне легко будет написать главу в моей истории рогоносцев.

Пушкин – бар. Л. Геккерену-старшему. Первоначальная редакция письма от 21 нояб. 1836 г. (черновик). – Рус. Стар., 1850.

Случилось, что в продолжении двух недель г. Дантес влюбился в мою свояченицу, Гончарову, и просил у нее руки. Между тем я убедился, что анонимное письмо было от Геккерена, о чем считаю обязанностью довести

до сведения правительства и общества. Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены, – почему и не требую ни правосудия, ни мщенья, – не могу и не хочу представлять доказательств кому бы то ни было в том, что я утверждаю.

Пушкин – гр. А. Х. Бенкендорфу, 21 нояб. 1836 г. (фр.).

1836 г. Месяц ноябрь. Присутствие их величеств в собственном дворце. Понедельник, 23-го. С девяти часов его величество принимал с докладом военного министра ген.-адъютанта графа Чернышева, ген.-лейтенанта гр. Грабовского (*и т.д.*). 10 минут 2-го часа его величество один в санях выезд имел прогуливаться по городу и возвратился в 3 часа во дворец. По возвращении его величество принимал генерал-адъютанта графа Бенкендорфа и камер-юнкера Пушкина.

Запись в камер-фурьерском журнале. – «Огонек», 1928, № 24.

Князь П. А. Вяземский и все друзья Пушкина не понимали и не могли себе объяснить

поведения Пушкина в этом деле. Если между молодым Геккереном и женою Пушкина не прерывались в гостиных дружеские отношения, то это было в силу общечеловеческого, неизменного приличия, и сношения эти не могли возбудить не только ревности, но даже и неудовольствия со стороны Пушкина. Сам Пушкин говорил, что с получения безымянного письма он не имел ни минуты спокойствия. Оно так и должно было быть... Для Пушкина минутное ощущение, пока оно не удовлетворено, становилось жизненною потребностью... Чистосердечно сообщаемый женою разговор не заслуживал доверия в его глазах и мог только раздражать его самолюбие. В последние два месяца жизни Пушкин много говорил о своем деле с Геккереном, а отзывы его друзей и их молчание – все должно было перевертывать в нем душу и убеждать в необходимости кровавой развязки.

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 67–68.

25 ноября 1836 г. взято Пушкиным у Шишкина 1250 руб. под залог шалей, жемчуга и серебра.

Б. Л. Модзалевский. Архив опеки над детьми и имущ. Пушкина. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIII, с. 98.

(Втор. пол. нояб. 1836 г., на «пятнице» у А. Ф. Воейкова.) В это время вошел кудрявый, желтовато-смуглый брюнет с довольно густыми, темными бакенбардами, с смеющимися живыми глазами и с обликом лица южного, как бы негритянского происхождения... На Пушкине был темно-кофейного цвета сюртук с бархатным воротником, в левой руке он держал черную баранью кавказскую кабардинку с красным верхом. На шее у него был повязан шелковый платок довольно густо, и из-за краев этого платка виднелся порядочно измятый воротник белой рубашки. Когда Пушкин улыбался своею очаровательною улыбкой, алые широкие его губы обнаруживали ряды красивых зубов поразительной белизны и яркости.

...Пушкин кинулся с ногами на диван, причем, в полном смысле слова, помирал со смеху, хохоча звонко с легким визгом. Пришедши несколько в себя и вытирая слезы, он ска-

зал Воейкову: «Извините мне мой обычный истерический припадок смеха. Так я всегда хохочу, когда речь идет о чем-нибудь забавном и менее этого...» Пушкин был от природы очень смешлив, и когда однажды заливался хохотом, то хохот этот был очень продолжителен.

В. Б. (В. П. Бурнашов). Мое знакомство с Воейковым. – Рус. Вестн., 1871, № 11, с. 182, 188, 189.

Пушкин был должен кн. Н. Н. Оболенскому 8000 руб., занятых у него в 1836 г. по двум заемным письмам; срок их минул 1 декабря 1836 г., но Пушкин просил Оболенского отсрочить платеж до марта 1837 г.

Б. Л. Модзалевский. Архив опеки над детьми и имущ. Пушкина. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIII, с. 95.

В начале декабря д'Аршиак показал мне несколько печатных бланков с разными шутовскими дипломами на разные нелепые звания. Он рассказал мне, что венское общество целую зиму забавлялось рассылкою подоб-

ных мистификаций. Тут находился тоже печатный образец диплома, посланного Пушкину. Таким образом, гнусный шутник, причинивший его смерть, не выдумал даже своей шутки, а получил образец от какого-то члена дипломатического корпуса и списал.

Гр. В. А. Сологуб. Воспоминания, с. 186.

(4 дек. 1836 г., у Греча, на именинах его жены.) Пушкин, как заметили многие, был не в своей тарелке, на его впечатлительном лице отражалась мрачная задумчивость. Пробыв у Греча с полчаса, Пушкин удалился. Греч сам проводил его в прихожую, где лакей Пушкина подал ему медвежью шубу и на ноги надел меховые сапоги. «Все словно бьет лихорадка, – говорил он, закутываясь, – все как-то везде холодно и не могу согреться; а порой вдруг невыносимо жарко. Нездоровится что-то в нашем медвежьем климате. Надо на юг, на юг!»

В. П. Бурнашов. Воспоминания. – Рус. Арх., 1872, с. 1790.

Я был во дворце с 10 часов до 31/2 и был почти поражен великолепием двора, дворца и

костюмов военных и дамских, нашел много апартаментов новых и в прекрасном вкусе отделанных. Пение в церкви восхитительное! Я не знал, слушать ли или смотреть на Пушкину и ей подобных? – Подобных! Но много ли их? Жена умного поэта и убранством затмевала других...

А. И. Тургенев – А. Я. Булгакову, 7 дек. 1836 г. – Моск. Пушкинист, вып. I, 1927, с. 33.

С самого моего приезда[214] я была поражена лихорадочным состоянием Пушкина и какими-то судорожными движениями, которые начинались в его лице и во всем теле при появлении будущего его убийцы.

Кн. Е. Н. Мещерская (урожд. Карамзина). – Я. К. Грот, с. 260.

Мой сборник (*«Старина и Новизна»*) Пушкин советует мне назвать Старина и Новина, а не Новизна.

Кн. П. А. Вяземский – И. И. Дмитриеву, 9 дек. 1836 г. – Рус. Арх., 1868, с. 652.

В полковом приказе 13 дек. 1836 г. Дантес

показан заболевшим «простудною лихорадкою» с 12 декабря.

С. А. Панчулидзе. Сборник биограф., с. 80.

Я зашел к Пушкину справиться о песне о Полку Игореве, коей он приготавливает критическое издание... Он хочет сделать критическое издание сей песни, в роде Шлецерова Нестора, и показать ошибки в толках Шишкова и других переводчиков и толкователей; но для этого ему нужно дожидаться смерти Шишкова, чтобы преждевременно не уморить его критикою, а других смехом. Три или четыре места в оригинале останутся неясными, но многое пояснится, особливо начало. Он прочел несколько замечаний своих, весьма основательных и остроумных: все основано на знании наречий слов и языка русского... Я провел у них весь вечер в умном и любопытном разговоре.

А. И. Тургенев – Н. И. Тургеневу, 13 дек. 1836 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 278.

(19 дек. 1836 г.) Вечер у кн. Мещерской (Карамз.). О Пушкине; все нападают на него за

жену, я заступился.

А. И. Тургенев. Дневник. – Там же, с. 279.

Пушкин мой сосед[215], он полон идей, и мы очень сходимся друг с другом в наших нескончаемых беседах; иные находят его изменившимся, озабоченным и не вносящим в разговор ту долю, которая прежде была так значительна. Но я не из числа таковых, и мы с трудом кончаем одну тему разговора, в сущности не заканчивая, то есть не исчерпывая ее никогда; его жена повсюду прекрасна как на балу, так и в своей широкой черной накидке у себя дома. Жених ее сестры (*Дантес*) очень болен, он не видается с Пушкиными.

А. И. Тургенев – Е. А. Свербеевой, 21 дек. 1836 г. – Моск. Пушкинист, вып. I, 1927, с. 24 (фр.).

Вы сообщаете мне новость о выходе Екатерины Гончаровой за барона Дантеса, теперь Геккерена. По словам г-жи Пашковой, которая об этом пишет своему отцу, это удивляет город и предместья не потому, что один из самых красивых кавалергардов и самых модных мужчин, имеющий 70 тысяч рублей дохо-

ду, женится на m-lle Гончаровой, – она для этого достаточно красива и достаточно хорошо воспитана, – но потому что его страсть к Натали ни для кого не была секретом. Я об этом прекрасно знала, когда была в Петербурге, и тоже подшучивала над этим; поверьте мне, тут что-то либо очень подозрительное, либо – недоразумение, и, может быть, будет очень хорошо, если свадьба не состоится.

О. С. Павлищева – С. Л. Пушкину, 24 дек. 1836 г., из Варшавы. – Пушкин и его совр-ки, вып. XII, с. 94 (фр.).

Со свояченицей своею во все это время Пушкин был мил и любезен по-прежнему и даже весело подшучивал над нею по случаю свадьбы ее с Дантесом. Раз, выходя из театра, Данзас встретил Пушкиных и поздравил Катерину Николаевну Гончарову как невесту Дантеса; при этом Пушкин сказал шутя Данзасу:

– Моя свояченица не знает теперь, какой она будет национальности: русскою, французенкою или голландкою?

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с.

В продолжение помолвки дом Пушкина был закрыт для Геккерена, и он виделся со своей невестой только у ее тетки Ек. Ив. Загряжской.

Бар. Г. Фризенгоф – А. П. Араповой. – Кр. Нива, 1929, № 24, с. 10 (*фр.*).

Был на балу у Е. Ф. Мейендорфа. Он и жена говорили о Пушкине, о данном мне поручении перевести для государя рукопись генерала Гордона. Я не танцевал и находился в комнате перед залой. Вдруг вышел оттуда Александр Сергеевич с Мейендорфом и нетерпеливо спрашивал его: «Да где же он? Где он?» Егор Федорович нас познакомил. Пошли расспросы об объеме и содержании рукописи... Он спросил, не имею ли других подобных занятий в виду по окончании перевода; и упрасивал навещать его.

Надв. сов. Д. Е. Келлер. Дневник, дек. Соч. Пушкина под ред. П. А. Ефремова, т. VIII, с. 586.

28 декабря 1836 г. эскадронный командир

Дантеса шт.-ротмистр Апрелев подал рапорт об «исходатайствовании дозволения проезжать по хорошей погоде поручику барону де-Геккерену по случаю облегчения в болезни».

С. А. Панчулидзе. Сборник биограф., с. 80.

Моя свояченица Катерина выходит замуж за барона Геккерена, племянника и приемного сына посланника голландского короля. Это очень красивый и славный малый, весьма в моде, богатый, и на четыре года моложе своей невесты. Приготовление приданого очень занимает и забавляет мою жену и ее сестер, меня же приводит в ярость, потому что мой дом имеет вид магазина мод и белья.

Пушкин – С. Л. Пушкину, в конце дек. 1936 г. (фр.).

А. А. Краевский работал у Пушкина в 1836 г. и заведывал корректурами пушкинского «Современника». Он часто видался с Пушкиным в последние годы его жизни. Однажды, собираясь в Москву, Краевский зашел к Пушкину проститься и напомнить ему его обещание дать стихотворение «Московскому На-

блюдателю». Пушкин достал свою тетрадь, вырвал из нее листок и подал его Краевскому.

Это были стихи «Последняя туча рассеянной бури». Прочитав и складывая его, чтобы положить в карман, Краевский видит на обороте листка еще небольшие стихи; но только что он прочел первый стих: «В Академии Наук...» – Пушкин мгновенно вырвал у него листок, переписал посылаемые «Московскому Наблюдателю» стихи на отдельной бумаге, отдал Краевскому, а первый листок спрятал. Краевский помнил, что в последнем стихе было: «От того, что есть чем сесть».

Через несколько месяцев Краевский приносит Пушкину корректуру «Современника». «Некогда, некогда, – говорит Пушкин, – надобно ехать в публичное заседание Академии. Хотите, поедem вместе: посмотрите, как президент и вице-президент будут торчать на моей эпиграмме».

П. И. Бартенев со слов А. А. Краевского. – Рус. Арх.. 1892, т. II, с. 480.

В одно из своих посещений Краевский застал Пушкина, именно 28 декабря 1836 г.,

только что получившим пригласительный билет на годичный акт Академии Наук.

– Зачем они меня зовут туда? Что я там буду делать? – говорил Пушкин. – Ну, да поедемте вместе, завтра.

– У меня нет билета.

– Что за билет! Поедьте. Приезжайте ко мне завтра и отправимся.

29 декабря Краевский пришел. Подали двухместную, четвернею на вынос, с фореитром, запряженную карету, и А. С. Пушкин с А. А. Краевским отправились в Академию Наук.

Перед этим только что вышел четвертый том «Современника», с «Капитанскою дочкою». В передней комнате Академии, пред залом, Пушкина встретил Греч с поклоном чуть не в ноги:

– Батюшка, Александр Сергеевич, исполать вам! Что за прелесть вы подарили нам! – говорил с обычными ужимками Греч. – Ваша «Капитанская дочка» чудо как хороша! Только зачем это вы, батюшка, дворовую девку свели в этой повести с гувернером... Ведь книгу-то наши дочери будут читать!..

– Давайте, давайте им читать! – говорил в

ответ, улыбаясь, Пушкин.

Вошли. За столом на председательском месте, вместо заболевшего Уварова, сидел князь М. А. Дундуков-Корсаков, лучезарный, в ленте, звездах, румяный, и весело, приветливо поглядывал на своих соседей-академиков и на публику. Непременный секретарь Академии Фукс (Фусс) читал отчет.

– Ведь вот сидит довольный и веселый, – шепнул Пушкин Краевскому, мотнув головой по направлению к Дундукову, – а ведь сидит-то на моей эпиграмме! Ничего, не больно, не вертится!

Давно была известна эпиграмма Пушкина:

*В Академии Наук
Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь;
Отчего ж он заседает?
Оттого, что ... есть.*

Но Пушкин постоянно уверял, что она принадлежит Соболевскому. На этот раз он проговорился Краевскому потому, что незадолго перед тем сам же нечаянно показал ему автограф свой с этой именно эпиграммою.

М. И. Семевский со слов А. А. Краевского. – Рус. Стар., 1880, т. 29, с. 220.

Пушкин жалел об эпиграмме: «В Академии Наук», когда лично узнал Дундука.

С. А. Соболевский – М. Н. Лонгинову, 1855 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXXI–XXXII, с. 39.

Вы застали меня врасплох, без гроша денег. Виноват, – сейчас еду по моим должникам собирать недоимки, и коли удастся, явлюся к вам... Экая беда!

Пушкин – Н. Н. Карадыгину, в конце 1836 – нач. 1837 г.

На Святках был бал у португальского, если память не изменяет, посланника, большого охотника. Во время танцев я зашел в кабинет, все стены которого были увешаны рогами различных животных, убитых ярым охотником, и, желая отдохнуть, стал перелистывать какой-то кипсэк. Вошел Пушкин. «Вы зачем здесь? Кавалергарду, да еще не женатому, здесь не место. Вы видите, – он указал на рога, – эта комната для женатых, для мужей, для

нашего брата». – «Полноте, Пушкин, вы и на бал притащили свою желчь; вот уж ей здесь не место...» Вслед за этим он начал бранить всех и вся, между прочим Дантеса, и так как Дантес был кавалергардом, то и кавалергардов. Не желая ввязываться в историю, я вышел из кабинета и, стоя в дверях танцевальной залы, увидел, что Дантес танцует с Натали.

А. В. Трубецкой. Рассказ об отношениях Пушкина к Дантесу. – П. Е. Щеголева. Дуэль, с. 405.

С княгинею он был откровеннее, чем с князем. Он прибегал к ней и рассказывал свое положение относительно Геккерена. Накануне нового года у Вяземских был большой вечер. В качестве жениха Геккерен явился с невестою. Отказывать ему от дому не было уже повода. Пушкин с женою был тут же, и француз продолжал быть возле нее. Графиня Наталья Викторовна Строганова говорила княгине Вяземской, что у него такой страшный вид, что, будь она его женой, она не решилась бы вернуться с ним домой. Наталья Николаевна

с ним была то слишком откровенна, то слишком сдержанна.

П. И. Бартенев со слов кн. *В. Ф. Вяземской*. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 310.

(В начале 1837 г.) Войдя в переднюю квартиры Петра Александровича (Плетнева), я столкнулся с человеком среднего роста, который, уже надев шинель и шляпу и прощаясь с хозяином, звучным голосом воскликнул: «Да! Да! Хороши наши министры! Нечего сказать», – засмеялся и вышел. Я успел только разглядеть его белые зубы и живые, быстрые глаза. Каково же было мое горе, когда я узнал потом, что этот человек был Пушкин!

И. С. Тургенев. Литер. вечер у П. А. Плетнева. Литер. и житейские воспоминания. СПб., 1838, т. I.

От 15 дек. 1836 г. по 3 янв. 1837 г. Дантес был болен.

В. В. Никольский (по данным архива Кавалергардского полка). Идеалы Пушкина, изд. 4-е, с. 129.

Выздоровевшего г. поручика барона де-Геккерена числить налицо, которого по случаю женитьбы его не наряжать ни в какую должность до 18 янв., т.е. в продолжение 15 дней.

Приказ по полку, 3 янв. 1837 г. – С. А. Панчулидзе. Сборник биограф., с. 80.

С месяц тому Пушкин разговаривал со мною о русской истории; его светлые объяснения древней «Песни о полку Игореве», если не сохранились в бумагах, невозвратимая потеря для науки: вообще в последние годы жизни своей, с тех пор, как он вознамерился описать царствование и деяние Великого Петра, в нем развернулась сильная любовь к историческим знаниям и исследованиям отечественной истории. Зная его, как знаменитого поэта, нельзя не жалеть, что, вероятно, лишились в нем и будущего историка.

М. А. Коркунов. Письмо к издателю Моск. Вед. С.-Петербург, 4 февр. 1837 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. VIII, с. 82.

В начале января 1837 г. баронесса Е. Н.

Вревская приехала в Петербург с мужем. Пушкин, лишь только узнал о приезде друга своей молодости, поспешил к ней явиться. С этого времени он бывал у них почти ежедневно и долго и откровенно говорил с баронессой о всех своих делах. Все это время он был в очень возбужденном и раздражительном состоянии. Он изнемогал под бременем клевет, не оставлявших в покое его семейной жизни; к тому же прибавилась крайняя запутанность материальных средств. Между тем жена его, не предвидя последствий, передавала мужу все, что доводилось ей слышать во время ее беспрестанных выездов в свет. Все это подливало масло в огонь. Пушкин видел во всем вздоре, до него доходившем, посягновение на его честь, на свое имя, на святость своего семейного очага, и, давимый ревностью, мучимый фальшивостью положения в той сфере, куда бы ему не следовало стремиться, видимо, искал смерти.

М. И. Семевский со слов бар. *Е. Н. Вревской*. – Рус. Вестн., 1869, № 11, с. 90.

4 января 1837 г. вышел первый номер «Ли-

тературных прибавлений к Русскому Инвалиду» под редакцией А. А. Краевского. Новому литературному органу, на зубок, Пушкин дал свое стихотворение «Аквилон». Когда Краевский, по выпуске первого номера своей газеты, представил его Уварову, своему начальнику, – тот принял его крайне сухо и по выходе из кабинета Краевского сказал бывшему при этом кн. М. А. Дундукову-Корсакову:

– Разве Краевский не знает, что Пушкин состоит под строгим присмотром тайной полиции, как человек неблагонадежный? Служащему у меня в министерстве не следует иметь сношение с людьми столь вредного образа мыслей, каким отличается Пушкин.

(П. А. Ефремов). – Рус. Стар., 1880, т. 28, с. 537.

Мне бы так хотелось иметь через вас подробности о невероятной женитьбе Дантеса. – Неужели причиной ее явилось анонимное письмо? Что это – великодушие или жертва? Мне кажется, – бесполезно, слишком поздно.

Имп. Александра Федоровна – бар. Е. Ф. Ти-
зенгаузен, в конце дек. 1836 г. – нач. янв. 1837

Г. – Письма Пушкина к Хитрово, с. 200.

Начало мирному общежителъству положил для меня Пушкин в последний год своей жизни. Любимый со мною разговор его за несколько недель до его смерти все обращен был на слова: «Слава в вышнихъ богу, и на земле мир, и в человецехъ благоволение». По его мнению, я много хранил в душе моей благоволения к людям.

П. А. Плетнев – Я. К. Гроту. – Переписка Грота с Плетневым, т. II, с. 731.

(За три недели до смерти Пушкина.) Кабинет Пушкина состоял из большой узкой комнаты. Посреди стоял огромный стол простого дерева, оставлявший с двух концов место для прохода, заваленный бумагами, письменными принадлежностями и книгами, а сам поэт сидел в углу в покойном кресле. На Пушкине был старенький дешевый халат, каким обыкновенно торгуют бухарцы в разноску. Вся стена была уставлена полками с книгами, а вокруг кабинета были расставлены простые плетеные стулья. Кабинет был просторный,

светлый, чистый, но в нем ничего не было за-
тейливого, замысловатого, роскошного, во
всем безыскусственная простота и ничего по-
ражающего.

Облачки. Воспоминание о Пушкине. – Се-
верная Пчела, 1864, № 49.

Особый эпизод в студентской нашей жиз-
ни было посещение Пушкина, приглашенно-
го профессором Плетневым на одну из своих
лекций. Плетнев поднялся на кафедру, и в то
же время в дверях аудитории показалась фи-
гура Пушкина с его курчавой головой, огнен-
ными глазами и желтоватым нервным ли-
цом... Пушкин сел, с каким-то другим госпо-
дином из литераторов, на одну из задних ска-
мей и внимательно прослушал лекцию, не
обращая внимания на беспрестанное осмат-
ривание его обращенными назад взорами си-
девших впереди студентов... Профессор, чи-
тавший о древней русской литературе,
вскользь упомянул о будущности ее, и при
сем имя Пушкина прошло через его уста; воз-
буждение было сильное и едва не перешло в
шумное приветствие знаменитого гостя. Это

было уже в конце урочного часа, и Пушкин, как бы предчувствуя, что молодежь не удержится от взрыва, скромно удалился из аудитории, ожидая окончания лекции в общей проходной зале, куда вскоре и вышел к нему Плетнев, и они вместе уехали. Это было незадолго до смерти Пушкина.

М. – Н.[216] Воспоминания из дальних лет. – Рус. Стар., 1881, май, с. 158.

Недели за три до смерти историографа Пушкина был я по приглашению у него. Он много говорил со мной об истории Петра Великого. «Об этом государе, – сказал он между прочим, – можно написать более, чем об истории России вообще. Одно из затруднений составить историю его состоит в том, что многие писатели, не доброжелательствуя ему, представляют разные события в искаженном виде, другие с пристрастием осыпали похвалами все его действия». Александр Сергеевич на вопрос мой: «Скоро ли будем иметь удовольствие прочесть произведение его о Петре», отвечал: «Я до сих пор ничего еще не написал, занимался единственно собиранием

материалов: хочу составить себе идею обо всем труде, потом напишу историю Петра в год или в течение полугода и стану исправлять по документам». Просидев с полтора часа у Пушкина, я полагал, что беспокою его и отнимаю дорогое время, но он просил остаться и сказал, что вечером ничем не занимается. Возложенное на него поручение писать историю Петра весьма его обременяло. «Эта работа убийственная, – сказал он мне, – если бы я наперед знал, я бы не взялся за нее».

Надв. сов. *Д. Е. Келлер*. Дневник. – Соч. Пушкина под ред. П. А. Ефремова, т. VIII, с. 586.

Сколько теней восстает около меня и роится в моей памяти!.. Вот и Пушкин, с своим веселым, заливающимся, ребяческим смехом, с беспрестанным фейерверком остроумных блистательных слов и добродушных шуток, а потом – растерзанный, убитый жестоким легкомыслием пустых, тупых умников салонных, не постигших ни нежности, ни гордости его огненной души.

Гр. А. Д. Блудова. – Рус. Арх., 1889, т. I, с. 62.

Старушка, няня детей Пушкина, рассказывала впоследствии, что в декабре 1836 г. и в начале января 1837 г. Александр Сергеевич был словно сам не свой: он или по целым дням разъезжал по городу, или, запершись в кабинете, бегал из угла в угол. При звонке в прихожей выбегал туда и кричал прислуге: «Если письмо по городской почте, не принимать!», а сам, вырвав письмо из рук слуги, бросался опять в кабинет и там что-то громко кричал по-французски. Тогда, бывало, к нему и с детьми не подходи, – заключала няня, – раскричится и вон выгонит.

Рус. Стар., 1888, т. 28, с. 515.

По сохранившимся документам гончаровского архива мы можем установить, что Дантес счел нужным обеспечить себе (*перед свадьбой*) два обстоятельства: во-первых, он поставил условием ежегодную выплату его жене известной суммы, ввиду того, что выделить ее часть имения до смерти больного отца было невозможно. Во-вторых, он захотел иметь гарантию в том, что со временем эта часть наследства без всяких препятствий пе-

рейдет к его жене, причем желал строго фиксировать объем наследства. Опекун имения, Д. Н. Гончаров (*брат Ек. Ник-ны*), к свадьбе приехал из Москвы в Петербург и привез официальное согласие родителей невесты. Опекун дал Дантесу обещание выплачивать ежегодно сестре по 5000 руб. асс., причем 10 000 р. были выданы немедленно на приданое невесте.

В. С. Нечаева. Дантес (по материалам гончаровского архива). – Моск. Пушкинист, вып. I, 1927, с. 75.

Ставши женихом Екатерины Гончаровой, Дантес поехал представляться ее тетушке, фрейлине Загряжской. «Говорят, что вы очень красивы, дайте-ка на себя поглядеть, – сказала старая фрейлина и велела принести две свечи, чтобы получше его рассмотреть. – Верно! Вы очень хороши!» – сказала она, окончив осмотр.

Л. Метман по записи *Я. Б. Полонского*. – Посл. Новости, 1930, № 3340.

10-го января брак (*между Дантесом и Ек.*

Гончаровой) был совершен в обеих церквях (*православной и католической*) в присутствии всей семьи. Граф Григорий Строганов с супругой, – родные дядя и тетка молодой девушки, – были ее посаженными отцом и матерью, а с моей стороны графиня Нессельроде была посаженной матерью, а князь и княгиня Бутера – свидетелями.

Бар. Л. Геккерен-старший – бар. Верстолку, 11 февр. 1837 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 297.

Бракосочетание состоялось в часовне княгини Бутера (*жены неаполитанского посланника*), у которой затем был ужин. Наталья Николаевна присутствовала на обряде венчания, согласно воле своего мужа, но уехала сейчас же после службы, не оставшись на ужин. Из семьи присутствовал только Д. Н. Гончаров, который находился тогда в Петербурге, и старая тетка Ек. Ив. Загряжская.

Бар. Г. Фризенгоф – А. П. Араповой. – Кр. Нива, 1929, № 24, с. 10 (*фр.*).

Пушкин не поехал на свадьбу и не принял молодых к себе. Что понудило Дантеса всту-

пить в брак с девушкою, которую он не мог любить, трудно определить; хотел ли он, жертвуя собою, успокоить сомнения Пушкина и спасти женщину, которую любил, от нареканий света; или надеялся он, обманув этим ревность мужа, иметь, как брат, свободный доступ к Наталье Николаевне; испугался ли он дуэли, – это неизвестно.

Н. М. Смирнов. Памятные заметки. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 235.

Муж прислал г-жу Пушкину ко мне в дом на мою свадьбу, что, по мнению моему, вовсе не означало, что все наши сношения должны были прекратиться.

Бар. Ж. Дантес-Геккерен. Показание перед военным судом, 12 февр. 1837 г. – Дуэль Пушкина, с. 79.

Екатерина Николаевна поселилась с мужем на Невском, в помещении голландского посланника, своего свекра, и стала играть роль хозяйки в посольстве.

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 235.

Геккерен со своим усыновленным Геккереном-Дантесом и его супругою Екатериною Николаевной жил на Невском, в доме Влодека, где ныне пассаж.

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1900, т. I, с. 398.

На свадебном обеде, данном графом Строгановым в честь новобрачных, Пушкин присутствовал, не зная настоящей цели этого обеда, заключавшейся в условленном заранее некоторыми лицами примирения его с Дантесом. Примирение это, однако же, не состоялось, и когда после обеда барон Геккерен, отец, подойдя к Пушкину, сказал ему, что теперь, когда поведение его сына совершенно объяснилось, он, вероятно, забудет все прошлое и изменит настоящие отношения свои на более родственные, Пушкин отвечал сухо, что, не взирая на родство, он не желает иметь никаких отношений между его домом и г. Дантесом... Несмотря на этот ответ, Дантес приезжал к Пушкину с свадебным визитом; но Пушкин его не принял.

Вслед за этим визитом, который Дантес сделал Пушкину, вероятно, по совету Геккере-

на, Пушкин получил второе письмо от Дантеса. Это письмо Пушкин, не распечатывая, положил в карман и поехал к бывшей тогда фрейлине г-же Загряжской, с которою был в родстве. Пушкин через нее хотел возвратить письмо Дантесу; но встретясь у ней с бароном Геккереном, он подошел к нему и, вынув письмо из кармана, просил барона возвратить его тому, кто писал его, прибавив, что не только читать писем Дантеса, но даже и имени его он слышать не хочет. Верный принятому им намерению постоянно раздражать Пушкина, Геккерен отвечал, что так как письмо это было писано к Пушкину, а не к нему, то он и не может принять его. Этот ответ взорвал Пушкина, и он бросил письмо в лицо Геккерену со словами:

– Tu la recevras, gredin (*Ты его примешь, негодяй*).

После этой истории Геккерен решительно ополчился против Пушкина.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 12, 14–15.

С этого времени мы в семье наслаждались

полным счастьем; мы жили обласканные любовью и уважением всего общества, которое наперерыв старалось осыпать нас многачисленными тому доказательствами. Но мы старательно избегали посещать дом г. Пушкина, так как его мрачный и мстительный характер нам был слишком хорошо знаком. С той и с другой стороны отношения ограничивались лишь поклонами.

Бар. Л. Геккерен-старший – бар. Верстолку, 11 февр. 1837 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 297 (*фр.*).

После женитьбы Дантеса государь, встретив где-то Пушкина, взял с него слово, что, если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав знать ему наперед. Так как сношения Пушкина с государем происходили через графа Бенкендорфа, то перед поединком Пушкин написал известное письмо свое на имя графа Бенкендорфа, собственно назначенное для государя[217]. Но письма этого Пушкин не решился посылать, и оно найдено было у него в кармане сюртука, в котором он дрался. В подлиннике я видел его у покойного

Павла Ивановича Миллера, который служил тогда секретарем при графе Бенкендорфе; он взял себе на память это не дошедшее по назначению письмо.

П. И. Бартенев со слов *П. А. Вяземского*. – Рус.Арх., 1888, т. III, с. 308.

Гг. Геккерены даже после свадьбы не переставали дерзким обхождением с женою его, с которою встречались только в свете, давать повод к усилению мнения, поносительного как для его чести, так и для чести его жены.

К. К. Данзас. Показание перед военным судом, 11 февр. 1837 г. – Дуэль Пушкина, с. 63.

Дом Пушкиных оставался закрытым для Геккерена и после брака, и жена его также не появлялась здесь. Но они встречались в свете, и там Геккерен продолжал демонстративно восхищаться своей новой невесткой; он мало говорил с ней, но находился постоянно вблизи, почти не сводя с нее глаз. Это была настоящая бравада, и я лично думаю, что этим Геккерен намерен был засвидетельствовать, что он женился не потому, что боялся

даться, и что, если его поведение не нравилось Пушкину, он готов был принять все последствия этого.

Бар. Г. Фризенгоф – А. П. Араповой. – Кр. Ни-
ва, 1929, № 24, с. 10 (фр.).

Согласно категорически выраженному желанию Ал. Сергеевича, Нат. Ник-на в дом к сестре не ездила, а принимала ее только одну.

А. П. Арапова. Воспоминания. – Нов. Время, 1908, № 11425, ил. прил.

После свадьбы. Два лица. Мрачность при ней. Веселость за ее спиной. – Les re've'lations d'Alexandrine[218]. При тетке ласка к жене; при Александрине и других, кои могли бы рассказать des brusqueries[219]. Дома же веселость и большое согласие.

В. А. Жуковский. Конспективные заметки. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 284.

Со дня моей женитьбы, каждый раз, когда он видел мою жену в обществе г-жи Пушкиной, он садился рядом с нею и на замечание, которое она ему однажды по этому поводу

сделала, ответил:

– Это для того, чтобы видеть, каковы вы вместе и каковы у вас лица, когда вы разговариваете.

Это случилось у французского посланника на балу за ужином. Он воспользовался моментом, когда я отошел, чтобы приблизиться к моей жене и предложить ей выпить за его здоровье. После отказа он повторил свое предложение, – тот же ответ. Тогда он удалился разъяренный, сказавши ей:

– Берегитесь, я вам принесу несчастье!

Моя жена, зная мое мнение об этом человеке, не посмела мне тогда повторить разговор, боясь истории между нами обоими.

Бар. Ж. Дантес-Геккерен – полк. А. И. Бревнеру, 26 февр. 1837 г. – А. С. Поляков. О смерти Пушкина. По новым данным. СПб.: ГИЗ, 1922, с. 55 (фр.).

Это новое положение, эти новые отношения мало изменили сущность дела. Молодой Геккерен продолжал, в присутствии своей жены, подчеркивать свою страсть к г-же Пушкиной. Городские сплетни возобновились, и

оскорбительное внимание общества обратилось с удвоенной силой на действующих лиц драмы, происходящей на его глазах. Положение Пушкина сделалось еще мучительнее, он стал озабоченным, взволнованным, на него тяжело было смотреть. Но отношения его к жене оттого не пострадали. Он сделался еще предупредительнее, еще нежнее к ней. Его чувства, в искренности которых невозможно было сомневаться, вероятно, закрыли глаза его жене на положение вещей и его последствия. Она должна была бы удалиться от света и потребовать того же от мужа. У нее не хватило характера, и вот она опять очутилась почти в таких же отношениях с молодым Геккереном, как и до его свадьбы: тут не было ничего преступного, но было много непоследовательности и беспечности. Когда друзья Пушкина, желая его успокоить, говорили ему, что не стоит так мучиться, раз он уверен в невинности своей жены, и уверенность эта разделяется всеми его друзьями и всеми порядочными людьми общества, то он им отвечал, что ему недостаточно уверенности своей собственной, своих друзей и известного круж-

ка, что он принадлежит всей стране и желает, чтобы имя его оставалось незапятнанным везде, где его знают. Вот в каком настроении он был, когда приехали его соседки по имению, с которыми он часто виделся во время своего изгнания. Должно быть, он спрашивал их о том, что говорят в провинции об его истории, и, верно, вести были для него неблагоприятные. По крайней мере, со времени приезда этих дам он стал еще раздраженнее и тревожнее, чем прежде.

Кн. П. А. Вяземский – вел. кн. Михаилу Павловичу, 14 февр. 1837 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 260 (фр.).

Между тем посланник (которому досадно было, что его сын женился так невыгодно) и его соумышленники продолжали распускать по городу оскорбительные для Пушкина слухи. В Петербург приехали девицы Осиповы, тригорские приятельницы поэта; их расспросы, что значат ходившие слухи, тревожили Пушкина.

П. И. Бартенев со слов кн. В. Ф. Вяземской. – Рус. Арх., 1388, т. II, с. 309.

В конце концов, он совершенно добился того, что его стали бояться все дамы; 16 января, на следующий день после бала, который был у княгини Вяземской, где он себя вел обычно по отношению к обеим этим дамам, г-жа Пушкина, на замечание г. Валуева (*П. А., женатого на дочери кн. Вяземского*), как она позволяет обращаться с собою таким образом подобному человеку, ответила:

– Я знаю, что я виновата, я должна была бы его оттолкнуть, потому что каждый раз, как он обращается ко мне, меня охватывает дрожь.

Того, что он ей сказал, я не знаю, потому что г-жа Валуева передала мне только начало разговора.

Бар. Ж. Дантес-Геккерен – полк. А. И. Бревнеру, 26 февр. 1837 г. – А. С. Поляков. О смерти Пушкина, с. 55 (*фр.*).

При г-же Валуевой, в салоне ее матери (*кн. В. Ф. Вяземской*), он говорил моей жене следующее:

– Берегитесь, вы знаете, что я зол и что я

кончаю всегда, что приношу несчастье, когда хочу.

Бар. Ж. Дантес-Геккерен – полк. А. И. Бревнеру, 26 февр. 1837 г. – Там же, с. 54 (фр.).

Вот, по рассказу и уверению Нащокина, самые верные обстоятельства, бывшие причиной дуэли Пушкина. Дантес, красавец собою, ловкий юноша, чуть не дитя, приехал в Петербург и был принят прямо офицером в лейб-гвардию, – почет почти беспримерный и для людей самых лучших русских фамилий. Уже и это не нравилось Пушкину. (*Примечание Соболевского*: Пушкину чрезвычайно нравился Дантес за его детские шалости.) Дантес был принят в лучшее общество, где на него смотрели, как на дитя, и потому многое ему позволяли, напр., он прыгал на стол, на диваны, облакачивался головою на плечи дам и пр. Дом Пушкина, где жило три красавицы: сама хозяйка и две сестры ее, Катерина и Александра, понравился Дантесу, он любил бывать в нем. Но это очень не нравилось старику, его усыновителю, барону Геккерену, посланнику голландскому. Подлый старик был

педераст и начал ревновать красавца Дантеса к Пушкиным. Чтобы развести их, он выдумал, будто Дантес волочится за женою Пушкина. После объяснения Пушкина с Дантесом последний женился на Катерине Николаевне. Но Геккерен продолжал сплетничать, руководил поступками Дантеса, объяснял их по-своему и наконец пустил в ход анонимные письма. Исход известен. Таким образом несчастный убийца был убийцею невольным. Он говорил, что готов собственной кровью смыть преступление, просил, чтоб его разжаловали в солдаты, послали на Кавказ. Государь, не желая слушать никаких объяснений, приказал ему немедленно выехать.

П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 38.

Необходимость беспрерывно вращаться в неблаговолящем свете, жадном до всяких скандалов и пересудов, щедром на обидные сплетни и язвительные толки; легкомыслие его жены и вдвойне преступное ухаживание Дантеса после того, как он достиг безнаказанности своего прежнего поведения непонятною женитьбой на невестке Пушкина, — вся

эта туча стрел, направленных против огненной организации, против честной, гордой и страстной его души, произвела такой пожар, который мог быть потушен только подлою кровью врага его или же собственной его благородною кровью.

Собственно говоря, Наталья Николаевна виновна только в чрезмерном легкомыслии, в роковой самоуверенности и беспечности, при которых она не замечала той борьбы и тех мучений, какие выносил ее муж. Она никогда не изменяла чести, но она медленно, ежеминутно терзала восприимчивую и пламенную душу Пушкина. В сущности, она сделала только то, что ежедневно делают многие из наших блистательных дам, которых, однако ж из-за этого принимают не хуже прежнего; но она не так искусно умела скрыть свое кокетство, и, что еще важнее, она не поняла, что ее муж иначе был создан, чем слабые и снисходительные мужья этих дам.

Кн. Е. Н. Мещерская – кн. М. И. Мещерской . – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 94, 97.

Под конец жизни Пушкина, встречаясь ча-

сто в свете с его женою, которую я искренно любил и теперь люблю, как очень добрую женщину, я раз как-то разговорился с нею о комеражах (*сплетнях*), которым ее красота подвергает ее в обществе; я советовал ей быть сколько можно осторожнее и беречь свою репутацию и для самой себя, и для счастья мужа, при известной его ревности. Она, верно, рассказала это мужу, потому что, увидясь где-то со мною, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. «Разве ты мог ожидать от меня другого?» – спросил я. – «Не только мог, – ответил он, – но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моею женою». Это было за три дня до последней его дуэли.

Имп. Николай I по рассказу бар. М. А. Корфа. – М. А. Корф. Из записок. – Рус. Стар., 1900, т. 101, с. 574. Ср.: Рус. Стар., 1899, т. 99, с. 311.

Отношения (*Николая*) к жене Пушкина. Сам Пушкин говорил Нащокину, что (*Николай*), как офицеришка, ухаживает за его женою; нарочно по утрам по несколько раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру, на балах,

спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены. Сам Пушкин сообщал Нащокину свою совершенную уверенность в чистом поведении Нат. Ник-ны.

П. В. Нащокин по записи П. И. Бартенева. – П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с. 45.

Вот что рассказывал граф Сологуб Никитенке о смерти Пушкина. В последний год своей жизни Пушкин решительно искал смерти. Тут была какая-то психологическая задача. Причины никто не мог знать, потому что Пушкин был окружен шпионами: каждое слово его, сказанное в кабинете самому искреннему другу, было известно правительству. Стало быть, что таилось в душе его, известно только богу... Разумеется, обвинения пали на жену Пушкина, что она будто бы была в связях с Дантесом. Но Сологуб уверяет, что это сущий вздор. Жена Пушкина была в форме красавица, и поклонников у ней были целые легионы. Немудрено, стало быть, что и Дантес поклонялся ей, как красавице; но связей между них никаких не было. Подозревают другую причину. Жена Пушкина была

фрейлиной[220] при дворе, так думают, что не было ли у ней связей с царем. Из этого понятно будет, почему Пушкин искал смерти и бросался на всякого встречного и поперечного. Для души поэта не оставалось ничего, кроме смерти.

Н. И. Ивануцкий. Воспоминания и дневник. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIII, с. 36.

Граф В. А. Сологуб писал, что Пушкин в припадках ревности брал жену к себе на руки и с кинжалом допрашивал, верна ли она ему.

П. И. Бартенеv. – Рус. Арх., 1908, т. II, с. 427.

По мнению А. А. Муханова, с Пушкиным не произошла бы катастрофа, если бы на то время случился при нем в Петербурге С. А. Соболевский. Этот человек пользовался безусловным доверием Пушкина и непременно сумел бы отвратить от него роковую дуэль.

М. И. Семевский. К биографии Пушкина. – Рус. Вестн., 1869, № 11, с. 85.

Александр прислал нам письмо, но в нем было всего несколько строк к моему мужу, на-

брошенных наскоро в ответ на письмо, написанное еще в июле месяце и которое он понял прямо наыворот, не дав себе труда дочитать его до конца, и он ни словом не упоминает о двух других письмах, которые мой муж написал ему отсюда. Видимо, он очень занят и в дурном расположении духа.

О. С. Павлищева – С. Л. Пушкину, 3 февр. 1837 г., из Варшавы. – Пушкин и его совр-ки, вып. XII, с. 101.

Незадолго до кончины Пушкин перечитывал ваши сочинения и говорил о них с живейшим участием и уважением. Особенно удивлялся он мастерской отделке вашего шестистопного стиха в переводах Попе и Ювенала. Козловский убеждал его перевести Ювеналову сатиру «Желания», и Пушкин изучал прилежно данные вами образцы.

Кн. П. А. Вяземский – И. И. Дмитриеву, 17 июня 1837 г. – Рус. Арх., 1886, с. 655.

За несколько дней до своей кончины Пушкин пришел к Далю и, указывая на свой только что сшитый сюртук, сказал: «Эту выползи-

ну я теперь не скоро сброшу». Выползиною называется кожа, которую меняют на себе змеи, и Пушкин хотел сказать, что этого сюртука надолго ему станет. Он действительно не снял этого сюртука, а его спороли с него 27 января 1837 г., чтобы облегчить смертельную муку от раны.

П. И. Бартнев. – Рус. Арх., 1862, с. 2026.

Последнее время мы часто видались с Пушкиным и очень сблизились; он как-то более полюбил меня, а я находил в нем сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные... Никто так хорошо не судил русскую новейшую историю: он созревал для нее и знал и отыскал в известность многое, чего другие не заметили. Разговор его был полон жизни и любопытных указаний на примечательные пункты и на характеристические черты нашей истории. Ему оставалось дополнить и передать бумаге свои сведения.

А. И. Тургенев – И. С. Аржевитинову, 30 янв. 1837 г. – Рус. Арх., 1903, т. I, с. 143.

Пушкина мне удалось видеть всего еще один раз – за несколько дней до его смерти, на утреннем концерте в зале Энгельгардта. Он стоял у двери, опираясь на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. Помню его смуглое, небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых, крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом почти без бровей, и кудрявые волосы... Он и на меня бросил беглый взор; бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное – он словно с досадой повел плечом, – вообще, он казался не в духе, и отошел в сторону.

И. С. Тургенев. Литер. вечер у П. А. Плетнева. Литер. и житейские воспоминания, т. I.

В среду, ровно за неделю до дуэли, Пушкин был у Плетнева, и говорят, очень много и весело говорил.

Н. И. Ивануцкий. Воспоминания и дневник. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIII, с. 31.

(21 января 1837 г.) Вечер провел у Плетнева. Там был Пушкин. Он сделался большим аристократом. Как обидно, что он так мало ценит себя как человека и поэта, и стучится в один замкнутый кружок общества, тогда как мог бы безраздельно царить над всем обществом. Он хочет прежде всего быть баринoм, но ведь у нас барин тот, у кого больше дохода. К нему так не идет этот жеманный тон, эта утонченная спесь в обращении, которую завтра же может безвозвратно сбить опала. А ведь он умный человек, помимо своего таланта. Он, напр., сегодня много говорил дельного и, между прочим, тонкого о русском языке. Он сознавался также, что историю Петра пока нельзя писать, т.е. не позволят печатать. Видно, что он много читал о Петре.

А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. I, с. 282.

Незадолго до смерти Пушкина я был у него, и он, беседуя со мной наедине о разных предметах, между прочим коснулся супружеской жизни и в самых красноречивых выражениях изобразил мне счастье благополучно-

го супружества. А сам вскоре поражен был смертью, как жертва легкомысленной, кокетливой жены, которая без дурных с ее стороны намерений сделалась виновницей сплетней, злоречия и скандала, окончившегося этим гибельным дуэлем.

Г. П. Небольсин (член Госуд. совета и секретарь). Моим детям и внукам. Неизд. записки. Сообщ. Н. Е. Роговиным и Г. А. Небольсиным.

Написать записки о моей жизни мне завещал Пушкин у Обухова моста во время прогулки за несколько дней до своей смерти. У него тогда было какое-то высокорелигиозное настроение. Он говорил со мной о судьбах Промысла, выше всего ставил в человеке качество благоволения ко всем, видел это качество во мне, завидовал моей жизни.

П. А. Плетнев – Я. К. Гроту, 24 февр. 1842 г. – Переписка Грота с Плетневым, т. I, с. 495.

Незадолго до своей смерти Пушкин задумчиво рассказывал одному из своих друзей о том, что все важнейшие события его жизни совпадали с днем Вознесения, и передал ему

твердое свое намерение выстроить со временем в селе Михайловском церковь во имя Вознесения Господня. Упоминая о таинственной связи своей жизни с одним великим днем духовного торжества, он прибавил: «Ты понимаешь, что все это произошло не даром и не может быть делом одного случая».

П. В. Анненков. Материалы, с. 307.

(22 янв. 1837 г., пятница.) На балу я не танцевала. Было слишком тесно. В мрачном молчании я восхищенно любовалась г-жею Пушкиной. Какое восхитительное создание! Дантес провел часть вечера неподалеку от меня. Он оживленно беседовал с пожилою дамою, которая, как можно было заключить из долевших до меня слов, ставила ему в упрек экзальтированность его поведения. Действительно, жениться на одной, чтобы иметь некоторое право любить другую, в качестве сестры своей жены, – боже! для этого нужен порядочный запас смелости... Я не расслышала слов, тихо сказанных дамой. Что же касается Дантеса, то он ответил громко, с оттенком уязвленного самолюбия:

– Я понимаю то, что вы хотите дать мне понять, но я совсем не уверен, что сделал глупость!

– Докажите свету, что вы сумеете быть хорошим мужем... и что ходящие слухи не основательны.

– Спасибо, но пусть меня судит свет.

Минуту спустя я заметила проходившего А. С. Пушкина. Какой урод! Рассказывают, – но как дерзость доверять всему, о чем болтают?! Говорят, что Пушкин, вернувшись как-то домой, застал Дантеса tête-à-tête со своею супругою. Предупрежденный друзьями, муж давно уже искал случая проверить свои подозрения; он сумел совладать с собою и принял участие в разговоре. Вдруг у него явилась мысль потушить лампу. Дантес вызвался снова ее зажечь, на что Пушкин отвечал: «Не беспокойтесь, мне, кстати, нужно распорядиться насчет кое-чего...» Ревнивец остановился за дверью, и через минуту до слуха его долетело нечто похожее на звук поцелуя...

Впрочем, о любви Дантеса известно всем. Ее, якобы, видят все. Однажды вечером я сама заметила, как барон, не отрываясь, следил

взорами за тем углом, где находилась она. Очевидно, он чувствовал себя слишком влюбленным для того, чтобы, надев маску равнодушия, рискнуть появиться с нею среди танцующих.

М. К. Мердер. Листки из дневника. – Рус. Стар., 1900, т. 103, с. 384 (фр.).

На разъезде с одного бала Геккерен, подавая руку жене своей, громко сказал, так что Пушкин слышал: *Allons, ma legitime (Пойдем, моя законная)!*

П. И. Бартенев со слов кн. В. Ф. Вяземской. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 310.

В свое время мне рассказывали, что поводом (к последнему вызову Пушкиным Геккерена) послужило слово, которое Геккерен бросил на одном большом вечере, где все они присутствовали; там находился буфет, и Геккерен, взяв тарелку с фруктами, будто бы сказал, напирая на последнее слово: «Это для моей законной». Слово это, переданное Пушкину с разъяснениями, и явилось той каплей, которая переполнила чашу.

Бар. Г. Фризенгоф – А. П. Араповой, 14 марта 1887 г. – Кр. Нива, 1929, № 24, с. 10 (фр.).

На одном вечере Геккерен, по обыкновению, сидел подле Пушкиной и забавлял ее собою. Вдруг муж, издали следивший за ними, заметил, что она вздрогнула. Он немедленно увез ее домой и дорогою узнал от нее, что Геккерен, говоря о том, что у него был мозольный оператор, тот самый, который обрезывал мозоли Наталье Николаевне, прибавил: «Il m'a dit que le cor de madame Pouchkine est plus beau que le mien[221]». Пушкин сам передавал об этой наглости княгине Вяземской.

П. И. Бартенева со слов кн. В. Ф. Вяземской. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 311.

Бал у Воронцовых, где, говорят, Геккерен был сильно занят г-жей Пушкиной, еще увеличил его раздражение. Жена передала ему остроу Геккерена, на которую Пушкин намекал в письме к Геккерену-отцу, по поводу армейских острот. У обеих сестер был общий мозольный оператор, и Геккерен сказал г-же Пушкиной, встретив ее на вечере: «Je sais

maintenant que votre cor est plus beau, que celui de ma femme!»[222] Вся эта болтовня, все эти мелочи растравляли рану Пушкина.

Кн. П. А. Вяземский – вел. кн. Михаилу Павловичу, 14 февр. 1837 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 261 (фр.).

В Петербурге Александр Сергеевич последнее время каждый день посещал мою жену (баронессу *Евпраксию Николаевну*), которая остановилась у брата моего Степана, и целые часы говорил с нею о том, как бы сохранить Михайловское и приехать туда этим летом жить с женою и детьми.

Бар. Б. А. Вревский – С. Л. Пушкину. – Пушкин и его совр-ки, вып. VIII, с. 54.

Встретившись за несколько дней до дуэли с баронессой Вревской в театре, Пушкин сам сообщил ей о своем намерении искать смерти. Тщетно та продолжала его успокаивать, как делала то при каждой с ним встрече. Пушкин был непреклонен. Наконец она напомнила ему о детях его. «Ничего, – раздражительно отвечал он, – император, которому

известно все мое дело, обещал мне взять их под свое покровительство».

М. И. Семевский со слов бар. *Е. Н. Вревской*. К биографии Пушкина. – Рус. Вест., 1869, № 11, с. 90.

С Пушкиным у Л. А. Якубовича (*поэта*) была дружба неразрывная. Перед смертью Пушкина приходим мы, я и Якубович, к Пушкину. Пушкин сидел на стуле; на полу лежала медвежья шкура; на ней сидела жена Пушкина, положив свою голову на колени к мужу. Это было в воскресенье, а через три дня уже Пушкин стрелялся. Здесь Пушкин горячо спорил с Якубовичем и спорил дельно. Здесь я слышал его предсмертные замыслы о Слове Игорева полка – и только при разборе библиотеки Пушкина видел на лоскутках начатые заметки.

Тогда же Пушкин показывал мне и дополнения к Пугачеву, собранные им после издания. Пушкин думал переделать и вновь издать своего Пугачева.

И. П. Сахаров. Записки. – Рус. Арх., 1873, т. I, с. 955.

Якубович рассказывал при мне у Никитенки, что он 27 января, в среду (24 янв., в воскресенье), был у Пушкина с Сахаровым часу во втором. Пушкин был очень сердит и беспрестанно бранил Полевого за его Историю: ходил скоро взад и вперед по кабинету, хватал с полки какой-нибудь том Истории Полевого и читал для выдержки... Якубович и Сахаров ушли от него в третьем часу.

Н. И. Иваницкий. Из автобиографии. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIII, с. 32.

24 янв. 1837 г. взято Пушкиным у Шишкина 2200 р. под залог шалей, жемчуга и серебра.

Б. Л. Модзалевский. Архив опеки над детьми и имущ. Пушкина. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIII, с. 98.

В воскресенье (*перед поединком Пушкина*) А. О. Россет пошел в гости к кн. П. И. Мещерскому (зятю Карамзиной, они жили в доме Виельгорских) и из гостиной прошел в кабинет, где Пушкин играл в шахматы с хозяином.

«Ну, что, – обратился он к Россету, – вы были в гостинной; он уж там, возле моей жены?» Даже не назвал Дантеса по имени. Этот вопрос смутил Россета, и он отвечал, заминаясь, что Дантеса видел. Пушкин был большой наблюдатель физиономий; он стал глядеть на Россета, наблюдал линии его лица и что-то сказал ему лестное. Тот весь покраснел, и Пушкин стал громко хохотать над смущением 23-летнего офицера.

Арк. О. Россет. Из рассказов о Пушкине. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 245.

Мы можем сообщить личное и общее впечатление, что дуэль не была вызвана какими-либо обстоятельствами, которые можно было бы определить или оправдать. Грязное анонимное письмо не могло дать повода; плохие каламбуры свояка еще менее. Не ревность мучила Пушкина, а до глубины души пораженное самолюбие.

Отец мой в письмах своих употребляет неточное выражение, говоря, что Геккерен (*Дантес*) афишировал страсть: Геккерен постоянно балагурил и из этой роли не выходил до

последнего вечера в жизни, проведенного с Н. Н. Пушкиной. Единственное объяснение раздражению Пушкина следует видеть не в волокитстве молодого Геккерена, а в уговаривании стариком бросить мужа. Этот шаг старика и был тем убийственным оскорблением для самолюбия Пушкина, которое должно было быть смыто кровью. Дружеские отношения жены поэта к свояку и сестре, вероятно, питали раздраженную мнительность Пушкина.

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 557.

Прекратившиеся было анонимные наветы снова посыпались на Пушкина. Они пытались злорадно изобличить, что брак служил только ловким прикрытием прежних разоблаченных отношений.

А. П. Арапова. Воспоминания. – Новое Время, 1908, № 11425, ил. прил.

Вследствие многочисленных анонимных писем, почерк которых менялся постоянно, но которые носили характер несомненного тождества и, благодаря этому, являлись дока-

зательством злостной интриги, Пушкин написал голландскому послу, барону Геккерену, оскорбительное письмо.

Л. Метман. Ж. Ш. Дантес. Биограф. очерк. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 335.

Мне говорил курьер, которого я послал к Александру Сергеевичу (*с приглашением на похороны сына Греча*), – тамошнее лакейство ему сказывало, что их барин эти дни словно в каком-то расстройстве: то приедет, то уедет куда-то, загонял несколько парных месячных извозчиков, а когда бывает дома, то свищет несколько часов сряду, кусает ногти, бегают по комнатам. Никто ничего понять не может, что с ним делается.

Н. И. Юханцев в передаче В. П. Бурнашева. – Рус. Арх., 1872, с. 1799.

Жена Пушкина, безвинная вполне, имела неосторожность обо всем сообщать мужу и только бесила его. Раз они возвращались из театра. Старик Геккерен, идя позади, шепнул ей, когда же она склонится на мольбы его сына? Наталья Николаевна побледнела, задро-

жала. Пушкин смутился, на его вопрос она ему передала слова, ее поразившие. На другой же день он написал к Геккерену свое резкое и дерзкое письмо.

А. И. Васильчикова по записи П. И. Бартенева. – П. И. Бартенов. Рассказы о Пушкине, с. 38.

Поведение Дантеса после свадьбы дало всем право думать, что он точно искал в браке не только возможности приблизиться к Пушкину, но также предохранить себя от гнева ее мужа узами родства. Он не переставал волочиться за своею невесткою; он откинул даже всякую осторожность, и казалось иногда, что насмехается над ревностью непримирившегося с ним мужа. На балах он танцевал и любезничал с Натальей Николаевной, за ужином пил за ее здоровье; словом, довел до того, что все снова стали говорить про его любовь. Барон же Геккерен стал явно помогать ему, как говорят, желая отомстить Пушкину за неприятный ему брак Дантеса. Пушкин все видел, все замечал и решился положить этому конец. На бале у Салтыкова (где ныне гостиница Гранд-Отель, на Малой Морской.

Прим. Бартенева) он хотел сделать публичное оскорбление Дантесу, который был предупрежден и не приехал на бал, что понудило Пушкина на другой день послать ему письменный вызов и вместе с тем письмо к Геккерену, в котором Пушкин ему объявляет, что знает его гнусное поведение.

Н. М. Смирнов. Памятные заметки. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 233.

Геккерен (*Дантес*) написал Наталье Николаевне письмо, которое было вопль отчаяния с первого до последнего слова. Цель его была добиться свидания. «Он жаждал только возможности излить ей всю свою душу, переговорить только о некоторых вопросах, одинаково важных для обоих, заверял честью, что прибегает к ней единственно, как к сестре его жены, и что ничем не оскорбит ее достоинство и чистоту». Письмо, однако же, кончилось угрозой, что, если она откажет ему в этом пустом знаке доверия, он не в состоянии будет пережить подобное оскорбление. Отказ будет равносителен смертному приговору, а может быть, даже и двум. Жена, в своей безум-

ной страсти, способна последовать данному им примеру, и, загубленные в угоду трусливому опасению, две молодые жизни вечным гнетом лягут на ее бесчувственную душу.

Года за три перед смертью Наталья Николаевна рассказала во всех подробностях разыгравшуюся драму нашей воспитательнице, женщине, посвятившей младшим сестрам и мне всю свою жизнь и внушавшей матери такое доверие, что на смертном одре она поручила нас ее заботам, прося не покидать дом до замужества последней из нас. С ее слов я узнала, что, дойдя до этого эпизода, мать со слезами на глазах сказала: «Видите, дорогая Констанция, сколько лет прошло с тех пор, а я не переставала строго допытывать свою совесть, и единственный поступок, в котором она меня уличает, это согласие на роковое свидание... Свидание, за которое муж заплатил своею кровью, а я – счастьем и покоем своей жизни. Бог свидетель, что оно было столь же кратко, сколько невинно. Единственным извинением мне может послужить моя неопытность на почве страдания... Но кто допустит его искренность».

Местом свидания была избрана квартира Идалии Григорьевны Полетика, в кавалергардских казармах, так как муж ее состоял офицером этого полка. Она была полуфранцуженка, побочная дочь графа Григория Строганова, воспитанная в доме на равном положении с остальными детьми, и, в виду родственных связей с Загряжскими, Наталья Николаевна сошлась с ней на дружественную ногу. Она олицетворяла тип обаятельной женщины не столько миловидностью лица, как складом блестящего ума, веселостью и живостью характера, доставлявшими ей всюду постоянный несомненный успех. В числе ее поклонников самым верным, искренно влюбленным и беззаветно преданным был в то время кавалергардский ротмистр Петр Петрович Ланской (*будущий второй муж Наталии Николаевны Пушкиной*). Хорошо осведомленная о тайных агентах, следивших за каждым шагом Пушкиной, Идалия Григорьевна, чтобы предотвратить опасность возможных последствий, поручила Ланскому, под видом прогулки около здания, зорко следить за всякой подозрительной личностью, могущей по-

явиться близ ее подъезда.

Несмотря на бдительность окружающих и на все принятые предосторожности, не далее как через день, Пушкин получил злорадное извещение от того же анонимного корреспондента о состоявшейся встрече. Он прямо понес письмо к жене.

Она не отперлась, но поведала ему смысл полученного послания, причины, повлиявшие на ее согласие, и созналась, что свидание не имело того значения, которое она предполагала, и было лишь хитростью влюбленного человека. Это открытие возмутило ее до глубины души, и, тотчас же, прервав беседу, она твердо заявила Геккерену, что останется навек глуха к его мольбам и заклинаниям и что это первое, его угрозами вынужденное, свидание станет последним.

Приведенное объяснение имело последствием вторичный вызов на дуэль Геккерена, но уже составленный в столь резких выражениях, что отнята была всякая возможность примирения.

А. П. Арапова. Воспоминания. – Новое Время, 1908 г., № 11425, ил. прил., с. 5.

Наталья Николаевна получила однажды от г-жи Полетики приглашение посетить ее, и когда она прибыла туда, то застала там Геккерена вместо хозяйки дома; бросившись перед нею на колени, он заклинал ее о том же, что и его приемный отец в своем письме. Она сказала жене моей (*Алекс. Ник. Гончаровой*), что это свидание длилось несколько минут, ибо, отказав немедленно, она тотчас же уехала.

Бар. Г. Фризенгоф – А. П. Араповой. – Кр. Нива, 1929, № 24, с. 10 (*фр.*).

Мадам N. N. (*Идалия Григорьевна Полемика*), но настоянию Геккерена, пригласила Пушкину к себе, а сама уехала из дому. Пушкина рассказывала княгине Вяземской и мужу, что, когда она осталась с глазу на глаз с Геккереном, тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Пушкина не знала, куда ей деваться от его настояний; она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. По счастью, ничего не подозревавшая дочь хозяйки дома явилась в комнату, и гостья бросилась к ней.

П. И. Бартенев со слов кн. В. Ф. Вяземской. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 310.

Идалия Григорьевна Полетика, овдовев, жила до глубокой старости в Одессе; в доме брата своего гр. А. Г. Строганова. Она не скрывала своей ненависти к памяти Пушкина... Она собиралась подъехать к памятнику Пушкина, чтобы плюнуть на него. Дантес был частым посетителем Полетики и у нее видался с Наталией Николаевной, которая однажды приехала оттуда к княгине Вяземской вся впопыхах и с негодованием рассказала, как ей удалось избежать настойчивого преследования Дантеса. Кажется, дело было в том, что Пушкин не внимал сердечным излияниям невзрачной Идалии Григорьевны и однажды, едучи с нею в карете, чем-то оскорбил ее.

П. И. Бартенев со слов кн. В. Ф. Вяземской. – Рус. Арх., 1908, т. III, с. 294.

Идалия Григорьевна Полетика заявляет большую нежность к памяти Наталии Николаевны. Она рассказывает, что однажды они

ехали в карете и напротив сидел Пушкин. Он позволил себе схватить ее за ногу. Нат. Ник. пришла в ужас, и потом по ее настоянию Пушкин просил у нее прощения.

Есть повод думать, что Пушкин, зная свойства Идалии, оскорблял ее, и она, из мести, была сочинительницей анонимных писем, из-за которых произошел поединок.

П. И. Бартенев. Из записной книжки. – Рус. Арх., 1912, т. II, с. 160.

Идалия была дочь гр. Григория Строганова от модистки, французской гризетки. Эта молодая девушка была прелестна, умна, благовоспитана, у нее были большие, голубые, ласковые и кокетливые глаза, и графиня Строганова выдала ее замуж за Полетику, человека очень хорошего происхождения и с порядочными средствами.

А. О. Смирнова. Автобиография, с. 128.

(25 янв. 1837 г.) Сегодня в нашей мастерской были Пушкин и Жуковский. Сошлись они вместе, и Карл Павлович (*Брюллов*) угощал их своею портфелью и альбомами. Весе-

ло было смотреть, как они любовались и восхищались его акварельными рисунками; но когда он показал им недавно оконченный рисунок: «Съезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне», то восторг их выразился криком и смехом. Да и можно ли глядеть без смеха на этот прелестный, забавный рисунок? Смирнский полицеймейстер, спящий посреди улицы на ковре и подушке, такая комическая фигура, что на нее нельзя глядеть равнодушно. Позади него за подушкой, в тени, видны двое полицейских стражей: один сидит на корточках, другой лежит, упершись локтями в подбородок и болтая босыми ногами, обнаженными выше колен; эти ноги, как две коцерги, принадлежащие тощей фигуре стража, еще более выдвигают полноту и округлость форм спящего полицеймейстера, который, будучи изображен в ракурс, кажется от того еще толще и шире. Пушкин не мог расстаться с этим рисунком, хохотал до слез и просил Брюллова подарить ему это сокровище; но рисунок принадлежал уже княгине Салтыковой, и Карл Павлович, уверяя его, что не может отдать, обещал нарисовать ему другой;

Пушкин был безутешен; он, с рисунком в руках, стал перед Брюлловым на колени и начал умолять его: «Отдай, голубчик! Ведь другого ты не нарисуешь для меня; отдай мне этот». Не отдал Брюллов рисунка, а обещал нарисовать другой.

А. И. Мокрицкий. Воспоминания о Брюлло-
ве. – Отеч. Зап., 1855, т. СIII, отд. II, с. 165–166.

Я не понимаю, почему Мокрицкий передавал это обстоятельство без конца, который он сам мне рассказал и который, по-моему, очень важен. Брюллов не отдал Пушкину рисунка, сказав, что рисунок был уже продан княгине Салтыковой, но обещал Пушкину написать с него портрет и назначил время для сеанса. На беду дуэль Пушкина состоялась днем ранее назначенного сеанса. По словам Брюллова, «картишки и дуэли были слабостью Пушкина».

М. И. Железнов. Заметка о К. П. Брюлло-
ве. – Живоп. Обзор., 1898, № 31, с. 625.

Пушкин посетил И. А. Крылова за день или за два до своей дуэли с Дантесом; он был осо-

бенно весел, говорил г-же Савельевой (*крестнице Крылова*) любезности, играл с ее малюткой-дочерью, потом вдруг, как будто вспомнив о чем-то, торопливо простился с Крыловым.

А. П. Савельева в передаче *Л. Н. Трофелева*. – Рус. Арх., 1887, т. LV, с. 464.

25 января Пушкин и молодой Геккерен с женами провели у нас вечер. И Геккерен, и обе сестры были спокойны, веселы, принимали участие в общем разговоре. В этот самый день уже было отправлено Пушкиным барону Геккерену оскорбительное письмо.

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 556.

Пушкин, смотря на Жоржа Геккерена, сказал мне: «Что меня забавляет, так это то, что этот господин веселится, не предчувствуя, что его ожидает по возвращении домой». – «Что же именно? – сказала я. – Вы ему написали?» Он мне сделал утвердительный знак и прибавил: – «Его отцу». – «Как, письмо уже отослано?» Он мне сделал еще знаки. Я сказала: – «Сегодня?» Он потер себе руки, повторяя голо-

вой те же знаки. – «Неужели вы думаете об этом? – сказала я. – Мы надеялись, что все уже кончено». Тогда он вскочил, говоря мне: «Разве вы принимали меня за труса? Я вам уже сказал, что с молодым человеком мое дело было окончено, но с отцом – дело другое. Я вас предупредил, что мое мщение заставит загворить свет». Все ушли. Я удержала Виельгорского и сказала ему об отсылке письма.

Кн. В. Ф. Вяземская – Е. Н. Орловой. – Новый Мир, 1931, № 12, с. 189.

Князя Вяземского не было дома. Княгиня умоляла В. А. Перовского и гр. М. Ю. Виельгорского дождаться князя и вместе обсудить, какие надо принять меры. Не дождавшись почти до утра, они разошлись. Князь, вероятно, был у Карамзиных, где обыкновенно засиживался последним.

П. И. Бартенев со слов кн. В. Ф. Вяземской. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 310; 1908, т. II, с. 427.

Дуэль, смерть и похороны

Господин Барон!

Позвольте мне подвести итог всему, что случилось. Поведение вашего сына было мне давно известно и не могло оставить меня равнодушным. Я довольствовался ролью наблюдателя с тем, чтобы вмешаться, когда почту нужным. Случай, который во всякую другую минуту был бы мне крайне неприятен, пришлось весьма кстати, чтобы мне разделаться: я получил анонимные письма. Я увидел, что минута настала, и воспользовался этим. Вы знаете остальное: я заставил вашего сына играть столь жалкую роль, что жена моя, удивленная такою трусостью и низостью, не могла удержаться от смеха; душевное движение, которое в ней, может быть, вызвала эта сильная и возвышенная страсть, погасло в самом спокойном презрении и в отвращении самом заслуженном.

Я принужден сознаться, Господин Барон, что ваша собственная роль была не особенно приличной. Вы, представитель коронованной главы, – вы отечески служили сводником ва-

шему сыну. По-видимому, всем его поведением (довольно, впрочем, неловким) руководили вы. Вы, вероятно, внушали ему нелепости, которые он высказывал, и глупости, которые он брался излагать письменно. Подобно старой развратнице, вы подстерегали мою жену во всех углах, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына; и когда больной сифилисом, он оставался дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней; вы ей бормотали: «Возвратите мне моего сына!»

Вы хорошо понимаете, Господин Барон, что после всего этого я не могу терпеть, чтобы мое семейство имело малейшее сношение с вашим. Под таким условием я согласился не давать хода этому грязному делу и не опозоривать вас в глазах нашего и вашего двора, к чему я имел возможность и что намеревался сделать. Я не желаю, чтобы жена моя продолжала слушать ваши родительские увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын после своего гнусного поведения осмеливался разговаривать с моей женой и еще того менее — обращаться к ней с казарменными каламбу-

рами и разыгрывать перед нею самоотвержение и несчастную любовь, тогда как он только подлец и шалопай. Я вынужден обратиться к вам с просьбой положить конец всем этим проделкам, если вы хотите избежать нового скандала, перед которым я, поверьте мне, не останавлиюсь.

Имею честь быть, Господин Барон, Ваш покорный и послушный слуга

Александр Пушкин.

Пушкин – бар. Л. Геккерену-старшему, 26 янв. 1837 г. (фр.).

Не знаю, чему следует приписать ниже следующее обстоятельство: необъяснимой ли ко всему свету вообще и ко мне в частности зависти, или какому-либо другому неведомому побуждению, но только во вторник, в ту минуту, когда мы собрались на обед к графу Строганову, и без всякой видимой причины, я получаю письмо от г. Пушкина. Мое перо отказывается воспроизвести все отвратительные оскорбления, которыми наполнено было это подлое письмо.

Что мне оставалось делать? Вызвать его са-

мому? Но, во-первых, общественное звание, которым королю было угодно меня облечь, препятствовало этому; кроме того, тем дело не кончилось бы. Если бы я остался победителем, то обесчестил бы своего сына; недоброжелатели всюду бы говорили, что я сам вызвался, так как уже раз улаживал подобное дело, в котором мой сын обнаружил недостаток храбрости; а если бы я пал жертвой, то его жена осталась бы без поддержки, так как мой сын неминуемо выступил бы мстителем. Однако я не хотел опереться только на мое личное мнение и посоветовался с графом Строгановым, моим другом. Так как он согласился со мною, то я показал письмо сыну, и вызов господину Пушкину был послан.

Бар. Л. Геккерен-старший – бар. Верстолку.
11 февр. 1837 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 297.

Дантес, который после письма Пушкина должен был защищать себя и своего усыновителя, отправился к графу Строганову; этот Строганов был старик, пользовавшийся между аристократами особенным уважением, отличавшийся отличным знанием всех правил

аристократической чести. Этот-то старец объявил Дантесу решительно, что за оскорбительное письмо непременно должно драться, и дело было решено.

*А. И. Васильчикова по записи П. И. Барте-
нева.* – П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, с.
39.

Милостивый Государь!

Не зная ни вашего почерка, ни вашей подписи, я обращаюсь к виконту д'Аршиаку, который вручит вам настоящее письмо, с просьбою выяснить, точно ли письмо, на которое я отвечаю, исходит от вас. Содержание его до такой степени переходит всякие границы возможного, что я отказываюсь отвечать на все подробности послания. Вы, по-видимому, забыли, Милостивый Государь, что вы же сами отказались от вызова, который сделали барону Жоржу Геккерену и который был им принят. Доказательство того, что я здесь утверждаю, существует, оно написано собственно вашею рукою и находится в руках секундантов. Мне остается только предупредить вас, что виконт д'Аршиак едет к вам, чтобы усло-

виться о месте встречи с бароном Жоржем Геккереном и предупредить вас, что встреча не терпит никакой отсрочки.

Я сумею позже, Милостивый Государь, научить вас уважению к званию, которым я облечен и которого никакая выходка с вашей стороны оскорбить не может.

Остаюсь,

Милостивый Государь,

Ваш покорнейший слуга

Барон Геккерен.

Читано и одобрено мною.

Барон Жорж Геккерен.

Бар. Л. Геккерен-старший – Пушкину. – Переписка Пушкина, т. III, с. 145.

Д'Аршиак принес Пушкину ответ. Пушкин его не читал, но принял вызов, который был ему сделан от имени сына.

Кн. П. А. Вяземский – вел. кн. Михаилу Павловичу. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 261.

Дотоль Пушкин себя вел, как каждый бы на его месте сделал; и хотя никто не мог обвинять жену Пушкина, столь же мало оправды-

вали поведение Дантеса, и в особенности гнусного его отца Геккерена. Но последний повод к дуэли, которого никто не постигает и заключающийся в самом дерзком письме Пушкина к Геккерену, сделал Дантеса правым в сем деле. C'est le cas de dire, chasser nature, il revient au galop. (Вот случай сказать: гони природу в дверь, она влетит в окно).

Имп. *Николай I* – вел. кн. *Михаилу Павловичу*, 3 февр. 1837 г. – Рус. Стар., 1902, т. 110, с. 227.

Николай I велел Бенкендорфу предупредить дуэль. Геккерен был у Бенкендорфа. – «Что делать мне теперь?» – сказал он княгине Белосельской. – «А вы пошлите жандармов в другую сторону». Убийцы Пушкина – Бенкендорф, кн. Белосельская и Уваров. Ефремов и выставил их портреты на одной из прежних пушкинских выставок. Гаевский залепил их.

А. С. Суворин со слов *П. А. Ефремова*. – Дневник *А. С. Суворина*. Пг., 1923, с. 205.

Нижеподписавшийся извещает г. Пушкина, что он будет ждать у себя до одиннадцати

часов вечера, а после этого – на балу у графини Разумовской, лицо, которому будет поручено вести дело, долженствующее окончиться завтра.

Виконт д'Аршиак – Пушкину, 26 янв. 1837 г. – Переписка Пушкина, т. III, с. 445 (фр.).

За время короткого пребывания здесь моей невестки (*бар. Евпр. Ник. Вревской*) Александр Сергеевич часто посещал нас и даже обедал у нас и провел весь день накануне своей несчастной дуэли.

Бар. М. Н. Сердобин – С. Л. Пушкину. – Пушкин и его совр-ки, вып. VIII, с. 65 (фр.).

Теперь узнаем, что Пушкин накануне открылся одной даме, дочери той Осиповой, у коей я был в Тригорском, что он будет драться. Она не успела или не могла помешать, и теперь упрек жены, которая узнала об этом, на нее падает.

А. И. Тургенев – Н. И. Тургеневу, 28 февр. 1837 г. – Там же, вып. VI, с. 22.

Накануне поединка Пушкин обедал у гра-

фини Е. П. Ростопчиной, супруг которой мне рассказывал, что до обеда и после него Пушкин убегал в умывальную комнату и мочил себе голову холодною водою: до того мучил его жар в голове.

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1908, т. II, с. 427.

Я видел Пушкина (26-го янв.) на бале у гр. Разумовской, (тогда же) провел с ним часть утра; видел его веселого, полного жизни, без малейших признаков задумчивости; мы долго разговаривали о многом, и он шутил и смеялся. (В два предшествующие дня) также провел с ним большую часть утра; мы читали бумаги, кои готовил он для пятой книжки своего журнала. Каждый вечер видал я его и на балах спокойного и веселого.

А. И. Тургенев – А. И. Нефедьевой, 28 янв. 1837 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 48.

Пушкин явился на бал (у гр. Разумовской) один, без жены, очень веселый; в кармане у него имелся благоприятный ответ и принятие вызова на следующий день. Геккерен на бал не явился. Пушкин танцевал, шутил с

Тургеневым, которого он пригласил на следующий день прийти к нему послушать чтение и назначил ему час, когда сам он должен был быть уже лицом к лицу со своим противником.

А. Я. Булгаков – кн. О. А. Долгоруковой, 2 февр. 1837 г. – Кр. Арх., 1929, т. II, с. 224.

Накануне дуэли был раут у графини Разумовской. Кто-то говорит Вяземскому: «Пойдите, посмотрите, Пушкин о чем-то объясняется с Д'Аршиаком; тут что-нибудь недоброе». Вяземский отправился в ту сторону, где были Пушкин и Д'Аршиак; но у них разговор прекратился.

П. И. Бартенев со слов кн. В. Ф. Вяземской. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 312.

26-го на балу у графини Разумовской Пушкин предложил быть своим секундантом Магенису, советнику при английском посольстве. Тот, вероятно, пожелал узнать причины дуэли; Пушкин отказался сообщить что-либо по этому поводу. Магенис отстранился.

Кн. П. А. Вяземский – вел. кн. Михаилу Пав-

ловичу, 14 февр. 1837 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 261.

Рассказывают, что Пушкин звал к себе в секунданты секретаря английского посольства Магениса; он часто бывал у графини Фикельмон, – долгоносый англичанин, которого звали *perroquet malade* (больной попугай), очень порядочный человек, которого Пушкин уважал за честный нрав.

Арк. О. Россет. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 248.

(27января.) Встал весело в восемь часов – после чаю много писал, часу до 11-го.

В. А. Жуковский. Конспективные заметки. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 285.

Я настаиваю еще сегодня утром на просьбе, с которою я имел честь обратиться к вам вчера вечером. Необходимо, чтобы я имел свидание с секундантом, которого вы выберете, притом в самое ближайшее время. До полудня я буду дома; надеюсь раньше этого времени увидеться с тем, кого вам угодно будет ко мне прислать.

Виконт д'Аршиак – Пушкину, среда, 27 январь,

9 час. утра. – Переписка Пушкина, т. III, с. 449 (*фр.*).

Я не имею никакого желания вмешивать праздный петербургский люд в мои семейные дела; поэтому я решительно отказываюсь от разговоров между секундантами. Я приведу своего только на место поединка. Так как г. Геккерен меня вызывает, и обиженным является он, то он может сам выбрать мне секунданта, если увидит в том надобность: я заранее принимаю его, если бы даже это был его егерь. Что касается часа, места, я вполне к его услугам. Согласно нашим, русским обычаям этого вполне достаточно... Прошу вас верить, виконт, – это мое последнее слово, мне больше нечего отвечать по поводу этого дела, и я не двинусь с места до окончательной встречи.

Пушкин – виконту д'Аршиаку, 27 янв. 1837 г. (*фр.*).

Оскорбив честь барона Жоржа Геккерена, вы обязаны дать ему удовлетворение. Это ваше дело – достать себе секунданта. Никакой

не может быть речи, чтоб его вам доставили. Готовый со своей стороны явиться в условленное место, барон Жорж Геккерен настаивает на том, чтобы вы держались принятых правил. Всякое промедление будет рассматриваться им как отказ в удовлетворении, которое вы ему обязаны дать, и как попытка огласкою этого дела помешать его окончанию. Свидание между секундантами, *необходимое перед встречей*, становится, если вы все еще отказываете в нем, одним из условий барона Жоржа Геккерена; вы же мне говорили вчера и писали сегодня, что принимаете все его условия.

Виконт д'Аршиак – Пушкину, 27 янв. 1837 г. – Переписка Пушкина, т. III, с. 450 (фр.).

27 января, в первом часу пополудни, встретил его, Данзаса, Пушкин на Цепном мосту, что близ Летнего сада, остановил и предложил ему быть свидетелем одного разговора.

К. К. Данзас. Показание перед военным судом. – Дуэль Пушкина, с. 99.

27 января 1837 г. К. К. Данзас, проходя по

Пантелеймоновской улице, встретил Пушкин в санях. В этой улице жил тогда К. О. Россет: Пушкин, как полагает Данзас, заезжал сначала к Россету и, не застав последнего дома, поехал к нему. Пушкин остановил Данзаса и сказал:

– Данзас, я ехал к тебе, садись со мной в сани и поедем во французское посольство, где ты будешь свидетелем одного разговора.

Данзас, не говоря ни слова, сел с ним в сани, и они поехали в Большую Миллионную. Во время пути Пушкин говорил с Данзасом, как будто ничего не бывало, совершенно о посторонних вещах. Таким образом доехали они до дома французского посольства, где жил д'Аршиак. После обыкновенного приветствия с хозяином, Пушкин сказал громко, обращаясь к Данзасу: «Теперь я вас введу в сущность дела», и начал рассказывать ему все, что происходило между ним, Дантесом и Геккереном.

Пушкин окончил свое объяснение следующими словами:

– Теперь я вам могу сказать только одно: если дело это не закончится сегодня же, то в

первый же раз, как я встречу Геккерена, – отца или сына, – я им плюну в физиономию.

Тут он указал на Данзаса и прибавил:

– Вот мой секундант.

Потом обратился к Данзасу с вопросом:

– Согласны вы?

После утвердительного ответа Данзаса Пушкин уехал, предоставив Данзасу, как своему секунданту, условиться с д'Аршиаком о дуэли.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 18.

За несколько часов до дуэли Пушкин говорил д'Аршиаку, секунданту Геккерена, объясняя причины, которые заставляли его драться: «Есть двоякого рода рогоносцы: одни носят рога на самом деле; те знают отлично, как им быть; положение других, ставших рогоносцами по милости публики, затруднительнее. Я принадлежу к последним».

Кн. П. А. Вяземский – вел. кн. Михаилу Павловичу, 14 февр. 1837 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 260 (фр.).

К пояснению обстоятельств, касающихся до выбора секунданта со стороны Пушкина, прибавлю я еще о сказанном мне г. д'Аршиаком после дуэли; т.е. что Пушкин накануне несчастного дня у графини Разумовской на бале предложил г-ну Магенису, находящемуся при английском посольстве, быть свидетелем с его стороны, на что сей последний отказался. Соображая ныне предложение Пушкина г-ну Магенису, письмо его к д'Аршиаку и некоторые темные выражения в его разговоре со мною, когда мы ехали на место поединка, я не иначе могу пояснить намерения покойного, как тем, что по известному мне и всем знавшим его коротко высокому благородству души его он не хотел вовлечь в ответственность по своему собственному делу никого из соотечественников; и только тогда, когда вынужден был к тому противниками, он решился наконец искать меня, как товарища и друга с детства, на самоотвержение которого он имел более права считать.

К. К. Данзас. Рапорт в Военносудную комиссию от 14 февр. 1837 г. – Дуэль Пушкина, с. 79.

Подполковник Данзас был отличный боевой офицер, светски образованный, но крайне ленивый и, к сожалению, притворявшийся гоце' (*повеса, развратник*).

Г. И. Филипсон. Воспоминания. – Рус. Арх., 1884, т. I, с. 205.

Данзас, по словам знавших его, был весельчак по натуре, имел совершенно французский склад ума, любил острить и сыпать каламбурами; вообще он в полном смысле был *bon-vivant*. Состоя вечным полковником, он только за несколько лет до смерти, при выходе в отставку, получил чин генерала, вследствие того, что он в мирное время относился к службе благодушно, индифферентно и даже чересчур беспечно, хотя его все любили, даже начальники, но хода по службе не давали. Данзас жил и умер в бедности, без семьи, не имея и не нажив никакого состояния, пренебрегая постоянно благами жизни, житейскими расчетами. Открытый прямодушный характер, соединенный с саркастическими взглядами на людей и вещи, не дал ему возможности составить себе карьеру. Несколько

раз ему даже предлагались разные теплые и хлебные места, но он постоянно отказывался от них, говоря, что чувствует себя неспособным занимать такие места.

Н. А. Гастфрейнд. Товарищи Пушкина по лицею, т. III, с. 333.

Данзас – веселый малый, храбрый служака и остроумный каламбурист... он мог только аккуратнейшим образом размерить шаги для барьера да зорко следить за соблюдением законов дуэли, но не только не сумел бы расстроить ее, даже обидел бы Пушкина малейшим возражением.

П. В. Нащокин по записи *Н. И. Куликова*. – Рус. Стар., 1881, т. 31, с. 615.

После ухода Пушкина первый вопрос его (*Данзаса*) был г. д'Аршиаку, нет ли средств окончить дело миролюбиво. Г. д'Аршиак, представитель почитавшего себя обиженным г. Геккерена, вызвавшего Пушкина на дуэль, решительно отвечал, что никаких средств нет к примирению.

К. К. Данзас. Показание перед Военносуд-

ной комиссией. – Дуэль Пушкина, с. 99.

УСЛОВИЯ ДУЭЛИ МЕЖДУ Г. ПУШКИНЫМ И Г. БАРОНОМ ЖОРЖЕМ ГЕККЕРЕНОМ

1. Противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга, за пять шагов назад от двух барьеров, расстояние между которыми равняется десяти шагам.

2. Противники, вооруженные пистолетами, по данному сигналу, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, могут пустить в дело свое оружие.

3. Сверх того принимается, что после первого выстрела противникам не дозволяется менять место для того, чтобы выстреливший первым подвергся огню своего противника на том же расстоянии.

4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то, если не будет результата, поединок возобновляется на прежних условиях: противники ставятся на то же расстояние в двадцать шагов; сохраняются те же барьеры и те же правила.

5. Секунданты являются непременно посредниками во всяком объяснении между

противниками на месте боя.

6. Нижеподписавшиеся секунданты этого поединка, облеченные всеми полномочиями, обеспечивают, каждый за свою сторону, свою честью строгое соблюдение изложенных здесь условий,

Константин Данзас,
инженер-подполковник.

Виконт д'Аршиак,
атташе французского посольства.

Б. Л. Модзалевский, Ю. Г. Оксман, М. А. Цявловский. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина, с. 86 (фр.).

К сим условиям г. д'Аршиак присовокупил не допускать никаких объяснений между противниками, но он (*Данзас*) возразил, что согласен, что во избежание новых каких-либо распрей, не дозволить им самим объясняться; но имея еще в виду не упускать случая к примирению, он предложил с своей стороны, чтобы в случае малейшей возможности секунданты могли объясняться за них.

К. К. Данзас. Показание перед Военносудной комиссией. – Дуэль Пушкина, с. 100.

С этой роковой бумагой Данзас возвратился к Пушкину. Он застал его дома одного. Не прочитав даже условий, Пушкин согласился на все. В разговоре о предстоящей дуэли Данзас заметил ему, что, по его мнению, он бы должен был стреляться с бароном Геккереном-отцом, а не с сыном, так как оскорбительное письмо он написал Геккерену, а не Дантесу. На это Пушкин ему отвечал, что Геккерен, по официальному своему положению, драться не может.

А. Н. Аммосов со слов *К. К. Данзаса*. Последние дни Пушкина, с. 20.

Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни, потом увидел в окно Данзаса, в дверях встретил радостно. – Вошли в кабинет, запер дверь. – Через несколько минут послал за пистолетами.

В. А. Жуковский. Конспективные заметки. – *П. Е. Щеголев*. Дуэль, с. 285.

Я думаю, вам приятно будет иметь архалук, который был на нем в день его несчаст-

ной дуэли.

Н. Н. Пушкина – П. В. Нащокину, 6 апр. 1837 г. – Искусство, журн. Рос. Ак. Худ. Наук, № 1, 1923, с. 326.

После смерти Пушкина Жуковский прислал моему мужу серебряные часы покойного, которые были при нем в день роковой дуэли, его красный с зелеными клеточками архалук, посмертную маску и бумажник с ассигнацией в 25 руб. и локоном белокурых волос.

В. А. Нащокина. Воспоминания. – Новое Время, 1898, № 8129.

Пушкин спокойно дожидался у себя развязки. Его спокойствие было удивительное; он занимался своим «Современником» и за час перед тем как ему ехать стреляться, написал письмо к Ишимовой (сочинительнице «Русской истории для детей», трудившейся и для его журнала).

В. А. Жуковский – С. Л. Пушкину. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 171.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО ПУШКИНА

Милостивая Государыня
Александра Осиповна.

Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на ваше приглашение. Покамест, честь имею препроводить к Вам Barry Cornwall[223] – Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их, как умеете, – уверяю Вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл Вашу Историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!

С глубочайшим почтеньем и совершенной преданностью честь имею быть,

Милостивая Государыня,
Вашим покорнейшим слугою
А. Пушкин.

Пушкин – А. О. Ишимовой, 27 янв. 1837 г.

Условясь с Пушкиным сойтись в кондитерской Вольфа, Данзас отправился сделать нужные приготовления. Наняв парные сани, он заехал в оружейный магазин Куракина за пистолетами, которые были уже выбраны Пушкиным заранее; пистолеты эти были совершенно схожи с пистолетами д'Аршиака. Уло-

жив их в сани, Данзас приехал к Вольфу, где Пушкин уже ожидал его.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 21.

Начал одеваться; вымылся весь, все чистое; велел подать бекешь; вышел на лестницу. – Возвратился, – велел подать в кабинет большую шубу и пошел пешком до извозчика. – Это было ровно в 1 час.

В. А. Жуковский. Конспективные заметки. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 285.

Показание, переданное нам Ник. Фед. Лубяновским. Он жил с отцом своим в среднем этаже того дома (*княгини Волконской на Мойке*), где внизу скончался Пушкин. Утром (?) 27 января Лубяновский в воротах встретился с Пушкиным, бодрым и веселым: шел он к углу Невского проспекта, в кондитерскую Вольфа, вероятно, не дождавшись своего утреннего чаю за поздним вставанием жены и невестки.

П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1908, т. III, с. 291.

Было около 4-х часов.

Выпив стакан лимонаду или воды, Данзас не помнит, Пушкин вышел с ним из кондитерской; сели в сани и отправились по направлению к Троицкому мосту.

На дворцовой набережной они встретили в экипаже г-жу Пушкину. Данзас узнал ее, надежда в нем блеснула, встреча эта могла поправить все. Но жена Пушкина была близорука; а Пушкин смотрел в другую сторону.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 21.

В день поединка друзья везли обоих противников через место публичного гулянья, несколько раз останавливались, роняли нарочно оружие, надеясь еще на благотворное вмешательство общества, но все их усилия и намеки остались безуспешны.

П. В. Анненков. Материалы, с. 420.

Данзас хотел как-нибудь дать знать проходящим о цели их поездки (выронял пули, чтоб увидали и остановили).

В. А. Нащокина со слов К. К. Данзаса. – П. И.

День был ясный. Петербургское великосветское общество каталось на горах, и в то время некоторые уже оттуда возвращались. Много знакомых и Пушкину, и Данзасу встречались, раскланивались с ними, но никто как будто и не догадывался, куда они ехали; а между тем история Пушкина с Геккеренами была хорошо известна всему этому обществу.

На Неве Пушкин спросил Данзаса шутя: «Не в крепость ли ты везешь меня?» – «Нет, – отвечал Данзас, – через крепость на Черную речку самая близкая дорога».

На Каменноостровском проспекте они встретили в санях двух знакомых офицеров конного полка: князя В. Д. Голицына и Головина. Думая, что Пушкин и Данзас ехали на Горы, Голицын закричал им: «Что вы так поздно едете, все уже оттуда разъезжаются?!»

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 21.

По дороге им попались едущие в карете четверней граф И. М. Борх с женой, рожден-

ной Голынской. Увидя их, Пушкин сказал Данзасу: «Вот две образцовых семьи, – и, заметя, что Данзас не вдруг понял это, он прибавил: – Ведь жена живет с кучером, а муж – с форейторм».

М. Н. Лонгинов. Запись на книжке А. Н. Аммосова о последних днях Пушкина. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 448.

Графиня А. К. Воронцова-Дашкова[224] не могла никогда вспоминать без горести о том, как она встретила Пушкина, едущего на острова с Данзасом, и направляющихся туда же Дантеса с д'Аршиаком. Она думала, как бы предупредить несчастье, в котором не сомневалась после такой встречи, и не знала, как быть. К кому обратиться? Куда послать, чтобы остановить поединок? Приехав домой, она в отчаянии говорила, что с Пушкиным непременно произошло несчастье, и предчувствие девятнадцатилетнего женского сердца не было обманом. Вот новое доказательство, до какой степени в петербургском обществе предвидели ужасную катастрофу: при первом признаке ее приближения уже можно было дога-

дываться о том, что произойдет.

М. Н. Лонгинов. – Совр. летопись, 1863, № 18, с. 12.

Данзас не знает, по какой дороге ехали Дантес с д'Аршиаком, но к Комендантской даче они с ними подъехали в одно время. Данзас вышел из саней и, сговариваясь с д'Аршиаком, отправился с ним отыскивать удобное для дуэли место. Они нашли такое саженьях в полутора от Комендантской дачи, более крупный и густой кустарник окружал здесь площадку и мог скрывать от глаз оставленных на дороге извозчиков то, что на ней происходило.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 23.

На место встречи мы прибыли в половине пятого. Дул очень сильный ветер, что заставило нас искать убежище в маленькой сосновой роще. Так как большое количество снега могло стеснять противника, пришлось протоптать тропинку в двадцать шагов.

Виконт д'Аршиак – кн. П. А. Вяземскому, 1

февр. 1837 г. – Дуэль Пушкина, с. 53 (*фр.*).

В камер-фурьерском журнале мороз 27-го января утром отмечен в два градуса.

П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 144.

Снег был по колена; по выборе места надобно было вытоптать в снегу площадку, чтобы и тот и другой удобно могли и стоять друг против друга, и сходиться. Оба секунданта и Геккеры занялись этой работою; Пушкин сел на сугроб и смотрел на роковое приготовление с большим равнодушием. Наконец вытоптана была тропинка в аршин шириною и в двадцать шагов длиною; плащами означали барьеры.

В. А. Жуковский – С. Л. Пушкину. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 172.

Несмотря на ясную погоду, дул довольно сильный ветер. Морозу было градусов пятнадцать. Закутанный в медвежью шубу Пушкин молчал, по-видимому был столько же спокоен, как и во все время пути, но в нем выражалось сильное нетерпение приступить скорее

к делу. Когда Данзас спросил его, находит ли он удобным выбранное им и д'Аршиаком место, Пушкин отвечал:

– *Ca m'est fort e'gal, seulement tachez de faire tout cela plus vite (Мне это решительно все равно, – только, пожалуйста, делайте все это поскорее).*

Отмерив шаги, Данзас и д'Аршиак отметили барьер своими шинелями и начали заряжать пистолеты. Во время этих приготовлений нетерпение Пушкина обнаружилось словами к своему секунданту:

– *Eh bien! est ce fini? (Ну, что же! Кончили?)*

Все было кончено. Противников поставили, подали им пистолеты, и по сигналу, который сделал Данзас, махнув шляпой, они начали сходитьсь.

Пушкин первый подошел к барьеру и, остановясь, начал наводить пистолет. Но в это время Дантес, не дойдя до барьера одного шага, выстрелил, и Пушкин, падая, сказал:

– *Je crois que j'ai la cuisse fracassée (Кажется, у меня раздроблено бедро).*

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 23.

Г. Пушкин упал на шинель, служившую барьером, и остался неподвижным, лицом к земле.

Виконт д'Аршиак – кн. П. А. Вяземскому. – Дуэль Пушкина, с. 53 (фр.).

Секунданты бросились к нему, и, когда Дантес намеревался сделать то же, Пушкин удержал его словами:

– Attendez! Je me sens assez de force pour tirer mon coup (*Подождите! Я чувствую достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел*).

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 23.

После слов Пушкина, что он хочет стрелять, г. Геккерен возвратился на свое место, став боком и прикрыв грудь свою правою рукою.

К. К. Данзас – кн. П. А. Вяземскому, 6 февр. 1837 г. – Дуэль Пушкина, с. 55.

Ужас сопровождал их бой. Они дрались, и дрались насмерть. Для них уже не было при-

мирения, и ясно видно было, что для Пушкина была нужна жертва или погибнуть самому.

А. П. Языков – А. А. Катенину, 1 февр. 1837 г. – Описание Пушкинского музея Имп. Алекс. лица, с. 450.

При падении Пушкина пистолет его попал в снег, и потому Данзас подал ему другой. Приподнявшись несколько и опершись на левую руку, Пушкин выстрелил.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 23.

Пушкин, полулежа, приподнялся, уперся на какую-то перекладину старых перил, тут лежавшую, для того чтобы ловче целиться.

Н. Н.[225] со слов полковых товарищей Дантеса и, по-видимому, самого Дантеса. – Письмо к издателю Рус. Арх., 1898, т. III, с. 246.

На коленях, полулежа, Пушкин целился в Дантеса в продолжение двух минут и выстрелил так метко, что если бы Дантес не держал руку поднятой, то непременно был бы убит;

пуля пробила руку и ударилась в одну из металлических пуговиц мундира, причем все же продавila Дантесу два ребра.

А. А. Щербинин. Из неизд. записок. – Пушкин и его совр-ки, вып. XV, с. 42.

Геккерен упал, но его сбила с ног только сильная контузия; пуля пробила мясистые части правой руки, коею он закрыл себе грудь, и, будучи тем ослаблена, попала в пуговицу, которою панталоны держались на подтяжке против ложки: эта пуговица спасла Геккерена. Пушкин, увидя его падающего, бросил вверх пистолет и закричал:

– Браво!

Между тем кровь лила из раны.

В. А. Жуковский – С. Л. Пушкину. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 172.

Выстрелив, г. Пушкин снова упал. Почти непосредственно после этого он два раза впадал в полуобморочное состояние, на несколько мгновений мысли его помутились. Но тотчас же он вполне пришел в сознание и больше его уже не терял.

Виконт д'Аршиак – кн. П. А. Вяземскому. – Дуэль Пушкина, с. 53 (фр.).

Придя в себя, Пушкин спросил у д'Аршиака:

– Убил я его?

– Нет, – ответил тот, – вы его ранили.

– Странно, – сказал Пушкин, – я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет... Впрочем, все равно. Как только мы поправимся, снова начнем.

Кн. П. А. Вяземский – вел. кн. Михаилу Павловичу. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 262 (фр.).

Поведение Пушкина на поле или на снегу битвы д'Аршиак находил «parfait» (превосходным). Но слова его о возобновлении дуэли по выздоровлении отняли у д'Аршиака возможность примирить их.

А. И. Тургенев. Из дневника, 30 янв. 1837 г. – Там же, с. 271.

Пушкин был ранен в правую сторону живота, пуля, раздробив кость верхней части ноги у соединения с тазом, глубоко вошла в жи-

ВОТ И ТАМ ОСТАНОВИЛАСЬ.

Данзас с д'Аршиаком подозвали извозчиков и с помощью их разобрали находившийся там из тонких жердей забор, который мешал саням подъехать к тому месту, где лежал раненый Пушкин. Общими силами усадив его бережно в сани, Данзас приказал извозчику ехать шагом, а сам пошел пешком подле саней, вместе с д'Аршиаком; раненый Дантес ехал в своих санях за ними.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 23.

Сани сильно трясло во время переезда на расстоянии полуверсты по очень скверной дороге, г. Пушкин страдал, не жалуясь. Г. барон Геккерен смог, поддерживаемый мною, дойти до своих саней, и там он ждал, пока противника его не перенесли, и я мог сопровождать его в Петербург. В продолжение всего поединка спокойствие, хладнокровие и достоинство обеих сторон были совершенны.

Виконт д'Аршиак – кн. П. А. Вяземскому. – Дуэль Пушкина, с. 53 (*фр.*).

Зимой 1858 г. К. К. Данзас, на просьбу мою посетить со мною место дуэли Пушкина, охотно согласился. Мы отправились на Черную речку, переехавши мост у Ланского шоссе, повернули налево, по набережной, и потом направо, на дороге в Коломязи. По левую сторону дороги остались строения комендантской дачи, по правую тянулся глухой забор огорода. Проехавши этот длинный забор, мы остановились. За этим забором, по словам Данзаса, в 1837 г. начинался кустарник и потом лес, который продолжался параллельно во всю длину Ланской дороги. В недалеком расстоянии от забора он указал мне место, где происходила дуэль. В наш приезд, в 1858 г., кустарника этого мы уже не нашли, он вырублен, и земля разделена; оставалось только около канавок несколько молодого березняка, занесенного снегом.

На этих днях (июнь 1880 г.) я опять посетил место дуэли Пушкина. Место это желающие могут найти следующим образом: от чернореченского пешеходного моста, по коломязской дороге, на протяжении 148 сажень, по правой стороне – огороды Мякишева (по левой – ко-

мендантские дачи); от огородов Мякишева, где кончается забор, нужно отмерить 75 сажен далее по той же коломягской дороге, до второй от забора канавы, идущей вправо от дороги (всего до этого пункта от Черной речки 223 саж.); потом, свернув с дороги вправо по второй канаве, на которой стоят три березы, и отмерив от дороги ровно 38 сажен, что придется как раз до третьей березы, около которой вправо есть лощина в 25 шагов длины и ширины. На этой-то лощине, не представляющей никаких признаков лесной растительности, и был, по указанию секунданта Пушкина, смертельно ранен Пушкин (см. рис. 8).

Я. А. Исаков. – Голос, 1880, 5 июня, № 155.

Хотя г. Исаков даже опубликовал план места поединка вправо от коломягской дороги, пройдя Комендантскую дачу, но это указание не особенно твердо, потому что трудно верить, чтобы дуэль состоялась на открытой поляне вблизи от дороги и в снежное время. Напротив, большая часть местных старожилов указывает на противоположную сторону, т.е. влево от дороги, к числу лиц, знакомых с

этим местом, принадлежит и арендатор огорода вблизи Комендантской дачи по Черной речке № 5, В. Д. Мякишев, который указывает тот пенёк большого дерева, в четырех шагах от которого стоял Пушкин.

Д. И. Лобанов. Пушкин и Гоголь. – Петербургская Газета, 1880, № 113.

Вас. Дм. Мякишев, арендатор огородов Комендантской дачи, указал мне действительное место, где был смертельно ранен Пушкин. Сначала я было усомнился, так как указание совершенно не совпадало с указанием г. Исакова, но по дальнейшим расспросам вполне убедился в истинности его слов. С двадцатых еще годов Мякишевы арендуют земли Комендантской дачи. Отец настоящего арендатора, Дм. Мякишев, был современник дуэли Пушкина и жил всего в нескольких стах шагах от рокового места. Сын рассказывал со слов отца следующее: было дело это в январе месяце; прибежал к старику Мякишеву впопыхах дворник Комендантской дачи Матвей Фомин и сказал, что за комендантским гумном какие-то господа стрелялись. Старик вы-

бежал на улицу и увидел, что какого-то господина вели двое под руки, посадили в карету и повезли в город. Сейчас же он по следам, – так как по снегу были следы, – пошел на то место, где стрелялись за комендантским гумном, на дорожке, которая шла через огород, возле березы, от которой ныне остался только пенек. Отец Мякишева много раз указывал детям это место, и потому они забыть его не могли. В. Д. Мякишев добавляет, что так как дорожка к месту поединка шла кружно, около сарая и гумна, и вести по ней же назад раненого было бы слишком для него мучительно и долго, то господа повели его прямо, как видно было по следам и крови, целиком к дороге, куда подъехала карета, изгородь же, которая здесь была, чтобы пройти, разобрали.

Сравнивая расположение места, указанное Мякишевым, с местом, указанным г. Исаковым, нельзя не видеть, что первое (*второе?*) находится слишком близко к коломягской дороге и поэтому едва ли могло быть избрано для поединка, тогда как место, указанное Мякишевым, совершенно было в стороне и закрыто от дороги гумном и сараем и при этом

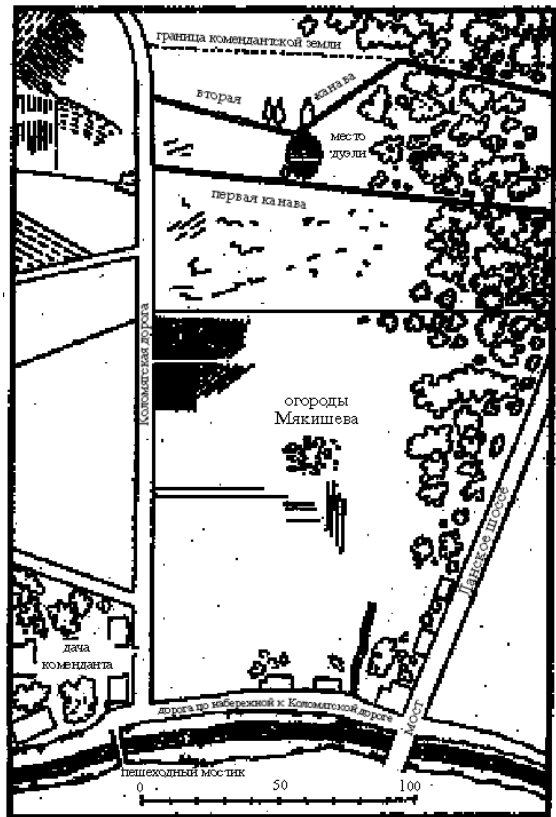
имело то преимущество, что на самой Комендантской даче никто зимою, кроме дворника, не жил. Справедливость слов Мякишева подтверждается еще и показаниями Максима Фомина, который во время дуэли был у дворника Комендантской дачи Матвея Фомина, ныне уже умершего, и рассказывает, что видел, как господа выходили из указанной местности и вели под руки раненого.

В. Я. Рейнгардт. Где настоящее место дуэли Пушкина? – Нива, 1880, № 26, с. 514. (В этом же номере – рисунок В. Я. Рейнгардта, изображающий место дуэли.)

Рис. 8

У Комендантской дачи нашли карету, присланную на всякий случай бароном Геккереном, отцом. Дантес и д'Аршиак предложили Данзасу отвезти в ней в город раненого поэта. Данзас принял это предложение, но отказался от другого, сделанного ему в то же время Дантесом предложения скрыть участие его в дуэли.

Не сказав, что карета была барона Геккерена, Данзас посадил в нее Пушкина и, сев с



ним рядом, поехал в город. Во время дороги Пушкин держался довольно твердо; но чувствуя по временам сильную боль, он начал подозревать опасность своей раны.

Пушкин вспомнил про дуэль общего знакомого их офицера Московского полка Щербачева, стрелявшегося с Дороховым, на которой Щербачев был смертельно ранен в живот, и, жалуясь на боль, сказал Данзасу: «Я боюсь, не ранен ли я так, как Щербачев». Он напомнил также Данзасу и о своей прежней дуэли в Кишиневе с Зубовым. Во время дороги Пушкин в особенности беспокоился о том, чтобы по приезде домой не испугать жены, и давал наставления Данзасу, как поступить, чтобы этого не случилось.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 26.

Карета медленно подвигалась на Мойку, к Певчевскому мосту. Раненый чувствовал жгучую боль в левом боку, говорил прерывистыми фразами и, мучимый тошнотою, старался преодолеть страдания, возвещавшие близкую неизбежную смерть. Несколько раз принуж-

дены были останавливаться, потому что обмороки следовали довольно часто один за другим и сотрясение пути ослабляло силы больного.

П. В. Анненков. Материалы, с. 420.

Дядя Лев (*Пушкин*) привел моей матери (*О. С. Павлищевой*) следующее, слышанное им на Кавказе обстоятельство, достоверность которого требует однако подтверждения: будто бы Геккерен-старший в день поединка поехал к Комендантской даче в наемной карете, а не в своей, опасаясь быть узванным публикой. Затем, приказав кучеру остановиться не на особенно далеком расстоянии от места поединка, выслал якобы на рекогносцировку своего камердинера и, получив донесение последнего о страшном результате, отослал экипаж с этим лицом для одного из раненых соперников; сам же будто бы нанял проезжавшего извозчика, на котором и ускакал путями окольными, не желая подвергаться любопытным взглядам.

Л. Н. Павлищев. Кончина А. С. Пушкина. СПб., 1899, с. 26.

Кн. Вяземский с одним знакомым своим Ленским, гуляя по Невскому, встречают старика Геккерена в извозничьих санях. Их удивило, что посланник едет в таком экипаже. Заметя их, он вышел из саней и сказал им, что гулял далеко, но вспомнил, что ему надо написать письма, и, чтобы скорее поспеть домой, взял извозчика. После они узнали, что он ехал с Черной речки, где ждал, чем кончится поединок. Пушкина, как более тяжело раненного, повезли домой в карете Геккерена.

Кн. В. Ф. Вяземская по записи П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 305.

Дети Пушкина в четыре часа пополудни были у кн. Мещерской (дочери Карамзина), и мать за ними сама заезжала.

А. И. Тургенев – А. И. Нефедьевой. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 48.

Все мы, его знакомые, узнали об общем несчастье нашем лишь тогда, когда уже удар совершился. Предварительно никому ниче-

го не было известно. Он мне за несколько недель рассказывал только, что к молодому Геккерену он посылал такие записочки, которые бы могли другого заставить драться, но что он отмалчивался. После этого и свадьба совершилась. Узнав об этом, я предал совершенному забвению все прежнее. В ту самую минуту, когда из кареты внесли его, раненого, я заехал к нему с тем (это было вечером, в 8-м часу), чтобы взять его к себе, что и прежде по средам иногда я делал.

П. А. Плетнев – В. Г. Теплякову, 29 мая 1837 г. – Историч. Вестн., 1887, № 7, с. 21.

Пушкин жил на Мойке в нижнем этаже дома Волконского. У подъезда Пушкин просил Данзаса выйти вперед, послать людей вынести его из кареты и, если жена его дома, то предупредить ее и сказать, что рана не опасна.

В передней люди сказали Данзасу, что Натальи Николаевны не было дома, но когда Данзас сказал им, в чем дело и послал их вынести раненого Пушкина из кареты, они объявили, что госпожа их дома. Данзас через сто-

ловую, в которой накрыт уже был стол, и гостиную пошел прямо без доклада в кабинет жены Пушкина. Она сидела со своей старшей незамужней сестрой Александрой Николаевной Гончаровой. Внезапное появление Данзаса очень удивило Наталью Николаевну, она взглянула на него с выражением испуга, как бы догадываясь о случившемся.

Данзас сказал ей, сколько мог покойнее, что муж ее стрелялся с Дантесом, что хотя ранен, но очень легко. Она бросилась в переднюю, куда в то время люди вносили Пушкина на руках.

Увидя жену, Пушкин начал ее успокаивать, говоря, что рана его вовсе не опасна, и попросил уйти, прибавив, что как только его уложат в постель, он сейчас же позовет ее. Она, видимо, была поражена и удалилась как-то бессознательно.

А. Н. Аммосов со слов К. К. Данзаса. Последние дни Пушкина, с. 27.

Его привезли домой; жена и сестра жены, Александрина, были уже в беспокойстве; но только одна Александрина знала о письме его

к отцу Геккерена. Он закричал твердым и сильным голосом, чтобы жена не входила в кабинет его, где его положили, и ей сказали, что он ранен в ногу.

А. И. Тургенев – А. И. Нефедьевой, 28 янв. 1837 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 50.

Жена встретилась в передней – дурнота – n'entrez pas[226]. Его положили на диван. Горшок. Раздели. Белье сам велел, потом лег. У него все был Данзас. Жена вошла, когда он был одет и когда уже послали за Арендтом.

В. А. Жуковский. Конспективные заметки. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 285.

Домой возвратились в шесть часов. Камердинер взял его на руки и понес на лестницу. – Грустно тебе нести меня? – спросил у него Пушкин. Бедная жена встретила его в передней и упала без чувств. Его внесли в кабинет; он сам велел подать себе чистое белье; разделся и лег на диван, находившийся в кабинете. Жена, пришедши в память, хотела войти; но он громким голосом закричал: n'entrez pas, ибо опасался показать ей рану, чувствуя сам,

что она была опасною. Жена вошла уже тогда, когда он был совсем раздет.

В. А. Жуковский – С. Л. Пушкину. – Там же, с. 173.

Между тем Данзас отправился за доктором. Сначала поехал к Арендту, потом к Саломону; не застав дома ни того, ни другого, оставил им записки и отправился к доктору Персону; но и тот был в отсутствии. Оттуда, по совету жены Персона, Данзас поехал в Воспитательный дом, где, по словам ее, он мог найти доктора наверное. Подъезжая к Воспитательному дому, Данзас встретил выходявшего из ворот доктора Шольца. Выслушав Данзаса, Шольц сказал ему, что он, как акушер, в этом случае полезным быть не может, но что сейчас же привезет к Пушкину другого доктора.

Вернувшись назад, Данзас нашел Пушкина в его кабинете, уже раздетого и уложенного на диване; жена его была с ним.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 28.

(В седьмом часу веч. 27 янв.) Прибывши к

больному с доктором Задлером, которого я дорогой сыскал, вошли в кабинет больного, где нашли его лежащим на диване и окруженным тремя лицами – супругою, полковником Данзасом и г-м Плетневым. Больной просил удалить и не допустить при исследовании раны жену и прочих домашних. Увидев меня, дал мне руку и сказал:

– Плохо со мною!

Мы осматривали рану, и г. Задлер уехал за нужными инструментами. Больной громко и ясно спрашивал меня:

– Что вы думаете о моей ране? Я чувствовал при выстреле сильный удар в бок, и горячо стрельнуло в поясницу, дорогою шло много крови, скажите мне откровенно, как вы рану находите?

– Не могу вам скрывать, что рана ваша опасная.

– Скажите мне – смертельная?

– Считаю долгом вам это не скрывать, но услышим мнение Арендта и Саломона, за которыми послано.

– Спасибо! Вы поступили со мною, как честный человек, – при сем рукою потер он

лоб. – Нужно устроить свои домашние дела.

Через несколько минут сказал:

– Мне кажется, что много крови идет?

Я осмотрел рану, но нашлось, что мало, и наложил новый компресс.

– Не желаете ли вы видеть кого-нибудь из близких приятелей?

– Прощайте, друзья, – сказал он, глядя на библиотеку. – Разве вы думаете, что я час не проживу?

– О, нет, не потому, но я полагал, что вам приятнее кого-нибудь из них видеть... Г-н Плетнев здесь.

– Да, но я бы желал Жуковского. Дайте мне воды, меня тошнит.

Я трогал пульс, нашел руку довольно холодною, – пульс малый, скорый, как при внутреннем кровотечении; вышел за питьем и чтобы послать за г. Жуковским; полковник Данзас вошел к больному. Между тем приехали Задлер, Арендт, Саломон, – и я оставил больного, который добродушно пожал мне руку.

Д-р В. Б. Шольц. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 195.

Когда Задлер осмотрел рану и наложил компресс, Данзас, выходя с ним из кабинета, спросил его, опасна ли рана Пушкина. «Пока еще ничего нельзя сказать», – отвечал Задлер. В это время приехал Арендт, он также осмотрел рану. Пушкин просил его сказать откровенно, в каком он его находит положении, и прибавил, что, какой бы ответ ни был, он его испугать не может, но что ему необходимо знать наверное свое положение, чтобы успеть сделать некоторые нужные распоряжения.

– Если так, – отвечал ему Арендт, – то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды.

Пушкин благодарил Арендта за откровенность и просил только не говорить жене.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 29.

(В начале восьмого часа веч.) В доме больного я нашел докторов Арендта и Сатлера.

– Что, плохо? – сказал мне Пушкин, пода-

вая руку. Я старался его успокоить. Он сделал рукою отрицательный знак, показывавший, что он ясно понимал опасность своего положения.

– Пожалуйста, не давайте больших надежд жене, не скрывайте от нее, в чем дело, она не притворщица; вы ее хорошо знаете, она должна все знать. Впрочем, делайте со мною, что вам угодно, я на все согласен и на все готов.

Врачи, уехав, оставили на мои руки больного. Он исполнял все врачебные предписания. По желанию родных и друзей Пушкина я сказал ему об исполнении христианского долга. Он тот же час на то согласился.

– За кем прикажете послать? – спросил я.

– Возьмите первого, ближайшего священника, – отвечал Пушкин.

Послали за отцом Петром, что в Конюшенной. Больной вспомнил о Грече[227].

– Если увидите Греча, – молвил он, – кланяйтесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере.

Д-р И. Т. Спасский. Последние дни А. С.

Пушкина. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 197.

В 8 часов вечера возвратился доктор Арендт. Его оставили с больным наедине. В присутствии доктора Арендта прибыл и священник. Он скоро отправил церковную потребу; больной исповедался и причастился Св. Тайн.

Д-р И. Т. Спасский. Последние дни А. С. Пушкина. – Там же, с. 197.

Он исполнил долг христианина с таким благоговением и таким глубоким чувством, что даже престарелый духовник его был тронут и на чей-то вопрос по этому поводу отвечал: «Я стар, мне уже недолго жить, на что мне обманывать? Вы можете мне не верить, когда я скажу, что я для себя самого желаю такого конца, какой он имел».

Кн. Е. Н. Мещерская-Карамзина. – Я. К. Грот, с. 261 (фр.).

Священник говорил мне после со слезами о нем и о благочестии, с коим он исполнил долг христианский. Пушкин никогда не был esprit fort[228], по крайней мере не был им в

последние годы жизни своей; напротив, он имел сильное религиозное чувство: читал и любил читать евангелие, был проникнут красотой многих молитв, знал их наизусть и часто твердил их.

Кн. П. А. Вяземский – Д. В. Давыдову[229], 5 февр. 1837 г. – Рус. Стар., 1875, т. 14, с. 92.

Когда я вошел к Пушкину, он спросил, что делает жена? Я отвечал, что она несколько спокойнее.

– Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском, – возразил он. – Не уехал еще Арендт?

Я сказал, что доктор Арендт еще здесь.

– Просите за Данзаса, за Данзаса, он мне брат.

Желание Пушкина было передано д-ру Арендту и лично самим больным повторено. Доктор Арендт обещал возвратиться к 11 часам.

Необыкновенное присутствие духа не оставляло больного. От времени до времени он тихо жаловался на боль в животе и забывался на короткое время.

Д-р И. Т. Спасский. Последние дни А. С. Пушкина. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 197.

Прощаясь, Арендт объявил Пушкину, что, по обязанности своей, он должен доложить обо всем случившемся государю. Пушкин ничего не возразил против этого, но поручил только Арендту просить от его имени государя не преследовать его секунданта. Уезжая, Арендт сказал провожавшему его в переднюю Данзасу:

– Штука скверная, он умрет.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 29.

Один за другим начали съезжаться к Пушкину друзья его: Жуковский, князь Вяземский, граф М. Ю. Виельгорский, князь П. И. Мещерский, П. А. Валуев, А. И. Тургенев, родственница Пушкина, бывшая фрейлина Загряжская, все эти лица до самой смерти Пушкина не оставляли его дом и отлучались только на самое короткое время.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 30.

В полночь доктор Арендт возвратился. Покинув Пушкина, он отправился во дворец, но не застал государя, который был в театре, и сказал камердинеру, чтобы по возвращении его величества было донесено ему о случившемся. Около полуночи приезжает за Арендтом от государя фельдъегерь с повелением немедленно ехать к Пушкину, прочитать ему письмо, собственноручно государем к нему написанное, и тотчас обо всем донести. «Я не лягу и буду ждать», стояло в записке государя к Арендту. Письмо же приказано было возвратить.

В. А. Жуковский – С. Л. Пушкину. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 178.

Ночью возвратился к нему Арендт и привез ему для прочтения собственноручную записку, карандашом написанную государем, почти в таких словах: «Если бог не приведет нам свидеться в здешнем свете, посылаю тебе мое прощение и последний совет: умереть христианином. О жене и детях не беспокойся; я беру их на свои руки». Пушкин был чрезвычай-

чайно тронут словами и убедительно просил Арендта оставить ему эту записку, но государь велел ее прочесть и немедленно возвратить.

Кн. П. А. Вяземский – Д. В. Давыдову, 5 февр. 1837 г. – Рус. Стар., 1875, т. 14, с. 92.

Что за письмо привозил Арендт Пушкину от Николая? Пушкин прочел его и возвратил Арендту. Письмо до сих пор еще неизвестно.

А. С. Суворин со слов П. А. Ефремова. – Дневник А. С. Суворина, с. 206.

В лечении не последовало перемен. Уезжая, д-р Арендт просил меня тотчас прислать за ним, если я найду то нужным.

Т. Спасский. Последние дни А. С. Пушкина. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 198.

Когда Арендт уехал, Пушкин позвал к себе жену, говорил с нею и просил ее не быть постоянно в его комнате, он прибавил, что будет сам посылать за нею. В продолжение этого дня у Пушкина перебывало несколько докторов, в том числе: Саломон и Буяльский. До-

машиним доктором Пушкина был доктор Спасский, но Пушкин мало имел к нему доверия. По рекомендации бывшего тогда главного доктора конногвардейского полка Шеринга Данзас пригласил доктора провести у Пушкина всю ночь. Фамилии этого доктора Данзас не помнит.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 31.

Он подозвал к себе Спасского, велел подать какую-то бумагу, по-русски написанную, и поставил ее сжечь.

В. А. Жуковский. Письмо к С. Л. Пушкину. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 180.

Пушкин велел д-ру Спасскому вынуть какую-то его рукою написанную бумагу из ближайшего ящика, и ее сожгли перед его глазами; а Данзасу велел найти какой-то ящичек и взять из него находившуюся в нем цепочку.

В. А. Жуковский – гр. А. Х. Бенкендорфу, в февр.–марте 1837 г. – Там же, с. 240.

Я спросил Пушкина, не угодно ли ему сде-

лать какие распоряжения.

– Все жене и детям, – отвечал он, – позовите Данзаса.

Данзас вошел. Пушкин захотел остаться с ним один.

И. Т. Спасский. Последние дни А. С. Пушкина. – Там же, с. 198.

Пушкин велел написать частные долги и написал реэстр своей рукой довольно твердою.

А. И. Тургенев – Н. И. Тургеневу, 31 янв. 1837 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 62.

Подозвав Данзаса, Пушкин просил его записывать и продиктовал ему все свои долги, на которые не было ни векселей, ни заемных писем. Потом он снял с руки кольцо и отдал Данзасу, прося принять его на память. При этом он сказал Данзасу, что не хочет, чтоб кто-нибудь мстил за него, и что желает умереть христианином.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 31.

Данзас сказал ему, что готов отомстить за него тому, кто его поразил. «Нет, нет, – ответил Пушкин, – мир, мир».

А. Н. Веневитинова – С. Л. Пушкину со слов Е. А. Карамзиной. – Пушкин и его совр-ки, вып. VIII, с. 67 (фр.).

Княгиня (*Вяземская*) была с женою, которой состояние было невыразимо: как привидение, иногда подкрадывалась она в ту горницу, где лежал ее умирающий муж; он не мог ее видеть (он лежал на диване лицом от окон к двери), но он боялся, чтобы она к нему подходила, ибо не хотел, чтобы она могла примечать его страдания, кои с удивительным мужеством пересиливал, и всякий раз, когда она входила или только останавливалась у дверей, он чувствовал ее присутствие. «Жена здесь, – говорил он – отведите ее».

В. А. Жуковский – С. Л. Пушкину. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 176.

Когда ему сказали, что бывали случаи, что от таких ран оживали, то он махнул рукою в знак сомнения. Иногда, но редко, подзывает к

себе жену и сказал ей:

– Будь спокойна, ты невинна в этом.

Кн. Вяземский и тетка Загряжская и сестра Александра не отходят от жены. Я провел там – до четвертого часа утра (28-го), с Жуковским, гр. Виельгорским и Данзасом; но к нему входит только один Данзас.

А. И. Тургенев – А. И. Нефедьевой. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 50.

Жене своей он сказал: «Не упрекай себя моей смертью: это – дело, которое касалось одного меня».

В. А. Муханов со слов А. Я. Булгакова. Из дневника. – Моск. Пушкинист, вып. I, 1927, с. 50.

28-го утром, когда боли усилились и показалась значительная опухоль живота, решились поставить промывательное, чтобы облегчить и опростать кишки. С трудом только можно было это исполнить: больной не мог лежать на боку, а чувствительность воспаленной проходной кишки, от раздробленного крестца, – обстоятельство в то время еще

неизвестное, – была причиной жестокой боли и страданий после этого промывательного. Оно не подействовало.

В. И. Даль. Ход болезни Пушкина. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 205.

Около четвертого часу (ночи, с 27-го на 28-е) боль в животе начала усиливаться и к пяти часам сделалась значительною. Я послал за Арендтом, он не замедлил приехать. Боль в животе возросла до высочайшей степени. Это была настоящая пытка. Физиономия Пушкина изменилась, взор его сделался дик, казалось, глаза готовы были выскочить из своих орбит, чело покрылось холодным потом, руки похолодели, пульса как не бывало. Больной испытывал ужасную муку. Но и тут необыкновенная твердость его души раскрылась в полной мере. Готовый вскрикнуть, он только стонал, боясь, как он говорил, чтоб жена не услышала, чтоб ее не испугать.

– Зачем эти мучения? – сказал он. – Без них я бы умер спокойно.

И. Т. Спасский. Последние дни А. С. Пушкина. – Там же, с. 198.

В продолжение ночи страдания Пушкина до того увеличились, что он решил застрелиться. Позвав человека, он велел подать ему один из ящичков письменного стола; человек исполнил его волю, но, вспомнив, что в этом ящичке были пистолеты, предупредил Данзаса. Данзас подошел к Пушкину и взял у него пистолеты, которые тот уже спрятал под одеяло; отдавая их Данзасу, Пушкин признался, что хотел застрелиться, потому что страдания его были невыносимы.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 32.

В одну из предсмертных ночей доктора, думая облегчить страдания, поставили промывательное, отчего пуля стала давить кишки, и умирающий издавал такие крики, что княгиня Вяземская и Александра Николаевна, дремавшие в соседней комнате, вскочили от испуга.

Кн. В. Ф. Вяземская по записи П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 305.

Ночью он кричал ужасно: почти упал на пол в конвульсии страдания. Благое провидение в эти самые десять минут послало сон жене; она не слыхала криков; последний крик разбудил ее, но ей сказали, что это было на улице; после он еще не кричал.

А. И. Тургенев – неизвестному, 28 янв. 1837 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 54.

Вот что случилось: жена в совершенном изнурении лежала в гостиной головой к дверям, и они одни отделяли ее от постели мужа. При первом страшном крике его княгиня Вяземская, бывшая в той же горнице, бросилась к ней, опасаясь, чтобы с нею чего не случилось. Но она лежала неподвижно (хотя за минуту говорила); тяжелый, летаргический сон овладел ею; и этот сон миновался в ту самую минуту, когда раздалось последнее стенание за дверями.

В. А. Жуковский – С. Л. Пушкину. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 179.

Больной был так раздражен, духовно и телесно, что в продолжение этого утра отказы-

вался вовсе от предлагаемых ему пособий.

В. И. Даль. Ход болезни Пушкина. – Там же, с. 206.

Поутру на другой день, 28 января, боли несколько уменьшились. Пушкин пожелал видеть: жену, детей и свояченицу свою Александру Николаевну Гончарову, чтобы с ними проститься. При этом прощании Пушкина с семейством Данзас не присутствовал.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 32.

Наконец боль, по-видимому, стала утихать, но лицо еще выражало глубокое страдание, руки по-прежнему были холодны, пульс едва заметен.

– Жену, просите жену, – сказал Пушкин.

Она с воплем горести бросилась к страдальцу. Это зрелище у всех извлекло слезы. Несчастную надо было отвлечь от одра умирающего. Таков действительно был Пушкин в то время. Я спросил его, не хочет ли он видеть своих друзей.

– Зовите их, – отвечал он.

Жуковский, Виельгорский, Вяземский, Тургенев и Данзас входили один за другим и братски с ним прощались.

И. Т. Спасский. Последние дни А. С. Пушкина. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 198.

– Кто здесь? – спросил он Спасского и Данзаса. Назвали меня и Вяземского.

– Позовите, – сказал он слабым голосом.

Я подошел, взял его похолодевшую протянутую мне руку, поцеловал ее: сказать ему ничего я не мог, он махнул рукою, я отошел.

В. А. Жуковский – С. Л. Пушкину. – Там же, с. 181.

С нами прощался он среди ужасных мучений и судорожных движений, но с духом бодрым и с нежностью. У меня крепко пожал он руку и сказал:

– Прости, будь счастлив.

Кн. П. А. Вяземский – Д. В. Давыдову, 5 февр. 1837 г. – Рус. Стар., 1875, т. 14, с. 94.

Мне он пожал руку крепко, но уже похолодевшею рукою и сказал: «Ну прощайте!» –

«Почему «прощайте»? – сказала я, желая заставить его усумниться в его состоянии. «Прощайте, прощайте», – повторил он, делая мне знак рукой, чтобы я уходила. Каждое его прощание было ускоренное, он боялся расчувствоваться. Все, которые его видели, оставляли комнату рыдая.

В. Ф. Вяземская – Е. Н. Орловой. – Новый Мир, 1931, № 12, с. 191.

Простился с Пушкиным. Он пожал мне два раза, взглянул и махнул тихо рукою... Виельгорскому сказал, что любит его.

А. И. Тургенев. Дневник. – П. Е. Щеголев. Дух, с. 270.

Прощаясь с друзьями, которые, рыдая, стояли у его одра, он сказал Тургеневу:

– А что же Карамзиных здесь нет?

Тотчас же послали за матушкой (*Ек. Л. Карамзиной*), которая через несколько минут и приехала. Увидев ее, он сказал уже слабым, но явственным голосом:

– Благословите меня!

Она благословила его издали; но он сделал

ей знак подойти, сам положил ее руку себе на лоб и, после того, как она его благословила, взял и поцеловал ее руку.

Кн. *Е. Н. Мещерская-Карамзина* – кн. *М. И. Мещерской*. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 95.

Потом потребовал детей; их привели и принесли к нему полусонных. Он на каждого оборачивал глаза, молча; клал ему на голову руку; крестил и потом движением руки отсылал от себя.

В. А. Жуковский – *С. Л. Пушкину*. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 181.

Каждого из детей он благословил по три раза и прикладывал тыльную часть кисти руки к их губам.

Кн. *В. Ф. Вяземская* – *Е. Н. Орловой*. – Новый Мир, 1931, № 12, с. 191.

После катастрофы Александрина (*сестра Нат. Ник-ны*) видела Пушкина только раз, когда она привела ему детей, которых он хотел благословить перед смертью.

Бар. Г. Фризенгоф – А. П. Араповой. – Кр. Ни-
ва, 1929, № 24, с. 10 (фр.).

11 час. утра (28-го). Он часто призывает на минутку к себе жену, которая все твердила: «Он не умрет, я чувствую, что он не умрет». Теперь она, кажется, видит уже близкую смерть. Пушкин со всеми нами прощается; жмет руку и потом дает знак выйти. Мне два раза пожал руку, взглянул, но не в силах был сказать ни слова. Жена опять сказала: «*Quelque chose me dit qu'il vivra*»[230]. С Виельгорским, с Жуковским также простился. Узнав, что К. А. Карамзина здесь же, просил два раза позвать ее и дал ей знать, чтобы перекрестила его. Она зарыдала и вышла.

А. И. Тургенев – неизвестному, 28 янв. 1837 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 53.

Я взял больного за руку и щупал его пульс. Когда я оставил его руку, то он сам приложил пальцы левой своей руки к пульсу правой, томно, но выразительно взглянул на меня и сказал:

– Смерть идет.

Приезда Арендта он ожидал с нетерпением.

– Жду слова от царя, чтобы умереть спокойно, – промолвил он.

И. Т. Спасский. Последние дни А. С. Пушкина. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 198.

В это время приехал доктор Арендт. «Жду царского слова, чтобы умереть спокойно», – сказал ему Пушкин. Это было для меня указанием, и я решился в ту же минуту ехать к государю, чтобы известить его величество о том, что слышал. Надобно знать, что, прошившись с Пушкиным, я опять возвратился к его постели и сказал ему: «Может быть, я увижу государя, что мне сказать ему от тебя?» – «Скажи ему, – отвечал он, – что мне жаль умереть; был бы весь его».

В. А. Жуковский – С. Л. Пушкину. – Там же, с. 182.

Пушкин не говорил на смертном одре: «Если б я остался жив, я весь был бы его». Когда Жуковского упрекали за эту фразу, он сказал: «Я заботился о судьбе жены Пушкина и де-

тей».

Л. С. Суворин со слов П. А. Ефремова. – Дневник Л. С. Суворина, с. 206.

Сходя с крыльца, я встретился с фельдъегерем, посланным за мной от государя. «Извини, что я тебя потревожил, – сказал он мне, при входе моем в кабинет». – «Государь, я сам спешил к вашему величеству в то время, когда встретился с посланным за мною». И я рассказал о том, что говорил Пушкин. «Я счел долгом сообщить эти слова немедленно вашему величеству. Полагаю, что он тревожится о участи Данзаса». – «Я не могу переменить законного порядка, – отвечал государь, – но сделаю все возможное. Скажи ему от меня, что я поздравляю его с исполнением христианского долга; о жене же и детях он беспокоиться не должен; они мои. Тебе же поручаю, если он умрет, запечатать его бумаги; ты после их сам рассмотришь».

Я возвратился к Пушкину с утешительным ответом государя. Выслушав меня, он поднял руки к небу с каким-то судорожным движением. «Вот как я утешен! – сказал он. – Скажи

государю, что я желаю ему долгого царствования, что я желаю ему счастья в его сыне, что я желаю ему счастья в его России». Эти слова говорил слабо, отрывисто, но явственно.

В. А. Жуковский – С. Л. Пушкину. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 132.

Во все время болезни Пушкина передняя его постоянно была наполнена знакомыми и незнакомыми, вопросы: Что Пушкин? Легче ли ему? Поправился ли он? Есть ли надежда? сыпались со всех сторон. Государь, наследник, великая княгиня Елена Павловна постоянно посылали узнавать о здоровье Пушкина; от государя приезжал Арендт несколько раз в день. У подъезда была давка. В передней какой-то старичок сказал с удивлением: «Господи боже мой! Я помню, как умирал фельдмаршал, а этого не было!»

Пушкин впускал к себе только самых коротких своих знакомых, хотя всеми интересовался: беспрестанно спрашивал, кто был у него в доме, и говорил: «Мне было бы приятно видеть их всех, но у меня нет силы говорить с ними». По этой причине, вероятно, он

не простился и с некоторыми из своих лицейских товарищей.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 33.

С утра 28 числа, в которое разнеслась по городу весть, что Пушкин умирает, передняя была полна приходящих... Число их сделалось наконец так велико, что дверь прихожей (которая была подле кабинета, где лежал умирающий) беспрестанно отворялась и затворялась; это беспокоило страждущего, мы придумали запереть дверь из прихожей в сени; задвинули ее залавком и отворили другую, узенькую, прямо с лестницы в буфет, а гостиную от столовой отгородить ширмами (это расположение поймешь из приложенного плана) (см. рис. 9). С этой минуты буфет был набит народом; в столовую входили только знакомые, на лицах выражалось простодушное участие, многие плакали. Государь император получал известия от доктора Арендта (который раз по шести в день и по нескольку раз ночью приезжал навестить больного); государыня великая княгиня, очень любившая

Пушкина, написала ко мне несколько записок, на которые я отдавал подробный отчет её высочеству согласно с ходом болезни.

В. А. Жуковский – С. Л. Пушкину. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 185.

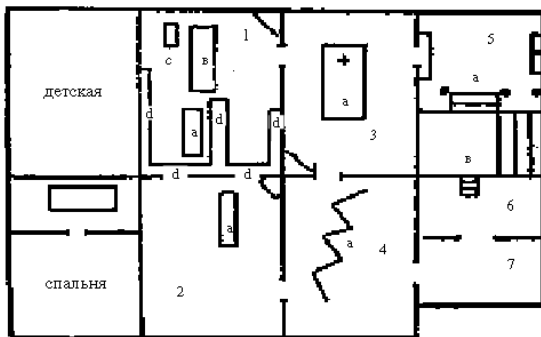


Рис. 9

План последней квартиры Пушкина по наброску, сделанному Жуковским.

Объяснения Жуковского:

1. Кабинет. а) Диван, на котором умер Пушкин; б) его большой стол; с) кресла, на которых он работал; d) полки с книгами.

2. Гостиная. а) Кушетка, на которой лежала

ночью Наталья Николаевна.

3. Передняя. а) Здесь Пушкин лежал во гробе.

4. Столовая. а) Так были поставлены ширмы, чтобы загородить гостиную, где находилась Наталья Николаевна.

5. Сени. а) Здесь стоял залавок, которым задвинули дверь; б) маленькая узкая дверь, через которую входили все посторонние.

6. Буфет с чуланом. Здесь собирались приходявшие осведомляться во время болезни, после того как заперли дверь в прихожую [231].

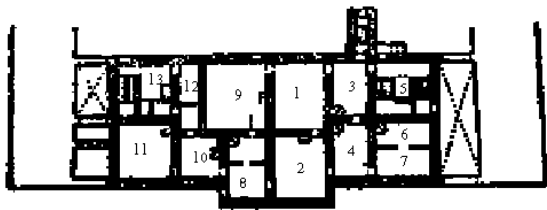


Рис. 10. 1 – Кабинет. 2 – Гостиная. 3 – Передняя. 4 – Столовая. 5 – Парадная лестница. 6 – Чулан. 7 – Буфетная. 8 – Спальня. 9 – Детская. 10 и 11 – Комнаты А. Н. и Е. Н. Гончаровых. 12 и 13 – Комнаты для прислуги.

Проект восстановления плана пушкинской квартиры А. А. Платонова.

Дом кн. Волконского по Мойке, № 12 (тогда № 7). Дом относится к екатерининской эпохе. При постройке его в первом этаже выведены были капитальные стены, конструктивно нужные для устройства зала во втором, главном этаже; что первый этаж (где была квартира Пушкина) был подчинен назначению второго, видно, напр., из того, что средняя стена фасадного выступа вышла в окно, так что его пришлось сделать глухим (в настоящее время здесь помещена памятная доска); кроме того, нет ни одной комнаты, имеющей вполне правильный прямоугольный контур. Из-под арки налево была дверь на парадную лестницу с колоннами и сводами. Для того, чтобы попасть в квартиру Пушкина, нужно было подняться маршем в восемь ступеней на первую площадку, откуда дверь вела в переднюю. Прямо против входных дверей находилась дверь в кабинет Пушкина. Набросок плана части квартиры, сделанный Жуковским непосредственно после смерти Пушки-

на, довольно точно передает план кабинета и даже расположение мебели; но Жуковский не указал дверей из кабинета в гостиную и в детскую. Полки в кабинете, как видно на рисунке, начинаясь от дверей в детскую, доходили до угла, оттуда до самых дверей в гостиную, а затем шли под прямым углом. Полок у стены, смежной с передней, по всей вероятности, не было, и Жуковский, должно быть, ошибся, начав не с того конца чертить полки, таким образом закрывавшие лицо печи и загораживавшие дверь в гостиную. Отапливался кабинет раньше камином, расположенным против печи в детской, и зеркалом печи, топка которой была в передней. Окна как кабинета, так и передней выходят на двор. Гостиная, расположенная прямо против кабинета, выходит окнами на Мойку и занимает часть выступа. В середине стены, смежной с кабинетом, стоял камин, справа от него находилась дверь. Из гостиной дверь вела в столовую, примыкавшую к передней и к буфетной и выходившую окнами на Мойку. Буфетная выходила окнами на Мойку, поперечная перегородка отделяла чулан. Из чулана узенькая

дверь вела на парадную лестницу; в эту дверь проносили через буфетную в столовую кушанье из кухни, находившейся в подвальном этаже. Рядом с кабинетом помещалась детская, имевшая окна во двор. Из детской дверь вела в спальню, находившуюся рядом с гостиной и занимавшую остающуюся от последней часть выступа. Кроме того, в спальне были еще две двери: одна в гостиную, а другая в противоположную сторону, – в две комнаты с окнами на Мойку. По всей вероятности, эти две комнаты предназначены были для своячениц Пушкина, А. Н. и Е. Н. Гончаровых. Спальня была разделена поперек ширмами или перегородкой, – что видно на плане Жуковского, – чтобы закрыть кровать и чтобы можно было удобнее проходить из комнат сестер Гончаровых в гостиную и столовую. Рядом с детской были две комнаты, – по всей вероятности для прислуги. Из последней комнаты дверь вела на черную лестницу.

А. А. Платонов. Последняя квартира Пушкина в ее прошлом и настоящем. Составили М. Д. Беляев и А. А. Платонов. Изд. Ак. наук СССР, 1927, с. 3–7.

В продолжение этих жестоких дней Ек. Ив. Загряжская в сущности не покидала квартиры Пушкиных. Графиня Жюли Строганова и княгиня Вяземская также находились здесь почти безотлучно, стараясь успокоить и утешить, насколько это допускали обстоятельства.

Бар. Г. Фризенгоф – А. П. Араповой. – Кр. Ни-
ва, 1929, № 24, с. 10 (фр.).

Графиня Юл. Петр. Строганова в эти дни часто бывала в доме умирающего Пушкина и однажды раздражила княгиню Вяземскую своими опасениями относительно молодых людей и студентов, беспрестанно приходивших наведываться о раненом поэте (сын Вяземского, 17-летний князь Павел Петрович, все время, пока Пушкин умирал, оставался в соседней комнате).

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1908, т. III, с. 294.

Граф А. Г. Строганов говорит, что после поединка он ездил в дом раненого Пушкина, он увидел там такие разбойнические лица и та-

кую сволочь, что предупредил отца своего не ездить туда.

П. И. Бартенеv. Из записной книжки. – Рус. Арх., 1912, т. II, с. 160.

В четверг утром я сидел в его комнате несколько часов (он лежал и умер в кабинете, на своем красном диване, подле средних полок с книгами). Он так переносил свои страдания, что я, видя смерть перед глазами, в первый раз в жизни находил ее чем-то обыкновенным, нисколько не ужасающим.

П. А. Плетнев – В. Г. Теплякову, 29 мая 1837 г. – Историч. Вестн., 1887, № 7, с. 21.

11 1/2 (дня, 28-го). Опять призывал жену, но ее не пустили; ибо после того, как он сказал ей: «Arendt m'a condamne', je suis blesse' mortellement»[232], она в нервическом страдании лежит в молитве перед образами. – Он беспокоился за жену, думая, что она ничего не знает об опасности, и говорит, что «люди заедят ее, думая, что она была в эти минуты равнодушною». Это решило его сказать об опасности.

А. И. Тургенев – неизвестному, 28 янв. 1837 года. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 54.

Полдень (28-го). Арендт сейчас был. Была урина, но надежды нет, хотя и есть облегчение страданиям. Я опять входил к нему: он страдает, повторяя: «Боже мой, боже мой! что это!», сжимает кулаки в конвульсии. – Арендт думает, что это не протянется до вечера, а ему должно верить: он видел смерть в 34-х битвах.

А. И. Тургенев – неизвестному, 1837 г. – Там же.

Около полудня дали ему несколько капель опия, что принял он с жадностью и успокоился. Перед этим принимал он *extr. hyoscyami c. salomet.*, без всякого видимого облегчения.

В. И. Даль. Ход болезни Пушкина. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 206.

К полудню (28-го) Пушкину сделалось легче, он несколько развеселился и был в духе. Около часу приехал д-р Даль. Пушкин просил его войти и, встречая его, сказал:

– Мне приятно вас видеть не только как врача, но и как родного мне человека по общему нашему литературному ремеслу.

Он разговаривал с Далем и шутил.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 34.

По возвращении моем в 12 час. (дня), мне казалось, что больной стал спокойнее. Руки его были теплее и пульс явственнее. Он охотно брал лекарства, заботливо спрашивал о жене и о детях. Я нашел у него д-ра Даля. Пробыв у больного до 4 часов, я снова его оставил на попечение д-ра Даля.

И. Т. Спасский. Последние дни А. С. Пушкина. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 199.

(Около 2 час. дня 28 янв.) У Пушкина нашел я толпу в зале и передней, страх ожидания пробежал шепотом по бледным лицам. Гг. Арендт и Спасский пожимали плечами. Я подошел к болящему, он подал мне руку, улыбнулся и сказал:

– Плохо, брат!

Я присел к одру смерти – и не отходил до

конца страстных суток. В первый раз Пушкин сказал мне «ты». Я отвечал ему также – и побратался с ним за сутки до смерти его, уже не для здешнего мира!

В. И. Даль. Записка. – Там же, с. 200.

Пушкин просил сперва князя Вяземского, а потом княгиню Долгорукову на том основании, что женщины лучше умеют исполнить такого рода поручения: ехать к Дантесам и сказать им, что он прощает им. Княгиня, подъехав к подъезду, спросила, можно ли видеть г-жу Дантес одну, она прибежала из дома и бросилась в карету вся разряженная, с криком: «George est hors de danger (*Жорж вне опасности*)!» Княгиня сказала ей, что она приехала по поручению Пушкина и что он не может жить. Тогда та начала плакать.

Ф. Г. Толь со слов княгини Е. А. Долгоруковой. – Декабристы на поселении, с. 143.

Пушкин, умирая, просил княгиню Долгорукову съездить к Дантесу и сказать ему, что он простил ему. «Moi aussi je lui pardonne (*я тоже ему прощаю*)!» – отвечал с нахальным сме-

хом негодай.

Ф. Г. Толь со слов княгини *Е. А. Долгоруковой*. – Там же, с. 135.

2-й час (28-го). Пушкин тих. Арендт опять здесь, но без надежды. Пушкин сам себе прощупал пульс, махнул рукою и сказал:

– Смерть идет.

Приехала Ел. Мих. Хитрова и хочет видеть его, плачет и пеняет всем; но он не мог видеть ее.

А. И. Тургенев – неизвестному. – Пушкин и его совр-ки., вып. VI, с. 54.

(*Два часа.*) Есть тень надежды, но только тень, т.е. нет совершенной невозможности спасения. Он тих и иногда забывается.

А. И. Тургенев – неизвестному. – Там же, с. 54.

Весь день (28-го) Пушкин был довольно спокоен; он часто призывал к себе жену; но разговаривать много не мог, ему это было трудно. Он говорил, что чувствует, как слабеет.

К шести часам вечера 28-го болезнь приняла иной вид: пульс поднялся, ударял около 120, сделался жесток; оконечности согрелись: общая теплота тела возвысилась, беспокойство усилилось. Поставили 25 пиявок к животу; жар уменьшился, опухоль живота опала, пульс сделался ровнее и гораздо мягче, кожа показывала небольшую испарину. Это была минута надежды.

В. И. Даль. Ход болезни Пушкина. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 206.

С обеда пульс был крайне мал, слаб и част, – после полудня стал он подыматься, а к шестому часу ударял не более 120 в минуту и стал полнее и тверже. В то же время начал показываться небольшой общий жар. Вследствие полученных от д-ра Арендта наставлений приставили мы с д-ром Спасским 25 пиявок и в то же время послали за Арендтом. Он приехал и одобрил распоряжение наше. Больной наш твердою рукой сам ловил и припус-

кал себе пиявок и неохотно позволял нам около себя копать. Пульс стал ровнее, реже и гораздо мягче; я ухватился, как утопленник, за соломинку, робким голосом провозгласил надежду и обманул было и себя, и других, – но ненадолго. Пушкин заметил, что я был бодрее, взял меня за руку и спросил:

– Никого тут нет?

– Никого, – отвечал я.

– Даль, скажи же мне правду, скоро ли я умру?

– Мы за тебя надеемся, Пушкин, право, надеемся! – Он пожал мне крепко руку и сказал:

– Ну, спасибо!

Но, по-видимому, он однажды только и обольстился моею надеждою: ни прежде, ни после этого он не верил ей.

В. И. Даль. Ход болезни Пушкина. – Там же, с. 202.

Пушкин сам помогал ставить пиявки; смотрел, как они принимались, и приговаривал: «Вот это хорошо, это прекрасно». Через несколько минут потом Пушкин, глубоко вздохнув, сказал:

– Как жаль, что нет теперь здесь ни Пушкина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 35.

В течение вечера (28-го), как казалось, что Пушкину хотя едва-едва легче; какая-то слабая надежда рождалась в сердце более, нежели в уме; Арендт не надеялся и говорил, что спасение было бы чудом; он мало страдал, ибо ему помогали маслом.

А. И. Тургенев – А. И. Нефедьевой. Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 51.

Я возвратился к Пушкину около 7 часов вечера. Я нашел, что у него теплота в теле увеличилась, пульс сделался гораздо явственнее и боль в животе ощутительнее. Больной охотно соглашался на все предлагаемые ему пособия. Он часто требовал холодной воды, которую ему давали по чайным ложечкам, что весьма его освежало. Так как эту ночь предложил остаться при больном д-р Даль, то я оставил Пушкина около полуночи.

И. Т. Спасский. Последние дни А. С. Пушкина. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 199.

Эту ночь всю Даль просидел у его постели, а я, Вяземский и Виельгорский в ближней горнице.

В. А. Жуковский – С. Л. Пушкину. – Там же, с. 184.

Вообще с начала до конца своих страданий (кроме двух или трех часов первой ночи, в которую они превзошли всякую меру человеческого терпения) он был удивительно тверд. «Я был в тридцати сражениях, – говорил доктор Арендт, – я видел много умирающих, но мало видел подобного».

В. А. Жуковский – С. Л. Пушкину. – Там же, с. 177.

Арендт, который видел много смертей на веку своем и на полях сражений, и на болезненных одрах, отходил со слезами на глазах от постели его и говорил, что он никогда не видел ничего подобного, такого терпения при таких страданиях. Еще сказал и повторил

несколько раз Арендт замечательное и прекрасное утешительное слово об этом несчастном приключении:

– Для Пушкина жаль, что он не был убит на месте, потому что мучения его невыразимы; но для чести жены его – это счастье, что он остался жив. Никому из нас, видя его, нельзя сомневаться в невинности ее и в любви, которую к ней Пушкин сохранил.

Эти слова в устах Арендта, который не имел никакой личной связи с Пушкиным и был при нем, как был бы он при каждом другом в том же положении, удивительно выразительны. Надобно знать Арендта, его рассеянность, его привычку к подобным сценам, чтобы понять всю силу его впечатления. Стало быть, видимое им было так убедительно, так поразительно и полно истины, что пробудило и его внимание и им овладело.

Кн. П. А. Вяземский – Д. В. Давыдову, 5 февр. 1837 г. – Рус. Стар., 1875, т. 14, с. 93.

Посреди самых ужасных физических страданий (заставивших содрогнуться даже привычного к подобным сценам Арендта) Пуш-

кин думал только о жене и о том, что она должна была чувствовать по его вине. В каждом промежутке между приступами мучительной боли он ее призывал, старался утешить, повторял, что считает ее неповинною в своей смерти и что никогда ни на одну минуту не лишал ее своего доверия и любви.

Кн. Е. Н. Мещерская-Карамзина. – Я. К. Грот, с. 261.

Пушкин заставил всех присутствовавших сдружиться со смертью, так спокойно он ее ожидал, так твердо был уверен, что роковой час ударил. Плетнев говорил: «Глядя на Пушкина, я в первый раз не боюсь смерти». Пушкин положительно отвергал утешение наше и на слова мои: «Все мы надеемся, не отчаивайся и ты», отвечал:

– Нет; мне здесь не житье; я умру, да, видно, уж так и надо!

В ночь на 29-е он повторял несколько раз подобное; спрашивал, например: «Который час» и на ответ мой продолжал отрывисто и с остановкою:

– Долго ли мне так мучиться! Пожалуйста,

поскорей! – Почти всю ночь продержал он меня за руку, по часту просил ложечку водицы или крупинку льда и всегда при этом управлялся своеручно: брал стакан сам с ближней полки, тер себе виски льдом, сам снимал и накладывал себе на живот припарки и всегда еще приговаривая: «Вот и хорошо, и прекрасно!» Собственно от боли страдал он, по его словам, не столько, как от чрезмерной тоски.

– Ах, какая тоска! – восклицал он иногда, закладывая руки за голову. – Сердце изнывает!

Тогда просил он поднять его, поворотить на бок или поправить подушку – и, не дав кончить этого, останавливал обыкновенно словами: «Ну, так, так, – хорошо; вот и прекрасно, и довольно; теперь очень хорошо!» или: «Постой: не надо, потяни меня только за руку, – ну вот и хорошо, и прекрасно!» Вообще был он по крайней мере в обращении со мною покладлив и послушен, как ребенок, и делал все, о чем я его просил.

– Кто у жены моей? – спросил он между прочим. Я отвечал:

– Много добрых людей принимают в тебе

участие, зала и передняя полны с утра и до ночи.

– Ну, спасибо, – отвечал он, – однако же, по-ди, скажи жене, что все, слава богу, легко; а то ей там, пожалуй, наговорят!

Когда тоска и боль его одолевали, он крепился усиленно и на слова мои: «Терпеть надо, любезный друг, делать нечего, но не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче», – отвечал отрывисто:

– Нет, не надо стонать; жена услышит; и смешно же, чтоб этот вздор меня пересилил; не хочу.

В. И. Даль. Ход болезни Пушкина. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 201–203.

В 4 часа утра (29-го) послали за Арендтом спросить, поставить ли пиявки еще раз; касторовое масло не действует и на низ не было. Сегодня впустили в комнату жену, но он не знает, что она близ его кушетки, и недавно спросил, при ней, у Данзаса, думает ли он, что он сегодня умрет, прибавив:

– Я думаю, по крайней мере желаю. Сегодня мне спокойнее, и я рад, что меня оставля-

ют в покое; вчера мне не давали покоя.

Жуковский, кн. Вяземский, гр. Мих. Виельгорский провели здесь всю ночь и теперь здесь (я пишу в комнатах Пушкина).

А. И. Тургенев – А. И. Нефедьевой, 29 янв. 1837 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 51.

Рано утром 29 числа я к нему возвратился. Пушкин истаебал. Руки были холодны, пульс едва заметен. Он беспрестанно требовал холодной воды и брал ее в малых количествах, иногда держал во рту небольшие кусочки льда и от времени до времени сам тер себе виски и лоб льдом. Д-р Арендт подтвердил мои и д-ра Даля опасения.

И. Т. Спасский. Последние дни А. С. Пушкина. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 199.

Труд ухода за Пушкиным, в его предсмертных страданиях, разделяла с княгиней Вяземской некогда московская подруга Натальи Николаевны, Екатерина Алексеевна, рожд. Малиновская, супруга лейб-гусара кн. Ростислава Алексеевича Долгорукого, женщина необыкновенного ума и многосторонней об-

разованности, ценимая Пушкиным и Лермонтовым (художественный кругозор которого считала она и шире и выше пушкинского...). Она слышала, как Пушкин, уже перед самой кончиною, говорил жене:

– Носи по мне траур два или три года. Постарайся, чтоб забыли про тебя. Потом выходи опять замуж, но не за пустозвона.

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1908, т. III, с. 295.

Прощаясь с женою, Пушкин сказал ей: «Ступай в деревню, носи по мне траур два года и потом выходи замуж, но за человека порядочного».

П. И. Бартенев со слов кн. В. Ф. Вяземской. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 311.

Умиравший Пушкин передал княгине Вяземской нательный крест с цепочкой для передачи Александре Николаевне (*Гончаровой, сестре Натальи Николаевны*).

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1908, т. III, с. 296.

Княгиня Вяземская сказывала мне, что раз, когда она на минуту осталась одна с умирав-

шим Пушкиным, он отдал ей какую-то цепочку и просил передать ее от него Александре Николаевне (*Гончаровой*). Княгиня исполнила это и была очень изумлена тем, что Александра Николаевна, принимая этот загробный подарок, вся вспыхнула, что и возбудило в княгине подозрение.

П. И. Бартенев – П. Е. Щеголеву, 2 апр. 1911 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 410.

Поутру 29 января он несколько раз призывал жену. Потом пожелал видеть Жуковского и говорил с ним довольно долго наедине. Выйдя от него, Жуковский сказал Данзасу: «Подите, пожалуйста, к Пушкину, он об вас спрашивал». Но когда Данзас вошел, Пушкин ничего не сказал ему особенного, спросил только, по обыкновению, много ли у него было посетителей и кто именно.

Собравшись в это утро, доктора нашли Пушкина уже совершенно в безнадежном положении, а приехавший затем Арендт объявил, что Пушкину осталось жить не более двух часов.

Подъезд с утра был атакован публикой до

такой степени, что Данзас должен был обратиться в Преображенский полк с просьбою поставить у крыльца часовых, чтобы восстановить какой-нибудь порядок: густая масса собравшихся загоразживала на большое расстояние все пространство перед квартирой Пушкина, к крыльцу почти не было возможности протискаться. Между принимавшими участие были, разумеется, и такие, которые толпились только из любопытства. Данзас был ранен в турецкую кампанию и носил руку на повязке. «Не ранен ли он тоже на дуэли Пушкина», – спросил Данзаса один из этих любопытных.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 36.

Около 12 часов больной спросил зеркало, посмотрел в него и махнул рукой. Он неоднократно приглашал к себе жену. Вообще все входили к нему только по его желанию. Нередко на вопрос, не угодно ли вам видеть жену или кого-нибудь из друзей, он отвечал: «Я позову».

И. Т. Спасский. Последние дни А. С. Пушки-

1 час (29-го). Пушкин слабее и слабее. Ка-
сторовое масло не действует. Надежды нет. За
час начался холод в членах. Смерть быстро
приближается; но умирающий сильно не
страдает; он покойнее. Жена подле него, он
беспрестанно берет ее за руку. Александрина
плачет, но еще на ногах. Жена – сила любви
дает ей веру – когда уже нет надежды! Она по-
вторяет ему: «Tu vivras!»[233]

Я сейчас встретил отца Геккерена: он рас-
спрашивал об умирающем с сильным участи-
ем; рассказал содержание, – выражения пись-
ма Пушкина. Ужасно! Ужасно! Невыносимо:
нечего было делать... Весь город, дамы, дипло-
маты, авторы, знакомые и незнакомые напол-
няют комнаты, справляются об умирающем.
Сени наполнены несмеющими войти далее.
Приезжает сейчас Элиза Хитрово, входит в
его кабинет и становится на колена. Антонов
огонь разливается; он все в памяти.

А. И. Тургенев – А. И. Нефедьевой, 29 янв.
1837 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 51.

К нему никого не пускали, но Елизавета Михайловна Хитрово преодолела все препятствия: она приехала заплаканная, растрепанная и, рыдая, бросилась в отчаянии на колени перед умирающим поэтом.

А. Я. Булгаков – кн. О. А. Долгоруковой, 2 февр. 1837 г. – Кр. Арх., 1929, т. II, с. 225.

Пульс стал упадать приметно и вскоре исчез вовсе. Руки начали стыть. Ударило два часа пополудни, 29 янв., – и в Пушкине оставалось жизни – только на 3/4 часа! Пушкин раскрыл глаза и попросил моченой морошки. Когда ее принесли, то он сказал внятно:

– Позовите жену, пусть она меня покормит.

Д-р Спасский исполнил желание умирающего. Наталья Николаевна опустилась на колени у изголовья смертного одра, поднесла ему ложечку, другую – и приникла лицом к челу отходящего мужа. Пушкин погладил ее по голове и сказал:

– Ну, ну, ничего, слава богу, все хорошо!

В. И. Даль. Ход болезни Пушкина. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 203.

Когда этот болезненный припадок аппетита был удовлетворен, жена Пушкина вышла из кабинета. Выходя, она, обрадованная аппетитом мужа, сказала, обращаясь к окружающим:

– Вот вы увидите, что он будет жив!

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 37.

Скоро подошел я к В. А. Жуковскому, кн. Вяземскому и гр. Виельгорскому и сказал: «Отходит!» Бодрый дух все еще сохранял могущество свое, изредка только полудремотное забвение на несколько секунд туманило мысли и душу. Тогда умирающий, несколько раз, подавал мне руку, сжимал ее и говорил:

– Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше, ну, пойдем!

Опамятовавшись, сказал он мне:

– Мне было пригрезилось, что я с тобою лезу вверх по этим книгам и полкам, – высоко – и голова закружилась.

Раза два присматривался он пристально на меня и спрашивал:

– Кто это? Ты?

– Я, друг мой.

– Что это – я не мог тебя узнать.

Немного погодя он опять, не раскрывая глаз, стал искать мою руку и, потянув ее, сказал:

– Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе!

В. И. Даль. Ход болезни Пушкина. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 203.

Я стоял вместе с графом Виельгорским у постели его, в головах сбоку стоял Тургенев. Даль шепнул мне: «Отходит!»

В. А. Жуковский. – Там же, с. 189.

Забывается и начинает говорить бессмыслицу. У него предсмертная икота, а жена его находит, что ему лучше, чем вчера! Она стоит в дверях его кабинета, иногда входит; фигура ее не возвещает смерти такой близкой.

– Опустите сторы, я спать хочу, – сказал он сейчас. Два часа пополудни...

А. И. Тургенев – А. И. Нефедьевой, 29 янв. 1837 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 52 (фр.-рус.).

Пушкину делалось все хуже и хуже, он видимо слабел с каждым мгновением. Друзья его: Жуковский, кн. Вяземский с женой, кн. П. И. Мещерский, А. И. Тургенев, г-жа Загряжская, Даль и Данзас были у него в кабинете.

А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 37.

Минут пять до смерти Пушкин просил поворотить его на правый бок. Даль, Данзас и я исполнили его волю: слегка повертели его и подложили к спине подушку.

– Хорошо! – сказал он, и потом, несколько погодя, промолвил: – Жизнь кончена!

– Да, кончено, – сказал д-р Даль, – мы тебя повертели.

– Кончена жизнь, – возразил тихо Пушкин.

Не прошло нескольких мгновений, как Пушкин сказал:

– Теснит дыхание.

То были последние его слова. Оставаясь в том же положении на правом боку, он тихо стал кончаться.

И. Т. Спасский. Последние дни А. С. Пушкина. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 199.

Друзья и ближние молча, сложа руки, окружили изголовье отходящего. Я, по просьбе его, взял его под мышки и приподнял повыше. Он вдруг, будто проснувшись, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал:

– Кончена жизнь!

Я не дослышал и спросил тихо:

– Что кончено?

– Жизнь кончена, – отвечал он внятно и положительно. – Тяжело дышать, давит, – были последние слова его.

Всеместное спокойствие разлилось по всему телу, руки остыли по самые плечи, пальцы на ногах, ступни, колена – также, – отрывистое, частое дыхание изменялось более и более на медленное, тихое, протяжное, еще один слабый, едва заметный вздох – и пропасть необъятная, неизмеримая разделяла уже живых от мертвого. Он скончался так тихо, что предстоящие не заметили смерти его. Жуковский изумился, когда я прошептал: «Аминь!» Д-р Андреевский наложил персты на веки его.

В. И. Даль. Ход болезни Пушкина. – Там же , с. 204.

Я не сводил с него глаз и заметил, что движение его груди, доселе тихое, сделалось прерывистым. Оно скоро прекратилось. Я смотрел внимательно, ждал последнего вздоха, но я его не приметил. Тишина, его объявшая, казалась мне успокоением. Все над ним молчали. Минуты через две я спросил: «Что он?» – «Кончилось», – отвечал мне Даль.

В. А. Жуковский. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 189.

Перед тою минутою, как ему глаза надобно было навеки закрыть, я поспел к нему. Тут был и Жуковский с Михаилом Виельгорским, Даль и еще не помню кто. Такой мирной кончины я вообразить не умел прежде.

П. А. Плетнев – В. Г. Теплякову, 29 мая 1837 г. – Историч. Вестн., 1887, № 7, с. 21.

Диван, на котором лежал умиравший Пушкин, был отгорожен от двери книжными полками. Войдя в комнату, сквозь промежуток

ки полук и книг можно было видеть страдальца. Тут стояла княгиня Вяземская в самые минуты последних его вздохов. Даль сидел у дивана; кто-то еще был в комнате. Княгиня говорит, что нельзя забыть божественного спокойствия, разлившегося по лицу Пушкина.

П. И. Бартенева со слов кн. В. Ф. Вяземской. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 311.

Он не страдал, а желал скорой смерти. Жуковский, гр. Виельгорский, Даль, Спасский, княгиня Вяземская и я, – мы стояли у канапе и видели – последний вздох его. Доктор Андреевский закрыл ему глаза.

А. И. Тургенев – А. Я. Булгакову. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 55.

Когда друзья и несчастная жена устремились к бездыханному телу, их поразило величавое и торжественное выражение лица его. На устах сияла улыбка, как будто отблеск несказанного спокойствия, на челе отражалось тихое блаженство осуществившейся святой надежды.

Я подошла к Натали, которую нашла как бы в безумии. «Пушкин умер?» Я молчала. «Скажите, скажите правду!» Руки мои, которыми я держала ее руки, отпустили ее, и то, что я не могла произнести ни одного слова, повергло ее в состояние какого-то помешательства. – «Умер ли Пушкин? Все ли конечно?» – Я поникла головой в знак согласия. С ней сделались самые страшные конвульсии; она закрыла глаза, призывала своего мужа, говорила с ним громко; говорила, что он жив; потом кричала: «Бедный Пушкин! Бедный Пушкин! Это жестоко! Это ужасно! Нет, нет! Это не может быть правдой! Я пойду посмотреть на него!» Тогда ничто не могло ее удержать. Она побежала к нему, бросилась на колени, то склонялась лбом к оледеневшему лбу мужа, то к его груди, называла его самыми нежными именами, просила у него прощения, трясла его, чтобы получить от него ответ. Мы опасались за ее рассудок. Ее увели насильно. Она просила к себе Данзаса. Когда он

вошел, она со своего дивана упала на колени перед Данзасом, целовала ему руки, просила у него прощения, благодарила его и Даля за постоянные заботы их об ее муже. «Простите!» – вот что единственно кричала эта несчастная молодая женщина.

Кн. В. Ф. Вяземская – Е. Н. Орловой. – Новый мир, 1931, № 12, с. 192.

За минуту пришла к нему жена; ее не впустили. Теперь она видела его умершего. Приехал Арендт; за ней ухаживают. Она рыдает, рвется, но и плачет. Жуковский послал за художником снять с него маску. Жена все не верит, что он умер: все не верит. Между тем тишина уже нарушена. Мы говорим вслух, и этот шум ужасен для слуха, ибо он говорит о смерти того, для коего мы молчали. Он умирал тихо, тихо...

А. И. Тургенев – А. Я. Булгакову, 29 янв. 1837 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 55.

Наша няня не могла вспомнить без содрогания о страшном состоянии, в которое впала мать, как только в наступившей смерти нель-

зя было сомневаться. Бесчувственную, словно окаменелую физически, ее уложили в постель; даже в широко открытых, неподвижных глазах всякий признак жизни потух. «Нидать ни взять сама покойница», – описывала она. Она не слышала, что вокруг нее делалось, не понимала, что ей говорили. Все увещевания принять пищу были бесполезны, судорожное сжимание горла не пропускало и капли воды. Долго бились доктора и близкие, чтобы вызвать слезы из ее застывших глаз, и только при виде детей они наконец брызнули неудержимой струей, прекратив это почти каталептическое состояние.

А. П. Арапова. Воспоминания. – Новое Время, 1908, № 11425, ил. прил., с. 7.

Кн. Вяземская не может забыть страданий Натальи Николаевны в предсмертные дни ее мужа. Конвульсии гибкой станом женщины были таковы, что ноги ее доходили до головы. Судороги в ногах долго продолжались у нее и после, начинаясь обыкновенно в 11 часов вечера.

Кн. В. Ф. Вяземская по записи П. И. Барте-

нева. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 305.

По смерти Пушкина у жены его несколько дней не прекращались конвульсии, так что у нее расшатались все зубы, кои были очень хороши и ровны.

Ф. Г. Таль со слов кн. *Е. А. Долгоруковой*. – Декабристы на поселении, с. 143.

Жена Пушкина заверяла, что не имела никакой серьезной связи с Дантесом, однако созналась, бросившись в отчаянии на колени перед образами, что допускала ухаживания со стороны Дантеса, – ухаживания, которые слишком широко допускаются салонными обычаями в отношении всех женщин, но которых, зная подозрения своего мужа, она должна была бы остеречься.

А. А. Щербинин. Из неизд. записок. – Пушкин и его совр-ки, вып. XV, с. 42.

Несколько минут после смерти Пушкина Даль вошел к его жене; она схватила его за руку, потом, оторвав свою руку, начала ломать руки и в отчаянии произнесла: «Я убила

моего мужа, я причиною его смерти; но богом свидетельствую, – я чиста душою и сердцем!»

Н. В. Кукольник. Дневник. – Записки М. И. Глинки. М.-Л.: Академия, 1930, с. 464.

При жене неотлучно находились княгиня Вяземская, Е. И. Загряжская, граф и графиня Строгановы. Граф взял на себя все распоряжения похорон.

В. А. Жуковский – С. Л. Пушкину, 15 февр. 1837 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 190.

Я все это время была каждый день у жены покойного, во-первых, потому, что мне было отрадно приносить эту дань памяти Пушкина, а во-вторых, потому, что печальная судьба молодой женщины в полной мере заслуживает участия. Собственно говоря, она виновата только в чрезмерном легкомыслии, в роковой самоуверенности и беспечности, при которых она не замечала той борьбы и тех мучений, какие выносил ее муж. Она никогда не изменяла чести, но она медленно, ежеминутно терзала восприимчивую и пламенную душу Пушкина; теперь, когда несчастье раскрыло

ей глаза, она вполне все это чувствует, и совесть иногда страшно ее мучит. В сущности, она сделала только то, что ежедневно делают многие из наших блистательных дам, которых, однако ж, из-за этого принимают не хуже прежнего; но она не так искусно умела скрыть свое кокетство, и, что еще важнее, она не поняла, что ее муж был иначе создан, чем слабые и снисходительные мужья этих дам.

Кн. *Е. Н. Мещерская-Карамзина*. – Я. К. Грот, с. 262 (*фр.*).

Когда все ушли, я сел перед ним и долго, один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было в нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась; руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха, после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Это было не сон и не покой. Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу;

это не было также и выражение поэтическое. Нет! Какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовлетворенное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось спросить: что видишь, друг? и что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я видел самое смерть, божественно тайную, смерть без покрывала. Какую печать наложила она на лицо его и как удивительно высказала на нем и свою и его тайну! Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нем и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина.

В. А. Жуковский – С. Л. Пушкину. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 189.

А. О. Россет переносил Пушкина с дивана,

на котором он умер, на стол. Вспоминая о том, он прибавлял: «Как он был легок!»

П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1899, т. II, с. 356.

Тотчас отправился я к Гальбергу. С покойника сняли маску, по которой приготовили теперь прекрасный бюст.

П. А. Плетнев – В. Г. Теплякову. – Историч. Вестн., 1887, № 7, с. 21.

Спустя три четверти часа после кончины (во все это время я не отходил от мертвого, мне хотелось взглядеться в прекрасное лицо его), тело вынесли в ближнюю горницу; а я, исполняя повеление государя императора, запечатал кабинет своею печатью.

В. А. Жуковский – С. Л. Пушкину, 15 февр. 1837 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 190.

По смерти Пушкина надо было опечатать казенные бумаги: труп вынесли и запечатали опустелую рабочую комнату Пушкина черным сургучом: красного, по словам камердинера, не нашлось.

В. И. Даль. Ход болезни Пушкина. – Там же,

По вскрытии брюшной полости все кишки оказались сильно воспаленными; в одном только месте, величиною с грош, тонкие кишки были поражены гангреной. В этой точке, по всей вероятности, кишки были ушиблены пулей. В брюшной полости нашлось не менее фунта черной, запекшейся крови, вероятно, из перебитой бедренной вены. По окружности большого таза, с правой стороны, найдено было множество небольших осколков кости, а наконец и нижняя часть крестцовой кости была раздроблена. По направлению пули надобно заключать, что убитый стоял боком, вполоборота, и направление выстрела было несколько сверху вниз. Пуля пробила общие покровы живота, в двух дюймах от верхней, передней оконечности чресельной или подвздошной кости правой стороны, потом шла, скользя по окружности большого таза, сверху вниз и, встретив сопротивление в крестцовой кости, раздробила ее и засела где-нибудь поблизости.

В. И. Даль. Вскрытие тела А. С. Пушкина. —

Там же, с. 204.

(29-го) отслужили мы первую панихиду по Пушкине в 8 час. вечера. Жена рвалась в своей комнате; она иногда в тихой, безмолвной, иногда в каком-то исступлении горести.

А. И. Тургенев – А. И. Нефедьевой. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 57.

Жандармы донесли, а может быть, и не жандармы, что Пушкина положили не в камер-юнкерском мундире, а во фраке: это было по желанию вдовы, которая знала, что он не любил мундира; между тем государь сказал: «Верно это Тургенев или князь Вяземский присоветовали».

А. И. Тургенев – Н. И. Тургеневу, 28 февр. 1837 г. – Там же, с. 91.

Смерть обнаружила в характере Пушкина все, что было в нем доброго и прекрасного. Она надлежащим образом осветила всю его жизнь. Все, что было в ней беспорядочного, бурного, болезненного, особенно в первые годы его молодости, было данью человеческой

слабости, обстоятельствам, людям, обществу. Пушкин был не понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Признаюсь и прошу в том прощения у его памяти, я не считал его до такой степени способным ко всему. Сколько было в этой истрадавшей душе великодушия, силы, глубокого, скрытого самоотвержения! Его чувства к жене отличались нежностью поистине самого возвышенного характера. Ни одного горького слова, ни одной резкой жалобы, никакого едкого напоминания о случившемся не произнес он, ничего, кроме слов мира и прощения своему врагу. Вся желчь, которая накоплялась в нем целыми месяцами мучений, казалось, исходила из него вместе с его кровью, он стал другим человеком. Свидетельства доктора Арендта и других, которые его лечили, подтверждают мое мнение. Арендт не отходил от него и стоял со слезами на глазах, а он привык к агониям во всех видах.

Кн. П. А. Вяземский – вел. кн. Михаилу Павловичу, 14 февр. 1837 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 263.

Он сказал Наталье Николаевне, что она во всем этом деле ни при чем. Право, это было больше, чем благородство, – это было величие души, это было лучше, чем простить.

О. С. Павлищева – С. Л. Пушкину, 3 марта 1837 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XII, с. 104 (фр.).

Страшное несчастье обрушилось на наши головы, как громовой удар, когда мы всего менее этого ожидали, хотя, сказать по правде, после этих проклятых безъимянных писем небосклон бедного Пушкина постоянно был покрыт облаками. В жестоких страданиях своих Пушкин был велик твердостью, самоотвержением, нежною заботливостью о жене своей. Чувствуя, что смерть близка, он хладнокровно высчитывал шаги ее, но без малейшего желания порисоваться, похорохориться и подействовать на окружающих. Таков он был и во время поединка. Необузданный, пылкий, беспорядочный, сам себя не помнящий во всех своих шагах, имевших привести к роковому исходу, он сделался спокоен,

прост и полон достоинства, как скоро добился, чего желал; ибо он желал этого исхода. Да, конечно, светское общество его погубило. Проклятые письма, проклятые сплетни приходили к нему со всех сторон. С другой стороны, причиною катастрофы был его пылкий и замкнутый характер. Он с нами не советовался, и какая-то судьба постоянно заставляла его действовать в неверном направлении. Горько его оплакивать; но горько также и знать, что светское общество (или по крайней мере некоторые члены оногo) не только терзало ему сердце своим недоброжелательством, когда он был жив, но и озлобляется против его трупа.

Кн. П. А. Вяземский – А. О. Смирновой, в февр. 1837 г. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 296.

Весь Петербург заговорил о смерти Пушкина, и невыгодное мнение о нем тотчас заменилось самым искренним энтузиазмом: все обратились в книжные лавки – покупать только что вышедшее новое миниатюрное издание Онегина: более двух тысяч экземпляров было раскуплено в три дня.

Н. И. Иваницкий. Воспоминания. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIII, с. 33.

На следующий день кончины Пушкина я решился очень рано утром войти к нему; вход был со двора, как и теперь остался; в прихожей никого; направо в небольшой комнате – покойный на столе, в черном сюртуке: возле него один-одинехонек полковник Данзас. – «Вы здесь, Константин Карлович?» – сказал я ему. – «Нет, – отвечал он с неизменно присущим ему юмором, – я не здесь, я на гауптвахте». Известно, что немедленно после несчастного поединка Данзас был арестован, с разрешением не покидать покойного друга до погребения.

М. М. Михайлов. Несколько слов о месте кончины Пушкина. – Книга воспоминаний о Пушкине, с. 336.

На другой день мы, друзья, положили Пушкина своими руками в гроб.

В. А. Жуковский – С. Л. Пушкину. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 191.

А. О. Россет перекладывал тело Пушкина в

гроб. «Я держал его за икры, и мне припомнилось, какого крепкого, мускулистого был он сложения, как развивал он свои силы ходьбою».

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 248.

Окажите милость, соблаговолите умолить государя императора уполномочить Вас прислать мне в нескольких строках оправдание моего собственного поведения в этом грустном деле; оно мне необходимо для того, чтобы я мог себя чувствовать вправе оставаться при императорском дворе; я был бы в отчаянии, если бы должен был его покинуть; мои средства невелики, и в настоящее время у меня семья, которую я должен содержать.

Бар. Л. Геккерен-старший – гр. *К. В. Нессельроде*, 30 янв. 1837 г. – *П. Е. Щеголев.* Дуэль, с. 291.

В течение трех дней, в которые его тело оставалось в доме, множество людей всех возрастов и всякого звания беспрерывно теснились пестрою толпою вокруг его гроба. Женщины, старики, дети, ученики, простолюди-

ны в тулупах, а иные даже в лохмотьях, приходили поклониться праху любимого народного поэта. Нельзя было без умиления смотреть на эти плебейские почести, тогда как в наших позолоченных салонах и раздушенных будуарах едва ли кто-нибудь и сожалел о краткости его блестящего поприща. Слышались даже оскорбительные эпитеты и укоризны, которыми поносили память славного поэта и несчастного супруга, с изумительным мужеством принесшего свою жизнь в жертву чести, и в то же время раздавались похвалы рыцарскому поведению гнусного обольстителя и проходимца, у которого было *три отечества*[234] и *два имени*[235].

Кн. Ек. Н. Мещерская-Карамзина. – Я. К. Грот, с. 261 (*фр.*).

При наличности в высшем обществе малого представления о гении Пушкина и его деятельности не надо удивляться, что только немногие окружали его смертный одр, в то время как нидерландское посольство атаковывалось обществом, выражавшим свою радость по поводу столь счастливого спасения

элегантного молодого человека.

Бар. К. А. *Лютцереде* (саксонский посланник) в донесении саксонскому правительству 30 янв. 1837 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 374.

Если что-нибудь может облегчить мое горе, то только те знаки внимания и сочувствия, которые я получаю от всего петербургского общества. В самый день катастрофы граф и графиня Нессельроде, так же, как и граф и графиня Строгановы, оставили мой дом в час пополуночи.

Бар. Л. *Геккерен-старший* – бар. Верстолку, 11 февр. 1837 г. – Там же, с. 298.

Жоржу (*Дантесу*) не в чем себя упрекнуть; его противником был безумец, вызвавший его без всякого разумного повода; ему просто жизнь надоела, и он решился на самоубийство, избрав руку Жоржа орудием для своего переселения в другой мир.

Бар. Л. *Геккерен-старший* – г-же Дантес, 29 марта 1837 г. – Там же, с. 315.

В эти оба дни та горница, где он лежал в

гробе, была беспрестанно полна народом. Конечно, более десяти тысяч человек приходило взглянуть на него, многие плакали; иные долго останавливались и как будто хотели всмотреться в лицо его.

В. А. Жуковский – С. Л. Пушкину. – Там же, с. 191.

Все население Петербурга, а в особенности чернь и мужичье, волнуясь, как в конвульсиях, страстно жаждало отомстить Дантесу. Никто от мала до велика не желал согласиться, что Дантес не был убийцей. Хотели расправиться даже с хирургами, которые лечили Пушкина, доказывая, что тут заговор и измена, что один иностранец ранил Пушкина, а другим иностранцам поручили его лечить.

Д-р С. Моравский. Воспоминания. – Кр. Газета, 1928, № 318 (пол.).

Участие к поэту народ доказал тем, что в один день приходило на поклонение его гробу 32 000 человек.

Я. Н. Неверов – Т. Н. Грановскому. – Моск. Пушкинист, вып. I, 1927, с. 44.

Не счесть всех, кто приходил с разных сторон справляться о его здоровье во время его болезни. Пока тело его выставлено было в доме, наплыв народа был еще больше, толпа не редела в скромной и маленькой квартирке поэта. Из-за неудобства помещения должны были поставить гроб в передней, следовательно, заколотить входную дверь. Вся эта толпа притекала и уходила через маленькую потайную дверь и узкий отдаленный коридор.

Кн. П. А. Вяземский – вел. кн. *Михаилу Павловичу*, 14 февр. 1837 г. – П. Е. Шеголев. Дуэль, с. 263.

Стену квартиры Пушкина выломали для посетителей.

Арк. О. Россет. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 248.

Граф Гр. Ал. Строганов взял на себя хлопоты похорон и уломал престарелого митрополита Серафима, воспрещавшего церковные похороны якобы самоубийцы.

П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1908, т. III, с. 294.

Сделана была попытка для распускания слуха о произведенной студентами оскорбительной демонстрации в квартире вдовы. Повод к этой выдумке был следующий. Граф П. П. Ш., весьма почтенный человек, со студенческой скамьи, приехал поклониться праху покойного поэта и спросил меня, не может ли он видеть портрет Пушкина, писанный знаменитым Кипренским. Я отворил дверь в соседнюю комнату и спросил почтенную даму (*гр. Ю. П. Строганову*), вошедшую в соседнюю гостиную: можно ли показать такому-то портрет Пушкина? Пожилая дама выпорхнула в другую дверь и с ужасом объявила, что шайка студентов ворвалась в квартиру для оскорбления вдовы. Матушка моя, находившаяся у вдовы, вышла посмотреть, в чем дело, и ввела нас обоих в гостиную. Несмотря на разъяснение дела, престарелая дама, ожидавшая бунта, в тот же вечер отправилась к матери студента для предупреждения относительно нахождения ее сына в шайке, произведшей утром демонстрацию.

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 560.

Графиня Строганова (Юлия Петровна) испанка, урожденная д'Ега, в день кончины Пушкина запискою, посланною к графу Бенкендорфу из самой квартиры Пушкина, потребовала присылки жандармских чиновников, якобы в охранение вдовы от беспрестанно приходявших (*поклониться покойнику*) студентов. Слышно от свидетельницы, кн. В. Ф. Вяземской. Эта записка возмутила негодованием друзей поэта.

П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1892, т. II, с. 358.

Жуковский, говоря с государем, сказал ему à peu près[236]: «Так как ваше величество для написания указов о Карамзине избрали тогда меня орудием, то позвольте мне и теперь того же надеяться». Государь отвечал: «Я во всем с тобою согласен, кроме сравнения твоего с Карамзиным. Для Пушкина я все готов сделать, но я не могу сравнить его в уважении с Карамзиным, тот умирал, как ангел». Он дал почувствовать Жуковскому, что и смерть, и жизнь Пушкина не могут быть для России тем, чем был для нее Карамзин.

А. И. Тургенев – Н. И. Тургеневу, 31 янв. 1837 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 61.

Д. В. Дашков передавал кн. Вяземскому, что государь сказал ему: «Какой чудак Жуковский! Пристает ко мне, чтобы я семье Пушкина назначил такую же пенсию, как семье Карамзина. Он не хочет сообразить, что Карамзин человек почти святой, а какова была жизнь Пушкина?»

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 294.

1. Заплатить долги. 2. Заложенное имение отца очистить от долга. 3. Вдове пенсион и дочери по замужество. 4. Сыновей в пажи и по 1500 р. на воспитание каждого по вступлении на службу. 5. Сочинения издать на казенный счет в пользу вдовы и детей. 6. Единовременно 10 т.

Имп. *Николай I*. Записка о милостях семье Пушкина. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 217.

Традиции дома, как на комнату, в которой умер Пушкин, указывают на угловую комнату с тремя окнами, выходящими на Мойку,

которая составляет часть бывшего пушкинского кабинета в пять окон, впоследствии разделенного перегородкою на две комнаты. В большей из них, у перегородки, поставлен теперь камин, ранее же в этом месте много лет находилась доска с надписью о том, что именно здесь скончался Пушкин. Надпись эту помнит еще нынешний владелец дома, светл. кн. П. Д. Волконский, неоднократно видевший ее в детстве...

Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский.
О смертной комнате Пушкина. (Письмо в редакцию.) – Русь, 1908, № 81.

29 янв. 1837 г. я зашел поклониться праху поэта. Народ туда валил толпами, и посторонних посетителей пускали через какой-то подземный ход и черную лестницу. Оттуда попал я прямо в небольшую и очень невысокую комнату, окрашенную желтою краскою и выходившую двумя окнами на двор. Совершенно посреди этой комнаты (а не в углу, как это водится) стоял гроб, обитый красным бархатом, с золотым позументом и обращенный стороною головы к окнам, а ногами к двери,

отпертой настежь в гостиную, выходявшую окнами на Мойку. Все входившие благоговейно крестились и целовали руку покойного. На руках у покойного положен был простой образ, без всякого оклада, и до того стертый, что никакого изображения на нем нельзя было вскорости разглядеть; платье было на Пушкине из черного сукна, старого фасона и очень изношенное. В ногах дьячок читал псалтырь. Катафалк был низкий, и подсвечники весьма старые; вообще заметно было, что все устроено было как-то наскоро и что домашние и семья растерялись вследствие ужасной, внезапной потери. Даже комната, где покоилось тело, скорее походила на прихожую или опорожненный от шкафов буфет, чем на сколько-нибудь приличную столовую. Помню, что в дверях соседней гостиной я узнал в этот вечер В. А. Жуковского, кн. П. А. Вяземского и графа Г. А. Строганова.

Бар. Ф. А. Бюлер. – Рус. Арх., 1872, с. 202.

(30 янв. 1837 г.) Толпа публики стеною стояла против окон, завешанных густыми занавесами и шторами, стараясь проникнуть в

комнаты, где выставлено было тело Пушкина; но впуск был затруднителен, и нужно было даже пользоваться какою-нибудь протекцией... Мы нашли темно-фиолетовый бархатный гроб с телом Пушкина в полутемной комнате, освещенной только красноватым и мерцающим огнем от нескольких десятков восковых церковных свечей, вставленных в огромные шандалы, обвитые крепом. Комната эта, помнится, желтая, по-видимому, была столовая, так как в ней стоял огромный буфет. Окна два или три на улицу были завешены, а на какую-то картину, написанную масляными красками, и на довольно большое зеркало были наброшены простыни. Гроб стоял на катафалке в две ступеньки, обитом черным сукном с серебряными галунами. Катафалк помещен был против входной двери, в ногах был налой. Тело покойника, сплошь прикрытое белым крепом, было почти все задернуто довольно подержанным парчовым палевым покровом, по-видимому, взятым напрокат от гробовщика или церкви... Лицо покойника было необыкновенно спокойно и очень серьезно, но нисколько не мрачно. Ве-

ликолепные курчавые темные волосы были разметаны по атласной подушке, а густые бакенбарды окаймляли впалые щеки до подбородка, выступая из-под высоко завязанного черного, широкого галстука. На Пушкине был любимый его темно-коричневый с отливом (а не черный, как это описывал барон Бюлер) сюртук, в каком я видел его в последний раз, в ноябре 1836 г., на одном из воейковских вечеров.

В. П. Бурнашев. Воспоминания. – Рус. Арх., 1872, с. 1809–1811.

Я видал Пушкина в гробу, черты лица не изменились, только он начинает пухнуть, и кровь идет из рта. Он одет в черном фраке.

А. П. Языков – А. А. Катенину. – Описание Пушкинского музея Имп. Алекс. лица, с. 453.

Если не изменяет мне память, 30 января 1837 г., в 3 часа пополудни, я пошел на квартиру Пушкина. День был пасмурный и оттепель. У ворот дома стояли в треуголках двое квартальных с сытыми и праздничными физиономиями; около них с десятков любопыт-

ных прохожих. В гробовой комнате мы застали не более 30 человек – и то большею частью из учащейся молодежи да отдохавших в соседней комнате человек пять. Пушкин был в черном фраке, его руки в желтых перчатках из толстой замши. У головы стоял его камердинер – высокий красивый блондин, с продолговатым лицом, окаймленным маленькими бакенбардами, в синем фраке с золотыми пуговицами, белом жилете и белом галстуке, – который постоянно прыскал голову покойного одеколоном и рассказывал публике всем теперь известные эпизоды смерти Пушкина. Никого из близких покойному при гробе не было. При входе налево, в углу, стояли один на другом два простых сундука, на верхнем стул, на котором перед мольбертом сидел академик Бруни, снимавший портрет с лежавшего в гробу, головой к окнам на двор, Пушкина. У Бруни были длинные, крепко поседевшие волосы, а одет он был в какой-то светло-зеленый засаленный балахон. Полы во всех комнатах (порядочно потертые) были выкрашены красно-желтоватой краской, стены комнаты, где стоял гроб, – клевою яр-

ко-желтою. – По выходе из гробовой комнаты мы уселись отдохнуть в кабинете на диване перед столом, на котором, к величайшему удивлению, увидели с письменными принадлежностями в беспорядке наваленную кучу черновых стихотворений поэта. Мы с любопытством стали их рассматривать. Прислуга, возившаяся около буфета, конечно, видела очень хорошо наше любопытство, но ее главное внимание было поглощено укупоркой в ящики с соломой столовой посуды.

В. Н. Давыдов. – Рус. Стар., 1887, т. 54, с. 162.

31 янв., в половине второго, мы отправились на панихиду к Пушкину. Главный ход вел в комнаты, где находилась жена Пушкина, и отворялся только для ее посетителей; тех же, кто приходил поклониться телу Пушкина, вели по узенькой, грязной лестнице в комнату, где, вероятно, жила прислуга, и которую наскоро приубрали; возле находилась комната в два окна, похожая на лакейскую, и тут лежал Пушкин. Обстановка эта меня возмутила.

(Е. А. Драшусова). – Рус. Вестн., 1881, т. 155,

На другой день после смерти Пушкина тело его выставлено было в передней комнате перед кабинетом... Парадные двери были закрыты, входили и выходили в швейцарскую дверь, узенькую, вышиною в полтора аршина; на этой дверке написано было углем: Пушкин. 31 января, в два часа поутру, я вошел на крыльцо; из маленькой двери выходил народ; теснота и восковой дух, тишина и какой-то шепот. У двери стояли полицейские солдаты. Я взошел по узенькой лестнице... Во второй комнате стояли ширмы, отделявшие вход в комнаты жены; диван, стол, на столе бумага и чернильница. В следующей комнате стоял гроб, в ногах читал басом чтец в черной ризе, в головах живописец писал мертвую голову. Теснота. Трудно было обойти гроб. Я посмотрел на труп, он в черном сюртуке. Черты лица резки, сильны, мертвы, жилы на лбу напружинились, кисть руки большая, пальцы длинные, к концу узкие.

К. Н. Лебедев. Из записок сенатора. – Рус. Арх., 1910, т. II, с. 369–370.

Греч получил строгий выговор от Бенкендорфа за слова, напечатанные в «Северной Пчеле»: «Россия обязана Пушкину благодарностью за 22-х летние заслуги его на поприще словесности» (№ 24). Краевский, редактор «Литературных Прибавлений к Русскому Инвалиду», тоже имел неприятности за несколько строк, напечатанных в похвалу поэту. Я получил приказание вымарать совсем несколько таких же строк, назначавшихся для «Библиотеки для чтения».

И все это делалось среди всеобщего участия к умершему, среди всеобщего глубокого сожаления. Боялись – но чего?

А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. I, с. 284.

В первые дни после гибели Пушкина общественная печать как бы онемела: до того был силен гнет над печатью своенравного опекуна над великим поэтом – графа А. Х. Бенкендорфа. Цензура трепетала перед шефом жандармов, страшась вызвать его неудовольствие – за поблажку в пропуске в печать –

слов сочувствия к Пушкину. В одной лишь газете – «Литературные прибавления к «Русскому Инвалиду» – Андрей Александрович Краевский, редактор этих прибавлений, поместил несколько теплых, глубоко прочувствованных слов. Вот они («Литер. прибавления», 1837, № 5):

Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!.. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно; всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! наш поэт! наша радость, наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть! 29-го января 2 ч. 45 м. пополуночи.

Эти немногие строки вызвали весьма характерный эпизод.

А. А. Краевский, на другой же день по выходе номера газеты, был приглашен для объяснений к попечителю С.-Петербургского учебного округа князю М. А. Дундукову-Корса-

кову, который был председателем цензурного комитета. Необходимо заметить, что Краевский состоял тогда на службе в министерстве народного просвещения именно помощником редактора журнала министерства и членом археограф. комиссии, будучи, таким образом, вдвойне зависимым от министерства.

– Я должен вам передать, – сказал попечитель Краевскому, – что министр (Сергей Семенович Уваров) крайне, крайне недоволен вами! К чему эта публикация о Пушкине? Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека не чиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе? Ну, да это еще куда бы ни шло! Но что за выражения! «Солнце поэзии!» Помилуйте, за что такая честь? «Пушкин скончался... в середине своего великого поприща!» Какое это такое поприще? Сергей Семенович именно заметил: разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж?! Наконец, он умер без малого сорока лет! Писать стихи не значит еще, как выразился Сергей Семенович, проходить вели-

кое поприще! Министр поручил мне сделать вам, Андрей Александрович, строгое замечание и напомнить, что вам, как чиновнику министерства народного просвещения, особенно следовало бы воздержаться от таковых публикаций.

(П. А. Ефремов). – Рус. Стар., 1880, т. 28, с. 536.

(Сообщ. част. обр.) По случаю кончины А. С. Пушкина, без всякого сомнения, будут помещены в московских повременных изданиях статьи о нем. Желательно, чтобы при этом случае как с той, так и с другой стороны соблюдаема была надлежащая умеренность и тон приличия. Я прошу ваше сиятельство обратить внимание на это и приказать цензорам не дозволять печатания ни одной из вышеозначенных статей без вашего предварительного одобрения.

С. С. Уваров (мин. нар. просв.) – гр. С. Г. Строганову (попечителю Московского округа), 1 февр. 1837 г. – Щукинский Сборник, т. IV, с. 298.

Смирдин сказывал, что со дня кончины его продал он уже на 40 тыс. его сочинений. Толпа с утра до вечера у гроба.

А. И. Тургенев – Н. И. Тургеневу, 31 янв. 1837 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 61.

Студенты желали в мундирах быть на отпевании; их не допустят, вероятно. Также и многие департаменты, напр. духовных дел иностранных исповеданий. Одна так называемая *знать* наша или высшая аристократия не отдала последней почести гению русскому; почти никто из высших чинов двора, из генерал-адъютантов и пр. не пришел ко гробу Пушкина... Жена в ужасном положении; но иногда плачет. С каким нежным попечением он о ней в последние два дня заботился, скрывая от нее свои страдания.

А. И. Тургенев – А. И. Нефедьевой, 1 февр. 1837 г. – Там же, с. 66.

Вынос тела почившего в церковь должен был состояться вчера днем, но чтобы избежать манифестации при выражении чувств, обнаружившихся уже в то время, как тело бы-

ло выставлено в доме покойного, – чувств, которые подавить было бы невозможно, а поощрять их не хотели, – погребальная церемония была совершена в час пополуночи. По этой же причине участвующие были приглашены в церковь при Адмиралтействе, а отпевание происходило в Конюшенной церкви.

Бар. *Л. Геккерен-старший* – бар. *Верстолку*, 14 февр. 1837 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 299.

Вчера (30-го) народ так толпился, – исключая аристократов, коих не было ни у гроба, ни во время страдания, – что полиция не хотела, чтобы отпевали в Исакиевском соборе, а приказала вынести тело в полночь в Конюшенную церковь, что мы немногие и сделали, других не впускали. Публика ожесточена против Геккерена, и опасаются, что выбьют у него окна.

А. И. Тургенев – *Н. И. Тургеневу*, 31 янв. 1837 года. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 62.

Назначенную для отпевания церковь переменили, тело перенесли в нее ночью, с какою-то тайною, всех поразившею, без фак-

лов, почти без проводников; и в минуту выноса, на которую собралось не более десяти ближайших друзей Пушкина, жандармы наполнили ту горницу, где молились об умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражей проводили тело до церкви.

В. А. Жуковский – гр. А. Х. Бенкендорфу. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 255.

В день, предшествовавший ночи, в которую назначен был вынос тела, в доме, где собралось человек десять друзей и близких Пушкина, чтобы отдать ему последний долг, в маленькой гостиной, где мы все находились, очутился целый корпус жандармов. Без преувеличения можно сказать, что у гроба собрались в большом количестве не друзья, а жандармы. Не говорю о солдатских пикетах, расставленных по улице, но против кого была эта военная сила, наполнившая собою дом покойника в те минуты, когда человек двенадцать друзей его и ближайших знакомых собрались туда, чтобы воздать ему последний долг? Против кого эти переодетые, но всеми узнаваемые шпионы? Они были там, чтобы

не упускать нас из виду, подслушивать наши сетования, наши слова, быть свидетелями наших слез, нашего молчания.

Кн. П. П. Вяземский – вел. кн. Михаилу Павловичу, 14 февр. 1837 г. – Там же, с. 265.

На вынос тела из дому в церковь Наталья Николаевна Пушкина не явилась, от истомления и от того, что не хотела показываться жандармам.

Кн. В. Ф. Вяземская по записи П. И. Бартенева. – Рус.Арх., 1888, т. II, с. 305.

31 янв. На вынос в 12, т.е. полночь, явились жандармы, полиция, шпионы, – всего 10 штук, а нас едва ли столько было! Публику уже не пускали. В первом часу мы вывезли гроб в церковь Конюшенную, пропели заупокой, и я возвратился тихо домой.

А. И. Тургенев. Из дневника. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 271.

После смерти Пушкина я находился при гробе его почти постоянно до выноса тела в церковь, что в здании Конюшенного ведом-

ства. Вынос тела был совершен ночью, в присутствии родных Н. Н. Пушкиной, графа Г. А. Строганова и его жены, Жуковского, Тургенева, графа Виельгорского, Аркадия Ос. Россети, офицера генерального штаба Скалона и семейств Карамзиной и князя Вяземского. Вне этого списка пробрался по льду в квартиру Пушкина отставной офицер путей сообщения Веревкин, имевший, по объяснению А. О. Россети, какие-то отношения к покойному. Никто из посторонних не допускался. На просьбы А. Н. Муравьева и старой приятельницы покойника, графини Бобринской (жены графа Павла Бобринского), переданные мною графу Строганову, мне поручено было сообщить им, что никаких исключений не допускается. Начальник штаба корпуса жандармов Дубельт, в сопровождении около двадцати штаб- и обер-офицеров, присутствовал при выносе. По соседним дворам были расставлены пикеты. Развернутые вооруженные силы вовсе не соответствовали малочисленным и крайне смирным друзьям Пушкина, собравшимся на вынос тела. Но дело в том, что назначенный день и место выноса были изменены; список

лиц, допущенных к присутствованию в печальной процессии, был крайне ограничен, и самые энергические и вполне осязательные меры были приняты для недопущения лиц неприглашенных.

Кн. П. П. Вяземский. – П. И. Бартенев. Пушкин: сборник, кн. II, с. 69.

Наталья Николаевна Пушкина, с душевным прискорбием извещая о кончине супруга ее, Двора Е. И. В. Камер-Юнкера **Александра Сергеевича Пушкина**, последовавшей в 29 день сего января, покорнейше просит пожаловать к отпеванию тела в Исакиевский собор, состоящий в Адмиралтействе, 1-го числа февраля в 11 часов до полудня.

Приглашение на отпевание Пушкина. – Соч. Пушкина, изд. Брокг.–Ефр., т. VI, с. 317.

Нынешний Исакиевский собор тогда еще строился[237], а Исакиевским собором называлась церковь в здании Адмиралтейства, к которой Пушкин был прихожанином, живя на Мойке.

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1879, т. I, с. 395.

Билеты приглашенным были разосланы без всякого выбора; Пушкин был знаком целому Петербургу; дипломатический корпус приглашен был потому, что Пушкин был знаком со всеми его членами; для назначения же тех, кому посылать билеты, сделали просто выписку из реестра, который взят был у графа Воронцова.

В. А. Жуковский – гр. *А. Х. Бенкендорфу*. – П. *Е. Щеголев*. Дуэль, с. 254.

Утром многие приглашенные на отпевание и желавшие отдать последний долг Пушкину являлись в Адмиралтейство, с удивлением находили двери закрытыми и не могли найти никого для объяснения такого обстоятельства. В это время происходило отпевание в Конюшенной церкви, куда приезжавших пускали по билетам.

М. Н. Лонгинов. – *Совр. летопись*, 1863, № 18, с. 13.

Живы еще лица, помнящие, как *С. С. Уваров* явился бледный и сам не свой в Коню-

шенную церковь на отпевание Пушкина и как от него сторонились.

П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1888, т. II, с. 297.

Я стояла близ гроба, в группе дам, между которыми находилась Ел. Мих. Хитрово. Заливаясь слезами, выражая свое сожаление о кончине Пушкина, она шепнула мне сквозь слезы, кивнув головою на стоявших у гроба официантов, во фраках, с пучками разноцветных лент на плечах:

– Посмотрите, пожалуйста, на этих людей: какая бесчувственность! Хоть бы слезинку проронили! – Потом она тронула одного из них за локоть. – Что же ты, милый, не плачешь? Разве тебе не жаль твоего барина?

Официант обернулся и отвечал невозмутимо:

– Никак нет-с... Мы, значит, от гробовщика, по наряду!

А. М. Каратыгина-Колосова. Воспоминания. – Рус. Стар., 1880, т. 28, с. 572.

Между прочими подробностями о смерти и отпевании Пушкина А. И. Тургенев сообщил

(тригорским соседкам Пушкина), что уважение к памяти поэта в громадных толпах народа, бывших на его отпевании в Конюшенной церкви, было до того велико, что все полы сюртука Пушкина были разорваны в лоскутки и он оказался лежащим чуть не в куртке; бакенбарды его и волосы на голове были тщательно обрезаны его поклонницами.

М. И. Семевский. К биографии Пушкина. – Рус. Вестн., 1869, нояб., с. 92.

Отпевание тела его происходило в церкви Спаса в Конюшенной 1-го февраля в 11 часов утра... Перед церковью, для отдания последнего долга любимому писателю, стеклись во множестве люди всякого звания. Трогательно было видеть вынос гроба из церкви: И. А. Крылов, В. А. Жуковский, кн. П. А. Вяземский и другие литераторы и друзья покойного несли гроб.

М. А. Коркунов. Письмо к издателю Моск. Вед. СПб., 4 февр. 1837 г. – Пушкин и его современники, вып. VIII, с. 83.

Прах Пушкина принял последнее целова-

ние родных и друзей. В. А. Жуковский обнял бездыханное тело его и долго держал его безмолвно на груди своей.

П. В. Анненков. Материалы, с. 422.

Современники-свидетели передавали нам, что во время отпевания обширная площадь перед церковью представляла собою сплошной ковер из человеческих голов, и что когда тело совсем выносили из церкви, то шествие на минуту запнулось; на пути лежал кто-то большого роста, в рыданиях. Его попросили встать и посторониться. Это был кн. П. А. Вяземский.

П. И. Бартенев. – Рус. Арх., 1879, т. I, с. 397.

Похороны г. Пушкина отличались особенною пышностью и в то же время были необычайно трогательны. Присутствовали главы всех иностранных миссий, за исключением графа Дерама (*английского посла*) и кн. Суццо (*греческого посла*) – по болезни, барона Геккерена, который не был приглашен, и г. Либермана (*прусского посла*), отклонившего приглашение вследствие того, что ему сказали,

что названный писатель подозревался в либерализме в юности, бывшей, действительно, весьма бурною, как молодость многих гениев, подобных ему.

Бар. К. А. *Лютцероде* в донесении саксонскому правительству 8 февр. 1837 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 375.

Долг чести повелевает мне не скрыть от вас того, что общественное мнение высказалось при кончине г. Пушкина с большей силой, чем предполагали. Но необходимо выяснить, что это мнение принадлежит не высшему классу, который понимал, что в таких роковых событиях мой сын по справедливости не заслуживает ни малейшего упрека. Чувства, о которых я говорю, принадлежат лицам из третьего сословия, если так можно назвать в России класс, промежуточный между настоящей аристократией и высшими должностными лицами, с одной стороны, и народной массой, совершенно чуждой событию, о котором она и судить не может, – с другой. Сословие это состоит из литераторов, артистов, чиновников низшего разряда, национальных

коммерсантов высшего полета и т.д.

Бар. Л. Геккерен-старший – бар. Верстолку,
14 февр. 1837 г. – Там же, с. 299.

(1 февр.) Похороны Пушкина. Это были действительно народные похороны. Все, что сколько-нибудь читает и мыслит в Петербурге, – все стекалось к церкви, где отпевали поэта. Это происходило в Конюшенной. Площадь была усеяна экипажами и публикою, но среди последней – ни одного тулупа или зипуна. Церковь была наполнена знатью. Весь дипломатический корпус присутствовал. Впускали в церковь только тех, которые были в мундирах или с билетом. На всех лицах лежала печаль, по крайней мере наружная. Я прощался с Пушкиным: «И был странен тихий мир его чела». Впрочем, лицо уже значительно изменилось: его успело коснуться разрушение. Мы вышли из церкви с Кукольником.

– Утешительно по крайней мере, что мы все-таки подвинулись вперед, – сказал он, указывая на толпу, пришедшую поклониться праху одного из лучших своих сынов.

Народ обманули: сказали, что Пушкина бу-

дут отпевать в Исакиевском соборе – так было означено и на билетах, а между тем тело было из квартиры вынесено ночью, тайком, и поставлено в Конюшенной церкви. В университете получено строгое предписание, чтобы профессора не отлучались от своих кафедр и студенты присутствовали бы на лекциях. Я не удержался и выразил попечителю свое приискорбие по этому поводу. Русские не могут оплакивать своего согражданина, сделавшего им честь своим существованием! Иностранцы приходили поклониться поэту в гробу, а профессорам университета и русскому юношеству это воспрещено. Они тайком, как воры, должны были прокрадываться к нему.

А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. I, с. 284.

Граф Фикельмон явился на похороны в звездах; были Барант и другие. Но из наших ни Орлов, ни Киселев не показались. Знать стала навещать умиравшего поэта, только прослышав об участливом внимании царя.

А. О. Россет по записи П. И. Бартенева. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 248.

В университете положительно не обнаружилось тогда ни малейшего волнения, и если бы Уваров не дал накануне знать, что он посетит аудитории в самый день похорон, то едва ли пошло бы много студентов на Конюшенную площадь. Граф Уваров нашел в университете одних казенных студентов. Вообще же впечатление кончины Пушкина на студентов было незначительное.

Кн. П. П. Вяземский. Соч., с. 560.

Многие студенты сговорились вместе идти на похороны Пушкина, но не знали, откуда будут похороны, – все полагали, что из Адмиралтейской церкви. Оказалось, отпевание было в Конюшенной церкви. Толпами мы бросились сперва к Адмиралтейской, а потом к Конюшенной площади, но здесь трудно было протолкаться через полицию, и только некоторые счастливицы получили доступ в церковь. Я оставался с другими на площади. На вопрос проходящего, кого хоронят, жандарм ничего не ответил, будочник – что не может знать, а квартальный надзиратель – что ка-

мер-юнкера Пушкина. Долго ждали мы окончания церковной службы; наконец на паперти стали появляться лица в полной мундирной форме; военных было немного, но большое число придворных (вероятно, по случаю того же камер-юнкерства); в черных фраках были только лакеи, следовавшие перед гробом, красным с золотом позументом; регалий и воспоминаний из жизни поэта никаких. Гроб вынесен был на улицу посреди пестрой толпы мундиров и салопов, что мало соответствовало тому чувству, которое в этот момент наполняло наши юношеские души. Притом все это мелькнуло перед нами только на один миг. С улицы гроб тотчас же вынесен был в расположенные рядом с церковью ворота в Конюшенный двор, где находился заупокойный подвал, для принятия тела до его отправления в Псковскую губернию. Живо помню, как взоры наши следили в глубину ворот за гробом, пока он не исчез, – вот все, чем ознаменовалось участие молодежи в погребении русской гражданской славы!

М.-Н.[238] Воспоминания из дальних лет. – Рус. Стар., 1881, т. 31, май, с. 160.

Пушкин соединял в себе два единых существа: он был великий поэт и великий либерал, ненавистник всякой власти. Осыпанный благодеяниями государя, он, однако же, до самого конца жизни не изменился в своих правилах, а только в последние годы стал осторожнее в изъятии оных. Сообразно сим двум свойствам Пушкина образовался и круг его приверженцев. Он состоял из литераторов и из всех либералов нашего общества. И те, и другие приняли живейшее, самое пламенное участие в смерти Пушкина; собрание посетителей при теле было необыкновенное; отпевание намеревались делать торжественное, многие располагали следовать за гробом до самого места погребения в Псковской губернии; наконец, дошли слухи, что будто в самом Пскове предполагалось выпрячь лошадей и везти гроб людьми, приготовив к этому жителей Пскова. – Мудрено было решить, не относились ли все эти почести более к Пушкину-либералу, нежели к Пушкину-поэту. – В сем недоумении и имея в виду отзывы многих благомыслящих людей, что подобное как

бы народное изъявление скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картину торжества либералов, – высшее наблюдение признало своею обязанностью мерами негласными устранить все почести, что и было исполнено.

Отчет о действиях корпуса жандармов за 1837 год. – А. С. Поляков. О смерти Пушкина, с. 46.

Смерть Пушкина представляется здесь как несравнимая потеря страны, как общественное бедствие. Национальное самолюбие возбуждено тем сильнее, что враг, переживший поэта, – иноземного происхождения. Громко кричат о том, что было бы невыносимо, чтобы французы могли безнаказанно убить человека, с которым исчезла одна из самых светлых национальных слав. Эти чувства проявились уже во время похоронных церемоний по греческому ритуалу, которые имели место сначала в квартире покойного, а потом на торжественном богослужении, которое было совершено с величайшею торжественностью в придворной Конюшенной церкви, на кото-

ром почли долгом присутствовать многие члены дипломатического корпуса. Думаю, что со времени смерти Пушкина и до перенесения его праха в церковь в его доме перебивало до 50 000 лиц всех состояний, многие корпорации просили о разрешении нести останки умершего. Шел даже вопрос о том, чтобы отпрячь лошадей траурной колесницы и предоставить несение тела народу; наконец, демонстрации и оvationи, вызванные смертью человека, который был известен за величайшего атеиста, достигли такой степени, что власть, опасаясь нарушения общественного порядка, приказала внезапно переменить место, где должны были состояться торжественные похороны, и перенести тело в церковь ночью.

А. Либерман (прусский посланник при русском дворе) в донесении своему правительству, 2–14 февр. 1837 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 384.

Стечение было многочисленное по улицам, ведущим к церкви, и на Конюшенной площади; но народ в церковь не пускали. Ед-

ва достало места и для блестящей публики. Толпа генералов-адъютантов, гр. Орлов, кн. Трубецкой, гр. Строганов, Перовский, Сухозанет, Адлерберг, Шипов и пр. Посол французский с растроганным выражением, искренним, так что кто-то прежде, слышав, что из знати немногие о Пушкине пожалели, сказал: «Барант и Герпера sont les seules Russes dans tout cela!» (во всем этом – единственные русские!).

А. И. Тургенев – А. И. Нефедьевой, 1 февр. 1837 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 67.

Лицо Баранта: единственный русский – вчера еще, но сегодня генерал– и флигель-адъютанты.

А. И. Тургенев. Из дневника. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 271.

Австрийский посол, неаполитанский, саксонский, баварский, и все с женами и со свитами. Чины двора, министры некоторые: между ними – и Уваров; смерть – примиритель. Дамы, красавицы, и модниц множество; Хитрово – с дочерьми, гр. Бобринский, акте-

ры: Каратыгин и пр. Журналисты, авторы – Крылов последний из простившихся с холодным телом. Кн. Шаховской. Молодежи множество. Служил архимандрит и шесть священников. Рвались – к последнему целованию. Друзья вынесли гроб; но желавших так много, что теснотой разорвали фрак надвое у кн. Мещерского. Тут и Энгельгардт – воспитатель его в царскосельском лицее; он сказал мне: восемнадцатый из моих умирает, т.е. из первого выпуска лицея. Все товарищи поэта по лицу явились. Мы на руках вынесли гроб в подвал на другой двор; едва нас не раздавили. Площадь вся покрыта народом, в домах и на набережных Мойки тоже.

А. И. Тургенев – А. И. Нефедьевой, 1 февр. 1837 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 68.

Сегодня (1 февр.), еще прежде дуэля, назначена и в афишках объявлена была для бенефиса Каратыгина пиеса Пушкина: «Скупой Рыцарь, сцены из Ченстовой трагикомедии». Каратыгин по случаю отпевания Пушкина отложил бенефис до завтра, но пиесы этой – играть не будут! – вероятно опасаются излишне-

го энтузиасма...

А. И. Тургенев – А. И. Нефедьевой, 1 февр. 1837 г. – Там же, с. 66.

Тело Пушкина до дня похорон поставили в склеп Конюшенной церкви, и там поклонения продолжались. А дамы так даже ночевали в склепе, и самой яркой из них оказалась тетюшка моя Агр. Фед. Закревская. Сидя около гроба в мягком кресле и обливаясь горячими слезами, она знакомила ночевавших с нею в склепе барынь с особенными интимными чертами характера дорогого ей человека. Повела, что Пушкин был в нее влюблен без памяти, что он ревновал ее ко всем и каждому. Что еще недавно в гостях у Соловых он, ревнуя ее за то, что она занималась с кем-то больше, чем с ним, разозлился на нее и впустил ей в руку свои длинные ногти так глубоко, что показалась кровь. И тетка с гордостью показывала любопытным барыням повыше кисти видные еще следы глубоких царапин. А потом она еще рассказывала, что в тот же вечер, прощаясь с нею, Пушкин шепнул ей на ухо: «Peut etre, vous ne me reverrez jamais»[239]

. И точно, она его живым больше не видала. Тетка Агр. Фед-на, рассказывая все это во время бессонных ночей в склепе, не сфантазировала ни слова, а говорила только всю правду. Пушкин точно был большой поклонник прекрасного пола, а Закревская была очень хороша собой... Кроме того, она была бесспорно умная, острая женщина (немного легкая на слово), но это не мешало тому, чтоб Пушкин любил болтать с ней, читал ей свои произведения и считал ее другом. А он был так самолюбив, что не мог перенести, чтоб женщина, которую он удостаивает своим вниманием, хотя на минуту увлеклась разговором с кем-нибудь другим.

М. Ф. Каменская. Воспоминания. – Историч. Вестн., 1894, т. 58, с. 64.

От глубоких огорчений, от потери мужа жена Пушкина была больна, она просила государя письмом позволить Данзасу проводить тело ее мужа до могилы, так как по случаю тяжелой болезни она не могла исполнить этого сама.

А. Н. Аммосов со слов *К. К. Данзаса*. Послед-

ние дни Пушкина, с. 39.

Я немедленно доложил его величеству просьбу г-жи Пушкиной дозволить Данзасу проводить тело в его последнее жилище. Государь отвечал, что он сделал все, от него зависевшее, дозволил подсудимому Данзасу остаться до сегодняшней погребальной церемонии при теле его друга; что дальнейшее снисхождение было бы нарушением закона – и следовательно невозможно; но он прибавил, что Тургенев, давнишний друг покойного, ни в чем не занятый в настоящее время, может отдать этот последний долг Пушкину и что он уже поручил ему проводить тело.

Гр. А. Х. Бенкендорф – гр. Г. А. Строганову. – А. Н. Аммосов. Последние дни Пушкина, с. 68.

(2 февр.) Жуковский с письмом гр. Бенкендорфа к гр. Строганову, – о том, что вместо Данзаса назначен, в качестве старого друга, отдать ему последний долг. Я решился принять... На панихиду. Тут граф Строганов представил мне жандарма; о подорожных и крестьянских подставах. Куда еду – еще не знаю. Заколотили Пушкина в ящик. Вяземский по-

ложил с ним свою перчатку.

А. И. Тургенев. Из дневника. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 272–273.

Донесли, что Жуковский и Вяземский положили свои перчатки в гроб, – и в этом видели что-то и к кому-то враждебное.

А. И. Тургенев – Н. Н. Тургеневу, 28 февр. 1837 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 92.

(3-го февр.) в полночь мы отправились из Конюшенной церкви, с телом Пушкина, в путь; я с почтальоном в кибитке позади тела; жандармский капитан впереди одного. Дядька покойного желал также проводить останки своего доброго барина к последнему его жилищу, куда недавно возил он же и тело его матери; он стал на дрогах, кои везли ящик с телом, и не покидал его до самой могилы.

А. И. Тургенев – А. И. Нефедьевой, 9 февр. 1837 г. – Там же, с. 71.

Старый дядька Пушкина, Никита Козлов, находился при нем в малолетстве, потом состоял при нем все время пребывания в псков-

ской его деревне и оставался до последней минуты жизни его. Ему же поручено было отвезти тело А. С-ча в монастырь, где он и погреб его.

Н. И. Тарасенко-Отрешков – В. П. Головиной
– Историч. Вестн., 1894, т. 58, с. 778.

Старый дядька Пушкина, Никита Козлов, можно сказать, не покидал своего питомца от колыбели до могилы. Он был, помнится, при нем и в Москве. Не знаю, был ли при нем верный дядька в лицее и позже в Одессе и Бессарабии, но он был с ним и в сельце Михайловском, и на пути его из столицы в последний приют, в Святогорский монастырь.

Н. В. Сушков. Раут. М., 1851, с. 8–9.

(Жандармский полковник Ракеев.) – Я провождал... Назначен был шефом нашим препроводить тело Пушкина. Один я, можно сказать, и хоронил его. Человек у него был... что за преданный был слуга! Смотреть даже было больно, как убивался. Привязан был к покойнику, очень привязан. Не отходил почти от гроба: ни ест, ни пьет.

М. И. Михайлов. Из дневника. – Рус. Стар., 1906, т. 127, с. 391.

Жена моя возвращалась из Могилева и на одной станции неподалеку от Петербурга увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожею. Три жандарма суетились на почтовом дворе, хлопотали о том, чтобы скорее перепрячь курьерских лошадей и скакать дальше с гробом.

– Что это такое? – спросила моя жена у одного из находившихся здесь крестьян.

– А бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит – его мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости господи – как собаку.

А. В. Никитенко. Дневник, 12 февр. 1837 г. – А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. I, с. 286.

(4-го февр.) Перед гробом и мною скакал жандармский капитан. Проехали Софию, в Гатчине рисовались дворцы и шпиц протестантской церкви, в Луге или прежде пил чай. Тут вошел в церковь. На станции перед Псковом встреча с камергером Яхонтовым,

который вез письмо Мордвинова к Пещурову, но не сказал мне о нем. Я поил его чаем и обогнал его; приехал к 9 часам в Псков, прямо к губернатору – на вечеринку. Яхонтов скоро и прислал письмо Мордвинова, которое губернатор начал читать вслух, но дошел до высочайшего повеления – о не встрече – тихо и показал только мне – именно тому, кому казать не должно было: сцена хоть бы из комедии!

А. И. Тургенев. Из дневника. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 273.

Милостивый Государь Алексей Никитыч! Г. действ. ст. сов. Яхонтов, который доставит сие письмо вашему превосходительству, сообщит вам наши новости. Тело Пушкина везут в Псковскую губернию для предания земле в имении его отца. – Я просил г. Яхонтова передать вам по сему случаю поручение графа Ал. Хр. (*Бенкендорфа*), но вместе с тем имею честь сообщить вашему превосходительству волю государя императора, чтобы вы воспретили всякое особенное изъявление, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему церковно-

му обряду исполняется при погребении тела дворянина. К сему не излишним считаю, что отпевание тела уже совершено.

А. Н. Мордвинов – А. Н. Пещурову, 2 февр. 1837 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. VI, с. 109.

(5 февр.) В 1 час пополудни отправились сперва в Остров, за 56 верст, где исправник и городничий нас встретили и послали с нами чиновника далее; оттуда за пятьдесят верст к Осиповой – в Тригорское, где уже был в три часа пополудни. За нами прискакал и гроб в седьмом часу вечера; гроб оставил я на последней станции с почтальоном и дядькой. Осипова послала, по моей просьбе, мужиков рыть могилу; вскоре и мы туда поехали с жандармом; зашли к архимандриту; он дал мне описание монастыря; рыли могилу; между тем, я осмотрел, хотя и ночью, церковь, ограду и здания. Условились приехать на другой день и возвратились в Тригорское. Повстречали тело на дороге, которое скакало в монастырь. Гроб внесли в верхнюю церковь и поставили до утра там. Напились чаю, я уложился спать жандарма и сам остался мыслить

вслух о Пушкине с милыми хозяйками; читал альбум со стихами Пушкина, Языкова и проч. Дочь (*Мария Ивановна Осипова*) пленяла меня: мы подружились. В 11 часов я лег спать. На другой день (6 февраля), в 6 часов утра, отправились мы – я и жандармы – опять в монастырь, – все еще рыли могилу; моим гробокопателям помогали крестьяне Пушкина, узнавшие, что гроб прибыл туда; мы отслужили панихиду в церкви и вынесли на плечах крестьян и дядьки гроб в могилу – немногие плакали. Я бросил горсть земли в могилу; выронил несколько слез и возвратился в Тригорское. Там предложили мне ехать в Михайловское, и я поехал с милой дочерью, несмотря на желание и на убеждение жандарма не ездить, а спешить в обратный путь. Дорогой Марья Ивановна объяснила мне Пушкина в деревенской жизни его, показывала урочища, любимые сосны, два озера, покрытых снегом, и мы вошли в домик поэта, где он прожил свою ссылку и написал лучшие стихи свои. Все пусто. Дворник, жена его плакали.

А. И. Тургенев. Из дневника. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 274. Дополнено по: письмо А. И. Тур-

генева к А. И. Нефедьевой, 9 февр. 1837 г. – Там же, с. 72.

Кто бы сказал, что даже дворня (*Тригорско-го*), такая равнодушная по отношению к другим, плакала о нем! В Михайловском г. Тургенев был свидетелем такого же горя.

Бар. Б. А. Вревский – С. Л. Пушкину, 21 марта 1837 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. VIII, с. 63.

Они (*Пушкин и его мать*) лежат теперь под одним камнем, гораздо ближе друг к другу после смерти, чем были в жизни.

Ал. Н. Вульф. Дневник, 21 марта 1842 г. – Л. Н. Майков, с. 217.

Эпилог

Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев! Как мог ты это допустить? Наш круг редееет; пора и нам убираться...

Ф. Ф. Матюшкин – М. Л. Яковлеву, 14 февр. 1837 г., из Севастополя. – Я. К. Грот, с. 74.

Со 2 января до настоящего времени я был непрерывно в делах против чеченцев, и наш отряд не имел связи ни с чем... Эта ужасная новость меня сразила, я, как сумасшедший, не знаю, что делаю и что говорю... Если бы у меня было сто жизней, я все бы их отдал, чтобы выкупить жизнь брата. В гибельный день его смерти я слышал вокруг себя свист тысяч пуль, – почему не мне выпало на долю быть сраженным одною из них, – мне, человеку одинокому, бесполезному, уставшему от жизни и вот уже десять лет бросающему ее всякому, кто захочет.

Л. С. Пушкин – С. Л. Пушкину, 19 марта 1837 г., с Кавказа. – Пушкин и его совр-ки, вып. VIII,

После смерти брата Лев, сильно огорченный, хотел ехать во Францию и вызвать на поединок Дантеса; но приятели отговорили его от этого намерения.

Кн. П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 239.

Пушкин, это высокое создание, оставил мир, в котором он *не был счастлив*.

А. Н. Карамзин – своей матери Е. А. Карамзиной, 12 февр. 1837 г. – Старина и Новизна, кн. XVII, с. 292.

Жизнь Пушкина была мучительная, – тем более мучительная, что причины страданий были все мелкие и внутренние, для всех тайные. Наши врали-журналисты, ректоры общего мнения в литературе, успели утвердить в толпе своих прихожан мысль, что Пушкин упал; а Пушкин только что созрел, как художник, и все шел в гору, как человек, и поэзия мужала с ним вместе. Но мелочи ежедневной, обыкновенной жизни: они его убили.

В. А. Жуковский – И. И. Дмитриеву, от 12 марта 1837 г. – Рус. Арх., 1863, с. 1642.

Пушкин был прежде всего жертвою (будь сказано между нами) бестактности своей жены и ее неумения вести себя, жертвою своего положения в обществе, которое, льстя его тщеславию, временами раздражало его – жертвою своего пламенного и вспыльчивого характера, недоброжелательства салонов и в особенности жертвою жестокой судьбы, которая привязалась к нему, как к своей добыче, и направляла всю эту несчастную историю.

Кн. П. А. Вяземский – кн. О. А. Долгоруковой, 7 апр. 1837 г. – Кр. Арх., 1929, т. II, с. 231.

Епраксия Николаевна Вревская была с покойным Александром Сергеевичем все последние дни его жизни. Она находит, что он счастлив, что избавлен этих душевных страданий, которые так ужасно его мучили последнее время его существования.

Бар. Б. А. Вревский – И. И. Павлищеву, 28 февр. 1837 г., из Голубова. – Пушкин и его совр-ки, вып. XII, с. 111.

Хомяков справедливо полагает, что Пушкин был утомлен жизнью и что он воспользовался первым поводом для того, чтобы от нее отделаться, так как анонимный пасквиль не составляет оскорбления, делающего поединок неизбежным. Охлаждение русского общества к поэту, материальные стеснения, столкновения с министром и, наконец, огорчения, вызванные кокетством его жены, привели его к горестной катастрофе.

В. А. Муханов. Из дневника, 2 февр. 1837 г. – Моск. Пушкинист, вып. I, 1927, с. 56 (*фр.*).

Жалкая репетиция Онегина и Ленского, жалкий и слишком ранний конец. Причины к дуэли порядочной не было, и вызов Пушкина показывает, что его бедное сердце давно измучилось и что ему хотелось рискнуть жизнью, чтобы разом от нее отделаться или ее возобновить. Его Петербург замучил всякими мерзостями; сам же он чувствовал себя униженным и не имел ни довольно силы духа, чтобы вырваться из унижения, ни довольно подлости, чтобы с ним помириться... Пушкин

не оказал твердости в характере (но этого от него и ожидать было нельзя), ни тонкости, свойственной его чудному уму. Но страсть никогда умна быть не может. Он отшатнулся от тех, которые его любили, понимали и окружали дружбою почти благоговейной, а пристал к людям, которые его принимали из милости. Тут усыпил он надолго свой дар высокий и погубил жизнь, прежде чем этот дар проснулся (если ему было суждено проснуться).

А. С. Хомяков – Н. М. Языкову, в февр. 1837 г. – Соч. А. С. Хомякова, т. VIII, с. 89–90.

Вглядитесь во все беспристрастно, и вы почувствуете, что способности к басовым аккордам не доставало не в голове Пушкина и не в таланте его, а в душе, слишком непостоянной и слабой, или слишком рано развращенной и уже никогда не находившей в себе сил для возрождения (Пушкин измельчался не в разврате, а в салоне). Оттого-то вы можете им восхищаться или лучше не можете не восхищаться, но не можете ему благоговейно кланяться.

А. С. Хомяков – И. С. Аксакову, в 1859 г. – Там же, с. 382.

Здесь все тихо, и одна трагическая смерть Пушкина занимает публику и служит пищей разным глупым толкам. Он умер от раны за дерзкую и глупую картуль, им же писанную, но, слава богу, умер христианином.

Имп. Николай I – кн. И. Ф. Паскевичу, 4 февр. 1837 г. – Рус. Арх., 1897, т. I, с. 19.

Жаль Пушкина, как литератора, в то время, когда его талант созревал; но человек он был дурной.

Кн. И. Ф. Паскевич – имп. Николаю I.

Мнение твое о Пушкине я совершенно разделяю, и про него можно справедливо сказать, что в нем оплакивается будущее, а не прошедшее.

Имп. Николай I – кн. И. Ф. Паскевичу, 22 февр. 1837 г. – Рус. Арх., 1897, т. I, с. 19.

Жаль поэта – и великая, а человек был дрянной. Корчил Байрона, а пропал, как заяц.

Жена его, право, не виновата. Ты знал фигуру Пушкина; можно ли было любить, особенно пьяного!

Ф. В. Булгарин – А. Я. Стороженке, 4 февр. 1837 г. – Стороженки. Фамильный архив. Киев, 1907, т. III, с. 29.

Вот и стихотворец Пушкин умер от поединка. Он был хороший стихотворец; но худой сын, родственник и гражданин. Я его знал в Пскове, где его фамилия.

Митрополит Евгений (Казанцев) – И. М. Снегиреву, 15 февр. 1837 г. – Стар. Рус. земли. Исслед. и статьи И. М. Снегирева, СПб., 1871, т. I, кн. I, с. 135.

Пушкин остался должен Шишкиной 12 500 р. асс., взятых у нее в разное время под залог шалей, жемчуга и серебра.

Прошение *Е. В. Шишкиной* в Опекунство от 20 февр. 1838 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIII, с. 96.

Всего долгов Пушкина уплачено было опекой по 50 счетам около 120 000 руб.

Б. Л. Модзалевский. Архив Опеки над детьми и имущ. Пушкина. – Там же, вып. III, с. 97.

Мне хочется иметь на память от Пушкина камышевую желтую его палку, у которой в набалдашник вделана пуговица с мундира Петра Великого.

А. А. Краевский – кн. *В. Ф. Одоевскому*, 15 февр. 1837 г. – *Рус. Стар.*, 1904, т. 118, с. 570.

Мне достался от вдовы Пушкина дорогой подарок: перстень с изумрудом, который он всегда носил последнее время и называл, – не знаю почему, – талисманом; досталась от Жуковского последняя одежда Пушкина, после которой одели его, только чтобы положить в гроб. Это черный сюртук с небольшою, в ноготок, дырочкою против правого паха.

В. И. Даль. – *Л. Н. Майков*, с. 419.

Превосходнейшим изображением великого поэта, по счастливому случаю, останется для потомства бюст, сделанный С. И. Гальбергом; сходство, простота в движении, превос-

ходная отделка, постоянные достоинства нашего скульптора и здесь сохранили свои обычные места.

(Н. В. Кукольник). – Худож. Газета, 1837, № 9–10, с. 162.

Небольшая фигурка в рост сделана молодым нашим художником А. И. Теребеневым. В голове много сходства; в самой фигуре и costume можно бы пожелать и большей точности, и большей простоты.

(Н. В. Кукольник). – Худож. Газета, 1837, № 9–10, с. 61.

В 1838 г. Уткин награвировал вновь портрет поэта по Кипренскому, с большой близостью к оригиналу в costume и с передачей рук, но с новыми отступлениями в изображении черт лица. Выражение глаз другое, нос короче, выступление челюсти и губ более скрадено, подбородок шире... С этой доски были сделаны отпечатки для посмертного издания сочинений поэта 1838–41 г., а впоследствии для издания Анненкова 1857 г. Ровинский и другие признавали эту гравюру не

столь удачной и менее сходной, чем первая.

Д. Н. Анучин. Антропол. эскиз, с. 37.

Поручик барон Геккерен имеет пулевую проникающую рану на правой руке ниже локтевого сустава на четыре поперечных перста; вход и выход пули в небольшом один от другого расстоянии. Обе раны находятся в сгибающих персты мышцах, окружающих лучевую кость более к наружной стороне. Раны простые, чистые, без повреждения костей и больших кровеносных сосудов... Больной может ходить по комнате, разговаривать свободно, ясно и удовлетворительно, руку носит на повязке и, кроме боли в раненом месте, жалуется также на боль в правой верхней части брюха, где вылетевшая пуля причинила контузию, каковая боль обнаруживается при глубоком вдыхании, хотя наружных знаков контузии не заметно.

Штаб-лекарь *Стефанович* в рапорте от 5 февр. 1837 г. – Дуэль Пушкина, с. 32.

Поведение жены Жоржа было безукоризненно при данных обстоятельствах: она уха-

живала за ним с самою нежною заботливостью и радуется возможности покинуть страну, где счастливой уже быть не может.

Бар. *Л. Геккерен-старший* – г-же *Дантес*, 29 марта 1837 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 316.

Генерал-Аудиториат... полагал: Геккерена за вызов на дуэль и убийство на оной камер-юнкера Пушкина, лишив чинов и приобретенного им российского дворянского достоинства, написать в рядовые, с определением на службу по назначению инспекторского департамента. Подсудимый же подполковник Данзас виновен в противузаконном согласии быть при дуэли со стороны Пушкина секундантом и в непринятии всех зависящих мер к отвращению сей дуэли... Генерал-Аудиториат... достаточным полагал: вменив ему, Данзасу, в наказание бытность под судом и арестом, выдержать сверх того под арестом в крепости на гауптвахте два месяца и после того обратить по-прежнему на службу. Преступный же поступок самого камер-юнкера Пушкина, подлежавшего равному с подсудимым Геккереном наказанию... по случаю его

смерти предать забвению.

На всеподданнейшем докладе в 18 день сего марта последовала собственноручная его величества высочайшая конфирмация: «Быть по сему, но рядового Геккерена, как не русско-го подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты».

Дуэль Пушкина, с. 151.

Одна горничная (русская) восторгается твоим умом и всей твоей особой, что тебе равного она не встречала во всю свою жизнь и что никогда не забудет, как ты пришел ей похвастаться своей фигурой в сюртуке.

Е. Н. Дантес-Геккерен – бар. Ж. Дантесу-Геккерену. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 310 (фр.)

19 марта в 9 часов утра к Геккерену явился жандармского дивизиона унтер-офицер Яков Новиков, долженствовавший сопровождать его до границы. В 11 часов ему было дозволено свидание с отцом и женою. Об этом свидании есть следующее донесение:

«По приказанию вашего превосходитель-

ства дозволено было рядовому Геккерену свидание с женою его в квартире посланника барона Геккерена; при сем свидании находились: жена рядового Геккерена, отец его – посланник и некто графиня Строганова. При свидании я вместе с адъютантом вашего превосходительства был безотлучно. Свидание продолжалось всего один час. Разговоров, заслуживающих особенного внимания, не было. Вообще в разжалованном Геккерене незаметно никакого неудовольствия, напротив, он изъявил благодарность к государю-императору за милость к нему и за дозволение, данное его жене, бывать у него ежедневно во время его содержания под арестом. Между прочим говорил он, что по приезде его в Баден он тотчас явится к его высочеству вел. кн. Михаилу Павловичу. Во все время свидания рядовой Геккерен, жена его и посланник Геккерен были совершенно покойны; при прощании их не замечено никаких особых чувств. Рядовой Геккерен отправлен мною в путь с наряженным жандармским унтер-офицером в 13/4 пополудни».

23 марта Геккерен был уже в Таурогене, –

восемьсот верст в четверо суток!

В. В. Никольский (по данным архива главного штаба). – Рус. Стар., 1880, т. 29, с. 429.

19 марта 1837 г. Встретил Дантеса, в санях с жандармом, за ним другой офицер, в санях. Он сидел бодро, в фуражке, разжалованный и высланный за границу.

А. И. Тургенев. Дневник. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 276.

Я встретил Дантеса в санях тройкой, в фуражке, шитой шелком или (*неразбор.*), он сидел бодро, на облучке сидел жандарм, в других санях – офицер.

А. И. Тургенев – А. Я. Булгакову, 20 марта 1837 г. – Моск. Пушкинист, вып. I, 1927, с. 40.

Дай бог, чтобы тебе не пришлось много пострадать во время твоего ужасного путешествия, – тебе, больному, с двумя открытыми ранами; позволили или, вернее, дали ли тебе время в дороге, чтобы перевязать раны? Не думаю и сильно беспокоюсь о том.

Бар. Л. Геккерен-старший – бар. Ж. Данте-

су-Геккерену. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 317 (фр.).

Унтер-офицер Новиков, по возвращении, донес, что «Геккерен во время пути вел себя смирно и весьма мало с ним говорил, а при отъезде за границу дал ему 25 рублей».

В. В. Никольский (по данным архива главного штаба). – Рус. Стар., 1880, т. 29, с. 430.

До немецкой границы Дантес ехал в придворных санях, оттуда на вольных лошадях. В Берлине он сделал продолжительную остановку. Четыре года назад, перед отъездом в Петербург, он завел здесь некоторые знакомства. Теперь он решил отдохнуть в этом городе, повидать знакомых и обождать приезда жены. Однажды, когда он, с еще не поджившей рукой, гулял на Унтер ден Линден, его увидел из окна своего дворца наследный принц Вильгельм (впоследствии император германский). Он знал Дантеса и даже снабдил его рекомендательным письмом, когда тот отправлялся в Россию. Вильгельм постучал в окно, позвал Дантеса во дворец и велел рас-

сказать историю поединка. Наконец приехали из Петербурга жена и приемный отец. Их сопровождал транспорт вещей, в том числе и мебель, подаренная молодоженам бароном Геккереном. Из Берлина Дантес с женой отправился в Сульц (в Эльзасе), где и поселился в своем фамильном замке. Ничто, по-видимому, не смущало его душевного покоя. Ежегодно он приезжал на некоторое время в Баден, где по-прежнему встречался со старыми петербургскими знакомыми.

Л. Метман по записи *Я. Б. Полонского*. – Посл. Нов., 1930, № 3340.

Семейные письма Геккеренов-Гончаровых явственно свидетельствуют, что через три месяца после своей свадьбы, – в апреле 1837 года, – Екатерина Николаевна Геккерен родила своего первого ребенка.

Л. П. Гроссман. Женитьба Дантеса. – Кр. Ни-ва, 1929, № 24, с. 11.

Катерина Афанасьевна (*Протасова*) привезла из Петербурга вот какую новость: Дантесу велено выехать из России. Мицкевич

прислал ему картель и писал, что считает себя обязанным драться с убийцею Пушкина, его первого друга; что если он не трус, то явится к нему в Париж. Письмо напечатано в иностранных журналах, и убийца уже едет в Париж. Перед глазами всей Европы нельзя было никоим образом отказаться от дуэли [240].

А. А. Елагин – своей матери *А. П. Елагиной*. – Рус. Арх., 1905. т. II, с. 607.

Голландский посол г. Геккерен выехал третьего дня, получив оскорбление в виде отказа в прощальной аудиенции у их императорских величеств и получив теперь же прощальную табакерку, несмотря на то, что он не представил отзывных грамот и формально заявил графу Нессельроде, что его величество король Голландии не отозвал его, а только разрешил ему отпуск на неопределенное время.

По этой причине присылка табакерки, вместе с отказом в обычной аудиенции, явилась настоящим ударом для Геккерена, вызванным, по-видимому, какою-нибудь особою

причиною, что император, по всей вероятности, и объяснит королю Голландии.

Гр. *М. Лерхенфельд* (баварский посланник) в донесении баварскому королю 15 апр. 1837 г. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 379.

Барон Геккерен, голландский посланник, должен был оставить свое место. Государь отказал ему в обыкновенной последней аудиенции, и семь осьмих общества прервали с ним тотчас знакомство. Сия неожиданная развязка убила в нем его обыкновенное нахальство, но не могла истребить все его подлые страсти, его барышничества: перед отъездом он опубликовал о продаже своей всей движимости, и его дом превратился в магазин, среди которого он сидел, продавая вещи и записывая сам продажу. Многие воспользовались сим случаем, чтоб сделать ему оскорбления. Например, он сидел на стуле, на котором выставлена была цена; один офицер, подойдя к нему, заплатил ему за стул и взял его из-под него.

И. М. Смирнов. Памятные заметки. – Рус. Арх., 1882, т. I, с. 237.

Дантес, по приезде в Баден, при встрече с вел. кн. Михаилом Павловичем приветствовал его по-военному; но великий князь от него отвернулся.

В. В. Никольский (по данным архива главного штаба). – Рус. Стар., 1880, т. 29, с. 430.

Несколько дней тому назад был здесь Дантес и пробыл два дня. Он, как говорят, весьма соболезнует о бывшем с ним, но уверяет, что со времени его свадьбы он ни в чем не может себя обвинить касательно Пушкина и жены его, и не имел с нею совершенно никаких сношений, был же вынужден на поединок поведением Пушкина. Всем твердит, что после России все кажется ему *petit et mesquin* (маленьким и мизерным). На лето он переезжает с женой жить сюда.

Вел. кн. *Михаил Павлович* – имп. *Николаю I* 2 (14) июня 1837 г., из Баден-Бадена. – Рус. Стар., 1902, т. 110, с. 230.

Встретивши Дантеса в Бадене, который, как богатый человек и барон, весело прогули-

вался с шляпой набекрень (вел. кн.), Михаил Павлович три дня был расстроен. Когда графиня Сологуб-мать, которую он очень любил, спросила у него о причине его расстройства, он отвечал: «Кого я видел? Дантеса!» – «Воспоминание о Пушкине вас встревожило?» – «О, нет! туда ему и дорога!» – «Так что же?» – «Да сам Дантес! бедный! – подумайте, ведь он солдат».

Все это было в нем – не притворство, но таков был склад идей.

Кн. В. Ф. Одоевский. Дневник. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 450.

Вечером на гулянии увидал я Дантеса с женою: они оба пристально на меня смотрели, но не кланялись, я подошел к ним *первый*, и тогда Дантес буквально бросился ко мне и протянул мне руку. Обменявшись несколькими обыкновенными фразами, я отошел и пристал к другим... Я заметил, что Дантес ждет меня, и в самом деле он скоро опять пристал ко мне и, схватив меня за руку, потащил в густые аллеи. Не прошло двух минут, что он уже рассказывал мне со всеми подробностями

ми свою несчастную историю и с жаром оправдывался в моих обвинениях, которые я дерзко ему высказывал. Он мне показал копию с *страшного* пушкинского письма, протокол ответов в военном суде и клялся в совершенной невинности. Всего более и всего сильнее отвергал он малейшее отношение к Наталье Николаевне *после* обручения с сестрою ее, и настаивал на том, что второй вызов был, как черепица, упавшая ему на голову. Со слезами на глазах говорил он о поведении вашем[241] в отношении к нему и несколько раз повторял, что оно глубоко огорчило его. Он прибавил: мое полное оправдание может прийти только от г-жи Пушкиной; через несколько лет, когда она успокоится, она, может быть, скажет, что я все сделал, чтобы их спасти, и что, если мне не удалось, то вина была не моя и т.д. Разговор и гулянье наше продолжалось от 8 до 11 ч. вечера. Бог их рассудит, я буду с ним знаком, но не дружен по старому, – это все, что я могу сделать.

А. Н. Карамзин – Е. А. Карамзиной, 28 июня (8 июля) 1837 г., из Баден-Бадена. – Старина и Новизна, кн. XVII, с. 317 (*фр.-рус.*).

В понедельник был бал у Полуктовой... Странно было мне смотреть на Дантеса, как он с кавалергардскими ухватками предводительствовал мазуркой и котильоном, как в дни былые.

А. Н. Карамзин – Е. А. Карамзиной, 16 июля (н. ст.) 1837 г., из Баден-Бадена. – Там же, с. 319.

Мы не будем видеть г-жи Дантес, она не будет появляться в свете и особенно у меня, потому что знает, с каким отвращением я увидела бы ее мужа. Геккерен не появляется тем более, его видят очень редко даже среди его товарищей. Он носит теперь имя – барон Жорж де-Геккерен.

Гр. Д. Ф. Фикельмон – гр. Е. Ф. Тизенгаузен, 26 нояб. 1842 г., из Вены. – *C-te F. de Sonis. Lettres du c-te et de c-sse de Ficquelmont. Paris, 1911, p. 35 (фр.)*.

Екатерина Николаевна (*Дантес-Геккерен*) умерла 15 октября 1843 г. от послеродового заболевания и похоронена в Сульце (в Эльза-

се)... По семейным сведениям, Екатерину Николаевну угнетала мысль, что муж ее остается верен своему обожанию ее сестры. Под влиянием окружавшей Екатерину Николаевну католической среды, убеждавшей ее, что принятие веры своего мужа и детей вызовет перемену чувств в Дантесе, Екатерина Николаевна согласилась наконец на переход в католичество. Проволочки, однако, произошли оттого, что она желала, чтобы присоединение ее к католичеству произошло при скромной обстановке в Сульце, тогда как родственники ее мужа желали обставить этот переход торжественно и потому настаивали на совершении обряда в Париже, в церкви Madeleine. После долгих переговоров Екатерина Николаевна согласилась, но роды сына и последовавшая затем болезнь помешали ей привести в исполнение свое тмерение.

С. А. Панчулидзе со слов *П. О. Пирлинга*. – *С. А. Панчулидзе. Сборник биограф.*, с. 90.

С первых же лет нашего брака Екатерина была озабочена мыслью, что все, с кем ее связывают наиболее нежные узы, исповедуют не

ее религию, и что это лишило бы ее сладостного удовлетворения всецело руководить умом и сердцами своих четырех детей, – миссия, которой она была достойна во всех отношениях. Под давлением этих и других соображений моя жена решила изучить и принять католичество. Она не дала огласки своему отречению от православия из весьма похвального желания избавиться от большого огорчения свою мать – единственное лицо, с которым она поддерживала постоянные сношения. Несмотря на это, Екатерина умерла, окруженная всеми утешениями нашей церкви.

Бар. Ж. Дантес-Геккерен – кн. И. С. Гагарину
, 17 сент. 1847 г. – Посл. Нов., 1930, № 3340.

О дальнейшей судьбе Дантеса, вплоть до переворота 2 декабря 1851 г., нам почти ничего неизвестно. По возвращении из России во Францию он сначала заперся в деревне своей (в Эльзасе), а затем, в сороковых годах, выступил на политическом поприще, был избран депутатом и сначала продолжал быть крайним легитимистом. В дуэли между Тьером и

Биксио Дантес был секундантом первого. Затем он из легитимистов превратился в бонапартиста.

С. А. Панчулидзе. Сборник биограф., с. 89.

17 июля 1851 г. Виктор Гюго выступил в Национальном Собрании с бурной четырехчасовой речью против изменения конституции, имевшего целью облегчить президенту Луи-Наполеону путь к государственному перевороту. Гюго указывал на опасность, грозящую республике, срывал маску с президента. «Карты на стол! Будем говорить всё, – заявил Гюго. – Как! Оттого, что мы имеем Наполеона Великого, нужно, чтобы мы имели Наполеона Маленького!» (См. *Victor Hugo. Actes et paroles. Avant l'e'xil. 1841–1851. Paris, 1875. Pp. 326 ss.*). Клика правых депутатов бесновалась, прерывала оратора, не давала ему говорить, высмеивала его. После декабрьского переворота, находясь в изгнании, Гюго выпустил сборник стихотворений под заглавием «Кары» (*Châtiments*). В нем помещено стихотворение: «17 июля 1851 года. Сходя с трибуны». В первых изданиях сборника (брюссельском 1853,

женевско-нью-йоркском 1854) Гюго поместил обширное примечание к этому стихотворению, где привел выдержки из своей речи и выходки против него правых депутатов. Здесь находим Вьейяра, Барро, де-ла-Москова, Клари, *де-Геккерена*. Это – наш знакомец Дантес. В выноске к каждому из названных имен Гюго ядовито замечает: «Теперь – сенатор. 30 000 франков жалования в год». Само стихотворение начинается так:

*Ses hommes qui mourront foule
abjecte et grossie´re,
Sont de la boue avant d'etre de la
poussie´re...[242]*
В. Вересаев.

В награду за услуги, оказанные Луи-Наполеону, Дантес был назначен им в день декабрьского переворота сенатором. В сенате он обратил на себя особое внимание своими речами в защиту светской власти пап. Во время последней империи Дантес был *persona grata* при дворе Наполеона III. Дантес был одним из основателей Парижского Газового общества и оставался директором этого общества до своей смерти, благодаря чему составил себе боль-

шое состояние. По словам одного из наших соотечественников, знавшего в Париже Дантеса, это был человек, «очень одаренный и крайне влиятельный, даже большой оригинал; он был замешан во всех событиях и происках Второй империи».

С. А. Панчулидзе. Сборник биограф., с. 89.

Влиятельным сенатором Второй империи Дантес поселился в Париже на улице Монтэнь, рядом с нынешним театром Елисейских Полей. Здесь он выстроил для себя и семьи трехэтажный особняк (№ 27). Нижний этаж занимал он сам, а два верхних были отведены его многочисленному потомству. Вся семья сходилась по меньшей мере два раза в день в столовой. Днем Дантес обыкновенно отправлялся в экипаже в свой клуб «Серкль Эмперись» на Елисейских Полях, а вечера неизменно проводил дома в кругу семьи, часто развлекая молодое поколение рассказами о своей молодости. На летние месяцы вся семья переезжала в Сульц.

Л. Метман по записи *Я. Б. Полонского*. – *Посл. Нов.*, 1930, № 3340.

В 1869 году, в Париже, я много виделся с семьей Геккерена (*Дантеса*). Однажды, уже не знаю, как, в беседе с Геккереном мы заговорили о Нат. Ник. Пушкиной, и он затронул тему этой трагедии. Я сохранил воспоминание о впечатлении, которое я вынес от выражения правдивости и убежденности, с каким он возгласил и защищал, – не чистоту Натальи Николаевны, она не была под вопросом, – но ее совершенную невинность во всех обстоятельствах этого печального события ее жизни.

Бар. Г. Фризенгоф – А. П. Араповой. – Кр. Нива, 1929, № 24, с. 11 (*фр.*).

Г. Онегин, известный составитель Пушкинского музея (в Париже), знал Дантеса. Дантес уверял, что не подозревал даже, на кого он поднимал руку, что, будучи вынужден к поединку, он все же не желал убивать противника и целил ему в ноги, что невольно причиненная им смерть великому поэту тяготит его и т.д.

А. Ф. Онегин. Отчет о речи его, произнесенной на пушкинском вечере в Париже, в 1912

Г. – Изв. кн. магазинов т-ва М. О. Вольф, 1912, № 5, с. 68.

Проходя под колоннадой кургауза, я часто встречаю человека, наружность которого меня постоянно поражает своей крайней непривлекательностью. Во всей фигуре его что-то наглое и высокомерное. На днях, когда мы гуляли с нашей милой знакомой М. А. С. и этот человек нам снова встретился, она сказала: «Знаете, кто это? Мне вчера его представили, и он сам мне следующим образом отрекомендовался: «Барон Геккерен (Дантес), который убил вашего поэта Пушкина». И если бы вы видели, с каким самодовольством он это сказал, – прибавила М. А. С., – не могу вам передать, до чего он мне противен!» И действительно, трудно себе вообразить что-либо противнее этого, некогда красивого, но теперь сильно помятого лица, с оттенком грубых страстей. Геккерен ярый бонапартист, благодаря чему и своей вообще дурной репутации, все здешние французы, – а они составляют большинство шинцнахских посетителей – его явно избегают и от него сторонятся. При На-

полеоне III он был сенатором, но теперь лишен всякого значения. О его семейных обстоятельствах говорят очень дурно; поделом кому мука.

А. В. Никитенко. Дневник, 20 июня 1876 г., из Шинцнаха. – А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. II, с. 560.

За несколько лет перед тем (1880 г.) В. Д. Давыдов (*сын поэта Дениса Давыдова*) был в Париже. Приехав туда, он остановился в каком-то отеле, где всякий день ему встречался совершенно седой старик большого роста, замечательно красивый собой. Старик всюду следовал за приезжим, что и вынудило Василия Денисовича обратиться к нему с вопросом о причине такой назойливости. Незнакомец отвечал, что, узнав его фамилию и что он сын поэта, знавшего Пушкина, долго искал случая заговорить с ним, причем рекомендовавшись бароном Дантесом-Геккереном де Бревеардом, объяснил Давыдову, будто бы он, Дантес, и в помышлении не имел погубить Пушкина, а напротив того, всячески старался примириться с Александром Сергеевичем, но

вышел на поединок единственно по требованию усыновившего его барона Геккерена, кровно оскорбленного Пушкиным. Далее, когда соперники, готовые сразиться, стали друг против друга, а Пушкин наводил на Геккерена пистолет, то рассказчик, прочтя в исполненном ненависти взгляде Александра Сергеевича свой смертный приговор, якобы оробел, растерялся и уже по чувству самосохранения предупредил противника и выстрелил первым, сделав четыре шага из пяти, назначенных до барьера. Затем, будто бы целясь в ногу Александра Сергеевича, он, Дантес, «страха ради» перед беспощадным противником, не сообразил, что при таком прицеле не достигнет желаемого, а попадет выше ноги. «Le diable s'en est mile' » (*черт вмешался в дело*), – закончил старик свое повествование, заявляя, что он просит Давыдова передать это всякому, с кем бы его слушатель в России ни встретился.

Л. Н. Павлищев. Воспоминания, с. 430.

Дантес всегда утверждал, что у его бо-фре-ра не было серьезных оснований ревновать к

нему свою жену. Но Пушкин, человек необузданного характера, тяжело оскорбил Дантеса и его приемного отца. Европейская мерка к этому человеку была неприменима; в гневе это был негр, сорвавшийся с цепи негр. Поэтому дуэль была неизбежна, несмотря на то, что Дантес ее не искал. Дантес поступил как человек, который считает, что за определенные слова должно быть дано удовлетворение. У барьера он не считал нужным сантиментальничать, хотя его противником и был его боефрер, так как отдавал себе отчет, что для каждого из дуэлянтов исход мог быть роковым. Он не говорил, что целил Пушкину в ногу, и никто из семьи никогда не слышал от него об утрызениях совести. Напротив, он считал, что выполнил долг чести и что ему не в чем себя упрекать. Дантес был вполне доволен своей судьбой и впоследствии не раз говорил, что только вынужденному из-за дуэли отъезду из России он обязан своей блестящей политической карьерой; что не будь этого несчастного поединка, его ждало незавидное будущее командира полка где-нибудь в русской провинции, с большой семьей и недостатком

средств.

Л. Метман по записи Я. Б. Полонского. —
Посл. Нов., 1930, № 3340.

В Гааге проживают в настоящее время (1906 г.) некоторые лица, знавшие барона Геккерена (*старшего*). Все отзываются о нем как о человеке выдающегося ума и дипломатических дарований. Пробыв некоторое время после отозвания из С.-Петербурга не у дел, он был назначен нидерландским посланником в Вену, где и пробыл непрерывно до 1870-х гг., пользуясь там совершенно исключительным по своей влиятельности положением. Лица, близко знакомые с бароном Геккереном, говорят о нем как о крайнем скептике и неразборчивом на средства дипломате. Однако его доношения из Вены были настолько интересны, что его оставили на этом посту до глубокой старости. Барон Геккерен никогда не был женат, и в жизни его, по-видимому, не было романтических приключений. Можно с уверенностью полагать, что Дантес не был его сыном, но наиболее близкие к Геккерену люди избегали высказываться о том, какие отноше-

ния существовали между ним и Дантесом.

Н. В. Чарыков. Известия о дуэли Пушкина, имеющиеся в Голландии. — Пушкин и его совр-ки, вып. XI, с. 71.

Геккерен (*старший*), несмотря на свою известную бережливость, умел себя показать, когда требовалось сладко накормить нужного человека. В одном следовало ему отдать справедливость: он был хороший знаток в картинах и древностях, много истратил на покупку их, менял, перепродавал и всегда добивался овладеть какою-нибудь редкостью, которою потом любил дразнить других, знакомых ему собирателей старинных вещей. Квартира его была наполнена образцами старинного изделия, и между ними действительно не имелось ни одной посредственной вещи. Был Геккерен умен; полагаю, о правде имел свои собственные, довольно широкие понятия, чужим же прегрешениям спуску не давал. В дипломатическом кругу сильно боялись его языка, и хотя недолюбливали, но кланялись ему, опасаясь от него злого словца.

Бар. Ф. Ф. Торнау. Воспоминания. — Исто-

рич. Вестн., 1897, янв., с. 60.

В 1875 году барон Геккерен (*старший*) переехал в Париж к детям после шестидесяти лет службы. Он покинул пост нидерландского посла в Вене, который он занимал с 1842 года и где давно уже был старшиною дипломатического корпуса. Он умер 27 сент. 1884 года (ему было около 89 лет). – Жорж Шарль Дантес, барон де-Геккерен, пережил своего приемного отца девятью годами. Он умер в возрасте 83 лет в Сульце (Верхний Эльзас) 2 ноября 1895 года, в родном доме, окруженный детьми, внуками и правнуками.

Л. Метман. Дантес. Биограф. очерк. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 343.

После падения Второй империи Дантес почти безвыездно жил в своем замке Сульц в Эльзасе. Дантес постоянно вел свои записки, но в последние годы, дожив до глубокой старости, он впал почти в детство и в минуту раздражения сжег свои мемуары.

С. А. Панчулидзе. Сборник биограф., с. 89.

Ек. Ник. Геккерен вернулась в дом Пушки-

ных еще один раз, чтобы проститься со своей сестрой (*Нат. Ник-ной*), которая оставила Петербург через несколько дней после трагического события.

Бар. Г. Фризенгоф – А. П. Араповой. – Кр. Нива, 1929, № 24, с. 10 (*фр.*).

Александрина (*Гончарова*), перед своим чрезвычайно быстрым отъездом в Полотняный Завод, после катастрофы была у четы Геккерен и обедала с ними. Отмечаю это обстоятельство, ибо оно, как мне кажется, указывает, что в семье и среди старых дам, которые постоянно находились там и держали совет, осуждение за трагическую развязку падало не на одного только Геккерена, но несомненно также и на усопшего.

Бар. Г. Фризенгоф – А. П. Араповой. – Там же.

Наталья Николаевна 16 февраля уехала через Москву в деревню брата, Калужской губернии (*Полотняный Завод*), с сестрой Александриною, с детьми и в сопровождении тетки Загряжской, которая, проводя их, возвратится сюда недели через две. В Москве они не

остановятся ни на час, и Пушкина напишет письмо к Сергею Львовичу (*отцу Пушкина*) и скажет ему, что теперь не в силах еще его видеть. Братья ее также провожают их. Я видел ее накануне отъезда и простился с нею. Здоровье ее не так дурно: силы душевные также возвращаются. С другою сестрою (*Екатериною Николаевной Геккерен-Дантес*), кажется, она простилась, а тетка высказала ей все, что чувствовала она, в ответ на ее слова, что «*она прощает Пушкина*». Ответ образумил и привел ее в слезы. За неделю перед сим разлучили ее с мужем; он под арестом в кордегарде... Дело может еще протянуться с месяц. Отец Геккерен все продал и собирается в путь, но еще не отозван. Опека занимается устройством дел вдовы и детей; Жуковский с генералом приводит в порядок бумаги покойного.

Л. И. Тургенев – П. А. Осиповой, 24 февр. 1837 г. – Пушкин и его совр-ки, т. I, с. 57.

Я проехала Москву, не повидавши вас; я так страдала, что врачи предписали мне как можно скорее приехать на место моего назначения. Я проехала через Москву ночью, я только переменила там лошадей, поэтому ли-

шена была счастья видеть вас. О моем здоровье я не говорю, вы можете себе представить, в каком я состоянии.

Н. Н. Пушкина – С. Л. Пушкину, 1 марта 1837 г., из Полотняного Завода. – Там же, вып. VIII, с. 55 (*фр.*).

То, что вы мне говорили о Наталье Николаевне, меня опечалило. Странно, я ей от всей души желал утешения, но не думал, что желания мои исполнятся так скоро.

А. Н. Карамзин – Е. А. Карамзиной, 8 апр. 1837 г., из Рима. – Старина и Новизна, кн. XX, с. 71.

Ты спрашиваешь меня, как поживают и что делают Натали и Александрина (*Нат. Ник. Пушкина и Ал. Ник. Гончарова*); живут очень неподвижно, проводят время, как могут; понятно, что после жизни в Петербурге, где Натали носили на руках, она не может находить особой прелести в однообразной жизни Завода, и она чаще грустна, чем весела, нередко прихварывает, что заставляет ее иногда целыми неделями не выходить из своих ком-

нат и не обедать со мною.

Д. Н. Гончаров – Е. Н. Дантес-Геккерен, 4 сент. 1837 г. из Полотняного Завода. – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 313.

Сергей Львович (отец Пушкина), быв у невестки (Нат. Ник. Пушкиной, в Полотняном Заводе), нашел, что сестра ее (Александра Ник. Гончарова) более огорчена потерей ее мужа.

Бар. Е. Н. Вревская – Ал. Н. Вульффу, 2 сент. 1837 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XIX–XX, с. 110.

Два года продолжалось это добровольное изгнание (в Полотняном Заводе), и обстоятельства так сложились, что мало отрады принесло оно Наталье Николаевне в ее тяжком горе... Старший брат ее, Дмитрий Николаевич Гончаров (владелец майоратного имения Полотняный Завод), был человек добрый, весьма ограниченного ума, путаник в делах. Он находился в полном порабощении у своей жены Елизаветы Егоровны. По происхождению она была из кавказских княжен, но вы-

росла в бедности, в совершенно другой среде, была почти без образования... Нежданное появление двух мужниных сестер, да еще с маленькими детьми, не могло ей прийтись по душе, но она, в особенности сначала, не смела нарушить правила семейного гостеприимства... Плохо умытая, небрежно причесанная, в помятом ситцевом платье сомнительной свежести, она появлялась с бриллиантовой ферроньерой на лбу и торжествующим взором оглядывала траурный наряд своей госты. Ее грубая бестактность способна была отравлять ежедневное существование. Елизавета Егоровна мало-помалу сочла лишним стесняться; она не упускала случая подчеркнуть, что она у себя дома, а золовки обязаны ценить всякое одолжение; обижалась и дулась из-за каждого пустяка... Сознание, что она невольной обузой тяготеет над братниным очагом, созревало в Наталье Николаевне, и когда письма тетушки Ек. Ив. (Загряжской) стали все настойчивее призывать ее, она наконец решила вернуться в Петербург.

Поселившись в столице, мать была встречена с распростертыми объятиями семьей Ка-

рамзиных... С четой Вяземских каждая разлука сопровождалась непрерывной задушевной перепиской... Жуковский, Плетнев, Нащокин, – все истинные друзья Пушкина – непрерывно старались всячески доказать ей свое участие, облегчить ее заботы.

А. П. Арапова. Воспоминания. – Новое Время, 1908, № 11432, ил. прил.

Я видела г-жу Пушкину. Она так старалась быть со мною любезной, что совершенно восхитила меня. Это очаровательное существо; зато сестра ее показалась мне такой некрасивой, что я расхохоталась, когда мы с сестрою оказались одни в карете.

Бар. Е. Н. Вревская – бар. Б. А. Вревскому, 2 дек. 1839 г., из Петербурга. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXI–XXII, с. 404.

Вечер (22 авг. 1840 г.) с семи почти до двенадцати я просидел у Пушкиной жены и ее сестры. Они живут на Аптекарском, но совершенно монашески. Никуда не ходят и не выезжают. Пушкина очень интересна. В ее образе мыслей и особенно в ее жизни есть что-то

трогательно возвышенное. Она не интересничает, но покоряется судьбе. Она ведет себя прекрасно, нисколько не стараясь этого выказывать.

П. А. Плетнев – Я. К. Гроту, 24 авг. 1840 г. – Переписка Грота с Плетневым, т. I, с. 27.

Во вторник 21 января на последнее время вечера поехал я к Natalie Пушкиной. Мы просидели одни. Она очень интересна. Яшутя спросил ее, скоро ли она опять выйдет замуж? Она шутя же отвечала, что, во-первых, не пойдет замуж, во-вторых, никто не возьмет ее. Я ей советовал на такой вопрос всегда отвечать что-нибудь одно, ибо при двух таких ответах рождается подозрение в неискренности, и советовал держаться второго. Так нет, – лучше хочет твердить первое, а в случае отступления сказать, что уж так судьба захотела.

П. А. Плетнев – Я. К. Гроту, 24 янв. 1841 г. – Там же, с. 216.

Из двух ответов Пушкиной и я бы предпочел тот, который она выбрала; но из ее разговора я с грустью вижу, что в сердце ее рана

уже зажила! Боже! Что же есть прочного на земле?

Я. К. Грот – П. А. Плетневу, 30 янв. 1841 г. – Там же, с 222.

Natalie Пушкина сегодня была в английском магазине (канун елки перед рождеством) и встретила там с государем, обыкновенно в этот день приезжающим в английский магазин покупать для елки своим детям. Его величество очень милостиво изволил разговаривать с Пушкиной. Это было в первый раз после ужасной катастрофы ее мужа.

П. А. Плетнев – Я. К. Гроту, 24 дек. 1841 г. – Там же, с. 464.

Силою обстоятельств Наталья Николаевна понемногу втянулась в прежнюю светскую жизнь, хотя и не скрывала от себя, что для многих это служит лишним поводом упрекнуть ее в легкомыслии и равнодушном забвении... Император часто осведомлялся о ней у престарелой фрейлины (Загряжской) и выражал желание, чтобы Наталья Николаевна по-прежнему служила одним из лучших украше-

ний его царских приемов. Одно из ее появлений при дворе обратилось в настоящий триумф. В залах Аничковского дворца состоялся костюмированный бал в самом тесном кругу. Ек. Ив. Загряжская подарила Наталье Николаевне чудное одеяние в древнееврейском стиле, по известной картине, изображавшей Ревекку. Длинный фиолетовый бархатный кафтан, почти закрывая широкие палевые шальвары, плотно облегал стройный стан, а легкое из белой шерсти покрывало, спускаясь с затылка, мягкими складками обрамляло лицо и ниспадало на плечи. Появление ее во дворце вызвало общую волну восхищения. Как только начались танцы, император Николай Павлович направился к Наталье Николаевне, взяв ее руку, повел к императрице и сказал во всеуслышание: «Смотрите и восхищайтесь!» Императрица Александра Федоровна навела лорнет на нее и ответила: «Да, прекрасна, в самом деле прекрасна! Ваше изображение таким должно бы перейти к потомству». Император поспешил исполнить желание, выраженное супругою. Тотчас после бала придворный живописец написал акварелью портрет

Ната́льи Николаевны в библейском костюме для личного альбома императрицы. По ее словам, это вышло самое удачное изображение из всех тех, которые с нее снимали. Вероятно, альбом этот сохраняется и теперь в архиве Аничковского дворца, но никому из детей не привелось его видеть.

А. П. Арапова. Воспоминания. – Новое Время, 1908, № 11432.

По-видимому, г-жа Пушкина снова появляется на балах. Не находишь ли ты, что она могла бы воздержаться от этого? Она стала вдовою вследствие такой ужасной трагедии, и ведь она была ее причиною, хотя и невинною.

Гр. Д. Ф. Фикельмон – гр. Е. Ф. Тизенгаузен, 17 янв. 1843 г., из Вены. – Comte F. de Sonis. Lettres du comte et de la c-sse Fiquelmont. Paris, 1911, Librairie Plon., p. 38 (*фр.*).

Я видела Наталью Николаевну Пушкину, которая очень изменилась, так что я удивилась, как она похудела, пожелтела и подурнела, а Александра Николаевна, та похорошела.

А. Н. Вульф – бар. *Е. Н. Вревской*, 14 дек. 1843 г. – Пушкин и его совр-ки, вып. XXI–XXII, с. 350.

Лет двадцать назад в Московский Исторический музей пришел какой-то немолодой человек и предложил приобрести у него золотые закрытые мужские часы с вензелем Николай I. (Передаю это со слов В. А. Городнова, который при этом присутствовал.) Запросил этот человек за часы две тысячи руб. На вопрос, почему он так дорого их ценит, когда такие часы с императорским вензелем не редкость, принесший часы сказал, что часы эти особенные. Он открыл заднюю крышку: на внутренней стороне второй крышки была миниатюра – портрет Наталии Николаевны Пушкиной. По словам этого человека, дед его служил камердинером при Николае Павловиче; часы эти находились постоянно на письменном столе; дед знал их секрет, и когда Николай I умер, взял эти часы, «чтобы не было неловкости в семье». Часы почему-то не были приобретены в Исторический музей. И так и ушел этот человек с часами, и имя его осталось неизвестным.

А. Н. Вульф – бар. Е. Н. Вревской, 14 дек. 1843 г. – Там же, с. 267.

Царь – самодержец в своих любовных историях, как и в остальных поступках; если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Особа, привлекающая внимание божества, попадает под надзор. Предупреждают супруга, если она замужем; родителей, если она девушка, – о чести, которая им выпала. Нет примеров, чтобы это отличие было принято иначе, как с изъявлением почтительнейшей признательности. Равным образом нет еще примеров, чтобы обесчещенные мужья или отцы не извлекали прибыли из своего бесчестья. «Неужели же царь никогда не встречает сопротивления со стороны самой жертвы его прихоти?» – просил я даму, любезную, умную и добродетельную, которая сообщила мне эти подробности. «Никогда! – ответила она с выражением крайнего изумления. – Как это возможно?» – «Но берегитесь, ваш ответ дает мне право обратиться к вам». – «Объяснение затруднит меня гораздо меньше, чем вы ду-

маете; я поступлю, как все. Сверх того, мой муж никогда не простил бы мне, если бы я ответила отказом».

Ах. Галле Де Кюльтюр. Ach. Gallet de Kultur. Le tzar Nicolas et la sainte Russie. Paris, 1855, p. 202.

В начале зимы 1844 г. состоялось первое знакомство моего отца (*П. П. Ланского*) с моею матерью (*Нат. Ник. Пушкиной*)... В течение зимы посещения его все учащались... (*Из-за ушиба ноги Нат. Ник-не весной пришлось отложить свою поездку в Гельсингфорс на морские купания.*) Знакомые разъехались. Отец чуть не ежедневно стал навещать одинокую больную. Он имел основание ожидать скорого назначения командиром армейского полка в каком-нибудь захолустье, что могло бы сильно осложнить воспитание детей Пушкиных, как вдруг ему выпало нежданное, можно даже сказать, необычайное счастье. Особым знаком царской милости явилось его назначение прямо из свиты командиром лейб-гвардии Конного полка, шефом которого состоял государь. Обширная казенная квартира,

упроченная блестящая карьера расширили его горизонт, и, не откладывая долее, он сделал предложение.

А. П. Арапова. Воспоминания. – Новое Время, 1908, № 11442.

Петр Петрович Ланской род. 13 марта 1799 г. Всю свою службу до чина полковника провел в кавалергардском полку... 10 окт. 1843 г. произведен в генерал-майоры, через полгода назначен командующим л. гв. Конным полком и через два года утвержден командиром. Вскоре затем назначен в свиту его величества. 6 апр. 1849 г. произведен в генерал-адъютанты. 26 авг. 1856 г. назначен начальником 1 гвард. кавал. дивизии. 19 ноября 1864 г. назначен председателем следственной комиссии (о петербургских поджогах), вслед затем – исправляющим должность петербургского генерал-губернатора. Позже был председателем комиссии для разбора и суда всех политических дел. Умер 6 мая 1877 г.

С. А. Панчулидзе. Сборник биограф., с. 336.

(18 июля 1844 г. Нат. Ник-на Пушкина вышла замуж за Ланского.) Император Николай

Павлович отнесся очень сочувственно к этому браку и сам вызвался быть посаженным отцом. Но невеста настояла, чтобы свадьба совершилась как можно скромнее; сопровождаемые самыми близкими родственниками, они пешком отправились в Стрельнинскую церковь и там обвенчались. Поэтому Ланскому не пришлось воспользоваться выпавшею ему почестью. Государь понял и оценил мотивы этого решения, прислал новобрачной бриллиантовый фермуар в подарок, велел при этом передать, что от будущего кумовства не дозволит так отделаться; и в самом деле, год спустя, когда у них родилась старшая дочь Александра, государь лично приехал в Стрельну для ее крестин.

С. А. Панчулидзеv. – Там же, с. 334.

Постоянная царская милость служила лучшей эгидой против зависти врагов. Те самые люди, которые беспощадно клеймили Наталью Николаевну, заискивающе любезничали, напрашивались на приглашения, – в особенности, когда в городе стало известно, как сам царь назвался к отцу на бал... Мать задумала

устроить вечеринку в полковом интимном кругу... Когда отец был у царя на докладе, Николай Павлович по окончании аудиенции сказал ему: «Я слышал, что у тебя собираются танцевать? Надеюсь, что ты своего шефа не обойдешь приглашением»... Государь, прибыв в назначенный час, в разговоре с матерью осведомился, как поживает его крестница (*автор этих воспоминаний*), и она рассказала ему о моем детском горе, что мне не довелось его увидеть (*девочку уже уложили спать*). «Узнайте, спит ли она? Если нет, то я сейчас пойду к ней»... Государь взял меня на руки, расцеловал в обе щеки, ласково поговорил со мною, но что он мне сказал, я не помню.

А. П. Арапова. Воспоминания. – Новое Время, 1908, № 11442.

Когда исполнилось двадцатипятилетнее чествование шефства императора Николая Павловича конногвардейским полком, – П. П. Ланской, бывший в то время полковым командиром, испросил у государя разрешения поднести альбом в память этого события. Го-

сударь дал свое согласие, выразив при этом желание, чтобы во главе альбома был портрет Наталии Николаевны Ланской, как жены командира полка. Желание его было исполнено. Портрет Нат. Ник. был нарисован известным в то время художником Гау. С тех пор этот альбом хранится в Зимнем дворце.

А. П. Арапова. Воспоминания. – Новое Время, 1908, № 11446, ил. прил.

Н. Н. Пушкина-Ланская умерла 26 ноября 1863 года.

Спутники Пушкина

От автора

Книга эта, представляя из себя самостоятельное целое, является в то же время дополнением к моей книге «Пушкин в жизни» и написана в том же плане. Задача ее – дать бытовые литературные портреты лиц, с которыми соприкасался в жизни Пушкин, иначе сказать – окружить Пушкина живыми людьми. В соответствии с этим главное внимание обращено на обрисовку личности каждого спутника и его житейских отношений к Пушкину, а через это – на характеристику быта, в окружении которого приходилось жить и творить Пушкину.

Большое иногда затруднение представляло распределение портретов по группам, и тут пришлось допустить некоторую долю произвольности. Например, выделены в отдельную группу писатели, с которыми имел общение Пушкин, но в группе этой нет Дельвига, Жуковского, Вяземского – они отнесены

в группу друзей Пушкина. Я старался по возможности не разносить портрета частями в разные группы. Иногда, однако, приходилось делать исключение, – например, относительно некоторых лицейских товарищей Пушкина, с которыми он впоследствии приходил в частые и многообразные отношения. О лицейской их жизни рассказано в отделе о лицейских товарищах Пушкина, продолжение – в соответственных других группах. То же относительно членов «Арзамаса» и «Зеленой лампы».

В. Вересаев

Родственники и домочадцы

*Гм! гм! Читатель благородный,
Здорова ль ваша вся родня?
Позвольте: может быть, угодно
Теперь узнать вам от меня,
Что значит именно родные.
Родные люди вот какие:
Мы их обязаны ласкать,
Любить, душевно уважать
И, по обычаю народа,
О Рождестве их навещать
Или по почте поздравлять,
Чтоб остальное время года
Не думали о нас они...
Итак, дай бог им долги дни!
«Евгений Онегин», гл. IV*

**Сергей Львович Пушкин
(1770–1848)**

Отец поэта. Сын богатого помещика. Получил светское французское воспитание. При Павле I служил в лейб-гвардии егерском полку. Но к службе, при тогдашних требованиях, по крайней своей небрежности и рассеянности, оказался мало годен. Он любил, например, сидеть с приятелями у камелька и

мешать в нем огонь; однажды он для этого употребил свою офицерскую трость и с ней же явился потом на службу. Командир, заметив обгорелую трость, сказал:

– Уж вам бы, господин поручик, лучше явиться на учение с кочергою.

Сергей Львович очень был огорчен таким замечанием и жаловался на тяжесть военной службы. Перчатки он постоянно терял или забывал дома. Как-то даже на придворный бал явился без перчаток. К нему подошел император Павел и спросил по-французски:

– Отчего вы не танцуете?

Оробевший Пушкин в смущении ответил:

– Я потерял перчатки, Ваше Величество.

Царь снял свои перчатки и сказал с улыбкой:

– Вот вам мои. – Потом взял молодого офицера под руку, подвел к даме и прибавил: – А вот вам и дама.

В ноябре 1796 г. Сергей Львович женился на Надежде Осиповне Ганнибал, своей внучатой племяннице. Через два года вышел в отставку в чине майора и переселился на покой в Москву. Впрочем, и в Москве числился слу-

жащим где-то по комиссариатской части. С 1814 г. в течение трех лет служил в Варшаве, тоже по комиссариатской части; в январе 1817 г. окончательно вышел в отставку с чином статского советника. Преемник его, принимая от Сергея Львовича должность, застал его в присутственном месте за французским романом вместо счетов и бумаг. Сергей Львович поселился с семейством в Петербурге, больше никогда уже не служил и вел совершенно праздную жизнь, ни о чем решительно не заботясь. Он был изысканно любезен на старинный французский манер, был мастер на каламбуры и острые ответы. Например, некто Копьев славился в Петербурге худобой своей малокормленной четверни. Однажды ехал он в карете по Невскому, нагнал шедшего пешком Сергея Львовича и крикнул ему из кареты:

– Садись, подвезу!

Сергей Львович ответил:

– Благодарю, но не могу: я спешу.

Особенно торжествовал он в салонных играх, требующих беглости ума и остроты, был необходимейшим человеком при устройстве

праздников, собраний и домашних театров. Был прекрасный актер и декламатор, мастерски читал, особенно Мольера. Очень легко писал стихи – и по-французски, и по-русски. Интересовался литературой, был лично знаком с Карамзиным, Дмитриевым, Батюшковым, Жуковским, князем Вяземским.

Жизнь представлялась Сергею Львовичу лугом удовольствий, человек, точнее, дворянин – мотыльком, которому предназначено порхать по оному лугу и пить с цветочков сладкий сок. Для этого, естественно, нужны средства. Сергей Львович их имел. В Нижегородской губернии у него было около семи тысяч десятин земли и более тысячи крепостных крестьянских душ. Да за женой он получил в Псковской губернии более тысячи десятин. Но средства сами собой в руки не плывут. Все-таки нужно надзирать за управляющими, следить за отчетностью, наезжать хоть изредка в поместья, ревизовать, – вообще, прилагать некоторый труд. Вот это было совершенно не по нутру Сергею Львовичу. Никакими делами он заниматься не любил. Своих наследственных поместий он за всю

жизнь не посетил ни разу и управление поручил крепостному своему человеку Михайле Калашникову, мошеннику первостатейному. Когда впоследствии, для спасения имения, послан был туда дельный управляющий-немец, то он просто бежал из имения при виде страшного разорения крестьян. В псковском поместье Михайловском было не лучше: приказчики надували и обкрадывали барина, высылали ему в год две-три сотни рублей ассигнациями, два-три воза замороженной домашней птицы и масла; грабили и притесняли крестьян. Когда же мужики приехали в Петербург к Сергею Львовичу с жалобой на управляющего, Сергей Львович пришел в негодование за причиненное беспокойство, затопал ногами, раскричался на мужиков и прогнал, не выслушав.

При такого рода хозяйствовании, разумеется, представлялось очень мало возможности беззаботно гулять по жизненному лугу удовольствий. Погуляй-ка, когда имения заложены и перезаложены, казна требует процентов, в доме нет ни гроша, лавочники перестают верить в долг. Обычный стиль жизни Сер-

гея Львовича хорошо отражен в письмах его дочери О. С. Павлицевой к мужу. «Вообрази, – пишет она, – что в прошлом году имение Болдино описывали пять раз... Можешь себе представить, в каком состоянии находится отец со своими черными мыслями, да к тому же денег нет. Он хуже женщины: вместо того чтобы прийти в движение, действовать, он довольствуется тем, что плачет. Не знаю, право, что делать, – я отдала все, что могла, но это все равно что ничего, из-за общих порядков дома, из-за мошенничества людей, перед которыми наш Петрушка буквально ангел. Они получили тысячу рублей из деревни, и через неделю у них ничего уже не было, а заплатили всего только четыреста рублей за квартиру... Я одолжила отцу 225 р.; он мне их не возвратил и, вероятно, не возвратит, потому что с тех пор он получил 1300 и не сказал ни слова. Мать этого не знает: она возвратила бы мне эти деньги. Никогда у меня не хватит смелости попросить их обратно у отца, но зато у меня будет смелость больше ему их не давать... Мой отец только и делает, что плачет, вздыхает и жалуется встречному и попереч-

ному. Когда у него просят денег на дрова и сахар, он ударяет себя по лбу и восклицает: «Что вы ко мне приступаете? Я несчастный человек!» Он испустил это восклицание передо мною, и, сознаюсь, меня это немного развлекло, когда я подумала о его 1200 мужиках в Нижнем... Боже упаси обращаться к кому-нибудь из прислуги в доме: это воплощенные дьяволы, мошенники, воры, нахалы, и потом они ничего не сделают даром. Лакеем к экипажу мне пользоваться невозможно, отец сердится, когда он всю челядь не видит налицо: «Да где тот? Да где этот? Да кто его послал?» и т. д. Право, иногда он мне очень жалок. Старик всегда нуждается в деньгах, а их любит; его обкрадывают и обчищают со всех сторон; его челядь – саранча суцая. Вообрази: пятнадцать человек!»

Сергей Львович был небольшого роста, с проворными движениями, с носиком вроде клюва попугая. Имел склонность к чувствительности, был очень слезлив. Главную, характернейшую его особенность составляла глубокая душевная фальшивость, постоянное стремление играть какую-нибудь роль. Нико-

гда он не проявлял прямо того, что переживал в душе, а держался так, как, по его мнению, в данном случае должно было проявляться. Был он глубочайший эгоист, до детей ему мало было дела, но письма его к ним были исполнены самой образцовой отеческой нежности. Когда умирала его жена, он громогласно рыдал в ее комнате; это пугало и мучило умирающую; дочь попробовала указать на это отцу; Сергей Львович пришел в негодование, накричал на дочь и стал обвинять ее в бесчувствии. Можно думать, что напыщенная фальшивость отца сыграла, по контрасту, свою роль в выработке у Пушкина большой простоты и естественности в выражении чувства. Сергей Львович денег удерживать не умел, но в то же время был очень скуп. Пушкин в письме с юга к брату с горечью вспоминал о своем петербургском пребывании под родительским кровом: «...Когда больной, в осеннюю пору или в трескучие морозы, я брал извозчика от Аничкина моста, он вечно бранился за восемьдесят копеек, которых, верно бы, ни ты, ни я не пожалели для слуги». Однажды, уже взрослым, обедая у отца, сын

его Лев разбил нечаянно рюмку. Отец вспылil и целый обед ворчал. Лев сказал:

– Можно ли так долго сетовать о рюмке, которая стоит двадцать копеек?

– Извините, сударь, – с чувством возразил отец, – не двадцать, а тридцать пять копеек!

Скупость Сергея Львовича была хорошо известна и всем его знакомым. Когда Вяземский узнал о помолвке Пушкина и Гончаровой, он писал ему: «Гряди, жених, в мои объятия! Более всего убедила меня в истине женитьбы твоей вторая экстренная бутылка шампанского, которую отец твой разлил нам при получении твоего письма. Я тут ясно увидел, что дело не на шутку. Я мог не верить письмам твоим, слезам его, но не мог не поверить его шампанскому».

К детям своим Сергей Львович был глубоко равнодушен. При малейшей жалобе гувернантки или гувернера он сердился, выходил из себя, но гнев его проистекал только из врожденного отвращения ко всему, что нарушало его спокойствие. Когда Пушкин был в лицее, Сергей Львович в январе 1815 г. присутствовал на публичном экзамене учени-

ков, – на этом экзамене Пушкин прочел свои «Воспоминания о Царском Селе» и вызвал восторг присутствовавшего на экзамене Державина. Как бывало и впоследствии, этот успех сына заставил Сергея Львовича отнестись к нему с большим вниманием. По окончании лицея Пушкин жил в Петербурге у родителей, на Фонтанке, и вызывал неутихающее негодование отца своим озорством, кутежами и вольномыслием. Пушкина выслали из Петербурга. На юге он пропал от безденежья. Отец писал ему нежные письма, но денег не посылал. «Изъясни отцу моему, – писал Пушкин брату из Одессы, – что я без его денег жить не могу. Жить пером мне невозможно при нынешней цензуре; ремеслу же столярному я не обучен... На кого, кажется, надеяться, если не на ближних и родных?.. Крайность может довести до крайности. Мне больно видеть равнодушие отца моего к моему состоянию, – хоть письма его очень любезны». В августе 1824 г. Пушкина выслали из Одессы в псковскую деревню его родителей. Там в это время жила вся семья Пушкиных. Отец ужасно испугался, твердил, что теперь и его само-

го, Сергея Львовича, может из-за сына ожидать ссылка, и не уставал пилить его. Пушкин совсем исчез из дому: либо рыскал верхом по окрестностям, либо проводил время у обитательниц соседнего села Тригорского. Домой возвращался только ночевать. Начальство напрасно искало среди окрестных дворян человека, который взял бы на себя обязанность следить за действиями, разговорами и перепиской ссыльного поэта. Тогда предложено было взять на себя эту обязанность самому Сергею Львовичу. Он с покорной готовностью согласился. Пушкин рассказывает в письмах: «...вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволили мне с ним объясниться; я решил молчать. Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я все молчал. Получают бумагу, до меня касающуюся. Наконец, желая вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу, прошу его позволения объясниться откровенно... Отец осердился, заплакал, закричал. Я поклонился, сел верхом и уехал. Отец призывает брата и повелевает ему не знаться avec ce monstre, ce fils dénaturé...[243] Голова моя

закипела. Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю все, что имел на сердце целых три месяца. Кончаю тем, что говорю ему в последний раз. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я его «бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить». А после говорил: «Экой дурак, в чем оправдывается! Да он бы еще осмелился меня бить! Да я бы связать его велел!» Зачем же обвинять было сына в злодействе несбыточном? «Да как он осмелился, говоря с отцом, непристойно размахивать руками!» Это дело десятое. «Да он убил отца словами!» – каламбур, и только». Взбешенный Пушкин написал официальное прошение псковскому губернатору такого содержания:

«Государь император высочайше соизволил меня послать в поместье моих родителей, думая тем облегчить их горесть и участь сына. Но важные обвинения правительства сильно подействовали на сердце моего отца и раздражили мнительность, простительную старости и нежной любви его к прочим детям. Решаюсь для его спокойствия и своего собственного просить его императорское ве-

личество да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей. Ожидаю сей последней милости от ходатайства вашего превосходительства».

Друзьям удалось остановить отправку прошения. Сергей Львович отказался от взятой на себя обязанности шпионить за сыном, со всей семьей уехал в Петербург, и Пушкин остался в Михайловском один.

Отношения между отцом и сыном остались враждебными. Сын не стеснялся в отзывах об отце, отцу эти отзывы передавались. В октябре 1826 г. Сергей Львович в негодовании писал брату своему Василию Львовичу: «Нет, добрый друг, не думай, что Александр Сергеевич почувствует когда-нибудь свою неправоту передо мною. Если он мог в минуту своего благополучия, и когда он не мог не знать, что я делал шаги к тому, чтобы получить для него милость, отречься от меня и клеветать на меня, то как возможно предполагать, что он когда-нибудь снова вернется ко мне? Не забудь, что в течение двух лет он питает свою ненависть, которую ни мое молчание, ни то, что я предпринимал для смягчения его уча-

сти изгнания, не могли уменьшить. Он совершенно убежден о том, что просить прощения должен я у него, но прибавляет, что если бы я решил это сделать, то он скорее выпрыгнул бы в окно, чем дал бы мне это прощение... Я еще ни минуты не переставал воссылать мольбы о его счастье, и, как повелевает евангелие, я люблю в нем моего врага и прощаю его, если не как отец, – так как он от меня отрекается, – то как христианин, но я не хочу, чтобы он знал об этом: он припишет это моей слабости или лицемерию, ибо те принципы забвения обид, которыми мы обязаны религии, ему совершенно чужды». Ссора между отцом и сыном длилась вплоть до 1828 г., когда они примирились благодаря усилиям Дельвига и особенно тому обстоятельству, что Пушкин был уже освобожден от правительственного надзора и ласково принят незадолго перед тем молодым царем. «Во второй раз (первый случай относится к 1815 г.), – пишет Анненков, – Сергей Львович искал сойтись с сыном, озадаченный его успехами и приобретенным положением между людьми». После этого отношения их стали внешне коррект-

ными, но по-прежнему отец и сын оставались холодны и далеки друг к другу. До того доходило, что, например, оба они обыкновенно в одно время гуляли по Невскому, но никто никогда не видал их гуляющими вместе. Перед женитьбой Пушкина отец выделил ему из своих нижегородских поместий половину деревни Кистеневки с 200 незаложенных душ.

Трагическая смерть поэта в самое сердце поразила «несчастливого отца». Он был, как говорится, «безутешен». Негодовал на Жуковского, что известное свое письмо к нему об обстоятельствах смерти Пушкина тот как будто написал не столько для утешения отца, сколько для распространения в публике. Когда однажды у знакомых он увидел бюст Пушкина, то подошел к нему, обнял и зарыдал. Невозможно было определить, где у этого изактерившегося человека кончалось настоящее чувство и начиналось разыгрывание роли.

Было ему уже под семьдесят лет. Жена его умерла еще раньше поэта, остался он совсем одиноким. Сын Лев служил офицером на Кавказе, дочь Ольга жила с мужем в Варшаве.

Сергей Львович проживал то у родственников в Москве, то в гостинице Демута в Петербурге, то в Михайловском. Он страдал уже сильно одышкой, был толст, глух, беззуб, при разговоре брызгал слюнями во все стороны, на широкой плечи прилизывал фиксауаром скудные остатки волос. Однако главным делом и главной радостью его жизни была любовь к молодым девицам. Он влюблялся направо и налево, влюблялся даже в десятилетних девочек, писал возлюбленным длинные стихотворные послания, пламенел надеждами, лил слезы отчаяния. В Михайловском он влюбился в молоденькую девушку – соседку Марью Ивановну Осипову, засыпал ее стихами в таком роде:

*Люблю... Никто того не знает.
И тайну милую храню в душе моей.
Я знаю то один... хоть сердце изнаывает,
Хотя и день, и ночь тоскую я по ней.
Но мило мне мое страданье,
И я клялся любить ее без упования,*

Но не без счастья для сердца моего.

Я на нее гляжу... Довольно и того!

Страсть к стихописанию у Сергея Львовича была чрезвычайна: все записки его к предметам его страсти писались не иначе, как стихами; посылал ли он цветы, книгу, собаку, лампу, – посылку неминуемо сопровождали стихи. Сергей Львович сделал Марье Ивановне предложение выйти за него замуж. Но она горячо любила его сына Льва, приехавшего домой погостить, и отказала отцу. Сергей Львович никак не мог этого понять: отец и сын, – как можно выбрать сына? Какой-то Левка и он – сам Сергей Львович! Любовь к Марье Ивановне, впрочем, не мешала ему видеть во сне белую шею и плечи старшей ее сестры, тридцатилетней матери многих детей, баронессы Е. Н. Вревской. В Петербурге Сергей Львович ухаживал за Анной Петровной Керн, которую когда-то воспел Пушкин («Я помню чудное мгновенье»), писал ей страстные любовные письма. Потом влюбился в ее дочь Екатерину Ермолаевну, безумствовал от любви, ел кожицу клюквы, которую она выпле-

вывала. Нельзя было без смеха смотреть, как он, изысканно одетый, расточал перед ней фразы старинных маркизов, не слушал ответов, рассказывал анекдоты, путая и время и лица. День ото дня глухота его усиливалась, одышка дошла до такой степени, что в другой комнате слышно было его тяжелое дыхание. Но еще за несколько дней до смерти он умолял Екатерину Ермолаевну выйти за него замуж.

Надежда Осиповна Пушкина (1775–1836)

Мать поэта. Рожденная Ганнибал. С малолетства была окружена угодливостью, потворством и лестью окружающих, выросла балованной и капризной. Была хороша собой, в свете ее прозвали «прекрасною креолкою». По своему знанию французской литературы и светскости она совершенно сошлась со своим мужем, очаровывала общество красотой, остроумием и веселостью. Была до крайности рассеяна, очень вспыльчива, от гнева и кропотливой взыскательности резко переходила к полному равнодушию и апатии относительно всего окружающего. Так же, как муж, пита-

ла глубочайшее отвращение ко всякому труду, домашним хозяйством ленилась заниматься в той же мере, как муж – управлением имениями. Барон М. А. Корф, живший одно время в соседней с Пушкиными квартире, вспоминает: «Дом их представлял всегда какой-то хаос: в одной комнате богатые старинные мебели, в другой пустые стены, даже без стульев; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня, ветхие рыдваны с тощими клячами, пышные дамские наряды и вечный недостаток во всем, начиная от денег и до последнего стакана. Когда у них обедало человека два-три, то всегда присылали к нам за приборами». Все в хозяйстве шло кое-как, не было взыскательного внимания хозяйки, провизия была несвежая, готовка дурная. Дельвиг, собираясь на обед к Пушкиным, писал Александру Сергеевичу:

*Друг Пушкин, хочешь ли отведать
Дурного масла, яиц гнилых, –
Так приходи со мной обедать
Сегодня у своих родных.*

Надежда Осиповна была властна и взбалмошна. Муж находился у нее под башмаком.

С детьми она обращалась деспотически. Страстно обожала меньшого сына Льва, к дочери же Ольге и особенно к Александру относилась холодно, подвергала унижительным наказаниям. Раз, например, за какую-то провинность ударила Ольгу по щеке и приказала просить прощения; та отказалась, тогда мать одела ее в затрапезное платье, посадила на хлеб, на воду и запретила другим детям подходить к ней. У Александра в детстве была привычка тереть ладони одну о другую; чтоб отучить его от этого, мать на целый день завязала ему руки назад и проморила голодом. Мальчик часто терял носовые платки, мать пришила ему носовой платок к курточке в виде аксельбанта и в таком виде заставляла выходить даже к гостям. Рассердившись, дулась на него и не разговаривала неделями и месяцами. Материнской ласки Пушкин никогда от нее не видел. Когда, двенадцатилетним мальчиком, его повезли в Петербург для определения в лицей, он покинул родительский кров без всякого сожаления.

И всю жизнь на равнодушие родителей Пушкин отвечал таким же равнодушием. Жи-

вя с ними в одном городе, посещал их очень редко, только по долгу родственной вежливости; отсутствуя, почти никогда не писал. Надежда Осиповна относилась к нему с неизменной холодностью, каждый успех Пушкина делал ее к нему все равнодушнее и вызывал только сожаление, что успех этот не достался ее любимцу Левушке. «Но последний год ее жизни, – вспоминает баронесса Е. Н. Вревская, – когда она была больна несколько месяцев, Пушкин ухаживал за нею с такой нежностью и уделял ей от малого своего состояния с такой охотой, что она узнала свою несправедливость и просила у него прощения, сознаваясь, что не умела его ценить. Он сам привез ее тело в Святогорский монастырь, где она похоронена. После похорон он был чрезвычайно расстроен и жаловался на судьбу, что она дала ему такое короткое время пользоваться нежностью материнскою, которой до того он не знал».

**Мария Алексеевна Ганнибал
(1745–1818)**

Рожденная Пушкина. Бабушка поэта. Дочь тамбовского воеводы, вышла замуж за Оси-

па Абрамовича Ганнибала, флотского офицера. Брак был очень несчастлив. Осип Абрамович прожил с женой всего четыре года, бросил ее с малолетней дочерью Надеждой и обвенчался с одной новоржевской помещицей. Возникло дело о двоеженстве. Четвертая часть его имения – село Кобрино Петербургской губернии – взята была в опеку на содержание малолетней дочери. Мария Алексеевна жила с ней то в Кобрине, то в Петербурге. В 1796 г. Надежда Осиповна вышла замуж за С. Л. Пушкина. Когда они переселились в Москву, Мария Алексеевна продала Кобрино, переехала также в Москву и наняла дом у Харитония в Огородниках, рядом с Пушкиными. Но жили в доме только ее люди, а сама она жила у Пушкиных, заведывала их хозяйством, воспитывала их детей, приглашала к ним гувернанток и учителей, сама их учила. По общим отзывам, была она очень умная, дельная и рассудительная женщина. Когда маленькому Пушкину приходилось невтерпёж от истерических разносов отца или строгой муштровки матери, он убегал к бабушке Марии Алексеевне, залезал в ее корзину и долго смотрел на ее

работу. Здесь его никто уже не тревожил. Она была первой наставницей Пушкина в русском языке (в родительском доме разговорным языком был французский). Дельвиг еще в лицее приходил в восторг от письменного слога Марии Алексеевны, от ее сильной, простой русской речи. В 1806 г. Мария Алексеевна купила под Москвой сельцо Захарово, – там Пушкины проводили у нее летнее время.

Василий Львович Пушкин (1767–1830)

Дядя поэта и сам поэт. Как и брат его Сергей, Василий Львович был богат, владел большим количеством крепостных душ, как брат, совершенно не заботился об управлении имениями и беззаботно проживал доходы, идя к полному разорению. Получил внешне блестящее образование, прекрасно говорил по-французски, знал латинский, немецкий, английский и итальянский языки. В молодости служил в Петербурге в лейб-гвардии Измайловском полку, но очень недолго. В 1797 г. вышел в отставку и поселился в Москве. Там женился на красавице Кап. М. Вышеславцевой, однако вскоре разъехался, а потом и развелся

с ней и сошелся с «вольнотпущенною девкой», – должно быть, той самой Анной Николаевной Ворожейкиной, с которой Василий Львович прожил всю остальную жизнь и от которой имел «незаконных» детей. Василий Львович блистал в салонах, был душой общества, был неистощим в каламбурах, островах и тонких шутках. 1803–1804 гг. провел он за границей, главным образом в Париже, и вывез оттуда богатейшую библиотеку. Когда он воротился из путешествия, рассказывает Вяземский, «Парижем от него так и веяло. Одет он был с парижской иголки с головы до ног; прическа *a la Titus* – углаженная, умасленная древним маслом, *huile antique*. В простодушном самохвальстве давал он дамам обнюхивать голову свою». В непрерывных посещениях балов, раутов, обедов, литературных собраний, в участии в любительских спектаклях и шарадах проходила вся жизнь Василия Львовича. Под конец материальное состояние его значительно порасстроилось, порасстроилось и здоровье, он еле двигался от подагры, его мучившей, страдал сильной одышкой. Раз утром он поднялся с постели, добрался до

шкапов огромной своей библиотеки, где книги стояли в три ряда, заслоняя друг друга, отыскал там Беранже и с этой ношей перешел на диван залы. Тут принялся он перелистывать любимого своего поэта, вздохнул тяжело и умер над французским песенником.

Печататься В. Л. Пушкин начал с 1793 г. Писал в стиле Дмитриева и Карамзина послания, элегии, басни, сказки, сатиры. Стих его гладок, однако большинство писаний – безнадежная середина, холодный набор рифм и размеренных строчек. Но однажды, в 1811 г., удалось ему написать юмористическую поэму «Опасный сосед». Начинается так:

*Ох! Дайте отдохнуть и с силами
собраться!
Что прибыли, друзья, пред вами
запираться?
Я все перескажу. Буянов, мой сосед,
Имение свое проживший в восемь лет
С цыганками, с блядьми, в трактирах с плясунами,
Пришел ко мне вчера с небритыми усами,*

*Растрепанный, в пуху, в картузе с козырьком.
Пришел, – и понесло повсюду каба-
ком.*

Следует сочный, яркий рассказ о посещении приятелями веселого дома и о скандале, там разыгравшемся. Печать поэма эта могла увидеть только в наше время, но разошлась она в тысячах списков и доставила автору большую славу. В заслугу В. Л. Пушкину нужно также поставить его деятельное участие в борьбе молодой литературы с литературными староверами, группировавшимися вокруг Шишкова; послания В. Пушкина к Жуковскому и Блудову сыграли в свое время значительную роль в этой борьбе.

Роста Василий Львович был небольшого, на жидких ногах – рыхлое туловище с выпячивающимся брюшком, нос кривой, волосы уже к тридцати годам сильно поредели, зубы тоже были плохие, при разговоре слюна летела на собеседника, так что друзья, слушая его, держались от него в некотором отдалении. Все это не мешало Василию Львовичу следовать за модой самозабвенно и даже жертвен-

но. Когда в 1801 г. приехал в Петербург дипломатическим агентом Бонапарта молодой красавец Дюрок, будущий великий маршал двора Наполеона, Василий Львович специально поехал в Петербург, чтобы поглядеть, как одевается Дюрок, пробыл столько времени, сколько нужно было, чтобы с ног до головы перерядиться, и всех изумил в Москве толстым и длинным жабо, коротким фрачком и головой в мелких курчавых завитках, как баранья шерсть, что называлось тогда а-ля Дюрок. Позже зять его Сонцов говорил, что у Василия Львовича есть в мире три привязанности: сестра его Анна Львовна, князь Вяземский и однобортный фрак, который Василий Львович выкроил из старого сюртука по новомодному покрою фрака, привезенному в Москву щеголем Павлом Ржевским. Когда Василий Львович сочинял стихи, на него было умилительно глядеть. Вяземский, говоря о жизни в Италии, писал А. Тургеневу: «Просто блаженствуешь... Так живут на небесах; так живет Василий Львович, когда пишет стихи. Все в нем онемееет: только течет радостная слюна». Очень он любил и читать свои стихи

и пользовался для этого каждым удобным случаем: то прочтет их восторженно, то несколькими тонами понизит свое чтение, то ухватится за первый попавшийся предлог и прочтет стихи свои как будто случайно. На вид был он почтенен, сановит и важен; но под наружностью этой скрывались совершенно исключительные наивность и легкоеверие. Был в восемнадцатом веке один такой французский писатель Пуансине, отличавшийся легендарным легкоевием. Однажды его уверили, что король хочет приблизить его ко двору и назначить «придворным экраном». Пуансине несколько дней сряду стоял перед пылающим камином и жарил себе икры, чтобы приучить себя к новой должности. Приятели, говоря о Василии Львовиче, постоянно вспоминают об этом Пуансине. Легкоевие Василия Львовича служило предметом постоянной потехи для его друзей. Особенно отличались в издевательствах над ним дальний его родственник Алексей Михайлович Пушкин, известный остро слов, и И. И. Дмитриев. Потехи эти вызвали однажды у Василия Львовича горький стих:

*Их дружба почти на нена-
висть похожа!*

Однажды обедали приятели у Василия Львовича. Московский почт-директор А. Я. Булгаков сообщил только что полученную из Петербурга весть, что молодой Александр Пушкин был приглашен Милорадовичем и получил жестокую головомойку за какие-то стихи, а Пушкин будто бы ответил так: «Я эти стихи знаю, вашему сиятельству не солгали; они точно написаны Пушкиным, только не мною, а Василием Львовичем Пушкиным, дядею моим». Василий Львович, как молнией оглушенный, рассеянно стал поглядывать на всех и наконец сказал:

– Прежде всего я очень сомневаюсь, чтобы мой племянник мог сказать такую вещь, а... а если он это сказал, то граф Милорадович, надеюсь, ему не поверил. Ведь меня все знают, я не либерален; меня знает и И. И. Дмитриев, и Карамзин, я не пишу таких стихов.

– А Буянов («Опасный сосед»)?! – воскликнул Булгаков.

– Ну, что Буянов... Это только дурная шутка.

– Дурная – да! – возразил Ал. Мих. Пушкин. – Но-о – не шутка!..

Василий Львович так перетрусил, что после этого боялся даже говорить о племяннике и на расспросы о нем отвечал:

– Я об нем ничего не знаю, и мы даже не переписываемся.

Отношение Александра Пушкина к дяде было двойное. В показном плане он осыпал его любезностями, в 1817 г. писал ему: «В письме вашем вы называли меня братом: но я не осмелился назвать вас этим именем, слишком для меня лестным:

*Я не совсем еще рассудок потерял,
От рифм вакхических, шатаюсь
на Пегасе:*

*Я знаю сам себя, хоть рад, хотя
не рад...*

*Нет, нет, вы мне совсем не брат:
Вы дядя мой и на Парнасе».*

В стихотворении «Городок» (1815) Пушкин обращался к дяде: «И ты, замысловатый Буянова певец, в картинах столь богатый и вкуса образец». «Опасного соседа», впрочем, Пушкин всегда ценил и высказывал предположе-

ние, что потомство припишет эту поэмку ему. Буянова, как детище дяди, называл своим двоюродным братом и вывел его в «Евгении Онегине» на балу у Лариных в качестве одного из гостей:

*Мой брат двоюродный Буянов
В пуху, в картузе с козырьком,
Как вам, конечно, он знаком.*

В общем, однако, Пушкин ценил дядю разве только в самой ранней юности. Впоследствии он неизменно отзывался о нем с насмешкой и пренебрежением – и как о поэте, и как о человеке. В письмах его встречаем выражение: «посредственный, как Василий Львович». Из Кишинева Пушкин писал Вяземскому: «Дядя прислал мне свои стихотворения, – я было хотел написать об них кое-что, да невозможно: он так глуп, что язык не повернется похвалить его». Когда умер Ал. М. Пушкин, вместе с Дмитриевым всего злее издевавшийся над Василием Львовичем, Пушкин запрашивал Вяземского: «Какую песню из Беранже перевел дядя Василий Львович? Уж не «le bon Dieu» ли? Объяви ему за тайну,

что его в том подозревают в Петербурге и что готовится уже следственная комиссия. Не худо уведомить его, что уже давно был бы он сослан, если бы не чрезвычайная известность его «Опасного соседа». Опасаются шума. Как жаль, что умер Алексей Михайлович и что не видал я дядиной травли! Но Дмитриев жив, еще не все потеряно». И в 1830 г., будучи женихом, он сообщал Вяземскому: «Дядя Василий Львович плакал, узнав о моей помолвке. Он собирается на свадьбу подарить нам стихи. На днях он чуть не умер и чуть не ожил. Бог знает, чем и зачем он живет!»

Сонцовы (Солнцевы)

Елизавета Львовна Сонцова (1776–1848), Ерожденная Пушкина, тетка поэта. Замужем за Матвеем Михайловичем Сонцовым (1779–1847). Он был богатый помещик Зарайского уезда Рязанской губернии, служил неперменным членом в Мастерской московской Оружейной палаты под начальством князя Н. Б. Юсупова. В 1825 г. был представлен Юсуповым к производству в камергеры. Однако в Петербурге нашли, что по его чину доста-

точно и звания камер-юнкера. «Но Сонцов, – рассказывает Вяземский, – кроме того, что уже был в степенных летах, пользовался еще вдоль и поперек таким объемистым туловищем, что юношеское звание камер-юнкерства никак не подходило ни к лицу его, ни к росту. Был он не только сановит, но и слоновит. Князь Юсупов сделал новое представление на основании физических уважений, которое и было утверждено: Сонцов наконец пожалован в камергеры». Известный московский остряк Неелов сложил по этому случаю эпиграмму:

*Чрез дядю, брата или друга
Иной по службе даст скачок;
Другого вывезет сестра или супру-
га,
Но он стал камергер чрез соб-
ственный пупок.*

Сонцов постоянно пыхтел от тучности, как кипящий чайник под крышкой, вечно всем был недоволен, говорил напыщенно и до того был чванлив, что даже в деревне у себя надевал по праздникам камергерский мундир. Жена его Елизавета Львовна, как и братья ее,

была насквозь фальшива, любила разыгрывать высокие чувства. Однажды в зарайской деревне заболела у нее дочь. Приглашен был известный в Зарайске д-р Георгиевский, чуждак-бессребреник и прекрасный врач. Он приехал. Елизавета Львовна в живописной позе лежала в гостиной на диване и нюхала из флакона соли. Ломаясь, она пространно стала рассказывать доктору о страданиях материнского сердца, о беспокойстве за страждущую дочь. А детям ее в действительности житье в родительском доме было очень плохое. Георгиевский сурово прервал ее:

– Сударыня, ведите меня к больной.

Дочь он вылечил, но мать иначе о нем не говорила, как «*c'est un monstre* (это чудовище)!» После смерти племянника-поэта она, при упоминании о нем, закатывала глаза к потолку и произносила: «*Mon neveu – pauvre victime* (мой племянник – несчастная жертва)!»

У Сонцовых были две дочери. Несмотря на все старания родителей, выйти замуж им не удалось. Баратынский с Соболевским написали на Сонцовых такую эпиграмму:

Жил да был петух индейский,
Цапле руку предложил,
При дворе взял чин лакейский
И в супружество вступил.
Он детей молил, как дара, –
И услышал бог богов:
Родилась цаплей пара,
Не родилось петухов.
Цапли выросли, отстали
От младенческих годов,
Длинные, очень длинные стали
И глядят на куликов.
Вот пришла отцу забота
Цаплей замуж выдавать,
Он за каждой два болота
Мог в приданое отдать.
Кулики к нему летали
Из соседних, дальних мест;
Но лишь корм они клевали, –
Не глядели на невест.
Цапли вяли, цапли сохли,
Наконец, скажу вздохнув,
На болоте передохли,
Носик в перья завернув.

Эпиграмма была приписана Пушкину и под его именем дошла до Сонцовых. В 1828 г. Вяземский писал Пушкину из деревни про

двоюродную сестру Сонцова: «...она представила мне в лицах, как Елизавета Львовна жаловалась ей на тебя за стихи «Жил да был петух индейский», и заставляла дочь Алину нараспев их читать. Ты прыгал бы и катался от смеха».

Анна Львовна Пушкина (1769–1824)

Тетка поэта, старая дева. Девство ее не переставало тешить Пушкина. Вяземскому он писал по поводу «Бахчисарайского фонтана»: «Хладного скопца уничтожаю в поэме из уважения к давней девственности Анны Львовны». Когда она умерла, он запрашивал Вяземского: «Смерть моей тетки Fre'tillon не внушила ли какого-нибудь перевода Василию Львовичу? Нет ли хоть эпитафии?» Fre'tillon – героиня песенки Беранже, девушка легких нравов. Пушкин применил это название к Анне Львовне, как о человеке очень худом говорят шутливо «толстяк» или о карлике – «великан». В вариантах к «Графу Нулину» Пушкиным упоминается многотомный сентиментальный роман «Любовь Элизы и Армана, или Несчастье двух семей»:

*Роман классический, старинный,
Отменно длинный, длинный,
длинный,
Отрада девушки невинной,
Покойной тетушки моей.*

Анна Львовна вела знакомство с писателями, у нее обедавали И. И. Дмитриев, Батюшков. Эта «девушка невинная» любила посудачить и совать нос в чужие любовные дела. В бытность свою в Москве в 1811 г. Батюшков дружески сошелся с Е. Г. Пушкиной, женой известного остряка А. М. Пушкина. В 1816 г. друг Батюшкова, С. И. Муравьев-Апостол, встретился с Анной Львовной в одном доме. Она спросила, как поживает Батюшков, Муравьев ответил, что только что получил от Батюшкова письмо, где он жалуется на хандру. Анна Львовна воскликнула:

– О, это потому, что он влюблен!

– Очевидно, вы лучше меня знаете состояние его сердца.

– О, я знаю, что говорю. Он влюблен, да, да! – И злорадно добавила: – В первый же раз, как будете ему писать, скажите, что возжегшая в нем пламя столько уже не танцует, не

так уже хороша и не так элегантна.

Умерла она в Москве 14 октября 1824 г. Брат ее Василий Львович напечатал в альманахе «Полярная звезда» стихотворение, посвященное памяти покойной:

*Где ты, мой друг, моя родная,
В какой теперь живешь стране?
Блаженство райское вкушая,
Несешься ль мыслию ко мне?
Ты слышишь ли мои рыданья?
Ты знаешь ли, что в жизни сей
Мне без тебя нет ясных дней
И нет на счастье упованья?
Кто будет заниматься мной?
И чья душа с моей душой
Нежнейшей дружбой съединится?
Где ты, о ангел добротой?
Дай мне туда переселиться!
Там плача и вздыханий нет,
Там тихий не вечерний свет
Для добродетельных сияет!
Взгляни с небесной высоты!..*

и т. д.

Племянник-поэт в это время жил в Михайловской ссылке. Он к смерти тетушки отнесся

вполне равнодушно. Брату он писал: «...тетка умерла. Еду завтра в Святые Горы и велю отпеть молебен или панихиду, смотря по тому, что дешевле». По-видимому, отслужить по тетке панихиду его просила сестра Ольга. Но сам Пушкин на панихиду не поехал и писал сестре: «...няня исполнила твою комиссию, ездила в Святые Горы и отправила панихиду или что было нужно». В завещании своем Анна Львовна оставила по 15 тыс. руб. своим племянницам Ольге Пушкиной и двум девицам Сонцовым. Пушкин по этому поводу писал сестре: «Если то, что ты сообщаем о завещании Анны Львовны, правда, то это очень мило с ее стороны. Право, я всегда любил мою бедную тетку». Однако эта любовь не помешала Пушкину весной следующего года, когда к нему в деревню приехал Дельвиг, сочинить совместно с ним самую озорную «Элегию на смерть Анны Львовны»:

*Ох, тетенька! Ох, Анна Львовна,
Василья Львовича сестра!
Была ты к маменьке любовна,
Была ты к папеньке добра,
Была ты Лизаветой Львовной*

*Любима больше серебра;
Матвей Михайлович, как кров-
ный,
Тебя встречал среди двора.
Давно ли с Ольгою Сергеевной,
Со Львом Сергеечем давно ль,
Как бы на смех судьбине гневной,
Ты разделяла хлеб да соль!
Увы! Зачем Василий Львович
Твой гроб стихами обмочил,
Или зачем подлец попович
Его Красовский пропустил?*

Пушкин послал эту элегию Вяземскому, Вяземский отвечал: «Если она попадется на глаза Василию Львовичу, то заготовь другую песню, потому что он верно не перенесет удара». Василий Львович узнал об элегии племянника осенью и, конечно, был глубоко возмущен. Он воскликнул в негодовании: «А она его сестре 15 000 оставила!» Когда один из почитателей Пушкина, встретясь с Василием Львовичем, поздравил его со знаменитым племянником, Василий Львович отвернулся и сказал:

– Есть с чем! Он негодяй!

Лев Сергеевич Пушкин

(1805–1852)

Младший брат поэта. Яркий представитель тунеядного, бездельного барства и того мотыльково-легкого отношения к жизни, которое отличало всех близких родственников Пушкина. Когда Пушкина отвезли из Москвы в лицей, Льву было около шести лет. Он был любимцем матери и рос баловнем. В 1817 г. Пушкины переехали в Петербург; Льва отдали в университетский Благородный пансион. Товарищами его по пансиону были М. И. Глинка (будущий композитор), С. А. Соболевский, С. Д. Полторацкий и другие. А. С. Пушкин в этом же году кончил лицей и поселился в Петербурге у родителей, братья часто виделись. В феврале 1821 г., уже после высылки Пушкина, Лев был исключен из пансиона за то, что организовал протест своего третьего класса против увольнения из пансиона учителя русской словесности В. К. Кюхельбекера (лицейского товарища Пушкина). «Класс, – по донесению директора Кавелина, – два раза погасил свечи, производил шум и другие непристойности, причем зачинщиком был Лев Пушкин». По сообщению Соболевского,

Лев с товарищами побил одного из надзирателей. После исключения из пансиона Лев без дела проживал у родителей в Петербурге и в деревне. Пушкин в это время жил в ссылке на юге. Он очень интересовался Львом и нежно вспоминал о нем. К 1822 г. относится черновой набросок:

*Брат милый, отроком расстался
ты со мной,
В разлуке протекли медлитель-
ные годы...*

и т. д.

Пушкин с юга часто писал брату, делился с ним мыслями, настроениями, очень интересовался его развитием. В марте 1821 г. он писал Дельвигу из Кишинева: «...брат – человек умный во всем смысле слова, и в нем прекрасная душа... Люби его; я знаю, что будут стараться изгладить меня из его сердца; в этом найдут выгоду. Но я чувствую, что мы будем друзьями – и братьями не только по африканской нашей крови». Лев действительно был юноша одаренный, очень неглупый, остроумный, с прекрасным литературным вкусом, который Пушкин ставил не ниже вкуса

Дельвига; он сам писал стихи, посылал их на суд брата, но к стихам его Пушкин оставался равнодушен и писал брату: «...если ты в родню, так ты литератор, – сделай милость, не поэт». Между прочим, Лев обладал феноменальной памятью; стоило ему раз-два прочесть стихи, и он запоминал их от слова до слова. Все стихи брата он знал наизусть и прекрасно читал их. Это дало ему в Петербурге своего рода популярность; его нарасхват приглашали повсюду, чтобы услышать ненапечатанные еще вещи Пушкина. В настоящее время подобные чтения могли бы только способствовать популярности произведения, но не так было во времена Пушкина: круг читателей был очень ограничен, привычки к книге еще не существовало, а очень распространено было обыкновение понравившиеся вещи списывать. При таких условиях «чтение-бесие» Левушки приносило Пушкину существенный материальный ущерб. Вяземский писал Пушкину, что еще ненапечатанный «Бахчисарайский фонтан» его повсюду публично читается его братом, и по Петербургу ходят тысячи списков поэмы. Пушкин за это

намылил голову брату.

Осенью 1824 г. Пушкин приехал в качестве ссыльного в Михайловское. Там в это время жили его родители и все семейство. Лев в том числе. «Потешный юнец, который восхищается моими стихами», – писал про него Пушкин княгине Вяземской. Оба брата часто бывали в соседнем Тригорском, наперерыв ухаживали за тригорскими барышнями, причем Лев, по-видимому, пользовался даже большим успехом, чем брат. Пушкин несколько раз шутливо говорит о своей ревности по отношению ко Льву. А родители непрерывно пилили Пушкина за его неблагонадежность, высказывали боязнь, что и им всем придется пострадать из-за него, обвиняли, что он проповедует атеизм брату и сестре. Разразилась бешеная ссора Пушкина с отцом, все уехали в Петербург, и Пушкин остался один. Лев вскоре поступил на службу в департамент духовных дел иностранных исповеданий. Первое время переписка между братьями была очень оживленная. Пушкин опять делился со Львом своими размышлениями и переживаниями, давал ему всевозможные поручения по присыл-

ке ему из Петербурга книг, вина, закусок и, между прочим, поручил ему издание своих стихов. Но уже летом 1825 г. он писал Дельвигу: «...скажи Плетневу, чтобы он Льву давал из моих денег на орехи, а не на комиссии мои, потому что это напрасно: такого бессовестного комиссионера нет и не будет». Комиссионером действительно Левушка оказался никуда негодным. Стихов Пушкина для печатания он все не удосуживался переписать, но, не уставая, читал их всюду на ужинах, вписывал в альбомы дам и упивался славой, отраженно падавшей на него от брата. Ходила о нем эпиграмма:

*А Левушка наш рад,
Что брату своему он брат.*

Пушкин писал Льву: «Пишу тебе из необходимости. Ты знал, что деньги мне будут нужны. Я на тебя полагался как на брата, — между тем год прошел, а у меня ни полушки. Если бы я имел дело с одними книгопродавцами, то имел бы тысяч пятнадцать. Ты взял от Плетнева для выкупа моей рукописи 2000 р., заплатил 500, доплатил ли остальные 500?

И осталось ли что-нибудь от остальной тысячи? Я отослал тебе мои рукописи в марте, — они еще не собраны, не цензурованы, — ты читаешь их своим приятелям до тех пор, что они наизусть передают их московской публике. Благодарю... Заплачены ли Вяземскому 600 рублей?» Эти 600 рублей, взятые Пушкиным у Вяземского еще перед высылкой его из Одессы, имели свою сложную историю, и долг этот очень мучил Пушкина. Он поручил Льву послать деньги Вяземскому. Левушка эти деньги промотал. Промотал он и деньги, полученные от Плетнева на выкуп пушкинских рукописей. Однако в общем был он, по уверению друзей, ужасно милый молодой человек, к великому брату своему относился с «восторженным поклонением»; в литературных кругах принимали его самым радушным образом; он бывал на вечерах Карамзина, Жуковского, подружился с Дельвигом, Плетневым и Баратынским; с Баратынским одно время жил на общей квартире, к нему Баратынский написал послание, а Пушкину послал горячее письмо, где, извиняясь, что мешается не в свое дело, убеждал его не сердиться на Левуш-

ку и быть снисходительным к его ветрености. Но отношения между братьями испортились непоправимо, Пушкин вполне раскусил молодого человека. Он в течение своей жизни продолжал заботиться о брате, устраивал его на службу, платил его долги, но переписывался с ним только по деловым вопросам, редко и сухо, а отзывался с насмешкой или пренебрежением.

В конце 1826 г. Левушка ушел с гражданской службы и определился юнкером на Кавказ в Нижегородский драгунский полк, которым командовал старый друг Пушкина Н. Н. Раевский-младший. Пушкин виделся с братом в Москве и в марте 1827 г. писал Дельвигу: «Лев был здесь, – малый проворный, да жаль, что пьет. Он задолжал у вашего Андрие (ресторан) 400 р. и ублудил жену гарнизонного майора. Он воображает, что истощил всю чашу жизни. Едет в Грузию, чтоб обновить увядшую душу. Уморительно». Через шесть месяцев Лев Пушкин был произведен в прапорщики. Он принимал участие в персидской войне и вскоре за ней последовавшей турецкой, выделялся храбростью и приобрел репу-

тацию лихого боевого офицера. В поездку свою в Арзрум в 1829 г. Пушкин не раз виделся с ним. По окончании войны Лев получил продолжительный отпуск, конец 1829 г. и весь 1830 г. пробыл в Москве, присутствовал на свадьбе брата и распоряжался свадебным ужином. Когда началась польская война, Лев просился в действующую армию; хлопотами Пушкина этого удалось достигнуть, но с некоторыми затруднениями: справки, наведенные о Льве в Москве, говорили не в его пользу. «Им были недовольны за его пьянство и буянство», – писал Пушкин Плетневу. На войне польской Левушка опять отличался, получал награды за храбрость. В конце 1832 г. в чине капитана вышел в отставку.

Определиться к какому-нибудь делу Левушка не спешил. Через год Пушкин запрашивал жену: «...что делает брат? Я не советую ему идти в статскую службу, к которой он так же неспособен, как и к военной, но у него, по крайней мере... здоровая, и на седле он все-таки далее уедет, чем на стуле в канцелярии... Покамест советую ему бить баклуши; занятие приятное и здоровое». И Лев действительно

всей душой предался этому «приятному и здоровому» занятию. Поступил было на гражданскую службу – чиновником особых поручений при министерстве внутренних дел, но не понравилось, и через три месяца ушел. Он был по-прежнему мил и очарователен, но отличался больше всего по гастрономической линии, и эту сторону его отмечал в своих эпиграммах его друг Соболевский:

*Наш приятель Пушкин Лёв
Не лишен рассудка,
Но с шампанским жирный плов
И с груздями утка
Нам докажут лучше слов,
Что он более здоров
Силою желудка.*

Современник пишет: «Лев Сергеевич похож лицом на своего брата: тот же африканский тип, те же толстые губы, умные глаза; но он блондин, хотя волосы его так же вьются, как черные кудри Александра Сергеевича. Лев Пушкин ниже ростом своего брата, широкоплеч, вечно весел, над всем смеется, находчив и остер в своих ответах; пьет одно вино, хорошее или дурное – все равно, пьет много,

и вино никогда на него не действует. Он не знает вкуса чая, кофе, супа, потому что в них есть вода. Рассказывают, что ему однажды сделалось дурно в какой-то гостинной, и дамы, тут бывшие, засуетились около него и стали кричать: «Воды, воды!» И будто бы Пушкин, услышав это ненавистное слово, пришел в чувство и вскочил как ни в чем не бывало». Левушка любил жить широко и ни в чем себе не отказывать. Приехал он в Петербург и в самой лучшей гостинице Энгельгардта взял самый лучший номер, по двести рублей в неделю; угощал роскошными завтраками богатых своих приятелей, – и это все, не имея в кармане ни гроша. Пушкину пришлось заплатить за брата в ресторан 260 руб. и Энгельгардту 1330 руб., а брата водворить к родителям. В домино Левушка проигрывал в ресторанах по четырнадцать бутылок шампанского, и платить за это опять-таки пришлось брату. Приходилось устраивать и карточные дела «храброго капитана», как в семье называли Левушку. Пушкин выкупил за две тысячи рублей вексель в десять тысяч, проигранных Львом Болтину, уплатил две тысячи, проигранные

Плещееву. Новый сюрприз: Левушка проиграл тридцать тысяч! Соболевский посмеивался: «Придется Александру же Сергеевичу его кормить; кормить-то не беда, а поить накладно». Платежи ложились на Пушкина, потому что он имел неосторожность взять на себя управление донельзя разоренным общим их именем. На этом основании с него непрерывно тянули денежки и Лев, и сестра с мужем. Пушкин вышел из терпения и отказался от управления и писал брату – официально, по-французски: «Я постараюсь выделить вам причитающуюся вам часть земли и крестьян. Может быть, вы тогда начнете заниматься вашими делами и потеряете хоть в некоторой степени ту беспечность и легкость, с какою позволяете себе жить изо дня в день».

Левушка в это время жил уже в Тифлисе, куда уехал опять определяться на военную службу, и в ожидании назначения угощал приятелей обедами. Приезжавшие из Тифлиса знакомые сообщали, что живет он, как человек, получающий тысяч десять дохода. Конечно, привезенных им с собой денег не хватило. В октябре 1835 г. больная мать его полу-

чила от Льва письмо, где любимый сын ее писал, что он находится в величайшей нужде, что к самым унижительным шагам ему пришлось прибегнуть даже для того, чтобы иметь возможность отправить ей по почте это письмо. У матери сделалось разлитие желчи, сильно ухудшившее ее состояние. Может быть, подобные же письма Левушка писал и брату, но Пушкин уже перестал их читать и, не распечатывая, бросал в огонь. Наконец 13 июля 1836 г. Левушка получил назначение в Гребенской казачий полк. Новое огорчение! Пушкин Лев привык служить под начальством генерала Раевского, который установил с ним чисто товарищеские отношения. Новые же командиры требовали субординации, а это было совсем не по вкусу Левушке. И он жаловался в письме к отцу, что новый его начальник, генерал Розен, обращается с ним, как с собакой. Огорченный отец переслал это письмо Пушкину, а Пушкин ему ответил: «То, что Лев написал о генерале Розене, оказалось ни на чем не основанным. Лев обидчив и избалован фамильярностью прежних своих командиров. Генерал Розен нико-

гда не обращался с ним, как с собакою, – как уверяет Лев, – но как со штабс-капитаном, а это совсем другое дело».

О смерти Пушкина Лев узнал, воротившись из экспедиции против чеченцев. «Эта ужасная новость меня сразила, – писал он отцу, – я, как сумасшедший, не знаю, что делаю и что говорю... В гибельный день его смерти я слышал вокруг себя свист тысяч пуль, – почему не мне выпало на долю быть сраженным одною из них, – мне, человеку одинокому, бесполезному, уставшему от жизни и вот уже десять лет бросающему ее всякому, кто захочет...» В 1839 г. Лев опять попал под начальство Раевского, назначенного устройтелем черноморской береговой линии. По-прежнему Левушка отличался храбростью в боях и по-прежнему был мил и очарователен. Н. И. Лорер рассказывает: «Память Пушкин имеет необыкновенную и читает стихи вообще, своего брата в особенности, превосходно, хотя не доставляет этого наслаждения своим жадным слушателям до тех пор, пока не поставят перед ним лимбургского сыра и несколько бутылок вина. Весь лагерь был в восторге от

Пушкина, и можно было быть уверену, что где Пушкин, там кружок и весело. Всю экспедицию он сделал с одною кожанною подушкой, старою поношенною шинелью, парой платья на плечах и шашкою, которою никогда не снимал. Пушкин обыкновенно заглядывает по палаткам, и где едят или пьют, он там, везде садится, ест и пьет. В карты Пушкин играл и всегда проигрывал; табаку не нюхал и не курил. Вечно без денег, а если заведутся кое-какие, то ненадолго: или прокутит, или раздаст. Одним словом, Пушкин имел много странностей, но все они как-то шли к нему, и он был самый беспечный, милый человек, какого я знал». Рассказывает Лорер еще такой случай. Однажды заехал к нему Левушка, отправлявшийся в экспедицию. Зовет своего камердинера. Он вошел в бархатном чекмене, обшитом галунами, опоясанный черкесским поясом с серебряными пуговицами. Пушкин стал распоряжаться:

– Здесь поставь мне железную кровать, вынь батистовое белье и шелковое одеяло да подай мне красную шкатулку.

Оказалось, что в Ставрополь приехал даль-

ний родственник Пушкина, богач и флигель-адъютант. Его отправили курьером в Тифлис, он оставил своего человека и вещи на сохранение Пушкину, а Пушкину самому пришлось отправиться в экспедицию. Вот он для сохранности и взял все с собой.

– Помилуй, любезный Пушкин, да ведь это все чужое! – возразил Лорер.

– А что ж за беда! – ответил Пушкин, смеясь.

В 1842 г. Пушкин вышел в отставку, жил некоторое время в деревне у отца, чуть было не женился на М. И. Осиновой, в 1843 г. определился на службу в Одессу членом портовой таможни, там женился. В 1851 г. заболел водянкой, ездил за границу лечиться, поправился, но, возвратившись, опять стал пить и умер летом 1852 г. в Одессе.

Ольга Сергеевна Павлицева (1797–1868)

Рожденная Пушкина, родная сестра поэта. В 1832 г. Пушкин писал Дельвигу: «Ты знаешь, что я имел несчастие потерять бабушку Чичерину и дядю Петра Львовича, – получил эти известия без приуготовления и нахожусь

в ужасном положении, – утешь меня, это священный долг дружбы (сего священного чувства)». В издевательских, шутливо-банальных строках этих отображается общее отношение Пушкина к родственному чувству, – оно для него тоже было «сим священным чувством». Ему совсем не пришлось изведать хороших родственных связей, дружественно-близких отношений с близкими по крови и по совместной жизни людьми. Отношения эти насквозь были проедены фальшью и глубоким равнодушием, прикрытым показной родственностью. Отец, мать, дядья, тетки – все были такие, о всех них Пушкин не говорит иначе, как с пренебрежением и насмешкой. А потребность родственной любви была в нем заложена большая. И с братским, именно родственным, горячим чувством он подходил к подраставшему брату Льву, к сестре Ольге, на них пытался излить переполнявшую его душу родственную нежность. В брате ему очень быстро пришлось разочароваться и совершенно от него отдалиться. Отдалился он постепенно и от сестры.

В детстве они были близки. Вместе играли,

разыгрывали написанные Пушкиным французские комедии. Из лицея он в 1814 г. писал ей послание «К сестре»:

*Чем сердце занимаешь
Вечернею порой?
Жан-Жака ли читаешь,
Жанлис ли пред тобой?*

*.....
Иль моську престарелу,
В подушках поседелу,
Окутав в длинну шаль
И с нежностью лелея,
Ты к ней зовешь Морфея?
Иль смотришь в темну даль
Задумчивой Светланой
Над шумною Невою?
Иль звучным фортепьяно
Под беглою рукой
Моцарта оживляешь?
Иль тоны повторяешь
Пиччини и Рамо?*

После выпуска из лицея Пушкин жил в квартире родителей на Фонтанке вместе с сестрой. Из южной ссылки в письмах к брату он делал ей коротенькие французские приписочки в таком роде: «Любишь ли ты по-преж-

нему свои уединенные прогулки? Какие у тебя любимые собаки? Забыла ли ты трагическую смерть Омфалы и Бизарра (собачки Ольги)? Что тебя забавляет? Что ты читаешь? Ездишь ли верхом? Вышла ли замуж? Собираешься ли это сделать? Сомневаешься ли в моей дружбе? Прощай, мой добрый друг!» Когда в 1824 г. Пушкин приехал в качестве ссыльного в Михайловское, в его столкновениях с родителями Ольга стояла на его стороне, а он писал о ней княгине Вяземской: «...сестра моя – небесное создание». Когда Пушкин остался в деревне один, он в письмах к брату в Петербург неизменно просил передать сестре поцелуй и уверение в любви. Пущину, посетившему его в ссылке в начале 1825 г., выражал сожаление, что с ним нет сестры его, но что он ни за что не согласится, чтобы она по привязанности к нему проскучала целую зиму в деревне. Лето 1825 г. Ольга Сергеевна провела с родителями в Ревеле, там с ней очень подружился князь П. А. Вяземский и написал ей стихи:

*Нас случай свел; но не слепцом
меня*

*К тебе он влек непобедимой си-
лой,
Поэта друг, сестра и гений ми-
лый,
По сердцу ты и мне давно родня!
Так! в памяти сердечной без зака-
та
Мечта о нем горит теперь жи-
вей:
Я полюбил в тебе сначала брата,
Брат по сестре еще мне стал ми-
лей!*

Между братом и сестрой была – да! – несо-
мненно, нежная родственная любовь. Но
странное дело! Брату, пятнадцатилетнему
еще мальчику, Пушкин пишет из Кишинева
длинные письма, делится с ним мыслями сво-
ими, настроениями, а к двадцатитрехлетней
сестре – коротенькие приписочки с вопроса-
ми о любимых собачках. До нас дошло всего
одно только коротенькое, чисто деловое пись-
мо Пушкина к сестре да еще две-три припи-
сочки к ней в письмах к брату. Ее Пушкин не
приобщает ни к умственной своей жизни, ни
к душевным переживаниям, – любить любит,
но переписываться решительно не о чем: для

подобной переписки были впоследствии выдуманы «секретки» – такого устройства письмо, что много в нем никак невозможно написать, – и рад бы, да места больше нет.

Длинную девическую жизнь Ольга Сергеевна провела в родительской семье. Ей уже перевалило за тридцать. Жизнь была очень невеселая. Деспотическая мать держала ее в ежовых рукавицах и обращалась, как с девочкой-подростком, скупой отец пилил за каждую разбитую чашку. В начале января 1828 г. посватался за Ольгу Сергеевну Николай Иванович Павлищев, – человек моложе ее на пять лет, бедный, – по отзыву Корфа «очень мало привлекательный и совершенно прозаический». Родители ответили решительным отказом. Сергей Львович замахал руками, затопал ногами и, – Бог весть почему, – даже расплакался, а Надежда Осиповна распорядилась не пускать Павлищева на порог. Когда, две недели спустя, она увидела Павлищева на балу, то запретила дочери с ним танцевать. Во время одной из фигур котильона Павлищев сделал с Ольгой Сергеевной два тура. Надежда Осиповна в это время играла в сосед-

ней комнате в карты. Она в негодовании выбежала и, у всех на глазах, толкнула свою тридцатилетнюю дочь. Ольга Сергеевна упала в обморок. На следующий день она написала Павлицеву, что согласна венчаться без позволения родителей. 25 января, в час ночи, она тихонько вышла из дому; у ворот ждал Павлицев; они сели в сани, помчались в церковь св. Троицы Измайловского полка и обвенчались в присутствии четырех свидетелей-офицеров, друзей жениха. После венца Павлицев отвез жену к ее родителям, а сам отправился на свою холостую квартиру. Рано утром Ольга Сергеевна отправилась в гостиницу Демута, где жил Пушкин, сообщила ему о своей свадьбе и просила переговорить с родителями. Пушкин удивился, немного рассердился, но отправился к родителям исполнить поручение. Сергею Львовичу сделалось дурно. Привезли цирюльника пустить кровь. Сергей Львович, в беспамятстве горя, поднял, однако, спор с цирюльником и начал учить его, как пускать кровь. В конце концов родители смиловались. Пушкин послал за Павлицевым, новобрачные, как водится, упали к но-

гам родителей и получили прощение.

Семейная жизнь Ольги Сергеевны, по-видимому, не была счастлива. У мужа вскоре появились, кажется, связи на стороне. Ольга Сергеевна месяцами и годами жила в Петербурге, тогда как муж ее служил в Варшаве.

Отношения Ольги Сергеевны с братом после замужества год от года становились все холоднее. Нам неясны причины этого. Но уже летом 1831 г., когда Пушкин с молодой женой жил в Царском Селе, а Ольга Сергеевна с родителями – по соседству в Павловске, в отношениях Пушкина к сестре замечается небрежность и какое-то раздражение. Письма, которые на его имя посылаются для нее, он затеривает. Ей он однажды, как сообщает Ольга Сергеевна мужу, «написал письмо до того нахальное и глупое, что пусть меня похоронят живою, если оно когда-либо дойдет до потомства, хотя, по-видимому, он питал эту надежду, судя по старанию, которое он приложил к тому, чтоб письмо до меня дошло». Больше писем Пушкина к сестре мы не знаем; если они и были, то, очевидно, не такого рода, чтоб Ольге Сергеевне приятно было довести

их до сведения потомства. Из писем Ольги Сергеевны к мужу, с очень редкими и незначительными упоминаниями о брате, также нельзя заключить, чтобы между ними существовали сколько-нибудь близкие отношения. Вскоре начались докучные приставания ее мужа, наседавшего на Пушкина с требованиями выплаты приданого Ольги, доли ее в наследстве. Ей приходилось передавать Пушкину письма мужа, поддерживать его домогательства, доводя брата до припадков полного бешенства. Отношения стали совершенно отдаленными. Сестра Ольга вдвинулась в ряды «родни», – той родни, которая составляет для человека неприятную, но неизбежную докуку жизни.

**Николай Иванович Павлищев
(1802–1879)**

Служил по министерству народного просвещения, работал в архивах, в 1825 г. вышел в отставку, сблизился в Петербурге с кружком Дельвига, участвовал переводами в «Литературной газете». В 1828 г. женился на Ольге Сергеевне Пушкиной, сестре поэта, против воли ее родителей. Хорошо играл на гитаре,

увлекался музыкой; в 1829 г. издал вместе с М. И. Глинкой «Лирический альбом на 1829 г.» – сборник романсов Глинки, Виельгорского, Шимановской и других. В 1831 г. поступил на службу в Царство Польское; там и протекла вся его дальнейшая служба. Был управляющим канцелярией генерал-интенданта, помощником секретаря государственного совета Царства Польского, впоследствии обер-прокурором варшавского отделения сената, основал и редактировал официальную газету «Варшавский дневник» на русском и польском языках. Усердно работал над русификацией края, добился замены в школах польского языка русским; выпустил ряд учебников; между прочим, учебник польской истории для школьников-поляков, где доказывалось, что польское государство по непредотвратимым внутренним причинам неспособно к самостоятельному политическому существованию и спасение свое может обрести только в тесном слиянии с Россией. Павлицев за эту книгу удостоен был премии, всемилостивейше награжден бриллиантовым перстнем и почтен лестным письмом министра Уварова.

В лице Николая Ивановича Павлицева в безалаберное и бездельное родственное окружение Пушкина вошел аккуратный, очень деловой чинуша, прекрасно понимавший свои выгоды и умевший их отстаивать с упорством и систематичностью. И как иначе можно было действовать, имея дело с бестолковыми новыми родственниками, на которых ни в чем нельзя было положиться? Судите сами. Тесть его Сергей Львович обещал выдавать его жене по четыре тысячи рублей в год. Но денег у Сергея Львовича никогда нет, да по бесхозяйственности его никогда и быть не может. За управление делами принужден был взяться его сын Александр Сергеевич. Павлицев спешит написать ему письмо: «Батюшка назначил когда-то содержание жене моей по четыре тысячи в год; назначение это было принято с полною благодарностью. Несмотря на то, в первые два года дано было только по две тысячи, в последующие два по полторы тысячи, а в остальные еще менее, так что в последние двадцать месяцев пребывания нашего в Варшаве вся выдача ограничилась только тысячью руб. Оставленный та-

ким образом на одном царском жалованьи, я не смел никогда роптать, сократил расходы; два раза имел случай получить награду, я отказался от чинов и крестов, а удовольствовался деньгами для расплаты с кредиторами. Но случай не всегда может предоставиться, и тогда кто заплатит долги мои? Не мне одному грозит нужда: обо мне и речи нет; но жена моя, сестра ваша, имеет, кажется, право на участие родных к ее судьбе. Я порадовался, что наконец вы, вступив в управление имением Сергея Львовича, будете постоянно помогать нам хотя тысячью пятьюстами руб. Но скажите, когда именно начнется первый год? Разрешение этого вопроса, как видите, для меня очень важно». Пушкин ответил шуруину: «Покамест не приведу в порядок и в известность сии запутанные дела, ничего не могу обещать Ольге Сергеевне и не обещаю; состояние мое позволяет мне не брать ничего из доходов батюшкина имения, но своих денег я не могу и не в состоянии приплачивать».

С этого времени начинается систематический обстрел Пушкина письмами из Варшавы и не прекращается до самой его смерти.

Чиновник цепок, за свое держится крепко и упорно старается достичь цели не тем, так другим путем. Письма длинные-длинные, скрытно-ядовитые, полные убийственной канцелярской логики. Весной 1835 г. Павлицев пишет Пушкину: «...долгов моих платить вы не обязаны; но... этих «но» я мог бы подобрать много, ограничусь несколькими главнейшими. Или жена моя – дочь Сергея Львовича и дети ее – внуки его, или нет; последнее невероятно, следовательно, первое остается в своей силе. На этом основании я делаю вопрос: почему не выделить ее, не дать ей того, что раньше или позже ей должно быть отдано? Сыновей холостых, и даже женатых, не все отцы и не всегда при жизни своей выделяют; но замужних дочерей... все и всегда, – так водится на святой Руси. По течению дел я вижу, что вы не можете дать и не дадите нам ничего с имения: четырехлетние обещания служат тому доказательством. Итак, отделите нас, сделайте благое дело». И еще, и еще, одно за другим, плывут из Варшавы письма, как дождливые осенние тучки под западным ветром. Жена Павлицева в начале 1836 г. писала

ему из Петербурга: «Я очень недовольна, что ты писал Александру. Он кричал до хрипоты, что лучше отдаст все, что у него есть, чем опять иметь дело с Болдином, с управляющим, с ломбардом и т. д. Он не прочел твоего письма, он возвратил мне его, не бросив на него взгляда. Как тебе угодно, я больше не буду говорить с Александром; если ты будешь писать по его адресу, он будет бросать твои письма в огонь, не распечатывая, поверь мне».

Весной 1836 г. умерла мать Пушкина. Ее имение Михайловское должно было перейти к наследникам. Дочери Ольге Сергеевне следовало по закону $\frac{1}{14}$ часть, мужу покойной – $\frac{1}{7}$ часть (Сергей Львович от нее отказался в пользу дочери), остальное – пополам сыновьям. Павлищев счел нужным выяснить ценность имения и на лето приехал в Михайловское – уже как один из совладельцев. Обследование его вскрыло чудовищные вещи. Немец-управитель Рингель со всех доходных статей огромные куши клал себе в карман: на ржи за год украл 280 р., на сене 2150 и т. д. Павлищев управителя прогнал. Вскрылся еще один ку-

рье: и сам Пушкин, и отец его считали, что в Михайловском около 700 десятин земли, оказалось – около двух тысяч. В связи с выясненной им фактической доходностью имения Павлищев определил и долю, следуемую его жене, а кстати, и брату Пушкина – Льву. Познакомив Пушкина с результатами своего расследования, он продолжал: «...так, самая низкая цена Михайловскому 70 тысяч. Я хлопочу о законной, справедливой оценке потому, что действую не за себя, а за Ольгу с сыном и Льва. Чем справедливее оценка, тем законнее будет выделяемая четырнадцатая часть. Если имение купите вы, то я готов спустить еще шесть тысяч и отдать вам его за 64 тыс., т. е. по 800 руб. за душу. Ниже этого нельзя ни под каким видом. Таким образом вы заплатите Ольге вместо 8500 – 13 700, – капитал, составляющий все достояние нашего сына, залог его существования в случае моей смерти или удаления от службы по каким-нибудь непредвиденным случаям. Разумеется, что и Лев поблагодарит, получа вместо 15 700 – 25 000, – о чем я уже писал ему». И предлагал Пушкину либо оставить имение за собой, вы-

платив сонаследникам причитающиеся части, либо продать имение и поделить вырученную сумму. Пушкин любил Михайловское, терять его было для него очень горько, оставить имение в общем владении Павлицев не соглашался, для выкупа же имения у Пушкина не было денег; притом все друзья на произведенную Павлицевым оценку пожимали плечами и находили, что красная цена за душу не 800 рублей, а 500. Пушкин сдержанно ответил Павлицеву: «Оценка ваша в 64 тысячи выгодна, но надобно знать, дадут ли столько. Я бы и дал, да денег не хватает, да кабы и были, то я капитал свой мог бы употребить выгоднее». Павлицев, как цыган на ярмарке, стал спускать цену, предлагал Пушкину оставить за собой имение за 40 тысяч. В то же время решил насесть на старика-тестя и потребовать у него выдела причитающейся его жене части из нижегородского поместья самого Сергея Львовича. «Я давно считаю его для себя посторонним человеком, – писал Павлицев Пушкину, – но для Ольги он покамест отец. Хочу попробовать его отцовскую нежность, которую он так забавно рассыпает

в своих идиллических письмах. Потребую ее приданого – четырнадцатую часть, но не доходов с имения, а самого имения. Предвижу ссору; но тут лучше хорошая ссора, чем дурной лад. Старик будет помнить меня». Тригорская соседка Пушкина П. А. Осипова, насмотревшаяся на Павлищева в Михайловском, писала о нем Пушкину: «Павлищев – форменный негодяй и, кроме того, сумасшедший». Сумасшедший, – конечно, нет, напротив, даже очень сообразительный. Считая дело решенным и согласие Пушкина на 40 тысяч несомненным, Павлищев захватил весь урожай Михайловского, признал часть урожая у соседей – Осиповой и барона Вревского, все это продал и деньги увез с собой в Варшаву, засчитав их за часть выкупной суммы. И опять из Варшавы поплыли к Пушкину длинные, образцово-логические, пропитанные тайным ядом послания. 4 февраля 1837 г., когда гроб с замерзшим телом Пушкина мчался в сопровождении жандармов по псковским равнинам, Павлищев, еще не зная о смерти Пушкина, строчил у себя в Варшаве: «Странно вы толкуете мои слова... Я никак не мог ду-

мать, чтобы вы захотели обсчитывать, и кого? – сестру вашу... Вы не хотите оставить имение за собою, толкуя Бог знает как мои слова... Я не ожидал вашего отречения – теперь что я отсюда сделаю?» и т. д.

**Арина Родионовна
(1754–1828)**

Знаменитая няня Пушкина, крепостная его бабушки, Марии Алексеевны Ганнибал. В 1799 г. была отпущена на волю, но предпочла остаться у Пушкиных, у которых вынянчила всех детей. Пушкин особенно сблизился с ней в годы вынужденного своего пребывания в Михайловском, где наслаждался сказками, которые она ему рассказывала. «Вечером слушаю сказки моей няни, – писал он друзьям, – и вознаграждаю тем недостатки проклятого моего воспитания. Она единственная моя подруга, и с нею только мне не скучно». Арина Родионовна сыграла большую роль в деле ознакомления Пушкина с русским народным творчеством. Она заведывала всем домашним хозяйством, надзирала за работой дворовых девушек. Была она с полным лицом, вся седая, не отказывалась при случае выпить.

Зимний вечер, вьюга. На душе у Пушкина грустно.

*Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна;
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей!
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей!*

Участвовала она и в ночных пирушках Пушкина с Языковым и Вульфом. Языков вспоминает:

*Мы пировали. Не дичилась
Ты нашей доли – и порой
К своей весне переносилась
Разгоряченной мечтой...
Шумней удалая пирушка:
Садись-ка, добрая старушка,
И с нами бражничай давай...
...Как детство, шаловлива,
Как наша молодость, вольна,*

*Как полнолетие, умна,
И как вино, красноречива,
Со мной беседовала ты...*

Пушкина она любила горячо, болела за него душой. Когда осенью 1826 г. фельдъегерь увез его в Москву, Арина Родионовна поспешила уничтожить то, что, по ее мнению, наиболее могло скомпрометировать преступника, – сыр, немецкий дух которого очень ее смущал. Выучила наизусть новую молитву «о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости», – молитвы, смеялся Пушкин, вероятно, сочиненной при царе Иване Грозном. Пушкин, никогда не знавший материнской любви и ласки, умиленно ценил любовь своей няни и относился к ней с чисто сыновней нежностью. Уж на воле, далеко от своего Михайловского, он вспоминал об Арине Родионовне:

*Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,*

*И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые ворота
На черный, отдаленный путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь...*

В 1828 г. Арина Родионовна переехала в Петербург к вышедшей замуж сестре Пушкина, Ольге Сергеевне, и в том же году умерла. В 1835 г. Пушкин посетил Михайловское.

*Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет, уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни утренних ее дозоров.
Не буду вечером под шумом бури
Внимать ее рассказам, затвер-
женным
Сыздества мной, но все прекрас-
ным,
Как песни родины или страницы
Любимой книги, в коей знаешь,
Какое слово где стоит... Бывало,
Ее простые речи и советы,
И укоризны, полные любви,
Усталое мне сердце ободряли
Отрадой тихой, – я тогда еще*

Был молод и ожесточен...

Козлов Никита Тимофеевич
(1778–1851)

«Дядька» Пушкина. Он состоял при нем, по рассказу современника, еще в Москве, где «шаловливый и острый ребенок уже набирался ранних впечатлений, развиваясь и бегая на колокольню Ивана Великого и знакомясь со всеми закоулками и окрестностями златоглавой столицы». Состоял при Пушкине и в Петербурге после окончания Пушкиным лицея. Весной 1820 г. на квартиру Пушкина был подослан шпион; он предлагал Козлову пятьдесят рублей, чтобы тот дал ему почитать сочинения Пушкина, уверяя, что скоро принесет их назад. Но верный дядька не согласился и сообщил о посещении Пушкину. Пушкин поспешил сжечь компрометирующие бумаги и, вызванный к генерал-губернатору, пошел, не боясь обыска. Никита Козлов жил при ссылке Пушкина на юге, потом в Михайловском. Служил при нем камердинером и после его женитьбы. В 1836 г., вместе с Пушкиным, отвозил из Петербурга в Святые Горы тело его матери. В начале февраля 1837

г. отвозил туда же гроб с телом самого Пушкина. Он добровольно вызвался на эту поездку, стал на дрогах, которые везли ящик с телом, и не покидал его до самой могилы. Жандармский офицер Ракеев, по долгу службы сопровождавший гроб Пушкина, рассказывал:

– Человек у Пушкина был... Что за преданный был слуга! Смотреть было даже больно, как убивался. Привязан был к покойнику, очень привязан. Не отходил почти от гроба: не ест, не пьет.

Никита был высокого роста, благообразный, с русыми бакенбардами. Вот и все, что мы о нем знаем. Как странно! Человек, видимо, горячо был предан Пушкину, любил его, заботился, может быть, не меньше няни Арины Родионовны, сопровождал ему в течение всей его жизни. А нигде он не упоминается ни в письмах Пушкина, ни в письмах его близких. Ни слова о нем – ни хорошего, ни плохого. В жизни Пушкина дядька Никита Козлов проходит перед нами на самом заднем плане смутной, безжизненной тенью. Всего только одно, малоговорящее, упоминание о нем находим у Пушкина – в черновом наброске ки-

шиневской поры:

*Дай, Никита, мне одеться
В митрополии звонят...*

Л. Н. Павлищев со слов своей матери, сестры Пушкина, рассказывает: «В доме родителей Пушкина благоденствовала и процветала поэзия до такой степени, что и в передней Пушкиных поклонялись музе доморощенные стихотворцы из многочисленной дворни обоего пола, знаменитый представитель которой, Никита Тимофеевич, поклонялся одновременно и древнему богу Вакху, – на общем основании, – и состряпал нечто вроде баллады, переделанной им из сказок о Соловье-разбойнике, Еруслане Лазаревиче и Миликтрисе Кирбитьевне. Безграмотная рукопись Тимофеевича, в конце которой нарисован им в ужасном, по его мнению, виде Змей-Горыныч, долгое время хранилась у моей матери». Возможно, что этот Никита Тимофеевич – Никита Козлов.

Михайло Иванов Калашников
(1772–?)

Крестьянин с-ца Михайловского, крепост-

ной человек сначала Ганнибалов, потом Пушкиных. В молодости служил при генерале Петре Абрамовиче Ганнибале, двоюродном деде Пушкина. Помогал ему перегонять водки и настойки, чем на досуге увлекался в деревне отставной генерал. Хорошо играл на гуслях и по вечерам повергал старого арапа в слезы или приводил в азарт своей музыкой. В двадцатых годах Михайло стал управителем Михайловского, доверенным лицом Сергея Львовича Пушкина. Был он мошенник большой руки. Это, по-видимому, на него мужики приезжали жаловаться к Сергею Львовичу в Петербург, но Сергей Львович, не выслушав, раскричался на них и прогнал. В 1825 г. Калашников был назначен управляющим в Болдино, нижегородское поместье Пушкиных. Там, вдалеке от владельцев, он стал бесконтрольным властелином тысячи душ крестьян. Господам он с каждым годом высылал оброка все меньше, в прогрессии весьма быстрой: в круглых цифрах за 25-й год выслал 13 000, за 26-й – десять с половиной, за 27-й – 7800, за 28-й – пять с половиной, за 29-й – всего 1600. Объяснял это неурожаем, падежами

и т. п., а сам наживался самым широким образом, так что, по убеждению Пушкиных, если бы захотел, то мог бы у них купить все Болдино. Интеллигентный немец Райхман, которого Пушкины хотели пригласить управлять Болдином, ознакомившись на месте с положением дел, в 1834 г. писал А. С. Пушкину: «Вы мне рекомендовали Михайла Ивановича, но я в нем ничего не нашел благонадежного, через его крестьяне ваши совсем разорились, в бытность же вашу прошлого года в вотчинах крестьяне ваши хотели вам на него жаловаться и были уже на дороге, но он их встретил и не допустил до вас, и я обо всем оном действительно узнал не только от ваших крестьян, но и от посторонних поблизости находящихся суседей». И отказался от управления совершенно разоренным имением. И зять Пушкина Н. И. Павлицев в следующем году писал Пушкину: «Михайло разорял, грабил имение двенадцать лет сряду». Мужики, не имея непосредственного доступа к барину, пробовали передавать Пушкину письменные жалобы на Калашникова, но без результата. Даже беспечный Сергей Львович, не

любивший мешаться в практические дела, и тот наконец нашел себя вынужденным устранить плута Михайлу от управления Болдино; но та половина деревни Кистенева, входившей в нижегородскую вотчину Пушкиных, которая принадлежала Александру Сергеевичу, осталась в управлении того же Михайлы. Что заставляло Пушкина с таким непонятным пристрастием относиться к Калашникову, нечестность которого и сам он прекрасно видел? Дело в том, что у Пушкина были очень запутанные отношения с его дочерью, Ольгой Калашниковой, – той крепостной, которую Пушкин в 1826 г. «неосторожно обрюхатил» и отправил беременную к отцу в Болдино. О ней и их отношениях см. ниже.

После смерти Пушкина Калашников был отдан во владение Сонцовым (Елиз. Львовна Сонцова – родная тетка Пушкина), управлял их подмосковным имением. В 1843 г. (семидесяти одного года!) отпущен был ими «на оброк», приютился у своих недостаточных детей в Петербурге и умер в бедности осенью 1858 г. Так сообщает П. А. Ефремов. По данным Щеголева, в 1840 г. вдова Пушкина изъ-

явила желание дать Калашникову вольноотпускную «за долголетнюю усердную службу покойному мужу и ей». Однако освобождение почему-то не состоялось. В середине сороковых годов, как видно из дошедших документов, Калашников, по распоряжению отца Пушкина, получал пенсiон по 200 р. в год.

**Ольга Михайловна Калашникова
(1806–?)**

Крепостная девушка Пушкиных, дочь Михайлы Калашникова, барского управителя сперва в Михайловском, потом в Болдине. В 1826 г. она забеременела от Пушкина и, беременная, должна была ехать в Болдино, куда за год перед тем отец ее был назначен управляющим. Пушкин поручил ей в Москве зайти с его письмом к Вяземскому, а в письме просил Вяземского приютить ее в Москве на время родов и прибавлял: «...при сем с отеческою нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик (!). Отсылать его в воспитательный дом мне не хочется – а нельзя ли его покамест отдать в какую-нибудь деревню?» Вяземский посоветовал Пушкину отправить девушку в Болдино, а

отцу ее написать «полулюбовное, полураскаятельное, полупомещичье письмо, во всем ему признаться, поручить ему судьбу дочери и грядущего творения, но поручить на его ответственность, напомнив, что некогда волею божьею ты будешь его барином и тогда сочтешься с ним в хорошем или худом исполнении твоего поручения». Пушкин так, по-видимому, и сделал, Ольга осталась жить в Болдине. В трехмесячное свое пребывание в Болдине осенью 1830 г. Пушкин, очевидно, не мог не видаться с Ольгой. Осенью следующего года Калашникову, «хотя с великим трудом», как писал он Пушкину, удалось выдать дочь замуж за мелкопоместного дворянина, титулярного советника Ключарева, служившего дворянским заседателем в лукояновском земском суде; у него было в Горбатовском уезде именье с тридцатью душами крестьян. Таким образом Ольга сама стала барыней. Муж ее пьянствовал, дебоширил, через год-два бросил службу, вышел в отставку и вместе с женой поселился в Болдине у тестя. В начале 1833 г. Ольга написала Пушкину, прося у него две тысячи рублей, чтобы выкупить пятна-

дцать заложенных своих крестьян. Если крестьяне будут проданы с аукциона, то «совершенно буду без куска хлеба», писала она. Пушкин ответил, но денег, по-видимому, не послал. 21 февраля Ольга написала Пушкину новое письмо. Оно ярко обрисовывает жизнь и быт бывшей возлюбленной Пушкина. Привожу его целиком, исправив неудобочитаемую орфографию (письмо писал писарь под диктовку Ольги):

«Милостивый государь Александр Сергеевич, я имела счастье получить от вас письмо, за которое чувствительно вас благодарю, что вы не забыли меня, находящуюся в бедном положении и в горестной жизни; впрочем, покорнейше прошу извинить меня, что я вас беспокоила насчет денег для выкупки моего мужа крестьян, то оные не стоят, чтобы их выкупить, что я сделала удовольствие для моего мужа, и стараюсь все к пользе нашей, но он не чувствует моих благодеяний, каких я ему ни делаю, потому что он самый беспечный человек, на которого я не надеюсь, и нет надежды иметь куска хлеба, потому что какие только могут быть пасквильные дела, то

все оные есть у моего мужа, первое – пьяница и самый развратной жизни человек; у меня вся надежда на вас, милостивый государь, что вы не оставите меня своею милостью в бедном положении и в горестной жизни. Мы вышли в отставку и живем у отца в Болдине, то и не знаю, буду ли я когда покойна от своего мужа или нет. А на батюшку все Сергей Львович поминутно пишет неудовольствия и строгие приказы, то прошу вас, милостивый государь, защитить своею милостию его от сих наказаний. Вы пишете, что будете сюда или в Нижний, то я с нетерпением буду ожидать вашего приезда и о благополучном пути буду Бога молить. О себе вам скажу, что я во обременении и уже время приходит к разрешению, то осмелюсь вас просить, милостивый государь, нельзя ли быть восприемником, если вашей милости будет не противно, хотя не лично, но имя ваше вспомнить на крещении. О письмах вы изволите писать, то оные писал мне мой муж, и я не понимаю, что значит кудрявые, впрочем, писать больше нечего, остаюсь с истинным моим почитанием и преданностью известная вам –».

Подписи нет. Просьбы Ольги за отца были весьма успешны. Новоназначенный в Болдино Сергеем Львовичем управляющий, белорусский дворянин Пеньковский, обуздавший грабительские аппетиты Калашникова, писал Пушкину весной 1834 г.: «Ольга Михайловна с большою уверенностью утверждает, что она меня, как грязь с лопаты, с должности сбросит, только бы приехал Александр Сергеевич в Болдино, тогда, что она захочет, все для нее сделает Александр Сергеевич!» Сбросить Пеньковского ей не удалось, но своего «блудного тестя», грабителя и мошенника Калашникова, Пушкин до конца своей жизни продолжал держать в качестве управляющего в принадлежавшем лично ему Кистеневе.

О судьбе ребенка Пушкина и о дальнейшей судьбе Ольги Ключаревой нам ничего не известно.

В лицее. Начальство и преподаватели

В 1811 г. двенадцатилетнего Пушкина привез в Петербург его дядя Василий Львович для определения в открывавшийся царско-сельский лицей. Мальчик выдержал экзамен, был принят в лицей и отвезен дядей в Царское Село. В лицее Пушкин пробыл до окончания курса в июне 1817 г.

Василий Федорович Малиновский (1765–1814)

Первый директор лицея. Сын московского протоиерея. Окончил московский университет. Служил в разных должностях в коллегии иностранных дел. Напечатал несколько трудов, между прочим «Рассуждение о мире и войне», где выступил с проповедью вечного мира. Курьезно, что в труде этом он больше чем за сто лет предвосхитил идею Вильсона о Лиге наций. Малиновский проектировал создание общего союза всех европейских держав и особого постоянного органа союза – совета полномочных. Союз должен был предупреждать столкновения, а в случае непокор-

ства мог силой принудить неповинующуюся державу; через него должны были проходить все сношения союзных держав.

С основанием царскосельского лицея в 1811 г. Малиновский был назначен его директором. Вся подготовительная работа по устройству лицея, набор преподавателей, составление правил и инструкций легли на него. На торжественном открытии лицея 19 октября 1811 г. в присутствии императора он должен был прочесть приветственную речь (предварительно с десятков раз переправленную цензурой). Он вышел очень бледный, стал читать по рукописи, читал долго, таким слабым, прерывистым голосом, что никто ничего не слышал, поклонился и еле живой воротился на свое место. Был он человек добрый, простодушный, малообщительный, слабый, мало годный для управления какой-либо частью, тем более высшим учебным заведением. Директорствовал неполных три года и умер.

Степан Степанович Фролов
(1765—?)

Отставной подполковник артиллерии. После смерти директора лицея В. Ф. Малиновского место его два года оставалось незаполненным; исправление его должности переходило то к одному профессору, то к другому, то к конференции; профессора мешали друг другу и постоянно ссорились; дисциплина, учебная и экономическая жизнь лицея стали приходить в упадок. Для восстановления порядка был назначен, по рекомендации Аракчеева, Фролов – сначала надзирателем по учебной и нравственной части, а потом и исправляющим обязанности директора лицея. Фролов был фронтовик аракчеевской школы, человек малообразованный: «фигура» выговаривал «фи́гура», про Руссо думал, что это была женщина Эмилия Руссо («Эмиль» – известный педагогический трактат Руссо). Фролов стал вводить новые порядки: на молитве строил воспитанников в шеренги, в столовой рассаживал в порядке отметок за поведение, вход в верхний этаж, в отдельные комнаты лицеистов, разрешал днем только по билетам, ввел вставание утром по звонку, в виде наказания стал применять стояние на ко-

нях. Вскоре по поступлении накрыл Пушкина, Пущина и Малиновского в приготовлении «гогель-могея» с ромом и дал делу официальный ход. При претензиях на ум и познания, с надутой фигурой, не имел никакого достоинства и ни малейшего характера, был притом отчаянный картежный игрок. Лицейсты его не любили и высмеивали в своих «национальных песнях». Над ним издевались открыто, прямо в лицо. В начале 1816 г. директором был назначен Энгельгардт, а Фролов оставлен в должности инспектора. Энгельгардт нашел его неподходящим для его должности, и в 1817 г. Фролов должен был уйти из лицея. В последние годы, как сообщает Корф, Фролов несколько пообтерся в обществе лицеистов. «Мы, – рассказывает Корф, – переделали постепенно его грубую, но слабую солдатскую натуру на наш лад, возвысив его, так сказать, до себя». Видимо, изменился он значительно. До нас дошло коллективное письмо лицеистов к Фролову от 4 апреля 1817 г., когда Фролов на Пасху уехал в свое имение. Письмо самое дружеское; в связи с тем, что мы знаем о Фролове, оно производит впечатление до-

вольню неожиданное. «Возвратитесь скорее, – пишет Вольховский, – здесь вы будете между теми, которые знают вас и любят столько, сколько любить можно добрейшего наставника». Пущин: «Праздники провел я в Петербурге и теперь опять в кругу милых моих товарищей, но все не то: вас не вижу». Дельвиг: «Христосуюсь с вами и очень желаю вас опять увидеть». Последняя запись – Пушкина: «Почтеннейший Степан Степанович! Извините, ежели старинный приятель пишет вам только две строчки с половиной, – в будущую почту напишет он две страницы с половиной. Егоза Пушкин».

**Егор Антонович Энгельгардт
(1775–1862)**

Второй директор лицея. Родился в Риге: Отец – немец, мать – итальянка. Некоторое время служил на военной службе. При Павле был секретарем магистра «державного ордена св. Иоанна Иерусалимского» (Мальтийского ордена), во главе которого стоял император. Наследник Александр Павлович обязан был присутствовать на заседаниях капитула ордена; в тонкостях статута он был нетверд и

часто вызывал гнев отца неверными ответами на его вопросы. Энгельгардт, чтобы выручить наследника, стал представлять ему накануне заседания краткие записи о назначенных к рассмотрению вопросах с указанием, что нужно говорить. Александр привел отца в восторг правильностью ответов и точным знанием подходящих параграфов. Павел обнял его и воскликнул:

– Узнаю в тебе мою кровь! Ты мой достойный сын!

После заседания Александр сказал Энгельгардту:

– Спасибо тебе за оказанную мне услугу. Никогда не забуду, что тебе я обязан первым нежным объятием моего отца и государя.

С этих пор Александр с большим благоволением относился к Энгельгардту; благоволение это не раз давало впоследствии Энгельгардту возможность улаживать различные недоразумения, происходившие в жизни лица. При Александре I Энгельгардт был помощником статс-секретаря, потом директором Педагогического института в Петербурге. В январе 1816 г. назначен директором царско-

сельского лица. На этом посту он проявил выдающиеся педагогические способности. «Только путем сердечного участия в радостях и горестях питомца можно завоевать его любовь, – писал он в заметках для себя. – Доверие юношей завоевывается только поступками. Воспитание без всякого наказания – химера, но если мальчика наказывать часто и без смысла, то он привыкнет видеть в воспитателе только палача, который ему мстит. Розга, будет ли она физической или моральной, может создать из школьника двуногое рабочее животное, но никогда не образует человека. При дружеских отношениях между воспитателем и воспитанником имеется множество способов наказывать без обращения к карательным средствам». Ценны эти заметки тем, что они целиком проводились Энгельгардтом на деле. Вступил он в управление лицеем в то время, когда лицейская жизнь пришла в полное расстройство вследствие двухгодичного междоусобия, последовавшего после смерти первого директора В. Ф. Малиновского. Энгельгардт восстановил в лицее порядок и правильный ход жизни, поднял упавшую дисциплину.

плину, завоевал полное доверие и любовь воспитанников. Один из его питомцев вспоминает: «Энгельгардт действовал на воспитанников своим ежедневным с ними обращением в свободные от уроков часы. Он приходил почти ежедневно после вечернего чая в зал, где мы толпою окружали его, и тут занимал он нас чтением, беседою, иногда шутивою (он превосходно читал); беседы его не имели никогда характера педагогического наставительства, а всегда были приноровлены к возрасту, служили к развитию воспитанников и внушению им правил нравственности; особенно настаивал он на важности усвоения принципа правдивости. Мы до такой степени привыкли ко вседневным почти его посещениям, что непоявление его в течение двух-трех дней производило общее смятение и беспокойство; тотчас начинались разговоры, не сделал ли кто какого проступка или шалости, которая огорчила директора; виновный сейчас сознавался, отправлялся к нему с повинною, — мир восстанавливался, и директор опять появлялся в обычный час, со своим приветливым, ласковым, ободрительным выражением

ем. В старшем курсе отношения его к воспитанникам принимали характер более серьезный. С большим тактом и умением он давал уразумевать, что мы уже не дети, и потому беседы его клонились преимущественно к развитию понятия о долге. Чтения были более серьезные, задавались темы для сочинений, которые представлялись директору и от него возвращались с его замечаниями». С целью приучить воспитанников держаться в обществе и хоть до известной меры возместить отсутствие в их жизни семейной обстановки, Энгельгардт приглашал их на семейные вечера к себе на дом (жил он в директорском доме против здания лицея). Летом в вакантное время делал с учениками дальние прогулки по окрестностям; зимой в праздничные дни ездили на тройках за город, в лицейском саду катались с гор и на коньках. В увеселениях участвовало все семейство директора и близкие ему дамы и девицы. О большой любви и привязанности, которую Энгельгардт сумел внушить к себе в своих питомцах, говорит тот редкий факт, что многие из них, — в том числе такие люди, как Пущин и

Вольховский, – поддерживали переписку с бывшим своим директором в течение всей своей жизни.

Что касается Пушкина, то он держался от Энгельгардта вдалеке и питал к нему тайную вражду. «Для меня, – пишет Пущин, – осталось неразрешенною загадкой, почему все внимания директора Энгельгардта и его жены отвергались Пушкиным; он никак не хотел видеть его в настоящем свете, избегая всякого сближения с ним. Тут крылось что-нибудь, чего он никак не хотел мне сказать». Домашние вечера Энгельгардта Пушкин посещал очень редко и наконец совсем перестал ходить. Это огорчало Энгельгардта. Как-то во время рекреации, когда Пушкин сидел у своего пульта, Энгельгардт подошел к нему и ласково спросил, за что он сердится. Пушкин смутился и отвечал, что сердиться на директора не смеет, не имеет к тому причины и т. п. Энгельгардт сел возле Пушкина.

– Так вы не любите меня?

И задушевно, без всяких упреков, указал ему на всю странность его отчуждения от общества. Пушкин хмурил брови, менялся в ли-

це, наконец заплакал и кинулся на шею к Энгельгардту.

– Я виноват в том, – сказал он, – что до сих пор не понимал и не умел ценить вас.

Энгельгардт сам расплакался и обнял Пушкина. Минут через десять Энгельгардт вернулся к Пушкину, желая что-то сказать. Пушкин быстро спрятал какую-то бумагу и заметно смешался. Энгельгардт шутливо спросил:

– Вероятно, стихи? Покажите, если не секрет!

Пушкин молчал и прикрывал доску рукой.

– От друга таиться не следует, – продолжал Энгельгардт, тихонько поднял доску пульта и достал из него лист бумаги: на листе был нарисован его портрет в карикатуре и было набросано несколько строк очень злой эпиграммы, почти пасквиля. Энгельгардт спокойно отдал Пушкину бумагу и холодно сказал:

– Теперь понимаю, почему вы не желаете бывать у меня в доме. Не знаю только, чем мог я заслужить ваше нерасположение.

Энгельгардт, при всех его достоинствах, любил бить на эффект, держался театрально. По сообщению Бартенева, Пушкин находил в

его деятельности что-то искусственное и напускное.

Энгельгардт ходил всегда в светло-синем двубортном фраке с золотыми пуговицами и со стоячим черным бархатным воротником, в черных шелковых чулках и в башмаках с пряжками. В последние годы царствования Александра он утратил благоволение царя; составилось мнение, что он насаждает в лице либерализм, и в 1823 г. Энгельгардт был уволен в отставку с пенсией в три тысячи рублей. Долгое время оставался не у дел. Много писал по вопросам сельскохозяйственным и экономическим. В сороковых годах редактировал на немецком языке сельскохозяйственную газету. Умер в глубокой старости, восьмидесяти семи лет.

Александр Петрович Куницын (1783–1841)

Из духовного звания; окончил тверскую семинарию, потом Педагогический институт в Петербурге, был командирован для усовершенствования за границу, слушал лекции в Геттингене и Париже. В лицее читал нравственные и политические науки, читал лек-

ции также в Петербургском университете и педагогическом институте. Был блестящий ученый, широко образованный, с самостоятельными взглядами. При открытии лицея в 1811 г. Куницын в присутствии императора произнес речь об обязанностях гражданина и воина, причем ни разу во всей речи не упомянул царя. Это отсутствие холопства понравилось тогда еще либеральному Александру, и он наградил оратора орденом Владимира 4-й степени. Об этой речи вспоминал Пушкин в 1836 г.:

*Вы помните: когда возник Лицей,
Как царь для нас открыл чертог
царицын,
И мы пришли, и встретил нас Ку-
ницын
Приветствием меж царственных
гостей...*

Лекции Куницына, видимо, оказывали большое влияние на слушателей: из всех преподавателей он – единственный, которого Пушкин и впоследствии не раз вспоминал в стихах:

Куницыну дань сердца и вина!

*Он создал нас, он воспитал наш
пламень,
Поставлен им краеугольный ка-
мень,
Им чистая лампада возжжена...*

В 1821 г. Куницын был смещен с занимаемых им кафедр и удален от службы по министерству народного просвещения за изданную им книгу «Естественное право». Изложенное в книге учение найдено было «весьма вредным, противоречащим истинам христианства и клонящимся к ниспровержению всех связей семейственных и государственных». После этого Куницын служил в комиссии по составлению законов.

**Николай Федорович Кошанский
(1785–1831)**

Преподаватель русской и латинской словесности, автор пресловутой «Реторики», потешавшей Белинского и Добролюбова, высмеянный юным Пушкиным в его послании «Моему Аристарху». «Скучный проповедник», называет его Пушкин, «угрюмый цензор», преподносящий «уроки учености сухой». Корф к этому сообщает еще, что и Пушкина, и других

Кошанский жестоко преследовал за охоту писать стихи и за всякую попытку в этом роде, – кажется, немножко и из зависти, потому что сам кропал вирши. Вырисовывается трафаретная фигура тупого школьного педанта, – как выяснено исследователями, далеко не совпадающая с подлинным Кошанским. Он с отличием окончил Московский университет, в 1807 г. получил степень доктора философии, был человек широко образованный. «Реторика» его, – в сущности то, что впоследствии называлось теорией словесности, – ко времени Белинского и Добролюбова сильно устарела, но в свое время имела ряд положительных достоинств. Отзыв о Кошанском желчного Корфа опровергается свидетельством других его слушателей. Я. К. Грот, например, рассказывает: «Мы любили Кошанского, с нетерпением ожидали его лекций и доверчиво показывали ему свои поэтические грехи». По свидетельству Гаевского, лекции его были занимательны, непринужденны и походили на беседы, вследствие чего он, преимущественно перед другими преподавателями, был приближен к воспитанникам. Он не только не

преследовал учеников за охоту писать стихи, как утверждает Корф, но и сам вызывал их на это. Пущин вспоминает, как однажды в послеобеденный свой класс Кошанский кончил лекцию раньше урочного времени и сказал:

– Теперь, господа, будем пробовать перья: опишите мне, пожалуйста, розу стихами.

Стихи у других воспитанников не клеились, а Пушкин мигом прочел два четырехстишия, которыми привел в восторг и Кошанского, и товарищей. Кошанский читал с учениками и новых поэтов – Жуковского, Гнедича, а в двадцатых годах даже – официально не разрешенного – Пушкина. Однако, воспитанный на определенных литературных вкусах, Кошанский не мог благотворно влиять на Пушкина: он поощрял напыщенность и ходульность и простоту считал низкой. В стихах учеников усердно делал такие поправки: вместо «выкопав колодцы» – «изрывши кладези», вместо «площади» – «стогны», вместо «говорить» – «вещать» и т. д.

Что касается послания Пушкина «Моему Аристарху», то оно может служить только к чести Кошанского. Указания его, на которые

возвращает юноша Пушкин, свидетельствуют о серьезном отношении к поэтическим начинаниям мальчика. Вот в чем, как видно из послания Пушкина, упрекал его Кошанский:

*За римфой часто холостой,
На зло законам сочетанья,
Бегут трехстопные толпой
На «аю» «ает» и на «ой»...
Я ставлю (кто не без греха?)
Пустые часто восклицанья
И сряду лишних три стиха.*

На это-то указывал Кошанский и требовал от Пушкина серьезной работы над отделкой стиха. В сущности, Пушкин и в то уже время много работал над стихом. Но с мальчишеским самолюбием, как неизменно в таких случаях все начинающие поэты, он старается защитить себя от упреков указанием на то, что это лишь небрежные «наброски», не претендующие на серьезное значение, что строгих требований к ним предъявлять нельзя:

*Не нужны мне, поверь, уроки
Твоей учености сухой:
Я знаю сам свои пороки;
Конечно, беден гений мой...*

*Нехорошо! Но оправданья
Позволь мне скромно привести:
Мои летучие посланья
В потомстве будут ли цвести?*

И заявляет, что пишет не для бессмертия, что не хочет холодным умом охлаждать вольное кипение чувств:

*Отделкой портить небылицы,
Плоды бродящих, резвых дум,
И сокращать свои страницы...*

Кошанский, во времена Пушкина человек еще молодой, одевался изящно, ревностно ухаживал за прекрасным полом, любил говорить по-французски, впрочем, довольно смешно, и всегда обращался к ученикам со словом «messieirs», которое выговаривал «мессьес».

**Александр Иванович Галич
(1783–1848)**

Рожденный Говоров. Сын дьячка, окончил севскую семинарию и петербургский Педагогический институт, где изменил свою фамилию «Говоров» на «Галич». Как один из наиболее способных учеников был отправлен за границу для подготовки к профессорскому

званию. Там он сделался восторженным приверженцем философии Шеллинга. По представлении диссертации Галич в 1813 г. занял кафедру философии в Педагогическом институте. В 1814 г. заболел преподаватель русской и латинской словесности в царском лицее Кошанский, и в течение года его предметы преподавал наезжавший из Петербурга Галич. Молодой, талантливый профессор повел занятия с учениками совершенно не по-школьному. Сухие уроки с изучением супинов и герундиев у него превратились в веселые, непринужденные, чисто товарищеские беседы о литературе и искусстве; за школьной дисциплиной он не следил, ученики, вместо того чтобы чинно сидеть по местам, толпились вокруг его кафедры, задавали вопросы, спорили. Иногда Галич спохватывался, брал в руки книжку Корнелия Непота и говорил:

– Ну, господа, теперь потреплем старика!

И они брались переводить старика Корнелия Непота. Ученики дружески посещали Галича в отведенной ему комнате, и там беседовали. Галич обратил внимание на Пушкина,

ободрял в его поэтических опытах; по его настоянию Пушкин написал для экзамена 1815 г. свои «Воспоминания в Царском Селе». По отзывам бывших учеников Галича, младенческое простосердечие и добродушие соединились в нем с чертами легкого юмора и насмешливости, он озорничал вместе с учениками и вместе с ними дурачил начальство.

Имя Галича нередко встречается в лицейских стихотворениях Пушкина. В них он изображается председателем студенческих пирушек лицеистов, веселым эпикурейцем в обычном стиле пушкинских лицейских стихотворений:

*Апостол неги и прохлад,
Мой добрый Галич, vale!
Ты Эпикуров младший брат,
Душа твоя в бокале.
Главу венками убери,
Будь нашим президентом,
И будут самые цари
Завидовать студентам!*

Но дело в том, что сами эти студенческие пирушки существовали только в фантазии Пушкина. Начальство в этом отношении бы-

ло очень строго. Когда Пушкин, Пущин и Ма-
линовский вздумали однажды устроить «го-
гель-могель» с ромом, то все начальство пере-
полошилось, сам министр по этому поводу
приезжал из Петербурга и делал расследова-
ние. Стихи Пушкина свидетельствуют только
о том, что лицеисты чувствовали в Галиче не
строгого учителя, а доброго товарища, кото-
рый охотно принял бы участие и в их попой-
ках, если бы они существовали.

В 1818–1819 гг. Галич издал в двух томах
«Историю философских систем», заканчивав-
шуюся изложением системы Шеллинга. Труд
компилятивный, но, по мнению и современ-
ных специалистов, несомненное научное про-
изведение, весьма добросовестно написан-
ное. В 1821 г. действительность сурово пере-
била хребет талантливой, красиво начатой
жизни ученого. Разразился знаменитый по-
гром Петербургского университета, учинен-
ный помощником попечителя учебного окру-
га Д. П. Руничем и директором университета
Д. А. Кавелиным. Самые лучшие профессора –
Герман, Раупах, Арсеньев, Галич – были обви-
нены в атеизме, в революционных замыслах

и по высочайшему повелению преданы университетскому суду. Галичу было поставлено в вину, что он, излагая в своей книге системы разных философов, не опровергает их. Рунич говорил на заседании конференции университета:

– Я сам, если бы не был истинным христианином и если бы благодать свыше меня не осенила, я сам не отвечаю за свои поползновения при чтении этой книги. Вы, г. Галич, явно предпочитаете язычество христианству, распутную философию – девственной невесте христовой церкви, безбожного Канта – Христу, а Шеллинга – Духу Святому.

Другие обвиняемые профессора держались с большим достоинством, Галич же на длинный ряд предъявленных ему вопросов смиренно ответил:

– Я нахожусь в невозможности отвечать на вопросы начальства; признаю мое учение ложным и вредным и прошу не вспоминать грехов юности моей и неведения моего.

Рунич и Кавелин в восхищении кинулись обнимать и целовать Галича. На следующий день они торжественно повели Галича в цер-

ковъ, священник читал над ним молитвы и кропил святой водой.

Галича оставили при университете без права преподавания, но с сохранением полного жалованья (1600 р.), и, кроме того, дали казенную квартиру. Там у него собирался небольшой кружок слушателей, которым Галич частным образом читал лекции по философии. В 1827 г. эти лекции слушал кончавший в то время университет А. В. Никитенко и так писал о них в своем дневнике: «К Галичу прежде всего имеешь доверие, ибо видишь, что он обладает обширными познаниями. Он выражается ясно и благородно. Его одушевляет чистая, высокая любовь к истине, отчего беседы его не только полезны, но и увлекательны. Это не цеховой ученый, а человек, глубоко преданный науке. Я лично к тому же много обязан ему. Зная, что мне не под силу заплатить ему за курс триста рублей, как платят другие его слушатели, он предложил мне посещать его лекции бесплатно». В 1837 г. Галич был окончательно уволен из университета. Стараниями бывших его слушателей он получил место начальни-

ка архива Провиантского департамента, с хорошим жалованьем. На этой должности он и прослужил до смерти. Жизнь Галича была несчастливая. Жена его была очень необразованна, очень зла и очень безобразна. Он долго работал над двумя учеными трудами: «Всеобщее право» и «Философия истории человечества». В его отсутствие в доме, где он жил, произошел пожар, уничтожил оба эти труда и все вообще рукописи Галича. Это доконало его. Он стал пить, совершенно опустился. «Под гнетом мелочей жизни погиб крупный талант», – говорит биограф Галича.

Иван Кузьмич Кайданов
(1780–1843)

Из духовного звания. Окончил киевскую духовную академию и петербургский Педагогический институт, был командирован для усовершенствования за границу, слушал в Геттингене знаменитого историка Герена, по возвращении сдал на магистра и был назначен в царскосельский лицей преподавателем истории. Получил громкую известность как автор учебников по истории, долгое время бывших единственными руководствами, при-

нятыми во всех школах, – был тем же, чем в конце прошлого века не менее известный Иловайский. Преподавал он, впрочем, лучше, нежели писал, и лекции его слушались со вниманием. Французские слова выговаривал по латинскому произношению; например, из «guerre des gre´nouilles» у него выходило «гвер де греновиль». Обращаясь к ученикам, он слово «господин» ставил после фамилии: «Вольховский господин», «Пушкин господин». С хорошими учениками был вежлив, плохих нещадно ругал, особенно лентяя Ржевского: «Ржевский господин, животное господин, скотина господин!» – с самым украинским выговором и интонацией. Был человек благодушный, не формалист. Пушкин написал порнографическое стихотворение «От всенощной вечер, идя домой...» и прочел его Пущину. В эту минуту подошел Кайданов, шедший на лекцию. Пушкин и ему прочел стихи. Кайданов взял его за ухо и тихонько сказал:

– Не советую вам, Пушкин, заниматься такой поэзией, особенно кому-нибудь сообщать ее. И вы, Пущин, не давайте воли язычку.

Яков Иванович Карцов

(1784–1836)

Лицейский преподаватель физико-математических наук. Из духовного звания; с отличием окончил Педагогический институт, усовершенствовался в Иене, Геттингене и Париже. Заставить слушателей полюбить свой предмет он не умел. Воспитанники на его лекциях готовились к другим урокам, писали стихи или читали романы. Слушал его уроки и знал, что преподавалось, один Вольховский. Карцов долго возмущался, жаловался, старался восстановить дисциплину, но наконец махнул рукой, перестал вызывать учеников и занимался с одним Вольховским. К выпускному же экзамену заранее предупредил каждого, что будет у него спрашивать, и обучил, как нужно отвечать. Он был человек неглупый, острый, язвительный, любил рассказывать анекдоты и острить насчет царскосельских жителей, только и известных лицеистам. Когда он приходил в класс, лицеисты собирались вокруг него и помирали со смеху от его рассказов. Был он черноволос, смугл, очень тучен, лишних движений избегал; часто, сидя спиной к доске, писал на ней формулы не гля-

дя. Насмехаясь над незнающими, говорил:

– А плюс бэ равно красному барану.

Или:

– Тяп да ляп и соорил корабль.

По-французски выговаривал так: «пур пас-сер ле тампс».

Раз вызвал он к доске Пушкина и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы. Карцов спросил его наконец:

– Что же вышло? Чему равняется икс?

Пушкин улыбнулся и ответил:

– Нулю.

– Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи.

*Эпиграмма на Карцова лицеиста
Илличевского:*

*Поверь, тебя измерить разом
Не мудрено, мой друг черняк:
Ты математик – минус разум,
Ты злой насмешник – плюс дурак.*

**Давид Иванович де Будри
(1756–1821)**

Профессор французской словесности. Родившийся Марат. Младший брат Жана-Поля Марата, знаменитого деятеля Великой французской революции. Родился в Швейцарии, окончил женевскую академию со степенью кандидата богословия. В 1784 г. был приглашен одним русским вельможей в воспитатели его детей и приехал в Россию. Давал в Петербурге уроки в частных домах и пансионах. Когда разразилась французская революция и имя Марата приобрело такую грозную известность, Екатерина II, по просьбе Давида Марата, переименовала его фамилию, придав ей аристократическую частицу «де», которую Будри тщательно сохранял. В компании с другим французом он открыл фабрику золотых и серебряных материй, составлявших модную одежду при дворе Екатерины. С воцарением Павла моды переменялись, владельцы фабрики разорились. Будри опять взялся за уроки. С основанием лицея он приглашен был в него преподавателем французской словесности.

Будри был забавный, коротенький старичок, с толстым брюхом, с насаленным, слегка напудренным париком; мылся он очень ред-

ко и менял белье только раз в месяц. Преподаватель был строгий и дельный. По словам Корфа, он один из всех лицейских наставников вполне понимал свое призвание и наиболее способствовал развитию лицеистов, умел приохотить к занятиям и будить мысль. Он обучал воспитанников и декламации. Декламация его была старой школы – очень высокопарная и ходульная. Будри поставил на лицейской сцене французскую драму – скучную и длинную, в которой все женские роли переделал в мужские и любовников превратил в друзей, и неумоимо, в течение целого месяца, репетировал ее с воспитанниками. Пушкин рассказывает, что Будри очень уважал память своего знаменитого брата и однажды в классе, говоря о Робеспьере, сказал ученикам как ни в чем не бывало:

– Это он обработал под рукою Шарлотту Корде и сделал из этой девушки второго Равальяка.

Таким образом Шарлотту Корде, убийцу брата, он как бы ставил на одну доску с царевубийцей Равальяком. «Впрочем, – прибавляет Пушкин, – Будри, несмотря на свое родство,

демократические мысли, замасленный жилет и вообще наружность, напоминавшую якобинца, был на своих коротеньких ножках очень ловкий придворный». Кажется, в последнем утверждении Пушкин не прав. Во всяком случае, другие лицеисты отмечали как раз независимость, с какой Будри держался по отношению к высшим. В «Лицейском мудреце» находим карикатуру Илличевского на профессоров, ищущих милости у министра. На возвышении сидит министр граф А. К. Разумовский, к нему гуськом по отлогой доске поднимаются почтительные профессора, а совсем сзади, спиной к министру, стоят, обнявшись, Будри и Куницын, и пройдоха Гауэншильд тщетно старается повернуть Будри лицом к министру.

**Фридрих Матвеевич Гауэншильд
(1830–?)**

Профессор немецкого языка и словесности в лицее. После смерти директора Малиновского в двухлетний период следовавшего в лицее «междоцарствия» некоторое время исполнял обязанности директора.

Немец, родом из Австрии, приобрел благо-

склонность С. С. Уварова, тогда попечителя петербургского учебного округа, переводом нескольких его статей на немецкий язык и, по его протекции, определен был профессором в лицей. Был заносчив, скрытен и хитер, с воспитанниками обращался грубо и несправедливо, лицеисты его ненавидели. Узкое лицо, выдающаяся вперед верхняя губа; имел привычку постоянно жевать лакрицу. О нем сложена была в лицее так называемая «национальная песня», которая певалась лицеистами хором без всякого секрета, только что не самому Гауэншильду в лицо. Начинали медленно и заглушенно, потом темп ускорялся, а с ним возвышались и голоса, переходившие под конец в бурю:

*В лицейской зале тишина.
Диковинка меж нами:
Друзья, к нам лезет сатана
С лакрицей за зубами!
Друзья, сберемтесь гурьбой,
Дружнее в руки палку,
Лакрицу сплющим за щекой,
Дадим австрийцу свалку!..*

И Т.Д.

Гауэншильд, по-видимому, имел связи с австрийской дипломатией и был ее осведомителем. В 1822 г. он был уволен от службы и уехал в Австрию. Был назначен австрийским генеральным консулом на о. Корфу, пользовался благоволением Меттерниха.

Сергей Гаврилович Чириков
(1776–1853)

Лицейский учитель рисования и гувернер. Воспитанник Академии художеств. Был человек довольно ограниченный, посредственный гувернер, очень плохой рисовальщик; однако лицеисты его любили за ровный и приятный характер, за обходительность и тактичность, за достоинство, не позволявшее лицеистам таких с ним шалостей, на которые они пускались с другими. В первое время существования лицея воспитанники не пользовались отпуском в дом родителей и нередко проводили свободное время у Чирикова, имевшего квартиру в верхнем этаже лицея; у него составилась литературный кружок, и в гостиной его, по рассказам, долго сохранялись на стене строки, написанные рукой

Пушкина. Чириков и сам пописывал. Его длиннейшие трагедии в стихах ходили и читались у лицеистов в рукописях. Одна была под заглавием «Герой Севера». Воспитанники самого Чирикова прозвали Герой Севера, и это очень льстило его самолюбию.

**Фотий Петрович Калинин
(1788–1851)**

Учитель чистописания в лицее. В 1795 г. мальчиком был вывезен с Украины для придворного певческого хора. Когда он спал с голоса, то благодаря прекрасному своему почерку определен был учителем чистописания в лицей. Здесь он прослужил сорок лет до самой смерти. Нередко исполнял также обязанности гувернера. Был высокопарный глупец и невежда. Большой ростом, с сенаторской осанкой и поступью, с огромным лицом; на лице этом всегда отражалась как будто глубокая дума, иногда оно подергивалось легкой, презрительной к человечеству усмешкой. Говорил он неизменно вздор, но облакал его в громкие и величественные слова. Почерк у него действительно был прекрасный, все грамоты на медали и похвальные листы перепи-

сывались его рукой.

Теппер де Фергюсон (1768–1838)

Лицейский учитель пения. Его отец был богатейший банкир в Польше, где со всем своим богатством погиб во время революции. Тогда сын его, путешествовавший по Европе со всей роскошью английского лорда, публиковал себя в Вене под скромным именем учителя музыки. В Петербурге он получил место учителя музыки к великой княжне Анне Павловне, а потом вскоре был определен учителем музыки и пения в лицей. «Это был вдохновенный старик», – вспоминает Плетнев. М. Корф рассказывает: «Он учил нас, в последний только год, не музыке собственно, а лишь только пению. Теппер, хороший учитель пения, хотя сам без всякого голоса, не только учил нас, но и сочинял для нас разные духовные концерты, т. е. большею частью перелагал с разными вариациями и облегчениями концерты Бортнянского. В его классе соединялись оба курса лицея, старший и младший, что иначе ни на лекциях, ни в рекреационное время никогда не бывало. Тепперу

же принадлежит и музыка известной прощальной песни Дельвига «Шесть лет промчалось, как мечтанье», жившей еще через сорок лет в стенах лицея. Теппер был большой оригинал, но человек образованный и приятный, нам очень нравились и его беседы, и его классы». У Теппера был свой дом в Царском Селе. Воспитанники лицея посещали его на дому – пили чай, болтали, пели, музицировали, и эти простые вечера были лицеистам очень по вкусу.

**Мартын Степанович Пилецкий-
Урбанович
(1780–1859)**

Лицейский надзиратель по учебной и нравственной части с 1811 по 1813 г. В молодости слушал лекции в Геттингенском университете. М. Корф характеризует его так: «С достаточным образованием, с большим даром слова и убеждения, он был святошею, мистиком и иллюминатом, который от всех чувств обыкновенной человеческой природы, даже от врожденной любви к родителям, старался обратить нас исключительно к Богу и, если бы мы далее оставались в его руках, непре-

менно сделал бы из нас иезуитов. Со своей длинною и высохшею фигуурою, с горящим всеми огнями фанатизма глазом, с кошачьими приемами и походкой, наконец, с жестоко-хладнокровною и ироническою, прикрытою видом отцовской нежности строгостью, он долго жил в нашей памяти, как бы какое-нибудь привидение из другого мира». С сестрами и кузинами воспитанников, посещавшими их в лицее, Пилецкий позволял себе обращаться с развязно-ласковой фамильярностью. Все это возмутило лицеистов. В 1813 г. они собрались в конференц-зале, вызвали Пилецкого и предложили ему на выбор: либо удалиться из лицея, либо они все потребуют собственного своего увольнения. Угроза была несерьезного свойства, но Пилецкий ответил хладнокровно:

– Оставайтесь в лицее, господа!

И в тот же день выехал из Царского Села. Так рассказывает Анненков со слов Матюшкина. Что Пилецкого заставили уйти из лицея воспитанники – это верно. В своей программе записок Пушкин пишет: «...мы прогоняем Пилецкого». Навряд ли, однако, все про-

изошло так просто и для того времени необычно, как сообщает Анненков. Дело, по-видимому, происходило так. 21 ноября 1812 г., за обедом, Пушкин вдруг начал громко говорить, что Пилецкий позволяет себе оскорбительные и издевательские отзывы о родителях некоторых товарищей. Его поддержал Корсаков. После обеда начались горячие споры, многие товарищи присоединились к Пушкину и Корсакову, говорили, что нужно идти к директору с жалобой на Пилецкого. Особенно волновались Кюхельбекер и Ив. Малиновский, поджигали других, называли подлецами и льстецами Корфа, Ломоносова, Юдина и Есакова, отказывавшихся идти с товарищами. 23 ноября произошло объяснение с директором Малиновским в присутствии инспектора Пилецкого. Можно думать, беседа убедила директора, что Пилецкий действительно позволял себе нетактичные отзывы о родственниках воспитанников, и Пилецкому вскорости было предложено покинуть лицей. Впоследствии Пилецкий служил следственным приставом в петербургской полиции. В 1837 г. за участие в министерских радениях

известной в то время аристократической сектантки Татариновой был выслан из столицы и заключен в монастырь. Под конец жизни, в глубокой старости, жил опять в Петербурге, сильно нуждаясь.

**Илья Степанович Пилецкий-Урбанович
(1786 – не ранее 1835)**

Брат предыдущего. Лицейский надзиратель. Раньше был канцеляристом в подольском губернском приказе и аудитором в армейском полку. Мы знаем его только по его рапортам в конференцию о поведении воспитанников, – рапортам, отличающимся исключительной безграмотностью.

**Алексей Николаевич Иконников
(1789–1819)**

В течение одного года (1811–1812) был гувернером лицея. Внук знаменитого актера Дмитровского. До поступления в лицей служил переводчиком в берг-коллегии, преподавал в горном корпусе географию, историю и французский язык. Был благородный, умный и образованный человек, совсем еще молодой, всего двадцати шести лет, но уже совершенно опустившийся от пьянства; водка его

перестала возбуждать, и он залпом выпивал целыми склянками гофманские капли (смесь эфира со спиртом). Он занимался писательством, сочинял для лицеистов небольшие театральные пьесы; лицеисты разыгрывали их перед царскосельской публикой с ширмами вместо кулис, в форменных мундирах. В одной пьесе главную роль играл лицеист Маслов, но после первого действия ему сделалось дурно, и мальчика, без всякого предупреждения публики, заменил собой сам Иконников, да к тому же совершенно пьяный; он не помнил реплик и сбивал остальных актеров.

За пьянство Иконников вскоре был уволен. Но, видимо, он Пушкина интересовал, — еще через три года после его увольнения Пушкин посещал его и так писал в тогдашнем своем дневнике: «Вчера провел я вечер с Иконниковым. Хотите ли видеть странного человека, чудака, — посмотрите на Иконникова. Поступки его — поступки сумасшедшего; вы входите в его комнату: видите высокого, худого человека в черном сюртуке, с шеей, укутанной черным, изорванным платком. Лицо бледное, волосы не острижены, не расчеса-

ны; он стоит задумавшись и кулаком нюхает табак из коробочки, – он дико смотрит на вас. Вы ему близкий знакомый, вы ему родственник или друг, – он вас не узнает. Вы подходите, зовете его по имени, говорите ему свое имя; он вскрикивает, кидается на шею, целует, жмет руку, хохочет задушевым голосом, кланяется, садится, начинает речь, не доканчивает, трет себе лоб, ерошит голову, вздыхает, говорит о своем бедном положении. Он не имеет ни денег, ни места, ни покровительства; ходит пешком из Петербурга в Царское Село, чтобы осведомиться о каком-то месте, которое обещал ему какой-то шарлатан. Он беден, горд и резок; рассыпается в благодарениях за ничтожную услугу или простую учтивость, неблагодарен и даже сердится за благодеяние, ему оказанное, легкомыслен до чрезвычайности, мнителен, чувствителен, честолюбив. Иконников имеет дарования, пишет изрядно стихи и любит поэзию. Вы читаете ему свою пьесу, – наотрез говорит он: такое-то место глупо, без смысла, низко. Зато за самые посредственные стихи кидается вам на шею и называет вас гением. Иногда он учтив до бес-

конечности, в другое время груб нестерпимо. Его любят иногда, смешит он часто, а жалок почти всегда».

**Франц Осипович Пешель
(1782–?)**

Лицейский врач. Из моравских уроженцев. Вызван был в Россию на врачебную службу министерством внутренних дел в 1808 г. Был друг всего царскосельского бомонда, весельчак, остряк: любил болтать с лицеистами, знакомил их со всевозможными новостями, тешил анекдотами, каламбурами и своим уморительным русским языком. Каждое первое число месяца являлся к лицеистам с гостинцами и оделял их девичьей и бабьей кожей, лакрицей и тому подобными аптечными сладостями.

Случилось однажды событие, сильно взволновавшее весь лицей. Раскрылось, что один из лицейских дядек, молодой парень Константин Сазонов, за два года пребывания своего в лицее совершил в Царском Селе и окрестностях шесть или семь убийств. Пушкин написал по этому случаю эпиграмму:

Заутра с свечкой грошевою

*Явлюсь пред образом святым.
Мой друг! остался я живым,
Но был уж смерти под косою:
Сазонов был моим слугою,
А Пешель – лекарем моим.*

Воспитанники лицея любили Пешеля и впоследствии иногда приглашали старика-доктора на празднования лицейских годовщин вместе с любимым надзирателем С. Г. Чириковым. Сохранилась запись Пешеля от 19 октября 1837 г. с обращением к бывшим его лицейским пациентам на немецком и латинском языках: «Я прошу моих старых друзей, для их собственного блага на мировом театре, не забывать моих прежних увещаний, именно: что все покоится на отношениях и что единственное утешение – терпеливо следовать девизу: «ничему не удивляться!» А для здоровья: спокойствие души, телесные упражнения, диета как качественная, так и количественная, вода».

Лицейские товарищи

На первый курс лицея было принято тридцать человек. Значит, у Пушкина было двадцать девять товарищей.

**Иван Иванович Пущин
(1798–1859)**

Дед его был известный адмирал, андреевский кавалер, отец – генерал-интендант. В августе 1811 г. мальчика привезли в Петербург для определения в открывавшийся Царскосельский лицей. Для той же цели привез в это время в Петербург и Пушкина его дядя Василий Львович. Мальчики познакомились, сразу почувствовали друг к другу симпатию и подружились. Пущин постоянно бывал у Пушкиных на Мойке, мальчики шалили и возились с сопровождавшей Василия Львовича молодой его гражданской женой Анной Николаевной Ворожейкиной, вместе гуляли в Летнем саду. Оба были приняты в лицей и в октябре месяце отвезены в Царское Село. Воспитанники обязательно должны были жить в лицейском общежитии, каждому полагалась отдельная комната. Пушкину досталась ком-

ната № 14, Пущину – рядом, № 13. Комнаты были отделены легкой перегородкой, через которую свободно можно было разговаривать. Это близкое соседство еще больше способствовало сближению мальчиков.

Учился Пущин хорошо. Преподаватели отмечали в своих отзывах его «счастливые способности», «редкое прилежание». Товарищи очень его любили. «Со светлым умом, – рассказывает Модест Корф, – с чистой душой, с самыми благородными намерениями, он был в лицее любимцем всех товарищей». Нельзя того же сказать о Пушкине. Он был большой озорник и насмешник, любил задирать товарищей и, как часто бывало с ним и впоследствии, совершенно не умел нести естественных последствий своих нападок. Столкновения с товарищами, им же вызванные, сильно его мучили. И долгие часы он переговаривался по ночам сквозь перегородку с Пущиным, – жаловался на себя и на других, каялся, обсуждал с Пущиным, как поправить свое положение между товарищами или избежать последствий необдуманного поступка. Оба друга были неразлучны. В лицейских «национальных

песнях» они фигурировали рядом: Жано – Пушчин и Француз – Пушкин:

*Большой Жано
Мильон бонмо
Без умыслу проворит,
А наш Француз
Свой хвалит вкус
И материцу порет.*

Оба были влюблены в сестру своего товарища, фрейлину Е. П. Бакунину. Пушкин, как и впоследствии, когда любовь сильно его захлестывала, был застенчив, замкнут, изливал переполнявшее его чувство больше в уныло-романтических стихах. Пушчин, по-видимому, был активнее и предприимчивее. Директор Энгельгардт в своей аттестации Пушчина писал: «Он с некоторого времени особенно старается заинтересовать собою особ другого пола, пишет самые отчаянные письма и, жалуясь на судьбу, представляет себя лицом трагическим. Одно из таких писем попало в мои руки, и я, по обязанности, должен был внушить молодому человеку неуместность такого поступка в его положении. Дружеский совет, казалось, произвел желанное действие,

но повторение подобного же случая доказало противное».

Также вместе с Пушкиным и еще с Малиновским и Пуццин попался в нашумевшей истории с «гогель-могелем». История такая. Компания воспитанников с Пуцциным, Пушкиным и Малиновским во главе устроила тайную пирушку. Достали бутылку рома, яиц, натолкли сахара, принесли кипящий самовар, приготовили напиток «гогель-могель» и стали распивать. Одного из товарищей, Тыркова, сильно разобрало от рома, он стал шуметь, громко разговаривать; это обратило на себя внимание дежурного гувернера, и он доложил инспектору Фролову. Началисьпросы, розыски. Пуццин, Пушкин и Малиновский объявили, что это их дело и что они одни виноваты. Фролов немедленно донес о случившемся исправлявшему должность директора профессору Гауэншильду, а тот поспешил доложить самому министру Разумовскому. Переполошившийся министр приехал из Петербурга, вызвал виновных, сделал им строгий выговор и передал дело на рассмотрение конференции. Конференция постановила: 1. Две

недели стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы. 2. Сместить виновных на последние места за обеденным столом. 3. Занести фамилии их, с прописанием виновности и приговора, в черную книгу, которая должна иметь влияние при выпуске. Но при выпуске лицеистов директором был уже не бездушный карьерист Гауэншильд, а благородный Энгельгардт. Он ужаснулся и стал доказывать своим сочленам недопустимость того, чтобы давнишняя шалость, за которую тогда же было взыскано, имела влияние и на будущность провинившихся. Все тотчас же согласилось с его мнением, и дело сдано было в архив.

Историю с «тогель-могелем» имеет в виду Пушкин в своем послании к Пущину:

*Помнишь ли, мой брат по чаше,
Как в отрадной тишине
Мы топили горе наше
В чистом пенистом вине?
Помнишь ли друзей шептанье
Вкруг бокалов пуншевых,
Рюмок грозное молчанье,
Пламя трубок грошовых?
Закипев, о, сколь прекрасно*

*Токи дымные текли!
Вдруг педанта глас ужасный
Нам послышался вдали, –
И бутылки вмиг разбиты,
И бокалы все в окно,
Всюду по полу разлиты
Пуши и светлое вино.
Убегаем торопливо...*

В «Пирующих студентах» Пушкин так обращается к Пущину:

*Товарищ милый, друг прямой,
Тряхнем рукою руку,
Оставим в чаше круговой
Педантам сродну скуку:
Не в первый раз мы вместе пьем,
Нередко и бранимся,
Но чашу дружества нальем –
И тотчас помиримся.*

Пришло время выпуска. Пушкин на прощание написал в альбом Пущину:

*Взглянув когда-нибудь на тайный
сей листок,
Исписанный когда-то мною,
На время улетим в лицейский угол
лок
Всесильной, сладостной мечтою.*

Ты вспомни быстрые минуты
первых дней,
Неволю мирную, шесть лет со-
единения,
Печали, радости, мечты души
твоей,
Размолвки дружества и сладость
примиренья,
Что было и не будет вновь...
И с тихими тоски слезами
Ты вспомни первую любовь.
Мой друг! она прошла... но с пер-
выми друзьями
Не резвою мечтой союз твой за-
ключен:
Пред грозным временем, пред
грозными судьбами,
О, милый, вечен он.

Дальнейшее о Пущине – в главе «Друзья
Пушкина».

**Барон Антон Антонович Дельвиг
(1798–1831)**

Хоть и происходил от прибалтийских ба-
ронов, но родился от русской матери, в
Москве, где отец его был плац-майором; род-
ным языком его был русский, а немецкому
он, с грехом пополам, обучился только в ли-

цее. Мальчик был полный, вялый и болезненный, учился неохотно; родители, опасаясь за его здоровье, очень его к этому не принуждали; всего охотнее занимался он мифологией. Фантазия с детства была очень живая. Когда ему было еще пять лет, он рассказал о каком-то чудесном видении, будто бы явившемся ему, и смутил этим всю свою семью. Уже в детстве, как и всю свою жизнь, Дельвиг отличался феноменальной ленью. Способности его развивались медленно, память была тупа; за все время пребывания мальчика в лицее он не проявил никакой склонности к науке. Преподаватели давали о нем такие отзывы: «Способности посредственные, как и прилежание, а успехи весьма медленны; мешкотность вообще его свойство и весьма приметна во всем». «Непонятен и ленив, отвечает на вопросы без размышления и без всякой связи. Заметно даже, что вовсе не имеет охоты к учению». Но воображение по-прежнему было очень живое. Однажды стал он рассказывать товарищам, будто сопровождал в обозе своего отца во время похода 1807 г., рассказывал об опасностях, которым при этом подвергался, —

рассказывал так живо и правдоподобно, что несколько дней около него собирались товарищи и жадно слушали все новые и новые подробности о походе. Захотел послушать и сам директор Малиновский. Дельвиг постыдился признаться во лжи, рассказал и Малиновскому. И никто не усомнился в истине его рассказов, пока он сам не признался в своем вымысле. «В детях, одаренных игривостью ума, – замечает Пушкин, – склонность ко лжи не мешает искренности и прямоте. Тот же Дельвиг никогда не лгал в оправдание какой-нибудь вины, для избежания выговора или наказания». Любовь к поэзии пробудилась в нем рано. Он знал почти наизусть собрание русских стихотворений, изданное Жуковским. С Державиным не расставался, Клопштока, Шиллера и Гете прочел с Кюхельбекером, Горация изучил в классе под руководством профессора Кошанского. В игры школьников, требовавшие проворства и силы, Дельвиг никогда не вмешивался, предпочитал прогулку по аллеям Царского Села и степенные разговоры с сочувствующими товарищами. Однако, несмотря на эту степен-

ность, и поведением своим Дельвиг не вызывал одобрения начальства. «Поведение его достойно осуждения, ибо он груб в обращении, дерзок на словах, непослушен и упрям до такой степени, что презирает все наставления, и даже смеется, когда делаешь ему выговоры». «Насмешлив, упрям, впрочем, добр, – характеризует его другой надзиратель. – Хладнокровие есть особенное его свойство».

Писать стихи Дельвиг начал довольно рано. Многие лицеисты уже на первых курсах писали стихи. Наибольшим признанием пользовался Илличевский, Пушкин вспоминал: «...никто не приветствовал Дельвига, между тем как стихи одного из его товарищей, стихи посредственные, заметные только по некоторой легкости и чистоте мелочной отделки, в то же время были расхвалены и прославлены, как некоторое чудо». Когда товарищам стало известно, что и Дельвиг пишет стихи, это очень их рассмешило, и они сочинили стишок, получивший в лицее популярность:

Ха-ха-ха! Хи-хи-хи!
Дельвиг пишет стихи!

Вскоре, однако, Дельвиг завоевал всеобщее признание. Он принимал неизменное и очень близкое участие во всех лицейских журналах. Первым из всех товарищей он выступил и в настоящем журнале. В «Вестнике Европы» за 1814 г. была напечатана его патриотическая ода «На взятие Парижа». По-видимому, Дельвиг же, без ведома Пушкина, устраивал в печать и его стихи. В послании к Дельвигу Пушкин писал:

*Куда сокроюсь я?
Предатели-друзья
Невинное творенье
Украдкой в город шлют
И плод уединенья
Тисненые предают, –
Бумагу убивают!*

.....
*О Дельвиг! начертали
Мне музы мой удел;
Но ты ль мои печали
Умножить захотел?
В обличиях и Морфея
Беспечный дух лелея,
Еще хоть год один
Позволь мне поленился
И негой насладиться, –*

*Я, право, неги сын!
А там, – хоть нет охоты,
Но придут уж заботы
Со всех ко мне сторон:
И буду принужден
С журналами сражаться,
С газетой торговаться...
Помилуй, Аполлон!*

К творчеству Пушкина уже в лицейскую пору Дельвиг относился восторженно. Он напечатал в 1815 г. в «Российском Музеуме» стихотворение «К А. С. Пушкину». Кончалось оно так:

*Пушкин! Он и в лесах не укроется:
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бес-
смертного
Аполлон на Олимп торжествую-
щий.*

Отмечают, что восторженный этот отзыв, с прописанием полного имени Пушкина, был напечатан в одном из лучших тогдашних журналов, – какие, значит, надежды возбудил шестнадцатилетний Пушкин уже первыми своими выступлениями!

В лицейских своих стихах Пушкин не раз поминает Дельвига. В «Пирующих студентах», например:

*Дай руку, Дельвиг! что ты спишь?
Проснись, ленивец сонный!
Ты не под кафедрой сидишь,
Латынью усыпленный.
Взгляни: здесь круг твоих друзей;
Бутыль вином налита,
За здравье нашей музыки пей,
Парнасский волокита!*

В 1825 г. Пушкин вспоминает:

*И дивное волнение мы познали;
С младенчества дух песен в нас горел, –
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел;
Но я любил уже рукоплесканья, –
Ты, гордый, пел для муз и для души:
Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья, –
Ты гений свой воспитывал в тиши.*

Оценка Дельвига – конечно, преувеличен-

ная – характерна для отношения к нему Пушкина.

В списке окончивших лицей воспитанников первого курса, выпущенных в гражданскую службу, Дельвиг стоит по успехам третьим с конца (Пушкин – четвертым с конца). На выпускном акте пелась сочиненная Дельвигом кантата «Шесть лет промчалось, как мечтанье», положенная на музыку лицейским учителем музыки Теппер де Фергюсоном. Песня эта долгое время пользовалась популярностью и у последующих выпусков лицеистов.

Дальше о Дельвиге см. в главе «Друзья Пушкина».

Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797–1846)

И фамилия у него была смешная – Кюхельбекер, и весь он был ужасно смешной: длинный, тощий, с выпученными глазами, тугой на ухо, с кривящимся при разговоре ртом, весь какой-то извивающийся, настоящий Глиста, – такое ему и было прозвание среди товарищей. Еще прозвание ему было – Кюхля. Был вспыльчив до полной необуздан-

ности, самолюбив, обидчив, легко возбуждался и тогда терял всякий внутренний регулятор.

И ко всему – еще писал стихи. Среди лицейских товарищей его немало было стихотворцев: на первом месте Илличевский, за ним Пушкин, Дельвиг, Яковлев и другие. Но Кюхля и в стихах был так же смешон, как во всем. Ни на кого в лицее не было писано так много эпиграмм, как на него.

Илличевский:

*Явился, Вилинька, и докажи собой,
Что ты и телом, и душой
Урод пресовершенный!*

Пушкин:

*Пусть Бог дела его забудет,
Как свет забыл его стихи!*

Или:

*Вот Виля: он любовью дышит,
Он песни пишет зло;
Как Геркулес, сатиры пишет;
Влюблен, как Буало.*

(Буало был кастрат.)

Пушкин заболел и лежал в лазарете. Там он написал своих «Пирующих студентов» и пригласил товарищей послушать. После ве-

черного чая они пошли к нему гурьбой с гувернером Чириковым. Началось чтение.

*Друзья! Досужный час настал;
Все тихо, все в покое...*

Внимание общее, тишина глубокая по временам только прерывалась восклицаниями. Кюхельбекер просил не мешать, он слушал в полном упоении. И вдруг – заключительные стихи:

*Писатель! За свои грехи
Ты с виду всех трезвее;
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее.*

Взрыв хохота. Публика забыла поэта, стихи его и бросилась тормошить Кюхельбекера, совершенно ошалевшего от неожиданности.

И не только в стихах товарищи издевались над Кюхельбекером. Однажды за обедом Машиновский вылил ему на голову тарелку супу. Кюхельбекер так был потрясен, что заболел горячкой, убежал из больницы и бросился в пруд, чтобы утопиться. Но у него все делалось нелепо: в пруду не могла бы утопиться и мышь. Кюхлю вытащили, и событие это сде-

лалось тоже предметом злых издевательств школьников: в журнале «Лицейский мудрец» появилась карикатура Илличевского, в которой профессора тащут Кюхлю из воды, зацепив багром его галстук. Был он и очень рассеян. Однажды, например, гуляя в царскосельском парке, принял великого князя Николая Павловича за знакомого офицера, вступил с ним в дружескую беседу и очень был удивлен его холодностью.

Однако под смешной и нелепой наружностью Кюхельбекера таился чистейший энтузиаст, горевший мечтами о добре и красоте, восторженный любитель поэзии, добрейший и незлопамятный человек. Учился он хорошо, был начитаннее всех своих товарищей, знал их с немецкой литературой. Пушкин называл его живым лексиконом и вдохновенным комментарием, а директор лицея Энгельгардт дал о нем такой отзыв: «Читал все и обо всем; имеет большие способности, прилежание, добрую волю, много сердца и добродушия, но в нем совершенно нет вкуса, такта, грации, меры и определенной цели. Чувство чести и добродетели проявляется в нем ино-

гда каким-то донкихотством».

Кюхельбекер окончил курс с серебряной медалью. Был зачислен в коллегию иностранных дел и одновременно поступил в университетский Благородный пансион старшим преподавателем русской и латинской словесности. Здесь его учениками были Лев Пушкин, Соболевский, М. Глинка. Он свел знакомство со всеми известными писателями, бывал, между прочим, у Жуковского и порядочно докучал ему своими стихами. Однажды Жуковский был зван куда-то на вечер и не явился. Когда его спросили, отчего он не был, Жуковский ответил:

– Я еще накануне расстроил себе желудок; к тому же пришел Кюхельбекер, и я остался дома.

Пушкин изложил этот ответ такими стихами:

*За ужином объелся я,
Да Яков запер дверь оплошно, –
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно и тошно!*

Кюхельбекер взбесился и вызвал Пушкина на дуэль. Никак нельзя было отговорить его.

Пришлось Пушкину принять вызов. Кюхельбекер стрелял первый и промахнулся. Пушкин бросил пистолет и хотел обнять товарища. Но Кюхельбекер неистово закричал:

– Стреляй, стреляй!

Пушкин выстрелил в воздух, подал Кюхельбекеру руку и сказал:

– Полно дурачиться, милый; пойдем чай пить!

Кюхельбекер очень много писал и печатал; принадлежал к литературной группе молодых архаистов, в которую входили Грибоедов, Катенин, Жандр. Некоторые новейшие исследователи высоко оценивают как поэтическую, так и критическую деятельность Кюхельбекера и даже отрицательное отношение современников к поэзии его объясняют тем, что Кюхельбекер был новатором. Так это или не так, но во всяком случае и из современников Кюхельбекера некоторые признавали за ним большие дарования. Баратынский, например, писал: «Кюхельбекер – человек замечательный по многим отношениям и рано или поздно вроде Руссо очень будет замечен между нашими писателями. Он с большими

дарованиями, и характер его очень сходен с характером женевского чудака: та же чувствительность и недоверчивость, то же беспокойное самолюбие, влекущее к неумеренным мнениям, дабы отличаться особенным образом мыслей; и порою та же восторженная любовь к правде, к добру, к прекрасному, которой он все готов принести в жертву; человек вместе достойный уважения и сожаления, рожденный для любви к славе (может быть, и для славы) и для несчастья».

В 1820 г. вследствие каких-то недоразумений Кюхельбекеру пришлось покинуть преподавательскую деятельность и выйти в отставку. Он поехал за границу в качестве секретаря при обер-камергере А.Л. Нарышкине. Там – опять недоразумения. В Париже он стал читать лекции о славянском языке и русской литературе. Читал с большим воодушевлением; однажды в конце речи махнул рукой, сшиб свечу, стакан с водой, хотел его удержать и сам слетел с кафедры. «Лекции мои имели цель самую благонамеренную, – писал он сестре. – Может быть, я и был неосторожным; может быть, найдут в них несколько

слов неудобных, но я никак не предвидел того, что ожидало меня». После одной речи, в которой Кюхельбекер говорил о влиянии на родное слово вольного Новгорода и его веча, он получил через посольство приказание прекратить чтение лекций и вернуться в Россию. Нарышкин отказал ему от места. С помощью поэта В. И. Туманского Кюхельбекер добрался до Петербурга. Там голодал и пропадал от нужды. Друзья устроили его на Кавказ чиновником особых поручений при Ермолове. Но там он пробыл только несколько месяцев: поссорился с племянником Ермолова Похвисневым, вызвал его на дуэль; тот отказался; тогда Кюхельбекер дал ему две пощечины; дуэль состоялась; Кюхельбекер промахнулся, пистолет Похвиснева дал осечку. Кюхельбекер был уволен в отставку. Год прожил в смоленской деревне у сестры, потом перебрался в Москву. В Москве давал частные уроки, сошелся с кружком князя В. Ф. Одоевского и Веневитинова, много писал, издавал вместе с Одоевским литературные сборники «Мнемозина». Около этого времени с ним познакомилась молодая девушка С. М. Салтыкова, буду-

щая жена Дельвига, и писала о нем подруге: «Это горячая голова, каких мало; пылкое воображение заставило его наделать тысячу глупостей, но он так умен, так любезен, так образован, что все в нем кажется хорошим, даже это самое воображение; признаюсь, то, что другие хулят, мне очень нравится. Он любит все, что поэтично. У этого бедного молодого человека нет решительно ничего. Ужасно досадно, что он судит так хорошо, а сам пишет плохо».

В апреле 1825 г. Кюхельбекер переселился в Петербург. Рылеев писал Пушкину: «Читали твоих «Цыган». Можешь себе представить, что делалось с Кюхельбекером. Что за прелестный человек этот Кюхельбекер! Как он любит тебя! Как он молод и свеж!» За несколько дней до 14 декабря Рылеев принял Кюхельбекера в Тайное общество. В день восстания Кюхельбекер все время находился на площади среди восставших, в каком-то полупомешательстве метался по площади, потрясал пистолетом, размахивал где-то подхваченным палашиом, командовал людям, которые его не слушали, хотел вести в штыки сол-

дат гвардейского экипажа, но они за ним не пошли; навел пистолет на великого князя Михаила Павловича, но какой-то солдат отвел его, пытался выстрелить в генерала Воинова, но пистолет дал осечку. Он «просто был воспламенен, как длинная ракета», писал Дельвиг. После разгрома восстания Кюхельбекер бежал в Варшаву, но там был арестован по приметам, услужливо сообщенным полицией Булгариным. На допросах каялся, выдавал, утверждал, что стрелять в великого князя Михаила Павловича его подговорил И. Пущин, и настаивал на этом даже на очной ставке с Пущиным; Пущин это решительно отрицал. Кюхельбекер был приговорен к двадцати годам каторжных работ. И. И. Пущин впоследствии писал Е. А. Энгельгардту: «Если бы вам рассказать все проделки Вильгельма в день происшествия и в день объявления приговора, то вы просто погибли бы от смеху, несмотря, что он был тогда на сцене трагической и довольно важной». Осенью 1827 г. Кюхельбекер из Шлиссельбургской крепости был переведен в Динабургскую. В пути, на почтовой станции под Боровичами, он вдруг

увидел у станционного крыльца проезжего, пристально в него всматривавшегося, и узнал Пушкина. Они кинулись друг другу в объятия. Жандармы их растащили, фельдъегерь с угрозами и ругательством схватил Пушкина за руку. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды; посадили в тележку и ускакали.

Долго Кюхельбекер сидел в разных крепостях и только в 1835г. был отправлен в Сибирь на поселение. Там женился на необразованной мещанке, дочери почтмейстера. В 1845 г. И. И. Пущин писал Энгельгардту: «Три дня погостил у меня оригинал Вильгельм. Приехал на житие в Курган со своею Дросидой Ивановной, двумя крикливыми детьми и с ящиком литературных произведений. Обнял я его с прежним лицейским чувством. Зачитал меня стихами донельзя; по праву гостеприимства я должен был слушать и вместо критики молчать, щадя постоянно развивающееся авторское самолюбие. Не могу сказать вам, чтобы его семейный быт убеждал в приятности супружества. По-моему, они соединились без всякой данной на счастье. Призна-

юсь вам, я не раз задумывался, глядя на эту картину, слушая стихи, возгласы мужиковатой «дронюшки», как ее называет муженек, и беспрестанный визг детей. Выбор супружницы доказывает вкус и ловкость нашего чудака: и в Баргузине можно было найти что-нибудь хоть для глаз получше. Нрав ее необыкновенно тяжел, и симпатии между ними никакой. Странно то, что он в толстой своей бабе видит расстроенное здоровье и даже нервные припадки, боится ей противоречить и беспрестанно просит посредничества; а между тем баба беснуется на просторе; он же говорит: «Ты видишь, как она раздражительна!» Все это в порядке вещей: жаль, да помочь нечем». О себе и о художественном своем даровании Кюхельбекер был очень высокого мнения; находил, например, что некоторые молодые поэты обкрадывают, как писал он Пушкину, «и тебя, и меня». Писал в дневнике: «Вальтер Скотт в детстве был охотник рассказывать своим товарищам сказки, которые сам выдумывал. Это у него общее с Гете и (осмелюсь ли после таких людей называть себя?) со мною» и т. п.

К стихотворным упражнениям Кюхельбекера в лицейскую пору Пушкин, как мы видели, относился с насмешкой. С насмешкой же, но более добродушной и сдержанной, относился он и к дальнейшим творениям Кюхельбекера. В 1822 г. он писал брату: «Читал стихи и прозу Кюхельбекера. Что за чудак! Только в его голову могла войти жидовская мысль воспевать Грецию славянорусскими стихами, целиком взятыми из Иеремия». Потешается над такими выражениями Кюхельбекера, как «резвоскачущая кровь», по поводу двустипхия «Я всегда в уединении пас стада главы моей» спрашивает озорно: «Вшей?» и т. п. Однако к самому Кюхельбекеру Пушкин уже в лицейскую пору и потом в продолжение всей своей жизни относился с неизменной, чисто братской любовью. По окончании лицея посвятил ему задушевное стихотворение «Разлука». Из ссылки постоянно передавал ему в письмах к друзьям поклоны, с беспокойством следил за похождениями Кюхельбекера, зная его исключительный талант повсюду ввязываться в беду, писал Гнедичу: «Ах, Боже мой, что-то с ним делается, судьба его меня беспокоит до

крайности». И Вяземскому: «Что мой Кюхля, за которого я стражду, но все люблю?» В стихотворении «19 октября» (1825) Пушкин так вспоминал Кюхельбекера:

*Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть велича-
во:*

*Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты...
Опомнимся – но поздно! и уныло
Глядим назад, следов не видя
там.*

*Скажи, Вильгельм, не то ль и с
нами было,
Мой брат родной по музе, по судь-
бам?*

*Пора, пора! душевных наших мук
Не стоит мир; оставим заблуж-
денья!*

*Сокроем жизнь под сень уедине-
нья!*

Я жду тебя, мой запоздалый друг

—

*Приди; огнем волшебного расска-
за*

Сердечные преданья оживи;

*Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.*

Когда Кюхельбекер сидел в крепости, Пушкин посылал ему книги, вел с ним переписку, вызывая этим грозные запросы Бенкендорфа.

Федор Федорович Матюшкин
(1799–1872)

Родился в Штутгарте, где отец его был советником посольства; мать – немка; за неимением русского священника мальчик был окрещен по лютеранскому обряду и на всю жизнь остался лютеранином. Обладал порядочными способностями, был прилежен, очень скромн, застенчив и молчалив. Товарищи его любили. Заветной его мечтой еще в лицее было – стать моряком, хотя родился он и вырос вдалеке от моря. Немедленно по окончании лицея, при помощи очень любившего его директора Энгельгардта, Матюшкин определился гардемаринем на шлюп «Камчатка», отправлявшийся в кругосветное плавание под начальством знаменитого путешественника-мореплавателя капитана В. М. Головкина. Впоследствии он проделал еще несколько кругосветных плаваний, участво-

вал в экспедиции по обследованию северных берегов Восточной Сибири, где один мыс назван в его честь «мысом Матюшкина». Любопытно, что этот страстный моряк страдал на море жесточайшей морской болезнью. Под конец жизни Матюшкин был контр-адмиралом и сенатором.

Мы не знаем, каковы были отношения между Матюшкиным и Пушкиным в лицее, но в стихотворении своем «19 октября» (1825) Пушкин с очень теплым чувством вспоминает о нем:

*Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик
знойный
И вечный лед полуночных морей?
Счастливый путь!.. С лицейского
порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя доро-
га,
О, волн и бурь любимое дитя!*

*Ты сохранил в блуждающей судьбе
Прекрасных лет первоначальны
нравы:
Лицейский шум, лицейские забавы
Средь бурных волн мечтались те-
бе;
Ты простирал из-за моря нам ру-
ку,
Ты нас одних в молодой душе носил
И повторял: «На долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может,
осудил!»*

Матюшкин со своей стороны горячо любил Пушкина, виделся с ним в свои приезды в Россию. По свидетельству Я. К. Грота, он был одним из товарищей, с которыми по выходе из лицея Пушкин был всего дружнее. Последняя их встреча была у школьного товарища М. Л. Яковлева в день его именин, 8 ноября 1836 г. Пушкин был в большом волнении. После обеда пили шампанское. Вдруг Пушкин вынул из кармана полученное им анонимное письмо и сказал товарищам:

– Посмотрите, какую мерзость я получил!

Через два с половиной месяца он лежал в гробу. Матюшкин в это время был в Севасто-

поле. Он писал Яковлеву: «Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев! Яковлев! Как мог ты это допустить? Наш круг редееет; пора и нам убираться!»

Иван Васильевич Малиновский
(1795–1871)

Сын первого директора лицея, умершего в 1814 г. За бешеную вспыльчивость, необузданность нрава и драчливость кличка ему была Казак. Уже двадцатидвухлетним парнем, незадолго до выпуска из лицея, он, поспорившись за обедом с Кюхельбекером, вылил ему на голову тарелку супу, после чего Кюхельбекер побежал топиться, но его вытащили. В «Пирующих студентах» Пушкин так обращается к Малиновскому:

*А ты, повеса из повес,
На шалости рожденный,
Удалый хват, головорез,
Приятель задушевный!*

Малиновский вместе с Пушкиным и Пущиным попался в приготовлении «гогель-могеля» с ромом, за что все трое сильно поплатились. Все трое были влюблены в сестру ли-

цейского их товарища Е. П. Бакунину. Рядом с Пущиным Малиновский, говорят, был самым любимым товарищем Пушкина. Однако, сколько можно судить по дошедшим до нас данным, с Малиновским Пушкина связывала только любовь к проказам. Только о них Пушкин вспоминает, говоря о Малиновском и в черновиках стихотворения «19 октября» (1825). После упоминания о приезде к нему в Михайловское Пущина Пушкин продолжает:

*Что ж я тебя не встретил тут
же с ним,
Ты, наш казак, и пылкий, и незлоб-
ный,
Зачем и ты моей сени надгробной
Не озарил присутствием своим?
Мы вспомнили б, как Вакху прино-
сили
Безмолвную мы жертву в первый
раз,
Как мы одну все трое полюбили,
Наперсники, товарищи проказ.*

Воспоминания в том же стихотворении о некоторых других товарищах, Дельвиге, Кюхельбекере, свидетельствуют о большом духовном общении с ними Пушкина. Касатель-

но же Малиновского Пушкин вспоминает одни только их школьные проказы. По окончании лицея они, по-видимому, больше не виделись и не переписывались. Неожидаанное впечатление производит поэтому сообщение Аммосова, будто, умирая, Пушкин жалел, что при нем нет ни Пущина, ни Малиновского, что ему бы тогда легче было умирать. Аммосов писал со слов Данзаса. Не перепутал ли Аммосов фамилий, не назвал ли ему Данзас какого-нибудь другого из лицейских товарищей Пушкина? Например, Матюшкина?

По окончании лицея Малиновский определился в лейб-гвардии Финляндский полк, в 1825 г. вышел в отставку с чином полковника и остальную долгую жизнь провел в своем имении Изюмского уезда Харьковской губернии, занимался хозяйством, несколько трехлетья был предводителем дворянства своего уезда. В 1830 г. директор лицея Энгельгардт писал Матюшкину: «Малиновский – дворянский предводитель в Изюмском уезде и, как слышно, очень много там делает добра, душа радуется, как он там при рекрутчине стоял за бедных и грызся с богатыми и с чиновника-

ми, которые за них стояли». В следующем году Модест Корф писал о нем: «...наш милый энтузиаст Ванюша все тот же, думает более о других, чем о себе, и стремится везде к лучшему».

Малиновский был женат на сестре Пущина, а сестры его были замужем – одна за лицейским его товарищем Вольховским, другая – за декабристом бароном А. Е. Розеном.

Николай Александрович Корсаков (1800–1820)

Сын помещика, отставного прапорщика Свгардии, брат П. А. Корсакова, журналиста и стихотворца, впоследствии издававшего изуверски-реакционный журнал «Маяк», и М. А. Корсакова, впоследствии ставшего князем Дондуковым-Корсаковым, попечителем петербургского учебного округа и вице-президентом Академии наук. Кудрявый красавец, очень одаренный, быстро схватывал существо предмета, поэтому не считал нужным быть на уроках внимательным и прилежным, был самонадеян и несколько поверхностен, насмешлив, скрытен, умел очень искусно притворяться и водить учителей за нос.

Корсаков недурно писал стихи, преимущественно сатирические, – в таком роде:

*«Фи, вы курите табак,
Вы читаете газеты!» –
Вечно слышу от Лилеты.
– Да, сударыня, так, так! –
«Здесь, сударь мой, не кабак,
Киньте трубку и газеты!»
не так!*

Был одним из деятельнейших редакторов и сотрудников лицейских журналов. Но главное, чем выдавался Корсаков среди товарищей и за что пользовался среди них популярностью, были его музыкальные способности: он прекрасно пел и играл на гитаре, был и композитором. В «Пирующих студентах» Пушкин обращается к нему:

*Приблизься, милый наш певец,
Любимый Аполлоном!
Воспой властителя сердец
Гитары тихим звоном.
Как сладостно в стесненну грудь
Томленье звуков льется!..*

Корсаков, между прочим, положил на музыку стихотворения Пушкина «О, Делия, дра-

гая» и «Вчера мне Маша приказала». Первую из этих песен часто распевали в лицее на два голоса под аккомпанемент гитары, вторая приобрела популярность и за стенами лицея. «Юные девицы, – рассказывает Пущин, – пели ее почти во всех домах, где лицей имел право гражданства».

Корсаков кончил курс с серебряной медалью, поступил в коллегию иностранных дел. В 1819 г. был причислен к римской миссии и уехал в Италию. Там, во Флоренции, он вскоре умер от чахотки.

Пушкин написал на его смерть довольно плохую элегию «Гроб юноши» (1821) и помянул его в стихотворении «19 октября» (1825):

*Он не пришел, кудрявый наш певец,
С огнем в очах, с гитарой сладкогласной:
Под миртами Италии прекрасной
Он тихо спит, и дружеский резец
Не начертал над русскою могилой
Слов несколько на языке родном,
Чтоб некогда нашел привет уны-*

*лый
Сын севера, бродя в краю чужом.*

Насчет последнего Пушкин ошибался: над могилой Корсакова во Флоренции была вырезана надпись на русском языке; ее сочинил сам Корсаков за час до смерти:

*Ах! Грустно умирать далеко от
друзей!
Проходящий, поспеши к стране род-
ной своей!*

**Владимир Дмитриевич Вольховский
(1798—1841)**

Из небогатых дворян Полтавской губернии. Среди других лицеистов он представлял оригинальную фигуру. Обладал прекрасными способностями, исключительным прилежанием и железной волей; с ранних лет упорно, не уклоняясь в стороны, работал над всесторонним самоусовершенствованием и саморазвитием, равнодушно-непричастный ни к каким школьным грешкам и увлечениям. Вольховский готовил себя к военной деятельности. По телосложению он был чрезвычайно малосилен, но всячески закалял себя,

вел спартанский образ жизни, не пил вина, развивал упражнениями силу и ловкость; для укрепления мускулов, кроме всякого рода гимнастики, носил на плечах, готовя уроки, два толстейших лексикона Гейма. Впоследствии он благодаря этому выносил самые тяжелые походы и труды. Товарищи дали ему прозвище Суворов или Суворочка. (Известно, что Суворов отличался хилым телосложением и тоже с детства закалял себя.) Лицейстов обучали верховой езде. Чтобы выработать себе хорошую посадку, Вольховский в уединенном месте примащивал искусно стулья и, усевшись верхом, в таком положении учил уроки. В лицейских «национальных песнях» о нем пелось:

*Суворов наш
«Ура! Марш-марш!»
Кричит верхом на стуле.*

Произношение у него было не совсем чистое: чтобы избавиться от этого, Вольховский, подражая Демосфену, набирал в рот камушков и декламировал так на берегу царско-сельского озера. Приучал себя спать по

несколько часов в сутки. Всеми учебными предметами занимался чрезвычайно добросовестно. Преподаватель математики Карцев, не умевший приохотить воспитанников к своему предмету, махнул на всех рукой и занимался с Вольховским – единственным тщателью готовившим уроки и внимательно слушавшим его объяснения. И во всех науках Вольховский шел первым. Так же и в поведении. Встоловой, где воспитанников рассаживали по отметкам за поведение, Вольховский сидел первым. При всем этом он был очень скромн и добродушен. «Скромность его столь велика, – писал инспектор Мартын Пилецкий, – что достоинства его закрыты ею, обнаруживаются без всякого тщеславия и только тогда, когда должно или когда его спрашивают». Был прекрасный товарищ, охотно помогал в занятиях отстающим. Товарищи его любили и уважали. Он умел влиять на них; нередко двумя-тремя словами останавливал самых запальчивых, на которых не действовали ни страх, ни убеждения. Уважение товарищей сказалось и в кличках, данных ему: кроме Суворочки, еще – Sapientia (мудрость) и

Спартанец. Это, конечно, не мешало им задирать его как первого ученика. Был, например, на него такой куплет:

*Физика! К тебе стремлюся,
Наизусть тебя учу:
Я тобою вознесуся,
Перво место получу!
Хоть соскучу, хоть поплачу,
Сидя за громадой книг,
Хоть здоровье потрачу,
Буду первый ученик!*

В другой песне по поводу списка воспитанников, составленного в порядке их успехов и поведения, пелось:

*Этот список – сущи бредни!
Кто тут первый, кто последний?
Все нули, все нули!
Ай, люли, люли, люли!
Покровительством Минервы,
Пусть Вольховский будет первый!
Мы ж нули, мы нули!
Ай, люли, люли, люли[244].*

Пушкин, случалось, и лично высмеивал благонравие Вольховского. Начиная свою кампанию против инспектора Пилецкого (см.

«М. Пилецкий»), Пушкин говорил за обедом, что «Вольховский инспектора боится, видно, оттого, что боится потерять доброе свое имя, а мы, шалуны, над его увещаниями смеемся!» Однако при объяснении лицеистов с директором Вольховский, не могший сам ничего свидетельствовать против инспектора, поддерживал товарищей и убеждал их не отступаться.

Пушкин относился к Вольховскому с симпатией. Сам проповедуя, по крайней мере в стихах, модное в то время эпикурейство, воспевая вино и любовь как высшие радости жизни, он, как и товарищи, пленялся такой в их среде необычной спартанской воздержанностью и строгостью к себе Вольховского. В «Пирующих студентах» (1814) Пушкин писал:

*Ужели трезвого найдем
За скатертью студента?
На всякий случай изберем
Скорее президента.
В награду пьяным – он нальет
И пуниш, и грог душистый,
А вам, спартанцы, поднесет
Воды в стакане чистой!*

А в 1825 г. так вспоминал о Вольховском:

*Спартанскою душой пленяя нас,
Воспитанный суровою Минервой,
Пускай опять Вольховский сядет
первый!*

Вольховский был глубокий брюнет, смуглый, с большим носом и большими, рано выросшими усами.

Кончил он курс первым; с золотой медалью и с занесением его имени на мраморную доску. Был выпущен в гвардию и поступил в генеральный штаб. Все данные говорили за то, что его ждет блестящая дорога крупного военного деятеля. Но в условиях николаевского режима дорога эта оборвалась в самом начале.

Дальнейшее о Вольховском см. в главе «Путешествие в Арзрум».

**Князь Александр Михайлович Горчаков
(1798–1883)**

Из семьи знатной, но не богатой. Блистательно выдержал вступительный экзамен в лицей и в продолжение всего учения получал от учителей и надзирателей отзывы самые блистательные: «Один из тех немногих

питомцев, кои соединяют все способности в высшей степени... Особенно заметна в нем быстрая понятливость, которая, соединяясь с чрезмерным соревнованием и с каким-то благородно-сильным честолюбием, открывает быстроту разума в нем и некоторые черты гения». «Благородство с благовоспитанностью, ревность к пользе и чести своей, всегдашняя вежливость, усердие ко всякому, дружелюбие, чувствительность с великодушием... Опрятность и порядок царствуют во всех его вещах». Был он исключительной красоты, с быстрой речью и быстрыми движениями; самовлюблен, чванлив и мелочно-злопамятен. Товарищи его не любили. Но Пушкин, не находясь с ним в дружеских отношениях, как-то тянулся к нему; по-видимому, его беззавистно привлекал к себе Горчаков как образец все-сторонней удачливости, как человек, которому судьба не отказала ни в одном из своих даров. В послании к нему Пушкин писал:

*Тебе рукой Фортуны своенравной
Указан путь и счастливый, и слав-
ный.
И нежная краса тебе дана,*

*И нравиться блестящий дар при-
роды,
И быстрый ум, и верный, милый
нрав;
Ты сотворен для сладостной сво-
боды,
Для радости, для славы, для за-
бав...*

О довольно близком общении Пушкина с Горчаковым мы имеем несколько свиде-
тельств. В 1814 г. Пушкин написал порногра-
фическую поэму «Монах». Горчаков рассказы-
вает, что, пользуясь своим влиянием на Пуш-
кина, он побудил его уничтожить поэму: взял
ее на прочтение и сжег, объявив автору, что
это недостойно его имени. Сообщение не со-
всем соответствует действительности:
отобрать – отобрал, но не сжег. Недавно поэ-
ма, собственноручно писанная Пушкиным,
была найдена в бумагах Горчакова и опубли-
кована. Но то обстоятельство, что Горчакову
удалось отобрать поэму у Пушкина и похоро-
нить больше чем на сто лет в своем архиве,
конечно, свидетельствует о некоторой близо-
сти к Пушкину. Прощаясь с Горчаковым пе-

ред выпуском, Пушкин писал ему:

*В последний раз, быть может, я с
тобой,
Задумчиво внимая шум дубрав-
ный,
Над озером иду рука с рукой...*

Горчаков окончил курс с малой золотой медалью (большую получил Вольховский) и поступил на службу в коллегию иностранных дел в Москве. Но, бывая в Петербурге, видался с Пушкиным и в одно из свиданий советовал ему серьезно обратить внимание на карьеру и успехи в свете. Пушкин ответил ему новым посланием:

*Питомец мод, большого света
друг,
Обычаев блестящих наблюда-
тель,
Ты мне велишь оставить мирный
круг,
Где, красоты беспечный обожа-
тель,
Я провожу незнаемый досуг...
Но, признаюсь, мне во сто крат
милее
Младых повес счастливая семья,*

Где ум кипит, где в мыслях волен
я,
Где спорю вслух, где чувствую
сильнее...
И ты на миг оставь своих вель-
мож,
И тесный круг друзей моих
умножь,
О ты, харит любовник своеволь-
ный,
Приятный льстец, язвительный
болтун,
По-прежнему остряк небогомоль-
ный,
По-прежнему философ и шалун!

В 1820 г. Горчаков уехал за границу при министре иностранных дел Нессельроде на конгресс в Троппау. За границей он быстро стал делать карьеру; на него обратил внимание император Александр и как талантливо-го, избранного чиновника назначил секретарем посольства в Лондоне. В 1825 г. Горчаков взял отпуск для поправления расстроенного здоровья, лечился в Спа, потом приехал в Россию, посетил в Псковской губернии дядю своего Пещурова. Из Михайловского прискакал

повидаться с ним Пушкин. Встретились выключенный из службы, ссыльный коллежский секретарь и надворный советник в двадцать семь лет, камер-юнкер, кавалер орденов Владимира 4-й степени и Анны 2-й степени. Пушкин провел у Пещурова целый день и, сидя на постели захворавшего Горчакова, читал ему отрывки из недавно написанного «Бориса Годунова». Благовоспитанному князю резануло ухо слово «слюни», встретившееся в одной сцене. Он заметил Пушкину, что такая искусственная тривиальность довольно неприятно отделяется от общего тона и слога, которым писана сцена.

– Вычеркни, братец, эти слюни! Ну, к чему они тут?

– А посмотри, у Шекспира и не такие еще выражения попадают, – возразил Пушкин.

– Да, но Шекспир жил не в девятнадцатом веке и говорил языком своего времени, – поучающе сказал князь.

«Пушкин подумал и переделал свою сцену», – рассказывает Горчаков. В действительности Пушкин сцены, конечно, не переделал.

Об этом свидании с Горчаковым Пушкин

писал Вяземскому:

«Мы встретились и расстались довольно холодно, – по крайней мере, с моей стороны. Он ужасно высох, – впрочем, так и должно: зрелости нет у нас на севере, мы или сохнем, или гнием; первое все-таки лучше». Однако в плане художественном, где Пушкин все превращал в красоту и радость, об этом же свидании он вспоминал так:

*Ты, Горчаков, счастливец с первых
дней,
Хвала тебе! Фортуны блеск хо-
лодной
Не изменил души твоей свобод-
ной:
Все тот же ты для чести и дру-
зей.
Нам разный путь судьбой назна-
чен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разо-
шлись,
Но невзначай, проселочной доро-
гой,
Мы встретились и братски обня-
лись.*

В этот приезд Горчакова в Россию члены

Тайного общества пытались привлечь его в свои ряды, но благомыслящий князь решительно ответил, что благие цели никогда не достигаются тайными происками, и что питомцу лица, основанного императором Александром Павловичем, не подобает идти против августейшего основателя того заведения, которому они всем обязаны. Больше Пушкин с Горчаковым не встречались, и имя Горчакова исчезнет из дальнейшей биографии Пушкина.

Горчаков сделал блестящую карьеру. Он имел к концу жизни чин государственного канцлера – высший в России чин; произведен был в «светлейшие» князья – высший титул, доступный человеку без царской крови в жилах; имел такое количество первокласснейших орденов российских и иностранных, что они могли бы уместиться разве на иконостасе. В 1854 г. был назначен посланником в Вену, в 1856-м – министром иностранных дел и в течение почти всего царствования Александра II руководил внешней политикой России. Горчаков был ревностным почитателем Бисмарка; на его глазах при благосклонном

невмешательстве России Пруссия разбила поодиночке сначала Данию, потом Австрию, потом Францию и выросла в могущественную Германскую империю. После тяжелой для России русско-турецкой войны 1877–1878 гг. сам Бисмарк не сомневался, что Россия покончит с восточным вопросом, дав некоторые компенсации Австрии и Англии. Но Горчаков действовал так неумело, так старался показать «бескорыстие» России, что все выгоды от войны достались не России, а другим державам. Между прочим, на одном из самых решительных заседаний Берлинского конгресса дряхлый Горчаков по рассеянности вручил английскому делегату, лорду Биконсфилду, ту географическую карту, на которой для руководства русской делегации были отмечены максимальные уступки, на которые она могла в крайнем случае идти. Биконсфилд, конечно, воспользовался случаем и в основу обсуждения положил эту карту. Бисмарк в своих записках жестоко потешался над хвастливым и тщеславным Горчаковым, мнившим себя вершителем судеб европейских народов, и утверждает, что именно он, Бисмарк, отсто-

ял тогда честь России.

Константин Карлович Данзас (1801–1871)

Из дворян курляндской губернии, лютеранин. По единодушным отзывам преподавателей, был ленив, туп, и ни похвалы, ни стыд перед товарищами, ни убеждения ни-сколько на него не действовали. Вместе с Дельвигом Данзас издавал школьный журнал «Лицейский мудрец», где почти вся проза принадлежала ему. Лицейское прозвище Данзаса было Медведь.

По окончании лицея Данзас, как плохо успевавший, был выпущен офицером не в гвардию, а в армию, в инженерный корпус. Началась для него боевая жизнь, в которой он выказал себя очень храбрым и дельным офицером. Участвовал в персидской войне 1827 г., в турецкой 1828–1829 гг. на европейском фронте; в июне 1828 г., в сражении под Браиловым, был тяжело ранен пулей в левое плечо навывлет с раздроблением лопатки; год лечился, потом возвратился на фронт, участвовал в целом ряде сражений. После взятия Адрианополя был уволен в Россию для лечения

браиловской раны. В феврале 1829 г. директор лицея Энгельгардт писал Матюшкину: «Данзас рыжий, который, впрочем, уже теперь сделался темно-бурым, недавно получил к своему Владимиру с бантом еще золотую шпагу за храбрость». В 1838–1839 гг. Данзас опять непрерывно участвовал в боевых действиях на черноморском побережье под командой генерала Н. Н. Раевского-младшего. В это время, между прочим, под начальством Данзаса находился поручик Тенгинского пехотного полка Лермонтов.

Знавшие Данзаса рассказывают, что он был отличный боевой офицер, светски-образованный, но крайне ленивый и притворявшийся повесой; был весельчак по натуре, имел совершенно французский склад ума, любил острить и сыпать каламбурами, вообще в полном смысле был бонвиван. Н. И. Лорер рассказывает: «Подобной храбрости и хладнокровия, какими обладал Данзас, мне не случалось встречать в людях. Бывало, со своей подвязанной рукой, стоит он на возвышении, открытый граду пуль, которые, как шмели, жужжат и прыгают возле него, а он

говорит остроты и сыплет каламбуры. Ему кто-то заметил, что напрасно стоять на самом опасном месте, а он отвечал: «Я сам это вижу, но лень сойти». По мне он был замечательным человеком. Он любил хороший стол и большую часть времени лежал в постели; все его любили. Вот еще один оригинальный поступок его. Когда еще он был поручиком в саперах, его откомандировали в Бендеры, от которых он недалеко стоял со своим батальоном. Вместо Бендер он приехал в Москву, где явился к генерал-губернатору князю Голицыну и на вопрос, куда он едет из Москвы, Данзас отвечал: «Я еду через Москву в Бендеры и прошу ваше сиятельство позволить мне ехать через Петербург». Конечно, князь не согласился «и, смеясь, советовал ему лучше ехать через Москву только, так как путь этот будет короче. Во время персидской войны, не помню под какой крепостью, генерал Паскевич пожелал узнать ширину рва, и Данзас тотчас же принялся исполнять буквально приказание начальства. Само собой разумеется, что на смельчака посыпались пули; но напрасно Паскевич громко отменял свое прика-

зание: Данзас опустился в ров, медленно шагами измерил его и принес генералу записку с точным ответом». «Состоя вечным полковником, – сообщает биограф лицейских товарищей Пушкина Н. А. Гастфрейнд, – Данзас только несколько лет до смерти, при выходе в отставку, получил чин генерала, вследствие того, что он в мирное время относился к службе благодушно, индифферентно и даже чересчур беспечно; хотя его все любили, даже начальники, но хода по службе не давали. Данзас жил и умер в бедности, без семьи, не имея и не нажив никакого состояния, пренебрегая постоянно благами жизни, житейскими расчетами. Открытый, прямодушный характер, соединенный с саркастическими взглядами на людей и вещи, не дал ему возможности составить себе карьеру. Несколько раз ему даже предлагались разные теплые и хлебные места, но он постоянно отказывался от них, говоря, что чувствует себя неспособным занимать такие места».

После окончания лицея Данзас неоднократно встречался с Пушкиным. В начале двадцатых годов Данзас служил в Бессарабии

и видался с Пушкиным в Кишиневе. Летом 1831 г. Пушкин отлучился от молодой жены из Царского Села в Петербург и там кутил с Данзасом. Данзас присутствовал на лицейской годовщине 1836 г. – последней, в которой участвовал Пушкин. 27 января 1837 г. Пушкин пригласил Данзаса быть секундантом на его дуэли с Дантесом. Нащокин говорит: «Данзас мог только аккуратнейшим образом размерить шаги для барьера да зорко следить за соблюдением законов дуэли, но не только не сумел бы расстроить ее, но даже обидел бы Пушкина малейшим возражением». После похорон Пушкина Данзас был арестован и предан военному суду за участие в дуэли в качестве секунданта. 16 марта состоялось окончательное постановление суда: «Вменив ему, Данзасу, в наказание бытность под судом и арестом, выдержать сверх того под арестом в крепости два месяца и после того обратиться по-прежнему на службу».

Сергей Григорьевич Ломоносов
(1799–1857)

Сын генерал-майора. Первоначально учился в московском университетском Благород-

ном пансионе. Кажется, уж в Москве был знаком с Пушкиным. Когда, выдержав экзамен в лицей, принятые ученики в ожидании открытия лицея жили в Петербурге у родственников, Пушкин видался с Ломоносовым и познакомил с ним Пущина. Лицейские преподаватели дают о Ломоносове очень хорошие отзывы. В этих отзывах перед нами вырисовывается мальчик серьезный, с глубокими умственными запросами. «Любит чтение, но не иначе, как о важных и полезных предметах, и особенно историческое; знакомится и с любопытством прилепляется к тем, которые также рассуждают о чем-нибудь полезном и важном, иначе он склонен к уединению, однако ж без задумчивости и угрюмости». Особенно хорошо отзывается о нем преподаватель истории Кайданов: «Имеет особенные дарования и охоту к историческим наукам. Слушая уроки с великим вниманием и читая лучшие исторические сочинения, оказывает прекрасные успехи. В сочинениях его видны хорошие исторические сведения и здравое рассуждение». Ломоносов вместе с Пушкиным бывал в Царском Селе у Карамзиных. Карамзин в 1816

г. писал Вяземскому: «Нас посещают питомцы лицея – поэт Пушкин, Ломоносов, и смешат своим добрым простосердечием». Ломоносов был знаком и с Вяземским. Впоследствии Вяземский сообщал, что Ломоносов до поступления в лицей был его товарищем по пансиону в Петербурге. Здесь странность: как мог 9–10-летний Ломоносов быть товарищем 16–17-летнему Вяземскому? Во всяком случае, они были давние знакомцы. Пушкин передавал Вяземскому из лицея поклоны Ломоносова, Ломоносов делал приписки в письмах Пушкина к Вяземскому, писал ему и отдельно. Знал Ломоносова и Василий Львович Пушкин, в одном из писем к племяннику в 1816 г. он писал: «...скажи Ломоносову, что не похвально забывать своих приятелей, он написал Вяземскому предлинное письмо, а мне и поклона нет. Скажи, однако, что хотя я и пеняю ему, но люблю его душевно». Видимо, Ломоносов был не совсем ординарен, если с семнадцатилетним мальчиком общались и вели переписку взрослые, известные писатели. Касательно отношений между А.Пушкиным и Ломоносовым Вяземский сообщает: «Пушкин

был не особенно близок к Ломоносову, – может быть, напротив, Ломоносов и тут был уже консерватором, а Пушкин в оппозиции против Энгельгардта и много еще кое-кого и кое-чего. Но как-то фактически сблизили их и я, и дом Карамзиных, в котором летом бывали часто и Пушкин, и Ломоносов, особенно в те времена, когда наезжал я в Царское Село. Холмогорского в Ломоносове ничего не было, т. е. литературного». Корф характеризует Ломоносова так: «...человек способный и умный, но еще более хитрый и пронырливый: в лице по этим свойствам мы называли его Кротом. Отзыв желчного и малобеспристрастного Корфа стоит одиноко среди отзывов о Ломоносове совершенно противоположного свойства. Вяземский говорит: «...он был добрый малый и вообще всеми любим». «Прекрасный малый», – отзывается К. Я. Булгаков. В позднейшей переписке лицейских товарищей, где о многих встречаются очень ядовитые отзывы, никто не упоминает о пронырстве Ломоносова.

Ломоносов окончил курс с четвертой серебряной медалью и поступил в коллегию

иностранных дел. Всю службу он прошел на дипломатическом поприще. Был секретарем нашего американского посольства, потом французского, долго состоял бразильским и португальским послом, в 1853 г. был назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром при нидерландском дворе. Ломоносов прекрасно говорил по-португальски; был большой гастроном, обеда его славились: у него был от папы римского повар-португалец, которому он платил большие деньги; был знаток и любитель животных. Пушкин не прерывал отношений с Ломоносовым и по выходе из лицея; через него он послал в Париж А. И. Тургеневу своего «Евгения Онегина».

Михаил Лукьянович Яковлев
(1798–1868)

Был большой весельчак, любил передразнивать и высмеивать окружающих, балагурить и паясничать. Его лицейские клички – Паяц и Комедиант. Сочинял романсы, хорошо пел. Писал басни. В стихотворении «Пирующие студенты» (1814) Пушкин так обращается к Яковлеву:

*А ты, который с детских лет
Одним весельем дышишь,
Забавный, право, ты поэт,
Хоть плохо басни пишешь;
С тобой тасуюсь без чинов.
Люблю тебя душою...*

По окончании лицея Яковлев поступил на службу в министерство юстиции в Москве, через несколько лет перевелся в Петербург, служил во втором отделении собственной его величества канцелярии (бывшая комиссия составления законов), состоял директором типографии этого отделения. Чиновник, по всему судя, был усердный и исполнительный, неукоснительно получал чины, ордена и денежные награды, кончил жизнь тайным советником и сенатором. И после окончания лицея остался прежним весельчаком и «паясом», его появление всегда оживляло общество. Он был постоянным посетителем вечеров Дельвига и М. И. Глинки, умел показывать фокусы, был чревовещателем и каждый раз показывал что-нибудь новенькое. Но, кроме того, прекрасно пел, обладал хорошим баритоном. Был композитором, сочинил боль-

ше двадцати романсов, преимущественно на слова Дельвига и Пушкина. Широко был известен один из романсов, переложенный на два голоса Глинкой: «Когда, душа, просилась ты...»

Яковлев был хранителем лицейских традиций, усердным устройтелем празднований лицейских годовщин, архив первого курса хранился у него. Со времени получения при типографии казенной квартиры Яковлев устраивал в ней лицейские сходки. Его называли «лицейским старостой», а квартиру его – «лицейским подворьем».

Алексей Демьянович Илличевский (1798–1837)

Сын томского губернатора. В начале курса по легкости писать стихи превосходил всех своих товарищей и считался в их кружке первым поэтом. Они называли его Державиным, а Пушкина Дмитриевым, и разделились на две партии, спорившие о том, кому из них отдать преимущество. Особенно силен был Илличевский в эпиграммах, многие из них впоследствии приписывались Пушкину. Он превосходно также рисовал карикатуры. Лицей-

ские журналы заполнялись эпиграммами и карикатурами Илличевского. В «Пирующих студентах» (1814) Пушкин обращается к нему так:

*Остряк любезный, по рукам!
Полней бокал досуга!
И вылей сотню эпиграмм
На недруга и друга.*

По окончании лицея Илличевский служил в Сибири в почтовом ведомстве, в 1821 г. переехал в Петербург, служил в министерстве финансов, дослужился до начальника отделения. Печататься начал с 1814 г., печатался и позднее, был постоянным посетителем вечеров Дельвига, в «Северных цветах» находим его стихи; в 1827 г. выпустил сборник своих стихов под заглавием «Опыты в антологическом роде». Стихи серы, и с оправданной скромностью книжку свою автор закончил стихами:

*Я для забавы пел, и вздорными
стихами
Не выпрошу у Славы ни листка,
Пройду для Зависти неслышными
шагами*

*И строгой Критики не убоюсь
свистка:
Стрела, разящая орла под облака-
ми,
Щадит пчелу и мотылька.*

По наружности Илличевский, как выражается бывший лицейский директор Энгельгардт, был, «подобно избушке на куричьих ножках, верхом толст, а низом щедровит». Он был остроумен, приятный собеседник, но вспыльчив, задорен и сварлив; подозрительный и себялюбивый характер удалял его от всякого сближения.

**Семен Семенович Есаков
(1799–1831)**

Один из лучших учеников курса. Красивый человек. Надзиратель Мартын Пилецкий в 1812 г. писал о нем: «...примечательна следующая добродетельная черта в его характере: из любви к слабым товарищам своим, из единой любви к пользе их, он часто до усталости занимается с ними, особенно повторением их уроков, беседуя с каждым с необыкновенною кротостью, принаравливаясь к его нраву, с намерением, чтобы исправить его ошибку

или рассеять его неудовольствие. Сему доброму примеру он имеет уже последователей между своими товарищами». Есаков принимал деятельное участие в лицейских журналах (прозаическими статьями). Будучи на последнем курсе, он усердно ухаживал за хорошенькими дочерьми барона Вельо, племянницами лицейского учителя музыки Теппера де Фергюсона. Они выходили в парк на прогулку с гувернанткой Шредер; часто случалось, что Есаков ждал на морозе целые часы, а прогулка откладывалась. Раз, на зимней прогулке лицейстов в саду, где расчищались кругом пруда дорожки, Пушкин обратился к Есакову с таким четырехстишием:

*И останешься с вопросом
На берегу замерзлых вод:
Мамзель Шредер с красным носом
Милых Вельо не ведет?*

Своими ухаживаниями за девицами Вельо Есаков хватал очень высоко. Одна из сестер, Софья, была в это время наложницей самого императора Александра; свидания ее с императором происходили в Баболовском дворце в

глубине царскосельского парка. Это было известно всем лицеистам. Пушкин написал стихотворение «К Баболовскому дворцу» с подзаголовком «баронессе Софье Вельо»:

*Прекрасная! Пускай восторгом
насладится
В твоих объятиях российский по-
лубог!
Что с участью твоей сравнится?
Весь мир у ног его, – здесь у твоих
он ног!*

В 1819 г. А. Тургенев писал князю Вяземскому: «...вообрази себе юношу, который шесть лет живет в виду дворца, и после обвиняй Пушкина за две его болезни не русского имени». Любовница Александра впоследствии вышла замуж за генерала Ребиндера.

Есаков окончил курс с серебряной медалью и поступил в гвардейскую конную артиллерию. Служба его проходила блестяще, в тридцать лет он был полковником, увешанным орденами. Но в польскую кампанию (1831) Есаков потерял в бою с поляками четыре пушки и застрелился.

Петр Федорович Саврасов

(1799–1830)

Сын «кавалера» – наставника-дядьки при молодых великих князьях Николае и Михаиле Павловичах. Учителя и надзиратели неизменно отмечали его «отличное добронравие», хорошие способности и прилежание. Был ярко-рыж, долгонос, с открытым лицом. Окончил курс с правом на серебряную медаль и поступил в гвардейскую артиллерию. Дослужился до полковника. В 1830 г. умер от чахотки.

**Барон Павел Федорович Гревениц
(1798–1847)**

Учителями и надзирателями аттестовался как даровитый, прилежный и благонравный ученик. Ему Пушкин посвятил свое французское стихотворение «Mon portrait». По окончании лицея поступил в коллегию иностранных дел, служил в разных должностях в департаменте внешних сношений министерства иностранных дел, дослужился до действительного статского советника. По отзывам лицейских товарищей, был человек с дарованиями, очень образованный – «живая энциклопедия», отличался скромным и тихим

нравом, был большой чудак, оригинал и нелюдим. На празднования лицейских годовщин он никогда не являлся, и только в 1836 г. Мясоедову удалось вытащить его на товарищеский праздник.

**Павел Михайлович Юдин
(1798–1852)**

Сын действительного статского советника. Дарованиями не блистал, но отличался большим прилежанием и трудолюбием. Любил уединение, в играх товарищей не участвовал, мало прогуливался. В лицейских журналах участия не принимал. Корф отзывался о нем: «Человек оригинальный, с острым языком и колкий насмешник». Пушкин посвятил Юдину длинное послание: «Ты хочешь, милый друг, узнать мои мечты – желанья, цели» (1815). В послании Пушкин сообщает, что его мечта – скромно жить с «природной простотой» в Захарове, подмосковном имении его бабушки, «вдали столиц, забот и грома». Но вот под окнами его лицейской комнаты проскакал гусар –

*И где вы мирные картины
Прелестной сельской простоты?*

*Среди воинственной долины
Ношусь на крыльях я мечты,
Мой конь в ряды врагов орлом
Несется с грозным седоком...*

и т.д.

Потом, раненый, на костылях, он опять в мирном своем захаровском приюте. Любимая девушка, тайные свидания, ночные катанья в санях...

*В мечтах все радости земные
Судьбы всемогущее поэт!*

По окончании лицея Юдин поступил в коллегию иностранных дел и всю жизнь служил в министерстве иностранных дел. В 1829 г. Яковлев писал о нем Вольховскому: «Юдина, чтобы видеть, надобно искать в Бюргер-клубе, где за стаканом пива, с цыгаркою во рту, он в табачном дыму декламирует Шиллера». По-прежнему был он нелюдим, празднований лицейских годовщин не посещал; выбрался только на празднование двадцатипятилетия лицея в 1836 г., которое посетил и его друг, такой же нелюдимый Гревес-

ниц. С Гревеницем вообще он был неразлучен. Вместе они поступили в канцелярию, вместе получали все чины и ордена, отправляли одинаковые должности, обоих министр Нессельроде иронически называл «столпами министерства». Яковлев в 1826 г. писал Вольховскому, сообщая новости о товарищах: «Юдин–Гревениц, Гревениц– Юдин, und welter nichts!»

Сергей Дмитриевич Комовский (1798–1880)

Начальство писало о нем: «Благонравен, скромнен, крайне ревнителен к пользе своей, послушен без прекословия, любит чистоту и порядок, весьма бережлив». «Прилежанием своим вознаграждает недостаток великих дарований». Есть такие самолюбиво-навязчивые люди, – черт их тянет всех задирать, раздражать, смертельно надоедать, чувствовать, как они всем противны, и все-таки не отставать. Таков был Комовский, и прозвище ему было Смола. Учитель рисования Чириков очень любил Комовского. Зашел к нему однажды Комовский в комнату, начал шутить, потом стал мешать ему рисовать. Чириков про-

сил его утомониться, но Комовский продолжал приставать. Чириков наконец рассердился, велел ему уйти и никогда больше не приходить. Но Комовский не ушел. Битых три часа он просидел еще у Чирикова, всячески старался ему досадить, так что наконец сам почувствовал к себе омерзение, с досадой хлопнул дверью и ушел. Если кто из товарищей обращался к Комовскому за самым даже мелким одолжением, Комовский недовольно хмурился, отвечал, что ему некогда, что у него нет просимой вещи; и только когда товарищ уже уходил, Комовскому становилось совестно, он возвращал товарища, давал просимую вещь, но с такими условиями и нотациями, что приятнее было бы ничего от него не получать. Товарищи его не любили и не уважали. Это не мешало Комовскому нестерпимо надоедать всем нотациями и моральными поучениями. Таким он, по-видимому, остался и на всю жизнь. До нас дошло письмо Кюхельбекера к Комовскому от 1823 г., где Кюхельбекер пишет: «Комовский! Чего ты хочешь от меня? Быть правым? Хорошо, если это тебя утешает, будь прав!.. Бесчеловечно несчастно-

го упрекать его несчастием, но ты оказал мне услуги, говорят, что ты любишь меня. И ты не понял, что значило говорить со мною в моих обстоятельствах твоим языком. Заклинаю тебя, не заставь меня бояться самих услуг твоих!» Когда попытки Комовского морально исправлять товарищей не давали результата, тогда, как сам Комовский писал в дневнике, – «тогда прибегал я иногда к помощи начальства, и за сие называли меня ябедником, фискалом и проч. Но пустые слова сии нимало меня не огорчали, поелику я делал сие единственно для их собственной пользы и вместе для общей; ибо худое поведение некоторых, как некая язва, заражало и прочие, прежде невинные сердца». Еще прозвания Комовскому были Лиса и Лисичка-проповедница. Комовский любил всякие гимнастические упражнения, был проворен, ловок, охотно задира л силача-товарища Броглио и вступал с ним в единоборство. Об этом вспомнил Пушкин в стихах, предназначавшихся для «Гавриилиады»:

*Вы помните ль то розовое поле,
Друзья мои, где красною весной,*

*Оставя класс, резвились мы на во-
ле
И тешились отважною борьбой?
Граф Брольо был отважнее, силь-
нее,
Комовский же – проворнее, хит-
рее.
Не скоро мог решиться жаркий
бой.
Где вы, лета забавы молодой?*

Я. К. Грот получил эти стихи от Комовского с такой припиской: «...стихи эти доставлены мне от служившего при генерале Инзове штаб-офицера Алексеева, на квартире коего жил одно время наш поэт во время ссылки на юг». П. А. Ефремов высказал твердую уверенность, что последние четыре стиха отрывка сочинены самим Комовским, который желал восполнить отсутствие своей фамилии в стихах Пушкина. Можно только изумляться, что Ефремов, всю жизнь свою прокорпевший над Пушкиным, не почувствовал пушкинской легкости и простоты приводимых стихов, которых никоим образом не мог бы сочинить литературно совершенно бездарный Комовский. Вполне понятно, почему Пушкин не

ввел четырехстишия с упоминанием своих товарищей в текст нелегальной своей поэмы. Но если мы вчитаемся в соответственное место «Гавриилиады», то ясно ощутим пропуск, безусловно заполняемый четырехстишием, якобы сочиненным Комовским. За первыми четырьмя стихами (в несколько измененной редакции) у Пушкина следует:

*Усталые, забыв и брань, и речи,
Так ангелы боролись меж собой.
Подземный царь, буян широкопле-
чий,
Вотще кряхтел с увертливым
врагом.*

Так ангелы боролись меж собой: широкоплечий буян с увертливым врагом, как буян Броглио с проворным Комовским. «Проворство» Комовского отмечается и в аттестациях надзирателей. И «лиса» Комовский любил специально сцепляться с Броглио. В лицейских «национальных песнях»:

*Когда лиса
Глядит скоса
И графа задирает...*

Мы вправе заключить, что спорное четверостишие – не сочинение Комовского и не пушкинский «вариант» к поэме, как думает Б. В. Томашевский, а пропуск, сознательно сделанный Пушкиным из посторонних соображений и долженствующий быть введенным в текст «Гавриилиады».

По окончании лицея Комовский поступил в департамент народного просвещения, потом был правителем канцелярии при Обществе благородных девиц. В 1829 г. Яковлев писал Вольховскому: «Комовский – надворный советник, Анны 2-й степени и Владимира 4-й степени кавалер. На всех публичных гуляниях является в светло-гороховом сертуке с орденскою лентою в петлице, а обыкновенно ездит в кабриолете на казенной водовозной лошади; впрочем, всегда добрый и услужливый товарищ». Комовский дослужился до помощника статс-секретаря государственного совета и вышел в отставку с чином действительного статского советника.

Барон Модест Андреевич Корф
(1800–1876)

Сын курляндского помещика, сенатора; мать русская; дети, по тогдашним законам, были православные. Семья была патриархальная и благочестивая; в ней царило полное согласие, радушное гостеприимство, ласковость ко всем; жили замкнуто: отец хворал, мать не любила выездов и шумного общества. Мальчик был тихий и скромный. В лице он выдавался своим благонаравием. Отзывы преподавателей: «Имеет счастливые способности и прилежание, поддерживаемое честолюбием и чувством собственной пользы», «Никогда нельзя ему сделать ни малейшего упрека», «В обращении столь нежен и благороден, что во время нахождения его в лице ни разу не провинился; но осторожность и боязливость препятствуют ему быть совершенно открытым и свободным». Больше всего Корф дружил с благонаравным Комовским, «лисичкой-проповедницей». Комовский, старше Корфа двумя годами, читал ему нравоучения и старался оберегать от развращающего влияния, которое могли бы оказать на мальчика товарищи. Даже и благонаравному Корфу до того надоели эти увещания, что он, — как с

горестью писал Комовский в своем дневнике, – «пренебрегши сухими, но справедливыми увещаниями истинно любящего друга, не объявив мне никакой причины, оставил меня оплакивать горькую мою участь». В лицейских журналах Корф не принимал никакого участия, хотя, как показал впоследствии, умел писать хорошо. От озорных и непочтительных к начальству товарищей, как Пушкин, Кюхельбекер, Илличевский и другие, держался вдалеке. Кличка ему была – Мордан-дьячок, за его пристрастие к чтению церковных книг. В лицейских «национальных песнях» о нем пелось:

*Мордан-дьячок
Псалма стишок
Горланит поросенком.*

Пушкин был к Корфу глубоко равнодушен и ни одним стихом не обмолвился о нем ни в лицее, ни впоследствии.

Корф окончил курс с правом на серебряную медаль, поступил в министерство юстиции и сразу стал делать самую блестящую карьеру. Уже через полгода по поступлении его

на службу директор Энгельгардт писал Матюшкину: «Корф в люди пошел, он великий фаворит министра юстиции князя Лобанова». В отдаленной части Петербурга, Коломне, на Фонтанке близ Калинкина моста стоял небольшой двухэтажный дом. Наверху, в безалаберной и пустопорожней родительской своей семье жил Пушкин; внизу, в патриархальной и благочестивой своей семье родительской жил Корф. Пушкин упоенно крутился в вихре петербургской жизни, танцевал на балах, влюблялся, играл в карты, проводил «набожные ночи с младыми монашенками Цитеры», а в промежутках напряженно творил. Корф усердно служил, по вечерам работал дома, изредка посещал знакомые семейные дома и брезгливо наблюдал беспутную жизнь товарища. Впоследствии он так писал о ней: «В свете Пушкин предался распутствам всех родов, проводя дни и ночи в непрерывной цепи вакханалий и оргий. С таким образом жизни естественно сопрягались и частые гнусные болезни. В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших нравственных чувств... Вечно без копейки, вечно

в долгах, иногда почти без порядочного фрака, с беспрестанными историями, с частыми дуэлями, в близком знакомстве со всеми трактирщиками, непотребными домами и прелестницами петербургскими, Пушкин представлял тип самого грязного разврата». Хотя жили Корф и Пушкин в одном доме, но виделись только случайно. Однажды между ними произошло столкновение. Камердинер Пушкина в пьяном виде поссорился в передней Корфов с камердинером Корфа. На шум вышел Корф и побил слугу Пушкина. Пушкин возмутился и письмом взывал Корфа на дуэль. Корф ответил таким письмом: «Не принимаю твоего вызова, не потому, что ты Пушкин, а потому, что я не Кюхельбекер».

Корф быстро поднимался по лестнице служебных успехов. Он проделал колоссальную работу в комиссии по составлению полного собрания законов и свода законов. Сперанский считал его лучшим своим чиновником; Корф лично стал известен императору. В 1831 г. он был уже управляющим делами комитета министров, камергером, имел станиславскую звезду, получал 24 тыс. руб. жалованья. Он пе-

реехал в большую и дорогую квартиру близ Зимнего дворца, стал выезжать в большой свет. «Корф в гору да в гору», – то и дело писал директор Энгельгардт своим бывшим воспитанникам. С Пушкиным Корф продолжал иногда встречаться – на празднованиях лицейских годовщин, которые Корф посещал довольно аккуратно, встречались, вероятно, и при дворе, один как камергер, другой как камер-юнкер. В 1833 г. Корф обращался к Пушкину с просьбой доставить литературную работу одному своему знакомому, на что Пушкин ответил: «Радуюсь, что на твое дружеское письмо мог ответить удовлетворительно и исполнить твое приказание». В 1836 г., узнав от Пушкина, что он работает над историей Петра Великого, Корф любезно прислал ему составленный им когда-то каталог иностранных сочинений о России, касающихся эпохи Петра. «Вчерашняя посылка твоя, – писал ему Пушкин, – мне драгоценна во всех отношениях и остается у меня памятником. Право, жалею, что государственная служба отняла у нас историка. Не надеюсь тебя заменить. Прочитав эту номенклатуру, я испугался и устыдился

ся: большая часть цитованных книг мне неизвестна. Употребляю всевозможные старания, дабы их достать». В последний раз товарищи виделись за несколько дней до смерти Пушкина. Корф был тяжело болен, и Пушкин приехал его проводить. Корф писал Вольховскому: «...кто видел его, за несколько дней перед смертью, у моей постели, конечно, не подумал бы, что он, в цвете сил и здоровья, ляжет в могилу раньше меня».

В 1848 г., когда правительство, напуганное французской февральской революцией, учредило знаменитый бутурлинский комитет, совершенно удушивший русскую печать, Корф был одним из трех членов этого комитета. В 1849 г. он был назначен директором петербургской Публичной библиотеки, очень много сделал для ее процветания. Занимал впоследствии другие высокие государственные должности. После восшествия на престол Александра II написал книгу «О восшествии на престол имп. Николая I», изданную по высочайшему повелению, где описывал декабрьское восстание. Оней с отвращением писал Герцен в «Полярной звезде»: «...книга,

отталкивающая по своему тяжелому, татарскому раболепию, по своему канцелярскому подобию страсти и по своей уничиженной лести». В 1872 г. Корф был возведен в графское достоинство.

Корф оставил воспоминания о Пушкине, носящие злобно-недоброжелательный, нередко совершенно клеветнический характер.

**Дмитрий Николаевич Маслов
(1796–1856)**

Сын майора. Отзывы начальства очень одобрительные; отмечают его хорошие дарования, благонравие, делающее излишним надзор, скромность, «особенно покорность, степенность и рассудительность». Впрочем, однажды нарушил обычную свою покорность – во время столкновения воспитанников с инспектором Мартыном Пилецким. Надзиратель Илья Пилецкий доносил: «Маслов в течение целого месяца вел себя весьма скромно и благопристойно с свойственною ему осторожностью, но 21-го числа узнал я от одного воспитанника, что он весьма деятельно участвовал в сделанном противу г. инспектора заговоре. Что тем более под-

тверждается 23-м числом, когда выговаривали воспитанники г. инспектору свои обиды, то он, не имев, что сказать, ходил кругом их и потихоньку говорил: «Ну-те, ребята, не робейте, дружнее!» Сие я сам слышал. На запрос же г. директора, что он о сем деле думает, паки принял свою скромность, утверждая вместе с некоторыми, что, видно, г. инспектор виноват, когда другие товарищи жалуются» (См. «Мартын Пилецкий»). Маслов принимал участие в лицейских журналах. Корф сообщает: «В лицее мы его называли по перу и по дару слова нашим Карамзиным». Был он одним из самых старших воспитанников, выделялся высоким ростом; в одной лицейской сатире о нем говорится:

*А там высокий и рогатый,
Как башня, Маслов восстает.*

«Рогатый», – вероятно, оттого, что любил усердно помадиться; это отмечалось и в лицейской «национальной песне»:

*Наш Карамзин
Из ста корзин
Помаду смазать хочет.*

И уже в 1820 г. Энгельгардт писал Матюшкину: «Маслов все еще маслит волосы». С Пушкиным отношения были далекие, Пушкин нигде о нем не упоминает.

Маслов окончил курс с первой серебряной медалью и поступил в государственную канцелярию. По-видимому, был в каких-то сношениях с декабристами. На одном собрании у Николая Тургенева он читал свою статью о статистике для предполагавшегося к изданию политического журнала. Навряд ли, однако, связи эти были серьезные. В «Алфавите декабристов», куда попали все лица, даже очистившиеся при допросах от всяких подозрений, мы фамилии Маслова не встречаем. А по темпераменту он никак уж не походил на заговорщика. «Покорность», отмеченная лицейским начальством, продолжала быть его отличительным свойством. Покидая лицей, он записал в альбом директора Энгельгардта: «Находясь под вашим начальством, я уверился, что повиновение и должность (по-видимому, исполнение долга) могут быть несравненно приятнее самой независимости». А в 1841 г. Яковлев писал Вольховскому: «Мусье Мас-

лов Маслависти выдерживает свой прежний характер, т. е. политичное обращение все то же, особенно в отношении к его начальнику-товарищу». Начальник-товарищ – барон М. А. Корф, под начальство которого, по его приглашению, Маслов перешел на службу в государственный совет. Покровительствуемый Корфом, Маслов сделал блестящую карьеру, был статс-секретарем в одном из департаментов государственного совета и умер в чине действительного тайного советника. Он любил хорошо покушать и был страстный игрок в преферанс: мог всю ночь напролет играть по самой маленькой, так что знакомые удивлялись, как мог он, при своих служебных занятиях, выдерживать такой образ жизни.

**Александр Алексеевич Корнилов
(1801–1856)**

Сын действительного статского советника, сенатора. При поступлении в лицей с ним случилась смешная история. 19 октября 1811 г. произошло торжественное открытие лицея в присутствии царских особ. Воспитанников после торжества повели в столовую обедать, а царская фамилия пошла осматривать заведе-

ние. Когда высокие гости вошли в столовую, воспитанники усердно трудились над супом с пирожками. Мать Александра I, императрица Мария Федоровна, подошла к Корнилову, оперлась сзади на его плечи, чтобы он не приподнимался, и спросила:

– Карош суп?

Корнилов растерялся и медвежонком ответил:

– Oui, monsieur!

Императрица улыбнулась и пошла дальше, не делая больше вопросов, а Корнилов тотчас попал на зубок к товарищам, и его долго преследовала кличка Monsieur.

Был он один из самых молодых учеников курса, полный бутуз с большой головой, добродушный, очень словоохотливый, остроумный. Кличка ему почему-то была Сибиряк. Корф о нем пишет: «Светлая голова и хорошие дарования. В лицее он ленился и притом вышел оттуда чрезвычайно молод: но после сам окончил свое образование и сделался человеком очень нужным и полезным».

По окончании лицея Корнилов поступил в гвардию. Был арестован по подозрению в

прикосновенности к декабристам, но освобожден без последствий. В 1828 г., при штурме Варны, был легко ранен в нос и контужен в живот. Через четыре года перешел на штатскую службу с чином действительного статского советника. Был киевским губернатором, потом тамбовским и вятским. «О нем слава отличная», – писал Энгельгардт Матюшкину. В Вятке в то время жил ссыльный Герцен; он с теплым чувством отзывается о Корнилове, называет его благородным человеком и описывает так: «Высокий, толстый и рыхло-лимфатический мужчина, лет около пятидесяти, с приятно улыбающимся лицом и с образованными манерами. Он выражался с необычайной грамматической правильностью, пространно, подробно, с ясностью, которая в состоянии была своей излишностью затемнить простейший предмет. Он покупал новые французские книги, любил беседовать о предметах важных и дал мне книгу Токвиля о демократии в Америке на другой день после приезда. Он был умен, но ум его как-то светил, а не грел. К тому же он был страшный формалист, – формалист не приказный, а как

бы это выразить?.. Его формализм был второй степени, но столько же скучный, как и все прочие».

О лицее Корнилов всегда вспоминал с большим восторгом, так что одна дама сказала: «Если бы у меня был сын, я не была бы спокойна, пока не знала бы, что он принят в лицей».

Александр Дмитриевич Тырков (1799–1843)

Сын капитана. Очень неспособный. Говорил несвязно и сбивчиво, был неловок, застенчив и молчалив. Ходил как-то бочком, бочком даже танцевал; постоянно употреблял выражение «та foi!»[245]. Прозвание ему было дано Кирпичный брус за коренастое телосложение и смуглобурый цвет курносого лица. Еще прозвища его: Курносый кеп, Курнофеиус, Тырковиус. Несмотря на свою неодаренность и молчаливость, Тырков как-то умел объединять вокруг себя товарищей, и в ряде лицейских стихотворений отмечается эта его способность:

*Здесь над паясами главою
Поставлен без царя Тырков,*

*Являет всем пример собою,
И у него паясам кров.*

Или:

*Паясы! Тыркус, Брус Кирпичный,
Над вами сделан головой.
За ним весь штаб его отличный...*

И в штабе поименовываються Яковлев, Илличевский, Маслов и даже Вольховский.

Из лица Тырков был выпущен в конно-егерский армейский полк, но уже в 1822 г. вышел в отставку штаб-ротмистром. Летом хозяйничал в новгородской своей деревне, зимой приезжал в Петербург с большим обозом мерзлых гусей и другой деревенской снеди и, молча, угощал приятелей хорошими обедами и винами. Первое время лицейские годовщины справлялись на его квартире. Дошел до нас протокол годовщины 1828 г., писанный рукой Пушкина: «Собрались на пепелище скотобратца курнофеиуса Тыркова (по прозвищу Кирпичного Бруса) восемь человек скотобратцев...» В описании, кто что делал на празднике, о Тыркове сказано: «Тырковиус безмолвствовал».

Под конец жизни Тырков сошел с ума, сидел, запершись в комнате, вырезывал бумажки и пускал их по ветру.

**Граф Сильверий Францевич Броглио
шевалье де Касальборгоне
(1799 – в 20-х)**

Из очень знатного, но обедневшего сардинского патрицианского рода. Отец его после французской и пьемонтской революций приехал в Россию и поступил на русскую военную службу. Фамилия по-русски почему-то писалась «Броглио», хотя по выговору следовало бы «Брольо». Мальчик способностями не блистал. Неизменные о нем отзывы преподавателей: «весьма ограниченных дарований», «слабая память» и т. п. На вопросы отвечал быстро, не задумываясь, и всегда невпопад. Упреками и насмешками с ним ничего нельзя было сделать, но на ласковые увещания был он очень отзывчив. Числился одним из самых последних учеников. Пушкин писал в стихотворении «19 октября 1825 г.»:

*Пускай опять Вольховский сядет
первый,
Последним я, иль Броглио, иль*

Данзас.

В шалостях и озорстве Броглио был зато везде первым. Он, во главе буйной ватаги товарищей, делал набеги на царский фруктовый сад, они снимали через забор наливные яблоки и колотили садовников. Какие-то озорные дела числились за Броглио и на птичьем дворе. В «Пирующих студентах» Пушкин обращается к нему так:

*А ты, красавец молодой,
Сиятельный повеса!
Ты будешь Вакха жрец лихой,
На прочее – завеса!
Хотя студент, хотя я пьян,
Но скромность почитаю;
Придвинь же пенистый стакан,
На все благословляю.*

Был он косоглаз и левша. Носил на груди мальтийский орден, на который почему-то имел права.

По окончании лицея Броглио уехал на родину в Пьемонт и там поступил на военную службу. Участвовал в революционном восстании против пьемонтского короля, был лишен чинов и орденов и изгнан из пределов сар-

динского королевства. В двадцатых годах сложил голову в Греции в борьбе за освобождение греков: впрочем, последнее, по-видимому, неверно: кажется, это был другой граф Броглио.

**Федор Христианович Стевен
(1797–1851)**

Швед из Финляндии, сын управляющего таможенной в городе Фридрихсгаме Выборгской губернии. Имел, по отзыву лицейского начальства, «тихие способности, едва приметные». Был мальчик болезненный, молчаливый и скромный, русским языком владел плохо. Кличка ему была Швед. Был впоследствии Выборгским губернатором и товарищем министра статс-секретариата великого княжества Финляндского. В административной своей деятельности, как и в жизни, был пассивен и бесцветен.

**Аркадий Иванович Мартынов
(1801–1850)**

Сын директора департамента министерства Народного просвещения, переводчика греческих классиков И. И. Мартынова. Был один из самых молодых воспитанников курса.

Очень степенный, невозмутимо-равнодушный. В науках не блистал ни умом, ни способностями, но выказывал склонность к гимнастике и хорошо рисовал. Участвовал в лицейских журналах – по-видимому, как рисовальщик. Его упоминает Пушкин в своей поэме «Монах» (1813):

*Но Рубенсом на свет я не родился,
Не рисовать, я рифмы плестъ пу-
стился.*

*Мартынов пусть пленяет ки-
стью нас,
А я – я вновь взмостился на Пар-
нас.*

В списке семнадцати воспитанников, выпущенных из лицея на гражданскую службу, Мартынов помещен по успехам последним. По окончании лицея служил в департаменте министерства народного просвещения, дослужился до начальника отделения и статского советника. С товарищами по лицей не видался. Яковлев в 1835 г. писал Вольховскому: «Мартынов трудится с утра до вечера. Ужасно исхудал. Сидит дома и не видится даже с лицейстами». Впрочем, 19 октября 1836 г. он по-

сетил празднование двадцатипятилетней годовщины основания лицея. Этот праздник был особенно многолюден, его посетили и некоторые другие товарищи, обыкновенно не бывавшие на празднованиях лицейских годовщин, – как Гревениц и Юдин. На годовщине этой, между прочим, в последний раз перед смертью присутствовал Пушкин.

**Александр Павлович Бакунин
(1799–1862)**

Сын действительного камергера. Средних способностей, был добродушен, словоохотлив, смешлив и жив, как ртуть. Мать его постоянно жила в Царском Селе, шпионила и строго следила за чтением воспитанников, охраняя нравственность своего, впрочем, совсем не целомудренного сына, и о замеченных непорядках жаловалась начальству.

По окончании лицея Бакунин несколько лет служил в гвардии, потом хозяйничал в своих деревнях. Впоследствии был новгородским вице-губернатором, вице-директором одного из департаментов государственных имуществ и тверским губернатором.

Вместе с матерью лицеиста Бакунина в

Царском Селе жила его старшая сестра.

**Екатерина Павловна Бакунина
(1798–1869)**

Фрейлина. «Первую платоническую, истинно поэтическую любовь возбудила в Пушкине Бакунина, – рассказывает Комовский. – Она часто навещала брата своего и всегда приезжала на лицейские балы. Прелестное лицо ее, дивный стан и очаровательное обращение произвели всеобщий восторг во всей лицейской молодежи. Пушкин описал ее прелести в стихотворении «К живописцу», которое положено было на ноты лицейским же товарищем его Яковлевым и постоянно пето до самого выхода из заведения».

29 ноября 1815 г. Пушкин писал в дневнике:

*Итак, я счастлив был, итак, я наслаждался,
Отрадой тихою, восторгом упи-
вался,
И где веселья быстрый день?
Промчался летом сновиденья,
Увяла прелесть наслажденья,
И снова вокруг меня угрюмой скуки
тень.*

«Я щастлив был... нет, я вчера не был щастлив, поутру я мучился ожиданием, с неописанным волнением стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу, ее не видно было! Наконец я потерял надежду, вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице, сладкая минута!..»

*Он пел любовь, но был печален
глас.*

Увы, он знал любви одну лишь муку!

(Жуковский)

«Как она мила была, как черное платье пристало к милой Бакуниной!»

«Но я не видел ее восемнадцать часов, ах!»

«Какое положение, какая мука! Но я был щастлив пять минут».

В строфе, не вошедшей в окончательный текст «Евгения Онегина», Пушкин впоследствии так вспоминал эту любовь:

*Когда в забвеньи перед классом
Порой терял я взор и слух,
И говорить старался басом,
И стриг над губой первый пух,
В те дни... В те дни, когда впервые*

*Заметил я черты живые
Прелестной девы, и любовь
Младую взволновала кровь,
И я, тоскуя безмятежно,
Томясь обманом пылких снов,
Везде искал ее следов,
Об ней задумывался нежно,
Весь день минутной встречи
ждал
И счастье тайных мук узнал...*

Это была первая робкая и стыдливая юношеская любовь – с «безмятежной тоской», со «счастьем тайных мук», с радостью на долгие дни от мимолетной встречи или приветливой улыбки. Любовь эта отразилась в целом ряде лицейских стихотворений Пушкина, – отразилась еще в условных, подражательно-романтических тонах, сильно преувеличивавших подлинные чувства:

*Перед собой одну печаль я вижу:
Мне скучен мир, мне страшен
дневный свет,
Иду в леса, в которых жизни нет.
Где мертвый мрак: я радость
ненавижу;
Во мне застыл ее минутный след.*

Опали вы, листья вчерашней розы,
Не зацвели до завтрашних лучей!
Умчались вы, дни радости моей!
Умчались вы, – невольно льются
слезы,
И вяну я на темном утре дней.

Посидел с милой девушкой в беседке, –
Здесь ею счастлив был я раз
В восторге сладостном погас,
И время самое для нас
Остановилось на минуту!

Получил от нее незначащее письмецо, –
В нем радости мои; когда померк-
ну я,
Пускай оно груди бесчувственной
коснется;
Быть может, милые друзья,
Быть может, сердце вновь за-
бьется.

Осенью Бакунина уехала на зиму из Цар-
ского Села в Петербург:

Уж нет ее... Я был у берегов,
Где милая ходила в вечер ясный;
У берега на зелени лугов
Я не нашел чуть видимых следов,

*Нигде не встретил я прекрасной...
Уж нет ее... До сладостной весны
Простился я с блаженством и с
душою...
Одну тебя везде воспоминаю,
Одну тебя в неверном вижу сне:
Задумаюсь, – невольно призываю,
Заслушаюсь, – твой голос слышен
мне...*

В 1834 г., тридцати девяти лет, Бакунина вышла замуж за сорокадвухлетнего тверского помещика, капитана в отставке, А. А. Полторацкого, двоюродного брата Анны Петровны Керн.

**Николай Григорьевич Ржевский
(1800–1817)**

Малоразвитой и малоспособный. Отличался колоссальной ленью, в этом с ним мог поспорить разве только Дельвиг. Участвовал в лицейских журналах стихами. На него была сложена такая шутливая эпитафия-акrostих:

*Родясь, как всякий человек,
Жизнь отдал праздности, труда,
как зла, страшился.
Ел с утра до ночи, под вечер –*

*спать ложился,
Встав, снова ел да пил, и так про-
вел весь век.
Счастливец! на себя он злобы не
навлек;
Кто, впрочем, из людей был вовсе
без порока?
И он писал стихи, к несчастью,
без прока.*

По окончании лицея в 1817 г. поступил в армейский гусарский полк и через несколько месяцев умер от «гнилой нервической горячки».

**Павел Николаевич Мясоедов
(1799–1868)**

Был большой драчун, горяч и груб, носаст, с маленьким и отлогим лбом. Неизменные отзывы преподавателей: «не столько счастлив способностями», «слабого понятия», «весьма слабых дарований». За феноменальную глупость служил постоянным предметом насмешек для товарищей. Дельвиг советовал ему праздновать именины в день «Усекновения главы». В карикатурах Илличевского он неизменно изображался с ослиной головой на человеческом теле. Преподаватель рус-

ской словесности Кошанский задал ученикам написать стихотворение, описывающее восход солнца. Мясоедов написал один стих:

*Блеснул на западе румяный царь
природы...*

Дальше ничего не мог придумать. Попросил Пушкина помочь. Тот моментально докончил:

*И изумленные народы
Не знают, что начать:
Ложиться спать или вставать?*

Впрочем, считают более вероятным, что написал это не Пушкин, а Илличевский. Первый стих не сочинен Мясоедовым, а неудачно похищен им из стихотворения А. П. Буниной, описывающего заход солнца. Курьезно, что при подобных данных Мясоедов отличался большой спесивостью, нисколько в этом не уступая блестящему Горчакову, которому, по крайней мере, было чем чваниться. Надзиратель Илья Пилецкий в своем рапорте о поведении воспитанников за ноябрь 1812 г. доносит: «В классе г. Куницына, когда объяснял он в нравственном уроке гордость, то г. Мали-

новский указывал на Горчакова и Мясоедова, повторяя громко их имена, сказывая: вот они, вот они!»

По окончании лицея Мясоедов служил в армейских гусарах. В августе 1817 г. директор лицея Е. А. Энгельгардт писал Матюшкину: «Мясоедов дурачится и глупит, как и прежде; вскоре после пожалования его в офицеры поспорился и подрался с каким-то писарем, за что просидел под арестом две недели. Разумеется, что Мясоедов не иначе дерется, как кулаками». Вышел в отставку поручиком в 1824 г., женился на дочери богатого тульского помещика Мансурова. «Мясоедова с невестой поздравляю, – писал Энгельгардт, – но невесту, кажется, не с чем поздравить». Поселился он в деревне верстах в двадцати от Тулы, стал хозяйничать, народил кучу ребят. В 1836 г. осенью приезжал в Петербург. «Мясоедов был здесь, – сообщает тот же Энгельгардт, – везде врал, лгал и хвастал своим богатством, влиянием и проч., все тот же». 15 октября Мясоедов угощал лицейских товарищей пышным обедом, на котором присутствовали Пушкин, барон Корф и другие. Он принял также энер-

гичное участие в подготовке празднования лицейской годовщины 19 октября. «Вытащил из норы Гревеница, который никогда не являлся к нам на праздник, – пишет М. Л. Яковлев, – и отыскал Мартынова, словом, действовал мастерски».

**Константин Дмитриевич Костенский
(1797–1830)**

Посредственных способностей, безличный и бестемпераментный. Прозвание ему было Старик. Очень хорошо рисовал. Впоследствии служил по министерству финансов. Бывшие товарищи им не интересовались, и он с ними не виделся. Яковлев в 1829 г. писал Вольховскому: «Костенский в адрес-календаре значится коллежским ассессором и помощником бухгалтера при ассигнационной фабрике. Никто Старика уже не знает».

**Константин Васильевич Гурьев
(1800–1833)**

Родился в Москве. Общественного положения его отца мы не знаем, а нравственную характеристику отца дает великий князь Константин Павлович в одном позднейшем письме: «...каналья и плут самого дурного

свойства, повсюду известный за такового, человек без чести и совести». Это обстоятельство, однако, не помешало великому князю Константину Павловичу, во время пребывания в Москве на коронации Александра I, стать крестным отцом сына упомянутого Гурьева. Пушкин, кажется, знал мальчика Гурьева еще в Москве. Проживая в Петербурге перед приемом в лицей, он познакомил Гурьева с Пустиным.

В день открытия лицея, когда после торжества царская фамилия зашла в столовую, где обедали лицеисты, великий князь Константин Павлович подвел своего крестника Гурьева к сестре, великой княжне Анне Павловне, стиснул ему двумя пальцами обе щеки, а третьим вздернул нос и сказал сестре:

– Рекомендую тебе эту москву. Смотри, Костя, учись хорошенько.

Способностей Гурьев был не плохих, но ленив. Надзиратели отмечают его «военный характер», смелость, чрезвычайную пылкость, суровость, при малейшем поводе, вспыльчивость и дерзость. В кампании против инспектора М. Пилецкого, поднятой Пушкиным, Гу-

Гурьев принял очень деятельное участие, подбивал к протесту других, насмехался над теми, кто отказывался примкнуть к товарищам. Пробыл он в лицее менее двух лет. В сентябре 1813 г. Гурьев был исключен из лицея за «греческие вкусы», т. е. за педерастию. Только по усиленным хлопотам матери в бумагах его было отмечено, что он не исключен из лицея, а «возвращен родителям». Но приказано было никуда его не принимать. Впоследствии, однако, ему удалось, по протекции, попасть в кавалергарды. Позднее служил дипломатом. Товарищи сношений с ним не прерывали. В 1836 г. он участвовал, совместно с другими, в голосовании, праздновать ли им двадцатипятилетие основания лицея отдельно первым курсом или совместно с последующими курсами. На самом праздновании, впрочем, он почему-то отсутствовал. Умер сравнительно молодым.

В Петербурге до ссылки. «Арзамас»

Плохо обстояло дело с изящной русской словесностью. Незыблемые основы классицизма начинали колебаться, вместо торжественного, возносящего душу славяно-русского слова все больше пробивался подлый слог обыкновенной разговорной речи, литературная молодежь отравлялась вольным французским духом. Чтобы бороться с этой заразой, по мысли адмирала А. С. Шишкова и с одобрения Державина, было основано общество «Беседа любителей русского слова». Руководящую роль в обществе играли Шишков, драматург князь А. А. Шаховской и тяжеловесный эпический поэт князь С. А. Ширинский-Шихматов, – три «Ш», о которых лицеист Пушкин писал:

*Угрюмых тройка есть певцов,
Шихматов, Шаховской, Шишков;
Уму есть тройка супостатов, –
Шишков наш, Шаховской, Шихма-
тов;
Но кто глупей из тройки злой? –
Шишков, Шихматов, Шаховской.*

Почетное место занимал в обществе и знаменитый по своей бездарности графоман граф Д. И. Хвостов. На публичных собраниях общества читались произведения его членов. Посетители впускались по заранее разосланным билетам; не только члены, но и гости являлись в мундирах и орденах, дамы – в бальных платьях. Было величественно, торжественно – и непроходимо скучно, пахло безнадежной мертвечиной.

И вот против этого общества пошло боем молодое, дерзкое, озорное общество «Арзамас», объединившее в себе все живое и талантливое, что было в тогдашней нашей литературе. Образовалось общество так. В одной из своих комедий Шаховской вывел в карикатурном виде Жуковского под именем «балладника Фиалкина». Молодой писатель Д. Н. Блудов в ответ написал памфлет под заглавием «Видение в арзамасском трактире, изданное обществом ученых людей». Под видом проезжего незнакомца, остановившегося в трактире, жестоко высмеивался Шаховской. Блудов прочел свою шутку друзьям. Решено было основать общество. В противоположность «зна-

менитым» членам столичной «Беседы» оно было названо «Арзамасское общество безвестных людей» или просто «Арзамас». Члены «Беседы» именовались «халдеями». Каждый арзамасец носил кличку, взятую из баллад Жуковского. Постепенно общество наполнялось новыми лицами. Окончательный состав его был следующий: Д. Н. Блудов (кличка – Кассандра), В. А. Жуковский (Светлана), Д. В. Дашков (Чу!), К. Н. Батюшков (Ахилл), П. А. Вяземский (Асмодей), Денис Давыдов (Армянин), А. И. Тургенев (Эолова арфа), В. Л. Пушкин (Вот), А. С. Пушкин (Сверчок), П. И. Плетика (Очарованный челн), Ф. Ф. Вигель (Ивиков журавль), С. П. Жихарев (Громобой), А. А. Плещеев (Черный вран), Д. П. Северин (Резвый кот), Д. А. Кавелин (Пустынник), А. Ф. Воейков (Дымная печурка), С. С. Уваров (Старушка), Н. Н. Тургенев (Варвик), Никита Муравьев (Адельстан), М. Ф. Орлов (Рейн). Кроме того, почетными членами («почетными гусями») состояли: Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев, Ю. А. Нелединский-Мелецкий, князь А. Н. Салтыков, М. А. Салтыков, князь Г. И. Гагарин и граф И. А. Каподистрия. В уставе общества «Арза-

мас», написанном Блудовым и Жуковским, говорилось: «По примеру других обществ, каждому новопоступающему члену «Арзамаса» надлежало бы читать похвальную речь своему покойному предшественнику, но все члены «Арзамаса» бессмертны, и потому, за неимением собственных готовых покойников, арзамасцы положили брать напрокат покойников из «Беседы», дабы воздавать им по делам их, не дожидаясь потомства». Надгробные речи читались, разумеется, живыми покойниками. Каждый член «Арзамаса» именовался «его превосходительством», в насмешливое подражание чиновным членам «Беседы». Председатель избирался на каждое заседание по жребию и надевал красный колпак. Под красным же колпаком вступающий член произносил торжественную клятву. Однако якобинский колпак этот отнюдь не знаменовал политической революционности общества; он говорил только о литературной революционности его и поэтому нисколько не шокировал таких врагов всяческих политических революций, как Карамзин, Жуковский и другие.

В противоположность чопорным собраниям «Беседы», собирались запросто; веселье было неиссякающим ключом, сыпались шутки, эпиграммы, пародии на творения членов «Беседы». На собраниях читались и собственные произведения арзамасцев, подвергались обсуждению и критическому разбору; создавалась атмосфера, — как вспоминал один из участников, — «живого чувства любви к родному языку и литературе». Блудов предложил было заниматься критическим разбором лучших вновь выходящих книг, русских и иностранных, но, как сообщает протокол, «сие предложение не разлакомило членов и не произвело в умах никакой приветственной похоти». Вечер заканчивался веселым ужином, на котором обязательно подавался арзамасский гусь. Впоследствии жизненные дороги членов арзамасского содружества сильно разошлись. Но всю жизнь они с теплым чувством вспоминали молодое, дружеское веселье, каким бурлили собрания «Арзамаса» в первые годы его существования.

Но время шло. «Арзамас» одержал победу по всему фронту. Сама «Беседа» прекратила

свое существование. А «Арзамас» все продолжал только шутить и смеяться. То один, то другой член начинали поднимать голос против этого веселья, становившегося все более пустопорожним. Заговорили о том, что хорошо бы «Арзамасу» создать свой журнал. Наконец, в середине 1817 г. с резкой критикой «Арзамаса» выступили принятые в общество будущие члены «Союза благоденствия» М. Ф. Орлов и Н. И. Тургенев. Они говорили, что стыдно заниматься шутками и смехом, когда кругом столько насущных общественных задач, предлагали сочленам сплотиться в общей работе и приступить к изданию журнала с определенным политическим направлением. После долгих дебатов предложение было принято. Выработали подробную программу журнала, сочинили новый устав общества – серьезный и скучный-скучный. Но тут обнаружилось, что никаких творческих начал в обществе не было и ни на какую общую работу оно не способно. Организация журнала не клеилась, заседания общества стали вялыми и неинтересными. Жуковский в одном из стихотворных протоколов своих писал:

*С тех пор, как за ум мы взялись,
Ум от нас отступился! Мы пере-
стали смеяться, –
Смех заступила зевота, чума ока-
янной «Беседы»!
Мы написали законы... И все тут!
Законы
Снят в своем переплете, как мо-
щи в окованной раке!*

Большинство наиболее деятельных членов разъехалось из Петербурга. «Арзамас» скончался медленной старческой смертью.

Пушкин был принят в «Арзамас» еще лицеистом, заглазно. Кличка ему была дана Сверчок. Он очень интересовался деятельностью «Арзамаса», в дневнике своем целиком списал сатирическую кантату Дашкова «Венчанье Шутовского», за год до выпуска писал Вяземскому: «Целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного! Целый год еще дремать перед кафедрой... Это ужасно! Безбожно молодого человека держать взаперти и не позволять ему участвовать даже и в невинном удовлетворении погребать покойную Академию и беседу губителей русского слова».

Когда он окончил курс и приехал в Петербург, арзамасцы приняли его с распростертыми объятиями. Вигель рассказывает: «На выпуск молодого Пушкина смотрели члены «Арзамаса» как на счастливое для них происшествие, как на торжество. Сами родители его не могли принимать в нем более нежного участия; особенно же Жуковский, восприемник его в «Арзамасе», казался счастлив, как будто бы сам Бог послал ему милое чадо. Чадо показалось мне довольно шаловливо и необузданно, и мне даже больно было смотреть, как все старшие братья наперерыв баловали маленького брата... Я не спросил тогда, за что его называли Сверчком; теперь нахожу это прозвище весьма кстати: ибо в некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах лицея, прекрасными стихами уже подавал он оттуда свой звонкий голос». Вступительное «похвальное слово» Пушкин произнес стихами. Кому из «покойников “Беседы”» оно было посвящено – неизвестно. До нас из этого похвального слова дошло всего несколько разрозненных стихов:

Венец желаниям! Итак, я вижу

вас,
О, други смелых[246] муз, о, див-
ный Арзамас!

.....
Где смерть Захарову пророчила
Кассандра,
Где славил наш Тиртей «кисель» и
Александра,

.....
в беспечном колпаке,
С гремушкой, лаврами и с розгами
в руке...

К сожалению, протоколы последних заседаний «Арзамаса», на которых как раз должен был присутствовать Пушкин, до нас не дошли, и мы не знаем, насколько деятельное участие принимал Пушкин в забавах и трудах «Арзамаса».

Дмитрий Николаевич Блудов
(1785–1864)

Сын богатого казанского помещика, рано умершего. Служил в коллегии иностранных дел в Петербурге, близко сошелся с Карамзиным, Жуковским, Батюшковым. Был человек очень образованный и умный. Батюш-

ков отзывался о нем: «Ослепительный фейерверк ума». А. Вигель писал: «Он часто удивлял меня своим умом, а впоследствии начинал меня им ужасать». Блудов был из числа людей, талантливость которых в молодости пытается проявиться в литературной деятельности, но потом выходит на какой-нибудь другой путь. Он писал статейки, неплохие эпиграммы. Например, на тучного Шаховского и худого Шишкова:

*Хотите ль, господа, между певца-
ми
Узнать Карамзина отъявленных
врагов?
Вот комик Шаховской с плачев-
ными стихами,
И вот бледнеющий над рифмами
Шишков.
Они умом равны. Обоих зависть
мучит.
Но одного сушит она, другого пу-
чит.*

Писателем Блудов не стал. Однако у него был тонкий литературный вкус, который очень ценился знавшими его писателями. В посвящении Блудову поэмы «Вадим» Жуков-

ский писал:

*Вадим мой рос в твоих глазах,
Твой вкус был мне учитель;
В моих запутанных стихах,
Как тайный вождь-хранитель,
Он путь мне к цели проложил...*

А Воейков в своем юмористическом «Парнасском адрес-календаре» называет Блудова «государственным секретарем Бога Вкуса при отделении хороших сочинений от бессмысленных и клеймении сих последних печатью отверженья».

В 1815 г., после появления на сцене «Липецких вод» Шаховского, высмеивавших Жуковского, Блудов, как уже упоминалось, написал «Видение в арзамасском трактире, изданное обществом ученых людей». Содержание памфлета такое. В одном арзамасском трактире собиралось по назначенным дням общество уездных друзей литературы – читали, спорили. Случилось, что в один из вечеров в соседней комнате ночевал какой-то проезжий. Среди ночи арзамасцы услышали за стеной сонное бормотание, стали глядеть в щель и увидели тучного человека, с боками, разду-

вавшимися от одышки, обливавшегося потом (Шаховского). Он ходил в одном белье по комнате и пересказывал сонное видение, представившееся ему.

– ...И клял я судьбу мою, творящую наперекор мне во всех делах моих, ибо слезлив я в сатирах своих и забавен в своих трагедиях; и хочу я, чтоб смеялись над врагами моими; и смеются одни враги мои; и пишу я стихи, и стихи мои – проза.

Является мрачный старец с лицом, как древняя хартия, восседающий на кожаных мехах, набитых «корнями словес» (Шишков), и вещает гостю:

– О чадо! Ополчись, и успевай, и завидуй, и уязвляй! И напиши нечто, и назови сие нечто комедией, и раздели сие нечто на пять тетрадей, и тетрадь назовется действием. И хвали ироев русских, и усыпи их своими хвалами, и тверди о славе России, и будь для русской сцены бесславием, и русский язык прославляй стихами не русскими. И омочи перо твое в желчь твою и возненавидь кроткого юношу, дерзнувшего оскорбить тебя талантами и успехами (Жуковского). И разъярись на него

бесплодной яростью, и лягни в него десною рукою твоею, и твоей грязью природной обрызгай его и друзей его...

Шутка Блудова имела большой успех у его друзей. Собрались у Уварова и основали общество «Арзамас». Каждый член, как мы знаем, должен был прочесть надгробное слово над кем-либо из живых покойников «Беседы». Блудов сказал надгробное слово над бездарнейшим членом «Беседы» Захаровым, а тот скоро и действительно умер. Блудову была дана кличка Кассандра (троянская царевна, обладавшая пророческим даром). В деятельности «Арзамаса» он принял очень энергичное участие.

Французский наблюдатель Ипполит Оже, около того времени знавший Блудова, описывает его так: «Он был среднего роста и начинал полнеть. С первого раза лицо его не казалось привлекательным, хотя в нем не было ничего безобразного. Но оно совершенно преобразалось, когда он начинал говорить. Быстрый, логический ум, обилие мыслей, живость и меткость выражений невольно заставляли признавать его превосходство над

собою. Он чувствовал свое превосходство и давал его всем чувствовать; но это высокомерие не оскорбляло чужой гордости. Французский язык он знал со всеми оттенками и особенностями и свободно владел им. Память у него была изумительная, он говорил, как книга. Разговаривая, он всегда ходил по комнате, слегка подпрыгивая, как маркиз на сцене. Сходство было такое полное, что мне всегда чудилось, будто на нем шитый золотом кафтан и красные каблуки, а между тем он одевался чрезвычайно просто».

Блудов сделал блестящую чиновничью карьеру. В 1826 г. был делопроизводителем верховного суда над декабристами; деятельность его в этой должности подверглась нападкам со стороны Николая Тургенева в его изданной за границей книге «Россия и русские». По окончании дела декабристов Блудов был пожалован в статс-секретари и в том же 1826 г. занял место товарища министра народного просвещения (министром в это время был А. С. Шишков, бывший главный деятель и вдохновитель «Беседы»). С 1832 г. Блудов был министром внутренних дел, в 1837 г. — мини-

стром юстиции. В 1852 г. возведен в графское достоинство. При Александре II принимал деятельное участие в его реформах, был председателем государственного совета и комитета министров, президентом Академии наук.

Пушкин до конца жизни поддерживал знакомство с Блудовым, бывал у него. Дочь Блудова вспоминает: «А вот и Пушкин, со своим веселым, заливающимся, ребяческим смехом, с беспрестанным фейерверком остроумных, блистательных слов и добродушных шуток, а потом растерзанный, измученный, убитый жестоким легкомыслием пустых, тупых умников салонных, не постигших ни нежности, ни гордости его огненной души».

Василий Андреевич Жуковский (1783–1852)

О нем – в главе «Друзья».

В «Аразамасе» Жуковский был главным вдохновителем, всеобщим любимцем и знаменем, под которым велась борьба с «Беседой»; признанным выражением этого было то, что клички всем членам обязательно давались из произведений Жуковского. Жуковский обладал необыкновенной способностью

сопоставлять самые разнородные слова, рифмы и целые фразы так, что речь его, как будто правильная и плавная, составляла совершенную бессмыслицу и самую забавную галиматью. Его девизом было: «Арзамасская критика должна ехать верхом на галиматье». Вяземский рассказывает: «Жуковский был не только гробовых дел мастер, как мы прозвали его по балладам, но и шуточных и шутовских дел мастер. Странное физиологическое и психическое совпадение! При натуре идеальной, мечтательной, несколько мистической, в нем были и сокровища веселости, смешливости: в нем были зародыши и залого карикатуры и пародии, отличающиеся нередко острою замысловатостью». Жуковский был бессменным секретарем «Арзамаса», вел юмористические протоколы заседаний, нередко в стихах. Протоколы эти рисуют Жуковского с совершенно новой стороны – как очаровательного юмориста, и юмор его резко выделяется на фоне тяжеловатого и довольно однообразного юмора других арзамасцев – Блудова, Дашкова, Вигеля и прочих. Вот, например, выдержки из одного протокола, писанного Жуковским:

«Его превосходительством мною прочитан был протокол прошедшего заседания, краткий, но отличающийся тем необыкновенным остроумием, которым одарила меня благосклонная судьба, и члены, глядя на меня с умилением, радовались, что я им товарищ; а я не гордился нимало; напротив, со свойственною мне скромностью принимал их похвалы за одни выражения дружбы и удостоивал друзей моих снисходительной и весьма лестной для них улыбкой. Его превосходительство я же был введен с церемонией в хмину заседания... Меня ввели, и все лица просияли... Я произнес клятву, потом сел или па-че вдвинул в гостеприимные объятия стула ту часть моего тела, которая особенно нужна для сидения и которая в виде головы торчит на плечах халдеев «Беседы». Потом отверзлись уста мои, и начал я хвалить одного беседного покойника. Члены отдали справедливость моему красноречию смехом и шумными плесками. А почтенный президент Чу весьма удачно похвалил мои различные достоинства в краткой речи, в которой не забыл упомянуть и о моем друге месяце[247], за что

я ему вечно останусь благодарен... Все это было заключено ужином. Гуся не было, и каждый член, погруженный в меланхолию, шептал про себя:

*Где гусь? – Он там! – Где там? –
Не знаю!»[248]*

Жуковский был также главным изобретателем шутовских ритуалов и церемоний, практиковавшихся в «Арзамасе». По-видимому, Жуковский легче всех других членов смотрел на общество, – для него оно было просто местом, где можно было посмеяться и подурачиться. Он без разбора вводил в общество все новых и новых членов – пустопорожного весельчака Плещеева, никому не нужного Жихарева, нравственно нечистоплотных Кавелина и Воейкова. По мнению некоторых более старых арзамасцев, этот неразборчивый прием новых членов был главной причиной скорого распада общества.

Дмитрий Васильевич Дашков
(1788–1839)

Из древнего дворянского рода. Учился в Московском университетском Благород-

ном пансионе вместе с Жуковским и братьями Тургеневыми. Служил в коллегии иностранных дел и в министерстве юстиции. Был человек широко образованный, остроумный и едкий полемист. Когда в 1811 г. ревнитель старины А. С. Шишков выступил против молодой литературы с доносом, обвиняя ее в безнравственности, в безверии, в отсутствии любви к отечеству, Дашков ответил ему брошюрой «О легчайшем способе отвечать на критику», где дал резкую оценку характеру выступления Шишкова. Он же с большим знанием подверг уничтожающей критике филологические измышления Шишкова. В 1812 г. в Обществе любителей словесности Дашков произнес озорную речь в честь бездарного графа Д. И. Хвостова, избранного в почетные члены общества.

– Знамения его побед изумляют нас, поражают! – говорил Дашков. – Он вознесся превыше Пиндара, унизил Горация, победил Мольера, уничтожил Расина. Всей Европе, – что говорю я? – вселенной известны его заслуги!

Не забыл и прославившихся «зубастых голубей» в басне Хвостова «Два голубя».

– В басне сей русский Лафонтен превзошел француза, наделив своего голубка острыми зубами для разгрызания сетей, в которых он запутался. Вот истинная поэзия, творящая новый мир, новую природу!

За эту речь Дашков был исключен из общества. В 1815 г. князь Шаховской поставил на сцене свою комедию «Липецкие воды». После спектакля у петербургского гражданского губернатора Бакунина происходило чествование Шаховского: жена хозяина, Варвара Ивановна Бакунина (а не поэтесса Бунина, как записал в своем дневнике лицеист Пушкин), торжественно возложила на голову Шаховского венок. По этому случаю Дашков написал кантату:

Вчера, в торжественном венчаньи

Творца «Затей»,

Мы зрели полное собрание

«Беседы» всей.

И все в один кричали строй:

Хвала тебе, о Шутовской!

Хвала, герой!

Хвала, герой!

Он злой Карамзина гонитель,

*Гроза баллад,
В «Беседе» добрый усыпитель,
Хвостову брат
И враг талантов записной.
Хвала тебе, о Шутовской!..*

и т. д.

Кантата эта сделалась арзамасским гимном и обыкновенно распевалась после заседания за ужином. Вместе с Блудовым и Жуковским Дашков был одним из самых деятельных членов «Арзамаса».

Дашков был высокого роста, смуглый, с красивым лицом, сановитым и строгим; улыбался редко, зато улыбка его, говорит Вигель, была приятна, как от скупого дорогой подарок. Заикался, но когда одушевлялся, говорил плавно, чисто, без запинки. Корф считает его одним из самых выдающихся ораторов своего времени. Дашков страдал ипохондрией, был ленив, высокомерен, заносчив и нелюдим, за исключением отношений с очень близкими людьми и участия в арзамасских шалостях.

С 1829 г. Дашков управлял министерством юстиции, в 1832 г. был назначен министром

юстиции. Связей с литературой не прерывал до конца жизни. В 1834 г. Гоголь читал у него свою комедию «Владимир 3-й степени». Как ни странно, но этот министр николаевской юстиции, по-видимому, умел держаться на своем посту независимо и с достоинством. Рассказывают, что однажды, после долгого спора с императором Николаем, Дашкову удалось убедить царя взять назад уже подписанный им указ, противоречивший законам. Был и такой случай. К Дашкову приехал всемогущий шеф жандармов граф Бенкендорф. Дашков в это время был занят и велел всем отказывать. Бенкендорф настаивал и приказал передать, что, в его звании, он может приехать к Дашкову и от имени государя. Дашков надел фрак, звезду и велел просить Бенкендорфа. Бенкендорф обратился к нему с ходатайством по какому-то делу своего брата. Встал и хотел уйти. Дашков его остановил.

– Позвольте, ваше сиятельство, вы хотели что-то мне сказать от имени государя.

– На этот раз я не имею никакого поручения; но так как вы мне отказали в приеме, то я просил сказать вам, что могу к вам прие-

хоть и от имени государя.

Дашков вспыхнул.

– А! Так вы хотели только воспользоваться именем государя! Угодно вам, чтоб я довел до сведения его величества, как вы, для собственных своих дел, пользуетесь его высочайшим именем?

Бенкендорфу пришлось просить извинения.

Одного своего родственника, который поступил в жандармы, Дашков перестал принимать. Когда он увидел однажды Жуковского под руку с министром народного просвещения Уваровым, некогда общим их приятелем по «Арзамасу», он отвел Жуковского в сторону и сказал:

– Как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком?

Пушкин называл Дашкова «бронзой».

Константин Николаевич Батюшков
(1787–1855)

Поэт, один из крупнейших предшественников Пушкина, оказавший на его творчество большое влияние. Сын полуразорившегося новгородского помещика, родился в Во-

логде. Вскоре после его рождения мать его сошла с ума и через семь лет умерла вдали от детей. Учился в частных петербургских пансионах, служил в департаменте министерства народного просвещения. Близко сошелся со своим дядей, известным в свое время общественным деятелем и писателем Мих. Никитичем Муравьевым, оказавшим большое влияние на художественное и образовательное развитие Батюшкова. Сошелся и с тогдашними писателями, особенно с Гнедичем, посещал кружок Оленина. Его стихи этого времени проникнуты модным для той поры французским эпикуреизмом и проповедью наслаждений:

*О, пока бесценна младость
Не умчалася стрелой,
Пей из чаши полной радость
И, сливая голос свой
В час вечерний с тихой лютней,
Славь беспечность и любовь!*

Батюшков обратил на себя внимание литературных кругов; в читающей публике он был еще мало известен, но писатели ставили его наряду с Жуковским.

В 1807 г. Батюшков вступил в милицию, принимал участие в прусском походе, был ранен в ногу навылет; в следующем году участвовал в шведской войне. После этого жил то в деревне, то в Москве, где сблизился с тамошними писателями – Карамзиным, Жуковским, Вяземским, Василием Пушкиным. В 1813 г. опять поступил на военную службу; в качестве адъютанта генерала Н. Н. Раевского проделал поход 1813–1814 гг., окончившийся взятием Парижа. По возвращении в Петербург влюбился в молодую девушку Анну Федоровну Фурман, жившую в семье Олениных. Окружающие благосклонно смотрели на возможность их союза, но сама девушка его не любила и шла за него замуж, покоряясь решению старших. Это почувствовал Батюшков и с болью душевной отказался от своих домогательств. Из военной службы он вскоре вышел. Жил то в Петербурге, то в Москве, то в деревне. Материальные обстоятельства его были плохи, часто нападала беспричинная хандра. После долгих и трудных хлопот Батюшкову удалось устроиться в неаполитанскую русскую миссию. Он надеялся попра-

виться в Италии, но, по приезде в Неаполь, сейчас же почувствовал невыносимую скуку и тоску. В 1821 г. он должен был оставить службу. В 1822 г. обнаружилось уже полное расстройство умственных способностей. Долгие десятилетия Батюшков прожил сумасшедшим, почти не узнавая даже самых близких людей, и умер в Вологде 68-летним стариком. Незадолго до смерти он вдруг спросил: «Воротился ли государь из Вероны?» Тридцать три года назад, когда Батюшков сошел с ума, император Александр I находился на Веронском конгрессе. Одна из сестер Батюшкова тоже сошла с ума. Батюшков был мал ростом, с белокурыми, мягкими волосами, вившимися от природы, со впалой грудью и бледным, печальным лицом; взгляд разбегающихся голубых глаз производил странное впечатление. Он не любил говорить, держался застенчиво, но когда оживлялся, речь его была интересна, умна и увлекательна. «В мягком голосе его, – вспоминает современник, – слышался как бы тихий отголосок внутреннего пения». Не имел решительно способности к систематическому, усидчивому труду, был беспечен,

очень впечатлителен и болезненно самолюбив, легко падал духом. Жизнь его сложилась неудачно, он мало видел в ней радостей и был совсем не такой, каким рисовался в своих жизнелюбивых стихах, воспевавших сладострастие, разгул и буйные удовольствия. К концу сознательной своей жизни Батюшков стал религиозен и писал о Боге:

*Все – дар его. И краше всех
Даров – надежда лучшей жизни!
Когда ж струей небесных благ
Я утолю любви желанье?
Земную ризу брошу в прах
И обновлю существованье?*

И вообще, поэзия его приняла скорбное направление. В лучших его вещах – «Тень друга», «Умиравший Тасс», «Есть наслаждение и в дикости лесов» – нет уже и следа былой жизнерадостности. Последние его стихи (1821):

*Ты помнишь, что изрек,
Прощаясь с жизнью, седой Мельхисидек?
Рабом родился человек,
Рабом в могилу ляжет,*

*И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной
слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез.*

На молодого Пушкина поэзия Батюшкова имела огромное влияние. Никто из русских поэтов не наложил такой печати, как Батюшков, на лицейские стихи Пушкина. Многие из них и по настроению, и по манере, и по размеру можно бы принять за батюшковские. Пушкин навсегда сохранил к Батюшкову любовь молодости. В 1828 г. он вписал в альбом Н. Д. Иванчина-Писарева свое стихотворение «Муза». На вопрос, почему ему прежде всего пришли на память именно эти стихи, Пушкин ответил:

– Я их люблю: они отзываются стихами Батюшкова.

Батюшков со своей стороны очень высоко ставил Пушкина. Он с горестью смотрел на беспутную жизнь Пушкина в Петербурге и в 1818 г. писал А. Тургеневу: «Не худо бы Сверчка (арзамасская кличка Пушкина) запереть в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикою. Из него ничего не будет пут-

ного, если он сам не захочет... Как ни велик талант Сверчка, он его промотает, если... Но да спасут его музы и молитвы наши!» Жуковскому, по поводу его перевода Шиллеровой «Орлеанской девы», писал: «...размер стихов странный, дикий, вялый: ссылаюсь на маленького Пушкина, которому Аполлон дал чуткое ухо». Рассказывают, что когда Батюшков прочел послание Пушкина к Юрьеву («Поклонник ветреных Лаис»), он судорожно сжал в руке листок бумаги, на котором были написаны стихи, и проговорил:

– О, как стал писать этот злодей!

Не совсем ясно, когда и при каких обстоятельствах они лично познакомились. В 1816 г. Пушкин писал из лицея Вяземскому: «Обнимите Батюшкова за того больного, у которого, год тому назад, завоевал он «Бову-Королеви́ча». Они, значит, по-видимому, виделись в 1815 г.; высказана догадка, что Пушкин, начавший писать сказку о Бове, по просьбе Батюшкова уступил ему сюжет. В это же свидание Батюшков, сам далеко уже ушедший от прежнего легкомысленного эпикуреизма, советовал Пушкину оставить Анакреона и сле-

довать за Вергилием-Мароном, т. е. взяться за более серьезные эпические темы. Пушкин отвечал на этот совет посланием:

*Ты хочешь, чтобы, славы
Стезю полетев,
Простясь с Анакреоном,
Спешил я за Мароном
И пел при звуках лир
Войны кровавый пир.
Дано мне мало Фебом:
Охота, скудный дар.
Пою под чуждым небом,
Вдали домашних Лар,
И с дерзостным Икаром
Страшась летать не даром,
Бреду своим путем:
Будь всякий при своем.*

За время пребывания в лицее Пушкин, кажется, не бывал в Петербурге. Очевидно, познакомились они в Царском Селе. Из одного письма пушкинского товарища по лицейу Илличевского узнаем, что Батюшков присутствовал на том лицейском экзамене, на котором Пушкин читал перед Державиным свои «Воспоминания в Царском Селе». Навряд ли, однако, присутствие популярного Батюшкова

на празднике не оставило бы следов в воспоминаниях Пушкина и его товарищей. По приезде Пушкина в Петербург он, судя по всем данным, виделся с Батюшковым нередко.

Борьбу с ревнителями старого слога Батюшков начал еще задолго до основания «Арзамаса». Две его сатиры на членов «Беседы» – «Видение на берегах Леты» (1809) и «Певец в Беседе Славенороссов» (1813) – приобрели большую популярность и разошлись в многочисленных списках. По основании «Арзамаса» Батюшков заочно был принят в общество с кличкой Ахилл. Сам он в это время жил не в Петербурге. Деятельности «Арзамаса» он очень сочувствовал и в 1816 г. писал Жуковскому из Москвы: «...час от часу я более и более убеждаюсь, что без арзамасцев нет спасения». Батюшков приехал в Петербург в августе 1817 г., как раз в то время, когда «Арзамас» решил отказаться от прежнего пустопорожного веселья и тщетно пытался заняться делом. 27 августа на многолюдном собрании «Арзамаса», состоявшемся у А. И. Тургенева, присутствовал и Батюшков. В сентябре он писал Вяземскому: «В «Арзамасе» весело. Гово-

рят: станем трудиться, и никто ничего не делает». В ноябре 1818 г. Батюшков уехал в Италию. «Арзамас» в полном составе наличных членов проводил его до Царского Села и там сердечно с ним распрощался.

Князь Петр Андреевич Вяземский (1792–1878)

Поэт и критик. О нем – в главе «Друзья». Как и большинство других врагов «Беседы», начал борьбу с ней задолго до основания «Арзамаса». Именно от его эпиграмм за Шаховским утвердилось прозвище Шутовской. Арзамасская кличка Вяземского была Асмодей – за его мефистофелевскую едкость и насмешливость. Вяземский жил в Москве, но, бывая в Петербурге, посещал «Арзамас», а из Москвы писал: «...приеду за запасом жизни к источнику вечно живому «Арзамасу». Посылал в «Арзамас» для прочтения свои стихи и с интересом ждал отзывов. Отзывы были неизменно похвальные. Например: «Читано было, – сообщает протокол, – несколько эпиграмматических излияний отсутствующего члена Асмодее, и члены, восхищенные ими, восклицали: экой черт!»

Денис Васильевич Давыдов (1784–1839)

Известный поэт и партизан. О нем – в главе «Писатели». Во времена «Арзамаса» он жил в Москве, выбран был заочно. Кличка ему была Армянин. Бывая в Петербурге, он посещал заседания «Арзамаса». В сохранившихся протоколах имени его не встречаем. Дошла только его вступительная речь. Она носила не принятый в «Арзамасе» юмористический характер, а серьезный. Давыдов призывал членов к объединению и взаимному сближению, к совершенно искренней, но дружеской, не колкой критике читаемых произведений. Легкомысленно-веселый дух, царивший в «Арзамасе», видимо, был не по вкусу Давыдову, как и некоторым другим, более серьезным членам. Он говорил: «Мы можем питать в сердцах наших небесный энтузиазм, предадимся ему. Пусть радость для нас будет матерью добродетелей, пусть благородный, святой энтузиазм юности будет их душою, их пищею. Последуем гласу сердец наших, направим стремления в благое, и мы будем деятельны, будем веселы, будем благополучны.

Проснитесь! Дышите в нас, великие бессмертные, принимайте жертвы сердец наших, пылающих вашим пламенем, носитесь духом своим над нами!»

Александр Иванович Тургенев
(1784–1845)

Родился в Симбирске. Отец его был очень образованный человек, масон, сотрудник Н. Н. Новикова, за связи с ним поплатившийся ссылкой и освобожденный Павлом I. Александр Иванович воспитывался в московском Благородном пансионе вместе с братом Николаем и Жуковским. Закончил образование в геттингенском университете. Поступил на службу, быстро выдвинулся. В 1810 г., всего двадцати пяти лет, назначен директором департамента иностранных исповеданий; его очень ценили министр князь А. Н. Голицын и сам Александр I, лично знавший его. Был помощником статс-секретаря в государственном совете, старшим членом комиссии составления законов, камергером. Был близок и к литературным сферам, находился в тесной дружбе с Карамзиным, Дмитриевым, Жуковским, князем Вяземским. Блестяще начатая

служебная карьера Тургенева оборвалась в 1826 г. в связи с делом декабристов. Горячо любимый им брат Николай, находившийся за границей, за участие в замыслах декабристов был заочно приговорен к смертной казни. После безрезультатных хлопот о брате Тургенев вышел в отставку. Большую часть остальной жизни он провел в странствиях по Европе, собирая и списывая в заграничных архивах документы, касающиеся истории России. Этой работой его очень интересовался император Николай. Богатейшее собрание документов частью было издано археографической комиссией в 40-х годах, частью до сих пор еще остается неиспользованным.

Александр Тургенев был прикосновенен ко всем областям знания и во всех был дилетантом. Читал он мало, да и некогда ему было этим заниматься, но он умел, перелистав книгу, усвоить ее суть. Обладал большой чуткостью и восприимчивостью, ловил в воздухе новые веяния и настроения. И, не зная усталости, передавал их в бесчисленных письмах к бесчисленным своим корреспондентам. Вяземский рассказывает: «...не было никогда и

нигде борзописца ему подобного. Спрашиваешь: когда успевал он писать и рассылать свои всеобщие и всемирные грамоты? Он переписывался и с просителями, и с братьями, и со знакомыми, и с незнакомыми, с учеными, с духовными лицами всех исповеданий, с дамами всех возрастов, был в переписке со всей Россией, с Францией, Германией, Англией и другими государствами». Был с Тургеневым такой случай. После бурного ночного плаванья он и приятель его приехали в Англию. Остановились в гостинице. Усталый приятель бросился на кровать, чтоб немножко отдохнуть. Тургенев же переоделся и тотчас побежал в русское посольство. Через четверть часа, запыхавшись, возвращается и сообщает, что узнал в посольстве о немедленном отправлении курьера и поспешил домой, чтоб изготовить письмо.

– Да кому же хочешь ты писать?

Тургенев немножко смутился и призадумался.

– Да! В самом деле. Я обыкновенно переписываюсь с тобою, а ты теперь здесь. Ну, все равно: напишу одному из Булгаковых – мос-

ковскому почт-директору или петербургскому.

Сел к столу и настрочил письмо в два или три почтовых листа.

Собранные вместе письма Тургенева составили бы много фолиантов. Кроме того, Тургенев вел еще подробнейший дневник. Для общественной, литературной и бытовой истории его времени писания Тургенева дают неисчерпаемый материал. Слог его – живой и простой, часто художественный. Письма о последних днях Пушкина, писанные наспех, урывками, производят впечатление потрясающее, и художественной силе их позавидовал бы мастер.

С утра до вечера Тургенев рыскал по городу во всевозможных хлопотах за приятелей своих и посторонних, рыскал и по собственному влечению, потому что в натуре его была потребность рыскать. «Рыскун» – называет его К. Булгаков. «Не великий волнователь (agitateur), а великий волнующийся (agite´)», – отзывается Вяземский. В холостой квартире Тургенева всегда стоял беспорядок, повсюду письма, записки, книги на полу, по углам га-

зеты. С утра до вечера народ, – «кукольная комедия, – пишет Булгаков, – то один, то другой, то поп, то солдат, то нищий, то мамзель». Вставал рано, ложился поздно. Хотя был толстенок, но очень был подвижен и легок на подъем. Зато мог засыпать во всякое время – утром, только что вставши с постели, в полдень и вечером, за проповедью и в театре, за чтением книги и в присутствии обожаемой женщины. Друзья-писатели знали эту его особенность и не обижались, когда в разгар их чтения вдруг на всю комнату раздавался храп Александра Ивановича. Дочь Блудова вспоминает, как они изумлялись детьми, глядя на Тургенева за обедом: он глотал все, что находилось под рукою, – и хлеб с солью, и бисквиты с вином, и пирожки с супом, и конфеты с говядиной, и фрукты с майонезом, без всякого разбора, без всякой последовательности, как попадет, было бы съестное, а после обеда поставят перед ним сухие фрукты, пастилу, и он опять все ест, – кедровые орехи целою горстью зараз, потом заснет на диване и спит. Усердно ухаживал за прекрасным полом. Был человек добрейшей души.

*Найти умел в одном добре
Души прямое сладострастье, –*

писал о нем Батюшков. За всех готов был Тургенев хлопотать, и в ходатайствах был ревностен, упорен, неотвязчив. Целый ряд писателей обязан был облегчением разных своих бед заступничеству Тургенева. Герцен, знавший его в сороковых годах, записал в дневнике: «А. И. Тургенев – милый болтун; весело видеть, как он, несмотря на седую голову и лета, горячо интересуется всем человечеством, сколько жизни и деятельности. А потом приятно слушать его всесветные рассказы, знакомства со всеми знаменитостями Европы. Тургенев – европейская кумушка, человек в курсе всех сплетен разных земель и стран, и все рассказывает, и все описывает, острит, хохочет, пишет письма, ездит спать на вечера и показывает свою любезность везде».

С Пушкиным Тургенев был связан многообразно. По его совету мальчик Пушкин был определен в Царскосельский лицей; он познакомил лицеиста Пушкина с Карамзиным и Жуковским. Он в 1823 г. устраивал перевод

Пушкина из Кишинева в Одессу, говорил о Пушкине с Нессельроде и Воронцовым, «истолковывал Воронцову Пушкина и что нужно для его спасения». Сотрудничал в «Современнике» Пушкина. И он же отвозил тело убитого Пушкина из Петербурга в Псковскую губернию.

Тургенев был членом «Арзамаса». Он носил кличку Эолова арфа, – по словам биографов, за чуткую отзывчивость к новым веяниям, по словам друга его князя П. А. Вяземского – за постоянное бурчание в животе. И Жуковский также, в стихотворном протоколе заседания «Арзамаса», писал о Тургеневе:

*Нечто пузообразное, пупом венчанное, вздулось,
Громко взбурчало, и вдруг гармонией Арфы стало бурчанье.*

Тургенев очень усердно посещал заседания «Арзамаса», но выступать на них не любил и даже сумел уклониться от обычной вступительной речи, обязательной для каждого вступающего члена. В протоколах читаем: «Его превосходительство Эолова арфа издал некоторые непристойные звуки отрица-

ния и начал весьма пакостным образом корчиться против законного избрания его в ораторы. Члены с сердечным прискорбием заметили сие неблагородство его превосходительства, уже уволенного один раз от чтения, но уволенного с условием исполнить без всяких отговорок священную сию обязанность». Так этой обязанности Тургенев и не исполнил. Новое заседание – «речи не было. А грозный Кассандра, предузнав, что речи и не будет, благоволил отделать его превосходительство своею карающею речью на обе корки. Эолова арфа внимала бесстыдно; в дерзком его животе заметно было какое-то оскорбительное потрясение, обыкновенный предвестник смеха; и самые ланиты его казались двумя раздутыми животами или огромными перинами, перестланными тучною ленью для грузного бесстыдства. Кассандра умолк, и строгие взоры наличных членов устремились на виновную Арфу». В протоколах постоянно отмечается также склонность Тургенева плотно покушать и способность его спать во время самой оживленной беседы. Однако однажды Тургенев, как гласит протокол, «к приятному удив-

лению всех братьев, прежде ужина разинул свои всежрущие, дотоле немотствующие челюсти. Из них, как источник густого млека и душистого меда, излилась благодатная речь во образе Рескрипта». Тургенев огласил писанный им высочайший рескрипт о пожаловании Жуковскому пожизненной пенсии в четыре тысячи рублей. «Все помнят, – продолжает протокол, – чудесное действие сей речи и шумный восторг арзамасцев... Все очнулись, все узнали победу Светланы и света над «Беседой» и тьмою. Золова арфа совершила свой подвиг; мы только кусали халдеев, г-жа Арфа их съела; да какое же брюхо и может сравниться с ее утробой? В ней только и могли поместиться все уроды, составляющие кунсткамеру «Арзамаса», так же, как в сердце его помещаются все красавицы обеих столиц».

Тургенев много сделал и для некоторых других членов «Арзамаса»: его хлопотами Вяземский был определен на службу в Варшаве, Батюшков отправлен в Италию, Тургенева называли «арзамасским опекуном».

Василий Львович Пушкин

(1767–1830)

Поэт, дядя Александра Сергеевича. Подробно о нем см. «Родственники и домочадцы».

В борьбе карамзинистов с шишковистами Василий Львович принимал деятельное участие еще задолго до основания «Арзамаса». В посланиях к Жуковскому и Дашкову он писал, осмеивая «собор безграмотных Славян»:

*Кто мыслит правильно, кто мыслит благородно,
Тот изъясняется приятно и свободно.
Славянские слова таланта не дают,
И на Парнас они поэта не ведут...
Отечество люблю, язык я русский знаю,
Но Тредьяковского с Расином не равняю.
Творенья без идей мою волнуют кровь.*

.....

*Не тот к стране родной усердие питает,
Кто хвалит все свое, чужое прези-*

*рает,
Кто слезы льет о том, что мы не
в бородах,
И, бедный мыслями, печется о
словах!*

В поэме своей «Опасный сосед» Василий Львович больно задел одного из столпов «Беседы», князя А. А. Шаховского, высмеявшего Карамзина в комедии «Новый Стерн». Описывая низкопробный веселый дом, он рассказывает:

*Две гости дюжие смеялись, рас-
суждали
И «Стерна Нового», как диво, ве-
личали:
Прямой талант везде защитни-
ков найдет.*

Последний этот стих навсегда прилип к Шаховскому. Пушкин-племянник восхвалял дядю за искусство, с которым он умеет –

*...лоб угрюмый Шутовского
Клеймить единственным сти-
хом.*

А сам Шаховской с огорчением отзывался

о бездарном Василии Львовиче: «Один раз удалось б...ну п.ль, и то на мой счет!»

В 1816 г. Василий Львович приехал из Москвы в Петербург и был принят в «Арзамас». Анекдотическое легкоеверие его и простодушие неудержимо влекли всех тешиться над ним. Василия Львовича уверили, что общество «Арзамас» – род литературного масонства и что при вступлении в него нужно подвергнуться некоторым испытаниям, довольно тяжелым.

Василий Львович давно уже был настоящим масоном и легко согласился. Тут воображение Жуковского разыгралось. Над Василием Львовичем была проделана сложнейшая церемония. Она происходила в доме Уварова. Сначала Василия Львовича заставили «претъ» под наваленными шубами (намек на комедию Шаховского «Расхищенные шубы»), и в таком положении он, обливаясь потом, должен был выслушать чтение целой французской трагедии; потом, с завязанными глазами, его долго водили вверх и вниз по лестницам, привели в темную комнату с аркой: огненно-оранжевая занавесь была ярко освеще-

щена из соседней комнаты. Развязали глаза. Среди комнаты стояло огромное чучело с надписью: «Чудище обло, озорно, стозевно и лаяй» (стих из «Телемахиды» Тредьяковского). Василию Львовичу объяснили, что это чудовище означает «дурной вкус», подали лук и стрелы и велели поразить чудовище. Толстый, с подзобком, задыхающийся подагрик, Василий Львович, натягивая лук, мало походил на Аполлона. Спустил стрелу. Чучело повалилось с оглушительным пистолетным выстрелом: выстрелил спрятанный под простыней мальчик. Арзамасский Аполлон от испуга упал на пол. После этого Василия Львовича ввели в освещенную комнату, дали в руки замороженного арзамасского гуся; он должен был держать его в руках все время, пока ему говорил Жуковский длиннейшую приветственную речь.

«С непроницаемою повязкою на глазах, – говорил Жуковский, – блуждал ты по чертогам; так и бедные читатели блуждают в мрачном лабиринте Славенских периодов; ты ниспускался в глубокие пропасти, – так и досто-чудные внуки седой Славены добровольно

ниспускаются в бездны безвкусыя и бессмыслицы; ты мучился под символическими шубами, и обильный пот разливался по телу твоему, как бы при виде огромной, мелко исписанной тетради в руках чтеца беседного», – и т. д.

При своем посвящении Василий Львович получил кличку Вот или Вот я вас!. Он был избран старостой «Арзамаса» с такими преимуществами и обязанностями: место старосты Вот'а, когда он налицо, подле председателя общества, во дни же отсутствия – в сердцах друзей его; он подписывает протокол с приличной размахкой; голос его в собрании имеет силу трубы и приятность флейты и т. п.

Вскоре после своего избрания Василий Львович уехал в Москву. В дороге он написал стихи на заданные рифмы, эпиграмму на хромого смотрителя почтовой станции, мадригал его жене и все это послал арзамасцам. О том, что произошло дальше, повествует писанный Блудовым протокол экстренного заседания «Арзамаса», состоявшегося в мае 1816 г. в доме Уварова:

«Члены приглашены в собрание через по-

вестку, и на оной повестке чернелась огромная печать с надписью «Опасность отечества». «Арзамас» представлял позорище скорби и сетований. В бледном мерцании лампы все знаменитые арзамасцы, казалось, дрожали, как привидения. Президент Ивиков журавль (Вигель) встал с кресел и прерывающимся голосом воскликнул: «Что се есть, арзамасцы? До чего мы дожили!» Тут стенающая горесть и рыдания присутствующих остановили оратора. Один его превосходительство Челнок (П. И. Полетика), отличный своею сметливостью, спросил у собрания: «Нельзя ли узнать, до чего мы дожили и об чем так горько плачем?» Временный секретарь Кассандра (Блудов) встал и объявил, что «Арзамас» дожил до поносных стихов своего старосты и плачет о том, что из оных стихов может явно произойти для всего «Арзамаса» бесславие великое, а для «Беседы» и Академии торжество неожиданное. Члены толпою бросились к Кассандре; все грозно требовали доказательств. Увы! Доказательства явились! Они переходили из рук в руки...»

Стихи Василия Львовича единогласно бы-

ли признаны никуда не годными, и состоялось постановление лишить Вот я вас'а звания арзамасского старосты. «Вместе с титулом старосты, – гласил протокол, – отпадают и прибавленные к его прозвищу слова «я» и «вас», на место же сих слов постановляются два бессмысленных слова «ру» и «шка», почему бывший староста на все грядущие времена будет называться член Вотрушка. Хотя член Вотрушка по бесстыдным и свиноподобным стихам своим заслужил, чтобы его навсегда извергли из недр «Арзамаса», но «Арзамас» еще любит в нем прежнего Вот'а, творца «Опасного соседа», грозу славянофилов и пр., и пр. Итак, «Арзамас» повелел отсрочить окончное извержение члена Вотрушки, почитать его только в сильном подозрении и содержать в карантине».

Протокол был переслан Василию Львовичу. Он очень огорчился и ответил арзамасцам посланием:

*Я грешен. Видно, мне кибитка не
Парнас;
Но строг, несправедлив карающий
ваш глас,*

И бедные стихи, плод шутки и до-
роги,
По мненью моему, не стоили тре-
воги.
Просодии в них нет, нет вкуса, –
виноват,
Но вы передо мной виновнее сто-
крат.
Разбор, поверьте мне, столь ед-
кий не услуга.
Я слух ваш оскорбил, вы оскорбили
друга.
Вы вспомните о том, что первый,
может быть,
Осмелился глупцам я правду гово-
рить;
Осмелился сказать хорошими
стихами,
Что автор без идей, трудясь над
словами,
Останется всегда невеждой и
глупцом;
Я злого Гашпара[249] убил одним
стихом
И, гнева не боясь варягов беспо-
койных,
В восторге я хвалил писателей до-
стойных.

*Неблагодарные, о том забыли
вы!..*

На заседании 10 августа послание Василия Львовича было прочитано. Протокол рассказывает: «Жадный, очарованный слух свой склоняли арзамасцы к посланию любезного преступника; часто дивились, что могли быть строги к такому старосте, но в то же время радовались своей строгости, ибо она произвела новые стихи его. И наконец все воскликнули: «Очищен наш брат любезный, очищен и достоин снова сиять в «Арзамасе!»; он не Вотрушка, пусть он будет староста Вот я вас опять! Да здравствует Вот я вас опять! «Беседа», трепещи опять, опять!»

Василий Львович был в большом восхищении, ездил по Москве, всем рассказывал о событии и с упоением читал свое послание.

Не следует, однако, думать, что такая грозная расправа за плохие стихи была обычным явлением в «Арзамасе». Добрая половина членов писала стихи не лучше тех, которые прислал Василий Львович с дороги, а его ответа арзамасцам они написать бы не сумели. Тут просто действовало обычное желание поте-

шиться над легковверным и безобидным Василием Львовичем, шутники немножко перегнули палку и сами этого сконфузились.

**Петр Иванович Полетика
(1778–1849)**

Сын врача из обрусевших польских шляхтичей и пленной турчанки. Служил по дипломатической части, состоял при различных русских миссиях в Европе и Америке, повидал много стран. Большой умница, увлекательный рассказчик, остроумный. Говорил, например: «В России от дурных мер, принимаемых правительством, есть спасение: дурное исполнение». Был старообразен, некрасив, с тонкими, южными чертами умного лица, одевался с изысканной опрятностью; со всеми был обходителен, а никто не решился бы забыться перед ним; искусно, с шуткой, умел говорить самые неприятные истины людям самым сильным. Его любили и уважали, но, как рассказывает Вяземский, «при большом простодушии и добродушии имел он какую-то формальность и брюзгливость квакера и американца». Друзья и называли его квакером. Литературой Полетика не занимался,

но знал ее и любил, был близок с карамзинским кружком, с Жуковским. Был членом «Арзамаса»: в кружке этом ценили умных и интересных людей, хотя бы и не литераторов. Кличка ему была Очарованный челн – по причине многих странствий. В конце 1817 г. Полетика был назначен посланником в Соединенные Штаты, в 1825 г. воротился в Петербург и был сенатором. Пушкин видался с ним и после возвращения из ссылки. В 1834 г. записал в дневнике: «Я очень люблю Полетику».

Филипп Филиппович Вигель (1788–1856)

О нем – в главе «В Одессе». В молодости служил в московском архиве коллегии иностранных дел, там сошелся с Блудовым. В 1814г., живя в Петербурге, возобновил знакомство с Блудовым, познакомился с Дашковым, Батюшковым, Гнедичем, А. Тургеневым, вошел в кружок Оленина. Литературой он в то время не занимался, но был человек образованный, умный, интересный собеседник, едкий остроумец. Немедленно по основании «Арзамаса» был введен в него Дашковым. Был

одним из самых усердных посетителей заседаний общества. Взглядов держался самых реакционных, был зол, завистлив и самолюбив. Дочь Блудова помнила его как частого посетителя и друга ее отца, хорошего приятеля всех арзамасцев, помнила его черные, как смоль, раскаленные, как угли, глаза; он вертел в руках табакерку, играя ею и особенным манером постукивая по ней; когда хотел сказать что-нибудь забавное или колкое, то, беря щепотку табаку, как будто клевал по табакерке пальцами, как птица клюет клювом.

Дашков, как сообщают протоколы «Арзамаса», предлагая Вигеля в члены, рекомендовал его так: «Предлагаемый есть истинный уроженец «Арзамаса»: он содрогается при имени «Беседы» и ездит зажмурившись мимо Академии. Он оказал великие услуги «Арзамасу» без всяких своекорыстных видов: партизанит добровольно между свирепыми и прокаженными халдеями, затрудняя для них всякий подвоз ума и вкуса. Наблюдает за нами зорким оком шпиона, везде преследует слухом и зрением врагов «Арзамаса». Он достоин вступить в общество под именем Иви-

кова журавля. Члены единогласно приняли сего почтенного человека в свое общество, – продолжает протокол. – Он назначен бессменным внешним проказником».

Следующий протокол описывает вступление Вигеля в общество: «Введен во святилище «Арзамаса» новый член – его превосходительство Ивиков журавль. Члены были довольны его привлекательной наружностью. Вид его скромнен; поступь тихая и благопристойная; сей журавль, конечно, будет с политической исправностью таскать из болота халдейского всех тех лягушек, которых кваканье будет надоедать «Арзамасу». Он с величавою скромностью сел на указанное ему место; и члены во все продолжение заседания взглядами и словами старались изобразить то нежное чувство, которым сердца их были исполнены к новому своему другу». Вигель пришелся в «Арзамасе» очень ко двору. Целый ряд протоколов с одобрением отмечает его полезную для общества деятельность: «Читано было донесение Ивикова журавля, и члены, внимая ему, ликовали и топорщились от умиления», «Читано было краткое донесение его превос-

ходительства Ивикова журавля. Его превосходительство начинает порядочно промыслять своим длинным носом в болотах халдейских. Он почти склевал одного воинствующего лягушонка, который своим кваканьем вздумал было оскорбить арзамасские уши: сей лягушонок уже колышется в клещах его неизбежного носа» и т. д. В протоколах отмечается и самолюбивая обидчивость Вигеля: «Сделан был весьма назидательный выговор его превосходительству Ивикову журавлю, который давно уже не исполняет своих важных обязанностей соглядателя и содержит свой журавлиный нос в некоем поносном бездействии. Надобно признаться, что его превосходительство принял этот упрек не с той покорностью, какая свойственна арзамасцу; он горделиво надул свой зоб и более похож был на оскорбленную индюшку «Беседы», нежели на миловидного журавля-мстителя за арзамасских Ивиков. Члены надеются, что он исправится и отучит себя от непристойной привычки надувать зоб. В противном случае вместо Ивикова журавля он будет наречен «Индюшка-сотрудница».

Степан Петрович Жихарев (1788–1860)

Обучался в московском университетском Благородном пансионе, товарищами его были братья Тургеневы, Жуковский, Дашков. Был страстный театрал. В 1806 г. переехал в Петербург, познакомился с Державиным, Шишковым, Шаховским, Лобановым. Перевел один или в сотрудничестве с другими ряд театральных пьес, между прочим трагедию Кребиллона «Атрей», писал и оригинальные пьесы; все это было весьма посредственного уровня.

Состоял членом шишковской «Беседы любителей русского слова», но в 1815 г. отошел от шишковистов и вступил в «Арзамас». Как мы знаем, обычай был, чтобы каждый нововступающий член брал взаимообразно и напрокат одного из живых покойников «Беседы» и говорил ему надгробную речь. Жихарев, как бывший сам членом «Беседы», должен был, по всеобщему приговору, произнести надгробное слово самому себе, а Жуковский, как очередной председатель, держать ответную речь. Дашков писал Вяземскому:

«Новое торжество для Светланы (Жуковско-го)! Исполнение превзошло ожидания наши. «Атрей» представлен был в виде некоего царственного волдыря на лице бывшего поганого беседчика, а остальные двадцать семь трагедий, комедий, трагикомедий, драм, опер и водевилей, сочиненные и переведенные им, представлены волдыриками и сыпью, окружающими большой нарост. Словом, было чего послушать». Кличка Жихареву была дана Громобой. Вигель рассказывает: «Наружность Жихарев имел азиатскую; оливковый цвет лица, черные, как смоль, кудрявые волосы, черные блистающие глаза, но которые никогда не загорались ни гневом, ни любовью и выражали одно флегматичное спокойствие. Он казался мрачен, угрюм, и не знаю, бывал ли он когда сердит или чрезвычайно весел. Его мог совершенно развеселить один только шумный пир, жирный обед и беспрестанно опоражниваемые бутылки. Безвкусие было главным недостатком его в словесности, в обществе, в домашней жизни. У него был жив еще отец, человек достаточный, но обремененный долгами, а Жихарев любил погулять,

поесть, попить и сам попотчевать. Это заставило его войти в долги и прибегать к разным изворотам, строгою совестливостью не совсем одобряемым. Я не встречал человека, более готового на послуги, на одолжения; это свойство и оригинальность довольно забавная сблизили его со мною и с другими».

Жихарев служил сначала в коллегии иностранных дел, потом при комитете министров, был правителем дел театрального комитета. С 1823 по 1827 г. был московским губернским прокурором, с 1828 по 1839-й – обер-прокурором московского департамента сената. На руку был очень нечист, вымогал взятки, брал у приятелей деньги займы без отдачи. Сильно попользовался на управлении доверенными ему имениями братьев Тургеневых. Об отношениях Пушкина с Жихаревым в Петербурге мы ничего не знаем, но, когда Пушкин в 1827г. жил после ссылки в Москве, местный жандармский полковник доносил Бенкендорфу: «Дома, которые Пушкин наичаще посещает, это дома княгини Зинаиды Волконской, поэта князя Вяземского, бывшего министра Дмитриева и прокурора Жихарева.

Разговоры там вращаются преимущественно на литературе».

Впоследствии Жихарев был сенатором, но через четыре года по назначении уволен за взяточничество. Потом служил по ведомству коннозаводства, состоял председателем театрально-литературного комитета в Петербурге и отовсюду увольнялся за нечистые дела.

Оставил очень ценные воспоминания.

**Александр Алексеевич Плещеев
(1775–1827)**

Племянник первой жены Карамзина, Елизаветы Ивановны, рожденной Протасовой, и племянник единокровной сестры Жуковского, Ек. Аф. Протасовой, рожденной Буниной. Служил в гвардии, в 1799г. женился на красавице фрейлине графине Анне Ивановне Чернышевой, дочери фельдмаршала. Она от кого-то забеременела, и, чтобы «прикрыть стыд», на ней женился Плещеев. Поженившись, молодые удалились в Орловскую губернию и никогда в Петербург не приезжали. Плещеев был человек богатый, славился на всю округу хлебосольством и умением устраивать увеселения в великолепном своем име-

нии Черни. Он держал музыкантов, фокусников, механиков, выстроил у себя театр, сформировал из своих крепостных труппу актеров. Он не мог жить без пиров и забав, веселился каждый день с утра до вечера; сюрпризам, домашним спектаклям, *fêtes champêtres* [250], маскарадам не было конца. На домашнем театре представлялись комедии и оперы, сочиненные и положенные на музыку Плещеевым, в представлениях участвовал и сам он. Он был прекрасный чтец и актер, мастерски умел подражать голосу, приемам и походке знакомых, особенно уморительно пересмеивал соседних помещиков и их жен. Был он смугл, с толстыми губами и черными кудрявыми волосами, приятели называли его «черная рожа» и «мой негр». Жуковский, когда жил у своих родственников под Беловом, часто приезжал в Черни, участвовал в спектаклях, в писании для них пьес и крепко сдружился с Плещеевым. Переписывались они всегда стихами – Жуковский русскими, Плещеев французскими. Плещеев сочинил музыку на многие романсы Жуковского, а жена его, обладавшая прекрасным голосом, пела

их. Об отношениях между мужем и женой Вигель рассказывает: «Брачные узы забавнику Плещееву, как говорят, не всегда казались забавны. Они были блестящие и столь же тяжкие для него оковы. Графиня не забывала свой титул и была чрезвычайно взыскательна с мужем-дворянином».

В 1817 г. жена Плещеева умерла, и он переселился в Петербург. Жуковский ввел его в «Арзамас». «Он возвестил нам его как неисчерпаемый источник веселий, – рассказывает Вигель. – А нам то и надо было. Сначала действительно он всех насмешил, но вскоре за пределами фарсы увидели совершенное ничтожество его. По смутному цвету лица Жуковский назвал его Черным Враном; наскучило наконец слушать этого ворона, даже тогда, когда он каркал затверженное, а своего уже ровно у него ничего не было».

Через Жуковского Плещеев попал в чтецы к императрице Марии Федоровне; был членом театральной дирекции и некоторое время заведывал французской труппой; умер камергером в чине тайного советника.

Дмитрий Петрович Северин

(1792–1865)

Сын капитана гвардии, впоследствии витебского губернатора и сенатора. Воспитывался в Петербурге, в иезуитском пансионе, вместе с князем П. А. Вяземским. Учился прекрасно, был хороших способностей и поведения образцового. Служил в коллегии иностранных дел, часто по делам службы жывал за границей, исполнял мелкие дипломатические поручения. Пописывал стихи, приятели ценили его остроумные экспромты и мелкие стихотворения, но напечатал он только одну переводную с французского статейку да пару плохих басен. Находился в приятельских отношениях с князем Вяземским, Жуковским, Батюшковым, Блудовым. По всему судя, был человек интересный. Батюшков, например, писал в 1818 г. Вяземскому: «...как ни скучен Петербург, но там, где живут Карамзины, Салтыков, Уваров, Тургенев, Северин, можно найти веселые минуты и отдохнуть умом и сердцем». Приятели ввели его в «Арзамас». Дочь Блудова вспоминает о нем: «...желтое и кисленькое лицо, чопорная фигура». Вигель характеризует так: «В это время худенький Се-

верин был точно на молоке испеченный и от огня слегка подрумяненный сухарь. Что касается до характера, это было удивительное слияние дерзости с подлостью; но надобно признаться – никогда еще не видал я холопства, облеченного в столь щеголеватые и благородные формы». Прозвище ему в «Арзамасе» было Резвый кот. Что-то в нем было от кошачьей ласковости и резвости, – в школе его тоже прозвали Котенком. Моральные же качества, видимо, были действительно невысокого сорта. А. Тургенев о невысоком и худощавом Северине писал Вяземскому: «...душа его мельче его роста и тонее его ног»; а в другой раз писал ему же: «Северин и Дашкову хотел наделать мерзостей, но не удалось. Дашков презирает его по-нашему». «По-нашему» – это неверно. Вяземский любил Северина и всю жизнь неизменно дружил с ним. Но от нападок Тургенева защищал его вяло и без уверенности: «...охота тебе ругать мне Северина! Я не могу ни выдавать, ни оправдывать его... Переменить мнение свое о нем вверх дном не могу, да, признаюсь, и не хотел бы. Что пользы? В нашем быту людей познавать до внут-

ренней нет никакого прока, а только горечь. Вам иногда хорошо знать, чем сосед пахнет; но мне, гуляющему по раздольному полю, и небезвыгодно, и гораздо приятнее дорожить иногда своим тупозрением».

Каковы были отношения между Севериным и Пушкиным в Петербурге, мы не знаем. В 1823 г. Северину пришлось быть в Одессе. Там в это время жил Пушкин. Тургенев писал Вяземскому: «...поэт-африканец был в Одессе у Северина, который сказал, чтобы он не ходил к нему; обошелся с ним мерзко, и африканец едва не поколотил его». Северин был взглядов самых реакционных и сходиллся в них со своим шурином по первой жене, А. С. Стурдзой. Видимо, он не желал, а может быть, и боялся сношений со ссыльным Пушкиным. Пушкин написал на него эпиграмму «Жалоба»:

*Ваш дед портной, ваш дядя повар,
А вы, вы знатный господин, –
Таков об вас народный говор,
Высокородный Северин.
Потомку предков благородных,
Увы, никто в моей родне*

*Не шьет мне даром фраков мод-
ных
И не варит обеда мне.*

Мать Северина была дочь дворового человека, воспитанница баронессы Строгановой, – возможно, что по материнской линии у Северина были родственниками повар и портной. Однако неизвестно точно, действительно ли эпиграмма Пушкина направлена на Северина: с его именем эпиграмма была напечатана Гербелем в берлинском издании запрещенных стихотворений Пушкина; в дошедшем же до нас черновом автографе эпиграммы имени Северина нет, четвертый стих читается так: И дива нет, – не вы один.

Обычно принимают, что именно эта эпиграмма была причиной враждебного приема, оказанного Севериным Пушкину в Одессе. Наверяд ли Пушкин, написав такую эпиграмму, пошел бы к Северину. Гораздо вероятнее, что она была ответом на оказанный ему прием.

Впоследствии Северин был чрезвычайным посланником и полномочным министром сначала при Швейцарском союзе, потом при баварском дворе. Умер в глубокой старости, в

чине действительного тайного советника.

Дмитрий Александрович Кавелин
(1778–1851)

Воспитанник московского университетского Благородного пансиона. Был директором медицинского департамента, с 1816 г. – директором Главного педагогического института и Благородного пансиона при нем. Во время его директорства в пансионе учился и был исключен из него брат Пушкина – Лев. В молодые годы Кавелин писал стихи, некоторые песни его в свое время пользовались известностью; во время войны 1812 г. печатал на отдельных листках патриотические солдатские песни; Жуковский, его товарищ по московскому Благородному пансиону, в 1815 г. ввел его в «Арзамас». Кличка ему была дана Пустынник. Вигель вспоминает: «Он ко всем был приветлив, а, не знаю, как-то ни у кого к нему сердце не лежало. Действующее лицо без речей, он почти всегда молчал, неохотно улыбался и между нами был совершенно лишний».

В 1819 г. Кавелин был назначен директором петербургского университета. На этом по-

сту он явился усердным клеветником знаменитого изувера Магницкого. Вместе с помощником попечителя Руничем совершенно опустошил заведваемый им университет, удалил либеральных профессоров Германа, Раупаха, Галича и других, обрызгивал святой водой показавшегося Галича (см. в главе «В лицее. Начальство и преподаватели»), заставил покинуть педагогическое поприще талантливого профессора А. П. Куницына. А. И. Тургенев в негодовании писал Вяземскому: «Один из наших арзамасцев, Кавелин, сделался совершенным пальясом (паясом) пальяса Магницкого: кидает своею грязью в убитого Куницына, обвиняет его в своей вине, т. е. в том, что взбунтовались ученики его Пансиона, и утверждает, что политическую экономию должно основать на евангелии. Я предложу выключить его формально из «Арзамаса».

А. Ф. Воейков в сатире «Дом сумасшедших» отвел в сумасшедшем своем доме место и Кавелину:

*Наш Кавелин недалеко
Там в чулане заседал
И, горе возведши око,*

*Исповедь свою читал:
«Как, меня лишать свободы
И сажать в безумный дом?
Я подлец уже с природы,
Сорок лет хожу глупцом.
И Магницкий вечно мною,
Как тряпницей черной, трет,
Как кривою кочергою,
Загребает или бьет».*

Пушкин помянул Кавелина в своем «Втором послании к цензору» –

...бедный мой Кавелин-дурачок,
Креститель Галича, Магницкого дьячок.

Александр Федорович Воейков
(1778–1839)

Критик, журналист и поэт. Был женат на племяннице Жуковского, А. А. Протасовой, «Светлане», – чудесной, поэтической и несчастной женщине, из-за которой друзья ее терпели в своей среде грубого и нравственно нечистоплотного Воейкова. В «Арзамас» Воейкова ввел Жуковский, но даже нетребовательные арзамасцы приняли Воейкова в общество очень неохотно. Кличка ему была Дымная печурка или Две огромных руки. За время существования «Арзамаса» он состоял профессо-

ром русской словесности в Дерпте. Однако летом 1817 г. несколько раз присутствовал на заседаниях «Арзамаса». Членом был выбран раньше. В 1816 г. написал юмористический «Парнасский адрес-календарь, или Роспись чиновных особ, служащих при дворе Феба и в нижних земских судах Геликона. Для употребления в благошляхетном Арзамасском обществе». Характеристики арзамасцев благожелательные, членов «Беседы» – в таком роде: «Князь Шаховской. Составляет самый лучший опиум для придворного и общественного театра. Имеет привилегию писать без вкуса и толка. А. С. Шишков. Патриарх старообрядцев; на шее носит шиш на пестрой тесьме, а в петлице раскольничью бороду на голубой ленте; перелагает в стихи Стоглав и Кормчую книгу».

Подробно о Воейкове – в главе «Журналисты».

Сергей Семенович Уваров (1786–1855)

О нем – в главе «Начальство и его агенты». Одна из гнуснейших фигур среди министров николаевской эпохи. В эпоху «Арзама-

са» Уваров был еще только милым молодым человеком, ловко устраивавшим себе карьеру; женился на несметно богатой, переревшей дочери министра народного просвещения графа А. К. Разумовского, двадцати пяти лет стал попечителем петербургского учебного округа. «Красавец и баловень аристократических собраний, – характеризует его дочь Блудова, – остроумный, ловкий, веселый, с примесью самолюбия фата». Был человек очень образованный, особенно в области классической филологии, написал несколько ученых работ, например, об элевсинских мистериях; напечатал письмо к Гнедичу, убившее его в возможности употребления гекзаметра в русском стихосложении и побудившее начатый александрийскими стихами перевод «Илиады» переработать в гекзаметры. Уваров был инициатором основания «Арзамаса». Когда в 1815 г. Блудов написал свое «Видение в Арзамасе», Уваров разослал писателям циркулярное приглашение пожаловать к нему на вечер 14 октября. В ярко освещенной комнате, где помещалась его библиотека, стоял длинный стол, обставленный сту-

льями, на столе большая чернильница, бумага, перья. Хозяин занял место председателя и в краткой речи предложил заседающим осуществить на деле видение Блудова и составить общество «Арзамасских неизвестных литераторов». Юмористический гений Жуковского мигом пробудился; он увидел длинный ряд веселых вечеров, возможность нескончаемых шуток и проказ. От правил, предложенных им новому обществу, все помирало со смеху. Жуковского единогласно избрали секретарем. Уваров рассчитывал, что председателем выберут его, но решено было, что председателя на каждое заседание будут выбирать по жребию. Так основался «Арзамас». Кличка Уварова была Старушка. Заседания общества чаще всего происходили в петербургском доме Уварова или на его пригородной даче. Года через два Уваров почувствовал, что веселое озорство «Арзамаса» все больше начинает бить в пустое место и что пора взяться за что-то более серьезное. Он написал в «Арзамас» «донесение», где сообщал, что ездил в Арзамас, посетил трактир, где их общество получило свое начало, потом вышел к берегу ре-

ки; из речных струй поднялся старец-водяной и обратился к нему с такой речью: – Гуси, гуси! Кто вас не любит? Да долго ли вам беситься? Царство литературы почти в ваших руках, – когда перестанете вы топить в моих чистых струях карликов «Беседы» и Академии? Давно уже не стало их бумажных тронов, – перестаньте с ними возиться! Какой черт вас с ними связал? Похвально было оказать свету, что они глупцы, похвально было согнать с Парнаса нестерпимую толпу лжегениев; но они давно уже рассеялись под вашими ударами. Чего же вам более? Но должны ли вы довольствоваться сими жалкими трофеями? От вас я ожидаю более; я ожидаю возобновления отечественной литературы, я ожидаю торжества разума и вкуса. Спасайте их, как некогда ваши предки спасали Капитолий: ныне не один Бренн им угрожает; полчища уродливых Бреннов с гасильниками в руках стремятся погасить ту бедную искру человечества и рассудка, которую я поручил в ваше попечение. Пора испугать их светом разума, разогнать их скопища объявлением войны продолжительной и смелой! Тогда я с радостью

буду издали внимать кликам вашей победы и с гордостью признавать вас за моих сынов, за истинных Гусей Арзамасских!

Николай Иванович Тургенев
(1789–1872)

Это был человек одной идеи, заполнившей всю его жизнь. Как Аннибал жил идеей борьбы с Римом, как Катон – идеей о необходимости разрушения Карфагена, так Николай Тургенев жил и дышал идеей освобождения в России крестьян от крепостной зависимости. Во всех его действиях, в речах, в письмах неотступно звучит это его «*delenda est Karthago!*».

Как старший брат его Александр, Николай родился в Симбирске, учился в московском университетском Благородном пансионе и Московском университете. Довершил образование в Геттингене, где занимался историей, юридическими науками, политической экономией и финансовым правом. Служил в комиссии составления законов, во главе которой стоял Сперанский. В 1813 г. назначен был в Германию русским комиссаром в центральный совет союзных правительств, ведавший

управлением отвоеванными у французов немецкими провинциями. Совет этот возглавлялся знаменитым либеральным прусским реформатором Штейном, «добрым гением Германии». Тургенев работал со Штейном три года и близко сошелся с ним. Штейн высоко ценил Тургенева и говорил, что «имя его равносильно с именами честности и чести». В конце 1816 г. Тургенев возвратился в Россию и был назначен помощником статс-секретаря государственного совета, а с 1819 г., кроме того, и управляющим одним из отделений канцелярии министерства финансов. Во всех делах и проектах он вел упорную борьбу с начальством и товарищами, неизменно отстаивая интересы крестьян против притязаний помещиков. Образованный, умный и энергичный, он быстро выдвинулся. Министр иностранных дел Каподистрия говорил, что Тургенев был бы выдающимся государственным человеком даже в Англии, а император Александр находил, что только Тургенев мог бы заместить Сперанского. В конце 1818 г. Тургенев издал книгу «Опыт теории налогов», имевшую шумный успех. «В этом сочине-

нии, – говорит Тургенев, – я указывал на нравственную пользу изучения политических и особенно экономических наук и на то, что в основе государственного права должна лежать свобода. Я пользовался всяким случаем, чтобы говорить об Англии, ее могуществе, богатстве, и приписывал все эти преимущества ее учреждениям. Поэтому, излагая теорию налогов, я часто отклонялся в область политики. Подушная подать дала мне повод говорить о крепостном праве, и я им воспользовался. Эти отступления, на мой взгляд, были важнее главного предмета моей работы».

Тургенев был хром, поэтому мало выходил и вел сидячую жизнь. Лицо было серьезное и несколько строгое. На людей он имел влияние неотразимое. «Что меня в нем поражает, – пишет современница, – это властность, которую он естественно берет над другими; чувствуешь его превосходство, но нисколько этим не оскорбляешься: оно внушает лишь преданность». Беллетристика и художества мало интересовали Тургенева, он видел в них лишь полезное средство для борьбы с крепостным правом.

Немедленно по приезде в Петербург Тургенев стал членом «Арзамаса». Кличка ему дана была Варвик. Времяпровождение и дух общества мало ему понравились. 12 ноября 1816 г. он писал в дневнике: «Вчера я был при заседании «Арзамаса». Ни слова о добрых намерениях сего общества. После заседания говорил я с Карамзиным, Блудовым и другими о положении России и о всем том, о чем я говорю всего охотнее. Они говорят, что любят то же, что я люблю. Но я этой любви не верю. Что любишь и желать надобно». Через год писал: «Третьего дня был у нас «Арзамас». Нечаянно мы отклонились от литературы и начали говорить о политике внутренней. Все согласны в необходимости уничтожить рабство, но средства предлагаемые не всем нравятся». Впоследствии он так вспоминал об «Арзамасе»: «Об литературном кружке этом вспоминаются одни пустяки. Он существовал для осмеяния сторонников старого направления в литературе. Вследствие влечения к серьезным работам я не очень интересовался происходившим в кружке, однако я любил присутствовать на его заседаниях, так как гово-

рили не всегда только о легкомысленных предметах. Но должен сознаться, что удовольствие это всегда носило некоторый неприятный привкус, так как я никак не мог освоиться с духом издевательской критики, господствовавшим среди этих людей. Дух этот особенно чувствовался в неистощимой болтовне Блудова».

Пушкин часто виделся с братьями Тургеневыми. Вигель рассказывает: «Из людей, которые были его старше, чаще всего посещал Пушкин братьев Тургеневых; они жили на Фонтанке, прямо против Михайловского замка, что ныне Инженерный (где жил и был убит заговорщиками император Павел). К ним, т. е. к меньшому Николаю, собирались нередко высокоумные молодые вольнодумцы. Кто-то из них, смотря в открытое окно на пустой тогда, забвенью брошенный дворец, шутя предложил Пушкину написать на него стихи. С проворством обезьяны Пушкин вдруг вскочил на большой и длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать. Окончив, показал стихи». Это была «Ода на

вольность». По сообщению Сабурова Анненкову, тема оды была подсказана Пушкину Н. Тургеневым.

В конце 1819 г. Тургенев через князя С. П. Трубецкого вступил в «Союз благоденствия». Он был там очень деятельным членом и особенно энергично выступал в пользу любимой своей идеи – уничтожения крепостного права. Не уставал твердить сочленам:

– Освободите немедленно ваших дворовых и в силу закона добейтесь освобождения своих крестьян; благодаря этому не только будет меньше несколькими рабами, но вы покажете и власти, и обществу, что наиболее уважаемые собственники желают освобождения крепостных. Так разовьется идея освобождения.

Чтобы подать пример, Тургенев тогда же дал вольную своим дворовым, а в симбирской деревне, которая принадлежала ему вместе с двумя братьями, как Онегин, –

*Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил,
И раб судьбу благословил.*

Платежи помещику уменьшились – на одну треть. Однако призывы Тургенева находили мало отклика в его сочленах. Впоследствии Пушкин в сожженной главе «Онегина», обрисовывая членов Северного общества, писал:

*Одну Россию в мире видя,
Лаская в ней свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, слово «рабство» ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.*

В январе 1821 г. происходил в Москве тайный съезд членов «Союза благоденствия». Ввиду заполнения союза малонадежными членами было решено для вида распустить союз, а из более надежного ядра образовать новое тайное общество. Решение это было принято на заседании, в котором председательствовал Тургенев. Образовалось Северное общество в Петербурге и Южное – на юге. Одним из самых влиятельных членов Северного общества был Тургенев. По вопросу о желательной форме будущего образа правления он высказывался безусловно за республику.

Декабрист Волконский рассказывает, что при поездках его в Петербург, где он должен был давать Тургеневу отчет в действиях Южного общества, Тургенев настойчиво интересовался, идет ли в войсках подготовка к восстанию. Во время восстания Семеновского полка Тургенев сурово спросил И. И. Пущина: «Что же вы не в рядах восставших? Вам бы там надлежало быть!» В 1824 г. Тургенев, по расстроенному здоровью, уехал за границу. В последнее время, как он впоследствии уверял, он совершенно разочаровался в Тайном обществе и убедился в его ничтожестве. Декабрьское восстание разразилось, когда Тургенев был за границей. Оно явилось для Тургенева совершенной неожиданностью. Узнав, что его обвиняют в принадлежности к Тайному обществу, он послал в Петербург объяснение и совершенно успокоился. Однако в Эдинбурге его посетил секретарь русского посольства в Лондоне князь А. М. Горчаков (лицейский товарищ Пушкина) и вручил ему предложение министра иностранных дел, от имени императора, явиться в верховный суд в качестве обвиняемого за участие в восстании. Турге-

нев ответил, что он уже послал письменное объяснение, а поехать не может вследствие нездоровья. Визит Горчакова до глубины души потряс Тургенева. Этот член революционного тайного общества в ужасе и негодовании писал братьям: «Я обвиняюсь в измене! Я государственный преступник! Я читаю, перечитываю слова сии – и не верю глазам моим! Но должен верить! Должен говорить сам себе: да, да, тебя обвиняют в измене!.. Как бы я мог показать глаза в Россию под бременем такого обвинения? Я – государственный преступник! Нет! нет, – это невозможно!» Русское правительство потребовало у Англии выдачи Тургенева. Англия отказала. Но в Россию пришли слухи, будто Англия его выдала. Возмущенный Пушкин писал Вяземскому, приславшему ему свои стихи к морю:

*Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.
Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун земли союзник.
На всех стихиях человек –*

Тиран, предатель или узник.

Тургенев верховным судом был приговорен к смертной казни, замененной вечной каторгой. Ознакомившись с докладом следственной комиссии, он написал пространную оправдательную записку, которую через Жуковского подал императору Николаю. В записке Тургенев решительно отрицал свое участие в обществе после закрытия «Союза благоденствия», отрицал сочувствие свое не только республиканскому образу правления, но и введению в России конституции, утверждал, что давно убедился в совершенном ничтожестве общества, что цель у него была одна – освобождение крестьян от рабства, но и для этого он указывал всегда лишь законные средства – отпускные крестьянам, увольнение их в свободные хлебопашцы и т. п. Уверял, что ничего решительно не знал, какое направление приняла под конец деятельность общества. «Рапорт следственной комиссии, – писал он, – представил все адское дело со всеми подробностями беспримерного разврата и кровожадности. Душа моя содрогнулась, ужасные ощущения ее терзали. Тогда я

увидел, что совещания, на коих я некогда присутствовал, превратились наконец в настоящее скопище разбойников... Одно помещение моего имени между именами доказанных злодеев есть и будет самым тягостным бременем на всю мою жизнь!» Вся записка представляет собой не более как искусную адвокатскую речь, — такой ее признает даже очень расположенный к Тургеневу князь Вяземский, а князь А. Н. Голицын, бывший министр народного просвещения, отзывался о ней: «В этом оправдании слишком много розовой водицы»[251].

Реабилитации Николай Тургенев не добился, несмотря на все хлопоты его брата Александра. Он остался жить за границей. Любовь между братьями была исключительная. Александр продал принадлежавшее им совместно имение и переслал деньги брату. Николай жил во Франции на широкую ногу, в роскошной собственной вилле Вербуа близ Буживаля. После смерти брата он в 1847 г. выпустил на французском языке свой известный трехтомный труд «Россия и русские» с подробным описанием политического, социального и

экономического строя России, с изложением необходимых, по мнению автора, реформ, в первую очередь – уничтожение крепостного права. Весь первый том снова был посвящен доказательству несправедливости обвинений, на основании которых он был осужден верховным судом. И здесь Тургенев продолжал утверждать, что в Северном тайном обществе не принимал никакого участия, что силы и деятельность общества были совершенно ничтожны. Однако о самих товарищах по обществу отзывался иначе: тут они были уже не «злодеи и разбойники». «Это – благородные люди, погибшие вследствие своей преданности общественному благу или своим убеждениям... Через сто лет эшафот их послужит пьедесталом их памятнику» и т. п. Тургеневская оценка Тайного общества вызвала резкие протесты декабристов. Князь С. Г. Волконский, высказывая в своих воспоминаниях глубокое сожаление, что отговорил Пестеля от предполагавшейся им поездки за границу, пишет: «Пестель был бы жив и был бы в глазах Европы иным историком нашему делу, чем Николай Тургенев. Высказанное Турге-

невым, даже в печати, уверение, что он не участвовал в тайном обществе, есть явная ложь. Только случай выпихнул его из верховного уголовного суда. Я радуюсь за Тургенева; но не поставило ли ему это еще более в обязанность не порочить печатно своих собратьев, а выставить их в истинном свете, и особенно там, где его слова не подвергались никакому преследованию?» С воцарением Александра II Тургеневу были возвращены его чин действительного статского советника и дворянство, он получил право возвратиться в Россию. Он остался, однако, жить во Франции и только три раза посетил наездом Россию. Манифест 19 февраля 1861 г. об освобождении крестьян от крепостной зависимости Тургенев приветствовал с восторженным чувством Симеона-богоприимца: «Ныне отпускаеши раба твоего, владыко!»

«Один из лучших сынов России», – писал в некрологе Николая Тургенева Иван Сергеевич Тургенев. «Образец человека», – озаглавил свой очерк жизни его один из биографов. Плохо было бы для России, если бы в ней не было сынов лучше Н. Тургенева и образцов

человека повыше его. Тургенев не был человеком, сумевшим подняться выше своего времени и своего класса. Он был узкий фанатик одной идеи, вырванной из всей сложности исторической обстановки, готовый идти на любые компромиссы для осуществления своей цели. Друзья (а может быть, и сам он) искренне считали Тургенева пламенным борцом за свободу и права человека. На деле он был выразителем умеренного и своекорыстного буржуазно-помещичьего либерализма, домогавшегося для себя ограничения самодержавия, готового на военный переворот, но панически боявшегося возможности крестьянской революции. Боязнь эта ярко выражена в одном письме Вяземского, вызвавшем полное одобрение Тургенева. Вяземский пишет: «Дворянство до сей поры только и держится крестьянством. Хотите ли ждать, чтобы бородачи топором разрубили узел? И на нашем веку, может быть, праздник этот сбудется. Рабство – одна революционная стихия, которую имеем в России. Уничтожив его, уничтожим всякие предбудущие замыслы. Кому же, как не нам, приступить к этому делу? Ко-

рысть наличная, обеспечение настоящего, польза будущего, – все от этой меры зависит». Впоследствии, в своем проекте учреждения в России «Народной думы», Тургенев совершенно исключал из числа избирателей все крестьянство, стоял за самое минимальное надделение крестьян землей при освобождении. Даже нищенский надел, которым одарила крестьян кургузая реформа 19 февраля, оказался много выше того, который предлагал Тургенев, и он «честно признал», что жизнь во многих отношениях опередила его проекты.

Михаил Федорович Орлов (1788–1842)

О нем – в главе «В Кишиневе». Член «Союза благоденствия». В «Арзамас» он был принят в 1817г. За плавность и красоту речи кличка ему была дана Рейн. Свою вступительную речь Орлов постарался выдержать в обычном для «Арзамаса» юмористическом стиле, высмеивал писателей «Беседы», но при этом заявил: «Я исповедую, что не будет у нас словесности, пока цензура не примирится со здравым рассудком и не перестает».

нет вооружаться против географических лексиконов и обверточных бумаг». А закончил речь так: «Я сам чувствую, что слог шуточный неприличен наклонностям моим, и ежели я решился начертить сие нескладное произведение, это было единственно для того, чтобы не противиться законам, вами утвержденным... Ожидаю того счастливого дня, когда общим вашим согласием определите нашему обществу цель, достойнейшую ваших дарований и теплой любви к стране русской. Тогда-то Рейн, прямо обновленный, потечет в свободных берегах «Арзамаса», гордясь нести из края в край, из рода в род, не легкие увеселительные лодки, но суда, наполненные обильными плодами мудрости вашей и изделиями нравственной искусственности. Тогда-то просияет между ними луч отечественности, начнется для «Арзамаса» тот славный век, где истинное свободомыслие могущественной рукой закинет туманный кризис предрассудков за пределы Европы». Рейну-Орлову отвечал очередной президент Резвый Кот – Северин. Осыпав Орлова похвалами, он сделал ему, однако, осторожное предупрежде-

ние: «...умерьте пространство вашего плавания: постарайтесь в месте сидения вашего не разливаться и не топите нас; но знайте, что есть неизмеримое число обезьян, в людское платье одетых и в прошлые времена собиравшихся в доме желтом и возле желтого дома (помещение «Беседы» находилось возле желтого дома умалишенных). Тех вы должны топить без милосердия». Сводя в одно несколько противоречивые данные источников, дальнейшее развитие прений можно представить себе так: якобы прорицая от лица спящей Эоловой арфы, взял слово Кассандра-Блудов и пожелал «продолжить сказанное Рейном». В юмористическом протоколе, писанном Жуковским, речь его излагается так:

*Полно тебе, Арзамас, слоняться
бездельником!..
Время летит. Нас доселе сбирала
беспечная шутка;
Несколько ясных минут украла
она у бесплодной
Жизни. Но что же? Она уж устала,
иль скоро устанет!
Смех без веселости только кривлянье!
Старые шутки –*

Старые девки! Время прошло, когда по следам их
Рой обожателей мчался! Теперь позабыты! В морщинах,
Зубы считают, в разладе с собою, мертвы не живши.
Бойся ж и ты, Арзамас, чтоб не сделаться старою девкой!

.....
.....
..... О, братья, пред нами во дни упования
Жизнь необъятная, полная блеска, вдали расстилалась
Близким стало далекое! Что же? Пред темной завесой,
Вдруг упавшей меж нами и жизнью, каждый стоит безнадежен;
Часто трепещет завеса, есть что-то живое за нею,
Но рука и поднять уж ее не стремится. Нет веры!

И Блудов предложил «Арзамасу» взяться за издание журнала. «Докажите злоречивому свету, – говорил он, – что не все журналисты поденщики, что можно трудиться для пользы и чести, не для корысти и что в руках благо-

разумия никогда факел света не превратится в факел зажигателя. Мы будем помнить, что наша святая обязанность не волновать умы, а возвышать их: действие «Арзамаса» да будет медленно, но мирно и благотворно».

Прения протекали очень корректно, Орлов даже выразил согласие с речью Блудова, но настаивал, чтобы журнал носил характер политический, чтобы он будил читателя новостью и смелостью идей. Орлов поддерживал Николая Тургенева. Протокол рассказывает:

Совещанье

Начали члены. Приятно было послушать, как вместе

Все голоса слились в одну бестолковщину. Бегло

Своим язычком Кассандра работала. Рейн

Громко шумел... Пустынник (Кавелин) возился с Варвиком

(Ник. Тургеневым)...

Чем же сумятица кончилась? – Делом.

Журнал состоялся.

Журнал не состоялся. Хотя даже выработана была и его программа, но он не состоялся и

не мог состояться. Смешно было ждать, чтобы способной издавать политический журнал оказалась группа, в которой с Орловым, Николаем Тургеневым и Никитой Муравьевым соседствовали Уваров, Блудов, Кавелин. Вигель рассказывает: «С этого времени замечен стал совершенный раскол: веселость скоро прискучила тем, у коих голова полна была великих замыслов; тем же, кои шутя хотели заниматься литературой, странно показалось вдруг перейти от нее к чисто политическим вопросам. Два века, один кончающийся, другой нарождающийся, встретились в «Арзамасе»; как при вавилонском столпотворении, люди перестали понимать друг друга и скоро рассеялись по лицу земли. В этом году, с отлучкою многих членов, и самых деятельных, прекратились собрания, и «Арзамас» тихо, неприметно заснул вечным сном».

Никита Михайлович Муравьев
(1796–1843)

Сын попечителя Московского университета. Получил образование в Московском университете. Служил на военной службе, участвовал в сражениях под Дрезденом и Лейпци-

гом. Состоял при гвардейском генеральном штабе. Член «Союза спасения», один из основателей «Союза благоденствия», в котором занимал радикальную позицию. Автор известного проекта конституции. Впоследствии член Верховной думы Северного тайного общества и правитель его, возглавлял правое, умеренное крыло общества. После 14 декабря приговорен был к каторжным работам на двадцать лет.

В «Арзамас» был принят осенью 1817 г. Занимал в нем, вместе с Н. Тургеневым и М. Орловым, крайнюю левую позицию. Протоколы последних заседаний «Арзамаса», где происходили бои за принятие обществом политического курса, до нас не дошли, – вероятно, были уничтожены, и о деятельности Муравьева в обществе мы знаем мало. Кличка ему была Адельстан или Статный лебедь. Пушкин, вероятно, встречался с Муравьевым. В сожженной главе «Онегина» он называет его «беспокойным Никитой».

Кроме действительных членов («избранные гуси»), в «Арзамасе» были еще почетные члены («природные» или «почетные гуси»).

Из последних принимали участие в заседаниях «Арзамаса» Н. М. Карамзин, М. А. Салтыков и Ю. А. Нелединский-Мелецкий.

Николай Михайлович Карамзин (1766–1826)

Сын симбирского помещика. Воспитывался в частном московском пансионе. Одно время был близок к масонскому кружку Н. И. Новикова. В 1789–1790 гг. путешествовал по Европе, издал «Письма русского путешественника», имевшие большой успех. Еще больший успех имела его сентиментальная повесть «Бедная Лиза». Читатели проливали над ней потоки слез, и к пруду у Симонова монастыря, где утопилась Лиза, устраивались целые паломничества. Соответственно назревавшему настроению общества на многие годы модой стала напускная чувствительность и сладкая меланхолия «нежных душ». Повесть, с ее героиней, бедной крестьянкой-цветочницей, явилась первой робкой попыткой демократизма и гуманного учительства, впоследствии такой широкой струей влившихся в русскую литературу. Однако демократизм Карамзина был очень невысокого сорта и не ме-

шал ему быть страстным защитником крепостного права. Крепостное право, по его мнению, создает патриархальные отношения между бариним и мужиком и является источником счастья и благополучия для крестьян. В сочиненной Карамзиным «Сельской комедии» «хор земледельцев» поет:

*Как не петь нам? Мы счастливы!
Славим барина-отца.
Наши речи некрасивы,
Но чувствительны сердца.
Горожане нас умнее;
Их искусство – говорить.
Что ж умеем мы? Сильнее
Благодетелей любить!*

Очень велико было значение Карамзина как реформатора русского литературного языка. Он первый заговорил в литературе более или менее простым разговорным языком, освободив его от прежней ходульной напыщенности. «Карамзин, – говорил Пушкин, – освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова». Возгорелась длительная борьба между карамзинистами и привер-

женцами старого «высокого слога», уснащенного мертвыми славянизмами. Во главе противников Карамзина стояли А. С. Шишков и руководимая им «Беседа любителей русского слова». Вся молодая литература была на стороне Карамзина, борьба велась на протяжении почти двух десятилетий и закончилась победной деятельностью литературного общества «Арзамас». Сам Карамзин в этой борьбе не принимал участия. Он оставил литературу, оставил уже два года издававшийся им журнал «Вестник Европы» и весь отдался изучению русской истории. В 1803 г. Карамзин получил официальный титул историографа и ежегодную пенсию в 2000 р. с поручением написать полную историю России. Первые годы своей работы он жил в Москве, а летом – в Астафьеве, имении князя А. И. Вяземского, на дочери которого, Екатерине Андреевне, женился в 1804 г. В 1816 г. он представил императору первые восемь томов написанной им «Истории государства российского» и переселился в Петербург, лето стал проводить в Царском Селе. Тесно сблизился с царской семьей, его очень любили императрицы Мария

Федоровна и Елизавета Алексеевна. Император Александр также к нему благоволил. После смерти Александра Карамзин тяжело заболел. Николай отпустил ему пятьдесят тысяч рублей на лечение и снарядил специальный фрегат для поездки Карамзина за границу, но болезнь быстро усиливалась, и Карамзин умер, не имев возможности воспользоваться поездкой. Семья его получила хорошую пенсию.

Карамзин в среде близких ему людей пользовался огромным уважением, почти поклонением. В своих воспоминаниях они рисуют его как исключительно доброго и благородного человека. «Прекрасная душа», – отзывается о нем Пушкин. Вяземский рассказывает: «В сношениях с государем Карамзин дорожил своею нравственною независимостью, так сказать, боялся утратить и затронуть чистоту своей бескорыстной преданности и признательности. Он страшился благодарности вещественной и обязательной. Карамзин за себя не просил; другие также не просили за него, и государь, хотя и довольно частый свидетель скромного домашнего быта его, мог и

не догадываться, что Карамзин не пользуется даже и посредственным довольством» (до конца жизни он получал пенсию всего в 2000 руб. ассигнациями). Однако до нас дошли документы, рисующие Карамзина и с другой стороны. Вот какие приказы посылал бурмистру своей арзамасской деревни этот прекраснодушный проповедник «нежной чувствительности»: «Пишешь ты ко мне, бурмист, что хотя и приказал я женить Романа Осипова на дочери Архипа Игнатьева, но миром крестьяне того не приказали: кто же из вас смеет противиться господским приказаниям? Снова приказываю вам непременно женить упомянутого Романа на дочери Архиповой. А если вперед осмелится мир не исполнить в точности моих предписаний, то я не оставлю сего без наказания. Всякие господские повеления должны быть святы для вас. Мое дело знать, что справедливо и для вас полезно. Если кликуши не уймутся, то приказываю высечь их розгами». Другой приказ: «Вы прислали мне в марте тысячу рублей и обещали через неделю прислать еще значительную сумму; прошло уж более двух недель, а я еще ни-

чего не получал. Разве вы смеетесь над мною? Знайте, добрые мужики, что от меня одного зависит употребить против вас строгие меры, о которых я писал к вам. Генерал-губернатор теперь у вас, и он обещал мне свою помощь! Еще раз увещаю вас не выводить меня из терпения, немедленно собирать оброк и присылать ко мне. Иначе вам нечем будет жить (?)». Политических взглядов Карамзин держался самых консервативных. Основная мысль его «Истории государства российского» – что самодержавие было той благодетельной силой, которой Россия обязана своим созданием и процветанием. Карамзин стоял за сохранение крепостного права, страстно восставал против либеральных начинаний Сперанского; государственные реформы, по его мнению, не значат ничего, важно «искать людей», все дело будет сделано, если удастся найти пятьдесят хороших, строгих губернаторов.

На большинстве дошедших портретов Карамзина лицо у него брюзгливое и губы недобрые. Карамзин был в жизни, как и во взглядах своих, очень воздержан и умерен,

ни в какие крайности не вдавался, очень был аккуратен. Вставал рано, гулял натошак, выпивал две чашки кофе, выкуривал трубку табаку и садился за работу. За обедом выпивал рюмку портвейна и стакан пива. Обед был скромный, но сытный, хорошо приготовленный, из самой свежей провизии. Вечером, перед сном, съедал непременно два печеных яблока. Весь этот порядок соблюдался строго и нерушимо. Был он очень бережлив, но если покупал, то уже самое лучшее.

Пушкин познакомился с Карамзиным еще лицеистом, в Царском Селе, где Карамзин, по желанию императриц, проводил летние месяцы. Карамзин относился к Пушкину с большой благосклонностью и любовью. Пушкин часто посещал Карамзиных и по окончании лицея, в Петербурге. Однажды между ними произошла какая-то размолвка. «Карамзин, – рассказывает Пушкин, – меня отстранил от себя, глубоко оскорбив мое честолюбие и сердечную к нему привязанность. До сих пор не могу об этом хладнокровно вспомнить». Когда вышли в свет первые тома «Истории государства российского», Пушкин, тогда настро-

енный очень оппозиционно по отношению к правительству, встретил ее эпиграммой:

*В его «Истории» изящность, про-
стота
Доказывают нам без всякого при-
страстья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.*

Впоследствии Пушкин объяснял эпиграмму раздражением против Карамзина за происшедшую размолвку и считал написание эпиграммы «не лучшей чертой своей жизни». Когда в 1820 г. Пушкину за его вольные стихи грозила ссылка в Соловки или Сибирь, дело ограничилось посылкой его на юг к Инзову главным образом благодаря ходатайству Карамзина. При этом Карамзин взял с Пушкина обещание не писать в течение двух лет против правительства. Больше они не виделись. Когда Пушкин вернулся в Петербург, Карамзин уже умер. Пушкин относился к Карамзину с большим уважением, его «Историю» считал «не только созданием великого писателя, но и подвигом честного человека», возмущался нападками Каченского и Полевого на труд

Карамзина, своего «Бориса Годунова» посвятил «драгоценной для России памяти Н. М. Карамзина».

Карамзин был самым любимым и уважаемым «почетным гусем» «Арзамаса». Когда он в 1816 г. приехал из Москвы в Петербург, «Арзамас» чествовал его поднесением диплома, Жуковский приветствовал восторженной речью, где называл Карамзина «лучшим из людей». «Он – славный отец наших предков, – говорил Жуковский, – ибо он, вместе с юною красавицей музою истории, произвел их на свет таковыми точно, каковыми они есть, и сдунул с лица земли тех самозванцев и самохвалов, которые в арлекинских платьях таскались по миру под их священным названием». Карамзин не один раз бывал на заседаниях «Арзамаса» и писал жене в Москву: «Здесь из мужчин всех любезнее для меня арзамасцы; вот истинная русская академия, составленная из молодых людей, умных и с талантом».

Михаил Александрович Салтыков
(1767–1851)

Знатного рода, но небогатый. В 1794 г., двадцатисемилетним красавцем-подполковником, он обратил на себя похотливое внимание Екатерины II и стал признанным наложником 65-летней императрицы. Через два года Екатерина умерла. При Павле Салтыков находился в отставке. При Александре был произведен в камергеры. В 1812–1818 гг. управлял казанским учебным округом. Был человек умный и образованный. Сочувствовал жирондистам, ненавидел одинаково якобинцев и Бонапарта, но у нас слыл вольнодумцем, следовательно – якобинцем. Прекрасно знал французскую литературу, благоговел перед Руссо; в отличие от других тогдашних бар интересовался и русской литературой, был близок к литературным кругам карамзинистов, дружил с Батюшковым, Дашковым. «Я его люблю и уважаю», – писал Батюшков. «Арзамас» избрал Салтыкова «почетным гусем»; в одном из протоколов о нем сказано: «...не только умный друг ума и вкуса, но и еще опасный и терпеливый враг глупцов беседных и глупцов академических, и даже канцелярских, и сверх того прочих». В то время

Салтыков был попечителем казанского округа, но много жил в Петербурге и посещал заседания «Арзамаса». В целом ряде протоколов мы находим его подпись: «почетный гусь Михаил». Вигель пишет: «Салтыков всегда имел вид спокойный, говорил тихо, умно и красно. Он был из числа тех людей, кои, зная цену достоинств и способностей своих, думают, что правительство обязано их награждать, употребляют ли или не употребляют их на пользу государственную. Как все люди честолюбивые и ленивые вместе, ожидал он, что почести, без всякого труда, сами собою должны были к нему приходить. По незнанию дел, по совершенному презрению к своим должностям, все места умел он превращать в каноникатства». Характером Салтыков обладал тяжелым, был мнительный меланхолик, раздражительный брюзга, приходивший в дурное настроение от всякого пустяка, эгоист и деспот, хотя на словах вольнодумец. «Причудливостью своею и дурным нравом, – рассказывает Греч, – он заставлял забывать многие свои добрые качества и умер, никем не оплаканный». После попечительства в Казани был се-

натором в одном из московских департаментов сената, в Москве бывал у Чаадаева, у И. И. Дмитриева, на вечерах А. П. Елагиной. Дочь его, Софья Михайловна, вышла замуж за поэта Дельвига.

**Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий
(1751–1828)**

Поэт екатерининской и павловской поры, автор напыщенных од на торжественные случаи и сентиментальных песенок, не лишенных дарования. Ему принадлежит, между прочим, песня, ставшая очень популярной, «Выйду я на реченьку, погляжу на быструю». Нелединского ценили Карамзин, Дмитриев, Батюшков. Пушкин в 1823 г. писал Вяземскому: «...по мне, Дмитриев ниже Нелединского». Ценили Нелединского и арзамасцы, избравшие его «почетным гусем». Вигель, встречавшийся с ним на собраниях «Арзамаса», так рисует Нелединского: «Невысокого роста, умный, веселый, толстенький старичок, исполненный нежнейшей чувствительности и предававшийся самой грубой чувственности, написавший немного прелестных стихов и так

много непотребных».

На заседаниях «Арзамаса» Пушкин с Нелединским, по-видимому, не встречался, но познакомился с ним, еще будучи в лицее. В 1816 г. императрица Мария Федоровна поручила Нелединскому-Мелецкому написать стихи на бракосочетание принца Оранского с ее дочерью, великой княжной Анной Павловной. Устаревший Нелединский не понадеялся на свои силы, поехал в лицей, попросил Пушкина написать стихи и через час-два уехал из лицея с готовыми стихами. Пушкин за эти стихи получил от царицы золотые часы с цепочкой.

В Петербурге до ссылки. «Зеленая лампа»

В 1818 г. девятнадцатилетний богач камер-юнкер Никита Всеволожский и офицер лейб-гвардии Павловского полка Я. Н. Толстой основали общество «Зеленая лампа». Собирались каждые две недели в доме Всеволожского на Екатериногофском проспекте, против Большого театра. Преобладала гвардейская офицерская молодежь – гусары, уланы, павловцы, егеря. Но были и штатские, в их числе Пушкин и Дельвиг. В зале, где происходили собрания, висела зеленая лампа, и от нее кружок получил свое название. Все члены кружка носили кольца, на которых вырезано было изображение лампы. На собраниях читались и обсуждались произведения членов кружка. Статут общества приглашал объясняться и писать на заседаниях вполне свободно, и каждый член давал слово хранить тайну. Пушкин, Дельвиг, а также дилетанты-офицеры читали свои стихи. Обменивались мнениями и спорили о театральных постановках, – все члены были страстные те-

атралы: поручик лейб-гвардии егерского полка Д. Н. Барков давал каждое заседание отчеты по театру. Сам Всеволожский прочел обширный доклад по русской истории, составленный не по Карамзину, а по первоисточникам, – так сообщил Ефремов, имевший возможность видеть протоколы общества. Стихи нередко носили резко противоположительственный характер. Происходили разговоры и на политические темы, отражавшие тогдашнее всеобщее оппозиционное настроение; свободно, «открытым сердцем», говорили:

*Насчет глупца, вельможи злого,
Насчет холопа записного,
Насчет небесного царя,
А иногда насчет земного.*

(Послание Пушкина к В. В. Энгельгардту)

Некоторые из членов «Зеленой лампы» (Я. Толстой, Каверин, князь С. П. Трубецкой, Токарев) были членами «Союза благоденствия». Исполняя директивы союза, они старались влить политическую струю в жизнь кружка, –

впрочем, не ставя ему никаких практических целей. Позднейшим правительственным исследованием было выяснено, что такого рода «вольным обществам» не была предназначена никакая политическая цель, и от учреждения их ожидалась только та польза, что, руководимые своими основателями, они особенной своей деятельностью по литературе, художествам и так далее могли бы способствовать достижению цели Коренной управы.

Заседания кончались веселыми попойками – по-видимому, с участием актрис и веселых девиц; с пирушки, повесничая на улицах, отправлялись в веселые дома. Времяпрепровождение кружка Пушкин описывал в своем послании к Я. Толстому:

*Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдений и пиров?
Кипишь ли ты, золотая чаша,
В руках веселых остряков?
Все те же ль вы, друзья веселья,
Друзья Киприды и стихов?
Часы любви, часы похмелья
По-прежнему ль летят на зов
Свободы, лени и безделья?..
Вот он, приют гостеприимный,*

*Приют любви и вольных муз,
Где с ними клятвою взаимной
Скрепили вечный мы союз,
Где дружбы знали мы блажен-
ство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство,
Где своенравный произвол
Менял бутылки, разговоры,
Рассказы, песни шалуна,
И разгорались наши споры
От искр, и шуток, и вина.
Я слышу, верные поэты,
Ваш очарованный язык...
Налейте мне вина кометы!
Желай мне здоровья, калмык!*

Калмык был мальчик, казачок Всеволожского, прислуживавший на заседаниях «Зеленой лампы». Когда кто-нибудь из собутыльников отпускал нецензурное слово, мальчик насмешливо улыбался. Постановлено было, чтобы каждый раз, как калмык услышит такое слово, он должен подойти к тому, кто его отпустит, и сказать: «Здоровия желаю!» Мальчик исполнял эту обязанность с большой сметливостью.

Об основном характере кружка «Зеленая лампа» мнения исследователей весьма расходятся. Первые биографы Пушкина, Бартенев и Анненков, основываясь на своих расспросах современников, сообщали, что кружок этот представлял из себя не более как обыкновенное «оргиаческое» (как выражался Анненков) общество. Инсценировали изгнание Адама и Евы из рая, гибель Содома и Гоморры и т. п.; для шутки вели заседания с соблюдением всех парламентских и масонских форм, но обсуждали исключительно планы волокитств и закулисных проказ. Позднейшие исследователи решительно отвергают такую оценку «Зеленой лампы». По их мнению, это было серьезное литературно-политическое общество, оживотворявшееся связью с «Союзом благоденствия»; через этот кружок Пушкин, не принадлежавший ни к какому тайному обществу, «испытал на себе организующее влияние тайного общества», и историки, рисуя общественное движение 1816–1825 гг., не должны впредь забывать и «Зеленую лампу» (Щеголев). Мы полагаем, что историку тогдашнего общественного движения решительно

нечего делать с кружком «Зеленая лампа», — настолько случайна и ничтожна была его общественно-политическая жизнь. Кружок не был, конечно, средоточием особенного какого-то «сказочного разврата и разгула», не был и обществом захолустных армейских гусаров, где все общение ограничивалось бы выпивкой, похабными анекдотами да разговорами о производствах. Собирались люди образованные, интеллигентные, причастные ко всем высшим интересам эпохи, умевшие находить наслаждение и в острой игре мысли, и в художественных эмоциях, высоко ценившие «вакханочку-музу» Пушкина, притом люди, оппозиционно настроенные. Однако общий литературно-научный уровень кружка был вовсе не высок. Читали свои стихи Пушкин и Дельвиг, делал интересные доклады Улыбышев, но рядом с этим читались совершенно беспомощные стишки любителей-офицеров, наивные рассуждения Д. Баркова; доклады Всеволожского по русской истории основывались не на первоисточниках, как сообщал Ефремов, а являлись чисто ученическими пересказами Карамзина. Была в кружке

оппозиционная настроенность, – да. Но кто в то время не был оппозиционно настроен? Николай Тургенев вспоминает: «Люди, не бывавшие несколько лет в Петербурге, удивлялись переменам, происшедшим в образе жизни, разговорах и действиях молодежи; казалось, она проснулась для того, чтобы зажить новою жизнью. Свободой и смелостью своих выражений привлекали внимание главным образом гвардейские офицеры, мало заботившиеся о том, говорят ли они в общественном месте или в салоне, перед своими единомышленниками или перед врагами». Воздух был полон самой прилипчивой революционной заразой. Почтительный к начальству ретроград Вигель сознается, что даже его в то время тянуло поступить в Тайное общество. Был и такой случай. Николай Тургенев и Михаил Орлов разговаривали о делах «Союза благоденствия». Вошел брат Орлова, лихой генерал Алексей Федорович. Посмотрел на них...

– Конспирация, всегда конспирация! В это дело я не вмешиваюсь. Но когда потребуется моя помощь, вы можете положиться на меня!

И он потряс своей могучей рукой. Это, ко-

нечно, не помешало ему во время декабрьского восстания повести свой конногвардейский полк в атаку на мятежное каре.

Этой общей революционной заразы не были чужды и члены «Зеленой лампы». Но именно «Зеленую лампу», как теперь доказано, имел в виду Пушкин, когда в зашифрованной главе X «Онегина» писал: все это были заговоры (и даже не заговоры, а просто разговоры):

*Между Лафитом и Клико
Лишь были дружеские споры,
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука.
Все это было только скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов...*

Слишком много было лафита и клико, слишком много карт и веселых девиц, чтобы можно было ждать от членов кружка сколько-нибудь серьезного отношения к общественно-политическим вопросам времени. Основную жизнь кружка составляло упоенно-эпикурейское наслаждение жизнью, самозабвенный разгул, не считавшийся со стесни-

тельными рамками светских приличий, картежная игра, «набожные ночи с монашенками Цитеры»:

*Здорово, рыцари лихие
Любви, свободы и вина!
Для нас, союзники молодые,
Надежды лампа зажжена!
Здорово, молодость и счастье,
Заздравный кубок и бордель,
Где с громким смехом сладостра-
сть
Ведет нас пьяных на постель!*

Так приветствовал Пушкин члена «Зеленой лампы» лейб-улана Юрьева; таким же настроением проникнуты его послания и к другим членам кружка – к Всеволожскому, Щербинину, В. Энгельгардту, письма к тому же Всеволожскому, Мансурову. Характерно, что ни Чаадаева, ни Катенина мы не находим в числе членов «Зеленой лампы», а когда хотели привлечь в кружок Кюхельбекера, то он, как сам рассказывает, отказался вступить в кружок «по причине господствовавшей там неумеренности в употреблении напитков».

Нужно большое желание видеть то, чего

нет, чтобы выуживать из посланий Пушкина отдельные слова «равенство», «свобода», «лампа надежды» и на них строить заключения о высоких политических идеалах, будто бы одушевлявших кружок. Да, равенство, и даже не более, не менее, как в якобинском колпаке: «где в колпаке за круглый стол садилось милое равенство». Но равенство это заключалось только в том, что бедняк коллежский секретарь Пушкин мог держаться западнибрата с богачами-полковниками Энгельгардтом или князем Трубецким, а не в том, чтобы за круглый стол равноправным членом мог сесть хотя бы тот же мальчик-калмык. Да, свобода. Но из контекстов совершенно ясно, в каком смысле употребляет это слово Пушкин в отношении к кружку «Зеленая лампа»:

*Я люблю вечерний пир,
Где веселье председатель,
А свобода, мой кумир,
За столом законодатель;
Где до утра слово «ней!»
Заглушает крики песен,
Где просторен круг гостей,*

А кружок бутылок тесен.

Энгельгардт – «свободы, Вакха верный сын, Венеры набожный поклонник». В послании к Горчакову Пушкин пишет, что ему во сто крат милее:

*Младых повес счастливая семья,
Где ум кипит, где в мыслях волен
я,
Где спорю вслух, где чувствую жи-
вее,
И где мы все – прекрасного друзья,
Чем вялые, бездушные собранья,
Где ум хранит невольное молча-
нье,
Где холодом сердца поражены...
Где глупостью единой все равны.*

Когда в мертвящем душу модном свете все
зевают, подавляя скуку,

*Тогда, мой друг, забытых шалу-
нов
Свобода, Вакх и музы угощают...*

Свобода от светских приличий и стесне-
ний, «страстей единый произвол» – вот что
разумелось под свободой в кружке «Зеленая
лампа». Мы считаем совершенно несомнен-

ным, что тут-то, в компании Кавериных, Щербининых, Мансуровых и прочих прославленных кутил и повес, главным образом и просверкал бурный период бешеного разгула и упоения чувственными радостями, столь характерный для послелицейской жизни Пушкина в Петербурге и наиболее яркое свое отражение нашедший как раз в посланиях его членам «Зеленой лампы». И именно кружок «Зеленая лампа» по преимуществу имел Пушкин в виду, когда впоследствии вспоминал в «Евгении Онегине»:

*И я, в закон себе вменя
Страстей единый произвол,
С толпою чувства разделяя,
Я музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров:
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары
И, как вакханочка, резвилась,
За чашей пела для гостей,
И молодежь минувших дней
За нею буйно волочилась, –
А я гордился меж друзей
Подругой ветреной моей.*

А потом – перестал гордиться. И, оглядываясь назад, с отвращением вспоминал свою молодость, утраченную «в праздности, в неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы»...

После 14 декабря правительство, по оговору некоторых декабристов, обратило внимание и на «Зеленую лампу». Результат изысканий: «Комиссия, видя, что общество сие не имело никакой политической цели, оставила оное без внимания».

Членами «Зеленой лампы» были: Н. В. Всеволожский и его брат А. Н. Всеволожский, Я. Н. Толстой, П. П. Каверин, М. А. Щербинин, А. И. Якубович, Ф. Ф. Юрьев, П. Б. Мансуров, В. В. Энгельгардт, А. Г. Родзянко, Пушкин, Дельвиг, Ф. Н. Глинка, князь С. П. Трубецкой, А. Д. Улыбышев, Д. Н. Барков, А. А. Токарев, И. Е. Жадовский, князь Д. И. Долгоруков.

Пушкин, судя по всем данным, был частым посетителем заседаний и пиршеств «Зеленой лампы», вероятно, не раз читал на них свои стихи. Его там баловали и носили на руках. Часто бывал у Всеволожского и помимо собраний кружка, – в письме к Мансурову он со-

общает, что каждое утро из окон Всеволожского они наблюдают в бинокли за «крылатой девой, летящей на репетиции». Актер П. Каратыгин, тогда воспитанник театрального училища, однажды видел в окне дома Всеволожского Пушкина и хозяина. Пушкин, недавно перед тем остригшийся после горячки, сдернул с головы парик и стал им приветственно махать знакомому спутнику Каратыгина.

После высылки Пушкина из Петербурга отношения его с товарищами по «Зеленой лампе» оборвались как-то очень легко и просто. В 1822 г. из Кишинева он писал Якову Толстому: «Ты один из всех моих товарищей, минутных друзей минутной младости, вспомнил обо мне. Два года шесть месяцев не имею от них никакого известия, никто ни строчки, ни слова». Из письма этого с несомненностью видим, кого разумел Пушкин под своими «минутными друзьями» в стихотворении «Погасло дневное светило»:

*Я вас бежал, отчески края;
Я вас бежал, питомцы наслажде-
ний,*

*Минутной младости минутные
друзья;
И вы, наперсницы порочных за-
блуждений,
Которым без любви я жертвовал
собой...
И вы забыты мной, изменницы
младые...*

Члены «Зеленой лампы» – и рядом «порочные наперсницы». Тех и других поэт хочет забыть. Вот какую только память оставили по себе в душе Пушкина товарищи его по «Лампе». Было бы иначе, если бы через них Пушкин испытал на себе «организующее влияние тайного общества» и серьезно приобщился к высоким политическим идеалам времени. Не так вспоминал Пушкин Чаадаева, Пущина.

Никита Всеволодович Всеволожский
(1799–1862)

Сын камергера, богач. Камер-юнкер, служил вместе с Пушкиным в коллегии министерства иностранных дел. «Лучший из минутных друзей моей минутной молодости», – отзывался о нем впоследствии Пушкин. Страстный балетоман, жуир, поклонник закулисных богинь, «верный обожатель забав и лени

золотой», по характеристике Пушкина. Основатель общества «Зеленая лампа». В 1824 г. Пушкин писал ему из Одессы: «...ты помнишь Пушкина, прошедшего с тобою столько веселых часов, – Пушкина, которого ты видел и пьяного, и влюбленного, не всегда верного твоим субботам, но неизменного твоего товарища в театре; наперсника твоих шалостей, того Пушкина, который отрезвил тебя в Страстную пятницу и проводил тебя под руку в церковь театральной дирекции, да помолишься Господу Богу и насмотришься на госпожу Овошникову». Овошникова – кордебалетная танцовщица, воспитанница театральной школы; за нею ухаживал Всеволожский, ее имел в виду Пушкин, когда писал Всеволожскому в Москву:

*...Вспомни, милый: здесь одна,
Тебя всечасно ожидая,
Вздыхает пленница молодая;
Весь день уныла и томна,
В своей задумчивости сладкой,
Тихонько плачет под окном,
От грозных аргусов украдкой,
И смотрит на пустынный дом,
Где мы так часто пировали*

*С Кипридой, Вакхом и тобой.
Куда с надеждой и тоской
Ее желанья улетали.
О, скоро ль милого найдут
Ее потупленные взоры,
И пред любовью упадут
Замков ревнивые затворы?*

Между прочим, Пушкин проиграл Всеволожскому в карты тетрадь своих стихов, пошедшую за тысячу рублей. Всеволожский долго не соглашался переуступить рукопись другому издателю и не спешил издать ее сам. Пушкину удалось наконец выкупить ее. Всеволожский утверждал, что рукопись пошла только за 500 р., но Пушкин настоял, чтобы он взял за нее условленную тысячу.

Впоследствии Всеволожский, в звании егермейстера, заведывал придворной охотой, потом был гофмейстером.

Яков Николаевич Толстой
(1791–1867)

Сын богатого тверского помещика. Офицер Слейб-гвардии Павловского полка, адъютант Главного штаба. Был действительным членом «Союза благоденствия» и председате-

лем общества «Зеленая лампа»; в отсутствие Всеволожского общество собиралось на его квартире. Через него и других своих членов союз старался влить оппозиционно-политическую струю в жизнь общества. Толстой сам писал стихи, комедии, был театрал. К дару Пушкина относился с восторженным почитанием, называл Пушкина «владыкой рифмы и размера», писал:

*Открой искусство мне столь
сладко
Писать, как вечно пишешь ты,
Чтоб мог изображать я кратко
И сохранял бы красоты...
Во вкусе медленном, немецком
Отвадь меня низать мой стих;
В моих стихах излишество слога
Резцом своим ты отколи
И от таланта хоть немного
Ты своего мне удели!..
Давно в вражде ты с педантиз-
мом,
И с пустословием в войне,
Так научи ж, как с лаконизмом
Ловчее подружиться мне!*

Члены «Зеленой лампы», как дорогого по-

дарка, наперерыв друг перед другом помогались от Пушкина посланий к себе. Яков Толстой умолял:

Склонись, о Пушкин, Феба ради
На просьбу слабого певца
И вспомни, как, к моей отраде,
Ты мне посланье обещал;
Припомни также вечер ясный,
Когда до дому провожал
Тебя, пиит мой сладкогласный,
И ты мне руку с словом дал;
Когда, стихами и шампанским
Свои рассудки начиня
И дымом окурясь султанским,
Едва дошли мы до коня;
Уселись кое-как на дрожках,
Качаясь ехали в тени,
И гасли медленно в окошках
Чуть-чуть заметные огни;
Зыбясь, в Фонтанке отражалась
Столбом серебряным луна,
И от строений расстилалась
Густая тень, как пелена...
В то время мчались мы с тобою
В пустых коломенских краях.
Ты вспомни, как, тебя терзая,
Согласье выпросил тогда,
Как сонным голосом, зевая,

*На просьбу мне ты молвил: да!
Но вот проходит уж вторая
Неделя с вечера того,
Я слышу, пишешь ты ко многим,
Ко мне ж покамест ничего.*

Пушкин в ответ написал послание к Толстому: «Философ ранний, ты бежишь» (1819). В 1822 г. из Кишинева он написал ему второе послание: «Горишь ли ты, лампада наша?..»

В это время кружок «Зеленая лампа» уже закрылся, и Толстой ответил Пушкину посланием, которое начиналось так:

*Ах, лампа погасла!
Не стало в ней масла!*

В 1823 г. Я. Толстой выехал в отпуск за границу для лечения ноги. Он находился в Париже, когда разразилось 14 декабря, и предпочел не являться в Россию. Результаты следствия, впрочем, оказались по отношению к нему довольно благоприятными, и приговор ему был только «отдать под секретный надзор начальства и ежемесячно доносить о поведении». Однако то обстоятельство, что он не явился на следствие и остался за границей,

конечно, очень ухудшило дело. Толстой жил в Париже, сильно нуждался, запутался в долгах. Чтоб заслужить прощение правительства, он стал печатать в Париже на французском языке книги, брошюры и статьи в защиту русской власти, был наконец официально прощен и в начале января 1837 г. возвратился в Россию. За неделю до смерти Пушкина Толстой виделся с ним, они вспоминали старое время, послания, которыми обменялись. Из поездки своей Толстой возвратился в Париж агентом Третьего отделения на жалованьи, с поручением «защищать Россию в журналах и опровергать статьи, противные России», а также следить за приезжающими в Париж русскими. В 1866 г. он вышел в отставку с чином тайного советника и в следующем году умер в Париже в полном одиночестве.

Петр Павлович Каверин
(1794–1855)

Сын полуразорившегося помещика. Был студентом Московского университета, в 1810–1812 гг. слушал лекции в Геттингенском университете вместе с братьями Ник. и С. Тургеневыми. В 1813 г. поступил на военную

службу, участвовал во многих боях. В 1816 г., вместе с Чаадаевым, перешел в лейб-гвардии гусарский полк, стоявший в Царском Селе в бытность Пушкина в лицее.

Каверин был самым ярким представителем той разгульной петербургской молодежи, в кругу которой вращался Пушкин после окончания лицея. Он сильно импонировал ей как лихой гусар и повеса, она старалась подражать ему, повторяла за ним его любимые поговорки. В «Герое нашего времени» Печорин рассказывает: «Где нам, дуракам, чай пить! – отвечал я Грушницкому, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным». Этот повеса – Каверин; поговорка его была с прибавкой: «Где нам, дуракам, чай пить, да еще со сливками!» Красавец, хорошо сложенный, крепкий, выносливый (купался в проруби), в молодости жизнерадостный. Славился как рубака и отчаянный смельчак, впоследствии, в турецкой кампании, не раз получал выговоры от главнокомандующего Дибича за то, что без нужды подвергает жизнь свою опасности. В отставке то-

мился бездействием и жизнь свою называл «холодной и мертвою». Любил тонко поесть и основательно выпить, крепость его к вину была изумительна. В Париже, во время стоянки там русских войск после свержения Наполеона, Каверин сидел однажды в модном ресторане. Вошли четыре молодых человека, сели за стол, потребовали одну бутылку шампанского и четыре стакана. Тогда Каверин громогласно потребовал себе четыре бутылки шампанского и один стакан; опорожнил в течение обеда все четыре бутылки, за десертом выпил еще кофе с приличным количеством ликера и твердой походкой вышел из ресторана под общие аплодисменты незнакомой публики. Он лечился от французской болезни холодным шампанским, вместо чаю выпивал с хлебом бутылку рома и после обеда, вместо кофе, – бутылку коньяку. Пользовался большим успехом у женщин, был щеголь, забияка и большой озорник. Во время стоянки русских войск в Гамбурге вышел, на пари, на театральную сцену в военной форме, за что был лишен награждения орденом Владимира 4-й степени, к которому уже был представлен. Ка-

верин принимал участие в качестве секунданта в нашумевшей двойной дуэли Шереметева с Завадовским и Якубовича с Грибоедовым. Кавалергардский офицер Василий Васильевич Шереметев был в связи со знаменитой танцовщицей Истоминой, воспетой Пушкиным в «Евгении Онегине». За ней же безуспешно ухаживал камер-юнкер граф Александр Петрович Завадовский. Истомина поссорилась с Шереметевым и уехала от него. Этой ссорой воспользовался Завадовский. Его приятель А. С. Грибоедов (автор «Горя от ума»), с которым они жили на одной квартире, привез к нему после спектакля Истому. Шереметев выследил их и вызвал Завадовского на дуэль, а приятель Шереметева, лейб-улан А. И. Якубович (впоследствии декабрист), вызвал Грибоедова как участника интриги. Двойная дуэль была назначена на 12 ноября 1817 г., на Волковом поле. Условия были ужасные: противники должны сойтись на шесть шагов друг от друга, при исходных точках в восемнадцать шагов расстояния. Оба отлично стреляли. Шереметев выстрелил, не дав противнику подойти до барьера. Пуля ото-

рвала край воротника у сюртука графа Завадовского. Завадовский воскликнул:

– А! Так он хотел убить меня!.. К барьеру!

Каверин, секундانت Шереметева, и д-р Ион, секундонт Завадовского, стали уговаривать Завадовского пощадить жизнь Шереметева. Завадовский готов был уступить, решил только слегка ранить противника, но Шереметев потребовал, чтобы условия дуэли были выполнены точно, иначе он опять будет стреляться с Завадовским. Граф Завадовский выстрелил. Шереметев, смертельно раненный, упал навзничь и «стал нырять по снегу, как рыба». Каверин хладнокровно сказал:

– Вот тебе, Вася, и репка.

Дуэль Якубовича с Грибоедовым была отложена и состоялась через год в Тифлисе.

Каверин был человек образованный, прекрасно знал иностранные языки, но по-русски, как и большинство в то время, писал совершенно безграмотно. Интересовался поэзией. Был оппозиционно настроен. Состоял членом «Союза благоденствия» и общества «Зеленая лампа». Однако дошедшие до нас его альбомы с выписками из прочитанного и днев-

никовыми записями не говорят ни о тонкости художественного вкуса Каверина, ни о глубине его умственных запросов.

Пушкин познакомился с Кавериным еще во время пребывания своего в лицее и, тайно от начальства, посещал пирушки лейб-гусаров, где первенствовал Каверин. В четырехстишии «К портрету Каверина» Пушкин пишет (приводим цензурную редакцию):

*В нем пуниа и войны кипит все-
гдашний жар;
На марсовых полях он грозный
был воитель,
Друзьям он верный друг, красави-
цам мучитель,
И всюду он гусар.*

Были, по-видимому, еще какие-то стихи Пушкина, которые обидели Каверина (только это не «Молитва лейб-гусарских офицеров», — она написана не Пушкиным). Пушкин, стараясь загладить обиду, написал Каверину послание:

*Забудь, любезный мой Каверин,
Минутной резвости нескромные
стихи.*

Люблю я первый, будь уверен,
Твои счастливые грехи.
Все чередой идет определенной,
Всему пора, всему свой миг;
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный.
Пока живется нам, живи,
Гуляй в мое воспоминанье;
Молись и Вакху и любви
И черни презирай ревнивое ропта-
нье;
Она не ведает, что дружно мож-
но жить
С Киферой, с портиком, и с кни-
гой, и с бокалом;
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким по-
крывалом.

В вариантах третьего с конца стиха упоми-
наются еще Невтон, Платон. Многие пушки-
новеды, на основании этого стихотворения,
серьезнейшим образом готовы верить Пуш-
кину на слово, что Каверин обладал высоким
умом и «дружно жил» чуть ли не с Платоном
и Ньютоном. Идя таким путем, мы должны
были бы признать Анну Петровну Керн «ге-
нием чистой красоты», а князя А. М. Горчако-

ва – человеком, у которого «Фортуны блеск холодной не изменил души его свободной».

О времяпрепровождении Пушкина с Кавериным свидетельствует дневниковая запись Каверина от 27 мая 1819 г.: «Щербинин, Олсуфьев, Пушкин – у меня в П-бурге ужинали – шампанское в лед было поставлено за сутки вперед – случайно тогдашняя красавица моя (для удовлетворения плотских желаний) мимо шла – ее зазвали – жар был несносный – Пушкина просили память этого вечера в нас продолжить стихами – вот они – оригинал у меня:

*Веселый вечер в жизни нашей
Запомним, юные друзья;
Шампанского в стеклянной чаше
Шипела хладная струя.
Мы пили – и Венера с нами
Сидела, преля, за столом,
Когда ж вновь сядем вчетвером
С блядьми, вином и чубуками?*

В 1827 г., живя в Москве у Соболевского, Пушкин вспомнил о Каверине и написал ему совместно с Соболевским коротенькое письмо. Вот только в каком роде он смог писать

Каверину: «Наша съезжая в исправности – частный пристав Соболевский бранится и дерется по-прежнему, шпионы, драгуны, бляди и пьяницы толкуются у нас с утра до вечера». А Соболевский приписал: «Прощай, душа моя, помни меня, как помнишь пунш. Какой у нас славный ерофеич (сорт водки)!»

Пушкин вспоминает Каверина в первой главе «Онегина»:

*К Talon помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.*

По этому поводу Вяземский почтительно замечает: «Русская литература не должна забывать, что Каверин был товарищем и застольником Евгения Онегина, который с ним заливал шампанским горячий жир котлет».

Каверин с отличием участвовал в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. и в усмирении польского восстания. Под конец жизни служил командиром волынской пограничной бригады. Жил очень скромно и все-таки еле сводил концы с концами. Угнетала его бедность, угнетали многочисленные недуги – подагра, ревматизм, общая слабость; постоянно

грустил, редко бывал весел. И повторилась обычная история, которую отмечал Гейне: «Где кончается здоровье, где кончаются деньги, там начинается религия». Каверин стал очень религиозен, служил молебны всяким святителям, продавал в церкви свечи, читал страсти и акафисты, участвовал в церковном хоре. В дневнике то и дело восклицания: «Господи, помилуй!..», «Господи, прости!.., прости, прости!..», «Да будет воля твоя Господня!..»

Михаил Андреевич Щербинин
(1793–1841)

Прия́тель и впоследствии зять П. П. Каверина. Пушкин познакомился с ним в Петербурге за несколько месяцев до своей высылки. Богач, красавец. Служил в военной службе. Был членом общества «Зеленая лампа». Сибарит и эпикуреец, весело проводивший время в кругу петербургской золотой молодежи. В послании к нему (1819) Пушкин пишет:

*Житье тому, любезный друг,
Кто страстью глупою не болен,
Кому влюбиться недосуг,
Кто занят всем и всем доволен;
Кто Наденьку под вечерок*

*За тайным ужином ласкает
И жирный страсбургский пирог
Вином душистым запивает...
Весь день веселью посвящен,
А в ночь – вновь царствует Кипри-
да.
И мы не так ли дни ведем,
Щербинин, резвый друг забавы,
С Амуром, шалостью, вином,
Покамест молоды и здоровы?..*

В 1824 г. Щербинин вышел в отставку и жил в своем харьковском имении Елизавет-поль. «С Пушкиным он, по-видимому, иногда виделся. Есть известие, что Щербинин угощал у себя Пушкина после раздела родовых имений между братьями Щербиниными в конце 1829 г. Когда Щербинин задавал какой-нибудь пир или особенно тонкий обед, он, чтобы покрыть расходы, вырубал в Елизаветполе несколько десятин леса. Когда он пригласил Пушкина (вероятно, в Москве или в Петербурге) отведать своих пулярок, своей спаржи, своих трюфелей, Пушкин шутя возразил, что это, в сущности, сосенки Щербинина, его березки и дубки.

Александр Иванович Якубович

(1792–1845)

«Герой моего воображения», – писал о нем Пушкин. Сын роменского помещика, предводителя дворянства. Образование получил в московском университетском Благородном пансионе. Служил в лейб-гвардии уланском полку. Деятельно участвовал в театральных шалостях, интригах и всяких удалых похождениях светской молодежи, был известен как отчаянный кутила и дуэлист. За участие в дуэли Завадовского и Шереметева, кончившейся смертью Шереметева (см. «П. П. Каверин»), был переведен на Кавказ в Нижегородский драгунский полк 20 января 1818 г. В конце этого года встретился в Тифлисе с Грибоедовым, и между ними состоялась дуэль, которая не могла осуществиться год назад из-за смертельного ранения Шереметева. Якубович дал обещание умиравшему Шереметеву, что отомстит за него Завадовскому и Грибоедову. Условия были: шесть шагов между барьерами. Стрелялись без сюртуков. Якубович быстрым шагом подошел к барьеру и остановился, ожидая выстрела Грибоедова. Грибоедов сделал к барьеру два шага, но медлил стрелять.

Якубович потерял терпение и выстрелил. Он не хотел убить Грибоедова и метил в ногу; но пуля попала в кисть левой руки. Грибоедов поднял окровавленную руку, показал ее секундантам и навел пистолет на Якубовича, он имел право подойти к барьеру; но, заметив, что Якубович целился ему в ногу, не захотел воспользоваться своим преимуществом и выстрелил не сходя с места. Пуля пролетела над самым затылком Якубовича. Секундант Якубовича Н. Н. Муравьев (Карский) рассказывает: «Я думаю, еще никогда не было такого поединка: совершенное хладнокровие с обеих сторон, ни одного неприятного слова; до самой той минуты, как стали к барьеру, они разговаривали между собою, и после того, как секунданты побежали за лекарем, Грибоедов лежал на руках у Якубовича. В самое время поединка я любовался осанкою и смелостью Якубовича: вид его был мужественен, велик, особенно в ту минуту, как он после своего выстрела ожидал верной смерти, сложа руки».

На Кавказе Якубович участвовал в бесчисленных сражениях с горцами, отличался от-

чаянной храбростью, о которой ходили легендарные рассказы. В одной из стычек с черкесами он был ранен пулей в лоб и воротился в Петербург с черной повязкой на голове, придававшей ему очень романтический вид.

В 1825 г. он примкнул к Северному тайному обществу. Он признался Рылееву и А. Бестужеву, что приехал с твердым намерением убить Александра I из личной мести, за ссылку свою на Кавказ.

– Я не хочу принадлежать ни к какому обществу, – говорил он, – чтобы не плясать по чужой дудке; я сделаю свое, а вы воспользуйтесь этим, как хотите. Коли удастся после этого увлечь солдат, то я разовью знамя свободы, а не то истреблюсь: мне наскучила жизнь.

Друзьям удалось уговорить его отложить свое намерение. В совещаниях перед 14 декабря Якубович говорил самые радикальные речи, предлагал поднять народ, призвать его к грабежу и убийствам. Он был назначен помощником диктатора Трубецкого на площади, должен был привести Измайловский полк и артиллерию. Ничего он этого не сделал и вел себя самым позорным образом. Присоеди-

нился было к шедшему на площадь Московскому полку, отстал; сказал, голова болит. Когда восставшие войска стояли уже в каре на площади, Якубович вдруг очутился в свите Николая. Подошел к царю и попросил у него позволения обратить бунтовщиков на путь законности. Царь позволил. Якубович навязал на свою саблю белый платок, быстро подошел к каре и вполголоса сказал:

– Держитесь! Вас крепко боятся.

И удалился. Больше его на площади не видели. «Храбрость солдата и храбрость заговорщика не одно и то же, – замечает по этому поводу М. Бестужев. – В первом случае, даже при неудаче, его ждут почести и награды, тогда как в последнем при удаче ему предстоит туманная будущность, а при проигрыше дела – верный позор и бесславная смерть». Якубович был отнесен к первому разряду государственных преступников и осужден на двадцать лет каторжных работ. Умер в Енисейске.

Он был высокого роста, смуглый; большие, черные навывкате глаза, словно налитые кровью, сросшиеся брови, огромные усы, коротко

остриженные волосы; когда улыбался, белые, как слонобая кость, зубы блестили из-под усов, две глубокие черты появлялись на щеках, и лицо принимало зверское выражение. Дар слова у него был необыкновенный. Держался театрально, был большой хвастун. М. И. Пущин сообщает, что перевязанным своим лбом он «морочил православный люд»; на Кавказе Якубович условился с офицером Верзилиным превозносить храбрость друг друга. Верзилин исполнил условие добросовестно, а Якубович разглашал противное про Верзилина, это еще более заставляло верить словам Верзилина про него. Никаких определенных политических убеждений Якубович не имел. По некоторым сведениям, Якубович был членом общества «Зеленая лампа». Но указывают, что он покинул Петербург в январе 1818 г., когда «Зеленой лампы» не существовало. Возможно, однако, что Якубович был членом компании Всеволожского до формального учреждения кружка. Трудно думать, чтоб кружок сразу мог быть основан людьми, не соединенными предварительно близким знакомством, общностью вкусов и настроений.

Федор Филиппович Юрьев (1796–1860)

Из помещиков Московской губернии. Служил в уланах – сначала в Литовском и Ямбургском полках, с 1818 г. – в лейб-гвардии уланском, состоял старшим адъютантом при легкой гвардейской кавалерийской дивизии. Черноусый красавец, баловень женщин. Был собутыльником Пушкина по кружку «Зеленая лампа». Ему Пушкин написал два послания: «Любимец ветреных Лаис» (1818) и «Здорово, Юрьев именинник» (1819). Юрьев увлекался театром и литературой, был постоянным посетителем литературных собраний у драматурга князя А. А. Шаховского, встречался там со многими писателями. Впоследствии служил по министерству финансов, был управляющим государственным коммерческим банком и умер в чине действительного статского советника.

Павел Борисович Мансуров (1795 – в 80-х)

Поручик лейб-гвардии конноегерского полка, член «Зеленой лампы», вращался в кругу веселящейся золотой молодежи, был

большой любитель театра. Родственник Н. В. Всеволожского.

Ухаживал за молоденькой воспитанницей театрального училища Крыловой. По этому поводу Пушкин писал ему:

*Мансуров, закадышный друг,
Надень венок терновый!
Вздыхни и рюмку выпей вдруг
За здоровье Крыловой.
Поверь, она верна тебе,
Как девственница Ласси,
Она покорствуется судьбе
И госпоже Казасси.
Но скоро счастливой рукой
Набойку школы скинет,
На бархат ляжет пред тобой
И... раздвинет.*

Ласси – французская актриса, отказавшая сватавшемуся за нее актеру Яковлеву. Г-жа Казасси – главная надзирательница театрального училища, очень строгая. В 1819 г. Мансуров уехал в Новгородскую губернию, вероятно, в командировку по военным поселениям. Пушкин писал ему туда: «Здоров ли ты, моя радость? Весел ли ты, моя прелесть?.. Мы не забыли тебя и в семь часов с половиной каж-

дый день поминаем в театре рукоплесканьями, вздохами – и говорим: свет-то наш Павел! Что-то делает он теперь? Завидует нам и плачет о Крыловой (разумеется, нижним...). Каждое утро крылатая дева летит на репетицию мимо окон нашего Никиты (Всеволожского), по-прежнему поднимаются на нее телескопы и... – но увы: ты не видишь ее, она не видит тебя, – оставим элегию, мой друг. Исторически буду говорить тебе о наших; все идет по-прежнему; шампанское, слава Богу, здорово, актрисы также, то пьется, а те... – аминь, аминь, так и должно. У Юрьева... слава Богу, здоров, а у меня открывается маленький, и то хорошо. Всеволожский Никита играет, – мел столбом, деньги сыплются!.. Толстой болен, не скажу чем, – у меня и так уже много... в моем письме. Зеленая лампа нагорела, кажется, гаснет, гаснет, а жаль, – масло есть (т. е. шампанское друга нашего)... Поговори мне о себе, – о военных поселениях, это все мне нужно – потому что я люблю тебя – и ненавижу деспотизм – прощай, лапочка».

В письме этом ярко отразился весь стиль жизни общества «Зеленой лампы»: шампан-

ское, как масло для лампы, беззаботно-веселое сожительство венерических болезней с ненавистью к деспотизму, сыплющихся на карточный стол червонцев с интересом к военным поселениям.

Василий Васильевич Энгельгардт (1785–1837)

Внук любимой сестры Потемкина Е. А. Энгельгардт, получивший от брата несметные богатства. Двоюродный брат графини Е. К. Воронцовой. Отставной полковник, богач, страстный картежник. Член общества «Зеленая лампа». Пушкин так характеризует его в послании к нему:

...счастливый беззаконник,
Ленивый Пинда гражданин,
Свободы, Вакха верный сын,
Венеры набожный поклонник
И наслаждений властелин.

Пушкин любил его за то, что он охотно играл в карты, и за остроумие. Его каламбуры и забавные куплеты ходили по городу. Еще мальчиком, в петербургском иезуитском пансионе, он приветствовал привезенного из Москвы для поступления в пансион князя П.

А. Вяземского такими стишками:

*Mon prince,
De quelle province?
– Cou-cou,
De Moscou[252].*

Товарищи проходу не давали Вяземскому с этими стишками.

Энгельгардт выстроил в Петербурге большой дом, напоминавший парижский Пале-Рояль, с кофейнями, ресторанами, гостиницей и большим залом, в котором давались концерты и публичные маскарады.

В близких отношениях Пушкин был с Энгельгардтом в период жизни своей в Петербурге до ссылки. Но и впоследствии видался с ним, обедал у него, брал займы деньги; умирая, остался должен ему 1330 руб.

Аркадий Гаврилович Родзянко (1793–1846)

Богатый полтавский помещик, сын уездного хорольского предводителя дворянства. Воспитывался в московском университетском Благородном пансионе, служил в лейб-гвардии егерском полку. Писал посредственные стихи, печатал их в журналах и альманахах,

но большинство их, по порнографичности содержания, не могло увидеть печати. Был членом «Зеленой лампы», там, вероятно, познакомился с Пушкиным. Был циник, человек мелкий и обидчиво-самолюбивый. Когда Пушкин был уже в ссылке, Родзянко задел его в недошедшей до нас сатире двумя стихами совершенно доносительского свойства:

*И все его права: иль два иль три
Ноэля,
Гимн Занду на устах, в руках
портрет Лувеля.*

Занда, немецкого студента, убившего агента русского правительства в Германии Коцебу, Пушкин воспел в «Кинжале», а портрет Лувеля, убийцы герцога Беррийского, с подписью: «Урок царям», он показывал знакомым в театре. Выходка Родзянки возмутила друзей Пушкина, а сам Пушкин в 1823 г. писал А. Бестужеву из Одессы: «...я уверен, что те, которые приписывают сатиру Родзянке, ошибаются. Он человек благородных правил и не станет воскрешать времена «слова и дела». Донос на человека сосланного есть последняя степень бешенства и подлости». В общем, однако,

Пушкин отнесся к случившемуся очень благодушно и уже через два месяца писал из Одессы брату: «...будет Родзянка-предатель, – жду его с нетерпением». Когда Пушкина выслали из Одессы, он по дороге заехал к Родзянке, жившему в отставке в богатом своем поместье Родзянках Хорольского уезда. Пушкин прискакал к нему с ближайшей станции верхом, без седла, на почтовой лошади в хомуте. Из Михайловского он вел игривую переписку в стихах и прозе с Родзянкой и Анной Петровной Керн, бывшими в то время в близких отношениях.

**Барон Антон Антонович Дельвиг
(1798–1831)**

Поэт, лицейский товарищ и друг Пушкина. По нем – в главе «Друзья». Был членом «Зеленой лампы», читал на ее собраниях стихи того же беззаботно-эпикурейского характера, как и послания Пушкина того времени. Видимо, такие стихи всего больше подходили к духу кружка. Вот, для примера, «горацианская ода» «Фанни», читанная Дельвигом на собраниях «Зеленой лампы»:

Мне ль под оковами Гимена

Все видеть то же и одно?
Мое блаженство – перемена,
Я дев меняю, как вино.
Чем с девой робкой и стыдливой
Случайно быть наедине,
Дрожать и миг любви счастли-
вой
Ловить в ее притворном сне:
Не слаще ли прелестной Фанни
Послушным быть учеником,
Платить любви беспечной дани
И оживлять восторги сном?

Фанни была, пользуясь выражением одного лицейского стихотворения Пушкина, «красавица младая, равно всем общая, как чаша круговая». В послании к Щербинину Пушкин, рисуя ждущую их в будущем старость, писал:

Тогда, качая головой,
Скажу тебе у двери гроба:
«Ты помнишь Фанни, милый мой?» –
И тихо улыбнемся оба.

Не следует удивляться, что солидный Дельвиг был членом кружка кутил и повес «Зеленой лампы». Дельвиг, как и Пушкин, любил «шум пиров и буйных споров, грозы полуночных дозоров». В 1824 г. он писал Пушкину:

«Нет ничего скучнее теперешнего Петербурга. Вообрази, даже простых шалунов нет! Квартальных некому бить. Мертво и холодно».

**Князь Сергей Петрович Трубецкой
(1790–1860)**

Из древнейшего рода удельных князей Трубчевских или Трубецких, потомков Гедимины. Сын состоятельного нижегородского помещика. Слушал лекции в Московском университете. Восемнадцать лет поступил на военную службу в лейб-гвардии Семеновский полк, участвовал в кампании 1812–1814 гг., выказал военные способности и незаурядное мужество; особенно отличился под Кульмом: командуя одним батальоном, не имея ни одного патрона, штыками выбил засевших в лесу французов. Под Лейпцигом был ранен ядром в ногу. Был одним из организаторов и деятельнейшим членом «Союза спасения» и «Союза благоденствия». Ник. Тургенев в ноябре 1818 г. писал о Трубецком в дневнике: «В нем я нахожу большую неутомимость в стремлении к добру». Трубецкой открыто вел пропаганду везде, где было возможно, – в светских гостиных, в кругах гвардейского

офицерства, в литературных обществах. Членом «Зеленой лампы» он был недолго, не более двух месяцев, весной 1819 г., перед отъездом за границу. Дошел список книг, рекомендованных Трубецким для чтения сочленам по «Лампе»; список свидетельствует о довольно элементарном образовательном уровне участников кружка; рекомендуются «История» Карамзина, История Суворова, Деяния Петра Великого, рядом с этим – Четьи-Минеи (!), «Церковная история» митрополита Платона; поражает в списке полное отсутствие книг политического содержания.

Осенью 1821 г. Трубецкой вернулся из-за границы и стал во главе новообразовавшегося Северного тайного общества. Вместе с Никитой Муравьевым и князем Е. П. Оболенским он был членом руководящей Думы общества, вел упорную борьбу с радикальными стремлениями Пестеля и Южного тайного общества. Перед 14 декабря Трубецкой был назначен диктатором готовившегося восстания. Он в это время был полковником Преображенского полка, заговорщики рассчитывали на его боевой опыт и на густые полковничьи

эполеты, которые должны были импонировать солдатам. Трубецкому было поручено встать во главе восставших войск, занять дворец и крепость, арестовать императора Николая, принудить сенат объявить манифест о создании временного правительства и созывании депутатов. Но в день 14 декабря Трубецкой на площадь не явился и оставил восставших без руководства; присягнул Николаю, «в унынии и страхе», как сам выразился, прятался в безопасных местах. На допросах каялся, на коленях молил Николая о помиловании, с возрастающим «чистосердечием» сообщил постепенно следственной комиссии все решительно, что знал. Был осужден на вечную каторгу.

Трубецкой был высокого роста, сухопар, с некрасивым продолговатым лицом и очень длинным носом. Женат был на дочери графа Лавалля Екатерине Ивановне. Она последовала за ним в Сибирь.

Александр Дмитриевич Улыбышев
(1794–1858)

Один из наиболее серьезных и интересных членов «Зеленой лампы». Сын богатого

нижегородского помещика, до шестнадцати лет воспитывался в Германии. По возвращении из-за границы сдал экзамен на право получения первого чина. По географии и статистике экзаменовал профессор Е. Ф. Зябловский. Свирепостью и придирчивостью он нагнал полнейшую панику на экзаменующихся. Дошла очередь до Улыбышева. Профессор спросил:

– Скажите, какие животные водятся в России?

Улыбышев озорно ответил:

– Лошади, коровы, бараны, ослы, професс...
Ах, извините, господин профессор.

Улыбышев служил в коллегии иностранных дел, заведывал редакцией официального органа министерства «Journal de St. Re'te'rsbourg», где, между прочим, помещал свои музыкальные рецензии. Был большой любитель музыки и театра. Его театральные отзывы и остроты повторялись публикой. Одна оперная певица считалась чуть не совершенством, но средние ноты были у нее слабые. Улыбышев отозвался о ней: «Она имеет слишком много для того, чтобы иметь доста-

точно».

В политическом отношении Улыбышев был настроен оппозиционно. В бумагах «Зеленой лампы» сохранилось, между прочим, несколько статей, читанных на собраниях кружка; по почерку и ряду других соображений Б. Л. Модзалевский считает автором этих статей Улыбышева. Характерна статья, озаглавленная «Сон». Автор видит во сне Россию, какой она будет через триста лет. «Мне казалось, что я среди петербургских улиц, но все до того изменилось, что мне было трудно узнать их. На каждом шагу новые общественные здания привлекали мои взоры, а старые, казалось, были использованы в целях, до странности непохожих на их первоначальное назначение. На фасаде Михайловского замка я прочел большими золотыми буквами: «Дворец Государственного Собрания». Общественные школы, академии, библиотеки всех видов занимали место бесчисленных казарм, которыми был переполнен город. Проходя перед Аничкиным дворцом, я увидел сквозь окна массу прекрасных памятников из мрамора и бронзы. Мне сообщили, что это русский

пантеон, т. е. собрание статуй людей, прославившихся талантами или заслугами перед отечеством. Я тщетно искал изображений теперешнего владельца этого дворца (императора Александра). Очутившись на Невском проспекте, я кинул взоры вдаль по прямой линии, и вместо монастыря, которым он заканчивается, я увидел триумфальную арку, как бы воздвигнутую на развалинах фанатизма». Постоянных войск нет, они заменены всенародным ополчением. Почтенный старец объясняет автору: «Мы не содержим больше этих бесчисленных толп бездельников и построенных в полки воров – этого бича не только для тех, против кого они посылают, но и для народа, который их кормит». На флагах вместо двуглавого орла – феникс, держащий в клюве венец из оливковых ветвей и бессмертника. «Как видите, мы изменили герб империи, – говорит спутник автора. – Две головы орла, которые обозначали деспотизм и суеверие, были отрублены, и из пролившейся крови вышел феникс свободы и истинной веры».

В 1830 г., после смерти отца, Улыбышев вы-

шел в отставку с чином действительного статского советника и поселился в своем нижегородском имении. Он оказался очень рачительным хозяином, к концу его жизни имение стало давать доходу до 50 тыс. руб. в год. Живя в деревне, Улыбышев написал на французском языке биографию Моцарта с обзором общей истории музыки и анализом главных произведений Моцарта. Книга была издана в 1843 г. в Москве и обратила на себя внимание и в Европе. При спорности многих взглядов Улыбышева труд этот, однако, настолько ценен, что уже в девяностых годах он был переведен на русский язык под редакцией М. И. Чайковского, брата композитора, со вступительной статьей известного в то время музыкального критика Г. А. Лароша. В Нижнем Новгороде, где Улыбышев проводил зиму, он был центром музыкальной и театральной жизни города, устраивал у себя концерты, в которых принимали участие и все приезжие музыкальные знаменитости; недурно сам играл на скрипке. Улыбышев писал также драмы обличительно-бытового характера. Одна из них, «Раскольники», рисующая

гонения полиции на раскольников, была после его смерти напечатана в «Русском архиве».

Дмитрий Николаевич Барков (1796–?)

Поручик лейб-гвардии егерского полка. Большой любитель театра, переводил театральные пьесы – драмы, комедии, оперные либретто; посещал литературные вечера князя А. А. Шаховского. Состоял членом «Зеленой лампы», каждое заседание давал отчеты о новых театральных постановках, носившие характер ординарных газетных рецензий. Писал плохие стихи. Увлекался оперной певицей Нимфодорой Семеновной Семеновой, сестрой знаменитой трагической актрисы Ек. С. Семеновой; у нее был небольшой, но очень приятный голос и привлекательная наружность. Пушкину приписывают такую эпигramму:

*Желал бы быть твоим, Семенова,
покровом,
Или собачкою постельною твоей,
Иль поручиком Барковым.
Ах, он поручик! ах, злодей!*

В 1827 г. Пушкин, рассматривая альбом Анны Петровны Керн, забавлялся тем, что стал в нем переводить французские стихи на русский язык и русские – на французский. «Д. Н. Барков, – рассказывает Керн, – написал одни всем известные стихи не совсем правильно, и Пушкин вместо перевода написал следующее:

*Не смею вам стихи Баркова
Благопристойно перевести,
И даже имени такого
Не смею громко произнести!*

Пушкин играл здесь тождественностью фамилии Баркова с фамилией поэта XVIII века, И. С. Баркова, знаменитого автора порнографических стихов.

Александр Андреевич Токарев
(? – 1821)

Был членом «Союза благоденствия», завербовал в него несколько членов. Принимал участие в кружке «Зеленая лампа»; в это время он служил секретарем при главном директоре императорских театров в чине коллежского асессора. Пописывая стишки в сатирическом духе, читал их на собраниях «Лампы».

Стихи в таком роде:

Тебе хвала и честь и ревностно
куренье;
Тебе я приношу сие стихотворе-
нье,
О сладкий аромат, о благовонный
злак,
От скуки верный щит, возлюблен-
ный табак!
Расти и процветай; плодись и
умножайся;
Крошися в картузы; в сигары зави-
вайся;
Во трубках без числа, как Вестин
огнь, пылай
И облаком густым до потолка
взлетай...

и т.д.

В сонете «На тленность земных вещей» автор перечисляет погибшие прославленнейшие сооружения древности и заключает так:

Сатурну все должно на свете по-
коряться,
Коль мира чудеса как сельный
гибли злак,

*То мне возможно ли роптать и
удивляться,
Что продрался и мой на локте
старый фрак?*

Приводим эти стихи, чтобы показать, какого рода литературные изделия приходилось выслушивать Пушкину на собраниях «Зеленой лампы».

Токарев впоследствии был орловским губернским прокурором и умер в 1821 г.

**Князь Дмитрий Иванович Долгоруков
(1797–1867)**

Сын известного в свое время поэта князя Ив. М. Долгорукова. Служил в коллегии иностранных дел, был членом «Зеленой лампы». Писал стихи.

*Не шути, мой ангел милой, –
Век недолог для меня:
Он не будет там унылой,
Где с тобой увижусь я...
Кто с печалью сдружился,
Для того сей в тягость свет,
Кто несчастливый родился, –
Для того надежды нет.
Я умру для жизни новой
С образом твоим в очах,*

*Сброшу бедствия оковы
С именем твоим в устах.*

Пушкин с ним, по-видимому, дружил. В августе 1821 г. он писал Сергею Тургеневу из Кишинева: «Долгоруков меня забыл».

Впоследствии Долгоруков был посланником в Тегеране и сенатором.

Иван Евстафьевич Жадовский
(? – не ранее 1863)

Служил в лейб-гвардии Семеновском полку, в 1817 г. переведен полковником в один из гренадерских полков. В марте 1819 г. уволен от службы «за ранами, с мундиром и пенсионом полного жалованья». Был членом «Зеленой лампы». «Однажды, – сообщает Яков Толстой, – отставной полковник Жадовский объявил обществу, что правительство имеет о нем сведения и что мы подвергаемся опасности, не имея дозволения на установление общества. С сим известием положено было прекратить заседания, и с того времени общество рушилось».

В Петербурге до ссылки

Павел Александрович Катенин (1792–1853)

Сын помещика, генерала. Служил на военной службе, в кампанию 1812–1814 гг. участвовал в ряде сражений, отличился под Бородиным и Лейпцигом. Когда с ним по окончании лицея познакомился Пушкин, был капитаном лейб-гвардии Преображенского полка. Член «Союза благоденствия». Человек исключительной образованности и начитанности, с блестящей памятью, знавший много иностранных языков, несокрушимый спорщик, поэт, переводчик Корнеля, прекрасный декламатор; когда он читал свои плохие стихи, они казались слушателям безупречными; у него учились актриса А. М. Колосова, актер В. А. Каратыгин. Тяготел к шишковизму, принадлежал к группе молодых архаистов, в которую входили Грибоедов, Кюхельбекер, Жандр; в общественно-политическом отношении резко расходясь с заскорузлым консерватизмом старых шишковистов (Шишков, Шаховской, Шихматов), члены этой группы

сходились с ними в требованиях обращения к национальным русским темам, сохранения древнеславянских форм языка и введения в него «просторечия», боролись с Карамзиным и Жуковским. Пушкин, принадлежавший к другой литературной группировке, сильно, однако, тянулся к Катенину, к его уму и образованности, к ряду его литературных мнений. В 1818 г. он пришел к Катенину, подал ему свою трость и сказал:

– Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи!

Катенин ответил:

– Ученого учить – портить.

С тех пор у них установились дружеские отношения. Обращение Пушкина к Катенину совпало с переломом в литературных воззрениях Пушкина и с отходом его от безусловного преклонения перед Карамзиным и Жуковским. В это время как раз распался и «Арзамас». Впоследствии Пушкин писал Катенину: «...ты отучил меня от односторонности в литературных мнениях, а односторонность есть пагуба для мысли». Новейшие исследователи приписывают именно влиянию Катенина

подчеркнуто простонародный язык «Руслана и Людмилы», так возмущивший литературных староверов, а также введенную в поэму пародию на «Двенадцать спящих дев» Жуковского. Прототип таких пушкинских баллад, как «Жених» и «Утопленник», исследователи эти видят в балладах Катенина «Убийца» и «Ольга». Влияние Катенина на Пушкина в начале их знакомства сказывалось даже в том, что Пушкин бессознательно перенимал у Катенина его жесты, манеру говорить и держаться. Катенин свез Пушкина к князю А. А. Шаховскому и помирил их. Он же, по-видимому, был одним из секундантов-гвардейцев, с которыми Пушкин явился к майору Денисевичу, обидевшему его в театре.

Катенин был небольшого роста, очень стройный, с ядовито-насмешливой улыбкой и лукавым взглядом, необычайно подвижный, вспыльчивый, охотник затевать споры. Вигель про него пишет: «Круглолицый, полнощечий и румяный, как херувим на вербе, он вечно кипел, как кофейник на конфорке... Видал я людей самолюбивых до безумия, но подобного ему не встречал, у него было самое

странное авторское самолюбие: мне случилось от него самого слышать, что он охотнее простит такому человеку, который назовет его мерзавцем, плутом, нежели тому, который хотя бы по заочности назвал его плохим писателем; за это готов он вступить с оружием в руках». Самолюбие Катенина было действительно совершенно исключительное, доходившее до болезненности, и друзья очень опасались его задевать. Таких обид Катенин не прощал. Однажды он горячо нападал на Крылова, почти отрицая его дарование. Сопутчик возразил:

– Да у тебя, верно, какая-нибудь личность против Крылова.

– Нисколько. Критикую его с одной литературной точки зрения. – И потом вдруг добавил: – Да он и нехороший человек: при избрании моем в Академию этот подлец один из всех положил мне черный шар.

Пушкин впоследствии отзывался о Катенине: «...характером он принадлежит к восемнадцатому столетию: та же авторская мелкость и гордость, те же литературные интриги и сплетни». У Катенина было много сопут-

ствующих данных для крупного поэта: ум, вкус, образованность, смелость суждения, отвлечение к протоптанным тропинкам; не было только одного – подлинного поэтического дарования. «Без искры животворящего гения, – говорит И. Н. Розанов, – он был только пародией крупного писателя».

В 1822 г., уже после высылки Пушкина из Петербурга, принужден был оставить Петербург и Катенин; он тогда уже был в отставке. В театре шла трагедия Озерова «Поликсена» со знаменитой Семеновой и В. А. Каратыгиным; публика больше хлопала Каратыгину, чем Семеновой. В пьесе дебютировала и актриса Азаревичева, протеже Семеновой. Когда на вызовы вышла Семенова, ведя с собой Азаревичеву, Катенин крикнул: «Не надо Азаревичеву! Каратыгина!» Семенова пожаловалась петербургскому генерал-губернатору Милорадовичу, и тот запретил отставному полковнику Катенину посещать театры, о чем уведомил императора Александра, бывшего в то время в Вероне. Ответ был получен такой: «Как отставной полковник Катенин и на предь сего замечен был неоднократно с невы-

годной стороны и удален из лейб-гвардии Преображенского полка, то его величество повелевает выслать г. Катенина из Петербурга с запрещением въезжать в обе столицы». Театральная история была только предлогом. У императора были подозрения о принадлежности Катенина к Тайному обществу. Катенин поселился в своем костромском имении и прожил там с небольшими перерывами около десяти лет. В 1832 г. переехал в Петербург. В 1833 г. он, одновременно с Пушкиным, был избран в члены Российской академии. Впоследствии еще некоторое время служил на военной службе, в 1838 г. вышел в отставку генерал-майором и поселился в деревне. Во всей губернии он слыл за большого вольнодумца, насмешника и безбожника.

Позднейшее отношение Пушкина к Катенину было двоящееся и трудно определяемое. Пушкин привлек Катенина к сотрудничеству в «Литературной газете», в письмах к нему и в печатных отзывах осыпал преувеличенными похвалами, даже в письмах к литературным врагам его, князю Вяземскому и А. Бестужеву, высказывал сожаление, что они не ла-

дят с Катениным, и выражал надежду, что они наконец отдадут ему справедливость. С другой же стороны, писал о Катенине, например, так: «Катенин опоздал родиться, – не идеями (которых у него нет), но характером принадлежит он к XVIII столетию. Он приезжает к поэзии в башмаках и напудренный и просиживает у нее целую жизнь с платонической любовью, благоговением и важностью». К 1828 г. относится характерная поэтическая ошибка Катенина с Пушкиным. Пушкиным только что были написаны стихи «К друзьям»: «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю». Катенин послал Пушкину длинное стихотворение «Старая быль». Перед князем Владимиром состязаются два певца: скопец-грек и русский воин «средних лет». Грек в песне своей восхваляет князя:

*Кого же воспевает певец,
Кого, как не царей державных,
Непобедимых, православных,
Носящих скипетр и венец?*

Радуетса за царских птичек в клетках, не знающих «мнимой свободы» и вкушающих отраду «в божественной неволе», поет о «все-

августейшем персте», отвергающем уста поэта для сладких песен. Русский воин стоит «безмолвно и в землю потупивши взор». Князь Владимир предлагает ему отказаться от состязания со сладкогласным эллином, и русский воин на это соглашается:

*Ни с эллином спорить охоты мне
нет,
Ни петь я, как он, не умею.
Певал я о витязях смелых в боях,
Давно их зарыты могилы,
А петь о великих князьях и царях
Ума не достанет, ни силы.*

Князь Владимир дает в награду русскому воину второй приз – кубок. В посвящении к своей пьесе Катенин, как бы стараясь нейтрализовать едкость скрытых в ней упреков, пишет Пушкину, что в настоящее время кубок этот находится во владении Пушкина. Пушкин ответил Катенину ироническим посланием:

*Напрасно, пламенный поэт,
Свой чудный кубок мне подносишь
И выпить за здоровье просишь:
Не пью, любезный мой сосед!*

*Товарищ милый, но лукавый,
Твой кубок полон не вином.
Но упоительной отравой...*

и т.д.

В 1834 г. Катенин издал стихотворную сказку «Княжна Милуша». В посвящении к сказке этот «русский воин средних лет», бывший член «Союза благоденствия», писал так:

*Почтеннейший! Хотя б всего один
Нашелся ты в России просвещенной,
Каких ищущ: во-первых, дворянин
И столбовой, служивой и военной,
Душой дитя с начитанным умом,
И русский всем, отцом и молодым,
Коли прочтя в досужий час, Милушу
Полюбишь ты, я критики не
струшу.*

**Князь Александр Александрович
Шаховской
(1777–1846)**

Известный в свое время драматург и театральный деятель. Сын небогатого смолен-

ского помещика. Обучался в московском Благородном пансионе, оттуда поступил в лейб-гвардии Преображенский полк. Увлекался театром, пробовал писать комедии. В 1802 г. вышел в отставку с чином штабс-капитана и занял место начальника репертуарной части петербургских театров. Был ярким классиком и литературным старовером, вместе с Шишковым стоял во главе «Беседы любителей русского слова» и вел борьбу с Карамзиным и Жуковским. Поставил на сцене ряд комедий, из которых многие имели большой успех. Шум вызвали комедии «Новый Стерн» (1804), в которой высмеивался Карамзин и сентиментализм, и «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1815), где под именем балладника Филкина был выведен Жуковский. Этот выпад его против Жуковского послужил непосредственным поводом к созданию общества «Арзамас», поведшего борьбу с «Беседой». Пушкин принимал деятельное участие в этой борьбе и высмеивал в своих стихах Шаховского под присвоенным ему именем «Шутовского». Шаховской, однако, был писатель не без достоинств. Комедии его для своего време-

ни были остры и забавны. Он был в близких отношениях с «молодыми архаистами» – Грибоедовым, Катениным, Жандром, Кюхельбекером; одна из пьес написана им в сотрудничестве с Грибоедовым и Хмельницким. Отмечают в комедиях Шаховского целые монологи, служащие как бы прототипами монологов в «Горе от ума». Шаховской первый стал употреблять в комедии вместо тяжелого александрийского стиха легкий вольный стих, закрепленный Грибоедовым в «Горе от ума». Постепенно стал сдавать свои непримиримые классические позиции, брал сюжеты из Шекспира, Вальтера Скотта, впоследствии – и из Пушкина.

Шаховской был довольно высокого роста, тучный, с огромным животом и очень безобразный. На широком лице – длинный, загнутый совиный нос, щеки и подбородок ложились на белую косынку, обмотанную вокруг толстой, короткой шеи; волосы длинные и очень жидкие, неопределенного цвета. При тучности своей был очень живой, подвижный, говорил без умолку. Шепелявил, не выговаривал «р» и еще несколько букв. Однако

был прекрасный сценический учитель. На репетициях горячился, передразнивал и сыпал колкими фразами. Случалось, что он становился на колени, кланялся в ноги и плаксиво-карикатурным тоном умолял актера выражать чувства теплее, по-человечески. Или яростно кричал:

– Зарычал, завыл! У тебя, миленький, каша во рту, ни одного стиха не разберешь! На ярманках в балагане тебе играть!

Или:

– Опять зазюсюкал, миленький! Ведь ты с придворной дамой говоришь, а не с горничной, что губы сердечком складываешь!

Одна актриса обиделась на него и сказала:

– Я вам не девочка.

– Ах, душа, давно знаю, что ты не девочка!

Актриса упала в обморок, а князь растерялся и сконфуженно сказал:

– Должно быть, я сказал какую-нибудь глупость.

Только когда читала свою роль знаменитая Семенова, Шаховской не останавливал ее и покачивал в такт головой, точно слушал музыку. Рассказывали про него много нехоро-

шего: что он сводничал молодых актрис генерал-губернатору Милорадовичу, что был очень пронырлив, что его интригами вызвано было обострение душевной болезни раздражительно-самолюбивого драматурга Озерова. Эти последние слухи имел в виду Пушкин, когда в послании к Жуковскому (1816) обращался к поэтам-товарищам:

*Смотрите: поражен враждебными
стрелами,
С потухшим факелом, с недвиж-
ными крылами,
К вам Озерова дух взывает: други!
мечь!..*

Шаховской не был женат, а жил в «гражданском браке» с Ек. Ив. Ежовой, актрисой на роли комических старух, женщиной малообразованной. Квартира их помещалась на самом верхнем этаже, знакомые называли ее чердаком. После театра в «чердак» этот ежедневно съезжались театралы и засиживались до двух-трех часов ночи. Хозяин был очень любезен, всегда весел, разговор его о всех предметах был занимателен и разнообразен. В доме его встречались самые разнообразные

люди; бывали Крылов, Гнедич, Грибоедов, Ал. Бестужев, Катенин; можно было увидеть тут и литератора, и артиста, и даровитого актера, и хорошенькую актрису, и шалуна-офицера, иногда и ученого-академика. В 1818 г. Катенин свез к Шаховскому Пушкина. Шаховской принял его очень радушно. Когда Пушкин с Катениным возвращались ночью в санях от Шаховского, Пушкин сказал:

– Знаешь, в сущности, он очень славный малый. Никогда я не поверю, чтоб он хотел серьезно вредить Озерову или кому-нибудь другому.

– Однако ты этому поверил, – возразил Катенин, – ты это написал и напечатал, вот что плохо.

– К счастью, никто не читал моей школьной пачкотни, как ты думаешь, знает он что-нибудь?

– Нет, он мне никогда об этом не говорил.

– Тем лучше. Последуем его примеру и никогда не будем говорить об этом.

Впоследствии Пушкин писал Катенину, что вечер на «чердаке» Шаховского был одним из лучших вечеров его жизни. В первой

главе «Онегина», говоря о театре, Пушкин писал:

*Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой.*

**Николай Иванович Кривцов
(1791–1843)**

Сын богатого орловского помещика, имевшего до двух тысяч душ. Получил хорошее домашнее образование, потом поступил в лейб-егерский полк в Петербурге. Был большого роста, атлетического сложения, с крутой грудью, черноволосый, с прекрасным, высоким лбом. Отличался «скромным до излишества поведением», которое товарищи объясняли его гордостью, трудолюбием и страстью к аристократическому обществу. В Бородинской битве был ранен в руку, взят в плен; вместе с больными французскими офицерами лежал в московском Воспитательном доме, обращенным в госпиталь. Когда французы покинули Москву, народ и казаки стали избивать отставших и раненых французов. Толпа ворвалась в Воспитательный дом. Кривцов надел мундир, объявил, что он – мос-

ковский генерал-губернатор, грозно накричал на толпу и заставил ее удалиться. Оправившись от раны, Кривцов опять отправился в армию. В битве под Кульмом ему оторвало ядром левую ногу. В госпитале он лежал рядом с умирающим от ран Моро – знаменитым генералом первой французской республики, изгнанным Бонапартом из Франции и приглашенным императором Александром I из Америки для участия в войне против Наполеона. Александр, посещая Моро, обратил внимание на Кривцова. После взятия Парижа Кривцов жил в одном доме с Лагарпом, бывшим воспитателем Александра. Лагарп очень любил Кривцова и отрекомендовал его Александру как замечательного во всех отношениях человека. Чем-то Кривцов сумел вызвать к себе в русском императоре совершенно исключительную симпатию. Он получил пять тысяч червонцев на лечение, произведен в подполковники и прикомандирован к царской свите. И до самой смерти Александр продолжал оказывать Кривцову покровительство и проявлять свое благоволение. По заключении мира Кривцов остался в Париже

при русском посольстве. Много читал, учился, наблюдал, познакомился с рядом выдающихся деятелей – Шатобрианом, Ж. Б. Сеем, Талейраном, побывал в Германии, Швейцарии, Бельгии, Англии. В Англии ему сделали искусственную ногу столь хорошо, что почти незаметна была его хромота; он мог даже танцевать. За время пребывания своего за границей Кривцов приобщился к либеральным идеям Запада и в 1817 г. возвратился в Петербург отменным «вольтерьянцем» и «якобинцем» как в религиозном, так и в политическом отношении. Вскоре он стал своим человеком в петербургских литературных кружках, познакомился с Карамзиным, Жуковским, князем Вяземским, братьями Тургеневыми. У Тургеневых встретился он с Пушкиным, только что выпущенным из лицея, и был поражен его умом. Они сошлись. По-видимому, тогдашнее беззаботно-эпикурейское жизнеотношение Пушкина вызывало со стороны Кривцова возражения, на которые Пушкин ответил посланием к нему:

*Не пугай нас, милый друг,
Гроба близким новосельем:*

*Право, нам таким бездельем
Заниматься недосуг.
Пусть остылой жизни чашу
Тянет медленно другой,
Мы ж утратим юность нашу
Вместе с жизнью дорогой...
Смертный миг наш будет светел,
И подруги шалунов
Соберут их легкий пепел
В урны праздные пиров.*

В начале 1818 г. Кривцов снова определился на службу при русском посольстве в Лондоне. Когда он уезжал, Пушкин лежал больной и послал ему на дорогу в подарок «Орлеанскую девственницу» Вольтера с приложением стихотворного послания к Кривцову («Когда сожмешь ты снова руку...»). Старшим друзьям Пушкина не нравилось влияние на Пушкина вольнодумного Кривцова. А. Тургенев с огорчением писал Вяземскому: «Кривцов не перестает развращать Пушкина и прислал ему безбожные стихи из благочестивой Англии». В Лондоне Кривцов пробыл два года, но был он характера очень неуживчивого и раздражительного, не поладил с русским послом князем Ливеном и в 1820 г. воротился в

Петербург. Приехал он ярым англоманом и таким оставался в течение всей остальной жизни. Но от «якобинства» осталось в нем уже очень мало. «Кривцов уже вышел из полка либералистов», – писал Карамзин Дмитрию. Задумав жениться, Кривцов поехал в Варшаву, где в это время был император Александр, и выхлопотал себе у него такое количество милостей, что мы можем только развести в недоумении руками. Совершенно неизвестно, за что, единственно из личного расположения к Кривцову, Александр пожаловал ему: аренду в десять тысяч рублей, сто тысяч займы без залогу и без процентов на десять лет (эти долги обыкновенно прощались или никогда не взыскивались), фрейлинский вензель для его невесты, губернаторское место на выбор и дом для житья в Царском Селе. Анненков в черновых своих записях сообщает со слов Я. Сабурова: «Данные ему царем сто тысяч рублей на свадьбу Кривцов употребил буквально на свадьбу, но с женой жил плохо, будучи педерастом, чего не скрывал. Был образованный человек, вольтерьянец и эпикурец – с честными правилами на службе».

В 1823 г. Кривцов стал губернатором в Туле. Началась административная деятельность этого «ярого англомана», представляющая из себя самую фантастическую смесь проявления корректнейшей английской законности с самым разнузданным российским произволом. Кривцов завел в Туле порядок, подтянул распущенное чиновничество, а однажды высек почтмейстера за то, что он отказался дать ему лошадей, приготовленных для императора. Кривцова перевели «для поправления губернии» в Воронеж. Там он опять горячо стоял за правосудие. Рассмотрев однажды жалобу челобитчика, Кривцов нашел его совершенно правым и уверил, что дело его не может быть проиграно. Но дело он проиграл и пришел с этим известием к Кривцову. Кривцов изумился:

– Как?! Я только вчера подписал дело в вашу пользу!

Немедленно поехал в присутствие. Оказалось вот что: черновое решение, просмотренное Кривцовым, было, правда, в пользу челобитчика, но при переписке подкупленные чиновники переделали решение, а Кривцов, не

читая, подписал. Кривцов в бешенстве разорвал журнал и уехал домой. Чиновники послали за прокурором, и было составлено донесение в сенат, что губернатор помешался. Началось следствие, Кривцова тем временем, опять «для поправления губернии», перевели в Нижний Новгород. Там он, должно быть, опять насаждал правосудие, но, между прочим, побил исправника, а вскоре, по высочайшему повелению, подпал дознанию о бесчеловечных побоях, которым подвергал ямщиков и сельских старост, частью собственноручно, частью через полицейских чиновников, при проезде из Нижнего в тамбовскую деревню жены. Все это, вероятно, опять кончилось бы переводом Кривцова в другую губернию для ее «поправления», но в это время умер Александр, лично знавший и любивший Кривцова. Вспыхнуло 14 декабря. В нем оказались замешанными брат Кривцова Сергей и три его шурина. Кривцов был отставлен «за строптивость нрава», аренда была ему прекращена и велено с него взыскать данные ему займы сто тысяч рублей. С уничтоженной карьерой, с расстроенным состоянием,

с озлобленной душой Кривцов поселился в тамбовской деревне своей жены. Собственное его имение было продано за казенное взыскание с публичного торга. В имении жены было 3000 десятин и 500 душ крестьян. Он энергично принялся хозяйствовать, – так энергично, что крестьяне взбунтовались. Ни бунт этот, ни ряд неурожаев, ни затеянный Кривцовым процесс с приятелем-соседом не помешали ему поправить пошатнувшиеся свои дела, и вскоре он привел хозяйство в образцовый порядок; соседи приезжали к нему за советами; уважение, смешанное со страхом, он внушал даже местным властям, которые ездили к нему на поклон. Деревенскую жизнь Кривцов понемногу полюбил; в ней тоже было что-то английское: англичане живут в своих поместьях, а в Лондоне только гостят. В деревне Кривцов выстроил каменную готическую английскую башню. Кабинет и все комнаты дома содержались в примерной английской чистоте; полы обиты были мягкими, пушистыми коврами, а так как мужицкая обувь мало полезна для ковров, то Кривцов прорубил из комнат окно в сени, в назначенный час старо-

ста всовывал в окно бородатую свою голову, делал барину доклады и выслушивал его распоряжения. Род Кривцовых был недавний и незнатный, но он убедил себя в большой его древности и знатности. К гербу своему постоянно сочинял разнообразнейшие девизы, – увы! никогда не утвержденные герольдией. Герб свой Кривцов помещал, где только было возможно. Им увенчаны были киоты образов деревенской его церкви, им, по завещанию Кривцова, украшен был его надгробный памятник, – а под гербом ряд девизов: «*veritas salusque publica* (правда и общественное благо)», «*pesci timeo, pesci spero* (не боюсь и не надеюсь)» и др. Знавшие Кривцова утверждают, что он был человек умный. Вяземский о нем пишет: «Он не был человеком ни увлечения, ни утопии. Был он более человеком рассудка, разбора, анализа. Можно было признать в нем некоторую холодность, некоторый скептицизм. Не знаю, был ли он способен к дружбе в полном значении этого слова, но он питал чувство искренней приязни и уважения к некоторым исключительным лицам и остался им верен до конца». После высылки своей

из Петербурга Пушкин переписывался с Кривцовым, но до нас дошли только два его письма. Осенью 1824 г. он писал: «...правда ли, что ты стал аристократом? Это дело. Но не забывай демократических друзей 1818 года... Все мы переменялись. А дружба, дружба...» За неделю до свадьбы своей Пушкин написал Кривцову письмо, совершенно необычное для Пушкина: письма его вообще очень мало знакомят нас с интимными его переживаниями, – Пушкин был исключительно скрытен. Это же письмо поражает глубокой откровенностью, с которой Пушкин высказывает все свои колебания, сомнения и опасения, связанные с предстоящей женитьбой. Либо уж очень тяжело было Пушкину, либо отношения его с Кривцовым были действительно дружеские.

**Кондратий Федорович Рылеев
(1795–1826)**

Сын мелкопоместного дворянина. Отец состоял главноуправляющим имениями одного из князей Голицыных, был человек скупой, жестокий и деспотичный; бил жену, запырал ее в погреб; бил и сына. Мать была

женщина забитая и кроткая. Мальчик поступил в первый кадетский корпус в Петербурге. Учился он порядочно, много читал. Товарищи очень любили Рылеева, он был коноводом во всех шалостях, часто принимал на себя вину товарищей; с начальством держался дерзко и вызывающе, его секли нещадно, но он под розгами молчал, а вставши на ноги, опять начинал грубить офицеру. В 1814 г. Рылеев окончил курс и был выпущен прапорщиком в конно-артиллерийскую бригаду. В 1814–1815 гг. участвовал в кампании против Наполеона, побывал в Париже. По возвращении из похода в течение трех лет стоял со своей бригадой в Воронежской губернии. Отец его умер в 1814 г., оставив дела в очень запутанном состоянии; Голицыны, имениями которых он управлял, сделали на него начет в 80 тыс. рублей и в этой сумме предъявили иск к наследникам; дело тянулось долго и не закончилось еще к смерти Рылеева. В 1818 г. Рылеев вышел в отставку с чином подпоручика, женился в 1820 г. на дочери острогожского помещика. Весной этого года он побывал в Петербурге, а с осени следующего года окончательно

поселился в нем. У матери Рылеева было небольшое имение в шестидесяти верстах от Петербурга. Рылеев был избран от дворянства в заседатели петербургской уголовной палаты. Избрание никому не известного мелкого помещика на эту должность может показаться странным. Но в то время судебные учреждения славились колоссальным взяточничеством и крючкотворством, и уважающий себя дворянин считал позором пачкать свое имя службой в подобных учреждениях. Однако молодые люди, стремившиеся к действительно полезной общественной деятельности, поступали именно в такие гиблые учреждения, чтобы в них бороться за правду и справедливость. В той же петербургской уголовной палате служил в это время и И. И. Пущин, лицейский друг Пушкина, переменивший блестящее положение гвардейского офицера на скромное звание члена палаты. В должности своей Рылеев проявил большую независимость и смелость. Крестьяне графа Разумовского, изнуренные непосильными поборами, взбунтовались и были усмирены силой. Дело о них было передано в уголовную

палату. Император, вельможи, судьи – все были против. Один Рылеев взял сторону крестьян и энергично отстаивал их правоту. Декабрист Н. А. Бестужев рассказывает: «Сострадание к человечеству, нелюбовь к нелицеприятию, пылкая справедливость, неутомимое защищение истины сделало Рылеева известным в столице. Между простым народом имя его и честность вошли в пословицу. Однажды по важному подозрению схвачен был какой-то мещанин и представлен военному губернатору Милорадовичу. Сделали ему допрос. Милорадович грозил ему всеми наказаниями, если он не сознается. Но мещанин был невинен и не сознавался. Тогда Милорадович пригрозил, что отдаст его под уголовный суд, зная, как неохотно русские простолюдины вверяются судам. Мещанин упал ему в ноги и с горячими слезами стал благодарить. «Какую же милость оказал я тебе?» – спросил губернатор. «Вы меня отдали под суд, – отвечал мещанин, – и теперь я знаю, что избавлюсь от всех мук и привязок; знаю, что буду оправдан: там есть Рылеев, он не дает погибать невинным!» В 1824 г. Рылеев перешел на службу правите-

лем канцелярии Российско-американской компании. Это место дало ему некоторое материальное обеспечение.

Рылеев начал писать стихи еще в корпусе. Выдвинулся он своей сатирой «К временщику», напечатанной в «Невском зрителе» за 1820 г. В подзаголовке было указано, что это – «подражание Персиевой сатире: К Рубеллию». В действительности это было оригинальное произведение, где с неслыханной смелостью поэт обращался к ненавистному временщику Аракчееву:

*Надменный временщик, и подлый,
и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг
неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны
своей,
Внесенный в важный сан проныр-
ствами злодей!..
Как ни притворствуешь и как ты
ни хитришь,
Но свойства злобные души не ута-
ишь:
Твои дела тебя изобличат народу;
Познает он, что ты стеснил его*

свободу,
Налогом тягостным довел до ни-
щеты,
Селения лишил их прежней красо-
ты...
Тогда вострепещи, о временищик
надменный!
Народ тиранствами ужасен разъ-
яренный!

В «лишенных красоты селениях» заклю-
чался совершенно ясный намек на аракчеев-
ские военные поселения с их казарменной
перестройкой деревень. Сатира произвела в
обществе огромную сенсацию. Не догадались
ли наверху об истинном смысле сатиры,
предпочли ли притвориться недогадавшими-
ся, но никаких репрессий за нее не последо-
вало. Вся дальнейшая поэтическая деятель-
ность Рылеева была также направлена на об-
щественное служение; поэзия была для Рыле-
ева средством борьбы, способом будить в лю-
дях стремление к свободе, к справедливости,
к исполнению гражданского долга. «Я не по-
эт, я гражданин», – заявлял он. В целом ряде
«дум» Рылеев дал короткие поэмки об истори-
ческих русских деятелях – Артамоне Матвее-

ве, Якове Долгорукове, Артемии Волынском, идеализируя их как борцов за правду и свободу.

В думе «Волынский» он, например, говорит:

*Отец семейства, приведи
К могиле мученика сына:
Да закипит в его груди
Святая ревность гражданина!
Любовью к родине дыша,
Да все для ней он переносит –
И, благородная душа,
Пусть личность всякую отбро-
сит.
Пусть будет чести образцом,
За страждущих – железной гру-
дью
И вечно заклятым врагом
Постыдному неправосудью.*

С каждым годом талант Рылеева рос, освобождался от налета риторики, прозаизмов и романтических приукрашений. Формировался крепкий гражданский поэт, достойный предшественник Некрасова. В неоконченной поэме «Наливайко» этот предводитель казаков в борьбе с польской шляхтой говорит у

Рылеева:

*Известно мне: погибель ждет
Того, что первый восстает
На утеснителей народа;
Судьба меня уж обрекла,
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной, –
Я это чувствую, я знаю,
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!
(«Исповедь Наливайки»)*

Те стихи Рылеева, которые не могли увидеть печати, расходились в списках и восторженно заучивались молодежью. Герцен рассказывает: «Я помню, как ударял, словно колокол на первой неделе поста, серьезный стих Рылеева и звал на бой и гибель, как зовут на пир».

Вместе с другом своим А. А. Бестужевым Рылеев издавал альманахи «Полярная звезда». Альманахи составлялись с большим вкусом, давали на своих страницах произведения лучших писателей того времени и пользовались у публики огромным успехом. Меж-

ду прочим, издатели первые ввели систематическую оплату печатаемых статей гонораром, – до той поры этого в обычае не было.

Рылеев был среднего роста, хорошо сложен. От широкого лба лицо резко суживалось к подбородку, большие, темные глаза были поставлены на лице чуть-чуть косо и стояли друг от друга несколько дальше обычного; губы тонкие и извилистые; темные, слегка вьющиеся волосы. Ходил, слегка наклонив голову вперед. Профессор Никитенко, получивший свободу от крепостной зависимости главным образом благодаря энергии Рылеева (о нем в главе «Писатели»), рассказывает: «Я не знавал другого человека, который обладал бы такой притягательной силой, как Рылеев. С первого взгляда он вселял вам как бы предчувствие того обаяния, которому вы неизбежно должны были подчиниться при более близком знакомстве. Стоило улыбке озарить его лицо, а вам самим поглубже заглянуть в его удивительные глаза, чтобы всем сердцем безвозвратно отдаться ему. В минуты сильного волнения или поэтического возбуждения глаза его горели и точно искрились. Становилось

жутко: столько было в них сосредоточенной силы и огня».

Рылеев не выносил аристократов. Он участвовал в нескольких дуэлях в качестве либо действующего лица, либо секунданта, где каждый раз дело шло о том, чтобы осадить человека, пользовавшегося своим привилегированным положением для некорректных действий. Гвардейский офицер князь Шаховской свел связь с побочной сестрой Рылеева. Рылеев, вступаясь за честь скомпрометированной сестры, вызвал Шаховского на дуэль. Тот отказался. Рылеев публично плюнул ему в лицо. Стрелялись на близком расстоянии. Пуля Рылеева ударила в дуло пистолета Шаховского, вследствие этого пуля Шаховского, целившего Рылееву в лоб, отклонилась и ранила Рылеева в ступню. Другая дуэль, в которой Рылеев участвовал в качестве секунданта, наделала большого шума. Блестящий лейб-гусар, флигель-адъютант Новосильцев, ухаживал за сестрой семеновского офицера Чернова, двоюродного брата Рылеева. Сделал предложение, оно было принято. Но потом Новосильцев сбежал, несколько раз

имел объяснения с братом невесты, каждый раз давал обещание жениться. В конце концов граф Сакен (впоследствии фельдмаршал), начальник отца невесты, желая угодить влиятельной матери Новосильцева, принудил Чернова-отца послать отказ Новосильцеву. Чернов-сын вызвал Новосильцева на дуэль. В письме, написанном перед дуэлью, Чернов писал: «Пусть паду я, но пусть падет и он, в пример жалким гордецам, и чтобы золото и знатный род не насмехались над невинностью и благородством души». Оба противника были тяжело ранены и через несколько дней умерли. Похороны Чернова превратились в общественную манифестацию, масса знакомых убитого и незнакомых сопровождала гроб, на памятник было собрано десять тысяч рублей. Энергичным организатором демонстрации был Рылеев. На смерть Чернова он написал стихотворение, быстро разошедшееся в списках:

*Клянемся честью и Черновым, –
Вражда и брань временищам.
Царя трепещущим рабам,
Тиранам, нас угнестъ готовым!*

*На наших дев, на наших жен
Дерзнет ли вновь любимец сча-
стья
Взор бросить, полный сладостра-
стья, –
Падет, перуном поражен!*

Рылеев принадлежал к тому редкому типу художников, – типу Данте и Байрона, – у которых их слово стремится воплотиться в непосредственное дело. Иван Иванович Пущин, товарищ Рылеева по службе в уголовной палате, принял его в начале 1823 г. в Северное тайное общество прямо во вторую ступень, в число «убежденных». Революционное настроение, которое год от года росло и крепло в Рылееве, нашло богатые возможности для своего проявления в открывшейся перед ним деятельности. «С первого шага, – рассказывает декабрист князь Е. П. Оболенский, – Рылеев ринулся в открытое ему поприще и всего себя отдал той высокой идее, которую себе усвоил». Очень скоро он выдвинулся в первый ряд членов общества, значительно оживил его деятельность, был избран в «верхний круг», – в члены Верховной Думы, и в конце концов

стал фактическим руководителем всего общества. В политическом отношении он стоял левее большинства членов Северного общества, требовал освобождения крестьян с землей, настаивал на демократизации общества введением в него купцов и мещан, восставал против имущественного ценза, намеченного для избирателей в аристократической конституции Никиты Муравьева. Однако, как и все члены Северного общества, Рылеев больше всего боялся народной революции и ее «ужасов». Для роли руководителя революционной партии Рылеев был мало пригоден: слишком у него была горячая голова, слишком много было экзальтированности – и слишком мало четкой политической мысли, холодного расчета и организаторского умения. Он мог быть только агитатором и вдохновителем заговора, его «Шиллером», как выразился Герцен. И не было у него той крепкой веры, которая стремится к победе и верит в ее возможность. Он ясно сознавал ничтожность сил общества и ждал надвигающегося момента борьбы не как боец, а как мученик. «Судьба меня уж обрекла, но где, скажи, когда была

без жертв искуплена свобода?»

Умер Александр I. Наступило междуцарствие. Войска присягнули Константину. Но оказалось, что он отказался от престола в пользу Николая. Представлялся исключительный, неповторимый случай для энергичного выступления: уверить солдат, что Константин насильственно устранен от престола, во главе обманутых войск произвести военный переворот и провозгласить конституцию. Рылеев развил кипучую деятельность. Заговорщики каждый день собирались в его квартире. 13 декабря окончательно был выработан план действий. Диктатором назначен князь Трубецкой. Офицеры должны были рассыпаться по казармам и вести поднятые войска на площадь к сенату. «Как прекрасен был в этот вечер Рылеев! – вспоминает М. Бестужев. – Речь его текла, как огненная лава; его лик, как луна, бледный, но озаренный каким-то сверхъестественным светом, то появлялся, то исчезал в бурных волнах этого моря, кипевшего различными страстями и побуждениями. Я любовался им, сидя в стороне». Разошлись до завтра – возбужденные, реши-

тельные и радостные. Молодой конногвардеец, поэт князь А. И. Одоевский, в детском восхищении воскликнул:

– Умрем, ах, как славно мы умрем!

Только Рылеев был странно спокоен и серьезен. Он сдержанно сказал одному из друзей:

– Да, мало видов на успех, но все-таки надо, все-таки надо начать: начало и пример принесут плоды.

Еще накануне он взял с офицеров-измайловцев честное слово, – если не смогут увлечь за собой солдат, то, во всяком случае, прийти на площадь самим.

Рано утром 14 декабря Рылеев отправился на площадь. Там никого не было. Вместе с Пустиным он бросился по казармам. Тем временем братья Бестужевы и князь Щепин-Ростовский вывели на площадь солдат Московского полка. Подходили лейб-гренадеры и матросы гвардейского экипажа. Трубецкой, назначенный главным командиром восстания, не явился. Рылеев с Пустиным воротились на площадь, Пущин примкнул к стоящим войскам. Рылеев же, видя безначалие и неустрой-

ство, бросился искать Трубецкого и после этого...

Хотелось бы тут задернуть занавес и отдернуть его на туманном утре 13 июля 1826 г. В предрассветных сумерках на гласисе Петропавловской крепости смутно вырисовывались пять виселиц. Пестель, Рылеев, Каховский, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин шли под конвоем вдоль фронта войск; осунувшиеся и изнуренные, они еле двигались под тяжестью кандалов; на груди были дощечки с надписью: «злодеи, цареубийцы». Потом они поднялись на подмости. Их поставили под виселицами, надвинули на лица холщовые колпаки, надели петли и вышибли из-под ног скамейки. Но не приняли в расчет тяжести кандалов. Под Рылеевым и еще двумя осужденными веревки оборвались, тела прошибли доски помоста и упали в яму под помостом. Вытащили их изувеченных, в крови. Муравьев-Апостол воскликнул:

– И повесить-то в России порядочно не умеют!

Побежали искать новых веревок. Повесили опять.

Светла, без пятна, жизнь поэта-революционера, смертью запечатлевшего свою любовь к родине и свободе... Но – не нужно нам возвышающего обмана, и незачем прятать за занавесом то, чего хотелось бы, чтобы не было. Возвращаемся назад.

Рылеев с Сенатской площади отправился искать прятавшегося Трубецкого, нигде его не нашел – и отправился домой. Без него прошло это ужасное бездейственное стояние восставших войск, без него заработали картечью царские пушки, устилая площадь и улицы трупами бежавших солдат и народа. Ночью, когда все уже было кончено, когда полиция спускала в проруби под лед убитых и раненых бунтовщиков, Рылеев был арестован. И этой же ночью, в первом же показании, он назвал всех сообщников и закончил показание так: «Опыт показал, что мы мечтали, полагаясь на таких людей, каков князь Трубецкой. Страшась, чтобы подобные же люди не затеяли чего-нибудь подобного на Юге, я долго совести и честного гражданина почитаю объявить, что около Киева в полках существует общество. Трубецкой может пояснить и на-

звать главных. Надо взять меры, дабы там не вспыхнуло возмущение. Открыв откровенно и решительно, что мне известно, я прошу одной милости, – наивно заканчивал Рылеев, – пощадить молодых людей, вовлеченных в общество, и вспомнить, что дух времени – такая сила, перед которой они не в состоянии были устоять». И на дальнейших допросах он с готовностью сообщал решительно все, что знал, он вполне заслужил убийственную похвалу следственного комитета: «Объясните, со свойственной вам откровенностью...» Между прочим, показания Рылеева были решающими при обвинении Каховского. Что особенно удивительно, – все это вовсе не было со стороны Рылеева попыткой обелить и спасти себя. Он не отрицал своей руководящей роли в заговоре: «Признаюсь чистосердечно, я почитаю себя главнейшим виновником происшествия 14 декабря, ибо я мог остановить оное и не только сего не подумал сделать, а, напротив, еще преступной ревностью своей служил для других самым гибельным примером». За три недели до смерти Рылеев повторил то же в письме к императору Николаю, брал всю ви-

ну на себя и молил простить товарищей: «Казни, государь, меня одного: я благословлю десницу, меня карающую, благословлю твое милосердие и перед самой казнью не перестану молить Всевышнего, да отречение мое и казнь навсегда отвратят юных сограждан моих от преступных предприятий власти верховной».

Это непостижимое превращение убежденного революционера в кающегося преступника останется для нас непонятным, пока мы не выясним себе основного душевного уклада, характерного для большинства декабристов. Они с молоком матери всосали глубочайшее благоговение к самодержавной власти, — то благоговение, которым дышат и произведения лучших художников слова того времени — Державина, Карамзина, Жуковского. Когда будущие декабристы зажили сознательной жизнью, когда заговорила в них мысль и совесть, они искреннейшим образом возмущались деспотизмом самодержавия, его неистовствами, от которых сами страдали мало, его действиями, бившими по интересам социальных группировок, к которым они

принадлежали. Но в подсознательной глубине души все время крепко сидело ощущение божественной святости самодержавия как такового. «Царь есть залог божества на земле», – говорил на допросе декабрист А. Бестужев. Если взять сравнение из религиозной области, декабристы были по отношению к самодержавию не безбожниками, а богоборцами. Победил Бог, – и в душе смятенный ужас: на кого посмела подняться рука!

В тюрьме Рылеев стал очень религиозен. На кленовых листьях он наколот иголкой стихотворение, которое переслал товарищу по заключению князю Е. П. Оболенскому:

*Ты прав: Христос – спаситель наш
один, –
И мир, и истина, и благо наше.
Блажен, в ком дух над плотью
властелин,
Кто твердо шествует к христо-
вой чаше...*

и.т.д.

Пушкин познакомился с Рылеевым незадолго до высылки своей из Петербурга, вес-

ной 1820 г., когда Рылеев в первый раз приехал на короткое время в Петербург. Из южной ссылки Пушкин посылал Рылееву поклоны через А. Бестужева. С начала 1825 г. у Рылеева началась с Пушкиным оживленная переписка. Первое его письмо привез Пушкину И. И. Пущин, приехавший проведать лицейского своего друга в Михайловское. Письмо было на «ты». Рылеев писал: «Я пишу к тебе «ты», потому что холодное «вы» не ложится под перо; надеюсь, что имею на это право и по душе, и по мыслям. Пущин познакомит нас короче». Переписка носила исключительно литературный характер. В одном из писем Рылеев писал: «Пушкин, ты приобрел уже в России пальму первенства, ты можешь быть нашим Байроном, но, ради Бога, не подражай ему. Твое огромное дарование, твоя пылкая душа могут вознести тебя до Байрона, оставив Пушкиным. Если бы ты знал, как я люблю, как я ценю твое дарование. Прощай, чудотворец!» Пушкин к творчеству Рылеева относился сдержанно. О «думах» его он писал Вяземскому: «Думы» – дрянъ, и название сие происходит от немецкого «dumm». И самому Рылееву:

«Думы» слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой. Составлены из общих мест: описание места действия, речь героя и – нравоучение». Называл Рылеева «планщиком» и прибавлял: «...я, право, более люблю стихи без плана, чем план без стихов». Однако поэма «Войнаровский» примирила Пушкина с Рылеевым. Он одобрил «замашку или размашку» в слоге поэмы, писал о ней: «...у него есть какой-то там палач с засученными рукавами, за которого я бы дорого дал». Бестужеву Пушкин писал о Рылееве: «Очень знаю, что я его учитель в стихотворном языке, но он идет своей дорогой. Он в душе поэт. Я опасюсь его не на шутку и жалею очень, что его не застрелил, когда имел тому случай, – да черт его знал!»

**Александр Александрович Бестужев-
Марлинский
(1797–1837)**

Сын выдающегося либерального журналиста и педагога, человека просвещенного и гуманного. Семья была любящая и дружная, детство мальчика прошло счастливо. На десятом году он был отдан в горный корпус. Учил-

ся хорошо, но математику ненавидел. Старший брат его Николай, морской офицер, был назначен в крейсерство с гардемаринами и на вакации взял к себе на фрегат брата Александра. Александр был в упоении от моря, облекся в матросский костюм, изучил матросское мастерство. У брата замирало сердце, когда Александр из молодечества бежал, не держась, по рее, или спускался вниз головой по одной веревке с самого верха мачты, или в крепкий ветер летал по морю на шлюпке, держа такие паруса, что бортом черпал воду. Александр решил поступить в гардемарины, вышел из горного корпуса и стал готовиться к экзамену. Но увы! Оказалось, что для морской службы требуется не только умение бегать, не держась, по реям, но и знание той же ненавистой математики. Бестужев поступил юнкером в лейб-драгунский полк. В 1817 г. был произведен в офицеры. Полк его стоял в Петергофе, Бестужев жил в одном из петергофских дворцов, Марли, – отсюда выбранный им литературный псевдоним Марлинский.

Бестужев зажил веселой жизнью гвардейского офицера, танцевал на балах, без счета

увлекал женские сердца, имел несколько дуэлей из-за пустяков; выдержав выстрел противника, сам он стрелял в воздух. Рассеянная светская жизнь не мешала ему много и серьезно читать по самым разнообразным отраслям знания – истории, философии, статистике, химии, механике. На службе он продвигался очень успешно, был назначен адъютантом к главноуправляющему путями сообщения Бетанкуру, потом к его преемнику, герцогу Виртембергскому. Вступил на литературное поприще и быстро завоевал всеобщее признание как критик и беллетрист. Сошелся со многими писателями. Вместе с Рылеевым издавал альманахи «Полярная звезда», имевшие крупный успех. В них Бестужев помещал свои критические обзоры русской литературы, вызывавшие большой шум и споры; в статьях этих он резко нападал на защитников старых литературных традиций и требовал для поэтического творчества полной, ничем не стесняемой свободы.

Судьба, казалось, наметила Бестужева в свои любимцы. Он впоследствии вспоминал:

Меня с родимого порога

*Сманила жизнь на пышный пир,
И, как безграничная дорога,
Передо мной открылся мир.
И случай, преклоняя темя,
Держал мне золотое стремя,
И, гордо бросив поводья,
Я поскакал – туда, туда!*

Все ему удавалось, все в жизни он брал играя. Полуиграя, вступил он через Рылеева и в Тайное общество. Сочинял с Рылеевым вольные политические песенки, разделял общее гвардейской молодежи оппозиционное настроение, но по существу политикой интересовался мало. Вскоре он убедился, что силы Тайного общества ничтожны, но, как сам рассказывает, «решился тянуть с ними знакомство, как игрушку». К делам общества относился беззаботно, не знал о делах общества многого, что должен был знать. Рылеев и Оболенский не раз ссорились с ним за то, что он шутил и делал каламбуры из важных вещей. Они называли его фанфароном и говорили, что за флигель-адъютанский аксельбант он готов отдать все конституции. Нападали и за то, что он нарочно спорил и за, и против, что-

бы заставить товарищей разбиться в мнениях. Желая развязаться с обществом, Бестужев решил оставить Петербург, выгодно жениться в Москве и уехать года на два путешествовать.

Но как раз подоспело 14 декабря. И этот фанфарон, раздражавший товарищей своим легкомыслием и несерьезным отношением к целям общества, оказался одним из очень немногих заговорщиков, безупречно сделавших свое дело. Ему было поручено поднять лейб-гвардии Московской полк. Рано утром 14 декабря он поехал в казармы полка с братом Михаилом. На успех он мало рассчитывал и ждал, что кончит жизнь на штыках солдат, но не отказался от поручения, потому что дело это почиталось нужным и очень трудным. Бестужев выступил в казармах перед солдатами. Чужой солдатам лейб-драгунский мундир незнакомого офицера вызвал недоверие. Но Бестужев пламенным своим красноречием зажег массу. С развевающимися знаменами, с барабанным боем и криками «ура!» москвичи двинулись за ним по Гороховой улице к сенату. Рядом с Бестужевым шел офи-

цер-московец, неистовый князь Щепин-Ростовский, – он только что на казарменном дворе зарубил саблей двух штаб-офицеров, пытавшихся остановить солдат. Этот ни о какой конституции не думал, а шел просто за Константина против Николая. Он с одушевлением обратился к Бестужеву:

– Что? Ведь к черту конституцию?

И заговорщик Бестужев с таким же одушевлением ответил:

– Разумеется, к черту!

Пришли на площадь, построились в каре. Главари заговора не являлись, никто не знал, что делать. Подходили все новые войска, верные Николаю. Бестужев понял, что дело проиграно, и мрачно слушал растерянные разговоры товарищей. Ударила картечь. Бестужев искал смерти, картечная пуля пробила ему шляпу. Солдаты побежали по узкой Галерной улице. Бестужев с братом Николаем остановили несколько десятков лейб-гренадеров, стараясь прикрыть отступление. Но уже все было кончено. Он перешел по льду через Неву, всю ночь и утро скитался по городу, потом оделся в парадную форму, как на бал,

явился во дворец и дал себя арестовать. Сам командовал конвоем «марш!» и пошел с ними в ногу.

Бестужев сослан был на поселение в Якутск. В 1829 г., во время войны с Турцией, он подал прошение перевести его рядовым в действующую армию. Николай положил резолюцию: «Определить рядовым в действующие полки кавказского корпуса, с тем чтобы и за отличие не представлять к повышению, но доносить только, какое именно отличие им сделано». На Кавказе Бестужев принимал участие в ряде дел против турок и горцев, отличался бешеной храбростью; товарищи-солдаты присудили ему присланный в их батальон Георгиевский крест, но начальство этого выбора не утвердило. В общем, однако, боевые схватки были только отдельными эпизодами, жизнь больше проходила в тяжелой и скучной гарнизонной службе, в приступах жестокой лихорадки, схваченной Бестужевым на Кавказе, под постоянной угрозой повальных болезней, свирепствовавших среди солдат. «По сущности, бытие мое Бог знает, что такое, – писал Бестужев братьям, – смер-

тью назвать грешно, а жизнью совестно». В ужаснейших условиях подневольной солдатской службы он написал ряд романов и повестей – «Амалат-Бек», «Лейтенант Белозор», «Фрегат “Надежда”», «Мулла-Нур» и др. Уже в петербургское свое время Марлинский обратил на себя внимание повестями, где талантливо рисовал всяческие романтические ужасы, бесстрашных героев, очаровательных красавиц; переживали они не иначе, как «адские муки» и «райское блаженство», в жилах их текла «огненная лава» и т. п. К тридцатым годам талант Марлинского значительно вырос. Герои и красавицы все еще были романтически-идеальны, пылали нечеловеческими страстями, но рядом с этим, особенно в мелких рассказах, все сильнее пробивалась реалистически-бытовая струя. Меньше было гиперболической напыщенности, образы стали красивее, язык крепче. В публике романы Марлинского имели головокружительный успех и доставили автору громкую славу. А сам он в это время нес тяжкую службу солдата, бурбон-командир, не выносивший гвардейских молодчиков, безнаказанно измывал-

ся над ним, как в то время мог измываться офицер над беззащитным солдатом. Изредка только удавалось Бестужеву вырваться в отпуск в Тифлис. Современники, встречавшие его там, так описывают Бестужева: высокий, плотный брюнет, с небольшими сверкающими, карими глазами; отличался благородством души, был несколько тщеславен, в обыкновенном светском разговоре ослеплял беглым огнем острот и каламбуров, при обсуждении же серьезных вопросов путался в софизмах, обладая более блестящим, чем основательным, умом. Был красив и нравился женщинам не только как писатель. В Тифлисе у него разыгрался целый ряд романов. «И походы в ночь по стенам, по окнам, – писал он брату, – в опасности сломить себе шею, или быть убитым, или прибить кого-нибудь; всегда рука на ручке кинжала, и ухо на часах... И переодевание ее, и прогулки, и визиты ко мне... И удачные забавные обманы аргусов. Я всегда был так счастлив с женщинами, что не понимаю, чем я это заслужил». Много романов было у Бестужева и в Дербенте, и в других местах, где он стоял. Однажды

зимой, в бурю, он, чтобы увидиться с возлюбленной, в дрянной лодчонке поехал морем и полтора суток, с опасностью для жизни, носился по волнам. Венгеров правильно отмечает, что была одна существенная разница между Бестужевым и другими тогдашними певцами пламенных страстей, поднимающих дух опасностей и нечеловеческих мук: те, – как Бенедиктов или Кукольник, – в жизни были смирнейшими обывателями и только за письменным столом накидывали на себя романтические плащи; Бестужев в жизни был таким, как его герои.

С 1834 г. гарнизонная сидячая жизнь сменилась для Бестужева непрерывными походами и стоянками на бивуаках. Бестужев был рад этому. В схватках с горцами он всегда был впереди, опьянялся опасностью, упивался свистом пуль. Но лишения приходилось переносить невероятные: холод, зной, сырость такая, что неделями платье на теле не просыхало; в землянках вода стояла по колено, и сапоги на ногах плесневели; месяцами питались гнилой солониной; изводили приступы изнурительной лихорадки; здоровье Бестужева

быстро таяло. «Меня так высушила лихорадка, – писал он, – что меня можно вставить в фонарь вместо стекла».

Наконец Бестужев был произведен в прапорщики. Он перестал быть бесправным солдатом, над ним не мог уже измываться первый встречный офицер. Но изнуряющая походная и боевая жизнь продолжалась. Бестужев мечтал о выходе в отставку, о переходе на гражданскую службу и спокойной литературной работе. «Кому было бы хуже, если бы мне было немного лучше?» – спрашивал он в письме к брату. В нем принял участие граф М. С. Воронцов и, видя, как губелен для Бестужева кавказский климат, просил императора о переводе Бестужева на штатскую службу в Крым. Царь отказал. Оренбургский генерал-губернатор В. А. Перовский ходатайствовал о переводе Бестужева в Оренбург, указывая на ту пользу, которую он мог бы принести описанием края и быта кочевников. Ответ: «Бестужева следует послать не туда, где он может быть полезнее, а туда, где он может быть безвреднее». В июне 1837 г. русские войска высадились у мыса Адлера. Шлюпки под-

плыли к берегу под градом черкесских пуль, стрелки высадились, выбили черкесов из прибрежных окопов, загнали в лес и врассыпную устремились следом за ними в чащу. Бестужев шел в передовой цепи. Тупоголовый командир, не глядя на то, что сзади не было резервов, вел отряд все вперед; цепи расстроились, солдаты в одиночку продирались сквозь колючую чащу. Вдруг со всех сторон посыпались черкесские пули. Горнист протрубил сигнал строиться в каре и упал мертвый. Отряд отступал. Бестужев стоял на маленькой полянке, в изнеможении прислонившись к дереву, из груди его лилась кровь. Два солдата взяли его под руки и повели; он еле шел, с упавшей на грудь головой, и тихо стонал. Из чащи выскочили черкесы. Солдаты бросили раненого и побежали. И видели только, как над Бестужевым засверкали черкесские шашки. Труп его не нашли.

С Пушкиным Бестужев, вероятно, познакомился еще до высылки Пушкина из Петербурга. Но знакомство это не было близким. На письмо Бестужева, приглашавшего Пушкина сотрудничать в альманахах «Полярная звез-

да», Пушкин ответил из Кишинева любезным письмом, но с обращением «Милостивый государь». Однако уже в следующем письме Пушкин писал: «Милый Бестужев, позволь мне первому перешагнуть через приличия и поблагодарить тебя...» Между ними завязалась оживленная переписка на литературные темы, кончившаяся лишь незадолго до ареста Бестужева. «Ни с кем мне так не хочется спорить, как с тобою да с Вяземским, – писал ему Пушкин. – Вы одни можете разгорячить меня». И другой раз опять ставит его рядом с Вяземским: «Ты да, кажется, Вяземский – одни из наших литераторов учатся: все прочие разучаются».

Михаил Сергеевич Лунин (1787–1845)

Тоже декабрист. У нас, к сожалению, очень мало знают об этом изумительном человеке. Он был сын богатого тамбовско-саратовского помещика, получил блестящее образование, свободно говорил на нескольких языках, был умница. Служил в кавалергардском полку. Это было время, когда молодечество, озорство и бретерство считалось среди офице-

ров самыми высокими достоинствами. Лунин первенствовал среди товарищей во всевозможных офицерских шалостях, часто совершенно мальчишеских. Пугали обывателей медведями на цепи; на Черной речке – месте летней стоянки кавалергардов – карьером проносились на неоседланных лошадях сквозь дворцовые дворы и парки, где проезд был запрещен; рассевшись с музыкальными инструментами высоко на деревьях, давали неожиданные серенады красавицам; приученная собака, когда ей шепотом говорили «Бонапарт!», бросалась на указанного прохожего и срывала с него шапку. Лунин выдавался исключительным бесстрашием. Опасности, игра жизнью были для него почти потребностью. Дуэлей у него было несчетное количество. Раз был такой случай. Лунин поссорился с товарищем А. Ф. Орловым, будущим шефом жандармов. Положено было стреляться до трех раз, с каждым выстрелом сближая расстояние. Первым выстрелил Орлов и сбил перо со шляпы Лунина. Лунин выстрелил в воздух. Орлов воскликнул:

– Что же ты, смеешься надо мною?!

Подошел ближе, долго целился. Лунин смотрел на направленное на него дуло и давал советы, как правильнее целиться. Орлов сбил у Лунина эполет. Лунин, посмеиваясь, опять выстрелил в воздух и предложил стрелять в третий раз, ручаясь за успех. Секундант Орлова, его брат Михаил, возмутился и крикнул брату:

– Ведь ты стреляешь в безоружного!

Алексей бросил пистолет, и противники обнялись.

Бешеной храбростью отличался Лунин и в боях. В битве под Аустерлицем он участвовал в знаменитой атаке кавалергардов, описанной Толстым в «Войне и мире». Участвовал в ряде сражений 1812 г. Когда полк стоял в бездействии, Лунин, в своем белом кавалергардском колете и каске, со штуцером в руках, замешивался в ряды пехоты и стрелял как простой солдат. Это была отчаянная голова. Он написал главнокомандующему Барклаю-де-Толли письмо и предлагал послать его парламентаром к Наполеону; он брался, подавая императору французов бумаги, всадить ему в бок кинжал. «Лунин точно сделал бы

это, если бы его послали», – пишет Н. Н. Муравьев-Карский.

Командующий гвардией, великий князь Константин Павлович, большой формалист-фронтовик, строго следил, чтобы офицеры во время похода ни в чем не отступали от формы. Однажды, во время кампании 1813 г., командир кавалергардского полка по нездоровью ехал в теплой шапке. Увидел это Константин, подскочил к нему, сорвал и бросил на землю шапку, жестоко распек и уехал. Офицеры возмутились и все, начиная с полкового командира, подали в отставку. Константин был вспыльчив, но отходчив. На дневке он сделал смотр полку, сознался в своей неправоте, просил извинить за горячность и прибавил:

– А если кто останется этим недоволен, то я готов дать личное удовлетворение.

Все сочли себя удовлетворенными, Лунин же выступил вперед и громко сказал:

– Слишком много чести, чтоб отказаться от такого вызова!

Константин с улыбкой оглядел его и ответил:

– Ну, брат, ты для этого слишком еще молод!

В 1815 г. Лунин, чем-то обиженный, вышел в отставку; примешались и личные дела: он был весь в долгах, а скупой отец отказывался их уплатить. Лунин уехал за границу, год прожил в Париже. Нуждался, жил уроками и адвокатурой. По-видимому, вступил в какое-то французское тайное революционное общество. Познакомился с Сен-Симоном и произвел на него чарующее впечатление. Сен-Симон рассчитывал сделать Лунина адептом своего учения. В Париже же Лунин перешел в католичество и всю жизнь оставался глубоко верующим католиком. В 1817 г. умер отец Лунина, Лунин стал наследником большого состояния и вернулся в Россию. В Петербурге он вступил в «Союз спасения», был одним из основателей «Союза благоденствия», по ликвидации его был членом и Северного тайного общества. Своей решительностью и энергией он приобрел большое влияние среди сочленов, а резкостью суждений и крайностью выводов постоянно толкал товарищей на путь борьбы. Он предлагал, между прочим, произ-

вести на царскосельской дороге покушение на Александра I людьми в масках. Впоследствии, ввиду необычайного бесстрашия Лунина, Пестель предполагал поставить его во главе «когорты обреченных», предназначенной для совершения террористических актов.

Лунин был выше среднего роста, строен и мускулист, в пожатии маленькой и аристократической руки чувствовалась большая физическая сила; темно-русый красавец с черными, жуткими глазами; имел привычку закусывать нижнюю губу. Лицо было бледно, но, – пишет современник, – не от болезни, а от усиленной умственной деятельности, истощавшей его силы. Лунин действительно был очень умен, но нарочно казался ветреным, пустым, старался держаться как все, чтобы скрыть шедшую в нем тайную душевную работу. Был очень остроумен. Ни при каких обстоятельствах не падал духом. У женщин пользовался большим успехом, не прочь был кутнуть.

Пушкин был с ним знаком. К сожалению, мы почти ничего не знаем об их сношениях. Они встречались в Петербурге у братьев Тур-

геновых, у Карамзина, оба участвовали осенью 1818 г. в проводах Батюшкова за границу. Н. М. Смирнов сообщает, что они были друзьями. В сожженной главе «Онегина» Пушкин, описывая Северное тайное общество, рассказывает:

*Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.*

В 1835 г., встретившись с племянником Лунина, Пушкин отозвался об отбывавшем в то время каторгу Луние как о «человеке поистине замечательном».

В 1822 г. Лунин опять поступил на военную службу в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, стоявший в Варшаве. Был назначен адъютантом к великому князю Константину Павловичу, главнокомандующему варшавским военным округом. Константин очень его полюбил. В показаниях своих следственной комиссии Лунин рассказывает: «Моя сокровенная цель в определении снова на службу была отдалиться и прекратить мои с Тайным обществом сношения. Причины к

тому были: непостоянный и безуспешный ход занятий общества, изменения в предположенной цели и в средствах к достижению оной, бесполезное размножение членов общества, ложное истолкование моих собственных мнений, и наконец, я не имел того влияния на общество, которое хотел иметь и которое, я надеюсь, было бы не бесполезно для общей пользы».

Разразилось 14 декабря. Начались аресты. Некоторые из арестованных в показаниях своих называли Лунина. В Варшаву пришел приказ арестовать его. Великий князь Константин Павлович предупредил об этом Лунина и дал ему возможность уничтожить компрометирующие бумаги. И предложил устроить ему выезд за границу. Лунин ответил:

– Я разделяю их убеждения, разделю и наказание.

Константин засыпал брата-императора письмами, где давал Лунину самую лестную характеристику и всячески старался его оправдать. Но когда Лунин на присланные из Петербурга вопросные пункты категорически отказался назвать сообщников, Константину

пришлось его арестовать и с фельдъегерем отправить в Петербург. Лунина по прибытии поместили в здании главного штаба. Очевидец вспоминает: «К нему приходил дежурный генерал, и они, разговаривая громко по-французски, смеялись, а оставшись один, Лунин ходил по комнате и посвистывал, как будто арест его был за какую-нибудь служебную провинность».

Лунина перевели в Петропавловскую крепость. На допросах он держался великолепно. Коротенькое следственное дело его светится ярким и чистым светом среди других следственных дел, полных трусости, предательства и самых униженных покаяний. «Кем вы были приняты в число членов Тайного общества?» – «Я никем не был принят, но сам присоединился к оному». – «Кем основано общество, кто были председателями и членами Коренной думы?» – «Я постановил себе неизменным правилом никого не называть поименно, ибо это против моей совести». – «Кого вы приняли в члены?» – «Никого». – «Откуда заимствовали вы свободный образ мыслей, кто способствовал укоренению их в вас?» – «Сво-

бодный образ мыслей образовался во мне с тех пор, как я начал мыслить; к укоренению же оного способствовал естественный рассудок». И в заключение: «Не поставляю себе в оправдание прекращение моих сношений с Тайным обществом, ибо при других обстоятельствах продолжал бы, вероятно, действовать в духе оного».

Обвинить Лунина оказалось возможным только в разговорах о цареубийстве, решительно никаких действий вменить ему в вину не удалось. Но Николай почувствовал в Луnine ту несокрушимую нравственную силу, которой он боялся больше всего. И Лунин был осужден по второму разряду – приговорен к смертной казни с заменой ее двадцатилетней каторгой, а потом к поселению «навечно». При объявлении приговора Лунин громко сказал:

– Хороша вечность! Мне скоро уже пойдет пятый десяток.

Он был заключен в одну из финляндских крепостей. Условия были ужасные: питание отвратительное, каземат такой сырой, что со сводов все время капало. Лунин заболел цин-

гой, ревматизмом. По обязанностям службы его посетил финляндский генерал-губернатор Закревский и задал официальный вопрос:

– Не желаете ли заявить каких-либо претензий?

Лунин насмешливо ответил:

– Я вполне доволен всем, мне недостает только зонтика.

Весной 1828 г. Лунин был отправлен в Нерчинские рудники. От цинги у него выпали почти все зубы, он острил:

– У меня остался против правительства только один зуб.

Когда осужденных отправляли из Читы в Петровский завод, Лунину, по причине болезней и прежних ран, боевых и дуэльных, было разрешено ехать в повозке. На одной из остановок местные буряты окружили повозку и стали расспрашивать Лунина, за что он сослан. Лунин ответил:

– Знаете вы вашего тайшу (главный начальник бурят)?

– Знаем.

– А знаете ли вы, что есть тайшу, который много главнее вашего тайшу и может ему сде-

лать утей (конец)?

– Знаем.

– Ну так вот, я хотел сделать утей его власти, за это и сослан.

По всей толпе бурят раздалось:

– О! о! о!

И с низкими поклонами, медленно пятясь назад, они удалились.

По отбытии каторги, сокращенной до десяти лет, Лунин был поселен в селе Урике, в восемнадцати верстах от Иркутска, на берегу Ангары. Там же жили другие декабристы – князь С. Г. Волконский с женой Марией Николаевной, Никита Муравьев, в соседних селах – Трубецкой, Поджио, Юшневский и другие. Лунин пользовался среди декабристов огромным уважением. Он выдавался едким умом и удивительно веселым характером. Никогда не унывал и жил, как будто шутя. Местные крестьяне тоже очень его уважали, обращались к нему за разбирательством их ссор, врачебной помощью. Лунин любил детей, возился с ними, учил грамоте, они целыми днями играли на его дворе. Как мы уже говорили, он был глубоко верующий католик; никогда не

пропускал в известное время читать свой молитвенник, каждую неделю к нему приезжал из Иркутска капеллан исполнять церковную службу.

Лунин говорил декабристу Свистунову:

– Настоящее житейское поприще наше началось со вступлением нашим в Сибирь, где мы призваны словом и примером служить делу, которому посвятили себя.

Лунин словом и делом приступил к этому служению. Он стал систематически писать письма в Петербург своему другу-сестре Е. С. Уваровой. Письма шли через Третье отделение, но это нисколько не сдерживало Лунина. Как будто он писал для самого свободного, нелегального революционного журнала. Письма носили характер блестящих публицистических статей на самые острые и злободневные политические темы. Он писал о кодификации русских законов, об образовании министерства государственных имуществ, о лозунге, провозглашенном министерством народного просвещения: «православие, самодержавие, народность». По поводу этого лозунга Лунин писал: «Вера (православие) не да-

ет предпочтения ни самодержавию, ни иному образу правления. Она одинаково допускает все формы и очищает их, проникая своим духом. Перейдем к самодержавию. Не доказано, почему эта политическая форма более свойственна русским, чем другое политическое устройство. Народы, которые нам предшествовали, начали также с самодержавия и кончили тем, что заменили его конституционным правлением. Принцип народности требует пояснения. Она изменялась сообразно различным эпохам нашей истории. Баснословные времена, монгольское иго, период царей, эпоха императоров образуют столько же различных народностей. Которой же из них дадут ход? Если последней, то она скорее чужая, чем наша». И все в таком тоне. «Народ мыслит, несмотря на свое глубокое молчание. Доказательством, что он мыслит, служат миллионы, тратимые с целью подслушать мнения, которых ему не дают выразить», «Меня называют в официальных бумагах: государственный преступник, находящийся на поселении. В Англии сказали бы: Лунин – член оппозиции». И такие письма Лунин посылал че-

рез Третье отделение! Он, как сам выражался, дразнил медведя в его берлоге. Казалось бы – чистейшее безумие. Но вышло обратное: Лунин сделал само Третье отделение пособником в распространении своих писем. Письма, как совершенно частные, передавались по назначению, а там интересующиеся списывали их и широко распространяли. Перед отправкой писем Лунин давал их читать товарищам, те тоже их списывали и распространяли. Списывали даже почтмейстеры, вскрывавшие письма на почте. Через несколько лет, в предисловии к собранию своих запрещенных писем, Лунин с удовлетворением писал: «Предприятие мое не бесполезно в эпоху, когда стихии рациональной оппозиции не существует, когда печатание, немое для истины, служит только выражением механической лести... В ссылке я опять начал действия наступательные. Многие из писем моих, переданных через императорскую канцелярию, уже читаются».

Третье отделение, читая письма Лунина, нашло, что «государственный преступник Лунин часто позволяет себе входить в рассужде-

ние о предметах, до него не касающихся, и вместо раскаяния обнаруживает закоренелость в превратных его мыслях». Бенкендорф предложил генерал-губернатору Восточной Сибири запретить Лунину на год всякую переписку. Генерал-губернатор вызвал Лунина, вручил ему бумагу Бенкендорфа и предложил дать подписку с обязательством выполнить требование. Лунин поглядел на бумагу.

– Что-то много написано. Не стоит читать... А! Мне запрещается писать? Не буду.

Пером перечеркнул накрест весь лист и на обороте внизу написал «государственный преступник Лунин дает слово целый год не писать».

И целый год не писал.

Жизнь в глуши, болезни, тяжесть неравной борьбы с ненавистным правительством – ничто не способно было затушить в Луине тихую душевную ясность. «Душевный мир, – писал он, – которого никто не может отнять, последовал за мною на эшафот, в темницу и ссылку. Я не жалею ни об одной из своих потерь. Мои часы проходят в тишине кабинета или в созерцании красот сибирских лесов.

Удивительная постепенность счастья. Чем ближе я к цели своего плавания, тем попутнее становятся ветры. Нечего тревожиться, если новые тучи собираются на горизонте. Эта буря пройдет, как другие, и только ускорит мой вход в гавань». Одного лишь ему не хватало для полноты жизни – опасностей. «Я так часто встречал смерть на охоте, в поединках, в сражениях, в борьбе политической, что опасность стала привычкой, необходимостью для развития моих способностей. Здесь нет опасностей. В челноке переплываю Ангару; но волны ее спокойны. В лесах встречаю разбойников; они просят подаяния».

Прошел обусловленный год – и Лунин опять взялся за перо. И опять пошли в Третье отделение его письма, еще более резкие, чем прежде. Он писал о крепостном праве, о польском вопросе, о подавлении всякого свободного мнения. «Из вздохов, заключенных под сомоменными кровлями, рождаются бури, низвергающие дворцы», «В наше время почти нельзя сказать «здравствуй» без того, чтоб это слово не заключало в себе политического смысла», «Если ожидать истину из прави-

тельствующего сената, то много утечет воды, пока это случится» и т. п. Лунин написал еще разбор донесения следственной комиссии по делу декабристов, где подверг донесение самой резкой критике. Статья получила распространение в списках, об этом было донесено в Петербург. Император приказал произвести у Лунина строжайший обыск и отправить его за Байкал, подвергнув строжайшему заключению, так чтобы он не мог ни с кем иметь сношений ни личных, ни письменных. Жандармы нагрянули к Лунину с обыском. Увидев над его постелью ружье, жандармский офицер смутился. Лунин усмехнулся и сказал:

– Не бойтесь. Таких людей, как вы, бьют, а не убивают.

Когда Лунина увозили, вся деревня сбежалась его провожать. Прощались, плакали, бежали за его телегой, кричали:

– Помилуй тебя Бог, Михаил Сергеевич! Бог даст, вернешься! Будем оберегать твой дом, за тебя молиться будем!

27 марта 1841 г. Лунин был доставлен в Иркутск и подвергнут допросу. Он отвечал скупо; из лиц, которым дал свою статью, назвал

только двоих умерших, заявил, что писал статью, по его убеждению, в соответствии с истиной. Но арест, видимо, потряс его глубоко; на допросе говорил он отрывочно, без связи и последовательности, забывал, что только что сказал. В тот же день Лунин с запечатанным конвертом был отправлен за Байкал. В Нерчинске в первый раз за всю жизнь дрогнул душой этот нестибающийся, бесстрашный человек. Должно быть, слишком большой жутью охватило его ожидание предстоящей кары. В новом своем показании он опять никого не выдал, но закончил показание так: «Я сознаю себя виновным; и, готовясь принять с благодарностью все кары мне определенные, полагаю единственную здесь надежду мою на прозорливую справедливость и великодушие государя-императора». Его увезли к самым границам Китая, в Акатуй, местность с убийственным климатом; заключили в ужаснейшую тюрьму, где содержались уголовные преступники-рецидивисты. Крышка гроба крепко захлопнулась за Луниным. С тех пор никто из близких не видел его. Но через посещавшего его ксендза и через некоторых привязав-

шихся к нему часовых Лунину изредка удавалось давать о себе вести на волю. Он писал М. Н. Волконской и ее мужу: «Мои предыдущие тюрьмы были будуарами по сравнению с тем казематом, который я занимаю. Он так сыр, что книги и платье покрываются плесенью, моя пища так умеренна, что не остается даже чем накормить кошку. Я погружен во мрак, лишен воздуха, пространства и пищи, окружен разбойниками, убийцами и фальшивомонетчиками. Мое единственное развлечение заключается в присутствии при наказании кнутом во дворе тюрьмы. Перед лицом этого драматического действия, рассчитанного на то, чтобы сократить мои дни, здоровье мое находится в поразительном состоянии, и силы мои далеко не убывают, но, наоборот, кажется, увеличиваются. Все это меня совершенно убедило в том, что можно быть счастливым во всех жизненных положениях и что в этом мире несчастны только дураки и глупцы. Если только не вздумают меня повесить или расстрелять, я способен прожить сто лет. Но мне нужны лекарства для бедных моих товарищей по заключению. Пришлите средства

от лихорадки, от простуды и от ран, причиняемых кнутом и шпицрутенами». Трудно решить, правда ли было то, что писал Лунин о своем здоровье и настроении, или он только не хотел ныть и возбуждать к себе жалость. В начале 1846 г. новый шеф жандармов, граф А. Ф. Орлов, бывший товарищ Лунина по кавалергардскому полку, доложил императору Николаю, что «содержавшийся в Акатуевском тюремном замке государственный преступник Лунин 3 декабря 1845 г. скоропостижно скончался».

Лунин был создан из материала, из которого формируются подлинные революционные борцы. Тем интереснее отметить, как искривляется сознание даже таких людей под влиянием их классово-привилегированного происхождения. До осуждения Лунин был богатым человеком, владел не одной сотней душ крестьян. Членам своим Тайное общество рекомендовало освободить принадлежащих им крестьян. Лунин своих крестьян не освободил, но составил в 1819 г. духовное завещание на имя двоюродного брата Н. А. Лунина, где поручал ему в течение пяти лет после

смерти завещателя провести освобождение всех крепостных. Условия освобождения были самые суровые: «Уничтожить право крепостное над крестьянами и дворовыми людьми, не касаясь земель, лесов, строений и имуществ вообще». Мало и этого: на освобожденных налагалась «обязанность в отношении доставления наследнику доходов», определение этих обязанностей предоставлялось наследнику. Все же земли должны были быть превращены в майорат, передаваемый из рода в род в нераздробленном виде одному из сыновей владельца. Когда после осуждения Лунина возник вопрос об утверждении завещания, пункт о закабалении помещику освобожденных крестьян вызвал возражение даже со стороны министра юстиции. «Невозможно, – писал он, – дозволить уничтожение крепостного права с оставлением крестьян на землях помещика и со всегдашней обязанностью доставлять оному доходы».

Княгиня Евдокия Ивановна Голицына
(Princesse Nocturne)
(1780–1850)

Рожденная Измайлова, дочь сенатора. Получила прекрасное образование, была красивой женщиной. В 1799 г., по желанию императора Павла, была выдана замуж за некрасивого, ограниченного и расточительного князя С. М. Голицына. С воцарением Александра I Голицына разъехала с мужем и зажила независимой жизнью. Вскоре она полюбила образованного и умного князя М. П. Долгорукова, просила у мужа развода, но тот отказал. За это она позднее отказала в разводе мужу, когда он вздумал жениться на фрейлине А. О. Россет, будущей Смирновой. Вяземский пишет про нее: «Княгиня Голицына была очень красива, и в красоте ее выражалась своя особенность. Она долго пользовалась этим преимуществом. Не знаю, какова была она в своей первой молодости; но и вторая, и третья молодость ее пленяли какой-то свежестью и целомудрием девственности. Черные, выразительные глаза, густые темные волосы, падающие на плечи извилистыми локонами, южный матовый колорит лица, улыбка добродушная и грациозная; придайте к тому голос и произношение необыкновенно мягкие

и благозвучные, – и вы составите себе приблизительное понятие о внешности ее. Вообще, красота ее отзывалась чем-то пластическим, напоминавшим древнее греческое изваяние. В ней было что-то ясное, спокойное, скорей, ленивое, бесстрастное. По собственному состоянию своему, по обоюдному согласованному разрыву брачных отношений, она была совершенно независима. Но эта независимость держалась в строгих границах чистейшей нравственности и существенного благоприличия. Дом ее, на Большой Миллионной, был артистически украшен кистью и резцом лучших из современных русских художников. Хозяйка сама хорошо гармонировала с такою обстановкою дома. Тут не было ничего из роскошных принадлежностей и прихотей скороизменчивой моды. Во всем отражалось что-то изящное и строгое. По вечерам немногочисленное, но избранное общество собиралось в этом салоне: хотелось бы сказать – в этой храмине, тем более что и хозяйку можно было признать жрицей какого-то чистого и высокого служения. Вся постановка ее, вообще туалет ее, более живописный, нежели под-

чиненный современному образцу, все это придавало ей и кружку, у ней собиравшемуся, что-то, не скажу, таинственное, но и не обыденное, не завсегдашнее. Можно бы было думать, что тут собирались не просто гости, а и посвященные. Выше сказали мы: собирались по вечерам. Можно было бы сказать – собирались в полночь. Княгиню прозвали в Петербурге *la Princesse Nocturne* (княгиня ночная). Впрочем, собирались к ней не поздно, но долго засиживались. Княгиня не любила рано спать ложиться, и беседы длились обыкновенно до трех и четырех часов утра. Была ли княгиня очень умна или нет? Знав ее довольно коротко, мы не без некоторого смущения задаем себе этот щекотливый вопрос. Но положительный ответ на него дать не беремся». В другом месте Вяземский отзывается о ней так: «У Голицыной полуночной есть душа, и иногда разговор ее, как россиниева музыка, действует на душу. Но все это отдельные фразы».

Голицына держалась очень «патриотических» взглядов, была яркой противницей автономии Польши и конституционного образа

правления. Вскоре по окончании Отечественной войны она появилась в Москве на балу Благородного собрания в сарафане и кокошнике, оплетенном лаврами. В сороковых годах предприняла целый поход против министра государственных имуществ Киселева за заботы его о разведении в России картофеля, — она считала это нововведение посягательством на русскую национальность. Кроме того, Голицына обнаруживала большую склонность к математике, дружила с выдающимися математиками, издала даже собственное сочинение по математике, — «совершенное сумасбродство», по отзыву А. Тургенева. В тридцатых годах Голицыну встретил у князя В. Ф. Одоевского В. В. Ленц и описывает ее так: «Старая и страшно безобразная, она носила всегда платья резких цветов, слыла ученою и, говорят, вела переписку с парижскими академиками по математическим вопросам. Мне она показалась просто скучным синим чулком». Во время пребывания Бальзака в 1845 г. в Петербурге Голицына, не будучи с ним знакома, в полночь прислала за ним карету с приглашением к себе. Бальзак очень

этим оскорбился и написал ей: «У нас, милостивая государыня, посылают только за врачами, да и то за теми, с которыми знакомы. Я не врач».

В 1817 г. Пушкин сильно увлекался княгиней Голицыной. Карамзин писал князю Вяземскому: «Поэт Пушкин у нас в доме смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь уже проводит у нее вечера: лжет от любви, сердится от любви, только еще не пишет от любви. Признаюсь, что я не влюбился бы в Пифию: от ее трезубца пышет не огнем, а холодом». Вскоре Пушкин и «записал от любви»:

*Краев чужих неопытный любитель
И своего всегдашний обвинитель,
Я говорил: в отечестве моем
Где верный ум, где гений мы найдем?
Где гражданин с душою благородной,
Возвышенной и пламенно-свободной?
Где женщина – не с хладной красотой,*

Но с пламенной, пленительной,
живой?
Где разговор найду непринужден-
ный,
Блистательный, веселый, просве-
щенный?
С кем можно быть не хладным,
не пустым?
Отечество почти я ненавидел –
Но я вчера Голицыну увидел
И примирен с отечеством моим.

Пушкин продолжал бывать у Голицыной и в следующие годы до своей высылки, но увлечение ею уже стало остывать. В 1819 г. он послал ей свою оду «Вольность». Зная политические взгляды княгини, нельзя не видеть в этом со стороны Пушкина некоторого вызова. Посылку свою Пушкин сопровождал следующими любезными стихами:

Простой воспитанник природы,
Так я, бывало, воспевал
Мечту прекрасную свободы
И ею сладостно дышал.
Но вас я вижу, вам внимаю, –
И что же?.. Слабый человек!..
Свободу потеряв навек,

Неволю сердцем обожаю.

Мы не имеем сведений, встречался ли Пушкин с Голицыной впоследствии. Но, живя на юге, он несколько раз вспоминал о ней в письмах и в мае 1821 г. писал из Кишинева А. Тургеневу: «Вдали камина княгини Голицыной замерзнешь и под небом Италии».

**Графиня Екатерина Марковна Ивелич
(1795–1838)**

Отец ее, Марк Константинович, по сообщению генеалого князя П. В. Долгорукова, был черногорский выходец, по фамилии Графивелич, поступил офицером на русскую службу и стал писаться «граф Ивелич». Так получился его графский титул. Он дослужился до чина генерал-лейтенанта и звания сенатора, отличался чудачествами, любил играть в карты и всем говорил «ты». Графиня Екатерина Марковна во время послелицейского пребывания Пушкина в Петербурге жила рядом с Пушкиным на Фонтанке близ Калинкина моста. Пушкин был постоянным посетителем Ивелич. «Некрасивая лицом, – пишет современник, – она отличалась замечательным остроумием; ее прозвища и эпиграммы дей-

ствова­ли, как ядовитые стрелы. До конца жизни оставалась она в девицах и не любила, когда ее подруги выходили замуж». В 1824 г. с ней по­зна­ко­ми­лась С. М. Салтыкова, бу­ду­щая жена Дельви­га. Ивелич возмутила ее своим вульгарным тоном. Салтыкова пи­сала подруге: «Она больше походит на гренадера са­мого дурного тона, чем на барышню. Что за походка, что за го­лос, что за выражения! К то­му же она нюхает табак и ку­рит, когда никого нет; выкурила пять или шесть трубок при мне в течение одного вечера. Какова де­ви­ца?» Однако, по­зна­ко­мившись ближе, Салты­кова совершенно пере­ме­нила мнение о гра­фине Ивелич. «Я никак не предпо­ла­гала, – пи­шет она той же подруге, – что у нее столько ума и такая благородная страсть к поэзии. Ужасно досадно, что у нее, из-за ее манер, вид муж­чи­ны. Она сама пи­шет русские стихи, и во­все не плохие. Она уверяла меня, что Пуш­кин совсем не такой плохой человек, как о нем го­во­рят, что этой репутации он не заслу­жи­вает, что он очень хороший маль­ый и т. д.». Бар­ге­нев, однако, со слов Соболевского, со­об­щает, что сама Ивелич передавала матери

Пушкина дурные слухи, ходившие про него в городе, и что это она выведена в «Руслане и Людмиле» под именем Дельфиры. Описывая Людмилу, Пушкин спрашивает:

*Скажите: можно ли сравнить
Ее с Дельфирою суровой?
Одной – судьба послала в дар
Обворожать сердца и взоры;
Ее улыбка, разговоры
Во мне любви рождает жар.
А та – под юбкою гусар,
Лишь дайте ей усы да шпоры!
Блажен, кого под вечерок
В уединенный уголок
Моя Людмила поджидает
И другом сердца называет!
Но верьте мне, блажен и тот,
Кто от Дельфиры убегает
И даже с нею незнаком.*

**Екатерина Семеновна Семенова
(1786–1849)**

Смоленский помещик Путята, в благодарность за воспитание сына, подарил учителю кадетского корпуса, поручику Жданову, двух крепостных людей – парня Семена и девушку Дарью. Эту девушку Жданов сделал

своей наложницей, а когда она забеременела, выдал замуж за Семена. Родилась девочка, которая отчество и фамилию получила от номинального отца и стала крепостной собственностью отца фактического.

Училась Семенова в театральном училище в Петербурге под руководством знаменитого актера Дмитревского. В 1803 г. дебютировала на сцене и вскоре выдвинулась как первоклассная трагическая актриса. Современник рассказывает: «Самое пылкое воображение живописца не могло бы придумать прекраснейшего идеала женской красоты для трагических ролей. И при этом голос чистый, звучный, приятный, при малейшем одушевлении страстей потрясающий все фибры человеческого сердца». Особенная сила Семеновой заключалась в способности целиком уходить в роль, самозабвенно переживать чувства изображаемого лица как свои собственные. Успех Семеновой был колоссальный; каждое выступление ее в новой роли было театральным событием.

Пушкин в послелицейское свое пребывание в Петербурге очень сильно увлекался Се-

меновой, даже был в нее влюблен. Думают, что под одной из «Екатерин» в его «донжуанском списке» следует разуместь Семенову. В бумагах Гнедича найдена была ненапечатанная в свое время статья Пушкина о русском театре с такой припиской Гнедича: «Пьеса, вообще сумасбродная, писанная А. Пушкиным, когда он приволакивался, но бесполезно, за Семеновой, которая мне тогда же отдала ее». В статье этой Пушкин писал: «Говоря о русской трагедии, говоришь о Семеновой – и, может быть, только об ней. Одаренная талантом, красотою, чувством живым и верным, она образовалась сама собой. Семенова никогда не имела подлинника. Игра всегда свободная, всегда ясная, благородство одушевленных движений, орган чистый, ровный, приятный и часто – порывы истинного вдохновения, – все сие принадлежит ей и ни от кого не заимствовано... Семенова не имеет соперниц». С особенным блеском выступала Семенова в трагедиях Озерова, являвшихся переходным этапом от ложноклассической трагедии к романтической драме. Именно в связи с Озеровым вспоминает Пушкин Семенову и в

первой главе «Онегина»:

*Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С молодой Семеновой делил...*

Общее развитие и образование Семеновой были очень невелики. Ей постоянно нужен был руководитель, который растолковывал бы ей роли. Сначала это был князь А. А. Шаховской, потом Гнедич. Непосредственное чувство постепенно все больше стало заменяться у Семеновой механическим следованием детальнейшим указаниям руководителей. Лишь изредка, в порыве вдохновения, она разбивала надетые на нее колодки и проявлялась во всей силе непосредственности. Избалованная общим поклонением, она стала лениться, роли изучала все небрежнее, сделалась мелкотщеславной и капризной, очень ревлившей к своей славе, высокомерной с товарищами-артистами. В начале 1826 г. Семенова оставила сцену и переселилась в Москву вместе с князем И. А. Гагариным, с которым жила уже пятнадцать лет и от которого имела четверых детей. В 1828 г. она вышла за

него замуж. У нее бывали выдающиеся москвичи – С. Т. Аксаков, Надеждин, Погодин. Часто бывал и Пушкин. По выходе «Бориса Годунова» он поднес ей экземпляр трагедии с надписью: «Княгине Е. С. Гагариной от Пушкина, Семеновой – от сочинителя». Изредка Семенова выступала в домашних спектаклях у себя и у знакомых.

**Александра Михайловна Колосова-
Каратыгина
(1802–1880)**

Выдающаяся драматическая артистка, дочь известной в свое время танцовщицы Евгении Ивановны Колосовой, впоследствии жена знаменитого трагического актера В. А. Каратыгина. Было ей шестнадцать лет. Она готовилась к дебюту на сцене под руководством князя А. А. Шаховского и у него познакомилась с молодым, ей еще мало известным Пушкиным. Особенного внимания они друг на друга не обратили. Однажды, на Страстной, Колосовы и Пушкины одновременно говорили в церкви театрального училища на Офицерской улице. В страстную пятницу, во время выноса плащаницы, растроганная Колосова

горько плакала. И вдруг она Пушкину понравилась, – понравилась ее искренняя печаль, трогательная молодость, – ей было шестнадцать лет. Через сестру Ольгу он передал Колосовой, что ему очень больно видеть ее горесть, но что он напоминает ей – ведь Иисус Христос воскрес, – о чем же плакать? Они стали видаться чаще, – сначала у общей знакомой, графини Е. М. Ивелич, потом Пушкин начал бывать у Колосовых и вскоре сделался у них своим человеком. И мать – Колосова и дочь очень его полюбили. Угрюмый и молчаливый в многочисленном обществе, Саша Пушкин у Колосовых смешил их своей резвостью и ребяческой шаловливостью. Ни минуты не посидит спокойно на месте: вертится, прыгает, пересаживается, перероет рабочий ящик матери, спутает клубки гаруса в вышивании дочери; разбрасывает карты в гран-пассансе, который раскладывает Евгения Ивановна. Она рассердится, крикнет:

– Да уймешься ли ты, стрекоза! Перестань, наконец!

Пушкин минуты на две приутихнет, а там опять начинает проказничать. Однажды Ев-

гения Ивановна пригрозила наказать его – остричь ему когти: так она называла его огромные, отпущенные на руках ногти. Взяла ножницы и приказала дочери:

– Держи его за руку, а я остригу!

Дочь взяла Пушкина за руку, он поднял крик на весь дом, начал притворно всхлипывать, стонать, жаловаться, что его обижают. Все смеялись до слез.

В конце 1818-го и в начале 1819 г. Колосова дебютировала на сцене в ролях Антигоны («Эдип в Афинах» Озерова), Моины («Фингал» его же) и Эсфири («Эсфирь» Расина). Пушкин так рассказывает про эти дебюты: «В скромной одежде Антигоны, при плесках полного театра, молодая, милая, робкая Колосова явилась на поприще Мельпомены. Семнадцать лет, прекрасные глаза, прекрасные зубы (следовательно – чистая, приятная улыбка), нежный недостаток в выговоре обворожили судей трагических талантов. Приговор почти единогласный назвал Сашеньку Колосову надежной наследницей Семеновой. Во все продолжение игры ее рукоплескания не прерывались. По окончании трагедии она была вы-

звана криками исступления, и, когда г-жа Колосова-большая, «прекрасной дочери еще более прекрасная мать», в русской одежде, блистая материнской гордостью, вышла в последующем балете, – все загремело, все закричало. Счастливая мать плакала и молча благодарила упоенную толпу. Пример, единственный в истории нашего театра. Три раза сряду Колосова играла три разные роли с равным успехом».

Вскоре после этих дебютов Пушкин вдруг резко прекратил свои посещения Колосовой, а немного спустя до нее дошла злая эпиграмма на нее Пушкина:

*Все пленяет нас в Эсфири:
Упоительная речь,
Поступь важная в порфире,
Кудри черные до плеч,
Голос нежный, взор любви,
Набеленная рука,
Размалеванные брови
И широкая нога!*

Колосова думает, что причиной перемены отношения к ней Пушкина было следующее: говоря о Пушкине у князя Шаховского, Грибо-

едов назвал его «мартышкой», Пушкину же передали, будто так назвала его Колосова. Сомнительно, чтобы это было так: Грибоедов еще летом 1818 г. уехал из Петербурга. Во всяком случае, была и другая причина. В упомянутой выше статье Пушкина о русском театре он восторженно выхваляет Семенову, потом, рассказав об удачных дебютах Колосовой, продолжает: «Чем же все кончилось? Восторг к ее таланту и красоте мало-помалу охолодел, похвалы стали умеренные, рукоплескания утихли; перестали ее сравнивать с несравненною Семеновой; вскоре стала она являться перед опустелым театром. Наконец, в ее бенефис, когда играла она роль Заиры, все заснуло... Если Колосова будет менее заниматься флигель-адъютантами его императорского величества, а более – своими ролями; если жесты ее будут естественнее и не столь жеманными; если будет подражать не только одному выражению лица Семеновой, но постарается себе присвоить и глубокое ее понятие о своих ролях, то мы можем надеяться иметь со временем истинно хорошую актрису». Отмечают раздражение, с которым Пуш-

кин говорит здесь о флигель-адъютантах. Можно думать, что, упоенная успехом, славой и поклонением знатной молодежи, Колосова равнодушно и покровительственно стала относиться к Пушкину. Это его задело, – и он стрельнул в нее эпиграммой. Была здесь и обида, и ревность, и, может быть, желание угодить сопернице Колосовой, нравившейся ему Семеновой.

Вскоре Пушкин был выслан из Петербурга. Через два года он послал Катенину из Кишинева письмо и приложил стихи, в которых ка-
ялся в своей эпиграмме на Колосову:

*Кто мне пришлет ее портрет,
Черты волшебницы прекрасной?
Талантов обожатель страст-
ный,
Я прежде был ее поэт.
С досады, может быть, неправой,
Когда одна, в дыму кадил,
Красавица блистала славой,
Я свистом гимны заглушил.
Погибни злобы миг единой,
Погибни лиры ложный звук:
Она виновна, милый друг,
Пред Селименой и Мойной.*

*Так легкомысленной душой,
О боги! смертный вас поносит,
Но вскоре трепетной рукой
Вам жертвы новые приносит.*

Письмо, однако, не дошло до Катенина; он и Колосова прочли стихи только после напечатания их в 1826 г. Осенью 1827 г., во время представления переведенной Катениным комедии Мариво, Катенин привел к Колосовой в уборную Пушкина, – «кающегося грешника», – объявил Пушкин.

Колосова, смеясь, напомнила:

– «Размалеванные брови...»

Пушкин, конфузясь и целуя ей руки, перебил:

– Полноте, бога ради! Кто старое помянет, тому глаз вон! Позвольте мне взять с вас честное слово, что вы никогда не будете вспоминать о моей глупости, о моем мальчишестве.

В начале тридцатых годов Пушкин читал у Колосовой, тогда уже Каратыгиной, в присутствии И. А. Крылова, своего «Бориса Годунова». Ему очень желалось, чтобы супруги Каратыгины прочитали в театре сцену у фонтана Дмитрия с Мариной. Но Бенкендорф поста-

новки не разрешил.

Иван Иванович Лажечников
(1792–1869)

Сын богатого коломенского купца, разорившегося после ареста при Павле I. В 1812 г., против воли родителей, поступил в ополчение, участвовал в походе на Париж; позже был адъютантом при графе Остермане-Толстом в Петербурге. Жил он в нижнем этаже великолепного дворца Остермана-Толстого на Английской набережной. Приехал в Петербург некий майор Денисевич, служивший в провинции, в штабе одной из дивизий гренадерского корпуса, которым командовал граф Остерман-Толстой. Лажечников поместил его в одной из комнат своей квартиры. Майор был человек малообразованный, очень плешивый и очень румяный, щеголявший густыми своими эполетами; любил кутнуть, любил и театр.

Однажды утром (дело происходило в 1819 г.) в квартиру Лажечникова вошел курчавый молодой человек невысокого роста, во фраке, в сопровождении двух гвардейских офицеров, и спросил майора Денисевича. Вошел Де-

нисевич. Увидев спутников молодого человека, он немного смутился, но оправился и сухо спросил штатского, что ему угодно.

– Вы это должны хорошо знать, – ответил молодой человек. – Вы мне назначили быть у вас в восемь часов. – Он вынул часы. – До восьми остается четверть часа. Мы имеем время выбрать оружие и назначить место.

Денисевич покраснел и взволнованно ответил:

– Я не затем звал вас к себе... Я хотел вам сказать, что молодому человеку, как вы, нехорошо кричать в театре, мешать своим соседям слушать пьесу, что это неприлично.

Штатский повысил голос:

– Вы эти наставления читали мне вчера при многих слушателях. Я уже не школьник и пришел переговорить с вами иначе. Для этого не нужно много слов; вот мои два секунданта; этот господин – военный (он указал на Лажечникова), он, конечно, не откажется быть вашим свидетелем...

Денисевич прервал его:

– Я не могу с вами драться. Вы, молодой человек, неизвестный, а я штаб-офицер.

Офицеры-секунданты засмеялись. Штатский веско сказал:

– Я – русский дворянин, Пушкин; это засвидетельствуют мои спутники, и потому вам не стыдно будет иметь со мною дело.

Узнав, что перед ним – автор «Руслана и Людмилы», Лажечников решил приложить все старания, чтобы предотвратить дуэль. Он увел майора в соседнюю комнату, стал указывать ему на неприятные последствия, которые для него может иметь и отказ от дуэли, и сама дуэль. Не очень воинственный майор охотно дал себя убедить и согласился извиниться перед Пушкиным. Не давая ему одуматься, Лажечников ввел майора в комнату и сказал Пушкину:

– Г. Денисевич считает себя виноватым перед вами, Александр Сергеевич; он не имел намерения вас оскорбить.

– Надеюсь, это подтвердит сам г. Денисевич, – сказал Пушкин.

Денисевич извинился и протянул руку. Пушкин в ответ руки не протянул, сказал:

– Извиняю.

И удалился со своими спутниками.

В том же 1819 г. Лажечников оставил военную службу и занял должность директора училищ Пензенской губернии. Вся его дальнейшая служба проходила преимущественно по учебному ведомству. Пописывал он с юных лет, но обратил на себя внимание в начале тридцатых годов историческим романом «Последний новик». Успех романа дал Лажечникову смелость послать его Пушкину при следующем письме:

«Волею или неволею займу несколько строк в истории вашей жизни. Вспомните малоросца Денисевича с блестящими, жирными эполетами и с душою трубочиста, вызвавшего вас в театре на честное «слово и дело» за неуважение к его высокоблагородию; вспомните утро в доме графа Остермана, с вами двух молодцов-гвардейцев, ростом и духом исполинов, бедную фигуру малоросца, который на вопрос ваш, приехали ли вовремя, отвечал нахохлившись, как индейский петух, что он звал вас к себе не для благородной разделки рыцарской, а сделать вам поучение, како подобает сидети в театре, и что майору неприлично меряться с фрачным; вспомните

крохотку-адъютанта, от души смеявшегося этой сцене и советовавшего вам не тратить благородного пороха на такого гада и шпор иронии – на ослиной коже. Малютка-адъютант был ваш покорнейший слуга, – и вот почему, говорю я, займу волею или неволею строчки две в вашей истории. Тогда видел я в вас русского дворянина, достойно поддерживающего свое благородное звание; но когда узнал, что вы – Пушкин, творец «Руслана и Людмилы» и столь многих прекраснейших пьес, тогда я с трепетом благоговения смотрел на вас. Загнанный безвестностью в последние ряды писателей, смел ли я сблизиться с вами? Ныне, когда голос избранных литераторов и собственное внимание ваше к трудам моим выдвигает меня из рядовых словесников, беру смелость представить вам моего «Новика», счастливый, если первый поэт русский прочтет его не сучая».

Время от времени Лажечников и Пушкин обменивались письмами. Интересно письмо Лажечникова от 22 ноября 1835 г., где он энергично отстаивает правильность своего отношения в «Ледяном доме» к А. Волынскому,

Тредьяковскому и Бирону.

Отзывы современников рисуют Лажечникова как очень хорошего человека, благодушного и детски доверчивого к людям, чуткого к новым литературным веяниям, приветствовавшего молодые таланты. Он был, между прочим, в очень дружеских отношениях с Белинским.

**Алексей Федорович Орлов
(1787–1862)**

Пушкин вспоминает: «Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других: они с покровительственной улыбкою выслушивали его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом! Ни в одном из них ты не найдешь сочувствия и пр.» Он терпеливо выслушает, начнет щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется.

Потом, смотришь – Пушкин опять с тогдашними львами! Странное смешение в этом великолепном создании!» Орлов в то время командовал лейб-гвардии конным полком, был генерал-адъютантом, любимцем Александра I. Побочный сын одного из екатерининских Орловых, графа Федора Григорьевича, младший брат М. Ф. Орлова (Рейна), члена «Арзамаса». Принимал участие во всех наполеоновских войнах, начиная с 1805 г. до взятия Парижа. Весной 1819 г. Пушкин не на шутку собрался поступить на военную службу, к большому огорчению друзей. Батюшков писал Гнедичу: «Жаль мне бедного Пушкина! Не бывать ему хорошим офицером, а одним хорошим поэтом менее. Потеря ужасная для поэзии! Зачем? Скажи, Бога ради!» Как раз Орлову удалось убедить Пушкина отказаться от своего намерения. Пушкин написал к нему послание: «К Орлову, отсоветовавшему мне поступить на военную службу».

*О ты, который сочетал
С душою пылкой, откровенной
(Хотя и русский генерал)
Любезность, разум просвещен-*

ный;

.....
Орлов, ты прав: я забываю
Свои гусарские мечты
И с Соломоном восклицаю:
Мундир и сабля – суеты!

.....
Смирив немирные желанья,
Без долимана, без усов,
Сокроюсь с тайною свободой,
С цевницей, негой и природой,
Под сенью дедовских лесов;

.....
И буду ждать. Когда ж восста-
нет
С одра покоя бог мечей,
И брани громкий вызов грянет,
Тогда покину мир полей;
Питомец пламенной Беллоны,
У трона верный гражданин,
Орлов! Я стану под знамены
Твоих воинственных дружин;
В шатрах средь сечи, средь пожа-
ров,
С мечом и лирой боевой,
Рубиться буду пред тобой
И славу петь твоих ударов.

Странно, что о роли Орлова в данном слу-

чае такие близкие к Пушкину лица, как его брат Лев и Соболевский, сообщают как раз противоположное: Лев говорит, что Орлов советовал Пушкину «оставить свое министерство и надеть эполеты», а Соболевский сообщает, что Орлов отговаривал Пушкина только от поступления в гусары, а предлагал служить у него в конной гвардии.

14 декабря 1825 г. Орлов три раза водил свой конногвардейский полк в атаку на каре мятежников. Солдаты шли в атаку неохотно, атаки были отбиты залпами восставших и поленьями рабочих. Однако за приверженность свою к Николаю Орлов был за это дело возведен в графское достоинство. Стал одним из приближенных к Николаю лиц. После смерти Бенкендорфа назначен был шефом жандармов и главным начальником Третьего отделения. В 1851 г. произведен в князья и назначен председателем государственного совета и комитета министров.

К русской литературе и ее деятелям Орлов относился с глубочайшим равнодушием. Когда А. О. Смирнова передала ему о согласии императора на пенсию Гоголю, Орлов отве-

тил:

– Что за Гоголь?

– Стыдитесь, граф, что вы русский и не знаете, кто такой Гоголь! – воскликнула Смирнова.

– Охота вам хлопотать об этих голых поэтах, – заметил Орлов.

Был находчив. Однажды царь отправил его в Константинополь с дипломатическим поручением. Отношения с Турцией в то время были натянутые. Орлова предупредили, что великий визирь собирается принять его на аудиенции сидя и что необходимо предварительно объясниться с турецким правительством, чтоб предотвратить такое неуважительное отношение к русскому посланцу. Орлов от всяких предварительных переговоров отказался. Вошел в приемный зал. Великий визирь сидит. Им приходилось встречаться и раньше. Орлов подошел к визирю, дружески с ним поздоровался, – как бы шутя, могучей своей рукой поднял старика с кресел и потом посадил его обратно.

**Граф Михаил Андреевич Милорадович
(1771–1825)**

Во время пребывания Пушкина в Петербурге по окончании лицея – петербургский военный генерал-губернатор и командир гвардейского корпуса. Известный боевой генерал, в молодости участвовал в суворовских походах, затем в наполеоновских войнах. Выделялся храбростью, в минуты наибольшей опасности был особенно оживлен и весел, опасностей жадно искал – и ни разу ни в одном бою не был ранен. «На меня пуля не отлита!» – смеялся он. В походах делил с солдатами все труды и лишения, прекрасно знал солдата и умел с ним говорить. Его называли «русским Баярдом». Денис Давыдов характеризует его так: «Граф Милорадович был известен в нашей армии по своему необыкновенному мужеству и невозмутимому хладнокровию во время боя. Солдаты его обожали. Не будучи одарен большими способностями, он был необразованный и малосведущий генерал. Беспорядок в командуемых им войсках был всегда очень велик; он никогда не ночевал в заблаговременно назначаемых ночлегах, что вынуждало адъютантов подчиненных ему генералов, присылаемых за приказа-

ниями, отыскивать его по целым ночам. Милорадович отличался расточительностью, большой влюбчивостью, страстью изъясняться на незнакомом ему французском языке и танцевать мазурку. Он получил несколько богатых наследств, но все было издержано им весьма скоро». Был очень щедр, деньги бросал без счета. Когда собственных денег не было, занимал, не зная, сможет ли возвернуть; занимал даже у подчиненных. Рассказывали, что на юге у одного провиантского чиновника он взял займы казенных десять тысяч рублей и не возвратил. Чиновник на балу застрелился. Для женщин Милорадович забывал все. В 1812 г., заняв Гродно, он получил письмо от одной знатной дамы, заперся в кабинете и несколько дней сочинял к ней письмо с помощью трех приближенных: адъютанта своего П. Д. Киселева – как умного человека, хорошо знающего светские обычаи, Дениса Давыдова – как писателя, и пленного доктора француза Бартелеми – ввиду собственной нетвердости во французском языке. Корпусное и городское управление пришли в хаотическое состояние, беспорядок дошел до

крайних пределов. Наконец Милорадович подписал свое послание, двери кабинета раскрылись, комендант и представители города устремились к Милорадовичу. Но кабинет был пуст: Милорадович вышел в потаенные двери и ускакал на бал плясать мазурку.

По окончании войны с Наполеоном Милорадович был возведен в графское достоинство, награжден орденом Георгия 2-й степени, сделан военным генерал-губернатором Петербурга. Ходило много разговоров о его любовных похождениях, о форменных гаремах, которые он составлял себе из воспитанниц театрального училища. Денис Давыдов рассказывает: «Будучи петербургским генерал-губернатором, Милорадович, выделявая прыжки перед богатым зеркалом своего дома, приблизился к зеркалу так, что разбил его ударом головы своей; это вынудило его носить довольно долго повязку на голове». Вигель сообщает, что «чухоно-французским языком своим Милорадович забавлял двор и публику»; он называет его невежественным и пустоголовым ветреником.

Весной 1820 г. до правительства дошли

слухи о нелегальных стихотворениях Пушкина. Милорадович вытребовал его к себе. Когда Пушкина привезли, Милорадович приказал полицмейстеру ехать на квартиру Пушкина и сделать обыск. Пушкин сказал:

– Граф, вы напрасно это делаете. Там не найдете того, что ищете. Лучше велите мне подать перо и бумаги, я здесь же все вам напишу.

Милорадович пришел в восторг и воскликнул:

– Вот это по-рыцарски!

И крепко пожал руку Пушкину. Пушкин сел и написал целую тетрадь. По рассказу Милорадовича, дальше было так. Милорадович поехал с тетрадью к царю и сказал:

– Здесь все, что разбрелось в публике, но вам, государь, лучше этого не читать.

Царь улыбнулся на его заботливость. Потом Милорадович рассказал подробно, как было дело. Царь слушал внимательно и наконец спросил:

– А что ж ты сделал с автором?

– Я? Я объявил ему от имени вашего величества прощение.

Александр слегка нахмурился, помолчал и спросил:

– Не рано ли? – Потом, еще подумав, прибавил: – Ну, коли уж так, то мы распорядимся иначе: снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и, с соблюдением возможной благовидности, отправить его на службу на юг.

На деле было, конечно, не так. Александр хотел сослать Пушкина в Сибирь или в Соловки. Только усиленными хлопотами Карамзина, Оленина и Чаадаева через приближенных к царю лиц удалось спасти от этого Пушкина и устроить ему ссылку на юг.

Семья Раевских

Николай Николаевич Раевский-Старший (1771–1829)

Известный боевой генерал эпохи наполеоновских войн. Особенно знаменит был подвигом, совершенным при деревне Салтановке или Дашковке в июле 1812 г. С десятичным отрядом он сдерживал напор сорокатысячной армии маршала Мортье, пока Багратион не соединился с Барклаем-де-Толли под Смоленском. Когда во время боя войска заколебались, он взял за руки двух своих сыновей – 16-летнего Александра и 11-летнего Николая, – крикнул солдатам: «Вперед, ребята, за царя и за отечество! Я и дети мои, коих приношу в жертву, откроем вам путь!» – пошел на неприятеля и увлек за собой солдат. Этот подвиг Раевского приобрел в то время огромную популярность, он изображался на лубочных картинках, Раевского сравнивали с древним римлянином, а Жуковский воспел его в своем «Певце во стане русских воинов»:

Раевский, слава наших дней,

*Хвала! Перед рядами
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами!*

Однако в некрологе Раевского, составленном очень близким ему лицом, зятем его М. Ф. Орловым, о подвиге этом не упоминается, а поэт Батюшков, бывший в 1813 г. адъютантом при Раевском, передает следующий его рассказ:

– Из меня сделали римлянина, из Милорадовича – великого человека, из Витгенштейна – спасителя отечества, из Кутузова – Фабия. Я не римлянин, но зато и эти господа – не великие птицы... Про меня сказали, что я под Дашковкой принес на жертву детей моих. Превозносили за то, чего я не сделал, а за истинные мои заслуги хвалили Милорадовича и Остермана. Вот слава, вот плоды трудов!

– Но помилуйте, ваше высокопревосходительство, не вы ли, взяв за руки детей ваших и знамя, пошли на мост, повторяя: «Вперед, ребята, я и дети мои откроем вам путь к славе» или что-то тому подобное?

Раевский засмеялся:

– Я так никогда не говорю витиевато, ты

сам знаешь. Правда, я был впереди. Солдаты пятились, я ободрял их. Со мной были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило, на мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын собирал в лесу ягоды (он был тогда суший ребенок, и пуля ему прострелила панталоны), вот и все тут, весь анекдот сочинен в Петербурге. Жуковский воспел в стихах, граверы, журналисты, нувеллисты воспользовались удобным случаем, и я пожалован римлянином. Et voilà comme on e´crit l'histoire!

[253]

Рассказ этот хорошо характеризует Раевского и показывает, что был он совсем из другого материала, чем паскевичи и дибичи, усиленно приписывавшие себе никогда не совершенные подвиги. Тот же Батюшков рассказывает про Раевского: «В опасности он истинный герой, он прелестен. Глаза его разгорятся, как угли, и благородная осанка его поистине сделается величественною». Наполеон говорил, что Раевский создан из материала, из которого делают маршалы. Был он скромн и горд. Император Александр хотел возвести

его в графское достоинство; Раевский, по семейному преданию, ответил знаменитым девизом Роганов: «Царем быть не могу, герцогом быть пренебрегаю, я – Роган». Его самостоятельность и глубокая порядочность сделали для него невозможную карьеру в той атмосфере, где блестящие карьеры создавали себе Аракчеев, Чернышев, Паскевич. В скромной сравнительно роли командира корпуса Раевский пробыл до самой отставки в 1824 г. «Он был насмешлив и желчен, – вспоминает Пушкин. – Один из наших генералов, не пользующийся блистательной славой, в 1812 г. взял несколько пушек, брошенных неприятелем, и выпросил себе за то награждение. Встретясь с генералом Раевским и боясь его шуток, чтобы их предупредить, он бросился было его обнимать. Раевский отступил и сказал с улыбкою: «Кажется, ваше превосходительство принимает меня за пушку без прикрытия!» Раевский говорил об одном майоре, жившем у него в управителях, что он был заслуженный офицер, оставленный за отличия с «мундиром без штанов».

В семье своей Раевский был деспотичен и

умел настоять на своем. Дочь его, Мария Волконская, вспоминает, как рожала в первый раз в имении своего отца: «Роды у меня были очень тяжелые, без повивальной бабки (она приехала только на другой день). Отец настаивал, чтобы я сидела в кресле, а мать, как более опытная в этих делах, приказывала мне лечь в постель, – и вот они спорят, а я мучаюсь. Наконец воля мужчины, как всегда, одержала верх. Меня посадили в большое кресло, где я перенесла жестокие муки без всякой медицинской помощи».

В январе 1826 г. Раевский был назначен членом государственного совета в моральное возмещение за арест обоих его сыновей, оказавшихся непричастными к Тайному обществу. Последние годы жизни Н. Н. Раевского были очень печальны. Одна из его дочерей, Мария, в ужаснейших условиях жила в Сибири близ тюрьмы каторжника-мужа, Екатерина томилась в деревенской глуши с исключенным из службы мужем, М. Ф. Орловым, Елена увядала в чахотке и уже не имела шансов выйти замуж. Софье тоже предстояло «остаться в девках», старший сын Александр

происками Воронцова сослан был в Полтаву. Имущественные дела самого Н. Н. Раевского были расстроены. Радовал только младший сын Николай, отличавшийся в кавказских войнах и получавший одну боевую награду за другой. Отец писал ему: «Ты, мой друг, утешение нашего семейства, коего, как тебе известно, положение довольно грустно во всех отношениях. Мое положение таковое, что я и в деревне чем жить весьма умеренно едва-едва имею и вперед лутчего не вижу, словом, все покрыто самой черной краской... Я креплюсь духом, мой друг. Благодарю Бога, он дал мне еще силы переносить обстоятельства, а не задумался б ни на минуту, когда б дело шло обо мне одном, это видит Бог, – но будущность сестер и всех вас мне тягостна».

Пушкин был знаком с Н. Н. Раевским еще в Петербурге до ссылки, видимо, был близко принят в его доме; летом 1819 г., по его поручению, с сыном его Николаем был в Царском Селе у Жуковского, не застал дома и в стихотворной записке извещал его: «Тебя зовет на чашку чая Раевский, слава наших дней». С Раевским и его семьей Пушкин поехал из Екате-

ринослава на Кавказ, жил при нем на Кавказе и потом три недели в Гурзуфе. О гурзуфском житье он писал брату: «Мой друг, счастливейшие минуты жизни провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель екатерининского века, памятник двенадцатого года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества». Пушкин впоследствии встречался еще с Раевским в Каменке, имении его матери, по второму мужу Давыдовой. После смерти его Пушкин по просьбе вдовы хлопотал перед Бенкендорфом об увеличении ей пенсии. «Уже то, что она с этим обратилась ко мне, – писал он, – свидетельствует, до какой степени у нее мало друзей, надежд и путей. Половина семьи в ссылке, другая – накануне полного разорения. Доходов едва хватает на уплату процентов громадного долга...»

Софья Алексеевна Раевская (1769–1844)

Жена генерала Н. Н. Раевского. Отец ее, А. А. Константинов, был библиотекарем Екатерины II, родом грек. Мать – единственная дочь знаменитого М. В. Ломоносова. Софья Алексеевна была брюнетка, с большими черными глазами и лебединой шеей. Черты лица носили резко выраженный южный характер. Благоговение перед мужем и преданность ему владели всем ее существом; несмотря на многочисленное свое семейство, она до последних дней своих оставалась более супругой, нежели матерью. Ее правнук, князь С. М. Волконский, характеризует ее так: сухая, мелочная женщина, неуравновешенная и нервная, в которой темперамент брал верх над разумом. Она всю жизнь не могла простить дочери, Марии Волконской, что та последовала за мужем в Сибирь. В поступке ее мать видела только семейное осложнение, неудобное для всех, вредное для положения отца и для карьеры братьев. В 1829 г. она писала дочери в Сибирь: «...ты говоришь в письмах к сестрам, что я как будто умерла по от-

ношению к тебе. А чья вина? Твоего обожаемого мужа... Немного добродетели нужно было, чтобы не жениться, когда человек принадлежал к этому проклятому заговору. Не отвечай мне, я тебе приказываю». После смерти мужа Софья Алексеевна долго жила в Италии и там же умерла.

Александр Николаевич Раевский
(1795–1868)

Есть такие люди – умные, насмешливые, с еразьедающей логикой, глубочайшие скептики и циники, которым нравится отрицать и разрушать, ничего взамен не созидая, которые с наслаждением все живое разлагают на составные части, глядя со смехом, как от него отлетает жизнь. Для этих людей нет ничего «признанного». Любовь к женщине? О, Боже мой! Вздохи, восторг души, готовность весь мир вместить в своей груди, –

*Verschwunden ganz der Erdensohn,
Und dann die hohe Intuition –
Ich darf nicht sagen wie zu
schliessen.*

(совсем исчез сын земли, а потом все это высокое упоение, – неприличный жест, – за-

кончить, не смею сказать как!) (Мефистофель). Женщина с загадочным взглядом сфинкса? «Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться загадочному взгляду?» (Базаров). Мать? Что такое мать? Мокрая квартира, в которой человек принужден жить девять месяцев. Свобода? Подвиг? Благо человечества? Смысл жизни? На все у такого человека есть уничтожающие возражения, полные убедительнейшей логики. На молодость эта логика действует неотразимо. И может быть, очень для нее даже полезна. Хорошему, ищущему юноше такие люди необходимы как этап, который должна преодолеть юная наивность и бессознательная вера, чтоб перейти к сознательному творчеству высших ценностей. Для Гете подобным человеком был Мефистофель-Мерк, для Пушкина – Александр Раевский.

Александр Николаевич Раевский был старший сын генерала Н.Н. Раевского. Блестяще кончил курс в Московском университетском Благородном пансионе, служил в лейб-гвардии егерском полку, участвовал в наполеоновских войнах, был в целом ряде сражений,

по вступлении русских войск во Францию состоял адъютантом при графе М. С. Воронцове. В 1819 г. был отправлен на Кавказ с прикомандированием к кавказскому отдельному корпусу и лечился на минеральных водах, у него была какая-то болезнь ног – не то рана, не то, по словам генерала Ермолова, – «горькие плоды сладостнейших воспоминаний». Здесь, на минеральных водах, с Раевским познакомился Пушкин, которого семья Раевских захватила с собой из Екатеринослава на Кавказ; здесь началось то исключительное, демоническое влияние Раевского на Пушкина, которое тянулось несколько лет и с силой которого не может сравниться влияние ни Чаадаева, ни кого-либо другого из самых умных и даровитых друзей Пушкина. До высылки своей из Одессы Пушкин встречался с Ал. Раевским в Кишиневе, в Каменке, особенно часто – в Одессе. Высокий, костлявый, с маленькой головой и темным морщинистым лицом; очень длинный разрез рта с извилистой линией тонких, насмешливых губ; и маленькие изжелта-карие глаза, светящиеся сквозь стекла очков никогда не потухающих

едкой насмешкой. Пушкин не мог выносить взгляда этих глаз: его тянул к себе сладкий яд бесед и споров с Раевским, но чтобы чувствовать себя при этом свободно, он тушил в комнате свечи, и они разговаривали в темноте. Ум Раевского подавлял Пушкина, как мальчика, и вселял к себе благоговейное уважение. «А. Раевский будет более, нежели известен», – писал Пушкин брату. И был убежден, что Раевскому «предназначено, может быть, управлять ходом весьма важных событий». О чем же шли беседы? Пушкин вспоминает в «Демоне»:

*Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неутощимой клеветой
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе,
На жизнь насмешливо глядел, –
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.*

В черновике к «Онегину» Пушкин возвра-

щается к воспоминаниям о Раевском:

*Мне было грустно, тяжело, больно,
Но, одолев мой ум в борьбе,
Он сочетал меня невольно
Своей таинственной судьбе.
Мою задумчивую младость
Он для восторгов охладил.
Я неописанную сладость
В его беседах находил;
Я стал взирать его очами;
С его печальными речами
Мои слова звучали в лад;
Открыл я жизни бедный клад
В замену прежних заблуждений,
В замену веры и надежд...*

Влияние Байрона в то время было у нас уже очень сильное, Пушкину, как и всей тогдашней молодежи, очень импонировала байроническая разочарованность во всем, манфредовское отрицание, насмешка над «бедным кладом жизни». В преломлении такого настроения мелкая и сухая фигура А. Раевского выросла в романтическую фигуру зловещего, печального в своем всезнании демона. На деле же это был раздражающе-рассу-

дочный, беспринципный и черствый эгоист, всего менее способный вызвать какое-либо поэтическое чувство. Отец находил у него «холодное и себялюбивое сердце» и в 1820 г. писал о нем старшей своей дочери: «С Александром живу в мире, но как он холоден! Я ищу в нем проявления любви, чувствительности и не нахожу их. Он не рассуждает, а спорит, и чем больше он не прав, тем его тон становится неприятнее, даже до грубости. Мы условились с ним никогда не вступать ни в споры, ни в отвлеченную беседу... У него ум наизнанку; он философствует о вещах, которых не понимает, и так мудрит, что всякий смысл испаряется. То же самое с чувством: он очень любит Николашку (ребенка-черкеса, привезенного А. Раевским с Кавказа) и беспрестанно его целует, но он так же любил и целовал собаку Аттилу. Он не верит в любовь, так как сам ее не испытывает и не старается ее внушить. Он равнодушно принимает все, что бы я ни делал для него». Человек сухо-рассудочный, художественным вкусом Александр Раевский не обладал. Вот что, например, писал он в 1825 г. сестре Екатерине о «Го-

ре от ума»: «...твоя глупая пьеса отвратительна во всех отношениях; две-три меткие черты не составляют картины и не могут искупить ни отсутствие плана, ни нелепость характеров, ни жестокость и беспорядочность версификации, достойной Тредьяковского». Однако рассудочная трезвость Раевского, не мирившаяся с напыщенно-фальшивой романтикой байронических пушкинских поэм, была для Пушкина полезна. Он сам впоследствии вспоминал с удовольствием, как смеялся Раевский над характером кавказского пленника, как хохотал над тем местом в «Бахчисарайском фонтане», где хан, потеряв Марию, ищет забвения в буйных набегах, но –

*...часто в сечах роковых
Подъемлет саблю – и с размаха
Недвижим остается вдруг,
Глядит, с безумием вокруг,
Бледнеет...*

и т.д.

«Молодые писатели, – замечает Пушкин, – вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрога-

ются, скрежещут зубами и проч. Все это смешно, как мелодрама».

Мало романтична и поэтична и дальнейшая жизнь А. Раевского. Он страстно был влюблен в графиню Е. К. Воронцову, жену одесского генерал-губернатора, которая приходилась ему отдаленной родственницей. Любил Воронцову и Пушкин. Раевский, как рассказывают, постарался воспользоваться этим и отвлечь ревнивое внимание мужа от себя на Пушкина, что, по-видимому, и удалось. К нему относят стихи Пушкина «Коварность»:

*...если ты святую дружбы власть
Употреблял на злобное гоненье;
Но если ты затейливо явил
Пугливое его воображенье
И гордую забаву находил
В его тоске, рыданьях, униженье;
Но если сам презренной клеветы
Ты про него невидимым был эхом;
Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом,
.....
Тогда ступай, не трать пустых
речей –
Ты осужден последним пригово-*

С отъездом Пушкина из Одессы прекращаются его сношения с А. Раевским. Раевский пытался завести с ним дружескую переписку, но Пушкин не откликнулся на его письмо.

Пришло 14 декабря. Много близких друзей и родственников А. Раевского было арестовано и засажено в крепость. Арестовали и А. Раевского с братом, привезли в Петербург. Но пробыли они под арестом не более двух недель. Выяснилось, что они никакого касательства к заговору не имели.

Император сам допрашивал братьев. Он сказал Александру Раевскому:

– Я знаю, что вы не принадлежите к Тайному обществу, но, имея родных и знакомых там, вы все знали и не уведомили правительство. Где же ваша присяга?

Александр смело ответил:

– Государь! Честь дороже присяги: нарушив первую, человек не может существовать, тогда как без второй он может обойтись.

Это рассказывает в своих воспоминаниях Н. И. Лорер. Сведения, им сообщаемые, вообще мало надежны. В настоящее время доста-

точно выяснилась мелкая и мстительно-злая натура Николая, лишенная всякой тени «рыцарства», которое ему так усердно приписывали его хвалители. Заговорщиков он считал гнусными мерзавцами, нарушившими не только присягу, но прежде всего именно честь. Взгляд на честь, высказанный А. Раевским, мог привести царя только в ярость. И совершенно невероятно, чтобы после такого ответа он мог еще пожаловать Раевского в камергеры. М. В. Юзефович, хорошо знавший обоих братьев Раевских, на полях рукописи Лорера сделал такое замечание: «Николай Раевский рассказывал мне иначе это свидание с государем: у одного из братьев движением наморщенного лба сдвинулись с носа очки. Тогда государь, обратившись к Орлову, тут присутствовавшему, сказал: «Преступники не могут так смотреть на своего государя. Я объявляю их невинными». Ал. Раевский был выпущен с оправдательным аттестатом и пожалован в звание камергера. Не так дешево отделались его родственники. Очень тяжелая кара грозила, между прочим, князю С. Г. Волконскому, мужу его сестры Марии Николаев-

ны. А. Раевский, видимо, знал характер сестры и опасался, как бы, в связи с осуждением мужа, она не наделала каких-нибудь глупостей». И вот все силы своего ума и энергии он направил на то, чтобы сестра узнала о приговоре над мужем как можно позже, когда его уже отправят в ссылку. Он удерживал ее от поездки в Петербург, обманывал, перехватывал адресуемые ей письма, сделался форменным ее тюремщиком. И писал сестре Екатерине: «Что касается самой Маши, ее воли, то, когда она узнает о своем несчастье, у нее, конечно, не будет никаких желаний. Она сделает и должна сделать лишь то, что посоветует ей отец и я». Но Мария Николаевна сделала совсем другое. Как только она наконец узнала о приговоре, она в один день собралась и уехала в Петербург, чтобы устроить свою поездку в Сибирь вслед за мужем. Все усилия Александра пропали даром.

В 1826 г. Раевский поступил чиновником особых поручений к графу Воронцову в Одессе; к жене его он по-прежнему продолжал гореть страстной любовью. А летом 1828 г. на почве этой любви разыгралась дикая, совер-

шенно фантастическая история. Мы не знаем ее подробностей, но Пушкин, когда в последние месяцы жизни собирался сделать скандал Геккерену, говорил Жуковскому, что «громкие подвиги Раевского – детская игра в сравнении с тем, что я собираюсь сделать». По-видимому, графиня Воронцова порвала отношения с Раевским, он устроил ей публичный скандал, при всех кричал что-то вроде: «Куда вы девали нашего ребенка?» По словам мужа, Раевский встретил его жену на загородной прогулке и «преследовал ее своими любезностями», – очень что-то туманное и непонятное по отношению не к незнакомому уличному ловеласу, а к человеку, бывшему своим в доме Воронцовых. Воронцов прибег к обычному для него способу борьбы с врагами: он донес царю о политической якобы неблагонадежности Раевского, и Раевский с жандармом был выслан на жительство в Полтаву.

В 1834 г. он получил разрешение жить в Москве. Нигде не служил. Женился на очень богатой девице Е. П. Киндяковой, – взялся сватать ее за другого, а женился сам. История вышла самая скандальная и перессорила пол-

Москвы. Жена его вскоре умерла, оставив Раевскому дочь, которую он нежно любил. Публике московской он нисколько не импонировал, как зять его М. Ф. Орлов или Чаадаев; знали, что он – оригинал пушкинского «Демона», и иронически называли его «сатаной с Чистых Прудов». В 1834 г. Пушкин записал в дневнике, что проездом через Москву «видел А. Раевского, которого нашел поглупевшим от ревматизмов в голове, – может быть, пройдет». А весной 1836 г. писал жене из Москвы: «Раевский, который прошлого года казался мне немного приглупевшим, кажется, опять оживился и поумнел». Князь В. Мих. Голицын, знавший Ал. Раевского в пятидесятых годах, рассказывает в неизданных своих записках: «Высокого роста старик, очень смуглый, несколько цыганского типа, с золотыми очками на носу, он был очень веселым собеседником, любил поговорить на самые разнообразные темы. Главным интересом его жизни было воспитание единственной его дочери, прозванной им «Сашок», которая опекаема была чуть не четырьмя гувернантками разных национальностей... Раевский обладал

большими капиталами, ссужал субсидиями своих знакомых, особенно же протратившихся широкою жизнью молодых людей, на какие субсидии, разумеется, насчитывались проценты, более или менее высокие. Из этого вывели заключение (довольно правильное. – В. В.), что он занимался ростовщичеством и что те бриллианты, которые в изобилии украшали туалеты его «Сашка», были плодами этих операций».

**Екатерина Николаевна Раевская-
Орлова
(1797–1859)**

Старшая дочь генерала Н. Н. Раевского. В те блаженные для Пушкина три месяца, которые он осенью 1820 г. провел в Гурзуфе в семье Раевских, она помогала Пушкину в изучении английского языка. Была красавица, властная, с твердым характером. «Женщина необыкновенная», – писал про нее Пушкин брату. Есть ряд свидетельств, что он ею увлекался. 15 мая 1821 г. вышла замуж за генерала М. Ф. Орлова. Пушкин бывал у них в Кишиневе за своего человека. Ей там было прозвание «Марфа-посадница». В 1825 г. Пушкин по по-

воду своего «Бориса Годунова» писал Вяземскому: «Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова. Не говори, однако, этого никому».

**Николай Николаевич Раевский-
Младший
(1801–1843)**

Брат предыдущих. С десяти лет находился на военной службе. Пушкин о нем писал:

*Едва-едва расцвел, и вслед от-
ца-героя
В поля кровавые под тучи вра-
жьих стрел,
Младенец избранный, ты гордо
полетел.*

Участвовал в походах и битвах 1812–1814 гг. В последние лицейские годы Пушкина служил в лейб-гвардии гусарском полку, стоявшем в Царском Селе. Здесь, в 1816–1817 гг., он у Чаадаева познакомился с Пушкиным. Они подружились, часто виделись и в Петербурге до высылки Пушкина на юг. Пушкин с юга писал брату про Раевского: «...ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные». Про эти услуги мы, к со-

жалению, ничего не знаем. Но знаем, что он же отыскал в Екатеринославе в жалкой лачуге больного Пушкина и устроил его поездку с Раевскими на Кавказ и в Крым. Там они еще больше сошлись. Нежная и участливая дружба Раевского смягчила то мрачное ожесточение, которым в то время была полна душа Пушкина. В посвящении ему «Кавказского пленника» Пушкин вспоминает:

*Когда я погибал безвинный, безот-
радный,
И шепот клеветы внимал со всех
сторон,
Когда кинжал измены хладный,
Когда любви тяжелый сон
Меня терзали и мертвили,
Я близ тебя еще спокойство нахо-
дил:
Я сердцем отдыхал – друг друга
мы любили...
Забуду ли его кремнистые верши-
ны,
Гремучие ключи, увядшие равни-
ны,
Пустыни знойные, края, где ты со
мною
Делил души молодые впечатленья?*

Вместе прожили они и в Гурзуфе, в семье Раевских, сверкающие, для Пушкина незабвенно счастливые три недели. Читали вместе Байрона, изучали английский язык.

Раевский был богатырь ростом и силой, скручивал в узел железную кочергу. Держался очень демократично и свободно, это нередко коробило его отца. Однажды отец писал ему: «Возьми себя в руки, дорогой Николай. Тон твоих шуток в присутствии отца, твоя манера сидеть, развалившись на диване передо мной, перед девушками, поднявшиеся панталоны, обнажающие твои жирные ноги, – все это очень меня возмущало, я молчал, но я страдаю... Уважай мать, уважай сестер, не оскорбляй и не унижай никого, даже дураков: ты умен, но ты пока не совершил еще ничего больше любого дурака, и неизвестно, совершишь ли». Но о нем же отец писал старшей дочери: «Николай будет, может быть, легкомыслен, наделает много глупостей и ошибок, но он способен на порыв, на дружбу, на жертву, на великодушие». Был он человек умный и очень образованный, он первый познакомил Пушкина с Байроном, с Шенье, дружба

его с Пушкиным упрочивалась общностью умственных и художественных интересов, строгостью его вкуса. Ему Пушкин посвятил целый ряд своих произведений – «Кавказского пленника», «Андрея Шенье», и собирался посвятить и «Бахчисарайский фонтан», с ним у Пушкина была интереснейшая переписка по поводу «Бориса Годунова» и вообще трагедии.

В 1826 г. двадцатипятилетний полковник «Раевский 3-й» был назначен командиром Нижегородского драгунского полка, во главе его проделал персидскую кампанию 1827 г. и турецкую 1828–1829 гг. Выказал исключительную распорядительность и храбрость, о чем Паскевич с восхищением писал его отцу, бывшему своему начальнику и боевому товарищу. За эти кампании Раевский получил Георгия, несколько других орденов, был произведен в генералы. В 1829 г. к нему на фронт приехал Пушкин, жил с ним в одной палатке и весь поход до Арзрума проделал с ним и с его Нижегородским полком. Когда кампания уже приходила к концу, случилось происшествие, прервавшее блестяще начатую карьеру

Раевского. Он поехал из Арзрума в отпуск; по неприятельской стране его сопровождал конвой из сорока драгунов его полка. К конвою пристроились некоторые разжалованные декабристы, служившие солдатами в бригаде Раевского. На русской границе, в Гумрах, нужно было выдержать трехдневный карантин. Раевский держался с разжалованными совершенно по-товарищески, – они обедали у Раевского, коротали карантинную скуку общей игрой в вист. В числе этих декабристов были Захар Чернышев, граф Ворцель, Валериан Голицын, Ал. Бестужев-Марлинский. Случайно проезжал в это время через Гумры некий граф Бутурлин, адъютант главного штаба в Петербурге: паркетный герой, приехавший на войну для получения боевых отличий. Он немножко припоздал, война, собственно, уже кончилась, но Паскевич, чтобы угодить военному министру Чернышеву, дал Бутурлину казачий отрядец, где-то Бутурлин как будто имел какую-то сшибку с неприятелем и награжден был Владимирским крестом. На обратном пути он тоже попал в карантин, Раевский пригласил его к себе отобедать. Бутур-

лин пообедал, поблагодарил, – а через шесть недель пришел к Паскевичу грозный запрос из Петербурга с сообщением, что его императорское величество очень интересуется узнать, на каком основании генерал-майор Раевский позволяет себе общение с лицами, принадлежащими к злоумышленным обществам, допускает их к короткому с собой обращению и позволяет им быть даже при своем столе. У Паскевича не было в обычае стоять за своих подчиненных, если это хоть сколько-нибудь грозило неприятностями ему самому. Притом Раевский сильно выдвинулся своими подвигами и приобрел популярность, а Паскевич не выносил, чтоб какую-нибудь удачу приписывали не ему самому; да и отец Раевского в это время уже умер, так что можно было не стесняться. Паскевич ответил в Петербург, что он давно уже просил Дибича дать ему генералов, которые соединяли бы способности с «добрыми правилами», но таковых он получить не мог и ему поневоле приходилось терпеть «тех, какие были». И он указал генералов, «удаление которых отсюда было бы полезно», – всех наиболее талантли-

вых и способных генералов, вынесших на своих плечах кампанию, – Сакена, Муравьева и Раевского. Раевский был подвергнут аресту на восемь дней и потом переведен на службу в Россию. Это преступление Раевского настолько превысило в глазах Николая все его военные заслуги, что когда Пушкин в 1830 г. просил Бенкендорфа разрешения съездить в Полтаву, чтобы повидаться с Николаем Раевским, Бенкендорф ответил, что царь решительно запрещает ему это путешествие, «потому что у его величества есть основание быть недовольным последним поведением г-на Раевского». В начале 1834 г. Раевский был в Петербурге и там часто виделся с Пушкиным. Сын князя П. А. Вяземского рассказывает: «После обеда у моего отца много ораторствовал приятель Пушкина, генерал Раевский, человек вовсе отцу моему не близкий и редкий гость в Петербурге. Пушкин с заметным нетерпением возражал Раевскому; выведенный как будто из терпения, чтобы положить конец разговору, Пушкин сказал Раевскому:

– На что Вяземский снисходительный человек, а и он говорит, что ты невыносимо тя-

жел».

Осенью 1837 г. Раевский снова был призван к боевой деятельности и назначен начальником Черноморской береговой линии, действовал с обычным умением и храбростью. Декабрист Лорер писал приятелю: «Генерал тяжел, кричит, шумит, самолюбив до крайности, честолюбие не имеет границ, но для края, который он создал, полезен и благонамерен». В 1841 г. Раевский вышел в отставку и жил до смерти в воронежском своем имении, где увлекался садоводством.

Елена Николаевна Раевская (1803–1852)

Сестра предыдущих. Красотой выдавалась даже среди красавиц сестер; была высокая, стройная, с прекрасными голубыми глазами, очень скромная и стыдливая. Она хорошо знала английский язык, переводила Байрона и Вальтера Скотта по-французски, но втихомолку уничтожала свои переводы. Когда Пушкин гостил у Раевских в Гурзуфе, Николай Раевский сообщил Пушкину о занятиях сестры. Пушкин стал подбирать под окнами Елены клочки изорванных бумаг и обнару-

жил тайну. Он восхищался этими переводами и уверял, что они чрезвычайно верны.

Елена Николаевна была болезненна, страдала туберкулезом легких, уже с двадцати лет не танцевала на балах, хотя любила на них присутствовать. Замуж не вышла. Ходили слухи, что к ней сватался граф Олизар, раньше влюбленный в ее сестру Марию. К Елене Раевской относится стихотворение Пушкина, написанное им в Гурзуфе:

*Увы, зачем она блистает
Минутной, нежной красотой?
Она приметно увядает
Во цвете юности живой...
Увянет! Жизнью молодою
Не долго наслаждаться ей,
Не долго радовать собою
Счастливый круг семьи своей,
Беспечной, милой остротою
Беседы наши оживлять
И тихой, ясною душою
Страдальца душу улаживать.
Спешу в волненье дум тяжелых,
Сокрыв уныние мое,
Наслушаться речей веселых
И наглядеться на нее.
Смотрю на все ее движенья,*

*Внимаю каждый звук речей,
И миг единый разлученья
Ужасен для души моей.*

Несмотря на свою болезненность, Елена прожила почти до пятидесяти лет и надолго пережила Пушкина. Была фрейлиной императорского двора. Долго жила в Италии с матерью и сестрой Софьей, там и умерла. Перед смертью, чтоб иметь возможность причаститься, Елене пришлось принять католичество: православного священника не было, а пастеры отказались причащать православную.

**Мария Николаевна Раевская-
Волконская
(1805–1863)**

Была малоинтересным смуглым подростком. «Мало-помалу, – вспоминал влюбленный в нее граф Густав Олизар, – из ребенка с неразвитыми формами она стала превращаться в стройную красавицу, смуглый цвет лица которой находил оправдание в черных кудрях густых волос и пронизывающих, полных огня глазах». Дед Марии по матери был грек. Южанки созревают быстро. Когда в на-

чале лета 1820 г. Пушкин с семьей Раевских отправился из Екатеринослава на Кавказ, можно думать, что пятнадцатилетняя Мария была уже вполне сформировавшейся девушкой. Об этом путешествии она вспоминает так: «Пушкин, как поэт, считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молоденьких девушек, с которыми встречался. Во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с сестрой Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Завидев море, мы приказали остановиться, вышли из кареты и всей гурьбой бросились любоваться морем. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала забавляться тем, что бегала за волной, а когда она настигала меня, я убегала от нее; кончилось тем, что я промочила ноги. Понятно, я никому ничего об этом не сказала и вернулась в карету». Мария Николаевна к этому происшествию относит известную строфу первой главы «Онегина»:

*Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,*

*Бегущим бурной чередой
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!
Нет, никогда средь пылких дней
Кипящей младости моей
Я не желал с таким мученьем
Лобзать уста молодых Армид,
Иль розы пламенных ланит,
Иль перси, полные томленьем;
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!*

В черновиках к этой строфе встречаем фразы: «За нею по наклону гор я шел», «ты стояла над волнами под скалой». Никаких гор и скал в таганрогской степи нет, да не было в тот час и надвигавшейся грозы. Но характерно, что скромная Мария Николаевна с полной уверенностью относит эту строфу к себе: очевидно, тогдашнее отношение к ней Пушкина давало ей достаточные основания для такого заключения. Вероятно, выраженное в этих стихах переживание было испытано Пушкиным несколько позднее, когда он с семьей Раевских приехал с Кавказа в Гурзуф. Три недели, проведенные Пушкиным в Гурзуфе, были са-

мыми светлыми, радостно-легкими днями в жизни Пушкина. «Мой друг, – писал он брату, – счастливейшие минуты жизни провел я посреди семейства почтенного Раевского... Все его дочери прелесть. Судя, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, – счастливое полуденное небо; прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение; горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда – опять увидеть полуденный берег и семейство Раевских». Впоследствии, во время южной своей ссылки, Пушкин не раз встречался с Марией Раевской и в Каменке, и в Киеве, и в Одессе, и, возможно, в Кишиневе, где жила ее замужняя сестра Екатерина Орлова. Бартеневу приходилось впоследствии беседовать с Мар. Ник. Волконской и Ек. Ник. Орловой о Пушкине. Обе они отзывались о нем с улыбкой некоторого пренебрежения и говорили, что восхищались его стихами, но ему самому не придавали никакого значения. Притом Мария Николаевна видела, что Пушкин увлекался и всеми ее сестрами, наблюдала, веро-

ятно, и другие его увлечения. «В сущности, – говорит она, – Пушкин обожал только свою музу и поэтизировал все, что видел». В увлечении Пушкина ею она также не усматривала ничего серьезного. И до самой смерти даже не подозревала, что внушила Пушкину самую глубокую, самую светлую и чистую любовь, какую он только знал в своей жизни. Как всегда, когда сильная любовь владела Пушкиным, он был и с Марией Николаевной робок и застенчив; может быть, и говорил о своей любви, но она осталась без ответа. На протяжении многих лет в произведениях Пушкина то здесь, то там прорывается сладкое и грустное воспоминание о неразделенной любви, которую он тщетно старается вырвать из сердца. В «Бахчисарайском фонтане» (1822):

*Все думы сердца к ней летят,
Об ней в изгнании тоскую...
Безумец! полно! перестань,
Не оживляй тоски напрасной!
Мятежным снам любви несчаст-
ной
Заплачена тобою дань, –
Опомнись, долго ль, узник том-
ный,*

*Тебе оковы лобызать
И в свете лирою нескромной
Свое безумство разглашать?*

В «Разговоре книгопродавца с поэтом»
(1824):

*Одна была, – пред ней одной
Дышал я чистым упоеньем
Любви поэзии святой.
Там, там, где тень, где лист чудесный,
Где льются вечные струи,
Я находил огонь небесный,
Сгорая жаждою любви.
Ах, мысль о той душе завялой
Могла бы юность оживить
И сны поэзии бывалой
Толпою снова возмутить!
Она одна бы разумела
Стихи неясные мои,
Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистою любви...
Увы, напрасные желанья!
Она отвергла заклинанья,
Мольбы, тоску души моей:
Земных восторгов излианья,
Как божеству, не нужны ей.*

В кишиневской записной книжке Пушкин

с горечью пишет: «Более или менее я был влюблен во всех хорошеньких женщин, которых знал, все изрядно кичились передо мной; все, за исключением одной, со мной кокетничали».

А ты, кого назвать не смею, – писал в черновике той строфы «Онегина», где вспоминает о волнах, ложившихся к ногам любимой. И всю жизнь Пушкин не смел ее назвать. В известном его «донжуанском списке», где Пушкин поименовал всех женщин, которых любил, имя этой любви скрыто под буквами N.N.

В январе 1825 г. девятнадцатилетняя Мария Раевская вышла замуж за богатого и знатного генерала князя Сергея Григорьевича Волконского, старше ее на семнадцать лет. Любви к нему у нее не было, она его мало знала. Брак был заключен по настоянию отца невесты, генерала Раевского; власть родителей была в то время очень сильна, и даже сильной духом девушке не так-то было легко идти против нее. Волконский был энергичным, увлеченным деятелем Южного тайного общества. Духовной близости так мало было между мужем и женой, что она про его участие в

обществе ничего даже не знала. Вскоре после свадьбы Мария Николаевна заболела и уехала в Одессу. К концу осени Волконский приехал за женой и отвез ее в Умань, где стояла его дивизия. Но и там они редко виделись. Волконский был занят делами общества, постоянно ездил в Тульчин, где был центр заговора, и дома бывал редко. Однажды, в декабре 1825 г., Волконский вернулся домой среди ночи и тотчас же разбудил жену:

– Вставай скорее!

Мария Николаевна вскочила. Она была в последнем периоде беременности, и это внезапное возвращение среди ночи испугало ее. Волконский растопил камин и стал жечь бумаги. Она спросила, что все это значит. Он коротко проговорил:

– Пестель арестован.

– Почему?

Волконский не ответил. Он был печален и сильно озабочен. Сейчас же собрал жену и отвез ее в имение ее отца Болтышки Киевской губернии. Немедленно по возвращении Волконский был арестован и отвезен в Петербург в Петропавловскую крепость.

Роды Марии Николаевны были тяжелые, получилось заражение крови, она в жару два месяца пролежала в постели. На вопросы о муже ей отвечали, что он в Молдавии. Пришедши в себя, она настойчиво потребовала ответа, и ей сказали, что Волконский арестован. Она тотчас же, несмотря на все отговоры, собралась ехать в Петербург. На ноге появилась рожа, но это ее не остановило. Завезла ребенка-сына в Белую церковь, к тетке своего отца, графине Браницкой, в весеннюю распутицу ехала днем и ночью и приехала в Петербург. Получила свидание с мужем при свидетелях. Брат Александр стал убеждать ее воротиться к ребенку, указывал, что следствие будет тянуться долго. Она послушалась и уехала. Александр приехал следом. И он, и другие родственники, видимо, знали, какая энергия и сила воли таились в нежной на вид и кроткой Марии; сильно боялись, что она, «по глупости» и по подговору родственников Волконского, поедет за мужем в Сибирь. Образовался форменный заговор, во главе которого стоял умный, хитрый и бессердечный Александр Раевский. Он перехватывал письма к

сестре, не допускал к ней ее приятельниц, держал ее в полном неведении о ходе процесса. Только когда приговор состоялся и Волконский был уже отправлен в Сибирь, он сообщил об этом сестре, рассчитывая, что теперь у нее опустятся руки и она примирится со своим положением. Однако Мария тотчас же укатила в Петербург и стала добиваться разрешения следовать за мужем. Но императору Николаю такие домогательства очень не нравились: жены тоже должны были смотреть на осужденных мужей как на гнусных злодеев и порвать с ними все отношения; им даже разрешено было вступить в новый брак. Тем же, которые решались следовать за мужьями в Сибирь, был поставлен ряд чудовищных по жестокости условий: жена не имела права брать с собой детей, лишалась права возвратиться в Россию раньше смерти мужа, лишалась всяких привилегий и должна была трактоваться начальством как «жена ссыльного-каторжного». Волконскую ничего это не испугало. Она решила ехать. Отец ее в это время был в Петербурге. Он был мрачен и неприступен. Мария сообщила ему о своем решении и

просила быть опекуном ее мальчика, которого она не имела права взять с собой. Отец пришел в бешенство, поднял над ее головой кулаки и крикнул:

– Я тебя прокляну, если ты через год не вернешься!

Она ничего не ответила, бросилась на кушетку и спрятала лицо в подушку.

В конце 1826 г. Мария Николаевна выехала из Петербурга в Сибирь. 26 декабря она остановилась в Москве у княгини Зин. Ник. Волконской, бывшей замужем за братом ее мужа. Зная, как Мария Николаевна любит пение, княгиня Зинаида устроила у себя концерт с итальянскими певцами и любителями. Мария Николаевна жадно слушала и просила:

– Еще, еще! Подумайте только, ведь я никогда больше не услышу музыки!

Зинаида Николаевна, сама прекрасная певица, спела арию из оперы Ф. Паэра «Агнеса», где несчастная дочь умоляет еще более несчастного отца своего о прощении. Голос певицы дрогнул и оборвался, а Мария Николаевна быстро вышла из комнаты, чтоб

скрыть подступившие к горлу рыдания. Брат поэта Веневитинова, присутствовавший на вечере, так описывает Марию Николаевну: «Третьего дня ей минуло двадцать лет; но так рано обреченная жертва кручины, эта интересная и вместе могучая женщина – больше своего несчастья. Она его преодолела, выплакала; она уже уверилась в своей судьбе и хранит свое несчастье в себе». На вечере этом присутствовал и Пушкин. Здесь он в последний раз увидел ту, любовь к которой светлой и чистой звездой сияла в тайных глубинах его души. Он растроганно жал ей руки, восхищался ее подвигом, говорил, что поедет собирать материалы о Пугачеве, переберется через Урал и явится к ним в Нерчинские рудники. Хотел через нее передать осужденным только что им написанное «Послание в Сибирь»: «Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье!» (послание повезла с собой А. Г. Муравьева, жена другого декабриста).

На следующий день Волконская поехала дальше. Претерпевая лишения, препятствия и издевательства, проделала дорогу в шесть тысяч верст и наконец добралась до Благодат-

ского рудника, где находился ее муж. Ее ввели в полутемную камеру. «Сергей бросился ко мне, – рассказывает она, – лязг его цепей поразил меня. Я не знала, что он был закован в кандалы. Такое суровое наказание дало мне понятие о всей силе его страданий. Вид его кандалов так взволновал и расстроил меня, что я бросилась перед ним на колени и поцеловала сначала его кандалы, а потом и его самого. Комендант, стоявший на пороге, остолбенел от изумления при виде моего восторга и уважения к мужу, которому он говорил «ты» и с которым обращался как с каторжником».

Через два года умер отец Волконской, старик-генерал Н. Н. Раевский. Умирая, он указал на портрет дочери и сказал:

– Вот – самая удивительная женщина, которую я знал.

В посвящении к «Полтаве» Пушкин еще раз вспомнил Волконскую, по-прежнему не смея назвать ее имени.

*Тебе – но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной*

Стремленье сердца моего?
Иль посвящение поэта
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, непризнанное вновь?
Узнай, по крайней мере, звуки,
Бывало милые тебе –
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.

В черновике вместо стиха «Твоя печальная пустыня» Щеголев прочел зачеркнутое: «Сибири хладная пустыня». Это окончательно подтвердило высказанную им догадку, кто именно был предметом «утаенной любви» Пушкина.

Княгиня Волконская прочно запечатлелась в памяти русского читателя в том виде, в каком ее изобразил Некрасов в поэме «Русские женщины». Подвижница долга, любящая жена, последовавшая за героем-мужем делить его страдания на каторге. Но образ этот требует какой-то очень существенной

поправки, раз мы знаем, что мужа она не любила. А она его не любила или любила очень мало. Братьям и сестрам она не раз сознавалась, что муж бывает ей несносен. А ведь видала она его за время замужества всего месяца три с большими перерывами. Что же в таком случае побудило ее отказаться от радостей жизни и с исключительным упорством, через все препятствия и унижения пробиваться к тому, чтобы разделить с мужем его судьбу? По-видимому, пылкая и немелкая душа ее была восхищена подвигом, который, неведомо для нее, совершал ее муж, ведя революционную работу, и потрясена была страданиями, которые за это на него обрушились. Преклонение перед его героизмом и страданиями – вот что толкнуло Волконскую на то, чтобы разделить судьбу нелюбимого мужа. Этим только можно объяснить характер первой их встречи в остроге, о которой рассказывает Волконская. У Некрасова это очень сильно:

*Невольно пред ним я склонила
Колени – и, прежде чем мужа об-
нять,*

Оковы к губам приложила...

Для поэмы это очень хорошо, еще лучше было бы для театра. Но в жизни! В жизни: после долгой разлуки увидеть любимого, измученного страданиями человека – и не броситься ему в объятия, а раньше стать на колени и поцеловать кандалы! Такая чисто французская театральщина совершенно не согласуется со строгой простотой характера Волконской. Очевидно, душа ее была полна не любовью к близкому человеку, а благоговейным уважением к его подвигу и страданиям. А если так она способна была восторгаться подвигом, то приходит в голову мысль: что было бы, если бы муж приобщил эту пламенную и энергичную женщину к своей революционной работе? Тогда, может быть, Волконская вошла бы в историю не как самоотверженная жена мужа-революционера, а начала бы собой ряд русских женщин-революционеров, блещущий именами Софьи Перовской, Веры Фигнер, Людмилы Волькенштейн и других. И можно думать, что на допросах она держалась бы с большим достоинством, чем ее муж и большинство других декабристов.

Волконская была высокого роста, стройная, с ясными черными глазами, с полусмуглым лицом, с немного вздернутым носиком, с походкой гордой и плавной. Декабристы в Сибири называли ее «девой Ганга». Она никогда не выказывала грусти, держалась приветливо с товарищами мужа, но была горда и взыскательна с комендантами и начальниками острогов. Долгие годы, пока Волконский отбывал каторгу, Мария Николаевна жила близ острога, где он содержался. Когда его выпустили на поселение, они жили в деревне под Иркутском. Сын декабриста Якушкина, наблюдавший семейную жизнь Волконских в пятидесятых годах, вот что пишет про нее: «Этот брак, вследствие характеров совершенно различных, должен был впоследствии доставить много горя Волконскому и привести к той драме, которая разыгрывается теперь в их семействе. Любила ли когда-нибудь Мария Николаевна своего мужа, это вопрос, который решить трудно, но, как бы то ни было, она была одной из первых, приехавших в Сибирь разделить участь мужей, сосланных в каторжную работу. Подвиг, конечно, неболь-

шой, если есть сильная привязанность, но почти непонятный, ежели этой привязанности нет. Много ходит невыгодных для Марии Николаевны слухов про ее жизнь в Сибири. Говорят, что даже сын и дочь ее – дети не Волконского». Другие сообщения определенно говорят, что сын Марии Николаевны Михаил рожден ею от декабриста А. В. Подокно, а дочь, знаменитая красавица Нелли, – от И. И. Пущина (сын Николай, рожденный ею в России после ареста Волконского, умер через два года после рождения, вдали от матери; она, как сказано, лишена была права взять его с собой). В пятидесятых же годах дру Н. А. Белоголовому ребенком случалось видеть Волконскую в Иркутске. Он так описывает ее: «Помню ее женщиной высокой, стройной, худощавой, с небольшой относительно головой и красивыми, постоянно щурившимися глазами. Держала она себя с большим достоинством, говорила медленно и вообще на нас, детей, производила впечатление гордой, сухой, как бы ледяной особы, так что мы всегда несколько стеснялись в ее присутствии».

В 1856 г. Волконский получил амнистию, и

супруги вернулись в Россию.

Софья Николаевна Раевская (1806–1881)

Младшая из сестер. В старости она с гордостью писала одному из своих племянников: «Я – Раевская сердцем и умом, наш семейный круг состоял из людей самого высокого умственного развития, и ежедневное соприкосновение с ними не прошло для меня бесплодно». Была действительно девушка умная и образованная, но по темпераменту неискоренимая «гувернантка»: очень любила читать всем нотации и поучения. Сестра ее Мария Волконская в пятидесятых годах писала: «У Софьи манера школить вас, обращаться с вами, как с маленькой девочкой, что очень утомительно, так же как ее вечная ажитация. Она без устали счастливит вас проповедями, не имея к тому ни повода, ни приглашения».

Замуж Софья не вышла и осталась в девицах. Состояла фрейлиной императорского двора. Долго жила в Италии с матерью и больной сестрой Еленой. Перед смертью матери Софья наговорила ей что-то очень нехорошее про сестру Марию, жившую в это вре-

мя в Сибири при ссыльном муже (не сообщила ли девица матери слухи о связи сестры с Поджио и Пуцциным?). По-видимому, Софья при этом не руководствовалась никакими злыми побуждениями; была она девушка добрая; вероятно, тут проявилась ее обычная склонность ставить всем очень строгие отметки за поведение. Но результат был тот, что мать изменила свое завещание, сделанное в пользу Волконской. После смерти матери Софья жила в Италии с сестрой Еленой до самой ее смерти в 1852 г. Но в 1850 г. ездила в Иркутск к сестре Марии специально затем, чтобы загладить свой поступок с ней. Было объяснение с Волконской и ее мужем. Отношения остались холодными. «Мы друг друга понимаем, – писала Волконская уже после возвращения в Россию, – и не можем любить друг друга, хотя соблюдаем видимость добрых отношений. Но к детям моим, – может быть, для успокоения своей совести, – она относится прекрасно, и я ей за это глубоко благодарна».

После смерти сестры Елены Софья Николаевна воротилась из Италии в Россию, жила то

в Москве с родственниками, то в полном одиночестве в киевском своем имении Сунки, где у нее было 800 десятин пахотной земли и 1500 десятин лесу.

В Кишиневе

Весной 1820 г. Пушкин был выслан из Петербурга в Екатеринослав, в распоряжение генерала Инзова, главного попечителя о колонистах южной России. С разрешения Инзова Пушкин отправился с семьей Раевских на Кавказ и в Крым, где прожил до осени. Тем временем Инзов был назначен исправляющим должность наместника Бессарабской области и переехал в Кишинев. Пушкин, как посланный в распоряжение Инзова, должен был жить там, где Инзов. Из Крыма Пушкин приехал в Кишинев в конце сентября 1820 г. и прожил там до лета 1823 г., когда был переведен в Одессу. В марте 1824 г. он на две недели приезжал в Кишинев из Одессы.

Иван Никитич Инзов
(1768–1845)

Трогательнейшая фигура из всего пушкинского окружения. Всю жизнь Пушкин не

знал родительской ласки. И вот на два-три года, во время пребывания Пушкина на юге, судьба послала ему отца – заботливого, любящего, без обиды строгого и любовно прощающего, мудро умевшего ладить с озорным, капризным и озлобленным юношей. Еще в Екатеринославе, как только высланный из Петербурга Пушкин попал под начальство генерала Инзова, Инзов поспешил отпустить его с генералом Н. Н. Раевским на Кавказ и по этому поводу писал петербургскому почт-директору К.Я.Булгакову: «Расстроенное здоровье г. Пушкина и столь молодые лета и неприятное положение, в коем он по молодости находится, требовали, с одной стороны, помочи, а с другой – безвредной рассеянности, потому отпустил я его с генералом Раевским, который в проезд свой через Екатеринослав охотно взял его с собою. При okazji прошу сказать об оном графу И. А. Каподистрии (управляющему в то время министерством иностранных дел). Я надеюсь, что за сие меня не побранит и не назовет баловством». В Кишиневе пропадавшего от безденежья Пушкина Инзов поселил в своем доме, поил, кормил, давал взаи-

мы деньги. Когда напроказит, то более для предупреждения неприятных последствий, чем для наказания, сажал его под арест, т. е. несколько дней не выпускал из комнаты. До-несения в Петербург писал в таком роде: «Пушкин, живя в одном со мною доме, ведет себя хорошо и при настоящих смутных обстоятельствах не оказывает никакого участия в сих делах... Он, побуждаясь тем же духом, ко-им исполнены все парнасские жители к ревностному подражанию некоторым писателям, в разговорах своих со мною обнаруживает иногда пиитические мысли. Но я уверен, что лета и время образумят его в сем случае... В бытность его в столице он пользовался от казны 700 рублями в год; но теперь, не получая сего содержания и не имея пособий от родителя, при всем возможном от меня вспомоществовании терпит, однако ж, иногда некоторый недостаток в приличном одеянии. По сему уважению я долгом считаю покорнейше просить распоряжение вашего к назначению ему отпуска здесь того жалованья, какое он получал в С.-Петербурге». Жалованье было назначено. Через два месяца по приезде Пушки-

на в Кишинев Инзов отпустил его в Каменку к Давыдовым. Пушкин там загостился. А. Л. Давыдов написал Инзову письмо, что Пушкин, по случаю простуды, не мог приехать вовремя и что приедет немедленно по выздоровлении. Инзов отвечал: «До сего времени я был в опасении о г. Пушкине, боясь, чтобы он, невзирая на жестокость бывших морозов с ветром и метелью, не отправился в путь и где-нибудь при неудобствах степных дорог не получил нещастия. Но, получив почтеннейшее письмо, я спокоен и надеюсь, что ваше превосходительство не позволит ему предпринять путь, поколе не получит укрепления в силах».

Пушкин всю жизнь вспоминал об Инзове с нежностью и благодарностью, писал о нем: «...добрый и почтенный старик; доверяет благородству чувств, потому что сам имеет чувства благородные». Особенно оценил Пушкин Инзова, когда от него попал под начальство графа Воронцова, холодного и высокомерно-го вельможи, видевшего в Пушкине только «коллежского секретаря».

Внешние факты биографии Инзова: служ-

бу начал кадетом, участвовал в ряде войн. В 1818 г. назначен главным попечителем о колонистах южной России, 15 июня 1820 г. – исправляющим должность наместника Бессарабской области в Кишиневе, в июле 1822-го – исправляющим должность новороссийского губернатора (оставаясь в Кишиневе); через год его в этой должности сменил граф Воронцов. Был масоном и мистиком. Любил ботанику. Большая его библиотека состояла из сочинений мистиков Сведенборга, Штиллинга, Беме и им подобных, а также сочинений ботанических. Всеобщая молва называла Инзова побочным сыном императора Павла. Предположение это, по-видимому, основывалось исключительно на большом наружном сходстве Инзова с Павлом.

Михаил Федорович Орлов (1788–1842)

Побочный сын графа Фед. Григ. Орлова, брата любовника Екатерины II Григория Орлова и убийцы Петра III Алексея Орлова-Чесменского. Крупный помещик. Получил образование в пансионе аббата Николя, поступил в кавалергардский полк, проделал кампании

1805, 1807 и 1812–1814 гг., участвовал во многих сражениях, проявил блестящую храбрость, получил Георгиевский крест. Был назначен флигель-адъютантом к императору Александру I, который его очень любил. Ему было в 1814 г. поручено вести переговоры о капитуляции Парижа и подписать ее условия. Двадцати шести лет он был уже генералом. За границей Орлов сошелся с Николаем Тургеневым, работавшим в то время со Штейном. Тургенев оказал на Орлова большое влияние в смысле ознакомления с передовыми идеями того времени. Как большинство военной молодежи, Орлов вернулся в Россию из заграничных походов глубоко враждебным к господствующим на родине порядкам. Он составил на имя царя петицию об уничтожении крепостного права, под которой подписались многие сановники, в том числе граф М. С. Воронцов, Блудов и другие. Совместно с богачом графом М. А. Дмитриевым-Мамоновым проектировал учреждение тайного «Ордена русских рыцарей» с широкой программой либеральных реформ – введения конституции, упразднения рабства, учреждения суда при-

связанных, свободы печати. Конституция, однако, мыслилась на английский образец, с фактическим предоставлением всей власти феодальной аристократии и нарождавшейся промышленно-помещичьей буржуазии. Орлов, вместе с Н. Тургеневым, пытался влить политическую струю в веселое, беззаботное насчет политики литературное общество «Арзамас». Либерализм Орлова, однако, не помешал ему прийти в крайнее возмущение от дарования Александром I конституции Польше и от проектируемого, по слухам, присоединения к Польше Литвы. В 1817 г. Орлов составил записку царю с протестом против дарованных Польше учреждений и стал собирать подписи среди генералов и сановников. Император заблаговременно узнал об этом и сурово потребовал от Орлова представления записки. Не желая подводить подписавшихся, Орлов ответил, что потерял записку. «Узнав о записке, — рассказывает Н. Тургенев, — я не преминул упрекнуть Орлова в рабском патриотизме, внушившем этот протест, и Орлов согласился со мною».

Император совершенно охладел к беспо-

койному своему любимцу и удалил его в Киев, на должность начальника штаба 4-го корпуса, командиром которого был Н. Н. Раевский. Письма Орлова из Киева к близким лицам показывают, какие он в это время переживал настроения. «Что вы пишете о моем положении при дворе, – писал он Александру Раевскому, – это я знал заранее и нисколько этому не удивляюсь. У меня хватает самолюбия верить, что я останусь ненужным до тех пор, пока направление внутренней политики не заставит призвать к делам людей, благомыслящих и умеющих видеть дальше своего носа. Я чувствую довольно силы в самом себе, чтобы служить не для карьеры, а из гражданского долга. Ведь чего я в сущности хочу? Несколько более широкой сферы деятельности, потому что я чувствую в себе больше способностей, чем могу применить в моей обстановке. Что ж! Я буду ждать, буду ждать, если нужно, и десять лет». Орлов убежден, что надвигается «всеобщее крушение», хотя сам, может быть, и не доживет до «зари этого прекрасного дня». Сестре своей он пишет: «...дай Бог вам счастья и покоя, а мне – жизни бурли-

вой за родную страну». Скромная роль начальника корпусного штаба мало давала простора для такой «бурливой жизни». Однако и на этой должности Орлов развил, в пределах возможного, самую кипучую деятельность. Он энергично взялся за насаждение ланкастерских школ взаимного обучения, тогда только что начинавших пробивать себе дорогу в России. Его стараниями маленькая, в сорок человек, киевская школа кантонистов разрослась в большое учебное заведение до 1800 учащихся; обученные в этой школе учителя открыли такие же школы в ряде других городов. Официальная газета «Русский инвалид» писала о школе Орлова: «...видеть оную и не восхищаться ею были бы две совершенно несовместимые идеи». На заседании киевского отделения Библейского общества, которого вице-президентом он был избран, Орлов произнес смелую либеральную речь, где говорил о необходимости всеобщего обучения и резко нападал на обскурантов и политических староверов. «Они убеждены, – говорил Орлов, – что они – избранники, которым все остальные люди обречены в рабство самым

промыслом, и в этой уверенности они присваивают себе все дары небесные и земные, всякое превосходство, народу предоставляют одни труды и терпение; отсюда родились все тиранические системы правления». Князь Вяземский в восторге писал об этой речи А. Тургеневу: «Ну, батюшка, оратор! Вот пустили козла в огород! Я в восхищении от этой речи. Орлов недюжинного покроя. Наше правительство не выбирать, а удалять умеет с мастерскою прозорливостью!» Эта речь Орлова, равно как и некоторые его письма с резкими нападками на крепостное право разошлись во множестве списков и создали ему большую славу среди оппозиционных слоев русского общества. О нем говорили как о «человеке высшего разряда», как о «светиле среди молодежи». К нему с вниманием приглядывались члены «Союза благоденствия».

Орлов, добиваясь более самостоятельного места в армии, хотел получить в командование дивизию. Пять раз он получал отказ, наконец в 1820 г. был назначен командиром 16-й пехотной дивизии, стоявшей в Кишиневе. По пути из Киева на место новой службы он

заехал в Тульчин и там был принят в члены «Союза благоденствия» Пестелем, Юшневским и Фонвизиним. Однако к активной революционной деятельности Орлов не имел склонности, «всеобщее крушение» считал теперь не так уж близким и к широким политическим задачам относился без прежнего пыла. «Политика запружена и Бог знает, когда потечет, – писал он А. Раевскому. – Я также строю умственную насыпь, чтобы запрудить мысли мои. Пускай покоятся до времени». Орлов приехал в Кишинев и вступил в командование дивизией. В дивизии делалось то же, что и везде: от непрерывных изнурительных учений, не признававших никакого отдыха, солдаты падали в обморок в строю, офицеры и унтер-офицеры беспощадно избивали солдат палками, тесаками и шомполами, провиантские чиновники их обкрадывали, и солдаты голодали. Жаловаться было бесполезно. Солдаты дезертировали десятками, их ловили и расстреливали. Орлов издал по дивизии приказ, в котором запретил применять к солдатам телесные наказания, грозил беспощадной расправой всем начальствующим лицам,

кто посмеет истязать и обкрадывать солдат, требовал, чтобы в солдате воспитывалось чувство собственного достоинства. И приказ этот был не секретный, – Орлов предписывал прочесть его во всех ротах своей дивизии, чтобы все солдаты знали о приказе. И все время Орлов строго следил за тем, чтобы начальствующие лица исполняли приказ. Вот другой приказ от января 1822 г.: «В Охотском полку гг. майор Вержейский, капитан Гимбут и прапорщик Понаревский жестокостями своими вывели из терпения солдат. Общая жалоба нижних чинов побудила меня сделать подробное исследование, по которому открылись такие неистовства, что всех сих трех офицеров принужден представить я к военному суду. Да испытают они в солдатских крестах, какова солдатская должность. Для них и для им подобных не будет во мне ни помилования, ни сострадания. И что же? Лучше ли был батальон от их жестокости? Ни частной выправки, ни точности в маневрах, ни даже опрятности в одеянии – я ничего не нашел. После сего примера кто меня уверит, что есть польза в жестокости и что русский солдат не

может быть без побоев доведен до исправности? Мне стыдно распространяться более о сем предмете, но пора быть уверенным всем тем гг. офицерам, кои держатся правилам и примерам Вержейского и ему подобных, что я им не товарищ и что они найдут во мне строгого мстителя за их незаконные поступки... Предписываю приказ сей прочитать по ротам и объявить совершенную мою благодарность нижним чинам за прекращение побегов в течение моего командования». Орлов деятельно занялся также насаждением в своей дивизии ланкастерских школ взаимного обучения. Во главе кишиневской школы он поставил энергичного члена «Союза благоденствия» майора В. Ф. Раевского, основал ряд школ и в других городах и местечках, где стояли части его дивизии, тратил на школы много собственных средств. Наилучшую характеристику его деятельности дают донесения секретных агентов в Петербург: «В ланкастерской школе, говорят, что кроме грамоты учат их и толкуют о каком-то просвещении. Нижние чины говорят: «дивизионный командир наш отец, он нас просвещает». Липранди Иван Петро-

вич говорит часовым, у него стоящим: «Не утаивайте от меня, кто вас обидел, я тотчас доведу до дивизионного командира. Я ваш защитник, мы вас в обиду не дадим, и как часовые, так и тестовые наставление сие передайте один другому».

В январе 1821 г. созван был в Москве съезд депутатов «Союза благоденствия» для решения вопроса о дальнейшем существовании общества. Хотя Орлов состоял членом союза всего несколько месяцев, но он пользовался среди членов таким влиянием и уважением, что был выбран в депутаты. По дороге в Москву он остановился в Киеве и сделал предложение Екатерине Николаевне, старшей дочери бывшего своего командира Н. Н. Раевского. Переговоры шли через Александра Раевского. Он поставил Орлову основным условием выход из Тайного общества. На съезде, как известно, формально было принято постановление о закрытии общества, чтобы удалить из него ненадежные элементы, а из основного ядра образовать свое общество. В это новое общество Орлов не вступил.

15 мая он женился на Екатерине Никола-

евне и с ней возвратился в Кишинев. В Кишиневе Орлов нанимал два больших дома на Ильинской улице. Жил на широкую ногу, держал открытый стол для всей военной молодежи. Ярый реакционер Вигель рассказывает про Орлова: «Сей благодушный мечтатель более чем когда-либо бредил конституциями. Прискробным казалось не быть принятым в его доме, а чтобы являться в нем, надобно было более или менее разделять мнения хозяина. Два демагога, два изувера, адъютант Охотников и майор В. Ф. Раевский (совсем не родня г-же Орловой), с жаром витийствовали. Тут был и Липранди. На беду попался тут и Пушкин, которого сама судьба всегда совала в среду недовольных. Семь или восемь молодых офицеров генерального штаба, которые находились тут для снятия планов по всей области, с чадолюбием были восприняты. К их пылкому патриотизму, как полынь к розе, стал прививаться тут западный либерализм... Все это говорилось, все это делалось при свете солнечном, в виду целой Бессарабии».

Пушкин очень часто бывал у Орлова. Екатерина Николаевна, жена Орлова, писала бра-

ту Александру: «У нас беспрестанно идут споры – философские, политические, литературные и др., мне слышно их из дальней комнаты. У нас не мало оригиналов... Пушкин больше не корчит из себя жестокого, он очень часто приходит к нам курить свою трубку и рассуждает или болтает очень приятно... Спорит с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конек – вечный мир аббата Сен-Пьера».

Деятельность Орлова давно уже привлекала к себе настороженно-враждебное внимание штаба армии и корпусного командира Сабанеева. За ним был учрежден секретный надзор. В июле 1821 г. начальник корпусного штаба, генерал Вахтен, сделал смотр одному из полков орловской дивизии. Хотя полк представился в самом образцовом виде, Вахтен грубо разнес командира полка, нашел во всем непорядки и разрешил не только унтер-офицерам, но и ефрейторам бить солдат палками до двадцати ударов. В декабре 1821 г. случилось происшествие, за которое начальство жадно ухватилось, чтобы свалить Орлова. Раньше было в обычае, что экономиче-

ские деньги за продовольствие солдат в половинном размере шли в пользу ротного командира. Приказом и Сабанеева и Орлова это было отменено и предписано частью раздавать деньги на руки солдатам, частью причислять к артельным суммам. Солдат-артельщик одной из рот Камчатского полка, входившего в дивизию Орлова, привез из города экономические деньги. Командир роты потребовал у него эти деньги. Артельщик ответил, что рота не приказала отдавать деньги ему, а распределила их по взводам. Взбешенный командир велел подвергнуть артельщика наказанию палками. Его вывели на двор. Собрались солдаты и закричали, что не дадут наказывать, что артельщик исполнял их приказание. Когда же командир велел приступить к экзекуции, солдаты вырвали палки, переломали их и освободили товарища. Преступление против дисциплины было чудовищное, и виновных ждало бы ужасное наказание. Но командир сообразил, что не поздоровится и ему за попытку присвоить солдатские деньги. Через своего денщика он вступил в переговоры с солдатами, и решено было предать дело вза-

имному забвению. Дней через десять генерал Орлов делал полку инспекторский смотр. На таком смотре солдат опрашивают, все ли они получают, что полагается, не обращаются ли с ними жестоко и т. п. Солдаты обступили Орлова и заявили, что получили все, что наказания командир прекратил и теперь они всем довольны. Вдруг из задних рядов кто-то сказал:

– Намеднись капитан хотел было наказать артельщика за то, что он не отдал ему деньги за провиант. Но мы не допустили до этого, а потом помирились.

Проще всего было Орлову пропустить это заявление мимо ушей. Но как лояльный либерал, – «хорошо, по замечанию современника, умевший различать человеколюбие от священных обязанностей дисциплины», – Орлов спросил:

– Как это «не допустили»? Рассказывайте.

Солдаты с наивной гордостью рассказали, как было дело. Орлов, продолжает современник (Липранди), – «с горестью выслушав эти показания, сознал всю важность поступка и поручил бригадному генералу П. С. Пущину

произвести строжайшее следствие». Сам же Орлов уехал в данный уже ему отпуск в Киев, где должна была родить его жена. Пущин не спеша стал собираться начать следствие, даже никого еще не арестовал, как вдруг нагрянул извещенный обо всем Сабанеев. Он повел следствие, под палками заставляя солдат давать показания. Артельщик, фельдфебель и наиболее виновные солдаты за бунт против начальства были прогнаны сквозь строй, а об Орлове и Пущине Сабанеев, помимо штаба армии, послал донесение прямо в Петербург. Вскоре был арестован майор В. Раевский по обвинению в политической пропаганде среди солдат. Заварились каша. Орлову ставилось в вину, что он ослабил дисциплину в дивизии, потакал солдатам, держался запанибрата с подчиненными, вверил школу такому вольнодумцу, как В. Раевский. Ставились в вину и упомянутые его приказы по дивизии, особенно же предписание читать эти приказы солдатам. Пущин был уволен в отставку. Орлову предлагали уехать «на воды», а там обещали дать ему другую дивизию. Но он требовал формального суда. Суда он не добился, а в ап-

реле 1823 г. был лишен дивизии и назначен «состоять по армии», т. е. числиться военным, не неся службы.

На этом оборвалась навсегда деятельность талантливого и энергичного человека, который пытался лояльно работать в условиях существующего строя, не посягая на его основы. После удаления с действительной службы Орлов жил то в Москве, то в Крыму, то в калужском своем имении, где занимался улучшением имевшегося у него стеклянно-фарфорового завода. Разразилось 14 декабря. Орлов был арестован в Москве и привезен в Петропавловскую крепость. Рассказывают, что ему грозила жестокая кара, но младший брат его Алексей Федорович, первым бросивший свой полк в атаку на каре мятежников, на коленях вымолил у императора Николая прощение брату. В сущности, однако, никаких серьезных обвинений нельзя было и предъявить Михаилу Орлову: участвовал он только в «Союзе благоденствия», а это следственной комиссией «оставлялось без внимания». Неопределенные показания некоторых арестованных говорили только о каких-то со-

жженных письмах и о том, что члены Тайного общества считали Орлова сочувствующим целям общества. Главное, что было поставлено Орлову в вину Верховным судом, – это та же деятельность в Кишиневе, за которую он в свое время уже понес кару: Владимир Раевский, приказы Орлова по дивизии, чтение их в ротях, бунт Камчатского полка. Орлов был исключен из военной службы и выслан под надзор в калужскую свою деревню. В 1831 г. брат выхлопотал ему разрешение жить в Москве.

Москва окружила Михаила Орлова почетом и уважением, как генерала Ермолова, как Чаадаева, как других талантливых людей, у которых николаевский режим отнял возможность деятельности. В 1834 г. с ним встречался в Москве Герцен. «Бедный Орлов, – рассказывает он, – был похож на льва в клетке. Везде стучался он в решетку, нигде не было ему ни простора, ни дела, а жажда деятельности его снедала. Он был очень хорош собой; высокая фигура его, благородная осанка, красивые мужественные черты, совершенно обнаженный череп, и все это вместе, стройно соеди-

ненное, сообщало его наружности неотразимую привлекательность. От скуки Орлов не знал, что начать. Пробовал он и хрустальную фабрику заводить, на которой делались средневековые стекла с картинами, обходившиеся ему дороже, чем он их продавал, и книгу принимался писать «О кредите», – нет, не туда рвалось сердце, но другого выхода не было. Лев был осужден праздно бродить между Арбатом и Басманной, не смея даже давать волю своему языку. Подавленное честолюбие, глубокая уверенность, что он мог бы действовать с блеском на высших правительственных местах, и воспоминание прошедшего, желание сохранить его как нечто святое ставило Орлова в непрерывное колебание. «Стереть прошедшее» и явиться кающейся Магдалиной, – говорил один голос; «не сходить с величественного пьедестала, который дан ему прошедшим интересом, и оставаться окруженным ореолом оппозиционности», – говорил другой голос. От этого Орлов делал непрерывные ошибки. Вовсе без нужды и без пользы громогласно иной раз унижался – и приобретал один стыд. Ибо те, перед которыми он

это делал, не доверяли ему, а те, которые были свидетелями, теряли уважение». Второй раз Герцен видел Орлова в 1841 г., по возвращении своем из ссылки. Орлов произвел на него ужасное впечатление. «Он угасал. Болезненное выражение, задумчивость и какая-то новая угловатость лица поразили меня; он был печален, чувствовал свое разрушение и не видел выхода. Работавши семь лет и все по-пустому, чтоб получить поприще, он убедился, что там никогда не простят, что ни делай. А юное поколение далеко ушло и с снисхождением, а не с увлечением смотрело на старика. Он все это чувствовал и глубоко мучился, занимался отделкой дома, стеклянным заводом, чтоб заглушить внутренний голос. Но не выдержал». Через два месяца Орлов умер. Герцен записал в дневнике: «Я посылаю за ним в могилу искренний и горький вздох; несчастное существование оттого только, что случай хотел, чтоб он родился в эту эпоху и в этой стране».

Владимир Федосеевич Раевский
(1795–1872)

Сын одного из богатейших помещиков Кур-ской губернии. Семья была многочисленная, родители не любили мальчика за строптивость и «гордость». Обучался в московском университетском Благородном пансионе. Служил в артиллерии, за участие в Бородинской битве награжден золотой шпагой с надписью «за храбрость». Участвовал и в заграничных походах 1813–1814 гг. «Из-за границы, – вспоминает Раевский, – я возвратился на родину уже с другими, новыми понятиями. Сотни тысяч русских своею смертью искупили свободу целой Европы. Армия, вместо обещанных наград и льгот, подчинилась неслыханному угнетению. Военные поселения, начальники забивали солдат под палками, боевых офицеров вытесняли из службы; усиленное взыскание недоимок, строгость цензуры, новые наборы рекрут производили глухой ропот. Власть Аракчеева, ссылка Сперанского сильно волновали людей, которые ожидали обновления, улучшений, благоденствия, исцеления тяжелых ран своего отечества». Раевский с воодушевлением вступил в «Союз благоденствия» и стал его деятельнейшим чле-

НОМ.

В 1820–1821 гг. Раевский в Аккермане командовал ротой 32-го егерского полка, входившего в состав дивизии генерала М. Ф. Орлова. Он выделялся необыкновенной человечностью в обращении с подчиненными, много заботился об умственном и нравственном развитии солдат, завел в полку ланкастерскую школу взаимного обучения, на свой счет обул всю свою роту. С начальствующими лицами держался независимо; свирепый служака Вахтен, начальник штаба корпуса, пришел в великое негодование, что Раевский много говорит за столом при старших и тогда, когда его не спрашивают. В 1821 г. М. Ф. Орлов перевел Раевского в Кишинев, сделал своим адъютантом и поручил ему заведывать солдатской и юнкерской школами в Кишиневе. Здесь Раевский повел систематическую политическую пропаганду среди солдат и юнкеров. Проходя географию, говорил о формах правления и разъяснял преимущества конституционного строя перед деспотическим, помещал в прописях имена Брута, Кассия, испанских революционеров Квируги и Риго,

разъясняя, кто они были.

Раевский был человек очень образованный, горячий и пылкий, ярый спорщик. Он близко сошелся с Пушкиным. Встречались у Орлова, Липранди и постоянно спорили. Пушкин был очень самолюбив, но в спорах с Раевским укрощал свое самолюбие и нарочно вызывал Раевского на споры с видимым желанием удовлетворить свою любознательность. А самолюбию приходилось иногда страдать жестоко. Однажды Пушкин ошибочно указал на карте Европы одну местность. Раевский кликнул своего человека и предложил ему указать на карте пункт, о котором шла речь; человек тотчас же указал. Пушкин смеялся вместе с другими, но на следующий день взял у Липранди географию Мальтбрена. И вообще после споров с Раевским часто брал из богатой библиотеки Липранди книги, касавшиеся предмета спора. Раевский сам писал стихи, много спорил с Пушкиным и на литературные темы. Между прочим, страстно доказывал, что русский поэт не должен черпать сюжетов из античной истории и мифологии, что у нас есть своя история и мифология. Пушкин

не соглашался, но, как думают, не без влияния этих бесед вскоре написал «Песнь о вещем Олеге» и стал набрасывать драматическую поэму «Вадим». Раевский старался также убедить Пушкина направить свое творчество на общественные и политические темы.

Возникло дело о «бунте» в Камчатском полку, о чем уже рассказано в главе о М. Орлове. Вечером 5 февраля 1822 г. Раевский лежал у себя на диване и курил трубку. Вдруг в дверь раздался стук, торопливо вошел Пушкин, очень взволнованный; сказал необычным голосом:

- Здравствуй, душа моя!
- Здравствуй. Что нового?
- Новости есть, но дурные. Вот почему я прибежал к тебе.
- После бесчеловечных пыток Сабанеева доброго я ничего ожидать не могу. Но что такое?
- Сабанеев сейчас уехал от Инзова. Дело шло о тебе. Я не охотник подслушивать, но слышу, часто повторяют твое имя, – приложил ухо. Сабанеев утверждал, что надо тебя

непременно арестовать; наш Инзушка, – ты знаешь, как он тебя любит, – отстаивал тебя горячо. Долго говорили. Я многого недослышал. Но из последних слов Сабанеева ясно уразумел, что ему приказано: ничего нельзя открыть, пока ты не арестован.

Раевский успел «почиститься», сжег компрометирующие бумаги. Наутро он был арестован, отвезен в Тирасполь, где находился штаб Сабанеева, и заключен в крепость. На допросах Раевский держался тактики: отрицать приписываемые ему незаконные действия и твердо отстаивать правоту свою в действиях законных. Вел он себя стойко, говорил смело и резко, из обвиняемого становился обвинителем. Уличал командира корпуса Сабанеева, что сам он в своих приказах, так же как и Орлов, строжайше запрещал истязать солдат, а потом офицерам Камчатского полка приказал бить солдат по-прежнему; что он отдал под суд двух унтер-офицеров Охотского полка, виновных только в том, что, согласно законам, принесли Орлову жалобу на истязания, творимые майором Вержейским и капитаном Гимбутом; что этих двух

истязателей, отданных Орловым под суд, Сабанеев освободил и восстановил в правах. Сабанеев приходил в бешенство, тем более что никаких твердых улик против Раевского не имелось, и продолжал гноить его в крепости.

Летом того же года был в Тирасполе проездом И. П. Липранди. Знакомый комендант крепости устроил ему как бы случайную встречу с Раевским, выведенным для прогулки на гласис крепости. Раевский передал Липранди стихи свои «Певец в темнице» и поручил сказать Пушкину, что пишет ему длинное послание. Послание к Пушкину до нас не дошло, а переданное стихотворение называлось «Друзьям в Кишинев». В этом стихотворении Раевский писал:

*Итак, я здесь, – под стражей я.
Дойдут ли звуки из темницы
Моей расстроенной цевницы
Туда, где вы, мои друзья?
Не будят вас в ночи глухой
Угрюмый отклик часового
И резкий звук ружья стального
При смене стражи за стеной.
И торжествующее мщенье,
Склонясь бессовестным челом,*

Еще убийственным пером
Не пишет вам определенья
Злодейской смерти под ножом
Иль мрачных сводов заключенья...
Но я от сих ужасных стрел
Еще, друзья, не побледнел
И пред свирепую судьбою
Не преклонил рамен с главою.

.....
Сковала грудь мою, как лед,
Уже темничная зараза.
Холодный узник отдает
Тебе сей лавр, певец Кавказа:
Оставь другим певцам любовь.
Любовь ли петь, где брызжет
кровь,
Где пламя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой,
Где слово, мысль, невольный взор
Влекут, как явный заговор,
Как преступление, – на плаху,
И где народ, подвластный страху,
Не смеет шепотом роптать.
Пора, друзья! Пора воззвать
Из мрака век полночной славы,
Царя-народа дух и нравы
И те священны времена,
Когда гремело наше вече

*И сокрушало издалече
Царей кичливых рамена!*

*.....
Но вот последние слова:
Скажите от меня Орлову,
Что я судьбу мою сурову
С терпением мраморным сносил,
Нигде себе не изменил
И в дни убийственные жизни
Немрачен был, как день весной,
И даже мыслью и душой
Отвергнул право укоризны.
Простите...*

Когда Липранди возвратился в Кишинев, к нему зашел Пушкин с поручиком Таушевым, с большим участием расспрашивал о Раевском, потом стал просматривать его послание, вдруг остановился и воскликнул:

– Как это хорошо, как это сильно! Мысль эта мне нигде не встречалась; она давно вертелась в моей голове; но это не в моем роде, это в роде Тираспольской крепости, а хорошо!

И стал дальше читать более внимательно. Липранди спросил, что ему так понравилось. Пушкин попросил подождать, кончил, сел ближе к Липранди и Таушеву и прочел:

*Где слово, мысль, невольный взор
Влекут, как явный заговор,
Как преступление, – на плаху,
И где народ, подвластный страху,
Не смеет шепотом роптать[254]*

.

Повторил последнюю строчку и вздохнул.

– После таких стихов не скоро же мы увидим этого спартанца!

На следующий день Пушкин говорил Таушеву, что мысль приведенных стихов едва ли не первый высказал Раевский.

– Однако, – прибавил он, – я что-то видел подобное, не помню только где, а хорошо!

И несколько раз повторил стихи.

Через полтора года, когда Пушкин жил уже в Одессе, он предпринял поездку по Бессарабии, был, между прочим, и в Тирасполе. Раевский все еще сидел в крепости. Брат И. П. Липранди, приятеля Пушкина, состоял адъютантом при Сабанееве и предложил Пушкину устроить ему свидание с Раевским. Сабанеев, знавший про их близкое знакомство, ничего против этого не возражал. И вот тут – психологическая загадка, каких так много в

натуре человеческой. Пушкин был очень храбр. Из-за самого вздорного пустяка он готов был вызвать обидчика на дуэль, стоял под наведенным пистолетом с холодной отвагой, изумлявшей и восхищавшей самых завзятых дуэлистов. В 1829 г., во время турецкой войны, на кавказском фронте, Пушкин поскакал с пикой навстречу турецкой кавалерии, далеко обогнав наших драгун, к которым пристал; друзьям с трудом удалось воротить его. А здесь, при предложении повидаться с Раевским, Пушкин поспешно ответил, что никак не может, что ему необходимо как можно скорее быть в Одессе. В Одессе Иван Липранди с удивлением спросил, почему он отказался от свидания с Раевским. Пушкин смутился, опять стал ссылаться на то, что спешил в Одессу, и наконец сознался, что в его положении ему нельзя было согласиться на предложение Сабанеева: начальник штаба, немец Вахтен, наверное, сообщил бы о его свидании с Раевским в главную квартиру армии в Тульчине, «а там много усерднейших, которые поспешат сделать то же в Петербург». Липранди понял, что главной причиной отказа Пушки-

на были прочитанные им стихи Раевского «К друзьям»: Пушкин опасался, что этот неукротимый человек при свидании в присутствии коменданта или дежурного не воздержится от сильных выражений.

– Жаль нашего спартанца! – не раз, вздыхая, повторил Пушкин.

Воспоминание о мученической судьбе Раевского острой занозой жило в душе Пушкина. Еще через год, когда Пушкин жил уже в псковской деревне матери, его посетил лицейский друг его Пущин. Речь зашла о Тайном обществе. Пушкин вскочил со стула и воскликнул:

– Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать!

Год за годом Раевский все продолжал сидеть в крепости. И все время от обороны переходил к нападению, раскрывал целый ряд проступков и преступлений своих начальников и судей. По многим из его заявлений были назначены расследования, вполне подтвердившие его обвинения. Комиссия, воз-

главляемая Сабанеевым, постановила сослать Раевского как вредного для общества человека в Соловецкий монастырь. Раевский принес на Сабанеева жалобу в неправильном и пристрастном производстве следствия. Дело рассматривал полевой аудиториат 2-й армии и пришел к заключению: Сабанеев так запутал следствие, что невозможно отличить доказанных проступков подсудимого от внушающих только подозрение. За такое мнение полевой аудиториат получил высочайший выговор, и дело было передано в главный аудиториат. После 14 декабря Раевского перевезли в Петербург и заключили в Петропавловскую крепость. Следственная комиссия, разбиравшая дело декабристов, нашла, что Раевский непричастен к Тайному обществу, вызвавшему восстание 14 декабря. 13 июля 1826 г., в день казни пяти декабристов, в Петропавловскую крепость приехал дежурный генерал главного штаба и от имени императора Николая предложил Раевскому на выбор: либо принять наказание, предложенное Сабанеевым, – заточение в Соловецком монастыре, – либо подвергнуться новому расследованию;

но если при этом расследовании он окажется виновным, то потерпит сугубое наказание. Раевский выбрал второе. Дело его передали в комиссию при крепости Замостье в Царстве Польском, и его увезли в Замостье.

Родители, братья и сестры Раевского мало заботились о судьбе заключенного и боялись даже наводить о нем справки. Один только брат его Григорий, молодой семнадцатилетний корнет в отставке, решил поехать разведывать и хлопотать о брате. Отец его не отпускал. Григорий подчистил старую подорожную и тайно от отца поехал в Одессу. Там подлог раскрылся. Григория арестовали, заподозрили в революционной деятельности и отправили в Шлиссельбургскую крепость. В крепости он сошел с ума. Однако дела не прекратили, присоединили его к делу брата и отправили Григория в замостьинскую крепость, где в это время находился Владимир. Камеры братьев оказались в одном коридоре. Тут Владимир узнал, что брат его сошел с ума.

Новая комиссия нашла улики против Вл. Раевского малоубедительными и вынесла приговор: «Освободить майора Раевского из

заклучения, с вознаграждением или без вознаграждения за службу; а ежели за тем остаются какие-либо подозрения, которых из дела не видно, то отправить в свое имение под надзор начальства». Приговор был утвержден командующим войсками Царства Польского великим князем Константином Павловичем. В Петербурге, однако, император Николай приказал еще раз рассмотреть дело комиссии под председательством великого князя Михаила Павловича. Михаил Павлович нашел, что поведение Раевского на допросах, его образ мыслей и собранные следствием улики столь важны, что Раевский подлежал бы смертной казни, и предложил лишить его дворянства, чинов, имущественных прав и сослать на поселение в Сибирь. Николай этот приговор утвердил. Сумасшедшего Григория Раевского освободили и отправили в деревню отца под присмотр родственников.

В начале 1828 г. Вл. Раевский прибыл в Сибирь и водворен был в с. Олонках, в шестидесяти верстах от Иркутска. Нужно было чем-нибудь кормиться. Богатый отец, а после смерти его – сестры не высылали ссыльному

ни копейки. Раевский был человек энергичный, с сильной волей, не унывавший в самых трудных обстоятельствах. Он начал тяжелую трудовую жизнь. По найму откупщиков развозил по области вино, занимался наймом рабочих на золотые прииски, завел у себя в Олонках мельницу, купил тридцать десятин пашни, пахал землю, торговал хлебом. Женился на крещеной бурятке, имел большую семью.

В 1856 г., по воцарении Александра II, Раевский получил разрешение вернуться в Россию. Съездил, посмотрел – и вернулся в Сибирь. Он был теперь полноправным гражданином, но сестры, опираясь на какие-то формальные причины, отказали ему в его доле наследства после отца. В последние годы жизни Раевского на него обрушился ряд несчастий. Совершенно противозаконно казна удержала внесенные Раевским три тысячи рублей залогу; в самую нужную для его дел пору сын проиграл в карты 1200 руб.; в одну из дальних поездок по тайге Раевский подвергся нападению разбойников. «Убийцы не dokonчили убийства, но истязали меня же-

стоко», – рассказывает Раевский. От неосторожности у него обгорела половина тела, и восемь недель он лежал без движения. Ко всем несчастьям сгорела и его мельница в Олонках. Больной 73-летний старик остался без средств, опутанный долгами. Он переломил гордость и написал о своем отчаянном положении одной из сестер, прося их прислать ему займы три тысячи рублей и обязуясь отдать их через три года. «Чем скорее я получу, тем более буду благодарен, – писал он. – Если дом мой опишут, для меня места будет достаточно на кладбище, но больная жена, но Сонечка... Я ложусь спать и просыпаюсь, как осужденный». Неизвестно, что ответили сестры. Через пять лет Раевский умер.

В Иркутске Раевский пользовался репутацией человека очень умного, образованного и острого, но озлобленного и ядовитого. Было от чего озлобиться! Но в душе его не погасали идеалы и огни молодости. Пятидесяти с лишним лет он писал дочери:

*Я эту жизнь провел не в ликованьи,
Ты видела, на розах ли я спал;*

*Шесть лет темничною заразою
дышал
И двадцать лет в болезнях и в из-
гнаныи,
В трудах для вас, без меры, выше
сил...
Не падаю, иду вперед с надеждой,
Что жизньнюю тревожной и мя-
тежной
Я вашу жизнь и счастье оплатил.
Иди ж вперед, иди к признанью
смело,
Люби людей, дай руку им в пути,
Они слепцы, но, друг мой, наше де-
ло
Жалеть о них и ношу их нести.
Нет, не карай судом и приговором
Ошибки их. Ты знаешь, кто виной,
Кто их сковал железною рукой
И заклеил и рабством и позо-
ром.*

**Константин Алексеевич Охотников
(1789–1824)**

Бывший лубенский гусар, участвовал в наполеоновских войнах, был в плену у французов. С 1821 г. – капитан 32-го егерского полка (дивизии М. Ф. Орлова в Кишиневе), состо-

ял адъютантом при Орлове и до переезда в Кишинев В. Ф. Раевского заведывал кишиневской ланкастерской школой. Был членом «Союза благоденствия», вместе с Орловым в качестве делегата 16-й пехотной дивизии принимал участие в январском московском съезде союза в 1821 г. Уже в 1818 г. занимал в рядах «Союза благоденствия» настолько видное место, что к нему был направлен для ознакомления с задачами союза В. Ф. Раевский, только что принятый в Тульчине в Тайное общество. Вышел в отставку в 1822 г. и вскоре умер от чахотки. В «Алфавите декабристов» сказано, что он был одним из деятельнейших членов союза. Охотников был человек умный, очень образованный и начитанный, так что даже давил друзей ученостью и иногда докучал им своим педантизмом. Реакционер Вигель называет его изувером и демагогом, сообщает, что он вместе с В. Раевским «с жаром витийствовал» на вечерах у генерала Орлова. В общем, однако, Охотников не любил без нужды говорить и на дружеских собраниях больше молчал. Однажды собралось у Липранди человек десять. Пушкин вступил в ярый спор с

В. Раевским. Охотников сидел на диване и молча читал Тита Ливия во французском переводе. Пушкин и Раевский обратились за разрешением спора к Охотникову. Он им в ответ стал читать речь к сенаторам из Тита Ливия и начал: «Pe´res consents! (Patres coscripti – обычное обращение к римским сенаторам)». Пушкин и Раевский прервали его и продолжали наседать с требованием его мнения. Но Охотников невозмутимо предлагал им выслушать эту знаменитую речь и опять начинал: «Peres consents!» Однако далее этих слов пойти не мог из-за шума. Пушкин его прозвал после этого «pe´re consent». Генерал Орлов отзывался об Охотникове так: «Не знаю ничего несноснее этого воплощенного нравственного совершенства, которое оговаривает всякий чужой поступок и берет на себя роль ходячей совести своих друзей. В сущности, он прекраснейший и достойнейший человек, и я люблю его от всей души, но у него привычка говорить другому в лицо самые грубые истины, не догадываясь, что каждая из них бьет того словно обухом по голове». Иначе оценивал эту нравственную

непреклонность Охотникова В. Ф. Раевский, сам не знавший в жизни никаких компромиссов. Он пишет об Охотникове: «Этот человек, получая несколько тысяч в год от отца, тратил на себя одно жалованье. Получаемые же деньги были принадлежностью бедных; все несчастные в Кишиневе знали его. Я сам был свидетелем, когда Охотников, не имея денег, продал последний бриллиантовый перстень, подарок короля прусского, дабы обеспечить участь одного израненного и бездомного офицера, служившего с ним вместе в турецкую и французскую войну. Он купил ему виноградный сад и дом близ Кишинева... Самоотвержение Охотникова для общей пользы, строгая жизнь и чистая добродетель без личных видов глубоко врезались в груди моей. Я тайно завидовал, что человек почти одних со мною лет так далеко ушел от меня в совершенстве нравственном – и поклялся истребить последние недостатки в себе самом».

Иван Васильевич Сабанеев
(1772–1829)

Боевой генерал, участник суворовских и наполеоновских войн. В начале двадцатых

годов – генерал от инфантерии и командир 6-го пехотного корпуса, одной из дивизий которого командовал М. Ф. Орлов. Штаб корпуса находился в Тирасполе. Деятельность Орлова, Охотникова, В. Раевского и других привлекла к себе подозрительное внимание Сабанеева. Вигель рассказывает: «Сабанеев, офицер суворовских времен, который стоял на коленях перед памятью сей великой подпоры престола и России, не мог смотреть на это равнодушно. Мимо начальника штаба Киселева, даже вопреки ему, представил он о том в Петербург. Орлову велено числиться по армии, Охотников кстати умер, а Раевский заключен в Тираспольскую крепость... Сабанеев был маленький, худой, умный и деятельный живчик. Не думая передразнивать Суворова, он во многом имел с ним сходство».

В одну из поездок своих с Липранди по Бессарабии Пушкин заехал в Тирасполь. Генерал Сабанеев прислал за ним ординарца с приглашением отужинать у него. Пушкин пришел, был весел, разговорчив, даже до болтливости, и очень понравился жене Сабанеева. Простое обращение Сабанеева и его умный разговор

произвели на Пушкина приятное впечатление. В следующий заезд Пушкина в Тирасполь Сабанеев соглашался дать ему свидание с сидевшим у него в крепости В. Раевским, так как знал об их близких отношениях, но Пушкин от свидания уклонился. В 1824 г. в Одессе наместник края граф М. С. Воронцов устроил у себя костюмированный бал. Сабанеев облекся во фрак, в котором его тщедушная фигура была очень смешна, а на борты фрака и на шею нацепил все имевшиеся у него иностранные ордена, имел же он их много, так как был начальником главного штаба армии в 1813–1814 гг. и получил их по нескольку от всех союзников. Пушкин был в восторге, что Сабанеев поступил, «как подобает русскому». Иностранные консулы были очень оскорблены таким изъяснением пренебрежения к их орденам, император, до сведения которого было доведено о поступке Сабанеева, тоже остался недоволен и сделал ему выговор.

Павел Сергеевич Пущин
(1785–1865)

Помещик Псковской губернии. Участвовал в наполеоновских войнах. При приезде Пушкина в Кишинев командовал в чине генерал-майора бригадой 16-й пехотной дивизии, начальником которой был генерал М. Ф. Орлов. Был человек в коротком обществе любезный и обязательный; Пушкин нередко бывал у него, но особенно близок с ним не был и неоднократно подсмеивался над ним. В шумных беседах радикальной офицерской молодежи, собиравшейся у Орлова, Пущин, по словам Вигеля, не имел никакого мнения, а приставал всегда к господствующему. «Держать себя в обществе пристойно, – пишет Вигель, – не слишком выставляя себя, говорить недурно по-французски достаточно было тогда, чтобы почитаться образованным человеком; и все сии условия выполнял он. Никогда, бывало, ничего умного не услышишь от него; никогда ничего глупого он не скажет. Он был в числе тех людей, которых иногда называют, но о коих никогда не говорят». Пущин был членом «Союза благоденствия», но, как сказано в официальном «Алфавите декабристов», «уклонился и не участвовал в тайных обще-

ствах, возникших с 1821 г.», почему дело его «высочайше повелено было оставить без внимания». Пущин основал в Кишиневе масонскую ложу «Овидий», в которой членом был и Пушкин. Ему Пушкин посвятил ироническое стихотворение, где приветствует вступление «каменщика» (т. е. масона) Пущина на путь Квируги, известного в то время испанского революционера:

*В дыму, в крови, сквозь тучи
стрел
Теперь твоя дорога;
Но ты предвидишь свой удел,
Грядущий наш Квируга!
И скоро, скоро смолкнет брань
Средь рабского народа,
Ты молоток возьмешь во длань
И воззовешь: свобода!
Хвалю тебя, о, верный брат!
О, каменщик почтенный!
О, Кишинев, о, темный град!
Ликуй, им просвещенный!*

В числе привлеченных в ложу членов находился один болгарский архимандрит Ефрем. Масонская ложа помещалась в доме недалеко от собора, на площади, где всегда

толпилось много болгар. Они обратили внимание на то, что архимандрит, въехав на огражденный решеткой двор, отправил свою коляску домой. Это привлекло любопытных к решетке, тем более что в народе уже шла молва, что в доме этом происходит «судилище дьявольское». Вдруг видят: дверь одноэтажного длинного дома открылась, появилась процессия, два человека вели под руки архимандрита с завязанными глазами: спустились по ступенькам крыльца, перешли двор, сошли в подвал, и двери за ними закрылись. Болгары взволновались, бросились к подвалу, выломали двери, с торжеством вывели архимандрита и наперерыв стали подходить к нему под благословение. К вечеру весь город узнал о происшествии. Пушкин один из первых. Рассказывалось много сказок, сильно повредивших Пущину.

В связи с солдатскими волнениями, происшедшими в подведомственном Пущину Камчатском полку, – о чем рассказано в главе о М. Орлове, – Пущин был уволен в отставку и переехал в Одессу, где с ним тоже видался Пушкин, а потом поселился в псковском своем

имении Жадрицы Новоржевского уезда, недалеко от имения матери Пушкина, с-ца Михайловского. Здесь Пуцин явился главным фабрикаторм слухов о ссыльном Пушкине, вызвавших командировку секретного агента Бошняка для расследования этих слухов и, в случае их подтверждения, ареста Пушкина. Бошняк провел у Пуцина целый день, подробно расспрашивал и убедился, что сведения Пуцина о Пушкине «основаны не на личном свидетельстве, а на рассказах, столь обыкновенных в деревнях и уездных городках». По-видимому, лично Пушкин с Пуциным в деревне не видались.

Дмитрий Николаевич Бологовский
(1775–1852)

Генерал-майор, командир второй бригады дивизии М. Ф. Орлова (первой командовал П. С. Пуцин). Сержантом Измайловского полка он дежурил в качестве ординарца у кабинета Екатерины II в то утро, когда она умерла от удара в своей уборной. Он же стоял на карауле в Михайловском дворце в ночь 11 марта 1801 г., когда задушен был император Павел, и сам принимал участие в убийстве. По

уверению императора Александра I, Бологовский приподнял за волосы мертвую голову императора, ударил ее оземь и воскликнул: «Вот тиран!» Бологовский должен был оставить военную службу. В 1812 г., в связи со ссылкой Сперанского, он был выслан в свою смоленскую деревню, однако вскоре возвращен. Участвовал в Бородинской битве и последующих заграничных походах, под Лейпцигом был ранен и получил орден.

Пушкин в Кишиневе часто обедал у Бологовского – сначала по зову, но потом был приглашен раз навсегда. Ему нравился и стол хозяина, и его непринужденность в обращении, и умный разговор. Однажды Пушкин позволил себе какую-то бестактную выходку, они чуть не поссорились, но Пушкин откровенно сознался, что причиной было шампанское Бологовского, и они помирились. Пушкин продолжал бывать у Бологовского, однако реже прежнего. «Бологовский, – позднее вспоминал Пушкин, – хотел писать свои записки и даже начал их; в бытность мою в Кишиневе он их мне читал. П. Д. Киселев (начальник штаба второй армии) сказал ему: «Помилуй!

Да о чем ты будешь писать? Что ты видел?» – «Что я видел? – возразил Бологовский. – Да я видел такие вещи, о которых никто и понятия не имеет. Начиная с того, что я видел голую ж... государыни (Екатерины II, в день ее смерти)». Всякого рода пикантности были, по-видимому, вообще по вкусу Бологовскому. Впоследствии, в беседе с князем Вяземским, он бранил романы Вальтера Скотта и ставил много выше их пикантные романы Шодерло де Лакло и Луве де Кувре. «Это дело другое, – восклицал он, – читая их, так и глотаешь дух их, глотаешь редакцию!»

Пушкин встречался с Бологовским и впоследствии. В 1828 г., в Москве, он однажды кутил в компании с князем Вяземским, С. Д. Киселевым и Бологовским; дошла их коллективная записка к Толстому-Американцу: «Сейчас узнаем, что ты здесь, сделай милость, приезжай. Упитые винами, мы жаждем одного – тебя». В конце тридцатых годов Бологовский был губернатором в Вологде, потом сенатором в Москве. В Вологде он оставил по себе добрую память, старался облегчать участь политических ссыльных; его хлопотами были

возвращены сосланные в Вологду журналист Н. И. Надеждин и поэт В. И. Соколовский.

Николай Степанович Алексеев
(1789 – в 50–60-х)

Родился в Москве, был одно время на военной службе, участвовал в Бородинском сражении. Потом жил в Москве, приписался, как принято было, к какому-то ведомству, жил веселой светской жизнью, увлекался танцами. По протекции отдаленного своего родственника П. Д. Киселева, начальника штаба второй армии, пристроился в 1818 г. на службу в Кишинев к тогдашнему наместнику края Бахметеву. Вигель рассказывает: «С лощеных паркетов, на коих вальсировал он в Москве, Алексеев шагнул прямо к ломберному столу в гостиной Бахметева. Больших рекомендаций ему было не нужно; его степенный благородный вид заставлял всякого начальника принимать его благосклонно. В провинциях, кто хорошо играет в карты, скоро становится нужным человеком, и он сделался домашним у Бахметева». Когда Бахметева сменил Инзов, Алексеев числился в штате Инзова.

У М. Ф. Орлова Алексеев познакомился с

Пушкиным. Пушкин его очень полюбил, они подружились. В 1826 г. Алексеев писал Пушкину: «...мы некогда жили вместе, часто одно думали, одно делали и почти одно любили, иногда ссорились, но расстались друзьями... Часто вспоминаю милого товарища, который умел вместе и сердить и смешить меня». «Алексеев, тогда коллежский секретарь, – рассказывает Липранди, – был вполне достоин дружеских к нему отношений Пушкина. У них были общие знакомые в Петербурге и Москве; и в Кишиневе Алексеев, будучи старожилом, ввел Пушкина во все общества. Русская и французская литература не были ему чужды. Словом, он из гражданских чиновников был один, в лице которого Пушкин мог видеть в Кишиневе подобие образованным столичным людям, которых он привык видеть». Алексеев был человек очень воспитанный и корректный, обладал большим тактом и пользовался общим уважением. Ему удалось отвлечь повторение дуэли Пушкина с полковником Старовым, он удержал Пушкина от дикой расправы подсвечником с молдавским боярином Балшем. После землетря-

сения, повредившего дом Инзова, Пушкин переселился к Алексееву, у него же останавливался, приехав в марте 1824 г. из Одессы в Кишинев.

Н. С. Алексеев был в связи с хорошенькой молдаванкой Марией Егоровной Эйхфельдт, рожденной Мило, прозванной за восточный тип лица «еврейкой». Муж ее был чиновник горного ведомства, сухой и ученый немец, флегматик, равнодушный ко всему и к самой жене своей и неравнодушный только к пуншу; он любил засесть со знакомым за столик с поставленным чайником и бутылкой рома. Алексеев крепко любил г-жу Эйхфельдт; чтобы не разлучаться с ней, он отвергал выгодные места в Одессе, лишь бы оставаться в Кишиневе. Пушкина он из ревности боялся познакомить со своей возлюбленной. По этому поводу написано послание к нему Пушкина: «Мой милый, как несправедливы твои ревнивые мечты». В послании этом двадцатидвухлетний Пушкин уверяет друга, что для него, Пушкина, ленивого и равнодушного, уже «прошел веселый жизни праздник», что он «позабыл любви призывы» и что над ним уже

не властны томный взор и приветный лепет красавиц молодых. Пушкину, однако, удалось познакомиться с г-жой Эйхфельдт, и ревнивому Алексееву пришлось переживать неприятные минуты. Впоследствии он напоминал Пушкину их «дружеское соперничество и незлобное предательство» и писал: «...несмотря на названия «лукавого соперника» и «черного друга», я могу сказать, что мы были друзья-соперники и жили приятно!»

**Владимир Петрович Горчаков
(1800–1867)**

Родом москвич. Окончил муравьевскую школу колонновожатых. С ноября 1820 г., в чине прапорщика, состоял квартирмейстером при штабе 14-й пехотной дивизии (Орлова). Во время жизни Пушкина в Кишиневе наряду с Н. С. Алексеевым был ближайшим другом Пушкина, его «интимным», как выражается Липранди. «Оба, – рассказывает Липранди, – были неразлучны с Пушкиным, оба были поклонниками поэтических дарований и прекрасной душевной натуры, и Пушкин не оставался к ним равнодушным». Вместе с Горчаковым Пушкин часто бывал у боярина Вар-

фоломея, где оба, кажется, увлекались одно время его хорошенькой дочкой Пульхерией. Алексеев в письме к Пушкину от 1831 г. вспоминает кишиневские времена, когда «Горчаков жертвовал Пульхерии жизнью, откинув страх быть твоим соперником». Сохранилась стихотворная записка, в которой Пушкин, отрезанный в доме Инзова сугробами снега от сообщения с внешним миром, запрашивал Горчакова об ожидавшемся бале у Варфоломея со знаменитым в Кишиневе оркестром Якутского полка:

*Зима мне рыхлою стеною
К воротам заградила путь,
Пока тропинки пред собою
Не протопчу я как-нибудь.
Сижу я дома, как бездельник,
Но ты, душа души моей,
Узнай, что будет в понедельник,
Что скажет наш Варфоломей.*

.....

Умом и художественным вкусом Горчаков не блистал, но был человек добрейшей души. Никогда не кричал на свою крепостную прислугу. Его современников удивил такой факт:

Горчаков ехал зимой в санях, подобрал замерзавшего на дороге пьяного мужика и привез его на станцию.

В 1826 г. Горчаков вышел в отставку и поселился в Москве. Был постоянным посетителем Английского клуба и кружка кишиневского своего приятеля А. Ф. Вельтмана. Пушкин при приездах своих в Москву иногда виделся с Горчаковым. Горчаков любил музыку, пение, был мечтатель и больше жил сердцем. Напечатал несколько очень плохих стихотворений и рассказов. Граф С. Д. Шереметев вспоминает: «Небольшого роста, с вечно всклокоченными волосами, с густыми черными бровями, из-под которых бойко глядели его добрые, выразительные глаза, в сюртуке довольно поношенном, вижу его, как теперь, на обычном своем месте в малиновой круглой гостиной моей бабушки. Рассказывал он очень хорошо и мог быть очень занимательным, любил поспорить и выражался метко». «Лести в нем совсем не было, – вспоминает другой современник, – всякая подлость, низость, шарлатанство и даже мелкое обидное светское подличанье возмущали его. По

этом непрактическом человеке много было слез пролито; какой-то мужик благословлял его память; лакей из клуба привел своего мальчика поклониться его праху, и мы узнали, что Горчаков учил этого мальчика грамоте».

Горчаков оставил воспоминания о Пушкине – болтливые и растянутые, с длиннейшими, явно сочиненными диалогами; встречаются кое-какие ценные факты, но рядом – сведения очень сомнительного свойства.

Александр Фомич Вельтман
(1800–1870)

Родился в Москве. Окончил в 1817 г. школу колонновожатых. В 1818 г. офицером генерального штаба приехал в Кишинев для топографических съемок Бессарабского края. Пописывал стихи, в городе пользовались известностью его куплеты на кишиневских обывателей (кажется, это были припевы к молдавскому танцу «жок», цитируемые Липранди); товарищи называли Вельтмана «кишиневским поэтом». В 1820 г. разнеслась весть, что в Кишинев приезжает Пушкин. Вельтман сознается, что приезд Пушкина породил в нем

«чувство ревности к музе». Встречаясь с Пушкиным в обществе и у товарищей, он никак не умел с ним сблизиться; для других Пушкин мог казаться в обществе равным, но Вельтману он представлялся недоступным, он удалялся от Пушкина и очень боялся, чтобы кто-нибудь из товарищей не сказал при нем Пушкину: «Вот и он пописывает у нас стихи». Однажды у Липранди Вельтман яростно спорил с Владимиром Раевским, доказывая, что нужно в русском языке ввести в употребление «у» с краткой, например, фамилию «Таушев» произносить как слово, состоящее из двух слогов. Вошел Пушкин, его привлекли к спору, и он высказался против мнения Вельтмана. Вскоре Пушкин узнал, что Вельтман пишет стихи, навестил его и просил что-нибудь прочесть. Вельтман, весь зардевшись, прочитал стихотворную сказку «Янко-чабан». Пушкин во многих юмористических местах хохотал. Через несколько дней Вельтман уехал из Кишинева и на юге уже больше не встречался с Пушкиным. Все вышесказанное сообщает сам Вельтман. Как видим, отношения его с Пушкиным были довольно далекие;

незначительный филологический спор с ним незадолго до своего отъезда Вельтман отмечает как «странный случай», сведший его с Пушкиным; они даже не были на «ты», на что Пушкин шел очень легко. Все это заставляет нас отнестись с недоверием к тому, что рассказывает Липранди об отношениях между Вельтманом и Пушкиным. «Пушкин, — сообщает Липранди, — умел среди всех отличить А. Ф. Вельтмана, любимого и уважаемого всеми. Хотя он и не принимал живого участия ни в игре в карты, ни в кутеже и не был страстным охотником до танцевальных вечеров, но он один из немногих, который мог доставлять пищу уму и любознательности Пушкина. Он, безусловно, не ахал каждому произнесенному стиху Пушкина, мог и делал свои замечания, входил с ним в разбор, и это не нравилось Пушкину, несмотря на неограниченное его самолюбие. Вельтман делал это хладнокровно, не так, как В. Ф. Раевский. В этих случаях Пушкин был неподражаем; он завязывал с ним спор, иногда очень горячий, с видимым желанием удовлетворить своей любознательности, и тут строптивость его ха-

рактера совершенно стушевывалась».

В 1831 г. Вельтман вышел в отставку, поселился в Москве и отдался литературной деятельности. Проявился как очень плодовитый беллетрист. Романы и повести его написаны крайне оригинально, необычной манерой, вызывавшей насмешки критики, не отличаются глубиной, но светятся несомненным талантом. Печатал и стихи. До сих пор популярностью пользуется его «Песня разбойника» («Что затуманилась, зоренька ясная?»). Вскоре по приезде Вельтмана в Москву его посетил Пушкин, хвалил его роман «Странник», сказал, что непременно будет писать о нем. Навестил еще несколько раз. Беседы с Пушкиным, по словам Вельтмана, таинственно, скрытно даже для самого Вельтмана, пособили развертыванию его сил. Пушкин тогда только что женился. Вельтман попросил его показать ему в собрании его жену. Пушкин сказал:

– Пора нам перестать говорить друг другу «ВЫ».

И в первый раз Вельтман сказал на «ты» Пушкину:

– Пушкин, ты – поэт, а жена твоя – воплощенная поэзия.

В 1833 г. Вельтман послал Пушкину свой стихотворный перевод «Слова о полку Игореве», предназначая его для неосуществившегося тогда журнала Пушкина. В сороковых годах Вельтман пристрастился к археологии и истории, много писал по этим предметам, высказывая блестящие, но совершенно фантастические гипотезы, нисколько не считавшиеся с историческими данными. Умер директором московской Оружейной палаты и тайным советником. Был чудаковатый добряк, всей душой живший в своих беллетристических и археологических фантазиях. Н. В. Берг, знавший его в сороковых годах, рассказывает: «Вельтман был человек в высшей степени милый и симпатичный, с открытой физиономией, как-то оригинально вскакивал с дивана при появлении всякого гостя, бежал к нему навстречу, раскрыв объятия, усаживал, заводил беседу. Был, что называется, душа-человек. В нем сверх литературного таланта таились еще многие другие: он делал очень искусно из алебаstra копии небольших антич-

ных статуй; играл довольно искусно на гитаре и еще на каком-то изобретенном им инструменте. Ум его был в постоянной работе, он все что-нибудь выдумывал, открывал. Выдумал однажды светильник без фитиля: горело на кончике загнутой тонкой стеклянной трубки одно масло; изобретал сани, которые бы не знали, что такое московские ухабы... Спорить с Вельтманом было трудно: он никого не слушал и верил, как в Бога, в непреложность и непогрешимость своих археологических и исторических открытий. Жили они с женою скромно, но весьма прилично в большой квартире директора Оружейной палаты, у Покрова, в Левшине. Персидские ковры на всяком шагу; чубуки с янтарями, оттоманы; картины с изображениями битв южных славян с турками».

Иван Петрович Липранди
(1790–1880)

Загадочная, до сих пор психологически не совсем ясная фигура. Из старинного испанского рода, сын российского чиновника. Служил на военной службе, участвовал в ряде войн начала прошлого века, получил золотую

шпагу за храбрость, отмечался в реляциях как «искусный и храбрый офицер». В битве под Смоленском получил тяжелую контузию в колено, от которой страдал периодически в течение всей жизни; страшные боли доводили его до обморока. Знавшие его в молодости говорят, что он был любим и уважаем как товарищами, так и начальниками, называл себя мартинистом, был обожателем Вольтера, знал наизусть философию его и «думал идти прямейшею стязею в жизни. С пламенными чувствами и острым, хотя не всегда основательным умом, он мог вернее других отличать хорошее от дурного, благородное от низкого; презирая лесть, он смеялся над уродами в нравственном мире». После взятия в 1814 г. русскими войсками Парижа с Липранди встречался в Париже Вигель. Липранди был тогда полковником генерального штаба. «Не весьма обыкновенный человек, – рассказывает Вигель. – У него ровно ничего не было, а житью его иной достаточный человек мог бы позавидовать... Но добытые деньги медленнее приходили к нему, чем уходили. Вечно был ему пировать. Еще был бы он весельчак – ни-

мало: он всегда был мрачен, и в мутных глазах его никогда радость не блистала. В нем было бедуинское гостеприимство, он готов был и на одолжения, отчего многие его любили... Ко всем распрям между военными был он примешан, являясь будто примирителем, более возбуждал ссорящихся и потом предлагал себя секундантом. Многим оттого казался он страшен... Всякий раз, что заходил я к нему, находил я изобильный завтрак или пышный обед: на столе стояли горы огромных персиков, душистых груш и доброго винограда. И кого угощал он? Людей с такими подозрительными рожами, что совестно и страшно было вступать в разговоры». Внимание Вигеля привлек один гость с очень умным лицом, на котором было заметно, что сильные страсти в нем не потухли, а утихли. Это был бывший галерный каторжник с клеймом на спине, а теперь – глава парижских шпионов, знаменитый сыщик Видок. Вигель перестал бывать у Липранди и недоумевал, что ему была за охота принимать подобных людей. Из любопытства, решил Вигель, через них знает он всю подноготную, все тайнства

Парижа. «После, – пишет Вигель, – я лучше понял причины знакомства его с сими людьми: так же, как они, Липранди одною ногою стоял на ультрамонархическом, а другою – на ультрасвободном грунте, всегда готовый к услугам победителей той или другой стороны». Тайна странных знакомств Липранди заключалась в том, что он в то время состоял начальником русской военной и политической полиции в Париже.

Потом у Липранди вышли какие-то неприятности с высшим начальством «по его роду службы». Он был переведен подполковником сначала в Якутский, потом в егерский полк дивизии М. Ф. Орлова, стоявшей в Кишиневе. Декабрист князь С. Г. Волконский рассказывает: «В уважение его передовых мыслей и убеждений он был принят в члены открывшегося в этой дивизии отдела Тайного общества, известного под названием «Зеленой книги» («Союза благоденствия»). При открытии в двадцатых годах восстания в Италии Липранди просил у начальства дозволения стать в ряды волонтеров народной итальянской армии; это ходатайство его было приня-

то как дерзость, и он принужден был выйти в отставку. Выказывая себя верным своим убеждениям к прогрессу и званию члена Тайного общества, он был коренным другом сослуживца своего по егерскому полку, майора Вл. Ф. Раевского». Вышел Липранди в отставку в ноябре 1822 г. с чином полковника. Вигель в это время опять встретился с ним и рассказывает, что, не зная, куда деваться, Липранди остался в Кишиневе, где положение его очень походило на совершенную нищету.

Пушкин познакомился с Липранди очень скоро по приезде своем в Кишинев, в сентябре 1820 г., у генерала М. Ф. Орлова. Часто виделся с ним и в Кишиневе, и впоследствии в Одессе. «Он мне добрый приятель, – писал Пушкин, – и (верная порука за честь и ум) нелюбим нашим правительством и в свою очередь не любит его». По мнению Пушкина, Липранди соединял в себе ученость истинную с отличными достоинствами военного человека. Знавшие Липранди в то время в один голос отмечают его неординарность. «Человек вполне оригинальный по остроуму и жизни», – пишет А. Ф. Вельтман. В. П.

Горчаков: «Своею особенностью он не мог не привлекать Пушкина; в приемах, действиях, рассказах и образе жизни его много было чего-то поэтического, не говоря уже о его способностях, остроте ума и сведениях». Липранди поражал приятелей то изысканной роскошью, то вдруг презрением к самым необходимым потребностям жизни. У него была прекрасная библиотека, ею часто пользовался Пушкин; любил он и беседовать с Липранди, бывал у него на вечерах, где сходилась наиболее интересная офицерская молодежь – Охотников, В. Раевский, Вельтман, В. Горчаков и другие. Немножко играли в экарте и в банк, много беседовали и спорили о самых разнообразных вопросах. Месяца через три-четыре после своего увольнения Липранди был снова принят на службу графом М. С. Воронцовым, который знал его еще в эпоху занятия Франции русскими войсками. «Вдруг откуда что взялось, – рассказывает Вигель, – в не весьма красивых и не весьма опрятных комнатах карточные столы, обильный и роскошный обед для всех знакомых и пуды турецкого табаку для их забавы. Совершенно бедуинское

гостеприимство!»

Осенью 1824 г. Пушкин был выслан из Одессы в Псковскую губернию и больше, кажется, уже не виделся с Липранди. Дальнейшее течение жизни Липранди было такое: через три года после отставки он был обратно принят на военную службу по квартирмейстерской части. В январе 1826 г. был арестован в Кишиневе по подозрению в принадлежности к Тайному обществу, 1 февраля доставлен в Петербург и помещен на главную гауптвахту. Покровитель Липранди граф Воронцов секретно писал в Петербург, что у него относительно Липранди «сомнение превратилось в явное подозрение». Однако, просидев две три недели, Липранди был освобожден без всяких последствий, получил, в виде вспомоществования, 2000 рублей; в декабре, за отличие, произведен в полковники, вскоре снова получил, в виде вспомоществования, 2000 р. В октябре 1826 г. Н. С. Алексеев писал из Кишинева Пушкину: «Липранди живет по-прежнему здесь довольно открыто и, как другой Калиостро, Бог знает, откуда берет деньги». В сороковых годах Липранди служил в министер-

стве внутренних дел, в течение года заведывал слежкой за Петрашевским и его кружком, по представленным им спискам петрашевцы были арестованы. В докладной записке по этому делу Липранди доказывал, что петрашевцы имели в виду посягнуть на самые основы государственного строя и заслуживают сурового наказания. Принимал также деятельное участие в преследовании раскольников. Уже при Александре I подал проект об учреждении при университетах школы шпионов, чтобы употреблять их для наблюдения за товарищами, чтобы потом давать им по службе ход и пользоваться их услугами для ознакомления с настроениями общества.

Был ли Липранди шпионом уже во время знакомства своего с Пушкиным – более чем сомнительно. Заведывание в военное время контрразведкой в Париже – это совсем другое. Постоянная смена роскоши нуждой в жизни Липранди свидетельствует только о неумении его придерживать деньги, что очень свойственно было и Пушкину в течение всей его жизни. А многочисленный ряд фактов определенно говорит против предположения

о шпионаже Липранди за время пребывания его в Кишиневе: за попытку поступить в итальянскую революционную армию он поплатился отставкой; он был очень близок с Вл. Раевским и мог бы дать много ценнейших фактов в руки следователей, усердно искавших точных улик против Раевского, – и не сделал этого; о самом Липранди секретные агенты сообщали в Петербург как о человеке неблагонамеренном, расшатывавшем в солдатах дисциплину и подбивавшем их жаловаться генералу Орлову на чинимые обиды; граф Воронцов, уж конечно, должен был бы знать о секретной деятельности Липранди, если бы она была, – а он сообщал в Петербург, что сомнение насчет Липранди превратилось у него в явное подозрение. Всего вероятнее, агентом Липранди сделался после ареста его по декабрьскому делу, – вот почему его так скоро выпустили и стали засыпать крупными денежными «вспомоществованиями».

К Пушкину Липранди относился с большой любовью. Воспоминания его о Пушкине, написанные в виде примечаний и дополнений к работе Бартенева «Пушкин в южной

России», выдаются добросовестностью, точностью и полнотой.

Павел Иванович Пестель (1792–1826)

Отец его был сибирский генерал-губернатор, прославившийся азиатским самовластием, покрыванием взяточничества и противозаконных действий сибирского чиновничества. Впрочем, сам Пестель-отец, по-видимому, во взяточничестве не был повинен и в 1821 г. оставил службу, имея двести тысяч рублей долга, который выплачивал до смерти. После отставки он жил в смоленском имении своей жены. Сын его до двенадцати лет воспитывался дома, потом три года жил с воспитателем в Дрездене, в 1810 г. поступил в Пажеский корпус, в следующем году выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Литовский полк. Участвовал в кампании 1812 г., в Бородинской битве был ранен пулей в ногу с раздроблением костей и повреждением сухожилий, получил золотую шпалу с надписью «за храбрость». Через девять месяцев, с еще незажившей раной, из которой продолжали выходить косточки, отправился в армию графа

Витгенштейна. Вскоре он был назначен к нему адъютантом, при нем проделал кампанию 1813–1814 гг., участвовал во многих сражениях, получил ряд орденов. Потом служил в кавалергардском полку, в армейских гусарских. В 1821 г., в чине полковника, был назначен командиром Вятского пехотного полка, стоявшего на юге, в расположении 2-й армии, которой командовал тот же Витгенштейн.

Пестель был членом и «Союза спасения», и «Союза благоденствия», и образовавшегося на его развалинах Тайного общества. Он был одним из директоров Южного тайного общества, самым деятельным и энергичным его членом. «Мне казалось, – писал Пестель в своих показаниях, – что главное стремление нынешнего века состоит в борьбе между массами народными и аристокрациями всякого рода, как на богатстве, так и на правах наследственных основанными... Я сделался в душе республиканцем и ни в чем не видел большего благоденствия и высшего блаженства для России, как в республиканском правлении. Когда с прочими членами рассуждал я о сем предмете, входили мы в такое восхищение и,

сказать можно, восторг, что готовы были предложить все то, что содействовать бы могло к полному введению и совершенному укреплению сего порядка вещей». В Тайном обществе Пестель занимал наиболее левую позицию. Он стоял за республику, за уничтожение царской фамилии, за отмену крепостного права и полную отмену всяких сословных привилегий, за уравнивание в правах всех граждан, частичную национализацию земли, прирезку крестьянских наделов; но оставлял частную собственность на землю и представлял себе будущее благоденствие России основанным на крепком, цветущем хозяйстве крестьянина-фермера.

Путь к достижению цели Пестель видел в военном перевороте и, подобно всем декабристам, очень опасался гражданской войны и вмешательства в борьбу самих народных масс. «Мы обращали, – писал он, – большое внимание на устранение и предупреждение всякого безначалия, беспорядка и междоусобия, коих я всегда показывал себя самым ревностнейшим врагом».

Пестель был невысокого роста, брюнет,

черноглазый, с толстыми губами. Был он человек большой образованности, огромного ума и стальной воли. Его начальник граф Витгенштейн, главнокомандующий 2-й армией, отзывался о нем: «Пестель на все годится. дай ему командовать армией или сделай его каким хочешь министром, он везде будет на своем месте». И корпусный командир Пестеля говорил: «Удивляюсь, как Пестель занимается шагистикой, когда этой умной голове только и быть министром, посланником!» Работоспособность его была огромна: энергично руководя важнейшими делами Тайного общества, он в то же время легко, как бы спустя рукава, держал свой полк на высоте самых строгих тогдашних требований. Знавшие Пестеля удивлялись его памяти, его начитанности, – чего он только не прочел! – его уму, прямому и острому, как шпага. Павлов-Сильванский так характеризует свойство ума Пестеля: «Вера в силу логики, в математическую точность логических заключений, вера в силу разума составляли отличительные свойства его ума. Истинный сын своего времени, великой революционной эпохи, он, подобно якобинцам и

родственному им по духу Наполеону, верил в торжество идеи и в возможность осуществления своего идеала резким, насильственным путем, вопреки каким бы то ни было условиям времени и места». Холодный, несокрушимо-логический ум соединялся у Пестеля с фанатически горящей душой. Умом своим, глубокой убежденностью, не знающей колебаний волей он оказывал на людей влияние неодолимое. Они часто подчинялись ему против желания, почти гипнотически. Слабые люди обвиняли Пестеля в надменной власти, в желании играть первую роль, в честолюбии, в требовании слепого повиновения, – обычные обвинения против революционных вождей, стремящихся к единству и целеустремленной деятельности партии.

Пестель был арестован 13 декабря 1825 г., накануне петербургского восстания, по доносу одного из ротных командиров его полка, капитана Майбороды, неосторожно принятого Пестелем в общество. Пестель закованным был отвезен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость. На допросах он решительно отрицал все возводимые на него обви-

нения. Священник Мысловский, назначенный увещать арестованных декабристов, пишет о Пестеле в своих воспоминаниях: «Сей преступник есть отличнейший в сонме заговорщиков как по данному ему воспитанию, так и по твердости духа. Быстр, решителен, красноречив в высшей степени; математик глубокий, тактик военный превосходный. Никто из подсудимых не был спрашиван в комиссии более его, никто не выдерживал столько очных ставок, как опять он же; везде и всегда был равен себе самому. Ничто не колебало твердости его. В комиссии всегда отвечал он с видимою гордостью и с каким-то самомнением». Однако до конца не выдержал и Пестель. Когда из предъявляемых вопросов он убедился, что полностью выдан товарищами, он стал откровенно отвечать на все вопросы, а когда ему дано было понять, что чистосердечным раскаянием он может заслужить прощение и свободу, Пестель через генерала Левашова написал Николаю униженное письмо, где молил его о милости и сострадании и клялся каждый миг своей жизни посвятить признательности и безграничной

преданности его священной особе и его августейшей фамилии. М. Н. Покровский склонен думать, что это письмо было со стороны Пестеля только маневром: как тридцать лет спустя Бакунин, Пестель думал перехитрить царя и получить свободу для возможности дальнейшей деятельности. 13 июля 1826 г. Пестель с четырьмя другими главарями заговора был повешен. Вноябре того же года агент по тайным государственным делам Станкевич доносил начальству: «Все нижние чины и офицеры Вятского полка непримерно жалеют Пестеля, бывшего их командира, говоря, что им хорошо с ним было, да и еще чего-то лучшего ожидали; и стоит только вспомнить кому из военных Пестеля, то вдруг всякий со вздохом тяжким и слезами отвечает, что такого командира не было и не будет».

Пушкин познакомился с Пестелем в 1821 г. Весной этого года, будучи подполковником Мариупольского гусарского полка, Пестель был командирован штабом второй армии в Бессарабию, на границу Валахии, для собраний сведений о греческом восстании, его причинах и ходе. 9 мая 1821 г. Пушкин писал в

дневнике: «Утро провел я с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова. «Мое сердце материалистично, – говорит он, – но ум мой от этого отказывается». Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю». Они виделись еще несколько раз. 26 мая, в день рождения Пушкина, Пестель посетил его вместе с П. С. Пущиным и Н. С. Алексеевым. В общем Пестель не возбудил к себе в Пушкине симпатии. Пушкин говорил Липранди, что Пестель ему не нравится и что, несмотря на его ум, никогда бы с ним не мог сблизиться. За обедом у М. Ф. Орлова Пушкин, как будто не зная, что Пестель сын сибирского генерал-губернатора, спросил его:

– Не родня ли вы сибирскому злодею?

Орлов улыбнулся и погрозил Пушкину пальцем.

Результатом поездки Пестеля в Бессарабию был его доклад императору с подробным и точным изображением причин и хода греческого восстания; в докладе он, между прочим, говорил, что гетерия играла в этом вос-

стании такую же организующую роль, какую в Италии играют карбонарии. Это справедливое и чисто фактическое указание Пестеля дало впоследствии Пушкину повод написать в дневнике (24 декабря 1833 г.), что Пестель «предал гетерию, представя ее императору Александру отраслью карбонаризма».

**Федор Федорович Орлов
(1792–1835)**

Младший брат генерала М. Ф. Орлова, полковник лейб-гвардии уланского полка. Поступил на военную службу в 1805 г. В январе 1812 г. сильно проигрался и решил застрелиться; нарядился, стал перед трюмо и выстрелил себе в лицо; но в пистолет он всыпал слишком много пороху, – пистолет разорвало, пуля прошла через подбородок в шею; шрам остался на всю жизнь. Боевой офицер, георгиевский кавалер, в битве под Бауценом в 1813 г. потерял ногу и ходил на деревяшке. Ростом был великан. Удалец, кутила и игрок. За жизнь свою проиграл более миллиона рублей. В кутежах и картах спустил все состояние и под конец жил на иждивении родственников. Он числился по лейб-уланскому полку

в бессрочном отпуске и осенью 1820 г. приехал погостить в Кишинев к брату М. Ф. Орлову. Однажды после обеда, наскучив слушать споры брата с Охотниковым о политической экономии, он пригласил Липранди и местного почтмейстера, отставного драгунского полковника А.П.Алексеева, отправиться куда-нибудь, где веселее. Прихватили и Пушкина. Пушкин одинаково любил и споры о политической экономии, и веселое времяпрепровождение с лихими офицерами. Отправились в трактир. Играли на бильярде, пили жженку вкруговую. За второй вазой жженки Пушкин развеселился, стал мешать другим играть и путать на бильярде шары. Орлов назвал его школьником, а Алексеев прибавил, что школьников проучивают. Пушкин вскипел, бросился к бильярду и разбросал шары. Началась перебранка. Кончилось тем, что Пушкин вызвал обоих полковников на дуэль, а в секунданты пригласил Липранди. Условились в десять часов утра собраться у Липранди. Липранди пригласил Пушкина ночевать к себе. Дорогой Пушкин, немного отрезвев и остыв, начал бранить себя за свою арабскую кровь.

Липранди сдержанно заметил, что главное дело – причина не совсем хорошая, и нужно бы дело замять. Пушкин остановился и воскликнул:

– Ни за что! Я докажу им, что я не школьник!

– Оно все так, – возразил Липранди, – но все-таки будут знать, что всему виною жженка.

Пушкин молчал, а подходя к дому, сказал:

– Скверно, гадко! Да как же кончить?

– Очень легко. Не они, а вы их вызвали. Следовательно, если они приедут с предложением помириться, то ведь честь ваша не страдает.

Пушкин долго молчал и наконец сказал по-французски:

– Это басни! Они никогда не согласятся. Алексеев, может быть, – он семейный, но Теодор – никогда: он обрек себя на натуральную смерть; все-таки лучше умереть от пули Пушкина или убить его, нежели играть жизнью с кем-нибудь другим.

Всю ночь Липранди не спал и рано утром поехал к Орлову и Алексееву; они как раз со-

бирались к Липранди посоветоваться, как бы закончить эту глупую историю. Условились, что к десяти часам они приедут к Липранди и предложат Пушкину забыть случившееся. Орлов только не верил, что Пушкин согласится. Липранди воротился домой. Пушкин уже проснулся. Липранди сообщил ему о результатах своих переговоров. Пушкин взял его за руку и просил сказать откровенно, не пострадает ли его честь, если он согласится на примирение. Липранди повторил то, что говорил вчера: раз те просят мира, то чего же больше желать? Пушкину не верилось, чтобы Орлов отказался от такого прекрасного случая подраться. Но когда Липранди объяснил, что Федор Федорович не хотел бы делом этим доставить неприятности брату, Пушкин успокоился. Он только страдал, что столкновение случилось за бильярдом, при жженке.

– А не то славно бы подрался; ей-богу, славно!

Через полчаса приехали Орлов и Алексеев. Помирились и отправились обедать к Алексе-еву.

Алексей Петрович Алексеев

(?—?)

Кишиневский областной почтмейстер, драгунский полковник в отставке, георгиевский кавалер. Он всегда просил начальство, чтоб его не повышали в чине, так как с повышением в гражданский чин, по тогдашнему положению, он лишался военного мундира; а он до того любил свой отставной драгунский мундир и золотую саблю, что всюду являлся не иначе, как одетым в полную форму. Пушкин с наслаждением слушал его рассказы как участника битв при Бородине и на высотах Монмартра.

**Семен Никитич Старов
(1780—1856)**

Командир одного из егерских полков дивизии М. Ф. Орлова, боевой, очень храбрый офицер, малообразованный. У него вышла с Пушкиным история, хорошо рисующая тогдашние фантастические понятия военных о «чести». В кишиневском казино танцевали. Пушкин с А. П. Полторацким и другими приятелями условились начать мазурку. В это время молодой офицерик-егерь из полка Старова скомандовал играть кадрили. Пушкин пере-

командовал:

– Мазурку!

Офицер повторил:

– Играй кадрили!

Пушкин, смеясь, опять крикнул:

– Мазурку!

Музыканты знали Пушкина как постоянного посетителя и, хотя сами военные, исполнили приказ его, а не офицера.

Полковник Старов пришел в негодование, подозвал офицера и предложил ему потребовать у Пушкина объяснения. Офицер смутился.

– Но как же, г. полковник, я буду говорить с ним? Я его совсем не знаю.

– Не знаете? – сухо ответил Старов. – Ну, так и не ходите. Я за вас пойду.

И пожилой, солидный человек, заступаясь за «честь» своего полка, подошел к Пушкину и вызвал его на дуэль. Пушкин ответил, что всегда к его услугам, и продолжал танцевать.

Дуэль была назначена на следующий день, в девять часов утра. Пушкин пригласил в секунданты приятеля своего Н. С. Алексеева. Погода была ужасная: метель до того была силь-

на, что в нескольких шагах ничего не было видно, к тому же довольно сильно морозило. Пушкин горел нетерпением и непременно хотел приехать на место поединка первым. Дуэль происходила в урочище Малина, в двух верстах от Кишинева. Барьер был на шестнадцать шагов. Пушкин стрелял первый и промахнулся. Старов тоже дал промах и предложил сдвинуть барьер, Пушкин сказал:

– И гораздо лучше, а то холодно.

Секунданты предложили помириться. Оба отказались. Застывшие от холода пальцы секундантов с трудом зарядили пистолеты снова. Барьер сдвинули до двенадцати шагов. Опять два промаха. Противники потребовали еще сблизить барьер, но секунданты решительно воспротивились. И Старов, и Пушкин опять отказались помириться. Решено было отложить дуэль до более благоприятной погоды. На обратном пути Пушкин заехал к Полторацкому, не застал его дома и оставил записку:

*Я жив,
Старов
Здоров,*

Дуэль не кончен.

В тот же день Липранди, знавший о дуэли, отправился к Старову, старому своему сослуживцу, и стал уговаривать его кончить дело.

– Как это пришло тебе в голову сделать такое дурачество в твои лета и в твоём положении?

– Сам не знаю, как все это вышло. Я не имел никакого намерения, когда подошел к Пушкину, да он, братец, такой задорный!

– Но согласишься, с какой стати было тебе, самому не танцующему, вмешиваться в спор двух юношей, из коих одному хотелось мазурку, другому вальса?

Старов стал соглашаться, что вмешиваться, пожалуй, не следовало, однако, раз так уж случилось, он считал ниже своего достоинства идти на примирение и просил через Алексеева предложить Пушкину стреляться в клубной зале. Липранди боялся, что Пушкин ухватится за эту мысль, и поспешил передать весь разговор Н. С. Алексееву. Алексей обещал в тот же день повидаться со Старовым. Вечером Пушкин был у Липранди как ни в чем не бывало, так же весел, такой же спор-

щик со всеми, как и прежде.

Алексееву, хладнокровному и тактичному, удалось, хотя и с трудом, уговорить Старова не настаивать на продолжении дуэли. Противники, как будто нечаянно, сошлись в ресторации Николети и помирились. Пушкин сказал:

– Я вас всегда уважал, полковник, и потому принял ваше предложение.

– И хорошо сделали, Александр Сергеевич, – ответил Старов. – Этим вы еще более увеличили мое уважение к вам. И я должен сказать по правде, что вы так же хорошо стояли под пулями, как хорошо пишете.

Насчет последнего Старов был малокомпетентным экспертом, он Пушкина ничего даже не читал, а только знал, что Пушкин – «автор». Но слова Старова очень тронули Пушкина, и они дружески обнялись.

Липранди заметил у Пушкина как будто тайное сожаление, что ему не удалось подраться с полковником, известным своей храбростью. Однажды как-то Алексеев сказал Пушкину, что он ведь дрался со Старовым, так чего же он хочет больше? Пушкин, с

обычной ему резвостью, сел Алексееву на колени и сказал:

– Ну, не сердись, не сердись, душа моя!

Вскочил, посмотрел на часы, схватил шапку и ушел.

Слухи о дуэли и последовавшем примирении распространились по городу в самом превратном виде. Одни рассказывали, что Пушкин испугался повторения дуэли и просил у Старова извинения, другие сообщали, что Пушкин выдержал выстрел Старова, сам выстрелил в воздух и потом сказал:

*Полковник Старов,
Слава богу, здоров!*

Дня через два после примирения Пушкин играл на бильярде в ресторации Николети. В той же комнате толпа молдаванской молодежи разговаривала о его дуэли со Старовым, превозносила Пушкина и порицала Старова. Пушкин вспыхнул, бросил кий и подошел к разговаривавшим.

– Господа, – сказал он, – как мы кончили со Старовым, это наше дело, но я вам объявляю, что если вы позволите себе осуждать Старова,

которого я не могу не уважать, то я приму это за личную обиду, и каждый из вас будет иметь дело со мною!

Тупоголовый вояка, легко могший оборвать своей пулей деятельность Пушкина на «Кавказском пленнике» и «Бахчисарайском фонтане», под старость сознавался, что дуэль его с Пушкиным – одна из самых капитальных глупостей в его жизни.

Калипсо Полихрони (?–?)

В середине 1821 г. в Кишинев приехала бежавшая из Константинополя вдова логофета, гречанка Полихрония. Во время бегства она потеряла все, что имела, и жила в Кишиневе в двух бедных комнатках. Вскоре она прославилась как волшебница, умевшая пораживать сердца жестоких красавиц и холодных мужчин к тем, кто их любил без взаимности. Старуха садилась в старинные кресла, брала в руки длинную белую палку, а на голову надевала скуфью из черного бархата с белыми кабалистическими знаками и буквами. Постепенно начинала приходить в волнение; по телу пробегал трепет, она быстрее по-

ворачивала прутом, произносила какие-то страшные слова, седые волосы на голове становились дыбом, так что черная шапочка шевелилась на ней. Придя в себя, она объявляла клиенту, что дело сделано, что неумолимая отныне в его власти.

У старухи была молодая дочь Калипсо. Была она невысокого роста, – худощавая, с красивыми правильными чертами лица, но с длинным, загнутым вниз носом, как бы сверху донизу разделявшим лицо; волосы были густые и длинные, глаза необыкновенной величины, огненные и сладострастные, подведенные сурьмой. Кроме греческого и турецкого языков, она хорошо говорила по-арабски, по-молдавски, по-французски и по-итальянски. У девушки был нежный, мелодический голос; под аккомпанемент гитары она пела, – по-восточному, в нос, – заунывные турецкие песни, то сладострастные, то ужасные и мрачные, сопровождая их выразительной мимикой и жестами. Ходили слухи, что Калипсо впервые познала любовь в объятиях Байрона, когда он был в Греции. В обществе она мало показывалась, но дома радушно принимала.

Строгостью нравов не отличалась. Романтическая экзотика, окружавшая дочь и мать, должна была нравиться Пушкину, любившему все, выходящее из рамок обыденности. Одно время он сильно увлекался Калипсо, – об этом свидетельствует и «донжуанский список» Пушкина, в который из всех кишиневских увлечений он внес только два имени – Калипсо и Пульхерию. К Калипсо обращены стихи Пушкина «Гречанке»:

*Ты рождена воспламенять
Воображение поэтов,
Его тревожить и пленять
Любезной живостью приветов,
Восточной странностью речей,
Блистаньем зеркальных очей
И этой ножкою нескромной;
Ты рождена для неги томной,
Для упоения страстей.
Скажи: когда певец Лейлы
В мечтах небесных рисовал
Свой неизменный идеал,
Уж не тебя ль изображал
Поэт мучительный и милый?
Быть может, в дальней стороне,
Под небом Греции священной,
Тебя страдалец вдохновенный*

Узнал иль видел, как во сне,
И скрылся образ незабвенный
В его сердечной глубине.
Быть может, лирою счастливой
Тебя волшебник искушал;
Невольный трепет возникал
В твоей груди самолюбивой,
И ты, склонясь к его плечу...
Нет, нет, мой друг, мечты ревни-
вой
Питать я пламя не хочу;
Мне долго счастье чуждо было.
Мне ново наслаждаться им,
И, тайной грустию томим,
Боюсь: неверно всё, что мило.

Через несколько лет Калипсо умерла от ча-
хотки.

**Пульхерица (Пульхерия) Варфоломей
(1802–1868)**

Отец ее, Егор Кириллович Варфоломей, мол-
даванин, владел обширными поместьями
в Бессарабии, был членом верховного област-
ного суда, председателем палаты и откупщи-
ком всего края. Он жил открыто, к небольшо-
му своему дому пристроил огромную танце-
вальную залу, разрисовал ее под трактир и

давал в ней балы за балами. У него был собственный оркестр из крепостных цыган, славившийся на весь Кишинев. Подвернув под себя ноги, Варфоломей, как паша, сидел на диване с чубуком в руках и встречал гостей приветливым: «Пофтим (просим)». Разговаривать он с ними не умел, во время танцев сидел молча, попыхивал чубуком и с наслаждением глядел на танцующих. Жена его была говорливая и радушная. У них была дочка Пульхерия – полная, круглая, свежая девушка, очень красивая. В 1818 г. Кишинев посетил император Александр I, бессарабское дворянство дало ему бал. На балу этом император, большой любитель женской красоты, отличил Пульхерицу, одну ее из всех девиц пригласил на польский и задал несколько вопросов. Была она девушка наивная, простодушная и молчаливая. На все вопросы отвечала только милой улыбкой, никем особенно не увлекалась, на балах со всеми кавалерами танцевала с одинаковым удовольствием, всех одинаково любила слушать. Когда кто пробовал объясниться ей в любви, она прерывала его словами:

– Ah, quel vous êtes! Qu'est ce que vous badinez![255]

Хорошо танцевала, была в Кишиневе общей любимицей. Про нее сложен был такой припев к молдавскому танцу жок:

*Пульхерица легконожка,
Кишиневский наш божок,
Встань, голубушка, немножко,
Пропляши с бабакой[256] жок!*

Пушкин одно время сильно, по-видимому, увлекался Пульхерицей, – по словам А. Ф. Вельтмана, «девственной ее красе посвятил несколько восторженных стихов». Полагают, что к ней обращено стихотворение Пушкина «Дева»:

*Я говорил тебе: страшися девы
милой!
Я знал: она сердца влечет неволь-
ной силой.
Неосторожный друг, я знал: нель-
зя при ней
Иную замечать, иных искать
очей.
Надежду потеряв, забыв измены
сладость,*

*Пылает близ нее задумчивая мла-
дость;
Любимицы счастья, наперсники
судьбы
Смиренно ей несут влюбленные
мольбы;
Но дева гордая их чувства ненави-
дит
И, очи опустив, не внемлет и не
видит.*

Нельзя не признать, что многое в этом стихотворении очень подходит к Пульхерице. Вельтман гротескными чертами обрисовывает Пульхерицу как бездушный заводной механизм-автомат, обтянутый лайкой, – не существо, а вещество. Странно, что Пушкин мог увлечься подобной куклой, притом и красоты-то вовсе не такой уж исключительной. Пушкин, – между прочим, и в Кишиневе, – влюблялся много и часто, между тем в «донжуанском» своем списке вспомнил только два кишиневских женских имени, и одно из них – имя Пульхерии. Видимо, она оставила в его сердце прочную память, какой не могла бы оставить смешная вельтманская подделка под человека. Пушкину нравилась девствен-

ная чистота Пульхерицы, ее простодушие и доброта, сердце, не знавшее ни зависти, ни желаний, а «гордое» равнодушие ее к влюбленным мольбам только усиливало влечение к ней.

Все старания отца выдать дочь замуж разбивались о холодность и равнодушие Пульхерицы. Отец был принужден влюбиться вместо дочери в В. П. Горчакова, приятеля Пушкина, но Горчаков не прельстился несколькими тысячами приданого и бессарабскими поместьями. Варфоломей уверял:

– Мусье Горчаков, вы можете положиться на мою любовь и уважение к вам!

– Помилуйте, я очень ценю вашу привязанность, но мне не с вами жить.

– Поверьте мне, что она вас любит!

Но Горчаков не верил клятвам отцовским. Только лет через десять-двенадцать, когда про Пульхерицу пели в жоке уже не «кишиневский наш божок», а «устаревший наш божок», она вышла замуж за бывшего греческого консула в Одессе Мано.

Тодораки Балш
(?–?)

Молдавский боярин, во время гетерии бежавший в Кишинев из Ясс, столицы Молдавии. Молдавия и Валахия, впоследствии соединившиеся в одно государство – Румынию, находились в то время под протекторатом Турции. Более столетия обеими странами управляли поставленные турками греки-фанариоты (Маврокордато, Гика, Мурузи, Караджа, Суцо и др.). Они возбуждали неистовую ненависть к себе населения корыстолюбием, хищениями, отсутствием забот об управляемом народе, пренебрежением к румынской национальности, стремлением эллинизировать население; туземное боярство негодовало на устранение его от участия в управлении страной. В 1822 г. отправлена была в Константинополь депутация с ходатайством, чтобы господари обоих княжеств избирались общим собранием дивана из местных, туземных бояр. Инициатива посылки депутации и главная руководящая в ней роль принадлежала Тодораки Балшу. Порта удовлетворила ходатайство. Имя Балша вошло в историю Румынии как одного из деятелей национально-ее освобождения. Впоследствии Балш был

главнокомандующим (гетманом) молдавских войск.

У Пушкина с Балшем и его женой вышла дикая история, рисующая взбудораженно-мутную хаотичность душевного состояния, которую переживал «бес-арабский» Пушкин в кишиневский период своей жизни. Никогда, ни раньше, ни позже, не писал он таких циничных до пошлости эпиграмм (на Аглаю Давыдову, на кишиневских дам), никогда не проявлял такой прямо болезненной раздражительности, доходившей до полной разнузданности. Жена Балша Мариола была дочь молдавского «великого ворника» Богдана, казненного за вымышленное преступление господарем-фанариотом Мурузи. Она была женщина лет под тридцать, довольно пригожа, чрезвычайно остра и словоохотлива; хорошо говорила по-французски. Пушкин любил с ней болтать и доходил иногда до речей весьма свободных; это ей нравилось, и она не оставалась в долгу. До какой точки дошли их отношения – неизвестно. Но Пушкин вскоре увлекся другой дамой, более красивой и интересной. Мариола надулась на Пушкина, при

каждом удобном случае старалась его уколоть. Он сделался с ней сдержаннее и стал демонстративно ухаживать за ее тринадцатилетней дочерью Аникой, такой же острой на слова, как мать. Мариола увидела в этом желание Пушкина подчеркнуть ее возраст, показать, что она имеет уже взрослую дочь, и еще больше озлобилась на Пушкина. Тогда в обществе много говорили о ссоре двух молдаван; им следовало драться на дуэли, но они не дрались. Липранди как-то заметил:

– Чего от них требовать! У них в обычае нанять несколько человек да их руками отдубасить противника.

Пушкин очень над этим потешался. Однажды, в 1822 г., на Масленице, на вечере у вице-губернатора Крупянского, сидя рядом с Мариолой, он сказал:

– Экая тоска! Хотя бы кто нанял подраться за себя!

Г-жа Балш обиделась за молдаван, вспыхнула и ответила:

– Да вы лучше деритесь за себя.

– С кем же?

– Вот хоть со Старовым; вы с ним, кажется,

не очень хорошо кончили.

Пушкин возразил, что если бы на ее месте был ее муж, он сумел бы поговорить с ним. Отозвал Балша от карточного стола и потребовал от него удовлетворения. Балш пошел расспросить жену. Та ему сообщила, что Пушкин наговорил ей дерзостей. Балш воротился к Пушкину и с негодованием сказал:

– Как же вы требуете от меня удовлетворения, а сами позволяете себе оскорблять мою жену?

Пушкин пришел в бешенство, схватил подсвечник и замахнулся на Балша. Подоспевший Н. С. Алексеев успел его удержать. На следующий день, по настоянию Крупянского и генерала Пущина, Балш согласился извиниться перед Пушкиным. Крупянский вызвал к себе Пушкина. Балш высокомерно сказал:

– Меня упростили извиниться перед вами. Какого извинения вам угодно?

Пушкин, не говоря ни слова, дал ему пощечину и вслед за этим вынул пистолет. От Крупянского Пушкин пошел на квартиру к генералу Пущину, где его видел В. П. Горчаков, бледного, как полотно, и улыбающегося. На-

местник Ив. Н. Инзов посадил Пушкина на две недели под арест. Пушкин, видимо, несколько не считал себя неправым и из-под ареста писал приятелю (по-видимому, Н. С. Алексееву):

*Мой друг, уже три дня
Сижу я под арестом
И не видался я
Давно с моим Орестом.
Спаситель молдаван,
Бахметьева наместник,
Законов провозвестник,
Смиренный Иоанн,
За то, что ясский пан,
Известный нам болван
Мазуркою, чалмою,
Несносной бороною –
И трус, и грубиян –
Побит немножко мною,
И что бояр пугнул
Я новою тревогой, –
К моей конурке строгой
Приставил караул.*

.....

Долго после этого Пушкин говорил, что не решается ходить без оружия, на улицах вы-

нимал пистолет и с хохотом показывал его встречным знакомым.

Артемий Макарович Худобашев
(ок. 1770 – не ранее 1839)

Маленький старичок-армянин, с огромным носом, кособокий. Служил почтмейстером в Одессе, но однажды его чем-то обидел козел, и он, забыв свой сан, вступил в открытый бой с козлом на площади перед театром; бой этот наблюдал с балкона своего дворца генерал-губернатор граф Ланжерон с семейством. Худобашеву пришлось переселиться в Кишинев. При графе Воронцове он был чиновником особых поручений для Кишинева.

Прочитав «Черную шаль» Пушкина, Худобашев очень был возмущен стихом:

Неверную деву лобзал армянин.

Он видел тут насмешку над армянами. Ругал Пушкина и говорил возражавшим:

– Что за важность! И мой брат Александр Макарыч тоже автор!

Пушкин познакомился с Худобашевым и потешался над ним вдоволь. Худобашев очень любил говорить по-французски, при

этом гнусил и беспощадно коверкал язык. Пушкин не иначе говорил с ним, как по-французски, уверил его, что «Бавария» будет по-французски не «Baviere», а «Bavars». Шутники за тайну сообщили Худобашеву, что под армянином в «Черной шали» Пушкин разумел его, Худобашева. Это очень польстило Худобашеву, и он давал понять, что правда отбил кого-то у Пушкина. Пушкин не давал ему проходу и, как только увидит, начинал читать «Черную шаль». Дело завершилось тем, что Пушкин бросал Худобашева на диван, садился на него верхом и приговаривал:

– Не отбивай у меня гречанок!

Это нравилось Худобашеву, воображавшему, что он может быть соперником. Пушкин говаривал, что когда ему грустно, он ищет встречи с Худобашевым, который всегда «отводит его душу», и при каждой встрече обнимался с ним.

Иван Николаевич Ланов
(ок. 1755–?)

Старший член управления колониями, статский советник. Старик за шестьдесят пять лет, приземистый, с большим брюхом, лы-

сый, широкое лицо с красным носом дышало важностью и самодовольством. Он часто обедал у своего начальника генерала Инзова и встречался за столом с Пушкиным. Чинуша, пропитанный глубочайшим чинопочтанием, никак не мог переварить, что какой-то коллежский секретарь Пушкин совершенно независимо держится не только с ним, статским советником, но даже с самим генералом от инфантерии Инзовым. Он высокомерно оглядывал Пушкина и в общем разговоре совершенно не удостаивал вниманием того, что говорил Пушкин. Однажды Ланов с важностью ораторствовал за столом, что самое лучшее средство от всех болезней – вино, что один его знакомый секретарь заболел не более и не менее как чумой, выпил четверть водки – и все как рукой сняло.

Пушкин, сдерживая смех, сказал:

– Может быть, но только позвольте усомниться.

– Да чего тут позволить! Раз я говорю так – значит, так! А вам, почтеннейший, не след бы спорить со мною, оно как-то не приходится.

– Почему?

- Потому что между нами есть разница.
- Какая?
- Та, что вы еще молокосос.
- А, понимаю! Верно, есть разница. Я – молокосос, а вы – виносос.

Обед в это время кончался. Инзов улыбнулся и ушел к себе. А Ланов вспомнил, что он когда-то был адъютантом у Потемкина, и вызвал Пушкина на дуэль. Пушкин в ответ только хохотал. Ланов настаивал. Воротился Инзов, узнал о вызове и уговорил Ланова взять его обратно. Если Ланов требовал от коллежского секретаря уважения к себе как к статскому советнику, то и сам умел оказывать уважение генералу от инфантерии. Он исполнил желание Инзова. Пушкин был рад, потому что такая смешная дуэль его вовсе не привлекала. После этого Инзов устроил так, что Пушкин за его столом не встречался с Лановым.

**Ириной Нестерович
(1785–1864)**

Архимандрит, ректор кишиневской семинарии. Инзов, заботясь о религиозно-нравственном просвещении Пушкина, просил о.

Ириней почаще беседовать с Пушкиным и наставлять его. Однажды, в Страстную пятницу, зашел Ириней к Пушкину. Пушкин сидит и что-то читает. Ириней спросил:

– Чем это вы занимаетесь?

– Да вот, читаю историю одной особы...

Это рассказывала некоему Мацеевичу племянница Ириней, П. В. Дыдицкая. «Или нет, – поправилась Дыдицкая, – помню, еще не так он сказал, не особы, а читаю, говорит, историю одной статуи». Мацеевич замечает: «Да, именно так передавала этот факт П. В. Дыдицкая. В продолжение трех лет, через длинные промежутки, я все просил ее повторить этот рассказ, и она все говорила одно: история одной статуи. Что хотел выразить этим Пушкин?»

Ириней посмотрел в книгу, – это было евангелие. Он пришел в ярость.

– Как вы смеее это говорить? Вы безбожник. Я на вас сейчас бумагу подам!

И уехал. Пушкин испугался, на следующий день отправился в семинарию к племяннице Ириней.

– Так и так, – говорит, – боюсь, чтобы ваш

дядя не донес на меня. Попросите вашего дядю.

– Зачем же вы так нехорошо сделали?

– Да так, – само как-то с языка слетело.

Дыдицкой удалось отговорить дядю.

Ириней был по происхождению полусерб-полумолдаванин. Крепкий, худощавый брюнет среднего роста, с огненными глазами, с крупноволнистыми, блестящими волосами. Можно удивляться, что монах не донес на Пушкина за его кощунственный отзыв о евангелии. Впоследствии сам он с гордостью писал о другом своем доносе, на Вл. Ф. Раевского, и хвалился, что первым открыл «зловредное для государства учение, которое преподавал Раевский юнкерам в военном бессарабском лицее».

В 1826 г. Ириней был назначен епископом в Пензу, в 1830-м переведен архиепископом в Иркутск. Ириней представлял красочную фигуру редкого в русской жизни ультрамонтана, больше напоминавшего католического прелата, чем безгласного российского архиерея. Адъютанту Александра I он однажды сказал:

– Ты – адъютант царя земного, а я – адъ-

ютант царя небесного.

Любил повторять:

– Я – власть, я – наместник Христа, другой власти нет!

В Пензе ждали приезда императора Николая. Весь город чистился, красился, один только архиерейский дом стоял непобеленный, с кучами голубинового помета на карнизах. К Иринею явился полицмейстер с предложением губернатора почистить и побелить дом. Иринею спросил:

– А для какой потребы это нужно?

Полицмейстер удивился:

– Губернатор желает, чтобы никакой мерзости не было во время бытности государя в Пензе.

Иринею спросил:

– Где же ты будешь в это время?

– Как где? Буду встречать государя.

– Ну, если ты, высшая мерзость нашего города, явишься пред лицом государя, то скажи губернатору, что мне не для чего белить и чистить свой дом: он и так вдесятеро чище тебя.

Другой раз, уже в Иркутске, во время архиерейского служения, священник, выходя из

царских врат для произнесения молитвы «благословляю», по принятому обычаю, поклонился генерал-губернатору Лавинскому. Ириней воротил священника в алтарь и на весь собор распустил его:

– Кому ты кланялся? Ты, пастырь, кланялся овце твоего стада? Ты молишься златому тельцу!

Вообще в церкви Ириней нисколько не стеснялся и, по выражению современника, церковную службу нередко превращал в ротное ученье.

– Ключарь, перевяжи галстук архидиако-ну – узлом назад!

Читающему дьячку:

– Стой! Пропустил точку с запятой, читай сначала, – на коленях.

Священнику:

– Замолол! Не внятно, – читай снова, да не кобянься!

С подчиненными держался совершенным самодуром. При облачении, например, стоит, подняв руки, хотят его облачить, – он рук не опускает; бегут, несут другое облачение, – все держит руки вверх; так до тех пор, пока не

принесут облачения, которое ему на этот раз желается. Духовенство его ненавидело, в Пензе служили молебны об избавлении от него, из Иркутска непрерывно поступали на него жалобы в синод за самоуправство. Жаловался в Петербург и сам генерал-губернатор. В июне 1831 г. на основании высочайшего повеления состоялось постановление синода: архиепископа Иринея ввиду расстройтва умственных способностей немедленно удалить от управления епархией и заточить в один из вологодских монастырей. К Иринею явился чиновник с предложением ехать с ним в Вологду. Ириней заявил, что царскому указу он беспрекословно подчинится, но царские указы должны быть печатные, а предъявленный ему писан от руки, значит, подложный. Призвал караул с соседнего шлагбаума, с помощью солдат отвел чиновника на гауптвахту и посадил его под арест. Прибыли генерал-губернатор и комендант. Ириней благословлял солдат и стекавшийся народ, в исступлении призывал их на помощь, молил выручить его, заявлял, что его хотят посадить в тюрьму и зарезать. С трудом удалось уговорить его от-

правиться домой. Из Петербурга были присланы флигель-адъютант и жандармский полковник, которые и увезли Иринея в Вологду. Он был заточен в Спасо-Прилуцкий монастырь. Там ему было разрешено архиерейское служение, а затем отдан в управление, один из первоклассных ярославских монастырей.

В Каменке

Из Кишинева Пушкин несколько раз приезжал в село Каменку Чигиринского уезда Киевской губернии. Каменка была большое, богатое поместье, принадлежавшее старухе Екатерине Николаевне Давыдовой, по первому браку – Раевской. Ее сыновьями были знаменитый боевой генерал Н. Н. Раевский, В. Л. и А. Л. Давыдовы. С последними Пушкин познакомился в Кишиневе у М. Ф. Орлова, они и пригласили его к себе в Каменку.

Екатерина Николаевна Давыдова (1757–1825)

Рожденная Самойлова, племянница Потемкина. Отец выдал ее замуж за полковника Николая Семеновича Раевского помимо ее желания. Она была так еще молода, что пер-

вые годы замужества часто тайком от мужа играла в куклы; как зазвонят бубенцы, возвещающие возвращение супруга, она поспешно убирала куклы. В 1771 г., еще до рождения сына Николая, Екатерина Николаевна овдовела, а немного спустя вышла замуж вторично, уже по любви, за офицера Льва Денисовича Давыдова, впоследствии дослужившегося до чина генерал-майора. От него у нее было несколько детей. Как племянница Потемкина, Екатерина Николаевна была так богата, что из одних заглавных букв принадлежавших ей имений можно было составить фразу: «Лев любит Екатерину». Жила она в Каменке, в огромном барском доме. Кроме ее детей, у нее воспитывалось много племянников и племянниц; с ними вместе воспитывалась дочь старика-дворецкого на правах приемной дочери, но соблюдался такой обычай: когда отец, обнося блюдо, доходил до дочери, она должна была встать и поцеловать ему руку. По старому обычаю, дом кишел приживальщиками и приживалками. Жили широко и привольно, празднество сменялось празднеством. Содержался собственный оркестр, певчие; в торже-

ственные дни палили из пушек.

Василий Львович Давыдов
(1792–1855)

Учился в пансионе аббата Николя в Петербурге. Пятнадцати лет поступил в лейб-гусарский полк. Участвовал в кампаниях 1812–1814 гг., был ранен под Кульмом и под Лейпцигом. В 1820 г. из Александрийского гусарского полка вышел в отставку с чином полковника и поселился в имении матери Каменке. Он был одним из деятельных членов Южного тайного общества, состоял председателем Каменской управы Тульчинской Думы общества. К нему в Каменку ежегодно съезжались для совещания члены общества. Это не навлекло подозрений полиции, потому что съезды приурочивались к 24 ноября, дню именин старухи Давыдовой: в этот день съезжались вся ее семья и много гостей. По отзыву декабриста князя С. Г. Волконского, Василий Львович был «личностью замечательною по уму и теплоте чувства; его можно было назвать коноводом по влиянию его бойких обсуждений и ловкого, увлекательного разговора». В противоположность изысканности

маркиза, отличавшей его брата Александра Львовича, Василий Львович, как сообщает В. П. Горчаков, «щеголял каким-то особым приемом простолюдина».

Один из съездов членов Тайного общества пришелся как раз на время, когда в Каменке в первый раз гостил Пушкин. Приехали Якушкин, М. Ф. Орлов, Охотников. На именины матери приехал генерал Раевский с сыном Александром. Обедали внизу у старухи-матери; обеды были роскошные и веселые, с неизменным шампанским; после обеда собирались в огромной гостиной, где царила хорошенькая жена Александра Львовича, Аглая Антоновна. Вечера проводили наверху, у Василия Львовича, много спорили на общие темы. Генерал Раевский сам не принадлежал к Тайному обществу, но подозревал его существование и с напряженным любопытством слушал споры. В последний вечер Василий Львович, Орлов, Охотников и Якушкин сговорились действовать так, чтобы сбить с толку Раевского, — принадлежат ли они к Тайному обществу или нет. Председателем выбрали Раевского. С полусутоливым-полуважным видом он руково-

дил прениями. К концу прений Орлов предложил поставить на обсуждение вопрос: насколько было бы полезно учреждение Тайного общества в России? Одни высказывались за, другие – против. Пушкин с жаром доказывал, что такое общество было бы сейчас очень полезно. Якушкин возражал и высказывал уверенность в полнейшей бесполезности подобного общества. Генерал Раевский стал поддерживать Пушкина и указал случаи, в которых Тайное общество могло бы действовать с успехом и пользой. Тогда Якушкин сказал:

– Мне нетрудно доказать вам, что вы шутите. Я предложу вам вопрос: если бы теперь уже существовало Тайное общество, вы, наверно, к нему не присоединились бы?

– Напротив, наверное бы присоединился.

– В таком случае давайте руку!

Раевский протянул руку. Якушкин расхохотался и сказал:

– Разумеется, все это только шутка.

Все смеялись, только брат Василия Львовича, Александр Львович, безмятежно дремал в креслах; не смеялся и Пушкин. Он был очень

взволнован; у него явилась полная уверенность, что Тайное общество либо уже существует, либо тут же получит свое начало. Он покраснел, встал и сказал с наворачнувшимися слезами:

– Я никогда не был так несчастлив, как теперь. Я уже видел жизнь мою облагороженною, видел высокую цель перед собою, и все это была только злая шутка!..

Свою жизнь в Каменке Пушкин описывает в письме к Гнедичу от 4 декабря 1820 г.: «Нахожусь в Киевской губернии, в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского. Время мое проходит между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов».

Пушкин воротился из Каменки в Кишинев, наэлектризованный беседами с заговорщиками, полный ощущения надвигающейся

грозной и радостной поры, когда высоко вознесется кровавая чаша для причастия всех, чающих воскресения из мертвых нового бога-христа – Свободы. На Страстной неделе 1821 г. он писал В. Л. Давыдову:

*...Меж тем как ты, проказник
умный,
Проводишь ночь в беседе шумной,
И за бутылками аи
Сидят Раевские мои...
Тебя, Раевских и Орлова
И память Каменки любя,
Хочу сказать тебе два слова
Про Кишинев и про себя...*

*Я стал умен, я лицемерю –
Пошусь, молюсь и твердо верю,
Что бог простит мои грехи,
Как государь мои стихи...
Однако ж гордый мой рассудок
Мое раскаянье бранит,
А мой ненабожный желудок
«Помилуй, братец, – говорит, –
Еще когда бы кровь Христова
Была хоть, например, лафит...*

Иль кло-д-вужо, тогда б ни слова,

*А то – подумай, как смешно! –
С водой молдавское вино».
Но я молюсь – и воздыхаю...
Крещусь, не внемлю сатане...
А всё невольно вспоминаю,
Давыдов, о твоём вине...*

*Вот эвхаристия другая,
Когда и ты, и милый брат,
Перед камином надевая
Демократический халат,
Спасенья чашу наполняли
Беспенной, мерзлую струей
И за здоровье тех и той.
До дна, до капли выпивали!..
Но те в Неаполе шалят,
А та едва ли там воскреснет...
Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет.
Ужель надежды луч исчез?
Но нет! – мы счастьем насладим-
ся,
Кровавой чашей причастимся –
И я скажу: Христос воскрес.*

Те – революционеры, та – свобода. Через несколько лет В. Л. Давыдову пришлось причаститься «кровавой чашей»: в январе 1826 г.

он был арестован, привезен в Петербург и приговорен к двадцатилетней каторге. Умер в Сибири.

Александр Львович Давыдов (1773–1833)

Служил в кавалергардах и гусарах, участвовал в наполеоновских войнах, несколько раз был ранен. Однако раны в боях получают не только храбрецы. Брат Давыдова по матери, генерал Н. Н. Раевский, во время кампании 1813 г. писал своему дяде из Германии: «Брат Александр уволен по просьбе в Теплиц на время перемирия, только от его болезни не воды, а розги одни помочь могут, я ожидаю его возвращения». Александр Львович был большой гастроном и сам рассказывал, что, находясь во Франции с оккупационным корпусом и командуя летучим отрядом, он всегда старался останавливаться в местностях, которые славились или приготовлением особенного какого-нибудь кушанья, или редкими фруктами и овощами, или искусным откармливанием птиц. В 1815 г. вышел в отставку с чином генерал-майора и поселился в имении своей матери Каменке, куда часто съезжа-

лись для совещания к его брату Василию Львовичу члены Тайного общества. Но сам Александр Львович никакими общественными делами не интересовался, за умными разговорами дремал, любил только попить-поесть. Был он физически очень силен, ростом высок и толщины непомерной. Пушкин вспоминает: «Александр Львович был второй Фальстаф: сластолюбив, трус, хвастлив, не глуп, забавен, без всяких правил, слезлив и толст. Одно обстоятельство придавало ему прелесть оригинальную: он был женат. Шекспир не успел женить своего холостяка, Фальстаф умер, не успев быть ни рогатым супругом, ни отцом семейства». Александр Львович был женат и был

*...рогоносец величавый,
Всегда довольный сам собой,
Своим обедом и женой.*

Эти стихи из «Евгения Онегина» применяли к Александру Львовичу, и в кругу знакомых за ним установилась кличка Рогоносец Величавый. В манерах он отличался «изысканностью маркиза», а в отношении к низ-

шим проявлялся как русский барин и генерал. Однажды, когда он жил в Одессе, его надул еврей-фактор. Давыдов зазвал его к себе и избил чубуком трубки. Фактор пожаловался генерал-губернатору графу Воронцову. Воронцов тотчас же приказал полиции взыскать с Давыдова в пользу фактора 25 руб. Полицейский чиновник с фактором явился к Давыдову. Давыдов вскипел гневом. Он вынул из кармана деньги и сказал фактору:

– Вот тебе двадцать пять рублей за то, что я тебя побил, а вот двадцать пять за то, что еще побью!

Схватил фактора за бороду и так избил на глазах полицейского, что тот едва мог дотащиться до дому.

К Пушкину Александр Львович относился дружески, но несколько покровительственно. Это очень не нравилось Пушкину. К нему относится послание Пушкина «Нельзя, мой толстый Аристип», написанное с подчеркнутой фамильярностью.

Аглая Антоновна Давыдова
(1787–1847)

Рожденная герцогиня де Граммон, дочь французского эмигранта. Жена Александра Львовича Давыдова. Он женился на ней в 1804 г. в Митаве, где жил изгнанником будущий французский король Людовик XVIII. Очень хорошенькая, ветреная и кокетливая, как истая француженка, она искала в шуме развлечений средства «не умереть от скуки в варварской России». В Каменке она была магнитом, привлекавшим к себе мужчин. От главнокомандующих до корнетов, все жило и ликовало в селе Каменке, но главное – умира-ло у ног прелестной Аглаи. Денис Давыдов, двоюродный брат ее мужа, писал ей в 1809 г.:

*О, Аглая, как идет к тебе
Быть лукавой и обманчивой!
Ты изменишь, – и прекраснее!
И уста твои румяные
Еще более румянятся
Новой клятвой, новой выдумкой,
Голос, взор твой привлекатель-
ней!
И, богами вдохновенная,
Разрушаешь все намеренья
Разлюбить неразлюбимую.
Сколько пленников скитается,*

*Сколько презренных терзается
Вкруг обители красавицы!
Мать страшится называть тебя
Сыну, юностью кипящему,
И супруга содрогается,
Если взор супруга верного
Хотя раз, хоть на мгновение
Обратится на волшебницу.*

Когда ее знал Пушкин, Аглая была уже не первой молодости. Он, видимо, был тоже ее любовником. Связь была чисто чувственная, и попытки Аглаи придать ей романтический оттенок вызывали у Пушкина насмешку. Он писал в послании к ней:

*И вы поверить мне могли,
Как простодушная Агнеса?
В каком романе вы нашли,
Чтоб умер от любви повеса?
Остепенясь, мы охладели,
Некстати нам учиться вновь.
Мы знаем: вечная любовь
Живет едва ли три недели.
Я вами, точно, был пленен,
К тому же скука... муж ревни-
вый...
Я притворился, что влюблен,
Вы притворились, что стыдли-*

вы...

*Мы поклялись... потом... увы!
Потом забыли клятву нашу:
Себе гусара взяли вы,
А я – наперсницу Наташу...*

«Трагический жар» Аглаи, ее ревность и грусть Пушкину смешны:

*Оставим юный пыл страстей,
Когда мы клонимся к закату,
Вы – старшей дочери своей,
Я – своему меньшому брату,
Им можно с жизнью шалить
И слезы впредь себе готовить, –
Еще пристало им любить,
А нам уже пора злословить!*

Ей же он посвятил очень злую эпиграмму:

*Иной имел мою Аглаю
За свой мундир и черный ус,
Другой за деньги – понимаю.
Другой за то, что был француз...*

и т.д.

Эпиграмму эту он рассылал своим друзьям; брату писал: «...ради Христа, не распускай ее, в ней каждый стих – правда». И Вязем-

скому: «...не показывай ее никому, – ни Денису Давыдову». Потому что Денис Давыдов, как мы видели, был ее родственник и относился к ней с симпатией. Вероятно, «по секрету» Пушкин сообщал эпиграмму и другим; во всяком случае, она дошла до Аглаи. И. П. Липранди виделся с супругами Давыдовыми в 1822 г. в Петербурге, куда они приехали из Каменки, обедал у них. «Я заметил, – рассказывает он, – что жена Давыдова в это время не очень благоволила к Александру Сергеевичу, и ей, видимо, было неприятно, когда муж ее с большим участием о нем расспрашивал. Я слышал уже неоднократно прежде о ласках Пушкину, оказанных в Каменке, и слышал от него восторженные похвалы о находившемся там семейном обществе, упоминалось и об Аглае. Потом уже узнал я, что между ней и Пушкиным вышла какая-то размолвка, и последний наградил ее стишками!» Вероятно, лишний раз по этому поводу Аглая подумала о «северных варварах», об отсутствии у них рыцарства и джентльменства.

В 1833 г., после смерти мужа, Аглая уехала во Францию и детей своих обратила в католи-

чество. Вторично вышла замуж за маршала Франции графа Себастиани.

Адель Александровна Давыдова
(ок. 1808—?)

Дочь А. Л. и Аглаи Давыдовых. Когда зимой 1820 г. Пушкин жил в Каменке, она была хорошенькой двенадцатилетней девочкой. Декабрист Якушкин рассказывает: «Мы всякий день обедали внизу у старушки-матери Давыдовых. После обеда собирались в огромной гостиной, где всякий мог с кем и о чем хотел беседовать. Пушкин вообразил себе, что влюблен в Адель, беспрестанно на нее заглядывался и, подходя к ней, шутил с ней очень неловко. Однажды за обедом он сидел возле меня и, раскрасневшись, смотрел так ужасно на хорошенькую девочку, что она, бедная, не знала, что делать, и готова была заплакать, мне стало ее жалко, и я сказал Пушкину вполголоса: «Посмотрите, что вы делаете; вашими нескромными взглядами вы совершенно смутили бедное дитя». — «Я хочу наказать кокетку, — отвечал он, — прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочет взглянуть на меня». С большим тру-

дом удалось мне обратить все это в шутку и заставить его улыбнуться». Пушкин написал Адели стихи:

*Твоя весна
Тиха, ясна:
Для наслажденья
Ты рождена.
Час упоенья
Лови, лови!
Младые лета
Отдай любви.*

После смерти отца мать увезла ее в Париж, там Адель обратилась в католичество и поступила в монастырь Trinita del Monto в Риме. А. О. Смирнова пишет: «Хороши же были лучшие годы Адели за решеткой в монастыре! Голые стены, на завтрак соленая вода с вермишелью, а для развлечения упрямые и капризные дети, которых посвящали в тайны грамматики и римского ханжества. Эта Адель потом была в парижском монастыре Sacré-Coeur; вздумала сделаться игуменьей и, наконец, к великому скандалу благородного Сен-жерменского предместья, бросила монашество и теперь, неизвестно где, живет с архи-

православной двоюродной своей сестрою».

Иван Дмитриевич Якушкин
(1796–1857)

Сын небогатого смоленского помещика. Окончил курс в Московском университете по словесному факультету. В 1811 г. поступил на военную службу подпрапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк. С полком проделал походы 1812–1814 гг., участвовал в ряде сражений, получил Георгиевский крест. Из-за границы, как большинство военной молодежи, вернулся очень оппозиционно настроенным к царившим в России порядкам. В Петербурге сошелся с князем С. П. Трубецким, братьями Муравьевыми и Муравьевыми-Апостолами. Был одним из учредителей «Союза спасения», членом «Союза благоденствия». В 1816 г. перевелся штабс-капитаном в 37-й егерский полк.

В это время Якушкин переживал очень тяжелую личную драму. Он с тринадцати лет любил княжну Наталью Дмитриевну Щербатову, сестру задушевного своего друга, князя Ив. Д. Щербатова, офицера Семеновского полка. Она относилась к нему с большой симпа-

тией, называла «небесной душой», писала брату: «Якушкину – вся моя дружба, все мое уважение, все мое восхищение». Но – любви к нему не чувствовала. По настоянию отца и теток княжна приняла предложение богатого гвардейского офицера-семеновца Д. В. Нарышкина. Она вначале увлекалась им, но не сильно. Человек он был малодостойный. Якушкин заболел от отчаяния. Он знал, что за человек Нарышкин, и всячески старался расстроить предстоявший брак. Но положение Якушкина было довольно сложное. Особенно трудно было держать правильную линию именно потому, что княжна любила его крепкой дружеской любовью. Легче отойти от любимой женщины, когда она к человеку относится равнодушно или пренебрежительно. Но, видя горячее ее участие к себе, не так легко отказаться от надежды, не поддаться желанию дать почувствовать любимой, сколько она доставляет страданий, и тайно надеяться, что ласковую дружбу она переменит на более горячее чувство, – как будто это зависит от нее. Якушкин не сумел и не захотел молча уйти. Княжна писала брату: «Ах, если бы ты мог

видеть Якушкина! его отчаяние, его страсть, отсутствие великодушия!» Якушкин собирался уехать в Америку сражаться за чью-то независимость, несколько раз покушался на самоубийство, писал княжне, что его смерть освободит ее от его назойливости. Княжна, нарушая все тогдашние правила и приличия в отношениях между девушкой и молодым человеком, написала письмо самому Якушкину. «Выслушайте меня, Якушкин, – писала она, – и не злоупотребите доверием, которое я вам оказываю. Я истомилась в этих невыносимых тисках. Они отозвались на моем здоровье. И это последнее испытание, которое вы заставили меня пережить, чуть не повергло меня в несчастнейшее состояние. Надо ли мне напоминать обещание, которое вы мне дали? Надо ли настаивать на его выполнении? Живите, Якушкин!.. Имейте мужество быть счастливым и подумайте о том, что от этого зависит мое счастье, спокойствие и самое здоровье. Уезжайте, Якушкин! Это необходимо! Покиньте эти места, которые могут вам напомнить только печаль и горе... Если и суждено мне когда-либо стать супругой и ма-

терью, искренняя привязанность, которую я к вам и впредь буду питать, преисполнит мое сердце до последнего моего дыхания. Прощайте, мой брат и друг мой!» Между тем в жёнихе своем Нарышкине княжна Щербатова совершенно разочаровалась. Она писала брату: «Душа Нарышкина такая, как ты мне ее рисовал: порочная, низкая, не имеющая другой цели, кроме личной выгоды». Однако шансы Якушкина нисколько от этого не поднялись. Княжна упрекала себя в жестокосердии, в вероломстве по отношению к нему, но... «Если бы я могла их обоих успокоить, – писала она, – я бы им сказала: господа, живите мирно на мое здоровье и оставьте меня в покое».

В конце 1817 г. ожидался приезд в Москву царя со всем семейством. Гвардия уже пришла. Состоялось совещание петербургских членов Тайного общества с московскими. На совещании было прочитано письмо князя С. П. Трубецкого, который сообщал, что император Александр, ненавидя и презирая Россию, хочет часть русских губерний присоединить к Польше, которой он только что дал консти-

туцию, и столицу России перенести в Варшаву. Это всех ошеломило. Начались толки и сокрушения о бедственном положении, в котором находится Россия под управлением Александра. Якушкин, последние годы живший в непрерывном нервном напряжении, ходил по комнате, весь дрожа. Потом остановился и сказал:

– Если Россия так несчастна под управлением царствующего императора, то Тайному обществу тут нечего делать, и теперь каждый из нас должен действовать по собственной совести и по собственному убеждению!

Все замолчали. Александр Муравьев заявил, что для прекращения бедствий России необходимо прекратить царствование Александра, и предложил бросить жребий, кому нанести удар царю.

– Вы опоздали, – ответил Якушкин, – я решил без всякого жребия принести себя в жертву и никому не уступлю этой чести.

Опять наступило молчание. Друг Якушкина, полковник М. А. Фонвизин, подошел к нему и просил успокоиться, уверял, что он в лихорадочном состоянии, что завтра же он

одумается и сам найдет свое предложение безумным.

— О нет, я совершенно спокоен. Хотите — сыграем в шахматы, и я вас обыграю.

Якушкин жил вместе с Фонвизиным. Всю ночь Фонвизин напрасно убеждал его отказаться от своего намерения. Якушкин решил по прибытии Александра в Москву застрелить его из пистолета, а из другого застрелиться потом самому. На следующий день собрались опять, весь вечер убеждали Якушкина отказаться от его намерения. Якушкин возразил: «А что же вы говорили вчера? Либо вчера вы легкомысленно благословили меня на вредное дело, либо сегодня, из боязливой нерешительности, удерживаете меня от дела прекрасного». И заявил, что выходит из общества.

Впрочем, вскорости удалось убедить его, что раз он так много знает об обществе, то неудобно ему быть вне общества. И он воротился. Якушкин был человек прекрасной души, с чуткой совестью, но слабохарактерный и импульсивный, способный под влиянием минутного настроения на самые неожиданные

ные действия. Однажды в своей деревне, возмущенный незаконным поступком земской полиции, он сочинил адрес к императору, под которым должны были подписаться все члены «Союза благоденствия». В адресе излагались бедствия России и для прекращения их предлагалось царю созвать Земскую Думу. Фонвизин согласился подписаться под адресом, но другие члены легко убедили Якушкина, что это значило бы самым добровольно лезть в логово медведя.

В 1818 г. Якушкин вышел в отставку, отказался от всяких притязаний на любимую девушку и уехал на житье в свою смоленскую деревню Жуково. Здесь он стал действовать как хороший русский интеллигент-дворянин. Первым делом уменьшил наполовину барщину. Во всякий час допускал до себя крестьян; отучил их кланяться в ноги и стоять перед ним без шапки; учил грамоте крестьянских ребят. Болея совестью, что владеет рабами, решил освободить крестьян; с любовью выработал такой проект: без всякого выкупа предоставлял крестьянам в полную собственность их усадьбы, скот, имущество; землю же остав-

лял за собой, рассчитывая половину обрабатывать вольнонаемным трудом, а другую половину отдавать в аренду крестьянам. Но действительность жестоко смеялась над его благими намерениями. Староста, отученный Якушкиным от рабских навыков, стал с приехавшим земским заседателем разговаривать в шапке; заседатель избил его за это до полусмерти. А когда Якушкин собрал крестьян и стал им излагать свой проект их освобождения, случилось вот что. Они внимательно слушали и наконец спросили:

– А земля, которой мы сейчас владеем, будет наша или нет?

Якушкин объяснил, что земля останется за ним, но что они властны... арендовать ее. Тогда мужики сказали:

– Ну, батюшка, так оставайся все по-старому: мы ваши, а земля наша.

«Напрасно, – с огорчением рассказывает Якушкин, – старался я объяснить им всю выгоду независимости, которую им доставит освобождение. Надеюсь, что мои крестьяне со временем примирятся с условиями, которые я им предлагал, я отправился в Петербург».

Но хлопоты его в Петербурге не увенчались успехом: ему не позволили освободить крестьян и на тех условиях, которые он предлагал.

Осенью 1819 г. Якушкин узнал, что княжна Н. Д. Щербатова выходит замуж за штабс-капитана егерского полка князя Ф. П. Шаховского (будущего декабриста). 1 октября он писал ее брату: «Теперь все кончено. Я узнал, что твоя сестра выходит замуж, – это был страшный момент. Он прошел. Я хотел видеть твою сестру, увидел ее, услышал из собственных ее уст, что она выходит замуж, – это был момент еще более ужасный. Он также прошел. Теперь все прошло. Я осужден жить и искупить, если возможно, все огорчения, какие я причинил тем, кто оказывал мне некоторую дружбу. Я не прошу от тебя дружбы, справедливо, что ты меня презираешь. Я недостойн называться твоим другом; по крайней мере, моя благодарность к тебе продлится на всю мою жизнь».

«Союз благоденствия» решил созвать в январе 1821 г. в Москве съезд для решения вопроса о дальнейшей деятельности общества.

Осенью 1820 г. Якушкин был послан в Тульчин для приглашения на съезд делегатов от 2-й армии. Из Тульчина Якушкин заехал в Каменку в надежде уговорить М. Ф. Орлова принять участие в съезде. В Каменке Якушкин встретился с Пушкиным, с которым уже раньше познакомился в Петербурге у П. Я. Чаадаева. Впечатление свое от Пушкина он описывает так: «В общежитии Пушкин был до чрезвычайности неловок и при своей раздражительности легко обижался каким-нибудь словом, в котором решительно не было для него ничего обидного. Иногда он корчил лихача, вероятно, вспоминая Каверина и других своих приятелей-гусаров в Царском Селе; при этом он рассказывал про себя самые отчаянные анекдоты, и все вместе выходило как-то очень пошло. Зато, заходил ли разговор о чем-нибудь дельном, Пушкин тотчас просветлялся. О произведениях словесности он судил верно и с особенным каким-то достоинством. Не говоря почти никогда о собственных своих сочинениях, он любил разбирать произведения современных поэтов и не только отдавал каждому из них справедливость, но в каждом

из них умел отыскать красоты, каких другие не заметили. Я ему прочел его ноэль «Ура! В Россию скачет», и он очень удивился, как я его знаю, а между тем все его ненапечатанные сочинения: «Деревня», «Кинжал», «Четырехстишие к Аракчееву», «Послание к Петру Чаадаеву» и много других были не только всем известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть. Вообще Пушкин был отголосок своего поколения, со всеми его недостатками и со всеми добродетелями».

После январского съезда 1821 г. Якушкин вошел в Северное тайное общество, ему было поручено завести Управу общества в Смоленской губернии. Но вся дальнейшая деятельность его ограничилась тем, что он принял в общество двух новых членов. В конце 1822 г. он женился на Анастасии Васильевне Шереметевой, дочери благочестивой старушки Н. Н. Шереметевой, бывшей впоследствии в близкой дружбе с Гоголем. Якушкин жил с женой очень уединенно в своем смоленском имении, занимался сельским хозяйством. В

декабре 1825 г. приехал в Москву, в январе был арестован и отправлен в Петербург. Следователям уже было известно о его намерении в 1817 г. убить императора. Якушкин не стал этого отрицать, но назвать товарищей отказался, сказав, что дал честное слово никого не называть. Император Николай пришел в ярость:

– Что вы мне с вашим мерзким честным словом!

И приказал «заковать его так, чтобы он пошевелиться не мог». На дальнейших допросах Якушкин продолжал отказываться назвать сообщников, ссылаясь на данное слово. Но потом, когда для него выяснилось на допросах, что сообщники все равно суду известны, он назвал их и еще двоих – генерала Пасека, уже умершего, и П. Я. Чаадаева, бывшего за границей. Пошел еще на некоторые компромиссы, – например, заявил что уже четырнадцать лет не причащался, потому что не верит, а потом, в крепости, говел и причащался, к великому утешению следственной комиссии. «Тюрьма, железа и другого рода истязания, – сознается он, – произвели свое действие, они

развернули меня». Показаниями своими он никому не повредил, сообщил только, что и без того было комиссии известно. И в общем, как мало кто из декабристов, держался на допросах с достоинством и сдержанностью. И обо всех грехах откровенно рассказал в своих воспоминаниях; опубликование подлинного следственного дела не прибавило к его признаниям ничего нового, – не то что следственные дела о многих других декабристах, раскрывшие прямо потрясающие картины предательства, покаяния и самых униженных падений о пощаде со стороны людей, по отношению к которым и мысль о чем-либо подобном не могла бы прийти в голову.

Единственное, в чем следственная комиссия смогла обвинить Якушкина, – это в намерении в 1817 г. покуситься на жизнь императора, в намерении, от которого он сам же отказался. За это преступление Якушкин был приговорен к двадцати годам каторги. Отбыл каторгу в Нерчинских рудниках. В 1835 г. был обращен на поселение. Возвратился в Россию по общей амнистии в 1856 г. Записки его являются ценнейшим материалом для истории

декабрьского движения.

В Одессе

Граф Михаил Семенович Воронцов (1782–1856)

Генерал-губернатор Новороссийского края. Сын российского посла в Лондоне графа С. Р. Воронцова. Первую молодость провел в Англии, получил там блестящее образование. С 21-летнего возраста начинается его боевая служба – на Кавказе, в шведской войне, в наполеоновских кампаниях, в турецкой войне. В 1812 г. в Бородинской битве был ранен. Отправившись на излечение в свое имение, он пригласил туда же пятьдесят раненых офицеров и триста солдат, пользовавшихся у него заботливым уходом. По выздоровлении возвратился в строй, участвовал в битве под Лейпцигом, при Краоне блистательно выдержал сражение против самого Наполеона. В боях Воронцов отличался холодной и спокойной отвагой. Всегда впереди, хладнокровно отдавал приказания, шутил, улыбался и нюхал табак, точно у себя в кабинете. Разделял с солдатами все лишения. С 1815 по 1818 г. ко-

мандовал оккупационным корпусом, занимавшим Францию. Уходя с корпусом из Франции, он из собственных средств заплатил долги всех офицеров корпуса, более полутора миллионов рублей. Это порядочно расстроило его имущественные дела, он поправил их только в следующем году, женившись на графине Елизавете Ксавериевне Браницкой, принесшей ему огромное состояние.

В 1823 г. Воронцов был назначен новороссийским генерал-губернатором и полномочным наместником Бессарабской области. Он занимал в Одессе великолепный дворец, жил в роскоши и величии, которым позавидовал бы любой из мелких германских владетельных князей. У Воронцова во всем сказывалось его английское воспитание: в нем была «вся английская складка, и так же он сквозь зубы говорил», так же был сдержан и безукоризнен во внешних приемах, держался гордо, холодно и властительно, как знатнейший британский лорд. Наружность его поражала своим истинно барским изяществом. Высокий, худой; замечательно благородные черты, словно отточенные резцом, взгляд необыкновен-

но спокойный; на тонких, длинных губах вечно играла ласковая улыбка. Он почти никогда не выходил из себя, со всеми был сдержан, корректен и приветлив. Много позже, перед Крымской войной, на юге усиленно выслеживали и ловили лиц, подозреваемых в шпионаже для иностранных держав. Однажды на приеме Воронцову бросился в ноги молодой татарин с пересохшими, синими губами, с лицом, искаженным от ужаса. Воронцов отступил.

– Мм... мм... Что такое, мой любезный? Да успокойтесь! Встаньте. Что такое? В чем дело?

Улыбаясь, протянул ему руку и заставил встать. Татарин, дрожа и задыхаясь, объяснил, что его подозревают в шпионаже. Воронцов улыбнулся еще приветливее, просил его успокоиться, сказал, что сейчас же велит навести справки и уверен, что все выяснится к лучшему. В кабинете дежурный адъютант спросил Воронцова, как он прикажет поступить с татаринцом.

– А, этот татарин... – улыбнулся Воронцов. – Он, по докладам, очень вредный шпион... По-

весить!

Воронцов тонко умел ладить с высшими, был ненасытно тщеславен, противоречия не терпел, любил лесть, был мстителен и злопамятен. При этом чем ненавистнее был ему человек, тем приветливее он с ним обходился, чем глубже копал для него яму, тем дружжелюбнее жал ему руку. Тонко рассчитанный удар падал на голову жертвы в тот момент, когда она менее всего его ожидала. В средствах к достижению цели Воронцов не стеснялся, не останавливался перед самыми низменными интригами и прямой ложью. В работе был неутомим и очень методичен, часы работы, еды, отдыха были точно определены и никогда не изменялись.

Пушкин был переведен из Кишинева в Одессу хлопотами А. И. Тургенева. «Я два раза говорил Воронцову, – писал Тургенев Вяземскому, – истолковал ему Пушкина и что нужно для его спасения. Кажется, это пойдет на лад. Меценат, климат, море, исторические воспоминания – все есть; за талантом дело не станет, лишь бы не захлебнулся... Воронцов берет Пушкина к себе от Инзова и будет упо-

треблять, чтобы спасти его нравственность, а таланту даст досуг и силу развиваться». В июле 1823 г. Пушкин переехал в Одессу. Воронцов принял его очень ласково. Пушкин был определен номинально на службу в канцелярию Воронцова, но службы, конечно, никакой не нес, как и у Инзова. Ни по мелкому чину, ни по месту, занимаемому на службе, ни по ссыльному своему положению Пушкин не мог претендовать на личное знакомство с Воронцовым. Однако Воронцов, подготовленный рекомендациями петербургских друзей Пушкина, любезно принял его в круг своих знакомых, представил жене, и вскоре Пушкин стал членом интимного кружка, группировавшегося вокруг графини. Большая зала Воронцовых, в обычное время пустая, разделяла две большие комнаты и два общества. Одно, в бильярдной, состояло больше из сослуживцев и подчиненных Воронцова, – тут присутствовал граф. Другое, избранное общество, собиралось в гостиной у графини; тут всегда можно было найти Ал. Раевского, Марини, Брунова, О. С. Нарышкину, В. А. Башмакову; тут присутствовал и Пушкин. В столо-

вой к обеду сходились все вместе.

Прошло несколько месяцев, и Пушкин стал себя чувствовать у Воронцова очень неудобно. В феврале 1824 г. случилось Липранди обедать у Воронцовых вместе с Пушкиным; Пушкин был очень сдержан и в мрачном настроении духа. Встав из-за стола, Липранди столкнулся с Пушкиным, когда он, между многими, отыскивал свою шляпу. Липранди спросил:

– Куда?

– Отдохнуть, – ответил Пушкин и прибавил: – Это не обеды Бологовского, Орлова и даже...

Не договорил и вышел.

Воронцов очень скоро невзлюбил гордого и независимого Пушкина. Этот ссыльный коллежский секретарь, «сочинитель», совершенно не хотел знать своего места и позволял себе держаться как равный с ним, наместником и генералом от инфантерии. «Аристократическая гордость сливается у нас с авторским самолюбием, – писал Пушкин А. Бестужеву. – Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не

понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или одою, – а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин, – дьявольская разница!» Отношения портились быстро. В начале марта Воронцов писал П.Д. Киселеву: «С Пушкиным я говорю не более четырех слов в две недели, он боится меня, так как знает прекрасно, что, при первых дурных слухах о нем, я отправлю его отсюда... Лично я был бы в восторге от этого, так как я не люблю его манер и не такой уж поклонник его таланта». В конце марта он писал министру иностранных дел графу Нессельроде: «Собственный интерес молодого человека, не лишенного дарований, заставляет меня желать удаления его из Одессы. Он прожил здесь сезон морских купаний и имеет уже множество льстецов, хвалящих его произведения; это поддерживает в нем вредное заблуждение и кружит голову представлением, что он замечательный писатель, в то время как он только слабый подражатель писателя, в пользу которого можно сказать очень мало, – лорда Байрона. Удаление его отсюда будет лучшая

услуга для него». Повторял, что желает он этого исключительно для пользы самого Пушкина, чтобы спасти его от лести и «опасных идей», которых он может набраться в Одессе, – и просил министра довести до сведения императора его просьбу удалить Пушкина из вверенного ему края. Еще через месяц с небольшим он писал уже совершенно откровенно: «Повторяю мою просьбу, – избавьте меня от Пушкина, – он, может быть, превосходный малый и хороший поэт, но мне бы не хотелось иметь его дольше ни в Одессе, ни в Кишиневе». С Пушкиным Воронцов стал обходиться все высокомернее. Пушкин не оставался в долгу и наносил Воронцову удары болезненные и меткие, как певец Давид – Голиафу:

*Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.*

Подобные эпиграммы расходились по городу и, вероятно, делались известными и Воронцову. Воронцов почел нужным вспомнить, что Пушкин – подчиненный ему мел-

кий служащий, и дал ему предписание отправиться в командировку на борьбу с саранчой. Пушкин воспринял эту командировку как оскорбление, однако предписание исполнил. Он получал жалованья семьсот рублей в год, но смотрел на него как на содержание, выдаваемое ссыльному. Теперь он сделал такое заключение: раз он получает жалованье как чиновник, раз от него требуют исполнения различных поручений, то он имеет право как чиновник и подать в отставку, что он и поспешил сделать. «Воронцов, – писал он А. Тургеневу, – начал вдруг обходиться со мной с непристойным неуважением, я мог дожждаться больших неприятностей и своей просьбой предупредил его желания. Воронцов – вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое». Пушкин рассчитывал выйти в отставку и, оставаясь в Одессе, заняться литературой. Вдруг, совершенно для него неожиданно, на Пушкина обрушился удар, тонко подготовленный доносами Воронцова в Петербург. Предписано было из Петербурга не уволить Пушкина в отстав-

ку, а исключить его из службы за дурное поведение и сослать в Псковскую губернию, в имение родителей, под надзор местного начальства. 30 июля 1824 г. Пушкин принужден был выехать из Одессы.

Всю жизнь Пушкин хранил к Воронцову глубочайшую ненависть, злорадно отмечал в письмах и дневниках слухи о неприятностях, случавшихся с Воронцовым, долго еще после высылки из Одессы ковал и оттачивал эпиграммы на него:

*Не знаю где, но не у нас,
Достопочтенный лорд Мидас,
С душой посредственной и низкой, –
Чтоб не упасть дорогой склизкой,
Ползком прополз в известный чин
И стал известный господин.
Еще два слова об Мидасе:
Он не хранил в своем запасе
Глубоких замыслов и дум;
Имел он не блестящий ум,
Душой не слишком был отважен;
Зато был сух, учтив и важен.
Льстецы героя моего,
Не зная, как хвалить его,*

*Провозгласить решились тон-
ким...*

В 1823 г. знаменитый испанский революционер Рафаэль дель Риэго-и-Нуньес, захваченный французами и выданный испанскому правительству, был повешен по приказу короля Фердинанда VII. Весть об этом император Александр получил в Тульчине, во время обеда. Присутствовавший на обеде граф Воронцов воскликнул:

– Тем лучше: одним мерзавцем меньше!
Пушкин по этому поводу:

*Сказали раз царю, что наконец
Мятежный вождь, Риэго, был
удавлен.*

*«Я очень рад, – сказал усердный
льстец, –*

*От одного мерзавца мир избав-
лен».*

*Все смолкнули, все потупили взор,
Всех рассмешил проворный приго-
вор.*

*Риэго был пред Фердинандом гре-
шен,*

*Согласен я. Но он за то повешен.
Пристойно ли, скажите, сгоряча*

*Ругаться нам над жертвой пала-
ча?*

*Сам государь такого доброхот-
ства*

*Не захотел улыбкой наградить:
Льстецы, льстецы! старайтесь
сохранить*

*И в подлости осанку благород-
ства!*

Следует, однако, признать, что «поющие огни» пушкинских эпиграмм сильно изуродовали в глазах потомства подлинное лицо графа Воронцова. При всех выше отмеченных отталкивающих его свойствах, он был одним из энергичнейших и культурнейших администраторов прошлого века. Его умелая деятельность значительно подняла процветание Новороссийского края. Воронцов расширил торговое значение Одессы до небывалых размеров, положил начало пароходству по Черному морю. Крым обязан ему развитием и усовершенствованием виноделия, устройством шоссе, окаймляющего южный берег, первыми опытами лесоразведения. Воронцов был убежденным противником крепостного права и не скрывал своего взгляда на необходи-

мость его уничтожения в интересах всего государства. Стоял за законность в отношении к бесправным евреям, так что его даже обвиняли в «покровительстве» евреям. Прислугу свою, вразрез с обычаем других русских бар, содержал в довольстве, она имела свои отдельные комнаты, каждый получал к обеду по бутылке виноградного вина. Все жалованье, которое Воронцов получал в качестве наместника, он распределял среди служащих своей канцелярии.

В 1844 г. Воронцов был назначен главнокомандующим войск на Кавказе и наместником кавказским с неограниченными полномочиями. В 1852 г. получил титул светлейшего князя. В 1853 г. вышел в отставку. В 1856 г., по случаю коронации Александра II, пожалован званием генерал-фельдмаршала.

**Графиня Елизавета Ксавериевна
Воронцова
(1792–1880)**

Жена предыдущего. Рожденная графиня Браницкая. Отец ее, великий коронный гетман граф Ксаверий Петрович Браницкий, был поляк, приверженец России, владелец

крупного поместья Белая церковь в Киевской губернии; мать, Александра Васильевна, рожденная Энгельгардт, русская, была любимая племянница Потемкина, несметно богатая. Она говорила Вигелю:

– Кажется, у меня двадцать восемь миллионов рублей.

Была, однако, очень скупа. Девушкой Елизавета Ксавериевна долго жила со строгой матерью в деревне, в Белой церкви, и только в 1819 г., двадцати семи лет, во время первого своего путешествия за границу вышла замуж в Париже за графа М. С. Воронцова. Все, знавшие графиню, описывают ее как женщину исключительной прелести и очаровывающего благородного изящества. Вигель про нее рассказывает: «Со врожденным польским легкомыслием и кокетством желала она нравиться, и никто лучше ее в том не успевал. Молода она была душою, молода и наружностью. Быстрый, нежный взгляд ее небольших глаз пронзал насквозь; улыбка ее уст, которой подобной я не видал, так и призывала поцелуй». Александр Раевский находил у нее меткий, хотя не очень широкий ум и характер са-

мый очаровательный. Была она со всеми непринужденно приветлива, разговор ее был умный, приятный и веселый, каждого умела занять. К женскому обществу была равнодушна и предпочитала окружать себя мужчинами. Любила веселье, танцы, празднества. Граф В. А. Сологуб знал Воронцову, когда ей было уже около шестидесяти лет. И в то еще время все ее существо было проникнуто такой мягкой, очаровательной, женственной грацией, такой приветливостью, таким неукоснительным щегольством, что Сологубу понятно было, как Пушкин и многие, многие другие могли без памяти влюбляться в нее. Интересное сообщение находим у француза А. Галле де Кюльтюра, выпустившего за границей книгу «Царь Николай и святая Русь». «Графиня Воронцова – единственная женщина, которая посмела сделать исключение из правил (идти навстречу любовным желаниям императора Николая). Легкомысленная молодая женщина, которой в ее стране отнюдь не приписывают добродетелей Лукреции и суровости римских матрон, из гордости или из расчета выскользнула из рук царя, и это

необычное поведение доставило ей известность». Некоторые другие современники также сообщают, что добродетелями Лукреции графиня Воронцова не отличалась, что, как и муж ее, имела связи на стороне.

В Одессу, куда муж ее был назначен генерал-губернатором, Воронцова приехала 6 сентября 1823 г., когда Пушкин уже два месяца жил в Одессе. Она была на последних месяцах беременности и жила на даче, пока отстраивался городской дом. В это время навряд ли Пушкин мог много видеть ее. В октябре у Воронцовой родился сын. Зима 1823/1824 гг. проводилась одесским обществом шумно и весело, обеды, балы, маскарады и праздники следовали один за другим. Воронцова принимала в них деятельное и главенствующее участие. Этой зимой Пушкин часто виделся с ней. В половине марта он уехал в Кишинев, затем Воронцова с мужем уехали в Белую церковь; опять увиделись они с Пушкиным в конце апреля. С 14 июня до 25 июля Воронцова пробыла в Крыму; 30 июля Пушкин был выслан из Одессы. В промежутках они, по-видимому, виделись довольно часто, гуляли по

берегу моря; княгиня В. Ф. Вяземская рассказывает, как однажды их всех троих окатил набежавший девятый вал, так что пришлось переодеваться. Воронцова была посвящена в тайну подготавливавшегося побега Пушкина за границу и, по-видимому, помогала Вяземской в этом предприятии.

Несомненно, Воронцова глубоко жила в душе Пушкина. Анненков рассказывает: «Предания той эпохи упоминают о женщине, превосходившей всех других во власти, с которой управляла мыслью и существованием поэта. Пушкин нигде о ней не упоминает, как бы желая сохранить про одного себя тайну этой любви. Она обнаруживается у него только многочисленными профилями прекрасной женской головы спокойного, благородного, величавого типа, которые идут почти по всем его бумагам из одесского периода жизни». Комментаторы с большей или меньшей степенью произвольности относят к Воронцовой целый ряд стихотворений Пушкина: «Сожженное письмо», «Желание славы», «Ненастный день потух», «Талисман», «Ангел», некоторые черновые наброски. Особен-

но произвольным является отнесение к Воронцовой стихотворений «Талисман» и «Ангел»: Воронцова подарила Пушкину перстень-талисман, – значит, «Талисман» написан к ней, хотя стихотворение носит явно восточный колорит, говорит о каком-то приморском мусульманском крае вроде Крыма, где Пушкин никогда не встречался с Воронцовой, и, главное, рисует такой характер отношения беззаветно-влюбленной «волшебницы» к поэту, какого мы не имеем решительно никаких оснований предполагать в отношении Воронцовой к Пушкину. В стихотворении «Ангел» фигурирует «мрачный демон», в душе которого производит переворот стоящий в дверях Эдема нежный ангел; под именем демона Пушкин вывел когда-то Александра Раевского, Раевский был влюблен в Воронцову, – значит, под ангелом следует разуметь ее, хотя мы решительно ничего не знаем о нравственном влиянии Воронцовой на Раевского, а в 1827 г., когда был написан «Ангел», давно уже рассеялся мрачно-мятежный демонический ореол, окружавший Раевского в глазах Пушкина.

Из произведений Пушкина нет никакой возможности извлечь какие-либо указания на характер отношений, существовавших между ним и Воронцовой. Свидетельства же современников говорят об этих отношениях вот что. Воронцова подарила Пушкину перед его отъездом из Одессы золотой перстень с сердоликом, на котором были вырезаны таинственные арабские слова; в действительности, впрочем, оказалось, что это была просто именная печать какого-то раввина с древнееврейским написанием его имени. Пушкин очень дорожил перстнем и всегда носил его на пальце. Сестра Пушкина сообщила Анненкову, что когда Пушкин жил уже в псковской ссылке, он получал из Одессы письма, запечатанные таким же перстнем; получив письмо, он запирался у себя в комнате, никуда не выходил и никого не принимал к себе. Когда в шестидесятых годах Бартенев ехал в Одессу, Соболевский рекомендовал ему «расспросить Воронцову, как она жила с Пушкиным». Плетнев писал другу своему Гроту: «Княгиня В. Ф. Вяземская рассказала мне некоторые подробности о пребывании Пушкина в Одессе и его

сношениях с женою Воронцова, что я только подозревал». На расспросы Грота он отказался доверить рассказ Вяземской бумаге и обещал передать его при личном свидании. По сообщению Бартенева, когда Воронцова в старости разбирала свою переписку, ей попалась связка писем Пушкина, и присутствовавший домоправитель ее успел прочесть в одном письме Пушкина фразу на французском языке: «Что делает ваш олух-муж?» Родственник Пушкина граф М. Д. Бутурлин сообщает, что, по слухам, «графиня Воронцова очень любезно обращалась с Пушкиным, но ее супруг отворачивался от него». На основании всего этого с некоторой долей вероятности можно думать, что отношения Пушкина к Воронцовой не вменялись в рамки обычного светского ухаживания за знатной дамой-красавицей. Сам Пушкин в беседе с Пуциным приписывал высылку свою из Одессы главным образом козням Воронцова «из ревности». За это говорит и та исключительная ненависть, с которой Воронцов относился к Пушкину. Когда Воронцов в числе нескольких мелких своих канцеляристов назначил в командировку

по истреблению саранчи и Пушкина, Вигель пытался уговорить Воронцова не обижать Пушкина такой командировкой. Воронцов, всегда такой непроницаемо-сдержанный, вдруг побледнел, губы его задрожали, и он сказал Вигелю:

– Любезный Филипп Филиппович, если вы хотите, чтобы мы остались в прежних приятельских отношениях, не упоминайте мне никогда об этом мерзавце!

Возможно, впрочем, что злоба Воронцова была вызвана дошедшими до него эпиграммами на него Пушкина.

У Пушкина было в Одессе несколько романов. Но ко времени его высылки других возлюбленных давно уже не было в городе, а роман с Воронцовой, по-видимому, находился в полном разгаре. Из осеннего холода и мрака Михайловского он рвался страстными мечтами на юг, где оставил так много. «Все, что напоминает мне море, – писал он Вяземской, – наводит на меня грусть, шум падающего ручья причиняет мне в буквальном смысле боль; думаю, что хорошее небо заставило бы меня плакать от ярости, но слава Богу: небо

у нас сивое, а луна – точная репка». Трудно предположить, чтобы Пушкин, как известно, очень любивший русскую осень, мог так яростно тосковать просто о теплом климате юга; конечно, тянуло его туда не одно ясное небо да море... Осенью 1824 г. им написано стихотворение; если оно не представляет продукта чистого творчества, лишенного жизненной подкладки, то можно отнести его только к Воронцовой. Стихотворение, с его намеренными пропусками, с оборванным концом, является одним из замечательнейших образов русской лирики особенно по умению так много сказать именно тем, что не сказано:

*Ненастный день потух; ненаст-
ной ночи мгла
По небу стелется одеждою свин-
цовой;
Как привидение, за рощею сосно-
вой
Луна туманная взошла...
Всё мрачную тоску на душу мне
наводит.
Далеко, там, луна в сиянии восхо-
дит;*

Там воздух напоен вечерней теплотой;

Там море движется роскошной пеленой

Под голубыми небесами...

Вот время: по горе теперь идет она

К брегам, потопленным шумящими волнами;

Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит, печальна и одна...

Одна... никто пред ней не плачет,
не тоскует;

Никто ее колен в забвенье не целует;

Одна... ничьим устам она не предает

Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных.

Никто ее любви небесной не достоин.

Не правда ль: ты одна... ты плачешь... я спокоен;

.....

.....

.....

.....

Но если
.

Больше Пушкин и Воронцова, кажется, не виделись. Осенью 1830 г., когда Пушкин, уже женихом Гончаровой, жил в Болдине, перед ним проходили в воспоминании тени прежних его возлюбленных. К Воронцовой, как недавно выяснилось, обращено следующее написанное тогда стихотворение:

В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.

Бегут меняясь наши лета,
Меня всё, меня нас,
Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.

Прими же, дальняя подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга

Перед изгнанием его.

Воронцова умерла в глубокой старости и до самой смерти хранила о Пушкине самое теплое воспоминание, восхищаясь его стихами: ей прочитывали их почти каждый день, и это продолжалось целые годы.

Граф Александр Федорович Ланжерон (1763–1831)

Французский эмигрант, находился на русской службе, участвовал в наполеоновских войнах, в 1812 г. командовал отдельным корпусом, отличился в 1814 г. при взятии Парижа. В 1815 г. был назначен управлять Новороссийским краем. Вигель иронически замечает: «Нашли, что он не годится командовать корпусом, и дали ему в управление край, который обширностью своею может почитаться целым королевством». Администратором Ланжерон оказался никуда не годным, не принес на своем месте никакой пользы. Но ему было весело, он был главным лицом, мог болтать и острить, сколько угодно, его все слушали, вечером всегда готова была ему партия бостона. А больше ему ничего не было нужно. Значения никакого он не имел и был

безвольной игрушкой в руках своих подчиненных. В 1823 г. его сместили с должности и заменили графом М. С. Воронцовым. Ланжерон был очень этим обижен. В 1824 г. он уехал за границу и воротился после смерти Александра I. Был назначен членом Верховного суда над декабристами, участвовал еще в турецкой войне 1828 г., состоял членом государственного совета и умер летом 1831 г. от холеры.

Необыкновенно моложавый, сухощавый старик со стройной, породистой, щегольской фигурой. Храбрый, легкомысленный, болтливый, очень остроумный. О необыкновенной рассеянности его ходило множество анекдотов. Однажды в Одессе он запер на ключ комнату, в которой находился император Александр, а сам ушел гулять. Часто громко разговаривал сам с собой. На заседании государственного совета, во время речи одного из ораторов, вдруг раздалось восклицание графа Ланжерона:

– Guelle be ´tise! (Какая глупость!)

Оскорбленный оратор потребовал объяснения. Ланжерон добродушно ответил:

– Вы думаете, я о вашей речи? О нет, я ее совсем не слушал, а вот я сегодня собираюсь вечером в Михайловский дворец, так хотел приготовить два-три каламбура для великого князя Михаила Павловича, только что-то очень глупо выходит.

Приятель однажды застал его за письменным столом. Ланжерон с росчерком подписывал на листе бумаги свою фамилию и приговаривал на своем ломаном русском языке:

– Нье будет, нье будет!

Он пробовал, как бы выходило, если бы пришлось подписываться «фельдмаршал граф Ланжерон», но с огорчением говорил сам себе, что этому никогда не бывать. Был очень остроумен. Адъютанту, бестолково выполнившему во время сражения его поручение, сказал:

– Ви пороху нье боитесь, – но ви его нье видумали!

За обедом у Александра I он сидел однажды между генералами Уваровым и Милорадовичем. Генералы говорили между собой по-французски. Оба они очень любили говорить по-французски, а говорили отвратительно.

Александр спросил Ланжерона, о чем они говорят:

– Извините, государь, я их не понимаю: они говорят по-французски.

С подчиненными, когда требовалось, был строг. Во время своего начальствования в Одессе, за что-то недовольный русскими купцами, призвал к себе и сделал такое внушение:

– Какой ви негоцъант, ви маркитант! Какой ви купец, ви овец!

Любил также следовать обычаям страны, в которую попал. Однажды, объезжая вверенный ему край, Ланжерон увидел, что скакавший впереди его адъютант, подъехав к станции, стрелой вылетел из перекладной, бросился на зрителя и приколотил его. Ланжерон выскочил из коляски и тоже принялся избивать зрителя. Потом быстро обернулся к адъютанту и добродушно спросил:

– Ah ça, mon cher, pourquoi avons nous battu cet homme (Милый мой, за что мы поколотили этого человека)?

Он вообразил, что это было в обычаях края, которым он управлял.

После своей отставки Ланжерон некоторое время жил в Одессе и на досуге написал трагедию «Манзаниелло, или Неаполитанская революция». Дал ее прочесть Пушкину. Через несколько недель встретился с ним и спросил:

– Ну, какова моя трагедия?

А Пушкин прочесть ее не удосужился. Он постарался отделаться общими словами. Но граф требовал обстоятельного отзыва, вошел в подробности, особенно хотел знать мнение Пушкина о двух главных героях драмы. Пушкин разными изворотами заставил Ланжерона назвать имена героев и наугад ответил, что ему нравится такой-то. Ланжерон пришел в восхищение.

– Так! Я узнаю в вас республиканца! Я предчувствовал, что этот герой вам больше понравится!

**Ольга Станиславовна Нарышкина
(1802–1861)**

В семидесятых годах восемнадцатого столетия в одной из константинопольских кофейен служила тринадцатилетняя гречанка София Глявоне, девочка изумительной красоты.

Секретарь польского посольства купил красавицу у ее матери, потом переуступил польскому посланнику. Она попала в Варшаву, там пошла по рукам: сумела женить на себе пожилого майора польской службы Иосифа Витта. Неревнивый и жадный до денег муж охотно предоставлял жене полную свободу. В Париже она, по-видимому, была любовницей графа Прованского, впоследствии короля Людовика XVIII. Во время второй русско-турецкой войны присутствовала с мужем на театре военных действий, сначала сошлась с генералом Салтыковым, осаждавшим Хотин, потом стала наложницей самого Потемкина. Он так гордился ее красотой, что повсюду разъезжал с ней в открытом экипаже. Муж ее Витт сделался генералом русской службы и графом. В девяностых годах в нее влюбился богатейший польский магнат граф Станислав Потоцкий, заплатил ее мужу большую сумму и женился на красавице. Бывшая рабыня-одалиска стала знатной дамой. Когда она являлась в обществе, вокруг нее теснились толпы, дивясь на ее красоту; портреты ее можно было видеть в каждой гостиной. София находилась в связи с

сыном нового своего мужа от первого его брака. После смерти мужа она стала владелицей 37 тысяч крепостных душ с соответственным количеством земли да еще двадцати тысяч десятин степи. У нее был сын от Витта – граф И. О. Витт, впоследствии известный начальник южных военных поселений, несколько сыновей от Потоцкого и две дочери от него – Софья и Ольга.

Дети от первого брака Потоцкого стали оспаривать ее права на наследство, так как она вышла замуж за их отца при живом муже. Потоцкая, уже в пожилых летах, приехала в Петербург, хлопотала, направо и налево раздавала взятки. Исход дела во многом зависел от петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича. Он был большой любитель женщин. На его завоевание она направила свою красавицу-дочь Ольгу, часами оставляла ее наедине с ним в его кабинете. Милорадович страстно влюбился в Ольгу. Граф Олизар рассказывает, что приемный кабинет Милорадовича весь был украшен картинами, гравюрами и статуэтками, изображавшими Ольгу Потоцкую. Она втихомолку потешалась

над его страстью и вместе с сестрой Софьей заставляла его делать много смешного для его лет. Вигель сообщает, что такими путями старой Потоцкой удалось выиграть процесс.

В 1821 г. сестра Ольги Софья вышла замуж за П. Д. Киселева. Ольга приехала погостить к сестре в Тульчин, где ее муж был начальником штаба 2-й армии, завязала с ним роман и вступила в связь. В 1823 г. она вышла замуж за генерал-майора Л. А. Нарышкина и поселилась с ним в Одессе. Здесь она очень сошлась с графиней Е. К. Воронцовой, стала ближайшим ее другом и неразлучной спутницей. Молодежь была от нее без ума. В. И. Туманский писал кузине: «Ах, милый друг, если бы ты знала, как мила, как пленительна Ольга! Сколько удовольствий, ею изобретенных и ею украшенных; сколько милой приветливости, притом же сколько ума и сколько скромности. Я ничего не видел очаровательнее ее лица в турецкой чалме. В голубом, как туман, прозрачном платье, когда она танцует вальс, без стыда можно встать перед нею на колени. Прибавь к этому необыкновенную живость в речах, взглядах, улыбках...» Вигель так харак-

теризует ее: «Красота ее была во всем блеске, но в ней не было ничего девственного, трогательного. Она была довольно молчалива, не горда, но и невнимательна с теми, к кому не имела нужды, и в самой первой молодости казалась уже вооруженною большою опытностью. Все было разочтено, и стрелы кокетства берегла она для покорения сильных». Сестра Софья отзывалась об Ольге: «Ольга поднесет вам яду и сама же будет бегать за противоядием». Ольга была женщина энергичная и властолюбивая. В 1834 г. Пушкин записал в дневнике слух о «соблазнительной связи» О. С. Нарышкиной с графом Воронцовым. Слух этот подтверждается рядом и других свидетельств.

Лев Александрович Нарышкин (1785–1846)

Муж предыдущей. Был сын обер-гофмаршала А. Л. Нарышкина и по этой причине уже четырнадцати лет получил высокое придворное звание камергера. С отличием участвовал в наполеоновских кампаниях, был награжден Георгиевским крестом. В 1824 г. женился на графине О. С. Потоцкой и вышел в

отставку с чином генерал-майора. Жил в Одессе без всякого дела. Был колоссально богат. Приходился двоюродным братом графу Воронцову, находился с ним в приятельских отношениях. Его изящный дом, парадные обеды и богатые балы привлекали поклонников и искателей. Был он человек бесхарактерный и вялый, скучал жизнью, никуда не ездил и две трети суток проводил во сне. Щедрый в делах роскоши, к служащим своим был мелочно скуп. Бывшему гвардейскому офицеру Веригину, поднявшему до огромных размеров доходность его разоренных поместий в средней России, он в благодарность прислал из Одессы изъезженную, поломанную, ободранную коляску, которую возмущенный Веригин отправил обратно. Другому своему служащему, проделавшему большую двухмесячную работу по описи имения, – работу, не входившую в его обязанности, – Нарышкин в благодарность прислал два с половиной аршина сукна на сюртук. Брак его с О. С. Потоцкой не был счастлив.

Варвара Аркадьевна Башмакова
(в начале 1800-х – в 90-х)

Рожденная княжна Суворова-Рымникская, внучка знаменитого полководца, двоюродная племянница графа М. С. Воронцова. Принадлежала в Одессе к интимному кружку графини Воронцовой. Вигель про нее: «Она была не хороша и не дурна собою, но скорее последнее; только на тогдашнее петербургское высшее общество, столь пристойное, столь воздержанное в речах, она совсем не походила, любила молоть вздор и делать сплетни; бывало, соврет что-нибудь мужу, тот взбесится, и выйдет у него с кем-нибудь неприятность». Впрочем, другие отзываются о семье Башмаковых более благоприятно. Слащавый М. П. Щербинин рассказывает: «В приветливой гостиней радушного хозяина и любезной его супруги, услаждавшей наши беседы музыкой и пением, мы проводили многие приятные вечера, которые, конечно, памятны всем, посещавшим эту гостеприимную, ласковую чету». А. Туманский писал своей кузине: «Башмаковы дают небольшие вечера, где жена прекрасно поет, очень умно беседует, а муж рассказывает похождения своей молодости, которая проведена им очень весело». По

сообщению Липранди, Пушкин в бытность свою в Одессе бывал у Башмаковых, встречался с Башмаковой и у графини Воронцовой. Впрочем, по некоторым другим данным, Башмаковы приехали в Одессу уже после высылки Пушкина.

**Дмитрий Евлампьевич Башмаков
(1792–1835)**

Муж предыдущей. Служил в кавалергардах, в десятых годах считался первым красавцем в Петербурге. Вигель рассказывает: «Не слишком богатый казанский помещик; мундир, необыкновенная красота, ловкость, смелость открыли ему двери во все гостиные большого света и дали ему руку внучки Суворова... Человека самонадеяннее, упрямее и непонятливее Башмакова трудно было сыскать; кто-то в Одессе прозвал его *brise-raison*[257]. В двадцатых годах, в чине действительного статского советника и в звании камергера, Башмаков служил чиновником особых поручений в Одессе при графе Воронцове.

**Граф Александр Дмитриевич Гурьев
(1787–1865)**

Одесский градоначальник. Сын министра финансов графа Д. А. Гурьева, первого в свое время гастронома и взяточника. Вигель, знавший А. Д. Гурьева в молодости, характеризует его так: «Свежий, откормленный, упитанный телец, туго начиненный словами, а не мыслями; отличался жадностью и златолюбием. В самой молодости ничто до сердца к нему не доходило, а ум был окутан какою-то густою оболочкою, через кою с трудом проникали понятия. Когда, бывало, он просыпается и глядит во все глаза, то долго, очень долго не может понять, что говорят; около часу ему бывало нужно, чтобы в мозгу своем пробудить способность мыслить. Все в нем было туго и тяжело; это просто был желудок, облеченный в человека. Он всегда разливал вокруг себя скуку. С нижегородским ополчением был он в одном только сражении, за что из действительных статских советников переименован в генерал-майоры, потом женился на дочери начальника своего графа П. А. Толстого, во Франции командовал пехотной бригадой. Тяжеловес этот всех преследовал воспоминанием о единственном военном подви-

те своим: не было у него других разговоров, как о позиции, которую занимал он под Дрезденом между картофелем и репою».

Назначенный в 1822 г. в Одессу градоначальником, Гурьев проявил себя никуда не годным администратором, очень тонким гастрономом, а в обществе подавлял всех тяжелой, скучной многоречивостью; длинные, самодовольные фразы непрерывно ползли одна за другой, и собеседнику приходилось долго ждать, чтобы вставить слово. Пушкин был знаком с Гурьевым, по-видимому, бывал у него, в письмах выражает интерес к здоровью маленькой его дочки. Гурьев, за отсутствием Воронцова, приводил в исполнение полученный из Петербурга приказ о высылке Пушкина.

Графиня Авдотья Петровна Гурьева (1795–1863)

Жена предыдущего, рожденная графиня Толстая. В молодости была очень мила, Вигель сравнивает ее с ласковым, резвым котенком, который со временем превращается в сердитую, мрачную кошку. После назначения в Одессу Воронцова власть ее мужа значи-

тельно сократилась, и она не могла простить Воронцовой отнятое у нее и ее мужа первенство. К одесским негоциантам и их женам относилась с большим пренебрежением и говорила:

– Что мне до этой разношерстной компании, и как смеют эти купчихи не считаться со мною!

Была дама очень эксцентричная и прямо бухала все, что было на уме. Одна малознакомая дама, желая сказать ей любезность, заметила, что дочери ее очень похожи на своего отца. Графиня ответила:

– Вы ничего не могли мне сказать более неприятного.

Спала не в спальне и не на кровати; каждый вечер, когда все расходились на ночь, для нее клали матрацы и подушки на обеденном столе в столовой. Знакомых мужчин, случалось, принимала в своей уборной, в корсете и в одной юбке. Позднее, когда одна из ее дочерей была замужем за князем Куракиным, она, проезжая через Москву вместе с этой дочерью, сочла себя вправе остановиться в странноприимном доме князей Куракиных у

Красных ворот: дескать, моя дочь – Куракина.

Александр Иванович Казначеев
(1788–1880)

Правитель канцелярии Воронцова, действительный статский советник, бывший гвардейский полковник. Был он человек недалекий, слабохарактерный, упрямо самолюбивый, никогда, несмотря на очевидность, не желавший сознаться в ошибке, но при этом чрезвычайно добрый и деятельно-отзывчивый; все его любили. Воронцов писал о нем: «В Казначееве есть необыкновенная страсть и себя, и других со всеми мирить дружественными объяснениями и признаниями». Когда Воронцов хотел отправить Пушкина в командировку на борьбу с саранчой, Казначеев всячески старался убедить своего начальника не делать этого. Когда оскорбленный Пушкин, возвратившись из командировки, подал прошение об отставке, Казначеев все меры употребил для того, чтобы попытаться отговорить его от этого шага. Пушкин относился к Казначееву с дружеской доверчивостью, в письмах отзывался о нем с уважением и из псковской ссылки передавал ему

поклоны. Впоследствии Казначеев был фео-
досийским градоначальником, таврическим гу-
бернатором, одесским градоначальником и
везде оставил по себе добрую память. Умер в
Москве глубоким стариком.

Варвара Дмитриевна Казначеева
(1793–1859)

Жена предыдущего, рожденная княжна
Волконская, из бедной помещичьей се-
мьи Рязанской губернии. Она была еще све-
жа, бела и румяна, но чрезвычайно толста и
кривобока. Лицо, всегда сердитое и недоволь-
ное, в гостиную графини Воронцовой расплы-
валось в подобострастную улыбку. Пороков
знатных людей она не замечала, но до сурово-
сти была строга к малейшим слабостям рав-
ных ей, особенно женщин. Очень гордилась
княжеским своим происхождением, ко всему
в мире относилась свысока. Была женщина
энергичная и властная, держала в руках не
только добродушного своего мужа, но и всех
его подчиненных. Входила во все дела мужа,
вмешивалась в его распоряжения, диктовала
за него приказы – и вовсе не от увлечения де-
лом: за спиной мужа она брала взятки со

всех, с кого было возможно; простодушный, бескорыстный Казначеев и не подозревал, что часто подписывал заранее оплаченные решения. Население питало к ней такую же ненависть, какую питало любовь к ее мужу. Варвара Дмитриевна была женщина бестолково-начитанная, типа «синего чулка», страстно любила литературу, давала понять, что сама пишет стихи, которых никому не показывала, устраивала у себя литературные собрания. В. И. Туманский был постоянным их посетителем. Пушкин, несмотря на радушие хозяев, бывал редко и неохотно.

Барон Филипп Иванович Брунов (1797–1875)

Родом из Курляндии. Типичный представитель остзейских баронов-бюрократов, соединявших усердное служение русскому самодержавию с глубочайшим презрением и ненавистью к России. Окончил Лейпцигский университет по юридическому факультету, служил по дипломатической части, весной 1823 г. был определен к Воронцову чиновником особых поручений. «Наружность имел он неприятную, – рассказывает Вигель, – длин-

ный стан его, все более вытягиваясь, оканчивался огромною, страшною челюстью». Но Брунов превосходно говорил по-французски, обладал прекрасными манерами и был радушно принят в интимном кругу Воронцовых. Умел тонко льстить своему начальнику. Пушкин с омерзением рассказывал Липранди о низкопоклонстве Брунова перед Воронцовым. На маскарадном балу Брунов, замаскированный червонным валетом, подошел к Воронцову и сказал, играя словом «соеур», означающим и сердце, и червонную масть:

– Валет червей (le valet de coeur) приветствует короля сердец (roi des coeurs)!

«Всей Одессе, – сообщает Вигель, – Брунов был известен как продажная душа; в Бухаресте был он пойман в воровстве, в грабеже, уличен, сознался и, неизвестно как, был спасен». Принимая Вигеля по фамилии за немца, Брунов предложил ему соединиться, чтобы совместными усилиями свалить правителя воронцовской канцелярии Казначеева и завладеть его местом. Вигель притворно возразил:

– Нас мало. Кабы нам достать людей из ост-

зейских губерний или из самой Германии и ими заполнить места, дело пошло бы иначе.

– Да это можно после, – ответил Брунов.

Во второй половине двадцатых годов Брунов вступил в связь с хорошенькой женой инженерного генерала Лехнера. Лехнер узнал о связи, развелся с женой и, угрожая дуэлью, заставил Брунова жениться на ней.

Пришлось жениться. Но сам Брунов был не ревнив; он охотно оставлял жену наедине со своим шефом, тогдашним одесским градоначальником, графом Ф. П. Паленом, заменявшим Воронцова в должности наместника за его отсутствием.

С 1832 г. Брунов состоял при министре иностранных дел графе Нессельроде, который очень ценил его бойкое перо и поручил ему составление важнейших дипломатических инструкций российским послам за границей. Брунов состоял также членом главного управления цензуры, он, между прочим, просмотрел лучший тогдашний журнал «Московский телеграф» Полевого и составил на него обвинительную записку, на основании которой журнал был запрещен. Искательством и подо-

бострастием перед начальством Брунов обращал на себя всеобщее внимание. Князь Вяземский записал: «Брунов изгибается перед всеми высшими. Я видел его в Ораниенбауме: он был посмешищем великих княгинь и фрейлин. Сказывают, что эту же роль играл он в Одессе при дворе Воронцова». С сороковых до семидесятых годов Брунов состоял русским послом в Англии, где, между прочим, вел энергичную борьбу с Герценом, издававшим в Лондоне вольную русскую газету «Колокол», всячески старался мешать ее распространению, осведомлял о деятельности Герцена Третье отделение; есть основания думать, что посольство пыталось даже организовать убийство Герцена или тайное похищение его. В 1864 г. Брунова наблюдал в Лондоне князь В. П. Мецкерский, известный реакционный публицист, впоследствии издатель «Гражданина», «Я видел перед собою, – рассказывает он, – толстую и рослую фигуру, напоминающую неуклюжего бегемота, с большою головою, бритую, с лицом, ничего не выражающим, кроме полнейшего безучастия». Первый вопрос, который задал Мецкерскому этот охра-

нитель интересов русских подданных в Англии, был:

– Надеюсь, вы не имеете ко мне никакой просьбы?

Узнав, что князь знаком с наследником-цесаревичем, Брунов сразу переменял тон, сам стал предлагать свои услуги и пригласил к себе Мещерского обедать.

«На обеде, – рассказывает Мещерский, – я познакомился с его женою, в черных локонах, окаймлявших толстое, без всякого выражения, лицо, и нашел ее совершенно одинакового типа с мужем. Оба разговаривали, но я все время испытывал неприятное ощущение, что говорили они по необходимости, без малейшего жизненного участия к лицу и к предметам разговора. Мне казалось, что я провел два часа в обществе говорящих мумий. Брунов мне сказал:

– Я всегда говорю моим дорогим соотечественникам, – к счастью, их в Лондоне немного, – если вы имеете наивность думать, что посольство служит для вас, то вы жестоко ошибаетесь.

Мне говорили, что карьерою своею внача-

ле он был обязан своему красивому почерку, а затем своему стилю. Что он сделал для России полезного, я никогда не мог узнать. Такого оригинального и самобытного типа цинизма, в своем презрении к каким бы то ни было нравственным обязанностям по должности и в своем куртизанстве, я никогда не встречал. Из куртизанского поклонения и самоунижения он делал культ и находил в его отпращивании какое-то циничное наслаждение, как он сам в том признавался».

Брунов был андреевским кавалером. В 1871 г. возведен в графское достоинство.

Павел Яковлевич Марини

(в середине 90-х гг. XVIII в. – ок. 1848 г.)

Побочный сын графа В. П. Кочубея, в то время чрезвычайного посланника в Турции, от молодой и красивой жены старика-чиновника константинопольской миссии. Еще в малолетстве получил от неаполитанской королевы звезду св. Константина на грудь, что давало ему вид маленького принца. Под покровительством Кочубея мальчик вырос, был определен на службу и вошел в высшие круги петербургского общества. В 1823 г. Марини

приехал вместе с Воронцовым в Одессу и был назначен в дипломатическую канцелярию наместника, в которой, по приезде в Одессу, числился и Пушкин. «Кажется, – замечает Вигель, – был он командирован министерством иностранных дел более для умножения блеска маленького одесского двора, чем для пользы службы». Марини принадлежал к интимному воронцовскому кружку, где с ним не раз встречался Пушкин.

Держался Марини важно, чопорно, слегка надменно. Пользуясь покровительством начальства и удобствами торгового города, он усердно занимался разного рода спекуляциями и этим приобрел порядочное состояние. Всегда занятый собственными делами, которые слегка были сплетены со служебными, он казался деятельным. Марини никогда не покидал Одессы, все время занимал одну и ту же должность, однако из надворных советников дослужился до тайного советника, постоянно получал награды, кресты, ленты, подарки, земли, аренды. В умении добывать их он отличался исключительной назойливостью, доходившей до последних пределов наглости.

Однажды он просил Воронцова представить его к какому-то ордену. Воронцов вежливо отказал. Марини сам написал представление, явился к Воронцову в кабинет и неотвязно стал просить подписать. Воронцов ушел от него в сад. Марини последовал за ним и продолжал приставать. Воронцов возразил:

– Где же я здесь, любезнейший, подпишу?

Марини подставил собственную спину, и Воронцов подписал на ней просимую бумагу.

Иван Павлович Бларамберг
(1771–1831)

Чиновник особых поручений при Воронцове. Родом из Фландрии. Раньше служил на военной службе, потом был прокурором коммерческого суда в Одессе, начальником одесской таможни. Был выдающийся археолог, составил себе почетное имя исследованием черноморских древностей. Умница без педантизма, веселый каламбурист; дошедшие каламбуры его забавны. Держал превосходного повара, любил хороший стол, был радушный хозяин. Дом его постоянно был полон гостей. Часто бывали В. И. Туманский, барон Брунов, испанский консул дель Кастелло, женатый на

старшей дочери Бларамберга Наталии. Случалось, что за столом говорили на шести-семи языках – русском, немецком, французском, итальянском, испанском, греческом. Время проводили весело и непринужденно. Дочь Бларамберга Елена восхищала всех своим прелестным сопрано и благозвучным испанским языком, Аника дель Кастелло, сестра испанского консула, – своей игрой в волан, как с чисто андалузской грацией изгибалась стройным телом и огненными глазами следила за мячом.

Дочери Бларамберга Зинаида и Елена славились в Одессе красотой, и к обеим, по рассказам, Пушкин был равнодушен. Зинаида была пикантная брюнетка с чудесными глазами и жемчужными зубами, резвая хохотунья, всегда веселая. Елена, тоже красавица, прекрасно пела, свободно говорила по-испански. Одна из сестер, – можно думать, Елена, – по собранным Зеленецким сведениям, была очень умная и образованная девушка, Пушкин любил с ней беседовать. Однажды на балу у графа Воронцова В. И. Туманский попросил Пушкина сказать девицам Бларамберг

экспромт. Пушкин подошел к сестрам и будто бы продекламировал:

*Вы перед всеми взяли верх,
Пред вами преклоню колена,
О, величаяя Елена,
О, Зинаида Бларамберг!*

Исследователям, убежденным, что художники лишены творческой фантазии и рабски портретируют свои образы с живых «прототипов», можем предложить на обсуждение следующие соображения. Елена – «величаяя», умная. Зинаиду Туманский в посвященном ей стихотворении характеризует так:

*В любезной резвости своей
Вы сохранили детских дней
Простосердечные привычки.
Вас тешат бабушкины сны,
Наряды, пляски старины,
Цветы и комнатные птички.
Живя по воле каждый миг,
Вы избалованы бездельем
И не привыкли для других
Счастливым жертвовать веселем.
Вы не умеете скучать:
Беспечной радостью, забавой,*

*С рожденья прыгать, хохотать
Дано законное вам право.*

В рукописи в конце стихотворения стоят буквы З. А. О. Если толковать их, как инициалы красавицы, то они не подойдут к Зин. Ив. Бларамберг. Но странно было бы инициалы лица, которому посвящены стихи, ставить не во главе их, а в конце; буквы легко могут обозначать что-нибудь другое, например: «Зинаида – Альбом – Одесса». Туманский в Одессе был близко знаком с семьей Бларамбергов, никакой другой одесской Зинаиды мы не знаем, а граф М. Д. Бутурлин, в то время живший в Одессе, определенно говорит, что стихи писаны к Зинаиде Бларамберг. Теперь вспомним, что вторая глава «Онегина», где выведены Татьяна и Ольга, писаны Пушкиным в Одессе. Не ясно ли, что прототипом Татьяны была Елена Бларамберг, а Ольги – Зинаида?

Василий Иванович Туманский
(1800–1860)

Второстепенный поэт «пушкинской плеяды». Из старинного польско-украинского рода, сын полтавского помещика. Учился в Петербурге, окончил образование в Париже, в

Colle'ge de France, где слушал лекции Араго, Кузена и других. Возвратился в Петербург вместе с Кюхельбекером, — Кюхельбекер остался в Париже без всяких средств и смог приехать в Россию только благодаря помощи Туманского. Несколько лет Туманский прожил в Петербурге, занимался литературой, сблизился с Рылеевым, А. Бестужевым, Дельвигом, Сомовым и другими. Летом 1823 г. зачислился на службу в Одессу, в канцелярию графа Воронцова. Он вращался в высших кругах одесского общества, веселился, танцевал, ухаживал за дамами; особенно сблизился с семействами Казначеевых и Бларамбергов. В Одессе познакомился и с Пушкиным. Туманский относился к нему с восторженным почитанием, называл его «соловьем» и «Иисусом Христом нашей поэзии». Пушкин любил Туманского, отзывался о нем как о «славном малом», впоследствии писал Плетневу: «...в Туманском много прекрасного, несмотря на некоторые мелочи характера малороссийского». Мелочи эти, сколько можно судить, заключались в некотором самодовольстве Туманского и любви прихвастнуть. Вскоре по-

сле знакомства с ним Пушкин писал брату: «Здесь Туманский. Он добрый малый, да иногда врет, – например, он пишет в Петербург: Пушкин открыл мне немедленно свое сердце и портфель, любовь и пр... Дело в том, что я прочел ему отрывки из Бахчисарайского фонтана, сказав, что я не желал бы ее напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру. Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы, – помогите!» К поэтической деятельности Туманского Пушкин относился вначале отрицательно. «Как поэта, я не люблю его», – писал он А. Бестужеву. Позднее переменил мнение. Стихи Туманского «Девушка влюбленному поэту» (1824) привели Пушкина в восторг. Вот они – с некоторыми поправками в середине, предложенными Пушкиным:

*Поверьте мне, – души своей
Не разгадали вы доселе:
Вам хочется любить сильнее,
Чем любите вы в самом деле.
Вы очень милы, вы поэт,*

Творенья ваши всем отрада:
Но я должна, хоть и не рада,
Сказать, что в вас чего-то нет.
Когда с боязнью потаенной
Встречаю вас наедине,
Без робости, непринужденно
Вы приближаетесь ко мне.
Со мной ведете ль разговоры?
Вам замечательней всего
Ошибки слога моего.
Без выраженья ваши взоры!
В словах нет чувства, только ум.
И если б, в беззаботной доле,
Была я памятлива боле, –
То, затвердив из модных дум
Сто раз печатанные слезы,
Желанья, сетованья, грусть, –
В стихах я знала б наизусть
Все изъяснения вашей прозы.
Простите мне язык простой:
Нет, не хочу судьбы такой!
С душой, надеждою согретою,
Хочу, в дни лучшие мои,
Любимой быть я – для любви,
А не затем, чтоб быть воспетой.

Пушкин впоследствии приглашал Туманского сотрудничать в «Московском вестнике», писал в статье, предназначавшейся к печати,

но оставшейся в рукописи, что стихи Туманского отличаются гармонией, точностью слога и обличают решительный талант.

В одном стихотворении 1823 г. Туманский так воспел Одессу:

*В стране, прославленной молвою
бранных дней,
Где долго небеса – отрада для
очей,
Где тополи шумят, синеют гроз-
ны воды, –
Сын хлада изумлен сиянием при-
роды.
Под легкой сению вечерних обла-
ков
Здесь упоительно дыхание садов.
Здесь ночи теплые, луной и негой
полны,
На злачные брега, на сребряные
волны
Сзывают юношей веселые рои...
И с пеной по морю расходятся ла-
ды.
Здесь тихой осени надежда и
усллада, –
Холмы увенчаны кистями вино-
града...*

и т. д.

В «Странствиях Онегина» Пушкин с добро-
душной иронией вспоминает это описание:

*Одессу звучными стихами
Наш друг Туманский описал,
Но он пристрастными глазами
В то время на нее взирал.
Приехав, он прямым поэтом
Пошел бродить с своим лорне-
том
Один над морем – и потом
Очаровательным пером
Сады одесские прославил.
Все хорошо, но дело в том,
Что степь нагая там кругом;
Кой-где недавний труд заставил
Младые ветви в знойный день
Давать насильственную тень.*

Впоследствии Туманский был секретарем
русского посольства в Константинополе, по-
мощником статс-секретаря государственного
совета. В 1846 г. вышел в отставку и остаток
жизни провел в родовом своем полтавском
имении.

Михаил Иванович Лекс

(1793–1856)

Пушкин знал его еще мелким чиновником в Кишиневе. Маленький ростом, невзрачный, с рябым лицом. С начальством был ласково-почтителен, на все отвечал: «слушаю-с», «очень хорошо-с», «как прикажете-с», «превосходно-с». Жалованье получал мизерное, жил в одной комнате с двумя другими канцеляристами, не имел даже кровати и спал под общим тулупом с одним из сожителей. Был человек очень живой, не унывающий, на губах – умно-веселая улыбка, знал несчетное число анекдотов, в компании не прочь был выпить. И – небывалое дело среди мелкого провинциального чиновничества: был щепетильно честен, не вымогал и не брал взятки, жил на одно нищенское жалованье. Пушкин обратил внимание Инзова на Лекса как на человека умного и делового. Лекс действительно оказался очень сообразительным чиновником, умел быстро схватить суть дела, быстро и толково привести его в исполнение. Инзов очень его полюбил и заставлял работать в своем кабинете. Лекс не получил никакого образования, с четырнадцати лет служил по

канцеляриям и как человек без диплома принадлежал к числу «вечных титулярных советников». Однако много читал и самостоятельно значительно пополнил свое образование. Ко всем был ласков, всем готов был угодить. Кто-то о нем сочинил двустиишие, приписанное Пушкину и на всю жизнь приставшее к Лексу:

*Михаиле Иванович Лекс
Прекрасный человек-с.*

Пушкин встречался с Лексом по воскресеньям на обедах у Бологовского и Липранди, но особого знакомства с ним в Кишиневе не вел.

В 1823 г. Лекс перешел на службу в Одессу к Воронцову в качестве начальника одного из отделений его канцелярии. Воронцов тоже высоко ценил Лекса, находил у него «хорошую голову, доброе сердце, замечательную деятельность и легкость в работе». Пушкин в Одессе сошелся с Лексом ближе и впоследствии отзывался о нем как о «человеке с умом и сердцем». Со слов Лекса, между прочим, Пушкин написал свой рассказ «Кирджали».

Ум, знание дела, исполнительность, ласковость, всегдашняя готовность без возражений исполнять приказания начальства с течением времени вывели Лекса далеко за тесные рамки «вечного титулярного советника». Под конец жизни он стал товарищем министра внутренних дел.

Антон Петрович Савелов (?—?)

Двоюродный брат одесского градоначальника Гурьева. Служил неперменным членом в одесской портовой карантинной конторе. Был завзятый картежник и человек жуликоватый. Однажды после обеда у Башмаковых он, как будто в шутку, стал играть в банк с мальчиком графом М. Д. Бутурлиным и выиграл у него двое часов. Графиня Воронцова отобрала у Савелова часы, устроила у себя как будто лотерею, и на билет Бутурлина будто бы выпал выигрыш — двое проигранных им часов. За несколько дней до высылки из Одессы Пушкин вместе с Савеловым играл в карты у одесского городского головы, негоцианта Ф. Л. Лучича. Лучич проиграл Пушкину 900 р., триста заплатил на следующий день, а шесть-

сот, с согласия Савелова, который должен был ему по картам, перевел на него. При внезапном своем отъезде Пушкин занял эти шестьсот рублей у княгини Вяземской. Савелов обязался уплатить деньги Вяземской – и не уплатил. Пушкина очень мучил этот долг Вяземской, при первой возможности он выслал ей деньги из Михайловского, а мужу ее писал: «Савелов большой подлец. Посылаю при сем к нему дружеское письмо. Перешли его (в конверте) в Одессу по okazji, а то по почте он скажет: не получил. Охотно извиняю и понимаю его: но умный человек не может быть не плутом».

Филипп Филиппович Вигель (1788–1856)

По отцу финн, по матери – из дворянского рода Лебедевых. В молодости служил в московском архиве коллегии иностранных дел, там сошелся с Дашковым, братьями Тургеневыми. После переселения в Петербург принял участие в создании литературного общества «Арзамас».

Взглядов Вигель держался самых реакционных. Был он высокого роста, круглое лицо с

выдающимися скулами заканчивалось острым, приятным подбородочком; рот маленький, с ярко-красными губами, стягивался сладкой улыбкой в круглую вишенку. Характера он был самого тяжелого – злой, завистливый, самолюбивый, вздорный. Вяземский говорит о нем: «Не претерпевший никогда особенного несчастья, он был несчастлив сам по себе и сам от себя». Нигде Вигель не уживался, со всеми ссорился, всех мучил; не прощал, если ему тотчас же не отплатят визита, если посадят за столом не на место, которое он считал подобающим ему по чину. Но был при этом человек образованный и очень умный. Говорил тихо, потирая руки; речь его обильно пересыпалась удачными выражениями, анекдотами, стихами, и все это, с утонченностью выражения и щеголеватостью языка, придавало большую прелесть его разговору. Погодин в восторге говорил ему: «Мольер перестал писать комедии, Вальтер Скотт – романы; надо ездить к вам слушать очерки тех высоких комедий, из коих составит история человеческого рода». У Вигеля всегда был, как лакомый кусочек, особенный предмет нена-

висти. Даже мягкие сравнительно слова его были злы.

Граф Блудов, под начальством которого служил Вигель, отзывался о нем: «Он добр только тогда, когда зол», – хотя, впрочем, очень ценил его как чиновника. Вигель был еще известен своими противоестественными половыми склонностями. Шутливое свое послание к нему в Кишинев Пушкин заканчивает стихом: «Но, Вигель, пощади мой зад!»

Н. А. Муханов пишет о Вигеле в дневнике: «Он имеет гадкую репутацию, вкусы азиатские, слыл всегда шпионом». По доносу Вигеля, между прочим, началось дело о «Философическом письме» Чаадаева в «Телескопе». Пушкин познакомился с Вигелем еще в Петербурге. Оба они были членами «Арзамаса», но особенной симпатии друг к другу не питали. Летом 1823 г. Вигель был назначен на службу к Воронцову, приехал в Одессу и остановился в гостинице Рено, где жил и только что переехавший из Кишинева Пушкин. Здесь они как-то сошлись. Вигель рассказывает: «Пушкин жил рядом со мною, об стену. В Одессе не успел еще он обрести веселых собе-

седников. Встреча с человеком, который мог понимать его язык, должна была ему быть приятна, если бы у него и не было с ним общего знакомства, и он собою не напоминал бы ему Петербурга. Простое доброжелательство мое ему полюбилось, и с каждым днем наши беседы и прогулки становились продолжительнее. Разговор Пушкина, как бы электрическим прутиком касаясь моей черными думами отягченной главы, внезапно породил в ней тысячу мыслей, живых, веселых, молодых и сближал расстояние наших возрастов. Беспечность, с которою смотрел он на свое будущее, часто заставляла меня забывать и собственное. Со своей стороны старался я отыскать струну, за которую зацепив, мог бы я заставить заиграть этот чудесный инструмент, и мне удалось. Чрезвычайно много неизданных стихов было у него написано, и я могу сказать, что наслаждался ими. Но одними ли стихами пленял меня этот человек? Бывало, посреди пустого, забавного разговора из глубины души его или сердца вылетит светлая, новая мысль, которая изумит меня, которая покажет и всю обширность его рассудка.

Мало-помалу открыл я весь зарытый клад его правильных суждений и благородных помыслов, на кои накинута была замаранная мантия цинизма». Вскоре Вигель уехал на службу в Кишинев членом бессарабского верховного совета от короны. Время от времени наезжал в Одессу, однажды Пушкин приезжал из Одессы в Кишинев, и каждый раз они виделись. Дошел черновик письма Пушкина к Вигелю в Кишинев – очень игривого содержания, полный намеков на педерастические вкусы Вигеля. Пушкин и впоследствии не раз встречался с Вигелем – в Москве, в Петербурге. В дневнике от 7 января 1834 г. он записал: «Вигель получил звезду и очень ею доволен. Вчера был он у меня – я люблю его разговор – он занимателен и делен, но всегда кончается толками о мужеложстве». Впоследствии Вигель был бессарабским вице-губернатором, керченским градоначальником, в конце жизни – директором департамента иностранных исповеданий и тайным советником. Умер в Москве 68 лет, всеми оставленный, на руках наемной прислуги.

После Вигеля остались обширные «Запис-

ки» – яркая, удивительно талантливая, острая книга, к которой всегда будут обращаться исследователи общественного и литературного быта того времени. Исчерпывающую оценку «Записок» дал Вяземский: «В них много злости и много злопамятности, но много и живости в рассказе и в изображении лиц. Верить им слепо, кажется, не должно. Сколько мог я заметить, есть и сбивчивость, и анахронизмы в событиях. К тому же он многое писал по слухам. Со всем тем, эти записки очень любопытны, и Россия со всеми своими оттенками, политическими, правительственными, литературными, общежительными, и личностями отражается в них довольно полно, хотя, может быть, и не всегда безошибочно».

**Каролина Адамовна Собаньская
(1794–1885)**

Рожденная графиня Ржевусская, сестра выдающегося польского исторического романиста графа Генриха Ржевусского и Эвелины, по первому мужу Ганской, вторично вышедшей за знаменитого французского писателя Бальзака. Воспитывалась в Вене у своей родственницы графини Розалии Ржевусской, там

получила блестящее светское образование. Совсем молодой вышла замуж за подольского помещика Иеронима Собаньского, старше ее больше чем на тридцать лет. В 1816 г. получила от консистории отдельный вид на жительство и больше уже не жила с мужем. Сошлась со стариком-генералом графом И. О. Виттом, начальником военных поселений Новороссийского края, креатурой Аракчеева – карьеристом и доносчиком, расточительным бонвиваном, пополнявшим свои средства самым беззастенчивым казнокрадством. С ним она сожительствовала около двадцати лет. Собаньская была самой красивой из полек, живших в Одессе в середине двадцатых годов. Была женщина тщеславная и ветреная, неизменно веселая, изящная, живая, образованная, любительница искусств, прекрасная пианистка. Ее положение в свете как «любовницы» Витта было двусмысленное, великосветские дамы избегали знакомства с ней; графиня Воронцова приглашала ее на свои вечера и балы, чтобы не ссориться с Виттом, с которым у графа Воронцова и без того были очень натянутые отношения; но даже ближайший

друг Воронцовой, О. С. Нарышкина, единоутробная сестра Витта, не хотела водить знакомства с Собаньской.

Ложное свое положение в обществе Собаньская несла с великолепным презрением. Не обращая внимания на глухой ропот негодования и косые взгляды дам, она появлялась в гостиных с гордо поднятой головой и садилась на первое место, как королева на трон. У нее был в Одессе свой салон, в нем собиралось отборнейшее мужское общество. Ее всегда окружал рой поклонников, у нее было много любовников, и она легко меняла их.

По одному черновику французского письма Пушкина, предположительно адресованного Ал. Раевскому, можно думать, что Пушкин ухаживал в Одессе за Собаньской. В 1825 г. в Одессу приехал Мицкевич, уже пользовавшийся громкой славой. Польская колония носила его на руках. Собаньская заинтересовалась поэтом, начала с ним кокетливую игру и сумела запутать его в раскинутые сети. Мицкевич страстно влюбился в Собаньскую и стал ее любовником. Любовь его отразилась в целом ряде тогдашних его стихотворений. Он

восторгался ветреной красавицей «с жемчужными зубками меж кораллов», горько грустил, что она беззаботна к его душевным переживаниям, что скучливо морщится на попытки ввести ее в душевный его мир, что тщеславно домогается от него хвалебных стихов, тяжело ревновал к окружающим ее поклонникам. Он любил «горестно и трудно», а для нее их любовь была веселой игрой. Игра скоро надоела, и она бросила Мицкевича для очередного нового увлечения.

О. А. Пржецлавский рассказывает, что в 1828 г. Собаньская приезжала в Петербург, он встречал у нее Мицкевича и Пушкина, и «Пушкин, кажется, был равнодушен к хозяйке». К Собаньской, по свидетельству Максимовича, обращено стихотворение Пушкина, которое он видел в ее альбоме (1829):

*Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег даль-
ний,
Как звук ночной в лесу глухом.*

Оно на памятном листке

*Оставит мертвый след, подоб-
ный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.*

*Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.*

*Но в день печали, в тишине,
Произнеси его, тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я...*

Праздная и легкомысленная красавица умела, однако, иногда заниматься и делом. Граф Витт пером владел плохо, и она писала за него тайные его доносы, а впоследствии даже была платным агентом Третьего отделения. В 1831 г., после долгой процедуры, кажется, намеренно затягивавшейся Виттом, он получил развод с женой и женился на Собаньской. В тридцатых годах с ней встречался в Киеве Болеслав Маркович. «Помню, – рассказывает он, – пунцовую бархатную току со страусовыми перьями, необыкновенно краси-

во шедшую к ее высокому росту, пышным плечам и огненным черным глазам». В 1836 г. Витт бросил Собаньскую. Вскоре она вышла замуж за адъютанта графа Витта, драгунского капитана Чиркова. После его смерти, когда ей шел уже шестой десяток, она вышла замуж в Париже за французского писателя Жюля Лакруа.

Граф Густав Филиппович Олизар (1798–1865)

Богатый и знатный поляк. С 1821 г. был киевским губернским маршалом (предводителем) дворянства. Часто посещал в Киевском генерала Н. Н. Раевского, в то время командовавшего корпусом, влюбился в Марию Николаевну Раевскую (будущую княгиню Волконскую) и просил ее руки, но получил от отца отказ. Генерал Раевский писал ему: «Различие наших религий, способов понимать взаимные наши обязанности, – сказать ли вам наконец? – различие национальностей наших, – все это ставит непроходимую преграду между нами». В неотделанном стихотворном обращении своем к Олизару Пушкин писал, имея в виду этот отказ:

*И наша дева молодая,
Привлекши сердце поляка,
Не примет, гордостью пылая,
Любовь народного врага.*

Потрясенный отказом, Олизар уехал в Крым, купил близ Аюдага имение, которое назвал «Карди-Иатрикон» (лекарство сердца), и поселился в нем, предавшись печали и писанию стихов; в них он воспевал свою «Беатриче» Амиру (Amira-Maria). В Крыму Олизар встречался с Мицкевичем, который посвятил ему сонет «Аюдаг».

Олизар был председателем масонской ложи в Киеве. В качестве депутата польского Тайного общества имел сношения с русским Южным союзом. После декабрьского восстания дважды арестовывался, но сумел оправдаться. Во время польского восстания был удален на жительство в Курск, затем жил в Италии и в российских своих поместьях. После польского восстания 1863 г. уехал за границу. В свое время в Польше большой популярностью пользовались стихотворения Олизара, оплакивавшие потерю польской независимости.

Пушкин встречался с Олизаром в Киеве и Одессе.

Александр Скарлатович Стурдза
(1791–1854)

Молдаванин по отцу, грек по матери. Политический и религиозный писатель, крайний реакционер и пиетист. Служил по министерству иностранных дел, выдвинутый графом Каподистрией. Для Аахенского конгресса, по поручению Александра I, написал доклад о германских университетах, которые, вместо того чтобы строить ковчег христианского государства, являются, по мнению Стурдзы, рассадником революционного духа и атеизма. В то время влияние русского правительства в Германии было очень сильно, и Стурдза вызвал к себе в немецком студенчестве не меньшую ненависть, чем действовавшие в том же направлении немецкий драматург Коцебу и профессор права Шмольц. На иенском съезде студенческого Тайного общества было решено всех троих убить, и выбранным трем студентам были торжественно вручены кинжалы. Занд убил Коцебу; Шмольц, здоровый и сильный, отбилсЯ от заговорщика; Стурдза,

предупрежденный заранее, уехал в Россию; но еще в Варшаве, как писал А. Тургеневу князь Вяземский, ему, из боязни покушения, пришлось жить под охраной полиции. К этому времени относятся эпиграммы Пушкина на Стурдзу:

*Я вокруг Стурдзы лежу,
Вкруг библического;
Я на Стурдзу гляжу
Монархического.*

Пародия на песню «Я вокруг бочки хожу...»
И другая эпиграмма:

*Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу:
Ты стоишь лавров Герострата
Иль смерти немца Коцебу.
А впрочем, — — — !*

Большинство редакторов сочинений Пушкина относило последнюю эпиграмму к Аракчееву, несмотря на категорическое свидетельство Вяземского и Каверина. В связи с неосуществившимся покушением немецких студентов на жизнь Стурдзы особенный смысл получают именно в отношении к нему слова

эпиграммы «Благодари свою судьбу» и «Ты стоишь смерти Коцебу». В связи с этими сообщениями можно более точно датировать и саму эпиграмму. Коцебу был убит 23 марта 1819 г., о замышлявшемся покушении на Стурдзу Вяземский писал Тургеневу в середине апреля. От Тургенева, конечно, узнал об этом и Пушкин. Навряд ли мы ошибемся, если время написания эпиграммы отнесем к апрелю – маю 1819 г.

С самим Стурдзой Пушкин познакомился еще в Петербурге весной 1820 г. у того же А. И. Тургенева. Снова встретились они в Одессе, где поселился отстранившийся от дел Стурдза. Осенью 1823 г. Пушкин писал Вяземскому: «Здесь Стурдза монархический, я с ним не только приятель, но и кое о чем мыслим одинаково, не лукавя друг перед другом. Читал ли ты его последнюю брошюру о Греции?» Вероятно, единомыслие их касалось именно греческого вопроса. Стурдза не только сочувствовал греческому восстанию, но и мечтал о возрождении греческой империи. Сам Стурдза уверяет, что ему удалось пробудить в Пушкине единомыслие и по некоторым другим

вопросам. «Мне довелось часто встречаться с Пушкиным в Одессе, – вспоминает он. – Неукротимый дух его, в ту эпоху еще не дозревший, видимо, чуждался меня, как человека, гордившегося оковами собственной мысли. Однако, несмотря на такое предубеждение, я с удовольствием припоминаю, что однажды, за обедом у моей сестры, графини Р. С. Эдлинг, сидя друг подле друга, я успел овладеть полным вниманием и сочувствием Пушкина». Говоря о зиждительной силе христианской веры, Стурдза сказал:

– Теперь то и дело говорят о мечтательной политической свободе; а знаете ли, что в евангелии, в котором заключены все высшие истины, мы обретаем определение истинной свободы? Господь сказал: «познайте истину, и истина сделает вас свободными». Заключите же из сего божественного изречения, что где нет внутренней свободы, там нет и внешней.

«Собеседник мой, – рассказывает Стурдза, – при этих словах изъяснил простодушное удивление и сердечное участие. Кто знает, не начал ли он с тех пор заглядывать почаще в св. евангелие?»

Амалия Ризнич (1803–1825)

Высокая, стройная красавица с пламенными глазами, с белой, изумительно красивой шеей и густой черной косой до колен. По одним сведениям, она была итальянка родом из Флоренции, по другим – полуитальянка-полунемка, с примесью, быть может, еврейской крови, дочь венского банкира Риппа. Муж ее был богатый одесский негоциант И. С. Ризнич. В 1822 г. он уехал в Вену, там женился и весной 1823 г. приехал в Одессу с молодой женой. С ней приехала и ее мать. Амалия держалась эксцентрично, любила ходить в мужской шляпе и в наряде полуамазонки, с тянущимся по земле шлейфом; злые языки говорили – оттого, что у нее большие ступни. Любила веселую и широкую жизнь, празднества, танцы, страстно увлекалась картами. В интимном кругу графини Воронцовой она не была принята, но холостая молодежь валом к ней валила. Ее окружал рой поклонников. Муж держался на заднем плане. Летом 1823 г. в Одессу приехал Пушкин и страстно увлекся г-жею Ризнич. Это была горячая, дурманящая,

чувственная страсть, на некоторое время совершенно закрутившая Пушкина. Вскоре, по-видимому, у них завязались близкие отношения. О характере этих отношений мы больше можем судить только по стихам Пушкина, – источник, в общем, не совсем надежный: поэты, – а Пушкин в особенности, – далеко не всегда отражают в стихах подлинные свои настроения и отношения. Если подыскивать реальных лиц к лирическим произведениям Пушкина, то с наибольшей вероятностью именно к г-же Ризнич следует отнести стихи, написанные Пушкиным 26 октября 1823 г.:

*Мой голос для тебя и ласковый и
томный,
Тревожит позднее молчанье ночи
темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и
журча,
Текут, ручьи любви, текут, пол-
ны тобою.
Во тьме твои глаза блистают
предо мною,
Мне улыбаются, и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... люб-*

лю... твоя... твоя...

Но у Пушкина был соперник, доставлявший ему много волнений и терзаний. В другом стихотворении он пишет:

*Простишь ли мне ревнивые мечты,
Моей любви безумное волненье?
Ты мне верна: зачем же любишь ты
Всегда пугать мое воображенье?
Окружена поклонников толпой,
Зачем для всех казаться хочешь
милой,
И всех дарит надеждою пустой
Твой чудный взор, то нежный, то
унылый?
Мной овладев, мой разум омрачив,
Уверена в любви моей несчастной,
Не видишь ты, когда в толпе их
страстной
Беседы чужд, один и молчалив,
Терзаюсь я досадой одинокой;
Ни слова мне, ни взгляда... друг
жестокий!
Хочу ль бежать, – с боязнью и
мольбой*

Твои глаза не следуют за мной.
Заводит ли красавица другая
Двусмысленный со мною разго-
вор, –

Спокойна ты; веселый твой укор
Меня мертвит, любви не выра-
жая.

Скажи еще: соперник вечный мой,
Наедине застав меня с тобой,
Зачем тебя приветствует лука-
во?..

Что ж он тебе? Скажи, какое пра-
во

Имеет он бледнеть и ревно-
вать?..

В нескромный час меж вечера и
света,

Без матери, одна, полуодета,
Зачем его должна ты прини-
мать?..

Но я любим!.. Наедине со мною
Ты так нежна! Лобзания твои
Так пламенны! Слова твоей люб-
ви

Так искренно полны твоей душою!
Тебе смешны мучения мои;
Но я любим, тебя я понимаю.
Мой милый друг, не мучь меня,

молю:

Не знаешь ты, как сильно я люблю,

Не знаешь ты, как тяжело я страдаю!

Кто был этот соперник Пушкина, указания расходятся; знаем только, что это был поляк, – по одним сведениям, очень богатый пожилой помещик Исидор Собаньский, будто бы золотом добившийся у красавицы перевеса над молодостью и пылом Пушкина; по другим сведениям, более вероятным, – не такой пожилой князь Яблоновский. Муки ревности Пушкину приходилось переживать самые жестокие; однажды, в бешенстве ревности, он пробежал пять верст с обнаженной головой под палящим солнцем при 35 градусах жары. Еще много позже он с ужасом вспоминал о страданиях, которые ему тогда пришлось вытерпеть:

*Да, да, – ведь ревности припадки –
Болезнь, так точно, как чума,
Как черный сплин, как лихорадки,
Как повреждение ума.
Она горячкой пламенеет,*

*Она свой жар, свой бред имеет,
Сны злые, призраки свои,
Помилуй Бог, друзья мои!
Мучительней нет в мире казни
Ее терзаний роковых!
Поверьте мне: кто вынес их,
Тот уж, конечно, без боязни
Взойдет на пламенный костер,
Иль шею склонит под топор.*

В начале 1824 г. Амалия Ризнич родила сына и сильно расхворалась, лихорадила, кашляла кровью. Ей становилось все хуже. В мае она уехала с ребенком в Италию. Муж проводил ее до границы и по делам должен был воротиться в Одессу. За ней последовал соперник Пушкина и за границей соединился с ней. Об их связи слуга Филипп, приставленный Ризничем к жене, известил мужа. Любовник вскоре бросил Амалию. В начале 1825 г. она умерла от чахотки в Италии, – по некоторым сведениям, в нищете, лишенная мужем материальной поддержки.

Поэт В. И. Туманский, знавший в Одессе Амалию Ризнич, написал на ее смерть сонет со знаменательным посвящением его Пушкину:

Ты на земле была любви подруга,
Твои уста дышали слаще роз,
В живых очах, не созданных для
слез,
Горела страсть, блистало небо
юга.

К твоим стопам с горячностью
друга
Склонялся мир, – твои оковы нес;
Но Гименей, как северный мороз,
Убил цветок полуденного луга.

И где ж теперь поклонников тво-
их
Блестящий рой? Где страстные
рыданья?
Взгляни: к другим уж их влекут
желанья,

Уж новый огонь волнует душу их,
И для тебя сей голос струн чужих
–
Единственный завет воспомина-
нья!

Пушкин отозвался на смерть Ризнич толь-
ко через полтора года, 29 мая 1826 г., как буд-
то отвечая, – а может быть, и вправду отве-

чая, – на упрек и вызов Туманского:

*Под небом голубым страны своей
родной*

Она томила, увядала...

*Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;*

*Но недоступная черта меж нами
есть.*

Напрасно чувство возбуждал я:

*Из равнодушных уст я слышал
смерти весть,*

И равнодушно ей внимал я.

*Так вот кого любил я пламенной
душой*

*С таким тяжелым напряже-
нием,*

*С такою нежною томительной
тоской*

*С таким безумством и муче-
нием!*

*Где муки, где любовь? Увы, в душе
моей*

Для бедной, легковёрной тени,

*Для сладкой памяти невозврати-
мых дней*

Не нахожу ни слез, ни пени.

Характерно, что и Туманского, и Пушкина

одинаково поражает странная скоротечность страсти, которую внушала Ризнич своим поклонникам. Очевидно, она умела горячим, темным огнем зажигать их кровь, хмелить головы, но души не задевала, и, когда хмель страсти проходил, оставалось одно равнодушие. «Похотливое кокетство итальянки», – однажды писал Пушкин, по-видимому, имея в виду Амалию Ризнич. Он отнесся равнодушно к смерти красавицы. Но горячая память о пережитых наслаждениях и муках крепко продолжала жить в душе. В «Онегине» он обращается, – можно думать, – к тени Ризнич:

*Я не хочу пустой укорой
Могилы возмущать покой;
Тебя уж нет, – о ты, которой
Я в бурях жизни молодой
Обязан опытом ужасным
И рая мигом сладострастным.
Как учат слабое дитя,
Ты душу нежную, мутя,
Учила горести глубокой;
Ты негой волновала кровь,
Ты воспаляла в ней любовь
И пламя ревности жестокой;
Но он прошел, сей тяжкий день;*

Почий, мучительная тень!

Но тень не почила. Осенью 1830 г., когда Пушкин уже собирался соединить свою судьбу с Натальей Гончаровой, он одиноко жил в Болдине, отрезанный холерой от мира. Там опять прощальной тенью пред ним встала прежняя его возлюбленная:

*Для берегов отчизны дальней
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печаль-
ный
Я долго плакал пред тобой.
Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать;
Томленья страшного разлуки
Мой стон молил не прерывать.
Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: «В день свиданья
Под небом вечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим».
Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды,*

*Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой, –
Исчез и поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой!..*

Умерла, – а он все ждет ее поцелуя. Она стоит перед ним, – бледная и холодная, изгнанная из жизни бездушием его соперника, злобой мужа, – и все-таки мучительно-желанная, обольстительная, властно зовущая к себе сквозь жуть смерти и тлена:

*Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой.
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальняя звезда,
Как легкий звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье
Мне все равно, – сюда! сюда!
Зову тебя не для того,
Чтоб укорять людей, чья злоба
Убила друга моего,
Иль чтоб изведать тайны гроба.
Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь... Но тоскуя
Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой... Сюда! сюда!*

Иван Степанович Ризнич (1792–?)

Родом серб, родился в Триесте в 1792 г., сын торговца. Обучался в падуанском и берлинском университетах. Содержал в Вене банкирскую контору, потом переехал в Одессу и открыл экспедиторскую контору для экспорта хлеба. Был человек образованный, знал несколько языков, страстно любил театр и итальянскую оперу. В одесском торговом мире пользовался уважением, занимал видные городские должности, между прочим, был представителем города в управлении делами одесского театра и много поработал на его пользу. В начале 1822 г. женился на Амалии Риппа, умершей в 1825 г. Вторично женился в 1827 г. на графине Паулине Адамовне Ржевуской. Туманский писал Пушкину: «Новая м-м Ризнич, вероятно, не заслужит ни твоих, ни моих стихов по смерти; эта малютка с большим ртом и с польскими ухватками. Дом их доселе не открывался для нашей братии».

В 1833 г. Ризнич обанкротился и поступил на государственную службу. Был директором Коммерческого банка.

Карл Яковлевич Сикар (1773–1830)

Богатый и культурный французский негодьянт, живший в Одессе с 1804 г. Липранди рассказывает: «Из всех домов, посещаемых Пушкиным в Одессе, особенно любил он обедать у негодьянта Сикара. Пять-шесть обедов в год, им даваемых, не иначе, как званых и немногочисленных (не более как двадцати четырех человек, без женщин), действительно были замечательны отсутствием всякого этикета при высшей сервировке стола. Пушкин был всегда приглашаем, и здесь я его находил, как говорится, совершенно в своей тарелке, дающим иногда волю болтовне, которая любезно принималась собеседниками». В 1830 г. Сикар погиб безвестно. По заключении Адрианопольского мира он поехал на корабле в Константинополь. Корабль погиб, – где и как, не известно.

Морали (? – ?)

В «Странствиях Онегина» Пушкин рассказывает:

Я жил тогда в Одессе пыльной...

Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильный
Свои подьѐмлет паруса...
Язык Италии златой
Звучит по улице веселой,
Где ходит горный славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдаван тяжелый,
И сын египетской земли,
Корсар в отставке, Морали.

Морали – тауре Ал – мавр Али. Это была загадочная фигура. Высокого роста, красивый, прекрасно сложенный, с бронзовым, слегка рябым лицом; из-под белой чалмы глядели огненные черные глаза. Поверх красной рубахи была наброшена красная суконная куртка, роскошно вышитая золотом; богатая турецкая шаль опоясывала короткие шаровары, из-за нее выглядывали ручки пистолетов; на чулках до колен – турецкие башмаки. Али прекрасно говорил по-итальянски и немного по-французски. Был человек очень веселый, дружил с одесской золотой молодежью, его принимали во многих гостиных, он неотменно присутствовал на пирушках, вечеринках и карточных сборищах. Ходили слухи, что Али

раньше был морским разбойником и этим ремеслом нажил несметные богатства. Пушкин был с ним в большой дружбе и иначе не называл, как корсаром. Однажды вечером, после скучного совместного с Пушкиным обеда у Воронцовых, Липранди зашел в номер к Пушкину и застал его в самом веселом расположении духа, без сюртука, сидящим на коленях у Али. Не сходя с колен мавра, Пушкин отрекомендовал его Липранди и прибавил:

– У меня лежит к нему душа: кто знает, может быть, мой дед с его предком был близкой родней.

И принялся щекотать мавра. Он щекотки не выносил, и это очень забавляло Пушкина. Липранди пригласил их к себе в номер пить чай. Говорили о Кишиневе, Пушкин находил, что в Кишиневе положение его было гораздо выносимее, чем в Одессе, несколько раз принимался щекотать мавра и говорил, что Али составляет для него здесь единственное наслаждение.

О дальнейшей судьбе Морали ходили различные слухи. По одним, его обыграли одесские шулера, и он бесследно исчез из Одессы.

По другим – он еще в восьмидесятых годах жил в Одессе, очень выгодно пристроил своих дочерей, а сыновьям дал крупные капиталы. Один, например, из внуков его, гусар, имел будто бы триста тысяч годового дохода.

Деревенские знакомые

В 1679 г. вступил на русскую службу поручиком солдатского строя иноземец Гаврило Вульф. Впоследствии был полковником. Сын его Петр во времена Елизаветы Петровны состоял в чине бригадира, а внук Иван Петрович был орловским губернатором и тайным советником. У этого Ивана Петровича было много сыновей и дочерей: Петр, Павел, Иван, Николай, Наталья (в замужестве Вельяшева), Анна (в замужестве Понофидина), Екатерина (в замужестве Полторацкая). Большинство их жило в своих поместьях Тверской и Псковской губерний. Многие из членов их семейств находились в самых разнообразных отношениях с Пушкиным. В этой главе будет рассказано и о них, и вообще о деревенских знакомцах Пушкина.

Прасковья Александровна Осипова

(1781–1859)

Владелица села Тригорского Псковской губернии, соседка Пушкиных. Рожденная Вындомская, в первом браке (с 1799 г.) была за Николаем Ивановичем Вульфом (умер в 1813 г.), во втором – за отставным чиновником почтамтского ведомства, статским советником Иваном Сафоновичем Осиповым (умер 5 февраля 1824 г.).

Невысокого роста, но пропорционально сложенная, с выточенным, кругленьким, очень приятным станом; красивое черноглазое лицо портила только нижняя губа, выпячивавшаяся вперед; если бы не это, ее можно было бы почесть маленькой красавицей. Была очень жизнерадостна, во всяких обстоятельствах была довольна своим положением. Молодой еще женщиной она мало заботилась о туалетах, много читала и училась. Муж ее Николай Иванович нянчился с детьми, варил в шлафроке варенье, а жена гоняла на корде лошадей или читала римскую историю. Несомненно, среди тогдашних провинциальных помещиц Осипова представляла явление далеко не заурядное. Она знала немецкий и

французский язык, училась вместе со своими детьми английскому. Следила за русской и иностранной литературой; выросшая на Клопштоке, Ричардсоне и «Бедной Лизе», сумела должным образом оценить Пушкина, Баратынского, Дельвига. В политических вопросах была далека от уездно-обывательского патриотизма и преклонения перед самодержавием, расходилась в этом отношении и с все более правевшим Пушкиным. В ответ на сообщение Пушкина об «удивительной храбрости и хладнокровии», с которым император Николай усмирил холерный бунт новгородских военных поселений в 1831 г., она пишет: «Пока brave Николай будет придерживаться военного образа правления, дела будут идти все хуже и хуже. Вероятно, он не прочитал внимательно, а может и совсем не читал, «Историю Византии» Сегюра и многих других, писавших о причине падения империй». Воспетое Пушкиным усмирение Польши она называет «дурацкой войной». Осипова вызывала расположение к себе в выдающихся людях, знакомившихся с ней, как, например, в Дельвиге, в А. И. Тургеневе: побывав в Тригорском,

они после того вступали с ней в переписку. Пушкин, в минуту раздражения в письме к сестре ругавший тригорских обитательниц, делал исключение для Прасковьи Александровны: «...твои троегорские приятельницы – неносные дуры, кроме матери».

Познакомился с ней Пушкин, конечно, еще в первое свое пребывание в Михайловском по окончании лицея, но оценил ее и дружески сошелся, когда в августе 1824 г. поселился в Михайловском после высылки из Одессы. После столкновения с отцом в октябре того же года он только ночевал дома, а все дни проводил в Тригорском. Осипова относилась к нему с неизменной заботливостью и лаской, она и ее семья много скрасили одиночество томившегося в ссылке Пушкина. И впоследствии Осипова с радостной готовностью исполняла всевозможные поручения, которые давал ей Пушкин, и во всем проявляла по отношению к нему любовь и чисто материнскую попечительность. В пушкинской литературе нередко указания, что Прасковья Александровна была будто бы влюблена в Пушкина, чуть ли даже не находилась с ним в связи. Для такого

утверждения мы не имеем достаточных данных. Правда, в одном письме к Пушкину дочь ее Анна Николаевна Вульф высказывает уверенность, что мать держит ее в тверском своем имении Малинниках, вдали от Пушкина, — из ревности; но теперь мы имеем большие основания подозревать, что между Анной Николаевной и Пушкиным были отношения, от которых всякая мать старалась бы уберечь свою девушку-дочь. В ровно-нежных, никогда не взволнованных письмах Осиповой к Пушкину и его к ней нельзя решительно ничего усмотреть, кроме хорошей, тесной дружбы и взаимной расположенности, не носящей никакого специфического характера.

Многочисленных детей своих Осипова воспитывала строго и бестолково. Заставляла сына выучивать наизусть всю французскую грамматику, била дочерей и драла их за уши до крови. Дети ее не любили. Отзывы детей, уже взрослых, рисуют ее как мелочно-скудную и эгоистическую, думавшую только о собственных своих удобствах, — до того, например, что она возненавидела доктора, который ей сказал, что дочь ее Маша близка к ча-

хотке, и этим принудил ее везти Машу в Петербург для лечения. Впрочем, А. П. Керн рассказывает про один поступок исключительного бескорыстия и благородства, совершенный Прасковьей Александровной в молодости: сестра ее против воли родителей вышла замуж за Павла Исаковича Ганнибала (двоюродного дядю Пушкина), отец за это лишил ее наследства и все имение свое в 1200 душ завещал Прасковье Александровне. Получив после смерти отца наследство, она половину имения отдала сестре. М. И. Семевский, со слов детей Прасковьи Александровны, рассказывает: «Она была упряма и настойчива в своих мнениях, а еще более в своих распоряжениях, наконец, чрезвычайно самоуверенна и вследствие того как нельзя больше податлива на лесть. Все эти недостатки особенно развились в Прасковье Александровне под старость, когда на сцену выступили и физические недуги; явилось и ханжество, а вместе с тем явились люди, которые, окружив старуху, сделали закат ее жизни поистине крайне печальным. Притом тогда же начались у нее неприятности по хозяйству. Хозяйство у нее

вообще шло всегда довольно плохо, а перед ее кончиной до того дурно, что если бы не энергия и не находчивость сына ее Алексея, то знаменитое Тригорское пошло бы за бесценок и чужие руки».

Пушкин посвятил Прасковье Александровне целый ряд стихотворений: «Подражания корану», «Простите, верные дубравы», «Быть может, уж недолго мне», «Последние цветы». Ей посвящали также стихи Языков и Дельвиг.

В биографии Пушкина теплым и ярким солнечным пятном выделяется прославленное им Тригорское с его милыми обитательницами:

*...вы, любимицы златой моей за-
ри,
Вы, барышни мои, с открытыми
плечами,
С висками гладкими и томными
очами...*

Молодость, веселый девичий смех, песни, музыка. Как живой, рисуется перед глазами Пушкин среди цветника этих девушек – влюбленный во всех сразу и сам всеми обожаемый, сыплющий направо и налево сверкаю-

щие стихи, полные легкого хмеля минутной влюбленности. «И влюблюсь до ноября...» Все так легко и бестрагично. И так светло, чисто и невинно. И юноши такие же – чистые и милые. Совсем, как в «Онегине» – в нем эта жизнь ведь и отражена. Ленский – жених Ольги; уже признанный жених:

*Он вечно с ней. В ее покое
Они сидят в потемках двое.
И что ж? Любовью упоенный,
В смятеньи нежного стыда,
Он только смеет иногда,
Улыбкой Ольги ободренный,
Развитым локоном играть
Иль край одежды целовать.*

Сам Онегин – и тот перерождается в этой чистой атмосфере. Он объясняется с Татьяной и благородно предостерегает ее:

*Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет.*

Даже непонятно: к какой беде? «Обольстит» и бросит беременной? Ну, как здесь может до этого дойти?

Увы! «Мечты поэта...»

Алексей Николаевич Вульф (1805–1881)

Сын (от первого брака) П. А. Осиповой. В 1822 г. поступил студентом в Дерптский университет, где близко сошелся с поэтом Н. М. Языковым. По окончании университета в 1826 г. некоторое время жил в Петербурге, пытаясь пристроиться на службу. В январе 1829 г. поступил в гусарский принца Оранского полк («выбранный мною единственно по мундиру, ибо он лучший в армии»), принимал участие в турецкой кампании и подавлении польского восстания, в июле 1823 г. вышел в отставку штабс-ротмистром.

По приезде своем в с. Михайловское из Одессы Пушкин быстро сошелся с Вульфом; часто виделся с ним во время приездов его домой на вакации. Через Вульфа Пушкин познакомился, сначала заочно, а потом и лично, с поэтом Языковым. В проектах Пушкина бежать за границу Вульф принимал близкое участие; он, между прочим, предлагал Пушкину увезти его с собой за границу под видом слуги. Пушкин и впоследствии, до своей женитьбы, нередко виделся с Вульфом – и в Пе-

тербурге, и в деревне, переписывался с ним. Отношения их носили своеобразный характер, вполне выяснившийся для нас лишь с опубликованием в 1915 г. дневников Вульфа.

Пушкин в письмах называл Алексея Вульфа Ловласом, Вальмоном (имена героев, обольстителей девушек, в романах Ричардсона и Шодерло де Лакло). Вульф действительно был специалистом по любовным делам и производил, по-видимому, неотразимое впечатление на женщин. У него было много романов. Он был в долголетней связи со своей двоюродной сестрой, красавицей А. П. Керн, молодой женой старого генерала. Но предпочитал девиц, с которыми был осторожен, не доводил романов до конца, но и не довольствовался платоническими отношениями. Система его заключалась в том, чтобы, говоря его словами, «незаметно от платонической идеальности переходить к эпикурейской вещественности, оставляя при этом девушку «добродетельною», как говорят обыкновенно».

Вот как рассказывает он про свои отношения с другой своей двоюродной сестрой, Лизой Полторацкой, сестрой А. П. Керн: «Я про-

вел ее постепенно через все наслаждения чувственности, которые только представлялись роскошному воображению, однако не касаясь девственности. Это было в моей власти, и надобно было всю холодность моего рассудка, чтобы в пылу восторгов не переступить границу, – ибо сама она, кажется, желала быть совершенно моею и, вопреки моим уверениям, считала себя такою». Подобные же отношения были у Вульфа с его сводной сестрой Сашей Осиповой. Подобные отношения установил он и с влюбленной в него Софьей Михайловной Дельвиг, женой поэта Дельвига. «Совершенно от меня зависело увенчать его чело, – рассказывает Вульф, – но его самого я слишком много любил, чтобы так поступить с ним. Я ограничился наслаждением проводить с нею вечера в разговоре пламенным языком сладострастных осязаний». В любовной этой науке Вульф учителем своим все время называет Пушкина, старательно следует его советам, заключающимся в том, что нужно «постепенно развращать женщину, врать ей, раздражать ее чувственность». И действительно, Пушкин все время руководит

Вульфом, поощряет его на ухаживания за барышнями тверских дворянских гнезд, стыдит за отсутствие должной предприимчивости, посылает ему игриво-пикантные извещения о его возлюбленных. Когда, например, Лиза Полторацкая, с опоганенным телом и опоганенной душой, осенью 1828 г. уехала из Петербурга, где разыгрался ее роман с Вульфом, в деревню, а Алексей Вульф на свободе ухаживал в Петербурге за женой Дельвига, Пушкин писал Вульфу из Тверской губернии: «Чсть имею донести, что в здешней губернии, наполненной вашими воспоминаниями, все обстоит благополучно. Меня приняли с достодолжным почитанием и благосклонностью. Утверждают, что вы гораздо хуже меня (в моральном отношении). И потому не смею надеяться на успехи, равные вашим. Требуемые от меня пояснения насчет вашего петербургского поведения дал я с откровенностью и простодушием, от чего и потекли некоторые слезы и вырвались некоторые недоброжелательные восклицания, как, например: «Какой мерзавец! какая скверная душа!» Но я притворился, что их не слышу».

Чрезвычайно своеобразно отношение Алексея Вульфа к Пушкину. Пушкин все время говорит с ним его языком, в его стиле, поощряет и благословляет на поступки, к которым Вульфа тянет и самого, называет его «своим сыном в духе». Казалось бы, отношение к Пушкину должно быть самое дружеское – такое же, как и Пушкина к нему. Между тем в отзывах Вульфа о Пушкине все время ощущается весьма ясная нота затаенной вражды и насмешки, как будто Пушкин причинил ему большой какой-то ущерб. В 1830г., уже в Польше, Вульф записывает в дневнике: «Пушкин, величая меня именем Ловласа, сообщает мне известия очень смешные о старицких красавицах, доказывающие, что он не переменялся с годами и возвратился из Арзрума точно таким, каким и туда поехал, – весьма циническим волокидою». Получив известие о предстоящей женитьбе Пушкина, Вульф пишет: «Желаю ему быть счастливым, но не знаю, возможно ли надеяться этого с его нравами и образом мыслей. Если круговая порука есть в порядке вещей, то сколько ему, бедному, носить рогов, – это тем веро-

ятнее, что первым его делом будет развратить жену». Пушкин, конечно, жены своей не развратил и был далеко не таким, каким односторонне представлял его себе Вульф. Но не Вульф виноват в том, что так воспринимал Пушкина. Пушкин сам обращался к нему почти исключительно своей цинично-озорной стороной, сам направлял их общение по определенному руслу. А он был на пять лет старше Вульфа, от него зависело давать тон их общению, о Вульфе же сам он отзывался так: «Он много знал, чему научаются в университетах, между тем, как мы с вами выучились танцевать. Разговор его был прост и важен. Его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял». Вульф был циник, бабник, однако способен был откликаться на жизнь и другими сторонами души. Он весь начинает светиться, когда вспоминает о своем университетском товарище Франциусе, пламенном энтузиасте. В 1833 г., узнав о его смерти, Вульф пишет: «Душевно сожалею, что судьба не свела меня еще раз с ним: он бы передал мне снова много прекрасных, возвышенных идей; его бы пламенем согрелась и моя хладе-

ющая от ежедневного опыта грудь, я бы освежился духом». Вульф с неизменной любовью вспоминает о другом своем университетском товарище, поэте Языкове, с глубоким уважением говорит всегда о Дельвиге. А к Пушкину — только скрытая вражда и насмешка. Нельзя в этом винить Вульфа.

Дневник Вульфа свидетельствует о несомненном его уме и талантливости. Например, читает он в романе Манцони описание прохождения немецких войск через Италию и замечает: «Про это мы более слышим, чем видим, как от мимо нас пролетающей ночью стаи птиц мы слышим шум, не видя их». Какой хороший образ! Или, собираясь высказать мысль, для него самого еще не вполне определившуюся, Вульф обрывает себя: «Довольно об этом: остановившись на предмете, я выскажу более, чем еще в голове образовалось мыслей, которые, приняв однажды форму, уже выходят из власти нашей». От права собственности на эти строки не отказались бы ни Ларошфуко, ни Ницше.

После выхода в отставку всю остальную долгую жизнь Вульф прожил холостяком в

своим имением в Малинниках, занимаясь сельским хозяйством. После своей женитьбы Пушкин виделся с ним редко и случайно. Весной 1836 г. он писал Языкову из псковских краев: «Алексей Вульф здесь, – отставной студент и гусар, усатый агроном, тверской Ловлас, – по-прежнему милый, но уже перешагнувший за тридцать лет». По сообщению М. Гофмана, последние сорок лет жизни Вульфа прошли очень однообразно в заботах о хозяйстве. Под конец жизни он стал очень скуп; доходило до того, что питался он одной рыбой, пойманной им самим в речке. Местные крестьяне долго сохраняли память о строгом и скупом барине-кулаке. Однако Анна Петровна Керн с благодарностью вспоминает, что, когда она в старости жила в большой нужде и самые близкие родственники отказывали ей в помощи, Вульф оказывал ей материальную поддержку. В крепостное время Вульф устроил у себя в Малинниках гарем из двенадцати крепостных девушек и, кроме того, по рассказам, присвоил себе «право первой ночи».

Анна Николаевна Вульф
(1799–1857)

Старшая дочь П. А. Осиповой от первого ее мужа, ровесница Пушкина. Круглолицая девушка с томно-грустными глазами, полногрудая, с прехорошенькими, по отзыву Пушкина, ножками. Была сентиментальна, любила высокопарные слова, от которых Пушкина коробило. По сообщению Анненкова, отличалась быстротой и находчивостью ответов, что было нелегким делом при общении с Пушкиным.

У Пушкина был с ней самый вялый и прозаический из всех его романов, и в одном письме к ней он сам назвал себя ее «прозаическим обожателем». Начало их отношений неясно. В августе 1824 г. Пушкин приехал из Одессы в Михайловское, постарался оттолкнуть от себя всех соседей и часто бывал только в Тригорском. Но привлекала его туда одна мать, П. А. Осипова. В начале октября он писал княгине Вяземской: «...я часто выдаюсь только с одною доброю, старою соседкою, слушаю ее патриархальные разговоры; дочери ее довольно непривлекательны во всех отношениях». В начале декабря писал сестре: «...твои троегорские приятельницы – несносные ду-

ры, кроме матери». А между двумя этими отзывами, в конце октября, пишет брату об Анне Николаевне: «С Анеткою бранюсь, – надоела». Как будто, значит, какие-то отношения были, но очень скоро пришли к концу. Однако к концу они не пришли. На всем протяжении ссыльной жизни Пушкина в Михайловском отношения эти продолжаются – со стороны Пушкина нудные, холодные и беспрывные. О своеобразном характере этих отношений можно только догадываться, освещая дошедшие до нас намеки общим представлением о «любовном быте» тогдашних помещичьих гнезд, как они вырисовываются в дневнике Вульфа (см. выше об Алексее Вульфе). В письмах Анны Николаевны к Пушкину от 1826 г. находим целый ряд намеков на характер их отношений. «Я нашла здесь, в Малинниках, очень милого кузена, – пишет она в одном письме, – который меня страстно любит и не желает ничего лучшего, как доказать мне это по вашему способу, если бы я только пожелала. Он не может перенести мысли, что я столько времени пробыла с вами, таким безнравственным человеком». В другом пись-

ме она пишет про уланского полковника Анрепа, начавшего за ней ухаживать: «...этот превосходит даже и вас, чему бы я никогда не поверила, – он идет к своей цели гигантскими шагами; я думаю, что он даже превосходит вас в дерзости». Вспоминаются поучения, которые Пушкин много позже делал молодому Павлу Вяземскому: «...в обращении с женщинами не следует останавливаться на первом шагу, а идти вперед нагло, без оглядки». «Гадкий вы! – пишет Анна Николаевна в третьем письме. – Недостойны вы, чтобы вас любили, много счетов нужно бы мне свести с вами». А рядом – такая фраза на итальянском языке: «До свидания, *tì* (подчеркнуто) *mando un bacio, mio amore, mio delizie* (посылаю тебе поцелуй, моя любовь, моя прелесть)!». Только в связи с этим становится понятным и цинично-озорное бонмо, которым в августе 1825 г. Пушкин хвалился перед князем Вяземским. Анна Николаевна спросила его: «Что более вам нравится – запах резеды или розы?» Пушкин ответил: «Запах селедки».

Холодно-чувственное увлечение Анной Николаевной не мешало Пушкину одновре-

менно увлекаться и другими женщинами – Нетти Вульф, Анной Петровной Керн. Он не стеснялся в письме к любящей его Анне Николаевне изливать свои страстные восторги по поводу А. П. Керн, что доставляло большое страдание Анне Николаевне. Тон обращения Пушкина с самой Анной Николаевной – пренебрежительный и насмешливый. Он советует ей в письме: «Будьте ветрены лишь с вашими друзьями-мужчинами, – они воспользуются этой ветреностью только в свою пользу, тогда как друзья-женщины повредят вам, ибо все они столь же пусты и столь же болтливы, как и вы сама». Пушкин сам сознается, что не раз позволял себе с ней «злые шутки». Это чередовалось, конечно, и периодами нежного отношения. В феврале 1826 г. Пушкин был одновременно с Анной Николаевной и ее матерью в Пскове. Там она провела с Пушкиным несколько дней, оставшихся сладко памятными Анне Николаевне. Там они «совершенно помирились», как писал Пушкин ее брату Алексею в мае того же года. Мать ее нашла, что Пушкин при прощании был грустен, и сказала: «Ему, кажется, нас жаль». А неж-

ность его прощания с Анной Николаевной вызвала ее насмешливое замечание: «Он думал, что я ничего не замечаю». Пушкин уехал обратно в Михайловское, а мать увезла дочь в тверскую свою деревню Малинники, пожила там и воротилась одна в Тригорское, на долгие месяцы оставив дочь в Малинниках. Анна Николаевна была убеждена, что мать разлучила ее с Пушкиным из ревности, «желая одна одержать над ним победу». Возможно, однако, что мать, догадавшись о характере их отношений, просто сочла нужным держать дочь подальше от него. Мы имеем целый ряд писем на плохом французском языке, писанных из Малинников Анной Николаевной Пушкину весной 1826 г. Письма задушевные и трогательные, говорящие о глубокой, страдальческой любви девушки к Пушкину. Стиль их – совершенно стиль письма Татьяны к Онегину (хотя письмо Татьяны написано Пушкиным много раньше). «С чего мне начать и что вам сказать? Я боюсь и не могу дать воли моему перу; Боже, почему я не уехала раньше, почему, – но нет, мои сожаления ни к чему, – они будут лишь торжеством для

вашего тщеславия; очень возможно, что вы уже не помните последних дней, которые мы провели вместе... Я пишу вам письмо и плачу. Меня это компрометирует, я чувствую, но это сильнее меня; я не могу себя преодолеть... Не обманывайте меня, во имя Неба, скажите, что совсем меня не любите, тогда, может быть, я буду спокойнее... Какое очаровывающее волшебство пленило меня! Как вы умеете разыгрывать чувство! Я согласна со своими кузинами, что вы очень опасный человек, но я постараюсь стать благоразумной». С наивной кокетливостью рассказывает, как за ней ухаживают уланы и гвардейские офицеры, и тут же прибавляет, что она остается к этим ухаживаниям совершенно холодна и думает только о нем. «Ах, Пушкин, недостойны вы любви! Вы разрываете и раните сердце, цены которому не знаете». Ответные письма Пушкина до нас не дошли: по распоряжению Анны Николаевны, они были после ее смерти уничтожены. Но из писем Анны Николаевны видно, как на них реагировал Пушкин. Она горько удивляется холодности его писем; он отвечает, что «плоскость» писем его объясня-

ется... его любовью к ней. Она просит его уничтожить ее письма, – он небрежно оставляет их на виду, так что они рискуют попасть на глаза ее матери. Получив конспиративно доставленное ее письмо, восклицает при всех: «Ах, Господи, что за письмо! Словно от женщины!» Бросает его и берется за письмо Нетти Вульф. Вполне ясно: с ее стороны была глубокая, серьезная любовь, с его стороны – бабство от скуки и неприятное чувство, что связался с этой надоевшей ему девицей. Осенью, освобожденный из ссылки, Пушкин приехал в Москву, там страстно влюбился в Софью Пушкину. В начале ноября, уезжая на время обратно к себе в Михайловское, он писал княгине Вяземской: «Прощайте, княгиня, – еду похоронить себя в обществе моих соседа».

Анна Николаевна надолго пережила Пушкина. Замуж она не вышла и вела типичную жизнь «непристроившейся» старой девы, – ничем не занимаясь, все больше толстая, живя то в Тригорском и Малинниках, то в Петербурге, то в Голубове у замужней сестры, – везде одинаково тоскуя и скучая. Ей по-

священо Пушкиным стихотворение-мадригал «Имениннице», – такое же холодное, не согретое истинным чувством, как и его отношение к ней самой. К ней же обращено цинично-озорное стихотворение:

*Увы, напрасно деве гордой
Я предлагал свою любовь!
Ни наша жизнь, ни наша кровь
Ее души не тронет твердой!
Одним страданьем буду сыт,
И пусть мне сердце скорбь раскол-
лет.
Она на щепочку на...,
Но и понюхать не позволит.*

Мы думаем, что к ней же обращен черно-вой отрывок от 1825 г.:

*Но ты забудь меня, мой друг,
Забудь меня, как забывают
Томительный, печальный сон...*

С наибольшей вероятностью к Анне же Николаевне можно отнести следующее неотделанное стихотворение Пушкина (1825):

*Я был свидетелем златой твоей
весны,
Тогда напрасен ум, искусства не*

нужны,
И самой красоте семнадцать лет
замена.
Но время протекло, настала пе-
ремена,
Ты приближаешься к сомнитель-
ной поре,
Как меньше женихов толпятся
на дворе,
И тише звук похвал твой слух об-
ворожает,
А зеркало сильнее грозит и упре-
кает.
Что делать... утешься и смирись,
От милых прежних прав заранее
откажись,
Ищи других побед, – успехи пред
тобою,
Я счастья тебе желаю всей ду-
шою,
.....а опытов моих,
Мой дидактический, благоразум-
ный стих.

Пушкин познакомился с Анной Николаев-
ной летом 1817 г., когда по окончании лицея,
приезжал погостить к родителям в Михай-
ловское. Анне Николаевне было тогда как раз

семнадцать лет (родилась 10 декабря 1799 г.). Во время написания стихотворения ей было уже двадцать шесть.

**Евпраксия Николаевна Вульф
(1809–1883)**

Еuphrosine, Зина, Зизи. Младшая сестра Анны и Алексея Вульфов. В 1824–1826 гг., в пору пребывания Пушкина в псковской ссылке, она была еще подростком, на глазах Пушкина расцветшим в хорошенькую девушку. «Кудри золотисты на пышных склонах белых плеч» (Языков), «полувоздушная дева» (Пушкин), стройной талией, о которой Пушкин вспоминает в пятой главе «Онегина»:

*...строй рюмок узких, длинных,
Подобных талии твоей,
Зизи, кристалл души моей,
Предмет стихов моих невинных,
Любви приманчивый фиал, –
Ты, от кого я пьян бывал!*

Пушкин в это время полушутливо ухаживал за Зиной, также и Языков, когда гостил в Тригорском. Избалованная ухаживаниями, она позволяла себе капризничать, рвала стихи, которые ей писали оба поэта. Пушкин со-

общал брату: «Евпраксия дуется и очень мила», – а самой ей писал:

*Вот, Зина, вам совет: играйте,
Из роз веселых заплетайте
Себе торжественный венец –
И впредь у нас не разрывайте
Ни мадригалов, ни сердец.*

В знойное лето 1826 г., когда в Тригорском гостил Языков, Зина после обеда варила жженку трем приятелям – Пушкину, Языкову и брату Алексею – и сама разливала ее по стаканам серебряным ковшиком на длинной ручке. Языков вспоминает:

*Как хорошо тогда мы жили!
Какой огонь нам в душу лили
Стаканы жженки ромовой!
Ее вы сами сочиняли:
Сладка была она, хмельна;
Ее вы сами разливали, –
И горячо пилась она!..
Примите ж ныне мой поклон
За восхитительную сладость
Той жженки пламенной, за звон,
Каким звучали те стаканы,
Вам похвалу; за чистый хмель,
Каким в ту пору были пьяны*

У вас мы ровно шесть недель...

В 1826 г. Пушкин уехал из Михайловского. Через полтора года прислал Евпраксии экземпляр только что вышедших четвертой, пятой глав «Онегина» с надписью: «Евпраксии Николаевне Вульф от автора. Твоя от твоих». Как раз в пятой главе находится вышеприведенное уподобление бокалов талии Зины. Пушкин крутился в вихре петербургской и московской жизни, влюблялся направо и налево, изредка наезжал в деревню, там встречался с Евпраксией. Постепенно отношения с ней становились ближе и интимнее. Алексей Вульф в старости рассказывал М. И. Семевскому, что Пушкин был пламенным обожателем Евпраксии. Имя «Евпраксеи» стоит в «донжуанском списке» Пушкина, притом в первом его отделе, куда занесено шестнадцать имен женщин, которых он любил всего глубже и сильнее, – Бакунина, Ризнич, Воронцова, Ушакова, таинственная NN.. Гончарова и другие. Слухи о любви Пушкина к Евпраксии дошли в 1831 г. даже до молодой его жены, и она ревновала его к старой любви. Расцвет любви этой можно отнести к 1828–1829 гг. Алексей

Вульф в это время записал в дневнике: «По разным приметам судя, и молодое воображение Евпраксии вскружено неотразимым Мефистофелем (Пушкиным)». В начале 1829 г. в селе Павловском, имении одного из дядей Евпраксии, гостила молодая поповна Екатерина Евграфовна Смирнова, впоследствии в замужестве Синицына. Там же в то время гостили Пушкин и Евпраксия с матерью. Синицына рассказывает: «Когда мы пошли к обеду, Александр Сергеевич предложил одну руку мне, а другую Евпраксии Николаевне, бывшей в одних летах со мною. За столом он сел между нами и угощал с одинаковою ласковостью как меня, так и ее. Когда вечером начались танцы, то он стал танцевать с нами по очереди – протанцует с ней, потом со мной, и т. д. Осипова рассердилась и уехала. Евпраксия Николаевна почему-то ходила с заплаканными глазами. Может быть, и потому, что Пушкин после обеда вынес портрет какой-то женщины и восхвалял ее за красоту; все рассматривали его и хвалили. Может быть, и это тронуло ее, – она на него все глаза проглядела». После смерти Евпраксии Николаевны

дочь ее, по завещанию матери, сожгла письма к ней Пушкина.

Многоликий Протей-Пушкин и в любви к женщинам был Протеем. Перед нами то дерзкий и бесстыдный сатир, то застенчивый до смешного мальчик, то «рыцарь бедный», пламенеющий чистой любовью к той, «кого называть не смеет». Каковы же были его отношения с Евпраксией? Судя по некоторым данным, отношения эти были такие же интимно-близкие, какие раньше были у Пушкина со старшей сестрой Евпраксии, а у Вульфа – с рядом его молоденьких кузин. Опытный в таких делах глаз Алексея Вульфа отмечает у сестры «расслабление во всех движениях, которое ее почитатели называли бы прелестною томностью, – мне же это показалось похожим на положение Лизы Полторацкой, на страдание не от совсем счастливой любви, в чем я, кажется, не ошибся».

Во всяком случае, Евпраксия Николаевна знает о Пушкине в области этих отношений до странности много. В 1835 г. она рассказывает в письме к брату, с каким нетерпением поджидал Пушкин их замужнюю сводную

сестру Сашеньку Беклешову (Осипову), «надеясь, кажется, что пылкость ее чувств и отсутствие мужа разогреет его состарившиеся физические и моральные силы». А через год выражает радость, что молодая ее сестренка Маша предпочла поэту некоего Шенига, который никогда не «воспользуется ее благорасположением, что об Пушкине никак нельзя сказать». Евпраксия Николаевна до конца жизни была очень дружественно расположена к Пушкину; но каждый раз, когда относительно его заходит разговор об этой области отношений, в тоне ее неизменно звучит та же затаенная насмешка и враждебность, как и у ее брата Алексея.

8 июля 1831 г. Евпраксия Николаевна вышла замуж за барона Б. А. Вревского. Пушкин бывал у них в их имении Голубове. В 1835 г. он писал жене: «Вревская очень добрая и милая бабенка, но толста, как Мефодий, наш псковский архиерей. И не заметно, что она уже не брюхата: все та же, как тогда ты ее видела». А через год писал Языкову: «Поклон вам от Евпраксии Николаевны, некогда полувоздушной девы, ныне дебелой жены, в пя-

тый раз уже брюхатой, и у которой я в гостях». Пушкин скучал у Вревских, его раздражали вечные крик и плач ребят, коробили беспрестанные беременности хозяйки. Он ей сказал как-то:

– Как это смешно!

Евпраксия ответила, что с возвращением Пушкина в Петербург то же самое окажется и с его женой, и не ошиблась. Однако отношения их были дружески настолько, что Пушкин делился с Евпраксией Николаевной многими даже интимными переживаниями: она, например, одна из немногих была посвящена Пушкиным в его запутанные преддуэльные отношения и в самый факт посланного им Геккеренам вызова.

Исследователи утверждают, что Евпраксия Вульф послужила для Пушкина в «Онегине» оригиналом, – одни говорят – Татьяны, другие – Ольги, вторую из героинь относя к ее сестре Анне. Вопрос решается просто: и в Евпраксии, и в Анне очень мало было черт как Татьяны, так и Ольги, художественный образ – не фотография, и приурочение к нему определенного «прототипа» – вещь в боль-

шинстве случаев бесплодная.

**Барон Борис Александрович Вревский
(1805–1888)**

Муж Евпраксии Николаевны Вульф. Побочный сын князя Ал. Бор. Куракина, вице-канцлера, посла в Вене и Париже. Фамилию свою Вревский получил от погоста Вревского Псковской губернии, а баронский титул отец выхлопотал ему у австрийского императора. Псковский помещик. Обучался в университетском Благородном пансионе вместе с братом Пушкина Львом. В 1831 г. женился на Евпраксии Вульф. Жили они в своем имении Голубове, верстах в тридцати пяти от Тригорского. В 1836 г. Пушкин проводил осень в Михайловском и бывал у Вревских, принимал горячее участие в устройстве сада и в постройках; сам копал грядки, сажал цветы, рассадил множество деревьев, даже принимал участие в рытье пруда.

**Александра Ивановна Осипова
(1864–?)**

Алина. Падчерица Прасковьи Александровны Осиповой, дочь второго ее мужа от первого его брака, росла и воспитывалась в

Тригорском вместе с дочерьми Прасковьи Александровны. В 1824 г. Пушкин написал ей следующее стихотворение:

*Я вас люблю, хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь!
Мне не к лицу и не по летам...
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей:
Без вас мне скучно, – я зеваю;
При вас мне грустно, – я терплю;
И мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!
Когда я слышу из гостиной
Ваш легкий шаг, иль платья шум,
Иль голос девственный, невинный,
Я вдруг теряю весь свой ум.
Вы улыбнетесь – мне отрада;
Вы отвернетесь – мне тоска;
За день мучения – награда
Мне ваша бледная рука.
Когда за пальцами прилежно
Сидите вы, склонясь небрежно,
Глаза и кудри опустя, –
Я в умиление, молча, нежно
Любуюсь вами, как дитя!..*

Сказать ли вам мое несчастье,
Мою ревнивую печаль,
Когда гулять, порой, в ненастье,
Вы собираетесь вдаль?
И ваши слезы в одиночку,
И речи в уголку вдвоем,
И путешествие в Опочку,
И фортепьяно вечерком?..
Алина, сжальтесь надо мною!
Не смею требовать любви:
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Все может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня нетрудно!..
Я сам обманываться рад!

Подчеркнутые фразы говорят о том, что у Пушкина был в этой любви счастливый соперник. Теперь из дневника Алексея Вульфа мы знаем, что этим соперником был он – всегдашний счастливый соперник Пушкина в любовных делах. В 1824 г. их роман только что начинался, но Пушкин ревниво отмечал уже и дальние их прогулки в осеннее ненастье, и одиночные слезы девушки, и «речи в уголку вдвоем». Под настроением этой «рев-

нивой печали», возможно, Пушкин написал и свое «Подражание А. Шенье»:

Ты вянешь и молчишь; печаль те-
бя снедает;
На девственных устах улыбка за-
мирает,
Давно твоей иглой узоры и цветы
Не оживлялися. Безмолвно лю-
бишь ты
Грустить. О, я знаток в девиче-
ской печали;
Давно глаза мои в душе твоей чи-
тали.
Любви не утаишь: мы любим, и
как нас,
Девуцы нежные, любовь волнует
вас.
Счастливы юноши! Но кто, ска-
жи, меж ними,
Красавец молодой с очами голу-
быми,
С кудрями черными?.. Краснеешь?
Я молчу,
Но знаю, знаю всё; и если захочу,
То назову его...

Увенчание роман Алексея с Сашенькой по-
лучил в конце 1826г., когда Пушкин уже

уехал. Вульф применил на Сашеньке ту «науку любви», которую не раз применял и к ряду своих кузин, – «то есть, – как выражается он в своем дневнике, – до известной точки пользоваться везде и всяким образом наслаждениями вовсе не платоническими». После года «спокойных наслаждений» такого рода Вульф уехал в Петербург, оставив Сашу в слезах и горе. В конце 1828 г. он приехал в родные края, волочился за новыми красавицами, но, наталкиваясь на неудачи, возвращался к Саше. «Зато, – пишет он в дневнике, – возвращаясь с бала домой в одной кибитке с Сашей, мы с нею вспоминали старину». Вульф поступил в гусары и уехал в Западный край. В 1833 г. Сашенька вышла замуж за псковского полицеймейстера, подполковника П. Н. Беклешова. Перед замужеством она говорила, что ненавидит Вульфа, и ругала его. Брак Александры Ивановны был очень несчастлив. По сообщению М. Л. Гофмана, она бедствовала и «развлекалась» и в Пскове, и в Тригорском, и в Новой Ладогe, и в Минской губернии. Одна из ее сестер в 1843 г. писала: «Муж с ней иначе не говорит, как бранясь так, как бы бранился са-

мый злой мужик. Дети, разумеется, ее ни во что не ставят. Это решительно ад». Какие после замужества были ее отношения с Пушкиным, – неизвестно. Знаем только, что в сентябре 1835 г. Пушкин, находясь в Михайловском, настойчиво звал Александру Ивановну приехать и писал: «У меня для вас три короба признаний, объяснений и всякой всячины. Можно будет, на досуге, и влюбиться». Имел ли Пушкин основания рассчитывать на благосклонность Сашеньки, мы не знаем. Но если да, то и тут ему, как с А. П. Керн, приходилось допивать стакан, начатый Алексеем Вульфом. Отметим в заключение загадочную, непонятную фразу в письме Анны Николаевны Вульф к сестре: Пушкин, пишет она, – «был доброй и злой звездой Беклешовой». В старости, в 60-х гг., А. И. Беклешова была учительницей музыки в псковском мариинском училище.

**Мария Ивановна Осипова
(1820–1895)**

Дочь Прасковьи Александровны от второго брака. Когда Пушкин жил в псковской ссылке, Маша была еще совсем маленькой де-

вочкой. Пушкин с ней играл, гонялся за ней, грозя длинными ногтями. Когда подросла и начала учиться, Пушкин помогал ей в переводах с немецкого, защищал от нелепых педагогических требований матери. Прасковья Александровна, например, засадила девочку зубрить наизусть тяжеловесную русскую грамматику Ломоносова. Маша взмолилась к Пушкину о заступничестве. Пушкин стал убеждать мать в ненужности такого изучения и окончательно убедил ее таким доводом:

– Я вот отродясь не учил грамматики и никогда ее не знал, а, слава Богу, пишу помаленьку и не совсем безграмотен.

Маша была бойкая и озорная девочка, любила задирать Пушкина. Раз даже очень больно уколола: вырезала из темной бумаги обезьяну, наклеила ее и стала картинкой дразнить Пушкина. Он страшно рассердился, но потом вспомнил, что имеет дело с ребенком, и сказал:

– Вы юны, как апрель.

Выросши, стала хорошенькой девушкой. Поразительно была похожа на свою старшую

единокровную сестру Александру Ивановну как наружностью, так и «воображением и пылкостью чувств». На шестнадцатом году, когда осенью 1835 г. Пушкин жил в Михайловском, она сильно было увлеклась им, но потом предпочла соседнего помещика Николая Игнатьевича Шенига. Сестра ее Евпраксия была рада этой перемене, потому что, как писала она брату, – «Ник. Игн. никогда не воспользуется ее благорасположением, что об Пушкине никак нельзя сказать». А старшая сестра Анна Вульф удивлялась: «Как мог Николай Игнатьевич заставить Машу забыть Пушкина? Она начинает все с женатых людей».

В 1842 г., уже после смерти поэта, за Машей одновременно ухаживали дряхлый старик-отец его Сергей Львович и младший брат, бравый Левушка. Старик негодовал на соперничество сына и искренне недоумевал, как можно сына предпочесть отцу. А Маша сильно увлеклась Львом и говорила, что «быть ей за Львом или ни за кем, что для ее существования ей необходимо быть с ним неразлучной, не быв даже его женою, и мысль разлу-

читься с ним для нее нестерпима». Лев соби-
рался просить ее руки и только ждал места,
чтобы получить обеспечение. Но, видимо,
слишком пылкая страсть Маши охладила его.
«Несчастливая ревность Маши совсем его разо-
чаровала, – пишет баронесса Евпраксия Нико-
лаевна, – он видит теперь в ней, кроме физи-
ческих недостатков, и моральные, утверждая,
что у нее нрав нехорош. Она же совсем нерас-
четлива, возбуждая в нем, по-моему, вовсе не
лестные чувства, ни в чем не отказывает, от-
чего он теперь ее даже бежит, боясь послед-
ствий, которые заставят его жениться на
ней... Был Сергей Львович, и так ему не по-
нравилось Машино обхождение со Львом, что
возвратился ко мне из Тригорского совсем
разочарованный». Лев уехал, не сделав пред-
ложения. Тогда поспешил сделать предложе-
ние отец. Наталья Николаевна, вдова поэта,
смеясь, уговаривала Машу выйти за старика
и говорила, что предпочитает иметь свекро-
вью Машу, чем дочь Анны Петровны Керн Ка-
теньку, которой тоже сделал предложение
«старый селадон», как его звала Маша. Через
год Лев женился в Одессе. С этой вестью отец

его поспешил к Маше. «Хотя совестно сознаться, – пишет Маша, – но грустно мне было, когда я узнала о его женитьбе. Видно, память о нем глубже запала в сердце, чем я сама думала. Сергей Львович мне гадок; он радовался, думая мне отомстить и торжествовать, воображая, как мне больно будет слышать, что сын его женится. Но не удалось ему насладиться мщением: я с таким участием и спокойствием спрашивала его о подробностях, что он и теперь все рассуждает, притворство ли это или равнодушие. Мне он так противен, что я и пахитосов от него не беру, не только билет ложу или что-нибудь такое».

Умерла незамужней. Анненков с чьих-то слов записал о ней: «жизнь ее несчастна от распутства. Осталась в девках». В качестве помещицы с. Тригорского показала себя очень рачительной хозяйкой. После освобождения крестьян в 1861 г. засыпала начальствующих лиц и учреждения жалобами на «беспорядки», чинимые крестьянами, слишком лениво обрабатывающими ее земли, и доносами на мировых посредников, потакающих в этом крестьянам.

Николай Игнатьевич Шениг (1795–1860)

Отставной гвардии полковник. Помещик сельца Духова близ г.Острова, был женат на баронессе Сердобиной, единокровной сестре барона Б. А. Вревского. В сороковых годах состоял помощником попечителя дерптского учебного округа.

Екатерина Ивановна Осипова (1823–1908)

Младшая дочь Прасковьи Александровны. Когда летом 1825 г. мать уехала в Ригу, Пушкин проводывал ребенка в Тригорском, уведомлял мать, что девочка здорова и очень хорошенькая. Ребенком Катя часто играла с Пушкиным в прятки; он залезал под диван, и она никак не могла его оттуда вытащить. По ее воспоминаниям, Пушкин был необыкновенно веселый, игривый, находчивый и милый, любил детей, умел говорить с ними и охотно играл.

Восемнадцать лет Екатерина Ивановна вышла замуж за соседнего помещика В. А. Фока, владельца сельца Лысая гора, верстах в двух от Тригорского. Брак, по черновой запи-

си Анненкова, был несчастлив.

Екатерина Васильевна Вельяшева (1813 – после 1860)

Дочь старицкого исправника Вас. Ив. Вельяшева, женатого на Наталье Ивановне Вульф, тетке молодых тригорских Вульфов. Семья была дружная, после двадцати лет супружества жена так же страстно любила мужа, как и в первый год. Всех четырех детей родители любили нежно, и любили одинаково. Небольшое имение Натальи Ивановны было очень расстроенное. В декабре 1829 г. Алексей Вульф после годовой отлучки приехал из Петербурга в Старицу. «Катенька Вельяшева, – пишет он в дневнике, – за один год, который я ее не видел, из четырнадцатилетнего ребенка расцвела прекрасною девушкою, лицом хотя не красавицей, но стройной, увлекательной в каждом движении, прелестною, как непорочность, милою и добродушною, как ее лета». Эти святки проходили в Старице очень весело. Съехались окрестные помещики, съехались офицеры-улань расквартированного в уезде полка. Прасковья Александровна Осипова привезла взрослых

своих дочерей и наняла на время праздников целый дом. Каждый день были балы. Алексей Вульф усердно танцевал, ухаживал за барышнями и особенно отличил своим вниманием Катю Вельяшеву. Ухаживания его всегда имели определенную цель – достигнуть интимных отношений отнюдь не платонического свойства. Он в этом отношении был известен по всей округе, о нем шла молва, что он «любит влюблять в себя молодых барышень и мучить их». Однако чистая Катя Вельяшева не пошла навстречу его ухаживаниям. После Крещения в Старицу приехал Пушкин. «Он принес в наше общество немного разнообразия, – пишет Алексей Вульф в дневнике. – Его светский блестящий ум очень приятен в обществе, особенно женском. С ним я заключил оборонительный и наступательный союз против красавиц, отчего его и прозвали сестры Мефистофелем, а меня Фаустом. Но Гретхен (Катенька Вельяшева), несмотря ни на советы Мефистофеля, ни на волокитство Фауста, осталась холодною: все старания были напрасны».

Насколько можно разобраться в противо-

речивых свидетельствах, Пушкин, с одной стороны, озорно поощрял домогательства Вульфа, стыдил его за недостаток предприимчивости, с упреком приводил стих из «Горя от ума»: «Эх, Александр Андреич, дурно, брат!» С другой стороны, Пушкина трогала чистота юной девушки, и он, вместе с другим ее двоюродным братом, уланом Иваном Петровичем Вульфом, все время держался около Кати, стараясь не оставлять ее наедине с Алексеем.

В середине января 1829 г. Пушкин уехал в Петербург и в дороге сочинил такие стихи к Е. В. Вельяшевой:

*Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса,
И вспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.
Хоть я грустно очарован
Вашей девственной красой,
Хоть вампиром именован
Я в губернии Тверской,
Но колен моих пред вами
Преклонить я не посмел
И влюбленными мольбами
Вас тревожить не хотел.
Упиваясь неприятно*

*Хмелем светской суеты.
Позабуду, вероятно,
Ваши милые черты,
Легкий стан, движений строй-
ность,
Осторожный разговор,
Эту скромную спокойность,
Хитрый смех и хитрый взор.
Если ж нет... по прежню следу
В ваши мирные края
Через год опять заеду
И влюблюсь до ноября.*

Осенью 1829 г. Пушкин действительно посетил опять тверские края и писал А. Вульф из Малинников: «Гретхен хорошеет и час от часу становится невиннее». В 1833 г. он писал жене из с. Павловского, куда заехал к Павлу Ивановичу Вульф: «Вельяшева, мною некогда воспетая, живет здесь в соседстве; но я к ней не поеду, зная, что тебе было бы это не по сердцу».

В 1834 г. Е. В. Вельяшева вышла замуж за уланского офицера А. А. Жандра. Алексей Вульф, видевший их вскоре после свадьбы, писал сестре: «Катенька дурнеет, а муж ее страсть имеет особенную ездить на козлах и

неприлично ревнив». Анна же Николаевна Вульф в 1836 г. писала про Вельяшеву: «Она, мне кажется, почти совсем не переменилась и, кажется, очень довольна своей судьбой».

Иван Петрович Вульф
(1788 или 1789–?)

Сын Петра Ивановича Вульфа, двоюродный брат Алексея Вульфа. Зимой 1828/1829 гг. был офицером уланского полка, стоявшего в родных его местах. «Он очень хороший человек, – пишет о нем А. Вульф, – с умом и способностями, которые не имел случая развернуть, живучи с самого выхода из корпуса пажей здесь в деревне. К несчастью моему, несмотря на тридцать лет, он влюбился в свою пятнадцатилетнюю кузину Катеньку Вельяшеву по уши. Катенька занята любовью Ивана Петровича, хотя не разделяет ее. Тридцатилетний юноша очень забавен своею страстью; я его вчера взбесил, сказав, что он влюблен; он считает за недостойное влюбиться и никак не хочет сознаться в своей страсти. Целые дни он проводит, сидя рука в руку или играя в шашки с прелестницею своею». Алексей Вульф, – сначала один, а потом, по

приезде в Старицу Пушкина, вместе с ним, – забавлялся, беся Ивана Петровича своими ухаживаниями за Катенькой, и довел скромного улана до полного отчаяния; он твердил, что в мире все химера, что он поедет воевать с турками, и образ действий Алексея и Пушкина почему-то называл «американским». Алексею удалось успокоить Ивана Петровича и помириться с ним. Однако, видимо, хорошо зная повадки Алексея, он за все время пребывания своего кузена в Старице, не отходил от девушки, оберегая ее от поползновений Алексея.

Петр Иванович Вульф (1768–1832)

Отец предыдущего, самый старший из стариков-братьев Вульфов. Характера был тяжелого и высокомерного. Воспитывался вместе с братом Николаем у М. Н. Муравьева, наставника Александра Павловича, а потом служил кавалером при дворе великого князя Николая Павловича. На этом основании он возымел столь высокое мнение о себе, что, живя в деревне в нескольких верстах от всей родни, ни к кому не ездил и сердился, что дети его

часто бывают у родственников.

Павел Иванович Вульф
(1775–1858)

Один из дядей тригорской молодежи. Владелец села Павловского (Подлизева) в Старицком уезде Тверской губернии. Служил в лейб-гвардии Семеновском полку, в 1797 г. вышел в отставку подпоручиком и поселился в деревне. Сделал кампанию 1812 г. в тверском ополчении, привез с собой из-за границы сожительницу, немку Фридерiku, и через несколько лет женился на ней. Сделавшись хозяйкой, Фридерика завела в доме немецкий порядок, производивший очень приятное впечатление на всех приезжавших. Детей у них не было, жили они без лишних прихотей, по состоянию. Сам Павел Иванович был человек очень добрый и необычайно флегматичный. Пушкин говаривал про него: «На Павла Ивановича упади стена, – он не подвинется, право, не подвинется!» Алексей Вульф так характеризует общий стиль жизни своих дядюшек-помещиков: «Они съезжаются раз или два в неделю, проводят время или в рассказах о своем хозяйстве, которым ни один порядоч-

но не занимается, или в неразорительной игре в вист. Мало занимаясь тем, что делается за границею их имений, проводят они дни в спокойной бездеятельности. Не получив в молодости порядочного воспитания и живши всегда почти в деревне, они очень отстали своим образом мнений, почему каждый и имеет свой запас устарелых предрассудков, которые только умеряются всем им общим добродушием».

Конец Святки 1829 г. Пушкин проводил в Старице, усердно посещал балы, танцевал, ухаживал за барышнями, – он долго впоследствии вспоминал это веселое время. По окончании праздников Пушкин и Алексей Вульф, захватив по бутылке шампанского, которое морозили, держа на коленях, поехали к Павлу Ивановичу в Павловское. У Павла Ивановича Пушкин прожил несколько дней. Вставал он по утрам часов в девять-десять и в спальне у себя пил кофе, потом выходил в общие комнаты, иногда с книгой в руках. Иногда отправлялся к соседним помещикам, если оставался дома, то играл с Павлом Ивановичем в шахматы. Павла Ивановича он сам в

это время научил играть, но тот очень скоро стал обыгрывать Пушкина. Пушкин при проигрыше сильно горячился. Однажды вскочил на стул и закричал:

– Ну, разве можно так обыгрывать учителя! Никогда не буду играть с вами, это ни на что не похоже!

Много играл Пушкин и в вист. По вечерам часто угощали его клюквой, которую он особенно любил; клюкву с сахаром ставили ему на блюдечке. Все относились к Пушкину с благоговением. Павел Иванович считал его посещение за большое удовольствие и честь для себя.

В августе 1833 г. Пушкин, по дороге в Ярополец, имение своей тещи, заехал в Павловское. «В восемь часов вечера, – писал он жене, – приехал я к доброму моему Павлу Ивановичу, который обрадовался мне, как родному. Здесь я нашел большую перемену. Назад тому пять лет Павловское, Малинники и Берново наполнены были уланами и барышнями, но уланы переведены, а барышни разъехались; из старых моих приятельниц нашел я одну белую кобылку, на которой и съездил в Ма-

линники; но и та уж подо мною не пляшет, не бесится, а в Малинниках вместо всех Анет, Евпраксий, Саш, Маш и т. д. живет управитель Прасковьи Александровны Рейхман, который попотчевал меня шнапсом».

Несмотря на скромный образ жизни, Павел Иванович вследствие обычного неумения хозяйничать под конец жизни разорился и умер в бедности.

Екатерина Евграфовна Смирнова (1812–1886)

Впоследствии в замужестве – Синицына. Дочь тверского священника, уроженца вульфовских поместий. Он был знаток гражданских законов и часто хлопотал по делам Вульфов в тверских судебных местах. После его смерти Павел Иванович Вульф взял у матери на воспитание ее одиннадцатилетнюю дочь Катю. Павел Иванович и жена его Фридерика Ивановна сначала хотели воспитать ее как барышню, выучить языкам и т. п., но по совету одной знакомой ограничились тем, что дали ей начальное образование; но любили ее, как дочь. Через три года мать взяла ее к себе в Тверь, однако иногда девушка ездила

гостить в Павловское. В январе 1829 г. она там встретилась с Пушкиным. Пушкин приехал из Старицы вместе с Вульфом; они привезли с собой вина и за ужином подпоили жену Павла Ивановича, Фридерiku Ивановну, и молоденькую поповну. Много танцевали, дурачились, ухаживали за девушкой. На следующий день за обедом подали клюквенный кисель. Поповна в восторге крикнула на весь стол:

– Ах, Боже мой! Клюквенный кисель!

Пушкин вскочил со стула и сказал:

– Павел Иванович! Позвольте мне ее поцеловать!

– Ну, брат, это уж ее дело, – ответил Павел Иванович.

Пушкин обратился к Кате:

– Позвольте поцеловать вас!

В качестве воспитанной барышни поповна ответила:

– Я не намерена вас целовать.

– Ну, позвольте хоть в голову!

Взял ее голову руками, пригнул и поцеловал. В Павловском в это время гостила и Прасковья Александровна Осипова с дочерью Евпраксией. Она была очень недовольна, что

здесь наравне с ее дочерью принята какая-то поповна, и высказала хозяевам свое неудовольствие. Однако Пушкин заступился за девушку. Он оказывал ей одинаковое внимание с Евпраксией, танцевал по очереди то с одной, то с другой, за ужином сидел между ними и с одинаковой ласковостью угощал обеих. Осипова рассердилась и уехала.

Пушкин продолжал ухаживать за смешной, невоспитанной, но милой молодой поповной. Вдруг подойдет к ней:

– Ну, Катерина Евграфовна, нельзя ли нам с вами для аппетита протанцевать казак-вальс.

Иногда вскочит из-за обеда или ужина:

– Ну, вальс-казак-то мы с вами, Катерина Евграфовна, уж протанцуем!

И они начинали кружиться в вальсе.

Между тем Алексей Вульф, видя, что в первый вечер их знакомства поповна очень благосклонно отнеслась к его ухаживаниям, решил действовать энергично. Через несколько дней он из Малинников опять приехал в Павловское. Весь вечер любезничал с поповной. Разошлись. Девушка спала в одной комнате

со старушкой-прислугой. Вдруг ночью просыпается, чувствует, кто-то ее обнимает, к голове прижимается чья-то голова. Девушка в ужасе вскрикнула:

– Ай! Что вы?

Перед ее кроватью стоял на коленях Алексей Вульф.

– Молчите, молчите, я сейчас уйду, – прошептал он и поспешно удалился.

Утром Фридерика Ивановна гадала на картах; загадала поповне.

– Ты, – говорит, – оскорблена трефовым королем.

Девушка заплакала и все ей рассказала. Павел Иванович был очень возмущен и сказал Алексею:

– Ты нанес оскорбление мне, убирайся из моего дома!

Пушкин был в восторге от поступка Екатерины Евграфовны и говорил:

– Молодец вы, Катерина Евграфовна! Он думал, что ему везде двери открыты, что нечего и предупреждать, а вышло не то!

Иван Иванович Вульф
(1776–1860)

В двадцати пяти верстах от уездного города Старицы, на берегу быстрой, мелководной речки Тьмы, раскинулась барская усадьба села Бернова. Огромный каменный дом в стиле русского ампира, в тридцать комнат; верхний этаж и мезонин во время Пушкина не были еще отделаны и стояли пустыми. Из большой гостиной в середине нижнего этажа стеклянные двери вели в сад. Сад большой, в двенадцать десятин, с чудесными липовыми аллеями, за ними – парк, а уж за парком – деревня. Владельцем имения был Иван Иванович Вульф, дядя молодых тригорских Вульфов. В молодости он служил в лейб-гвардии Семёновском полку, женился на богатой и хорошенькой девушке, порядком растряс свое состояние, вышел в отставку поручиком и поселился в деревне. Завел гарем из крепостных девушек, прижил с ними дюжину детей, а попечение о законных детях всецело предоставил жене Надежде Гавриловне. Весь ушедши в чувственность, он стал совершенно неспособным ни к чему другому. Такая жизнь, однако, не помешала ему прожить до 84 лет. Какие у него были отношения с семьей, мы не

знаем. Пушкин один только раз упоминает о нем в шутиливом письме к Алексею Вульффу осенью 1829 г.: «Иван Иванович на строгой диете: употребляет своих одалисок раз в неделю».

У берновских Вульфов было две дочери – Екатерина и Анна (Нетти) и три сына. Пушкин долго увлекался Нетти и охотно гащивал в Бернове дня по два, по три. По своему обыкновению, пил утром кофе в постели, в постели же и писал, положив бумагу на подогнутые колени. Стихов своих никогда не читал. Однажды хозяйка, Надежда Гавриловна, долго и настойчиво упрашивала Пушкина прочесть что-нибудь. Пушкин отказывался, наконец, как будто согласился, принес книгу, уселся и начал читать по стихам – псалтырь. Часто он большими шагами расхаживал по гостиной, вполголоса разговаривая с собеседником, – чаще, впрочем, с собеседницей. Старшее поколение, в общем, не особенно увлекалось стихами Пушкина, но женская молодежь была влюблена в его поэзию, а может быть, и в него самого, переписывала его стихи в альбомы, заучивала наизусть. Многие

робкие и наивные девушки из соседних поместий, несмотря на благоговение перед Пушкиным, боялись встречи с ним, зная, что у него острый и насмешливый язык.

Екатерина Ивановна Гладкова (1805–?)

Рожденная Вульф, дочь Ивана Ивановича Вульфа, двоюродная сестра Алексея Вульфа, жена майора Оренбургского уланского полка Як. Пав. Гладкова. «Моя холодная красавица», – называет ее Алексей Вульф. Она действительно была очень красивая, пышная молодая женщина. В другом месте дневника А. Вульф характеризует ее так:

*«Она проста, пуста, –
Но эти перси и уста,
Чего они не заменяют!
(Языков)»*

О своеобразных отношениях, бывших между ней и А. Вульфом, расскажем словами Вульфа, соединив в одно рассеянные в его дневнике упоминания о ней. «Эта женщина подходит ближе всех мною встреченных в жизни к той, которую бы я желал иметь женою. Недостает ей только несколько ума.

Несмотря на то что ее выдали замуж против воли, любит она своего мужа более, нежели другие, вышедшие замуж по склонности. Детей своих любит она нежно, даже страстно; живучи в совершенном уединении, она лучшие годы своей жизни посвящает единственно им и, кажется, не сожалеет о том, что не знает рассеянной светской жизни. Несмотря на пример своего семейства и на то, что она выросла в кругу людей, не отличавшихся чистотою нравственности (см. И. И. Вульф), она умела сохранить непорочность души и чистоту воображения и нравов. Приехав в конце 1827 г. в Тверь, напитанный мнениями Пушкина и его образом обращения с женщинами, предпринял я сделать завоевание этой добродетельной красавицы. Слух о моих подвигах любовных давно уже дошел и в глушь Берновскую. Письма мои к А. Ив. (Сашеньке Осиповой) ходили здесь по рукам и считались образцами в своем роде. Катерина рассказывала мне, что она сначала боялась приезда моего, так же как бы и Пушкина. Столь же неопытный в практике, сколько знающий теоретик, я первые дни был застенчив с нею и волочил-

ся, как 16-летний юноша. Я никак не умел постепенно ее развращать, врать ей, раздражать ее чувственность. Зато первая она стала кокетничать со мною, день за день я более и более успевал; от нежных взглядов я скоро перешел к изъяснениям в любви, к разговорам о ее прелестях и моей страсти; но трудно мне было дойти до поцелуев, и очень много времени мне это стоило. Живой же язык сладострастных осязаний я не имел времени ей дать понять. Я не забуду одно неприятное для меня после обеда в Бернове, где я тогда проводил почти все мое время. В одни сумерки, в осенние дни рано начинающиеся, она лежала в своей спальне на кровати, которая стояла за ширмами; муж ее сидел в другой комнате и нянчил ребенка; не смея оставаться с нею наедине, чтобы не родить в нем подозрения, ходил я из одной комнаты в другую, и всякий раз, когда я подходил к кровати, целовал я мою красавицу через голову, – иначе нельзя было потому, что она лежала навзничь поперек ее. С четверть часа я провел в этой роскошной и сладострастной игре. С первых дней она уже мне твердила о своей люб-

ви, но теперь уже от слова доходила до дела; даже в присутствии других девушек она явно показывала свое благорасположение ко мне. Если бы я долее мог остаться с нею, то, вероятно, я не шутя бы в нее влюбился, а это бы могло иметь весьма дурные следствия для семейственного ее спокойствия. Проживши полтора месяца с моею красавицею, с слезами на глазах мы расстались, – разумеется, мы дали обещание друг другу писать (я уже после первого признания написал ей страстное послание), и она его сдержала, написала ко мне несколько нежных писем, но потом, узнав, что я волочусь в Петербурге за другими, перестала отвечать на любовные мои послания». Через год Вульф приехал из Петербурга в те места и заехал в Берново. «Моя прелесть вспыхнула и зарумянилась, как роза, увидев меня. Я же заключил, что она еще не совершенно равнодушна ко мне, но несносная ее беременность препятствовала мне; когда женщина не знает, куда девать свое брюхо, то плохо за ней волочиться. Полюбовавшись на Катерину, я уехал... Потом еще раз ездил я в Берново. Неотлучный муж чрезвычайно ме-

шал мне; она твердила мне только об моей неверности и не внимала клятвам моим, хотела показать, будто меня прежде любила как братски (не очень остроумная выдумка), точно так же, как и теперь. Весьма ею недовольный, оставил я ее...» В 1829 г., уже гусаром, уезжая на службу в Польшу в свой полк, Вульф опять посетил родные места. «Я поехал в Берново осведомиться, что делает моя холодная красавица. Во время моего отсутствия она родила себе дочь. После родов она похоронилась, но так была занята своими детьми, что, казалось, ни о чем другом не заботилась. Я оставил ее, отчаявшись в успехе. Вот история моей любви с этой холодной прелестью».

Пушкин в Бернове не раз встречался с Гладковой. Вульф, вероятно, жаловался Пушкину на ее холодность и добродетельность Минервы. В 1829 г. Пушкин писал Вульфу из Малинников в обычном похабном стиле, усвоенном им в переписке с Вульфом: «В Бернове я не застал уже толсто...ую Минерву. Она с своим ревнивцем отправилась в Саратов».

Анна Ивановна Вульф

(?–1835)

Нетти. Дочь Ивана Ивановича Вульфа, помещика села Бернова, двоюродная сестра молодежи Тригорского, где часто гостила. Ясного о ней представления сохранившиеся сведения не дают. По отзыву ее брата, она была очень умная, образованная и симпатичная девушка, притом – красива. Пушкин обратил на нее внимание уже вскоре по приезде в Михайловское из Одессы. В марте 1825 г. он писал брату: «Я влюбился и миртильничаю. Знаешь кузину Анны Николаевны, Анну Ивановну Вульф? Ессе femina (Вот женщина)!» Вскоре он вступил с ней в нежную переписку, адресуя письма в Тригорское на имя подростка Евпраксии. Горячо любившая Пушкина Анна Николаевна Вульф весной 1826 г. с горечью писала ему: «Я была бы довольна вашим письмом, если бы не помнила, что вы в моем присутствии писали такие же, и даже нежнее, Анне Петровне Керн и даже Нетти». И в другом письме: «Получив мое письмо, вы восклицаете: «Ах, Господи, что за письмо, как будто от женщины!» и бросаете его, чтобы читать глупости Нетти». Увлечение Пушкина

Нетти продолжалось года четыре, но не было серьезным. Приедет в деревню, увидит Нетти – и влюбится. Уедет – забудет. Осенью 1829 г. он писал из Малинников Алексею Вульф: «Нетти, нежная, томная, истерическая, потолстевшая Нетти, – здесь, в Бернове. Вот уже третий день как я в нее влюблен... Недавно узнали мы, что Нетти, отходя ко сну, имеет привычку крестить все предметы, окружающие ее постель. Постараюсь достать, как памятник непорочной моей любви, сосуд, ею освященный». Алексей Вульф по поводу этого письма писал сестре: «Возвращение наших барышень, вероятно, отвлекло Пушкина от Нетти, которой он говорит нежности или относя их к другой, или от нечего делать».

К 1829 г. относят четырехстишие, написанное Пушкиным к Нетти Вульф:

*За Нетти сердцем я летаю
В Твери, в Москве, –
И Р., и О. позабываю
Для Н. и В.*

Р. – А. О. Россет, О. – А. А. Оленина, которыми Пушкин в это время увлекался в Петербурге.

В 1834 г. Нетти вышла замуж за военного инженера В. И. Трувеллера и через полтора года умерла от родов. Сестра Пушкина по этому поводу писала своему мужу: «...она была так счастлива и так хотела быть матерью».

Понофидины (Панафидины)

Павел Иванович Понофидин (1784–1869), отставной капитан-лейтенант флота, старицкий помещик, владелец имения Михайловского (Курова-Покровского), в восьми верстах от Бернова. Был женат на Анне Ивановне Вульф, тетке Алексея Вульфа. Алексей Вульф выделял Понофидина из среды других своих дядюшек, заскорузлых провинциальных медведей. «С здравым своим рассудком, – пишет он, – приобрел он познания, которые в соединении с его благородным и добрым нравом делают его прекраснейшим человеком и, по этим же причинам, счастливым супругом и отцом». Осенью 1828 г. Пушкин жил в Малиниках, имении П. А. Осиповой, много писал, наслаждался деревенской жизнью. Окрестные помещики ездили смотреть на прославленного поэта, как на редкую диковинку, наперерыв приглашали его к себе. Однажды бы-

ло сборище у соседа, – по-видимому, Павла Ивановича Вульфа в с. Павловском. Должен был приехать Пушкин. Собрались туда и Понофидины. Трое детей их, балованные мальчишки, тоже непременно хотели ехать. Мать принесла им изюму и черносливу и думала уехать тихонько от них. Но гостивший у Понофидина ее зять, старик Петр Маркович Полторацкий (отец А. П. Керн), шутник и озорник, прибежал к ребятам:

– Дети, дети, мать вас обманывает! Не ешьте черносливу, поезжайте с нею; там будет Пушкин: он весь сахарный, а зад у него яблочный; его разрежут, и всем вам будет по кусочку.

Дети разревелись:

– Не хотим черносливу, хотим Пушкина!

Нечего делать, их повезли. Пушкин рассказывает: «Они сбежались ко мне, облизываясь, но, увидев, что я не сахарный, а кожаный, со всем опешили».

**Анна Петровна Керн
(1800–1879)**

Имя ее неразрывно связано с Пушкиным, как имя женщины, вдохновившей его на

бессмертное стихотворение «Я помню чудное мгновенье». Дочь помещика Петра Марковича Полторацкого и его жены Екатерины Ивановны, рожденной Вульф. Девические годы провела преимущественно на Украине, в Лубнах, где отец ее был уездным маршалом (предводителем) дворянства. Там же, когда ей не было еще семнадцати лет, отец выдал ее за 52-летнего начальника дивизии, генерала Ермалая Федоровича Керна, грубого, взбалмошного и малообразованного солдафона. Жизнь молодой женщины была тяжелая и печальная.

Весной 1819 г. муж приехал с ней в Петербург хлопотать по поводу служебных неприятностей. В доме президента Академии художеств А. Н. Оленина, женатого на родной ее тетке, Елиз. Марк. Полторацкой, г-жа Керн впервые встретилась с девятнадцатилетним Пушкиным. Вечер был очень оживленный и веселый, Крылов читал свои басни, играли в шарady, в них участвовала и Анна Петровна. На Пушкина она не обратила никакого внимания, – как поэта, она, вероятно, в то время его и не знала. В одной из шарад Керн испол-

няла роль Клеопатры. Пушкин подошел к ней с ее двоюродным братом Александром Полторацким, посмотрел на корзину с цветами, которую держала красавица, и сказал, указывая на Полторацкого:

– А роль аспиды, конечно, будет играть этот господин?

Вопрос был двусмысленный, ядовитую змею Клеопатра заставила укусить себя в грудь. Анна Петровна справедливо нашла вопрос дерзким, ничего не ответила и отошла от Пушкина. Ужинали за маленькими столиками. Пушкин уселся с Полторацким позади г-жи Керн и старался обратить на себя ее внимание комплиментами по ее адресу:

– Позволительно ли быть до того прелестною!

Потом он завязал с Полторацким шуточный разговор – кто грешник и кто нет, кто будет в аду и кто попадет в рай. Пушкин сказал:

– Во всяком случае, в аду будет много хороших, там можно будет играть в шарады. Спроси у m-me Керн, хотела ли бы она попасть в ад.

Керн сухо ответила, что в ад она не желает.

Полторацкий спросил:

– Ну, как же ты теперь, Пушкин?

– Я раздумал. Я в ад не хочу, хотя там и будут хорошенькие женщины.

Вскоре ужин кончился, и стали разъезжаться. Когда Полторацкий сел с г-жой Керн в экипаж, Пушкин стоял на крыльце и провожал ее глазами.

Анна Петровна уехала из Петербурга. Пушкин держался с ней развязным мальчишкой, но в душе его глубоко залегло впечатление от ее сверкающей красоты, Девической чистоты ее облика и какой-то затаенной грусти: как будто что-то тяжелым крестом давило ее.

Он не ошибся: тяжелым крестом ее давила жизнь с мужем, смявшая всю ее душу. Анна Петровна его не выносила. В 1820 г., живя с мужем в Пскове, она писала в дневнике: «Его невозможно любить, мне не дано даже утешения уважать его; скажу прямо – я почти ненавижу его. Мне ад был бы лучше рая, если бы в раю мне пришлось быть вместе с ним». Страстные порывы неудовлетворенной женской души вылились в сентиментально-платоническое обожание молодого офицера, ко-

того Анна Петровна видела мельком всего несколько раз; он фигурирует в ее дневнике под именем Eglantine (шиповник) и Immortelle (бессмертник). Тем временем немощный ревнивец-муж, выбирая лучшее из зол, старался сосводничать жену со своим молодым племянником, самовлюбленным наглецом. Просвещал жену, что «всякого рода похождения простительны для женщины, если она молода, а муж стар, что иметь любовников недопустимо только в том случае, когда супруг еще в добром здоровье». Почти насильно приводил жену в комнату племянника, когда он, раздетый, лежал в постели, и сам уходил. Анна Петровна с негодованием отвергла домогательства племянника.

В 1823 г. генерал Керн был назначен комендантом в Ригу. Анна Петровна бросила его и уехала к родителям в Полтавскую губернию. В Лубнах она познакомилась с Арк. Гавр. Родзянкой, богатым полтавским помещиком и порнографическим поэтом, приятелем Пушкина по Петербургу. Вскоре она интимно сошлась с ним. Родзянко был, по-видимому, первым, к которому Анна Петровна на прак-

тике применила советы мужа. Ведя из Лубен переписку со своей тригорской кузиной Анной Николаевной Вульф, она в письмах часто спрашивалась о Пушкине, жившем в это время в Михайловском. Теперь она хорошо знала Пушкина как поэта и восторженно увлекалась им. Пушкин ею заинтересовался и в декабре 1824 г. писал Родзянке: «Объясни мне, милый, что такое А. П. Керн, которая написала много нежностей обо мне своей кузине? Говорят, она премиленькая вещь, но славны Лубны за горами. На всякий случай, зная твою влюбчивость и необыкновенные таланты во всех отношениях, полагаю дело твое сделанным или полу сделанным. Поздравляю тебя, мой милый». Дальше следовали уже совершенные непристойности; Пушкин просил Родзянку прочесть письмо Анне Петровне и узнать ее мнение насчет письма. Завязалась игривая переписка между Пушкиным, Родзянкой и Анной Петровной. Тон писем и стихотворных посланий Пушкина – развязно-фривольный. Пушкин знал своего приятеля Родзянку, которого называл Приапом, знал, что Анна Петровна ушла от мужа, и

представление о ней было у него определенное.

В июне 1825 г. Анна Петровна неожиданно приехала в Тригорское к тетушке своей Прасковье Александровне Осиповой; она направлялась в Ригу мириться с мужем. Сидели за обедом. Вдруг вошел Пушкин с толстой палкой в руках. Прасковья Александровна представила его Анне Петровне. Он очень низко поклонился, но не сказал ни слова; в его движениях была видна робость. Анна Петровна тоже растерянно молчала. Они не скоро ознакомились и заговорили. Г-жа Керн произвела на Пушкина очень сильное впечатление, — «глубокое и мучительное», как он ей писал впоследствии. Она была в полном расцвете своей блистательной красоты, окружена раздражающей атмосферой выбившейся на свободу, рвущейся к любви женщины. Прекрасные глаза ее смотрели с «терзающим и сладострастным выражением», она кружила голову и Пушкину, и двоюродному своему брату, дерптскому студенту Алексею Вульфу, и смешному, сладкому соседу-помещику Рокотову. Но в глазах ее по-прежнему была тайная

грусть, а в манере держаться – странная, чисто девическая застенчивость. Она прожила в Тригорском недели три-четыре. Пушкина целиком захватила любовь к ней. Но это была не легкая, игриво-веселая любовь, какой можно было бы ждать на основании их предыдущей переписки. Любовь была, как налетевший горячий вихрь, – сложная, с самыми противоположными переживаниями. Пушкин никак не мог взять с Анной Петровной ровного, определенного тона. Он нервничал, был то робок, то дерзок, то шумно весел, то грустен, то нескончаемо любезен, то томительно скучен. Все дни он проводил в Тригорском. Слушал с восхищением, как Анна Петровна пела венецианскую баркароллу, читал для нее недавно написанных своих «Цыган», смотрел, подавляя ревность, как за красавицей ухаживал Алексей Вульф.

Пришел последний вечер. Наутро Анна Петровна вместе с Прасковьей Александровной и ее старшей дочерью уезжала в Ригу. Ужинали. Пушкин был тут же. После ужина Прасковья Александровна предложила всем проехаться в Михайловское, к Пушкину. Пуш-

кин был в восторге. Поехали. Лунная июльская ночь дышала прохладой и ароматом зреющей ржи. Ехали в двух экипажах: в одном Прасковья Александровна с сыном Алексеем, в другом – г-жа Керн, Анна Николаевна Вульф и Пушкин. Пушкин был необычно оживлен, мягок и нежен. Шутил без острот и сарказмов, хвалил луну, не называл ее глупой, а говорил:

– Я люблю луну, когда она освещает прекрасное лицо.

Прозрачно признавался Анне Петровне в восторженной своей любви, не заботясь о том, что рядом сидела Аннета Вульф, которой это должно было быть очень тяжело. Говорил, что вот – они едут вместе, и он торжествует: воображает, как будто на крыльце у Олениных остался Александр Полторацкий, а он уехал с ней.

Приехали в Михайловское, но в дом не пошли. Прасковья Александровна сказала:

– Милый Пушкин, будьте любезным хозяином, покажите г-же Керн ваш сад.

Пушкин быстро подал руку Анне Петровне и побежал скоро-скоро, как ученик, неожи-

данно получивший позволение прогуляться. Они ходили вдвоем по темным липовым аллеям запущенного сада, спотыкались о камни и корни, которые, сплетаясь, вились по дорожкам. Один такой камень Пушкин поднял и спрятал на память; взял на память и веточку гелиотропа, приколотую к груди Анны Петровны. Он говорил непрерывно и оживленно, опять и опять возвращался к воспоминанию об их первой встрече.

Утром Пушкин пришел пешком в Тригорское и на прощание поднес Анне Петровне экземпляр второй главы «Онегина». В неразрезанных листах книги Анна Петровна нашла сложенный вчетверо листок почтовой бумаги со следующими стихами:

*Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.*

*В томленьях грусти безнадеж-
ной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.*

*Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.*

*В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.*

*Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.*

*И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.*

Анна Петровна собиралась спрятать подарок. Пушкин долго смотрел на нее, – вдруг судорожно вырвал листок и не хотел возвращать. Насилу она выпросила обратно.

Анна Петровна уехала. Она увозила с собой это стихотворение Пушкина, а вместе с ним другое – его послание к Родзянке. В послании Пушкин о том же «гении чистой кра-

соты» писал так:

*Хвалю, мой друг, ее охоту,
Поотдохнув, рожать детей,
Подобных матери своей;
И счастлив, кто разделит с ней
Сию приятную заботу;
Не наведет она зевоту,
Дай бог, чтоб только Гименей
Меж тем продлил свою дремо-
ту...*

*Благопристойные мужья
Для умных жен необходимы;
При них домашние друзья
Иль чуть заметны, иль незримы.
Поверьте, милые мои:
Одно другому помогает,
И солнце брака затмевает
Звезду стыдливую любви!*

Между Пушкиным и Анной Петровной началась переписка. Пушкин засыпал красавицу горячечно-страстными, совершенно сумасшедшими письмами. «Теперь ночь, и ваш образ стоит передо мной, полный грусти и сладострастной неги, – я будто вижу ваш взгляд, ваши полуоткрытые уста. Мне чудится, я у ног ваших, сжимаю их, ощущаю ваши

колени, – всю кровь мою я отдал бы за одну минуту действительности!.. Как можно быть вашим мужем? Этого я не могу себе представить, точно так же, как рая». Он убеждал ее приехать и поселиться с ним в Михайловском... Но увы! Из принимавшего поклонение славного поэта Пушкину пришлось превратиться в поклонника-неудачника. Анна Петровна восхищалась его стихами, но всю страсть свою отдала кузену-студенту Алексею Вульфу. Вульф вскоре поехал из Тригорского в Дерпт, но надолго задержался в Риге. Около трех недель он пробыл там в обществе Анны Петровны и добился полного успеха. Пушкин случайно узнал, что она говорит Вульфу «ты», негодовал, что Вульф так долго остается в Риге, убеждал Анну Петровну отослать его поскорее в его университет, ревновал, но был далек от мысли, что претендует на место уже занятое. Больно за Пушкина и комично, когда подумаешь, что страстные его письма читались красавицей только с самолюбивым тщеславием, а ласки свои, которых так бешено жаждал Пушкин, она в это время расточала другому.

Потом... Потом г-жа Керн окончательно порвала с мужем и поселилась в Петербурге. Вскоре приехал в Петербург и окончивший университет Алексей Вульф. Он дни и ночи проводил у г-жи Керн ее спокойным и признанным обладателем. Но они не мешали друг другу. Вульф очень не платонически ухаживал за ее сестрой, Лизой Полторацкой, за женой Дельвига. У Анны Петровны тоже разыгрывался целый ряд романов. Она кружила головы двум молодым кадетикам, племянникам Дельвига, сблизилась с бароном Полем Вревским, с каким-то Флоранским. По-видимому, их было уже много. И в числе этих многих оказался теперь и Пушкин. То, что три года назад закрутило бы Пушкина в огненном вихре непередаваемого блаженства, теперь, по-видимому, произошло просто и прозаически, – теперь это была мимолетная связь с «вавилонской блудницей», как назвал ее Пушкин.

После женитьбы Пушкина они почти перестали видеться. Г-жа Керн сильно нуждалась, муж никакой поддержки ей не оказывал. Пушкин через Е. М. Хитрово хлопотал – без-

успешно – об одном имущественном деле г-жи Керн. Но когда она для пропитания взялась за переводы и обратилась к Пушкину с просьбой устроить у книгопродавца Смирдина переведенный ею роман Жорж Санд, Пушкин, как он сообщал своей жене, поручил Анне Николаевне Вульф ответить ей, что если перевод ее будет так же верен, как сама она верный список с мадам Санд, то успех ее несомнителен, а что он со Смирдиным дела никакого не имеет. Конечно, джентльмен Пушкин не мог так грубо ответить г-же Керн, – не надо забывать, что пишет он это ревнивой своей жене, через руки которой получил записку г-жи Керн. Но что он решительно и без всяких церемоний отказался в этом деле помочь г-же Керн, подтверждается и свидетельством сестры Пушкина О. С. Павлицевой. Ввиду всегдашней отзывчивости Пушкина это странно.

Жизнь А. П. Керн могла бы дать прекрасный материал для тонко-психологического романа из жизни смятой женской души. Шестнадцати лет отданная родителями в законные наложницы потрепанному жизнью старику, она протомилась с ним несколько

лет, наконец вырвалась на волю и страстно бросилась в жизнь, навстречу тому, что могло бы утолить жадные запросы ее души и тела, равно жаждавших любви. Она любила многих, иногда, может быть, исключительно даже чувственной любовью; но никогда она не была «вавилонской блудницей», как назвал ее Пушкин, никогда не была развратницей. Каждой новой любви она отдавалась с пылом, вызывавшим полное недоумение в ее старом друге Алексее Вульфе. «Вот завидные чувства, которые никогда не стареют! – писал он в своем дневнике. – После столь многих опытностей я не предполагал, что еще возможно ей себя обманывать... Анна Петровна, вдохновленная своей страстью, велит мне благоговеть перед святыней любви!.. Пятнадцать лет почти непрерывных несчастий, уничижения, потеря всего, что в обществе ценят женщины, не могли разочаровать это сердце или воображение, – по сию пору оно как бы в первый раз вспыхнуло». В обществе на нее косились, лучшие из ее знакомых дам начинали ее сторониться, говорили: «Это – несчастная женщина, ее можно только жа-

леть». Но Анна Петровна всем этим пренебрегала. «Она смела в действиях», – писал про нее Пушкин. И жила на свой страх, шла своей дорогой:

*Когда твои молодые лета
Позорит шумная молва,
И ты по приговору света
На честь утратила права;*

*Один, среди толпы холодной
Твои страданья я делю
И за тебя мольбой бесплодной
Кумир бесчувственный молю.*

*Но свет... Жестоких осуждений
Не изменяет он своих:
Он не карает заблуждений,
Но тайны требует для них.*

*Достойны равного презренья
Его тщеславная любовь
И лицемерные гоненья:
К забвенью сердце приготовь;*

*Не пей мучительной отравы;
Оставь блестящий, душный круг;
Оставь безумные забавы:*

Тебе один остался друг.

Раньше это стихотворение Пушкина относили к А. П. Керн, но теперь, на основаниях, очень малоубедительных, считают обращенным к графине Агр. Фед. Закревской. Если уж приурочивать поэтические произведения к конкретным лицам и фактам, то скорее всего возможно отнести стихотворение именно к А. П. Керн: Закревская бравировала своим отношением к свету, дерзко смеясь, шла ему наперекор, – какие по отношению к ней возможны были утешения и «жаления»? Г-жа же Керн задирать никого не хотела и хотела только одного – чтобы ей предоставили жить, как она хочет. Пушкин называл ее «вавилонской блудницей» – верно. Но и несколько лет назад, когда он упорно добивался неплатонической благосклонности этой «премиленькой вещи», – он какой-то поэтической стороной души воспринял ее как «гений чистой красоты». Так и теперь. Пусть она по приговору света «на честь утратила права», – в высшем, поэтическом плане он отказывался клеймить ее «заблуждения», делил ее страдания и выступал против всех единственным другом за-

клеименной женщины.

Анне Петровне уже сорок лет. Начинается третий этап ее переменчивой жизни. В корпусе обучается кадетик Александр Васильевич Марков-Виноградский, троюродный ее брат. Он на двадцать лет моложе Анны Петровны. Страстно полюбили друг друга, сошлись. Он окончил корпус, вышел артиллерийским офицером. В 1846 г. умер муж Анны Петровны, генерал Керн. После него она получила хорошую пенсию. Вдова при новом замужестве теряла пенсию. Это не остановило Анну Петровну, – она обвенчалась с Марковым-Виноградским и, таким образом, лишилась пенсии. Отец, возмущенный ее браком, лишил Анну Петровну всякой материальной поддержки. Муж ее, еще до женитьбы вышедший из военной службы, служил в мелких должностях. Началась жизнь, полная нужды и лишений, но в то же время освященная самой горячей, неостывающей взаимной любовью. В нежной их влюбленности друг в друга было что-то комически-трогательное. В 1864 г. с ними познакомился И. С. Тургенев и писал г-же Виардо об Анне Петровне: «В молодости,

должно быть, она была очень хороша собой, и теперь еще, при всем своем добродушии (она не умна), сохранила повадки женщины, привыкшей нравиться... У нее есть муж, на двадцать лет моложе ее, приятное семейство, немножко даже трогательное и в то же время комичное». Около этого же времени с супругами Виноградскими встречался П. А. Ефремов. «Мужа она совсем подчинила себе, – рассказывает он, – без нее он был развязнее, веселее и разговорчивее, сама же она – невысокая, полная, почти ожиревшая и пожилая, – старалась представляться какой-то наивной шестнадцатилетней девушкой, вздыхала, закатывала глаза и т. п.». Идиллия продолжалась тридцать лет. Оба они умерли в 1879 г., она через четыре месяца после него.

Петр Маркович Полторацкий
(ок. 1775 – после 1851)

Отец А. П. Керн, женат был на Екатерине Ив. Вульф. Родители его владели 4000 душ, многими винокуренными и другими заводами и откупами. Детей у них было 22 человека. Служил в лейб-гвардии Семеновском полку, в 1796 г. вышел в отставку подпоручиком, впо-

следствии состоял лубенским уездным предводителем дворянства. Был фантазер и проектер, затевал грандиозные предприятия, на которых неизменно прогорал. В 1812 г., например, продал на вывод полтора ста душ своих крестьян, накупил скота, сварил из него бульон, повез его в Петербург, чтобы продать в казну для продовольствия армии, но не хотел дать взятку, и бульон не приняли. Тогда он свез его в Москву. Бульон достался войскам Наполеона. В Киеве, не имея гроша денег, вздумал строить огромный дом для помещения всех лучших магазинов, на манер парижского Пале-Рояля. Нанял рабочих, приступил к стройке и стал объезжать купцов и убеждать их заплатить ему вперед годовую плату за предлагаемые помещения. Никто не согласился, и затея кончилась процессом с рабочими и подрядчиками. Изобрел какую-то пушку в бочке, которую легко везла одна лошадь. Этим он очень рассмешил военных, которым поручено было произвести пробу. От первого выстрела бочка разлетелась. Был самодур и деспот, дочь свою Анну Петровну выдал шестнадцати лет, против ее воли, за 52-

летнего генерала Керна. Манеры были барские, обращение с людьми приветливое и любезное, шутил метко и зло, для красного словца никого и ничего не щадил. Пушкин не раз встречался с ним в Тверской губернии и Петербурге.

Петр Абрамович Ганнибал (1742–1825)

Двоюродный дед Пушкина, «мой старый дед-негр», как его называет Пушкин в одном письме. Артиллерийский генерал в отставке, долго был под судом за растрату артиллерийских снарядов. Женившись, скоро стал изменять жене, разъехался с ней и одиноко жил в своем имении Петровском, в нескольких верстах от Михайловского. При старике жил молодой парень Михайло Калашников. Он хорошо играл на гуслях и по вечерам повергал старика-арапа в слезы или приводил в восторг своей музыкой. Старик-генерал со страстью занимался настаиванием и перегонкой водок. В этом ему помогал тот же Калашников. Однажды Петр Абрамович вздумал сделать в перегонке какое-то нововведение, спирт в аппарате вспыхнул, и все запы-

лало. За неудачу барина своей спиной поплатился Калашников. Вообще, когда Ганнибалы приходили в ярость, людей у них выносили на простынях. Летом 1817 г., по окончании лица, Пушкин приезжал в Михайловское и вместе с сестрой Ольгой посетил деда. Ганнибалу было в то время уже семьдесят пять лет, он очень плохо помнил лица и имена. Стал рассказывать внукам:

– Вообразите мою радость: ко мне на днях заезжал... Да вы его должны знать! Ну, прекрасный молодой офицер. Еще недавно женился в Казани... Как бишь его? Еще хотел побывать в Петербурге. Ну!.. Хотел купить дом в Казани!

Сестра Пушкина подсказала:

– Вениамин Петрович?

– Ну да! Веня, мой сын. Что же раньше не говорите? Эх, вы!..

Старик спросил водки, налил рюмку себе и Пушкину. Пушкин выпил, не поморщившись. Это очень понравилось Ганнибалу. Через четверть часа он опять попросил водки и повторил это раз пять или шесть до обеда.

Павел Исакович Ганнибал

(?—?)

Двоюродный дядя Пушкина, подполковник. В Порховском уезде Псковской губернии у него было небольшое имение в 79 душ, заложенное в ломбарде. С женой он разъехался. В 1817 г. Пушкин, приехав после окончания лицея в Михайловское, посетил дядю. Павел Исакович был человек очень веселый, по-ганнибаловски гостеприимный. Если приезжал к нему гость, он приказывал отпрячь его лошадей, прятал его саквояж и почти насильно оставлял у себя. Навязчивое гостеприимство Ганнибалов вошло в тех местах в пословицу и называлось «ганнибальщиной». Павел Исакович оставил Пушкина у себя ночевать, а утром, с бутылкой шампанского в руках, постучался в дверь комнаты, где спал Пушкин, и во главе хора родственников пропел ему такой экспромт:

*Кто-то в двери постучал:
Подполковник Ганнибал,
Право слово, Ганнибал,
Пожалуйста, Ганнибал,
Сделай милость, Ганнибал,
Свет-Исакыч Ганнибал,*

Тьфу ты, пропасть, Ганнибал!

Пушкину Ганнибал очень понравился, но очень скоро он вызвал дядю на дуэль. Танцевали, и в одной из фигур котильона Павел Исакович отбил у него барышню Лошакову, в которую Пушкин влюбился, несмотря на ее дурноту и вставные зубы. Впрочем, через десять минут помирились, и за ужином Павел Исакович провозгласил:

*Хоть ты, Саша, среди бала
Вызвал Павла Ганнибала,
Но, ей-богу, Ганнибал
Ссорой не подгадит бал!*

В 1826 г. Ганнибал «за буйство и дерзкие поступки» был по высочайшему повелению сослан в Сольвычегодск Вологодской губернии. Там он пропадал от безденежья и поведением своим терроризировал все местное население, включая самого городничего. Стрелял из окна из имевшейся у него небольшой пушечки, всюду без зова являлся в гости в сопровождении местного почтового чиновника – пьянчужки Воронежского, так что обыватели, боясь его посещений, не зажигали ог-

ня в комнатах, выходявших на улицу; издевался над уважаемыми местными купцами, обещался им разбить рожи, грозил ножом. Генерал-губернатор прислал предписание объявить Ганнибалу, «дабы он вел жизнь смиренную и без приглашения никуда не выходил, кроме церкви; в оскорблениях купцам должен он загладить извинением, испросив прощение». Когда городничий объявил ему это предписание, Ганнибал пришел в ярость:

– Как смел генерал-губернатор обо мне так писать! Он мне не начальник! Как смел писать, чтобы я испросил прощения – и у кого, у купцов!

И стал грозить городничему застрелить его за доносы. По высочайшему повелению Ганнибала отправили в Соловецкий монастырь. Там его заключили в тесный чулан. Ганнибал пришел в бешенство, бился, стучал в дверь, две недели пробыл там в полном иступлении, потом утих и с тех пор вел себя в чулане смирно. Настоятель монастыря писал по его делу: «...живущие у нас делаются хорошими поневоле за неимением средств к поведению противному сему». Жена Ганнибала

Варвара Тихоновна, с которой он жил врозь, узнав о заточении мужа, принялась энергично хлопотать за него. Долго ее хлопоты были безуспешны. Только в конце 1832 г. по соизволению императора, ввиду «совершенного исправления» узника, Ганнибал был освобожден из Соловков и ему было разрешено избрать себе жительство «ближе к Петербургу». За время заключения Ганнибала имение его за неплатеж процентов в ломбард было продано. Ганнибал поселился в Луге.

Алексей Никитич Пещуров
(1779–1849)

Во время ссылки Пушкина в с. Михайловское был опочечким уездным предводителем дворянства (с 1822 по 1829 г.). Пушкин как местный дворянин был поручен его наблюдению, причем Пещуров, по распоряжению генерал-губернатора маркиза Пауллуччи, вызывал к себе отца Пушкина и предложил ему взять на себя надзор за сыном. С 1830 по 1839 г. Пещуров был псковским губернатором и как таковой приводил в исполнение распоряжение из Петербурга о «невстрече» кем-либо тела Пушкина, отправленного для погребения.

ния в Псковскую губернию. С. М. Салтыкова, будущая жена Дельвига, видела Пещурова с его семьей в 1824 г., когда они приезжали в Петербург, и так описывает их в письме к подруге: «Господин Пещуров – маленький, горбатый человек, педант, подчеркивающий, что он говорит только по-французски; его супруга – крупная чопорная женщина; дочерям – старшей семь лет, другой шесть. Это вполне провинциальная семья, не имеющая себе подобной; он и она, сказав несколько слов, не нашли ничего лучше, как выказать познания своих маленьких педанток, которые прямо невыносимы. Сперва эти две малютки разодрали нам уши фальшивою игрою в четыре руки в течение доброго получаса; затем принялись говорить стихи, затем сцену из комедии, из которой никто не мог понять ни слова».

Иван Матвеевич Рокотов
(1782–1840)

Богатый опочецкий и новоржевский помещик, сосед Пушкиных по имению. Жил в своей деревне Стехнове, лежавшей на большой дороге в Остров. Коллежский советник в

отставке, холостяк, человек добродушный, но недалекий, молодился, любил казаться светским и говорить по-французски, хотя плохо знал язык. Постоянно приговаривал по-французски: «вы простите мою откровенность» и «я очень дорожу вашим мнением». Заезжавших к нему гостей целовал в плечико и жаловался им на неудобство жить на большой дороге, потому что все заезжают. В молодости он служил по дипломатической части, и раз ему удалось даже съездить дипломатическим курьером в Дрезден. Рассказы его о прошлом всегда начинались словами: «Lors de mon voyage à Dresden (со времени моей поездки в Дрезден)». В семье его так и звали «Le courrier diplomatique»[258]. Ложась спать, он приказывал лакею будить его через каждые два часа. Когда Рокотова спрашивали, к чему он это делает, он отвечал:

– Уж очень приятно опять заснуть!

Когда Пушкин приехал из Одессы в Михайловское, губернатор Адеркас предложил Рокотову взять на себя надзор за поведением Пушкина, но Рокотов отказался, ссылаясь на расстроенное здоровье. Он иногда посещал Пуш-

кина, чем Пушкин был мало доволен. «Было бы любезнее с его стороны оставить меня скучать одного», – писал он о Рокотове г-же Осиповой. Было подозрение, что Рокотов все-таки ездит надзирать за Пушкиным. Пушкинский кучер Петр рассказывал: «Ездили тут, опекуны к нему были приставлены из помещиков: Рокотов да Пещуров. Пещурова-то он хорошо принимал, ну, а того – так, бывало, скажет: опять ко мне тащится, я его когда-нибудь в окошко выброшу!»

Иван Ермолаевич Великопольский
(1797–1868)

Когда Пушкин жил в михайловской ссылке, он иногда наезжал в Псков. Там он познакомился и нередко играл в штос с ротным командиром одного из местных пехотных полков, штабс-капитаном Великопольским. Великопольский происходил из богатой помещичьей семьи, в молодости служил в лейб-гвардии Семеновском полку. В 1819 г., находясь проездом в Москве, он проиграл в карты тридцать тысяч рублей. Мать его отказалась уплатить их. Великопольский пытался в Петербурге отыграться и проигрывал все боль-

ше. В 1820 г. произошел известный бунт в Семеновском полку, весь офицерский состав полка был раскассирован и разослан в провинцию по армейским полкам. Великопольский во время бунта находился в отпуске, но подвергся общей каре и попал в Псковскую губернию. Стоял со своим полком то в Пскове, то по деревням. Был большой любитель поэзии и сам пописывал посредственные стихи. В 1826 г. в Пскове он проиграл Пушкину в карты пятьсот рублей; немедленно заплатить их не мог. В начале лета Пушкин, гостя у одного псковского помещика, Назимова, проигрался и написал Великопольскому такое послание:

*С тобой мне вновь считаться до-
велось,
Певец любви то резвой, то уны-
лой;
Играешь ты на лире очень мило,
Играешь ты довольно плохо в
шtos.
Пятьсот рублей, проигранных то-
бою,
Наличные свидетели тому.
Судьба моя сходна с твоей судь-
бою;*

Сейчас, мой друг, увидишь почему.

И просил должные ему пятьсот рублей уплатить Назимову. Великопольский ответил посланием:

*Не прав ли я, приятель мой,
Не говорил ли я заране:
Не сдобровать тебе с игрой,
И есть дыра в твоём кармане.
Поэт! Ты честь родной стране,
Но, – смелый всадник на Пегасе, –
Ты так же пылок на сукне,
Как ты заносчив на Парнасе.
Конечно (к слову то нейдет),
С тобою там никто не равен:
Ты там могуч, велик и славен, –
Но, друг, в игре не тот расчет:
Иной пяти не перечтет,
А в миг писателя подрежет,
В стихах ты – только что не
свят,
Но счастье – лживая монета,
И ногти длинные поэта
От бед игры не защитят.*

Послал ли Великопольский эти стихи Пушкину – неизвестно. По-видимому, они встречались еще не один раз – и в Пскове за время

ссылки Пушкина, и потом в Петербурге и Москве: играли в карты с переменным счастьем. Однажды, за неимением денег, Великопольский уплатил свой проигрыш Пушкину знаменитой французской «Энциклопедией» XVIII в. и фамильными бриллиантами. Другой раз Пушкину пришлось уплатить свой долг экземплярами только что вышедшей второй главы «Онегина». Великопольский восхищался произведениями Пушкина, но, кажется, лично был к нему мало расположен и про себя писал на него эпиграммы в таком роде:

*Арист – негодный человек,
Не связан ни родством, ни друж-
бой,
Отцом покинут, брошен служ-
бой,
Провел без совести свой век;
Его исправить – труд напрасен,
Зато кричит о нем весь свет:
Вон он-то истинный поэт,
И каждый стих его прекрасен...*

и т. д.

В 1827 г. Великопольский вышел в отстав-

ку и занялся устройством своих имений. В 1828 г. он выпустил отдельным изданием книжку «К Эрасту (сатира на игроков)», в которой живописал страшные последствия картежной игры. Пушкин напечатал без подписи в болгаринской «Северной пчеле» «Послание к В., сочинителю “Сатиры на игроков”», где высмеивал проповедников, учащих свет тому, в чем сами грешны:

*Некто, мой сосед...
На игроков, как ты, однажды
Сатиру злую написал
И другу с жаром прочитал.
Ему в ответ его приятель
Взял карты, молча стасовал,
Дал снять, и нравственный писа-
тель
Всю ночь, увы! понтировал.
Тебе знаком ли сей проказник?*

и т. д.

Великопольский ответил Пушкину стихами:

*Узнал я тотчас по замашке
Тебя, насмешливый поэт!*

*Твой стих весенний легче пташки
Порхает и чарует свет.*

*Я рад, что гений удосужил
Тебя со мной на пару слов;
Ты очень мило обнаружил
Беседы дружеских часов.*

*С твоим проказником соседним
Знаком с давнишней я поры:
Обязан другу он последним
Уроком ветреной игры.*

*Он очень помнит, как, сменяя
Былые рубрики в кисте,
Глава «Онегина» вторая
Съезжала скромно на тузе.*

*Блуждая в молодости шибкой,
Он спотыкался о порог;
Но где последняя ошибка, –
Там первой мудрости урок.*

К четвертой строфе было подстрочное примечание автора: «Мы друг друга понимаем». Великопольский отправил стихи Булгарину для помещения в «Северной пчеле». Булгарин передал стихи Пушкину с запросом, согласен

ли он на их напечатание. Пушкин написал Великопольскому такое письмо:

«Булгарин показал мне очень милые ваши стансы ко мне в ответ на мою шутку. Он сказал, что цензура не пропускает их, как личность, без моего согласия. К сожалению, я не могу согласиться:

*Глава Онегина вторая
Съезжала скромно на тузе –*

и ваше примечание – конечно, личность и неприличность. И вся станса недостойна вашего пера. Мне кажется, что вы немножко мною недовольны. Правда ли? По крайней мере, отзывается чем-то горьким ваше последнее стихотворение. Неужели вы хотите со мною поссориться не на шутку и заставить меня, вашего миролюбивого друга, включить неприязненные строфы в восьмую главу Онегина? Н. В. Я не проигрывал второй главы, а ее экземплярами заплатил свой долг, так точно, как вы заплатили мне свой – родительскими алмазами и 35-ю томами энциклопедии. Что, если напечатать мне сие благонамеренное возражение? Но я надеюсь, что я не поте-

рял вашего дружества и что мы при первом свидании мирно примемся за карты и за стихи».

По этому поводу Великопольский писал Булгарину: «А разве его ко мне послание не личность? В чем его цель и содержание? Не в том ли, что сатирик на игроков сам игрок? Не в обнаружении ли частного случая, долженствовавшего остаться между нами? Почему же цензура полагает себя вправе пропускать личности на меня, не сказав мне ни слова, и не пропускает личности на Пушкина без его согласия?.. Пушкин, называя свое послание одною шуткою, моими стихами огорчается более, нежели сколько я мог предполагать. Он даже дает мне чувствовать, что следствием напечатания оных будет непримиримая вражда. Надеюсь, что он ко мне имеет довольно почтения, чтобы не предполагать во мне боязни».

Следует признать, что с наибольшим достоинством держался в этой истории Великопольский и с наименьшим – Пушкин. После столкновения отношения их прекратились.

В 1831 г. Великопольский женился на доче-

ри известного московского профессора-медика Мудрова, получил за ней значительное приданое, стал человеком богатым. Жил больше в Москве. Был человек очень энергичный, добрый и отзывчивый, оказывал материальную помощь Гоголю и Белинскому. В 1841 г. он напечатал драму, которая была признана крайне безнравственной. Пропустивший драму цензор Ольдекоп был уволен от должности. Великопольский предложил ему три тысячи рублей, чтоб ему было на что жить до приискания другого места. Ольдекоп отказался. Последние двадцать пять лет своей жизни Великопольский провел в непрестанной и тяжелой борьбе за широкое проведение в жизнь усовершенствованного им способа обработки льна. Способ его и учеными обществами, и разными департаментами был признан очень полезным, но так и не смог добраться до жизни сквозь дебри департаментской волокиты. На проведение своего изобретения Великопольский потратил почти все свое состояние и умер чуть не в нищете.

Александр Карлович Бошняк
(1786–1831)

Помещик Херсонской губернии, воспитывался в московском университетском Благородном пансионе, служил в коллегии иностранных дел, четыре года состоял нерехтским уездным предводителем дворянства. Был любителем-ботаником и писателем, в 1830 г. издал роман «Якуб Скупалов». С начала двадцатых годов состоял секретным агентом у начальника херсонских военных поселений графа И. О. Витта, сумел как умный и ловкий человек попасть в члены Южно-русского тайного общества и играл там роль шпиона-provокатора.

В июле 1826 г., по поручению того же Витта, Бошняк приехал в Псковскую губернию «для возможно тайного и обстоятельного исследования поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в поступках, клонящихся к возбуждению к вольности крестьян, и для арестования его и отправления, куда следует, буде бы он оказался действительно виновным». Бошняк под видом любителя ботаники объехал многих помещиков, чиновников, опрашивал крестьян, содержателей гостиниц и постоялых дворов. Расследо-

вание оказалось для Пушкина благоприятным; все единогласно удостоверили, что «поступков, ко вреду государства устремленных», он не совершает, держится очень смирно, ни с кем не знается и ведет жизнь уединенную. Бошняк отправился к отставному генерал-майору П. С. Пущину, «от которого, – пишет Бошняк в своем рапорте, – вышли все слухи о Пушкине, сделавшиеся причиною моего отправления. Я увидел, что все собранные в доме Пущиных сведения основываемы были, большею частью, не на личном свидетельстве, а на рассказах, столь обыкновенных в деревнях и уездных городках». Фельдъегерь, поджидавший Пушкина на ближайшей почтовой станции на случай его ареста, поехал обратно в Петербург в пустой тележке.

В 1831 г., во время польской войны, Бошняк, «служа с пользой отечеству, неожиданно с кучером и камердинером, при переезде из места в место, был злодейски застрелен за открытие в 1825 г. заговора».

Игумен Иона
(1759–?)

Настоятель святогорского монастыря, неподалеку от Михайловского. Из купеческого сословия. Тридцати шести лет поступил послушником в Никандрову пустынь, через два года был пострижен в монашество в святогорском монастыре. С 1812 г. был игуменом великолукского монастыря. В Великих Луках встречался с местным помещиком, тогда полковником, Павлом Сергеевичем Пушциным. С 1825 г. был игуменом святогорского монастыря. Под его духовный надзор отдан был Пушкин, сосланный в Псковскую губернию за высказанное им в письме сочувствие атеизму.

В январе 1825 г. Пушкина посетил в Михайловском лицейский его товарищ Иван Иванович Пущин. После обеда они сидели за чашками кофе, Пушкин начал читать приведенную Пушциным, тогда ходившую еще только в рукописях, комедию «Горе от ума». Среди этого чтения кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин выглянул в окно, как будто смутился, поспешно раскрыл Жития святых и прикрыл ими рукопись. В комнату вошел низенький, рыжеватый монах и рекомендовался Пущину настоятелем соседнего монастыря. Пущин и

Пушкин подошли к нему под благословение. Монах извинился, что, может быть, помешал, и сказал, что, услышав фамилию Пущина, он приехал, думая, что это – его знакомец Павел Сергеевич Пущин, с которым ему захотелось повидаться. Ясно было, что настоятелю донесли о приезде к Пушкину гостя и что он хитрит. Разговор завязался о том, о сем. Подали чай. Пушкин спросил рому. Монах выпил два стакана чая, не забывая о роме, потом начал прощаться, опять извиняясь, что прервал товарищескую беседу. Пущину было неловко за Пушкина: он, как школьник, присмирел при появлении монаха. Пущин высказал досаду, что своим приездом накликал это посещение.

– Перестань, любезный друг! – ответил Пушкин. – Ведь он и без того бывает у меня, я поручен его наблюдению. Что говорить об этом вздоре. – И снова взялся за комедию.

Пушкин иногда приходил к Ионе в святогорский монастырь, распивал с ним наливку и беседовал. Иона любил прибаутки, от него Пушкин заимствовал поговорки, которые в «Борисе Годунове» сыплет в корчме бродяга-монах Варлаам: «Пьем до донушка, вы-

пьем, поворотим и в донушко поколотим» и т. д. На расспросы секретного агента Бошняка, командированного для расследования поведения Пушкина, игумен Иона дал ответы вполне успокоительные, что Пушкин нигде не бывает, ни во что не мешается и живет, как красная девка.

Фельдъегерь Подгорный (?—?)

28 февраля 1827 г., поздней ночью, по улицам Петербурга медленно ехало к заставе пять троек; в четырех санях сидело по декабристу, закованному в кандалы, а рядом с каждым – по жандарму. Деревянным тротуаром шел сопровождавший ссылаемых фельдъегерь Подгорный, молодой и красивый малый, а рядом с ним – его сестра. Женщина горько плакала и просила брата беречь несчастных, которых он увозил в Сибирь. Фельдъегерь простился с сестрой, прыгнул в сани и крикнул ямщику:

– Пошел!

Тройки понеслись во весь дух к заставе.

Мчались, исполняя инструкцию, день и ночь, на ночевку останавливались только че-

рез две ночи на третью. Фельдъегерь, как было в обычае, бил в дороге ямщиков, бил на станциях смотрителей, прогонов нигде не платил, но с конвоируемыми узниками обращался ласково и, по возможности, облегчал их положение. За долгую дорогу ссылаемые сошлись с фельдъегерем и несколько перевоспитали его: он реже стал драться, хотя прогонов принципиально не платил по-прежнему. Довез их до Иркутска. Дальше, за Байкал, ссылаемых поручили везти полицейскому чиновнику, а Подгорный получил предписание немедленно ехать с жандармами обратно в Петербург, в Tobольской губернии захватить в деревушку, взять там какого-то крестьянина, заковать в кандалы и доставить в Петербург во дворец. Прощаясь с декабристами, Подгорный грустно говорил:

– Вспомните, мне моря этого, что лежит впереди вас (Байкала), не объехать!

Прошло полгода с небольшим. Неизвестно, сколько тысяч верст отмахал за это время фельдъегерь Подгорный. В октябре мчался он с четырьмя тройками по псковскому почтовому тракту по дороге в Динабург; в трех трой-

ках опять сидело по «государственному преступнику», а рядом с каждым – по жандарму. Подъехали к станции Залазы. Арестанты вышли из тележек поразмяться. Вдруг к одному из них, преступнику Кюхельбекеру, бросился какой-то проезжающий – кудрявый, невысокого роста господин с бакенбардами; они обнялись и стали горячо целоваться. Жандармы схватили преступника, фельдъегерь с угрозами и ругательствами взял за руку проезжего. Преступнику Кюхельбекеру сделалось дурно. Подгорный шепнул жандармам, – они поспешно усадили арестантов в тележки и помчались дальше. Фельдъегерь задержался для написания подорожной и «заплаты прогонов», – так, по крайней мере, он уверяет в рапорте по начальству. Проезжий подошел к нему и попросил передать Кюхельбекеру деньги. Фельдъегерь отказался. Тогда проезжий повысил голос и заявил, что по прибытии в Петербург он в ту же минуту доложит его императорскому величеству как за недопущение распроститься с другом, так и дать ему денег; обещался не преминуть пожаловаться и генерал-адъютанту Бенкендорфу.

Между прочими же угрозами сообщил, что сам сидел в крепости и потом был выпущен. После этого фельдъегерь еще решительнее отказался принять деньги. Нагнав поджидавшие его за полверсты от станции тройки с преступниками, он узнал от преступника Кюхельбекера, что разговаривавший с ним проезжий – «тот Пушкин, который сочиняет».

Пушкин поехал в Петербург, Кюхельбекера Подгорный отвез в Динабургскую крепость и направился обратно продолжать свою службу, – мчаться сломя голову по дорогам России и Сибири. Неизвестно, сколько еще десятков тысяч верст пришлось отмахать по этим дорогам фельдъегерю Подгорному, но предчувствие его не обмануло: года через полтора ему пришлось побывать и за Байкальским морем.

Осенью 1828 г. мы видим фельдъегеря Подгорного мчащимся из Петербурга в азиатскую Турцию с поручением в действующую армию Паскевича. Исполнив поручение и оставаясь без дела, он явился к генералу Н. Н. Муравьеву, осаждавшему Ахалцых, и предложил свои услуги. Муравьев оставил его при себе орди-

нарцем для рассылки с поручениями во время боя. Подгорный выказал при этом такую расторопность и храбрость, что был произведен в офицеры.

В Москве

Софья Федоровна Пушкина (1806–1862)

Очень отдаленная родственница поэта: отцы их были четвероюродные братья. Рано лишилась родителей и вместе с сестрой Анной (в 1823 г. вышедшей замуж за В. П. Зубкова) воспитывалась у богатой и знатной дамы Ек. Вл. Апраксиной, сестры московского генерал-губернатора князя Д. В. Голицына. Считалась в половине двадцатых годов одной из первых красавиц среди выезжавших в свет московских барышень. Была стройна и высокая ростом, с прекрасным греческим профилем, с черными, как смоль, глазами, была, по отзыву одной старухи-современницы, «очень милая и умная девушка». Пушкин познакомился с ней осенью 1826 г., когда приехал из псковской ссылки в Москву. Видел ее всего два раза – один раз в театральной ложе, дру-

гой раз на балу – и сразу без ума в нее влюбился. В стихотворении «Ответ Ф. Т.» он восторженно писал про нее:

*Нет, не черкешенка она, –
Но в доли Грузии от века
Такая дева не сошла
С высот угрюмого Казбека.
Нет, не агат в глазах у ней, –
Но все сокровища Востока
Не стоят сладостных лучей
Ее полуденного ока.*

Пушкин, как бывало с ним, когда его охватывало серьезное чувство, был с Софьей Федоровной застенчив и неловок. К тому же он знал, что в нее уже два года влюблен один молодой человек, Валериан Александрович Панин. Софья Федоровна, видимо, больших надежд Пушкину не подавала, но когда он в начале ноября должен был на время уехать по делам к себе в деревню, она ласково сказала:

– Возвращайтесь к первому декабря.

Перед отъездом, 1 ноября, Пушкин написал (или отдал) стихи, относимые исследователями к С. Ф. Пушкиной:

Зачем безвременную скуку

*Зловещей думою питать
И неизбежную разлуку
В унынье робком ожидать?
И так уж близок день страданья!
Один, в тиши пустых полей,
Ты будешь звать воспоминанья
Потерянных тобою дней.
Тогда изгнаньем и могилой,
Несчастный, будешь ты готов
Купить хоть слово девы милой,
Хоть легкий шум ее шагов.*

Пушкин уехал «со смертью в душе». К первому декабря он вследствие дурных дорог не успел попасть в Москву. Ямщик опрокинул его экипаж, и Пушкин, с помятым боком, с затрудненным дыханием, отсиживался в псковской гостинице, рвался в Москву, «взбешенный, играл и проигрывал». Он решился одним ударом рассечь гордиев узел, написал письмо В. П. Зубкову, зятю Софьи Федоровны, и просил сосватать ее за него.

«Мне двадцать семь лет, дорогой друг, – писал он. – Пора жить, т. е. познать счастье. Не мое личное счастье меня тревожит, – могу ли я не быть самым счастливым человеком с нею, – я трепещу перед невозможностью сде-

лать ее столь же счастливою, как это мне желательно... Боже мой, до чего она хороша! И как смешно было мое поведение с нею! Дорогой друг, постарайся изгладить дурное впечатление, которое оно могло произвести на нее. Скажи ей, что я благоразумнее, чем кажусь, и приведи доказательства, какие придут в голову. Мерзкий этот Панин: два года влюблен, а свататься собирается на фоминой неделе, – а я вижу раз ее в ложе, в другой на бале, а в третий сватаюсь. Если она находит, что Панин прав, она должна думать, что я сумасшедший, не правда ли? Объясни же ей, что прав я, что, хоть раз увидев ее, нельзя колебаться, что я не претендую увлечь ее собой, что я, следовательно, прекрасно сделал, пойдя прямо к развязке... Ангел мой, уговори ее, упроси ее, настращай ее Паниным скверным и жени меня!»

Но Пушкин опоздал, и навряд ли его предложение было даже передано Зубковым. Когда Пушкин 19 декабря вернулся в Москву, Софья Федоровна была уже помолвлена с Паниным, а через месяц вышла за него замуж. Этот Панин в сороковых годах занимал скромную

должность смотрителя московского Вдовьего дома, а затем – казначея Общества любителей садоводства.

Василий Петрович Зубков (1799–1862)

Обучался в муравьевской Школе для колонновожатых, поступил на военную службу, но в 1819 г. вследствие тяжелого нездоровья вышел в отставку. Два года провел за границей, с увлечением изучал там Сэя, Сисмонди и других политических писателей, воротился в Россию настроенным оппозиционно, большим поклонником французского судопроизводства и суда присяжных. В Москве сошелся с Кашкиным, Колошиным, Б. К. Данзасом, Ив. Ив. Пущиным. В то время хорошая молодежь стремилась занимать должности, обычно презираемые дворянами, чтобы именно в этих должностях проводить в жизнь начала законности и справедливости. Зубков, как и И. И. Пущин, занял судебную должность: суд того времени славился колоссальным взяточничеством и крючкотворством. В начале января 1826 г. Зубков был арестован по подозрению в прикосновенности к декабрьскому

движению, просидел около шести недель в Петропавловской крепости и был выпущен на свободу, как никем не оговоренный. Был он богатый человек, владел 1500 душ крестьян. Женат был на Анне Федоровне Пушкиной, сестре Софьи Федоровны, которой увлекался Пушкин.

С Пушкиным Зубков познакомился в Москве в сентябре–октябре 1826 г. Зубков жил в собственном доме, деревянном, одноэтажном, очень длинном, в Большом Толстовском переулке, между Смоленским рынком и Спасопесковской площадью. Пушкин часто бывал у Зубкова (в его доме, между прочим, им написаны стансы «В надежде славы и добра»), у него познакомился с его свояченицей С. Ф. Пушкиной. Пушкин был с Зубковым на «ты» и очень его любил. Некий Щербаков рассказывает, что в марте 1827 г. видел на Тверском бульваре Пушкина. Он сидел с несколькими знакомыми на скамейке. Мимо проходили советники гражданской палаты Зубков и Данзас. Пушкин подбежал к Зубкову и сказал:

– Что ты на меня не глядишь? Жить без тебя не могу!

Зубков его поцеловал.

Зубков был человек энергичный и деятельный. В 1830 г. он принимал участие в борьбе с холерой в Москве, выдвинулся разумностью принятых мер и распорядительностью; издал брошюру, где доказывал, что холера не передается по воздуху и что самый верный способ борьбы с ней – чистота и гигиеническая жизнь, – положения, вполне подтвержденные позднейшей наукой. Впоследствии Зубков был обер-прокурором одного из департаментов сената и сенатором. С любовью занимался энтомологией, напечатал ряд работ в Трудах московского Общества испытателей природы; один из открытых им жуков назван его именем.

Екатерина Александровна Тимашева (1798–1881)

Рожденная Загряжская, жена наказного атамана оренбургского казачьего войска. Принадлежала к московскому большому свету, была, во-первых, по-видимому, красивой женщиной и, во-вторых, писала стихи. За то и за другое ее восхваляли самые прославленные поэты того времени – Пушкин, Баратын-

ский, Языков, Вяземский. Стихов своих Тимашева почти не печатала, и русская поэзия ничего от этого не потеряла: напечатанные дватри ее стихотворения стоят ниже уровня самой скромной посредственности. Вероятно, тем красивее и очаровательнее была она сама, если ее так восторженно превозносили поэты.

Пушкин 20 октября 1826 г. написал в альбом Е. А. Тимашевой следующие стихи:

*Я видел вас, я их читал,
Сии прелестные созданья,
Где ваши томные мечтанья
Боготворят свой идеал.
Я пил отраву в вашем взоре,
В душой исполненных чертах,
И в вашем милом разговоре,
И в ваших пламенных стихах;
Соперницы Запретной Розы
Блажен бессмертный идеал...
Стократ блажен, кто вам внушал
Немного рифм и много прозы.*

«Запретная Роза», – так в одном своем стихотворении Вяземский назвал племянницу Тимашевой, Елизавету Петровну Киндякову,

два года назад вышедшую за немощного обер-прокурора, князя И. А. Лобанова-Ростовского. Передавали даже анекдот, что, получив орден Владимира, князь сказал своей теще: «Поздравьте меня, я кавалер», а она ему ответила: «Слава Богу, стало быть, и дочь моя будет дама».

Уехав в начале ноября в деревню, Пушкин запрашивал Вяземского: «Что Запретная Роза? Что Тимашева? Как жаль, что я не успел с нею завести благородную интригу. Но и это не ушло».

Анна Григорьевна Хомутова (1784–1856)

Дочь генерал-лейтенанта и сенатора, богатого помещика. Получила отличное воспитание, по-французски говорила в совершенстве, рукоделиями занималась мало, а с любовью и увлечением следила за литературой. Отец ее был большой хлебосол, на балы и обеды его съезжались московская знать, литераторы, поэты и все известные посетители столицы. Хомутова была знакома с Ермоловым, Раевским, Нелединским-Мелецким, Жуковским, Вяземским. Замуж она не вышла и оста-

лась девицей.

Утром 26 октября 1826 г. Хомутова получила записку от М. И. Корсаковой: «Приезжайте непременно, нынче вечером у меня будет Пушкин». Он недавно только приехал в Москву из деревенской ссылки. Вечером у Корсаковых собралось множество гостей. Дамы разошлись; когда вошел Пушкин, все они устремились к нему и окружили его. Каждой хотелось, чтоб он ей сказал хоть слово. Хомутова была некрасива и немолода, ей было уже за сорок лет, притом она была очень застенчива. Она держалась в отдалении и молча наблюдала Пушкина. За ужином кто-то назвал Хомутову. Пушкин встрепнулся, вскочил, быстро подошел к Хомутовой и сказал:

– Вы сестра Михаила Григорьевича? Я уважаю, люблю его и прошу вашей благосклонности.

И стал говорить о лейб-гусарском полке, в котором служил ее брат, вспоминал лицейское время, когда, по его словам, этот полк был его колыбелью, а брат ее – нередко его ментором.

После этого, рассказывает Хомутова, они

весьма сблизилась, она часто встречалась с Пушкиным, и он всегда оказывал ей много дружбы.

Поэт И. И. Козлов приходился Хомутовой двоюродным братом, в молодости они были дружны и увлекались друг другом. После долгой разлуки они встретились в тридцатых годах, когда Козлов давно уже лежал с парализованными ногами, лишенный зрения. Ласковая участливость и нежность Хомутовой доставили большое утешение Козлову. Он посвятил ей стихотворение «Другу весны моей после долгой, долгой разлуки»:

*О, удались! Полуживого
В томленьи горестном забудь;
Ты острым пламенем бывшего
Зажгла встревоженную грудь.
Оставь меня... О нет! Побудь,
Побудь со мною, друг бесценный,
Пожми, как прежде, руку мне,
И сердца жизнью незабвенной
Лелей меня в печальном сне!
Уж речь твоя мой дух крушимый
Живит мечтами юных дней...*

и т. д.

По поводу этого стихотворения и отношения Хомутовой к Козлову Лермонтов писал к ней:

*Певец, страданием вдохновенный,
Вам строки чудные писал...
...да сойдет благословенье
На вашу жизнь за то, что вы
Хоть на единое мгновенье
Умели снять венец мученья
С его преклонной головы.*

**Княгиня Зинаида Александровна
Волконская
(1792–1862)**

Рожденная княжна Белосельская-Белозерская. Поэтесса, композитор, певица. 18 лет вышла замуж за князя Н. Г. Волконского (брата декабриста), но вскоре разъехалась с ним. Блистала на международных конгрессах, устраивавших судьбу Европы после низвержения Наполеона, пользовалась интимной благосклонностью императора Александра I. В середине двадцатых годов поселилась в Москве. В ее блестящем салоне в собственном доме на Тверской собирались сановники и

аристократки, молодежь и пожилые люди, артисты, профессора, поэты, художники, журналисты. Все в ее доме носило отпечаток служения искусству и мысли. Бывали чтения, на которых выступали Мицкевич, Баратынский, Веневитинов, князь Вяземский. Бывали концерты с участием лучших приезжих и местных артистов. Ставились целые оперы. Во главе исполнителей стояла сама хозяйка дома. Слышавшие ее с восторгом отзываются об ее замечательном, полном и звучном контральто и прекрасной игре в роли Танкреда в опере Россини. Когда Пушкин осенью 1826г. приехал из псковской ссылки в Москву, он познакомился с княгиней Волконской. Вяземский вспоминает: «Княгиня, в присутствии Пушкина, в первый день знакомства с ним пропела элегию его «Погасло дневное светило». Пушкин был живо тронут этим оболением тонкого и художественного кокетства. По обыкновению, краска вспыхивала на лице его. В нем этот детский и женский признак сильной впечатлительности был выражением внутреннего смущения, радости, досады, всякого потрясающего ощущения».

Когда Пушкин вскоре уехал на время к себе в деревню, Волконская писала ему: «Возвращайтесь к нам. Воздух Москвы легче. Великий русский поэт должен писать либо в степях, либо под сенью Кремля, и автор «Бориса Годунова» принадлежит городу царей. Какая мать зачала человека, гений которого весь – сила, весь – изящество, весь – непринужденность, который является то дикарем, то европейцем, то Шекспиром и Байроном, то Ариостом, Анакреоном, но всегда русским, переходит от лирики к драме, от песен нежных, влюбленных, простых, иногда грубых, романтических или едких, к важному и наивному тону строгой истории».

По возвращении в Москву Пушкин часто бывал у Волконской. На ее вечерах любимой забавой молодежи была игра в шарады. Однажды Пушкин придумал слово: для второй части его нужно было представить переход евреев через Аравийскую пустыню. Пушкин взял себе красную шаль княгини и сказал, что он будет изображать «скалу в пустыне». Все были в недоумении от такого выбора: живой, остроумный Пушкин захотел вдруг изоб-

ражать неподвижный, неодушевленный предмет. Пушкин взобрался на стол и покрылся шалью. Все зрители уселись, действие началось. Когда Моисей, по уговору, прикоснулся жезлом к скале, чтобы вызвать из нее воду, Пушкин вдруг высунул из-под шали горлышко бутылки, и струя воды с шумом полилась на пол. Раздался дружный хохот, Пушкин соскочил быстро со стола, очутился в минуту возле княгини, и она, улыбаясь, взяла его за ухо и сказала:

– И озорник же вы, Александр, – как вы изобразили скалу!

По понедельникам у княгини Волконской были собрания литературные. Поэты и беллетристы читали свои произведения, Мицкевич произносил вдохновенные свои импровизации. Однажды пристали к Пушкину, чтобы он прочел что-нибудь. Пушкин терпеть не мог читать в большом обществе. Но отговориться не удалось. В досаде он прочел «Чернь» и, кончив, с сердцем сказал:

– В другой раз не станут просить!

В 1827 г. Пушкин, посылая княгине З. А. Волконской свою поэму «Цыганы», приложил

послание к ней:

*Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется, и пылает гений.
Певца, плененного тобой,
Не отвергай смиренной дани,
Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой.*

В 1829 г. княгиня З. А. Волконская уехала в Италию, там перешла в католичество, жила в Риме в роскошной собственной вилле. Католичкой она была очень яркой. Умерла, по слухам, в нужде, обобранная патерами и монахами, но зато причисленная церковью к лику «блаженных».

**Андрей Николаевич Муравьев
(1806–1874)**

Брат М. Н. Муравьева-Вилenskого (вешателя) и Н. Н. Муравьева-Карского. Был учеником С. Е. Раича, участвовал в его литературном кружке. Писал стихи. Служил на военной службе в драгунах. Зимой 1826/1827 г. посетил салон княгини З. А. Волконской в Москве. Однажды, по неловкости (а некоторые уверяют, что намеренно), он в театральном ее зале сломал руку колоссальной гипсовой статуи Аполлона Бельведерского и на пьедестале статуи тотчас же написал такие стихи:

*О, Аполлон! Поклонник твой
Хотел помериться с тобой,
Но оступился и упал.
Ты горделивца наказал:
Хотя пожертвовал рукой,
Зато остался он с ногой.*

Стихи эти вызвали эпиграмму Пушкина:

*Лук звенит, стрела трепещет,
И, клубясь, издох Пифон,
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!
Кто ж вступился за Пифона,
Кто разбил твой истукан?*

*Ты, соперник Аполлона,
Бельведерский Митрофан.*

Весной 1827 г. эпиграмма была напечатана в «Московском вестнике» Погодина. Встретясь после этого с Погодиным, Пушкин сказал ему:

– А как бы нам не поплатиться за эпиграмму.

– Почему?

– Я имею предсказание, что должен умереть от белого человека или от белой лошади. Муравьев может вызвать меня на дуэль, а он не только белый человек, но и лошадь.

Муравьев на дуэль Пушкина не вызвал, а ответил эпиграммой:

*Как не злиться Митрофану?
Аполлон обидел нас:
Посадил он обезьяну
В первом месте на Парнас.*

В 1828–1829 гг. Муравьев участвовал в русско-турецкой войне на европейском фронте. В 1832 г. издал «Путешествие по святым местам». Поставил на сцене драму «Битва при Тивериаде», успеха не имевшую. Муравьев

рассказывает: «Совершенно нечаянно я сви-
делся с Пушкиным в архиве министерства
иностранных дел, где собирал он документы
для истории Петра Великого. Пушкин устре-
мился прямо ко мне, обнял крепко и сказал:
«Простите ли вы меня? А я не могу доселе
простить себе свою глупую эпиграмму, осо-
бенно когда я узнал, что вы поехали в Иеруса-
лим. Я даже написал для вас несколько сти-
хов: что когда, при заключении мира (в 1829
г., после турецкой войны), все сильные земли
забыли о Святом граде и гробе Христовом,
один только безвестный юноша о них вспом-
нил и туда устремился. С чрезвычайным удо-
вольствием читал я ваше путешествие». Я
был тронут до слез и просил Пушкина доста-
вить мне эти стихи, но он никак не мог их
найти в хаосе своих бумаг. С тех пор и до са-
мой кончины я оставался с ним в самых дру-
жеских отношениях. Ему была неприятна
моя драматическая неудача, и он предложил
мне напечатать в «Современнике» объясни-
тельное предисловие к «Битве при Тивериа-
де» и несколько лучших ее отрывков». Пуш-
кин действительно с одобрением отнесся к

«Путешествию по святым местам» и в предисловии к «Путешествию в Арзрум» упоминает об этой книге, «произведшей столь сильное впечатление», и действительно во второй книге «Современника» напечатал отрывки из драмы Муравьева.

Известность Муравьев получил как писатель по богословским вопросам, издал целый ряд книг: «Письма о богослужении восточной католической церкви», выдержавшие одиннадцать изданий и переведенные на все европейские языки, «Историю русской церкви» и др. Большинство отзывов лиц, знавших А. Муравьева, рисуют его в очень непривлекательном свете. Внушал он мало уважения. Был святоша, по его доносу арестован был цензор Никитенко, за то что пропустил в «Библиотеке для чтения» стихотворение Деларю «Красавице» (см. М. Д. Деларю). Никитенко характеризует Муравьева: «Фанатик, который, впрочем, себе на уме, т. е. на святости идей строит свое земное счастье». Муравьев занимал важный пост в синоде и прибегал ко всяческим интригам, чтобы стать синодским обер-прокурором, что ему, однако, не удалось. Н. С.

Лесков про него пишет: «Так, кажется, и видишь эту дылдистую фигуру, с умными, но неприятными глазами и типическим русым коком. В великосветские гостиные Андрей Николаевич вступал обыкновенно со свойственной ему исключительною, неуклюжею грацией, всегда в высоком черном жилете «под душу» и с миниатюрными беленькими четками, обвитыми вокруг запястья левой руки; здесь он иногда вещал, но более всего собирал вести, куда колеблются весы». Муравьев очень любил подарки и даже часто их выпрашивал; любил почетные встречи, ради него устроенные; часто участвовал в крестных ходах, где, благодаря его огромному росту, он не мог не быть всеми замечен, тем более что всегда шел непосредственно за митрополитом или архиереем; любил носить костюмы, схожие с военными; когда в «Северной пчеле» появился неблагоприятный отзыв об одной из его книг, он жаловался на редактора в Третье отделение. «Сочинения Муравьева, – говорит Лесков, – по нынешнему времени в большинстве так несостоятельны, что заниматься чтением их значит терять на-

прасно время, но тогда они читались, и даже из них кое-что обязательно заучивалось наизусть. Они приносили автору хороший доход, который к последним годам его жизни вдруг остановился. Муравьев приписывал это умалению веры, происшедшему, как все злое, от одного несчастного источника – «от тлетворного направления литературы»... Под конец жизни он проживал в Киеве и надоел киевскому духовенству своею докучною и мелочною инспекциею до нестерпимости».

Александра Григорьевна Муравьева (?–1832)

Рожденная графиня Чернышева, жена декабриста Никиты Мих. Муравьева, сестра декабриста графа З. Г. Чернышева. Поехала вслед за мужем в Сибирь, оставив у свекрови двух своих детей, которых ей не позволено было взять с собой. В Москву она приехала вскоре после княгини М. Н. Волконской, в первых числах января 1827 г. Пушкин, вероятно, был знаком с Муравьевой в Петербурге еще до ее замужества. Он зашел к ней в Москве проститься и передать ей свое «Послание в Сибирь», которое не успела взять с со-

бой Волконская. Вот это знаменитое послание:

*Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.*

*Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:*

*Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.*

*Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.*

Пушкин взволнованно говорил Муравьевой:

– Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество: я не стоил этой чести.

Среди упоенного наслаждения свободой, славой, балами, улыбками красавиц перед Пушкиным в лице Волконской и Муравьевой прошла другая жизнь – строгая, серьезная, полная сурового самоотвержения. Пушкин был в восхищении от подвига этих женщин. Прощаясь, он так крепко сжал руку Муравьевой, что она не могла продолжать письмо, которое писала, когда он к ней вошел.

Вяземский, тогда же видевший Волконскую и Муравьеву, писал А. Тургеневу: «Что за трогательное и возвышенное обречение! Спасибо женщинам: они дадут несколько прекрасных строк нашей истории. В них была видна не экзальтация фанатизма, а какая-то чистая, безмятежная покорность мученичества, которое не думает о славе, а поглощается одним чувством тихим, но все одолевающим».

Все, знавшие Муравьеву в Сибири, отзывались о ней с единодушным восторгом. Декабрист А. Е. Розен вспоминает: «Александра Григорьевна, с добрейшим сердцем, юная, кроткая, гибкая станом, единственно белокурая из всех смуглых Чернышевых, разрывала жизнь

свою сожигающими чувствами любви к мужу, заключенному в остроге, и к отсутствующим детям. Мужу своему показывала себя спокойною, довольною, даже радостною, чтобы не опечалить его, а наедине предавалась чувствам матери самой нежной». Она болела душой и за брата, делала все, что могла, и для других товарищей, была всеобщим «ангелом-утешителем». В 1832 г. Муравьева простудилась и умерла. Перед смертью, не желая будить свою четырехлетнюю дочку Ноно, она попросила принести ее куклу и поцеловала куклу вместо дочери.

Урусовы

Во второй половине двадцатых годов в Москве славился радушием и гостеприимством дом Урусовых. Глава семьи, князь Александр Михайлович Урусов (1766–1853), служил в качестве члена в мастерской Оружейной палаты в Москве, впоследствии был обергофмейстером, сенатором и членом государственного совета. Его жена Екатерина Павловна, рожденная Татищева, сестра дипломата Д. П. Татищева. Три их дочери-княжны считались украшением московского общества.

Старшая, Мария (1801–1853), с 1822 г. была замужем за графом И. А. Мусиным-Пушкиным; овдовев в 1836 г., она в 1838 г. вторично вышла замуж за князя А. М. Горчакова, лицейского товарища Пушкина, будущего государственного канцлера. Вторая дочь, Софья (1806–1889), «царица московских красавиц». Однако насмешники называли ее еще «богиней глупости». Однажды во время танцев кавалер спросил ее, что она читает. Княжна ответила:

– Розовенькую книжку, а сестра моя голубенькую.

Другой раз влюбленный в нее молодой человек с увлечением говорил с ней о литературе. Она долго слушала и вдруг перебила его вопросом:

– Скажите, князь, какое вы употребляете мыло, когда бреетесь?

С 1826 г. она была фрейлиной. Император Николай вступил с ней в связь. «Обыкновенно порядок был такой, – пишет Н. А. Добролюбов, – брали девушку знатной фамилии во фрейлины, употребляли ее для услуг благочестивейшего, самодержавнейшего государя на-

шего, и затем императрица Александра начала сватать обещанную девушку за кого-нибудь из придворных женихов». Урусову в 1833 г. выдали замуж за князя Л. Л. Радзивила. Француз А. Галле-де-Кюльтюр, долго живший в России, сообщает, что, благодаря своей женитьбе и своим услугам, князь Радзивил пользовался большим расположением двора. Услуги были такого рода: после подавления польского восстания Радзивил, сам поляк, ездил, по поручению царя, к турецкому султану, чтоб добиться выдачи своих побежденных соотечественников, бежавших в Турцию.

Третья княжна Урусова, Наталья, впоследствии была замужем за графом Кутайсовым.

Почти каждый день у Урусовых собирался тесный кружок друзей и знакомых, преимущественно молодых людей. Весной 1827 г. часто появлялся и Пушкин. Почти каждый вечер он проводил у Урусовых, был весьма весел, остер и словоохотлив. В рассказах, импровизациях и шутках бывал в это время неистощимым. Между прочим, он увлекал присутствующих прелестной передачей русских сказок. Все общество соберется вечером вокруг

большого круглого стола, и Пушкин поразительно увлекательно переносит слушателей в фантастический мир, населенный ведьмами, домовыми, лешими и пр. Материал, добытый им в долговременное пребывание в деревне, разукрашивался вымыслами его неистощимой фантазии, причем Пушкин искусно подделывался под колорит народных сказаний. Он увлекался одной из княжен Урусовых. Дошло его четырехстишие, обращенное к Софье Урусовой:

*Не веровал я троице доныне,
Мне Бог тройной казался все муд-
рен;
Но вижу вас и, верой одарен,
Молюсь трем грациям в одной бо-
гине.*

Князь Вяземский сомневался в принадлежности этих стихов Пушкину и утверждал, что во всяком случае обращены они не к Софье; по его словам, Пушкин был влюблен в сестру ее Марию. Однако Мария уже с 1822 г. была замужем за Мусиным-Пушкиным и навряд ли жила в доме родителей.

Владимир Дмитриевич Соломирский

(?—1884)

Племянник княгини Ек. Павл. Урусовой, побочный сын российского посла в Вене Д. П. Татищева от связи его с красавицей Н. А. Колтовской, богатой владелицей пермских железных заводов. Недолго служил в артиллерии, потом перешел на гражданскую службу. Владел 1100 душ во Владимирской губернии. В 1827 г., артиллерийским офицером, часто бывал у Урусовых. Он был человек образованный, хорошо знал английский язык, был поклонником Байрона и подражал ему в стишках; держался угрюмо и разочарованно. Он был очень неравнодушен к одной из красавиц-кузин Урусовых. Пушкин сблизился с Соломирским, подарил ему сочинения Байрона, сделав на книге весьма дружественную надпись. Тем не менее ревнивый и крайне самлюбивый Соломирский чем чаще сходил с Пушкиным у Урусовых, тем становился угрюмее и холоднее к нему. Особенное внимание, которое встречал Пушкин в этом семействе, и в особенности внимание молодой княжны, возбуждало в нем сильнейшую ревность. Однажды Пушкин, шутя и балагурия,

рассказал что-то смешное про графиню А. В. Бобринскую, Соломирский, мрачно слушавший, сказал Пушкину вызывающим тоном:

– Как вы смели отозваться неуважительно о графине Бобринской? Я хорошо ее знаю, это во всех отношениях почтенная особа, и я не могу допустить оскорбительных об ней отзывов.

– Зачем же вы не остановили меня, когда я начинал рассказ? – возразил Пушкин. – Почему вы мне не сказали раньше, что знакомы с графиней Бобринской? А то вы спокойно выслушали весь рассказ, а потом каким-то донкихотом становитесь в защитники этой дамы и берете ее под свою протекцию.

Разговор в тот вечер не имел никаких последствий, и все разъехались по домам, не обратив на него внимания. Но на другой день рано утром Пушкин явился к Павлу Александровичу Муханову, драгунскому офицеру, также бывшему вчера у Урусовых. Собычной своей живостью Пушкин сообщил, что в это утро получил от Соломирского вызов на дуэль и немедленно ответил согласием, что у него уже был секундант Соломирского А. В.

Шереметев и что он послал его для переговоров об условиях дуэли к нему, Муханову, которого и просит быть секундантом. Только что уехал Пушкин, к Муханову явился Шереметев. Муханов повел переговоры о мире. Но Шереметев, войдя серьезно в роль секунданта, требовал, чтобы Пушкин, если не будет драться, извинился перед Соломирским. Муханову долго пришлось убеждать Шереметева. Шереметев понял наконец, что эта история падет всем позором на головы секундантов, в случае если будет убит или ранен Пушкин, и что надо предотвратить эту роковую случайность и не подставлять лоб гениального поэта под пистолет взбалмошного офицера... Шереметев поспешил уговориться с Мухановым о средствах к примирению противников. В то же утро Шереметев привел Соломирского к С. А. Соболевскому, на Собачью площадку, у которого жил в это время Пушкин. Сюда же пришел Муханов, и, при дружных усилиях обоих секундантов, примирение состоялось. Подан был роскошный завтрак, и, с бокалами шампанского, противники, без всяких извинений и объяснений, протянули

друг другу руки.

Дружеские отношения восстановились. До нас дошло письмо Соломирского к Пушкину из Тобольска от 1835 г. с обращением на «ты», где Соломирский пишет о популярности, какой пользуется Пушкин в Сибири. «Это письмо, – пишет Соломирский, – как доказательство не токмо того, что и в глубине России есть просвещение, но и того, что степень сего просвещения довольно значительна, чтобы люди могли и умели ценить таланты, – должно быть для тебя и для всего русского занимательно».

Павел Александрович Муханов (1797–1871)

Секундант Пушкина в предполагавшейся дуэли с Соломирским. В 1827 г. штабс-капитан лейб-гвардии драгунского полка, адъютант графа П. А. Толстого, тогда командира 5-го пехотного корпуса в Москве. В шестидесятых годах был попечителем варшавского учебного округа и фактически заведывал всем гражданским управлением Польши, в которое наместник, князь М. Д. Горчаков, человек военный, почти совсем не входил. Сво-

ими бюрократическими методами управления Муханов возбудил к себе всеобщую ненависть; когда в 1868 г. он был уволен в отставку, ему пришлось тайно покинуть Варшаву, чтоб избежать готовившейся ему на вокзале кошачьей музыки; и во всех городах, через которые он проезжал, его встречали враждебными демонстрациями. Впоследствии был членом государственного совета и председателем археографической комиссии; издал много ценных исторических документов – древних грамот, писем, указов и мемуаров.

Алексей Васильевич Шереметев
(1800–1857)

Секундант Соломирского в несостоявшейся сдружились с Пушкиным. Офицер лейб-гвардии конной артиллерии, адъютант графа П. А. Толстого. Сын Н. Н. Шереметевой, друга Гоголя, двоюродный брат поэта Ф. И. Тютчева, зять декабриста И. Д. Якушкина. Прозвище его было Цыган, по оливковому цвету лица. «Мой брат по крови и по лени», – называет его Тютчев в своем послании к нему.

Екатерина Николаевна Ушакова
(1809–1872)

В годы, последовавшие за освобождением Пушкина из деревенской ссылки, в нем замечается жадно-беспокойное искание женского общества, он усердно знакомится с домами, где есть молодые девушки, влюбляется направо и налево, – как будто все время ищет ту, к которой легкое увлечение перешло бы в крепкую, серьезную любовь. В Москве – Софья Пушкина, сестры Урусовы, сестры Ушаковы, Александрина Римская-Корсакова, Наталья Гончарова, в Петербурге – А. О. Россет, Оленина, в деревне – Евпраксия и Нетти Вульф, Катенька Вельяшева. Всех их он почти одновременно вмещает в своем сердце.

Среди увлечений этих особенно как-то весело-беззаботными и светло-интимными являются его отношения с сестрами Ушаковыми. Вскоре после приезда в Москву из ссылки Пушкин был в театре. Мгновенно по зале пронеслась весть, что он здесь; имя его повторялось в общем гуле, все лица, все бинокли обращены были на прославленного поэта, стоявшего между рядами и окруженного густой толпой. Здесь Ушаковы увидели его в первый раз. Вскоре Пушкин познакомился с ними и

через некоторое время сделался у них своим человеком. Родители сестер, Николай Васильевич и Софья Андреевна Ушаковы, занимали довольно видное положение в московском большом свете. Они жили в глухой тогда Пресне, в собственном большом двухэтажном доме. Семья была музыкальная и интеллигентная, обе сестры учились пению у известных учителей, хорошо пели. В доме Ушаковых собирались знаменитые музыканты и певцы, бывали также писатели – князь Шаликов, князь Вяземский. Пушкин любил беседовать со старухой Ушаковой и часто просил ее диктовать ему известные ей русские народные песни и повторять их напевы. Обе ее дочери очень нравились ему. Они были красавицы и восторженные почитательницы Пушкина. Младшая, шестнадцатилетняя Елизавета, крепко уже любила тридцатичетырехлетнего полковника С. Д. Киселева, за которого через несколько лет вышла замуж. Пушкин преимущественно увлекался старшей сестрой, семнадцатилетней Екатериной. Она была блондинка с синими глазами, с пепельными волосами, густые косы спускались до ко-

лен; резвая, шаловливая, лукаво-насмешливая. «Ни женщина, ни мальчик», – назвал ее Пушкин в надписи на поднесенном ей экземпляре своих стихов. Уже в первую зиму их знакомства в Москве заговорили, что Пушкин к ней равнодушен. Одна московская девица писала в дневнике: «По-видимому, наш поэт, наш знаменитый Пушкин, намерен вручить ей судьбу жизни своей, ибо уж положил оружие свое у ног ее, т. е., сказать просто, влюблен в нее. Это общая молва. Я слышала, что Пушкин во все пребывание свое в Москве только и занимался, что Ушаковой: на балах, на гуляньях он говорил только с нею, а когда случалось, что в собрании Ушаковой нет, то Пушкин сидит целый вечер в углу задумавшись, и ничто уже не в силах развлечь его... В доме Ушаковых все напоминает о Пушкине: на столе найдете его сочинения, между нотами – «Черную шаль» и «Цыганскую песню», на фортепиано – его «Талисман», в альбоме – его картины, стихи и карикатуры, а на языке беспрестанно вертится имя Пушкина». Пушкин бывал у Ушаковых иногда по два, по три раза в день, чувствовал себя у них свободно и

непринужденно. Своей непоседливостью и необычным образом жизни он вызывал недоумение у ушаковской прислуги, а может быть, и у самих Ушаковых. Старый выездной лакей Ушаковых, Иван Евсеев, говаривал, что сочинители все делают не по-людски.

– Ну, что, прости Господи, вчера он к мертвецам-то ездил? Ведь до рассвета прогулял на Ваганькове!

Вечером Евсеев заметил, что Пушкин, уезжая от Ушаковых, велел кучеру повернуть из ворот направо, к окраине города, а на рассвете видел, как он возвращался в карете обратно по Пресне.

3 апреля 1827 г. Пушкин написал в альбоме Екатерины Николаевны:

*Когда, бывало, в старину
Являлся дух иль привиденье,
То прогоняло сатану
Простое это изречение:
«Аминь, аминь, рассыпья!» В на-
ши дни
Гораздо менее бесов и привидений.
(Бог ведает, куда девались они!)
Но ты, мой злой иль добрый ге-
ний,*

Когда я вижу пред собой
Твой профиль, и глаза, и кудри золотые,
Когда я слышу голос твой
И речи резвые, живые,
Я очарован, я горю
И содрогаюсь пред тобою
И сердцу, полному мечтою,
«Аминь, аминь, рассыпья!», – говорю.

В мае 1827 г. Пушкин уехал в Петербург. Перед отъездом он был мрачен и невесел. Возможно, что его мучило незаконченное еще дело о непропущенном цензурой отрывке из его поэмы «Андрей Шенье», распространившемся в публике под заглавием «На 14 декабря». За несколько дней до отъезда он писал в альбоме Ушаковой:

В отдалении от вас
С вами буду неразлучен,
Томных уст и томных глаз
Буду памятью размучен;
Изнывая в тишине,
Не хочу я быть утешен, –
Вы ж вздохнете ль обо мне,
Если буду я повешен?

В Петербурге Пушкин увлекался А. О. Рос-сет, А. А. Олениной. Рассказывают, что он даже сватался к Олениной, но получил отказ. Когда в марте 1829 г. Пушкин опять приехал в Москву, он узнал, что Ек. Н. Ушакова помолвлена за некоего князя Долгорукова. Пушкин воскликнул:

– С чем же я-то остался?!

Екатерина Николаевна насмешливо ответила, намекая на отказ Олениной:

– С оленьими рогами.

Пушкин собрал сведения о Долгорукове, оказавшиеся очень неблагоприятными для жениха, и сообщил их отцу Ушаковой. Доказательства были настолько явны, что свадьба расстроилась. Пушкин опять стал постоянным посетителем Ушаковых. И опять – смех, шутки, веселые задирания друг друга, играющая легким хмелем влюбленность. Сестры знали об отказе Олениной, о новом увлечении Пушкина Натальей Гончаровой и жестоко высмеивали его в карикатурах. В альбоме младшей из сестер, Елизаветы, находим целый ряд таких карикатур. В одной из них Оленина протягивает Пушкину кукиш, и под ри-

сунком подпись, сделанная Екатериной Николаевной:

*Прочь, прочь отойди!
Какой беспокойный!
Прочь! прочь! Отвяжись,
Руки недостойный!*

В ряде рисунков фигурирует Наталья Гончарова, которую Пушкин за ее неприступность назвал Карсом (турецкая крепость, славившаяся своей неприступностью). Под одним из этих рисунков подпись, сделанная женским почерком: «О горе мне! Карс, Карс! Прощай, бел свет! Умру!» Летом Пушкин совершил путешествие в Арзрум. На обратном пути осенью 1829 г. прожил около месяца в Москве, снова все дни проводил у Ушаковых, заполнял альбомы обеих сестер стихами, рисунками и карикатурами. Дошел рисунок восточного города с минаретами и плоскими крышами домов, под рисунком подпись рукой Пушкина: «Арзрум, взятый (вставлено рукой Екатерины Николаевны: «мною. А. П.») помощью Божией и молитвами Екатерины Николаевны 27 июня 1829 г. от Р. Х.» В октябре Пушкин уехал из Москвы. Он переписы-

вался с Екатериной Николаевной. В январе 1830 г. писал ей из Петербурга:

*Я вас узнал, о мой оракул,
Не по узорной пестроте
Сих неподписанных каракул,
Но по веселой остроте,
Но по приветствиям лукавым,
Но по насмешливости злой
И по упрекам... столь неправым,
И этой прелести живой.
С тоской невольной, с восхище-
нием
Я перечитываю вас
И восклицаю с нетерпеньем:
Пора! в Москву! в Москву сейчас!
Здесь город чопорный, унылый,
Здесь речи – лед, сердца – гранит;
Здесь нет ни ветрености милой,
Ни муз, ни Пресни, ни харит.*

А Вяземского он запрашивал: «Правда ли, что моя Гончарова выходит замуж? Что делает Ушакова, моя же?» В марте Пушкин приехал в Москву. Опять часто бывал у Ушаковых. Знакомые с любопытством следили за его отношениями с Екатериной Николаевной. Погодин писал в дневнике: «Говорят, что Пушкин

женится на Ушаковой старшей и заметно степенничает». В. А. Муханов сообщал брату: «Ушакова меньшая идет за Киселева. О старшей не слышно ничего, хотя Пушкин бывает у них всякий день почти». Но сердце Пушкина уже целиком было занято Гончаровой. В начале апреля он вторично сделал ей предложение, и оно было принято. Имя Екатерины Ушаковой навсегда исчезает из дальнейшей биографии Пушкина.

Уже после смерти поэта Ушакова вышла замуж за вдовца, коллежского советника Д. М. Наумова. По его требованию она уничтожила свои девические альбомы с рисунками и записями Пушкина. Пушкин однажды подарил ей золотой браслет с зеленой яшмой с турецкой надписью, который она носила на левой руке между плечом и локтем. Ревнивый Наумов браслет сломал, из золота велел сделать лорнет, а камень отдал отцу Екатерины Николаевны. Когда Екатерина Николаевна умирала, то приказала дочери подать шкатулку с письмами Пушкина и сожгла их. Дочь просила не жечь. Она ответила:

– Мы любили друг друга горячо, это была

наша сердечная тайна; пусть она и умрет с нами.

Утраченные альбомы и письма во многом уяснили бы и уточнили наши сведения об отношениях, бывших между Пушкиным и Ушаковой. Здесь утрата особенно горька, хочется как можно больше знать об этой девушке, не только любившей Пушкина, но и умевшей его ценить. Не перейди ей дорогу пустенькая красавица Гончарова, втянувшая Пушкина в придворный плен, исковеркавшая всю его жизнь и подведшая под пистолет Дантеса, – подругой жизни Пушкина, возможно, оказалась бы Ушакова, и она сберегла бы нам Пушкина еще на многие годы.

Елизавета Николаевна Ушакова (1810–1872)

Тоже была очень хороша собой; была тоньше и стройнее сестры, со вздернутым слегка носиком и с очень милыми ямочками на розовых щеках. Вяземский воспел ее, изобразив майской розой, на венчике которой бог любви выдавил поцелуем две ямки; придет счастливец, и бог любви ему скажет:

Ты своей именууй

*Розу, прелесть младую,
И, что дал поцелуй,
То присвой поцелую!*

Этим счастливецem оказался полковник в отставке С. Д. Киселев. Елизавета Николаевна так рассказывает о возникновении своей любви к нему: «День оперы я ожидала с большим нетерпением. Признаюсь, не одна музыка привлекала меня туда. В первом ряду кресел я заметила постоянного посетителя оперы: то был Сергей Дмитриевич Киселев. Он был мужчина средних лет, не красавец, но физиономии очень приятной. Им-то сердце мое наполнилось, мысль о нем меня смущала: я полюбила его страстно, но, будучи скрытного характера, — конечно, долго никто не подозревал о моей к нему любви. Мне минуло шестнадцать лет, характер мой переменялся, я стала серьезнее и обдуманнее в обращении. Сердце билось, и мысли наполнились одним. Гвардейцы лучших фамилий посещали наш дом, иные дерзнули свататься за меня, но отказ был всем по молодости моих лет. Сергей Дмитриевич к нам не ездил. Вокруг меня были разговоры, что он никуда не ездит,

оттого что занимается примадонной Анти (после узнала, что она была его любовница), которая никуда его не пускает от себя». Вскоре Елизавета Николаевна познакомилась с Киселевым, а в 1829 г. он стал ее женихом.

У Пушкина были с Елизаветой Николаевной весело-шутливые и дружеские отношения. Он написал для ее альбома следующие стихи:

*Вы избалованы природой;
Она пристрастна к вам была,
И наша вечная хвала
Вам кажется докучной одой.
Вы сами знаете давно,
Что вас любить немудрено,
Что нежным взором вы Армида,
Что легким станом вы Сильфида,
Что ваши алые уста,
Как гармоническая роза...
И наши рифмы, наша проза
Пред вами шум и суета.
Но красоты воспоминанье
Нам сердце трогает тайком –
И строк небрежных начертанье
Вношу смиренно в ваш альбом.
Авось на память поневоле
Придет вам тот, кто вас певал*

*В те дни, как Пресненское поле
Еще забор не заграждал.*

Пушкин преподнес Елизавете Николаевне эти стихи без подписи. Она спросила, почему он не подписал своего имени. Пушкин, как будто оскорбленный, воскликнул:

– Так вы находите, что под стихами Пушкина нужна подпись?! Проститесь с этим листком: он недостоин чести быть в вашем альбоме.

И хотел разорвать листок. Елизавета Николаевна кинулась к Пушкину и стала отнимать. Произошла борьба. В конце концов листок остался в руках Елизаветы Николаевны, совершенно измятый, с оторванным углом. Она заставила Пушкина подписаться под стихами, причем для верности держала листок обеими руками. До нас дошел этот измятый и порванный листок с подписью Пушкина, сделанной другими чернилами.

Один из альбомов Елизаветы Николаевны сохранился до настоящего времени. Первоначально это был чистенький альбом с золотым обрезом, украшенный русскими и французскими стихами неизвестных в литературе

лиц; но потом он был предоставлен в распоряжение Пушкина, который весь альбом испестрил своими карикатурами, портретами и надписями. И не только сам Пушкин. Альбом представляет форменное поле сражения, на котором Пушкин, с одной стороны, и сестры Ушаковы – с другой, шутливо пикировались, задирали и высмеивали друг друга. О подтрунивании над Пушкиным по поводу отказа Олениной и ухаживаний его за Гончаровой см. главу об Екатерине Ушаковой. Главным предметом подшучиваний Пушкина над Елизаветой Николаевной были любовь ее к Киселеву и будущая их семейная жизнь. Пушкин неизменно изображал Ушакову уже в чепчике замужней дамы, Киселева – в виде кота (от начальных букв его фамилии – кис-кис), а будущих детей их – в виде котят. На одном рисунке, например, Елизавета Николаевна, в дамском чепчике и в очках (она была близорука), стоит перед пюпитром, собираясь петь, кругом – котята, а на пюпитре сидит влюбленный кот и дирижирует лапкой. Однажды, когда жених и невеста мечтали в присутствии Пушкина о будущей своей жизни, Пуш-

кин нарисовал в альбоме картину ждущей их семейной идиллии: изба, отведенная под квартиру женатого офицера, хозяева, забравшись на полати, глядят оттуда на постояльцев, посреди комнаты люлька с ребенком, отец качает ее, мать стряпает на лавке; около матери сидят, поджав лапки, котята – предзнаменование будущего многочисленного потомства молодых супругов.

Приехав в марте 1830 г. в Москву, Пушкин писал Вяземскому: «Киселев женится на Л. Ушаковой, и Катерина говорит, что они счастливы до гадости». Вскоре Елизавета Николаевна и Киселев поженились.

В упомянутом ушаковском альбоме находится, между прочим, знаменитый «донжуанский список» Пушкина – сделанный им поименный перечень женщин, которых он любил. Об этом списке не раз уже упоминалось в этой книге. Приведем его здесь. Список состоит из двух частей: в первой – шестнадцать имен женщин, которых, по-видимому, Пушкин любил всего сильнее; во второй, более длинной, – имена предметов не столь серьезных увлечений.

Первый список. Наталья I (графиня Нат. Кочубей? крепостная актриса Наталья?), Катерина I (Бакунина), Катерина II (актриса Ек. Сем. Семенова?), N. N. (Мария Раевская?), княгиня Авдотья (Голицина-Ночная), Настасья (?), Катерина III (Раевская-Орлова?), Аглая (Давыдова), Калипсо (Полихрони), Пульхерия (Варфоломей), Амалия (Ризнич), Элиза (графиня Воронцова), Евпраксия (Вульф), Катерина IV (Ушакова), Анна (Оленина), Наталья (Гончарова).

Второй список. Мария, Анна, Софья, Александра, Варвара, Вера, Анна, Анна, Анна, Варвара, Елизавета, Надежда, Аграфена, Любовь, Ольга, Евгения, Александра, Елена. Некоторые из этих имен можно расшифровать с большей или меньшей уверенностью: Аграфена – Закревская, три Анны – Анна Ник. Вульф, Нетти Вульф и А. П. Керн. О других именах возможны только предположения, ряд имен совсем не поддается разгадке.

Сергей Дмитриевич Киселев
(1792–1851)

Брат генерала П. Д. Киселева, впоследствии министра государственных имуществ и

графа. Служил в лейб-гвардии егерском полку, в 1821 г. вышел в отставку и жил в Москве. Пушкин находился с ним в приятельских отношениях, они были на «ты», вместе кутили. Дошла коллективная записка Вяземского, Бологовского, Пушкина и Киселева (1828–1829) к Американцу Толстому такого содержания: «Сейчас узнаем, что ты здесь, сделай милость приезжай. Упитые винами, мы жаждем одного: тебя». В 1830 г. Киселев женился на Елизавете Ушаковой. С 1837 г. был московским вице-губернатором, с 1838 г. – председателем московской казенной палаты.

Мария Ивановна Римская-Корсакова (в середине 60-х годов XVIII в. – 1832)

Рожденная Наумова, вдова камергера. Князь Вяземский пишет: «М. И. Римская-Корсакова должна иметь почетное место в преданиях хлебосольной и гостеприимной Москвы. Она жила открытым домом, давала часто обеды, вечера, разные увеселения; красавицы-дочери ее были душою и прелестью этих собраний. Сама Мария Ивановна была тип московской барыни в хорошем и лучшем значении этого слова. Старый век и новый век слились

в ней в разнообразной стройности и придавали личности ее особенное и привлекательное значение». Если таковы были лучшие типы московских барынь, то можно себе представить, каковы были типы худшие. Корсакова была богата: в Рязанской, Тамбовской и Пензенской губерниях у нее были две с половиной тысячи душ крестьян. Жила она, однако, «уж очень размашисто» и вечно была в долгах. В городе про нее говорили: «Должна целому городу, никому не платит, а балы дает да дает». Для себя и для детей своих Корсакова стремилась превратить жизнь в один сплошной увеселительный праздник – в этом были цель и смысл всего ее существования. Одна из дочерей ее писала, перечисляя выезды за неделю: «В субботу танцевали до пяти часов утра у Оболенских, в понедельник до трех – у Голицына, в четверг предстоит костюмированный бал у Рябининой, в субботу – вечер у Оболенских, в воскресенье званы к графу Толстому на завтрак, после которого будут танцы, а вечером в тот же день придется плясать у Ф. Голицына. И так всю зиму без перерыва, и все эти балы так оживлены, что приходится

вертеться до изнеможения, а потом полдня лежишь в кровати от усталости». Великие танцевальные труды эти не проходили для участниц даром. «В нынешнем году, – пишет она же, – многие поплатились за танцы. Бедная княжна Шаховская опасно больна. У нас умирает маленькая графиня Бобринская от простуды, схваченной на бале». Вот устроенная самой Марией Ивановной *folle journe'e* [259], о которой уже за неделю говорили по всей Москве; завтракали у Марии Ивановны, затем катались по городу и предместьям, – было тридцать саней, до ста приглашенных, после катанья закусывали у Ф. Голицына, а кончили день балом в Собрании.

Мария Ивановна была женщина очень энергичная; она усиленно старалась пристроить своих дочерей, даже открыто наседала на намеченного жениха с требованием сделать предложение, указывая, что он уже компрометировал ее дочь; напористо наседала и на важных особ, включая самого царя, устраивая карьеры своих сыновей. Была большая сплетница, с очень злым язычком, и умела мстить врагам: проиграв процесс с Меншиковым,

она всюду рассказывала, что эти Меншиковы «родились от матери, но не дети своего отца». Нравом была крута. Однажды собралась в театр, а спектакль отменили, потому что директор театра Ф. Ф. Кокошкин уехал за город со своей любовницей-актрисой. Корсакова вызвала к своей карете служащего из театральной конторы, узнала, что спектакль вправду не состоится, и сказала:

– Передайте Федору Федоровичу Кокошкину, что он дурак. Пошел домой!

И, отъезжая, величественно пояснила:

– Я – Мария Ивановна Римская-Корсакова.

Мораль ее ярко сказывается в письмах к любимому сыну Грише: «Надо к службе рвение, если и не в душе его иметь, но показывать: дойдет до ушей всевышнего (т. е. царя), – вот и довольно, на голове понесут». – «У кого дядюшки есть, тем лучше на свете жить: из мерзости вытащат и помогут». – «Не должно ничем пренебрегать; лучше доброе слово не в счет, нежели скажут: гордец. Приласкать человека немного стоит». Была богомольна. Когда возвращалась с бала, не снимая платья, отправлялась в церковь вся разряженная;

в перьях и бриллиантах отстаивала утреню и тогда возвращалась домой отдыхать. Дом ее был большой, просторный, в два этажа и в два десятка комнат, с залой, вмещавшей в себе маскарады и балы на сотни персон и благотворительные концерты. Фасад дома выходил на Страстную площадь. В недавнее время в доме этом помещалась 7-я мужская гимназия, а теперь – Коммунистический университет трудящихся Востока. По преданию, именно в этом доме разыгрывается действие «Горе от ума». Рассказывают, что однажды на балу у Корсаковой Грибоедов сильно напал на пристрастие москвичей ко всему французскому. Это вызвало общее изумление и негодование. Все порешили, что Грибоедов сошел с ума. Весть быстро распространилась по городу, многие заезжали к Грибоедову справляться о его здоровье. Грибоедов сказал: «Я же им докажу, что я не сошел с ума». И написал «Горе от ума».

Григорий Александрович Римский-Корсаков

(1792–1852)

Сын предыдущей, приятель Пушкина и Вя-

земского. Служил в военной службе, участвовал в наполеоновских войнах, сильно кутил и проказил, подвергался часто взысканиям; матери много приходилось за него хлопотать. В 1821 г. он был полковником лейб-гвардии Московского полка в Петербурге. На каком-то балу он расстегнул за ужином мундир. Командир гвардейского корпуса Васильчиков послал сказать ему, что совершенно недопустимо расстегиваться в присутствии начальников и что поэтому он просит его оставить корпус. Корсаков подал в отставку – совсем. Александр I был в это время в Троппау. На представлении Васильчикова об увольнении Корсакова в отставку с мундиром царь положил резолюцию: «Мундира Корсакову не давать, ибо замечено, что онный его беспокоит». Впрочем, расстегнутый мундир был только предлогом; было перлюстрировано какое-то письмо Корсакова «весьма дурного тона», по видимому, касающееся кары, постигшей Семеновский полк после известной семеновской истории.

Выйдя в отставку, Корсаков проживал преимущественно в Москве, жуировал, был

усердным танцором. «Особенно памятна мне одна зима или две, – воспоминает Вяземский, – когда не было бала в Москве, на который не приглашали бы Григ. Ал. Корсакова и меня. После пристал к нам и Пушкин. Знакомые и незнакомые зазывали нас и в Немецкую слободу, и в Замоскворечье. Наш триумф в отношении к балам отслуживал службу свою, наподобие бригадиров и кавалеров св. Анны, неперемненных почетных гостей, без коих обойтись не могла ни одна купеческая свадьба, ни один именинный обед...» Многие годы Корсаков был на виду у московского общества. Все знали его, везде его встречали. Он был одним из первозванных московских львов. Видный собой мужчина, рослый, плечистый, с частым подергиванием плеча, он был на примете везде, куда ни являлся. Умственная физиономия его была также резко очерчена. Он был задорный, ярый спорщик, несколько властолюбивый в обращении и мнениях своих. В Английском клубе часто раздавался его сильный и повелительный голос. Корсаков не прочь был иногда пошалить – в таком, например, роде. Однажды, за

обедом в Английском клубе, он заметил, что у его соседа очень крупные икры, не подходившие к его сухой фигуре; Корсакову захотелось проверить, не накладные ли у него икры, нагнулся, как будто что-то поднять, и воткнул в икру вилку. После обеда сосед встал и, ничего не замечая, стал прохаживаться с болтавшей на икре вилкой. Корсаков позволял себе кое-что и похуже. В своем пензенском имении он, рассердясь, так избил одного татарина, что тот чуть не умер, и соседу его А. А. Тучкову, пользовавшемуся среди татар большой популярностью, еле удалось успокоить сбежавшихся татар. Вяземский, однако, замечает, что Корсаков был замечательный человек по многим нравственным качествам и по благородству характера. Н. А. Тучкова-Огарева, жена поэта Огарева, со своей стороны тоже считает Корсакова одним из самых выдающихся людей по оригинальному складу ума, познаниям, необыкновенной энергии и редкой независимости характера. «Если бы он родился на Западе, — замечает она, — то ему выпала бы на долю одна из самых блестящих ролей в общественной жизни, а у нас в то вре-

мя не было места таким личностям».

**Александра Александровна Римская-
Корсакова
(1803–1860)**

Дочь Мар. Ив. Корсаковой. Высокая и стройная, с бархатными глазами. Была, по отзыву матери, «с характером». Четырнадцать лет все шесть недель великого поста упрямо ела только пустые щи да кашу, хотя все в доме ели и рыбу. Шестнадцать лет, живя поздней осенью в деревне, на пари сходила в полночь, одна, на кладбище и положила на условленную могилу платок, «даже камушек положила, чтобы ветром не унесло». Вообще, как говорила мать, если бы она что твердо предприняла, то верно сделала бы.

Пушкин познакомился с Корсаковыми вскоре после приезда в Москву из деревенской ссылки. Судя по некоторым данным, он в 1826–1827 гг. увлекался Александрой Александровной. Подробностей мы не знаем, но какие-то влюбленные отношения были. В мае 1827 г. Мария Ивановна с дочерью уезжала на Кавказ. Пушкин дал ей письмо к брату своему Льву, где с шутливой ревностью писал:

«...прошу не влюбиться в дочь». Когда в декабре 1828 г. Пушкин приехал в Москву, Вяземский писал А. Тургеневу: «Пушкин ни в кого еще не влюбился, а старые любви его немного отшатнулись. Вчера должен он был быть у Корсаковой, не знаю еще, как была встреча». А через месяц писал ему же: «Пушкин что-то во все время был не совсем по себе. Не умею объяснить, ни угадать, что с ним было, но он не был в ударе. Постоянные его посещения были у Корсаковых и у цыганок; и в том, и в другом месте видел я его редко, но видал с теми и другими, и все не узнавал прежнего Пушкина». По дважды повторенному свидетельству Вяземского, Пушкин имел в виду А. А. Корсакову в следующей строфе седьмой главы «Онегина»:

*У ночи много звезд прелестных,
Красавиц много на Москве.
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве.
Но та, которую не смею
Тревожить лирою моею,
Как величаяя луна,
Средь жен и дев блеснит одна.
С какою гордостью небесной*

*Земли касается она!
Как негой грудь ее полна!
Как томен взор ее чудесный!..
Но полно, полно; перестань:
Ты заплатил безумству дань.*

Александра Александровна начала полнеть, страдала приливами крови к голове. В Париже один врач посоветовал ей пустить себе кровь. Она послала за кровопускателем и велела пускать себе кровь до обморока. От этого она так ослабела, что некоторое время боялись за ее жизнь. Умереть она не умерла, но так подорвала свое здоровье, что стала совсем хилой.

В 1832 г., двадцати девяти лет, Александра Александровна вышла замуж за пензенского помещика, отставного офицера князя А. Н. Вяземского. Он когда-то состоял членом Северного тайного общества и после декабрьских событий был переведен из кавалергардского полка в армейский драгунский полк. Был он человек самонравный, страстный картежник, выигрывал и проигрывал десятки тысяч. Брак их не был счастлив. Александра Александровна своей расточительностью тоже порядком

расстроила состояние мужа. Жизнь она вела совершенно бездеятельную. Живя в Москве, ложилась спать в три-четыре часа ночи, спала до второго часа дня, утренний чай пила в четвертом часу, обедала в семь. С прислугой обращалась высокомерно и грубо, изводила ее, домашних и мужа своими прихотями и брезгливостью. От постели к туалетному столу шла не иначе, как по белым простыням. Стул, на который садилась, тоже должен был быть покрыт чистой простыней. Девушка причесывала барыню в бумажных белых перчатках. Потом начиналось бесконечное умывание с бесконечными покрикиваниями на горничную:

– Ах, как ты глупа, да ты, кажется, с ума сошла! Ты ничего делать не умеешь! Что с тобой сегодня, ты совсем поглупела!

Одевалась она часа два-три. Потом подавали чай. Человек в белых перчатках должен был нести поднос в салфетке так, чтобы даже перчатками не коснуться подноса. И опять:

– Не трогай рукой! Ты хочешь, чтоб я ничего не ела? Я не стану после этого пить, это просто противно, как ты подаешь!

В особенности мучила она своих детей и горничных в дороге. К карете горничная должна была идти в калошах, при входе в карету человек должен был с нее калоши снять, – не дай бог коснуться пола кареты калошей. В карете горничная не смела ни прикоснуться ногой к ноге барыни, ни шевельнуться, ни кашлянуть.

Граф Федор Иванович Толстой
(Американец)
(1782–1846)

Бретер, кутила, карточный игрок, – «необыкновенный, преступный и привлекательный человек», по отзыву Льва Толстого. Обучался в морском корпусе, оттуда поступил в лейб-гвардии Преображенский полк. В августе 1803 г. отправился в кругосветное плавание в экспедиции адмирала Крузенштерна. За буйное поведение, не поддававшееся никакому воздействию, Крузенштерн высадил Толстого на берег Камчатки или на один из Алеутских островов, где Толстой несколько месяцев прожил среди дикарей. В Россию он вернулся сухим путем через Сибирь в 1805 году. Немедленно по приезде в Петербург он

был переведен из Преображенского полка в гарнизон Нейшлотской крепости (очевидно, в связи с полученными сведениями о его поведении в морской экспедиции), с воспрещением въезжать в столицу. В 1808–1809 гг. участвовал в русско-шведской войне, где выказал безумную храбрость. Между прочим, благодаря его смелой разведке Барклай-Де-Толли совершил свой знаменитый переход по льду Ботнического залива и неожиданно явился на берегах Швеции, что привело к окончанию войны. В 1811 г. Толстой на дуэли «прострелил» капитана генерального штаба Брунова и убил наповал офицера лейб-егерского полка Нарышкина. За последнюю дуэль он был разжалован в рядовые и заключен в Выборгскую крепость. В 1812 г. жил частным человеком в своей калужской деревне. При нашествии Наполеона поступил опять на военную службу в качестве ратника московского ополчения, на войне вернул себе чин и ордена, получил Георгия, при Бородине был тяжело ранен в ногу. Вышел в отставку полковником и поселился в Москве, в Староконюшенном переулке, изредка наезжая в Петербург и проводя лето в

своей подмосковной деревне.

Жил на широкую ногу, вел большую карточную игру, не всегда чистую, имел ряд дуэлей, иногда самого фантастического свойства. С. Л. Толстой, со слов отца своего Л. И. Толстого, рассказывает такой случай. На одном вечере приятель Толстого сообщил ему, что только что был вызван на дуэль, и просил его быть его секундантом. Толстой согласился, дуэль назначили на другой день, в 11 часов утра. Приятель должен был заехать к Толстому и вместе с ним отправиться на место дуэли. На завтра приятель в условленное время приехал к Толстому, застал его спящим и разбудил. Толстой спросил спросонья:

– В чем дело?

Приятель робко сказал:

– Разве ты забыл, что ты обещал быть моим секундантом?

– Это уж не нужно. Я его убил.

Оказалось, что накануне Толстой, не говоря ни слова своему приятелю, вызвал его обидчика, условился стреляться в шесть часов утра, убил его, вернулся домой и лег спать. Герцен рассказывает про Толстого: «Он

буйствовал, дрался, обыгрывал, уродовал людей, разорял семейства... Женатый на цыганке, известной своим голосом, он превратил свой дом в игорный, проводил все время в оргиях и все ночи за картами». Это про него писал Грибоедов в «Горе от ума»:

*Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся
алеутом
И крепко на руку нечист;
Да умный человек не может
быть не плутом;
Когда ж об честности высокой
говорит,
Каким-то демоном внушаем:
Глаза в крови, лицо горит,
Сам плачет, и мы все рыдаем.*

Встретясь после этого с Грибоедовым, Толстой спросил его:

- Зачем ты обо мне написал, что я крепко на руку нечист? Подумают, что я взятки брал.
- Но ты же играешь нечисто.
- Только-то? Ну, ты так бы и написал!

Один из друзей Толстого, в разговоре с молодой женщиной, вспоминал о нем так: «Та-

ких людей уже нет. Если бы он вас полюбил и вам бы захотелось вставить в браслет звезду с неба, он бы ее достал. Для него не было невозможного, и все ему покорялось. Клянусь вам, что в его присутствии вы не испугались бы появления льва. А теперь что за люди? Тряпье!»

С годами Толстой остепенился, крупную игру продолжал вести, но играл добросовестно. Стал очень богомолен и суеверен, его мучили угрызения совести, он каялся, молился и клал земные поклоны. Убитых им на дуэлях Толстой насчитывал одиннадцать человек. Он аккуратно записывал имена убитых в свой синодик. У него было двенадцать человек детей, которые все умерли в младенчестве, кроме двух дочерей. По мере того как умирали дети, он вычеркивал из своего синодика по одному имени из убитых им людей и ставил сбоку слово «квит». Когда же у него умер одиннадцатый ребенок, прелестная, умная девочка, он вычеркнул последнее имя убитого и сказал: «Ну, слава Богу, хоть мой курчавый цыганеночек будет жив». Этот «цыганеночек», Прасковья действительно оста-

лась жива. Рассказывали, что умер он во время молитвы, простершись перед образами.

«Он был прекрасно образован, – рассказывает про Толстого Булгарин, – говорил на нескольких языках, любил музыку и литературу, много читал и охотно сближался с артистами, литераторами и любителями словесности и искусств. Умен он был, как демон, и удивительно красноречив. Он любил софизмы и парадоксы, и с ним трудно было спорить. Впрочем, он был, как говорится, добрый малый, для друга готов был на все, охотно помогал приятелям, но и друзьям и приятелям не советовал играть с ним в карты, говоря откровенно, что в игре, как в сражение, он не знает ни друга, ни брата, и кто хочет перевести его деньги в свой карман, у того и он имеет право выиграть». Толстой был хорош с князем Вяземским, Жуковским и другими писателями.

Пушкин познакомился с Толстым в Петербурге, до высылки своей, был с ним в приятельских отношениях. В письме к драматургу Шаховскому Толстой сообщил сплетню, будто Пушкина за его вольные стихи высекли в

Тайной канцелярии. До Пушкина сплетня дошла уже на юге и привела его в бешенство. Он решил при первой возможности вызвать Толстого на дуэль. В течение всех шести лет своей ссылки Пушкин усердно упражнялся в стрельбе из пистолета, чтоб достойно встретить у барьера своего страшного противника. А пока осыпал его эпиграммами. В 1820 г. писал:

*В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружен,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он.
Но, исправясь понемногу,
Он загладил свой позор,
И теперь он – слава Богу –
Только что картежный вор.*

В 1821 г. Пушкин поместил в «Сыне отечества» свое послание к Чаадаеву, где о Федоре Толстом говорилось так:

*Что нужды было мне в торжественном суде
Холопа знатного, невежды при звезде,
Глупца-философа, который в*

прежних лета
Развратом изумил четыре части
света,
Но, просветив себя, загладил свой
позор:
Отвыкнул от вина и стал кар-
тежный вор?

Толстой ответил Пушкину следующей эпи-
граммой:

Сатиры нравственной язвитель-
ное жало
С пасквильной клеветой не сход-
ствует ни мало.
В восторге подлых чувств ты,
Чушкин, то забыл.
Презренным чту тебя, ничтож-
ным столько чтил.
Примером ты рази, а не стихом
пороки,
И вспомни, милый друг, что у те-
бя есть щеки.

Он послал свою эпигramму для напеча-
тания в «Сын отечества», но редакция отказа-
лась ее напечатать. 1 сентября 1822 г. Пушкин
писал Вяземскому по поводу своего выпада
против Толстого: «Ты говоришь, что стихи

мои никуда не годятся. Знаю, но мое намерение было не заводить остроумную литературную войну, но резкой обидой отплатить за тайные обиды человека, с которым расстался я приятелем и которого с жаром защищал всякий раз, как представлялся к тому случай. Ему показалось забавно сделать из меня неприятеля и смешить на мой счет письмами чердак князя Шаховского, я узнал обо всем, будучи уже сослан, и, почитая мщение одной из первых христианских добродетелей, – в бессилии своего бешенства закидал издали Толстова журнального грязью. Ты упрекаешь меня в том, что из Кишинева, под эгидою ссылки, печатаю ругательства на человека, живущего в Москве. Но тогда я не сомневался в своем возвращении. Намерение мое было ехать в Москву, где только и могу совершенно очиститься. Столь явное нападение на графа Толстого не есть малодушие. Сказывают, что он написал на меня что-то ужасное. Журналисты должны были принять отзыв человека, обруганного в их журнале. Можно подумать, что я с ними за одно, и это меня бесит. Впрочем, я свое дело сделал, и на бумаге более свя-

зываться не хочу».

В 1826 г., по приезде из ссылки в Москву, Пушкин немедленно поручил Соболевскому на следующий же день съездить к Толстому и передать ему вызов на дуэль. К счастью, Толстого в то время в Москве не оказалось. А затем приятелям удалось помирить врагов. Пушкин сблизился с Толстым, нередко видался с ним в приезды свои в Москву, кутил с ним. Оригинальная и красочная фигура Американца-Толстого должна была привлекать Пушкина, любившего все яркое, что выделялось тем или другим из серой обывательской массы. В 1829 г. Пушкин через Толстого сватался за Гончарову. Это говорит об их тогдашней близости.

Александр Яковлевич Булгаков (1781–1863)

Московский почт-директор, типическая фигура старой Москвы. Побочный сын известного дипломата Я. И. Булгакова, тогда чрезвычайного посланника в Турции, от гречанки или итальянки, родился в Константинополе. В молодости служил по дипломатическому ведомству, при русских миссиях в Неа-

поле и Вене. В 1832 г., в чине действительного статского советника и в звании камергера, назначен московским почт-директором. Князь Вяземский рассказывает: «Тут был он совершенно в своей стихии. Он получал письма, писал письма, отправлял письма, словом сказать, купался и плавал в письмах, как осетр в Оке. Московские барыни закидывали его любезными записочками с просьбою переслать прилагаемое письмо или выписать что-нибудь из Петербурга или Парижа... Казенные интересы могли немножко страдать от его любезности; но зато почт-директор был любимец прекрасного пола». «Ты рожден гусем, – писал Булгакову Жуковский, – т. е. все твое существо утыкано гусиными перьями, из которых каждое готово без усталости писать с утра до вечера очень любезные письма». Булгаков кое-что пописывал и печатал, но собственно литература его, говорит Вяземский, была обширная его переписка. В этом отношении он поистине был писатель, и писатель плодовитый и замечательный. Особенно интересна его переписка с младшим братом К. Я. Булгаковым, петербургским почт-директо-

ром. Они, благодаря своему положению, могли переписываться откровенно, не опасаясь нескромной зоркости постороннего глаза. Весь быт, все движение государственное и общественное, события и слухи, дела и сплетни, учреждения и лица – все это, с верностью и живостью, выразило себя в этих письмах. Это были образованные, стоящие в центре русской жизни Добчинский и Бобчинский, аккуратно, изо дня в день, осведомлявшие друг друга о всех «чрезвычайных происшествиях». Кроме того, А. Я. Булгаков был «славный перлюстратор»; распечатывал чужие письма не только по долгу службы, но и из-за простого любопытства; развязность его в этом отношении доходила до того, что в чужих письмах, адресованных его знакомым, он приписывал строки от себя. Одна из дочерей Булгакова, красавица Ольга Александровна, «курноска», как ее называл отец, за три недели до свадьбы Пушкина вышла замуж за чиновника особых поручений при московском военном губернаторе, князя А. С. Долгорукова, вскоре обратила на себя милостивое внимание Николая и, к искреннейшей радости отца, стала

наложницей императора.

По характеру своему, общительному, но слишком суетливому и угодливому, Булгаков не пользовался тем уважением, которое подобало бы ему как сановнику, занимавшему видный пост почт-директора: несмотря на его дружеские связи с Жуковским, Вяземским и другими, невзирая на широкую его популярность, отношение к Булгакову было несколько пренебрежительное. В 1856 г. Булгаков был уволен из почтового ведомства с назначением в сенат. Вяземский рассказывает: «Он был поражен этим, как громом. До того времени бодро нес он свою старость. Сложения художавого, поджарый, всегда державшийся прямо, отличающийся стройной талией черкеса, необыкновенной живостью в движениях и речи, – он вдруг осунулся телом и духом. Осталась только тень прежнего Булгакова, темное предание о живой старине».

К Пушкину Булгаков относился с глубочайшим недоброжелательством. Еще до личного знакомства с ним, по поводу высылки Пушкина из Одессы, Булгаков писал брату: «О Пушкине, несмотря на прекрасные его стихотво-

рения, никто не пожалеет. Кажется, Воронцов и добр, и снисходителен, а и с ним не ужился этот повеса. Будет, живучи в деревне, вспоминать Одессу, да нельзя уж будет пособить». По приезде в Москву из деревенской ссылки Пушкин читал у Вяземского своего «Бориса Годунова», здесь с ним Булгаков познакомился и писал брату: «Я познакомился с поэтом Пушкиным. Рожа ничего не обещающая».

Пушкин, если верить Булгакову, усиленно добивался быть принятым в его семье, но Булгаков отговаривался болезнью. Наконец, по усиленным просьбам Пушкина, Вигель ввел его в дом Булгакова в марте 1829 г. Пушкин был очень любезен, ужинал и пробыл до двух часов ночи. Красавицы-дочери Булгакова ухаживали за ним, одна из них, Катя, пела ему его стихи, положенные на музыку Геништою и Титовым. Узнав, что Пушкин едет на театр военных действий в армию Паскевича, она воскликнула:

– Ах, не ездите! Там убили Грибоедова!

– Будьте покойны, сударыня, – ответил Пушкин. – Неужели в одном году убьют двух Александров Сергеевичей?

Другая дочь «курноска-Лелька» (Ольга), сказала:

– Байрон поехал в Грецию и там умер; не ездите в Персию, довольно вам и одного сходства с Байроном.

Жена Булгакова уговаривала Пушкина избрать большой исторический отечественный сюжет и написать что-нибудь достойное его пера, но Пушкин уверял, что никогда не напишет эпической поэмы. Ему очень понравилось, что у Булгаковых говорили по-русски, а не по-французски.

Когда Пушкин стал женихом Гончаровой, Булгаков сообщал о нем брату такого рода сведения: «Кто-то, увидав Пушкина после долгого отсутствия, спрашивает его: «Что это, дорогой мой, мне говорят, что вы женитесь?» – «Конечно, – ответил тот. – И не думайте, что это будет последняя глупость, которую я совершу в своей жизни». Каков молодец! Приятно это должно быть для невесты. Охота идти за него!» За два дня до свадьбы Пушкина писал: «В городе опять начали поговаривать, что Пушкина свадьба расходится; это скоро должно открыться: середина последний день, в

который можно венчать. Невеста, рассказывают, нездорова. Он был на бале у наших (княгини О. А. Долгоруковой, дочери Булгакова), танцевал, после ужина скрылся. Где Пушкин? – я спросил, а Гриша Корсаков серьезно отвечал: «Он ведь был здесь весь вечер, а теперь отправился навестить невесту». Хорош визит в пять часов утра и к больной! Нечего ждать хорошего, кажется; я думаю, что не для нее одной, но и для него лучше было бы, кабы свадьба разошлась». А через неделю после свадьбы Булгаков извещал брата, что Пушкину приписывают стишки на женитьбу приблизительно такого содержания: хочешь быть в раю, – молись, хочешь быть в аду, – женись. «Полагаю, – прибавлял он, – что не мог он их написать неделю после венца».

В августе 1833 г. Пушкин, остановившись проездом в Москве по дороге в Оренбург, получил от Булгакова карточку с приглашением на именинный вечер его жены. Пушкин не поехал «за неимением бального платья и за небритие усов», а на следующий день ездил к Булгакову извиняться и благодарить, «а между прочим, – писал он жене, – и выпро-

сить лист для (станционных) зрителей, которые очень мало меня уважают, несмотря на то что я пишу прекрасные стихи».

Лето 1834 г. Пушкин проводил в Петербурге и печатал «Историю пугачевского бунта», а жена его с детьми жила в Калужской губернии. В одном из писем к ней Пушкин с горечью писал о своем придворном пленении, о том, что царь упек его под старость лет в камер-пажи. «Не дай бог нашему Сашке (сыну) идти по моим следам, писать стихи и ссориться с царями». Булгаков перехватил в Москве это письмо и отправил в Третье отделение, а Бенкендорф доложил царю. Жуковскому с трудом удалось уладить дело. Возбешенный Пушкин написал жене письмо, где просил ее быть осторожной в письмах, потому что в Москве состоит почт-директором негодяй Булгаков, который не считает позорным ни распечатывать чужие письма, ни торговать собственными дочерьми. Это письмо до Натальи Николаевны не дошло, но и в Третье отделение переслано Булгаковым не было.

Князь Николай Борисович Юсупов

(1751–1831)

Потомок владетельного ногайского князя Юсуф-Мурзы, сын князя Б. Г. Юсупова, московского губернатора, потом президента коммерц-коллегии. Был близок к царскому двору. В молодости много путешествовал за границей, снабженный рекомендательными письмами Екатерины II к разным европейским государям и писателям. Радужно был принят при французском дворе Людовика XVI, не раз посещал Иосифа II в Вене и Фридриха Великого в Берлине; был в Фернее у Вольтера, встречался в Париже с Дидро, в Лондоне – с Бомарше. Бомарше писал ему:

Cher prince, qui vernier tout voir.

Et tout apprendre et tout savoir.

(Дорогой принц, который хочет все видеть, и всему научиться, и все знать.)

Юсупов дружил с Кановой, был в сношениях с художниками Грезой, Давидом, Ангеликой Кауфман и другими.

Прохождение государственной службы Юсупова было такое: в восьмидесяти годах несколько лет был посланником в Турине, потом управляющим театрами и Эрмитажем,

президентом мануфактур-коллегии, при Александре I недолгое время министром уделов, состоял верховным маршалом в комиссиях о коронации трех императоров – Павла I, Александра I и Николая I. Последние десятилетия жизни был начальником московской Кремлевской экспедиции. Все должности, как видим, не очень крупного размаха, да и в них Юсупов не проявил какой-нибудь очень уж исключительной деятельности. Однако он носил наивысший существующий в России чин действительного тайного советника первого ранга, имел все самые высокие русские ордена – Владимира I ст., Александра Невского, Андрея Первозванного, состоял командором большого креста ордена Иоанна Иерусалимского. Но и этого всего оказалось мало для награждения его заслуг: специально для него был придуман какой-то бриллиантовый или жемчужный эполет, которого больше никто никогда не имел. Можно бы подумать, что Юсупов был какой-нибудь огромнейший государственный деятель или полководец вроде Бисмарка, Суворова, которого власть уже и не знает, как вознаградить. Разрешения тайны

этих наградений напрасно было бы искать в изучении результатов государственной деятельности Юсупова. Все его заслуги заключались в умении быть приятным царедворцем.

Богат был Юсупов колоссально. Он владел с лишком сорока тысячами душ крестьян; почти нельзя было найти не только губернии, но и уезда, где бы у него не было поместий. В молодости был он красив, пользовался у женщин огромным успехом. Бомарше ему писал:

Serez noblement la beaute',
Déclarez sourdement la guerre
A tous les maris de la terre.

(Будьте королем красоты. Объявите тайную войну всем мужьям земли.)

В селе Архангельском у Юсупова была комната, – в ней, по слухам, находилось собрание трехсот портретов красавиц, благорасположением которых он пользовался. Была еще картина, где Юсупов и Екатерина II были изображены в виде Аполлона и Венеры. Павел по восшествии на престол велел отобрать эту картину. Можно думать, что Юсупов был одно время любовником Екатерины. До нас дошли ее письма к нему, очень дружеские. С да-

мами Юсупов был всегда отменно вежлив. Когда в знакомом доме встретится ему на лестнице дама, – знает ли он ее или нет, – всегда низко поклонится и посторонится, чтобы дать ей пройти. В Архангельском, где в саду разрешалось гулять всем желающим, он при встрече с дамами непременно раскланивался.

Юсупов обладал колоссальной библиотекой; в ней было до тридцати тысяч томов ценнейших книг, в том числе до пятисот эльзевировских изданий. Была редкая по богатству художественная галерея, в ней находились в подлинниках «Амур и Психея» Кановы, десять картин Греза, шесть видов Клод-Лоррена, Рембрандт, Рубенс, Тенирс, новые французские художники – Давид, Легро и другие. Знаменитое подмосковное село его Архангельское представляло собой чудо красоты, где совместными силами природы и искусства создано было все, что могло бы тешить самый взыскательный вкус. Уверяют, что Юсупов питал большую любовь ко всему хорошему, ко всему умному, ко всему прекрасному. Казалось бы, при всех этих данных он мог явиться культурнейшим центром, собирав-

шим вокруг себя выдающихся деятелей искусства и науки, подобно некоторым другим богатым и знатным людям того времени, как граф М. Ю. Виельгорский, князь В. Ф. Одоевский, княгиня З. А. Волконская. Но этого не было. Был он в свое время знаком с Фонвизинным, бывал у него и Пушкин. Но действительной потребности в зажигающем ум и чувство общении с крупными умами и талантами Юсупов не ощущал, он узко-эгоистически наслаждался в одиночку красотой, которой себя окружил. Да, может быть, для чего иного у него и не было никаких данных. Князь П. А. Вяземский рассказывает про Юсупова: «Он был благополучного сложения по плоти и по духу, в житейском и нравственном отношении. На улице его вечный праздник, в доме вечное торжество торжеств. На окнах стояли горшки с пышными, благоуханными цветами; на стенах висели клетки с разными птицами певчими; в комнатах раздавался бой стенных часов с звонкими курантиками. Все у него было светозарно, оглушительно, охмелительно. Сам, посреди этого сияния, этой роскошной растительности и певучести, вы-

ставлял он румяное, радостное лицо, расцветающее, как махровый красный пион. Мне всегда ужасно было завидно смотреть на праздничную обстановку. Впрочем, мне никогда не случалось завидовать умным людям, зависть забирает меня только при виде счастливой глупости». Граф Ф. В. Ростопчин сообщает, что Юсупов был любителем искусств, женщин и... шутов, только и делал, что бегал от скуки, имел множество слуг, ненужных любовниц, попугаев и обезьян.

Пушкин познакомился с Юсуповым, когда тому шел уже восьмой десяток. Юсупов продолжал держаться моды екатерининских времен, носил напудренный парик с косичкой, оканчивавшейся черным бантом в виде кошелька; на балы и ко двору являлся в пудре, в чулках и в башмаках с красными каблуками: при версальском дворе, а в подражание ему и у нас, красные каблуки в свое время были свидетельством знатного происхождения, их носила только *la haute noblesse*[260]. Обыкновенным костюмом Юсупова был синий фрак с бархатным воротником. Выезжал он из дому всегда в четырехместном ландо, запряжен-

ном четверкой лошадей, с двумя гайдуками на запятках и любимым калмыком на козлах возле кучера. На подушке против Юсупова лежала в карете левретка с золотым ошейником. Приезжал к какому-нибудь старому своему знакомому. Гайдуки почти выносили его на руках из кареты. Когда он входил в комнату, то шмыгал ногами по полу и кашлял так громко, что слышно было через две-три комнаты. И беседовал со старым приятелем о старом прошлом:

– Да, любезный друг, плохо старикам жить на свете: и климат-то изменился, и силы-то не те, да, признаться, и скучновато.

С. Д. Полторацкий представлялся в юности по какому-то случаю Юсупову. «Помню, – пишет он, – эти огромные залы, убранные во вкусе Людовика XV, множество картин и статуй, множество грубой челяди; наконец, кабинет сибарита, его пресыщенную, сонную фигуру, белый шлафор и церемонию пудренья головы».

Д. Н. Бантыш-Каменский в своем «Словаре достопамятных людей русской земли» (1836) дает такую общую характеристику Юсупова:

«Он отличался просвещенным умом своим, утонченным вкусом ко всему изящному, острою, обходительностью, веселостию нрава, памятью обширную, любил ученых и художников и даже в старости маститой приносил дань удивления прекрасному полу».

Вот в какой форме приносилась эта дань. Недалеко от Красных ворот, напротив дворца князя Юсупова, находился принадлежащий ему другой дом. Он был обнесен высокой каменной стеной. Вдоме помещался крепостной гарем Юсупова из пятнадцати – двадцати красивейших девушек. Гарем – и в то же время кордебалет. Танцам обучал девушек известнейший в Москве танцмейстер Йогель. Юсупов иногда приглашал приятелей на представления своего кордебалета. Когда Юсупов подавал знак, танцовщицы мгновенно сбрасывали с себя одежды и продолжали танцевать в совершенно нагом виде, что приводило в восторг старичков, любителей всего изящного. Кроме того, Юсупов до кончины своей содержал знаменитую танцовщицу Воронину-Иванову и подносил ей в бенефис редкие бриллианты. Юсупов был начальником

Кремлевской экспедиции. В 1826 г. к нему обратилась с какою-то просьбой молодая девушка Вера Тюрина, сестра архитекторского помощника Кремлевской экспедиции. Маститый поклонник прекрасного пола предложил ей пятьдесят тысяч рублей, с тем чтоб она отдалась ему. Девушка с негодованием ответила, что не надо ей и миллиона, и ушла. Через год двое ее братьев были арестованы за участие в студенческой тайной организации братьев Критских. Юсупов послал сказать Вере Тюриной, что если она согласится принадлежать ему, то он берется устроить освобождение ее братьев. Вера отказалась, одного брата заточили в Шлиссельбург, другого сослали.

Пушкин написал к Юсупову знаменитое послание «К вельможе» (1829), – тонкий и блестящий портрет изящного эпикурейца-скептика XVIII в. У многих послание вызвало недоумение. Библиограф С. Д. Полторацкий удивлялся, что оригиналом для своего портрета Пушкин выбрал именно князя Юсупова. «Конечно, – писал он, – нельзя задавать поэтам тем для их сочинений; но неужели нельзя требовать, чтобы они оставались верными

действительности, времени, лицу?.. Нам непременно хочется иметь представителей по всем отраслям человеческих знаний, и благодаря этому усилию мы производим в меценаты и покровители искусства людей тщеславных и самых незначительных. Пора бы нам опомниться и определить ясно, что такое были покровители свободных искусств во времена Екатерины, Александра I и наше». В оппозиционной печати послание вызвало обвинения Пушкина в низкопоклонстве. Полевой напечатал в «Московском телеграфе» едкую и грубую сцену: «Утро в кабинете знатного барина». Секретарь Подлецов подает князю листок со стихами. «Стихи – мне? А! Это – того стихотворца! Что он врет там?.. Так он недаром у меня обедает. Как жаль, что по-русски. Недурно, но что-то много, скучно читать. Вели перевести это по-французски и переписать экземпляров пять: я пошлю кой-кому; а стихотворцу скажи, что по четвергам я приглашаю его всегда обедать у себя. Только не слишком вежливо обходись с ним: ведь эти люди забывчивы, их надобно держать в черном теле». Статейка эта сильно задела Пуш-

кина. В черновой заметке он написал: «Возвратясь из-под Арзрума, написал я послание к князю Юсупову. В свете оно тотчас было замечено и... (пропуск в рукописи) были мною недовольны. Светские люди имеют в высокой степени этого рода чутье. Один журналист принял мое послание за лесть итальянского аббата и в статейке заставил вельможу звать меня по четвергам обедать. Так-то чувствуют они вещи и так-то описывают светские нравы». По сообщению Бартенева, Пушкин говорил М. А. Максимовичу, что князю Юсупову хотелось от него стихов, и затем только он угощал его в своем Архангельском.

– Но ведь вы его изобразили пустым человеком.

– Ничего! Не догадается!

И он смеялся над Полевым, который в его послании к Юсупову видел низкопоклонство.

Вскоре после женитьбы Пушкин в своей квартире на Арбате дал знакомым бал. Юсупов присутствовал на этом балу. «Пушкин славный вчера задал бал, – писал Булгаков брату. – И он, и она прекрасно угощали и гостей своих. Она прелестна, и они как два го-

лубка. Дай Бог, чтобы всегда так продолжалось. Много все танцевали, и так как общество было небольшое, то я также потанцевал по просьбе прекрасной хозяйки, которая сама меня ангажировала, и по приказанию старика Юсупова: «И я бы танцевал, если бы у меня были силы», – говорил он».

**Александра Васильевна Алябьева
(1812–1891)**

Дочь помещика. Наряду с Н. Н. Гончаровой, будущей женой Пушкина, славилась в Москве как первейшая красавица. Пушкин в послании «К вельможе» (Н. Б. Юсупову, 1829) писал:

*...влиянье красоты
Ты живо чувствуешь. С востор-
гом ценишь ты
И блеск Алябьевой, и прелесть
Гончаровой.*

Вяземский назвал Алябьеву «классической красавицей», а Гончарову «романтической». Языков восхвалял Алябьеву в ряде стихотворений как «чудо красоты», «украшение Москвы», соперницу Геры и Венеры. Более сдержанно отнесся к ней юноша Лермонтов, – мо-

жет быть, впрочем, по неудаче в ухаживании:

*Вам красота, чтобы блеснуть
Дана;
В глазах душа, чтоб обмануть,
Видна;
Но звал ли вас хоть кто-нибудь:
Она?*

В 1832 г. Алябьева вышла замуж за помещика А. Н. Киреева. В московском их доме собирался цвет тогдашнего культурного общества, в особенности корифеи славянофильства (К.Аксаков, Хомяков). В 1836 г. Киреевы приезжали на масленицу в Петербург. Видимо, красота Киреевой действительно была исключительная. Вот как описывает Вяземский в письме к А. Тургеневу это, как он выражается, «событие»: «Когда она в первый раз показала в собрании, сказывают, поднялась такая возня, что не приведи Боже: бегали за нею, толпились, окружали ее, смотрели в глаза, лазили на стулья, на окна. Пошли сравнения с Завадовскою, с Пушкиною; только и разговоров, что о ней... Я был у нее. Она в самом деле очень хороша, хотя, кажется, несколько и притучнела... Тяжел, кажется,

муж ее; не дает ей слова выговорить и поминутно перебивает разговор с нею». Детьми этой четы Киреевых были известный славянофил-публицист А. А. Киреев, организатор добровольческих отрядов в сербо-турецкую войну Н. А. Киреев, убитый в бою с турками, и англо-русская писательница О. А. Киреева-Новикова.

Александр Алексеевич Муханов (1800–1834)

Из старинного и богатого дворянского рода, сын сенатора. Служил в уланах, в 1823–1825 гг. состоял адъютантом при финляндском генерал-губернаторе Закревском; в это время, вместе с Н. В. Путятою, много способствовал облегчению участи поэта Баратынского. Поместил в «Сыне отечества» статью, направленную против книги г-жи Сталь «Десять лет изгнания». Пушкин напечатал о статье резкую заметку, где возмущался пренебрежительным тоном, каким автор говорил о г-же Сталь. Затем Муханов был адъютантом при главнокомандующем 2-й армией Витгенштейне. В 1827 г. он часто встречался с Пушкиным в Москве, был с ним на «ты».

В марте он писал брату Николаю: «Я часто выдаю Александра Пушкина: он бесподобен, когда не напускает на себя дури». Через два месяца с ехавшим в Петербург Пушкиным послал брату письмо, где писал: «Александр Пушкин, отправляющийся нынче в ночь, доставит тебе это письмо. Постарайся с ним сблизиться; нельзя довольно оценить наслаждение быть с ним часто вместе, размышляя о впечатлениях, которые возбуждаются в нас его необычайными дарованиями. Он стократ занимательнее в мужском обществе, нежели в женском, в котором, дробясь беспрестанно на мелочь, он только тогда делается для этих самок понятным».

Муханов участвовал в турецкой войне 1828–1829 гг., в 1830 г. оставил военную службу. В чине полковника и в звании камергера состоял при московском главном архиве министерства иностранных дел. Ясного представления о нем мы не имеем, но, по дошедшим отзывам, был он человек даровитый, дружил с Пушкиным, Вяземским, Баратынским, Хомяковым. Умер за несколько дней до свадьбы с красавицей Авророй Шернваль.

Аврора Карловна Шернваль (1813–1902)

Дочь Выборгского губернатора, шведка. Смуглая брюнетка, отличалась исключительной красотой, строгой и пластичной. Пушкин не раз встречался с ней в свете. Баратынский писал к ней:

*Выдь, дохни нам упоеньем
Соименница зари!
Всех румяных появленьем
Оживи и озари!
Пылкий юноша не сводит
Взоров с милой и порой
Мыслит с тихою тоской:
«Для кого она выводит
Солнце счастья за собой?»*

В Финляндии у нее был жених, но он умер незадолго до свадьбы. В 1834 г. она стала невестой А. А. Муханова, с давних пор любившего ее. Он умер за несколько дней до свадьбы. В 1836 г. вышла за богача, егермейстера П. Н. Демидова. На балы являлась в одноцветном гладком платье без всяких украшений, с тоненькой цепочкой, украшавшей ее великолепную шею и грудь; на этой цепочке висел

баснословный демидовский бриллиант-соли-тер, стоивший, по слухам, миллион рублей. В 1840 г. Демидов умер. Брат бывшего ее жениха, В. А. Муханов, писал по этому случаю в дневнике: «Она могла не любить своего мужа и, выходя за него, переносить свои думы в прошлое; но тяжело сознавать, что достаточно соединить свою судьбу с другим, чтобы увидеть его похищенным. Эта женщина совершенство; она, кажется, обладает всем для счастья: умна, добра, чиста сердцем, красива, богата». В 1846 г. Аврора Карловна вышла замуж за Андрея Карамзина, сына историка, полковника конной артиллерии. В 1854 г. он был изрублен на куски в стычке с турками. Злая судьба людей, которых любила роковая и несчастная красавица, останавливала на себе внимание и современников, и потомков. Действительно, случайность неотступно шла по пятам Авроры и в суеверных людях могла бы утвердить убеждение в основательности их суеверия. В наше время молодой поэт Г. В. Маслов написал о ней поэму «Аврора». В поэме он воспел красавицу, которая скорбно шла через жизнь:

*Себя орудием покорным
Судьбы таинственной сознав...*

*.....
И на смерть роком обречен
Поцеловавший эти губы.*

Когда поэт писал свою поэму, он заболел сыпным тифом и умер в 1920 г. на больничной койке в Красноярске. Перед смертью он еще выправлял и отделявал поэму.

**Графиня Эмилия Карловна Мусина-Пушкина
(1810–1846)**

Сестра предыдущей. В 1828 г. жена богача графа В. А. Мусина-Пушкина. Как и сестра, знаменитая красавица. В свете производили фурор ее белокурые волосы, синие глаза и черные брови. Влюбленный в нее Лермонтов писал:

*Графиня Эмилия
Белее, чем лилия,
Стройней ее талии
На свете не встретится,
И небо Италии
В глазах ее светится,
Но сердце Эмили
Подобно Бастилии.*

По отзыву А. О. Смирновой, была очень умна и непритворно добра, как и сестра Аврора. В деревне она ухаживала за тифозными больными, сама заразилась и умерла.

Граф Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин
(1798–1854)

Муж предыдущей, сын известного собирателя рукописей. Был капитаном лейб-гвардии Измайловского полка, за принадлежность к Северному тайному обществу подвергнут месячному заключению в крепости и переведен тем же чином в один из кавказских пехотных полков. Богач. В 1829 г. Пушкин, едучи на кавказский фронт, встретился в Новочеркасске с графом Мусиным-Пушкиным. «Я сердечно ему обрадовался, и мы согласились ехать вместе. Он едет в огромной бричке. Это род укрепленного местечка; мы ее прозвали Отрадною. В северной ее части хранятся вина и съестные припасы, в южной – книги, мундиры, шляпы и т.д., с западной и восточной стороны она защищена ружьями, пистолетами, мушкетонами, саблями и пр. На каждой станции выгружается часть

северных запасов, и, таким образом, мы проводим время как нельзя лучше». Так они доехали вместе до Тифлиса. В 1831 г. Мусин-Пушкин был уволен в отставку, до 1834 г. жил под надзором в Москве. Здесь Пушкин встречался с ним, с его женой и жившей у них красавицей-свояченицей Авророй. В сентябре 1832 г. он писал жене, что видел их всех трех на вечере у Вяземских.

Князь Федор Федорович Гагарин (1786–1863)

Брат Веры Федоровны, жены князя П. А. Вяземского. Кутила, игрок, дуэлист и повеса, типичная фигура тогдашнего гусарства. Был пикник московской золотой молодежи в Царицыне. Офицер С. С. Новосильцев хотел выстрелить из ружья в пролетавшую птицу. Гагарин сказал: «Охота стрелять в птицу! Выстрели лучше в человека». – «Ну, что ж? Хоть в тебя!» – «Изволь, я готов, стреляй». Новосильцев прицелился и спустил курок. Осечка. Один из присутствующих вырвал у Новосильцева ружье, попробовал выстрелить в воздух. Выстрел. Все смутились, – думали, что ружье не заряжено. Гагарин сказал: «Ты в меня це-

лил, — это хорошо. Но теперь будем целить друг в друга; увидим, кто в кого попадет». И вызвал его на дуэль. Приятелям удалось уладить ссору, все сели обедать; Гагарин и Новосильцев остались приятелями. Другой случай такой. На почтовой станции Гагарин заказал себе рябчика, а сам вышел прогуляться. Воротился — видит, один известный московский повеса ест его рябчика, хотя ему сказали, что рябчик заказан для другого. Гагарин пожелал ему хорошего аппетита, направил в него заряженный пистолет и заставил съесть без отдыха еще одиннадцать рябчиков, за которые заплатил (этот случай послужил Загоскину материалом для известной сцены в «Юрии Милославском»). В 20-х годах Гагарин был командиром Клястицкого гусарского полка, потом командиром бригады, с которой принимал участие в польской кампании. Однажды гусарские и конноартиллерийские офицеры его бригады поздно вечером метали банк в палатке на разостланном ковре. Вдруг поднимается пола палатки, и из-под нее вылезает, к общему изумлению, рука с картой, голос сказал: «Господа, атанде! Пятерка пик идет ва-

банк!» и вслед за рукой выглянула оскалившаяся, черепообразная и полулысая голова генерала Гагарина. В 1832 г. Гагарин был уволен со службы без прошения за появление на варшавских публичных гуляниях с женщинами низшего разбора. После этого жил в Москве. До конца жизни остался холостяком. Современник говорит: «Недостатки его заключались в слабости быть везде на первом плане, в эксцентричных выходках и в замашках казаться молодым, вопреки своих лет». Прозвание ему было Адамова голова. Пушкин, бывая в Москве, видался с Гагариным и кутил с ним у цыганок.

Князь Владимир Сергеевич Голицын (1794–1861)

Сын генерал-аншефа, богач, человек богатырского сложения. Участвовал в наполеоновских войнах, несколько раз был ранен, получил за храбрость Георгия. Был одним из действующих лиц тяжелой, до сих пор вполне еще не выясненной придворной любовной драмы. Княжна Туркестанова, грузинка, любимая фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны, была одновременно в связи с им-

ператором Александром и молодым князем В. С. Голицыным, флигель-адъютантом. Забеременела от одного из них, до последних дней должна была скрывать беременность, родила очень тяжело, была обоими брошена, отравилась и через две недели умерла в сильных мучениях. С 1829 г. Голицын находился на гражданской службе, в сороковых годах опять поступил на военную, был командиром центра кавказской армии, поэтому получил прозвище Центральный. Он прожил несколько солидных состояний, как свое родовое, так и из боковых наследственных. Однако как ни кутил, но никогда не докучивался до конца, и всегда судьба ему помогала поправляться. Был очень остер, краснобай, мастер играть словами и веселый рассказчик, неутомимый устроитель всяких увеселений и затей. Московский Английский клуб двадцатых и тридцатых годов не раз забавлялся его неожиданными и затейливыми выходками. Голицын был близок с писателями, артистами, сам занимался литературой и музыкой. Некоторые его стихотворения, водевили и музыкальные пьесы были напечатаны.

Летом 1830 г., когда Пушкин был женихом Н. Н. Гончаровой, князь Голицын посетил его на московской его квартире, не застал дома и оставил следующую стихотворную записку:

Кн. Вл. Голицын.

*Никитушка! Скажи, где Пушкин,
царь-поэт?*

Никита.

*Давным-давно, сударь, его уж до-
ма нет,*

*Не усидит никак приятель ваш на
месте:*

*То к дяде на поклон, то полетит
к невесте.*

Кн. Вл. Голицын.

*А скоро ль женится твой мудрый
господин?*

Никита.

*Осталось месяц лишь гулять ему
один.*

*«Вот мой разговор с вашим ка-
мердинером».*

Это, видимо, была привычка у Голицына – оставлять стихотворные записочки у знакомых, которых он не заставлял дома. Посылая в 1835 г. Пушкину на просмотр свою переделку

скрибовского либретто оперы Обера «Немая из Портичи», Голицын писал: «Вам не мудрено узнать меня по обработке стихов; вам случалось, при возвращении домой, находить подобные на столике вашем». Из этого же письма видно, что отношения его с Пушкиным были не особенно близкие. Письмо кончается так: «Прошу о сохранении дружбы вашей, которую ценю в полной мере, хотя подозреваю себя несколько забытым вами в пылу светской и литературной жизни ваших».

**Графиня Варвара Николаевна
Ягужинская
(1749–1843)**

Рожденная Салтыкова, жена графа С. П. Ягужинского. Отец его был известный граф Павел Иванович Ягужинский, дипломат, сотрудник Петра Великого, игравший крупную роль и в последующих царствованиях. Вдова Павла Ягужинского, Анна Гавриловна, вышла вторым браком за М. П. Бестужева-Рюмина, была в 1743 г. осуждена за участие в якобы заговоре Лопухиной против императрицы Елизаветы Петровны, наказана кнутом, ей вырезали язык и сослали в Сибирь.

Графиня Варвара Николаевна, овдовев, жила в своем имении Сафорине, между Москвой и Троице-Сергиевской лаврой. Была она очень глупа. Ее винули в уничтожении крайне ценных для истории бумаг ее свекра. Когда Пушкин писал историю Петра I, он просил представить его графине В. Н. Ягужинской. Но она отказалась принять Пушкина и сказала, что она не делит общества с рифмачами и писаришками. Ей возражали, что Пушкин принадлежит к одной из древнейших фамилий русского дворянства; на это она ответила, что охотно приняла бы его, если бы он не был прикосновенен к писательству, и прибавила:

– Он напечатает то, что я могла бы ему рассказать или сообщить, и Бог знает, что из этого может выйти. Моя бедная свекровь умерла в Сибири, с вырезанным языком, высеченная кнутом. А я хочу спокойно умереть в своей постели в Сафорине.

Умерла Ягужинская девяноста четырех лет.

**Митрополит московский Филарет
(1783–1867)**

Рожденный Василий Михайлович Дроздов. Ученый богослов и проповедник. Окончил Троицкую семинарию. В 1808 г. принял монашество. Был профессором философских и богословских наук в петербургской духовной академии, ее инспектором, впоследствии ректором. Обратил на себя внимание как выдающийся проповедник. В период силы министра князя А. Н. Голицына стал ревностным членом основанного им мистического Библейского общества, которое служило хорошим преддверием к достижению церковных должностей. В 1817 г. был назначен ревельским епископом, в 1819г. – архиепископом тверским и членом синода. Когда Голицын пал и начались гонения на Библейское общество, в карьере Филарета произошла заминка. 18 декабря 1825 г., в день приведения Москвы к присяге Николаю I, Филарет удачным словом успокоил народ; это и еще речь, сказанная им при коронации, привлекли к нему благоволение императора, и Филарет был назначен московским митрополитом.

Он был крупный оратор. Однако речи его были рассудочны и действовали больше на

ум, чем на душу, слушателей. В проповедях своих он призывал к пассивным добродетелям молчания, смирения, терпения и преданности воле Божией. Сам же, однако, был смиренен и молчалив только с высшими; в синоде, например, всегда соглашался с мнением влиятельного петербургского митрополита Серафима. По отношению же к низшим был властен и горд. Один современник рассказывает: «Филарет был эгоист, властолюбец и честолюбец, при этом бессердечный, сухой аскет с беспредельной нетерпимостью. Внешность его была невзрачна: небольшого роста, очень худощавый, с реденькою бородою, с пронзительными глазами; когда он принимал у себя запросто, костюм его состоял из черного шерстяного подрясника, бархатной черной скуфейки и опорышей, надетых на босу ногу. Приезжие подчиненные ему священники доползали до него на четвереньках, не могли от страха произнести ни одного слова при «владыке», который грозно смотрел на них. Раскольников он не терпел, не терпел и арестантов, – а был председателем тюремного комитета. Однажды на заседании комитета

он с раздражением сказал д-ру Ф. П. Гаазу (знаменитому человеколюбцу, «святому доктору», очень много сделавшему по улучшению обращения с арестантами): «Да что вы, Федор Петрович, ходатайствуете об этих негодях! Если человек попал в темницу, то проку в нем быть не может». – «Ваше высокопреосвященство! – возразил д-р Гааз. – Вы изволили забыть о Христе: он тоже был в темнице». Филарет смутился, помолчал и сказал: «Не я забыл о Христе, но Христос забыл меня в эту минуту. Простите, Христа ради!» Закрыв собрание и вышел. Угнетая подчиненных, не имевших протекции, он сильно покровительствовал людям со связями, а также родственникам своим, которых определял на доходные места. Я не слышал, чтобы Филарет помогал бедным из своего кошелька, хотя получал огромные доходы и имел уже скопленный значительный капитал. С барынями-ханжами, которые являлись к нему, кувыркались перед ним и подстилали свои юбки под его ноги, Филарет не церемонился, часто давал им нагоняи и требовал от них денежных пожертвований на церкви. Купцы, невзирая на

все это, уже заживо причислили Филарета к лику святых».

Князь Вл. Мих. Голицын рассказывает в неизданных своих записках: «Поражали глаза Филарета – большие, словно пронизывающие и злые. Его мрачный, грубый деспотизм вселил к нему вражду, если даже не озлобление, в тех, кто по службе зависел от него или имел с ним дело. Филарет любил вмешиваться в то, что вовсе его не касалось, но что, по его мнению, было крамольным, кощунственным или безнравственным. Так, он пытался добиться запрещения поэмы Данте в переводе Мина или, по крайней мере, перемены ее заглавия, так как, по его мнению, сочетание слов «Божественная комедия» недопустимо с православной точки зрения». Баратынский говорил Вяземскому, что Филарет ему всегда напоминает что-то женское: ряса, как юбка, в обращении какое-то кокетство и игра затверженной роли. Филарет тайно был против командования светской власти в делах церкви, писал сочувственные письма иркутскому архиерею Иринею, заточенному в монастырь за фронду против правительства, но на деле са-

мостоятельность свою осмеливался проявлять только в пустяках. Например, отказывался участвовать в освящении театра на том основании, что на фронте его был изображен языческий бог Аполлон. Никитенко записал в своем дневнике: «Слышал забавный анекдот о том, как Филарет жаловался Бенкендорфу на один стих Пушкина в «Онегине», там, где он, описывая Москву, говорит: «и стоя галок на крестах». Здесь Филарет нашел оскорбление святыни. Цензор, которого призывали к ответу по этому поводу, сказал, что, галки, сколько ему известно, садятся на крестах московских церквей, но что, по его мнению, виноват здесь более всего московский полицмейстер, допускающий это, а не поэт и цензор. Бенкендорф отвечал учтиво Филарету, что это дело не стоит того, чтобы в него вмешивалась такая почтенная духовная особа».

В дневнике Пушкина за 1834 г. два раза встречаем упоминания о Филарете. В одном месте Пушкин с осуждением рассказывает о доносе его на религиозную неблагонадежность ученого протоиерея Павского, в другом,

по случаю празднования совершеннолетия наследника, пишет: «Всегда много смешного подвернется в случаи самые торжественные. Филарет сочинял службу на случай присяги. Он выбрал для паремии главу из «Книги царств», где, между прочим, сказано, что «царь собрал и тысячников, и сотников, и евнухов своих». Нарышкин сказал, что это – искусное применение к камергерам, а в городе стали говорить, что во время службы будут молиться за евнухов. Принуждены были слово «евнух» заменить другим». Филарет, прочитав стихи Пушкина «26 мая 1826 г.» («Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судьбою тайной ты на казнь обречена?» и т. д.), написал на них поучающий ответ:

*Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью.
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забвенный мною!*

*Просияй сквозь сумрак дум,
И созиждется тобою
Сердце чисто, светел ум.*

Пушкина очень задело это стихотворение Филарета, но ответил он ему стихами «Стансы», где писал, что, слушая обличения Филарета, он лил потоки слез нежданных, что ранам его совести отраден был чистый елей благоуханных речей митрополита:

*Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.*

Вяземский по этому поводу писал А. И. Тургеневу: «Ты удивишься стихам Пушкина к Филарету: он был задран стихами его преосвященства, который пародировал или, лучше сказать, палинодировал (исправил) стихи Пушкина о жизни, которые нашел он у общей приятельницы, Елизаветы Хитрово, пылающей к одному христианской, а к другому языческой любовью». Письмо это не рассеивает нашего удивления, как мог Пушкин обратиться с подобными стихами к весьма им

мало уважаемому и не заслуживающему уважения Филарету. Объяснение своеобразного психологического процесса, приведшего Пушкина к написанию этих стихов, см. в моей книге статей о Пушкине «В двух планах».

Петр Андреевич Габбе
(1786—?)

Был офицером лейб-гвардии Литовского полка, стоявшего в Польше. За ум, образованность и редкое благородство пользовался огромным уважением среди офицерства. Держался с большим достоинством и независимостью по отношению к начальствующим лицам и к самому цесаревичу Константину Павловичу, командовавшему войсками в Польше. Открыто порицал господствовавшую тогда палочную систему воспитания солдат и всячески пытался их защищать. Был заподозрен в политической неблагонадежности, за ним был учрежден тайный полицейский надзор. В 1823 г., «за дерзкие суждения о высших себя в чине и даже о начальниках своих», был разжалован в солдаты. Все время, однако, он пользовался странным расположением со стороны великого князя Константина. Одного

слова раскаяния, на которое вызывал его Константин, было бы довольно, чтобы Габбе получил помилование, но он отвечал, что никакой вины за собой не знает, поэтому и раскаиваться ему не в чем. Вскоре, однако, он получил прощение с возвращением чинов. Когда по этому случаю он представлялся цесаревичу, Константин сказал ему: «Я вас в детских годах ваших носил на своих руках, я привык вас называть Петрушей, вас на своих руках носила моя матушка-императрица, вы все это забыли и пошли против меня». Габбе ответил: «Я вполне чувствую потерю ваших милостей». Цесаревич в ответ кинулся обнимать и целовать его и радостно повторял: «Ну, если так, то все забыто, все забыто! Кто старое вспомнёт, тому глаз вон!» В 1826 г. Габбе был по прошению уволен в отставку с запрещением въезда в Петербург, Москву и Варшаву. Он сделался главноуправляющим обширными имениями Л. А. Нарышкина. В конце двадцатых годов Габбе нелегально приезжал в Москву и у князя Вяземского познакомился с Пушкиным. Друг Габбе Веригин так рассказывает про это знакомство: «При входе Габбе к князю

Вяземскому в гостиную, Пушкин, – как рассказывал мне Габбе, – увивался около супруги князя и других тут бывших дам. Князь, обменявшись со своим гостем приветами, обратился к Пушкину с приглашением на пару слов. Знакомство началось без представления одного другому, и это, кажется, показывало, что один, как либеральный поэт, а другой, как либеральная высокого ума личность, не должны были входить в расчет представлений, чем обыкновенно представляемый всегда становился ниже того, кому его представляют. Пушкин сел на лежанку камина, свесив одну ногу на угол лежанки, и, несколько согнувшись, принял участие в разговоре стоявших подле него князя и Габбе. Речь пошла о недавно вышедшей какой-то поэме Языкова; князь находил в тех местах красоты, которыми Пушкин не сильно восхищался. Разговор продолжался с час, и Габбе убедился, что знаменитый наш народный поэт более гениальный, нежели ученый поэт».

В 1833 г., находясь в Крыму, Габбе сошел с ума. Веригин ставит это в связь с вопросом, который ему задала бывшая придворная дама

княгиня Голицына: «Да знаете ли вы, почему об вас так хотят знать, знаете ли вы, чей вы сын?» (по всему судя, можно думать, что он был сыном великого князя Константина). Габбе дано было разрешение уехать для лечения за границу, «с тем чтобы впредь не въезжать в Россию, о чем предписать всем полициям». Дальнейшая судьба его неизвестна. Габбе немножко писал. Поместил в «Московском телеграфе» несколько статей и стихотворений. Его книга «Биографическое похвальное слово г-же Сталь-Гольштейн» (1822 г.) вызвала очень одобрительную рецензию князя Вяземского.

Иван Иванович Дмитриев (1760–1837)

Известный поэт карамзинской школы, автор сентиментальных песенок (популярнейший в свое время романс «Стонет сизый голубочек»), басен и бытовых сатир («Чужой толк», «Модная жена»). В 1810–1814 гг. – министр юстиции. Вышедши в отставку с чином действительного тайного советника, остальную жизнь почти безвыездно прожил в Москве. С 1805 г. ничего уже не писал. В заслу-

гу ему ставится, что он придал стихотворному языку легкость и плавность, освободив его от тяжелых и устарелых форм, и явился таким же преобразователем русского стихотворного языка, как Карамзин – прозаической речи. В молодости Пушкин относился к его литературной деятельности с почтением, но очень уже скоро освободился от такого отношения и в 1824 г. писал Вяземскому по поводу его статьи о Дмитриеве: «Что такое Дмитриев? Все его басни не стоят одной хорошей басни Крылова, все его сатиры – одного из твоих посланий, а все прочее – первого стихотворения Жуковского». В бытность поэта Языкова в Тригорском Пушкин потешался над пустопорожней моралью Дмитриевских басен, сочиняя вместе с Языковым пародии на них в таком роде:

*Над лебедем желая посмеяться,
Гусь тиною его однажды зама-
рал.*

*Но лебедь вымылся и снова белым
стал.*

*Что делать, если кто замаран?..
Умываться.*

С самим Дмитриевым Пушкин всю жизнь поддерживал хорошие отношения и, бывая в Москве, посещал его. Дмитриев, в общем, с большим одобрением относился к поэзии Пушкина с самых ранних его поэтических начинаний, о чем сам Пушкин вспоминает в «Евгении Онегине»: «И Дмитриев не был наш хулитель» (повторение выражения самого Дмитриева в его «Послании английского стихотворца Попа к д-ру Арбутноту»: «Свифт не был мой хулитель»). Однако к «Руслану и Людмиле», как сообщает сам Пушкин, Дмитриев отнесся с резким порицанием, не видел в поэме ни мысли, ни чувства, а только чувственность и характеризовал ее так: «Мать дочери велит на эту сказку плюнуть». Как человека современники характеризуют Дмитриева так: «Доживая свой век в Москве, И. И. Дмитриев, по наружности своей, сохранял приличную важность. Высокий ростом, осанистый, величавый в походке, в тоне голоса и во всех приемах, он напоминал собою бывшего министра. Всегда в светло-коричневом или светло-синем фраке со светлыми металлическими пуговицами, в рыжем парике огром-

ных размеров, с завитыми буклями в три яруса, в коротеньких панталонах в обтяжку, в черных шелковых чулках и башмаках с золотыми пряжками. Говорил он басом, очень плавно и протяжно, подчеркивая слова, на которые ему хотелось обратить внимание слушателей. Впечатление от него еще усиливалось славой известного в свое время писателя. Но он был заманчив только издалека. Кто узнавал его близко, тот много разочаровывался. Он был скуп и одевал людей своих дурно, кормил еще хуже. Поступал с ними, как степной помещик; при самом малейшем проступке или потому только, что сам вспылил, тотчас прибегал к расправе. Со знакомыми обращался двулично. За глаза не щадил никого, а в глаза казался каждому чуть не другом. Раз, посреди гостей своих, он описывал Погодина самыми черными красками, называл его и подлецом, и пронырой, и говорил, что удивляется людям, которые принимают к себе такого человека. Вдруг, как нарочно, приезжает Погодин. Все в смущении и ожидали истории... Ничего не бывало. Дмитриев вскочил с места, протянул дружески руку к

вошедшему гостю, упрекая его, что давно не навещал старого знакомого... Этим Дмитриев много терял в общем мнении: люди почтенные, имеющие право на уважение, отставали от него; мелкие стихоплеты, писатели, ничтожные по уму и образованию, всякий сброд наполняли его гостиную. Зато он и тешился над ними, как хотел».

Князь Петр Иванович Шаликов (1768–1852)

Грузин по происхождению. Бездарный поэт, служивший всеобщим посмешищем, до конца жизни писавший слащаво-сентиментальные стишки в карамзинском стиле; издатель «Дамского журнала»; в течение двадцати пяти лет был также редактором «Московских ведомостей». Агент Третьего отделения М. Я. фон Фок писал в 1826 г. Дибичу: «Князь Шаликов с давнего времени служит предметом насмешек для всех, занимающихся литературою. В пятьдесят лет он молодится, пишет любовные стихи, влюбляется и принимает эпиграммы за похвалы. Место редактора «Московских ведомостей» получил он по протекции Ив. Ив. Дмитриева, которому он служит

предметом насмешек под веселый час. Этот князь Шаликов не имеет никаких сведений для издания политической газеты и даже лишен природной сметливости». Чрезвычайно чувствительный певец в стихах, Шаликов в жизни был человеком злым и раздражительным. «Буйный, необузданный, без правил и без нравственности», – отзывается о нем современник. Говорил он всегда плавно, с нежной интонацией голоса, любил эротические разговоры, прикрытые дразнящей завесой скромности. Уже незадолго до смерти он прогуливался по Тверскому бульвару, еле передвигая от дряхлости ноги, но все по-прежнему рассматривал в лорнет встречавшихся дам и восклицал: «Ах, какая хорошенькая!» Всегда был одет, как куколка, подкрашен, накрашен, затянут и терпеть не мог напоминаний о старости.

Пушкин, конечно, относился к Шаликову с насмешкой и отрицанием. Но однажды ему вздумалось сделать Шаликову приятное. В 1825 г. вышла в свет первая глава «Онегина» с помещенным впереди «Разговором книгопродавца с поэтом». В «Разговоре» были такие

СТИХИ:

*Глаза прелестные читали
Меня с улыбкою любви;
Уста волшебные шептали
Мне звуки сладкие мои...
Но полно! в жертву им свободы
Мечтатель уж не принесет;
Пускай их Шаликов поет,
Любезный баловень природы.*

Вяземскому Пушкин писал: «Ты увидишь в «Разговоре» мадригал Шаликову. Он милый поэт, человек, достойный уважения, и надеюсь, что искренняя и полная похвала с моей стороны не будет ему неприятна. Он именно поэт прекрасного пола; у него много заслуг перед ним, и я очень доволен, что изъяснился о том всенародно». По поводу приведенных стихов Шаликов поместил в своем «Дамском журнале» стихотворение «К А. С. Пушкину на отречение петъ женщин»:

*...наш любезный сибарит
Талантом, чувством, песнопеньем
Лишь только женщин отбранит,
Как вдруг невольно, с восхище-*

нѣм,
*О ножках, лучшей красоте
Роскошно-томного Востока,
Своей прелестнейшей мечте,
Воспомянув, в мгновенье ока
У ножек с лирою златой...*

Пушкин узнал о стихах Шаликова от Вяземского и с удивлением спрашивал: «Неужто он обижается моими стихами? Вот уж тут-то я невинен, как барашек! Спросите у братца Леона: он скажет вам, что, увидев у меня имя князя Шаликова, он присоветовал мне заменить его Батюшковым, я было и послушался, да стало жаль, и я смело восстановил Шаликова». В последующих изданиях вместо «Шаликов» Пушкин поставил «юноша».

Весной 1827 г. Пушкин, Баратынский и другие завтракали у Погодина. Кто-то рассказал случай из домашней жизни Шаликова. Пушкин совместно с Баратынским изложили этот случай в таких стихах:

*Князь Шаликов, газетчик наш печальный,
Элегию семье своей читал,*

*А козачок огарок свечки сальной
В руках со трепетом держал.
Вдруг мальчик наш заплакал, за-
плакал.*

*«Вот, вот с кого пример берите,
дуры! –*

*Он дочерям в восторге закричал. –
Откройся мне, о, милый сын на-
туры,*

*Ах, что слезой твой осребрило
взор?»*

*А тот ему в ответ: «Мне хочется
на двор!»*

Шаликов относился к Пушкину с неизменным восхищением и даже обожанием. Еще в 1822 г. он приветствовал Пушкина в «Новостях литературы» двустихием «К портрету А. С. Пушкина»:

*Талант и чувства в нем созрели
прежде лет,
Овидий наш, он стал ко славе Муз
поэт.*

По возвращении из Арзрума Пушкин посетил в Москве дядюшку своего Василия Львовича. У него сидело несколько человек гостей, в их числе Шаликов. Пушкин стал рас-

сказывать о своей поездке. Шаликов присел к столу, стал писать и потом сказал Пушкину:

– Недавно был день вашего рождения, Александр Сергеевич. Я подумал, что никто не воспел такого знаменитого дня, и написал вот что:

К А. С. Пушкину
В день рождения

*Когда родился ты, – хор в Олимпийском мире
Средь небожителей пророчески
воспел:
Младенца славный ждет удел,
– Пленять сердца игрой на лире.*

Пушкин прочитал, пожал Шаликову руку, и не знакомя присутствующих с творением своего поклонника, положил листок в карман.

**Дмитрий Владимирович Веневитинов
(1805–1827)**

Поэт пушкинской поры. Из старинной и богатой дворянской семьи. Получил блестящее образование, знал новые языки, греческий и латинский. Девятнадцати лет окончил

Московский университет и поступил в московский архив коллегии иностранных дел – учреждение, в котором служила самая блестящая и интеллигентная молодежь Москвы. Он был человек исключительной одаренности: поэт, музыкант, композитор; это соединялось у него с серьезным философским умом, легко себя чувствовавшим среди отвлеченнейших систем, что так редко бывает у художников. Горячо увлекался Шеллингом, был членом и секретарем основанного князем В. Ф. Одоевским «Общества любомудрия» и играл в нем первенствующую роль. С Пушкиным Веневитинов познакомился в 1826 г., через три дня по приезде Пушкина в Москву из ссылки, у Соболевского, где Пушкин читал своего «Бориса Годунова». Затем Пушкин читал «Годунова» у Веневитиновых, в их доме в Кривоколенном переулке близ Мясницкой. Они часто виделись, между прочим, у княгини З. А. Волконской, в которую юноша Веневитинов был влюблен глубоко и безнадежно. Веневитинов с друзьями задумали издание журнала «Московский вестник». Основной задачей журнала было создание у нас научной эстетической

критики на началах немецкой умозрительной философии и привитие общественному сознанию убеждения о необходимости применять философские начала к изучению всех наук и искусств. Пушкин согласился примкнуть к журналу, но без большого увлечения. Философские вкусы «любомудров» были ему глубоко чужды. Он писал Дельвигу в Петербург: «...Бог видит, как я ненавижу и презираю немецкую метафизику; да что делать? Собрались ребята теплые, упрямые; поп свое, а черт свое. Я говорю: господа, охота вам из пустого в порожнее переливать, все это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями, но мы... «Московский вестник» сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая? А время вещь такая, которую с никаким «Вестником» не стану я терять. Им же хуже, если они меня не слушают».

В конце октября 1826 г. Веневитинов переехал в Петербург, – может быть, спасаясь от безнадёжной своей любви. Поступил на службу в Азиатский департамент министерства иностранных дел. Он был вообще слабого здоровья. При въезде в Петербург он по недоразу-

мению был арестован и двое суток провел в сырой гауптвахте. Это еще больше подорвало его здоровье. Директор Азиатского департамента, когда ему представлялся Веневитинов, был поражен его болезненным видом и сказал:

– У него смерть в глазах, он скоро умрет.

Веневитинов вошел в колею светской петербургской жизни, делал визиты, ездил на вечера и балы; в то же время много писал; заботился о журнале, приглашал сотрудников, посылал в Москву ободряющие письма. В начале марта, на балу у Ланских, во флигеле дома которых жил Веневитинов, он, разгоряченный танцами, в одном фраке перебежал по двору к себе во флигель, простудился и 15 марта умер. Ему не было еще двадцати двух лет. Смерть его произвела на всех потрясающее впечатление. Дельвиг писал Пушкину: «...знаю, смерть его должна была поразить тебя. Какое соединение прекрасных дарований с прекрасною молодостью!» Шестидесятилетний И. И. Дмитриев писал в эпитафии:

*Здесь юноша лежит под хладною
доской,*

*Над нею роза дышит,
А старость дряхлую рукой
Ему надгробье пишет.*

На могильной доске Веневитинова вырезан был стих из стихотворения его «Поэт и друг»: «Как знал он жизнь, как мало жил!»

Михаил Петрович Погодин
(1800–1875)

Выдающийся историк, журналист и публицист. Отец его был калужский крепостной крестьянин графов Салтыковых, много лет был у своих господ доверенным домоправителем и в 1806 г. получил со всем семейством вольную. После этого служил в Москве канцеляристом. Был, по-видимому, человек состоятельный: имел возможность отдать сына в гимназию. По окончании гимназии Михаил Петрович поступил в университет. Здесь он заинтересовался русской историей. Окончил курс в 1823 г., через год защитил магистерскую диссертацию «О происхождении Руси», имеющую крупные научные достоинства. С 1826 г. стал читать в университете всеобщую историю. В то же время писал повести, драмы. С 1827 по 1830 г. стоял во главе журнала

«Московский вестник», бывшего органом московского кружка шеллингианцев. Отдел русской истории находился в руках Погодина, который вел обстоятельные обзоры исторических новостей. В журнале Пушкин поместил более 30 своих стихотворений. Вследствие своей серьезности журнал успеха в публике не имел. В 1835 г. Погодин получил в Московском университете кафедру русской истории. Напечатал ряд работ по русской истории, из которых некоторые имели большие научные достоинства. В сороковых и пятидесятых годах издавал журнал «Москвитянин», бывший представителем официальной казенной народности, провозглашавшей «гниение Запада» и ведший яркую полемику с «западниками».

У Погодина было некрасивое лицо с очень большим, губастым ртом, тяжелые, медвежьи приемы, грубоватая манера обращения. Славился он феноменальной скупостью, журнальным своим сотрудникам за статьи ничего не платил, любил даровщинку, любил не дать или хотя бы не додать; выпустить деньги из рук для него было очень тяжело, хотя бы

он и знал, что впереди будут барыши. Однако доступен был и великодушным порывам. В 1830 г., перед женитьбой Пушкина, усердно добывал ему денег, не раз оказывал очень крупную материальную поддержку Гоголю. Но каждое свое одолжение он, как кулачок-мужичок, четко записывал в памяти и ждал благодарности в размерах, точно соответствующих одолжению. И в жизни, и в дневниках проявлялся с простодушной откровенностью, иногда переходившей почти в цинизм. С. М. Соловьев про него пишет: «Есть много людей, которые так же самолюбивы и корыстолюбивы, как Погодин, но не сльвут такими потому, что у Погодина душа нараспашку: что другой только подумает, Погодин скажет; что другой скажет, Погодин сделает. Другие скрывают свое корыстолюбие, Погодин же сам признается, что он корыстолюбив, и жалуется: «Вот люди! Имей какой-нибудь недостаток, так уж они и привяжутся к нему, и никогда не будешь ты у них порядочным человеком, хотя бы при этом недостатке имел и большие достоинства». Но в том-то и дело, что у Погодина не было больших достоинств,

хотя и было достоинство, довольно редкое в русском человеке, – смелость. Смелым бог владеет, – авось! – и идет напролом. Смел он на доброе дело, например написать правду о делах управления и подать ее в руки царю, смел и на то, чтобы сейчас же попросить денег у правительства, которое знает, что он богат, и тем обнаружить свое корыстолюбие, потерять уважение, приобретенное было смелым добрым делом; смел и на то, чтобы, будучи в Брюсселе, зайти к Лелевелю (знаменитый польский революционер), засвидетельствовать ему свое уважение; смел и на то, чтобы надуть человека, имеющего значение в обществе, человека, следовательно, опасного; смел на то, чтоб обругать своего противника печатно без соблюдения приличий; смел на то, чтоб вредить врагу всякими средствами. Поведение его оскорбляло своим цинизмом и нравственным неряшеством». Характер Погодина отражался и в стиле его писаний. Стиль этот Герцен метко характеризует так: «Шероховатый, неметеный стог, грубая манера бросать корноухие, обгрызанные ошметки и нежеванные мысли». Лекции его не были бле-

стоящи. Благодушный И. А. Гончаров вспоминает: «Читал он скучно, бесцветно, монотонно и невнятно, но был очень щекотлив, когда замечал в ком-нибудь невнимание к себе. Чуть кто-нибудь из слушателей шепнет соседу слово, спросит, который час, он, – бог его знает, как, – непременно поймает и обратится с вопросом: «Г-н такой-то! Позвольте спросить, какое последнее слово я сейчас сказал?» – «Вы изволили говорить о том, – начинает тот заискивающим голосом, – как Валленштейн двинулся с войском...» – «Нет, одно последнее слово скажите». Тот, конечно, молчал, и Погодин продолжал читать. Этого рода выговоры были среди скучной лекции маленьким развлечением для всех – посмотреть в лицо сконфуженного товарища. У Погодина было кое-что напускное – и в характере его, и во взгляде на науку. Мы чуяли, что у него внутри меньше пыла, нежели сколько он заявлял в своих исторических ученых и патристических настроениях, что к пафосу он прибегал ради поддержания тех или других принципов, а не по импульсу искренних увлечений».

С Пушкиным Погодин познакомился осенью 1826 г., вскоре после приезда Пушкина в Москву из ссылки. Отношения между ними установились очень хорошие и оставались такими до самой смерти Пушкина. Пушкин поддерживал погодинский «Московский вестник» и привлекал к нему сотрудников; с большим, малопонятным одобрением относился к повестям и драматическим изделиям Погодина, находил, например, что его трагедия «Марфа-Посадница» имеет «европейское высокое достоинство» и многие сцены признавал достойными... Шекспира.хлопотал за Погодина в цензуре, старался устроить ему денежное вспомоществование для поездки за границу и т. п. В 1831 г. писал Плетневу: «Погодин очень, очень дельный и честный молодой человек, истинный немец по чистой любви своей к науке, трудолюбию и умеренности». Погодин со своей стороны с большим уважением и любовью относился к Пушкину, добывал ему, как указано, денег. Ф. И. Буслаев вспоминает, как Погодин сообщил им, студентам, о смерти Пушкина: «Приходит Михаил Петрович, весь взволнованный, бледный, из-

мученный, сам не свой, – едва можно узнать его, точно после тяжелой болезни. Садится на кафедру и в течение нескольких минут не может промолвить ни слова; наконец, задушаемый рыданиями, передает нам о великом бедствии, постигшем Россию: Пушкина не стало; он помер!»

Степан Петрович Шевырев
(1806–1864)

Из дворян Саратовской губернии. В 1822 г. окончил московский университетский Благородный пансион и поступил на службу в московский архив министерства иностранных дел, где служили умственные сливки московской молодежи – Веневитинов, братья Киреевские, Мельгунов и другие («архивные юноши»). Был членом кружка Раича. Сошелся с Погодиным и состоял с ним в самой тесной дружбе до смерти. Сотрудничал в органе московских шеллингианцев «Московском вестнике», был ближайшим помощником редактора Погодина, печатал свои стихи, статьи, переводы. В 1829 г. уехал в Италию в качестве воспитателя сына княгини З. А. Волконской и пробыл там до 1832 г. За границей много и

усидчиво изучал иностранную литературу, особенно итальянскую. С 1834 г. стал профессором Московского университета. Читал лекции по истории и теории поэзии, где проводил новые для того времени принципы сравнительно-исторического изучения поэзии. Впоследствии читал историю русской словесности, преимущественно древней. В сороковых годах оформился в яркого «славянофила» казенного пошиба. С. М. Соловьев вспоминает: «Шевырев богатое содержание умел превратить в ничто, изложение богатых материалов умел сделать нестерпимым для слушателей фразерством и бесталанным проведением известных воззрений. Тут-то услышали мы бесконечные фразы о гниении Запада, о превосходстве Востока, русского православного мира. Однажды после подобной лекции Шевырева, окончившейся страшной трескотней в прославлении России, один студент-поляк подошел ко мне и спросил: «Не знаете ли, сколько Шевырев получает лишнего жалованья за такие лекции?» Так умел профессор сделать свои лекции казенными. По натуре это был добрый человек, не ленивый сделать

добро, оказать услугу, готовый и трудиться много; но эти добрые качества заглушались страшною мелочностью, завистливостью, непомерным самолюбием и честолюбием и вместе способностью к лакейству; самой грубой лести было достаточно, чтобы вскружить ему голову и сделать его полезным орудием для всего; но стоило только немного затронуть его самолюбие, и этот добрый, мягкий человек становился зверем, готов был вас растерзать и действительно растерзывал, если жертва была слаба; но если выставляла сильный отпор, то Шевырев долго не выдерживал и являлся с братским христианским поцелуем».

Пушкин познакомился с Шевыревым в конце 1826 г., когда приехал в Москву из псковской ссылки. С большим одобрением относился к поэтическим произведениям Шевырева, например, стихотворение его «Мысль» находил «одним из замечательнейших стихотворений текущей словесности»; по поводу статей Шевырева в «Московском вестнике» писал Погодину: «...пора уму и знаниям вытеснить Булгарина и Федорова»;

некоторые «опыты» Шевырева признавал достойными стать наряду с лучшими статьями английских «Обзрений». В веселые минуты, однако, не прочь был над ним посмеяться. Шевыряев был слаб на вино, и как немного охмелеет, то сейчас же растает и начинает говорить о любви, о согласии, братстве и о всякого рода сладостях; в молодости иногда у него это выходило хорошо. Однажды Пушкин, слушая пьяно-восторженные речи его о любви, воскликнул:

– Ах, Шевырев, зачем ты не всегда пьян!

«Шевырев, – рассказывает Н. С. Тихонравов, – с жадностью прислушивался к задушевным домашним импровизациям Пушкина о поэзии и искусстве, из них он хотел извлечь материалы для теории поэзии. «Беседы с Пушкиным о поэзии и русских песнях, – говорил Шевырев, – чтение Пушкиным этих песен принадлежит к числу тех плодотворных впечатлений, которые содействовали образованию моего вкуса и развитию во мне истинных понятий о поэзии».

Иван Васильевич Киреевский
(1806–1856)

Один из основателей славянофильства. Сын Авдотьи Петровны (по второму мужу) Елагиной. Вместе с матерью и братом владел 1500 душ. Служил в московском архиве иностранной коллегии («архивный юноша»), был последователем шеллинговой философии. В 1832 г. начал издавать журнал «Европеец», к которому привлек лучших тогдашних писателей. Пушкин, постоянно мечтавший о хорошем журнале в России, писал Языкову: «Поздравляю всю братью с рождением «Европейца». Готов с моей стороны служить вам чем угодно, прозой и стихами, по совести и против совести». Но журнал был запрещен на втором номере за статью Киреевского «XIX век». В статье провозглашалось всемирно-историческое будущее России, но непременно условием этого признавалось усвоение современного европейского романтического религиозного настроения и указывалось на отрешенность русского прошлого от общего хода всемирно-исторического развития вследствие недостатка у нас духовной античной культуры. Бенкендорф по поводу этой статьи писал министру народного просвещения князю Ли-

вену: «Его величество изволил найти, что статья сия есть не что иное, как рассуждение о высшей политике, хотя в начале оной сочинитель и утверждает, что говорит не о политике, а о литературе. Но стоит обратить только некоторое внимание, чтобы видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, понимает совсем иное; что под словом «просвещение» он понимает свободу, что «деятельность разума» означает у него революцию, а «искусно отысканная середина» не что иное, как конституция». Пушкин писал И. И. Дмитриеву: «Журнал «Европеец» запрещен вследствие доноса. Киреевский, добрый и скромный Киреевский представлен правительству сорванцом и якобинцем. Все здесь надеются, что он оправдается и что клевета будет изоблечена». Цензор, пропустивший статью, был подвергнут взысканию, и Киреевский признан «человеком неблагомыслящим и неблагонадежным».

Киреевский был человек исключительной душевной красоты, о нем с глубочайшим уважением отзывались даже такие идейные его враги, как Грановский и Герцен. Герцен рас-

сказывает: «Киреевский, расстроивший свое состояние «Европейцем», уныло почил в пустыне московской жизни; ничего не представлялось вокруг, – он не вытерпел и уехал в деревню, затаив в груди глубокую скорбь и тоску по деятельности. И этого человека, твердого и чистого, как сталь, разъела ржа страшно-го времени. Через десять лет он возвратился в Москву из своего отшельничества мистиком и православным».

Петр Васильевич Киреевский (1808–1856)

Брат предыдущего, тоже славянофил. Выдающийся собиратель русских народных песен. Пушкин сам очень интересовался народными песнями, записывал их и собирался совместно с Соболевским издать сборник. Но, отвлеченный другими работами, отказался от издания, а записанные им песни в 1833 г. передал Киреевскому. В сороковых годах Киреевский показывал свое собрание песен Буслаеву и сказал:

– Вот эту пачку дал мне сам Пушкин и при этом сказал: «Когда-нибудь от нечего делать разберите-ка, которые поет народ и которые

смастерил я сам». Сколько я ни старался разгадать эту загадку, никак не мог сладить. Когда это мое собрание будет напечатано, песни Пушкина пойдут за народные.

Летом 1835 г. Киреевский вместе с Жуковским был у Пушкина на его даче на Черной речке. Пушкин с великой радостью перебирал с Киреевским его собрание, много читал из собранных им песен и обнаруживал самое близкое знакомство с этим предметом.

С. М. Соловьев так характеризует П. Киреевского: «Доброе, кроткое, симпатичное существо; был очень трудолюбив, много читал, но не был даровит, не был умен, не имел никакого характера; нравственная слабость, неспособность двинуться, сделать что-нибудь доходили в нем до невероятных размеров; вобрать в себя, начитаться, послушаться, наглядеться – это было его дело; но самому что-нибудь написать, сделать – для этого нужны были усилия невероятные».

Семен Егорович Раич
(1792–1855)

Рожденный Амфитеатров, сын сельского священника, младший брат киевского мит-

рополита Филарета. Учился в севской семинарии, где получил фамилию Раич. По окончании курса был домашним учителем в московских дворянских семьях, воспитанниками его были Ф. И. Тютчев (впоследствии известный поэт), Андрей Муравьев (поэт и богослов). В 1818 г. окончил Московский университет, в 1822 г. получил степень магистра словесных наук, преподавал словесность в университетском Благородном пансионе и других московских учебных заведениях. Был человек образованный, хорошо знал древнюю и новую литературу, сам писал стихи. Пользовалась известностью его песня: «Не дивитесь, друзья, что не раз между вас на пиру веселом я призадумывался». В 1828 г. издал плод долголетнего труда, полный перевод «Освобожденного Иерусалима» Тассо. Однако славу приобрел один только стих перевода: «Готфрид Бульонский в гневе отправился в храм». Раич перевел это так:

Вскипел Бульон, течет во храм.

Тем не менее перевод тассовой поэмы был для своего времени большой культурной за-

службой Раича. Перевел еще «Георгики» Вергилия и «Неистового Орланда» Ариосто. В 1823 г. основал в Москве литературный кружок, которого был председателем; в кружок входило много талантливой молодежи – Шевырев, Андрей Муравьев, Погодин, Титов, Андросов. Раич был маленького роста, тщедушный, со смуглым, почти черным лицом и черными глазами. Был человек чистый, целомудренный, почти монах по образу жизни, восторженный чудака, вечно пребывавший в мире поэтических своих фантазий, благоговейно почитавший поэзию, младенчески незлобивый и бескорыстный. Когда основывался журнал «Библиотека для чтения», издатель пригласил в сотрудники Раича и сообщил, что гонорар ему будет такой-то. Раич гордо поднял голову и ответил:

– Я не торгаш и не продаю своих вдохновений!

Раич уверяет, будто бы однажды Пушкин в откровенном разговоре сказал ему:

– Я всякий раз чувствую жестокое угрызение совести, когда вспоминаю, что я, может быть, первый из русских начал торговать по-

зией. Я, конечно, выгодно продал свой «Бахчисарайский фонтан» и «Евгения Онегина»; но к чему это поведет нашу поэзию, а может быть, и всю нашу литературу? Уж, конечно, не к добру. Признаюсь, я завидую Державину, Дмитриеву, Карамзину: они бескорыстно и безукоризненно для словестности подвизались на благородном своем поприще, на поприще словесности. А я?

Тут будто бы Пушкин тяжело вздохнул и замолчал. Рассказ, конечно, характерен только для отношения самого Раича к вопросу о вознаграждении за литературный труд. Для Пушкина никаких тут сомнений не было. Литературный труд столь же законен, как и всякий другой, и получать за него вознаграждение вовсе не значит «торговать поэзией»:

*Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.*

**Алексей Степанович Хомяков
(1804–1860)**

В молодости поэт и драматург, впоследствии – один из основоположников славянофильства, разрабатывавший преимуще-

ственно религиозную сторону этого учения. Сын богатого помещика, учился дома. Сдал при Московском университете экзамен на степень кандидата математических наук. В 1822 г. поступил в кирасирский полк, через три года вышел в отставку, путешествовал по Европе. В конце 1826 г. читал в Москве у Веневитинова, в присутствии Пушкина, свою трагедию «Ермак». В 1827–1828 гг. жил в Петербурге, посещал салоны Е. А. Карамзиной и князя В. Ф. Одоевского, где встречался с Пушкиным. В турецкую войну 1828–1829 гг. снова поступил на военную службу в гусарский полк, участвовал в нескольких сражениях. После этого жил летом в своих рязанских и тульских поместьях, успешно хозяйничая, зимою – в Москве, в обширном собственном доме на Собачьей площадке. В 1836 г. женился на сестре поэта Языкова. С детства Хомяков был воспитан матерью в строго православном и националистическом духе и всю жизнь оставался неизменно верен этому духу. Был человек исключительной начитанности и блестящего ума, замечательный спорщик, не брезгавший, однако, в спорах самой бесцере-

монной софистикой. Поэт был слабый, драматург еще более слабый. Лирические стихи его Пушкин снисходительно называл «прекрасными», а о трагедии «Ермак» отозвался так: «Это лирическое произведение пылкого юношеского вдохновения не есть произведение драматическое. В нем все чуждо нашим нравам и духу, все, даже самая очаровательная прелесть поэзии».

Иван Михайлович Снегирев
(1792–1868)

Сын профессора Московского университета. В 1815 г. получил степень магистра словесных наук. Первоначально работал в области латинской филологии и до 1836 г. был профессором римской словесности в Московском университете. Но уже с начала двадцатых годов все интересы Снегирева направились на русскую этнографию. Он первый поставил на научную почву изучение русских пословиц, первый обратился к исследованию русских лубочных картин и собранию сведений о русских простонародных праздниках и суеверных обрядах и более всех своих предшественников потрудился над изучением памятни-

ков старинного русского зодчества, особенно московских и подмосковных. Оставив в 1836 г. кафедру, он еще ревностнее предался любимой науке. С 1828 г. служил еще цензором.

И. А. Гончаров студентом слушал лекции Снегирева по римской литературе. Он вспоминает: «Вкрадчивый, тонкий, но в то же время циничный, бесцеремонный, с нами добродушный, он разбирал римских писателей так себе, с чисто лингвистической стороны, мало знакомя нас с духом и историей древних. Кажется, ему до них мало было дела, а нам было мало дела до него. Он, как иногда казалось мне, будто притворялся знатоком римских древностей. Мы были друг к другу равнодушны и уживались с ним очень хорошо. Он же иногда умел сдабривать лекции остротами и анекдотами: балагурство было, кажется, господствующею чертою его характера. Он и в обществе имел репутацию буфона и наживал себе одним этим, кроме разных других проделок, много врагов. Он исподтишка мастер был посмеяться над всяким, кто попадется под руку. Забавно было видеть, как он однажды попался впросак. Один студент написал брошю-

ру о царе Горохе; там изображались в карикатуре некоторые профессора университета и, между прочим, чопорный и важный Ив. Ив. Давыдов. Описывалась их наружность, манера читать. Снегирев был цензором и пропустил брошюру, заранее наслаждаясь про себя эффектом брошюры. Брошюра действительно произвела эффект и смех. Она ходила по рукам. Профессора вознегодовали, больше всех он, великолепный Иван Иванович: как могло его коснуться дерзкое перо! Потерпел не автор-шалун, а цензор. С ним не говорили, отворачивались от него; Иван Иванович положительно не глядел на него; а тот залезал в глаза, старался замести хвостом свою шутку, льстил, изгибался – и напрасно. Мы видели все это и наслаждались профессорскою комедиею».

С Пушкиным Снегирев познакомился как цензор вскоре после приезда Пушкина в Москву из псковской ссылки. 24 сентября 1826г. Снегирев записал в дневнике: «Был у А. Пушкина, который привез мне, как цензору, свою пьесу – Онегин, глава II – и согласился на сделанные мною замечания, выкинув и

переменив несколько стихов; сказывал мне, что есть в некоторых местах обычай троицкими цветами обметать гробы родителей, чтобы прочистить им глаза. Талант его виден и в глазах его: умен и остр, благороден в изъяснении и скромнее прежнего. Опыт не шутка».

Снегирев был цензор очень трусливый и потому придиричивый. Возражал против ряда мест в «Графе Нулине», который был затем пропущен царем. В марте 1827 г. Погодин привозил к нему «Сцену из Фауста», предназначавшуюся для «Московского вестника». Снегирев нашел в ней «выражения, противные нравственности», «все основание оной» ему не понравилось, и он отказался пропустить пьесу. Царь и эту пьесу разрешил. Пушкин с торжеством писал Погодину: «Победа, победа! «Фауста» царь пропустил!.. Скажите это от меня господину, который вопрошал нас, как мы смели представить пред очи его высокородия такие стихи. Покажите ему это письмо и попросите его высокородие от моего имени впредь быть учтивее и снисходительнее. Если московская цензура все-таки будет упрямыться, то напишите мне, и я опять буду

беспокоить государя императора всеподданнейшею просьбою и жалобами на неуважение высочайшей его воли».

Пушкин не раз встречался со Снегиревым у знакомых московских литераторов. В середине мая 1827 г. он с Соболевским заехал к Снегиреву, когда он уже спал, и увез его на вечеринку к Н. А. Полевому. Ксенофонт Полевой вспоминает: «Ужинали, пировали всю ночь и разъехались уже утром. Пушкин казался председателем этого сборища и, попивая шампанское с сельтерской водой, рассказывал смешные анекдоты, читал свои непозволенные стихи, хохотал от резких сарказмов И. М. Снегирева».

Пушкину и впоследствии приходилось терпеть от придирчивости Снегирева. В 1829 г. он написал ему: «Сделайте одолжение объяснить, на каком основании не пропускаете вы мною доставленное замечание в «Московский телеграф». Мне необходимо, чтобы оно было напечатано, и я принужден буду, в случае отказа, отнести к высшему начальству вместе с жалобою на пристрастие, не ведаю, кому».

Приступив к изданию «Современника», Пушкин пригласил Снегирева участвовать в журнале, собирался написать разбор его книги «Русские в своих пословицах», интересовался его замечаниями на «Слово о полку Игореве».

Цензорская осторожность и придирчивость Снегирева не спасли его от беды. В 1855 г. он пропустил книжку, где мимоходом говорилось о деятельности Н. И. Новикова, и был уволен от службы. Последние годы жизни он сильно нуждался, поехал в Петербург хлопотать о пенсии и умер от удара в больнице.

Иван Иванович Давыдов
(1794–1863)

Был в Московском университете профессором сперва латинской словесности и философии, в 1831 г., после смерти Мерзлякова, занял кафедру русской словесности. Историк С. М. Соловьев пишет о нем: «Это был человек бесспорно очень даровитый, могший принести большую пользу науке, если бы посвятил ей всего себя, но он посвятил всего себя для удовлетворения самого мелкого честолюбия; для достижения почестей он считал все сред-

ства позволительными: ни почем ему было очернить человека, загораживающего ему дорогу, унизиться до самой невообразимой лести пред человеком сильным и пред лакеями человека сильного... Получив первую звезду, Станислава, Давыдов не постыдился объявить, что высшие ордена производят удивительное влияние, что он чувствует себя нравственно лучше, выше, получивши звезду... Пресмыкаясь перед сильными, он требовал пресмыкания перед собою от всех, которые были ниже его, и горе человеку, в котором он заподозрит недостаток раболепства!» И. А. Гончаров, слушавший его студентом, вспоминает: «Мы чутко презирали в нем что-то искусственное, декоративное. Высокого роста, несколько сутуловатый, с довольно благообразным лицом, умными серыми глазами, с мерными, округленными жестами, он держал себя с условным достоинством; речь его была плавная, исполненная приличия. Но от нее веяло холодом, напускною величавостью, которая быстро превращалась в позу покорности и смирения при появлении какой-нибудь важной персоны или начальства. Симпатии у

нас к нему не было».

В конце сентября 1832 г. Пушкин писал же-
не из Москвы: «Сегодня еду слушать Давыдо-
ва, профессора; но я ни до каких Давыдовых,
кроме Дениса, не охотник, а в Московском
университете я оглашенный. Мое появление
произведет шум и соблазн, а это приятно ще-
котит мое самолюбие». Ожидания Пушкина
не оправдались. Он был принят университе-
том с большим почетом. Один из тогдашних
студентов вспоминает: «Утром читал лекцию
профессор И. И. Давыдов. Вдруг входит ми-
нистр народного просвещения С. С. Уваров,
ведя с собою молодого человека невысокого
роста, с чрезвычайно оригинальной, вырази-
тельной физиономией, осененной густыми,
курчавыми, каштанового цвета волосами,
одушевленной живым, быстрым, орлиным
взглядом. Указывая на вошедшего с ним мо-
лодого человека, министр сказал: «Здесь пре-
подается теория искусства, а я привел вам са-
мо искусство». Не надо было объяснять нам,
что это олицетворенное искусство был Пуш-
кин».

Амедей Декамп

(? – ок. 1837)

Был во Франции директором провинциальной школы. В 1822 г. приехал в Россию. «Это был, – рассказывает И. А. Гончаров, – значительно потертый и поношенный француз старого пошиба, с задиранием головы и носа, с напускною важностью во взгляде и в тоне, с округленною, напыщенною фразою и прямой, как палка. Злые языки говорили, что он носит корсет. Он, как рога какие-нибудь, носил свое мнимое величие в позе головы, в неподвижности корпуса, говорил, точно изрекал глаголы оракула, и смотрел на все свысока. Говорят, что имел большой успех в светских салонах, разве потому только, что он француз, да за эту скульптурную величавость и за декламационный тон речи».

Бартенев со слов А. П. Елагиной рассказывает: «В начале 1827 г. в Москве читал лекции о французской поэзии некто Декамп, обожатель Виктора Гюго и новейшей школы и отвергавший авторитеты Буало, Расина и проч. Эти лекции читались в зале М. М. Сонцова, дяди Пушкина по Елизавете Львовне. А. П. Елагина по знакомству с Декампом взяла би-

лет и ездила слушать. В самую первую лекцию она встретила там Пушкина, который подсел к ней и во все время чтения смеялся над бедным французом, и притом почти вслух. Это совсем уронило лекции. Декамп принужден был не закончить курса, и после долго в этом упрекали Пушкина».

В 1829 г. Декамп был назначен лектором французского языка и литературы в Московском университете. В 1837 г. вышел в отставку, уехал во Францию и вскоре умер.

**Иван Александрович Гулянов
(1789–1841)**

Сын бывшего молдавского господаря Мавро-Скордато, умершего в Москве. Египтолог, напечатал ряд работ по египетской археологии, член Российской академии, служил в иностранных миссиях. В 1830 г., узнав о предстоящей женитьбе Пушкина, анонимно прислал ему стихотворение. Музы горько оплакивают ожидаемую женитьбу поэта:

*Не будет больше вдохновений,
Не будет умственных парений, –
Прошли свободные часы!*

Автор же им возражает:

*Уймите дух свой сокрушенный,
О музы! Друг ваш возжеленный
Небесным пламенем горит:
Источник новых откровений
Залогом будет вдохновений,
И снова гений воспарит.*

Тронутый Пушкин отозвался на стихи «От-
ветом анониму»:

*О, кто бы ни был ты, чье ласковое
пенье
Приветствует мое к блаженству
возрожденье,
Чья скрытая рука мне крепко ру-
ку жмет,
Указывает путь и посох подает...
Благодарю тебя душою умилен-
ной.
Вниманья слабого предмет уеди-
ненный,
К доброжелательству досель я не
привык –
И странен мне его приветливый
язык.
Смешон, участия кто требует у
света!
Холодная толпа взирает на по-*

эта,
Как на заезжего фигляра: если он
Глубоко выразит сердечный, тяж-
кий стон,
И выстраданный стих, пронзи-
тельно-унылый,
Ударит по сердцам с неведомою
силой, –
Она в ладони бьет и хвалит иль
порой
Неблагодарною кивает голо-
вой.
Постигнет ли певца внезапное
волненье,
Утрата скорбная, изгнание, зато-
чение, –
«Тем лучше, – говорят любители
искусств. –
Тем лучше! наберет он новых дум
и чувств
И нам их передаст». Но счастье
поэта
Меж ними не найдет сердечного
привета,
Когда боязненно безмолвствует
оно...

Впоследствии Пушкин встречался с Гулья-
новым в Москве у Нащокина.

Цыганка Таня (1810–1877)

Татьяна Дмитриевна Демьянова, известная во времена Пушкина цыганская певица; «соловьиный голос» ее восторженно отмечался в тогдашних рецензиях о цыганских концертах. В 1832 г. П. В. Киреевский писал поэту Языкову: «Недели две тому назад я наконец в первый раз слышал у Свербеевых тот хор цыган, в котором примадонствует Татьяна Дмитриевна, и признаюсь, что мало слышал подобного. Едва ли есть русский, который бы мог их равнодушно слушать». В 1830 г. Таня с другими цыганами и цыганками жила на Садовой. Однажды в марте, в двенадцатом часу ночи, все они собирались ложиться спать, как вдруг в ворота постучались. Подруга Лукерья прибежала и закричала:

– Ступай, Таня, гости приехали, слушать хотят!

Таня только что расплела на ночь косу и повязала голову платком. В таком виде и вышла, – в красном ситцевом платье и с белым платком на голове в виде колпака. В зале она нашла четверых гостей – трех знакомых, в их

числе П. В. Нащокина, четвертого Таня видела в первый раз – невысокого роста, с толстыми губами, кудлатого. Это был Пушкин. Увидел Таню и покатился со смеху, сверкая белыми зубами:

– Поваренок, поваренок!

Таня засмеялась. Новый гость показался ей очень некрасивым, и она сказала подругам по-цыгански:

– Гляди, гляди, как нехорош, точно обезьяна!

Подруги залились смехом, Пушкин пристал:

– Что ты сказала? Что ты сказала?

– Ничего. Сказала, что вы надо мною смее-тесь, поваренком зовете.

Нащокин заметил:

– А вот, Пушкин, послушай, как этот поваренок поет!

В то время цыгане пели преимущественно русские народные песни. Замечательная память этого музыкального племени сберегла много чудесных русских песен, частью совершенно забытых в самом народе. Но уже начинали входить в моду и сочиненные романсы.

Таня спела любимый свой романс «Друг милый, друг милый, с далека поспеши!» Пушкин слушал, взобравшись на теплую лежанку. Соскочил и бросился к Тане:

– Радость ты моя, радость моя, извини, что я тебя поваренком назвал, ты бесценная прелесть, не поваренок!

После этого Пушкин стал часто ездить на Садовую к цыганам, часто приезжал один – вечером, а иногда и утром. И все занимался Таней: то петь заставит, то просто болтает, хочет, учится по-цыгански. Все в хоре читали его «Цыган». Таня много мест поэмы помнила наизусть; однажды прочла ему оттуда и сказала:

– Как это вы хорошо про нашу сестру, цыганку, написали!

Пушкин засмеялся:

– Я на тебя новую поэму напишу!

Было это утром, на Масленице, на дворе стоял лютый мороз, Пушкин опять взобрался на лежанку. Сказал:

– Хорошо тут, тепло. Только есть хочется.

– А тут поблизости харчевня одна есть, отличные блины там пекут, – хотите, пошлю за

блинами?

Пушкин поморщился.

– Харчевня – грязь!

– Чисто, будьте благонадежны. Сама не стала бы есть.

– Ну, хорошей, посылай. – Вынул две десятирублевки. – Да вели, кстати, бутылку шампанского купить.

Принесли блинов, шампанского. Пушкин потчевал всех блинами, разливал по стаканам шампанское. Сидел на лежанке, с тарелкой на коленях, ел и восхищался:

– Нигде таких вкусных блинов не едал!

Зазвонили к вечерне. Пушкин вскочил с лежанки.

– Ахти мне, радость моя, из-за тебя забыл, что меня жид-кредитор ждет!

Схватил шапку и убежал.

В конце 1830 г., по возвращении из Болдина, Пушкин опять стал посещать хор на Садовой, но реже. Однако Таня часто виделась с ним у Нащокина, который в это время жил с подругой Тани, цыганкой Олей. Пушкин стал как-то скучнее, но иногда вдруг оскалит белые зубы и примется по-прежнему хохотать.

Новый, 1831 год он встретил у цыган и писал Вяземскому: «Новый год встретил я с цыганами и с Татьяной, настоящей Татьяной-пьяной. Они пели песню, в таборе сложенную, на голос «Приехали сани»:

*Давыдов с ноздрями,
Вяземский с очками,
Гагарин с усами –
Девоч испугали
И всех разогнали...*

За два дня до свадьбы Пушкина Таня была у Нащокиных. К крыльцу подкатили сани, вошел Пушкин. Еще из саней увидел Таню и закричал:

– Ах, радость моя, как я рад тебе, здорово, моя бесценная!

Поцеловал Таню в щеку и уселся на диван. Сел и тяжело задумался, оперши голову на руку. Поглядел на Таню.

– Спой мне, Таня, что-нибудь на счастье; слышала, может быть, я женюсь?

– Как не слышать. Дай вам Бог, Александр Сергеевич!

– Ну, спой мне, спой!

– Давай, Оля, гитару, споем барину.

Ольга принесла гитару. Таня стала перебирать струны, обдумывая, что ей спеть. На душе у нее в это время было очень грустно, любимого человека жена его увезла в деревню. Таня сильно по нем тосковала. И всю грусть, всю свою тоску она вложила в песню.

*Ах, матушка, что так в поле
пыльно?
Государыня, что так пыльно?
Кони разыгрались... А чьи-то ко-
ни, чьи-то кони?
Кони Александра Сергеевича...*

Пела, исходя тоской, и не поднимала глаз от гитары. Вдруг Пушкин громко зарыдал. Таня подняла глаза. Он схватился рукой за голову и плакал, как ребенок. Нащокин кинулся к нему.

– Что с тобой, что с тобой, Пушкин?

– Ах, эта ее песня все во мне перевернула, она мне не радость, а большую потерю предвещает!

Встал и уехал, ни с кем не простившись.

Еще раз Таня видела Пушкина через месяц-полтора после его свадьбы. Шла она по улице, навстречу богатая, новенькая карета

четвернею. Слышит, кто-то из кареты кричит:
– Радость моя, Таня, здорово!

Это был Пушкин: он спустил окно кареты, высунулся и послал Тане рукой поцелуй. Рядом с ним Таня увидела его красавицу-жену в голубой бархатной шубе. Наталья Николаевна глядела на Таню и улыбалась.

В Петербурге

**Алексей Николаевич Оленин
(1763–1843)**

Президент Академии художеств, директор Публичной библиотеки, археолог. Прима-кал к литературной партии Шишкова, был деятельным участником «Беседы любителей русского слова». В хлебосольном доме его собирались, с одной стороны, представители высшей аристократии, с другой – писатели и художники. Постоянными посетителями были Державин, Капнист, Озеров, Крылов, Гнедич, Батюшков, позднее – Жуковский, Вяземский, Пушкин, М. Глинка, Брюллов, Кипренский. Граф С. С. Уваров вспоминает: «Предметы литературы и искусства оживляли разговор; совершенная свобода в обращении,

непринужденная откровенность, добродушный прием хозяев давали этому кругу что-то патриархальное, семейное. Сюда обыкновенно привозились все литературные и художественные новости. Политика не составляла главного предмета разговора, она всегда уступала место литературе». Летом собирались на даче Е. М. Олениной в Приютино, недалеко от Петербурга, за Пороховыми заводами. Дача отличалась прекрасным местоположением; барский дом стоял над самой рекой и прудом, окаймленным дремучими лесами. Гостей всегда было множество; держалось семнадцать коров, а сливок никогда не хватало. Гостить у Олениных было очень привольно: каждому отводилась особая комната, давалось все необходимое, и затем объявляли: в десять часов утра пьют чай, в двенадцать – завтрак, в четыре – обед, в шесть часов полдничают, в девять – вечерний чай; к еде гости созывались ударом в колокол. В остальное время дня и ночи каждый мог заниматься чем угодно: гулять, ездить верхом, стрелять в лесу из ружей, пистолетов и из лука, причем Оленин показывал, как нужно натягивать тетиву. В

карты играли только в исключительных случаях. В большом ходу была игра в шарады, которая, при даровитости участников, являлась очень интересной; особенно уморителен был в этой игре Крылов, когда он изображал героев своих басен.

Оленин был очень маленького роста, горбатый, седой как лунь, веселый, подвижный. Был, по выражению Вигеля, «искателен в сильных при дворе и чрезвычайно уступчив в сношениях с ними». Когда служивший под его начальством в Публичной библиотеке Дельвиг съездил в Михайловское на свидание с опальным Пушкиным, Оленин уволил Дельвига от должности. Свербеев рассказывает: «Оленин, человек по учености и человек по просту и характеру, имел солидное классическое образование, был знаток древностей и археологические свои знания с умением и вкусом распространял на искусства и поэзию. Им было написано множество статей о разных ученых предметах. Несмотря на свою серьезную ученость и художественный вкус, он был сановником уклончивым, искательным. В звании государственного секретаря он

был послушным орудием Аракчеева». Однажды на конференции Академии художеств Оленин предложил избрать Аракчеева почетным членом. Тогда известный масон Лабзин спросил о причине такого странного предложения. Оленин смутился и ответил:

– Потому что граф Алексей Андреевич ближе всех к государю.

– В таком случае, – заявил Лабзин, – я имею честь предложить почтенному собранию избрать в наши члены Илью Ивановича Байкова, лейб-кучера его императорского величества, ибо никто, согласитесь со мной, не бывает так близко к его величеству, как он.

Лабзин был за это выслан на жительство в Симбирск. Оленин носил странный, смешной мундир ополченца 1812 г., в угодность государю, который жаловал более военных, чем штатских. Видеть маленькую фигурку в течение двадцати лет в этой одежде, столь мало приличной государственному секретарю, а тем более президенту Академии художеств, было тем более странно и смешно, что Оленин в Отечественную войну и не имел случая, а может быть, и желания понюхать поро-

ху.

Елизавета Марковна Оленина (1768–1838)

Жена А. Н. Оленина, рожденная Полторацкая, тетка А. П. Керн. Вигель о ней: «Эта умная женщина исполнена доброжелательства ко всем; но в изъявлении его некоторая преувеличенность заставляла иных весьма несправедливо сомневаться в ее искренности. Любовь к общежитию побеждала в Елизавете Марковне самые телесные страдания, коим так часто была она подвержена. Часто, лежа на широком диване, окруженная посетителями, видимо мучаясь, умела она улыбаться гостям. Ей хотелось, чтобы все у нее были веселы и довольны. Ни в каких хозяйствах нельзя было найти столько образованной приветливости. Искусно сочетались все приятности европейской жизни с простотой русской старины». «Добрая Элиза», – называл ее Батюшков.

Анна Алексеевна Оленина (1808–1888)

Дочь предыдущих. Выросла в блестящем кругу писателей и артистов, собиравших-

ся в доме Олениных. Семнадцать лет назначена фрейлиной. При дворе считалась одной из выдающихся красавиц, выделялась, кроме того, блестящим, игривым умом и особенной любовью ко всему изящному. Была небольшого роста, с золотисто-русыми волосами. О глазах ее Пушкин писал:

*Какой задумчивый в них гений,
И сколько детской простоты,
И сколько томных выражений,
И сколько неги и мечты!..
Потупит их с улыбкой Леля, –
В них скромных граций торжество;
Поднимет, – ангел Рафаэля
Так созерцает божество!*

В 1828 г. Пушкин увлекался Олениной. Весной он почти ежедневно встречался с ней в Летнем саду, куда ходил гулять с Вяземским и Плетневым. Если ее не было, он искал ее по всему саду, кидался к Вяземскому или Плетневу и жалобным голосом повторял стих из трагедии Озерова:

Где Бренский? Я Бренского не вижу!

В мае месяце Пушкин с Вяземским и Мицкевичем гостили в Приютино. Комары всех изводили. Вяземский приходил в неистовство. Мицкевич говорил, что это кровавый день, а Пушкин, весь в прыщах, осаждаемый комарами, нежно восклицал:

– Сладко!

В пушкинских черновых тетрадях того времени беспрестанно встречается анаграмма имени и фамилии Олениной: Aninela, Etenna. Раз даже встречается густо зачеркнутая запись: «Annett Pouchkine». Писал о ней много стихов. Однажды Оленина нечаянно сказала Пушкину «ты». В следующее свое посещение Пушкин привез ей стихи:

*Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила,
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю!*

Однако увлечение Пушкина Олениной не было особенно сильным и носило больше эс-

тетический характер. Вяземский писал жене: «Пушкин думает и хочет дать думать девице Олениной и другим, что он в нее влюблен, и играет ревнивого». В другом письме к ней же, после посещения Приютина: «...там нашли мы и Пушкина с его любовными гримасами». Одновременно Пушкин ухаживал в Петербурге за А. О. Россет и А. Ф. Закревской. Уехав в деревню, он писал о Нетти Вульф, что летает за ней сердцем и для нее забывает и Оленину, и Россет.

Легкость увлечения Пушкина Олениной не помешала ему, однако, в начале 1829 г. посягнуть на нее. Но, по настоянию ее матери, Елизаветы Марковны, Пушкину было отказано, – по словам Бартенева, в связи с недавно закончившимся делом о «Гавриилиаде». По другим сведениям, согласие Пушкину было дано. Старик Оленин созвал на обед родных и приятелей, чтобы за шампанским объявить о помолвке дочери. Гости собрались, но жених не явился. Оленин долго ждал Пушкина и наконец предложил гостям сесть за стол без него. Пушкин приехал после обеда, довольно поздно. Оленин взял его под руку и повел в

кабинет для объяснений. Свадьба расстроилась.

В 1842 г. тридцати двух лет, Оленина вышла замуж за офицера, лейб-гусара Ф. А. Андро, побочного сына бывшего одесского генерал-губернатора графа Андро Ланжерона. Больше сорока лет прожила в Варшаве, где муж ее служил – сначала адъютантом Паскевича, потом варшавским президентом. Умерла в глубокой старости.

Александра Осиповна Россет-Смирнова (1809–1882)

Отец ее, Осип Иванович Россет, был французский эмигрант, служил комендантом одесского порта. Мать, Надежда Ивановна Лорер, сестра декабриста Н. И. Лорера, была по отцу тоже француженка, по матери грузинка из рода князей Цициановых. Отец умер, когда девочке было пять лет, мать вторично вышла замуж за генерала И. К. Арнольди, человека грубого и жестокого. Девочку поместили в Екатерининский институт в Петербурге, а четырех ее братьев, младше ее, – в Пажеский корпус. Мать умерла через год после поступления девочки в институт, она осталась круг-

лой сиротой. Попечение о ней перешло к императрице Марии Федоровне. В институте русскую литературу преподавал П. А. Плетнев, он привил маленькой Россет любовь к ней. Семнадцати лет Александра Осиповна окончила институт с вензелем и была назначена фрейлиной к императрице Марии Федоровне, а в 1828 г., после ее смерти, – к императрице Александре Федоровне, жене Николая.

Россет была невысокого роста, красоты выдающейся и оригинальной. Правильные, строгие черты смугло-румяного лица, очень образованная и умная, с острым язычком, никому не дававшим пощады. Ей не было еще двадцати лет, а скромная ее фрейлинская квартирка в четвертом этаже Зимнего дворца сделалась местом постоянных сборищ самых выдающихся людей того времени. Россет любила поэзию и обладала тонким, верным поэтическим чутьем; читала много и разнообразно, вплоть до самых серьезных книг, интересовалась даже богословскими вопросами. Прямо от творений Иоанна Златоуста или Григория Назианзина она влетала в свой салон и говорила о делах парижских со старым

дипломатом, о литературной новинке с писателем, сплетничала и злословила с приятельницами, флиртовала с поклонниками, обмениваясь с ними загадочными полусловами. И вся была из противоречий. То бойкая, неугомонная «егоза», как назвал ее Пушкин, то вся охваченная прелестной южной ленивостью и неподвижностью; глаза то искрятся весельем и радостью, то смотрят с глубокой тоской; то сердечная, отзывчивая на всякое горе, приходящая в восхищение от всего доброго, то колючая, язвительная, со скептической усмешкой глядящая на жизнь и людей; светски воспитанная, прекрасно знавшая по-французски, любила говорить по-русски в обществе, где разговорным языком был французский, и смело употребляла такие выражения, как «к черту», «втюрилась», «как бишь его» и т. п.; задыхалась в пустоте светской жизни и не могла жить без нее; хорошо умела держать поклонников в узде, – «придворных витязей гроза», писал о ней Пушкин; однажды, например, когда влюбленный в нее В. А. Перовский, которого и она любила, попробовал ее обнять, она дала ему пощечину; но умела, когда хоте-

лось, ослабить узду и доходить до самой опасной черты. С. Т. Аксаков рассказывает: «Недоступная атмосфера целомудрия, скромности, это благоухание, окружающее прекрасную женщину, никогда ее не окружало, даже в цветущей молодости». А сын его И. С. Аксаков, знавший Смирнову-Россет под ее старость, писал отцу: «Я не верю никаким клеветам на ее счет, но от нее иногда веет атмосферою разврата, посреди которого она жила. Она показывала мне свой портфель, где лежат письма, начиная от государя до всех почти известностей включительно. Есть такие письма, писанные к ней чуть ли не тогда, когда она была еще фрейлиной, которые она даже посовестилась читать мне вслух – столько мерзостей и непристойностей. Много рассказывала про всех своих знакомых, про Петербург, об их образе жизни, и толковала про их гнусный разврат и подлую жизнь равнодушным тоном привычки, не возмущаясь этим».

Поклонников у красавицы было несметное количество. Жуковский называл ее «небесным дьяволенком» и писал ей шуточные стихи в таком роде:

Я на все решиться готов. Прика-
жете ль, кожу
Дам содрать с моего благородно-
го тела, чтоб сшить вам
Дюжину теплых калошей, дабы,
гуляя по травке,
Ножек теплых замочить не мог-
ли вы? Прикажете ль, уши
Дам отрезать себе, чтобы, в лет-
нее время хлопушкой
Вам усердно служба, колотили они
дерзновенных
Мух, досаждающих вам неот-
ступной своею любовью?

Есть сведения, что он даже сватался за нее. Ее влюбленно воспевали Вяземский, В. Туманский, Хомяков, Лермонтов, Соболевский. Большим успехом пользовалась она и в придворном мире. Ходили слухи, что ею увлекались великий князь Михаил Павлович и сам император Николай.

Зимой 1828 г. Россет часто ездила по вечерам пить чай к одной старой фрейлине. Там бывал нередко и член государственного совета князь Сергей Михайлович Голицын. Голицын этот был муж известной княгини А. И.

Голицыной-Ночной. Вскоре после женитьбы они разъехались. Голицын был колоссально богат, владел 25 тыс. душ крестьян, заводами и т. д. Был он стар и некрасив, чванлив с низшими и угодлив при дворе, характера и ума совершенно ничтожного: когда, например, он вскоре был назначен попечителем московского учебного округа, то долго не мог привыкнуть к такому беспорядку, что заболел профессор – и лекций нет; он думал, что следующий по очереди должен был его заменять, так что, острил Герцен, – «отцу протоиерею Терновскому пришлось бы иной раз читать в клинике о женских болезнях, а акушеру Рихтеру толковать бессеменное зачатие». Голицын стал усердно ухаживать за Россет. Однажды он снял с себя орденскую ленту, красавица, шала, надела ее на себя. Голицын сказал:

– Если вы выйдете за меня замуж, у вас будет лента ордена св. Екатерины.

Она ответила:

– Я бы очень хотела иметь ее.

Дело сладилось. Россет стала невестой Голицына, принимала от него богатые подарки.

Старая горничная ее Марья Савельевна очень одобряла выбор барышни и говорила:

– Иди, матушка, другой старик лучше голопятих щелкоперов-офицеров. Будут деньги, и братишкам твоим будет лучше; а то они, бедные, снуют по Невскому, понаделали должишек; а мы вот месяц должны мужикам и в лавки.

«Эти речи, – откровенно рассказывает А. О. Россет-Смирнова, – мирили меня с мыслью идти замуж за старика. Но свадьба не состоялась, потому что жена ему напомнила, что долг платежом красен: когда в молодости она просила разводной, муж ни за что не согласился, а теперь она не согласилась».

Около этого времени Россет познакомилась с Пушкиным. Был бал у Е. М. Хитрово. Пушкин стоял в уголке с другими кавалерами. Россет и ее подруга, княжна Радзивил, решили познакомиться с Пушкиным. В мазурке Радзивил подошла к нему. Он положил шляпу и протанцевал с нею. Потом к Пушкину подошла Россет и спросила:

– *Quelle fleur* (Какой цветок)?

Он ответил:

– Celle de votre couleur (Вашего цвета)!

Этот ответ привел всех в восторг. Вскоре после этого Пушкин сам пожелал, чтобы Карамзины пригласили Россет слушать «Полтаву». Россет все время нарочно молчала, и Пушкин не получил о ней хорошего понятия. Однажды она приехала с живых картин во дворец к Карамзиным. У них танцевали. Пушкин собирался уходить. Россет сказала:

– Пойдемте со мною танцевать, но так как я не особенно люблю танцы, то в промежутках мы поболтаем.

Пушкину понравилось, что Россет хорошо и выразительно говорила по-русски. Тут они больше познакомились, но отношения оставались далекими. «Ни я не ценила Пушкина, ни он меня, – вспоминала Смирнова-Россет. – Я смотрела на него слегка, он много говорил пустяков, мы жили в обществе ветреном. Я была глупа и не обращала на него особенного внимания». Пушкин в это время гораздо больше увлекался Олениной. В ответ на стихи Вяземского, где он воспевал черные глаза Россет, Пушкин писал:

Она мила – скажу меж нами –

*Придворных витязей гроза,
И можно с южными звездами
Сравнить, особенно стихами,
Ее черкесские глаза.
Она владеет ими смело,
Они горят огня живей;
Но, сам признайся, то ли дело
Глаза Олениной моей!..*

и т. д.

Больше сблизились они летом 1831 г., когда Пушкин с молодой женой жил в Царском Селе. Он часто виделся с Россет. По вечерам заходил к ней вместе с Жуковским, по утрам она нередко приходила к нему. Он утром писал, но, заслышав приход Россет, зазывал ее к себе, она приходила с его женой. Пушкин читал им написанное, с удовольствием выслушивал их замечания и говорил:

– Ваша критика, милые, лучше всех. Вы просто говорите: «Этот стих нехорош, мне не нравится».

Раз она похвалила его стихи «Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса»:

– Мне это стихотворение нравится: оно вы-

ступает как бы подбоченившись[261].

Пушкин много смеялся этому сравнению. Под вечер Россет заезжала за Пушкиным в дрожках, Пушкин садился верхом на перекладину дрожек, болтал и был необыкновенно весел и забавен. Вяземскому он писал про Россет: «...она чрезвычайно мила и умна». Наталья Николаевна сильно ревновала к ней мужа, Россет отвечала:

– Что ты ревнуешь ко мне? Право, мне все равно: и Жуковский, и Пушкин, и Плетнев, – разве ты не видишь, что ни я не влюблена в него, ни он в меня?

– Я это хорошо вижу, да мне досадно, что ему с тобой весело, а со мною он зевает.

Действительно, Россет в это время было не до Пушкина. Ей шел уже двадцать третий год, она была бедна, а придворная жизнь привлекала ее, пора было подумать об устройстве своей судьбы. Окружающие твердили, что пора ей выйти замуж, императрица сказала: «Лучше выйти замуж без любви, чем остаться старой девой, сами соскучитесь, и всем наскучите». За нее раз уже сватался молодой дипломат, камер-юнкер Смирнов, человек неда-

лекий, но очень богатый. В 1831 г. он через Е. А. Карамзину посватался вторично. Россет было тяжело решиться, она просила Карамзину передать Смирнову, чтобы он просто спросил: «да или нет?» Он спросил: «да?» Взволнованная и растерянная, она долго молчала, наконец ответила: «да», а в сердце было: «нет».

Пушкин сказал ей:

– Какую вы глупость делаете. Я его очень люблю, но он никогда не сумеет вам создать положения в свете. Он его не имеет и никогда не будет иметь.

Россет ответила:

– К черту, Пушкин, положение в свете! Сердце хочет любить, а любить совершенно некого.

В начале 1832 г. Россет и Смирнов поженились. Зажили широко и богато. В салоне Смирновой по-прежнему собирался цвет петербургского писательства, по-прежнему она была окружена всеобщим поклонением. Пушкин бывал у нее почти каждый день, болтал с нею, с восхищением слушал ее рассказы. В марте месяце, в день рождения Смирновой, он, гуляя, зашел в магазин на Невском, купил

альбом с большими листами, поднес его Смирновой и сказал:

– Вы так хорошо рассказываете, что должны писать свои записки.

На первом листе альбома Пушкин написал стихи:

*В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный
И как дитя была добра;
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.*

Насчет «свободного ума» Смирновой и ее «здравых, светлых суждений» возникает некоторое недоразумение. Бесспорно, Смирнова была умница. В сороковых годах она сумела пленить даже Белинского, который писал жене: «Свет не убил в ней ни ума, ни души, а того и другого природа отпустила ей не в обрез. Чудесная, превосходная женщина! Я без ума от нее». Однако, по-видимому, ума у Смирновой было как раз лишь настолько,

чтобы блистать в своем салоне и привлекать в него интересных людей. В ее уме не было ни творчества, ни исканий, во взглядах своих она была послушным эхом взглядов, принятых при дворе. Поэт Я. П. Полонский, знавший Смирнову в пятидесятых годах, писал: «Я все недостатки готов был простить Смирновой за ее ум, правда, парадоксальный, но все-таки ум. Теперь, когда я пишу эти строки, я не прощаю ей даже этого ума, от этого ума никому ни тепло ни холодно. Он хорош для гостиных, для разговоров с литераторами, но для жизни он лишняя, бесполезная роскошь». Во всяком случае, мы имеем большие основания задать себе вопрос: что в Смирновой оживляло и грело Пушкина, – ум ли ее, или умная болтовня хорошенькой женщины? В бесцеремонной беллетристике, выданной дочерью Смирновой Ольгой Николаевной за записки ее матери, Смирнова все время находится в самом живом и непрерывном умственном общении с Пушкиным. Но странно, что при таком якобы близком умственном общении они даже не переписывались. Мы имеем одну-единственную записочку Пушкина, сопро-

вождающую посланные им Смирновой его оды на взятие Варшавы, и одну-единственную записочку Смирновой к Пушкину, где она уведомляет его, что на придворном вечере нужно быть во фраке. В подлинных воспоминаниях Смирновой мы также не можем найти следов их живого умственного общения. Смирнова откровенно рассказывает: «Ничья не ценила его, ни он меня. Я смотрела на него слегка, он много говорил пустяков; мы жили в обществе ветреном. Я была глупа и не обращала на него особенного внимания». Она вспоминает только, что Пушкин читал ей и давал читать пикантные «исторietки» Тальмана де Рео, сочинения французских остроумцев Шамфора и Ривароля и сказки Вольтера.

Та же дочь Смирновой в сочиненных ею «Записках А. О. Смирновой» рассказывает, что мать ее была постоянной заступницей и ходатайницей за Пушкина перед царем, что царь то и дело говорил с ней о Пушкине, восхищался его творчеством, спрашивал, что он написал новенького, Смирнова передавала ему стихи Пушкина, император делал на них свои замечания и возвращал Смирновой для

передачи Пушкину. Все это сплошная выдумка. Один только раз Николай прислал Смирновой (тогда еще Россет) рукопись седьмой главы «Онегина» и просил ее высказать свое мнение о сделанных им на полях замечаниях. «Конечно, я была того же мнения», – сообщает Смирнова. «Нам представляется возможным утверждать, – говорит М. Я. Цявловский, – что этой посылкой и ограничилась роль Смирновой как «посредницы» между поэтом и Николаем I. Как видим, в сущности, никакого посредничества и не было. Все, что пишет об этом Смирнова-дочь, – плод ее беззастенчивой выдумки».

Осенью 1832 г. Смирнова родила. Роды были очень тяжелые, она промучилась семьдесят два часа, пришлось произвести перфорацию головы ребенка и вытащить его мертвым. Все друзья были в волнении. Пушкин, Вяземский, Жуковский встречались, чтоб спросить друг друга:

– Что, родила ли? Только б не умерла, наше сокровище!

В тяжелом состоянии Смирнову увезли за границу, там она пробыла около года и верну-

лась в Петербург совершенно поправившейся. Пушкин опять часто бывал у них, часто встречался со Смирновой в свете. В дневнике он писал: «Разговоры несносны. Слышишь везде одно и то же. Одна Смирнова по-прежнему мила и холодна к окружающей суете». Вяземский сообщает, что в это время Пушкин открыто ухаживал за Смирновой и давал справедливый повод жене своей для ревности. Жена волновалась, ревниво запрашивала мужа из Калужской губернии, где жила летом 1834 г., о его встречах со Смирновой. Пушкин отвечал «...за Смирновой не ухаживаю, вот-те Христос! Она ужасно брюхата, а родит через месяц». В июне Смирнова благополучно родила двойню. Пушкин писал жене: «Смирнова родила благополучно, и вообрази: двоих. Какова бабенка и каков красноглазый кролик Смирнов? Первого ребенка такого сделали, что не пролез, а теперь принуждены надвое разделить». Летом 1835г. Смирнова опять расхворалась, уехала за границу и прожила там три года. Воротилась, когда Пушкина уже не было на свете.

В 1835–1836 гг. Смирнова, живя в Бадене,

горячо полюбила молодого дипломата Н. Д. Киселева, впоследствии российского посла в Париже. Это, кажется, был единственный человек, которого Смирнова любила настоящей, глубокой любовью. Муж ее дни и ночи играл на рулетке, и она все время проводила с Киселевым. Киселев относился к ней с обожанием, но не смел быть назойливым, она же не хотела изменять мужу. Бывало только так: «После своего завтрака он пришел ко мне. Я читала, лежа на диване. «Но, Киса, я должна приподняться, дайте мне руку... Нет, лучше пропустите руку. Так! Благодарю вас!» Он вспыхнул и строго посмотрел на меня. «Боже как вы любите играть с огнем!» «Глупости! Сколько раз Пушкин оказывал мне эту услугу, когда приходил сидеть со мной».

Смирнова происходила из невропатической семьи и была болезненна. Уже в девическое время она часто испытывала приступы черной тоски. Эта тоска за границей стала ею овладевать все сильнее. А годы уходили, ей пошел уже четвертый десяток. Воротилась в Петербург, несколько лет пожила прежней светской жизнью, опять уехала за границу.

Зиму 1843/1844 г. она проводила в Ницце и тут совершенно подпала под влияние все больше уходявшего в мистицизм Гоголя. В это время она переживала тяжелый душевный кризис. Причины его правильно разгадала одна из приятельниц Смирновой, графиня С. М. Сологуб. «Александра Осиповна часто бывает в хандре, — писала она Гоголю. — К несчастью, никто не может пособить ей — один Бог и религия. С ней должны быть чрезвычайно тяжелые минуты. Она находится на страшной меже наслаждений, осуществившихся в протекшей молодости, и неизвестных испытаний в преддверии старости. Разочарование всего труднее переносится». Тогдашние проповеди Гоголя об отказе от мирских радостей, о необходимости бесстрастия и жизни в Боге давали Смирновой большое утешение. Она стала ревностной ученицей Гоголя и благоговейно отдалась его руководству. С другой стороны, и она оказала влияние на Гоголя в том смысле, что была одной из тех «идеальных читательниц», к которым он обращался в своей «Переписке с друзьями». Н. Ф. Павлов в нашумевших статьях об

этой «Переписке» спрашивал Гоголя: «Ради Бога, скажите серьезно, – неужели вы в самом деле думаете, что светские люди, начало и конец ваших поучительных посланий, не знают, как спасти свою душу? Знают, не меньше вашего знают, да не хотят. Им нужно, чтобы кто-нибудь сказал: живите, как вы живете; будьте тем, что вы есть, – и при этих условиях можно спасти душу. Уверьте женщину в свете, что она может быть и женщиной в свете, и святою; докажите помещику, что он и помещик, и учитель спасения. Вот тут, правда, полезен бывает человек с высоким дарованием».

Осенью 1844 г. Смирнова вернулась из-за границы в Петербург. В следующем году муж ее был назначен калужским губернатором, она переселилась с ним из Петербурга в Калугу. Гоголь не раз гостил у нее в Калуге и в смирновских поместьях Калужской и Московской губерний, она по-прежнему благоговейно внимала его поучениям. Но... «Смирнова, – писал около этого времени Плетнев Жуковскому, – только как видоизменение роскоши, приближает в свой угол образы нравственно-

го и умственного совершенства, беззаботно отвращаясь от них ко всем земным утехам». В пятидесятых годах она жила в Петербурге, куда муж ее был назначен гражданским губернатором. По-всегдашнему она выражала отвращение к светской жизни и по-прежнему жила этой жизнью усердно и широко. Умерла она в Париже в глубокой старости, за восемьдесят лет, в полном расстройстве умственных способностей.

**Николай Михайлович Смирнов
(1807–1870)**

Муж А. О. Смирновой-Россет. Сын очень богатого помещика, славившегося в Москве собственным театром на Знаменке и оркестром роговой музыки. Мальчик рано осиротел. Шестнадцать лет был отправлен дядей-опекуном за границу, путешествовал с гувернером и с целым штатом крепостной прислуги. Причисленный к министерству иностранных дел, служил во Флоренции, держал на конюшне восемнадцать лошадей; производил впечатление богатого маменькина сынка, страшно избалованного. Был он белокур и некрасив, ума недалекого, но любил говорить много и

самодовольно. В январе 1832 г. он женился на А. О. Россет.

В интимных своих записках Смирнова рассказывает: «Вначале я была к Смирнову расположена, но его отсутствие достоинства оскорбляло и огорчало меня, не говоря уже о более интимных отношениях, таких возмутительных, когда не любишь настоящей любовью». И откровенно сознается: «Я себя продала за шесть тысяч душ для братьев».

Умная и блестящая жена совершенно затмевала самодовольно-болтливого и неинтересного Смирнова. Пушкин говорил Смирновой, что муж ее своими манерами и спорами портит ее положение.

Смирнов служил в разных заграничных русских миссиях, затем в Азиатском департаменте, с 1829 г. состоял камер-юнкером, с 1845г. – камергером.

В 1845–1851 гг. был калужским губернатором, затем губернатором петербургским и сенатором. Был человек честный и благородный, но взбалмошный, вспыльчивый до бешенства, на службе вечно волновался и ссорился, к подчиненным полякам и немцам от-

носился с придиричивой, оскорбительной строгостью. Обладал большим состоянием, имел двадцать две тысячи десятин земли в Московской, Калужской, Тульской, Псковской и Смоленской губерниях, собственный дом в Петербурге, держал прекрасного повара.

Собрал интересную коллекцию картин старых итальянских мастеров.

Сильно играл в карты и рулетку, под конец жизни порядком расстроил свое состояние.

С Пушкиным Смирнов познакомился в 1828 г., был с ним в приятельских, но не особенно близких отношениях. Оставил краткие, но очень ценные воспоминания о Пушкине.

Аграфена Федоровна Закревская (1799–1879)

Это с нее написан знаменитый «Портрет» Пушкина:

*С своей пылающей душой,
С своими бурными страстями,
О жены Севера, меж вами
Она является порой,
И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил.*

Рожденная графиня Толстая, дочь известного собирателя рукописей графа Ф. А. Толстого, двоюродная сестра Американца Ф. И. Толстого, в своем роде не менее яркая и оригинальная, чем он. Высокая, смуглая красавица с огненными глазами. В 1818 г., девятнадцати лет, вышла замуж за тридцатипятилетнего Арсения Андреевича Закревского, тогда дежурного генерала главного штаба. Мы не знаем, что побудило молодую и богатую красавицу выйти за пожилого служаку, малообразованного, не умевшего даже говорить по-французски, не блиставшего ни красотой, ни умом, ни богатством, ни знатностью. Но уже через три-четыре года имя Закревской было на язычках всех «баб обоего пола»: писали о ее «диспозиции к кокетству», жалели Закревского, которому она готовит много горьких дней. В 1823 г. она, отдельно от мужа, путешествовала за границей, и передавались определенные слухи, что она там была в связи с принцем Кобургским, впоследствии королем бельгийским Леопольдом. В том же 1823 г. Закревский был назначен финляндским генерал-губернатором, и многих интересовало,

поедет ли с ним в Финляндию и жена. Она поехала. В Гельсингфорсе и по красоте, и по положению, и по эксцентрическому своему характеру Закревская заняла первенствующее положение и победным путем шла по мужским сердцам. В нее в то время, между прочим, был влюблен и поэт Баратынский, служивший в Финляндии солдатом и стараниями друзей прикомандированный к штабу Закревского. Ее он воспел в ряде стихотворений и вывел под именем «княгини Нины» в поэме «Бал». Произведения эти дают богатый материал для характеристики Закревской. В поэме Баратынский рассказывает:

*...меж умниц и меж дур
Моей княгине чересчур
Слыть Пенелопой трудно было.
Презренья к мнению полна,
Над добродетелию женской
Не насмехается ль она,
Как над ужимкой деревенской?
Кого в свой дом она манит:
Не записных ли волокит,
Не новичков ли миловидных?
Не утомлен ли слух людей
Молвой побед ее бесстыдных*

И соблазнительных связей?
Но как влекла к себе всесильно
Ее живая красота!..
...Какая бы Людмила ей
Своих лазоревых очей
И свежести ланит стыдливых
Не отдала бы сей же час
За яркий глянец черных глаз,
Облитых влагой сладострастной,
За пламя жаркое ланит?..
Как в близких сердца разговорах
Была пленительна она!
Как угодительно – нежна!
Какая ласковость во взорах
У ней сияла! Но порой,
Ревнивым гневом пламеня,
Как зла в словах, страшна собой,
Являлась новая Медея!..
Страшись прелестницы опасной,
Не подходи: обведена
Волшебным очерком она;
Кругом ее заразы страстной
Исполнен воздух! Жалок тот,
Кто в сладкий чад его вступает.
Беги ее: нет сердца в ней!
Страшися вкрадчивых речей
Одуревающей приманки;
Влюбленных взглядов не лови:

*В ней жар упившейся вакханки,
Горячки жар, – не жар любви.*

В жизни Закревская часто проявляла какую-то «судорожную веселость» и держалась, как озорной мальчишка-сорвиголова. Например, возвращается она в Гельсингфорс с молодым адъютантом ее мужа князем А. Львовым из какой-то поездки. И вот во Фридрихсгаме эта первейшая финляндская сановница расписывается в почтовой книге (по-французски) так: «Князь Душка-Дорогушка (Chou-Cheri), наследный принц лунного царства, с частью своего двора и половиною своего гарема».

Однако Закревская вовсе не была просто веселой прожигательницей жизни. В душе ее жила черная тоска. Тот же Баратынский писал о ней:

*Как много ты в немного дней
Прожить, прочувствовать успе-
ла!
В мятежном пламени страстей
Как страшно ты перегорела!
Раба томительной мечты!
В тоске душевной пустоты*

*Чего еще душою хочешь?
Как Магдалина, плачешь ты
И, как русалка, ты хохочешь!*

И про нее же Баратынский писал в письме: «Она сама несчастна; это роза, это царица цветов, – но поврежденная бурей; листья ее чуть держатся и беспрестанно опадают... Ужасно! Я видел ее вблизи, и никогда она не выйдет из моей памяти. Я с нею шутил и смеялся; но глубокое унылое чувство было тогда в моем сердце. Вообрази себе пышную мраморную гробницу, окруженную миртами и сиренью, – но гробница все гробница, и вместе с нею печаль вливается в душу». По общим отзывам, Закревская была большая умница и очень доброго сердца. Однажды, например, – это было уже позже, в Петербурге, – выходит она с племянницей М. Ф. Каменской с бала, – в прихожей ни выездных гайдуков ее, ни теплого платья, у подъезда нет ее кареты. Пришлось посылать домой на извозчике за шубами. Оказалось, гайдуки рассудили, что господа выйдут не скоро, забрали их теплое платье, сели в барскую карету и уехали домой, чтоб воротиться к концу бала. Но дома напи-

лись пьяны и заснули. Узнав про это, Закревская не рассердилась, а страшно испугалась за гайдуков: муж за такую провинность непременно отдал бы их в солдаты. И она ничего ему не сказала и велела всем молчать.

Мы не знаем, когда Пушкин познакомился с Закревской. Жила она в Финляндии, но иногда наезжала в Петербург. «О, жены Севера, меж вами она является порой...» В сентябре 1828 г. Пушкин писал Вяземскому: «...я пустился в свет... Если бы не твоя медная Венера (Закревская), то я бы с тоски умер, но она утешительно смешна и мила. Я ей пишу стихи, а она произвела меня в свои сводники». В прозаическом отрывке Пушкина «Гости съезжались на дачу» (1828) герой повести Минский почти такими же словами отзывается о выведенной в отрывке эксцентрической красавице Зинаиде Вольской: «Я просто ее наперсник или что угодно. Но я люблю ее от души: она уморительно смешна». Минскому Пушкин вкладывает в уста любимейшие свои мысли. Вольская прямо как будто списана с Закревской. Нужно, конечно, с величайшей осторожностью пользоваться художественными

произведениями писателя как автобиографическим материалом, делать из них прямые выводы биографического характера недопустимо. Но в них нередко можно найти намек, вдруг вкладывающий нам в руки конец путеводной нити к разрешению того или другого биографического вопроса. Такой конец нити, кажется мне, находим мы и в упомянутом отрывке. Минский получает записку от Зинаиды Вольской. «Самолюбие его было тронуто; не полагая, чтоб легкомыслие могло быть соединено с сильными страстями, он предвидел связь безо всяких важных последствий, лишнюю женщину в списке ветреных своих любовниц, и хладнокровно обдумывал свою победу. Вероятно, если бы он мог вообразить бури, его ожидающие, то отказался бы от своего торжества, ибо светский человек легко жертвует своими наслаждениями и даже тщеславием лени и благоприличию». В письме к Е. М. Хитрово Пушкин пишет: «Я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Я пресытился интригами, чувствами, перепиской и т. п. Я имею несчастье быть в связи с особой умной, болезнен-

ной и страстной, которая доводит меня до бешенства, хотя я ее и люблю всем сердцем». На основании вышеизложенного, я думаю, можно с полной уверенностью заключить, что речь тут идет о Закревской. За «болезненность» Закревской говорят все имеющиеся данные, – она, по-видимому, была форменной истеричкой. В связи со всем этим некоторую долю вероятия получает и рассказ племянницы Закревской М. Ф. Каменской о беспамятной влюбленности Пушкина в Закревскую, о бешеной его ревности. «Еще недавно в гостях у Соловых, он, ревнуя ее за то, что она занимается с кем-то больше, чем с ним, разозлился на нее и впустил ей в руку свои длинные ногти так глубоко, что показалась кровь». Только это никак не могло относиться к последним месяцам жизни Пушкина, как рассказывает Каменская. Увлечение его Закревской следует относить к лету и осени 1828 г. Любовь была мучительная и бурная. Даже Пушкин, не новичок и не мальчик в любви, в смущении отступал перед сатанинской страстностью своей возлюбленной. Он писал:

Твоих признаний, жалоб нежных

*Ловлю я жадно каждый крик:
Страстей безумных и мятежных
Как упоителен язык!
Но прекрати свои рассказы,
Таи, таи свои мечты:
Боюсь их пламенной заразы,
Боюсь узнать, что знала ты!*

Живой вставала перед Пушкиным Клеопатра, образ которой еще четыре года назад он так ярко обрисовал в первоначальном наброске «Египетских ночей». Теперь Пушкин возвращается к этому стихотворению, обрабатывает его, читает друзьям, как будто новое. И Клеопатра входит в петербургский великосветский балльный зал. Пушкин рассказывает про Татьяну:

*Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы:
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была.*

Все, характерное для Клеопатры, было в

Закревской. И не лишено значения, что «Клеопатра Невы» зовется у Пушкина Ниной: под этим именем выведена Закревская в «Бале» у Баратынского, этим условным именем называет Закревскую Вяземский в письме к Пушкину. В черновиках к «Онегину» находим изображение ослепительного выхода Нины в балльную залу в соблазнительном костюме, вполне подходящем к Клеопатре и – к Закревской:

*Смотрите, – в залу Нина входит,
Остановилась у дверей
И взгляд рассеянный обводит
Кругом внимательных гостей.
В волненье перси, плечи блещуг,
Горит в алмазах голова,
Вкруг стана вьются и трепещут
Прозрачной сетью кружева.
И шелк узорной паутиной
Сквозит на розовых ногах...*

К Закревской новые пушкинисты (Лернер, Цявловский) относят и стихотворение Пушкина «Когда твои молодые лета позорит шумная молва». Единственный серьезный довод в пользу такой атрибуции, – что к Закревской

относили стихотворение два столь близко стоявших к Пушкину человека, как Плетнев и Нащокин. Но тот же Плетнев относил к какой-то рано умершей графине Ростопчиной стихотворение Пушкина «Увы, зачем она блистает», имеющее в виду Ел. Н. Раевскую, а Нащокин в стихотворении «19 октября 1825 г.» несомненное упоминание о Пущине относил к Гревеницу. Так что довод этот вовсе не такой уже бесспорный. А главное: все содержание стихотворения настолько неприменимо к Закревской, что можно только удивляться, как могла прийти кому-нибудь в голову мысль о подобной атрибуции. В стихотворении поэт горько жалеет молодую женщину, которая опозорена шумной молвой и по приговору света утратила права на честь, делит с ней ее страдания и бесплодно молит за нее бесчувственный свет. Если бы Пушкин пришел с таким стихотворением к Закревской, она просто расхохоталась бы ему в лицо: она бравировала своим отношением к свету, дерзко шла ему наперекор. «Презренья к мнению полна», – говорит Баратынский. «Мимо всех условий света стремится до утраты сил», – го-

ворит Пушкин. Какие же тут возможны утешения и жаления? Это вовсе не была бедная, несправедливо обиженная овечка, это была тигрица, рвавшая когтями путы лицемерно-добродетельного «света». К тому же Закревская «по приговору света» вовсе не утратила прав на честь: никто не считал непристойным с ней знаться, ее принимали в самом высшем свете – жену финляндского генерал-губернатора и будущего министра внутренних дел.

В 1848 г. Закревский был назначен военным генерал-губернатором Москвы и пробыл в этой должности до 1859 г. Аграфена Федоровна стала за эти годы форменной притчей во языцех по всей Москве. С. Т. Аксаков писал сыну Ивану: «Про супругу Закревского рассказывают чудеса, цинизм ее невозможен к описанию». Графиня Л. А. Ростопчина была летом в гостях у Закревских в их подмосковном имении. День выдался очень жаркий. Закревская принимала гостей в белом кисейном капоте, надетом только на батистовую рубашку, так что все тело до мельчайших изгибов сквозило на солнце сквозь прозрачные ткани. Ро-

стопчина прибавляет: «Я была удивлена равнодушием графа, не обращавшего на это никакого внимания». А чиновник Третьего отделения М. М. Попов рассказывает вот что. Однажды Закревский получил анонимное письмо об обширном заговоре, имеющем целью истребление всей царской фамилии и совершение государственного переворота. Приводился адрес, где собираются заговорщики, и давался совет в такой-то день, ночью, направить туда надежный наряд полиции, хорошо вооруженный, потому что заговорщики вооружены и могут оказать отчаянное сопротивление. Наряд был послан. Все оказалось совсем так, как описывалось в доносе. Полицейские незаметно проникли в квартиру, зажали рот дежурившей старухе и, выставив вперед пистолеты и штыки, ворвались в комнату. И вдруг растерянно остановились. И обратились в бегство. Один обер-полицмейстер расшаркивался, отвешивал низкие поклоны и повторял:

– Извините, извините, мы не за тем...

Вскочившая с постели полураздетая женщина в яром гневе кричала:

– Как вы смели войти сюда? Вон!!!

Граф Закревский с нетерпением ждал полицмейстера. Наконец он явился. Заикается, мнетя и не может выговорить ни слова. Закревский нетерпеливо воскликнул:

– Да что вы мнетесь?! Открыли или ничего не открыли?

– Открыли, ваше сиятельство... Только не то, чего искали...

И обер-полицмейстер принужден был, отыскивая выражения, сколько можно было приличнее, рассказать, кого они застигли и на каком деле. Граф махнул рукой и сказал с досадой:

– Э, да об этом я давно знаю!

Быстро повернулся и ушел во внутренние комнаты.

Арсений Андреевич Закревский (1783–1865)

Муж предыдущей. Сын бедного тверского дворянина. Малообразованный, по-французски не говорил, слаб был даже в русской грамоте, но человек был смысленный. Выдвинулся, будучи адъютантом графа Н. М. Каменского, участвовал с ним в финляндской (1808)

и турецкой (1810) войнах. В 1812 г. состоял при главнокомандующем, а во время походов 1813–1814 гг. неотлучно находился при императоре Александре I как один из ближайших к нему генерал-адъютантов. С 1816 г. исполнял обязанность дежурного генерала главного штаба. Был служака аракчеевско-клеинмихелевского типа. В 1823 г. назначен финляндским генерал-губернатором, в 1828г. – министром внутренних дел, с сохранением прежнего поста. В 1830 г. возведен в графское достоинство. Когда разразилась холера, Закревский для борьбы с ней принял очень энергичные, но совершенно нелепые меры, всю Россию избороздил карантинами, – они совершенно парализовали хозяйственную жизнь страны, а эпидемии не остановили. В связи с этими неудачными мерами он в 1831г. был уволен в отставку и находился не у дел до 1848 г., когда был назначен военным генерал-губернатором Москвы. Здесь он приобрел самую черную славу легендарным своим всевластием, самодурством, мелочной мстительностью и бесконтрольным вмешательством даже в частную жизнь жителей. Впослед-

ствии, оправдывая свои действия, он говорил: «Никто не знает инструкции, которую мне дал император Николай, видевший во всем признаки революции; он снабдил меня пустыми бланками с собственноручною подписью, и я все их возвратил неиспользованными». Однако выяснилось, что никаких бланков у него не было и что он не имел власти более той, какая предоставлена всякому генерал-губернатору. В первые годы царствования Александра II Закревский ставил всяческие препятствия собраниям дворян, которых правительство вызывало на инициативу в деле освобождения крестьян. Закревский заявлял: «В Петербурге одумаются, и все останется по-старому». В 1859 г. он, к всеобщей радости москвичей, был уволен в отставку.

Современники рассказывают: Закревский был человек с характером, и если где его не доставало, так это только в отношении к его семейству. Слабость его в подобных случаях была удивительна, пожалуй, даже непостижима, в человеке его характера. Жена вполне властвовала над ним.

Николай Васильевич Путята

(1802–1877)

Воспитанник муравьевской школы колонновожатых, служил в гвардии, потом адъютантом генерал-губернатора Закревского в Финляндии. Там ему удалось значительно облегчить участь служившего солдатом поэта Баратынского: благодаря заступничеству Путяты его перевели в Гельсингфорс и прикомандировали к штабу. С тех пор крепкая дружба связывала Баратынского и Путяту всю их жизнь; впоследствии они и породнились – женились на двух родных сестрах. Баратынский познакомил Путяту с Пушкиным осенью 1826 г., вскоре после приезда Пушкина в Москву из деревенской ссылки. Пушкин обошелся с Путятой очень приветливо. В последующие годы они нередко виделись в Москве и Петербурге. Путята вспоминает: «Пушкин легко знакомился, сближался, особенно с молодыми людьми, вел, по-видимому, самую рассеянную жизнь, танцевал на балах, волочился за женщинами, играл в карты, участвовал в пирах тогдашней молодежи, посещал разные слои общества. Среди всех светских развлечений он порой бывал мрачен; в нем

было заметно какое-то грустное беспокойство, какое-то неравенство духа; казалось, он чем-то томился, куда-то порывался. По многим признакам я мог убедиться, что покровительство и опека императора Николая Павловича тяготили его и душили».

Летом и осенью 1828 г. Пушкин сильно увлекался А. Ф. Закревской, по всей видимости, был с ней в связи, жестоко ревновал ее. Путята рассказывает, что однажды он заехал к Пушкину в гостиницу Демута, и Пушкин тотчас начал читать ему стихи о Клеопатре из «Египетских ночей»; у Путяты на квартире он написал ему на память стихи «Твоих признаний, жалоб нежных...» И те и другие стихи связаны с Закревской, из этого можно заключить, как сильно владела она в это время душой Пушкина. По-видимому, именно по поводу Закревской у ревнивого Пушкина произошел инцидент с секретарем французского посольства Лагрене. Однажды утром Пушкин прислал Путяте французскую записку со своим кучером и дрожками. Содержание записки смутило Путяту. Пушкин писал: «Когда я вчера подошел к одной даме, которая разгова-

ривала с г. де Лагрене, он сказал настолько громко, что я мог услышать: «Прогоните его!» Вынужденный потребовать удовлетворения за эти слова, я прошу вас, милостивый государь, не отказаться отправиться к г. де Лагрене и переговорить с ним. Пушкин». Путята тотчас же сел на дрожки Пушкина и поехал к нему. Пушкин с жаром и негодованием рассказал случившееся, утверждал, что точно слышал обидные для него слова, объяснил, что записка написана им так церемонно именно для того, чтобы Путята мог показать ее Лагрене, и настаивал, чтоб он требовал от него удовлетворения. Путята отправился к Лагрене, с которым был хорошо знаком, и показал ему записку. Лагрене очень удивился и сказал, что никогда не произносил приписываемых ему слов, что, вероятно, Пушкину дурно слышалось, что он не позволил бы себе ничего подобного, особенно в отношении к Пушкину, которого глубоко уважает как знаменитого поэта России. Лагрене согласился повторить все это и Пушкину, и оба тотчас же отправились к нему. Объяснение произошло в присутствии Путяты, противники подали

друг другу руки, и дело тем кончилось. На следующий день Пушкин, Путята и несколько их приятелей завтракали у Лагрене.

После женитьбы Пушкин виделся с Путятой реже. В начале 1835 г. в «Сыне отечества» появилась очень неблагоприятная рецензия на только что вышедшую «Историю пугачевского бунта». Путята встретился с Пушкиным на Невском и шутя повторил ему упреки журнального рецензента:

– Александр Сергеевич, зачем не описали вы нам пером Байрона всех ужасов пугачевщины?

Пушкин засмеялся и сказал:

– Каких им нужно еще ужасов? У меня целый том наполнен списками дворян, которых Пугачев перевешал. Кажется, этого достаточно!

Путята участвовал в русско-турецкой войне 1828–1829 гг., потом находился на гражданской службе. Был некоторое время председателем московского Общества любителей российской словесности. Поместил ряд воспоминаний и заметок в «Русском архиве».

Теодор-Мари-Мельшиор-Жозеф де

Лагрене (1800–1862)

В 1823–1825 и в 1826–1830 гг. состоял при французском посольстве в Петербурге. В 1828 г. Пушкин вызвал его на дуэль за показавшееся ему неуважительным обхождение с ним Лагрене. В 1834 г. Лагрене женился на русской – красавице-фрейлине В. И. Дубенской. Впоследствии занимал пост французского министра-резидента сначала в Дармштадте, потом в Греции. Жуковский, выдавшийся с ним в Дармштадте в сороковых годах, писал о нем: «Лагрене умен и любезен, но мне не по нутру этот французский, все персифлирующий бессовестный ум, проникнутый каким-то общим всякому французу остроумием, как халат немецкого профессора – табачным дымом; при нем как-то сам тупеешь и холодеешь, и сердечное убеждение не участвует в том, что уста глаголют».

Елизавета Михайловна Хитрово (1783–1839)

Рожденная Голенищева-Кутузова, дочь армейского бригадира Мих. Илл. Голенищева-Кутузова, впоследствии светлейшего князя

и знаменитого фельдмаршала. Была его любимой дочерью. В 1802г., девятнадцати лет, вышла за флигель-адъютанта графа Ф. И. Тизенгаузена. От него у нее было две дочери, Екатерина и Дарья (Долли). В 1805 г. он был убит в Аустерлицкой битве. В 1811 г. она вторично вышла замуж за генерала Н. Ф. Хитрово. С 1815 г. он состоял русским поверенным в делах во Флоренции и там умер в 1819 г. Елизавета Михайловна еще несколько лет жила за границей. В 1821 г. выдала дочь Долли за австрийского дипломата графа Фикельмона. Около 1827 г. переселилась с незамужней дочерью Екатериной в Петербург. В 1829 г. Фикельмон был назначен австрийским послом в Петербург. Елизавета Михайловна с Екатериной поселилась у зятя в здании австрийского посольства на Английской набережной. Князь Вяземский вспоминает: «В летописях петербургского общества имя Елизаветы Михайловны осталось незаменимо, как было оно привлекательно в течение многих лет. Утра ее (впрочем, продолжавшиеся от часу до четырех пополудни) и вечера дочери ее, графини Фикельмон, неизгладимо врезаны в памя-

ти тех, которые имели счастье в них участвовать. Вся животрепещущая жизнь, европейская и русская, политическая, литературная и общественная, имела верные отголоски в этих двух родственных салонах. Не нужно было читать газеты: в салонах этих можно было запастись сведениями о всех вопросах дня. А какая была непринужденность, терпимость, вежливая, и себя, и других уважающая свобода в этих разнообразных и разноречивых разговорах! Даже при выражении спорных мнений не было слишком кипучих прений: это был мирный обмен мыслей, воззрений, оценок».

Елизавете Михайловне шел в то время уже пятый десяток лет. Была она очень полная, некрасивая, лицом походила на своего отца-фельдмаршала. Но глубоко была уверена в неотразимой красоте своих плеч и спины, поэтому обнажала их до последних пределов, допускавшихся приличием. А все смеялись и прозвали ее «Лиза голенькая». В. А. Перовский, глядя на нее, сказал однажды: «Давно бы уж пора набросить покрывало на прошедшее!» Ядовитый Соболевский написал эпи-

грамму, как обычно, приписанную Пушкину:

*Ли́за в городе́ жила
С дочкой Доли́нкой;
Ли́за в городе́ слыла
Лизой голенё́кой,
У австри́йского посла
Нынче Ли́за в grand gala;
Но по-прежне́му ми́ла,
Но по-прежне́му го́ла.*

Она давала повод ко множеству рассказов, шуток и анекдотов, неизменно носивших очень двусмысленный характер. Князь Вяземский, познакомившись с ней, писал А. Тургеневу: «Третьего дня Хитрово говорила о себе: «Как печальна моя судьба! Так еще молода, и уже два раза вдова!» – и так спустила шаль – не с плеч, а со спины, что видно было, как стало бы ее еще на три или четыре вдовства». Рассказывали, что близко знакомых мужчин она принимала, сидя в ванне. Граф В. А. Сологуб сообщает такой анекдот: «Елизавета Михайловна поздно просыпалась, долго лежала в кровати и принимала избранных посетителей у себя в спальне; когда гость допускался к ней, то, поздоровавшись с хозяйкой, он, разу-

меется, намеревался сесть; г-жа Хитрово останавливала его: «Нет, не садитесь на это кресло, это Пушкина; не на этот диван – это место Жуковского; садитесь ко мне на постель, это место всех». Пушкин в 1832 г. писал княгине Вяземской по поводу сумасшедшего Батюшкова, которому врачи для излечения рекомендовали физическое общение с женщиной: «Сейчас от Хитрово. Она как нельзя более тронута состоянием Батюшкова и предлагает саму себя, чтобы испытать последнее средство, с самоотверженностью истинно удивительной». Однако г-жа Хитрово была вполне добродетельна, и имя ее никогда серьезно не упоминалось в богатой скандальной хронике великосветской жизни. Самооголение ее истекало не из развращенности, а просто из суетной, до смешного наивной склонности к самолюбованию. А суетностью она отличалась большой. На руке носила на георгиевской ленте часы, бывшие на ее отце во время бородинского боя, в письмах подписывалась: «Elise Nitroff, nee' princesse Koutousoff-Smolensky – Элиза Хитрово, рожденная княжна Кутузова-Смоленская», хотя не только не

родилась, но никогда и не была княжной Смоленской: отец ее был возведен в княжеское достоинство и получил титул «Смоленского» тогда, когда Елизавета Михайловна успела уже побывать графиней Тизенгаузен и была г-жой Хитрово. Ума она была довольно ограниченного, но доброты неисчерпаемой. «Она была неизменный, твердый, безусловный друг друзей своих, – рассказывает Вяземский. – Друзей своих любить немудрено; но в ней дружба возвышалась до степени доблести. Где и когда нужно было, она за них ратовала, отстаивала их, не жалея себя, не опасаясь за себя неблагоприятных последствий, личных жертвований от этой битвы не за себя, а за другого». И вообще, по отношению не только к друзьям, была человеком чрезвычайно добрым и отзывчивым. Ее хлопотами, например, получил пенсию цензор С. И. Глинка, уволенный со службы за пропуск в «Московском телеграфе» статейки «Утро в кабинете знатного барина», высмеивавшей Юсупова и Пушкина (см. Н. Б. Юсупов).

Пушкин познакомился с Е. М. Хитрово, вероятно, в 1827 г., когда, впервые после ссылки,

приехал в Петербург. И очень скоро Елизавета Михайловна полюбила Пушкина. Полюбила восторженно, страстно, самоотверженно, горестной любовью стареющей женщины, не ждущей и не смеющей ждать ответного чувства. Н. М. Смирнов вспоминает: «Некоторая беспечность нрава Пушкина позволяла часто им овладеть; так, например, Е. М. Хитрово, женщина умная, но странная, ибо на пятидесятом году не переставала оголять свои плечи и любоваться их белизною и полнотою, возымела страсть к гению Пушкина и преследовала его несколько лет своею страстью. Она надоедала ему несказанно, но он никогда не мог решиться огорчить ее, оттолкнув от себя, хотя, смеясь, бросал в огонь, не читая, ее ежедневные записки; но, чтоб не обидеть ее самолюбия, он не переставал часто посещать ее в приемные дни перед обедом». Видимо, письма ее действительно нередко выводили Пушкина из терпения; дошла одна его записочка, по грубости совершенно невероятная под пером воспитанного Пушкина: «Откуда, черт возьми, вы взяли, что я рассердился? Но у меня хлопот выше головы. Простите мой лако-

низм и мой якобинский слог». Особенно раздражала его ее необидчивость, готовность все переносить, во всем смиренно ему подчиняться. Он говорил про нее г-же Керн: «Знаете, нет ничего нелепее терпения и самоотвержения!» И сама Хитрово писала Пушкину: «...в вас вызывает антипатию моя кротость, безобидность и самоотречение». Сама ли она слишком явно обнаруживала свою страсть, не считал ли нужным молчать про нее мало в таких случаях щепетильный Пушкин, но все окружающие знали об их отношениях и посмеивались. Елизавету Михайловну прозвали Эрминией (героиня Тассова «Освобождения Иерусалима», безнадежно и самоотверженно влюбленная в Танкреда). Мать Пушкина в 1834 г. писала дочери Ольге Сергеевне: «Александр очень занят по утрам, потом идет в Летний сад, где прогуливается со своею Эрминией. Такое постоянство молодой особы выдержит все испытания, и твой брат очень смешон». Сам Пушкин чувствовал, как все это смешно, а смешного он очень боялся, — и с шутливым ужасом изображал себя целомудренным Иосифом Прекрасным, не знающим,

как спастись от преследований страстной жены Пентефрия. В 1830 г., собираясь сделать предложение Н. Н. Гончаровой, он писал Вяземскому: «Если ты можешь влюбить в себя Элизу, то сделай мне эту божескую милость. Я сохранил свою целомудренность, оставя в руках ее не плащ, а рубашку, и она преследует меня и здесь письмами и посылками. Избавь меня от Пентефрейхи!» Каковы были в действительности их отношения, мы не знаем. Но возможно, – ее готовность, пышные плечи, африканская страстность Пушкина, – «скука, случай... Безумным притворился я...» И сам потом об этом пожалел... Это дало ей какие-то надежды и права на Пушкина. Когда она узнала, что Пушкин женится на Гончаровой, то, казалось бы, что́ это меняло в их, все равно безнадежных для нее, отношениях? Для нее же это явилось катастрофой, резко обрывавшей что-то между ними существовавшее. Она писала Пушкину: «...итак, напишите мне правду, как бы она ни была для меня горестна». И потом, узнав уже правду: «...у меня нет в сердце ни капли эгоизма. Я размышляла, боролась, страдала и вот достигла того, что же-

лаю скорейшей вашей женитьбы... Забудьте прошедшее, и пусть ваше будущее принадлежит только вашей жене и вашим детям. В сущности, ничего не изменилось между нами, – утешает она себя, – я буду вас видеть чаще. Отныне мое сердце, мои интимные мысли станут для вас непроницаемой тайной и мои письма – такими, какими они должны быть, океан будет между вами и мною... Когда я утоплю в слезах мою любовь к вам, я тем не менее останусь все тою же – страстною, кротою и необидчивой, готовою пойти за вас в огонь и в воду».

Около этого же времени она писала Пушкину: «...запрещайте мне говорить с вами обо мне, но не лишайте меня счастья быть вашим комиссионером. Я буду говорить вам о большом свете, иностранной литературе, о вероятности смены французского министерства, – увы! я у источника всех сведений, у меня нет только счастья». По положению своему в великосветских и дипломатических кругах Хитрово могла быть и была очень полезна Пушкину. Она сообщала ему заграничные политические новости, не пропускавшиеся в рус-

скую печать, знакомила его с иностранными литературными новинками, доставляла иностранные газеты и книги, – например, запрещенные в России труды Тьера и Минье о французской революции. Из писем Пушкина к Елизавете Михайловне мы видим, что он очень оживленно обсуждал с ней текущие политические вопросы – о польском восстании, об июльской революции во Франции, о выборах в ней, обменивался мнениями о Гюго, Сент-Беве, Ламенэ, Стендале и других. Видимо, их связывали и некоторые общие умственные интересы. Взглядов, – и политических и жизненных, – она держалась таких, какие царили в близкой ей придворной сфере. Когда в 1834 г. Пушкин, пытаясь вырваться из все больше опутывавших его сетей, подал в отставку, Елизавета Михайловна вместе с Жуковским старалась убедить его взять отставку обратно, приезжала к нему с письмами Жуковского. В религиозной области она была строго православная, благоговела перед московским митрополитом Филаретом. Хитрово умерла в 1839 г. Перед смертью она пригласила к себе митрополита Филарета, собрала во-

круг себя родных и прислугу и громко, при всех, исповедалась.

Графиня Дарья Федоровна Фикельмон
(1804–1863)

Рожденная графиня Тизенгаузен, дочь Елизаветы Михайловны Хитрово, жена австрийского посла при русском дворе. Муж был на 27 лет старше ее, на основании этого думают, что вышла она за него по рассудку, ввиду расстроенных денежных обстоятельств семьи. Была умна, образованна и красоты блистательной. Когда в 1823 г. приехала с матерью в Москву, она, как писал Вяземский Тургеневу, «вскружила старушку (Москву)»; все бегали за ней, в саду дамы и мужчины толпились вокруг нее. Салон Фикельмонов в Петербурге был один из самых блестящих и интеллигентных, его охотно посещали Пушкин, Вяземский, А. Тургенев. И жена и муж относились к Пушкину с большой любовью и вниманием, высоко ценили его как поэта, ссужали из своей библиотеки книгами. Весной 1831 г., когда Пушкин с молодой женой приехал из Москвы в Петербург, графиня Фикельмон писала князю Вяземскому: «Жена Пушкина прекрасное

создание, но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастья. Физиономия мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем: у Пушкина видны все порывы страстей; у жены вся меланхолия отречения от себя». А через полгода писала ему же: «Жена Пушкина хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность». Бартенев, со слов Нащокина, сообщал, что «графиня не в силах была устоять против чарующего влияния Пушкина». Анненков в черновых своих записях, со слов одного из друзей Пушкина, тоже отмечает «жаркую историю с женой австрийского посланника». Если можно верить Нащокину, история заключалась в следующем. Пушкин разговаривал с Нащокиным о силе воли и утверждал, что в случае нужды можно силой воли удержаться от обморока. В доказательство он рассказал случай, бывший у него с одной знатной петербургской дамой, которую в конце концов и назвал, – с графиней Долли Фикельмон. Она была безукоризненна в общем мнении света, и ни одна сплетня не мог-

ла коснуться ее имени. Она и Пушкин полюбили друг друга. Встретиться наедине было трудно. Они условились, что в назначенный вечер Пушкин в ее отсутствие проберется к ней в дом и спрячется в гостиной под диваном. Пушкину удалось сделать это никем не замеченным. Он долго лежал, начал уже терять терпение. Наконец к крыльцу подъехала карета, в доме засуетились, два лакея внесли канделябры и осветили гостиную; вошла хозяйка с какой-то фрейлиной, – они возвращались из театра или из дворца. Фрейлина поговорила несколько минут и уехала. Графиня осталась одна. Она окликнула Пушкина:

– Êtes-vous là ?[262]

Перешли в спальню. Заперли дверь, задернули густые гардины и бросились друг другу в объятия. Время проходило незаметно. Пушкин случайно подошел к окну, отдернул штору и замер от ужаса: уже рассвело, был белый день. Они поспешно оделись, графиня повела Пушкина к стеклянным дверям выхода. Но люди уже встали. Сквозь стекла графиня увидела итальянца-дворецкого. Она зашаталась и готова была упасть в обморок. Пушкин

крепко стиснул ей руку и шепнул, что падать в обморок не время, нужно спасти положение. Графиня овладела собой, позвала верную свою горничную, старую, чопорную француженку, и поручила ей вывести Пушкина из дома. Француженка свела Пушкина вниз, прямо в комнату мужа графини. Тот еще спал, шорох шагов его разбудил. Он спросил из-за ширм:

– Кто тут?

Француженка ответила:

– Это я.

И провела Пушкина в сени, откуда он свободно вышел. Графиня долго еще не могла без дурноты вспоминать об этом происшествии. «На другой же день, – рассказывал Нащокин Бартеневу, – Пушкин предложил итальянцу-дворецкому золотом тысячу рублей, чтобы он молчал, и, хотя он отказывался от платы, Пушкин заставил его взять. Таким образом, все дело осталось тайною». Итальянец никому ничего не сказал. Но сам Пушкин не только рассказал друзьям свое приключение, но даже называл по имени героиню приключения. Всего вероятнее, эпизод относится к

1832–1833 гг.

Граф Карл-Людвиг Фикельмон (1777–1857)

Сын французского эмигранта, служил в Австрии сперва на военной службе, с отличием участвовал в кампаниях против Наполеона, потом перешел на дипломатическую службу. В 1821 г. женился во Флоренции на графине Д. Ф. Тизенгаузен. В 1829 г. был назначен австрийским послом в Петербург со специальным поручением способствовать сближению между австрийским и русским правительством. Ему это вполне удалось, он завоевал к себе доверие и расположение императора Николая и очень искусно проводил политику Меттерниха, находя поддержку в русском министре иностранных дел Нессельроде, страстном приверженце Меттерниха. Фикельмон оставался послом в Петербурге десять лет, в 1839 г. был отозван и занимал в Вене посты министра военного, иностранных дел. В 1848 г. был премьер-министром, мартовская революция свергла его вместе с Меттернихом.

Фикельмон был человек умный и образо-

ванный, очень тепло относился к Пушкину, в 1835 г. прислал ему запрещенные к ввозу в Россию два тома сочинений Гейне – французский перевод его «Путевых картин». На похоронах Пушкина граф Фикельмон присутствовал вместе с женой, в парадной одежде и звездах.

Екатерина Андреевна Карамзина (1780–1851)

Рожденная Колыванова, в действительности – побочная дочь князя А. И. Вяземского, единокровная (по отцу) сестра поэта князя П. А. Вяземского. Вторая жена историка Карамзина. В молодости была необыкновенно красива. Вигель рассказывает: «Она была бела, холодна, прекрасна, как статуя древности. Если бы в голове язычника Фидиаса могла блеснуть христианская мысль и он захотел бы изваять мадонну, то, конечно, дал бы ей черты Карамзиной в молодости... Душевный жар, скрытый под этой мраморной оболочкой, мог узнать я только позже». На вид надменная и недоступная, Карамзина умела, однако, располагать к себе людей и внушать крепкую к себе привязанность. В ней чувствовалась мо-

ральная серьезность и строгость, с которой невольно все считались. Была умна, образованна, за что говорит одно уже то, что литературный салон Карамзиных после смерти самого Карамзина в 1826 г. не только не захирел, но и расцвел, и в течение 30–40-х годов был одним из культурнейших центров Петербурга. Карамзины ежедневно принимали по вечерам, попросту, семейно, за чайным столом. Убранство комнат было самое незатейливое: мебели по стенкам с неизбежным овальным столом, окна со шторами, но без занавесок. У Карамзиных бывали Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Вяземский, Дмитриев, Тютчев, Сологуб, Самарин, Кошелев. Современники замечают, что, собственно говоря, карамзинский дом был единственный в Петербурге, в гостиной которого собиралось общество не для светских пересудов и сплетен, а исключительно для беседы и обмена мыслей. Жили Карамзины на Михайловской площади, рядом с только что отстроенным Михайловским театром, в третьем этаже: первый и второй занимали братья Михаил и Матвей Юрьевичи Виельгорские.

Мальчишкой-лицеистом Пушкин вдруг влюбился в Екатерину Андреевну и послал ей любовное письмо. Она показала письмо мужу, они призвали Пушкина и жестоко намылили ему голову. Впоследствии Пушкин сильно привязался к Карамзиной и вспоминал о ней во все серьезные минуты жизни. Весной 1830 г., собираясь жениться, он писал князю Вяземскому: «Сказывал ли ты Екатерине Андреевне о моей помолвке? Я уверен в ее участии, но передай мне ее слова; они нужны моему сердцу, и теперь не совсем счастливому». Через год, вскоре после свадьбы, Пушкин известил Карамзину о своей женитьбе. В ответ она писала ему по-французски: «Я очень признательна, что вы подумали обо мне в первые же минуты вашего счастья, это – подлинное доказательство вашей дружбы. Я шлю вам мои пожелания, – или, скорее, надежды, – чтобы ваша жизнь сделалась столь же сладостной и спокойной, сколько до этой поры была бурной и темной, и чтобы избранная вами нежная и прекрасная подруга стала вашим ангелом-хранителем, чтобы сердце ваше, всегда такое хорошее, очистилось возле

вашей молодой супруги. Уверьте ее, что, несмотря на мою холодную и строгую внешность, она всегда найдет во мне сердце, готовое любить ее, особенно если она обеспечит счастье своего мужа».

Накануне смерти Пушкин, прощаясь с друзьями, сказал А. И. Тургеневу:

– А что же Карамзиной здесь нет?

Тотчас же послали за ней, она приехала через несколько минут. Пушкин сказал слабым, но явственным голосом:

– Благословите меня.

Она благословила его издали. Но Пушкин сделал знак подойти, сам положил ее руку себе на лоб и, после того, как она его благословила, взял ее руку и поцеловал. Карамзина зарыдала и вышла.

Софья Николаевна Карамзина (1802–1856)

Старшая дочь историографа от первого его брака, падчерица Екатерины Андреевны. Миловидная, разговорчивая, смешливая, но не особенно далекая. Баратынский о ней писал: «В ней истинное оживление и непритворное баловство, грациозно умеренное

некоторым уважением приличий». Вместе с мачехой она принимала гостей, собиравшихся в гостиной Карамзиных. Ее в шутку называли «Самовар-паша», так как она разливала гостям чай. Курила. По рассказу А. О. Смирновой, летом и зимой рыскала по городу в изорванных башмаках, вечером рассказывала свои сны, ездила верхом и так серьезно принимала участие в героинях английских романов, что иногда останавливала лошадь и кричала:

– Вон, смотрите, – совсем тот вид, каким восхищалась Камилла в замке!

Отношения с мачехой у нее были самые хорошие. У Софьи Николаевны было имение – пятьсот душ в Орловской губернии, которое досталось ей от матери. В альбом ей писали стихи Лермонтов, Баратынский, Хомяков, Ростопчина. Лермонтов так:

*Люблю я разговоры ваши,
И «ха-ха-ха», и «хи-хи-хи»...*

Пушкин относился к Софье Николаевне очень тепло и несколько раз говорит в письмах о своей дружбе с ней.

Княгиня Екатерина Николаевна Мещерская (1805–1867)

Рожденная Карамзина, дочь историка и Екатерины Андреевны Карамзиных. В. П. Титов сообщает, что в 1828 г., перед замужеством Екатерины Николаевны, Пушкин принадлежал к числу ее «обожателей». Тютчев называл разговор княгини Мещерской «la musique d'une belle âme»[263]. Эта «музыка», бесспорно, слышится и в замечательном ее письме, описывающем смерть Пушкина. В начале царствования Александра II, в эпоху либеральных преобразований, салон княгини Мещерской считался одним из центров консервативной оппозиции. Сыном этих Мещерских был известный князь В. П. Мещерский, издатель «Гражданина», один из самых ярых, однако далеко не бескорыстных поборников монархизма и реакции.

Князь Петр Иванович Мещерский (1802–1876)

Муж предыдущей (с 1828 г.). Подполковник гвардии в отставке, помещик. Человек добродушный, но совершенно заурядный, по

уму и силе характера значительно уступал жене. В доме главенствовала Екатерина Николаевна. Пушкин бывал у Меццеских.

Графиня Надежда Львовна Сологуб (?–1903)

Двоюродная сестра писателя В. А. Сологуба, племянница по матери будущего канцлера князя А. М. Горчакова. Фрейлина великой княгини Елены Павловны. С 1863 г. замужем за А. Н. Свистуновым. По словам В. Сологуба, была замечательно хороша собой. Пушкин усердно за ней ухаживал, и в письмах к жене ему не раз приходилось стараться успокоить ее ревнивые подозрения насчет графини Сологуб. К ней относят стихи Пушкина «Нет, нет, не должен я...» (1832):

*Нет, полно мне любить; но поче-
му ж порой
Не погружуся я в минутное меч-
танье,
Когда нечаянно пройдет передо
мной
Младое, чистое, небесное созда-
нье,
Пройдет и скроется?.. Ужель не
можно мне,*

*Любуясь девою в печальном сладострастье,
Глазами следовать за ней и в тишине
Благословлять ее на радость и на счастье,
И сердцем ей желать все блага жизни сей,
Веселый мир души, беспечные досуги.
Все – даже счастье того, кто избран ей,
Кто милой деве даст название супруги.*

В октябре 1833 г. Пушкин писал жене из Болдина: «Охота тебе, женка, соперничать с графиней Сологуб. Ты красавица, ты бой-баба, а она шкурка. Что тебе перебивать у ней поклонников?»

Графиня Софья Ивановна Сологуб (1791–1854)

Рожденная Архарова, мать писателя В. А. Сологуба, тетка Н. Л. Сологуб, в письмах Пушкина – «Сологуб-тетка». Была очень умна, остроумна, выражалась метко, но мало была общительна, выражение лица было пренебре-

жительное, что не очень к ней располагало. Женских приторностей, увлекающих нежничаний, мгновенных энтузиазмов она не знала. Однако племянницу свою очень любила и постоянно выезжала с ней.

Граф Александр Иванович Сологуб (1787–1843)

Отец писателя, обрусевший поляк. Церемониймейстер. С молодых лет славился как первый столичный щеголь, выдумывал разные костюмы. Между прочим, он изобрел необыкновенный в то время синий плащ с длинными, широкими рукавами; и плащ, и рукава были подбиты малиновым бархатом. Пел приятно в салонах и так превосходно танцевал мазурку, что зрители сбегались им любоваться. Был очень богат, но все свое состояние промотал и сыну почти ничего не оставил. Со всеми обращался просто и ласково. По манерам самой утонченной вежливости был настоящий маркиз, и когда его писатель-сын выкидывал при нем какую-нибудь невежливость, восклицал: «Вольдемар! Это верх неприличия!» Но сын не обращал внимания на замечания отца.

Был знаком с Пушкиным.

**Граф Владимир Александрович
Сологуб
(1814–1882)**

Впоследствии – известный беллетрист, автор «Истории двух калош» и «Тарантаса», при Пушкине – светский молодой человек, начинавший пописывать. Учился в дерптском университете, где окончил курс в 1834 г. Гостя, еще студентом, в Петербурге, он познакомился в театре с Пушкиным. Сологуб-отец представил юношу Пушкину. А утром он познакомил сына с каким-то модным писателем Х., который благосклонно пригласил молодого человека сегодня к себе на вечер. Прощаясь с Пушкиным, юный Сологуб, желая показать, с какими знаменитыми людьми он знаком, почтительно сказал Пушкину:

– Александр Сергеевич, я еще, вероятно, буду иметь счастливый случай с вами повстречаться сегодня у Х.

Пушкин с добродушно-язвительной усмешкой ответил:

– Нет, с тех пор как я женат, я в такие дома не езжу.

Сологуб сконфузился и к Х. не поехал, хотя отец его, смеясь, очень на этом настаивал.

По окончании университета Сологуб упорно зажил в Петербурге светской жизнью, танцевал на балах, ухаживал за дамами. В январе 1836 г. он определился на службу и был прикомандирован к тверскому губернатору. Накануне отъезда в Тверь Сологуб был на вечере, где у него произошло столкновение с женой Пушкина. Наталья Николаевна подтрунивала над романической страстью Сологуба к даме, по которой он вздыхал. Сологуб рассердился, спросил Наталью Николаевну, давно ли она замужем, сказал, что она не девочка, и что-то намекнул насчет красавца-поляка Ленского, прекрасно танцевавшего мазурку на петербургских балах. На следующий день Сологуб уехал в Тверь, а через некоторое время получил от своего университетского товарища Андрея Карамзина, сына историка, письмо, где тот выражал удивление, что Сологуб уклоняется от поединка, на который его вызвал Пушкин. Письма Пушкина Сологуб не получал и тотчас же написал ему, что совершенно готов к его услугам, хотя не чувствует

за собой никакой вины, объяснял, что в упоминании о Ленском не заключалось никакого намека и т. п. В ответ он получил от Пушкина письмо на французском языке:

«Милостивый государь! Вы приняли на себя напрасный труд, сообщив мне объяснения, которых я не спрашивал. Вы позволили себе невежливость относительно моей жены. Имя, вами носимое, и общество, вами посещаемое, вынуждает меня требовать от вас удовлетворения за непристойность вашего поведения. Извините меня, что я не могу приехать в Тверь раньше конца настоящего месяца».

Делать было нечего, Сологуб стал готовиться к поединку, купил пистолеты, выбрал секунданта, привел в порядок бумаги и стал ждать Пушкина. Он твердо решил не стрелять в Пушкина и выдерживать его огонь, сколько ему будет угодно. Прошло три месяца, Пушкин все не приезжал. Сологубу пришлось на два дня уехать в деревню, и как раз в это время Пушкин, по дороге в Москву, заехал в Тверь. Воротившись, Сологуб узнал, что Пушкин был в Твери, пришел в ужас от мысли, что Пушкин подумает, будто он от

него убежал, и тотчас же помчался в Москву. Приехал рано утром и немедленно явился к Нащокину, у которого остановился Пушкин. В доме все еще спали. Пушкин вышел в халате, заспанный, и начал чистить свои длинные ногти. Держался он очень холодно. Условились о секундантах. Своим секундантом Пушкин назвал Нащокина. Между прочим, он сказал:

– Неужели вы думаете, что мне весело стреляться? Да что делать? Я имею несчастье быть публичным человеком, а вы знаете, что это хуже, чем быть публичной женщиной.

Затем разговор несколько оживился, заговорили о начатом Пушкиным издании «Современника», Пушкин сказал:

– Первый том был очень хорош. Второй я постараюсь выпустить поскучнее: публику баловать нечего.

И он засмеялся. Беседа пошла почти дружеская. Вошел Нащокин, тоже заспанный, со взъерошенными волосами, и сейчас же приступил к роли примирителя. Было ясно, что никто не ищет кровавой развязки, а все дело в том, как бы всем выпутаться из глупой ис-

тории, не уронив своего достоинства. Пушкин непременно хотел, чтобы Сологуб перед ним извинился. Обиженным себя он, впрочем, не считал, но ссыался на светское значение Сологуба и как будто боялся компрометировать себя в обществе, если оставит без удовлетворения дело, получившее уже некоторую огласку: разговор Сологуба с Натальей Николаевной слышали барышни Вяземские и расстрезвонили о нем. Сологуб объявил, что извиняться перед Пушкиным ни под каким видом не станет, так как не виноват решительно ни в чем: слова его были перетолкованы превратно. Спор тянулся долго. Наконец Пушкин предложил Сологубу написать письмо Наталье Николаевне. На это Сологуб согласился и написал такое письмо:

«Милостивая Государыня! Я, конечно, не ожидал, что буду иметь честь писать вам. Дело в несчастной фразе, которую я произнес в припадке дурного расположения духа. Вопрос, с которым я к вам обратился, обозначал, что шалости молодой девушки не соответствуют достоинству царицы общества. Я был в отчаянии, что этим словам придали значе-

ние, недостойное порядочного человека».

Пушкин требовал, чтобы Сологуб в конце попросил у Натальи Николаевны извинения. Он желал письма как доказательства на случай, если его будут упрекать, что его жену можно безнаказанно оскорблять. Извиниться Сологуб отказался. Пушкин сказал:

– Можно всегда просить извинения у женщины.

Нащокин тоже уговаривал. Наконец Сологуб приписал: «и прошу принять мои извинения». Пушкин протянул Сологубу руку и сделался чрезвычайно весел и дружелюбен.

Сологуб возвратился в Петербург в октябре месяце. Пушкин встретился с ним у Вяземских, отвел в сторону сказал:

– Не говорите моей жене о письме.

Наталья Николаевна своим волшебным голосом попросила у Сологуба извинения. Все было забыто. По уверению Сологуба, он коротко сблизился с Пушкиным. Пушкин проявлял к нему большую симпатию, поощрял его первые литературные опыты, давал советы, читал свои стихи. Следует, однако, оговориться, что Сологуб был большой хвастун и враль

и в воспоминаниях своих считал не особенно нужным считаться с истиной. Когда ему однажды указала на это Смирнова, Сологуб ответил: «Нужно немножко оживлять повествование». Он рассказывает, что каждый день ходил с Пушкиным гулять; на Толкучем рынке они покупали сайки и, возвращаясь по Невскому, предлагали эти сайки разряженным светским щеголям, которые бегали от них с ужасом. Вечером они встречались у Карамзинных, у Вяземских, у князя Одоевского и на светских балах.

Сологуб жил на Большой Морской, у тетки своей А. И. Васильчиковой. Утром 4 ноября того же 1836 г. она позвала племянника и с удивлением показала полученный ею по почте пакет, в котором оказалось запечатанное письмо на имя Пушкина. Сологуб отвез письмо Пушкину. Пушкин сидел в своем кабинете. Он распечатал письмо и спокойно сказал:

– Я уже знаю, что такое; я такое письмо получил сегодня же от Елиз. Мих. Хитрово; это мерзость против жены моей. Впрочем, вы понимаете, что безыменным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плю-

нет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя – ангел, никакое подозрение коснуться ее не может.

Пушкин говорил с большим достоинством, и Сологуб вынес впечатление, что он хочет оставить все дело без внимания. Они по-прежнему продолжали вместе гулять. Сологуб не замечал в нем особенной перемены. 16 ноября у Карамзиных праздновался день рождения хозяйки. Сологуб сидел за обедом рядом с Пушкиным. Во время общего веселого разговора Пушкин вдруг наклонился к Сологубу и сказал скороговоркой:

– Ступайте завтра к д'Аршиаку. Условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуэли с Дантесом. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь.

Потом он продолжал шутить и разговаривать как ни в чем не бывало. Сологуб остолбенел, но возражать не осмелился: в тоне Пушкина была решительность, не допускавшая возражений.

На следующий день Сологуб поехал к д'Аршиаку и с изумлением узнал, что Пушкин

немедленно по получении анонимного паск-
виля вызвал Дантеса на дуэль, что по просьбе
старика Геккерена отложили поединок на две
недели, что Дантес женится на свояченице
Пушкина, но требует, чтобы Пушкин без-
условно отказался от вызова, так как не мо-
жет допустить, чтобы о нем говорили, будто
он женился по принуждению, из боязни по-
единка. Д'Аршиак с Сологубом поехали к Дан-
тесу. Так как Пушкин обязал Сологуба усло-
виться только о материальной стороне дуэли
и не вступать ни в какие переговоры, то на-
значили дуэль на 21 ноября. Сологуб послал к
Пушкину своего кучера с запиской, где изве-
щал о дне и условиях дуэли, и прибавил, что
Дантес готов жениться на Екатерине Гончаро-
вой лишь в том случае, если Пушкин призна-
ет, что он вел себя в этом деле как честный
человек. Сологуб умолял Пушкина согласи-
ться на это предложение. Кучер привез ответ-
ное письмо, где Пушкин брал свой вызов об-
ратно и заявлял, что не имеет оснований при-
писывать женитьбу Дантеса неблагородным
соображениям. Пушкин остался, однако,
очень недоволен тем, что Сологуб, несмотря

на его требование, вступил в переговоры. Свадьбе он не верил.

– У него, кажется, грудь болит, – говорил он, – того и гляди, уедет за границу. Хотите биться об заклад, что свадьбы не будет? Вот у вас тросточка. У меня бабья страсть к этим игрушкам. Проиграйте мне ее.

Он был в это время как-то желчно весел.

– Хорошо! А вы проиграете мне все ваши сочинения?

Вскоре Сологуб уехал в служебную командировку и больше с Пушкиным уже не виделся.

Головачева-Панаева, знавшая Сологуба несколько позднее, рассказывает: «Если бы он не ломался, то был бы приятным собеседником. Но часто он был невыносим, вечно корча из себя то дерптского студента, то аристократа. В светском обществе он кичился званием литератора, а в литературном – своим графством. Если его знакомили с простым смертным, он подавал ему два пальца и на другой день при встрече делал вид, что не узнает его. Тогда только что появилась мода носить стеклышко, и Сологуб носил его, закинув голову

назад и смотря на всех величаво-презрительно. Странно, Сологуб вовсе не был так глуп, чтобы не понимать, как смешно кичиться своим аристократизмом. Он, в сущности, был добрый человек; если его просили похлопотать о ком-нибудь, то он охотно брался за хлопоты и радовался в случае успеха. В характере Сологуба была хорошая черта – он никогда не передавал никаких сплетен. После женитьбы он ударился в другую крайность: сделался студентом-буршем, не стыдился уже говорить о своих плохих средствах к жизни, которые прежде скрывал, и часто повторял фразу, когда касались денежных трат: «Ну, куда нам с генералами чай пить!»

Екатерина Александровна Архарова (1755–1836)

Рожденная Римская-Корсакова. Кавалерственная дама, вдова московского военного губернатора, генерала от инфантерии И. П. Архарова (по его имени солдат московского гарнизона прозвали «архаровцами»), бабушка писателя В. А. Сологуба. По отзыву внука, женщина «необразованная, ускользнувшая от влияния екатерининского двора, но чрез-

вычайно замечательная по своему добросердечию, твердости характера и коренной русской типичности». Была величественна, умела держаться и не терялась в затруднительных случаях. Летом жила в Павловске, император Александр I к ней очень благоволил и приходил иногда запросто к ней обедать. Однажды он, как всегда, повел ее под руку к столу. Вдруг она чувствует, что с нее спускается одна из юбок; она приостановилась, дала ей время упасть, перешагнула и, как будто не замечая, что с ней случилось, продолжала идти к обеду и во все время обеда была так же весела и спокойна, как обыкновенно.

Была в дружественных отношениях с Н. О. Пушкиной, матерью поэта. По черновым записям Анненкова, Пушкина «подличала перед Архаровою»; ее дочери, А. И. Васильчиковой, подарила письмо поэта-сына, извещавшее о его помолвке. Летом 1831 г., когда Пушкин с молодой женой жил в Царском Селе, он приезжал к сестре своей О. С. Павлицевой и уморительно передразнивал перед ней старуху Архарову.

Александра Ивановна Васильчикова

(1795–1855)

Рожденная Архарова. В молодости была любимой фрейлиной императрицы Марии Федоровны, находилась в дружественных отношениях с императорской фамилией. Была красива, но держалась очень неприступно, никто не дерзал за ней ухаживать. Когда при императоре Александре рассуждали, за кого она выйдет замуж, царь сказал, что не знает никого, кто был бы ее достоин. А между тем она вышла за человека весьма обыкновенного, но доброго, богатого, знатного рода и имевшего большие аристократические связи, А. В. Васильчикова. Разумовские, Репнины, Н. К. Загряжская, князь В. П. Кочубей были с ним в родстве или свойстве.

Васильчикова приходилась теткой писателю В. А. Сологубу. В 1831 г. в Павловске у нее домашним учителем был молодой Гоголь, приглашенный для занятий со слабоумным ее сыном.

Графиня Ульяна Михайловна Ламберт
(1791–?)

Рожденная Деева. Жена французского эмигранта, кавалерийского генерала русской

службы К. О. Ламберта. В 1831 г. она жила в Царском Селе на Колпинской улице против дома Китаева, где жил Пушкин. Графиня оставляла занавески на своих окнах опущенными, говоря: «Я боюсь: он на меня критику сочинит». Однако, узнав о взятии Варшавы, уведомила об этом Пушкина. Пушкин в благодарность послал ей первый экземпляр своего стихотворения «Клеветникам России» и сделал ей визит с женой. После этого она открыла свои занавески. Пушкин называл графиню за ее увесистость «madame Tolpe'ge», от русского слова «толпега» (толстуха).

Граф Михаил Юрьевич Виельгорский (1788–1856)

Поляк, сын польского посланника при дворе Екатерины, женившегося на богатой русской и перешедшего на русскую службу. Где-то граф Михаил Юрьевич числился служащим, в придворных званиях дошел до гофмейстера и обер-шенка, был близок ко двору и очень там любим. К службе он относился равнодушно, все его интересы сосредоточивались на искусстве, особенно на музыке. Он сам был хороший музыкант и композитор,

романсы его пользовались популярностью. Роберт Шуман назвал его гениальнейшим из дилетантов. Дом его в Петербурге на Михайловской площади был средоточием столичной артистической жизни, местные и приезжие артисты находили здесь самый радужный прием.

Виельгорский был близок и со многими писателями – Карамзиным, Жуковским, Пушкиным, Вяземским, Гоголем. «Ревизор» попал на сцену главным образом благодаря Виельгорскому. Он хлопотал также о разрешении к печати «Мертвых душ». Женат он был на герцогине Луизе Михайловне Бирон, гордой и высокомерной. Сам же Виельгорский был прост и со всеми приветлив. У мужа и жены были отдельные приемы. На половине графини собирался цвет придворной и служилой знати, вечера ее отличались самой изысканной светскостью. У графа собиралась публика нечиновная: музыканты, писатели, живописцы, актеры, начинающие журналисты. Часто Виельгорский на короткое время покидал своих гостей, уезжал во дворец, но скоро возвращался, снимал мундир, звезды и с особен-

ным удовольствием облакался в бархатный, довольно поношенный сюртук. У него редко танцевали, но почти каждую неделю устраивались концерты, в которых принимали участие все находившиеся в Петербурге знаменитости.

Он и вообще был человек широко образованный. Зять его, писатель Сологуб, характеризует Виельгорского так: «Философ, критик, лингвист, медик, теолог, герметик, почетный член всех масонских лож, он был живой энциклопедией самых глубоких познаний». Находясь всегда при дворе, Виельгорский был далек от всяких придворных интриг и ненавидел городские сплетни. Уже в пожилых годах он был очень моложав на вид. «С лицом белым и румяным, — говорит Вигель, — он только что был недурен собою; но необычайный блеск его взоров, как бы разливаясь по чертам его, делал его почти красавцем». Виельгорский был большой гастроном. Стол его славился в Петербурге, и сам он считался одним из лучших знатоков кушаний и вин. В этой области он был строг и безжалостно взыскателен. На одном большом обеде у Бу-

турлиных хозяин ему сказал:

– Обратите внимание на это вино, – оно 1827 года!

Виельгорский раздраженно ответил:

– Не знаю, двадцать ли седьмого года вино, но масло ваше – наверно двадцать седьмого года.

Пушкин был хорош с Виельгорским, в 1834 г. провожал его на пароходе при отъезде его за границу к больной жене; в декабре 1836г., на дружеском вечере у А. Всеволожского после представления «Жизни за царя» Глинки, Пушкин, Вяземский, Жуковский и Виельгорский сочинили общими силами литературно-музыкальную шутку «Канон в честь М. И. Глинки». Виельгорский в числе ближайших друзей безвыходно находился в квартире умиравшего Пушкина. Им положены на музыку «Песнь Земфиры» Пушкина, его «Черная шаль» и «Шотландская песня», начата опера на сюжет пушкинских «Цыган». Бартенев со слов Соболевского сообщает, что отправной сюжет «Медного всадника» дал Пушкину Виельгорский. Он рассказал ему про некоего майора Батурина, который в 1812 г. много раз

подряд видел один и тот же сон: он видит себя на Сенатской площади; лицо Петра медленно сворачивается; всадник спускается со скалы и скачет по петербургским улицам, слышен топот меди по мостовой; въезжает на Каменном острове в царский дворец, ему навстречу выходит Александр, и всадник предсказывает ему, что, пока памятник его на месте, Петербургу нечего опасаться за свою судьбу.

Князь Владимир Федорович Одоевский (1803–1869)

Тесная комната, уставленная необыкновенными столами с таинственными ящичками и углублениями; на толах, на диванах, на окнах, на полу – фолианты в старинных пергаментных переплетах; человеческий скелет с надписью: *sapere aude* (дерзай познавать); химические реторты, колбы, ступки, банки. И в этой средневековой обстановке – странный, узкоплечий, жидкий человек в остром черном шелковом колпаке и в черном сюртуке до пят. Поникшая голова с очень высоким лбом, умные серо-голубые глаза смотрят рассеянно, беспокойно, ни на чем пристально не

останавливаясь; речь торопливая, мягкая, но какая-то нерешительная, без всяких оттенков; ее утомительно слушать. И обо всем он говорит таинственным, проникновенным тоном – одинаково о Шеллинге, о Бетховене и о приготовлении соусов. Он всем интересуется и все знает. Удивляет врачей медицинскими познаниями и увлекается средневековой мистикой; возится в своей лаборатории с ретортами и сочиняет фантастические повести и прелестные детские сказки; изучает френологию и вникает в квартеты Бетховена; изобретает неслыханные музыкальные инструменты и выдумывает непостижимые блюда и невероятные соусы. Пулярки у него начиняются бузиной или ромашкой, соусы перегоняются научным образом в химических ретортах; соусы эти были до того отвратительны, что гости его через много лет вспоминали о них с ужасом. Наивно, как малый ребенок, он невиннейшим образом рассказывал при дамах самые неприличные вещи. Таков был князь Одоевский – беллетрист, философ, музыкант, химик, черепослов, чернокнижник, повар, человек добрейшей души и пример-

ной честности.

Одоевский воспитывался в московском университетском Благородном пансионе и вышел из него восторженным последователем философии Шеллинга и Окена. В 1822 г. примкнул к литературному кружку Раича, а вскоре после этого основал вместе с Веневитиновым кружок московских «любомудров», где был председателем и одним из наиболее деятельных членов. Кружок разрабатывал философские вопросы в духе Шеллинга. В 1824–1825 гг. вместе с В. К. Кюхельбекером издавал альманах «Мнемозина». Осенью 1826 г. Одоевский переселился в Петербург, поступил на службу в министерство внутренних дел и женился на Ольге Степановне Ланской, старше его на шесть лет. Была она женщина гордая и надменная, но по отношению к мужу выказывала полное подчинение, холила его и лелеяла, как малое дитя. Ее называли «прекрасной креолкой», потому что она цветом лица похожа была на креолку и в молодости была красива. По субботам у Одоевского собирались. Он жил в Машковском переулке, на углу Б. Миллионной. В салоне перед боль-

шим серебряным самоваром величественно восседала княгиня и сама разливала чай. Посещавшее Одоевских общество резко делилось на две части: великосветские люди оставались в салоне около княгини; нечиновные писатели, неловко кланяясь княгине, торопливо проходили в кабинет к хозяину под направленными на них пренебрежительными лорнетами гостей. Одоевский принимал каждого писателя и ученого с искренним уважением и дружески протягивал руку всем вступавшим на литературное поприще, без различия сословий и званий. Один из всех писателей-аристократов он не стыдился звания литератора, не боялся открыто смешиваться с литературной толпой и за свою страсть к литературе терпеливо сносил насмешки светских приятелей. На субботах Одоевского бывали Крылов, князь Шаховской, Жуковский, Пушкин, Вяземский, М. И. Глинка, Гоголь, Кольцов, Блудов.

В 1846 г. Одоевский был назначен помощником директора императорской Публичной библиотеки и заведующим Румянцевским музеем. Состоял председателем основанного по

его мысли филантропического общества посещения бедных. В 1861 г. был назначен сенатором московского присутствия сената и переехал в Москву, где и умер.

С Пушкиным Одоевский находился в хороших отношениях, но близости между ними не было. Туманный философский идеализм Одоевского был глубоко чужд реалистическому складу ума Пушкина, а к фантастической беллетристике Одоевского Пушкин относился равнодушно. Восхищаясь в разговоре с одним знакомым Гофманом, Пушкин заметил саркастически:

– Одоевский тоже пишет фантастические пьесы.

Собеседник возразил:

– К несчастью, мысль его не имеет пола.

Пушкин весело рассмеялся. В 1833 г. Одоевский проектировал издать «Альманах в три этажа», где Рудый Панек (Гоголь) описал бы чердак, Белкин (Пушкин) – погреб, а Гомозейко (сам Одоевский) – гостиную. Пушкин вежливо уклонился от участия в альманахе. Одоевский принимал деятельное участие в «Современнике» Пушкина, поместил в нем

несколько очень хороших критических статей.

Иван Петрович Мятлев (1796–1844)

Родился в богатой аристократической семье, где-то числился служащим, был камергер, имел очень большое состояние, прекрасный дом близ Исаакиевского собора, нередко принимал у себя царскую фамилию. Неистощимый остряк, каламбурист и юмористический стихотворец. Когда в какой-нибудь светской гостиной раздавался дружный, громкий хохот, то безошибочно можно было угадать присутствие Мятлева. Он мастерски читал свои стихи и читал их всегда охотно. Барыни не давали ему проходу, и званый вечер был не в вечер, если не заканчивался чтением Мятлева. Известностью пользовалась его юмористическая поэма «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границу, дан л'Этранже». Рассказ ведется от лица русской провинциальной барыни, передающей свои заграничные впечатления на обычном в то время «французско-нижегородском» языке, – в таком, например, роде:

Патриот иной у нас
Закричит: «дю квас, дю квас,
Дю рассольник огуречный!»
Пьет и морщится, сердечный:
Кисло, солоно, мове,
Ме се рюс, – э ву саве
Надобно любить родное,
Дескать, даже и такое,
Что не стоит и гроша.
Же не ди па, – ла каша
Манная авек де пенки,
Ла морошка, лез опенки,
Поросенок су ле хрен,
Ле кисель э ле студен
Очень вкусны; но не в этом
Ле патриотизм...

и т. д.

Поэма и для своего времени была растяну-
та и однообразна, теперь же просто скучна.
Однако в то время она нравилась даже Лер-
монтову, который писал:

Вот дама Курдюкова!
Ее рассказ так мил,
Я от слова до слова
Его бы затвердил.
Мой ум скакал за нею,

*И часто был готов
Я броситься на шею
К мадам де-Курдюков.*

А в несравненном исполнении самого Мятлева поэма вызывала неудержимый хохот. Пушкин был с Мятлевым в дружественных отношениях.

**Константин Яковлевич Булгаков
(1782–1835)**

Брат московского почт-директора А. Я. Булгакова, родился в Константинополе от тех же родителей. Сначала служил по министерству иностранных дел, с 1816 г. – московский почт-директор, в 1819 г. переведен на ту же должность в Петербург. Вяземский о нем сообщает: «Он был вообще характера более степенного, чем его брат, положение его в обществе было тверже и определеннее. Умственные и служебные способности его, нрав общительный, скромность, к тому же прекрасная наружность снискали ему общее благорасположение. Бильярд (оба брата были большие охотники и мастера в этой игре) был два раза в неделю, по вечерам, нейтральным средоточием, куда стекались министры, дипло-

маты русские и иностранные, артисты, военные. Разумеется, тут была и биржа всех животрепещущих новостей как заграничных, так и доморощенных. В другие дни, менее многолюдные, дом также был открыт для приятелей и коротких знакомых. Тогда еще более было непринуждения во взаимных отношениях и разговорах». Всегда в темно-синем фраке с металлическими пуговицами и с золотой звездой Белого орла на груди. Когда вальсировал с красавицей графиней Е. Е. Завадовской, это была чудесная пара, которой все любовались. Должность Булгакова доставляла ему ежегодно дохода 100 000 руб. ассигнациями от подписки на иностранные газеты и журналы. До самой смерти Булгакова этот доход принадлежал директорам почт, а потом перешел к правительству.

**Графиня Елена Михайловна
Завадовская
(1807–1874)**

Рожденная Влодек, дочь генерала от кавалерии, – полька по отцу, русская по матери. С 1824 г. жена графа Вас. Петр. Завадовского, в молодости лейб-гусара, в тридцатых годах –

обер-прокурора одного из департаментов сената. Исключительная красавица. Современник пишет: «Нет возможности передать неуловимую прелесть ее лица, гибкость стана, грацию и симпатичность, которыми была проникнута вся ее особа». Персидский принц Хозрев-Мирза сказал про нее: «Каждая ресница красавицы ударяет в сердце, как стрела». Граф М. Ю. Виельгорский говорил: «Артистическая душа не может спокойно созерцать такую прекрасную женщину: я испытал это на себе». К графине Завадовской, как недавно выяснилось, обращено знаменитое стихотворение Пушкина «Красавица». Завадовскую воспевали также И. И. Козлов и князь П. А. Вяземский.

Вяземский и некто Богуславский утверждают, что Пушкин изобразил в «Евгении Онегине» Завадовскую под именем Нины Воронской, «сей Клеопатры Невы». Мы считаем это совершенно невероятным. Для обозначения красавиц поэты употребляют целый ряд исторических, мифологических и литературных женских имен: Диана, Венера, Юнона, Пенелопа, Фрина, Мессалина, Клеопатра, Ма-

донна, Беатриче, Лаура. Но далеко не безразлично, какое из этих имен прилагать к данной красавице: Диане сопутствует представление о девственной чистоте, Пенелопе – о супружеской верности, Мессалине – о половой разнузданности, Мадонне – о божественной святости и т. д. Если подводить под художественные образы соответственные прототипы, то под Ниной Воронской можно разумеать одну только Закревскую, – она целиком подходит под то представление, какое Пушкин имел о Клеопатре. В том же, что мы знаем о Завадовской, нет решительно никаких черт Клеопатры с ее безудержным, садическим сладострастием и «неслыханным служением матери наслаждений». Напротив, во всех воспевающих ее стихах как раз подчеркивается целомудренная чистота ее красоты. Козлов:

*...чистой, ангельской душою
Оживлена твоя краса.*

Вяземский в посвященном Завадовской стихотворении говорит о человеке Севера:

*Красавиц северных он любит без-
мятежность,*

Чело их, чуждое язвительных
страстей,
И свежесть их лица, и плеч их бе-
лоснежность
И пламень голубой их девствен-
ных очей...

.....

.....
*Красавиц Севера царица молодая!
Чистейший красоты высокий иде-
ал!*

*И наконец сам Пушкин:
Все в ней гармония, все диво,
Все выше мира и страстей;
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей...
Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце ни питал
Ты сокровенное мечтанье, –
Но, встретясь с ней, смущенный,
ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговевя богомольно
Перед святыней красоты.*

**Баронесса Амалия Максимилиановна
Крюднер**

(Ум. 1881)

Рожденная графиня фон Лерхенфельд, в действительности побочная дочь прусского короля Фридриха-Вильгельма III от княгини Турн-и-Таксис, единокровная сестра русской императрицы Александры Федоровны. Жена барона А. С. Крюднера, первого секретаря русского посольства в Мюнхене. В молодости в нее был влюблен поэт Ф. И. Тютчев, посвятивший ей стихи «Я помню время золотое». В 1833 г. князь Вяземский писал А. И. Тургеневу из Петербурга: «У нас здесь мюнхенская красавица Крюднерша. Она очень мила, жива и красива, но что-то слишком белокура лицом, духом, разговором и кокетством; все это молочного цвета и вкуса». За ней в это время ухаживал Пушкин. Летом 1833 г. был вечер у Фикельмонов. Пушкин, краснея и волнуясь, увивался около баронессы Крюднер. Жена его рассердилась и уехала домой. Пушкин хватился жены и поспешил домой. Наталья Николаевна раздевалась перед зеркалом. Пушкин спросил:

– Что с тобой? Отчего ты уехала?

Вместо ответа Наталья Николаевна дала

ему пощечину. Пушкин, как стоял, так и покатился со смеху. Он забавлялся и радовался тому, что жена ревнует его.

В 1838 г. А. О. Смирнова наблюдала г-жу Крюднер на интимном балу в Аничковом дворце: «Она была в белом платье, зеленые листья обвивали ее белокурые локоны; она была блистательно хороша». Царь открыто ухаживал за ней и за ужином всегда сидел с ней рядом. «После, – рассказывает Смирнова, – Бенкендорф заступил место графа В. Ф. Адлерберга, а потом – и место государя при Крюднерше. Государь нынешнюю зиму мне сказал: «Я уступил после свое место другому» и говорил о ней с неудовольствием, жаловался на ее неблагодарность и ненавистное чувство к России. Она точно скверная немка, у ней жадность к деньгам непомерная». Во втором браке баронесса Крюднер была за финляндским генерал-губернатором графом Н. В. Адлербергом, сыном вышеупомянутого В. Ф. Адлерберга.

**Князь Сергей Григорьевич Голицын
(1806–1868)**

По прозванию Фирс. Дети генерала Чернышева прозвали его Phyrsis, по-русски Фирс. 14 декабря празднуется православной церковью память мученика Фирса, поэтому возникло подозрение, не имело ли это прозвание какого-либо отношения к событиям 14 декабря. Недоразумение разъяснилось, а прозвище Фирс так и осталось за Голицыным.

Он числился с 1825 г. в коллегии иностранных дел, был камер-юнкером, потом служил в военной службе. Обладая прекрасным басом, очень приятно пел, любил музыку, дружил с М. И. Глинкой, писал стихи. Очень любил и карты. «Ночи певец и картежник», – называет его Вяземский.

Был огромнейшего роста. Однажды в театре ему стали кричать:

– Сядьте, сядьте!

Он встал и сказал своим зычным голосом:

– Вот это я стою.

Потом сел и сказал:

– А вот это я сижу.

По отзыву современников, Голицын был один из остроумнейших, приятнейших собеседников своего времени, редкий рассказчик,

русский образованный барин в полном смысле слова, но шалун и шутник легендарный. В. А. Сологуб рассказывает такой случай. В середине тридцатых годов Сологуб ехал в Москву. Наскучил долгой дорогой и морозом, оставил камердинера тащиться с экипажем и поклажей, а сам в легких санках прикатил в Москву. Был он в валенках, а предстоял интересный вечер. У приятеля, у которого остановился Сологуб, нашлись его белье и платье, но ступни Сологуба были такие огромные, что сапоги ему всегда приходилось делать на заказ. Он вспомнил, что у Фирса (его двоюродного брата) такие же большие ноги, и послал к нему слугу своего приятеля. Голицын с серьезнейшим видом ответил слуге, что он, правда, Голицын, но не тот, к которому его послали, а тот живет там-то. И дал ему адрес московского генерал-губернатора князя Д. В. Голицына. Парень отправился к генерал-губернатору, добился немедленного личного приема (так ему было приказано Сологубом) и заявил, что граф Сологуб просит одолжить ему на сегодняшний вечер его сапоги. Голицын, бывший в хороших отношениях с отцом

Сологуба, весьма изумился, но приказал камердинеру провести парня в гардеробную. Парень осмотрел шеренгу сапогов, похвалил товар, но с сожалением заметил:

– Нет, эти сапоги на нас не полезут.

Камердинер обругал его и прогнал. Сологуб ездил извиняться к генерал-губернатору, Фирса чуть не прибил, а тот весело хохотал.

Летом 1830 г., когда Пушкин, уже женихом, приехал в Петербург, он много «веселился», как писал княгине Вяземской, и часто бывал на Крестовском острове у Дельвига. Вечером на одной даче собралось большое общество, был и Пушкин. Играли в банк. В калитку палисадника вошел молодой человек очень высокого роста, закутанный в широкий плащ. Он незаметно, не снимая ни шляпы, ни плаща, вошел в комнаты и остановился за спиной одного из понтеров. Молодой человек этот был князь Голицын-Фирс. Он в то время был в числе многочисленных поклонников красавицы-фрейлины А. О. Россет, будущей Смирновой. Нужно заметить, что дня за два до этого вечера Голицын в том же обществе выиграл около тысячи рублей, и как раз у

банкомета, державшего теперь банк; выигрыш этот остался за ним в долгу. Голицын простоял несколько минут, никем не замеченный, потом, взяв со стола карту, бросил ее на стол и крикнул:

– Ва-банк!

Все подняли глаза и увидели со смехом и изумлением неожиданного гостя в его странном костюме. Банкомет, смущенный ставкой Голицына, отвел его немного в сторону и спросил:

– Да ты на какие деньги играешь? На эти или на те?

Под «этими» он разумел ставку нынешнего вечера, а под «теми» – свой долг. Голицын ответил:

– Это все равно: и на эти, и на те, те, те.

Пушкин слышал ответ Голицына; те-те-те его очень позабавило, и он тут же написал стихи:

*Полюбуйтесь же вы, дети,
Как в сердечной простоте
Длинный Фирс играет в эти
Те, те, те и те, те, те.
Черноокая Россети*

*В самовластной красоте
Все сердца пленила эти,
Те, те, те и те, те, те.
О, какие же здесь сети
Рок нам стелет в темноте:
Рифмы, деньги, дамы эти,
Те, те, те и те, те, те.*

Сергей Васильевич Салтыков
(1777–1846)

Знатного рода, богач. По вторникам у него собиралось высшее общество на танцевальные вечера. Пушкин нередко бывал на этих вечерах. Дом Салтыкова был на Малой Морской – двухэтажный, с низенькими, уютными комнатами, вход был с тротуара прямо в нижний этаж, где в длинной прихожей между колонн пылал камин. Салтыков нигде не служил, не имел никакого придворного звания. Воспитывался он вместе с наследником престола, будущим императором Александром I, но за какую-то дерзость был удален из дворца. Держался независимо и позволял себе едко остеречь на счет властей, однако знакомством с высокопоставленными придворными очень дорожил. У него была замечатель-

ная библиотека, заключавшая в себе величайшие редкости, но он не позволял никому читать даже на переплетах заглавия его книг. Если называли при нем какую-нибудь книгу, он сам выносил ее и говорил:

– У меня все есть!

Каждый день ровно в четыре часа он выходил гулять, возвращался ровно в шесть. Маленького роста, широкоплечий, он шел, низко опустив голову, как будто искал что-то на земле. С тростью в руках и со шляпой на голове, он входил так в столовую, как будто не видя собравшихся гостей, выпивал стаканчик водки, клал в рот крошечный кусочек хлеба, как будто был один-одинешенек в комнате, и проходил, сильно стуча испанской тростью, через библиотеку в кабинет. Он называл это своим «инкогнито». Из кабинета хозяин выходил совсем другим человеком, приветствовал собравшихся, подавал гостю палец, знатным гостям отвешивал сухой поклон и говорил:

– Пойдемте к столу.

К изысканному, богатому столу его можно было иметь свободный доступ, но должно бы-

ло являться во фраке, хотя сам хозяин всегда был в сюртуке. Прислуживало множество лакеев в ливреях. За столом Салтыков пресерьезно рассказывал истории, в которые сам не верил. Для собственного обихода он сочинил русскую историю, так что слушатель недоумевал, не имеет ли он дело с сумасшедшим. Любил пофрондировать. Вдруг обращался к жене:

– Я видел сегодня le grand bourgeois (так он называл императора Николая). Уверяю тебя, ta che´re, он может выпороть тебя розгами, если захочет; повторяю: он может.

**Граф Иван Илларионович Воронцов-
Дашков
(1790–1854)**

Член государственного совета, обер-церемониймейстер при дворе Николая I, богач. За всегдашнее веселое выражение лица его называли «вечным именинником». Балы, им задаваемые, уступали только придворным балам. В вечер торжества дом-дворец Воронцовых-Дашковых представлял великолепное зрелище: на каждой ступени роскошной лестницы стояло по два ливрейных лакея, внизу в

белых кафтанах – ливрея Дашковых, на второй половине лестницы в красных кафтанах – ливрея Воронцовых. К десяти часам все съезжались и размещались в двух первых залах. Когда приходила весть, что царь и царица выехали из дворца, мажордом Воронцова-Дашкова, итальянец Риччи, в черном бархатном фраке, коротких бархатных панталонах, чулках и башмаках, со шпагой на боку и треуголкой под локтем, проворно спускался с лестницы и становился в сопровождении двух дворецких у подъезда; граф помещался на первой ступени лестницы, графиня ожидала на первой площадке. Императрица, опираясь на локоть графа, поднималась на лестницу. Государь следовал за ней. Императрица благосклонно разговаривала с присутствующими и открывала бал, шествуя в полонезе с хозяином. Мажордом Риччи ни на секунду не покидал императрицу, всегда стоял за несколько шагов позади нее, а во время танцев держась в дверях танцевальной залы. Ужин императрице сервировался на отдельном небольшом столе на посуде из чистого золота; императрица ужинала одна; царь, по

обыкновенно, прохаживался между столами и садился, где ему было угодно.

**Графиня Александра Кирилловна
Воронцова-Дашкова
(1817–1856)**

Жена предыдущего, рожденная Нарышкина. «Повелительница мод» и первостейная «светская львица». Современники рассказывают: никогда ни в какой женщине нельзя было встретить такого соединения самого тонкого вкуса, изящества, грации с такой неподдельной веселостью, живостью, почти мальчишеской проказливостью. Жизнь была в ней живым ключом и оживляла, скрашивала все ее окружающее. Все в ней было – порыв и неожиданность. Захотелось ей помочь нуждающейся женщине; нужной суммы под рукой не оказалось; графиня оторвала от своего ожерелья ценный бриллиант и отдала женщине. Дочь императора, Мария Николаевна Лейхтенбергская, у которой Воронцова-Дашкова иногда участвовала в любительских спектаклях, однажды прислала ей переписанную роль без всякого письма, приглашающего принять участие в спектакле;

Воронцова-Дашкова без письма же отослала роль обратно. Об ее остроумных и озорных выходках говорил весь город. Много позже, в Париже, когда Луи-Наполеон стал президентом Французской республики и осторожно прокладывал себе дорогу к императорскому трону, Воронцова-Дашкова не жалела острот по его адресу. На балу в своем дворце Наполеон холодно спросил ее, долго ли она намерена еще оставаться в Париже. Воронцова-Дашкова в ответ спросила:

– А сами вы, г. президент, долго собираетесь оставаться здесь?

Лермонтов дает такой ее портрет:

*Как мальчик кудрявый, резва,
Нарядна, как бабочка летом;
Значенья пустого слова
В устах ее полны приветом.
Ей нравится долго нельзя,
Как цепь, ей несносна привычка;
Она ускользнет, как змея,
Порхнет и умчится, как птичка.
Таит молодое чело
По воле и радость и горе.
В глазах, как на небе, светло,
В душе ее темно, как в море.*

*То истиной дышит в ней все,
То все в ней притворно и ложно;
Понять невозможно ее,
За то не любить невозможно.*

Воронцову-Дашкову нельзя было причислить к красавицам, но в ней было что-то особенно чарующее, производившее более сильное впечатление, чем самая правильная красота. Она была среднего роста, брюнетка, с выразительными темными глазами овально-продолговатой формы немного монгольского типа, как и весь склад лица. Талия была безукоризненна, и движения грациозны.

Пушкин был знаком с Воронцовыми-Дашковыми, бывал на их балах. 27 января 1837 г. графиня, катаясь, встретила Пушкина, ехавшего на острова с Данзасом, потом – направлявшихся туда же Дантеса с д'Аршиаком. Она сразу почуяла недоброе и никогда не могла вспоминать об этих встречах без горести. Она думала, как бы предупредить несчастье, в котором не сомневалась после такой встречи, и не знала, как быть. К кому обратиться? Куда послать, чтобы остановить поединок? Приехав домой, она в отчаянии говорила, что с

Пушкиным непременно произошло несчастье, и предчувствие ее не обмануло.

Вся неожиданность, и кончила она неожиданно. В 1852 г. умер ее муж. Через год Воронцова-Дашкова, ко всеобщему изумлению, вышла в Париже замуж за француза-доктора барона де Поальи. Новый муж страшно ее тиранил, отобрал деньги и бриллианты. Умерла она в нищете в одной из парижских больниц.

**Елизавета Михайловна Фролова-Багреева
(1799–1857)**

Единственная дочь знаменитого государственного деятеля александровского времени М. М. Сперанского. Мать ее, англичанка, умерла через полтора месяца после ее рождения, и девочка осталась на попечении отца. Отец с ранних лет был ее воспитателем и учителем. Девочка была талантливая, но слабого здоровья. В 1822 г. она вышла замуж за черниговского губернатора А. А. Фролова-Багреева. Через два года он перевелся в Петербург членом совета министров финансов. Супруги поселились вместе со Сперанским. В доме Сперанского собиралось все лучшее обще-

ство Петербурга. Фролова-Багреева стала центром отцовского салона и пленяла гостей живым умом и образованностью. В ее салоне бывали Карамзин, князь П. А. Вяземский, А. И. Тургенев, Мицкевич, Брюллов, многие из будущих декабристов, чего император Николай никогда не мог ей простить. Бывал и Пушкин. Летом 1830 г. он писал из Петербурга невесте: «Вчера m-me Багреева, дочь Сперанского, присылала за мной, чтобы вымыть мне голову за то, что я не исполнил формальностей, – но, в самом деле, у меня не хватает сил».

В браке Фролова-Багреева не была счастлива. Муж ее был неинтересный, пустой человек, очень эгоистический. После смерти отца в 1839 г. она уехала за границу, много путешествовала, потом жила в своем полтавском имении, с 1850 г. поселилась в Вене, где и умерла. Фролова-Багреева была не лишенная таланта писательница. На русском языке ею написано только «Чтение для малолетних детей» (1828). В Европе она как писательница получила известность своими французскими романами из русской жизни («Русские паломники в Иерусалиме», «Старовер и его дочь»,

«Тунгузское семейство», «Невские острова в Петербурге» и др.). Проспер Мериме, удивляясь ее прекрасному французскому языку, писал, что рассказы Фроловой-Багреевой о России увеличивают его желание побывать в этой стране.

**Графиня Марья Григорьевна
Разумовская
(1772–1865)**

Рожденная княжна Вяземская. В первом браке состояла за князем Александром Николаевичем Голицыным. Он был камергер, ска-зочный богач, владел двадцатью четырьмя тысячами душ. Прозвание ему было, по имени модной тогда оперы, – «Cosa cara» – редкая штука. Действительно, редкая по безумной расточительности. Голицын ежедневно от-пускал своим кучерам шампанское, крупны-ми ассигнациями зажигал трубки гостям, гор-стями бросал на улицу извозчикам золото, чтобы они толклись у его подъезда. Не читая, подписывал заемные письма, в которых сум-ма была проставлена цифрами, так что потом легко было приписать лишний ноль, а то и два-три. На одном из пиров, дававшихся им в

Москве, преподнес даме, за которой ухаживал, шестьсот тысяч рублей полуимперIALами. По обоюдному соглашению они с женой развелись в 1802 г., и она вышла замуж за богача графа Льва Кирилловича Разумовского, отставного генерал-майора. Голицын продолжал вести дружбу с Разумовским, часто обедал у бывшей своей жены и нередко даже показывался с ней в театре. В свете Разумовской чуждались как разведенной жены и избегали называть графиней, пока на одном балу в Москве Александр I не подошел к ней и не пригласил на полонез, громко назвав графиней. С той минуты она вступила во все права и законной жены, и графского достоинства. В 1818 г. муж ее умер. Она сильно о нем горевала, надолго уехала за границу. В 1835 г. воротилась в Россию и привезла с собой триста платьев. Ей было уже шестьдесят три года, но она любила наряжаться. Нужно, впрочем, заметить, что была она не по летам моложава. «Знавшие ее с молодых лет, – рассказывает князь П. А. Вяземский, – говорили, что она хорошела с годами, т. е., разумеется, до известного возраста. В letech полной зрелости, и да-

же в летах глубокой старости, она могла дать о себе понять, что была некогда писаной красавицей, чего, говорят, никогда не было». Дом ее в Петербурге сделался одним из наиболее посещаемых. Обеды, вечеринки, балы, рауты зимой в городе, летом на даче следовали непрерывно друг за другом. Их посещали сам император Николай с женой; великий князь Михаил Павлович сыпал у нее своими каламбурами. Светские развлечения, веселье и вечно суетное движение графиня Разумовская любила, по словам Вяземского, «с жадностью, доходившей до слабодушия». В делании визитов она была неутомима. Рассказывали, что у нее была соперница по этой части, и когда кучера той и другой съезжались где-нибудь, то высчитывали и хвастались друг перед другом, сколько они со своими барынями сделали за утро визитов. Пушкин нередко бывал на балах графини Разумовской.

**Графиня Анна Владимировна
Бобринская
(1769–1846)**

Рожденная баронесса Унгерн-Штернберг. Вдова первого графа Бобринского (побоч-

ного сына Екатерины II от графа Григория Орлова). Из-за отзыва Пушкина о графине Бобринской в 1827 г. чуть было не состоялась дуэль между Пушкиным и Соломирским. По свидетельству современников, Бобринская отличалась «веселым характером, добротой в намерениях и простотою в обычаях». Праздники ее были не только блистательны, но и носили отпечаток вкуса и художественности. Ее ценили и уважали при дворе; не имея никакого придворного звания, она и в интимном придворном кругу, и на придворных торжествах «шла в уровень с статс-дамами». Бобринская очень тепло относилась к Пушкину и не раз выводила его из беды, когда он делал промахи против придворного этикета. Так, например, 18 декабря 1834 г. Пушкин писал в дневнике: «Придворный лакей явился ко мне с приглашением быть в Аничковом дворце. В девять часов мы с женой приехали. На лестнице встретил я старую графиню Бобринскую, которая всегда за меня лжет и вывозит меня из хлопот. Она заметила, что у меня треугольная шляпа с плюмажем (не по форме: в Аничков ездят с круглыми шляпами)... Граф

Бобринский (сын ее) велел принести мне круглую. Мне дали одну, такую засаленную помадой, что перчатки у меня промокли и пожелтели».

Княгиня Варвара Петровна ди Бутера (1796–1870)

Рожденная княжна Шаховская. Как одна из наследниц (по матери) строгановских богатств, обладала чудовищным состоянием: собственных своих у нее было шестьдесят пять тысяч десятин да в общем владении с другими наследниками – более миллиона десятин. В первом браке она была за графом А. П. Шуваловым. В 1823 г. овдовела, жила несколько лет в Швейцарии. Д. Н. Свербеев, встречавший ее в это время, пишет: «Милая эта женщина, чрезвычайно робкая и застенчивая, вменяла себе в общественную обязанность быть для всех гостеприимной, хотя видимо тяготилась приемами у себя два раза в неделю, на обед и на вечер, всего русского общества, а иногда и французов». В Швейцарии она вышла замуж за швейцарского уроженца Адольфа Полье, получившего от французского короля графский титул и затем поступив-

шего на русскую службу. В России он был камергером, потом церемониймейстером. Умер весной 1830 г. Графиня поселилась под Петербургом, в своей роскошной усадьбе в Парголове, где умер ее муж, и каждый день ходила плакать на его могилу. Летом 1830 г. Пушкин писал невесте: «...графиня Полье почти сумасшедшая; она спит до шести часов вечера и никого не принимает». Как всякая так называемая неутешная вдова, графиня в неутешности своей видела дело жизни и великую заслугу, тешилась ею и жила ею. Мужа она похоронила на своей усадьбе, в изящном гроте, высеченном в горе. Гора называлась Адольфовой, к ней вела Адольфова аллея. В гроте лежали две большие яшмовые плиты: под одной покоился муж, другая была назначена для жены. Снаружи и внутри грот был убран тропическими растениями, каждый день вдова осыпала могилу богатейшими цветами. Ходила по гроту, припадала к плите, рыдала, слезы свои собирала в батистовый платок и, уходя, клала его меж роз на плиту мужа. Деревенские ребята приносили ей кучи светящихся червячков, она им платила по пятиалтын-

ному за штуку; когда темнело, разбрасывала червячков по гроту, они расползались по пальмам, лилиям и розам, графиня любовалась иллюминацией, обливалась горячими слезами и разговаривала со своим Адольфом. Когда она утром уходила, ребята собирали червячков и вечером опять продавали ей. Рассказывали анекдот, что какие-то шалопай-студенты подглядели ночные сетования вдовы и устроили такую штуку: один из них заблаговременно спрятался в склеп. В то время как она рыдала и упрекала мужа, что он покинул ее одну на белом свете, вдруг из недр земли раздался глухой голос:

– Я здесь, я жду тебя, приходи ко мне!

Графиня сломя голову бросилась из грота и с тех пор в него ни ногой.

В 1836 г. графиня Полье в третий раз, сорока лет, вышла замуж за неаполитанского посланника в Петербурге, князя ди Бутера. Вечера, задававшие ей в Петербурге, отличались сказочной роскошью. На них бывали Пушкин с женой и Дантес. Один наблюдатель так описывает дворец княгини: «На лестнице рядами стояли лакеи в богатых ливреях. Ред-

чайшие цветы наполняли воздух нежным благоуханием. Роскошь необыкновенная! Поднявшись наверх, мы очутились в велико-
лепном саду, – перед нами анфилада салонов, утопающих в цветах и зелени. В обширных апартаментах раздавались упоительные звуки музыки невидимого оркестра. Совершенно волшебный, очаровательный замок. Большая зала с ее беломраморными стенами, украшенными золотом, представлялась храмом огня, – она пылала». Современники описывают княгиню Бутера как милую и добрую женщину, гостеприимную и радушную, не чуждую благотворительности.

Княгиня Наталья Петровна Голицына (1741–1837)

Рожденная графиня Чернышева. Живой об-
ломок восемнадцатого века. Когда-то долго
жила в Париже при Людовиках XV и XVI, к
ней очень благоволила королева Мария-Анту-
анетта. В 1766 г. вышла замуж за князя В. Б. Го-
лицына, бригадира в отставке, простоватого
человека, с большим, но расстроенным состо-
янием, умершего в 1789 г. Голицына была
женщина умная и энергичная, привела в по-

рядок дела, очистила имения от долгов и, умирая, оставила с лишком шестнадцать тысяч душ. Имения, собственно, принадлежали ее детям, но она самовластно распоряжалась ими до самой смерти. Сын ее, московский генерал-губернатор князь Д. В. Голицын, не допускался ею до владения и получал от нее ежегодно небольшую сравнительно сумму в 50 000 руб. Своенравная и властная, она всех зависящих от нее держала в строгом подчинении, к седым уже детям своим относилась, как к ребятам, и вся семья трепетала перед ней. Была глубоко стара (умерла в год смерти Пушкина девяносто шести лет), лицом страшна, с большими усами и бородой, почему прозвание ей было; *la princesse Moustache* (усатая княгиня). Была статс-дама, кавалерственная дама ордена Екатерины первой степени. Жила в собственном доме на углу Большой Морской и Гороховой. Голицына занимала совершенно исключительное положение в высшем свете. К ней в известные дни ездил на поклонение весь город, а в день именин посещала вся царская фамилия. Княгиня принимала всех, за исключением императора, сидя и не

трогаясь с места. Возле ее кресла стоял кто-нибудь из близких родственников и называл гостей, так как сама она уже плохо видела. Смотря по чину или знатности гостя, княгиня или наклоняла только голову, или произносила несколько более или менее приветливых слов. К ней везли на поклон каждую молодую девушку, начинавшую выезжать; гвардейские офицеры, только что надевшие эполеты, являлись к ней, как к начальству.

Один из внуков ее, вероятно, князь С. Г. Голицын-Фирс, рассказывал Пушкину, что однажды он проигрался и пришел к бабке просить денег. Денег она не дала, а назвала три карты, названные ей когда-то в Париже знаменитым шарлатаном и авантюристом графом Сен-Жерменом. «Попробуй!» – сказала бабушка. Внук поставил карты и отыгрался. Это дало Пушкину сюжет для «Пиковой дамы». По словам Нащокина, дальнейшее развитие повести все вымышлено. Нащокин заметил Пушкину, что графиня не похожа на Голицыну, что в ней больше сходства с Нат. Кар. Загряжской. Пушкин с этим согласился и ответил, что ему легче было изобразить Голицы-

ну, чем Загряжскую, у которой характер и привычки были сложнее.

Графиня Наталья Викторовна Кочубей (1801–1855)

Дочь графа, впоследствии князя В. П. Кочубея, одного из ближайших сотрудников Александра I, председателя государственного совета и комитета министров при Николае. Во время пребывания Пушкина в лицее семья Кочубеев жила в Царском Селе, Наталья Викторовна посещала лицей. По некоторым свидетельствам, она была первой любовью Пушкина. В 1818 г. вышла за графа Строганова. Знаем мы о ней очень мало. Пушкин не раз встречался с ней в свете. Утверждают, что в восьмой главе «Онегина» в великосветской Татьяне Пушкин изобразил ее:

*Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Никто б не мог ее прекрасной
Назвать; но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог*

*Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar...*

Один исследователь без большой убедительности доказывает, что именно графиня Кочубей была предметом «утаенной любви» Пушкина. Под новый, 1837 г., на вечере у Вяземских, когда на глазах Пушкина Дантес, уже женившийся на Екатерине Гончаровой, открыто ухаживал за женой Пушкина, Наталья Викторовна говорила княгине Вяземской:

– У Пушкина такой страшный вид, что, будь я его женой, я не решилась бы вернуться с ним домой.

С. М. Соловьев, встречавшийся с графиней Н. В. Строгановой в сороковых годах, рассказывает: «С умом и образованием поверхностным, огромными претензиями на то и другое, с полным отсутствием сердца, эгоизм воплощенный, неразборчивость средств, способность унижаться до самых неприличных искательств, когда считалось нужным, и в то же время гордость, властолюбие непомерное, – вот графиня Нат. Викт. Строганова. В Петербурге она занимала блистательное положение».

ние; умевшая владеть разговором, очень недурная собою, особенно вечером, с огромными связями, как дочь Кочубея, она держала блистательную министерскую гостиную». Когда муж ее потерял министерский пост, они уехали за границу. В Париже Наталья Викторовна сошлась с известной в свое время г-жой Свечиной, яркой католичкой. «Строганову, – продолжает Соловьев, – женщину без убеждений, без сердца, прельстила внешняя, чувственная, театральная набожность католическая; прельстила ее эта новая открывшаяся ей деятельность, это католическое милосердие, так тесно переплетенное с интригою, с составлением обществ, лотереями, со всеми этими мирскими забавами, подкрашенными христианством. Графиня окунулась с головой в католицизм. Она не скрывала своих мнений при русских, вследствие чего сейчас же распространился слух, что она приняла католицизм».

**Граф Александр Григорьевич
Строганов
(1795–1891)**

Муж предыдущей, сын графа Григ. Ал. Строганова. В молодости артиллерист, участвовал в наполеоновских войнах. В 1834 г. назначен товарищем министра внутренних дел, в 1836–1838 гг. был генерал-губернатором черниговским, полтавским и харьковским, с 1839 по 1841 г. управлял министерством внутренних дел. С. М. Соловьев рассказывает: «Александр Григорьевич Строганов служил страшным примером, какие люди в России в царствование Николая I могли достигать высших ступеней служебной лестницы. Имея ум чрезвычайно поверхностный, Строганов мечтал, что обладает способностями государственного человека, и не знал границ своей умственной дерзости; с важностью высказывал какую-нибудь нелепую мысль и упорно поддерживал ее другими нелепостями... Император Николай понял наконец, что избранный им министр внутренних дел не годится даже в ротные командиры, и отставил его». Это, однако, не помешало Строганову впоследствии, при Александре II, занять пост новороссийского и бессарабского генерал-губернатора. Отличался исключительным высокомерием

и барской спесивостью.

**Графиня Александра Ивановна
Коссаковская
(1811–1886)**

Жена церемониймейстера графа Стан. Ос. Коссаковского, дочь графа И. С. Лавалья, сестра Ек. Ив. Трубецкой, жены декабриста. Пушкин не любил, когда в свете на него смотрели как на «сочинителя», и не выносил равнодушно-любезной дамской болтовни о его стихах. Однажды, в декабре 1835 г., графиня Коссаковская заговорила с ним о его произведениях. Пушкин отвечал сухо. Тогда она насмешливо сказала:

– Знаете ли, что ваш «Годунов» может показаться интересным в России?

Пушкин ответил:

– Сударыня, так же, как вы можете сойти за хорошенькую женщину в доме вашей матушки.

С тех пор графиня не могла равнодушно видеть Пушкина.

**Князь Николай Григорьевич Репнин
(1778–1845)**

Рожденный князь Волконский, брат декабриста князя Сергея Григорьевича, внук по матери фельдмаршала князя Н. В. Репнина. Так как у фельдмаршала были только дочери, то Александр I приказал старшему из сыновей княгини Волконской-Репниной принять фамилию деда, «чтоб не погиб знатный род». Был посланником при вестфальском дворе, с 1816 по 1835 г. – военным губернатором Малороссии.

В 1836 г. Репнин жил в Петербурге. Пушкин опубликовал свою сатиру «На выздоровление Лукулла», где жестоко высмеял министра народного просвещения С. С. Уварова. Сатира вызвала в высших кругах сильнейшее негодование и доставила Пушкину немало хлопот и неприятностей. Между прочим, до Пушкина дошли слухи, что о стихотворении его очень неблагоприятно отзывался князь Репнин. Пушкин написал ему по-французски такое письмо:

«Князь! С сожалением вижу себя вынужденным докучать вашему превосходительству; но, как дворянин и отец семейства, я обязан оберегать свою честь и имя, которое

должен оставить моим детям. Я не имею чести лично быть с вами знакомым. Не только никогда я вас не оскорблял, но, по причинам мне известным, я питал к вам до сего времени истинное чувство уважения и благодарности. Тем не менее некий г-н Боголюбов публично повторял оскорбительные для меня слова, якобы исходящие от вас. Я прошу ваше превосходительство не отказать осведомить меня, что мне об этом думать[264]. Больше, чем кто-нибудь, я знаю расстояние, отделяющее меня от вас; но вы, который не только вельможа, но еще и представитель нашего древнего и истинного дворянства, к которому принадлежу и я, – вы, надеюсь, без труда поймете повелительную необходимость, которая вынуждает меня к этому шагу».

Князь Репнин ответил Пушкину по-русски странным письмом, из которого выходило, будто он никаких отзывов о «Послании к Лукуллу» не делал. Но в таком случае откуда же он догадался, какие именно слухи имел в виду Пушкин, почему заговорил именно о «Послании»? Вот его письмо:

«Милостивый государь Александр Сергее-

вич! Г-на Боголюбова я единственно вижу у С. С. Уварова и с ним никаких сношений не имею и никогда ничего на ваш счет в присутствии его не говорил, а тем паче прочтя послание Лукуллу, вам же искренно скажу, что гениальный талант ваш принесет пользу отечеству и вам славу, воспевая веру и верность русскую, а не оскорблением частных людей. Простите мне сию правду русскую, она послужит вернейшим доказательством тех чувств отличного почтения, с коим имею честь быть вашим покорнейшим слугой».

Пушкин ответил Репнину по-русски не менее странным письмом, в котором определенно звучит нотка как бы покаяния:

«Милостивый государь князь Николай Григорьевич! Приношу вашему сиятельству искреннюю, глубочайшую мою благодарность за письмо, коего изволили меня удостоить. Не могу не сознаться, что мнение вашего сиятельства касательно сочинений, оскорбительных для чести частного лица, совершенно справедливо. Трудно их извинить, даже когда они написаны в минуту огорчения и слепой досады; как забава суетного или раз-

вращенного ума, они были бы непростительны».

Варфоломей Филиппович Боголюбов (1786–1842)

Греч о нем говорит: «Боголюбов представлял любопытное зрелище человека всеми презираемого, всем известного своими гнусными делами и везде находящего вход, прием и наружное уважение». Сын эконома Смольного института, проворовавшегося и при ревизии кончившего самоубийством. В оставшихся детях приняла участие императрица Мария Федоровна, десятилетнего Варфоломея она устроила на воспитание к князю А. Б. Куракину. В его семье мальчик получил хорошее образование и светское воспитание. Служил по дипломатической части в Неаполе, в Вене, потом проживал в Петербурге, числясь по министерству иностранных дел. Был он сплетник и мелкий мошенник, воровавший у знакомых деньги из плохо лежавших бумажников. Служил шпионом в Третьем отделении, но был оттуда прогнан за перлюстрированное московским почт-директором А. Я. Булгаковым письмо, где называл Бенкендор-

фа жалким олухом. Тот же Булгаков отзывался о Боголюбове: «Этот малый сущий демон, – везде поспеет и всем умеет услужить». Был он ловкий, подвижный, льстиво юлящий, с отталкивающей, сатанинской физиономией, носил две звезды и был известен как креатура министра народного просвещения С. С. Уварова. С Уваровым у него были какие-то секретные связи, которых сам Уваров стыдился. Однажды, в компании Пушкина, Нащокина, Куликова и других, Боголюбов рассказал какой-то до того скверненький анекдотец о петербургском мальчишке, что вызвал всеобщее омерзение. Можно думать, что связи его с Уваровым, любителем однополрой любви, коренились именно в этой области. Боголюбов был знаком с Пушкиным, Вяземским, А. Тургеневым. Для Пушкина он в 1833 г. где-то добывал деньги. В 1836 г., в связи с появлением сатиры Пушкина на Уварова («На выздоровление Лукулла»), распространял позорящие Пушкина слухи, о которых Пушкин упоминает в письме к князю Н. Г. Репнину.

Николай Алексеевич Муханов
(1802–1871)

Брат московского Муханова, Александра Алексеевича. С 1823 по 1830 г. служил адъютантом при петербургском генерал-губернаторе графе П. В. Голенищеве-Кутузове. В 1827 г. Пушкин, приехав в Петербург, привез Муханову письмо от его брата Александра, где тот очень рекомендовал ему сблизиться с Пушкиным. Через два месяца Муханов писал брату в Москву: «Пушкина я вовсе не вижу, встречаю его иногда в клубе, он здесь в кругу шумном и веселом молодежи, в котором я не бываю; впрочем, мы сошлись с ним хорошо, не часто видимся, но видимся дружески, без церемоний». В 1830 г. Муханов перевелся из военной службы в штатскую, служил чиновником особых поручений в министерстве внутренних дел, боролся с холерой под начальством Закревского. В дневнике Муханова за лето 1832 г. встречается ряд упоминаний о Пушкине. «25 июня. Встал поздно. Пришел Пушкин, долго просидел у меня. Добрый малый, но часто весьма...». Рассказывает в дневнике о спорах Пушкина с Вяземским, о затевавшейся в то время Пушкиным газете.

Впоследствии Муханов был товарищем

министра народного просвещения (1858–1861), товарищем министра иностранных дел (с 1861 г.), умер действительным тайным советником и членом государственного совета. В общем владении с братом Владимиром имел в Харьковской губернии двадцать три тысячи десятин земли.

Иван Семенович Тимирязев
(1790–1867)

Дядя известного ботаника-дарвиниста К. А. Тимирязева. Служил в конногвардейском и гродненском гусарских полках, был адъютантом великого князя Константина Павловича в Польше. За участие в штурме Варшавы произведен в генералы, переведен на службу в Петербург. Жена его – Софья Федоровна, рожденная Вадковская, по первому мужу Безобразова (родилась в 1799 г.). В Петербурге Тимирязевы дружили с князем Вяземским, Жуковским, Пушкиным. Пушкин в то время был уже женат, камер-юнкер и много ездил в большой свет и ко двору, сопровождая свою красавицу-жену. Этот образ жизни часто был ему в тягость, и он жаловался Тимирязевым, что это не только не согласуется с его наклон-

ностями и призванием, но ему и не по карману. Часто забежал он к Тимирязевым, оставался, когда мог, обедать и, как школьник, радовался, что может провести несколько часов в кружке искренних друзей. Тогда он превращался в прежнего Пушкина; лились шутки и остроты, раздавался его заразительный смех. Однажды после обеда, когда перешли в кабинет и Пушкин, закулив сигару, погрузился в кресло у камина, Софья Федоровна начала ходить взад и вперед по комнате. Пушкин долго следил за ее стройной и очень высокой фигурой и наконец воскликнул:

– Ах, Софья Федоровна, как посмотрю я на вас и на ваш рост, так мне все и кажется, что судьба меня, как лавочник, обмерила!

Как-то зашел он к Тимирязевым и не застал их дома. Слуга сказал ему, что они ушли гулять и скоро воротятся. В зале у Тимирязевых был большой камин, а на столе лежали орехи. Перед возвращением Тимирязевых Пушкин взял орехов, залез в камин и, скорчившись обезьяной, стал их щелкать. Он любил такие проказы.

Владимир Павлович Титов

(1807–1891)

Из старинной дворянской помещичьей семьи. Мать его была сестра будущего министра юстиции Д. В. Дашкова. Образование получил в московском университетском благородном пансионе, учился там вместе с Одоевским и Шевыревым. Уже юношей Титов изумлял всех необыкновенной любознательностью, начитанностью и многознанием; помимо обязательных лекций по филологическим, философским и юридическим наукам он слушал лекции также по медицине и естествознанию. Окончив курс с внесением его имени на золотую доску, поступил на службу в московский архив министерства иностранных дел, где служил цвет московской интеллигентной молодежи (пушкинские «архивные юноши»). Был членом литературного кружка Раича, близко стоял также к кружку «любомудров», возглавлявшемуся князем Одоевским и Веневитиновым, принимал деятельное участие в «Московском вестнике», органе «любомудров», пропагандировавшем философию Шеллинга. Литературным талантом Титов не обладал, статьи, которые он

помещал в журнале, были больше переводные или компилятивные, оригинальные же, внешне приглашенные, были туманны и бедны содержанием. Однако многознанием своим Титов по-прежнему пленял всех знакомых и с одинаковой компетентностью говорил об истории, об эллинской литературе, о Шеллинге, Руссо, о русских обрядах, о Несторе-летописце. Тютчев впоследствии отзывался о Титове, что ему как будто назначено провидением составить опись всего мира. С Пушкиным Титов познакомился в Москве вскоре после приезда Пушкина из деревенской ссылки, встречался с ним, между прочим, на вечерах княгини З. А. Волконской. В 1827 г. Титов перевелся в Азиатский департамент министерства иностранных дел и поселился в Петербурге у дяди своего Д. В. Дашкова. Летом 1827 г. он писал Погодину: «Без сомнения, величайшая услуга, какую бы мог я оказать вам, это – держать Пушкина на узде, да не имею к тому способов. Дома он бывает только в девять часов утра, а я в это время иду на службу царскую; в гостях бывает только в клубе, куда входить не имею права, к тому же с ним надо

нянчиться, до чего я не охотник и не мастер».

Однажды вечером, у Карамзиных, Пушкин был в ударе и всех захватил фантастическим рассказом об уединенном домике на Васильевском острове. Рассказ этот, за подписью Тита Космократова (псевдоним Титова), был вскоре напечатан в «Северных цветах» Дельвига. Вот как об этом рассказывает Титов: «Всю эту чертовщину уединенного домика Пушкин мастерски рассказал поздно вечером у Карамзиных, к тайному трепету всех дам. Апокалипсическое число 666, игроки-черти, метавшие на карту сотнями душ, с рогами, зачесанными под высокие парики, – честь всех этих вымыслов и главной нити рассказа принадлежит Пушкину. Сидевший в той же комнате Космократов подслушал, воротясь домой, не мог заснуть почти всю ночь и несколько времени спустя положил с памяти на бумагу. Не желая, однако, быть ослушником заповеди «не укради», пошел с тетрадью к Пушкину в гостиницу Демут, убедил его послушать от начала до конца, воспользовался многими, поныне очень памятными его поправками и потом, по настоящему жела-

нию Дельвига, отдал в «Северные цветы».

В набросках к повести «Египетские ночи» Пушкин изобразил Титова под именем Вершнева. Говорят об Аврелии Викторе.

«Aurelins Victor? – прервал Вершнева, один из тех юношей, которые воспитывались в Московском университете, служат в московском архиве и толкуют о Гегеле. Аврелий Виктор – писатель четвертого столетия... Сочинения его приписываются Корнелию Непоту и даже Светонию. Он написал книгу: «de viris illustribus» – о знаменитых мужах города Рима. Знаю!»

«Эти люди, – замечает Пушкин, – одарены убийственной памятью, все знают и все читали, и стоит их только тронуть пальцем, чтобы из них полилась их всемирная ученость».

Впоследствии Титов был российским посланником в Турции, членом государственного совета и кавалером ордена Андрея Первозванного.

Петр Александрович Валуев
(1814–1890)

В мае 1836 г., будучи чиновником в Первом Отделении собственной его величества

канцелярии и камер-юнкером, женился на дочери Вяземского Марии Петровне. Император Николай называл его «примерным молодым человеком». Был он изящной наружности, умел хорошо говорить. А. О. Смирнова сообщает: «Он уже тогда имел церемониймейстерские приемы, жил игрой, потому что ни жена, ни он не имели состояния». Другой современник по поводу Валуева пишет: «Когда недостает материальных средств, чтобы поддержать свое положение в свете, содержать дом прилично и делать непомерные траты на постоянно свежие туалеты для жены, мужья ищут часто пополнения в картежной игре. Таким образом, муж бывает всякий день до обеда на службе, а вечером до утра за картами». Дальнейшая карьера Валуева была блестящая: в шестидесятых годах он был министром внутренних дел, в семидесятых – министром государственных имуществ и председателем комитета министров; в 1880 г. возведен в графское достоинство. В государственной своей деятельности он проявил себя беспринципным оппортунистом-бюрократом, либеральным фразером и реакционером на деле –

«мягко стелет, жестко спать». Б. Н. Чичерин называет его «пустозвоном» и применяет к нему двустипшие Барбье: «Эти напыщенные торговцы пафосом, все эти канатоходцы, пляшущие на фразе».

**Мария Петровна Валуева
(1813–1849)**

Жена предыдущего, рожденная княжна Вяземская, дочь писателя. Была свежа, стройна, голубоглаза, вообще очень миловидна, хотя курноса. В свете ее называли «хорошенькой дурнушкой». Занималась только нарядами и болтовней. Пушкин бывал у Валуевых.

**Сергей Дмитриевич Полторацкий
(1803–1884)**

Из богатой помещичьей семьи. Служил на военной службе. В 1827 г. вышел в отставку. Был страстным карточным игроком. В апреле 1827 г. Федор Толстой-Американец и Исленев обыграли его в Москве на семьсот тысяч. Полторацкий был взят в опеку. Это, однако, не помешало ему продолжать играть. 15 июля 1827 г. Пушкин, посылая из Петербурга Соболевскому какие-то деньги, писал:

«...деньги эти – трудовые, в поте лица моего выпонтированные у нашего друга Полторацкого». Много играл Пушкин с Полторацким и летом 1828 г. «Пока Киселев и Полторацкий были здесь, – писал он Вяземскому, – я продолжал образ жизни, воспетый мною таким образом:

*А в ненастные дни собирались они
часто.*

*Гнули, ... их..., от пятидесяти на
сто.*

*И выигрывали, и отписывали ме-
лом.*

*Так в ненастные дни занимались
они делом.*

Но теперь мы все разбрелись». Однажды, играя с Пушкиным, Полторацкий предложил ему поставить против его тысячи рублей письма Рылеева к Пушкину. В первую минуту Пушкин было согласился, но тотчас же опомнился и воскликнул:

– Какая гадость! Проиграть письма Рылеева в банк! Я подарю их вам!

Но Пушкин все откладывал исполнение своего обещания, так что Полторацкий ре-

шился как-то перехватить их у него и списал. После этого Пушкин все еще не отступался от намерения подарить их ему, но все забывал.

Полторацкий был большим любителем книг, владел превосходной библиотекой, приобретенной в 1865 г. Румянцевским музеем, много писал по библиографическим вопросам.

Михаил Осипович Судиенко (1802–1874)

Побочный сын тайного советника О. С. Судиенки, служил в лейб-кирасирском полку, был адъютантом у шефа жандармов Бенкендорфа. Образованный Судиенко выделялся в кругу светских приятелей Пушкина. Судя по письмам к нему Пушкина, общение их происходило главным образом на почве карточной игры и совместного посещения веселого заведения известной Софьи Остафьевны. В 1829 г. Судиенко вышел в отставку штаб-ротмистром, женился и поселился в Москве. В 1832 г. Пушкин обращался к нему с просьбой ссудить ему на два года двадцать пять тысяч рублей. Судиенко, по-видимому, ответил отказом. В 1833 г. Пушкин писал жене из Моск-

вы: «Обедал у Судиенки, моего приятеля, товарища холостой жизни моей. Теперь и он женат, и он сделал двух ребят, и он перестал играть, – но у него 125 000 доходу, а у нас, мой ангел, это впереди. Жена его тихая, скромная, не красавица. Мы отобедали втроем, и я, без церемоний, предложил здоровье моей именинницы (Натальи Николаевны), и выпили мы все, не морщась, по бокалу шампанского».

**Иван Алексеевич Яковлев
(1804–1882)**

Потомок откупщика, железного заводчика и полотняного фабриканта, обладал миллионным состоянием, имел около 14 тыс. десятин земли, горные и железоделательные заводы в Перми, три каменных дома в Петербурге. Жил на широкую ногу и вел большую игру. Пушкин общался с ним на почве кутежей и картежной игры. В 1829 г. Пушкин задолжал Яковлеву шесть тысяч рублей, – вероятно всего, проиграл в карты. В конце этого года, перед отъездом Яковлева в Париж, Пушкин извинялся перед ним, что не смог еще заплатить долга. В письме Яковлева к Н. А. Муханову из Парижа в декабре 1829 г. есть зага-

дочные строки, касающиеся Пушкина: «Благодарю за несколько слов о Пушкине... Он чуть ли не должен получить отсюда небольшого приглашения анонимного. Дойдет ли до него? А не худо было бы ему потрудиться пожаловать, куда зовут. Помнит ли он прошедшее? Кто занял два опустевших места на некотором большом диване в некотором переулке? Кто держит известные его предложения и внимает погребальному звуку, производимому его засученною рукою по ломберному столу?» Яковлев воротился из Парижа в 1836 г. Пушкину опять пришлось извиняться в неуплате его долга. Свои шесть тысяч Яковлев получил уже после смерти Пушкина от опеки.

**Василий Николаевич Семенов
(1801–1863)**

Писатель и цензор. Окончил Царскосельский лицей на три года позже Пушкина, находился с ним в приятельских отношениях и был на «ты». В 1827 г. поступил на службу в цензурный комитет, цензором был довольно либеральным и много раз подвергался за это взысканиям. Он, между прочим, пропустил в

«Литературной газете» французское четверостишие Делавиня, посвященное жертвам июльской революции, что повлекло за собой закрытие газеты. Весной 1836 г. Семенов вынужден был уйти из цензоров. Петербургские литераторы, очень его любившие, дали ему по этому случаю обед, на котором, вероятно, присутствовал и Пушкин. Мы знаем, что он присутствовал на ответном обеде, данном Семеновым осенью 1836 г. петербургским писателям, был очень весел, много острил и смеялся.

Впоследствии Семенов был орловским вице-губернатором и попечителем кавказского учебного округа.

Князь Дмитрий Алексеевич Эристов (1797–1858)

Родом грузин. Учился в полоцкой иезуитской коллегии, потом в Царскосельском лицее, курсом моложе Пушкина. Служил в комиссии составления законов, потом во Втором отделении собственной его величества канцелярии. Был большой повеса, забавник и балагур. Часто бывал на собраниях у Дельвига. Умел делать фокусы, был чревовещателем,

великолепно передразнивал голосом и мимикой всех и все, начиная со знаменитых актеров и кончая вороной, скачущей около кучи выкинутого сора. Был неистощим в выдумках и состязался в этом отношении со своим приятелем М. Л. Яковлевым. Сочинял игривые куплеты. Какие-то из этих куплетов Дельвиг переслал Пушкину, когда тот был еще в деревенской ссылке. Пушкин прислал Дельвигу несколько своих куплетов («Брови царь нахмуря») и писал: «Вот тебе, душа моя, приращение к куплетам Эристова. Поцелуй его от меня в лоб. Я помню его отроком, вырвавшимся из-под полоцких иезуитов. Благословляю его во имя Феба и св. Боболия безносого» (Андрей Боболя – монах-иезуит, замученный казаками в семнадцатом столетии). Рассказывают анекдот. На одном дружеском вечере Эристов потешал всех своими остротами и пикантными анекдотами. Вдруг Пушкин спросил его:

- Скажи, пожалуйста, в каком ты чине?
- Статский советник.
- Ну, желаю, чтоб ты стал поскорее действительным статским советником.

Анекдот явно вымышлен. Пушкин сам любил подобные анекдоты и отнюдь не был в этом отношении «действительным» статским советником.

Эристов много писал – преимущественно... о монастырских скитах, о различных святых. В сотрудничестве с М. Л. Яковлевым издал анонимно в 1836 г. «Словарь о святых, прославленных в российской церкви». Словарь был удостоен Академией наук демидовской премии, Пушкин дал о нем приятельски-дружественный отзыв в своем «Современнике». Один из сотрудников Эристова по составлению словаря вспоминает: «Меня особенно удивляло, что Эристов и Яковлев отнюдь не отличались благочестивой жизнью, и труд их, казалось, был вызван не понятиями о чистоте и святости нашей религии, но чисто спекулятивными расчетами».

Впоследствии Эристов был генерал-аудитором флота, сенатором и тайным советником.

Павел Иванович Миллер
(1814–1885)

Племянник по матери московского жан-дармского генерала А. А. Волкова. Воспи-

тывался в Царскосельском лицее. 27 июля 1831 г., будучи лицеистом, встретился в царскосельском парке с Пушкиным, жившим это лето с молодой женой в Царском. Миллер снял фуражку и взволнованным голосом сказал:

– Извините, что я вас останавливаю, Александр Сергеевич, но я внук вам по лицею и желаю вам представиться.

Пушкин улыбнулся и пожал юноше руку.

– Очень рад, очень рад!.. Ну, что у вас делается в лицее? Если вы не боитесь устать, то пойдемте со мной.

Пушкин пошел скоро, большими шагами, и засыпал лицеиста вопросами:

– Ну, а литература у вас процветает? Что ваш сад и ваш палисадник? А памятник в саду вы поддерживаете? Видаются ли вы с вашими старшими? Выпускают ли теперь из лицея в военную службу? Есть ли между вами желающие? Какие теперь у вас профессора? Прибавляется ли ваша библиотека? У кого она теперь на руках?

Миллеру очень хотелось расспросить Пушкина о нем самом, но Пушкин не давал ему

времени. Миллер понимал, что Пушкину не о чем было говорить с семнадцатилетним юношей, как о его заведении. Расставленные по саду часовые вытягивались перед Пушкиным, он кивал им головой. Миллер спросил:

– Отчего они вам вытягиваются?

– Право, не знаю. Разве потому, что я с палкой. – Обойдя вокруг озера, он сказал: – Вы покраснелись, кажется, устали?

– Это не от усталости, а от эмоции и удовольствия идти с вами.

Пушкин улыбнулся и протянул ему руку.

В октябре того же года Миллер был у Пушкина в Петербурге и увидел на его столе только что вышедшие «Повести Белкина». Не подозревая, что автор их – сам Пушкин, Миллер спросил, что это за повести и кто этот Белкин. Пушкин ответил:

– Кто бы он там ни был, а писать повести надо вот так – просто, коротко и ясно.

По окончании курса Миллер служил в Третьем отделении секретарем Бенкендорфа. Он рассказывает: «В апреле 1834 г. Бенкендорф получил от московского почт-директора Булакова копию с письма Пушкина к жене, от-

меченную припискою: «с подлинным верно». Подлинное же письмо было послано своим порядком. Прочитав копию, граф положил ее в один из двух открытых ящиков, стоявших по обеим сторонам его кресел перед письменным столом. Когда я увидел копию в отделе бумаг, назначенных для доклада государю, у меня сердце дрогнуло при мысли о новой беде, грозившей поэту. Я тут же переложил ее под бумаги в другой отдел ящика и поехал сказать М. Д. Деларю, моему товарищу по лицу, чтоб он немедленно дал знать об этом Пушкину. Расчет мой на забывчивость графа оказался верен: о копии уже не было речи, и я через несколько дней вынул ее из ящика вместе с другими залежавшимися бумагами». Рассказ Миллера не внушает никакого доверия. Царь был ознакомлен с упомянутым письмом Пушкина, говорил о нем с Жуковским, который об этом сообщил Пушкину, — об этом пишет Пушкин в своем дневнике.

Этот же Миллер после смерти Пушкина описывал и печатывал комнату, где он скончался. Как он рассказывал Бартеневу, Миллер взял себе на память из сюртука, в котором

Пушкин стрелялся, известное его письмо на имя Бенкендорфа (от 21 ноября 1836 г.), которое он в подлиннике показывал Бартеневу. Бартенев об этом письме пишет: «Пушкин написал его, исполняя обещание, данное в ноябре 1836 г. государю, уведомить его (через Бенкендорфа), если ссора с Дантесом возобновится; но послать это письмо Пушкин не решил: ему тяжело было призывать власть к разбору его личного дела». Щеголев находит это объяснение несостоятельным и выражает недоумение, – как упоминаемое письмо могло полтора месяца пролежать в кармане сюртука Пушкина; вообще он всю эту историю находит сомнительной и неясной.

Начальство и его агенты

Император Александр I (1777–1825)

В 1836 г. Пушкин в стихах на лицейскую годовщину писал об Александре:

*Вы помните, как наш Агамемнон
Из пленного Парижа к нам при-
мчался;
Какой восторг тогда пред ним
раздался!
Как был велик, как был прекрасен
он,
Народов друг, спаситель их свобо-
ды!*

И раньше, еще при жизни Александра, в 1825 г., в статье о г-же Сталь Пушкин выхвалял «великодушие русского императора», оказавшего г-же Сталь покровительство. Но по поводу этой своей статьи Пушкин тогда же писал Вяземскому: «Тут есть одно великодушие, поставленное, во-первых, ради цензуры, а во-вторых, для вящего анонима (род онанизма журнального)». В действительности Александр был одной из самых прочных и глубо-

ких ненавистей Пушкина. Он не уставал бичевать в стихах его двуличность, наследственную любовь к парадам и фрунтовой муштре, призрачное величие, в которое ход истории облек этого посредственного человека. «Венчанный солдат», «кочующий деспот», «фрунтовой профессор», «к противочувствиям привычен, в лице и в жизни арлекин». В уничтоженной главе «Онегина»:

*Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда,
Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У бонапартова шатра.
Гроза двенадцатого года
Настала, – кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский Бог?
Но Бог помог, – стал ропот ниже,
И скоро, силою вещей,
Мы очутились в Париже,
И русский царь главой царей...*

В 1827 г. Пушкин высказывал Алексею

Вульфу твердое намерение написать историю Александра I «пером Курбского» – ненавидящим пером Андрея Курбского, бежавшего от преследований Иоанна Грозного в Литву и там написавшего его историю. У Пушкина, которого Александр в течение шести лет бросал из ссылки в ссылку, было не меньше причин и к чисто личной ненависти к нему, чем у Курбского к Иоанну Грозному.

Император Николай I (1796–1855)

Французский путешественник маркиз де Кюстин характеризует его так: «Император ни на минуту не может забыть ни того, кто он, ни того внимания к себе, которое он постоянно вызывает у всех его окружающих. Он вечно позирует и потому никогда не бывает естествен, даже тогда, когда кажется искренним. Лицо его имеет троякое выражение, но ни одно из них не свидетельствует о сердечной доброте. Самое обычное, это – выражение строгости; второе – выражение какой-то торжественности и, наконец, третье – выражение любезное. Император – всегда в своей роли, которую он исполняет, как большой ак-

тер. Масок у него много, но нет живого лица, и когда под ним ищешь человека, всегда находишь только императора». Одну из таких совершенно определенных масок Николай надевал, имея дело с Пушкиным. Жестоко напуганный на всю жизнь декабрьским восстанием, царь боялся и Пушкина, революционные стихи которого находили при обысках чуть не у всех декабристов. Он нашел более выгодным не преследовать Пушкина, а сделать его безопасным. И вот он надел в сношениях с Пушкиным маску благоволения и ласковости, а из глазных разрезов этой маски смотрели глаза, полные ненависти и пренебрежения. Царь вызвал Пушкина из ссылки к себе в Москву, обласкал его, простил – и поручил неослабному надзору Бенкендорфа. Для Пушкина началась мучительная жизнь строго опекаемого мальчика, за каждый не угодный начальству шаг получавшего суровые нагоняи, опутанного по рукам и ногам сомнительными благодеяниями, за которые от него требовали восторженной благодарности. Повидимому, Николай совершенно не рассчитывал превратить Пушкина в преданного ца-

рю славослова вроде Державина, Карамзина или Жуковского, он вовсе не заботился о том, чтобы доставить Пушкину почетное и материально обеспеченное положение и этим привязать к себе. Каждое его благодеяние несло в себе для Пушкина скрытое оскорбление и перерождалось в совершенно ненужное стеснение. Личное цензорство царя дало Пушкину не право апеллировать к нему на цензурные запреты, а только связало Пушкина, лишив его права что-либо печатать без специального царского разрешения. Дарование ему камер-юнкерского звания было вполне сознательным издевательством над Пушкиным, потому что звание это давалось совсем молодым людям, и тридцатипятилетний Пушкин в кургузой камер-юнкерской курточке, в толпе юнцов, должен был вызывать только улыбку. Попытки Пушкина вырваться из Петербурга, избавиться от непомерных трат, которых требовала близость ко двору его и жены, встречали суровый отпор, а редкие вспомоществования в виде, например, займа на печатание «Истории Пугачевского бунта» нисколько не ослабляли долговой пет-

ли, все ту же стягивавшей шею Пушкина. Ко всему этому присоединилось еще одно специальное обстоятельство. Николай был пленен красотой Натальи Николаевны и настойчиво домогался ее благосклонности. Всякий другой, из самой даже высокопоставленной знати, составлявшей придворный круг, был бы только польщен честью, выпадающей на долю его жены. А этот «сочинитель», титулярный какой-то советник и ничтожный камер-юнкер, – он не допускает об этом и мысли. Это особенно должно было раздражать Николая, потому что маска блюстителя семейной нравственности была одной из самых любимых его масок, и какие дела должны были делаться полюбовно, к общему взаимному удовольствию. В противоречии к обрисованному отношению царя к Пушкину стоит то, как царь отозвался на смерть Пушкина. Пенсия и всякие льготы, пожалованные его вдове, говорят, конечно, только о благоволении Николая к Наталье Николаевне. Но его крутая расправа с Геккереном, заподозренным в посылке Пушкину злополучных анонимок, как будто говорит за то, что хоть после смерти

Пушкина царь понял весь размер этой национальной утраты. Новейшие исследования, однако, совершенно опровергают такое мнение. До последнего времени мы в какой-то странной слепоте считали, что в полученном Пушкиным пасквиле имеются в виду отношения его жены с Дантесом. Только совсем недавно П. Е. Рейнбот указал на истинный смысл пасквиля. Великим магистром ордена рогоносцев назывался в нем Д. Л. Нарышкин, муж любовницы Александра I. Пушкин жаловался в заместители великого магистра, – уж конечно, не как муж любовницы какого-то поручика, а как муж якобы любовницы Николая I. Вот что тогда все прекрасно понимали, вот что привело в бешенство Николая, вот за что он потребовал от голландского правительства убрать с поста посланника «каналью» Геккерена, – а не за то, конечно, что Геккерену вздумалось позабавиться над нечиновным камер-юнкером-рогоносцем. Нам лично, впрочем, кажется, что главной причиной, побудившей Николая разыграть роль печальника и мстителя за погибшего поэта, было давление общественного мнения, обнаруживше-

гося с совершенно неожиданной для Николая силой.

Показное свое отношение к Николаю Пушкин проявил в ряде стихотворений: «В надежде славы и добра», «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю», «Герой». В последнем стихотворении поэт выражает огорчение по поводу разоблачения Бурьена, что Наполеон в яффском госпитале вовсе не пожимал руки чумным больным. Друг многозначительно отвечает поэту: «Утешься...» На этом стихотворение обрывается, и под ним стоит дата: «Москва, 19 сент. 1830 г.». В этот день император Николай посетил пораженную холерой Москву. В черновой статье о Радищеве Пушкин писал по поводу этого посещения Николая, что оно «принадлежит будущему историку». Истинное свое отношение к Николаю Пушкин унес необнаруженным в могилу.

Александра Федоровна (1798–1860)

Жена императора Николая I, дочь прусского короля Фридриха-Вильгельма III и знаменитой своей красотой королевы Луизы.

Она была хороша собой. Маркиз де Кюстин в своей беспощадной книге о России («La Russie en 1839») говорит: «Императрица обладает изящной фигурой и, несмотря на ее чрезмерную худобу, исполнена неописуемой грации... Она пленяет своею наружностью, звук ее голоса мягок и нежен». Ее учителем русского языка был Жуковский, который воспел ее под именем Лалла-Рук (героиня одноименной поэмы Томаса Мура). Пушкин описывает царицу в выпущенной им строфе восьмой главы «Онегина»:

*И в зале яркой и богатой,
Когда в умолкший тесный круг,
Подобна лилии крылатой,
Колеблясь, входит Лалла-Рук
И над поникшею толпою
Сияет царственной главою,
И тихо вьется, и скользит
Звезда, – харита меж харит, –
И взор смущенных поколений
Стремится, ревностью горя,
То на нее, то на царя, –
Для них без глаз один Евгений...*

В дневнике Пушкин писал: «Я ужасно люблю царицу». Нащокин рассказывал Бартене-

ву: «Императрица удивительно как нравилась Пушкину; он благоговел перед нею, даже имел к ней какое-то чувственное влечение».

Великий князь Константин Павлович (1779–1831)

Второй сын императора Павла. Участвовал в Витальянском походе Суворова, под Аустерлицем командовал гвардией. В 1812 г., вследствие постоянных резких столкновений с главнокомандующим Барклаем-де-Толли, был им отослан из армии в Петербург. С 1816 г. был главнокомандующим польских войск, а фактически – наместником и вице-королем Польши. Управлением своим он всех возманил в Польше против себя. В 1820 г. развелся с женой, немецкой принцессой, и женился на польке Жанетте Антоновне Грудзинской, получившей титул княгини Лович. Вследствие этого брака он должен был отказаться от прав на российский престол, наследником которого именовался вследствие бездетности Александра I. Его отречение почему-то хранилось в строгой тайне, после смерти Александра декабристы воспользовались получившимся неопределенным положением и под-

няли войска против Николая. После воцарения Николая Константин остался польским главнокомандующим. Польское восстание 1830–1831 гг. заставило его бежать из Варшавы, командование было передано Дибичу, вскоре Константин умер от холеры в Витебске.

Был он плотный, немного лысый, с белокурыми, неприятного пепельного цвета волосами, с серыми бровями, нависшими на серые глаза, одутловатый, курносый, безобразный, как отец. Был бешено вспыльчив, перед фрунтом проявлялся мелочно-придиричивым, жестоким самодуром; подобно отцу и братьям имел страсть к воинским учениям, к выправкам, выпушкам и всякой муштре. «Фельдфебель по натуре», – характеризует его Николай Тургенев. После Березины, когда разбитый Наполеон уходил из России, Константин на смотре был очень шокирован внешним видом русской армии, совершенно не соответствовавшим уставу. В обтрепанной, не по форме, одежде, отвыкшие в непрерывных боях от всех тонкостей плац-парадной маршировки, войска выглядели совсем не так, как

на параде. Глядя на покрытый славой гвардейский полк, проходивший перед ним церемониальным маршем, Константин воскликнул в негодовании:

– Эти люди умеют только драться!

Сам он таким умением не отличался и, как многие фрунтовики, был большой трус.

Вне службы Константин, по рассказам, был человек добродушный и даже сентиментальный, дома, у себя, держался радушнейшим и любезнейшим хозяином, так что даже когда ему в разговоре случалось прервать чью-нибудь речь, он немедленно останавливался и извинялся.

После смерти Александра, когда все думали, что императором будет Константин, Пушкин писал Константину: «Как поэт, радуюсь восшествию на престол Константина I. В нем очень много романтизма; бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем напоминает Генриха V. К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше; словом, я надеюсь от него много хорошего».

Когда в апреле 1828 г. Россия объявила

войну Турции, Пушкин и Вяземский просили разрешения отправиться при главной императорской квартире на театр военных действий. Великий князь Константин писал по этому поводу Бенкендорфу: «Вы говорите, что писатели Пушкин и князь Вяземский просят о дозволении следовать за главной императорской квартирой. Поверьте мне, любезный генерал, что, ввиду прежнего их поведения, как бы они ни старались выказать теперь свою преданность службе его величества, они не принадлежат к числу тех, на кого можно бы было в чем-нибудь положиться; точно так же нельзя полагаться на людей, которые придерживались одинаковых с ними принципов и число которых перестало увеличиваться лишь благодаря бдительности правительства». А через две недели писал ему же: «Неужели вы думаете, что Пушкин и князь Вяземский действительно руководствовались желанием служить его величеству, как верные подданные, когда они просили позволения следовать за главной императорской квартирой? Нет, не было ничего подобного; они уже так заявили себя и так нравственно

испорчены, что не могли питать столь благородного чувства. Поверьте мне, что в своей просьбе они не имели другой цели, как найти новое поприще для распространения своих безнравственных принципов, которые доставили бы им в скором времени множество последователей среди молодых офицеров».

**Великий князь Михаил Павлович
(1798–1840)**

Младший сын императора Павла. В тридцатых годах состоял командиром гвардейского корпуса и главным начальником всех сухопутных военно-учебных заведений. Огромного роста, плотный, несколько сутуловатый, с большими, проницательными голубыми глазами, в высокой прическе, как ее тогда носили, рыжий (офицеры его называли «рыжий Мишка»). Говорил громко, отрывисто и повелительно. Был беспощадно строгий формалист, взыскивал с офицеров и солдат за малейшее нарушение формы и правил службы. Ежедневно, гуляя по улицам, ловил офицеров в калошах, солдат в расстегнутых мундирах и т. п. Был большой остряк и очень любил каламбуры. Острословие было любимей-

шим делом его жизни и величайшей его гордостью. По утрам, после докладов, ему передавали острые слова, ходящие по городу и приписываемые ему. Если острота была хороша, великий князь молча улыбался, если же была плоха, то говорил:

– Вздор, я этого не говорил!

Таким образом, остроумие всего гвардейского корпуса приписывалось ему. За острое слово он готов был простить все. Однажды он поймал на улице офицера, одетого не по форме, и велел ему сесть к себе в сани, чтобы увезти на гауптвахту. Офицер, садясь, задел великого князя шпагой. Михаил рассердился:

– Дурак, и садиться-то еще не умеет!

– Это оттого, ваше высочество, что не в свои сани не надобно садиться, – ответил офицер.

Великий князь пришел в восторг, рассмеялся и отпустил офицера.

Был он человек колоссально необразованный. В кабинете его каменноостровского дворца не было ни одной книги, кроме «Рекрутской школы», «Батальонного учения» и т. п. Читал только военную газету «Инвалид».

Утром первым делом его было прочитать «Инвалид», и часто он восклицал:

– Ах, негодный этот Воейков (*редактор «Инвалида»*)! Поручик Иванов уже четыре дня, как приехал, а он сегодня только напечатал об этом!

Весной 1830 г. Михаил был в гостях у Елизаветы Михайловны Хитрово, увидел у нее портрет Пушкина и сказал:

– Знаете ли, что я никогда не видал Пушкина близко; у меня были против него большие предубеждения; но по всему, что до меня доходит, я весьма желаю его узнать и особенно желаю иметь с ним продолжительный разговор.

И взял у Хитрово прочесть «Полтаву».

В середине тридцатых годов Пушкин нередко виделся с великим князем. Имел ли с ним Михаил тот «продолжительный разговор», который собирался с ним вести, и о чем мог быть этот разговор, мы не знаем. Но разговаривали они часто. Однажды, например, они встретились утром в дворцовом саду. Великий князь спросил Пушкина:

– Что ты один здесь философствуешь?

– Гуляю.

– Пойдем вместе.

Разговорились о плешивых. Пушкин сказал:

– Вы не в родню, в вашем семействе мужчины молодые оплешивливают.

– Государь Александр и Константин Павлович оттого рано оплешивели, что при отце моем носили пудру и зачесывали волоса; на морозе сало леденело, – и волоса лезли... Нет ли новых каламбуров?

– Есть, да нехороши, не смею представить их вашему высочеству.

– У меня их тоже нет. Я замерз.

И они распростились.

Другой раз у Пушкина был большой разговор с великим князем о дворянстве. Пушкин говорил, что необходимо замкнутое и экономически крепкое дворянское сословие, что теперешнее разоренное старинное дворянство с его просвещением, с ненавистью против аристократии, с его притязаниями на власть и богатство представляет такую страшную стихию мятежей, какой нет и в Европе. Между прочим, он сказал великому князю:

– Вы весь в ваше семейство: все Романовы революционеры и нивелировщики.

– Спасибо! Так ты меня жалуешь в якобинцы! Благодарю. Вот репутация, которой мне не доставало.

«Разговор, – пишет Пушкин в дневнике, – обратился к воспитанию, любимому предмету его высочества. Я успел высказать ему многое. Дай Бог, чтобы слова мои произвели хоть каплю добра!»

Летом 1837 г., через полгода после смерти Пушкина, великий князь Михаил Павлович встретил в Бадене Дантеса, разжалованного за дуэль с Пушкиным в солдаты и высланного за границу. Великий князь на три дня расстроился от этой встречи. Придворная дама спросила:

– Воспоминание о Пушкине вас встревожило?

– О нет! Туда ему и дорога!

– Так что же?

– Да сам Дантес! Бедный! Подумайте, ведь он солдат!

**Александр Христофорович
Бенкендорф**

(1783–1844)

Учился в пансионе аббата Николая, где на науки обращалось мало внимания, а главное значение придавалось светскому воспитанию. Пятнадцати лет поступил на военную службу, участвовал в турецкой и наполеоновских войнах, выделялся храбростью, получил Георгия 4-й и 3-й степени. В 1821 г., будучи генерал-адъютантом и начальником штаба гвардейского корпуса, подал императору Александру записку о тайных обществах, которую тот оставил без последствий. После смерти Александра записка была найдена в его бумагах и обратила на Бенкендорфа благосклонное внимание Николая. Он был введен в состав верховного суда над декабристами, а в июле 1826 г. назначен командующим императорской квартирой, шефом жандармов и главным начальником так называемого Третьего отделения собственной его величества канцелярии, на которое возложена была высшая охрана государственного порядка в стране. С этих пор Бенкендорф стал самым приближенным и доверенным лицом Николая. В 1832 г. он был возведен в графское достоин-

ство, в 1834 г. получил андреевскую ленту.

Монархист-бюрократ граф М. А. Корф дает Бенкендорфу такую характеристику: «Без знания дела, без охоты к занятиям, отличавшийся особенно беспамятством и вечною рассеянностью, наконец, без меры преданный женщинам, он никогда не был ни деловым, ни дельным человеком и всегда являлся орудием лиц, его окружавших. Сидев с ним в комитете министров и в государственном совете, я ни единожды не слышал его голоса ни по одному делу, хотя многие приходили от него самого, а другие должны были интересоваться его лично. Часто случалось, что он, после заседания, на котором присутствовал от начала до конца, спрашивал меня, чем решено такое-то из внесенных им представлений. Должно еще прибавить, что при очень приятных формах, при чем-то рыцарском в тоне и словах, при довольно живом светском разговоре он имел самое лишь поверхностное образование, ничему не учился, ничего не читал и даже никакой грамоты не знал порядочно. Личной воли имел он не более, чем дарования и высших взглядов. В жизни своей он много раз значи-

тельно обогащался, потом опять расточал все приобретенное и при конце дней оставил дела свои в самом жалком положении». Главной пружиной, направлявшей всю деятельность Третьего отделения, был М. Я. фон Фок. Безграмотный Бенкендорф почти всегда подписывал не читая бумаги и находился вполне под влиянием Фока. Вигель называет Бенкендорфа пустоголовым фанфароном, менее кого-либо другого имевшим способностей для занятия возложенной на него важной должности. В 1840 г. Герцену пришлось быть на приеме у Бенкендорфа, и вот как он описывает этот прием. «Дверь отворилась на обе половинки, и вошел Бенкендорф. Наружность шефа жандармов не имела в себе ничего дурного; вид его был довольно общий остзейским дворянам и вообще немецкой аристократии. Лицо его было измято, устало, он имел обманчиво добрый взгляд, который часто принадлежит людям уклончивым и апатическим. Он очень мало говорил с просителями, брал просьбу, бросал на нее взгляд, потом отдавал Дубельту, прерывая замечания просителей той же грациозно-снисходительной улыбкой.

Месяцы целые эти люди обдумывали и приготавливались к этому свиданию, от которого зависит честь, состояние, семья; сколько труда, усилий было употреблено ими прежде, чем их приняли! А человек этот отделяется общими местами, и, по всей вероятности, какой-нибудь столоначальник положит какое-нибудь решение, чтоб сдать дело в какую-нибудь другую канцелярию. И чем он так озабочен, куда торопится? Бенкендорф подошел к высокому, несколько согнувшемуся старику в темно-зеленой военной шинели, с рядом медалей и крестов на груди. Старик стал на колени и вымолвил: «Ваше сиятельство, войдите в мое положение!» – «Что за мерзость!» – закричал граф. – Вы позорите ваши медали!» – и, полный благородного негодования, прошел мимо, не взяв его просьбы. Старик тихо поднялся, его стеклянный взгляд выражал ужас и помешательство, нижняя губа дрожала, он что-то лепетал. Как эти люди бесчеловечны, когда на них приходит каприз быть человеческими! Дубельт взял у старика просьбу и сказал: «Зачем это вы, в самом деле? Ну, давайте вашу просьбу, я пересмотрю».

В 1844 г. Бенкендорф получил от Николая полмиллиона рублей на лечение, уехал за границу, сошелся там с француженкой, возвращался с ней в Петербург, на пароходе принял католичество и, не доехав до Петербурга, внезапно умер.

Пушкин попал в лапы Бенкендорфа в 1826 г., немедленно по возвращении из ссылки и получении «прощения» от императора. Из этих беспощадных лап Пушкину не суждено было вырваться до самой смерти. Необразованный, глубоко равнодушный к литературе, Бенкендорф видел в Пушкине только ветреного сорванца и беспокойного вольнодумца, очень опасного своей общественной популярностью. Он был всегдашним посредником в сношениях Пушкина с царем и передавал ему царские решения и замечания в холодно-официальных словах, по существу невероятно грубых. Получаешь как будто личное оскорбление, читая эти высокомерные запросы и выговоры, обрабатываемые тупым жандармом к великому поэту, словно к озорному мальчишке, с которым стесняться нечего. Весной 1827 г. Пушкин просил у Бенкендорфа разрешения

приехать из Москвы в Петербург. Бенкендорф отвечал: «Его величество, соизволяя на прибытие ваше в С.-Петербург, высочайше отозваться изволил, что не сомневается в том, что данное русским дворянином государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно будет в полном смысле сдержано». Летом 1829 г. Пушкин ездил на Кавказ в действующую армию Паскевича. Бенкендорф знал и о том, что Пушкин собирался туда поехать, и о том, что он там находится; однако, по возвращении Пушкина, направил к нему запрос: «Государь император, узнав, по публичным известиям, что вы, милостивый государь, странствовали за Кавказом и посещали Арзерум, высочайше повелеть мне изволил спросить вас, по чьему позволению предприняли вы сие путешествие. Я же с своей стороны покорнейше прошу вас уведомить меня, по каким причинам не изволили вы сдержать данного мне слова и отправились в закавказские страны, не предуведомив меня о намерении вашем сделать сие путешествие». Пушкин ответил: «Я чувствую, насколько положение мое было ложно и поведение – лег-

комысленно. Мысль, что это можно приписать другим мотивам, была бы для меня невыносима. Я предпочитаю подвергнуться самой строгой немилости, чем показаться неблагодарным в глазах того, кому я обязан всем, для кого я готов пожертвовать своим существованием, и это не фраза». В начале 1830 г. Пушкин подал Бенкендорфу просьбу о разрешении ему поехать за границу. Ответ Бенкендорфа обнаруживает большую «заботливость» его и императора о Пушкине: «Его величество государь император не удостоил снизойти на вашу просьбу посетить заграничные страны, полагая, что это слишком расстроит ваши денежные дела и в то же время отвлечет вас от ваших занятий». Вскоре Пушкин уехал в Москву. О предполагаемой поездке этой он, встретясь на гулянии с Бенкендорфом, сообщил ему, и Бенкендорф ему на это сказал:

– Вы всегда на больших дорогах.

Однако, когда Пушкин уехал, вслед ему полетел грозный запрос Бенкендорфа: «К крайнему моему удивлению, услышал я, что вы внезапно рассудили уехать в Москву, не пред-

варя меня, согласно с сделанным между нами условием, о сей поездке. Поступок сей принуждает меня вас просить об уведомлении меня, какие причины могли вас заставить изменить данному мне слову? Мне весьма приятно будет, если причины, вас побудившие к сему поступку, будут довольно уважительны, чтобы извинить оный; но я вменяю себе в обязанность вас предупредить, что все неприятности, коим вы можете подвергнуться, должны вами быть приписаны собственному вашему поведению». Пушкин в полном отчаянии отвечал: «Письмо, которым вы удостоили меня, доставило мне истинное горе; я умоляю вас дать мне минуту снисхождения и внимания. Несмотря на четыре года ровного поведения, я не смог получить доверия власти! С огорчением вижу, что малейший из моих поступков возбуждает подозрение и недоброжелательство. Во имя неба, удостойте на минуту войти в мое положение и посмотрите, как оно затруднительно!..»

Став женихом Гончаровой, Пушкин писал Бенкендорфу, что родителей его невесты очень смущает его ложное и сомнительное

положение в отношении к правительству. «Г-жа Гончарова, – сообщал он, – боится отдать свою дочь за человека, имеющего несчастье пользоваться дурной репутацией в глазах государя. Мое счастье зависит от одного слова благоволения того, к которому моя преданность и благодарность уже и теперь чисты и безграничны». Ответ Бенкендорфа: «Я имел счастье представить императору письмо, которое вам угодно было мне написать 16-го числа сего месяца. Его императорское величество, с благосклонным удовлетворением приняв известие о вашей предстоящей женитьбе, удостоил заметить по сему случаю, что Он надеется, что вы, конечно, хорошо допросили себя раньше, чем сделать этот шаг, и нашли в себе качества сердца и характера, какие необходимы для того, чтобы составить счастье женщины, – и в особенности такой милой, интересной женщины, как m-lle Гончарова. Что касается вашего личного положения по отношению к правительству, – я могу вам только повторить то, что уже говорил вам столько раз: я нахожу его совершенно соответствующим вашим интересам; в нем не мо-

жет быть ничего ложного или сомнительного, если, разумеется, вы сами не пожелаете сделать его таковым. Его Величество Император, в совершенном отеческом попечении о вас, милостивый государь, удостоил поручить мне, генералу Бенкендорфу – не как шефу жандармов, а как человеку, к которому Ему угодно относиться с доверием, – наблюдать за вами и руководить своими советами; никогда никакая полиция не получала распоряжения следить за вами. Советы, которые я вам от времени до времени давал, как друг, могли вам быть только полезны, – я надеюсь, что вы всегда и впредь будете в этом убеждаться».

МАКСИМ ЯКОВЛЕВИЧ фон ФОК
(1777–1831)

Управляющий Третьим отделением, правая рука Бенкендорфа. Был человеком, по-видимому, умным, хорошо образованным и воспитанным, очень деятельным и энергичным. Вел широкую агентурную разведку при помощи большого штата наемных агентов и шпионов-добровольцев; в числе их были и люди из высшего света, например граф Л. И. Соло-

губ, отец красавицы и дядя писателя. «Бенкендорф, – рассказывает Греч, – был одолжен фон Фоку своею репутациею ума и знания дела». К Пушкину Фок относился очень недоброжелательно. В сентябре 1826 г. он писал Бенкендорфу: «Этот господин проповедует последовательный эгоизм с презрением к людям, ненависть к чувствам, как к добродетелям, наконец, деятельное стремление к тому, чтобы доставлять себе житейские наслаждения ценою всего самого священного. Это честолобец, пожираемый жаждою вожделений, как примечают, имеет столь скверную голову, что его необходимо будет проучить при первом удобном случае». И через четыре года по поводу одного письма Пушкина к Бенкендорфу писал своему шефу: «Эти строки нашего пресловутого Пушкина великолепно его характеризуют во всем его легкомыслии, во всей его беззаботной ветрености. К несчастью, это человек, не думающий ни о чем, но готовый на все. Лишь минутное настроение руководит им в его действиях». Чиновник Третьего отделения М. М. Попов так характеризует отношение Фока и Бенкендорфа к

Пушкину:

«Они как бы беспрестанно ожидали, что вольнодумец или предпримет какой-либо вредный замысел, или сделается коноводом возмутителей. Между тем Пушкин беспрестанно впадал в проступки, выслушивал замечания, приносил извинения и опять проступался. Он был в полном смысле дитя и, как дитя, никого не боялся. Зато люди, которые должны бы быть прозорливыми, его боялись. Отсюда начался ряд, с одной стороны, напоминаний, выговоров, а с другой – извинений, обещаний и вечных проступков».

Свое отношение к Пушкину Фок прикрывал изысканнейшей вежливостью в сношениях с ним и сумел внушить Пушкину самое о себе лестное мнение. После смерти Фока в 1831 г. Пушкин писал:

«На днях скончался фон Фок, человек добрый, честный и твердый. Смерть его есть бедствие общественное. Государь сказал: “Я потерял Фока; могу только оплакивать его и жалеть, что не мог его любить”».

Фок был плотный человек с очень большим лицом, крупными чертами, высоким

лбом и умными, пронизательными глазами.

Александр Николаевич Мордвинов
(1792–1869)

Сын полковника, порховского помещика. Служил по департаменту полиции, в 1812 г. перешел на военную службу, участвовал в ряде боев. По окончании войны опять служил в полиции, а с учреждением Третьего отделения поступил туда. Когда весной 1829г. Пушкин собирался на Кавказ, Мордвинов писал Бенкендорфу: «Господин поэт столь же опасен для государства, как неочиненное перо. Ни он не затеет ничего в своей ветреной голове, ни его не возьмет никто в свои затеи. Это верно! Предоставьте ему слоняться по свету, искать девиц, поэтических вдохновений и игры. Можно сильно утверждать, что это путешествие на Кавказ устроено игроками, у коих он в тисках. Ему, верно, обещают золотые горы на Кавказе, а когда увидят деньги или поэму, то выиграют – и конец». После смерти фон Фок Мордвинов был назначен управляющим Третьим отделением. «Есть вероятие предполагать, – пишет М. К. Лемке, что насколько он был менее талантлив, чем его предшествен-

ник, настолько же был и непорядочнее его». Пушкину не раз приходилось иметь дело с Мордвиновым как начальником Третьего отделения. Летом 1833 г. Мордвинков писал Пушкину: «Его величество изъявил высочайшую свою волю знать, что побуждает вас к поездке в Оренбург и Казань и по какой причине хотите вы оставить занятия, здесь на вас возложенные?» Пушкину пришлось объяснить, что живет он литературным трудом, что ему необходимо месяца два провести в полном уединении, чтоб кончить книгу, которая доставит очень нужные ему деньги, а что Оренбург и Казань ему нужно посетить потому, что главное действие его романа («Капитанская дочка») происходит в этих губерниях. Разрешение было дано. В 1836 г. Мордвинков запрашивал Пушкина: «Его сиятельство граф Александр Христофорович просит вас доставить к нему письмо, полученное вами от Кюхельбекера, и с тем вместе желает непременно знать, через кого вы его получили». Пушкин отправил ему письмо Кюхельбекера и ответил, что письмо было подано на квартиру в его отсутствие, неизвестно кем. Когда гроб с

телом убитого Пушкина отправляли для похорон в Псковскую губернию, к псковскому губернатору пошло предварительное послание Мордвинова: «Имею честь сообщить вашему превосходительству волю государя императора, чтобы вы воспретили всякое особенное изъявление, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворянина. К сему не излишним считаю, что отпевание тела уже совершено».

В 1839 г. Мордвинов, по приказанию императора, был смещен с должности за то, что разрешил поместить в альманахе Смирдина «Сто русских литераторов» портрет декабриста А. А. Бестужева-Марлинского, в то время уже убитого на Кавказе в схватке с горцами. Впоследствии был вятским губернатором и сенатором.

Сергей Семенович Уваров (1786–1855)

В молодости служил в коллегии иностранных дел, состоял при посольствах в Вене и Париже, за границей познакомился с рядом

выдающихся литературных и научных деятелей – Гете, Гумбольдтом и другими. В 1811 г. женился на 28-летней дочери министра народного просвещения, богача графа А. К. Разумовского, и был назначен попечителем петербургского учебного округа. В Петербурге вращался в литературных кругах, дружил с Батюшковым, хорош был с Карамзиным, Жуковским, братьями Тургеневыми, состоял членом «Арзамаса». Был человек многосторонне образованный, особенно интересовался классической археологией и филологией, напечатал ряд работ – об элевсинских мистериях и др. Он убедил Гнедича в возможности употребления гекзаметра в русском стихосложении, и Гнедич, уже переведший одиннадцать песен «Илиады» александрийским стихом, уничтожил перевод и стал переводить «Илиаду» гекзаметром. В 1818 г. Уваров был назначен президентом Академии наук, в 1832-м – помощником министра, в 1833 г. – министром народного просвещения. Он был творцом и проводником в жизнь знаменитой формулы «православие, самодержавие и народность». В 1846 г. возведен в графское достоинство. В

1849 г. оставил пост министра.

Историк С. М. Соловьев пишет об Уварове: «Он был человек с бесспорно блестящими дарованиями, и по этим дарованиям, по образованности и либеральному образу мыслей был способен занимать место министра народного просвещения и президента Академии наук; но в этом человеке способности сердечные нисколько не соответствовали умственным. Представляя из себя знатного барина, Уваров не имел в себе ничего истинно-аристократического; напротив, это был слуга, получивший порядочные манеры в доме порядочного барина, Александра I, но оставшийся в сердце слугою; он не щадил никаких средств, никакой лести, чтоб угодить барину Николаю I; он внушил ему мысль, что он, Николай, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах, и придумал эти начала, т. е. слова: православие, самодержавие и народность; православие, – будучи либералом; народность, – не прочитав в свою жизнь ни одной русской книги. Люди порядочные, к нему близкие, с горем признавались, что не было никакой низости, которой бы он не был в со-

стоянии сделать, что он кругом замаран нечистыми поступками. При разговоре с этим человеком, разговоре очень часто блестяще-умном, поражали, однако, крайние самолюбие и тщеславие; только и ждешь, – вот скажет, что при сотворении мира Бог советовался с ним насчет плана». Угодливость и искательность Уварова не знали пределов. У влиятельного министра Канкрин он был «своим человеком»; А. И. Тургенев писал Вяземскому: «Он всех кормилиц у Канкрин знает и дает детям кашку». В другом письме он называет Уварова «всех оподляющий». Однажды министр Дашков встретил Жуковского под руку с Уваровым, отвел Жуковского в сторону и сказал: «Как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком!» Уваров обладал противоестественными наклонностями; усиленно рассказывали, что князь Дондуков-Корсаков был им назначен попечителем петербургского учебного округа за то, что был его «любовницей».

Пушкин, несомненно, встречался с Уваровым еще в эпоху «Арзамаса». Виделись нередко и впоследствии. В 1831 г. Уваров прислал

Пушкину свой французский перевод его стихотворения «Клеветникам России». Пушкин, со всегдашней своей любезностью, ответил, что восхищен «прекрасными, истинно вдохновенными стихами» Уварова, и находил, что стихи его, Пушкина, послужили для Уварова «простою темою для развития гениальной фантазии».

В 1834 г. Пушкин хлопотал перед Уваровым о предоставлении Гоголю кафедры в киевском университете. Бывал у него в гостях. Но отношения их постепенно делались все холоднее. Уваров начинал теснить Пушкина, требовал, чтобы сочинения его, помимо царской цензуры, проходили цензуру общую, самолично вычеркнул несколько вполне невинных стихов из поэмы Пушкина «Андже-ло». В феврале 1835 г. Пушкин раздраженно писал в дневнике: «В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже – не покупают. Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении. Его клевет Дундуков (дурак и бардаш) преследует меня своим цензурным комитетом. Он не соглашается, чтоб я печатал свои сочинения

с одного согласия государя. Царь любит, да псарь не любит. Кстати, об Уварове: это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. Низость до того доходит, что он у детей Канкрин на посылках. Он крал казенные дрова, и до сих пор на нем есть счета (у него одиннадцать тысяч душ), казенных слесарей употребляет в собственную работу и т. п.». Вскоре случилось такое происшествие. В Воронеже, проездом, тяжело заболел скарлатинной молодой и бездетный граф Д. Н. Шереметев, один из богатейших людей России, двоюродный брат жены Уварова. Через нее Уваров являлся одним из его наследников. Не сомневаясь в близкой смерти Шереметева, Уваров поспешил опечатать его имущество. А Шереметев выздоровел. Об этом скандале со смехом говорил весь Петербург. Пушкин напечатал в одном из московских журналов стихотворение «На выздоровление Лукулла», будто бы «подражание латинскому»:

*Ты угасал, богач молодой!
Ты слышал плач друзей печальных.
Уж смерть являлась за тобой.*

*В дверях сеней твоих хрусталь-
ных...*

*А между тем наследник твой,
Как ворон, к мертвечине падкий,
Бледнел и трясся над тобой,
Знобим стяжанья лихорадкой.
Уже скупой его сургуч
Пятнал замки твоей конторы,
И мнил загресть он злата горы
В пыли бумажных куч.
Он мнил: «Теперь уж у вельмож
Не стану нянчить ребятишек;
Я сам вельможа буду тож;
В подвалах, благо, есть излишек.
Теперь мне честность – трын-
трава!
Жену обсчитывать не буду
И воровать уже забуду
Казенные дрова!»*

*Но ты воскрес. Твои друзья,
В ладони хлопая, ликуют...
Бодрится врач, подняв очки;
Гробовый мастер взоры клонит;
А вместе с ним приказчик гонит
Наследника в толчки.*

Стихи вызвали сенсацию. Рассказывают,

что Бенкендорф пригласил Пушкина к себе и сделал ему строгий выговор за то, что в таком виде выставил Уварова. Пушкин будто бы ответил:

– Да стихи написаны вовсе не на Уварова.

– А на кого же?

– На вас.

Бенкендорф остолбенел.

– На меня?!

– На вас.

– Но позвольте, – когда же я воровал казенные дрова?

– А значит, Уваров воровал дрова? Почему он стихи отнес к себе?

Рассказ этот внушает мало доверия. Пушкин так не держался с Бенкендорфом. До нас дошел черновик его письма к шефу жандармов, где Пушкин очень почтительно доказывает, что стихи его представляют общую сатиру и не имели в виду никакого определенного лица. Однако намеки были слишком ясны. Царь выразил Пушкину через Бенкендорфа крайнее свое неудовольствие.

**Князь Михаил Александрович
Дондуков-Корсаков**

(1794–1869)

До женитьбы просто Корсаков. В 1819 г., будучи капитаном Преображенского полка, женился на княжне Дондуковой-Корсаковой, происходившей от владетельных калмыцких князей Дондук-Омбо, и получил высочайшее разрешение носить титул и фамилию жены. Ловкий карьерист и, по выражению Плетнева, «большой мастер на денежные предприятия», составивший себе огромное состояние помимо богатства, полученного за женой. С 1833 по 1842 г. был попечителем петербургского учебного округа, с 1835 по 1862 – вице-президентом Академии наук при президенте С. С. Уварове. В качестве председателя цензурного комитета жестоко теснил литературу. Пушкин писал летом 1836 г.: «Никогда русские писатели не были так притеснены, как нынче, – даже в последнее пятилетие царствования покойного императора Александра, когда вся литература сделалась рукописною». На Дондукова-Корсакова Пушкин написал известную эпиграмму:

*В Академии наук
Заседает князь Дундук.*

*Говорят, не подобает
Дундуку такая честь;
Почему ж он заседает?
Потому что ... есть.*

В эпиграмме этой Пушкин не просто высмеивает Дундука, удостоившегося заседать в Академии единственно по той причине, что у него «есть чем сесть», как читается эпиграмма в исправленном «для дам» виде. Смысл эпиграммы другой: в молодости Дондуков-Корсаков состоял в «любовой связи» с Уваровым; за эти заслуги Уваров, став министром народного просвещения, провел Дондукова-Корсакова в попечители петербургского округа и в вице-президенты Академии наук. На это и намекает эпиграмма Пушкина.

Граф Юлий Помпеевич Литта
(1763–1839)

По происхождению итальянец, родился в Милане. Старший обер-камергер высочайшего двора. Пушкин был подчинен ему как камер-юнкер, обязанный присутствовать на церковных службах, царских выходах и приемах, торжествах и балах. Литта был женат на племяннице Потемкина, принесшей ему

огромнейшее состояние. Был он исполинского роста, толст, очень здоров, хотя и на восьмом десятке не придерживался никакой диеты, ел, пил, что ему нравилось, и во всякие часы. Мороженого съедал сразу по десять порций. Имел привычку, как эхо, повторять за собой всякое слово; *bonjour-bonjour, oui-oui...* Говорил гулко-громким голосом, звук которого походил на звук органа, когда прижмешь педаль.

Барон Иван Иванович фон Дибич (1785–1831)

Сын немецкого генерала, перешедшего на русскую службу. С отличием участвовал в наполеоновских войнах, был приближенным лицом Александра I. С 1824 г. – начальник главного штаба. При вступлении на престол Николая заслужил его расположение донесением об открытии заговора декабристов, лично принимал меры к аресту главнейших заговорщиков 2-й армии. В 1827 г. возведен в графское достоинство. В 1829 г. был главнокомандующим армией, действовавшей против Турции на европейском фронте, перешел Балканы и овладел Андрианополем. За этот пере-

ход получил титул «Забалканского». Когда произошло польское восстание, главнокомандующим русских войск против поляков был назначен Дибич. Действия его были вялы и нерешительны. До окончания войны умер от холеры. Был он небольшого роста, толст, рыж, криволиц, с умными глазами; разговаривал, не глядя в лицо, а потупив глаза вниз или кося потупленными глазами в сторону.

Александр Иванович Чернышев
(1786–1857)

Военный министр Николая I с 1827 по 1852 г. С 1826 г. – граф, с 1841г. – князь, с 1849 г. – светлейший князь. Наряду с Клейнмихелем и Бенкендорфом самый нелюбимый и презираемый тогдашним обществом государственный деятель. Военный министр был он очень плохой, разгром России в Крымскую войну в большой степени был обусловлен полной во всех отношениях негодностью военной подготовки страны. В 1826 г., будучи членом следственной комиссии по делам декабристов, Чернышев принимал все меры, чтобы побольше запутать декабриста графа З. Гр. Чернышева, дальнего своего родственника, в на-

дежде завладеть богатым Чернышевским майоратом. Запутать он его запутал, но завладеть майоратом ему не удалось ввиду отдаленности родства.

Друзья[265]

**Иван Иванович Пущин
(1798–1859)**

О лицейских годах – см. гл. «Лицейские товарищи».

По окончании лицея Пущин определился в гвардейскую конную артиллерию в Петербурге. Через капитана И. Г. Бурцова он тотчас же вступил в Тайное общество. «Эта высокая цель жизни, – рассказывает Пущин, – самую свою таинственностью и начертанием новых обязанностей резко и глубоко проникла душу мою; я как будто вдруг получил особенное значение в собственных своих глазах: стал внимательнее смотреть на жизнь во всех проявлениях буйной молодости, наблюдая за собою, как за частицей, входящею в состав того целого, которое рано или поздно должно было иметь благотворное свое действие». По поступлении в общество первой

мыслью Пущина было открыться Пушкину, но Пушкин в это время был в деревне. Когда же Пушкин возвратился, Пущин заколебался: по непостоянному характеру своему Пушкин слишком был ненадежен как заговорщик. Пушкин заметил перемену в Пущине, начал подозревать, что он что-то от него скрывает, усердно расспрашивал и допрашивал его. Пущин был в постоянной борьбе с собой, у него являлась мысль: не должен ли он все-таки предложить Пушкину вступить в Тайное общество? Пусть сам решает – вступать или нет. Но распущенный образ жизни Пушкина, неразборчивость на знакомства, легкомыслие, действия под влиянием минутного настроения – все это заставляло Пущина отказаться от своего намерения. Пушкин высказывал самые радикальные мысли, противоположительные его остроты расходились по всему городу, революционные стихи знала вся читающая Россия, а рядом с этим так, например: сидит Пущин в театре и видит, Пушкин в первых рядах кресел, «как собачонка какая-нибудь», вертится вокруг А. Ф. Орлова, А. И. Чернышева и подобных сановников,

сыплет остротами, а они с покровительственно-небрежной улыбкой слушают его. Возмущенный Пущин сделает Пушкину знак, тот подбежит.

– Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом? Можно ли себя так срамить? Ведь над тобою все смеются!

Пушкин в ответ начнет обнимать Пущина, щекотать, что он обыкновенно делал, когда немножко растеряется. А в следующий антракт – опять то же самое.

Пущин страдал за Пушкина, подчас ему приходила в голову мысль, что, может быть, вступив в Тайное общество, Пушкин начнет серьезнее и строже относиться к себе и к жизни, что широкая общественная работа перевоспитает его. Но он так и не решился ввести Пушкину тайну, не ему одному принадлежавшую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна для всего дела. Постепенно друзья стали видеться реже, круг интересов и знакомств был у них разный. Однако встречались они с прежней дружбой и радовались встречам.

Пущин был очень деятельным членом Се-

верного тайного общества, был избран в Думу – руководящий орган общества. В 1823 г. он ушел с военной службы. Он хотел показать, что в работе на пользу государства и народа нет обязанности, которую можно было бы считать унижительной, и решил поступить на должность... полицейского квартального надзирателя. Решение Пущина привело в ужас его аристократических родных, сестры на коленях умолили его отказаться от своего намерения. Тогда Пущин поступил в надворные судьи петербургской уголовной палаты, – должность, пользовавшаяся также небольшим уважением ввиду чиновничьей волокиты и взяточничества, царствовавших в тогдашних судах. Вскоре, в связи с делами Тайного общества, Пущин перевелся на ту же должность в Москву. В качестве надворного судьи он повел энергичную борьбу со взяточничеством и неправосудием. Один современник писал: «Пущин – первый честный человек, который сидел когда-либо в русской казенной палате». Каким малым почетом пользовалась эта должность, показывает такой случай. На балу у московского генерал-губер-

натора князь Юсупов увидел Пущина, танцующего с дочерью генерал-губернатора. Поинтересовался узнать, кто это. Когда ему сказали, он воскликнул:

– Как?! Надворный судья танцует с дочерью генерал-губернатора? Это вещь небывалая. Тут кроется что-то необыкновенное.

«И точно, – рассказывает Пущин, – на другой год я уже не танцевал в Москве». Пущин был председателем московской управы Тайного общества, энергично занимался вербовкой новых членов, учредил особый «Практический союз»; цель этого союза была – впредь до осуществления радикального решения крестьянского вопроса содействовать освобождению от крепостной зависимости дворовых людей. В земельном вопросе Пущин держался наиболее левого для северных декабристов взгляда.

В январе 1825 г., к ужасу родственников и добрых знакомых Пушкина, Пущин поехал проводить опального друга, сосланного в псковскую деревню родителей. Ночью, проезжая через городок Остров, он взял три бутылки шампанского. Утром был уже близ Михай-

ловского. Пущин нетерпеливо подгонял ямщика, лошади мчались во всю прыть; спускаясь с горы, сани на ухабе так наклонились вбок, что ямщик вылетел в снег, лошади понесли в гору. Пущин со слугой своим Алексеем схватили вожжи, но сдержать лошадей не смогли; они сделали крутой поворот, с маху влетели в притворенные ворота, гремя колокольчиком, пронеслись мимо крыльца и завязли в сугробах нерасчищенного двора.

Пущин вылез из саней. На крыльце стоял Пушкин – босой, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Пущин бросился к нему, схватил в охапку и втащил в комнаты. Смотрели друг на друга, целовались и молчали. Пушкин забыл, что надо прикрыть наготу, Пущин не думал о заиндедевшей шубе. Обнимались и плакали, один – почти голый, другой – весь осыпанный снегом. Прибежала няня Арина Родионовна, друзья очнулись. Пущину подали умыться. Засыпали друг друга вопросами, не ожидая ответов. Наконец понемножку прибрались. Подали кофе. Друзья уселись с трубками. Беседа пошла более правильно. Пушкин, как дитя, радовался свидан-

нию и повторял, что ему все не верится, что они вместе. Болтали, шутили, хохотали. Пушкин расспрашивал про лицейских товарищей. Потребовал объяснения, каким образом из гвардейского артиллериста Пущин преобразился в надворного судью. С восторгом и гордостью выслушал объяснения Пущина. Незаметно разговор коснулся Тайного общества. Когда Пущин сказал, что не он один поступил в это новое служение отечеству, Пушкин вскочил со стула и воскликнул:

– Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в тираспольской крепости и ничего не могут выпытать!

Потом, успокоившись, продолжал:

– Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою – по многим моим глупостям.

Молча, Пущин крепко расцеловал его. Они обнялись и пошли ходить. Подали обедать. Раскупорили шампанское. Начались тосты за Русь, за лицей, за отсутствующих друзей, за нее (по-видимому, свободу). Попотчевали

шампанским няню, а работавших в ее комнате дворовых девушек – хозяйской наливкой. Пущин привез Пушкину в подарок «Горе от ума»; в то время комедия была еще запрещена и ходила в рукописях. Пушкин стал громко читать и, видимо, испытывал высокое наслаждение. Потом он читал другу свои произведения. Время шло незаметно. Было уже за полночь. Подали закусить, на прощание хлопнула третья пробка шампанского. Ямщик уже запряг лошадей, колокольчик брякал у крыльца, на часах ударило три. Еще раз чокнулись стаканами, но грустно пилось: как будто оба чувствовали, что пьют на вечную разлуку. Пущин молча набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пушкин еще что-то говорил ему вслед. Ничего не слыша, Пущин глядел на него; тот стоял на крыльце со свечой в руке. Кони рванули под гору. Послышалось:

– Прощай, друг!

Ворота запахнулись за Пущиным. Осенью этого же года, в стихотворении «19 октября» (1825), Пушкин так вспоминал посещение Пущина:

И ныне здесь, в забытой сей глу-

ши,
В обители пустынных вьюг и хла-
да,
Мне сладкая готовилась отрада...
...Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посе-
тил;
Ты усладил изгнанья день печаль-
ный,
Ты в день его Лицея превратил.
И все прошло, – проказы, заблуж-
дения...
Ты, освятив тобой избранный сан,
Ему в очах общественного мненья
Завоевал почтение граждан...

Когда, после внезапной смерти Александра I, для Тайного общества неожиданно представилась возможность решительных действий, Пущин поспешил выехать из Москвы в Петербург. Декабрист Лорер со слов Льва Пушкина сообщает, что перед отъездом из Москвы Пущин послал Александру Пушкину письмо, в котором вызывал его в Петербург. Пушкин быстро собрался и выехал с подложным свидетельством на имя крестьянина села Тригорского, подписанным П. А. Осиповой. Но

при выезде Пушкину перебежал дорогу заяц, суеверный поэт счел это за недоброе предзнаменование и воротился домой. «А вот каковы были бы последствия моей поездки, – впоследствии рассказывал Пушкин друзьям. – Я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером к Рылееву и, следовательно, попал бы к нему прямо на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом; вероятно, я попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые!»

В Петербурге Пущин принимал деятельное участие во всех заседаниях Верховной Думы Тайного общества, вплоть до последнего собрания 13 декабря, где было решено вывести войска на Сенатскую площадь. 14 декабря Пущин все время находился в рядах восставших и проявил кипучую деятельность. Когда избранный Верховной Думой в диктаторы князь С. П. Трубецкой струсил и не явился на площадь, Пущин один из немногих не потерял головы, все время находился в центре стрельбы, плащ его был прострелен в нескольких местах. Вообще он в тот день проявил большую твердость характера и хладно-

кровие. Хотя он как отставной был не в военной одежде, но солдаты охотно слушали его команду, видя его спокойствие и бодрость. На следующий день лицейский товарищ его князь А. М. Горчаков привез Пущину заграничный паспорт и предлагал устроить ему отъезд на иностранном пароходе. Пущин отказался, не желая бежать от общей беды. 15 декабря он был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Пущин был один из немногих, которые держались на допросах с достоинством. Решительно отрицал перед следственной комиссией какое-либо участие в подготовке восстания – как свое, так и названных ему лиц, часто выгораживал других вопреки очевидности. Если трудно было уклониться от прямого ответа, называл либо покойника, либо вымышленное лицо. Верховным судом Пущин был отнесен к первому разряду государственных преступников и присужден к смертной казни отсечением головы; через несколько дней казнь была заменена двадцатью годами каторги. Когда 13 июля 1826 г. осужденных вывели из казематов для приведения приговора в исполнение,

Пушкин своими шутками и остротами заставил хохотать всех окружающих товарищей. А потом выступил из рядов осужденных с речью, в которой протестовал против осуждения его и товарищей. Начальство поспешило увести весь первый разряд в казематы.

Пушкин был заключен в Шлиссельбургскую крепость. В начале 1828 г. он был привезен для отбытия каторги в Читу. В самый день его приезда А. Г. Муравьева, жена декабриста, подзвала Пушкина к частоколу острога, передала ему листок бумаги и сообщила, что получила этот листок от одного своего знакомого в Петербурге, хранила его до свидания с Пушкиным и рада, что может наконец исполнить поручение. Это были следующие стихи Пушкина:

Мой первый друг, мой друг бесценный!

*И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.*

*Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,*

*Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!*

В 1839 г., после двенадцати лет каторжных работ, Пущин был сослан на поселение сначала в город Туринск Тобольской губернии, потом в Ялоторовск. После смерти Николая I, в 1856 г., по общей амнистии декабристам вернулся в Россию. Пятидесяти семи лет женился на вдове декабриста, пятидесятилетней Н. Д. Фонвизиной. Умер в имении жены, Бронницкого уезда, Московской губернии.

Пущин был человек исключительной моральной красоты. Рылеев говорил о нем: «Кто любит Пущина, тот непременно сам редкий человек». Декабрист Волконский называл его «рыцарь правды». По темпераменту, однако, Пущин не был революционером. Член Южного тайного общества, неукротимый и суровый И. И. Горбачевский, писал М. Бестужеву: «Пущина – чудо-человек, что хочешь, так он хорош. Но заговорщик он или нет? Способен ли он кверху дном все переверотить? Нет и нет, ему надобны революции, чтобы были на розовой воде: они все хотели все сделать переговорами, ожидая, чтобы сенат к ним вышел и,

поклонившись, спросил: что вам угодно? Все к вашим услугам!» Пущин был человек бодрый и жизнерадостный, трудно падавший духом; в самые трудные минуты он оживлял товарищей шутками и смехом. Женщины носили его на руках, у него было много романов.

**Барон Антон Антонович Дельвиг
(1798–1831)**

О лицейской поре его жизни – см. гл. «Лицейские товарищи».

По окончании лицея служил в разных петербургских канцеляриях, нуждался сильно. Одно время жил вместе с начинающим поэтом Баратынским. В совместном стихотворении они так описывают тогдашнюю свою жизнь:

*Там, где Семеновский полк, в пя-
той роте, в домике низком,
Жил поэт Баратынский с Дельви-
гом, тоже поэтом.
Тихо жили они, за квартиру пла-
тили немного,
В лавочку были должны, дома
обедали редко;
Часто, когда покрывалось небо
осеннею тучей,*

*Шли они в дождик пешком, в пан-
талонах трикотовых тонких,
Руки спрятав в карманы (перча-
ток они не имели!),
Шли и твердили шутя: «какое в
россиянах чувство!»*

В 1821 г. Дельви́г поступил в Публичную библиотеку помощником библиотекаря И. А. Крылова, известного баснописца. В обязанности Дельвига входило дежурить иногда в библиотеке, исправлять и заполнять какой-то бесконечный каталог и выдавать книги посетителям. Он там много читал и приобрел ту начитанность, которой удивлял друзей, но в лености по исправлению служебных обязанностей несколько не уступал своему начальнику Крылову. В апреле 1825 г. Дельви́г ездил к опальному Пушкину в Михайловское и прожил там несколько дней. Утро они проводили в чтении и литературных спорах, потом играли на бильярде, обедали поздно, вечера проводили в Тригорском. Пушкин писал брату Льву: «Как я рад баронову приезду! Он очень мил! Наши барышни все в него влюбились, — а он равнодушен, как колода, любит лежать

на постели, восхищаясь «Чигиринским старо-
стою» (поэма Рылеева)». В стихотворении «19
октября» (1825) Пушкин так вспоминал об
этом посещении Дельвига:

*Когда постиг меня судьбины гнев,
Для всех чужой, как сирота без-
домный,
Под бурею главою поник я томной
И ждал тебя, вещун пермесских
дев.
И ты пришел, сын лени вдохновен-
ный,
О, Дельвиг мой: твой голос пробудил
Сердечный жар, так долго усып-
ленный,
И бодро я судьбу благословил.*

За это посещение ссыльного Пушкина
Дельвиг был удален со службы директором
Публичной библиотеки А. Н. Олениным. Че-
рез несколько месяцев он поступил в канце-
лярию министерства внутренних дел. В ок-
тябре того же года женился на С. М. Салтыко-
вой. С 1824 г. редактировал ежегодные альма-
нахи «Северные цветы», замечательнейшие
по подбору произведений и изящной внешне-

сти.

Роста Дельвиг был выше среднего, очень полный; эта болезненная полнота его казалась дородством; из-под высокого, прекрасного лба смотрели голубые глаза, всегда в очках с черной оправой. Был лениво-медлителен и двадцатилетним еще юношей очень степенен; Пушкин говорил, что Дельвиг «родился женатым». Однако он любил и покутить, и поскандалить, что тогда считалось молодечеством; в кругу повес «Зеленой лампы» чувствовал себя, как дома. Писал Пушкину в Михайловское: «...нет ничего скучнее теперешнего Петербурга. Вообрази, даже простых шулунов нет! Квартальных некому бить! Мертво и холодно». Первое от Дельвига впечатление было человека холодного и ко всему равнодушного, но кто узнавал его ближе, тот горячо начинал любить за глубокое душевное благородство, веселое добродушие и отзывчивость. А. П. Керн вспоминает: «Мы никогда не видели Дельвига скучным или неприязненным к кому-либо. Может быть, та же самая любовь спокойствия, которая мешала ему быть деятельным, делала его до крайности

снисходительным ко всем и даже в особенности к слугам. Они обращались с ним запанибрата, могли быть и грубыми, и пренебрежительными; он на них рукой махнул, и, если бы они вздумали ходить на головах, я думаю, он бы улыбнулся и сказал бы свое обычное: «Забавно!» Он так мило, так оригинально произносил это «забавно», что весело вспомнить. И замечательно, что иногда он это произносил, когда вовсе не было забавно, а было грустно или досадно. Гостеприимный, великодушный, деликатный, он умел счастливить всех его окружающих». Жил он, женившись, на Владимирской улице. По утрам занимался в своем маленьком кабинете, отделенном от передней простой перегородкой из зеленой тафты. Дома ходил в малиновом шелковом шлафроке, за обедом сам разливал суп. Любил хорошее вино и вкусный стол. Спал долго, рано встать было для него серьезным страданием. Был, как Пушкин, очень суеверен: боялся тринадцати человек за столом, передачи соли, плевал, встретясь на улице со священником, имел, кроме того, много собственных примет. Был, однако, очень умен, обладал

тонким вкусом и выдающимся критическим чутьем при полном отсутствии профессиональной зависти. Еще в лицее он восторженно приветствовал в стихах Пушкина как бесспорного преемника Державина и предсказывал ему бессмертие. Оценил Баратынского и Языкова, когда они были совсем еще неизвестны. В сонете, обращенном к молодому, только что начинавшему Языкову, в 1823 г. Дельвиг писал:

*Младой певец, дорогою прекрасной
Тебе итти к Парнасским высотам,
Тебе венок, – поверь моим словам, –
Плетет Амур с Каменной сладкогласной.
От ранних лет я пламень не напрасный
Храню в душе, благодаря богам,
Я им влеком к возвышенным певцам
С какою-то любовью пристрастной.
Я Пушкина младенцем полюбил,
С ним разделял и грусть, и насла-*

жденье,
И первый я его услышал пенье
И за себя богов благословил!
Певца «Пиров» я с музой подру-
жил
И славой их горжусь в вознаграж-
денье.

Певец «Пиров» Баратынский, в самую тяжелую пору жизни нашедший опору в дружбе и руководстве Дельвига, писал ему:

Ты помнишь ли, с какой судьбой
суровой
Боролся я, почти лишенный сил?
Не ты ль тогда мне бодрость воз-
вратил?
Не ты ль душе повеял жизнью но-
вой?
Ты ввел меня в семейство добрых
муз...
...Молюся я судьбине,
Чтоб для тебя я стал хотя от-
ныне,
Чем для меня ты стал уже дав-
но!

Пушкин любил Дельвига горячо; по единогласному свидетельству друзей, никого он не

любил больше Дельвига. А. П. Керн вспоминает их встречу осенью 1828 г. при возвращении Дельвига в Петербург после девятимесячной отлучки: «Пушкин, узнав о приезде Дельвига, тотчас приехал, быстро пробежал через двор и бросился в его объятия: они целовали друг у друга руки и, казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались: была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях». Дельвиг имел большое влияние на Пушкина. «Дельвиг со всеми товарищами по лицу был одинаков в обращении, но Пушкин обращался с ними разное, — вспоминает племянник Дельвига. — С Дельвигом он был вполне дружен и слушался, когда Дельвиг его удерживал от излишней картежной игры и от слишком частого посещения знати, к чему Пушкин был очень склонен. С некоторыми же из своих товарищей-лицеистов, в которых Пушкин не видел ничего замечательного, обходился несколько надменно, за что ему часто доставалось от Дельвига. Тогда Пушкин, видимо, на несколько времени изменял свой тон и с этими товарищами».

После женитьбы Дельвига дом его стал одним из литературных центров Петербурга. Собирались по средам и воскресеньям. Постоянными посетителями были Пушкин, Мицкевич, Жуковский, Крылов, Гнедич, Плетнев, Вяземский, М. И. Глинка, лицейские товарищи Дельвига М. Л. Яковлев и Илличевский, начинающие поэты Подолинский, Щастный, Деларю, в последние годы – Гоголь. На этих вечерах говорили по-русски, а не по-французски, как тогда было принято. Читали новые произведения, спорили о литературе, Глинка играл на фортепиано, Яковлев пел.

В 1830 г. удалось осуществить давнюю мечту пушкинского кружка – иметь собственную литературную газету для проведения в публику здоровых художественных вкусов и для борьбы с растлевающим влиянием на нее болгаринской прессы. Редактором «Литературной газеты» стал Дельвиг. Болгаринские органы, почуяв опасного конкурента, яро напали на газету и пустили в ход привычное для них оружие – доносы. Дельвигу несколько раз приходилось иметь объяснения с Третьим отделением. Наконец разразилась гроза. В

конце октября 1830 г. вышел очередной номер «Литературной газеты». В конце номера была помещена заметка, в которой приводилось (на французском языке) четверостишие Казимира Делавиня на памятник, который в Париже предполагалось поставить «жертвам 27, 28 и 29 июля» (июльской революции). Стихи такие: «Франция, скажи мне их имена, я их не вижу на этом погребальном памятнике. Они победили так быстро, что ты стала свободной раньше, чем успела узнать имена их». Дельви́г получил предложение явиться в Третье отделение. Бенкендорф встретил его очень грубо и спросил, обращаясь на «ты»:

– Что ты опять печатаешь недозволенное?

Кричал, что он Дельвига с его друзьями Пушкиным и Вяземским упечет в Сибирь, топал на него ногами. Дельви́г оправдывался с большим достоинством, – по терминологии Бенкендорфа, «самонадеянно и дерзко». Бенкендорф выгнал его из кабинета, повторив:

– Вон, вон, я упрячу тебя с твоими друзьями в Сибирь!

Дельви́г собирался жаловаться на Бенкендорфа царю, но сановные его друзья пришли

в ужас от такого его намерения и отговорили его, растолковав, что можно царю жаловаться на кого угодно, даже на самого царя, только не на Бенкендорфа, что этим Дельвиг погубит и себя, и жену с маленькой дочерью. По их заступничеству, Бенкендорф послал к Дельвигу своего чиновника заявить, что сам по нездоровью не может приехать, а прислал извиниться в том, что погорячился при свидании, что издание «Литературной газеты» будет снова разрешено, но только под редакцией Сомова (помощника Дельвига), так как уже состоялось высочайшее повеление о запрещении издания под его редакцией. Извинение Бенкендорфа нисколько не подействовало на Дельвига к лучшему. Он, всегда хворый и постоянно принимавший лекарства, заболел сильнее прежнего, впал в апатию, не хотел никого видеть. Зимой он простудился, заболел «гнилою горячкою» и умер 14 января 1831 г.

На Пушкина смерть Дельвига произвела впечатление потрясающее. Он был в то время в Москве и писал Плетневу: «Грустно, тоска. Вот первая смерть мною оплаканная. Никто

на свете не был мне ближе Дельвига. Из всех связей детства он один оставался на виду, около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Вчера провел я день с Нащокиным, который сильно поражен его смертью. Говорили о нем, называя его «покойник Дельвиг», и этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Нечего делать! Согласимся. Покойник Дельвиг. Быть так. Баратынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здоров – и постараемся быть живы».

В этом же году, в стихах на лицейскую годовщину, Пушкин писал:

*Чем чаще празднует Лицей
Свою святую годовщину,
Тем робче старый круг друзей
В семью стесняется едину,
Тем реже он; тем праздник наш
В своем веселии мрачнее;
Тем глуше звон заздравных чаш
И наши песни тем грустнее...
Мы возмужали; рок судил
И нам житейски испытанья;
И смерти дух средь нас ходил
И назначал свои закланья.*

*Шесть мест упраздненных сто-
ят,
Шести друзей не узрим боле:
Они разбросанные спят –
Кто здесь, кто там, на ратном
поле,
Кто дома, кто в земле чужой,
Кого недуг, кого печали
Свели во мрак земли сырой,
И надо всеми мы рыдали.*

*И мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельви́г милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений,
Туда, в толпу теней родных
Навек от нас ушедший гений.*

**Баронесса Софья Михайловна Дельви́г
(1806–1888)**

Жена поэта Дельвига, дочь М. А. Салтыкова
и швейцарской француженки. образова-
ние получила в петербургском частном жен-
ском пансионе, где одним из учителей ее был
П. А. Плетнев, внушивший ей большую лю-
бовь к русской словесности. Еще девушкой

она знала наизусть всего Пушкина, любила Дельвига, Баратынского, Рылеева. Летом 1824 г., живя в смоленской деревне своего дяди П. П. Пассека, она горячо полюбила гостившего там П. Г. Каховского, будущего декабриста, одного из пяти повешенных. Каховский сделал предложение, но отец Софьи Михайловны, М. А. Салтыков, решительно отказал на том основании, что «у него нет ничего». Каховский должен был немедленно уехать, не простившись с любимой. Он не раз пытался увидеться с ней в Петербурге, предлагал ей через ее брата увезти ее, но Софья Михайловна отказалась, хотя в душе продолжала любить его, и в дальнейшем стала возвращать ему его письма нераспечатанными. Подруге своей она писала: «Я раскаиваюсь, что забывала о Боге так долго, и стараюсь загладить свою вину. Если я когда-нибудь выйду замуж, то не хочу больше, чтобы это случилось по «страсти»; я вижу, что все порывы страсти – лишь безрассудство, которое ведет к раскаянию и дает лишь призрачные радости».

В мае 1825 г. Софья Михайловна познакомилась с бароном А. А. Дельвигом. Они быст-

ро полюбили друг друга, Дельвиг уже через две недели после знакомства сделал предложение и получил от отца и дочери согласие. Летом Дельвиг писал невесте: «Я отдался тебе на жизнь и на смерть. Береги меня твоею любовью, употреби все, чтобы сделать меня высочайшим счастливцем, или скорее скажи: «умри, друг», – и я приму это слово, как благословение». 30 октября Дельвиг женился, получив в приданое от отца невесты 80 000 (по другим сведениям 100 000) рублей чистыми деньгами и обещание завещать 130 душ. Племянник поэта А. И. Дельвиг рассказывает: «Когда я приехал в Петербург, Софье Михайловне Дельвиг только что минуло двадцать лет. Она была очень добрая женщина, очень милостивая, симпатичная, прекрасно образованная, но чрезвычайно вспыльчивая, так что часто делала такие сцены своему мужу, что их можно было выносить только при его хладнокровии. Она много оживляла общество, у них собиравшееся». Общество было почти исключительно мужское. Женского, кстати, и сама Софья Михайловна не любила. Пылкая и страстная, она охотно принимала

ухаживания окружавших ее поклонников. В конце 1827 г. приехал в Петербург Алексей Вульф. Он записывает в дневнике: «Я познакомился с С. М. Дельвиг, молодою, очень милою женщиною лет двадцати. С первого дня нашего знакомства показывала она мне очень явно свою благосклонность, которая мне чрезвычайно польстила оттого, что я так скоро обратил на себя внимание женщины, жившей в свете и всегда окруженной толпою молодежи столичной. Рассудив, что, по дружбе ее с А. П. Керн и по разным слухам, она не должна быть весьма строгих правил, решился я ее предпочесть. Я не ошибся в моем расчете: недоставало только случая, чтобы увенчать мои желания. Но неожиданно все расстроилось. Муж ее, движимый, кажется, ревностью, не ко мне одному, принял поручение ехать на следствие в дальнюю губернию и через месяц после нашего знакомства увез мою красавицу». По возвращении Дельвигов в Петербург отношения между Вульфом и женой Дельвига возобновились. «Любовные дела мои шли успешно, – рассказывает он. – Софья становилась с каждым днем нежнее, пламенней, и

ревность мужа, казалось, усиливала ее чувства. Совершенно от меня зависело увенчать его чело, но его самого я слишком много любил, чтобы так поступить с ним. Я ограничился наслаждением проводить с ней вечера в разговоре пламенным языком сладострастных осязаний». Загородная прогулка на тройках в Красный Кабачок окончательно упрочила их отношения. «С этого гуляния, – продолжает Вульф, – Софья совершенно предалась своей временной страсти и, почти забывая приличия, давала волю своим чувствам, которыми никогда, к несчастью, не училась она управлять. Мы не упускали ни одной удобной минуты для наслаждений, – с женщиной труден только первый шаг, а потом она сама почти предупреждает роскошное воображение, всегда жаждущее нового сладострастия. Я не имел ее совершенно, потому что не хотел, но несколько вечеров провел я с нею, где истощил мое воображение, придумывая новые сладострастия». Вскоре затем приехал из Москвы молодой студент-медик С. А. Баратынский, брат поэта, очень красивый, очень умный, с пылкими глазами, и целые дни стал

проводить у Дельвигов, скрывая от петербургских родных свой приезд. В связи со всем этим загадочное и жуткое впечатление производит запись Вульфа о мимолетной встрече в его присутствии Софьи Михайловны с Пушкиным: «Мы начали говорить о нем; она уверяла, что его только издали любит, а не вблизи; я удивлялся и защищал его; наконец она, приняв одно общее мнение его об женщинах за упрек ей, заплакала, говоря, что это ей тем больнее, что она его заслуживает. Странное было для меня положение быть наедине с женщиною, в которую я должен быть влюблен, плачущею об прежних своих грехах».

Наружно семейная жизнь Дельвигов производила впечатление семейной идиллии, но Дельвиг ясно видел, что творится под покровом этой идиллии. По мнению некоторых исследователей, личная семейная трагедия Дельвигов в большей мере ускорила его смерть, чем предсмертное его столкновение с Бенкендорфом. А. П. Керн после смерти Дельвига писала Вульфу: «Барон Дельвиг переселился туда, где нет ревности и воздыханий».

И должно быть, Дельвиг горько вспоминал о самом себе, когда писал элегию на смерть Веневитинова; на жалобы девушки о рано погибшем юноше роза отвечает:

*Дева, не плачь! Я на прахе его в
красоте расцветаю
Сладость он в жизни вкусив, го-
речь оставил другим
Ах! и любовь бы изменою душу
певца отравила!
Счастлив, кто прожил, как он,
век соловьиный и мой!*

Софья Михайловна была глубоко потрясена смертью Дельвига. В феврале она писала подруге: «Это – рана, которая никогда не закроется. Потерять такого друга, как он, в таком возрасте! После того что я испытала такое глубокое счастье в продолжение пяти лет. Можно ли когда-нибудь забыть его! Он был человек необыкновенный и муж необыкновенный... Конечно, я не была достойна такого человека, однако было слишком жестоко отнять его у меня». Однако уже в начале мая О. С. Павлицева писала мужу: «Баронессу Дельвиг я видела только два раза, она не лю-

бит, чтобы ее посещали, женщины, разумеется. Но она всегда со своим кузенком Сапуном и Сомовым, и видели, как она кокетничала в церкви с Резимоном».

В конце мая приехал в Петербург С. А. Баратынский. Он повел энергичную атаку на Софью Михайловну: говорил, что жить без нее не может, умолял выйти за него замуж, клялся всего себя посвятить ей и ее дочери, заявил, что, если она ему откажет, он решил покончить с собой. «Его отчаяние, – писала Софья Михайловна подруге, – малая надежда на изменение его страшного решения, отвращение к предстоявшей мне совместной жизни с моим отцом, наконец, одна минута слабости, все это решило мою судьбу, и я не могла получить от нетерпеливости Сергея отсрочки, которая требовалась хотя бы приличием». В конце июля они тайно повенчались. Софья Михайловна с маленькой дочкой поселилась у свекрови своей, баронессы Дельвиг, в ее тульском имении. Но вскоре выяснилась ее беременность, она объявила о своем замужестве и уехала в Тамбовскую губернию к новому своему мужу. Остальную жизнь она про-

жила в тамбовском имении мужа. Д-р Баратынский нигде не служил, но лечил безвозмездно почти всю Тамбовскую и Саратовскую губернии. Жизнь с ним Софьи Михайловны была очень тяжелая. Павлищева писала мужу в 1835 г.: «Она живет с мужем, как собака с волком. Он, под предлогом посещения больных, целыми месяцами не бывает дома... Он ее чубуком бьет беспрестанно».

**Петр Яковлевич Чаадаев
(1794–1856)**

Родился в Москве, в богатой помещичьей семье. Трех лет остался круглым сиротой; вместе со старшим на полтора года братом Михаилом воспитывался в доме дяди своего по матери, богатого екатерининского барина князя Д. М. Щербатова. Замечательная красота мальчика, бойкость, острый ум и необыкновенные способности сделали его в родственном кругу общим баловнем. Около 1809 г. Чаадаев, блестяще подготовленный, поступил в Московский университет. Там его товарищами были Грибоедов, Н. И. Тургенев, И. Д. Якушкин, В. А. Перовский. Чаадаев выдавался начитанностью, резким своеобразием ума и

гордой самостоятельностью. Вместе с тем уже шестнадцать лет он был одним из самых блестящих молодых людей московского большого света и одним из лучших танцоров. По окончании университета поступил на военную службу в лейб-гвардии Семеновский полк в Петербурге. Прodelал кампанию 1812–1814 гг., участвовал в Бородинском сражении, тарутинском, лейпцигском и многих других. В начале 1816 г. перевелся в лейб-гвардии гусарский полк, стоявший в Царском Селе. Здесь, в доме Карамзина, Чаадаев познакомился с лицеистом Пушкиным. Они сблизились. Племянник Чаадаева М. И. Жихарев рассказывает: «Во время пребывания Чаадаева с лейб-гусарским полком в Царском Селе между офицерами полка и воспитанниками лицея образовались непрестанные ежедневные и очень веселые отношения. То было, как известно, золотое время лицея. Воспитанники поминутно пропадали в тенистых вековых аллеях царскосельских садов, иногда даже в переходах и различных помещениях самого царского дворца. Шумные скитания щеголеватой, утонченной молодежи очень ско-

ро возбудили внимательное, бодрствующее чутье Чаадаева и еще скорее сделались целью его верного, меткого, – исполненного симпатического благоволения охарактеризования. Юных, разгульных любомудрцев он сейчас же прозвал «философами-перипатетиками». Прозвание было принято воспитанниками с большим удовольствием, но ни один из них не сблизился столько с его творцом, сколько Пушкин». Пушкин часто посещал Чаадаева, жадно слушал беседы умного и образованного гусара. Беседы эти, по мнению одного из мемуаристов, больше способствовали развитию и образованию Пушкина, чем вся лицейская наука.

В 1817 г. Чаадаев был назначен адъютантом к командиру гвардейского корпуса генералу Васильчикову и поселился в Петербурге. Пушкин кончил курс в лицее и тоже переехал в Петербург. Знакомство их продолжалось. Дошел рассказ современника в черновой записи Анненкова: «Чаадаев, воспитанный превосходно, не по одному французскому манеру, но и по-английски, был уже двадцати шести лет, богат и знал четыре языка. Влияние

на Пушкина было изумительно. Он заставлял его мыслить. Французское воспитание нашло противодействие в Чаадаеве, который уже знал Локка и легкомыслие заменял исследованием. Чаадаев был умен, он думал о том, о чем никогда не думал Пушкин. Пушкин, восхищавшийся Державиным, встретил у Чаадаева опровержение, а именно за неточность изображений. Пример был «Путник» Державина: «Луна светит, сквозь мрак ужасный путник едет в челноке». Взгляд Чаадаева на жизнь был серьезен. Он поворотил Пушкина на мысль. Пушкин покидал свои дурачества в доме Чаадаева, который жил тогда в Демутовом трактире». Об огромном умственном и нравственном влиянии на него Чаадаева рассказывает и сам Пушкин в послании к Чаадаеву:

*Ты был целителем моих душев-
ных сил;
О, неизменный друг, тебе я посвя-
тил
И краткий век, уже испытанный
судьбою,
И чувства, может быть, спасен-*

ные тобою!
Во глубину души вникая строгим
взором,
Ты оживлял ее советом иль укором;
Твой жар воспламенял к высокому любовь;
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Уж голос клеветы не мог меня обидеть:
Умел я презирать, умея ненавидеть.

Они беседовали, спорили, вместе читали. Беседы были на самые разнообразные темы. Но главной темой было то, что тогда составляло общую боль всех живых душой людей: мрачный гнет самодержавия, отсутствие свободы, тяжелое положение родины. По тогдашнему своему настроению Чаадаев был близок к членам Тайного общества, есть даже сведения, что он состоял в «Союзе благоденствия». Пушкин так писал, обращаясь к Чаадаеву:

*Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье*

*Мы ждем в томленьи упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь; взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!*

При исключительном уме, при необыкновенной образованности, Чаадаев был очень красив: белый, с нежным румянцем, стройный, тонкий, изящный, с великолепным лбом; товарищи называли его «le beau[266] Tchadaef». Обладал безукоризненно-светскими манерами, был любезен, одевался с непри-
нужденным изяществом денди. Этот дендизм, которым в то время увлекался и Пушкин, так же импонировал ему, как ум и образованность Чаадаева. Он рассказывает про Онегина:

Второй Чадаев, мой Евгений,

*Боясь ревнивых осуждений,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.
Он три часа, по крайней мере,
Пред зеркалами проводил...*

Весной 1820 г., когда Пушкин был вызван к петербургскому генерал-губернатору и ему грозила жестокая кара за его революционные стихи, Чаадаев поздним вечером прискакал к Карамзину, немного удивил его своим приездом в такой поздний час, принудил Карамзина оставить свою работу и убедил, не теряя времени, заступиться за Пушкина перед императором Александром. Пушкин, как известно, был отправлен на юг, на службу к генералу Инзову.

В ссылке Пушкин часто вспоминал Чаадаева, переписывался с ним. Весной 1821 г. он записал в кишиневском дневнике: «Получил письмо от Чаадаева. Друг мой, упреки твои жестоки и несправедливы: никогда я тебя не забуду. Твоя дружба мне заменила счастье, одного тебя может любить холодная душа моя».

И в послании к Чаадаеву писал:

...дружбы нет со мной: печальный
вижу я
Лазурь чужих небес, полдневные
края;
Ни музы, ни труды, ни радости
досуга,
Ничто не заменит единственного
друга...
Ты сердце знал мое во цвете юных
дней;
Ты видел, как потом в волнении
страстей
Я тайно изнывал, страдалец
утомленный;
В минуты гибели над бездной по-
таенной
Ты поддерживал меня недремлю-
щей рукой;
Ты другу заменил надежду и по-
кой...
Одно желание: останься ты со
мною!
Небес я не томил молитвою дру-
гой.
О, скоро ли, мой друг, настанет
срок разлуки?
Когда соединим слова любви и ру-
ки?

Когда услышу я сердечный твой
привет?
Как обниму тебя! Увижу кабинет,
Где ты всегда мудрец, а иногда
мечтатель
И ветреной толпы бесстрастный
наблюдатель;
Приду, приду я вновь, мой милый
домосед,
С тобою вспоминать беседы
прежних лет,
Младые вечера, пророческие споры,
Знакомых мертвецов живые разговоры;
Поспорим, перечтем, посудим, по-
браним,
Вольнолюбивые надежды оживим,
И счастлив буду я...

В судьбе Чаадаева в это время произошел резкий перелом. Он преуспевал на службе, его уже прочили во флигель-адъютанты к императору. Осенью 1820 г. произошло восстание Семеновского полка. Царь в это время находился за границей на конгрессе в Троппау.

Командир гвардейского корпуса Васильчиков послал к нему с докладом о случившемся своего адъютанта Чаадаева. Чаадаев исполнил поручение, а вскоре после этого неожиданно подал в отставку. Рассказывали, что Чаадаев ехал к царю очень не спеша, долго задерживался на станциях в заботах об удобствах и костюме и приехал, тогда когда император узнал уже о случившемся от Меттерниха. Это все вздор, ничего такого не было. Александр был своевременно извещен о событии фельдъегерем, Чаадаев же должен был устно сообщить ему все подробности. Но, приняв поручение, Чаадаев ставил себя в очень неловкое положение: все в Петербурге знали, что восстание солдат и попустительство офицеров вызваны были неслыханной даже для того времени свирепостью командира полка Шварца, очень любимого императором. Этого, конечно, Чаадаев не мог и, во всяком случае, не посмел сообщить императору, а должен был изложить официальную версию начальства, где виновными выставлялись солдаты и офицеры полка. Все гвардейское офицерство было возмущено, что Чаадаев, сам

бывший семеновский офицер, взял на себя такое поручение, обвиняло его в желании выслужиться и получить флигель-адъютантские вензеля. Самолюбивый Чаадаев нашел один выход восстановить честь – отказался от предложенного ему флигель-адъютантства и ушел со службы. Было перлюстрировано письмо его к тетке, где Чаадаев с пренебрежительной насмешкой говорил о флигель-адъютантстве. Он уволен был в отставку с чином «отставного гвардии ротмистра», без обычного в таких случаях повышения в следующий чин.

Два года Чаадаев прожил в полном бездействии то в Москве, то в деревне у тетки. За это время он испытал какой-то глубокий душевный переворот, сильно хворал и, совсем больной, в июле 1823 г. уехал лечиться за границу. У него было тяжелое нервное расстройство, он страдал упорными запорами, геморроем. Чаадаев побывал в Англии, Франции, Италии, Швейцарии, Германии. В Берне с ним встречался Д. Н. Свербеев. Он рассказывает: «Красивый Чаадаев всех поражал недоступною своею важностью, безукоризненной изящно-

стью манер и одежды. Оставивший службу почти поневоле и очень недовольный собою и всеми, он выражал все свое негодование на Россию и на всех русских без исключения. Он не скрывал в своих резких выходках глубочайшего презрения ко всему нашему прошедшему и настоящему и решительно отчаивался в будущем. Он обзывал Аракчеева злодеем, высших властей – военных и гражданских – взяточниками, дворян – подлыми холопами, духовных – невеждами, все остальное – коснеющим и пресмыкающимся в рабстве». За границей Чаадаев познакомился с Гумбольдтом, Кювье. На карлсбадских водах провел несколько дней с Шеллингом в близком общении. Шеллинг говорил, что Чаадаев, по его мнению, один из замечательных людей нашего времени и уж, конечно, самый замечательный из всех известных ему русских.

Заграничное лечение не помогло Чаадаеву. Летом 1826 г. он вернулся в Россию. При въезде подвергся обыску по подозрению в прикосновенности к декабрьскому движению, был оправдан, однако московскому генерал-губернатору было поручено иметь за ним

бдительный надзор. Чаадаев поселился в Москве и повел жизнь совершенно затворническую. Ни с кем не видался; когда, в ежедневных своих прогулках по городу, нечаянно встречался с людьми самыми близкими, явно от них убегал или надвигал шляпу на лицо, чтоб его не узнали. Мрачным, угрюмым нелюдимом он прожил так пять лет. Лечившему его профессору Альфонскому он смертельно надоел своей мнительностью и капризами. Летом 1831 г. Альфонский почти насильно свез Чаадаева в Английский клуб. Здесь Чаадаев встретил множество старых знакомых и был радушно принят ими. С этого дня Чаадаев сделался постоянным посетителем клуба, стал бывать у знакомых, принимать у себя, словом, был возвращен обществу. Вместе с тем и здоровье его заметно поправилось.

В египетской пустыне лежит в развалинах древняя столица Египта – стовратные Фивы. В первые века христианства эти развалины назывались Фивайдой. В норах обрушившихся храмов и в гробницах ютились дикие звери, птицы, – в них же жили христианские от-

шельники, в молитве и в молчании готовившиеся к проповедыванию среди людей своей веры. Такой Фиваидой, по словам Чаадаева, явилось для него московское пятилетнее его одиночество. При внешней бездеятельности он много думал, читал, искал. В результате жизненная ладья его, носившая по морю сомнений и уныния, «пристала к подножию креста». Посмотрим, что обрел он у этого подножия.

Историей руководит божий промысел. Языческие народы в жизни своей руководились «интересами», у христианских народов Европы все положительные, материальные, личные интересы поглощались идеей. В этом одушевлении жизни духовными интересами вся тайна европейской культуры и залог ее дальнейшего развития. Эллинская культура и самый яркий ее представитель Гомер вызывает в Чаадаеве омерзение – «гибельный героизм страстей, грязный идеал красоты, необузданное пристрастие к земле, – все это заимствовано нами у Гомера. Философия истории по совести обязана бы наложить на чело Гомера клеймо неизгладимого позора». Средние

века – это наивысший и прекраснейший расцвет истинно христианской культуры. «По истории средних веков, – пишет Чаадаев, – можно ясно видеть, какое направление приняла бы мысль христианских народов, если бы она всецело отдалась руке, которая ее вела». Но пришла эпоха Возрождения и сбила европейские народы с правильного пути. Этот возврат к язычеству будет возбуждать в новых народах стыд как воспоминание о сумасшедшем и преступном увлечении молодости. По мнению Чаадаева, «доказано, что наиболее плодотворными эпохами в истории человеческого духа были те, когда наука и религия шли рука об руку»; все великие научные открытия совершены тогда, когда наука опиралась на теологию (!). Новейшие научные открытия ведут к полному подтверждению космогонической системы, изложенной в Библии, и философия истории совершенно невозможна без допотопных событий, рассказанных в «книге Бытия». Все революции ничего, кроме вреда, не приносят и отбрасывают человечество далеко назад. «Ищите же прежде всего Царства Божия и правды Его, и все

остальное приложится вам». Сила, объединяющая человечество и ведущая его к Царству Божию на земле, это – «истинное христианство, представленное католичеством». Папство существенным образом вытекает из самого духа христианства, оно централизует христианские идеи, сближает их между собой и в силу своего божественного призвания величаво парит над миром материальных интересов. Протестантизм снова поверг мир в языческую разъединенность. Но, «слава Богу, реформация не все разрушила; слава Богу, общество было уже вполне построено для вечной жизни, когда этот бич поразил христианский мир». Россия осталась чужда великому нравственному движению, которым жила католическая Европа. Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к растленной, глубоко презираемой европейскими народами Византии и получили из ее рук мертвое, в корне искаженное христианство. И по этой причине, когда христианский мир величественно шествовал по пути, предначертанному его божественным основателем, – мы, хотя и носили имя христиан, не двигались с места.

Вот какое учение вынес Чаадаев из своей Фиваиды. Он стал появляться во всех великосветских салонах, ежедневно бывал в клубе. Изящный, умный, красноречивый, он везде делался центром общества. М. И. Жихарев рассказывает: «Склад речи и ума Чаадаева поражал всякого какою-то редкостью и небывалою невиданностью, чем-то ни на кого не похожим. Он обладал способностью магнетического притяжения людей. Его разговор, даже одно его присутствие действовали на других, как шпоры на благородную лошадь». Дамы ему поклонялись и носили на руках, им Чаадаев проповедовал особенно охотно, к даме обращены его религиозно-философские письма, которые он в копиях распространял в обществе. Он сам где-то назвал себя «философом женщин».

Чаадаев был проповедником – в представлении его недоброжелателей. Буйно-революционный христианский догматизм Ламмене вызывал в нем отрицательное чувство. «Как можно искать разума в толпе? – писал он. – Где видано, чтоб толпа была разумна? Это вовсе не христианское исповедание. Каждому

известно, что христианство, во-первых, предполагает жительство истины не на земли, а на небеси; во-вторых, что когда она является на земли, то возникает не из толпы, а из среды избранных или призванных».

В 1836 г. Надеждин опубликовал в своем журнале «Телескоп» одно из «Философических писем» Чаадаева, написанное шесть лет назад и представлявшее совершенно ясное частичное изложение чаадаевской системы, выше изложенной: спасение человечества только в религии; у западноевропейских народов единственным могучим двигателем были идеи, поглощавшие все материальные и личные выгоды; основная сила, оживотворяющая Европу, это – католицизм; наше декабрьское движение – плод дурных понятий и губительных заблуждений, оно отодвинуло нас назад на полстолетия и т. д. Рядом с этим письмо заключало в себе страстные нападки на Россию, на ее отсталость, некультурность, ничтожность ее истории, убожество ее настоящего. «Посмотрите вокруг себя, – писал Чаадаев. – Все как будто на ходу. Мы все как будто странники. Нет ни у кого сферы определен-

ного существования. Мы явились в мир, как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали, не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего... Мы растем, но не зреем; идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели... В наших головах решительно нет ничего общего; все в них частно, и к тому еще неверно, неполно. Даже в нашем взгляде я нахожу что-то неопределенное, холодное, несколько сходное с физиономией народов, стоящих на низших ступенях общественной лестницы... Во все продолжение нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; ни одной полезной мысли не возросло на бесплодной нашей почве; ни одной великой истины не возникло из-среди нас». Под статьей стояло: «Некрополис» (город мертвых, т. е. Москва).

Герцен ярко рассказывает о впечатлении, произведенном статьей Чаадаева:

«Письмо Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и

возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, – все равно, надобно было проснуться. Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и непривыкшей к независимому говору, что «Письмо» Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горя от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними – десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, казнь, Николай. Пустое место, оставленное сильными людьми, сосланными в Сибирь, не замещалось. Мысль томила, работала, но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно, да и нечего было сказать. Вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтобы спокойно сказать: «*lasciate ogni speranza* (оставьте всякую надежду)!» Появился наконец человек с душою, переполненною горечью; он нашел страшные слова, чтобы сказать с погребаль-

ным красноречием, с убийственным спокойствием все, что накопилось за десять лет горького на душе образованного русского. Строгий и холодный, автор требует отчета у России о всех страданиях, которыми она надеяет всякого, кто осмелился бы выйти из состояния скотины. Он хочет знать, что мы этой ценой покупаем, чем мы заслужили такое положение. Да, этот мрачный голос слышался только для того, чтобы сказать России, что она никогда не жила по-человечески, что ее прошлое было бесполезно, ее настоящее излишне и что у ней нет никакой будущности».

Письмо Чаадаева, хотя и ложно понятое, как впоследствии признавал и сам Герцен, все же потрясло всю Россию, мыслящую, ищущую, задыхающуюся в николаевских цепях живую ее часть. Но и в официальной России письмо произвело огромный переполох. Журнал, где напечатано было письмо Чаадаева, закрыли, редактора Надеждина сослали в Устьсысольск, цензора, пропустившего статью, уволили со службы. Чаадаева же официально объявили сумасшедшим и отдали под врачебный надзор. Каждое утро полицейский

лекарь должен был посещать Чаадаева и наблюдать за его здоровьем. Ему запрещено было писать. В остальном Чаадаеву была предоставлена свобода, он мог выходить из дома, мог принимать у себя гостей. Москва, всегда державшаяся несколько оппозиционно по отношению к Петербургу, с большим сочувствием относилась к людям, преследуемым Петербургом. Чаадаев, наряду с генералом Ермоловым и М. Ф. Орловым, стал в этом отношении одним из популярнейших в Москве людей. Популярности его способствовало исключительное обаяние, от него исходившее, огромный ум и изящное тонкое красноречие. Герцен так описывает Чаадаева того времени: «Печальная и самобытная фигура Чаадаева резко отделялась каким-то грустным упреком на фоне московского высшего общества. Я любил смотреть на него среди этой мишурной знати, ветреных сенаторов, седых повес и почетного ничтожества. Как бы ни была густа толпа, глаз находил его тотчас. Лета не искажили стройного стана его; он одевался очень тщательно; бледное, нежное лицо его, когда он молчал, было совершенно неподвижно,

как будто из воску или из мрамора; «чело, как череп, голый» («Полководец» Пушкина); серо-голубые глаза были печальны и с тем вместе имели что-то доброе; тонкие губы, напротив, улыбались иронически. Десять лет стоял он сложа руки где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе, и живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него... Старикам и молодым было неловко с ним, не по себе; они, Бог знает отчего, стыдились его неподвижного лица, его прямо смотрящего взгляда, его печальной насмешки, его язвительного снисхождения...»

Герцен до конца жизни сохранил нежную любовь к Чаадаеву и всегда вспоминал о нем с глубочайшим уважением. Но он многого не знал о нем. Не знал, что Чаадаев восторженно приветствовал Пушкина за его стихи на усмирение Польши, что писал ему по поводу этих стихов: «...вот наконец ты – национальный поэт; ты угадал наконец свое призвание». В 1851 г. Герцен, тогда уже эмигрант, издал за границей брошюру «О развитии революционных идей в России», где, между прочим, рас-

сказывал о революционизирующем действии, произведенном на общество «Философическим письмом» Чаадаева в «Телескопе». Выдержки из этой статьи приведены выше. В письме к Герцену Чаадаев тепло поблагодарил его за его отзыв, а шефу жандармов графу А. Ф. Орлову по поводу этого отзыва писал: «Каждый русский, каждый верноподданный царя, в котором весь мир видит Богом призванного спасителя общественного порядка в Европе, должен гордиться быть орудием, хотя и ничтожным, его высокого, священного призвания; как же остаться равнодушным, когда наглый беглец, гнусным образом искажая истину, приписывает нам собственные свои чувства и кидает на имя наше собственный свой позор?» И просил у Орлова разрешения написать опровержение на книгу Герцена. Копию этого письма Чаадаев дал прочесть своему племяннику М. И. Жихареву. Жихарев прочел и спросил:

– Зачем вы сделали эту ненужную гадость?

Чаадаев взял письмо, бережно сложил его в маленький портфельчик, который всегда носил при себе, и, помолчав с полминуты, от-

ветил:

– Мой дорогой, приходится дорожить своей шкурой.

Письмо его в «Телескопе», помимо, может быть, намерений Чаадаева, сыграло именно такую роль, какую отмечает Герцен. Упорная борьба Чаадаева с национальным чванством и квасным патриотизмом тоже должна быть зачтена ему в заслугу; хотя «западничество» Чаадаева шло совершенно из других истоков, чем западничество Белинского, Герцена, Бакунина, Грановского, но в общей борьбе их со славянофильством Чаадаев являлся ценным союзником. Наконец, Чаадаев, какова бы ни была его направленность, был все же большой и оригинальный ум, начисто заклеванный российским двуглавым орлом.

Обязательный врачебный надзор, которому был подвергнут Чаадаев, через год был снят, но запрещение писать осталось в силе. После истории с напечатанием его письма Чаадаев прожил двадцать лет. Жил он все время на Новой Басманной, во флигеле дома, принадлежавшего его друзьям Левашовым; остался там жить, когда дом был продан дру-

тому лицу. Флигель с годами пришел в полную ветхость, покосился. Но Чаадаев продолжал жить в нем до самой смерти и не давал хозяину возможности ни перекрасить полы квартиры, ни поправить печи. Он и лето проводил в Москве, отказывался даже на день, на два посетить знакомых на даче или в подмосковной деревне. Вел жизнь точно размеренную; в определенные часы гулял, в определенные дни бывал в Английском клубе, сидел там всегда на диване в маленькой каминной гостиной; если находил свое место занятым, выказывал явное неудовольствие. У кого бы ни был в гостях, какой бы ни был интересный разговор, ровно в половине одиннадцатого прощался и уходил. Обедал всегда в том же ресторане Шевалье. Чаадаев принимал у себя по понедельникам от часу до четырех дня. В трех маленьких комнатах его флигеля соби-рался весь цвет московской и приезжей ин-теллигенции. Чаадаев любил, чтоб его в эти дни не забывали, и зорко следил не манкирует ли кто из знакомых его понедельниками. Вообще был очень обидчив, щепетильно считался визитами и не выносил малейше непо-

читительного к себе отношения. Тщеславие его не знало границ. Одна дама спросила его, гуляет ли он зимой пешком. Чаадаев ответил:

– Я крайне удивлен, что мои привычки неизвестны кому-нибудь. Знайте же, что я гуляю ежедневно от часу до двух.

Знакомый Чаадаева собирался ехать во Францию и спросил, не будет ли у него каких поручений. Чаадаев сказал:

– Скажите французам, что я здоров.

У него всегда был большой запас собственных литографированных портретов, и он их дарил новым знакомым. «Вряд ли он был способен на истинную привязанность, – рассказывает С. В. Новосильцева. – Несмотря на мягкость приемов, в нем проглядывала какая-то сухость, и он не пренебрегал случаем порисоваться даже в чувстве». Интересно, между прочим, что у Чаадаева, как у многих людей, сильно живущих умственной жизнью, было совершенно атрофировано половое влечение, у него за всю жизнь не было ни одного романа с женщиной, не было даже мимолетной связи. Реальной жизнью он совершенно не интересовался и проявлялся в ней с крайней

наивностью. В начале 50-х гг. он говорил доброму своему приятелю, начальнику московских водопроводов:

– Решительно не могу понять вашего здесь назначения; я с ребячества жил в Москве и никогда не чувствовал недостатка в хорошей воде; мне всегда подавали стакан чистой воды, когда я этого требовал.

Когда-то Чаадаев был очень богат: общее его с братом имущество оценивалось в миллион рублей. Но Чаадаев не любил в чем-нибудь себе отказывать; прожил свою долю, прожил два полученных наследства. Брат долго помогал ему, но наконец отказался. Чаадаев занимал деньги направо и налево, за квартиру не платил, но нанимал ежемесячно элегантный экипаж, держал помимо другой прислуги камердинера, которому дозволялось заниматься только чистой работой, – даже сапоги этому камердинеру чистил другой служитель. Перчатки Чаадаев покупал дюжинами. Наденет одну перчатку, найдет, что она недостаточно элегантна, и отдает всю дюжину камердинеру.

Каковы были отношения между Чаадае-

вым и Пушкиным после высылки Пушкина из Петербурга, мы знаем мало. В 1826 г. оба они почти одновременно приехали в Москву: Пушкин – из псковской ссылки, Чаадаев – из заграничного путешествия. Но свиделись ли они в это время, мы достоверных сведений не имеем. Впоследствии встречались, беседовали. Однако дороги их слишком разошлись, от прежней умственной и нравственной близости мало осталось. Чаадаеву, ненавидевшему, как мы видели, Гомера, направление поэзии Пушкина было очень не по сердцу. В 1829 г. он писал ему: «Мое пламеннейшее желание, друг мой, видеть тебя посвященным в тайну времени. Нет более огорчительного зрелища в мире нравственном, как зрелище гениального человека, не понимающего свой век и свое призвание. Когда видишь, как тот, который должен был бы властвовать над умами, сам отдается во власть привычкам и рутинным настроениям черни, чувствуешь самого себя остановленным в своем движении вперед; говоришь себе: зачем этот человек мешает мне идти, когда он должен был бы вести меня? Это поистине бывает со мною всякий

раз, когда я думаю о тебе, а думаю я о тебе так часто, что совсем измучился. Не мешай же мне идти, прошу тебя. Если у тебя не хватает терпения, чтобы научиться тому, что происходит в мире, то погрузись в себя и извлеки из собственного твоего существа тот свет, который неизбежно находится во всякой душе, подобной твоей. Я убежден, что ты можешь принести бесконечное благо этой бедной России, заблудившейся на земле. Не обмани своей судьбы, мой друг... Обратись с воплем к небу, – оно ответит тебе». И в ряде писем Чаадаев старался обратить Пушкина в свою веру, посылал ему копии «Философических писем», пророческим тоном писал о гибели современного мира и о грядущей новой истине, звал Пушкина стать глашатаем этой истины. Пушкин отвечал Чаадаеву, – с одним соглашался, на другое возражал, но в основном оставался, к счастью, глубоко равнодушным к призывам бывшего друга.

Вскоре после смерти Пушкина Чаадаев в своей «Апологии сумасшедшего», говоря о письме своем в «Телескопе», писал: «Может быть, преувеличением было опечалиться на

минуту о судьбе народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина».

Князь Петр Андреевич Вяземский (1792–1878)

Крупный помещик. Острый критик, суховатый, скрипучий поэт, с полным преобладанием ума над эмоцией. Это по поводу него и к нему писал Пушкин: «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата». Ценен и до настоящего времени как мемуарист, как автор «Записной книжки», полной остроумия и блестящих, художественных характеристик тогдашнего быта и людей.

Сын князя Андрея Ивановича Вяземского, при Екатерине – наместника нижегородского и пензенского, при Павле – действительного тайного советника и сенатора. Родился в родовом подмосковном имении Вяземских Астафьеве, воспитывался в иезуитском пансионе в Петербурге, потом слушал у себя на дому лекции московских профессоров. В 1812 г. поступил в московское ополчение, в Бородинском сражении под ним были убиты две

лошади. В 1818 г. определился на службу в Варшаву к Н. Н. Новосильцеву, принимал деятельное участие в выработке проекта русской конституции, составление которой было поручено Александром I Новосильцеву. Письмо Вяземского, содержащее резкие отзывы о российских порядках, было перлюстрировано, он уволен от службы без прошения и отдан под негласный надзор полиции. Сам Вяземский по поводу увольнения своего говорит: «Я ни душою, ни телом не виноватый, а разве одною гимнастикою языка, прослыл за революционера и карбонара». Революционером и карбонарием Вяземский действительно не был. Он был умеренным конституционалистом, признававшим лишь лояльные способы борьбы, поклонником феодально-аристократической английской конституции, типичным либералом английского склада; стоял за уничтожение крепостного права из чувства чисто классового самосохранения. «Рабство, — писал он, — одна революционная стихия, которую имеем в России. Уничтожив его, уничтожим всякие предбудущие замыслы. Кому же, как не нам, приступить к этому де-

лу? Корысть наличная, обеспечение настоящего, польза будущего – все от этой меры зависит». Однако при всем этом Вяземский неистово ненавидел самодержавие, всепроникающим ядом отравлявшее строй русской жизни. Его стихотворения «Негодование», «Русский Бог» и др. по своему пафосу нисколько не уступают самым революционным стихам Рыльева и Пушкина и пользовались в свое время огромной популярностью. Оригинально, что Вяземский нисколько не сдерживался в письмах, прекрасно зная, что они тщательнейшим образом перлюстрируются. «Я, – рассказывает Вяземский, – писал часто в надежде, что правительство наше, лишенное независимых органов общественного мнения, узнает через перехваченные письма, что есть однако же мнение в России, что посреди глубокого молчания, господствующего на равнине нашего общежития, есть голос бескорыстный, укорительный представитель мнения общего». К планам и стремлениям декабристов Вяземский никакого касательства не имел, хотя и был в дружеских отношениях со многими из декабристов. Имени его нет в

официальном «Алфавите декабристов», куда занесены были даже лица оправданные. Однако император Николай был глубоко убежден в прикосновенности его к декабризму, ненавидел его всеми силами души и говорил Блудову: «Отсутствие имени его в этом деле доказывает только, что он был умнее и осторожнее других». Вяземский находился под усиленным наблюдением тайной полиции, он считался главой либерализма в Москве, доносы на него сыпались непрерывно. В 1828 г. было сообщено в Петербург, будто Вяземский собирается издавать под чужим именем газету; Николай через московского генерал-губернатора велел передать ему, что запрещает ему издавать оную газету, потому что ему известна развратная жизнь Вяземского, недостойная образованного человека.

В 1825 г. возник в Москве журнал Н. А. Полевого «Московский телеграф», явившийся органом боевого русского радикализма. В его основании ближайшее участие принимал Вяземский, он усердно сотрудничал в журнале, исправлял и дополнял статьи молодого редактора, привлек к сотрудничеству Пушкина и

других своих литературных друзей. Однако к концу двадцатых годов Вяземский стал отходить от журнала и наконец окончательно порвал с ним, признав Полевого «низвергателем законных литературных властей». Воевал с ним в «Литературной газете» Дельвига в защиту «литературной аристократии». Опальное положение, в котором находился Вяземский, начинало все больше тяготить его. Он послал царю обширную «Исповедь», в которой с достоинством, ни в чем не каясь, излагал свои лояльные политические взгляды. Письмо понравилось царю, и он предложил Вяземскому поступить на государственную службу, куда ему будет указано, – и указал на министерство финансов. Вяземский согласился. «Приходило так, – писал он А. И. Тургеневу, – что непременно должно было мне или в службу, или вон из России». Московский почт-директор А. Я. Булгаков сообщал брату: «...поэт наш сделался спокойнее и осторожнее... Очень радуюсь его назначению. У него прекрасная душа и способности, и когда отстанет от шайки либеральной да примется за службу, то будет полезен и себе, и се-

мейству своему». Вскоре Вяземский был пожалован в камергеры, через два года службы назначен вице-директором департамента внешней торговли и редактором «Коммерческой газеты». Он правел все больше. Когда административная расправа постигла журнал бывшего его соратника Полевого, Вяземский писал: «Признаюсь, существование «Телеграфа» в том виде, как он был, может быть сочтено за неприличность не только литературную, но и политическую». При Александре II Вяземский был несколько лет товарищем министра народного просвещения. К этому времени он превратился в типичного сановного старца, брюзжащего на все новое в литературе и жизни. Умер в Баден-Бадене в глубокой старости, восьмидесяти шести лет.

Вяземский был высокого роста, держался очень прямо; небольшие и небыстрые голубые глаза смотрели сквозь золотые очки проницательно; на тонких губах насмешливая улыбка. Вид невозмутимый, неподвижный и холодный. Голос немного хриплый. Вигель сообщает: «...с женщинами был он жив и любезен, как француз прежнего времени; с мужчи-

нами холоден, как англичанин; в кругу друзей был он русский гуляка». Разговаривал остроумно и увлекательно. Пушкин про него рассказывает в «Евгении Онегине»:

*У скучной тетки Таню встреча,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.
И близ него ее заметя,
Об ней, поправив свой парик,
Осведомляется старик.*

Вяземский был большой похабник, очень любил острить и каламбурить в этом направлении. Пушкин в переписке с приятелями и в стихотворных посланиях к ним умел изумительно подделываться под стиль каждого; под пером Пушкина стиль этот получал высшее художественное воплощение и был для данного лица даже более характерен, чем собственные его писания. Подобную квинтэссенцию интимного стиля Вяземского находим в письме к нему Пушкина из Михайловского осенью 1825 г.:

*В глуши, измучась жизнью пост-
ной,
Изнемогая животом,*

*Я не парю – сижу орлом
И болен праздностью поносной,
Бумаги берегу запас,
Натугу вдохновенья чуждый,
Хожу я редко на Парнас,
И только за большою нуждой.
Но твой затейливый навоз
Приятно мне щекотит нос...
И дух мой снова посылает
Ко испражнению прежних дней.*

«Благодарствую, душа моя, – и цалую тебя в твою поэтическую (.....) – с тех пор, как я в Михайловском, я только два раза хохотал; при разборе новой пиитики басен и при посвящении г (.....) г (.....) твоего». И так дальше – сплошная похабщина.

Вяземский очень высоко ценил Пушкина, не раз выступал в печати с обширными статьями о его поэзии; уже с ранних лет знакомства в письмах его к Пушкину замечен тон внимательного подмастерья к чтимому мастеру. Это, однако, не мешало Вяземскому резко высказываться о политических и общественных промахах Пушкина, и тут влияние его на Пушкина должно было быть очень плодотворным. Так, по поводу эпилога к «Кав-

казскому пленнику» Вяземский писал А. Тургеневу: «Мне жаль, что Пушкин окровавил последние стихи своей повести. Что за герой Котляревский, Ермолов? Что тут хорошего, что он, «как черная зараза, губил, ничтожил племена?» От такой славы кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся. Если мы просвещали бы племена, то было бы что воспеть. Поэзия не союзница палачей; политике они могут быть нужны, и тогда суду истории решить, можно ли ее оправдывать или нет; но гимны поэта не должны быть никогда словословием резни. Мне досадно на Пушкина». Когда, приехав в 1827 г. в Петербург, небрежливый Пушкин свел личное знакомство с Булгариным и обедал у него, Вяземский с негодованием писал: «Не стыдно ли тебе, пакостник, обедать у Булгарина?» Резкое осуждение Вяземского вызвали и патриотические стихи Пушкина на взятие Варшавы. «Пушкин в стихах своих «Клеветникам России» кажет им шиш из кармана, — записывает он. — Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на вопросы, на которые отвечать было бы очень легко, даже

самому Пушкину. За что возрождающейся Европе любить нас?.. Мне также уже надоели эти географические фанфаронады наши: «От Перми до Тавриды» и проч. Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим врастяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч верст?.. «Вы грозны на словах, попробуйте на деле...» Неужели Пушкин не убедился, что нам с Европою воевать была бы смерть? Зачем же говорить нелепости и еще против совести и более всего без пользы?.. После этих стихов не понимаю, почему Пушкину не воспевать Орлова за победы его Старорусские (устройство холерного бунта военных поселян), Нессельроде за подписание мира. Когда решишься быть поэтом событий, а не соображений, то нечего робеть и жеманиться... Пой, да и только. Смешно, когда Пушкин хвастается, что «мы не сожжем Варшавы их». И вестимо, потому что после нам пришлось же бы застроить ее». Когда у Пушкина все больше стало проявляться тяготение к царскому двору, Вяземский писал ему: «Провидение зажгло в тебе огонь дарования в честь народу, а не на потеху двора. Как ни

будь поверхностно и малозначительно обхождение супруга с девками, но брачный союз все от того терпит, и, рано или поздно, распутство дома отзовется. Брачный союз наш – с народом. Царская ласка – курва соблазнительная, которая вводит в грех и от обязанности законной отвлекает. Говорю тебе искренно и от души».

Пушкин со своей стороны любил и ценил Вяземского. В 1820 г. он написал к его портрету:

*Судьба свои дары явить желала в
нем,
В счастливом баловне соединив
ошибкой
Богатство, знатный род с возвы-
шенным умом
И простодушие с язвительной
улыбкой.*

Бартенев со слов П. В. Нащокина записал: «Пушкин не любил Вяземского, хотя не выражал того явно; он видел в нем человека безнравственного, ему досадно было, что тот волочился за его женою, впрочем, волочился просто из привычки светского человека отда-

вать долг красавице». На полях записи Соболевский написал: «Это натяжка!» По-видимому, это действительно натяжка. Есть данные, что Вяземский действительно ухаживал за Натальей Николаевной, и Пушкину это не могло быть приятным. Но личная «безнравственность» Вяземского навряд ли могла особенно коробить Пушкина: цинизм выражений, легкое отношение к женщинам, ухаживание за чужими женами – всем этим в достаточной мере грешил и сам Пушкин.

Княгиня Вера Федоровна Вяземская (1790–1886)

Жена князя П. А. Вяземского (с 1811 г.), рожденная княжна Гагарина. Вигель пишет о ней: «Не будучи красавицей, она гораздо более их нравилась; немного старше мужа и сестры, она всех их казалась моложе. Небольшой рост, маленький нос, огненный, пронзительный взгляд, невыразимое пером выражение лица и грациозная непринужденность движений долго молодили ее. Смелое обхождение в ней казалось не наглостью, а остатком детской резвости. Чистый и громкий хохот ее в другой казался бы непристойным, а

в ней восхищал; ибо она скрашивала и приправляла его умом, которым беспрестанно искрился разговор ее. Такие женщины иногда рождаются, чтобы населять сумасшедшие дома... Не было истинной скорби, которая бы не произвела не только ее сочувствия, но и желания облегчить ее. Ко всему человечеству вообще была она сострадательна, а немилосердна только к нашему полу. Какая женщина не хочет нравиться? В ней это желание было сильнее, чем в других. Но все влюбленные казались ей смешны; страсти, ею производимые, в глазах ее были не что иное, как сочиненные ею комедии, которые перед нею разыгрывались и забавляли. Никого не поощряя, она частыми насмешками более производила досаду в тех, коих умела привлекать к себе. Сколько было безумцев, закланых, подобно баранам, на жертвеннике супружеской верности тою, которая и мужа своего любила более всего, любила нежно, но не страстно».

Пушкин познакомился с Вяземской в бытность свою в Одессе, летом 1824 г., когда она приехала в Одессу с двумя детьми купаться в море. Здесь они дружески сошлись. «Добрая и

милая баба», – отзывался о ней Пушкин. Когда он был назначен к высылке из Одессы и собирался бежать за границу, Вяземская старалась раздобыть для него деньги и устроить на идущий в Константинополь корабль. Предприятие не удалось. Пушкин уехал в Михайловскую ссылку. Прошло два года. Он вызван был царем из Михайловского в Москву, прожил там некоторое время, часто виделся с Вяземскими, увлекался своей однофамилицей Софьей Пушкиной и в ноябре 1826 г. поехал на полтора месяца обратно к себе в деревню. Княгиня Вяземская просила его купить ей в Торжке несколько поясов, – Торжок славился сафьяновыми изделиями, шитыми золотом и серебром. 3 ноября Пушкин писал ей из Торжка (по-французски): «Спешу, княгиня, послать вам поясы. Вы видите, что мне представляется прекрасный случай написать вам мадригал по поводу пояса Венеры, но мадригал и чувство стали одинаково смешны. Что сказать вам о моем путешествии? Оно продолжается при очень счастливых предзнаменованиях, за исключением отвратительной дороги и невыносимых ямщиков. Толчки, удары

локтями и проч. очень беспокоят двух моих спутников, я прошу у них извинения за вольность обращения, но когда путешествуешь совместно, необходимо кое-что прощать друг другу. С. П. (Софья Пушкина) – мой добрый ангел, но другая – мой демон... Если вы удостоите прислать мне в Опочку небольшое письмо страницы в четыре, это будет с вашей стороны очень милое кокетство. Вы, которая умеете написать записку лучше, чем моя покойная тетушка, неужели вы не проявите такой доброты? (NB: «записка» впредь синоним «музыка»)... Не достаточно ли намеков? Ради Бога, не давайте ключа к ним вашему супругу. Решительно восстаю против этого!»

Комментаторы говорят: «легкая светская болтовня». Однако под покрывалом этой болтовни конспирация так и выпирает всеми углами. Намеки, которых не должен понимать муж. Уговор о замене на будущее одних слов другими. Останавливает внимание пространная болтовня Пушкина о неприятностях путешествия втроем, о том, что при этом «необходимо кое-что прощать друг другу». Что до этого Вяземской? Для чего было писать ей об

этом? Получается впечатление, что до этого у них был какой-то очень серьезный разговор, и теперь он продолжается намеками, под видом легкой болтовни. Впечатление это окончательно крепнет при чтении ответа Вяземской. Она пишет: «Я думаю, вот письмо, которое сильно займет вас, а моя слабость и лень воспользуются этим, чтобы сказать вам всего несколько слов... Продолжают ли добрый ангел и демон составлять ваше общество? Я думаю, вы давно уже оставили их. Кстати, вы так часто меняете свои предметы, что я не знаю, кто же другая. Муж меня уверяет, будто я надеюсь, что это я сама. Да сохранит нас обоих от этого небо! Прежде всего я не хочу с вами путешествовать, я чересчур слаба и стара, чтобы рыскать по большим дорогам; я сделалась бы в прямом смысле слова вашим злым ангелом. Но я рассчитываю на вашу дружбу. Вы, кажется, впрочем, сбросили с себя это иго, которому должны быть обязательно подчинены, чтобы выслушивать без возмущения некоторые правдивые слова. Итак, прощайте, мой серьезный друг». В какое путешествие звал Пушкин Вяземскую, в

какое путешествие в буквальном смысле мог он ее звать? Что это за «старость» в тридцать шесть лет, которая мешает Вяземской «рыскать по большим дорогам»? И что это за логика: я слишком стара, чтобы рыскать с вами по большим дорогам, – но я рассчитываю на вашу дружбу? Умница Вяземская прекрасно поняла «намеки» Пушкина и отвечает ему такими же намеками, закутанными довольно непрозрачной для нас кисеей «легкой болтовни». Мне кажется, что с некоторой долей вероятности можно расшифровать эту загадочную переписку так. «Кто это другая?» – спрашивает Вяземская. Ясно – она сама, муж угадал вполне верно: Пушкин для чего-то подчеркивает это слово, первую возлюбленную называет инициалами С. П., – вторую назвать не считает нужным, как будто она Вяземской известна. А Вяземская невинно раскрывает глаза: «кто это – другая? Муж уверяет, что это я. Если это так, то...»

Пушкин в Москве сильно увлекался Софьей Пушкиной. Однако при его темпераменте, это нисколько не могло помешать ему попытаться завести «благородную интригу» и с

В. Ф. Вяземской. Она не отвергла его домогательств с целомудренным негодованием матроны. Она, – вспомним характеристику Вигеля, – она, вероятно, кокетничала, смеялась и забавлялась комедией, которая перед ней разыгрывалась. «Как же это?! Ведь вы так увлечены Софи Пушкиной!» А он ей, – что это ничего не значит, что одна любовь вовсе не исключает другой. Она звонко на это хохотала, возражала, что такой одновременной любви к двоим никак не может принять. И вот Пушкин в письме своем из Торжка старается убедить Вяземскую, что при путешествии втроем приходится мириться с некоторыми неудобствами и «кое-что прощать друг другу». Вяземская отвечает мягко, но теперь уже серьезно и с большим достоинством, что она слишком стара для тягостей подобного путешествия, что постоянная смена Пушкиным «предметов» прельщает ее очень мало и что она ждет от «серьезного» своего друга только одного – дружбы. Характерно вот еще что. В письме своем из Торжка Пушкин просит Вяземскую не давать мужу ключа к пониманию его намеков, т. е., очевидно, не показывать

мужу письма. Но из ответного ее письма ему пришлось убедиться, что письмо она мужу показала, – они сообща разгадывали, кто такая «другая». В этом же письме Вяземской за конспиративно завуалированным ее ответом следует приписка мужа, – значит, и ее письмо он прочел. Нужно заметить, что отношения между супругами Вяземскими были своеобразные и не совсем обычные. В 1823 г. о какой-то любовной «шалости» Вяземского, очень на такие шалости падкого, петербургские друзья сочли нужным доложить очень уважаемому Вяземским человеку, очевидно, Карамзину. Вяземский с негодованием писал А. Тургеневу: «Исповедание жены моей мне известно, я перекрестил ее в свою веру, основанную на терпимости. Про то знать нам и рассчитывать между собою, а чужому (а здесь между женою и мужем всякий чужой) впутываться в эти супружеские счета и протестовать их на публичной бирже не годится». Вяземский откровенно, как близкому другу, сообщал в письмах к жене о своих ухаживаниях и увлечениях, она, как видим, тоже не считала нужным скрывать от него своего

флирта с Пушкиным. Положение для Пушкина получилось глупейшее, – форменный «баран, закланный на жертвеннике супружеской верности»! И в ответном письме Вяземскому Пушкин сконфуженно пишет: «Adieu, couple si e´tourdi en apparence (чета, столь на вид ветренная), adieu, князь Вертопрахин и княгиня Вертопрахина. Ты видишь, что у меня не достает уж и собственной простоты для переписки».

На этом закончилась попытка Пушкина завязать роман с княгиней Вяземской. Есть известие, через третьи руки идущее от Нащокина, что еще в Одессе Пушкин был в интимной связи с Вяземской. С решительностью отрицать возможность этого нельзя: Вяземская во все не была такой уж фанатической жрицей у алтаря супружеской верности, как уверяет Вигель. В интимном дневнике А. А. Муханова от ноября 1825 г. читаем: «Видел княгиню Веру, у которой испросил позволения приехать к ним в Астафьево, и кроме того, имел престранный, и предолгий, и прескучный разговор о протекшей любви, о теперешнем равнодушии и проч., в котором она силилась про-

будить усопшие чувства, но я, коли не языком правды, то длинными извилистыми речениями выразил ей: в душе моей одно волненье, а не любовь пробудишь ты!» Не невозможно поэтому, что и с Пушкиным могли быть у Вяземской в Одессе близкие отношения. Смысл вышеприведенной переписки от этого не меняется. Только в таком случае Вяземская отвечает Пушкину отказом на его попытку возобновить отношения, бывшие между ними в Одессе.

Дальнейшие их отношения были хорошо-дружеские. Стиль писем к ней Пушкина — то шутливо влюбленный, с уверениями в верности, с упоминаниями о якобы ревности ее мужа и т. п., то исполненный уважения и доверия. Он делился с Вяземской горестями и недоразумениями, возникавшими в связи с его женитьбой на Гончаровой, просил ее быть посаженной матерью на его свадьбе (чего не случилось по ее болезни). Вяземская была одной из немногих, посвященных Пушкиным в тайну предстоящей его дуэли с Дантесом. Она присутствовала при его смерти и утешала его жену.

Князь Павел Петрович Вяземский (1820–1888)

Сын предыдущих. Ему было шесть лет, когда Пушкин после деревенской ссылки приехал в Москву. «Приезд его, – вспоминает Павел Вяземский, – произвел сильное впечатление, не изгладившееся из моей памяти до сих пор. – «Пушкин, Пушкин приехал!» – раздалось по нашим детским, и все, – дети, учителя, гувернантки, – все бросились в верхний этаж, в приемные комнаты, взглянуть на героя дня. Впечатлению, произведенному приездом Пушкина, много содействовала дружба Пушкина с моей матушкой в Одессе, где она провела лето в 1824 г. И детские комнаты, и девичья были с тех пор неувядающим рассадником легенд о похождениях поэта на берегах Черного моря». Пушкин подружился с мальчиком и многие часы проводил с ним. Он научил его боксировать по-английски; Павлуша так пристрастился к этому упражнению, что на детских балах всех вызывал боксировать, а нежелающих вызывал действием во время самих танцев. Общее негодование не смущало его, и он гордился поэтическим

своим геройством, из рук в руки полученным от поэта-героя Пушкина. Результаты геройства были, однако, плачевные: мальчика перестали возить на семейные праздники. Пушкин научил его еще и другой игре. Княгиня строго запрещала детям играть в карты. Пушкин научил Павлушу играть в дурачки визитными карточками. Старшие карты определялись Пушкиным, значение остальных не было точно определено, эта неопределенность и составляла главную потеху: завязывались споры, чья карточка бьет карточку противника. Настойчивые возражения и доказательства Павлуши в пользу первенства его карточек потешали Пушкина, как ребенка. Вообще в сношениях с детьми Пушкин сам превращался в настоящего ребенка, совершенно не думавшего о педагогическом на них воздействии, и с азартом жил их жизнью. Однажды княгиня Вяземская, воротившись домой, застала Пушкина и Павлушу за тем, что они барахтались и плевали друг в друга. Мальчику подарили альбом в красном сафьяновом переплете. Павлуша попросил Пушкина написать ему в альбом стихи. Пушкин написал:

*Душа моя, Павел!
Держись моих правил
Люби то-то, то-то,
Не делай того-то,
Кажись, это ясно.
Прости, мой прекрасный!*

С тех пор кличка мальчика в семье стала «Душа моя, Павел».

В 1828 г. Вяземский-отец писал Пушкину: «Я у Павлуши нашел в тетради: «Критика на Евгения Онегина», и поначалу можно надеяться, что он нашим критикам не уступит. Вот она: «И какой тут смысл:

Заветный вензель О да Е?

В другом же месте он просто приводит твой стих:

Какие глупые места!

Дитя подает надежды. Булгарин и теперь был бы рад усыновить его Пчеле». Пушкин на это отвечает: «Критика князя Павла веселит меня, как прелестный цвет, обещающий со временем плоды. Попроси его переслать мне его замечания; я буду на них отвечать непременно». А через некоторое время писал: «Кла-

няюсь грозному моему критику Павлуше. Я было написал на него ругательную антикритику слогом Галатеи, взяв в эпиграф: «Павлуша медный лоб, – приличное название!», собирався его послать, не знаю, куда дел».

Осенью 1836 г. шестнадцатилетний Павел Вяземский ехал как-то с Каменного острова в коляске с Пушкиным. На Троицком мосту Пушкин дружески раскланялся с каким-то господином. Вяземский спросил, кто это. Пушкин ответил:

– Барков, ex-diplomate, habitué[267] Воронцовых. – Заметив, что имя это неизвестно мальчику, он с удивлением сказал: – Вы не знаете стихов однофамильца Баркова и собираетесь вступить в университет? Это курьезно. Барков – это одно из знаменитейших лиц в русской литературе... Первые книги, которые выйдут в России без цензуры, будет полное собрание стихотворений Баркова.

«Вообще, – вспоминает Павел Вяземский, – Пушкин в это время как будто систематически действовал на мое воображение, чтобы обратить мое внимание на прекрасный пол и убедить меня в важном значении для мужчи-

ны способности приковывать внимание женщин. Пушкин поучал меня, что вся задача жизни заключается в том: все на земле творится, чтобы обратить на себя внимание женщин. Не довольствуясь поэтической мыслью, он учил меня, что в этом деле не следует останавливаться на первом шагу, а идти вперед, нагло, без оглядки, чтобы заставить женщин уважать нас... Он постоянно давал мне наставления об обращении с женщинами, приправлял свои нравоучения циническими цитатами из Шамфора... В то же время Пушкин сильно отговаривал меня от поступления в университет и утверждал, что я в университете ничему научиться не могу. Однажды, соглашаясь с его враждебным взглядом на высшее у нас преподавание наук, я сказал Пушкину, что поступаю в университет исключительно для изучения людей. Пушкин расхохотался и сказал: «В университете людей не изучишь, да едва ли их можно изучить в течение всей жизни. Все, что вы можете приобрести в университете, – это то, что вы свыкнетесь жить с людьми, и это много. Если вы так смотрите на вещи, то поступайте в универси-

тет; но едва ли вы в том не раскаетесь!» С другой стороны, Пушкин постоянно и настойчиво указывал мне на недостаточное мое знакомство с текстами Священного писания и убедительно настаивал на чтении книг Ветхого и Нового завета.

Для нашего поколения, воспитывавшегося в царствование Николая Павловича, выходки Пушкина уже казались дикими. Пушкин и его друзья, воспитанные во время наполеоновских войн, под влиянием героического разгула представителей этой эпохи, щеголяли воинским удальством и каким-то презрением к требованиям гражданского строя. Пушкин как будто дорожил последними отголосками беззаветного удальства, видя в них последние проявления заживо схороняемой самобытной жизни».

Впоследствии князь П. П. Вяземский был попечителем казанского учебного округа, начальником главного управления по делам печати (1881), сенатором; основал Общество любителей древней письменности, написал несколько исследований по древней русской литературе.

Василий Андреевич Жуковский (1783–1852)

Была война с турками. Крепостной мужик Бутульского помещика Бунина собрался для заработка ехать на войну маркитантом. Барин Афанасий Иванович ему сказал:

– Привези мне, братец, хорошенькую турчанку: видишь, жена моя совсем состарилась.

Крестьянин понял слова барина всерьез и привез ему двух сестер-турчанок, попавших в плен после взятия Бендер. Одна вскоре умерла, а другую определили няней к барским детям. Звали ее Сальха. Барин вступил с ней в связь, оставил жену с семьей в большом доме, а сам с турчанкой поселился в малом, имел от нее двух девочек, вскоре умерших. Между тем семью Буниных посетило большое несчастье, в короткое время из одиннадцати детей умерло шестеро, в том числе единственный сын-студент. Жена Бунина Марья Григорьевна сильно горевала. Сальха в это время родила мальчика – будущего поэта. Марья Григорьевна приняла его в свою семью. Произошло примирение и соединение двух домов, большого и малого, обе семьи стали жить вместе.

Сальха давно уже крестилась и называлась Елизавета Дементьевна, хорошо говорила по-русски, была главной экономкой дома, однако состояла на положении прислуги и приказания барыни должна была выслушивать стоя. Мальчик рос общим баловнем; общество, его окружавшее, было преимущественно женское. Отдали его учиться в Тулу сначала в частный пансион, потом в Главное народное училище, и из обоих он был исключен за малоспособность. Подросши, он поступил в московский университетский Благородный пансион. Там товарищами его были Дашков, Уваров, Воейков, братья Андрей и Александр Тургеневы. Кончил курс в 1802 г., поступил было на службу в московскую Соляную контору, но вскоре бросил службу и уехал в родительское имение, с. Мишенское, Белевского уезда, Тульской губернии.

В «Вестнике Европы» Карамзина за 1802 г. была напечатана его переделка стихотворения Грея «Сельское кладбище», сразу выдвинувшая Жуковского в первый ряд тогдашних поэтов. За этим последовал ряд других произведений – «Песнь барда над гробом славян-по-

бедителей», «Людмила», «Громобой», все больше упрочивавших положение Жуковского в литературе.

В Белеве Жуковский занимался с двумя дочерьми овдовевшей сестры своей по отцу, Екатерины Афанасьевны Протасовой, – Марией (род. в 1793 г.) и Александрой (род. в 1795 г.). Он полюбил старшую из них, и она полюбила его. Жуковский, когда она подросла, просил у матери ее руки. Но мать, – сухая, деспотическая и узкорелигиозная, – раз навсегда отказала Жуковскому ввиду того, что дочь ее приходилась родной племянницей Жуковскому. Эта неудавшаяся любовь на долгие годы заполнила душу Жуковского меланхолией и печальной покорностью судьбе. Отношения его с Машей Протасовой продолжались в форме платонической «любовно́й дружбы».

В 1812 г. Жуковский поступил в московское ополчение, состоял в канцелярии штаба Кутузова, в сражениях не участвовал. В лагере под Тарутиным он написал «Певца во стане русских воинов», где поименно прославлялись все живые и погибшие герои Отечественной войны. Стихотворение создало Жу-

ковскому огромную популярность и обратило на него внимание царского двора. Благоволение двора поддерживалось и дальнейшими стихами Жуковского – к императрице Марии Федоровне, к императору Александру, патриотической «Песней к русскому царю», «Певцом в Кремле» и др. В 1817 г. Жуковский, за поднесенное царю собрание своих стихов, получил пожизненный пенсион в четыре тысячи рублей. В этом же году его возлюбленная, Маша Протасова, вышла замуж за дерптского профессора-хирурга И. Ф. Мойера, прекрасного человека, с которым она была вполне счастлива. Жуковский не раз приезжал к ней в Дерпт. В 1823 г. она умерла от родов.

С 1817 г. начинается придворная жизнь Жуковского. Он был приглашен преподавать русский язык сначала молодой жене великого князя Николая Павловича, прусской принцессе Александре Федоровне, потом невесте великого князя Михаила Павловича Елене Павловне. И обе его ученицы, и императрица-мать Мария Федоровна очень полюбили Жуковского и относились к нему с самой дружеской приязнью. После воцарения Николая

Жуковский был назначен наставником наследника Александра Николаевича (будущего императора Александра II). Жуковский в то время пользовался огромной популярностью как первый поэт своего времени и был как бы знаменем борьбы с отжившими литературными формами. Он стоял во главе молодого-озорного общества «Арзамас», боровшегося с литературными староверами, все члены общества носили прозвища, обязательно взятые из произведений Жуковского. Литературная молодежь, с Пушкиным во главе, считала его признанным своим учителем. При такой популярности Жуковского и при общем тогда оппозиционном настроении русского общества, близость Жуковского ко двору и бесчисленные льстивые его послания к царским особам вызвали резко отрицательное к нему отношение. Ходила по рукам эпиграмма будущего декабриста А. А. Бестужева, долго приписывавшаяся Пушкину:

*Из савана оделся он в ливрею,
На пудру променял свой лавровый
венец;
С указкой втерся во дворец,*

*И там, пред знатными сгибая
шею,
Он руку жмет камер-лакею...
Бедный певец!*

Однако нападки эти были неосновательны; Жуковский не променял лаврового венца на пудру, венец его с самого начала густо был осыпан пудрой.

До 1841 г. Жуковский жил при дворе в качестве наставника царского наследника. Круг его знакомств теперь состоял преимущественно из придворной знати; стихотворения свои он посвящает графине Самойловой, графине Шуваловой, князю Голицыну, княгине Оболенской, графине Гендриковой и т. п. Однако положение Жуковского среди этих новых его знакомых было довольно ложное: он не был ни богат, ни знатен, к тому же еще с клеймом «незаконнорожденного». А душа жаждала любви, мечтала о семейной жизни. Знатные фрейлины охотно смеялись и перекидывались шутками с остроумным учителем наследника, принимали от него поэтические послания и мадригалы, но никто из них не мог серьезно и подумать соединить с ним

свою судьбу. В 1820 г. Карамзин писал Дмитрию: «Увы! Жуковский влюблен, но не жених! Ему хотелось бы жениться, но при дворе не так легко найти невесту для стихотворца, хотя и любимого». Был у Жуковского странный роман с графиней С. А. Самойловой. Он увлекся ею, но ею же увлекся и друг Жуковского В. А. Перовский, – и Жуковский великодушно «уступил» свою возлюбленную другу и писал ему:

*Товарищ! Вот тебе рука!
Ты другу вовремя сказался;
К любви душа была близка,
Уже в ней пламень загорался...
Товарищ, мной ты не забыт!
Любовь друзей не раздружит.
Сим несозревши упованьем,
Едва отведенным душой,
Подорожу ль перед тобой?*

И не подорожил. Ю. А. Нелединский-Мелецкий писал дочери: «Жуковский, как сказывали мне, объяснялся с графиней Самойловой. Ты знаешь, что считали его в нее влюбленным. Он ей сказал, что сожалеет о том, что исканию его дружбы ее она не ответство-

вала, и изъявление его к ней дружбы приписала, как видно, другому чувствованию, которое, впрочем, внушить она всех более может. Как доведено было до этого и что далее им было сказано, не знаю; но на эти слова она, сказывают, молчала, и будто показались у ней на глазах слезы... И подлинно: как? Человек приходит женщине сказать: не подумай, ради Бога, чтоб я в тебя был влюблен!!»

В 1841 г. кончились обязанности Жуковского по воспитанию наследника. В награду он получил чин тайного советника, и за ним до смерти было сохранено полное жалованье его – 28 тыс. руб. В 1841 же году пятидесяти-восьмилетний Жуковский женился на 20-летней дочери давнишнего своего приятеля живописца Рейтерна. Остальную жизнь он провел с женой в Германии, жил сначала в Дюссельдорфе, потом во Франкфурте. Дружил с часто жившим у него Гоголем. Всегда религиозный, все больше становился религиозным с годами.

Жуковский был высокого роста, в молодости худощавый, с годами располневший и облысевший, с молочно-белым, спокойным, рез-

ко асимметричным лицом; он держал голову наклонно, как бы прислушиваясь и размышляя; глаза темные, на китайский лад приподнятые; на довольно крупных, но правильно очерченных губах постоянно играла чуть заметная, искренняя улыбка благоволения и приветия. Полувосточное происхождение сказывалось во всем его облике. Был он человек бесхарактерный, податливый, но очень добрый и мягкодушный. Все его любили. Даже желчный Вигель, мало о ком отзывающийся хорошо, пишет о нем: «Знать Жуковского и не любить его было дело невозможное. Любить все близко его окружающее, даже просто знакомое, сделалось его привычкою; ненавистного ему человека не существовало». Друзья характеризуют Жуковского: «милый», «добродушный», «хрустальная душа», «всегда и во всем неземной», «чистоты душевной совершенно детской, доверчивый до крайности, потому что не понимал, чтобы кто был умышленно зол». Даже друзья, возмущавшиеся двусмысленной позицией Жуковского при дворе, не заподозривали его в неискренности и приспособленчестве. Князь Вяземский писал ему:

«Страшусь за твою царедворную мечтательность. В наши дни союз с царями разорван: они сами потоптали его. Провидение зажгло в тебе огонь дарования в честь народу, а не на потеху двора. Страх мой за тебя – не в ущерб уважения моего к тебе, ибо я уверен в непреклонности твоей совести; но мне больно видеть воображение твое, загрязненное каким-то дворцовым романтизмом». Конечно, нельзя себе представить, чтобы самое миролюбивое прекраснодушие могло ужиться в придворной атмосфере Александра и Николая без постоянных душевных компромиссов. Однако бесспорно, что в черной стае придворного воронья Жуковский производит впечатление какого-то не в свое место попавшего белого голубя. Он упорно, навязчиво, не боясь компрометировать себя, хлопотал о бесчисленном количестве лиц, так надоел во дворце своими просьбами, что все от него бежали. В ответ на его заступничество за Ник. Тургенева император Николай гневно сказал ему:

– Ты при моем сыне. Как же ты можешь быть сообщником людей беспорядочных, осужденных за преступление?

Не было в то время писателя в беде, к которому не пришел бы на помощь Жуковский. Он хлопотал о больном Батюшкове, о служившем в солдатах Баратынском, он сыграл главную роль в выкупе Шевченко из крепостного состояния, постоянно выхлопатывал пособия нуждавшемуся Гоголю, помогал ему тайно даже из собственных средств. Жил Жуковский до самого конца своего пребывания при дворе в Шепелевском дворце (теперь Эрмитаж) на третьем этаже. Комнаты его были просто, но хорошо убраны. Там по субботам происходили у него дружеские литературные вечера. С утра на его лестнице толпились нищие и просители всякого рода и звания. Он не умел никому отказать, не раз был обманут, но его щедрость и сердоболие никогда не истощались. Однажды он показывал А. О. Смирновой свою записную книжку: в один год он роздал восемнадцать тысяч рублей, что составляло большую половину его средств. При совершенном неумении наживаться, он, однако, вел свои счета с немецкой аккуратностью. В тесном кружке знакомых любил шалить и шутить самым невинным образом. Шутки его

были детские и всегда повторялись; он ими сам очень тешился. Одну зиму он условился со Смирновой обедать у нее по средам и приезжал в сюртуке; но как-то случилось, что другие были во фраках: и ему, и всем стало неловко. На следующую среду Жуковский пришел в сюртуке, за ним человек нес развернутый фрак.

– Вот, я приехал во фраке, а теперь, братец Григорий, – сказал он человеку, – уложи его хорошенько.

Эта шутка повторялась раза три. Общественно-политические взгляды Жуковского были узкоконсервативные и монархические. Декабристы были для него разбойники, возмутители, у которых «даже не видно фанатизма, а просто зверская жажда крови безо всякой, даже химерической цели». Он уверен, что «кто дерзает на настоящее верное зло для будущего неверного блага, тот – злодей». «Сила России стоит на святом, вековом фундаменте самодержавия» и т. п.

Для Пушкина Жуковский, как поэт, с самого начала творческой деятельности был самым высоко ценимым учителем. В 1825 г. он

писал Вяземскому по поводу одной его критической статьи: «Ты слишком бережешь меня в отношении к Жуковскому. Я не следствие, а точно ученик его», и скромно прибавлял: «Я только тем и беру, что не смею сунуться на дорогу его, а бреду проселочной. Никто не имел и не будет иметь слога, равного в могуществе и разнообразии слогу его. В бореньях с трудностью силач необычайный». В противоположность большинству новаторов в искусстве, Пушкин относился с подчеркнутым уважением к своим литературным дедам и отцам. По настоянию Пушкина, из статьи Одоевского, предназначавшейся для «Московского вестника», были выброшены недостаточно почтительные отзывы о Державине и Карамзине. По поводу строгого приговора А. Бестужева над Жуковским Пушкин писал Рылееву: «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? Потому что зубки прорезались? Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности... Ох, уж эта мне республика словесности! За что казнит, за что венчает?» Лично Пушкин познакомился с Жуковским еще лицеистом, в 1815 г., когда Жу-

ковский, назначенный чтецом к вдовствующей императрице Марии Федоровне, приезжал в Царское Село. Впоследствии Пушкин так вспоминал о первой их встрече:

*Могу ль забыть я час, когда перед
тобой
Безмолвный я стоял, и молненной
струей
Душа к возвышенной душе твоей
летела
И, тайно съединясь, в восторгах
пламенела?
Нет, нет, решился я без страха в
трудный путь!
Отважной верою исполнилася
грудь.*

В 1817 г., по выпуске из лицея, Пушкин заходил к Жуковскому, не застал его дома и написал на дверях его квартиры:

*Штабс-капитану, Гете, Грею,
Томсону, Шиллеру привет!
Им поклониться честь имею,
Но сердцем истинно жалею,
Что никогда их дома нет.*

Дошла еще одна стихотворная записка

Пушкина к Жуковскому от июня 1819 г., когда Пушкин с приятелем своим, лейб-гусаром Н. Раевским, заходил в Царском Селе к Жуковскому и опять не застал его дома:

*Раевский, молоденец прежний,
А там уже отважный сын,
И Пушкин, школьник неприлеж-
ный
Парнасских девственниц-богинь,
К тебе, Жуковский, заезжали,
Но к неописанной печали
Поэта дома не нашли –
И, увенчавшись кипарисом,
С французской повестью Борисом
Домой уныло побрели.
Какой святой, какая сводня
Сведет Жуковского со мной?
Скажи – не будешь ли сегодня
С Карамзиным, с Карамзиной? –
На всякий случай – ожидаю,
Тронися просьбою моей,
Тебя зовет на чашку чаю
Раевский – слава наших дней.*

В Петербурге молодой Пушкин был усердным посетителем суббот Жуковского. Жуковский, исправляя уже перебеленные свои сти-

хи, чтобы не марать рукописи, наклеивал полоски бумаги с исправленными стихами на прежние стихи. Сам он редко читал вслух свои произведения и поручал это другим. Однажды чтец, которому прежние стихи нравились больше новых, сорвал бумажку и прочел по-старому. Пушкин ловко подлез под стол, поднял брошенную бумажку и важно заявил:

– Что Жуковский бросает, то нам еще пригодится!

К портрету Жуковского Пушкин в 1818 г. написал следующие стихи:

*Его стихов пленительная сла-
дость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе
младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.*

Жуковский, со своей стороны, высоко ценил Пушкина с самого начала его поэтической деятельности, восхищался им и баловал. Пушкин обладал необычайной памятью: целые строфы, переданные ему Жуковским, он удерживал в голове и повторял их без оста-

новки. Жуковский считал нужным исправлять стих, забытый Пушкиным: такой стих он признавал дурным по одному этому признаку. По поводу стихов Пушкина «Когда к мечтательному миру» Жуковский в 1818 г. писал Вяземскому: «Чудесный талант! Какие стихи! Он мучит меня своим даром, как привидение!» Когда Пушкин окончил «Руслана и Людмилу», Жуковский подарил ему свой портрет с такой надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокаторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила», 1820, марта 26, великая пятница». В течение всей жизни Пушкина Жуковский усердно заботился о нем, хлопотал, когда Пушкин попадал в беду. Впоследствии улаживал его недоразумения с двором. В этом отношении роль Жуковского вызывает очень мало уважения. Желая, со своей точки зрения, добра Пушкину, он старательно запутывал его как можно крепче в придворные сети, из которых с тоской рвался Пушкин, старался насадить в его душе чувство благоговейно-почтительного обожания к монарху. Особенно отталкивающее впечатле-

ние производят старания Жуковского уладить недоразумение, возникшее между Пушкиным и императором в 1834 г. Жизнь Пушкина в Петербурге сложилась очень тяжело. Работать он не имел возможности, придворная жизнь и наряды красавицы-жены требовали трат совершенно непосильных, домашние дела были расстроены, он все больше входил в долги. Пушкин решил покинуть Петербург и подал царю через Бенкендорфа прошение об отставке, ходатайствуя о сохранении за ним права посещать архивы. Царь сухо ответил, что против воли он никого не желает удерживать, отставка будет дана, но архивы посещать он не может разрешить, «так как право сие может принадлежать единственно людям, пользующимся особенною доверенностью начальства». Жуковский узнал от Николая о просьбе Пушкина, пришел в ужас и спросил царя, можно ли поправить дело. Царь ответил:

– Почему же нельзя? Я никогда не удерживаю никого и дам ему отставку. Но в таком случае все между нами кончено. Он может, однако, еще возвратить письмо свое.

Жуковский стал бомбардировать Пушкина из Царского Села письмами, где убеждал его взять назад свою просьбу. «Глупость досадная, эгоистическая, неизглаголанная глупость! Вот что бы я теперь на твоём месте сделал (ибо слова государя крепко бы расшевелили и повернули мое сердце): я написал бы к нему письмо, в котором бы обвинил себя за сделанную глупость, потом так же бы прямо объяснил то, что могло заставить тебя сделать эту глупость; и все это сказал бы с тем чувством благодарности, которое государь вполне заслуживает. Если не воспользуешься этой возможностью, то будешь то щетинистое животное, которое своим хрюканьем оскорбляет слух всякого благовоспитанного человека». Пушкин написал Бенкендорфу, что берет свою просьбу обратно, и выразил сожаление, что «необдуманное письмо мое могло показаться безумной неблагодарностью и супротивлением воле того, кто доньше был более моим благодетелем, нежели государем». Бенкендорф показал письмо Жуковскому. Тот опять пришел в ужас, попросил Бенкендорфа подождать с передачей письма

Пушкина царю, а Пушкину написал: «Я право не понимаю, что с тобой сделалось: ты точно поглупел; надобно тебе или пожить в желтом доме или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение. Письмо твое так сухо, что оно может показаться государю новою неприличностью. Разве ты разучился писать? Разве считаешь ниже себя выразить какое-нибудь чувство к государю? Зачем ты мудришь? Действуй просто. Государь огорчен твоим поступком; он считает его с твоей стороны неблагодарностью. Он тебя до сих пор любил и искренне хотел тебе добра. По всему видно, что ему больно тебя оттолкнуть от себя. Что ж тут думать? Напиши то, что скажет сердце. А тут, право, есть, о чем ему разговориться». Пушкин в горьком недоумении ответил Жуковскому: «Я, право, сам не понимаю, что со мною делается. Идти в отставку, когда того требуют обстоятельства, будущая судьба всего моего семейства, собственное мое спокойствие, – какое тут преступление, какая неблагодарность? Но государь может видеть в этом что-то похожее на то, чего понять все-таки не могу. В таком слу-

чае я не подаю в отставку и прошу оставить меня на службе. Теперь, отчего письма мои сухи? Да зачем же быть им сопливыми? В глубине сердца моего я чувствую себя правым перед государем; гнев его меня огорчает, но чем хуже положение мое, тем язык мой становится связаннее и холоднее. Что мне делать? Просить прощения? хорошо; да в чем?.. Не знаю, почему письма мои неприличны. Попробую написать третье». И написал третье, – по возможности, «сопливое». Наконец, царь положил гнев на милость и написал Бенкендорфу: «Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться; то, что может быть прости-тельно двадцатилетнему безумцу, не может применяться к человеку тридцати пяти лет, мужу и отцу семейства».

Полное непонимание душевной драмы Пушкина Жуковский выказал и при улаживании первого вызова Пушкина к Геккерену. Знаменитое письмо Жуковского о смерти Пушкина насквозь фальшиво; в нем Жуковский, с целью обеспечить милость царя к се-

мье Пушкина, рисует Пушкина восторженным обожателем царя, вкладывает в его уста слова о царе, которых Пушкин никогда не говорил, и т. п.

Сергей Александрович Соболевский (1803–1870)

Побочный сын богатого помещика А. Н. Соймонова от вдовы бригадира А. И. Лобковой. Воспитывался матерью, получил хорошее домашнее образование, жил в роскоши. Обучался в петербургском университетском Благородном пансионе. Товарищами его были П. В. Нащокин, А. А. Краевский, М. И. Глинка, Л. С. Пушкин (брат поэта). С 1822 г. числился на службе в московском архиве министерства иностранных дел. Архив этот был излюбленным местом служения для тех молодых дворян, которые, не имея влечения к военной деятельности, искали легкой и видной службы на дипломатическом поприще, а также и для тех, кого вообще не прельщала чиновничья карьера. Эти «архивные юноши», как их назвал Пушкин в «Евгении Онегине», составляли цвет московской молодежи. К ним принадлежали братья Киреевские, Веневити-

нов, Одоевский, Шевырев, Погодин и другие. По приезде в Москву Соболевский зажил веселой, рассеянной жизнью богатого повесы, кутившего на родительский счет и преимущественно на счет баловницы-матери. Блистал на балах и великосветских раутах, задавал гастрономические обеды, устраивал холостые попойки, прославился многочисленными любовными приключениями. Но в то же время был в тесной связи с передовой молодежью, посещал литературные и философские кружки, принимал живое участие в основании журнала «Московский вестник», дружил с целым рядом писателей. Пушкин, Грибоедов, Дельвиг, Баратынский читали ему свои произведения и дорожили его советами. С января 1829 г. до 1833 г. путешествовал по Европе, затем жил в Петербурге и Москве, а в августе 1836г. снова уехал за границу. Впоследствии основал с братьями Мальцевыми бумагопрядильную фабрику и сильно разбогател. Жил то в Москве, то в Петербурге, много путешествовал за границей. Был страстный любитель книги, собрал библиотеку в 25 000 томов; как библиофил и ученый библиограф пользо-

вался большой известностью и в Западной Европе. Был автором многочисленных эпиграмм и экспромтов, нередко приписывавшихся Пушкину.

С Пушкиным Соболевский познакомился в Петербурге, через его брата, когда еще был в университетском пансионе. Сблизились они после приезда Пушкина в Москву. Пушкин вскоре поселился у Соболевского, на Собачьей площадке, и жил у него до самого своего отъезда в Петербург. И впоследствии они видались очень часто, когда жили в одном городе. Во время дуэли и смерти Пушкина Соболевский находился за границей.

Высокий, плотный, с лицом сатира; всегда одетый по моде; любил широко пожить, вкусно поесть и хорошо выпить; нахал и циник; его выходок и бесцеремонной шумливости многие совершенно не выносили, особенно дамы (жена Пушкина, жена Дельвига). До какого цинизма доходили его выходки показывает запись в дневнике Пушкина. «3 марта (1834 г.), – пишет Пушкин, – был я вечером у князя Одоевского. Соболевский любезничал с Ланской, сказал ей велегласно: «Le ciel n'est

pas plus pur que le fond de mon cul (само небо не более чисто, чем дно моей задницы)»[268]. Он ужасно смутился, свидетели (в том числе Ланская) не могли воздержаться от смеха. Княгиня Одоевская обратилась к нему, позеленев от злости. Соболевский убежал». Одна современница, Новосильцева, характеризует Соболевского так: «Он жил в свое удовольствие, никому не принося пользы и не имея настоящих друзей. В сущности, он не любил никого, дорожил очень немногими, а остальных презирал и преследовал своими злыми и остроумными эпиграммами. Его железный характер тяготел над людьми, близкими ему; он их забирал в руки и заставлял плясать под свою дудку. Те же, которые не поддавались, попадали в немилость». Пушкин любил Соболевского за тонкий литературный вкус, за остроумие и деловитость, посвящал его в свои хозяйственные дела. Однако очень сомнительно, чтобы между ними была большая духовная близость. В немногочисленных письмах своих к Соболевскому Пушкин совершенно не касается сколько-нибудь серьезных вопросов, речь только о деньгах и вообще о

житейских делах, стиль писем, как всегда у Пушкина, – стиль адресата, в данном случае – острящий и циничный; предмет острот – обжорство и сластолюбие Соболевского; Пушкин называет его «животом», Калибаном, Фальстафом, заканчивает письма: «прощай, обжирайся на здоровье». Летом 1834 г., сообщая жене о беспутной жизни брата своего Левушки, Пушкин прибавляет: «Соболевский им руководствует, и что уж они делают, то Господь ведает. Оба довольно пусты». Но, по-видимому, у Соболевского действительно был сильный, характер, и он умел влиять на Пушкина. Главным образом благодаря вмешательству Соболевского были предотвращены дуэли Пушкина с Ф. И. Толстым и Соломирским. В. А. Сологуб и А. А. Муханов высказывают твердую уверенность, что если бы во время последней дуэли Пушкина Соболевский находился в Петербурге, то он, по влиянию его на Пушкина, один мог бы удержать его, прочие были не в силах.

Павел Воинович Нащокин
(1800–1854)

В последнее десятилетие жизни Пушкина самый близкий его друг. Знатного дворянского рода, из очень богатой помещичьей семьи. Учился в петербургском университетском Благородном пансионе вместе с братом Пушкина Львом. Курса не кончил. Поступил в лейб-гвардии Измайловский полк, зажил разгульной жизнью богатого гвардейского офицера, кутил, вел крупную игру в карты, ухаживал за актрисами. Наследник громадного родового имения, он удивлял всех обстановкой своей квартиры, рысаками, экипажами, выписанными прямо из Вены. Деньги ему были нипочем. Он покупал все, что попадалось на глаза: мраморные вазы, китайские безделушки, фарфор, бронзу, сколько бы это ни стоило, а потом за ненадобностью раздаривал друзьям. Для поощрения молодых талантов заказывал начинающим художникам свои портреты; таких портретов писано было с него до тридцати штук, их он тоже раздаривал. Жил он на всем готовом у своей матери, но, кроме того, нанимал бельэтаж большого дома на Фонтанке. Сюда он приезжал ночевать после ночных игр и кутежей, сюда же

каждый из его знакомых мог явиться на ночлег не только один, но и приводить незнакомых Нащокину приятелей своих, даже девиц. Многочисленная прислуга под управлением Карлы-головастика обязана была для всех раскладывать на полу постели: для парочек – в маленьких кабинетах, для одиноких – в больших комнатах, вповалку. Сам Нащокин, являсь позднее всех, только спрашивал, много ли ночлежников, и тихо пробирался в свой отдельный кабинет. Но утром все обязаны были являться к кофе или чаю. Случалось, в день рождения Нащокина гвардейская молодежь, после великолепного завтрака и множества опорожненных бутылок, сажала в четырехместную карету, запряженную четверкой лошадей, нащокинского Карлу-карлика с кучей разряженных девиц, а сами офицеры, сняв мундиры, в одних рейтузах и рубашках, засев на места кучера и форейтора и став на запятках вместо лакеев, летели во всю конскую прыть по Невскому, по Морской и по всем лучшим улицам. Пушкин в это время был уже знаком с Нащокиным и принимал участие в забавах его приятелей. Однажды,

тоже в день рождения Нащокина, по инициативе Пушкина, Нащокина пригласили в его собственный приют и при входе приготовили ему сюрприз до того циничный, что невозможно описать.

В 1824 г. Нащокин вышел в отставку поручиком, переехал в Москву и там повел ту же беспутную, распущенную и совершенно бездеятельную жизнь. Двух вещей он никогда не мог понять: как можно трудиться и как можно отказывать себе в осуществлении самой шальной затеи, раз есть деньги? Состояние свое он вскоре спустил, временами сильно нуждался, так что приходилось, например, топить печи мебелью красного дерева. Но потом дела его опять поправлялись: то выиграет большую сумму в карты, то получит от дальнего родственника наследство «в какую-нибудь сотню душ», то вдруг кто-нибудь возвратит ему крупный долг. Тогда он опять начинал швырять деньги направо и налево, давал займы каждому, кто попросит, помогал любому попрошайке, задавал приятелям роскошнейшие обеды, осуществлял нелепейшие затеи. Известность получил «Нащокин-

ский домик», о котором не раз упоминает в письмах Пушкин, игрушечный двухэтажный домик аршина в два длины, населенный куклами. Все принадлежности и обстановка домика делались на заказ первейшими мастерами, обувь для кукол делал по специальным колодкам лучший петербургский сапожник Пель; настоящий игрушечный рояль в семь с половиной октав – Вирт; на рояле можно было разыгрывать палочками целые пьесы; мебель, раздвижной обеденный стол работал знаменитый Гамбс; скатерти, салфетки, фарфоровая и хрустальная посуда на двадцать четыре куверта, – все делалось на лучших фабриках. Домик этот обошелся Нащокину в сорок тысяч рублей[269]. Жил он с цыганкой Ольгой Андреевной, дочерью знаменитой Стеши. С утра до вечера в доме Нащокина толкся разнообразнейший народ, – на знакомства он был очень неразборчив. «Такая бестолочь и ералаш, что голова кругом идет, – писал Пушкин жене. – С утра до вечера у него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно заимодавцы. Всем вольный вход. Всем до

него нужда: всякий кричит, курит трубку, обедает, поет, пляшет; угла нет свободного... Не понимаю, как можно жить, окруженным такою сволочью». Главной страстью Нащокина были карты. Для них он забывал все. Приехал к нему из Петербурга горячо любимый Пушкин, – и в первый же вечер Нащокин, оставив его дома, отправился в клуб играть в карты. «Любит меня один Нащокин, – писал Пушкин жене. – Но тинтере (карточная игра) – мой соперник, и меня приносят ему в жертву». Однажды обедал у Нащокина беллетрист Ник. Фил. Павлов. После обеда сели играть. Играли весь вечер и всю ночь. Нащокин проиграл все наличные деньги, золотые часы, столовое серебро, карету с лошадьми и санки своей сожительницы Ольги Андреевны с парой вятков. На рассвете Павлов, захватив серебро, вещи, в выигранной карете поехал домой, приказав сани с вятками отправить вслед за собой.

В 1834 г. Нащокин сбежал от своей цыганки, оставив ей в Москве их квартиру со всей обстановкой, экипажами, лошадьми, хорошую сумму денег, обвенчался с молодой де-

вушкой В. А. Снарской и некоторое время жил с ней в Туле, без всяких средств. Потом переселился в Москву; дела его поправились, и он повел прежний образ жизни. Получил еще раз крупное наследство, скоро спустил и его. Сильно нуждался. Однако, когда приходил к нему почитаемый им гость, Нащокин посылал своего крепостного человека Модеста искать кредита и угощал гостя изысканнейшим обедом с отличными винами и десертом. Последние годы жил почти в нищете. Стал очень религиозен и, подобно Американцу-Толстому, умер, стоя на коленях и молясь Богу.

Нащокин, хотя по-русски писал с безграмотностью совершенно исключительной, был человек очень образованный, умница, с тонким художественным вкусом; восхищался Бальзаком в то время, когда все увлекались Марлинским. Прекрасно рассказывал, – а испытал он в жизни много, сталкивался с самыми разнообразными людьми, рассказывать было что. Обществом его дорожили все выдающиеся люди его времени – Пушкин, Баратынский, Вяземский, Жуковский, Языков, Де-

нис Давыдов, Гоголь, Чаадаев, Брюллов, Тропинин, Щепкин, Верстовский. Что-то, очевидно, было в Нащокине поднимавшее его над уровнем ординарности. Гоголь писал про него, что, безрасчетно и шумно проведя молодость в обществе знатных повес и игроков, Нащокин ни разу не потерялся душой, не изменил ни разу ее благородным движениям, умел приобрести невольное уважение достойных и умных людей; будучи низринут в несчастье, в самые крайние положения, от которых бы закружилась и потерялась у всякого другого голова, он не прибегнул ни к одному бесчестному средству, которое могло бы выпустить его из крайности, не вдался ни в один из тех пороков, в которые способен вдаваться русский, приведенный в отчаяние. Так же смотрел на Нащокина и Пушкин. Его он собирался сделать героем своего романа «Русский Пелам», где хотел вывести богатого и одаренного юношу двадцатых годов, предающегося самому бесшабашному разгулу, опускающегося до самых низменных нравственных подонков общества и через всю грязь, пороки и распущенность проносящего

ясный ум и чистую, исполненную благородства душу. В письмах своих к Нащокину Пушкин отмечает его «удивительное добродушие и умную, терпеливую снисходительность», пишет ему: «...кто, зная тебя, не поверит тебе на слово своего имени, тот сам не стоит никакой доверенности». Нащокин был человек очень жизнерадостный, никогда не падавший духом, с добрым сердцем, отзывчивый. Помогая всяким тунеядцам и проходимцам, помогал и людям достойным, оказывал энергичную поддержку попавшим в беду артистам и писателям.

Пушкин близко сошелся с Нащокиным в Москве около 1829 г. С этого времени, приезжая в Москву, он почти всегда останавливался у Нащокина. Сейчас же оба отправлялись в баню, брали большой номер с двумя полками, подолгу парились и предавались самой задушевной беседе. Пушкин к этому времени сильно уже утомился, его не так тянуло к светским развлечениям и многолюдству, он казался домоседом. Нужны были даже усилия со стороны Нащокина, чтобы заставить Пушкина не прерывать своих знакомств и выез-

жать. Целые дни проводил он на диване, с трубкой во рту, болтая с Нащокиным и его домочадцами, учился играть в вист и просиживал за ним днями; шутливо ухаживал за родственницей Нащокина, княжной, недалекой старой девой, воображавшей, что она неотразима; Пушкин вздыхал, бросал на нее пламенные взоры, становился перед ней на колени, целовал руки и умолял окружающих оставить их вдвоем; княжна млела от восторга, роняла на пол платок, а Пушкин, поднимая, каждый раз жал ей ногу. Любил он также кривляния и песни обедневшего дворянина Загряцкого, ставшего по нужде шутом и бывавшего у Нащокина. Пушкин очень любил Нащокина, в письмах к нему делился самыми интимными переживаниями, надеждами и горестями, устраивал через него свои денежные дела; заслушивался его рассказами, записывал их за ним, побуждал написать воспоминания. Нащокин, между прочим, рассказал Пушкину случай с белорусским дворянином Островским, послуживший Пушкину темой для «Дубровского».

Думают, что Нащокин первый обратил

внимание Пушкина на молодого Белинского, через Нащокина Пушкин послал Белинскому первый номер «Современника» и вел переговоры о сотрудничестве Белинского в «Современнике». Гоголь во втором томе «Мертвых душ» вывел Нащокина под именем Хлобуева.

Вера Александровна Нащокина
(ок. 1811–1900)

Пушкин и Нащокин во всех важных вопросах жизни всегда советовались друг с другом. Когда Пушкин задумал жениться на Н. Н. Гончаровой, он спросил мнение Нащокина. Нащокин посоветовал жениться. Осенью 1833 г. Нащокин решил порвать связь со своей сожительницей, неистовой и некультурной цыганкой Ольгой Андреевной, и жениться на молодой, хорошенькой девушке, Вере Александровне Снарской. Когда в ноябре 1833 г. Пушкин, проездом из Болдина в Петербург, остановился в Москве, Нащокин повез его к невесте. Вера Александровна сильно оробела, но Пушкин держался так просто и приветливо, что смущение ее совершенно исчезло. Он просидел довольно долго и все время говорил почти с ней одной. Когда друзья собрались

уходить, Нащокин с улыбкой кивнул на девушку и спросил Пушкина:

– Ну, что, позволяешь на ней жениться?

– Не позволяю, а приказываю, – ответил Пушкин.

Нащокин сбежал от своей цыганки, в подмосковной деревне женился на Вере Александровне и некоторое время прожил с ней в Туле. Потом переселился опять в Москву. В начале мая 1836 г. Пушкин приехал в Москву и, по обыкновению, остановился у Нащокина, в Пименовском переулке. Нащокин посидел с другом, но даже для Пушкина не смог изменить привычке и отправился в Английский клуб играть в карты, оставив Пушкина с женой. Уходя, он спросил, что им прислать из клуба. Пушкин попросил варенца и моченых яблок – это были его любимые кушанья. Клуб был недалеко, через несколько минут лакей принес. Пушкин вступил в душевную беседу с Верой Александровной, рассказывал о своей дружбе с Нащокиным, об их молодых проказах, припоминал смешные эпизоды. Заговорились до пяти часов утра, когда Нащокин воротился из клуба. Он спросил:

– Ты, небось, соскучился с моей женой?

Пушкин ответил:

– Уезжай, пожалуйста, каждый вечер в клуб.

– Вижу, вижу. Ты уж ей насплетничал на меня?

– Было немножко, – смеясь, ответил Пушкин.

Пушкин прожил у Нащокина недели три. Выезжал мало. Целыми часами он и супруги Нащокины просиживали в комнате Веры Александровны на турецком диване, поджав под себя ноги, – Вера Александровна посредине, а по сторонам Нащокин и Пушкин в красном архалуке с зелеными клеточками. Он часто восклицал:

– Как я рад, что я у вас! Я здесь в своей родной семье.

Вера Александровна прожила до глубокой старости, умерла в 1900 г. в Москве. Сильно нуждалась. Московский литературно-художественный кружок не раз оказывал ей материальную поддержку. Оставила воспоминания о Пушкине, напечатанные в «Новом времени». В них находим много мелких, но ценных

бытовых черточек в характеристике Пушкина.

Петр Александрович Плетнев (1792–1862)

Сын бедного сельского священника, рано остался сиротой, учился в тверской духовной семинарии, затем в петербургском Педагогическом институте. Кончил курс в 1817 г. Преподавал словесность в женских институтах и кадетских корпусах. Писал стихи. Познакомился с Дельвигом, Жуковским, Пушкиным. Поздними вечерами возвращались они с Пушкиным с суббот Жуковского и в одушевленных беседах не замечали дальних петербургских расстояний. Сношения ограничивались пока обыкновенным знакомством, а вскоре Пушкин был выслан из Петербурга. Из Кишинева Пушкин по поводу одного стихотворения Плетнева писал брату Льву: «Мнение мое, что Плетневу приличнее проза, нежели стихи; он не имеет никакого чувства, никакой живости, слог его бледен, как мертвец. Кланяйся ему от меня (т. е. Плетневу, а не его слогу) и уверь его, что он наш Гете». Бесцеремонный Левушка показал письмо Плетне-

ву. Плетнев ответил Пушкину стихотворением, которое было бы прекрасно, будь оно ровно в десять раз короче:

*Я не сержусь за едкий твой упрек:
На нем печать твоей открытой
силы;
И может быть, взыскательный
урок
Ослабшие мои возбудит крылы.
Твой гордый гнев, скажу без лиш-
них слов,
Утешнее хвалы простонародной:
Я узнаю судью моих стихов,
А не льстеца с улыбкою холод-
ной...*

и т. д.

По поводу этого стихотворения Пушкин, попеняв брату за его нескромность, писал: «Послание Плетнева, может быть, первая его пьеса, которая вырвалась от полноты чувства. Она блещет красотами истинными. Он умел воспользоваться своим выгодным против меня положением; тон его смел и благороден». А самому Плетневу ответил задушевным письмом, положившим начало прочной

их дружбе, продолжавшейся до самой смерти Пушкина. Плетнев был человек «услужливый», как назвал его Пушкин, деловитый и исполнительный. Живя постоянно в Петербурге, он заведывал изданием произведений Пушкина. «Я был для него всем, – писал Плетнев, – и родственником, и другом, и издателем, и кассиром. Пушкин, найдясь по большей части вне Петербурга, то в Новороссийском краю, то в своей деревне, беспрестанно должен был писать ко мне, потому что у него не было других доходов, кроме тех денег, которые собирал я от издания и продажи его сочинений. Привычка относиться во всем ко мне, опыты прямоты моего и – может быть – несколько счастливых замечаний, которые мне удалось передать ему на его сочинения, до такой степени сблизили его со мною, что он предварительно советовался с моим приговором каждый раз, когда он в новом сочинении своем о чем-нибудь думал надвое. Присылая оригинал свой ко мне для печатания, он прилагал при нем несколько поправок или перемен на сомнительные места, предоставляя мне выбрать для печати то, что

я найду лучше». Сношения Плетнева с опальным Пушкиным обратили на себя внимание, и приказано было навести справки о Плетневе. Полиция ответила: «Служит с отличным усердием, женат; поведения весьма хорошего, характера тихого и даже робкого, живет скромно». Несмотря на такой отзыв, за Плетневым был учрежден секретный надзор. Стихи он вскоре перестал писать и перешел к критическим статьям. Он держался мнения, что о плохих произведениях писать не стоит, а в хороших надо больше обращать внимание на хорошие стороны; статьи его поэтому были неизменно благожелательны и мягки. Темпераментному Пушкину это мало нравилось, и он писал Плетневу: «Брат Плетнев! не пиши добрых критик! будь зубаст и бойся приторности!»

С 1826 г. Плетнев, рекомендованный Жуковским, преподавал русский язык и словесность в царском дворце – великим княжнам, а потом и наследнику Александру Николаевичу. В 1832 г. занял кафедру русской словесности в Петербургском университете. Пушкин очень любил Плетнева. Ему он посвятил «Ев-

гения Онегина»:

*Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты...*

и т. д.

В последние месяцы жизни озлобленный, с издерганными нервами, Пушкин тянулся к уравновешенному, незлобливо-мягкому Плетневу, в беседах с ним выше всего ставил в человеке качество благоволения, видел это качество в Плетневе, завидовал его жизни. Плетнев был высокого роста, крепко сложенный, приятной наружности; говорил тихо, как будто стыдливо. И. С. Тургенев, бывший его слушателем в конце тридцатых годов, рассказывает: «Как профессор русской литературы Плетнев не отличался большими сведениями; ученый багаж его был весьма легок; зато он искренно любил свой предмет, обладал

несколько робким, но чистым и тонким вкусом, и говорил просто, ясно, не без теплоты. Кроткая тишина его обращения, его речей, его движений не мешала ему быть пронизательным и даже тонким, но тонкость эта никогда не доходила до хитрости, до лукавства. Для критика ему не доставало энергии, огня, настойчивости; прямо говоря, – мужества. Он не был рожден бойцом. Пыль и дым битвы – для его гадливой и чистоплотной натуры были столь же неприятны, как и сама опасность, которой он мог подвергнуться в рядах сражавшихся. Притом его положение в обществе, его связи со двором так же отдаляли его от роли критика-бойца, как и собственная его натура. Оживленное созерцание, участие искреннее, незыблемая твердость дружеских чувств и радостное поклонение поэтическому – вот весь Плетнев».

После смерти Пушкина Плетнев взял на себя редактирование его журнала «Современник». Но и в области журналистики он оказался таким же «блондином» (употребляя выражение Достоевского о поэте А. Плещееве), – каким блондином был и в поэзии, и в крити-

ческих статьях, и в жизни. Журнал успеха не имел и в конце концов был передан Плетневым другим лицам. В 1840 г. Плетнев, оставаясь профессором, был избран в ректоры, переизбирался еще два раза, в 1849 г., с изменением устава, был ректором по назначению от правительства. И оставался ректором до 1861 г., исполняя также в отсутствие попечителя и его обязанности. Со студентами Плетнев был мягок, приветлив и доступен, но мягок был и с начальством, так что мог удержаться на своем посту в течение свирепейшей реакции, наступившей после 1848 г. Иногда он шел даже дальше того, что требовалось законом. Никитенко, например, рассказывает: в качестве председателя цензурного комитета Плетнев жестоко притеснял неприятные ему журналы, особенно «Отечественные записки» с ненавистным ему Белинским. Требовал, чтобы цензурный комитет запретил «Отечественным запискам» печатать переводную беллетристику на том основании, что она не значилась в утвержденной программе журнала, хотел запретить «Библиотеке для чтения» печатать переводные романы, потому что ей

были разрешены только переводные повести, и т. п. Уже в сороковых годах Плетнев занял глубоко консервативную позицию, восторженно приветствовал «Переписку» Гоголя, враждебно относился к Грановскому, Лермонтову, Некрасову.

Писатели

Гавриил Романович Державин (1743–1816)

Знаменитый поэт второй половины XVIII века. В юности Пушкина пользовался огромным уважением как признанный патриарх русской литературы. С благоговейным уважением относилась к нему и учащаяся молодежь Царскосельского лицея. В начале января 1815 г. был назначен в лицее публичный экзамен, на котором обещался быть Державин. Когда лицеисты узнали, что Державин будет к ним, они взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, чтобы дожидаться его и поцеловать ему руку, – руку, написавшую «Водопад». Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара:

– Где, братец, здесь нужник?

Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, он отменил свое намерение и возвратился в залу. Державин был очень стар. Он был в мундире и плисовых сапогах. Экзамен очень его утомил: он сидел, подперши голову рукой; лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвисли. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен русской словесности. Тут он оживился; глаза заблистали, он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостью необыкновенной. Вызвали Пушкина. Стоя в двух шагах от Державина, он прочел свои патриотические стихи «Воспоминания в Царском Селе». Мальчик не помнил себя от волнения и восторга. Он читал:

*О, громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и
Суворов,
Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победу похи-
щали;
Их смелым подвигам страшась,
дивился мир;*

*Державин и Петров героям песнь
бряцали
Струнами громозвучных лир.*

При слове «Державин» голос мальчика зазвенел. Кончил читать. Державин в восхищении обнял юного поэта и воскликнул:

– Я не умер. Вот кто заменит Державина!

Со слезами на глазах поцеловал Пушкина и положил руку на кудрявую его голову. Взволнованный Пушкин убежал. Его искали, но не нашли.

Пушкин впоследствии несколько раз вспоминал о теплом привете, с каким Державин отнесся к его юной музе:

*И свет ее с улыбкой встретил,
Успех нас первый окрылил:
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.*

Так в «Евгении Онегине». И в послании к Жуковскому:

*И славный старец наш, царей певец
избранный,
В слезах обнял меня дрожащею
рукой
И счастье мне предрек, незнаемое*

мной.

До конца жизни Пушкин относился к поэту Державину с большим уважением, не допускал, чтобы в журналах, где хотели иметь его сотрудником, о Державине отзывались непочтительно. Однако смотрел на него трезво и вот как писал Дельвигу в 1825 г.: «По твоём отъезде перечел я Державина всего, и вот мое окончательное мнение: этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка, — он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии — ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы. Что ж в нём: мысли, картины и движения истинно поэтические; читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника... У Державина должно сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь. Жаль, что наш поэт, как Суворов, слишком часто кричал петухом». К личности Державина, по сообщению Нащокина, Пушкин относился отрицательно. Он рассказывал Нащокину, что знаменитый лирик в

пугачевщину сподличал, струсил и предал на жертву одного коменданта крепости, изображенного в «Капитанской дочке» под именем Миронова (сильно смягченный рассказ Пушкина о поведении Державина см. в «Истории пугачевского бунта», гл. VIII первой части).

Граф Дмитрий Иванович Хвостов
(1757–1835)

«Благосклонный читатель! Ты зришь пред очами своими жизнеописание знаменитого в своем отечестве мужа. Дела его и заслуги своему отечеству столь были обширны, что поместить оные в себе может одна только соразмерная оным память, и токмо при систематическом и притом раздельном повествовании оных. Почему мы при настоящем издании его жизнеописания заборассудили дела его и заслуги отечеству разделить на две части или статьи: предметом первой будут душевные его таланты и степень образованности по отношению к наукам и просвещению; предметом же второй положим краткое описание гражданского его достоинства и знаменитости, которые он своими доблестями приобрел в славном российском государ-

стве».

Так начинается свою автобиографию граф Дмитрий Иванович Хвостов, «действительный тайный советник, сенатор и кавалер». Мы приступим к его жизнеописанию в обратном порядке, – сначала опишем доблестное его «гражданское достоинство», а потом – заслуги сего мужа по просвещению российской публики бессмертными поэтическими творениями своими.

Родился он просто Хвостовым. Был сыном подпоручика гвардии. Служил в мелких должностях в провиантском штате, в винной экспедиции, в одном из сенатских департаментов. В 1778 г., за неявку на службу, был уволен от должности и уехал в Москву. Там женился на княжне Агр. Ив. Горчаковой, родной племяннице знаменитого Суворова. После этого началась быстрая карьера Хвостова. Вскоре он уже действительный статский секретарь, обер-прокурор сенатского департамента. По ходатайству Суворова императрица Екатерина пожаловала Хвостова в камер-юнкеры. Когда ей указали, что нет данных для такого пожалования Хвостова, Екатерина от-

ветила:

– Если бы Суворов попросил, я сделала бы его и камер-фрейлиною.

Хлопотами того же Суворова сардинский король возвел Хвостова в графское достоинство; вскоре Хвостову было разрешено пользоваться этим титулом в России. К концу жизни граф Хвостов был действительным тайным советником, членом государственного совета и занимал важную должность в сенате.

Однако «знаменитость», – и знаменитость широчайшую, – Хвостов приобрел не описанным гражданским своим служением, а поэтической деятельностью. Батюшков сказал о нем: «Хвостов своим бесславием славен будет и в позднейшем потомстве». Это был бездарнейший виршеплет, напихивавший в корявые рифмованные строчки вялые эпитеты, безвкусные образы и невероятнейшую бессмыслицу. В баснях его, например, голубок разгрызает зубами сети, в которых запутался, осел лезет лапами на дерево, у козла – свиная туша и т. п. Писал Хвостов в самых разнообразных родах, – писал оды, послания, притчи,

басни, переводил Буало, Расина, был усердным приверженцем ложноклассической поэзии. Никто сочинений его не читал и не покупал, но Хвостов выпускал их все новыми и новыми изданиями, рассылал пудами знакомым и незнакомым, рассылал в академии, университеты, школы; поймав слушателя даже на улице, часами читал свои стихи, без конца и без отдыха; на торжественных собраниях потихоньку рассовывал свои книжки по карманам фраков присутствующих, в дороге дарил их всем станционным зрителям. Через подставных лиц скупал в книжных магазинах свои сочинения, уничтожал их и выпускал новыми изданиями; заказывал переводы на иностранные языки, печатал и рассылал иностранным знаменитостям: Гете, Ал. Гумбольдту, Ламартину. На всех этих изданиях он сильно порасстроил свое состояние.

Все потешались над творениями Хвостова. Но никакие насмешки и эпиграммы не колебали в нем глубочайшей уверенности в его гениальности. Он писал о себе:

*Ступай теперь, Хвостов,
Награду получить достойную*

*трудоу;
Стань смело на ряду с бессмерт-
ными творцами
И, скромность отложив, красуйся
их венцами!*

Насмешки над собой он приписывал зависти и увлечению новыми, осужденными на скорую гибель литературными модами. Когда Суворов умирал, он призвал Хвостова и умолял его не позорить себя и бросить писать стихи. Хвостов вышел от Суворова, обливаясь слезами. Все кинулись к нему, стали расспрашивать, как себя чувствует фельдмаршал. Хвостов безнадежно махнул рукой:

– Бредит!

Ловкие люди пользовались тщеславием Хвостова и, кадя ему фимиами, устраивали через него свои делишки. Среди этих людей были и профессора, и поэты, и журналисты (князь Шаликов, Воейков, Греч). Кто просил материальной поддержки своему журналу, кто протекции в сенате, кто денежного пособия, кто представления о производстве в чин. Для таких своих хвалителей Хвостов делал все, что мог.

Для молодой литературы Хвостов служил предметом неистощимых насмешек. В «Арзамасе» сочинения его были настольными потешными книгами. Его высмеивали в стихах Жуковский, Батюшков, Вяземский. Пушкин еще лицеистом постоянно с насмешкой упоминал в своих стихах Хвостова под именем Графова или Свистова. В 1825 г., в Михайловском, он написал пародию на оды Хвостова, великолепно подделываясь под стиль Хвостова. Сопоставляя его с Байроном, Пушкин писал:

*Вам с Байроном шипела злоба,
Гремела и правдива лесть.
Он – лорд, граф – ты, поэты оба!
Се – мнится – явно сходство есть.
Никак! Ты с верною супругой
Под бременем судьбы упругой
Живешь в любви – и наконец
Глубок он, но единообразен,
А ты глубок, игрив и разен,
И в шалостях ты впрямь певец...*

и т. д.

В 1831 г., разгар холеры, Пушкин писал

Плетневу из Царского Села: «С душевным прискорбием узнал я, что Хвостов жив. Посреди стольких гробов, стольких ранних или бесценных жертв Хвостов торчит каким-то кукишем похабным. Перечитывал я на днях письма Дельвига; в одном из них пишет он мне о смерти Веневитинова! «Я в тот же день встретил Хвостова, говорит он, и чуть не разругал его: зачем он жив?» Бедный наш Дельвиг! Хвостов и его пережил!»

Осенью этого же года Хвостов, прочитав патриотические стихи Пушкина «Клеветникам России», написал ему такое письмо: «Милостивый государь мой Александр Сергеевич! Не повстречал вас лично, я имею честь послать к вам мои стихи, вскоре после творения вашего «Клеветникам России» сочиненные. Примите их от старика, близкого к могиле, в знак отличного уважения к дарованиям вашим.

*Против крамол писал я много,
Изобличал безумцев строго.*

Но, убедясь в печальной истине опытов, что развращенные сердца завистливых кра-

мольников ожесточенны и слухи их не внемлют прелестей гармонии сынов Аполлона, я ограничиваюсь желанием, чтобы знаменитая лира ваша предпочтительно воспевала богатырей русских давнего и последнего времени».

Стихи Хвостова к Пушкину очень длинные. Приводим из них отрывки, чтобы дать представление о манере Хвостова.

*Когда кипела в жилах кровь,
Я славить мог весну, любовь;
От ига лет, подобно маку,
Я сгорбился, равняюсь злаку,
Но стал союзник Ходиаку.
Страшась холеры, стрел и пуль,
Я пел в Петрополе июль,
Поклонник давний русской славы,
Пел в августе приступ Варшавы...*

и т. д.

*Спасибо Пушкину-поэту;
Завистникам гостинец вновь
Заморскому докажет свету
Его к отечеству любовь.
Его творение прекрасно,
Замысловато, сильно, ясно,
Легко, приятно и умно...*

*Тебе дала поэта жар
Мать вдохновения – природа,
Употреби свой, Пушкин, дар
На славу русского народа...*

и т. д.

Летом следующего 1832 г. Хвостов прислал жене Пушкина положенные на музыку стихи свои «Соловей в Таврическом саду». Пушкины в это время жили на Фурштатской. Стихи кончались так:

*Пусть голос соловья прекрасный,
Пленяя, тешит, нежит слух,
Но струны лиры громогласной
Прочнее восхищают дух.
Любитель муз, с зарею майской,
Спеши к источникам ключей:
Ступай подслушать на Фурштатской,
Поет где Пушкин-соловей!*

Пушкин ответил Хвостову любезнейшим письмом: «Жена моя искренно благодарит вас за принесенный и неожиданный подарок. Позвольте и мне принести вашему сиятельству сердечную мою благодарность. Я в долгу перед вами: два раза почтили вы меня лест-

ным ко мне обращением и песнями лиры заслуженной и вечно юной. На днях буду иметь честь явиться с женою на поклонение к нашему славному и любезному патриарху».

Иван Андреевич Крылов
(1768–1844)

Знаменитый баснописец, «дедушка Крылов». Известно, был ли он когда-нибудь молод, деятелен, художав; но его совершенно невозможно представить себе иначе, как тучным, малоподвижным стариком. И невозможно представить, что о нем могли бы писать биографы и мемуаристы, если бы не его легендарная леность, неопрятность и обжорливость. Служил он в Публичной библиотеке, где ничего не делал, всю работу свалив на плечи своего помощника Сопикова. Квартиру он имел в той же Публичной библиотеке, и была она больше похожа на берлогу медведя, чем на жилище культурного человека. Лестница, ведущая в квартиру, кухня, одновременно служившая прихожей, полы квартиры, стены, мебель – все было грязно, покрыто пылью; хозяин восседал с поджатыми ногами на изодранном диване, в грязном халате; над ди-

ваном, сорвавшись с одного гвоздика, висела наискось большая картина в тяжелой раме; но Крылов рассчитал, что если картина сорвется, то должна описать косвенную линию и миновать его голову, поэтому считал излишним вбивать второй гвоздь.

Он был высокого роста, тучный, с обрюзглым лицом, с седыми, всегда растрепанными волосами; умываться не любил, одевался неряшливо; сюртук носил постоянно запачканный, залитый чем-нибудь, жилет надет был вкривь и вкось. Однажды Крылов соби-рался на придворный бал и советовался с другом своим А. Н. Олениным, как ему нарядиться. Маленькая дочка Олениных ему посоветовала:

– Вы умойтесь и причешитесь, вас никто и не узнает.

Книги он зачитывал или так затрепывал, что знакомые остерегались давать ему ценные издания. Читать серьезных книг и вообще употреблять какие-нибудь умственные усилия не любил. Однако над баснями своими работал много и упорно, не ленился переделывать и переписывать их по десятку раз.

Да и вообще, если задевали его самолюбие, был способен отдаться с порывом самому интенсивному труду. Гнедич часто приходил к Оленину читать свой перевод «Илиады»; когда Крылов пытался делать свои замечания, Гнедич возражал:

– Ведь ты не знаешь греческого языка; ну, и молчи.

Тогда Крылов потихоньку выучился греческому языку, вдруг заспорил с Гнедичем, что он такой-то стих перевел неправильно, и, к изумлению Гнедича, доказал ему это разбором соответственного места в подлиннике.

Весь смысл жизни, все упоение ее, все блаженство заключались для Крылова в еде. Современница так описывает один из званых обедов, устраивавшихся Крылову его почитателями. Обедали в пять часов. Крылов появлялся аккуратно в половине пятого. Перед обедом он неизменно прочитывал две или три басни. Выходило у него прелестно. Приняв похвалы как нечто обыденное и должное, Крылов водворялся в кресло, – и все его внимание было обращено теперь на дверь в столовую. Появлялся человек и провозглашал:

– Обед подан!

Крылов быстро поднимался с легкостью, которой и ожидать от него нельзя было, оправлялся и становился у двери. Вид у него был решительный, как у человека, готового наконец приступить к работе. Скрепя сердце пропускал вперед дам, первый следовал за ними и занимал свое место. Лакей-киргиз Емельян подвязывал Крылову салфетку под самый подбородок, вторую расстилал на коленях и становился позади его стула. На первое блюдо уха с расстегаями; ими всех обносили, но перед Крыловым стояла глубокая тарелка с горою расстегаев. Он быстро с ними покончил и после третьей тарелки ухи обернулся к буфету. Емельян поднес ему большое общее блюдо, на котором еще оставался запас. На второе подали огромные отбивные телячьи котлеты, еле уместались на тарелке, – не осилишь и половины. Крылов съел одну, потом другую; приостановился, окинул взором обедающих, быстро произвел математический подсчет и решительно потянулся за третьей. Громадная жареная индейка вызвала у него восхищение.

– Жар-птица! – твердил он, жуя и обкапывающая салфетку. – У самых уст любезный хруст... Ну, и поджарено! Точно кожицу отдельно и индейку отдельно жарили. Искусники, искусники!

К этому еще мочения, которые Крылов очень любил, – нежинские огурчики, брусника, морошка, сливы. Крылов блаженствовал, глотая огромные антоновки, как сливы. Первые три блюда готовила кухарка, два последних – повар из Английского клуба, знаменитый Федосеич. И вот подавался страсбургский паштет, – не в консервах, присланных из-за границы, а свежеприготовленный Федосеичем из самого свежего сливочного масла, трюфелей и гусиных печенок. Крылов делал изумленное лицо и с огорчением обращался к хозяину:

– Друг милый и давнишний, зачем предательство это? Ведь узнаю Федосеича руку! Как было по дружбе не предупредить? А теперь что? Все места заняты!

– Найдется местечко! – утешал хозяин.

– Место-то найдется, но какое? Первые ряды все заняты, партер весь, бельэтаж и все

ярусы тоже. Один раек остался. Федосеича – в раек! Ведь это грешно!

– Ничего, помаленьку в партер снизойдет! – посмеивался хозяин.

– Разве что так, – соглашался Крылов и накладывал себе тарелку горой.

За этой горой таяла во рту и другая. Наконец, утомленный работой, Крылов неохотно опускал вилку, а глаза все еще с жадностью следили за лакомым блюдом. Но вот и сладкое... Крылов опять приободрился.

– Ну, что? Найдется еще местечко? – поинтересовался хозяин.

– Для Федосеича трудов всегда найдется, а не нашлось бы, то и в проходе постоять можно, – отшучивался Крылов.

Водки и вина пил он немного, но сильно налегал на квас. Когда обед кончался, то около места Крылова на полу валялись бумажки и косточки от котлет, которые или мешали ему работать, или нарочно, из стыдливости, направлялись им под стол. Выходить из столовой Крылов не торопился, двигался грузно, пропуская всех вперед. Войдя в кабинет, где пили кофей, он останавливался, деловито

осматривался и направлялся к покойному креслу поодаль от других. Он расставлял ноги и, положив локти на ручки кресла, складывал руки на животе. Крылов не спал, не дремал, – он переваривал. Удав удавом. На лице выражалось довольство. От разговора он положительно отказывался. Все это знали и его не тревожили. Но если кто-нибудь неделикатно запрашивал его, – в ответ неслось неопределенное мычание. Кофея выпивал он два стакана со сливками наполовину, а сливки были: воткнешь ложку – она так и стоит. Чай пили в девятом часу; к этому времени Крылов постепенно отходил. Начиная прислушиваться к разговору и принимать в нем участие. Ужина в этом доме не бывало, и хотя Крылов отлично это знал, но для очистки совести все же, залучив в уголке Емельяна, покорно спрашивал:

– Ведь ужина не будет?

После чая Крылова сдавали на руки Емельяну, он бережно сводил его с лестницы и усаживал в экипаж.

Погиб Крылов на посту: объелся протертыми рябчиками и умер от несварения желудка.

Вигель дает ему такую характеристику: «В поступи его и манерах, в росте и дородстве есть нечто медвежье; та же сила, та же спокойная угрюмость, при неуклюжести та же смывленность, затейливость и ловкость. В этом необыкновенном человеке были заложены зародыши всех талантов, всех искусств. Скоро, тяжестью тела как бы прикованный к земле и самым пошлым ее удовольствиям, его ум стал реже и ниже парить. Одного ему дано не было: душевного жара, священного огня, коим согрелась, растопилась бы сия масса. Человек этот никогда не знал ни дружбы, ни любви, никого не удостоивал своего гнева, никого не ненавидел, ни о ком не жалел. Две трети столетия прошел он один сквозь несколько поколений, одинаково равнодушный как к отцветшим, так и к зреющим. С хозяевами домов, кои по привычке он часто посещал, где ему было весело, где его лелеяли, откармливали, был он очень ласков и любезен; но если печаль какая их постигала, он неохотно ее разделял. Не сыщется ныне человека, который бы более Крылова благоговел перед высоким чином или титулом, в глазах

коего сиятельство или звезда имели бы более блеска. Грустно подумать, что на нем выпечтан весь характер русского народа, каким сделали его татарское иго, тиранство Иоанна, крепостное над ним право и железная рука Петра. Если Крылов верное изображение его недостатков, то он же и представитель его великих способностей».

Пушкин часто встречался у знакомых с Крыловым всегда, когда бывал в Петербурге. Как художника он ставил его очень высоко, но, по рассказу Нащокина, нравственных достоинств в нем не уважал. В 1825 г. Пушкин напечатал статью о предисловии Лемонте к французскому переводу басен Крылова, где, между прочим, писал, что Крылов является характерным представителем духа русского народа. По этому поводу Вяземский с негодованием писал Пушкину: «Что такое за представительство Крылова? Как ни говори, а в уме Крылова есть все что-то лакейское: лукавство, брань из-за угла, трусость перед господами, все это перемешано вместе. Может быть, и тут есть черты народные, но, по крайней мере, не нам ими хвастаться перед ино-

странцами... Представительство Крылова в нравственном, государственном отношении есть преступление, оскорбление нации, тобою совершенное». Пушкин на это отвечал: «Ты уморительно критикуешь Крылова, молчи, то знаю я сама, да эта крыса мне кума. Я назвал его представителем духа русского народа, – не ручаюсь, чтоб он отчасти не вонял. В старину наш народ назывался «смерд». Дело в том, что Крылов преоригинальная туша».

Николай Иванович Гнедич
(1784–1833)

Поэт, переводчик «Илиады» Гомера. Перевод этот отягчен архаическими оборотами и славянизмами, тем не менее, по передаче духа подлинника, является одним из самых замечательных переводов Гомера и стоит несравнимо выше слащавой «Одиссеи» Жуковского, серой «Илиады» Минского и прилизанных немецких фоссовых переводов обеих поэм. Сын небогатого полтавского помещика, очень рано остался круглым сиротой. Оспа еще в детстве изуродовала его лицо и лишила правого глаза. Учился в Московском университете. С. П. Жихарев вспоминает: «В универ-

ситете его называли J'e'tudiant aux e'chasses или просто ходульником, потому что он любил говорить свысока и всякому незначительному обстоятельству и случаю придавал какую-то важность». Он замечателен был неутомимым своим прилежанием и терпением, любовью к древним языкам, страстью к Шекспиру и Шиллеру. Он увлекался всем, что выходило из обыкновенного порядка вещей, прочитал три раза «Телемахиду» Тредьяковского от доски до доски и даже находил в ней бесподобные стихи. По окончании курса Гнедич переехал в Петербург. Служил в Публичной библиотеке вместе с Крыловым, с которым находился в тесной дружбе. Выдвинулся как поэт и превосходный декламатор, был близок к театру, под его руководством учила роли знаменитая Е. С. Семенова, для нее он перевел «Танкреда» Вольтера и переделал «Лиру». В борьбе шишковистов с карамзинистами Гнедич занимал нейтральную позицию. Литературная молодежь относилась к нему с большим уважением. Баратынский в послании своем из Финляндии писал Гнедичу:

Лишение тягостно беседы мне
твоей,
То наставительной, то сладост-
но-отрадной,
В ней сердцу и уму я пищу нахо-
дил.
Ты бодро действуешь прекрасные
полвека
На поле умственных усилий чело-
века...
С тобой желал бы я беседовать
опять,
Муж, дарованьями, душою превос-
ходный,
В стихах возвышенный и в сердце
благородный.

И Пушкин писал Гнедичу из Кишинева:

Ты, коему судьба дала
И смелый ум, и дух высокий,
И важным песням обрекла...

И через два года писал брату по поводу стихотворения Гнедича «Тарентинская дева»: «Гнедич у меня перебивает лавочку: «уввы, напрасно ждал тебя жених печальный» и проч. – непростительно прелестно. Знал бы своего Гомера, а то и нам не будет места на

Парнасе!» Пушкин высоко ценил вкус Гнедича. Задумав в 1825 г. издать собрание своих стихов, он дал полномочия Жуковскому, Плетневу и Гнедичу исключать и марать сплеча все, что им покажется недостойным включения в собрание. Когда Пушкин жил на юге, Гнедич издал его «Кавказского пленника», но заплатил за него Пушкину всего 500 руб. ассигнациями и прислал один экземпляр поэмы; предложил купить у него второе издание «Руслана» и «Пленника», но Пушкин отказался от его услуг и писал Вяземскому, что Гнедич – «приятель невыгодный», очень держащий на счету каждую копейку.

Пушкин с нетерпением ждал выхода Гнедичева перевода «Илиады», напечатал в «Литературной газете» восторженное извещение о его выходе; когда перевод вышел в свет, Пушкин, с присущей ему озорной насмешливостью, написал эпиграмму:

*Крив был Гнедич поэт, преложитель
слепого Гомера,
Боком одним с образцом схож и
его перевод.*

Видно, слишком соблазнительно было

противопоставить кривого Гнедича слепому Гомеру. Но Пушкин устыдился своей эпиграммы и тщательно замазал ее чернилами, а вместо нее написал известное двустишие:

*Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
Старца великого тень чую смущенной душой.*

К Гнедичу же относят и стихи Пушкина «С Гомером долго ты беседовал один» (1832), но это еще требует подтверждения.

Гнедич со своей стороны всегда восторженно относился к творчеству Пушкина. По поводу двустишия в «Бахчисарайском фонтане» «Твои пленительные очи яснее дня, чернее ночи» Гнедич воскликнул, что за эти два стиха он с удовольствием отдал бы свое последнее око, а сказки Пушкина (о царе Салтане и др.) приветствовал следующим посланием:

*Пушкин, Протей
Гибким твоим языком и волшебством твоих песнопений!
Уши закрой от похвал и сравнений
Добрых друзей!*

*Пой, как поешь ты, родной соло-
вей!
Байрона гений иль Гете, Шекспира
—
Гений их неба, их нравов, их стран.
Ты же, постигнувший таинства
русского духа и мира, —
Ты наш баян!
Небом родным вдохновенный,
Ты на Руси наш певец несравнен-
ный!*

Гнедич, как сказано, был крив, и лицо его было изрыто оспой. Однако держался он как красавец, усердно следовал моде и всегда одевался по последней картинке. Волосы были завиты, шея повязана платком, которого стало бы на три шеи. Был чопорен, величав, речь его звучала несколько декламаторски. «Он, — говорит Сологуб, — кажется, и думал гекзаметрами, и относился ко всему с вершины Геликона». Впрочем, это не мешало ему быть иногда забавным рассказчиком и метким на острое слово. Гнедич слыл хорошим чтецом; но в чтении его, как и во всем прочем, было мало простоты и натуральности. Голос, дикция были как будто подавлены платком, ко-

торый несколько раз обвинял его шею и горловые органы. Французский язык знал он плохо, но любил на нем говорить, и французская речь его была очень забавна.

Александр Сергеевич Грибоедов (1795–1829)

Из старинного дворянского рода. Родители были богаты, владели 2000 душ крестьян, но дела их были очень расстроены вследствие расточительности и обычного неумения хозяйничать. Отец мальчика, секунд-майор, умер рано и был, по-видимому, человек незначительный, мать была умна и довольно образованна, но очень деспотична, честолюбива и жестока. Мальчик рос в атмосфере дворянской спесивости, преклонения перед знатностью и богатством, почтения к старшим, каковы бы они ни были. Он получил блестящую домашнюю подготовку и одиннадцати лет поступил в Московский университет. «Учился страстно» и к 1812 г. прошел три факультета – словесный, юридический и математический. Он владел французским, немецким, английским и итальянским языками, свободно читал по латыни и

вышел из университета одним из образованнейших людей своего времени. Собирался держать экзамен на доктора прав. Но в это время вторгся в Россию Наполеон. Грибоедов, разделяя общее патриотическое воодушевление, бросил занятия и поступил корнетом в гусарский полк. Однако в боях побывать ему не удалось: всю кампанию 1812–1814 гг. ему пришлось провести в тылу за комплектованием кавалерийских резервов. Жил он веселой гусарской жизнью, кутил, озорничал: однажды в Брест-Литовске въехал верхом на лошади на второй этаж, на бал, куда его не пригласили; другой раз забрался в польский костел во время богослужения и стал играть на органе; он был прекрасный пианист, играл так, что всех восхитил, и вдруг в самый торжественный момент богослужения перешел на «Камаринскую».

В 1816 г. Грибоедов вышел в отставку, в 1817-м определился на службу в Петербурге в коллегию иностранных дел, куда около того же времени поступил, окончивший лицей, и Пушкин. Грибоедов с головой ушел в литературную и театральную жизнь Петербурга,

сблизился с князем А. А. Шаховским, Гречем, Катениным. В то время шла борьба между шишковистами и карамзинистами (см. гл. «Арзамас» – т. 1). Грибоедов тяготел к библейским и церковно-славянским архаизмам, это сблизало его с «Беседой», но его отталкивал заскорузлый политический консерватизм шишковистов. С «арзамасцами» он тоже во многом расходился. Образовался особый кружок новоархаистов, в который входил Грибоедов, Катенин, Кюхельбекер, Жандр, С. В. Бегичев. Грибоедов очень увлекался театром, дружил с Сосницким, Валберховой, Семеновой, стал писать комедии и водевили; некоторые из них, как, например, комедия «Молодые супруги», имели успех. Грибоедов жил в кругу золотой молодежи веселой и разгульной жизнью, кутил, озорничал, приобрел славу отъявленного и счастливого волокиты, участвовал в закулисных интрижках. Одна из них привела к двойной дуэли Шереметева с графом Завадовским и А. И. Якубовича с Грибоедовым. Об этой дуэли рассказано в гл. «В петербурге до ссылки. “Зеленая лампа” (см. Каверин). Шереметев был смертельно ранен,

дуэль между Грибоедовым и Якубовичем была отложена. Якубович, признанный следствием главным виновником дуэли, был переведен из лейб-уланского полка на Кавказ в Нижегородский драгунский полк, Завадовский выслан за границу, Грибоедову ничего не было. Дуэль вызвала в петербургском обществе много разговоров, очень неблагоприятных для Грибоедова. И сам он переживал событие очень тяжело. На него нашла ужасная тоска, он беспрестанно видел перед глазами умирающего Шереметева, пребывание в Петербурге сделалось для него невыносимым. Материальные обстоятельства тоже ухудшились. Расточительная жизнь матери и крупные суммы, которые она посылала сыну в Петербург, окончательно расстроили дела Грибоедовых. Вследствие непомерно увеличившихся поборов крестьяне костромского имения Грибоедовых взбунтовались и были кроваво усмирены воинской силой. Мать настаивала, чтобы сын избрал более выгодную службу. Грибоедов определился секретарем при поверенном в делах Персии (ныне Иран) и в августе 1818 г. оставил Петербург. Мать

напутствовала его письмом, в котором советовала избегать честности и прямоты и следовать примеру одного их родственника: «...он подлец, как ты знаешь, и все вперед идет; а как же иначе? Ведь сам Бог, кому мы докучаем молитвами, любит, что перед ним беспрестанно кувырк да кувырк».

В Тифлисе Грибоедов встретился с Якубовичем, и у них произошла дуэль, отложенная в Петербурге. Грибоедов был ранен в кисть левой руки, пуля Грибоедова пролетела под затылком Якубовича. Они помирились. Грибоедов провел на юге пять лет – частью на Кавказе, частью в Персии; изучал персидский и арабский языки и начал свою комедию «Горе от ума». В марте 1823 г. он получил четырехмесячный отпуск, затем продолженный. Жил в Москве и усердно посещал все празднества, балы, пикники, набирая материал для своей комедии. Весной следующего года он приехал в Петербург с законченной комедией. Она имела огромный успех. Грибоедова нарасхват приглашали читать ее. Несмотря на большие связи Грибоедова, провести ее сквозь цензуру не удалось. Однако комедия

распространилась в десятках тысяч списков. Писари зарабатывали огромные деньги, изо дня в день копируя «Горе от ума». Любители собирались кружками и записывали комедию под диктовку. Ни одна книга не разошлась в то время в таком количестве экземпляров, сколько разошлось списков «Горя от ума».

В Петербурге Грибоедов познакомился с членами Тайного общества Рылеевым, А. Бестужевым, князем А. И. Одоевским и другими. По настроению он был очень близок к декабристам. «Горе от ума» целиком отражает ту атмосферу ненависти и отвращения к правящим кругам, в которой жили лучшие люди того времени. Сохранился план драмы «1812 год», которую собирался написать Грибоедов. План этот еще лучше характеризует тогдашнего Грибоедова. Героем драмы должен был быть крепостной человек М. Вот окончание плана. Москва уже во власти французов. «Село под Москвой. Является М. Всеобщее ополчение без дворян. Трусость служителей правительства. Зимние сцены преследования неприятеля и ужасных смертей. Подвиги М...

Эпиллог. Вильна. Отличия, искательства; вся поэзия великих подвигов исчезает. М. в пренебрежении у военачальников. Отпускается восвояси с отеческими наставлениями к покорности и послушанию. Село или развалины Москвы. Прежние мерзости. М. возвращается под палку господина. Отчаяние, самоубийство». Так подойти в то время к «славной эпопее двенадцатого года» мог только писатель, настроенный очень революционно. Однако Грибоедов был скептик, на жизнь смотрел пессимистически; разделяя идеалы декабристов, он не видел в России сил, способных при данных условиях на борьбу. Рылеев и Бестужев несколько раз заводили с ним разговор о положении в России и делали намеки о Тайном обществе. Но Грибоедов неохотно вступал в такие разговоры и отвечал, что Россия не созрела для конституции. Известно его насмешливое замечание о сотне прапорщиков, мечтающих изменить государственный строй России. Рылеев и Бестужев не настаивали, жалея подвергать опасности большой талант.

Весной 1825 г. Грибоедов отправился об-

ратно на Кавказ. Уезжал он в очень мрачном настроении, – «не от бурь, – писал он другу, – не от угрызающих скорбей, но решительно от пустоты душевной. Какой мир! Кем населен! И какая дурацкая его история!» И в творчестве он не мог найти убежища от этой душевной пустоты. «Ничего не написал, – сообщал он тому же другу, С. Н. Бегичеву. – Не знаю, не слишком ли я от себя требую? Умею ли писать? Право, для меня все еще загадка. Что у меня с избытком найдется, что сказать, за это я ручаюсь. Отчего же я нем? Нем, как гроб!!» На Кавказе Грибоедов состоял при командующем отдельным кавказским корпусом А. П. Ермолове, который очень его любил. После декабрьского восстания Грибоедов был арестован в крепости Грозной; Ермолов, получив приказ об аресте, предупредил Грибоедова, и обыск у него был сделан тогда, когда Грибоедов успел уничтожить свои бумаги. С фельдъегерем Грибоедов был отправлен в Петербург. На допросах держался независимо, написал императору Николаю такое письмо, что Дибич не посмел его передать. Улик никаких против Грибоедова не нашлось. 2 мая вы-

сочайше было повелено «освободить его с аттестатом, выдать не в зачет годовое жалованье и произвести в следующий чин».

Грибоедов воротился на Кавказ. Ермолова в начальствовании краем сменил Паскевич, женатый на двоюродной сестре Грибоедова. Грибоедов заведывал сношениями с Персией и Турцией, писал безграмотному Паскевичу его реляции, сопровождал его на персидской войне. Паскевич писал матери Грибоедова, что сын ее совсем его не слушается: «...разъезжает себе под пулями, да и только!» Выработка мирных условий с Персией почти целиком была делом Грибоедова, обнаружившего большие дипломатические способности. Персия уступила России Нахичеванское и Эриванское ханство и обязалась уплатить 30 миллионов рублей контрибуции. Для представления императору мирного трактата Паскевич отправил в Петербург Грибоедова и в письме рекомендовал его Николаю «как человека, который был для меня по политическим делам весьма полезен». Дипломатическая служба, однако, тяготила Грибоедова; проездом в Петербург он посетил в Москве своего друга С. Н.

Бегичева и говорил ему:

– Я приеду на житье к тебе. Все, чем я до сих пор занимался, для меня дела посторонние, призвание мое кабинетная жизнь, голова моя полна, и я чувствую необходимую потребность писать.

В Петербурге Грибоедов встретил блестящий прием. Ему пожалованы были чин статского советника, орден Анны 2-й степени с алмазами и четыре тысячи червонцев. На него смотрели как на восходящую дипломатическую звезду. Но карьера его не прельщала, он был грустен и говорил:

– Я в Персии состарился. Не только загорел, почернел, почти лишился волос на голове, но и в душе не чувствую прежней молодости.

Самая большая тайная боль Грибоедова, о которой он редко говорил, была в том, что ему не писалось. Он оказался типичнейшим «автором одной книги». Все, что он писал не только до, но и после «Горя от ума», не поднималось выше посредственности. Долго и много работал над романтической трагедией «Грузинская ночь», читал ее в Петербурге друзьям, они, так сказать, в кредит, восхищались

ею, – но это, судя по дошедшим отрывкам, было совершенно беспомощное, чисто ученическое подражание Шекспиру. Грибоедов, как уже говорено, был прекрасный пианист. Однажды, слушая его импровизации на фортепиано, актер П. А. Каратыгин воскликнул в восхищении:

– Ах, Александр Сергеевич, сколько Бог дал вам талантов! Вы поэт, музыкант, были лихой кавалерист и, наконец, отличный лингвист!

Грибоедов горько улыбнулся и ответил:

– Поверь, Петруша, у кого много талантов, у того нет ни одного настоящего.

Началась война с Турцией. В Персии, озлобленной позорным миром, необходим был энергичный и знающий дело представитель России. На этот трудный и ответственный пост, – по-видимому, не без тайного намерения, – был назначен Грибоедов. Несмотря на все старания, отделаться от назначения ему не удалось. Он должен был ехать в Персию в качестве русского полномочного министра.

В июне 1828 г. Грибоедов выехал из Петер-

бурга. В Тифлисе он женился на молодой красавице-грузинке, княжне Нине Чавчавадзе и вскоре вместе с ней отправился на место своей службы, в Тавриз, резиденцию наследника престола Аббас-Мирзы. Там Грибоедову пришлось принимать энергичные меры к взысканию еще не выплаченной контрибуции. Он несколько раз писал в Петербург, что персидская казна пуста, страна разорена, что не следует доводить ее до крайности чрезмерными денежными требованиями. Ответ из Петербурга был: взыскивать неукоснительно. С той же целью получения контрибуции Грибоедов, оставив в Тавризе беременную жену, отправился в Тегеран, резиденцию шаха. Желая поднять достоинство русского имени, Грибоедов нарушал этикет шахского двора, выказывал возможно меньше уважения к шаху. Мы не знаем, насколько действовал тут Грибоедов по собственной инициативе и насколько по предписаниям из Петербурга. Но навряд ли при данных обстоятельствах такое поведение было разумно: Россия была занята войной с Турцией, на реальную силу опереться не могла, и большая мягкость диктовалась

элементарными политическими соображениями. Английская дипломатия пользовалась таким положением дел и разжигала в персидских придворных сферах ненависть к русскому послу. Духовенство агитировало в народных массах, будило в них национальный и религиозный фанатизм. Грибоедов дал приют в здании посольства двум армянкам из гарема шахова зятя Алаяр-хана, заклятого своего врага. При этом Грибоедов допустил большую неосторожность: для персиян делом совершенно неслыханным по неприличию было помещение молодых женщин в доме, где жили одни мужчины; притом служащие русского посольства пользовались в городе очень плохой репутацией. Вооруженные толпы народа, воспламененные проповедями духовенства, кинулись к зданию русского посольства. Незначительный казачий конвой не мог оказать серьезного сопротивления, он был перебит, и толпы ворвались во внутренний двор. Грибоедов и все члены миссии заперлись, заделали окна и двери и решили защищаться до последней капли крови. Луристанские горцы, как кошки, перебрались с соседних домов

на плоскую крышу посольства, разобрали потолок и сверху стали стрелять в русских. Одним из первых был убит Грибоедов. Толпа вооружалась и всех перерезала. Труп Грибоедова выволокли наружу и с издевательствами таскали по улицам. Обезображенное тело его было узнано только по сведенному от пули Якубовича мизинцу левой руки.

Грибоедов был среднего роста, с прекрасным лбом и тонкими, насмешливыми губами, очень близорукий, поэтому всегда в очках. Обладал сильной волей; что ставил себе целью, того достигал. Не умел понять, как можно, любя Шекспира, читать его в переводах, а не научиться английскому. В начале персидской войны, когда близ него упало ядро, он испытал страх; тогда, чтобы привыкнуть к опасности, он при первом представившемся случае стал на такое место, куда падали неприятельские ядра, и, не сходя с места, выдержал назначенное им себе число выстрелов; после этого перестал бояться. «Образование и ум его необыкновенны», — писал мало расположенный к нему Н. Н. Муравьев. Обращение Грибоедова отличалось искренностью;

слушая его, можно было верить каждому его слову; он не терпел преувеличений и будто мыслил вслух, не скрывая своих чувств. Не мог и не хотел скрывать презрения к самодовольной глупости, искательству, низости. В суждениях и образе мыслей был независим. В общении с близкими людьми пленял милым добродушием. Более же далекие ему люди отмечают самонадеянность Грибоедова, склонность к злословию и неуместным, иногда прямо оскорбительным шуткам. Был желчен, раздражителен и заносчив. Однажды Грибоедов должен был в большом обществе читать свою комедию. Один из гостей, очень плохой драматург В. М. Федоров, благодушно сказал, увидев объемистую тетрадь пьесы:

– Ого, как увесиста! Стоит моих драм!

Грибоедов посмотрел на него поверх очков и ответил сквозь зубы:

– Я пошлостей не пишу.

Федоров примирительно сказал, что он тут больше посмеялся над собой, чем над Грибоедовым, и вовсе не хотел его обидеть.

– Да вы и не можете меня обидеть.

Хозяин и другие гости старались замять

неприятный разговор, но Грибоедов заявил:

– Пока этот господин будет здесь, я не стану читать.

Федоров сдержанно заметил:

– Мне остается только уйти, чтобы не лишить других удовольствия слышать ваше сочинение.

– И хорошо сделаете.

Грибоедов и Пушкин встречались еще мальчиками в Москве. Старушка-современница вспоминает: «В 1809 или 1810 г. Пушкины нанимали за Разгуляем просторный и поместительный дом. Я туда ездила со своими девочками на танцевальные уроки, которые они брали с Пушкиной девочкой, с Грибоедовой (сестрой того, что в Персии потом убили...). Мальчик Грибоедов, несколькими годами постарше Пушкина, и другие их товарищи были всегда так чисто, хорошо одеты, а на Пушкине всегда было что-то и неопрятно, и сидело нескладно». Возобновилось их знакомство в Петербурге, по окончании Пушкиным лицея. «Грибоедов, Катенин, Жандр, – рассказывает артистка А. М. Колосова, – ласкали талантливую юношу, но куда относились к

нему, как старшие к младшему: он дорожил им мнением и как бы гордился их приязнью. Понятно, что в их кругу Пушкин не занимал первого места и почти не имел голоса. Изредка, к слову о театре и литературе, будущий генерал смешил их остроумной шуткой или справедливым замечанием, обличавшим его тонкий эстетический вкус и далеко не юношескую наблюдательность». Однако близких отношений между Пушкиным и Грибоедовым не завязалось; вероятно, тут играла роль и принадлежность их к разным литературным группировкам: Пушкин был ярким «арзамасцем», Грибоедов тяготел к литературным воззрениям «Беседы». О знакомстве своем с Грибоедовым Пушкин рассказывает: «Я познакомился с ним в 1817 г. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолубием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления;

талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном... Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единойжды навсегда с своею молодостью и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом, с праздною рассеянностью и уехал в Грузию».

С «Горем от ума» Пушкин познакомился в псковской ссылке, в январе 1825 г.; рукопись тогда еще запрещенной комедии привез ему Пущин. Не находя в комедии ни плана, ни главной мысли, не соглашаясь с грибоедовской обрисовкой ряда персонажей, Пушкин все же был от комедии в восторге, находил в ней черты истинно комического гения, пророчески предсказывал, что половина стихов ее войдет в пословицу, и считал, что комедия поставила Грибоедова наряду с первыми на-

шими поэтами. Известен острый отзыв Пушкина о Чацком: «Чацкий совсем не умный человек, но Грибоедов очень умен».

В 1828 г., в последний приезд Грибоедова в Петербург, они с Пушкиным виделись часто. Грибоедов был в числе слушателей, когда Пушкин читал у графини Лаваль «Бориса Годунова». Пушкин отзывался о Грибоедове: «Это один из самых умных людей России. Любопытно послушать его». Близко, однако, они не сошлись и теперь. В переписке они никогда не состояли. Уезжая в Персию, Грибоедов был печален и имел странные предчувствия. Пушкин хотел его успокоить. Грибоедов ему сказал:

– Вы не знаете этих людей; увидите, дело дойдет до резни.

Летом 1829 г., по дороге в действующую армию Паскевича, Пушкин проезжал через Армению. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождало арбу. Пушкин спросил:

– Откуда вы?

– Из Тегерана.

– Что везете?

– Грибоеда.

Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.

Евгений Абрамович Баратынский (1800–1844)

Из помещичьей семьи. Сын генерал-адъютанта. Воспитывался в Пажеском корпусе. В 1816 г. попался в очень скверном поступке, на какие способны даже и очень хорошие мальчики в переходном возрасте между 14–16 годами. Сын камергера Приклонского передал Баратынскому и другому своему товарищу подобранный к бюро отца ключ, они украли оттуда пятьсот рублей и прокатали на извозчиках, проели на пирожках и конфетах. Баратынский был исключен из корпуса «за негодное поведение» без права поступления на какую-либо службу, – «разве, если пожелает рядовым». В 1819 г. Баратынский поступил солдатом в лейб-гвардии егерский полк в Петербурге. Он сблизился с Жуковским, Пушкиным, Дельвигом. В 1820 г. произведен в унтер-офицеры и переведен в Финляндию. Дружба с Н. В. Путятой, адъютантом финляндского генерал-губернатора Закревского, име-

ла следствием значительное облегчение участи Баратынского. В 1824 г. он был переведен из Кюменя в Гельсингфорс. Здесь он сильно увлекался женой Закревского, знаменитой красавицей Аграфеной Федоровной, выведенной им в поэме «Бал» и воспетой во многих стихотворениях. В 1825 г. произведен в офицеры. В 1826 г. вышел в отставку и поселился в Москве; в том же году женился на А. Л. Энгельгардт.

Современник так описывает наружность Баратынского. «Его бледное, задумчивое лицо, оттененное черными волосами, взор, горящий как бы сквозь туман тихим пламенем, придавали ему нечто привлекательное и мечтательное; но легкая черта насмешливости приятно украшала черты его. Все существо его было проникнуто неизъяснимою прелестью». Вяземский о Баратынском писал в 1828 г. А. Тургеневу: «Чем более вижусь с Баратынским, тем более люблю его за чувства, за ум, удивительно тонкий и глубокий, раздробительный. Возьми его врасплох, как хочешь: везде и всегда найдешь его с новою своею мыслью, с собственным воззрением на пред-

мет».

Пушкин сблизился с Баратынским в Петербурге до своей ссылки, часто виделся с ним в свои приезды в Москву. К поэтической деятельности Баратынского он относился восторженно, готов был серьезно рассориться с друзьями, недостаточно высоко ценившими Баратынского. В 1822 г. он писал Вяземскому: «Если впредь Баратынский зашагает так, как шагал до сих пор, то оставим все ему эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья нет». В 1824 г. А. Бестужеву: «Баратынский – прелесть и чудо; после него никогда не стану печатать своих элегий». ...И так дальше. Не раз поминает его в своих стихах. В «Евгении Онегине», собираясь изложить на русском языке французское письмо Татьяны, он обращается к Баратынскому:

*Певец «Пиров» и грусти томной!
Когда б еще ты был со мной,
Я стал бы просьбою нескромной
Тебя тревожить, милый мой,
Чтоб на волшебные напевы
Переложил ты страстной девы*

*Иноплеменные слова.
Где ты? Приди, – свои права
Передаю тебе с поклоном...
Но посреди печальных скал,
Отвыкнув сердцем от похвал,
Один, под финским небосклоном,
Он бродит, и душа его
Не слышит горя моего.*

Не раз Пушкин брал стихи Баратынского эпиграфами к своим произведениям; «Граф Нулин» вышел в 1828 г. в одной книжке с «Балом» Баратынского. Баратынский со своей стороны в целом ряде стихотворений упоминает о Пушкине; в «Пирах»:

*Ты, Пушкин, ветреный мудрец,
Наперсник шалости и славы,
Молитву радости запой,
Запой, – соседственные боги,
Сатиры, фавны козлоноги
Сбегутся слушать голос твой,
Певца внимательно обстанут
И, гимн веселый затвердив,
Им оглашать наперерыв
Мои леса не перестанут.*

Или:

Ты, Пушкин наш, кому дано
Петь и героев, и вино,
И страсти дикие, и шалость,
Дано с проказливым умом
Быть сердца чудным знатоком
И, что, по-моему, не малость,
Быть прелюбезным за столом.

В послании к Богдановичу:

Пушкин молодой, сей ветреник
блестящий,
Все под пером своим шутя живо-
творящий.

В 1825 г. Баратынский писал Пушкину: «Иди, довершай начатое ты, в ком поселился гений. Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один». Был в восторге от «Онегина»: «Какая прелесть! Какой слог блестящий, точный и свободный! Это рисовка Рафаэля, живая и непри-
нужденная кисть живописца из живописцев». От «Годунова»: «Чудесное произведение, которое составит эпоху в нашей словесности». Однако с течением времени в отзывах

Баратынского начинают звучать и другие ноты. Уже в 1827 г. он обращается к Пушкину со странным стихотворением, к которому никак не мог подать повод Пушкин с его строгим отношением к своему творчеству:

*Не бойся едких осуждений,
Но упоительных похвал:
Не раз в чаду их мощный гений
Сном расслабленья засыпал.
Когда, доверясь их измене,
Уже готов у моды ты
Взять на венок своей Камене
Ее тафтяные цветы, –
Прости, я громко негодую;
Прости, наставник и пророк,
Я с укоризной указую
Тебе на лавровый венок[270].*

В 1832 г. он писал об оконченном «Евгении Онегине» И. В. Киреевскому: «Характеры бледны. Нет ничего такого, что бы решительно характеризовало наш русский быт. Произведение блестящее, но почти все ученическое, потому что почти все подражательное». О сказках Пушкина тоже отзывался отрицательно. Однако от «Повестей Белкина», как выражается Пушкин, «ржал и бился». А по по-

воду смерти Пушкина вспоминал слова Феофана Прокоповича о Петре Великом: «Что мы сделали, россияне, и кого погребли!»

Блиzkих, истинно дружеских личных отношений между Пушкиным и Баратынским, по видимому, не было, а если и были вначале, то постепенно завяли. Как-то не вязалось их знакомство. Баратынский в 1828 г. писал Пушкину из Москвы: «Дельвиg передал мне одну твою фразу, и ею меня несколько опечалил. Ты сказал ему: «Мы нынче не переписываемся с Баратынским, а то бы я уведомил его» – и проч. Неужели, Пушкин, короче прежнего познакомься в Москве, мы стали с тех пор более чуждыми друг другу? Я, по крайней мере, люблю в тебе по-старому и человека и поэта». А по поводу последней встречи с Баратынским в Москве в мае 1836 г. Пушкин писал жене: «Баратынский очень мил. Но мы как-то холодны друг к другу». Некоторые исследователи, в вечном искании «прототипов» к художественным образам, полагают, что в «Моцарте и Сальери» Пушкин под видом Сальери изобразил Баратынского, а под видом Моцарта – себя.

Николай Михайлович Языков (1803–1846)

Из богатой симбирской помещичьей семьи (около двадцати тысяч десятин земли). В раннем детстве лишился отца и рос на попечении двух старших братьев, Петра и Александра, к которым на всю жизнь сохранил сыновне-почтительные чувства. В 1814 г. поступил в горный кадетский корпус в Петербурге, не кончил курса, перешел в институт корпуса инженеров путей сообщения; оттуда был исключен за неаккуратное посещение лекций. Жил он в Петербурге вместе с двумя старшими братьями; они оба кончили горный корпус и где-то числились на службе. Все три брата отличались непроходимой, глубокой помещичьей ленью. Целыми днями они лежали в халатах на диванах обширной комнаты, в которой жили втроем. Богатством своим они совершенно не пользовались не из скупости, а из той же лени – не было охоты двинуть пальцем для устройства даже элементарнейшего собственного комфорта. Сонный крепостной слуга Моисей приносил им обед из дрянной соседней харчевни, приносил, что

попадется, подавал блюда простывшими, неразогретыми. Платье не чистилось неделями.

В 1822 г. Николай Языков поступил в дерптский университет. Сам он уж и вовсе не умел устраивать своей жизни. Получал из дому колоссальное для студента содержание – по пятьсот рублей в месяц, а деньги плыли меж пальцев, часто не было денег на табак, не было двугривенного на почтовую марку. Весь он был в долгах. Жил Языков в убогой комнате, ходил в поношенном мундирном сюртуке, лето и зиму – в холодном студенческом плаще, шубы не имел; часто не было денег на дрова, – в таких случаях Языков согревался... водкой, которую ему отпускали из клуба в кредит. При нем состоял крепостной человек Иван Чухломский; часто слуга этот пропадал на целый день, оставляя Языкова без обеда и чая, Языков сам чистил себе платье и сапоги, покорно платил кабачные долги Ивана; впоследствии, в Москве, Языков дал своим приятелям обед от радости, что уговорил Чухломского получить вольную и таким образом избавился от него. Языков был све-

жий, румяный, русокудрый молодой человек с голубыми глазами, «рубаха-парень», очень добродушный и слабохарактерный. Один из университетских товарищей его вспоминает: «Товарищи, из которых многие вовсе не были достойны его короткого знакомства, часто надоедали Языкову, но он никого не мог оттолкнуть, со всеми пировал и братался. Некоторые употребляли во зло его доброту, жили на его счет, и всегда то тот, то другой водили его на помочах». Безудержно кутежная жизнь дерптских буршей сначала оттолкнула от себя Языкова. Вскоре, однако, он втянулся в эту жизнь и отдался ей с упоением, с восторгом. Студенческие кутежи стали главной красотой его жизни, главным вдохновением его творчества:

*Полней стаканы, пейте в лад!
Перед вином благоговенье!
Ему торжественный виват,
Ему коленопреклоненье!
Герой, вином разгорячен,
На смерть отважнее стремится;
Певец поет, как Аполлон,
Умея Бахусу молиться;
Любовник, глядя на стакан,*

*Измену милой забывает,
И счастлив он, покуда пьян,
Затем, что трезвый он страда-
ет.*

*Скажу короче: в жизни сей
Без Вакха людям все досада;
Анакреон твердит нам: пей!
А мы прибавим: до упада!*

Сам Языков пил действительно до упада. В начале пирушек его надобно было уговаривать пить, но, начавши, он упивался до бесчувствия. Разгульные песни Языкова доставили ему огромную популярность среди студенчества. Все его стихи, даже самые ничтожные, выучивались наизусть, песни его клались на музыку и с любовью распевались студенческим хором. Сам Языков не любил читать своих стихов, только на пирушках, сильно подвыпив, соглашался на это. Тогда обыкновенно составлялся вокруг него кружок внимательных и восхищенных слушателей. «В одной рубашке, – вспоминает товарищ, – со стаканом в руке, с разгоревшимися щеками и с блестящими глазами, он был поэтически прекрасен. Казалось, юный бог облагоражи-

вал наши оргии, и мы поклонялись этому богу». Многие песни Языкова надолго сделались популярными среди всего российского студенчества («Из страны, страны далекой», «Нелюдимо наше море», «Разгульна, светла и любовна» и др.). Время этого бесшабашно-студенческого разгула на всю жизнь осталось для Языкова самым сладостным из всех его воспоминаний.

Время студенчества Языкова было насыщено предгрозовым электричеством: надвигалось 14 декабря, оппозиционное настроение и ненависть к самодержавию делились всеми, в ком была жива душа. Не чужд остался этим настроениям и Языков. Он написал несколько стихотворений, даже приписывавшихся Рылееву и печатавшихся за границей Герценом и Огаревым. Такие, например, стихи:

*Свободы гордой вдохновенье!
Тебя не слушает народ:
Оно молчит, святое мщенье,
И на царя не восстает.
Пред адской силой самовластья,
Сердца не чувствуют несчастья,*

*Покорны вечному ярму,
И ум не верует уму.
Я видел рабскую Россию:
Перед святыней алтаря,
Гремя цепьми, склонивши выю,
Она молилась за царя.*

Однако это были только очень редкие вспышки у пьянственно-буйной, но политически очень смирной музыки Языкова:

*Известно всем, что в наши дни
За речи многие страдали:
Напьемся так, чтобы они
Во рту же нашем умирали!*

В стихотворении «К халату» Языков рисует себя как «мыслящего студента», подчеркнуто противопоставляя себя «Герострату» – Пушкину:

*Окутан авторским халатом,
Смеется он, в восторге дум,
Над современным Геростратом,
Ему не видятся в мечтах
Кинжалы Занда и Лувеля...*

В обществе, особенно дамском, Языков был дико застенчив. В стихах он пламенно воспевал знаменитую «Светлану» А. А. Воейкову,

жену журналиста и дерптского профессора А. Ф. Воейкова. Но университетский товарищ и приятель Языкова Алексей Вульф рассказывает: «Бывало, недели в две придет раз и наш дикарь Языков, заберется в угол, промолчит весь вечер, полюбуется Воейковой, выпьет стакан чаю, а потом в стихах и изливает пламенную страсть свою к красавице, с которою и слова-то, бывало, не промолвит». В страстных стихах Языков воспевал еще Лилету и Аделаиду. По словам товарищей, Лилета была немолодая, толстая, хотя еще красивая яблочная торговка, а Аделаида – цирковая наездница, «просто публичная дрянная девка».

Забубенный студенческий образ жизни не целиком отрывал Языкова от работы. Он хорошо знал русскую и западноевропейскую литературу, изучал русскую историю, с беспокойной жаждой дилетанта брался даже за изучение политической экономии и теоретической физики. Но к упорному, систематическому, заказанному себе труду он был совершенно неспособен. Семь лет пробыл в университете, все старался принудить себя засесть за занятия, но так и не сдал нехитрых

выпускных экзаменов и уехал из Дерпта «беспатентным» студентом.

Литературная слава досталась Языкову легко. Уже студентом он выдвинулся в первый ряд русских поэтов. Дельви́г приветствовал его восторженным сонетом, его сразу высоко оценили Пушкин, Жуковский, Баратынский. Критики осыпали его похвалами, журналы и альманахи наперерыв добивались его сотрудничества. Всех восхищал «разгульный жар» его стихов, «избыток чувств и сил» в них, «молодое буйство». Он сразу выступил вполне оригинальным поэтом, со своим стилем, с собственными своими словами, и с полным правом говорил о своих стихах:

*Им не закон – чужая мода,
В них нет заемной чепухи
И перевода с перевода;
В них неподдельная природа,
Свое добро, свои грехи!*

В его смелых словообразованиях была стихийная естественность и убедительность: «самодержавные проказы», «быстроток весенних вод», «помужествуем с бурей», «неподложная вера», «любовался удовольствием»,

«победоносные глаза» красавицы и т. п. В торжественных стихах он не боялся древних славянизмов; у бездарных неоархаистов Катенина и Кюхельбекера славянизмы эти пахли церковной книжной пылью, у Языкова дышали жизнью. Рядом с этим, однако, в стихах Языкова чувствовалась какая-то растрепанность, «разгильдяйство», отсутствие чувства меры, строгой взыскательности, а порой и просто вкуса.

Пушкин был в восторге от поэзии Языкова и еще из Одессы писал Дельвигу, что разделяет его надежды на него. Приехав в Михайловское, он усиленно стал через Алексея Вульфа звать Языкова посетить его и первый же обратился к самому Языкову с таким посланием:

*Издревле сладостный союз
Поэтов меж собой связует:
Они жрецы единых муз;
Единый пламень их волнует;
Друг другу чужды по судьбе,
Они родня по вдохновенью.
Клянусь Овидиевой тенью:
Языков, близок я тебе...
Услышь, поэт, мое призванье,*

*Моих надежд не обмани...
Я жду тебя...
Надзор обманем караульный,
Восхвалим вольности дары
И нашей юности разгульной
Пробудим шумные пиры,
Вниманье дружное преклоним
Ко звону рюмок и стихов
И скуку зимних вечеров
Вином и песнями прогоним.*

Языков, – как это ни странно для тогдашней писательской молодежи, – относился к творчеству Пушкина холодно. Почти все отзывы его в письмах о Пушкине – отрицательные, часто иронические. По поводу первой главы «Онегина» он пишет: «Я не желал бы сочинить то, что знаю из Онегина. Он мне очень, очень не понравился; думаю, что это самое худое из произведений Пушкина. Мы, русские, меряем слишком маленьким аршином умственные творения и думаем, что наша мера такая же, как у просвещенных народов. Как мало наше великое в современной литературе!» О «Северных цветах» на 1826 г. Языков пишет: «Стихи вообще плохи: нет ничего, на чем бы остановиться, – разумеется,

выключая отрывок из Илиады». А в альманахе этом помещены, между прочим, отрывки из второй главы «Онегина» (характеристика Татьяны и заключительные строфы со знаменитым «Покамест упивайтесь ею, сей легкой жизнью, друзья!») и рассказ старого цыгана об Овидии из «Цыган». Получив вышеприведенное послание своего прославленного собрата, Языков долго не отвечал Пушкину: все был «не в духе» ответить. Наконец через полгода ответил очень любезным посланием, в котором писал:

*Как тароватому царю
За чин почетный благодарен
Его не стоящий боярин,
Так я тебя благодарю...
Меня твое благоволенье
Предаст в другое поколенье,
И сталь плешивого косца,
Всему ужасная, не скосит
Тобой хранимого певца.
Так камень с низменных полей
Носитель зевсовых огней,
Играя, на гору заносит.*

Характерно, что стихотворение было послано Пушкину, по-видимому, переписанным

рукой Алексея Вульфа, и переписанным довольно небрежно. Пушкин писал Вульфу: «Послание Языкова – прелесть. В нем, после «тобой хранимого певца», стих пропущен. А стих Языкова мне дорог. Перешлите мне его».

Пушкин не уставал звать Языкова приехать, но тот все никак не мог собраться – удерживали и застенчивость, и лень, но и некоторые другие соображения: Языков побаивался ехать к ссыльному Пушкину. Брату он писал: «Пушкин меня зовет к себе, – не знаю, что отвечать на это; ведь с ним вязаться лишь грех, суета». Наконец, летом 1826 г., он собрался и приехал в Тригорское, имение матери Алексея Вульфа. Прожил шесть недель в тесном общении с Пушкиным. Лето было исключительно жаркое. Пушкин, Языков и Вульф все время были вместе – то в Тригорском, то у Пушкина в Михайловском. Спорили, читали стихи, гуляли, купались. После обеда и по вечерам из граненых бокалов прекрасного хрусталя распивали «ёмку», сваренный с сахаром и апельсинами пунш, –

*...напиток благородный,
Слиянье рому и вина,*

*Без примеси воды негодной,
В Тригорском жаждою свободной
Открытый в наши времена.
(Пушкин)*

Напиток собственноручно приготавливала друзьям «полувоздушная дева», семнадцатилетняя красавица Зина (Евпраксия) Вульф, сестра Алексея, и разливала по стаканам серебряным ковшиком на длинной ручке. «Сестра прекрасно варила жженку, – вспоминает Алексей Вульф. – Сидим, беседуем, распиваем пунш. И что за речи несмолкающие, что за звонкий смех, что за дивные стихи то того, то другого поэта сопровождали нашу дружескую пирушку! Языков был страшно застенчив, но и тот, бывало, разгорячится, и что за стихи говорил он то за чашей пунша, то у ног той же Евпраксии Николаевны!» Были тут еще другие молодые девушки – Анна Вульф, Саша Осипова. Зина Вульф пела приятелям, Саша играла на фортепиано. Бывают в жизни дни, когда вдруг ее ярким солнечным лучом пронижет полная, ничем не затемняемая радость: молодая беззаботность, смех, сверкающая природа, девичьи улыбки, тес-

ное дружеское общение, искрящиеся споры, сладко кружащаяся в пирушках голова, с каждым вдохом груди – живое, переполняющее душу счастье. Таким лучом пронизали жизнь и Пушкина, и Языкова шесть недель, проведенные ими вместе.

В 1829 г. Языков, так и не сдавши университетских экзаменов, покинул Дерпт и поселился в Москве. Сблизился с братьями Киреевскими, Баратынским, Погодиным, Шевыревым. Не раз видался с Пушкиным. Весной 1830 г. А. М. Языков писал сестре: «Пушкин у Весселя (семейное прозвище Николая Языкова) часто бывает, он большой забавник и доставляет нам много удовольствия». В конце января 1831 г. Языков вместе с Пушкиным, Вяземским и Баратынским справляли у Яра тризну по недавно умершему Дельвигу, – «дело обошлось без сильного пьянства», – писал Языков. Через три недели Пушкин накануне своей свадьбы устроил у себя «мальчишник», – прощание с холостой жизнью, – и в числе десяти ближайших друзей пригласил и Языкова. Тут пьянство было «сильное», – Языков, по обыкновению, упился до бесчувствия.

В 1832 г. Языков уехал в Симбирскую губернию и прожил в деревне четыре года. Осенью 1833 г. Пушкин, по дороге в Оренбург, заехал к Языкову, но никого из братьев не застал дома. На обратном пути заехал снова, на этот раз братья были дома. По семейному преданию Пушкин на первых же порах разбранил их за азиатские привычки, – что они дома ходят в халатах. Больше поэты не виделись. Весной 1836 г. Пушкин, гостя в псковских краях, писал Языкову: «Отгадайте, откуда пишу к вам? Из той стороны, где ровно тому десять лет пиروвали мы втроем, – вы, Вульф и я, – где звучали ваши стихи и бокалы с ёмкой, где теперь вспоминаем мы вас – и старину. Поклон вам от холмов Михайловского, от сеней Тригорского, от волн голубой Сороти, от Евпраксии Николаевны, некогда полувоздушной де-вы, ныне дебелой жены, в пятый раз уже брюхатой, и у которой я в гостях. Алексей Вульф здесь же, отставной студент и гусар, усатый, агроном, тверской Ловлас, – по-прежнему милый, уже перешагнувший за тридцатый год».

Пушкин до конца жизни продолжал высоко ценить Языкова и питать к нему приязнь,

написал к нему несколько посланий, усиленно привлекал к сотрудничеству в журналах, в которых сам сотрудничал, и в собственном своем «Современнике». Что касается отношения Языкова к Пушкину, то после личного знакомства он как будто почувствовал к Пушкину симпатию, в ряде стихотворений с кажущимся чувством вспоминал о нем. К творчеству же его относился далеко не с безусловным восхищением. «Бориса Годунова» признавал «подвигом знаменитым», «Арапа Петра Великого» – «подвигом великим и лучезарным», но к сказкам его отнесся отрицательно, также к «Повестям Белкина», а по поводу стихов Пушкина «К друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю») писал брату: «Стихи – просто дрянь. Эткими стихами никого не выхвалишь, никому не польстишь, и доказательство тонкого вкуса в ныне царствующем государстве есть то, что он не позволил их напечатать». Это, конечно, свидетельствует только о самостоятельности суждений Языкова. Но в отзывах его и лично о Пушкине нередко звучит явственная нота скрытого недоброжелательства. Пишет брату,

что Пушкин, по собственным его словам, сличил все напечатанные русские народные песни и привел их в порядок, – и прибавляет: «...но он, кажется, хвастает». Пушкин вообще не был хвастуном и в данном случае говорил Языкову правду. По поводу приезда Пушкина в Москву в декабре 1831 г., после женитьбы, Языков писал брату совершенно в стиле московского почт-директора Булгакова: «Между нами будет сказано, Пушкин приезжал сюда по делам не чисто литературным или, вернее сказать, не за делом, а для картежных сделок, и находился в обществе самом мерзком: между щелкоперами, плутами и обдиралами. Это всегда с ним бывает в Москве. В Петербурге он живет опрятнее. Видно, брат, не права поговорка: женится – переменится!» К слову сказать, жизни Пушкина в Петербурге Языков никогда не имел случая наблюдать. В таком отношении Языкова к Пушкину одни исследователи видят проявление глубокой зависти, другие – результат посторонних влияний на «чистую душу» Языкова. Недавно была сделана неудачная попытка «углубить» вопрос и объяснить враждебное отношение

Языкова к Пушкину различием «общественно-классовых позиций» обоих поэтов. Позиции эти вовсе не были так уж различны: в 1826 г., в Тригорском, оба одинаково «звали свободу в нашу Русь» и мечтали о вече, а в тридцатых годах такие стихи Пушкина, как «Клеветникам России» и др., должны были совершенно прийтись по сердцу патриоту-националисту Языкову. Мы можем только констатировать факт скрыто враждебного отношения Языкова к Пушкину, а для объяснения причин его не имеем достаточных данных.

Во второй половине тридцатых годов у Языкова все сильнее стала проявляться болезнь, явившаяся следствием разгульной студенческой жизни и «горячих недугов», полученных в объятиях лилет и аделаид, – сухотка спинного мозга. Началось медленное угасание. Языков уехал за границу, там провел пять лет. В 1841 г. на водах в Ганау познакомился с Гоголем. Они настолько понравились друг другу, что решили, по возвращении в Москву, жить вместе на одной квартире. Осень и зиму 1842 г. прожили вместе в Риме. Заграница мало помогла Языкову. В 1843 г. он

возвратился в Россию и поселился в Москве. Близко сошелся со славянофильскими кругами, к учению которых тяготел уже давно. В политическом отношении Языков все более подавался вправо, – к охранительству и самому яркому шовинизму. Большого шума наделали его неистовые, полные ругательств стихи «К не нашим» и «К старому плешаку» (Чаадаеву), возмущившие даже более порядочных из друзей Языкова. Обращаясь к Чаадаеву, он восклицал:

*Свое ты все презрел и выдал,
Но ты еще не сокрушен;
Но ты стоишь, плешивый идол
Строптивых душ и слабых жен!
Ты цел еще!..*

Поэтическая продуктивность Языкова слабела, писал он все меньше. И дело тут было не только в его болезни: ему больше нечего было сказать. Весь он исчерпался тем беспредметно буйным «разгулом сил», который воспевал в студенческую пору. Написал несколько сильных религиозных стихотворений, но и религиозность не залегала глубоко в его душе, а была лишь случайными, минут-

ными настроениями. По существу, Языков жил одними завистливыми воспоминаниями о веселой молодости и жалобами на теперешние свои недуги и хилость. Умом он был недалек, душой поверхностен. Современники его Пушкин, Тютчев, Баратынский, Лермонтов – были глубоки и многогранны, в самих страданиях они крепили, мужали и шире разворачивали свои силы. Языков, – в мастерстве, может быть, не уступавший им, – в духовном отношении на всю жизнь остался недорослем, а поэтому остался недорослем и художественным. Рука могуче размахнулась – и бессильно упала.

Умирал он жутко. Пожилой, сорокатрехлетний, изможденный страданиями человек ступает на порог смерти и думает – о чем? О похоронном обеде! Сам тщательно заказал обед, строго приказал, чтоб на нем было побольше вина. Умер. Началась похоронная оргия. Гости за полными стаканами творили поминки по покойнику, вспоминали его стихи:

И пьянствуйте об имени моем!

И пьянствовали самым добросовестным

образом. Уже удалились в нижний этаж братья умершего и распорядители. Компания не расходилась. В ней главенствовали друг Пушкина, забубенный Н. В. Нащокин, и беллетрист Н. Ф. Павлов. Все вино выпили. Послали вниз за распорядителем, шумно потребовали еще вина и рому, стали варить жженку. Кутили далеко за полночь.

**Адам Мицкевич
(1799–1855)**

Величайший польский поэт, зачинатель польского романтизма. Родился в г. Новогрудке Минской губернии в семье небогатого адвоката из старинного литовского шляхетского рода. В 1815 г. поступил в виленский университет на филологический факультет, окончил курс в 1819 г. и поступил учителем латинской словесности в г. Ковне. В 1823 г., за принадлежность к студенческому обществу «Лучистых», в котором Мицкевич, наезжая из Ковна, продолжал принимать участие и по окончании курса, он был арестован, просидел в тюрьме полгода. Расследованием целью общества было признано воспитание молодого поколения «в духе закоснелой ненависти про-

тиву России и мечтаний о восстановлении независимости Польши». Мицкевич был передан в министерство народного просвещения для отправления на службу внутри России. Он побывал в Петербурге, где познакомился с Рылеевым и Бестужевым, и был отправлен на службу в Одессу. Из Одессы совершил путешествие по Крыму, результатом чего были его известные «Крымские сонеты». В конце 1825 г. Мицкевич переехал в Москву и был причислен к канцелярии московского генерал-губернатора. Москва приняла его очень радушно. Он сблизился с князем П. А. Вяземским, братьями Полевыми, Баратынским, Погодиным, Шевыревым, стал постоянным посетителем блестящего литературно-музыкального салона княгиней З. А. Волконской. Осенью 1826 г. Пушкин приехал из псковской ссылки в Москву и вскоре тоже познакомился с Мицкевичем. Мицкевич производил на всех чарующее впечатление. Он был сдержан, корректен, воспитан, чрезвычайно вежлив, держался с какой-то благородной простотой. В нем чувствовался тихо и ярко горящий чистый пламень, всех заставлявший относиться

к нему с невольным уважением. И наружностью он был прекрасен. Стройный, с задумчивыми карими глазами, с густыми темными волосами, с доброй, затаенно-грустной улыбкой. Когда воодушевлялся разговором, глаза его загорались, и он становился увлекателен, был остроумен, скор на меткие и удачные слова. Изумителен он был, когда импровизировал. Мицкевич обладал редким даром импровизации. Ему задавали тему. Он молчал несколько минут, потом выступал вперед и начинал говорить стихами. Лицо совершенно преображалось, глаза блистали экстазом, слушатели испытывали почти страх, – как будто это не он говорил, а какой-то дух, ниспущившийся на него. Вдохновение не покорялось ему, а целиком владело им. Он не останавливался, не задумывался, не подыскивал стихов, – напротив, они с таким напором кипели в его голове, что он, задыхаясь, еле успевал их выговаривать. Перед русскими слушателями Мицкевич импровизировал прозой на французском языке. На одной из таких импровизаций в Москве Пушкин в восторге сорвался с места, ероша волосы, почти бегал по зале и

восклидал:

– Какой гений! Какой священный огонь!
Что я в сравнении с ним!

Бросился на шею Мицкевичу, сжал его и стал целовать, как брата.

Мицкевич был многосторонне образован, говорил на многих языках; приехав в Россию, не знал по-русски, но очень скоро научился и говорил без всякого акцента. Ксенофонт Полевой рассказывает: «Пушкин оказывал Мицкевичу величайшее уважение. Любопытно было видеть их вместе. Русский поэт, обыкновенно господствовавший в кругу литераторов, был чрезвычайно скромен в присутствии Мицкевича, больше заставлял его говорить, нежели говорил сам, и обращался со своими мнениями к нему, как бы желая его одобрения. В самом деле, по образованности, по многосторонней учености Мицкевича Пушкин не мог сравнивать себя с ним». Высокое мнение Пушкина о Мицкевиче отразилось в известном анекдоте: Пушкин, столкнувшись в дверях с Мицкевичем, дал ему дорогу и сказал:

– Стой, двойка, туз идет!

Мицкевич ответил:

– Козырная двойка и туза бьет.

В течение 1826–1829 гг. Мицкевич и Пушкин часто виделись и в Москве, и в Петербурге. В Петербурге у Дельвига Мицкевич слушал чтение «Бориса Годунова» и вместе с Дельвигом посоветовал Пушкину выкинуть сцену Отрепьева со злым чернецом как замедляющую действие. Однажды у Пушкина, в трактире Демута, Мицкевич в блестящей импровизации говорил о любви, которая когда-нибудь свяжет между собой все народы. Вышла поэма Мицкевича «Конрад Валенрод» и вызвала общее восхищение. Жуковский сказал Пушкину:

– Знаешь, брат, ведь он заткнет тебя за пояс.

– Ты не так говоришь, – ответил Пушкин. – Он уже заткнул меня.

Пушкин стал переводить «Валенрода» на русский язык по рукописному подстрочному переводу, но отказался от этого замысла, потому что, как говорил он, не умеет переводить, т. е. не умеет связывать себя текстом подлинника. Действительно, переводы Пушкина либо стоят неизмеримо выше подлин-

ника, как переводы из Анакреона, Ксенофана или Буниана, либо значительно ниже их, как, например, переводы именно из Мицкевича. Особенно слаб перевод баллады «Воевода», совершенно не передающий силы и выпуклости подлинника.

Странно наблюдать Мицкевича и Пушкина рядом. Один – корректный, глубоко культурный, держащий себя в руках европеец, другой – безудержно переступающий во всем меру русский, с наружной лакировкой культурности, постоянно дающей трещины. Однажды в Петербурге Мицкевич застал Пушкина у общего знакомого за банком. Пушкин, с засученными рукавами рубашки, бросал на сукно золотые монеты и следил за игрой глазами, полными страсти. Увидев Мицкевича, он смутился. Мицкевич взял карту, поставил на нее пять рублей ассигнациями, несколько раз повторил ставку и тихонько ушел. В Москве Мицкевич завтракал с Пушкиным и другими русскими писателями у Погодина. Присутствовавший на завтраке С. Т. Аксаков писал Шевыреву: «Пушкин держал себя ужасно гадко, отвратительно, Мицкевич – прекрасно.

Посудите, каковы были разговоры, что второй два раза принужден был сказать: «Господа, порядочные люди и наедине, и сами с собою не говорят о таких вещах!» А сам Погодин записал: «Нечего было сказать о разговоре Пушкина и Мицкевича, кроме: предрассудок холоден, а вера горяча... разговор был занимателен, от... до евангелия. Но много было сального, которое не понравилось».

Отношения Мицкевича и Пушкина были дружеские. По-видимому, особенно сблизились поэты в Петербурге. В стихотворении своем «Памятник Петру Великому» Мицкевич вспоминает, как они с Пушкиным стояли однажды перед памятником:

Вечером, под дождем, стояли двое юношей под одним плащом, взявшись за руки. Один был странник, пришедший с запада, неведомая жертва царского насилия; другой – поэт русского народа, славный песнями на всем севере. Они знали друг друга недолго, но много, и уже несколько дней были друзьями. Их души, поднимаясь выше земных препятствий, были, как два наклонившиеся друг к другу альпий-

ских утеса: их навеки разделила быстрина потока, но утесы едва слышат его враждебный шум, сближая поднебесные свои вершины.

Польский изгнанник молчит, а русский поэт сравнивает стоящий перед ним памятник с римским памятником Марку Аврелию: там – благоволение и мир, чувствуется любимый отец, восторженно приветствуемый народом. Здесь –

Петр бросил поводя. Видишь, как он летел, все топча на своем пути. Вскочил на край скалы. Бешеный конь поднял копыта, скрежещет, кусая удила. Ждешь, что он сорвется и разобьется вдребезги. От века он стоит, скачет, – но не срывается, как падающий с гранита водопад, скованный морозом. Однако скоро заблестит солнце свободы, западный ветер согреет страну, – и что тогда станется с водопадом самовластия?

Во взглядах на самовластие Мицкевич и тогдашний Пушкин, может быть, до известной степени еще сходились. Но в основном

они все-таки были две вершины, разделенные глубоким, непроходимым потоком. Самое заветное, чем жил Мицкевич, были мечты о политическом освобождении Польши. А Пушкин был таким же русским националистом, как Мицкевич – польским. Во время польского восстания Пушкин писал князю Вяземскому: «...поляков надобно задушить, и наша медленность мучительна». В Пушкине, как в большинстве своих русских друзей, Мицкевич чувствовал тайных политических врагов, с которыми можно было дружить только, как с филистимлянами.

В 1829 г. хлопотами Пушкина и других Мицкевичу удалось получить заграничный паспорт. Перед отъездом Мицкевич посетил Москву. Московские друзья чествовали его прощальным обедом и поднесли серебряный кубок с надписью на дне: «Не забудь» и с именами участников проводов – Баратынского, братьев Киреевских, Н. Полевого, Соболевского и других. Странно, что в числе подписей нет подписи Пушкина, хотя он в это время был в Москве. 15 мая Мицкевич навсегда уехал из России, увозя в сердце неистовую

ненависть к российскому самодержавию. Вскоре произошло польское восстание, кровавое его усмирение. Пушкин и Жуковский радостно отозвались на событие патриотическими одами. В 1832 г. вышла за границы третья часть поэмы Мицкевича «Деды». В ней было помещено следующее стихотворение Мицкевича «К друзьям-москалям»:

Вспоминаете ли вы обо мне? А я, когда думаю о казнях, ссылках, тюрьмах моих друзей, думаю и о вас; ваши лица, лица чужеземцев, имеют право жить в моих грезах.

Где вы теперь? Благородная шея Рылеева, которую я братски обнимал, по царскому приговору стянута гнусною петлею, в позор народам, избивающим своих пророков.

Та рука, которую мне протягивал Бестужев, – поэт и воин, оторвана от пера и сабли, положена на ручку тачки и ныне роется в руднике, скованная с рукою поляка.

Других, может быть, постигла еще более грозная кара: может быть, кто из вас, обещанный казенными орденами, навеки продал свободную душу для ласки царя и теперь

бьет поклоны на его пороге.

Может быть, оплаченным языком славит его торжество и радуется на мученичество своих друзей; может быть, мочет руки в крови моей родины и, как заслугой, хвалится перед царем нашими проклятьями.

Если издалека, из свободных стран, до вас долетят на север эти горькие песни и прозвучат с высоты над странюю льдов, пусть они напомнят вам о свободе, как журавлиный крик о весне.

Вы узнаете меня по голосу. Пока я был в оковах, ползая в молчании, как змея, я таился перед деспотом, но вам я открывал тайны, скрытые в душе, и к вам обращался всегда с голубиною простотою.

Теперь я выливаю наружу эту чашу яда; разъедающей и жгущей силы исполнена горечь моих слов, – горечь, высосанная из крови и слез моей родины; пусть разъедает и жжет – не вас, а ваши оковы.

Если кто из вас останется этим недоволен, для меня его негодование будет лаем собаки, которая так привыкла к своему ошейнику, что готова кусать руку, которая хочет

его сорвать.

В этой же книге Мицкевича был помещен еще ряд стихотворений, полных сосредоточенной ненависти и отвращения к русскому самодержавию, забивающему совесть и мысль, порабащающему все свободные человеческие стремления. «Бедный народ! – писал поэт. – Мне жаль твоей судьбы: ты знаешь один только героизм рабства!» Пушкин эту книжку Мицкевича получил в 1833 г. от вернувшегося из-за границы Соболевского. В следующем году он писал о Мицкевиче:

*Он между нами жил
Средь племени ему чужого; злобы
В душе своей к нам не питал, и
мы
Его любили. Мирный, благосклон-
ный,
Он посещал беседы наши. С ним
Делились мы и чистыми мечта-
ми,
И песнями (он вдохновен был свы-
ше
И свысока взирал на жизнь).
Нередко*

Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта. Он
Ушел на запад – и благословеньем
Его мы проводили. Но теперь
Наш мирный гость нам стал вра-
гом – и ядом
Стихи свои, в угоду черни буйной,
Он напояет. Издали до нас
Доходит голос злобного поэта,
Знакомый голос!.. боже! освяти
В нем сердце правдою твоей и ми-
ром,
И возврати ему...

На другие стихотворения Мицкевича, рисующие неприветный, холодный, обезличенный самовластием Петербург, Пушкин отвечал в «Медном всаднике». Знаменитое описание Петербурга в этой поэме представляет ясно выраженную художественную полемику, по пунктам возражающую на описание Мицкевича. Мицкевич с отвращением рисует русскую столицу, Пушкин начинает свое описание: «Люблю тебя, Петра творенье!» Мицкевич пишет о разностильных, безвкусных зда-

ниях, огороженных, как клетки, решетками, – Пушкин: «Люблю твой строгий, стройный вид, твоих оград узор чугунный...» У Мицкевича люди бегут, гонимые морозом, с измученными лицами, у Пушкина: «Люблю зимы твоей жестокой недвижный воздух и мороз». У Мицкевича дамы «белые, как снег, румяные, как раки», у Пушкина – «девичьи лица ярче роз». У Мицкевича солдаты – такие похожие друг на друга, такие однообразные, стоящие в ряд, как лошади в стойлах; у Пушкина: «Люблю воинственную живость потешных Марсовых полей, пехотных ратей и коней однообразную красоту» и т. д. И сама идея «Медного всадника» о страшном праве государства давить и уничтожать отдельные личности во имя своих больших целей тоже представляет как будто ответ на идейную установку Мицкевича.

Дальнейшая жизнь Мицкевича была тяжелой и нерадостная. Жил он в бедности. Надежды на политическое восстановление родины рухнули. Он все больше впадал в мистицизм. В основу решения польского вопроса, по его мнению, должно было лечь начало религиоз-

ное. Польша в течение всей своей истории служила воплощением христианских начал и пала потому, что эти начала не могли быть примирены с окружающими ее земными порядками. Могучее религиозное чувство делает Польшу избранным народом, которому назначено Богом указать всему миру новый путь, ведущий человечество в царство любви и справедливости. В 1855 г., с началом русско-турецкой войны, Мицкевич отправился в Константинополь, чтобы формировать польские легионы против России, и вскоре умер там от холеры.

Николай Васильевич Гоголь (1809–1852)

Был представлен Пушкину П. А. Плетневым на вечере у Плетнева, вероятно, в двадцатых числах мая 1831 г., когда Пушкин с молодой женой остановился в Петербурге проездом из Москвы в Царское Село. В августе того же года Пушкин писал Воейкову из Царского Села: «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая по-

эзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился... Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов». Это лето Гоголь жил домашним учителем у А. И. Васильчиковой в Павловске неподалеку от Царского Села, бывал в Царском Селе у Пушкина и приятелю своему А. С. Данилевскому хвастливо писал: «Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я».

Пушкин до самой смерти с большим сочувствием относился к Гоголю, ободрял его, подарил ему сюжеты «Мертвых душ» и «Ревизора». Однако близких личных отношений, тем более дружбы между ними не было, в этом отношении Пушкин держался по отношению к Гоголю отдаленно. Переписывались они только по житейским и литературно-деловым вопросам, письма Гоголя содержат больше всякого рода просьбы – о ходатайстве перед министром Уваровым, о сюжете для комедии, о критических отметках на полях посылаемых Пушкину его книг (известное письмо «Ревизор сыгран» не было отправлено Пушкину).

Однако и то общение, которое между ними было, советы и указания Пушкина – имели для художественного развития Гоголя огромное значение, и до конца жизни Гоголь с волнением и благоговением вспоминал о Пушкине. Смерть его произвела на Гоголя потрясающее впечатление. Он писал Плетневу:

«Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение, исчезло вместе с Пушкиным. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое, – вот что меня только занимало и одушевляло мои силы... Боже! нынешний труд мой («Мертвые души»), внушенный им, его создание, – я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался я за перо, и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска!»

И Жуковскому писал:

«О Пушкин, Пушкин! Какой прекрасный сон удалось мне видеть в жизни, и как печально было мое пробуждение!»

Таково было для Гоголя обаяние личности

Пушкина, что, когда, за три месяца до смерти Гоголя, Анненков напомнил ему о Пушкине, лицо Гоголя переменилось, просветлело и оживилось.

Денис Васильевич Давыдов
(1784–1839)

Известный «поэт-партизан». Семнадцать лет поступил в кавалергардский полк. «Малый рост, – рассказывает он про себя, – препятствовал ему вступить в кавалергардский полк без затруднения. Наконец, привязали недоросля нашего к огромному палашу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли святилище его поэтического гения треугольною шляпою». В молодости Давыдов был либерален. Он написал несколько басен резко политического содержания. Так, в басне «Голова и ноги» он рассказывает, как ноги возмущались самовластием головы, заставляющей их ходить и бегать, куда она прикажет, как голова грозно велит им молчать, так как ей природой дано повелевать ногами. Ноги отвечают:

*Коль ты имеешь право управ-
лять,*

*Так мы имеем право – споты-
каться*

*И можем иногда, споткнувшись, –
как же быть! –*

*Твое величество об камень расши-
бить.*

За подобные стихи Давыдов в 1804 г. был переведен в армейский гусарский полк. С 1807 г. начинается его боевая деятельность. Он участвовал в целом ряде войн. В 1812 г. первый подал Кутузову мысль о выгодности партизанских действий в тылу неприятеля, сам организовал первый партизанский отряд и бросился с ним на тыловые сообщения наполеоновской армии. По изгнании французов из России партизанский отряд Давыдова был превращен в регулярную часть авангарда русской армии, вступившей в Германию. Давыдов рассказывает: «Крутой поворот от независимых, вдохновенных перелетов напропалую к размеренным переходам по маршрутам, доставляемым мне из корпусного дежурства, запрет покушаться атаковать неприятеля без особого разрешения, кипучая молодость, какая-то безотчетная, удалая и своевольная от-

вага и, наконец, соблазнительное соседство с неприятелем – были причиной того, что я произвел тот последний наезд, от которого пострадала вся моя заграничная служба и рушилась вся та будущность, которой (не для чего уже теперь жеманиться) я имел полное право не опасаться». Французская армия отступала, Наполеон со свежими силами еще не подошел из-за Рейна, была, по выражению Давыдова, «краткая эпоха мишурного блеска оружия», каждый генерал мечтал о легком захвате какой-нибудь из германских столиц или другого крупного города. Прусский командующий Блюхер и русский – Винценгероде – устремились, спеша предупредить друг друга, захватить Дрезден. В это-то время Денис Давыдов с пятьюстами казаков и гусаров очутился перед Дрезденом, увидел, что его легко захватить неожиданным налетом, – и занял город в прямое нарушение приказа Винценгероде, не поняв, что Винценгероде самолично желал овладеть Дрезденом, выставив это овладение славной победой. Винценгероде предал Давыдова военному суду за нарушение дисциплины. Император Александр

освободил его, сказав:

– Как бы то ни было, но победителя не судят.

Однако самостоятельной деятельности Давыдова пришел конец, а с тем вместе и его карьере. Как выражается в своих о нем воспоминаниях его сын, «он скитался теперь в действующей армии, как корсар, потерявший свой корабль». В 1814 г. Давыдов командовал регулярным гусарским полком, состоял в армии Блюхера. По окончании войны еще некоторое время служил в военной службе. В 1823 г., в чине генерал-майора, вышел в отставку. Еще два раза поступал опять на военную службу, чтобы принять участие в персидской войне 1827 г. и подавлении польского восстания. В мирное время жил в своем симбирском имении Верхней Мазе, хозяйничал, занимался литературной работой, писал воспоминания. Там же и умер пятидесяти пяти лет от роду.

Стихов Денис Давыдов написал немного. До нас дошло всего около восьмидесяти его стихотворений. Сам он говорит о себе:

Я не поэт, я партизан, казак;

*Я иногда бывал на Пинде, но на-
скоком,
И беззаботно, кое-как,
Раскидывал перед Кастальским
током
Мой независимый бивак.*

Это, однако, не совсем так. Давыдов писал свои стихи не «беззаботно, кое-как», а работал над ними тщательно и упорно. Он – поэт вполне оригинальный, с определенным, собственным стилем. Стил ь этот – лихой, залихватский, шапка набекрень. Оригинальность Давыдовского стиля высоко ценил Пушкин и говорил, что Денис Давыдов дал ему почувствовать еще в лицее возможность быть оригинальным, не поддаваясь влиянию Батюшкова и Жуковского. Содержанием наиболее популярных «гусарских» песен Давыдова являются попойки гусаров, их удал ь и лихие забавы. Он с восторгом описывает настоящих, коренных гусаров:

*Испивающих ковшами
И сидящих вокруг огня
С красносизыми носами.
На затылке кивера,*

*Доломаны до колена,
Сабли, шашки у бедра,
И диваном – кипа сена.
Ни полслова. Дым столбом.
Ни полслова. Все мертвецы
Пьют и, преклонясь челом,
Засыпают молодецки.*

Любимый, прославленный Давыдовым геро-
рой – гусар-забулдыга А. П. Бурцев:

*Бурцев ёра, забияка,
Собутыльник дорогой...*

Он мил Давыдову даже:

*Когда в борделе окаянном
Он лупит девок по щекам.*

Курьезно, что в стихах «поэта-партизана» Давыдова совершенно не отразились партизанство и те настроения, которыми оно вдохновлялось. Был немецкий поэт-партизан, австрийский офицер Теодор Кернер, – высокоодаренный юноша, в 1813 г. убитый двадцати двух лет в схватке с французами. Сборник стихов его «Ли́ра и меч» – произведение действительно поэта-партизана. Отразились в нем, между прочим, и попойки офицерские,

но стихи горят воинским пылом и патриотическим воодушевлением, через них мы воспринимаем и дела, и дух, и настроения тогдашнего партизанства. Воинственные песни Кернера рисовали перед немецкой молодежью идеал восторженного борца за освобождение родины. Герой же песен Давыдова – только шатающийся, пьяный офицер с кивером на затылке, глубоко презирающий всех, кто «о водке ни полслова». Партизанству Давыдовым посвящен один-единственный коротенький отрывок «Партизан», да и тот написан только в 1826 г. Давыдов интересен и в любовной своей лирике, и в сатирах («Современная песня»), – везде настроения свои, оригинальные. Оригинален он и в прозаических своих статьях, – по нескольким строчкам сразу можно узнать, что писаны они Давыдовым.

Денис Давыдов был очень небольшого роста, курносый, черноволосый, с прядью ярко-седых волос на лбу; он эту прядь закрашивал, но когда Языков в послании к нему сказал:

*Ты, боец чернокудрый,
С белым локоном на лбу, –*

Денис перестал краситься. Был он чудесный рассказчик и остроумный собеседник, всех заражал увлекательной, молодой веселостью. «Буйная и умная голова», – отзывался о нем Грибоедов. Голос Давыдова был несколько хриплый, иногда переходивший в тоненькую фистулу, что придавало его речи особую оригинальность. Он не прочь был при случае осушить бутылку-другую вина, но, в общем, этот певец веселых попок и картежной игры был насчет вина очень скромн и воздержан, а в карты совсем не играл. Давыдов производил впечатление беспечного, лихого рубаки, душа которого все время носится где-то там, далеко от обыденной жизни, в кровавых схватках и сечах. В действительности это был человек расчетливый и с большой хитрецей. Партизанство было коротким эпизодом в его жизни. Но Денис Давыдов сумел сшить себе из него блестящий наряд, в котором щеголял всю жизнь. «Поэт-партизан», – так называл он себя сам, так называли его друзья, так называют справочные словари, как будто партизанство было постоянной профессией Дениса Давыдова и постояннейшим содержанием его

поэзии. Он умел устраивать себе славу. Еще при жизни его появились восторженнейшие биографии Дениса Давыдова, и выяснилось, что писал их он сам. Бестужев-Марлинский отозвался о нем: «Денис Давыдов более выписал, чем вырубил себе славу храбреца». И Плетнев писал Гроту, что Давыдов, «не трогая его талант, был мелкий хвастун». Умел Давыдов устраивать себе славу, умел и вообще устраивать свои дела. Вот, например, маленькая история, по откровенности своей для более поздних литературных нравов просто изумительная. В середине тридцатых годов Давыдов поселился в Москве, купил большой каменный дом на Пречистенке, против пожарного депо. Но вскоре ему не стало житья:

*От соседства шумной тучи
Благочинии саранчи,
И торчащей каланчи,
И пожарных труб и крючий.*

Вздумал он отделаться от дома. Узнал, что казна подыскивает дом для обер-полицмейстера. И вот Давыдов обращается в стихотворной «Челобитной» к начальнику московской комиссии строений А. А. Башилову и откro-

веннейшим образом пишет в ней:

*Помоги в казну продать
За сто тысяч[271] дом богатый,
Величавые палаты,
Мой пречистенский дворец!*

Мотив:

*Тесен он для партизана.
Сотоварищ урагана,
Я люблю, казак-боец,*

*Дом без окон, без крылец,
Без дверей и стен кирпичных,
Где могу гостей моих
Принимать картечью в ухо,
Пулей в лоб иль пикой в брюхо!
Друг, вот истинный мой дом...
Вникни в просьбу казака
И уважь его моление!*

Стихи эти Давыдов послал Пушкину для напечатания в «Современнике» и писал при этом: «Главное дело в том, чтобы моя челобитная достигла не столько поэтической, сколько положительной цели; пусть она сперва подействует на Башилова, понудив его купить мой дом за сто тысяч рублей». И Пуш-

кин напечатал это стихотворение! Мы можем им любоваться в третьей книжке «Современника» за 1836 г.

Лично Пушкин познакомился с Давыдовым либо в Петербурге до ссылки, либо в Каменке, киевском имении родственников Давыдова. Был он с ним в близких, приятельских отношениях. Денис Давыдов присутствовал на «мальчишнике», который Пушкин устроил перед своей свадьбой для интимных друзей. Давыдову Пушкин посвятил целый ряд посланий, в которых с изумительным мастерством подделывался под стиль Давыдова. Он очень дорожил сотрудничеством Давыдова в его «Современнике». Восхищался оригинальным слогом его статей. Когда узнал, что Сенковский в своей «Библиотеке для чтения» исправлял, по своему обыкновению, и слог Давыдова, он писал в негодовании, что Сенковскому учить русскому языку Дениса Давыдова все равно что еврею учить Потемкина. По поводу предстоявшего посещения лекции проф. И. И. Давыдова Пушкин писал жене: «...я ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охотник». Все это, однако, не мешало Пуш-

кину дать, по слухам, следующий острый отзыв о Денисе: «Военные уверены, что он отличный писатель, а писатели про него думают, что он отличный генерал».

**Андрей Иванович Подолинский
(1806–1886)**

Поэт пушкинской поры. Уроженец Киева, воспитание получил в петербургском университетском Благородном пансионе. В начале августа 1824 г. по окончании курса он ехал к родным в Киев. В Чернигове ночевал в гостинице. Утром, войдя в залу, он увидел в соседней буфетной комнате шагавшего вдоль стойки молодого человека. Вид его был очень непредставительным: желтые нанковые шаровары, цветная измятая русская рубаша, подвязанная вытертым черным шейным платком, растрепанные курчавые волосы. По виду Подолинский принял его за полового. Вдруг молодой человек быстро подошел к Подолинскому и спросил:

– Вы из Царскосельского лицея?

На Подолинском был еще казенный сюртук, по форме одинаковый с лицейским. Такая фамильярность со стороны полового не

понравилась Подолинскому, и он сухо ответил:

– Нет, из Благородного пансиона.

– А, так вы были вместе с моим братом! – воскликнул молодой человек.

Подолинский смутился и уже вежливо спросил собеседника, как его фамилия.

– Я – Пушкин. Брат мой Лев был в вашем пансионе.

Вся молодежь того времени благоговела перед Пушкиным. Подолинский очень обрадовался и сконфузился за свою невежливость. Разговорились. Пушкин сообщил, что едет из Одессы в деревню, что усмирение его не совсем еще кончено, и, смеясь, показал свою дорожную, где по порядку были прописаны все города, на какие именно он должен был ехать. Потом он попросил Подолинского передать в Киеве записку генералу Раевскому и тут же ее написал. Печати при нем не оказалось. Подолинский с тайной радостью предложил свою, на которой тоже были буквы А. П. Втихомолку Подолинский уже пописывал стихи и в совпадении инициалов увидел счастливое для себя предзнаменование.

Во второй половине двадцатых годов, уже получив известность как поэт, Подолинский нередко встречался с Пушкиным на вечерах у Дельвига. Пушкин был с ним приветлив, любезно хвалил его стихи. Особенно нравился ему «Портрет»:

*Когда стройна и светлоока,
Передо мной стоит она,
Я мыслю: Гурия пророка
С небес на землю сведена.*

Однако в общем относился к его поэзии холодно и в 1831 г., по поводу другого молодого поэта, Деларю, писал Плетневу: «Деларю слишком гладко, слишком правильно, слишком чопорно пишет для молодого лицеиста. В нем не вижу я ни капли творчества, а много искусства. Это второй том Подолинского». Подолинский служил в почтовом ведомстве, в пятидесятых годах вышел в отставку, поселился в своем родовом киевском имении, умер в глубокой старости.

**Михаил Данилович Деларю
(1811–1868)**

Второстепенный поэт. Пушкин о нем, как мы видели, отзывался: «Деларю слишком

гладко, слишком правильно, слишком чопорно пишет. В нем не вижу я ни капли творчества, а много искусства». Окончил Царско-сельский лицей, был близок к Дельвигу, печатался в его изданиях. В 1834 г. в «Библиотеке для чтения» был помещен его перевод стихотворения В. Гюго «Красавице». В нем поэт говорит, что если бы он был царем, то всю власть он отдал бы за единый взгляд красавицы:

*И если б Богом был, – селеньями
святыми
Клянусь, – я отдал бы прохладу
райских струй,
И сонмы ангелов с их песнями жи-
выми,
Гармонию миров и власть мою
над ними
За твой единый поцелуй!*

Пушкин по поводу этих стихов писал в дневнике: «Крылов сказал очень хорошо:

*Мой друг, когда бы был ты Бог,
То глупости такой сказать бы
ты не мог.*

Это все равно, – заметил он мне, – что я бы

написал: «Когда б я был архиерей, то пошел бы во всем облачении плясать французский кадрили».

Писатель Андрей Муравьев обратил на стихотворение Деларю внимание петербургского митрополита Серафима; тот испросил аудиенцию у царя и умолял его оградить церковь и веру от поругания поэзии. Цензор Никитенко был посажен на гауптвахту, а Деларю уволен со службы в канцелярии военного министерства. Впоследствии был инспектором одесского ришельевского лицея.

Николай Михайлович Коншин (1793–1859)

Плохой поэт. Был ротным командиром в Нейшлотском полку в Финляндии в то время, когда Баратынский был в том же полку солдатом; они сошлись, хотя особенной дружбы между ними не было. Коншину Баратынский посвятил три стихотворения, а Коншин начал свою литературную деятельность напечатанием стихотворения «Баратынскому». В 1830 г. Кошин вместе с бароном Е. Ф. Розеном издал альманах «Царское Село». Впоследствии служил по учебной части, был ди-

ректором тверских училищ и т. п. Пушкин в 1825 г. писал Жуковскому: «...согласен, что жизнь моя сбивалась иногда на эпиграмму, но вообще она была элегией в роде Коншина», – имея в виду тягучую унылость коншинских элегий. Есть воспоминания Коншина о посещении им Пушкина утром в день его дуэли, по своей вздорности не заслуживающие никакого доверия.

Федор Николаевич Глинка
(1786–1880)

Поэт, преимущественно на религиозные темы. Был военным, участвовал в наполеоновских войнах. С 1819 г., в чине гвардии полковника, состоял для поручений при петербургском генерал-губернаторе Милорадовиче. С Пушкиным он познакомился очень скоро после выпуска Пушкина из лицея. «Я очень его любил как Пушкина, – рассказывает Глинка, – и уважал как в высшей степени талантливого поэта. Кажется, и он это чувствовал и потому позволял мне говорить ему прямо-напрямом насчет тогдашней его разгульной жизни. Мне удалось даже отвести его от одной дуэли».

Однажды, весной 1820 г., Глинка встретился на улице с Пушкиным. Пушкин был бледен и серьезен.

– Я шел к вам посоветоваться, – сказал он. – Вот видите: слух о моих и не моих пьесах, разбежавшихся по рукам, дошел до правительства. Вчера, когда я возвратился поздно домой, мой старый дядька объявил, что приходил в квартиру какой-то неизвестный человек и давал ему пятьдесят рублей, прося дать ему почитать моих сочинений и уверяя, что скоро принесет их назад. Но мой верный старик не согласился, а я взял да и сжег все мои бумаги... Теперь меня требуют к Милорадовичу. Я не знаю, как и что будет, и с чего с ним взяться. Вот я и шел посоветоваться с вами.

Они долго обсуждали дело. В конце концов Глинка посоветовал:

– Идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения. Положитесь безусловно на благородство его души: он не употребит во зло вашей доверенности.

Пушкин так и сделал. Явился к Милорадовичу и в его присутствии сам написал все свои нелегальные стихи, чем привел Милора-

довича в восторг.

После высылки Пушкина Глинка напечатал в «Сыне отечества» приветственные стихи к опальному поэту:

*О, Пушкин, Пушкин, кто тебя
Учил пленять в стихах чудесных?
Какой из жителей небесных
Тебя младенцем полюбил?..
Судьбы и времени седого
Не бойся, молодой певец!
Следы исчезнут поколений,
Но жив талант, бессмертен гений!*

Пушкин ответил Глинке из Кишинева благодарным посланием:

*Когда средь оргий жизни шумной
Меня постигнул остракизм,
Увидел я толпы безумной
Презренный, робкий эгоизм.
Без слез оставил я с досадой
Венки пиров и блеск Афин,
Но голос твой мне был отрадой,
Великодушный гражданин!
Пускай судьба определила
Гоненья грозные мне вновь,
Пускай мне дружба изменила,*

*Как изменяла мне любовь,
В моем изгнании позабуду
Несправедливость их обид:
Они ничтожны – если буду
Тобой оправдан, Аристид.*

Глинка был масон, состоял в «Союзе благоденствия», но с переформированием Тайного общества отстал от него. Был членом общества «Зеленой лампы». После 14 декабря просидел три месяца в Петропавловской крепости и был сослан в Петрозаводск с определением на службу по гражданской части. Был советником олонекского губернского правления, потом на той же должности в Твери и Орле. В 1835 г. вышел в отставку и поселился в Москве. В 1830 г. Пушкин с Вяземским заезжали к Глинке в Тверь, – вот все, что мы знаем о позднейших встречах Глинки с Пушкиным.

Глинка был большой добряк. «Я не встречал подобного энтузиазма ко всему доброму, – сообщает современник. – Расскажите при нем о каком-нибудь благородном поступке, – тотчас цвет лица его переменится, и вид его, обыкновенно мрачный, делается веселым.

Он жил в бедности, но, невзирая на то, послал однажды заключенным в тюрьме сто горшков цветов. Людей он не знал». Этот благороднейший и добрейший человек был вместе с тем суетен и тщеславен в высшей степени. Под старость он весь ушел в чинопочитание и в мелочное самообожание. Был он маленький, черненький, сморщенный старичок с очень добродушным личиком; всегда носил все имевшиеся у него ордена; поэт Щербина называл его ходячим иконостасом и уверял, что бабы к нему прикладываются. Остряки утверждали, что Глинка даже купается, не снимая орденов. Жена его Авдотья Павловна тоже была поэтесса и тоже писала на божественные темы. Они были влюблены в стихи друг друга и представляли курьезную парочку. Иногда они устраивали у себя чтение «Таинственной капли» – сборника мистических стихов Глинки. Это было настоящим священнодействием. Приглашались только достойные. В зале устраивалось возвышенное место, на нем ставился стол и два стула рядом; на столе зажигались свечи и ставились сахарная вода, и самыми восторженными поклонница-

ми с таинственной осторожностью раскладывались фолианты рукописи. Для слушателей ставились кресла полукругом; все рассаживались заблаговременно. Вдруг все смолкали, и автор с женой восходили на трибуну. Засим неукоснительно происходил следующий разговор:

– Ma che´ re, кто начнет?

– Ты, конечно, mon cher.

– Уверяю тебя, ma che´ re, ты гораздо лучше меня читаешь.

Наконец, кто-нибудь начинал: и муж, и жена читали совершенно одинаково: патетично, певуче, монотонно. «Никогда не забуду мучений, которые доставляли мне эти чтения!» – с ужасом вспоминает Ек. Ф. Юнге.

Стихи Глинки были не лишены своеобразного дарования. Ему, между прочим, принадлежат слова распространенной песни «Вот мчится тройка удалая». Любимым его жанром, как уже сказано, были стихотворения религиозные. Пушкин признавал Глинку оригинальным поэтом со своим, ни на кого не похожим лицом, с поэтическим воображением, теплотой чувств и свежестью живописи, но в

то же время небрежным в рифмах и слоге, однообразным в мыслях, с простотой, переходящей в изысканность, с оборотами то смелыми, то прозаическими. Смелые обороты эти не раз веселили Пушкина. Например, в «Северных цветах» за 1831 г. было помещено стихотворение Глинки «Бедность и утешение»:

*Не плачь, жена! Мы здесь земные
постояльцы;
Я верю, где-то есть и нам приют-
ный дом!
Под час вздохну я, сидя за пером,
Слезы роняешь ты на пальцы;
Ты все о будущем полна заботных
дум:
Бог даст детей?.. Ну, что ж! –
пусть Он наш будет Кум!*

Пушкин по этому поводу писал Плетневу: «Бедный Глинка работает, как батрак, а проку все нет. Кажется мне, он с горя рехнулся. Кого вздумал просить себе в кумовья! Вообрази, в какое положение приведет он и священника, и дьячка, и куму, и бабу, да и самого кума, которого заставят же отрекаться от дьявола, плевать, дуть, сочетаться и прочие творить

проделки. Нащокин уверяет, что всех избаловал покойник царь, который у всех крестил ребят. Я до сих пор от дерзости Глинкиной опомниться не могу. Странная вещь, непонятная вещь!» А в 1834 г. Пушкин писал в дневнике: «Цензор Никитенко на гауптвахте под арестом и вот по какому случаю: Деларю напечатал перевод оды Гюго, в которой находится следующая глубокая мысль: если де я был бы Богом, то я бы отдал свой рай и своих ангелов за поцелуй Милены или Хлои (см. Деларю)... А все виноват Глинка. После его ухарского псалма, где он заставил Бога говорить языком Дениса Давыдова, цензор подумал, что Он пустился во все тяжкое... Псалом Глинки уморительно смешон». В псалме этом господь-Адонаи обращается к мечу с такой речью:

*Сверкай, мой меч! играй, мой меч!
Лети, губи, как змей крылатый!
Пируй, гуляй в раздолье сеч!
Щиты их в прах! В осколки латы!*

Пушкин не раз задевал Глинку в эпиграммах. В «Собрании насекомых» он назвал его «Божией коровкой». Эпиграмма на Глинку:

*Наш друг Фита, Кутекин в эполе-
тах,
Бормочет нам растянутый пса-
лом:
Поэт Фита, не становись Фер-
то́м!
Дьячок Фита, ты Ижица в по-
этах!*

Посылая в 1825 г. эту эпиграмму Вяземско-
му, Пушкин писал: «Не выдавай меня, ми-
лый; не показывай этого никому: Фита бо
друг сердца моего, муж благ, незлоблив, уда-
ляйся от всякия скверны».

**Барон Егор Федорович Розен
(1800–1860)**

Посредственный поэт и драматург. Родился
в Эстляндии, получил прекрасное домаш-
нее образование. В 1819 г. поступил в Елиза-
ветградский гусарский полк. До этого он
очень слабо знал русский язык и, по собствен-
ному признанию, «научился русскому языку
в манеже и на службе». В 1835 г., по рекомен-
дации Жуковского, был назначен личным
секретарем наследника великого князя Алек-
сандра Николаевича. В 1840 г. вышел в от-
ставку. Был очень плодовитый писатель, со-

трудничал без разбора в самых разнообразных изданиях, вплоть до болгаринских. Жуковский и Пушкин ценили его, несомненно, выше, чем он заслуживал. Пушкин, например, писал в дневнике: «Ни Кукольник, ни Хомяков не напишут хорошей трагедии. Барон Розен имеет более таланта». Сам Розен был о себе самого высокого мнения. Он был уверен, что он глубокий и единственный знаток драматического искусства и величайший драматический поэт. Ему, между прочим, принадлежит либретто оперы «Жизнь за царя». Успех оперы Розен с полнейшим убеждением приписывал своим стихам. М. И. Глинка рассказывает в своих «Записках»: «Большая часть не только тем оперы, но и разработка пьесы была уже сделана, и Розену надлежало подделывать слова под музыку. Барон Розен был на это молодец: закажешь столько-то стихов такого-то размера, — ему все равно, придешь через день, и уже готово... Каждый свой стих он защищал со стоическим героизмом; так например, мне показались не совсем ловкими стихи из квартета:

Так ты для земного житья

Грядущая женка моя.

Меня неприятно поражали слова «грядущая» – библейское и простонародная «женка»; долго, но тщательно бился я с упорным бароном, убедить его возможности не было, он много говорил с жаром, причем тощее и бледное лицо его мало-помалу вспыхивало ярким румянцем. Прение наше окончил он следующим образом: «Ви не понимает, это сама лутший поэзия!» Головачева-Панаева сообщает: «Когда Глинка стоял возле барона Розена, то выходил сильный контраст. Глинка был маленького роста, смуглый, живой, с хохлом на лбу, а барон Розен, тип немца, высокий, неподвижный, с маленькой головой, с прилизанными светлыми волосами и светлыми голубоватыми глазами, имевшими какое-то умильное выражение».

Нестор Васильевич Кукольник
(1809–1868)

Знаменитейший в свое время драматург. Учился в нежинской гимназии вместе с Гоголем, подавал блестящие надежды, и в глазах товарищей Гоголь не шел ни в какое сравнение с Кукольником. Был учителем русского

языка в виленской гимназии, позже служил в Петербурге в министерстве финансов. Обратил на себя внимание драматической фантазией «Торквато Тассо», вышедшей в 1833 г. В следующем году была поставлена на сцене его патриотическая драма из эпохи Смутного времени «Рука Всевышнего отечество спасла». Она имела огромный успех, автор был представлен Николаю и получил от него в награду перстень. В «Московском телеграфе», лучшем журнале того времени, появилась на драму уничтожающая рецензия, написанная редактором журнала Н. А. Полевым. Журнал за это был запрещен. Ходила эпиграмма:

*Рука Всевышнего три чуда совершила:
Отечество спасла,
Поэту ход дала
И Полевого утопила.*

Следующая драма Кукольника «Князь Скопин-Шуйский» окончательно утвердила среди большой публики славу Кукольника как первого драматурга своего времени. Его восторженно хвалили Булгарин и Греч, Сенковский ставил его на одну доску с Шекспи-

ром и Гете. Но люди со вкусом относились с полным отрицанием к трескучей, напыщенной и риторической поэзии Кукольника. Сам он был о себе самого высокого мнения. Вокруг него теснился кружок восторженных поклонников, и среди них Кукольник не уставал с энтузиазмом проповедывать о святине искусства. Направление, данное русской литературе Пушкиным и Гоголем, он глубоко презирал, считал себя главой русского романтизма и носился с мыслью о создании грандиозных типов. Любил выпить и в пьяном виде провозглашал:

– Кукольник велик!

– Кукольника потомство оценит!

Или вдруг заявлял, что русская публика не доросла до понимания его произведений, и высказывал намерение писать по-итальянски или по-французски. Почитатели приходили в ужас и начинали умолять его не покидать русской литературы. Кукольник долго молчал и наконец растроганно заявлял:

– Благодарю вас! Не за себя благодарю, а за искусство, великое дело которого вы так горячо принимаете к сердцу... Да, я буду писать

по-русски, я должен писать по-русски, уж по одному тому, что я нахожу таких русских, как вы!..

Кукольник был очень высокого роста, с узкими плечами, и держал голову нагнувши, лицо было длинное, узкое, с крупными, неправильными чертами; глаза маленькие, с насупленными бровями; уши огромные, тем более бросающиеся в глаза, что голова была слишком мала по его росту. Он был веселый и остроумный собеседник, добродушен, часто по-детски весел. Тонко понимал музыку, недурно сам играл и импровизировал на фортепиано. Был в большой дружбе с композитором М. И. Глинкой и живописцем К. Брюлловым и придавал большое значение этому единению гениальных представителей трех искусств. Триада с теперешней точки зрения была курьезная: гениальный, для всякого времени нужный Глинка, талантливый, нужный для своего времени Брюллов и ни для какого времени не нужный Кукольник. За свою жизнь Кукольник написал несчетное количество драм, романов, повестей, стихотворений, издавал «Художественную газету»

(1836–1842), посвященную вопросам искусства. Популярность его также быстро начала падать, как быстро возникла. Журналы все неохотнее стали принимать его произведения. Он умер в конце шестидесятих годов, всеми забытый.

Пушкин относился к Кукольникову совершенно отрицательно, находил, что у него жар не поэзии, а лихорадки, не считал его способным написать хорошую трагедию и даже барона Розена считал талантливее. В письме к жене весной 1834 г. он, описывая съезд на один большой бал, сообщает: «...передо мною весь город проехал в каретах, кроме поэта Кукольника, который проехал в каком-то старом фургоне, с каким-то оборванным мальчиком на запятках, что было истинно поэтическое явление». 10 января 1836 г. Никитенко писал в дневнике: «Однажды у Плетнева зашла речь о Кукольнике. Пушкин, по обыкновению грызя ногти или яблоко, – не помню, – сказал: «А что, ведь у Кукольника есть хорошие стихи? Говорят, что у него есть и мысли». Это было сказано тоном двойного аристократа: аристократа природы и положения в све-

те».

Кукольник в день смерти Пушкина записал в своем дневнике: «Пушкин умер... Мне бы следовало радоваться, – он был злейший мой враг: сколько обид, сколько незаслуженных оскорблений он мне нанес – и за что? Я никогда не подавал ему ни малейшего повода. Я, напротив, избегал его, как избегаю вообще аристократии: а он непрестанно меня преследовал... Но в сию минуту забываю все и, как русский, скорблю душевно об утрате столь замечательного таланта».

Есть у Кукольника «драматическая фантазия» «Доменикино». В ней выведен известный итальянский художник Возрождения Доменикино Цампиери, много пострадавший в жизни от завистников и даже, по преданию, отравленный ими. В драме Кукольника Доменикино – идеальный образ художника, равнодушного к благам мира и к ложной славе, всей душой живущего в искусстве. А вокруг него – клевета, зависть, интриги. Во главе завистников стоит художник Ланфранко, который сам о себе говорит:

Я только славу мертвых уважал,

*Я только им великое прощал,
За то в живых я славу ненавидел!*

Он полон злобы к Доменикино, всячески преследует его, разбивает всю его жизнь. Доменикино в отчаянии восклицает:

*Куда укрыть невинные глаза
От злобных взоров зависти бес-
стыдной?*

Знаменитый старый художник Аннибал Караччи с негодованием говорит завистнику Ланфранко:

*Ланфранко! Есть потомство!
Эта зависть
На памяти твоей, как рана, ля-
жет.
Пока потоп иль преставление све-
та
Не уничтожат памяти Цампи-
ери,
До той поры, при каждом лоскут-
ке,
Рукой страдальца освященном,
люди
Врагов его с презрением воспом-
нят!*

Из дневника Кукольника мы узнаем, что драма эта носит глубоко автобиографический характер. Под именем Доменикино Кукольник выводит себя, а под именем Ланфранко... Пушкина!!! В дневнике читаем (1–8 июня 1836 г.): «Не хотел бы я жить ужасною жизнью Цампиери... но, если того требуют судьбы искусства: да будет! Уже в большой мере наша судьба сходствует: нам не удалось найти почитателей наших талантов, а только приятелей, любящих в нас людей, с тайною холодною к нашим способностям; вражда сохуждников с примесью клеветы; и у меня есть свой Ланфранко – Пушкин... Забавные сближения, но они по чувству моему справедливы».

**Владимир Григорьевич Бенедиктов
(1807–1873)**

В 1835 г. выпустил книжку стихов, привлечшую общее внимание. От нее в восторге были Жуковский, Вяземский. Один Пушкин, по рассказу Панаева, остался хладнокровным и на вопрос, какого он мнения о новом поэте, отвечал, что у него есть превосходное сравнение неба с опрокинутой чашей; к этому он

ничего не прибавил более. Белинский, вразрез с общим мнением, поместил в «Телескопе» рецензию, поставившую Бенедиктова на должное место. Признав Бенедиктова «превосходным версификатором и удачным описателем», Белинский отказывался видеть поэта в том, у кого не хватает фантазии на 20–40 строк стихотворения, кто со стихами вдохновенными мешает стихи деланные; отмечал в его стихах «риторическую шумиху» и предсказывал, что через несколько лет его совершенно забудут. Предсказание Белинского сбылось: слава Бенедиктова так же быстро погасла, как быстро засияла.

Можно сказать, что Бенедиктов был Бальмонтом 30–40-х годов XIX в.: та же риторическая напыщенность, то же безвкусие и та же исключительная «напевность». Такие, например, стихи:

*Взгляните, как льется, как вьется
она –
Красивая, злая, крутая волна!
Это мчится Ореллана,
Широка и глубока,
Шибче, шибче – и близка*

К черной бездне океана.

Наружность Бенедиктова совершенно не соответствовала бурно-пламенной его поэзии и сильно разочаровывала поклонников, представлявших себе его с огненными, вдохновенными глазами и черными кудрями до плеч. Был он плохо сложен, с длинным туловищем и короткими ногами, роста ниже среднего; белокуро-рыжеватые, примазанные волосы с зачесанными на висках крупными закорючками; лицо рябоватое, бледно-геморроидального цвета, с красноватыми пятнами; беловатые, светло-серые глаза, окруженные пloidкой морщинок. Постоянно в форменном фраке министерства финансов, с орденами на шее и в левой петлице, при широком и неуклюжем черном атласном галстуке. Принадлежал, конечно, к кружку Кукольника. Однако посещал и субботы Жуковского, там встречался с Пушкиным. Вот как вспоминает он об этих встречах у Жуковского:

*Помню я собранья
Под его гостеприимным кровом.
Вечера субботние: рекою
Наплывали гости, и являлся*

Он, – чернокудрявый, огнеокий,
Пламенный Онегина создатель,
И его веселый, громкий хохот
Часто был шагов его предтечей;
Меткий ум сверкал в его рассказе,
Быстродвижные черты лица
Изменялись непрерывно; губы,
И в молчаньи, жизненным движе-
нием
Обличали вечную кипучесть
Зоркой мысли. Часто едкой зло-
стью
Острое играющего слова
Оправлял он; но и этой злости
Было прямодушие основой, –
Благородство творческой души,
Мучимой, тревожимой, язвимой
Низкими явлениями сей жизни.

Эдуард Иванович Губер
(1814–1847)

Сын немецкого пастора. До десяти лет не знал русского языка. В 1834 г. окончил институт корпуса путей сообщения и был произведен в офицеры. Работал в журналах, одно время был помощником Сенковского в редактировании «Библиотеки для чтения». Перевел первую часть «Фауста» Гете; цензура его за-

претила, и огорченный Губер уничтожил свой труд. Пушкин ободрил его, убедил вторично взяться за перевод, читал его с ним, исправлял. Перевод вышел в свет уже после смерти Пушкина, с целыми страницами многоточий вместо стихов, не пропущенных цензурой. В посвящении памяти Пушкина Губер писал:

*Когда меня на подвиг трудный
Ты улыбаясь вызывал,
Я верил силе безрассудной
И труд могучий обещал.
С тех пор один, вдали от света,
От праздной неги бытия,
Благословением поэта
В ночных трудах крепился я.
И грозный образ исполина
Явился пламенным мечтам,
И вскрылась дивная картина
Моим испуганным очам...
Ты разбудил немые силы,
Ты завещал мне новый свет, –
И я к дверям твоей могилы
Несу незрелый, бледный цвет.
Простой листок в венке лавровом,
Простая дань души простой*

*Не поразит могучим словом
И не богата красотой.
Но над могилою кровавой
Я брошу блеклый мой листок,
Пока сплетет на гробе славы
Другой певец – другой венок.*

В 1838 г. Н. А. Полевой писал своему брату Ксенофону: «К тебе явится с письмом моим офицер, с большими бакенбардами и холодною наружностью, – это Губер, переводчик «Фауста» и единственный человек, которого о сю пору отыскал я в Петербурге: поэт в душе, благороден, умен, учен, немец головою, русский душою». По общим отзывам всех, знавших Губера, это был человек редкой душевной чистоты.

**Лукьян Андреевич Якубович
(1805–1839)**

Посредственный поэт. Веселый, разбитной малый, круглолицый, румяный, кудрявый, отставной офицер. Наивный и беззаботный, всегда начиненный журнальными новостями и сплетнями. Сильно пил. От литературы он не получал ничего, потому что тогда не только за стихи, но и за прозу платили толь-

ко избранным. Жил уроками русского языка. Говорят, что, когда он умирал на чердаке в казарме в Семеновском полку, к нему пришло известие, что умер его дядя, оставивший ему в наследство более трехсот душ.

Пушкин очень любил Якубовича. «Дружба у них была неразрывная», – рассказывает И. П. Сахаров. За три дня до дуэли Якубович и Сахаров были у Пушкина. Пушкин горячо спорил с Якубовичем. Он был очень сердит и беспрестанно бранил Полевого за его «Историю»; ходил скоро взад и вперед по кабинету, хватал с полки какой-нибудь том «Истории» и читал из него выдержки. В пушкинском «Современнике» напечатано стихотворение Якубовича «Предназначение». Приводим его для характеристики поэта:

*Вы слыхали ль в отдалении
Звуки песни родной?
Что мечталось вам при пении
Соловья в глуши лесной?
Много чувств, воспоминания,
В звуках тех сохранено!
Много искр, любви, страдания
В песни той утаено!
Раб минутного желания,*

*И поэт, как соловей,
Он поет вам без сознания,
Без расчетливых затей.
Льется ль струйкой серебристою,
Водопадом ли гремит
Или молнией огнистою
В небе сумрачном горит;
Иль летит орлом над тучею,
Вьется ль резвым мотыльком;
Силой тайной и могучею
Все куда-то он влеком.
Безотчетный, бессознательный,
Самому себе тиран,
Так певец – орган страдательный,
Бога высшего орган!*

**Алексей Васильевич Кольцов
(1808–1842)**

Широкоплечий, сутуловатый паренек небольшого роста, некрасивый; одна сторона лица была больше другой и казалась распухшей от зубной боли. Сидел в уголке, смотрел исподлобья, изредка покашливал, торопливо поднося руку ко рту; одет был в длинный, до пят, сюртук, шейный платочек бантом, по жилету – голубая бисерная часовая цепочка. Когда с ним заговаривали, он на-

пряженно улыбался, отвечал застенчиво, не глядя собеседнику в глаза. Литераторы держались с ним покровительственно и не замечали тайной насмешки, прятавшейся в его умных и хитрых глазах. В литературных салонах глядели на него как на диковинку. Это был «поэт-самоучка» Кольцов, «поэт-прасол», полуграмотный человек «из народа», писавший, однако, совсем недурные стихи. Были, впрочем, люди, высоко ценившие оригинальную поэзию Кольцова безотносительно к тому, самоучка он или нет. К нему дружески относились Станкевич, В. П. Боткин, Катков, его очень любил Белинский, холил его, воспитывал и направлял. С ними Кольцов оживлялся, застенчивость и угрюмость исчезали, умные глаза загорались, и можно было долгие часы с интересом разговаривать с этим полуграмотным человеком. «Экая богатая и благородная натура! – в восторге писал Белинский. – Я точно очутился в обществе нескольких чудеснейших людей!» Кольцов жадно глотал мысли и знания, получаемые от друзей, но очень было ему трудно: нельзя разрешить основных вопросов жизни без немецкой философии, дру-

зья его свободно парили в туманных высях этой философии, и никак он не мог угнаться за ними. Главное – времени было мало, редко он с ними виделся; подольше бы пожить с такими друзьями, – и вся истина целиком была бы в его обладании. В 1838 г. он писал Белинскому: «За эти два месяца жизни с вами я много разрешил темных вопросов, много разгадал неразгаданных прежде истин. Жалею об одном, что нельзя было жить еще месяц с вами, а то есть кой-какие вопросы темные. Субъект и объект я немножко понимаю, а абсолюта ни крошечки, а если и понимаю, то весьма худо». Трудно было ему овладеть и языком ученых своих друзей. В письмах он говорит о своих «антипатических обстоятельствах», Белинский для него – «человек, который в полных идеях здравого смысла выводит священные истины и отдает их целому миру», фанатик – это «старинный почитатель одних призрачных правил без чувства души». Подобные выражения беспомощными мухами барахтаются в чистом и крепком настоящем чудеснейшего народного языка кольцовских писем: «За ночью день уж должен быть, а ес-

ли захочет ночь его скушать, – подавится!», «Желанью сенца не подложишь: оно насильно требует, что ему надобно», «Русь, раз покажи хороший калач из-за пазухи, долго будет совать руку за ним по старой привычке».

Бескрайние воронежские степи. На лихом донском коне скачет парень в барашковой шапке, в чекмене, затянутом ремненным поясом с серебряными украшениями; настоящий джигит: не задумываясь, перемахивает через овраги, через плетни; на всем скаку захватит с дороги горсть пыли и швырнет в проходящую молодку. На степи отгуливаются купленные весной гурты волов, ватаги овец. Парень наблюдает за пастухами, по-хозяйски покрикивает на них. Вечером заедет в деревню, – бойкий на слово, веселый. Ходит в хороводе, пляшет и поет, балуется с девками. Везде, где появится, – смех и веселье. Мастер и кутнуть с мужиками. Ночью тихонько крадется к хате молодой вдовы или солдатской жены. В этом ухаре-парне столичные друзья с трудом узнали бы застенчивого, торопливо кашляющего в руку Кольцова. И уж совсем бы не поверили глазам, увидев его за торговыми его делами.

Он продает в городе кожи, сало, дрова, закупает у крестьян скот, сговаривается на аренду пастбищ, торгуется за рощу на сруб. С ним держи ухо востро. Клянется, божится, выхваляет продаваемый товар, всячески хаает покупаемый. Он хорошо усвоил все основы купеческой премудрости: «не обманешь, – не продашь», «на то и щука в море, чтоб карась не дремал». Особенно разгорается в нем душа, когда перед ним человек неопытный, – тут он уж прямо за честь почитает надуть его самым бессовестным образом. О своих торговых проделках Кольцов с ухарством рассказывал даже столичным своим друзьям, – как ловко он надувает имеющих с ним дело простаков.

– Уж если торгуешь, все норовишь похитрее дело обделать: руки чешутся.

Белинский с горестным изумлением спрашивал:

– Ну, а если бы вы, Алексей Васильевич, с нами имели дело, – и нас бы надули?

– И вас. Ей-богу, надул бы. Может быть, и вдвое потом бы назад отдал, а не утерпел бы. Надул-с!

Торговал Кольцов не от себя. Он состоял

при отце Василии Петровиче – старом, матером волке, искушенном во всех тонкостях старозаветного русского торгашества. Василий Петрович скупал и откармливал скот, покупал на сруб леса, торговал кожей, овчиной, шерстью, дровами. Окладистая русая борода, подстрижен в скобку. Был он старик умный, суровый и властный, противоречий не терпел, для своих целей не останавливался перед самыми крутыми мерами. Лет семнадцати Кольцов-сын полюбил хорошенькую девушку Дуняшу, вступил с ней в связь, она от него, кажется, забеременела. Девушка была крепостной его отца. Кольцовы были мещане, владеть крепостными не имели права; но запрещение это можно было обходить очень легко: записывали людей на имя знакомого помещика либо фиктивно «нанимали» их у него. Кольцов хотел жениться на Дуняше. Отец отослал его из города по торговым делам и, в отсутствие сына, продал девушку в донскую казачью станицу. Сын был так этим потрясен, что заболел. Оправившись, кинулся на Дон отыскивать Дуняшу, но все поиски были тщетны. Василий Петрович умел хорошо де-

лать дела.

Кольцов вполне зависел от отца. Он был сметлив, практичен, отец постепенно передал ему все дела, но держал сына в ежовых рукавицах, требовал строгой отчетности; собственных денег у Кольцова никогда не было; любой приказчик по найму был независимее и богаче этого хозяйского сына. По поручению Кольцову случалось ездить в столицы — продавать гурты скота, хлопотать по судебным делам, которых у старика было несчетное количество, особенно с крестьянами по аренде земель. Тут в первый раз старик почувствовал, что пустяковые стишки, которые кропал чудака-сын, дело не безвыгодное. Стишки доставили сыну знакомство с сановными особами, очень полезными при ведении судебных дел. По просьбе сына, Жуковский, князь Вяземский, князь Одоевский писали письма воронежским властям и в судебные инстанции и тем много способствовали удачному исходу целого ряда кольцовских процессов. Однако процессов этих было так много, просить покровителей приходилось так часто, что даже благодушный Жуковский

наконец стал принимать Кольцова холодно и избегать с ним встреч.

Поездки в столицы были для Кольцова светлыми, освежающими дух полосами в темной, обывательской жизни, какую ему приходилось вести в Воронеже. В эти-то поездки он и виделся со своими учеными друзьями, посещал литературские сборища. В 1836 г. познакомился с Пушкиным. Узнав о приезде Кольцова, Пушкин просил его к себе. Хлопоты по делам отца и застенчивость мешали Кольцову отозваться на приглашение. Получив второе приглашение, Кольцов набрался смелости и пошел. Вид Пушкина его поразил: худой, черный, со впалыми глазами и с всклокоченными волосами, он работал в своем кабинете. Множество книг и горы рукописей лежали перед ним. Кольцов назвал свое имя. Пушкин крепко пожал его руку и сказал:

– Здравствуй, любезный друг, я давно желал тебя видеть.

«В обхождении Пушкина, – рассказывает Анненков, – была какая-то удивительная простота, выпрямлявшая человека и с первого раза устанавливавшая самые благородные отно-

шения между собеседниками. Кольцов был поражен дружелюбною откровенностью приема, сделанного ему Пушкиным. С робостью явился он к знаменитому поэту и не встретил ни тени величавого благоволения, ни тени покровительственного тона». Кольцов просидел у Пушкина довольно долго и потом был еще несколько раз. Он вручил Пушкину для его «Современника» кипу тетрадок со стихами. Из них в «Современнике» появился только «Урожай». По словам Краевского, Пушкин заметил, что не все стихи Кольцова можно печатать, и при этом высказался о нем как о «человеке с большим талантом, с широким кругозором, но бедном образованием, отчего эта ширь рассыпается более во фразы».

Через год Пушкин погиб. В известном стихотворении «Лес», посвященном его памяти, Кольцов писал:

*Не осилили
Тебя сильные,
Так подрезала
Осень черная.
С богатырских плеч
Сняли голову –*

*Не большой горой,
А соломинкой.*

Жить Кольцову в Воронеже становилось все тяжелее. После широкой литературной и художественной столичной жизни вялая жизнь глухого городка мало удовлетворяла. Торговля становилась все противнее. «Нет голоса в душе быть купцом». «Мне скучно жить в Воронеже, – писал Кольцов Белинскому, – живу-страдаю, – людей нет, одиночество, жутко, дела грязны и время берут почти все сутки... Тесен мой круг, грязен мой мир; горько жить мне в нем. И я не знаю, как я еще не потерялся в нем давно». И с ужасом чувствовал, как засасывает его житейское болото. «Сидя в болоте, не полетишь орлом; будь и крылья, – да глупая грязь их так сплющит, что и на ногах не устоишь, а уж куда лететь! – хоть бы глупые ребяташки не закидали камнями!» Отношения Кольцова с отцом начали портиться, и что дальше, то больше. В 1841 г., воротившись из деловой поездки в Москву, Кольцов писал Белинскому: «Из Москвы я домой приехал, как чужой. Отец принял другой характер, потому что его дрянные дела все

кончены; и какие остались, те ему полицией не грозят, и он очень рад бы был, если бы я никогда не приезжал. У нас с ним пошли отношения самые сухие. Он хотел, чтобы я был мальчик, его лошадь, без гривенника в кармане, – я не согласился». Долго они препирались. Наконец стоворились на том, что Кольцов на год останется при отце, достроит новый дом, который должен был давать доходу семь тысяч, а потом отец предоставит ему жить, где хочет, и будет давать в год по тысяче рублей. Кольцов хорошо знал жульническую натуру отца и хотел формально закрепить эти условия. Отец ответил:

– Не хочешь ли печеного рака?

Всю жизнь работая на отца, Кольцов на четвертом десятке лет остался без всяких средств, без определенного положения, во всем завися от крутого и самовластного отца. Обычная картина старозаветной купеческой семьи: работай, во всем угождай батюшке, после его смерти сам станешь хозяином, – конечно, если ничем его не прогневишь и он не лишит тебя наследства. Друзья уговаривали Кольцова разорвать с отцом, открыть в Пе-

тербурге книжную лавку или взять на себя заведывание конторой «Отечественных записок». Но Кольцов был натура инертная, он неспособен был смело разорвать путы и броситься в новую жизнь, не зная, что она ему даст. И был он человек практичный. Открыть книжную торговлю? А деньги где? Притом торговать – значит плутовать, а что он за звезда, что один между плутами будет честен? Заведовать конторой? Из мальчика предлагают идти в работники: удачная перемена!.. И он продолжал жить в опостылевшем Воронеже.

В 1841 г. серая жизнь Кольцова неожиданно осветилась ярким счастьем. Он полюбил заезжую купеческую вдову Варв. Григ. Лебедеву. Она отнеслась к его любви благосклонно. «Чудо! – писал Кольцов Белинскому. – Брюнетка, стройна до невероятности, хороша чертовски, умна, образованна порядочно, много читала, думала, страдала, кипела в страстях». Но счастье продолжалось всего два месяца. Красавица оказалась дамой весьма легких нравов. Наградив Кольцова сифилисом, она бросила его и уехала из Воронежа с офице-

ром. Последний год жизни Кольцова был очень грустен. К полученной болезни присоединилась чахотка, он сильно кашлял, по ночам исходил испариной, развилось воспаление почек. Отец требовал, чтобы сын женился на богатой невесте, которую он укажет. Кольцов отказался. Отец стал беспощаден к непочтительному сыну. У Кольцова часто не было денег на лекарства, на чай и сахар, на свечи. Он жил в мезонине отцовского дома. Отец потребовал, чтобы он перешел вниз, и запретил отапливать мезонин. Пришлось перебраться вниз. Больной жил в проходной комнате, ему не было ни минуты покоя. Сестру его выдавали замуж. То и дело мыли полы, а сырость была для больного убийственна. Вечеринки каждый день, шум, беготня, танцы. Кольцов просил не курить, — курили еще больше. Раз в соседней комнате гости сестры затеяли игру: поставили на середину комнаты стол, положили на него девушку, накрыли простыней и начали хором петь вечную память рабу божию Алексею.

20 октября 1842 г. Кольцов-отец зашел в гостиный двор в лавку своего приятеля Мелен-

тьева, выбирал парчу, кисею, бахрому, рассказывал, как он весело кутил вчера в трактире, какую выгодную сделку заключил с помещиками. Приятель спросил:

– А кому это ты парчу покупаешь?

– Сыну... Алексей-то – помер вчерась.

Когда Кольцову, еще мальчику, в первый раз попала в руки книга со стихами (Дмитриева), он в восторге побежал в сад и начал петь стихи: он думал, что стихи, как песни, надо петь. Безымянные народные поэты, равно как и поэты древности, например эллинские, были в то же время композиторами, стихи у них рождались вместе с мелодией и были неразрывно связаны с ней. Мы ничего не знаем о процессе творчества Кольцова, но позволено догадываться, что он, сочиняя собственные стихи, пел их. Как бывают «песни без слов», так песни Кольцова в нанесенном на бумагу виде – «песни без музыки». В этом их сила: они сами просят на музыку, и ни у одного из русских поэтов не положено на музыку столько стихотворений, как у Кольцова. В этом же и их слабость: в них чего-то не хватает, они естественно и настоятельно требу-

ют музыкального дополнения. У Пушкина же стихи уже дифференцировались от музыки, они – музыка сама по себе и легко обходятся без сопроводительной музыки; в них композитор не сопутствует поэту, а борется с ним и почти всегда оказывается побежденным.

Кольцова называют народным поэтом. Это правильно в отношении к тематике его стихов, к кругу и характеру его переживаний. Песни Кольцова – это не фальшивые ложно-народные песенки Нелединского-Мелецкого, Мерзлякова, Дельвига, Цыганова, в них чувствуется подлинный народный стиль. Но чувствуется также, что Кольцов был только близок к народу, а не был плотью от его плоти. Поэтому он так легко прошел мимо крепостного права, которое так больно ощущал подлинный народ, которое вызывало такие неистовые проклятья и ненависть в подлинных народных поэтах вроде Шевченко. Для Кольцова есть счастливые богатые мужики, есть несчастные бедные мужики, но причина бедности в них самих, в их лени и беспечности: «Что ты спишь, мужичок? Ведь весна на дворе; ведь соседи твои работают давно.

Встань, проснись, подымись...» Однако, прошедши мимо основных болей народа, Кольцов тонко сумел подметить основные его радости, – не только собственнические и желудочные радости от полных закромов, от пирогов и ветчины, но и изначальную радость самого труда земледельческого, живущую в душе коренного крестьянина. Передаю перо Глебу Успенскому. «В русской литературе есть писатель, которого невозможно иначе называть, как поэтом земледельческого труда – исключительно. Это – Кольцов. Никто, не исключая и самого Пушкина, не трогал таких поэтических струн народного мирозерцания, воспитанного исключительно в условиях земледельческого труда, как это мы находим у Кольцова. Спрашиваем, что могло бы вдохновить хотя бы и Пушкина при виде пахущего мужика, его сохи и клячи? Пушкин мог бы только скорбеть об этом труженике, «влачащемся по браздам», об ярме, которое он несет, и т. д. Придет ли ему в голову, что этот раб, влачащийся по браздам, босиком бредущий за своей клячонкой, чтобы он мог чувствовать в минуту этого тяжелого труда

что-либо, кроме сознания его тяжести? А мужик, изображаемый Кольцовым, хотя и влачится по браздам, находит возможным говорить своей кляче такие речи: «Весело (!) на пашне, я сам-друг с тобою, слуга и хозяин. Весело (!) я лажу борону и соху...» А косарь того же Кольцова, который, получая на своих харчах 50 коп. в сутки, находит возможность говорить такие речи: «Ах, ты степь моя, степь привольная!.. В гости я к тебе не один пришел, я пришел сам-друг с косой вострою... Мне давно гулять (это за 50 коп. в сутки!) по траве степной, вдоль и поперек, с ней хотелось. Раззудись плечо, размахнись рука, ты пахни в лицо ветер с полудня, освежи, взволнуй степь просторную, зажужжи, коса, засверкай кругом!» Тут что ни слово, то тайна крестьянского мирозерцания; все это – прелести, ни для кого, кроме крестьянина, недоступные».

**Графиня Евдокия Петровна Ростопчина
(1811–1858)**

Рожденная Сушкова, жена графа А. Ф. Ростопчина, сына московского главнокомандующего. Талантливая поэтесса. К ней благоволил Жуковский, писал стихи Лермонтов («Я

верю, под одной звездой мы с вами были рождены»). Один современник так ее описывает: «Графиня Ростопчина была жива и умна; ее разговор походил на блистательный фейерверк. Блеск ее ума мог соперничать разве с блеском ее обыкновенно задумчивых и томных глаз, когда она хотела кому-нибудь нравиться. Небольшого роста, брюнетка, с очень правильными и тонкими чертами, при смуглом цвете лица, с большими глазами и длинными темными ресницами, она была очень близорука и постоянно должна была носить лорнетку, которая заслоняла и мешала видеть всю прелесть ее глаз. Одаренная необыкновенною памятью, она знала иностранные литературы, как свою собственную». Брак ее с Ростопчиным был неудачен, совместная жизнь их была тяжелая.

В стихотворении «Две встречи» Ростопчина вспоминает о своих встречах с Пушкиным. Первая – в Москве, на Новинском гулянии, по-видимому, в 1826–1827 гг.:

*Вдруг все стеснилось, и с волне-
нием,
Одним стремительным движе-*

ньем
Толпа рванулася вперед...
И мне сказали: «он идет!
Он, наш поэт, он, наша слава,
Любимец общий!» Величавый,
Но смелый, ловкий и живой,
Прошел он быстро предо мной.
И глубоко в воображеньи
Напечатлелось выраженье
Его высокого чела...

Вторая встреча произошла в Москве же, зимой 1828 г., когда Ростопчиной исполнилось семнадцать лет:

Я помню, я помню другое свиданье:
На бале блестящем, в кипящем собрании,
Гордясь кавалером и об руку с ним,
Вмешалась я в танцы, и счастьем моим
В тот вечер прекрасный весь мир озлащался.
Он с нежным приветом ко мне обращался;
Он дружбой без лести меня ободрял;

Он дум моих тайну разведать
желал.

Ему рассказала молва городская,
Что, душу высокой мечтою пи-
тая,

Поэзии чары постигла и я, –

И он, с любопытством смотря на
меня,

Песнь женского сердца, песнь
женских страданий,

Всю повесть простую молодых
упований

Из уст моих робких услышать хо-
тел.

Он выманить скоро доверье
умел...

Вниманьем поэта в душе дорожа,
Под говор музыки, украдкой, дро-
жа,

Стихи без искусства ему я шеп-
тала

И взор снисхожденья с восторгом
встречала.

Но он, вдохновенный, с какой доб-
ротой

Он исповедь слушал души моло-
дой!

Как с кротким участием, с улыб-

кою друга,
От ранних страданий, от злого
недуга,
От мрачных предчувствий он
сердце лечил
И жить его в мире с судьбою
учил!
Он пылкостью прежней тогда
оживлялся,
Он к юности знойной своей воз-
вращался,
О ней говорил мне, ее вспоминал...

Осенью 1836 г. Ростопчина переехала на жительство в Петербург. Зимой у нее на обедах собирались Жуковский, Пушкин, князь Вяземский, А. И. Тургенев, Плетнев, князь Одоевский, Виельгорский и другие. Бартенев, со слов мужа Ростопчиной, рассказывает, что Пушкин обедал у Ростопчиной накануне своей дуэли. До обеда и после него он убегал в умывальную комнату и мочил себе голову холодной водой, – до того мучил его жар в голове.

Надежда Андреевна Дурова
(1783–1866)

Знаменитая «девица-кавалерист», оригинальная фигура женщины, в начале прошлого века сумевшей вырваться из круга зависимого и узкого женского существования. Дочь армейского гусарского офицера. Мать страстно желала иметь сына, возненавидела дочь и попечение о ней всецело предоставила гусару-денщику. «Седло, – рассказывает Дурова, – было моею первою колыбелью, лошадь, оружие и полковая музыка – первыми детскими игрушками и забавами». Семья отца с каждым годом увеличивалась, он вышел в отставку и поступил на штатскую службу городничим в г. Сарапул Вятской губернии. У девочки были грубые манеры, она ходила, говорила и держалась по-мужски, была непокорна и самостоятельна. Мать засаживала ее за шитье, за вязанье, – девочка убегала в сад и там стреляла из лука, выделывала артикулы старым, заржавленным ружьем. Ее били, наказывали, но ничего не помогало. Отец купил дикого черкесского коня Алкида. Девочка-подросток приучила его, по ночам, когда все спали, выводила из дому и до утренней зари носилась на неоседланном жеребце по

пригородным полям. Мать постоянно твердила девочке, что женщина – существо слабое и ни к чему не способное, что ее судьба с колыбели до могилы – неволя и угнетение. «Я решила, – рассказывает Дурова, – хотя бы это стоило мне жизни, – отделиться от пола, находящегося, как я думала, под проклятием Божиим». Отец очень любил девочку. Когда она подросла, он подарил ей Алкида, сам учил ее верховой езде и дивился бесстрашию девушки. Ездила она по-мужски, в казачьем чекмене.

Восемнадцать лет Дурова была выдана за мелкого чиновника Чернова, имела от него сына Ивана. Не ужилась с мужем, ушла и воротилась в Сарапул к родителям. Вышли большие семейные неприятности. Вскоре Дурова сошлась с есаулом казачьего полка, стоявшего в городе для борьбы с разбоями. Осенью 1806 г. полк ушел из города. Через два дня, в день своих именин, Дурова сбросила женское платье, остригла волосы, надела казачью форму и тайно ускакала ночью на своем Алкиде вслед за полком. Некоторое время жила с есаулом под видом его денщика.

Весной 1807 г. в г. Гродно она определилась охотником под именем Александра Соколова в конно-польский уланский полк. Началась тяжелая школа воинского обучения. Часто Дуровой приходилось очень круто; особенно трудно было ей привыкнуть к тяжелым уланским сапогам, которые она называла кандалами. Понемножку привыкла. Стала образцовым солдатом, научилась владеть саблей и пикой. Очень также тяжело было ей, женщине, жить с солдатами в общей казарме, скрывая свой пол.

Началась война с Наполеоном. Полк выступил в Пруссию. Под Гутштадтом произошел бой с французами. Шум битвы и гул канонады увлекли Дурову до самозабвения. Неприятельский драгун выбил из седла русского офицера и хотел зарубить его саблей. Дурова, с пикой наперевес, помчалась на него и обратила в бегство. Раненого офицера на своем Алкиде она отправила на перевязку, а сама осталась пешей. В одном из следующих боев она бросилась спасать русского кавалериста, который, обезумев от раны в голову, без толку носился под пулями по полю сраже-

ния; Дурова получила от начальства выговор за такое неуместное мягкосердечие. Участвовала она и в кровопролитном сражении под Фридландом. Везде обращала на себя внимание храбростью.

Война кончилась. Заключен был Тильзитский мир. Полк возвратился в Россию. Началась тягостная и скучная мирная солдатская служба. Вдруг в полк пришел приказ: явиться Александру Соколову в Петербург к императору. Дурова поехала. Ее ввели в кабинет к Александру I. Император взял ее за руку, подвел к столу и, глядя в глаза, спросил:

– Я слышал, что вы не мужчина; правда это?

Дурова растерялась и молчала; наконец ответила:

– Да, ваше величество, правда...

Он стал подробно расспрашивать о причинах, побудивших ее поступить на военную службу (узнал он о Дуровой, по-видимому, из прошения ее отца, ходатайствовавшего о принятии мер к возвращению дочери домой). Император сообщил Дуровой, что все начальники с великой похвалой отозвались о ее бес-

примерной храбрости, и сказал, что желает наградить ее и с честью возвратить в дом отцовский. Дурова вскрикнула от ужаса, упала к ногам Александра и стала молить оставить ее на военной службе. Царь поколебался, наконец сказал:

– Если вы полагаете, что одно только позволение носить мундир и оружие может быть вашею наградою, то вы будете иметь ее. И будете называться по моему имени Александровым.

Он был осведомлен и о спасении Дуровой офицера.

– За спасение жизни офицера полагается Георгиевский крест, – сказал он, взял со стола крест и приколот его к груди Дуровой.

Она была произведена в корнеты, определена в Мариупольский гусарский полк и получила две тысячи рублей на обмундирование. Новый полк Дуровой стоял в Луцке. Офицеры полка оказались хорошими товарищами, людьми образованными и деликатными. Дурова втянулась в полковую жизнь, обучалась воинским приемам и команде, посещала с товарищами богатые дома, танцевала на ба-

лах. Лицом она была ряба, с неправильными чертами, но белая и румяная, с черными бровями, тонкая и стройная. Случалось, иные девушки и женщины засматривались на молодого гусара, Дуровой приходилось отклонять их ухаживания. Она съездила в отпуск к отцу в Сарапул (мать ее уже умерла), всех дивила там шитым золотом гусарским мундиром, но в тихой семейной обстановке вскоре почувствовала скуку и тоску по кругу товарищей-офицеров и воротилась в полк. В нее влюбилась дочь командира полка. Дурова, под предлогом дороговизны жизни в гусарском полку, перевелась в Литовский уланский полк, стоявший в Домбровице. Это было в 1811 г. Пошла та же веселая офицерская жизнь с балами и разными развлечениями.

В марте 1811 г. вдруг в полк пришел приказ: выступить в двадцать четыре часа. Готовилась война с Наполеоном. В июне французская армия вторглась в Россию. Русская армия медленно отступала. Полк, в котором служила Дурова, находился в арьергарде. Пикеты, ночные разъезды в холоде, под дождем, переходы в течение нескольких дней и ночей без

сна и пищи. Дурова в отчаянии писала: «Я не знаю, что мне делать; смертельно боюсь изне-мочь; впоследствии это припишут не чрез-мерности стольких трудов, но слабости моего пола». И тем не менее именно теперь она жи-ла полно и ярко. «Какая жизнь! – писала она. – Какая полная, радостная, деятельная жизнь! Как сравнить ее с тою, какую вела я в Домбровице. Теперь каждый день, каждый час я живу и чувствую, что живу. О, в тысячу, в тысячу раз превосходнее теперешний образ жизни». Армия продолжала отступать. Дуро-вой не раз приходилось участвовать в арьер-гардных стычках с французской кавалерией. С ней в это время встречался знаменитый Де-нис Давыдов. «Полк, в котором она служила, – рассказывает он, – был всегда в арьергарде вместе с нашим Ахтырским гусарским пол-ком. Я помню, что тогда поговаривали, что Александров – женщина, но так, слегка. Она очень уединенна была и избегала общества столько, сколько можно было избегать его на биваках. Мне случилось однажды на привале войти в избу вместе с офицером того полка, в котором служил Александров, именно с Вол-

ковым. Нам хотелось напиться молока в избе. Там нашли мы молодого уланского офицера, который, только что меня увидел, встал, поклонился, взял кивер и вышел вон. Волков сказал мне: «Это Александров, который, говорят, женщина». Я бросился на крыльцо, – но он уже скакал далеко». Однажды, когда Дурова с отрядом уланов отправлялась на фуражировку, эскадронный командир попросил ее раздобыть для него гуся. В покинутой деревне им попался гусь. Дурова саблей срубила ему голову. Курьезно, что это была первая кровь, которую пролила она за всю свою боевую деятельность. «Воспоминание об этой крови тяготит мою совесть», – с содроганием записывает Дурова.

В двадцатых числах августа русская армия остановилась. Готовился генеральный бой под Бородином. У Дуровой не было теплой шинели, всю ночь перед боем она без сна мерзла в легком шалаше под холодным ветром. Во время битвы полк Дуровой несколько раз ходил в атаку; перчаток у нее тоже не было, и она еле держала саблю окоченевшими пальцами. Ядром ее контузило в ногу. Нога

распухла и ломила нестерпимо. Дурова думала, что получить контузию не значит быть раненой, и, не видя крови, осталась в строю. Но уже не было сил держаться в седле от боли в ноге, от холода и изнеможения. Полежав в лазарете несколько дней в тепле и сытости, Дурова вернулась в полк. Армия продолжала отступать. В Москву вступили французы. Эскадрон Дуровой стоял в нескольких верстах за Москвой, и на ее глазах Москва запылала. Дуровой удалось добраться до Кутузова, она попросилась к нему в ординарцы, сказала, что в прусскую кампанию все командиры хвалили ее за храбрость. Кутузов удивился:

– Разве вы тогда служили? Сколько вам лет? Я полагал, что вам не больше шестнадцати лет.

Дурова ответила, что ей двадцать третий год и что в прусскую кампанию она служила в конно-польском полку. Кутузов быстро спросил:

– Как ваша фамилия?

– Александров.

Он встал и обнял ее.

– Как я рад, что имею наконец удоволь-

ствие знать вас лично. Я давно уже слышал об вас.

И оставил ее при себе ординарцем. Она носилась с поручениями от одного полка к другому, иногда от одного крыла армии к другому. Незалеченная нога разбалывалась все больше, мучила лихорадка, Дурова дошла до полного изнеможения. Кутузов обратил внимание на ее бледность и худобу, узнал о контуженной ноге и отправил на излечение домой к отцу.

Дома Дурова пробыла до мая 1813 г. и выехала на фронт, когда наши войска были уже в Пруссии. Участвовала еще в нескольких сражениях. Она замечала, что носится какой-то глухой, невнятный слух о ее пребывании в армии. Многие рассказывали ей ее историю со всевозможными искажениями: один описывал ее красавицей, другой уродом, третий старухой, четвертый давал ей гигантский рост и зверскую наружность. Сообщали, что служила она в военной службе только для того, чтобы не разлучаться со своим любовником-офицером. Товарищи по полку удивлялись, что у нее нет усов, считали ее не старше

восемнадцать лет, спрашивали: «Когда, брат, у тебя вырастут усы?» Но иногда приметная вежливость в их обращении и скромность в словах показывали Дуровой, что они подозревают ее пол.

Война кончилась. Старик-отец звал Дурову домой, писал, что он стар, что ему нужен покой, что он не в силах вести хозяйство. Дурова записывает: «Нечего делать. Надобно сказать всему прости. Все затихнет, как не бывало. Минувшее счастье, слава, опасность, шум, блеск, жизнь, кипящая деятельностью, – прощайте!» В 1816 г. она вышла в отставку с чином штаб-ротмистра и с небольшим пенсией и поселилась с отцом в Сарапуле. Курьезно было ее юридическое положение. Все знали, что Дурова женщина, а в послужном списке она официально именовалась штаб-ротмистром Александром Александровым. После смерти отца городничим сарапульским стал сын его, брат Дуровой, Василий Андреевич, – с ним в 1829 г. познакомился Пушкин на кавказских водах. В начале тридцатых годов В. А. Дуров был назначен городничим в Елабугу. Туда же с ним переехала и Дурова. Но жила

она всегда на отдельной от него квартире. На досуге Дурова стала писать свои воспоминания. В них она многого недоговаривала. Свои годы убавила на семь лет, ничего не сообщала о замужестве и романе с казацким есаулом. Выходило, что на военную службу она поступила юной шестнадцатилетней девушкой, тогда как в действительности она была тогда двадцатитрехлетней женщиной. Летом 1835 г. В. А. Дуров написал Пушкину письмо, где сообщал о записках сестры. Пушкин очень заинтересовался записками и ответил Дурову: «Если автор записок согласится поручить их мне, то с охотою берусь хлопотать об их издании. Если думает он их продать в рукописи, то пусть назначит сам им цену. Если книгопродавцы не согласятся, то, вероятно, я их куплю. За успех, кажется, можно ручаться. Судьба автора так любопытна, так известна и так таинственна, что разрешение загадки должно произвести сильное, общее впечатление. Что касается до слога, то чем он проще, тем будет лучше. Главное: истина, искренность. Предмет сам по себе так занимателен, что никаких украшений не требует. Они даже

повредили бы ему». Весной 1836 г. Пушкин получил «Записки» и писал Дурову: «Прелесть! Живо, оригинально, слог прекрасный. Успех несомнителен. Братец ваш (!) пишет, что лето будет в Петербурге. Ожидаю его с нетерпением. Прошу за меня поцеловать ручку храброго Александрова». В мае 1836 г. Дурова приехала в Петербург, остановилась в дешёвёньком номере гостиницы Демута на четвертом этаже и записочкой известила Пушкина о своем приезде. Он поспешил явиться. Осыпал похвалами ее записки, восхитил Дурову своей любезностью и приветливостью. Каждый раз он приходил в приметное замешательство, когда Дурова, рассказывая о себе, говорила: «был», «пришел», «увидел». Прощаясь, Пушкин поблагодарил Дурову за честь, которую она ему делает, избирая его издателем ее записок, и поцеловал ей руку. Она поспешно выхватила ее, покраснела и сказала:

– Ах, боже мой, я так давно отвык от этого!

Дурова несколько раз была у Пушкина на его каменно-островской даче, он еще несколько раз был у нее и совершенно очаровал своей деликатностью и отзывчивостью. Боль-

шой отрывок из ее записок он напечатал в своем «Современнике» с очень лестным предисловием, взялся издать записки целиком. Но за Пушкина вступился его друг Плетнев. Он объяснил Дуровой, что Пушкин из любезности взялся за издание ее записок, но что он завален делами по горло, у него совершенно нет времени заниматься ее делами. Дурова поручила издание книги своему племяннику.

А. Я. Головачева-Панаева, видевшая Дурову приблизительно в это время, описывает ее так: «Она уже была пожилая и поразила меня своею некрасивою наружностью. Она была среднего роста, худая, лицо земляного цвета, кожа рябоватая и в морщинах; форма лица длинная, черты некрасивые; она щурила глаза, и без того небольшие. Костюм ее был оригинальный: на ее плоской фигуре надет был черный суконный казакин со стоячим воротником и черная юбка. Волосы были коротко острижены и причесаны, как у мужчин. Мanners у нее были мужские; она села на диван, положив одну ногу на другую, уперла одну руку в колено, а в другой держала длинный чубук и покуривала». Дурова стала в Петербурге

героиней дня, ее всюду приглашали нарасхват, желая увидеть воочию таинственную «девицу-кавалериста», о которой давно уже шло так много рассказов. Пребывание свое в Петербурге Дурова описала в курьезной книжке «Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения» (1838). По-видимому, в непосредственном общении Дурова была очень неинтересна и сера. Она рассказывает в книжке, как ее радушно приглашали в самые знатные дома. В первое посещение она была в центре общего внимания, во второй раз ее встречали довольно холодно, в третий – либо высылали сказать, что хозяев нет дома, либо приняв, настолько не обращали на нее никакого внимания, что она в негодовании уходила. И с горечью она пишет в книжке: «После третьего посещения я никому ни на что не надобна, и все решительно охладевают ко мне, совершенно и навсегда». Записки Дуровой под заглавием «Кавалерист-девица» вышли в 1836 г. и имели большой успех, вполне заслуженный. Написаны они ярко и талантливо, с подкупающей простотой и тонкой приметливостью; например:

«бал был, как все другие балы, – очень весел на деле и очень скучен в описании». Дурова написала еще целый ряд повестей и романов. Они в свое время имели успех и были благоприятно встречены критикой.

Дурова прожила очень долго – до 83 лет. Ходила в полумужском или мужском костюме, в мужской шляпе, говорила о себе в мужском роде и терпеть не могла, когда ее называли женским ее именем. Сын ее Иван Чернов, засватав невесту, просил у матери благословения и назвал ее в письме «маменькой». Дурова разорвала письмо и ничего не ответила. Брат ее надоумил племянника, он написал матери второе письмо в строго деловом тоне и получил благословение. Почти до конца жизни она любила ездить верхом; садилась в седло как мужчина, – «встала в стремя и полетела!». Страстно любила животных, квартира ее была приютом для всех бездомных собак и кошек. Была очень добра и к людям; совершенно не вникая в дела, усердно хлопотала за каждого просителя перед своим другом, елабужским городничим Ерlichem, сменившим ее брата: «Вот эта бабочка просит и пла-

чет, что будто бы ее мужу подкинули шлею какую-то. Будьте к ней милостивы». Или: «Не сделаете ли вы милость для этой солдатки, дать ей какую-то квартиру? Она называет ее «денежною». Ей-богу, я не понимаю, что это значит, а только прошу вас, если можно, дать ей эту квартиру». Денег беречь не умела. После ее смерти остался всего один рубль.

**Александр Васильевич Никитенко
(1805–1877)**

Из крепостных крестьян графов Шереметевых. Окончил воронежское уездное училище, но в гимназию как крепостной попасть не мог. В 1820 г. мальчик написал письмо своему барину, молодому кавалергардскому поручику графу Д. Н. Шереметеву; писал, как ему хочется дальше учиться, и просил дать ему вольную. После вторичного письма ему было объявлено через вотчинное правление, что графом на его письме положена резолюция: «Оставить без уважения». Этот граф был человек ограниченный и вялый, владел колоссальным состоянием (полтораста тысяч душ крестьян) и бросал на своих любовниц сотни тысяч рублей. Помещиков, владеющих

пятью тысячами душ, он называл мелкопоместными и искренно удивлялся, как они могут жить. Это тот самый Шереметев, по поводу выздоровления которого Пушкин написал свою сатиру на Уварова «На выздоровление Лукулла». Надежды Никитенко на свободу и возможность дальнейшего учения рухнули. Не раз мальчик задумывался о самоубийстве и утешался только своим девизом: «терпение есть мудрость». Жил он уроками в уездном городе Острогожске, получал десять рублей в месяц, занимаясь по пять часов в день. Своей талантливостью и развитием он обращал на себя общее внимание; когда в городе было основано отделение «Библейского общества», Никитенко был выбран его секретарем. На первом общем собрании он произнес речь о высоком значении религиозных истин, открытых евангелием. Речь, сказанная с искренним, молодым увлечением, вызвала общий энтузиазм, была переслана в Петербург и привела в восторг президента «Библейского общества», министра князя А. Н. Голицына. Он запросил об авторе и о его общественном положении, принял в Никитенко горячее уча-

стие, лично обратился к графу Шереметеву с ходатайством о поддержке молодого человека. Никитенко был вызван в Петербург. Но тем временем князь Голицын впал в немилость и покинул пост министра. Шереметев сначала отказал Никитенке в разрешении пойти к Голицыну, потом процедил сквозь зубы:

– Пусть идет! – И прибавил с усмешкой: – Князю теперь не до него!

Но Голицын с прежним участием отнесся к Никитенко и написал горячее письмо Шереметеву, убеждая его отпустить Никитенку на волю и дать ему возможность продолжать образование. Шереметев оставил письмо без ответа, а Никитенко решил сослать в деревню. Между тем Никитенко познакомился с К. Ф. Рылеевым (будущим декабристом). Он также принял в нем большое участие и натравил на Шереметева его товарищей-кавалергардов, членов Тайного общества – З. Г. Чернышева, А. М. Муравьева, И. Анненкова и других. Они не давали проходу Шереметеву, убеждая его отпустить на волю Никитенко. Знатные дамы на вечерах обращались к нему с теми же

просьбами.

Скрепя сердце Шереметев наконец подписал вольную, но при этом заметил:

– Однако этому молодому человеку все-таки надо хорошенько намылить голову за то, что он наделал столько шуму. Будто я не мог сам по себе сделать того, что теперь делаю из уважения к другим.

Это было осенью 1824 г. Никитенко стал свободным человеком и поступил в университет. Кончил в 1828 г. по историко-философскому факультету. В 1832 г. стал адъюнктом по кафедре русской словесности, в 1834 г. – профессором.

Кроме того, с 1833 г. состоял цензором. Впоследствии был выбран в академики.

Как критик и историк литературы Никитенко мало значителен. Как цензор старался, в пределах возможности, поменьше теснить писателей, несколько раз сидел за это на гауптвахте, при обсуждениях цензурного устава отстаивал возможно большую свободу печати. В общем, однако, был только смиренным, исполнительным и добросовестным чиновником. Тяжелые условия молодости на-

всегда поселили в нем «привычки рабской тишины». К нему вполне приложимо то, что пишет он про своего отца: «Нет, пусть ищут героев, где хотят, но не в русском крепостном человеке, для которого каждое преимущество его натуры являлось новым бичом, новым поводом к падению!»

С Пушкиным Никитенко познакомился еще студентом, в 1827 г., у Анны Петровны Керн, в которую Никитенко был влюблен. Впоследствии не раз встречался с ним у Плетнева. Когда Никитенко стал цензором, у него с Пушкиным произошло несколько неприятностей, навсегда расстроивших их добрые отношения. Никитенко, по приказанию министра Уварова, вычеркнул несколько стихов в поэме Пушкина «Анджело», что очень рассердило Пушкина. После этого Пушкин стал относиться к Никитенке холодно, в письмах к друзьям называл его осленком, находил, что он глупее даже Бирукова, цензора, прославившегося своей глупостью. Никитенко предпочел не иметь с ним дел, и когда его хотели в 1836 г. назначить цензором основанного Пушкиным журнала «Современник», то отказал-

ся.

Иван Петрович Сахаров (1807–1863)

Сын тульского священника; окончил медицинский факультет Московского университета, был врачом почтового департамента; но медицины не любил, а с увлечением занимался археологией и этнографией. Главный его труд – «Сказания русского народа». Книга страдает отсутствием исторической критики, приводимые тексты часто неточны, а иногда и фальсифицированы, однако в свое время «Сказания» сыграли свою положительную роль в науке. Сахаров был ярый патриот-националист, поклонялся «основным русским началам», считал великим историческим событием провозглашенный Николаем лозунг: «Самодержавие, православие, народность». Панаев рассказывает про его посещения вечеров князя В. Ф. Одоевского: «Особенное внимание великосветских госпож и господ обращал на себя Сахаров, появлявшийся всегда на вечерах князя Одоевского в длиннополом гороховом сюртуке. Сахаров, впрочем, русский человек себе на уме, хитро посматривал на

всех из-под навеса своих густых белокурых бровей и не смущался бросаемыми на него взглядами и возбуждаемыми им улыбочками. Он даже, кажется, нарочно облакался в свой гороховый сюртук, отправляясь на вечера Одоевского... «Пусть их таращат на меня глаза, – говорил он, – мне наплевать, меня не испугают». Князь Одоевский, кажется, познакомил Сахарова с Пушкиным. Сохранилась записочка Пушкина от конца декабря 1836г., где он сообщает Одоевскому, что ждет его к себе с г. Сахаровым.

**Михаил Евстафьевич Лобанов
(1787–1846)**

Бездарный писатель-старовер, автор од на торжественные события, переводчик Расина, биограф Крылова. Служил в Публичной библиотеке, был членом российской академии, а с 1845 г. – ординарным академиком академии наук. Никитенко пишет о нем: «Это, что называется, академик-парик и плохой поэт. Старая литература для него святыня, новая – ересь и сплошь мерзость. «Каждая новая идея, – говорит он, – заблуждение; французы подлецы, немецкая философия глу-

пость, а все вместе – либерализм». Если бы послушать Лобанова, то цензура ничего не пропускала бы, кроме его сочинений, благонамеренных и солидных». В начале 1836 г. Лобанов выступил на заседании академии с речью «о духе словесности», где громил новую европейскую и русскую литературу, зараженную, по его мнению, ядом безверия и разврата, и приглашал каждого из академиков доносить обо всем, что он найдет в печати неблагонамеренного. Пушкин в «Современнике» ответил на эту речь статьей, где сдержанно опровергал Лобанова по всем пунктам и заключил пожеланием, чтобы академия, награждая достойных писателей покровительством, «недостойных наказывала одним невниманием». По поводу статьи Пушкина А. И. Тургенев писал Вяземскому: «От Лобанова я ничего иного и не ожидал, особенно со времен всех оподляющего Уварова. Спасибо за скромный ответ, но сила в самом воздержании».

**Барон Франсуа Адольф Леве-Веймар
(1801–1854)**

Французский писатель и дипломат, сотрудничал в лучших французских журналах,

писал фельетоны в газете «Temps». В 1836 г. ездил в Россию с поручением министра-президента Тьера. В это время встречался с Пушкиным, посещал его на каменно-островской даче; Пушкин для Леве-Веймара перевел на французский язык несколько русских песен. Впоследствии Леве-Веймар был французским консулом в Багдаде (с 1838 по 1848 г.), а затем в Южной Америке. Был он небольшого роста, худощавый и изящный, на аристократически-белых руках ногти были тщательно отполированы, голубые глаза смотрели пронизательно, на нежном, почти женском лице играл румянец, который, по-видимому, больше был произведение искусства, чем натуры; старательно напomaженные белокурые волосы скудно прикрывали лысину. Гейне говорит, что самыми выдающимися качествами Леве-Веймара были щедрость и любезность. Помогая Гейне переводить его статьи на французский язык, Леве-Веймар, говорит Гейне, «хвалил мое близкое знакомство с духом французского языка так серьезно, с таким, по-видимому, изумлением, что я наконец поневоле поверил, что действительно перевел все

сам, тем более что Леве-Веймар, знавший немецкий язык не хуже меня, уверял, что знает его очень слабо».

Альфонс Жобар (1793–?)

Французский подданный, профессор французской, латинской и греческой словесности в Казанском университете. После ревизии астраханской гимназии, где Жобар обнаружил вопиющие злоупотребления, он начал упорную борьбу сначала с попечителем казанского учебного округа Магницким, а потом с министром народного просвещения Уваровым, старавшимися замять поднятое Жобаром дело. Но добиться ничего не мог. Уваров попытался устроить так, чтобы Жобар был признан сумасшедшим, но Жобар сумел настоять на освидетельствовании, которое признало его «совершенно в здравом состоянии рассудка». Когда появилась сатира Пушкина на Уварова «На выздоровление Лукулла» (1836), Жобар перевел ее на французский язык и послал Уварову с ироническим письмом, где писал: «Твердо решившись познакомиться Европу с этим необыкновенным произ-

ведением, я предполагаю послать в Брюссель этот перевод с примечаниями, каких может потребовать уразумение текста; но прежде чем это сделать, я счел долгом подвергнуть мой перевод суждению вашего превосходительства и испросить на это вашего разрешения». Копию с письма и перевода Жобар послал Пушкину и распространил в публике. Денис Давыдов писал Пушкину: «Читая письмо, я хохотал, как дурак. Этот Жобар – злая бестия, ловко доклевавший журавля, подбитого соколом». Но Пушкин уже достаточно неприятностей перенес из-за своей сатиры и, рассыпавшись в комплиментах Жобару за его перевод, настойчиво просил его «не воскрешать своим талантом произведения, которое само по себе впадет в заслуженное забвение». Жобар перевода своего не напечатал. По настоянию Уварова, Жобар немедленно был выслан из России. Уезжая, он оставлял у знакомых свою визитную карточку, на которой под его фамилией было напечатано: «высланный из России».

Журналисты

Михаил Трофимович Каченовский (1775–1842)

По происхождению нежинский грек, первоначальная фамилия – Качиони. В 1806 г. получил степень доктора философии и изящных искусств, долгие годы состоял профессором Московского университета, занимая самые разнообразные кафедры: теории изящных искусств и археологии, русской истории, русской словесности, всеобщей истории, истории славянских литератур и наречий. С 1805 по 1830 г. стоял во главе журнала «Вестник Европы», принятого им от Карамзина. В истории русского самосознания Каченовский занимает свое определенное место как историк-основатель и главный представитель «скептического направления», как последователь Нибура, боровшийся против царившей в его время наивной не критичности в отношении к историческим источникам. Один из его биографов говорит: «С необычайной научной осторожностью, с решимостью предпочитать скептически-отрицательный вывод произ-

вольному ответу, Каченовский, при современной ему разработке исторических источников, не мог найти надежного, с его точки зрения, материала для построения русской истории. Заслуга его не в печатных трудах, – его собственных и учеников, – а в той школе, какую проходили студенты в его аудитории». О Каченовском с очень теплым чувством отзывается целый ряд его слушателей, впоследствии выдвинувшихся на разных поприщах, – Кавелин, Редкий, Герцен, Ив. А. Гончаров. Все они в главную заслугу Каченовскому ставят его умение будить критическую мысль, приучать слушателей ничего не принимать на веру и стоять на собственных ногах. С. М. Соловьев рассказывает: «Любопытно было видеть этого маленького старичка с пергаментным лицом на кафедре: обыкновенно читал он медленно, однообразно, утомительно; но как скоро явится возможность подвергнуть сомнению какое-нибудь известие, старичок вдруг оживится, и засверкают карие глаза под седыми бровями, составлявшие единственную красоту у невзрачного старика». Курьезно, что этот неистовый отрицатель в об-

ласти науки – в области политической, религиозной, литературной и житейской был чрезвычайно консервативен и робок. Перед авторитетом царствующего императора Каченовский благоговел. Доказывая подложность надписи на тмутараканском камне, он заявлял на лекции:

– Да вот и государь император Николай Павлович, как взглянул на надпись, так и сказал: это, должно быть, подложная надпись!

Ужасно боялся всякой ответственности; никогда, например, не брал на дом книг из университетской библиотеки, – вдруг они у него пропадут! В бытность секретарем, деканом и ректором университета каждую бумагу встречал возражением: «Да как же это так? Да зачем же это так?» В журнале своем «Вестник Европы» он выступал крайним литературным старовером и консерватором вплоть до отстаивания в русском алфавите букв «фита» и «ижица». К молодой русской литературе и специально к Пушкину относился отрицательно.

«Руслана и Людмилу» встретил с возмущением. «Возможно ли, – писал он, – просвещен-

ному человеку терпеть, когда ему предлагают поэму, писанную в подражание «Еруслану Лазаревичу»? Чтобы лучше выразить всю прелесть старинного нашего песенословия, поэт и в выражениях уподобился Ерусланову рассказчику, например: «Шутите вы с мною, – всех удавлю я бородою!» Каково? Далее: чихнула голова, за нею и эхо чихает... Вот что говорит рыцарь: «Я еду, еду, не свищу, а как наеду, не спущу». Потом витязь ударяет голову в щеку тяжелой рукавицей... Но увольте меня от подробностей и позвольте спросить: если бы в московское Благородное собрание как-нибудь втерся (предполагают невозможное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях, и закричал бы зычным голосом: «Здорово, ребята!» – неужели стали бы таким проказником любоваться?.. Зачем допускать, чтобы плоские шутки старины снова появлялись между нами! Шутка грубая, не одобряемая вкусом просвещенным, отвратительна, а нимало не смешна и не забавна». И все время из «Вестника Европы» на Пушкина сыпались самые ядовитые и злые нападки. Пушкин не оставался в долгу и клеймил Каченовского

эпиграммами, наименее изящными из всех его эпиграмм, представляющими просто набор грубых ругательств, в таком, например, роде:

*Клеветник без дарованья,
Палок ищет он чутьем,
А дневного пропитанья
Ежемесячным враньем...*

и т. п.

Павел Петрович Свиньин
(1787–1839)

Журналист и археолог. В молодости провёл несколько лет за границей, состоял секретарем русского генерального консула в Филадельфии. С 1818 по 1830 г. издавал журнал «Отечественные записки», наполнявшийся по большей части его собственными статьями по русской истории, географии, археологии. Выпустил несколько книжек этнографического и археологического содержания. Свои работы Свиньин посвящал изображению России и русского народа, особенно в лице его исторических героев, самоучек и самородков. Был также большим любителем русской старины и русского искусства, собрал об-

ширный художественно-археологический музей; рядом с предметами вздорными и неподлинными в музее было много ценнейших рукописей, грамот, старинных книг. Свиньин собирал также картины русских художников и первый заговорил о «русской школе» в живописи, о необходимости беречь ее и поддерживать. В собрании его были картины Венецианова, Егорова, Шебуева, Щедрина и других. Весь свой музей Свиньин, нуждаясь в деньгах, распродал в 1834 г. с аукциона.

В жизни и в писаниях своих Свиньин был феноменальным вралем и форменным Хлестаковым. А. Е. Измайлов написал на него сказку, которая начиналась: «Павлушка, медный лоб (приличное прозвание!), имел колжи большое дарованье». Пушкин вывел его в сказочке «Маленький лжец», где высмеивал страсть Свиньина к сомнительным древностям и к открытию всякого рода самородков. «Павлуша был опрятный, добрый, примерный мальчик, но имел большой порок, — он не мог сказать трех слов, чтобы не солгать. Папенька в его именины подарил ему деревянную лошадку. Павлуша уверял, что его ло-

шадка принадлежала Карлу XII и была та самая, на которой он ускакал из Полтавского сражения. Павлуша уверял, что в доме его родителей находится поваренок-астроном, фрейтер-историк, и что птичник Прошак сочиняет стихи лучше Ломоносова. Сначала все товарищи ему верили, но скоро догадались и никто уже не хотел ему верить даже и тогда, когда случалось сказать ему и правду». Посланный с каким-то поручением в Бессарабию, Свињин выдал себя там за важного чиновника и, только уже зашедши далеко (стал принимать прошения от колодников), был остановлен. В 1818 г. Пушкин, когда его посетил Свињин вместе с Ксенофонтом Полевым, стал допекать Свињина расспросами о его бессарабской командировке, от которых Свињин корчился, как береста на огне. Пушкин невинно спрашивал:

– С чего же взяли, что будто вы въезжали в Яссы с торжественной процессией, верхом, с многочисленной свитой, и внушили такое почтение молдавским боярам, что они поднесли вам сто тысяч серебряных рублей?

– Сказки, милый Александр Сергеевич!

Сказки! Ну, стоит ли повторять такой вздор! – восклицал Свињин; в приятельском разговоре ко всякому своему знакомому он прилагал слово «мивый» (милый).

– Ну, а ведь шубы вам подарили? – настаивал Пушкин.

Представляясь любопытствующим, Пушкин долго изводил Свињина подобными вопросами, зная, что речь о бессарабских приключениях была для Свињина – нож острый!

Когда книгопродавец Смирдин задумал в 1834 г. издавать журнал «Библиотека для чтения», к нему явился Свињин и объявил, что министр Уваров назначил его редактором смирдинского журнала. Через несколько дней Смирдину понадобилось быть у министра. Уваров спросил, кто будет редактором его журнала. Смирдин назвал Свињина. Уваров изумился.

– Неужели ты хочешь вверить свой журнал этому подлецу и лжецу? Журнал твой умрет не родясь, как только публика узнает, что редактором его избран Свињин.

К счастью, контракт еще не был подписан, с чем Свињин очень торопил Смирдина.

Александр Федорович Воейков (1778–1839)

Журналист и стихотворец. Вместе с Жуковским воспитывался в московском университетском Благородном пансионе, в 1806 г. выступил в печати со стихами «Послание к Сперанскому об истинном благоденстве», – выдвинувшими его как поэта. В 1812 г. во время так называемой Отечественной войны был на военной службе. В 1815 г. женился на племяннице Жуковского, Александре Андреевне Протасовой. Это была исключительно обаятельная девушка, красавица, умница, талантливая, очень веселая и жизнерадостная. Жуковский посвятил ей свою балладу «Светлана», и это имя «Светлана» навсегда осталось за ней. Непонятно, чем мог прельстить восемнадцатилетнюю девушку пожилой, истасканный, некрасивый и малосимпатичный Воейков, но она полюбила его. Мать ее Воейков уверил, что у него имеется две тысячи душ, и она охотно дала согласие на их брак. Поженились. Оказалось, никаких двух тысяч душ у Воейкова нет. Жуковскому удалось хлопотать для него кафедру русской словесно-

сти в дерптском университете, к чему по знаниям своим Воейков совершенно не годился. Молодые поселились в Дерпте. Воейков был человек очень грубый, злой и подлый, пьяница, развратник. Над женой он издевался и всячески ее притеснял, жизнь ее превратилась в сплошной ад, она в одиночку переживала свое горе, скрывая его от всех. Среди товарищей-профессоров Воейков не пользовался уважением, они все больше начинали его сторониться. И не без причины. В 1820 г. приехал в Дерпт вновь назначенный попечитель университета, князь К. А. Ливен. Профессора явились представиться ему. Каждому из представлявшихся он передавал по какой-то бумаге, приговаривая:

– Вот донос на вас.

Подошел Воейков, Ливен побледнел и закричал:

– Вон отсюда! Господа, все эти гнусные доносы написаны этим мерзавцем. Убирайся!

Обиженный Воейков подал в отставку и писал Жуковскому: «Как благородный человек, я не смог снести гласного оскорбления и принужден выйти. Я писал не доносы, а бла-

гонамеренные советы».

Жуковский устроил Воейкова в Петербурге – сотрудником греческого журнала «Сын отечества», с жалованьем в 6000 руб. Устроили ему еще и казенную службу. Все это делалось из-за его жены. К прекрасной и несчастной этой женщине с горячей симпатией, кроме Жуковского, относились В. А. Перовский, А. И. Тургенев. Последний, кажется, по-настоящему любил ее. Мужу ее он доставил место в своем департаменте. Греч рассказывает: «Воейков обязан был всем своим существованием несравненной жене своей, бывшей его мученицею и жертвою. Всяк, кто знал ее, кто только приближался к ней, становился ее читателем и другом. Воейков торговал и промышлял не прелестями, а кротостью своей жены. Например, придет Александр Тургенев и идет, по обычаю, в ее кабинет. Двери заперты. «Что это?» – спрашивает он у Воейкова. – «Она заперлась, – отвечает Воейков, – плачет». – «Плачет! О чем?» – «Как о чем? В доме копейки нет, не на что обедать завтра. Заплачешь с горя... Дай пятьсот рублей». – «Возьми!» Отпирают дверь кабинета. Тургенев

нев находит Александру Андреевну действительно в слезах, но вследствие огорчений, претерпенных ею от мужа».

С Гречем Воейков вскоре рассорился и ушел из «Сына отечества». Редактировал «Русский инвалид», потом еще некоторые издания, но успеха они не имели. В 1829 г. умерла от чахотки его жена. Прежние друзья от него отвернулись. Он все больше озлоблялся от неудач и поддел. Был он среднего роста, сутуловат, голова покрыта густыми вьющимися черными волосами; на носу огромные черепаховые очки. Прихрамывал и потому всегда ходил с палкой. Обыкновенный костюм его был темно-серый сюртук с голубой ленточкой в петличке от медали 12-го года. Говорил немного в нос. И. С. Тургенев характеризует его так: «Хромоногое и как бы искалеченное, полуразрушенное существо, с повадкой старинного подьячего, желтым, припухлым лицом и недобрым взглядом черных крошечных глаз». Слабый критик и публицист, плохой поэт, Воейков пользовался большой известностью у современников и вошел в историю русской литературы как автор сатиры

«Сумасшедший дом», в которой он едко, зло и часто очень остроумно вывел всех современных ему писателей, включая и самого себя. Например:

*Вот на розовой цепочке
Спичка Шаликов в слезах,
Разрумяненный, в веночке,
В ярко бланжевых чулках,
Прижимает венчик страстно,
Кличет граций здешних мест
И, мяуча сладострастно,
Размазню без масла ест.
Вот Жуковский: в саван длинный
Скутан, лапочки крестом,
Ноги вытянуты чинно,
Черта дразнит языком;
Видеть ведьму воображает;
То глазком ей подмигнет,
И кадит, и отпевает,
И трезвонит, и ревет.
– Ты ль, Хвостов, – к нему вошед-
ши,
Вскрикнул я, – тебе ль здесь
быть?
Ты – дурак, не сумасшедший,
Не с чего тебе сходить!..*

и т. д.

Пушкин относился к Воейкову без уважения за его бесцеремонность, наглость и литературное мародерство, считал его способным на всякую гадость; в качестве наибольшего порицания Булгарину писал, что «Булгарин хуже Воейкова»; о рецензиях Воейкова отзывался, что при чтении их ему кажется, будто он подслушивает у калитки литературные толки девиц из веселого дома. Постепенно, однако, Пушкин стал относиться к Воейкову мягче, поместил в его журналах целый ряд своих произведений, с большим сочувствием отзывался о полемических статьях Воейкова, об их «оригинальной веселости»; в журнале своем «Современник» дал место статье, где писалось, что Воейков оставил на полемическом поприще следы неизгладимые и что ряд его статей является «в своем роде классическими». В войне, поднятой вокруг «Литературной газеты» против «литературной аристократии», Воейков выступал в защиту пушкинского кружка против журнальных своих врагов – Полевого, Булгарина и других. Он же сочувственно приветствовал выход «Совре-

менника» Пушкина и писал по этому поводу: «Журнал Пушкина – чистое золото. Спешите, любезные соотечественники, спешите на него подписываться!»

Фаддей Венедиктович Булгарин
(1789–1859)

Гнуснейшая фигура русской журналистики, имя, ставшее нарицательным для журнальной рептилии, доносчика и шантажиста. Жизнь его, как и жизнь Чичикова, можно уподобить как бы барке какой-нибудь среди свирепых волн. Чего не потерпел он? Поляк. Кончил курс в петербургском кадетском корпусе, выпущен корнетом в уланский полк. Кутил и буйствовал, как полагается корнету. Участвовал в походах 1805–1807 гг. Долголетний его журнальный соратник Греч сообщает: «Хотя впоследствии он рассказывал мне о своих геройских подвигах, но, по словам тогдашних его сослуживцев, храбрость не была в числе его добродетелей: частенько, когда наклеывалось сражение, он старался быть дежурным по конюшне. Однако он был сильно ранен в живот при Фридланде». Через три-четыре года мы находим Булгарина в Ревеле.

Из военной службы его за дурное поведение выгнали. Опухший от пьянства, оборванный, он на городском бульваре подходил к гуляющим и в вычурных литературных оборотах просил милостыни, – иногда даже в стихах: «Кто бедным милости творит...» Однажды у приятеля своего, камердинера одного полковника, он стянул шинель и спустил в кабаке. Еще года два прошло. Булгарин – солдат французской армии. Под наполеоновскими орлами сражается в Испании, потом с великой армией вступает в Россию, уже в чине капитана; в корпусе маршала Удино действует против Витгенштейна. Вместе с отступающей французской армией докатился до Франции и в 1814 г. был взят в плен прусскими партизанами. По окончании войны вернулся в Россию. В 1820 г. явился к Гречу человек лет тридцати, тучный, широкоплечий, толстоносый губан, порядочно одетый, и на сквернейшем французском языке начал:

– Excuser, monsieur, si je vous de'range...
[272]

Это был Булгарин. Произошло знакомство, на долгие годы соединившее в совместной

журнальной деятельности этих двух гиеи русской журналистики. Свирепые волны вокруг жизненной барки Булгарина улеглись, и началось благополучное плавание по спокойной глади жизненных успехов и материальной обеспеченности.

У Булгарина оказался несомненный талант бойкого, легко читающегося фельетониста. Недурные были и его беллетристические вещи, их охотно печатали в лучших тогдашних альманахах, включая «Полярную звезду» Рылеева и «Северные цветы» Дельвига. Булгарин познакомился с рядом тогдашних писателей – Грибоедовым, Рылеевым, братьями Бестужевыми, братьями Тургеневыми и другими. Он производил впечатление малого умного, любезного, веселого и гостеприимного, способного к дружбе и искавшего дружбы людей порядочных. Однако не пренебрегал знакомством и милостями людей влиятельных: сошелся с Магницким, Руничем, с приближенными Аракчеева, пролез и к нему самому. Разразилось 14 декабря. Булгарин сильно перетрусил: он водил знакомство со многими из декабристов – Рылеевым, братьями Бестуже-

выми, Кюхельбекером. Все меры стал принимать, чтобы доказать свою непричастность. На запрос полиции описал приметы бежавшего Кюхельбекера «так умно и метко», что по ним узнали и арестовали беглеца. Донес на племянника своего, молодого офицера Демьяна Искрицкого. Явился к нему журналист Орест Сомов, заявил, что бежал из Петропавловской крепости, и просил спасти. Булгарин запер его на ключ у себя в кабинете, помчался в полицию и сообщил о своем госте. Оказалось, однако, что Сомов просто подшутил над Булгариным. Он действительно был арестован и сидел в крепости, но выпущен «без последствий». За такую шутку Сомов отсидел три дня в крепости.

В начале двадцатых годов Булгарин издавал журналы «Литературные листки» и «Северный архив», впоследствии слившийся с «Сыном отчества» Греча. С 1825 г. Булгарин и Греч стали издавать газету «Северная пчела», – в течение десятилетий бывшую единственной газетой, которую принужден был читать русский читатель. Обсуждать в печати вопросы внешней, а тем более внутренней

политики в то время не разрешалось. Передовых статей в газете не было; политические известия сообщались в урезанном, часто даже в искаженном виде, исключительно с фактической стороны. Правительственные сообщения печатались без всяких комментариев, их не полагалось не только критиковать, но и хвалить. Внутренние известия состояли из сообщений о пожарах, о редких явлениях природы, о двухголовых младенцах и т. п. Иногда, однако, в «Северной пчеле» появлялись и руководящие статьи, – все они писались по заказу Третьего отделения или прямо доставлялись им в готовом виде для напечатания. Булгарин вел в газете фельетоны, где писал о литературе, театре, музыке, сводил счеты с литературными врагами, выхвалял произведения свои и своих друзей, рекомендовал публике магазины, рестораны и предприятия, дававшие ему взятки, и всячески опорочивал те, которые взятков давать не хотели. Не брезговал и доносом, но большей частью избирал для этого более прямой путь: просто писал доносы в Третье отделение. Служба его правительству была многообразна. Он вооб-

ще состоял осведомителем Третьего отделения касательно литературы и литераторов, писал в нужных случаях для правительства даже официальные воззвания. О заслугах своих сам Булгарин писал однажды Дубельту так: «Во время восстания Польши все (правительственные) воззвания к польскому народу и войску, все письма к магнатам польским писаны мною, на польском языке. После 14 декабря, в турецкую войну и во время холеры, когда умы были в волнении, я писал и печатал статьи по указанию и воле графа А. Х. Бенкендорфа для успокоения умов, и граф Бенкендорф не однажды повторял мне, что я из всей польской нации примерный подданный». Граф Бенкендорф, после него граф Орлов и Дубельт вообще очень благоволили к Булгарину, защищали его перед сами царем, но относились к нему с презрением. Как позволял Булгарин обращаться с собой начальству, показывает такой случай. В 1846 г. он напечатал в «Северной пчеле» стихотворение графини Е. П. Ростопчиной «Насильный брак»: старый рыцарь-барон просит вассалов рассудить его с молодой его женой, обвиняет

ее в холодности и ненависти к нему, а она отвечает:

*Раба ли я или подруга,
То знает бог; я ль избрала
Себе жестокого супруга,
Сама ли клятву я дала?
Жила я вольно и счастливо,
Свою любила волю я,
Но победил, пленил меня
Соседей злых набег хищливый.
Я предана, я продана,
Я враг ему, а не жена!*

Булгарин не доглядел, напечатал. И все поняли, что тут изображены отношения между Николаем и Польшей. Шеф жандармов Орлов призвал Булгарина для объяснений. Булгарин, – ко всему ведь еще и сам поляк, – страшно перетрусил, в оправдание приводил срочную газетную работу и несколько раз плачевным голосом повторил:

– Мы школьники!

– Так ты школьник?

Орлов схватил его за ухо, поставил у печки на колени, сам сел писать и продержал Булгарина на коленях более часа. Потом отпустил

и сказал:

– Помни, школьникам бывает и другого рода наказание.

Сообщивший этот рассказ жандармский полковник Стогов прибавляет: «Когда Орлов рассказал государю сцену с Булгариным, государь много смеялся и сказал Орлову: «Ты, чудак, не стареешь!» Нужно еще заметить, что рассказ Стогова, видимо, сильно смягчен и сокращен цензурой. В «Русской старине» за 1886 г., где помещены воспоминания Стогова, листок, где был этот рассказ в первоначальном виде, вырезан и вместо него вклеен другой, напечатанный разгонисто.

Главными началами, руководившими Булгариным в его журнальной деятельности, были, как сообщает Греч, тщеславие и алчность. Булгарин был и романист, выпустил несколько романов – «Иван Жыжигин», «Дмитрий Самозванец» и др. Кто отрицательно отзывался о его романах, становился его врагом, и Булгарин с бешенством обрушивался на него инсинуациями, клеветой, бранью, доносами. Всего же больше любил он деньги, и, когда что-нибудь грозило его карману, он развивал дея-

тельность самую энергичную. Появление всякой новой газеты грозило конкуренцией его газете, монопольно властвовавшей в журналистике. Поэтому Булгарин немедленно начал кампанию против конкурента, засыпал Третье отделение доносами на его неблагонадежность, опорочивал всячески в своей газете. Не без участия Булгарина погибла «Литературная газета» Дельвига. Как выгодна была для Булгарина и Греча их монополия, показывают доходы их с газеты. В 1855 г., например, каждый из совладельцев получил на свою долю по 24 000 руб. серебром.

«В Булгарине, – рассказывает Греч, – скрывалась исключительная жадность к деньгам, имевшая целью не столько накопление богатства, сколько удовлетворение тщеславия; с каждым годом увеличивалось в нем чувство зависти, жадности и своекорыстия. В основе его характера было что-то невольно дикое и зверское. Он ни с кем не умел ужиться, был очень подозрителен и щекотлив и при первом слове, при первом намеке бросался на того, кто казался ему противником, со всею силою злобы и мщения. Иногда по самому ни-

что жному поводу он впадал в какое-то иступление, сердился, бранился, обижал встречного и поперечного, доходил до бешенства. В таких случаях он пускал себе кровь, ослабевал и приходил в нормальное состояние». Был он тучен, с брюшком; гнойные, воспаленные глаза, огромный рот и вся фигура производили неприятное впечатление. Голос был грубый, отрывистый, говорил нескладно, как бы заикался на словах. В своей семейной жизни Булгарин был точно чужой; как хозяин дома он не имел никакого значения. Домом, детьми, деньгами распоряжались по своему произволу его жена-немка Елена Ивановна и ее тетка, знаменитая «танта», – гнусная, злая баба, которую Булгарин ненавидел всей душой. Она хорошо была известна в литературных кругах как домашний бич Булгарина. У Рылеева есть стихотворение: «Ах, где те острова, где растет трын-трава, братцы?» В нем поминается и «танта»:

*Где с зари до зари
Не играют цари –
В фанты;
Где Булгарин Фаддей*

*Не боится когтей –
Танты.*

Жена Булгарина – бывшая проститутка, взятая им из дома терпимости. На это намекает Пушкин в «Моей родословной», отвечая Булгарину, назвавшему его мещанином во дворянстве: «Решил Фиглярин вдохновенный: я во дворянстве мещанин. Что ж он в семье своей почтенной? Он?.. Он в Мещанской дворянин (на Мещанской улице в Петербурге помещались дома терпимости)». Жена Булгарина и «танта» давали ему ничтожную сумму на карманные расходы, а все доходы от газеты отбирали. Булгарин тщательно скрывал от жены мелкие доходцы от фруктовых магазинов и винных погребов, восхваляемых им в своей газете. Под Дерптом у Булгарина было поместье Карлова, куда он ездил летом отдыхать.

В начале издательской деятельности Булгарина Пушкин относился к нему очень терпимо, помещал в его «Литературных листках» и «Северной пчеле» свои стихи, хотя в частных письмах называл Булгарина с Гречем «грачами-разбойниками», «сволочью нашей

литературы» и т. п. Булгарин со своей стороны очень дорожа сотрудничеством Пушкина, неизменно восхвалял его, называл первым современным поэтом русским, восторженно приветствовал каждую новую поэму Пушкина и каждую новую главу «Онегина». В 1827 г., по приезде Пушкина в Петербург, они с Булгариным познакомились лично, Пушкин вместе с Дельвигом даже обедал у Булгарина, что очень возмутило Вяземского. Кружок Пушкина, Дельвига и Вяземского в 1830 г. стал издавать «Литературную газету»; цель была – дать серьезный литературный орган и начать борьбу с духом пошлости, прислужничества и беспринципности, пронизавшим грече-булгаринские органы. Булгарин, всегда боявшийся конкуренции, начал яростную травлю газеты, сначала не задевая самого Пушкина. В это время Булгарин напечатал роман «Дмитрий Самозванец», в котором целый ряд сцен позаимствовал из «Бориса Годунова», – еще не напечатанного, но уже широко распространившегося в публике. До Булгарина дошло, что Пушкин обвиняет его в плагиате. В «Литературной газете» появился неблагоприятный

разбор «Дмитрия Самозванца», написанный Дельвигом. Но Булгарин решил, что статью написал Пушкин. Когда не хвалили его творений, Булгарин терял голову от бешенства. В «Северной пчеле» он поместил статейку под заглавием «Анекдот», написанный поистине «слюною бешеной собаки». В прозрачном образе якобы французского поэта выводился Пушкин, которому давалась такая характеристика: «Служит усерднее Бахусу и Плутусу (вину и богатству), нежели музам; сердце его – холодное и немое существо, как устрица, а голова – род побрякушки, набитой гремучими рифмами, где не зародилась ни одна идея; бросает рифмами во все священное, чванится перед чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтобы позволили ему нарядиться в шитый кафтан; марает белые листы на продажу, чтобы спустить деньги на крапленых листах; одно у него господствующее чувство – суетность». Вслед за тем Булгарин напечатал уничтожающую статью о только что вышедшей седьмой главе «Онегина», в которой провозгласил полное падение Пушкина. Началась открытая война. Пушкин

поместил в «Литературной газете» статью якобы о записках парижского сыщика Видока. Но все сразу в образе Видока узнали Булгарина. Пушкин писал: «Представьте себе человека без имени и пристанища, живущего ежедневными донесениями, женатого на одной из тех несчастных, за которыми по своему званию обязан он иметь присмотр, отъявленного плута, столь же бесстыдного, как и гнусного, и потом вообразите себе, если можете, что должны быть нравственные сочинения такого человека» и т. д. Статья произвела сенсацию. В книжной лавке Оленина Булгарин, взбешенный статьей, крестился и низко кланялся перед иконой, хотя был католик, – боясь, что между ним и Видоком нет ничего общего.

– Неужели в этой статье хотели представить меня? – спрашивал он.

Книгопродавец Лисенков выпустил портрет Булгарина с подписью Видок, портреты брались нарасхват. За Булгариным утвердилось кличка Видок, присоединенная к прежней его кличке Фиглярин, так он теперь и стал фигурировать во всех эпиграммах – Ви-

док Фиглярин. Года два продолжалась беспощадная война между Пушкиным и Булгариным. Булгарин обливал грязью Пушкина, Пушкин высмеивал бездарные романы Булгарина, стрелял в него эпиграммами и не гнушался, подобно Булгарину, задевать и личную жизнь противника – например, намеками на его жену, бывшую проститутку. Под влиянием Греча Булгарин понял невыгодность борьбы с Пушкиным, прекратил свои нападки, опять стал восторженно хвалить его произведения. «Грачи-разбойники» не теряли надежды вступить в союз с Пушкиным. Но, конечно, надежды эти не осуществились. До конца жизни Пушкин не переставал мечтать о журнале, который бы дал отпор гнусному господству в журналистике этих беспринципных рептилий, и в первый же книжке своего «Современника» поместил статью Гоголя «О движении журнальной литературы», дававшую достойную оценку журналам Булгарина и Греча.

Николай Иванович Греч
(1787–1867)

Журналист и педагог. Сын онемечившегося чеха, протестант. Окончил курс в петербургском Педагогическом институте. Был преподавателем в учебных заведениях, издал ряд книг и учебников по русской грамматике и словесности, в свое время пользовавшихся большим распространением. Писал романы – «Черная женщина» и др. Но главное значение он имел как журналист – как редактор журнала «Сын отечества» и соредактор Булгарина по газете «Северная пчела». В истории русской журналистики имя Греча по праву ставится рядом с именем Булгарина, как такой же беспринципной рептилии и такого же угодливого поборника православия, самодержавия и народности. Однако Греч был образованнее и культурнее Булгарина, держался более корректно, не позволял себе таких неприличных выходок, какие вызывали к Булгарину всеобщее отвращение. Греч, сколько возможно, старался отмежеваться от Булгарина, называл его за глаза «польским псом», но связи с ним не разрывал. «От него, – сознается он в своих воспоминаниях, – зависело благосостояние моего семейства. Я сносил с терпе-

нием все его причуды, подозрения и оскорбления». В конце концов, однако, – это было уже в пятидесятых годах, – между ними произошел разрыв, и в воспоминаниях своих Греч без стеснения изобразил Булгарина во всей его непривлекательности.

Отношение Пушкина к Гречу было в общем отрицательное. Он и Булгарин были для него «грачи-разбойники», борьбу с обоими Пушкин считал долгом всякого честного журналиста, в полемических статьях своих наносил Гречу очень жестокие удары, высмеивал «утешительный пример согласия Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина, основанного на взаимном уважении, сходстве душ и занятий гражданских и литературных»; писал, имея в виду Греча, о «китайском журналисте, который, потакая своему товарищу и в глаза выхваляя его бредни, говорит на ухо всякому: «Этот пачкун и мерзавец ссорит меня со всеми порядочными людьми, марают меня своим товариществом; но что делать? Он человек деловой и расторопный!» Пушкин очень осторожно держался в вопросе о сотрудничестве в «Энциклопедическом словаре» Плюшара вви-

ду того, что редактором словаря состоял Греч. Все это, однако, не помешало Пушкину в начале тридцатых годов обращаться к Гречу с предложениями, справедливо вызывающими недоумение исследователей. В то время у Пушкина явилась надежда получить разрешение на издание собственной газеты, – и он попытался переманить в нее Греча, потом предлагал Гречу передать его журнал «Сын отечества» ему, Пушкину, с тем, что редактором останется Греч. Греч нашел невыгодным разрывать с Булгариным и вежливо отклонил предложения Пушкина. Личные отношения Пушкина с Гречем носили внешне дружелюбный характер. Умирая от раны, Пушкин вспомнил о Грече, у которого в это время умер сын-студент, талантливый, симпатичный юноша, и просил передать отцу свое соболезнование. Греч со своей стороны относился к Пушкину с неизменной почтительностью, хвалил в печати его произведения. Он, между прочим, один из первых отметил исключительный талант Пушкина и еще в 1821 г. в своем «Опыте краткой истории русской литературы» в числе наиболее выдающихся

современных писателей назвал и двадцатидвухлетнего Пушкина.

Осип Иванович Сенковский
(1800–1858)

Поляк, сын когда-то богатого, промотавшегося помещика. В 1819 г. окончил Виленский университет. Еще студентом обратил на себя внимание переводом с арабского языка басен полумифического арабского мудреца Локмана. По окончании университета был отправлен на Восток для усовершенствования в восточных языках. В Сирии, Египте и Нубии он пробыл более двух лет. С пачкой книг за плечами переходил с места на место, в маронитских монастырях изучал и списывал арабские рукописи, спал по три, по четыре часа в сутки на голых плитах, подложив под голову вместо подушки словарь; учился у друзей и бедуинов чистому произношению арабского языка и достиг в этом отношении такого совершенства, что туземцы не хотели верить, что он «франк» (европеец), а не «ибн-эль-араб» (арабский сын). За это же время изучил еще языки – турецкий, персидский, сирский, новогреческий и итальянский. Близко позна-

комился с мусульманским востоком в его рукописях и живом быте. По возвращении в Россию приехал в Петербург. Лучшие ориенталисты дали о его познаниях самые блестящие отзывы, и в 1822 г. двадцатидвухлетний Сенковский был определен в Петербургский университет прямо ординарным профессором по кафедре арабского и турецкого языков. Лекции его были блестящи. В университете, недавно опустошенном помощником попечителя округа Руничем, среди тусклых профессорских бездарностей Сенковский, как яркая звезда, блистал глубиной и разносторонностью познаний, увлекательностью речи, умением будить в слушателях интерес к читаемому предмету. Печатавшиеся им научные труды вызывали самую лестную оценку первоклассных европейских специалистов, как Сильвестр де Саси и Карл Риттер. Сенковский изучил еще языки – татарский, китайский, монгольский, знал все европейские языки. В одной повести Марлинского герой говорит: «Ведь я не Сенковский, чтобы знать все в мире языки!» При этом Сенковский не был узким специалистом-лингвистом. Познания его

решительно во всех областях науки были изумительны. Историю, археологию, этнографию, философию, естествознание, астрономию, медицину, политическую экономию – все он знал, и знал не как дилетант, умел по ним спорить с самыми основательными специалистами. Впоследствии знаменитый хирург Н. И. Пирогов с увлечением беседовал с Сенковским на медицинские темы. Сенковский обладал еще и беллетристическим талантом; повести его написаны увлекательно и брызжут остроумием. Несколько цитат наудачу: «Автор какой-нибудь книги есть тот необыкновенный человек, который, один на всем земном шаре, прочитал ее трижды, не задремав ни разу», «Я стал писателем. Любители чтения меня читали; любители словесности меня преследовали: все было, как должно быть, и было очень весело». «Красавица упала в обморок, случайно оказавшийся тут молодой человек поддержал ее. Муж принял его за любовника красавицы и зарезал. «Итак, я убил его понапрасну? Очень сожалею!..» Не обнимай чужой жены, если ты ей не любовник!»

В 1834 г. книгопродавец А. Ф. Смирдин стал издавать журнал «Библиотека для чтения» и редактором пригласил Сенковского с жалованьем в 15 тыс. руб. И на журнальном поприще Сенковский проявил способности изумительные. С первого же года «Библиотека для чтения» имела неслыханный успех, – подписка достигла пяти тысяч экземпляров, для того времени вещь небывалая: обычный тираж журналов был 500–1000. В журнале сотрудничали самые лучшие писатели, вместо обещанных пятнадцати листов он давал книжки в тридцать листов, знакомил читателей с текущей русской и иностранной литературой, со всеми новейшими научными открытиями и достижениями. Статьи по самым сухим, специальным вопросам написаны были так, что с захватывающим интересом читались даже людьми совершенно неподготовленными. Сенковский неутомимо писал во всех отделах под разнообразнейшими псевдонимами: «Барон Брамбеус», «Тютюнджю-оглу» и многие другие. Литературную летопись с обзором текущих книг вел с таким блеском и остроумием, что она читалась как увлека-

тельный роман. Редакторская работа Сенковского была огромна. Несмотря на слабое здоровье, он дни и ночи проводил за письменным столом. Ни одной статьи он не оставлял без переделки. Сухая статья, по которой прошла рука Сенковского, начинала гореть жизнью. Он самым диктаторским образом переделывал и доставляемые в журнал повести, особенно писателей второстепенных; понравится ему, например, повесть по сюжету, – он, не дочитав ее, отдирает конец рукописи и приделывал свой. Сам выбирал для перевода все иностранные статьи, сжимал их, выкидывал лишнее, связывал оставшееся собственными вставками на том же языке, на котором написана была статья, – английском, немецком, французском, итальянском. Старался приблизить литературный язык к разговорному, вел беспощадную борьбу с устарелыми языковыми формами – «сей», «оный», «упомянутый», «таковой», «младой», «глас» и т. п. После едких насмешек Сенковского слова эти совершенно исчезли из журнального обихода.

И однако, несмотря на все изумительные и необыкновенные в своем разнообразии даро-

вания, Сенковский прошел через жизнь без всякой для нее пользы, и истории русской культуры нечем помянуть его.

Что же ты любишь, дитя мало-верное?

Где же твой идол стоит?

Язвительный скептик и желчный насмешник, Сенковский ничего не любил, не было у него никаких ни идолов, ни идеалов. Поляк по происхождению, в молодости друг польского революционера Лелевеля, он после польского восстания в нашумевшей статье «Большой выход сатаны» так издевался над залитой кровью родиной: дух восстаний и мятежей Астарот докладывает верховному сатане о своих подвигах, – как он увлек благополучно живший народ, вскружил ему голову и заставил погибать десятками тысяч при полном неведении, за что он дрался и чего хотел. И с гордостью показывает сатане рану, которую получил под хвостом от пики донского казака, когда вместе с разбитыми поляками удирал за австрийскую границу. Знаменитая «Библиотека для чтения» была не больше, как

великолепно поставленным промышленным предприятием, и Сенковский был талантливейшим директором этого предприятия. Предприятие давало хозяину прекрасный доход, – чего же еще требовать от промышленного предприятия и его директора? Жил на востоке могущественный султан Пюблик-Султан-Багадур, и был у него приближенный капанджи-баша Брамбеус-Ага-Тютюнджю-оглу-Багадур. Султан жестоко скучал, зевал, страдал бессонницей и в раздражении каждое утро казнил красавицу, с которой проводил ночь. Повторилась история «1001 ночи». Брамбеус-Ага-Багадур, по требованию умной своей дочери Критикзады, предоставил ее на ночь султану, младшая ее сестра Иронизада приютилась у подножия султанского ложа, и Критикзада еженощными рассказами своими о текущей русской литературе вполне угодила султану – рассеивала его скуку, забавляла и погружала в сладчайший сон. В такой остроумной форме Сенковский около года вел в своем журнале обозрение текущих литературных новинок. Султан Пюблик-Багадур – публика, его приспешник Брам-

беус-Ага – Сенковский. Вот его задача: забавлять скучающего, державного владыку-публику. И литературный капанджи-баша с успехом исполнял задачу – смешил публику остроумными статьями, высмеивал все направо и налево, в критических отзывах руководился минутным настроением, смеялся над тем, что вчера хвалил: то, например, объявлял Кукольника русским Гете и соперником Байрона, то заявлял, что он просто забавлялся и, сидя у окна, вздумал бросить венок славы на голову первого прохожего, и прохожим этим оказался Кукольник. Подавалось все это остро, едко, и публика была очень довольна. Герцен рассказывает: «Ракеты, искры, треск, бенгальский огонь, свистки, шум, веселый тон, развязный смех привлекли всех к его журналу. Но – посмотрели-посмотрели, похохотали и разошлись мало-помалу по домам. Сенковский был забыт, как бывает забыт на фоминной неделе покрытый блестками акробат, занимавший на святой весь город, в балагане которого не было места, у дверей которого была давка». В самый блестящий период деятельности Сенковского выросла в Москве и

вступала в литературно-общественную жизнь группа писателей самых разнообразных направлений – Белинский, Герцен, Бакунин, К. Аксаков, братья Киреевские. Были они очень разные, но одно у них было общее – то, что Герцен сказал о своем идейном враге К. Аксакове: «Он за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху, а когда это чувствуешь за словами, они становятся страшно убедительны». Такой убедительности не было и следа во всех писаниях Сенковского. Среди петербургских журналистов он был, безусловно, самым культурным и корректным из всех, пользуясь выражением Бальзака, «торговцев фразами». Новейшие исследователи не без основания восстают против включения Сенковского, совместно с Булгариным и Гречем, в никогда не существовавший «журнальный триумвират»: Сенковский был гораздо порядочнее этих рептилий-доносчиков, и уже Чернышевский, при всем своем отрицательном отношении к Сенковскому, восставал против помещения его на одну доску с Булгариным и Гречем. Но все-таки Сенковский был «торговец фразами» – и больше ничего. Однако кто

знает? В другое время, – прийдись его журнальная деятельность, например, на шестидесятые годы, – Сенковский оставил бы в русской журналистике глубокий и плодотворный след. Будь он соратником Чернышевского, Добролюбова или Писарева, его мефистофельский ум, едкая насмешливость, отвращение к авторитетам, колоссальная образованность, – вся его голоразрушительная деятельность была бы в ту же точку, в которую была разрушительно-созидательная деятельность упомянутых руководителей тогдашней радикальной журналистики. Их он, конечно, не смог бы заменить, – но был бы на десять голов выше и в десять раз полезнее Антоновича, Варфоломея Зайцева или Благосветлова.

В сороковых годах журнальная деятельность Сенковского стала ослабевать, писал он все водянистее и тупее, энергия его упала, упал и интерес к своему журналу, появились многочисленные болезни, следствие чрезмерных трудов и перенесенной холеры. Сенковский стал простым сотрудником журнала, в котором раньше был вдохновителем, журнал падал, явились на смену другие журналы, от-

ражавшие более серьезные интересы, которыми стало жить общество. В последние годы жизни Сенковский писал мало, увлекался фотографией, гальванопластикой, музыкой, изобретал какой-то колоссальный оркестрион, соорудил скрипку с пятью струнами, придумал особого устройства печь. Умер, давно уже став покойником.

Был он очень некрасив, к тому же лицо его было жестоко изуродовано оспой; черные волосы, большие черные глаза, широкий рот. Одевался изысканно и даже франтовато, с драгоценными булавками в галстуках. Всегда был переутомлен, поэтому нервен и болезненно раздражителен; знакомств с писателями избегал, жил особняком, в тесном кружке был, однако, говорлив и блестяще остроумен. Никитенко характеризует его так: «Сенковский весьма замечательный человек. Немного людей, одаренных умом столь метким и острым. Но характер портит все, что есть замечательного в уме его. Нельзя сказать, чтобы он был совсем дурной человек, но он точно рожден для того, чтобы на все и на всех нападать, – и это не с целью причинить

зло, а просто чтобы, так сказать, выполнить предназначение своего ума, чтобы удовлетворить непреодолимому какому-то влечению. Естественно, он нелюбим, на что сам, однако, смотрит без негодования, как бы уверенный, что между людьми нет других отношений, кроме беспрестанной борьбы, и он с своей стороны воюет с ними не за добычу, а как бы отправляя какую-то обязанность или ремесло. В обращении он жесток и грубоват, но говорит остроумно, хотя и резко. Нельзя сказать, чтобы разговор его был приятен, но он любопытен и увлекателен». А Полевой писал брату Ксенофонту о Сенковском: «...вокруг него какая-то адская атмосфера и страшно пахнет серою, хоть он беспрестанно курит лучшие сигарки».

Об одном из первых литературных дебютов молодого Сенковского Пушкин отзывался с большой похвалой. Он писал Бестужеву, издателю «Полярной звезды», где была помещена сказка Сенковского «Витязь буланого коня»: «Арабская сказка прелесть; советую тебе держать за ворот этого Сенковского». С основанием «Библиотеки для чтения» Пушкин по-

местил в ней ряд крупнейших своих произведений – «Пиковую даму», «Песни западных славян» и др. Однако к журнальной деятельности Сенковского относился отрицательно, считал ее такой же растлевающей, как деятельность Булгарина и Греча, а о самом Сенковском отзывался как о «бестии, с которой связываться невозможно», «свинье и мерзавце». В первом же номере своего «Современника» поместил статью Гоголя «О движении журнальной литературы», главным образом направленную против Сенковского. Гоголь спрашивал: «Что это такое? Что заставляло писать этого человека? Мы видим человека, который берет деньги вовсе не даром, трудится до поту лица. Для чего же вся эта деятельность?» К творчеству Пушкина Сенковский относился с восторгом, расхваливал в своем журнале его произведения. Но вот Пушкин вздумал издавать собственный журнал «Современник»: литературный журнал с широкой программой, с участием крупнейших писателей. Тут сразу дело повернулось иначе: являлся конкурент, грозивший подрывом «Библиотеке для чтения». И Сенковский от-

крыл яростную кампанию против «Современника» и Пушкина, не дождавшись даже выхода первой книжки. И пользовался каждым предложением, чтобы нанести конкуренту лишний удар.

**Николай Алексеевич Полевой
(1796–1846)**

Выдающийся русский журналист. Сын купца, родился в Иркутске. Рано научился грамоте. В школе не обучался, но жадно читал все, попадавшееся в руки. С десятилетнего возраста писал стихи, драмы, издавал рукописные журналы. В 1811 г. отец его со всем семейством переселился в Курск, там открыл водочный завод. Сын принужден был помогать ему в торговых его делах, все дни проводил в конторе и читал по ночам, тайно от отца, при свете огарка. Стал систематически заниматься самообразованием, самоучкой изучил немецкий, французский, греческий и латинский языки. В 1820 г., по поручению отца, приехал в Москву, чтобы устроить депо для оптовой продажи водочных изделий отцовского завода. В 1822 г. отец умер. Полевой всецело отдался литературе, сблизился с рядом

писателей. В 1825 г. стал издавать журнал «Московский телеграф», сыгравший очень крупную роль в истории русской журналистики. Белинский так характеризует эту роль: «“Московский телеграф” был явлением необыкновенным во всех отношениях. Человек, почти вовсе не известный в литературе, нигде не учившийся, купец званием, берется за издание журнала, – и его журнал, с первой же книжки, изумляет всех живостью, свежестью, новостью, разнообразием, вкусом, хорошим языком, наконец, верностью однажды принятому и резко выразившемуся направлению. Среди мертвой, вялой, бесцветной, жалкой журналистики того времени он был изумительным явлением. И с первой до последней книжки своей издавался он, в течение почти десяти лет, с тем неослабеваемым стремлением к улучшению, которых источником может быть только призвание и страсть. Первая мысль, которую тотчас же начал он развивать с энергией и талантом, была мысль о необходимости умственного движения, о необходимости следовать за успехами времени, улучшаться, идти вперед, избе-

гать неподвижности и застоя... Критика “Московского телеграфа” высказывала свои мнения прямо, несмотря ни на какие авторитеты; и нет возможности пересчитать, сколько их было уничтожено ею. Многим сказал “Телеграф”, что их сочинения в свое время могли иметь относительную ценность, но что время их прошло и что теперь мальчики пишут лучше их, заслуженных и знаменитых авторов. Полевой показал первый, что литература – не игра в фанты, не детская забава, что искание истины есть главный ее предмет и что истина – не такая безделица, которою можно было бы жертвовать условным приличиям и приятным отношениям. Изъявить публично такой образ мыслей в то время значило сделать страшную дерзость и выказать себя человеком “беспокойным”, т. е. хуже, чем безнравственным. В “Телеграфе” было много силы, энергии, жару, стремления, беспокойства, тревожности; вместе с тем все в нем было неопределенно, часто смутно, а иногда и противоречиво и ошибочно. Но он жил и действовал: кто спит, тот разумеется, не грешит, особенно если спит так крепко, что и во сне

ничего не видит». Не в борьбе за романтизм, ярким приверженцем которого являлся Полевой, не в проводившейся им сборной философии Кузена, не в защите вообще каких-либо конкретных литературных или политических идей была главная заслуга Полевого, а именно в том, что он был, как отмечает Белинский, «беспокойный человек», что он шевелил в читателе мысль и дерзость. Министр Уваров говорил: «Если Полевой напишет даже Отче наш, то и это будет возмутительно». Первые годы в «Телеграфе» принимал очень близкое участие князь Вяземский, привлек к сотрудничеству Пушкина и других своих литературных друзей, но вскоре с негодованием отошел от журнала, признав Полевого «низвергателем законных литературных властей». Общее возмущение вызвал Полевой резким выступлением против Карамзина и выпущенной им «Историей русского народа» в противовес карамзинской «Истории государства российского»; «История» Полевого — произведение дилетанта, в ней много научных недостатков. Однако и в то уже время люди независимые отмечали главное ее до-

стоинство – попытку поставить в центр изучения историческую жизнь именно народа. Никитенко писал: «Так называемые патриоты, почитатели доброго Карамзина, не понимают, как можно осмелиться писать историю после Карамзина; в простоте сердца они веруют, что Карамзин действительно написал историю русского народа, а не историю русских князей и царей».

В 1834 г. Никитенко встретился с Полевым на вечере у Смирдина и так описывает его: «Это иссохший, бледный человек, с физиономией сумрачной, но энергической. В наружности его есть что-то фанатическое. Говорил он нехорошо. Однако в речах его – ум и какая-то судорожная сила. Как бы ни судили об этом человеке его недоброжелатели, которых у него тьма, но он принадлежит к людям необыкновенным. Он себе одному обязан своим образованием, а это что-нибудь да значит. Притом он одарен сильным характером, который твердо держится в своих правилах, несмотря ни на соблазны, ни на вражду сильных. Его могут притеснять, но он, кажется, мало об этом заботится». И министр Уваров с

возмущением отзывался о нем: «Полевой, – я знаю его: это фанатик. Он готов претерпеть все за идею. Для него нужны решительные меры». В действительности Полевой вовсе не был фанатиком и непреклонным борцом за идею. Уже в последние годы издания своего журнала он стал сближаться с Булгариным и Гречем, против которых раньше боролся; оберегая журнал, шел на самые непристойные компромиссы и умел найти себе защитников в московском жандармском генерале А. А. Волкове и в самом Бенкендорфе; все время они относились к нему с совершенно для нас непонятной мягкостью. Министру народного просвещения Уварову пришлось положить много усилий и борьбы, чтобы сломить их заступничество и расправиться с журналом. Повод вскоре представился. В Петербурге поставлена была трескучая патриотическая драма Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла»; она удостоилась самого восторженного одобрения императора. Полевой, не зная этого, поместил в своем журнале резко отрицательный разбор драмы. Его вытребовали для объяснения в Петербург, и журнал был за-

прещен. Полевой испугался, – испугался раз навсегда, на всю жизнь. Началось головокружительное нравственное его падение. Он окончательно сошелся с Булгариным и Гречем, преисполнился самой благонамеренной готовности, начал писать драмы, дышавшие тем «квасным патриотизмом», против которого он раньше страстно боролся. Произведения его теперь удостоивались самого лестного одобрения власти. В 1838 г. помощник Бенкендорфа Дубельт вызвал Полевого к себе для вручения бриллиантового перстня, высочайше пожалованного ему за пьесу «Дедушка русского флота».

– Вот вы теперь стоите на хорошей дороге, – сказал Дубельт. – Это гораздо лучше, чем попусту либеральничать.

Полевой, низко кланяясь, ответил:

– Ваше превосходительство! Я написал еще одну пьесу, в которой еще больше верноподданнических чувств. Надеюсь, вы ею тоже будете довольны.

Заваленный работой, опутанный долгами, обремененный многочисленным семейством, Полевой теперь писал только для заработка,

писал, не перечитывая написанного, писал драмы, повести, историю, критику. Прежние его приверженцы теперь его презирали, а одобряли те, кого он раньше презирал. Панаев, в это время с ним познакомившийся, так описывает его: «Я воображал Полевого человеком смелым и гордым, горячо и открыто высказывающим свои убеждения, – и увидел какого-то робкого, вялого, забитого господина с уклончивыми ужимками, всем низко кланявшегося, со всеми соглашавшегося, не имевшего ни малейшего чувства достоинства, даже как-то оскорбительно, для почитавших его, унижавшегося перед всеми».

– Я здесь уж совсем не тот-с, – говорил он Панаеву. – Я вот должен хвалить романы какого-нибудь Штевена, а ведь эти романы галиматья-с.

– Да кто же вас заставляет хвалить их? – с удивлением спросил Панаев.

– Нельзя-с, помилуйте, ведь он частный пристав!

– Что ж такое? Что вам за дело до этого?

– Как что за дело-с? Разбери я его как следует, он, пожалуй, подкинет мне в сарай ка-

кую-нибудь вещь да и обвинит меня в краже. Меня и поведут по улицам на веревке-с, а ведь я отец семейства!

В минуты откровенности Полевой сознавался, что ему следовало замолчать еще в 1834 г. и что вся его дальнейшая деятельность была игрой ва-банк на литературную известность. Смерть Полевого примирила с ним его противников. Белинский, страстно с ним боровшийся в последние годы, посвятил его памяти горячую статью, – мы выше приводили из нее выдержки. А Чернышевский через десять лет, во имя заслуг Полевого, мягким словом прощения помянул его последующую деятельность.

Пушкина привлек к сотрудничеству в «Московском телеграфе» Вяземский в 1825 г. Пушкин в это время находился в псковской ссылке. В течение нескольких лет он давал в журнал лирические свои стихи, эпиграммы, статьи. Однако относился к журналу равнодушно и считал его для себя чужим. По приезде в Москву осенью 1826 г. он примкнул к вновь образовавшемуся журналу «Московский вестник» и еще больше отошел от «Теле-

графа». В Москве Пушкин и Полевой познакомились лично, и Полевой очень был огорчен холодным, церемонным приемом Пушкина. Пушкин, однако, продолжал изредка давать кое-какие безделки в «Телеграф». В 1830 г. стала выходить «Литературная газета» Дельвига, в которой ближайшее участие принимал Пушкин. К этому времени вышла «История русского народа» Полевого, возмущившая Пушкина своим отношением к Карамзину, начались нападки Полевого, Греча и Булгарина на «литературную аристократию», орган которой они видели в «Литературной газете». Пушкин поместил ряд очень неблагоприятных статей об «Истории русского народа», а по поводу нападок на «литературную аристократию» писал: «Пренебрегать своими предками из опасения шуток гг. Полевого, Греча и Булгарина – непохвально, а не дорожить своими правами и преимуществами – глупо. Шутки недворян, позволяющих себе насмешки насчет русского дворянства, достойны порицания. Эпиграммы демократических писателей XVIII столетия приуготовили крики: «аристократов к фонарю!» и ничуть не забав-

ные куплеты с припевом: «повесим их, повесим!» Avis au lecteur (к сведению читателя)». Полевой отвечал на это в «Телеграфе»: «И издатели “Литературной газеты” не стыдятся своего “avis au lecteur”! Как назвать такие средства защиты?» Борьба дерзкого разночинца с правевшим Пушкиным все больше обострялась. Послание «К вельможе» вызвало со стороны Полевого резкие издевательства по адресу Пушкина. Он упрекал его в низкопоклонстве и лести. Напечатал пародию на пушкинское стихотворение «Чернь», оканчивавшуюся так:

поэт –

*Ударил в струны золотые,
С земли далеко улетел,
В передней у вельможи сел
И песни дивные, живые
В восторге радости запел.*

Запрещение «Телеграфа» в 1834 г. вызвало у «литературной аристократии» чувство удовлетворения, смешанное, впрочем, со стыдливым сожалением о чрезмерной крутости расправы. Вяземский писал: «Признаюсь, суще-

ствование “Телеграфа” в том виде, как он был, может быть сочтено за неприличность не только литературную, но и политическую; а все жаль, что должны были прибегнуть к усиленной мере запрещения, когда должны были действовать законные меры воздержания». Жуковский говорил: «Я рад, что “Телеграф” запрещен, хотя жалею, что его запретили». А Пушкин записал в дневнике: «“Телеграф” достоин был участи своей; мудрою с большею наглостью проповедовать якобинизм перед носом правительства; но Полевой был баловень полиции. Он умел уверить ее, что его либерализм пустая только маска».

**Ксенофонт Алексеевич Полевой
(1801–1867)**

Младший брат Н. А. Полевого. Систематического образования не получил, читал под руководством брата Николая. В 1825 г. сделался усердным помощником брата по редактированию «Московского телеграфа», сам сотрудничал в нем, преимущественно в отделе критики и библиографии. Кажется, роль его в этой области была гораздо крупнее, чем обыкновенно думают. По запрещении журна-

ла занимался книжной торговлей, изданием переводов, выпустил биографический роман «Ломоносов», очень похваленный Белинским, редактировал журнал «Живописное обозрение». Оказывал большую материальную помощь брату, совершенно запутавшемуся в долгах, так что расстроил свои собственные дела. По смерти брата материальное его положение улучшилось. Продолжал заниматься переводами, сотрудничал в журналах. Умер в своем имении под Вязьмой. Оставил «Записки», в которых прославляет брата и страстно защищает от сыпавшихся на него нападок; воспоминания вообще во многом пристрастны, но ценны по обилию сведений, характеризующих тогдашние литературные отношения.

Николай Иванович Надеждин (1804–1856)

Критик, журналист, выдающийся ученый. Сын рязанского сельского священника. С детства поражал всех умом и начитанностью. Десяти лет был принят в высший класс рязанского духовного училища, пятнадцати лет, не кончив еще полного курса семинарии, был

как лучший ученик отправлен в Московскую духовную академию. Двадцати лет получил степень магистра богословских наук. В течение двух лет преподавал русскую и латинскую словесность в рязанской семинарии, вышел в отставку и уехал обратно в Москву. Там поступил в семью богатого помещика Федора Самарина домашним учителем его сыновей, в числе которых был впоследствии известный славянофил Юрий Самарин. В доме была превосходная библиотека, все свободное от занятий время Надеждин проводил за книгами, изучал философию, историю, русскую и иностранную художественную литературу и стал одним из ученых и образованнейших людей своего времени. Около 1828 г. сблизился с издателем «Вестника Европы» профессором М. Т. Каченовским и выступил в его журнале с рядом критических статей. Статьи были подписаны: «Екс-студент Никодим Надоумко. Писано между студенства и вступления в службу, на Патриарших прудах». Первая же статья «Литературные опасения за будущий год» – вызвала большой шум, не меньший шум вызвали и следующие «Сонмище ниги-

листов» и др. В статьях этих Надеждин с яростью обрушивался на современную ему «романтическую» литературу и доказывал, что новый романтизм столь же мало похож на подлинный романтизм средних веков, как французский псевдоклассицизм – на классицизм эллинский; восставал против взгляда на самодовлеющее значение искусства, требовал гармонического слияния интересов эстетического, умственного и нравственного, возмущался кровавыми убийствами и нравственной грязью, которыми полны произведения Байрона и его русских подражателей с Пушкиным во главе. «О, бедная, бедная наша поэзия! – восклицал он. – Долго ли будет ей скитаться по нерчинским острогам, цыганским шатрам и разбойническим вертепам? Неужели к области ее исключительно принадлежат одни мрачные сцены распутства, ожесточения и злодейства? Что за решительная антипатия ко всему доброму, светлому, мелодическому, – радующему и возвышающему душу? Не так думал великий Гораций...» «Светлый мир сотворен не для того, чтобы мы им брезговали и ругались, а для того, чтобы

им любоваться и наслаждаться». Иллюстрировались эти положения так. Приводит Надоумко место из «Графа Нулина», где Наталья Павловна смотрит из окна на двор:

*...печально под окном
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом;
Три утки полоскались в луже.
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор...*

«Здесь изображена природа во всей наготе своей! – ехидничал Надоумко. – Жаль только, что сия мастерская картина не совсем дописана. Неужели в широкой раме черного двора не уместились бы две-три хавроньи, кои, разметавшись по-султански на пышных диванах топучей грязи, в блаженном самодовольствии и совершенно эпикурейской беззаботности могли бы даже сообщить нечто занимательное изображенному зрелищу? Почему поэт, представляя бабу, идущую через грязный двор, позабыл изобразить, как она, со всем деревенским жеманством, приподымала подол своей понявы? Это едва извинительно в живописце великом и всеобъемлющем!»

Главным предметом нападок Надоумко был Пушкин как глава новой школы да еще Полевой как ее защитник и проповедник. Нападки эти представляют высочайшие вершины художественного тупоумия: «Поэзия Пушкина есть просто пародия, его можно назвать по всем правилам гением – на карикатуры», «Полтава есть настоящая Полтава для Пушкина: ему назначено было здесь испытать судьбу Карла XII», «Для гения не довольно смастерить Евгения!», «Граф Нулин» и «Бал» Баратынского – «это суть прыщики на лице вдовствующей нашей литературы! Они и красны, и пухлы, и зрелы!» «Бориса Годунова» Надоумко рекомендовал Пушкину сжечь, а вообще признавал Пушкина главой современного литературного нигилизма, «покушающегося ниспровергнуть до основания священный оплот общественного порядка и благоустройства». Несмотря на бесспорность некоторых общих положений, статьи Надоумко по существу своему являлись типичнейшим продолжением того же старческого брюзжания Каченовского на колебание старых литературных канонов, на склонность изображать

«грязь» жизни, на «соблазнительность» любовных сцен и на разрушение общественных устоев общества. Статьи писаны и обычной орфографией Каченовского, с фитой, ижицей, писаны пошло-развязным стилем и чванливо уснащены бесчисленными цитатами на греческом, латинском, французском, немецком, английском, итальянском языках, даже без перевода на русский; в каждой строчке сквозит самодовольный педант, щеголяющий глубиной своей учености. Такое, например, сравнение: «...непонятны, как священные песни fratrum Ambarvalium для современников цистероновых».

Чернышевский в «Очерках гоголевского периода» чрезвычайно высоко поставил Надеждина как критика, называл его учителем Белинского, находил, что критикой своей Надеждин подготовил возможность дальнейшего развития нашей литературы и т. п. Такое отношение Чернышевского к Надеждину справедливо вызывает у позднейших исследователей полное недоумение. Самую лучшую, очень тонкую характеристику критической деятельности Надеждина дал его якобы

ученик Белинский. «Статьи Надоумка, — пишет он, — отличались особенною журнальною формою, оригинальностью, но еще чаще странностью языка, бойкостью и резкостью суждений. В них можно было заметить, что противник романтизма понимал романтизм лучше его защитников и был не совсем искренним поборником классицизма так же, как и не совсем искренним врагом романтизма. Г. Надеждин первый сказал и развил истину, что поэзия нашего времени не должна быть ни классическою (ибо мы не греки), ни романтической (ибо мы не паладины средних веков), но что в ней должны примириться обе эти стороны и произвести новую поэзию. Мысль справедливая и глубокая, — г. Надеждин даже хорошо и развил ее. Но тем не менее она немногих убедила и не вошла в общее сознание. Много причин было этому, а главные из них: какая-то неискренность и непрямота в доказательствах, свойственная докторанту, а не доктору, и явное противоречие между воззрениями г. Надеждина и их приложением... Это противоречие едва ли не было умышленно, во уважение неверных от-

ношений докторанта, желающего быть доктором, и потому, по мере возможности, не желающего противоречить закоренелым предубеждениям докторов. По этой уважительной причине г. Надеждин вооружился против Пушкина всеми аргументами своей учености, всем остроумием своих «надоумочных» или, – как говорили тогда его противники, «недоумочных» статей... Сделавшись доктором и получив кафедру, г. Надеждин совершенно изменил свои литературные взгляды и даже орфографию: вместо «эсфетический» и «энфузиазм» стал писать «эстетический» и «энтузиазм»; разбирая «Бориса Годунова», заговорил о Пушкине уже другим тоном, хотя и осторожно, чтобы не слишком резко противоречить своим «надоумочным» и «эсфетическим» статьям».

Здесь Белинский, между прочим, ясно указывает на причины вливающей позиции Надеждина в его критических статьях, – желание докторанта подделаться к заскоружлым взглядам докторов: как раз в это время Надеждин писал свою докторскую диссертацию о романтизме, и от влиятельного в академи-

ческих сферах Каченовского много зависела дальнейшая ученая карьера Надеждина. В 1830 г. Надеждин блестяще защитил диссертацию. Она была написана на прекрасном латинском языке, обнаруживала огромную ученость – и столь же огромное холопство: диссертант скорбел об отсутствии в наши дни христианского смирения, призывал российскую музу «никогда не изменять своей наследственной благочестивой любви к Богу, отчизне и человечеству, под благодатною сению Августейшего монарха, объемлющего равною отеческою попечительностью все ветви жизни своей великой державы», негодовал, что «ни один из певунов, толпящихся между нами, не подумал и пошевелить губ своих», чтобы воспеть турецкие победы Дибича, уверял, что Россия не овладела Константинополем только потому, что «смилостивилась над поверженным врагом и победила самое себя христианским смирением и человеколюбием». В 1832 г. Надеждин был назначен ординарным профессором теории изящных искусств, археологии и логики. Лекции его, не отличаясь глубиной, были блестящими им-

провизациями, сильно захватывавшими слушателей; о них с удовольствием вспоминали и впоследствии К. Аксаков, Ив. Гончаров, Бу-слаев.

В 1831 г. Надеждин основал журнал «Теле-скоп» с приложением листка «Молва». В жур-нале этом Надеждин совершенно порвал со своим благонамеренным прошлым и высту-пил талантливым застрельщиком боевого разночинного радикализма. Журнал сыграл крупную роль в истории русской журнали-стики и был лучшим после «Московского те-леграфа» журналом того времени по разно-сторонности и серьезности даваемого матери-ала и по блестящему составу сотрудников; в нем, между прочим, начал свою критиче-скую деятельность Белинский, вскоре подняв-ший критический отдел журнала на боль-шую высоту. В 1835 г. «Телескоп» был запре-щен за помещенное в нем «Философическое письмо» Чаадаева. Надеждина вытребовали для допроса в Петербург. На допросах он каял-ся, доказывал, что все его статьи исполнены чистейшей преданности к великому госуда-рю и отечеству и проникнуты глубочайшим

негодованием «против так называемого европейского губительного просвещения». Его сослали в Устьсысольск. Через год с небольшим он был прощен, вскоре принят на службу в министерство внутренних дел и назначен редактором «Журнала министерства внутренних дел». Получал от министра Л. А. Перовского ряд научно-практических поручений по изучению раскола. Человек умный и знающий, Надеждин дал очень ценные исследования по расколу, но все его заключения вели к подтверждению официальной точки зрения о крайней вредности раскола и необходимости самого решительного его обуздания. Начальник штаба корпуса жандармов, знаменитый Дубельт, писал с полным правом: «Могу смело сказать, что Полевого и Надеждина я переродил». За все время службы своей Надеждин много работал по этнографии, географии и археологии, издал ряд трудов большой научной ценности. К концу жизни был действительным статским советником, кавалером ордена Владимира 3-й степени и владельцем имения в Крыму.

Наружность Надеждина была мало при-

влекательна. Он был среднего роста, худой, чернявый, с вдавленной грудью, в очках, с резкими чертами лица; у него был длинный красный нос, рот почти до ушей, раскрывался он не только при смехе, но даже при улыбке, обнаруживая не зубы только, но и десны. Мanners его были неуклюжи и аляповаты, голос криклив. В минуты одушевления он издавал звуки, похожие на рычание, и дикие восклицания вроде: а-га-гата! Читая лекцию, Надеждин зажимуривал глаза, точно слепой, и беспрерывно качался, махая головой сверху вниз, будто клал поясные поклоны, и это размахивание гармонировало с его размашистой речью, бойкой, рьяной и цветистой. Однако, несмотря на безобразие и вульгарные манеры, Надеждин привлекал к себе людей умом и знаниями. «Если бы этот ум и знания, – говорил Панаев, – соединились в нем с твердостью воли, он, вероятно, оставил бы по себе прочную память или в летописях Московского университета, или в истории русской литературы. Но он всю жизнь вертелся, как флюгер, по прихоти случайностей; без сожаления покидал одно поприще для другого и нигде не

оставлял по себе глубокого следа. Он был человек вполне просвещенный и свободомыслящий, но не имел твердых убеждений, которые заставляют человека идти непоколебимо по избранному пути, не отклоняясь в стороны».

На нападки «Вестника Европы» Пушкин отвечал едкими эпиграммами и по адресу «седого Зоила» Каченовского и его подголоска – Надоумко. Свой ругательный разбор «Полтавы» Надоумко закончил так: «Что будет, то будет! Утешаюсь, по крайней мере, тою мыслию, что ежели певцу «Полтавы» вздумается швырнуть в меня эпиграммой, то это будет для меня незаслуженное удовольствие». Пушкин на это ответил эпиграммой:

*Надеясь на мое презренье,
Седой Зоил меня ругал,
Но, потеряв уже терпенье,
Я эпиграммой отвечал.
И, возгоря желаньем славы,
Теперь, надеясь на ответ,
Журнальный шут, холоп лукавый,
Ругать бы также стал... О, нет!
Пусть он, как бес перед обедней,
Себе покоя не дает;*

*Лакей сиди себе в передней,
А будет с барином расчет.*

К Надеждину относятся еще эпиграммы Пушкина «Мальчишка Фебу гимн поднес» и «Притча». Лично Пушкин встретился однажды с Надеждиным у Погодина и записал: «Он показался мне весьма простонародным, vulgar, скучен, заносчив и без всякого приличия. Например, он поднял платок, мною уроненный. Критики его были очень глупо написаны, но с живостью, а иногда и с красноречием. В них не было мыслей, но было движение; шутки были плоски». Впоследствии Пушкин сотрудничал в надеждинском «Телескопе» и поместил там, за подписью «Феофилакт Косичкин», свои знаменитые памфлеты на Булгарина.

Орест Михайлович Сомов
(1793–1833)

Журналист и беллетрист (псевдоним – Порфирий Байский). Сын капитана, воспитывался в Харьковском университете. Поселившись в Петербурге, сотрудничал в журналах. С 1824 по 1826 г. состоял столоначальником в правлении Российско-американской

компании, где правителем канцелярии был Рылеев. Был близко знаком с Рылеевым, А. Бестужевым, Грибоедовым, Дельвигом. По подозрению в прикосновенности к декабрьскому восстанию был арестован 19 декабря и заключен в Алексеевский рavelин, но 7 января 1826 г. освобожден. На государственной службе никогда не служил и был одним из первых писателей-профессионалов, живущих литературным трудом. В 1823 г. в своем послании к Гнедичу Баратынский назвал его «Сомов безмундирный». Это возмутило Пушкина, и он писал Дельвигу из Одессы: «Сомов безмундирный – непростительно. Просвещенному ли человеку, русскому ли сатирику смеяться над независимостью писателя?» Сомов долго работал в изданиях Булгарина, который ценил его как человека полезного, но, зная, как он нуждается, обходился с ним дурно и даже обсчитывал его. Греч рассказывает: «Булгарин брал и отставлял, привлекал и выгонял своих сотрудников непрерывно и обыкновенно оканчивал дело с ними громким разрывом, сопровождавшимся непримиримой враждой. Он трактовал их, как польский магнат служащих

ему шляхтичей: то пирует, кутит, кохается с ними, то обижает их словесно и письменно, как наемников, питающихся от крох его трапезы. В числе этих несчастных илотов был Сомов. Нрава был он доброго и кроткого, человек честный и благородный, но совершенно недостаточный. По сотрудничеству в «Пчеле» получал он по четыре тысячи рублей ассигнациями в год за составление фельетонов, смеши и т. д. Вдруг Булгарин за что-то прогневался на него и завопил: «Вон Сомыча! Вон его!» И действительно, объявил ему отставку. Лишенный средств к существованию, Сомов предложил свои услуги Дельвигу». Дельви́г издавал альманах «Северные цветы», но сам был очень ленив, беспечен и неспособен входить в практические мелочи дела. Он охотно принял предложение Сомова. «Появление Сомова, – рассказывает племянник Дельвига, – было очень неприятно встречено в обществе Дельвига. Наружность Сомова также была не в его пользу. Вообще постоянно чего-то опасющийся, с красными, точно заплаканными, глазами, он не внушал доверия. Пушкин выговаривал Дельви́гу, что тот приблизил к себе

такого неблагонадежного и мало способного человека. Плетнев и все молодые литераторы были того же мнения. Между тем все ошибались насчет Сомова; Он был самый добродушный человек, всею душою предавшийся Дельвигу и всему его кружку и весьма для него полезный в издании альманаха «Северные цветы» и впоследствии «Литературной газеты». Дельвиг не мог бы сам издавать «Северные цветы», что прежде исполнялось книгопродавцом Олениным, а тем менее «Литературную газету». Вскоре однако же все переменяли мнение о Сомове. Он сделался ежедневным посетителем Дельвига или за обедом, или по вечерам. Все его общество очень любило Сомова. Только Пушкин продолжал обращаться с ним с некоторою надменностью».

Борис Михайлович Федоров
(1794–1875)

Поэт, драматург, беллетрист, детский писатель, публицист, критик – во всем глубоко бездарный. В начале двадцатых годов служил секретарем при директоре департамента духовных дел А. И. Тургеневе, затем был теат-

ральным цензором, позже помощником заведующего картинами в Эрмитаже. Литературную его деятельность Белинский характеризует так: «Никто не доставлял в своих сочинениях так много торжеств добродетели, никто столько раз не казнил в них порока, как доблестный Б. М. Федоров; он делал то и другое по крайней мере тысячу раз, – и если свет не сделался лучше, то уже, конечно, не от недостатка деятельности сего сочинителя, а оттого, что свет был чрезвычайно испорчен прежде, нежели сочинитель сей начал действовать».

В 1828 г., в единственной вышедшей книге своего журнала «С.-Петербургский зритель» Федоров поместил разбор четвертой и пятой глав «Онегина». Об этом разборе Пушкин писал: «Г-н Б. Федоров, разбирая довольно благосклонно четвертую и пятую главы «Онегина», заметил однако ж мне, что в описании осени несколько стихов сряду начинаются у меня частицею уж, что и называл он ужами, а что в риторике зовется единоначатием. Осудил он также слово «корова» и выговаривал мне за то, что я барышень благородных

и, вероятно, чиновных, назвал девчонками (что, конечно, неучтиво), между тем как простую деревенскую девку называл девою. В избушке, распевая, дева прядет...» По поводу того же разбора Вяземский писал А. Тургеневу: «Твой Федоров в своем журнале критикует Пушкина, а пуще всего требует от него нравственности. После того встретились они у меня, и Пушкин насмешил меня с ним: «Отчего не описываете вы картин семейного счастья?» и тому подобное говорил ему нравоучитель, а тот отвечал ему по-своему».

Пушкин издевался над Федоровым, но в конце двадцатых годов виделся с ним нередко; по агентурным сведениям, Федоров был одним из наиболее частых посетителей Пушкина в гостинице Демута, где в то время жил Пушкин. Однажды, весной 1828 г. Пушкин гулял в Летнем саду с Вяземским и Плетневым. Повстречался им Федоров, и на прогулку выходивший с имевшимся у него орденом. Пушкин взял его под руку.

– Походите с нами.

Сказал, насмешливо указывая на орден:

– Вы здесь гуляете в качестве чиновника, а

не в качестве наблюдателя и поэта.

И еще сказал:

– У меня нет детей, а все выблядки. Не присылайте мне вашего журнала. (Федоров в это время издавал детский журнал «Новая детская библиотека».)

О Федорове – эпиграмма Дельвига или Соболевского:

*Федорова Борьки
Мадригалы горьки,
Эпиграммы сладки,
А доносы гадки.*

Артисты и художники

Михаил Иванович Глинка (1804–1857)

Гениальный композитор, творец русской оперы. Сын состоятельного смоленского помещика, капитана в отставке. Детство провел в деревне. Учился в петербургском Благородном пансионе, где товарищами его были Соболевский, Лев Пушкин, Н. Мельгунов. Окончил курс в 1822 г. Брал у специалистов уроки музыки. С 18 лет принялся сочинять, –

«писал ощупью», как выражался сам Глинка. Теории композиции он еще не изучал. Романы его начинали пользоваться популярностью. В 1828 г. Глинка через М. Л. Яковлева познакомился с Дельвигом, стал посетителем его литературных вечеров, часто встречался там с Пушкиным; импровизировал, играл на фортепиано, пел, приводя всех в восторг. В 1830 г. уехал за границу; в Берлине занимался теорией композиции у известного теоретика Дена, в Италии учился пению. Вернулся в Россию в 1834 г. и принялся за писание оперы. Сюжет – об Иване Сусанине – дал Жуковский, хотел даже сам писать либретто, но за недосугом передал барону Е. Ф. Розену. Вскоре Глинка познакомился с молоденькой девушкой редкой красоты, Марьей Петровной Ивановой, влюбился в нее и женился. Любовь, счастливая семейная жизнь благоприятно действовали на его вдохновение, он работал с большой интенсивностью, и в 1836 г. опера «Жизнь за царя» была готова. 27 ноября 1836 г. было первое представление, опера имела блистательный успех. Автор был позван в императорскую ложу, царь благодарил его, по-

жаловал ему дорогой перстень. В середине декабря Глинку чествовали на интимном обеде у А. В. Всеволожского, где Пушкин, Вяземский, Жуковский и граф Виельгорский общими усилиями сочинили песенку в честь Глинки, которую тут же положили на музыку Глинка и князь Одоевский. Куплет Пушкина:

*Пой в восторге, русский хор,
Вышла новая новинка.
Веселися, Русь! Наш Глинка
Уж не глина, а фарфор!*

Глинка был назначен капельмейстером придворной певческой капеллы, с хорошим жалованьем, с прекрасной казенной квартирой. Слава, успех, материальное благополучие. Но в семейной жизни его было очень неблагоприятно. Глинка не разглядел в жене своей того, что друзья его видели в ней с самого начала, – глупости, некультурности и глубочайшего мещанства. «После пресыщения материальным счастьем сожития с молоденькою женою, – рассказывает Ю. К. Арнольд, – стала все больше выясняться дисгармония между их натурами». Для Марьи Петровны наряды, балы, экипажи, лошади, ли-

вреи были все. Музыкой она совершенно не интересовалась; проживая в год до десяти тысяч рублей, жаловалась, что муж ее много денег тратит на нотную бумагу. Требовала, чтоб у них была четверка лошадей, отказывалась ездить на паре и кричала мужу:

– Разве я купчиха, чтоб ездить на паре?

Пользовалась каретой и четверкой лошадей, а муж должен был ходить пешком или ездить на дрянном извозчике. Кукольник писал в дневнике: «Миша бедный! Горько ему дома, и нет семейного счастья... Какая она ему жена? И что она из него сделала? Этого милого, чудесного ребенка надо беречь и лелеять, а она его злит и поминутно раздражает». Глинка стал пропадать из дому и целые дни проводить у Кукольника, с которым сближался все больше. Около этого времени он стал писать «Руслана и Людмилу» – гениальнейшую из русских опер, мыслей, эмоций и мелодий которой хватило бы оперы на четыре обычных. В незабываемую заслугу Кукольнику надо поставить, что он все время упорно и энергично поддерживал Глинку в его работе над «Русланом», ободрял его, рассеивал со-

мнения и колебания. Кукольник был человек музыкально одаренный, с тонким слухом и вкусом, хорошо посвященный даже в «сухие таинства контрапункта», и в этом отношении общение с ним было для Глинки полезно. Но он же все сильнее втягивал Глинку в пьяную, беспутную жизнь, которую вел он сам и группировавшийся вокруг него кружок литературной и артистической богемы – так называемая «братия». Ю. К. Арнольд пишет: «Я не боюсь указать на «братию», а прежде всего на братьев Кукольников, как на тех, которые расстраивали здоровье Глинки и тем подготавливали преждевременную его кончину; пользуясь его слабохарактерностью, они втянули его в непосильные его слабому телосложению дебоши, которыми тешилась их грубая и мощная натура». В 1839 г. Глинка получил несомненные доказательства неверности жены, разъехался с ней и начал дело о разводе. В этом же году он отказался от должности капельмейстера придворной капеллы. Работал над «Русланом», беспутничал в кукольниковской компании, пил коньяк, как воду. Увлекался некоторое время Екатериной Ермо-

лаевой Керн, дочерью А. П. Керн.

Осенью 1842 г. «Руслан» был поставлен на сцене. Успех, однако, был слабый: до понимания грандиозной этой оперы публика еще не доросла. Даже такой тонкий знаток музыки, как граф М. Ю. Виельгорский, считал оперу неудавшейся, а великий князь Михаил Павлович очень удивлялся, что Лист считает Глинку гениальным композитором, и уверял его, что он провинившихся офицеров вместо гауптвахты посылает в театр слушать оперу Глинки. Вскоре в Петербурге водворилась итальянская опера, а русская была изгнана со сцены. Все это было большим ударом для Глинки и имело очень неблагоприятное влияние на его дальнейшую композиторскую деятельность. В 1844 г. Глинка уехал за границу. Жил в Париже, Испании. Возвращался в Россию, жил в Петербурге, Варшаве, Смоленске. Умер в Берлине.

Глинка был очень небольшого роста, в молодости худощав; бледно-смуглое, серьезное лицо было окаймлено узкими, черными как смоль бакенбардами; волосы черные, невьющиеся, на правой стороне лба – несокруши-

мый вихор, бородавка на левом виске. Голову держал немного назад, а грудь выпячивал вперед; эта характерная для Глинки петушинная поза метко схвачена в многочисленных карикатурах Степанова. Ходил Глинка, слегка приподнимаясь на носки, движения были резкие, как бы судорожные. Одевался просто, но опрятно, всегда был застегнут на все пуговицы. Был он очень болезнен, постоянно хворал, лечился то у аллопатов, то у гомеопатов; врачи находили у него «целую кадрили болезней»; страдал, между прочим, сифилисом и последствиями алкоголизма, под конец жизни обрюзг и сильно растолстел. Был крайне нервен, с легко меняющимися настроениями, сам он за свою нервную чувствительность называл себя мимозой. Музыка была его душа. Так сам Глинка говорил про себя. Он принадлежал к тому роду гениальных натур, которые совершенно не способны жить во все стороны, брать жизнь во всем разнообразии ее проявлений, подобно Гете или Толстому. Глинка весь жил в музыке и творчестве, реальная жизнь проходила перед ним нереальными тенями, вне музыки ничего его не за-

хватывало сколько-нибудь глубоко, ничего серьезно не интересовало. Симпатии его тяготеги только к людям, понимавшим музыку. Этим, вероятно, объясняется, что Глинка не сошелся с Пушкиным, как известно, в музыке понимавшим очень мало, и дружил с Кукольниковом, большим знатоком музыки. К общественным вопросам он был глубоко равнодушен. «Калоши, зонтики и политику посетители должны были оставлять за дверями», – пишет про него один современник. Жизнь его прошла серо и неинтересно. В мелочах жизни был он совершенно беспомощен, нуждался в заботливом уходе. Его старик-слуга Яков Ульяныч заведывал всем его хозяйством, сам Глинка ничего не знал о своем платье, белье, обуви, деньги тоже были у Ульяныча; уезжая со двора, Глинка брал у него несколько мелкой монеты. Настоящей, глубокой и одухотворенной любви к женщине он не знал, увлечения были чисто физиологические. В России и за границей он обыкновенно заводил себе для постельных надобностей временных любовниц. В таком, например, роде: летом 1848 г., в Варшаве, «мне приглянулась в одной ко-

фейне, – рассказывает Глинка, – статная и довольно миловидная девушка по имени Анжела. Я сманил ее к себе, и она жила у меня в качестве хозяйки. Так как она была ловка, весела и расторопна, то жилось очень хорошо». Единственное более глубокое увлечение Екатериной Ермолаевной Керн как-то очень быстро погасло вследствие незначительнейших недоразумений.

Помимо композиторского и исполнительского на фортепиано дара Глинка был еще замечательный певец, и это было тем более замечательно, что голос у него был плоховатый и слабый, – сиплый, несколько в нос и неопределенный, – ни тенор, ни баритон. П. М. Ковалевский пишет:

«Носовой разбитый тенор Глинки, за который его не взяли бы и в хористы, рассыпал такие чары выражения, после которых самые сладкозвучные певцы не смели петь того, что им было спето. Хотя ария «Любви роскошная звезда» (из «Руслана») писана для женского голоса, но после Глинки невозможно было ее слушать, какая бы певица ни пела».

В песне из нескольких куплетов с одной и

той же музыкой Глинка пел так, что казалось, будто к каждому куплету музыка совсем другая. Совершенно исключительную силу экспрессии в пении Глинки с изумлением и восторгом отмечают такие знатоки, как музыкальный критик В. В. Стасов и композитор А. Н. Серов.

Карл Павлович Брюллов (1799–1852)

Рожденный Брюлло (Brulleau), сын онемечившегося француза – скульптора и живописца-миниатюриста. С малых лет выказал исключительные способности к рисованию, блестяще окончил Академию художеств, в 1822 г. послан для усовершенствования за границу; при этом, по высочайшему повелению, его фамилия «Брюлло» была изменена на «Брюллов». Пробыл за границей, преимущественно в Италии, до 1835 г. В 1833 г. выставил в Риме картину «Последний день Помпеи». В настоящее время знаменитая картина эта мало кого способна удовлетворить – при внешней эффектности, она мелодраматична и лишена жизни, ни в лицах, ни в движениях совершенно не чувствуется подлинного ужа-

са нагрянувшей гибели: актеры старательно, но без особого вдохновения изображают охваченных страхом людей. Однако в свое время картина произвела на всех впечатление колоссальное. Вальтер Скотт назвал ее «эпопеей», Торвальдсен был от нее в восторге. Газеты ставили Брюллова на одну доску с Микеланджело и Рафаэлем, он стал самым популярным человеком в Италии. На улицах встречные снимали перед ним шляпы, в театре при его входе зрители, прерывая представление, приветствовали его рукоплесканиями, в честь его устраивались празднества и процессии. Осенью 1834 г. картина была выставлена в Петербурге и вызвала также общий восторг. Пушкин посвятил картине (неоконченное) стихотворение «Везувий зев открыл...». Гоголь признал картину «одним из ярких явлений XIX в.», «светлым воскресением живописи, пребывавшей долгое время в каком-то полумлетаргическом состоянии».

В конце 1835 г. Брюллов через Грецию и Константинополь воротился в Россию. Приехал в Москву. Встретила его Москва подлинной Москвой. Брюллов остановился в гости-

нице и сейчас же отправился к товарищу своему по академии, художнику Дурнову. Тем временем богач и меценат А. А. Перовский, — он же писатель Антоний Погорельский, — приехал в гостиницу, забрал, без ведома Брюллова, все его вещи и собственноручно перевез их к себе на квартиру в доме Олсуфьева на Тверской. Брюллов согласился жить у него и договорился за хорошую цену написать портреты Перовского, его сестры графини Толстой и сына ее графа А. К. Толстого (будущего известного поэта). Брюллов энергично взялся за работу. Написал превосходный портрет молодого Толстого, начал портрет самого Перовского, набросал эскиз давно задуманной картины «Нашествие Гензериха в Рим». Москва устроила Брюллову торжественный обед, известный певец Лавров пел на нем экспромт Баратынского:

*Принес ты мирные трофеи
С собой в отеческую сень, —
И был последний день Помпеи
Для русской кисти первый день!*

Обед следовал за обедом. Брюллов все больше стал манкировать работой, пропадал

у приятелей, кутил, у него все время толклись друзья-художники: Тропинин, Витали, Дурнов и другу Перовскому это очень не нравилось, он велел отказывать гостям, спрашивавшим Брюллова. Брюллов узнал об этом и сбежал от Перовского, оставив у него свои чемоданы, не захватив даже белья. Поселился у скульптора Витали. Витали съездил к Перовскому и забрал чемоданы Брюллова. Пушкин впоследствии писал жене: «Перовский его было заперел; перевез к себе, запер под ключ и заставил работать. Брюллов насилу от него уехал». На одном из обедов познакомился с Брюлловым приятель Пушкина П. В. Нащокин и писал Пушкину: «Уже давно, т. е. так давно, что даже не помню, не встречал я такого ловкого, образованного и умного человека. Тебя, т. е. творение, он понимает и удивляется равнодушию русских относительно к тебе. Очень желает с тобою познакомиться и просил у меня к тебе рекомендательного письма. Каково тебе покажется! Знать, его хорошо у нас приняли, что он боялся к тебе быть, не упредив тебя. Извинить его можно, он заметил вообще здесь большое чинопочитание,

сам же он чину мелкого, даже не коллежский асессор. Что он гений, это нам нипочем, в Москве гений не диковинка; не знаю как у вас. Их у нас столько, сколько в Питере весною разносчиков с мессинскими апельсинами... Италию он боготворит».

В начале мая в Москву приехал Пушкин и сейчас же посетил Брюллова в мастерской Витали. Ему Брюллов тоже очень понравился. Брюллов жаловался на хандру, выражал боязнь перед русским холодом «и прочим», недовольство свое Москвой, желание уехать в Италию. Пушкин предложил Брюллову сюжет из жизни Петра Великого, но Брюллов объяснил ему им самим избранный сюжет из жизни Петра и объяснил, – рассказывает современник, – так, что просто написал картину словами. Пушкин был поражен огненной речью художника. Они, по-видимому, виделись не раз. Пушкин сказал Брюллову:

– У меня, брат, такая красавица-жена, что будешь стоять на коленях и просить снять с нее портрет.

Был Пушкин, между прочим, и у Перовского. Перовский показывал ему неоконченные

работы Брюллова, его эскиз взятия Рима Ген-
зерихом и приговаривал:

– Заметь, как прекрасно подлец этот нари-
совал этого всадника, мошенник этакой! Как
он умел, эта свинья, выразить свою каналь-
скую, гениальную мысль, мерзавец он, бес-
тия! Как нарисовал он эту группу, пьяница
он!

В конце мая Брюллов приехал в Петербург,
где ему опять было устроено торжественное
чествование. Он много в Петербурге работал.
Между прочим, написал для петропавлов-
ской лютеранской церкви картину «Распя-
тие». Глядя на картину, бывший учитель
Брюллова проф. Егоров воскликнул:

– Карл, ты кистью Бога хвалишь!

На выставке около картины были постав-
лены часовые для предупреждения тесноты
от толпы. Это вызвало негодующее стихотво-
рение Пушкина «Мирская власть»:

*К чему, скажите мне, хранитель-
ная стража?*

*Или распятие казенная поклажа,
И вы боитесь воров или мышей?
Иль мните важности придают*

царю царей?..
Иль опасаетесь, чтоб чернь не
оскорбила
Того, чья казнь весь род Адамов
искупила,
И, чтоб не потеснить гуляющих
господ,
Пускать не велено сюда простой
народ! [273]

Пушкин в это время, по-видимому, нередко виделся с Брюлловым. Однажды осенью, вечером, Пушкин пришел к Брюллову и звал к себе ужинать. Брюллов был не в духе, не хотел идти и долго отнекивался, но Пушкин его переупрямил и утащил с собой. Дети его уже спали. Он их будил и выносил к Брюллову поодиночке на руках. Это не шло к нему, было грустно и рисовало перед Брюлловым картину натянутого семейного счастья. Брюллов не утерпел и спросил:

– На кой черт ты женился?

Пушкин ответил:

– Я хотел ехать за границу, а меня не пустили, я попал в такое положение, что не знал, что делать, и женился.

В последний раз Пушкин виделся с Брюл-

ловым 25 января 1837 г. за два дня до дуэли. Он и Жуковский приехали в его мастерскую. Брюллов стал показывать им свои рисунки. «Весело было смотреть, как они любовались и восхищались этими рисунками, – рассказывает один из учеников Брюллова. – Но когда он показал им недавно оконченный рисунок «Съезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне», то восторг их выразился криком и смехом. Да и можно ли глядеть без смеха на этот прелестный, забавный рисунок? Смирнский полицмейстер, спящий посреди улицы на ковре и подушке, такая комическая фигура, что на нее нельзя глядеть равнодушно. Позади него за подушкой, в тени, видны двое полицейских стражей: один сидит на корточках, другой лежит, упершись локтями в подбородок и болтая босыми ногами, обнаженными выше колен; эти ноги, как две кочерги, принадлежащие тощей фигуре стража, еще более выдвигают полноту и округлость форм спящего полицмейстера, который, будучи изображен в ракурс, кажется оттого толще и шире. Пушкин не мог расстаться с этим рисунком, хохотал до слез и просил Брюллова

подарить ему это сокровище; но рисунок принадлежал уже княгине Салтыковой, и Карл Павлович, уверяя его, что не может отдать, обещал нарисовать ему другой. Пушкин был безутешен; он, с рисунком в руках, стал перед Брюлловым на колени и начал умолять его: «Отдай, голубчик! Ведь другого ты не нарисуешь для меня; отдай мне этот». Не отдал Брюллов рисунка, а обещал нарисовать другой».

Через четыре дня Пушкин лежал в гробу.

Брюллов прожил в Петербурге до 1849 г. Много работал и как художник и как профессор Академии, в которую был назначен немедленно по приезде. Сошелся с композитором Глинкой и писателем Кукольников. Они были неразлучны, и все трое пили жестоко. Брюллов был невысокого роста, коротконогий; чтоб казаться выше, носил высокие каблуки; на плотном туловище с выступавшим брюшком сидела прекрасная античная голова, напоминавшая голову Аполлона Бельведерского; Брюллов и прическу себе делал, как у Аполлона. Много читал, был образован, говорил остроумно и ярко. О Рембрандте, на-

пример, отзывался, что он «похитил солнечный луч»; об одной англичанке-портретистке: «Талант есть, но в портретах ее нет костей: одно мясо». О ком-то выразился: «Он очень слезлив, но когда и плачет, то кажется, что из глаз слюнки текут». По поводу заказанной ему Николаем картины «Осада Пскова» с раздражением говорил: «Ну, что я поделаю с этими русскими дураками в армяках? Только на колени могу их поставить!» Поправляя этюд ученика, Брюллов в нескольких местах чуть тронул его, и плохой, мертвый этюд вдруг ожил. «Вот чуть-чуть тронули, и все изменилось», – сказал ученик. «Искусство начинается там, где начинается чуть-чуть», – ответил Брюллов. Любил показывать свою силу и крепость. В веселые минуты изумлял звукоподражательной и мимической способностями. Например, представлял целый фейерверк с ракетами, рассыпающимися звездочками, римскими свечами, бураками и фонтанами; изображал движениями лица восхождение солнца, закрытие его тучами, потом гром и молнию и доводил собеседников до истерического хохота. Был скупенек, к концу жизни

накопил большой капитал. Своих знакомых, даже таких, как Глинка и Пушкин, норовил принимать по утрам, так как вечером нужно было хоть чай подать. Ученику своему Михайлову поручил сделать заказанную ему самому копию с Доменикино, деньги получил, но Михайлову ничего не дал и сказал:

– Ты, Гриша, пропьешь.

Выражался цинично. Уже сильно поживший, обрюзгший от пьянства и сифилиса, женился на хорошенькой восемнадцатилетней немке. Знакома сестру свою с невестой, говорил:

– Посмотри, сестра, что это за прелесть! Совершенный идеальчик. Только этот идеальчик надо поскорее под одеяльчик.

В 1849 г. Брюллов уехал лечиться на о. Мадеру. Умер в Италии, в местечке Марчиано около Рима.

Василий Андреевич Тропинин (1776–1857)

Один из самых выдающихся русских портретистов первой половины XIX в. Был крепостным графа Ир. Ив. Моркова, суворовского генерала. По уверению известного генеалога

князя П. В. Долгорукова, генерал этот имел «благороднейшее сердце, характер прямой, бескорыстный и был истинным витязем без страха и упрека». Тропинин с детства обнаружил блестящие способности к рисованию. Друзья генерала советовали ему послать мальчика учиться. Генерал и послал его в Петербург, но учиться – кондитерскому ремеслу. Позднее, однако, определил его посторонним учеником в Академию художеств. Там Тропинин быстро выдвинулся, получил золотую медаль, выставленная им картина понравилась президенту Академии и императрице. Тогда граф Морков поспешил вызвать Тропинина к себе в могилевскую деревню. В деревне Тропинин писал портреты и образа, учил живописи графских детей, расписывал кареты и заборы; однако во время обеда должен был стоять в качестве лакея за стулом графа. У того же графа Моркова был другой крепостной, блестяще начавший врачебную карьеру, – барин тоже возвратил его в положение дворового, он спился. Тропинин был стойче; при самых неблагоприятных условиях он продолжал упорно работать. Многие ходатайствова-

ли перед графом об освобождении Тропинина, но граф упрямо отказывал. Только в 1823 г., когда Тропинину было уже 47 лет, он наконец получил свободу, но личную, – сын его оставался крепостным. В 1824 г. Тропинин приехал в Петербург и получил звание академика. Петербург, однако, ему не понравился, и он переселился в Москву, где безвыездно прожил остальную жизнь. Скоро он стал самым видным московским портретистом. Брюллов, гостивший в Москве в 1836 г., очень высоко ценил Тропинина, отказывался писать портреты москвичей и говорил: «У вас есть собственный превосходный художник».

Крепостная неволя наложила на Тропинина пожизненную печать. Был он терпелив, безропотен и удивительно скромнен; не любил подписывать своих произведений, считая это «дерзким», и делал это лишь по настойчивой просьбе заказчиков. Вместе с тем был очень упорен и колоссально трудолюбив. И через всю жизнь пронес ясное благодушие. Жил он в небольшой квартире на Ленивке со старухой-женой. Художник П. П. Соколов описывает свое посещение Тропинина. Прошедши без

доклада две комнаты, он увидел в третьей супругов Тропининых: они сидели на корточках перед большим тазом; в тазу кишмя-кишели тараканы. Старик и старуха сыпали туда какую-то кашу и сосредоточенно наблюдали, как тараканы ели. Тропинин без всякого смущения повернул голову в сторону гостя и добродушно улыбнулся. И объяснил гостю свое занятие:

– Мы, знаете, со старухой давно соблюдаем этот старинный обычай. Насекомое безобидное, а имеет все же влияние на судьбу человека: где оно водится, там деньги и счастье тоже не переводятся. А умное насекомое таракан! Как восемь часов, так и собираются к нам в эту самую комнату, как по сигналу; надеются, напьются, и на покой, и не видать их больше до следующего утра, не беспокоят.

В 1855 г. умерла жена Тропинина. Эта смерть подкосила его силы. Он съехал с квартиры, где прожил долгую дружную жизнь со своей старухой. В новом собственном его домике в Замоскворечье на Полянке сын старался создать ему уют, заполнил комнаты цветами и канарейками, но ничего не могло

рассеять старика. Через два года он умер.

Друг Пушкина Соболевский был недоволен прилизанными и припомаженными портретами Пушкина, какие тогда появлялись. Ему хотелось сохранить изображение Пушкина, каким он бывал обыкновенно, и заказал Тропинину написать Пушкина в домашнем халате, растрепанного, с известным перстнем на большом пальце и с длинным ногтем. Рассказывают, что по этому ногтю Тропинин заключил, что Пушкин масон, и сделал ему условный знак; Пушкин на знак не ответил и погрозил Тропинину пальцем.

Тропининский портрет Пушкина имеет свою историю, сложную и до сих пор не выясненную. По-видимому, дело произошло так. Портрет долго висел в великолепной золотой раме у Соболевского. Выезжая в 1836 г. за границу, Соболевский оставил портрет вместе со своей библиотекой И. В. Киреевскому. Киреевский, сдавая свой дом внаймы, передал библиотеку и портрет Шевыреву. У кого-то из них крепостной живописец выпросил портрет для снятия копии и возвратил не портрет, а копию. В 50-х гг. подлинный портрет посту-

пил в продажу в лавке менялы Волкова, и его купил князь М. А. Оболенский, директор архива министерства иностранных дел. Тропинин приходил смотреть портрет и засвидетельствовал его подлинность. В 1909 г. портрет был приобретен Третьяковской галереей, где теперь и находится.

Орест Адамович Кипренский (1783–1836)

Первоклассный русский портретист. Сын крепостного человека Адама Швальбе. Крещен в местечке Копорье Ораниенбаумского уезда, откуда получил прозвище Копорский, потом измененное в фамилию Кипренский. С детства обнаружил исключительные способности к рисованию; его хозяин, бригадир Диаконов, отпустил мальчика на волю и определил в Академию художеств. Кипренский блестяще кончил курс, получил золотую медаль, в 1812г. произведен в академики. В 1816 г. уехал для усовершенствования за границу, где пробыл семь лет. В Италии он быстро выдвинулся. Между прочим, он представил в неаполитанскую академию два портрета своего отца и римской девочки. Академики

пришли в негодование, что иностранец пытается обмануть их, приписав себе картины знаменитых мастеров: портрет отца Кипренского они признали одним из неизвестных портретов кисти Рубенса, другой портрет – работой старого итальянского мастера, и Кипренскому пришлось доказывать, что эти картины писаны им. Вскоре Кипренский приобрел своими портретами такую известность в Италии, что его автопортрет был помещен во флорентийской галерее Уффици, в знаменитом зале портретов выдающихся художников. Во время писания картины «Пляска вакханки с сатиром» Кипренский нашел для модели молоденькой вакханки одну бедную девочку по имени Мариучча, дочь женщины подозрительного поведения; он несколько раз откупал у матери девочку, наконец вырвал ее окончательно формальным актом и поместил ее для получения образования в одно из римских женских учебных заведений. В 1823 г. Кипренский воротился в Петербург, прожил там пять лет и в 1828 г. снова уехал в Италию, куда его влекла любовь к Мариучче. В 1836 г. он женился на ней, но через три ме-

сяца умер. Кипренский не знал оседлости и не имел постоянной квартиры; его картины, материалы и вещи были рассеяны повсюду, где случалось ему жить. Он был среднего роста, довольно строен и пригож, но еще более любил «делать себя красивым»: рядился, завивался, даже румянился; учился петь и играть на гитаре, хотя пел очень плохо. Женщин страстно любил до конца жизни. Один застенчивый приятель сознался ему, что боится женщин. Кипренский ответил:

– Да, правда, беда с ними познакомиться, кто не Кипренский.

Кисти Кипренского принадлежит один из самых известных портретов Пушкина (писан в 1827 г.). Наружность Пушкина прикрашена, что отметил и сам Пушкин в неоконченном стихотворении, обращенном к Кипренскому:

*Любимец моды легкокрылой,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых муз, –
И я смеюсь над могилой,
Ушед навек от смертных уз.*

*Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит:
Оно гласит, что не унижу
Пристрастья важных аонид.
Как Риму, Дрездену, Парижу
Известен впрямь мой будет вид.*

**Андрей Петрович Есаулов
(?–?)**

Побочный сын помещика Есаулова. Талантливый композитор. Служил в полках капельмейстером, был человек капризный и неуживчивый. Ссорясь с начальством, переходил из полка в полк, наконец, без места и без средств к жизни, в 1832–1833 гг. явился в Москву к Нащокину. Нащокин его приютил и способствовал определению в театральный оркестр в Петербурге. Однако Есаулов вскоре и оттуда ушел. Весной 1834 г. Пушкин писал Нащокину: «Андрей Петрович (Есаулов) в ужасном положении. Он умирал с голоду и сходил с ума. Соболевский и я помогали ему деньгами – скупно, увещаниями – щедро. Теперь думаю отправить его в полк капельмейстером. Он художник в душе и привычках, т. е. беспечен, нерешителен, ленив, горд и лег-

комыслен; предпочитает всему независимость. Но ведь и нищий независимее поденщика. Я ему ставлю в пример немецких гениев, преодолевших столько горя, дабы добиться славы и куска хлеба». Пушкин познакомился с Есауловым еще до женитьбы, в Москве; летом 1831г. из Царского Села передавал ему через Нащокина поклон, усиленно просил Нащокина выслать ему второе исправленное издание какого-то есауловского романса: «...мы бы его в моду пустили между фрейлинами». Анненков сообщает: «Замечательным способностям Есаулова отдают справедливость все знавшие его коротко. Пушкин принимал в нем живейшее участие, и мы думаем, что он для Есаулова начал свою «Русалку». Он хотел вывести в люди неизвестного композитора». Есаулов написал несколько романсов на слова Пушкина, но из светских его композиций до нас ничего не дошло. Дошли только духовные сочинения «Свете тихий», «Херувимская» и др.

Василий Андреевич Каратыгин
(1802–1853)

Выдающийся трагический актер первой половины XIX в. Сначала играл в «классической» трагедии, потом романтических драмах, наконец перешел к Шекспиру. По силе игры уступал гениальному своему современнику Мочалову, но превосходил его выдержанностью и совершенством техники. Герцен пишет о Каратыгине: «Этот лейб-гвардейский трагик был далеко не безталанен, но у него все было до того заучено, выштудировано и приведено в строй, что он по темпам закипал страстью, знал церемониальный марш отчаяния и, правильно убивши кого надобно, мастерски делал на погребение. Каратыгин удивительно шел николаевскому времени и военной столице его».

Два раза Каратыгин пытался выступить в драматических произведениях Пушкина. В первый раз он хотел сыграть с женой своей Каратыгиной-Колосовой сцену у фонтана из «Бориса Годунова» (Дмитрия и Марины), но Бенкендорф не разрешил постановки. Во второй раз он взял для бенефиса маленькую трагедию Пушкина «Скупой рыцарь», спектакль был назначен на 1 февраля 1837 г. Но как раз

перед этим умер Пушкин, и правительство, боясь «излишнего энтузиазма» публики, запретило уже разрешенную было пьесу. К творчеству Пушкина Каратыгин относился в общем без восторга. По поводу «Полтавы» он в 1829 г. писал Катенину: «Что за стишонки! В разговоре Мазепы с Марией я так и вижу Шаховского: «благОВОЛИЛ помочь», «творец!..» С каким носом остались безусловные хвалители Пушкина! Трубили, кричали, – и гора родила мышь. Она решительно не понравилась, и Пушкин в бешенстве, зовет нас дураками». «Бориса Годунова» Каратыгин находил «галиматъей в шекспировском роде».

Михаил Семенович Щепкин
(1788–1863)

Один из величайших русских актеров-комиков, артист московского театра. Сын дворового-крепостного графов Волькенштейнов. Будучи крепостным, кончил четырехклассное губернское училище в Курске и, с разрешения своих господ, поступил актером сначала в курский, потом в полтавский театр. Там на его талант обратил внимание генерал-губернатор князь Н. Г Репин, по его инициативе

была сделана подписка, и тридцатилетний Щепкин был выкуплен из крепостной зависимости за десять тысяч рублей. Артистическая деятельность Щепкина протекла в Москве. Герцен рассказывает: «Его все любили без ума. Его появление вносило покой, его добродушный упрек останавливал злые споры, его кроткая улыбка любящего старика заставляла улыбаться, его безграничная способность извинять другого, находить облегчающие причины была школой гуманности. И притом он был великий артист, он создал правду на русской сцене, он первый стал нетеатрален на театре». Щепкин был умен и образован, находился в дружбе с Белинским, Герценом, Гоголем, Грановским. Пушкин был с ним знаком, не раз слушал его увлекательные рассказы, убедил его писать записки о своей жизни и собственноручно вписал в тетрадь начальные фразы: «(17 мая 1836 г. Москва). Записки актера Щепкина. Я родился в Курской губернии, Обоянского уезда, в селе Красном, что на речке Пенке...»

**Варвара Николаевна Асенкова
(1817–1841)**

Одна из популярнейших артисток тридцатых годов. С изящными манерами, с приятным голосом, с прекрасной мимикой. Играла роли первых любовниц в драмах, комедиях и водевилях. Особенно была очаровательна в ролях мальчиков. Была прекрасный товарищ, чуждалась театральных сплетен и интриг, отвергала ухаживания поклонников. Один офицер, обозленный ее отказом, бросил в ее карету зажженную шутиху, к счастью, только легко обжегшую руки Асенковой. Умерла от чахотки двадцати четырех лет, в самом начале своего блестящего пути. Сам император Николай пытался удостоить ее своей благосклонностью, очень в те времена для актрисы лестной и выгодной, но Асенкова решительно отвергла и его домогательства. После этого ее стали притеснять в театре, подняли на нее травлю, стали распространять клеветы, что значительно ускорило ее смерть. Гроб Асенковой провожали несметные толпы, похороны получили характер демонстрации, громко назывался главный виновник ее смерти. Некрасов, вспоминая об Асенковой, писал:

Я бескорыстней и светлей
Не видывал созданья.
Блестящ и краток был твой
путь...
Я помню, занавесь взвилась,
Толпа угомонилась,
И ты на сцену в первый раз,
Как светлый день, явилась,
Театр гремел. И дилетант,
И скептик хладнокровный
Твое искусство, твой талант
Почтили данью ровной.
И точно, мало я видал
Красивее головок;
Твой голос ласково звучал,
Твой каждый шаг был ловок;
Дышали милые черты
Счастливым детским смехом.
Но лучше б воротилась ты
Со сцены с неуспехом.
Увы, наивна ты была,
Вступая за кулисы;
Ты благородно поняла
Призвание актрисы.
Ты всех отвергла. Заперлась
Ты феей недоступной
И вся искусству предалась
Душою неподкупной...

Переходя из уст в уста
Коварна и бесчестна,
Крылатым змеем клевета
Носилась повсеместно.
Душа твоя была нежна,
Прекрасна, как и тело;
Клевет не вынесла она,
Врагов не одолела!..
...Твой закат
Был странен и прекрасен:
Горел огнем глубокий взгляд,
Пронзителен и ясен;
Пылали щеки; голос стал
Богаче страстью нежной.
Увы, театр рукоплескал
С тоскою безнадежной!
Сама ты знала свой удел,
Но до конца, как прежде,
Твой голос, погасая, пел
О счастье и надежде.

Пушкин не разделял общего восторга, который вызывала к себе Асенкова. Незадолго до смерти он сидел в Александровском театре рядом с двумя молодыми людьми, восторженно аплодировавшими Асенковой. Пушкин же выказывал полнейшее равнодушие. Молодые люди начали шептаться и довольно громко

сказали:

– Вот дурак!

Пушкин обратился к ним:

– Вы, господа, называли меня дураком. Я – Пушкин и дал бы теперь же каждому из вас по оплеухе, да не хочу: Асенкова подумает, что я ей аплодирую.

Путешествие в Арзрум

1 мая 1829 г. Пушкин выехал из Москвы на Кавказ. Через Орел, Новочеркасск и Владикавказ он по военно-грузинской дороге в конце мая приехал в Тифлис. Получив от Паскевича разрешение посетить действующую армию, он через Карс прибыл 13 июня на фронт и проделал с армией поход, закончившийся 27 июня взятием Арзрума. 21 июля Пушкин выехал из Арзрума обратно в Тифлис, откуда проехал на Минеральные воды и 8 сентября отправился в Россию.

Алексей Петрович Ермолов (1772–1861)

Начал военную службу под начальством Суворова. Известный боевой генерал эпохи войн с Наполеоном. За самостоятельность и

оппозиционное отношение к политике Александра I пользовался большой популярностью среди радикальной части общества и офицерства. Желание удалить его из Петербурга было одной из причин назначения его в 1817 г. главноуправляющим в Грузии и командиром отдельного кавказского корпуса. Когда в 1821 г. ожидалась война с Турцией за освобождение Греции, общественное мнение называло главнокомандующим Ермолова, Рылеев обращался к нему с такими стихами:

*Ермолов, поспеши спасти сынов
Эллады,
Ты, гений северных дружин!..
И, цепи сбросивши невольничьего
страха,
Как феникс молодой,
Воскреснет Греция из праха
И с древней доблестью ударит за
тобой!*

На Кавказе Ермолов значительно продвинул вперед дело завоевания края, действуя с большой жестокостью, присоединил к русским владениям ряд областей, ввел много административных улучшений в управление. В

связи с неожиданным вторжением в русские пределы персидских полчищ, – о возможности чего Ермолов предупреждал Петербург и требовал подкреплений, – Николай, и вообще недовольный Ермоловым за его подозреваемые связи с декабристами, послал, как бы в помощь ему, Паскевича. Получилось двоевластие, совершенно неприемлемое для Ермолова, и в марте 1827 г. он подал в отставку. С тех пор он жил в Москве не у дел, как и многие другие крупные люди, осужденные николаевщиной на бездеятельность, – Мих. Орлов, Чаадаев, – пользуясь огромной популярностью и почетом. Вигель так характеризует его: «Ермолов горд, властолюбив, хитер, иногда жесток и неумолим, но храбр, умен и искусен». У него действительно были черты хитрости, лукавства, была склонность к двойной игре. Пушкин в своем дневнике (1834) называет его «великим шарлатаном», но очень интересовался личностью Ермолова и даже собирался писать его биографию. Отправляясь в 1829 г. на Кавказ, Пушкин сделал двести верст лишних и заехал в Орел специально для того, чтобы увидеть Ермолова. Вот как он его описыва-

ет: «Лицо круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что неестественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен. Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах кабинета висели шашки и кинжалы – памятники его владычества на Кавказе. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит свое бездействие. Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче и всегда язвительно: говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, пред которым стены падали от трубного звука, и называл графа Эриванского – графом Эрихонским». После посещения Пушкина Ермолов писал Денису Давыдову: «Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его и, как можешь себе сообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе чувство, кроме невольного уважения».

В пятидесятых годах Ермолова имел случай встречать в Москве князь В. М. Голицын. В неизданных своих записках он рассказыва-

ет: «Ермолов жил совершенно затворником и никогда почти не появлялся на глазах публики. Москва в нем ценила как героя Отечественной войны и Кавказа, так еще более жертву Петербурга и его высоких сфер, умышленно державших его в стороне от какой-либо активной роли. В то время рассказывали, что приезжавшие в Москву более или менее высокопоставленные военные чины считали долгом своим посетить Ермолова, но делали это потихоньку, украдкой, из опасения, чтобы «там» как-нибудь об этом не узнали. Когда в последний год жизни Николая I, глубоко ненавидевшего Ермолова и его боявшегося, созвано было ополчение, Москва единодушно выбрала его начальником губернской дружины, подчеркнув демонстративный смысл этого избрания, но он отказался по старости лет».

**Иван Федорович Паскевич
(1782–1856)**

Сын полтавского мещанина, разбогатевшего на поставках соли в казну. Боевую службу начал с 1806 г. на турецкой войне, в 1812–1814 гг. участвовал в наполеоновских

войнах. В начале двадцатых годов командовал первой гвардейской пехотной дивизией, бригадами которой командовали великие князья Николай и Михаил Павловичи. С этой поры Паскевич стал любимцем Николая; уже будучи царем, Николай не иначе называл его, как «отец-командир». В 1826 г. Паскевич был членом верховного суда над декабристами. В том же году был послан на Кавказ для командования войсками против персиян совместно с Ермоловым, имея при себе секретный указ – заместить Ермолова, если найдет это нужным. За овладение Эриванью и присоединение к России двух персидских областей получил титул «графа Эриванского» и миллион рублей денег. В 1828–1829 гг. руководил на азиатском фронте военными действиями против турок, занял Арзрум и произведен в генерал-фельдмаршалы. В 1831 г., после смерти Дибича, назначен главнокомандующим войск в Польше. За взятие Варшавы получил титул «светлейшего князя Варшавского» и назначен наместником Царства Польского. В 1849 г. командовал войсками, подавившими венгерское восстание. За это ему было предо-

ставлено право пользоваться воинскими почестями, воздаваемыми императору. В 1854 г. был назначен главнокомандующим армией, действовавшей против турок на Дунае.

Формуляр ослепительный. Подобным формуляром мог похвалиться только еще гениальный Суворов. Лстецы восхваляли и Паскевича как гения. На это отец его, полтавский хохол, лукаво посмеивался в усы и говорил:

– Що гений, то не гений, а що везе, – то везе!

И правда, блистательный формуляр Паскевича прикрывает фигуру ловкого и удачливого карьериста, мало способного и нерешительного военачальника, умевшего писать пышные реляции с приписыванием всех заслуг одному себе. По поводу его легких персидских побед ходила острота, что умному человеку оставалось только действовать похуже Паскевича, чтобы отличиться от него. Победы его над бездарными турецкими военачальниками вызвали насмешливый отзыв Ермолова:

– Пускай нападет он на пашу не умного, не искусного, но только упрямого, – и Паскевич

пропал.

В польскую кампанию, хотя главная польская армия была еще до Паскевича совершенно разбита под Остроленкой, он проявил совершенно исключительную медлительность и осторожность. Крайне нерешительно вел он военные действия и в венгерскую кампанию, что намного удлинило войну. Командование армией, действовавшей против Турции в 1854 г., окончательно выявило бездарность и нерешительность Паскевича, систематически упускавшего все случаи к победе над неприятелем.

Паскевич был очень вспыльчив, очень груб. Из всех достоинств полководца он обладал только одним – личной храбростью. В решительные моменты он совершенно терялся, хватался то за одно, то за другое средство, давал противоречивые и увилистые приказания, которые можно было понять в любом смысле. Доходило до того, что он начинал жаловаться окружающим:

– Нет, я уже чувствую себя неспособным к военному делу. Даже турки начинают меня бить. Если Бог даст мне благополучно кон-

читать это дело, то я удалюсь в свою деревню и буду жить в уединении.

Кончалось тем, что кто-нибудь из подчиненных брал на себя инициативу и действовал. Если дело кончалось успехом, Паскевич приписывал его себе; если была неудача, – он обрушивался на виновника. Мелкосамолюбивый, он окружал себя льстецами-карьеристами, а талантливых помощников терпел только до тех пор, пока они были ему нужны. И всегда был полон ревнивой боязнью, чтоб на них не перешла хоть частица славы. Начальником его штаба в турецкую войну 1829 г. состоял барон Д. Е. Остен-Сакен, дельный и способный генерал. Однажды, при разборе почты, Сакену попала французская газета, в которой писалось, что Паскевич – человек самых обыкновенных способностей, успех же персидской и турецкой кампаний следует приписать искусству его начальника штаба и сосланных на Кавказ декабристов. Сакен не считал возможным скрыть газету от Паскевича и показал ему ее как пример того, до чего доходят завистники главнокомандующего. Паскевич промолчал, но с тех пор отношение его

к Сакену стало холодным и натянутым. В бою под Ахалцыхом, после поражения турок, Паскевич послал Сакена с кавалерией преследовать неприятеля. Кавалерия была сильно истощена боем. Сакен, пройдя верст десять и забрав несколько сотен пленных, вынужден был остановиться и донес Паскевичу, что остановился по невозможности двигаться вперед на изнемогающих лошадях и думает, что выгоднее сохранить кавалерию, чем набрать тысячу или две пленных, составляющих тягость для армии. Паскевич пришел в бешенство, отдал Сакена под суд и велел судить его в двадцать четыре часа. Сакену вынесено было строгое осуждение за небуквальное исполнение приказа главнокомандующего и вялое преследование неприятеля. Он был отрешен от должности начальника штаба и подвергнут домашнему аресту.

Пушкин, получив через Раевского разрешение Паскевича, приехал в действующую армию 13 июня 1829 г. В тот же день, вечером он был представлен Паскевичу. «Я нашел графа дома, – рассказывает Пушкин, – перед bivачным огнем, окруженного своим штабом.

Он был весел и принял меня ласково». И в дальнейшем относился к Пушкину очень ласково. Приказывал ставить на стоянках палатку Пушкина рядом со своей, приглашал обедать, старался держать при себе. Но Пушкин предпочитал общество старых своих товарищей, Раевского и Вольховского, и целыми днями пропадал в их палатках. Кроме того, он вёл знакомство с разжалованными декабристами – графом Зах. Г. Чернышевым, М. И. Пущиным и другими. Все это очень не нравилось Паскевичу. И вообще отношения их ладились плохо.

Упоенный своими победами, Паскевич только о них и говорил. Между тем он имел все основания подозревать, что его помощники рисуют его Пушкину в свете далеко не блистательном. Надежда, что Пушкин станет воспевать его подвиги, слабела все больше. Один современник со слов Вольховского рассказывает, что в Арзруме Паскевич призвал к себе Пушкина и резко объявил:

– Господин Пушкин! Мне вас жаль, жизнь ваша дорога для России; вам здесь делать нечего, а потому я советую немедленно

уехать из армии обратно, и я уже велел приготовить для вас благонадежный конвой.

Пушкин порывисто поклонился, выбежал из палатки и в тот же день уехал.

В Тифлисе он говорил местному журналисту Санконскому: «Ужасно мне надоело вечное хождение на помочах этих опекунов, дядек; мне крайне было жаль расстаться с моими друзьями, но я вынужден был покинуть их. Паскевич надоел мне своими любезностями. Он не понял меня и старался выпроводить из армии». В «Путешествии в Арзрум», напечатанном при жизни Пушкина, он о расставании своем с Паскевичем рассказывает иначе:

«19 июля пришел я проститься с графом Паскевичем. Он предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий, но я спешил в Россию... Граф подарил мне на память турецкую саблю. Она хранится у меня памятником моего странствования вослед блестящего героя по завоеванным пустыням Армении». Этот эпитет в применении к Паскевичу – единственный отклик Пушкина на турецкие подвиги Паскевича. Тайная надежда Паскеви-

ча увидеть себя воспетым в стихах Пушкина не осуществилась.

По поводу смерти Пушкина Паскевич писал в частном письме императору Николаю: «Жаль Пушкина, как литератора, в то время, когда его талант созрел; но человек он был дурной».

Владимир Дмитриевич Вольховский (1798–1841)

Лицейский товарищ Пушкина. О лицейских его годах см. выше. Как знаем, в течение всей школьной жизни он настойчиво и систематически готовил себя к военной деятельности. Окончив курс первым, с большой золотой медалью, Вольховский определился в Гвардейский генеральный штаб. Участвовал в экспедициях в Хиву и Бухару. Был принят Путиным в «Союз благоденствия», но вскоре вышел из него. По делу 14 декабря был арестован, вскоре выпущен на свободу без дальнейших последствий. Однако в знаменитом «Алфавите декабристов», всегда находившихся для справок под рукой у Николая, о Вольховском было сказано: «Из показаний многих членов видно, что Вольховский участвовал в

совещаниях, бывших у Пущина и других членов. Совещания сии заключались в учреждении Думы и в положении стараться изыскивать средства ко введению конституции».

Вольховский был переведен на Кавказ и назначен состоять при генерале Паскевиче. В персидскую войну он участвовал в целом ряде боев, выдвинулся храбростью и распорядительностью, получил Анну 2-й степени с алмазами, был произведен в полковники. Принимал участие в ведении мирных переговоров с Персией и взыскании с нее контрибуции. Министр иностранных дел Нессельроде в официальном отношении обращал внимание Дибича на особенные заслуги Вольховского, «который своим благоразумием и твердостью должен почестся главным виновником блистательного и выгодного для нас мира». В последовавшей турецкой войне Вольховский опять все время находился в боях. При взятии штурмом Карса он с двадцатью гренадерами под картечным огнем овладел одним из угловых бастионов крепости и немедленно обратил неприятельские орудия во фланг трех прилегающих башен. За это де-

ло Вольховский получил Георгиевский крест.

Он занимал в армии пост обер-квартирмейстера. В чем заключались его обязанности и как он их исполнял, мы можем видеть из записок генерала Н. Н. Муравьева. «Во время следования колонн, — рассказывает Муравьев, — заботливостью Вольховского присылались к нам описания дорог, по коим нам идти. Точность сих описаний была разительна, и мы всегда знали наперед о всякой канаве, которая могла остановить движение колонны, и брали заблаговременно меры дляправления дороги; знали, где есть корм подножный, вода, где обозы могли строиться в несколько линий или идти поодиночке; где могла быть в теснине продолжительная остановка, во время коей батальоны могли бы не дожидаться в ружье, а расположиться на привал. Словом, все было придумано и приспособлено к порядливому движению войск». Дело в руках Вольховского кипело. Он обладал железным трудолюбием, добросовестен был до крайности. Дружеское замечание Вольховского действовало на подчиненных сильнее, чем самые грозные распекаания других на-

чальников. К себе Вольховский относился с неумолимой строгостью. Заваленный делами, он положил себе тратить на сон не более шести часов в сутки. Каждый раз, когда ему приходилось от усталости задремать, он эти минуты дремоты вычитал из ночного сна. Был очень скромен, в реляциях совершенно умалчивал о собственных своих заслугах.

Пушкин, приехав в действующую армию, представился Паскевичу. «Здесь, – рассказывает он, – увидел я нашего Вольховского, запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мною, как старый товарищ».

Арзрум был взят. Кампания приходила к концу. Вольховский был уже не нужен Паскевичу. А Паскевич его давно ненавидел. До него дошли слухи, что некоторые из успехов военных действий приписываются Вольховскому. Кроме того, Вольховский был постоянным свидетелем отнюдь не наполеоновского поведения Паскевича в решительные моменты боя. Барон А. Е. Розен по этому поводу замечает в своих «Записках»: «Всегда беда под-

чиненному, который бывает свидетелем промахов тщеславного начальника». Ненависть Паскевича к Вольховскому, равно как и к Остен-Сакену, была так велика, что еще через двадцать лет, когда Вольховский уже умер, Паскевич говорил с яростным сожалением:

– Одну я сделал глупость в жизни, – что на Кавказе не велел повесить Сакена и Вольховского.

Эта ненависть Паскевича, пользовавшегося личной дружбой царя, в связи с отзывом о Вольховском «Алфавита декабристов», преследовала Вольховского всю его жизнь и навсегда подрезала блестяще начатую карьеру дельного и способного человека. Ему пришлось покинуть Кавказ. В 1830 г. он, в распоряжении главнокомандующего в Польше графа Дибича, выдвигается опять как храбрый и способный офицер, за отличие производится в генерал-майоры. Но Дибич умирает, и на его место назначается Паскевич. Вольховский вынужден удалиться от участия в делах. В середине тридцатых годов он состоял начальником штаба отдельного кавказского корпуса, при командующем бароне Е. В. Розене. Опа-

ла, постигшая последнего, отозвалась и на Вольховском. Он был переведен бригадным командиром в Западный край и попал снова под начальство Паскевича, бывшего наместником Польши. Вольховскому пришлось выйти в отставку. Он поселился в харьковском имении своей жены (сестры лицейского его товарища Малиновского) и там прожил до смерти.

Николай Николаевич Муравьев
(Карский)
(1794–1866)

Брат М. Н. Муравьева-Виленского (Вешателя) и религиозного писателя А. Н. Муравьева. С отличием участвовал в войнах 1812–14 гг., затем, под начальством Паскевича, в персидской и турецкой войнах, где отличился при штурме Карса. Когда Пушкин приехал в действующую армию, Муравьев командовал гренадерской дивизией. Был он генерал умный и образованный, но педант до кончика ногтей, в обращении тяжел и неприятен. Строгий к себе, был так же строг и к подчиненным; на награды был скуп, полагая, что исполнение служащим своего долга не есть

что-либо особенное. В педантически строгом исполнении дела не отступал ни перед какими соображениями. Однажды, уже позднее, ему пришлось командовать на красносельских маневрах армией против армии, которой командовал сам император Николай. Муравьев добросовестнейшим образом окружил императора и загнал его в болото. За это Николай долго питал к нему скрытую злобу. В другой раз, будучи кавказским наместником, он получил письмо фрейлины с запросом от имени императрицы Александры Федоровны; Муравьев не счел возможным нарушить порядок и ответил императрице в порядке очереди, заставив ее довольно долго ждать ответа.

Во время одной из лагерных стоянок Пушкин в палатке Раевского стал читать друзьям тогда еще не напечатанного «Бориса Годунова». В числе слушателей был и Муравьев. Во время сцены, когда самозванец признается Марине, что он не настоящий Дмитрий, Муравьев остановил Пушкина:

– Позвольте, Александр Сергеевич! Как же такая неосторожность со стороны самозван-

ца? Ну, а если она его выдаст?

Пушкин с досадой ответил:

– Подождите, увидите, что не выдаст.

После этого объявил решительно, что при Муравьеве ничего больше читать не станет. Когда потом Пушкин собрался читать «Онегина», то поставлены были маховые, чтобы дать знать, если будет идти Муравьев. Когда он появился вдали, дан был сигнал, и все разбежались из палатки Раевского. Муравьев пришел, нашел палатку пустой и воротился к себе. Тогда все собрались опять, и чтение состоялось.

В пятидесятых годах Муравьев был наместником Кавказа и главнокомандующим тамошних войск, в войну 1854–1855 гг. овладел почти неприступным Карсом, за что получил к фамилии прибавку «Карский».

Граф Захар Григорьевич Чернышев (1796–1862)

Декабрист, внук фельдмаршала графа И. Г. Чернышева. Был арестован, будучи ротмистром кавалергардского полка. Деятельного участия в Тайном обществе не принимал, ни на одном из совещаний не присутствовал и в день 14 декабря даже не был в Петербурге.

Но он обладал колоссальным состоянием в двадцать тысяч душ. Его отдаленный родственник, член следственной комиссии по делу декабристов, генерал-адъютант А. И. Чернышев (будущий военный министр), приложил все силы, чтобы обвинить арестованного, рассчитывая стать его наследником. Закатать Захара Чернышева в каторгу ему удалось, но наследства, ввиду отдаленности родства, получить не пришлось. Отбыв каторгу в Нерчинских рудниках, Захар Чернышев в 1829 г. был переведен на Кавказ рядовым в Нижегородский драгунский полк, которым командовал Раевский. Здесь с ним нередко виделся Пушкин. Однажды в палатке брата своего Льва и уланского офицера Юзефовича Пушкин с одушевлением переводил им с английского Шекспира. В чтении Пушкина английское произношение было до того уродливо, что Юзефович заподозрил его знание языка. На следующий день он зазвал к себе в палатку Захара Чернышева, знавшего английский язык, как свой родной, и попросил Пушкина опять почитать им Шекспира. При первых же словах, прочитанных Пушкиным по-

английски, Чернышев расхохотался и спросил:

– Ты скажи прежде, – на каком языке ты читаешь?

Пушкин тоже расхохотался и объяснил, что выучился английскому языку самоучкой, а потому читает английскую грамоту, как латинскую. Но самый перевод его Чернышев нашел совершенно правильным и понимание языка безукоризненным.

В 1830 г. Чернышев был ранен пулей в грудь навывлет, в 1833 г. произведен в офицеры. В 1856 г. амнистирован с восстановлением в прежних правах и с возвращением графского титула.

Василий Дмитриевич Сухоруков 1795–1841)

Историк донского казачества. Донской казак. По окончании Харьковского университета поступил на войсковую службу с чином хорунжего. В Новочеркасске на его познания и трудолюбие обратил внимание будущий военный министр генерал А. И. Чернышев, председатель комитета об устройстве войска донского, и привлек его к работам в

комитете, а также к собиранию материалов для истории и описания войска донского. Сухоруков обследовал большой ряд архивов, сделал до пяти тысяч листов выписок и извлечений из старинных бумаг, извлек множество ценнейших документов, касающихся истории донского казачества. Чернышев взял его с собой в Петербург, перевел в лейб-гвардии казачий полк, зачислил в канцелярию главного штаба и дал возможность продолжать архивные работы в Петербурге и в Москве. По этой работе Сухоруков сблизился с Карамзиным, Калайдовичем, Корниловичем и другими историками, помогал Карамзину материалами по истории Дона. За «прикосновенность к делу о злоумышленном тайном обществе», т. е. к декабристам, Сухоруков был переведен из гвардии на Кавказ в один из донских полков и отдан под секретный надзор. По другим сведениям, ссылка была вызвана его расхождением во взглядах с Чернышевым при составлении положения об управлении донского войска. Все собранные Сухоруковым материалы были у него отобраны. По-видимому, существовало опасение, чтобы

документов о прежних вольностях казачества, отменявшихся новым положением, Сухоруков не использовал для возбуждения неудовольствия среди казаков. На Кавказе Сухорукова как человека образованного и владеющего пером Паскевич прикомандировал к своему штабу для письменных занятий и очень остался доволен его умением составлять пышные реляции. За боевые отличия, – а вернее предположить, просто за эти реляции, – Сухоруков получил Владимирский крест с бантом и золотую саблю с надписью «За храбрость». В Арзруме Пушкин проводил вечера с Сухоруковым, которого он называет «умным и любезным», очень горевал об отобранных у него исторических материалах. По возвращении в Россию Пушкин написал Бенкендорфу письмо с просьбой ходатайствовать перед военным министром Чернышевым о дозволении Сухорукову хотя бы снять копии с отобранных у него исторических материалов, на соби-
рание которых он употребил пять лет и которые необходимы ему для предпринятой им работы по истории донского казачества. Бенкендорф передал Пушкину ответ Чернышева,

что упоминаемые акты собраны Сухоруковым в архивах по приказанию Чернышева, Сухорукову не принадлежат и «что, наконец, граф Чернышев находит со стороны сотника Сухорукова не только неосновательным, но даже дерзким обременять правительство требованием того, что ему не принадлежало и принадлежать не может».

Паскевич поручил Сухорукову написать историю войны 1828–1829 гг. В 1830 г. у Сухорукова был сделан обыск, и Паскевичу пришлось давать объяснения Чернышеву, каким образом у поднадзорного Сухорукова могли оказаться материалы, касающиеся войны. Сухоруков был отправлен в казачий полк, стоявший в Финляндии. Через несколько лет его перевели обратно на Кавказ. В 1836 г. Пушкин обращался к нему с просьбой сотрудничать в «Современнике».

Михаил Иванович Пущин (1800–1869)

Брат лицейского товарища Пушкина, декабриста И. И. Пущина, тоже декабрист. С 1824 г. командовал гвардейским конно-пионерным эскадроном в чине капитана. По делу де-

кабристов, «за то, что знал о приготовлении к мятежу, но не донес», был лишен чинов, дворянства, разжалован в солдаты без выслуги и сослан в Сибирь. Вскоре был переведен на Кавказ. Во время персидской (1827) и последовавшей за ней турецкой (1828–1829) войн выделился исключительными способностями, военными знаниями и храбростью. Паскевич так был им доволен, что прикомандировал к своему штабу и дал полный простор инициативе и энергии Пущина. Получилось положение очень оригинальное: в своей солдатской шинели Пущин переводил генералов и офицеров с их частями с места на место по своему усмотрению; в той же солдатской шинели присутствовал на военных советах у главнокомандующего, где его мнения почти всегда одерживали верх. При штурме Ахалцыха 15 августа 1828 г. Пущин был ранен пулей в грудь навывлет. Однако летом 1829г. он опять уже был на фронте. Пушкин, приехав в армию и представляясь Паскевичу, встретил в его свите Пущина. «Он любим и уважаем, как славный товарищ и храбрый солдат», – записал Пушкин.

По занятии Арзрума Пущин стал проситься у Паскевича в отпуск для лечения раны. Паскевич согласился, но с условием, чтобы он раньше выработал проект укрепления Арзрума. Пущин представил проект, и Паскевич его отпустил; при прощании был очень любезен и сказал Пущину, чтобы он писал ему, если в чем встретится нужда. Перед отъездом Пущин зашел к опальному Остен-Сакену, палатка которого всеми теперь избегалась, как зачумленная. Пробыл там довольно долго, пока Остен-Сакен писал письмо жене. Выходя из палатки, Пущин увидел, что Паскевич изда- лека наблюдает за ним. Злопамятный и мелко-мстительный Паскевич запомнил этот продолжительный визит к его врагу. Пущин облегченно вздохнул, вырвавшись из атмосферы холопства, зависти и предательства, которую создавал вокруг себя главнокомандующий.

Пущин поехал на кавказские минеральные воды. Во Владикавказе его нагнал возвращавшийся из действующей армии Пушкин с офицером Дороховым. Они выехали с «оказией», т. е. с партией путников и обозов, конво-

ировавшихся от нападений горцев отрядом солдат при пушке. Ехали втроем в коляске. Иногда Пушкин садился на казачью лошадь и вскачь уезжал от отряда, ища приключений или встречи с горцами; он рассчитывал, привлеки на себя погоню горцев, навести их на орудие и на конвой, но ни приключений, ни горцев он во всю дорогу не нашел. Беря с собою Пушкина и Дорохова, Пущин поставил им условием: Пушкину – не играть в дороге в карты, драчуну Дорохову – не бить своего денщика. Тяжело было обоим во время привалов и ночлегов: один не смел бить денщика, другой не смел заикнуться о картах. Пушкин несколько раз заговаривал о снятии этого тягостного для него запрета, но Пущин оставался непоколебим. Приехали в Пятигорск. Пушкин хотел здесь отдохнуть несколько дней, Пущин же спешил в Кисловодск и решил выехать на следующий день. Вечером, возвратясь на свою квартиру, Пущин застал Пушкина, упоенно после дорожного запрета игравшего в банк с Дороховым и с каким-то офицером Павловского полка Астафьевым. Выигравшие Астафьев и Пушкин кончили иг-

ру в веселом расположении духа, проигравшийся Дорохов отошел от стола угрюмо. Когда Астафьев ушел, Пущин спросил Пушкина, как очутился у них никому не знакомый Астафьев.

– Очень просто! – ответил Пушкин. – Мы, как ты ушел, послали за картами и начали играть с Дороховым; Астафьев, проходя мимо, зашел познакомиться; мы ему предложили поставить карточку, и оказалось, что он – добрый малый и любит в карты поиграть.

– Как бы я желал, Пушкин, чтобы ты скорее приехал в Кисловодск и дал мне обещание с Астафьевым не играть.

– Нет, брат, дудки! Обещания не даю, Астафьева не боюсь и в Кисловодск приеду скорее, чем ты думаешь.

Однако больше недели не являлся в Кисловодск. Наконец приехал вместе с Дороховым, – оба продувшиеся до копейки. Пушкин проиграл тысячу червонцев, взятых им на дорогу у Раевского. Приехал он в Кисловодск с твердым намерением вести жизнь правильную и много работать. Каждый день он уезжал кататься на лошади Пущина и вскоре

стал пропадать целыми днями. Пуцин ему сказал однажды, что он слишком много гоняет лошадь, которая на подножном корму. Тогда Пушкин сообразил, что ездит он совсем недалеко, в Солдатскую слободку, и играет там с Астафьевым, перебравшимся тоже в Кисловодск.

– Я его теперь бью мелким огнем и каждый день отыгрываю по несколько своих червонцев.

Пуцин ему предсказал, что весь свой выигрыш он в один прекрасный день опять оставит у Астафьева. Так и случилось: через день-другой Пушкин попросил у Пуцина займы пятьдесят червонцев на дорогу...

Когда четырехмесячный отпуск Пуцина приходил к концу, он написал Паскевичу, напомнил его разрешение писать ему и просил продолжить отпуск еще на четыре месяца. Ответа не последовало. Пуцин написал знакомому и просил напомнить о нем Паскевичу. Паскевич ответил:

– По письмам в службе ничего не делается.

Тогда Пуцин послал прошение на высочайшее имя, в Петербурге у него была протек-

ция, и Пущину высочайше был разрешен бес-
срочный отпуск до излечения раны. Одновре-
менно с этим пришел официальный ответ
Паскевича, что он не считает возможным хо-
датайствовать о Пущине как о злоумышлен-
нике 14 декабря. Вскоре Паскевич поехал в
Петербург и по дороге заехал на минераль-
ные воды. Наивный Пущин счел долгом
явиться к Паскевичу, чтобы проститься с че-
ловеком, с которым он так долго работал бок
о бок на фронте и которому был так полезен.
Паскевич на приеме прошел мимо Пущина,
как будто его не заметив. Кончив прием, он
пошел в дальнюю комнату. Пущин последо-
вал за ним, чтобы выяснить, за что гневается
на него фельдмаршал. Паскевич стоял перед
зеркалом, распечатывая пакеты. Он в зеркале
видел стоявшего у двери Пущина, но не обер-
нулся. Однако в том же зеркале прекрасно
увидел шедшего к нему по анфиладе комнат
князя Яшвиля и мимо Пущина приветливо
пошел ему навстречу. Так Пущину и не уда-
лось объясниться с Паскевичем. Он поехал в
Россию. В Егорлыке его неожиданно задержа-
ли, чтобы отбыть карантин. Карантину под-

вергались лица, ехавшие из Тифлиса, а не из Минеральных вод. Оказалось, проехавший Паскевич дал специальный приказ задержать в карантине Пущина. Так отозвалось на Пущине его посещение в Арзруме опального Остен-Сакена.

По окончании войны Пущин был произведен в поручики. В 1831 г. он оставил Кавказ и военную службу. Впоследствии находился на службе гражданской. В 1865 г. переименован в генерал-майоры и умер комендантом Бобруйской крепости.

Руфин Иванович Дорохов (1801–1852)

Сын известного партизана двенадцатого года, генерала И. С. Дорохова. Воспитывался в Пажеском корпусе, в 1819 г. был выпущен прапорщиком в учебный карабинерный полк в Петербурге. Был человек буйный и несдержанный до дикости. Однажды в театре он поссорился с каким-то статским советником за то, что тот в антракте занял на балконе ненумерованное место, которое перед тем занимал Дорохов. Дорохов «сел статскому советнику на плечи и хлестал его по голове». Вскоре

потом убил на дуэли офицера. «За буйство в театре, поединок и ношение партикулярной одежды» Дорохов был разжалован в рядовые. С началом персидской войны переведен на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк, которым командовал Н. Н. Раевский. В персидской и последовавшей за ней турецкой войнах Дорохов проявил бешеную храбрость, был ранен, произведен в офицеры, получил золотую саблю за храбрость и анненский темляк.

В августе 1829 г. Дорохов получил отпуск и поехал на кавказские минеральные воды для лечения ран. В Тифлисе встретился с ехавшим туда же М. И. Пущиным и предложил ехать вместе. Пущин, видимо, хорошо зная Дорохова, поставил условием, чтобы он в дороге никого не бил. Дорохов согласился. Но уже в Душете избил своего денщика и пущинского человека. Пущин бросил его и дальше поехал один. Во Владикавказе Пущина нагнал Пушкин. Пущин очень ему обрадовался и предложил остановиться у него. Но Пушкин отказался, потому что приехал вместе с Дороховым, который боялся идти к Пущину. Пуш-

кин просил простить Дорохова и ручался, что он больше не будет нарушать условия.

– Между тем, – сказал Пушкин, – в нем так много цинической грации, что сообщество его очень будет для нас приятно.

На этот раз Дорохов сдержал слово и в течение всей дороги не давал воли рукам.

В 1833 г. Дорохов за ранами был уволен в отставку с чином поручика и поселился в Москве с женой, дочерью А. А. Плещеева, «арзамасца», друга Жуковского. По уверению жены, Дорохов был добр, великодушен, но очень вспыльчив, во хмелю – бесшабашен и буен. Жестоко бил и жену. Она вынуждена была бежать из дому с малолетней дочерью и в конце концов развелась с ним. Современник, встречавшийся с Дороховым в Москве, характеризует его так: «Лев тогдашней молодежи, но фанфарон и хвастун. Впрочем, был весьма приятный в обществе господин и с хорошими манерами. В 1838 г. Дорохов в припадке гнева исколот кинжалом отставного ротмистра Сверчкова, опять был разжалован в солдаты, хотя от раны в ногу сильно хромал, и отправлен на Кавказ. Там опять выдавался отчаян-

ной храбростью, опять выслужился в офицеры. Четырнадцать лет он провел в непрерывных боях, несколько раз еще был ранен и в 1852 г. погиб от чеченской пули во время истребления мятежных аулов.

Лев Толстой в «Войне и мире» при обрисовке Долохова воспользовался некоторыми внешними чертами жизни Дорохова, но, конечно, Долохов в романе гораздо сложнее и оригинальнее элементарного, импульсивного буйна-мордобойца Дорохова.

Василий Андреевич Дуров
(1799–?)

Брат «девицы-кавалериста» Н. А. Дуровой. Служил в гвардии, вышел в отставку штабс-капитаном. В 1826 г. назначен был городничим в Сарапул. Пушкин познакомился с ним в 1829 г. в Кисловодске, где Дуров «лечился от какой-то удивительной болезни, вроде каталепсии, и играл с утра до ночи в карты». Цинизм Дурова восхищал и удивлял Пушкина; он постоянно заставлял Дурова что-нибудь рассказывать из своих приключений и хохотал от души. С утра он отыскивал Дурова и поздно вечером расставался с ним. Вместе

они выехали и из Кисловодска в Россию. Интересна запись Пушкина о Дурове как свидетельство, чем привлекал он любопытство Пушкина. Дуров всегда готов был биться об заклад, и о чем бы то ни было. Говорили ли о женщине, – «Хотите со мной биться об заклад, – прерывал Дуров, – что через три дня она меня полюбит?» Стреляли ли в цель из пистолета, – Дуров предлагал стать в двадцати пяти шагах и бился на 1000 рублей, что вы в него не попадете. «Страсть его к женщинам была также замечательна, – рассказывает Пушкин. – Бывши городничим, влюбился он в одну рыжую бабу, осужденную к кнуту, в ту самую минуту, как она уже была привязана к столбу, а он по должности своей присутствовал при ее казни. Он шепнул палачу, чтоб он ее поберег и не трогал ее прелестей, белых и жирных, что и было исполнено; после чего Дуров жил несколько дней с прекрасной каторжницею». Дуров помешан был на одном проекте: ему непременно хотелось иметь сто тысяч рублей. В дороге Дуров часто будил ночью Пушкина:

– Александр Сергеевич, Александр Сергее-

вич! Как бы, думаете вы, достать мне сто тысяч?

Однажды Пушкин ему сказал, что на его месте он бы их украл.

– Я об этом думал.

– Ну, что же?

– Мудрено: не у всякого в кармане можно найти сто тысяч, а зарезать или обокрасть человека за безделицу не хочу, у меня есть совесть.

– Ну, так украдьте полковую казну.

– Я об этом думал.

– Что же?

– Это можно сделать летом, когда полк в лагере, а фура с казною стоит у палатки полкового командира. Можно накинуть на дышло длинную веревку и припрячь издали лошадей, а там на ней и ускакать: часовой, увидя, что фура скачет без лошадей, вероятно, испугается и не будет знать, что делать; в двух или трех верстах можно разбить фуру, а с казною бежать. Но тут много также неудобств.

Нельзя было придумать несообразности и нелепости, о которой бы Дуров не подумал.

Последний его проект был такой: выманить эти деньги у англичан, подстрекнув их народное самолюбие и в надежде на их любовь к странностям. Он хотел обратиться к ним со следующим письмом: «Гг. англичане! Я бился об заклад об 10 000 рублей, что вы не откажетесь мне дать займы 100 000 рублей. Гг. англичане, избавьте меня от проигрыша, на который навязался я, в надежде на ваше всему свету известное великодушие». Дуров просил Пушкина похлопотать об этом в Петербурге через английского посланника, взяв с Пушкина честное слово, что сам он не воспользуется его проектом.

По возвращении с Кавказа Дуров за обнаруженные большие упущения в полиции был уволен от должности, но года через два, по ходатайству Пушкина перед губернатором, назначен был городничим в Елабугу. Там в 1834 г. он попал под суд за неправильные действия при рекрутском наборе. В 1839 г., по протекции в Петербурге, его опять назначили городничим в Сарапул. Был он, по отзывам обывателей, барин «простой»: «десяток яиц брал». С каждого нищего полагался у него оброк – 5

рублей, и ходи год. Подозрительные люди также вносили надлежащий налог.

Поездка на Восток

Задумав писать о Пугачеве, Пушкин в августе 1833 г. выехал в путешествие, имевшее целью посетить места, в которых протекала деятельность Пугачева. Он посетил Казань, Симбирск, Оренбург и Уральск. К 1 октября был уже у себя в Болдине.

Карл Федорович Фукс (1776–1846)

Старик-немец, профессор Казанского университета, доктор медицины Геттингенского университета. Приехал в Россию в 1800 г., служил полковым врачом. В 1805 г. был назначен профессором «натуральной истории» в только что открытый Казанский университет. Это было еще время, когда начальство говорило профессорам «ты», не подавало им руки и не разрешало в своем присутствии садиться. В течение долголетней службы в университете Фукс читал лекции по самым разнообразным естественно-научным и медицинским предметам, был деканом медицин-

ского факультета, ректором университета. Энциклопедичность его знаний и интересов была изумительна. Он много сделал в области медико-санитарного, этнографического, археологического, исторического, ботанического, метеорологического изучения Поволжья. Напечатал ряд трудов. При проезде через Казань его посещали самые выдающиеся ученые с европейскими именами – Александр Гумбольдт, Гакстгаузен, Кастрен и другие. Фукс занимался также врачебной практикой и был одним из популярнейших казанских врачей.

Преподавал он с увлечением, умел заинтересовать слушателей своим предметом. С. Т. Аксаков вспоминает, как любовно учил его Фукс технике накалывания бабочек на булавку. Был человек добрейшей души, лечил бедных бесплатно, помогал им; встретив на улице нищего, совал ему в руку первую попавшуюся в кармане ассигнацию. Но воля начальства, даже самая незаконная, была для него нерушимым законом. При нем попечитель казанского учебного округа, знаменитый М. Л. Магницкий, произвел полный разгром уни-

верситета; уволил за вольнодумство одиннадцать профессоров, всеми способами искоренял в университете вольный дух, требовал, чтобы все науки, даже медицинские, основывались на Священном писании. Фукс, бывший в это время ректором, покорно сочинял по указанию Магницкого соответственные инструкции преподавателям, предлагал Аракчеева в почетные члены университета, даже покрывал денежные растраты Магницкого. Когда эти растраты были обнаружены ревизией и Магницкий был уволен от должности, Фукс в присутствии совета получил выговор министра за действия в ущерб казне по денежным расчетам с Магницким. Впоследствии Фукс председательствовал в комитете, скандально изгнавшем из университета профессора Жобара.

В 1821 г., сорока пяти лет, профессор Фукс женился на шестнадцатилетней девушке-сироте А. А. Апехтиной. Венчание происходило в деревне под Казанью. В день свадьбы профессор отправился с утра в лес ловить бабочек и совершенно забыл о предстоящем торжестве. Гости были в тревоге, невеста в отча-

нии. Разосланная во все концы прислуга отыскала в лесу жениха и привела его домой. Брак оказался очень счастливым, супруги жили душа в душу.

Приехав в Казань, Пушкин поспешил познакомиться с Фуксом как со знатоком местного края. Фукс возил его к купцу Крупенникову, который юношей был захвачен в плен Пугачевым, сообщил и сам много ценных сведений. По словам жены Фукса, Пушкин горячо благодарил профессора и сказал:

– Как вы добры, Карл Федорович, как дружелюбно и приветливо принимаете нас, путешественников. Для чего вы это делаете? Вы теряете вашу приветливость понапрасну: вам из нас никто этим не заплатит. Мы так не поступаем, мы в Петербурге живем только для себя.

При этом он так сжал руку профессора, что своими щегольскими полувершковыми ногтями оставил на ней следы, не сходившие несколько дней. Жене своей Пушкин сообщил: «Фукс одолжил меня очень, и я рад, что с ним познакомился». А в одном из примечаний к «Истории пугачевского бунта» писал:

«Профессору К. Ф. Фуксу, человеку столь же ученому, как и любезному и снисходительно-му, обязан я многими любопытными сведениями касательно эпохи и стороны, здесь описанных». Уезжая из Казани, Пушкин просил Фукса собирать материалы, касающиеся пребывания Пугачева в Казани. Четыре года Фукс с неусыпным старанием собирал все рукописные и изустные сказания казанских старожилов, очевидцев тогдашних происшествий. Но Пушкин умер, и послать ему собранный материал Фуксу не пришлось.

**Александра Андреевна Фукс
(1805–1853)**

Поэтесса. Жена К. Ф. Фукса. Рожденная Апехтина, дочь казанского городничего, рано оставшаяся круглой сиротой. Несмотря на почти тридцатилетнюю разницу в возрасте, брак ее с профессором Фуксом был редкий по своей хорошей и серьезной гармоничности. Александра Андреевна так писала в стихотворном обращении к мужу:

*Покой с тобою мы вкушаем
Под сенью кротких, мудрых муз;
Блаженства выше мы не знаем, –*

И крепок с ними наш союз.

Каждый из супругов сумел приобщить другого к кругу своих интересов. Профессор, дотоле совершенно чуждый литературе, стал ею интересоваться, восхищался талантом жены, давал сюжеты для ее исторических поэм и рассказов, снабжал их учеными примечаниями. Жена со своей стороны заразилась от мужа любовью к этнографии и истории, предпринимала по его просьбе этнографические поездки, часто дававшиеся ей очень нелегко; напечатала ряд исследований о быте чувашей, черемисов, вотяков. Дом Фуксов в течение двадцати пяти лет являлся культурнейшим центром Казани, у них находили радушнейший прием все, интересовавшиеся наукой и литературой. На воскресных литературных вечерах Фуксов можно было встретить и местного профессора, и заезжего знаменитого ученого, и старого поэта державинской школы Г. Н. Городчанинова, и молодого поклонника тогда у нас запрещенного Гейне, местных литераторов И. А. и Н. И. Второвых, поэтов М. Д. Деларю, Д. П. Ознобишина. Проездом в свои деревни бывали Н. М. Языков и Е.

А. Баратынский. Поэты самым восторженным образом воспевали хозяйку. Языков, например, писал:

*Завиден жребий ваш: от обольще-
ний света,
От суетных забав, бездушных дел
и слов
На волю вы ушли, в священный
мир поэта,
В мир гармонических трудов.
Божественным огнем красноре-
чив и ясен
Пленительный ваш взор, трепе-
щет ваша грудь,
И вдохновенными заботами пре-
красен
Открытый жизненный ваш
путь...*

и т. д.

*И Баратынский:
Вы ль дочь Евы, как другая:
Вы ль, перед зеркалом своим
Власы роскошные вседневно уби-
рая,
Их блеском шелковым любясь
перед ним,*

Любуясь ясными очами,
Обворожительным лицом,
Блестящей Грации, пред вами
Живописуемой услужливым стек-
лом, –
Вы ль угадать могли свое предна-
значение!
Как, вместо женской суеты,
В душе довольной красоты
Затрепетало вдохновенье?
Прекрасный, дивный миг! Возли-
ковал Парнас,
Хариту, как сестру, Камены окру-
жили...

и т. д.

Не следует, однако, думать, что подобные стихи были непосредственным проявлением чувства поэтов, очарованных творчеством и красотой г-жи Фукс. Дамам того времени поэты по долгу вежливости подносили хвалебные стихи, как коробку конфет, и дамы умели выманивать у них такие подарки. По поводу г-жи Фукс Баратынский писал из Казани И. Киреевскому: «Прошу Языкова пожалеть обо мне: одна из здешних дам, женщина степен-

ных лет, не потерявшая еще притязаний на красоту, написала мне послание в стихах без меры, на которое я должен отвечать». Языкову не было оснований жалеть Баратынского: сам он оказался совершенно в таком же положении.

Г-жа Фукс, судя по дошедшему портрету, была собой недурна, но стихи ее очень посредственны, серы и неинтересны. Жить она любила широко, к чему давали возможность большие заработки мужа, в доме было тридцать человек прислуги, что очень не нравилось скромному профессору. В доме главновствовала жена. Зная привычку мужа совать на улице в руку нищего первую попавшуюся в кармане ассигнацию, она дала кучеру строгий приказ не останавливать в таких случаях лошади, а по приезде мужа ревизовала его карманы и конфисковала деньги, полученные им от врачебной практики. Профессор добродушнейшим образом наблюдал эти операции жены. Единственное свое свободное время после обеда Карл Федорович любил с трубочкой в зубах посидеть у жены, поговорить о новостях дня, о литературе и литера-

турных занятиях Александры Андреевны, а потом отправлялся лечь отдохнуть. Александра Андреевна умела держаться независимо. Вскоре после выхода ее замуж за ней попытался приволокнуться попечитель округа, всемогущий М. Л. Магницкий, большой ловелас. Он приехал к ней на дачу в отсутствие мужа, выражал удивление, что многие порядочные женщины выходят замуж за негодных людей, называл Фукса извергом-эгоистом, который не думает о жене и заботится только о собственных удовольствиях. Александра Андреевна выгнала его вон и отказала от дома.

Посетив профессора Фукса, Пушкин познакомился и с его женой. Он дружески пожал ей руку и ласково сказал:

– Нам не нужно с вами рекомендоваться; музы нас познакомили заочно, а Баратынский еще более.

(Баратынский только в этот день уехал, и Пушкин жил в Казани вместе с ним.) Пушкин провел у Фуков вечер. Профессора позвали к больному, и г-жа Фукс осталась с Пушкиным наедине. Застенчивая провинциалка смути-

лась, но Пушкин своей приветливой любезностью заставил ее с ним говорить, как с коротким знакомым. Они сидели в кабинете г-жи Фукс. Пушкин читал стихи, писанные к ней Языковым, Баратынским, Ознобишиным, очень хвалил стихи Языкова. Потом заставил хозяйку читать собственные ее стихи, несколько раз останавливал чтение похвалами, а иные стихи просил повторить и прочитывал сам. Потом хорошо разговорились. Пушкин расспрашивал Александру Андреевну о ее семье, о детстве, сам много говорил о духе времени, о его влиянии на литературу, о современных поэтах. Воротился профессор. Сели ужинать. За ужином Пушкин говорил о магнетизме, о суевериях, рассказал о давнем предсказании петербургской гадалки, что его ждет насильственная смерть. Он просидел у Фуков до часу ночи и простился как со старыми знакомыми. Приглашал г-жу Фукс приехать в Петербург.

На следующий день Пушкин еще до света покинул Казань, оставив г-же Фукс такую записку: «С сердечною благодарностью посылаю вам мой адрес и надеюсь, что обещание

ваше приехать в Петербург не есть одно любезное приветствие. Примите, милостивая государыня, изъявление моей глубокой признательности за ласковый прием путешественнику, которому долго памятно будет минутное пребывание его в Казани». А жене своей Пушкин через четыре дня писал с дороги: «В Казани таскался я по окрестностям, по полям, по кабакам и попал на вечер к одному синему чулку, сорокалетней несносной бабе с вощеными зубами и с ногтями в грязи. Она развернула тетрадь и прочла мне стихов с двести, как ни в чем не бывало. Баратынский написал ей стихи и с удивительным бесстыдством расхваливал ее красоту и гений. Я так и ждал, что принужден буду ей написать в альбом, но Бог помиловал; однако она взяла мой адрес и стращает меня перепискою и приездом в Петербург, с чем тебя и поздравляю. Муж ее, умный и ученый немец, в нее влюблен и в изумлении от ее гения». Пушкин неправильно называет г-жу Фукс «сорокалетней бабой»: ей в то время было всего двадцать восемь лет. Впрочем, и Баратынский за год перед тем, как мы видели, писал о ней как о «женщине сте-

пленных лет, не потерявшей еще притязаний на красоту». Году рождения дамы не всегда можно доверять. Многих изумляет несоответствие письма Пушкина к жене с тем, что он говорил и писал самой г-же Фукс. Но Пушкин о своих знакомствах с дамами обычно писал ревнивой жене именно в таком стиле, с самими же дамами считал себя обязанным быть изысканно-любезным и осыпать их комплиментами.

Г-жа Фукс по отъезде Пушкина написала очень длинное и очень плохое стихотворение «На проезд А. С. Пушкина через Казань». Во сне к ней является «какой-то чудный гений» с Парнаса и «торопливо» говорит ей:

*Как должна ты быть счастлива:
Кто же посетил твой дом?
Тот поэт, чье посещение
Праздник славный и у нас:
Мы в тот день все в восхищеньи,
И ликует весь Парнас.
С поздравительным приветом
От богов к тебе лечу
И таинственным их светом
Озарить тебя хочу.*

И рассказывает, как на Геликоне в честь Пушкина Аполлон давал пир, сам угощал гостей и разносил бокалы, и все гости запели восторженный гимн в честь Пушкина. В следующем году г-жа Фукс послала Пушкину только что вышедшую книжку своих стихов, где были и эти стихи. В сопроводительном письме она писала, что «ласкает себя надеждою иметь удовольствие читать ответ» на ее стихотворение о Пушкине. Пушкин ответил очень любезно: «С жадностью прочел я прелестные ваши стихотворения, и между ними послание ваше ко мне, недостойному поклоннику вашей музыки». Однако от ответных стихов уклонился. «В обмен вымыслов, исполненных прелести, ума и чувствительности, – писал он, – надеюсь на днях доставить вам отвратительно ужасную историю Пугачева. Не браните меня. Поэзия, кажется, для меня иссякла. Я весь в прозе». Впоследствии Пушкин обращался к г-же Фукс с просьбой «украсить произведениями ее пера» его журнал «Современник». Г-жа Фукс поспешила послать пачку своих стихов, но в «Современнике» они не появились.

Василий Алексеевич Перовский (1794–1857)

Оренбургский генерал-губернатор. Побочный сын графа А. К. Разумовского от М. М. Соболевской; фамилию получил от подмосковного села Перова, имения Разумовского. Окончил курс в Московском университете, был военным, ранен при Бородине, во время занятия Москвы французами попал к ним в плен и получил свободу после взятия Парижа в 1814 г. Состоял адъютантом при великом князе Николае Павловиче, неотступно находился при нем в день 14 декабря и был здесь ранен. В турецкую войну снова был тяжело ранен в грудь, получил Георгия 4-й степени. В 1833 г. назначен оренбургским военным губернатором, проявил незаурядные организаторские и административные дарования; однако предпринятый им в 1839 г. поход на Хиву кончился неудачей. Перовский был близок со многими писателями – Пушкиным, Карамзиным, Жуковским, Вяземским, Гоголем. Был он человек образованный, с цельным, самостоятельным характером, энергичный и деятельный. Остро чувствовал свое «незаконное»

происхождение, – в опасении унижений и насмешек был в этом отношении очень горд и обидчив. Необыкновенно нравился женщинам и имел у них большой успех. Убранство его комнат было оригинальное: рабочий стол был обставлен рыцарями в стальных латах, стены увешаны мечами, ружьями и пистолетами; рядом – комната, устланная богатыми коврами, с широкими турецкими диванами, на полу – богатый ковер, в стене – огромное зеркало, представлявшее скрытую дверь. Перовский говорил: «Здесь покоюсь я в объятиях Морфея, когда мне отказывают в других». С некоторым перерывом он управлял оренбургским краем до 1856 г., – устроил в степи многочисленные укрепления от набегов кочевников, учредил пароходство на Аральском море, взял штурмом кокандскую крепость Акмечеть и заключил с хивинским ханом выгодный для России договор. В 1855 г. возведен в графское достоинство.

С Пушкиным Перовский находился в приятельских отношениях, они были на «ты». Приехав в Оренбург, Пушкин остановился у Перовского. Засиделись до поздней ночи.

Утром Пушкина разбудил громкий хохот. Перовский держал в руках письмо и хохотал. В письме нижегородский губернатор М. П. Бутурлин приятельски предупреждал Перовского, что в Нижнем был Пушкин и отправился в Оренбург, якобы с целью собирания материалов для истории пугачевского бунта; но, вероятно, это – только предлог, а действительная цель – секретная ревизия действий оренбургских чиновников, о чем он, Бутурлин, и считает своим дружеским долгом предупредить Перовского. Перовский оказал Пушкину всяческое содействие в собирании нужных Пушкину материалов по Пугачеву. 20 сентября Пушкин уехал из Оренбурга. В этот же только день начала из Петербурга медленное свое плавание секретная бумага петербургского обер-полицмейстера, сообщавшая, что Пушкин намерен посетить казанскую и оренбургскую губернии, а как он состоит под секретным полицейским надзором, то и предлагается подлежащим властям учинить секретный надзор за образом жизни и поведением его. 9 октября тот же нижегородский губернатор Бутурлин уже в официальной секретной бу-

маге уведомил Перовского об этом отношении петербургского обер-полицмейстера. Перовский получил бумагу 23 октября и сделал на ней пометку: «Отвечать, что сие отношение получено через месяц по отбытии г. Пушкина отсюда, а потому, хотя во время кратковременного его в Оренбурге пребывания и не было за ним полицейского надзора, но как он останавливался в моем доме, то я тем лучше могу удостоверить, что поездка его в Оренбургский край не имела другого предмета, кроме нужных ему исторических изысканий».

**Константин Демьянович Артюхов
(1796–1840)**

Инженер-капитан, директор оренбургского Неплюевского военного училища. Записной охотник. Был очень популярен и любим в Оренбурге, как умный и веселый собеседник, не унывавший никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах. Самые пустые остроты умел говорить так, что все хохотали. Он стрелял вальдшнепа «по сарафану», утку «по салопу», зайцу «задавал прыску вдогонку», а убив, никогда не забывал отдать ему последнюю

честь, приложив руку к козырьку.

Когда Пушкин приехал в Оренбург, ему захотелось сходить в баню. В. И. Даль рассказывает: «Я свел его в прекрасную баню к инженер-капитану Артюхову, добрейшему, умному, веселому и чрезвычайно забавному собеседнику. В предбаннике расписаны были картины охоты, любимой забавы хозяина. Пушкин тешился этими картинами, когда веселый хозяин, круглолицый, голубоглазый, в золотых кудрях, вошел, упрашивая Пушкина ради первого знакомства откусать пива или меду. Пушкин старался быть крайне любезным со своим хозяином и, глядя на расписной предбанник, завел речь об охоте. «Вы охотитесь, стреляете?» – «Как же-с, понемножку занимаемся и этим; не одному долгоносому довелось успокоиться в нашей сумке». – «Что же вы стреляете, уток?» – «Уто-ок-с?» – спросил тот, вытянувшись и бросив какой-то сострадательный взгляд. – «Что же? Разве уток не стреляете?» – «Помилуйте-с, кто будет стрелять эту пададь! Это какая-то гадкая старуха, валяется в грязи – ударишь ее по загривку, она свалится боком, как топор с полки, бьет-

ся, валяется в грязи, кувыркается... тьфу!» – «Так что же вы стреляете?» – «Нет-с, не уток. Вот как выйдешь в чистую рощицу, как запустишь своего Фингала, – а он нюх-нюх направо – нюх налево – и стойку: вытянулся, как на пружине, – одеревянел, окаменел! Пиль, Фингал! Как свечка загорелся, столбом взвился...» – «Кто, кто?» – перебил Пушкин с величайшим вниманием и участием. «Кто-с? Разумеется кто: слука, вальдшнеп. Тут царап его по сарафану... А он, – продолжал Артюхов, раскинув руки врозь, как на кресте, – а он только раскинет крылья, голову набок, – замрет в воздухе, умирая, как Брут!»

Пушкин расхохотался. Через год он прислал Артюхову свою «Историю пугачевского бунта», и, забыв, с кем сравнивал Артюхов умирающего вальдшнепа, написал на книге: «Тому офицеру, который сравнивает вальдшнепа с Валенштейном». Умер Артюхов в 1840 г.

Жена и ее родственники

Афанасий Николаевич Гончаров (1760–1832)

Дед жены Пушкина. В восемнадцатом веке широко славились промышленные предприятия энергичных калужских купцов Афанасия Абрамовича Гончарова и сына его Николая. Бумага, вырабатывавшаяся на их бумажной фабрике, считалась лучшей в России, производимые ими парусные полотна вошли в такую славу, что из Англии требовали полотен именно гончаровской фабрики. Гончаровы стали миллионерами, получили дворянство, владели несколькими тысячами душ крестьян. Сын Николая, Афанасий, родился не в деда и отца. Он быстро стал растрачивать доставшееся ему колоссальное состояние. Жизнь свою он превратил в сплошной праздник, в имении «Полотняный завод» выстроил огромный дворец, обставленный с безумной роскошью; всегда толпы гостей, пиры, балы, концерты, охота без перерыва и без конца; деньги разбрасывал без счета. К концу его жизни на имуществе Гончаровых лежало

долгу около полутора миллионов рублей.

Когда Пушкин стал женихом Натальи Николаевны, он обратился к Афанасию Николаевичу со следующим письмом: «Милостивый государь Афанасий Николаевич! С чувством сердечного благоговения обращаюсь к вам, как главе семейства, которому отныне принадлежу. Благословив Наталию Николаевну, благословили вы и меня. Вам обязан я больше, нежели чем жизнью. Щастие вашей внучки будет священная, единственная моя цель и все чем могу воздать вам за ваше благодеяние. С глубочайшим уважением, преданностью и благодарностью честь имею быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою». В мае 1830 г. Пушкин гостил несколько дней в «Полотняном заводе» и лично познакомился с Афанасием Николаевичем. Гончаров поспешил использовать благодарность Пушкина за его «благодеяние» и решил через жениха внучки несколько поправить пошатнувшиеся свои дела. В подвалах его имения лежала колоссальная статуя Екатерины II, когда-то заказанная его отцом в Берлине для постановки в «Полотняном заводе» в память по-

сещения завода Екатериной. Ввиду будто бы неудачного исполнения статуи Гончаров поручил Пушкину похлопотать о разрешении продать статую на металл, уверяя, что ему за нее дают сорок тысяч рублей. Пушкин, преодолевая неохоту, написал Бенкендорфу; разрешение было дано. Но тогда оказалось, что статуя стоит всего семь тысяч рублей. «В таком случае, – заявил дедушка, – не для чего ее тревожить в ее уединении». Гончаров имел сильно преувеличенное мнение о степени влияния Пушкина в высших сферах. Он его попросил еще похлопотать о «временном вспоможении» ему тысяч в двести-триста. Пушкин со скрытым раздражением писал из Петербурга невесте: «...вы не можете себе представить, как это меня затрудняет. Я не имею кредита, который ваш дедушка мне приписывает». Тем не менее Пушкин виделся по этому делу и с Бенкендорфом, и с министром финансов Канкриным, однако безрезультатно. Афанасий Николаевич сердился, обвинял Пушкина в недостатке усердия, настаивал, чтобы он обратился лично к императору. Пушкин почтительно отвечал уже из

Болдина, в сентябре 1830 г.: «Примите, сделайте милость, мое оправдание. Не осмелился я взять на себя быть ходатаем по вашему делу единственно потому, что опасался получить отказ, не впору приступая с просьбою к государю или министрам. Сношения мои с правительством подобны весенней погоде: поминутно то дождь, то солнце. А теперь нашла тучка...»

**Николай Афанасьевич Гончаров
(1788–1861)**

Отец Н. Н. Гончаровой-Пушкиной. Воспитывался в роскоши и безделье, проживая то в Москве, то в богатом калужском поместье Гончаровых «Полотняном заводе». В 1807 г. женился на Наталье Ивановне Загряжской. Вскоре ему пришлось убедиться в полном расстройстве дел отца. Николай Афанасьевич обладал энергией своих дедов; он уговорил отца уехать за границу, а сам в несколько лет успел значительно поправить пошатнувшиеся дела. Но воротился отец, отстранил его от дел и снова принялся за свои причуды. В 1814 г. Николай Афанасьевич упал с лошади, ушиб голову. После этого у него стали обнаружива-

ваться признаки умопомешательства, склонность к которой была у него наследственной от душевно больной матери. В 1823 г. он совсем сошел с ума. Болезнь его гнетом лежала на всей семье. Николай Афанасьевич жил с семьей, нередко впадал в буйство и тогда гонялся за женой с ножом.

Наталья Ивановна Гончарова (1785–1848)

Теща Пушкина. Генерал-лейтенант Ив. Ал. Загряжский, любимец Потемкина, очень богатый помещик, имел жену, несколько человек детей. Он поехал за границу и в Париже, при первой живой жене, женился на француженке. С ней он прижил дочь – Наталью Ивановну. С новой женой и дочерью Загряжский приехал к прежней жене и детям. К удивлению, все обошлось благополучно. Обе жены очень подружились, а его прогнали. Первая жена не отличала Наталью Ивановну от своих детей и дала ей долю в наследстве. Она с детьми жила в Петербурге, муж основался на холостую ногу в Москве, жил пышно и весело. Загряжские были приняты при дворе. Красавица Наталья Ивановна сделалась

участницей дворцовой любовной истории; в нее влюбился офицер Охотников, любовник императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра I. Императрица ее приревновала. В начале 1807 г. Наталья Ивановна вышла в Петербурге за Николая Афанасьевича Гончарова.

В конце двадцатых годов, когда Пушкин познакомился с Гончаровыми, Наталье Ивановне шел пятый десяток. Гончаровы жили в Москве в собственном доме на углу Б. Никитской и Скарятинского пер. Имущественные дела их были сильно расстроены. Свекор Афанасий Николаевич безумно расточал свои богатства, сумасшедший муж ни во что не мешался. В собственном имении Натальи Ивановны Ярополче Волоколамского уезда было около двух тысяч душ, но хозяйство велось бестолково, и доходов поступало мало. У Натальи Ивановны никогда не было денег, часто нуждались в самом необходимом. Когда Пушкин, женихом, приезжал к ним в дом, Наталья Ивановна старалась выпроводить его до обеда или завтрака. Детей она держала в большой строгости, требовала, чтобы на все

они глядели из ее рук. Была деспотична, самодурна и большая ханжа. В доме была особенная молельня со множеством икон и лампадок, местный приходской священник по субботам и канунам праздников служил в ней всенощную. Наталью Ивановну постоянно окружали монахини и странницы, они льстили ей, вели душеспасительные беседы и пересыпали их сплетнями и наговорами на детей и слуг, не сумевших им угодить. Тогда следовала грозная расправа. Современница вспоминает: «Наталья Ивановна была довольно умна и несколько начитана, но имела дурные, грубые манеры и какую-то пошлость в правилах».

Мы не знаем, по каким мотивам Наталья Ивановна в конце концов дала согласие на брак дочери с Пушкиным, но симпатий между ней и Пушкиным не было. Ей не нравилось его религиозное вольнодумство, его отрицательное отношение к Александру I, перед которым сама она благоговела; больше всего не нравилось, что Пушкин не чиновен, не богат и что дочь ее делает карьеру очень не блестящую. Стычки, колкости, неприятно-

сти посыпались на Пушкина задолго до того, как Наталья Ивановна сделалась его официальной тещей. Несколько раз свадьба висела на волоске. Перед отъездом Пушкина в Болдино в августе 1830 г. мать невесты устроила ему совершенно дикую сцену, осыпала его самыми оскорбительными обвинениями. «Московские сплетни, – писал Пушкин Плетневу, – доходят до ушей невесты и ее матери, отселе размолвки, колкие обиняки, ненадежные примирения...» Когда Пушкин жил в Болдине, Наталья Ивановна не позволяла дочери самой писать к нему письма, а диктовала ей наставления, чтобы Пушкин соблюдал посты, молился Богу и т. п., даже заставляла писать жениху колкости. Но дочь все это помещала в постскриптуме к письмам самым нежным, так что Пушкин уже понимал, откуда эти приписки. Воротившись зимой в Москву, Пушкин нашел тещу опять за что-то на него озлобленной. «Насилу с нею сладил, – писал он Плетневу, – но, слава Богу, сладил». Но стычки и колкости продолжались. Наталья Ивановна говорила Пушкину:

– Вы должны помнить, что вступаете в на-

ше семейство.

Пушкин на это отвечал:

– Это дело вашей дочери, – я на ней хочу жениться, а не на вас.

Пушкин настаивал, чтобы свадьба была поскорее, но Наталья Ивановна тянула время и наконец объявила, что у нее нет денег на приданое. Пушкин заявил, что готов взять ее дочь и без приданого, но на это Наталья Ивановна не согласилась. Тогда Пушкин дал ей займы одиннадцать тысяч рублей на приданое, хорошо, конечно, зная, что назад он их не получит. Много из этих денег пошло на разные пустяки и на собственные наряды Натальи Ивановны. Она преподнесла дочери залоговые квитанции на драгоценные уборы – бриллианты и жемчуга, предоставляя Пушкину самому выкупить их. Настал день свадьбы. Вдруг Наталья Ивановна дала знать Пушкину, что свадьбу надо еще отложить, что у нее нет денег – на карету. Пушкин опять послал денег.

Он рассчитывал жить с женой в Москве, нанял квартиру на Арбате, во втором этаже. Дом этот сохранился до сих пор: 53, против

почты, недалеко от Денежного переулкa. Однако Наталья Ивановна очень скоро сделала Пушкину пребывание в Москве совершенно нестерпимым. Она наговаривала на него дочери, изображала ей его как человека ненавистного, жадного, презренного ростовщика (!), говорила ей: «С твоей стороны глупо позволять мужу...» и т. п. Пушкин переехал с женой в Петербург.

Наталья Ивановна с двумя незамужними дочерьми, Екатериной и Александрой, поселилась в своем имении Ярополче. С каждым годом она все опускалась. Пьянствовала с утра до вечера, жила со всеми своими лакеями. С дочерьми обращалась сурово и придирчиво. Жизнь девушек стала совсем невыносимой. В 1834 г. Наталья Николаевна, несмотря на видимое нежелание Пушкина, пригласила сестер переехать к ней в Петербург. Сестры поселились с Пушкиными на одной квартире (платя за свое помещение и содержание). Отношения всех дочерей с Натальей Ивановной были, видимо, очень далекие. После смерти Пушкина Наталья Николаевна с детьми и сестрой Александрой поселилась не у матери

в Ярополче, а у старшего брата в «Полотняном заводе».

Наталья Николаевна Пушкина (1812–1863)

Жена поэта. Рожденная Гончарова. Детство было нерадостное. Сумасшедший отец, взбалмошная и деспотичная ханжа-мать. В самом строгом монастыре послушниц не держали в таком слепом повиновении, как сестер Гончаровых. Если, случалось, какую-либо из них призывали в неурочное время к матери, то сердце у призванной замирало, а рука перед дверью творила крестное знамение. Наталья Ивановна строго наблюдала, чтобы дочери никогда не подавали и не возвышали голоса, не пускались с гостями ни в какие серьезные рассуждения, а, когда заговорят старшие, молчали бы и слушали. Вставать они должны были с зарей, ложиться в десять вечера; каждую субботу ходили ко всенощной, каждое воскресенье – к обедне. Читать книги с мало-мальски романическим содержанием строжайше запрещалось. За провинности мать бивала дочерей по щекам. В основу их образования было положено тщательное изу-

чение танцев и знание французского языка лучше своего родного.

Наталя Николаевна была младшей из трех дочерей. Красоты она была исключительной. Когда ей исполнилось шестнадцать лет и девушку, по обычаю, стали вывозить в свет, – гул восхищения прокатился по всем гостиным. Среди московских красавиц она сразу выдвинулась на первое место, рядом с блестящей Алябьевой. В Алябьевой видели олицетворение красоты классической, в Гончаровой – красоты романтической. Пушкин увидел Наталью Николаевну на балу в первый же год появления ее в московском свете, в 1828г. Она была в белом воздушном платье, с золотым обручем на голове. Пушкин был ей представлен и тогда же сказал, что участь его будет навеки связана с ней. Граф Ф. И. Толстой-Американец, старинный знакомый Гончаровых, по просьбе Пушкина съездил к ним и испросил позволения привезти Пушкина. Пушкин стал бывать у Гончаровых. Мы не знаем, какой носило характер его общение с Натальей Николаевной. В это же время Пушкин часто посещал в Москве семейство Уша-

ковых; там, с двумя дочерьми, у него происходило живое общение на почве литературных и музыкальных интересов, ему там восторженно поклонялись как поэту, он был блестящ, весел, шаловлив. Наталья же Николаевна, по некоторым сообщениям, в то время совсем еще даже не читала Пушкина, вообще же всю жизнь была к поэзии совершенно равнодушна. И какое могло быть духовное общение между Пушкиным и малообразованной шестнадцатилетней девочкой, обученной только танцам и умению болтать по-французски? Он созерцал ее, «благоговевя богомольно перед святыней красоты», горел любовью, но чувствовал, что она к нему равнодушна, что ему нечем ее заинтересовать и увлечь. И был с ней застенчив, робок, как в первый раз влюбленный мальчик. «Карс» – так он называл ее у Ушаковых – по имени турецкой крепости, признававшейся неприступной. И вообще в семье Гончаровых он ощущал холод и стеснение. Матери он не нравился. Несмотря на все это, в конце апреля 1829 г. Пушкин, через того же Толстого-Американца, посватался за Наталью Николаевну. Напрямик ему не от-

казали, но отозвались, что надо подождать и посмотреть, что Наташа еще слишком молода и т. п. Пушкин в ту же ночь уехал на Кавказ в действующую армию. «Спросите – зачем? – писал он впоследствии Гончаровой-матери. – Клянусь, сам не умею сказать; но тоска непроизвольная гнала меня из Москвы; я бы не мог в ней вынести присутствия вашего и ее».

Осенью Пушкин возвратился с Кавказа в Москву. Было утро. У Гончаровых дети сидели в столовой за чаем, мать еще спала. Вдруг стук на крыльце, и вслед за тем в самую столовую влетела из прихожей калоша. Это Пушкин так торопливо раздевался. Вошел и тотчас же спросил Наталью Николаевну. Но она не посмела выйти без разрешения матери. Разбудили Наталью Ивановну. Она приняла Пушкина в постели, – приняла молчаливо и очень холодно. С Наташей ему удалось увидеться, но она отнеслась к нему тоже холодно и невнимательно. Пушкин оробел, у него не хватило решимости объясниться с ней, он уехал в Петербург, по его словам, «со смертью в душе». С болью и досадой сознавалось, что он был смешон в своей робкой застенчиво-

сти, что в людях его лет молодой девушке может нравиться никак не робость. В Петербурге Пушкин тосковал, кутил, безудержно играл в карты, порывался уехать куда-нибудь подалее, просился во Францию, в Италию, если туда нельзя, то в Китай с отправлявшейся русской миссией. И писал:

*Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами
я
Повсюду следовать, надменной
убегая:
К подножию ль стены далекого
Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли на-
конец,
Где Тасса не поет уже ночной гре-
бец,
Где древних городов под пеплом
дремлют мощи,
Где кипарисные благоухают рощи,
Повсюду я готов. Поедем... но,
друзья,
Скажите: в странствиях умрет
ли страсть моя?
Забуду ль гордую, мучительную*

*деву,
Или к ее ногам, ее младому гневу,
Как дань привычную, любовь я
принесу?..*

В выезде за границу Пушкину было отказано.

Ранней весной 1830 г., в Москве, князь Вяземский увидел на балу у генерал-губернатора Наталью Николаевну и поручил своему знакомому И. Д. Лужину, который должен был танцевать с Гончаровой, заговорить как бы мимоходом с ней и ее матерью о Пушкине. Мать и дочь отозвались о Пушкине благосклонно и просили ему кланяться. Лужин, приехав в Петербург, передал Пушкину у Карамзиных этот поклон. Пушкин ожил духом, мигом собрался и покатил в Москву. Прямо из кибитки попал на концерт. Первая знакомая, которая ему там встретилась, была Наталья Николаевна. Он посетил Гончаровых. Мать приняла его ласково. Пушкин опять стал бывать у них и в день Светлого Воскресенья, 6 апреля 1830 г., вторично сделал предложение. Почему изменилось у Гончаровой отношение к Пушкину, почему так торопились выдать

замуж семнадцатилетнюю блестящую красавицу с самыми заманчивыми возможностями впереди, – мы не знаем. Но предложение Пушкина было принято.

Свершилось то, чего с такой пылкостью и тоской добивался Пушкин в течение полутора лет. Но в душе у него было смутно и нерадостно. Прежде всего он ясно сознавал, что невеста вовсе его не любит. Он писал: «Только привычка и продолжительная близость могут доставить мне ее привязанность; я могу надеяться со временем привязать ее к себе, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться. В ее согласии отдать мне свою руку я могу видеть только свидетельство спокойного равнодушия ее сердца». Одним словом – «стерпится – слюбится». А если не слюбится? Пушкин с тревогой задавал себе вопросы: сохранит ли его жена свое «спокойное равнодушие» среди окружающего красавицу удивления, поклонения, искушений? Ей станут говорить, что только несчастная случайность помешала ей вступить в другой союз, более равный, более блестящий, более достойный ее. Не явится ли у нее сожаление? Не будет ли

она смотреть на него, Пушкина, как на препятствие, как на человека, обманом ее захватившего? Не почувствует ли она к нему отвращение? И ко всему, Пушкин не мог не сознавать, что они с Гончаровой вовсе не пара, что ее совершенно не интересует все, чем он живет. И все-таки он неотрывно тянулся к ней. Ослепительная красота, молодость и чистота только что расцветшей девушки пьянили душу сладострастной жаждой обладания и оттесняли в сторону все встававшие сомнения и колебания. С шутливо-циничной откровенностью Пушкин писал княгине Вяземской: «Первая любовь всегда есть дело чувства. Вторая – дело сладострастия. Натали – моя сто тринадцатая любовь». Порой Пушкина охватывал страх перед тем, на что он идет, и у многих друзей было впечатление, что он рад был бы, если бы свадьба расстроилась. Но машина уже катилась по рельсам, красота девушки продолжала будить желания, а в душе была усталость от беспутной холостой жизни, жажда тишины семейного уюта. Поворачивать было поздно. И Пушкин как зачарованный шел к роковой цели. За неделю до сва-

дбы он писал другу: «Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. «Счастье – только на избитых тропах». Мне за тридцать лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся, – я поступаю, как люди, и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входили в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью». Последние недели перед свадьбой в душе Пушкина была большая грусть и большая тоска. У друга его Нащокина как-то собрались цыганки, пели; Пушкин попросил цыганку Таню спеть ему что-нибудь на счастье; но у той было свое сердечное горе, она не подумала и спела грустную песню, и в пение вложила всю свою печаль. Пушкин схватился рукой за голову и зарыдал. И ска-

зал:

– Ах, эта ее песня все во мне перевернула, она мне не радость, а большую потерю предвещает!

И уехал, ни с кем не простившись. Накануне свадьбы Пушкин устроил у себя «мальчишник» для ближайших друзей, но был так грустен, что всем стало неловко: веселое прощание с молодостью больше походило на похороны.

18 февраля 1831 г. произошла свадьба в церкви Большого Вознесения на Большой Никитской. Пушкин, в противоположность последним дням, был очень радостен, весел, смеялся, был любезен с друзьями. Но во время обряда, при обмене колец, кольцо Пушкина упало на пол. Потом у него потухла свечка. Он побледнел и сказал:

– Все – плохие предзнаменования!

Вечером был большой свадебный ужин в новонанятой квартире Пушкина на Арбате. А на следующий день Пушкин встал с постели – да так весь день жены и не видел. К нему пришли приятели, он с ними заговорился, забыл про жену и пришел к ней только к обеду.

Она очутилась одна в чужом доме и заливалась слезами.

Началась совместная супружеская жизнь. Сомнительно, чтоб Наталья Николаевна обрела в ней много радостей. «Спокойное равнодушие сердца», – этого слишком мало, чтобы получить удовлетворение и счастье в неистово-страстных объятиях человека, получившего над девушкой права мужа. Как добрая жена Наталья Николаевна исполняла свой супружеский долг, покорно отдавалась мужу. Но... Вот что писал Пушкин:

*О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склонясь на долгие моления,
Ты предаешься мне нежна, без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва отвечаешь, не внемлешь ничему,
И разгораешься потом все боле, боле –
И делишь, наконец, мой пламень поневоле.*

Познанная таким образом любовь трудно переживается женщиной и накладывает на ее душу печать страдания. Графиня Фикельмон, видевшая супругов через три месяца после свадьбы, писала: «Физиономия мужа и жены не предсказывает ни спокойствия, ни тихой радости в будущем: у Пушкина видны все порывы страстей, у жены – вся меланхолия отречения от себя». И ее поражало «страдальческое выражение лба» молодой жены Пушкина.

О внутренней жизни Натальи Николаевны, о ее переживаниях в сожителстве с Пушкиным мы решительно ничего не знаем. До нас дошло всего два-три письма Натальи Николаевны чисто делового содержания, и то уже после пушкинской поры ее жизни, мы не знаем ни одного ее письма к жениху и мужу, почти не встречаем указаний на ее переживания в воспоминаниях друзей, кроме лживых, тенденциозных сообщений дочери ее от второго брака А. П. Араповой, – сообщений, в которых нельзя верить ни одному слову. Но можно, во всяком случае, думать, что Наталье Николаевне приходилось переживать много

тяжелого. Пушкин жену любил, это несомненно: письма его к ней полны самой нежной заботливости. Но с эгоизмом человека, всей душой живущего в другом деле, он старался по возможности оградить себя от всяких лишних семейных волнений. Нащокин рассказывал о Пушкине – «плакал при первых родах и говорил, что убежит от вторых». И правда, стал систематически бегать от последующих родов жены. Весной 1835 г., без всякой видимой нужды, ко всеобщему удивлению, он вдруг уехал в деревню, собирался возвратиться «прежде десяти дней, чтобы поспеть к родам Наташи», но – опоздал и приехал, когда жена уже родила. Через год жена должна была опять родить, опять Пушкин задержался в Москве у Нащокина и по возвращении писал ему: «...я приехал к себе в полночь, и на пороге узнал, что Наталья Николаевна благополучно родила дочь за несколько часов до моего приезда». Эти постоянные его опаздывания обратили на себя внимание и посторонних. Е. Н. Вревская писала мужу: «Наталья Николаевна родила, и Александр Сергеевич приехал опять несколько часов

позже». Тяжкое и мучительное для женщины дело – роды, и в это время незаменимо ценны помощь и ласка близкого человека и горько его равнодушное отсутствие. По поводу первого опоздания Пушкина мать его писала дочери: «...радость свидания с мужем так расстроила Наташу, что проболела весь день». Радость ли расстроила родильницу или какое другое чувство, навряд ли это могла знать Надежда Осиповна. Много тяжелых минут приходилось переживать Наталье Николаевне и от ревности. Пушкин не был однолюбом. Он всегда был готов страстно увлечься всякой новой понравившейся ему женщиной. Женитьба в этом отношении несколько его не изменила. Дочь историка С. Н. Карамзина в 1834 г. писала: «Жена Пушкина часто и преискренно страдает мучениями ревности, потому что посредственная красота и посредственный ум других женщин не перестают кружить поэтическую голову ее мужа». Однажды, на балу у австрийского посла Фикельмона, Пушкин усердно ухаживал за приехавшей из Мюнхена белокурой красавицей баронессой Крюднер. Жена это заметила и сейчас же

уехала. Пушкин хватился жены и поспешил домой. Наталья Николаевна стояла перед зеркалом и снимала с себя убор.

– Что с тобою? Отчего ты уехала?

Вместо ответа Наталья Николаевна дала мужу полновесную пощечину. Пушкин так и покатился со смеху. Он забавлялся и радовался тому, что жена его ревнует, и со смехом сообщал Вяземскому, что «у его мадонны рука тяжеленька». Ревность и подозрения Натальи Николаевны были очень не лишены оснований. У Пушкина за время его женатой жизни был целый ряд увлечений: графиня Н. Л. Сологуб, А. О. Смирнова, графиня Д. Ф. Фикельмон. За время одной из беременностей жены он интимно сошелся с девушкой-сестрой ее Александриной Гончаровой.

В напряженной творческой и умственной жизни мужа Наталья Николаевна не способна была принимать никакого участия. Все его интересы по-прежнему оставались для нее глубоко чуждыми. Пушкин в ее присутствии зевал и искал общества более интересного. Это, естественно, обижало и оскорбляло Наталью Николаевну. Но естественно было и отно-

шение к ней Пушкина. Полный еще творческого волнения, он приходил к ней прочесть новые стихи, а она восклицала:

– Господи, до чего ты мне надоел со своими стихами, Пушкин!

К поэзии и литературе она вообще была глубоко равнодушна. Однажды поэт Баратынский спросил, не помешает ли он ей, если в ее присутствии прочтет Пушкину новые свои стихи. Наталья Николаевна любезно ответила:

– Читайте, пожалуйста! Я не слушаю.

В семейной жизни, по-видимому, мало что было привлекательного для Натальи Николаевны. Зато очень скоро после замужества перед ней широко распахнулись двери в мир, заливший душу маленькой женщины блеском, счастьем и утехами удовлетворенного тщеславия. Наталья Николаевна была хороша поразительно. Высокого роста (значительно выше Пушкина), стройная, с узкой талией и красивым бюстом, с необыкновенно свежим цветом лица; глаза ее были чуть-чуть косые, и это придавало ее взгляду некоторую неопределенность, очень к ней шедшую.

Пушкин называл ее «моя косая мадонна». Люди, впервые встречаясь с Натальей Николаевной, останавливались в изумлении, друзья предупреждали друзей: «Не годится слишком на нее засматриваться!» Один немец-путешественник видел ее на Островах едущей верхом по аллее и писал: «Это было, как идеальное видение, как картина, выступавшая из пределов действительности и возможная разве в «Обероне» Виланда». В первый же год замужества, когда Пушкины поселились на лето в Царском Селе, красота Натальи Николаевны привлекла к себе внимание самых высших сфер. Императрица выражала желание, чтоб Наталья Николаевна была при дворе. С переездом осенью в Петербург Наталья Николаевна, через тетку свою, уважаемую при дворе фрейлину Е. И. Загряжскую, перезнакомилась со всей знатью. Свет принял ее с распростертыми объятиями. В ноябре 1831 г. сестра Пушкина писала своему мужу: «Моя невестка – женщина наиболее здесь модная; она возвращается в самом высшем свете, и говорят вообще, что она – первая красавица; ее прозвали Психеей». Все были влюблены в Ната-

лью Николаевну. Император Николай садился на ужинах рядом с ней; тринадцатилетний мальчик Петенька Бутурлин на балу родителей, краснея и заикаясь, спешил объясниться ей в любви, пока его еще не прогнали спать. Жизнь Натальи Николаевны проходила в непрерывных увеселениях, празднествах и балах. Возвращалась домой часов в четыре-пять утра, вставала поздно; обедали в восемь вечера; встав из-за стола, Наталья Николаевна переодевалась и опять уезжала. Ее сопровождал муж. Давно уже для Пушкина отошла пора, когда он сам увлекался танцами. Но нельзя же было жене выезжать одной. И все вечера Пушкин проводил на балах: стоял у стены, вяло глядел на танцующих, ел мороженое и зевал. Однажды он со вздохом сказал своей знакомой:

*Неволя, неволя, боярский двор:
Стоя наешься, сидя наспишься!*

Друзья с горестью наблюдали, в каких ужасных для творчества условиях жил Пушкин. Гоголь писал: «Его нигде не встретишь, как только на балах. Так он протранжирит

всю жизнь свою». И Плетнев: «Пушкин ничего не делает, как только утром перебирает в гадком сундуке своем старые к себе письма, а вечером возит жену по балам». И сам Пушкин с грустью писал Нащокину: «Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга вольной холостой жизни, необходимой для писания. Кружусь в свете, жена моя в большой моде, все это требует денег, деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения...» И вот еще – эти деньги. Светской женщине-красавице необходимы элегантные наряды, приличный выезд, поместительная квартира, дача на модных островах. Бюджет получился совершенно фантастический. По расчетам Пушкина, ему необходимо было иметь в год двадцать пять – тридцать тысяч дохода. Где было взять такие деньги? Пушкин метался по кредиторам, должен друзьям и малознакомым, должен тысячами в магазины, закладывал у ростовщиков не только свои вещи, но и вещи близких (Соболевского, Александры Гончаровой). За первые четыре года женитьбы он сделал долгов на 60 000 руб. Еще через два года, ко времени смерти Пушкина,

долгов оказалось уже на 120 000. Наталья Николаевна нисколько об этом не печалилась и продолжала наслаждаться жизнью. Пушкин с горечью писал ей: «Какие вы помощницы или работницы? Вы работаете только ножками на балах и помогаете мужьям мотать».

Мы, в сущности, знаем очень мало о Наталье Николаевне и ее взаимоотношениях с мужем, не имеем никакого представления о ее характере, нам неизвестны силы, какими она властвовала над мужем и заставляла его исполнять свои хотенья, но заставляла она его с неизменным успехом. Все делалось, как желала Наталья Николаевна. Пушкин страстно порывался оставить Петербург и уехать в деревню – «обитель дальнюю трудов и чистых нег». «Поля, сад, крестьяне, книги, – мечтательно записывал он, – труды поэтические, – семья, любовь etc. – религия, смерть». Но Наталья Николаевна и слышать не хотела об отъезде из Петербурга; не хотела даже лето проводить в деревне, а желала жить на даче под Петербургом; за все время жизни Пушкина она даже ни разу не побывала ни в Михайловском, ни в Болдине. Вздумала Наталья Николаевна

поселить у себя живших в деревне двух своих сестер. Пушкин был против этого. Но сделалось, конечно, по желанию Натальи Николаевны. Домашним хозяйством она совершенно не занималась, также и детьми. Балы, обеды, портнихи и модные магазины занимали все ее время. Пушкин жил дома беспризорно, без заботливого женского глаза. Один наблюдатель рассказывает, как резало ему глаза на прогулках по Невскому, что на старенькой бекеше Пушкина сзади на талии не доставало пуговики. «Отсутствие этой пуговики, – сообщает он, – меня каждый раз смущало, когда я встречал Пушкина и видел это. Ясно, что около него не было ухода».

Успехи Натальи Николаевны в свете непрерывно шли в гору. Очень скоро уже не Пушкин стал освещать ее своей славой, а она, первейшая, всех собою восхищавшая красавица, – его, скромного титулярного советника и с о ч и н и т е л я. Анна Вульф писала сестре из Петербурга: «Я здесь меньше о Пушкине слышу, чем в Тригорском даже; об жене его гораздо больше говорят еще, чем об нем; от время до времени я постоянно слышу, как

кто-нибудь кричит об ее красоте». Из-за Натальи Николаевны Пушкин был произведен в камер-юнкеры. «Двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове», – записал Пушкин в дневнике. Двору это, конечно, значит: царю. В Аничковом дворце устраивались интимные царские вечера, куда принято было приглашать только лиц с придворными званиями. Пожалованием Пушкина в камер-юнкеры царь сразу достиг двух целей: сделал для себя возможными частые встречи с Натальей Николаевной, за которой ухаживал, и глубоко унизил Пушкина, которого ненавидел, – камер-юнкеры были обыкновенно очень еще молодые люди, и тридцатипятилетний, уже седеющий Пушкин должен был производить в их толпе очень смешное впечатление. Пушкин был в бешенстве, а Наталья Николаевна – в восхищении, что ей открылся доступ в Аничков дворец. Царь открыто за ней ухаживал. Письма Пушкина к жене полны намеков на эти ухаживания. «Не кокетничай с царем», – пишет он ей из Болдина. Подшучивает, что «кого-то» она довела до такого отчаяния своим кокетством и жестоко-

стью, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц. Уже серьезно пишет: «...побереги меня; к хлопотам, неразлучным с жизнью мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных, ревности и т. д.».

А поводов к ревности было достаточно. Пушкин рассказывал Нащокину, что Николай, как офицеришка, ухаживает за его женой, нарочно по утрам по несколько раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру, на балах, спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены. На ужинах царь неизменно сидел рядом с Натальей Николаевной. Для самодержца всероссийского пожелать – значило получить желаемое. Француз А. Галле де Кюльтюр, долго живший в России в качестве секретаря у одного знатного богача, рассказывает: «Царь – самодержец в своих любовных историях, как и в остальных поступках; если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Предупреждают супруга, если она замужем; родителей, если она девушка, – о чести, которая им выпала. Нет примеров, чтобы это отличие было принято иначе, как с изъяс-

лением почтительнейшей признательности. Равным образом нет еще примеров, чтобы обесчещенные мужья или отцы не извлекали прибыли из своего бесчестия. «Неужели же царь никогда не встречает сопротивления со стороны самой жертвы его прихоти?» – спросил я даму любезную, умную и добродетельную, которая сообщила мне эти подробности. «Никогда! – ответила она с выражением крайнего изумления. – Как это возможно?» – «Но берегитесь, ваш ответ дает мне право обратиться вопрос к вам». – «Объяснение затруднит меня гораздо меньше, чем вы думаете; я поступлю, как все. Сверх того, мой муж никогда не простил бы мне, если бы я ответила отказом». По всем данным судя, Наталья Николаевна не нашла бы никаких препятствий поступить, «как все», если бы муж ее был хоть сколько-нибудь подобен мужу собеседницы Галле де Кюльтюра. Но Пушкин и мысли не мог допустить, чтоб жена его стала царской наложницей. Вероятно, он сумел и ее заразить сознанием чудовищной позорности и совершенной моральной невозможности такого положения. Наталья Николаевна держала

императора в должных границах, так что ему ничего больше не оставалось, как изображать добродетельно-попечительного отца и давать Наталье Николаевне благожелательные советы держаться в свете поосторожнее, беречь свою репутацию и не давать повода к сплетням.

Так-то вот блистала Наталья Николаевна. Но собственное ее сердце оставалось свободным. Мужу она была «доброй женой», добросовестно рожала ему детей чуть не каждый год, но как женщина относилась к нему равнодушно. Пришла, однако, пора, – настоящую любовь узнала и сама Наталья Николаевна. Приехал в Петербург молодой француз барон Дантес, – легитимист, не пожелавший после июльской революции оставаться во Франции. Он был принят прямо офицером в первейший из всех гвардейских кавалерийских полков – кавалергардский. В высшем свете он сразу занял очень заметное положение. Высокого роста, красавец, с дерзкими, выпуклыми глазами, самоуверенный, живой, веселый, остроумный, везде желанный гость. Дамы носили его на руках. И вот – сошлись две встречных

дорожки. Наталья Николаевна познакомилась с Дантесом. Она его очаровала. Ей тоже все больше с каждым разом начинал нравиться этот статный красавец с нежными, дерзко-почтительными глазами, тайно сулящими острые, никогда ею не испытанные радости. В дневнике современника находим мимолетную запись о наблюдавшейся им встрече Дантеса с Натальей Николаевной на балу у итальянского посланника: «В толпе я заметил Дантеса. Мне показалось, что глаза его выражали тревогу, – он искал кого-то взглядом и, внезапно устремившись к одной из дверей, исчез в соседней зале. Через минуту он появился вновь, но уже под руку с г-жою Пушкиною. До моего слуха долетело: «Уехать – думаете ли вы об этом – я этому не верю – вы этого не намеревались сделать...» Выражение, с которым произнесены были эти слова, не оставляло сомнения насчет правильности наблюдений, сделанных мною ранее, – они безумно влюблены друг в друга! Пробыв на балу не более получаса, мы направились к выходу: барон танцевал мазурку с г-жою Пушкиной... Как счастливы они казались в эту

минуту!»

Над головой Пушкина все назойливее, как прилипчивая осенняя муха, начинало мелькать ужасное слово «рогоносец». На одном балу молодой негодяй, косолапый князь П. В. Долгоруков, подмигивая приятелям на Дантеса, поднимал сзади головы Пушкина пальцы, расставленные, как рога. Рогоносец! Что может быть смешнее и презреннее этой породы людей в глазах света? В свое время и сам Пушкин в достаточной мере поработал над их осмеянием. В «Гавриилиаде», например, он писал:

*Но дни бегут, и время сединою
Мою главу тишком посеребрит,
И важный брак с любезною же-
ною
Пред алтарем меня соединит.
Иосифа прекрасный утешитель!
Молю тебя, колена преклоня.
О рогачей заступник и хранитель,
Молю – тогда благослови меня,
Даруй ты мне беспечность и сми-
рение,
Даруй ты мне терпенье вновь и
вновь*

*Спокойный сон, в супруге уверенность,
В семействе мир и к ближнему
любовь!*

Драма назревала быстро. Как-то молодой князь Павел Вяземский шел по Невскому с Натальей Николаевной, ее сестрой Екатериной и Дантесом. «В это время, – рассказывает он, – Пушкин промчался мимо нас, как вихрь, не оглядываясь, и мгновенно исчез в толпе гуляющих. Выражение лица его было страшно. Для меня это был первый признак разразившейся драмы». Анонимные пасквили. Первый вызов. Женитьба Дантеса на Екатерине Гончаровой. Знала ли Наталья Николаевна о вызове, посланном Пушкиным, знала ли о причинах, заставивших Дантеса жениться на ее сестре? Кажется, ничего не знала. Дантес сделался родственником Пушкиных и еще с большей настойчивостью, доходившей до наглости, стал ухаживать за Натальей Николаевной. Бешенство Пушкина его, видимо, забавляло, и он при нем ухаживал за ней с особенным усердием, на ужинах громогласно пил за ее здоровье. Отпускал шуточки в таком роде: на разъезде с одного бала, подавая

руку своей жене, сказал так, чтобы Пушкин слышал: «Пойдем, моя законная!» – давая всем понять, что у него есть еще другая, не «законная». Пушкин перед пустоголовым болваном в кавалергардском мундире все время оказывался в самом смешном и жалком положении и не мог этого не сознавать. И кипел злобой. Однажды на вечере у Вяземских, когда Дантес с обычной неприкрытостью увидался вокруг Натальи Николаевны, графиня Наталья Викторовна Строганова говорила княгине Вяземской, что у Пушкина такой страшный вид, что, будь она его женой, она не решилась бы вернуться с ним домой. Пушкин дошел почти до сумасшествия. Постоянно получались новые анонимки. Пушкин целыми днями разъезжал по городу, загонял несколько парных месячных извозчиков, – либо, запершись в кабинете, бегал из угла в угол и кусал ногти. При звонке в прихожей выбегал туда и кричал прислуге: «Если письмо по городской почте, – не принимать!» – а сам, вырвав письмо из рук слуги, бросался опять в кабинет и там громко кричал что-то по-французски. Дочь Карамзина, княгиня Ек.

Ник. Мещерская, приехав в Петербург в декабре 1836 г., была поражена лихорадочным состоянием Пушкина и судорожными движениями, которые начинались в его лице и во всем теле при появлении будущего его убийцы. Близкие, дальние, прислуга – все видели, что с Пушкиным творится что-то чудовищное. Одна Наталья Николаевна ничего не замечала и совершенно не ощущала надвигавшейся грозы. Она могла быть равнодушна к Пушкину, могла его не любить, могла до полного самозабвения увлечься Дантесом, однако заметить-то творившееся с Пушкиным – могла же! Была она не только неумна, но в ней совершенно отсутствовала та женская интуиция, которая чутко схватывает налету и соображает всякое положение. Княгиня В. Ф. Вяземская старалась указать Наталье Николаевне на истинное положение дела, говорила ей:

– Я люблю вас, как свою дочь. Подумайте, чем все это может кончиться.

Наталья Николаевна беззаботно отвечала:

– Мне с ним весело. Он мне просто нравится. Будет то, что было два года сряду.

Настолько ничего не понимала, что простодушнейшим образом передавала мужу все пошлости и двусмысленные каламбуры, которыми ее увеселял Дантес.

Был ясный и морозный, ветреный январский день. Наталья Николаевна днем каталась по Дворцовой набережной. В четыре часа заехала за детьми, бывшими у княгини Е. Н. Мещерской, и воротилась домой. Стол уже был накрыт к обеду. В ожидании Пушкина Наталья Николаевна сидела в своем будуаре с сестрой Александриной. Вдруг, без доклада и не стучась, вошел полковник Данзас, лицейский товарищ Пушкина. Бледный, стараясь быть спокойным, он сообщил, что Пушкин сейчас стрелялся с Дантесом и ранен, – впрочем, легко. Наталья Николаевна кинулась в переднюю; в нее уже вносили на руках раненого Пушкина. Увидев жену, он сказал, что рана его вовсе не опасна, и попросил ее не входить к нему, пока его не уложат.

Когда с близким человеком случается беда, иные женщины, даже совсем как будто слабые и беспомощные, вдруг исполняются невероятной силы, энергии и, забыв совершенно

себя, целиком уходят в помощь ближнему. Есть другие женщины: при беде с близким человеком они сами становятся беспомощными, падают в обмороки, бьются в судорогах, не только не помогают окружающим, но и отвлекают на уход за собой силы, нужные для близкого. Наталья Николаевна принадлежала ко второго рода женщинам. В тяжкие предсмертные дни Пушкина ей было совсем не до ухода за умирающим; напротив, всем приходилось ухаживать за ней, все заботились о ней, и в первую голову – сам умиравший. Пушкин до последней возможности удерживался от стонов, чтоб не расстраивать жену, просил пойти сказать, что все, слава Богу, идет хорошо, – «а то ей там, пожалуй, наговорят!» И все время твердил ей, что она совершенно неповинна в случившемся.

Наталья Николаевна была в полном отчаянии, рыдала, впадала в летаргический сон; как привидение, подкрадывалась к дверям комнаты мужа. Ему было уже совсем плохо. Пушкин раскрыл глаза и попросил моченой морошки. Когда ее принесли, он внятно сказал:

– Позовите жену, пусть она меня покормит.

Наталья Николаевна опустилась на колени у его изголовья, поднесла ему ложечку, другую и приникла лицом к лицу мужа. Он погладил ее по голове и сказал:

– Ну, ну, ничего, слава Богу, все хорошо!

Наталья Николаевна, обрадованная, вышла из кабинета и сказала окружающим:

– Вот вы увидите, что он будет жив!

И, с присущей ей тонкостью интуиции, все продолжала твердить:

– Да, да, он останется жив!

Ал. Тургенев с изумлением записал в дневнике: «У него предсмертная икота, а жена его находит, что ему лучше, чем вчера!»

Умер. Княгиня Вяземская подошла к Наталье Николаевне и мягко сжала ее руки. Та повела обезумевшими глазами.

– Пушкин умер?

Вяземская молчала.

– Скажите, скажите правду!

Вяземская выпустила ее руки и молча поникла головой. С Натальей Николаевной сделались самые страшные конвульсии, гибкий

стан перегибался так, что ноги доходили до головы, зубы стискивались и трещали. Она закрыла глаза, призывала мужа, говорила с ним громко; говорила, что он жив. Ничто не могло ее удержать. Она побежала к труп, упала на колени. Густые темно-русые локоны в беспорядке рассыпались по плечам. Она то склонялась лбом к оледеневшему лбу мужа, то к его груди, называла его самыми нежными именами, просила у него прощения, толкала его и, рыдая, вскрикивала:

– Пушкин, Пушкин, ты жив?

Ее увели насильно, опасаясь за ее рассудок. Наталья Николаевна попросила к себе Данзаса. Когда он вошел, она со своего дивана упала перед ним на колени, целовала ему руки, просила прощения, благодарила за заботы о муже. Клялась перед всеми, что оставалась верна мужу, но винила себя, что допускала ухаживания Дантеса и не замечала страданий, какие доставляла Пушкину.

Материальная судьба вдовы устроилась очень хорошо. По приказанию царя уплачены были все долги Пушкина, жене выдано единовременное пособие в десять тысяч рублей

и назначена пенсия, кроме того, по полторы тысячи в год на каждого из сыновей, пенсия каждой дочери до замужества; велено на казенный счет издать сочинения Пушкина в пользу вдовы.

Конечно, Наталья Николаевна стала предметом всевозможных толков, пересудов, сплетен. Оставаться в Петербурге было очень тяжело. Она быстро собралась: гроб с телом Пушкина еще стоял в квартире, а уже началась спешная укладка. Через десять дней после похорон Пушкина Наталья Николаевна с детьми и сестрой Александриной выехала в Калужскую губернию, в имение брата Д. Н. Гончарова «Полотняный завод». О жизни сестер Д. Н. Гончаров писал: «Живут очень неподвижно, проводят время, как могут; понятно, что после жизни в Петербурге, где Натали носили на руках, она не может находить особой прелести в однообразной жизни «Завода», и она чаще грустна, чем весела, нередко прихварывает, что заставляет ее иногда целыми неделями не выходить из своих комнат и не обедать со мною». О Пушкине она очень скоро перестала горевать. Всего месяца

два после его смерти сын историка Андрей Карамзин писал матери: «То, что вы мне говорили о Наталье Николаевне, меня опечалило. Странно, я ей от всей души желал утешения, но не думал, что желание мое исполнится так скоро». А отец Пушкина, Сергей Львович, посетивший невестку в сентябре того же года, нашел, что Александрина Гончарова огорчена смертью Пушкина гораздо больше, чем Наталья Николаевна.

Два года прожила Наталья Николаевна в «Полотняном заводе», потом, с той же неразлучной сестрой Александриной, переселилась обратно в Петербург. Жили они там вдалеке от центра, на Аптекарском Острове, скромно и уединенно. «Совершенно по-монашески, – писал Плетнев. – Никуда не ходят и не выезжают. Пушкина очень интересна. В ее образе мыслей и особенно в ее жизни есть что-то трогательно-возвышенное. Она не интересничает, но покоряется судьбе». Плетнев шутя спросил ее – скоро ли она опять выйдет замуж? Наталья Николаевна, шутя же, ответила, что, во-первых, не пойдет замуж, во-вторых, ее никто не возьмет. Плетнев посовето-

вал ей на такой вопрос всегда отвечать что-нибудь одно и советовал держаться второго ответа. Но Наталья Николаевна продолжала твердить, что не пойдет замуж, — «чтобы в случае отступления сказать, что уж так судьба захотела».

24 декабря 1841 г. случилось маленькое событие, определившее всю дальнейшую судьбу Натальи Николаевны. Был канун Рождества. Наталья Николаевна выбирала в английском магазине подарки на елку своим детям и вдруг встретилась с царем; он тоже обыкновенно приезжал в этот день в английский магазин покупать елочные игрушки для своих детей. Царь изволил очень милостиво разговаривать с красавицей-вдовой, а через несколько дней выразил престарелой фрейлине Е. И. Загряжской, тетке Натальи Николаевны, желание, чтобы Наталья Николаевна, как в старые времена, украшала своим присутствием царские приемы. Для нее началась прежняя жизнь, полная блеска и побед. Одно из ее появлений при дворе превратилось в настоящий триумф. В залах Аничковского дворца состоялся костюмированный бал в са-

мом тесном кругу. Наталья Николаевна явилась одетой в древнееврейском стиле: длинный фиолетовый бархатный кафтан, почти закрывая широкие палевые шальвары, плотно облегал стройный стан, а легкое из белой шерсти покрывало, спускаясь с затылка, мягкими складками обрамляло лицо и ниспадало на плечи. Император был в восхищении, за руку подвел Наталью Николаевну к императрице; императрица оглядела ее в лорнет и сказала:

– Да, прекрасна, в самом деле прекрасна! Ваше изображение таким должно бы перейти к потомству.

Тотчас после бала придворный живописец написал акварелью портрет Натальи Николаевны в библейском костюме.

А потом... Потом целый ряд странностей. В 1844 г. кавалергардский офицер, генерал-майор П. П. Ланской, сделал Наталье Николаевне предложение. Ему в скором времени предстояло назначение командиром армейского полка в каком-нибудь захолустье, как вдруг, рассказывает его дочь А. П. Арапова, «ему выпало негаданое, можно даже ска-

зять, необычайное счастье». Он был назначен командиром лейб-гвардии конного полка, шефом которого состоял сам император, получил блестящее положение, великолепную казенную квартиру – и женился на Н. Н. Пушкиной. Арапова наивно рассказывает о внимании и милостях, которые расточал царь Наталье Николаевне и ее мужу. Николай сам вызвался быть посаженным отцом на их свадьбе. Но Наталья Николаевна настояла, чтобы свадьба совершилась как можно скромнее и привлекла к себе как можно меньше внимания. Царь прислал новобрачной в подарок великолепный бриллиантовый фермуар и велел передать, что первого их ребенка будет крестить сам и что от этого он не дозволит Наталье Николаевне отделаться. Когда у Натальи Николаевны родился ребенок (будущая А. П. Арапова), царь лично приехал в Стрельну для его крестин. «Постоянная царская милость служила лучшей эгидой против зависти врагов, – рассказывает Арапова. – Те самые люди, которые беспощадно клеймили Наталью Николаевну, заискивающе любезничали и напрашивались на приглашения, – в

особенности когда в городе стало известно, что сам царь назвался к Ланскому на бал». Наталья Николаевна задумала устроить вечеринку в полковом интимном кругу. Когда Ланской был у царя на докладе, Николай по окончании аудиенции сказал ему:

– Я слышал, что у тебя собираются танцевать? Надеюсь, ты своего шефа не обойдешь приглашением?

Приехав на бал, царь велел провести себя в детскую, взял на колени старшую девочку, разговаривал с ней, целовал и ласкал. Когда, по поводу юбилея полка, Ланской хотел поднести императору альбом с портретами офицеров полка, Николай пожелал, чтоб на первом месте, рядом с портретом командира полка, был помещен портрет его жены (!!)(При чем тут жена?). Кроме того, миниатюрный портрет Натальи Николаевны был вделан во внутреннюю крышку золотых часов, которые носил император. После смерти Николая камердинер взял себе эти часы, «чтобы не было неловкости в семье».

Все эти данные с большой вероятностью говорят за то, что у Николая завязались с На-

тальей Николаевной очень нежные отношения, результаты которых пришлось покрыть браком с покладистым Ланским.

Князь В. М. Голицын видел Наталью Николаевну зимой 1861–1862 г. в Ницце. В своих неизданных записках он рассказывает: «Несмотря на преклонные уже года, она была еще красавицей в полном смысле слова: роста выше среднего, с правильными чертами лица и прямым профилем, какой виден у греческих статуй, с глубоким, всегда словно задумчивым взором».

**Петр Петрович Ланской
(1799–1877)**

В январе 1837 г. перед одной из офицерских квартир кавалергардских казарм расхаживал по улице бравый кавалергардский ротмистр и зорко вглядывался в прохожих, – не следит ли кто за квартирой. В квартире происходило тайное свидание его приятеля Дантеса с красавицей Пушкиной, женой поэта. Свидание это устроила, по просьбе Дантеса, хозяйка квартиры, жена кавалергарда, Идалия Григорьевна Полетика. Она пригласила к себе Наталью Николаевну, а сама уехала. На-

талья Николаевна очутилась с глазу на глаз с Дантесом. Дантес стал страстно объясняться ей в любви, молил отдаться ему, вынимал пистолет и грозил застрелиться. По-видимому, настояния его не увенчались успехом. Наталья Николаевна, как она впоследствии рассказывала, не знала, как отделаться от него, в комнату вошла девочка, дочь хозяйки, Наталья Николаевна кинулась к ней, и Дантес должен был отступить. Стороживший квартиру офицер был Петр Петрович Ланской. Уж конечно, он понимал, что подобного рода тайные свидания устраиваются не для платонических бесед на возвышенные темы, и о даме, соглашающейся на такие встречи, должен был получить совершенно определенное представление. Однако ни свидание это, ни странное покровительство императора Наталье Николаевне не помешали Ланскому в 1844 г. жениться на ней и получить все бесчисленные выгоды, вытекшие для него из этой женитьбы. Карьера его оказалась обеспеченной. Вместо провинциального армейского полка Ланской получил в командование один из первых гвардейских кавалерийских пол-

ков, вскоре затем произведен в генерал-адъютанты, потом назначен начальником первой кавалерийской дивизии. Позднее он исправлял должность петербургского генерал-губернатора; был председателем комиссии для разбора и суда всех политических дел.

Современник, знавший Ланского, когда ему было уже за пятьдесят, сообщает, что он даже в эти годы был все еще замечательно красивый мужчина и добродушнейший по природе человек, но то, что на военном жаргоне называется «ремешок». В обществе это был элегантный, вполне светский человек, а на конногвардейском плацу, где происходило учение солдат, строго придирчивый николаевский генерал, не стеснявшийся, как говорят, самыми бесцеремонными приемами и суровыми наказаниями. В браке с ним Наталья Николаевна, как сообщает Арапова, нашла то тихое, безмятежное счастье, которого не имела с Пушкиным.

Екатерина Николаевна Гончарова
(1809–1843)

Старшая сестра Натальи Николаевны Пушкиной. В семье ее называли Коко. В 1834 г. вместе с сестрой Александрой поселилась в Петербурге у Пушкиных; обе сестры, по протекции Натальи Николаевны и тетки Ек. Ив. Загряжской, были назначены фрейлинами императорского двора. Екатерина Николаевна была очень высокого роста, стройная, с матовым цветом кожи и близорукими черными глазами; далеко не красавица, представляла собой довольно оригинальный тип скорее южанки с черными волосами. Насмешники сравнивали ее за рост с большим иноходцем и с ручкой от помела. Была страстно, до самозабвения, влюблена в Дантеса. Сама устраивала свидания его с Натальей Николаевной, только чтоб чаще его видеть. Дантес, увлекаясь Натальей Николаевной, снизошел к любви Екатерины и походя вступил с ней в связь. Летом 1836 г. она от него забеременела. Перед Дантесом стояла неприятная перспектива жениться на ней. Но приемный отец его Геккерен и слышать не хотел о такой невыгодной женитьбе. Однако после ноябрьского вызова, посланного Пушкиным Дантесу, и отец, и сын

предпочли пойти на эту свадьбу, чтоб не доводить дела до дуэли. 10 января 1837 г. свадьба состоялась. Екатерине Николаевне и после свадьбы приходилось быть постоянной свидетельницей наглых ухаживаний Дантеса за ее сестрой, но, по-видимому, она все это готова была переносить за счастье принадлежать Дантесу. Вне его она ничего не видела. Когда, после дуэли, к ней заехала домашний друг Пушкиных княгиня Е. А. Долгорукова, чтобы сообщить ей о смертельной ране Пушкина, Екатерина Николаевна выбежала к ее карете вся разряженная и восторженно крикнула:

– Жорж вне опасности!

Впрочем, когда Долгорукова сообщила ей, что дни Пушкина сочтены, она заплакала. Дантес был разжалован в солдаты и выслан за границу. Екатерина Николаевна, вынужденная остаться еще некоторое время в Петербурге, писала мужу: «Одна русская горничная (!) восторгается твоим умом и всею твоею особою, говорит, что тебе равного она не встречала во всю свою жизнь и что никогда не забудет, как ты пришел ей похвастаться

своей фигурой в сюртуке. Я тебя крепко, крепко люблю, в одном тебе все мое счастье, только в тебе, в тебе одном».

Уезжая из России, Екатерина Николаевна великодушно заявила, что – «она прощает Пушкина».

За границей, в апреле 1837 г., через три месяца после свадьбы, Екатерина Николаевна родила девочку. Остальную жизнь она прожила с мужем в его имении Зульце, в Эльзасе, изредка наезжая вместе с ним в Баден, Париж и Вену. По семейным преданиям Гончаровых, Екатерину Николаевну угнетала мысль, что муж ее остается верен своему обожанию ее сестры. Окружающие убеждали ее, что если она примет католичество, то это вызовет перемену чувств в муже. Она соглашалась, но хотела, чтобы присоединение ее к католичеству произошло при скромной обстановке в Зульце, родные же мужа желали обставить этот переход торжественно и настаивали на совершении обряда в Париже, в церкви Madeleine. После долгих переговоров Екатерина Николаевна согласилась, но не успела привести намерения в исполнение: она сконча-

лась после родов от родильной горячки. В действительности, католичество она приняла, но это скрывалось от Гончаровых, чтобы не огорчить ее мать.

Александра Николаевна Гончарова (1811 – в конце 70-х)

Сестра Н. Н. Пушкиной. Семейное прозвание – Азинька. Еще до женитьбы Пушкина была страстной его поклонницей, знала наизусть множество его стихотворений. Была девушка умная, но некрасивая. Высоким ростом и безукоризненным сложением она походила на Наталью Николаевну, но лицо являлось как бы карикатурой лица сестры: матовая бледность кожи Натальи Николаевны переходила у нее в некоторую желтизну, чуть приметное косоглазие, придававшее даже своеобразную прелесть лицу младшей сестры, у нее перерождалось в несомненно косой взгляд. Люди, видевшие обеих сестер рядом, находили, что именно это предательское сходство служило в явный ущерб Александре Николаевне. Впрочем, были люди, находившие ее красивой, и в Москве ее в свое время звали «бледным ангелом». С 1834 г. она вме-

сте с сестрой Екатериной жила в семье Пушкиных. Наряды и выезды поглощали все время обеих ее сестер, Натальи и Екатерины. Александра Николаевна выезжала неохотно, больше сидела дома, заведывала хозяйством Пушкиных и воспитанием их детей. Методы ее воспитания, по-видимому, не всегда нравились Пушкину. Весной 1836 г. он писал Нащокину: «Вот тебе анекдот о моем Сашке (сыне). Ему запрещают (не знаю, зачем) просить, чего ему хочется. На днях говорит он своей тетке: «Азя! Дай мне чаю: я просить не буду». Характер у Александры Николаевны был твердый и властный, мягковольная Наталья Николаевна инстинктивно подчинялась ей. Современница характеризует ее: «холодна, благоразумна». Можно, по-видимому, считать установленным, что в последние годы Пушкин находился с Александрой Николаевной в тайной связи. Арапова, дочь Натальи Николаевны от второго ее брака, в лживых своих воспоминаниях сочинила даже целую историю, как однажды у Александры Николаевны пропал ее шейный крестик, которым она очень дорожила, как его долго и безуспешно искали и как

камердинер, постилая на ночь постель Пушкина, нашел крестик в его простынях. Поводом к этой выдумке послужило, вероятно, сообщение княгини В. Ф. Вяземской, что однажды, когда она осталась наедине с умиравшим Пушкиным, он отдал ей какую-то цепочку с нательным крестом и попросил передать ее от него Александре Николаевне. Вяземская была очень изумлена, что Александра Николаевна, принимая этот загробный подарок, вся вспыхнула. С Пушкиным у нее, по-видимому, была и некоторая духовная близость: из всей семьи она одна знала об ужасном письме, отправленном Пушкиным Геккерену. Александра Николаевна дала Пушкину для заклада свое столовое серебро и брегет. Вещи не были выкуплены и пропали. Давала она в семью Пушкиных и деньги. После смерти Пушкина опекой был ей уплачен его долг в 2500 руб.

Александра Николаевна сопровождала вдову Пушкина с детьми в «Полотняный завод», жила там с ней, по-прежнему занималась воспитанием ее детей. Отец Пушкина, посетивший невестку в «Полотняном заводе»,

вынес впечатление, что Александра Николаевна более огорчена смертью Пушкина, чем Наталья Николаевна. Вместе с сестрой Александра Николаевна возвратилась в Петербург, жила у нее и по выходе сестры замуж за Ланского. В 1852 г., сорока одного года, вышла замуж за чиновника австрийского посольства в Петербурге барона Густава Фризенгофа, венгерского помещика. Умерла за границей.

Екатерина Ивановна Загряжская (1779–1842)

Дочь генерала И. А. Загряжского, единокровная сестра Нат. Ив. Гончаровой, тетка жены Пушкина. Фрейлина с 1808 г., богатая и влиятельная при дворе. Она любила Наталью Николаевну, как дочь, устраивала ее положение при дворе, помогала материально, оплачивала ее туалеты, руководила ею, направляла и оберегала – «делала из Натальи Николаевны все, что хотела», по свидетельству сестры Пушкина. В письмах своих к жене Пушкин постоянно упоминает о «тетке»: «Тебе пришлют для подписания доверенность. Катерина Ивановна научит тебя, как со всем этим поступить», «Благодарю мою бесценную

Катерину Ивановну, которая не дает тебе воли в ложе. Целую ее ручки и прошу, ради Бога, не оставлять тебя на произвол твоих обожателей» и т.п. Когда Пушкин представлялся однажды императрице Александре Федоровне, она говорила ему, что Екатерина Ивановна с нетерпением ждет увидеть уехавшую Наталью Николаевну, – «дочь ее сердца, ее приемную дочь». После смерти Пушкина Екатерина Ивановна, несмотря на свой возраст, сопровождала разбитую событиями Наталью Николаевну из Петербурга до Калуги, окружив племянницу самым нежным уходом.

В противоположность теще Пушкина, Екатерина Ивановна с большой симпатией относилась и к самому Пушкину. Письма его полны благодарных упоминаний о ней: «Тетка заезжала вчера ко мне и беседовала со мной в карете: я ей жаловался на свое житье-бытье, а она меня утешала», «Тетка меня все балует, – для моего рождения прислала мне корзинку с дынями, с земляникой, клубникой». Когда после смерти Пушкина ее племянница Екатерина Геккерен, жена убийцы Пушкина, уезжала к мужу за границу, Екатерина Ивановна не

захотела приехать к ней проститься.

Наталья Кирилловна Загряжская
(1747–1837)

Тетка Натальи Ивановны Гончаровой и Ек. Ив. Загряжской, дочь последнего гетмана Малороссии, генерала-фельдмаршала графа Кирилла Григ. Разумовского. Очень богатая. В 1772 г. вышла за молодого Измайловского офицера Н. А. Загряжского, с которым разъехалась, прожив с ним почти тридцать лет. Проживала у князя В. П. Кочубея, председателя государственного совета, женатого на ее воспитаннице и племяннице, занимая в его доме квартиру в шесть комнат. С детства она вращалась в кругу придворной знати, была фрейлиной императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II, свидетельницей и наблюдательницей шести царствований. Пользовалась огромным почетом в высших кругах Петербурга, принимала у себя особ царской фамилии. Сафонович, посещавший ее в тридцатых годах, рассказывает: «Загряжская была кривобока... Она отдала все состояние свое Кочубеям и довольствовалась определенным содержанием на домашние свои расходы. Ей

было уже более восьмидесяти лет, но она сохранила умственные способности. Каждый вечер собиралось к ней множество посетителей для составления ее партии в бостон или просто посидеть и встретиться со знакомыми, но главнейше повидаться с князем Кочубеем, человеком нужным. В числе гостей бывали у нее все важные и известные люди того времени. Старушка играла в карты очень дурно и всегда проигрывала, но игра сделалась ее потребностью. После игры оставались у нее ужинать. После ужина нельзя было тотчас расходиться: надобно было еще посидеть некоторое время, пока старушка не кончит своего пасьянса. Она не любила рано ложиться спать и удерживала своих гостей как можно долее».

Однажды она сказала великому князю Михаилу Павловичу:

– Не хочу умереть скоропостижно. Придешь на небо, как угорелая и впопыхах, а мне нужно сделать Господу Богу три вопроса: кто были Лжедмитрии, кто Железная Маска[274] и шевалье д'Еон[275] – мужчина или женщина?

Великий князь спросил:

– Так вы уверены, что будете в небе?

Старуха обиделась и с резкостью ответила:

– А вы думаете, я родилась, чтобы маяться в чистилище?

Держалась Загряжская независимо. Она отказала от дому царскому любимцу, военному министру А. И. Чернышеву, упекшему на каторгу своего родственника, декабриста графа З. Г. Чернышева, в расчете завладеть его наследством.

Летом 1830 г., будучи женихом Натальи Николаевны, Пушкин посетил в Петербурге Загряжскую. Вот как он описывает свой визит в письме к невесте: «Приезжаю, обо мне докладывают, она меня принимает за своим туалетом, как хорошенькая женщина прошедшего столетия: «Вы женитесь на моей племяннице (?)» – «Точно так». – «Как же это, я очень удивлена, меня об этом не извещали, Наташа ничего мне не писала» (это не о вас она говорила, а о татан). Я отвечал ей на это, что брак был решен весьма недавно, что расстроенные дела Афанасия Николаевича, Наталья Ивановны и пр., и пр. Она не приняла мо-

их резонов: «Наташа знает, как я люблю ее, Наташа мне всегда писала во всех случаях своей жизни, Наташа мне напишет и теперь; так как мы теперь в родстве, то, надеюсь, вы будете посещать меня часто». Мы расстались друзьями». Пушкин иногда посещал Наталью Кирилловну, любил слушать ее живые рассказы о минувших временах и многие из них записал («Table Talk»).

Дмитрий Николаевич Гончаров (1808–1859)

Брат Н. Н. Пушкиной, старший в семье. Окончил Московский университет, служил в министерстве иностранных дел. В 1832 г., в качестве опекуна над имением душевнобольного отца, вступил в управление разоренным гончаровским имением. В 1835 г. вышел в отставку и женился на армянке, княжне Елизавете Егоровне Назаровой. Дмитрий Николаевич был человек добрый, весьма ограниченного ума, путаник в делах; был глух и заикался. Он находился в полном порабощении у своей жены, хотя и княжны, но необразованной, выросшей в бедности в совершенно другой среде. Приезд Натальи Николаевны с

детьми и сестрой не пришелся ей по душе. Плохо умытая, небрежно причесанная, в помятом ситцевом платье сомнительной свежести, она появлялась с бриллиантовой ферро-ньерой на лбу и пренебрежительно оглядывала траурные наряды золовок. Мало-помалу она совсем сочла лишним стесняться; не упускала случая подчеркивать, что она у себя дома, а золовки обязаны ценить всякое ее одолжение; обижалась и дулась из-за каждого пустяка и совершенно отравила им существование. Когда после смерти Пушкина Екатерина Николаевна Геккерен уезжала с мужем за границу, Дмитрий Николаевич писал ей: «...ничто не интересуется меня так, как твоя дальнейшая судьба; по правде сказать, из всей семьи ты сейчас интересуешь меня всех более».

Дуэль и смерть

Барон Жорж-Шарль Дантес (1812–1895)

В дневнике Пушкина от 26 января 1834 г. находим брошенную мимоходом, незначущую, но теперь нас глубоко волнующую запись: «Барон д'Антес и маркиз де-Пина, два шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет». По странной случайности Пушкин счел нужным отметить в дневнике приезд авантюриста-француза, от пули которого через три года ему суждено было погибнуть.

Дантес происходил из состоятельной помещичьей семьи в Эльзасе. Вся семья его была легитимистской приверженицей «законной» бурбонской династии, являвшейся носительницей бешеной монархическо-феодальной реакции. Жорж учился в парижской Сен-Сирской военной школе. Во время июльской революции, свергнувшей Карла X Бурбона, он с другими учениками школы примкнул к немногочисленным войскам, оставшимся верными Карлу X, и сражался на площади

Людовика XV против восставших. Потом был в числе партизан, собравшихся в Вандее вокруг герцогини Беррийской, невестки свергнутого короля. Поэтому Пушкин и называет Дантеса шуаном: шуанами называлось контрреволюционное крестьянство Вандеи, долго боровшееся во время Великой французской революции против республики. После этого Дантес покинул школу, – то ли потому, что он не пожелал служить июльской монархии, то ли, вернее, потому, что она не пожелала его службы. Дантес вернулся в Эльзас к отцу, в его имение Зульце. Материальное благосостояние отца сильно пошатнулось, революция лишила многих членов семьи средств к существованию и королевских пенсий, а семья была большая. Жоржу оставалось одно – искать счастья за границей.

В 1833 г. он выехал в Германию. Через родственников матери, рожденной графини Гацфельдт, Дантес имел протекцию к прусскому принцу Вильгельму, будущему германскому императору Вильгельму I. Это давало ему возможность поступить в Пруссии на военную службу, но только в чине унтер-офицера; это

не прельстило Дантеса. Тогда принц Вильгельм дал ему рекомендательное письмо к русскому императору Николаю. С этим письмом Дантес отправился из Берлина в Россию. В каком-то маленьком городке он серьезно заболел и в полном одиночестве лежал в гостинице. В это время возвращался в Россию из отпуска голландский посланник Геккерен; у него сломалась дорожная коляска, и он вынужден был остановиться в городке, – в той же гостинице, где лежал больной Дантес. Познакомились. Молодой француз очень понравился посланнику, – настолько понравился, что Геккерен предложил Дантесу присоединиться к его свите для совместного дальнейшего путешествия и остался ждать выздоровления Дантеса, хотя коляска была уже починена. Вместе приехали в Петербург. Геккерен продолжал покровительствовать Дантесу, оказывал ему материальную поддержку, ввел в великосветские круги. Благодаря его хлопотам и письму принца Вильгельма Дантес, после очень снисходительного офицерского экзамена, был по высочайшему повелению определен с чином корнета в самый лучший

из кавалерийских гвардейских полков – кавалергардский. Другой «шуан», упомянутый Пушкиным в дневниковой записи, маркиз де Пина, не имевший такой протекции, принят был не в гвардию, как записал Пушкин, а в армию.

Геккерен продолжал относиться к Дантесу с самой нежной любовью и заботливостью, совершенно как будто непонятной в черством и эгоистическом человеке, каким был Геккерен. Через два года он усыновил Дантеса, сделал его наследником своего состояния, Дантес стал именоваться бароном Геккереном и поселился вместе с приемным отцом. Страстная нежность Геккерена к своему приемному сыну объясняется тем, что распутный старик, по-видимому, при первой же встрече в гостинице влюбился в красавца-юношу. Трудно себе представить, чтобы этот юноша, большой любитель женщин и счастливый покоритель их сердец, в свою очередь влюбился в потасканного мужчину, которому шел уже пятый десяток. Но Дантес ехал устраивать себе карьеру, покровитель его мог ему быть очень полезен в этом отношении, – и

молодой человек с легким сердцем сделался «любовницей» влиятельного сановника.

Статный красавец высокого роста, очень живой, веселый, остроумный. В свете он имел большой успех. У него была какая-то врожденная способность нравиться. Этим только можно объяснить, что пустоватый и малообразованный офицер был радушно принят даже в таких высококультурных домах, как Вяземского, Карамзиной и самого Пушкина. Дамы носили Дантеса на руках и вырывали его друг у друга. Избалованный поклонением, он держался с ними развязно: позволял себе обнимать их, целовать, класть голову на плечи. Полковой товарищ Дантеса вспоминает: «Он относился к дамам вообще, как иностранец, смелее, чем мы, русские, требовательнее, если хотите, нахальнее, наглее, чем даже было принято в нашем обществе». Дантес был самоуверен, фатоват, любил похвастать своими успехами. Один знакомый сказал ему:

– Говорят, барон, вам очень везет у женщин.

Дантес ответил:

– Женитесь, граф, и я вам это докажу на де-

ле.

Товарищи его любили, он был «славный малый». Старанием на службе не выдавался, и в приказах по полку то и дело появлялись выговоры ему: он опаздывал на службу, отлучался с дежурства, уезжал в экипаже с развода раньше начальства, на параде закуривал сигару, когда было нельзя, и т. п. За три года службы в полку Дантес был подвергнут взысканиям сорок четыре раза.

Пушкин познакомился с Дантесом летом 1834 г., когда, за отъездом жены, жил на холостом положении и обедал в ресторане Дюме. В том же ресторане обедал и недавно приехавший в Петербург Дантес. Веселый и остроумный француз понравился Пушкину. Дантес стал бывать у него, познакомился с его женой и свояченицами. Соболевский сообщает, что Дантес чрезвычайно нравился Пушкину за его детские шалости: он прыгал, например, на стол, на диваны, – ребячества, к которым был склонен и сам Пушкин до конца жизни. Нравился и своим остроумием, – Пушкин со смехом передавал остроты Дантеса. Так, однажды Пушкин приехал на бал с женой и двумя

свояченицами; Дантес встретил его у дверей и воскликнул:

– Voila´ le pacha a´ trois gueues (вот – трехбунчужный паша)!

В другой раз Пушкин при Дантесе размышлял, как бы назвать журнал, который он собирается издавать вроде английского Quarterly Review. Дантес посоветовал:

– Donnez lui le nom de Kvartalny nadziratel [276].

Дантесу очень понравилась Наталья Николаевна, он влюбился в нее страстно и стал настойчиво ухаживать. Не отходя, танцевал с ней на балах, сопровождал на верховых прогулках, являлся в театре, на гуляньях, всюду, где являлась Наталья Николаевна. Вскоре весь великосветский Петербург заговорил об этих ухаживаниях. Жившая у Пушкиных старшая сестра Натальи Николаевны Екатерина Гончарова по уши влюбилась в красавца-кавалергарда. Ухаживая за Натальей Николаевной, он не прошел и мимо любви ее сестры. Летом 1836 г. Екатерина забеременела от Дантеса. Перед ним встал очень неприятный вопрос о женитьбе на ней. Однако при-

емный отец и слышать не хотел о таком невыгодном браке, – что навряд ли особенно огорчило Дантеса. За Натальей Николаевной он продолжал ухаживать с прежней настойчивостью. Они обменивались записочками, из которых некоторые, – как впоследствии сам Дантес признавал на суде, – «своими выражениями могли возбудить щекотливость Пушкина как мужа». Ухаживания Дантеса были настолько явны, настолько обращали на себя всеобщее внимание, что княгиня Вяземская решительнейшим образом попросила Дантеса не являться, когда у них Пушкин. Тем не менее он опять явился и весь вечер по-обычному не отходил от Натальи Николаевны. Вяземская ему отказала от дома. Душевное состояние Пушкина было ужасное; ревность его терзала и обиженное самолюбие, больше же всего – мысль о том смешном положении «рогоносца», в которое его ставили в глазах света ухаживания Дантеса.

4 ноября 1836 г. Пушкин получил анонимный пасквиль-диплом, возводивший его в ранг заместителя великого магистра ордена рогоносцев. Пушкин почему-то заподозрил в

авторстве Геккеренов и немедленно послал вызов Дантесу. Вызов этот сильно перепугал старика Геккерена. Он приложил все силы, чтобы расстроить дуэль. Вместе с приемным сыном они решили повернуть дело так, будто Дантес ухаживал не за Натальей Николаевной, а за ее сестрой Екатериной, на которой Дантес и выразил желание жениться, против чего Геккерен теперь не возражал.

Дантес стал официальным женихом Екатерины Николаевны, 10 января 1837 г. состоялась их свадьба. Но он еще с большей настойчивостью продолжал ухаживать за Натальей Николаевной, откинул всякую осторожность, и казалось иногда, что он насмехается над ревностью и негодованием Пушкина. На балах он танцевал и любезничал с Натальей Николаевной, за ужином пил за ее здоровье. Это была настоящая бравада. Получалось впечатление, как будто Дантес хочет показать, что он женился не из боязни дуэли и что если его поведение не нравится Пушкину, то он готов принять все последствия этого.

26 января 1837 г. последовал второй вызов. Дуэль состоялась. Дантес смертельно ранил

Пушкина и сам был легко ранен в правую руку. Как полагалось по законам, он был предан суду. Сочувствие высшего общества было целиком на стороне Дантеса. Саксонский посланник доносил своему правительству: «При наличии в высшем обществе малого представления о гении Пушкина и его деятельности не надо удивляться, что только немногие окружали его смертный одр, в то время как нидерландское посольство осаждалось обществом, выражавшим свою радость по поводу столь счастливого спасения элегантного молодого человека». Оказалось, однако, что кроме «высшего общества» существуют в России и другие слои общества, которые имели очень ясное представление о гении Пушкина и его деятельности. Смерть Пушкина с такой силой всколыхнула широчайшие общественные круги, какой наверху решительно никто не ожидал. Десятки тысяч народа теснились к гробу Пушкина, звучали угрозы по адресу иностранцев, убивающих лучших русских людей, хотели идти на голландское посольство, раздавались форменные революционные речи, огненная стихотворная проклама-

ция Лермонтова по поводу смерти Пушкина распространилась с телеграфной быстротой. Все депеши иностранных послов считают нужным отметить этот никем не ожидавшийся взрыв широкого общественного возмущения; он был так силен, так единодушен, что в верхах с беспокойством заговорили о каком-то тайном революционном обществе, будто бы являющемся руководителем всего движения. Тайный ночной вынос тела Пушкина из квартиры, отпевание его не в указанной церкви, спешный увоз тела в псковскую губернию, – все это было вызвано вовсе не пустыми страхами перед несуществующими призраками, как с возмущением уверяли в свое время смиренно-лояльные друзья Пушкина. Страх правительства был вполне основателен: после декабрьского движения в первый раз за десять лет среди всеобщего могильного молчания вдруг совершенно явственно зазвучал живой голос независимого общественного мнения. Самый этот факт испугал правительство, безотносительно к тому, грозила ли какая-нибудь непосредственная, конкретная опасность. С одной стороны,

Николай постарался преградить все пути к проявлению общественного негодования, с другой – поспешил совершенно перестроить свое отношение к случившемуся. Это очень быстро и очень чутко учла знать, вначале отнесшаяся к смерти Пушкина с глубочайшим равнодушием. Французский посол Барант, с выражением искреннего горя стоявший перед телом Пушкина, вызвал замечание присутствовавших:

– Вот среди них единственный русский человек.

Прошел день, – и все генерал-адъютанты и камергеры, как по взмаху дирижерской палочки, устремились к праху Пушкина и отшатнулись от Геккеренов. Это со смущением почувствовали сами Геккерены и с большой точностью определили причину внезапной перемены. Дантес в конце февраля 1837 г. в письменном своем показании суду, прося допросить некоторых свидетелей из высшего света, с горечью прибавлял: «Правда, все эти лица от меня отвернулись с той поры, как простой народ побежал в дом моего противника, без всякого рассуждения и желания от-

делить человека от таланта. Они также хотели видеть во мне только иностранца, который убил их поэта».

18 марта 1837 г. Дантес приговорен был судом к лишению чинов, дворянства и к разжалованию в рядовые. Конфирмация Николая гласила: «Быть по сему, но рядового Геккерена, как не русского подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты». На следующий же день Дантес был усажен в сани и в сопровождении жандарма отправлен за границу.

Он поселился с женой в родительском имении Зульце в Эльзасе. В конце сороковых годов, после февральской революции, Дантес выступил на политическое поприще, был членом учредительного собрания, из легитимистов сделался бонапартистом и усердно поддерживал президента Луи-Наполеона. Летом 1851 г. Виктор Гюго выступил в Национальном собрании с бурной речью против изменения конституции, имевшего целью облегчить Луи-Наполеону путь к государственному перевороту. Клика правых депутатов бесновалась, прерывала оратора, не давала

ему говорить. В числе этих депутатов находился и Геккерен. Все они поименно заклеямены Виктором Гюго в примечаниях к его стихотворению «Сходя с кафедры».

После переворота 2 декабря Наполеон III в награду за услуги, оказанные Дантесом, назначил его сенатором с жалованьем в тридцать тысяч франков в год. В сенате Дантес обратил на себя особое внимание своими речами в защиту светской власти пап. Он исполнял некоторые щекотливые дипломатические поручения Наполеона, – был, например, отправлен ко дворам Вены, Берлина и Петербурга с тайным поручением постараться добиться признания Наполеона этими дворами. Дантес оказался также весьма ловким предпринимателем, искусно сумевшим использовать тогдашнюю финансово-промышленную горячку: он принимал деятельное участие в учреждении кредитных банков, железнодорожных компаний, промышленных и страховых обществ; был одним из учредителей парижского газового общества и нажил на этом большое состояние. В последние годы империи политическое положение Дантеса было

видное: он состоял председателем генерального совета Верхнего Рейна, мэром Зульца, был произведен сначала в кавалеры, а потом в командоры ордена Почетного легиона. Жил он в свое удовольствие, пользуясь почетом и влиянием. Близ Елисейских полей выстроил себе трехэтажный особняк; нижний этаж занимал он сам, два верхних были отведены его многочисленному потомству. Днем Дантес обыкновенно отправлялся в экипаже в свой клуб «Сэркль эмпериаль», а вечера проводил дома, в кругу семьи, часто развлекая молодое поколение рассказами о своей молодости.

Князь В. М. Голицын видел Дантеса в Париже в 1863 г. «В то время, – рассказывает он в своих неизданных записках, – Дантес был сенатором Второй империи. Полный, высокого роста, с энергичным, но довольно грубым лицом, украшенный эспаньолкой по моде, введенной Наполеоном III, он казался каким-то напыщенным и весьма собою довольным. Мне его показали на церемонии открытия законодательных палат, на которой я с родителями своими присутствовал в публике. Он подошел к одной русской даме, бывшей вместе с

нами и старой его знакомой по Петербургу, чрезвычайно любезно напомнил ей о себе, но та встретила эту любезность довольно холодно, и, поговорив минут пять, он удалился».

Почитателям Пушкина очень приятно было представлять себе, что Дантеса всю жизнь жестоко мучила совесть за убийство великого поэта. Дантес будто бы уверял встречавшихся ему за границей русских, что он не подозревал даже, на кого поднимал руку, что вынужденный к поединку, он все же не желал убивать противника и целил ему в ноги, что невольно причиненная им смерть Пушкину тяготит его и т. п. Художник Наумов в известной своей картине «Последняя дуэль Пушкина» изобразил Дантеса глубоко подавленным, медленно, с поникшей головой идущим прочь от раненного им Пушкина. Никаких таких терзаний в действительности не было. Среди других своих приключений молодости событию с Пушкиным Дантес придавал очень мало значения. Он говорил, что поступил как человек, который считает, что за определенные слова должно быть дано удовлетворение. У барьера он не считал нужным сентимен-

тальничать. Никогда он не говорил, что целил Пушкину в ногу, и никто из семьи никогда не слышал от него об угрызениях совести. Напротив, он считал, что выполнил долг чести и ему не в чем себя упрекать. Дантес был вполне доволен своей судьбой и впоследствии не раз говорил, что только вынужденному из-за дуэли отъезду из России он обязан своей блестящей политической карьерой, что не будь этого несчастного поединка, его ждало незавидное будущее командира полка где-нибудь в русской провинции, с большой семьей и недостатком средств. Любопытно, что ни в молодости, ни впоследствии Дантес не проявлял никакого интереса к литературе. Домашние не припомнят Дантеса в течение всей его долгой жизни за чтением какого-нибудь художественного произведения. Даже французский литературный язык давался ему нелегко, и в нужных случаях приходилось обращаться за помощью к посторонним.

После крушения Второй империи политическая карьера Дантеса закончилась. Он умер в имении своем Зульце в глубокой старости, окруженный детьми, внуками и правнуками.

Барон Якоб-Теодор-Борхардт-Анна ван Геккерен де Беверваард (1791–1884)

Голландский посланник в Петербурге. Принадлежал к древней, но обедневшей дворянской фамилии. С 1823 г. служил при нидерландском посольстве в Петербурге, в 1826 г. был назначен посланником. Он находился в тесной дружбе с русским министром иностранных дел графом Нессельроде и принадлежал к международной реакционной клике, горячо поддерживавшей политику Меттерниха в ее борьбе с малейшими проявлениями революционного движения в Европе. При русском дворе Геккерен пользовался большим влиянием и уважением. Однако в 1833 г. департаменту внешней торговли пришлось обратить внимание министерства иностранных дел на то, что «с некоторого времени привозятся к Геккерену из-за границы значительные партии вещей»: пользуясь правом посланника беспошлинно получать вещи из-за границы, Геккерен широчайшим образом использовал это право, выписывая массу вещей, начиная с напитков и кончая мебелью.

Геккерен был тонкий и искусный дипломат, очень ценившийся своим правительством, но как человек производил крайне неприятное впечатление: был черств, эгоистичен, неразборчив в средствах, глубоко беспринципен, известен был по всему Петербургу своим злым языком и многих перессорил. Современник характеризует его – «всегда улыбающийся, отпускающий шуточки, во все мешающийся». Он никогда не был женат, не имел в жизни романов с женщинами. Но рассказывали, что он большой приверженец однополрой любви, что вокруг него группируются великосветские молодые люди самого наглого разврата, что в распутном его гнезде фабрикуются всевозможные сплетни, чернящие доброе имя людей. После смерти Пушкина вюртембергский посланник по поводу отставки Геккерена доносил своему правительству: «Об отъезде Геккерена никто не жалеет, несмотря на то что он прожил в Петербурге около тринадцати лет и в течение долгого времени пользовался заметным отличием со стороны двора; в городе к барону Геккерену относились хуже в течение уже нескольких

лет, и многие избегали знакомства с ним».

Если бы даже целый ряд свидетельств не говорил вполне определенно о противоестественных склонностях Геккерена, то уже одно его отношение к Дантесу должно бы нас убедить в их существовании. Ни один самый любящий отец не мог бы относиться к родному сыну так, как черствый, эгоистический Геккерен к молодому человеку, случайно подобранному им в захолустном немецком городке. Это была не отцовская любовь. Это была страстная влюбленность стареющего человека, любовь самозабвенная и безоглядная, все готовая отдать за ответную любовь любимого существа. Дантес добивается благосклонности Натальи Николаевны, – и старый Геккерен изо всех сил старается для него: как тень, преследует Наталью Николаевну, нашептывает ей о безумной любви сына, говорит, что он близок к самоубийству, описывает его муки, негодует на ее холодность и бессердечие, умоляет возвратить ему сына, излагает ей проект бегства за границу под его дипломатической эгидой. Пушкин, получив анонимный пасквиль, посылает Дантесу вызов, и Гекке-

рен ставит все вверх дном, чтобы уладить дело. С большим трудом уладил. И уже хорошо зная, что с Пушкиным шутки плохи, что каждую минуту может запахнуть порохом и кровью, все-таки не может смотреть спокойно на любовные муки приемного сына и опять начинает преследовать Наталью Николаевну своими уговорами, при выходе из театра шепчет ей:

– Когда же вы склонитесь на мольбы моего сына?

Все для возлюбленного он готов был сделать. И с горечью Геккерен признавал, что не встречает в Дантесе такого же беззаветного к себе чувства; после высылки Дантеса Геккерен писал ему: «Боже мой, Жорж, что за дело оставил ты мне в наследство! А все недостаток доверия с твоей стороны. Не скрою от тебя, меня огорчило это до глубины души, не думал я, что заслужил от тебя такое отношение».

Был ли Геккерен причастен к фабрикации анонимных пасквилей, полученных Пушкиным в ноябре 1836 г.? Сам Пушкин был глубоко убежден, что это – дело рук Геккерена, и,

кажется, в этой уверенности и умер. Какие-то данные были доставлены жандармерией императору, убедившие, по-видимому, и его в причастности Геккерена к пасквилям. Однако, с какой стороны ни подходить, совершенно невозможно себе представить, какой для Геккерена был смысл посылать Пушкину подобные пасквили. Могли это сделать только враги Дантеса, желавшие помешать свободе его ухаживаний за женой Пушкина. Последовавший вызов на дуэль был естественным следствием этих пасквилей. Все же поведение Геккерена после вызова, его отчаянные старания во что бы то ни стало ликвидировать создавшееся положение показывают, что он его вовсе не желал. Исследователи последнего времени единодушно сходятся во мнении о непричастности Геккерена к анонимным письмам. Щеголев, тоже отрицавший эту причастность, изменил свое мнение, когда выяснилось, что острое пасквильного диплома было направлено не на Дантеса, а на императора Николая. По мнению Щеголева, в таком случае можно принять, что Геккерен послал пасквиль Пушкину в намерении отвести

его внимание от Дантеса и направить его гнев в другую сторону. Но за какого простачка должен был принимать старый Геккерен Пушкина, если мог думать, что стоит указать ему на Николая, – и он забудет о Дантесе, который так компрометировал его в глазах света, и весь свой гнев целиком направит на Николая? Такой наивности Геккерен не мог предполагать в Пушкине, а впутывать в интригу высокую особу русского императора ему, представителю иностранного двора, было слишком рискованно.

26 января 1837 г. Пушкин послал Геккерену-старшему свое ужасное письмо, сделавшее дуэль неизбежной. Почему он послал письмо не Дантесу, а Геккерену? Автор ноябрьского пасквиля Пушкин считал Геккерена, – но дело с пасквилом как-никак было ликвидировано тогда же, и не произошло ничего нового, что могло бы побудить Пушкина опять вспомнить о паскиле. Дело шло теперь не о старом паскиле, а о непрекращавшейся своднической роли Геккерена, о его уговаривании Натальи Николаевны изменить мужу и осчастливить приемного его сына своей лю-

бовью. Павел Вяземский утверждает, что объяснение раздражению Пушкина следует видеть не в волокитстве Дантеса за его женой, а в уговаривании ее стариком бросить мужа: этот шаг старика и был тем убийственным оскорблением для самолюбия Пушкина, которое должно было быть смыто кровью. Во всяком случае, оба Геккерена сливались в глазах Пушкина в двуединое существо, с исключительной наглостью вмешивавшееся в семейную жизнь Пушкина, и вызов его одновременно бил по обоим. То, что в письме говорит Пушкин о роли Геккерена, достаточно объясняет причину адресования письма ему. «Вы, представитель коронованной главы, – вы отечески служили сводником вашему сыну... Подобно старой развратнице, вы подстерегали мою жену во всех углах, чтобы говорить ей о любви вашего так называемого сына; и когда, больной сифилисом, он оставался дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней; вы ей бормотали: «Возвратите мне моего сына!..» Я не желаю, чтобы жена моя продолжала слушать ваши родительские увещания».

Вызов принял, конечно, Дантес. Есть сведе-

ния, что Геккерен в наемной карете, чтобы не быть узанным публикой, поехал следом за дуэлянтами и ждал результатов поединка у Комендантской дачи, за полверсты от места дуэли. Он уступил свою карету для раненого Пушкина, а сам возвратился домой на извозчике.

Последствия, которые имела для Геккерена дуэль и вызванная ею смерть Пушкина, пробуждают большое недоумение. Что, собственно, случилось? Молодой офицер, сын иностранного посланника, – и даже не родной сын, а приемный, – по любовному делу убил на поединке нечиновного камер-юнкера, приревновавшего его к своей жене. Что здесь для того времени особенного? И самому убийце в подобных случаях наказание грозило очень небольшое – несколько месяцев ареста в крепости или на гауптвахте, особенно ввиду поведения убитого, сделавшего дуэль неизбежной. И уж никоим образом не могло отразиться это событие на отце офицера. Первые дни можно было думать, что все так и будет. Петербургское высшее общество за редкими, единичными исключениями было це-

ликом на стороне Геккеренов, оказывало им самое теплое внимание и сочувствие; император Николай высказался о Дантесе очень милостиво, признавал, что он никак не мог отказаться от вызова своего бешеного противника и что во время дуэли вел себя честно и смело. Вюртембергский посланник князь Го-генлоэ-Кирхберг писал своему правительству: «Непосредственно после дуэли между Пушкиным и молодым Геккереном большинство высказывалось в пользу последнего, но не понадобилось и двадцати четырех часов, чтобы русская партия изменила настроение умов в пользу Пушкина». Что это за «русская партия», мы увидим ниже. Но факт тот, что отношение верхов к обоим Геккеренам совершенно неожиданно резко изменилось. Дантес был присужден к разжалованию в рядовые и, как иностранный подданный, выслан за границу, «посажен в открытую телегу и отвезен за границу, как бродяга, без предупреждения его семьи об этом решении», – с негодованием писал в своей депеше французский посол. Старший Геккерен, после долгих и напрасных попыток оправдаться перед императором,

увидел себя вынужденным уехать в отпуск. Перед отъездом он просил императора об аудиенции. В этом ему было отказано, но была прислана табакерка с царским портретом. Такие табакерки вручались посланникам, когда они окончательно покидали свой пост; вручение табакерки Геккерену говорило, что его больше не желают видеть на его посту.

Чем была вызвана эта перемена отношения к Геккеренам? Император писал в Рим брату своему Михаилу: «Порицание поведения Геккерена справедливо и заслуженно; он точно вел себя, как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствие Пушкина, уговаривал жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью». Если это было и так, то все-таки подобного частного обстоятельства было слишком мало, чтобы потребовать отозвания Геккерена из России. Щеголев думает, что причиной перемены отношения Николая к Геккерену было предполагаемое участие Геккерена в посылке Пушкину ноябрьского пасквиля, задевавшего доброе имя и самого императора; ознакомившись после смерти Пушкина с пасквилом и

получив какие-то доказательства об авторстве Геккерена, император пришел в бешенство и потребовал от голландского правительства убрать своего посла. Может быть, были и такие мотивы, хотя трудно предположить, чтобы Бенкендорф посмел в ноябре скрыть от императора оскорбительный для него пасквиль и показать только после смерти Пушкина. Однако странным образом почти никем не учитывается главная причина перемены отношения к Геккеренам, – причина, получившая очень ясное отражение в целом ряде документов того времени. Похороны Пушкина, как мы уже видели, вылились в форменную, очень внушительную стихийную демонстрацию. До какой степени она была внушительна, показывает то обстоятельство, что почти все иностранные послы сочли нужным сообщить о ней своим правительствам; и все отмечали, что демонстрация шла от демократических слоев общества – «среднего класса», «второго и третьего класса жителей», «простого народа», «черни». Николай и высший свет совершенно не сознавали и не хотели знать, что смерть Пушкина огромней-

шая национальная потеря. Напор снизу заставил их это понять, и вот в чем основная причина столь изумившей Геккеренов перемены отношения к ним верхов. Волей-неволей пришлось понять, что убит не «сочинитель» титулярный советник Пушкин, а гениальный поэт, слава и гордость России. И пришлось перестроить все свое отношение к случившемуся, пришлось притвориться, что и наверху смерть Пушкина расценивается как национальная потеря. Как мы уже видели, Дантес в своем показании суду прямо писал, что в высшем обществе от него отвернулись с той поры, как простой народ побежал в дом Пушкина, «без всякого рассуждения и желания отделить человека от таланта». Прусский посланник сообщал своему правительству, что император совершенно изменил свое первоначальное благосклонное отношение к Дантесу: «Начинают думать, что император не пожелает, а быть может, не сможет всецело следовать своим первым впечатлениям и подвергнет барона Геккерена (Дантеса) достаточно суровому наказанию, хотя бы для того, чтобы успокоить раздражение и крики о возмездии

или, если угодно, горячую жажду публичного обвинения, которую вызвало печальное происшествие». А сардинский посланник по поводу ухода со своего поста голландского посланника писал: «Ввиду того горя, которое обнаруживается здесь по поводу смерти Пушкина, и тех сожалений, которые высказываются, я нахожу решение, принятое вышеназванным послом покинуть Петербург, весьма личным и соответствующим тому положению, в которое он будет поставлен вследствие этой дуэли, так изменившей его прежнее положение». Сам старик Геккерен писал близким, что он покидает свой пост, потому что ему пришлось бы бороться с целой партией, главой которой был покойный: «...борьба с нею отравила бы со временем все мое существование... Решительно мы подвергаемся нападкам партии, которая начинает обнаруживаться и некоторые органы которой возбуждают преследование против нас». И вюртембергский посланник, как мы видели, писал о могущественной «русской партии», сумевшей в двадцать четыре часа изменить настроение умов в пользу Пушкина. «Глаз стороннего на-

блюдателя, – сообщал он, – имел возможность убедиться, как сильна и могущественна эта чисто русская партия». Никакой такой специальной партии, конечно, не существовало. Но было стихийное демократическое движение, которое заставило в смущении отступить перед собой само всесильное николаевское правительство и жертвой которого сделались ничего такого не ожидавшие Геккерены.

После высылки Дантеса Геккерену пришлось некоторое время пробыть еще в Петербурге для ликвидации своих имущественных дел. Высшее общество поспешило от него отшатнуться, и он очутился почти в полном одиночестве; только некоторые из старых друзей остались ему верны. Из Голландии тоже шли плохие вести: надежды на новое место не было. Перед отъездом Геккерен публиковал о продаже всей своей движимости; его квартира превратилась в магазин, среди которого он сидел, самолично продавая вещи. Многие воспользовались этим случаем, чтобы оскорбить его. Геккерен сидел, например, на стуле, на котором выставлена была цена; один офицер заплатил за стул и тут же взял

его из-под него.

После потери своего поста в Петербурге Геккерен около пяти лет находился не у дел. Затем он был назначен голландским посланником в Вену и пробыл там непрерывно до семидесятих годов. В дипломатическом кругу сильно боялись его языка и хотя недолюбливали, но кланялись ему, опасаясь от него злого словца. Немецкий поэт Фр. Боденштедт имел случай наблюдать Геккерена в шестидесятих годах в Вене. «Он держал себя, – рассказывает Боденштедт, – с тою непринужденностью, которая обыкновенно вызывается богатством и высоким положением, и его высокой, худой и узкоплечей фигуре нельзя было отказать в известной ловкости. Он носил темный сюртук, застегнутый до самой его худой шеи. Сзади он мог показаться седым квакером, но достаточно было заглянуть ему в лицо, еще довольно свежее, несмотря на седину редких волос, чтобы убедиться в том, что перед вами прожженный жуир. Он не представлял собой приятного зрелища, с бегающими глазами и окаменевшими чертами лица. Весь облик тщательно застегнутого на все пугови-

цы дипломата производил каучукообразной подвижностью самое отталкивающее впечатление».

Бликие отношения между Геккереном и Дантесом продолжались. Дантес иногда приезжал с женой в Вену повидаться со своим приемным отцом. В 1875 г. Геккерен вышел в отставку и поселился в Париже у приемного сына. Умер он в глубокой старости, девяноста трех лет, сохранив до конца живой ум и колкое остроумие.

Князь Петр Владимирович Долгоруков (1816–1868)

Автор анонимных пасквилей, полученных Пушкиным в ноябре 1836 г. Учился в Пажеском корпусе, был произведен в камер-пажи, но вскоре, за леность и дурное поведение, разжалован в пажи. По окончании корпуса получил аттестат, в котором было упомянуто и об этом разжаловании и о том, что он к военной службе неспособен (Пажеский корпус специально выпускал офицеров в привилегированные полки). Долгоруков зачислился на службу по министерству народного просвещения и повел жизнь богатого и знатного мо-

лодого человека, перед которым были открыты все пути к удовольствиям жизни. Он вошел в кружок золотой молодежи, группировавшейся вокруг голландского посланника Геккерена и объединенной противоположными вкусами. Из чистого, по-видимому, озорства, без всякой личной вражды к Пушкину, отражая общее отношение высшего общества к Пушкину, он сфабриковал анонимный диплом на звание роконосца и разослал его знакомым Пушкина для передачи Пушкину. Молодого князя (ему в то время было двадцать лет), видимо, очень потешало ухаживание Дантеса за женой ревнивого Пушкина. На одном великосветском балу Долгоруков, стоя за спиной Пушкина, поднимал над его головой пальцы, растопыренные рогами, кивая при этом на Дантеса. Можно предположить, что забава с анонимным дипломом очень понравилась молодому человеку и что это он продолжал забрасывать Пушкина анонимными письмами вплоть до самой дуэли.

Долгоруков был небольшого роста, дурно сложен, одна нога короче другой, ходил при-

храмовая, почему его прозвали «le banсал (ко-солапый)». Черты лица неправильные. Был он человек завистливый, мелочный, скупой и глубоко беспринципный. Встречавший его около этого времени граф М. Д. Бутурлин рассказывает: «Молодежь подсмеивалась над ним, особенно по причине его скарედности; да и вообще меня поразила непочтительная фамильярность, с какою обходились с ним иные молодые люди и на которую он как бы не обращал внимания. Однажды, при разъезде из Михайловского театра, когда шел сильный дождь, двое великосветских молодых людей, зная, что, невзирая на мокрую погоду, Долгоруков поскупился взять экипаж, научили швейцара, провозглашавшего фамилии хозяев подъезжавших карет, закричать: «Князя Долгорукова калоши», – которые он обыкновенно оставлял у швейцара.

С юношеских лет Долгоруков интересовался генеалогией. В 1840–1841 гг. выпустил «Российский родословный сборник». В 1843 г., будучи в Париже, напечатал там под псевдонимом книжку о знатных русских дворянских фамилиях, полную самых пикантных разоб-

лчений. Ему было предъявлено требование немедленно возвратиться в Россию, и он был сослан на год в Вятку. По отбытии ссылки поселился в Москве, выпустил в четырех томах большой труд «Российская родословная книга». В 1859 г., без разрешения и паспорта, оставил Россию и стал политическим эмигрантом. Напечатал на французском языке памфлет под заглавием «Правда о России», издавал ряд журналов («Будущность», «Правдивый», «Листок»). Он доказывал в них необходимость для России конституционной монархии с двухпалатной системой, но особенный интерес представляли его многочисленные биографические очерки министров и сановников, рисовавшие картины глубокого развращения правящих слоев России. В 1867 г. издал на французском языке первый том «Мемуаров князя Петра Долгорукова», содержащий характеристику главнейших русских государственных деятелей начала восемнадцатого века, кончая Бироном. Герцен восторженно приветствовал книгу в «Колоколе» и писал о ней: «В рассказе детства и отрочества нашего настоящего барства душит подлость,

отсутствие всякого убеждения, всякого достоинства, стыда, чести, цинизм холопства, сознательность преступлений... И эти-то доносчики, сводники, ябедники, палачи, пытавшие друзей и родных, битые, сеченые, оплеванные Бироном, казнокрады, взяточники, изверги с мужиками, изверги с подчиненными, составляют почву настоящих русских бар!» Щеголев пишет о Долгорукове:

«Князь Долгоруков – характерное и по временам комическое порождение фронды родовитого русского дворянства против самодержавия и узурпации так называемой династии Романовых... Он всерьез считал себя претендентом на русский престол и говаривал: «Романовы узурпаторы, а если кому царствовать в России, так, конечно, мне, Долгорукову, прямому Рюриковичу».

На всех, знавших Долгорукова, он производил отталкивающее впечатление глубоко нечистоплотного в нравственном отношении человека; причину его борьбы с русским правительством объясняли личными мотивами мести за неудавшуюся карьеру, за то, что не удалось сделаться министром внутренних

дел и т. п. Н. А. Тучкова-Огарева, видевшая Долгорукова в 1862 г. в Лондоне у Герцена, так описывает его: «Наружность его была непривлекательна, несимпатична; в больших карих глазах виднелись самолюбие и привычка повелевать; он был ужасно горяч и неводержан на язык в минуты гнева. Каждое ничтожное происшествие, каждое неточное исполнение его желаний приводило князя в неопи-санную ярость... Герцен не чувствовал к нему ни малейшего влечения, но принимал его очень учтиво». Нравственная физиономия Долгорукова хорошо рисуется в его шантаж-ном письме к светлейшему князю М. С. Во-ронцову. В 1856 г., еще будучи в России, он на-писал Воронцову письмо, где просил его при-слать новые документы в подтверждение происхождения Воронцовых от древних Во-ронцовых и Вельяминовых, так как представ-ленные Воронцовым документы вызывают в Долгорукове сомнение в их подлинности. А в письмо это вложил записку без подписи, из-менив почерк, в которой Воронцов извещал-ся, что если он подарит Долгорукову 50 000 рублей серебром, то генеалогия его появится

в «Российской родословной книге» в том виде, в каком желает Воронцов. Воронцов денег не выслал, а записку сохранил. Уже по смерти Воронцова, когда Долгоруков был эмигрантом, французский суд, по иску сына умершего Воронцова, произведши экспертизу шантажного письма, признал его автором Долгорукова и вынес ему обвинительный приговор. Это был низкопробный негодяй, способный на все. В России он так избивал свою жену, что она, вся в синяках, прибегала в Третье отделение к Дубельту просить защиты от мужа. В конце концов она ушла от него. Однажды пришел к нему содержатель типографии Веймар, чтобы получить 650 руб. за напечатание третьей части «Российской родословной книги». Долгоруков предложил ему расписаться в получении денег, ушел со счетом в кабинет как будто за деньгами, через несколько минут воротился и спросил:

- Чего вы еще ждете?
- Как чего, ваше сиятельство? Моих денег.
- Да вы их получили и расписались.
- Вы изволите шутить? Расписаться я расписался, а денег вы мне не давали.

Долгоруков осыпал его ругательствами и велел лакею вытолкать вон.

Князь Иван Сергеевич Гагарин (1814–1882)

Получил блестящее образование. В 1833–1835 гг. служил в русской дипломатической миссии в Мюнхене и здесь сблизился с поэтом Ф. И. Тютчевым. В конце 1835 г. переехал в Петербург, где продолжал служить в министерстве иностранных дел. Был горячим пропагандистом поэзии Тютчева, познакомил с ней Пушкина, который много стихов Тютчева напечатал в своем «Современнике». В 1836 г. Гагарин жил в одной квартире с князем П. В. Долгоруковым, автором анонимных пасквилей на Пушкина. Пасквили были писаны на почтовой бумаге, употреблявшейся Гагариным, поэтому подозрение в соучастии (совершенно, по-видимому, неправильное) долго тяготело над Гагариным и отравило всю его жизнь. В 1843 г. Гагарин оставил Россию, поселился в Париже, перешел в католичество и поступил в орден иезуитов.

Граф Карл Васильевич Нессельроде (1780–1862)

Министр иностранных дел при Александре I и Николае I, немец по происхождению, до конца жизни не научившийся правильно говорить по-русски. Был страстным поклонником Меттерниха и являлся его послушным орудием в поддержке идей и системы Священного союза. В 1849 г. настоял на вмешательстве России в австрийские дела с целью подавления венгерского восстания; является также одним из инициаторов Крымской войны. Князь П. В. Долгоруков характеризует его так: «Человек ума не обширного, но необыкновенно хитрого и тонкого, ловкий и вкрадчивый от природы. Искусный пройдоха, обретший большую помощь в хитрости и ловкости своей жены-повелительницы, – столь же, как он, искусной пройдохи и к тому же страшной взяточницы, – Нессельроде был отменно способным к ведению обыденных, мелких дипломатических переговоров. Но зато высшие государственные соображения были ему вовсе чужды... Ленивый от природы, он не любил ни дел, ни переговоров; его страстью были три вещи: вкусный стол, цветы и деньги... Этот австрийский министр русских

иностранных дел не любил русских и считал их ни к чему не способными, зато боготворил немцев». Нессельроде был небольшого роста («карлик мой», называет его в своей эпиграмме Тютчев). Современник так описывает наружность Нессельроде: «Черты его лица были тонки, нос с заметным горбом, сквозь очки сверкали удивительные глаза. Не будучи ни горд, ни слишком прост в обращении, он вообще избегал всяких крайностей. Он мало говорил, но когда говорил, то всегда что-нибудь скажет своим сдержанным, хриплым голосом, звук которого нельзя было забыть. Движения его были быстры. Если он переходил в другую комнату, то походка его едва была слышна; неожиданно он оказывался уже там и, казалось, скорее скользил по полу, чем ходил. В немногочисленном обществе он всегда носил темный фрак с портретом государя, украшенным алмазами, в петлице: это высшая награда после ордена Андрея Первозванного».

**Графиня Мария Дмитриевна
Нессельроде
(1786–1849)**

Жена предыдущего, дочь министра финансов при Александре I Д. А. Гурьева, прославившегося колоссальным даже для того времени взяточничеством. О Гурьеве строчка в эпиграмме, неправильно приписываемой Пушкину:

*Встарь Голицын мудрость весил,
Гурьев грабил весь народ,
Аракчеев куралесил,
Царь же ездил на развод.*

Была одной из влиятельнейших дам в царствование Николая, салон ее был первым в Петербурге, попасть в него, при его исключительности, представляло трудную задачу; но кто водворился в нем, – рассказывает современник, – тому это служило открытым пропуском в весь высший круг. Как и муж, она всей душой была предана началам Священного союза, преклонялась перед монархом, была врагом всякого оппозиционного движения. Ее почитатель барон М. А. Корф пишет: «Сколько вражда ее была ужасна и опасна, столько дружба неизменна и заботлива. Совершенный мужчина по характеру и вкусу, частью и по занятиям, почти и по наружности, она, ка-

залось, преднамеренно отклоняла от себя все, имевшее вид женственности». Графиня Нессельроде была в самых дружественных отношениях с Геккереном, горой стояла за него в его истории с Пушкиным, была посаженной матерью на свадьбе Дантеса, вечер после дуэли вместе с мужем провела у Геккеренов и не покидала Геккерена до самого его вынужденного отъезда из Петербурга, когда, ввиду царской немилости, все поспешили от него отвернуться. Сомнительно, чтобы к Пушкину она специально питала какую-либо особенную ненависть, якобы за эпиграмму на ее отца. Для нее он был просто либеральный «сочинитель», которого она навряд ли даже и читала, ничтожный камер-юнкер, который мог ее только возмутить своим вмешательством в жизнь милой ей семьи Геккеренов. Об отношении Пушкина к графине Нессельроде рассказывает Павел Вяземский: «Ненависть Пушкина к этой последней представительнице космополитного олигархического ареопага едва ли не превышала ненависть его к Булгарину. Он не пропускал случая клеймить эпиграмматическими выходками и

анекдотами свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски». В общем, взаимоотношения Пушкина и четы Нессельроде остаются для нас очень неясными. Недавно опубликовано было сообщение одного придворного, что однажды за обедом в Зимнем дворце император Александр II сказал: «Ну, вот теперь известен автор анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина; это Нессельроде».

**Клементий Осипович Россет
(1810–1866)**

Брат А. О. Россет-Смирновой. Воспитание получил в Пажеском корпусе, служил на военной службе в пехоте, в 1846 г. вышел в отставку майором. Был человек остроумный. В ноябре 1836 г. он был одним из лиц, получивших анонимный пасквиль для передачи Пушкину. На первом конверте стоял адрес Россета с подробным указанием, куда повернуть, войдя во двор, по какой идти лестнице и какая дверь его квартиры. По вскрытии конверта в нем оказался другой, адресованный Пушкину. Подробный адрес свидетельствовал, что письмо послано лицами, бывавшими у Россе-

та, а вид бумаги и почерк навели Россета на подозрение, что письмо писано князем П. В. Долгоруковым или князем И. С. Гагариным, жившими вместе. Россет заподозрил какую-то гадость и не передал Пушкину ни письма, ни своих подозрений. Недели через две к нему пришел Пушкин, сказал, что вызвал на дуэль Дантеса, и просил быть его секундантом. Россет отказывался, говоря, что дело секундантов стараться вначале о примирении противников, а он этого не может сделать, потому что не терпит Дантеса и будет рад, если Пушкин избавит от него петербургское общество; потом он недостаточно хорошо пишет по-французски, чтобы вести переписку, а в этом случае ее нужно вести очень осмотрительно, но быть секундантом на самом месте поединка, когда уже все будет условлено, он не отказывается. После этого Пушкин обратился к графу В. А. Сологубу.

Аркадий Осипович Россет
(1812–1881)

Брат предыдущего. Воспитывался в Пажеском корпусе, служил в гвардейской артиллерии. Впоследствии был виленским губерна-

тором, товарищем министра государственных имуществ и сенатором.

24 января 1837 г., за три дня до поединка Пушкина, Россет пришел в гости к князю П. И. Мещерскому, женатому на дочери Карамзина. Дантес, уже женившийся на Екатерине Гончаровой, подчеркнуто ухаживал за женой Пушкина. Россет вошел в кабинет. Пушкин играл в шахматы с хозяином.

– Ну что? – обратился он к Россету. – Вы были в гостинной. Он уже там, возле моей жены?

Даже не назвал Дантеса по имени. Вопрос смутил молодого офицера. Он, заминаясь, ответил, что Дантеса видел. Пушкин стал глядеть на Россета, наблюдал выражение его лица и что-то сказал ему лестное. Тот весь покраснел, и Пушкин стал громко хохотать над его смущением.

Через пять дней А. О. Россет переносил тело Пушкина с дивана, на котором он умер, на стол. Вспоминая об этом, Россет рассказывал:

– Как он был легок!

**Виконт Д'аршиак
(1811 – в конце 40-х)**

Француз, атташе при французском посольстве в Петербурге, двоюродный брат Дантеса. По отзыву Сологуба, статный молодой человек, необыкновенно симпатичный. 2 февраля 1837 г., за участие в качестве секунданта в дуэли Дантеса с Пушкиным, принужден был уехать из России.

В 1847 г. Дантес Геккерен писал князю И. С. Гагарину:

«Жизнь д'Аршиака во многом сходна с моей. Как и я, он был женат и счастлив, и, как я, был поражен в самой дорогой для него привязанности. Его жена была дочь маршала Жерара. Его первый ребенок стоил жизни матери. С того времени он живет очень уединенно со своим тестем. Я с ним видаюсь, когда бываю в Париже».

Вскоре д'Аршиак умер, – как сообщает Сологуб, погиб трагической смертью на охоте.

Николай Федорович Арендт
(1786–1859)

Знаменитый хирург. Блестяще окончив петербургскую медико-хирургическую академию, поступил на службу военным врачом и принимал участие во всех кампаниях эпохи

наших войн с Наполеоном. Славился как необыкновенно искусный и смелый хирург, совершавший с успехом самые рискованные операции. В большой степени успех этот обуславливался щепетильной чистотой и тщательностью ухода за оперированным. С 1829 г. – лейб-медик. По поручению императора Николая руководил лечением смертельно раненного Пушкина. С точки зрения современной медицины лечение Пушкина было совершенно неправильно и только без нужды увеличило страдания умирающего.

Владимир Иванович Даль
(1801–1872)

Беллетрист (псевдоним – казак Луганский), фольклорист, лексикограф. Сын датчанина и немки, родился в Луганске Екатеринославской губернии. Окончил курс в морском корпусе, несколько лет служил во флоте, но моря не выносил, вышел в отставку и поступил в Дерпт на медицинский факультет. В 1829 г. выпущен был врачом, участвовал в качестве врача в турецкой и польской войнах. В Польше отличился при переправе русских войск через Вислу: за неимением инженера навел

понтонный мост, защищал его при переправе, а когда польская кавалерия прорвалась к мосту и передовые были уже на мосту, Даль собственноручно перерубил канат и развел мост. От начальства он получил выговор за неисполнение своих прямых обязанностей, но Николай наградил его орденом. По окончании войны Даль поступил ординатором в петербургский военно-сухопутный госпиталь, занялся и литературой, познакомился с лучшими тогдашними писателями – Пушкиным, Жуковским, Крыловым, Одоевским. В 1832 г. выпустил книжку «Русские сказки казака Луганского». По доносу Булгарина книжка была запрещена, а сам Даль взят в Третье отделение, однако в тот же день освобожден: царь вспомнил о его подвиге в Польше. Арест книжки сразу сделал Даля популярным. Около этого времени Даль познакомился с Пушкиным, очень заинтересовавшись стилем его сказок. «Пушкин, – рассказывает он, – по обыкновению своему, засыпал меня множеством отрывчатых замечаний, которые все шли к делу, показывали глубокое чувство истины и выражали то, что, казалось, у всякого

из нас на уме вертится, только что с языка не срывается. «Сказка сказкой, – говорил он, – а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать? Надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке. Да нет, трудно, нельзя еще! А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет!» По рассказу Мельникова-Печерского, Пушкин свою сказку «О рыбаке и рыбке» написал под влиянием «Сказок» Даля и подарил ее Далю в рукописи с надписью: «Твоя от твоих! Сказочнику казаку Луганскому сказочник Александр Пушкин».

В 1833 г. Даль поступил чиновником особых поручений к оренбургскому генерал-губернатору В. А. Перовскому, помогал приехавшему Пушкину собирать материалы для истории пугачевского бунта, ездил с ним в село Берды, бывшую столицу Пугачева. В 1836г. Даль приехал в отпуск в Петербург. 28 января следующего года он узнал от знакомого, что Пушкин смертельно ранен на дуэли, и сейчас же поехал к нему. Пушкин велел его впу-

стить, подал руку, улыбнулся и сказал:

– Плохо, брат!

Раньше они были на «вы», – теперь Пушкин стал ему говорить «ты». Даль как врач принял участие в уходе за Пушкиным и не отходил от него до его смерти. Всю последнюю ночь, мучаясь тоской и болью, Пушкин крепко держал в руке руку Даля, послушливо, как ребенок, исполнял все его предписания. На утешения его отвечал:

– Нет, мне здесь не житье. Я умру, да, видно, уж так и надо!

На следующий день, в предсмертном бреду, Пушкин все время сжимал руку Даля, говорил ему:

– Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше, ну, – пойдем!

Очнулся, поглядел на Даля:

– Мне было пригрезилось, что я с тобою лежу вверх по этим книгам и полкам, высоко, – и голова закружилась.

Опять впал в забытие, стал искать руку Даля, потянул ее и сказал:

– Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе!

По просьбе Пушкина Даль взял его под

мышки и приподнял выше. Вдруг Пушкин, будто проснувшись, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал:

– Кончена жизнь.

Даль недослышал и спросил тихо:

– Что кончено?

– Жизнь кончена, – внятно и уверенно ответил Пушкин.

Впоследствии Даль был директором канцелярии министра внутренних дел, управляющим нижегородской удельной конторой, в 1859 г. вышел в отставку и до смерти жил в Москве.

Даль был плодовитый беллетрист, но рассказы его имеют более этнографический, чем художественный, интерес; писаны они подчеркнуто народным языком, в тщательной нарочитости своей выдающим нерусское происхождение автора. Главный его труд и главная заслуга «Толковый словарь живого великорусского языка» Академия наук, несмотря на крупные недостатки словаря в научном смысле, все-таки признала его, ввиду собранного в нем громадного материала, достойным Ломоносовской премии, выдававшейся за

труды, пролагающие новые пути в области знания. Даль был монархист и ярый русско-православный патриот, хотя сам был лютеранином и принял православие только под конец жизни. Увлекался гомеопатией, спиритизмом. Был высок ростом, худощав; лицо очень худое, со впалыми щеками, с длинным, заостренным носом; брови очень выгнутые, щетинистые; небольшие, быстрые, пронзительные глаза со стальным отливом. Характер его был несколько жесткий, педантический, малообщительный. В семействе его побаивались, боялись и вообще все находившиеся в зависимости от него.

Григорий Александрович Строганов
(1770–1857)

Был посланником в Испании, Швеции и Турции. В 1826 г. возведен в графское достоинство. Богач. В молодости был знаменитый красавец и имел огромный успех у женщин. В «Дон-Жуане» Байрона испанка Джулия, хвалясь перед мужем своей верностью, перечисляет лиц, перед которыми она устояла, и в их числе называет Строганова: «...и граф Строганов был в отчаянии от моей жестокости». При

дворе и в высшем свете Строганов пользовался большим уважением. По отзывам современников, он представлял собой смешение совершенно иностранного воспитания, привычек и склада ума с самым фанатическим русским патриотизмом. В глубокой старости, уже ослепший, когда в его гостиной один иностранец непочтительно отозвался о России, Строганов попросил одного из гостей «проводить слепого» и вышел, заявив иностранцу, что «он не останется в одной комнате с посетителем, который осмеливается при нем сказать слово неуважительное про Россию».

По матери, рожденной Загряжской, Строганов приходился двоюродным братом теще Пушкина. Пушкин был с ним знаком, бывал у него. Современник рассказывает: «На даче графа Гр. А. Строганова, со стороны сада, на балконе часто можно было видеть Пушкина, беседовавшего с графом. Граф Строганов был слепец. Фигура его, с седыми вьющимися волосами, в бархатном длиннополом черном сюртуке, с добродушною улыбкою, невольно останавливала внимание гулявших в саду. Особенно когда вместе с ним был и поэт». Вес-

ной 1834 г. Строганов прислал Пушкину номер «Франкфуртской газеты», где сообщалось о речи, произнесенной в Брюсселе польским эмигрантом-революционером Лелевелем. В речи этой Лелевель, между прочим, говорил о Пушкине как главе русской оппозиционной молодежи, передавал содержание двух революционных сказочек, будто бы сочиненных Пушкиным и вызвавших ссылку Пушкина в самые отдаленные места империи. Пушкин в ответ писал Строганову: «Мне приходится очень печально расплачиваться за увлечения своей юности. Объятия Лелевеля кажутся мне тяжелее ссылки в Сибирь. Впрочем, очень благодарен вам за то, что вам угодно было сообщить мне эту статью: она послужит материалом для отповеди». Отповеди, впрочем, Пушкин не написал.

К Дантесу и его приемному отцу Строганов относился с большим расположением. Старик Геккерен отзывался о нем в письмах как о своем друге. Строганов с женой были посаженными отцом и матерью Екатерины Гончаровой на ее свадьбе с Дантесом, он дал в честь новобрачных свадебный обед, тайной

целью которого была попытка помирить Пушкина с Дантесом, – попытка, окончившаяся неудачей. Когда Геккерен получил письмо Пушкина, полное ужаснейших оскорблений, он как раз отправлялся с приемным сыном на обед к Строганову. Он показал Строганову письмо Пушкина и просил у него совета. А. И. Васильчикова, тетка В. А. Сологуба, рассказывает: «Строганов был старик, пользовавшийся между аристократами особенным уважением, отличавшийся отличным знанием всех правил аристократической чести, одним словом, был органом общественного мнения в большом свете. Этот-то старец объявил решительно, что за оскорбительное письмо непременно должно драться, и дело было решено». По всему судя, Дантес с Геккереном по складу своему и духу были Строганову гораздо ближе, чем «либералист» и «во дворянстве мещанин» Пушкин. После дуэли Строганов с супругой весь вечер до поздней ночи провели не у тяжело раненного Пушкина, а у отделавшегося легкой раной Дантеса и его приемного отца. К Пушкину же, пока он был жив, Строганов, по-видимому, ни разу и не заглянул. Сын

его Александр Григорьевич предупредил отца, что, заехав проведать раненого Пушкина, он увидал там такие разбойничьи лица и такую сволочь, что советовал бы отцу туда не ездить. Так отец и сделал, – послал только жену утешать свою племянницу Наталью Николаевну. Сам же приехал только после смерти Пушкина. Он взял на себя издержки по похоронам и устроил похороны самые пышные, уговорил петербургского митрополита Серафима разрешить погребение по христианскому обряду, что тот сначала было запретил, считая смерть на дуэли равносильной самоубийству. Строганов состоял членом опеки над детьми и имуществом Пушкина. Все симпатии его, однако, оставались на стороне Дантеса. Он до глубины души возмущался поведением Ек. Ив. Загряжской, не желавшей видеть жену убийцы Пушкина. После высылки Дантеса Екатерина Николаевна оставалась еще некоторое время в Петербурге. Она писала мужу: «Граф меня вчера навестил; он в отчаянии от всего случившегося с тобой и возмущен до бешенства глупым поведением моей тетушки и не сделал ни шага к сближению

с ней». А старик Геккерен писал Дантесу: «Строганов написал мне великолепное письмо, мне и тебе...» Уезжая, он послал Строганову в подарок старинный хрустальный бокал. Строганов в ответ писал ему: «Когда ваш сын Жорж узнает, что этот бокал находится у меня, скажите ему, что дядя его Строганов хранит его, как память о благородном и лойяльном поведении, которым отмечены последние месяцы его пребывания в России. Если наказанный преступник является примером для толпы, то невинно осужденный, без надежды на восстановление имени, имеет право на сочувствие всех честных людей».

Графиня Юлия Петровна Строганова (?–1864)

Жена предыдущего. Будучи послом в Испании (1805–1810), граф Григорий Строганов, при живой жене, сошелся с португальской графиней да Ега, рожденной д'Альмейда графиней д'Оейнгаузен. Впоследствии обвенчался с ней. В России она называлась Юлией Петровной. Когда Пушкин умирал, сам Строганов, предупрежденный сыном, воздержался, как мы видели, от посещения квартиры

Пушкина, жена же его бывала там и утешала жену Пушкина. Однако, видимо, чувствовала она себя там, как в разбойничьем вертепе. После смерти Пушкина студент граф П. П. Шувалов приехал поклониться праху поэта. Он попросил сына князя П. А. Вяземского, студента Павла, показать ему пушкинский портрет Кипренского. Оба они вошли в гостиную. Сидевшая там Юлия Петровна выпорхнула в другую дверь и с ужасом объявила, что шайка студентов ворвалась в квартиру для оскорбления вдовы. Вышла Вера Федоровна Вяземская, мать Павла, и дело разъяснилось. Тем не менее Юлия Петровна тут же, из квартиры Пушкина, послала Бенкендорфу записку с требованием прислать жандармов для охранения вдовы от беспрестанно приходящих студентов. А вечером сочла своим долгом отправиться к княгине ди Бутера, матери студента Шувалова, и предупредить ее об участии ее сына в шайке студентов, произведшей утром демонстрацию.

Идалия Григорьевна Полетика
(1807 или 1811–1889)

Рожденная Оборотей, в действительности – побочная дочь предыдущих, графа Гр. А. Строганова и графини да Ега. Была замужем за ротмистром кавалергардского полка А. М. Полетикой. Сведения о ней смутны и противоречивы, их трудно свести в одно. Знаем только, что она за что-то глубоко ненавидела Пушкина и что играла не последнюю роль в темных интригах, опутывавших его в последние месяцы его жизни. Современники сообщают, что Идалия была женщина обаятельная, не столько миловидностью лица, сколько умом и живостью характера, с большими голубыми, кокетливыми глазами, что была «зуда» («асариа́тре») с очень злым язычком, в противоположность мужу, которого называли «божьей коровкой». В последние годы жизни Пушкина она была очень близка с Натальей Николаевной, которой по отцу приходилась троюродной сестрой. В письмах Пушкина к жене несколько раз встречаем упоминания об Идалии как о близкой приятельнице Натальи Николаевны. Осенью 1833 г., когда Пушкин был в Болдине, Идалия передавала ему через жену поцелуй, на что Пушкин иг-

риво отвечал: «Полетике скажи, что за ее поцелуем явлюсь лично, а что де по почте не принимают». Но потом что-то между ними произошло, что жестоко восстановило Идалию против Пушкина. Бартенев со слов В. Ф. Вяземской рассказывает: «Кажется, дело было в том, что Пушкин не внимал сердечным излияниям невзрачной Идалии Григорьевны и однажды, едучи с ней в карете, чем-то оскорбил ее». Из вторых рук тот же Бартенев передает со слов самой Идалии сообщение совершенно дикое, – будто однажды Идалия и Наталья Николаевна ехали в карете, и сидевший против них Пушкин взял Идалию за ногу; Наталья Николаевна пришла в ужас, и потом, по ее настоянию, Пушкин просил прощения у Идалии. «Есть повод думать, – замечает Бартенев, – что Пушкин, зная свойства г-жи Полетики, оскорблял ее и что она, из чувства мести, была сочинительницей анонимных писем, из-за которых произошел роковой поединок». Во всяком случае, Идалия ненавидела Пушкина неистово. Уже в старости, живя в Одессе с братом, графом А. Г. Строгановым, она возмущалась, что Пушкину воздвигают в

Одессе памятник, собиралась поехать и плюнуть на памятник, говорила, что Пушкин был изверг и т. п.

Муж Идалии был товарищем по полку и приятелем Дантеса, сама она тоже очень благоволила к Дантесу. Дантес часто бывал у них и виделся там с Натальей Николаевной. Однажды, в январе 1837 г., Идалия послала Пушкиной приглашение посетить ее. Наталья Николаевна приехала. Вместо хозяйки дома ее встретил Дантес. Он вынул пистолет и грозил тут же застрелиться, если Наталья Николаевна не отдастся ему. По ее словам, она не знала, куда деваться от его настояний, ломала руки и стала говорить как можно громче. В это время в комнату вошла девочка, дочь Идалии, и Наталья Николаевна бросилась к ней. Воротясь домой, она все рассказала мужу Это происшествие, как говорят, послужило последним толчком к вызову Пушкиным Геккерена.

После высылки Дантеса из Петербурга жена его, Екатерина Николаевна, писала ему: «Идалия приходила вчера на минуту с мужем; она в отчаянии, что не простилась с то-

бою, говорит, что в то время, как она соби-
лась идти к нам, ей сказали, что уже будет
поздно, что ты, по всей вероятности, уехал.
Она не могла утешиться и плакала, как безум-
ная».

Примечания

Лев Пушкин рассказывает: «На обедах военная прислуга его обыкновенно обносила, за что он очень смешно и весело негодовал на Кишинев» (Л. Майков, 8). Совершенно невероятно, чтобы самолюбивый и раздражительный Пушкин мог «весело негодовать» на такое с собою обращение. Источник, из которого, все перепутав, почерпнул Лев Пушкин свое сообщение, вполне очевиден. **Путешествие в Арзрум**, гл. II: «Генерал Стрекалов, известный гастроном, позвал однажды меня обедать; по несчастью, у него разносили кушанья по чинам, а за столом сидели английские офицеры в генеральских эполетах. Слуги так усердно меня обносили, что я встал из-за стола голодный. Черт побери тифлисского гастронома». – Здесь и далее не подписанные подстрочные примечания принадлежат В. В. Вересаеву.

[^^^]

Поэзия... реальности (нем.). – Здесь и далее
сноски, сделанные редакцией настоящего из-
дания, снабжены пометой Ред.

[^^^]

Так заканчивается стихотворение Пушкина
«Герой»

[^^^]

Все перечисляемые здесь Пушкины не принадлежали к прямым предкам поэта.

[^^^]

Опубликованные академиком Пекарским письма Ганнибала из Парижа свидетельствуют, что он, равно как и другие русские, посланные во Францию для учения, терпел большую нужду, и им было совсем не до «рассеяния большого света».

[^^^]

«Путешествие по моей комнате» (фр.). – Ред.

[^^^]

Словесные игры (фр.). – Ред.

[^^^]

Знаком * В. В. Вересаев обозначал наименее достоверные материалы. – Ред.

[^^^]

«Пушкин родился в Москве и до 1811 г. его возили оттуда только в подмосковное с. Захарово, а император Павел со дня рождения Пушкина в Москве не был». П. А. Ефремов (Соч. Пушкина. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1903 г., т. V, с. 553). Ефремов прав: не имеется сведений, чтобы Павел был в Москве после рождения Пушкина. Однако сам Пушкин писал своей жене 22 апр. 1834 г.: «Видел я трех царей: первый (Павел) велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку...». Высказывают предположение, что дело происходило в петербургском Юсуповом саду.

[^^^]

Инициал не раскрыт. – Ред.

[^^^]

«Толлиада» (фр.). – Ред.

[^^^]

«Ах, боже мой!» (фр.) – Ред.

[^^^]

Ив. Ив. Дмитриев был ряб.

[^^^]

Ворожейкина, сожительница Василия Львовича. Фамилию ее установил Л. А. Виноградов по исповедным книгам церквей.

[^^^]

«Да, господин!» (фр.). – Ред.

[^^^]

Вволю (фр.). – Ред.

[^^^]

Псевдоним не раскрыт. – Ред.

[^^^]

На своих местах (фр.). – Ред.

[^^^]

Лицо Пушкина, и ходя по комнате, и сидя на лавке, часто то хмурилось, то прояснялось от улыбки. – *Примеч. другого лицейского товарища Пушкина, М. Л. Яковлева.*

[^^^]

Неправда. Писал он везде, где мог, а всего более в математическом классе. – *Примеч. М. Л. Яковлева.*

[^^^]

Не помню и не знаю, кто боялся сатир Пушкина, разве один Пешель, но и этот только трусил. Острот Пушкин не говорил. – *Примеч. М. Л. Яковлева.*

[^^^]

Так, но вместе с тем Кошанский – особенно в первое время – всячески старался отвратить и удержать Пушкина от писания стихов, частью, может быть, возбуждаемый к тому ревностью или завистью: ибо сам писал и печатал стихи, в которых боялся соперничества возникающего нового гения. – *Примеч. бар. М. А. Корфа.* – Русским языком Пушкин занимался не потому, чтобы кто-нибудь из учителей побуждал его к тому, а по страсти, по влечению собственному. Пушкина талант начал развиваться в то время, когда Кошанский по болезни был устранен и три (? Я.К. Грот) года в лицее не был. – *Примеч. М. Л. Яковлева.*

[^^^]

Без подготовки (фр.). – Ред.

[^^^]

Сочинение (фр.). – Ред.

[^^^]

Здесь память изменила Малиновскому: при его отце, скончавшемся в 1814 г., в лицее не могли быть ни Карамзин, ни Батюшков. Малиновский, очевидно, говорит о посещении лицея Карамзиным с кн. П. А. Вяземским и В. Л. Пушкиным числа 23 марта 1816 г. – Примеч. М. А. Павловского.

[^^^]

Вездесущий Лицей (фр.). – Ред.

[^^^]

Вольнодумец (фр.). – Ред.

[^^^]

По-американски (фр.). – Ред.

[^^^]

Характерно, что в позднейших изданиях послания к Жуковскому Пушкин выбросил 17 заключительных стихов, в числе которых находился и стих, так восхитивший Вяземского. Вот начало выброшенного отрывка:

Смотри, как пламенный поэт, Вниманьем
 сладким упоенный, На свиток гения склонен-
 ный, Читает повесть древних лет! Он духом —
 там, в дыму столетий...

и т. д.

[^^^]

В эпиграмме: Все пленяет нас в Эсфири: Упо-
ительная речь, Поступь важная в порфире,
Кудри черные до плеч; Голос нежный, взор
любви... Набеленная рука, Размалеванные
брови И широкая нога! (январ. 1819 г.)

[^^^]

Авторство В. Эртеля устанавливается В. П. Гавским. Дельвиг. – Современник, 1853, № 5, Критика, с. 29.

[^^^]

Послание к В. В. Энгельгардту «Я ускользнул от Эскулапа» написано летом 1819 г., следовательно, автор ошибается, относя встречу к весне 1818 г.

[^^^]

Вульгарное название гонореи. – К 1818–1819 гг. относят незаконченный отрывок Пушкина: «За старые грехи наказанный судьбой, я стражду восемь дней с лекарствами в желудке, с ртутием в крови, с раскаяньем в рассудке...» Многих биографов смущает этот «ртутием в крови»: не был ли Пушкин болен сифилисом? Данных для этого нет решительно никаких. Приводимое ниже (под 1826 г., сент.) свидетельство бар. М. А. Корфа ненадежно, самый же факт «ртути в крови» ничего не доказывает: медицина того времени все три венерические болезни не считала качественно различными, и все они лечились ртутью (при гонорее – внутрь).

[^^^]

Преданным кавалером (фр.). – Ред.

[^^^]

Бесплатно (фр.). – Ред.

[^^^]

Доказательство палкой (лат.). – Ред.

[^^^]

Соболевский ошибался, утверждая, что тетрадь с запирающимся замком была у Пушкина только до ссылки в 1826 г.; дневник Пушкина 1833–1835 гг. писался именно в такой тетради. – Примеч. М. А. Цявловского.

[^^^]

«Ах, это по-рыцарски!» (фр.) – Ред.

[^^^]

За исключением, впрочем, – как говорили тогда, – одной эпиграммы на Аракчеева, которая бы ему никогда не простилась (П. В. Анненков. Пушкин в Алекс. эпоху, с. 140).

[^^^]

И так далее (*лат.*). – Ред.

[^^^]

И чтобы себя не компрометировать (*фр.*). –
Ред.

[^^^]

«В Екатеринославль приехал в десятом часу ночи к губернатору Карагеоргию». *Н. Н. Раевский* в письме к своей дочери Ек. Н. Раевской. М. О. Гершензон. Мудрость Пушкина, с. 178.

[^^^]

Рождество (фр.). Имеется в виду стихотворение А. С. Пушкина, написанное в традиционной для Франции форме сатирических куплетов, называвшихся «ноэль». – Ред.

[^^^]

Свидание, разговор с глазу на глаз (фр.). – Ред.

[^^^]

«Ах, какой вы, господин Пушкин!» (фр.) – Ред.

[^^^]

Эти слова относятся, вероятно, к следствию, которое производил (генерал) Сабанеев над нижними чинами одной роты.

[^^^]

Стихи из послания к Чаадаеву: Что нужды было мне в торжественном суде Глупца-философа, который в прежни лета Развратом изумил четыре части света, Но, просветив себя, загладил свой позор, Отвыкнул от вина и стал картежный вор. В таком виде стихи эти были напечатаны в одном из номеров «Сына Отечества» за 1821 год и имели в виду знаменитого бретера и картежника, «американца» Толстого.

[^^^]

На выпад Пушкина Толстой ответил следующей эпиграммой, сделавшейся известной совсем недавно: Сатиры нравственной язвительное жало С пасквильной клеветой не сходствует ни мало. В восторге подлых чувств ты, Чушкин, то забыл. Презренным чту тебя, ничтожным сколько чтил. Примером тырази, а не стихом пороки И вспомни, милый друг, что у тебя есть щеки. *Литер. Мысль*, 1923, т. II, с. 238. Толстой послал свою эпиграмму для напечатания в «Сыне Отечества», где были напечатаны стихи Пушкина, но редакция отказалась напечатать эпиграмму.

[^^^]

«Передайте дальше! Посмотрим! дамы...» (*фр.*)
– Ред.

[^^^]

Отель «Северный» (фр.). – Ред.

[^^^]

Цезарь Отон – ресторатор (*фр.*). – Ред.

[^^^]

Да, господин, очень часто. Он предпочитал Saint-Peraу всем другим маркам шампанского, и у меня в погребе его было всегда вдоволь (*фр.*). – Ред.

[^^^]

Где хорошо, там и отечество (*лат.*). – Ред.

[^^^]

Майор В. Ф. Раевский, кишиневский приятель Пушкина, «первый декабрист», суровый и непреклонный революционер, сидел в то время арестованный в тираспольской крепости.

[^^^]

Отчужденность (*φp.*). – Ред.

[^^^]

«Мой кузен» (фр.). – Ред.

[^^^]

Принцесса белъветрил (фр., игра слов). – Ред.

[^^^]

Письмо это, как полагают, было адресовано Вяземскому. Вот место, вызвавшее внимание полиции: «Беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он написал листов тысячу, чтобы доказать, что не может существовать разумного существа, творца и распорядителя, – мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная». Анненков сообщает: «Благодаря не совсем благоразумной гласности, которую сообщили этому письму приятели Пушкина и особенно Ал. Ив. Тургенев, носившийся с ним по своим знакомым, письмо дошло до сведения администрации» (Пушкин в Алекс. эпоху, с. 261).

[^^^]

Псевдоним не раскрыт. – Ред.

[^^^]

Целиком опись эта, с перечислением всей мебели и подробным описанием надворных построек, помещена в книге П. Щеголева «Пушкин и мужики». 1928, с. 265.

[^^^]

Лев Пушкин.

[^^^]

С этим чудовищем, с этим вырожденком-сыном
(фр.). – Ред.

[^^^]

«Кларисса Гарлоу», роман Ричардсона.

[^^^]

Роялино Тишнера. Н. К. Козмин. Еще о пушкинских местах. Историч. Вестн., 1909, № 11, с. 592.

[^^^]

Нетти Вульф, которой впоследствии Пушкин написал стихотворение «За Нетти сердцем я летаю».

[^^^]

Вот женщина! (лат.) – Ред.

[^^^]

Псевдоним не раскрыт. – Ред.

[^^^]

Собака-волк (*φρ.*). – *Ред.*

[^^^]

«Я был слишком вульгарен сегодня?» (фр.) –
Ред.

[^^^]

«Прелестный, прелестный!» (*фр.*) – *Ред.*

[^^^]

19 июля, в день отъезда А. П. Керн, Алексей Вульф, счастливый соперник Пушкина, провожая сестру, поехал с нею и Анной Петровной Керн в их карете.

[^^^]

Всеми прочими (*ит.*). – *Ред.*

[^^^]

Арина Родионовна не была кормилицею Пушкина.

[^^^]

Негодование Вас. Львовича было вызвано, очевидно, «элегией», сочиненной Пушкиным совместно с Дельвигом на смерть Анны Львовны, сестры Вас. Львовича и тетки Ал. Сер-ча. Она начиналась:

Ох, тетенька! Ох, Анна Львовна, Василья Львовича сестра! И кончалась: Увы! Зачем Василий Львович Твой гроб стихами обмочил, Или зачем подлец попович, Его Красовский пропустил! Эту элегию Пушкин послал Вяземскому в апр. 1825 г. Вяземский в ответ писал: «Если Ах, тетушка, Ах, Анна Львовна! попадется на глаза Вас. Львовичу, то заготовь другую песню, потому что он, верно, не перенесет удара». Про элегию эту Вас. Львович узнал, по-видимому, в авг. – сент. 1825 г.

[^^^]

Здесь кое-что было... (фр.) – Ред.

[^^^]

Большая часть воспоминаний Лорера, находившихся в этой рукописи, напечатана в «Русском Архиве» за 1874 г. и в «Русском Богатстве» за 1904 г. (№№ 3, 6 и 7). Отрывок, в котором Лорер, со слов Льва Пушкина, сообщает ряд сведений об Ал. Серг-че, почему-то был выпущен Бартеневым при напечатании соответственной части рукописи в его журнале. Отрывок этот (другие сообщения о Пушкине, в нем находящиеся, приводятся мною в соответственных местах предлагаемой книги) следует в рукописи за абзацем, оканчивающимся словами: «...за столом подали шампанское, и (Лев) Пушкин был весел и любезен» (Рус. Арх., 1874, т. I, с. 387). За указание на эту рукопись приношу мою сердечную благодарность М. В. Нечкиной.

[^^^]

Первоначально пушкинский «Пророк» кончался четырьмя стихами политического содержания («Восстань, восстань...» и т. д.). После свидания с имп. Николаем Павловичем 8 сент. 1826 г. Пушкин прекрасно заменил эту строфу нынешнею. – Примеч. П. И. Бартенева.

[^^^]

Другими глазами (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Папа, дядя, кузен (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

«Какой гений! Какое священное пламя! Что я подле него?» (фр.) – *Ред.*

[^^^]

«Забудем прошлое, прошу Вас!» (*фр.*) – *Ред.*

[^^^]

Второе значение фразы: «Вы служите гению и в этом роде» (*фр.*). Слово *genie* означает и «гений» и «инженерные войска». – *Ред.*

[^^^]

Путевой дневник (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Ныне – Пушкинская. – *Ред.*

[^^^]

Б. Л. Модзалевский доказывает (Пушкин и его совр-ки, т. IV, с. 102), что бабушка Янькова перепутала сестер и что приведенная характеристика относится к Анне Федоровне Пушкиной, к Софье Федоровне относится следующая: «Меньшая, маленькая и сублинная блондинка, точно саксонская куколка, была прехорошенькая, преживая и превеселая, и хотя не имела ни той поступи, ни осанки, как ее сестра, но личиком была, кажется, еще милее». В первом издании этой книги я выразил свое согласие с Б. Л. Модзалевским. Теперь, однако, думаю, что он не прав. Два ближайшие друга Пушкина, Нащокин и Соболевский, свидетельствуют (см. след. выписку), что в стихотворении «Ответ Ф. Т.» поэт говорит о С. Ф. Пушкиной. Вот это стихотворение: Нет, не черкешенка она; Но в доли Грузии от века Такая дева не сошла С высот угрюмого Казбека. Нет, не агат в глазах у ней. Но все сокровища Востока Не стоят сладостных лучей Ее полу-денного ока. Описание вполне подходит к описанию, даваемому Яньковой Софье Федо-

ровне. Да и на дошедших портретах Софии Пушкиной мы видим совершенно «полуденную» брюнетку.

[^^^]

«Агнессы» маэстро Паэра (*ит.*). – *Ред.*

[^^^]

Вот эти стихи Муравьева: О, Аполлон! Поклонник твой Хотел помериться с тобой, Но оступился и упал. Ты горделивца наказал; Хотя пожертвовал рукой. Зато остался он с ногой. (Рус. Арх., 1885, т. I, с. 132).

[^^^]

Эпиграмма Пушкина: Лук звенит, стрела трепещет, И, клубясь, издох Пифон, И твой лик победой блещет, Бельведерский Аполлон! Кто ж вступился за Пифона, Кто разбил твой истукан? Ты, соперник Аполлона, Бельведерский Митрофан. Ответная эпиграмма Муравьева: Как не злиться Митрофану? Аполлон обидел нас: Посадил он обезьяну В первом месте на Парнас.

[^^^]

Книжка вышла 19 марта 1827 г. См.: Синявский Н. и Цявловский М. Пушкин в печати. с. 41. (Имеется в виду издание: Синявский Н., Цявловский М. Пушкин в печати 1814–1837: Хронологический указатель произведений Пушкина, напечатанный при его жизни. М., 1914, с. 41. – *Ред.*)

[^^^]

Пьеса эта единственный раз шла на сцене Малого театра во вторник 27 сент. 1827 г. (См.: Северная Пчела, 1827, № 116.) Пушкин в это время был в деревне. Встреча, вероятно, произошла позднее.

[^^^]

Догадки совершенно неправильные. Эпиграмма Пушкина «Прозаик и поэт» была напечатана в книжке «Моск. Вестн.», вышедшей около 15 февраля 1827 г., за три месяца до выхода в свет «Цыган» и месяцев за восемь до появления статьи Вяземского. Это обстоятельство, конечно, не отнимает интереса от общих замечаний Вяземского о характере Пушкина.

[^^^]

Ложится он, сигару просит, Мосье Пикар ему
приносит Графин, серебряный стакан, Сигару,
бронзовый светильник, Щипцы с пружиною,
будильник И неразрезанный роман.

[^^^]

В подлиннике – очевидная опечатка: в.м. 1827
г. – 1828.

[^^^]

Неточность: А. И. Дельвиг – двоюродный брат поэта. – Ред.

[^^^]

Этот портрет Пушкина до нас не дошел. – Ред.

[^^^]

По этому поводу Великопольский писал Булгарину: «А разве его ко мне послание не личность? В чем оного цель и содержание? Не в том ли, что сатирик на игроков сам игрок? Не в обнаружении ли частного случая, долженствовавшего остаться между нами? Почему же цензура полагает себя вправе пропускать личности на меня, не сказав ни слова, и не пропускает личности на Пушкина без его согласия?.. Пушкин, называя свое послание одною шуткою, моими стихами огорчается более, нежели сколько я мог предполагать. Он дает мне чувствовать, что следствием напечатания оных будет непримиримая вражда. Надеюсь, что он ко мне имеет довольно почтения, чтобы не предполагать во мне боязни».

[^^^]

В письме к А. И. Тургеневу от 17 мая 1828 г. (П. И. Бартенев. Пушкин: сборник, вып. II, с. 39) Вяземский сообщает о чтении Пушкиным своей трагедии, но это чтение происходило у гр. Лазаль, и в числе присутствующих Вяземский не упоминает Крылова. Он пишет, что слушал трагедию «несколько раз». А так как в 20-х числах мая или в начале июня Вяземский уже уехал из Петербурга, то, очевидно, чтение у Перовского происходило раньше.

[^ ^^]

Разбор четвертой и пятой глав «Онегина» напечатан в № 1 «С.-Петербургского Зрителя» за 1828 г. В описании сна Татьяны Федоров находил неудачным выражение «косматый лакей» (о медведе) и по поводу стихов: «пышет бурно, в ней тайный жар, ей душно, дурно», — замечает: «Дурно! Особенно – пышет бурно».

[^^^]

«Блестеть» (фр.). – *Ред.*

[^^^]

На основании указания Бартенева (*Рус. Арх.*, 1903, т. X, обложка, с. 3) редакторы новейших изданий Пушкина приурочивают приведенную записку Пушкина к июлю–октябрю 1828 г. или к январю–марту 1829, причем записку помещают под 1829 г. (*Акад. изд.*, Венгеров). Мы думаем, правильнее приурочить записку к первому из указанных сроков. Путята разъезжает «на дрожках». В начале 1829 г. Пушкин пробыл в Петербурге от 18 января до 9 марта. Навряд ли в эту пору можно было разъезжать на дрожках.

[^^^]

«Зачем вы на меня нападаете, я так безобидна?..» – «Да, действительно: так безобидна!»
(фр.) – Ред.

[^^^]

«...ВОТ ваша кузина... с ней быстро узнаешь,
кто ты есть» (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

«...она, как атлас... Дьявол!» (фр.) Игра слов:
satin (атлас) – *satan* (дьявол). – Ред.

[^^^]

«И затем, вы знаете, нет ничего безвкуснее, чем терпение и самоотречение» (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Так в 1812 г. называл французов ярый их ненавистник А. С. Шишков.

[^^^]

Выражение «воспитаннику лица» требует пояснение; Пушкин, уволенный от службы с 1824 года и, по недоброжелательству ли начальства или по своей беспечности, не имевший письменного вида, предъявлял, при частых своих переездах, лицейский аттестат, в котором был назван воспитанником. В. П. Гавевский. *Празднование лиц. годовщин. Отеч. Зап., 1861, т. 139, с. 36.*

[^^^]

На тысячу лье (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Профессиональной (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Раич был плохой поэт, но восторженный почитатель поэзии, считавший великим позором для поэта брать за свои произведения деньги. Однажды один издатель предложил ему гонорар за его стихи. Раич гордо поднял голову и ответил: «Я – поэт и не продаю своих вдохновений!»

[^^^]

Александра Александровна Корсакова, в седьмой главе «Онегина»: «У ночи много звезд прелестных, красавиц много на Москве...»

[^^^]

К ней обращено стихотворение Пушкина
«Подъезжая под Ижоры».

[^^^]

Ср. письмо Пушкина к Ал. Вульфу от 27 окт. 1828 г. из Малинников: «Доношу вам, что Марья Васильевна Борисова есть цветок в пустыне, соловей в дичи лесной, перло в море и что я намерен на днях в нее влюбиться».

[^^^]

Синицына относит рассказанные события к 1827 г. Но после опубликования дневника Вульфа совершенно несомненно, что все это происходило в январе 1829 г.

[^^^]

Если Пушкин действительно сватался за Оленину, то это, всего вероятнее, произошло за время пребывания Пушкина в Петербурге в янв.–марте 1829 г. Н. О. Лернер высказывает догадку, не на неудачное ли сватовство Пушкина намекал Вяземский, когда, придравшись к словам поэта: «я пустился в свет, потому что бесприютен», писал ему в сентябре 1828 года: «ты говоришь, что ты бесприютен, – разве уже тебя не пускают в Приютинно?» (Соч. Пушкина, изд. Брокг.–Ефр. т. I, с. 70.) Мы думаем, в каламбуре Вяземского не было никакой задней мысли. Еще 3 дек. 1828 г. Дельвиг писал Пушкину в деревню, что, по мнению некоторых, Пушкин составляет «авангард Олениных, которые собираются в Москву» (Переписка Пушкина. т. II, с. 82). Навряд ли мог бы писать так Дельвиг, если бы Пушкин уже получил отказ. Еще невероятнее предположить, чтобы Пушкин сватался за Оленину позже указанного времени: позже все матримониальные стремления Пушкина направлены уже на Москву.

[^^^]

Смирнова отмечает, что это происходило в конце 1829 г., после похорон императрицы Марии Федоровны (умерла 24 окт. 1828 г.). Но в то время Пушкина не было в Петербурге, – он туда приехал только 18 янв. 1829 г. Навряд ли описываемый случай мог произойти раньше 24 января, до минования первого, наиболее строгого квартала годового траура, наложенного при дворе по случаю смерти императрицы-матери. (См. Объявление верховного маршала графа Мусина-Пушкина Брюса в прил. № 131 «Северной Пчелы» за 1828 г.) Навряд ли до этого срока возможны были танцы и белое платье Элизы.

[^^^]

По-видимому, память изменила старухе Смирновой, – знакомство с Пушкиным произошло у нее раньше. Когда, – мы не можем определить. В. И. Шенрок, по-видимому, со слов пресловутой Ольги Николаевны Смирновой (дочери Ал. Ос-ны), сообщает: «Пушкина Жуковский поспешил представить Александре Осиповне, когда он, освобожденный из своего заточения в Михайловском и уже побывавший в Москве, только что приехал в Петербург» («Материалы для биографии Гоголя». М., 1892, т. 1, с. 310). Фальсифицированные тою же Ольгою Николаевною «Записки» ее матери, изданные «Северным Вестником», сообщают, что знакомство Смирновой с Пушкиным произошло на вечере у Карамзиных, по-видимому, осенью 1828 г. (ч. I, 1895, с. 17). Если же они действительно познакомились на описываемом балу у Хитрово, то совершенно спутывается общепринятая хронология некоторых пушкинских стихотворений, как, напр., «Ее глаза», «За Нетти сердцем я летаю».

[^^^]

«Мадам, пора кончать» (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Точная датировка рассказа представляет трудности. Нам неизвестно время, когда бы взрослый Пушкин проживал в Москве одновременно со своим отцом. Автор воспоминаний родился в 1820 г., описываемое могло происходить приблизительно между 1826 и 1832 гг.

[^^^]

У холостого Нащокина Пушкин останавливался в Москве в марте–апреле 1829 г. и в декабре 1831 г. Навряд ли в декабре, при закрытых окнах, Пушкин мог слышать музыканта из противоположной квартиры.

[^^^]

Граф В. А. Мусин-Пушкин. – *Ред.*

[^^^]

Для характеристики легенд, творившихся о Пушкине, приводим еще отрывок из этих же воспоминаний. «Наша грузинская аристократия приготовила в Тифлисе роскошный пир в честь нового наместника, графа Паскевича. За почетным обедом, между прочим, для парада прислуживали сыновья самых родовитых фамилий в качестве пажей. Так как и я числился в таких же, то также присутствовал тут. Я был поражен и не могу забыть испытанного изумления: резко бросилось мне в глаза на этом обеде лицо одного молодого человека. Он показался мне с растрепанной головой, непричесанным, долгоносым. Он был во фраке и белом жилете. Последний был испачкан так, что мне казалось, что он нюхал табак (кн. Палавандов особенно настаивал на этом предположении). Он за стол не садился, закусывал на ходу. То подойдет к графу, то обратится к графине, скажет им что-нибудь на ухо, те рассмеются, а графиня просто прыскала от смеха. Эти шутки составляли потом предмет толков и разговоров во всех аристо-

кратических кружках: откуда взялся он, в каком звании состоит и кто он такой, смелый, веселый, безбоязненный? Все это казалось тем более поразительным и загадочным, что даже генерал-адъютанты, состоявшие при кавказской армии, выбирали время и добрый час, чтобы ходить к главнокомандующему с докладами, и опрашивали адъютантов, в каком духе на этот раз находится Паскевич. А тут – помилуйте! – какой-то господин безнаказанно заигрывает с этим зверем и даже смешит его. Когда указали, что он русский поэт, начали смотреть на него, по нашему обычаю, с большею снисходительностью. Готовы были отдать ему должное почтение, как отмеченному божьим перстом, если бы только могли примириться с теми странностями и шалостями, какие ежедневно производил он... Не вяжется представление, не к таким видам привыкли. Наши поэты степеннее и важнее самих ученых» (*там же*). – Пушкин приехал в Тифлис 27 мая. Между тем, уже 19 мая Паскевич со штабом прибыл из Тифлиса на фронт, оставив в Тифлисе вновь назначенного военным губернатором Грузии ген.-адъ-

ютанта Стрекалова (*Кн. Щербатов. Генерал-фельдмаршал кн. Паскевич*. Т. III, СПб., 1891, с. 177). И за все время пребывания Пушкина в Закавказье Паскевич оставался на фронте и не приезжал в Тифлис.

[^^^]

Слова «большой нос», находящиеся в рукописи, Бартеневым выпущены. Слова эти в рукописи неизвестною рукою зачеркнуты карандашом, и над ними написано: «плоский, широкий нос», а на полях тою же рукою: «Что вы, Николай Иванович! Откуда у Левушки взялся большой нос? У обоих братьев носы, напротив, были очень небольшие». Далее на полях, против слов: «черные кудри Ал. С-ча»: «И это не так: у Ал. С-ча волосы были довольно светлого каштанового цвета». (*Рукопись, находящаяся в библиотеке Коммун. Академии, I, 417–418.*) Из других пометок неизвестного можно заключить, что он лично знал Ал. С. Пушкина.

[^^^]

Мошенник (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

В «Дамском журнале» кн. Шаликова (1829, № 41, с. 27) помещено стихотворение без подписи.

[^^^]

Ал. Пушкин рисовал (*лат.*). – *Ред.*

[^^^]

Стояла Мать Скорбящая (*лат.*) – начало католического песнопения, посвященного Богородице. – *Ред.*

[^^^]

М. А. Цявловский («*Рассказы о Пушкине*», примеч., с. 74), перечисляя московские квартиры Пушкина, пишет: «Где жил Пушкин в Москве в сентябре–октябре 1829 г., по возвращении с Кавказа, сказать невозможно, по неимению данных». Цитируемое письмо Пушкина, мне кажется, указывает ясно, что Пушкин жил тогда в гостинице «Англия» (на Тверской).

[^^^]

Т. Рэйкс. Посещение Петербурга в зиму
1829–1830 гг. Лондон, 1838 г. (*англ.*). – *Ред.*

[^^^]

Празднество у Голицына было на Святках, в конце 1829 года. 30 дек. А. Я. Булгаков писал об этих живых картинах брату К. Я-чу: «Все в восхищении от картин. Их заставили повторить несколько раз. Картина, изображавшая Дидону, была великолепна. Лазарева была бесподобна, но ее бесконечно длинные ниспадавшие волосы придавали ей скорее вид прекрасной Магдалины. Но кто была очаровательна, это – маленькая Алябьева, она – красавица; маленькая Гончарова в роли сестры Дидоны была восхитительна». (Рус. Арх., 1901, т. III, с. 382, фр.).

[^^^]

О раздражительное племя! (*лат.*) Сокращенная латинская поговорка: О раздражительное племя гениев! – *Ред.*

[^^^]

Вульгарным (*англ.*). – *Ред.*

[^^^]

Застольные беседы (*англ.*). Название задуманного и начатого Пушкиным прозаического произведения. – *Ред.*

[^^^]

Пушкин имеет в виду, по справедливому объяснению П. О. Морозова, свое «ложное и сомнительное» положение по отношению к правительству. *Соч. Пушкина, изд. Брокг.-Ефр., т. IV, с. 205.*

[^^^]

С красотой классической... с красотой романтической (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Набросок озаглавлен «*С французского*», но носит столь явно и столь признанно автобиографический характер, что мы сочли возможным в данном случае нарушить наше правило – не пользоваться для этой книги художественными произведениями Пушкина.

[^^^]

Благодарственное письмо Пушкина к Бенкендорфу от 7 мая 1830 г., см.: Цявловский М. А. *Письма Пушкина и к Пушкину*. М., 1925.

[^^^]

Прозвище кн. С. Г. Голицына.

[^^^]

Все редакторы сочинений Пушкина – Ефремов, Морозов, Венгеров, Брюсов и др., – согласно показанию Лонгинова, относят данное стихотворение и вызвавший его эпизод к 1833 г. Положительно непонятно то доверие, которое они оказывают лонгиновской датировке. Да, Лонгинов говорит – в 1833 году, но оговаривается: «если не ошибаюсь»; сообщает, что Пушкин в то время жил на Черной речке, но ссылается при этом на «Материалы» Анненкова, а не на показания кн. Голицына. Со слов же Голицына сообщает, что он в то время был почитателем девицы Россети, Пушкин в стихах своих тоже говорит о Россети. В 1833 же году девица Россет давно уже была г-жею Смирновой. Лонгинов в 50-х годах, когда Смирнова была еще жива, и даже называть ее можно было только под инициалами, конечно, не мог знать, когда именно Смирнова вышла замуж. Но ведь мы теперь это знаем. Больше того. Мы знаем, что осенью 1832 г. Смирнова перенесла очень тяжелые роды, – по словам Вяземского, «делали ей несколько

операций и, наконец, должны были раздавить в ней голову ребенка и вытащить его мертвого». Тяжело больную Смирнову после этого увезли для лечения за границу, откуда она воротилась только к осени 1833 г. Все это вместе делает совершенно невероятным, чтобы Пушкин летом 1833 г. мог писать: «черноокая Россети в самовластной красоте все сердца пленяет»... Ясно, стихотворение написано до ее замужества. Но когда именно? Лето 1828 г. Россет жила в Ревеле, и навряд ли Пушкин в то время был с нею знаком. Лето 1829 года Пушкин провел на Кавказе. Лето 1831 г. провел с молодою женою в Царском, в 1832 г. Россет была уже г-жею Смирновой. Ясно, – описанный случай мог произойти только за время пребывания Пушкина в Петербурге летом 1830 г., когда он писал кн. Вяземской, что «веселится в Петербурге», и когда часто бывал он на островах у Дельвига.

[^^^]

Смелость, смелость (*φp.*). – *Ред.*

[^^^]

Холера (*лат.*). – *Ред.*

[^^^]

Мих. Петр. Бутурлин вступил в должность нижегородского губернатора только в 1831 г. В 1830 г. нижегородским губернатором был действ. статск. советник Ил. Мих. Бибииков (см. *«Памятную книжку Нижегородской губ. на 1865 год»*. Н.-Новг., Изд. Ниж. Губ. Статистич. Комитета, 1864).

[^^^]

Псевдоним не раскрыт. – *Ред.*

[^^^]

Анонимно (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Не один, не вдвоем (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Сейчас же после принятия его предложения Гончаровою Пушкин просил быть посаженою матерью на его свадьбе княгиню В. Ф. Вяземскую (*письмо к ней от конца апр. – нач. мая 1830 г.*). 17 янв. 1831 г., за месяц до свадьбы, кн. Вяземский писал Пушкину про свою жену: «Посаженная мать спрашивает, когда прикажешь ей сесть, и просит дать ей за неделю знать о дне свадьбы». (Переписка Пушкина, т. II, с. 217.) Однако Вера Федоровна не только не была посаженою матерью Пушкина, но даже не присутствовала на его свадьбе. 4 февраля, прибывая образ, княгиня упала, ушиблась, была долго без чувств и выкинула. За четыре дня до свадьбы Пушкина Булгаков видел ее лежащей на кровати, точно мертвец: худую, желтую и бледною, еле говорящую; еще в марте опасались за ее жизнь, и оправилась она только к концу мая (см.: Письма А. Я. Булгакова. Рус. Арх., 1902, т. I, с. 50 и сл.).

«Все это плохие знаки!» (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Почти дословно (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Ср. в черновых набросках «Египетских ночей»: «Но главною неприятностью платится мой приятель: приписывание множества чужих сочинений, как-то... о женитьбе, в котором так остроумно сказано, что, коли хочешь быть умен – учись, коли хочешь быть в аду – женись» (В. Е. Якушкин. *Рукописи Пушкина, хранящ. в Румянцевском музее.* – *Рус. Стар.*, 1864, т. 44, с. 533).

[^^^]

Высший свет (*φρ.*). – *Ред.*

[^^^]

В журнале очевидная опечатка: *потеть*.

[^^^]

Инициалы не раскрыты. – *Ред.*

[^^^]

Ни время, ни разлука, ни дальность расстояния (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Адрес этой квартиры Пушкин сообщает Вяземскому в письме от 15–19 окт. 1831 г.: у Измайловского моста на Воскресенской улице, в доме Берникова. Как правильно замечает Н. О. Лернер, здесь, конечно, описка: вместо Вознесенской улицы, т.е. Вознесенского проспекта.

[^^^]

Ивана Выжигина (совсем charmant) (нем.);
charmant – прелестно (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Рост А. С. Пушкина 167 см. – *Ред.*

[^^^]

Плеоназм здесь: необязательное, излишнее в описании слово. – *Ред.*

[^^^]

Мемуары Дидро (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Само собой (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Тальман-де-Рео, франц. писатель XVII в., автор очень скабрёзных рассказов.

[^^^]

«Вы здесь?» (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Достоверность рассказа П. В. Нащокина вызывает сомнения у исследователей, возможно, это одна из многих мистификаций самого поэта. – *Ред.*

[^^^]

Пактол – река в М. Азии, в древности изобиловала золотым песком. – *Ред.*

[^^^]

Трепетал сиюминутным интересом (*фр.*) –
Ред.

[^^^]

Собачий сын... почему ты не пришел ко мне? – Скотина... что ты сделал с моей мало-российской рукописью? (*фр.*) – *Ред.*

[^^^]

Пушкин был в Оренбурге 18–20 сент. 1833 г., но ни один из этих дней на субботу не приходится. (М. Л. Юдин. Труды Оренб. Учен. Арх. Комиссии, Оренбург, 1900, вып. VI, с. 209). Снега в то время еще не было и ездили на колесах.

[^^^]

Стихотворение кн. П. А. Вяземского «Станция» (1828 г.): Дороги наши, сад для глаз, Деревья, с дерном вал, канавы; Работы много, много славы, Да жаль: проезда нет подчас. С деревьев, на часах стоящих, Проезжим мало барыша, Дорога, скажешь, хороша – И вспомнишь стих: для проходящих!

[^^^]

Боровой кулик, вальдшнеп (*пол.*). – *Ред.*

[^^^]

А. Валленштейн (1583–1634) – знаменитый австрийский военачальник, был ложно обвинен в измене и убит; встретил смерть с большим достоинством и спокойствием. – *Ред.*

[^^^]

Это было в ноябре 1833 г., когда Пушкин, по пути из Болдина в Петербург, останавливался на несколько дней в Москве у Нащокина. Нащокин в то время жил с цыганкою Ольгою Андреевною. По-видимому, в феврале 1834 г. он бежал от нее и тайком обвенчался с Верою Александровною. В течение 1834 года Пушкин не мог видаться с Нащокиным.

[^^^]

В стихах, мы теперь знаем, «Медный всадник». Что за повесть в прозе «Холостой выстрел»? По-видимому, таково было первоначальное название «Пиковой дамы». Она впервые появилась в третьей книжке «Библиотеки для чтения» за 1834 г., вышедшей в свет 1 марта (см. *Синявский и Цявловский. Пушкин в печати*, с. 128). Кладя месяца два на прохождение повести через цензуру и на печатание, можно с уверенностью думать, что написана она была в 1833 году, – всего вероятнее в Болдине, откуда Пушкин писал жене: «Недавно расписался и уже написал пропасть».

[^^^]

По весьма вероятной догадке Н. О. Лернера, дело было со стихотворением Пушкина «Гусар». См.: Соч. Пушкина, изд. Брокг.–Ефр., т. VI, с. 437.

[^^^]

Безумный день (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

В николаевское время ношение дворянами бороды преследовалось.

[^^^]

Буквально (*фр.*) – *Ред.*

[^^^]

Ленц эту встречу относит к 1834 году. Хронологию он иногда путает, и возможно, что на петергофском празднике он видел Пушкина не в этом году: как мы выше читали, Пушкин послал обер-камергеру гр. Литта извинение, что, по болезни, не может быть на празднике. Возможно, однако, и другое: смущенный неожиданными результатами своего прошения об отставке, Пушкин не решился при таком положении дел манкировать служебными обязанностями и явился на праздник. И уж, конечно, смотрел невесело.

[^^^]

Абшид (нем.: Abschied) – прощание, отставка. – *Ред.*

[^^^]

Тайный кутеж с участием дам (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

«Четверо нищих» (*фр.*) – название блюда. –
Ред.

[^^^]

Несколько развязно (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

«Ну как дела?» (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

«Здравствуй, Пушкин!» – «Здравствуйте, сир!»
(фр.) – Ред.

[^^^]

Изысканное общество (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Молодому конюху (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

С. М. Сухотин в июле 1833 г. приехал в Петербург с родителями для определения старшего брата в школу гвардейских подпрапорщиков; в конце лета, по его словам, он возвратился в Москву и переехал в Петербург через два года, в 1835 г., для поступления в ту же школу гвардейских подпрапорщиков. Все свои встречи с Пушкиным (в купальне, на петергофском гулянии, – см. выше, – и на балу на минеральных водах) Сухотин относит к 1833 г. Но в то время Дантес еще не приехал в Россию; в 1833 г. Пушкин жил на углу Б. Морской и Гороховой, – ходить купаться к Летнему саду было бы ему далеко. В 1835 же году он жил около Прачешного моста, – до Летнего сада два шага. Все эти соображения приводят нас к заключению, что описанные встречи происходили в 1835 г.

[^^^]

В 16 верстах от Тригорского. Рус. Вестн., 1869, № 11, с. 91. «На самом деле имение Вревских Голубово находилось от Тригорского в 35–40 верстах», – пишет мне П. М. Устимович.

[^^^]

Обычно принимают, что «Ревизор» писался Гоголем в течение 1834–1835 гг. (Тихонравов, Шенрок, Кирпичников), – следовательно, Пушкин должен был дать Гоголю сюжет в начале 1834 г. Однако нигде, ни в письмах Гоголя за эти годы, ни в воспоминаниях о нем, мы не встречаем ни одного несомненного свидетельства, говорящего о работе Гоголя именно над «Ревизором». О «Ревизоре» мы имеем только одно бесспорное свидетельство – сообщение Гоголя Погодину от 6 дек. 1835 г. об окончании пьесы «третьего дня», т.е. 4 декабря. А за два месяца перед тем, 7 окт. 1835 г., Гоголь, прося Пушкина возвратить данную ему на прочтение комедию свою «Женитьба», писал ему: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или несмешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию. Если ж сего не случится, то у меня пропадет даром время, и я не знаю, что делать тогда с моими обстоятельствами. Я, кроме моего скверного жалования университетского 600 руб-

лей, никаких не имею теперь мест. Сделайте же милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, – куда смешнее черта! Ради бога, ум и желудок мой оба голодают» (Письма Гоголя под ред. В. И. Шенрока, т. I, с. 354). Если Гоголь в это время, как думают, уже оканчивал своего «Ревизора», то письмо его к Пушкину совершенно непонятно. «Женитьбу» Гоголь был «не намерен давать в театр» (Письма, т. I, с. 385). Раз он оканчивал «Ревизора», то гораздо естественнее было ему ждать «насыщения желудка» от этой, уже заканчиваемой комедии, чем от новой, для которой у него не было еще даже сюжета. И как могла у него «дрожать рука написать комедию» в то время, когда он как раз был занят писанием комедии? Мы считаем очень вероятным, что только в ответ на просьбу Гоголя от 7 окт. Пушкин подарил ему уже бывший у него готовым сюжет «Ревизора» (не так давно найденная в бумагах Пушкина программа: «Криспин (Свиньин) приезжает в губернию на ярмарку, его принимают за... Губернатор честный дурак, губернаторша с ним проказит. Криспин сватается за дочь»).

Гоголь, за время своего профессорства изголодавшийся по творческой работе, с одушевлением взялся за обработку сюжета. В связи с этим появилась надежда и на улучшение материального состояния. 10 нояб. Гоголь пишет матери: «Сестры растут и учатся. Я тоже надеюсь кое-что получить приятное. Итак, не более, как годка через два, я приду в такую возможность, что, может быть, приглашу вас в Петербург посмотреть на них» (Письма, т. I, с. 355). Работа была исключительная по своей интенсивности. Нужно еще иметь в виду, что Пушкин воротился в Петербург 23 окт., значит, только в конце октября мог дать Гоголю просимый сюжет. А уже 4 дек., как мы видели, пьеса была готова, – действительно, «духом» была готова, как обещал Гоголь Пушкину. Против нашей догадки самый сильный, бесспорно, довод, – что такая быстрота писания совершенно несвойственна Гоголю. Но в письмах своих Гоголь чрезвычайно скуп на сообщения о процессе своего творчества (особенно в первый период литературной своей деятельности), и мы очень мало знаем о том, как у него зарождались и писались его произ-

ведения. Однако в одном позднем письме к Жуковскому (от 1850 г. – Письма, т. IV, с. 292) Гоголь пишет: «Покуда писатель молод, он пишет много и скоро».

[^^^]

Черновик письма гр. В. А. Сологуба к Пушкину: «Я говорил вашей супруге о г. Ленском, потому что я с ним только что обедал у гр. Несельроде... Зачеркнуто: Не получив от вашей супруги никакого ответа и видя, что она вместе с княгиней Вяземской смеется надо мной... Если я предлагал вашей супруге другие нескромные, может быть, вопросы, то это было, может быть, по причинам личным, в которых я не считаю себя обязанным отдавать отчет». (*Отчет Имп. Рос. Историч. Музея за 1913 г. М., 1914, с. 110.*) Ср.: Записка гр. Сологуба, бывшая в распоряжении П. В. Анненкова: «Бывши с Н. Н. Пушкиной у Карамзиных, имел я причину быть недовольным разными ее колкостями, почему я и спросил у нее: «Давно ли вы замужем?» Тут была Вяземская, впоследствии вышедшая за Валуева, и сестра ее, которые из этого вопроса сделали ужасную дерзость». (*Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 374.*)

В подлиннике очевидная описка или опечатка – 1837 г. Из рассказа Драшусовой видно, что в то время Пушкин собирался издавать свой «Современник», что было в начале 1836 г. 28 янв. 1837 г. Пушкин уже умирал от раны, полученной на дуэли.

[^^^]

В черновиках: ничтожный человек по имени Боголюбов недавно повторял в кофейнях замечания, позорящие меня... Я прошу, князь, взять обратно замечания Боголюбова, или я знаю, как мне поступить... (М. А. Цявловский. Письма Пушкина и к Пушкину. М., 1925, с. 194.)

[^^^]

Ёмкой называется то «слияние рома и вина», о котором говорит Пушкин в своем послании Языкову. (Ак. Изд. соч. Пушкина, т. IV, с. 373.)

[^^^]

Он меня спрашивал: «Кто мой секундант?» – «У меня нет, – говорил я. – А так как дуэль эта для вас важнее, чем для меня, потому что последствия у нас опаснее, чем самая драка, то я предлагаю вам выбрать и моего секунданта». Он не соглашался. Решили просить кн. Ф. Гагарина. Впрочем, разговор был дружелюбный. «Неужели вы думаете, что мне весело стреляться? – говорил Пушкин. – Да что делать? j'ai le malheur d'être un homme publique et vous savez que c'est pire que d'être une femme publique». (Я имею несчастье быть публичным человеком, и, вы знаете, это еще хуже, чем быть публичной женщиной.) (фр.) – *Ред.* (Гр. В. А. Сологуб. Записка. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 375.)

[^^^]

Вы обманули (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Настоящая фамилия господина была Шаржинский. П. А. Кулиш сообщает: «Из его рассказов Гоголь заимствовал много красок для «Бульбы», напр.: степные пожары и лебеди, летящие в зареве по темному ночному небу, как красные платки» (*Записки о жизни Гоголя. т. I, с. 145*).

[^^^]

Сколько мы знаем, это – единственное указание, какую именно дачу занимал Пушкин на Каменном острове в 1836 г.

[^^^]

Автор относит описываемую встречу к 1834 г. Но лето 1834 г. Наталья Николаевна провела в Калужской губ., да и вряд ли она в это время была знакома с Дантесом. Видеть описанное автор мог только в 1835 или 1836 году, вернее, в 1836-м: в этом году Пушкины нанимали дачу как раз на Каменном острове; в 1835-м же году жили на Черной речке.

[^^^]

Непереводимая игра слов. Дословно: «Гринвальд кормит нас бешеной коровой, приправленной ламповым маслом». «Кормить бешеной коровой» – значит «морить голодом».

[^^^]

БЫВШИЙ дипломат, завсегда́тай (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Брюллов приехал в Петербург в конце весны 1836 г., когда Пушкин жил на даче, на Каменном острове. По-видимому, описанная встреча произошла осенью, по приезде Пушкина в город.

[^^^]

По преимуществу (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Литератору (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Муж красавицы Марии Антоновны, бывшей в связи с императором Александром I и имевшей от него дочь.

[^^^]

Кривоногий (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Мих. Л. Яковлев, лицейский товарищ Пушкина, родился 19 сентября (см. Н. А. Гастфрейнд. Товарищи Пушкина по царскосельскому лицейу, II, 221). Очевидно, праздновался не день его рождения, а день ангела – 8 ноября.

[^^^]

Мои предшественники (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Открытия (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Датировка этого письма, как и следующего, – по Щеголеву (Дуэль).

[^^^]

«Геккерен упирался и говорил, что невозможно приступить к осуществлению брачного проекта до тех пор, пока Пушкин не возьмет вызова, ибо в противном случае в свете намерение Дантеса жениться на Гончаровой приписали бы трусливому желанию избежать дуэли. Упомянув в конспекте о посещении Геккерена, Жуковский записывает: «Его требование письма». Путь компромисса был указан, и инициатива замирения, по мысли Геккерена, должна была исходить от Пушкина. Он, Пушкин, должен был послать Геккерену письмо с отказом от вызова. Этот отказ устраивал бы господ Геккеренов. Но Пушкин не пошел и на это. «Отказ Пушкина. Письмо, в котором упоминает о сватовстве», – записывает в конспекте Жуковский. Эта запись легко поддается комментарию. Пушкин соглашался написать письмо с отказом от вызова, но такое письмо, в котором было бы упомянуто о сватовстве как о мотиве отказа. Пушкин хотел сделать то, что Геккерену было всего неприятнее. Есть основание утверждать, что такое

письмо было действительно написано Пушкиным и вручено Геккерену-отцу. Но оно, конечно, оказалось неприемлемым для Геккеренов». – П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 85.

[^^^]

Т.е. сватовство Дантеса к Е. Гончаровой.

[^^^]

Почти дословно (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

День рождения Ек. Андр. Карамзиной (вдовы историка), 16 ноября. (П. Е. Щеголев. Дуэль, с. 93.)

[^^^]

Я говорил, что на Пушкина надо было глядеть, как на больного, а потому можно несколько мелочей оставить в стороне. (Записка Сологуба, бывш. в распоряж. П. В. Анненкова. – Б. Л. Модзалевский. Пушкин, с. 380.)

[^^^]

«Г-н Дантес просит твоей руки...» (*фр.*) – *Ред.*

[^^^]

«Ты этого хотел, Жорж Данден» (фраза из пьесы Мольера, ставшая поговоркой; *фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Ек. Ник. Мещерская приехала в Петербург, по-видимому, в первой половине декабря 1836 г. Брат ее Андрей Ник. Карамзин писал про нее матери из Парижа 25 декабря: «Так как Катенька теперь с вами, то надеюсь, что и ее милый почерк найду иногда в ваших письмах» (Старина и Новизна, т. XVII, с. 244). Письмо из Петербурга в Париж в то время шло около двух недель.

[^^^]

Тургенев жил в гостинице Демута, по Мойке, недалеко от Пушкина.

[^^^]

Нераскрытый псевдоним. – *Ред.*

[^^^]

Речь идет о письме к Бенкендофру от 21 нояб.
1836 г. – *Ред.*

[^^^]

Открытия Александрины или относительно
Александрины (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Резкости (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Фрейлинами могли быть только девицы.

[^^^]

Непереводимая игра слов, основанная на созвучии: «cor» – мозоль, «corps» – тело. Буквально: «Он мне сказал, что мозоль (тело) жены Пушкина прекраснее, чем моей» (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Буквально: «Я теперь знаю, что у вас мозоль красивее, чем у моей жены».

[^^^]

Барри Корнуоля (имеется в виду книга английского поэта Барри Корнуоля, которого Пушкин очень ценил; *англ.*). – *Ред.*

[^^^]

Ее описывает Лермонтов в своем стихотворении:

Как мальчик кудрявый, резва, Нарядна,
как бабочка летом...

и т.д.

[^^^]

Псевдоним не раскрыт. – *Ред.*

[^^^]

Не входи (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

У Греча умер от скоротечной чахотки его сын-студент, талантливый юноша. Похороны его происходили в день дуэли Пушкина, утром этого дня Пушкин получил пригласительный билет на похороны.

[^^^]

Вольнодумец (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Письмо до последнего времени считалось адресованным А. Я. Булгакову. М. К. Светлова убедительно доказала, что адресат – Д. В. Давыдов. (*Моск. Пушкинист*, № 2, 1930, с. 155–162.)

[^^^]

«Что-то подсказывает мне, что он будет жить» (фр.). – Ред.

[^^^]

План Жуковского вызывает ряд недоумений. Ширмы в столовой не могли стоять так, как указывает Жуковский, – в таком положении они не загораживали гостиной от приходивших поклониться телу Пушкина (из комнаты 7 через 4 в 3). В сенях залавок, очевидно, стоял не там, где указано на плане, а у противоположной двери из сеней в переднюю.

[^^^]

«Арендт сказал мне мой приговор, я ранен смертельно» (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Ты будешь жить! (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Франция – по рождению, Голландия – по приемному отцу, Россия – по месту службы.

[^^^]

Дантес и Геккерен.

[^^^]

Почти дословно (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Отстроен и освящен в 1858 году.

[^^^]

Псевдоним не раскрыт. – *Ред.*

[^^^]

«Может быть, вы никогда меня больше не увидите» (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Дуэль не состоялась, да, по-видимому, и вызова не было.

[^^^]

Т.е. семейства, а не маменьки (*Ек. А. Карамзиной*), про которую он мне сказал: в ее глазах я виновен, она все мне предсказала заранее, если бы я увидел ее, мне нечего было бы ей возразить. (Л. Карамзин.).

[^^^]

Эти господа, мрущие отвратительной, грязной кучей, Бывшие грязью прежде, чем превратиться в прах...

[^^^]

...с этим чудовищем, с этим вырожденком-сыном
(фр.). – Ред.

[^^^]

Стихи играют и искрятся чисто пушкинской «изюминкой»; стоит их сравнить хотя бы с вышеприведенными виршами о физике. Шевырев передает такой лицейский анекдот: однажды император Александр, ходя по классам, спросил: «Кто здесь первый?» Пушкин ответил: «Здесь нет, ваше императорское величество, первых; все вторые!»

[^^^]

«Моя вера!»(*фр.*) – *Ред.*

[^^^]

Отрывки эти напечатаны Бартеневым со слов Вяземского. Ефремов слово «смелых» заменил словом «светлых», и его поправка была принята всеми последующими редакторами сочинений Пушкина ввиду «очевидной бессмысленности» здесь слова «смелых». Дозволительно ли на основании подобных домыслов исправлять дошедшие тексты? И эпитет «смелые» музы в данном случае гораздо уместнее, чем безразличный эпитет «светлые». Арзамасцы были друзьями именно «смелых» муз, сбросивших с себя путы традиций, не боявшихся идти новыми путями.

[^^^]

Жуковского называли другом месяца, потому что действие большинства его баллад разыгрывается при лунном свете.

[^^^]

Где он? – Он там! – Где там? – Не знаем! (Из стихотворения Державина «На смерть князя Мещерского».

[^^^]

Гашпар – прозвище князя Шаховского, по действующему лицу одной из его комедий.

[^^^]

Загородное гулянье, пикник (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Многие умолчания и извращения фактов в оправдательной записке были сделаны по настоянию Александра Тургенева. Им же вставлена тирада о «злодеях и разбойниках». Николай Тургенев писал в дневнике: «Это дорого мне стоит. И первая, и теперешняя моя оправдательная записка лишают меня совершенной независимости духа. Я в них говорю против себя. Эти записки могут быть для меня единственным упреком».

[^^^]

Мой князь, Из какой губернии? – Ку-ку, из
Москвы (фр.). – Ред

[^^^]

И вот как пишется история! (*фр.*) – *Ред.*

[^^^]

Липранди, все это рассказывающий, цитирует стихи по памяти в очень исковерканном виде: Как истукан, немой народ Под игом дремлет в тайном страхе: Над ним бичей кровавый род И мысль, и взор – казнит на плахе.

[^^^]

Ах, какой вы! Все-то вы шутите! (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Бабака – папаша.

[^^^]

Пустомеля, болтун (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Дипломатический курьер (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Безумный день (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Высшая знать (*фр.*) – *Ред.*

[^^^]

Так рассказывает сама Смирнова в своей автобиографии. По записи Я. П. Полонского, Смирнова говорила Пушкину, что стихотворение ей не нравится потому, что выступает «подбоченившись».

[^^^]

Вы там? (фр.) – Ред.

[^^^]

Музыка прекрасной души (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

В черновиках: ничтожный человек по имени Боголюбов недавно повторял в кофейнях замечания, позорящие меня... Я прошу, князь, взять обратно замечания Боголюбова, или я знаю, как мне поступить...

[^^^]

В этой же главе – жены и дети друзей Пушкина.

[^^^]

Красавец (*φρ.*). – *Ред.*

[^^^]

БЫВШИЙ дипломат, завседатай (фр.). – Ред.

[^^^]

Пародия на стих Расина в «Федре»: «Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon coeur (сам день не более чист, чем дно моего сердца)».

[^^^]

Сейчас он находится во Всероссийском музее
А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге. – *Ред.*

[^^^]

Некоторые, впрочем, считают это стихотворение обращенным не к Пушкину, а к Мицкевичу.

[^^^]

Курсив в подлиннике.

[^^^]

Простите за беспокойство... (*фр.*) – *Ред.*

[^^^]

По новейшим данным, стихи Пушкина вызваны не картиной Брюллова, которая была выставлена уже после смерти Пушкина.

[^^^]

Железная Маска – таинственный узник времен Людовика XIV, навеки заточенный в Бастилию и там умерший; с лица его никогда не снимали железной маски.

[^^^]

Шевалье д'Еон де Бомон (1728–1810) – дипломат-авантюрист. Переодетый девушкой, был послан Людовиком XV ко двору императрицы Елизаветы Петровны под видом племянницы французского купца с поручением собрать разные секретные сведения и установить тайную личную переписку императрицы с Людовиком. Поручение это было искусно выполнено.

[^^^]

Назовите его Kvartalny nadziratel (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]